This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4120.6.2 (1-2)

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

BOUGHT FROM THE
AMEY RICHMOND SHELDON
FUND

А. Спаржевский

СОЧИНЕНІЯ

А. СКАБИЧЕВСКАГО

Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА

гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ, по фотографіи Ю. Штейнберга

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

Простые переплеты—по 50 к. Коленкоровые съ золотомъ—по 1 р. Пересылка безъ переплетовъ—за 4 фунта, въ переплетахъ—за 5 фунтовъ

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Высочайше утвержденнаго Товарищества «Общественная Польза», В. Подъяческая, № 39

1895

Sloan 4120.6.2 (1-2)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 25 1957

6746
57.118
51

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА.

1868.

1. Новое время и старые боги 1
2. Русское недомыслiе 29
3. Прудонъ объ искусствѣ и сатурналiи нашихъ эстетиковъ. 63
4. Герои голубинаго полета 75
5. Теорiя Лассаля и пониманiе ея прусскими прогрессистами 85

1869.

6. Живая струя (вопросъ о народности въ литературѣ) 113
7. Старая правда 143
8. Чего нужно добиваться реальному поэту 182

1870—1872.

9. Сорокъ лѣтъ русской критики (1820—1860). 203
10. Три человѣка сороковыхъ годовъ. 495
11. Герои вѣчныхъ ожиданiй 579
12. Графъ Левъ Николаевичъ Толстой—какъ художникъ и мыслитель . . . 611
13. Волны русскаго прогресса. 671
14. Старый идеализмъ въ современной оболочкѣ 705

1873.

15. Сентиментальное прекраснодушiе въ мундирѣ реализма 721
16. Наши грядущiе Бисмарки. 751

1868.

НОВОЕ ВРЕМЯ И СТАРЫЕ БОГИ.

(«Дымъ», повѣсть Тургенева. Москва, 1867.)

I.

Въ 30-ые и 40-ые годы у насъ безусловно царствовали идеи Шеллинга и Гегеля. Шеллингъ, основывая свою философію на тождествѣ духа и матеріи, считалъ искусство высшей дѣятельностью человѣка, въ которой проявляется полное такого рода тождество. Гегель, усматривая въ каждомъ процессѣ развитія три періода развитія идеи, считаетъ художественное творчество первымъ періодомъ въ развитіи индивидуальнаго разума. Художественное творчество, по его мнѣнію, есть *непосредственное* созерцаніе безусловной идеи въ объективной дѣйствительности.

Въ силу этихъ идей многіе изъ нашихъ критиковъ до сихъ поръ еще думаютъ, что когда поэтомъ овладѣетъ вдохновеніе, онъ способенъ открывать міры, безсознательно проникать въ неизмѣримую глубину людскихъ сердецъ и въ такіе непроницаемые тайники жизни, которые недоступны ни обыкновеннымъ смертнымъ, ни даже и самому поэту, когда онъ пируетъ съ друзьями, неокрыленный вдохновеніемъ. Многіе просвѣщенные читатели до сихъ поръ еще ищутъ въ поэтическихъ произведеніяхъ разрѣшенія всѣхъ вопросовъ жизни. Подобнымъ просвѣщеннымъ читателямъ угождаютъ столь-же просвѣщенные критики, которые слѣпо вѣрятъ каждому слову писателей, пользующихся заранѣе опредѣленнымъ и неоспоримымъ авторитетомъ. Если авторитетный поэтъ смѣется надъ какимъ-нибудь явленіемъ жизни, и критики сейчасъ же начинаютъ смѣяться; если поэтъ плачетъ, и критики заливаются слезами. Въ то-же время, приступая къ разбору произведенія, просвѣщенные критики задаются глубокомысленнымъ вопросомъ: не скрыты-ли въ немъ какія-нибудь мудрыя задачи сфинкса, которыя подлежатъ разрѣшенію? Такія задачи всегда находятся, и, надо замѣтить, всегда такія, какихъ именно нужно критикамъ.

Но вѣяніе духа новаго времени быстро уноситъ эти вѣрованія мистическихъ критиковъ въ поэтическую непогрѣшимость. Нынѣ даже самые упорные изъ нихъ, и тѣ опираются на непосредственное творчество поэтовъ только до тѣхъ поръ, пока оно соотвѣтствуетъ ихъ личнымъ идейкамъ, ласкаетъ ихъ собственныя фантазіи; а чуть поэтическое чутье чтимыхъ ими поэтовъ не оправдываетъ ихъ ожиданій, они возмущаются и, какъ дикари, сѣкутъ кумиры, неисполнившіе ихъ моленій. Это показываетъ ясно, что безвозвратно миновало время, когда смотрѣли на талантъ, какъ на нѣчто непогрѣшимое. Нынѣ стало очевидно для всѣхъ, что талантъ можетъ погрѣшать на каждомъ шагу, можетъ идти по совершенно ложной дорогѣ. Что́ такое поэтическій талантъ? Это есть сила, исходящая изъ того простого свойства нашей природы, что каждое воспринятое нами впечатлѣніе мы спѣшимъ отразить въ соотвѣтствующихъ движеніяхъ, звукахъ словахъ, цѣлыхъ рѣчахъ и дѣйствіяхъ. Каждое слово нашего языка есть своего рода поэтическое произведеніе, каждая наша ужимка, каждое размахиванье руки съ цѣлью придать рѣчи бо́льшую живость и картинность—есть своего рода поэтическій образъ, художественная метафора.

Различіе между обыкновеннымъ человѣкомъ и поэтомъ лежитъ не въ томъ, что поэтъ имѣетъ совершенно особенный даръ, которымъ обиженъ простой смертный, а только въ степени дара, общаго всѣмъ людямъ; степень же поэтическаго дара зависитъ прежде всего отъ того закона человѣческой природы, что чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ страстнѣе и богаче отраженіе его. Подъ вліяніемъ сильнаго впечатлѣнія самый сухой человѣкъ можетъ сдѣлаться на время поэтомъ; различіе между обыкновеннымъ человѣкомъ и поэтомъ заключается только въ томъ, что на поэта производятъ сильныя впечатлѣнія такія явленія жизни, которыя на людей обыкновенныхъ не производятъ никакого впечатлѣнія. Кромѣ впечатлительности, художественный талантъ зависитъ отъ навыка отражать впечатлѣнія такъ или иначе: художникъ, пишущій прекрасныя картины, не можетъ часто связать двухъ словъ. Но, кромѣ личнаго навыка, обусловливаемаго направленіемъ дѣятельности, для поэта еще въ большей степени необходимъ традиціонный навыкъ: какъ бы ни былъ силенъ поэтическій талантъ поэта, никакое вдохновеніе не поможетъ ему создать какія-либо изящныя произведенія, если онъ не имѣетъ за собою цѣлыхъ вѣковъ, въ которые

мало-по-малу, поколѣніе за поколѣніемъ, вырабатывалась возможность подобныхъ произведеній. Дикари вдохновлялись явленіями природы и жизни не менѣе нашего, но они ничего не могли создать, кромѣ безобразныхъ кривляній, дикихъ воплей и взвизгиваній, и курносыхъ болвановъ, и нужны были цѣлые вѣка, чтобы люди постепенно дошли до созданія Аполлона Бельведерскаго. Поэтому весьма жалко заблуждаются эстетики, которые приписываютъ разныя великія произведенія искусства исключительно генію художниковъ; надъ такими произведеніями, какъ статуи Фидіаса или трагедіи Софокла, работали цѣлыя поколѣнія; личному же генію художника принадлежитъ обыкновенно одинъ послѣдній шагъ, за который онъ и признается геніемъ.

Итакъ, мы видимъ, что для появленія въ свѣтъ поэтическаго произведенія необходимы двѣ силы: сила впечатлительности (вдохновеніе) и традиціонный навыкъ (владѣніе формой). Но довольно-ли этихъ двухъ элементовъ? Если-бы было довольно, въ такомъ случаѣ теоріи Шеллинга и Гегеля были-бы совершенно вѣрны: въ стремленіи поэта отразить въ своемъ произведеніи впечатлѣнія живой дѣйствительности мы могли-бы видѣть и безсознательно-сознательную творческую дѣятельность, и непосредственное созерцаніе идеи въ живой дѣйствительности. Но все это было-бы вѣрно только въ такомъ случаѣ, если-бы предметы отражались въ фантазіи художника со всѣхъ сторонъ въ ихъ истинномъ видѣ; этого-то мы и не видимъ: впечатлѣнія въ данную минуту бываютъ всегда односторонни; предметъ кидается намъ въ глаза много двумятремя своими рѣзко-выдающимися чертами, и очень часто это впечатлѣніе бываетъ совершенно ложно, вслѣдствіе разныхъ причинъ, лежащихъ въ предметѣ или въ насъ самихъ. Предположимъ, что поэтъ, вѣрящій въ свою геніальность и непогрѣшимость, встрѣчается съ господиномъ, который начинаетъ въ присутствіи его отзываться дурно о его произведеніяхъ. Господинъ этотъ можетъ быть въ дѣйствительности очень почтенный человѣкъ; но навѣрное можно сказать, что онъ произведетъ на поэта впечатлѣніе самое дурное; и въ воображеніи поэта создастся представленіе о господинѣ, совершенно не соотвѣтствующее дѣйствительности. Если такихъ господъ представится много и всѣ они будутъ отзываться о произведеніяхъ поэта равно дурно, тогда въ воображеніи поэта составится цѣльный типъ этихъ господъ, и этотъ типъ будетъ такъ-же ложенъ, какъ и представленіе поэта объ отдѣльномъ такомъ господинѣ... Случаи подобнаго искаженія истины могутъ быть разнообразны до безконечности, и мы бы совершенно потеряли всякій критерій истины, если-бы вздумали опираться на непосредственность художественнаго созерцанія дѣйствительности. Для того, чтобъ художественные образы были вѣрны дѣйствительности, необходимо, чтобъ художникъ отъ каждаго предмета воспринималъ цѣлую массу разнородныхъ впечатлѣній, разсмотрѣлъ предметъ со всѣхъ сторонъ, въ связи съ другими предметами, проникъ въ сущность предмета, причину и слѣдствія; но сдѣлать все это — значитъ, другими словами, изучить предметъ. Но тутъ мы выходимъ уже изъ области чисто художественной и вступаемъ въ область науки. Изучать предметы — дѣло ученаго, и если для поэта тоже необходима эта дѣятельность, то и поэтъ прежде всего долженъ быть ученымъ.

Если на каждое поэтическое произведеніе мы должны смотрѣть какъ на своего рода ученый трудъ, то и критика должна стоять къ поэтическому произведенію въ такихъ же отношеніяхъ, какъ къ ученому труду. Не жизнь разбирать на основаніи образовъ поэта, а наоборотъ — она должна изслѣдовать поэтическое произведеніе на основаніи фактовъ жизни, провѣрить умозаключенія, къ которымъ пришелъ поэтъ; если эти умозаключенія невѣрны, она должна логически и фактически ясно раскрыть эту невѣрность, опредѣлить, почему произошла она, и если возможно исправить ее и показать, какъ нужно смотрѣть на факты, которые представляются писателю въ искаженномъ видѣ.

Вотъ основанія, которымъ я постараюсь слѣдовать при анализѣ новой повѣсти Тургенева «Дымъ».

II.

Прежде всего мы обратимъ вниманіе читателя на основное умозаключеніе, къ которому приходитъ авторъ анализомъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ повѣсти. Это умозаключеніе тѣмъ важно, что оно касается всей русской жизни. Вотъ какъ оно строится: писатель рисуетъ передъ нами цѣлый рядъ пустыхъ и тщеславныхъ филистеровъ, которые убиваютъ время и силы въ Баденъ-Баденѣ. Тутъ вы видите и князя Коко, который въ Парижѣ, въ салонѣ принцессы Матильды, въ присутствіи императора, такъ хорошо сказалъ: «Madame, le principe de la propriété est profondement ébranlé en Russie», и графа X, несравненнаго диллетанта, глубокую музыкальную натуру, который такъ божественно «сказываетъ» романсы, а въ сущности двухъ нотъ разобрать не можетъ, не тыкая вкось и вкривь указательнымъ пальцемъ по клавишамъ, и поетъ не то какъ плохой цыганъ, не то какъ парижскій куаферъ, и барона Z, который «мастеръ на всѣ руки, и литераторъ, и администраторъ, и ораторъ, и шулеръ», и князя J, который «другъ религіи и народа», составившій себѣ во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояніе продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ, и многихъ другихъ; всѣ эти личности проматываютъ за рулеткой отцовское состояніе, бездѣльничаютъ и скучаютъ. «Плохи?» спрашиваетъ васъ авторъ.

— А вотъ вамъ русскіе радикалы, — продолжаетъ авторъ; — вотъ вамъ Губаревъ, глава кружка, человѣкъ «наружности почтенной и немного глуповатой, лобастый, глазастый, губастый, бородастый, съ широкой шеей, съ косвеннымъ, внизъ устремленнымъ взглядомъ... Онъ и славянофилъ, и демократъ, и соціалистъ, и все, что угодно, а имѣньицемъ его управлялъ и теперь еще управляетъ братъ, хозяинъ въ старомъ вкусѣ, — изъ тѣхъ, что дантистами величали!» Вотъ вамъ Ворошиловъ — ординарецъ, при-

славный къ наукѣ и цивилизаціи, бывшій кадетъ, записанный на золотую доску, и трактующій о разныхъ ученыхъ и общественныхъ вопросахъ тономъ кадета, сдающаго экзаменъ. Вотъ вамъ Суханчикова, писклявымъ голосомъ кумушки-сплетницы разсказывающая небывалые ужасы объ аристократахъ. Вотъ вамъ Бамбаевъ, сколокъ съ грибоѣдовскаго Репетилова. Всѣ эти люди спорятъ о будущности Россіи и пьютъ пиво, пьютъ пиво и сплетничаютъ и думаютъ, что они дѣлаютъ какое-то дѣло. Хороши они?—спрашиваетъ васъ Тургеневъ.

А вотъ вамъ типъ россійскаго Гамлета, вотъ вамъ Потугинъ, который всю жизнь тянулъ служебную лямку подъ начальствомъ дядюшки-самодура, учился терпѣнію, наконецъ вышелъ въ отставку, озлобился на все и на всѣхъ, бьетъ баклуши, нападая то на славянофиловъ, то на радикаловъ, то на художниковъ, и занимается отъ нечего дѣлать складываньемъ слова ци-ви-ли-за-ція. Тургеневъ хотя и сочувствуетъ этому господину, вкладываетъ въ его уста свои собственныя мысли, но повидимому не оказываетъ къ нему большого уваженія, называя его заброшеннымъ, бѣднымъ, желчнымъ, добрымъ чудакомъ.

— Наконецъ,—заключаетъ Тургеневъ,—вотъ вамъ одинъ изъ лучшихъ представителей русскаго общества—Литвиновъ. Онъ не тратитъ по пустому время, какъ вся прочая баденская публика, а занимается честнымъ трудомъ на общую пользу:

«Онъ понималъ, что имѣніе его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлѣвшимъ отцомъ, не давало и десятой доли тѣхъ доходовъ, которые могло бы давать, и что въ опытныхъ, знающихъ рукахъ оно превратилось бы въ золотое дно; но онъ также понималъ, что именно опыта и знанія ему не доставало—и онъ отправился за-границу учиться агрономіи и технологіи, учиться съ азбуки. Четыре года слишкомъ провелъ онъ въ Мекленбургѣ, въ Силезіи, въ Карлсруэ, ѣздилъ въ Бельгію, въ Англію, трудился добросовѣстно, пріобрѣлъ познанія; не легко они ему давались, но онъ выдержалъ искусъ до конца, и вотъ теперь, увѣренный въ самомъ себѣ, въ своей будущности, въ пользѣ, которую принесетъ землякамъ, пожалуй даже всему краю, онъ собирается возвратиться на родину.»

Онъ нетолько не увлекается спорами о будущности Россіи, вродѣ Губарева и его кружка, но находитъ, что въ Россіи рано имѣть какія-бы то ни было политическія убѣжденія. Онъ никому не уступаетъ, ни передъ кѣмъ не кланяется, и неподкупная честность его доходитъ до такой степени, что онъ отказывается отъ любви, когда любимая женщина предлагаетъ ему безчестный путь для осуществленія этой любви.

Но въ концѣ концовъ оказывается, что и этотъ лучшій представитель русскаго общества не выдерживаетъ самой слабой критики. Тургеневъ, несмотря на все свое сочувствіе и уваженіе, которыя онъ питаетъ къ своему герою, не можетъ не замѣтить въ то-же время несостоятельности его. Изъ этого сознанія вытекаетъ естественный выводъ, служащій заключеніемъ всего силлогизма. Если Литвиновъ, лучшій изъ всѣхъ прочихъ представителей русской жизни, выведенныхъ въ повѣсти, никуда не годится, то естественно, что и все русское общество никуда не годится. Это сознаніе Тургенева рельефнѣе всего выступаетъ въ устахъ самого героя повѣсти.

«Дымъ, дымъ, повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь—все людское, особенно все русское. Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ-будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же, да то-же; все торопится, спѣшитъ куда-то и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ—и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная—и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что съ громомъ и трескомъ совершалось на его глазахъ въ послѣдніе годы... Дымъ, шепталъ онъ, дымъ; вспомнились горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ, высоко и низко поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... Дымъ, повторялъ онъ, дымъ и паръ; вспомнился, наконецъ, и знаменитый пикникъ, вспомнились и другія сужденія и рѣчи другихъ государственныхъ людей — и даже все то, что проповѣдывалъ Потугинъ... Дымъ, дымъ и больше ничего. А собственныя стремленья и чувства, и попытки, и мечтанья? Онъ только рукой махнулъ.»

Вотъ къ какому умозаключенію привелъ Тургенева анализъ русской жизни. Подобное сознаніе, проведенное по всей повѣсти, послужившее даже заглавіемъ ея, производитъ странное впечатлѣніе, вродѣ того, какое выносится изъ зрѣлища мрачной агоніи или сумасшедшаго дома. Вы читаете и недоумѣваете, что это дѣлается съ писателемъ: смѣется онъ надъ вами, или и въ самомъ дѣлѣ онъ дожилъ до такого мрачнаго сознанія. Но вѣдь съ этимъ шутить нельзя. Подобное сознаніе доводило честныхъ римлянъ до самоубійства. Дойти до него можно только въ двухъ случаяхъ: или когда человѣкъ среди всеобщаго разложенія и вырожденія общества сохранилъ нравственную и физическую свѣжесть, или наоборотъ, когда онъ среди общества молодого, полнаго свѣжихъ силъ и жизни, утратилъ личную энергію, самъ лично выродился, износился, и свое безсиліе, свое постыдное малодушіе перенесъ на всѣхъ, на томъ основаніи, что на людяхъ смерть красна.

Надо глубоко вдуматься и изслѣдовать причины подобнаго безусловнаго отрицанія. Дѣйствительно-ли русское общество представляетъ племя выродившееся, ни на что не способное, и передовымъ людямъ его остается только скорбѣть при видѣ всеобщаго разложенія, какъ скорбѣлъ когда-то Тацитъ, или наоборотъ — русскому племени, молодому и сильному, представляется долгое и великое существованіе, явятся новыя поколѣнія съ новыми силами, разовьется могучая и богатая жизнь, а на долю писателя, не постыдившагося выставить на всеобщее посмѣшище свое личное малодушіе,—останется стыдъ и позоръ передъ своими соотечественниками.

III.

Не болѣе какъ 200 лѣтъ тому назадъ Россія представляла изъ себя страну совершенно варварскую, полудикую. Замкнутый въ себя народъ упорно чуждался всякаго общенія съ иностранцами, всякаго нововведенія. Вслѣдствіе этого въ странѣ не было заведено элементарныхъ удобствъ жизни: хорошихъ дорогъ, почтъ и дилижансовъ. По допотопнымъ дорогамъ, проведеннымъ еще со времени норманской торговли,

путешествовали люди, вооруженные съ ногъ до головы, ежеминутно опасаясь какого-либо нападенія. Лѣса и овраги были наполнены разбойничьими шайками. Восточныя и южныя окраины царства постоянно терпѣли отъ нападенія татарскихъ ордъ. Помѣщики, окруженные многочисленной дворней, какъ вассалами, чинили судъ и расправу надъ своей дворней безапелляціонно, засѣкали кошками даже мелкопомѣстныхъ дворянъ, охотились, пьянствовали и нерѣдко выходили со своей дворней на большую дорогу грабить проѣзжіе обозы съ товарами; случалось, что на такую поживу выѣзжали и помѣщицы и дѣлались славными матушками-атаманшами. При такихъ условіяхъ жизни даже и въ домахъ нужно было имѣть оружіе на-готовѣ, потому что разбойничьи шайки врывались подчасъ въ селенія, грабили и цѣлые города. Одичалый, запуганный людъ, безразлично смѣшивая свои стародавнія языческія преданія съ догматами христіанской религіи, во всемъ видѣлъ чудеса и чары, каждую болѣзнь и несчастіе объяснялъ злыми наговорами, для каждаго шага въ жизни имѣлъ сотни всякаго рода примѣтъ, жегъ и бросалъ въ воду колдуновъ, колдуній и еретиковъ, и въ каждомъ небесномъ явленіи читалъ грядущее бѣдствіе: моръ, голодъ или войну. Въ судахъ господствовали безапелляціонная неправда и ужасающія пытки. Женщины, какъ на Востокѣ, сидѣли запертыя въ теремахъ, а мужчины находили единственное развлеченіе въ пьянствѣ и дикой охотѣ. Единственными общественными увеселеніями были кулачные бои, да хороводы, которые водились въ установленные издревле языческіе праздники не только по селамъ, но и по улицамъ городовъ. Про такой народъ нельзя было сказать, что онъ выродился, изжилъ; напротивъ того, очевидно было, что онъ и не начиналъ еще жить настоящей жизнью. Затѣмъ исторія представляетъ намъ 200 лѣтъ медленнаго перехода отъ мрака къ свѣту, отъ варварства къ кой-какой цивилизаціи. Этотъ переходъ совершался, и теперь еще совершается посредствомъ сближенія нашего съ народами западной Европы. На первый взглядъ исторія послѣднихъ 200 лѣтъ можетъ показаться дѣйствительно какимъ-то хаосомъ, безпорядочнымъ шатаньемъ отъ одного ученія къ другому, безцѣльной ломкой и переломкой. Но если мы вглядимся внимательнѣе, мы увидимъ весьма стройный и послѣдовательный ходъ развитія сознанія русской мысли. Первое увлеченіе западной цивилизаціей было очевидно слѣпое увлеченіе дикарей, впервые вышедшихъ изъ мрака и увидѣвшихъ свѣтъ. Для того чтобы усвоить идеи, которыя развивались въ то время на Западѣ, необходима была нѣкоторая подготовка къ нимъ; но этой-то подготовки у нашихъ предковъ именно и не было. Наши предки, путешествовавшіе по Европѣ вмѣстѣ съ Петромъ, и не подозрѣвали объ этихъ идеяхъ. Первое, что̀ бросилось имъ въ глаза, были разныя внѣшнія явленія жизни: механическій, строго размѣренный, неизмѣнно-дѣйствующій строй разныхъ государственныхъ машинъ, красиво вооруженныя и марширующія арміи, громадные флоты на моряхъ, а на сушѣ удобныя дороги, почты, великолѣпныя гостинницы, блескъ и роскошь придворныхъ баловъ, любезность дамъ, свободно являющихся въ общество и занимающихъ въ немъ первое мѣсто. Все это сейчасъ же начало пересаживаться на русскую почву съ полной энергіей свѣжихъ силъ и невѣжествомъ варваровъ. Наши предки того времени, одѣваясь въ нѣмецкіе и французскіе камзолы и являясь на доморощенныя ассамблеи блистать ломаннымъ французскимъ языкомъ, очень были похожи на древнихъ германцевъ, которые любили украшать свои тѣла римскими тогами и корчить изъ себя римлянъ.

Первая реакція противъ такого безсознательнаго увлеченія однѣми внѣшними формами европейской жизни началась со времени Екатерины. Тогда впервые явилось сознаніе, что одного увлеченія внѣшними формами мало, что жизнь должна быть основана на прочныхъ нравственныхъ и общественныхъ началахъ. Эта новая мысль сказалась во всемъ: въ «Наказѣ» Екатерины, въ комедіяхъ Фонвизина, въ сатирахъ Новикова. Общественная сатира временъ Екатерины представляется намъ очень жалкой и бѣдной, если мы приложимъ къ ней требованія нашего времени: она не касается коренныхъ общественныхъ золъ и преслѣдуетъ только внѣшнія язвы, каковы: взяточничество, казнокрадство, дурное обращеніе съ крестьянами, съ семьей и проч. Но не въ этомъ заключается значеніе ея для своего времени, а въ проведеніи новаго въ то время сознанія, что истинное образованіе заключается въ усвоеніи нравственныхъ и общественныхъ началъ, а не въ пустомъ внѣшнемъ обезьянствѣ. Не надо забывать, что русская мысль до Петра Великаго была преисполнена такого грубаго фетишизма, что обстричь бороду и промѣнять длиннополый кафтанъ на короткій нѣмецкій камзолъ представлялось неслыханной ересью. Люди, которые рѣшались на это, были великими прогрессистами своего времени. Въ настоящее время конечно смѣшны тѣ барыни, которыя являлись на ассамблею съ громадными напудренными куафюрами, мушками на лицѣ, съ вѣерами въ рукахъ и въ фижмахъ. Но для своего времени онѣ были прогрессистками, не менѣе рѣшительными, чѣмъ и нѣкоторыя изъ нашихъ современницъ. Сначала отъ нихъ отплевывались, какъ отъ исчадій антихриста, потомъ ихъ терпѣли, какъ необходимое зло; а еще позже начали смотрѣть на нихъ, какъ на свѣтила прогресса, образцы образованности, и всѣ бросились подражать имъ. Наконецъ время ихъ прошло; онѣ сдѣлали свое дѣло: въ царствованіе Елизаветы по всей Россіи уже водворились европейскіе костюмы и европейское общежитіе, не было уже и вопроса о томъ, прилично ли соваться женщинѣ въ общество; не было и рѣчи о томъ, не преступаетъ ли праотеческій законъ православія тотъ, кто куритъ табакъ, танцуетъ, говоритъ по-французски и ѣздитъ заграницу. Тогда пришло время сбить съ пьедесталовъ мнимыя свѣтила прогресса, показать, что эти петиметры и модницы, которые находили образованіе единственно въ блестящихъ нарядахъ по послѣдней модѣ, ловкихъ расшаркиваніяхъ и необузданномъ волокитствѣ,—вовсе не свѣтила прогресса, что истинная образованность заключается въ усвоеніи разныхъ прочныхъ началъ общественныхъ, нравственныхъ, а не въ одномъ подражаніи внѣшнимъ формамъ европейской жизни. Если мы будемъ съ

этой точки зрѣнія смотрѣть на общественную сатиру временъ Екатерины, мы поймемъ тогда всю важность ея для своего времени; сатира Новикова и Фонвизина вызвана была развитіемъ новаго сознанія въ обществѣ; она открываетъ собою новую эпоху развитія общества.

Если мы обратимъ вниманіе на послѣдніе годы царствованія Елизаветы и потомъ, пробѣжавши быстро 100 лѣтъ, перенесемся къ годамъ крымской войны, намъ покажется, что общество наше много пережило впродолженіи пяти царствованій: сколько сдѣлано пріобрѣтеній новыхъ земель, сколько построено новыхъ городовъ, дорогъ, мостовъ, зданій; повсюду устроены почты и телеграфы, заведены школы, больницы; общественные нравы значительно смягчились; уничтожены пытки и смертная казнь; дворянамъ дарована вольность; мало-по-малу вывелись мрачные, звѣрообразные типы, вродѣ дѣдушки Багрова, Куралесова или Троекурова.

Но если мы вглядимся глубже и внимательнѣе въ ходъ развитія русской жизни впродолженіи всего этого столѣтія, мы будемъ поражены странной непроизводительностью всей этой эпохи. Начиная съ Екатерины II и кончая крымской войной, передовые умы въ литературѣ и государственной жизни постоянно носились съ сознаніемъ, что жизнь должна быть основана на прочныхъ, нравственныхъ и общественныхъ началахъ, но изъ этого сознанія не выходило прочныхъ, фундаментальныхъ реформъ.

Эта крайняя нерѣшительность и инерція въ правительственныхъ сферахъ обусловливались общимъ состояніемъ образованныхъ слоевъ общества, въ которыхъ не замѣчалось ни малѣйшаго признака той живой, двигающей силы, которая могла бы увлечь за собою правительственныя сферы. Образованные слои общества во все это время раздѣлились на два лагеря: одни искали прочныхъ началъ жизни въ до-петровской Руси, въ преданіяхъ священной старины; другіе увлекались французской литературой XVIII вѣка и началами, выработанными французской революціей. Несмотря на взаимный антагонизмъ, сначала между скептиками и мистиками, потомъ между славянофилами и западниками, мы видимъ много въ нихъ общаго: большинство нашихъ доморощенныхъ скептиковъ были въ сущности такіе же рутинеры и консерваторы, какъ и мистики; они увлекались тѣми или другими готовыми, модными идеями совершенно такъ же, какъ предки ихъ увлекались западными костюмами и дебоширствомъ, т. е. какъ предметомъ блестящаго щегольства и пріятной забавы для препровожденія времени. На Западѣ эти идеи были выработаны вѣками тяжелыхъ притѣсненій и страданій. Люди видѣли въ нихъ единственное спасеніе, единственный исходъ жизни и смерти. У насъ же этими самыми идеями увлекались люди, которые въ осуществленіи ихъ въ жизни не только не могли видѣть какого-либо улучшенія своего благосостоянія, а, напротивъ того, цѣлый рядъ лишеній: осуществить либеральныя идеи значило лишиться тысячи душъ крестьянъ и вмѣстѣ съ тѣмъ комфорта и блеска. Могли ли эти люди искренно и прочно увлекаться подобными идеями?.. Если они и увлекались, то это было не что иное, какъ шалость игривой молодости, которая любитъ пройтись по дощечкѣ черезъ пропасть или покататься въ бурю на лодкѣ. Подъ старость наши доморощенные скептики обыкновенно отрезвлялись и закидывали якорь въ спасительной гавани мистицизма. Если и встрѣчалось нѣсколько людей, упругихъ въ своихъ убѣжденіяхъ и пытавшихся провести ихъ въ жизнь, то эти люди стояли совершенно одиноко; ихъ считали жалкими безумцами и отъ нихъ трижды отрекались люди ихъ же лагеря. Посмотрите на большинство передовыхъ людей этой эпохи; возьмите Державина, Фонвизина, Пушкина, и во всѣхъ этихъ людяхъ вы увидите одно и то же явленіе: сначала они болѣе или менѣе либеральничаютъ, а потомъ начинаютъ оплакивать заблужденія молодости и замаливать грѣхи. Это явленіе очень понятно: человѣкъ не можетъ находиться долго въ разладѣ съ своими убѣжденіями; если онъ не въ силахъ переработать жизнь сообразно своимъ убѣжденіямъ, то навѣрное можно сказать, что раньше или позже поступитъ наоборотъ: измѣнитъ убѣжденія сообразно съ жизнью. Но никогда еще люди не находились въ такомъ поразительномъ разладѣ словъ и дѣлъ, какъ именно въ эту эпоху. Солидно резонерствующіе Правдины и Стародумы, желчные пессимисты Чацкіе, разочарованные жизнью Онѣгины и Печорины, наконецъ маниловски-гуманные и философствующіе Лаврецкіе—всѣ они, какъ ни были красивы, ловки, умны, великодушны, какъ ни горячо стояли за честность и правду въ изящныхъ салонахъ, особенно въ присутствіи дамъ, въ то же время ловко пользовались выгодами своего положенія и на заднихъ дворахъ обдѣлывали втихомолку разныя дрянныя, грязныя дѣлишки въ духѣ Стегунова, Пѣночкина и комп. Могли ли эти люди представить въ жизни что-нибудь кромѣ безобразнаго шатанья отъ одного увлеченія къ другому? Могли ли они выработать какія-нибудь прочныя прогрессивныя идеи, когда малѣйшій прогрессъ былъ убыточенъ для ихъ благосостоянія, и единственнымъ выгоднымъ для нихъ политическимъ убѣжденіемъ было неизмѣнное statu quo?

Неужели же во все это время не было людей, для которыхъ осуществленіе прогрессивныхъ идей, выработанныхъ западной цивилизаціей, было бы не только не убыточно, а, напротивъ того, полезно и необходимо? Такіе люди были, и много ихъ было. Но, къ сожалѣнію, идеи, которыя были полезны для этихъ людей, были чужды имъ. Откуда было этимъ людямъ взять эти идеи? Додуматься до нихъ самимъ? Но для этого потребны цѣлые вѣка. Заимствовать ихъ съ Запада? Но какимъ путемъ? Эти люди не имѣли средствъ путешествовать за-границею, выписывать иностранныя книги. Они проводили дни, а иногда и ночи, пригвожденные къ какому-нибудь сухому, каторжному, неблагодарному труду, едва обезпечивающему ихъ существованіе. Единственныя книжки, которыя были у нихъ подъ руками, это были разныя произведенія въ то время еще юной россійской литературы. Но что могли они извлечь изъ этихъ книжекъ? Русская литература, находившаяся въ то время въ рукахъ паразитнаго слоя общества, который въ книжкахъ не искалъ ничего кромѣ пріятнаго развлеченія, убаюкивала и нѣжила своими художественными формами,

которыя вырабатывались съ каждымъ поколѣніемъ болѣе и болѣе, пока не дошли до своего апогея подъ перомъ Пушкина и Лермонтова; но въ то же время она не представляла никакихъ глубокихъ и здоровыхъ идей, которыя развивали и двигали бы общество.

При такихъ условіяхъ массѣ бѣдныхъ, честныхъ тружениковъ только и оставалось, что заучивать наизусть стихи Пушкина, увлекаться повѣстями Марлинскаго, плакать, смотря на драмы Полевого, и довольствоваться идеями, завѣщанными издревле со временъ Никона и Домостроя. А еще ниже, тамъ и не подозрѣвали даже, что существуетъ какая-либо русская литература, имѣющая претензію на народное или, какъ тогда выражались, національное значеніе.

Но уже въ 40-е годы жизнь начинаетъ нѣсколько проясняться: на каѳедрахъ университетовъ начинаютъ появляться профессора вродѣ Грановскаго, Кудрявцева, дѣятельность которыхъ не ограничивается уже преподаваніемъ схоластической учености, отвлеченной отъ жизни; они проводятъ идеи, которыя невольно возбуждаютъ къ анализу окружающей среды; они имѣютъ своими слушателями не такихъ только людей, которые слушаютъ ихъ лекціи ради пріятнаго щекотанія мозга, но и такихъ, которые пришли слушать ихъ можетъ-быть изъ-за тридевять земель пѣшкомъ, для которыхъ идеи, проводимыя любимыми профессорами, были вопросами жизни и смерти. Въ то же время литература мало по малу перестаетъ ограничиваться одной выработкой изящныхъ формъ ради пріятной услады въ часы досуга. Подъ мощнымъ перомъ Гоголя и Бѣлинскаго она начинаетъ анализировать русскую жизнь, разрѣшать разные нравственные и общественные вопросы. И вотъ подъ вліяніемъ новыхъ дѣятелей литературы начала образовываться иная среда: это—среда тѣхъ бѣдныхъ, честныхъ тружениковъ, о которыхъ мы выше говорили. Среда эта начинаетъ быстро развиваться, возрастать, пока, въ концѣ 50-хъ годовъ, не овладѣваетъ общественнымъ мнѣніемъ.

Къ этому періоду 40-хъ годовъ относится и начало дѣятельности Тургенева. Подъ вліяніемъ Гоголя и Бѣлинскаго, и Тургеневъ въ своихъ «Запискахъ Охотника» послужилъ тѣмъ идеямъ и тѣмъ общественнымъ вопросамъ, которые въ то время подымались въ обществѣ. Очень можетъ быть, что и на тотъ великій общественный вопросъ, который Тургеневъ затронулъ въ «Запискахъ Охотника», онъ смотритъ въ настоящее время, какъ на дымъ и паръ и никому ненужную игру; но надо думать, что не такъ смотрѣлъ на этотъ вопросъ Тургеневъ, когда писалъ свои «Записки Охотника», и тѣмъ болѣе не такъ смотрѣли на него тѣ изъ его читателей, которые во всѣхъ общественныхъ вопросахъ видятъ вопросы жизни и смерти, а не праздную забаву отъ нечего дѣлать.

Наконецъ настало время, въ которое мертвый застой и убійственный разладъ между дѣломъ и словомъ сдѣлались невыносимыми долѣе. Тогда правительство увидѣло необходимость приступить къ тѣмъ радикальнымъ реформамъ, о которыхъ до того времени только мечтали, не рѣшаясь сдѣлать ни шагу. Вмѣстѣ съ этими реформами русское общество вступаетъ въ новый періодъ развитія, рѣзко отличающійся отъ всего пережитаго прежде. Мы переживаемъ такой переворотъ, который въ жизни русскаго народа имѣетъ неизмѣримо большее значеніе, чѣмъ всѣ реформы Петра Великаго. Сблизивши насъ съ Европой и заимствовавши разныя внѣшнія формы европейской жизни, Петръ Великій не коснулся существенныхъ основъ русской жизни, и эти основы оставались неизмѣнными до самаго послѣдняго времени, хотя нѣкоторыя изъ нихъ и прикрывались иностранными названіями. Нынѣ же дѣло касается именно этихъ основъ жизни: такія три реформы, какъ освобожденіе крестьянъ, открытіе гласныхъ судовъ и учрежденіе земства, уже нельзя назвать ничтожной игрой и топотней на одномъ мѣстѣ Эти реформы вызвали къ политической жизни цѣлыя массы. Если до крымской войны люди могли существовать, не имѣя никакихъ политическихъ убѣжденій, и политическія убѣжденія казались какой-то лишней роскошью, прихотью отъ нечего дѣлать, то теперь имѣть тѣ или другія политическія убѣжденія сдѣлалось существенной необходимостью, именно вслѣдствіе этихъ реформъ. Въ самомъ дѣлѣ, что же такое значитъ стоять за освобожденіе крестьянъ съ землей или безъ земли, за реальныя или классическія гимназіи, какъ не имѣть тѣ или другія политическія убѣжденія? Неужели же эти всѣ вопросы ничтожный дымъ и паръ? Неужели высшая степень благоразумія заключается въ томъ, чтобы твердить: въ Россіи рано имѣть какія-либо политическія убѣжденія, и махать на все рукою,—освобождайте, молъ, крестьянъ, какъ хотите, съ землей или безъ земли; заводите гимназіи классическія, реальныя, пожалуй, хоть идеальныя... намъ все равно, мы лучше поѣдемъ въ Баденъ и займемся наблюденіемъ надъ нашими либеральными соотечественниками.

Рѣзкость переворота, который мы переживаемъ, сказывается во всемъ, даже въ мелочахъ жизни; надо быть совершенно слѣпымъ, чтобы этого не видѣть. Прежнія поколѣнія были люди по преимуществу словъ, разъѣдающей рефлексіи и безплоднаго анализа; прежде чѣмъ рѣшиться на какой-нибудь шагъ, они пускались въ самыя хитрыя и тонкія размышленія—дѣлать этотъ шагъ или не дѣлать, и какъ его дѣлать, и хорошо ли будетъ, если его сдѣлать, а не лучше ли погодить. На эти размышленія тратились обыкновенно все время и вся энергія, такъ что на самый шагъ не хватало уже человѣка. Нынѣ совершенно наоборотъ: горячка дѣла до такой степени овладѣла нынѣшнимъ поколѣніемъ, что оно часто впадаетъ въ противоположную крайность, живетъ заднимъ умомъ, то-есть рѣшается на тѣ или другіе шаги, очертя голову, прежде чѣмъ обдумаетъ эти шаги: многія ошибки, неудачи и промахи послѣдняго времени нельзя иначе объяснить, какъ именно излишней поспѣшностью поскорѣе осуществить задуманное, не тратя времени на размышленія.

Въ то время, какъ правительство своими реформами положило первые начатки политическаго развитія Россіи, литература не сидѣла сложа руки. Если мы оставимъ въ сторонѣ все, что было написано по поводу тѣхъ или другихъ насущныхъ вопросовъ современной жизни, а коснемся самаго скромнаго отдѣла литературы—переводческой дѣятельности, то и тутъ мы бу-

демъ поражены плодовитостью нашего времени. До крымской войны на русскій языкъ переводились исключительно почти одни романы—Жоржъ Зандъ, Дюма, Сю, Теккерея. И вотъ, не болѣе какъ въ 10 лѣтъ, образовалась цѣлая литература переводныхъ сочиненій по всѣмъ отраслямъ знаній. Перевести сочиненія такихъ великихъ столповъ европейскаго знанія, какъ Бокль, Миль, Дреперъ, Льюисъ, Спенсеръ, Шлоссеръ, Гервинусъ, Маколей, Дарвинъ, Фохтъ, Вундтъ и проч., значитъ составить эпоху. Это значитъ иными словами — сдѣлать доступными великія идеи западной образованности для той среды тружениковъ, которая не имѣетъ возможности ни путешествовать заграницей, ни выписывать иностранныя книги. Этимъ не только расширяется масса образованныхъ людей, но образованность пересаживается на истинную свою почву, то-есть въ тотъ слой общества, гдѣ она является не излишней роскошью, а насущной потребностью. И этимъ самымъ вызывается къ жизни и великой дѣятельности этотъ слой общества.

IV.

Я не знаю, какое впечатлѣніе производитъ повѣсть Тургенева на читателей, но когда я читалъ ее, мнѣ постоянно казалось, что она написана 30 лѣтъ назадъ. Въ самомъ дѣлѣ, будь произведеніе Тургенева написано 30 лѣтъ назадъ, Тургеневъ былъ бы совершенно правъ: дѣйствительно, все, что тогда говорилось, писалось, дѣлалось, было пустымъ дымомъ, безобразнымъ шатаньемъ отъ Якова къ Сидору, которое не мѣшало сохраняться въ неизмѣнности формамъ жизни, завѣщаннымъ до-петровской стариной,—тому же крѣпостному праву, тѣмъ же бюрократическимъ судамъ, тѣмъ же приказамъ, хотя и подъ иностранными названіями. Дѣйствительно, въ то время невозможны были никакія политическія убѣжденія, потому что общество состояло изъ массы тружениковъ, погруженныхъ въ невѣжество, и горсти образованныхъ людей, для которыхъ, по ихъ общественному положенію, самое выгодное было не имѣть никакихъ политическихъ убѣжденій. Но каждый читатель, хоть сколько-нибудь слѣдившій за тѣмъ, что̀ пережило общество наше въ послѣднія 10 лѣтъ, можетъ очень хорошо судить, насколько примѣнимо къ нашему времени то, что такъ хорошо характеризуетъ 30-ые годы. Что же за причина, что Тургеневъ какъ будто совершенно не видитъ, что̀ дѣлается передъ его глазами, и ему кажется, будто общество наше живетъ все такой же жизнью, какой оно жило лѣтъ тридцать тому назадъ? Тургеневъ забылъ даже и о «Запискахъ Охотника», въ которыхъ онъ заплатилъ дань 40-мъ годамъ. Это весьма любопытный патологическій фактъ. Для объясненія его мы обратимся опять къ тому силлогизму, на которомъ строитъ Тургеневъ свою повѣсть. Я попрошу читателя припомнить, что несостоятельность современнаго общества Тургеневъ выводитъ изъ того, что одинъ изъ лучшихъ представителей русской жизни—Литвиновъ оказывается несостоятельнымъ. Попробуемъ разобрать этого Литвинова внимательнѣе, дѣйствительно ли онъ лучшій представитель нашей жизни, не ошибается ли Тургеневъ въ своемъ героѣ.

Для того, чтобы судить о томъ, принадлежитъ ли Литвиновъ къ числу лучшихъ людей нашего общества, необходимо имѣть масштабъ, по которому можно было бы измѣрить достоинства Литвинова. Каковъ же долженъ быть этотъ масштабъ? До сихъ поръ при вопросѣ о положительныхъ типахъ и хорошихъ людяхъ употреблялся у насъ масштабъ исключительно количественный. Насъ заставляли поклоняться такимъ типамъ, какъ Евгеній Онѣгинъ или Печоринъ, единственно потому, что это такъ-называемыя сильныя натуры, люди выше другихъ головою.

Но измѣреніе людей однимъ количественнымъ масштабомъ ни къ чему не можетъ повести, какъ только къ безплодному отчаянію и разочарованію; живой примѣръ такого разочарованія представляетъ намъ романтизмъ, который, ища повсюду великихъ душъ и избранныхъ натуръ, доискался наконецъ до того, что потерялъ всякую вѣру въ людей. Количественный масштабъ достался намъ по наслѣдству отъ романтизма—и до сихъ поръ еще на каждомъ шагу онъ употребляется въ литературѣ и въ жизни. До сихъ поръ еще у насъ въ ходу выраженія, вродѣ: сильная натура, недюжинный человѣкъ, личность, возвышающаяся надъ посредственностью. Если мы примемъ иной, качественный масштабъ, тогда всѣ эти выраженія покажутся весьма несостоятельными для опредѣленія истинныхъ достоинствъ людей, которыя зависятъ не отъ количества силъ, а отъ качества ихъ, то-есть отъ того, куда и какъ направлены эти силы. Что толку, что Печоринъ заключалъ въ себѣ необъятныя силы, если онѣ всѣ были употреблены на разсѣяніе зла и себѣ, и людямъ, если, куда ни являлся Печоринъ, вездѣ отъ его силъ страдали ближніе, и самъ онъ страдалъ больше всѣхъ ихъ? Не достойнѣе ли этого Печорина послѣдній разносчикъ, силъ котораго хватаетъ только на то, чтобы выкрикивать свой товаръ и разносить его, кому нужно?

Качественный масштабъ тѣмъ хорошъ, что онъ приложимъ ко всѣмъ людямъ безъ исключенія; онъ не предполагаетъ необходимости имѣть титаническія силы для того, чтобы быть хорошимъ человѣкомъ; онъ находитъ человѣка въ слабомъ, безпомощномъ, загнанномъ и забитомъ труженикѣ, и караетъ мерзавца, какъ бы ни былъ этотъ мерзавецъ красивъ, уменъ и энергиченъ.

Для опредѣленія качественнаго масштаба, по которому мы будемъ оцѣнивать Литвинова, я попрошу читателя перечитать или припомнить біографіи людей вродѣ Ломоносова, Новикова, Кулибина, Мартынова, Бѣлинскаго, Добролюбова и многихъ другихъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ личностей. Я обращаю вниманіе читателя на этихъ людей вовсе не потому, что они возвышались надъ толпою или были геніальнѣе другихъ. Я попрошу читателя забыть на время это. Я буду обращать вниманіе на качественную сторону ихъ натуры, а не на количественную. Что же касается до качественной стороны ихъ натуры, то этой стороной они стоятъ нисколько не выше многихъ Ивановъ Ивановичей и Петровъ Петровичей, моихъ пріятелей и твоихъ пріятелей, читатель, которые не попали въ

исторію потому, что не обладаютъ достаточнымъ количествомъ силъ для этого, но они тѣмъ не менѣе ничѣмъ не хуже Ломоносова или Бѣлинскаго. Я бы могъ обойтись и безъ историческихъ личностей, а взять одного изъ своихъ знакомыхъ и описать его, для сравненія съ Литвиновымъ; но въ такомъ случаѣ могутъ заподозрить, что я выдумалъ этого знакомаго изъ своей головы; возьмемъ же, коли такъ, общихъ знакомыхъ, каковы Ломоносовъ, Новиковъ и проч.

Прежде всего мы видимъ, что всѣ эти люди были весьма усидчивые и усердные труженики, не бросавшіе своего труда до гробовой доски. До сихъ поръ у насъ сохраняются взгляды на трудъ, такіе же древніе, какъ и самыя слова, выражающія это понятіе. Слова: *трудъ*, *работа*, составились очевидно въ то время, когда не было свободнаго труда, а былъ одинъ принудительный трудъ, рабство. И до сихъ поръ еще подъ трудомъ разумѣется что-то такое, къ чему человѣкъ принуждается; трудъ противополагается наслажденію, а человѣкъ, добровольно принимающійся за трудъ, предполагается обладающимъ сильной волей. Очевидно, что если трудъ есть нѣчто такое, къ чему человѣкъ не чувствуетъ естественнаго влеченія, то необходима огромная сила воли, чтобы приняться за него. Такой взглядъ поддерживается ненормальнымъ распредѣленіемъ труда, при которомъ дѣйствительно большинство людей принуждены бываютъ тратить весь запасъ воли на принужденіе себя къ труду, къ которому не имѣютъ ни малѣйшаго влеченія.

Совершенно не таковы были люди, о которыхъ мы говоримъ. Тѣ біографы, которые, удивляясь ихъ упорству въ трудѣ, ставятъ въ образецъ колоссальную силу воли этихъ людей, совершенно не понимаютъ ихъ; вовсе не сила воли, а двѣ страсти владѣли этими людьми. Первая страсть заключаясь въ горячей, глубокой, доходящей до энтузіазма любви къ родинѣ. Это была не слѣпая, дикая любовь разныхъ квасныхъ патріотовъ, которые не видятъ въ своей землѣ ничего, кромѣ безусловныхъ совершенствъ, выходятъ изъ себя, если кто-нибудь замѣтитъ хотя одну мрачную краску на предметѣ ихъ любви, и для которыхъ совершенно достаточно, если родина ихъ достигаетъ наружнаго величія и блеска, хотя бы подъ этимъ блескомъ скрывалась внутренняя гниль. Подъ любовью къ родинѣ эти люди разумѣли страстное желаніе блага своимъ соотечественникамъ,—желаніе всеобщаго счастья и довольства. И это было не что-либо надуманное, вычитанное изъ хорошихъ книжекъ, а дѣйствительная страсть, которая заставляла Ломоносова воскликнуть на смертномъ одрѣ: «я умираю и на смерть гляжу равнодушно; жалѣю о томъ только, чего не успѣлъ совершить для пользы наукъ, для славы отечества и академіи нашей. Къ сожалѣнію вижу, что благія мои намѣренія исчезнутъ вмѣстѣ со мною». Какія же это были намѣренія?.. Ломоносовъ прежде всего страстно желалъ распространенія просвѣщенія по всей массѣ народа, чтобы могли изъ народа выйти многочисленные Ломоносовы. Вся его академическая дѣятельность была направлена къ этому. Это была тревожная, полная борьбы пропаганда распространенія просвѣщенія въ Россіи. «Чтожъ до меня надлежитъ,—писалъ Ломоносовъ къ Теплову,—то я и къ сему себя посвятилъ, чтобъ до гроба моего съ непріятелями наукъ россійскихъ бороться, какъ ужъ борюсь двадцать лѣтъ; стоялъ за нихъ смолода, на старость не покину».. Одной пропаганды просвѣщенія было бы совершенно достаточно, чтобы посвятить ей всю жизнь, но Ломоносовъ не могъ ограничиться ею: страстная любовь къ народу, и притомъ къ народу страждущему, угнетенному, влекла его къ болѣе широкой дѣятельности. Такъ, въ одномъ изъ писемъ къ Шувалову онъ излагаетъ нѣсколько мыслей о сохраненіи и размноженіи русскаго народа и между прочимъ пишетъ слѣдующее: «Божественное дѣло и милосердыя, и человѣколюбивыя, нашея монархини кроткаго сердца достойное дѣло—избавлять подданныхъ отъ смерти, хотя бы иные по законамъ и достойны были. Сіе помилованіе есть явное и прямо зависящее отъ ея материнскія высочайшія воли и повелѣнія. *Но много есть человѣкоубійства и еще самоубійства, народъ умаляющаго, коего непосредственными указами, безъ исправленія или совершеннаго истребленія нѣкоторыхъ обычаевъ, и еще нѣкоторыхъ подъ именемъ узаконеній вкоренившихся, истребить невозможно...*» И вотъ Ломоносовъ предпринимаетъ цѣлое сочиненіе, въ которомъ намѣревается изложить свои мысли: 1) о размноженіи и сохраненіи россійскаго народа, 2) о истребленіи праздности, 3) о исправленіи нравовъ и большемъ народа просвѣщеніи, 4) о исправленіи земледѣлія, 5) о исправленіи и размноженіи ремесленныхъ дѣлъ и художествъ, 6) о лучшихъ пользахъ купечества, 7) о лучшей государственной экономіи, 8) о сохраненіи военнаго искусства во время долговременнаго мира. То-же живое, страстное побужденіе заставило Новикова раздавать народу даромъ хлѣбъ въ голодный годъ и издавать книги для народнаго просвѣщенія. А Бѣлинскій—ну, не смѣшно-ли, что онъ ухлопалъ себя преждевременно писаньемъ журнальныхъ статеекъ? Говорятъ, что Добролюбовъ просиживалъ ночи за писаньемъ своихъ статей, и друзья насилу могли отрывать его отъ письменнаго стола, видя, что ему вредно такое бдѣніе, насилу могли спровадить его за-границу лечиться. Неужели такое страстное занятіе дѣломъ, доходящее до какого-то запоя, заглушающее въ человѣкѣ чувство самосохраненія, происходило изъ холоднаго принципа пользы и механической силы воли, заставлявшей пригвождать себя къ письменному столу, когда жизнь висѣла на волоскѣ?...

Другой страстью, возбуждавшей этихъ людей къ дѣятельности, была любовь къ самому процессу труда, безотносительно его приложенія. Жалки тѣ люди, которые вносятъ въ жизнь одни холодные принципы, не оживляя ихъ страстными влеченіями, составляющими могучій двигатель жизни. Такіе люди, додумавшись до той идеи, что слѣдуетъ трудиться на общую пользу, начинаютъ обыкновенно холодно раздумывать, какой-же-бы это трудъ предпринять имъ? Начать развѣ заниматься наукой? Но какой же? Исторіей или ботаникой? Исторіей интереснѣе; но... химіей полезнѣе... Дай, займусь химіей... А то не заняться ли переводами, не завести ли библіотеку?.. Нѣтъ, пойду лучше въ адвокаты!.. Подобная готовность заниматься, чѣмъ угодно, показываетъ неспособ-

ность ни къ чему. Химиками или адвокатами сдѣлаются эти люди, все равно: они навсегда останутся жалкими рутинерами и педантами въ своемъ дѣлѣ и ихъ всегда обгонитъ человѣкъ, страстно привязанный къ своему труду. Страсть, влекущая къ труду, всегда перетянетъ силу воли, принуждающую человѣка къ тому же труду, какъ бы ни была велика эта сила. Она управляется совершенно тѣми же законами, какъ и половая любовь. Только ту любовь мы называемъ истинной, благотворной, которая является свободнымъ, страстнымъ влеченіемъ. Всякаго человѣка, принуждающаго себя къ половой любви, мы называемъ проституткой, все равно каковы бы ни были причины такого принужденія, хотя бы самыя высокія. Слѣдствіемъ принужденія къ труду является отвращеніе отъ него, побужденіе залить скуку ненаполненной жизни пьянствомъ или развратомъ, медленное угасаніе физическое, отупѣніе и жалкое прозябаніе подъ старость, или же сумасшествіе и смерть отъ самоубійства. Не таковъ былъ трудъ, который наполнялъ жизнь людей, разсматриваемыхъ нами: онъ не былъ для нихъ принужденіемъ, а, напротивъ того, они выносили изъ него то жгучее наслажденіе, которое испытываетъ всякій человѣкъ въ минуты удовлетворенія какой-нибудь страсти; мы видѣли уже, до какого излишества доходилъ въ своемъ трудѣ Бѣлинскій,—излишества, которое заставляло его пренебрегать потребностью отдыха въ такое время, когда серьезная болѣзнь угрожала ему смертью. Ломоносовъ былъ еще необузданнѣе въ своемъ трудѣ: случалось, что по цѣлымъ недѣлямъ онъ не выпускалъ изъ рукъ книгъ, забывая даже обѣдать и питаясь въ это время однимъ мартовскимъ пивомъ да буттербродами. Для такихъ людей, съ ихъ горячимъ влеченіемъ къ своему труду, немыслимо было бросить разомъ свой трудъ и промѣнять его на что нибудь другое, напримѣръ на составленіе карьеры ради увлеченія любимой женщиной. А между тѣмъ они не были мрачными аскетами, не говорили, что въ жизни каждая минута должна быть посвящена труду, что человѣкъ долженъ быть глухъ ко всѣмъ прочимъ наслажденіямъ жизни, долженъ считать ихъ ниже себя. Такой надуманный ригоризмъ, сдавливающій природу человѣка и искажающій ее, былъ чуждъ этимъ людямъ. Какъ ни любили они свой трудъ, они не были чужды разныхъ наслажденій жизни; они всѣ любили и были любимы, хотя не дѣлали изъ любви содержанія всей жизни. Страсть къ труду и къ любимой женщинѣ не только не мѣшали у нихъ другъ другу, а, напротивъ того, помогали одна другой. Но всѣ эти люди не были чужды даже и самыхъ обыденныхъ развлеченій: для Ломоносова былъ праздникъ, когда къ нему пріѣзжали архангельскіе земляки, и онъ пировалъ съ ними до поздней ночи; Бѣлинскій страстно любилъ играть въ преферансъ и не считалъ эту страсть недостойной себя.

Таковы были люди, стоявшіе во главѣ русскаго прогресса. Я указалъ на главныя черты этого положительнаго типа, но эти черты такого свойства, что онѣ нисколько не зависятъ отъ степени геніальности этихъ людей. Горячая любовь къ ближнимъ, горячая любовь къ труду и простое, естественное отношеніе къ жизни, безъ всякихъ натяжекъ и аффектацій—вотъ три простыя свойства, которыя сдѣлали этихъ людей великими; но вѣдь эти свойства можетъ имѣть каждый человѣкъ, какъ бы ни были ничтожны его силы въ количественномъ отношеніи. Въ числѣ твоихъ знакомыхъ, читатель, по всей вѣроятности найдется не одинъ, не два человѣка, обладающихъ такими свойствами. Бѣлинскій воспиталъ поколѣніе; ты вслѣдствіе этого знаешь его, читатель. А вонъ тамъ, гдѣ-нибудь на чердачкѣ, сидитъ безвѣстный переводчикъ или переводчица и строчатъ они заказную работу къ завтрашнему дню; какъ они бѣдны, просты, даже смѣшны; ничего-то въ нихъ нѣтъ особеннаго, что возвышало бы ихъ надъ толпой: ни отпечатка высокихъ думъ на челѣ, ни гордаго страданія во взорахъ; сидятъ и строчатъ переводъ, и идутъ у нихъ дни за днями упорнаго труда, пересыпаемаго обыденными шутками, обыденными забавами, можетъ быть и обыденной любовью безъ романтическихъ страданій и ужасовъ. А между тѣмъ эти простые и безвѣстные труженики такіе же герои, какъ и Бѣлинскій; они тоже воспитываютъ поколѣніе въ числѣ другихъ такихъ же тружениковъ, какъ и они.

Что такіе люди есть, что ихъ много на Руси—въ этомъ никто не сомнѣвается. Не сомнѣвается также никто и въ томъ, что ихъ только можно назвать лучшими представителями русскаго общества. Посмотримъ же, принадлежитъ ли къ ихъ числу Литвиновъ, чтобы по немъ, какъ лучшемъ представителѣ нашего общества, можно было судить о несостоятельности нашей жизни вообще.

V.

Литвиновъ былъ сынъ отставного служаки-чиновника изъ купеческаго рода, попавшаго въ помѣщики по милости жены-дворянки. Онъ получилъ первоначальное воспитаніе въ деревнѣ, а потомъ, по смерти матери, поступилъ въ Московскій университетъ. Будучи студентомъ, онъ часто посѣщалъ князей Осининыхъ, проживавшихъ въ Москвѣ въ весьма стѣсненныхъ обстоятельствахъ, чуть не въ бѣдности. Здѣсь онъ сошелся впервые съ дочерью Осининыхъ, Ириною, только что вышедшей изъ института.

Большинство читателей отнеслось къ Иринѣ весьма пренебрежительно, какъ къ пустой, тщеславной, безхарактерной свѣтской кокеткѣ. Она, которая такъ пламенно любила и нѣжно была любима, промѣняла свою любовь на мишурный блескъ большого свѣта. Мало того, потомъ, когда опять встрѣтилась съ любимымъ человѣкомъ, послѣ самыхъ упоительныхъ свиданій, вторично промѣняла своего любовника на тотъ же мишурный блескъ!.. Первую ея измѣну, такъ и быть, можно еще простить ради того, что она получила плохое образованіе, была молода и неопытна... Но во второй разъ!.. О, тутъ она вполнѣ извѣдала опытомъ, каковъ этотъ свѣтъ, успѣла разочароваться въ немъ совершенно, и вдругъ что же: милый человѣкъ зоветъ ее вкушать счастье любви подъ соломенной крышей, она отвѣчаетъ: я не могу, я не въ силахъ; милый человѣкъ предлагаетъ ей мѣсто возлѣ себя въ вагонѣ, она стоитъ, какъ истуканъ!... Ей

жалко брюссельскихъ кружевъ и баденскихъ пикниковъ!.. Какое ужасное паденіе!..

Я очень хорошо понимаю твое добродѣтельное негодованіе, моя милая читательница. Это негодованіе происходитъ оттого, что у тебя доброе и чувствительное сердце. Но—увы!—я не въ силахъ сердиться на Ирину! Мало этого, я убѣжденъ, что каждая моя, хоть сколько-нибудь порядочная читательница, встрѣться она въ своей жизни съ Литвиновымъ, поступила бы навѣрное такъ же, какъ и Ирина, то есть, промѣняла бы Литвинова на какой-нибудь свѣтъ. Очень можетъ быть, что это былъ бы иной свѣтъ иного солнца; но во всякомъ случаѣ я убѣжденъ, что читательница не могла бы удовлетвориться узкой любовью Литвинова и измѣнила бы ему не лучше Ирины. Если въ чемъ нибудь можно пожалѣть Ирину, такъ это въ томъ, что она промѣняла Литвинова на мишуру, а не на что нибудь лучшее. Но посмотримъ, виновата ли она и въ этомъ? Прежде всего мы попросимъ читателя выкинуть изъ головы всю послѣдующую жизнь Ирины и предотавить ее себѣ такой, какова была она до встрѣчи съ Литвиновымъ. Вотъ какой изображаетъ ее намъ писатель:

«Это была дѣвушка высокая, стройная, съ нѣсколько впалою грудью и молодыми узкими плечами, съ рѣдкою въ ея лѣта блѣдно-матовою кожей, чистою и гладкою, какъ фарфоръ, съ густыми бѣлокурыми волосами: ихъ темныя пряди оригинально перемежались другими, свѣтлыми. Черты ея лица, изящно, почти изысканно правильныя, не вполнѣ еще утратили то простодушное выраженіе, которое свойственно первой молодости; но въ медлительныхъ наклоненіяхъ ея красивой шейки, въ улыбкѣ не то разсѣянной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня, а въ самомъ рисункѣ этихъ чуть улыбавшихся тонкихъ губъ, этого небольшого орлинаго, нѣсколько сжатаго носа было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для другихъ, и для нея. Поразительны, истинно поразительны были ея глаза изъ-черна сѣрые, съ зеленоватыми отливами, съ поволокой, длинные, какъ у египетскихъ божествъ, съ лучистыми рѣсницами и смѣлымъ взмахомъ бровей. Странное выраженіе было у этихъ глазъ: они какъ будто глядѣли, внимательно и задумчиво глядѣли изъ какой-то невѣдомой глубины и дали. Въ институтѣ Ирина слыла за одну изъ лучшихъ ученицъ по уму и способностямъ, но съ характеромъ непостояннымъ, властолюбивымъ и съ бѣдовою головой; одна классная дама напророчила ей, что ея страсти ее погубятъ: «vos passions vous perdront»; зато другая классная дама ее преслѣдовала за холодность и безчувственность, и называла ее «une jeune fille sans coeur». Подруги Ирины находили ее гордою и скрытною, братья и сестры ея побаивались, мать ей не довѣряла, а отцу становилось неловко, когда она устремляла на него свои таинственные глаза; но и отцу, и матери она внушала чувство невольнаго уваженія не въ силу своихъ качествъ, а въ силу особенныхъ, неясныхъ ожиданій, которыя она въ нихъ возбуждала, Богъ вѣдаетъ почему.

— Вотъ ты увидишь, Прасковья Даниловна, сказалъ однажды старый князь, вынимая чубукъ изо рта:—Аринка-то насъ еще вывезетъ.

Княгиня разсердилась и сказала мужу, что у него «des expressions insupportables», но потомъ задумалась и повторила сквозь зубы:

— Да... и хорошо бы насъ вывезти.

Ирина пользовалась почти неограниченною свободою въ родительскомъ домѣ; ее не баловали, даже немного чуждались ея, но и не прекословили ей: она только того и хотѣла, и держала себя вообще довольно странно... Бывало, при какой нибудь уже слишкомъ унизительной сценѣ: лавочникъ ли придетъ и станетъ кричать на весь дворъ, что ему ужъ надоѣло таскаться за своими же деньгами, собственные ли люди примутся въ глаза бранить своихъ господъ, что вы, молъ, за князья, коли сами съ голоду въ кулакъ свищете,—Ирина даже бровью не пошевельнетъ и сидитъ неподвижно со злою улыбкой на сумрачномъ лицѣ; а родителямъ ея одна эта улыбка горше всякихъ упрековъ, и чувствуютъ они себя виноватыми, безъ вины виноватыми, передъ этимъ существомъ, которому какъ будто съ самаго рожденія дано было право на богатство, на роскошь, на поклоненіе»...

Въ этомъ изображеніи вы видите дѣвушку, одаренную богатыми силами; видите, что эти силы покоряли все, что окружало ее: всѣ ее за что-то уважали, чего-то ждали отъ нея, и не только не смѣли прекословить ей, но побаивались ея. Далѣе вы видите, что она не могла довольствоваться узенькой, сѣренькой, мѣщанской обстановкой своего дома. И это не удивительно: такія натуры никогда не уживались въ узенькой, замкнутой сферѣ монотоннаго, однообразнаго прозябанія. Онѣ всегда стремились разбить затхлую раковину, которая стѣсняетъ ихъ дыханіе, и вырваться на просторъ; всегда мечтали о жизни шумной и разнообразной, полной движенія и свѣта. Въ періодъ дикой жизни такія женщины бросали домашній очагъ, дѣлались удалыми поляницами и мѣрялись силою съ богатырями. Таковы типы Брунегильды и удалой жены Дуная Ивановича. Въ средніе вѣка такія женщины дѣлались Іоаннами д'Аркъ, Марфами Посадницами или Юліаніями Лазаревскими. Когда мрачная, озлобленная Ирина глядѣла на мелкія домашнія дрязги, въ ея молодой головкѣ развивалась картина иной жизни, не такой жалкой, монотонной. Какую же иную жизнь могла представлять себѣ Ирина? Не забывай, читатель, при этомъ ту огромную разницу, какая существуетъ между количествомъ данныхъ силъ и качествомъ ихъ. Отбрось разъ на всегда романтическую идею, что если человѣкъ одаренъ богатыми силами, то онъ непремѣнно долженъ идти по хорошей дорогѣ. Недостаточно имѣть много силъ: надо, чтобъ силы эти были хорошо направлены. Попадись Иринѣ въ это время одна хорошая книжка, которая заняла бы ее; встрѣться съ нею хорошій человѣкъ, который могъ бы указать ей на жизнь, полную добра, истины и свѣта,—она увлеклась бы по указанной дорогѣ съ такой же стремительностью, съ какой бросилась въ объятія свѣта. Но ни хорошей книжки, ни дѣльнаго человѣка не видала она вокругъ себя. Люди, которые окружали ее, съ самаго дѣтства постоянно напѣвали ей въ уши о прелестяхъ большого свѣта и о ея правахъ принадлежать къ нему. Весьма естественно, что жизнь, о которой она мечтала, не могла представляться ей иначе, какъ въ видѣ жизни большого свѣта; она воображала эту жизнь полною блеска, шума и движенія; ей казалось, что тамъ есть гдѣ разгуляться молодымъ силамъ, есть съ кѣмъ помѣряться, и она мечтала, какъ она сдѣлается побѣдительницей и всѣхъ увлечетъ за собою. Въ это роковое для нея время предсталъ передъ нею Литвиновъ. Онъ не принадлежалъ къ большому свѣту, не имѣлъ къ нему никакихъ влеченій, былъ человѣкъ иной сферы, учился въ

университетѣ, мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ трудиться съ Ириною со временемъ, и даже либеральничалъ, увлекался Робеспьеромъ. Что жъ, онъ увлекъ въ свою сферу женщину, которую полюбилъ? Сдѣлалъ ли онъ по крайней-мѣрѣ хоть какую-нибудь попытку внушить ей болѣе правильные взгляды на жизнь? Онъ вотъ какъ велъ себя передъ нею:

«Бывало забывъ лекціи и тетради, сидитъ онъ въ невеселой гостиной Осининскаго дома, сидитъ и украдкой смотритъ на Ирину: сердце въ немъ медленно и горестно ноетъ и давитъ ему грудь; а она какъ будто сердится, какъ будто скучаетъ; встанетъ, пройдется по комнатѣ, холодно посмотритъ на него, какъ на столъ или стулъ, пожметъ плечомъ и скреститъ руки; или втеченіи цѣлаго вечера, даже разговаривая съ Литвиновымъ, нарочно ни разу не взглянетъ на него, какъ бы отказывая ему и въ этой милостынѣ; или, наконецъ, возьметъ книжку и уставится въ нее, не читая, хмурится и кусаетъ губы, а не то вдругъ спроситъ у отца или у брата: какъ по-нѣмецки «терпѣніе»?»

Пусть только читатель вообразитъ себѣ, какъ былъ смѣшонъ этотъ нѣжный, вздыхающій, молчащій и тающій любовникъ передъ удалой поляницей — и онъ вполнѣ пойметъ, что сердило Ирину, почему она относилась къ Литвинову съ презрительной суровостью, пожимала плечами и спрашивала у отца, какъ по-нѣмецки «терпѣніе». Случись рядомъ съ Литвиновымъ другой человѣкъ, хоть немножко живѣе и энергичнѣе, по всей вѣроятности Литвиновъ такъ и остался бы безотвѣтнымъ, тающимъ любовникомъ; но другого такого не было возлѣ Ирины, а между тѣмъ молодая кровь ея жаждала любви, сочувствія, и вотъ она наконецъ полюбила Литвинова, или по крайней мѣрѣ вообразила, что полюбила. Что же онъ? Сдѣлался ли онъ хоть теперь немножко поэнергичнѣе, теперь, когда счастье улыбнулось ему? Задалъ ли онъ себѣ хоть разъ вопросъ: «если я хочу соединить свою судьбу съ судьбою женщины, то не мѣшаетъ подумать, какія убѣжденія и стремленія у этой женщины, согласны ли съ моими убѣжденіями, и если не согласны, то нельзя ли сдѣлать какъ нибудь такъ, чтобы были согласны?»... Не только никакого подобнаго вопроса не приходило въ голову Литвинову, напротивъ того, мы видимъ, что если онъ таялъ во время безуспѣшной любви, то при успѣшной онъ окончательно растаялъ.

«Ирина вполнѣ завладѣла своимъ будущимъ женихомъ, да и онъ самъ охотно отдался ей въ руки. И жутко ему было, и сладко, и ни о чемъ онъ не жалѣлъ, и ничего не берегъ. Размышлять о значеніи, объ обязанностяхъ супружества, о томъ, можетъ ли онъ, столь безвозвратно покоренный, быть хорошимъ мужемъ и какая выйдетъ изъ Ирины жена, и правильны ли отношенія между ними—онъ не могъ рѣшительно; кровь его загоралась, и онъ зналъ одно: идти за нею, съ нею, впередъ и безъ конца, а тамъ будь что будетъ!»...

А вѣдь у Ирины настолько было сильно чутье, что она сошлась съ человѣкомъ иной сферы, что даже безъ всякихъ усилій съ его стороны она хоть на время сдѣлалась иной женщиной: «Ирина стала вдругъ повадлива, какъ овечка, мягка, какъ шелкъ, и безконечно добра; принялась давать уроки своимъ младшимъ сестрамъ, не на фортепіано,—она не была музыкантшей,—но во французскомъ языкѣ, въ англійскомъ; читала съ ними ихъ учебники, входила въ хозяйство...»

Она чуяла, хотя и очень смутно, что съ Литвиновымъ она готовится къ какой-то иной жизни, и хотя при старой закваскѣ могла еще возмущаться иногда отсутствіемъ перчатокъ на рукахъ милаго или своимъ бѣднымъ платьемъ, но потомъ она сама искренно каялась въ своихъ выходкахъ. Подъ вліяніемъ этого смутнаго вѣянія иной жизни она наотрѣзъ отказалась ѣхать на балъ въ благородное собраніе, когда ее начали убѣждать въ этомъ родители. Каково же было удивленіе ея, когда милый ея, во имя котораго она именно и отказалась отъ бала, съ своей стороны, началъ убѣждать ее ѣхать на балъ. Ирина пристально и внимательно посмотрѣла на него, такъ пристально и внимательно, что онъ смутился, и, поигравъ концами своего пояса, спокойно промолвила:

— Вы этого желаете? вы?...

Въ одномъ этомъ вопросѣ заключается вся исторія любви Ирины... Ожиданіе отъ Литвинова чего-то иного и внезапное разочарованіе въ своемъ ожиданіи...

— Да... я полагаю, отвѣчалъ съ запинкой Литвиновъ.—Я согласенъ съ вашимъ батюшкой... Да и почему вамъ не поѣхать... людей посмотрѣть и себя показать, прибавилъ онъ съ короткимъ смѣхомъ...

Можетъ ли быть что-нибудь и дряннѣе, и смѣшнѣе Литвинова въ подобномъ отвѣтѣ? Вы видите, что человѣкъ въ сущности нисколько не убѣжденъ, что Иринѣ слѣдуетъ ѣхать на балъ, а самъ убѣждаетъ ее ѣхать. Для чего же онъ дѣлаетъ это? Для того, чтобы угодить папенькѣ и маменькѣ? Могъ ли такой безхарактерный, дряннной человѣкъ оставаться героемъ дѣвушки въ духѣ Ирины? Немудрено, что затѣмъ послѣдовалъ такой разговоръ:

«— Себя показать, медленно повторила она.— Ну, хорошо, я поѣду... Только помните, вы сами этого желали.

— То-есть, я... началъ было Литвиновъ.

— Вы сами этого желаете, перебила она. — И вотъ еще одно условіе: вы должны мнѣ обѣщать, что васъ на этомъ балѣ не будетъ.

— Но отчего же?

— Мнѣ такъ хочется.

Литвиновъ разставилъ руки.

— Покоряюсь... но признаюсь, мнѣ было бы такъ весело видѣть васъ во всемъ великолѣпіи, быть свидѣтелемъ того впечатлѣнія, которое вы непремѣнно произведете.. Какъ бы я гордился вами! прибавилъ онъ со вздохомъ.

Ирина усмѣхнулась

— Все это великолѣпіе будетъ состоять въ бѣломъ платьѣ, а что до впечатлѣнія... Ну, словомъ, я такъ хочу.

— Ирина, ты какъ будто сердишься?

Ирина усмѣхнулась опять.

— О, нѣтъ! Я не сержусь. Только ты... Она вперила въ него свои глаза, и ему показалось, что онъ еще никогда не видалъ въ нихъ такого выраженія. — Можетъ быть, это нужно, прибавила она вполголоса.

— Но, Ирина, ты меня любишь?

— Я люблю тебя, отвѣтила она съ почти торжественною важностью и крѣпко, по-мужски, пожала ему руку.»

Въ этомъ разговорѣ просвѣчиваетъ полное разочарованіе Ирины въ своемъ миломъ, и вы наперед предугадываете разрывъ. Онъ не захотѣлъ быть героемъ въ той иной сферѣ, въ какой смутно ждала отъ него Ирина геройства. Онъ оказалъ въ этой иной сферѣ полнѣйшую дрянность; подстрекаемый другими, онъ

сталъ толкать Ирину въ тотъ міръ, куда она могла идти и безъ него, и если она не шла туда, то потому, что между ею и этимъ міромъ стоялъ Литвиновъ. Но Литвиновъ вздумалъ посторониться. И ужъ конечно не ему быть героемъ ея въ этомъ мірѣ: тамъ были герои болѣе подходящіе къ аристократическому балу, чѣмъ этотъ студентикъ съ мягкой улыбкой и руками, запачканными чернилами; онъ бы ей тамъ только мѣшалъ, можетъ быть даже ставилъ ее въ смѣшное положеніе своимъ присутствіемъ; весьма естественно, что она запретила ему являться туда. И естественно также, что, разъ устремившись въ тотъ міръ, куда толкнулъ ее Литвиновъ, она не захотѣла возвращаться оттуда, тѣмъ болѣе, что этотъ міръ былъ ей сродни, и она подготовлена была къ нему воспитаніемъ.

Что же за причина такой дряблости и дрянности Литвинова въ отношеніяхъ его къ Иринѣ? Причина очень ясная и простая. Для того чтобы увлечь Ирину въ иной міръ — міръ полезнаго труда и свѣтлыхъ идей,—ему самому нужно было быть увлечену въ этотъ міръ, ему самому надо было имѣть живую и горячую страсть къ труду и къ свѣтлымъ идеямъ. Страсть можетъ быть возбуждена только страстью.

Литвиновъ либеральничалъ передъ Ириною, говорилъ ей о предстоящемъ трудѣ, но все это съ чужого голоса: самъ онъ не чувствовалъ живой страсти никъ какимъ идеямъ, ни къ какому труду. Читатель можетъ-быть спроситъ меня, на какомъ основаніи я заключаю это? На самомъ вѣрномъ основаніи: когда Литвинову не посчастливилось въ любви, онъ бросилъ университетъ и уѣхалъ къ отцу въ деревню. Этого довольно. Ну, подумай, читатель, кто не влюблялся изъ насъ на студенческой скамьѣ и не мечталъ, что эта любовь вѣчная на всю жизнь до гробовой доски. Но по большей части эта первая юная любовь обрывалась очень скоро, и что бы это было, когда бы всѣ студенты разъѣзжались со второго или третьяго курса вслѣдствіе неудачи въ любви? Мы уже не будемъ говорить здѣсь о тѣхъ студентахъ, которые поступаютъ въ университетъ съ непреклоннымъ намѣреніемъ кончить курсъ, потому что это для нихъ вопросъ о насущномъ хлѣбѣ. Такимъ студентамъ некогда бываетъ и думать о любовныхъ приключеніяхъ; зарываясь въ книги, они открещиваются отъ преждевременной любви, какъ отъ дьявольскаго навожденія. Но если мы возьмемъ даже человѣка со средствами, для котораго возможно выкинуть такое колѣнцо, что взять да и выйти изъ университета изъ-за несчастной любви, то и такой студентъ не сдѣлалъ бы этого, еслибы былъ живой человѣкъ, еслибы университетская наука и свѣтлыя идеи могли увлечь его и заставить полюбить ихъ; онъ можетъ-быть и погрустилъ бы въ первое время, мѣсяцъ-другой ни за что бы не могъ приняться. Но разумная страсть, и которую легко удовлетворить, взяла бы подъ конецъ перевѣсъ надъ страстью неразумной, и потому разбившейся; подобно тому, какъ разочарованная въ любви дѣвушка съ особенной нѣжностью сосредоточиваетъ свою привязанность на тѣхъ родныхъ и друзьяхъ, которыхъ она прежде любила, такъ и юноша весь пылъ своей молодой страсти сосредоточилъ бы на книгахъ и занялся бы ими съ удвоенной энергіей. Я знаю много подобныхъ примѣровъ; я видѣлъ собственными глазами, какъ молодые люди послѣ неудавшейся любви дѣлали такія чудеса и быстрые успѣхи въ своихъ трудахъ, которыхъ они не сдѣлали бы, еслибы жизнь ихъ текла ровно и природа ихъ не была потрясена внезапно налетѣвшей бурей. Что же касается до человѣка, въ которомъ окончательно созрѣла, укоренилась и дошла до полнаго сознанія страсть къ труду или къ какимъ нибудь идеямъ, для такого человѣка немыслимо было бы то, что случилось съ Литвиновымъ: такой человѣкъ или увлекъ бы Ирину за собою, или оставилъ бы ее на дорогѣ и ни на минуту не покинулъ бы своего труда, который дороже для него самой жизни.

Было наивное время, когда считали героями тѣхъ праздныхъ и дрянныхъ фатовъ, которые въ отчаяніи отъ неудачной любви уѣзжали на гибельный Кавказъ или пускались во всѣ тяжкія. Было время, когда сильная страсть къ женщинѣ, доводящая человѣка до сумасшествія или до самоубійства, почиталась признакомъ избранной натуры. Но это время давно миновало, и такія вулканическія страсти возбуждаютъ нынѣ одинъ смѣхъ. Онѣ служатъ признакомъ, что человѣкъ живетъ исключительно жизнью самца, и у него нѣтъ другихъ страстей, которыя уравновѣшивали бы половыя наклонности и не давали бы человѣку забываться до чертиковъ. Такой человѣкъ похожъ на корабль безъ балласта и безъ руля. Онъ носится взадъ и впередъ по волнамъ, куда подуетъ вѣтеръ, и малѣйшій шквалъ можетъ перевернуть его кверху дномъ.

Будемъ слѣдить далѣе за Литвиновымъ въ его плаваніи безъ руля и безъ балласта. По пріѣздѣ въ деревню онъ, какъ и подобаетъ праздному филистеру, не имѣющему живой страсти къ какому нибудь труду, «потолокся нѣсколько времени безъ дѣла, безъ связей, почти безъ знакомыхъ. По милости нерасположенныхъ къ нему дворянъ его уѣзда, проникнутыхъ не столько западной теоріей о вредѣ «абсентеизма», сколько доморощеннымъ убѣжденіемъ, что «своя рубашка къ тѣлу ближе», онъ въ 1855 году попалъ въ ополченіе и чуть не умеръ отъ тифа въ Крыму, гдѣ, не видавъ ни одного «союзника», простоялъ шесть мѣсяцевъ въ землянкѣ на берегу Гнилого Моря; потомъ послужилъ по выборамъ, конечно не безъ непріятностей, и, поживъ въ деревнѣ, *пристрастился* къ хозяйству»... А! вотъ наконецъ является у него страсть къ труду, наконецъ-то и онъ принимается за дѣло. Вотъ онъ ѣдетъ за-границу учиться агрономіи и технологіи, трудится усердно, усидчиво, съ сознаніемъ пользы, которую онъ надѣется принести всему своему краю. Вотъ наконецъ передъ нами труженикъ, о которомъ мы съ тобой, читатель, мечтали въ предыдущей главѣ, и притомъ труженикъ любящій разумной любовью, которая нисколько не мѣшаетъ его труду.

«Онъ искренно любилъ, онъ глубоко уважалъ свою молодую родственницу (Татьяну Петровну Шестову) и, окончивъ свою темную, приготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать дѣйствительную, некоронную службу, предложилъ ей, какъ любимой женщинѣ, какъ товарищу и другу, соединить свою жизнь съ его жизнью на

радость и на горе, на трудъ и на отдыхъ, «for better for worst», какъ говорятъ англичане.»

Погоди, читатель, не торопись. Вотъ опять передъ нашимъ труженикомъ выступаетъ на сцену Ирина, встрѣтившая его въ Баденъ-Баденѣ. Но это не та уже Ирина, которую мы видѣли въ началѣ повѣсти, не наивная институточка, плачущая надъ своимъ старенькимъ платьицемъ и готовая влюбиться въ перваго студента. Нѣсколько лѣтъ жизни въ большомъ свѣтѣ, полной разныхъ треволненій и опытовъ, не могли не наложить на нее своей печати. Съ одной стороны, она была слишкомъ умна, чтобы удовлетворяться пошлыми людьми, окружавшими ее, и пошлой жизнью, которой жила. Но, съ другой стороны, эта пошлая жизнь успѣла повліять на нее: какъ бы ни были велики силы человѣка, данныя ему отъ природы, онѣ могутъ поддерживаться и развиваться только постояннымъ упражненіемъ; такое упражненіе представляютъ силамъ человѣка трудъ и борьба во имя какихъ-нибудь идей. Ирина была избавлена и отъ того, и отъ другого. Пустая, праздная жизнь не могла не растлить ея силъ; она привыкла къ отупляющему far niente, къ пошлымъ развлеченіямъ, убивающимъ послѣднія силы, но болѣе всего къ тому растлѣвающему комфорту, при которомъ человѣку не приходится пальцемъ пошевельнуть, чуть что сама пища не летаетъ ему прямо въ ротъ, да еще разжеванная. Нѣтъ ничего мудренаго, что при такихъ условіяхъ изъ нея выработался одинъ изъ тѣхъ типовъ, которые были въ большомъ ходу въ тридцатые года, но и теперь еще встрѣчаются при извѣстныхъ условіяхъ: это типъ разочарованной и скучающей барыни, проклинающей среду и въ то же время неспособной пошевелить пальцемъ, чтобъ выбиться изъ нея. Встрѣча съ Литвиновымъ, въ которомъ продолжала она видѣть человѣка иной среды, послужила для нея новымъ и свѣжимъ впечатлѣніемъ среди монотонной скуки ея жизни. Она увлеклась Литвиновымъ, чтобы хоть чѣмъ-нибудь наполнить свою жизнь, увлеклась отъ скуки, потому-что свѣтскіе ловеласы и пошлые франты пріѣлись ей и ей захотѣлось испытать неизвѣданныхъ впечатлѣній.

А что же нашъ труженикъ? Вѣдь у него теперь былъ и руль, и балластъ, и цѣль впереди; устоялъ ли онъ отъ внезапно налетѣвшаго шквала? Увы, прощай и технологія, и агрономія, и мечта быть полезнымъ всему краю, и Татьяна! Стоило Иринѣ немного пококетничать съ нимъ, для того чтобъ онъ написалъ къ ней такое письмо:

«Моя невѣста уѣхала вчера; мы съ нею никогда больше не увидимся... Я даже не знаю навѣрное, гдѣ она жить будетъ. Она унесла съ собою все, что мнѣ до сихъ поръ казалось желаннымъ и дорогимъ; всѣ мои предположенія, планы, намѣренія исчезли вмѣстѣ съ нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась въ ничто, всѣ мои занятія не имѣютъ никакого смысла и примѣненія; все это умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашняго дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю... и нисколько объ этомъ не жалѣю. Не для того, чтобъ жаловаться, заговорилъ я объ этомъ съ тобою. Мнѣ ли жаловаться, когда ты меня любишь, Ирина! Я только хотѣлъ сказать тебѣ, что изъ всего этого мертваго прошедшаго, изъ [illegible] этихъ въ дымъ и прахъ обратившихся начинаній и надеждъ осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь къ тебѣ. Кромѣ этой любви у меня ничего нѣтъ и не осталось; назвать ее моимъ единственнымъ сокровищемъ было бы недостаточно; я весь въ этой любви, эта любовь - весь я; въ ней мое будущее, мое призваніе, моя святыня, моя родина!..»

Въ этомъ письмѣ Литвиновъ прекрасно высказался весь, до самаго нутра. Тутъ уже не приходится дѣлать никакихъ предположеній, потому-что на лицо факты. Литвиновъ самъ говоритъ, что единственно живое въ его душѣ—любовь къ Иринѣ, а остальное все, т. е. его труды, начинанія, планы, любовь къ Татьянѣ,—все это разсѣялось, какъ нѣчто мертвое. И онъ имѣетъ полное право называть все это мертвымъ: да, дѣйствительно, только любовь къ Иринѣ была живой страстью въ его душѣ; остальное все было мертвое, потому-что было надуманное, плодъ холоднаго принципа и усилій воли, посредствомъ которыхъ Литвиновъ принуждалъ себя къ своимъ трудамъ. Если бы это было не такъ, то Литвинову нелегко было бы раздѣлаться со всѣмъ этимъ; какъ бы ни была сильна страсть его къ Иринѣ, другія страсти заявили бы свое; въ немъ была бы борьба по крайней мѣрѣ. Кой-какую борьбу вы еще замѣчаете въ немъ относительно разрыва съ Татьяной; но что касается до его трудовъ и плановъ, то онъ бросаетъ ихъ, очертя голову, нисколько не раскаиваясь въ этомъ. Мало того, онъ, пристрастившійся къ хозяйству, онъ, только-что получившій письмо отъ отца, что имѣнье его въ крайнемъ разстройствѣ, мечтаетъ еще болѣе разстроить его продажей лѣса и разныхъ угодій, для того чтобы ѣхать съ Ириною куда-то въ Бельгію или Швейцарію. Куда? Затѣмъ? Единственно для наслажденія любовью и для послѣдней растраты всѣхъ средствъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ праздные филистеры, случайно, во время своего фланированія, увлекшіеся какой-нибудь танцовщицей или такой же, какъ и они, искательницей приключеній.

И несмотря на всю пошлость, которая окружала Ирину, несмотря на ея личное ошпленье, посмотрите, какое сохранилось въ ней удивительное чутье, что все это какъ-то очень ужъ неладно. Вотъ что сказала она Литвинову на его письмо:

«— Твое письмо, другъ мой, навело меня на размышленія. Вотъ ты пишешь, что моя любовь для тебя все замѣнила, что даже всѣ твои прежнія занятія теперь должны остаться безъ примѣненія; а я спрашиваю себя, можетъ ли мужчина жить одной любовью? не прискучитъ ли она ему наконецъ, не захочетъ ли онъ понять на то, что́ его отъ нея отвлекло?»

И знаете, что отвѣчалъ ей на это Литвиновъ?

«— Ты напрасно этого боишься, началъ Литвиновъ:—я, должно быть, дурно выразился. Скука? бездѣйствіе? При тѣхъ новыхъ силахъ, которыя мнѣ дастъ моя любовь? О, Ирина, повѣрь, въ твоей любви для меня цѣлый міръ, и я самъ еще не могу теперь предвидѣть все, что́ можетъ развиться изъ него.»

Предоставляю читателю самому судить, сколько въ этихъ звонкихъ фразахъ натянутой аффектаціи и пошлой лжи. Что́ можетъ развиться изъ любви, если человѣкъ бросаетъ для нея трудъ и цѣль жизни? Изъ одной любви —и любви-то не разовьется, а разовьются скука и пресыщеніе, неминуемое слѣдствіе удовлетворенія страсти. Для трудящагося человѣка женщина—

сегодня любовница, завтра, когда страсть удовлетворена, она неизмѣнная подруга его, съ которой идетъ онъ по одной дорогѣ къ одной цѣли. Любовь—любовью, трудъ—трудомъ; но воображать, что изъ нѣдръ одной любви разовьются и трудъ, и цѣль жизни, такъ же нелѣпо, какъ нелѣпы слова одной простонародной пѣсни, распѣваемой въ городахъ:

У мальчишки денегъ нѣту,
Чѣмъ онъ могъ тебя прельстить?
Любовь грѣетъ лучше денегъ,
Дровъ не надо покупать.

Можно ли послѣ этого сѣтовать на Ирину, что въ концѣ-концовъ она не рѣшилась ѣхать съ Литвиновымъ на край свѣта, туда, гдѣ дѣвушки прядутъ, прялки на небо кладутъ? Видя, что Литвиновъ махнулъ рукою на все, кромѣ своей любви къ ней, она разсудила весьма разумно, что если этому барину ничего больше не нужно въ жизни, кромѣ одной моей любви, то зачѣмъ же еще куда-то ѣхать? пусть себѣ наслаждается любовью здѣсь возлѣ меня, не все ли равно, гдѣ ни наслаждаться любовью? Литвинова ужаснула мысль сдѣлаться протежируемымъ другомъ дома и тайнымъ любовникомъ аристократической барыни. Это дѣйствительно безчестно. А я спрошу у читателя, въ чемъ болѣе безчестія: жертвовать для любви одной своей личной честью или счастіемъ многихъ, благосостояніе которыхъ зависѣло отъ того, сталъ ли бы Литвиновъ улучшать свое имѣніе, или, напротивъ того, высасывать изъ него послѣдніе соки ради честнаго похищенія Ирины и независимой жизни съ нею въ Швейцаріи? И знаешь что, читатель? Въ концѣ-концовъ я рѣшительно не въ состояніи опредѣлить, настолько ли опошлѣла Ирина, что была не въ состояніи на рѣшительный шагъ, или можетъ-быть рѣшительнаго шага именно ей и не представлялось, а представлялся новый любовникъ въ иномъ родѣ. Лечиться отъ своей вторичной страсти къ Иринѣ Литвиновъ снова поѣхалъ въ деревню. Тамъ онъ мало-помалу успокоился, занялся снова хозяйствомъ и въ заключеніе женился на Татьянѣ. Татьяна—это типъ доброй, кроткой, недалекой женщины, у которой единственное содержаніе въ жизни—нѣжная, всепрощающая любовь. Разъ предавшись любимому человѣку, такія женщины любятъ тихой, какъ свѣчка, теплящейся любовью до гроба и готовы бываютъ простить милому человѣку, что угодно. Эта всепрощаемость достойна сожалѣнія; она возбуждаетъ тѣмъ болѣе грустное чувство, что ею обыкновенно пользуются и злоупотребляютъ на каждомъ шагу такіе люди, какъ Литвиновъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто можетъ поручиться, что опять не налетитъ на шквалъ и не перевернетъ кверху дномъ этотъ корабль безъ руля и балласта? Новая встрѣча съ какой-нибудь смазливенькой кокеткой, возбудительный разговоръ гдѣ-нибудь въ саду въ лунную ночь, и чувство несчастной женщины снова попрано, разбито. Но не грусти, читатель: Татьяна снова проститъ, и въ концѣ-концовъ все пойдетъ какъ по маслу въ домѣ Литвинова: визгъ шестерыхъ дѣтей, соленье огурцовъ и рыжиковъ, вѣчные споры барина съ рабочими изъ-за усчитываемыхъ грошей ради хозяйственной экономіи, и англійскія машины въ сараяхъ подъ пыльными чехлами—плодъ агрономическихъ занятій барина за-границей.

VI.

Я ужъ не буду говорить о томъ, похожъ ли Литвиновъ хоть сколько-нибудь на доблестныхъ тружениковъ мысли, типъ которыхъ я попытался очертить въ четвертой главѣ. Если мы возьмемъ массу обыденныхъ тружениковъ: учителей, медиковъ, адвокатовъ, ученыхъ, технологовъ и пр., самый ограниченный изъ всѣхъ ихъ навѣрно окажется гораздо положительнѣе, устойчивѣе, а главное дѣло честнѣе Литвинова въ своихъ отношеніяхъ и къ труду, и къ любимой женщинѣ. А между тѣмъ Тургеневъ положительно сочувствуетъ Литвинову, какъ хорошему человѣку, сочувствуетъ съ первой страницы и до послѣдней. «На первый взглядъ онъ производилъ впечатлѣніе честнаго и дѣльнаго, нѣсколько самоувѣреннаго малаго, какихъ довольно много бываетъ на свѣтѣ»... Такъ начинаетъ Тургеневъ знакомить своихъ читателей съ Литвиновымъ. Далѣе, очерчивая ядовитыми красками кружокъ либераловъ, Тургеневъ помѣщаетъ туда Литвинова для того, чтобы онъ оттѣнялъ своей положительностью и своимъ умомъ ихъ безобразія. Вотъ какое впечатлѣніе заставляетъ Тургеневъ своего героя вынести изъ этого кружка:

«Свѣжій ночной воздухъ ласково прильнулъ къ воспаленному лицу Литвинова, влился пахучей струей въ его засохшія губы. «Что это, думалъ онъ, идя по темной аллеѣ: при чемъ это я присутствовалъ? Зачѣмъ они собрались? Зачѣмъ кричали, бранились, изъ кожи лѣзли? Къ чему все это?» Литвиновъ пожалъ плечами и отправился къ Веберу, взялъ газету и спросилъ себѣ мороженаго.»

Описывая столь же ядовитыми красками генераловъ, окружавшихъ Ирину, Тургеневъ вселяетъ въ своего героя даже плебейскую гордость передъ ними и заставляетъ его любить то, что они ненавидятъ, и ненавидѣть то, что они любятъ, забывая, что онъ представилъ его въ то же время человѣкомъ, ничѣмъ ничѣмъ никакихъ политическихъ убѣжденій! Въ одномъ мѣстѣ своей повѣсти онъ имѣетъ даже поползновеніе оправдать дрянность своего героя общей ссылкою на природу, на которую обыкновенно ссылаются, когда хотятъ что-нибудь оправдать: «людямъ положительнымъ, говоритъ онъ, вродѣ Литвинова, не слѣдовало бы увлекаться страстью... Но природа не справляется съ логикой; у нея есть своя, которую мы не понимаемъ и не признаемъ до тѣхъ поръ, пока она насъ, какъ колесомъ, не переѣдетъ.»

Что жъ за причина, что Тургеневъ такъ сочувственно относится къ Литвинову, тогда какъ этотъ Литвиновъ не выдерживаетъ самой снисходительной критики, по сравненію его съ дѣйствительно хорошими и здоровыми элементами нашей жизни?

Причина очень простая; для объясненія ея я попрошу только читателя припомнить третью главу моей статьи: въ этой главѣ я постарался показать, что до 40-хъ годовъ вся русская образованность ограничивалась одной дворянской средой; на эту среду глядѣли, какъ на средоточіе, какъ на альфу и омегу всего русскаго. Все, что говорилось и писалось,—писалось объ этой средѣ и для нея. Все, что не принадлежало къ

этой средѣ, третировалось съ презрительной насмѣшкой и въ рѣдкихъ случаяхъ съ тѣмъ высокомѣрнымъ снисхожденіемъ, которое почему-то называлось гуманностью къ низшимъ.

Проведя первые годы своей юности, своего развитія подъ вліяніемъ такого порядка, Тургеневъ такъ свыкся съ нимъ, что не могъ отъ него отрѣшиться, несмотря даже на то, что подъ вліяніемъ 40-хъ годовъ усвоилъ отрицательный взглядъ на эту среду.

У Тургенева слились вмѣстѣ два взгляда: взглядъ на извѣстную среду, какъ на средоточіе всего русскаго, и въ то же время взглядъ на эту среду, какъ на нѣчто дряблое, растлѣнное, изжившееся. Изъ подобнаго слитія двухъ взглядовъ слѣдуетъ прямой результатъ: если по жизни и нравамъ одной среды мы будемъ заключать о жизни и нравахъ всего общества, и если эта жизнь представится намъ выдохшейся, а нравы дряннымъ, въ такомъ случаѣ мы невольно придемъ къ выводу, что и все общество никуда не годится. Вотъ чѣмъ только и можно объяснить постоянное сѣтованіе Тургенева, проходящее по всѣмъ его произведеніямъ, о томъ, что у насъ нѣтъ хорошихъ людей, что не только русское племя, но и всѣ вообще славяне страдаютъ отсутствіемъ силы воли и т. под. Изъ всего, что́ было сказано въ этой статьѣ, читатель можетъ наглядно убѣдиться, можно ли писателю полагаться на одно свое непосредственное творчество, особенно, когда писатель берется судить о жизни и судьбахъ цѣлаго общества. Чтобы судить справедливо о цѣломъ обществѣ, нужно прежде всего тщательно и всесторонне изучить это общество во всѣхъ его слояхъ и положеніяхъ, нужно до такой степени умственно отрѣшиться отъ своей среды, чтобы быть въ состояніи сравнивать безпристрастно жизнь и нравы разныхъ слоевъ. Тургеневъ, сжившись со своей узенькой средой, изучивъ нравы одного только слоя общества, по этому слою берется заключать обо всемъ обществѣ. И посмотрите, въ какой просакъ попадаетъ онъ на каждой страницѣ своей повѣсти. Между прочимъ онъ взялся въ своемъ произведеніи покарать либераловъ. Ну, чтожъ, прекрасно. Очень можетъ быть, что либерализмъ этотъ—такая язва на русской почвѣ, что необходимо распутать всѣ его хитросплетенныя нити и вырвать это зло съ корнемъ. Это подвигъ вполнѣ достойный русскаго писателя и весьма обыкновенный на Руси, когда писателю перешло за 50 и когда онъ пересталъ уже сожигать то, чему поклонялся, и начинаетъ вновь поклоняться тому, что́ сожигалъ. Что же дѣлаетъ Тургеневъ для наказанія либераловъ? Онъ изображаетъ нѣсколько личностей, судя по его описанію, дѣйствительно пошлыхъ и дрянныхъ. Всѣ они прикидываются людьми что-то дѣлающими, но въ сущности ничего не дѣлаютъ и фланируютъ заграницей точно такъ же, какъ Литвиновъ и окружавшіе Ирину генералы. Тургеневъ выставляетъ особенно на видъ, что Губареву его либерализмъ не мѣшалъ владѣть имѣньемъ посредствомъ братца-дантиста, а Ворошиловъ кончаетъ со своимъ либерализмомъ тѣмъ, что поступаетъ вновь на военную службу. Все это нисколько не удивительно; очень можетъ быть, что Тургеневъ взялъ всѣ эти личности изъ дѣйствительности, нисколько не исказивъ и не окарикатуривъ ихъ. Но чтожъ въ этомъ? Вы видите наглядно, что всѣ эти личности относятся все къ тому же разряду, къ какому принадлежатъ Литвиновъ, Потугинъ и всѣ прочіе. Но подобно тому, какъ нельзя судить о всеобщей жизни общества по одной средѣ, такъ нельзя судить и о либерализмѣ по тому, какъ этотъ либерализмъ проявляется въ этой средѣ. Для того чтобы составить вѣрное понятіе о либерализмѣ на Руси, нужно опять-таки изучить, какъ проявляется онъ во всѣхъ слояхъ общества, и въ особенности въ такихъ, гдѣ онъ является не какъ забава и игра въ кошки-мышки отъ нечего дѣлать, а естественно возникаетъ изъ самой жизни, гдѣ онъ явился бы самъ собою и безъ вліянія Запада. И только послѣ такого изученія писатель имѣетъ право карать либерализмъ или преклоняться передъ нимъ. А если писатель не захочетъ приложить къ своему труду добросовѣстнаго изученія, если онъ мечтаетъ, что достаточно одного непосредственнаго творчества, чтобы быть судьею и карателемъ надъ всѣмъ обществомъ, въ такомъ случаѣ пусть ужъ онъ лучше всего ограничивается анализомъ любви,—предметомъ, судя по всѣмъ произведеніямъ Тургенева, болѣе всего извѣстнымъ ему; пусть онъ знаетъ напередъ, что его каранье либерализма не принесетъ никакого вреда либерализму и никакой пользы тѣмъ идеямъ, во имя которыхъ онъ караетъ либерализмъ, а окажется холостымъ выстрѣломъ въ воздухъ, ради потѣхи праздной толпы.

РУССКОЕ НЕДОМЫСЛІЕ.

«Отцы и Дѣти», И. Тургенева. 1862 г.—«Взбаломученное море», А. Писемскаго. 1863 г.—«Марево», В. Ключникова. 1864 г.—«Некуда», М. Стебницкаго. 1865 г.—«Бродящія силы», В. Авенаріуса. 1867 г.

I.

Романъ за романомъ,—въ пять лѣтъ составилась цѣлая школа произведеній, однородныхъ по взглядамъ и тенденціямъ, симпатіямъ и антипатіямъ писателей, принадлежащихъ къ ней.

Но не довольно ли уже распространяться обо всѣхъ этихъ произведеніяхъ, спроситъ меня читатель: развѣ мало было писано о каждомъ изъ нихъ? Развѣ не установился въ публикѣ взглядъ на всѣ эти произведенія? Что же еще новаго можно сказать по поводу этихъ романовъ? Выводить ихъ снова на сцену и по-

думать по поводу ихъ разныя старыя дрязги—не значитъ ли это придавать имъ слишкомъ большое значеніе, котораго они конечно не заслуживаютъ? Не лучше ли предать ихъ вѣчному забвенію и сдать ихъ въ убогій архивъ нашей беллетристики на руки потомству, которое конечно останется очень довольно наслѣдствомъ, завѣщаннымъ ему нашимъ просвѣщеннымъ временемъ?

Конечно сказать что-нибудь особенно новаго по поводу всѣхъ этихъ романовъ нечего. Но тѣмъ не менѣе не мѣшаетъ бросить на нихъ общій взглядъ и подвести подъ ними итогъ. Во всякомъ случаѣ иная точка зрѣнія представляется при разборѣ отдѣльнаго романа, иная при разборѣ цѣлаго рода однородныхъ произведеній. Многое, что̀ рисовалось на первомъ планѣ передъ критикомъ вновь вышедшаго романа, уходитъ на задній планъ, въ виду перспективы романовъ одного рода, и наоборотъ: многое, что̀ могло оставаться незамѣченнымъ, выступаетъ теперь на первое мѣсто. Но что всего важнѣе, личности писателей съ индивидуальными особенностями и побужденіями уходятъ на задній планъ при такомъ общемъ разборѣ, перестаютъ казаться главными виновниками своихъ произведеній. Передъ вами рядъ однородныхъ явленій, сливающихся въ общій историческій фактъ, и у васъ невольно является побужденіе причину этого факта искать въ общихъ условіяхъ жизни общества. Прислушайтесь къ этому хору, и за нимъ вы услышите тысячи голосовъ, подтягивающихъ ему и въ столицѣ, и въ провинціяхъ—во всѣхъ сферахъ нашей жизни. Если иному читателю романы эти покажутся плодами жалкаго невѣжества, то пусть онъ не забываетъ, что они служатъ выраженіемъ невѣжества большинства нашего общества. Авторы ихъ тѣмъ только виноваты, что они ничѣмъ не возвышаются надъ толпой, а служатъ пассивнымъ отголоскомъ ея темныхъ предразсудковъ, раздѣляютъ съ нею ея скудомысліе, ея жалкую слѣпоту. Когда настанетъ судъ, такъ-называемаго, безпристрастнаго потомства, оно будетъ судить объ общемъ уровнѣ образованности нашего времени не по рѣдкимъ проблескамъ здоровой и свѣжей мысли, а именно по этимъ памятникамъ, вполнѣ достойнымъ своего времени. При такихъ условіяхъ общій обзоръ всѣхъ этихъ произведеній можетъ быть въ то же время общимъ обзоромъ уровня образованности и развитія мысли нашего общества въ послѣднее десятилѣтіе.

II.

Что прежде всего должно поразить насъ въ мышленіи нашихъ соотечественниковъ, это крайне извращенный взглядъ, съ какимъ обыкновенно смотрятъ у насъ на умственное движеніе послѣдняго десятилѣтія. Въ немъ видятъ господство *отрицательнаго направленія, нигилизма*, которымъ будто бы увлеклась молодежь и довела его до крайнихъ предѣловъ, предавши отрицанію все, что̀ только возможно было отвергнуть—любовь, бракъ, семью, науки, искусства и пр. Принимая въ разсчетъ, что взглядъ подобнаго рода вышелъ изъ среды поколѣнія 40-хъ годовъ, мы можемъ назвать его субъективнымъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ называется такимъ всякій взглядъ такого рода, когда люди приписываютъ чему либо свои собственныя свойства и качества. Въ самомъ дѣлѣ: если было когда-либо на Руси отрицательное направленіе отчаяннаго свойства, то это было именно въ эпоху 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годовъ, и послѣднее десятилѣтіе, въ сущности своей, представляетъ не развитіе нигилизма, какъ думаютъ многіе, а, напротивъ того, выходъ изъ него.

На первый взглядъ подобная мысль можетъ показаться читателю отчаяннымъ парадоксомъ. Но если мнѣ удастся представить характеристику двухъ эпохъ со стороны развитія мысли и міросозерцанія общества во все это время, то можетъ-быть въ этомъ парадоксѣ онъ увидитъ самую простую, азбучную истину.

У насъ принято въ литературѣ называть нашихъ отцовъ и дѣдовъ идеалистами и романтиками, но надо признаться, что хотя большинство общества нашего до сихъ поръ коснѣетъ въ идеализмѣ, объ этомъ предметѣ ходятъ у насъ самыя смутныя, неопредѣленныя понятія. Въ этомъ ничего нѣтъ неестественнаго: подобно тому, какъ о фетишизмѣ или политеизмѣ возможно образованіе точнаго понятія тогда только, когда общество пережило эти міросозерцанія, такъ-же точно и относительно идеализма.

Идеалистомъ называютъ у насъ такого человѣка, который, не довольствуясь будничными заботами, имѣетъ такъ-называемыя высшія стремленія, строитъ въ головѣ разные идеалы и осуществленіе ихъ ставитъ первой необходимостью въ жизни. Исходя изъ этого взгляда на идеализмъ, въ реализмѣ, какъ противоположномъ ему, видятъ непремѣнно отрицаніе всякихъ идеаловъ, всего возвышающаго человѣка надъ прочими животными, и низведеніе его въ міръ однихъ чувственныхъ побужденій.

Но стремленіе къ идеаламъ нельзя считать условной формой одного какого-либо міросозерцанія. Оно такъ-же присуще человѣку во всѣ времена и при какихъ угодно міровоззрѣніяхъ, какъ чувство голода или жажды. Подобно тому, какъ голодному всегда будутъ сниться роскошные обѣды, такъ люди, чувствующіе различныя неудобства въ своей жизни, постоянно будутъ создавать картины жизни, избавленной отъ этихъ неудобствъ. Сущность идеализма заключается не въ стремленіи къ идеаламъ, а въ томъ пути, который избираютъ люди для достиженія своихъ стремленій.

При этомъ я считаю нужнымъ оговориться, что я буду вести здѣсь рѣчь не о томъ идеализмѣ, на которомъ основаны метафизическія германскія философскія системы, возникшія въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія. При всемъ шумѣ, которымъ прошумѣли въ свое время эти системы, онѣ произвели свое вліяніе на незначительное меньшинство людей. Личностей, изучавшихъ эти системы, и въ Европѣ было не особенно много, у насъ-же еще меньше. Много-ли можно насчитать у насъ людей, которые знали бы германскихъ философовъ не по однимъ только именамъ? Идеализмъ, которымъ пробавляются массы народа отъ Камчатки до западныхъ штатовъ Америки, имѣетъ болѣе древнее происхожденіе. Возросшій на

почвѣ древнихъ философскихъ школъ, онъ послужилъ основой образованія для европейскихъ обществъ. Впродолженіи 2,000 лѣтъ Европа всасывала этотъ идеализмъ, и онъ проникъ до мозга костей ея. Вліяніе его замѣтно иногда тамъ даже, гдѣ, казалось-бы, не могло-бы быть и тѣни его.

Идеализмъ этого рода, отдѣляя непроходимой пропастью духовную природу человѣка отъ физической и считая первую совершенно независимой отъ послѣдней, говоритъ человѣку: силою твоей свободной воли ты можешь дѣлать надъ собой, что тебѣ угодно, можешь возвышаться духомъ надъ твоимъ бреннымъ тѣломъ и покорить его своей духовной власти со всѣми его потребностями и страстями. Исходя изъ этой идеи, идеализмъ главнымъ условіемъ достиженія различныхъ идеаловъ, или, что то же самое, главнымъ условіемъ прогресса, считаетъ отдѣльную личность человѣка съ его доброй или злой волей, сильной или слабой. Человѣкъ считается полнымъ хозяиномъ въ каждомъ своемъ шагѣ, безграничнымъ распорядителемъ всей своей жизни. При этомъ нисколько не принимаются въ разсчетъ условія жизни, которыя могутъ вліять неотразимо на личность. На что же дана и воля человѣку—говоритъ идеализмъ—какъ не для того, чтобы бороться противъ вредныхъ условій? Это прекрасно: но идеализмъ подъ этой борьбой подразумѣваетъ не стремленіе устранять вредныя условія, а выдерживать ихъ напоръ и не допускать себя до подчиненія ихъ вліянію. Такимъ образомъ идеализмъ направляетъ волю человѣка не на внѣшнюю дѣятельность, а на внутреннее самовоздержаніе. Онъ требуетъ не того, чтобы человѣкъ *стремился* къ осуществленію идеаловъ, а чтобы онъ, посредствомъ усилій своей воли надъ самимъ собою, *былъ* идеальнымъ человѣкомъ въ каждый моментъ своей жизни.

Идеализмъ такого рода впервые возникъ тогда, когда древнія общества избавились отъ политеизма. Извѣстно, что политеизмъ подавляетъ человѣческую личность, ставя ее въ зависимость отъ цѣлаго ряда сверхъестественныхъ, олицетворяющихъ силы природы, существъ, которыя по своему произволу помыкаютъ этой личностью.—Идеализмъ явился реакціей противъ подобнаго подавленія личности; онъ былъ крайностью противъ крайности: въ противоположность прежнему подавленію личности, онъ выставилъ ее на первый планъ и сдѣлалъ человѣка безусловнымъ распорядителемъ своей личности. Идеализмъ есть такимъ образомъ первая побѣда разума человѣка надъ суевѣріемъ, первый восторгъ человѣка, сознавшаго силу своего личнаго *я*, силу своей мысли и своей воли,—и нѣтъ ничего удивительнаго, что въ этомъ восторгѣ человѣкъ преувеличилъ значеніе своей личности и началъ все выводить изъ нея и приводить къ ней.

И каждый разъ, когда общество выходитъ изъ политеистическаго міросозерцанія, оно непремѣнно переживаетъ идеализмъ такого рода. Необходимы обширное количество положительныхъ знаній и глубокая переработка ихъ, чтобы понять и уяснить себѣ сложную и запутанную цѣпь обоюднаго вліянія воли человѣка на обстоятельства, и наоборотъ обстоятельствъ на волю.—Для человѣка малообразованнаго гораздо проще и очевиднѣе та система міросозерцанія, которая каждое дѣйствіе человѣка непосредственно производитъ отъ его воли: человѣкъ сдѣлался пьяницей; почему? «Очевидно, что захотѣлъ и сдѣлался. Вѣдь вотъ я теперь: захочу—выпью рюмку водки, захочу—не выпью. Это совершенно въ моей волѣ». Такъ разсуждаетъ человѣкъ малообразованный, и для него это очевиднѣе, чѣмъ $2\times2=4$.

Но, несмотря на всю ясность и простоту тѣхъ отвѣтовъ, которые готовъ бываетъ дать идеализмъ на всевозможные вопросы, въ немъ заключается довольно опасный магическій кругъ, въ которомъ легко можетъ запутаться и потеряться младенческій умъ. Начиная съ эмансипаціи человѣческой личности, идеализмъ приводитъ человѣка къ тому же, изъ чего самъ вышелъ, т. е. къ признанію полнѣйшей несостоятельности этой же самой человѣческой личности, изъ чего, какъ мы увидимъ ниже, и выходитъ самое безнадежное отрицаніе. Къ этому исходу идеализмъ приводитъ слѣдующимъ путемъ: поставивши передъ человѣкомъ рядъ высокихъ идеаловъ, идеализмъ въ то же время не обращаетъ вниманія, что достиженіе этихъ идеаловъ есть сложный процессъ жизни, совмѣщающій въ себѣ взаимодѣйствіе многихъ силъ природы. Опираясь единственно на личность человѣка, на его волю и энергію, идеализмъ говоритъ: если хотите достигнуть такихъ-то и такихъ идеаловъ, то будьте такими-то, т. е. храбрыми, гуманными, дѣятельными и проч. Онъ забываетъ при этомъ, что всѣ эти качества, которыми онъ совѣтуетъ запастись людямъ для перехода черезъ пропасть, отдѣляющую дѣйствительность отъ утопіи, могутъ находиться на другой сторонѣ пропасти, слѣдовательно составлять не средство, а цѣль достиженія. Смѣшивая такимъ образомъ цѣль со средствами, онъ говоритъ: видите, вонъ тамъ, за ручьемъ, доска; положите ее черезъ ручей и перейдите по ней на ту сторону. Это смѣшеніе цѣли со средствами и приводитъ идеализмъ къ отрицанію. Такъ какъ первымъ условіемъ прогресса идеализмъ считаетъ существованіе въ людяхъ различныхъ доблестей, а доблестей-то этихъ онъ и не находитъ, то отсюда прямо слѣдуетъ разочарованіе въ людяхъ и отчаянье въ какомъ-либо прогрессѣ. Возьмите вы идеализмъ во всѣхъ его видахъ и формахъ, въ какихъ только являлся онъ въ исторіи, отъ школы стоиковъ, отъ средневѣковаго аскетизма, до романтизма XVIII в. въ Германіи, англійскаго байронизма и россійскаго самоизгрызенія 40-хъ годовъ,—и повсюду вы увидите одну и ту же картину: при отрицаніи пошлой и гнетущей дѣйствительности, тщетное исканье идеальныхъ личностей, тщетное обличеніе пороковъ и слабостей людей и воззванія къ людямъ, чтобы они старались быть героями,—а затѣмъ горькое разочарованіе, отчаянное отреченіе отъ жизни, или же потеря вѣры въ какіе-либо идеалы и примиреніе съ самой пошлой, обыденной дѣйствительностью.

До реформы Петра Великаго наши предки хотя и исповѣдывали христіанскую религію, но по степени своего міросозерцанія нисколько не возвышались надъ политеизмомъ. Пожары, моры, голода, каждую свою удачу и неудачу они объясняли произвольнымъ, непосредственнымъ вмѣшательствомъ въ ихъ жизнь сверхъестественныхъ существъ, стоящихъ нерѣдко

совершенно внѣ господствующей религіи. Только съ XVIII вѣка выдѣлилось изъ массы суевѣрныхъ людей хоть сколько нибудь образованное общество, стоявшее выше политеизма. Господствующей формой мышленія этого образованнаго общества естественно долженъ былъ сдѣлаться идеализмъ; знанія были слишкомъ мало еще распространены въ массахъ, чтобы онѣ могли усвоить какую нибудь форму мышленія, болѣе высокую. Мистическій идеализмъ во время Екатерины былъ господствующимъ міросозерцаніемъ образованнаго общества. Онъ увлекъ въ свои нѣдра лучшихъ людей своего времени.

Это былъ молодой, свѣжій, едва народившійся идеализмъ; онъ былъ далекъ еще тогда отъ своего выхода въ разочарованіе и отрицаніе. Онъ былъ полонъ вѣры и надежды. Масоны вѣрили, что безъ всякихъ реформъ общественной жизни, посредствомъ одного самоуглубленія и самовоспитанія, можно будетъ достичь того, что всѣ люди будутъ ангелы, и на землѣ воцарятся миръ, тишина и благоденствіе.

Но уже въ романтизмѣ Жуковскаго слышится какое-то недовольство, что-то надломленное и грустное. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе и болѣе разростаются тоска, разочарованіе, скептицизмъ и наконецъ въ сороковые годы идеализмъ окончательно вступилъ въ свою послѣднюю фазу. Ужасно и безвыходно казалось положеніе образованнаго человѣка въ сороковые годы. Вы представьте только себѣ, что за хаосъ царствовалъ въ умственной лабораторіи его, страшный, безсвязный хаосъ всевозможныхъ историческихъ, географическихъ, математическихъ фактовъ, вызубренныхъ по тощимъ учебникамъ на школьныхъ скамейкахъ. Тутъ былъ и Киръ, царь персидскій, и биномъ Ньютона, и самоѣды скакали на оленяхъ, и Атилла— и все это перепутывалось безъ всякой связи, системы, забывалось, опять выплывало въ памяти, опять забывалось. Затѣмъ слѣдовалъ рядъ блестящихъ картинъ и образовъ, вычитанныхъ изъ произведеній русской поэзіи: Кавказъ вставалъ со своими горами, ревущимъ Терекомъ и аулами, черкешенка падала въ воду, Печоринъ стрѣлялъ на краю обрыва въ Грушницкаго, Онѣгинъ зѣвалъ среди бала, и Петръ Великій величественно стоялъ передъ войсками въ полтавской битвѣ. Всѣ эти образы безплодно валялись въ воображеніи, какъ запыленныя картины на аукціонѣ. Читалъ образованный человѣкъ Гоголя и вмѣстѣ съ нимъ смѣялся надъ пошлой дѣйствительностью съ ея станціонными смотрителями, будочниками и клопами. Но какая же иная должна быть и можетъ быть дѣйствительность? задавалъ себѣ вопросъ образованный человѣкъ. Развертывалъ онъ въ новомъ нумерѣ журнала передовую статью—тамъ толковалось о гуманности, о честности, о правдѣ. Вдохновенный этими рѣчами, образованный человѣкъ бросался съ жаромъ въ жизнь, мечтая осуществить на дѣлѣ всѣ эти пламенныя рѣчи; но въ жизни онъ встрѣчался снова со станціонными смотрителями, клопами и будочниками, и не было силъ повернуть это все какъ нибудь иначе. Энергіи, энергіи, откуда хотите, давайте мнѣ энергіи! вопилъ образованный человѣкъ сороковыхъ годовъ. Но энергія не сваливалась къ нему съ неба, а онъ не зналъ, что энергія вырабатывается только извѣстными условіями жизни, что безъ этихъ условій не выживешь ее изъ себя никакими тисками. Что оставалось дѣлать образованному человѣку? Въ отчаяніи махнуть рукою на всѣ идеалы, отвергнуть ихъ, какъ несбыточныя химеры, и углубиться въ созерцаніе какихъ нибудь іосовъ или красотъ природы, искать забвенія въ этрусскихъ древностяхъ, или же окунуться въ омутъ обыденной, пошленькой дѣйствительности и начать заботиться о снисканіи житейскихъ выгодъ и объ устройствѣ теплаго семейнаго уголка.

Если вы хотите нагляднѣе удостовѣриться во всемъ этомъ, то вдумайтесь въ повѣсти и романы, которые писались въ то время, въ произведенія Тургенева, Гончарова и Писемскаго, и вы увидите, какимъ горькимъ, безнадежнымъ отрицаніемъ проникнуты они. Только развѣ одинъ Гончаровъ сколько нибудь утѣшаетъ читателя, рекомендуя ему противъ вербализированнаго романтизма Александра Адуева бюрократическій реализмъ его дядюшки, а противъ барской распущенности Обломова — филистерскую дѣятельность Штольца. Но до чего не дошелъ въ своемъ отрицаніи Гончаровъ, до того дошелъ Писемскій: въ своемъ романѣ «Тысяча Душъ» онъ представилъ въ лицѣ Калиновича, во всемъ истинномъ свѣтѣ ихъ, и бюрократическій реализмъ, и филистерскую дѣятельность. Въ лицѣ Калиновича заключается отрицаніе той единственной дороги, которая представлялась въ то время людямъ, жаждущимъ какого нибудь дѣла, и это отрицаніе совершенно безусловное, за нимъ не предполагается какой нибудь дороги, а слѣдуетъ разочарованіе Калиновича, поселившагося послѣ своей шумной дѣятельности въ Москвѣ и предавшагося тамъ томленію праздной апатіи. За отрицаніемъ дѣятельности Калиновича, слѣдуетъ отрицаніе ученой и художественной дѣятельности въ лицѣ Берсенева и Шубина въ повѣсти Тургенева «Наканунѣ». Жалкими представилъ Тургеневъ эти двѣ личности рядомъ съ героическимъ типомъ Инсарова; но Тургеневъ въ этой повѣсти выставляетъ не одно только ничтожество Берсенева и Шубина: онъ отрицаетъ все современное ему поколѣніе, говоря, что Инсаровыхъ у насъ нѣтъ, а есть только крикуны, да палки барабанныя, да нерадивители изъ пустого въ порожнее.

Итакъ, дѣятельность Калиновича отвергнута, дѣятельность Инсарова объявлена недоступной для такихъ ничтожностей, какъ мы, дѣятельность Берсенева и Шубина представлена какимъ-то стремленіемъ забыться отъ гнетущей тоски, отъ мучительнаго сознанія собственнаго ничтожества. Что же оставлено на долю нашу? Семейная жизнь, счастье мужа и отца? Въ этой жизни писатели видѣли единственное прибѣжище послѣ отрицанія всего прочаго. Но нельзя сказать, чтобы и на этой почвѣ они особенно утѣшали читателя: во многихъ романахъ и повѣстяхъ они показали намъ всю непрочность этого единственнаго, послѣдняго утѣшенія. Ужъ не говоря о томъ, что вы должны быть Инсаровымъ, если хотите, чтобъ васъ полюбила такая женщина, какъ Елена (а Инсаровыхъ у насъ нѣтъ, а есть только палки барабанныя),— если полюбитъ васъ обыкновенная женщина, и въ такомъ случаѣ развѣ не должны вы ждать ежедневно, что съ вами послѣдуетъ исторія вродѣ той, какая

описана въ «Фаустѣ» Тургенева, въ «Пріятелѣ», въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ»: или вы сами разочаруетесь въ вашей женѣ, или она увлечется другимъ и придется вамъ проститься съ послѣднимъ вашимъ утѣшеніемъ. Такимъ образомъ предано было отрицанію все. Оставалось предать отрицанію послѣднее, что во всѣ времена было дорого человѣку: его жизнь, его личное существованіе на землѣ. Писатели 40-хъ годовъ не остановились и передъ этимъ. Можно привести бездну лирическихъ произведеній, въ которыхъ слышится господствующій мотивъ того времени, выраженный еще Пушкинымъ въ стихотвореніи:

«Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
Или зачѣмъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?»

Достаточно будетъ вспомнить то поразительное мѣсто въ романѣ «Наканунѣ», гдѣ Тургеневъ категорически ставитъ вопросъ: имѣемъ ли мы право на жизнь? Не есть ли преступленіе уже то, что мы живемъ,—преступленіе, за которое мы должны нести наказаніе въ нашей жизни?

Можно ли было еще что-нибудь отрицать послѣ этого? Не были ли это геркулесовы столбы отрицанія, до которыхъ когда-либо доходилъ идеализмъ? Что оставалось послѣ этого, какъ не садиться, подобно стоикамъ, въ теплыя ванны, чтобы сразу избавлять совѣсть свою отъ угрызенія за преступленіе, которое, по мнѣнію Тургенева, называется жизнью?

Послѣднія десять лѣтъ представляются годами не однѣхъ только общественныхъ реформъ и рѣшенія вопросовъ практической жизни. Напротивъ того, эти вопросы были только подняты и едва сдѣланы кое-какія первыя попытки къ рѣшенію ихъ. Эпоху же, которую мы переживаемъ, можно сравнить съ эпохой renaissance, съ первой половиной XVIII вѣка во Франціи, съ эпохой Sturm und Drang въ Германіи. Въ подобныя эпохи подвергаются переизслѣдованію всѣ элементы человѣческой природы и общественной жизни, но переизслѣдованіе это совершается не въ видѣ одного безусловнаго отрицанія; отрицается только старое, отжившее, что и безъ того уже подвергло само себя отрицанію смерти; рядомъ же съ этимъ отрицаніемъ возникаетъ цѣлый рядъ новыхъ идей, новыхъ надеждъ и новыхъ требованій отъ жизни. Самое названіе новаго міросозерцанія, подъ которымъ извѣстно оно на Западѣ, названіе *реальной и положительной философіи*, показываетъ, что сущность его заключается вовсе не въ отрицаніи, а въ утвержденіи положительныхъ взглядовъ на природу и на жизнь.

Положительное міросозерцаніе, отвергая всякія дуалистическія теоріи, кладетъ въ основаніе свое нераздѣльное единство, какъ природы вообще, такъ и человѣческой природы въ отдѣльности. Съ этой точки зрѣнія прогрессъ основывается на взаимодѣйствіи многихъ силъ природы, совокупное дѣйствіе которыхъ производитъ тотъ безконечный процессъ жизни, который извѣстенъ подъ названіемъ прогресса. Это положеніе новаго міросозерцанія и составляетъ исходную точку изъ того безплоднаго отрицанія, до котораго додумался идеализмъ. Въ самомъ дѣлѣ, разъ мы удостовѣрились, что прогрессъ т. е. усовершенствованіе рода человѣческаго, моральное и физическое, зависитъ отъ тѣхъ или другихъ условій жизни, мы нашли переправу черезъ пропасть, отдѣляющую дѣйствительность отъ утопіи, и вмѣсто того, чтобы вѣчно стонать о ничтожности силъ человѣка для совершенія гигантскаго скачка, намъ остается поискать досокъ и бревенъ для постройки прочнаго моста. Объясними это наглядными примѣромъ: что можетъ быть ужаснѣе того положенія идеализма, когда онъ, вѣчно стремясь къ прекрасному, находилъ, что прекрасное въ жизни человѣческой большая рѣдкость, является въ видѣ исключенія, и утѣшался только тѣмъ, что, отрѣшаясь отъ безобразной дѣйствительности, уносился въ область искусства, гдѣ созерцалъ прекрасное въ его идеальномъ видѣ. Положительное міросозерцаніе находитъ, что прекрасное есть созданіе тѣхъ или другихъ благопріятныхъ условій жизни. Такъ напримѣръ, итальянцы или греки прекрасны въ большинствѣ своемъ не столько вслѣдствіе какого-либо врожденнаго стремленія къ прекрасному, сколько подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій климата и мѣстности, въ которыхъ они обитаютъ; сѣверныя страны Европы не заключаютъ въ себѣ столько естественныхъ условій для произведенія прекрасныхъ типовъ, какъ южныя, но тѣмъ не менѣе и въ сѣверной Европѣ мы видимъ, что прекрасные типы являются чаще и совершеннѣе тамъ, гдѣ условія жизни благопріятствуютъ тому: въ обезпеченныхъ классахъ вы чаще встрѣтите красивыхъ людей, чѣмъ въ массахъ рабочаго класса. Изъ этого слѣдуетъ прямой выводъ, что вмѣсто того, чтобы плакать о скудости прекраснаго въ нашей жизни и ѣздить въ Италію, чтобы тамъ въ созерцаніи прекраснаго забываться отъ безобразія нашей дѣйствительности, не естественнѣе-ли и не умнѣе-ли подумать о созданіи такихъ условій жизни, при которыхъ прекрасное являлось бы на каждомъ шагу само собою, безъ всякихъ идеальныхъ стремленій къ нему? Спрашивается теперь, въ какомъ міросозерцаніи вы видите отрицаніе прекраснаго: въ томъ ли, которое признаетъ прекрасное только въ идеалѣ и отвергаетъ возможность полнаго осуществленія его въ дѣйствительности, или, наоборотъ, въ міросозерцаніи, которое говоритъ, что воображеніе человѣка безсильно создать такіе полные и совершенные типы прекраснаго, которые на каждомъ шагу могутъ проявляться въ жизни, если люди позаботятся о пріисканіи благопріятныхъ условій для развитія этихъ типовъ? Какъ отнеслась положительная философія къ прекрасному, такъ точно отнеслась она ко всѣмъ прочимъ элементамъ человѣческой природы—къ нравственности общественной, семейной и личной, къ наукѣ и искусствамъ. Во всемъ она поставила на первый планъ заботу о развитіи общаго благосостоянія, видя, что отъ него прежде всего и болѣе всего зависятъ всѣ тѣ нравственныя и физическія совершенства, о которыхъ такъ долго и такъ безплодно сѣтовали идеалисты. Но пролагать вѣрный и положительный путь къ достиженію различныхъ идеаловъ—значитъ-ли отрицать самые идеалы? Положительная философія говоритъ людямъ: вы хотите быть счастливыми и совершенными; позаботьтесь же прежде всего, чтобы среди васъ не было нищихъ и голодныхъ; тогда истина, правда, любовь и поэзія потекутъ

обильной струей въ вашей жизни. Неужели въ этихъ словахъ заключается отрицаніе истины, правды, любви и поэзіи? Но темный, полуневѣжественный идеализмъ въ этомъ то именно и увидѣлъ бездну отрицанія. Ему показалось обиднымъ, что новое міросозерцаніе на первый планъ ставитъ матеріальное благосостояніе, а не тѣ радужныя мечты, которыми усыплялъ себя идеализмъ и осуществленіе которыхъ въ реальной дѣйствительности онъ самъ такъ упорно всегда отрицалъ и до сихъ поръ продолжаетъ отрицать.

III.

Послѣ перваго увлеченія новыми вопросами и реформами, общаго восторга и ликованія, въ которомъ безразлично смѣшивались люди всѣхъ партій и всѣ наперерывъ либеральничали, отрекаясь отъ всего стараго, ликующіе внезапно оглянулись вокругъ себя, и вдругъ свѣчи пира начали меркнуть, музыка заиграла подъ сурдинкой и многіе изъ бѣсновавшихся съ смущеніемъ начали удаляться съ арены, прятаться по угламъ и, сердобольно вздыхая, шептать: «что это мы такое дѣлали? Съ кѣмъ это мы плясали!.. Съ какими-то мальчишками, гимназистами! Прилично ли это нашему званію, нашимъ лѣтамъ, нашей солидности!» Это смущенное отшествіе въ углы многихъ изъ дѣятелей того времени, въ томъ числѣ и большинства нашихъ беллетристовъ, характеризуетъ собою начало 60-хъ годовъ. Явленіе это весьма естественно: въ первыя минуты общаго восторга и ликованія идеалисты добраго стараго времени ликовали, думая, что сидятъ на своемъ собственномъ пиру, что мѣняются два, три старыя учрежденія, а не ихъ старые теоріи и взгляды, и что нѣтъ конца ихъ царствію. Но когда новое міросозерцаніе выяснилось, опредѣлилось и начало подвергать своему безпощадному анализу всѣ обожаемые кумиры идеалистовъ, они опомнились, увидѣли, что праздникъ былъ вовсе не на ихъ улицѣ, и тогда начался всеобщій вопль и протестъ противъ новыхъ идей, о которыхъ протестующіе, какъ мы сейчасъ увидимъ, не имѣли ни малѣйшаго понятія.

Въ области беллетристики первымъ протестомъ противъ новыхъ идей былъ романъ Тургенева «Отцы и Дѣти».

Романъ этотъ отличается отъ другихъ того же рода произведеній тѣмъ, что онъ преимущественно философскій. Онъ мало касается какихъ-либо общественныхъ вопросовъ своего времени. Главная цѣль его— поставить рядомъ другъ передъ другомъ философію отцовъ и философію дѣтей и показать, что философія дѣтей противна человѣческой природѣ и потому не можетъ быть примѣнима въ жизни.

Задача романа, какъ вы видите, очень серьезная. Но на первыхъ же страницахъ вы видите, что авторъ лишенъ всякой умственной подготовки къ выполненію цѣли своего романа; онъ не только не имѣетъ никакого понятія о системѣ новой положительной философіи, но и о старыхъ идеалистическихъ системахъ имѣетъ понятія самыя поверхностныя, ребяческія. Для доказательства этого достаточно выписать изъ романа слѣдующее мѣсто:

«— Что такое Базаровъ? Аркадій усмѣхнулся.

— Хотите, дядюшка, я вамъ скажу, что онъ собственно такое.

— Сдѣлай одолженіе, племянничекъ.

— Онъ—нигилистъ.»

Мы ужъ не будемъ говорить о той поэтической наивности, съ которой Тургеневъ ту кличку для молодого поколѣнія, которая, какъ извѣстно, никогда не употреблялась въ этомъ смыслѣ до появленія романа, вложилъ въ уста человѣка молодого же поколѣнія. Это очень напоминаетъ намъ одну изъ раскольничьихъ пѣсней, въ которой царь Алексѣй Михайловичъ, посылая войско на раскольниковъ, говоритъ: «ступайте бить вѣру правую, защищайте мою вѣру окаянную». Но будемъ продолжать далѣе:

«— Какъ? спросилъ Николай Петровичъ, а Павелъ Петровичъ поднялъ на воздухъ ножъ съ кускомъ масла на концѣ лезвія и остался неподвиженъ.

— Онъ—нигилистъ, повторилъ Аркадій.

— Нигилистъ, повторилъ Николай Петровичъ. —Это отъ латинскаго nihil, ничего, сколько я могу судить, стало быть, это слово означаетъ человѣка, который.. который ничего не признаетъ?

— Скажи: который ничего не уважаетъ, подхватилъ Павелъ Петровичъ и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится съ критической точки зрѣнія, замѣтилъ Аркадій.

— А это не все равно? спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, не все равно. Нигилистъ, это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ.

— И что-жъ, это хорошо? перебилъ его Павелъ Петровичъ.

— Смотря какъ кому, дядюшка. Иному отъ этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вотъ какъ! Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди стараго вѣка, полагаемъ, что безъ принциповъ (Павелъ Петровичъ выговаривалъ это слово мягко, на французскій манеръ; Аркадій, напротивъ того, произносилъ «принципъ», налегая на первый слогъ), безъ принциповъ, принятыхъ, какъ ты говоришь, на вѣру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela, дай вамъ Богъ здоровья и генеральскій чинъ, а мы только любоваться вами будемъ, господа... какъ бишь?»

— Нигилисты, отчетливо проговорилъ Аркадій.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотримъ, какъ вы будете существовать въ пустотѣ, въ безвоздушномъ пространствѣ.

Итакъ, вотъ что такое, по мнѣнію героевъ романа, нигилисты: это люди, которые ко всему относятся съ критической точки зрѣнія, не принимаютъ ничего на вѣру и потому должны существовать въ безвоздушномъ пространствѣ и производить свое названіе отъ латинскаго слова nihil. Ну, подумайте, пожалуйста, есть ли хоть одна капля, не скажу философскаго, просто здраваго смысла въ этомъ сумбурѣ? Одно только, что̀ видно здѣсь, это крайнее дѣтское невѣжество, которому совершенно неизвѣстенъ ходъ развитія европейской мысли. Это невѣжество не знаетъ, что отношеніе ко всему съ критической точки зрѣнія вовсе не составляетъ какой-либо новости, а существуетъ уже со временъ Бэкона и Декарта, и съ тѣхъ поръ никто уже и не споритъ о томъ, что каждый мало-мальски мыслящій человѣкъ долженъ относиться ко всему критически. Споры европейскихъ идеалистовъ съ реали-

стами идутъ лишь объ основаніяхъ критическаго отношенія къ вещамъ: идеалисты говорятъ, что такое отношеніе можетъ быть основано на апріорическихъ началахъ чистаго разума, а реалисты строятъ его на началахъ индуктивныхъ изслѣдованій; но объ школы нисколько не сомнѣваются въ томъ, что на то и данъ человѣку разумъ, чтобы относиться ко всему критически. Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія героевъ романа, нигилистами слѣдуетъ назвать не однихъ только послѣдователей положительной философіи, а и гегелистовъ, и шеллингистовъ, и кантистовъ, и спинозистовъ, однимъ словомъ — всѣхъ европейскихъ мыслителей, включая Бэкона и Декарта. Курьезнѣе всего здѣсь, между прочимъ, то, что Павелъ Петровичъ противопоставляетъ критическое отношеніе къ вещамъ и принципы, полагая, что принципы суть непремѣнно нѣчто принятое на вѣру, безъ всякой провѣрки критики. Но почему же принципы не могутъ быть приниманы на критическихъ основаніяхъ? Да и при какихъ условіяхъ человѣкъ будетъ стоять на болѣе твердой почвѣ: тогда ли, когда онъ будетъ слѣдовать въ жизни какому-либо принципу, слѣпо принятому на вѣру, или когда онъ этотъ самый принципъ провѣритъ на основаніи какихъ-либо критическихъ данныхъ? Я, напримѣръ, слѣдую принципу: не дѣлать вреда ближнему; неужели же меня можно назвать нигилистомъ, и я буду обитать въ безвоздушномъ пространствѣ, если я буду *знать* на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ, что не слѣдуетъ вредить ближнему? Напротивъ того, я скорѣе буду стоять гдѣ-то въ облакахъ нигилизма, если я не буду дѣлать вреда ближнему, не отдавая себѣ отчета въ этомъ, потому только, что другіе уважаемые мною люди посовѣтовали мнѣ поступить такимъ образомъ.

Задавшись мыслью, что молодежь по своему новому міросозерцанію должна непремѣнно все отрицать, Тургеневъ не только отцовъ заставляетъ разсуждать объ отрицаніи дѣтей, но и въ уста дѣтей вкладываетъ фразы, вродѣ слѣдующихъ:

«— Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ, промолвилъ Базаровъ.—*Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе,—мы и отрицаемъ.*

— Все?

— *Все.*

— Какъ? не только искусство, поэзію... но и... страшно вымолвить.

— *Все*, съ невыразимымъ спокойствіемъ повторилъ Базаровъ.»

Въ другомъ мѣстѣ вы читаете курьезъ еще лучше этого:

«— Полно, Евгеній... послушать тебя сегодня, поневолѣ согласишься съ тѣми, которые упрекаютъ насъ въ отсутствіи принциповъ.

— Ты говоришь, какъ твой дядя. *Принциповъ вообще нѣтъ*, ты объ этомъ не догадался до сихъ поръ!—*а есть ощущенія. Все отъ нихъ зависитъ.*

— Какъ такъ?

— Да такъ-же. Напримѣръ я: *я придерживаюсь отрицательнаго направленія - въ силу ощущенія.* Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ — и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу.

— Что-жъ, и честность ощущеніе?

— Еще-бы!

— Евгеній...началъ печальнымъ голосомъ Аркадій.

— А? что? Не по вкусу? перебилъ Базаровъ.

— Нѣтъ, братъ! *Рѣшился все косить — валяй и себя по ногамъ!*»...

Тургеневъ слышалъ гдѣ-то стороною, что новое міросозерцаніе ставитъ въ основаніе всѣхъ психологическихъ явленій ощущенія, и вывелъ изъ этого какимъ-то образомъ, что выводить все изъ ощущеній значитъ все отрицать, косить и валять себя по ногамъ. Тургеневъ никакъ немогъ сообразить, что, отвергая честность, какъ врожденную идею, вложенную въ человѣка до его рожденія, и признавая ее какъ ощущеніе, положительная философія нисколько не отрицаетъ этимъ честности, равно какъ и другихъ принциповъ. Все дѣло касается здѣсь не самой честности, а ея происхожденія, и Базаровъ, какъ человѣкъ новаго міросозерцанія, не имѣлъ никакого повода, приступая къ этому философскому вопросу, воображать, что онъ этимъ валяетъ себя по ногамъ и отрицаетъ принципы. Здѣсь Тургеневъ субъективенъ такъ же, какъ и въ рѣчахъ Кирсановыхъ: въ уста молодого поколѣнія онъ влагаетъ такія понятія о новомъ міросозерцаніи, которыя сложились въ его собственной художественной головѣ, лишенной всякаго философскаго развитія. Еслибы Тургеневъ взглянулъ поближе на молодое поколѣніе, то въ дѣйствительности онъ увидѣлъ бы, что молодежь не только не отрицаетъ честности, а, напротивъ того, шагу не можетъ ступить безъ того, чтобы разъ двадцать не повторить этого слова, при всякомъ удобномъ случаѣ.

Задавшись той идеей, что молодежь все отрицаетъ, Тургеневъ вознамѣрился показать на Базаровѣ, что подобное безусловное отрицаніе противно человѣческой природѣ, и природа дѣйствуетъ своимъ путемъ, развивая въ человѣкѣ побужденія, чувства и страсти совершенно въ противорѣчіе теоріи его, отрицающей всѣ эти явленія. Базаровъ ничего не видѣлъ въ любви, кромѣ минутнаго удовлетворенія чувственности, и называлъ проявленія любви болѣе серьезной отжившимъ романтизмомъ, а самъ полюбилъ не на шутку Одинцову и не могъ никакъ сладить съ собой. Базаровъ отвергалъ дуэли, а какъ дѣло дошло до встрѣчи съ ненавистнымъ человѣкомъ, согласился драться съ Павломъ Петровичемъ безъ всякихъ колебаній.

Мы не будемъ распространяться объ исторіи дуэли, такъ-какъ это не болѣе, какъ вставной эпизодъ въ романѣ, и эпизодъ, развитый очень слабо: Тургеневу не удалось произвести ни малѣйшей иллюзіи въ читателѣ, такъ, чтобы вы видѣли передъ собою людей, которымъ дѣйствительно только и оставалось, что уничтожить другъ друга; съ самаго начала до конца этой исторіи вамъ кажется, что эти люди больше ничего, какъ на досугѣ тѣшатся, играя пистолетиками, какъ дѣти. Мы займемся лучше исторіей базаровской любви, составляющей главное содержаніе романа.

Базаровъ, какъ и слѣдовало, по мнѣнію Тургенева, всеотрицающему нигилисту, не видящему въ любви ничего, кромѣ чувственности, похвалилъ въ Одинцовой первоначально одни плечи и выразился о ней, что она—тертый калачъ; но потомъ онъ и самъ не замѣтилъ, какъ разгорѣлось въ немъ болѣе серьезное чувство, котораго онъ никакъ не ожидалъ и не желалъ:

«Настоящею причиною всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой,—чувство, которое его мучило и бѣсило, и отъ котораго онъ тотчасъ отказался бы съ презрительнымъ хохотомъ и циническою бранью, еслибы кто-нибудь, хотя отдаленно, намекнулъ ему на возможность того, что въ немъ происходило. Базаровъ былъ великій охотникъ до женщинъ и до женской красоты; но любовь въ смыслѣ идеальномъ или, какъ онъ выразился, романтическомъ, называлъ белибердой, непростительною дурью, считалъ рыцарскія чувства чѣмъ-то вродѣ уродства или болѣзни, и не однажды выражалъ свое удивленіе, почему не посадили въ Желтый домъ Тоггенбурга со всѣми миннезингерами и трубадурами. «Нравится тебѣ женщина», говаривалъ онъ, «старайся добиться толку; а нельзя,—ну, не надо, отвернись—земля не клиномъ сошлась». Одинцова ему нравилась; распространенные слухи о ней, свобода и независимость ея мыслей, ея несомнѣнное расположеніе къ нему—все, казалось, говорило въ ея пользу; но онъ скоро понялъ, что съ ней не добьешься толку, а отвернуться отъ нея онъ, къ изумленію своему, не имѣлъ силъ. Кровь его загоралась, какъ только онъ вспоминалъ о ней; онъ легко сладилъ бы со своею кровью, но что-то другое въ него вселилось, чего онъ никакъ не допускалъ, надъ чѣмъ всегда трунилъ, что возмущало всю его гордость. Въ разговорахъ съ Анной Сергѣевной онъ еще больше прежняго высказывалъ свое равнодушное презрѣніе ко всему романтическому; а оставшись наединѣ, онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ. Тогда онъ отправлялся въ лѣсъ и ходилъ по немъ большими шагами, ломая попадавшіяся вѣтки и браня въ полголоса и ее, и себя; или забирался на сѣновалъ, въ сарай, и упрямо закрывалъ глаза, заставлялъ себя спать, что ему, разумѣется, не всегда удавалось. Вдругъ ему представится, что эти цѣломудренныя руки когда-нибудь обовьются вокругъ его шеи, что эти гордыя губы отвѣтятъ на его поцѣлуи, что эти умные глаза съ нѣжностью—да, съ нѣжностью—остановятся на его глазахъ, и голова его закружится, и онъ забудется на мигъ, пока опять не вспыхнетъ въ немъ негодованіе. Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода «постыдныхъ» мысляхъ, точно бѣсъ дразнилъ его. Ему казалось иногда, что и въ Одинцовой происходитъ перемѣна, что въ выраженіи ея лица проявлялось что-то особенное, что, можетъ быть... Но тутъ онъ обыкновенно топалъ ногою или скрежеталъ зубами и грозилъ себѣ кулакомъ.»

Въ этой борьбѣ Базарова съ самимъ собою, въ борьбѣ теоріи съ природой—заключается вся, такъ сказать, иронія романа, которую Тургеневъ проводитъ до конца, заставляя Базарова потѣшаться надъ своею любовью даже на смертномъ одрѣ:

«Ну, что жъ мнѣ вамъ сказать... Что я любилъ васъ? *Это и прежде не имѣло никакого смысла, а теперь подавно. Любовь—форма, а моя собственная форма уже разлагается.* Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вотъ вы стоите, такая красивая...»

Вся эта иронія была бы совершенно умѣстна, еслибы Тургеневъ имѣлъ цѣлью изобразить аскета, борющагося со своей природой, или разочарованнаго идеалиста вродѣ Онѣгина, который, какъ извѣстно, по полученіи письма Татьяны подавилъ въ себѣ возникшее-было увлеченіе, чтобы выдержать до конца свое скептическое отношеніе къ жизни. Средневѣковый аскетъ и разочарованный Онѣгинъ—это два вида одного и того же идеализма, и, какъ мы видимъ, отрицаніе любви свойственно вполнѣ тому старому міросозерцанію, за которое ратуетъ Тургеневъ и которое хотя и признавало любовь въ высокомъ идеалѣ, но приводило постоянно человѣка къ отрицанію ея въ жизни. Приписывать же новому міросозерцанію отрицаніе любви, какъ это дѣлаетъ Тургеневъ,—чистая нелѣпость. Правда, новое міросозерцаніе выводитъ любовь, какъ и всѣ психическія явленія,—изъ ощущеній. Но выводить любовь изъ ощущеній,—вовсе не значитъ отрицать любовь или же низводить ее на степень мимолетныхъ чувственныхъ наслажденій. Еслибы Тургеневъ опять-таки потрудился посмотрѣть, что дѣлается въ жизни, онъ встрѣтилъ бы въ дѣйствительности не мало людей, воспринявшихъ новое міросозерцаніе, которые испытываютъ сильныя и глубокія привязанности и не видятъ въ этомъ ни капли противорѣчія со своими идеями. Правда, они не считаютъ любви высшей цѣлью жизни, неизреченнымъ и необъяснимымъ таинствомъ, фатумомъ, заранѣе предуставляющимъ влеченье двухъ сердецъ. Они смѣются надъ всѣми этими романтическими бреднями; но смѣяться надъ взглядами романтиковъ на любовь—вовсе не значитъ смѣяться надъ самою любовью. Базаровъ могъ бороться со своей страстью, но не вслѣдствіе какихъ-либо отвлеченныхъ теорій, отрицающихъ любовь, а изъ причинъ чисто реальныхъ. Очень часто случается, что какая-либо страсть, слѣпо повинуясь своимъ естественнымъ законамъ, загорается въ человѣкѣ помимо всѣхъ доводовъ разсудка. Базаровъ могъ влюбиться въ Одинцову и въ то же время сознавать, что эта барыня, изнѣженная комфортомъ, цѣнящая выше всего спокойствіе и ради сохраненія этого спокойствія не рѣшающаяся пошевельнуть пальчикомъ, совершенно не годится быть ни его женой, ни любовницей; онъ могъ вслѣдствіе этого смотрѣть на свою страсть, какъ на слѣпую, лишенную всякихъ разумныхъ основаній и потому унижающую его. Но борьба противъ такой страсти не была бы борьбою во имя какой-либо отвлеченной теоріи: это была бы чисто-жизненная борьба, достойная Базарова и достойная кисти талантливаго художника. Но Тургеневъ ни въ одномъ мѣстѣ своего романа и тѣни намека не сдѣлалъ на подобнаго рода борьбу, а повсюду на первомъ планѣ вы видите Базарова, борющагося съ собою только потому, что онъ считаетъ любовь белибердою и романтизмомъ.

Читатель можетъ сдѣлать мнѣ вотъ какое возраженіе относительно Базарова: я обвиняю идеалистовъ въ томъ, что они не поняли новаго міросозерцанія, увидѣвши въ немъ сплошной рядъ безусловныхъ отрицаній, и объясняю это непониманіе скудостью знаній и логическаго развитія мысли, выносимою нами изъ нашего воспитанія. Но вѣдь подобная причина приложима не къ однимъ идеалистамъ, а вообще ко всей массѣ нашего общества. Вѣдь не въ особенныхъ же школахъ учились идеалисты, не понявшіе новаго міросозерцанія. Молодежь училась въ тѣхъ-же училищахъ и по такимъ-же жиденькимъ учебникамъ. Многіе молодые люди могли точно такъ-же не понять новаго міросозерцанія, какъ и старики, хотя и отнеслись къ нему сочувственно. Всосавши съ молокомъ матери и воспринявши въ дѣтскіе годы порядочную дозу идеализма,—они могли, подобно отцамъ, увидѣть въ новомъ міросозерцаніи рядъ безусловныхъ отрицаній и отпускать въ своемъ увлеченіи трескучія фразы,

вложенныя Тургеневымъ въ уста Базарова и Кирсанова, вродѣ того, что мы, молъ, все отрицаемъ, мы ломаемъ, мы—сила и пр. Очень можетъ быть, что Тургеневъ, въ лицѣ своихъ молодыхъ героевъ, представилъ вовсе не людей новаго міросозерцанія, а тѣхъ недоучившихся баричей, которые слышали только, что въ какомъ-то приходѣ звонятъ, но не знаютъ гдѣ, и щеголяютъ фразами дешеваго отрицанія, изъ одного тщеславнаго желанія порисоваться ими, да изъ-за того еще, что у нихъ кровь кипитъ и силъ избытокъ. Очень можетъ быть, что Тургеневъ изобразилъ именно тѣхъ рыцарей, которые, какъ это было въ прежнее время, такъ и теперь, съ невѣроятною легкостью переходятъ отъ щеголеватаго отрицанія къ весьма нещеголеватому примиренію съ самой пошленькой дѣйствительностью.

Безспорно, Тургеневъ могъ въ дѣйствительности встрѣтить всѣ тѣ фразы, которыя онъ вложилъ въ уста своихъ новыхъ героевъ. Какой только уродливости нельзя подыскать въ нашей убогой дѣйствительности! Но въ такомъ случаѣ Тургеневъ былъ обязанъ отдѣлить ложное пониманіе новыхъ идей отъ истиннаго, что онъ конечно и сдѣлалъ-бы на Базаровѣ, еслибы самъ онъ понималъ, въ чемъ тутъ заключается различіе. Вы видите, что Тургеневъ выдѣляетъ Базарова изо всѣхъ окружающихъ его людей одного съ нимъ лагеря. Онъ высоко поставилъ его надъ Ситниковымъ, Кукшиной, въ лицѣ которыхъ онъ изобразилъ грязные подонки стараго времени, вынесшіе изъ новыхъ идей только новый способъ времяпрепровожденія. Онъ возвысилъ Базарова и надъ другомъ его, прекраснодушнымъ Аркадіемъ, этимъ тщедушнымъ недоноскомъ прогресса. Въ лицѣ Базарова Тургеневъ, очевидно, имѣлъ намѣреніе представить типъ лучшихъ представителей молодого поколѣнія. Онъ надѣлилъ его многими такими симпатичными чертами, вслѣдствіе которыхъ критика въ началѣ 60-хъ годовъ имѣла основаніе видѣть въ Базаровѣ типъ лучшихъ молодыхъ людей нашего времени. Происходя изъ плебейскаго рода, Базаровъ вынесъ отъ своихъ предковъ ту жилку усидчиваго трудолюбія, тотъ физическій и нравственный закалъ, которые такъ рѣзко отличаютъ его отъ мягкосердечныхъ, дряблыхъ, лѣнивыхъ и жиденькихъ натуришекъ кирсановской атмосферы. Жизнь, полная труда и борьбы изъ-за куска хлѣба, изъ-за желанія пробиться собственной энергіей безъ всякой посторонней помощи, заставила его пройти сквозь огонь и воду и еще болѣе закалила его. Вы видите передъ собою человѣка, который не ограничивается одѣми фразами о пользѣ труда, а самъ трудится безъ устали. Едва пріѣхалъ онъ къ Кирсановымъ, и на другое-же утро принялся за свои изслѣдованія. Что очень вѣрно съумѣлъ подмѣтить Тургеневъ въ Базаровѣ, это его естественное отношеніе къ простымъ людямъ, снискавшее братское расположеніе къ нему со стороны этихъ людей, что, какъ извѣстно, дается очень немногимъ изъ нашихъ гуманнѣйшихъ прогрессистовъ, несмотря на всѣ выканья и руконожатія, которыя они расточаютъ простому народу отъ всей своей щедрой души.

«Прошло около двухъ недѣль. Жизнь въ Марьинѣ текла своимъ порядкомъ: Аркадій сибаритствовалъ, Базаровъ работалъ. Всѣ въ домѣ привыкли къ нему, къ его небрежнымъ манерамъ, къ его немногосложнымъ, отрывочнымъ рѣчамъ. Ѳеничка въ особенности до того съ нимъ освоилась, что однажды ночью велѣла разбудить его: съ Мишей сдѣлались судороги; и онъ пришелъ и, по обыкновенію, полушутя, полусѣвая, просидѣлъ у нея часа два и помогъ ребенку. Зато Павелъ Петровичъ всѣми силами души своей возненавидѣлъ Базарова: онъ считалъ его гордецомъ, нахаломъ, циникомъ, плебеемъ; онъ подозрѣвалъ, что Базаровъ не уважаетъ его, что онъ едва-ли не презираетъ его, его—Павла Кирсанова! Николай Петровичъ побаивался молодого «нигилиста» и сомнѣвался въ пользѣ его вліянія на Аркадія; но онъ охотно его слушалъ, охотно присутствовалъ при его физическихъ и химическихъ опытахъ. Базаровъ привезъ съ собою микроскопъ и по цѣлымъ часамъ съ нимъ возился. Слуги также привязались къ нему, хотя онъ надъ ними подтрунивалъ: они чувствовали, что онъ все-таки—свой братъ, не баринъ. Дуняша охотно съ нимъ хихикала и, искоса, значительно посматривала на него, пробѣгая мимо «перепелочкой». Петръ, человѣкъ до крайности самолюбивый и глупый, вѣчно съ напряженными морщинами на лбу,—человѣкъ, котораго все достоинство состояло въ томъ, что онъ глядѣлъ учтиво, читалъ по складамъ и часто чистилъ щеточкой свой сюртучокъ, и тотъ ухмылялся и свѣтлѣлъ, какъ только Базаровъ обращалъ на него вниманіе; дворовые мальчики бѣгали за «дохтуромъ», какъ собачонки. Одинъ старикъ Прокофьичъ не любилъ его, съ угрюмымъ видомъ подавалъ ему за столомъ кушанья, называлъ его «живодеромъ» и прощелыгой и увѣрялъ, что онъ съ своими бакенбардами—настоящая свинья въ кустѣ. Прокофьичъ, по своему, былъ аристократъ не хуже Павла Петровича.»

Вотъ какими чертами изображаетъ Тургеневъ Базарова. Это не фразеръ, а труженикъ, не шарлатанъ, скрывающій подъ маскою грошоваго отрицанія отсутствіе всякихъ положительныхъ знаній, а человѣкъ, при всей своей молодости успѣвшій запастись солидными свѣдѣніями. Такіе люди не говорятъ съ чужого голоса звонкихъ фразъ, значеніе которыхъ сами плохо понимаютъ, а высказываютъ то, что сознаютъ, до чего додумались путемъ жизненнаго и научнаго опыта. И вдругъ этотъ энергическій труженикъ, обладающій солидными знаніями, разражается рядомъ нелѣпыхъ фразъ, въ которыхъ, какъ мы видѣли выше, замѣчается полное отсутствіе всякой логики и всякаго знанія. Очевидно, что въ словахъ лучшаго и работающаго представителя молодого поколѣнія Тургеневъ имѣлъ намѣреніе представить новое міросозерцаніе не въ искаженномъ, а въ чистомъ видѣ его, съ цѣлью показать, что это міросозерцаніе гибельно вліяетъ на лучшихъ представителей его. Но такъ какъ Тургеневъ самъ-то не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о новомъ міросозерцаніи, то поневолѣ ему пришлось попасть въ такой-же просакъ, въ какой попалъ-бы я, еслибы мнѣ вздумалось изобразить великаго полководца, измышляющаго великій планъ сраженія; очевидно, что планъ этотъ, при моихъ стратегическихъ способностяхъ и знаніяхъ военныхъ наукъ, вышелъ-бы такой геніальный, что надъ нимъ посмѣялся-бы первый вновь произведенный прапорщикъ.

IV.

До сихъ поръ мы стояли на почвѣ чисто теоретической. Мы разсматривали міросозерцаніе нашихъ от-

цовъ и новое, современное намъ, въ ихъ сущности и по взаимному отношенію другъ къ другу. Романъ Тургенева показалъ намъ, какіе взгляды составились у насъ относительно новаго міросозерцанія при условіи того узкаго идеализма и полнаго отсутствія всякаго философскаго образованія, какими страдаетъ наше общество въ лицѣ даже такихъ людей, какъ Тургеневъ. Въ романахъ, предстоящихъ нашему разбору, на первомъ планѣ стоитъ сторона практическая; они изображаютъ различныя явленія жизни по отношенію къ идеямъ: или повѣствуютъ намъ, какія печальныя послѣдствія произошли отъ вредныхъ идей, или же, напротивъ того, становятся на сторону самыхъ идей и порицаютъ людей, находящихся въ противорѣчіи съ этими идеями. Въ обоихъ случаяхъ взглядъ на жизнь въ этихъ романахъ чисто идеалистическій, и потому, какъ мы увидимъ ниже, романы эти, ратующіе противъ мнимаго нигилизма, сами пропитаны нигилизмомъ весьма мрачнаго свойства.

Если мы изъ міра отвлеченныхъ идей опустимся въ реальную жизнь и начнемъ разсматривать тотъ процессъ, который совершается въ нашемъ обществѣ въ настоящее время, то мы конечно не найдемъ здѣсь той логической послѣдовательности и систематической стройности, какія представляютъ идеи, разсматриваемыя въ отвлеченіи. Жизнь не есть процессія и парадъ, устроенные по заранѣе предначертаннымъ инструкціямъ и церемоніаламъ, а броженіе многихъ силъ, сложный процессъ, въ которомъ тщетно вы будете искать разлинованной симметріи. Смотря на жизнь съ этой точки зрѣнія, мы должны считать неизбѣжными всѣ ея непослѣдовательности и противорѣчія, не упуская изъ вида, что отсутствіе противорѣчій, послѣдовательность возможны только, какъ послѣдній и крайній исходъ того или другого жизненнаго процесса. Идеалисты смотрятъ на это совершенно иначе: выводя все изъ идей и опираясь исключительно на личную волю человѣка, они требуютъ, чтобы человѣкъ въ каждую минуту своего существованія былъ твердо послѣдователенъ своей идеѣ, при этомъ совершенно не берется въ разсчетъ, обладаетъ ли человѣкъ такой волей, которая могла бы противостоять обстоятельствамъ, и таковы ли обстоятельства, чтобы ихъ могла вынести самая гигантская воля. Объяснимъ это наглядньмъ примѣромъ: основная идея протестантства заключалась въ признаніи свободы совѣсти, свободы личнаго сужденія въ дѣлахъ религіи. Въ этой идеѣ заключалась главная сущность протеста противъ католичества и прогрессивнаго движенія Европы въ XV вѣкѣ. И что же мы видимъ? Протестанты, проповѣдуя эту идею въ теоріи, на практикѣ на каждомъ шагу противорѣчили ей: въ своей нетерпимости они превосходили нерѣдко католиковъ и готовы были истреблять ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ; въ самой средѣ протестантства одна секта отрицала существованіе другой и духъ взаимнаго самоистребленія овладѣлъ Европою на два столѣтія, во имя идеи религіозной терпимости. Идеалиста должна привести въ отчаяніе такая крайняя непослѣдовательность въ исторіи. Но, всматриваясь въ событіе это съ реальной точки зрѣнія, мы видимъ, что непослѣдовательность эта была неминуемымъ процессомъ жизни. Когда новая идея вносится въ общество, она необходимо должна встрѣтить въ жизни рядъ учрежденій, обычаевъ, нравовъ и привычекъ, стоящихъ къ ней въ крайнемъ противорѣчіи; иначе эта идея не была бы новой. Бытъ общества вліяетъ на каждую отдѣльную личность; если условія этого быта ложны, ненормальны, стѣснительны, то это отражается на каждой личности, искажая ее такъ или иначе. Живя подъ этими условіями, личность пріобрѣтаетъ разныя привычки, конечно дурныя, если условія быта ненормальны. Когда является новая идея, не можетъ же она разомъ, однимъ дуновеніемъ вѣтра сломить всѣ дурныя привычки, пріобрѣтенныя людьми иногда путемъ полового подбора впродолженіи нѣсколькихъ столѣтій. На первыхъ порахъ люди довольствуются одними внѣшними измѣненіями во имя новыхъ идей, а между тѣмъ старыя привычки продолжаютъ по инерціи дѣйствовать въ нихъ совершенно въ противорѣчіе новымъ идеямъ. Протестанты были совершенно удовлетворены, отвергнувши авторитетъ папы, два-три догмата, поклоненіе иконамъ, да устроивши свою особенную обѣдню въ отличіе отъ католической; но въ то же время они воспитаны были предшествующими вѣками въ духѣ нетерпимости и были слишкомъ озлоблены гнетомъ католичества, который продолжалъ угрожать имъ гибелью. Необходимо было, чтобы европейскія общества нѣсколько столѣтій прожили подъ вліяніемъ такихъ условій жизни, при которыхъ въ нихъ могли бы выработаться новыя привычки, соотвѣтствующія идеѣ терпимости. Мы видимъ, что и до сихъ поръ Европа не вполнѣ достигла этого, и даже въ Америкѣ,—странѣ, въ которой религіозная терпимость развита болѣе, чѣмъ гдѣ либо, возможно появленіе секты мормоновъ съ ея воинственнымъ духомъ истребленія всѣхъ другихъ сектъ. Въ какую историческую эпоху мы ни заглянемъ, вездѣ мы увидимъ подобное явленіе; оно очень грустно, если хотите, но тѣмъ не менѣе неизбѣжно, основываясь на томъ, что мысль человѣческая развивается и перерабатывается гораздо быстрѣе, чѣмъ та инертная масса привычекъ, которыя развиваются подъ гнетомъ обстоятельствъ. Рабы послѣ своего освобожденія долго еще продолжаютъ обыкновенно робѣть, теряться, иногда и унижаться передъ господами, а господа, самые гуманные, продолжаютъ относиться повелительно къ прежнимъ рабамъ. Въ Америкѣ до сихъ поръ существуютъ особенные вагоны для негровъ, и тѣ самые янки, которые принимали горячее участіе въ дѣлѣ освобожденія своихъ черныхъ собратьевъ, все еще стыдятся сидѣть рядомъ съ ними въ одномъ вагонѣ. Поэтому, когда мы разсматриваемъ какую нибудь переходную эпоху и замѣчаемъ въ ней рядъ явленій, поражающихъ насъ своей непослѣдовательностью, мы должны остерегаться видѣть въ этихъ явленіяхъ нѣчто, вышедшее изъ новыхъ идей своего времени. Явленія подобнаго рода бываютъ обыкновенно ничѣмъ инымъ, какъ произведеніемъ старыхъ привычекъ, глубоко въѣвшихся въ бытъ общества.

Мы уже видѣли, въ какомъ жалкомъ состояніи находился умственный кругозоръ нашего образованнаго общества десять лѣтъ тому назадъ. Но не отраднѣе были и нравы его: лишенные всякой самостоятельной

дѣятельности, всякаго труда, всякой заботы о самихъ себѣ, образованные люди проводили жизнь свою въ праздной апатіи, переходя отъ жирнаго обѣда къ карточному столу, отъ резонерства и самоизгрызенія къ сплетнямъ и пересудамъ. Рьяные идеалисты и поклонники высшихъ стремленій въ реальной жизни были большіе любители весьма непзящной клубнички, и доморощенный сенсуализмъ ихъ принималъ нерѣдко самыя грубыя и циническія формы. За недостаткомъ внутренняго содержанія жизни въ обществѣ, была сильно развита страсть къ внѣшнему блеску, страсть казаться, играть роль, щеголять почестями, богатствомъ, или же иною образованностью, начитанностью, глубиной идей, нефистофельскимъ сарказмомъ и даже иногда необузданностью неряшества и цинизма, лишь бы чѣмъ-нибудь возвыситься надъ толпою и обратить на себя вниманіе. Всѣ эти привычки глубоко въѣлись въ наше общество впродолженіе многихъ поколѣній. Когда общество наше пробудилось на минуту отъ своего глубокаго сна, начались реформы, всеобщее увлеченіе новыми вопросами, новыми идеями. Вмѣстѣ съ выраженіемъ *новыя идеи* появилось выраженіе *новые люди*. Выраженіе это употребляется у насъ въ смыслѣ людей, увлекающихся новыми идеями. Но только въ такомъ смыслѣ и возможно пока употреблять это слово. Если же мы начнемъ анализировать новыхъ людей со стороны соотвѣтствія ихъ жизни съ ихъ идеями, то, конечно, мы на каждомъ шагу должны будемъ терпѣть самое горькое разочарованіе: мы встрѣтимъ не мало людей, которые проповѣдуютъ, что жизнь должна быть основана на трудѣ, а сами бездѣльничаютъ;—людей, твердящихъ о самостоятельности и постоянно находящихся подъ чьимъ-нибудь вліяніемъ;—людей, твердящихъ о братствѣ и собирающихъ деньги въ свою потаенную копилку съ самымъ черствымъ эгоизмомъ. Въ романахъ, которые мы будемъ разбирать, мы найдемъ обильные факты такихъ безобразій, и мы постараемся показать въ своемъ мѣстѣ, что если и встрѣчаются въ жизни эти безобразія, то идеи, которыми они прикрываются, нисколько въ этомъ не виноваты, а виновата прошлая жизнь нашего общества со всѣми ея условіями. Но идеалисты не обращаютъ вниманія на законы природы и на зависимость нравственнаго міра человѣка не отъ однѣхъ идей, а главнымъ образомъ отъ условій жизни. Ища повсюду строгаго соотвѣтствія между идеей и фактомъ, они приходятъ въ ужасъ отъ перваго встрѣчнаго противорѣчія въ жизни, впадаютъ въ отчаяніе, подымаютъ вопли о невозможности какого-либо прогресса въ растлѣнной средѣ, или же на безобразія жизни смотрятъ, какъ на слѣдствія безобразія новыхъ идей, и, отвергая послѣднія, устремляются вспять и начинаютъ поклоняться старымъ кумирамъ, видя въ нихъ единственное спасеніе.

Однимъ изъ такихъ воплей идеализма о нищетѣ міра сего представляется романъ Писемскаго «Взбаломученное море».

Въ романѣ своемъ Писемскій представляетъ наше общество въ видѣ безотраднаго моря, на поверхности котораго онъ замѣчаетъ много радужныхъ отливовъ, но въ глубинѣ таится страшная бездна самыхъ отвратительныхъ чудовищъ, безкровныхъ рыбъ и мерзкихъ улитокъ, приросшихъ къ камнямъ, покрытымъ скользкой вонючей тиной. Въ первыхъ двухъ частяхъ романа писатель не пожалѣлъ мрачныхъ красокъ, чтобы изобразить намъ нашу прошлую жизнь во всей ея безобразной наготѣ, покрытой всевозможными болячками. На первомъ планѣ рисуется передъ нами герой романа Вакланов. Авторъ относится къ нему очень снисходительно въ четвертой части романа, опредѣляя его такимъ образомъ: «Герой мой, во-первыхъ,— не герой, а обыкновенный смертный изъ нашей, такъ-называемой, образованной среды. Онъ праздно выросъ, недурно поучился (!), поступилъ по протекціи на службу, благородно и лѣниво послужилъ, выгодно женился, совершенно не умѣлъ распоряжаться своими дѣлами и больше мечталъ, какъ бы пошалить, порѣзвиться и попріятнѣй провести время. Онъ— представитель того разряда людей, которые до 55 года замирали отъ восторга въ итальянской оперѣ и считали, что это высшая точка человѣческаго назначенія на землѣ, а потомъ сейчасъ же стали, съ увлеченіемъ и вѣрою школьниковъ, читать потихоньку «Колоколъ». Внутри, въ душѣ у этихъ господъ, нѣтъ, я думаю, никакого самодѣланія; но зато натираться чѣмъ вамъ угодно снаружи—величайшая способность!»

Вообще типъ Вакланова удался Писемскому какъ нельзя болѣе, и можно смѣло сказать, что въ нашей литературѣ не было еще такого полнаго и цѣльнаго изображенія этого типа, какое мы видимъ въ романѣ Писемскаго. Вакланов есть полное олицетвореніе людей, которые только и могутъ развиваться на почвѣ жизни даровой, праздной и ничѣмъ не наполненной. Воспитанный на папенькиныхъ хлѣбахъ, на полномъ барскомъ раздольѣ, онъ уже на гимназической скамьѣ привыкъ корчить изъ себя картиннаго героя вродѣ тѣхъ, которые встрѣчаются въ повѣстяхъ Марлинскаго. Пожавши подъ столомъ ручку своей кузинѣ, онъ уже хвастается своему товарищу Венявину:

«— А было, что я сталъ къ ней въ такія отношенія, при которыхъ уже пятиться нельзя! прибавилъ онъ съ разстановкой.

Венявинъ даже поблѣднѣлъ.

— Какъ такъ?

— Такъ!

И Александръ еще дальше закинулъ голову назадъ.

— Она была, продолжалъ онъ, закрывая глаза:— грустна, какъ падшій ангелъ... Только и молила: «Что вы, что вы со мною дѣлаете?»... Но я былъ бѣшеный, прибавилъ онъ, сжимая кулаки.»

Когда потомъ падшій ангелъ пококетничалъ немного съ фигель-адъютантомъ, Вакланов воспылалъ ревностью и, уѣзжая въ Москву, въ университетъ, трагически проговорилъ:

«— Если я не нашелъ въ прекрасномъ, такъ найду въ дурномъ!»

И картинный геройчикъ предался студенческимъ пирушкамъ и скандаламъ, воображая, что онъ топитъ въ этомъ времяпрепровожденіи свою бурную страсть. Какимъ представляется онъ вамъ на школьной скамьѣ, такимъ видите вы его и въ жизни: жалокъ и гадокъ онъ и тогда, когда силою растлѣваетъ въ своемъ имѣніи крестьянскую дѣвушку, и когда стыдится

ѣхать со своей матерью, и когда, въ припадкѣ ревности къ Софи Леневой, швыряетъ стулья и подсвѣчники въ ея домѣ, и когда женится на Евпраксіи,—дѣвушкѣ, не имѣющей съ нимъ ничего общаго, изъ одного сластолюбиваго любопытства, что, молъ, за существо эта дѣвушка и какъ она будетъ любить; жалокъ и гадокъ онъ и въ ночной очерзительной сценѣ съ Казимірой, и въ своей поѣздкѣ съ Софи Леневой въ Петербургъ тихонько отъ жены. Во всемъ этомъ вы видите безхарактернаго, пошлаго селадона, растлѣннаго до мозга костей.

Въ подобіе Бакланову стоитъ героиня повѣсти—Софи Ленева. Родившись въ бѣдномъ дворянскомъ семействѣ и не получивши никакого воспитанія, Софи вынесла изъ дѣтства одну жажду—выбиться изъ подавляющей бѣдности какими бы то ни было средствами для того, чтобы встать въ одинъ уровень съ другими и поражать окружающихъ красотой и нарядами. Для достиженія этого она готова продавать себя на каждомъ шагу, и какъ сначала продала она себя мужу своему, старому, изжившему, но зато богатому помѣщику, такъ потомъ продалась еврею-откупщику, а впослѣдствіи, сколотивши деньжонки цѣною своей красоты, поѣхала заграницу транжирить даромъ доставшіеся капиталы и мѣнять на каждой станціи любовниковъ, пока наконецъ за долги не попала въ лондонское Клиши. Это, какъ вы видите,—типъ, тоже взятый изъ дѣйствительности, и авторъ не пожалѣлъ красокъ, чтобы очертить его во всей его грязной непривлекательности.

Далѣе вы видите мрачную агонію семейной жизни въ семьѣ Басардиныхъ. Печальна судьба Надежды Павловны Басардиной, вышедшей замужъ за полуидіота, чтобы только уйти куда-нибудь и избавиться отъ монотонной, затхлой, невыносимой жизни въ домѣ сестры. А всѣ эти семейныя хлопоты и дрязги, гонки за богатыми тетушками, выпрашиванья тепленькихъ мѣстечекъ, чтобы какъ-нибудь поправить финансы и устроить семью,—все это наводитъ на насъ тяжелую, свинцовую тоску. Особенно мрачно рисуется передъ вами типъ молодого Басардина,—этой жертвы корпуснаго воспитанія, колотящаго будочниковъ по зубамъ, обѣдающаго даромъ въ трактирахъ, жаднаго къ деньгамъ, чувственнаго и низкаго. А далѣе за Басардинымъ открывается передъ вами цѣлый омутъ циниковъ и идіотовъ, блудниковъ и блудницъ, администраторовъ и откупщиковъ, совершающихъ, подъ прикрытіемъ власти и денегъ, уголовныя преступленія, отъ которыхъ волоса могутъ встать дыбомъ. Писемскій открываетъ передъ вами жизнь и нравы гораздо болѣе мрачные, чѣмъ нравы временъ распаденія Римской имперіи: тогда, по крайней мѣрѣ, страшная гниль подкрашивалась лоскомъ древней цивилизаціи; здѣсь же растлѣніе нравовъ представляется вамъ въ самомъ грубомъ, циническомъ видѣ полуобразованнаго, полудикаго общества.

Въ этой картинѣ вы видите полное, безусловное отрицаніе Писемскимъ всей нашей прошлой жизни, которая была повидимому благоустроена, тиха и безмятежна, но подъ наружнымъ благочиніемъ скрывала самое страшное растлѣніе. Но вотъ лазурное, неподвижное море заволновалось. Начались реформы, поднялись вопросы, въ обществѣ возникло замѣтное броженіе. Отрицая все прошлое, Писемскій отрицаетъ вмѣстѣ съ этимъ и то движеніе, которое испытало наше общество, отвергая за нимъ всякое значеніе.

«Въ началѣ нашего труда,—говоритъ онъ,—при раздавшемся около насъ, со всѣхъ сторонъ, говорѣ, шумѣ, трескѣ, ясное предчувствіе говорило намъ, что это не буря, а только рябь и пузыри, отчасти надутые извнѣ и отчасти появившіеся отъ поднявшейся снизу всякой дряни. Событія какъ нельзя лучше оправдали наши ожиданія.»

А въ другомъ мѣстѣ онъ проводитъ ту же мысль еще яснѣе, влагая ее въ уста одному изъ своихъ героевъ—Верегину.

«— Неужели же во всемъ послѣднемъ движеніи вы не признаете никакого смысла? спросилъ Баклановъ.

Верегинъ усмѣхнулся.

— Никакого!.. одно только обезьянство, игра въ обѣдню, какъ дѣти вонъ играютъ.

— Хороша игра въ обѣдню, за которую въ крѣпость попадаютъ, сказалъ Баклановъ.

— Очень жаль этихъ господъ въ ихъ положеніи, возразилъ Верегинъ,—тѣмъ болѣе, что, говоря откровенно, они плоть отъ плоти нашей, кость отъ костей нашихъ. То, что мы дѣлали крадучись, чему потихоньку симпатизировали, они возвели въ принципъ, въ систему; это наши собственныя сѣмена, только что распустившіяся въ букетъ.

— Если подъ движеніемъ разумѣть—началъ Юрасовъ—собственно революціонное движеніе, такъ оно конечно безсмыслица, но движеніе—въ смыслѣ реформъ?

Верегинъ придалъ какое-то странное выраженіе своему лицу.»

Что же привело Писемскаго къ этому безусловному отрицанію не только всего нашего прошлаго, но и того движенія нашего общества, которое было ничѣмъ инымъ, какъ стремленіемъ выйти изъ этого печальнаго прошлаго?

Во-первыхъ, Писемскаго сбилъ съ толку тотъ единственный процессъ жизни, который ясенъ для всякаго мало-мальски образованнаго человѣка, но на который Писемскій взглянулъ съ точки зрѣнія узкаго идеализма. Его смутило то обстоятельство, что на арену увлеченія общественнымъ движеніемъ выступили люди того же добраго стараго времени — Баклановы, Леневы, Басардины, и внесли въ это движеніе тѣ же гадости, которыми они начинили себя въ своей прежней жизни. Что новаго и хорошаго могли произвести эти люди? Очевидно, ничего. Но за этими подонками движенія писатель не разсмотрѣлъ главнаго, что собственно составляло суть движенія, его средоточіе и ядро — тѣхъ новыхъ требованій отъ жизни, тѣхъ условій, которыхъ начали добиваться люди, стоящіе выше и въ умственномъ, и въ нравственномъ отношеніи героевъ романа Писемскаго, добиваться для избавленія себя отъ тѣхъ же самыхъ Баклановыхъ, Леневыхъ, Басардиныхъ и проч. Въ этомъ отношеніи Писемскій и самъ не замѣтилъ, въ какое абсурдное противорѣчіе онъ поставилъ самого себя: онъ выставилъ передъ нами людей, мало того что растлѣнныхъ прежней жизнью, но и плохо учившихся, мало образованныхъ, судящихъ обо всемъ и вкривь, и вкось. Такіе люди, увлек-

шись новыми идеями, очевидно, должны искажать ихъ и въ высказываньи, и въ примѣненіи на дѣлѣ. А между тѣмъ Писемскій, по словамъ и поступкамъ своихъ героевъ, судитъ о томъ, каковы эти идеи сами по себѣ. Такъ напримѣръ, въ первой части романа Писемскій говоритъ: «И не одну, не двухъ, а сотни и тысячи мы знаемъ подобныхъ трушеницъ-матерей, которыя на своихъ скорбныхъ плечахъ, часто подъ колотками и бранью, поднимаютъ огромныя семьи, и не *безнравственныхъ правъ* требуютъ онѣ у общества, а чтобы хоть сколько нибудь подсобили имъ нести труды, которые возложили на нихъ сами-супруги.»

Такимъ образомъ Писемскій считаетъ безнравственнымъ даровать женщинамъ какія-либо права и улучшить положеніе ихъ. На какомъ же это основаніи? Единственно на томъ, что безнравственные сами по себѣ люди; каковы Бакланов или Софи Ленева, не понявши ясно, въ чемъ заключаются истинныя требованія правъ женщины, исказили эти требованія, найдя въ нихъ оправданіе своей праздной чувственности. Писемскій до такой степени дѣтски-наивенъ, что въ поѣздкѣ Бакланова съ Софи Леневой за-границу тихонько отъ жены или въ поверхностныхъ фразахъ m-lle Базилейнъ о бракѣ видитъ альфу и омегу женскаго вопроса.

Точно такъ же отнесся Писемскій и къ гласности. Его поразилъ тотъ фактъ, что гласностью могутъ злоупотреблять такіе люди, какъ Васардинъ, употребляя ее, какъ орудіе для низкаго кляузничества, съ цѣлью загребанія денегъ или мести. Онъ разочаровался и въ гласности, находя, что въ идеалѣ это очень хорошая вещь, но не въ такомъ растлѣнномъ обществѣ, какъ наше. Ограничившись такимъ образомъ наблюденіемъ нравовъ одной растлѣнной среды, Писемскій по одной этой средѣ судитъ о несостоятельности всего нашего общества, и съ другой стороны по тому, какъ искажаетъ эта среда идеи, сами по себѣ можетъ быть и почтенныя, онъ судитъ о самыхъ идеяхъ. Что писатель не имѣетъ объ этихъ идеяхъ никакого понятія, которое возвышало бы его надъ Баклановымъ или Софи Леневой, это видно изъ слѣдующаго обстоятельства: рисуя въ туманѣ тѣнь Постскриптнаго, онъ видитъ въ немъ силу; вокругъ этого человѣка, по его словамъ, группируется общество того времени; слѣдовательно, Писемскій видитъ въ немъ средоточіе движенія. Человѣкъ сильный, занимающійся, способный встать во главѣ толпы, очевидно, долженъ чѣмъ-нибудь выдѣляться отъ прочихъ героевъ романа. Если они, легкомысленные, праздные, плохо развитые, безъ основательныхъ знаній, безъ всякой сознательной цѣли, довольствуются поверхностными фразами, то чѣмъ отличаются отъ нихъ сильные люди, занимающіеся, знающіе, вродѣ Постскриптнаго? Этого мы не видимъ въ романѣ Писемскаго, потому что въ уста Постскриптнаго онъ вложилъ тѣ же плоскія и безсмысленныя фразы, которыя Тургеневъ вложилъ въ уста Базарова. Точно такъ-же заставилъ онъ его отрицать безусловно искусства и науки и произносить даже такія вещи, что можетъ-быть человѣку азотъ, котораго больше въ городахъ, нужнѣе, чѣмъ кислородъ. Если Писемскій и въ устахъ Постскриптнаго помѣщаетъ идеи предполагаетъ въ такомъ же видѣ, какъ и въ устахъ своихъ жалкихъ героевъ, то это прямо показываетъ, что онъ имѣетъ объ этихъ новыхъ идеяхъ такое же понятіе, какъ и Софи Ленева, и нисколько не возвышается въ своемъ умственномъ развитіи надъ героиней своего романа.

Въ то же самое время Писемскаго сбило съ толку слѣдующее обстоятельство: случалось ли вамъ среди вашихъ мирныхъ занятій получить внезапное извѣстіе, что въ жизни вашей готовится важная перемѣна? Что удивительнаго, что у васъ при подобномъ извѣстіи пропадетъ сонъ, аппетитъ, вы бросите ваши обыденныя занятія, будете только и думать, и говорить все о томъ, что неожиданно встревожило васъ. То же самое испытывало и общество наше: въ его жизни готовилось столько важныхъ и вѣковыхъ реформъ; оно было въ недоумѣніи и тревогѣ; оно не знало, чѣмъ разрѣшатся всѣ эти реформы,—и можно-ли удивляться, что въ эти роковыя минуты помутилось общее теченіе дѣлъ; кромѣ общественныхъ вопросовъ, всѣ другіе считались нестоющими вниманія. Вопросы эти на первомъ планѣ стояли повсюду, и въ гостиныхъ, и въ клубахъ, и на сценахъ, и въ училищахъ; люди, никогда прежде не думавшіе ни о чемъ, кромѣ оперы или ужина, сдѣлались ревностными гражданами.

Писемскій, при своемъ узкомъ и темномъ умственномъ кругозорѣ, не могъ переварить даже и этого простого и нормальнаго явленія жизни. Онъ посмотрѣлъ на него съ точки зрѣнія мистера Подзнапа въ романѣ Диккенса «Нашъ взаимный другъ». Подобно тому, какъ мистеръ Подзнапъ предполагалъ, что человѣкъ, что-бы съ нимъ ни происходило, невозмутимо и аккуратно долженъ во столько-то часовъ встать, во столько-то часовъ бриться, во столько-то часовъ идти въ контору, во столько-то часовъ обѣдать, во столько-то часовъ ложиться спать—такъ и Писемскій предположилъ, что въ благоустроенномъ обществѣ, хотя бы происходило нашествіе варваровъ или столкновеніе земли съ кометой, благонамѣренные граждане должны не прерывать общаго теченія жизни: ходить въ оперу, учить дѣтей, гдѣ ставить букву ъ, бесѣдовать о погодѣ и танцовать кадриль; молодые кавалеры должны попрежнему говорить любезности дамамъ, а дамы — блистать нарядами и красотой. Писемскій чуть не плачетъ, что объ общественныхъ вопросахъ заговорила даже Софи Ленева, едва умѣвшая читать и писать, что она, «молодая и вѣроятно еще пылкая женщина, проходитъ съ невниманіемъ и зѣвотой, когда ей читаютъ, со слезами въ голосѣ, про любовь; некогда ей заниматься симъ бреннымъ удовольствіемъ; въ ней одинъ огонь горитъ, огонь гражданки!»

Что удивительнаго, если, при возбужденномъ состояніи общества, происходятъ разныя минутныя увлеченія, ведущія за собою печальныя жертвы и утраты. Эти жертвы сторицею выкупаются тѣмъ новымъ развитіемъ жизни, которое выноситъ общество изъ своего возбужденнаго состоянія. Писемскій плачетъ, что молодежь въ своемъ увлеченіи потеряла дѣльнаго профессора въ Веригинѣ, и изъ этого сейчасъ же выводитъ заключеніе, что новое движеніе ведетъ къ невѣжеству и варварству. Но протестантское увлеченіе стоило Европѣ не потери двухъ-трехъ Веригиныхъ, а

десятковъ разрушенныхъ до основанія городовъ, со всѣми ихъ школами и учителями, и все-таки эти города гораздо болѣе процвѣли при новыхъ условіяхъ жизни, чѣмъ до своего разрушенія процвѣтали подъ тяжелымъ гнетомъ католичества.

Выйдя такимъ образомъ изъ той мысли, что повсюду должны быть тишина, порядокъ и благоустроеніе, что каждый смертный долженъ быть непремѣнно идеальнымъ гражданиномъ, идеальнымъ мужемъ, идеальнымъ отцомъ семейства, и найдя въ дѣйствительности вмѣсто этого какой-то нестройный хаосъ, Писемскій не имѣлъ силъ возвыситься надъ этимъ хаосомъ и прослѣдить въ немъ естественный процессъ жизни, а прямо и безусловно, какъ истый идеалистъ, предалъ отрицанію все происходящее передъ нимъ; все, молъ, это мыльные пузыри, шутиха, игра въ обѣдню, и больше ничего. Но человѣкъ не можетъ ограничиваться подобнаго рода отрицаніемъ; оно дѣйствуетъ на его нравственную природу такъ же, какъ безвоздушное пространство на физическую: надо же дышать какимъ-нибудь воздухомъ, хотя бы и наполненнымъ міазмами. Какъ темный, узкій идеалистъ, Писемскій нашелъ выходъ своему отрицанію въ слѣпой вѣрѣ въ такія отвлеченныя субстанціи, какъ *здравый смыслъ* народа, того самаго народа, о которомъ въ четвертой части онъ самъ же говоритъ: «простой народъ отъ безпрерывно повторявшихся поборовъ сталъ приходить наконецъ въ отупѣніе: съ него брали и въ казну, и барину, и чиновникамъ, да еще и въ солдаты отдавали. Какъ бы въ отместку за все это, онъ неистово пилъ отравленную откупную водку и, приходя оттого въ скотское бѣшенство, дрался, какъ звѣрь, или со своимъ братомъ, или съ женой, и безпрестанно попадалъ за то на каторгу». Другая субстанція, на которой почилъ Писемскій, это тотъ пресловутый *народный патріотизмъ* — чувство любви и самоотверженія, вложенныя въ сердце русскаго народа прежде его существованія, тотъ самый патріотизмъ, который когда-то проникалъ насквозь драмы Кукольника, вродѣ «Рука Всевышняго отечество спасла». Третья субстанція, на которой почилъ Писемскій, это — *русское семейное начало*. Вы не думайте, чтобы здѣсь подразумѣвалось вообще семейное начало. Семья существуетъ повсюду, и въ Европѣ, и въ Америкѣ, и въ Азіи; но есть еще особенное русское семейное начало, котораго нигдѣ нѣтъ на всемъ земномъ шарѣ, которое и въ Россіи существуетъ только въ головахъ такихъ мыслителей, какъ Писемскій. Это русское семейное начало основывается на томъ, что въ случаѣ если мужикъ или родитель заушитъ своихъ домочадцевъ и раскваситъ имъ носы въ кровь, жена и дѣти должны съ нѣжнымъ умиленіемъ поцѣловать заушающую руку. Олицетвореніемъ этого русскаго семейнаго начала является Евпраксія, жена Баклановa, которая послѣ того, какъ мужъ прокутилъ ея имѣніе и уѣхалъ отъ нея съ любовницей, по первому же письму его стремглавъ полетѣла къ нему въ Парижъ, видя въ немъ отца нѣжно любимыхъ дѣтей своихъ, а въ себѣ—подругу жизни его, преданную ему по чувству долга, назначеннаго свыше. О, еслибы только могъ Писемскій понять, какое глубокое искаженіе всякихъ истинныхъ и здоровыхъ семейныхъ началъ таится во всей этой кислятинѣ!

V.

У автора «Марево» мы видимъ гораздо больше чутья относительно стремленій и чувствъ молодого поколѣнія. Онъ понимаетъ повидимому, что современными идеями можно увлекаться не изъ одной моды и обезьянства, но что увлеченія эти могутъ быть создаваемы самою жизнію, могутъ глубоко проникать человѣка до мозга костей его и составлять сущность его существованія. Это мы можемъ прослѣдить на героинѣ романа, Инѣ. Она была дочь одного изъ передовыхъ людей своего времени, вокругъ котораго, по словамъ автора, какъ вокругъ центра, группировалось одно время все мыслящее въ Россіи. Непонятый своимъ вѣкомъ, не найдя никакого исхода своимъ стремленіямъ, разочарованный въ своей тщеславной и пустой супругѣ, онъ зачахъ и умеръ на рукахъ своей дочери, въ которую вложилъ весь пылъ своихъ неудовлетворенныхъ, осмѣянныхъ стремленій: «Если ты пойдешь по пути, завѣщанному тебѣ отцомъ, ты будешь его истителемъ, потому что въ тебя вложены великія силы... Если ты пойдешь противъ отца, я не сужу тебя; свобода прежде всего; но неужели моя Инна пойдетъ противъ отца?» Вы подумайте только, какъ должны были подѣйствовать эти слова въ устахъ мученика идеи на молодое, горячее, любящее существо. Не должны ли были они произвести роковое вліяніе на всю жизнь Инны, подобно тому, какъ всю природу Гамлета потрясло появленіе тѣни отца его? Затѣмъ понятно становится, что вся жизнь Инны, вся мощь ея природы должны быть направлены къ тому, что завѣщалъ ей отецъ на смертномъ одрѣ. Когда она говоритъ своей матери: «Анна Михайловна! вы одному человѣку отравили жизнь, удовольствуйтесь! Меня вамъ не свалить»,—вы видите въ этихъ словахъ не одно тщеславное желаніе порисоваться молодымъ протестомъ противъ родительской власти, а болѣзненный стонъ наболѣвшей души, и тѣмъ болѣе оправдывается подобный вопль, чѣмъ тщеславнѣе и глупѣе представляется вамъ въ этой сценѣ Анна Михайловна, возроптавшая на дочь за то, что она не съумѣла, какъ слѣдуетъ, принять графа.—Когда Инна говоритъ въ своемъ дневникѣ: «Ужъ не ощущаете ли вы зародыши нѣжной страсти? Въ такомъ случаѣ проворнѣй въ ходъ специфическое средство: мѣткую эпиграмму, да такую, чтобы вамъ послѣ и взглянуть на него было смѣшно!»—здѣсь опять-таки не базаровскій протестъ противъ любви во имя новыхъ идей, отвергающихъ будто бы любовь, а естественное чувство человѣка, у котораго всѣ силы души направлены къ тому, что онъ считаетъ великимъ, и которому передъ этимъ великимъ прочія чувства кажутся мелочными, ничтожными, способными только затмить въ немъ великую страсть. Таковъ всегда бываетъ человѣкъ, вдохновленный какимъ-нибудь высокимъ призваніемъ. Таковъ былъ Гамлетъ, пренебрегшій чувствомъ къ Офеліи, такова была Іоанна д'Аркъ, такова и Инна, произносящая слѣдующія слова: «Неужели мнѣ жаль разстаться съ нашимъ затхлымъ житьемъ? Неужели мнѣ

жаль людей, съ которыми у меня ничего нѣтъ общаго? *Неужели такъ велика сила привычки, что передъ нею меркнетъ великое дѣло, которому я должна служить? Неужели пошленькое себялюбіе перетянетъ обѣтъ, данный сознательно и обдуманно?*» Прочтите наконецъ ту сцену во второй части, гдѣ Инна слушаетъ оперу «Гугеноты». Въ этой сценѣ въ лицѣ Инны выраженъ прекрасно взглядъ молодого поколѣнія на искусство: то самое молодое поколѣніе, которое смѣется надъ произведеніями искусства, отвлеченными отъ жизни, выражающими одно безцѣльное поклоненіе прекрасному, совершенно иначе относится къ произведеніямъ, анализирующимъ жизнь и отзывающимся на всѣ ея мучительные вопросы. Такихъ произведеній молодое поколѣніе никогда не отрицало и не будетъ отрицать.

Но отличіе Ключникова отъ Тургенева и Писемскаго только и ограничивается созданіемъ типа Инны. Выполненіе же этого типа не выдерживаетъ ни малѣйшей критики. Углубляясь въ романъ, вы видите тѣ же тенденціи, тѣ же взгляды на современное движеніе, что́ и у Писемскаго, и тотъ же отрицательный выводъ въ заключеніе. Отвергнувши все старое, затхлое, износившееся и заставивши искать Инну выхода изъ всего этого въ современномъ движеніи, онъ совершенно въ соотвѣтствіи съ *дымомъ* Тургенева, и съ *пузырями* Писемскаго не видитъ въ современномъ движеніи ничего, кромѣ *миража, марева*; въ людяхъ движенія онъ ничего не находитъ, кромѣ ряда противорѣчій высокихъ идей съ дрянными или низкими поступками, и приводитъ такимъ образомъ Инну къ самому горькому разочарованію:

«Всѣ формы жизни прошли передо мною; всѣ направленія дѣятельности сталкивались вокругъ меня, ломая и уничтожая другъ друга; я увлекалась то тѣмъ, то другимъ, но приступить не могла ни къ одному. Какъ только я осматривалась въ новомъ положеніи настолько, что затаенная ложь, не чуждая ни одной партіи, начинала мнѣ сквозить черезъ декоративную внѣшность, я чувствовала себя разбитою, уничтоженною, замирала на время для жизни, замыкаясь въ самой себѣ. Я не проклинала прежнихъ товарищей, я молча удалялась отъ нихъ; они честили меня измѣнницей святому дѣлу и прочими кличками, къ которымъ только теперь я совершенно равнодушна,—только теперь, когда всѣ стремленія мои разбиты дѣйствительностью, когда я разочаровалась въ себѣ и во всемъ, за что́ жертвовала собою. Годъ тому назадъ я сошлась съ людьми, которые казались мнѣ поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ стая коршуновъ тащитъ другъ у друга изъ клюва требуху дохлой скотины. Я видѣла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовъ—звучный предлогъ для возвышенія однихъ тирановъ насчетъ другихъ; я знаю всѣ ихъ средства къ достиженію цѣли самой низкой, прикрытой маскою національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тѣмъ самымъ народомъ, съ которымъ они заигрывали до поры до времени. Это было послѣднею гирей на колеблющіеся вѣсы... Нѣтъ словъ выразить презрѣнія, нѣтъ мѣрки для ненависти, которыя почувствовала я къ нимъ. Я съ ужасомъ обернулась назадъ... Тамъ, за мною, осталась Вѣрочка, сперва творившая себѣ потѣху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ былъ Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троновъ; тамъ, наконецъ, накопилась мелюзга, тля, въ сравненіи съ которой эти дѣти казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высотѣ, изломанная, искалѣченная, безъ всякой охоты къ жизни, безъ всякой вѣры въ будущность.»

По этой тирадѣ вы можете судить, какимъ путемъ дошла Инна до разочарованія, принимая конечно въ разсчетъ, что въ этомъ разочарованіи героини заключается основной взглядъ романиста на современное намъ положеніе вещей. Разочарованіе это сложилось путемъ чисто идеалистическимъ: Инна потеряла охоту къ жизни и вѣру въ будущность, потому что она искала повсюду идеальныхъ людей, поборниковъ правды, добра и свободы, а нашла низкихъ честолюбцевъ или легкомысленныхъ дѣтей, игравшихъ въ принципы, какъ Вѣрочка и Ваня. Этимъ именно путемъ и доходилъ идеализмъ постоянно до разочарованія и отрицанія. Онъ не обращалъ вниманія никогда, что люди, развивающіеся подъ сложной массой разнородныхъ вліяній, которыми обусловливается жизнь общества, могутъ быть идеальны только относительно и сравнительно, но не безусловно. Мы можемъ сравнительно судить, что въ Америкѣ люди, живущіе подъ лучшими условіями жизни, лучше насъ, развитѣе, энергичнѣе, самостоятельнѣе, можемъ мечтать, что и мы будемъ развитѣе, энергичнѣе, самостоятельнѣе, когда выработаемъ лучшія условія жизни; но навѣрное мы разочаровались-бы и въ американцахъ, еслибы стали требовать отъ нихъ, чтобы они были безусловно идеальны въ каждую минуту своей жизни. Еслибы Инна повсюду встрѣчала идеальныхъ поборниковъ правды, добра и свободы, это показывало-бы, что мы достигли высшей и послѣдней точки прогресса, дальше которой нечего больше желать, не къ чему стремиться и не нужно болѣе никакого прогресса. Встрѣча съ людьми дрянными, дряблыми, пустыми должна не разочаровывать насъ, а еще болѣе развивать въ насъ жажду дѣятельности, стремленіе способствовать всѣми силами къ улучшенію быта людей и черезъ это къ образованію лучшихъ людей, чѣмъ мы видимъ въ настоящее время. Еслибы Инна вооружилась этими мыслями, ее ни мало не поразила бы встрѣча съ дрянными поборниками хорошихъ идей. Изъ своихъ неудачъ, какъ плодовъ молодой неопытности и незрѣлости, она извлекла-бы прекрасные уроки для своего будущаго, стала-бы разборчивѣе въ избраніи пути для дѣятельности и въ людяхъ, и если не нашла-бы безусловно идеальныхъ людей, то во всякомъ случаѣ набрела-бы на относительно хорошихъ, приносящихъ своему времени посильную пользу въ направленіи, завѣщанномъ ей отцомъ.

Отвергнувши такимъ образомъ все современное движеніе общества, какъ марево и миражъ, Ключниковъ, подобно Писемскому, почилъ на тѣхъ-же отвлеченныхъ субстанціяхъ, какъ здравый смыслъ народа, умилительный патріотизмъ и семейное начало. Олицетвореніемъ всѣхъ этихъ доблестей является Русановъ, который, какъ и всегда это бываетъ въ искусствѣ съ олицетвореніями отвлеченныхъ началъ, представляется съ начала романа до конца личностью совершенно безцвѣтной. При чтеніи романа онъ постоянно рисуется въ вашемъ воображеніи геніемъ чистоты, скромности и невинности, съ нѣжно-умиленнымъ сердцемъ скромно опущенными глазами и цвѣточкомъ въ рукахъ

VI.

Нужно-ли распространяться много о томъ, что въ романѣ Стебницкаго «Некуда» мы видимъ тѣ-же самые элементы, которые нашли и у Писемскаго, и у Ключникова. Самое заглавіе показываетъ намъ, что романъ построенъ на томъ-же умозаключеніи, какъ и всѣ прочіе романы этой школы. Если все современное движеніе общества ни что иное, какъ мыльные пузыри, марево, дымъ, то конечно лучшимъ людямъ дѣться *некуда*— россійская земля сошлась для нихъ клиномъ: все старое никуда не годится, все новое несостоятельно—и остается только ложиться въ хладныя могилы. Стебницкій употребляетъ буквально тѣ-же пріемы, что́ и Ключниковъ: онъ выдвигаетъ передъ вами на первый планъ два идеальные типа—идеальнаго соціалиста Райнера и идеальную нигилистку Лизу Бахареву. Подобно Иннѣ, Райнеръ воодушевленъ смертью отца своего, разстрѣляннаго швейцарскаго революціонера; разочаровавшись въ европейской жизни, онъ ѣдетъ въ Россію, предполагая найти въ ней самородный соціализмъ, коренящійся на чисто-народной почвѣ, но находитъ толпу растлѣнныхъ нигилистовъ; въ отчаяніи кидается въ польское возстаніе, предполагая и тамъ обрѣсти искомый соціализмъ, но и тамъ его не находитъ и кончаетъ жизнь плѣномъ и разстрѣляніемъ. Съ своей стороны Лиза Бахарева, непонятая и угнетенная въ семейной жизни, ищетъ выхода изъ нея въ современномъ движеніи, бросается въ толпу тѣхъ-же коварныхъ нигилистовъ; но, разочаровавшись въ нихъ, не знаетъ, куда преклонить голову, находитъ, что дѣться *некуда*, и томится жаждою труда, не зная за что́ приняться, пока зрѣлище смерти Райнера не потрясаетъ всей ея природы, и тогда, поверженная на смертный одръ, она умираетъ въ кругу благонамѣренныхъ друзей своихъ, оплакавшихъ въ ней несчастную жертву современнаго движенія. Подобно Русанову, благонамѣренные друзья Лизы совмѣщаютъ въ себѣ съ здравымъ смысломъ всевозможныя доблести патріотическія и семейныя. Такъ напримѣръ, описывая свадьбу Жени Главацкой, Стебницкій не преминулъ упомянуть, какъ, сообразно съ праотческими обычаями, къ дѣвственной кроваткѣ Жени была смѣло и твердо приставлена другая кровать, какъ монахиня Ѳеоктиста, похаживая по спальнѣ, то оправляла оборки подушекъ, то осматривала кофту, то передвигала мужскія и женскія туфли новобрачныхъ, какъ затѣмъ молодая жарко молилась съ монахиней о ниспосланіи брака честна и соблюденіи ложа нескверна, и затѣмъ Стебницкій объявляетъ, что мы не имѣемъ права долѣе оставаться въ этой комнатѣ, и тѣмъ заканчиваетъ картину благонамѣреннаго и благочестиваго брака.

Мы не будемъ вдаваться во всѣ подробности анализа тѣхъ элементовъ романа Стебницкаго, въ которыхъ онъ сходится съ вышеразобранными нами романами; иначе пришлось бы снова повторять все то, что́ мы высказали уже по поводу «Взбаломученнаго моря» и «Марева». Обратимъ лучше вниманіе на то, чѣмъ отличается ром. Стебницкаго отъ вышеозначенныхъ.

Заблужденіе Писемскаго и Ключникова заключается въ томъ, что, обративши исключительное вниманіе на одни безобразія современной намъ эпохи и упустивши изъ виду, по узкости своего умственнаго кругозора, все, чѣмъ мы можемъ гордиться, они, по однимъ безобразіямъ, судятъ о самой сущности общественнаго движенія нашей эпохи. Но надо имъ отдать справедливость, что въ анализѣ современныхъ безобразій они стараются твердо держаться на художественной почвѣ, то-есть проводить подмѣчаемыя ими въ жизни безобразія сквозь процессъ творчества и создавать изъ нихъ типы,—и иногда это имъ удается. Таковъ, напримѣръ, типъ Бакланова у Писемскаго, типы Бронскаго или Коли Горобца у Ключникова, типы Кукшиной и Ситникова у Тургенева; вы можете смѣяться надъ писателями, которые въ этихъ личностяхъ видятъ начало и конецъ современнаго движенія общества и по нимъ судятъ о несостоятельности нашей жизни вообще, но, сами по себѣ, типы эти взяты изъ жизни, дышатъ художественной правдой.

Совершенно иначе поступаетъ Стебницкій: извѣстно, что въ обществѣ ходитъ много всякихъ слуховъ, толковъ, перетолковъ и сплетенъ, лишенныхъ часто всякихъ основаній, о разныхъ литературныхъ и общественныхъ дѣятеляхъ, о тѣхъ или другихъ фактахъ общественной жизни. Стебницкій беретъ эти сплетни и безъ всякаго анализа передаетъ ихъ, искажая и лица, и факты. Такимъ образомъ, вмѣсто типовъ и эпизодовъ, въ которыхъ, какъ въ общемъ фокусѣ, отражались бы частныя явленія жизни, передъ вами рядъ карикатуръ, въ которыхъ вы не видите и тѣни жизненной правды. Если Стебницкій смотритъ на героевъ своего романа, какъ на людей, сбившихся съ истиннаго пути, то тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ позаботиться изучить этихъ людей во всѣхъ ихъ заблужденіяхъ, во всѣхъ сокровенныхъ тайникахъ ихъ жизни. Какъ бы ни заблуждались, по мнѣнію Стебницкаго, эти люди, а все-таки они были люди, честно и горячо стремившіеся къ тому, что́, по ихъ мнѣнію, было истиной и благомъ; если ихъ привычки, нравы, вынесенные изъ прежней жизни, противорѣчили съ ихъ убѣжденіями, не могли же они, люди во всякомъ случаѣ развитые и мыслящіе, не чувствовать своего разлада и, хоть изрѣдка, не хандрить по поводу его, и не стараться выбиться изъ-подъ гнета своихъ привычекъ. Анализа борьбы съ обстоятельствами, борьбы съ самими собою, столкновеній высокихъ и низкихъ побужденій,—однимъ словомъ, всего, что́ наполняетъ жизнь человѣка, какихъ бы онъ ни былъ убѣжденій, развитія, состоянія, всего этого мы не находимъ въ романѣ Стебницкаго. Нигилисты его вовсе не люди, а суррогаты всевозможныхъ пошлостей, злоумышленій, чувственности, подлости и трусости. Неужели Стебницкій не могъ понять той простой истины, что сатира только тогда производитъ свое потрясающее дѣйствіе, когда она осмѣиваетъ факты въ ихъ истинномъ безобразіи. Когда же писатель представляетъ ихъ гораздо худшими, чѣмъ они въ дѣйствительности, читатель невольно становится на сторону обезображиваемыхъ фактовъ, и его возмущаетъ безобразіе самого писателя, низводящаго искусство на степень желчнаго и злобнаго злорѣчія, напоминающаго сплетничество уѣздныхъ кумушекъ и приживалокъ.

Изобразивши толпу нигилистовъ въ видѣ суррогата всевозможныхъ пороковъ и слабостей, Стебницкій и

самъ не замѣтилъ, въ какое противорѣчіе поставилъ онъ себя со своими идеальными героями, Лизой Бахаревой и Райнеромъ. Какъ же это Лиза Бахарева, дѣвушка съ умомъ и съ сердцемъ, начитанная и размышляющая, могла такъ долго якшаться съ такими людьми? Какъ на другой же день по вступленіи своемъ въ домъ согласія не выѣхала она изъ него? А съ другой стороны, хорошъ и этотъ Райнеръ, европейскій соціалистъ, успѣвшій поѣздить и пожить по Европѣ, разочаровавшійся въ европейскихъ соціалистахъ и въ то же время не умѣющій съ перваго же раза различить, какіе люди окружаютъ его въ Петербургѣ! Хорошъ этотъ Райнеръ,—человѣкъ, не забудьте, съ познаніями, и вдругъ, что же: стоило только встрѣтиться съ нимъ первому поляку и сказать ему, что польское дѣло—добыть бѣднымъ хлопамъ землю, раздѣлить ее по братски, и пусть тогда будетъ народная воля,—и Райнеръ, какъ пятнадцатилѣтній мальчикъ, бросился стремглавъ въ польское возстаніе, сразу повѣривъ, что возстаніе это основывается на началахъ соціализма.

Однимъ словомъ, недодуманность, небрежность, передача грязныхъ сплетенъ, писанье скондачка, что̀ взбредетъ на умъ въ данную минуту, не сличая, насколько это согласно съ предыдущей страницей,—г. Стебницкій, какъ это называется по вашему—художественное творчество, поклоненіе чистому искусству?

VII.

Когда въ полуобразованномъ обществѣ окончательно укоренилось о новомъ міросозерцаніи предубѣжденіе, что будто послѣднее отвергаетъ всякую нравственность, оправдываетъ всевозможныя преступленія, отрицаетъ любовь и признаетъ одно удовлетвореніе животной чувственности,—тогда сложились стереотипные типы въ видѣ молодой дѣвицы съ остриженной косой и грязными воротничками, разговаривающей не краснѣя со студентомъ объ актѣ оплодотворенія, и студента съ длинными волосами, рѣжущаго лягушекъ и готоваго при случаѣ зарѣзать человѣка. Разъ подобные типы сложились, всякое наблюденіе живой дѣйствительности оказалось совершенно излишнимъ. Порицателямъ новѣйшихъ прогрессистовъ и прогрессистокъ теперь только и остается, что, сидя въ своемъ кабинетѣ, нанизывать изъ своей фантазіи одну грязную сценку на другую, разсыпать по своимъ произведеніямъ дюжинами дѣвицъ съ остриженными косами и студентовъ, рѣжущихъ лягушекъ, и фразы относительно отрицаній всякаго рода. Тургеневъ, Писемскій и Ключниковъ все-таки заботились изображать въ своихъ произведеніяхъ людей живыхъ съ разными человѣческими побужденіями и чувствами; Стебницкій основалъ свое произведеніе по крайней мѣрѣ на сплетняхъ и злорѣчіяхъ,—Авенаріусъ-же въ своихъ повѣстяхъ «Бродящія силы» не сдѣлалъ и этого. Повѣсти эти основаны исключительно на шаблонахъ и представляютъ странное патологическое явленіе. Авенаріуса много обвиняли въ клубничествѣ, что̀ побудило его, устыдившись своего цинизма, выпустить кой-какія сценки въ отдѣльномъ изданіи своихъ повѣстей. Но надо прибавить къ этому, что клубничество Авенаріуса, это—клубничество человѣка, никогда повидимому не встрѣчавшаго ни одного лица женскаго пола или, по крайней мѣрѣ, не сближавшагося ни съ одной порядочной женщиной. Ужъ не говоря о нигилисткахъ, въ изображеніи которыхъ Авенаріусъ руководствуется шаблонами, посмотрите, какъ онъ изображаетъ швейцарку Мари, въ которой онъ претендуетъ олицетворить типъ женственности. Прочтите изображеніе этой женственной Мари въ ночной сценѣ съ Ластовымъ,—развѣ женщина изображена въ этой сценѣ, а не галлюцинація разстроеннаго воображенія аскета, никогда не видѣвшаго женщинъ? Такъ и надо было ожидать, что общество наше, воспитанное на доморощенной клубничкѣ и неполучившее никакого философскаго развитія, бѣдное знаніями,—вынесетъ изъ новаго міросозерцанія только рядъ соблазнительныхъ фабулъ, въ утѣху старыхъ дѣвъ и убогихъ аскетовъ съ развращеннымъ воображеніемъ.

И долго еще придется намъ возиться съ тѣмъ фамусовскимъ сластолюбіемъ, которое, само купаясь въ грязи самаго неопрятнаго цинизма, въ каждомъ маломальски самостоятельномъ шагѣ человѣка не по указанной тропѣ подозрѣваетъ, на первомъ планѣ, непремѣнно что нибудь по части скоромнаго. Долго еще придется возиться намъ съ подозрительною трусостью невѣжества, которое, не въ силахъ будучи осмыслить какой нибудь простой идеи, приходитъ сейчасъ же въ ужасъ отъ нея и подозрѣваетъ въ ней непремѣнно замыселъ на разрушеніе всѣхъ основъ жизни общественной и семейной. Долго еще придется возиться намъ съ тѣмъ робкимъ и малодушнымъ скептицизмомъ и кислымъ разочарованіемъ, которые на каждомъ шагу представляетъ намъ идеализмъ. Какъ въ былое время отнесся идеализмъ къ судебной реформѣ—объявивши, что это великая вещь, но... мы до нея еще не созрѣли, какъ думалъ онъ о крестьянской реформѣ, соображая, что ничего не можетъ быть выше свободы, но прежде слѣдуетъ развить каждаго крестьянина въ отдѣльности, чтобы сдѣлать его достойнымъ такого высокаго предмета,—такъ долго еще будетъ встрѣчать идеализмъ каждую реформу. Онъ постоянно будетъ преклоняться передъ великостью идеи и считать своихъ современниковъ неприготовленными къ осуществленію ея. Онъ постоянно будетъ, вмѣсто какихъ либо хоть самыхъ ничтожныхъ измѣненій къ лучшему, совѣтовать людямъ заниматься самоуглубленіемъ и самовоспитаніемъ съ цѣлью первоначально улучшить нравственность каждаго человѣка въ отдѣльности, а потомъ уже приступать къ улучшенію общественнаго быта. Но, видя, что люди нисколько не заботятся о самовоспитаніи и нравственность ихъ не улучшается, онъ будетъ впадать въ разочарованіе и считать невозможнымъ какое-либо движеніе впередъ, признавая своихъ современниковъ слишкомъ дряблыми и растлѣнными для этого. Идеализмъ такого рода очень упорная и живучая теорія; его не сдвинуть съ мѣста никакими спорами, никакими убѣжденіями и насмѣшками. Теорія эта коренится въ отсутствіи сколько нибудь прочнаго и обширнаго образованія въ нашемъ обществѣ. Только распространеніе положительныхъ знаній въ массѣ публики можетъ хоть сколько нибудь пошатнуть эту застарѣлую теорію.

ПРУДОНЪ ОБЪ ИСКУССТВѢ

И САТУРНАЛІИ НАШИХЪ ЭСТЕТИКОВЪ.

Искусство, его основаніе и общественное назначеніе, П. Ж. Прудона, переводъ подъ редакціею Н. Курочкина. С.-Петербургъ, 1865 г.—О значеніи искусства въ цивилизаціи, Эдельсона. С.-Петербургъ, 1867 г.—Явленія русской жизни подъ критикою эстетики, К. Случевскаго: 1) Прудонъ объ искусствѣ, его переводчики и критики, 1866 г. 2) Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности, соч. Ч. 1866 г. 3) О томъ, какъ Писаревъ эстетику разрушалъ, 1867 г.—Наши идеалисты и реалисты, А. Немировскаго. С.-Петербургъ, 1867 г.

Реализмъ, какъ новая система міросозерцанія, подведя свои итоги подъ всѣ элементы человѣческой природы, не могъ не коснуться и сферы искусства. Каждая новая система не иначе можетъ быть введена въ человѣческое мышленіе, какъ съ условіемъ разрушенія старой. Такимъ образомъ реализмъ для того, чтобы утвердить свои новые взгляды на искусство, прежде всего долженъ былъ разрушить старые, выходившіе изъ гегелевской системы чистаго идеализма. Этимъ онъ и занялся, какъ на Западѣ, такъ и у насъ. Въ нашей литературѣ авторъ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» сдѣлалъ первую попытку пошатнуть устарѣлые взгляды на искусство эстетиковъ чистаго идеализма. Вслѣдъ за нимъ выступили на сцену Добролюбовъ и прочіе писатели той же школы. Всѣ они, несмотря на разногласія между собою въ частностяхъ, стремились къ одному: разрушить старую эстетику, и всѣ они прослыли со стороны эстетиковъ старой школы отрицателями искусства, точно какъ будто искусство и эстетика, наука объ искусствѣ—одно и то же, и точно, какъ будто, разрушая какую нибудь теорію, мы непремѣнно отрицаемъ и тѣ предметы, которыми она занимается, т. е. отвергая солнечную систему Птоломея, мы тѣмъ самымъ отвергаемъ солнце, луну, звѣзды и землю, на которой живемъ.

Старая школа эстетиковъ видѣла въ искусствѣ воспроизведеніе дѣйствительности, исключительно подъ условіемъ созерцанія прекраснаго, а прекрасное, по ея мнѣнію, заключалось въ соотвѣтствіи идеи съ формою. Авторъ «Эстетич. отн. искусства къ дѣйствительности» провелъ въ своей брошюрѣ двѣ идеи въ подрывъ этой теоріи: 1) если мы будемъ ограничивать искусство сферою воспроизведенія прекраснаго, то этимъ мы лишимъ его всякаго значенія, потому что оно безсильно воспроизводить прекрасное, которое въ жизни всегда выше, чѣмъ въ искусствѣ; 2) а если мы захотимъ признать за искусствомъ какое-либо значеніе, то мы должны расширить его сферу; и если мы сдѣлаемъ это, сказавши, что искусство имѣетъ цѣлью воспроизводить не одно только прекрасное, а вообще «жизнь», тогда произведенія искусства получатъ свое большее или меньшее значеніе, смотря по тому, болѣе или менѣе глубоко и широко воспроизводятъ они жизнь.

Всякій благомыслящій читатель безъ предубѣжденій, если вдумается въ эти двѣ идеи, поставленныя вмѣстѣ въ вышеупомянутой брошюрѣ, пойметъ, что цѣль брошюры доказать не ничтожество искусства вообще, а ничтожество его въ такомъ только случаѣ, если мы будемъ смотрѣть на него съ узкой точки зрѣнія старой эстетики. Слѣдовательно, цѣль брошюры не отвергнуть искусство, а напротивъ того, расширивши его сферу, придать ему гораздо болѣе значенія, чѣмъ оно имѣетъ съ точки зрѣнія старыхъ эстетиковъ, и если брошюра отвергаетъ что либо, то не самое искусство, а обветшалую теорію гегеліанцевъ. По этой дорогѣ шли, съ бо́льшимъ или меньшимъ талантомъ, тактомъ и послѣдовательностью, всѣ реалисты, выступившіе на сцену послѣ появленія вышеупомянутой брошюры. И всѣ они безъ исключенія были постоянно обвиняемы въ униженіи искусства, въ подчиненіи его вопросамъ дня, въ отрицаніи его. Среди ожесточенныхъ споровъ между обоими лагерями, появленіе книги Прудона «Искусство» произвело необычайныя сатурналіи въ лагерѣ нашихъ эстетиковъ. Извѣстно, что наши доморощенные мыслители гегелевской школы мало знакомы съ иностранными книгами, исключая развѣ двухъ, трехъ книженокъ, особенно близкихъ ихъ сердцу. Стороною они слышали, что есть во Франціи политико-экономъ, который называется Прудономъ, что этотъ Прудонъ ужасный нечестивецъ и всеотрицатель. Подъ именемъ нечестивца и всеотрицателя передъ ними рисовался конечно человѣкъ, не признающій ни наукъ, ни искусствъ, а однѣ только ариѳметическія цифры. Каково должно было быть удивленіе ихъ, когда вдругъ вышелъ въ русскомъ переводѣ невѣдомый имъ трактатъ объ искусствѣ этого чудовища отрицанія. Ариѳметчикъ, да еще какой ехидный ариѳметчикъ, дерзнулъ вдругъ вторгнуться незванный, негаданный въ священный храмъ эстетики!.. Съ жадностью накинулись эстетики на эту книгу, ожидая найти въ ней бездну отрицанія, и каково же должно было быть ихъ остолбенѣніе, когда они на страницахъ трактата не только не нашли никакого отрицанія искусства, а, напротивъ того, встрѣтили многіе взгляды, милые ихъ сердцу,—взгляды, основанные на томъ же гегелевскомъ идеализмѣ, который составляетъ для нихъ альфу и омегу человѣческой мудрости. Остолбенѣніе ихъ вскорѣ смѣнилось умиленіемъ, и они

поспѣшили заключить въ объятія ехиднаго ариѳметчика, какъ стариннаго друга, съ которымъ они никогда не имѣли никакихъ ссоръ. Умиленіе это замѣнилось конечно еще бо̀льшимъ ожесточеніемъ противъ своихъ враговъ.

«Какъ? эти господа, въ которыхъ мы видѣли учениковъ и послѣдователей Прудона, высказываютъ такія идеи объ искусствѣ, о которыхъ не дерзалъ помышлять даже этотъ архистратигъ отрицанія!.. Такъ вотъ они каковы, эти наши отрицатели искусства!.. Мы же ихъ, коли такъ, проберемъ на основаніи выводовъ ихъ же учителя!» И вотъ посыпались журнальныя статейки и брошюрки, въ которыхъ, рядомъ съ апологіями Прудону, выставляется вся мерзость реалистическихъ идей въ искусствѣ. Одинъ только Incognito устоялъ передъ соблазномъ: въ своей статьѣ о трактатѣ Прудона (см. «От. Зап.» 1866, сент.) онъ уперся на томъ, что ничто не можетъ выйти путнаго изъ Назарета, и остался при своемъ, что Прудонъ — чудовище отрицанія даже въ своемъ трактатѣ объ искусствѣ. А прочіе всѣ подались. Такъ напримѣръ, Эдельсонъ въ своей брошюрѣ «О значеніи искусства въ цивилизаціи» говоритъ:

«Смѣлый, послѣдовательный, оригинальный мыслитель, котораго голосъ не тщетно раздавался почти по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ, интересующимъ человѣчество (sic!), Прудонъ не могъ конечно не сказать чего-либо дѣльнаго и существеннаго и объ искусствѣ, или по крайней мѣрѣ ясно формулировать свои требованія отъ него (sic!). И дѣйствительно, въ запутанномъ до конца вопросѣ объ искусствѣ, его началахъ, значеніи и законномъ направленіи книга Прудона представляетъ замѣчательное явленіе (sic!). Это уже не дѣтскій лепетъ людей (слушайте, слушайте!), смутно воюющихъ за что-то и противъ чего-то, но рѣзкій и строгій голосъ опытнаго и смѣлаго бойца, хорошо сознающаго, во имя чего вообще онъ воюетъ уже издавна и чего именно требуетъ отъ искусства. Взглядъ его на искусство широкъ, ясенъ и во многомъ справедливъ безусловно; обличенія нынѣшняго жалкаго состоянія искусства, особенно въ отечествѣ, формулированы ясно, рѣзко и въ то же время правильно. Само собою разумѣется, что онъ даже не пытается отвергнуть искусство вообще, котораго прошлую дѣятельность цѣнитъ высоко, отъ котораго много ожидаетъ въ будущемъ и для котораго указываетъ видное мѣсто даже и въ наше время.»

Случевскій, одинъ изъ геніальнѣйшихъ, глубокомысленнѣйшихъ и ученѣйшихъ русскихъ писателей, пробывшій шесть лѣтъ за-границей и потомъ внезапно опустившійся, словно снѣгъ, на голову нашихъ реалистовъ, вооруженный громаднымъ арсеналомъ выносокъ, сносокъ, цитатъ на всевозможныхъ языкахъ, разразился тремя брошюрами, и все въ защиту искусства, обижаемаго реалистами. Въ двухъ послѣднихъ брошюрахъ, направленныхъ противъ Чернышевскаго и Писарева, Случевскій бѣснуется до пѣны у рта; передъ нимъ постоянно мерещатся мертвецы съ пожирающими ихъ червями, и онъ доходитъ даже до такихъ галлюцинацій:

«Велика наша родина,— говоритъ онъ въ брошюрѣ противъ Писарева,— и сообразно съ величиною своею имѣетъ она большую голову, большія уши, большіе глаза. Въ большихъ ушахъ залегло безконечно много сѣры: для того, чтобы вынуть ее, надобны рычаги длиною съ уральскій хребетъ и силы океановъ, пущенныхъ на мельничное колесо...»

Этотъ самый Случевскій всю первую свою брошюру посвятилъ Прудону, и хотя онъ видитъ въ трактатѣ бездну ученыхъ ошибокъ, которыя обличаетъ, приводя въ дѣло весь арсеналъ своихъ выносокъ и сносокъ, тѣмъ не менѣе умиленію его нѣтъ конца, и онъ высказываетъ его съ самаго начала книги:

«Передъ нами явленіе — говоритъ онъ—въ высшей степени любопытное и поучительное. Передъ нами книга Прудона—политико-экономa объ искусствѣ! По прочтеніи книги приходишь къ заключеніямъ самымъ противоположнымъ Общее направленіе книги, цѣль, которой она хочетъ достигнуть, выводы— отличаются доброкачественностью, съ малыми исключеніями. Пониманіе будущаго искусства, его настоящаго призванія, его средствъ, довольно ясно и полно. Иногда замѣчательно удачно, какъ Сократъ, повивальная бабка мысли, разворачиваетъ онъ одну за другою, и даетъ ихъ какъ бы невзначай свѣтлыми и безъ всякой примѣси; нельзя не согласиться съ нимъ: Прудонъ частью воплотилъ въ слова требованія нашего времени отъ нашего художника.»

Нѣжность къ Прудону подъ конецъ книги достигаетъ до такихъ размѣровъ, что Случевскій нападаетъ на Incognito за порицаніе Прудона съ яростью льва, и эта ярость доводитъ Случевскаго снова до галлюцинацій, до мертвецовъ, чуть не до чертиковъ.

«Тутъ передъ нами мертвецъ,—говоритъ Случевскій:—слышите вы, какъ несетъ тлѣньемъ отъ этихъ 39 страницъ? Только 39 страницъ, и такая зараза воздуха! Разложите эти страницы на полъ: посмотрите, какое безобразное гніеніе. Каждая строка—червякъ, въ каждомъ словѣ лежитъ яичко. Дайте только солнца сюда, и вы увидите, что будетъ!»

Что же за причина, что Прудонъ въ своемъ трактатѣ объ искусствѣ могъ угодить разомъ двумъ философскимъ лагерямъ, совершенно противоположнымъ: реалисты перевели эту книгу, найдя въ ней, по всей справедливости, «цѣльный, свѣтлый, здоровый, горячій и вслѣдствіе горячности впадающій нѣсколько въ крайности и увлеченія взглядъ», какъ они заявили объ этомъ въ предисловіи, а идеалисты съ своей стороны осыпали Прудона похвалами за то же самое? Представляетъ ли подобная возможность угодить разомъ и нашимъ, и вашимъ — недостатокъ трактата Прудона, или это его достоинство?

Для того, чтобы рѣшить этотъ вопросъ, мы попытаемся сперва изложить нѣкоторые взгляды на сущность искусства съ точки зрѣнія реальной школы, для того чтобы этими взглядами провѣрить взгляды на искусство Прудона.

Чтобы встать намъ на точку зрѣнія чисто реальную, намъ необходимо, отбросивши всякія метафизическія умствованія о прекрасномъ, эстетическомъ и пр., принять единственный методъ, допускаемый реализмомъ, — индуктивный, т. е. постараться сдѣлать наши выводы о сущности искусства изъ анализа частныхъ фактовъ проявленія его. Для того-же, чтобы область фактовъ, изъ которыхъ мы будемъ дѣлать выводы наши, была какъ можно болѣе обширна (это первая необходимость при индуктивномъ методѣ для вѣрности и правильности вывода), мы возьмемъ для нашихъ наблюденій не одни только произведенія искусства, не однихъ только художниковъ и поэтовъ, а всѣхъ людей безъ исключенія. Припомнимъ всѣ об-

стоятельства нашей жизни и подумаемъ, при какихъ условіяхъ мы чувствовали въ себѣ потребность творчества, когда намъ хотѣлось писать стихи, когда мы жалѣли, зачѣмъ мы не художники и не умѣемъ рисовать, когда наконецъ для насъ недостаточно было простого разсказа о случившемся съ нами событіи, а у насъ являлась потребность сопровождать этотъ разсказъ мимическими рѣзкими жестами, гримасами и разными тѣлодвиженіями, которыя передавали бы то, чего мы не въ силахъ были высказать словами. Все это случалось съ нами тогда, когда какой либо предметъ производилъ на насъ сильное впечатлѣніе. Почему простыя бабы, никогда не писавшія стиховъ, дѣлаются вдругъ импровизаторами и въ мѣрныхъ причитаньяхъ изливаютъ свою скорбь объ утратѣ мужа или сына? Почему ребенокъ, напуганный вѣдьмами и домовыми, чѣмъ больше боится ихъ, тѣмъ болѣе любитъ слушать страшные разсказы о нихъ, тѣмъ болѣе любитъ рисовать углемъ на стѣнахъ чертей съ рогами и вѣдьмъ на помелахъ? На всѣ эти вопросы мы не найдемъ никакого отвѣта въ старыхъ эстетикахъ. Они твердятъ намъ, что начало художественнаго творчества лежитъ въ стремленіи человѣка къ прекрасному, а между тѣмъ мы ежедневно можемъ встрѣтить бездну фактовъ побужденія къ творчеству, не имѣющихъ никакого отношенія къ этому стремленію. Сколько бы мы ни разбирали фактовъ творчества, начиная съ самыхъ несложныхъ проявленій его и до самыхъ совершенныхъ, — вездѣ мы увидимъ одно: основнымъ побужденіемъ къ творчеству всегда было какое либо сильное впечатлѣніе, одно или цѣлый рядъ ихъ; правда, иногда эти впечатлѣнія бываютъ возбуждаемы тѣмъ, что въ старинныхъ эстетикахъ называется прекраснымъ, возвышеннымъ, безобразнымъ, но если мы захотимъ всѣ впечатлѣнія, возбуждающія творчество, подвести подъ эти три рубрики, то мы должны будемъ сдѣлать бездну вопіющихъ натяжекъ: это будетъ все равно, что всѣ вкусы стараться подвести подъ категорію сладкаго, кислаго, соленаго, горькаго; подобно тому, какъ есть бездна вкусовъ совершенно специфическихъ, не имѣющихъ ничего общаго съ вышеупомянутыми четырьмя вкусами, такъ есть бездна впечатлѣній, не имѣющихъ ничего общаго — ни съ прекраснымъ, ни съ возвышеннымъ, ни съ комическимъ, ни съ ужаснымъ. Такъ напримѣръ, привязанность къ неодушевленнымъ предметамъ, среди которыхъ мы долго жили, возбуждаетъ въ насъ всегда могучее впечатлѣніе, когда мы снова, послѣ долгой разлуки, увидимъ эти предметы; представленіе узника, покидающаго тюрьму и съ грустнымъ сожалѣніемъ прощающагося со стѣнами этой тюрьмы, сильно поражаетъ насъ; ну, что тутъ такого прекраснаго, ужаснаго или смѣшного, а между тѣмъ подобное представленіе не разъ служило предметомъ художественнаго творчества. Если мы, на основаніи всѣхъ наблюдаемыхъ нами фактовъ творчества, сдѣлаемъ такой выводъ, что актъ творчества возбуждается каждый разъ сильнымъ впечатлѣніемъ, то для насъ будетъ рѣшительно все равно, какого рода будетъ это впечатлѣніе. Почему одни предметы возбуждаютъ въ насъ пріятное впечатлѣніе, а другіе — непріятное, почему одними предметами мы восхищаемся, а другіе возбуждаютъ въ насъ неодолимое отвращеніе, — все это вопросы, которые въ сущности нисколько не касаются эстетики. Цѣль эстетики — опредѣлить законы творчества; она замѣтила, что творчество возбуждается каждый разъ послѣ сильнаго впечатлѣнія, и что за дѣло ей, какого-бы рода ни были эти сильныя впечатлѣнія. Гораздо важнѣе для нея рѣшить вопросъ, почему послѣ каждаго сильнаго впечатлѣнія слѣдуетъ въ большей или меньшей степени актъ творчества. А для рѣшенія этого вопроса эстетика должна обратиться къ физіологіи, и тамъ найдетъ она для себя важные выводы: 1) каждое впечатлѣніе вызываетъ въ человѣкѣ актъ отраженія; 2) отраженныя впечатлѣнія передаются намъ, возбуждая въ насъ подобныя же отраженія, напр. слезы возбуждаютъ въ насъ слезы; при видѣ сильно-смѣющагося человѣка мы начинаемъ невольно хохотать, хотя и не знаемъ причины смѣха; выраженіе ужаса на лицѣ не только человѣка, но и всякаго другого животнаго, возбуждаетъ въ насъ подобный же ужасъ и пр. Эти два закона могутъ служить основными законами творчества; первый законъ опредѣляетъ побужденіе къ творчеству, второй — способность съ нашей стороны воспринимать впечатлѣніе, выраженное художникомъ въ своемъ произведеніи.

Но впечатлѣнія, комбинируясь, соединяются въ нашемъ мозгу въ представленія, а комбинація представленій ведетъ къ идеямъ: какая-же разница между дѣятельностью ученою и художественною? — Пока въ мозгу нашемъ идетъ работа комбинацій, нѣтъ никакой существенной разницы между дѣятельностью ученаго и художника. Мысль, что будто бы ученый мыслитъ идеями, а художникъ образами, — чистѣйшая ерунда; у каждаго человѣка съ идеями непремѣнно соединяются тѣсно и нераздѣльно образы; правда, что у однихъ людей эти образы яснѣе и опредѣленнѣе, у другихъ они туманны и слабы, — это зависитъ отъ силы воображенія; правда, что для художника обязательно имѣть сильное воображеніе, но нельзя сказать наоборотъ, чтобы сильное воображеніе непремѣнно вело къ художественному творчеству; мы встрѣчаемъ много людей съ сильно развитымъ воображеніемъ, которые не имѣютъ ни малѣйшаго побужденія къ творчеству. Но какъ только, вслѣдъ за воспріятіемъ впечатлѣній и комбинаціей ихъ, начинается актъ отраженія, — тутъ только и начинается различіе художественнаго творчества отъ ученаго. Здѣсь выступаютъ на сцену два закона: 1) чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ разностороннѣе, полнѣе и богаче отраженіе его; 2) чѣмъ чаще впечатлѣніе отражается въ одномъ направленіи, тѣмъ болѣе является навыка въ человѣкѣ отражать впечатлѣніе такъ, а не иначе, тѣмъ опять таки полнѣе, богаче и разностороннѣе будетъ отраженіе. Отъ перваго закона зависитъ вполнѣ побужденіе къ творчеству: художники отличаются въ этомъ отношеніи отъ обыкновенныхъ людей тѣмъ только, что они впечатлительнѣе обыкновенныхъ людей; каждый подъ вліяніемъ сильнаго впечатлѣнія можетъ сдѣлаться на время поэтомъ, но немногіе могутъ воспринять такое большое количество сильныхъ впечатлѣній ежедневно, какъ художники. Второй законъ обусловливаетъ необходимость художественной техники. Кромѣ сильнаго впечатлѣнія, необходимо имѣть еще навыкъ от-

ражать это впечатлѣніе вполнѣ, такъ или иначе. Подъ вліяніемъ сильнаго впечатлѣнія во мнѣ можетъ явиться побужденіе написать стихи или нарисовать на холстѣ предметъ, поразившій меня, но если у меня не будетъ навыка ни писать стихи, ни рисовать, мое побужденіе или останется побужденіемъ, или произойдетъ отраженіе самое неполное и уродливое. Навыкъ же подобнаго рода составляетъ не какой нибудь врожденный личный даръ; онъ есть не что иное, какъ медленное пріобрѣтеніе и накопленіе впродолженіи цѣлыхъ вѣковъ со стороны людей, передававшихъ наслѣдство свое изъ рода въ родъ. Много тысячелѣтій прошло, въ которыя человѣчество совершенно удовлетворялось, отражая свои впечатлѣнія въ нестройныхъ каракулькахъ, въ уродливыхъ каменныхъ и деревянныхъ чурбанахъ, въ дикихъ завываньяхъ и кривляньяхъ. Но и теперь, когда человѣчество достигло такихъ произведеній, какъ трагедіи Шекспира или симфоніи Бетховена, спросите у любого искренняго художника, доволенъ ли онъ своими произведеніями, и каждый отвѣтитъ вамъ про самые лучшіе свои труды, что да, онъ выразилъ въ нихъ то, что́ хотѣлъ; но все-таки въ его головѣ осталось еще что-то такое, что́ у него не достало силъ выразить; это что-то такое, остающееся въ головѣ художника невыраженнымъ, показываетъ, что искусство при всемъ совершенствѣ далеко не достигло еще того, чтобы вполнѣ отражать впечатлѣнія наши, и нѣтъ ничего мудренаго, что на потомковъ нашихъ наши гордыя произведенія будутъ производить такое же впечатлѣніе безсилія, какое на насъ производитъ созерцаніе разныхъ курносыхъ чурбановъ съ руками, не отдѣленными отъ боковъ, которыми изобилуютъ археологическіе музеи.

Если же искусство выдѣляется отъ прочихъ актовъ дѣятельности человѣка во второй только моментъ психическаго процесса, т. е. въ моментъ отраженія впечатлѣній, если въ первый моментъ, т. е. во время воспріятія и комбинаціи впечатлѣній искусство ничѣмъ еще себя не заявляетъ, то изъ этого прямо вытекаетъ то, что въ основаніи искусства лежитъ то же, что и въ основаніи всякой дѣятельности человѣка: процессъ мысли, направленный къ изысканію истины. Искусство есть не что иное, какъ болѣе могучее средство, чѣмъ какое-либо другое, къ отраженію различныхъ комбинацій впечатлѣній, представленій и идей. Изъ всего этого слѣдуетъ наконецъ послѣдній выводъ, что такъ какъ искусство есть только отраженіе впечатлѣній, представленій и идей, то очевидна полная зависимость его отъ широты и глубины развитія этихъ идей. Чѣмъ возвышеннѣе и шире интересы поэта, чѣмъ тщательнѣе и глубже изучилъ онъ жизнь, чѣмъ большее количество впечатлѣній всякаго рода воспринялъ онъ, тѣмъ большее значеніе будутъ имѣть его произведенія; при созерцаніи подобныхъ твореній и въ голову не будетъ приходить мысль о безцѣльности и ничтожествѣ искусства. Если же мысль поэта спитъ, интересы его низменны и узки, впечатлѣнія, воспринимаемыя имъ, однообразны, если поэтъ не желаетъ возвыситься надъ созерцаніемъ красивыхъ деревьевъ, — если его, какъ ребенка, поражаютъ такіе пустяки, какъ игра солнца въ колокольнѣ и красное освѣщеніе кузнецовъ, кующихъ желѣзо, и художникъ желаетъ поразить человѣчество такими игрушечками,—то мы вправѣ будемъ считать его произведенія совершенно безполезной, ничтожной, праздной забавой, вродѣ игры въ шахматы или боксированія. А если впечатлѣнія художника будутъ низки и грязны, если единственной цѣлью его произведеній будетъ возбуждать въ васъ плотоядную чувственность изображеніемъ красивыхъ голыхъ тѣлесъ въ соблазнительныхъ позахъ, то такія произведенія мало того что безполезны, а положительно вредны, какъ порожденія разврата и растлѣнія.

II.

Читая книгу Прудона, вы постоянно видите передъ собою словно двухъ людей. Изъ нихъ одинъ человѣкъ стоитъ на чисто-реальной почвѣ, разрабатываетъ вопросъ объ искусствѣ путемъ индуктивнымъ, анализируетъ бездну фактовъ проявленій искусства и въ древнія, и въ новыя времена. Изъ этого анализа, самаго добросовѣстнаго и кропотливаго, онъ приходитъ вотъ къ какимъ выводамъ:

«Всякое произведеніе, какъ искусства, такъ равно промышленности и политики, имѣетъ непремѣнно свое назначеніе; оно произведено для извѣстной цѣли. Нелѣпо предполагать, чтобы въ обществѣ,—для чего не сказать во всей вселенной,—могло быть что-нибудь создано единственно для того только, чтобы быть созданнымъ. Установившись на этомъ правилѣ, искусству остается одно изъ двухъ: или признать, что назначеніе живописи во всей совокупности ея произведеній, какъ самыхъ серьезныхъ, такъ и самыхъ легкихъ, самыхъ ученыхъ и наиболѣе своенравныхъ, должно заключаться въ выраженіи человѣческой жизни, въ воспроизведеніи человѣческихъ чувствъ, страстей, добродѣтелей и пороковъ, трудовъ, предразсудковъ, смѣшной стороны, ея восторговъ, величія и стыда, всѣхъ хорошихъ и дурныхъ качествъ людей, словомъ, въ выраженіи формъ въ ихъ типическихъ, индивидуальныхъ и совокупныхъ проявленіяхъ, и все это съ цѣлью физическаго, интеллектуальнаго и нравственнаго усовершенствованія человѣчества, въ виду оправданія его посредствомъ его же, и наконецъ въ виду его прославленія. Если же подъ предлогомъ независимости искусства, геніальности слѣдуетъ сдѣлать искусство слугою всяческаго идеализма, ученія иллюминатовъ, фанатизма и квіетизма или праздности, роскоши, сластолюбія и эпикуреизма, то это будетъ значить, что, отвергнувъ назначеніе высоко-нравственное, практическое и положительное, школа искусства для искусства возьметъ верхъ ради совершенной ирраціональности, мечтательности и безнравственности» (стр. 422).

Но тотъ же самый Прудонъ, когда берется опредѣлить сущность искусства путемъ чисто-абстрактнымъ (см. гл. II и III), путается въ своихъ опредѣленіяхъ, желаетъ встать на самостоятельную почву и между тѣмъ постоянно становится на точку зрѣнія эстетиковъ старой школы. Такъ напримѣръ, онъ отвергаетъ мнѣніе эстетиковъ, что прекраснаго въ дѣйствительности не существуетъ, что оно существуетъ только въ нашемъ разумѣ, какъ врожденная идея:

«Изъ того, что мы имѣемъ, по преимуществу, свойство сознавать прекрасное въ насъ самихъ и въ природѣ,—говоритъ Прудонъ,—они, т. е. эстетики, заключили, что прекрасное существуетъ только въ нашемъ разумѣ; это все равно, что сказать, что свѣтъ, не существуя для слѣпыхъ, есть только представленіе разума зрячихъ» (см. стр. 28).

Признавая такимъ образомъ реальность прекраснаго въ природѣ, Прудонъ предполагаетъ воспріятіе его людьми посредствомъ познаванія; органъ же познаванія у насъ одинъ процессъ мысли, т. е. комбинація впечатлѣній, представленій и идей. Посредствомъ того же самаго процесса мы доходимъ до познанія, какъ фактовъ исторіи, естествознанія, такъ и прекраснаго въ природѣ. Прудонъ же на первыхъ страницахъ для познанія прекраснаго вкладываетъ въ человѣка особенную способность—«эстетическое чувство». Но развѣ «эстетическое чувство» не та же самая «врожденная идея прекраснаго» гегеліанцевъ. Если созерцаніе прекраснаго въ природѣ возбуждаетъ въ насъ восторгъ, а созерцаніе новаго вида какой-нибудь породы животныхъ такого восторга не возбуждаетъ, то разница здѣсь только въ степени напряженности впечатлѣнія, въ томъ что одни предметы производятъ на насъ напряженныя впечатлѣнія, извѣстныя въ общежитіи подъ названіями восторга, страха, ненависти, отвращенія; другіе предметы производятъ впечатлѣнія болѣе спокойныя; но какъ тѣ, такъ и другіе равно ведутъ къ одному—къ комбинаціи впечатлѣній, представленій, идей и къ отраженію всего этого такъ или иначе. Въ какихъ случаяхъ предметы возбуждаютъ въ насъ болѣе сильныя и напряженныя впечатлѣнія, а въ какихъ болѣе слабыя и спокойныя—это, еще разъ повторяю, не входитъ въ предметъ эстетики; но на томъ только основаніи, что при созерцаніи нѣкоторыхъ предметовъ мы чувствуемъ восторгъ,—придумывать для этого особенную эстетическую способность—такъ-же нелѣпо, какъ было бы нелѣпо особенную способность придумывать для впечатлѣнія страха, особенную для ненависти и т. д. Старинные психологи такъ обыкновенно и дѣлали, предполагая душу человѣка вродѣ бюро, раздѣленную на разные ящички и комодики.

Признавая искусство продуктомъ особенной эстетической способности и вводя его въ узкую среду созерцанія прекраснаго, Прудонъ естественно приходитъ къ такимъ нелѣпымъ выводамъ, которые сами себѣ противорѣчатъ на каждомъ шагу:

«Красота - отблескъ истины», сказалъ Платонъ, но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что эстетическая чувствительность артиста свидѣтельствуетъ о глубинѣ его сознанія или проницательности его разума; напротивъ того, можно сказать, что она находится въ обратномъ содержаніи къ философскому разуму, хотя только при обладаніи такимъ разумомъ художникъ можетъ достигать превосходства въ своей профессіи. Безъ сомнѣнія, искусство не исключаетъ науки; нѣтъ, оно даже не можетъ, подъ опасеніемъ сдѣлаться смѣшнымъ, становиться въ противорѣчіе съ нею; оно обречено сообразоваться съ ней, по мѣрѣ того, какъ оно развивается. Но искусство не дожидается развитія науки, оно предупреждаетъ ее въ своемъ процвѣтаніи, опережаетъ науку въ исходѣ, даетъ предчувствовать ее въ своихъ вдохновеніяхъ, а порою, въ эпохи невѣжества, и у большей части слабыхъ умовъ,—даже замѣняетъ его» (см. стр. 31 и 32).

Вдумайтесь во все это, и вы потеряетесь въ безвыходныхъ противорѣчіяхъ: вы увидите, что эстетическое чувство, находясь въ обратномъ отношеніи къ разуму, нисколько не свидѣтельствуетъ о степени умственнаго развитія художника, но въ то же время и свидѣтельствуетъ, если превосходство въ профессіи художника зависитъ отъ развитія этого разума. Искусство обречено сообразоваться съ наукою по мѣрѣ своего развитія, но въ то же время оно предупреждаетъ и опережаетъ ее въ своемъ исходѣ. Спрашивается теперь, какъ же это такъ идущій впереди можетъ слѣдовать за идущимъ сзади?

Если искусство иногда заранѣе предупреждаетъ науку, то не ему сообразоваться съ наукою, а, напротивъ того, наукѣ слѣдуетъ пользоваться открытіями, сдѣланными искусствомъ. Фактъ предупрежденія науки искусствомъ дѣйствительно случается весьма нерѣдко. Въ произведеніяхъ Шекспира мы можемъ найти много идей, о которыхъ не думали еще современники его и до которыхъ только въ наше время дошли медленнымъ путемъ анализа. Но подобные факты происходятъ вовсе не изъ какого-либо особеннаго эстетическаго чутья, поэтическаго ясновидѣнія, какъ думала старая эстетика. Умъ нашъ не можетъ доходить инымъ путемъ до высшихъ идей, какъ путемъ комбинаціи впечатлѣній, представленій и идей низшихъ. Такой процессъ обязателенъ какъ для художника, такъ и для самаго сухого математика. При этомъ условіи излишне и говорить о томъ, что искусство предупреждаетъ науку; оно само есть та-же наука, только представленная въ живыхъ, наглядныхъ образахъ. И если Шекспиръ въ своихъ трагедіяхъ высказалъ, 200 лѣтъ тому назадъ, идеи, современныя нашимъ поколѣніямъ, онъ обязанъ былъ этимъ не особенному какому-либо эстетическому чутью, а своей геніальной головѣ, производившей такія быстрыя, правильныя и мѣткія комбинаціи представленій, до которыхъ не могли додуматься обыкновенныя головы его современниковъ. Подобныя преждевременныя откровенія принадлежатъ не однимъ художникамъ, но и ученымъ. Современникъ Шекспира, Бэконъ, хотя и не обладалъ эстетическимъ чутьемъ, точно также высказалъ рядъ идей, до которыхъ и теперь еще не вполнѣ додумались очень многіе; съ другой стороны, во всѣ вѣка являлась бездна художественныхъ произведеній по всѣмъ отраслямъ искусства, которыя по справедливости признаны геніальными, но которыя тѣмъ не менѣе не представили никакихъ особенныхъ поэтическихъ откровеній, и вся геніальность ихъ заключается въ томъ, что они вѣрно передали идеи и стремленія своего вѣка. Не надо забывать и того, что очень многія идеи, особенно такія, которыя близко касаются нашей жизни, нашихъ современныхъ интересовъ, прежде чѣмъ сдѣлаться спокойными, отвлеченными формулами, какъ $2 \times 2 = 4$, первоначально возбуждаютъ въ насъ напряженныя и сильныя впечатлѣнія, пока мы не свыкнемся съ ними.

А извѣстно, что сильныя впечатлѣнія ведутъ къ богатымъ и образнымъ отраженіямъ; вотъ причина, что многія идеи, до сознанія которыхъ додумалось человѣчество,—прежде чѣмъ сдѣлаться сухими формулами науки, были выражены первоначально въ живыхъ образахъ искусства. Когда жизнь создала среди насъ Рудныхъ, то, сознавши этихъ людей, какъ особенный, вновь явившійся типъ, мы были такъ поражены имъ, что для насъ недостаточно было спокойно анализировать, изучать его,—мы захотѣли отразить

его въ живомъ образѣ. Тотъ, кто былъ по своей художественной природѣ впечатлительнѣе насъ, кто, по этому самому, болѣе насъ былъ пораженъ этимъ типомъ, кто къ тому же обладалъ навыкомъ отражать впечатлѣнія большимъ, чѣмъ каждый изъ насъ,— тотъ первый взялся за дѣло отразить новый типъ въ живомъ образѣ, и явилась извѣстная повѣсть Тургенева. Когда же впечатлѣніе остыло, и типъ Рудина сдѣлался обыденнымъ явленіемъ жизни, тогда сдѣлалось достаточнымъ спокойно изучать его, выражая работу мысли въ видѣ сухихъ ученыхъ формулъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы первоначальное сознаніе типа Рудина, соединенное съ экстазомъ, не было тою же самою работою мысли. Тургеневъ не иначе комбинировалъ всѣхъ Рудиныхъ въ одинъ общій типъ, какъ естествоиспытатель комбинируетъ въ одинъ типъ всѣхъ животныхъ, принадлежащихъ къ одному роду.

Объемъ статейки заставилъ насъ сдѣлать одну небольшую выдержку изъ анализа Прудона сущности искусства, и на этой выдержкѣ мы постарались показать, какъ Прудонъ, ратуя противъ старыхъ эстетиковъ, постоянно впадаетъ въ ихъ тонъ и находится въ полной зависимости отъ ихъ воззрѣній. Подобныя явленія можно найти на каждой страницѣ, и противъ трактата Прудона объ искусствѣ можно было бы написать такую же книгу возраженій на этотъ трактатъ, если не болѣе. Такое явленіе нисколько не лишаетъ книгу Прудона своихъ неотъемлемыхъ достоинствъ. Не надо забывать, что Прудонъ учился самоучкой, въ такое время, когда идеи нѣмецкихъ философовъ считались альфою и омегою человѣческой мудрости. Онъ глядѣлъ на нихъ съ безусловнымъ уваженіемъ и къ ихъ абстрактнымъ выводамъ прибѣгалъ каждый разъ, когда желалъ свои собственныя идеи, добытыя путемъ живого анализа, подтвердить философскими основаніями. Вслѣдствіе этого во всѣхъ сочиненіяхъ Прудона мы видимъ двѣ струи: одна живая и свѣтлая струя—это тѣ здоровыя, полныя жизни и великаго будущаго идеи Прудона, которыя добылъ онъ индуктивнымъ путемъ анализа окружающей его жизни; другая струя мутная и гнилая—это тѣ абстрактныя идеи школы Гегеля, на основаніи которыхъ Прудонъ разсуждаетъ объ абсолютной сущности тѣхъ или другихъ разбираемыхъ имъ предметовъ. Опытный и философски-образованный читатель сейчасъ же увидитъ, что абстрактныя идеи, въ которыхъ путается Прудонъ, составляютъ ничтожную скорлупку вкуснаго и питательнаго плода; для такого читателя ничего не будетъ стоить облупить эту скорлупку и, бросивъ ее, какъ ненужную, воспользоваться зерномъ. Читатель же малоопытный запутается въ абстрактныхъ идеяхъ Прудона еще болѣе самого автора. Примѣръ такой путаницы представилъ намъ Немировскій въ своей книгѣ «Наши идеалисты и реалисты». Книга эта написана очевидно подъ вліяніемъ трактата Прудона. Авторъ самъ говоритъ въ ней:

«Развить, насколько позволятъ силы, въ систему и подробно все то, что разбросано урывочно, часто намеками по всей книгѣ Прудона относительно теоріи искусства, и главнымъ образомъ коснуться съ точки зрѣнія его взглядовъ тенденцій объ искусствѣ, высказанныхъ нашими современниками идеалистами и реалистами—вотъ то, что намѣренъ сдѣлать пишущій эти строки» (стр. 42).

Задавшись такой цѣлью и найдя въ книгѣ Прудона смѣшеніе идей школы реализма съ идеями школы идеализма, Немировскій понялъ Прудона такимъ образомъ, что Прудонъ ищетъ какой-то середины между реализмомъ и идеализмомъ. И Немировскій началъ искать такой блаженной середины, не понимая, что между этими двумя школами, исходящими изъ совершенно противуположныхъ началъ, не можетъ быть никакой середины, ни малѣйшаго примиренія. Реализмъ отвергаетъ все то, что признаетъ идеализмъ, и искать середины между да и нѣтъ—значитъ не знать одного изъ существенныхъ законовъ логики. У насъ нѣтъ ни времени, ни мѣста разбирать весь тотъ сумбуръ, который напуталъ Немировскій на 350 страницахъ, ища то, чего невозможно искать и что совершенно безполезно. Все то, что мы сказали противъ книги Прудона, можно вполнѣ приложить и къ книгѣ Немировскаго. Достаточно, если мы разберемъ одинъ изъ доводовъ Немировскаго въ пользу существованія особеннаго эстетическаго чувства. На подобный доводъ мы обращаемъ вниманіе читателей потому, что у Прудона мы его не нашли, а между тѣмъ это одинъ изъ сильныхъ доводовъ эстетиковъ старой школы. Немировскій, замѣчая въ человѣкѣ способность одухотворять матеріальную природу, приписывать морю ярость, волнамъ—ропотъ, лиліи—невинность, считаетъ эту способность однимъ изъ несомнѣнныхъ признаковъ эстетическаго чувства. Способность олицетворенія, возможность видѣть въ облакахъ вѣчныхъ странниковъ, въ соснѣ нѣмую грусть, по отдаленной пальмѣ,—повидимому представляется чѣмъ-то совершенно противуположнымъ научному анализу, который смѣется обыкновенно надъ подобными бреднями художниковъ, ничего не видя въ облакахъ, кромѣ сгущенныхъ водяныхъ паровъ, а въ соснѣ—кромѣ корня, ствола и хвой съ сосновыми шишками. Но эта противуположность только кажущаяся. Способность олицетворенія исходитъ изъ того-же самаго умственнаго процесса, изъ котораго исходятъ всѣ великія откровенія науки: мысль наша, комбинируя отдѣльныя впечатлѣнія по ихъ общимъ признакамъ въ общія представленія, т. е. понятія и идеи, не можетъ остановиться въ этой комбинаціи на сближеніи между собою только однородныхъ представленій; для нея достаточно бываетъ часто одного общаго признака, даже намека на такой признакъ, чтобы сблизить между собою представленія совершенно разнородныя. Для той же самой мысли, для которой необходимо собрать всѣ существенные признаки лилій для составленія понятія объ этомъ растеніи, достаточно нѣжнаго лиловаго цвѣта и наклоненной головки цвѣтка, чтобы сблизить это представленіе съ представленіемъ краснѣющей, робко потупленной головки невинной дѣвушки. Олицетворенія такимъ образомъ суть смѣлыя попытки ума, на основаніи одного, двухъ общихъ признаковъ сближать между собою такія разнородныя представленія, которыя никакимъ образомъ не могутъ быть слиты въ общія понятія. Признавать для подобныхъ явленій особенный ящичекъ въ душѣ человѣка и называть его

эстетическимъ чувствомъ нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Художественное творчество пользуется олицетвореніями, какъ однимъ изъ средствъ отраженія впечатлѣній, но подобныя олицетворенія далеко не составляютъ сущности искусства и нисколько для искусства не обязательны: мы можемъ встрѣтить бездну произведеній искусства, въ которыхъ не найдемъ и слѣда подобныхъ олицетвореній. Мы видимъ наконецъ, что искусство въ послѣднее время, становясь серьезнѣе и заботясь болѣе о точномъ и вѣрномъ отраженіи впечатлѣній и идей, все менѣе и менѣе начинаетъ прибѣгать къ олицетвореніямъ, къ этимъ проблескамъ незрѣлой мысли. Оно не падаетъ отъ этого, а, напротивъ того, выигрываетъ. На аллегорію, эмблему и всякаго рода символы нынѣ смотрятъ уже какъ на что-то младенческое и давно отжившее.

Изъ всего сказаннаго нами предоставляемъ читателю самому вывести, что̀ понравилось въ книгѣ Прудона нашимъ реалистамъ, и за что преклонялись передъ его прахомъ наши идеалисты, которые до сего времени ничего не питали къ нему, кромѣ безграничной злобы.

ГЕРОИ ГОЛУБИНАГО ПОЛЕТА.

(«Межъ двухъ огней», романъ М. Авдѣева.)

Принадлежа къ романистамъ старой школы, Авдѣевъ далеко не обладаетъ той степенью художественнаго таланта, на какой стоятъ корифеи этой школы—Тургеневъ, Гончаровъ и Писемскій; но онъ одинъ только изъ всѣхъ представителей своей школы сохранилъ хоть какую-нибудь тѣнь благовидности, не проникся тупымъ, энергичнымъ ожесточеніемъ Писемскаго противъ всего молодого и свѣжаго и не впалъ въ дымное и кислое разочарованіе Тургенева. Правда, изъ его романа видно, что многіе мотивы и пружины современной жизни не совсѣмъ ясны для него: онъ смотритъ на нихъ съ тѣмъ поверхностнымъ взглядомъ, съ какимъ смотрѣли корифеи старой школы на всѣ явленія, происходившія за предѣлами барскихъ сердецъ и нервовъ.

Въ то время, какъ въ изображеніяхъ различныхъ чертъ старой жизни романистъ стоитъ на самой твердой почвѣ, воспроизводитъ дѣйствительность, такъ какъ она есть, на основаніи точнаго знанія этой жизни,—тотъ же самый Авдѣевъ, едва дѣло коснется новой жизни, начинаетъ путаться и фальшивить, какъ это мы увидимъ ниже при анализѣ характера Варсуковой.—Но во всякомъ случаѣ Авдѣевъ, не вполнѣ ясно понимая новую жизнь, всѣ усилія напрягаетъ, чтобы сочувствовать ей; на каждой страницѣ вы увидите либеральныя поощренія и гуманныя отданія справедливости, и если-кое что Авдѣевъ (въ третьей части своего романа) и не одобряетъ въ событіяхъ новой жизни, то высказываетъ свои сѣтованія самымъ мягкимъ, нѣжнымъ тономъ маменьки, сердобольно вздыхающей о своемъ Петинькѣ, что всѣмъ бы этотъ Петинька хорошъ, да пріятели сбили его немножко съ толку, но это, молъ, ничего, пройдетъ, перебѣсится Петинька и опять станетъ послушный маменькинъ сынокъ.

Всѣ условія соединены въ романѣ, чтобъ онъ производилъ на васъ самое пріятное впечатлѣніе. Ни малѣйшей тѣни въ немъ не найдете вы, какъ я сказалъ уже, ирачнаго ожесточенія или кислаго разочарованія; авторъ такъ либерально улыбается вамъ и сулитъ въ будущемъ всевозможныя блага; развязка романа самая праздничная: порокъ наказуется, добродѣтель торжествуетъ; герой романа сочетается законнымъ бракомъ съ героиней, и героиня мирно шествуетъ подъ руку съ нимъ по усѣянному розами пути прогресса, заведя швейную мастерскую во имя женской самостоятельности.—Что̀ бы повидимому оставалось дѣлать по прочтеніи романа, какъ не предаться нѣжному умиленію при созерцаніи завиднаго эденскаго благосостоянія россійскихъ прогрессистовъ и прогрессистокъ. А между тѣмъ, если, не ограничиваясь поверхностнымъ чтеніемъ, вы вдумаетесь поглубже въ романъ, то ни одно изъ самыхъ ирачныхъ, желчныхъ, ожесточенныхъ произведеній не возбудитъ въ васъ такого тяжелаго, безотраднаго чувства, ни одно не возмутитъ васъ такъ до глубины души,—какъ эта либерально-сладкая идиллія. Это впечатлѣніе, и безъ того тяжелое, становится еще невыносимѣе по той причинѣ, что авторъ романа не раздѣляетъ съ вами его; онъ нисколько не возмущается тѣмъ, что̀ особенно гадкимъ, дряннымъ и возмутительнымъ кажется вамъ въ поступкахъ его героевъ, а то, на чемъ хочется остановиться вамъ съ полнымъ сочувствіемъ и отвести, что называется душу,—авторъ ставитъ на послѣдній планъ и относится къ этому съ высокомѣрнымъ сожалѣніемъ, смягчая это сожалѣніе своимъ снисходительнымъ отданіемъ справедливости. Читатель увидитъ это изъ анализа главныхъ дѣйствующихъ лицъ и сюжета романа, и я немедленно приступаю къ этому анализу.

Героемъ романа является Камышлинцевъ, который охарактеризованъ авторомъ съ такой полнотой, что мнѣ не придется и слова прибавить отъ себя, довольствуясь выписками изъ романа.

«Дмитрій Петровичъ Камышлинцевъ значился по формуляру отставнымъ титулярнымъ совѣтникомъ, 29 лѣтъ, а былъ въ настоящее время ремесломъ—помѣщикъ не у дѣлъ, т. е. помѣщикъ, не занимающійся ни хозяйствомъ, ни собаками и не знающій, что̀ изъ себя дѣлать. Пожалуй, можно бы еще помѣстить его въ разрядъ помѣщиковъ, ѣздившихъ заграницу, но за-границей онъ былъ только одинъ разъ; такихъ помѣщиковъ много на святой Руси.»

Послѣ плохого воспитанія, Камышлинцевъ попалъ въ общество молодежи.

«Какъ молодой человѣкъ, онъ во многомъ сочувствовалъ членамъ этого кружка, но видѣлъ и ихъ

увлеченія. Лично онъ любилъ этотъ кружокъ, но идеи кружка составляли для Камышлинцева предметъ горячихъ споровъ: онъ отстаивалъ свой взглядъ и пробовалъ идти своей дорогой. Однакожъ въ томъ и другомъ обществѣ Камышлинцевъ прежде всего узналъ, какъ древній философъ, что онъ ничего не знаетъ, и что истинное образованіе долженъ начать самъ и снова. Онъ былъ человѣкъ самолюбивый и, понявъ свое невѣжество, принялся читать и учиться.»

Чтеніе начинило голову его разными знаніями и идеями, но...

«не смотря на то, въ кружкѣ этомъ Камышлинцевъ чувствовалъ себя не причемъ: всякій работалъ въ немъ, кто для науки, кто для куска хлѣба; у Камышлинцева же не было собственнаго дѣла, не было у него той земли подъ ногами, которая ему, какъ Антею, давала бы силы. Онъ учился, но наукѣ себя посвятить не желалъ, въ искусствахъ не имѣлъ таланта, служить,—но петербургская служба, съ ея канцеляріями и парадами, казалась ему какой-то отвлеченностью, которой можно предаваться только изъ любви къ самой службѣ, какъ иные любятъ искусство для искусства.»

Поѣхалъ онъ послѣ смерти отца въ деревню; тамъ онъ

«присматривался къ хозяйству и учился ему, но помогать этому дѣлу, а тѣмъ болѣе начинать его, былъ не въ состояніи; играть роль благодѣтельнаго помѣщика, сдѣлаться отцомъ своихъ крестьянъ и благодушествовать съ ними — ему и въ голову не приходило: у него было на столько здраваго смысла, чтобы понять, что не благодушествомъ можно пособлять имъ.»

Поступилъ онъ было на службу въ чиновники особыхъ порученій къ губернатору, но не поладилъ и черезъ годъ вышелъ въ отставку.

«Возвратясь снова къ своимъ пенатамъ, Камышлинцевъ началъ было уже предаваться тяжелымъ размышленіямъ: что лучше—жениться ли на барышнѣ, начать ли пить, или повѣситься на самомъ высокомъ деревѣ своего сада,—но въ это время случилась Крымская война, потребовалось ополченіе, и Камышлинцевъ былъ выбранъ въ него.»

Не помохавъ синя-пороха, Камышлинцевъ благополучно возвратился домой по окончаніи войны и отправился за-границу для того, чтобы тамъ дознаться, «что это за штука, которая становится у насъ поперекъ всякому развитію, подставляетъ доселѣ ногу всякой, казалось-бы, здраво задуманной вещи (несчастный, ему и въ голову не приходило, что онъ-то самъ и есть эта штука!)». «Какъ провелъ онъ время за-границей, и что онъ тамъ узналъ—это не входитъ въ планъ нашего разсказа» — говоритъ авторъ (жалко, для большей полноты характеристики не мѣшало-бы хоть нѣсколько словъ сказать о занятіяхъ Камышлинцева за-границей; это вопросъ нетронутый и весьма было-бы интересно знать, чѣмъ занимаются Камышлинцевы, отправляющіеся за-границу съ общей цѣлью учиться, но не избирающіе себѣ при этомъ никакой спеціальности для изученія). Когда Камышлинцевъ услыхалъ о новой жизни, пробудившейся въ Россіи, онъ вскричалъ: «домой, домой! Теперь тамъ есть дѣло, нужны наши труды, тамъ можно и должно работать...» И вотъ отправился онъ домой работать. Работа эта заключалась въ томъ, что Камышлинцевъ сдѣлался членомъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія...

У меня нѣтъ ни мѣста, ни возможности описывать въ подробности всей дѣятельности Камышлинцева, да я нахожу, что это будетъ и совершенно излишне. Это одна изъ тѣхъ старыхъ исторій, о которыхъ въ нашей литературѣ много было писано и переписано. Сколько у насъ было выводимо на сцену разныхъ молодыхъ администраторовъ, либеральныхъ мировыхъ посредниковъ et tutti quanti; и постоянно вы видѣли передъ собой одну и ту же картину, давно уже засаленную и испачканную мухами: среди мертваго застоя гнилой провинціальной лужи, вдругъ, какъ мыльный пузырь, вскочитъ грозный дѣятель прогресса, юпитеръ-громовержецъ для мелкихъ воришекъ, каратель частныхъ гадостей и слѣпой поклонникъ общаго зла; прокипитъ его дѣятельность, какъ изверженіе вулкана, съ дымомъ, трескомъ и трубнымъ гласомъ; а самъ-то о себѣ что думаетъ въ это время общественный дѣятель,—и не приведи Господи!—Наполеонъ, Кромвель, да и только!—Но въ сущности вся эта дѣятельность, по отношенію къ окружающему міру, среди котораго она совершается, оказывается ничѣмъ инымъ, какъ сдуваніемъ пыли въ воздухъ для того, чтобы пыль снова насѣла тамъ-же, гдѣ была; а по отношенію къ дѣятелю, она есть не что иное, какъ порханіе голубка въ воздухѣ: посмотрите, какъ высоко въ синее море улетѣлъ голубь, какіе отчаянные круги совершаетъ онъ тамъ, но, не безпокойтесь, это не такая птица, у которой не было бы пристанища, которая должна была бы летѣть впередъ безъ оглядки, ища пріюта отъ темной ночи и злой бури въ какомъ нибудь дуплѣ и не зная, чѣмъ она завтра будетъ сыта. У нашего голубка, какіе бы зигзаги онъ ни дѣлалъ, всегда имѣется въ виду голубятня съ сытнымъ кормомъ и пойломъ; покружится, покружится голубокъ, и все таки, въ концѣ концовъ, опустится подъ мирный кровъ для того, чтобы клевать зернышки и ворковать съ нѣжной голубкой. Такъ кончаютъ обыкновенно всѣ наши дѣятели голубинаго полета: какъ мыльный пузырь лопается ихъ дѣятельность, стоячая вода мало-по-малу угомоняется, а картинные герои дѣлаются картинными геройчиками любовныхъ похожденій. Такъ совершилъ свою бурную дѣятельность Камышлинцевъ. Хотя авторъ и говоритъ про своего героя, что у него было на столько здраваго смысла, чтобы понять, что не благодушествомъ можно пособить крестьянамъ, однако же вся дѣятельность Камышлинцева въ томъ только и заключалась, что онъ благодушествовалъ и кончилъ со своимъ благодушіемъ тѣмъ, что, оказавши крестьянамъ нѣсколько палліативныхъ услугъ, больше по части благоразумныхъ совѣтовъ, въ концѣ концовъ вооружилъ противъ себя и помѣщиковъ, и администрацію, и затѣмъ сошелъ съ поприща дѣятельности наслаждаться любовными восторгами въ своихъ тѣнистыхъ садахъ. Замѣчательно странно относится авторъ къ своему герою: съ одной стороны, онъ повидимому критически разбираетъ его:

«Вообще,—читаемъ мы въ концѣ романа,—кажется, это характеръ сложный и не сразу дающійся, да цѣльный на его мѣстѣ и появиться еще не могъ. Тутъ и нервность, и бѣлоручныя привычки, и почти вся обстановка недавняго времени—и новыя требованія, и стремленія; задатки силы, и хорошіе задатки, на старой, да вдобавокъ еще и не оттаявшей почвѣ. У насъ недавно только начали появляться спеціалисты съ сознательной любовью къ своему дѣлу, начало открываться и поле для нихъ; а для

людей, какъ Камышлинцевъ, выбивающихся изъ служилыхъ въ земскіе и не сдѣлавшихся изъ помѣщиковъ земледѣльцами,—поле-то еще не очистилось, и они остаются какими-то диллетантами труда; работаютъ они урывками, гдѣ случится: старыя дрожжи ихъ ненавидятъ, молодые спеціалисты смотрятъ на нихъ съ легкимъ презрѣніемъ, чиновный людъ подозрѣваетъ и ревнуетъ. А вообще это, какъ говорится,—продуктъ, хотя отнюдь не герой своего времени, и положеніе его крайне незавидно»...

Но авторъ въ то же время находитъ въ немъ и умъ, и здравый смыслъ, и, какъ читатель можетъ видѣть изъ только-что приведенной выписки, задатки силы—и хорошіе задатки. Вотъ въ этомъ во всемъ и да позволено будетъ мнѣ усомниться. Еслибы у Камышлинцева былъ умъ и здравый смыслъ, онъ заранѣе могъ бы предусмотрѣть, что дѣятельность его, не принеся никакой плодотворной пользы, потерпитъ полное фіаско, и онъ избралъ бы для себя другую дѣятельность, болѣе плодотворную, а еслибы у него были силы, то онъ поступилъ бы такъ, какъ поступаютъ обыкновенно сильные люди: онъ не сталъ бы киснуть на старой, не оттаявшей почвѣ, а смѣло переплылъ бы рѣку и оттолкнулъ бы лодку, чтобы болѣе назадъ не возвращаться; что же и показываетъ въ Камышлинцевѣ дряблое и дрянное безсиліе, какъ не то смѣшное вливаніе новаго вина въ старые мѣхи, малодушное шлепанье взадъ и впередъ по разъ протоптанной тропѣ между двухъ огней, безъ всякой хоть малѣйшей попытки выйти на новую дорогу. Камышлинцевъ—это старая дѣва, которая чахнетъ отъ недостатка любви въ своей жизни и въ то же время боится любви, потому что, вѣдь Богъ знаетъ, можетъ быть смерть отъ нея ожидаетъ...

Хотя рыцари голубинаго полета не способны летѣть далеко и ограничиваются одними игривыми зигзагами вокругъ голубятни,—но зато никто не сравнится съ ними въ умѣньи нѣжно ворковать съ кроткими голубками. О, это ихъ первая спеціальность въ жизни и въ этомъ они первые мастера. Бурная общественная дѣятельность, не принося никому никакой существенной пользы, приноситъ большую пользу имъ самимъ въ томъ отношеніи, что заставляетъ не одно сердце биться сильнѣе, и послѣ погрома герои почиваютъ, какъ на лаврахъ, на груди какой-нибудь красавицы, не перестающей смотрѣть на нихъ, какъ на непонятыхъ геніевъ. У нашего героя была не одна голубка, а цѣлыхъ двѣ. Сначала, отъ скуки, герой нашъ сыгралъ интрижку въ духѣ «Подводнаго Камня». Интрижка эта вышла черезъ чуръ пошленькой, потому что героиня ея, Ольга Мытищева, оказалась Гоголевской дамой, пріятной во всѣхъ отношеніяхъ, однимъ изъ тѣхъ тепличныхъ растеній, для которыхъ ничего не существуетъ въ жизни, кромѣ любовныхъ наслажденій, и въ особенности тайныхъ, соединенныхъ съ разными препятствіями и опасностями. Когда Камышлинцевъ занялся своей общественной дѣятельностью, онъ не нашелъ никакого сочувствія въ своей героинѣ къ своему, такъ называемому, «дѣлу», а напротивъ того: Мытищева встала на сторону его враговъ. «Пусть освобождаются всѣ лакеи, горничныя и мужики, воскликнула она,—но жертвовать для этого своимъ спокойствіемъ и спокойствіемъ людей любимыхъ—не имѣетъ никакого смысла! Повѣрьте, и безъ васъ освободятся очень хорошо. Не дадутъ себя въ обиду! Что касается до меня,—сказала она,—то я рѣшительно не хочу ссориться съ дворянами. Скоро будетъ дворянскій балъ: какъ весело себя чувствовать на немъ, какъ оглашенной! Да и братъ, кажется, знаетъ толкъ въ дѣлахъ,—прибавила она,—а между тѣмъ тоже согласенъ со мною, что вы горячитесь, гдѣ не нужно!» Всѣ подобныя восклицанія сопровождались обильными потоками слезъ и истерическими припадками. Тогда Камышлинцевъ разочаровался въ своей первой голубкѣ, но на ея мѣсто не замедлила прилетѣть другая. Это была Анна Барсукова. Объ этой личности намъ придется поговорить подробнѣе.

Авторъ выставляетъ Барсукову, въ противовѣсъ Мытищевой, какъ дѣвушку новаго времени, какъ лучшую представительницу своего пола: она читаетъ, думаетъ, ее интересуютъ всѣ общественные вопросы; въ противуположность Мытищевой, она принимаетъ живое участіе въ дѣятельности Камышлинцева, наконецъ сама стремится къ самостоятельной жизни и дѣятельности: заводитъ швейную мастерскую. Казалось-бы, она должна производить на читателя самое отрадное впечатлѣніе, а между тѣмъ—ей то именно и обязаны вы тѣмъ тяжелымъ, возмутительнымъ чувствомъ, какое производитъ романъ.

По прочтеніи романа первая мысль является у васъ та, что авторъ, плохо знакомый съ явленіями новой жизни, не понялъ характера лучшихъ представительницъ ея, исказилъ его и представилъ въ ложномъ свѣтѣ; но чѣмъ болѣе начинаете вы вдумываться въ поступки Барсуковой, тѣмъ болѣе вы убѣждаетесь, что если онъ не вполнѣ выдержалъ этотъ характеръ, то не въ томъ отношеніи, что въ свѣтлую личность новой жизни вложилъ нѣсколько возмутительныхъ пошлостей, а напротивъ того въ томъ, что, представивши одну изъ голубицъ старой жизни, онъ не довелъ до надлежащаго конца развитіе характера подобнаго рода (мы увидимъ это ниже).

Анна Барсукова принадлежитъ къ тому типу провинціальныхъ мечтательницъ, который такъ глубоко уже исчерпанъ нашей литературой. Живетъ барышня въ деревнѣ, въ глуши, въ какой-нибудь семейной теплицѣ, не знаетъ она ни людей, ни жизни, ничѣмъ она не занята, времени свободнаго много, начинаетъ она отъ скуки читать, и читаетъ, что въ руки ей попадется, сначала всевозможные романы и стишки, потомъ журналы, наконецъ переходитъ и къ болѣе серьезному чтенію. Въ старину барышни подобнаго рода засматривались на луну, вздыхали, писали ногтемъ на запотѣвшихъ стеклахъ милыя имена и ждали со дня на день, когда-то ихъ кто-нибудь похититъ. Впослѣдствіи онѣ изнывали отъ ожиданій, что вотъ-вотъ пріѣдетъ герой нашего времени и начнетъ ихъ развивать; наконецъ, въ послѣднее время онѣ сами начали бросать родительскій кровъ и развиваться, не ожидая уже похитителей и развивателей. Казалось бы, какую хорошую дорогу начали выбирать онѣ: самостоятельный трудъ, науку... Но если имъ легко было отдѣлаться отъ старыхъ предразсудковъ, то не такъ легко избавиться отъ старыхъ привычекъ: для этого нужно было переродиться и начать жить снова. Тепличныя растенія усадебныхъ

оранжерей и парниковъ,—не многія изъ нихъ принялись на новой почвѣ; большинство голубокъ полетало, полетало, покружилось въ воздухѣ и снова усѣлось на тѣ же голубятни. Да и какъ было не усѣсться, когда всѣ привычки, вся природа до мозга костей къ тому стремились; уста говорили о трудѣ, а привычная лѣнь манила къ сладкому отдыху и пріятнымъ развлеченіямъ; въ юной головкѣ кружился идеалъ мыслящаго героя,—а сердце, не спрашиваясь у головки, билось отъ кудрявыхъ волосъ и приторныхъ комплиментовъ какого нибудь пошленькаго фата.

Такова Анна Барсукова въ своей любви къ Камышлинцеву. Она читаетъ, развивается, увлекается общественными вопросами, наконецъ она мечтаетъ о томъ, какъ она изберетъ въ свои спутники мыслящаго героя, чтобы идти съ нимъ по одной дорогѣ. И вотъ представляются ей на выборъ два человѣка: одинъ изъ нихъ дѣйствительно мыслящій герой, бѣдный труженикъ мысли, заброшенный борьбой въ деревенскую глушь, одинъ изъ тѣхъ бойцовъ неумолимой здравой логики, которые не терпятъ никакихъ полумѣръ, полусредствъ, потому что не видятъ никакой въ нихъ пользы, а другой—геройчикъ голубинаго полета, гордо драпирующійся въ мишурную, безплодную дѣятельность полусредствъ и полумѣръ, провинціальный фатъ и пошлый ловеласъ. Кого же избираетъ Барсукова въ свои герои—Камышлинцева или Благомыслова? Замѣчательно, что въ нашихъ романахъ женщина является обыкновенно въ видѣ судьи, Париса, держащаго въ рукѣ яблоко раздора, а передъ этимъ Парисомъ женскаго пола парадируютъ обыкновенно нѣсколько любовниковъ, ожидающихъ, какъ греческія богини, кому будетъ вручено яблоко, и яблоко вручается конечно тому, кто этого болѣе достоинъ или по своему развитію, или по своимъ силамъ. Мотивомъ выбора является обыкновенно какое нибудь серьезное, глубокое основаніе: такъ, Ольга предпочла Штольца Обломову, Елена предпочла Инсарова всѣмъ другимъ соискателямъ на томъ основаніи, на которомъ все мыслящее поколѣніе того времени предпочло бы Инсарова и Штольца. Посмотрите же теперь, какимъ мотивомъ руководствуется Барсукова. Вотъ что говоритъ она въ маскарадѣ, куда она ходитъ, какъ истая барышня, интриговать Камышлинцева:

«— Какъ же ты не влюбилась въ него? спрашиваетъ у нея Камышлинцевъ: —это не въ порядкѣ вещей! Истинное воспитаніе взрослой дѣвицы начинается съ того, что учитель и ученица влюбляются другъ въ друга.

— Хорошій онъ малый... и подумывала я о немъ... да не нравится! что прикажешь дѣлать? сказала она съ сожалѣніемъ.—Грубоватъ онъ очень да п... неряшливъ—прибавила она вполголоса, какъ бы каясь:—а я около васъ, приличныхъ, набаловалась.

— У него, бѣднаго, можетъ на приличность то и средствъ нѣтъ! сказалъ Камышлинцевъ: —пришли-ка его ко мнѣ, я ему работу дамъ.»

О, милая героиня голубинаго полета, какъ ты видна въ этой фразѣ вся, во всей твоей глубинѣ!.. Жалкое тепличное существо, возросшее на почвѣ романтизма, ты мечтаешь о героѣ, но герой этотъ не иначе представляется въ твоемъ воображеніи, какъ въ видѣ величественнаго рыцаря съ галантерейными любезностями, въ лайковыхъ перчаткахъ и съ гордой печатью генія на челѣ; а когда является передъ тобою настоящій герой, ничѣмъ не выдающійся изъ толпы, не рисующійся, не ослѣпляющій глазъ блестящими эффектами, простой, гуманный, кроткій и можетъ быть даже смѣшной съ галантерейной точки зрѣнія,—тебѣ не постичь прометеевскаго огня подъ грубой одеждой; ты побѣжишь за мишурнымъ, раздушеннымъ фатомъ и съ отвращеніемъ отвернешься отъ человѣка, отъ котораго пахнетъ потомъ труда и нужды. Какой глубокой истиной дышутъ въ этомъ отношеніи слова Благомыслова послѣ объясненія съ Барсуковой, когда онъ услышалъ отъ нея, что она его не любитъ:

«— Дѣйствительно, началъ опять, идя на проломъ, съ горькой усмѣшкой, Благомысловъ: —вѣдь нашъ братъ изъ кутейниковъ и грубъ, и не ловокъ, а одѣтъ-то такъ, что лакей у иного франта за поясъ заткнетъ, такъ за что-же насъ и любить!.. Ну, а все-таки, хоть вы теперь и другихъ идей придерживаетесь, онъ иронически улыбнулся,—а все-же мы толковали и, такъ сказать, старались о развитіи!»

Одно только въ эту минуту не приходило въ голову Благомыслову, что онъ имѣлъ дѣло здѣсь съ такими силами, которыя далеко превышаютъ силы идей и умственнаго развитія,—съ силой привычекъ и того закала, который дѣлаетъ людей глубоко и страстно сочувствующими всему истинно здоровому, свѣжему и живому, или-же поверхностными діллетантами, скользящими по поверхности жизни и увлекающимися внѣшнимъ блескомъ и мишурой.

Авторъ имѣлъ полное право вывести личность, вродѣ Барсуковой,—это было-бы и ново, и поучительно, но, во-первыхъ, онъ долженъ былъ-бы отнестись къ ней такъ, какъ она этого стоитъ, а во-вторыхъ, довести до конца развитіе такого характера, какъ онъ сдѣлалъ это съ Камышлинцевымъ, то-есть показать, какъ, послѣ граціозныхъ зигзаговъ въ воздухѣ, прелестныя голубицы возвращаются подъ мирный кровъ своихъ голубятенъ. Авторъ-же вообразилъ, что онъ представляетъ въ лицѣ Барсуковой лучшій типъ современной дѣвушки, а подъ конецъ романа заставилъ свою героиню устраивать швейную мастерскую. Вотъ въ этомъ-то и заключается невыдержанность характера Барсуковой и непониманіе Авдѣевымъ новой жизни. Еслибы Барсукова была дѣйствительно лучшая представительница новой жизни, способная создать мастерскую и не бросить своего дѣла на другой же день, въ такомъ случаѣ ужъ конечно это была бы такая дѣвушка, которая не оттолкнула-бы отъ себя, безъ всякаго участія, бѣднаго труженика и страдальца мысли, Благомыслова, и не предпочла-бы ему мишурную ничтожность вродѣ Камышлинцева. Если же Барсукова такъ легко отнеслась къ Благомыслову, отвергнувши его любовь на томъ основаніи, что отъ него не пахнетъ одеколономъ и не умѣетъ онъ вовремя платочка поднять, то мы знаемъ, какъ подобныя галантерейныя барышни заводили всякаго рода мастерскія; начиналось дѣло съ шума и треска, высоко подымала голову барышня и воображала, что она Америку открываетъ, а когда барышнѣ приходилось споткнуться на первомъ-же шагу, когда обнаруживалась полная непрактичность ея и неумѣніе взяться за дѣло, когда вслѣдствіе этого всѣ отъ нея отступались, барышня кидалась въ разочарованіе,—вино-

ваты въ ея неуспѣхѣ оказывались лучшіе люди общества, которые не удостоили своимъ участіемъ ея дѣла и апатично относились къ ея предпріятію. А за подобнымъ разочарованіемъ слѣдовала обыкновенно полная апатія и сонное прозябаніе на груди милаго. Вотъ чѣмъ должна была кончить Варсукова по всѣмъ даннымъ во второй и третьей части романа. Когда въ концѣ его авторъ представилъ свою чету фланирующей за-границей, я такъ и думалъ, что голубка успѣла уже придти къ тому-же, къ чему и голубокъ; но оказывается, что она продолжаетъ еще устраивать мастерскую. Какъ-же послѣ этого она терпитъ возлѣ себя пустого и празднаго фата, почившаго долгимъ сномъ послѣ мишурной дѣятельности? А чѣмъ-же покончилъ Благомысловъ? Неоцѣненный, непонятый, непригрѣтый—онъ сошелъ со сцены, на которой онъ дѣйствительно былъ совершенно лишнимъ человѣкомъ. Неутомимый борецъ знанія и свѣта, горемычный пасынокъ жизни, долго тебѣ еще скитаться по свѣту безъ участія, безъ привѣта! Чуждый гость родной земли, долго тебѣ еще придется стучаться въ двери, прося ночлега отъ ехидной бури, и не получать никакого отвѣта!.. Злая доля забросила тебя къ чужимъ людямъ, ты думалъ, что они братья твои не только по человѣчеству, но и по взглядамъ, убѣжденіямъ, стремленіямъ. Эти люди внимали твоимъ горячимъ рѣчамъ, сочувствовали имъ повидимому, а сами всей своей жизнью противорѣчили имъ, и съ высоты своей узенькой, мѣщанской мудрости про себя посмѣивались надъ тобою, какъ надъ шутомъ! Ты былъ нагъ и голоденъ, они рады были оказать тебѣ помощь, которая свидѣтельствовала-бы о ихъ великодушіи. Когда же ты, обольщенный ихъ ложнымъ сочувствіемъ, ихъ мнимымъ участіемъ, вздумалъ, по-братски, сѣсть съ ними рядомъ, они тотчасъ-же показали тебѣ надлежащее мѣсто. Тогда увидѣлъ безпріютный странникъ, что не хлебать ему похлебья на чужомъ пиру, опомнился и сталъ собираться въ путь,—идти своей дорогой... И что-же: эти-же самые люди, которые не поняли его, унизили, отвергнули, вздумали сердобольно вздыхать о его участи и устроили ему сцену для того, чтобы удержать его:

«— Я заѣзжалъ къ Аннѣ Ивановнѣ, сказалъ Камышлинцевъ съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ оскорбленной невинности, нисходящей до оправданія (она обыкновенно заключается въ басовыхъ и горловыхъ звукахъ голоса),—чтобы сказать ей о вашихъ намѣреніяхъ. Я надѣюсь, что вы болѣе послушаетесь ея, чѣмъ меня.— Высказавъ это, Камышлинцевъ не спѣшилъ уйти, такъ какъ секретъ былъ уже открытъ.

— Что за заботы! съ усмѣшкой сказалъ Благомысловъ.—Не все ли равно, уйду я, или нѣтъ, и что со мною станется! Кому и для чего я здѣсь нуженъ? - прибавилъ онъ, пожавъ плечами.

— Что же вы думаете, что намъ все равно, что бы съ вами ни сталось?—горячо спросила Анюта, глядя ему въ глаза. - Вы это по себѣ, что ли, судите?

— Я полагаю,—хмуро, хотя нѣсколько осѣвшись, сказалъ Благомысловъ,—что надо дѣло дѣлать, а о себѣ думать нечего, особенно такимъ счастливымъ господамъ, какъ я,—добавилъ онъ.

— Да въ томъ-то и вопросъ,—сказалъ Камышлинцевъ,—такъ ли вы дѣло-то понимаете? Будетъ ли прокъ въ этомъ дѣлѣ? Можно не думать о себѣ, когда увѣренъ, что несомнѣнно принесешь пользу, что по вѣрной дорогѣ идешь.

— Ну, я въ этомъ не сомнѣваюсь,—твердо сказалъ Благомысловъ.—Конечно пріятнѣе и безопаснѣе здѣсь заниматься протестами противъ Кнебелей, да бесѣдовать съ такими прекрасными дѣвицами,- онъ съ усмѣшкой взглянулъ на Анюту,—но это не наше дѣло; да меня, слава Богу, ничего и не держитъ здѣсь, прощайте!—онъ протянулъ руку Анютѣ и крѣпко пожалъ ее.

— Да постойте!—сказала она,—переговоримте по крайней мѣрѣ.

— Все переговорено,—сказалъ онъ угрюмо, повернулся и быстро вышелъ. Анютѣ показалось, что она вновь услыхала въ его словѣ тѣ подавленныя слезы, которыя она слышала при памятномъ объясненіи.

Анюта и Камышлинцевъ остались, молчаливые, другъ противъ друга.

— Жаль его,—сказалъ Камышлинцевъ,—да не воротите. Въ его лѣта безъ дѣла и безъ любви бросишься въ омутъ, чтобы уйти отъ скуки, а гдѣ же усидѣть въ такое горячее время. Молодыя силы рвутся, а средствъ къ выходу мало, и вотъ какъ онѣ гибнутъ.

Анюта слушала молча и печально.»

Вообще эта сцена навѣяла на нихъ грусть. О, милые, сердобольные голуби! грустить, печалиться, разчувствоваться въ данную минуту и расплываться въ слезахъ и воздыханіяхъ,—это ваше дѣло, это вы только и умѣете. Но кто же виноватъ, что ушелъ отъ васъ Благомысловъ, какъ не вы же сами? Вы сѣтуете на безполезность жертвъ, но кто же кладетъ ихъ на жертвенникъ, какъ не вы же? Что же дѣлать, если многіе бываютъ готовы скорѣе безплодно замерзнуть на дорогѣ, чѣмъ терпѣть ваше тепло, сидя на краюшкѣ вашего стола, довольствуясь вашими великодушными подачками и выслушивая ваши снисходительныя сѣтованія на непрактичность и увлекаемость... Не поняли, не оцѣнили Благомыслова герои романа, да нельзя сказать, чтобы и самъ романистъ отнесся къ этой личности, какъ она того заслуживаетъ. Она занимаетъ самое невидное мѣсто въ романѣ: выводится мелькомъ и очерчивается блѣдно, какъ это часто дѣлаютъ наши романисты съ непризнанными любовниками, выводимыми не для чего иного, какъ для образованія фона, на которомъ выпуклѣе рисовался бы герой романа, любовникъ признанный и счастливый. А между тѣмъ Благомысловъ болѣе всего привлекаетъ интересъ читателя, возбуждаетъ сочувствіе и участіе. Мнѣ кажется, что романъ Авдѣева значительно выигралъ бы и въ своемъ значеніи, и въ своей трагической коллизіи, еслибы авторъ вмѣсто того, чтобы утомлять вниманіе читателя эротическими сценами любовныхъ похожденій Камышлинцева, героемъ своего романа избралъ Благомыслова и поставилъ его на первый планъ, чтобы показать, какъ всталъ въ разрѣзъ со всей жизнью этотъ страдалецъ мысли, какъ онъ былъ не понятъ, осмѣянъ въ самыхъ своихъ завѣтныхъ чувствахъ и стремленіяхъ, отвергнутъ съ безчеловѣчнымъ высокомѣріемъ, и когда ему осталось только гибнуть, эти же самые люди, которые не поняли, осмѣяли, отвергли его, вздумали сѣтовать и охать о его гибели! Это былъ бы сюжетъ, достойный художника, и вотъ въ этомъ заключается отсталость старой школы романистовъ, что какія бы глубокотрагическія явленія жизни ни затрогивали они, постоянно главный интересъ романа сводится у нихъ на эротическія похожденія какого нибудь пошленькаго провинціальнаго ловеласа.

II

ТЕОРІЯ ЛАССАЛЯ

И ПОНИМАНІЕ ЕЯ ПРУССКИМИ ПРОГРЕССИСТАМИ.

(«Одинъ въ полѣ не воинъ», романъ Шпильгагена.)

I.

Романъ Шпильгагена, имѣвшій большой успѣхъ въ Германіи и читающійся запоемъ въ настоящее время у насъ, безспорно принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій европейской литературы послѣдняго времени. Всякій, кто прочелъ этотъ романъ, былъ пораженъ широтою и колоссальностью картины, причемъ умственнымъ очамъ читателя представлялись не какихъ-нибудь два-три семейства, связанныя любовной интрижкой подъ условіями соціальныхъ столкновеній, а перспектива цѣлыхъ сословій и партій страны, борющихся на аренѣ одного изъ самыхъ животрепещущихъ вопросовъ европейской жизни,— вопроса о судьбѣ рабочихъ. Въ каждой личности, выведенной въ романѣ, рѣзко и дагеротипно очерчивается какая-нибудь партія, сословіе или среда во всей ихъ сущности, стремленіяхъ, промахахъ, благотворномъ или вредномъ вліяніи на жизнь общества. Но на что прежде всего нужно обратить вниманіе, чтобы получить вѣрную точку зрѣнія на романъ и достойно оцѣнить сильныя и слабыя стороны его,—это именно есть то, что романъ Шпильгагена заключаетъ въ себѣ особенный фокусъ искусства, достигаемый только геніальными талантами или умами, развитыми глубокимъ философскимъ образованіемъ. Фокусъ этотъ заключается въ слѣдующемъ: каждый художникъ, который не есть только отвлеченный созерцатель прекраснаго, который принимаетъ живое, непосредственное участіе въ интересахъ общества, есть непремѣнно человѣкъ той или другой партіи. Но, увлекаясь интересами своей партіи, онъ можетъ раздѣлять тѣ или другіе заблужденія и предразсудки своихъ партизановъ. Было-бы очень наивно предполагать, чтобы всякаго рода клеветы и навѣты, которыми осыпаютъ одна другую враждебныя партіи, нарочно выдумывались съ сознательно-злонамѣренной цѣлью. Они возникаютъ первоначально какъ легенды и сказки, подъ вліяніемъ воображенія, разгоряченнаго страстями борьбы, потомъ уже укореняются въ умѣ, какъ ложныя понятія и предразсудки, и тогда уже начинаютъ употребляться сознательно и злонамѣренно для взаимнаго подкапыванья. Это явленіе мы видимъ въ исторіи всѣхъ партій религіозныхъ, политическихъ и литературныхъ. Но въ такомъ случаѣ, требуя, чтобы художникъ принималъ живое участіе въ интересахъ жизни, былъ гражданинъ, принадлежащій къ той или другой партіи, можемъ-ли мы разсчитывать, чтобы произведенія его были истинны, чтобы они вѣрно изображали жизнь со всѣми ея треволненіями? Въ такомъ случаѣ не отнимаемъ-ли мы отъ искусства его главное достоинство—служеніе истинѣ, правдѣ, и не дѣлаемъ-ли его орудіемъ партій ради всевозможныхъ инсинуацій и подкапываній? Какъ-же достигнуть того, чтобы поэтъ, будучи партизаномъ, былъ въ то же время поборникомъ истины? Поставить поэта внѣ всякихъ партій и выше ихъ всѣхъ, потребовать, чтобы онъ изучалъ жизнь объективно и безпристрастно? Не значитъ-ли это, чтобы поэтъ былъ какимъ-то кастратомъ безусловной истины, чуждымъ человѣческихъ страстей и сопряженныхъ съ ними увлеченій? Возможно-ли это? Не видимъ-ли мы ежедневно, что проповѣдники безпристрастной истины сами постоянно увлекаются и впадаютъ въ предразсудки, инсинуируя такъ или иначе своихъ противниковъ? Романъ Шпильгагена служитъ прекраснымъ отвѣтомъ на всѣ эти вопросы и представляетъ замѣчательный въ своемъ родѣ счастливый исходъ поэта, раздѣляющаго ложный взглядъ своихъ партизановъ на противниковъ и въ то же время представляющаго въ своемъ романѣ рядъ неопровержимыхъ истинъ. Въ этомъ заключается новидимому непроходимое противорѣчіе; но въ этомъ-то и состоитъ главный фокусъ романа, и фокусъ этотъ раскроется передъ вами, если вы начнете смотрѣть на романъ не съ одной точки зрѣнія, а съ двухъ: посмотрите на романъ съ точки зрѣнія исключительно политической, вы увидите въ романѣ инсинуацію прусскаго прогрессиста, направленную противъ Лассаля; инсинуація эта не есть личная выдумка Шпильгагена: она принадлежитъ всей партіи прогрессистовъ со всѣми ея вѣтвями; отъ нея такъ и вѣетъ духомъ той борьбы, которую велъ Лассаль съ прогрессистами въ послѣдніе годы своей жизни. Но отбросьте политическую точку зрѣнія, забудьте, что существовалъ Лассаль, и представьте себѣ, что Шпильгагенъ ни о чемъ болѣе не думалъ, какъ рѣшить дедуктивнымъ путемъ вопросъ: что̀ произойдетъ съ человѣкомъ, если онъ будетъ дѣйствовать такъ, какъ дѣйствовалъ герой романа, Лео? И вы должны будете сознаться, что такой вопросъ рѣшенъ Шпильгагеномъ блистательно и съ этой точки зрѣнія романъ дышетъ несомнѣнной, глубокой истиной. Попробуемъ же мы посмотрѣть на романъ съ этихъ двухъ точекъ зрѣнія. Этимъ статья моя естественно распадается на двѣ совершенно различныя части. Въ заключеніи же я намѣренъ высказать нѣсколько соображеній о томъ, какое различіе имѣетъ романъ Шпильгагена, романъ тенденціозный и съ очевидной инсинуаціей, отъ тенденціозныхъ романовъ нашей беллетристики, и, какъ увидитъ читатель изъ немногихъ словъ, какой жалкой бѣдностью мысли, какой низменной пошлостью, неряшествомъ, грязью и сирадомъ пробавляемся мы въ нашей убогой жизни.

II.

Для того, чтобы вполнѣ ясно и опредѣленно уяснить читателю политическую тенденцію романа Шпильгагена, я долженъ предварительно сдѣлать краткій очеркъ борьбы политическихъ партій въ Пруссіи въ послѣдніе годы жизни Лассаля, умершаго въ 1864 г.

Въ Пруссіи существуютъ двѣ враждебныя партіи (мы здѣсь не будемъ говорить о различныхъ оттѣнкахъ и развѣтвленіяхъ партій): партія реакціонная, стремящаяся къ абсолютизму, и партія либеральная—конституціонная. Во главѣ первой стоитъ администрація страны,—и сосредоточіе этой партіи составляетъ старое прусское дворянство; во главѣ второй стоитъ законодательное собраніе,—и сосредоточеніе этой партіи составляетъ буржуазное сословіе страны. Первая имѣетъ значительный перевѣсъ на своей сторонѣ, потому что опирается на прекрасно организованную, побѣдительную армію, при помощи которой можетъ мѣнять конституціи ежедневно, дѣлать какія угодно распоряженія помимо согласія законодательнаго собранія и не ставить въ грошъ представительство страны. Конституціонная же партія не имѣетъ за собой никакой силы. Войско не принадлежитъ ей; въ глазахъ народа буржуазія давно уже успѣла потерять то обаяніе, какое имѣла когда-то, во время оно:—у народа явились свои особенные интересы, не только отличные отъ интересовъ средняго сословія, но и діаметрально противуположные имъ. Конституціонная партія увидѣла себя на воздухѣ. Тогда у нея возникло естественное стремленіе искать опоры въ какой-нибудь силѣ, чтобы быть въ состояніи мѣряться съ правительственной партіей. Она увидѣла необходимость воротить, во что бы то ни стало, довѣріе народа и встать во главѣ его.—Но какъ задобрить народъ, начинающій видѣть въ среднемъ сословіи своего перваго врага? Неужели нужно отказаться въ пользу народа отъ всѣхъ привилегій, всемогущества капитала и эксплоатаціи? Нельзя ли привлечь на свою сторону народъ безъ всякихъ уступокъ, съ сохраненіемъ тѣхъ же самыхъ экономическихъ условій промышленности? Плодомъ такихъ измышленій явилась пропаганда Шульце-Делича. Чѣмъ болѣе вдумываетесь вы въ эту пропаганду, тѣмъ болѣе удивляетъ васъ система ея, поистинѣ іезуитская, хотя, очень можетъ быть, Шульце-Деличъ и не подозрѣвалъ, какой іезуитизмъ скрывается въ его теоріи. Съ одной стороны, пропаганда эта имѣетъ цѣлью подѣйствовать на самолюбіе народа; она старается внушить ему, что стыдно было бы ему, народу, искать себѣ помощи извнѣ, надѣяться на какихъ-нибудь благодѣтелей и покровителей, которые, оказавши народу помощь, весьма естественно, сами могутъ сдѣлаться эксплоататорами и деспотами; народъ, чтобы сохранить свою гордость, независимость и свободу, силой своей собственной энергіи долженъ улучшить свой бытъ, самъ себѣ помочь и ни на кого не надѣяться, какъ только на самого себя. Эта самая помощь представляется въ видѣ Шульце-Деличскихъ ассоціацій; а для того, чтобы народъ могъ свободно устраивать эти ассоціаціи, очевидно онъ долженъ стоять за сохраненіе конституціи страны и дѣйствовать за одно съ конституціонной партіей, которая такъ заботится о доставленіи народу свободы помогать самому себѣ. Партія прогрессистовъ ухватилась за теорію Шульце-Делича, какъ за якорь спасенія, и начала всѣми силами способствовать развитію и распространенію этой теоріи въ народѣ, въ надеждѣ сдѣлаться посредствомъ нея вождемъ народа.

Все шло сначала, какъ по маслу: заводились общества потребительныя, кредитныя, инвалидныя, сырыхъ матеріаловъ; пропаганда расширялась.—Какъ вдругъ у прогрессистовъ явился цѣлый рядъ новыхъ враговъ съ Лассалемъ во главѣ,—и завязалась ожесточенная борьба. Съ неукротимой энергіей началъ распутывать Лассаль всѣ нити этой хитросплетенной интриги. Въ своихъ политическихъ рѣчахъ, а впослѣдствіи въ цѣломъ сочиненіи онъ доказалъ всю несостоятельность теоріи Шульце-Делича и невозможность посредствомъ нея улучшить бытъ народа. Съ другой стороны, въ 1862 г. онъ сказалъ двѣ рѣчи передъ избирателями; въ первой рѣчи (Ueber Verfassungswesen) онъ показалъ всю ничтожность прусской конституціи, которая существуетъ только на бумагѣ и не имѣетъ никакой силы въ дѣйствительности. Доказательства свои въ этихъ рѣчахъ онъ утвердилъ на томъ основаніи, что повсюду въ прежнія времена и въ нынѣшнія—не право, написанное на бумагѣ, было источникомъ силы, а, напротивъ того, сила рождала право, и постоянно право было на сторонѣ силы, а если оно не опиралось ни на какую силу, то было мертвой буквой, листомъ бумаги,—и не имѣло никакого значенія въ жизни.

Рѣчи Лассаля были перчаткой, брошенной въ лагерь конституціонистовъ. Тогда-то посыпались инсинуаціи всякаго рода, посредствомъ которыхъ конституціоналисты старались очернить Лассаля, съ одной стороны, въ глазахъ правительства, съ другой—въ глазахъ народа. Съ одной стороны, реакціонеры и умѣренные либералы обвиняли Лассаля, какъ отчаяннаго соціалиста, коммуниста, революціонера, проповѣдующаго разрушительныя теоріи, имѣющія цѣлью низвергнуть всякій порядокъ. Такого рода инсинуаціи нашептывались конечно въ уши администраціи и вовлекли Лассаля въ цѣлый рядъ уголовныхъ процессовъ. Инсинуаціи такого рода не входятъ въ предметъ моей статьи, потому что романъ Шпильгагена совершенно безгрѣшенъ въ нихъ. Рядомъ съ этими наговорами распускались изъ лагеря лѣваго крыла прогрессистовъ инсинуаціи совершенно противуположнаго свойства. Послѣ того какъ Лассаль во второй своей рѣчи «Was nun?» - назвалъ прогрессистовъ малодушными лгунами, друзьями реакціонеровъ, помогающими имъ обманывать народъ, прогрессисты направили на него его же орудіе, т. е. начали распускать противъ него слухи, что онъ-то именно и есть приверженецъ реакціи. Его положеніе: «сила рождаетъ право» перетолковали такимъ образомъ, что будто онъ въ своей рѣчи хотѣлъ доказать, что сила должна имѣть преимущество передъ правомъ. Въ своей брошюрѣ «Macht und Recht» Лассаль опровергаетъ всѣ эти инсинуаціи. Онъ говоритъ между прочимъ: «извѣстно, что изъ «Volkszeitung» вышло ложное пониманіе, будто я въ рѣчи своей о конституціи провелъ ту мысль, что сила должна имѣть

преимущество передъ правомъ; а многія слабыя и неразвитыя головы въ публикѣ подхватили эту геніальную выдумку и, по обыкновенію своему, вывели изъ нея сейчасъ же мнѣніе, что будто Бисмаркъ—мой ученикъ». Далѣе въ этой брошюрѣ Лассаль доказываетъ, что рѣчь его имѣетъ характеръ вовсе не этическій, а историческій, т. е. онъ не думалъ учить людей, что̀ должно быть, а показывалъ только, что̀ есть и было. Онъ вовсе не думалъ проводить ту мысль, что сила должна имѣть преимущество передъ правомъ, а только показывалъ, что сила всегда обусловливала собою право, и если Бисмаркъ осуществляетъ на дѣлѣ это положеніе, то не потому, чтобы онъ извлекъ свой образъ дѣйствія изъ рѣчи Лассаля, а, напротивъ того, рѣчь Лассаля, между прочими доказательствами своего положенія, опирается на дѣйствіяхъ Бисмарка. Всѣ эти объясненія не имѣли никакого вѣса въ глазахъ противниковъ. Но самымъ широкимъ поприщемъ для подорванія кредита Лассаля въ глазахъ народа и представленія его приверженцемъ правительственной власти—была теорія его, которую выставилъ онъ противъ теоріи Шульце-Делича, какъ единственно способную улучшить бытъ народа. Въ противуположность самопомощи Шульце-Делича, Лассаль началъ доказывать въ своихъ рѣчахъ передъ рабочими, что они не въ силахъ помочь себѣ сами, а что единственная возможность улучшить имъ бытъ свой—это искать помощи извнѣ, требовать ее отъ государства. Но не въ одной этой фразѣ заключалась теорія Лассаля. Фраза эта сама по себѣ темна и неопредѣленна и можетъ быть источникомъ различныхъ толкованій. Вслѣдъ за этой фразой сейчасъ же представляется цѣлый рядъ вопросовъ: какъ можетъ помочь государство рабочему вопросу и каково должно быть государство, способное оказать дѣйствительную помощь?

Въ своихъ политическихъ рѣчахъ Лассаль такъ ясно и опредѣленно рѣшаетъ всѣ эти вопросы, что не подаетъ и тѣни сомнѣнія въ его цѣляхъ, не подаетъ ни малѣйшаго повода заподозрить его въ какихъ либо заднихъ мысляхъ. Прочтите, напримѣръ, его рѣчь: «Объ особенной связи современнаго историческаго періода съ идеей рабочаго сословія» (переведенную на русскій языкъ въ «Совр.» 1865 г.), а еще лучше—«Отвѣтное письмо центральному комитету». Въ послѣднемъ вы увидите систему Лассаля во всѣхъ ея существенныхъ пунктахъ. Отвергая теорію Шульце-Делича, взамѣнъ ея онъ предлагаетъ устраивать рабочія ассоціаціи посредствомъ выпуска акцій подъ гарантіей правительства, подобно тому, какъ правительство гарантируетъ акціи желѣзныхъ дорогъ. «Государство,—говоритъ онъ,—не будетъ играть при этомъ никакой диктаторской роли; ему будетъ принадлежать только разрѣшеніе и утвержденіе устава ассоціацій и, для сохраненія своихъ интересовъ, надлежащій контроль за правильнымъ веденіемъ производства! Но каково должно быть государство для того, чтобы этотъ контроль не перешелъ въ диктаторство со всѣми возможными стѣсненіями? Можетъ ли быть такимъ государствомъ буржуазное представительство, при которомъ политическія права принадлежатъ только $3^3/_4\,\%$ населенія Пруссіи, по вычисленіямъ Лассаля, а $96^1/_4\,\%$ населенія лишены всякихъ политическихъ правъ? Очевидно, что такое государство всегда будетъ гарантировать только предпріятія крупныхъ капиталистовъ, какъ оно это и дѣлаетъ. Построить свое зданіе на военной диктатурѣ Бисмарка не могъ и думать Лассаль, потому что возможенъ-ли при этихъ условіяхъ какой либо правильный контроль безъ того, чтобы онъ не превратился въ произволъ и насиліе? Прямой и логическій выводъ изъ всей теоріи Лассаля есть тотъ, что государство, гарантирующее и контролирующее производство рабочихъ классовъ, должно быть такое, въ которомъ вся сила должна находиться въ рукахъ самого рабочаго класса, 4-го сословія, какъ называетъ Лассаль этотъ классъ. Лассаль, приравнивая при этомъ свою теорію къ теоріи Шульца-Делича, говоритъ, что его теорія есть та же самопомощь, но эта самопомощь является здѣсь не въ видѣ мелочныхъ и безплодныхъ кооперацій, а въ видѣ колоссальной ассоціаціи рабочихъ, называемой государствомъ,—ассоціаціи рабочихъ, самостоятельно самимъ себѣ помогающихъ и устраивающихъ свое благосостояніе. При какихъ условіяхъ возможно допустить вмѣшательство государства? спрашиваетъ Лассаль далѣе и отвѣчаетъ на это немедленно: «Изъ всего, что я сказалъ, какъ нельзя болѣе ясно стоитъ отвѣтъ передъ всѣми вами: это возможно только при условіи всеобщей и прямой подачи голосовъ. Когда законодательное собраніе Германіи будетъ исходить изъ всеобщей и прямой подачи голосовъ, тогда, и только тогда вы можете разсчитывать, что государство будетъ въ состояніи исполнить эту обязанность». Далѣе Лассаль входитъ въ область практической политики и задаетъ вопросъ: какъ-же достигнуть всеобщей и прямой подачи голосовъ? Для рѣшенія этого вопроса онъ приводитъ примѣръ изъ англійской исторіи: «посмотрите на Англію, говоритъ онъ:—болѣе чѣмъ пять лѣтъ продолжалась великая агитація англійскаго народа противъ хлѣбныхъ законовъ. И законы должны были наконецъ пасть, и были они уничтожены даже торійскимъ министерствомъ». Изъ этого примѣра онъ выводитъ то соображеніе, что рабочее сословіе для достиженія своихъ цѣлей, т. е. всеобщей подачи голосовъ, должно соединиться въ одну обширную, хорошо организованную и сконцентрированную партію и не переставать агитировать до тѣхъ поръ, пока желаніе рабочаго класса не будетъ исполнено; и Лассаль убѣжденъ, что подобная партія будетъ имѣть такую силу, что̀ никакое сопротивленіе ея желаніямъ будетъ невозможно. «Практическая мудрость всякаго успѣха состоитъ въ томъ,—говоритъ онъ въ заключеніе рѣчи,—чтобы всѣ силы были каждую минуту устремлены къ одной точкѣ, къ важнѣйшей точкѣ—сосредоточиваться и не смотрѣть ни направо, ни налѣво. Не смотрите ни направо, ни налѣво, и будьте глухи ко всему, что̀ не касается всеобщей подачи голосовъ, что̀ не имѣетъ какого-либо съ нею соотношенія, или не ведетъ къ ней». Въ этомъ заключалась вся теорія Лассаля; вся практическая дѣятельность его клонилась къ той цѣли, чтобы соединить разрозненныя силы рабочаго сословія въ одну организованную, могучую партію, которая стремилась бы къ политическому преобладанію въ государствѣ подобно тому, какъ каждая партія стремится къ этому. Понятно, что, преслѣдуя такую цѣль, сдѣлавшись пре-

зидентомъ «союза рабочихъ», устроеннаго имъ согласно своей теоріи, Лассаль не только не могъ быть сообщникомъ реакціонеровъ, какъ думали радикалы, напротивъ того, реакціонеры смотрѣли на него, какъ на злѣйшаго и опаснѣйшаго врага. Преслѣдуемый цѣлымъ рядомъ политически-уголовныхъ процессовъ, Лассаль въ послѣдній годъ своей жизни видѣлъ одинъ выходъ, чтобы избѣгнуть окончательной гибели отъ преслѣдованій со стороны администраціи,—удалиться изъ Пруссіи и поселиться въ Швейцаріи, гдѣ онъ и встрѣтилъ смерть на дуэли съ Раковицемъ. Казалось-бы, не ясно-ли и не вразумительно-ли свидѣтельствуетъ каждая строчка сочиненій Лассаля, къ чему стремился этотъ человѣкъ, а съ другой стороны, вся жизнь и дѣятельность Лассаля—не показываютъ ли столь-же ясно, какъ энергично и послѣдовательно онъ старался приводить въ исполненіе свою теорію, безъ малѣйшихъ отступленій отъ нея въ какую-либо сторону. Но такова была узкость взглядовъ враговъ прогрессивной партіи, что они не переставали заподозривать его въ сообщничествѣ съ реакціонерами до самой его смерти. Имъ постоянно казалось, что, проповѣдуя вмѣшательство государства въ рѣшеніе вопроса о рабочемъ классѣ, Лассаль подъ государствомъ разумѣетъ не что иное, какъ современное ему полуфеодальное, полубуржуазное прусское королевство съ Бисмаркомъ во главѣ, и что будто Лассаль мечтаетъ рѣшить рабочій вопросъ посредствомъ диктатуры Бисмарка, и прусскіе прогрессисты съ ослинымъ упрямствомъ стояли на этомъ подозрѣніи. Страннѣе всего то, что къ лагерю прогрессистовъ принадлежитъ много людей образованныхъ, съ обширными знаніями и неутомимымъ умомъ: — только крайнимъ партійнымъ увлеченіемъ можно объяснить странное ослѣпленіе подобныхъ людей, которые читали брошюры Лассаля и не понимали ихъ, присутствовали на его процессахъ и все-таки продолжали твердить свое. Впрочемъ самые умнѣйшіе изъ прогрессистовъ были повидимому чужды подобныхъ подозрѣній; они понимали теорію Лассаля и возражали ему слѣдующимъ образомъ: всеобщая подача голосовъ, говорили они, при низкомъ уровнѣ образованія въ массахъ, ни къ чему не можетъ повести, какъ къ анархіи, которая должна кончиться ничѣмъ инымъ, какъ военной диктатурой, вродѣ Наполеоновской. Поэтому, продолжали они, всеобщая подача голосовъ есть ненужный обходъ, а для болѣе скорѣйшаго и прямого пути Лассалю прямо слѣдуетъ начать съ военной диктатуры. Масса прогрессистовъ подхватывала эти слова и перетолковывала ихъ по своему, предполагая, что Лассаль и дѣйствительно не прочь отъ рѣшенія рабочаго вопроса посредствомъ военной диктатуры. Къ этому присоединилось еще одно обстоятельство, которое еще болѣе утвердило прогрессистовъ умѣренной и радикальной партій въ ихъ предположеніи. Борьба, которую вели прогрессисты съ Лассалемъ, не могла не произвести сильнаго впечатлѣнія на министерство. Правительство познало, что здѣсь дѣло идетъ о колоссальной силѣ, которую прогрессисты хотятъ взять въ свои руки для борьбы съ министерствомъ, а Лассаль хочетъ эту силу организовать самостоятельно и направить ее и на прогрессистовъ, и на министерство. Самымъ простымъ и практическимъ разсчетомъ Бисмарка было встать самому во главѣ этой силы, объявить себя другомъ рабочихъ и провести нѣсколько ничтожныхъ законовъ въ пользу рабочаго сословія, которые, въ сущности, положенія рабочаго сословія нисколько не измѣнили-бы, но могли-бы остановить на время движеніе и надолго успокоить умы рабочихъ. Для этой политики Бисмарку вовсе не нужно было прибѣгать къ теоріи Лассаля, къ его сочиненіямъ или личнымъ совѣтамъ. Передъ его глазами былъ совѣтчикъ, который успѣлъ уже блистательнымъ образомъ на практикѣ осуществить эту политику, и притомъ совѣтчикъ, къ которому Бисмаркъ питалъ по всей вѣроятности болѣе уваженія, чѣмъ къ какому-то темному жиду, уличному агитатору. Этотъ совѣтчикъ былъ Наполеонъ III, императоръ блузниковъ, успокоивавшій ихъ умы доставленіемъ имъ общественныхъ работъ, вродѣ передѣлки Парижа, или періодическими войнами. Очевидно, что если Бисмаркъ вздумалъ вступить въ союзъ съ рабочимъ вопросомъ, то ужъ никакъ не Лассалю онъ этимъ обязанъ, а именно тому, съ кого стараются брать примѣръ многія правительства Европы. Но прусскіе прогрессисты твердо стояли на томъ, что Бисмаркъ дѣйствуетъ по внушеніямъ Лассаля и что лассалевскій принципъ вмѣшательства государства и вмѣшательство Бисмарка въ рабочій вопросъ—двѣ вещи тождественныя. Теперь мы посмотримъ, какъ Шпильгагенъ провелъ въ своемъ романѣ эту политическую инсинуацію прогрессистовъ, съ цѣлью показать несостоятельность лассалевскаго принципа вмѣшательства государства.

III.

Судя по характеру и основной мысли романа, Шпильгагенъ принадлежитъ къ лѣвой партіи прусскихъ прогрессистовъ; онъ вовсе не раздѣляетъ съ умѣренными прогрессистами ихъ буржуазнаго міровоззрѣнія, выражающагося въ пресловутой фразѣ: laissez faire, laissez passer, не сочувствуетъ тѣмъ постыднымъ сдѣлкамъ и компромиссамъ, въ которые умѣренные прогрессисты постоянно входятъ съ реакціонерами; онъ понимаетъ очень хорошо, что будущее принадлежитъ рабочимъ массамъ, народу, но въ то же время раздѣляетъ со всѣми прогрессистами предубѣжденіе противъ Лассаля. Основная мысль романа, на которую намекаетъ самое заглавіе его—«In Reih'und Glied» (въ ряды, въ шеренги), вполнѣ ясно и опредѣленно выражена въ слѣдующей тирадѣ одного изъ героевъ романа—Вальтера:

«Если меня не обманываютъ всѣ знаменія нынѣшняго времени, прошла эпоха героизма, прошла та пора, когда герои одни подвизались на аренѣ въ своихъ бранныхъ колесницахъ, а сзади нихъ бездѣйственно тѣснилась и кричала пустоголовая, безсердечная толпа. Очевидно, трудно избранной натурѣ гнуться подъ всеобщій законъ или отступать передъ ошибкою, потому что она одна сосредоточиваетъ въ себѣ все. Но это заблужденіе. Браннымъ крикомъ нынѣшняго времени не есть уже фраза «одинъ для всѣхъ», но наоборотъ,—«всѣ для одного». Эта великая демократическая мысль родилась конечно вмѣстѣ съ человѣчествомъ, но первое справедливое освѣщеніе она получила во времена христіанства; потомъ она снова повидимому умерла, и въ нынѣшнее время

воскресла изъ пепла среднихъ вѣковъ, обновленная, какъ фениксъ, для того, чтобы болѣе никогда не умирать. Да и какъ бы могло исчезнуть то, что живетъ во многихъ головахъ и сердцахъ, что многіе воспринимаютъ съ молокомъ матери. Повѣрь мнѣ, Лео, что разъ произнесены слова любви къ человѣчеству, страждущему и униженному, отдѣльный человѣкъ долженъ быть освобожденъ, вслѣдствіе этого кроткаго закона, отъ своего страданія, отъ своего бремени. Никто не долженъ гнуться подъ бременемъ креста, никакой Децій Мусъ не долженъ метать копья далеко въ непріятеля и, преслѣдуя смѣлую цѣль, находить геройскую смерть. Нѣтъ, нѣтъ, Лео, и еще разъ нѣтъ! Мы знаемъ теперь, что во всѣхъ странахъ есть хорошіе люди, и эти хорошіе люди составляютъ одну великую армію; отдѣльный человѣкъ теперь ничего болѣе, какъ солдатъ въ шеренгѣ. Держаться вправо или влѣво, маршировать въ тактъ, а когда скомандуютъ въ аттаку, кричать ура полною грудью и бросаться на непріятеля,—въ этомъ заключается его честь, потому-что въ этомъ его сила. Какъ отдѣльный человѣкъ, онъ ничто, какъ членъ общаго, онъ непобѣдимъ; отдѣльнаго человѣка пуля повергаетъ въ прахъ, но шеренга смыкается надъ нимъ и колонна все та же, что и была. Обрати, Лео, вниманіе на то, что сила дисциплины заключается въ томъ, что никто, кто бы онъ ни былъ, не имѣетъ права отдѣляться; ибо, какъ бы кто ни былъ силенъ, въ шеренгѣ и рядахъ онъ еще сильнѣе, и будь онъ слабъ, онъ всетаки восполняетъ собою мѣсто въ ряду.»

Высказывая эту мысль въ словахъ одного изъ героевъ романа, Шпильгагенъ развиваетъ ее во всемъ романѣ—въ судьбѣ главнаго героя романа Лео Гутмана, въ которомъ изъ-подъ сына бѣднаго тухгеймскаго крестьянина ясно просвѣчиваетъ героическая, геніальная, страстная и эффектная личность Лассаля. Лео получилъ первоначальное воспитаніе въ имѣніи тухгеймскаго барона, у пастора Урбана, вмѣстѣ съ своимъ двоюроднымъ братомъ Вальтеромъ, сыномъ лѣсничаго Гутмана, и Генри, сыномъ барона. Успѣвши ожесточиться въ самыхъ раннихъ лѣтахъ подъ гнетомъ нужды и побоевъ нищаго отца, оставшись послѣ него сиротою, Лео не сошелся съ мягкодушными, тепленькими своими родственниками, дядею, теткою и двоюроднымъ братомъ Вальтеромъ; онъ чуждался и презиралъ ихъ въ душѣ, а съ кузиною Сильвіей соперничалъ и ссорился. Сосредоточенный въ себѣ, вѣчно угрюмый и молчаливый, мальчикъ проникся тѣмъ религіознымъ энтузіазмомъ, который переживаютъ въ своемъ дѣтствѣ всѣ сильные люди, выходящіе изъ народа. Этотъ религіозный энтузіазмъ разрѣшился мучительнымъ скептицизмомъ, въ чемъ очень помогъ мальчику пасторъ Урбанъ съ своимъ циническимъ отношеніемъ къ религіи, видящій въ ней по обыкновенію ничего болѣе, какъ узду для необразованнаго народа и выгодное для себя средство къ возвышенію. Изъ этого скептицизма вывелъ Лео учитель естественныхъ наукъ при докторѣ Урбанѣ—Туски. Въ лицѣ Туски изображена личность сильная, энергическая, ожесточенная, фанатически преслѣдующая свою цѣль—освобожденіе народа изъ-подъ феодальнаго и буржуазнаго ига. Для достиженія своей цѣли Туски не видитъ никакого иного средства, какъ постоянное возбужденіе народа къ возстанію и насильственному перевороту. Это типъ западнаго революціонера 1848 года. Произведя во время общаго революціоннаго движенія страны возстаніе тухгеймскихъ крестьянъ противъ барона, онъ увлекаетъ Лео на свою дорогу и потомъ, когда возстаніе было подавлено, бѣжитъ съ нимъ изъ отечества. Проходитъ послѣ того много лѣтъ. Порядокъ страны измѣняется; мѣсто феодальнаго духа замѣняетъ буржуазный. Тухгеймскій баронъ не живетъ уже въ своемъ имѣніи, среди своихъ вассаловъ, онъ переселяется съ семействомъ въ столицу, вступаетъ въ родственный и промышленный союзъ съ богатымъ банкиромъ-евреемъ фонъ-Зонненштейномъ; банкиръ строитъ въ его имѣніяхъ фабрики и предаетъ тухгеймскихъ поселянъ всей тяжести новой промышленной эксплуатаціи. Сынъ тухгеймскаго лѣсничаго, Вальтеръ, дѣлается либеральнымъ педагогомъ, писателемъ либеральныхъ романовъ и сентиментальнымъ вздыхателемъ баронессы Амеліи, дочери тухгеймскаго барона. Тогда на сцену выступаетъ снова Лео. Но это уже не тотъ мрачный, дикій, сосредоточенный мальчикъ, исполненный озлобленія и энтузіазма, какимъ является Лео въ первыхъ книгахъ романа. Года страннической жизни въ рядахъ партіи Туски, а съ другой стороны года усидчивыхъ ученыхъ занятій—развили богатыя способности Лео, и вотъ является передъ вами молодой человѣкъ, блестящій умомъ, знаніями, краснорѣчіемъ, усвоившій въ то же время вполнѣ свѣтскій лоскъ, чарующій и привлекающій къ себѣ все окружающее. Разочаровавшись въ неорганизованномъ, дикомъ и безплодномъ агитаторствѣ Туски, Лео является въ столицу, чтобы дѣйствовать инымъ путемъ, организовать силу, которую онъ могъ бы направить къ осуществленію цѣли, составлявшей всю сущность его жизни, къ улучшенію быта рабочаго сословія. Такимъ образомъ онъ выдѣляется изъ рядовъ своей партіи и предпринимаетъ гигантскій подвигъ, думая одинъ на своей шеѣ вынести рабочій вопросъ. Мы видимъ уже изъ вышеприведенной тирады, какъ отнесся къ такому предпріятію юный другъ Лео, Вальтеръ. Такого же рода предостереженіе сдѣлалъ Лео и Туски въ своемъ письмѣ, которое мы выписываемъ:

«Еслибы кто другой отважился на это, закричали бы тотчасъ объ измѣнѣ. Ты больше смѣешь, потому что больше можешь. Однако, возлюбленный моей души, уже давно миновали года менторства, но позволь мнѣ сегодня высказать тебѣ одно теплое слово: подумай, обсуди еще разъ, что ты дѣлаешь. Ты утверждаешь, что мы съ нашими неорганизованными силами не можемъ сойти съ мѣста, что ты увлечешь впередъ дисциплинированную массу, какою представляется либеральная партія нашей страны, какъ бы ни была она тяжеловѣсна и узколоба; что слѣдуетъ сдѣлать по крайней мѣрѣ попытку, нельзя ли эту силу привести въ движеніе, вдохнуть въ нее духъ и втянуть ее въ коалицію съ рабочимъ классомъ. Для этой цѣли очевидно необходимо, чтобы ты самъ превратился на время въ буржуа, потому-что они станутъ слушать только человѣка, стоящаго въ одномъ съ ними рангѣ:—дѣйствительно или по-видимому, но къ каждому другому человѣку они почувствуютъ заранѣе предубѣжденіе. Таковъ, или почти таковъ, твой планъ. Прекрасный планъ, еслибы онъ былъ исполнимъ! Но исполнимъ ли онъ? Я скажу нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ. Съ такими людьми мы не покоримъ Ханаана, въ который стремимся. Они должны погибнуть въ пустынѣ. И никто не можетъ отвратить ихъ судьбы, даже хотя бы и ты, въ этомъ убѣдишься, а можетъ быть уже и убѣдился.

«Все это такимъ образомъ могло бы быть въ лучшемъ случаѣ ни чѣмъ инымъ, какъ неудачнымъ опытомъ, хотя, во всякомъ случаѣ, жалко было бы драгоцѣннаго времени, потеряннаго на этотъ неудачный опытъ.

«Но если люди разъ приступаютъ къ опытамъ, не легко имъ отстать. И тебѣ это можетъ обойтись не однимъ опытомъ. Развѣ не можетъ прійти тебѣ въ голову,—не сердись, Лео, и выслушай хладнокровно,—сдѣлать новый опытъ надъ королевскою властью? Этотъ опытъ былъ бы не хуже перваго, еслибы не былъ опаснѣе. Онъ будетъ продолжаться долѣе перваго, потому-что ты найдешь здѣсь то, что ты постоянно предпочитаешь всему—силу, которую ты пожелаешь направить къ твоей цѣли. Изъ этого заблужденія тоже можно возвратиться, но какъ далекъ, какъ далекъ будетъ въ этомъ случаѣ обходъ! Оставайся же на прямой дорогѣ, Лео! на той дорогѣ, по которой ступали твои ноги въ ту ночь, когда мы повернулись спинами къ нашей родинѣ, а пламя нашихъ домовъ освѣщало сзади тропу, по которой мы должны были идти! Между нами и ими нѣтъ никакого союза! Мы должны быть самимъ собою или мы ничто. Наша сила лежитъ въ полномъ отреченіи отъ всѣхъ предразсудковъ, которые связываютъ людей въ мысляхъ и дѣлахъ. Въ этомъ заключается архимедова твердая точка, утвердившись въ которой, мы можемъ перевернуть весь міръ. Лео, Лео, не лишай себя этой вѣры! Но чего я хочу однако! Куда влечетъ меня моя забота о тебѣ? Можетъ быть ты въ эту минуту смѣешься надо мной! Смѣйся, я этого конечно заслужилъ.»

Въ этомъ письмѣ вы видите ту же мысль, которая выражена въ тирадѣ Вальтера, и въ то же время въ немъ заключается довольно ясный намекъ на Лассаля съ его теоріей силы, какъ необходимаго источника всякаго дѣйствія и права. Подобно тому, какъ Лассаль сначала хотѣлъ дѣйствовать вмѣстѣ съ либеральной партіей и во главѣ ея, а потомъ у него произошелъ съ нею разрывъ, такъ и Лео сначала стремился дѣйствовать на либераловъ. Либералы намѣревались вступить въ союзъ съ молодымъ принцемъ, будущимъ королемъ, предполагая найти въ немъ приверженца ихъ стремленій; но Лео удалось перехватить письмо принца, въ которомъ послѣдній смѣялся надъ либералами и высказывалъ совершенно иныя стремленія. Лео напечаталъ это письмо, думая этимъ отвратить либераловъ отъ принца и побудить ихъ, въ виду предстоящей реакціи, заключить союзъ съ рабочими. Но это ему не удалось; либералы остались со своими громкими либеральными фразами, радужными надеждами на мирный прогрессъ подъ сѣнью феодализма и съ своими симпатіями болѣе къ верхамъ, чѣмъ къ низамъ. Тогда Лео, отчаявшись въ либералахъ, обратился къ своей второй попыткѣ, о которой предсказывалъ ему Туски,—къ попыткѣ рѣшить рабочій вопросъ посредствомъ королевской власти, пріобрѣтя личное вліяніе на короля. Съ этой половины романа и начинается та инсинуація на личность Лассаля, о которой мы говорили выше. Передъ депутаціей рабочихъ, пришедшей изъ Тухгейма жаловаться на притѣсненія Зонненштейна, Лео высказалъ впервые ту мысль, что единственную помощь могутъ рабочіе ожидать только отъ королевской власти, что королевская власть очевидно должна искать опоры и союза въ рабочихъ классахъ, такъ какъ и у королевской власти, и у рабочихъ одинъ общій врагъ—среднее сословіе. Убѣждая рабочихъ искать опоры въ королевской власти, Лео въ то же время добился аудіенціи у короля посредствомъ старой сводни, тетушки Сарры, и красоты своей кузины Сильвіи, увлеченной Лео къ его цѣли и дѣйствовавшей заодно съ нимъ. Въ аудіенціяхъ передъ королемъ Лео началъ развивать ту же мысль, что и передъ рабочими,—т. е., что народъ съ самой отдаленной глубины среднихъ вѣковъ и до нынѣшняго времени не переставалъ видѣть въ королѣхъ, дарованныхъ небомъ, естественныхъ защитниковъ своихъ, и король, если онъ хочетъ исполнить свое призваніе, оправдать упованіе народа и быть великимъ королемъ, долженъ сдѣлаться дѣйствительнымъ другомъ рабочихъ и улучшить ихъ участь. Какое же впечатлѣніе производили эти рѣчи на короля? «Король остался очень доволенъ послѣдней фразой,—говоритъ въ одномъ мѣстѣ своего романа Шпильгагенъ: ему нравился разговоръ болѣе всего тѣмъ, что съ обѣихъ сторонъ была одинаковая ловкость и находчивость взаимныхъ возраженій; онъ сравнивалъ эту бесѣду съ дуэтомъ на віолончеляхъ, который наканунѣ онъ слушалъ въ замкѣ королевы, и ждалъ съ любопытствомъ, что отвѣтитъ ему Лео». А въ другомъ мѣстѣ, въ самую рѣшительную минуту, когда Лео предложилъ королю распустить министерство, составить новое, по его указанію, и начать дѣйствовать радикально, когда Лео привелъ короля въ энтузіазмъ и король обѣщался ему передъ началомъ великаго дѣла три дня никого не видѣть и поститься,—едва Лео вышелъ за дверь, какъ произошла слѣдующая сцена:

«Король тотчасъ же пересталъ плакать. Глаза его устремились на дверь, изъ которой вышелъ Лео. «Это—великій человѣкъ,—прошепталъ онъ,—но отъ великаго до смѣшного одинъ шагъ». Онъ снова бросился въ кресло. «Я долженъ былъ бы отказаться также отъ хорошенькой дѣвушки; она была вчера прекраснѣе, чѣмъ когда бы то ни было, хотя была очень блѣдна. Она несчастна,—несчастна черезъ него. Кто же можетъ сдѣлать ее счастливою?..» По лицу короля быстро пробѣжала краска. Онъ смотрѣлъ внизъ такъ пристально, что глаза его выступили изъ орбитъ. Черты лица его преисполнились грустью. Потомъ онъ вдругъ вздрогнулъ, внѣ себя ударилъ по ручкамъ креселъ обѣими руками и вскочилъ. «Доротея хочетъ видѣть ее, хочетъ знать, какова она. Она все еще думаетъ, что я пренебрегаю ею ради другой!.. А еще тутъ это! Это невозможно, невозможно!»—Онъ сильно позвонилъ.

— Когда министръ Гей придетъ, тотчасъ же приведите его ко мнѣ. Тотчасъ же, слышите?»

Здѣсь мы подходимъ къ ахиллесовой пяткѣ романа: Шпильгагенъ выставляетъ своего героя повсюду человѣкомъ геніальной проницательности, глубокимъ знатокомъ человѣческаго сердца,—какъ же этотъ человѣкъ не могъ понять и разгадать, какое впечатлѣніе производятъ на короля его рѣчи, какъ смотритъ на него король и можно ли что-нибудь сдѣлать посредствомъ него? А съ другой стороны, какъ же это Лео, какъ порядочный медикъ, не обратилъ вниманія, что здоровье короля разстроено до послѣдней крайности, что не сегодня, завтра онъ можетъ погибнуть отъ своей болѣзни, а послѣ него вступитъ на престолъ принцъ, заклятый врагъ Лео послѣ обнародованія послѣднимъ его письма? Какъ согласить всѣ эти противорѣчія? — геніальный чародѣй производитъ на всѣхъ неотразимое обаяніе, человѣкъ съ обширными знаніями взвѣшиваетъ судьбы міра съ мудростью

глубокомысленнаго и дальнозоркаго политика и въ то же время дѣйствуетъ съ опрометчивостью мальчика? Человѣкъ, предпринявшій колоссальное дѣло, очень хорошо знаетъ, что это дѣло вѣковъ, что онъ кладетъ ему только фундаментъ,—и вдругъ этотъ фундаментъ является въ видѣ больного короля, смотрящаго въ могилу. Вотъ до чего можетъ дописаться романистъ, если онъ вмѣсто того, чтобы изображать дѣйствительность, какъ она есть, искажаетъ ее и выдумываетъ подъ вліяніемъ духа партій. Чѣмъ далѣе читаете вы, тѣмъ глупѣе и глупѣе представляется вамъ тотъ же самый Лео, который въ первой части романа рисуется передъ вами человѣкомъ геніальнаго ума.—Шпильгагенъ забываетъ, что если великіе умы заблуждаются и дѣлаютъ промахи, доводящіе ихъ нерѣдко до гибели, то промахи и ошибки эти все-таки бываютъ запечатлѣны такой печатью генія, что человѣчеству гораздо легче бываетъ сойти съ вѣрнаго пути, начертаннаго геніемъ, чѣмъ сознать ошибки его и избавиться отъ нихъ. Лео же дѣйствуетъ съ такой непроходимой и очевидной глупостью и опрометчивостью ребенка, что подъ конецъ романа васъ на каждой страницѣ разбираетъ хохотъ. Вы могли-бы, пожалуй, помириться съ этимъ хохотомъ, если-бы передъ вами была карикатура, исполненная неподдѣльнаго юмора, какимъ, напримѣръ, обладаетъ Диккенсъ, а то нѣтъ: юмору нѣтъ у Шпильгагена ни капли, и не карикатурой думаетъ онъ позабавить васъ; а напротивъ того: онъ входитъ въ трагическій пафосъ и старается изобразить передъ вами генія, идущаго по ложной дорогѣ, титана, погибающаго подъ обломками своего дѣла. Выходитъ же у него шутъ, который начинаетъ свое дѣло тѣмъ, что на королевскія деньги покупаетъ фабрику у Зонненштейна и заводитъ ассоціацію рабочихъ. Нужно-ли говорить, что заведеніе подобной ассоціаціи Лео не можетъ быть даже названо пародіей на дѣятельность Лассаля, потому что діаметрально противорѣчитъ всей его дѣятельности: Лассаль не только не заводилъ никакихъ подобныхъ ассоціацій, напротивъ того, онъ только и дѣлалъ, что доказывалъ невозможность существованія ихъ среди буржуазнаго государства, полную безполезность всякихъ отдѣльныхъ попытокъ въ такомъ родѣ, потому что отдѣльная ассоціація не въ силахъ выдержать никакой конкуренціи съ буржуазіей, на сторонѣ которой въ Пруссіи и капиталы, и сила, и законы, и власть. На этомъ-то именно основаніи и полагалъ Лассаль, что рабочій вопросъ не можетъ быть рѣшенъ иначе, какъ путемъ всеобщей реформы, законодательнымъ порядкомъ. Это именно и подразумѣвалъ Лассаль подъ вмѣшательствомъ государства, а вовсе не заведеніе отдѣльныхъ ассоціацій на королевскія деньги, какъ это производитъ въ романѣ Шпильгагена Лео. Но этого еще мало, что Лео глупитъ такимъ невообразимымъ образомъ; когда ассоціація тухгеймскихъ рабочихъ естественно падаетъ, не въ силахъ будучи выдержать конкуренцію, рабочіе ссорятся между собою, Лео доходитъ до такого крайняго умопомраченія, что возлагаетъ дѣло соціализма уже не на руки короля, а на руки ростовщика, т. е. закладываетъ ростовщику виллу, подаренную ему королемъ, и на послѣдніе гроши думаетъ возстановить дѣло соціализма. Какъ еще не пришло ему въ голову заложить ростовщику самую фабрику со всѣми ея рабочими? Да этого мало еще, что онъ думаетъ возстановить падающую фабрику ничтожной суммой, вырученной изъ залога виллы: изъ этой суммы значительную долю онъ выдѣляетъ и даетъ въ долгъ придворному генералу, на дочери котораго онъ желаетъ жениться для пріобрѣтенія вѣса въ высшихъ сферахъ и чтобы у него въ домѣ была великосвѣтская хозяйка, умѣющая принять гостей. Такимъ образомъ на долю рабочихъ остается малость. Когда наконецъ все дѣло, построенное на такихъ соломенныхъ основаніяхъ, лопается,—король умираетъ, рабочіе возмущаются и сожигаютъ фабрику, Лео окончательно падаетъ духомъ, бормочетъ безсвязныя фразы байроновскаго разочарованія, рветъ волосы на своей головѣ передъ трупомъ Сильвіи, утонувшей въ ручьѣ, и умираетъ на дуэли съ Фердинандомъ Либрехтомъ.

Съ нравственной точки зрѣнія въ лицѣ Лео представляется намъ одинъ изъ тѣхъ величественныхъ героевъ трагедій, которые, стремясь къ какой-нибудь великой цѣли, жертвуютъ въ пользу своихъ стремленій всѣми своими отношеніями, привязанностями и чувствами. Лео смѣялся надъ людьми, которые съ своими общественными страстями могли соединять узенькія семейныя влеченія и мѣряли его поступки на аршинъ пошленькой мѣщанской морали. Онъ пренебрегъ всѣми своими привязанностями къ роднымъ, къ друзьямъ; самою любовью свою къ Сильвіипожертвовалъ въ пользу своего дѣла. Но когда это дѣло оказалось вдругъ одной колоссальной ошибкой, тогда въ разочарованіи и отчаяніи, измученный, обезсиленный, онъ почувствовалъ въ себѣ реакцію, выразившуюся въ сознаніи цѣны всѣхъ тѣхъ личныхъ привязанностей, которыми онъ пренебрегъ; но было уже поздно,— и, какъ-будто въ возмездіе за прежнее пренебреженіе, судьба приготовила измученному жизненной борьбой титану отдыхъ на холодной груди утопленницы. Во всемъ этомъ вы видите много глубокой правды: дѣйствительно, жизнь наша устроена такъ, что наши общественныя страсти стоятъ въ постоянномъ антагонизмѣ съ семейными, и намъ часто приходится выбирать между тѣми и другими, вмѣсто того, чтобы согласовать ихъ въ общей гармоніи. Но, къ величайшему сожалѣнію, своя рубашка ближе къ тѣлу, и потому выборъ чаще склоняется къ страстямъ семейнымъ, чѣмъ къ общественнымъ; по тому въ дѣйствительности гораздо чаще мы можемъвстрѣтить драмы совершенно противуположнаго свойства. Это мы можемъ примѣнить и къ Лассалю. Смерть Лассаля была, поистинѣ, трагическая; но если мы начнемъ разсматривать судьбу Лассаля по отношенію къ его смерти, мы увидимъ, что здѣсь совершилась трагедія діаметрально противоположнаго характера относительно трагедіи романа Шпильгагена. Дѣло въ томъ, что Лассаль представляется далеко не такимъ романтическимъ героемъ, какимъ является Лео. Онъ могъ казаться прогрессистамъ человѣкомъ, выдѣлившимся изъ всѣхъ партій и взвалившимъ на свои плечи всю тяжесть рабочаго вопроса. Но на самомъ дѣлѣ онъ и не думалъ разыгрывать роль титана, мечтающаго совершить гигантскій подвигъ одинъ, безъ содѣй-

ствія другихъ. Напротивъ того, онъ не только имѣлъ друзей и единомышленниковъ, но вся дѣятельность его только въ томъ и состояла, чтобъ этихъ единомышленниковъ было какъ можно больше. Если бы Вальтеръ вышелъ изъ рамокъ романа и пропѣлъ Лассалю вышеприведенную тираду, Лассаль не сталъ-бы и возражать на нее: конечно, сказалъ-бы онъ,—любезный другъ, единодушное дѣйствіе партіи сильнѣе дѣйствія отдѣльной личности, какъ-бы ни была эта личность геніальна и сильна. Здѣсь дѣйствуетъ простой законъ ассоціаціи силъ, и ничего новаго ты мнѣ не сказалъ. О чемъ же я и хлопочу, какъ не о томъ, чтобы мои единомышленники не были ничтожною, безсильной горстью, какой они являются во всѣхъ странахъ, чтобы, напротивъ того, они составляли обширную партію, которая заключала бы въ своихъ рядахъ все рабочее сословіе и была-бы поэтому сильнѣе всѣхъ другихъ партій въ государствѣ? Такова была дѣятельность Лассаля, и Лассаль до самой смерти своей продолжалъ ее съ успѣхомъ, нисколько не думая падать духомъ, разочаровываться и умирать титаномъ, подавленнымъ обломками своего дѣла.

Но если съ умственной стороны Лео не выдерживаетъ ни малѣйшаго сравненія съ Лассалемъ, то съ нравственной стороны, наоборотъ, Лассаль не выдерживаетъ сравненія съ Лео. Въ то время, какъ у Лео всѣ силы души были направлены къ одной цѣли, въ то время, какъ онъ отказывался ради этой цѣли отъ всѣхъ личныхъ благъ,—и если окружалъ себя блескомъ и комфортомъ, то дѣлалъ это не изъ личной прихоти, а для той-же цѣли, потому что иначе ему нельзя было дѣйствовать въ высшихъ сферахъ,—у Лассаля не только не было и слѣда подобнаго ригоризма, напротивъ того, онъ допускалъ въ своей жизни многое, отъ чего ему не мѣшало-бы воздержаться. Лассаль любилъ окружать себя блескомъ и комфортомъ вовсе не съ предвзятой цѣлью; блескъ и комфортъ, напротивъ того, мѣшали его дѣйствительной цѣли, потому что отталкивали отъ него многихъ рабочихъ, а враги его пользовались этимъ и нарочно старались выставлять его демагогомъ въ лайковыхъ перчаткахъ, филистеромъ, который плачетъ о нищетѣ и страданіяхъ народа, а самъ ѣстъ на серебрѣ и знается съ графинями, брезгая тѣми людьми, передъ которыми онъ говоритъ свои блестящія рѣчи. Любовь къ блеску была въ Лассалѣ привычкой, вынесенной съ дѣтства; ему вовсе не нужно было «казаться» буржуа: сынъ зажиточнаго еврейскаго купца, пламенный энтузіастъ, другъ рабочихъ постоянно боролся въ немъ съ иными привычками. Любя блескъ и роскошь, онъ любилъ пустыя свѣтскія удовольствія, былъ волокита и Донъ-Жуанъ, и ему не хватало на расходы 5,000 талеровъ въ годъ. Эта легкая нравственность и свернула Лассаля съ его великаго пути, приведя его къ преждевременной смерти, глупой и безсмысленной для такого великаго дѣятеля, какъ Лассаль. Онъ увлекся дочерью нѣмецкаго историка Деллингеса и не только не думалъ жертвовать своей страстью ради великой цѣли, а, напротивъ того, встрѣтивъ сопротивленіе со стороны отца возлюбленной, не хотѣвшаго и думать о бракѣ дочери съ опальнымъ агитаторомъ и евреемъ,—Лассаль, для удовлетворенія своей страсти, былъ готовъ на все: готовъ былъ перейти изъ еврейской вѣры въ католическую, готовъ былъ похитить барышню и бѣжать съ нею въ Италію, бросивши такимъ образомъ совсѣмъ свою дѣятельность. Когда-же барышня внезапно измѣнила ему и написала ему письмо, что она болѣе не любитъ его, а предпочитаетъ ему венгерскаго дворянина Раковица,—Лассаль исполнился такого озлобленія, что написалъ оскорбительныя письма своей возлюбленной и ея отцу, былъ за эти письма вызванъ на дуэль Раковицемъ и, не терпя прежде дуэлей, смѣясь надъ ними, съ радостью принялъ вызовъ Раковица. Такимъ образомъ смерть Лассаля происходила отъ того рокового разлада убѣжденій и привычекъ, какой мы часто встрѣчаемъ въ жизни. Очень часто такой разладъ, путемъ медленнаго, незамѣтнаго процесса, превращаетъ человѣка изъ героя прогресса въ пошлаго чиновника или гасителя; но случается, что у людей съ глубокимъ умомъ и сильнымъ характеромъ онъ разрѣшается однимъ разрушительнымъ взрывомъ, какой-нибудь трагической катастрофой. Біографъ Лассаля—Бернгардъ Беккеръ,—совершенно справедливо говоритъ на 20 стр. своей книги (Enthüllungen über das tragische Lebensende Ferdinand Lassal's. 1868 г.).

«Если-бы Лассаль былъ демократъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, и если-бы онъ свои привычки, свой нравъ согласовалъ съ тою демократическою нравственностью, которая оправдываетъ и утверждаетъ въ практической жизни демократическія убѣжденія, тогда онъ не нашелъ-бы себѣ смерти на дуэли изъ-за любовной интриги во время увеселительной поѣздки въ Швейцарію», а на стр. 124 Беккеръ выражается на этотъ счетъ еще опредѣлительнѣе: «если-бы онъ не вертѣлся постоянно въ кругу женщинъ аристократическаго и буржуазнаго класса, если-бы онъ хоть немного умѣрилъ свое кичливое отвращеніе отъ дѣвушекъ простого класса, и если ему нужно было жениться—женился бы на дочери работника, то было бы другое дѣло. По всей вѣроятности, онъ жилъ-бы до сего дня. Но онъ соединялъ аристократическія привычки съ демократическими убѣжденіями,—и внутреннее противорѣчіе повлекло его къ гибели. Хотя въ послѣднее время и искалъ онъ разрыва съ графиней Гатцфельдъ, но ему снова приспичило увлечься знатной особой, и она провела его, какъ дурака».

Я не помню, читалъ или слышалъ я отъ кого-то совершенно подобный-же отзывъ о нашемъ поэтѣ Пушкинѣ: «если-бы Пушкинъ не разошелся со своими скромными и честными литературными друзьями и не увлекся въ міръ, чуждый ему,—онъ не нашелъ-бы тамъ преждевременной, безсмысленной смерти». Драмы подобнаго рода до такой степени часты, что, можно сказать, онѣ составляютъ всеобщее явленіе жизни всѣхъ обществъ и каждаго человѣка въ отдѣльности: рѣдко кто въ жизни своей не испытывалъ подобнаго рода разлада и борьбы изъ-за него. Додумывается до гуманныхъ убѣжденій человѣкъ изъ вліятельныхъ классовъ—убѣжденія эти становятся у него въ разладъ или съ изнѣженностью, распущенностью, или съ необузданнымъ высокомѣріемъ, вынесеннымъ имъ изъ своей среды; додумывается до тѣхъ-же убѣжденій человѣкъ изъ народа—и вотъ широкій полетъ его независимыхъ мыслей становится въ рѣзкій контрастъ съ той загнанностью и пришибленностью, какія онъ всосалъ въ себя съ молокомъ матери. Подобнаго рода

разладъ мы видимъ не только въ жизни мелкихъ и обыкновенныхъ людей: у геніальныхъ людей онъ встрѣчается еще чаще и рѣзче, потому что геніальные люди воспитываются подъ вліяніемъ тѣхъ-же обстоятельствъ, какъ и мелкіе люди, а въ то-же время они воспріимчивѣе ко всѣмъ впечатлѣніямъ, привычки ихъ глубже и упорнѣе—и страсти сильнѣе. Шпильгагенъ выразилъ-бы свою мысль о необходимости человѣку оставаться въ средѣ, согласной съ его убѣжденіями, гораздо реальнѣе и глубже, если-бы онъ изобразилъ намъ настоящаго Лассаля въ его жизненномъ разладѣ. Но онъ сдѣлалъ два промаха: съ одной стороны онъ инсинуировалъ дѣятельность и цѣль Лассаля, представивши ихъ въ нелѣпѣйшемъ видѣ; съ другой—онъ идеализировалъ Лассаля, какъ нравственную личность; онъ нарисовалъ одного изъ тѣхъ романтическихъ идеальныхъ героевъ, которыхъ въ жизни встрѣчается мало, очень мало; подобные герои не могутъ служить мѣриломъ нравственной оцѣнки людей, потому что предметы мѣряются мѣрами не бо́льшими, а меньшими, сравнительно съ ихъ длиной; комнаты не мѣряются верстами, а саженями; сапоги ваши не мѣряются саженями, а вершками. Потому и пала романтическая поэзія, что она, вмѣсто того, чтобы анализировать жизнь такъ, какъ она есть, во всей сложной борьбѣ многихъ элементовъ ея,—постоянно выдѣляла нѣкоторые изъ элементовъ, возводила ихъ въ идеалъ и заставляла людей любоваться этими идеалами. Съ тѣхъ поръ, какъ люди дошли до того убѣжденія, что въ жизни невозможно существованіе отдѣльныхъ элементовъ; что великіе люди наравнѣ съ малыми подвергаются тому-же самому жизненному процессу, со всѣми его дрязгами, и вмѣстѣ съ тѣмъ люди увидѣли, что анализъ этого процесса, со всей его вонью и грязью, гораздо поучительнѣе, чѣмъ безплодное созерцаніе идеальныхъ личностей, поставленныхъ на пьедесталы, омытыхъ, очищенныхъ отъ жизненной грязи и окуренныхъ фиміамами,—съ тѣхъ поръ существованіе романтической поэзіи сдѣлалось немыслимо. Но въ Германіи романтизмъ до такой степени въѣлся въ нравы людей, что даже романъ Шпильгагена, реальнѣйшій изъ всѣхъ германскихъ произведеній, не изъятъ отъ него.

Но при всемъ томъ, въ романѣ Шпильгагена много поучительнаго, и мы для того собственно и начали съ слабыхъ сторонъ романа, чтобы очистить пшеницу отъ плевелъ! Сдѣлавши эту операцію, въ слѣдующей главѣ мы примемся за пшеницу.

III.

Представляя инсинуацію на теорію Лассаля и его практическую дѣятельность, романъ Шпильгагена тѣмъ не менѣе, какъ я не разъ уже повторялъ, нисколько не теряетъ въ жизненной правдѣ, развиваетъ съ поразительной глубиной и ясностью одну изъ великихъ политическихъ идей нынѣшняго вѣка. Этотъ своего рода фокусъ искусства заключается въ томъ, что инсинуація Шпильгагена не есть какой-либо плоскій фарсъ, который не имѣлъ-бы никакой иной цѣли, кромѣ опошленія личности Лассаля и представленія ея въ наблаговидномъ свѣтѣ. Инсинуація эта основывается на идеѣ, которая сама по себѣ вѣрна во всѣхъ своихъ положеніяхъ. Подъ вліяніемъ ложныхъ толковъ и сужденій о дѣятельности Лассаля и о его намѣреніяхъ, Шпильгагенъ эту идею приложилъ къ Лассалю и создалъ въ лицѣ Лео своего собственнаго Лассаля, нисколько не похожаго на дѣйствительнаго. Мы видѣли, что, показывая несостоятельность практической дѣятельности Лассаля, съ нравственной стороны онъ идеализировалъ его, представилъ лучше, чѣмъ былъ Лассаль въ дѣйствительности. Это подаетъ намъ поводъ смотрѣть на Лео вовсе не какъ на изображеніе Лассаля, а какъ на типъ, самостоятельно изобрѣтенный авторомъ для того, чтобы показать на этомъ типѣ, на основаніи общей идеи романа, несостоятельность того пути, который избираетъ Лео. Съ этой точки зрѣнія романъ получаетъ совершенно иное значеніе: изъ романа лично-политическаго онъ становится въ разрядъ романовъ политико-философскихъ, и съ этой точки зрѣнія онъ полонъ неоспоримыхъ истинъ.

Предполагая взглянуть на романъ съ этой точки зрѣнія, мы сперва обратимъ вниманіе на идею романа и, развивши ее, потомъ посмотримъ, какъ эта идея отражается въ главныхъ дѣйствующихъ лицахъ произведенія.

Идея романа, если мы, не ограничиваясь тирадой Вальтера, приведенной нами выше, заглянемъ въ нее глубже, представляется намъ тысячелѣтнимъ опытомъ, вынесеннымъ изъ всей исторіи западной Европы,—опытомъ подтверждаемымъ всѣми современными научными изысканіями политико-экономическими и соціологическими. Дѣло въ томъ, что если мы взглянемъ на исторію западной Европы безъ всякихъ предвзятыхъ теорій, съ точки зрѣнія чисто реальной, мы увидимъ, что вся эта исторія есть не что иное, какъ постоянная борьба за существованіе нѣсколькихъ элементовъ общества, созданныхъ историческими обстоятельствами въ началѣ среднихъ вѣковъ и впродолженіи ихъ, и отстаивающихъ свои принципы и свое господство. Вокль, въ первой части своей «Исторіи цивилизаціи Англіи», говоря о вліяніи государства на прогрессъ, высказалъ ту мысль, что государство постоянно имѣло задерживающее вліяніе; мало того, всѣ прогрессивныя преобразованія со стороны государства постоянно были отрицательнаго свойства, т. е. заключались въ отмѣнахъ разныхъ обветшалыхъ учрежденій; положительныя-же мѣры со стороны государства не приводили никогда ни къ какому хорошему результату, хотя-бы нѣкоторыя изъ нихъ и имѣли повидимому самую полезную и высокую цѣль. Мысль эта очевидно должна обратиться въ нелѣпый парадоксъ, если мы начнемъ смотрѣть на значеніе государства съ этической точки зрѣнія. Очевидно, что государство, взятое въ идеальномъ смыслѣ этого слова, государство, которое не имѣетъ никакой иной цѣли, какъ прислушиваться ежеминутно ко всѣмъ нуждамъ гражданъ и немедленно удовлетворять имъ,—не только не можетъ быть задерживающей силой, но, напротивъ того, оно должно явиться представителемъ всѣхъ прогрессивныхъ идей общества. Но если мы оставимъ въ сторонѣ чисто этическую точку зрѣнія и посмотримъ на западную Европу съ исторической точ-

ки зрѣнія, съ которой смотритъ Бокль, мы должны будемъ согласиться, что идея Бокля, созданная чисто индуктивнымъ путемъ историческаго изученія, вполнѣ прилагается ко всѣмъ западнымъ государствамъ. Партіи въ западной Европѣ суть не только представительницы и носительницы тѣхъ или другихъ идей и взглядовъ, онѣ представляютъ тѣ или другія сословія въ ихъ взаимномъ антагонизмѣ, взаимной борьбѣ между собою за право господства, а иногда и за право существованія. При этой борьбѣ партій правительства западной Европы представляютъ вовсе не что либо отвлеченно-идеальное, стоящее внѣ партійной борьбы, возвышающееся надъ всѣмъ строемъ общества. Напротивъ того, мы видимъ, что они сами стоятъ постоянно во главѣ той или другой партіи, и конечно партіи господствующей; они служатъ обыкновенно представителемъ не всего общества, а одного, много двухъ господствующихъ сословій и, проводя принципы этихъ сословій, очевидно дѣйствуютъ въ пользу ихъ. Такъ, начиная съ среднихъ вѣковъ, мы встрѣчаемъ попеременно—государства феодально-церковныя, феодально-монархическія, феодально-буржуазныя, аристократическія республики, буржуазныя республики и пр. При этихъ условіяхъ нѣтъ ничего удивительнаго, что въ западной Европѣ только отрицательныя дѣйствія правительствъ приносятъ пользу прогрессу. Очень понятно, почему это происходитъ: эти отрицательныя дѣйствія суть не что иное, какъ отступленія господствующей партіи передъ натискомъ партіи, враждующей съ господствующей, проигранныя сраженія и мирные договоры въ пользу побѣдителей. Когда побѣдительницей оказывается господствующая партія, тогда движеніе происходитъ обыкновенно въ противуположную сторону: враждебная партія должна отступать и сдаваться; тогда правительство, пользуясь этимъ случаемъ, приступаетъ къ положительнымъ реформамъ; эти положительныя реформы производятся очевидно въ пользу побѣдителей, въ согласіи съ ихъ принципами и въ ущербъ побѣжденнымъ. Реформы такого рода, удовлетворяя интересамъ и принципамъ господствующаго меньшинства, очевидно должны оказывать вліяніе регрессивное на огромное большинство общества, и судьба такихъ реформъ — пасть, какъ только побѣда склоняется на сторону партіи, враждебной господствующей. Эта постоянная борьба ведется конечно не безъ всякаго рода военныхъ хитростей, союзовъ, засадъ и прикрытій. Такъ напримѣръ, господствующія партіи постоянно прикрываютъ свои планы и дѣйствія разными принципами чисто идеальнаго характера; онѣ постоянно твердятъ, что представляютъ цѣлое общество, что въ нихъ сосредоточивается верховная власть всего народа, и потому все, что́ онѣ предпринимаютъ, имѣетъ цѣлью общую пользу всѣхъ и каждаго. Уступая передъ натискомъ враждебной партіи, принуждаемая отмѣнить то или другое регрессивное узаконеніе, господствующая партія употребляетъ иногда военную хитрость: она возстановляетъ то-же самое узаконеніе только подъ иной формой, придавши той-же самой сущности болѣе либеральный, иногда даже ярко-красный цвѣтъ. Западные публицисты и газетчики приходятъ въ такомъ случаѣ въ негодованіе и ужасъ; они сейчасъ-же начинаютъ прилагать къ дѣйствіямъ своего правительства идеальныя мѣрки и вопить о призваніи и обязанностяхъ правительства, о неисполненіи священнаго долга, о нарушеніи народныхъ правъ и т. д. Смѣшные идеалисты, они не хотятъ понять одного, что толковать обо всемъ этомъ можно только въ странѣ, гдѣ правительство представляетъ собою всѣ сословія, все общество; въ странахъ-же, гдѣ правительство является на сторонѣ одной партіи, одного сословія, нечего и толковать о какихъ-либо обязанностяхъ правительства ко всему обществу. Въ такихъ странахъ на реакціонныя мѣры правительства, подъ прикрытіемъ либерализма, слѣдуетъ смотрѣть, какъ на обыкновенныя военныя хитрости при взаимной борьбѣ, и развѣ эти же самые публицисты, требующіе отъ своихъ правительствъ исполненія священныхъ обязанностей, сами съ своей стороны не готовы бываютъ употребить всевозможныя военныя хитрости для доставленія торжества своей партіи? При такихъ условіяхъ жизни въ западной Европѣ каждый человѣкъ въ своихъ политическихъ стремленіяхъ является неизбѣжно замкнутымъ въ опредѣленный, неразрывный кругъ своей партіи; внѣ этого круга ему нечего дѣлать, если онъ останется одинъ, со своими личными слабыми силами передъ натискомъ цѣлыхъ армій. Только въ такомъ случаѣ онъ будетъ послѣдователенъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ, вѣрно и твердо будетъ идти къ одной цѣли, когда онъ въ каждомъ своемъ шагѣ будетъ упорно держаться принциповъ своей партіи, своего сословія. Если принципы эти не нравятся ему, если онъ болѣе сочувствуетъ другимъ—противуположнымъ, онъ можетъ перейти изъ одного лагеря въ другой, но въ такомъ случаѣ онъ долженъ не только перемѣнить отвлеченнымъ способомъ свои убѣжденія, но сдѣлаться фактически человѣкомъ иной партіи; иначе онъ станетъ въ непроходимое противорѣчіе съ самимъ собою: прежніе партизаны заклюютъ его, какъ измѣнника, новые не признаютъ его. Если онъ—феодалъ, то какъ встанетъ онъ въ рядахъ народа, если продолжаетъ сочувствовать всѣмъ феодальнымъ преимуществамъ и желаетъ ихъ ненарушимости или даже распространенія? Точно также и наоборотъ: когда въ странѣ господствуетъ реакціонное правительство съ феодальными стремленіями, то можетъ-ли народный прогрессистъ съ совершенно противуположными принципами вмѣшаться въ ряды господствующей партіи и проводить посредствомъ ихъ свои стремленія? Очевидно его будутъ терпѣть до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ скрывать свои принципы и дѣйствовать заодно съ тѣми, въ ряды которыхъ онъ сталъ; едва заикнется онъ о своихъ принципахъ и захочетъ идти противъ теченія, къ какимъ-бы онъ при этомъ хитростямъ ни прибѣгалъ, его попросятъ или измѣнить принципы, или удалиться. Если же онъ можетъ скрываться до тѣхъ поръ, пока не сдѣлается всесильнымъ лицомъ въ господствующей партіи и тогда вознамѣрится вести партію путемъ совершенно противуположнымъ въ принципахъ и стремленіяхъ, то партія во всякомъ случаѣ сильнѣе отдѣльнаго человѣка, какъ бы этотъ человѣкъ ни былъ геніаленъ; если его не спихнутъ тотчасъ же съ его вершины, то во всякомъ случаѣ съумѣютъ перекиначить,

исказить всѣ его распоряженія и направить ихъ въ сторону своихъ принциповъ. Но мы предположили здѣсь случай по истинѣ необыкновенный: мы предположили человѣка, отчеканеннаго изъ лучшей англійской стали, у котораго вмѣсто нервовъ проволоки самаго лучшаго закала; такихъ людей не бываетъ. Обыкновенные же люди изъ костей, мяса и нервовъ (какой-бы ни были необычайной прочности и доброты, а всетаки дряблые матеріалы); обыкновенные люди неизбѣжно подчиняются вліянію окружающей ихъ среды, и можно навѣрное предсказать, что человѣкъ, вставшій въ среду тѣхъ или другихъ принциповъ, непремѣнно раньше или позже приметъ эти принципы, хотя бы сначала онъ ихъ и не раздѣлялъ. Люди, которые надѣются, что они никогда не измѣнятъ своимъ убѣжденіямъ, въ какую бы среду ни поставили ихъ обстоятельства,—наивные идеалисты и романтики. Въ ихъ высокомъ о себѣ мнѣніи столько же правды, какъ если-бы они говорили: вывалите меня въ грязи, въ помояхъ, посадите меня въ бочку съ сажею или дегтемъ и моя кожа всетаки останется неприкосновенно чистой и безукоризненно бѣлой. Твердость или слабость характера въ этомъ отношеніи можетъ представлять только разницу во времени, — слабый человѣкъ завтра же измѣнитъ своимъ принципамъ, едва встанетъ въ среду, противуположную имъ; сильный человѣкъ измѣнитъ черезъ пять, черезъ десять лѣтъ; — но во всякомъ случаѣ измѣнитъ, если только онъ предприметъ затаиваться и дѣйствовать вопреки своимъ принципамъ долгое время, до тѣхъ поръ, пока не сосредоточитъ въ свои руки власть въ избранной имъ средѣ. Но, по счастью, съ сильными людьми это бываетъ рѣдко: сильные люди рѣдко отличаются гибкостью характера; они не могутъ долго дѣйствовать вопреки своимъ принципамъ и затаиваться, и потому, если имъ приходится встать въ среду, противуположную своимъ стремленіямъ, они очень скоро выбрасываются за бортъ этой среды.

При такихъ условіяхъ, Лео является передъ нами отчаяннымъ идеалистомъ и романтикомъ,—Лео, который такъ много думаетъ о себѣ и такъ надѣется на свои силы, что мечтаетъ не только устоять самъ, дѣйствуя въ средѣ съ принципами, совершенно противуположными его принципамъ, но и всю эту среду поворотить по своему и направить къ своей цѣли. Онъ забываетъ одно, въ чемъ заключается вся нелѣпость его предпріятія: что принципы буржуазіи и феодализма въ Пруссіи радикально расходятся съ принципами рабочаго класса,—слѣдовательно, союзъ между рабочимъ классомъ и одной изъ вышеозначенныхъ партій можетъ быть допущенъ только въ такомъ случаѣ, если принципы одной стороны будутъ пожертвованы въ пользу другой. Во время первой французской революціи такъ и было,—тогда народъ шелъ за среднимъ сословіемъ, отстаивая интересы послѣдняго. Лео же мечтаетъ убѣдить сначала буржуазную партію, потомъ феодаловъ, вступить въ союзъ съ рабочимъ классомъ и проводить принципы послѣдняго; но проводить принципы рабочаго класса—вѣдь это значитъ для буржуазіи, равно какъ и для феодаловъ, отказаться отъ своихъ собственныхъ принциповъ, — иначе сказать, значитъ отказаться отъ своего существованія, какъ господствующей партіи. Для капиталистовъ — это значитъ перестать быть капиталистами; для бароновъ - перестать быть баронами.—Ну, не смѣшно ли, какъ подумаешь, что Лео мечталъ, что онъ убѣдитъ капиталистовъ и бароновъ добровольно перестать быть самими собою! Такія невообразимыя жертвы добровольно никогда не дѣлаются; это рѣшительно историческій nonsens! Лео могъ повліять на слабохарактернаго короля, но когда ему пришлось составлять министерство, тутъ разомъ обнаружилась вся неисполнимость его предпріятія. Изъ какихъ людей можно было составить ему министерство? Составить изъ людей его принциповъ, изъ приверженцевъ народа, — но вѣдь это значило-бы дѣйствовать путемъ прямо революціоннымъ, сразу раскрыть свои карты и поднять противъ себя страшную бурю, какъ въ лагерѣ реакціонеровъ, такъ и въ лагерѣ либераловъ; противъ такой бури не устоялъ-бы и самъ король, не только любимецъ его, втершійся къ нему въ довѣріе съ задняго крыльца, посредствомъ старой тетушки Сарры. Составить министерство изъ либераловъ—но Лео только-что разошелся съ ними и убѣдился въ полномъ ихъ отвращеніи отъ предложеннаго имъ союза съ рабочимъ классомъ. Оставалось составить министерство изъ людей, окружавшихъ короля, т. е. изъ людей, преданныхъ феодальнымъ принципамъ. Но принципы эти были въ такой силѣ, что люди, ихъ раздѣляющіе, не видѣли никакой необходимости жертвовать ими; конечно имъ было лестно усилить свое вліяніе союзомъ съ рабочимъ сословіемъ, но и лестно въ то же время устроить этотъ союзъ, посредствомъ дипломатической хитрости, такъ, чтобы и рабочихъ привлечь на свою сторону, и съ своей стороны ничего не уступить имъ. Докторъ Урбанъ, къ которому Лео обратился съ цѣлью составленія министерства, высказался въ этомъ отношеніи съ безцеремонной ясностью. «Король пусть издастъ манифестъ, въ которомъ апеллируетъ къ народу, сказалъ онъ, для своего оправданія. Затѣмъ соберутся новыя палаты; для того, чтобы онѣ утвердили нашу программу, мы сдѣлаемъ имъ рядъ предложеній, которыя имѣли-бы повидимому цѣлью улучшить бытъ рабочаго сословія, а въ сущности были бы благопріятны для капиталистовъ. Подъ рукой мы незамѣтно будемъ всѣми способами усиливать власть и могущество церкви—конечно въ самой, что ни на есть, либеральной формѣ». Такая программа доктора Урбана должна была понравиться каждому реакціонеру и ультрамонтану. Лео не принялъ ея, и палъ. Но будь онъ человѣкъ болѣе слабаго и гибкаго характера, онъ могъ-бы и принять программу Урбана, соображая, что вѣдь съ этими людьми иначе ничего не подѣлаешь; на первый разъ можно уступить,—ну, а потомъ, молъ, я поставлю таки на своемъ. И все-бы это было потомъ, да потомъ; и чѣмъ дальше шелъ-бы Лео, тѣмъ болѣе запутывался-бы онъ,—пока наконецъ отступать было-бы поздно, а впереди не было-бы никакой болѣе дороги. Вѣдь въ концѣ своего поприща Лео склонялся уже къ тому, что для утвержденія себя въ новомъ положеніи не мѣшаетъ ему пріобрѣсть баронскую грамату, не мѣшаетъ жениться на дочери сановника,

чтобы была въ домѣ великосвѣтская хозяйка, которая могла-бы принять великосвѣтскихъ гостей. А тутъ постоянный комфортъ, роскошь,—вѣдь не стальные же нервы въ самомъ дѣлѣ были у Лео, чтобы обстановка жизни не подѣйствовала на нихъ, и кончилось бы дѣло тѣмъ, что въ 40 лѣтъ, ничего не сдѣлавши, Лео почилъ бы въ баронскомъ достоинствѣ на первомъ мѣстѣ при дворѣ—съ красавицей женой, жилъ бы припѣваючи, въ роскоши, теплѣ и нѣгѣ, оглашалъ бы великосвѣтскіе салоны могучимъ гласомъ своего краснорѣчія и посмѣивался-бы про себя надъ утопіями своей молодости, которыя онъ оставилъ-бы, какъ неисполнимыя и непримѣнимыя къ жизни. Люди, выходящіе изъ народа и прошедшіе сквозь огонь и воду, если сворачиваютъ съ своего пути, то дѣлаются обыкновенно въ неизмѣримой степени болѣе энергическими и упорными реакціонерами, чѣмъ люди изъ родовъ, ведущихъ реакціонную традицію со временъ Меровинговъ.

Въ такой-же степени, какъ и Лео, является передъ нами человѣкомъ, стоящимъ въ разладѣ со своими принципами, баронъ Тухгеймъ. Человѣкъ образованный, съ благородными инстинктами, мягкій, гуманный—онъ представляется однимъ изъ симпатичныхъ лицъ въ романѣ, но все несчастіе его заключается въ томъ, что, оставаясь феодаломъ, онъ въ то-же время мечтаетъ быть либераломъ и тщетно старается примирить либеральныя стремленія съ феодальными принципами и предразсудками. Отказавшись отъ званія министра, предложеннаго ему королемъ, онъ остался въ своемъ имѣніи, мечтая заняться хозяйствомъ и улучшить бытъ своихъ поселянъ. Преобразованія въ своихъ владѣніяхъ задумалъ онъ конечно въ колоссальныхъ размѣрахъ; покупка разныхъ машинъ стоила ему огромныхъ издержекъ; но многія машины оказались никуда негодными; работники враждебно смотрѣли на чугунныя чудовища, видя въ нихъ подрывъ для себя; они неохотно работали съ машинами и старались нарочно ихъ портить. Напрасно сестра его, Шарлотта, и управляющій его, лѣсникъ, который оказался, при всемъ своемъ невѣжествѣ, практичнѣе барона-диллетанта, увѣщевали его бросить всѣ затѣи и заняться болѣе существеннымъ,—баронъ смѣялся надъ ихъ невѣжествомъ, рутиной и неумѣніемъ понять важности его нововведеній,—и кончилось дѣло тѣмъ, что вмѣсто улучшенія имѣнія и быта рабочихъ, баронъ ухудшилъ и то, и другое; вмѣсто ожидаемой благодарности со стороны поселянъ за свои баронскія благодѣянія, онъ встрѣтилъ недовольство и ропотъ. Насталъ голодъ. Гуманный баронъ скупалъ хлѣбъ и раздавалъ его даромъ голоднымъ поселянамъ; они брали хлѣбъ и все-таки роптали, и стоило явиться Туски, чтобы безъ всякаго труда возмутить поселянъ противъ барона. И вотъ баронъ, желающій своимъ поселянамъ всего лучшаго, принужденъ былъ стрѣлять въ нихъ, отстаивая, по своимъ рыцарскимъ понятіямъ, неприкосновенность своего замка отъ осады возставшихъ поселянъ. Послѣ этого всѣ агрономическія затѣи были конечно брошены; баронъ переѣхалъ въ столицу и, вступивши въ союзъ съ Зонненштейномъ, предалъ своихъ поселянъ эксплуатаціи Зонненштейна, все-таки въ видахъ улучшить этимъ путемъ и свое благосостояніе, и бытъ тухгеймскихъ поселянъ. Между тѣмъ какъ баронъ, не вмѣшиваясь въ дѣла своего компаньона, спокойно предавался свѣтскимъ удовольствіямъ столицы, банкиръ такъ улучшилъ его состояніе и бытъ рабочихъ, что баронъ былъ окончательно разоренъ, а рабочіе возстали подъ гнетомъ эксплуатаціи. Тогда баронъ, самъ будучи прямымъ виновникомъ всего случившагося, объявилъ въ газетахъ, по внушенію Лео, протестъ противъ притѣсненія Зонненштейномъ рабочихъ и отправился въ свое имѣніе держать сторону своихъ поселянъ и защищать ихъ передъ закономъ. Но эта защита состояла только въ томъ, что онъ наговорилъ грубостей оберъ-лейтенанту и былъ убитъ имъ на дуэли. Въ такомъ-же противорѣчіи самому себѣ является баронъ и въ своихъ личныхъ отношеніяхъ и привязанностяхъ. Такъ напримѣръ, онъ питаетъ самую искреннюю, задушевную привязанность къ лѣсничему, спасшему ему когда-то жизнь,—и въ то-же время оказывается способнымъ заподозрить, подъ вліяніемъ полицейскаго чиновника, этого преданнаго ему слугу въ измѣнѣ, въ возмущеніи поселянъ противъ него. Подъ вліяніемъ своихъ гуманныхъ чувствъ онъ воспитываетъ сына лѣсничаго Вальтера вмѣстѣ съ своими дѣтьми, питаетъ къ этому Вальтеру отеческую привязанность, а когда Вальтеръ дерзаетъ влюбиться въ дочь барона, Амелію, тогда въ баронѣ просыпается внезапно баронъ, и онъ съ высокомѣріемъ запрещаетъ дерзкому плебею показываться въ его домѣ. И при всѣхъ этихъ несообразностяхъ вы всетаки чувствуете невольную симпатію къ этому человѣку: вамъ жалко барона въ его противорѣчіяхъ; во всякомъ случаѣ онъ является передъ вами лучшимъ представителемъ своей среды, а за нимъ представляется передъ вами цѣлый рядъ банкировъ—фонъ-Зонненштейновъ, генераловъ — фонъ-Тухгеймовъ (генералъ фонъ-Тухгеймъ—братъ барона), Геевъ, Урбановъ, Генри и Линнертовъ; все это люди, деморализованные съ ногъ до головы, но зато твердо идущіе по своей дорогѣ, не измѣняющіе своимъ принципамъ; это люди вѣка, они съ гордостью могутъ сказать, что они все держатъ въ своихъ рукахъ и попираютъ ногами, и никто не дерзаетъ сравняться съ ними въ ихъ могуществѣ. Рядомъ со всѣми этими людьми рисуется передъ вами среда особеннаго рода, о которой слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ. Къ этой средѣ принадлежатъ старикъ-лѣсничій, сынъ его Вальтеръ, сестра барона Шарлотта, дочь Амелія, докторъ Паулусъ, миссъ Джесси, гувернантка барона, наконецъ портной Ребейнъ со своей супругой. Въ нашей жизни среда этого рода не выяснилась еще такъ отчетливо и ярко, какъ въ жизни западныхъ обществъ. Въ нашемъ обществѣ образованные люди до такой степени ограничены въ практической дѣятельности, что они принуждены жить преимущественно въ теоретической сферѣ; поэтому у насъ подъ словомъ «прогрессисты» подразумѣваются вообще люди честныхъ убѣжденій, какихъ-бы они ни были характеровъ и стремленій. Только на аренѣ практической дѣятельности люди, вродѣ Лео и Сильвіи, могутъ выдѣлиться отъ людей, вродѣ Вальтера и Амеліи, и пойти по разнымъ дорогамъ; а до этого какъ тѣ, такъ и другіе

должны сливаться въ безразличной категоріи людей честныхъ убѣжденій, въ отличіе отъ людей убѣжденій нечестныхъ. Но на Западѣ среда Вальтеровъ, Паулусовъ, Шарлоттъ и Амелій выяснилась довольно рѣзко и объ ней можно судить, какъ объ особенной средѣ. Мы опредѣлили бы эту среду несовсѣмъ точно, еслибы назвали ее умѣренно-либеральной. Къ умѣреннымъ либераламъ принадлежатъ и Тухгеймскій баронъ, и банкиръ фонъ-Зонненштейнъ, а между тѣмъ это люди совершенно особеннаго склада.

Вальтеры и Шарлотты—это люди золотой посредственности, это люди толпы; число ихъ легіонъ. Это честные, трудолюбивые, любящіе, сочувствующіе всему доброму и прекрасному, свѣтлому и прогрессивному, и вмѣстѣ съ этими благородными сочувствіями умѣющіе свивать тепленькія и уютныя гнѣздышки и ворковать въ нихъ очень мило и любовно. Люди этого сорта неспособны увлекаться какой-нибудь высокой цѣлью и въ этомъ увлеченіи жертвовать всѣми своими личными привязанностями; но зато они ограждены отъ паденій и гибели, съ которыми иногда бываютъ соединены такія увлеченія. Въ то время, какъ Лео, стремясь къ великой цѣли, способенъ въ концѣ концовъ сдѣлаться отчаяннымъ реакціонеромъ, Вальтеръ никогда реакціонеромъ не сдѣлается. При отсутствіи увлеченій и соединенныхъ съ ними заблужденій—люди эти обладаютъ завиднымъ благоразуміемъ; они очень умно резонируютъ и очень мѣтко могутъ обсудить всѣ ошибки и заблужденія великихъ людей, хотя сами никогда великими людьми не сдѣлаются. При всей энергіи трудолюбія, люди эти представляютъ полное отсутствіе энергіи борьбы съ обстоятельствами. Не мѣшайте имъ жить, они сдѣлаютъ многое; помѣшайте имъ сдѣлать многое, они ничего не сдѣлаютъ, но въ то-же время не предпримутъ ни малѣйшихъ усилій къ устраненію препятствій, а безропотно склонятся передъ своей долей. При такихъ условіяхъ, если имъ приходится пострадать за свои убѣжденія, какъ пострадалъ Вальтеръ, они начинаютъ смотрѣть на свое мученичество, какъ на нравственный подвигъ, какъ на особенное достоинство, и нисколько не стыдятся своего мученичества, которое само по себѣ есть не что иное, какъ прямое доказательство жалкаго безсилія передъ врагами. Таковы они не только въ своихъ общественныхъ отношеніяхъ, но и въ личныхъ. Шарлотта полюбила лѣсничаго, но она была баронесса; выйти за него замужъ,—значило вооружить противъ себя всѣхъ своихъ любезныхъ родственниковъ; Шарлотта, нельзя сказать, чтобы не рѣшалась на это,—она просто не захотѣла этого и безропотно склонилась передъ своей долей. Точно такъ же готовъ былъ склониться передъ своей долей Вальтеръ, изгнанный изъ дома барона за свою любовь къ Амеліи, еслибы баронъ не умеръ во-время. Люди, вродѣ Лео и Сильвіи, идущіе напроломъ всѣхъ препятствій въ жизни, относятся съ презрѣніемъ къ людямъ вродѣ Вальтера и Шарлотты — но совершенно напрасно. Они забываютъ въ своемъ высокомѣріи, что ихъ очень немного, а такихъ людей, какъ Вальтеръ, Амелія и Шарлотта,—большинство, цѣлый родъ человѣческій. Если Лео и Сильвія стремятся къ своимъ высокимъ цѣлямъ, жертвуютъ всѣми личными благами, терпятъ несчастія, гибнутъ, то для кого-же они это дѣлаютъ, какъ не для этихъ самыхъ Вальтеровъ, Амелій и Шарлоттъ, чтобы этимъ нѣжнымъ голубкамъ было свободно жить, трудиться и ворковать? А когда исполнятся мечты Лео и Сильвіи, когда всѣмъ будетъ жить хорошо и свободно, для какой надобности будутъ тогда Лео и Сильвіи? Тогда отъ нихъ никто не спроситъ ихъ жертвъ, они сами должны будутъ вмѣшаться въ кругъ Вальтеровъ, Амелій и Шарлоттъ и начать жить ихъ идиллической жизнью! Изъ подъ личности Вальтера, этого либеральнаго романиста, лишающагося мѣста и сидящаго въ тюрьмѣ за свой романъ, просвѣчиваетъ передъ вами личность самого Шпильгагена, который, судя по всему характеру, по всѣмъ идеямъ романа, самъ принадлежитъ къ этой средѣ. Возьмите только во вниманіе спокойно-объективный тонъ романа, его безпристрастіе ко всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ, какихъ бы они ни были принциповъ, его отданіе благоразумной справедливости всѣмъ и каждому, обиліе любовно-идиллическихъ мѣстъ и наконецъ желаніе показать на Лео и Сильвіи, что люди, смѣющіеся надъ свиваніемъ гнѣздышекъ и жертвующіе личными привязанностями общественнымъ стремленіямъ, сами невольно приходятъ наконецъ къ необходимости смириться и разнѣжиться, потому что такова ужъ природа человѣческая: развѣ во всемъ этомъ не просвѣчиваетъ передъ вами Вальтеръ, читающій милой Амеліи свой романъ, въ которомъ онъ описываетъ свою нѣжную страсть къ ней?

V.

Если кому приходится долгое время жить въ маленькихъ, затхлыхъ и душныхъ каморкахъ, тотъ мало по малу теряетъ сознаніе о настоящихъ размѣрахъ своего жилья и его воздуха. Каморки не кажутся ему мизерными, жалкими, и обоняніе его привыкаетъ до такой степени къ спертому, затхлому воздуху, что ему наконецъ можетъ казаться, что воздухъ его жилья наполненъ ароматами. Но стоитъ этому человѣку побывать хоть нѣсколько минутъ въ какихъ-нибудь колоссальныхъ, богато убранныхъ залахъ съ высокими сводами, подъ которыми воздухъ льется широкой струей, и вотъ, по возвращеніи домой, невольно охватитъ его сознаніе, какъ низки, миніатюрны, бѣдны и жалки его каморки въ сравненіи съ залами, изъ которыхъ онъ только-что вышелъ; какъ душенъ, затхлъ и сираденъ прокислый воздухъ въ нихъ. Такое-же самое впечатлѣніе поражаетъ васъ, когда, по прочтеніи романа Шпильгагена, вы возвратитесь въ кругъ вашей обыденной жизни и начнете сравнивать только-что прочитанный романъ съ произведеніями нашей отечественной литературы. Мы ужъ не будемъ говорить о томъ, что, читая романъ, вы невольно должны позавидовать той богатой содержаніемъ, разнообразной, шумной, бьющей широкой струей жизни, какая прыщетъ передъ вами на каждой страницѣ его; должны позавидовать той широкой свободѣ, съ какой люди имѣютъ возможность осуществлять въ жизни свои стремленія, той легкости, съ которой люди (изъ самаго низшаго слоя общества) имѣютъ возможность

получать блестящее образованіе и всплывать кверху— все это зависитъ отъ умственныхъ и матеріальныхъ богатствъ жизни, отъ того, какая это жизнь,— европейская, не любящая оглядываться назадъ и рвущаяся смѣло впередъ, или азіатская, сонная, боящаяся каждаго несмѣлаго шага впередъ и опирающаяся на дѣдовскія преданія на томъ основаніи, что эти дѣдовскія преданія и проще, и надежнѣй, и при нихъ спокойнѣй спать; все это зависитъ отъ того, какое это общество, — бодрое, энергическое, стремящееся къ самостоятельности, или вялое, пассивное, любящее, чтобы объ немъ заботились, опекали его, варили для него кашку и клали ему ложечкой въ ротъ, предварительно разжеванную. Мы не будемъ обо всемъ этомъ распространяться, дабы не прійти въ соблазнъ. Мы обратимъ вниманіе не на жизнь, изображенную въ романѣ, а на самый романъ, и сравнимъ его съ нашими романами такого-же рода. Изъ разбора романа мы пришли къ тому заключенію, что романъ этотъ не принадлежитъ къ разряду самыхъ смѣлыхъ и высокихъ полетовъ европейской мысли; напротивъ того, мы видѣли, что хотя основная идея романа истинна сама по себѣ, хотя дедуктивно она проведена вѣрно, но съ политической точки зрѣнія, по отношенію къ современной жизни, романъ хромаетъ непониманіемъ того, что́ дѣлается, стремленіемъ представить въ ложномъ видѣ, инсинуировать самыхъ смѣлыхъ и передовыхъ общественныхъ дѣятелей въ Пруссіи. Въ силу этого, по отношенію къ прусской жизни романъ Шпильгагена играетъ ту-же роль, какъ по отношенію къ нашей жизни играютъ романы вродѣ «Взбаломученнаго моря», «Марева» или «Некуда». Но, несмотря на всю логичность такого сравненія, читатель сразу поймет всю несообразность его. Развѣ можно сравнивать, скажетъ онъ, честный, прогрессивный, полный глубокихъ мыслей романъ Шпильгагена съ этими безтолковыми, безсмысленными и грязными инсинуаціями нашей отечественной литературы? Но развѣ можно сравнивать европейскую жизнь съ нашей жизнью? отвѣчу я на это возраженіе читателя. Чтожъ дѣлать, если на Западѣ люди до такой степени образованы, что они понимаютъ, что хотя бы человѣкъ и шелъ по другой дорогѣ, чѣмъ идутъ они, то всетаки онъ можетъ быть высокой нравственности и даже вполнѣ идеальный человѣкъ. Мы видѣли, что Шпильгагенъ, инсинуируя дѣятельность Лассаля, въ то-же время не только не бросаетъ въ него грязью и помоями, а напротивъ того представляетъ его идеальнѣе, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности. Наши-же доморощенные тенденціозные романисты стоятъ на такомъ еще низкомъ уровнѣ развитія, что наивно воображаютъ, что не только человѣкъ, поступающій иначе, чѣмъ они, но и думающій иначе,—непремѣнно есть нравственное чудовище, экстрактъ всевозможныхъ гадостей. Въ этомъ отношеніи мы стоимъ почти на степени дикарей, которые въ каждомъ человѣкѣ, не раздѣляющемъ ихъ взглядовъ, видятъ непремѣнно колдуна, продавшаго душу чорту. На Западѣ инсинуируются дѣятели дѣйствительно общественные, политическіе, которые могутъ имѣть то или другое вліяніе на ходъ цивилизаціи; у насъ же, смѣшно подумать, романисты наши, иногда почтенные мужи, убѣленные сѣдинами, бѣснуются съ пѣной у рта передъ какими-нибудь двумя-тремя гимназистами, студентами и барышнями, дерзающими читать не тѣ книжки, которыя, по мнѣнію романистовъ, слѣдуетъ имъ читать, или, еще смѣшнѣе, не носящими такихъ куафюръ, какія нравятся изящному вкусу романистовъ. Конечно при такихъ условіяхъ сравненіе романа Шпильгагена съ нашей доморощенной тенденціозной беллетристикой немыслимо. Но что́-же дѣлать, что̀ городъ,—то норовъ, что̀ деревня,—то обычай.

1869.

ЖИВАЯ СТРУЯ.

(ВОПРОСЪ О НАРОДНОСТИ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ).

I.

Когда старая система идей смѣняется новою, послѣдняя не сразу обыкновенно подводитъ подъ свои начала всѣ современныя явленія жизни. Люди накидываются прежде всего конечно на такіе вопросы, которые стоятъ на первомъ планѣ и болѣе всего привлекаютъ вниманіе. Второстепенные-же вопросы остаются безъ вниманія, и относительно ихъ продолжаютъ придерживаться по привычкѣ старыхъ взглядовъ. Каждому, кто пережилъ сильную умственную ломку въ своей головѣ, навѣрное приходилось находить такіе пробѣлы и противорѣчія въ своемъ мышленіи, побѣдить которые можно было не иначе, какъ перерѣшивши вопросъ на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ другіе вопросы давно уже были рѣшены. Такіе-же случаи встрѣчаются на каждомъ шагу и въ исторіи человѣчества. Подобный случай произошелъ и у насъ въ послѣднее десятилѣтіе съ вопросомъ о народности въ литературѣ.

Вопросъ этотъ естественно возникъ вслѣдствіе того, что наше образованное общество отдѣлилось отъ народной массы и создало свои особенные нравы и обычаи, свой особенный языкъ подъ вліяніемъ западной цивилизаціи. Но слѣдуетъ замѣтить, что до Гоголя и Бѣлинскаго вопросъ о народности въ литературѣ не игралъ большой роли и не шелъ далѣе очистки языка отъ иностранныхъ вліяній, выбора сюжетами произведеній крупныхъ явленій русской жизни, русской исторіи, да рѣдкихъ рабскихъ подражаній народнымъ пѣснямъ и сказкамъ.

Въ 40-е годы вопросъ о народности въ первый разъ былъ поставленъ на философскую почву. Въ это время въ оппозицію западникамъ возникла партія славянофиловъ, которая на своемъ знамени крупными литерами написала: «народность» Замѣчателенъ тотъ фактъ, что обѣ партіи, на основаніи одной и той же философской системы Гегеля, рѣшили вопросъ о народности діаметрально противоположно: славянофилы оперлись въ своемъ ученіи на то положеніе гегелевской философіи, что каждая историческая народность есть носительница своей идеи, которую она вкладываетъ въ сокровищницу развитія человѣчества; изъ этого они прямо вывели, что увлеченіе идеями и формами чуждыхъ народностей не только безполезно, но и положительно вредно, что оно отвлекаетъ народъ отъ развитія той идеи, которую онъ обязанъ внести въ исторію человѣчества; поэтому, рѣшили славянофилы, мы должны всячески удаляться отъ усвоенія западной образованности, проникаться нашими собственными народными началами, которыя мы готовимся внести въ исторію. Западники же въ рѣшеніи вопроса о народности оперлись на то положеніе гегелизма, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго, форма, въ которую вкладывается общая идея человѣчества. Форма эта вырабатывается исторіей, природой; она дается намъ помимо нашего сознанія и какихъ-либо стремленій, такъ-же какъ и личная наша физіономія; поэтому мы не только не имѣемъ надобности стремиться къ народности, напротивъ того, намъ трудно отрѣшиться отъ нея, еслибы мы и хотѣли; примѣромъ этого можетъ служить французская литература XVIII вѣка, которая, при всей своей подражательности образцамъ классической литературы, всетаки оставалась народной въ томъ смыслѣ, что выводимые ею на сцену герои болѣе были похожи на французовъ версальской атмосферы, чѣмъ на героевъ древности. Стремиться къ народности, говорили западники, это значитъ стремиться къ формѣ, не заботясь о содержаніи ея; напротивъ того, главное наше стремленіе должно заключаться въ томъ, чтобы вливать въ эту форму общечеловѣческое содержаніе; въ концѣ-же концовъ, отрѣшаясь все болѣе и болѣе отъ временныхъ и узкихъ формъ народностей, человѣчество должно стремиться къ тому, чтобы слиться въ одну общечеловѣческую форму, которая-бы носила въ себѣ общечеловѣческое содержаніе.

Въ силу этихъ идей, при оцѣнкѣ тѣхъ или другихъ литературныхъ произведеній, славянофилы имѣли главной задачей рѣшать, насколько произведеніе проникнуто началами, сродными русскому духу; западники же рѣшили разъ навсегда, что каждое произведеніе, написанное русскимъ, такъ или иначе, непремѣнно народно, непремѣнно выражаетъ ту или другую сторону характера русской народности; главная-же забота заключается въ томъ, чтобы опредѣлить, какія общечеловѣческія начала заключаетъ въ себѣ оно.

Философія Гегеля потеряла свое господство надъ русскими умами въ концѣ 50-хъ годовъ. Она смѣнилась новыми системами, господствующими въ настоящее время подъ именемъ *реализма*. Подводя разные вопросы жизни подъ свои начала, реализмъ прежде всего позаботился перерѣшить вопросъ о цѣли и значеніи литературы въ жизни общества. Это было дѣломъ первой важности въ нашей жизни, обусловливаясь тѣмъ значеніемъ, которое имѣетъ въ нашей жизни литература. Но, занявшись подведеніемъ подъ новыя условія вопроса о значеніи литературы вообще, мы сдѣлали огромный пробѣлъ, оставивши совершенно въ сторонѣ частный вопросъ о народности въ литературѣ. Вопросъ этотъ, какъ мы увидимъ ниже, рѣшается самъ собою въ практической сферѣ; въ теоретической же онъ до сихъ поръ почиваетъ на

старыхъ гегеліанскихъ началахъ. Ужъ не говоря о славянофилахъ, наши самые ревностные послѣдователи реализма не замѣчаютъ, что, реалисты во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, они продолжаютъ оставаться истыми гегеліанцами по вопросу о народности. Когда они начнутъ толковать вамъ о томъ, что литература должна быть реальна, что, не ограничиваясь однимъ созерцаніемъ прекраснаго, она должна служить жизни, отвѣчая на всѣ ея животрепещущіе вопросы, попробуйте замѣтить при этомъ, что не мѣшаетъ также, чтобы она была и народной; я убѣжденъ, что при этомъ вы встрѣтите снисходительную улыбку и услышите совершенно тѣ-же самыя слова и выраженія, которыми говорили о народности западники 40-хъ годовъ, опираясь въ своихъ доводахъ на гегелевской философіи, доказывавшей, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго.

Между тѣмъ какъ, если вопросъ о народности въ литературѣ мы попробуемъ пересадить на почву реализма и утилитаризма, если мы рѣшимъ его на основаніи тѣхъ новыхъ идей, которыя получили господство у насъ въ послѣдніе годы,—мы увидимъ, что это не только не излишній вопросъ, напротивъ того, первой важности, вопросъ о судьбѣ всей литературы; имъ обусловливаются какъ истинная реальность, такъ и полезность литературы.

Реализмъ, не строя никакихъ отвлеченныхъ системъ, не гадая о сущности явленій, изучаетъ ихъ, какъ они представляются нашимъ чувствамъ, восходя отъ частнаго къ общему, отъ случайныхъ и отдѣльныхъ къ общимъ условіямъ, называемымъ міровыми законами. Съ этой точки зрѣнія народность представляется не индивидуализаціей общаго, какъ полагалъ гегелизмъ, а, напротивъ того, обобщеніемъ индивидуальнаго. Поселите отдѣльныя, разрозненныя племена подъ общія условія жизни, и они сольются въ одну нераздѣльную народность, какъ слились бриты, англо-саксы и норманы въ англичанъ, а поляне, древляне, сѣверяне и проч.—въ русскихъ, а съ другой стороны—поставьте отдѣльныя части общей народности въ различныя условія жизни, и народность ваша разсыпется на отдѣльныя народности, и послѣднія будутъ группироваться опять таки по тѣмъ общимъ условіямъ жизни, подъ которыми будетъ жить каждая. Еслибы для каждаго человѣка условія жизни были совершенно отличныя, не имѣющія ничего общаго съ условіями жизни другихъ людей, въ такомъ случаѣ на земномъ шарѣ не было-бы народностей, а была-бы одна безконечная индивидуализація. Но кромѣ тѣхъ особенныхъ условій для каждаго человѣка, которыя создаютъ его личную индивидуальность, люди живутъ подъ общими условіями, результатомъ которыхъ и является народность. По отношенію къ расѣ народность является, пожалуй, въ свою очередь индивидуальностью, но по отношенію къ отдѣльнымъ людямъ она есть общность. Индивидуальная особенность, народность, раса—это три такія условія жизни, безъ которыхъ невозможно изучать человѣка, какъ невозможно изучать растенія и животныхъ, не опредѣляя рода и вида, къ которому они принадлежатъ. Истинно реальная литература, имѣя дѣло съ изученіемъ жизни людей, конечно только тогда и будетъ истинно реальной, когда она станетъ изучать жизнь не въ ея отвлеченныхъ сущностяхъ, а въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ она проявляется. Поэзія, построенная на абстрактныхъ началахъ, совершенно пренебрегала этими условіями; она говорила: мнѣ все равно, русскаго, француза или нѣмца вывожу я на сцену, барина или крестьянина,—разница между ними только формальная, сущность же человѣческая у всѣхъ у нихъ одна и та-же; вотъ эту-то сущность я и имѣю въ виду. Реальный же поэтъ говоритъ: сущности человѣческой я не знаю, а я вижу человѣка не иначе, какъ подъ вліяніемъ разныхъ условій жизни, и я изучаю, какъ представляется человѣкъ подъ вліяніемъ этихъ условій. Поэтъ живетъ не иначе, какъ въ средѣ того или другого общества, именуемаго народомъ. Онъ изучаетъ индивидуальныя особенности каждаго человѣка не для того, чтобы поглотиться въ массѣ индивидуализма, но чтобы это индивидуальное подвести подъ общее; первыми обобщеніями реальнаго поэта являются, такъ-называемые на языкѣ эстетики, образы, типы, сюжеты, болѣе или менѣе общіе; но развѣ можетъ истинно-реальный поэтъ остановиться на чемъ-нибудь? Развѣ есть конецъ тому процессу, который называется реальнымъ изученіемъ? Восходя все выше и выше въ своемъ изученіи, реальный поэтъ поневолѣ придетъ къ той общности, которая называется народностью. Изучить свой народъ во всѣхъ условіяхъ его жизни, во всѣхъ формахъ ея и проявленіяхъ, проникнуться всѣми его общими интересами, его радостями и страданіями—вотъ истинная задача реальнаго поэта. Но достигнуть всего этого,—вѣдь это значитъ сдѣлаться поэтомъ народнымъ, въ самомъ широкомъ, истинномъ значеніи этого слова. Такимъ образомъ понятія о реализмѣ въ поэзіи и о народности совершенно совпадаютъ; разница между ними только та, что реализмъ въ литературѣ есть извѣстный путь, цѣль котораго—народность.

Далѣе, если мы поставимъ вопросъ о народности въ литературѣ на почву утилитаризма, онъ получитъ въ нашихъ глазахъ еще бо́льшее значеніе. Литература должна быть полезна—для кого? Очевидно не для двухъ, не для тысячи человѣкъ, а для всего края, для всего народа, на языкѣ котораго она существуетъ. Литература мечтаетъ о завидной цѣли быть воспитательницей общества, народа, развивать неразвитыхъ, образовывать необразованныхъ, подымать такіе вопросы жизни, которые долго не пошевелились-бы еще въ мозгахъ большинства нашихъ соотечественниковъ безъ ея содѣйствія.

При этомъ я прошу читателя обратить вниманіе на завидную роль, которую можетъ и должна играть изящная литература въ этомъ дѣлѣ. Если мы прослѣдимъ наше собственное развитіе, мы увидимъ, что чѣмъ на низшей степени развитія стоитъ человѣкъ, тѣмъ бо́льшее значеніе въ развитіи его имѣетъ художественная литература. Въ жизни каждаго человѣка былъ такой періодъ, въ который чтеніе его состояло исключительно изъ произведеній художественной литературы; только на извѣстной, значительной уже степени развитія мы начинаемъ мало-по-малу приступать къ чтенію книгъ серьезнаго, научнаго содержанія. Воль-

шинство людей даже такъ-называемаго образованнаго слоя общества ничего не разрѣзываетъ въ журналахъ, кромѣ романовъ, повѣстей, комедій и стихотвореній. Что-же сказать о литературѣ, которая, мечтая развивать неразвитыхъ, представляетъ въ своихъ произведеніяхъ такіе образы и на такомъ языкѣ, что только нѣкоторые избранники, стоящіе на очень высокой степени развитія, могутъ пользоваться ею?

Въ этомъ отношеніи литература, развивая людей развитыхъ, образуя людей образованныхъ, очень похожа на педагогическое заведеніе, которое дѣйствовало-бы такимъ образомъ: учителя, вмѣсто того, чтобы давать уроки ученикамъ, ограничивались-бы тѣмъ, что собирались на педагогическіе совѣты, сообщали другъ другу, что они читаютъ, о чемъ думаютъ, давали-бы другъ другу полезные совѣты и читали другъ передъ другомъ блестящія пробныя лекціи. Такіе учителя могли-бы быть очень полезны другъ для друга; но смѣшны были-бы они, еслибы при этомъ воображали, что они въ то-же время полезны и для массы учениковъ, пребывающихъ безъ книгъ, безъ уроковъ, въ неподвижномъ невѣжествѣ подъ присмотромъ грозныхъ гувернеровъ, строго-наблюдающихъ за порядкомъ и благочиніемъ въ классахъ. Такое зрѣлище представляетъ литература наша, которая въ послѣднее время постоянно твердила и твердитъ, что главная ея цѣль — служеніе народу. Подобное положеніе представляется еще неестественнѣе и нелѣпѣе, если подумать, что народъ прямымъ или косвеннымъ путемъ оплачиваетъ существованіе этой литературы, и взамѣнъ тѣхъ капиталовъ страны, которые затрачиваются ежегодно на произведеніе и изданіе эстетическихъ произведеній россійской литературы, получаются книжки, которыя служатъ предметомъ праздная развлеченія для немногихъ избранныхъ людей. Мнѣ могутъ сдѣлать здѣсь такое возраженіе, что капиталы тратятся не даромъ въ томъ смыслѣ, что раньше или позже народъ когда нибудь да разовьется до пониманія нашихъ изящныхъ произведеній, и тогда воспользуется тѣми продуктами, на произведеніе которыхъ тратятся теперь капиталы. Но, во первыхъ, ручаетесь ли вы, что для народа будутъ годны всѣ тѣ изящныя произведенія, которыя выходятъ въ настоящее время? Оглянемся назадъ и посмотримъ, сколько различныхъ литературныхъ школъ пало безвозвратно, смѣнившись новыми школами? Что такое паденіе школы, какъ не сознаніе ея заблужденія и не выходъ изъ этого заблужденія на свѣтъ? Неужели народъ долженъ будетъ воспринимать одни за другими всѣ наши старые грѣхи и промахи? Станетъ-ли народъ читать, а если и станетъ, найдетъ-ли что-нибудь поучительное въ разныхъ произведеніяхъ нашей литературы ложно-классическихъ, романтическихъ, идеалистическихъ и проч.? Что-же такое всѣ эти произведенія, какъ не капиталы, безслѣдно похороненные въ архивной пыли библіотекъ? А во-вторыхъ, если-бы даже всѣ прошлыя произведенія нашей литературы были поучительны для народа, то какъ-же разовьете вы его до пониманія ихъ, если не заговорите съ нимъ языкомъ, вполнѣ понятнымъ и доступнымъ для него, если не снизойдете къ нему? Конечно, подобное снисшествіе къ народу должно заключаться не въ видѣ уступокъ разнымъ его вѣковымъ предразсудкамъ, какъ это думаютъ поклонники народной стоглавой Москвы. Передавайте народу всѣ ваши глубокія и высокія идеи, заимствованныя съ Запада, но облекайте ихъ въ такой языкъ и въ такіе образы, чтобы онѣ были для всѣхъ равно доступны и понятны. Важное преимущество самобытной народной поэзіи заключалось именно въ томъ, что, не стоя народу ни гроша, она была сокровищемъ, изъ котораго каждый могъ черпать сколько ему угодно, и только тогда литература будетъ истинно полезна для всего края, для всего народа, когда она снова сдѣлается народной въ этомъ смыслѣ слова.

Но выставленіе подобныхъ требованій отъ литературы, какъ-бы оно ни было законно и справедливо, всегда будетъ казаться воздушной мечтой, праздной, неосуществимой утопіей, въ виду современнаго состоянія литературы нашей, если не будетъ указанъ путь, идя по которому литература могла бы выйти изъ настоящаго своего состоянія и сдѣлаться вполнѣ народной. Вѣдь не могутъ-же литераторы наши съ сегодняшняго же дня дать себѣ слово писать такъ, чтобы каждый мужикъ понималъ ихъ отъ строки до строки и интересовался ихъ произведеніями. Въ противномъ случаѣ, они должны будутъ, садясь писать, поступать такъ, какъ поступаютъ разные составители народныхъ книжекъ, то-есть напишутъ фразу и давай думать: «понятна или нѣтъ должна быть эта фраза для простолюдина?». Дикая неестественность такого способа поддѣлыванія подъ народность ярко выставляется въ каждой строкѣ многихъ книжекъ, написанныхъ для народа, особенно въ изданіяхъ Погосскаго; не менѣе смѣшна такая народность въ рѣчахъ разныхъ провинціальныхъ либераловъ, которыя произносились нѣкогда на земскихъ обѣдахъ, дававшихся въ честь сліянія сословій. Очевидно, что не такой народностью должна подарить насъ литература. Истинно-народное произведеніе просто, естественно и непроизвольно выливается изъ-подъ пера писателя; народный писатель пишетъ свои произведенія такъ же, какъ и не народный, то-есть нисколько не заботясь о томъ, чтобы произведеніе его вышло непремѣнно народно: онъ не имѣетъ ничего иного въ виду, какъ выразить свою мысль, чувство — и произведеніе его выходитъ народно безъ его вѣдома и желанія. Сдѣлаться народнымъ писателемъ — значитъ выработать свой языкъ, свои поэтическіе образы, мысли и чувства такимъ образомъ, чтобы писать народной рѣчью о предметахъ, интересующихъ всѣхъ и каждаго, безъ всякихъ усилій и заботъ о популярности. Этого нельзя достигнуть никакимъ скачкомъ, никакой искусственной поддѣлкой. Это достижимо только естественнымъ путемъ. Настоящая статья могла бы дѣйствительно показаться праздной фантазіей, еслибы ограничилась выставленіемъ требованія, не опредѣливши того естественнаго пути, идя по которому литература можетъ удовлетворить этому требованію. Указаніе этого естественнаго пути и составляетъ главную цѣль моей статьи. И это тѣмъ удобнѣе возможно будетъ сдѣлать безъ всякихъ гадательныхъ и произвольныхъ приглашеній съ нашей стороны писателей идти направо или налѣво, что въ самой литературѣ начались уже инстинктивно, безъ всякихъ теоретиче-

скихъ указаній, попытки идти по этому пути. Попытки эти, въ рядѣ разныхъ заблужденій, опошлившихъ и извратившихъ истинное стремленіе къ народности въ литературѣ, представляютъ отрадную, живую струю, которой готовится великая будущность. Вырвавшись въ 40-хъ годахъ на свѣтъ, струя эта не перестаетъ течь все шире и шире, все глубже и глубже, принимая въ себя разные притоки и готовясь обратиться въ широкую, многоводную рѣку. Дѣло наше будетъ состоять только въ томъ, чтобы опредѣлить направленіе этой струи въ настоящее время, и это направленіе само собою, безъ нашихъ усилій, укажетъ нашимъ писателямъ тотъ путь, который прямо и неуклонно можетъ повести ихъ къ народности.

II.

Славянофилы, сѣтуя на раздвоенность нашего общества, на отсутствіе всякой связи между искусственной поэзіей нашей и народной, причину такого явленія видятъ исключительно во вліяніи на насъ западной образованности и рабской подражательности съ нашей стороны формамъ ея. Въ сущности-же существуетъ причина болѣе дѣйствительная и общая, вліяющая на всякое раздвоеніе народа—будетъ-ли оно сопровождаться вліяніемъ чуждой цивилизаціи, или совершится домашнимъ образомъ. Мы просимъ при этомъ припомнить, что мы сказали въ первой главѣ объ образованіи народностей: каждый разъ, когда группа людей становится въ какія-нибудь особенныя условія жизни, необходимымъ слѣдствіемъ этого является образованіе народности, владѣющей особеннымъ языкомъ и создающей свою особенную литературу. Этимъ обусловливается какъ появленіе нарѣчій, говоровъ, разновидностей одного народа, такъ и то раздвоеніе, какое совершается между массой и образованнымъ классомъ. Если образованіе разлито равномѣрно по всему народу, и если народъ, во всей своей массѣ, увлечется подражаніемъ какой-нибудь чуждой образованности, въ такомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи о ненародности такого движенія: народное движеніе и есть именно такое, въ которомъ участвуютъ массы народа. Если-же, напротивъ того, изъ среды народа выдѣлится группа людей, поставитъ себя совершенно въ иныя условія жизни, чѣмъ тѣ, въ которыхъ живетъ большинство населенія края, замкнется въ этихъ условіяхъ и изолируется отъ всего прочаго міра, въ такомъ случаѣ, если-бы не было никакихъ чуждыхъ вліяній, группа эта все-таки создастъ свои особенные нравы, обычаи, языкъ и литературу. Если затѣмъ на сторонѣ этой группы будутъ матеріальныя богатства и умственный досугъ,—однимъ словомъ, все, что́ способствуетъ быстрому развитію образованности, то естественно, что она далеко опередитъ въ своей образованности прочіе классы народонаселенія и создастъ культуру, въ которой ничего не будетъ общаго съ культурой массъ, оставленныхъ ею назади. Если до Петра Великаго наши привилегированные классы представляются вполнѣ сходными въ своей культурѣ съ народными массами, то это потому, что они не успѣли еще создать своей собственной культуры, въ то время какъ рядомъ существовала высокая цивилизація, вліянію которой они и подчинились. Но тотъ уже фактъ, что привилегированные классы подчинились вліянію западной цивилизаціи, а масса не подчинилась, показываетъ, что эти классы представляли уже нѣкоторую особенность сравнительно съ массами, бо́льшую умственную гибкость и воспріимчивость. Классы эти стояли во время Петра на томъ пути, что, не будь вліянія западной образованности, они раньше или позже по своему положенію создали-бы свою особенную образованность и искусственную литературу въ отличіе отъ народной поэзіи массъ. Таково происхожденіе искусственной литературы у всѣхъ народовъ. Какъ только привилегированный классъ выдѣляется изъ массы народа и замыкается въ свой кругъ, онъ быстро создаетъ искусственную литературу въ отличіе отъ народной. Литература эта, игнорируя интересы массы, выражаетъ исключительно ту жизнь, которою живетъ этотъ классъ. Но послѣ быстраго процвѣтанія такая искусственная литература столь-же быстро падаетъ, потому что скоро исчерпываетъ свой матеріалъ; для поэтическаго творчества необходимы новыя впечатлѣнія, страстность которыхъ и возбуждаетъ его; а когда жизнь смыкается въ тѣсномъ кружкѣ въ неизмѣнныя формы, то поэтамъ только и остается, что вѣчно пѣть одну и ту-же пѣсню, которая подъ конецъ всѣмъ пріѣдается и дѣлается рутинной пошлостью. Выходомъ изъ такого печальнаго состоянія литературы можетъ быть только какое-нибудь живое народное движеніе, которое размыкаетъ заколдованный кружокъ образованныхъ классовъ, обращаетъ вниманіе ихъ на интересы массы, на ея нравы, обычаи, вѣрованія и поэзію; изъ самой массы начинаютъ выходить пѣвцы ея жизни и стремленій. Тогда въ литературѣ начинается обратное движеніе отъ искусственной поэзіи къ народной; въ область ея вторгаются новые, живые, свѣжіе элементы, характеризующіе собою движенія народныхъ массъ. Такія два противоположныя движенія литературы и зависимость ихъ отъ общественныхъ условій мы можемъ отлично прослѣдить въ исторіи европейскихъ литературъ въ средніе вѣка. У насъ существуетъ ложное понятіе, что будто въ средніе вѣка литература западно-европейскихъ народовъ стояла постоянно на народной почвѣ, что искусственная литература, прервавшая всякую связь съ народной, началась съ эпохи renaissance. Напротивъ того, мы видимъ, что если было когда-либо въ средніе вѣка господство народной поэзіи, то въ началѣ только ихъ, во время движеній народныхъ массъ и завоеваній, извѣстныхъ въ исторіи подъ именемъ великаго переселенія народовъ. Когда-же народы успѣли усѣсться на своихъ мѣстахъ и повсюду сформировались привилегированныя, рыцарскія сословія, старинныя эпическія саги и поэмы дѣлаются достояніемъ простого народа, да предметомъ монастырской учености, занимавшейся собраніемъ и переписываніемъ ихъ. Въ привилегированныхъ-же классахъ быстро создается особенная, искусственная литература, извѣстная подъ именемъ провансальской и романтической. Литература эта, воспѣвая подвиги и любовь королей и рыцарей, исключительно терлась при дворахъ и въ замкахъ. Самое названіе одного изъ главныхъ родовъ этой поэзіи «sirventes» (отъ словаservire—служить),то-есть

служебныя пѣсни, показываетъ, какое значеніе имѣла эта поэзія и какую роль играли пѣвцы ея—труверы. Отражая въ себѣ жизнь, нравы, стремленія рыцарства, ихъ войны, любовь, любезность и придворное остроуміе, ихъ схоластическую ученость, наконецъ даже и либерализмъ, заключавшійся въ порицаніяхъ пороковъ Рима и духовенства, труверы въ то-же время до такой степени игнорировали жизнь и стремленія народныхъ массъ, что въ своихъ пасторетахъ вмѣсто живыхъ людей изъ народа представляли идиллическихъ пастушковъ и пастушекъ. Провансальская поэзія быстро распространилась по всей Европѣ; всѣ дворы, всѣ замки начали подражать ей, подобно тому, какъ впослѣдствіи совершилось такое-же подражаніе въ образованныхъ классахъ Европы французской литературѣ XVIII вѣка. Но если въ другихъ странахъ Европы искусственность провансальской поэзіи соединялась съ подражательностью, то во Франціи, и особенно въ Провансѣ, она была самобытнымъ явленіемъ, возросшимъ на своей собственной почвѣ, и всетаки она была искусственнымъ цвѣткомъ на этой почвѣ и послѣ пышнаго процвѣтанія должна была пасть, потому что кругъ ея былъ слишкомъ узокъ и матеріалъ ея скоро весь былъ исчерпанъ. Хватило этого матеріала всего на 200 лѣтъ (1090 – 1290); затѣмъ провансальская поэзія хотя и продолжала существовать, но вѣчно повторяла одно и то-же въ неизмѣнныхъ формахъ, съ каждымъ вѣкомъ становясь рутиннѣе и пошлѣе. Хотя провансальскій король Рене въ XV вѣкѣ и старался всячески воскресить ее, но безуспѣшно; это было послѣднимъ сверканіемъ потухающей лампы. Если на своей собственной почвѣ романтизмъ такъ неудержимо палъ, то на чуждыхъ почвахъ, гдѣ ему подражали, паденіе его было еще неудержимѣе. XIV вѣкъ представляетъ самое жалкое состояніе искусственной рыцарской и придворной литературы во всѣхъ странахъ Европы. Начавшаяся вслѣдъ затѣмъ реформація служитъ точкой поворота для всего умственнаго движенія Европы. Вліяніе движенія народныхъ массъ на литературу въ эпоху реформаціи было такъ сильно, что, не смотря на возрожденіе древнихъ искусствъ и увлеченіе ими, въ литературахъ XIV и XV вѣковъ мы видимъ сильное и неуклонное стремленіе къ народности, выдвинувшее во всѣхъ странахъ Европы писателей чисто-народныхъ. Вотъ какъ прекрасно характеризуетъ это движеніе въ Германіи Шерръ въ своей «Всеобщей исторіи литературы:»

«Потребность поэтическаго выраженія опять проявилась въ народѣ въ то время, когда городское сословіе и народъ получили то соціальное положеніе, которое до XIV и XV столѣтій занимало исключительно дворянство, когда войны гусситскія, распри нѣмецкихъ городовъ съ разбойничьей шайкой дворянъ, славныя побѣды Дитмарсовъ на сѣверѣ и швейцарцевъ на югѣ Германіи надъ князьями и рыцарями пробудили демократическое сознаніе. Историческія народныя пѣсни вытѣснили рыцарскую поэзію, превратившуюся въ сухое иносказаніе и панегирикъ. Такія пѣсни весело раздавались въ предѣлахъ Гольштиніи и въ Альпахъ. Превосходную пѣсню сочинилъ Гальбсутеръ «Von dem stritt zu Lempach»; Фейтъ Веберъ въ концѣ XV столѣтія прославлялъ бургундскія битвы, особенно битву при Муртенѣ; къ нимъ можно присоединить и Мугейма съ его «Tellenlied». Нетолько историческая, но и вообще вся жизнь народа отпечатлѣвается въ тогдашней пѣснѣ. Крестьянинъ пѣлъ за плугомъ о страданіяхъ и радостяхъ своего угнетеннаго состоянія; мельникъ сопровождалъ стукотню своей мельницы звучной риемой; ратникъ сокращалъ себѣ путь воинственными гимнами и сатирическими пѣснями; юноша и дѣвушка раскрывали другъ другу сердечныя тайны въ пѣсняхъ, часто удивительно задушевныхъ; не отставали отъ нихъ монахъ и монахиня; странствующій ремесленникъ означалъ свой приходъ и уходъ въ привѣтственныхъ и прощальныхъ пѣсняхъ; благочестивой пѣснью привѣтствовалъ богомолецъ священныя мѣста; огорченный изливалъ въ пѣснѣ свою грусть, веселый — радость; охотникъ, извозчикъ, пищій, угольщикъ, рудокопъ, пастухъ, садовникъ, виноградарь – всѣ они выражали въ пѣсняхъ все, что ихъ занимало, все, что они испытали и сдѣлали въ жизни. Кѣмъ сочинены эти пѣсни — неизвѣстно, и потому о нихъ можно сказать то-же, что и о вѣтрѣ: мы чувствуемъ ихъ вѣяніе, но не знаемъ откуда они приходятъ и куда уходятъ. Лимбургская хроника мѣтко характеризуетъ эту народную любовь къ пѣснѣ: она говоритъ о народныхъ пѣсняхъ и приводитъ такія, «которыя ко всеобщей радости распѣвались и насвистывались во всей Германіи». Число историческихъ народныхъ пѣсенъ необыкновенно умножилось, когда во времена реформаціи народная жизнь получала все большее и большее развитіе и когда политическія событія стали возбуждать все болѣе живой и рѣшительный интересъ и въ низшихъ сословіяхъ. Предметомъ ихъ были особенно герои и событія реформаціи и крестьянской войны, раздоры князей между собою и съ императоромъ, итальянскія распри Карла V и Франциска I и турецкія войны».

Относительно Англіи сдостаточно упомянуть имя такого титана, какъ Шекпиръ, чтобы ясно и наглядно видѣть, какое движеніе въ пользу народности произвела въ литературѣ реформація. Особенно заслуживаетъ вниманіе то, что въ одно время съ Шекспиромъ жилъ Бенъ-Джонсонъ, который все время воевалъ съ Шекспиромъ, будучи увлеченъ классической драмой съ тремя единствами; самъ Шекспиръ не былъ чуждъ нѣкотораго увлеченія классицизмомъ, выразившагося въ его драмахъ изъ греческаго и римскаго міра; но народность взяла перевѣсъ въ трагедіяхъ великаго драматурга, и громы Джонсона не помѣшали Шекспиру быть въ свое время любимцемъ лондонской публики и въ особенности простого народа.

Во Францію реформація вторглась въ самой своей дурной формѣ кальвинизма и коснулась преимущественно привилегированныхъ классовъ, но и во Франціи новое движеніе умовъ вызвало Рабле, который подготовилъ умы своихъ соотечественниковъ къ воспринятію реформаціонныхъ идей, осмѣявши своимъ чисто народнымъ, реальнымъ смѣхомъ все старое общество съ его ханжествомъ, схоластикой и напыщенной неестественностью романтизма.

Даже въ Испаніи, гдѣ реформація была потушена въ своихъ зачаткахъ, появился Сервантесъ и осмѣялъ падающее рыцарство съ его истощенной литературой. Но значеніе Донъ-Кихота заключается не въ одномъ смѣхѣ, а и въ тѣхъ чисто-народныхъ элементахъ, которые внесъ Сервантесъ въ свой романъ въ оппозицію выдохшемуся содержанію романтической литературы.

III.

Совершенно такое-же явленіе мы можемъ прослѣдить въ нашей жизни за послѣднія 200 лѣтъ. Отчуж-

денность нашихъ образованныхъ слоевъ отъ народныхъ массъ была столь сильна, что не такъ давно еще подъ словомъ «русское общество» разумѣлось небольшое меньшинство народа, исключительно образованный слой его, а подъ словомъ «русская жизнь» разумѣлась жизнь этого слоя. Все, что не принадлежало къ этому меньшинству, какъ-будто не существовало, все это крестилось общимъ именемъ «подлой черни, грубой массы, мертваго прозябанія». Когда литература наша послѣ упадка новаго романтизма встала на реальную почву, начала изображать окружающую ее жизнь, она занялась изображеніемъ жизни и нравовъ одного образованнаго меньшинства, въ средѣ котораго вращалась. Когда появились на сцену Онѣгины, Печорины, Рудины, Лаврецкіе и проч., тогда по этимъ именамъ начали судить и умозаключать о жизни и характерѣ не только русскаго человѣка вообще, но даже всего славянскаго племени, какъ-будто все славянское племя состояло въ то время изъ нѣсколькихъ тысячъ говоруновъ, читавшихъ Гегеля отъ печего дѣлать. Правда, иногда наши писатели 30-хъ годовъ выводили на сцену личности изъ простого быта (Полевой, Лажечниковъ, Загоскинъ, Вельтманъ), но эти личности или похожи были скорѣе на аркадскихъ пастуховъ и пастушекъ, чѣмъ на живыхъ людей, или это были жалкія пародія на мужиковъ, въ которыхъ народъ продолжалъ играть ту шутовскую роль, которую игралъ онъ въ глазахъ высокообразованныхъ предковъ нашихъ XVIII ст., любившихъ похохотать надъ смѣшнымъ невѣжествомъ подлой черни.

Литература могла ограничиваться такой исключительностью до тѣхъ поръ, пока интересы меньшинства, въ средѣ котораго она вращалась, не выходили изъ его замкнутаго круга. Но когда они расширились, когда на первый планъ встали вопросы о судьбѣ той самой массы, о которой прежде рѣдко кто помышлялъ, литература не могла болѣе сосредоточиваться въ своемъ узенькомъ міркѣ, она должна была заняться изученіемъ жизни и нравовъ той самой массы, которой прежде она такъ гнушалась. Отсюда естественно возникло стремленіе литературы къ изученію народа во всѣхъ его слояхъ и проникновеніе интересами народа.

Первыми нашими изучателями народнаго быта были конечно славянофилы. Но для того, чтобы изучать что-нибудь, надо приступать къ предмету изученія какъ къ сырому, невѣдомому матеріалу, безъ всякихъ предвзятыхъ теорій и предразсудковъ. Въ этомъ заключается истинный реализмъ всякаго изученія. Таковы-ли были наши первые изучатели? Нѣтъ, они шли изучать народъ съ заранѣе уже a priori задуманными мнѣніями о немъ. У нихъ въ головѣ сидѣлъ идеалъ русскихъ богатырей, готовыхъ закидать шапками гнилую Европу, и они шли поучаться у геніальнаго народа неизреченнымъ глаголамъ. Вслѣдствіе подобныхъ заранѣе составленныхъ предубѣжденій, они умилялись, прислушиваясь къ каждому слову, произнесенному простолюдиномъ, и повсюду открывали доблести русскаго духа и чудеса русской геніальности. Это возведеніе въ идеалъ народной жизни, какова она есть, безъ всякаго анализа ея, послужило оправданіемъ всевозможнаго обскурантизма во имя народности. Рядомъ съ дѣйствительными, реальными симпатіями и антипатіями народа, выходящими изъ различныхъ условій его быта и отношеній его къ разнымъ слоямъ общества, существуетъ у народа рядъ предразсудковъ, выработанныхъ исторіей; предразсудки эти давно отжили, народъ не особенно ими и дорожитъ, заявляетъ нерѣдко даже и протесты противъ нихъ, но масса продолжаетъ держаться ихъ по старой рутинѣ. Очень часто случается и такъ, что свои реальныя симпатіи или антипатіи народъ облекаетъ въ разныя ветхія формы своихъ предразсудковъ. Такъ, онъ начинаетъ особенно чествовать и чуть не обоготворяетъ личности, которыя дѣйствовали въ его пользу; напротивъ того, въ личностяхъ, ненавистныхъ ему по тому злу, которое онѣ производили, онъ видитъ или нехристей, измѣнившихъ православной вѣрѣ, или злыхъ колдуновъ, продавшихъ душу чорту, и даже антихристовъ. Вмѣсто того, чтобы отдѣлить реальныя симпатіи и антипатіи народа отъ призрачныхъ, наши поклонники народности не только что смѣшиваютъ безразлично все это въ одну массу, но очень часто въ призрачныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ именно и видятъ всю суть народныхъ стремленій. Такъ напримѣръ, самъ по себѣ народъ нисколько не чуждается западной образованности; едва только позволяетъ достатокъ, простолюдинъ не прочь обзавестись разными заморскими диковинками и даже перемѣнить свою сермягу на европейскій костюмъ; народъ нисколько не чуждается иностранцевъ, если они являются передъ нимъ не въ видѣ нѣмца-управителя фабрики или имѣнія; посмотрите вы на русскихъ матросовъ, которые зачастую братаются и пьютъ вмѣстѣ съ англійскими и голландскими матросами. Но тотъ-же самый народъ недовѣрчиво смотритъ на каждаго образованнаго человѣка, носящаго европейскій костюмъ. Такая недовѣрчивость происходитъ изъ причинъ самыхъ реальныхъ, вродѣ разныхъ сословныхъ предразсудковъ, основанныхъ на отживш емъ уже крѣпостномъ правѣ; нашимъ-же поклонникамъ народности кажется, что народу не нравится, зачѣмъ это образованные люди одѣваются по-европейски, читаютъ иностранныя книги, водятся съ иноземцами зачѣмъ они не носятъ бородъ, не пьютъ квасу и не парятся на полкѣ въ банѣ, зачѣмъ они, однимъ словомъ, измѣнили русскимъ народнымъ обычаямъ и нравамъ и увлеклись иноземщиной. Если всѣ эти причины возбуждали въ народѣ вражду, то это было уже очень давно, при Петрѣ I, 200 лѣтъ тому назадъ. Въ эти 200 лѣтъ масса народа если и не успѣла еще пріобрѣсти никакой образованности, то во всякомъ случаѣ хоть на одинъ куриный шагъ подвинулась впередъ сравнительно съ массой временъ Петра I; подвинулась настолько, что не смотритъ уже, какъ на измѣнника православной вѣрѣ, на человѣка, брѣющаго бороду и ходящаго въ сюртукѣ, и если до сихъ поръ еще сохраняются среди раскольниковъ такіе изувѣры, то сами раскольники въ большинствѣ начинаютъ смотрѣть гораздо снисходительнѣе и на иностранные обычаи, и на самихъ иностранцевъ.

Наглядными примѣрами возведенія въ идеалъ разныхъ народныхъ предразсудковъ могутъ служить повѣсти Кохановской. Писательница эта обладаетъ замѣчательнымъ талантомъ и знаніемъ народной жизни, и тѣмъ болѣе становится жалко, что, пойдя по ложной

дорогѣ, она погубила свой талантъ, который могъ-бы принести большую пользу. Возьмите вы какую угодно повѣсть ея, и рядомъ съ истинными и несомнѣнными фактами народной жизни вы увидите пошлыя и вопіющія натяжки для того, чтобы подвести эти факты подъ славянофильскія тенденціи и пропитать ихъ запахомъ деревяннаго маслица.

Возьмите вы напримѣръ повѣсть ея «Послѣ обѣда въ гостяхъ». Въ этой повѣсти всего ярче выступаютъ передъ вами съ одной стороны живые факты народной жизни, а съ другой—неестественный, очевидно придуманный конецъ повѣсти для того, чтобы возвеличить такъ называемыя народныя начала и совершить передъ ними земной поклонъ. Въ повѣсти этой писательница описываетъ бытъ захолустнаго города XVIII столѣтія, когда подобные города мало еще чѣмъ отличались отъ деревень, когда по улицамъ ихъ водили еще хороводы. Героиней является Любовь Архиповна, дѣвушка съ характеромъ сильнымъ, живымъ, натура художественная, удалая. Сюжетъ самый простой и общенародный. Дѣвушка любитъ молодого, но бѣднаго горожанина Чернаго, а мать приневоливаетъ ее выходить замужъ за стараго и некрасиваго коммиссіонера. Здѣсь вы найдете нѣсколько сценъ, въ которыхъ чрезвычайно живо и вполнѣ въ народномъ духѣ представленъ протестъ молодой жизни противъ зла и насилія, губящаго эту жизнь. Когда Любовь Архиповну повѣнчали съ противнымъ ей комиссіонеромъ, ей захотѣлось отпраздновать въ послѣдній разъ праздникъ молодости:

«Ну, какъ я тебѣ сказала, матушка, что сердце у меня закаменѣло, говорила она:—такъ оно у меня и осталось. На мужа-то я не гляжу и не вижу его; матушка мнѣ какъ чужая стала, одно только то, какъ погляжу на сестеръ, кажется бы я имъ душу свою горькую отдала! Вотъ-то положили намъ на завтра выѣзжать, я говорю послѣ обѣда матушкѣ: «Утопили вы мою голову на вѣки-вѣчные; пусть же я въ послѣдній разъ оглянусь на свою радость дѣвическую, на долю мою молодую безвозвратную. Идите себѣ, куда знаете, на вечеръ и его берите съ собою. Чтобъ его духу тутъ не было. Я хочу проститься съ своими».

— Что же матушка?—спросила я.

— Да ничего,—сказала Любовь Архиповна. Она стала тихая такая, да смирная; все на меня смотритъ. «Любаша моя, Любаша! Ну, Богъ съ тобой, говоритъ, дѣлай, какъ знаешь! Развѣ я тебѣ худа желаю?»

— То-то до добра и довели, говорю. Берите же его съ собою, чтобъ мои глаза его хоть съ часъ мѣста не видали.

— А онъ, Любовь Архиповна?—спрашивала я.

— Что онъ, матушка? Мнѣ о немъ и заботы не было. Я и звать-то его иначе не называла, какъ *онъ*, да *его*. «Что жъ! говорю, развѣ вы все будете такъ за мною слѣдомъ ходить? Идите себѣ съ матушкою, а я останусь свой послѣдній пиръ пировать. Вы со мною не жили, дѣвичьей моей доли и воли вы не дѣлили, стало вамъ нечего и быть тутъ, какъ я стану прощаться со всѣмъ тѣмъ». Попѣлся онъ, матушка, а я протопопскимъ барышнямъ велѣла сказать, чтобъ онѣ, черезъ своего философа, всѣхъ нашихъ господъ оповѣстили, что я всѣхъ жду свой послѣдній пиръ пировать».

Затѣмъ слѣдуетъ сцена этого пира, по истинѣ трагическая. Страшно щемитъ за сердце хороводъ и пляска молодыхъ людей въ то время, какъ у всѣхъ на сердцѣ скребли кошки.

«Я подъ собою земли не слыхала, говорила Любовь Архиповна.—Никогда въ жизни, ни прежде, ни послѣ, звонче не пѣвала и не плясала такъ... Я будто и пріустану немного, и хороводъ словно начнетъ ослабѣвать у насъ, такъ нѣтъ! Черный какъ зальется, засвиститъ съ стиха и громче своимъ голосомъ—и словно онъ силою какою могутною двинетъ насъ! Опять хороводъ ожилъ, встрепенулся, и я пошла съ нимъ, съ Чернымъ, въ одиночку плясать...

— Наконецъ, матушка! сказала Любовь Архиповна: —отплясала я всѣ свои пляски и перепѣла всѣ мои пѣсни. Начала было эту послѣднюю:

Изъ-за лѣса, лѣса темнаго
Вылетало стадо лебединое,
А другое—гусиное.
Отставала лебедушка
Прочь отъ стада лебединаго,
Приставала лебедушка
Что ко стаду ко сѣрыхъ гусей...

И такъ дальше: что отставала такая-то прочь отъ красныхъ дѣвушекъ и приставала она къ молодымъ молодушкамъ я, матушка, не кончила. «Будетъ! говорю, пѣсня кончена... Попрощаемся, мои барышни, на разставаньи. Гдѣ я съ вами пѣла и плясала, тамъ вы меня обнимите и отпустите отъ себя, мои бѣлыя лебедушки!» И словно съ меня силу мою всю какъ рукой сняло. Прислонилась я къ дереву, чтобъ устоять мнѣ... И дерево это, я какъ сейчасъ помню, большая верба у матушки середи двора была. Мы ее сколько разъ обхватывали въ хороводъ, а еще плясать подъ нею такъ чудно было. Вѣтки большія всѣ въ инеѣ, наклономъ наклонились: мы какъ двинемъ подъ нихъ хороводъ и зальемся нашею пѣснею, такъ вся верба шорохомъ шорохается и сверху инеемъ осыпаетъ насъ... Такъ вотъ къ вербѣ-то своей я прислонилась, матушка, и стою, не двигаюсь. Барышни всѣ, одна по одной, подошли ко мнѣ, поцѣловали меня, и всякая мнѣ низко поклонилась. Я имъ слова никакого не молвлю, стою, поглядѣла вокругъ по одну сторону, онѣ отошли, стоятъ, мои голубочки, по другую сбились въ кучу наши добрые молодцы... «Ну-те, а вы же что? говорю, развѣ я вамъ не хорошо пѣсни пѣвала, или не весело плясала съ вами, что, таковы молодцы, вы и попрощаться со мною не хотите?» Черный, матушка, слова не сказалъ, подошелъ первый ко мнѣ; наклонился, крѣпко поцѣловалъ меня, а слезы у него какъ брызнутъ, такъ и залили мнѣ лицо... Я посмотрѣла ему вслѣдъ. «Прощай, добрый молодецъ» - говорю, онъ и не оборотился; пошелъ прямо къ воротамъ и только назадъ рукой махнулъ. Такъ они всѣ подошли ко мнѣ и попрощались со мною. Философу нашему послѣднему пришелъ чередъ. Онъ и приступилъ ко мнѣ; но видно, взглянувши на меня поближе, какъ всплеснулъ руками. «Ахъ, братцы мои, сестрицы голубочки! завопилъ голосомъ: Любовь Архиповна совсѣмъ умираетъ.»—«Небось, сказала я, еще поживу, и пошла отъ него въ домъ».

Такъ совершилось одно изъ тѣхъ наглыхъ, гадкихъ, безчеловѣчныхъ убійствъ молодой жизни,—убійствъ, которыя совершаются на каждомъ шагу совершенно безнаказанно во имя такъ называемой старческой опытности и желанія блага своимъ дѣтямъ. Что же оставалось болѣе дѣлать Любовь Архиповнѣ, какъ не увядать въ тяжкой неволѣ, и что оставалось писательницѣ, какъ не закончить этимъ старую и въ то же время вѣчно новую исторію? Но писательницѣ вздумалось во имя христіанскихъ идей мало того, что оправдать,—чуть не обоготворить дѣло, въ которомъ не только и тѣни не было чего-либо христіанскаго, но и вообще человѣческаго. Далѣе она разсказываетъ, какъ Любовь Архиповна долго жила съ

мужемъ, будто съ чужимъ, не говоря съ нимъ ни слова и не глядя на него, и потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего, подъ обаяніемъ свѣтлаго праздника, нашла на нее божественная благодать; она умилилась, залилась слезами, кинулась на шею къ мужу, облобызала его и—полюбила! Вотъ что называется ткнуть пальцемъ прямо въ небо! Что-же остается, прочтя повѣсть Кохановской, какъ не преклониться передъ народными началами, которыя совершаютъ такія неизреченныя чудеса!.. И вотъ такія прелести вы найдете въ каждой повѣсти Кохановской. И чѣмъ болѣе писала она, тѣмъ болѣе и болѣе подливала деревяннаго маслица въ свои повѣсти; наконецъ дописалась она до «Недавней встрѣчи», въ которой уже нѣтъ ни образовъ, ни лицъ, а вы найдете цѣлый потокъ мистическихъ разглагольствованій о суетѣ міра сего въ духѣ «Переписки съ друзьями» Гоголя. Такъ палъ талантъ поистинѣ замѣчательный, и не мудрено: даже такой геніальный талантъ, какъ Гоголь, и тотъ погибъ, едва вступилъ на этотъ путь.

IV.

Но рядомъ со всѣми этими заблужденіями, опошлившими стремленіе литературы къ народности, въ 40-хъ и 50-хъ годахъ уже начали появляться время отъ времени попытки изучать бытъ народный и выводить на сцену людей изъ разныхъ слоевъ общества—вполнѣ реально, не какъ образцы величія русскаго духа и не въ видѣ гороховыхъ шутовъ для праздной потѣхи, а какъ живыхъ людей, имѣющихъ свои достоинства и пороки, радости и страданія. Всѣ писатели того времени: Тургеневъ, Писемскій, Островскій, Григоровичъ заплатили свою посильную дань этому новому направленію литературы. Правда, эти первыя попытки были крайне несовершенны; если нѣкоторыя изъ нихъ и высоко стоятъ по своей чистой художественности, то во всякомъ случаѣ далеко не представляютъ того глубокаго знанія народной жизни, какое требуется отъ русскаго писателя. Вы видите по этимъ попыткамъ, что писатели приступаютъ къ предмету, который до тѣхъ поръ былъ совершенно чуждъ имъ и который они только-что начинаютъ изучать. Вслѣдствіе плохого знанія жизни, которую берутся они изображать, они часто вносятъ въ нее элементы той жизни, которою сами живутъ и которая хорошо имъ знакома. Вы можете въ этомъ обвинять тѣ обстоятельства, которыя довели нашихъ писателей до такого исключительнаго, замкнутаго состоянія, что имъ былъ знакомъ одинъ только маленькій уголочекъ русской жизни. Но не будемъ обвинять въ этомъ самихъ писателей; не будемъ упускать изъ виду того, что одного желанія изобразить жизнь какую-либо мало: надо еще знаніе этой жизни; а для знанія нужно изученіе, а изученіе дается только временемъ и обстоятельствами, способствующими къ этому. Не могли-же писатели наши сразу, какъ только захотѣли, изображать народную жизнь во всей глубинѣ. Во всякомъ случаѣ мы должны быть благодарны писателямъ, сдѣлавшимъ первую попытку изображать народъ, безъ излишняго поклоненія и безъ высокомѣрно-презрительнаго отношенія къ нему.

Но и въ этомъ ряду первыхъ попытокъ мы видимъ уже степени бо́льшаго или меньшаго знанія народной жизни. Такъ напримѣръ, крестьяне въ «Запискахъ Охотника» Тургенева являются болѣе похожи на дѣйствительныхъ крестьянъ, чѣмъ въ романахъ Григоровича. «Подлиповцы» Рѣшетникова, очерки Левитова, «Торговая Волга» Зарубина, «Порѣчане» Помяловскаго, «Записки изъ Мертваго дома» Достоевскаго, очерки В. Слѣпцова, Н. Успенскаго, П. Якушкина, Марка-Вовчка и многія другія произведенія современной литературы представляютъ новыя явленія въ этомъ родѣ. Но, несмотря на относительную вѣрность изображенія народнаго быта, всѣ упомянутыя нами произведенія далеко еще не могутъ быть названы народными. Для того, чтобы писателю сдѣлаться народнымъ, необходимы нѣкоторыя особенныя условія, о которыхъ мы теперь поговоримъ.

Когда человѣку представляется рядъ разнообразныхъ предметовъ для изученія, и человѣкъ начнетъ изучать ихъ, то очевидно, что первое вниманіе его будетъ обращено на разные конкретные подробности и факты, особенно выдающіеся; человѣкъ начинаетъ вглядываться въ каждый предметъ отдѣльно и каждый предметъ изучать безъ связи его съ другими предметами. Затѣмъ мало-по-малу начинаютъ слагаться въ умѣ человѣка первыя обобщенія и классификаціи предметовъ, и то поверхностныя, шаткія и невѣрныя. Такимъ путемъ шли всѣ науки, начиная описаніемъ конкретныхъ фактовъ. Такимъ путемъ идетъ и наше изученіе народной жизни. Всѣ наши повѣсти, разсказы, очерки, комедіи изъ народной жизни стоятъ еще на степени болѣе или менѣе конкретныхъ изображеній. Писатели наши берутъ обыкновенно какой-нибудь уголокъ народной жизни, подмѣченный въ жизни фактецъ, и этотъ фактецъ или представляютъ читателю, какъ онъ есть, въ сыромъ видѣ, или разомъ подводятъ подъ какой-нибудь общечеловѣческій законъ жизни. Такія изображенія народной жизни очень напоминаютъ описанія разныхъ отдѣльныхъ травъ въ старинныхъ лечебникахъ, безъ всякаго стремленія обобщить эти травы въ различныхъ классификаціяхъ. Чтеніе подобныхъ очерковъ для человѣка, незнакомаго съ народной жизнью, очень похоже на разсматриванье въ микроскопъ листочка въ то время, какъ не только-что не имѣешь никакого понятія о родахъ и видахъ растеній, но не знаешь, съ какого дерева сорванъ листокъ. Смотришь въ микроскопъ, ну, и ничего, любопытно; а перестанешь смотрѣть, что́ останется въ головѣ? конкретный, безсвязный образъ листка, какъ онъ представлялся твоему глазу подъ микроскопомъ.

Въ этомъ отношеніи на низшей ступени знанія народной жизни мы должны поставить Н. Успенскаго. Писатель этотъ въ своихъ очеркахъ представляетъ ту степень знанія, на которой человѣкъ не имѣетъ еще никакихъ понятій о тѣхъ предметахъ, которые онъ наблюдаетъ; передъ нимъ представляется пестрая смѣсь конкретныхъ явленій, и онъ каждое разсматриваетъ отдѣльно, безъ связи съ другими, обращая вниманіе на одну внѣшность наблюдаемыхъ предметовъ. Большинство очерковъ Н. Успенскаго представляется случайно-схваченными изъ жизни сценками и анекдотиками: какой-нибудь разговоръ на постояломъ дворѣ, разсказъ проѣзжаго мужика, купца или бабы—все,

что удалось Н. Успенскому мелькомъ увидѣть или услышать—все это онъ такъ и передаетъ, какъ оно есть. Ограничиваясь фотографическими снимками случайныхъ сценъ жизни, Н. Успенскій думаетъ можетъ быть, что онъ этимъ вполнѣ выполнилъ задачу реализма. Но если реализмъ требуетъ, чтобы художникъ изображалъ жизнь, какъ она есть, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ допускалъ художнику теряться въ массѣ конкретныхъ фактовъ. Обобщать эти факты, изслѣдовать ихъ причины и слѣдствія, переходить къ общимъ условіямъ отъ частныхъ явленій—вотъ чего требуетъ реализмъ, какъ отъ науки, такъ и отъ искусства. И въ этомъ отношеніи разбираемые наши очерки стоятъ на самой низшей ступени реальнаго изученія быта народа, такъ сказать, передъ самымъ входомъ въ это зданіе. Во-первыхъ, вы видите въ разсказахъ Н. Успенскаго полное отсутствіе того, что́ называется типами. Когда писатели наши начинаютъ изображать хорошо извѣстный имъ бытъ образованныхъ слоевъ общества, посмотрите, какъ тщательно стараются они обрисовать различные характеры своихъ героевъ, какъ тонко анализируютъ каждый психическій оттѣнокъ, каждое біеніе чуть замѣтной жилочки, и все это съ цѣлью представить вамъ въ своемъ героѣ общій типъ цѣлой массы людей подобнаго рода. Посмотрите, какъ заботливо старается очертить въ своемъ разсказѣ «Саша» тотъ-же Н. Успенскій молодую дѣвушку, которую родители приневоливаютъ идти замужъ за немилаго, какъ силится онъ представить трагическую борьбу, совершающуюся въ душѣ его героини. И тотъ-же Н. Успенскій, когда дѣло касается простого народа, не идетъ въ своей обрисовкѣ далѣе пестрой смѣси мужиковъ и бабъ. Иногда, чтобы отличить одного героя отъ другого, писатель одному пожалуетъ рыжую бороду, другому—черную, третьему—приставитъ какую-нибудь уродливую шишку къ виску, четвертаго—заставитъ повторять на каждомъ словѣ какую-нибудь поговорку—и внѣшность готова. Затѣмъ, каждый мужикъ непремѣнно или воръ, или пьяница, или такой дуракъ, какого и свѣтъ не производилъ; каждая баба—такая идіотка, что ума помраченіе. Далѣе слѣдуетъ подборъ фактиковъ, сценокъ и анекдотовъ для того, чтобы показать, какъ русскій мужикъ невѣжественъ, дикъ, смѣшонъ, какъ онъ загнанъ, забитъ, какъ тонетъ онъ въ грязи невѣжества, суевѣрія, пошлости. Забитость, тупоуміе, отсутствіе всякаго человѣческаго образа и подобія въ герояхъ Н. Успенскаго одуряютъ васъ, когда вы читаете очерки его. Вы видите передъ собой людей, которые въ жизни своей ничѣмъ болѣе не руководствуются, какъ только грубой, скотской чувственностью, ни къ чему не стремятся, какъ только къ тому, чтобы нажить копѣйку или спустить ее въ кабакъ; да и въ этихъ стремленіяхъ, что шагъ ступятъ они, то сдѣлаютъ какую-нибудь невообразимую глупость.

Я вовсе далекъ отъ того, чтобы идеализировать русскаго мужика, какъ это дѣлаютъ псевдонародники. Я согласенъ съ Н. Успенскимъ, что мужикъ забитъ, загнанъ, что онъ невѣжественъ и суевѣренъ; но въ то же время, я убѣжденъ, что какъ-бы ни былъ человѣкъ задавленъ, на какой-бы низшей степени образованности онъ ни стоялъ, а все-таки онъ—человѣкъ и все-таки онъ страдаетъ, если къ нему относятся не почеловѣчески, и эти страданія, такъ или иначе, въ томъ или другомъ видѣ, а заявятъ себя. Если наши бабы дѣйствительно безъисходно тупоумны до такой степени, что въ нихъ и тѣни нѣтъ чего-либо человѣческаго, то какія же это женщины создали пѣсню такого рода:

Ахъ, кабы на цвѣты не морозы,
И зимой бы цвѣты расцвѣтали;
Ахъ, кабы на меня не кручина,
Ни о чемъ бы то я не тужила,
Не сидѣла бы я подпершися,
Не глядѣла бы я въ чисто поле
И я батюшкѣ говорила,
И я свѣту своему доносила:
Не давай меня, батюшка, замужъ,
Не давай, государь, за неровню,
Не мечись на большое богатство,
Не гляди на высоки хоромы:
Не съ хоромами жить мнѣ,—*съ человѣкомъ*;
Не съ богатствомъ жить мнѣ,—*съ совѣтомъ*.

Конечно, если мы будемъ искать въ жизни простого народа однихъ такихъ элементовъ, которые создаютъ подобныя пѣсни, то мы придемъ къ той идеализаціи народнаго быта, при которой намъ только и останется, что почивать въ нѣмомъ благоговѣніи передъ народными началами; но если такая идеализація ведетъ къ застою, то съ другой стороны отрицаніе всякихъ человѣческихъ элементовъ въ простомъ быту ведетъ къ тому же самому. Во имя чего же и возможенъ протестъ противъ произвола и насилія, какъ не во имя тѣхъ человѣческихъ элементовъ, которые страдаютъ отъ этого. Вамъ не придетъ въ голову возмущаться противъ столяра, зачѣмъ онъ жестоко обращается съ деревомъ, долбитъ его долотомъ и терзаетъ на части, но вы возмущаетесь, когда истязаютъ лошадь. Въ послѣднемъ случаѣ протестъ возбуждается не тѣмъ только, что передъ вашими глазами происходитъ фактъ истязанія, а тѣмъ, что отъ этого истязанія страдаетъ существо, надъ которымъ производятъ это дѣйствіе. Страдающее существо первое заявляетъ протестъ противъ причиняемаго ему зла криками или стонами. Вслѣдствіе этого члены общества покровительства животныхъ требуютъ, чтобы хорошо обращались съ животными, но имъ и въ голову не придетъ протестовать, зачѣмъ лошадь не пользуется полной равноправностью со своимъ хозяиномъ. Они знаютъ, что въ лошади, когда она стоитъ въ конюшнѣ передъ стойломъ, ни разу не шевельнется горькаго чувства, что вотъ ее, которая такъ вѣрно служитъ хозяину, и на порогъ его комнатъ не пускаютъ; если бы въ лошади хоть разъ могъ проявиться подобный протестъ, онъ навѣрное нашелъ бы отзывъ въ тысячѣ сердецъ. Что́ особенно поддерживало у насъ крѣпостное право, какъ не то вкоренившееся въ массѣ образованныхъ людей мнѣніе, что русскій мужикъ—почти что безсловесное, лѣнивое, пьяное животное, что надъ нимъ можно дѣлать, что угодно, что безъ розогъ съ нимъ нельзя обходиться, что розги причиняютъ ему одну физическую боль, но нисколько не дѣйствуютъ на его загрубѣлую нравственную природу, что мужикъ нисколько не возмущается противъ своей неволи, что, напротивъ того, онъ пропалъ бы, еслибы его освободили, какъ грудной младенецъ, брошенный на улицу. Въ чемъ же должна

заключаться цѣль реальной поэзіи, какъ не въ томъ, чтобы, изучивши бытъ народа, проникнуть въ сердце простого человѣка, на самой низшей степени развитія уловить крикъ и протестъ противъ неправды и выставить этотъ крикъ на первый планъ, какъ доказательство того, что какъ бы ни былъ невѣжественъ мужикъ, а онъ все-таки человѣкъ и, какъ человѣкъ, имѣетъ праве на всѣ человѣческія блага. Тургеневъ, Григоровичъ и Писемскій въ былое время, когда они были еще молодые писатели, стояли на этомъ пути и старались изучать человѣческіе элементы въ бытѣ простого народа. Н. Успенскій хотя и цѣлымъ поколѣніемъ моложе ихъ, но, видно, сильна во всѣхъ насъ старая закваска, и горе тому писателю, который *добросовѣстно, старательно не поработаетъ* надъ изученіемъ народнаго быта, а будетъ дѣло дѣлать спустя рукава, и не потревожитъ своихъ высокоразвитыхъ мозговъ, чтобы подумать, какъ недалеко отошелъ онъ отъ своихъ отцовъ и дѣдовъ, если продолжаетъ ничего не видѣть въ мужикахъ, кромѣ безсловесныхъ скотовъ и олуховъ. Немного нужно было подумать Н Успенскому, чтобы понять, какимъ обоюдоострымъ оружіемъ играетъ онъ. Прочтите разсказы «Хорошее житье», «Змѣй», «Поросенокъ» и многіе другіе. Н. Успенскій рисуетъ въ этихъ очеркахъ тупоуміе и отсутствіе всякаго здраваго смысла въ мужикахъ для того, чтобы внушить вамъ, до какого печальнаго положенія доведенъ мужикъ крѣпостнымъ правомъ. Но факты, выставляемые имъ, могутъ служить отличными доказательствами необходимости того же самаго крѣпостного права. Приверженцы крѣпостничества на такіе именно факты и опираются въ своихъ доводахъ въ пользу крѣпостного права, и очерки Н. Успенскаго могутъ доставить отличный матеріалъ для нихъ. Они еще болѣе убѣдятся, прочитавши эти очерки, что крестьяне, предоставленные самимъ себѣ, погибнутъ по своей глупости, чуть-что не съѣдятъ другъ друга. «О какомъ же тутъ народномъ самоуправленіи толкуете вы,—возразятъ Катковъ или Скарятинъ, прочитавши разсказъ Н. Успенскаго «Хорошее житье»:—коли вы сами ничего не видите въ мірской сходкѣ, кромѣ взаимнаго разоренія крестьянъ посредствомъ опитія другъ друга?»

Что такіе факты существуютъ, что ихъ слѣдуетъ выставлять, какъ печальныя слѣдствія всей прошлой жизни нашего крестьянства, я нисколько противъ этого не спорю, но рядомъ съ этими фактами писатель обязанъ выставить факты другого рода, которые показали бы, что самоуправленіе въ средѣ народа возможно и необходимо. Этихъ фактовъ въ очеркахъ Н. Успенскаго нѣтъ; онъ ихъ не знаетъ; онъ не позаботился изучить ихъ; онъ не пошелъ далѣе рутиннаго, пошлаго взгляда на мужика, какъ на осиновый чурбанъ, и этотъ взглядъ не замедлилъ привести Н. Успенскаго къ такимъ воззрѣніямъ, которыя ставятъ его солидарнымъ съ тенденціями «Вѣсти». Такъ, въ своихъ «Деревенскихъ письмахъ» Н. Успенскій вдругъ ни съ того, ни съ сего разражается слѣдующей тирадой:

«Вѣдность и невѣжество русскаго крестьянина привели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужого труда; онъ не имѣетъ понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о правахъ другой личности. *Для него условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ!*»

Подобная тирада—совершенно въ скарятинскомъ духѣ—какъ-то странно бьетъ въ глаза среди статьи, въ которой вы найдете много вѣрныхъ замѣчаній и наблюденій. Появленіе подобнаго пошлаго приговора свысока только и можно объяснить, что поверхностнымъ взглядомъ на предметъ, о которомъ пишетъ писатель, недостаткомъ основательнаго изученія предмета и полнымъ отсутствіемъ хотя малѣйшаго напряженія мысли.

Неизмѣримо выше, если не по знанію народной жизни, то по таланту стоитъ В. Ал. Слѣпцовъ. Какъ писатель талантливый, В. Ал. Слѣпцовъ далекъ отъ высказыванья такихъ пошлостей, до какихъ додумывается порою Н. Успенскій. Отношеніе его къ народу гуманнѣе, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что въ очеркахъ его на первомъ планѣ стоитъ не безцѣльное обличеніе пресловутаго «невѣжества мужика», какъ у Н. Успенскаго, а стремленіе показать, въ какихъ отношеніяхъ стоитъ къ крестьянину нашему администрація, совершенно чуждая быту его. Но въ очеркахъ В. Слѣпцова вы видите то же отсутствіе типовъ и психическаго анализа, какъ и у Н. Успенскаго, то же ограниченіе случайными сценками, нелькомъ схваченными на большой дорогѣ. Отношенія администраціи къ быту крестьянина—это громадный вопросъ, который требуетъ глубокаго изученія народнаго быта; не забудьте, что этими отношеніями обусловливается не одно комическое, но и глубоко трагическое въ жизни крестьянина. В. Слѣпцовъ ограничился одной комической стороной: да и для характеристики этой комической стороны В. Слѣпцовъ выбираетъ постоянно такіе рѣдкіе, случайные факты, которые имѣютъ почти анекдотическій характеръ: то онъ выставитъ вамъ мужика, который заплатилъ деньги писарю, чтобы его поскорѣе высѣкли (см. «Ночлегъ», Р. Оч. Сц. Сл. ч. I, стр. 155), то онъ изобразитъ вамъ, въ какой просакъ попались крестьяне при встрѣчѣ высокой особы по случаю негодныхъ свиней, испугавшихъ лошадей особы (разсказъ «Свиньи»), то онъ разсмѣшитъ васъ, представивши, какъ крестьяне пьянаго приняли за мертваго и что изъ этого вышло («Мертвое тѣло»). Все это преисполнено комизма; вы хохочете, читая повѣсти В. Слѣпцова, но далѣе смѣха не идете. Факты, выставляемые В. Слѣпцовымъ, или слишкомъ мелочны, или слишкомъ случайны, чтобы заставить васъ серьезно задуматься надъ ними, и тѣмъ болѣе, что, гонясь слишкомъ за комизмомъ, въ которомъ и безъ того нѣтъ недостатка у В. Слѣпцова, писатель впадаетъ на каждомъ шагу въ явную утрировку, вслѣдствіе которой очерки его еще болѣе теряютъ въ значеніи истинныхъ фактовъ народнаго быта. Такую утрировку вы видите напримѣръ въ разсказѣ «Свиньи», гдѣ В. Слѣпцовъ заставляетъ крестьянъ вѣрить, что будутъ ѣздить на людяхъ, и разсказываетъ, какъ, подъ вліяніемъ этихъ слуховъ, бабы начали бить горшки и всякую посуду. Что народъ, даже и не крестьянскій, а нѣсколько повыше, способенъ повѣрить всякому слуху, какъ бы онъ ни былъ нелѣпъ—это не рѣдкость, но есть всему извѣстная мѣра, и битье горшковъ бабами прибавлено писателемъ повидимому ни для чего иного, какъ ради

краснаго словца. Столь же пересолена въ «Мертвомъ тѣлѣ» та сцена, гдѣ мужики въ первый разъ увидѣли мнимаго мертвеца воскресшимъ и явившимся къ нимъ среди дороги, и не рѣшаются подойти къ нему. Я полагаю, что крестьянамъ такъ часто приходится имѣть дѣло съ опившимися до полусмерти, что такое явленіе не составляетъ для нихъ особой новости; они порядки эти отлично знаютъ, и первое, что естественно могло придти имъ въ голову послѣ исчезновенія покойника,—это скорѣе всего то, что мнимый покойникъ былъ просто слишкомъ выпивній и потомъ отрезвившійся человѣкъ. Къ тому же писатель опустилъ тотъ простой фактъ, что суевѣрный страхъ разыгрывается преимущественно ночью и въ одиночествѣ, днемъ же и въ толпѣ онъ далеко не можетъ имѣть такого характера, какой вы видите въ разсказѣ. Комедія немного потеряла бы смѣхотворнаго эффекта, еслибы писатель выбросилъ всѣ разсужденія о ходящихъ покойникахъ, которыя тутъ вовсе не къ мѣсту, но зато выиграла бы въ естественности развитія сюжета.

V.

Ѳ. Рѣшетниковъ хотя не обладаетъ и половиной таланта В. Слѣпцова, но зато относится къ своему дѣлу гораздо серьезнѣе. Въ своихъ «Подлиповцахъ» онъ рисуетъ бытъ восточныхъ нашихъ инородцевъ. Люди эти стоятъ на степени развитія неизмѣримо низшей, чѣмъ всѣ *невѣжественные мужики* Н. Успенскаго; у нихъ до сихъ поръ еще сохраняется фетишизмъ въ самой грубой его формѣ; они болѣе звѣроловы, чѣмъ земледѣльцы; они и не подозрѣваютъ о существованіи міра далѣе ихъ деревни; имъ и въ голову не приходитъ, что они живутъ въ огромномъ и благоустроенномъ государствѣ. Ѳ. Рѣшетниковъ не утаиваетъ ихъ дикости, невѣжества, и здѣсь вы дѣйствительно видите людей, для которыхъ, по выраженію Н. Успенскаго, *условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ*. Но, выставляя цѣлый рядъ комическихъ положеній, въ которыя становятся герои этого быта—Пила и Сысойка, Ѳ. Рѣшетниковъ не забываетъ, что онъ имѣетъ дѣло не съ осиновыми чурбанами, а съ людьми. На самой низшей степени развитія, на которой люди ничѣмъ почти не отличаются отъ звѣрей, Ѳ. Рѣшетниковъ съумѣлъ уловить тѣ человѣческія чувства и стремленія, которыя руководятъ въ жизни и тебя, высокообразованный читатель. Эти чувства и стремленія, въ связи съ обстановкой, въ которой живутъ герои и изъ которой рвутся они со всей энергіей дикарей, составляютъ трагическій элементъ разсказа, который, соединяясь съ комическими сторонами, производитъ на васъ потрясающее впечатлѣніе: вы не можете ограничиться здѣсь однимъ смѣхомъ, что вотъ молъ, ха, ха, ха!... какіе идіоты и уроды существуютъ на свѣтѣ рядомъ съ такими развитыми и умными людьми, какъ мы! Вы чувствуете глубокое сочувствіе къ этимъ уродамъ, потому что видите въ нихъ братьевъ по человѣчеству; вамъ жалко ихъ, вы страдаете ихъ страданіями и возмущаетесь за нихъ всей душой... На первыхъ страницахъ передъ вами открывается такой бытъ, въ средѣ котораго вы конечно и заподозрить не можете какихъ-либо такъ-называемыхъ возвышенныхъ чувствъ, которыя составляютъ гордость нашей цивилизованной жизни: какія тутъ возвышенныя чувства, когда люди думаютъ только о томъ, какъ-бы не помереть съ голоду; а между тѣмъ посмотрите, какъ и въ этомъ быту пробиваются истинно человѣческія отношенія, которыхъ, что грѣха таить, не всегда можно встрѣтить и въ цивилизованномъ обществѣ.

«Гаврило Гавриловичъ Пилинъ, по подлиповски Пила, былъ человѣкъ добрый, пробойный и работящій Онъ одинъ изъ подлиповцевъ понялъ, что, ничего не дѣлая, жить нельзя; онъ какъ нибудь старался пріискать себѣ работу, сбыть ее, *а главное—услужить своимъ подлиповцамъ*. Назадъ тому годъ Пила постоянно стрѣлялъ дичь и сбывалъ ее въ городѣ, хлѣбъ у него водился; но какъ-то разъ утопилъ ружье въ рѣкѣ, самъ простудился, и, пролежавъ два мѣсяца, обѣднѣлъ до того, что ему съ семействомъ привелось ѣсть кору, а коровѣ и лошадямъ вовсе нечего было ѣсть. Оправившись послѣ болѣзни, Пила пособралъ у подлиповцевъ надѣланныхъ кадокъ, кузовковъ и лаптей, отправился за больныхъ продавать въ селѣ и городѣ. У Пилы въ городѣ былъ знакомый хозяинъ постоялаго двора, и онъ черезъ посредство его находилъ себѣ покупателей. Онъ и раньше возилъ вещи, но теперь постоянно сталъ заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило съѣздить за сто верстъ; *онъ одну половину денегъ отдавалъ крестьянамъ, или покупалъ муки, а другую бралъ себѣ и покупалъ для себя пищи*. Если въ городѣ ничего не покупали, *Пила шелъ собирать ради Христа и потомъ дѣлился съ подлиповцами. Своимъ подлиповцамъ онъ помогалъ, чѣмъ только могъ*. Бывало, скажетъ подлиповцамъ: «чего сидите, робь; я буду робить», и подлиповцы работаютъ съ Пилой; нѣтъ Пилы—подлиповцы лежатъ. Скажетъ подлиповцамъ: «смотри, траву надо косить»,—здоровые идутъ косить, а не скажи Пила, что надо косить, подлиповцы не догадаются. Всѣ подлиповцы любили Пилу и каждый спрашивалъ его совѣта или просилъ полечить, такъ-какъ Пила лечилъ больныхъ травами, хотя самъ не понималъ никакого толка въ травахъ.»

Половыя отношенія въ томъ быту стоятъ повидимому почти на степени скотскаго удовлетворенія чувственности, а между тѣмъ и въ этомъ отношеніи Ѳ. Рѣшетниковъ съумѣлъ подмѣтить и очертить чисто человѣческія чувства, которыя дѣлали-бы честь и самымъ высокообразованнымъ людямъ:

«Наконецъ Пила и Сысойка увѣрились въ томъ что Апроська умерла. Имъ сдѣлалось легче.

«Апроська умерла, убилась. А я-то почто живу?» думали Пила и Сысойка.

— Пила, заруби меня!—сказалъ Сысойка.

— Э!... ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ хотѣлось еще пожить...

— Поѣдемъ, Сысойка!... Поѣдемъ, говорилъ Пила.

— Куда къ лѣшимъ?

— Бурлачить.

— Убей меня!...

— Богачество... Ну, что въ деревнѣ? Апроськи нѣтъ. Эхъ, горе! Пила заплакалъ.

Сысойка изругался; въ ругани онъ хотѣлъ излить все зло на эту жизнь—на все, чего онъ не понималъ....»

И вотъ пошли они изъ своей бѣдной, голодной земли искать *богачества*, а вмѣсто того нашли смерть подъ ярмомъ каторжнаго, неблагодарнаго труда въ далекой сторонѣ.

Умѣть подъ грубой сермягой отличить біеніе человѣческаго сердца, проникнуться радостями и горемъ

*

простого человѣка, перестрадать вмѣстѣ съ нимъ всѣ его страданія—вотъ чего не достаетъ Н. Успенскому и В. Слѣпцову и чѣмъ богатъ Ѳ. Рѣшетниковъ.

Но, съ другой стороны, если мы будемъ разбирать разсказы Рѣшетникова съ точки врѣнія того вопроса, о которомъ мы бесѣдуемъ въ этой статьѣ, то мы все-таки не можемъ назвать эти разсказы вполнѣ народными. Они даютъ намъ богатый этнографическій и художественный матеріалъ, но въ то же время они знакомятъ насъ съ однимъ только уголкомъ нашей жизни, да и то премущественно не русской, а тѣхъ восточныхъ инородцевъ, которые едва только приняли русскій языкъ. Вслѣдствіе этого они далеко не имѣютъ общенароднаго значенія, интересъ ихъ частный, и, прочтя разсказы, вы все-таки не составите еще полнаго понятія не только о русской жизни вообще, но и о жизни бурлаковъ, которую они между прочимъ описываютъ. Для удостовѣренія въ этомъ прочтите рядомъ съ «Подлиповцами» «Торговую Волгу» Зарубина. Въ послѣдней вы откроете такія черты жизни бурлаковъ, которыхъ вы не найдете въ «Подлиповцахъ», и наоборотъ.

Такое-же умѣнье заглядывать въ сердце мужика вы найдете во многихъ очеркахъ П. И. Якушкина. Въ объективномъ отношеніи П. Якушкинъ не идетъ далѣе конкретныхъ фактовъ, случайно подмѣченныхъ имъ въ его странствіяхъ по землѣ русской; онъ не идеализируетъ русскаго мужика, не скрываетъ его недостатковъ, но рядомъ съ ними онъ умѣетъ подмѣчать проблески и зачатки той новой жизни, которая раньше или позже можетъ расцвѣсть на русской землѣ. Возьмемъ для примѣра разсказъ «Небывальщина». Въ разсказѣ вы видите рядъ фактовъ, сообщенныхъ безъ всякихъ затѣй, какъ дорожныя наблюденія автора, въ достовѣрности которыхъ трудно усомниться.

Приставши къ партіи мужиковъ, ѣхавшихъ совершать воровскую порубку казеннаго лѣса, писатель началъ конечно упрекать ихъ, зачѣмъ они занимаются воровствомъ; вотъ какія разсужденія услышалъ онъ отъ нихъ:

«— Ты должонъ возчувствовать! заговорилъ убѣдительно старикъ, одинъ изъ обоза: — ты это возчувствуй: кто работаетъ, тому за работу, за его потъ, значитъ, и плата идетъ. Вотъ, къ примѣру, пахатьбу взять: ты вспахалъ, взборонилъ, засѣялъ —опять запахалъ; ждешь цѣлый годъ, что Господь зародитъ. Зародитъ Господь—не вотъ возьмешь!... А ты ее въ самое горячее времечко сожни, свяжи, да въ копны положи... Вотъ ежели тѣ копны взять —кража!... За эту кражу передъ Богомъ отвѣтъ должонъ будешь держать!... Для того должонъ будешь отвѣтъ держать, что здѣсь, на той копнѣ, потъ, кровь человѣчья лежитъ... Я работалъ, трудился, ночей не досыпалъ, а ты взялъ ее, матушку, и поднялъ! Мои слезы на тебѣ взыщутся!... А лѣсъ, ты говоришь? Кто его садилъ? Богъ. Кто его берегъ, ростилъ? Все-таки Богъ!... Такъ ты не моги говорить, что твой лѣсъ: лѣсъ божій!... Спроси у стариковъ: «Чей лѣсъ»—«Лѣсъ въѣжій!» скажутъ тебѣ тѣ старики.»

Если смотрѣть съ точки зрѣнія Н. Успенскаго, то въ подобномъ разсужденіи вы конечно ничего не увидите, кромѣ незнанія невѣжественными мужиками никакихъ условій гражданской жизни. Если же вы вдумаетесь въ него поглубже, васъ поразитъ логика его. Откуда взялась эта логика? Является-ли она необходимымъ, естественнымъ результатомъ трудовой жизни, на какой-бы низшей степени развитія ни стояла эта жизнь? Есть-ли это рѣдкіе проблески мысли немногихъ умовъ? Фактъ, представленный П. Якушкинымъ, слишкомъ конкретенъ; писатель самъ смотритъ на него, какъ на нѣчто необычайное, какъ на небывальщину. Его поразила встрѣча съ такимъ фактомъ, какъ съ чѣмъ-то такимъ, чего доселѣ онъ не встрѣчалъ въ народномъ быту. Слѣдовательно, на основаніи одного этого факта трудно дѣлать какіе либо выводы. Но зато все это отлично показываетъ, какъ мало извѣстна намъ народная жизнь. Очень можетъ быть, что такіе факты нерѣдки въ жизни народа; очень можетъ быть, что вся путаница, которая случается иногда при сношеніяхъ народа съ другими слоями общества, на половину обусловливаясь невѣжествомъ народа, на половину происходитъ и отъ той логики въ словахъ старика при порубкѣ лѣса, которая такъ непохожа на оффиціальную логику. Все это мы говоримъ только *можетъ быть* потому, что наши изучатели народнаго быта до сихъ поръ еще не привели насъ ни къ какимъ положительнымъ фактамъ и выводамъ относительно предмета ихъ изученія. Намъ остается только пожимать плечами, читая рядомъ съ очерками, въ которыхъ народъ представленъ неимѣющимъ образа и подобія человѣческаго, разсказы вродѣ «Небывальщина». Съ одной стороны, тупоумныя бабы, которыя сами про себя говорятъ: «глупы, батюшка, глупы!», а съ другой—величественный типъ дѣвушки, прощающей своему любовнику его измѣну и обращающейся изъ любовницы въ его сестру родную (см. «Небывальщина», сочин. П. Якушкина).

На болѣе высшей ступени знанія народной жизни мы должны поставить разсказы А. И. Левитова. У А. Левитова, какъ у Ѳ. Рѣшетникова, вы не найдете ни одного разсказа, въ которомъ-бы жизнь народа представлялась съ одной какой-нибудь исключительной стороны, со стороны одного невѣжества, или со стороны однѣхъ свѣтлыхъ идеальныхъ сторонъ. Мракъ невѣжества и суевѣрія, отношенія бѣдности къ богатству, ума къ глупости, силы къ безсилію, подлости и растлѣнія къ молодымъ побѣгамъ всего живого, здороваго, свѣтлаго, подобно тому, какъ это все чудно переплетается въ непрестанной борьбѣ въ жизни, въ такой-же зависимости стоитъ это все въ разсказахъ Левитова. Въ каждомъ разсказѣ вы увидите такимъ образомъ жизнь съ разныхъ ея сторонъ, какъ она есть. Въ то же время вы встрѣтите въ этихъ разсказахъ не безразлично-пестренькихъ мужичковъ съ бородками, а рѣзко очерченные типы съ глубокимъ психическимъ анализомъ ихъ. Возьмите вы, напримѣръ, одинъ изъ самыхъ обработанныхъ разсказовъ «Выселки». Въ этомъ разсказѣ писатель представляетъ намъ такіе два типа, которые по ширинѣ обобщенія можно назвать не только общенародными, но и общечеловѣческими. Съ одной стороны представляется намъ типъ Ивана. Это натура до крайности деликатная, кроткая, миролюбивая, любящая. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые, сколько-бы ихъ ни притѣсняли, какъ бы они ни разочаровывались на каждомъ шагу, не перестаютъ любить всѣхъ и каждаго братской любовью. Мрачными, затаенными инзантропами такіе

личности сдѣлаться не могутъ. Величайшее достоинство, служащее величайшимъ ихъ недостаткомъ въ настоящее время, заключается въ томъ, что они не имѣютъ острыхъ зубовъ, чтобы отгрызаться. Вслѣдствіе готовности помочь всѣмъ и каждому, незлопамятности и беззащитности съ ихъ стороны, люди эксплуатируютъ ихъ на каждомъ шагу совершенно безнаказанно, и вся жизнь этихъ несчастныхъ пасынковъ природы обращается въ безысходное мученіе. Страннѣе всего то, что, не имѣя силъ отражать нападенія всякаго рода, люди эти обладаютъ иногда невѣроятной силой мужественно сносить всѣ гоненія судьбы и людей, нимало не падая духомъ.

Таковъ Иванъ въ «Выселкахъ». Отецъ его прослылъ колдуномъ вѣроятно за то, что былъ умнѣй всѣхъ на селѣ. Прозвище это перешло и на сына. Ивану нельзя было выйти на улицу, чтобы онъ не былъ встрѣченъ градомъ насмѣшекъ и всякаго рода оскорбленій:

«Насмѣшки, снѣжные комья безъ счета сыпались въ Иванову спину; а онъ бывало, какъ раненый медвѣдь, сгорбится весь и развалистой рысью улепетываетъ отъ толпы, не допытываясь у нея, за что она каждый разъ преслѣдуетъ его, какъ хищнаго волка. Только бывало, когда уже черезчуръ невтерпежь приходились ему потѣхи односельцевъ, останавливался онъ передъ толпой и толковалъ ей:

— Братцы! Грѣхъ вамъ передъ Господомъ Богомъ будетъ, что вы на крещенаго человѣка, какъ на бѣшенную собаку, улюкаете!

— Ахъ ты, колдунъ-чортъ! орала на него толпа.— Туда-же про Господа Бога толкуетъ!—И снѣжные комья сыпались на него все гуще и гуще.

Жена упрекала Ивана за его беззащитность.

— Что это у тебя, Иванъ,—заговорила съ нимъ жена, когда онъ, облаянный отъ волосъ до пятъ, приходилъ съ улицы въ избу: — ровно и словъ никакихъ для твоихъ обидчиковъ нѣтъ! Ты бы, чѣмъ мямлить-то съ ними: тае да подтае, да ентаго-тае, отлупилъ бы какого-нибудь идола, али бы въ правленьи пожаловался. Они, можетъ, посмирнѣе бы стали.

«Посмотритъ Иванъ на жену послѣ этихъ словъ,— во всѣ смирные глаза свои поглядитъ, ровно бы дивится ея великой неправдѣ, и скажетъ:

— Любушка ты моя! Никогда и на словахъ-то рѣчистъ я не былъ. Не сговорю я съ ними, пожалуй, на словахъ-то, а ужъ лучше стану я лаской съ ними обращаться. Тихостью я, можетъ, полажу какъ-нибудь съ ними, тихостью...

«И такъ-то онъ славно тихостью своею ладилъ съ сосѣдями, что они, бывало, на сходкѣ только и дѣла дѣлаютъ, что вино съ него опиваютъ, да на него-же каждый день то подводу, то какую-нибудь мірскую повинность навалить ухитряются.»

Наконецъ и Иванъ не выдержалъ, но весь протестъ его противъ людскихъ неправдъ ограничился тѣмъ, что онъ ушелъ отъ людей со своимъ семействомъ въ выселокъ.

Совершенно противоположной личностью является передъ нами Петръ Крутой. Человѣкъ практическій, дѣятельный, энергическій, онъ въ то-же время весь вылился въ одинъ вопіющій протестъ противъ людей и противъ себя. Куда ни бросаетъ его судьба, онъ нигдѣ не можетъ ужиться съ людьми; отовсюду уноситъ онъ ирачную ненависть къ нимъ и ожесточеніе. Уже съ дѣтства успѣлъ онъ ожесточиться противъ людей. Какъ ребенокъ, щедро одаренный богатыми силами, онъ въ младенчествѣ уже обращалъ на себя всеобщее вниманіе, какъ нѣчто необыкновенное, а такъ какъ народъ по своему міросозерцанію привыкъ во всемъ необыкновенномъ видѣть сверхъестественное, то въ деревнѣ и сложилось убѣжденіе, что лѣшій подмѣнилъ ребенка, подсунувъ матери своего лѣшенка.

«Сталъ я лишь человѣческую рѣчь понимать какъ ужъ люди меня отъ себя гнать начали. Зашушукали они около меня—и свои, и чужіе кивками да морганьемъ съ боязнію стали на меня показывать, вотъ-де онъ, ребята, обмѣненокъ-то! Глядитеи какіе они—лѣшевы дѣтеныши-то, бываютъ... Примѣчайте!.. Къ ребятамъ, бывало, въ какую нибудь игру присунешься, тоже отцы ихъ и матери за руку меня возьмутъ и отведутъ отъ нихъ: Петруша, поди-ка, мать тебя велѣла домой послать, гостинцевъ она тебѣ добыла. Ласково такъ говорятъ, потому обмѣненка боятся всѣ. Пойду я, бывало, отъ ребятокъ, а мужикъ, какой отогналъ меня, сейчасъ-же на нихъ закричитъ:—я вамъ задамъ, пострѣлы, какъ съ обмѣненкомъ водиться! —Еще больше лупилъ я свои отъ матери большія бѣльмы, глядя и раздумывая, отчего это ребятишки не играютъ со мной, а чего больше про меня другъ съ другомъ шепчутся все? И повадился я тутъ, братецъ ты мой, въ лѣсъ ходить; зайду бывало въ трущобу какую лѣсную и сижу тамъ, и такъ-то мнѣ это въ привычку вошло, что я въ лѣсу ужъ и заночевывать сталъ, потому. глядишь тамъ, думаешь, думаешь — и никто тебѣ ни въ чемъ не мѣшаетъ, никто не сердитъ. Много я въ томъ лѣсу ребячьихъ слезъ разронялъ, не то, что отъ обиды какой, — не зналъ я тогда обидъ,—а такъ, на душѣ было ужъ очень спокойно»,

«Такъ и выросъ я, Федоръ Протасычъ, въ лѣсу, дубомъ какимъ-то безчувственнымъ. Глядишь иной разъ на людское горе и смѣешься въ тихомолку: что, молъ, каково? А чаще того хочется тебѣ каждому божьему человѣку добрыя слова цѣлый день толковать, горькому житью всею кровью своею помочь хочется, а морда-то у меня, не въ мою силу, сама на бокъ гнется, глаза-то насунятся, да вмѣсто слезъ по старинному, въ носъ и упрутся. Упрутся, и думаешь тогда: ничего, молъ, переждешь! Я же вѣдь жду. Такъ вотъ, солдатъ, какая моя неволя!»

Изъ этихъ выдержекъ вы можете заключить, какъ рѣзко очерчиваетъ и анализируетъ А. Левитовъ типы своихъ героевъ. Эти выдержки опредѣляютъ въ то же время весь характеръ разсказовъ А. Левитова: вы видите, что А. Левитовъ изображаетъ ту же грубость нравовъ, невѣжество и суевѣріе крестьянъ, что и Н. Успенскій. Эти мрачныя стороны жизни простого народа представляются въ очеркахъ А. Левитова еще рѣзче, чѣмъ у Н. Успенскаго: можно-ли представить себѣ что-нибудь безчеловѣчнѣе среды, въ которой закидываютъ на улицѣ грязью человѣка, не имѣющаго духу отплатить за это тукманкою; что можетъ быть ужаснѣе и нелѣпѣе того дикаго суевѣрія, которое заставляетъ родителей въ ребенкѣ своемъ воображать подмѣненнаго лѣшенка? Но Левитовъ выставляетъ все это не для того только, чтобы показать, какіе смѣшные пассажики выходятъ иногда на свѣтѣ. Въ грубости нравовъ и суевѣріи—болѣе ужаснаго, чѣмъ смѣшного. Если-бы суевѣріе влекло за собой только такія послѣдствія, что мужики подавали иногда просьбы становымъ о летучемъ змѣѣ, безпокоящемъ ихъ по ночамъ (см. разсказъ г. Н. Успенскаго—«Змѣй»), въ такомъ случаѣ нечего было бы особенно и хлопотать о такой ничтожности; но суевѣріе имѣетъ болѣе серьезное вліяніе на жизнь народа: оно обусловливаетъ собою много бѣдъ, которыя терпитъ темный человѣкъ.

въ своей и безъ того нерадостной жизни, и великое преимущество Левитова передъ Н. Успенскимъ заключается въ томъ, что, не ограничиваясь однимъ сѣхомъ надъ невѣжествомъ и суевѣріемъ, онъ старается раскрыть передъ вами, какъ терпятъ и гибнутъ отъ этихъ мрачныхъ сторонъ народной жизни молодыя, свѣжія силы, рвущіяся на широкій просторъ.

Но, представляя замѣчательно-глубокое знаніе народной жизни, очерки Левитова сильно страдаютъ отъ полнаго отсутствія обработки: писатель представляетъ вамъ факты своего знанія отрывочно, по клочкамъ, размазывая ихъ безконечными описаніями природы, приправленными сентиментельными восклицаніями о величественной красотѣ южныхъ степей. Ни одного почти разсказа не найдете вы, который былъ бы вполнѣ законченнымъ цѣлымъ; вы видите постоянное стремленіе со стороны писателя создать что-то такое изъ тѣхъ богатыхъ матеріаловъ, которыми онъ владѣетъ, и въ то же время, какое то странное безсиліе.

VI.

До сихъ поръ мы говорили о содержаніи художественной литературы, о сущности ея; теперь мы скажемъ нѣсколько словъ о другой ея сторонѣ—внѣшней, формальной. Въ то время, какъ въ предшествующія эпохи нашей литературы эту сторону ставили на первый планъ, видѣли въ ней нерѣдко единственную сущность искусства,—въ послѣднія 10 лѣтъ, по естественной реакціи, начали совершенно пренебрегать ею. Составилось мнѣніе, что главная сущность произведенія заключается въ здоровой, свѣтлой идеѣ, а какъ будетъ проведена она—это рѣшительно все равно. Съ точки зрѣнія подобнаго мнѣнія очевидно можетъ представиться излишней роскошью требовать, чтобы произведеніе поэта, будучи народнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, было народнымъ и по формѣ. Въ сущности же, если мы разсмотримъ внимательно, что̀ зависитъ отъ этого требованія, мы увидимъ, что оно не роскошь, что оно не менѣе важно, чѣмъ и другія.

Хотя мы и пренебрегаемъ внѣшними формами искусства, однакоже мы требуемъ, чтобы писатели наши писали на русскомъ языкѣ, а не по-французски или по-нѣмецки. Но вѣдь языкъ есть тоже ничего болѣе, какъ внѣшняя форма рѣчи. Не все-ли равно, на какомъ языкѣ ни напишетъ писатель свое произведеніе, лишь бы онъ провелъ полезную для насъ идею? Да, для Пьера, для Жана это все равно: они знаютъ всѣ европейскіе языки и могли бы наслаждаться «Мертвыми Душами» и въ такомъ случаѣ, еслибы Гоголь написалъ ихъ по-англійски. Я убѣжденъ въ томъ, что въ Россіи есть люди, которые впервые читали Гоголя во французскомъ его переводѣ. Но все-ли это равно для Ивана, для котораго русскій языкъ — единственная форма, въ которой понятна для него человѣческая рѣчь? А такихъ Ивановъ большинство. Для нихъ-то и существуетъ русская литература; и она есть полное ихъ достояніе, какъ мы говорили въ началѣ статьи. Наука, занимаясь открытіями въ природѣ новыхъ предметовъ, для которыхъ не существуетъ соотвѣтствующихъ словъ въ языкѣ, поставлена въ печальную необходимость ежедневно изобрѣтать свои новыя слова и наводняться терминами, которые дѣлаютъ ее доступной только для немногихъ адептовъ, знающихъ ея языкъ. Но если мы прощаемъ ученому, когда онъ издаетъ книгу, хотя и на русскомъ языкѣ, но въ которой для насъ нѣтъ возможности понять ни одной фразы, то мы не простимъ уже этого популяризатору, который вздумаетъ угостить насъ такимъ-же языкомъ. Еще болѣе посѣемся мы надъ безуміемъ популяризатора, если онъ такимъ же языкомъ напишетъ книгу, предназначенную для всего народа. Что̀ же сказать о художественной литературѣ, этой популяризаціи всѣхъ популяризацій, цѣль которой объяснять народу его жизнь, прояснять въ немъ сознаніе его истинныхъ потребностей, возбуждать въ немъ хорошіе нравственные инстинкты и открывать мрачныя стороны его жизни—и вдругъ такая литература будетъ говорить языкомъ, понятнымъ только для немногихъ? Такая литература мало того что безполезна, она преступна и безчестна совершенно въ томъ же смыслѣ, если бы я на деньги, порученныя мнѣ нѣсколькими знакомыми для покупки имъ чая, купилъ бы вдругъ табаку, пригоднаго для одного меня.

Но требованіе, чтобы художественная литература употребляла языкъ, доступный для всѣхъ, т. е., избѣгала бы иностранныхъ словъ, отвлеченныхъ, туманныхъ выраженій и ученыхъ терминовъ, которыми такъ богатъ нашъ литературный языкъ, еще не обнимаетъ всего вопроса о формѣ. Это требованіе касается одного состава языка; но есть еще другая сторона языка —его строй, т.-е. формы рѣчи, въ которыя складываются слова въ языкѣ, и формы поэтическихъ произведеній, въ которыя складывается рѣчь. Для того, чтобы поэтическія произведенія были доступны для всѣхъ, необходимо, чтобы они писались народной рѣчью и складывались въ народныя формы. Читатель подумаетъ быть-можетъ, что здѣсь дѣло идетъ о тѣхъ подражаніяхъ простонародному языку, которыя такъ противны въ нѣкоторыхъ книжонкахъ, изданныхъ для народа. Или ужъ не ставится-ли здѣсь русскимъ писателямъ въ обязанность подражать народнымъ пѣснямъ, былинамъ и сказкамъ? Ни чуть не бывало. Здѣсь идетъ рѣчь только о томъ примѣненіи всеобщаго закона относительно формъ поэзіи, который наблюдается во всѣхъ литературахъ, какъ древнихъ, такъ и новыхъ. Изучая исторію возникновенія и паденія разныхъ формъ искусства, мы видимъ, что формы не суть что-либо опредѣленное, неизмѣнное, для всѣхъ одинаково доступное. Онѣ суть созданія тѣхъ или другихъ особенностей одного какого-либо народа, и при этомъ еще народа въ данную эпоху. Онѣ служатъ обыкновенно выраженіемъ своей народности, своей эпохи, и такъ-же неуклюже примѣняются къ другой эпохѣ или народности, какъ гипсовый слѣпокъ съ одного лица не прилаживается на другое. Попробуйте выразить грусть простого русскаго человѣка, и вы увидите, въ какой формѣ это вамъ удастся—въ формѣ итальянскаго сонета или думы Кольцова. Была такая эпоха въ жизни народа, когда онъ не иначе могъ выражать впечатлѣнія своей жизни, какъ въ формѣ былинъ или сказокъ; это время прошло, народъ начинаетъ забывать самыя былины, и очевидно было-бы верхомъ натянутости и неуклюжести изображать что-либо изъ современной намъ жизни въ формѣ бы-

лины. Это значило-бы возвратиться ко временамъ ложнаго классицизма, когда людямъ казалось, что поэзія можетъ существовать только въ неизмѣнныхъ формахъ древне-классическаго искусства. Вслѣдствіе вышеупомянутаго закона представляется полная свобода создавать свою особенную форму литературы не только каждому народу, времени, но и каждому поэту, соотвѣтственно потребности, чтобы форма вполнѣ выражала содержаніе. Но тѣмъ не менѣе только тотъ поэтъ можетъ быть названъ вполнѣ народнымъ, который съумѣетъ выразить свои впечатлѣнія въ такихъ формахъ, въ какихъ они будутъ всего болѣе понятны для большинства и всего болѣе подѣйствуютъ на него. Опредѣлить въ точности, каковы должны быть эти формы, такъ-же трудно, какъ трудно опредѣлить неуловимыя черты, отличающія одну физіономію отъ другой. Возьмите вы, напримѣръ произведенія Кольцова или Шевченки; вы увидите, что они отличаются рѣзко по своей формѣ отъ всѣхъ словоизліяній нашихъ лириковъ, вродѣ, напримѣръ Полонскаго или Фета. Опредѣлить въ точности сущность этого отличія— нѣтъ никакой возможности, и мы можемъ судить о немъ только по послѣдствіямъ, которыя производятъ тѣ или другія произведенія; одни пойметъ каждый простолюдинъ, въ другихъ-же и образованнѣйшій человѣкъ не скоро доберется смыслу. Но много-ли у насъ такихъ произведеній, которыя писались-бы въ такихъ формахъ, что для всѣхъ были-бы понятны? Напротивъ того, наши литераторы очень часто поставляютъ себѣ какъ будто задачей выражаться какъ можно крючковатѣй, затѣйливѣй и темнѣй; они думаютъ, что въ этомъ-то и есть вся суть поэзіи. Конечно языкъ боговъ не долженъ быть понятенъ для простыхъ смертныхъ. Другое дѣло было-бы, если-бы къ этому вынуждала нашихъ поэтовъ и беллетристовъ печальная необходимость, еслибы идеи ихъ были до такой степени глубоки, всеобъемлющи, новы, что ихъ трудно было-бы вполнѣ ясно выразить въ простыхъ формахъ нашего языка. Но въ томъ-то и дѣло, что большинство нашихъ беллетристовъ и поэтовъ страдаетъ самымъ жалкимъ убожествомъ идей. Міросозерцаніе ихъ очень мало возвышается надъ уровнемъ обыкновенныхъ грамотныхъ людей. И если поэтъ съ такимъ широкимъ и глубокимъ міросозерцаніемъ, каковъ былъ Шевченко, могъ свои идеи выражать просто и общедоступно, то что-же остается сказать о нашихъ поэтахъ, которые свои бѣдненькія и обыденныя мысленки не могутъ выражать такъ, чтобы ихъ можно было понимать всѣмъ и каждому? Главной виной служатъ тутъ тѣ риторическія, рутинныя, витіеватыя тропы и фигуры, которыя почему-то считаются у насъ верхомъ художественной красоты и изящества. Сказать просто *родина*— какъ можно: это прозаически и безцвѣтно; нашъ поэтъ загнетъ непремѣнно какіе-нибудь *берега отчизны*, и думаетъ, что это туманное, безсмысленное выраженіе выше, поэтичнѣе. Возьмите напримѣръ Полонскаго: онъ написалъ стихотвореніе «*Бѣглый*» и этимъ стихотвореніемъ доказалъ, что онъ можетъ писать простой народной рѣчью. И этотъ-же самый Полонскій бо́льшую часть своей поэтической дѣятельности посвящаетъ на откалыванье такихъ штукъ:

Мнѣ не далъ Богъ *бича сатиры*;
Моя *душевная гроза*
Едва слышна *въ аккордахъ лиры*,
Едва видна моя слеза.
Ко мнѣ видѣнья прилетаютъ (?!),
Мнѣ звѣзды шлютъ *нѣмой привѣтъ*,
И мнѣ немногіе внимаютъ,
И для немногихъ я поэтъ.

Да, Полонскій дѣйствительно для немногихъ поэтъ, но не потому, что Богъ не далъ ему какой-то плетки, а потому, что онъ говоритъ языкомъ, ни для кого непонятнымъ: онъ правъ, говоря, что *отцихъ словъ его не слушаютъ народы*—еще бы, когда вмѣсто того, чтобы заговорить простымъ языкомъ простымъ смертнымъ объ ихъ простыхъ интересахъ, поэтъ твердитъ о какихъ-то аккордахъ лиры, которую никто изъ насъ, и даже самъ поэтъ не видалъ въ глаза, какая она такая, о какихъ-то видѣніяхъ, которыя никогда къ нему на самомъ дѣлѣ не прилетаютъ, если только онъ не боленъ бѣлой горячкой; далѣе поэтъ въ своемъ стихотвореніи доходитъ до такого изступленія, что простираетъ трепетныя объятія въ воздухъ и внемлетъ, какъ въ области вѣчнаго разума какая-то живая любовь торжественно поетъ живымъ о жизни. Въ «Бѣгломъ» вы не увидите ничего такого, что Полонскому кажется непремѣнной принадлежностью поэзіи; «Бѣглаго» могутъ внимать народы и понимать всѣ, и въ «Бѣгломъ» неизмѣримо болѣе истинной, живой, свѣжей поэзіи, чѣмъ въ большинствѣ произведеній Полонскаго.

VII.

Выставляя такія требованія отъ литературы, вполнѣ естественныя и справедливыя, я нисколько этимъ не отрицаю тѣхъ художественныхъ произведеній, которыя пишутся исключительно для одного образованнаго меньшинства, если только они увлекаютъ это меньшинство. Я нисколько не думаю, чтобы это меньшинство было на столько уже образовано, чтобы ему нечему было учиться, или чтобы жизнь его была вполнѣ и со всѣхъ сторонъ исчерпана литературой. Все, что́ дѣлается въ жизни полезнаго, хотя-бы для одного человѣка, есть уже полезное и достойное уваженія. Мы требуемъ отъ человѣка, чтобы онъ посвящалъ свою дѣятельность на общую пользу всему своему краю, но тѣмъ не менѣе всякій добрый поступокъ его, оказанный одному ближнему, внушаетъ намъ уваженіе къ человѣку. Такъ точно мы требуемъ, чтобы литература стремилась сдѣлаться всеобщей, полезной для всѣхъ нашихъ соотечественниковъ. Если только она хочетъ, чтобы не были признаны лицемѣрными заявленія ея о томъ, что для нея дороги интересы, нужды, радости и страданія народа, она должна посвятить развитію этого народа лучшія свои силы, а не оставлять народъ на жертву разныхъ бездарныхъ писакъ и спекуляторовъ, издающихъ такъ-называемыя книги для народа; но если взять во вниманіе все прошлое нашей литературы, то мы не должны забывать, что литература можетъ къ этому только стремиться и медленнымъ путемъ изученія достигать этого стремленія. На этомъ долгомъ пути ничто ей не мѣшаетъ быть полезной и для того меньшинства, для котораго она до сихъ поръ служила. Впрочемъ самая лучшая

польза, которую она можетъ оказать этому меньшинству, заключается опять-таки въ стремленіи ея къ народности; потому что этимъ путемъ она ведетъ за собою это меньшинство отъ его изолированной, замкнутой жизни во всеобщую жизнь края, посвящая его въ интересы всего народа. Въ заключеніе спѣшу прибавить, что всѣ наши стремленія къ народности въ литературѣ служатъ только прелюдіями къ тому движенію въ этомъ духѣ, которое должно послѣдовать, когда народныя массы, призванныя къ гражданской жизни реформами шестидесятыхъ годовъ, дѣйствительно выступятъ на поприще этой жизни и когда изъ самой массы народа явятся пѣвцы ея нуждъ, стремленій, радостей и страданій. Въ этомъ отношеніи, къ какимъ-бы широкимъ обобщеніямъ ни приводили *наблюденія* надъ жизнью народа, но еще успѣшнѣе пойдетъ это дѣло, когда къ наблюденіямъ присоединятся *опыты*, и притомъ личные опыты людей, которые сами живутъ жизнью, изображаемой ими.

Читателю покажутся можетъ-быть слишкомъ кратки и бѣглы нѣкоторыя характеристики писателей, произведенія которыхъ я разбиралъ въ этой статьѣ. О многихъ народныхъ писателяхъ не было мной сказано ни слова; но цѣль этой статьи—не подробный разборъ всѣхъ народныхъ писателей нашихъ, а выставленіе тѣхъ общихъ положеній, на основаніи которыхъ, по моему убѣжденію, слѣдуетъ оцѣнивать произведенія этого рода. Затѣмъ, въ послѣдующихъ статьяхъ этой книги, вы найдете болѣе полныя и подробныя характеристики, какъ отдѣльныхъ произведеній, такъ и всей дѣятельности наиболѣе выдающихся писателей, изображающихъ народный бытъ.

СТАРАЯ ПРАВДА.

«Обрывъ», романъ И. А. Гончарова, въ 5-ти частяхъ.

I.

Подражая герою романа Гончарова, Райскому, которому ежеминутно мерещились женскія статуи, мы можемъ сравнить романъ Гончарова съ Венерой весьма оригинальнаго свойства. Представьте себѣ статую, въ которой художникъ обратилъ все свое вниманіе на тщательное выполненіе отдѣльныхъ частей. Посмотрите, какъ нѣжно отдѣланы пальчики, обратите вниманіе на этотъ мизинчикъ: художникъ не забылъ въ немъ каждой тончайшей жилочки, каждая такая жилочка дышетъ, трепещетъ, и вы какъ будто видите кровь, переливающуюся подъ тонкой кожицей. А этотъ артистическій носикъ, а смѣлый взмахъ высокаго лба,—однимъ словомъ, на что ни взгляните, такъ и остаетесь прикованные къ мѣсту, словно какимъ-то волшебствомъ. Но вѣдь искусство ваянія заключается не въ одномъ художественномъ исполненіи частей, а потому отойдемъ отъ статуи подальше и посмотримъ, какъ соединяются части въ одно цѣлое. Отошли, посмотрѣли, и намъ остается только вскрикнуть,—но не отъ эстетическаго восторга, а отъ ужаса: вмѣсто легкой, граціозной Венеры передъ нами безобразное чудовище, въ которомъ мы не можемъ разобрать, гдѣ руки, гдѣ ноги, гдѣ волосы; передъ нами что-то несоразмѣрное, тяжелое, какъ кошмаръ, и ежеминутно готовое повалиться всей своей массой. А между тѣмъ иквозь это безобразіе не перестаетъ мерещиться нѣчто совершенно иное. Вамъ постоянно чудится, что задумана была художникомъ прелестная Венера, но впослѣдствіи она была умышленно обезображена и обращена въ чучело для того, чтобы охранять отъ хищныхъ воробьевъ огороды, на которыхъ произростаютъ невинныя россійскія дѣвы. Говорю я это не изъ злобы, не изъ предубѣжденія и не съ цѣлью умышленно унизить произведеніе Гончарова; напротивъ того, согласенъ, что на многихъ страницахъ своего романа Гончаровъ является тѣмъ-же, какимъ онъ былъ и въ «Обыкновенной исторіи», и въ «Обломовѣ». Обратите вниманіе на Райскаго, Бѣловодову, Татьяну Марковну, Марфиньку, Викентьева, наконецъ на бездну другихъ побочныхъ личностей, мелькающихъ въ романѣ; всѣ онѣ, мало сказать—живыя личности, исполненныя плоти и крови, но по своей широтѣ могутъ служить представителями одного изъ сословій нашего общества. Возьмите вы въ то-же время рядъ мелкихъ сценъ, въ которыхъ дѣйствующія лица романа мелькаютъ передъ вами то за обѣдомъ, то за чаемъ и ужиномъ; то откроются передъ вами за кулисами шашни дворовыхъ; то предстанетъ передъ вами бабушка, звенящая ключами и распудривающая какую-нибудь Аксинью; то вы увидите сцену кормленія куръ уѣздной барышней; то эта барышня бѣгаетъ передъ вами съ женихомъ въ горѣлки;—однимъ словомъ, вся немногосложная, бѣдная содержаніемъ захолустная, помѣщичья жизнь добраго стараго времени воспроизводится передъ вами во всей своей обыденности, какъ тянулась она когда-то день за днемъ, и авторъ не жалѣетъ красокъ: каждую сценку онъ отдѣлываетъ со всѣми мельчайшими подробностями, не забывши даже галки, которая подкрадывается, подскакивая бокомъ къ пшену, когда Марфинька кормитъ куръ. И въ этомъ отношеніи Гончаровъ нисколько не уступаетъ своимъ прежнимъ романамъ: они точно также изобиловали мелкими сценами во фламандскомъ вкусѣ, и сцены эти были отдѣланы не съ большей художественной тщательностью, чѣмъ и въ «Обрывѣ».—Но если мы отъ этихъ мелочей перейдемъ къ цѣлому романа, начнемъ разсматривать, какъ совокупилъ авторъ свои типы въ одну стройную драму,— то лучше ужъ закрыть глаза и совсѣмъ не смотрѣть.

Въ этомъ отношеніи надъ Гончаровымъ до сихъ поръ тяготѣетъ приговоръ, сдѣланный Бѣлинскимъ 20 лѣтъ тому назадъ по поводу появленія перваго произведенія тогда еще молодого писателя—«Обыкновенной исторіи».

«Придуманная авторомъ развязка романа,—сказалъ Бѣлинскій (см. 413 стр. т. XI),—портитъ впечатлѣніе всего этого прекраснаго произведенія, потому что она неестественна и ложна. Въ эпилогѣ хороши только Петръ Иванычъ и Лизавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа эпилогъ хоть не читать... Какъ такой силь-

ный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или онъ не совладалъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! *Авторъ увлекся желаніемъ попробовать свои силы на чуждой ему почвѣ—на почвѣ сознательной мысли—и перестать быть поэтомъ.*—Здѣсь всего яснѣе открывается различіе его таланта съ талантомъ Искандера (Бѣлинскій сравниваетъ здѣсь «Обыкновенную исторію» Гончарова съ романомъ Искандера «Кто виноватъ», которые онъ разбираетъ вмѣстѣ, сопоставляя одинъ романъ съ другимъ): тотъ и въ сферѣ, чуждой для его таланта дѣйствительности—умѣлъ выпутаться изъ своего положенія силой мысли; авторъ «Обыкновенной исторіи» впалъ въ важную ошибку именно оттого, что оставилъ на минуту руководство непосредственнаго таланта. У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаетъ, что и для чего пишетъ; онъ изображаетъ съ поразительной вѣрностью сцену дѣйствительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести судъ. *Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности рисовать; говорить и судить, и извлекать изъ нихъ нравственныя слѣдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ.*»

Къ этому надо прибавить еще, что почва сознательной мысли не потому чужда Гончарову, что онъ—непосредственный поэтъ. Было бы совершенно нелѣпостью судить, что человѣкъ, обладающій даромъ непосредственной поэзіи, непремѣнно долженъ быть лишенъ сознательной мысли. Еслибы это было такъ, въ такомъ случаѣ не могло бы явиться такихъ поэтовъ, какъ Шекспиръ, Гёте, Байронъ, Гейне и многихъ другихъ, которые рядомъ съ даромъ непосредственной поэзіи владѣли не менѣе сильнымъ мышленіемъ. Наши же писатели стоятъ на степени одной непосредственной поэзіи просто потому, что даръ мышленія находится у нихъ въ состояніи наивнаго младенчества. Въ ихъ фантазіяхъ носятся художественныя представленія, они могутъ воспроизводить ихъ иногда съ геніальной художественностью, но освѣщать ихъ философской мыслью—объ этомъ вы ихъ лучше ужъ и не спрашивайте. Какъ только россійскій беллетристъ пустится судить, умозаключать и дѣлать разные міровые приговоры — сейчасъ и обнаружится передъ вами вся жалкая бѣдность его мысли, все его пошлое невѣжество.—Бѣлинскій совершенно вѣрно опредѣлилъ талантъ Гончарова, сказавши, что онъ больше ничего, какъ талантливый рисовальщикъ, и рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы насладиться способностью рисовать. Но Гончарову мало одного этого наслажденія; ему постоянно хочется быть судьей своихъ типовъ и своего времени, и это пополяневеніе составляетъ ахиллесову пятку всѣхъ его произведеній. Вѣдь и въ «Обломовѣ», какъ ни хороши типы Обломова и Ольги, какъ ни хороши отдѣльныя мелкія сцены, но драма въ цѣломъ не выдерживаетъ критики, потому что, сопоставивши такіе типы, какъ Ольги и Обломова, авторъ долженъ былъ употребить большую натяжку, чтобы заставить Ольгу, хотя бы и временно, влюбиться въ Обломова; а съ другой стороны—вамъ представляется Штольцъ, этотъ ходульный, неестественный герой, олицетворенная нравственная сентенція, сочиненная нарочно въ противовѣсъ Обломову,—о немъ и говорить нечего!..

Но если въ «Обыкновенной исторіи» неестественъ и ложенъ только исходъ, который придумалъ Гончаровъ для своего героя, если въ «Обломовѣ» неестественъ цѣлый типъ и натянутъ весь ходъ драмы,—что же скажете вы объ Обрывѣ», который создался слѣдующимъ образомъ:—Гончаровъ задумалъ этотъ романъ въ 1849-мъ году, а окончательно приступилъ къ нему въ 1857-мъ Слава автора была въ то время въ своемъ апогеѣ: «Обломовымъ», вышедшимъ въ свѣтъ въ концѣ 50-хъ годовъ, зачитывались, считали его чуть-что не эпопеей русской жизни; критика отнеслась къ роману такъ, какъ онъ того заслуживалъ, если не болѣе, и самое гордое самолюбіе не могло не быть удовлетворено этой критикой. На молодое поколѣніе глядѣли въ то время еще съ надеждой и упованіемъ, видѣли въ немъ залогъ новаго времени, расцвѣтающую зарю и все такое подобное, и никому не приходило тогда въ голову, что это болѣе ничего, какъ сонмище недоученныхъ мальчишекъ и стриженныхъ дѣвокъ, совращенныхъ съ истиннаго пути въ бездну отрицанія и разврата. Понятно, что Гончарову въ то время не могло придти и въ голову выставлять несостоятельность новыхъ ученій и спасительность старыхъ. Останься романъ при своемъ первоначальномъ замыслѣ, онъ конечно носилъ бы такой-же характеръ, какой имѣютъ всѣ предыдущіе романы Гончарова: точно также онъ отличался-бы богатствомъ характеровъ, сценъ и всевозможныхъ красокъ, обрисовывающихъ передъ нами старую жизнь нашего общества. Весьма вѣроятно, что была бы проведена въ романѣ и тенденція, и конечно крайне узенькая: типъ Тушина, разумѣется, нарочно для того и сочиненъ, чтобы, подобно типу Штольца, служить для вящшаго нравоученія олицетворенной нравственной сентенціей. Узенькая тенденція заключала бы въ себѣ не мало фальши; но объективная сторона романа на столько перевѣшивала бы, что сама собою выливалась бы черезъ край узенькой сентенціи и представляла бы критикѣ такой же богатый матеріалъ для анализа жизни нашего общества, какъ и прежніе романы Гончарова.

Но роману, увы, не суждено было остаться въ своемъ первоначальномъ видѣ. Съ теченіемъ времени, когда Гончарова, подобно большинству его современниковъ, начали смущать различные призраки, онъ вознамѣрился выразить ужасъ свой по поводу этихъ миражей. Но онъ не вполнѣ послѣдовалъ примѣру своихъ сотоварищей. Тѣ подъ впечатлѣніемъ такого-же ужаса задумали новыя произведенія, нарочно для того и предназначенныя, чтобы выразить то, что навѣяло на писателей новое время. Гончаровъ вздумалъ употребить въ дѣло старый матеріалъ, неоконченное произведеніе, задуманное совершенно подъ иными настроеніями. Ему показалось, что ничего не стоитъ сдѣлать такое превращеніе; стоитъ только передѣлать одинъ типъ, да отъ себя прибавить нѣсколько разсужденій по поводу новыхъ ученій—и дѣло въ шляпѣ. Гончаровъ самъ говоритъ въ предисловіи, что онъ своимъ друзьямъ еще въ 1856 и 57 годахъ „*сообщалъ подробно, какъ самъ видѣлъ въ перспективѣ весь романъ съ томою дѣйствующихъ лицъ, съ описаніемъ мѣстностей, сценъ, съ характерами, выключая одинъ (Маркъ Волоховъ), принявшій подъ конецъ романа, начатаго давно и конченнаго недавно, болѣе современный оттѣ-*

нокъ». Въ этихъ словахъ вы видите удивительную наивность автора и полное непониманіе имъ самыхъ элементарныхъ законовъ творчества. Задумать романъ 15 лѣтъ тому назадъ, а потомъ взять одинъ изъ типовъ этого романа, да и передѣлать въ духѣ современныхъ нравовъ,—да вѣдь это все равно, что взять какую-либо античную статую Аполлона и пытаться преобразить ее въ Суворова, чтобы поставить на монументъ.

Что за сумбуръ вышелъ отъ такой передѣлки, уму непостижимо: отъ стараго сюжета романъ уклонился, къ новому не присталъ. Самая иллюзія романа совершенно нарушилась, и авторъ вывелъ такія психическія положенія, которыя, будучи совершенно естественны и понятны при старомъ замыслѣ, сдѣлались крайне-натянутыми и совершенно немыслимыми при новомъ. Чтобы распутать всю эту путаницу, намъ остается держаться слѣдующаго плана: первоначально мы откинемъ всѣ разсужденія автора и попытки его подвергнуть изображаемое анализу, откинемъ и типъ Марка Волохова, какъ-будто его вовсе не было въ романѣ. Тогда передъ нами самъ собою всплыветъ романъ въ основномъ своемъ сюжетѣ, вполнѣ соотвѣтствующемъ старой жизни нашего общества; рядомъ съ этимъ вмѣсто Марка Волохова предстанетъ передъ нами иной типъ, совершенно въ духѣ этой старой жизни.

Сдѣлавши такой анализъ, мы приступимъ къ субъективной сторонѣ романа и постараемся раскрыть все, и художественное, и умственное, и нравственное безобразіе романа.

II.

Когда мы называемъ жизнь, изображенную Гончаровымъ, *старой*, мы употребляемъ это слово не по отношенію только къ какимъ-нибудь десятилѣтіямъ; многія явленія, которыя мы находимъ въ романѣ, встрѣчаются и въ наше время, и мы не знаемъ, сколько пройдетъ еще до тѣхъ поръ, когда ихъ совсѣмъ уже не будетъ встрѣчаться. Мы намѣрены поставить изображенную Гончаровымъ жизнь на общую историческую почву и посмотрѣть, къ какому періоду цивилизаціи относится она съ тѣми принципами, которые лежатъ въ ея основаніи. И если мы это сдѣлаемъ, мы увидимъ, что въ основахъ своихъ она совершенно аналогична съ жизнью не только среднихъ вѣковъ, но и тѣхъ древнихъ обществъ, быть которыхъ мы привыкли считать ветхимъ.

Въ древнихъ обществахъ господствовалъ бытъ чисто родовой съ тѣми принципами, которые прямо изъ него выходятъ. Принципы эти слѣдующіе: 1) полное, безусловное подчиненіе отдѣльной личности интересамъ общаго цѣлаго, составляющаго отдѣльный родъ, въ какомъ бы видѣ онъ ни представлялся, въ видѣ ли патріархальной семьи кочующаго племени или въ видѣ демократической республики на подобіе Аѳинъ, еврейской теократіи или римскаго патриціата; 2) охраненіе рода и стремленіе возвеличить его по возможности надъ всѣми родами и все подчинить его власти.

Изъ перваго принципа вытекала вѣчная борьба личности съ обществомъ и стремленіе личности освободиться. Второй принципъ имѣлъ своимъ результатомъ постоянное соперничество между родами и стремленіе родовъ возвыситься одинъ надъ другимъ и, если возможно, подчинить соперниковъ своей власти. Этимъ исчерпывается вся исторія древняго міра: онъ весь состоялъ изъ отдѣльныхъ племенныхъ общинъ, въ основаніи которыхъ лежали семейные роды, и каждая община, каждое племя составляли въ цѣломъ свой особенный родъ, живущій для себя, соблюдающій только свои интересы, огражденный непроходимой стѣной отъ всего человѣчества. Соблюдая свои родовые интересы, древнія общины постоянно воевали между собой, стараясь нажиться одна на счетъ другой, поработить одна другую, пока римскій родъ не поглотилъ весь древній міръ. И семейные роды внутри каждой древней общины находились въ постоянномъ антагонизмѣ: равенство сохранялось обыкновенно только между нѣсколькими равномогучими родами, которые не имѣли возможности возвыситься одинъ надъ другимъ; менѣе же могучіе роды подчинялись болѣе могучимъ, а въ самомъ низу представлялась толпа рабовъ, трудами которыхъ существовалъ весь древній міръ.

Христіанскія идеи, возникшія на почвѣ древняго міра, представляютъ полное отрицаніе всѣхъ принциповъ родового быта. Частные, родовые культы христіанство замѣнило равно обязательнымъ для всѣхъ народовъ поклоненіемъ единому Богу; на мѣсто охраненія родовыхъ интересовъ поставило служеніе общечеловѣческому благу, на мѣсто соперничества и порабощенія—братство и любовь; наконецъ оно освободило личность изъ-подъ власти рода и даровало ей нравственную свободу.

Древній міръ не пережилъ кризиса, послѣ котораго онъ долженъ былъ вступить въ новый возрастъ своего существованія. Германскіе же и славянскіе народы, выступившіе на историческое поприще, хотя и приняли христіанство, но были очень юны, чтобы усвоить и провести сейчасъ же въ жизнь всѣ его идеи. Они должны были пережить тотъ же возрастъ родового быта, на которомъ почилъ древній міръ. Средніе вѣка, какъ на Западѣ, такъ и у насъ — представляютъ именно этотъ возрастъ. Вся Европа раздѣлилась въ средніе вѣка на отдѣльные роды феодаловъ, и всѣ средніе вѣка представляютъ борьбу между этими родами изъ-за права первенства и господства, пока болѣе могучіе роды королей не подчиняютъ своей власти менѣе могучіе роды феодаловъ, а затѣмъ къ концу среднихъ вѣковъ болѣе могучіе изъ королей начинаютъ мечтать о всемірномъ господствѣ въ духѣ римской имперіи. У насъ мы видимъ то же самое: наша исторія съ того и начинается, что родъ возставалъ на родъ, а управы не было; призванные варяги раздѣляются на тѣ же роды и начинаются удѣльныя междоусобія, въ которыхъ родъ воюетъ съ родомъ, племя съ племенемъ изъ-за того же, изъ-за чего воевали древнія республики между собою. И кончается тѣмъ же поглощеніемъ родомъ московскихъ князей всѣхъ отдѣльныхъ родовъ и племенъ Россіи.

Съ XV вѣка Европа начала переживать кризисъ, подобный кризису, котораго не могъ пережить древній міръ. Подобно тому, какъ и тамъ, въ воздухѣ начали носиться идеи общечеловѣческихъ интересовъ, братства, любви и свободы— вмѣсто узкихъ принциповъ родового эгоизма, завоеванія и порабощенія.

Но родовой бытъ вовсе не такой хрупкій, чтобы сломить его можно было однимъ ударомъ, однимъ почеркомъ пера, какъ измѣнить какую-нибудь французскую конституцію. Впродолженіи цѣлыхъ тысячелѣтій онъ успѣлъ глубоко вкорениться во всѣ, такъ сказать, поры жизни европейскихъ обществъ. Для того, чтобы окончательно пережить его, необходимы дружныя усилія и неустанная борьба цѣлыхъ сотенъ поколѣній. Если современное намъ человѣчество успѣло уже во многихъ отношеніяхъ пошатнуть принципы родового быта, если завоевательная политика все болѣе и болѣе уходитъ на задній планъ, если рабство уничтожено въ Европѣ и Америкѣ, если рушатся ежедневно различныя феодальныя привилегіи,— то во всякомъ случаѣ родовой бытъ все еще остается господствующимъ во многихъ отношеніяхъ людей между собою. Семейство въ большинствѣ европейскихъ обществъ до сихъ поръ еще основывается на родовыхъ началахъ рабства женщинъ и дѣтей и деспотизма старшихъ; соперничество родовъ перешло съ почвы владычества меча на почву владычества капитала, и рабы замѣнились наемниками.

Жизнь, изображенная въ романѣ Гончарова, является передъ нами старой именно потому, что въ ней мы видимъ всѣ принципы родового быта и многія черты нравовъ, совершенно аналогическія съ чертами нравовъ семьи какого-нибудь средневѣкового феодальнаго міра или древняго, классическаго.

Какъ извѣстно, въ родовой семьѣ существуютъ два необходимые элемента: съ одной стороны, старшіе члены, пастыри, патріархи, устроители и охранители рода—элементъ господствующій; съ другой стороны—низшіе члены рода, паства, охраняемая пастырями,—элементъ подчиненный.

Пастырями и охранителями являются въ романѣ тетушки Бѣловодовой и бабушка Райскаго. Несмотря на различіе характеровъ и вытекающаго изъ этого различія въ способѣ управленія, мы увидимъ, что какъ первыя, такъ и послѣдняя преслѣдуютъ однѣ и тѣ же цѣли и приходятъ къ однимъ и тѣмъ же результатамъ.

III.

Тетушки Бѣловодовой принадлежатъ къ тѣмъ сферамъ нашей жизни, гдѣ охраненіе родовыхъ началъ возведено въ сознательную, стройную систему, доведено, съ одной стороны, до самаго узкаго педантизма, а съ другой—до крайняго фанатизма, напоминающаго фанатизмъ испанскаго католичества. Не ждите здѣсь и тѣни самостоятельнаго, свободнаго движенія мысли, чувствъ, и что тутъ говорить о какихъ-либо высшихъ принципахъ и проявленіи хотя бы чего нибудь похожаго на чувство состраданія, участія къ ближнему: все здѣсь подчинено узкимъ интересамъ родового эгоизма, и малѣйшее отклоненіе отъ разъ опредѣленныхъ законовъ компрометируетъ уже родъ то со стороны его значенія, то со стороны его чести. Въ этой сферѣ жизни даже присутствіе бѣднаго учителя на обѣдѣ или soirée musicale наноситъ уже оскорбленіе роду и коробитъ пастырей.

«Когда папа привезъ его (т.-е. учителя) въ первый разъ послѣ болѣзни,—разсказываетъ Бѣловодова,— онъ былъ блѣденъ, молчаливъ... глаза такіе томные... Мнѣ стало очень жаль его, и я спросила его, чѣмъ онъ былъ боленъ... Онъ взглянулъ на меня съ благодарностью, почти нѣжно... Но maman послѣ обѣда отвела меня въ сторону и сказала, что это ни на что не похоже — дѣвицѣ спрашивать о здоровьѣ молодого человѣка, еще учителя, «и Богъ знаетъ, кто онъ такой!» прибавила она. Мнѣ стало стыдно, я ушла и плакала въ своей комнатѣ, потомъ ужъ ни о чемъ не разспрашивала.»

А затѣмъ стоило несчастной барышнѣ, вслѣдствіе естественной, почти дѣтской влюбчивости, покраснѣть при входѣ учителя на soirée musicale и сыграть не совсѣмъ равнодушно музыкальную пьесу, для того, чтобы въ домѣ поднялась страшная буря.

«Maman, не простясь, ушла послѣ гостей къ себѣ. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазахъ были слезы... На утро я ждала, пока позовутъ меня къ maman, но меня долго не звали. Наконецъ, за мной пришла ma tante Надежда Васильевна и сухо сказала, чтобъ я шла къ maman. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядѣла, что было, и кто былъ у maman въ комнатѣ. Тамъ было темно, портьеры и сторы были спущены, maman казалась утомлена; подлѣ нея сидѣла тетушка, mon oncle prince Serge и папа... Папа стоялъ у камина и грѣлся. Я посмотрѣла на него и думала, что онъ взглянетъ на меня ласково; мнѣ бы легче было. Но онъ старался не глядѣть на меня; бѣдняжка папа боялся maman; а я видѣла, что ему было жалко. Онъ все жевалъ губами, онъ это всегда дѣлаетъ въ агитаціи, вы знаете... «Позвольте васъ спросить, кто вы и что вы?» тихо спросила maman. «Ваша дочь», чуть-чуть внятно отвѣтила я. «Не похоже. Какъ вы ведете себя!» Я молчала: отвѣчать было нечего... «Что за сцену разыграли вы вчера, комедію, драму? Чье это сочиненіе, ваше или учителя этого... Ельнина?»—«Maman, я не играла сцены, я нечаянно»... едва проговорила я; такъ мнѣ было тяжело. «Тѣмъ хуже – сказала она. Il y a donc du sentiment là dedans? Вотъ послушайте, обратилась она къ папѣ: — что говоритъ ваша дочь. Какъ вамъ нравится это признаніе?» Онъ, бѣдный, былъ смущенъ и жалокъ больше меня и смотрѣлъ внизъ; я знала, что онъ одинъ не сердится, а мнѣ хотѣлось бы умереть въ эту минуту со стыда... «Знаете ли кто онъ такой? сказала maman: - вашъ учитель? Вотъ князь Serge все узналъ: онъ сынъ какого-то лекаря, бѣгаетъ по урокамъ, сочиняетъ, пишетъ русскимъ купцамъ французскія письма заграницу за деньги и этимъ живетъ»...— «Какой срамъ!»—сказала ma tante. Я не дослушала дальше: мнѣ сдѣлалось дурно. Когда я опомнилась, подлѣ меня сидѣли обѣ тетушки, и папа стоялъ со спиртомъ. Maman не было. Я не видала ее двѣ недѣли. Потомъ когда увидались, я плакала, просила прощенія. Maman говорила, какъ поразила ее эта сцена, какъ она чуть не заплакала, какъ это все замѣтила кузина Любимова и пересказала Михайловымъ, какъ тѣ обвинили ее въ недостаткѣ вниманія, бранили, зачѣмъ принимала богъ-знаетъ кого. «Вотъ чему ты подвергла меня!» заключила maman.—Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово впередъ держать себя прилично.»

Такъ съ дѣтства уже забивали въ дѣвочкѣ всякія человѣческія побужденія. Все воспитаніе Бѣловодовой было направлено къ тому, чтобы сдѣлать изъ нея не живого, свободнаго человѣка, любящаго, сочувствовавшаго радостямъ и горю ближнихъ, а какую-то куклу на пружинахъ, бальзамированную мумію, которая ни однимъ шагомъ, ни однимъ движеніемъ не могла бы нарушить достоинства и чести своего рода.

«Я не шалила; миссъ Дредсонъ шла рядомъ и дальше трехъ шаговъ отъ себя не пускала. Однажды мальчикъ бросилъ мячикъ, и онъ покатился мнѣ въ ноги, я поймала его и побѣжала отдать ему,

миссъ сказала maman, и меня три дня не пускали гулять. Впрочемъ я мало помню, что было, помню только, что ѣздилъ танцмейстеръ и училъ: chassé en avant, chassé à gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces... Послѣ обѣда мнѣ позволяли въ большой залѣ играть часъ въ мячикъ, прыгать черезъ веревочку, но тихонько, чтобы не разбить зеркалъ и не топать ногами. Maman не любила, когда у меня раскраснѣются щеки и уши, а потому мнѣ не велѣно было слишкомъ бѣгать. Еще увѣряли, что будто я (она засмѣялась) языкъ показывала, когда рисую и пишу и даже танцую — и оттого pas de grimaces раздавалось довольно часто.»

Послѣ замужества, конечно по указанію старшихъ, въ духѣ родовыхъ интересовъ, въ которомъ и тѣни не было хоть чего-нибудь похожаго на чувство, Бѣловодова овдовѣла и должна была сдѣлаться повидимому женщиной совершенно самостоятельной; даже и въ древней, до-петровской Руси вдовы пользовались нѣкоторой самостоятельностью, о которой не смѣли и помышлять дѣвушки и жены. Ничуть не бывало: мы видимъ, что Бѣловодова окружена столь же бдительнымъ надзоромъ со всѣхъ сторонъ, какъ и 15-тилѣтняя дѣвочка. Когда она бесѣдуетъ съ мужчиной, тутъ же непремѣнно присутствуетъ аргусъ въ видѣ одной изъ тетушекъ, и если затрогиваются вопросы живые, глубокіе, то старухи тономъ и сентенціями сейчасъ кладутъ на всякій разговоръ патентованную печать. Бѣловодова понятія не имѣетъ о томъ, что̀ такое значитъ свободно располагать своими собственными деньгами. «Тетушка десять разъ сочтетъ и спрячетъ къ себѣ,—говоритъ Бѣловодова,—а я, какъ институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдаетъ мнѣ, вы знаете, съ какими наставленіями». Даже самый порядокъ въ комнатѣ Бѣловодовой подвергается неусыпному надзору со стороны тетушекъ: чуть цвѣты раскинутся въ вазѣ прихотливо, сейчасъ они приводятся въ симметрію; чуть книга въ богатомъ переплетѣ окажется лежащей на диванѣ, на стулѣ—книга ставится на полку; чуть западаетъ слишкомъ вольный лучъ солнца и играетъ на хрусталѣ, на зеркалѣ, на серебрѣ,—тетушка находитъ, что глазамъ больно, молча указываетъ человѣку пальцемъ на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая занавѣска мѣрно падаетъ съ петли и закрываетъ свѣтъ.

Наконецъ въ жизни Бѣловодовой-вдовы возможенъ эпизодъ, совершенно подобный исторіи Бѣловодовой-дѣвочки съ учителемъ Ельнинымъ. Въ домъ ея началъ входить итальянскій графъ Малари; Бѣловодова разыгрывала съ нимъ музыкальные дуэты, а онъ, подобно Райскому, толковалъ съ ней тишкомъ о свободѣ чувствъ и жизни. Бѣловодова почувствовала къ нему нѣчто вродѣ расположенія, которое далеко еще было отъ страсти. Стоило графу нѣсколько разъ проѣхаться верхомъ возлѣ экипажа Бѣловодовой, чтобы въ свѣтѣ заговорили всѣ, что Бѣловодова a poussé la chose trop loin, и стоило Бѣловодовой написать графу Малари записочку самаго невиннаго содержанія, вродѣ слѣдующаго: «Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera, et surtout n'oubliez pas votre portfeuille artistique. Je suis etc. S. B.», чтобы въ домѣ поднялась буря, совершенно подобная вышеописанной исторіи съ Ельнинымъ: портьеры задвинулись, сторы спустились, домъ заперся для всѣхъ входящихъ и выходящихъ, начались охи, ахи, флаконы со спиртомъ и пр. Сама Софья Бѣловодова, какъ кающаяся институтка, начала твердить: «oui, la faute est à moi, je me suis compromise: une femme, qui se respecte, ne doit pas pousser la chose trop loin... se permettre»... Въ довершеніе ужаса узнали, что графъ изъ «новыхъ», и своимъ прежнимъ правительствомъ былъ «mal vu» и «эмигрировалъ» изъ отечества въ Парижъ, гдѣ и проживалъ, а главное, что у него тамъ, подъ голубыми небесами, во Флоренціи или въ Миланѣ, есть какая-то нареченная невѣста, тоже кузина, что вся его фортуна перейдетъ въ его родъ изъ того рода, также какъ и виды на карьеру... Какой ужасный ударъ гордости рода Ельневыхъ и безукоризненной чистотѣ Софіи Бѣловодовой!

Такая строгая система воспитанія, проведенная педантически до послѣднихъ мелочей, не замедлила оказать свое дѣйствіе. Въ лицѣ Бѣловодовой передъ вами нѣчто чудовищное, доведенное до невѣроятнаго, а между тѣмъ это невѣроятное до такой степени приглядѣлось намъ на каждомъ шагу, что мы привыкли смотрѣть на него, какъ на явленіе обыденное. Такія женщины, какъ Бѣловодова, создаются безъ всякаго труда въ восточныхъ гаремахъ, подъ надзоромъ строгихъ евнуховъ, но надо удивляться искусству воспитанія, которое съумѣло женщину, живущую въ шумѣ свѣта столицы, считающейся европейской, сохранить въ томъ видѣ, въ какомъ могутъ быть только невольницы, впродолженіи цѣлой жизни ничего не видавшія дальше стѣнъ своего гарема или терема. И если только вы хоть сколько-нибудь знакомы съ положеніемъ женщины въ древнемъ мірѣ, васъ должна поразить аналогія между Бѣловодовой и какой-нибудь эвинской Χυνη и римской матроной. Изъ Бѣловодовой сдѣлали дѣйствительно какую-то мраморную статую, въ которой не шевелилось никакой мысли, никакого чувства, никакой жизни— все это было убито и заморожено до крайняго оцѣпенѣнія.

«Когда въ семействѣ тетки и близкіе старики и старухи часто при ней гадали ей въ томъ или другомъ искателѣ мужа: то посланникъ являлся чаще другихъ въ домъ, то недавно отличившійся генералъ, а однажды серьезно поговаривали объ одномъ старикѣ, иностранцѣ, потомкѣ королевскаго угасшаго рода—она молчитъ и смотритъ беззаботно, какъ будто дѣло шло не о ней... Ни въ одной чертѣ никогда не было никакой тревоги, желанія, порыва. Напрасно Райскій, слыша раздирающій вопль на сценѣ, быстро глядѣлъ на нее, что она? Она смотрѣла на это безъ томительнаго, поглотившаго всю публику напряженія, безъ наивнаго страданія. И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызывавшая всеобщій продолжительный хохотъ, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмѣненный съ бывшей съ ней въ ложѣ женщиной взглядъ.»

Рядомъ съ этой деревянностью вы видите разумъ младенца, не имѣющаго ни малѣйшаго понятія о томъ, какія отношенія между людьми, какія бываютъ у людей заботы, какъ люди живутъ внѣ собственнаго дома, откуда папенька съ маменькой или тетеньки берутъ деньги для существованія... О какихъ-либо правахъ, обязанностяхъ человѣческихъ тутъ ужъ и говорить нечего. Однажды Райскій вздумалъ развить передъ Бѣловодовой картину быта ея крестьянъ и разсказалъ, какъ «въ тамбовскихъ или орловскихъ ея по-

ляхъ въ зной жнетъ беременная баба, бросивши дома ребятишекъ, они ползаютъ съ курами, поросятами, а если нѣтъ какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь ихъ каждую минуту виситъ на волоскѣ: отъ злой собаки, отъ проѣзжей телѣги, отъ дождевой лужи... А мужъ ея бьется тутъ-же, въ бороздахъ на пашнѣ, или тянется съ обозомъ въ трескучій морозъ, чтобы добыть хлѣба, буквально хлѣба, утолить голодъ съ семьей и между прочимъ внести въ контору пять или десять рублей, которые потомъ приносятъ ей, Бѣловодовой, на подносѣ». Бѣловодова, услышавши такія слова Райскаго, пришла въ такое удивленіе и смущеніе, какъ-будто ей въ первый разъ сообщили, что всѣ люди смертны и что она тоже когда-нибудь умретъ.

«— Это очень серьезно, что вы мнѣ сказали, произнесла она задумчиво.—Если вы меня не разбудили, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетушка, ни Paul, мужъ мой, никогда не говорили этого—и никто. Иванъ Нетровичъ, управляющій, привозилъ бумаги, счеты, я слышала, говорили иногда о хлѣбѣ, о неурожаѣ. А... о бабахъ этихъ... и о ребятишкахъ... никогда...»

И чтобы успокоить внезапно проснувшуюся совѣсть, Бѣловодова тотчасъ-же придумала средство въ такомъ родѣ:

«— Когда-нибудь... мы проведемъ лѣто въ деревнѣ, cousin, сказала она живѣе обыкновеннаго:—пріѣзжайте туда и... мы не велимъ пускать ребятишекъ ползать съ собаками—это прежде всего. Потомъ попросимъ Ивана Петровича не посылать... этихъ бабъ работать... Наконецъ я не буду брать своихъ карманныхъ денегъ...

IV.

Бабушка Райскаго принадлежитъ къ охранителямъ другого рода. Правда, міросозерцаніе ея было чисто родовое, патріархальное въ самомъ узкомъ смыслѣ этого слова. Въ своемъ захолустномъ уголкѣ она была живымъ олицетвореннымъ преданіемъ старины: вся ея незатѣйливая жизнь слагалась по этимъ преданіямъ.

«Разсуждаетъ она о людяхъ ей знакомыхъ очень мѣтко, разсуждаетъ правильно о томъ, что дѣлалось вчера, что будетъ дѣлаться завтра, никогда не ошибается; горизонтъ ея кончается съ одной стороны полями; съ другой – Волгой и ея горами; съ третьей—городомъ, а съ четвертой—дорогой въ міръ, до котораго ей дѣла нѣтъ.

«Желаетъ она въ концѣ зимы, чтобы весна скорѣй наступила, чтобъ рѣка прошла къ такому-то дню, чтобъ лѣто было теплое и урожайное, чтобъ хлѣбъ былъ въ цѣнѣ, а сахаръ дешевле, чтобъ, если можно, купцы давали его даромъ, такъ-же, какъ вино, кофе и пр. Любила, чтобъ къ ней губернаторъ изрѣдка заѣзжалъ съ визитомъ, чтобы пріѣзжее изъ Петербурга важное или замѣчательное лицо непремѣнно побывало у ней, и вице-губернаторша подошла, а не она къ ней, послѣ обѣдни въ церкви, чтобъ, когда ѣдетъ по городу, ни одинъ встрѣчный не проѣхалъ и не прошелъ не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили покупателей, когда она явится въ лавку, чтобы никогда никто не сказалъ о ней дурного слова, чтобы дома всѣ ея слушались до того, что кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сѣновалѣ, и чтобъ Тараска не напивался пьянъ, даже когда они могли-бъ это сдѣлать такъ, чтобъ она не узнала. Любила она, чтобы всякій день кто-нибудь завернулъ къ ней, а въ именины ея всѣ, начиная съ архіерея, губернатора и до послѣдняго повытчика въ палатѣ, чтобы три дня городъ поминалъ ея роскошный завтракъ, нужды нѣтъ, что ни губернаторъ, ни повытчики не пользовались ея искреннимъ расположеніемъ. Но если-бы не пришелъ въ этотъ день m-r Шарль, котораго она терпѣть не могла, или Полина Карповна, она-бы искренно разобидилась..»

Весь міръ раздѣлялся у нея на благородныхъ и неблагородныхъ; самыя людскія дѣла и занятія она подвергала тому-же дѣленію и сокрушалась, когда внукъ ея собирался унизить родъ свой, сдѣлавшись артистомъ или приказнымъ; по ея мнѣнію, только военная служба была достойна дворянина.

На женитьбу своего внука она постоянно смотрѣла съ точки зрѣнія родовыхъ интересовъ.

— «Почему вы знаете, что для меня счастье –жениться на дочери какого-то Мамыкина? сказалъ ей однажды Райскій.

— Она красавица, воспитана въ самомъ дорогомъ пансіонѣ въ Москвѣ. Однихъ брильянтовъ тысячъ на восемьдесятъ... Тебѣ полезно жениться... Взялъ бы богатое приданое, зажилъ бы большимъ домомъ, у тебя бы весь городъ бывалъ, всѣ бы раболѣпствовали передъ тобой, поддержалъ бы свой родъ,связи... И въ Петербургѣ не ударилъ бы себя въ грязь.. мечтала почти про себя бабушка.

Наконецъ, по отношенію къ внучкамъ она держалась вотъ какихъ правилъ:

— А есть у тебя кто-нибудь на примѣтѣ, сказалъ Райскій Марѳинькѣ:—женихъ какой-нибудь?

— Что это ты, мой батюшка, опомнись! Какъ она безъ бабушкина спроса будетъ о замужествѣ мечтать?

— Какъ, и мечтать не можетъ безъ спроса?

— Конечно не можетъ.

— Вѣдь это ея дѣло.

— Нѣтъ, не ея, а пока бабушкино, замѣтила Татьяна Марковна.—Пока я жива, она изъ повиновенія не выйдетъ.

— Зачѣмъ это вамъ, бабушка?

— Что зачѣмъ?

— Такое повиновеніе: чтобъ Марѳинька даже полюбить безъ вашего позволенія не смѣла?

— Выйдетъ замужъ, тогда и полюбитъ.

— Какъ «выйдетъ замужъ и полюбитъ»: полюбитъ и выйдетъ замужъ, хотите вы сказать!

— Хорошо, хорошо, это у васъ тамъ такъ, говорила бабушка, замахавъ рукой:—а мы здѣсь прежде осмотримъ, узнаемъ, что за человѣкъ, пудъ соли съѣдимъ съ нимъ, тогда и отдаемъ за него.

– Такъ у васъ еще не выходятъ дѣвушки, а отдаютъ ихъ, бабушка! Есть-ли смыслъ въ этомъ...

— Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи ихъ этимъ своимъ идеямъ!.. Вонъ покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени въ могилу...»

Но бабушка была надѣлена слишкомъ живой, глубокой, страстной натурой, чтобы изъ всѣхъ этихъ правилъ, которыя она исповѣдывала, составить сухую, мертвую систему и подчинить ей каждый шагъ и движеніе окружавшихъ ее людей. Къ тому же въ молодости своей она, какъ мы увидимъ ниже, на своей собственной шеѣ испытала, что такое значитъ родовой гнетъ: все ея личное счастье было принесено въ жертву родовымъ интересамъ самымъ безпощаднымъ образомъ. Вотъ почему въ отношеніи къ домочадцамъ бабушка старалась держаться началъ болѣе широкихъ и свѣтлыхъ; къ внучкамъ своимъ, помимо всякой патріархальной власти, она питала самую нѣжную материнскую любовь и на ней старалась основать нравственное вліяніе на нихъ. Молодыя дѣвушки не

испытывали и тѣни того подавляющаго гнета обычаевъ и приличій, которому была подчинена Бѣловодова; напротивъ того, онѣ пользовались такой свободой, которой можно было позавидовать, могли даже во всякое время отлучаться изъ дома куда угодно, и никто не требовалъ отъ нихъ въ этомъ отчета. Даже относительно свободы чувства у бабушки, рядомъ съ вышеозначенными патріархальными правилами, было спрятано про запасъ правило совсѣмъ иного рода:

«— Ты какъ понимаешь бабушку, сказала она однажды Райскому:—еслибъ богачъ посватался за Марѳиньку, съ породой, съ именемъ, съ заслугами, да не понравился ей—я бы стала уговаривать ее?»

Но всѣ эти качества бабушки, по истинѣ симпатичныя и достойныя полнаго уваженія, выставляются передъ вами какъ будто нарочно для того, чтобы показать, что даже самыя свѣтлыя стороны человѣческой природы до такой степени парализуются условіями родового быта, что дѣлаются неспособны производить ничего, кромѣ мрака и растлѣнія.

Мы ужъ не будемъ много распространяться о томъ, что вся нѣжная любовь и гуманность, которую бабушка расточала, были направлены къ тому, чтобы воспитать внучекъ въ духѣ все тѣхъ же родовыхъ началъ, привести ихъ путемъ свободнаго воспитанія къ тому же въ сущности знаменателю, къ которому Бѣловодова была приведена путемъ суроваго деспотизма. Поэтому свобода, которой пользовались дѣвушки, была крайне условна, ограничивалась тѣснымъ кругомъ родовыхъ интересовъ и правилъ укоренившагося быта. Это была чисто отрицательная свобода, заключавшаяся въ правѣ veto: дѣвушка могла отказаться отъ десятка родовыхъ жениховъ, но предполагалось, что одиннадцатый, которому она наконецъ не откажетъ, будетъ все-таки родовитый или по крайней мѣрѣ съ стремленіемъ сдѣлаться такимъ. Такимъ образомъ, готовая пожертвовать для блага внучекъ родовыми интересами, бабушка ждала отъ нихъ, въ свою очередь, жертвы: пользуясь своей свободой, онѣ должны были вести себя и поступать по свободному желанію такъ, чтобы родовые интересы отъ этого не страдали. Малѣйшее отклоненіе отъ такой системы поведенія считалось уже преступленіемъ, хотя бы въ немъ не было ничего безнравственнаго. По своей гуманной натурѣ, бабушка не могла силой деспотизма помѣшать, но во всякомъ случаѣ выражала свое неудовольствіе скорбью и укорами (какъ, напримѣръ, при выборѣ службы Райскимъ), и тамъ, гдѣ она имѣла нравственное вліяніе, ея расположеніе духа приводило къ тому же, къ чему приводилъ и деспотизмъ тетушекъ Бѣловодовой.

Но гибельнѣе всего на близкихъ людей дѣйствовали такія качества бабушки, которыя составляли лучшее ея достоинство: это именно ея смѣтливость, энергія, жажда дѣятельности и неусыпное трудолюбіе; они-то и были главной причиной растлѣнія всѣхъ окружавшихъ бабушку людей. Такъ-какъ бабушка завѣдывала сама нетолько имуществомъ своего рода, но старалась, по возможности, завѣдывать и судьбой своихъ родныхъ, и такъ-какъ ея качества, покоряя власти ея окружающихъ людей, въ то же время совершенно обезпечивали ихъ отъ всякой необходимости заботиться самимъ о себѣ, то близкимъ бабушкѣ только и оставалось, что, вложивши свою судьбу въ ея руки, предаться безпечной, праздной жизни чисто растительнаго свойства. Такъ мы и видимъ: развертываемъ одну страницу романа, другую, третью, пятую, десятую — и вездѣ видимъ одно: герои ѣдятъ, ѣдятъ, ѣдятъ. Чего только не ѣдятъ они въ пяти частяхъ романа! но бабушка все недовольна ихъ аппетитомъ, находя, что они ѣдятъ очень мало, а въ промежуткѣ между ѣдою и ѣдою они гуляютъ по полямъ, разсуждаютъ о буряхъ страстей и жаждутъ вожделѣній.

Рядомъ съ этой жизнью, совершенно подобной жизни пасущихся стадъ, вы видите и всѣ другія свойства, которыя можете найти въ любомъ стадѣ: то же отсутствіе всякой иниціативы, всякаго самостоятельнаго стремленія: въ какую сторону махнетъ бичемъ пастырь, туда и бѣгутъ испуганныя овцы, а не щелкни бичъ, онѣ вѣчно будутъ топтаться на одномъ полѣ и щипать подъ собою травку, переходя то направо, то налѣво.

V

Въ Марѳинькѣ мы еще видимъ кой-какіе здоровые инстинкты. Она является чуть-ли не самой положительной личностью во всемъ романѣ; по крайней мѣрѣ, не смотря на крайнюю неразвитость, дѣлающую изъ нея взрослаго младенца, вы видите въ ней много задатковъ весьма утѣшительныхъ.

«Марѳинька была свѣжая, бѣлокурая, здоровая, склонная къ полнотѣ дѣвушка, живая и веселая. Она прилежна, любитъ шить, рисуетъ. Если сядетъ за шитье, то углубится серьезно и молча, долго можетъ просидѣть; сядетъ за фортепіано, непремѣнно проиграетъ все до конца, что предположитъ; книгу прочтетъ всю и долго разсказываетъ о томъ, что читала, если ей понравится Поетъ, ходитъ за цвѣтами, за птичками, любитъ домашнія заботы, охотница до знакомствъ и пр.»

«Еще въ дѣтствѣ, бывало, узнаетъ она, что у мужика пала корова или лошадь, она влѣзетъ на колѣни къ бабушкѣ и выпроситъ лошадь и корову. Изба ветха или строеніе на дворѣ, она попроситъ лѣску. Умеръ у бабы сынъ, мать отстала отъ работы, сидѣла въ углу, какъ убитая, Марѳинька каждый день ходила къ ней и сидѣла часа по два, глядя на нее, и приходила домой съ распухшими отъ слезъ глазами. Коли мужикъ заболѣлъ трудно, она приласкается къ Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочитъ къ нему на дрожки и повезетъ въ деревню. То и дѣло проситъ у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Дѣвкамъ дастъ старыя платья, велитъ держать себя чисто. Къ слѣпому старику носитъ что-нибудь лакомаго поѣсть, или дастъ немного денегъ. Знаетъ всѣхъ бабъ, даже ребятишекъ, по именамъ, послѣднимъ покупаетъ баранки, шьетъ рубашонки и креститъ почти всѣхъ новорожденныхъ. Если случится свадьба, Марѳинька не знаетъ предѣла щедрости: съ трудомъ ее ограничиваетъ бабушка. Она даетъ бѣлье, обувь, придумаетъ какой-нибудь затѣйливый сарафанъ, истратитъ всѣ свои карманныя деньги и долго послѣ того экономничаетъ. Только пьяницъ, какъ бабушка же, не любила и однажды даже замахнулась зонтикомъ на мужика, когда онъ, пьяный, хотѣлъ ударить при ней жену. Когда идетъ по деревнѣ, дѣти отъ нея безъ ума; они, завидя ее, бѣгутъ къ ней толпой, она раздаетъ имъ пряники, орѣхи, много приведетъ къ себѣ, умоетъ, возится съ ними. Всѣ собаки въ деревнѣ знаютъ и любятъ ее; у ней есть любимыя коровы и овцы. Она никогда не задумывалась и смотрѣла на все бодро, зорко.»

Но всѣмъ этимъ истинно-человѣческимъ проявле-

ніямъ, которыя одни только выдѣлялись надъ омутомъ чисто животнаго прозябанія бережковской среды, предопредѣлено было оставаться на степени безсознательныхъ инстинктовъ. Они не могли въ младенческомъ, неразвитомъ умѣ Марѳиньки дорости до степени сознательной системы, не могли сдѣлаться руководящей цѣлью и наполнить всю жизнь дѣвушки, потому что все въ бережковской средѣ не направляло къ этому пути, а, напротивъ, отклоняло. Мы видимъ, что, вопервыхъ, бабушка, на которую Марѳинька смотрѣла чуть-что не какъ на святую, болѣе была склонна обуздывать хорошіе порывы Марѳиньки, чѣмъ поощрять ихъ и развивать: бабушка, съ точки зрѣнія своего родового скопидомства, журила Марѳиньку за расточительность и старалась всячески ограничивать ея щедрость. Викентьевъ, женихъ Марѳиньки, болѣе былъ склоненъ бѣгать со своей невѣстой въ запуски и слушать соловьевъ, чѣмъ задаваться вопросами о цѣляхъ жизни и обязанностяхъ человѣка. А сама Марѳинька была до такой степени лишена всякой умственной самодѣятельности, малѣйшаго проявленія воли, что для нея не только немыслимо было опредѣлить какую-либо самостоятельную, сознательную цѣль жизни безъ бабушкинаго совѣта и воли, но даже тамъ, гдѣ она хорошо знала, что дѣйствовала по бабушкиному благоусмотрѣнію, она приходила къ недоумѣнію, робѣла и окончательно терялась, когда дѣло выходило изъ ряда обыкновеннаго, а бабушки не было подъ бокомъ для того, чтобы скомандовать: шагни вотъ туда, повернись такъ. Сцена слушанья соловьевъ и объясненія Викентьева представляется, правда, нѣсколько утрированной. Младенческая наивность молодыхъ людей, незнавшихъ, что̀ такое съ ними происходитъ, выходитъ слишкомъ уже аркадской, словно будто объясняются въ любви въ райскихъ садахъ Адамъ и Ева, никогда еще ничего не слыхавшіе о любви, а между тѣмъ Гончаровъ заставляетъ Марѳиньку и Викентьева читать современные романы и анализировать ихъ въ горячихъ спорахъ. Но при всемъ томъ въ сценѣ этой есть одна очень вѣрная черта, совершенно въ духѣ Марѳиньки: когда Викентьевъ объяснился по соловьиному Марѳинькѣ въ своей любви, она вдругъ пришла въ страшный испугъ, начала плакать и обвинять своего милаго въ нечестности:

«— Вы нечестный, вы заставили бѣдную дѣвушку высказать поневолѣ, чего она никому, даже Богу, отцу Василію, не высказала бы... А теперь, Боже мой, какой срамъ!

И этотъ «божій младенецъ», по выраженію Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаянія.

— Нечестно, нечестно! говорила она:—я васъ уже теперь не люблю. Что̀ скажутъ, что̀ подумаютъ обо мнѣ? Я пропала.

— Соловей все объяснилъ намъ, сказалъ Викентьевъ:—мы оба выросли и созрѣли сію минуту, вотъ тамъ въ рощѣ.. мы уже не дѣти.

— Отъ того и нечестно было говорить мнѣ, что̀ вы сказали: вы поступили, какъ вѣтренникъ,—нечестно дразнить дѣвушку, вырывать у ней секретъ...

— Не вѣкъ же ему оставаться секретомъ, когда-нибудь и кому-нибудь высказали бы его... Такъ-ли?

Она подумала.

— Да, сказала бы: бабушкѣ на ушко и потомъ спрятала бы голову подъ подушку на цѣлый день. А здѣсь... одни, Боже мой! досказала она, кидая взглядъ ужаса на него.—Я боюсь теперь показаться въ комнату: какое у меня лицо — бабушка сейчасъ замѣтитъ...

— Ангелъ! прелесть! говорилъ онъ, нагибаясь къ ея рукѣ: — да будетъ благословенна темнота, роща и соловей!

— Прочь, прочь! повторила она, убѣгая опять на крыльцо: —вы опять за дерзости! А я думала, что честнѣе и скромнѣе васъ нѣтъ на свѣтѣ, и бабушка думала тоже. А вы...

— Какъ же было честно поступить мнѣ? Кому мнѣ сказать свой секретъ?

— На другое ушко бабушкѣ, и у ней спросить, люблю ли я васъ.

— Вы ей нынѣче все скажите.

— Это все не то будетъ: я ужъ виновата передъ ней, что слушала васъ, расплакалась. Она огорчится, не проститъ мнѣ никогда, а все вы!..»

Вы можетъ-быть подумаете, что такая сцена обнаруживаетъ младенческую наивность, эдемскую чистоту Марѳиньки.—Ни чуть не бывало. Дѣвушка можетъ быть крайне неразвита, невинна и чиста до полнаго невѣдѣнія всѣхъ конечныхъ проявленій любви,—и все-таки она можетъ быть вполнѣ свободнымъ человѣкомъ въ высказываньи своей страсти; мало того, на почвѣ истинной, безъискусственной невинности и чистоты дѣвушка скорѣе можетъ выслушать безъ смущенія признаніе любимаго человѣка и отвѣтить ему такимъ же признаніемъ, ни мало даже не покраснѣвъ при этомъ; что тутъ худого и преступнаго, можетъ думать она, что я люблю и меня любятъ? И напротивъ того, разные ужасы, ужимки и восклицанія вродѣ того, что: ахъ, что вы сказали! ахъ, какъ это можно! ахъ, что вы это!.. Что подумаетъ бабушка и пр.—всѣ подобныя наивничанья нисколько не отрицаютъ самаго развращеннаго воображенія и даже чаще всего бываютъ слѣдствіемъ его.—Я вовсе не думаю предполагать, чтобы у Марѳиньки было развращенное воображеніе.—Я хочу только сказать, что весь этотъ ужасъ при объясненіи Викентьева, всѣ эти слезы и укоры были вовсе не безъискусственнымъ проявленіемъ ея наивности и чистоты, а напротивъ того, все это было крайне искусственно и неестественно, все это было прямо навѣяно на дѣвушку бабушкинымъ воспитаніемъ.

Вы подумайте только, сколько нравственнаго безобразія во всемъ этомъ: дѣвушка любитъ человѣка, который сдѣлался для нея дороже жизни, и когда этотъ человѣкъ говоритъ ей, что и онъ ее любитъ, она вдругъ приходитъ въ ужасъ, начинаетъ плакать, говоритъ, что онъ нечестный, что онъ сдѣлалъ какую-то подлость!.. Не извращено ли здѣсь все, что̀ только есть человѣческаго въ человѣкѣ! Но что-жъ дѣлать, въ бережковской сферѣ такія явленія до того обыденны, что иной, воспитанный на этой почвѣ, можетъ находить въ нихъ, пожалуй, особенную прелесть. Вы нерѣдко можете встрѣтить здѣсь дѣвушекъ, которымъ заранѣе, въ видахъ предусмотрительности, строго внушено, что каждый мужчина, будь онъ ангелъ во плоти, если только вздумаетъ говорить о любви, непремѣнно коварный обольститель и губитель, что малѣйшій разговоръ о любви за глазами старшихъ самъ по себѣ есть уже преступленіе и наноситъ дѣвушкѣ безчестіе, а потому, едва коварный мужчина о любви заикнется, благонравная дѣвушка сейчасъ-же должна

убѣжать стремглавъ или же зажать руками уши и отослать коварнаго мужчину къ папенькѣ и маменькѣ.

Послѣ этого чего-же можно было и ожидать отъ хорошихъ инстинктовъ Марѳиньки? Всѣ они оставались на степени безсознательныхъ порывовъ; — отчего же между ѣдой и ѣдой не сдѣлати было какого-нибудь добра, не оказать ласки? Но въ основаніи жизнь Марѳиньки оставалась жизнью пасущейся овцы, а въ перспективѣ, съ лѣтами, молодымъ хорошимъ порывамъ предстояло угаснуть, какъ это всегда бываетъ въ бережковской сферѣ, и изъ Марѳиньки обѣщаетъ выйти жирная супруга Викентьева, любящая посплетничать, покушать, поспать и расположать дѣтей, которыхъ, по примѣру бабушки, она способна будетъ только закармливать и запаивать.

VI.

Райскій отличается и отъ Бѣловодовой, и отъ Марѳиньки тѣмъ, что въ немъ никто никогда не только не подавлялъ влеченій, но не заботился хоть сколько нибудь регулировать ихъ. Въ то же время онъ получилъ высшее университетское образованіе съ разными возвышенными стремленіями и свободомысліемъ. Наконецъ у него была сознательная цѣль въ жизни — стремленіе къ художественной дѣятельности, и онъ мечталъ посвятить ей всю свою жизнь.

Но такова была почва бережковской сферы, что даже такія, сами по себѣ хорошія вещи, какъ свобода воспитанія, высшее образованіе, сознаніе цѣли жизни, были безсильны произвести что-нибудь на ней: высокія идеи оставались на этой почвѣ красивыми словами, произносимыми за ѣдой и послѣ ѣды, а цѣль оставалась вѣчной цѣлью безъ достиженія, и въ результатѣ получалась та же животная жизнь быка, пасущагося въ стадѣ бабушкиныхъ коровъ и жаждущаго вожделѣнія. Когда Райскій развилъ передъ Бѣловодовой весьма картинно бытъ крестьянъ и привелъ ее въ испугъ, у Бѣловодовой возникъ послѣ этого естественный вопросъ:

— А вы сами, cousin, что́ дѣлаете съ этими несчастными: вѣдь у васъ тоже мужики и эти... бабы? спросила она съ любопытствомъ.»

И что же отвѣчалъ ей Райскій?

«Мало дѣлаю, или почти ничего, къ стыду моему, или тѣхъ кто меня воспитывалъ. Я давно вышелъ изъ опеки, а управляетъ все тотъ-же опекунъ — и я не знаю, какъ. Есть у меня еще бабушка, въ другомъ уголкѣ — тамъ какой-то клочокъ земли есть, въ ихъ рукахъ все же лучше, чѣмъ въ моихъ. Но я по крайней мѣрѣ не считаю себя вправѣ оттовариваться невѣдѣніемъ жизни — знаю кое-что, говорю объ этомъ, вотъ хоть-бы и теперь, иногда пишу, спорю — и все же дѣлаю. Но кромѣ того я выбралъ себѣ дѣло: я люблю искусство и... не много занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... досказалъ онъ тихо, глядя на кончикъ своего сапога.»

Какъ вамъ нравится безцеремонная наглость этого отвѣта: вы, молъ, ничего не дѣлаете, по крайней мѣрѣ отъ невѣдѣнія, а я такъ знаю, и все-таки ничего не дѣлаю, а такъ — немножко рисую, немножко бренчу, немножко пишу...

Да иначе не могло и быть съ Райскимъ на бережковской почвѣ: самымъ положеніемъ своимъ въ качествѣ пасущагося быка онъ былъ освобожденъ отъ всякой цѣли въ жизни, отъ всякихъ обязанностей, и ему предоставлено было ѣсть, ѣсть и ѣсть, а въ промежуткахъ между ѣдой — вожделѣть.

Съ самаго дѣтства своего онъ былъ воспитанъ такъ, что каждая прихоть его сейчасъ же исполнялась; онъ не привыкъ себѣ отказывать ни въ чемъ; и когда выросъ, положеніе его нисколько не измѣнилось: онъ продолжалъ имѣть полный досугъ и возможность предаваться свободно минутнымъ влеченіямъ. Зачѣмъ сталъ бы онъ пригвождать себя къ мольберту, слыша громъ музыки и пѣсни за окномъ,—все равно онъ могъ заняться живописью и завтра, разсуждая, что дѣло отъ него не уйдетъ. Такимъ образомъ, вся жизнь Райскаго заключалась въ вѣчной игривой смѣнѣ впечатлѣній и свободной, безотчетной отдачѣ себя сегодняшнему влеченію. Этимъ строемъ жизни опредѣляется вся безсодержательность Райскаго, вся его непослѣдовательность въ убѣжденіяхъ, стремленіяхъ, чувствахъ и поступкахъ. Про людей такого рода вы можете сказать, что они безхарактерны, дрянны, но попадете въ большой просакъ, если скажете, что они исключительно честны, добры или столь же исключительно низки и злы. Въ жизни подобныхъ людей все возможно, все зависитъ у нихъ отъ того, какой найдетъ на нихъ стихъ, подъ какимъ впечатлѣніемъ они въ данную минуту дѣйствуютъ; впродолженіи одного дня они способны бываютъ надѣлать и отвратительныхъ гадостей, и удивить людей своимъ благородствомъ и даже геройствомъ. Таковъ передъ вами Райскій впродолженіи всего романа, и Гончаровъ весьма тонко прослѣдилъ этотъ типъ во всѣхъ его превращеніяхъ, выдержавъ его до конца. Сначала Райскій, подъ впечатлѣніемъ апатіи Бѣловодовой, проповѣдывалъ ей о свободѣ чувствъ, указывалъ на улицу на толпу, порицалъ предковъ, свѣтскія приличія и родовые предразсудки, мѣшающіе человѣку наслаждаться жизнью, но потомъ, когда явился на сцену гр. Малари, Райскій весь отдался новому впечатлѣнію, ревности, и, забывши всѣ свои предыдущія проповѣди, началъ напротивъ того опираться на тѣ же предразсудки родового быта, которые прежде порицалъ:

«— А! вскричалъ Райскій:—вы защищаете его— поздравляю! Такъ вотъ на кого упали лучи съ высоты Олимпа! Кузина! кузина! на комъ вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради бога! Вамъ ли, съ вашими понятіями, снизойти до какого-то безвѣстнаго выходца, можетъ быть самозванца-графа...

Она ужъ окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страхъ и осторожность.

«— А Ельнинъ? вдругъ спросила она.

«— Что Ельнинъ? спросилъ и онъ, внезапно остановленный ею. — Ельнинъ, Ельнинъ... засмѣялся онъ. — Это дѣтская шалость, институтское обожаніе. А здѣсь страсть, горячая, опасная!

«— Что же: вы бредили страстью для меня — ну, вотъ я страстно влюблена, смѣялась она. Развѣ мнѣ не все-равно идти туда (она показала на улицу), что съ Ельнинымъ, что съ графомъ? вѣдь тамъ я должна «увидѣть счастье, упиться имъ». Райскій стиснулъ зубы, сѣлъ на кресло и злобно молчалъ. Она продолжала наслаждаться его положеніемъ».

Пріѣхавши въ помѣстье къ бабушкѣ, Райскій тоже сначала началъ проповѣдывать о свободѣ чувствъ, о необходимости въ жизни страсти и грозы — проповѣ-

дывалъ онъ это и Мареинькѣ, и Вѣрѣ, и даже бабушкѣ. Но когда то, что называлъ Райскій поклоненіемъ красотѣ, осуществилось въ видѣ омерзительной сцены съ Марфинькою въ саду,— сцены, отъ которой Райскому самому сдѣлалось тошно, онъ, подъ впечатлѣніемъ этой тошноты, запѣлъ совершенно иную пѣсню: «люби, кто понравится, но прячь это глубоко въ душѣ своей, не давай воли ни себѣ, ни ему, пока .. позволитъ бабушка и отецъ Василій. Помни проповѣдь его...» Послѣ этого всего нѣтъ ничего мудренаго, что Райскій могъ пойти къ женѣ Козлова съ цѣлью воскресить въ ней совѣсть и напомнить ей объ обязанностяхъ къ мужу, а самъ вмѣсто того увлекся сиреной и, позабывши все, тутъ же нарушилъ всѣ обязанности и свои, и ея; не нужно удивляться, что Райскій съ рыцарскимъ чувствомъ самоотверженія свелъ Вѣру съ обрыва, а потомъ, увидя сцену въ бесѣдкѣ, хотѣлъ было позвать бабушку съ людьми и фонарями; бросилъ въ окно Вѣры букетъ померанцовыхъ цвѣтовъ, и, оскорбивши такимъ грубымъ поступкомъ женщину, явился впослѣдствіи нѣжнымъ и гуманнымъ утѣшителемъ ея. Все это совершенно въ порядкѣ вещей и вполнѣ въ духѣ Райскаго. Если только было что-нибудь постоянное въ жизни Райскаго, такъ это та чувственность, которая обыкновенно развивается до громадныхъ размѣровъ у людей, обреченныхъ исключительно растительной жизни; низшія животныя страсти, преобладающія въ жизни такихъ людей, естественно получаютъ перевѣсъ надъ высшими и могутъ наконецъ всю жизнь человѣка обратить въ какія-то сладострастныя судороги. Вся жизнь Райскаго только въ томъ и заключалась, что онъ созерцалъ разные роды и виды женской красоты, переходя отъ одной женщины къ другой —постоянно жаждалъ упиться страстью, испытать «бурю жизни, грозу», но конечно ни одна женщина, хоть съ малѣйшимъ чутьемъ, не могла увлечься подобнымъ ловеласомъ, страдающимъ крайнимъ раздраженіемъ спиннаго мозга: а единственная женщина, полюбившая Райскаго, Наташа, была вознаграждена за свою любовь тѣмъ, что сошла въ могилу, извнывши отъ грубой невнимательности любимаго человѣка, предававшагося пьянымъ, развратнымъ оргіямъ въ то время, когда болѣзнь ея требовала особенно нѣжнаго и тщательнаго ухода за ней. Естественно, что люди вродѣ Райскаго, требуя отъ женщины упоенія, не считаютъ себя ничѣмъ обязанными за него: они способны бываютъ питать уваженіе къ женщинѣ, благоговѣніе къ ея красотѣ не въ реальныхъ отношеніяхъ къ ней, а только въ своихъ безумныхъ грезахъ. Гончаровъ съ особенной щедростью расточаетъ въ романѣ поэтическія грезы своего героя, посвящая читателей во всѣ ихъ тонкости. Читая этотъ художественный бредъ, удивляешься всей безднѣ нравственнаго и умственнаго растлѣнія, до котораго можетъ дойти человѣкъ путемъ праздности и распущенности. Вотъ онъ, новѣйшій сенсуализмъ во всемъ своемъ ужасающемъ видѣ, ничѣмъ въ сущности не отличающійся отъ сенсуализма какого-нибудь римскаго патриція временъ Августа или французскаго маркиза XVIII вѣка. Это тотъ самый сенсуализмъ, который такъ красиво драпируетъ свое безобразіе и растлѣніе поклоненіемъ изящному, служеніемъ красотѣ, искусству ради искусства, обставляетъ себя женскими головками, купающимися вакханками, стоитъ за классицизмъ и самъ, утопая въ грязи самаго возмутительнаго цинизма, готовъ своей собственной грязью метать во все молодое, живое, свѣжее. Типомъ Райскаго Гончаровъ подписалъ страшный приговоръ надъ всѣмъ поколѣніемъ его времени, и вы видите изъ всей этой характеристики, какъ богата объективная сторона его романа и какъ эта сторона предательски измѣняетъ всѣмъ тенденціямъ автора, съ которыми онъ выступаетъ въ послѣдней части романа.

VII.

Теперь мы обратимся къ такой сторонѣ родового быта, которая была всегда ахиллесовой пяткой этого порядка вещей, его больнымъ мѣстомъ, рогаткой, о которую не одинъ родъ сшибался и терялъ разомъ все, что накапливалъ иногда столѣтіями.

Мы уже сказали, что одинъ изъ принциповъ родового быта заключается въ стремленіи рода подчинить своимъ общимъ интересамъ отдѣльную личность. Отсюда проистекаетъ вѣчное стремленіе личности освободиться отъ такого гнета. Съ этимъ явленіемъ мы теперь и будемъ имѣть дѣло. Между тѣмъ какъ родовой бытъ стремится втиснуть все въ свои узкія рамки и всѣ человѣческія стремленія пріурочить къ тѣмъ или другимъ родовымъ интересамъ, изъ своихъ же собственныхъ нѣдръ онъ постоянно выпускаетъ силы, враждебныя всякому регулированію, разрывающія всѣ рамки и плотины и вырывающіяся широкимъ, всеувлекающимъ потокомъ. Путемъ ли наслѣдственнаго подбора или другихъ обстоятельствъ, но только весьма нерѣдко въ родѣ являются младшіе члены съ такими сильными страстями и деспотическими наклонностями, что никакой строгій, даже до звѣрства, гнетъ не въ силахъ подавить ихъ. Люди съ такими наклонностями съ самаго дѣтства выбиваются изъ рукъ старшихъ; насиліе не покоряетъ ихъ, а только ожесточаетъ, и когда они выростаютъ, вся жизнь ихъ идетъ наперекоръ условіямъ, правиламъ и интересамъ родового быта.

Но не надо думать, чтобы такія явленія были слѣдствіемъ непремѣнно сознательнаго протеста, принадлежащаго извѣстному времени и возбужденнаго какимъ-нибудь исключительнымъ ученіемъ. Напротивъ того, чаще всего они являются совершенно безсознательными, чисто стихійными взрывами силъ, не вмѣщающихся въ узкія рамки родовыхъ условій. Нерѣдко люди съ такими наклонностями въ душѣ своей вполнѣ искренно исповѣдуютъ родовой кодексъ, уважаютъ всѣ добродѣтели, предписываемыя имъ, но въ то же время не могутъ совладать сами съ собой, уложить свою жизнь въ рамки этихъ добродѣтелей и вѣчно мучаются внѣшнимъ и внутреннимъ разладомъ, пока не дѣлаются жертвами этого разлада, или молодая энергія не угасаетъ въ нихъ сама собой съ лѣтами. Явленіе такихъ типовъ мы можемъ прослѣдить на почвѣ родового быта черезъ всѣ вѣка, начиная съ самыхъ отдаленныхъ: Каинъ, убившій брата Авеля и бѣжавшій изъ родительскаго дома; Алкивіадъ, не ужившійся съ своими гражданами и измѣнившій отечеству; какой-нибудь герой 30-хъ годовъ въ байро-

новскомъ духѣ; отчаянный донъ-жуанъ, бретеръ и игрокъ, или купеческій сынокъ XVII и XVIII вѣковъ, промотавшій отцовское добро и сдѣлавшійся разбойникомъ,—все это явленія вполнѣ аналогическія, хотя и принадлежатъ къ совершенно различнымъ эпохамъ и обществамъ.

Въ то же время было-бы совершенно ошибочно полагать, чтобы эти взрывы силъ сами по себѣ были способны поколебать родовой бытъ въ его основаніяхъ. Для этого необходима еще одна сила, которой въ подобныхъ явленіяхъ никогда не было. Дѣло въ томъ, что родовой бытъ, какъ ни тѣсны его рамки, какъ ни искажаетъ онъ существованіе людей, во всякомъ случаѣ представляетъ въ себѣ выработанную вѣками положительную систему жизни, глубоко укоренившуюся во всѣхъ отношеніяхъ людей. Уничтожить эту систему возможно только системой же болѣе широкой, удобной для жизни, но въ то же время на столько же положительной, какъ и прежняя. Сила новыхъ идей, одерживающихъ съ каждымъ десятилѣтіемъ новыя и новыя побѣды надъ дряхлой и разлагающейся сферой родового быта, въ томъ именно заключается, что эти новыя идеи во всей своей сложности представляются положительной системой, въ которой укладываются всѣ страсти и силы людей, какъ онѣ укладывались въ старой системѣ, только болѣе естественно и свободно. Въ этомъ отношеніи различные обскуранты и охранители ветхой жизни глубоко и жалко ошибаются, видя въ новыхъ идеяхъ только рядъ отрицаній и антитезъ относительно старыхъ ученій. Они смѣшиваютъ безразлично сознательный протестъ противъ родового быта со стороны новыхъ идей съ безсознательными взрывами силъ, о которыхъ мы говоримъ. Взрывы были дѣйствительно безсильны произвести какое-либо движеніе, потому что они были всегда явленіями чисто отрицательными: вырываясь изъ оковъ стараго быта, сильныя натуры не предлагали ничего новаго, кромѣ жизни, полной безпорядочнаго разгула, безъ всякой системы, безъ всякой цѣли. Но такая жизнь совершенно противна человѣческой природѣ, противъ нея вооружается въ человѣкѣ все, начиная съ чувства самосохраненія. Вотъ почему сами протестующіе кончали часто тѣмъ, что возвращались къ тѣмъ же старымъ системамъ жизни, изъ которыхъ сами вышли, съ той только разницей, что избирали себѣ роль не притѣсненныхъ, что было не въ ихъ натурѣ, а притѣснителей, къ чему имъ весьма удобно бывало прилагать свои могучія силы.

Въ 30-е, 40-е и 50-е годы въ образованномъ меньшинствѣ нашего общества подобныя явленія совершались обыкновенно на почвѣ романтизма, который служилъ отличнымъ подспорьемъ для этого.—Не давая ничего положительнаго, романтизмъ въ то же время распоясывалъ человѣческую природу отъ всякихъ системъ, принциповъ и правилъ жизни. Единственный принципъ его заключался въ томъ, чтобы не имѣть никакихъ принциповъ и повиноваться только свободному влеченію собственныхъ страстей. Идеаломъ его былъ человѣкъ съ необузданными страстями, рушащими всякія преграды и пренебрегающими какими-бы то ни было условіями жизни. Романтизмъ любилъ героизмъ, но героизмъ не усидчиваго труда, не того неуклоннаго преслѣдованія своей цѣли, которое такъ высоко ставитъ англійскую расу, а героизмъ самозабвенія, которому непремѣнно нужно или разомъ достигнуть всего, или погибнуть. Романтизмъ прославлялъ любовь, но признавалъ ее только какъ необузданную горячку страсти, снимая съ человѣка всякія нравственныя обязанности и нисколько не думая о какихъ либо разумныхъ отношеніяхъ между мужчиной и женщиной внѣ порывовъ страсти. Однимъ словомъ, если мы возьмемъ романтизмъ во всей его сложности, то мы увидимъ ту самую теорію, въ видѣ которой люди 40-хъ годовъ представляютъ себѣ то, что они называютъ современнымъ нигилизмомъ и разными новыми ученіями. Это доказываетъ только, что люди эти до такой степени свыклись съ романтизмомъ своего времени, что никакъ представить себѣ не могутъ какого-либо болѣе разумнаго протеста противъ отжившихъ формъ и условій жизни, какъ въ видѣ того же романтизма ихъ времени, съ растрепанными волосами, разнузданными страстями и безцѣльнымъ отрицаніемъ. Они смотрятъ и не видятъ, слушаютъ и не слышатъ и, живя въ 1869 году, живутъ все еще въ какомъ-нибудь 39-мъ, или 49-мъ.

Въ тѣ годы дѣйствительно все, что было недовольно жизнью, искало спасенія въ романтизмѣ. Въ то время не въ рѣдкость было встрѣтить искателя приключеній, съ гордостью на челѣ и холоднымъ разочарованіемъ въ сердцѣ, отчаяннаго донъ-жуана, бретера, игрока, страстнаго любителя опасностей ради опасностей, стремящагося по этому случаю на погибельный Кавказъ и на пути туда не упускавшаго случая пройтись на счетъ клубнички. Въ женщинахъ, по ихъ положенію, романтизмъ не могъ доходить до такихъ крайностей; но и изъ нихъ лучшія натуры по своему страдали романтизмомъ: среди мертваго однообразнаго прозябанія Райскихъ, Марѳинекъ и Бѣловодовыхъ, подъ гнетомъ родовыхъ предразсудковъ, такія женщины ударялись обыкновенно въ сосредоточенную мечтательную жизнь, бѣжали общества людей и любили въ уединеніи предаваться созерцанію красотъ природы. Въ то же время онѣ постоянно мечтали о героѣ съ титаническими силами, который извлекъ бы ихъ изъ тины мелочей и дрязгъ и повлекъ бы куда нибудь на край свѣта, въ волшебные сады Армиды. Такова была Вѣра въ романѣ Гончарова.

VII.

Вѣра представляетъ радикальную противоположность съ Марѳинькой. Въ послѣдней мы видимъ, при полномъ отсутствіи всякой самостоятельности мысли, нѣсколько положительныхъ качествъ, вродѣ усидчивости въ трудѣ, жажды разливать вокругъ себя добро,—качествъ, драгоцѣнныхъ съ точки зрѣнія какого хотите міросозерцанія. Въ Вѣрѣ ничего этого нѣтъ: она ведетъ въ сущности такую же праздную, чисто растительную жизнь, какъ и Бѣловодова или Райскій. Зато въ ней преобладаютъ свойства чисто отрицательныя: отчужденіе отъ окружающей жизни, стремленіе жить по своему и безсознательная, инстинктивная жажда чего-то новаго.

Кому отдать пальму преимущества въ этомъ случаѣ, Марѳинькѣ или Вѣрѣ,—опредѣлить это трудно, такъ-какъ мы имѣемъ дѣло съ бережковской поч-

вой, на которой въ концѣ-концовъ все приводится къ одному знаменателю. Мы замѣтили уже, что всѣ положительныя качества Мареиньки, какъ они ни хороши сами по себѣ, должны неминуемо заглохнуть на этой почвѣ и не принести никакого плода. Сейчасъ мы увидимъ, что и отрицательныя качества Вѣры приведутся къ тому же результату.

Уже съ самаго дѣтства въ Вѣрѣ начала проявляться натура, не укладывающаяся въ тѣсныя рамки бабушкинаго міросозерцанія.

—„Скажите мнѣ, бабушка, что такое Вѣра?—вдругъ спросилъ Райскій, подсѣвши къ Татьянѣ Марковнѣ.

— Ты самъ видишь: что тебѣ еще говорить? Что видишь, то и есть.

— Да я ничего не вижу.

— И никто не видитъ: свой умъ, видишь-ли, и своя воля выше всего. И бабушка не смѣй спросить ни о чемъ: «нѣтъ да нѣтъ ничего, не знаю да не вѣдаю». На рукахъ у меня родилась, вѣкъ со мною, а я не знаю, что у ней на умѣ, что она любитъ, что нѣтъ. Если и больна, такъ не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лекарства не спроситъ, а только пуще молчитъ. Не лѣнива, а ничего не дѣлаетъ: ни спитъ, ни по канвѣ, ни музыки не любитъ, ни въ гости не ѣздитъ—такъ, уродилась такая! Я не видала, чтобъ она засмѣялась отъ души или заплакала бы. Если и разсмѣется, такъ прячетъ улыбку, точно грѣхъ какой. А чуть что не по ней, разстроена чѣмъ нибудь, сейчасъ въ свою башню спрячется и переживетъ тамъ и горе и радость—одна. Вотъ что!"

Подъ башней бабушка разумѣетъ старый запущенный домъ, который Вѣра полюбила съ дѣтства, и когда выросла, то поселилась тамъ въ одиночествѣ, совершенно въ романтическомъ духѣ.

Въ то же время было-бы совершенно ошибочно думать, чтобы такое поведеніе было слѣдствіемъ какого-либо сознательнаго недовольства жизнью и окружающими людьми, чтобъ оно могло ясно формулироваться въ умѣ Вѣры и она могла-бы опредѣленно сказать, чѣмъ она недовольна и чего хочетъ. Міросозерцаніе Вѣры ничѣмъ въ сущности не отличалось отъ міросозерцанія бабушки и Мареиньки; что-бы тамъ ни проповѣдывалъ ей отецъ Василій, сколько ни выставляла Вѣра возлѣ часовни, она не могла еще додуматься даже и до того, что вся жизнь и ея, и окружающихъ людей представляетъ вопіющее противорѣчіе хоть-бы съ тѣми идеалами, представителемъ которыхъ служилъ образъ, передъ которымъ она молилась. Но въ ней былъ такой избытокъ силъ, какой никакъ не вмѣщался въ узкія рамки бережковской жизни; онъ требовалъ большаго простора, чѣмъ представляла эта жизнь, и тѣмъ сильнѣе было броженіе этихъ силъ, чѣмъ пустѣе и безсодержательнѣе была жизнь Вѣры, жизнь обѣдовъ и ужиновъ, ужиновъ и обѣдовъ, да праздныхъ скитаній по аллеямъ бережковскаго сада.

При всѣхъ этихъ обстоятельствахъ очевидно стоило подвернуться случаю, чтобы избытокъ силъ вырвался наружу и тоиая жительница заброшеннаго дома совершила подвигъ въ романтическомъ духѣ, идущій въ разрѣзъ со всѣми понятіями окружавшей ея среды. Стоило явиться обольстительному герою вродѣ Печорина, дерзкому, отважному, съ глубокой ночью на душѣ, гордымъ челомъ и лицомъ, омраченнымъ скукой разочарованія,—и вотъ вамъ на сценѣ борьба долга съ увлекающей страстью, ходьба по краямъ пропасти, безконечные споры о томъ, что́ такое страсть, и слѣдуетъ или не слѣдуетъ отдаваться ей беззавѣтно, и въ заключеніе бесѣдка на днѣ обрыва, звѣздная ночь, луна и т. д.

Вотъ вамъ ключъ отъ всего романа, какъ онъ по всей вѣроятности задуманъ былъ первоначально. Мы можемъ судить навѣрное по всему ходу романа и по духу времени, въ которомъ онъ задуманъ, что передъ нами непремѣнно долженъ былъ предстать романтическій герой вродѣ Печорина съ жаждой приключеній, опасностей и донъ-жуанскими наклонности. У насъ есть и кой-какой фактическій намекъ въ самомъ романѣ на наше предположеніе. Гончаровъ такъ неискусно передѣлалъ свой типъ на современный ладъ, что въ новой костюмировкѣ, въ которую онъ одѣлъ своего героя, оставилъ небольшую прорѣху, и сквозь нее мы видимъ клочокъ шкуры совсѣмъ иного волка. Вспомнимъ, что въ заключеніе Гончаровъ посылаетъ Марка Волохова въ юнкера на Кавказъ.—Какъ вамъ это нравится! Въ этомъ открываются передъ вами два факта: во-первыхъ, вы видите, какъ отлично понимаетъ Гончаровъ духъ нашего времени, заставляя своего юнаго героя искать забвенія на гибельномъ Кавказѣ, а во-вторыхъ, какъ преслѣдуетъ Гончарова сѣдая старина, какъ тѣсно сжился онъ съ ней и какъ ему трудно отдѣлаться отъ тѣхъ представленій, которыя онъ вынесъ изъ своей молодости.

Одного исхода на гибельный Кавказъ совершенно достаточно, чтобы передъ вами предсталъ во всей своей красотѣ тотъ типъ, изъ котораго Гончаровъ передѣлалъ своего Волохова, а вмѣстѣ съ нимъ и самый романъ открылся-бы передъ нами въ своей первобытной чистотѣ.

И вы видите, что романъ задуманъ былъ не дурно. Онъ представлялъ-бы одну изъ тѣхъ старыхъ исторій, которыя зачастую совершались на бережковской почвѣ, и въ этой исторіи ненадежность и дрянность бережковской почвы представлялись-бы передъ вами во всей своей ужасающей ясности.

VIII.

Гончаровъ задумалъ такой сюжетъ, который требуетъ самой тщательной выдержки: малѣйшая фальшь, малѣйшій невѣрный штрихъ, и вся трагедія превращается въ смѣшную, глупую и пошлую комедію.

Для того, чтобы трагическая иллюзія была соблюдена, героиня должна быть до конца выдержана въ видѣ женщины съ натурой сильной, глубокой, вполнѣ неудовлетворенной окружающей ее средой и неуклонно стремящейся вырваться изъ нея. Въ то же время герой долженъ быть представленъ человѣкомъ съ немногимъ сильнымъ характеромъ и недюжиннымъ умомъ, возвышался бы надъ всѣмъ его окружавшимъ и дѣйствительно казался человѣкомъ, способнымъ увлечь такую женщину. При этихъ условіяхъ вы представьте только себѣ, сколько было бы поистинѣ трагичнаго въ судьбѣ женщины, которая всѣ свои стремленія, мечты, упованія—всю свою жизнь положила въ руки человѣка, въ надеждѣ, что онъ вырветъ ее изъ среды соннаго прозябанія и что съ нимъ рука въ руку она пойдетъ по пути иной жизни, полной разумнаго счастія—и вдругъ что же: ея герой оказывается пошлымъ ловеласомъ, а себя она видитъ

жалкой игрушкой въ его рукахъ, которая годилась только до тѣхъ поръ, пока ея не разбили, а потомъ взяли и бросили. Во всей этой исторіи трагиченъ такимъ образомъ не самый фактъ паденія, потери невинности, а ужаснѣе всего то, что здѣсь рушатся всѣ стремленія, надежды, иллюзіи, женщина становится лицомъ къ лицу съ пошлой, грязной и ужасной дѣйствительностью—женщина униженная, оскорбленная, обращенная въ ничтожный предметъ минутной прихоти.

Но мы не можемъ судить, съумѣлъ ли бы Гончаровъ изобразить передъ нами такого героя, въ котораго могла бы влюбиться Вѣра? О сопоставленіи Вѣры съ Марковъ Волоховымъ мы еще поговоримъ въ своемъ мѣстѣ. Что же касается до того, въ какомъ видѣ представилъ онъ Вѣру до и послѣ ея паденія, здѣсь мы видимъ полную неспособность Гончарова выдерживать характеръ и развивать передъ нами драматическіе сюжеты.

Уже до паденія Вѣры съ обрыва вы видите передъ собою въ типѣ Вѣры удивительную амальгаму, составленную изъ двухъ, совершенно разнородныхъ личностей.

Съ одной стороны Гончаровъ старается представить намъ въ лицѣ Вѣры, какъ мы сказали уже, титаническую натуру, неукладывающуюся въ рамки родового быта и рвущуюся изъ нихъ:

«Да, это не простодушный ребенокъ, какъ Марѳинька, и не «барышня»—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ своего романа.—Ей тѣсно и неловко въ этой устарѣвшей, искусственной формѣ, въ которую такъ долго отливался складъ ума, нравы, образованіе и все воспитаніе дѣвушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы, и отдѣлалась отъ нея (?), добиваясь правды. Въ ней много именно того, чего Райскій напрасно искалъ въ Наташѣ, въ Бѣловодовой: спирта, задатковъ самобытности, своеобразія ума, характера—всѣхъ тѣхъ силъ, изъ которыхъ должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина, и дать направленіе своей и чуждой жизни, многимъ жизнямъ, освѣтить и согрѣть цѣлый кругъ, куда поставитъ ее судьба. Она пока младенецъ, но съ титанической силой: надо только, чтобы сила эта правильно развилась и разумно направилась.»

Но въ различныхъ подробностяхъ романа тотъ же Гончаровъ представилъ передъ нами въ лицѣ Вѣры вовсе не какую либо титаническую натуру, а именно «барышню», и самую дрянненькую, которая, пользуясь своими обольстительными взорами, играла, какъ кошка съ мышкой, съ людьми, ухаживавшими за ней. Читая романъ, вы не разъ возмущаетесь до глубины души ея отношеніями къ Райскому, котораго она съ тактомъ записной кокетки метала съ небесъ въ преисподнюю и обратно. Не лучше были и отношенія ея къ Тушину, котораго она держала въ почтительномъ отдаленіи, при всемъ томъ очень ловко пользовалась имъ, какъ послушнымъ рабомъ, по мѣрѣ надобности, и не скрывала разсчетецъ очень невысокаго полета—что Тушина не мѣшаетъ приберечь на случай кораблекрушенія, какъ человѣка, на котораго можно будетъ тогда положиться. У шаловливыхъ барышень, окруженныхъ поклонниками, всегда бываетъ спрятанъ про запасъ солидный мужчина не безъ состоянія, котораго онѣ обыкновенно держатъ позади всѣхъ и за котораго впослѣдствіи выходятъ замужъ въ случаѣ крайности.

Такова же Вѣра и въ минуту паденія. Это вовсе не титаническая женщина, увлекшаяся всепоглощающей страстью, въ которой сосредоточились всѣ ея надежды, мечты, вся ея вѣра въ будущее, а опять-таки нервная, чувственная, слабая барышня, которая вовсе не хотѣла падать, но колебалась-колебалась—да и не утерпѣла, чтобъ ее кошка не съѣла. Послѣ же окончательной сцены въ обрывѣ Гончаровъ превращаетъ Вѣру буквально въ Марѳиньку. Горе Вѣры сосредоточивается главнымъ образомъ не на томъ, что разрушились всѣ ея иллюзіи, что все ея существованіе возвращено вспять, и сама она оскорблена и унижена, какъ женщина, какъ человѣкъ. Вѣра обращаетъ все вниманіе на то, что вотъ она совершила ужасный грѣхъ, потеряла невинность—и какъ теперь ей глядѣть на всѣхъ, что скажетъ бабушка, что подумаетъ Райскій, Тушинъ, какъ будутъ глядѣть на нее люди, что заговорятъ въ городѣ... А затѣмъ, стоило бабушкѣ утѣшить Вѣру признаніемъ вродѣ того: что ты, душенька, не плачь, я и сама когда-то сдѣлала то же самое, и Вѣра разнѣжилась, утерла глазки и утѣшилась.

Если хотите, то и съ сильной натурой, какъ бы ни была она титанична, должна была послѣ такой катастрофы произойти реакція. Но у сильныхъ, страстныхъ натуръ реакція выражается въ такихъ же крайностяхъ, какъ и увлеченіе. Вѣра, какъ сильная натура, должна была бы кончить непремѣнно крайностью: скорѣе всего, согласно міросозерцанію ея, можно было ожидать, что она, подобно «Лизѣ» въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» Тургенева, кинется въ суровый, мрачный мистицизмъ, въ которомъ будетъ стараться заглушить горе разрушенной надежды; или, подобно «Татьянѣ» Пушкина, могла впасть въ мертвую апатію отчаянья, въ которой ей рѣшительно было бы все равно, что бы съ ней ни дѣлали. Наконецъ, она могла бы впасть въ необузданный чувственный развратъ, какъ Ирина въ «Дымѣ». Писатели, глубоко прочувствовавшіе бережковскую сферу жизни, обыкновенно кончали однимъ изъ этихъ выходовъ: такъ и Пушкинъ кончилъ съ Татьяной, разочаровавшейся въ Онѣгинѣ; такъ и Тургеневъ покончилъ со многими героинями своихъ повѣстей. Но Гончаровъ изобрѣлъ для своей героини выходъ особеннаго сорта, крайне искусственный, фальшивый и совершенно немыслимый на бережковской почвѣ. Подобно тому, какъ въ предыдущемъ романѣ, заставивши Ольгу разочароваться въ Обломовѣ, Гончаровъ утѣшилъ ее, пославши ей Штольца, котораго самъ создалъ искусственно силой своей досужей фантазіи, такъ же онъ поступилъ и съ Вѣрой. Тушинъ является передъ нами экстрактомъ всевозможныхъ добродѣтелей, на подобіе тѣхъ Правдиныхъ и Стародумовъ, которыхъ изобрѣталъ нѣкогда Фонвизинъ, или еще лучше—вродѣ гоголевскаго Констанжогло, вившаго изъ песку веревки и наживавшаго такимъ образомъ милліоны. Въ Тушинѣ вы находите все, что вамъ только угодно: и мускульную силу, и желѣзную волю, и змѣиную мудрость, и голубиную кротость, и наивную простоту, и энергическую дѣятельность, и умѣнье

жить, неживать, да и добро наживать—да такое добро, что и самъ онъ катался, какъ сыръ въ маслѣ, и мужички его благоденствовали, избы у нихъ были все новыя, крыши на избахъ деревянныя, сами они были богатые, энергическіе, барину, господину своему, не только оброковъ не платили, но еще съ него брали за трудъ свое жалованье—ну, и конечно благословляли свою участь и души въ баринѣ не чаяли; однимъ словомъ, въ имѣньѣ Тушина чуть что не текли молочныя рѣки въ кисельныхъ берегахъ.

Но какъ же это при всѣхъ условіяхъ жизни бережковской сферы могъ создаться такой алмазъ? Какъ онъ сохранился, когда жизнь въ самыхъ основаніяхъ своихъ вела къ растлѣнію? Гончарову самому приходилъ въ голову этотъ вопросъ при созданіи типа Тушина, но онъ отдѣлался отъ него безъ затрудненія:

«Стройно дѣйствующій механизмъ природныхъ силъ - говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ -- могъ бы разстроиться и отъ внѣшнихъ притоковъ разныхъ противныхъ вѣтровъ, толчковъ, остановокъ, и отъ дурной избалованной воли. У него этого разлада не было. Внутренней силой онъ отражалъ внѣшніе враждебные притоки, а свой огонь горѣлъ у него неугасимо, и онъ не уклоняется, не измѣняетъ гармоніи ума съ сердцемъ и съ волей, и совершаетъ свой путь безупречно, все стоитъ на той же высотѣ умственнаго и нравственнаго развитія, на которую пожалуй поставили его природа и судьба, слѣдовательно стоитъ почти безсознательно.»

Вотъ что значитъ свобода творческой фантазіи: чуть приходится намъ объяснить какую нибудь, нами же придуманную несообразность, мы сейчасъ можемъ сослаться на какой нибудь внутренній огонь—и дѣло въ шляпѣ. Намъ съ Гончаровымъ ничего не стоитъ нарисовать человѣка, окруженнаго бурнымъ пламенемъ, а внизу подписать: «сей человѣкъ и въ огнѣ не горитъ, ибо изъ его могучей натуры непрестанно выступаетъ внутренняя влага, дѣлающая его неуязвимымъ въ вещи огненной».

Но предположимъ, что Тушинъ возможенъ на бережковской почвѣ: въ семьѣ вѣдь не безъ урода, и какихъ только чудесъ не бываетъ въ природѣ. Какъ же это Вѣра, если она была чистая, глубокая, титаническая натура, раньше-то не открыла этого бриллианта въ кучѣ навоза? Мы можемъ допустить, чтобы сильная натура увлеклась даже не титаническимъ донъ-жуаномъ, а первымъ встрѣченнымъ гусаромъ и убѣжала съ нимъ, еслибы вокругъ нея ничего не было. Но возлѣ Вѣры былъ герой, который могъ удовлетворить самымъ пылкимъ мечтаніямъ дѣвушки. Какого же еще рожна было нужно Вѣрѣ, выражаясь бабушкинымъ языкомъ? И здѣсь опять-таки мы видимъ все неумѣніе Гончарова выдерживать характеры и иллюзію романа. Заставь Гончаровъ Вѣру встрѣтиться съ Тушинымъ послѣ паденія ея съ обрыва, и все было бы въ порядкѣ: тэма романа вполнѣ соотвѣтствовала духу беллетристической школы 40-хъ годовъ, на почвѣ которой было написано множество романовъ и повѣстей съ подобной тэмой, что вотъ, молъ, сильная женская натура, не находя вокругъ себя никакого выхода, наткнулась на подводную скалу, впала въ разочарованіе, отчаянье, но встрѣча съ новымъ героемъ такого рода, о которомъ она и прежде всегда мечтала, утѣшила ее и возродила къ новой разумной жизни, въ которой она нашла наконецъ исходъ изъ своего прежняго безцѣльнаго прозябанія. Правда, и въ такомъ видѣ романъ представлялъ бы въ себѣ много ложнаго, потому что новый герой былъ бы все-таки герой, сочиненный авторомъ, а не дѣйствительный, и новая жизнь, въ которую Вѣра вступила бы, все-таки оставалась бы фиктивной жизнью, невозможной на той почвѣ, на которой Гончаровъ ее представилъ, но была бы по крайней мѣрѣ хоть какая нибудь выдержка въ романѣ.

Но Гончаровъ поступилъ иначе: взявши такой драматическій сюжетъ, который требуетъ непремѣнно глубокаго и свободнаго анализа, онъ посмотрѣлъ на этотъ сюжетъ съ точки зрѣнія узенькой морали; онъ не увидѣлъ въ этомъ сюжетѣ ничего, кромѣ грѣховнаго факта паденія Вѣры, и изъ такого богатаго сюжета, въ которомъ могла бы развернуться старая жизнь передъ нами во всей своей трагичности, онъ вздумалъ сдѣлать нравоучительную повѣсть о томъ, какъ дурно поступаютъ дѣвушки, которыя не слушаются старшихъ и даютъ свободу своей волѣ и своимъ страстямъ. Съузивши такимъ образомъ богатый сюжетъ, Гончаровъ по необходимости долженъ былъ поставить Вѣру между двумя началами, злымъ и добрымъ, причемъ злое начало—въ видѣ обольстителя—тянетъ Вѣру на дно обрыва, а доброе—въ видѣ Тушина—тянетъ вверхъ на путь спасенія и благонравія. Мы знаемъ, что Гончаровъ не въ первый разъ поступаетъ такимъ образомъ. Вѣдь и Ольга въ «Обломовѣ» точно также рисуется передъ нами между двумя противоположными началами: началомъ лѣности въ видѣ Обломова и дѣятельности въ видѣ Штольца. Гончаровъ до сихъ поръ сохраняетъ архаическую манеру живописцевъ до-рафаелевскаго періода— располагать фигуры въ картинѣ симметрически по прямымъ линіямъ. Но такъ какъ противоположныя нравственныя начала олицетворяются въ романѣ въ видѣ различныхъ любовниковъ, между которыми Вѣра колеблется, не зная, кому отдать преимущество, то этимъ самымъ она и обращается изъ титанической натуры въ слабую, нерѣшительную, нервную барышню, которая, какъ мы выше замѣтили, кокетничаетъ и съ однимъ, и съ другимъ, и съ третьимъ, а Тушина оцѣниваетъ тогда только, когда дѣло приходится плохо.

IX.

Вообще нужно замѣтить, что во всѣхъ рѣшительныхъ драматическихъ моментахъ романа вы не оберетесь нелѣпостей самаго перваго сорта. У Гончарова замѣчается какая-то фатальная способность изображать трагическій пафосъ своихъ героевъ въ такомъ комическомъ видѣ, что вмѣсто трагическаго чувства въ васъ возбуждается истерическій хохотъ. Посмотрите вы, напримѣръ, на этого Райскаго, который въ ревнивомъ бѣшенствѣ, какъ сумасшедшій, мечется по саду во время сцены въ бесѣдкѣ, вопитъ въ ярости: «мщенія, мщенія!»... натыкаясь на Полину Карповну, вертитъ ее, какъ куклу, произнося несвязныя рѣчи, и бросаетъ потомъ въ траву съ крикомъ: «прочь, гадина!» Посмотрите вы на этого учителя Козлова, который послѣ того, какъ жена ему измѣнила и уѣхала отъ него, все смотритъ на дорогу, ожидая ея возвра-

щенія, и каждаго мужика, ѣдущаго въ телѣгѣ, принимаетъ за возвращающуюся супругу. А что сдѣлалъ Гончаровъ съ бабушкой Татьяной Марковной, уму непостижимо. Онъ заставилъ ее послѣ паденія Вѣры нѣсколько дней пробродить по усадьбѣ въ трагическомъ пафосѣ, напоминающемъ сцену лунатизма лэди Макбетъ. Къ ужасу всѣхъ дворовыхъ она ходила, ходила, ходила по саду, по полямъ, ломая руки и приговаривая: «мой грѣхъ, мой грѣхъ!».. А за нею бѣгалъ Райскій съ кружкой молока, которую желалъ поднести ей, опасаясь, чтобъ она не умерла съ голоду.

Изъ-за чего же такъ распиналась бабушка и въ чемъ заключался ея грѣхъ? А въ томъ, вотъ видите, что разъ въ жизни своей, когда была еще молода, бабушка рѣшилась быть женщиной, а не куклой только въ рукахъ своихъ родныхъ. Ее насильно выдавали за графа, а она любила сосѣдняго помѣщика, Тита Никоновича. Графъ засталъ сцену свиданія Татьяны Марковны съ ея возлюбленнымъ ночью въ оранжереѣ — противники чуть не подрались, но Татьяна Марковна ихъ развела, и они дали другъ другу слово: графъ, что онъ этой исторіи не огласитъ, а Титъ Никоновичъ — что онъ на Татьянѣ Марковнѣ не женится. Такъ бабушка и осталась весь вѣкъ свой дѣвушкой. Мы не будемъ много распространяться о томъ, до какой степени лишена всякаго человѣческаго смысла эта драма стараго времени, въ которой все счастье женщины было разбито изъ-за родовыхъ предразсудковъ, изъ-за малодушной, жалкой боязни огласки того, чѣмъ люди должны были гордиться, и изъ-за сквѣшной рыцарской щепетильности, изъ-за которой два существа, любящія другъ друга, рѣшились на весь вѣкъ остаться чуждыми одинъ другому, потому что въ ихъ отношенія вмѣшался дрянной негодяй, взявшій съ нихъ совершенно безчеловѣчно, безцѣльно слово, что они никогда не сойдутся!.. И на эту драму своей юности, въ которой все, что было человѣческаго въ Татьянѣ Марковнѣ, ея любовь, самостоятельность въ выборѣ предмета чувства, права на счастье, — все это было попрано самымъ возмутительнымъ образомъ, — на подобную драму Татьяна Марковна смотрѣла, какъ на свой собственный грѣхъ, какъ на свое преступленіе, за которое, вотъ видите ли, провидѣніе наказало ее паденіемъ Вѣры! Вы подумайте только, есть ли здѣсь хоть одна капля здраваго человѣческаго смысла? Но курьезнѣе всего здѣсь не сама Татьяна Марковна, которой могло и въ голову не прійти ломать страшныя комедіи и которая смѣло можетъ заявить свой протестъ противъ разгулявшейся фантазіи Гончарова въ такомъ родѣ, что «батюшка, полъ, Иванъ Александровичъ, что ты за чучело изъ меня сдѣлалъ, за что ты меня сравнилъ: ужъ мнѣ-то на старости лѣтъ отнюдь не пристало разыгрывать французскія мелодрамы. Не ты ли самъ расхваливалъ меня во всѣхъ пяти частяхъ романа за то, что хоть я по французскимъ книгамъ и не училась, а во мнѣ много таится самороднаго здраваго смысла, такта, сдержанности, проницательности, знанія человѣческаго сердца и умѣнья вѣрно оцѣнивать людскія отношенія, — и вдругъ ты заставилъ меня, какъ дуру шальную, шататься по полямъ, Богъ-вѣсть для чего, только людей тревожить, да Вѣру еще пуще разстраивать... Вѣдь я еще изъ ума не выжила и хорошо понимаю, что этимъ бѣды не сбудешь, а пуще только раздуешь ее; только слабые и тщедушные люди мечутся и руки ломаютъ при первомъ горѣ, а мнѣ приходится сейчасъ же поспокойнѣй за дѣло приниматься, замазать, заклеить, что можно: Вѣру какъ нибудь утѣшить, да скрутить ее поскорѣе за Тушина, — вотъ мое дѣло, а не не полямъ шляться безъ пути!..»

Курьезнѣе всего здѣсь самъ Гончаровъ, который, заставивши бабушку разыгрывать сцену лунатизма лэди Макбетъ, самъ умиляется передъ своей фантазіей и доходитъ до такого пафоса, что сравниваетъ Татьяну Марковну съ разными историческими героинями древнихъ и новыхъ вѣковъ:

— „Это не бабушка! съ замираніемъ сердца, глядя на нее, думалъ Райскій. Она казалась ему одной изъ тѣхъ женскихъ личностей, которыя внезапно изъ круга семьи выходили героинями въ великія минуты, когда падали вокругъ тяжкія удары судьбы и когда нужны были людямъ не грубыя силы мышцъ, не гордость крѣпкихъ умовъ, а силы души — нести великую скорбь, страдать, терпѣть и не падать! У него въ головѣ мелькнулъ рядъ женскихъ историческихъ тѣней въ параллель бабушкѣ: видѣлась ему въ ней древняя еврейка, іерусалимская госпожа, родоначальница племени — съ улыбкой гордаго презрѣнія услышавшая пронесшееся въ народѣ глухое пророчество и угрозу: «снимется вѣнецъ съ народа, не узнавшаго посѣщенія», «придутъ римляне и возьмутъ!» Не повѣрила она, считая неизбѣлимымъ вѣнецъ, возложенный рукою Іеговы на голову Израиля. Но когда насталъ часъ — «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда палъ неотразимый ударъ, встала, сняла свой вѣнецъ, и молча, безъ ропота, безъ малодушныхъ слезъ, которыми омывали іерусалимскія стѣны мужья, разбивая о камни головы, только съ окаменѣлымъ ужасомъ покорности въ глазахъ пошла среди павшаго царства, въ великомъ безобразіи одеждъ, — туда, куда вела ее рука Іеговы, и такъ-же — какъ эта бабушка теперь — несла святыню страданія на лицѣ, будто гордясь и силой удара, постигшаго ее, и своей силой нести его... Пришла въ голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марѳа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая въ тюрьмѣ свое величіе и могущество скорби по погибшей славѣ Новгорода, покорная тѣломъ, но не духомъ, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы, и какъ будто распорядительницей судебъ вольнаго города.»

Гончаровъ упустилъ изъ виду здѣсь то, что въ судьбѣ женщинъ, которыми онъ любуется, было трагично именно то, что онъ гонитъ, преслѣдуетъ и отрицаетъ въ женщинахъ, и чего въ Татьянѣ Марковнѣ не было и тѣни: трагично было въ нихъ увлеченіе интересами общественнаго свойства, увлеченіе той или другой великой идеей своего вѣка, для которой онѣ жертвовали не только какими нибудь узкими, эгоистическими страстишками — но жизнью. И такія великія, святыя личности, записанныя исторіей, идутъ у Гончарова въ сравненіе съ Татьяной Марковной Бережковой, весь трагическій пафосъ которой основывался на чувственномъ задорѣ внучки и мелочныхъ, пошлыхъ разсчетцахъ заплесневѣлаго уголка!

X.

Изъ всего этого разбора, я полагаю, ясно можно видѣть, что и безъ передѣлки на современный ладъ романъ заключалъ бы въ себѣ не малое количество не-

выдержанности, искусственности, ложнаго, надутаго пафоса и нелѣпостей всякаго рода. Теперь мы посмотримъ, что сдѣлалъ Гончаровъ изъ своего романа, передѣлавши одинъ изъ главныхъ типовъ въ духѣ современныхъ нравовъ.

Вмѣсто неизвѣстнаго намъ героя въ романтическомъ духѣ съ донъ-жуанскими наклонностями, передъ нами парадируетъ въ романѣ представитель молодого поколѣнія, архи-нигилистъ Маркъ Волоховъ.

Создалъ Гончаровъ своего Волохова очень просто и незатѣйливо. Твердя въ своемъ романѣ все о правдѣ да о правдѣ, то о новой, то о старой,—Гончаровъ опустилъ изъ виду въ то-же время одну правду, которая для него, какъ создателя романа, была всего нужнѣй: правду художественную. Ему и въ голову не пришло, что для созданія типа молодого поколѣнія необходимо было ему хоть немного посвятить времени живому наблюденію этого поколѣнія, хоть сколько-нибудь всмотрѣться въ жизнь, нравы, стремленія молодежи—всмотрѣться собственными своими глазами, не довольствуясь одними ходячими слухами, готовыми стереотипными представленіями, которыя сложились въ пошлой, праздной и легкомысленной толпѣ. Гончарову показалось, что этихъ слуховъ и стереотипныхъ представленій совершенно достаточно, чтобы создать представителя цѣлаго поколѣнія и произнести судъ надъ нимъ. Онъ такъ и сдѣлалъ. Всѣмъ извѣстно, какіе готовые приговоры о молодежи ходятъ по разнымъ гнилымъ трущобамъ нашего общества. Молодежь, говорятъ, впавши въ матеріализмъ, отвергаетъ духовную сторону человѣка, отрицаетъ всякіе нравственные принципы, смѣется надъ бракомъ и допускаетъ только одни чувственныя наслажденія. На основаніи этихъ ходячихъ слуховъ Гончаровъ изобразилъ въ лицѣ Волохова человѣка, твердящаго, что жизнь людская больше ничего, какъ безцѣльное круженіе пылинокъ въ воздухѣ, и склоняющаго Вѣру на птичью любовь до завтрашняго утра, чтобы упиться взаимными наслажденіями и разойтись въ разныя стороны. Молодежь, говорятъ, отвергаетъ все изящное, всякія удобства жизни—все созданное цивилизаціей: и вотъ Гончаровъ заставилъ своего Волохова жить въ телѣгѣ, ходить растрепаннымъ и грязнымъ, какъ, по мнѣнію Гончарова, подобаетъ архинигилисту. Молодежь, говорятъ, отвергаетъ собственность—и Гончаровъ заставилъ Волохова лазить по заборамъ въ чужіе сады за яблоками, брать деньги безъ отдачи; надѣвши платье Райскаго, безъ церемоніи объявить ему, что платье ему пришлось въ пору и онъ его не отдастъ. Молодежь, говорятъ, отвергаетъ всякій общественный порядокъ—и Гончаровъ заставилъ Волохова стрѣлять въ людей, травить собаками женщинъ, лазить въ окна, брать приступомъ трактиры и проч.

Создавши такимъ образомъ типъ не индуктивно и не изъ наблюденій надъ жизнью, а чисто дедуктивно изъ ряда ходячихъ пошлыхъ сентенцій, Гончаровъ представилъ передъ нами не человѣка, а какое-то квазимодо, лишенное всякой реальности. Всѣ прочіе беллетристы одной школы съ Гончаровымъ, и Тургеневъ, и Писемскій, и Достоевскій, и даже Ключниковъ, въ какомъ только ложномъ свѣтѣ они ни пытались представить молодое поколѣніе, во всякомъ случаѣ имѣютъ то преимущество передъ Гончаровымъ, что они въ молодомъ поколѣніи видѣли хоть и заблуждающихся людей, но во всякомъ случаѣ *людей*. Они не отвергали въ нихъ такихъ качествъ, которыя дѣлаютъ честь всякому человѣку, какихъ-бы онъ ни былъ убѣжденій: трудолюбія, честности, способности любить глубоко и прочно, наконецъ самопожертвованія; они осмѣивали и отрицали только принципы, убѣжденія и стремленія молодого поколѣнія, считая ихъ съ своей точки зрѣнія ложными. Достоевскій въ лицѣ Раскольникова изобразилъ злодѣя, совершившаго убійство на основаніи ложнаго принципа, но и къ этому злодѣю онъ отнесся не безъ гуманности: онъ не бросилъ въ него камнемъ желчнаго, злобнаго порицанія; онъ не рѣшился съ тономъ высокомѣрнаго безчеловѣчія ткнуть пальцемъ убійцу и объявить, чтобъ мы не ждали въ этомъ злодѣѣ и тѣни чего-либо человѣческаго: напротивъ того, и въ убійцѣ онъ съумѣлъ уловить біеніе человѣческаго сердца.

Гончаровъ же въ своемъ изображеніи Марка Волохова унизился до Стебницкаго и Авенаріуса. Въ лицѣ Марка Волохова онъ изобразилъ экстрактъ всевозможныхъ гадостей: наглости, чувственности, распущенности, низости, злости и проч., отвергнувши въ немъ всякую возможность чего-либо человѣческаго. «Волкомъ,—говоритъ онъ о Маркѣ Волоховѣ,—звала она тебя въ глаза шутя, теперь не шутя, заочно къ хищничеству волка—въ паняти у нея останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, *и не останется никакого слѣда—о человѣкѣ!..*»

Вы подумайте только, сколько нужно накопить желчнаго, слѣпого озлобленія, гордаго самомнѣнія и безчеловѣчнаго высокомѣрія, чтобы отвергнуть все человѣческое въ людяхъ, которые дерзнули не раздѣлять нашихъ убѣжденій! Неужели Гончаровъ думаетъ, что онъ раскрылъ въ истинномъ свѣтѣ заблужденія своихъ противниковъ, представивши ихъ въ видѣ отвлеченнаго экстракта разныхъ мерзостей, неестественнаго, мелодраматическаго злодѣя, исчадія ада, извергающаго изъ себя одно зло и зло?.. И это сдѣлалъ Гончаровъ, художникъ реальной школы, завѣщанной Гоголемъ... Это называется стремиться къ художественной правдѣ, брать образы для своихъ произведеній изъ жизни, глубоко изучая ихъ въ самой дѣйствительности! Но курьезнѣе всего, что, изобразивши въ лицѣ Марка Волохова безобразное чудовище, лишенное всякаго человѣческаго смысла, Гончаровъ заставилъ въ то-же время къ этому чудовищу влюбиться лучшую свою героиню, которую онъ на каждой страницѣ превозноситъ за глубину природы, проницательность ума и тонкость женскаго инстинкта, умѣющаго многое вѣрно угадывать прежде, чѣмъ что-либо дойдетъ до яснаго сознанія!

Какъ знатоку по части теоріи влюбчивости, чѣмъ такъ славятся всѣ беллетристы 40-хъ годовъ, Гончарову, я полагаю, должно быть очень хорошо извѣстно, что какъ-бы ни была нелѣпа иногда влюбчивость, во всякомъ случаѣ она должна имѣть свою иллюзію, на которой она необходимо основывается.—Женщина подъ вліяніемъ страсти можетъ до нѣкотораго времени ошибаться въ мужчинѣ, объяснять въ хорошую сто-

рону всѣ физическіе, нравственные и умственные недостатки своего возлюбленнаго; — но какъ бы ни была сильна такая иллюзія, она все-таки имѣетъ границы, далѣе которыхъ она невозможна.—Посмотримъ-же теперь, чѣмъ могла увлечься до самозабвенія Вѣра въ Волоховѣ, если только она была женщина дѣйствительно съ умомъ, проницательностью и т. д. До своего знакомства съ нимъ она могла заинтересоваться имъ, какъ человѣкомъ необыкновеннымъ, выходящимъ совершенно изъ круга обыденной жизни. Слыша о разныхъ его курьезахъ, могла думать, что они логически вытекали изъ какого-то новаго ученія, о которомъ она не имѣла никакого понятія; изъ неосновательности поступковъ Марка она могла заключать о неосновательности ученія, которымъ Маркъ увлекся, самая-же личность Марка оставалась для нея еще неприкосновенной; она не могла еще ни увлекаться ею, ни питать къ ней презрѣнія или отвращенія. Ей во всякомъ случаѣ любопытно было увидѣть, что это за птица этотъ Волоховъ. Наконецъ она его увидѣла: онъ сидѣлъ на заборѣ и рвалъ яблоки изъ ея сада, и немедленно-же объяснилъ ей, что онъ дѣлаетъ это на основаніи принциповъ Прудона, провозгласившаго, что собственность есть кража.—Затѣмъ онъ началъ съ ней видѣться и давать ей тѣ новыя книги, изъ которыхъ онъ извлекалъ свои принципы, въ томъ числѣ и Прудона.

Мнѣ кажется, что этого одного совершенно достаточно, чтобы въ Вѣрѣ не возникло никакой иллюзіи относительно Марка. Если только Вѣра обладала хоть каплей ума, то, прочтя трактатъ Прудона о собственности, она съ удивленіемъ увидѣла бы, что между принципами Прудона и воровaньемъ яблоковъ изъ чужого сада нѣтъ ни малѣйшей логической нити, никакой точки соприкосновенія. Заблужденіе Марка могло возбудить въ Вѣрѣ участіе и желаніе воротить его на вѣрную дорогу только въ такомъ случаѣ, еслибы это было логическое заблужденіе глубокаго ума, который бы сказывался въ самыхъ крайностяхъ заблужденія. Вотъ еслибы на основаніи Прудона Маркъ Волоховъ объявилъ Вѣрѣ, что онъ никогда въ жизни не позволитъ себѣ съѣсть ни одного куска, который бы онъ не заработалъ честнымъ, производительнымъ трудомъ, а относительно яблоковъ замѣтилъ бы, что они должны принадлежать не Вѣрѣ, не ему, Марку Волохову, а тому садовнику, который прилагалъ свой трудъ къ произращенію ихъ, въ такомъ случаѣ Вѣра, прочитавшая Прудона, увидѣла бы, что слова Марка прямо истекаютъ изъ прудоновскихъ принциповъ, могла бы съ своей точки зрѣнія видѣть въ словахъ Марка заблужденіе, но видѣла бы заблужденіе умнаго человѣка, способнаго понимать и усваивать, что̀ читаетъ. Такое логическое заблужденіе могло возбудить въ Вѣрѣ участіе, желаніе спорить съ Маркомъ и по возможности обратить его на свою сторону.—Но въ примѣненіи принциповъ Прудона къ воровaнію яблоковъ изъ чужого сада Вѣра ничего не могла увидѣть, кромѣ безумнаго и дикаго скачка идіота. Ну, а гдѣ женщина видитъ идіота, тамъ плохая надежда на какую-либо иллюзію и влюбчивость.

(Гончаровъ, замѣтимъ въ скобкахъ, или не читалъ Прудона и имѣетъ о немъ очень смутное понятіе, или если прочелъ, то понялъ его принципы à la Волоховъ... Но послѣднее предположеніе мы отстраняемъ; оно было бы слишкомъ ужъ оскорбительно для Гончарова.)

Такимъ образомъ, пытаясь изобразить въ лицѣ Вѣры сильную, недюжинную личность и вдругъ заставивши увлечься эту недюжинную личность какой-то смѣшной и жалкой пародіей на человѣка, олицетворенной карикатурой, Гончаровъ окончательно разрушилъ всякую иллюзію романа.—Неужели Гончаровъ ослѣпъ до такой степени, что не замѣчаетъ, какъ этимъ самымъ глубоко унижаетъ онъ свою героиню? Чтобы допустить возможность паденія Вѣры съ обрыва при такихъ условіяхъ, нужно предположить что-нибудь изъ двухъ: или Вѣра сама была настолько слаба разумомъ, что очевидный, ничѣмъ не прикрытый идіотизмъ Марка Волохова остался ею незамѣченнымъ до конца романа; или же это была въ такой степени распущенная натура, что, замѣчая идіотизмъ Волохова съ самаго начала знакомства съ нимъ, споря постоянно и ни въ чемъ не сходясь, она все-таки рѣшилась пасть въ его объятья,—это ужъ чортъ знаетъ что такое!

XI.

Но этимъ всѣмъ еще не исчерпывается дикая несообразность романа.—До сихъ поръ мы ограничивались только разборомъ произведенія Гончарова съ точки зрѣнія чисто эстетической: мы старались показать, какъ слабъ романъ со стороны выдержанности сюжета, характеровъ, иллюзіи. Если же мы теперь коснемся философіи Гончарова, то забредемъ въ такой дѣвственно-непроходимый лѣсъ, изъ котораго выбраться нѣтъ уже никакой человѣческой возможности.

Вся философія, которую Гончаровъ разсыпаетъ въ разныхъ мѣстахъ своего романа, заключается въ томъ, что онъ постоянно защищаетъ старую правду передъ новой. Что же разумѣетъ Гончаровъ подъ новой правдой и подъ старой?

Изъ типа Марка Волохова мы могли бы извлечь то заключеніе, что подъ новой правдой Гончаровъ разумѣетъ ученіе, отрицающее всякіе нравственные принципы и проповѣдующее жизнь необузданнаго сенсуализма.—Такое понятіе о новой правдѣ Гончаровъ ясно формулируетъ передъ нами въ слѣдующихъ словахъ:

«Оставивъ себѣ одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вмѣсто отринутаго стараго, никакого другого, лучшаго идеала жизни.»

Но сейчасъ-же вслѣдъ за этой фразой Гончаровъ говоритъ совершенно другое:

«Вглядѣвшись и вслушавшись во все, что̀ проповѣдь юнаго апостола выдавала за новыя правды, новое благо, новыя откровенія, она съ удивленіемъ увидѣла, что *все то, что̀ было въ его проповѣди добраго и вѣрнаго,—не ново, что оно взято изъ того-же источника, откуда черпали и не новые люди*, что сѣмена всѣхъ этихъ новыхъ идей, новой цивилизаціи; которую онъ проповѣдывалъ такъ хвастливо и таинственно, заключены въ старомъ ученіи.»

Какъ-же это такъ? Значитъ, новое ученіе проповѣдуетъ не одну животную жизнь, а въ немъ есть доброе и вѣрное, и Гончаровъ не только не имѣетъ

права понять, что это доброе и вѣрное не ново, а онъ долженъ радоваться этому, такъ какъ, по его мнѣнію, это доброе и вѣрное взято изъ того-же стараго ученія, защитникомъ котораго онъ является передъ нами. Но если только Гончаровъ признаетъ, что въ новомъ ученіи есть хоть одна черта добрая, вѣрная, тогда что же значитъ вышеупомянутая фраза, будто новое ученіе, оставивъ себѣ одну животную жизнь, не создало вмѣсто отринутаго стараго, никакого другого, лучшаго идеала жизни. Что же такое значитъ типъ Волохова, въ которомъ Гончаровъ не представилъ передъ нами ни одной изъ тѣхъ вѣрныхъ, добрыхъ чертъ, которыя онъ самъ же находитъ въ новомъ ученіи?— Гдѣ же тутъ справедливость? Вѣдь это значитъ безъ застѣнчиво клеветать и самому тутъ же выставлять свою клевету на позорище.

Но можетъ-быть это происходитъ просто изъ невѣдѣнія, изъ-за того, что Гончаровъ имѣетъ самыя смутныя и неопредѣленныя понятія о новой правдѣ,—понятія, сталкивающіяся, противорѣчащія другъ другу, составленныя изъ пошлыхъ ходячихъ мнѣній, самаго разнороднаго свойства. Но что касается старой правды, то тутъ конечно мы увидимъ въ Гончаровѣ знатока, человѣка, глубоко вникшаго въ «духъ и глубину книги стараго ученія», а не обольстившагося одной буквой добродѣтелей этого ученія, подобно молодежи, и «не требующаго исполненія этой буквы съ такой злобой и нетерпимостью, противъ которой остерегало старое ученіе».

Подъ старымъ ученіемъ Гончаровъ разумѣетъ ученіе христіанское, а подъ книгой этого ученія—конечно Евангеліе. Посмотримъ же, какъ глубоко проникнутъ Гончаровъ принципами этого ученія.

Намъ извѣстно, что христіанскіе принципы совѣтуютъ съ величайшей осторожностью произносить свой судъ надъ тѣмъ нибудь: не судите, да не будете осуждены, говорятъ они, и они готовы простить разбойника, если видятъ въ немъ хоть одну черту добрую и вѣрную. И неужели же Гончаровъ думаетъ, что онъ поступаетъ по христіанскимъ принципамъ, произнося самый строгій и безчеловѣчный судъ надъ людьми, о которыхъ онъ не имѣетъ никакого понятія? Съ желчью и негодованіемъ древняго фарисея онъ отвергаетъ все человѣческое въ цѣломъ рядѣ людей, на основаніи однихъ уличныхъ слуховъ, и этотъ же самый Гончаровъ сердобольно толкуетъ о томъ, что старые принципы предостерегали противъ злобы и нетерпимости. Это ли называется проникать въ духъ и глубину стараго ученія? Но этого еще мало: намъ извѣстно, что христіанскіе принципы возстали на тѣхъ іудеевъ, которые хотѣли забросать камнями завѣдуемую блудницу.—Гончаровъ желчью и грязью бросаетъ въ женщинъ о которыхъ слыхалъ по всей вѣроятности только грязныя сплетни праздной толпы.

«Онъ (т. е. Маркъ Волоховъ),—говоритъ Гончаровъ,—сравнивалъ ее (т. е. Вѣру) съ другими, особенно «новыми» женщинами, изъ которыхъ многія такъ любострастно поддавались жизни по новому ученію, какъ Марина своимъ любовникъ,—и болѣе падшими созданіями, нежели всѣ другія падшія женщины, уступавшія воображенію, темпераменту и даже золоту, а тѣ будто-бы принципу, котораго часто не понимали, въ которомъ не убѣдились, повѣривъ на слово, слѣдовательно, уступали чему нибудь другому, чему простодушно уступала, напримѣръ, жена Козлова, только лицемѣрно или глупо прикрыли это принципомъ.»

Но знаетъ-ли Гончаровъ этихъ женщинъ, видѣлъ ли ихъ? Что если онъ клеймитъ публично названіемъ жалкихъ, пошлыхъ, болѣе падшихъ созданій, чѣмъ всѣ другія,—небольшую толпу бѣдныхъ дѣвушекъ, которымъ нечѣмъ жить, нечѣмъ питаться, которыя въ наукѣ видятъ единственное средство существовать какъ нибудь? Не поступаетъ ли онъ во сто разъ хуже тѣхъ іудеевъ, о которыхъ мы выше упоминали? Во что обращаетъ онъ принципы, которые берется защищать? Ужъ это одно заставляетъ насъ думать, что подъ старой правдой Гончаровъ разумѣетъ такіе принципы, которые не имѣютъ въ сущности ничего общаго съ книгой, на которую онъ лицемѣрно указываетъ, и напрасно онъ прикрываетъ свои истинные принципы принципами евангельскими,— онъ этимъ только оскорбляетъ послѣдніе.

А что нужно понимать подъ старой правдой Гончарова и каковы истинные принципы его, это открывается намъ само собою изъ всего содержанія романа. По мнѣнію Гончарова, старая жизнь тѣмъ и отличается, что она основана на старой правдѣ, что въ ней вмѣстѣ съ старымъ злымъ таится и старое добро, и что изъ-за живого, прочнаго, вѣрнаго, заключающагося въ старой жизни, можно простить ей смѣшныя, вредныя уродливости, весь отжившій соръ.

Но мы видѣли изъ картины, представленной самимъ Гончаровымъ, какова эта старая жизнь. Мы видѣли, что передъ нами были не одни только смѣшныя уродливости: въ самой сущности, въ самыхъ основаніяхъ своихъ эта жизнь не имѣетъ ничего общаго ни съ какими-либо новыми ученіями, ни съ тѣми христіанскими принципами, за которые Гончаровъ ратуетъ. Это жизнь, основанная на такихъ же принципахъ узкаго эгоизма, уничтоженія личности и порабощенія, на какихъ была основана ветхая жизнь древняго міра. Христіанство возстало противъ этихъ принциповъ съ той же силой, съ какой въ настоящее время вооружается и цивилизація, и совершенно напрасно Гончаровъ колетъ глаза современной цивилизаціей за то, что въ основу свою она положила многія истины, которыя были открыты 2,000 лѣтъ тому назадъ; послѣ этого Гончарову еще съ бо́льшимъ презрѣніемъ придется отнестись къ математикѣ, которая пользуется аксіомами, извѣстными человѣчеству не 2,000 лѣтъ, а болѣе. Стыдно въ этомъ случаѣ только тѣмъ людямъ, которые, живя въ 1869 году, не доросли еще до истинъ не только современныхъ, но и существовавшихъ уже во времена Августа, и все еще исповѣдуютъ принципы, сгноившіе древній міръ. А мы имѣемъ право думать, что Гончаровъ подъ видомъ старой правды защищаетъ именно эти ветхіе принципы. Иначе не могъ же бы онъ такъ превозносить жизнь, которую онъ самъ же изображаетъ лишенной всякой прочности, иначе не сталъ бы Гончаровъ съ желчной нетерпимостью и озлобленіемъ, совершенно въ духѣ древняго іудейства, отвергать все человѣческое въ людяхъ, ратующихъ противъ всякихъ узкихъ, эгоистическихъ принциповъ. Откуда же нако-

нецъ выходятъ всѣ эти пресловутыя ходячія мнѣнія о молодомъ поколѣніи, которыя поддерживаетъ и развиваетъ Гончаровъ въ своемъ романѣ, какъ не изъ той же почвы узкихъ, эгоистическихъ принциповъ? Вы подумайте только, какое бы мнѣніе могли составить люди вродѣ Татьяны Марковны, Райскаго, Тычкова и пр. о дѣйствительно новомъ человѣкѣ, явившемся въ ихъ среду, новомъ въ томъ смыслѣ, что онъ всю свою жизнь осуществлялъ бы свои новые принципы.—Это былъ бы конечно честный труженикъ, упорнымъ, усидчивымъ трудомъ зарабатывающій себѣ пропитаніе, человѣкъ, который жаждалъ бы распространять вокругъ себя истину и посильное добро, жилъ бы просто, не любя излишней роскоши, его занимали бы исключительно общіе интересы, касающіеся улучшенія массы его соотечественниковъ, и онъ былъ бы совершенно чуждъ узкихъ, эгоистическихъ принциповъ. Надъ такимъ человѣкомъ конечно смѣялись бы въ бережковской средѣ, какъ надъ мечтателемъ, не умѣющимъ жить и устраивать свои дѣлишки, но его терпѣли бы до поры до времени, можетъ-быть старались бы даже покровительствовать ему, какъ несчастненькому! Но стоило бы только оказать ему малѣйшее вліяніе на кого-либо изъ бережковской среды,—и будь онъ чище алмаза, нравственнѣй самой нравственности,—на него не замедлили-бы посмотрѣть, какъ на исчадіе ада, какъ на чудовище безнравственности. Вы подумайте только, что произошло бы въ домѣ Бережковыхъ, еслибы только человѣку этому удалось убѣдить Вѣру, что жизнь ея безцѣльна, пошла, лишена всякой правды, что всякое нравственное ученіе, какое хотите, старое или новое, требуетъ, чтобы человѣкъ въ потѣ лица своего зарабатывалъ себѣ хлѣбъ, чтобы онъ угождалъ не одному своему чреву, а жилъ на пользу ближнихъ, и Вѣра пошла бы за этимъ человѣкомъ на самую чистую, самую высокую жизнь честнаго труда... Развѣ родные Вѣры поняли-бы всю высокость подвига ея и все благотворное вліяніе на нее новаго человѣка? Для чего этотъ человѣкъ увлекъ за собой дѣвушку?—подумали бы они:—о, конечно, для того, чтобы растлить ее и бросить въ омутъ разврата... Эти люди, сами растлѣнные до мозга костей, никакъ не могли бы понять, чтобы у мужчины, если онъ не представляется имъ въ видѣ выгодной партіи, могутъ быть какіе-нибудь иные, высшіе принципы по отношенію къ женщинѣ, кромѣ однихъ клубничныхъ. Какую бы потомъ высокую, чистую жизнь ни вела Вѣра въ новой сферѣ своего существованія, во всякомъ случаѣ на нее смотрѣли бы эти люди, какъ на женщину погибшую, падшую, и въ жизни ея грезился бы ихъ развращеннымъ воображеніямъ одинъ голый развратъ.—Они оплакивали бы паденіе Вѣры уже потому, что она, вмѣсто того, чтобы быть праздникомъ украшеніемъ салона Тушина, идоломъ, поставленнымъ на треножникъ и окруженнымъ благоговѣніемъ со стороны пламеннаго обожателя, была бы принуждена своими трудами зарабатывать черствый кусокъ хлѣба и божественная красота, сіяющая статуя—учила бы ребятишекъ, шила бы манишки или, что хуже всего, бабничала бы. Вѣра Бережкова бабничала бы... Какой позоръ всему роду Бережковыхъ!.. Сколько бы изъ-за этого одного туровъ вокругъ усадьбы могла сдѣлать бабушка, ломая руки и видя во всемъ этомъ наказаніе за свой собственный грѣхъ!.. И всему виною былъ бы безчеловѣчный, черствый злодѣй, развратитель. Да что конечно можно было бы и ожидать отъ наглаго циника, бездомнаго нищаго? Развѣ такіе люди могутъ цѣнить красоту, окружать ее поклоненіемъ, беречь и холить? Развѣ они понимаютъ какіе-нибудь высокіе принципы, изящныя чувства? Развѣ они имѣютъ понятіе о настоящей любви? Еслибы человѣкъ этотъ дѣйствительно любилъ Вѣру, онъ не увлекъ бы ее въ жизнь нищеты и низкаго труда, не заставилъ бы ее чахнуть надъ работой; онъ позаботился бы составить поскорѣй карьеру, занять выгодное мѣсто и тогда только явился бы и положилъ у ногъ ея прочное счастье. А онъ поступилъ совершенно, какъ черствый эгоистъ, развратникъ, который смутилъ дѣвушку, заботясь только о себѣ, о томъ, какъ бы удовлетворить поскорѣй своей низкой страсти, не налагая на себя высокой нравственной обязанности—даровать счастье любимой женщинѣ. Впрочемъ, что-жъ, таковы и всѣ они, новые люди, таково и ученіе ихъ,—чистый матеріализмъ, отрицаніе всего высокаго, изящнаго, всякихъ нравственныхъ принциповъ. Поди-ка, у него 20 такихъ Вѣръ, совращенныхъ съ истиннаго пути, и можетъ быть Вѣрочка, увлеченная пагубнымъ ученіемъ, Богъ вѣсть какъ низко пала... и т. д.

Вотъ откуда и какъ слагаются всевозможныя басни о матеріализмѣ, цинизмѣ, развратѣ и безнравственности новыхъ ученій и новыхъ людей. А Гончаровъ подхватываетъ эти басни и выдаетъ ихъ намъ за продуктъ своего творчества... Поборникомъ какихъ же принциповъ является здѣсь передъ нами Гончаровъ—неужели христіанскихъ?

Но этого мало, что романъ Гончарова поддерживаетъ старые, вымирающіе принципы нашей жизни. Онъ заключаетъ въ себѣ иной вредъ, несравненно большій и которому не можетъ быть оправданія съ какой хотите точки зрѣнія. Дѣло въ томъ, что, искажая новыя ученія, представляя ихъ въ самомъ безнравственномъ видѣ, но все-таки въ видѣ ученій новыхъ, Гончаровъ этимъ самымъ съ гораздо большей силой пропагандируетъ безнравственныя идеи, которыя старается опровергать, чѣмъ это дѣлалъ бы какой-либо человѣкъ, выдумавшій подобное ученіе и вздумавшій его защищать.

Гончаровъ самъ выражаетъ въ думахъ Райскаго, собиравшагося писать романъ, опасенія по этому поводу:

«Ну, какъ я напишу драму Вѣры, да не съумѣю обставить пропастями ея паденіе (думалъ онъ), а русскія дѣвы примутъ ошибку за образецъ, да какъ козы—одна за другой—пойдутъ скакать съ обрывовъ!.. А обрывовъ много въ русской землѣ! Что скажутъ папеньки и маменьки?»

Но Гончаровъ повидимому слишкомъ легкомысленно относится къ этому факту. Пусть онъ не забудетъ, что въ разныхъ заплесневѣлыхъ, отдаленныхъ уголкахъ нашего отечества не мало есть отроковъ и дѣвъ съ кипучими, свѣжими силами, жаждущими новой жизни, молодой, широкой; стороной долетала до нихъ вѣсть, что существуютъ гдѣ-то какія-то

новыя идеи, какіе-то новые люди. Они любопытствуютъ конечно знать, что сей сонъ значитъ. Но когда, когда еще дойдетъ до нихъ хоть одна книжка, въ которой новыя, живыя идеи представлялись бы въ истинномъ, неискаженномъ свѣтѣ, а романъ Гончарова до нихъ дойдетъ скорѣе, и они накинутся на него, потому что онъ — новый романъ извѣстнаго русскаго писателя, и въ этомъ новомъ романѣ описываются новые люди съ ихъ новыми ученіями. Начнутъ отроки и дѣвы читать новый романъ и поучаться. Бабушкинскими принципами ихъ конечно не заманишь, не увлечешь, имъ и безъ того отъ нихъ живется солоно и тошно, но новые люди съ новыми ученіями ихъ зайнутъ. Уважая по старымъ преданіямъ художественный авторитетъ Гончарова, они конечно подумаютъ, что новые люди и новые ученія изображены въ романѣ совершенно вѣрно, какъ они существуютъ въ дѣйствительности. И можетъ-быть не одинъ юноша, неимѣющій ни малѣйшаго понятія о настоящихъ новыхъ идеяхъ, приметъ за нихъ фразы Марка Волохова, которыя найдетъ въ романѣ, увлечется ими и захочетъ попробовать сдѣлаться Волоховымъ въ дѣйствительности. Оно во всѣхъ отношеніяхъ покажется ему занятнымъ среди глухой скуки захолустья: вотъ-вотъ произойдетъ маленькій шумъ, онъ сдѣлается героемъ околотка, начнетъ ходить растрепанный и грязный, красть яблоки, въ кого-нибудь выстрѣлитъ на воздухъ.

Но занятнѣе всего покажется юношѣ бесѣдка, луна и ноль, проведенная въ объятіяхъ Вѣры. А за Вѣрой конечно дѣло не станетъ; найдутся и барышни, которымъ тоже покажется интереснѣе быть Вѣрами, чѣмъ Марфиньками.

Вотъ такимъ-то путемъ распложаются по разнымъ закоулкамъ нашего отечества безобразія всякаго рода, настоящими пропагандистами которыхъ являются обыкновенно то какой-нибудь обросшій мохомъ романистъ, повсюду видящій одну клубничку, то какой-нибудь фельетонистъ либеральной или нелиберальной газеты. Производится подобная пропаганда и не-литературнымъ путемъ, въ видѣ нелѣпыхъ сплетенъ и басенъ, ходящихъ по всѣмъ перекресткамъ, западаетъ она въ уши нетронутыхъ птенцовъ иногда изъ самыхъ грязныхъ, зловонныхъ устъ, а потомъ вся бѣда сваливается на растлѣвающее вліяніе новыхъ ученій. Можетъ-быть въ настоящую минуту гдѣ-нибудь и совершается драма въ духѣ «Обрыва», наивѣянная чтеніемъ романа Гончарова,—и не мало на подобную нелѣпую драму будетъ растрачено попусту молодыхъ, свѣжихъ силъ, немало поведетъ она за собой разрушенныхъ иллюзій, горя и слезъ—мы можемъ впередъ поздравить съ этимъ Гончарова.

ЧЕГО НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ РЕАЛЬНОМУ ПОЭТУ.

«Гдѣ лучше?», романъ Ѳ. Рѣшетникова. Спб. 1869 г.—«Сочиненія Ѳ. Рѣшетникова», 2 т. Повѣсти, очерки разсказы, сцены. Спб. 1870 г.

I.

Что составляетъ основной принципъ, внутреннее содержаніе жизни народныхъ массъ? Какъ объяснить мертвое безмолвіе этой жизни? Неужели оно служитъ признакомъ того, что жизнь милліоновъ тружениковъ не представляетъ ничего иного, кромѣ безсознательнаго прозябанія безропотныхъ, безсловесныхъ вьючныхъ животныхъ? Или быть можетъ въ этой жизни есть своя опредѣленная, постоянная тяга, свой крикъ, раздающійся, но недолетающій до нашихъ ушей, свои интересы, хотя-бы и подавленные, лишенные полнаго удовлетворенія? Вопросы эти издавна занимали насъ, но если хоть сколько-нибудь подвинулось ихъ развитіе, то для столь рѣдко встрѣчаемыхъ единицъ, что можно считать ихъ до сихъ поръ нерѣшенными для огромной массы образованнаго общества.

Было время, когда рѣшались они очень просто. Одна часть нашей интеллигенціи думала, что народъ есть нѣчто вродѣ кивота для хранилища различныхъ возвышенныхъ чувствъ. Предполагалось, что каждый отдѣльный мужикъ есть существо совершенно безсмысленное, звѣроподобное и дѣлать съ нимъ можно, что вздумается, но тѣмъ не менѣе въ цѣлой массѣ эти звѣроподобныя существа питаютъ различныя возвышенныя чувства.—Чувства эти до поры до времени хранятся въ глубинѣ сердецъ; вѣдь не расточать же ихъ ежедневно и ежечасно; этимъ и объяснялось нѣмое молчаніе народа. Въ народѣ все цѣло, крыто, говорили слезливые патріоты 30-хъ годовъ; но наступаютъ великія минуты, и тогда подымаются въ немъ во всей своей мощи возвышенныя чувства его при зычныхъ крикахъ и колокольномъ звонѣ, какъ въ операхъ Глинки.

Другая же часть нашей интеллигенціи не только не признавала въ массахъ народа никакихъ возвышенныхъ чувствъ, но сомнѣвалась даже, чтобы и вообще могло что-либо чувствовать все это мужичье, и не одно только мужичье, а большинство человѣческаго рода. Чувствовать, страдать, питать разные высокіе помыслы, все это казалось удѣломъ только весьма немногихъ избранныхъ натуръ, возвышающихся надъ міромъ. Одни эти избранныя натуры создавали прогрессъ, и для нихъ онъ только и существовалъ. Все же прочее человѣчество, труженики всевозможныхъ профессій и ремеслъ, представлялись безразлично подлой чернью, жалкой посредственностью, мелкими насѣкомыми, удѣлъ которыхъ вѣчно копаться въ грязи ради снисканія какихъ-нибудь зернышекъ. Всей этой мрази конечно не суждено никогда понять, какія чувства волнуютъ каждую избранную натуру; напротивъ того, изъ мелкихъ разсчетовъ, зависти и стыда передъ своимъ ничтожествомъ мразь готова ежечасно подвергать избранную натуру всевозможнымъ непріят-

ностямъ. Зато и избранной натурѣ дозволялось, если она чувствовала свою силу, дѣлать, что̀ угодно, съ мелкими насѣкомыми, въ порывахъ своихъ превыспренних полетовъ и въ разгулѣ титаническихъ страстей, не считать стоющей гроша жизнь этихъ клоповъ и давить при случаѣ ихъ хоть тысячами.

Но вотъ наступили 40-е года; мы начали учиться нѣмецкой философіи и разнымъ другимъ наукамъ, начали рефлектировать, анализировать, добиваться начала всѣхъ началъ, вопрошать о судьбѣ, значеніи, цѣли существованія, какъ нашего личнаго, такъ и нашего отечества.

Тогда одна половина нашей интеллигенціи видоизмѣнилась, если не вся, то въ нѣкоторой своей части: образовалось славянофильство, которое, на основаніи теоріи Гегеля, начало напирать на то, что народъ есть кивотъ не просто однихъ только возвышенныхъ чувствъ, но особенной исторической идеи, которую онъ представляетъ собою и развиваетъ. Казалось-бы, что такой взглядъ долженъ заключать въ себѣ нѣчто непохвальное: если мы допустимъ, что народъ движется не возвышенными только чувствами, а какой-то исторической идеей, которую онъ отстаиваетъ, то слѣдуетъ намъ вмѣстѣ съ тѣмъ признать, что въ иныхъ случаяхъ, когда что-либо противорѣчитъ этой идеѣ, народъ можетъ быть весьма строптивымъ, а такое признаніе можетъ завести насъ Богъ-вѣсть въ какія дебри. Но славянофилы ловко съумѣли обойти эти дебри: они предположили, что историческая идея, которую развиваетъ народъ, и заключается именно въ его возвышенныхъ чувствахъ.—Вы посмотрите напримѣръ на петровскую эпоху, указывали они: народная масса воспротивилась реформамъ Петра и осталась при своихъ старыхъ нравахъ и обычаяхъ, но какъ воспротивилась: тихо, кротко, съ терпѣніемъ, оставаясь вѣрной завѣтамъ своихъ возвышенныхъ чувствъ; въ этомъ-то почтительномъ сопротивленіи, кроткомъ, долготерпѣливомъ смиреніи и заключается тайна нашей цивилизаціи, отличающая насъ отъ гнилого, распущеннаго, буйнаго Запада.—Такимъ образомъ и капиталъ былъ пріобрѣтенъ, и невинность соблюдена, и осталось все попрежнему—тотъ-же колокольный звонъ, только съ призваниваніемъ гегелевской діалектики.

Но и въ другой части нашей интеллигенціи особенно новаго Гегель произвелъ не много. Единственно, что̀ внесли новаго сороковые годы по отношенію къ народу,—это развитіе чувства гуманности.—Гуманность проповѣдывалась въ то время на каждомъ перекресткѣ, на каждой страницѣ петербургскихъ журналовъ. Но какъ понимало общество эту гуманность? Синонимомъ гуманности сороковыхъ годовъ слѣдуетъ поставить не братство, а снисходительность. У избранной натуры начали отрицать право попирать и давить мелюзгу ради широты полета титанической фантазіи; додумались наконецъ, что хотя мелюзга и не имѣетъ возвышенныхъ стремленій, но во всякомъ случаѣ и ей доступны чувства боли, когда ее бьютъ. Додумались и до многихъ другихъ необыкновенныхъ открытій, напримѣръ до того, что мелюзга способна любить, да мало того, что просто любить, а, представьте себѣ, нѣжно таять, томиться и даже умирать въ порывахъ нѣжной страсти. Тогда мелюзга вошла въ моду. Время отъ времени въ беллетристикѣ начали появляться изображенія жизни мелюзги, причемъ особенное вниманіе обращалось на вышеупомянутыя открытія, и писатели распинались, чтобы показать публикѣ, какъ мелюзга страдая отъ разныхъ несправедливостей, въ то-же время питаетъ разныя нѣжныя чувствія. Но при этомъ все-таки смотрѣли на мелюзгу не иначе, какъ на мелюзгу, съ высоты величія, предполагая, что если предоставить ей кой-какія гарантіи отъ побоевъ, кой-какое удовлетвореніе самыхъ первыхъ потребностей,—этимъ мелюзга совершенно удовлетворится и конечно неспособна будетъ желать чего-нибудь высшаго. Высшія стремленія предполагались все-таки удѣломъ высшихъ натуръ и даже, когда изображали страданія мелюзги отъ разныхъ несправедливостей, то обыкновенно старались находить среди этой самой мелюзги своего рода избранныя натуры и обращали вниманіе, какъ страдаютъ именно онѣ. Предполагалось, что обыкновенная мелюзга не только что не страдаетъ отъ несправедливостей и сноситъ ихъ терпѣливо, но даже радуется ихъ существованію и упивается ими; необыкновенная-же выносить зла не въ состояніи, а кончаетъ непремѣнно тѣмъ, что или спивается, или попадаетъ въ острогъ. Такимъ образомъ составлялась особенная іерархія, на низшей ступени которой стояла мелюзга терпѣливая и вседовольная, въ серединѣ—сильныя натуры, ропчущія, спивающіяся или попадающія въ острогъ, наконецъ выше всѣхъ красивые, изящные титаны во фракахъ, съ задумчивымъ взоромъ и печатью генія на челѣ,—страдающіе, тонящіеся, изнывающіе.

Теперь, когда лежатъ передъ нами сочиненія Ѳ. Рѣшетникова, безъ смѣха невозможно дѣлается вспомнить, какъ встарину изображались у насъ въ новѣстяхъ изъ народнаго быта сильныя натуры, топящія въ водкѣ свое горе. Такой герой не бралъ обыкновенно сначала въ ротъ ни капельки. Но вотъ онъ разочаровывался въ своихъ сосѣдяхъ, родныхъ, въ самомъ себѣ. Подъ гнетомъ отчаянія и мрачной злобы, въ одинъ прекрасный или чаще всего ненастный вечеръ онъ приходилъ, ни слова не говоря, въ кабакъ и долго сидѣлъ тамъ въ печальномъ раздумьѣ, положивъ голову на руки, къ великому изумленію цѣловальника и посѣтителей; потомъ требовалъ неожиданно цѣлый штофъ водки, залпомъ выпивалъ его—и въ одно мгновеніе изъ трезваго человѣка превращался въ горькаго пьяницу. Послѣ того онъ почти уже не выходилъ изъ кабака, и черезъ нѣсколько времени авторъ разсказа встрѣчалъ его въ одномъ изъ заведеній обрюзгшаго, грязнаго, оборваннаго, пьющаго безъ конца, и съ истерическими рыданіями, жалобами на весь міръ онъ разсказывалъ автору исторію своей неудавшейся, загубленной средой жизни. Я полагаю, что мнѣ не нужно указывать на такія повѣсти, гдѣ читатели найдутъ подобные эпизоды; ихъ такъ много, что безъ сомнѣнія каждому приходилось читать нѣчто подобное.

Точно такъ-же глядѣли у насъ и на всевозможные скандалы въ жизни: покуситься на убійство, нанесеніе личнаго оскорбленія строптивому начальнику, сдѣлаться разбойникомъ, воромъ, измѣнить мужу или женѣ, убѣжать изъ дома и проч.—все это предполагалось удѣломъ однихъ только избранныхъ натуръ, и

думали при этомъ, что остроги наполнены особенными избранниками судьбы, титанами, стоящими выше всѣхъ головой.

Въ настоящее время, казалось-бы, намъ невозможно уже глядѣть на міръ съ такихъ романтическихъ точекъ зрѣнія. Мы имѣемъ позади себя цѣлую литературу, которая 10 лѣтъ уже проповѣдуетъ намъ міровоззрѣніе совершенно противоположное. Мы читаемъ трактаты политико-экономическіе, статистическіе, физіологическіе—и въ нихъ постоянно имѣемъ дѣло не съ однѣми титаническими натурами, а съ массами обыкновенныхъ людей и съ природой человѣческой вообще. Всѣ положительныя науки вмѣстѣ убѣждаютъ насъ, что умственный и нравственный прогрессъ зависятъ не столько отъ возвышенныхъ стремленій и страданій отдѣльныхъ титаническихъ личностей, сколько отъ матеріальнаго благосостоянія массъ мелюзги. Простые факты наблюденія въ то-же время убѣждаютъ насъ, что въ острогахъ сидятъ не однѣ титаническія натуры, а чаще всего люди весьма обыденные. И это весьма естественно: если преступленіе и можетъ быть объяснено иногда избыткомъ силъ, сдавленныхъ въ узкія рамки жизни, то часто оно происходитъ наоборотъ отъ недостатка силъ, причемъ человѣкъ, покушающійся на преступленіе, и могъ-бы найти иной, лучшій выходъ изъ запутанныхъ обстоятельствъ, но у него не хватаетъ ни знанія, чтобы сообразить этотъ выходъ, ни силъ, чтобы осуществить, и онъ въ своемъ преступленіи является не активнымъ борцемъ, а, напротивъ того, жалкой игрушкой въ рукахъ судьбы и людей. Статистика не даромъ сообщаетъ намъ, что количество преступленій зависитъ прямо отъ благосостоянія массы: въ мрачные годы нищеты и голода достаточно, чтобы отчаяніе и озлобленіе перешли за предѣлы терпѣнія, и самая дюжинная личность явится передъ вами трагическимъ героемъ.

Но на много-ли подвинули насъ науки, которыя мы нынѣ изучаемъ? Истые поклонники реализма, дѣйствительно-ли мы такіе реалисты, какими воображаемъ себя? Увы, если мы взглянемъ повнимательнѣе, да посравнимъ прежнее съ настоящимъ, мы увидимъ, что и до сихъ поръ во многихъ отношеніяхъ мы продовольствуемся тѣми-же заплесневѣлыми теоріями, какія унаслѣдовали отъ нашихъ дѣдовъ и отцовъ, и все остается въ томъ-же видѣ, какъ было 30, 40 лѣтъ тому назадъ. До сихъ поръ огромное число нашихъ соотечественниковъ основываетъ свое міросозерцаніе на тѣхъ-же возвышенныхъ чувствахъ народа, передъ которыми умилялись квасные патріоты 30-хъ годовъ, и употребляетъ эти чувства въ видѣ пугала для застращиванія всякаго, дерзающаго мыслить хоть сколько-нибудь самостоятельно. До сихъ поръ всецѣло сохранилось пресловутое исканіе почвы и самобытной цивилизаціи и увы!—не на одпѣхъ только сѣренькихъ страничкахъ убогенькой «Зари». А развѣ многіе и очень многіе не думаютъ до сихъ поръ, что только однимъ высшимъ натурамъ съ титаническими пошибами дано въ удѣлъ жаждать прогресса и питать разныя высшія стремленія, массы-же обыкновеннаго люда ни къ чему болѣе не способны, какъ пресмыкаться въ тинѣ животнаго прозябанія,—и если бы не титаны, то массамъ этимъ никогда и въ голову не пришло-бы хоть сколько-нибудь улучшить свою участь.

II.

Всѣ эти соображенія не слѣдуетъ намъ упускать изъ виду для того, чтобы передъ нами открылась лучшая сторона произведеній Ѳ. Рѣшетникова,— сторона, составляющая оригинальность его таланта и несомнѣнную заслугу его въ литературѣ. Есть много писателей, стоящихъ неизмѣримо выше Рѣшетникова по силѣ творчества, глубинѣ анализа, художественному мастерству и проч. Въ произведеніяхъ Рѣшетникова можно найти не мало существенныхъ недостатковъ, на которые мы въ своемъ мѣстѣ укажемъ; но я не знаю, много ли найдется у насъ писателей, которымъ до такой степени удалось бы отрѣшиться отъ всякой тѣни романтизма, какъ Рѣшетникову. Онъ вполнѣ понялъ, что жизнь народа есть жизнь не двухъ, трехъ титановъ, стоящихъ выше всѣхъ головой, а обыденныхъ смертныхъ, которыхъ міріады кишатъ повсюду, и реальный поэтъ, чтобы представить общій уровень жизни своего вѣка, долженъ обращать главное вниманіе на то, какъ живетъ, къ чему стремится именно эта пестрая, безразличная толпа, среди которой ничто особенно рѣзко и картинно не выдается, но общій итогъ трудовъ, интересовъ, радостей и страданій которой и есть именно итогъ жизни вѣка. Поэтому въ произведеніяхъ Рѣшетникова вы не найдете героевъ, обладающихъ умомъ, очаровывающимъ и ослѣпляющимъ всѣхъ окружающихъ, съ мрачной думой на челѣ, съ титаническими силами, которымъ бы все покорялось, въ томъ числѣ и женщины, выведенныя авторомъ на сцену; не найдете вы и героинь, описаніемъ красоты которыхъ можно было бы наполнить цѣлыя страницы, окруженныхъ поклонниками, но готовыхъ возложить вѣнецъ только на главу героя не отъ міра сего; не найдете обольстительныхъ свиданій въ почной тиши, трогательныхъ разлукъ вслѣдствіе взаимнаго разочарованія или же внезапно налетѣвшихъ сомнѣній въ возможности счастья на землѣ и т. п. Кто во всемъ этомъ исключительно видитъ поэзію, тому конечно произведенія Рѣшетникова покажутся крайне прозаичными. Помилуйте, въ его произведеніяхъ выводятся все кухарки да дворники, семинаристы да почтальоны, извозчики да бурлаки, мастеровые да фабричные. Пусть бы онъ и изъ этихъ людей выбралъ особенныя, избранныя натуры и показалъ бы намъ напримѣръ какого-нибудь генія, который могъ бы сдѣлаться вторымъ Ломоносовымъ, а судьба судила ему мести дворъ; пусть бы представилъ намъ, какъ бьется этотъ Прометей, прикованный къ скалѣ, и заключилъ бы какимъ-нибудь эффектнымъ концомъ вродѣ сумасшествія, пролитія крови, все бы ничего, а то его герои подъ рядъ люди самые обыденные, изъ обыденныхъ чернорабочихъ, которыхъ мы сотнями встрѣчаемъ ежедневно на улицѣ. Наконецъ, пусть бы онъ изображалъ и подобныхъ людей, но выставлялъ бы ихъ въ разныхъ комическихъ положеніяхъ вслѣдствіе ихъ крайняго невѣжества, несообразительности, глупости, пьянства; по крайней мѣрѣ мы смѣялись бы надъ уродами и дураками и хвалили автора за юморъ, а то и этого мы не находимъ у Рѣшетникова: серьез-

нымъ тономъ, какъ нѣчто весьма интересное, описываетъ онъ, какъ эти люди мѣняютъ мѣста, квартиры, голодаютъ, пьютъ водку, однимъ словомъ, чѣмъ ежедневно занимается чернь. А, мы понимаемъ: значитъ, онъ пишетъ въ духѣ фламандской школы — какъ въ старину писали картины голландскіе художники: нарисуютъ кабачокъ и нѣсколько толстыхъ голландцевъ съ трубочками, старушку, вдѣвающую нитку въ иголку,—и дѣло съ концомъ.

Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ: Рѣшетниковъ изображаетъ обыденную жизнь обыкновенныхъ людей не такъ, спроста, безъ всякой цѣли. Всѣ произведенія его, начиная съ «Подлиповцевъ» и кончая романомъ «Гдѣ лучше»,—проникнуты одной идеей. Рѣшетниковъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ старается представить основной принципъ, существенное стремленіе жизни народныхъ массъ. Этотъ принципъ, по его мнѣнію, заключается не въ чемъ другомъ, какъ во всеобщемъ стремленіи устроить свою жизнь во всѣхъ отношеніяхъ счастливо, пріобрѣсти для этого богачество и найти такое мѣсто на землѣ, гдѣ было бы жить лучше.

Какъ, и только-то? Неужели Рѣшетниковъ не имѣетъ ничего въ виду, какъ только убѣдить насъ въ такой простой истинѣ, которая конечно извѣстна каждому ребенку? Исписывать кипы бумаги и печатать томы для того, чтобы доказать, что рыба ищетъ, гдѣ глубже, а человѣкъ, гдѣ лучше,—это болѣе чѣмъ смѣшно,—это нахально, потому что авторъ считаетъ насъ конечно дураками, если думаетъ, что мы незнакомы съ такой прописной истиной! Что-жъ дѣлать: истины великія и всеобъемлющія всегда кажутся намъ просты до наивности и удобопонятны чуть что не для грудного ребенка, а между тѣмъ—постоянная судьба ихъ быть непонятыми и препебреженными умными людьми. Если бы мы только дѣйствительно понимали и держали въ умѣ ту простую истину, что главный, основной законъ всякой человѣческой жизни есть стремленіе къ лучшему, то развѣ помимо этого естественнаго стремленія мы могли бы допускать въ народѣ существованіе особенныхъ возвышенныхъ чувствъ, ради которыхъ онъ готовъ, будто бы, выдерживать всевозможныя тягости безъ надежды на улучшеніе своей участи, жертвовать благосостояніемъ и жизнью? А съ другой стороны, развѣ мы могли бы приходить въ унынie и отчаяніе, представляя себѣ, будто огромная масса людей лишена всякаго стремленія къ прогрессу, всякаго движенія въ своей жизни и обречена на мертвый застой? Всѣ такія мысли прямо обнаруживаютъ, что истина, которую мы готовы третировать, какъ азбучную, не только-что не усвоена нами, но совершенно чужда намъ, и Рѣшетникова рано еще обвинять въ томъ, будто свои произведенія онъ основалъ на всѣмъ извѣстныхъ и пошлыхъ трюизмахъ.

Правда, герои Рѣшетникова не имѣютъ и тѣни тѣхъ высшихъ умственныхъ и нравственныхъ потребностей, которыя мы усвоиваемъ въ нашемъ завидномъ развитіи; они ни о чемъ не думаютъ, какъ только о томъ, какъ бы пріобрѣсти кусокъ хлѣба хоть сколько-нибудь не черствый и не голодный,—однимъ словомъ, руководствуются въ своей жизни исключительно все такими побужденіями, какія мы съ нашего высока привыкли третировать, какъ низкія, мѣщанскія; но было бы совершенно ложно видѣть въ этихъ мѣщанскихъ побужденіяхъ признакъ застоя. Напротивъ того, мы видимъ въ нихъ непрестанное движеніе, полное такой желѣзной мощи и непреклонной энергіи, какимъ только можно объяснить себѣ, почему это движеніе не сломилось и не остановилось доселѣ, несмотря на то, что всѣ стремленія милліоновъ людей къ улучшенію своей участи ничего до сихъ поръ не встрѣчали, кромѣ неодолимыхъ преградъ,—и удивительный реалистъ Рѣшетниковъ въ томъ отношеніи, что, представляя намъ подвиги дѣйствующихъ лицъ своихъ разсказовъ по-истинѣ героическіе, онъ нисколько не ставитъ своихъ героевъ на пьедесталъ, не заставляетъ насъ смотрѣть на нихъ, какъ на необыкновенныя явленія жизни — напротивъ того: передъ нами являются, какъ мы сказали выше, люди самые обыденные, и въ нихъ Рѣшетниковъ, нисколько объ этомъ не помышляя, изображаетъ намъ поистинѣ титановъ, но титановъ совершенно особеннаго рода, не такихъ, которыхъ мы привыкли видѣть въ романтическихъ мечтаніяхъ нашихъ беллетристовъ. Вы посмотрите, напримѣръ, на Пелагею Прохоровну Горюнову, героиню романа «Гдѣ лучше». Что особеннаго повидимому находите вы въ ней? Ровно ничего рѣзко выдающагося: заурядная работница, какихъ тысячи. Ни о чемъ другомъ не думаетъ она, какъ лишь бы найти трудъ, который сдѣлалъ бы жизнь ея хоть сколько-нибудь пріятной. Изъ-за этого она мѣняетъ мѣста, занятія, идетъ изъ города въ городъ, доходитъ до Петербурга. Опять-таки милліоны людей живутъ такимъ образомъ, ищутъ, домогаются, странствуютъ, и вокзалы желѣзныхъ дорогъ тысячами извергаютъ подобныхъ людей въ шумныя улицы столицъ. Что-жъ тутъ необыкновеннаго? Необыкновеннаго ничего нѣтъ,—но вдумайтесь, сколько поистинѣ героическаго скрывается въ этомъ обыкновенномъ. Развѣ ты, нѣжная барышня, воспитанная на булочкахъ да на сливочкахъ и потомъ развившая въ себѣ жажду высшаго прогресса, способна изъ-за своихъ возвышенныхъ стремленій пройти тысячи верстъ, какъ прошла Горюнова, неуклонно движимая такими побужденіями, на которыя мы привыкли смотрѣть, какъ на унижающія природу человѣка? Что же будетъ изъ подобныхъ людей, когда они додумаются до какихъ-нибудь положительныхъ общественныхъ стремленій? Очень можетъ быть, что, нисколько не заботясь о разныхъ возвышенныхъ идеяхъ, изъ-за естественнаго желанія улучшить свое матеріальное благосостояніе, — они покажутъ намъ образчики такого общественнаго геройства, о которомъ и не снилось всѣмъ нашимъ эффектнымъ титанамъ въ духѣ романовъ Бажина и комп.

Посмотрите вы съ другой стороны, какую страшную трагедію раскрываетъ передъ вами Рѣшетниковъ въ участи своихъ героевъ. Какъ ни ужасно зрѣлище мучительной смерти борца за свои идеи, за правду, за стремленіе къ той или другой возвышенной цѣли, но когда вы смотрите на такое зрѣлище, у васъ невольно является мысль, что всѣ мученія выкупаются въ сердцѣ героя сторицей сладкимъ сознаніемъ, что онъ могъ пойти или не пойти на мучительную смерть, и если пошелъ, то самъ избралъ этотъ исходъ, какъ наиболѣе

сообразный съ своими убѣжденіями, что онъ умираетъ за благо ближнихъ, не измѣнивъ правдѣ, что его позорная смерть отзовется въ тысячи сердцахъ и придетъ время, когда люди, позорящіе и мучащіе его, будутъ славить и превозносить его. Но чѣмъ выкупается та гибель, которая ежедневно постигаетъ тысячи безвѣстныхъ людей ни за что ни про что, и они сходятъ со сцены жизни, невѣдомые, неоплаканные? Здѣсь являются на сцену самыя элементарныя потребности, безъ которыхъ невозможно существованіе, такъ что и представиться не можетъ мысли о томъ, что человѣкъ могъ избрать своимъ удѣломъ гибель или не избрать. Здѣсь гибель неминуемая, безъисходная, угрожающая на каждомъ шагу и притомъ безъ цѣли, безъ смысла, ничѣмъ невыкупаемая, неоправдываемая. Влачить ежедневно самое ужасное существованіе въ какомъ-нибудь подвалѣ, не допивать, не доѣдать, не знать, что будетъ завтра, попадешь-ли въ часть, помрешь-ли съ голоду или въ больницѣ,—неужели можетъ быть что-нибудь трагичнѣе этого положенія? Здѣсь трагедія является не исходомъ роковой борьбы, не катастрофой, а ежедневнымъ явленіемъ жизни человѣка. Вы посмотрите, напримѣръ, на мытарства Горюновой въ Петербургѣ. Обратите вниманіе на всѣ ея скитанія по съѣзжимъ дворамъ и улицамъ столицы, на всѣ тѣ страшные побои, униженія и страданія, которые перенесла эта молодая жизнь, стремящаяся развернуться? Для чего это все? Для того, чтобы—едва только хоть сколько-нибудь улыбнулись обстоятельства—умереть безсмысленной смертью въ больницѣ! Почти туже самую картину представляетъ жизнь Петра Ивановича Кузьмина въ повѣсти «Между людьми», хотя здѣсь герой взятъ изъ совершенно другой сферы,—именно чиновнаго пролетаріата: то же стремленіе пробиться изъ-подъ гнета обстоятельствъ и устроить жизнь, хоть сколько-нибудь улыбающуюся, и тотъ же печальный исходъ, еще болѣе мрачный и ужасный, чѣмъ гибель Горюновой!..

Нѣтъ ничего удреннаго, что при такой жизни, какую принуждены вести герои Рѣшетникова, водка является единственнымъ утѣшеніемъ, заставляющимъ забывать и холодъ продрогнувшихъ, истощенныхъ членовъ, и ѣдкое горе вѣчныхъ неудачъ, лишеній и униженій всякаго рода. Герои Рѣшетникова сплошь и рядомъ спиваются и гибнутъ отъ пьянства; но удивительный въ этомъ отношеніи знатокъ жизни и человѣческой природы Рѣшетниковъ. Ни въ одномъ разсказѣ его вы не найдете ни малѣйшей тѣни мелодраматизма въ этомъ отношеніи. Онъ очень хорошо понимаетъ, что если и бываютъ случаи, что человѣкъ, не берущій въ ротъ ни капли, вдругъ запиваетъ въ порывѣ отчаянія, то такіе случаи чрезвычайно рѣдки, исключительны; при всей ихъ эффектности, они далеко не представляютъ собой той мрачной и ужасающей картины пьянства, которую мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ въ жизни народа. Какъ истинно реальный поэтъ, заботящійся, чтобы произведенія его были не одной кунсткамерой, т.-е. собраніемъ необычайныхъ рѣдкостей, а изображали бы явленія жизни общія и встрѣчающіяся заурядъ, Рѣшетниковъ обращаетъ главное вниманіе на то, какъ спиваются люди *обыкновенно*—и здѣсь передъ нами развертывается картина неизмѣримо драматичнѣе, чѣмъ всевозможные эффектные случаи внезапнаго запоя. Ужаснѣе всего здѣсь то, что спивающійся человѣкъ имѣетъ дѣло съ такимъ врагомъ, котораго самъ не замѣчаетъ. Пьянство является коварной змѣей, которая тихо и незамѣтно вкрадывается въ природу человѣка. Сначала человѣкъ пьетъ, какъ и всѣ другіе, ни меньше, ни больше, смотритъ на это, какъ на развлеченіе, полезную необходимость, нисколько не считая себя пьяницей. Но вотъ обстоятельства его дѣлаются хуже; на сердцѣ скребутъ кошки; куда ни взглянетъ бѣднякъ—кисло, мрачно, непріязненно смотритъ на него будничная обстановка жизни, а въ кабакѣ веселье, пѣсни и послѣ штофа-другого море по колѣно—разомъ можно почувствовать себя богатыремъ, способнымъ сжать весь міръ въ кулакъ. Поэтому чаще и чаще начинаетъ бѣднякъ направляться къ кабаку. Но все-таки онъ не считаетъ себя пьяницей—онъ развлекается, веселится; въ то же время мечтаетъ можетъ-быть о томъ, какъ поправятся его обстоятельства, какую трезвую, трудовую жизнь поведетъ онъ тогда. Но съ которыхъ же поръ считать ему себя пьяницей, гдѣ положить границу и сказать: вотъ мѣсяцъ тому назадъ я хоть и напивался, но пьяницей еще не былъ, а теперь я уже пьяница? Какой физіологъ опредѣлитъ, съ которыхъ поръ въ какой натурѣ водка перестаетъ уже быть однимъ только минутнымъ психическимъ стремленіемъ забыться, а дѣлается уже болѣзненной потребностью природы? Поэтому человѣкъ очень часто, сдѣлавшись уже горькимъ пьяницей, нисколько объ этомъ не думаетъ, и только тогда приходитъ къ печальному сознанію, когда нѣтъ уже болѣе никакого выхода, и пьянство давно обратилось въ потребность организма. Такъ напримѣръ спился вышеупомянутый Кузьминъ во время своихъ мытарствъ въ столицѣ. Не только самъ онъ, но и вы, перелистывая страницу за страницей, не можете отдать себѣ отчета, съ которыхъ поръ считать Кузьмина пьяницей; вы видите только, что съ каждой неудачей, по мѣрѣ того, какъ положеніе его дѣлается хуже и хуже, онъ все чаще и чаще начинаетъ выпивать и подъ конецъ повѣсти является передъ вами полнѣйшимъ уже завсегдатаемъ кабаковъ, потѣшающимъ пьяный народъ игрой на гитарѣ. Но и въ такомъ даже состояніи онъ не сознаетъ, что онъ—пьяница съ горя, и не строитъ какихъ-либо мелодраматическихъ позъ по этому случаю.

— Опять я живу,—говоритъ онъ съ Гаврилой Матвѣичемъ,—и продаю я вещи днемъ, по вечерамъ шляюсь по кабакамъ и смотрю народъ. А для чего... дуракъ.

— Странно, что я нынѣ съ двухъ стакановъ хмелѣю. Ахъ, еслибы на родину уѣхать! А кашель душитъ...

Видите, какъ онъ безсознательно относится къ своему пьянству: въ кабаки онъ ходитъ для того, чтобы смотрѣть народъ, и сѣтуетъ только на безцѣльность этого; въ то же время удивляется съ чисто-гигіенической точки зрѣнія, что онъ началъ хмелѣть съ двухъ стакановъ.

Почтальонъ изъ семинаристовъ, Макся, спивается еще проще, чѣмъ Кузьминъ. Здѣсь пьянство развивается не вслѣдствіе острыхъ ударовъ судьбы и прямыхъ сознательныхъ огорченій, а такой обстановки

жизни, при которой человѣку ничего болѣе не остается, какъ пить и пить. Макся служилъ сначала разносчикомъ писемъ по городу, потомъ состоялъ при конторѣ; парень былъ расторопный, усердный, почтмейстеръ хотѣлъ-было сдѣлать его начальникомъ станціи, но по происканіямъ старшаго почтальона его разжаловали въ разъѣздъ съ почтами. Макся не только не огорчился отъ такого разжалованья, но былъ ему очень радъ.

«Максѣ давно хотѣлось ѣздить съ почтой, но его не пускали сначала потому, что онъ служилъ недавно, а потомъ занимался постоянно въ конторѣ и носилъ по городу письма. Почтальоны говорили Максѣ, что съ почтой ѣздить хорошо разъ пять, десять, и то въ хорошее время; но, проѣздивши разъ двадцать, не радъ будешь. Макся, какъ не ѣздившій никогда съ почтами, а ѣздившій нѣсколько сотъ верстъ съ настоятелемъ, не вѣрилъ, что почтальоны говорятъ дѣло.

— Вотъ ужъ мнѣ такъ не надоѣстъ ѣздить съ почтами, говорилъ онъ.

— Не хвались, прежде Богу помолись.

— Ну, не отговаривайте.

— Попробуй разъ десять съѣздить—не то скажешь.

— Ладно.

Макся очень обрадовался, когда ему объявили, что онъ ѣдетъ съ первоотходящей почтой...»

Но не долго продолжалась эта радость.

«Ѣзда ему опротивѣла съ седьмого раза: опротивѣли ему ухабы, чемоданы, морозы, вѣтры, ямщики, и многое, многое опротивѣло Максѣ до того, что онъ сталъ проклинать и дороги, и почты. Чѣмъ больше онъ ѣздилъ, тѣмъ больше ему стала надоѣдать почта.

«Макся самъ не могъ понять, отчего ему спится дорогой? Лишь только завалится онъ на чемоданы, проѣдетъ верстъ пять и спитъ. И славно ему спится: снятся ему только конторы, да служащіе почты, да гиканье ямщиковъ, и что онъ далеко куда-то ѣдетъ... И бурлитъ Макся со сна, ворчитъ что-то несвязно, только голову стряхиваетъ направо и налѣво, то объ накладку ударится, то она съ сумы скатится на суму, которая на груди у Макси. Макся не чувствуетъ боли; только слюни текутъ по губамъ. А ямщикамъ завидно:

— Благая же это жизнь почтальонамъ: только ткнется въ сани или телѣгу и дрыхнетъ всю дорогу.

«Хорошо казалось Максѣ спать съ почтой, и ругался же онъ, когда его будили на станціяхъ. Но и на станціяхъ онъ спалъ. Сдастъ дорожную писарю или ямщику, завалится на лавку и спитъ.»

Ямщики очень часто жаловались Максѣ на свое житье-бытье.

«Жалко стало Максѣ ямщиковъ, и онъ полюбилъ ихъ до того, что угощалъ ихъ водкой, а тѣ угощали его. Сталъ Макся крѣпко попивать водку. Онъ уже зналъ всѣ села, деревни по той дорогѣ, по которой ѣздилъ, на разстояніи шестисотъ верстъ и всѣ кабаки. Проѣдетъ отъ губернскаго пять или десять верстъ и встанетъ у деревни.

— Петруха, сходи-ка въ кабакъ.

— Ладно.

Сходитъ ямщикъ въ кабакъ; принесетъ ему косушку. Половину онъ выпьетъ, половину ямщикъ, а послѣ этого спитъ. Доѣдутъ до другой деревни, другой ямщикъ остановитъ лошадей и кричитъ ямщику Петрухѣ:

— Буди Максю-то.

— Ну?

— Вишь кабакъ.

— Ишь, дьяволъ! захотѣлъ? и опять будятъ Максю. Такъ Макся и сбился съ толку до того, что въ пятый мѣсяцъ постоянно пріѣзжалъ съ почтой пьяный, даже въ губернскую контору. А одинъ разъ и саблю потерялъ дорогой. Такъ и сталъ ѣздить безъ сабли.

Почтмейстеръ узналъ, что Макся пьянствуетъ, и рѣшилъ гонять Максю постоянно съ почтой. Макся сдѣлался отчаяннымъ пьяницей, никуда негоднымъ почтальономъ.»

Но всего трагичнѣе въ жизни героевъ Рѣшетникова то, что при всѣхъ бѣдствіяхъ, которыя имъ приходится вытерпливать, вы не видите въ нихъ и слѣда какой-либо общественности. Каждый заботится объ улучшеніи своей участи самъ по себѣ; нѣтъ ни малѣйшаго сознанія въ людяхъ о томъ, что стремиться къ личному благосостоянію гораздо успѣшнѣе и легче сообща, и отдѣльная личность при такихъ условіяхъ является совершенно изолированной, брошенной на произволъ судьбы безъ участія, безъ помощи.

— «Што, говорятъ, Назарко тебя надулъ? спросилъ одинъ рабочій, обращаясь къ Горюнову, когда тотъ вошелъ въ кабакъ.

— А ты почему знаешь?

— Это не секретъ. Тутъ, братецъ, шило въ мѣшкѣ не утаишь. Што-жъ ты теперь думаешь дѣлать?

— Подожду еще недѣлю, тогда...

— Тогда онъ и скажетъ: покорно благодаримъ: за даромъ-де служили нашей милости.

— Хоть ты и заводскій человѣкъ, а практики у тебя ни на грошъ нѣтъ!

— Чего ты толкуешь? Какую такую ты еще механику выдумалъ? прокричалъ другой рабочій.

— Уговорить другихъ: не хотимъ-де за эту цѣну робить.

— Дуракъ! Да онъ тебя прогонитъ. Развѣ мало нашего брата, что безъ работы шляются? Развѣ нынѣ мало развелось нищихъ?

— А отчего? Оттого, что мы сами плохи.

— Какъ?

— А такъ. Нѣту у насъ согласія. Такъ-то мы по отдѣльности тараторимъ, а сбери насъ всѣхъ, и сало во рту застыло.

Народъ загалдѣлъ.

— Коснись дѣло до тебя, ты первый лыжи дашь!

— Что-жъ, мнѣ одному въ петлю лѣзть? Одинъ въ полѣ не воинъ. А вотъ мы даже на счетъ платы не можемъ сговориться! Што сказано въ положеньи-то: рабочіе должны выбирать старостъ, а гдѣ они старосты?

— Поди-ка суньса!

— Нѣтъ, можно-бы собраться хоть сотнѣ-другой и выбрать припаснаго смотрителя...

— Што ты толкуешь, братецъ, выбрать... Тебя еще вѣрно не дирали хорошенько-то. Помнишь-ли ты прошлогоднее дѣло?

— А кто имъ велѣлъ барки рубить, муку топить?

— Такъ и слѣдовало!

— Вовсе не такъ. Собраться всѣмъ селомъ къ управляющему и требовать платы.

Эти разсужденія продолжались долго и росписывать ихъ нѣтъ никакой надобности, потому что они рѣшительно не приводили рабочихъ ни къ какой цѣли. Дѣло въ томъ, что согласія между рабочими не существовало, потому что они работали на разныхъ варницахъ, принадлежащихъ разнымъ господамъ, и жили дружно только съ тѣми, которые работаютъ съ ними вмѣстѣ и которые горой стоятъ за товарища. А такъ-какъ на однихъ промыслахъ было нѣсколько лучше другихъ промысловъ, и требованія первыхъ были больше послѣднихъ, то послѣдніе, завидуя первымъ, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше о себѣ, чѣмъ о товарищахъ, только работающихъ отъ нихъ отдѣльно. Кромѣ этого, одни изъ рабочихъ были слишкомъ робки; они привыкли сносить все терпѣливо, и если у нихъ спрашивали мнѣнія, то они, научен-

ные опытомъ, ничего не могли посовѣтовать, находя всѣ толки безполезными; другіе старались какъ нибудь поддѣлаться къ какому нибудь мелкому начальнику изъ-за личной выгоды; третьи, поправившись немного выгодной женитьбой, только въ своей компаніи были бойки. Молодежь была конечно смѣлѣй, ей бояться было нечего; но такъ-какъ она не могла обходиться безъ любви, увлекалась дѣвушками и женщинами, то и отъ нея, то-есть отъ всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушія, если одна половина ея ревновала другую къ предметамъ своей любви. При этомъ надо еще взять во вниманіе то, что рабочіе живутъ въ селѣ, въ нѣсколькихъ улицахъ или порядкахъ, носящихъ названія, соотвѣтственныя или мѣстности, или какой нибудь личности, или данныя какому нибудь событію, въ которыхъ православные смѣшиваются съ единовѣрцами и отчаянными раскольниками, которые только въ частности заботятся о себѣ, о своихъ родныхъ и партіяхъ Поэтому, еслибы и пришлось потребовать голоса отъ всѣхъ рабочихъ всего села, то разноголосица вышла бы большая, и у начальства недоставало бы терпѣнія выслушать мнѣніе каждой партіи, каждаго промысла еще и потому, что это начальство дѣлилось на нѣсколько лицъ, изъ коихъ каждое оберегало свой постъ, защищая интересы своего хозяина, враждебно относясь къ другому лицу.»

Вся эта разъединенность представляетъ очень печальное явленіе въ нашей русской жизни; но не будемъ спѣшить приписывать ее однимъ простымъ и темнымъ людямъ, объясняя ее исключительно невѣжествомъ, отсутствіемъ сознательной мысли, которая могла бы сплачивать отдѣльные, разрозненные элементы народа въ одно общественное цѣлое. Кромѣ этого по всей вѣроятности существуютъ и другія причины, которыя одинаково вліяютъ, какъ на массы народа, такъ и на цивилизованные верхи, которые, при всемъ своемъ умственномъ развитіи, при всемъ своемъ сознаніи общественныхъ нуждъ и потребностей, представляютъ такую же картину. Въ этомъ отношеніи мы, не смотря на всю нашу образованность, не далеко ушли отъ народа—и до сихъ поръ еще насъ раздробляютъ до безконечности не столько какіе-либо общественные, философскіе, литературные принципы, сколько чисто личныя, мелочныя дрязги изъ-за грошевыхъ разсчетовъ, обиженнаго самолюбія и т. п., и долго еще, должно быть, намъ не додуматься ни до какой солидарности.

III.

Вся эта характеристика достаточно показываетъ, что Рѣшетниковъ предпринялъ немаловажную задачу для своей литературной дѣятельности: отрѣшиться совершенно отъ всякаго романтизма, наблюдать простую, обыденную жизнь такъ, какъ она течетъ вокругъ насъ, не украшая ее, не идеализируя, не выбирая изъ нея однѣ рѣдкости—но въ то же время и не ограничиваясь однимъ поверхностнымъ изображеніемъ повседневныхъ сценъ въ духѣ натуральной школы, а проникая въ ея существенныя сокровенныя пружины, раскрывая передъ нами всю ея трагическую глубину.—Задачу эту мало назвать важной, это—задача вѣка, и еслибы Рѣшетникову удалось ее разрѣшить, онъ сдѣлался бы однимъ изъ передовыхъ и замѣчательныхъ дѣятелей нашей литературы. Но, удалось-ли Рѣшетникову сколько-нибудь справиться съ этой задачей и постигъ ли онъ всю великую важность ея,—это другой вопросъ, и объ этомъ мы теперь поговоримъ.

Трудность этой задачи обнаруживается изъ того, что всѣ почти литературы европейскаго материка, несмотря на все стремленіе къ реализму, до сихъ поръ не успѣли еще отдѣлаться вполнѣ отъ значительной доли романтизма, какъ въ выборѣ сюжетовъ, такъ и въ обработкѣ ихъ.—Возьмите вы корифеевъ западноевропейскихъ литературъ—Жоржъ-Занда, Виктора Гюго, Шпильгагена, Ауербаха,—всѣ они до сихъ поръ выѣзжаютъ на титаническимъ личностяхъ, избранныхъ натурахъ, необыкновенныхъ умахъ и красотахъ, эффектныхъ чувствительныхъ и патетическихъ сценахъ, и у всѣхъ у нихъ обыденная жизнь обыкновенныхъ людей является на заднемъ планѣ въ видѣ фона, на которомъ рисуются необыкновенные герои.—Только одинъ Шатріанъ вполнѣ всталъ на реальную почву:—на первомъ планѣ стоятъ у него по большей части простые смертные, несмотря на то, что онъ выбираетъ для своихъ сюжетовъ самые великіе и роковые моменты исторической жизни своего отечества. Его занимаетъ болѣе всего то, какъ въ эти моменты дѣйствовали и проявляли себя массы обыденнаго люда, какими бичами отражались на ихъ плечахъ подвиги разныхъ великихъ героевъ, воспѣтыхъ романтическими поэтами, какъ изъ будничной жизни мелкаго труда они выходили, исполненные энтузіазма, на историческую арену,—и вы видите, читая эти разсказы, что для того, чтобы проникаться гражданскимъ мужествомъ и совершать подвиги геройства, вовсе не нужно непремѣнно имѣть особенныя титаническія силы—простые лекаря, зубодеры, кузнецы, крестьяне, мастеровые являются у Шатріана героями, готовыми на всякое самопожертвованіе. Замѣчательное въ этомъ отношеніи зрѣлище представляетъ англійская литература. Давно-ли она стояла въ Европѣ во главѣ романтическаго движенія въ литературѣ—въ лицѣ Байрона, который подчинилъ своему вліянію всѣ европейскія литературы? Въ то время казалось, что безъ титаническихъ личностей не можетъ обойтись ни одно поэтическое произведеніе, что только грандіозныя явленія природы и жизни человѣческой и достойны изображенія. Надо было ожидать, что Англія, какъ страна аристократическая, позже всѣхъ разстанется съ романтизмомъ, такъ какъ романтизмъ есть прямое чадо феодализма, и нигдѣ онъ такъ долго не застаивается, какъ въ аристократическихъ сферахъ общества,—а между тѣмъ случилось совершенно наоборотъ: англійская литература раньше всѣхъ другихъ очистилась отъ романтизма. Возьмите вы большинство современныхъ англійскихъ романистовъ, возьмите вы любой англійскій романъ,—вы найдете, правда, во многихъ изъ нихъ запутанную, иногда довольно искусственно построенную интригу, но рядомъ съ этимъ передъ вами встанетъ самая обыденная жизнь англичанъ: вы встрѣтите много весьма симпатичныхъ, во всѣхъ отношеніяхъ прекрасныхъ личностей, но всѣ эти личности такъ просты и обыкновенны, точно будто вы видите передъ собою вашихъ добрыхъ знакомыхъ, безъ малѣйшей тѣни ходульности, претензіи на неудавшуюся геніальность и величественный плачъ о сквернахъ міра сего. Этотъ плачъ при-

надлежитъ обыкновенно самому автору и открывается передъ вами или въ оплакиваніи отдѣльныхъ личностей и формъ жизни, или въ цѣломъ сюжетѣ романа, имѣющимъ цѣлью выставить ту или другую общественную несправедливость и показать, какъ отъ нея страдаютъ массы обыкновенныхъ людей различныхъ классовъ и сословій.

Нѣтъ ничего мудренаго, что европейскія литературы до сихъ поръ не могутъ отрѣшиться вполнѣ отъ романтизма. Кромѣ исторической рутины, это обусловливается трудностью самой задачи. Казалось бы на первый взглядъ, что гораздо легче изображать обыденную жизнь, окружающую васъ, къ которой вы присмотрѣлись, чѣмъ различныя рѣдкія, величественныя явленія; но на дѣлѣ выходитъ наоборотъ: гораздо легче вывести на сцену необыкновенную личность и обставить ее эффектными сценами, чѣмъ обрисовывать какъ слѣдуетъ любого Ивана и Петра. Въ первомъ случаѣ въ читателѣ возбуждается интересъ помимо художественности автора самой внѣшней эффектностью образа; а съ другой стороны читателю такъ рѣдко приходится въ дѣйствительности встрѣчаться съ необыкновенными явленіями, что ему трудно бываетъ убѣдиться, вѣренъ ли писатель дѣйствительности, и самое грубое, топорное, сшитое на живую нитку изображеніе можетъ легко сойти съ рукъ. Совсѣмъ другое дѣло съ Иванами и Петрами. Иваны и Петры не выражаютъ въ длинныхъ патетическихъ монологахъ своихъ чувствъ и страданій; какія-нибудь трагическія катастрофы случаются съ ними рѣдко— извольте теперь выбрать изо всей ихъ жизни такія рѣдкія отрывочныя слова, такія движенія, такіе моменты, въ которые жизнь этихъ людей освѣтилась бы передъ вами во всемъ ея драматизмѣ, да съумѣйте это такъ сдѣлать, чтобы пронять читателя, иначе страшно скучно будетъ читать ваше произведеніе, исполненное будничныхъ сценъ и лицъ. Притомъ же Боже васъ сохрани допустить въ изображеніяхъ вашихъ малѣйшую фальшь,—читатель тотчасъ же ее откроетъ, потому что его не проведешь, онъ самъ живетъ той жизнью, какую вы передъ нимъ изображаете, и хорошо ее прочувствовалъ собственною грудью. Вслѣдствіе всего этого естественно для изображенія жизни обыкновенныхъ людей требуется отъ писателя неизмѣримо болѣе наблюдательности, анализа и тщательной художественной отдѣлки, чѣмъ для обрисовки какихъ вамъ угодно титаническихъ личностей и загадочныхъ натуръ.

Но беретъ ли Рѣшетниковъ въ разсчетъ всю трудность своей задачи? Понимаетъ ли онъ, что ему нужно преодолѣть, чтобы выполнить ее хоть сколько нибудь добросовѣстно? Повидимому онъ не только не понимаетъ, но пренебрегаетъ всѣмъ этимъ самымъ упорнымъ образомъ. Судя по характеру и пріемамъ его способа изложенія, онъ держится такого взгляда, что лишь бы была разсказана правда жизни, а какъ она разсказана, это все равно,—правда сама за себя постоитъ; заботиться же объ особенной художественной отдѣлкѣ своего произведенія —дѣло совершенно излишнее и пустое.

Очень понятно, откуда проистекаетъ такой взглядъ. Было время, когда на всякую художественность смотрѣли чуть ли не какъ на преступленіе или по крайней мѣрѣ какъ на величайшую пошлость, какую только можно себѣ представить. Такой взглядъ оправдывался вполнѣ тѣмъ, что понималось въ то время подъ художественностью. Понимали же подъ ней нѣчто такое, что дѣйствительно было и пошло, и пусто, и безсодержательно. Отъ произведенія требовалось, чтобы оно непрестанно щекотало нервы читателя, возбуждая въ немъ такъ называемый эстетическій восторгъ разными наркотическими снадобьями, вродѣ описанія всевозможныхъ красотъ, начиная съ красотъ природы и кончая красотами ланитъ и персей. Съ какой цѣлью искусство должно было производить подобное щекотанье и возбужденье — спрашивать объ этомъ считалось лишнимъ, и отвѣтъ былъ одинъ: искусство должно возбуждать эстетическій восторгъ не для иного чего, какъ ради самого эстетическаго восторга. Въ настоящее время вся эта теорія до такой степени успѣла опошлиться и разбиться въ дребезги, что смѣшно и ратовать противъ нея. Теперь рѣдко уже кто усомнится въ томъ, что искусство должно выставлять правду жизни съ цѣлью будить общественное сознаніе въ людяхъ, указывать имъ на общественные недостатки и цѣли, къ которымъ они должны стремиться.

Руководствуясь этой формулой, Рѣшетниковъ и думаетъ, что если онъ выводитъ правду въ своихъ произведеніяхъ, этимъ онъ вполнѣ исполняетъ свой долгъ и можетъ почивать на лаврахъ. Но такъ ли это? Исчерпывается ли вполнѣ реальное и полезное искусство требованіемъ, чтобы писатель выводилъ въ своихъ произведеніяхъ правду жизни, или сверхъ этого отъ такого искусства требуется и нѣчто иное? Еслибы искусство вполнѣ исчерпывалось этимъ, въ такомъ случаѣ чѣмъ же бы отличалось оно отъ науки? Не только не отличалось бы, но любая наука вдесятеро могущественнѣе въ изображеніи правды, чѣмъ какое хотите геніальное искусство. Вы подумайте только о томъ, что одна маленькая статистическая табличка можетъ не въ примѣръ яснѣе и больше сказать вамъ о нищетѣ и страданіяхъ бѣднаго класса, чѣмъ не только три тома сочиненій Рѣшетникова, но 20 томовъ, прибавленные къ нимъ и занятые разсказами все о той же нищетѣ. Взявши это во вниманіе, остается сдѣлать простой логическій выводъ, что если искусство не имѣетъ никакой своей особенной цѣли, кромѣ одинаковой съ наукой, въ такомъ случаѣ вовсе не надо никакого искусства, и Рѣшетниковъ принесъ бы болѣе пользы, занявшись статистикой народныхъ бѣдствій, нежели безконечными описаніями ихъ.

Но искусство можетъ и должно имѣть свою особенную, спеціальную цѣль; въ силу ея оно только и можетъ быть полезно, только и можетъ имѣть право на существованіе.—Цѣль науки вполнѣ исчерпывается изысканіемъ истины: разъ ученый открылъ истину, онъ свое дѣло сдѣлалъ, и ему остается только изложить открытую имъ истину, чтобы сдѣлать ее общеизвѣстной. Но и отъ ученаго трактата мы вправѣ требовать, чтобы онъ обладалъ хорошимъ слогомъ, ясностью, пожалуй даже картинностью изложенія, однимъ словомъ, своего рода художественностью, и это требованіе не есть пустая прихоть: чѣмъ художественнѣе изложеніе, тѣмъ больше трактатъ найдетъ читателей, а съ другой стороны художественность из-

ложенія ведетъ къ прямому выигрышу времени, такъ-какъ естественно больше времени нужно употребить на чтеніе сухого и темно изложеннаго сочиненія, чѣмъ съ изложеніемъ яснымъ и художественнымъ.

Но въ жизни на каждомъ шагу встрѣчается потребность въ томъ, чтобы истину не только усвоили, но прониклись ею, возбудились до энтузіазма, измѣнили тѣ или другія дѣйствія свои подъ вліяніемъ ея, приступили какъ можно скорѣй къ тому или другому благому начинанію. Возьмите вы напримѣръ адвоката, защищающаго невиннаго. Цѣль его повидимому общая съ ученымъ: изложить истину; но этого одного ему недостаточно: онъ долженъ изложить ее такъ, чтобы она врѣзалась въ сердца судей и присяжныхъ, чтобы они были потрясены ею и она овладѣла ими вполнѣ. Если послѣ рѣчи адвоката наступитъ гробовое молчаніе, на глазахъ у слушателей покажутся слезы, на лицахъ ужасъ и негодованіе, мы говоримъ, что адвокатъ достигъ своей цѣли. Чѣмъ-же онъ достигъ ея, какъ не искусствомъ изложенія, какъ не художественностью рѣчи? Здѣсь художественность является во всемъ своемъ могуществѣ не однимъ уже только средствомъ, облегчающимъ усвоеніе, но необходимымъ орудіемъ, безъ котораго адвокатъ все равно, что боецъ безъ шпаги.—Сухой, скучный ученый трактатъ, лишенный всякой художественности изложенія, еще можетъ быть прочтенъ и принести большую пользу въ силу истинъ, заключающихся въ немъ; но на какихъ бы глубокихъ истинахъ и неопровержимыхъ доказательствахъ ни основывалъ адвокатъ свою рѣчь, онъ не достигнетъ никакой цѣли, если слова его будутъ вязнуть въ зубахъ, и сухость, монотонность, вялость рѣчи заставятъ слушателей заснуть, не дослушавши оратора.

Но что́ же такое реальный, полезный поэтъ, какъ не тотъ же ораторъ передъ своими читателями? Цѣль его не только изобразить правду жизни, но заставить ее почувствовать, проникнуться ею, любовью или ненавистью забиться сердце читателя. Если одна страница статистической таблицы можетъ сказать вамъ болѣе, чѣмъ нѣсколько томовъ поэтическихъ разсказовъ о томъ же предметѣ, то съ другой стороны подумайте и о томъ, что цѣлые томы ужасающихъ истинъ иногда свободно помѣщаются въ головѣ ученаго, нисколько не нарушая его олимпійскаго спокойствія, а маленькая пѣсенка, спѣтая хоромъ на улицѣ, можетъ потрясти его до мозга костей и заставить выбѣжать изъ дома.

Жизнь управляется не одними спокойными знаніями и холодными разсчетами; не надо забывать, что чувства и страсти суть силы, служащія не менѣе могучими двигателями жизни, и пренебрегать ими не слѣдуетъ: если не направленныя знаніями страсти дѣйствуютъ слѣпо, безпорядочно и часто совершенно безплодно, если не вредно,—то съ другой стороны одни знанія безъ живыхъ страстей—все равно, что локомотивъ безъ пара.

Вотъ въ этомъ возбужденіи чувствъ и страстей и заключается своя особенная цѣль реальнаго искусства, отличающая его отъ науки.—И цѣль эта опредѣляется не одними только теоретическими, надуманными требованіями: о ней свидѣтельствуетъ намъ тотъ непосредственный инстинктъ, который заставляетъ человѣка, чуждаго всякихъ теоретическихъ взглядовъ, увлекаться однимъ произведеніемъ и отвертываться отъ другого.—Что́ восхищаетъ насъ въ самомъ геніальномъ произведеніи искусства? Не количество новыхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ писателемъ, а то впечатлѣніе, которое писатель производитъ на насъ, являясь въ своемъ твореніи защитникомъ или обвинителемъ различныхъ фактовъ жизни. Чѣмъ сильнѣе это впечатлѣніе, тѣмъ выше цѣнится произведеніе.—Что же касается фактовъ, сообщаемыхъ писателемъ, то здѣсь оцѣнка имѣетъ совершенно обратный характеръ: въ то время, какъ ученое сочиненіе вы не станете и читать, если оно не сообщаетъ вамъ ничего новаго и неизвѣстнаго для васъ, произведеніе же искусства, напротивъ того, интересуетъ васъ тѣмъ болѣе, чѣмъ знакомѣе вамъ изображаемая имъ дѣйствительность, чѣмъ ближе она стоитъ къ вамъ лично. Я полагаю, что еслибы вамъ сказали, что въ такомъ-то романѣ авторъ вывелъ вашу личность со всей вашей обстановкой и со всѣми вашими поступками, вы сейчасъ же набросились бы на этотъ романъ, и при самой незначительной долѣ таланта автора романъ произвелъ бы на васъ вдесятеро болѣе потрясающее впечатлѣніе, вы прочли бы его съ гораздо бо́льшимъ интересомъ, чѣмъ произведеніе геніальнаго поэта, изображающее чуждую вамъ дѣйствительность.

На этомъ основаніи реальный поэтъ, для того, чтобы произведенія его были дѣйствительно полезны, не только не долженъ пренебрегать художественностью, но обязанъ подвергать свои произведенія вдесятеро болѣе тщательной художественной отдѣлкѣ, чѣмъ даже поэтъ, не думающій ни о чемъ, кромѣ одной художественности. Онъ не долженъ и воображать, что истина сама за себя постоитъ. Никогда она сама за себя не можетъ постоять, если произведеніе, въ которомъ она изображена, блѣдно, скучно, вяло и растянуто, и читатель, вмѣсто того, чтобы возбудиться и быть потрясеннымъ, вынесетъ одну усыпительную скуку и неудержимое желаніе уснуть надъ книгой. Пусть не забываетъ реальный поэтъ, что если онъ берется быть обвинителемъ однихъ и защитникомъ другихъ, въ такомъ случаѣ онъ долженъ стремиться быть такимъ адвокатомъ, чтобы каждое слово его, какъ огнемъ, жгло сердце читателя, а какъ же онъ можетъ достигнуть этого, если не позаботится употребить въ дѣло всѣ средства рѣчи, всю силу своей фантазіи? Онъ не долженъ пренебрегать даже мелочами, деталями внѣшней отдѣлки, помня, что все то, что́ дѣлаетъ его произведеніе болѣе гладкимъ, удобочитаемымъ, болѣе легкимъ для воспріятія и удержанія въ памяти,—все это въ значительной степени усиливаетъ дѣйствіе произведенія на читателя и увеличиваетъ его значеніе. Здѣсь художественность является уже не прихотью, не растлѣвающимъ услажденіемъ, а могучей силой, которая должна быть направлена художникомъ на пользу своихъ соотечественниковъ. Умѣнье владѣть ею и направлять ее на благо и составляетъ гражданское дѣло поэта. Художникъ же, пренебрегающій художественностью, этимъ самымъ пренебрегаетъ своимъ гражданскимъ долгомъ.

Посмотрите теперь, какъ мало заботится Рѣшетни-

*

ковъ о томъ, чтобы производить на читателей сильное и глубокое впечатлѣніе своими повѣстями. Начнемъ съ внѣшней стороны его разсказовъ. Во-первыхъ, онъ нисколько не старается обрисовывать выводимыя имъ личности какъ можно рельефнѣй и типичнѣй, чтобы онѣ рѣзко, дагеротипно выдавались изъ страницъ разсказовъ и неотразимо запечатлѣвались въ нашемъ мозгу. Кромѣ только Горюновой, попа Знаменскаго и нѣкоторыхъ другихъ, всѣ почти личности обрисованы блѣдно, неопредѣленно; онѣ какъ-то сливаются всѣ вмѣстѣ и не оставляютъ послѣ себя никакого слѣда, такъ что вы забываете ихъ тотчасъ же по прочтеніи разсказа. Требованіе, чтобы писатель заботился о типичности и рельефности выводимыхъ личностей, можетъ съ перваго взгляда показаться излишней роскошью съ точки зрѣнія полезности искусства. Но это не такъ: вы не забывайте, что Рѣшетниковъ, описывая бѣдствія и страданія своихъ героевъ, хочетъ возбудить въ васъ живое участіе къ нимъ. Но при этомъ вы подумайте о постоянномъ совпаденіи двухъ слѣдующихъ психическихъ процессовъ: 1) по мѣрѣ того, какъ мы ближе и ближе знакомимся въ жизни съ какой-нибудь личностью, эта личность, бывшая сначала неопредѣленной и туманной въ нашихъ глазахъ, получаетъ все болѣе и болѣе опредѣленности, выдѣляется передъ нами со всѣми своими типическими свойствами и личными особенностями, и 2) вмѣстѣ съ этимъ возрастаетъ участіе наше къ этой личности. Эти два процесса до такой степени сходятся, что можно положительно измѣрять степень участія степенью знакомства нашего съ личностью. На этомъ основаніи, какое бы участіе ни возбуждали въ насъ страданія или катастрофа, постигшія незнакомца, оно ничто передъ тѣмъ, какъ если несчастный рисуется передъ нами во всѣхъ своихъ особенностяхъ. Вслѣдствіе этого и происходитъ то нерѣдкое явленіе, что, читая въ газетахъ описаніе какого-нибудь убійства, мы для возбужденія въ себѣ участія принуждены бываемъ силой воображенія пополнять недостатокъ знакомства съ жертвой преступленія: мы начинаемъ представлять себѣ, какова эта жертва, что̀ она могла дѣлать передъ тѣмъ, какъ надъ нею былъ занесенъ ножъ; какія связи, стремленія были у нея прерваны вмѣстѣ съ жизнью, и проч. Теперь подумайте, что̀ дѣлаетъ авторъ, когда онъ старается обрисовать передъ вами личность какъ можно болѣе типично? Онъ старается дать вамъ сразу то, что̀ сами вы добываете долгимъ процессомъ знакомства съ человѣкомъ: поставить предъ вами личность такимъ образомъ, какъ будто вы давно уже знаете ее со всѣхъ сторонъ. Очевидно, что этимъ самымъ необходимо усиливается участіе ваше къ этой личности; вы начинаете интересоваться ея судьбой, жалѣть и плакать о ней, какъ о самомъ близкомъ вамъ человѣкѣ, котораго никогда забыть не въ состояніи. Это особенный фокусъ искусства, пренебрегать которымъ не долженъ поэтъ-утилитаристъ. Пусть онъ и не думаетъ поселить въ насъ особенно сильное участіе къ людскимъ страданіямъ или негодованіе къ различнымъ несправедливостямъ, если въ романѣ его вмѣсто живыхъ, выдающихся личностей выводятся однѣ блѣдныя тѣни.

Съ другой стороны, Рѣшетниковъ нисколько не заботится о выработкѣ сюжета и плана разсказа, чтобы чтеніе не утомляло и не усыпляло читателя, а, напротивъ того, возбуждало постоянный интересъ, который увеличивался бы съ каждой страницей. Вмѣсто того, чтобы обращать главное вниманіе на болѣе характеристическіе и рѣшительные моменты жизни своихъ героевъ и эти моменты развивать, какъ можно полнѣе, мелкія же частности ежедневной жизни представлять въ рельефной, но по возможности сжатой картинѣ, Рѣшетниковъ ставитъ на одинъ планъ какъ самые драматическіе моменты, такъ и всѣ мелкія частности ежедневнаго быта; послѣднимъ посвящаетъ иногда даже болѣе развитія, чѣмъ первымъ, отягощаетъ черезъ это свои разсказы совершенно излишними, ничего не прибавляющими къ картинѣ подробностями, длинными сухими описаніями, мелкими сценами, которыя кажутся вамъ тѣмъ болѣе блѣдны и скучны, что лица, дѣйствующія и говорящія въ нихъ, не имѣютъ той надлежащей рельефности, которая могла бы сдѣлать живой и увлекательной самую обыденную сцену. Вы посмотрите, напримѣръ, на вышеупомянутую повѣсть «Между людьми». Задуманъ сюжетъ превосходно; болѣе драматическаго сюжета трудно придумать. Но что сдѣлалъ Рѣшетниковъ съ нимъ? Вся повѣсть занимаетъ 269 страницъ компактной печати. Изъ нихъ 77 страницъ посвящены описанію дѣтства героя. Чѣмъ же особенно интересно оно, чтобы занимать треть всего разсказа? Это ужъ надо спросить у Рѣшетникова. Представьте вы себѣ дѣтство бѣднаго мальчика, племянника уѣзднаго почтоваго чиновника. Во всемъ этомъ періодѣ жизни Кузьмина выдаются только два эпизода: побѣгъ изъ семинаріи и воровство газетъ изъ почтовой конторы. Писатель, заботящійся о выработкѣ сюжета, очевидно главное вниманіе свое обратилъ бы на развитіе этихъ двухъ эпизодовъ; въ нихъ однихъ отлично могли бы охарактеризоваться все дѣтство героя и вся его окружающая обстановка. Рѣшетниковъ же посвящаетъ этимъ эпизодамъ нѣсколько страничекъ, передавая ихъ въ сухомъ и сжатомъ разсказѣ; всѣ же 77 страницъ посвящены у него длиннымъ и до невѣроятности скучнымъ описаніямъ житья-бытья родственниковъ героя и жителей города, гдѣ происходило дѣйствіе. Тутъ вы находите описаніе того, какъ дядя ловилъ рыбу, какъ онъ училъ племянника грамотѣ, какъ онъ получилъ первый чинъ, что̀ онъ при этомъ думалъ, что̀ думала тетка, какъ герой занимался въ конторѣ и писалъ письма крестьянамъ и проч. Мнѣ кажется, что Рѣшетниковъ еслибы только захотѣлъ приложить немного старанія, то у него вся первая часть разсказа занимала бы не болѣе 40 страницъ. На 5 страницахъ онъ могъ бы представить такую полную картину жизни захолустнаго городка, которая со всѣхъ сторонъ исчерпывала бы эту жизнь и избавляла бы его отъ всякихъ излишнихъ подробностей. Затѣмъ 35 страницъ представляли бы широкое поле для развитія двухъ вышеупомянутыхъ эпизодовъ, которые сами по себѣ еще полнѣе обрисовали бы жизнь почтовыхъ чиновниковъ въ провинціи. Я нисколько не отрицаю сценъ вродѣ ловли рыбы или семейной пирушки по случаю полученія чина,—всѣ такія подробности придаютъ разсказу живость и рельефность,—но въ такомъ только случаѣ, когда писатель

тѣсно и нераздѣльно соединяетъ ихъ съ самымъ развитіемъ эпизода, какъ это и дѣлаютъ англійскіе писатели: у нихъ герой ловитъ рыбу—и тутъ же съ нимъ что нибудь происходитъ, описывается домашняя пирушка и на ней же разыгрывается домашняя драма. У Рѣшетникова же эпизоды сами по себѣ, и описанія ловли рыбы или пирушки — сами по себѣ, и вся повѣсть вмѣсто того, чтобы кипѣть дѣйствіемъ, получаетъ сухой, монотонный описательный характеръ. Мнѣ кажется, что въ этомъ отношеніи Рѣшетниковъ не совсѣмъ отрѣшился еще отъ нѣкоторыхъ остатковъ натуральной школы, которая стояла вполнѣ на почвѣ чистаго искусства. Иначе какъ же вы объясните обиліе у Рѣшетникова описательныхъ сценъ, неимѣющихъ никакой цѣли, кромѣ одного описанія ихъ. Но первая часть повѣсти читается все еще довольно сносно, какъ вслѣдствіе того, что читатель не успѣлъ еще освоиться съ обстановкою жизни героя, такъ и вслѣдствіе двухъ вышеупомянутыхъ эпизодовъ. Вторая же часть занимаетъ 126 страницъ, т. е. половину всей повѣсти, но въ ней безконечно тянется одна и та же канитель—описаніе того же житья-бытья дяди да тетки, родственниковъ да знакомыхъ, наконецъ службы героя сначала въ уѣздномъ судѣ, потомъ въ канцеляріи губернатора. Монотоннѣе, растянутѣе, суше и блѣднѣе всего этого разсказа трудно себѣ представить что нибудь. Если первая часть могла бы занимать 40 страницъ, то для второй части и 20 много. Только подъ конецъ этой второй части разсказъ немного оживляется отношеніями Кузнецова къ Ленѣ. Въ третьей части герой ѣдетъ въ столицу наживаться. Здѣсь завязывается узелъ всей драмы; эта часть самая рѣшительная, на ней долженъ сосредоточиваться весь интересъ читателя, вся трагическая иллюзія—и что же? Она самая краткая—въ ней всего 55 страницъ. Но и на этихъ страницахъ вы встрѣтите много излишнихъ мелкихъ подробностей, растягивающихъ понапрасну разсказъ (напримѣръ, длинныя описанія, какъ авторъ искалъ квартиру, какъ онъ ночевалъ въ ней первую ночь, какія дрязги произошли между хозяйкою и торговкою и проч.). Съ другой стороны слишкомъ много посвящено мѣста на описаніе опредѣленія героя на службу, отношеній его къ начальству и редакціи «Насѣкомый»—все это крайне стереотипно, давно уже до лохмотьевъ изношено нашей литературой, а потому блѣдно и вяло. Что же касается до самаго драматическаго момента жизни Кузьмина, когда онъ, совершенно затерянный въ омутѣ петербургской жизни, опускается въ самые бѣдные слои населенія—занимается продажей сапоговъ на толкучемъ и спивается,—этому періоду жизни авторъ посвятилъ нѣсколько страничекъ сухого, холоднаго разсказа. Что вышло изъ богатаго сюжета вслѣдствіе этого, трудно и выразить. Повѣсть, которая могла проникнуть читателю въ самое сердце и оставить навсегда тяжелое, мучительное впечатлѣніе, является, правда, мучительной, но совсѣмъ съ другой стороны—со стороны убійственной скуки, съ которой вы ее читаете. До какой степени Рѣшетниковъ мало дорожитъ тѣмъ, чтобы производить на читателей сильное и глубокое впечатлѣніе, это особенно ярко выставляется въ наиболѣе драматическихъ мѣстахъ его разсказовъ. Мы уже видѣли, какъ мало обратилъ онъ вниманія на самые выдающіеся моменты жизни Кузьмина. То же самое мы находимъ и въ романѣ «Гдѣ лучше». Вспомните тотъ моментъ въ этомъ романѣ, гдѣ Горюнова, лишившись мѣста, проведя нѣсколько дней въ части, наконецъ очутилась на улицѣ безъ пристанища, безъ денегъ, одна, среди чуждаго населенія столицы, подозрительно и непріязненно смотрѣвшаго на нее, какъ на бродягу. Вы подумайте только о томъ, что бы могъ сдѣлать художникъ изъ этой сцены отчужденія, отчаянія и голода. Онъ могъ бы нарисовать передъ вами такую страшную, мрачную картину, которая проняла бы васъ до костей—и никогда не забылась бы. Главное дѣло здѣсь не въ томъ, чтобы извѣстить читателя, какъ Горюнова шла изъ улицы въ улицу, ночью черезъ мостъ, какъ спала въ паркѣ, какъ у нея украли во время сна послѣднія копѣйки, какъ потомъ она просила милостыню и проч.,—такіе факты для читателя не новость, и онъ можетъ представить ихъ себѣ тысячами: развѣ блѣдные, худые, оборванные люди не просятъ у него ежедневно Христа ради? Развѣ онъ никогда не видѣлъ ихъ спящими подъ заборами и въ канавахъ? Но знаетъ ли и отдаетъ-ли себѣ ясно отчетъ читатель въ томъ, что́ они чувствуютъ въ то время, когда они испытываютъ всевозможныя мытарства? Вотъ съ этимъ-то и долженъ познакомить писатель: онъ долженъ такъ живо изобразить холодъ, голодъ и отчаянье своихъ героевъ, чтобы читатель все это могъ прочувствовать, чтобы, несмотря на все тепло, сытость и довольство, ему самому сдѣлалось бы и холодно, и голодно, и гадко вмѣстѣ съ героями разсказа. Какъ достигнуть этого, избѣжавши въ то же время излишнихъ лирическихъ разглагольствованій, мелодраматизма и фальши,—это задача и тайна, разрѣшить которую можетъ только истинный художникъ. Что же дѣлаетъ Рѣшетниковъ? Холодно, сухо, безучастно онъ передаетъ намъ факты скитаній Горюновой, словно какой-нибудь дневникъ приключеній, и читатель относится къ этимъ страницамъ съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ просматриваютъ протоколъ какого-нибудь судебнаго засѣданія, въ которомъ какая бы страшная семейная драма ни развертывалась передъ вами, она излагается все однимъ и тѣмъ же сухимъ, сжатымъ и оффиціальнымъ тономъ...

Таковъ Рѣшетниковъ и во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

1870—1872.

СОРОКЪ ЛѢТЪ РУССКОЙ КРИТИКИ.

1820—1860.

I.

Панегирическій и полемическій взгляды на эпоху сороковыхъ годовъ и ихъ несостоятельность.—Необходимость объективнаго обозрѣнія развитія нашей мысли и обращенія при этомъ вниманія на двѣ стороны процесса развитія.—Результатъ, къ которому должно привести такое обозрѣніе.—Содержаніе и объемъ моего труда.

Много уже было высказано всякаго рода и мнѣній, и сужденій о разныхъ дѣятеляхъ и литературныхъ явленіяхъ того періода лѣтъ, который обозначенъ въ заглавіи предпринятаго мною труда. Появленіе каждаго памятника, относящагося къ этому времени, каждой монографіи, трактующей объ этой эпохѣ, возбуждало не мало всякаго рода толковъ, споровъ и пререканій. Но надо обратить вниманіе на то, что до послѣдняго времени отношеніе къ различнымъ явленіямъ такъ-называемыхъ сороковыхъ годовъ (эпохѣ, которая, собственно говоря, не ограничивается одними сороковыми годами, а обнимаетъ собою болѣе трехъ десятилѣтій) было почти исключительно или панегирическое, или полемическое, и до сихъ поръ, несмотря на все обиліе изданнаго объ этой эпохѣ, врядъ ли вы найдете особенно много сочиненій, заключающихъ въ себѣ вполнѣ объективные и безпристрастные взгляды. Это вполнѣ естественно, если взять во вниманіе, что эпоха эта такъ близка къ намъ, какъ вчерашній день, что хотя она и минула, но идеи и многіе люди, принадлежащіе къ ней, продолжаютъ еще жить и дѣйствовать и, окруженные ореоломъ славы, вооруженные талантами, властью и вѣсомъ въ обществѣ, не перестаютъ еще съ слѣпымъ упорствомъ задерживать напоръ новыхъ идей и потребностей вѣка. Какому-же быть иному отношенію, какъ не полемическому въ разгарѣ той борьбы, какая ведется до сихъ поръ между старымъ поколѣніемъ и молодымъ, или, какъ обыкновенно говорятъ, между людьми сороковыхъ годовъ и шестидесятыхъ? Надо взять въ разсчетъ и то, что не болѣе, какъ 15 лѣтъ тому назадъ *), и полемическое отношеніе къ передовымъ дѣятелямъ сороковыхъ годовъ было еще немыслимо въ прогрессивныхъ лагеряхъ нашей литературы, а было естественно и даже необходимо—одно панегирическое: въ то время противъ литературныхъ дѣятелей сороковыхъ годовъ ратовали люди, боровшіеся съ ними еще при ихъ жизни во имя началъ, которыя и въ сороковые годы представлялись уже отжившими. Это было время, когда фаза мысли сороковыхъ годовъ успѣла вполнѣ опредѣлиться и закончиться, новая-же фаза шестидесятыхъ годовъ только-что зачиналась и еще въ весьма неясныхъ, неопредѣленныхъ чертахъ рисовалась въ будущемъ. Гоголь, Бѣлинскій, Грановскій едва успѣли сойти съ поприща, и на нихъ (кромѣ развѣ одного Гоголя) не отвыкли еще смотрѣть, какъ на дѣятелей вполнѣ современныхъ, которые, если-бы не сошли преждевременно въ могилу, то могли-бы, не отставая отъ вѣка, продолжать писать и говорить въ томъ же направленіи, въ какомъ закончили свое поприще. Однимъ словомъ, къ нимъ относились еще такъ, какъ нынѣ мы относимся къ Добролюбову или Писареву. Такое отношеніе мы встрѣчаемъ въ «Очеркахъ гоголевскаго періода» («Совр.», 1856 г.), первомъ дѣльномъ и капитальномъ сочиненіи, посвященномъ этой эпохѣ и трактующемъ объ одномъ изъ самыхъ передовыхъ дѣятелей ея—Бѣлинскомъ. Цѣль сочиненія—показать, какой великій и глубокій критикъ былъ Бѣлинскій, какое значеніе имѣлъ онъ въ свое время среди разнаго рода литературныхъ партій, окружавшихъ его, что онъ сдѣлалъ сравнительно съ предшествующимъ его временемъ, чѣмъ мы ему обязаны и что мы въ немъ утратили. Всѣ эти вопросы разрѣшены съ такой полнотой и обстоя-

*) То-есть въ половинѣ 50-хъ годовъ.

тельностью, что врядъ-ли можетъ выйти другое сочиненіе въ этомъ родѣ, могущее соперничать съ нимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы не найдете въ немъ того, что въ наше время представляется вопросомъ первой важности: именно постановки дѣятельности Бѣлинскаго въ общій уровень развитія идей его вѣка сравнительно съ предшествующимъ и послѣдующимъ временемъ, и притомъ идей не только однѣхъ эстетическихъ и литературныхъ, но моральныхъ и политическихъ. Если въ «Очеркахъ» говорится и объ этомъ, то намеками только, вскользь, и при этомъ берется въ соображеніе ходъ развитія европейской мысли вообще въ ея логическомъ процессѣ, безъ принятія въ соображеніе въ то же время общественныхъ условій, вліяющихъ на различныя колебанія и направленія мысли. Главное же вниманіе обращено въ «Очеркахъ» все-таки на значеніе дѣятельности Бѣлинскаго, преимущественно литературное и эстетическое. Этотъ характеръ «Очерковъ», кромѣ разныхъ побочныхъ, нелитературныхъ причинъ, обусловливается и тѣмъ, что передъ авторомъ не было еще послѣдующаго времени, съ которымъ онъ могъ бы сравнивать дѣятельность Бѣлинскаго въ связи съ характеромъ вѣка его. Кромѣ этого надо взять во вниманіе и то, что въ то время имя Бѣлинскаго только-что начинало выходить изъ мрака, въ которомъ до того скрывалось. Очень многіе не имѣли еще и понятія о томъ, что соединяется съ этимъ именемъ; другіе смотрѣли на него, какъ на имя дерзкаго литературнаго фразёра и недоученаго крикуна; третьи соединяли съ этимъ именемъ нѣчто такое криминальное, что одно упоминаніе о немъ на страницахъ журнала, да еще съ сочувствіемъ къ нему, считали крайне компрометирующимъ журналъ по отношенію къ благонамѣренности. Понятно, что въ то время дѣломъ первой важности было познакомить публику съ личностью Бѣлинскаго, какъ съ дѣятелемъ, едва сошедшимъ съ поприща и вѣяніе котораго отражалось еще на всей литературѣ, пропагандировать, такъ сказать, его и въ то же время защищать отъ нападковъ на неблагонамѣренность, чего вполнѣ достигли «Очерки».

Совершенно такой же характеръ носятъ всѣ монографіи о разныхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ вплоть до 62 года, то-есть до начала реакціи. Таковы біографія Станкевича Аннепкова, приложенная къ изданію переписки Станкевича, статья Добролюбова о Станкевичѣ, воспоминанія о Бѣлинскомъ И. Панаева и его же «Литературныя воспоминанія», «Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій», біографическій очеркъ Д. Свіяжскаго, и проч. Хотя въ это время новая фаза мысли шестидесятыхъ годовъ все болѣе и болѣе выясняется и опредѣляется, но люди сороковыхъ годовъ еще не выдѣляются изъ движенія, на умахъ современниковъ сохраняется еще живая преемственная связь между эпохой сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ и отношеніе къ дѣятелямъ сороковыхъ годовъ продолжаетъ сохранять характеръ панегирическій. Во всѣхъ вышеупомянутыхъ сочиненіяхъ писатели рисуютъ передъ вами дѣятелей сороковыхъ годовъ мужественными борцами и страдальцами мысли среди мрака невѣжества, окружавшаго ихъ, благоговѣйно вслушиваются въ каждое ихъ слово, спѣшатъ заявить о каждомъ фактѣ, характеризующемъ ихъ съ положительной стороны, и съ негодованіемъ относятся къ малѣйшимъ нападкамъ на ту или другую чтимую личность.

Съ 1862 г. отношеніе къ дѣятелямъ сороковыхъ годовъ, подъ вліяніемъ борьбы, возникшей между старымъ и молодымъ поколѣніями, быстро мѣняется. Рядомъ съ прежнимъ панегирическимъ возникаетъ въ прогрессивныхъ лагеряхъ нашей литературы и отношеніе полемическое. Эпохи сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ начинаютъ становиться другъ противъ друга, какъ двѣ противоположныя крайности, между которыми лежитъ непроходимая пропасть, причемъ гдѣ одни видятъ свѣтъ, тамъ другіе ничего, кромѣ мрака, не признаютъ. До какой степени утвердилось это полемическое увлеченіе, мы видимъ изъ того, что оно встрѣчается не въ однѣхъ только полемическихъ статьяхъ всякаго рода, каковы напримѣръ были статьи Писарева и Зайцева, въ которыхъ эти писатели говорили о Грановскомъ, Кудрявцевѣ, Бѣлинскомъ, Лермонтовѣ, но подчасъ и въ такихъ сочиненіяхъ, которыя, по самому содержанію своему, должны бы были имѣть объективный характеръ, каковы мемуары и сборники біографическихъ матеріаловъ. Таковы напримѣръ «Воспоминанія Тургенева о Бѣлинскомъ»: Тургеневу недостаточно было сообщить все, что онъ помнитъ о Бѣлинскомъ, ему казалось необходимымъ рядомъ съ величіемъ Бѣлинскаго выставить ничтожество Добролюбова. Точно также біографія Грановскаго Станкевича, подъ конецъ представляетъ вамъ тонкій, но весьма чувствительный намекъ на то, что вы-де, современныя либеральныя односторонности всякаго рода, напрасно причисляете къ своему лагерю Грановскаго, съ его всеобъемлющей гуманностью и широтой взглядовъ, чуждыхъ всякихъ партій.

Въ силу этой полемики, въ литературѣ нашей утвердились два рѣзкія направленія въ сравнительной оцѣнкѣ двухъ эпохъ. Съ одной стороны всѣ общественныя реформы послѣдняго времени, всѣ успѣхи въ наукахъ и искусствахъ выводятся исключительно изъ сороковыхъ годовъ и приписываются людямъ этой эпохи. Вы подумайте, говорятъ люди этого направленія, сколько могучихъ талантовъ произвела эта эпоха: припомните только имена Бѣлинскаго, Гоголя, Грановскаго, Кудрявцева, Кавелина, Костомарова, Тургенева, Писемскаго, Гончарова — все это люди или дѣйствовавшіе въ то время, или вышедшіе изъ него и дѣйствующіе теперь. Какіе люди подняли крестьянскую и прочія реформы, содѣйствовали и руководили ими своими знаніями и практическими трудами? По большей части люди сороковыхъ годовъ. Наконецъ, развитіе самосознанія въ нашемъ обществѣ, уваженія къ литературѣ, наукѣ, эстетическаго вкуса, гуманности, все это дѣло людей сороковыхъ годовъ, всему этому мы имъ обязаны. А что сдѣлало ваше молодое поколѣніе? Много ли вышло изъ него такихъ могучихъ, блестящихъ талантовъ, какіе были упомянуты выше? Разъ, два, да и обчелся. А вышло ли хоть одно произведеніе искусства, которое можно было бы поставить рядомъ съ произведеніями писателей сороковыхъ годовъ? А какое участіе принимало молодое поколѣніе во всѣхъ реформахъ? Оно встрѣтило ихъ со свистомъ, вооружившись несбыточными утопіями. Проповѣдь его проникнута отрицаніемъ науки, искусства, гуманности,

всякихъ нравственныхъ основъ въ человѣкѣ и порядка въ обществѣ, словомъ, представляетъ мрачныя бездны нигилизма.

Съ другой стороны не перестаютъ высказываться мнѣнія діаметрально противоположныя: истинное самосознаніе въ обществѣ нашемъ, говорятъ, развилось только съ шестидесятыхъ годовъ; только съ этого времени начались у насъ дѣйствительные успѣхи въ наукахъ, настоящее пониманіе значенія искусства, глубокій анализъ общественныхъ отношеній; только съ этого времени явились истинные люди свѣта, правды, сильные, энергическіе, гуманные, люди дѣла, а не однихъ словъ. А что такое были сороковые годы? Эта мрачная эпоха была способна не развивать силы, а сокрушать ихъ. Поэтому люди сороковыхъ годовъ,— это люди больные, надломленные, люди холодной рефлексіи, словъ, а не дѣла. Чуждые всякихъ живыхъ общественныхъ интересовъ, они искали забвенія или въ отвлеченной отъ жизни наукѣ, или въ созерцаніи прекрасныхъ образовъ чистаго искусства, или въ узкой сферѣ семейнаго счастья, или наконецъ въ легкомысленномъ эпикуреизмѣ. Въ общественномъ движеніи послѣдняго времени они постоянно представлялись тормазами вслѣдствіе своей запуганности, нелѣпительности и апатіи: каждая реформа сначала пугала ихъ, представлялась имъ роковымъ шагомъ, ведущимъ общество прямо въ пропасть. Они старались обыкновенно всячески ее отодвинуть, ссылаясь на неразвитость, неприготовленность нашего общества; а въ концѣ-концовъ, когда рядъ реформъ совершился помимо ихъ предостереженій, озлобленные и обезкураженные, они начали смотрѣть на все совершившееся, какъ на миражъ, дымъ и ничтожную толотню на одномъ мѣстѣ.

Въ каждомъ изъ этихъ мнѣній, если хотите, есть своя доля справедливости, и съ нѣкоторыми отдѣльными положеніями вы не можете не согласиться. Развѣ не правда, что сороковые годы дѣйствительно выпустили рядъ весьма даровитыхъ личностей, которымъ мы обязаны не мало? Справедливо съ другой стороны и то, что шестидесятымъ годамъ мы обязаны такими успѣхами въ общественномъ и умственномъ развитіи, о какихъ сороковые годы и не мечтали.

Но далѣе затѣмъ въ обоихъ мнѣніяхъ слѣдуетъ рядъ непроходимыхъ противорѣчій. Съ одной стороны вы подумайте только, сколько комизма должно представиться во всей дѣятельности людей сороковыхъ годовъ, если вы посмотрите на нее ихъ же глазами: является рядъ талантливыхъ людей, начинаютъ развивать въ обществѣ гуманность, эстетическій вкусъ, уваженіе къ наукѣ, стремленіе къ высшему развитію. Казалось бы, что подъ вліяніемъ этой пропаганды должно было воспитаться молодое поколѣніе экстраидеальное. И вдругъ что́ же: какъ-будто нарочно, вопреки всей пропаганды, является поколѣніе немытое, нечесанное, небритое, съ дикими, необузданными нравами, отрицаніемъ наукъ, искусствъ, нравственности, цивилизаціи! Что же это такое? Выходитъ какой-то неожиданный фокусъ-покусъ, и люди сороковыхъ годовъ сами отрицаютъ всѣ плоды своей дѣятельности, выдавая себя за какихъ-то заколдованныхъ и опростоволосившихся сѣятелей, которые посѣяли ананасы, а выросъ хрѣнъ. Если же считать всю эту печальную катастрофу за случайное вторженіе въ нашу жизнь чуждыхъ вліяній, парализовавшихъ благодѣтельную дѣятельность людей сороковыхъ годовъ, то не забудьте при этомъ, что вѣдь съ одной стороны признается цѣлое созвѣздіе могучихъ, развитыхъ, обогащенныхъ знаніями талантовъ, а съ другой стороны ничего не признается, кромѣ мелкихъ, злобныхъ, невѣжественныхъ посредственностей, и опять-таки вы имѣете дѣло съ чудеснымъ историческимъ фактомъ, совершившимся вопреки всѣхъ законовъ природы: цѣлый рядъ могучихъ талантовъ отодвинутъ въ сторону и благотворное вліяніе его парализовано какими-то темными, ничтожными невѣждами.

Но и съ другой стороны вы можете встрѣтить не меньше противорѣчій. Говоря объ успѣхахъ общественнаго развитія въ послѣднее время, сторона эта старается при всякомъ удобномъ случаѣ доказывать, что эти успѣхи не были случайны и искусственно привиты, а естественно и органически возникли изъ потребностей нашей жизни и представляютъ послѣдовательный ходъ этого развитія; но въ то же время не перестаетъ зіять подъ перьями нашихъ публицистовъ мрачная бездна между сороковыми и шестидесятыми годами, причемъ новые идеи и люди словно съ неба сваливаются и неожиданно вторгаются въ нашу жизнь, въ совершенный разрѣзъ съ жизнью и дѣятельностью прежнихъ поколѣній, словно тѣ бѣлые боги, которые, подъ предводительствомъ Колумба, нежданно-негаданно явились въ гости къ американскимъ дикарямъ. Если же и стараются разъяснить причины перелома, то все обыкновенно подводятъ подъ одну какую-либо причину и впадаютъ еще въ бо́льшія противорѣчія. Такъ-напримѣръ, одни опираются исключительно на общественныя обстоятельства: въ сороковые годы, говорятъ, царствовала мрачная реакція, которая растлѣвала силы людей, а въ шестидесятые, съ бо́льшимъ развитіемъ личной свободы, люди почувствовали бо́льшую возможность прилагать свои силы къ той или другой дѣятельности; оттого до шестидесятыхъ годовъ и были все люди однихъ словъ и разъѣдающей рефлексіи, а послѣ шестидесятыхъ годовъ явились люди дѣла. Но я не знаю, нужно ли приводить много доказательствъ, чтобы показать, какъ неопредѣленно и шатко такое положеніе, имѣющее очевидно свою относительную долю правды. Казалось бы напримѣръ, что изъ-подъ гнета реакціи естественно должны были бы явиться самые мрачные, ожесточенные и непримиримые реформаторы, а подъ вліяніемъ свободы, хоть въ самой незначительной степени, напротивъ того, должны образоваться новые люди съ болѣе мирными и оптимистическими наклонностями; а между тѣмъ случилось какъ разъ наоборотъ: люди сороковыхъ годовъ представляютъ гораздо болѣе наклонности къ благодушному примиренію, чѣмъ поколѣніе шестидесятыхъ годовъ. И вообще мы видимъ въ исторіи многократные примѣры, что реакція въ одну эпоху или въ одной средѣ дѣлаетъ людей никуда негодными тряпками, при другихъ же обстоятельствахъ, напротивъ того, ожесточаетъ ихъ, изощряетъ изобрѣтательность ихъ относительно различныхъ средствъ къ отпору и борьбѣ.

Другіе опираются исключительно на умственное развитіе; все различіе между людьми сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ съ этой точки зрѣнія происходитъ исключительно изъ того, что люди сороковыхъ годовъ были романтики, идеалисты, витали въ отвлеченныхъ сферахъ; съ шестидесятыхъ же годовъ появилось новое положительное міросозерцаніе, молодое поколѣніе спустилось съ облаковъ на землю и начало ставить на первый планъ не какіе либо отвлеченные, космическіе, эстетическіе и моральные вопросы, а насущныя потребности жизни общественной и частной. Опять-таки подобное положеніе не лишено справедливости, но оно вовсе не есть представленіе настоящихъ и существенныхъ причинъ различія двухъ поколѣній, а есть только поставленіе факта, указаніе на одинъ изъ признаковъ различія. Признакъ этотъ безспорно очень важный; онъ долженъ стоять на первомъ планѣ, но онъ далеко еще не все объясняетъ и, въ свою очередь, можетъ представить вамъ цѣлый рядъ противорѣчій, если вы вздумаете на немъ одномъ основать все. Основывать все на этомъ признакѣ—значитъ утверждать, что только современное намъ положительное міросозерцаніе способно развивать въ людяхъ общественные интересы; идеалистическія-же системы ведутъ непремѣнно и всегда къ отрѣшенію отъ пониманія живыхъ и естественныхъ потребностей частныхъ и общественныхъ и витанію въ отвлеченныхъ сферахъ. Но утверждать это—значитъ отрицать въ историческомъ прошломъ всякую возможность какихъ-либо общественныхъ движеній, такъ какъ истинно положительное міросозерцаніе развилось въ весьма недавнее время, а между тѣмъ мы видимъ въ исторіи рядъ общественныхъ движеній, совершившихся на почвѣ самыхъ крайнихъ идеалистическихъ системъ. Вы подумайте только объ англійскихъ пуританахъ временъ Карла I: развѣ мы не видимъ въ нихъ идеалистовъ въ высшей степени, мистиковъ съ ногъ до головы, и развѣ это помѣшало имъ стоять во главѣ общественнаго движенія своего времени? И вообще, какое бы мы міросозерцаніе ни взяли изъ тѣхъ, какія пережило человѣчество, начиная отъ самаго младенческаго и не исключая современнаго намъ, реальнаго, на почвѣ каждаго мы найдемъ оптимистовъ и пессимистовъ, отвлеченныхъ мыслителей, и мужественныхъ, энергическихъ людей практическаго дѣла. Никогда не надо забывать, что тѣ или другія общественныя, политическія и нравственныя направленія, которыя мы замѣчаемъ въ различныхъ людяхъ, въ различныхъ слояхъ общества и въ различныя эпохи, зависятъ не столько отъ общихъ системъ міросозерцанія, сколько отъ тѣхъ или другихъ вліяній жизни, направляющихъ однихъ людей въ одну сторону, другихъ—въ другую. Общія-же системы міросозерцаній имѣютъ ту особенность, что онѣ, при своей всеобъемлющей широтѣ, крайне растяжимы и гибки, и при ихъ помощи легко объяснить, оправдать и вывести изъ нихъ самыя противоположныя доктрины. Развѣ не на одномъ и томъ-же циклѣ христіанскихъ идей основывались впродолженіи всѣхъ среднихъ вѣковъ и самыя мрачныя проявленія деспотизма, и самые смѣлые порывы къ свободѣ? Развѣ не изъ одного и того-же Гегеля выводили свои ученія въ сороковые годы и славянофилы, и западники, и отвлеченные эстетики, и люди, проникнутые общественными интересами?

Выпутаться изъ всѣхъ этихъ противорѣчій—одно средство: сойти совершенно и съ панегирической, и съ полемической почвы и безпристрастно, шагъ за шагомъ, прослѣдить, какъ мысль нашего общества въ ея литературныхъ проявленіяхъ измѣнялась годъ за годомъ въ ея различныхъ направленіяхъ. При этомъ нужно обратить тщательное вниманіе на двѣ стороны движенія мысли: съ одной стороны, на тотъ логическій процессъ разума, который состоитъ въ смѣнѣ различныхъ міросозерцаній, зависящей отъ расширенія умственнаго горизонта обогащеніемъ его всякаго рода знаніями и изощренія мозга путемъ умственныхъ упражненій; съ другой стороны не менѣе важно обратить вниманіе и на дифференцированіе людей по различнымъ партіямъ и направленіямъ, совершающееся на почвѣ одного и того-же міросозерцанія вслѣдствіе вліяній различныхъ обстоятельствъ жизни. Я вовсе не имѣю въ виду утверждать, чтобы это были два различные процесса мысли; это больше ничего, какъ двѣ стороны одного процесса; онѣ очень тѣсно, неразрывно соединяются между собою, такъ что нѣтъ возможности строго разграничить одну отъ другой; но тѣмъ не менѣе опускать совершенно изъ виду ихъ различіе и весь прогрессъ основывать на одной, какъ это часто дѣлается, значитъ не разъяснять факты движенія данной эпохи, а только затемнять ихъ и запутывать. Различіе этихъ двухъ сторонъ, какъ бы онѣ ни сплетались между собой въ ходѣ развитія, рѣзко бросается въ глаза той уже своей противоположностью, что въ то время, какъ изъ одной стороны проистекаетъ стремленіе разума перерабатывать жизнь сообразно новыхъ пріобрѣтенныхъ имъ данныхъ, другая сторона, напротивъ, обусловливаетъ собою вліяніе жизни на разумъ, на тѣ или другія его направленія, успѣхи или отклоненія и искаженія.

При такомъ обзорѣ должна исчезнуть мнимая пропасть между сороковыми и шестидесятыми годами. Обѣ эти эпохи представятся намъ не двумя различными эпохами, а двумя противоположными полюсами одной эпохи непрерывнаго умственнаго движенія, начавшагося въ тридцатые годы и дошедшаго до своихъ результатовъ въ шестидесятые, и движеніе шестидесятыхъ годовъ окажется вовсе не случайнымъ вторженіемъ извнѣ идей и принциповъ, неожиданно увлекшихъ молодежь куда-то въ сторону, и не какимъ-либо чудеснымъ зарожденіемъ новаго вопреки всего стараго, словно изъ головы Юпитера, а послѣдовательнымъ и неизбѣжнымъ результатомъ умственнаго процесса, совершавшагося по своимъ непреложнымъ законамъ. Всякое умственное движеніе въ этомъ отношеніи можетъ быть сравнено съ прямолинейнымъ движеніемъ: исходя изъ одной точки и двигаясь по прямой линіи, тѣло необходимо должно перейти къ противоположному концу даннаго пространства. Точно также и умственное движеніе: въ сущности, прямая его безконечна, но, останавливаясь на какой-либо эпохѣ, вы всегда встрѣтите позади ея міросозерцаніе противоположное, изъ котораго мысль, шагъ за шагомъ, пришла къ системѣ воззрѣній разсматриваемаго вами времени. Такъ, греческая философія, начавши съ грубаго эмпи-

ризма іонійской и элейской школъ, въ конечномъ результатѣ своемъ ударилась въ необузданный идеализмъ неоплатониковъ. Точно также, что общаго между идеями Лютера, Кальвина, Цвингли съ одной стороны, и Вольтера, Дидро, Гельвеція—съ другой? Если бы эти люди могли встрѣтиться въ жизни, они навѣрное отшатнулись бы другъ отъ друга съ ужасомъ и отвращеніемъ, а между тѣмъ философія XVIII вѣка была ни чѣмъ инымъ, какъ послѣдовательнымъ результатомъ умственнаго движенія, начавшагося въ Европѣ въ XV вѣкѣ провозглашеніемъ свободы совѣсти и критики въ вопросахъ вѣры. Точно также и многіе современные германскіе мыслители хотя и стоятъ на почвѣ совершенно противоположной, чѣмъ стояли Лессингъ, Кантъ, Фихте, Гегель, тѣмъ не менѣе это не даетъ имъ никакого права выдѣлять себя изъ того круга умственнаго движенія, которое началось въ Германіи во второй половинѣ прошлаго вѣка.

Мнѣ кажется, что теперь уже время для подобнаго анализа, такъ-какъ не только сороковые годы, но и шестидесятые начинаютъ все болѣе и болѣе уходить въ глубь прошедшаго и образуется историческая перспектива, достаточная для обозрѣнія двухъ эпохъ въ ихъ переходѣ одна въ другую. Не имѣя претензіи вполнѣ удовлетворить этой задачѣ, что значило бы написать всестороннюю исторію нашей цивилизаціи за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ, принявъ въ соображеніе не одни литературныя, но и всѣ прочія явленія общественной жизни этой эпохи въ различныхъ сферахъ,—я намѣренъ ограничиться обзоромъ движенія нашей критики въ эпоху, начиная съ 1820 года и кончая 1861-мъ, сгруппировавши этотъ обзоръ вокругъ представителей критики этой эпохи, начиная съ Полевого и кончая Добролюбовымъ. Цѣль моего трактата—показать, какими путями развитіе нашей мысли отъ того состоянія, въ которомъ находилось въ эпоху «Телеграфа», шагъ за шагомъ пришло къ идеямъ Добролюбова.

II.

Ложное пониманіе романтизма въ современной русской литературѣ и его причины. — Существенныя свойства романтическаго движенія въ Европѣ.—Его начало, движеніе, исходъ въ реализмъ и видоизмѣненія подъ вліяніемъ различныхъ общественныхъ обстоятельствъ.—Предѣлы романтической эпохи въ Россіи.

Тридцатые годы считаются у насъ годами самаго крайняго развитія романтизма. Но что такое романтизмъ? Какое значеніе имѣлъ онъ въ Европѣ и у насъ? Какъ широка его сфера въ жизни, т. е. ограничивается-ли онъ одной эстетической теоріей, или, напротивъ того, обнимаетъ собою всѣ отношенія жизни? Гдѣ его начало и конецъ?

Надо замѣтить, что ни о какомъ предметѣ такъ много не говорили у насъ, какъ о романтизмѣ, начиная съ двадцатыхъ годовъ и до нашего времени, и ни о какомъ предметѣ не существуетъ такихъ смутныхъ, односторонніхъ и неопредѣленныхъ понятій, какъ объ этомъ сфинксѣ. Говорили, говорили и договорились до того, что слово «романтизмъ», подобно другимъ, вновь изобрѣтеннымъ прозвищамъ, потеряло въ глазахъ многихъ нашихъ просвѣщенныхъ мыслителей всякое значеніе, какъ извѣстное міросозерцаніе или фаза развитія, и приняло безразличный, тупой смыслъ оскорбительнаго прозвища, вродѣ тѣхъ бранныхъ словъ, которыя, ничего въ сущности не выражая, придаются людямъ, которыхъ желаютъ унизить.

Такое низведеніе слова «романтизмъ» до ругательнаго прозвища произошло изъ того, что романтизмъ отождествляютъ у насъ съ реакціей, застоемъ и представляютъ его не иначе, какъ въ видѣ мистическаго паренія въ заоблачныхъ сферахъ, соединеннаго съ полнѣйшимъ индифферентизмомъ относительно различныхъ реальныхъ потребностей и общественныхъ вопросовъ дня. Поэтому сказать, что извѣстный писатель—романтикъ, это значитъ у насъ опредѣлить, что ему чуждо все современное; писателя же, мало-мальски откликающагося на современные вопросы, непремѣнно тотчасъ же причисляютъ у насъ къ лику реальныхъ.

Частная причина такого плоскаго пониманія романтизма заключается въ томъ, что мы привыкли судить объ этомъ предметѣ по одной изъ вѣтвей нашего отечественнаго романтизма, преимущественно по тѣмъ выцвѣтшимъ, заплесневѣлымъ романтикамъ, остатки которыхъ встрѣчаются еще въ нашей жизни. Общая же причина заключается въ томъ, что понятіе это крайне сложное и многообъемлющее: это не какая-нибудь опредѣленная теорія, которую можно было бы формулировать въ нѣсколькихъ фразахъ; это не есть одна только литературная школа, вызванная реакціей противъ ложнаго классицизма, какъ опредѣляли романтизмъ прежде, какъ и нынѣ многіе смотрятъ на него по старой рутинѣ; не есть только политическая и умственная реакція, изнеможенное возвращеніе вспять къ среднимъ вѣкамъ, какъ опять-таки многіе стараются объяснить романтизмъ. Это есть цѣлое умственное движеніе европейскаго міра, развитіе, совершенно иное въ началѣ, иное въ серединѣ, иное въ своемъ исходѣ; оно представляетъ на своей почвѣ всевозможныя политическія доктрины—отъ соціализма и демократизма до крайняго феодализма и ультрамонтанства, всевозможныя нравственныя теоріи—отъ безусловнаго самоотверженія и посвященія личности обществу до полнѣйшаго индифферентизма и эгоизма, нѣсколько литературныхъ школъ и философскихъ системъ. Въ средѣ романтиковъ вы встрѣтите людей, погибшихъ на барикадахъ и выслужившихся при дворахъ, скептиковъ и энтузіастовъ вѣры, которые отправлялись въ качествѣ миссіонеровъ проповѣдывать христіанство дикарямъ—людей самой строгой, узкой морали и необузданнаго разврата. Хотите вы напримѣръ романтиковъ въ прогрессивномъ и даже революціонномъ духѣ—вотъ вамъ Шиллеръ, Байронъ, В. Гюго, Ж. Зандъ; хотите, напротивъ того, въ реакціонномъ—Шатобріанъ, Тикъ, Ламотъ-Фукэ, Вернеръ и пр.; хотите, напротивъ того, писателей чистаго искусства, безпристрастно объективныхъ, во всемъ умѣющихъ открывать свою художественную сторону,—вотъ вамъ Гёте.

Что же такого было общаго между всѣми образованными людьми отъ конца прошлаго вѣка и до сороковыхъ годовъ, а у насъ и позже, вслѣдствіе чего подъ

одну категорію подвели людей столь разнообразныхъ во всѣхъ отношеніяхъ? Для того, чтобы уяснить намъ романтическое движеніе во всей его сущности, слѣдуетъ обратить вниманіе на тотъ фактъ, что въ жизни европейскихъ обществъ нѣсколько разъ повторялись такого рода умственныя движенія, во время которыхъ мысль принимала направленіе не столько качественнаго развитія, сколько количественнаго распространенія въ массахъ. Рядъ новыхъ идей, выработанныхъ въ предшествующіе годы въ тиши ученыхъ кабинетовъ, вдругъ вторгался въ жизнь съ неудержимой силой и потоплялъ цѣлыя страны и слои обществъ. Мыслители и ученые изъ скромныхъ и уединенныхъ разрабатывателей науки дѣлались пламенными энтузіастами и проповѣдниками; цѣлыя массы народа слѣпо шли за ними, но, что̀ составляетъ характеристическую черту подобныхъ движеній, весьма важную для объясненія романтизма,—массы увлекались обыкновенно въ эпохи, подобныя XV или XVIII вѣкамъ, не столько логической непреложностью проповѣдываемыхъ идей, сколько той всеувлекающей страстью, съ какой онѣ проповѣдывались. Вслѣдствіе этого идеи эти обыкновенно чѣмъ болѣе обогащались въ количественномъ отношеніи массой сочувствующихъ имъ людей, тѣмъ болѣе теряли въ качественномъ. Огромная масса людей, увлеченныхъ движеніемъ, оказывалась далеко умственно-неподготовленной къ воспринятію ихъ. И потому даже во время самаго сильнаго разгара движенія только весьма ограниченный кругъ мыслителей вполнѣ ясно, глубоко и всесторонне понималъ то міросозерцаніе, которое стояло во главѣ движенія. Чѣмъ далѣе отходите вы отъ этого круга, тѣмъ болѣе поражаетъ васъ страшная путаница взглядовъ самыхъ разнокалиберныхъ. Естественно послѣ этого, что едва только движеніе теряло свой страстный характеръ, масса людей, неподготовленная къ воспринятію новаго міросозерцанія, быстро возвращалась къ тѣмъ взглядамъ, въ которыхъ коснѣла до начала движенія. Все движеніе представлялось какимъ-то страшнымъ сномъ, разсѣявшимся передъ дѣйствительностью, вѣяніемъ чаръ злыхъ волшебниковъ, гибельнымъ увлеченіемъ, избавившись отъ котораго, люди начинали ликовать и праздновать свое спасительное отрезвленіе.

Но неужели все движеніе и въ самомъ дѣлѣ было метеоромъ, мелькнувшимъ мгновенно и разсыпавшимся безъ слѣда, не оставивъ по себѣ даже осколковъ? Нѣтъ, движеніе совершало свое дѣло: оно не успѣвало, правда, сразу въ тысячахъ умовъ утвердить то міросозерцаніе, которое стояло во главѣ его, но тѣмъ не менѣе оно на столько возбуждало эти умы, что заснуть они уже не могли прежнимъ безмятежнымъ сномъ. Они, правда, ликовали свое возвращеніе къ прежнимъ дѣтскимъ взглядамъ, но они горько ошибались: совершенное возвращеніе для нихъ было уже невозможно. Они утрачивали уже ту безмятежную неподвижность, младенческую наивность и непосредственность, съ которыми прежде исповѣдывали свои взгляды. Они дѣлались полны тревоги и сомнѣнія, которое пробивалось наружу и заявляло себя, несмотря на все ихъ стараніе глядѣть на свои убѣжденія, какъ на рядъ непреложныхъ истинъ. Въ тоскѣ и унынiи перебирали они эти взгляды, всѣ силы напрягали, чтобы примирить ихъ съ новыми успѣхами мысли, но тщетно: разъ возбужденные и приведенные въ движеніе, они, вопреки своей воли, шли впередъ, шагъ за шагомъ, теорія за теоріей, все дальше и дальше отодвигались отъ точки, на которой прежде коснѣли, все болѣе приближались къ тѣмъ взглядамъ, которые отвергли съ ужасомъ, и раньше или позже, когда эти возбужденные умы самостоятельно совершали весь тотъ процессъ, который предшествовалъ возбудившему ихъ міросозерцанію, послѣднее снова торжествовало, но торжество его дѣлалось гораздо прочнѣе, шире и блистательнѣе: съ одной стороны, оно обогащалось многими новыми изысканіями, которыя были опущены изъ виду въ моментъ перваго увлеченія новыми идеями и были пополнены потомъ во время переходнаго процесса, а во-вторыхъ, оно считало въ своемъ лагерѣ не сотни умовъ съ шатающимися взглядами, а тысячи, вполнѣ усвоившія его.

Романтизмъ представляется намъ именно однимъ изъ такихъ переходныхъ процессовъ, возбужденныхъ движеніемъ, слишкомъ превзошедшимъ общій уровень развитія европейскихъ массъ. Извѣстно, что въ XVI и XVII вѣкахъ, если мысль развивалась и масса знаній увеличивалась, то происходило это изолированно отъ массъ, въ тиши кабинетовъ, въ тѣсныхъ кругахъ цеховыхъ ученыхъ и немногочисленныхъ любителей просвѣщенія. Беконъ, Спиноза, Декартъ, Толандъ, Локкъ, Бель, Юмъ и пр., словомъ, всѣ мыслители этой эпохи играютъ великую роль въ развитіи мысли исключительно почти въ качественномъ отношеніи: въ количественномъ же дѣйствіе ихъ было весьма ограничено; они имѣли своихъ послѣдователей и поклонниковъ, но вліяніе ихъ и сравнить нельзя съ той способностью приводить въ движеніе умы цѣлыхъ массъ, какой были одарены проповѣдники реформаціи или французскіе энциклопедисты XVIII вѣка.

Въ концѣ XVII и въ началѣ XVIII вѣка было, правда, въ Англіи много весьма просвѣщенныхъ людей, деистовъ и скептиковъ, освободившихся отъ средневѣковыхъ преданій, но это были отдѣльные, тѣсные кружки философствующихъ лордовъ, не одаренные особенной энергіей пропаганды. И только перейдя на французскую почву, идеи этихъ кружковъ начали проповѣдываться съ такимъ страстнымъ и всеувлекающимъ краснорѣчіемъ, что обратили вскорѣ вниманіе на себя всей Европы и произвели всеобщее движеніе умовъ. Но между тѣмъ какъ идеи эти были плодомъ цѣлаго процесса мысли, непрерывно развивавшейся отъ XV вѣка и до XVIII, вы подумайте, въ какомъ положеніи находились умы европейскаго общества въ самыхъ даже просвѣщенныхъ сферахъ: они очень немного подвинулись отъ того состоянія, въ которомъ находились въ эпоху реформаціи. Находясь на чисто еще теологической почвѣ, они готовы были увлечься всякимъ сектаторскимъ движеніемъ, считая его послѣднимъ словомъ истины, что̀ ясно показываютъ такія явленія, какъ яснеливизмъ, масонство, дикій и мрачный мистицизмъ Лафатера, Пфеннингера и Юнга-Штиллинга. О послѣднемъ Шлоссеръ въ своей «Исторіи» говоритъ, что «жизнь и странствованія Штиллинга, особенно двѣ первыя части этого сочиненія, въ то безпокойное время составили эпоху и пріобрѣли себѣ совершенно

свой особенный кругъ читателей. Понятія автора были понятіями народа всѣхъ мѣстъ и провинцій Германіи. Для народа были слишкомъ высоки основатели новой литературы, или самая литература была для него слишкомъ свѣтской, а понятія Юнга-Штиллинга были очень сродни ему; поэтому Юнгъ-Штиллингъ пріобрѣлъ въ Германіи, какъ Пфеннингеръ въ Швейцаріи, гораздо болѣе вѣса, чѣмъ сколько заслуживали ихъ знанія, способности и форма, которую они могли дать своимъ сочиненіямъ». Въ то время, какъ передовые дѣятели науки дѣлали славныя открытія въ астрономіи и химіи, люди, считавшіеся образованными, вѣрили въ магію, кабалистику, алхимію и астрологію. Личности вродѣ Калліостро и Сенъ-Жермена окружались мистическимъ туманомъ и о нихъ ходили фантастическія легенды въ образованныхъ сферахъ общества. Естественно, что послѣ перваго увлеченія новыми проповѣдниками надо было ждать, что мысль пойдетъ не тѣмъ путемъ, который пролагали мыслители XVIII вѣка, а тѣмъ, какой соотвѣтствовалъ состоянію умовъ большинства европейскаго общества, тѣмъ болѣе въ такихъ странахъ, какъ Германія или Италія, не просыпавшихся съ XV вѣка. Романтизмъ и былъ именно этимъ путемъ, которымъ пошла Европа, какъ только обаяніе французскихъ идей ослабло.

Начало романтическаго движенія является намъ повсюду именно въ видѣ стремленія освободиться отъ рабскаго подчиненія французской литературѣ, обособиться, завести свою собственную литературу, философію, науку, искусство. Вопросъ о народности является поэтому первымъ вопросомъ романтизма. Затѣмъ начинается удивительная амальгама свободныхъ идей XVIII вѣка со взглядами и представленіями, вынесенными изъ среднихъ вѣковъ, скептицизма и вѣры, стремленій основать свои сужденія на свободной критикѣ разума, но, вмѣсто этой критики,—пугливаго успокоенія посредствомъ различныхъ сближеній и примиреній догматики съ фактами науки. Такимъ образомъ мы видимъ въ романтическомъ движеніи мысль, находящуюся не въ застоѣ и неподвижности, а, напротивъ того, возбужденную, энергически работающую, смѣлую и гордую въ своихъ порывахъ, но которая въ то же время сама пугается своей собственной смѣлости, смѣется надъ прежнимъ безмятежнымъ младенчествомъ и въ то же время плачетъ о немъ, какъ объ утраченномъ раѣ, гордится своими успѣхами и видитъ въ нихъ источникъ всякаго зла на землѣ. Всѣ поэтическія произведенія, возникшія въ началѣ романтическаго движенія, отражаютъ въ себѣ эту раздвоенность. Что такое, напримѣръ, Фаустъ Гёте? Это германскій ученый начала XVIII столѣтія, аскетъ, отрѣшенный отъ жизни, закупоренный въ стѣнахъ своего кабинета и тщетно старающійся постигнуть основы знаній посредствомъ своей средневѣковой схоластики и теологіи. Разочарованный въ своей наукѣ, въ отчаяньи онъ видитъ исходъ въ одной смерти. И въ самомъ дѣлѣ, что было дѣлать Германіи, какъ не умереть и нравственно, и физически, еслибы ей не представилось никакого исхода изъ того состоянія, въ которомъ она находилась въ началѣ XVIII вѣка? Но вотъ къ Фаусту является на выручку новое движеніе мысли, французская философія прошлаго вѣка, олицетворенная въ видѣ Мефистофеля. Замѣтьте при этомъ: обновляющее движеніе мысли представляется въ то же время въ видѣ злого начала, ничего неспособнаго произвести съ христіанской точки зрѣнія, кромѣ зла и гибели: вотъ гдѣ романтизмъ во всей его сущности. И дѣйствительно, мы видимъ, что Мефистофель съ одной стороны обновляетъ жизнь Фауста, выводитъ его изъ душной кельи на веселый праздникъ жизни, но это обновленіе ничего не приноситъ, кромѣ зла и гибели людямъ, вродѣ Гретхенъ, въ которой олицетворено средневѣковое состояніе дѣтской непосредственности,—ничего, кромѣ угрызеній совѣсти, стыда и новаго отчаянія самому Фаусту. Таковъ же передъ вами и байроновскій Манфредъ: высшую сатанинскую гордость его составляетъ знаніе; въ знаніи онъ полагаетъ основаніе своего человѣческаго достоинства, и въ немъ же онъ видитъ главный источникъ всѣхъ своихъ страданій, мученій совѣсти, разочарованія и проклятія, тяготѣющаго надъ нимъ. Припомните сцену его встрѣчи съ горнымъ охотникомъ. Въ послѣднемъ олицетворена дѣтская непосредственность среднихъ вѣковъ, и совершенно вѣрно съ характеромъ романтизма Манфредъ видитъ въ этой жизни единственную возможность счастья на землѣ; онъ завидуетъ охотнику; но согласился ли бы онъ промѣнять свою участь на его? О, нѣтъ, никогда! Манфредъ готовъ вынести лучше еще большія муки, чѣмъ вернуться къ жизни охотника. То же самое вы видите и во многихъ идеальныхъ герояхъ Шиллера: весь ихъ героизмъ, вся ихъ идеальность заключаются въ томъ, что они отрѣшаются отъ обыденной рутины жизни, но это именно и служитъ главной причиной ихъ гибели.

Я не думаю отрицать, чтобы люди никогда не гибли вслѣдствіе своихъ возвышенныхъ стремленій или оттого, что они, по своему развитію, становятся въ разрѣзъ съ окружающимъ ихъ зломъ и невѣжествомъ; но съ реальной точки зрѣнія гибель эта представляется вовсе не какимъ-либо фатумомъ, необходимымъ удѣломъ всякаго мало-мальски выдающагося человѣка, его же не прейдеши. Мы видимъ не мало героевъ, возвышавшихся надъ міромъ своимъ геніемъ, ученостью, развитіемъ, принесшихъ человѣчеству громадную массу пользы, и это нисколько не помѣшало имъ умереть въ глубокой старости отъ какой-нибудь прозаической простуды безъ всякихъ возвышенныхъ, трагическихъ страданій. Мы можемъ найти и другихъ героевъ, умершихъ трагически, но трагическій конецъ которыхъ проистекъ вовсе не фатально изъ ихъ героизма, а отъ столкновенія различныхъ внѣшнихъ, часто совершенно случайныхъ причинъ, иногда даже вслѣдствіе предразсудковъ, которые они раздѣляли съ своими современниками. Но съ точки зрѣнія романтизма малѣйшее возвышеніе человѣка надъ тиной животнаго прозябанія, малѣйшее пробужденіе въ немъ мысли, чувства и человѣческаго достоинства—представлялось уже чѣмъ-то такимъ, удѣлъ чего страдать и гибнуть. Первоначально такое представленіе вытекало, какъ мы выше сказали, прямо изъ того впечатлѣнія, какое произвело на дѣтскіе умы движеніе мысли восемнадцатаго вѣка: движеніе это очаровало ихъ и въ то же время испугало своей смѣлостью. Это было явленіе, какое люди испытываютъ при всякой перемѣнѣ

въ области мысли или практической жизни: старое надоѣло, оно гнететъ и возбуждаетъ всеобщую ненависть, а новое съ одной стороны чаруетъ и влечетъ къ себѣ, съ другой же—кажется чѣмъ-то страшнымъ, преступнымъ и гибельнымъ. Но позже, когда европейскіе умы освобождаются отъ увлеченія скептическими идеями восемнадцатаго вѣка и становятся на самостоятельную почву развитія, то же самое представленіе о фатальной гибели идеальныхъ людей переносится на почву дуализма. Дуализмъ проходитъ сквозь все движеніе романтизма, вы встрѣтите его во всѣхъ философскихъ системахъ, начиная съ Канта и кончая Гегелемъ, и это очень естественно: дуализмъ былъ основой міросозерцанія среднихъ вѣковъ; и нѣтъ ничего мудренаго, что умы, пробужденные идеями XVIII вѣка, начали свое движеніе отъ той точки, на которой находились до этого времени. Средневѣковые аскеты дѣлили обыкновенно жизнь на матеріальную и духовную, причемъ предполагали, что матеріальная жизнь можетъ принести человѣку всевозможныя блага и наслажденія, если человѣкъ ей предастся всецѣло; духовная же ничего не можетъ доставить человѣку, кромѣ униженій, страданій, иногда же и мучительной смерти; но зато матеріальная жизнь унижаетъ нравственное достоинство человѣка, духовная же возвышаетъ; первая ведетъ къ вѣчнымъ мученіямъ въ будущей жизни, послѣдняя—къ вѣчному блаженству. Подъ духовной же жизнью въ средніе вѣка подразумѣвали извѣстный циклъ догматическихъ добродѣтелей, причемъ бо́льшая часть изъ нихъ заключалась въ подавленіи страстей и похотей, считавшихся злыми навожденіями матеріальной жизни. Но въ романтизмѣ, рядомъ съ мыслью, неуспѣвшей еще отрѣшиться отъ средневѣкового дуализма, мы видимъ въ то же время вѣяніе свободныхъ идей восемнадцатаго вѣка, поэтому дуализмъ съ почвы догматизма переносится на почву этихъ свободныхъ идей.

Вопреки средневѣковому идеализма, заключавшагося въ подавленіи страстей, романтизмъ провозгласилъ полную и необузданную свободу ихъ; но, не будучи въ силахъ отрѣшиться отъ дуализма, онъ тотчасъ-же раздѣлилъ людей на двѣ категоріи: на идеальныхъ людей, у которыхъ духовная природа преобладаетъ надъ матеріальной, и преобладаніе это выражается въ томъ, что люди эти обладаютъ сильными страстями и предаются имъ всецѣло, безъ размышленій и ничѣмъ не стѣсняясь,—и людей грубаго матеріализма—людей толпы, жалкихъ посредственностей, или не обладающихъ сильными страстями, или подавляющихъ ихъ ради мелкихъ матеріальныхъ разсчетовъ. И опять-таки, совершенно согласно съ средневѣковымъ дуализмомъ,—первый родъ людей романтизмъ обрекъ на страданія и трагическую гибель, а счастье и довольство поставилъ удѣломъ грубой толпы. Затѣмъ этотъ принципъ видоизмѣняется съ развитіемъ мысли и съ различными ея направленіями. На почвѣ исключительнаго поэтическаго движенія въ глухую эпоху реакціи идеальнымъ человѣкомъ является поэтъ, отличающійся отъ прозаической толпы даромъ божественнаго вдохновенія, которое доставляетъ поэту вмѣстѣ съ бездной райскихъ наслажденій, непонятныхъ толпѣ, безъисходныя страданія и гибель—удѣлъ всякаго поэта на землѣ. Въ эпоху увлеченія философскими теоріями идеальнымъ человѣкомъ, обреченнымъ страдать, терпѣть и не знать пріюта, является избранная натура, одаренная необъятной глубиной ума, развитаго философскимъ мышленіемъ, въ противоположность грубой толпѣ, счастливой своимъ невѣжествомъ. Наконецъ на революціонной почвѣ романтизмъ раздѣлялъ человѣчество на избранныя натуры, неспособныя мириться съ неправдой и угнетеніями всякаго рода и вслѣдствіе этого обреченныя страданіямъ и гибели, и на презрѣнную толпу, не только будто-бы не страдающую отъ гнета, лежащаго на ней, но извлекающаго изъ него всевозможныя выгоды.

Близкимъ родственникомъ дуализма является индивидуализмъ, который преобладаетъ во всемъ романтическомъ движеніи и въ свою очередь имѣетъ двоякое происхожденіе: съ одной стороны, онъ выносится изъ среднихъ вѣковъ, въ основаніяхъ вѣрованій которыхъ стояло на первомъ планѣ ученіе о свободной волѣ человѣка и о зависимости настоящей и будущей жизни его отъ него самого; но, даруя человѣку свободную волю, средніе вѣка налагали на него рядъ догматическихъ обязанностей, отъ которыхъ человѣкъ хотя и былъ свободенъ отступить, но не иначе, какъ подъ страхомъ разныхъ наказаній; освободившись отъ средневѣкового догматизма, романтизмъ расширилъ сферу индивидуализма, обративши ее въ необузданную анархію личности.

Отсюда проистекаетъ представленіе прогресса исключительно въ видѣ умственнаго и нравственнаго развитія отдѣльныхъ личностей. Романтизмъ предполагалъ, что масса дика, темна, матеріальна—не отъ чего иного, какъ оттого, что она состоитъ изъ милліоновъ посредственностей, неспособныхъ выбиться изъ грубаго матеріализма и невѣжества; а каждый отдѣльный индивидуумъ, мало-мальски одаренный недюжинными силами, среди какой-бы обстановки онъ ни родился, непремѣнно долженъ выбиться изъ своей среды, возвыситься надъ толпой, развиться и сдѣлаться героемъ. Отсюда и вытекаетъ взглядъ на прогрессъ, какъ на исключительную привилегію избранныхъ натуръ; по мнѣнію романтизма, всю всемірную исторію создаетъ рядъ геніевъ, ведущихъ за собой толпу; толпа поклоняется генію, бѣжитъ за нимъ, пользуется его дарами, нисколько въ то-же время не способная оцѣнить эти дары,—и остается между тѣмъ все такой-же безсмысленной, слѣпой толпой, какой была она при Нинѣ и Семирамидѣ.

Далѣе затѣмъ, какъ на существенную принадлежность романтизма, мы должны обратить вниманіе на преобладаніе воображенія, созерцательности и аффекта надъ разсудочнымъ анализомъ. Это опять-таки вполнѣ соотвѣтствуетъ младенческому состоянію мысли, хотя и возбужденной, работающей, но не осилившей еще матеріала, надъ которымъ она трудится. Опытная наука третируется романтизмомъ, какъ нѣчто низшее, служебное, матеріально грубое и безсильное, и смѣшивается съ эмпиризмомъ невѣжественныхъ массъ, выше-же всего ставится знаніе, непосредственно вытекающее изъ глубины духа, совершенно аналогичное съ средневѣковымъ откровеніемъ; въ силу этого на почвѣ романтизма возникаетъ рядъ фантастическихъ

философскихъ системъ, претендующихъ опредѣлить вселенную a priori во всей ея сущности. Вообще въ романтизмѣ мы видимъ не столько анализъ жизни, сколько созерцаніе ея, и притомъ романтизмъ любилъ созерцать жизнь не во всѣхъ ея проявленіяхъ, а останавливаться на такихъ явленіяхъ, которыя особенно поражали воображеніе или возбуждали чувствительность. Совершенно ложно поэтому думать, что романтизмъ любилъ одни только средніе вѣка съ рыцарями, замками и мертвецами, бродящими въ развалинахъ. Онъ бралъ предметы для своего созерцанія изо всѣхъ эпохъ и мѣстностей, гдѣ только онъ могъ найти что-либо потрясающее и раздирательное: любилъ онъ созерцать и древніе вѣка съ ихъ трагическими героями, тріумфами и языческими вакханаліями, и Востокъ съ его пестрой роскошью, фатализмомъ и фантастичностью арабскихъ сказокъ, любилъ, вмѣстѣ съ Шатобріаномъ и Куперомъ, дѣвственныя пустыни Америки съ ихъ величественной природой и кровожадными дикарями, и альпійскіе ледники съ ихъ пропастями и кипучими ручьями, и дикія вершины Кавказа. Ставя въ жизни на первый планъ избранныя натуры съ недюжинными силами, романтизмъ не всегда ограничивался однѣми идеально-прогрессивными личностями, очень часто онъ восторгался проявленіемъ всякой силы, выходящей изъ уровня и поражающей воображеніе, хотя-бы сила эта имѣла въ жизни значеніе чисто отрицательное; поэтому романтизмъ возводилъ въ идеалъ нерѣдко негодяевъ, злодѣевъ и изверговъ всякаго рода и любовался ими.

Въ тѣсной связи съ преобладаніемъ фантазіи въ мышленіи стоитъ наклонность къ мистицизму, которая составляетъ опять-таки одинъ изъ существенныхъ признаковъ романтизма.

Всѣ вышеупомянутые признаки — раціонализмъ, дуализмъ, индивидуализмъ, преобладаніе воображенія и аффекта въ мышленіи, наклонность къ мистицизму— и составляютъ именно существенный характеръ эпохи романтизма, то общее, что̀ послужило къ соединенію подъ одну рубрику людей, значительно отличавшихся другъ отъ друга по своимъ политическимъ, моральнымъ и литературнымъ взглядамъ. Мы далеки отъ того, чтобы сказать, что всѣ эти признаки входятъ всецѣло въ каждое явленіе на почвѣ романтизма. Тѣмъ не менѣе возьмите любое явленіе этой эпохи (не исключая даже различныхъ теорій соціализма, возникшихъ въ то время, въ особенности теорій Сенъ-Симона и Фурье), въ каждомъ вы найдете преобладаніе одного или другого изъ вышеприведенныхъ признаковъ. Здѣсь изъ области общности, связывающей въ одну эпоху цѣлый рядъ разнородныхъ явленій, мы входимъ въ область частностей, заключающихся въ этой общности. Частности эти, т. е. разнообразіе формъ и видоизмѣненій романтизма, зависятъ съ одной стороны отъ того, что романтизмъ не былъ опредѣленной, замкнутой въ себѣ теоріей, а представлялъ развитіе, измѣненіе европейской мысли; съ другой стороны, романтизмъ обнималъ въ своемъ движеніи различныя страны и слои европейскихъ обществъ и видоизмѣнялся сообразно съ тѣми или другими условіями жизни.

Именно вслѣдствіе того, что романтизмъ не былъ замкнутой въ себѣ теоріей, а былъ движеніемъ, чрезвычайно трудно опредѣлить его начало, развитіе и исходъ. Съ одной стороны онъ уходитъ въ глубь XVIII вѣка, гдѣ безраздѣльно сливается съ возбужденіемъ европейской мысли въ эпоху энциклопедистовъ. Но, какъ движеніе мысли отъ средневѣкового міросозерцанія, романтизмъ уходитъ и далѣе, сливаясь съ средними вѣками, что̀ и подало поводъ писателямъ романтической эпохи глядѣть на романтизмъ, какъ на такое общечеловѣческое міросозерцаніе, начало котораго относится къ первымъ вѣкамъ христіанства и которое составляетъ существенное отличіе ново-европейской цивилизаціи отъ классическаго міра. Поэтому на всю средневѣковую литературу Европы смотрѣли, какъ на романтическую, а въ современномъ движеніи литературы видѣли возрожденіе средневѣкового романтизма; наконецъ окрестили всю эпоху именемъ романтизма, происшедшимъ, какъ всѣмъ извѣстно, отъ преобладанія въ средніе вѣка въ Европѣ романской или провансальской поэзіи. Съ своей точки зрѣнія романтики были правы: судя по тѣмъ основнымъ признакамъ, которыми мы выше охарактеризовали романтизмъ, дѣйствительно въ средневѣковыхъ формахъ мышленія можно найти много общихъ признаковъ съ формами мышленія и поэзіи эпохи новаго романтизма. Но романтики опустили при этомъ то существенное, радикальное отличіе средневѣкового романтизма отъ новаго, что первый былъ эпохой возникновенія и утвержденія тѣхъ самыхъ формъ мышленія, съ которыхъ послѣдній началъ и представилъ собой, совершенно напротивъ, эпоху паденія ихъ, исхода изъ нихъ европейской мысли.

Не менѣе трудно опредѣлить всѣ фазы развитія романтизма, строго отдѣливши то, что̀ было органическимъ и послѣдовательнымъ развитіемъ, отъ различныхъ колебаній и видоизмѣненій мысли вслѣдствіе внѣшнихъ вліяній. Мы можемъ только сказать, что существенный характеръ развитія заключался въ томъ, что мысль, по мѣрѣ накопленія знаній, становилась болѣе и болѣе на положительную почву и вмѣстѣ съ тѣмъ сами собою парализовались всѣ тѣ признаки, которыми мы выше охарактеризовали романтизмъ. Вмѣсто метафизики, которую романтизмъ поставилъ въ оппозицію скептическому матеріализму энциклопедистовъ, возникъ впослѣдствіи позитивизмъ. Вмѣсто дуализма является идея о единствѣ мірозданія, и школа Гегеля представляетъ переходъ къ этой идеѣ: не въ силахъ избавиться вполнѣ отъ дуализма и представляя матерію все-таки не чѣмъ инымъ, какъ самоопредѣленіемъ духа путемъ противоположенія своему духовному бытію бытія матеріальнаго, гегелевская философія кладетъ однакоже основаніе идеѣ о единствѣ вселенной, представляя ее развитіемъ одного абсолюта. Далѣе на мѣсто индивидуализма является поставленіе умственнаго и нравственнаго развитія личности въ тѣсную и неразрывную связь съ развитіемъ всей общественной среды.

Но опять-таки опредѣлить точно границу исхода романтизма и сказать, что вотъ до сихъ поръ господствовалъ романтизмъ, а съ сихъ поръ начинается реализмъ, такъ-же невозможно, какъ и опредѣленіе начала романтизма. Позднѣйшіе романтики западной

Европы, напримѣръ французскіе беллетристы тридцатыхъ годовъ или современные германскіе, стоятъ уже во многихъ отношеніяхъ на реальной почвѣ. Вы замѣчаете въ нихъ стремленіе анализировать жизнь на основаніи опыта и наблюденія и принятіе въ соображеніе вліянія на личность общественныхъ условій; но рядомъ съ этимъ вы видите въ ихъ произведеніяхъ попрежнему очень часто преобладаніе такихъ эффектовъ, которые служатъ не для чего иного, какъ для потрясенія нервовъ; попрежнему являются у нихъ иногда герои, ихъ же удѣлъ гибнуть, потому что они возвышаются надъ пошлой толпой. Викторъ Гюго и до сихъ поръ не можетъ обойтись безъ того, если можно выразиться, изступленія фантазіи, какую вы встрѣчаете во многихъ мѣстахъ его послѣдняго романа «L'homme qui rit», безъ тѣхъ чудовищныхъ героевъ, какіе являются во всѣхъ его романахъ. Жоржъ Зандъ тѣмъ и отличается отъ позднѣйшихъ приверженцевъ женской эмансипаціи, что въ то время, какъ послѣдніе ставятъ женскій вопросъ на общественную почву расширенія гражданскихъ и политическихъ правъ женщинъ и обезпеченія ихъ самостоятельности путемъ организаціи женскаго труда,—Жоржъ Зандъ обращаетъ главное вниманіе на чисто индивидуальную сторону свободы страстей отъ гнета предразсудковъ; это именно и есть тотъ вопросъ, съ котораго началъ романтизмъ свое движеніе подъ вліяніемъ скептическихъ идей XVIII вѣка. У нѣмецкихъ беллетристовъ нынѣшняго времени, въ свою очередь, вы найдете обильные остатки романтизма, что̀—замѣчаю для моихъ читателей, предубѣжденныхъ противъ романтизма—нисколько не уменьшаетъ многихъ достоинствъ ихъ произведеній, подобно тому, какъ романтизмъ нисколько не мѣшаетъ быть великими писателями Гёте или Байрону. Но представить себѣ точно и опредѣленно границу между романтизмомъ и реализмомъ становится еще труднѣе, если мы возьмемъ въ соображеніе, что вся современная намъ цивилизація обнимаетъ собою весьма незначительное меньшинство народонаселенія Европы. Огромныя массы еще и не начинали своего развитія,—и можно предположить съ большой достовѣрностью, что стоитъ только случиться большому приливу въ русло умственнаго движенія свѣжихъ и нетронутыхъ еще силъ, нѣтъ ничего мудренаго, что снова на первый планъ встанутъ тѣ переходные процессы мысли, которые будутъ имѣть можетъ-быть иныя формы, иныя названія, но тѣмъ не менѣе будутъ во многомъ соотвѣтствовать тому, что̀ мы называемъ романтизмомъ.

Что-же касается вліянія тѣхъ или другихъ общественныхъ условій на характеръ романтическаго движенія, то въ этомъ отношеніи романтизмъ представляетъ еще болѣе видовъ и развѣтвленій, чѣмъ въ своемъ логическомъ процессѣ. Можно положительно сказать, что каждая страна Европы и каждый слой общества въ той или другой странѣ имѣли свой собственный романтизмъ. Возьмите напримѣръ Германію, разобщенную на мелкія деспотическія, феодальныя государства, чуждую всякихъ общественныхъ интересовъ, которые двигали бы массами. При всеобщемъ застоѣ патріархальныхъ нравовъ и понятій, вся умственная жизнь этой страны сосредоточивалась въ университетскихъ городахъ, и эта умственная жизнь вмѣсто того, чтобы входить въ общественныя отношенія и анализировать ихъ, напротивъ того, старалась отрѣшиться отъ всего окружающаго въ отвлеченныя сферы космическаго созерцанія Люди искали въ наукѣ или искусствѣ забвенія отъ окружающаго ихъ омута жизни. При такихъ условіяхъ естественно, что романтизмъ принялъ въ Германіи характеръ отвлеченно-мистическій, туманный, стремящійся покинуть тлѣнный міръ со всѣми его скверными, унестись въ неопредѣленную даль и разлиться тамъ въ безпредѣльности вселенной. Совершенно иной характеръ имѣлъ романтизмъ въ Англіи, гдѣ рядомъ съ широкимъ развитіемъ политическихъ и гражданскихъ правъ общества господствовалъ аристократическій строй съ его вѣковыми, освященными древностью преданіями и цѣлымъ кругомъ условныхъ, упорныхъ понятій узкой морали, обычаевъ и приличій, стѣснявшихъ и порабощавшихъ личность. Здѣсь романтизмъ имѣлъ постоянно общественный политическій характеръ, развѣтвляясь на двѣ вѣтви: съ одной стороны, онъ представлялъ апоѳеозъ феодализма и аристократіи въ романахъ В. Скотта; съ другой—подъ перомъ Байрона онъ выразилъ энергическій, пламенный протестъ личности противъ гнета узкой морали, обычаевъ и приличій. Во Франціи, въ которой общественные интересы тоже стояли на первомъ планѣ, романтизмъ имѣлъ характеръ или ультрамонтанства и феодализма, какими представляются намъ произведенія Шатобріана, или, напротивъ того, въ немъ выразился протестъ личности противъ всякаго рода угнетенія, какими и являются произведенія В. Гюго и Ж. Занда.

Въ заключеніе мы должны обратить вниманіе и на то, что романтизмъ носилъ иной характеръ въ сытыхъ и праздныхъ классахъ общества, иной въ средѣ трудящихся и голодныхъ. Въ однихъ слояхъ онъ принималъ характеръ праздной созерцательности, маниловской мечтательности, утонченнаго эпикуреизма, эстетическихъ наслажденій, разъѣдающей рефлексіи или безшабашнаго оправданія необузданнаго разврата принципомъ свободы личности. Въ другихъ-же слояхъ, напротивъ того, онъ носилъ характеръ мрачнаго аскетизма, добровольнаго нищенства и отрѣшенія отъ своей личности во имя идеальныхъ стремленій.

Я прошу у читателей извиненія, что мнѣ пришлось слишкомъ много распространяться о романтизмѣ и развить при этомъ рядъ идей элементарныхъ и конечно извѣстныхъ каждому маломальски образованному человѣку. Я полагаю, что повтореніе этихъ идей дѣло нелишнее, если взять во вниманіе, какія смутныя, неопредѣленныя и поверхностныя мнѣнія ходятъ у насъ о различныхъ литературныхъ школахъ и направленіяхъ. Мы до сихъ поръ еще не можемъ усвоить себѣ того истиннаго анализа, который разбираетъ явленія по ихъ существеннымъ признакамъ и помнитъ при этомъ, что онъ имѣетъ дѣло не съ кучей хлама, состоящаго изъ разнородныхъ предметовъ безъ всякой между собою связи, а съ органическими явленіями, вліяющими другъ на друга и незамѣтно переходящими одно въ другое. Мы привыкли судить о предметахъ, подводя ихъ подъ узкія рубрики по внѣшнимъ, случайнымъ признакамъ, и совершенно успо-

коиваемся, думая, что вполнѣ отличили Ивана отъ Петра, замѣтивши, что у Ивана носъ кверху, а у Петра книзу. Такъ поступаемъ мы во всемъ, между прочимъ и въ нашихъ сужденіяхъ объ отечественной литературѣ. Когда-то въ школѣ насъ учили, что русская литература пережила слѣдующія видоизмѣненія: сначала господствовалъ у насъ ложный классицизмъ, представителями котораго были Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ и Державинъ; затѣмъ Карамзинъ ввелъ сентиментальное направленіе; потомъ явился Жуковскій и подарилъ намъ романтизмъ; затѣмъ Пушкинъ и впослѣдствіи Лермонтовъ подражали Байрону; съ Гоголя-же и Бѣлинскаго литература приняла реальное направленіе, и съ тѣхъ поръ мы всѣ—истые реалисты. Но какое значеніе имѣла эта смѣна направленій, почему шла она такъ, а не иначе, не наоборотъ, отъ реализма къ классицизму—объ этомъ мы не отдаемъ себѣ никакого отчета. Для насъ достаточно, что существуютъ эти рубрики и что очень легко сортировать и подводить подъ нихъ что угодно. Гончаровъ никогда не писалъ ни балладъ, ни поэмъ въ духѣ Жуковскаго, а писалъ романы, въ которыхъ изображалъ окружающую его жизнь—какой-же онъ романтикъ? Очевидно—реалистъ школы Гоголя. Жуковскій не писалъ ни одной оды или трагедіи по пінтикѣ Буало—очевидно, онъ не ложный классикъ, а романтикъ и т. д. Имѣя въ виду такого рода умозаключенія, я и почелъ необходимымъ представить характеристику переходной эпохи первой половины нынѣшняго столѣтія по существеннымъ ея признакамъ для того, чтобы очистить поле для анализа литературныхъ явленій нашей жизни въ эту эпоху отъ всѣхъ внѣшнихъ и условныхъ рубрикъ, утвержденныхъ рутиной. Принявши во вниманіе эту характеристику, читатели не будутъ удивлены, если первый толчокъ къ романтическому движенію въ Россіи мы увидимъ не со стороны Жуковскаго, а въ эпоху царствованія Екатерины; если затѣмъ полное развитіе романтизма окажется именно въ сороковые годы, въ эпоху Гоголя и Бѣлинскаго; исходъ-же романтизма мы увидимъ не въ прекращеніи «Телеграфа» Полевого или смерти Лермонтова, а развѣ что въ умственномъ движеніи нашего времени; да и то далеко еще нельзя сказать, чтобы романтизмъ кончился и былъ явленіемъ историческимъ и давно отжившимъ.

III.

Характеристика нашего общества при вступленіи на престолъ Екатерины.—Жалкое значеніе литературы въ то время.—Начало умственнаго броженія подъ вліяніемъ энциклопедистовъ.—Скептики и мистики.—Необходимость различать умственное движеніе въ отдѣльныхъ кружкахъ отъ движенія всего общества.—Идеи Карамзина, какъ первые задатки романтизма.—Значеніе Жуковскаго въ романтическомъ движеніи.—Романтическій идеалъ во второй періодъ царствованія Александра I, его отношеніе къ общественному быту и вліяніе на жизнь и литературу.

Въ половинѣ XVIII вѣка, когда идеи французскихъ энциклопедистовъ, пронесшись черезъ всю Европу, отозвались и у насъ, общество наше, какъ по складу жизни, такъ и по своему міросозерцанію, было еще въ большей степени средневѣковымъ, чѣмъ въ Германіи Послѣдняя все-таки успѣла пережить сильное умственное броженіе въ эпоху реформаціи; въ Германіи было множество школъ и университетовъ, своя наука, философія, литература, и хотя умы были подавлены узкими, тѣсными рамками схоластики и теологіи, но все-таки они работали и двигались въ этихъ рамкахъ; наконецъ, какъ ни тяжелъ былъ гнетъ устарѣлыхъ феодальныхъ формъ быта, онъ былъ ничто передъ тѣмъ чисто азіятскимъ строемъ, который господствовалъ въ Россіи до воцаренія Екатерины. Это была эпоха поголовнаго рабства, во время которой никто не былъ обезпеченъ ни за свою жизнь, ни за свою спину, ни за свое имущество, начиная отъ крестьянина и до любого временщика, рѣшавшаго судьбы массъ. Это было общество грубое до звѣрства, суевѣрное до крайняго фетишизма. Въ этомъ обществѣ не было ни малѣйшаго понятія о чувствѣ человѣческаго достоинства, чести и нравственной независимости; напротивъ того, робкая приниженность, грубая лесть и прихлебательство считались лучшими достоинствами человѣка, признаками ума и практичности, въ то время какъ звѣрская жестокость съ низшими считалась признакомъ характера и внушала глубокое уваженіе. Если хотите, то и въ этомъ обществѣ былъ свой прогрессъ, состоявшій въ томъ, что полудикіе люди перенимали внѣшнія формы европейскаго общежитія, обзаводились европейской мебелью и домами на европейскій манеръ, слѣдили за измѣненіемъ парижскихъ модъ и старались устроить нѣчто подобное европейскимъ развлеченіямъ и удовольствіямъ. Въ этомъ отношеніи общество дѣлилось на два слоя: на массу консерваторовъ, которые всю свою нравственность видѣли въ строгомъ и суровомъ соблюденіи мрачныхъ и узкихъ дѣдовскихъ обычаевъ и нравовъ въ духѣ Домостроя, и на прогрессистовъ, которые, напротивъ того, не хотѣли знать никакихъ нравственныхъ правилъ, видѣли въ этомъ особенный шикъ и, подражая обычаямъ высшаго парижскаго общества, представляли картину нравовъ, далеко превосходившую своей чудовищной распущенностью парижское общество того времени, потому что здѣсь развратъ не былъ облеченъ въ тѣ утонченно-изящныя и игривыя формы, какъ это было въ Версалѣ, а напротивъ того, это былъ голый, наглый и звѣрскій развратъ варваровъ, соединенный съ циническимъ разгуломъ самаго грязнаго свойства и безчеловѣчіемъ, которому ничего не стоило допанвать до смерти какихъ-нибудь безобразныхъ шутовъ и скомороховъ или превращать живыхъ людей въ ледяныя статуи. Средоточіемъ подобнаго прогресса былъ юный, только-что обстроивавшійся Петербургъ; средоточіемъ-же консерватизма въ духѣ Домостроя и тогда уже была Москва; и это очень естественно: въ Москвѣ остались всѣ, которые не пошли за Петромъ въ Питеръ и не увѣровали въ его реформы; въ Москву-же удалялись постоянно всѣ недовольные и опальные.

Конечно нечего и говорить о томъ, чтобы въ подобномъ обществѣ могла существовать какая-нибудь литература. Какъ? А Кантемиръ, Ломоносовъ, Третьяковскій, Сумароковъ?.. Но развѣ это была литература? Развѣ можно назвать такимъ именемъ тотъ фактъ, что въ Россіи въ первой половинѣ XVIII вѣка было

четыре человѣка, развившихъ въ себѣ вкусъ къ рифмоплетству и сочинявшихъ весьма нескладныя вирши, надписи къ иллюминаціямъ, высокопарныя оды, читавшіяся двумъ-тремъ вельможамъ, у которыхъ эти люди удостоивались иногда отобѣдать, или ставившіе на сцену надутыя, уродливыя трагедіи, которыя еслибы и совсѣмъ не являлись на сцену, то публика рѣшительно не замѣтила бы этого, вполнѣ довольствуясь доморощенными мистеріями, вродѣ «О мстѣ въ будущей жизни» или «Воскресеніе мертвыхъ» и т п. Въ массѣ общества рѣдко кто даже и зналъ о существованіи этихъ людей; изрѣдка долетала въ какой-нибудь городъ громкая ода «На побѣду», и грамотные люди читали ее, не отдавая себѣ отчета въ томъ, была-ли эта ода добровольнымъ выраженіемъ восторга піиты, или-же піита написалъ ее по приказанію начальства, и ода представляла изъ себя не что иное, какъ стихотворную реляцію. А если кто и зналъ о существованіи этихъ людей и что они такое, то одни смотрѣли на нихъ съ презрѣніемъ, смѣшивая ихъ съ шутами и скоморохами, другіе-же, напротивъ того, завидовали имъ, видя въ ихъ занятіи лестную и рѣдко для кого доступную возможность при маленькомъ чинѣ вертѣться при дворѣ, въ знатныхъ домахъ, а при умѣньѣ — устроиться или по крайней мѣрѣ снискать милостивую подачку. Сами-же по себѣ эти піиты если сдѣлали какую-нибудь услугу для будущаго существованія литературы, то развѣ только ту. что своими опытами и упражненіями хоть немного обработали языкъ и сдѣлали его годнымъ для литературнаго изложенія мыслей, превышающихъ обыденный уровень понятій. Въ этомъ отношеніи труды ихъ имѣютъ такое-же значеніе, какое въ жизни отдѣльнаго человѣка представляютъ классныя упражненія. Единственнымъ русскимъ человѣкомъ, стоявшимъ выше всѣхъ головой по своему образованію и учености, былъ Ломоносовъ. Но главная заслуга, которой болѣе всего обязана ему Россія заключалась не столько въ его литературныхъ трудахъ, сколько въ лекціяхъ, которыя онъ читалъ въ академіи, да въ кабинетныхъ бесѣдахъ съ разными вельможами-благодѣтелями, которыхъ Ломоносовъ постоянно побуждалъ заботиться о распространеніи просвѣщенія въ Россіи и наконецъ договорился до учрежденія перваго въ Россіи университета

И такова была сила гуманныхъ идей XVIII вѣка, что онѣ могли проникнуть даже въ этотъ полудикій, полуазіятскій міръ, — въ страну, гдѣ не существовало почти ни школъ, ни науки, ни литературы, ни читающей публики, и мало того, что проникнуть, но возбудить первое умственное броженіе, которое съ тѣхъ поръ не прерывалось.

Правда, что наши первые скептики и вольтеріанцы были не что иное, какъ поверхностные диллетанты. Идеи, которыя они воспринимали, читая Монтескьё, Вольтера и Руссо, не особенно глубоко проникали въ нихъ. Они не дѣлались особенно ревностными и неумолимыми пропагандистами этихъ идей; напротивъ того, ихъ умственные интересы имѣли характеръ свѣтскихъ забавъ, блеска остроумія, иронiи и суетнаго тщеславія. Въ то-же самое время вся жизнь ихъ радикально противорѣчила идеямъ, вычитываемымъ ими изъ любимыхъ книжекъ, жизнь,—полная ослѣпительной полуазіятской роскоши, ложившейся тяжелымъ гнетомъ на народныя массы, узкаго своекорыстія, рабской приниженности передъ высшими и барской надменности съ низшими; наконецъ—жизнь, преисполненная крѣпостныхъ принциповъ, которые, вопреки всякимъ гуманнымъ идеямъ, не только не падали, а, напротивъ того, еще больше развивались и утверждались. Не говоря уже о противорѣчіи мысли и жизни, въ самомъ умственномъ мірѣ этихъ людей новые идеи и взгляды свободно уживались съ дикими предразсудками и суевѣріями. Все это было весьма естественно, если мы примемъ въ соображеніе полное отсутствіе всякой умственной подготовки въ нашемъ обществѣ того времени для воспринятія какихъ бы то ни было идей. Подумаемъ только о томъ, что наши просвѣщенные люди того времени принимались за чтеніе Вольтера и Руссо прямо съ какого-нибудь часослова или четьи-миней. Одинъ изъ лучшихъ писателей того времени, Фонвизинъ, кончилъ курсъ училища, не вынеся даже такого элементарнаго знанія—куда течетъ Волга. Могли ли нѣсколько гуманныхъ и скептическихъ формулъ, неподкрѣпленныхъ въ темныхъ головахъ нашихъ дѣдовъ никакими знаніями, перевернуть разомъ нравы, привычки, убѣжденія и взгляды, утвержденные цѣлыми вѣками? И потому, говоря объ умственномъ броженіи, возбужденномъ у насъ въ XVIII вѣкѣ, мы должны принимать это броженіе не въ томъ смыслѣ, чтобы появилось нѣсколько людей, глубоко усвоившихъ и проникнувшихся гуманными идеями XVIII вѣка, они начали ревностно проповѣдывать эти идеи, число ихъ послѣдователей стало возрастать и т. д. Ничего этого не было: и люди, читавшіе французскихъ энциклопедистовъ, и люди, переводившіе ихъ на русскій языкъ, очень смутно понимали тѣ книги, какія были въ ихъ рукахъ, очень часто въ концѣ-концовъ пугались ихъ и добродушно каялись въ увлеченіи ими, какъ на смертномъ грѣхѣ. Но тѣмъ не менѣе умственное движеніе было возбуждено въ томъ смыслѣ, что въ образованнѣйшихъ людяхъ того времени, какъ ни мало ихъ было, возникла идея, что, кромѣ собственнаго семейнаго мірка, существуютъ отечество и общество, которымъ обязанъ человѣкъ служить и приносить пользу, что, кромѣ однихъ матеріальныхъ заботъ и развлеченій, существуютъ умственные и нравственные интересы и наслажденія. Возникаетъ цѣлый рядъ учрежденій въ духѣ гуманныхъ идей XVIII вѣка; устроиваются училища, школы, заводятся типографіи и книжныя лавки. Является сатира, бичующая свѣтскую пустоту, какъ отсутствіе умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, невѣжество, взяточничество и жестокое обхожденіе помѣщиковъ съ крестьянами. Наконецъ, что всего важнѣе, возникаетъ какое-то слабое подобіе борьбы различныхъ направленій мысли. Здѣсь опять выступаетъ на сцену различіе въ духѣ и направленіи мысли между Москвой и Петербургомъ. Въ то время, какъ въ Петербургѣ, при дворѣ и въ высшемъ обществѣ, зачитываются французскихъ энциклопедистовъ и видятъ въ нихъ послѣднее слово философіи и науки, въ Москвѣ сосредоточивается оппозиція противъ этого увлеченія французскими идеями. Какъ прежде старовѣрческая, консервативная Москва, преисполненная воспоминаній прошлаго на каждомъ

своемъ углѣ и перекресткѣ, крамольничала противъ Петербурга, негодуя на его заморскія нововведенія и нравственную распущенность, такъ и теперь та-же Москва возстала и противъ умственнаго движенія, возникшаго подъ вліяніемъ Запада. Эта оппозиція приняла форму масонства; но хотя форма эта была заимствована въ свою очередь съ Запада, содержаніе, скрывавшееся подъ ней, было чисто русское, какъ нельзя болѣе соотвѣтствующее общему уровню развитія общества: въ томъ, что проповѣдывалъ Новиковъ и друзья его, выразилось вполнѣ то схоластическое, средневѣковое міросозерцаніе, которое принадлежало большинству образованныхъ людей того времени. Это міросозерцаніе, чисто заиконоспасское, если можно такъ выразиться, отвергало не однѣ только скептическія идеи, которыя естественно могли ужасать людей дерзкимъ и разрушительнымъ отношеніемъ къ различнымъ ихъ заповѣднымъ предметамъ; съ одинаковымъ недовѣріемъ невѣжества отнеслось оно и къ такимъ отраслямъ знанія, которыя въ Европѣ въ то время давно уже не только получили право гражданства, но вошли въ составъ элементарныхъ свѣдѣній, обязательныхъ для всякаго мало-мальски образованнаго человѣка. Вотъ что писалъ напримѣръ Новиковъ, въ 1814 году, въ одномъ изъ своихъ писемъ Карамзину по поводу успѣховъ, которыхъ достигло въ то время естествознаніе:

«Съ позволенія нашихъ почтенныхъ астрономовъ, они изволятъ бредить, находя болѣе семи планетъ, находя и видя неподвижныя звѣзды, и жалуя ихъ въ солнцы. Ни больше, ни меньше семи планетъ быть не можетъ, понеже Богъ ихъ сотворилъ только семь и наполнилъ ихъ силами, каждой приличными. Неподвижныхъ звѣздъ быть не можетъ, ибо неоспоримая истина: что не имѣетъ движенія, то мертво, понеже жизнь есть движеніе. Они пожаловали и самое солнце въ счастливѣйшую планету бездѣйственную, ибо, что не имѣетъ движенія, то не имѣетъ и дѣйствія... Нынѣшніе физики, не довольствуясь четырьмя стихіями, которыхъ Богъ сотворилъ четыре только, а не болѣе, совсѣмъ ихъ разжаловали изъ стихій за то только, что, по ихъ высокой наукѣ, что можетъ дѣлиться, то не есть стихія. Какая слѣпота и какое нищенское понятіе о стихіяхъ! Однако они наградили насъ почти сотней стихій. Химики все прежнее отбросили и надѣлили насъ пустыми газами, т. е. пустыми словами, неимѣющими ни значенія, ни силы. И кто можетъ всѣ ихъ бредни исчислить? не письмами, но фоліантами развѣ можно описать оныя.»

Не забудьте, что такія удивительныя вещи высказывалъ не болѣе какъ 56 лѣтъ тому назадъ Новиковъ, человѣкъ, стоявшій во главѣ дѣятелей мысли временъ Екатерины. Вы подумайте послѣ того, каковъ же былъ уровень умственнаго развитія въ массахъ обыкновенныхъ людей, стоявшихъ ниже Новикова и по уму, и по нравственной энергіи, и по образованію. Замѣчателенъ здѣсь также и тотъ фактъ, что такое гоненіе на элементарные факты знанія, преподающіеся нынѣ гимназистамъ первыхъ трехъ классовъ гимназій, высказывалъ не какой-нибудь извращенный врагъ прогресса, видящій единственное спасеніе въ невѣжествѣ и застоѣ, а, напротивъ того, человѣкъ, всю свою жизнь посвятившій развитію просвѣщенія въ своемъ отечествѣ, издававшій съ этой цѣлью сатирическіе журналы, сборники историческихъ памятниковъ до-петровской Россіи, стоявшій во главѣ общества, главнѣйшей дѣятельностью котораго было издавать переводныя и оригинальныя книги, и книги эти не только продавать, но раздавать даромъ для возбужденія въ обществѣ интереса къ чтенію. Въ этомъ поразительномъ совпаденіи стремленія къ прогрессу и образованности съ гоненіемъ противъ идей и наукъ, въ которыхъ и заключался именно весь прогрессъ того времени, мы видимъ наглядный примѣръ того способа вліянія, какое производятъ цивилизующія идеи на людей, недоразвившихся еще до нихъ. Большинство русскаго общества съ такими передовыми людьми, стоявшими во главѣ его, какъ Новиковъ, Тургеневъ, Лопухинъ, Гамалей, не могло, по своей крайней неразвитости, отнестись иначе къ передовымъ идеямъ западной образованности, какъ враждебно, но тѣмъ не менѣе оно само сдѣлалось жертвой движенія этихъ идей въ томъ отношеніи, что прежде оно относилось съ непосредственной дѣтской вѣрой къ своимъ допотопнымъ взглядамъ, нисколько не думая, чтобъ ихъ кто-нибудь могъ осмѣлиться опровергать; теперь же отношеніе къ этимъ взглядамъ мѣняется: къ нимъ начинаютъ относиться съ энергіей и страстью проповѣдниковъ, начинаютъ вдумываться въ нихъ, развивать ихъ, защищать, распространять, однимъ словомъ, мысль переходитъ изъ состоянія апатичнаго коснѣнія въ движеніе, и движеніе это, начавшись естественно съ того пункта, на которомъ мысль стояла прежде, должно было придти раньше или позже именно къ тѣмъ самымъ идеямъ, противъ которыхъ оно первоначально такъ энергически возставало.

Умственное броженіе, начавшись такимъ образомъ съ воцаренія Екатерины, проходитъ сквозь все ея царствованіе, нося постоянно одинъ и тотъ-же характеръ раздвоенности, между скептицизмомъ въ духѣ XVIII вѣка и мистицизмомъ различныхъ видовъ и оттѣнковъ, между западничествомъ, увлекавшимся до самозабвенія всѣмъ иностраннымъ, и старовѣрствомъ, глухо ворчавшимъ на рабскую подражательность Западу, отсутствіе самобытности и самостоятельности и превозносившимъ все русское передъ иностраннымъ. Но скептицизмъ и мистицизмъ, западничество и старовѣрство во всю эту эпоху находятся въ такомъ тѣсномъ и хаотическомъ смѣшеніи другъ съ другомъ, что весьма трудно опредѣлить, гдѣ кончался одинъ элементъ и начинался другой. Одни и тѣ-же люди дѣлались то скептиками, то мистиками, то увлекались реформами по западнымъ образцамъ, то вопили противъ подражанія всему иностранному; въ то-же время большинство мистиковъ и скептиковъ, реформаторовъ и старовѣровъ являлись высокопарными риторами ходульнаго патріотизма на словахъ и своекорыстными практиками-рутинерами въ жизни, соискателями теплыхъ мѣстечекъ, приверженцами табели о рангахъ, знаковъ отличій и узкихъ родовыхъ и сословныхъ предразсудковъ.

Царствованіе Александра I богато внутренними и внѣшними событіями, имѣвшими огромное вліяніе на ходъ развитія нашего общества. Многіе находятъ даже большую аналогію между эпохой Александра I и нынѣшнимъ временемъ въ томъ отношеніи, что русское общество въ то время жило той-же, будто бы, на-

пряженной жизнью, обращая главное вниманіе на различные общественные вопросы, какъ и въ наше время, и при этой аналогіи находятъ, что хотя наше время отличается отъ эпохи Александра I тѣмъ, что мы сдѣлали многое, о чемъ въ ту эпоху только мечтали, но, съ другой стороны, въ то время реформы предполагались въ сферахъ высшихъ гораздо въ болѣе широкомъ и радикальномъ видѣ, чѣмъ въ наше время позволяютъ себѣ помышлять многіе граждане, считающіе себя прогрессистами и либералами. Но при этомъ становится рѣшительно непонятнымъ, куда-же потомъ дѣлось все это движеніе въ нашемъ обществѣ? Неужели пять какихъ-нибудь лѣтъ реакціи подъ свѣжими еще впечатлѣніями эпохи Александра I могли произвести то, что въ тридцатые годы лучшіе и передовые люди, вышедшіе изъ эпохи Александра и воспитанные ею, могли сразу утратить всѣ прежніе интересы и сдѣлаться совершенно чуждыми и индифферентными къ какимъ-бы то ни было живымъ общественнымъ вопросамъ? Конечно иногда бываетъ очень легко подавить и парализовать какое-либо движеніе въ обществѣ не въ 5 лѣтъ, а въ 5 дней и менѣе, но перевоспитать зрѣлыхъ людей и обратить весь ходъ ихъ мысли отъ общественныхъ вопросовъ къ отвлеченнымъ эстетическимъ или мистическимъ, было-бы чудомъ не только въ 5 лѣтъ, но и въ 30, особенно, если-бы общественными вопросами были глубоко и страстно заинтересованы массы общества.

Но дѣло въ томъ, что при ходѣ нашего развитія, совершающагося подъ вліяніемъ близкаго сосѣдства странъ, стоящихъ впереди насъ чуть ли не на три столѣтія, нужно весьма осторожно обходиться съ словами «общество» и «общественное движеніе». Въ нашей жизни очень часто въ средѣ какихъ-нибудь двухъ, трехъ кружковъ, небольшой горсточки людей совершается умственное движеніе, стоящее почти въ уровень съ движеніемъ передовыхъ людей Европы въ данное время. Безспорно, что подобное движеніе оказываетъ немаловажное вліяніе и на весь грамотный людъ нашего общества; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы само общество принимало непосредственное участіе въ этомъ движеніи, и чтобы въ немъ движеніе было въ той-же силѣ и съ тѣмъ-же кругомъ понятій, какъ и въ цивилизующихъ кружкахъ. Прогрессъ общества идетъ своимъ самостоятельнымъ путемъ, сообразнымъ степени развитія большинства грамотныхъ людей, и хотя въ обществѣ совершается движеніе, иногда можетъ быть весьма значительное, подъ вліяніемъ движенія передовыхъ кружковъ, но оно бываетъ обыкновенно совершенно въ иномъ родѣ и духѣ, чѣмъ въ передовыхъ кружкахъ, ушедшихъ отъ своихъ современниковъ впередъ на нѣсколько столѣтій. На этомъ основаніи необходимо точно разграничивать движеніе отдѣльныхъ, иногда очень незначительныхъ по количеству, кружковъ отъ движенія всей массы общества въ то же время.

Особенно важно принять въ соображеніе это обстоятельство при разсмотрѣніи эпохи Александра I, такъ какъ все политическое броженіе, на которое нынѣ литература обращаетъ большое вниманіе, совершалось исключительно почти въ высшихъ сферахъ общества, причемъ имѣло замкнутый характеръ интимныхъ кружковъ, тайны канцелярской или конспиративной. О какомъ-либо систематическомъ проведеніи того или другого круга идей въ массахъ общества въ то время мало еще думали. Нельзя же назвать такимъ именемъ нѣсколько наркотическихъ стишковъ, обращавшихся въ обществѣ по большей части въ рукописномъ видѣ, да двѣ три либеральныя статейки въ двухъ, трехъ тощенькихъ журнальцахъ, имѣвшихъ не болѣе 300 или 500 подписчиковъ. Огромное большинство грамотнаго люда, все почти среднее дворянство, не говоря о другихъ сословіяхъ, въ то время продолжало еще жить на степени младенческой непосредственности преданій и узкопрактическаго эмпиризма въ жизни. Единственный истинно живой интересъ, которымъ эта масса была дѣйствительно увлечена въ эпоху Александра I, заключался въ патріотическомъ настроеніи при нашествіи французовъ. Что же касается политическаго броженія, совершавшагося въ высшихъ кружкахъ общества, то оно своей замкнутостью и таинственностью только распаляло воображеніе людей, непосвященныхъ въ это броженіе, и въ обществѣ ходили преувеличенные и дикіе по своей крайней нелѣпости слухи о разныхъ масонскихъ и тайныхъ обществахъ. Большинство общества на всякаго живого человѣка, въ которомъ малѣйшимъ образомъ была возбуждена мысль, смотрѣло какъ на человѣка безпокойнаго, опаснаго вольнодумца, не обращая вниманія на то, былъ-ли этотъ вольнодумецъ скептикъ или мистикъ: вольтеріанецъ и масонъ для непросвѣщенной массы временъ Александра I были названія тождественныя, между которыми не видѣли ровно никакого различія, и, если хотите, въ этомъ смѣшеніи понятій былъ свой смыслъ. Не говоря уже о томъ, что и въ царствованіе Александра I, какъ и при Екатеринѣ, скептики такъ часто переходили въ мистиковъ, а мистики — въ скептиковъ, что ихъ гораздо легче было смѣшивать, чѣмъ различать, въ то же время мистики для людей, преданныхъ умственной спячкѣ, не менѣе скептиковъ должны были казаться совершенно особенными, непонятными существами, а потому можетъ быть и опасными.

Но нельзя сказать, чтобы и большинство общества оставалось безъ всякаго движенія на той степени, на которой оно было въ началѣ царствованія Екатерины, и чтобы въ немъ не совершалось какихъ-либо перемѣнъ въ умственной и нравственной сферѣ. Общество питалось тѣмъ, что могла давать и давала ему литература, и развитіемъ, измѣненіемъ литературныхъ направленій тѣмъ справедливѣе измѣрять ходъ умственнаго развитія нашего общества въ эпоху Екатерины и Александра I, что большинство литературныхъ дѣятелей стояло во все это время почти вполнѣ въ общемъ уровнѣ развитія массъ, очень мало возвышаясь надъ ними. Для общества, при его крайней дикости, было немаловажнымъ прогрессомъ уже и то, что оно послѣ высокопарно-громкихъ одъ, поэмъ и трагедій съ завываніями, настраивавшихъ сердца читателей постоянно на патріотически-торжественный ладъ, начало зачитываться еще при Екатеринѣ переводными романами Ричардсона, Клариссой, Памелой и Грандисономъ, чувствительнымъ путешествіемъ Стерна и сентиментальными сочиненіями Бакюляръ Арно; вмѣстѣ съ этимъ на театрѣ начали появляться мѣщанскія

чувствительныя драмы. Всѣ эти давно теперь забытыя произведенія читались когда-то съ такимъ-же страстнымъ увлеченіемъ, съ какимъ нынѣ читаются романы Шпильгагена. Молодые люди и барышни начали бредить Элоизами, Памелами; называть другъ друга Агатонами, Эльвирами и пр. Жизнь начала дѣлиться на двѣ противоположныя половины: на скучную, обыденную прозу, къ которой начали относить всю будничную практику жизни, и божественную поэзію, заключающуюся въ сладкой чувствительности, таинственной симпатіи сердецъ и мечтательномъ упоеніи природой. Проливать умилительныя слезы на благоухающій букетъ цвѣтовъ, глядя на закатъ солнца, или бродить по берегу пруда, въ которомъ утопилась бѣдная Лиза, и рыдать о ея злосчастной судьбѣ считалось въ то время такимъ же прогрессомъ, какимъ въ настоящее время считается дѣлать ботаническія экскурсіи или устраивать женскій трудъ, и какъ ни приторна, какъ ни искусственна кажется намъ сентиментальность современниковъ Карамзина, въ свое время она была прогрессомъ: молодые люди, занимавшіеся умилительными воздыханіями, заливавшіеся безпрестанно слезами и сажавшіе цвѣты на гробъ своего друга Агатона или возлюбленной Батильды, были во всякомъ случаѣ и гуманнѣе, и развитѣе тѣхъ юношей предшествовавшаго поколѣнія, которые, едва научившись подписывать фамилію, изъ-подъ ферулы дьячка или темнаго выходца изъ Франціи записывались въ полкъ и дѣлались развратными петиметрами въ свѣтѣ и рабски-приниженными исполнителями по службѣ. Сентиментальность послужила первымъ зародышемъ романтическаго движенія въ нашемъ обществѣ. Въ ней вы видите, съ одной стороны, дуализмъ, основанный уже не на теологической догматикѣ среднихъ вѣковъ, требующей мрачнаго, аскетическаго подавленія страстей, а, напротивъ того, на признаніи высшимъ нравственнымъ идеаломъ свободныхъ влеченій сердца, съ другой стороны, мы видимъ здѣсь первое развитіе того индивидуализма, который составляетъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ романтизма.

Представителемъ этой фазы развитія нашего общества является Карамзинъ, и въ немъ мы видимъ вполнѣ дитя своего времени. Напрасно станете вы искать въ немъ какихъ-либо зрѣлыхъ и послѣдовательныхъ политическихъ или философскихъ убѣжденій Вы найдете у него во всѣхъ этихъ отношеніяхъ одну только сентиментальную риторику, въ которой васъ поразитъ эклектическій оптимизмъ, оправдывающій всевозможныя формы общественнаго и политическаго быта, лишь бы только онѣ основывались на добрыхъ нравахъ; къ этому ко всему приправлено исканіе мудрой умѣренности и золотой середины, и все это вдобавокъ разукрашено узкимъ кваснымъ патріотизмомъ и консерватизмомъ того трусливаго свойства, который готовъ сочувствовать всевозможнымъ реформамъ, но, за недостаткомъ просвѣщенія, не находитъ возможности въ немедленномъ ихъ осуществленіи и потому желаетъ отложить ихъ въ долгій ящикъ. Такой безхарактерный эклектизмъ не былъ личной принадлежностью Карамзина. Вспомнимъ, что Карамзинъ получилъ образованіе въ кружкѣ Новикова, въ которомъ сомнѣвались еще, что земля ходитъ вокругъ солнца; отсутствіе какихъ-либо послѣдовательныхъ и систематическихъ убѣжденій было не его только личнымъ недостаткомъ, а общей характеристической чертой его вѣка, и Карамзинъ не понималъ того, чего не понимало большинство его современниковъ. Но совершенно въ иномъ видѣ представится онъ вамъ, если вы, откинувши въ сторону всѣ его политическіе взгляды, посмотрите на него, какъ на моралиста. Здѣсь передъ вами откроется свѣтлая сторона его дѣятельности, и вы увидите въ немъ прогрессиста, имѣвшаго немаловажное значеніе въ свое время. Онъ первый, вопреки средневѣковой догматики, началъ проповѣдывать благо и свободу страстей и право человѣка на земное счастье. Въ этомъ отношеніи «Разговоръ о счастіи» (1797 г.) составляетъ эпоху въ развитіи нашей мысли. Въ этомъ сочиненіи впервые провозглашается, что всякій человѣкъ имѣетъ право на счастье; счастье же заключается въ тѣхъ удовольствіяхъ, которыя доставляютъ намъ страсти, дарованныя намъ природой для наслажденія жизнью; что страсти губительны только тогда, когда онѣ выходятъ изъ своихъ границъ; на этомъ основаніи нравственная обязанность наша заключается не въ подавленіи страстей, а въ наслажденіи ими въ данныхъ границахъ, для чего намъ данъ разсудокъ. Какъ бы ни казались намъ эти мысли дѣтскими, но въ свое время онѣ были такой неслыханной ересью, что возбудили протестъ со стороны послѣдователей средневѣковой догматики, и въ одномъ изъ журналовъ того времени, «Ипокренѣ», появился въ 1799 г. пасквиль на Карамзина, въ которомъ пасквилистъ обращается къ своему другу съ такимъ противопоставленіемъ догматической морали противъ морали Карамзина:

Не мнишь, даны чтобъ чувства были
На то, чтобъ всѣ ихъ услаждать,
И разума лучи служили,
Чтобъ наслажденья избирать;
Не выдалъ страннную чудесность,
Приведши страсти въ равновѣсность
Къ блаженству съ буйствомъ ихъ идти:
Но ты, всю цѣну истинъ зная,
Твердишь, что, страсти побѣждая,
Къ блаженству путь легко найти.
Не мнишь, чтобъ жить въ союзѣ тѣсномъ
Намъ нужно было со страстьми;
Что въ мірѣ нравственномъ, тѣлесномъ
Безъ нихъ и жить нельзя съ людьми:
Но знаешь, что звѣрямъ подобенъ,
Кто сладострастенъ, скупъ и злобенъ,
Коль равновѣсны страсти въ немъ.
Но если страсти утишились,
Молчатъ, не дѣйствуютъ, сокрылись,
То схожъ онъ съ ангеломъ во всемъ *).

Но походъ противъ догматической морали стоилъ Карамзину не одпѣхъ только литературныхъ нападокъ. Противъ него писались въ то-же время и доносы, въ которыхъ сочиненія его выставлялись «исполненными вольнодумческаго якобинскаго яда, въ которыхъ явно проповѣдуется безбожіе и безначаліе», и пр.

Рядомъ съ пропагандой свободы страстей Карамзинъ проводилъ въ литературѣ идеи Руссо, съуживая

*) «См. Ист. русск. слов.» А. Галахова, т. II, гдѣ этотъ пасквиль приведенъ вполнѣ.

ихъ на столько, на сколько онѣ были по силамъ пониманію, какъ его личному, такъ и всего общества. Въ нападкахъ Руссо на современную цивилизацію, въ его прославленіи простого, естественнаго, сельскаго быта и въ убѣжденіи людей возвратиться въ лоно природы къ первобытному состоянію,—подъ формой парадоксовъ скрывается пропаганда чисто демократическаго свойства; этотъ демократизмъ Руссо былъ конечно сверхъ пониманія Карамзина и его современниковъ. Они приняли парадоксы его за чистую монету, и оттуда явился этотъ пресловутый пастушескій идеалъ удаленія отъ суетнаго свѣта и тихаго счастья съ милой подругой подъ соломенной кровлей, возлѣ журчащаго ручейка. До какой степени этотъ идеалъ господствовалъ въ то время, это мы видимъ изъ того, что имъ увлекался въ своей юности даже Александръ, которому, казалось бы, менѣе всѣхъ другихъ россіянъ могла придти въ голову мысль о безвѣстномъ счастіи подъ соломенной кровлей. О такомъ-же самомъ счастіи мечталъ всю свою жизнь Жуковскій: «Мое теперь,—писалъ онъ къ своимъ роднымъ по пріѣздѣ въ Петербургъ,—хуже прежняго. Здѣшняя жизнь мнѣ тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. *Ваше одно и то-же кажется мнѣ прекраснымъ положеніемъ; работать безъ всякаго разсѣянія, въ кругу своихъ, отдѣлясь отъ прошедшаго и будущаго—вотъ чего мнѣ хочется* и т. д. О, Петербургъ! проклятый Петербургъ, со своими мелкими, убійственными разсѣяніями! Здѣсь, право, нельзя имѣть души. Здѣшняя жизнь давитъ меня и душитъ. Радъ бы бросить и убѣжать къ вамъ, чтобы приняться за доброе настоящее, котораго у меня здѣсь нѣтъ и быть не можетъ»...

Вообще у насъ почему-то принято Жуковскаго считать родоначальникомъ романтизма въ Россіи. Но если смотрѣть на романтизмъ не только какъ на литературную школу, а какъ на извѣстное умственное движеніе, то личность Жуковскаго потеряетъ половину своего значенія въ этомъ отношеніи. Романтизмъ явился у насъ, какъ и у всѣхъ другихъ народовъ Европы, вслѣдствіе толчка, возбужденнаго философскимъ движеніемъ восемнадцатаго вѣка; первые задатки его мы видимъ уже у Карамзина. Что-же касается Жуковскаго, то онъ имѣетъ свое значеніе въ литературѣ только какъ художникъ: онъ обработалъ русскій стихъ, придавши ему ту гибкость, которую потомъ усовершенствовалъ Пушкинъ; онъ первый показалъ, чѣмъ отличаются истинно поэтическіе, изящные образы отъ той высокопарной риторики, въ которой прежде видѣли поэзію. Наконецъ оказалъ онъ свое содѣйствіе и эмансипаціи литературныхъ нравовъ оппозиціей Арзамасскаго общества противъ надутой важности и напыщенности «Общества любителей Русскаго Слова». Но что касается до развитія міросозерцанія, нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ, то въ этотъ отношеніи онъ не только не подвинулъ впередъ русскую мысль, но, будучи рабскимъ послѣдователемъ Карамзина, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отступилъ отъ него на шагъ назадъ. Съ одной стороны онъ носился, какъ мы сейчасъ видѣли, съ тѣмъ-же буколическимъ идеаломъ сельскаго уединенія и отрѣшенія отъ мірскихъ суетъ, разбавляя подобное стремленіе приторными воздыханіями о непрочности земного и мечтательными порываніями dahin—въ туманную даль, по образцу нѣмецкаго романтизма, но съ другой стороны онъ былъ послѣдователь самой узенькой, догматической морали. Ему ставятъ постоянно въ достоинство, что онъ, будучи переводчикомъ, былъ въ то-же время писателемъ самостоятельнымъ, потому что бралъ отовсюду свое и кромѣ того придавалъ чужимъ произведеніямъ свой собственный колоритъ. Очень можетъ быть, что это и достоинство съ чисто эстетической стороны, но со стороны образовательной это былъ большой недостатокъ: выбирая повсюду свое, Жуковскій выбиралъ постоянно такія произведенія, которыя вполнѣ согласовались съ его узкимъ, догматическимъ міросозерцаніемъ, другія сглаживалъ, подводилъ подъ ту-же норму и такимъ образомъ, знакомя русскихъ людей съ произведеніями Шиллера, Гёте, Байрона, онъ совершенно сгладилъ и стушевалъ то, что было самаго живого и цивилизующаго въ произведеніяхъ этихъ писателей,—тотъ протестъ противъ старыхъ формъ и условій жизни, который составлялъ здоровый элементъ романтизма. Что-же касается жизни Жуковскаго, то въ этомъ отношеніи мы видимъ, что онъ всецѣло принадлежитъ еще къ покровительственному періоду нашей литературы и ничѣмъ не отличается въ этомъ отношеніи отъ писателей предшествующей эпохи, отъ Ломоносова до Карамзина включительно: всѣ эти жалобы на суету и пустоту Петербурга, мечты о прелести сельскаго уединенія въ тѣсномъ кругу семьи, сѣтованія на непрочность земного и порываніе къ небесному — нисколько не мѣшали Жуковскому торчать всю свою жизнь въ знатныхъ прихожихъ и посвящать льстивыя восхваленія сильнымъ міра сего.

Только со второй половины царствованія Александра I началъ у насъ развиваться романтизмъ не въ видѣ только буколическаго сенсуализма, какъ это было во время московской дѣятельности Карамзина, но въ видѣ протеста личности противъ устарѣлыхъ и давящихъ формъ жизни общественной и семейной, противъ фамусовскаго узкаго практицизма и молчалинской приниженности. Въ воображеніи представителей этого романтизма начинаетъ рисоваться идеалъ сильной избранной натуры, гордой, независимой, свободной, подчиняющейся только влеченіямъ своего духа, презирающей искательство матеріальныхъ выгодъ и страдающей отъ грубаго непониманія и гоненія пошлой, пресмыкающейся толпы. Этому идеалу поклонялись всѣ, безъ исключенія, мало-мальски мыслящіе люди въ эпоху 20-хъ годовъ, причемъ требовалось уже не одно только проповѣдованіе его на словахъ, но и осуществленіе въ самой жизни. При этомъ надо опять-таки не забывать, что иначе этотъ идеалъ понимался и осуществлялся въ кружкахъ передовыхъ и лучшихъ представителей мысли въ эпоху 20-хъ годовъ, иначе—среди полуобразованной массы общества. Лучшіе люди того времени—эти были Чацкіе, съ глубокой тоской смотрѣвшіе вокругъ и рѣзкими сарказмами клеймившіе всеобщую пошлость, невѣжество и рабство; наконецъ были люди и выше Чацкаго, не ограничивавшіеся одними пассивными сарказмами, но стремившіеся къ активному освобожденію жизни отъ старыхъ

и гнетущихъ формъ, которымъ поклонялись Фамусовы и Молчалины, пересозданію ея на такихъ основаніяхъ, которыя даровали бы болѣе широкій просторъ свободному полету личности. Но иначе представляла себѣ этотъ самый идеалъ полуобразованная масса; эта масса не требовала отъ своего героя никакой активности въ жизни, никакого плодотворнаго труда, никакой особенной гуманности и справедливости къ низшимъ: для нея было совершенно достаточно, чтобы герой презиралъ, не покорялся и страдалъ. Въ то-же время онъ могъ тратить свои силы на какія угодно прихоти и похоти, всю жизнь проводить въ кутежахъ и волокитствѣ, стрѣляться на дуэляхъ, подвергаться всевозможнымъ опасностямъ не изъ-за чего иного, какъ изъ-за безцѣльнаго разгула юношеской отваги,—наконецъ прокучивать цѣлыя имѣнія, разоряя своихъ крестьянъ, или на станціяхъ стегать нагайками жидовъ и припечатывать ихъ бороды къ столу—и при всемъ томъ все-таки оставаться героемъ. Однимъ словомъ, та самая свобода страстей, которую Карамзинъ защищалъ и оправдывалъ съ немалой еще робостью, подчиняя ее, ради благонамѣренности, разсудку, въ двадцатые годы возвелась въ апоѳеозъ и сдѣлалась безусловнымъ нравственнымъ идеаломъ. Пальму первенства отдали рѣшительно сердцу, на разсудокъ-же начали смотрѣть, какъ на нѣчто враждебное сердцу, а потому презрѣнное и малодушное: подчиняться ему значило унижать себя, измѣнять своему нравственному идеалу, приравнивать себя къ пошлой толпѣ.

Въ то-же время было-бы совершенно ложно думать, чтобы такой идеалъ былъ случайно, искусственно перенесенъ съ Запада подъ вліяніемъ Байрона и не имѣлъ бы никакого отношенія къ нашей жизни. Напротивъ того, онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ какъ духу своего времени, такъ и той средѣ, въ которой преобладалъ. На Западѣ существовали въ то время уже многіе теоріи и идеалы, и была-же какая-либо существенная причина, почему увлеклись именно этимъ идеаломъ, а не какимъ-нибудь другимъ. Для объясненія этого надо принять въ соображеніе характеръ той среды, изъ которой вышелъ этотъ идеалъ и въ которой онъ преобладалъ. Это была петербургская великосвѣтская среда, въ которой въ то время сосредоточивалось умственное движеніе общества. Жизнь этой среды опиралась главнымъ образомъ на крѣпостномъ правѣ, которое дошло до высшаго своего развитія, не успѣвши еще открыть обратную свою сторону экономическаго разоренія. Напротивъ того, оно доставляло вышеозначенной средѣ такой избытокъ благосостоянія, при помощи котораго русскій богачъ, путешествовавшій за-границей, могъ казаться поистинѣ Крезомъ. Въ то-же самое время среда эта только-что успѣла освоиться съ тѣмъ новымъ своимъ положеніемъ, какое создалось для нея екатерининской грамотой о вольности дворянской. Грамота эта, не даровавши дворянству никакихъ особенныхъ политическихъ правъ, а только освободивши его отъ служилыхъ обязанностей, этимъ самымъ положила начало особеннаго рода понятіямъ о значеніи дворянства въ государствѣ: на дворянство стали смотрѣть, съ одной стороны, какъ на плотину, которая должна защищать престолъ онъ натиска народныхъ массъ, считавшихся подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ французской революціи непремѣнно грозными и враждебными, съ другой стороны, предполагали, что славой бранныхъ и государственныхъ подвиговъ, въ особенности-же блескомъ образованности и роскоши дворянство должно составлять украшеніе и славу государства. Крыловъ недаромъ сравниваетъ дворянство съ листьями, составляющими роскошь и красу дерева. Подъ вліяніемъ этихъ общественныхъ идей о значеніи дворянства сложился и нравственный идеалъ дворянина того времени: дворянинъ, по понятіямъ людей первой четверти нынѣшняго столѣтія, долженъ былъ представляться человѣкомъ храбрымъ до самоотверженія, великодушной и щедрой натурой, незнающей предѣла своимъ тратамъ. Всякій мелкій разсчетъ, мелкій трудъ, стремленіе къ бережливости считалось свойствомъ низкихъ, скаредныхъ душъ, удѣломъ грубой черни, униженіемъ дворянской чести. Гораздо уже позже Лермонтовъ съ презрѣніемъ заставляетъ своего демона смотрѣть на корыстный трудъ предъ тощей лампадой, приравнивая этотъ трудъ къ прочимъ преступленіямъ, на которыя демонъ смотритъ съ злобной отрадой во время своего ночного путешествія надъ спящей столицей. Этими понятіями обусловливался тотъ веселый, широкій разгулъ, который, начиная съ царствованія Екатерины, проходитъ сквозь все царствованіе Александра I и о которомъ такъ вздыхаютъ наши старички, окрестившіе его весьма характеристическимъ, историческимъ выраженіемъ, прямо намекающимъ на екатерининскую грамату: *кутить по вольности дворянской*. Этимъ положеніемъ создавались великосвѣтскіе типы вродѣ Онѣгина или Печорина, гордые, свободные отъ всякаго труда, незнающіе предѣла своимъ страстямъ и прихотямъ и выносящіе изъ своего праздная и необузданнаго юношескаго разгула одно пресыщеніе и разочарованіе. До какой степени подобные идеалы были въ духѣ того времени, это мы видимъ изъ того, что имъ подчинялись не одни заурядные свѣтскіе люди, неполучившіе никакого образованія, никакихъ разумныхъ стремленій, но и лучшіе, мыслящіе люди общества представляли въ своей средѣ такіе-же типы отчаянныхъ повѣсъ, бретеровъ и донъ жуановъ, готовыхъ проѣхаться на челночкѣ въ бурю по морю не для чего иного, какъ изъ-за того, чтобы показать свое рыцарское безстрашіе, или побиться объ закладъ на пріятельской пирушкѣ въ томъ, что они проведутъ безстрашно ночь гдѣ-нибудь на кладбищѣ или въ домѣ, въ которомъ по ночамъ совершаются разные ужасы (такихъ домовъ съ блуждающими призраками, пляшущими стульями и проч. было множество въ то романтическое время). До какой степени наконецъ идеалъ этотъ былъ въ духѣ времени, служилъ даже для массы читающей публики лозунгомъ прогресса и оппозиціи, это мы можемъ видѣть изъ того внезапнаго охлажденія, съ какимъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ отнеслась публика къ своему любимцу Пушкину, когда онъ пересталъ и въ своей жизни, и въ своихъ произведеніяхъ быть представителемъ этого идеала. Надо замѣтить, что въ двадцатые годы Пушкинымъ увлекались вовсе не изъ одной только художественности его произведеній. Люди двадцатыхъ годовъ были еще весьма плохіе

эстетики: всѣ ихъ эстетическія понятія ограничивались тѣмъ, что поэтъ долженъ быть свободенъ отъ всякихъ стѣсняющихъ творчество правилъ ложнаго классицизма и летать по волѣ своей фантазіи. Въ Пушкинѣ они цѣнили именно такого независимаго поэта. Его любили за то, что онъ въ своихъ поэмахъ и многихъ лирическихъ произведеніяхъ олицетворялъ любимый идеалъ гордаго, свободнаго романтика, и въ то-же время видѣли въ немъ человѣка, непокорявшагося обыденной рутинѣ жизни, и за то гонимаго и преслѣдуемаго. Когда-же впослѣдствіи Пушкинъ въ поэзіи свернулъ на почву гётевской объективности, а въ жизни пошелъ по дорогѣ Карамзина и Жуковскаго, въ оцѣнкѣ Пушкина обнаружился тотчасъ-же удивительный расколъ. Съ одной стороны, публика, воспитанная въ духѣ романтизма двадцатыхъ годовъ, внезапно охладѣла къ Пушкину и начала видѣть въ послѣдующей дѣятельности его, начиная съ «Бориса Годунова», паденіе таланта; съ другой стороны, въ то время существовали уже романтики совершенно иного рода, воспитанные въ духѣ нѣмецкихъ эстетическихъ теорій, для которыхъ художественные вопросы стояли на первомъ планѣ и которые выше всего цѣнили олимпійское безстрастіе Гёте. Эти люди, напротивъ того, начали утверждать, что произведенія Пушкина 20-хъ годовъ именно и суть самые слабые плоды его поэтическаго творчества, произведенія молодого, незрѣлаго пера, находившагося еще въ рабской зависимости отъ западныхъ учителей; а что съ «Бориса Годунова», напротивъ того, Пушкинъ вступилъ въ высшій періодъ своей дѣятельности, дошедши до полной художественной зрѣлости и самостоятельности. Ниже, въ своемъ мѣстѣ, намъ подробнѣе придется коснуться этого раскола, обнаружившагося въ тридцатые годы относительно оцѣнки Пушкина. Теперь-же мы только замѣтимъ, что какъ ни пустъ и безсодержателенъ былъ романтическій идеалъ свѣтской массы двадцатыхъ годовъ, и какъ отрицательно ни относились къ нему наши критики, начиная съ Веневитинова, Ив. Кирѣевскаго, Надеждина и кончая Добролюбовымъ и Писаревымъ, но все-таки надо отдать справедливость, что въ свое время идеалъ этотъ принесъ свою немаловажную пользу въ развитіи нашего общества. Какъ бы ни представлялся пассивенъ онѣгинскій протестъ противъ фамусовства и молчалинства, но все-таки онъ хоть сколько-нибудь возвышалъ нравственное достоинство человѣка надъ тиной рабскаго пресмыканья. Какой-нибудь иной исходъ могъ существовать только для отдѣльныхъ развитыхъ личностей, которыя, сколько бы мы сотенъ ихъ ни насчитывали, были все-таки отдѣльными единицами въ полуобразованной массѣ заурядныхъ людей. Для заурядныхъ же людей и то уже было прогрессомъ, что они предпочитали лучше ничего не дѣлать и зѣвать, сложа руки, чѣмъ подчиняться, кланяться и пресмыкаться. Но болѣе всего пользы принесъ этотъ идеалъ литературѣ: появленіе его сразу избавило ее отъ прежняго меценатства и поставило на самостоятельную почву лицомъ передъ лицо публики, отъ вкусовъ и симпатій которой сталъ зависѣть теперь успѣхъ каждаго литературнаго предпріятія. Проповѣдуя вышеупомянутый идеалъ и поклоняясь ему, немыслимо уже стало литератору заходить съ задняго крыльца къ благодѣтелю и съ широкой улыбкой лести заискивать у него полученіе перстенька, пенсіи и пр. Съ этихъ поръ каждый писатель, мало-мальски разсчитывавшій на покровительство, тотчасъ-же встрѣчалъ охлажденіе со стороны публики и насмѣшки въ литературѣ. Только Жуковскій доживалъ спокойно свой вѣкъ подъ сѣнію покровительства, и его щадили, какъ щадятъ стараго ветерана или развалину, напоминающую былое. Даже Пушкинъ, когда свернулъ на дорогу Жуковскаго, ожесточенный охлажденіемъ публики и журнальными намеками, долженъ былъ признать совершившійся фактъ, и не могъ напасть на него прямымъ опроверженіемъ, а долженъ былъ прибѣгнуть къ разнымъ экивокамъ, ссылкамъ на примѣръ Англіи, указаніемъ на то, что и въ старину, при господствѣ покровительства, могли существовать честные писатели, каковъ былъ Ломоносовъ, что наконецъ совершенная независимость литературы — явленіе только кажущееся, а не истинное.

«Patronage» (покровительство) до сей поры сохраняется въ обычаяхъ англійской литературы. Почтенный Креббъ, умершій недавно, поднесъ всѣ свои прекрасныя поэмы to his grace the Duck etc. Въ своихъ смиренныхъ посвященіяхъ онъ почтительно упоминаетъ о милостяхъ и высокомъ покровительствѣ, коихъ онъ удостоился, и проч. Въ Россіи вы не встрѣтите ничего подобнаго. У насъ, какъ замѣтила M-me de Staël, словесностью занимались большей частью дворяне (en Russie quelques gentilhommes se sont occupés de litterature). Это дало особенную физіономію нашей литературѣ; у насъ писатели не могутъ изыскивать милостей и покровительства у людей, которыхъ почитаютъ себѣ равными, и подносить свои сочиненія вельможѣ или богачу, въ надеждѣ получить отъ него пятьсотъ рублей или перстень, украшенный драгоцѣнными каменьями. Что-жъ изъ этого слѣдуетъ? Что нынѣшніе писатели благороднѣе мыслятъ и чувствуютъ, нежели мыслили и чувствовали Ломоносовъ и Костровъ? Позвольте въ этомъ усомниться.

«Нынѣче писатель, краснѣющій при одной мысли посвятить книгу свою человѣку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному въ общемъ мнѣніи, но который можетъ повредить продажѣ книги или хвалебнымъ объявленіемъ заманить покупщиковъ. Нынѣ послѣдній изъ писакъ, готовый на всякую приватную подлость, громко проповѣдуетъ независимость и пишетъ безъименные пасквили на людей, передъ которыми разстилается въ кабинетѣ.

«Къ тому-же съ нѣкоторыхъ поръ литература стала у насъ ремесло выгодное, и публика въ состояніи дать болѣе денегъ, нежели его сіятельство такой-то, или его высокопревосходительство такой-то. Какъ бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значатъ. Ломоносовъ и Креббъ достойны уваженія всѣхъ честныхъ людей, несмотря на ихъ смиренныя посвященія; а господа NN все-таки презрительны, несмотря на то, что въ своихъ книжкахъ они проповѣдуютъ благородную гордость, и что они свои сочиненія посвящаютъ не доброму и умному вельможѣ, а какому-нибудь вралю и плуту, подобному имъ.»

Наконецъ вышеупомянутый идеалъ важенъ въ томъ отношеніи, что когда послѣ 1825 г. многіе передовые люди двадцатыхъ годовъ сошли съ поприща, благотворное вліяніе этого идеала на литературу и

нравы общества одно пережило ихъ и было единственнымъ достояніемъ, которое двадцатые годы завѣщали потомству. Душеприказчиками такого наслѣдства остались Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Полевой, Одоевскій, Веневитиновъ, Ив. Кирѣевскій, Чаадаевъ и многіе другіе, имена которыхъ стоятъ во главѣ періода нашей литературы, послѣдовавшаго непосредственно за 1825 годомъ и продолжавшагося 10 лѣтъ, до прекращенія «Телеграфа» въ 1834 году году и начала, въ томъ же году, дѣятельности Бѣлинскаго. Этому періоду, стоящему на рубежѣ двухъ поколѣній, мы посвятимъ слѣдующія главы.

IV.

Измѣненіе нравовъ въ 1826 году.—Патріотизмъ и его два вида.—«Русскій Вѣстникъ» С. Н. Глинки и «Сынъ Отечества» Н. И. Греча.—«Вѣстникъ Европы» Каченовскаго.—Н. А. Полевой.—Отношеніе къ «Телеграфу» петербургскихъ кружковъ александровской эпохи.—Перемѣщеніе центра умственнаго движенія.—Значеніе, какое пріобрѣли университеты и журналы съ новой эпохой, и успѣхъ «Телеграфа» въ связи съ этимъ. Состояніе умственнаго развитія молодежи въ 30-ые годы: свидѣтельство объ этомъ Г. Григорьева и И. Панаева.—Чѣмъ увлекалась молодежь въ «Телеграфѣ» и что вообще соединяла она съ романтизмомъ.—Слабая сторона пропаганды Полевого.—Почему онъ не понялъ Гоголя.—Паденіе Полевого.—Отношеніе Бѣлинскаго къ Полевому до и послѣ смерти послѣдняго.

Надо полагать, что никогда, даже принимая въ соображеніе петровскія времена, наше общество не испытывало такого быстраго, почти мгновеннаго превращенія, какъ въ 1826 году. Въ одинъ какой-нибудь годъ, и прежней жизни — широкой, разгульной, съ смѣлыми планами, гордыми, заносчивыми мечтами, розовыми, молодыми надеждами и удалью, незнавшей преградъ, ничего этого—какъ не бывало. «Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровскихъ временъ—все это исчезло съ 1826 годомъ», говоритъ одинъ изъ мемуаристовъ. «Нравственный уровень общества палъ,— говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ своихъ записокъ;—развитіе было прервано; все передовое, энергическое вычеркнуто изъ жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные—были мелки, пусты; дрянь александровскаго поколѣнія заняла первое мѣсто; они мало-по-малу превратились въ подобострастныхъ дѣльцовъ, утратили дикую поэзію кутежей и барства и всякую тѣнь самобытнаго достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время ихъ прошло.»

Какъ ни ограничено было участіе передовыхъ дѣятелей двадцатыхъ годовъ въ литературѣ, однако-же вліяніе ихъ болѣе или менѣе отражалось на всѣхъ лучшихъ литературныхъ дѣятеляхъ того времени и частью послѣдующаго—на Грибоѣдовѣ, Пушкинѣ, Полевомъ, Веневитиновѣ, Чаадаевѣ и др. Послѣ 1826 года мыслящая часть общества представляла видъ хора, изъ котораго вдругъ исчезъ регентъ, и не стало того невидимаго камертона, который до того времени давалъ всему тонъ. Люди съ маломальски стойкими и крѣпкими убѣжденіями разбрелись по угламъ, сосредоточились и замолкли въ апатіи нѣмого отчаянія. Люди малодушные, перепуганные, лишенные убѣжденій, всякаго рода продажные хамелеоны пошли вслѣдъ за неразвитымъ большинствомъ общества, которое, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, начало искусственно настраиваться на тонъ узкаго квасного патріотизма въ византійскомъ духѣ, пропитаннаго запахомъ ладона и рабскаго подобострастія. Патріотическое настроеніе существовало въ нашемъ обществѣ и въ царствованіе Александра I, естественно возбужденное войной 1812 года и событіями, послѣдующими за нимъ. И тогда уже оно ударялось въ крайности, подобныя тѣмъ, какія мы видимъ въ наше время. Существовали даже два журнальные органа, въ которыхъ патріотизмъ стоялъ на первомъ планѣ и раздувался вопреки всякаго здраваго смысла. Таковы были: «Русскій Вѣстникъ», издававшійся съ 1808 года С. Н. Глинкой, и «Сынъ Отечества», издававшійся въ Петербургѣ по иниціативѣ Н. Греча. Но вліяніе реакціоннаго духа этихъ журналовъ умѣрялось болѣе разумнымъ и умѣреннымъ патріотизмомъ прогрессивныхъ стремленій въ передовыхъ кружкахъ общества, а подъ конецъ царствованія Александра даже обыденный патріотизмъ полупросвѣщенныхъ массъ принялъ въ себя либеральную струю сочувствія къ возставшимъ грекамъ и желанія помочь имъ противъ угнетателей. При этомъ положеніи вещей вышеупомянутые журналы далеко не пользовались особеннымъ уваженіемъ въ обществѣ. Глинка, проповѣдывавшій въ своемъ журналѣ, что боярин Матвѣевъ точно такъ-же умствовалъ о душѣ, какъ Локкъ и Кондильякъ, хотя не могъ читать ни того, ни другого, что всѣ «правила, содержащіяся въ Коричей Книгѣ, согласны съ разсужденіемъ всѣхъ знаменитыхъ просвѣтителей всѣхъ странъ и всѣхъ вѣковъ» и пр., возбуждалъ одинъ смѣхъ, а Гречъ, который вмѣстѣ съ филиппиками противъ Наполеона проповѣдывалъ крестовые походы противъ французскихъ идей XVIII вѣка и всякаго прогрессивнаго движенія въ духѣ ихъ, возбуждалъ своей пропагандой только презрѣніе и негодованіе. Послѣ 1826 года консервативный патріотизмъ въ византійскомъ духѣ сдѣлался господствующимъ настроеніемъ въ высшихъ сферахъ и, исходя оттуда, принялъ видъ общественной религіи, обязательной для каждаго подъ страхомъ чуть что не смерти. «Сынъ Отечества», а впослѣдствіи «Сѣверная Пчела»— своими инсинуаціями и доносами, въ духѣ этого патріотизма, пріобрѣли особенное благоволеніе со стороны начальства. Въ такомъ-же духѣ подвизался и «Вѣстникъ Европы» Каченовскаго. Журналъ этотъ, какъ органъ классиковъ, представлялъ оппозицію противъ романтическаго направленія, господствовавшаго въ то время въ литературѣ. Въ сущности онъ не особенно заботился о какихъ либо политическихъ тенденціяхъ, но, защищая классицизмъ, поневолѣ впадалъ въ общій тонъ, господствовавшій въ правительственныхъ сферахъ. Вспомнимъ только, что въ ложноклассическомъ направленіи въ литературѣ нашей патріотическое настроеніе стояло на первомъ планѣ: классики требовали, чтобы поэты въ своихъ одахъ, поэмахъ и трагедіяхъ настраивали сердца читателей постоянно на торжественный ладъ, воспѣвая громъ славы и побѣдъ, доблесть и величіе русскаго духа.

Слѣпые приверженцы авторитетовъ, они не допускали ни малѣйшаго критическаго отношенія къ прежнимъ писателямъ нашимъ, отъ Ломоносова до Карамзина включительно; всѣхъ этихъ писателей они ставили на пьедесталы, называя ихъ русскими Пиндарами, Гомерами, Расинами, и въ критическомъ отношеніи къ нимъ видѣли не только неуваженіе къ авторитетамъ, но и недостатокъ патріотизма, преступное порицаніе всего, чѣмъ должна гордиться Россія. Наконецъ они были приверженцами меценатства и табели о рангахъ въ литературѣ. Романтизмъ-же, какъ мы видѣли въ прошлой главѣ, явился у насъ съ самаго перваго шага въ тѣсномъ и неразрывномъ союзѣ со всѣми либеральными стремленіями александровскаго царствованія. Онъ началъ съ осмѣянія арзамасцами меценатства, чинопочитанія, напускной важности и торжественности, господствовавшей въ «Обществѣ Любителей Русскаго Слова», въ которомъ классики занимались взаимнымъ кажденіемъ другъ другу. Романтики возстали наконецъ не только противъ стѣсняющихъ творчество риторическихъ правилъ, но и противъ правилъ ходячей морали, во имя свободы личности. Естественно, что въ глазахъ классиковъ романтики представлялись безнравственными мальчишками, сорванцами, непризнающими никакихъ авторитетовъ, неуважающими старшихъ, непоклоняющимися чинамъ и заслугамъ, отвергающими всякія правила эстетическія и нравственныя, и потому готовыми ниспровергнуть всякій общественный и семейный порядокъ. Однимъ словомъ, отношеніе между классиками и романтиками въ двадцатые годы во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ отношеніе эстетиковъ и идеалистовъ къ реалистамъ или такъ-называемымъ нигилистамъ въ шестидесятые годы. Точно такъ-же все отжившее, становясь подъ знамена классицизма, принимало на себя личину благонамѣренности, патріотизма и заботъ о сохраненіи всевозможныхъ оплотовъ, а все молодое и свѣжее увлекалось романтизмомъ, въ которомъ классики видѣли не одну эстетическую теорію, но нѣчто, весьма опасное для нравственности и общественнаго порядка. Замѣчательно, что и представляли романтиковъ такими-же длинноволосыми, растрепанными, небрежно одѣтыми, распущенными отрицателями, какими впослѣдствіи стали представлять нигилистовъ.

При такихъ условіяхъ понятнымъ становится, что издавать журналъ съ спеціальной цѣлью защищать романтизмъ и пропагандировать его—было немаловажнымъ подвигомъ, съ которымъ выступилъ Н. А. Полевой въ самое тяжелое время. Несмотря на то, что «Телеграфъ» Полевого чуждъ былъ какихъ-либо опредѣленныхъ политическихъ тенденцій, будучи журналомъ чисто-литературнымъ, онъ сосредоточилъ въ себѣ единственную, возможную въ то время, оппозицію именно потому, что взялъ на себя защиту такой эстетической школы и такихъ писателей, каковы были Пушкинъ, Дельвигъ, Баратынскій, Козловъ, о которыхъ, по свидѣтельству И. Панаева, благонамѣренные педагоги запрещали упоминать въ училищахъ, изъ боязни испортить и растлить молодые умы.

Личность Полевого замѣчательна тѣмъ, что стоитъ на распутьи двухъ поколѣній, соединяетъ многіе достоинства и недостатки двухъ эпохъ и въ то-же время не принадлежитъ всецѣло ни къ одной изъ нихъ. Это положеніе Полевого гораздо яснѣй и вѣрнѣй можетъ объяснить намъ всѣ тѣ противорѣчія, которыя вы встрѣчаете въ этой личности, всю шаткость и неопредѣленность воззрѣній его, мгновенный успѣхъ и такое-же быстрое паденіе, чѣмъ напримѣръ объясненіе всего этого случайнымъ увлеченіемъ эклектической философіей Кузена, а не какой-нибудь другой, болѣе послѣдовательной и цѣльной: здѣсь необходимо переставить причину и слѣдствіе и сказать, что воззрѣнія Полевого не потому были полны эклектизма, что онъ былъ послѣдователь Кузена, а наоборотъ, онъ не могъ быть удовлетворенъ никакой философіей, кромѣ эклектической, потому что таковъ былъ складъ его личности.

Поэтому, чтобы вполнѣ ясно представить себѣ значеніе Полевого, необходимо разсмотрѣть складъ этой личности въ связи съ предшествующей эпохой, которая создала ее, и съ послѣдующей, которая возвела ее на верхъ славы и потомъ погубила. Полевой вышелъ на литературное поприще, какъ извѣстно, изъ купеческаго званія. Съ самой ранней юности онъ принужденъ былъ заниматься торговыми дѣлами. Умственное броженіе, господствовавшее въ то время, возбудило страсть къ образованію въ чуткомъ и воспріимчивомъ юношѣ. Онъ началъ учиться и читать почти безо всякой посторонней помощи и руководства. Усидчивыя занятія обогатили его умъ всевозможными свѣдѣніями по разнымъ предметамъ, но, какъ это часто бываетъ съ самоучками, занимающимися чтеніемъ безъ всякой системы и критики, вмѣстѣ съ необыкновенной начитанностью у него были пробѣлы въ знаніяхъ весьма существенныхъ. Рядомъ съ передовыми идеями, выработанными европейской мыслью, онъ сохранилъ многіе совершенно дѣтскіе взгляды. Многое, что онъ не могъ выработать мышленіемъ и привести въ ясное сознаніе, онъ предугадывалъ и старался постигнуть непосредственнымъ чувствомъ. Въ то время въ Европѣ все новое и свѣжее становилось подъ знаменемъ романтизма; то-же самое было и у насъ. Естественно, что и Полевой увлекся романтизмомъ. Но что это за звѣрь романтизмъ, объ этомъ Полевой имѣлъ весьма смутныя и неопредѣленныя понятія. Весь романтизмъ Полевого высказался въ слѣдующихъ положеніяхъ: поэтъ долженъ слѣдовать прихоти своего собственнаго вдохновенія, не подчиняясь никакимъ искусственнымъ, условнымъ правиламъ; поэзія—безуміе, непонятное, странное безуміе,—тоска по небесной отчизнѣ; ее-ли понимать намъ на землѣ? Поэты—факиры-мечтатели, добровольные страдальцы; вѣчно недовольные собою, другими, жизнью, они гибнутъ и отъ рукоплесканій, и отъ гоненій пошлой толпы. Подъ эту смутную доктрину Полевой подводилъ всѣхъ предшествовавшихъ дѣятелей нашей литературы, и все пресловутое неуваженіе къ авторитетамъ, которое ему приписывали современники, заключалось въ томъ, что, разбирая авторитетныхъ поэтовъ, начиная съ Ломоносова и кончая Пушкинымъ, онъ не ограничивался безотчетнымъ восторгомъ, а старался отдавать отчетъ въ томъ, было-ли то или другое произведеніе плодомъ истиннаго вдохновенія, или поэтъ его искусственно придумалъ. Съ этой точки зрѣнія онъ нахо-

дилъ романтизмъ повсюду, даже и у Державина. Этаже самая доктрина послужила для Полевого канвой для многихъ его романовъ и повѣстей, въ которыхъ на первомъ планѣ постоянно рисуется передъ вами артистъ-фантазеръ, непонятый толпой и гибнущій вслѣдствіе особеннаго фатума, обрекающаго на гибель всѣхъ поэтовъ, музыкантовъ и художниковъ. Рядомъ съ этой доктриной, безъ всякой связи съ нею, смутно бродила въ Полевомъ идея о необходимости, чтобы поэзія каждаго народа была самобытная и народная. Но въ чемъ должна заключаться эта народность, объ этомъ Полевой только гадалъ, но не имѣлъ ровно никакихъ опредѣленныхъ понятій: то онъ видѣлъ народность въ широкихъ розмахахъ державинской лиры, то съуживалъ понятіе о ней до изображенія чего бы то ни было находящагося въ предѣлахъ Россіи,—такъ напримѣръ, считалъ народными первыя главы «Евгенія Онѣгина» на томъ только основаніи, что онѣ изображаютъ жизнь и нравы петербургскаго дендизма, а не парижскаго или лондонскаго,—то онъ впадалъ въ народность квасного патріотизма и выставлялъ личности изъ простого народа, преисполненныя такого патріотизма, то, наконецъ, видѣлъ народность въ буквальномъ подражаніи народнымъ сказкамъ, и самъ писалъ сказки, поддѣлываясь подъ простонародный языкъ.

Въ Петербургѣ до изданія «Телеграфа» Полевой познакомился съ передовыми кружками, которые не могли не произвести на него весьма благотворнаго вліянія. Подъ этимъ вліяніемъ сложился у Полевого идеалъ литературной независимости, честности, презрѣнія къ меценатству, лести и продажности. Но однимъ пассивнымъ и неопредѣленнымъ чувствомъ свободы и демократической ненависти ко всему сильному и возвышающемуся и ограничился весь либерализмъ Полевого. Онъ былъ слишкомъ мало развитъ, чтобы додуматься до какихъ-либо опредѣленныхъ общественныхъ убѣжденій. Онъ не могъ отвыкнуть отъ привычки съ мыслью о малѣйшей активности въ жизни соединять представленіе чего-то крайне преступнаго. Онъ не сошелся съ петербургскими кружками и началъ изданіе «Телеграфа» безъ ихъ участія въ Москвѣ самостоятельно.

Такимъ образомъ Полевой принялъ многіе элементы, которые неопредѣленно бродили въ обществѣ въ началѣ двадцатыхъ годовъ, но не сдѣлался вполнѣ передовымъ человѣкомъ этого времени. Но, отставая во многомъ отъ передовыхъ людей александровскаго царствованія, онъ имѣлъ въ то-же время особенное преимущество передъ ними, которое принадлежало ему, какъ человѣку новаго уже періода, который если еще не наступилъ, то былъ уже очень близокъ. Дѣло въ томъ, что нередовые люди александровскаго времени, съ высоты своей великосвѣтскости и романтическаго задора, слишкомъ пренебрегали такъ называемой *толпой:* они думали жить и дѣйствовать безъ ея участія и содѣйствія, мечтали облагодѣтельствовать ее, не спрашиваясь объ этомъ у нея. Для Полевого-же, который самъ вышелъ изъ этой толпы, близки къ сердцу были ея умственные интересы. Онъ чувствовалъ живо, а можетъ быть и ясно сознавалъ, что ничего не сдѣлаешь одинъ, безъ участія этой толпы, не возвысивши хоть сколько-нибудь ея умственнаго и нравственнаго уровня. Онъ сознавалъ, однимъ словомъ, необходимость энциклопедической литературной пропаганды въ широкомъ смыслѣ на массу грамотныхъ людей.

«Для изображенія совершеннаго журнала, - говоритъ онъ въ первой книжкѣ своего «Телеграфа»,—вообразите зеркало, въ которомъ отражается весь міръ нравственный, политическій и физическій. Такой журналъ едва-ли не болѣе многихъ книгъ принесетъ пользы. Не всѣ могутъ удѣлять время на чтеніе огромныхъ томовъ: многіе-ли привыкли къ обдуманному, систематическому чтенію. Здѣсь преимущество на сторонѣ журналовъ: истинно-полезное, истинно-изящное предлагаетъ вамъ журналистъ, не пугая обширными опредѣленіями, пестротой выписокъ, толщиной книги. Журналистика должна пользоваться важнымъ преимуществомъ своимъ—представлять отчетныя извлеченія изъ всѣхъ книгъ любопытныхъ и важныхъ и увѣдомлять читателей обо всемъ, что слышно новаго. Журналистъ — разносчикъ вѣстей: встрѣчаясь съ нимъ, не спрашиваютъ, что вы знаете, но нѣтъ-ли чего-нибудь новаго? Вотъ почему я полагаю критику однимъ изъ важнѣйшихъ отдѣленій журнала—пусть только она будетъ умна, правдива, дѣльна. Присовокупите къ этому избранныя новости литературныя, важнѣйшія новости въ наукахъ, искусствахъ и художествахъ, обзоръ всеобщаго просвѣщенія—и умѣйте предлагать это не односторонне, разнообразно.»

Такъ представлялъ себѣ Полевой программу журнала, который имѣлъ бы видъ не періодическихъ безсвязныхъ сборниковъ для 200, 300 меценатовъ и денди, интересующихся успѣхами отечественной литературы, каковы были всѣ журналы, появлявшіеся до того времени, а энциклопедію, обнимающую всѣ отрасли знанія, искусствъ и политики, и которая могла бы замѣнить чтеніе книгъ для массы грамотныхъ людей. Надъ Полевымъ посмѣялись въ Петербургѣ. Марлинскій въ литературномъ обозрѣніи, напечатанномъ въ «Полярной Звѣздѣ»,—альманахѣ, изданномъ въ 1825 г., помѣстилъ между прочимъ такой отзывъ о появленіи «Телеграфа»: «въ Москвѣ явился двухнедѣльный журналъ «Телеграфъ», издаваемый Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себѣ все, извѣщаетъ и судитъ обо всемъ, начиная отъ безконечно малыхъ въ математикѣ и до пѣтушиныхъ гребешковъ въ соусѣ или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ. Неровный слогъ, самоувѣренность въ сужденьяхъ—вотъ знаки сего «Телеграфа», а «Смѣлымъ Богъ владѣетъ» —его девизъ». Этотъ отзывъ, помѣщенный въ альманахѣ, изданномъ по иниціативѣ лучшихъ передовыхъ людей того времени, трудно приписать одному личному взгляду Марлинскаго; по всей вѣроятности въ немъ отразилось общее мнѣніе о журналѣ Полевого петербургскихъ кружковъ. Но опытъ вскорѣ показалъ, что значитъ безучастность массъ, стоящихъ на низкомъ уровнѣ развитія, и на чьей сторонѣ было будущее: «Телеграфъ» былъ оправданъ успѣхомъ своимъ: онъ пріобрѣлъ 2,000 подписчиковъ,—количество, о которомъ до того времени не смѣлъ и думать ни одинъ журналъ, и въ то-же время всталъ во главѣ покаго движенія нашего общества, въ которомъ непосредственное уже участіе принимала та самая масса грамотныхъ людей, которая до того времени была только безучастной зрительницей.

1826-й годъ важенъ въ исторіи нашего развитія особенно тѣмъ, что это былъ годъ крутого перемѣщенія центра умственнаго броженія.

Мы говорили уже въ предыдущей главѣ, что съ Екатерины и до Николая умственное движеніе преобладало въ высшихъ кругахъ общества. Всѣ изданія, журналы и газеты основывали свой успѣхъ главнымъ образомъ на сужденіяхъ, приговорахъ и сочувствіяхъ этого круга; все, если не изъ него исходило, то для него писалось, наконецъ подчинялось различнымъ переходамъ умственнаго движенія въ этомъ кругу и отражало-ихъ. Но когда это движеніе было разомъ прервано и все, что только было мыслящаго въ этомъ кругу, сошло съ поприща, свѣтское общество въ концѣ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ сдѣлалось совершенно чуждо какихъ-либо умственныхъ интересовъ. Вотъ какъ характеризуетъ это общество И. Панаевъ въ своихъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ»:

«Большинство нашихъ такъ-называемыхъ свѣтскихъ людей того времени отличалось крайней пустотой и отсутствіемъ всякаго образованія, потому что болтанье на французскомъ языкѣ, болѣе или менѣе удачное усвоеніе внѣшнихъ формъ пошлаго европейскаго дендизма и чтеніе романовъ Поль-де-Кока нельзя-же назвать образованіемъ. Исключеній было немного, и къ нимъ принадлежалъ графъ Михаилъ Юрьевичъ Віельгорскій, - человѣкъ съ тонкой артистической натурой и притомъ съ большой начитанностью для свѣтскаго человѣка. Остальные не принимали и не могли принимать ни малѣйшаго участія ни въ развитіи отечественной литературы, ни въ какихъ человѣческихъ интересахъ, а знали о существованіи русской литературы только по Пушкину и по другимъ, которые принадлежали къ ихъ обществу. Они полагали, что вся русская литература заключается въ Жуковскомъ, Крыловѣ (басни котораго ихъ заставляли учить въ дѣтствѣ), Пушкинѣ, князѣ Одоевскомъ, князѣ Вяземскомъ и графѣ Соллогубѣ, который своимъ свѣтскимъ пріятелямъ читалъ тогда «Сережу», еще непоявившагося въ печати. Чтобы получить литературную извѣстность въ великосвѣтскомъ кругу, необходимо было попасть въ салонъ г-жи Карамзиной,—вдовы исторіографа. Это былъ уже настоящій вѣликосвѣтскій литературный салонъ съ строгимъ выборомъ.»

Въ то-же время, когда нравы свѣтскаго общества такъ печально измѣнились, массы несановитыхъ помѣщиковъ, чиновниковъ и всякаго рода достаточныхъ и сытыхъ разночинцевъ были совершенно готовой почвой для умственнаго развитія. Эти массы съ живымъ и свѣжимъ интересомъ знакомились съ русской литературой предшествовавшихъ временъ и до энтузіазма увлекались произведеніями Пушкина. Пушкина читали, переписывали, заучивали наизусть. Пушкинымъ бредили юноши и дѣвы по всѣмъ уѣзднымъ городамъ и захолустьямъ... Понятно, почему эти юноши и дѣвы, сдѣлавшись въ настоящее время старцами, съ такимъ азартомъ напускаются на малѣйшее критическое отношеніе къ ихъ любимцу-Пушкину: для нихъ онъ былъ болѣе, чѣмъ поэтъ,—онъ былъ ихъ недосягаемый идеалъ, ихъ богъ. И еще бы: онъ впервые задѣлъ своими лирическими стихотвореніями ихъ завѣтныя маленькія чувствица, ихъ крошечныя невинныя думки, не простиравшіяся далѣе вопроса о свиданіи или разлукѣ съ милымъ, созерцанія яснаго лѣтняго вечера въ деревнѣ, воспоминаній о счастливомъ дѣтствѣ и пр. Онъ впервые изобразилъ ихъ патріархальные, буколическіе нравы и начерталъ передъ ними идеалъ гордаго романтика, живущаго въ разладѣ съ окружающей средой и съ самимъ собой. Каждый юноша, мало-мальски честолюбивый, непремѣнно переживалъ въ то время періодъ, въ который мечталъ сдѣлаться Пушкинымъ, и исписывалъ тетрадки разными лирическими стихоизверженіями. Каждый спѣшилъ воспользоваться удобнымъ случаемъ увидѣть Пушкина и воображалъ при этомъ встрѣтить его непремѣнно окруженнымъ лучезарнымъ сіяніемъ. Вспомнимъ при этомъ удивленіе Гоголя, который, отправившись знакомиться съ Пушкинымъ и узнавъ отъ слуги, что тотъ спитъ думалъ, что поэтъ непремѣнно провелъ всю ночь на Парнасѣ въ бесѣдѣ съ музами, и—упалъ съ небесъ, узнавши, что Пушкинъ всю ночь проигралъ въ картишки.

Эта-то масса, невинно увлекавшаяся Пушкинымъ, встала теперь впереди, въ ней сосредоточилась умственная сила русскаго общества. Вмѣстѣ съ такимъ перемѣщеніемъ центра мысли измѣнились мало-помалу нравственные идеалы,—измѣнились самыя орудія и средства просвѣщенія. Объ измѣненіи нравственныхъ идеаловъ намъ придется говорить впослѣдствіи въ своемъ мѣстѣ; послѣ двадцать-пятаго года и впродолженіи десяти лѣтъ это измѣненіе идеаловъ не успѣло еще опредѣлиться; но орудія и средства развитія разомъ измѣнились. До 1825 года образованіе передовыхъ и мыслящихъ дѣятелей общества шло обыкновенно такимъ путемъ: сначала юноша воспитывался подъ руководствомъ домашнихъ учителей, преимущественно выходцевъ изъ-за границы. Иногда выходцы эти были крайне плохи и несостоятельны, но встрѣчались и образованные, развитые люди, имѣвшіе немаловажное вліяніе на развитіе будущихъ дѣятелей русской мысли. Потомъ юноша или прямо поступалъ на службу, или-же уѣзжалъ за-границу доучиваться. Во всякомъ случаѣ, дальнѣйшее развитіе онъ пріобрѣталъ уже въ самой жизни, преимущественно въ чтеніи французскихъ мыслителей прошлаго вѣка, а если зналъ англійскій языкъ, то знакомился съ Локкомъ, Смитомъ, Бэлемъ и пр. Такимъ образомъ передовые люди до тридцатыхъ годовъ получали свое развитіе непосредственно изъ европейскихъ источниковъ, минуя вліяніе отечественныхъ школъ и журналистики. Университеты и журналы имѣли ничтожное значеніе въ русской жизни. Если и упоминается въ двухъ, трехъ біографіяхъ объ окончаніи курса наукъ въ университетѣ, то постоянно при этомъ не безъ ироніи приводится на видъ, что юноша ничего не вынесъ изъ этого курса. Изучая умственное развитіе общества до тридцатыхъ годовъ, вы совершенно не видите учащейся молодежи, какъ особенной умственной и нравственной силы, стоящей впереди развитія. Что-же касается до журналовъ, то если нѣкоторые и имѣли свое значеніе, какъ напримѣръ сатирическіе журналы при Екатеринѣ или журналы Карамзина, во всякомъ случаѣ форма періодическихъ сборниковъ, приданная этимъ изданіямъ въ подражаніе западнымъ образцамъ, вовсе не была вызвана органической потребностью общества. Новиковъ могъ бы издавать отдѣльныя сатирическія брошюрки; Карамзинъ—печатать свои произведенія отдѣльными выпусками, какъ онъ потомъ

дѣлалъ со своей исторіей. Общество того времени читало бы и поучалось, и вовсе не чувствовало бы недостатка въ періодическихъ журналахъ. Доказательствомъ этого служитъ печальное состояніе русской журналистики въ царствованіе Александра I, когда журналы, при всемъ общественномъ возбужденіи, едва влачили свое существованіе почти безъ подписчиковъ.

Съ николаевской эпохи университеты и журналистика дѣлаются въ Россіи главными органами развитія мысли, и очень понятно почему. Путешествіе заграницу и выписка иностранныхъ книгъ, въ особенности философскихъ и соціальныхъ, на которыя въ правительственныхъ сферахъ начали смотрѣть, какъ на главный источникъ всякихъ революціонныхъ стремленій, сдѣлались крайне затруднительными. Какъ ни плохо было общее состояніе университетскаго преподаванія, но въ немъ сосредоточилась единственная возможность получить хоть какое-нибудь систематическое, высшее образованіе. И между тѣмъ какъ высшіе классы общества попрежнему продолжали пренебрегать университетами, массы средняго класса начали смотрѣть на университеты, какъ на главные центры просвѣщенія. Каждый отецъ семейства, въ которомъ мало-мальски были затронуты умственные интересы, только о томъ и мечталъ, какъ бы отдать своего сына въ университетъ. Еще болѣе возвышали значеніе университетовъ для среднихъ классовъ тѣ служебныя преимущества, съ которыми соединялось полученіе диплома. Наконецъ и самое преподаваніе въ университетахъ начало улучшаться по мѣрѣ того, какъ, съ возбужденіемъ умственнаго движенія въ среднихъ классахъ, къ университетамъ сдѣлался приливъ молодыхъ и свѣжихъ силъ. Между тѣмъ какъ прежде все, что̀ было наиболѣе энергическаго, развитого, мыслящаго, тянулось въ высшія сферы, потому что тамъ былъ центръ броженія мысли, и юноша могъ мечтать найти тамъ широкое поле общественной дѣятельности,—съ 1826 года, напротивъ того, каждый человѣкъ съ маломальски независимыми убѣжденіями и характеромъ старался подальше отойти отъ тѣхъ сферъ жизни, въ которыхъ ничего уже не стало требоваться, кромѣ безусловнаго повиновенія и подобострастной исполнительности. Профессорская-же карьера одна только могла сулить завидную независимость отъ тяжелаго гнета и удаленіе отъ разъѣдающихъ дрязгъ жизни въ неприступныя области науки. Естественно, что на университетскія каѳедры начали приливать свѣжія силы общества, и мы видимъ, что все умственное броженіе послѣдующаго времени группируется вокругъ университетовъ, или изъ нихъ исходитъ, или съ ними тѣсно соприкасается.

Вторымъ орудіемъ просвѣщенія сдѣлалась литература и преимущественно журналистика. Недостатокъ книгъ на русскомъ языкѣ, обусловленный, кромѣ скудости образованія, тяжестью цензурныхъ условій, и затруднительность выписки книгъ иностранныхъ естественно обусловили необходимость такихъ журналовъ, которые заключали бы въ себѣ энциклопедію всѣхъ знаній, наукъ, искусствъ, философіи, политики, которые сообщали бы и новости, и элементарныя свѣдѣнія, возбуждали умы, развивали и обогащали ихъ свѣдѣніями. Еслибы движеніе мысли попрежнему господствовало въ высшихъ классахъ, то конечно журналы не могли бы получить такого значенія, потому что, какія строгія таможни вы ни придумайте противъ ввоза иностранныхъ книгъ, будьте увѣрены, что всевозможныя строгости окажутся ничтожными для людей, имѣющихъ власть, связи и деньги. И люди эти будутъ имѣть возможность доставать книги, какія только захотятъ. Но съ перемѣщеніемъ центра умственнаго движенія въ средніе круги, особенно въ массу людей, живущихъ по отдаленнымъ городамъ въ глуши провинцій,— строгости цензурныя и таможенныя произвели то, что журналъ сдѣлался единственной умственной пищей, настольной книгой, изъ которой грамотные люди почерпали все свое развитіе и образованіе. Принявъ все это въ соображеніе, понятенъ становится успѣхъ «Телеграфа». Это былъ первый журналъ, удовлетворившій насущной потребности той свѣжей массы, въ которой зачиналось умственное броженіе. Выйдя самъ изъ этой массы, Полевой отлично понималъ всѣ ея потребности. Масса видѣла въ романтизмѣ послѣднее слово прогресса — Полевой всталъ на сторону романтизма. Масса увлекалась Пушкинымъ—Полевой восхвалялъ ея любимца. Масса чувствовала потребность въ элементарныхъ свѣдѣніяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія—Полевой въ обиліи сообщалъ ихъ въ своемъ журналѣ. Масса смутно порывалась къ прогрессу—Полевой постоянно проповѣдывалъ въ своемъ журналѣ необходимость стремиться къ прогрессу, учиться, развиваться, и съ другой стороны—вредъ апатіи, коснѣнія и праздности. Естественно, что масса была въ восторгѣ отъ «Телеграфа». Молодежь зачитывалась имъ. Но чтобы читатели нагляднѣе могли видѣть, что̀ это была за молодежь и что̀ увлекало ее въ «Телеграфѣ», мы приведемъ двѣ цитаты, одну изъ «Воспоминаній о студенчествѣ Грановскаго» Григорьева, другую изъ «Литературныхъ воспоминаній» И. Панаева.

«Большая часть моихъ товарищей,—говоритъ Григорьевъ,—въ томъ числѣ и Грановскій, вступили въ университетъ, какъ и я, съ такими неразвитыми понятіями и такимъ ничтожнымъ запасомъ положительныхъ свѣдѣній, что вспомнить совѣстно. Маломальски смышленый гимназистъ настоящаго времени сдѣлался-бы оракуломъ, прослылъ-бы за чудо премудрости между тогдашними студентами петербургскаго университета. Изъ преподавателей кто читалъ по «собственнымъ запискамъ», кто по печатнымъ учебникамъ. Отъ студентовъ требовалось заучиванье тѣхъ и другихъ наизусть; рѣдкій профессоръ бывалъ доволенъ, когда на репетиціяхъ слушатель отвѣчалъ собственными словами; большинство всю заслугу студентовъ поставляло въ томъ, чтобы они воспроизводили записки или учебникъ слово въ слово, безъ малѣйшаго отступленія, ничего не убавляя, ни прибавляя. Одинъ профессоръ, впрочемъ въ наше время еще уволенный изъ университета, просто приходилъ въ ужасъ, когда видѣлъ, что студентъ упоминаетъ о какихъ-нибудь обстоятельствахъ предмета, не заключавшихся въ запискахъ. Исполняя требованіе преподавателей, мы и «зубрили» записки; чѣмъ кто былъ ревностнѣе къ занятіямъ, тѣмъ усерднѣе упражнялся въ «зубреніи». Такъ, на первомъ курсѣ, желая отличиться, я и одинъ изъ товарищей моихъ выучили наизусть всю «Исторію Греціи» Арсеньева, два порядочныхъ тома убористой печати. Но это былъ подвигъ экстраординарный. Обыкновенно далѣе знанія профессорскихъ записокъ изученіе предмета не простиралось. Не только не тре-

бовалось отъ студента, чтобы онъ знакомился съ какими-либо о преподаваемой наукѣ сочиненіями, даже литература той или другой отрасли знанія не входила въ рамки преподаванія. Насъ какъ-бы заставляли думать, что въ профессорскихъ запискахъ заключается все, что только нужно и можно знать о предметѣ, и что, заучивъ ихъ, ничего не оставалось дѣлать болѣе... Пріятельскій кружокъ, о которомъ говорю, собирался нерѣдко in pleno у того или другого изъ его членовъ. Собравшись, толковали о всякой всячинѣ, de omni re scibili et quibusdam aliis, въ особенности о послѣднихъ: міръ духовъ и привидѣній былъ почти постояннымъ предметомъ разсказовъ, соображеній и догадокъ, но толковали иначе, нежели послѣдовавшія за нами университетскія поколѣнія. Я упомянулъ уже, что мы вообще были мало развиты умственно и ни начитанностью, ни особымъ участіемъ къ предметамъ университетскаго преподаванія не отличались. Къ этому надо прибавить, что мы или вовсе не читали газетъ, или заглядывали въ нихъ случайно; стало быть, политика никоимъ образомъ не могла давать пищи нашимъ разглагольствованіямъ: парижская палата депутатовъ и ея ораторы какъ-бы вовсе для насъ не существовали. Кромѣ того, большинство изъ насъ не знало по-нѣмецки, и если и искусилось въ этомъ языкѣ, то все-таки съ философской дѣятельностью Германіи нисколько не было знакомо: про Гегеля едвали и слухъ до насъ доходилъ; но немногимъ болѣе знали мы кажется и про Шеллинга, и про весь сонмъ германскихъ философовъ начиная съ Канта. Труды протестантскихъ богослововъ не были извѣстны намъ даже по заглавіямъ. Ф. Шлегель съ его «Исторіей литературы» представлялся для насъ апогеемъ философской глубины и туманности. При такой непривычкѣ къ умствованію, къ отвлеченностямъ, къ разсматриванію явленій въ ихъ идеѣ, даже о томъ немногомъ, что занимало насъ, толковали мы спроста, судя болѣе по голосу чувства, чѣмъ разсудка, почему и восхищались, и бранили довольно безотчетно.»

Чѣмъ-же восхищалась эта молодежь въ «Телеграфѣ» Полевого и что могло казаться либеральнаго въ этомъ журналѣ для нея, чуждой какихъ-бы то ни было общественныхъ вопросовъ? Вотъ что говоритъ объ этомъ предметѣ Панаевъ:

«Въ это время въ Европѣ была въ самомъ разгарѣ война классиковъ съ романтиками. Имена французскихъ сподвижниковъ романтизма: Гюго, Дюма, Барбье, Сулье, Сю, де-Виньи, Бальзака, начинали пріобрѣтать у насъ громкую извѣстность. Гюго своимъ предисловіемъ къ «Кромвелю» *нанесъ послѣдній ударъ классицизму*, какъ выражался К—овъ *), приходившій въ неистовый энтузіазмъ отъ этого предисловія и всегда посвящійся съ «Кромвелемъ». Отъ Вальтеръ-Скотта я перешелъ къ французскимъ романтикамъ и читалъ ихъ съ жадностью. Борьба классиковъ съ романтизмомъ нѣсколько раздражила мои умственныя способности, давно требовавшія какой-нибудь пищи. Я сталъ подъ знамена романтизма, представителями котораго у насъ считалъ Полевого, Пушкина и его школу, и торжествовалъ побѣду романтиковъ, имѣя впрочемъ очень слабое понятіе о томъ, что за звѣри классики. Подъ словомъ «классицизмъ» я неопредѣленно разумѣлъ вообще все отжившее, старое, обветшалое, и наоборотъ, подъ словомъ «романтизмъ»—все живое, новое, къ которому начиналъ чувствовать инстинктивное, неопредѣленное влеченіе. Почему возникла эта борьба? Какой смыслъ заключался въ этомъ явленіи? Я не могъ понимать этого... Въ торжествѣ романтизма я праздновалъ побіеніе Толмачевыхъ, Роговыхъ, Кайдановыхъ, Зябловскихъ, всѣхъ нашихъ тупыхъ наставниковъ, упорно державшихся за свои узкія и гнилыя понятьица и за свою пошлую мораль. Всѣ наши учителя, за исключеніемъ К—ова, всѣ инспекторы, всѣ гувернеры съ презрѣніемъ и пожесточеніемъ отзывались о новомъ литературномъ движеніи и считали его глубоко-безнравственнымъ. Мы считали ихъ классиками. Этого одного уже было довольно, чтобы мы сдѣлались романтиками.

«Литературная революція, какъ извѣстно, совпала во Франціи съ политической революціей... И въ литературѣ, и въ политикѣ новыя идеи торжествовали; но я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о значеніи политическихъ движеній... Іюльская революція не произвела на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія. Я слышалъ мелькомъ, что Карлъ X сверженъ и что вмѣсто него вошелъ на престолъ Людовикъ-Филиппъ... За что сверженъ одинъ и сдѣланъ королемъ другой—это меня нисколько не интересовало. Кромѣ литературы, ничто не трогало меня, и я не имѣлъ ни о чемъ понятія.»

Изъ всѣхъ этихъ выдержекъ мы видимъ, что юноши, у которыхъ въ головѣ была еще совершенная tabula rasa, хотя и увлекались романтизмомъ, но съ этимъ именемъ у нихъ не было еще связано никакихъ ясныхъ и опредѣленныхъ понятій, а только одно безотчетное порываніе къ чему-то свѣтлому, честному и смѣлому. При этомъ вопіющимъ недостаткомъ «Телеграфа», составляющимъ его ахиллесову пяту, было то, что чтеніе этого журнала хотя и обогащало различными свѣдѣніями, въ то же время не давало никакихъ опредѣленныхъ идеаловъ, никакихъ систематическихъ убѣжденій, философскихъ, эстетическихъ, моральныхъ или общественныхъ. Доктрина, которую постоянно развивалъ Полевой о томъ, что поэты—факиры-мечтатели и страдальцы, была слишкомъ узка, чтобы обнять всѣ мучительные вопросы жизни; она не годилась никуда, даже и для тѣхъ, которые мечтали посвятить себя поэзіи. Вѣчныя однообразныя нападки въ демократическомъ духѣ на пустоту и тлетворность свѣтской жизни, насмѣшки надъ кваснымъ патріотизмомъ, да мелкія перебранки съ продажными литераторами вродѣ Булгарина и Греча,—все это удовлетворяло общество нѣсколько времени въ страшные годы всеобщей апатіи, уныніе, глухого молчанія и пустоты, но мало-по-малу начало и пріѣдаться. Возбуждая умы, Полевой поселялъ въ нихъ жажду развитія, но въ то же время не имѣлъ никакихъ данныхъ, никакихъ силъ удовлетворить этой жаждѣ и, создавши что-либо новое, повести возбужденные умы впередъ. Не будучи вполнѣ человѣкъ стараго поколѣнія, т.-е. александровскаго, Полевой не сдѣлался и вполнѣ человѣкомъ новаго. Онъ понялъ потребности новаго времени гораздо лучше людей александровскаго періода и создалъ журналъ, въ которомъ всѣ нуждались, но понялъ ихъ все-таки односторонне, съ точки зрѣнія идеаловъ и воззрѣній своей юности. Послѣдній могиканъ, обломокъ эпохи 20-хъ годовъ, Полевой такъ привыкъ съ именемъ романтизма соединять все свѣтлое и прогрессивное, героическое, а съ именемъ классицизма—все обскурантное и гнилое, что онъ никакъ не могъ выйти изъ этихъ рубрикъ и оцѣнить новыя явленія, которыя не подходили ни къ тому, ни къ другому роду. Явились напримѣръ произведенія Гоголя—Полевой не понялъ ихъ прогрессивнаго значенія, и не понялъ ихъ вовсе не потому, что былъ приверженецъ философіи Кузена, а не Гегеля,

*) К—овъ, учитель словесности въ благородномъ пансіонѣ при Спб. унив., гдѣ воспитывался Панаевъ.

какъ будто нужно непремѣнно быть гегелистомъ, чтобы понять и оцѣнить Гоголя? Мы видимъ, что Пушкинъ былъ вполнѣ современникомъ и почти даже сверстникомъ Полевого (Полевой родился 1796 г., а Пушкинъ въ 1799 г.), о гегелевской философіи имѣлъ еще менѣе понятія, чѣмъ Полевой, но Гоголя понялъ и оцѣнилъ. Очень понятно, почему это произошло: не будучи человѣкомъ рѣзкаго, опредѣленнаго направленія, не связывая съ какой-либо доктриной всѣхъ своихъ понятій и міровоззрѣній, не видя въ ней душевнаго дѣла жизни, Пушкинъ гораздо легче могъ оцѣнить Гоголя, если не со всѣхъ сторонъ, то по крайней-мѣрѣ съ художественной. Для Полевого-же романтизмъ былъ не просто эстетической теоріей, а всеобъемлющимъ прогрессомъ времени, не только художественнымъ, но моральнымъ и соціальнымъ. По его мнѣнію, поэзія должна быть небеснымъ откровеніемъ, исполненнымъ грандіозныхъ образовъ, которые отвлекали бы людей отъ мелочныхъ дрязгъ жизни, показывали бы имъ въ необыкновенныхъ личностяхъ образецъ величія, до котораго люди могутъ достигать, и возбуждали-бы такимъ образомъ въ людяхъ чувство гражданскаго героизма. Естественно, что съ такой точки зрѣнія онъ рѣшительно не понималъ, какое гражданское и нравственное значеніе можетъ имѣть поэзія, которая вмѣсто того, чтобы возбуждать героизмъ грандіозными образами, напротивъ того, изображаетъ, Богъ знаетъ для чего, однѣ только мелкія, пошлыя и грязныя стороны жизни. Еще болѣе сбило съ толку Полевого то, что всѣ отношенія литературныя перепутались, какъ это всегда бываетъ въ переходныя эпохи. Полевой естественно ждалъ новыхъ словъ и новыхъ явленій жизни изъ лагеря романтиковъ его школы, но молодая травка, растущая на развалинахъ, не разбираетъ, изъ-подъ какихъ плитъ и камней ей пробиваться. Новыя слова и новыя явленія, какъ признаки того самаго движенія, начало котораго возбудилъ самъ Полевой, не замедлили появиться отовсюду: изъ глубины университетскихъ аудиторій, изъ страницъ новыхъ органовъ, вздумавшихъ мѣряться съ «Телеграфомъ», соперничать съ нимъ и идти наперекоръ, и, къ ужасу Полевого, даже съ обветшалыхъ листовъ классическаго органа Каченовскаго. Явились шеллингисты, гегелисты съ новыми взглядами на искусство, съ новыми требованіями отъ жизни. Это было начало движенія, которое впослѣдствіи принесло обильные плоды, но вначалѣ оно было столь еще неопредѣленно, хаотично, что рѣшительно невозможно было предугадать, что̀ изъ него выйдетъ: рядомъ съ здоровыми задатками, въ туманномъ хаосѣ, оно носило въ себѣ элементы затхлые, схоластически школьные, аскетически отрѣшенные отъ всякихъ живыхъ вопросовъ; были элементы и болѣе сомнительнаго свойства. Полевой видѣлъ напримѣръ, что университетская молодежь увлекалась Надеждинымъ, а Надеждинъ началъ свое литературное поприще въ органѣ Каченовскаго съ нападокъ на романтизмъ, соединенныхъ, какъ мы увидимъ ниже, съ инсинуаціями противъ Полевого, Пушкина и вообще романтиковъ,—несовсѣмъ благовиднаго свойства, тѣмъ болѣе, если принять въ соображеніе время, въ которое эти инсинуаціи появились, и духъ, господствовавшій тогда въ правительственныхъ сферахъ. Во враждѣ Полевого противъ Надеждина и его «Телескопа» была безспорно своя правая сторона: величайшая ошибка въ томъ, что на эту борьбу смотрѣли преимущественно съ эстетической точки зрѣнія, какъ на борьбу двухъ философскихъ лагерей—одного отсталаго лагеря Полевого, а другого передового—лагеря Надеждина. Съ эстетической точки зрѣнія это было такъ; но въ тоже время въ борьбѣ этой со стороны Полевого была политическая честность и кое-какое либеральное чутье, зато, съ другой стороны, ничего не было, кромѣ отвлеченныхъ теорій и высокомѣрнаго гелертерства, соединеннаго съ отсутствіемъ всякаго литературнаго и политическаго такта. Въ этомъ отношеніи Полевой стоялъ неизмѣримо выше Надеждина, и, какъ увидимъ ниже, нельзя сказать, чтобы современники не цѣнили этого.

Между тѣмъ гнетъ реакціи становился все сильнѣе и чувствительнѣе... Ледянымъ воздухомъ вѣяло на Полевого съ сѣвера... Молодымъ и начинающимъ писателямъ, чуждымъ всякихъ общественныхъ вопросовъ и съ репутаціей, еще ничѣмъ не заподозрѣнной, было не въ примѣръ легче, чѣмъ послѣднимъ могиканамъ александровской эпохи, въ томъ числѣ и Полевому... Когда въ 1834 году «Телеграфъ» былъ запрещенъ, положеніе Полевого было по истинѣ трагическое. Съ одной стороны правительство его гнало, съ другой—онъ не видѣлъ уже прежняго сочувствія къ себѣ со стороны общества и молодежи. Легко принимать на себя мученическій вѣнецъ, когда вы видите за собой рукоплесканія и крики, если не большинства, то вашей партіи или наконецъ хоть немногихъ вашихъ друзей, въ которыхъ вы видите будущихъ апостоловъ вашихъ идей. Но Полевой чувствовалъ, что его время прошло; онъ видѣлъ себя всѣми брошеннымъ и покинутымъ; финансы его были въ то-же время разстроены, и ему угрожала впереди темная, глухая нищета съ огромнымъ семействомъ на рукахъ. Не рѣшимся-же обвинять этого человѣка, зачѣмъ онъ не былъ такимъ героемъ, чтобы встрѣтить невзгоду мужественно и устоять на высотѣ своего нравственнаго достоинства. Положеніе его было до того безвыходно, что и не такія бы силы погнулись. Сбитый съ своей позиціи двумя противоположными толчками и сверху, и снизу, Полевой совершенно растерялся, упалъ духомъ и разсудилъ, что ему остается въ жизни одно: служеніе своей семьѣ. Онъ и предался этому единственному интересу, махнувши на все рукой. Далѣе затѣмъ это уже не былъ прежній Полевой, а живой, ходячій трупъ Полевого, мечущійся то туда, то сюда, безъ всякой системы и послѣдовательности, съ единственной цѣлью поддерживать существованіе своихъ домочадцевъ. То снова принимается онъ за редакторство журнала, но журналы подъ его редакціей выходятъ безцвѣтны и пусты и не имѣютъ успѣха; то онъ пишетъ исторію для дѣтскаго чтенія, то ставитъ на сцену драмы въ духѣ того самаго квасного патріотизма, надъ которымъ онъ прежде смѣялся; сочиняетъ даже сказки для народа! За что̀ только ни берется онъ,—во всемъ этомъ вы видите одинъ руководящій интересъ: поддержаніе семьи литературнымъ ремесломъ. Въ то же время онъ сходится съ такими пи-

сателями, на которыхъ прежде онъ болѣе всего нападалъ, съ Булгаринымъ, Гречемъ, Сенковскимъ, унижается до того, что онъ, Полевой, стоявшій прежде во главѣ русской литературы, позволяетъ перемарывать и искажать свои статьи Сенковскому, этому литературному фигляру и шарлатану, чего не позволилъ бы себѣ иной начинающій писатель, принесшій въ редакцію первый свой трудъ. Наконецъ, онъ, Полевой, прежде столь грозный для «Сына Отечества», самъ принимаетъ редакторство этого журнала. Но при всемъ этомъ нельзя не отдать долга справедливости, что и въ самомъ паденіи Полевого вы встрѣчаете черты, достойныя уваженія и обличающія въ немъ человѣка хорошаго закала. Бросивши знамя оппозиціи, онъ не сталъ топтать его ногами; онъ не послѣдовалъ постыдному обыкновенію ренегатовъ нападать на прежнихъ союзниковъ съ бо̀льшимъ азартомъ и нетерпимостью, чѣмъ нападаютъ записные противники. Нѣтъ, и въ самомъ своемъ паденіи Полевой остался тѣмъ-же честнымъ, гуманнымъ писателемъ. Хотя онъ и не способенъ былъ оцѣнить значенія новыхъ явленій жизни, но онъ не проповѣдывалъ крестовыхъ походовъ на нихъ, не мѣшалъ имъ расти и развиваться, и не кричалъ о ихъ безнравственности и опасности. Ни одной тѣни хоть чего-нибудь похожаго на инсинуацію не встрѣтите вы ни въ одномъ сочиненіи послѣдующаго печальнаго періода его дѣятельности. Въ то-же время онъ не скрывалъ своего паденія, не старался подкрасить его какими-либо высшими соображеніями съ цѣлью оправдать себя передъ собой и другими. Напротивъ того, когда Бѣлинскій провожалъ его изъ Москвы до заставы и пожелалъ ему успѣховъ и счастія въ Петербургѣ, Полевой уныло улыбнулся и сказалъ: «Благодарю васъ, нѣтъ-съ, ужъ какіе успѣхи! *Но если я буду дѣйствовать не такъ, какъ слѣдуетъ*, такъ не вините меня, а пожалѣйте-съ... Я—человѣкъ, обремененный семействомъ». А впослѣдствіи, разговаривая съ покойнымъ Панаевымъ о Бѣлинскомъ, онъ сказалъ:

«— Бѣлинскій—прекраснѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ, горячая голова, энтузіастъ, но теперь намъ сходиться не для чего-съ. *Я здѣсь ужъ совсѣмъ не тотъ-съ*. Я вотъ долженъ хвалить романы какого-нибудь Штевена, а вѣдь эти романы—галиматья-съ.

«— Да кто же заставляетъ васъ хвалить ихъ?

«— Нельзя-съ, помилуйте, вѣдь онъ—частный приставъ.

«— Что-жъ такое? Что вамъ за дѣло до этого?

«— Какъ что̀ за дѣло-съ? Разбери я его какъ слѣдуетъ, онъ пожалуй подкинетъ ко мнѣ въ сарай какую-нибудь вещь, да и обвинитъ меня въ кражѣ. Меня и поведутъ по улицѣ на веревкѣ, а вѣдь я—отецъ семейства.»

Эта страшная ясность сознанія своего паденія и вмѣстѣ съ тѣмъ беззастѣнчивая искренность, не только не старающаяся выставить свои поступки хоть въ сколько-нибудь благовидномъ свѣтѣ, а, напротивъ того, обнажающая передъ вами ихъ во всемъ ихъ комическомъ видѣ,—это такой удивительный и рѣдкій фактъ, что врядъ ли подобный вы найдете въ исторіи... Гораздо чаще мы встрѣчаемъ, что люди, падающіе неизмѣримо ниже Полевого, не только не сознаютъ своего паденія, напротивъ того, гордятся имъ, какъ особеннымъ гражданскимъ и нравственнымъ подвигомъ. За примѣрами ходить недалеко. Ихъ слишкомъ много въ современной намъ жизни.

Тяжелое, мучительное сознаніе своего паденія, сознаніе того, что уже онъ не тотъ, чѣмъ былъ прежде, еще мучительнѣе и тяжелѣе дѣлалось съ каждымъ днемъ вслѣдствіе того, что передъ Полевымъ стоялъ грозный и безпощадный обвинитель въ лицѣ Бѣлинскаго, который встрѣчалъ каждый нетвердый и колеблющійся шагъ падшаго учителя рѣзкимъ смѣхомъ, убійственными сарказмами и съ укоромъ каждый разъ указывалъ ему на былое, на успѣхъ и значеніе въ свое время «Телеграфа»... И по справедливости слѣдуетъ замѣтить, что филиппики Бѣлинскаго, всегда мѣткія и злыя, доходили иногда до жестокости чрезмѣрной и совершенно излишней. Возмущенный до глубины души паденіемъ Полевого, Бѣлинскій при своей натурѣ, страстно-увлекающейся, нетерпимой, до послѣдней крайности доводящей всякое положеніе,—переливалъ иногда за край, нападалъ не на одни литературныя мнѣнія, но на самую личность Полевого, предавая осмѣянію такія слова и выраженія его, которыя сами по себѣ были извинительны, и по всей вѣроятности самъ Бѣлинскій не обратилъ бы на нихъ вниманія, еслибы не былъ ожесточенъ полемикой. Такъ напримѣръ, Полевой, издавши свои лучшія критическія статьи подъ заглавіемъ «Очерки русской литературы», предпослалъ этому изданію предисловіе, въ которомъ сообщилъ кое-какія біографическія свѣдѣнія о своей жизни до литературнаго поприща, а о литературномъ своемъ поприщѣ высказалъ слѣдующее:

«Въ романѣ, въ драмѣ, въ исторіи, критикѣ я всегда былъ одинъ и тотъ же. Мечтатель въ повѣсти, безпристрастный изслѣдователь въ исторіи, иногда строгій критикъ чужого произведенія, я ошибался и думалъ можетъ быть невѣрно, но никогда не измѣнялъ добру, и никогда не подымалась рука моя сорвать вѣнокъ съ заслугъ, никогда голосъ мой не возвышался противъ дарованія истиннаго.»

Эти слова можно было бы легко простить Полевому, несмотря на то, что они повидимому и противорѣчили дѣйствительности, такъ какъ на дѣлѣ Полевой подымалъ-таки руки, чтобы сорвать вѣнокъ съ Гоголя, и голосъ его возвышался противъ истиннаго дарованія; но Полевой дѣлалъ это не изъ зависти, не изъ низости, непредумышленно, совершенно не такъ, какъ это же самое творилъ Булгаринъ. Онъ могъ быть оправданъ тѣмъ, что относительно Гоголя онъ ошибался и думалъ невѣрно—но думалъ все-таки честно и высказывался искренно... Что же удивительнаго, что отжившему человѣку осталось одно утѣшеніе, что онъ всегда былъ искренъ и честенъ, и что̀ худого, если онъ это высказываетъ? Но Бѣлинскій напалъ за это на Полевого, и не столько за несоотвѣтствіе словъ съ дѣйствительностью, сколько за то, что Полевой, самъ хвалясь своей честностью, нарушаетъ этимъ чувство нравственнаго смиренія.

«Всему этому мы охотно вѣримъ—говоритъ онъ въ своей рецензіи на книгу Полевого—и какъ не вѣрить, когда насъ увѣряетъ въ этомъ самъ Полевой, который себя знаетъ лучше другихъ? Но мы въ то же время думаемъ, что судъ о себѣ принадле-

житъ другимъ, а не самому себѣ, и что подобныя увѣренія очень похожи на оправданія въ винѣ, въ которой насъ никто не уличалъ. Особенно интересны и умилительны увѣренія Полевого въ чистотѣ и незлобіи сердца,—въ томъ, что ему всегда были чужды низкія чувства, каковы зависть, противорѣчіе съ своимъ убѣжденіемъ; что это подтвердятъ втайнѣ самые враги его; что многіе изъ бывшихъ его врагами, узнавъ его покороче, крѣпко жали ему руку и дѣлались его искренними друзьями и пр., и пр. (стр. IX). И этому всему мы охотно вѣримъ—изъ вѣжливости, но все это пріятнѣе было бы намъ услышать о Полевомъ отъ кого-нибудь другого, чѣмъ отъ него самого...»

Это очень мѣтко и зло, но въ то же время и жестоко. Полевой стоилъ хотя ничтожнаго снисхожденія, если не во имя своихъ прежнихъ заслугъ, то хотя во имя того, что даже въ періодъ своего паденія онъ не доходилъ до такихъ крайнихъ реакціонныхъ мнѣній, которыя проповѣдывалъ тотъ же самый Бѣлинскій въ одинъ изъ періодовъ своей дѣятельности.

Единственно, что оправдываетъ Бѣлинскаго,—это то, что, при всемъ своемъ увлеченіи негодованіемъ противъ Полевого, онъ былъ все-таки на столько честный, благородный и высокій человѣкъ, что, когда врагъ его сошелъ наконецъ въ могилу, не выдержавши грома его сарказмовъ и не достигши никакихъ матеріальныхъ цѣлей всѣми своими уступками, такъ-какъ онъ умеръ, ничего не оставивши своей семьѣ, всѣ громы Бѣлинскаго разомъ смолкли, и онъ первый выступилъ съ теплымъ и примирительнымъ словомъ въ пользу Полевого. Въ послѣдній годъ своей жизни Полевой издалъ книгу подъ заглавіемъ: «Столѣтіе Россіи, съ 1745 по 1845 годъ, или историческая картина достопамятныхъ событій въ Россіи за сто лѣтъ». Первый томъ этой книги былъ встрѣченъ Бѣлинскимъ безпощаднымъ смѣхомъ, но когда вмѣстѣ съ выходомъ второго тома разнеслась вѣсть о смерти Полевого, вмѣсто рецензіи, Бѣлинскій помѣстилъ подъ заглавіемъ этой книги слѣдующій некрологъ:

«Вотъ послѣднее произведеніе Николая Алексѣевича Полевого, вышедшее въ свѣтъ при его жизни! Вмѣсто рецензіи намъ приходится писать некрологъ... Итакъ, и еще не стало одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣйствователей на поприщѣ русской литературы! Говоримъ: изъ «замѣчательнѣйшихъ», потому что наши съ нимъ несогласія во взглядѣ на многіе предметы нисколько не мѣшали намъ отдавать ему должную справедливость. Передъ гробомъ умершаго должны умолкать даже личныя вражды; но никогда никакія личныя отношенія не руководили насъ въ нашихъ отзывахъ о литературныхъ трудахъ и мнѣніяхъ Полевого. Каковъ бы то ни былъ характеръ его литературной дѣятельности за послѣднія десять лѣтъ, въ немъ многое объясняется стѣсненными обстоятельствами... Во всякомъ случаѣ, забывая о недавнемъ, мы тѣмъ живѣе вспоминаемъ о первомъ блестящемъ періодѣ литературной дѣятельности этого необыкновеннаго человѣка, который самъ себѣ создалъ свои средства, начавъ учиться уже въ тѣ лѣта, когда другіе почти оканчиваютъ свое ученіе, который, опираясь на свою даровитую натуру, и съ свойственной русскому человѣку смѣтливостью, смышленностью и смѣлостью, можно сказать, создалъ журналъ въ Россіи... Этимъ онъ сдѣлалъ гораздо больше, нежели какъ теперь думаютъ, и вообще Полевой еще ждетъ, хотя можетъ быть не скоро дождется истинной оцѣнки; но онъ дождется ея, и имя его навсегда останется въ исторіи русской литературы и въ признательной памяти общества...

«Полевой умеръ 22-го февраля *), въ одиннадцать часовъ вечера, на 49 году (онъ родился въ 1796 г.) отъ рожденія, послѣ трехнедѣльной мучительной болѣзни, нервной горячки, которую онъ не могъ перенести, давно уже истощивъ физическія силы свои напряженной работой. Полевой оставилъ послѣ себя большое семейство, и какъ онъ всегда помогалъ трудомъ и достояніемъ своимъ всякому нуждающемуся въ его помощи, то самъ могъ оставить дѣтямъ своимъ только честное, почтенное имя и благодарность соотечественниковъ къ его неоспоримымъ заслугамъ, прекрасное наслѣдіе, которое не можетъ остаться безплоднымъ и для его семейства!».

Не ограничиваясь этимъ некрологомъ, Бѣлинскій въ томъ же году посвятилъ памяти Полевого цѣлую статью, въ которой онъ опредѣляетъ значеніе дѣятельности Полевого, ставя его наравнѣ съ передовыми просвѣтителями русской мысли—Ломоносовымъ, Новиковымъ и Карамзинымъ.

«Московскій Телеграфъ» — говоритъ Бѣлинскій въ этой статьѣ—былъ явленіемъ необыкновеннымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Человѣкъ, почти вовсе неизвѣстный въ литературѣ, купецъ званіемъ, берется за изданіе журнала, и его журналъ съ первой же книжки изумляетъ всѣхъ своей живостью, свѣжестью, новостью, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ вѣрностью каждой строчки однажды принятому и рѣзко выразившемуся направленію. Такой журналъ не могъ бы быть незамѣченнымъ и въ толпѣ хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безцвѣтной, жалкой журналистики того времени онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послѣдней книжки своей издавался онъ втеченіи почти десяти лѣтъ съ той постоянной заботливостью, съ тѣмъ вниманіемъ, съ тѣмъ неослабѣваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ можетъ быть только призваніе и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началъ онъ развивать съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глупца, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдѣлать ходячей истиной. И это совершилъ Полевой!»

Эти слова Бѣлинскаго должны имѣть для насъ тѣмъ большее значеніе, что Бѣлинскій самъ началъ свое развитіе подъ вліяніемъ чтенія «Телеграфа» и на самомъ себѣ испыталъ значеніе этого журнала, какъ особеннаго момента развитія нашего общества.

V.

Послѣдовательность въ воспріятіи нашемъ различныхъ философскихъ системъ съ Запада. — Соотвѣтствіе философіи Шеллинга со степенью развитія нашего общества въ тридцатые годы. —Первые шеллингисты—пр. М. Г. Павловъ и кружокъ В. Ѳ. Одоевскаго. —Личность Одоевскаго.—Его универсальное образованіе.—Его идеи и вліяніе на современниковъ.—Новые вопросы, возбужденные философіей Шеллинга, и различные отвѣты на нихъ, послужившіе зародышами будущихъ направленій въ литературѣ.—Идея о гніеніи Запада въ связи съ шеллинговою философіей и духомъ времени.—Какъ эта идея отразилась на Одоевскомъ. -Журналы шеллингистовъ.—Мнѣніе Веневитинова.—Ст. Ив Кирѣевскаго «XIX вѣкъ».—Письмо Чаадаева.

Не смотря на то, что всѣ направленія мысли, ко-

*) Въ 1846 году.

торыя мы встрѣчаемъ въ нашемъ обществѣ, начиная съ восшествія на престолъ Екатерины и до нашего времени, носятъ на себѣ сильное вліяніе различныхъ философскихъ и политическихъ системъ западной Европы,—нельзя не удивляться той строгой, логической послѣдовательности, съ которой смѣнялись всѣ эти системы одна за другой на нашей почвѣ. Можно положительно сказать, что мы увлекались той или другой системой не зря и какъ попало, а совершенно сообразно степени нашего собственнаго развитія, причемъ мысль воспринимала въ данную эпоху ту систему, которую она могла осилять. Вмѣстѣ съ этимъ система принималась обыкновенно не беззавѣтно и безотносительно, какъ она развилась на Западѣ, а перерабатывалась сообразно потребностямъ, духу и степени пониманія нашего общества. Такъ напримѣръ, мы видѣли, что изъ всего цикла идей XVIII вѣка, большинство образованныхъ людей нашего общества вынесло только чувство нравственнаго достоинства, стремленіе къ личной свободѣ и смутныя идеи о необходимости умственнаго прогресса. Романтизмъ, явившійся на смѣну скептицизму XVIII вѣка, только подъ перомъ Жуковскаго былъ безсознательной, рабской пересадкой съ Запада поэтическихъ формъ безъ всякаго отношенія ихъ къ нашей жизни. Но уже при Пушкинѣ и Полевомъ этотъ самый романтизмъ выражается, съ одной стороны, въ нравственномъ идеалѣ, имѣвшемъ глубокое соотвѣтствіе съ той средой, въ которой онъ преобладалъ, съ другой стороны — стремленіемъ создать національную самобытную поэзію, и стремленіе это возникло не съ чужого голоса, не потому только, что на Западѣ въ то-же самое время повсюду стоялъ на первомъ планѣ вопросъ о народной поэзіи: оно было у насъ такимъ-же органическимъ явленіемъ, какъ и въ каждой странѣ Европы, въ которой господствовала до того времени ложно-классическая школа, оно вполнѣ соотвѣтствовало духу и настроенію общества. До какой степени стремленіе къ самобытности въ поэзіи лежало въ духѣ того времени, это мы видимъ на Пушкинѣ: вліянія различныхъ западныхъ поэтовъ, которымъ онъ подчинялся, нисколько не помѣшали ему быть поэтомъ чисто-русскимъ и вполнѣ самобытнымъ. Эта самобытность, сначала совершенно безсознательная и инстинктивная, все болѣе и болѣе осмысливалась въ поэтической дѣятельности Пушкина, пока наконецъ, подъ вліяніемъ идей, бродившихъ въ обществѣ, онъ не началъ искусственно, и потому весьма часто неудачно, стремиться къ народности.

Рядомъ съ идеей о народности въ поэзіи появились различныя идеи о самобытности и народности цивилизаціи вообще. Эти идеи впервые ясно и сознательно выразились въ ученыхъ и литературныхъ кружкахъ шеллингистовъ, возникшихъ во второй половинѣ двадцатыхъ и первой половинѣ тридцатыхъ годовъ. Увлеченіе философіей Шеллинга въ свою очередь какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало степени развитія нашего общества, его духу и настроенію.

Для этого общества нужна была именно такая философія, которая построила бы цѣлый міръ, хотя бы и призрачный, но полный величія, блеска, гармоніи, поражающій воображеніе, возбуждающій живой юношескій восторгъ и въ то-же время приводящій въ трепетъ своими мистическими, глубокими и неразгаданными тайнами. Такова и была философія Шеллинга. Основанная на тождествѣ духа и матеріи, признавая, что все существующее есть не что иное, какъ видимое тѣло невидимаго, безсмертнаго разума, воплощающаго въ реальныя конечныя формы свои безконечныя идеи, философія эта дѣлала прогрессивный шагъ впередъ, освобождая своимъ пантеизмомъ мысль отъ идеи произвольнаго личнаго творенія извнѣ, и въ то-же время вполнѣ удовлетворяла людей, привыкшихъ къ дуализму и не имѣвшихъ еще силъ отрѣшиться отъ него; она мирила философію съ тѣми преданіями, передъ которыми люди продолжали еще благоговѣть; она не снимала этихъ преданій, а только придавала имъ иной смыслъ и значеніе, сообразное съ своей системой. Въ то-же время, совершенно соотвѣтственно тому апоѳеозу чувства и фантазіи, въ которомъ выражалось романтическое движеніе у насъ въ двадцатые годы, философія Шеллинга, считая безсильнымъ и безплоднымъ опытный методъ для опредѣленія сущности всего существующаго, выше всего ставила интеллектуальное созерцаніе, нѣчто вродѣ экстаза неоплатониковъ, внутреннее, непосредственное чувство, при помощи котораго человѣкъ постигаетъ безусловную, безконечную идею въ относительныхъ, конечныхъ формахъ бытія; однимъ изъ проявленій такого чувства философія Шеллинга считала поэтическое творчество, въ которомъ человѣкъ самъ уподобляется безсмертному духу, воплощая безконечныя идеи въ тождественныя имъ конечныя формы искусства. Естественно, что для массы общества, живущей преимущественно жизнью чувства и созерцанія, едва вышедшей изъ средневѣкового догматическаго дуализма и воспитанной исключительно на поэтическихъ произведеніяхъ, трудно было и придумать иную философію, которая соотвѣтствовала бы ея умственному развитію и міросозерцанію.

До какой степени общество наше было расположено къ воспринятію шеллинговой философіи, мы можемъ видѣть изъ того, что распространеніе ея произошло почти само собой, безъ малѣйшихъ усилій, безъ вліянія особенно геніальныхъ личностей, всепобѣждающему уму которыхъ можно было бы приписать искусственное увлеченіе общества идеями Шеллинга. Первыми пропагандистами шеллинговой философіи явились съ одной стороны московскій профессоръ М. Г. Павловъ, читавшій въ 1821 году курсъ физики и сельскаго хозяйства, и извѣстный, но, къ сожалѣнію, мало оцѣненный писатель В. О. Одоевскій, который въ двадцатыхъ годахъ собиралъ вокругъ себя кружокъ, во имя любомудрія занимавшійся изученіемъ шеллинговой философіи.

О Павловѣ вотъ какъ отзывается одинъ изъ его учениковъ:

«Каѳедра философіи была закрыта съ 1826 года, Павловъ преподавалъ введеніе къ философіи вмѣсто физики и сельскаго хозяйства. Физикѣ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству—невозможно. Но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая въ университетъ, совершенно лишена философскаго приготовленія; одни семинаристы

имѣютъ понятіе о философіи, зато совершенно превратное. Отвѣтомъ на эти вопросы Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окэна съ такой пластической ясностью, которую никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ. Если онъ не во всемъ достигнулъ прозрачности, то это не его вина, а вина мутности шеллинговаго ученія.»

Кромѣ университетскихъ, Павловъ читалъ и публичныя лекціи въ февралѣ 1825 года. Въ то-же время появлялись его статьи и въ разныхъ журналахъ: такъ, въ «Мнемозинѣ», сборникѣ, изданномъ Одоевскимъ въ 1824 году, встрѣчается его статья «О способахъ изслѣдованія природы», а въ «Телескопѣ» 1831 года—«Философическій взглядъ на холеру». Наконецъ, въ 1833 году Павловъ издалъ курсъ физики, проникнутый идеями Шеллинга.

Въ то время, какъ Павловъ, а потомъ Надеждинъ (о которомъ рѣчь будетъ впереди) проводили идеи Шеллинга въ университетѣ, кружокъ Одоевскаго выступилъ на поприще журнальной пропаганды тѣхъ-же идей. Кружокъ этотъ между прочимъ заключалъ въ себѣ людей, игравшихъ въ то время видную роль въ нашей литературѣ; таковы были Д. В. Веневитиновъ, И. В. Кирѣевскій, С. П. Шевыревъ, М. П. Погодинъ. Въ лицѣ-же Одоевскаго въ кружкѣ этомъ стояла одна изъ самыхъ замѣчательнѣйшихъ личностей нынѣшняго столѣтія въ Россіи.

Одна изъ важныхъ ошибокъ нашей критики и исторіи литературы заключается въ томъ, что, говоря о развитіи мысли въ разбираемую нами эпоху, преемственность въ развитіи мысли обыкновенно видятъ въ переходѣ отъ Полевого прямо къ Надеждину и кружку Станкевича съ Бѣлинскимъ. При этомъ совершенно упускаютъ изъ виду цѣлый моментъ въ развитіи нашей мысли, и моментъ тѣмъ болѣе важный, что въ немъ мы видимъ броженіе умовъ, изъ котораго впослѣдствіи проистекали всевозможныя направленія и партіи, существующія до нашего времени, какъ рѣки изъ одного общаго хребта горъ или вѣтви изъ одного корня. Личность Полевого почти не входитъ въ это броженіе; личность Надеждина играетъ въ немъ роль частную и второстепенную, выбравши на свою долю изъ массы вопросовъ, поднятыхъ этимъ броженіемъ, одни вопросы эстетическіе; что-же касается до кружка Станкевича, то онъ представляется явленіемъ уже послѣдующимъ и есть только одна изъ вѣтвей дерева, возникшаго изъ того общаго корня, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь. Такимъ образомъ большинство нашихъ историковъ и критиковъ прыгаютъ съ отростка одного дерева (Полевой) прямо на отростокъ другого (Надеждинъ и кружокъ Станкевича) и оставляютъ безъ всякаго вниманія корень и стволъ того дерева, на который скачутъ. При этомъ остается въ тѣни и личность Одоевскаго, въ произведеніяхъ котораго, какъ въ фокусѣ, отражаются думы не только его современниковъ, но и младшаго поколѣнія, да мало еще этого: въ поразительно глубокомъ умѣ этого человѣка мелькали многіе идеи и вопросы, о которыхъ въ то время никто не имѣлъ еще и помышленія и которымъ только въ настоящее время придается значеніе въ нашемъ обществѣ.

Причина такого заблужденія заключается въ томъ, что наши историки и критики, говоря о развитіи нашего общества въ послѣдніе 30—40 лѣтъ, имѣли въ виду по большей части исключительно развитіе изящной литературы, эстетическихъ понятій и критики. При такомъ взглядѣ естественно представлялось, что послѣ Полевого лучшимъ критикомъ былъ Надеждинъ, а потомъ Бѣлинскій; Пушкину наслѣдовали Гоголь и Лермонтовъ. Одоевскій-же не былъ вовсе критикомъ, а какъ поэтъ, онъ представляется поэтомъ второстепеннымъ, потому что мыслитель еще болѣе преобладалъ въ немъ надъ поэтомъ, чѣмъ это мы видимъ въ Искандерѣ. Единственный хоть сколько-нибудь полный критическій разборъ произведеній Одоевскаго мы встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго (т. 9, стр. 29), но Бѣлинскій, при всемъ уваженіи къ Одоевскому и желаніи оцѣнить его значеніе по достоинству, не могъ представить всесторонней оцѣнки дѣятельности Одоевскаго, потому что личность эта стояла слишкомъ близко ко времени Бѣлинскаго. Къ тому-же въ разборѣ преобладаетъ эстетическая точка зрѣнія. Бѣлинскій слишкомъ много вниманія обращаетъ на поэтическую сторону произведеній Одоевскаго—входитъ по этому поводу въ разсужденіе о томъ, въ какомъ случаѣ дидактизмъ можетъ быть терпимъ въ поэзіи; что-же касается идей Одоевскаго, то Бѣлинскій относится къ нимъ почти исключительно полемически, встрѣчая у Одоевскаго рядъ взглядовъ, которые естественно представлялись уже отсталыми въ 1840 г., и въ ратованіи противъ которыхъ Бѣлинскій видѣлъ свое главное призваніе. Между прочимъ онъ встрѣчаетъ у Одоевскаго нѣкоторые оттѣнки славянофильства и, какъ западникъ, конечно напускается на эти оттѣнки, не замѣчая, что Одоевскій самъ по себѣ вовсе не былъ ни западникомъ, ни славянофиломъ въ строгомъ смыслѣ этого слова. Направленія мысли, изъ которыхъ потомъ развѣтвляются различныя партіи, отличаются всегда тѣмъ, что въ нихъ вы встрѣтите въ общемъ хаотическомъ броженіи оттѣнки всевозможныхъ послѣдующихъ развѣтвленій. Таково было направленіе Одоевскаго и прочихъ шеллингистовъ въ эпоху десятилѣтія отъ 25—35 годовъ: нападая на славянофильство Одоевскаго, Бѣлинскій былъ въ той-же мѣрѣ правъ, въ какой былъ-бы правъ любой славянофилъ, еслибы нападалъ на Одоевскаго, какъ на западника.

Если мы начнемъ съ внѣшней характеристики Одоевскаго, то и съ этой стороны невольно должны остановить наше вниманіе типичность и оригинальность, съ которыми эта личность рисуется въ средѣ своихъ современниковъ, исполненныхъ романтическими образами и средневѣковыми понятіями.

Дѣло въ томъ, что въ 20-е годы подъ занятіемъ философіей разумѣли не то, что въ наше время, т.-е. не простое изученіе какой-либо философской системы или всѣхъ вмѣстѣ въ связи и послѣдовательности; нѣтъ, въ философіи видѣли универсальную науку всѣхъ наукъ, сосредоточивающую въ себѣ всѣ отрасли знаній, мистическое таинство, что-то вродѣ средневѣковой алхиміи, магіи или кабалистики. Со страхомъ и трепетомъ вступали въ ея область, надѣясь въ непроницаемой, темной глубинѣ ее найти такое знаніе всѣхъ знаній, которое сдѣлало бы человѣка всезнающимъ и всемогущимъ, отворило замки во всѣ тайны

природы и разрушило передъ человѣкомъ завѣсу, отдѣляющую видимый міръ отъ невидимаго, загробнаго. Въ силу такого средневѣкового представленія философіи, въ то время существовало уже давно утраченное въ наше время понятіе о философѣ, какъ объ особенномъ мудрецѣ, отличающемся отъ всѣхъ обыкновенныхъ смертныхъ не одними знаніями, но привычками, нравами и образомъ жизни, стоящимъ выше всѣхъ предразсудковъ и слабостей; если-же въ добавокъ этотъ философъ занимался естественными науками, то онъ представлялся современникамъ положительно чѣмъ-то вродѣ чародѣя и мага, и реторты, черепа, старинныя книги въ ветхомъ пергаментѣ въ кабинетѣ философа производили мистическій ужасъ на посѣтителей. Одоевскій какъ нельзя болѣе удовлетворялъ своихъ современниковъ осуществленіемъ подобнаго идеала философа. Вотъ какъ описываетъ И. Панаевъ впечатлѣніе, которое произвелъ на него Одоевскій:

«Когда я въ первый разъ былъ у Одоевскаго, онъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Его привлекательная, симпатическая наружность, таинственный тонъ, съ которымъ говорилъ онъ обо всемъ, безпокойство въ движеніяхъ человѣка, озабоченнаго чѣмъ-то серьезнымъ, выраженіе лица постоянно задумчивое, размышляющее—все это не могло не подѣйствовать на меня. Прибавьте къ этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленнаго необыкновенными столами съ этажерками и съ таинственными ящичками и углубленіями; книги на стѣнахъ, на столахъ, на диванахъ, на полу, на окнахъ—и притомъ въ старинныхъ пергаментныхъ переплетахъ съ писанными ярлычками на задкахъ; портретъ Бетховена съ длинными сѣдыми волосами и въ красномъ галстухѣ; различные черепа, какія-то необыкновенной формы стклянки и химическія реторты...

«Я почувствовалъ невольную лихорадку, когда онъ заговорилъ со мною. Такъ точно дѣйствовалъ Одоевскій и на моего пріятеля Дирина, о которомъ я говорилъ выше. Диринъ благоговѣйно любилъ Одоевскаго, но одна мысль о его учености приводила его въ трепетъ. «Меня такъ и тянетъ къ этому человѣку,—говорилъ мнѣ Диринъ:—въ немъ столько симпатическаго!.. Но когда онъ о чемъ-нибудь заговоритъ со мною, я вдругъ робѣю, чувствую внутреннюю дрожь, и языкъ прилипаетъ у меня къ гортани... Меня это мучитъ, онъ долженъ считать меня ужаснѣйшимъ дуракомъ!» — Диринъ и въ могилу унесъ раболѣпный страхъ къ Одоевскому.»

Если во вторую половину 30-хъ годовъ, когда философія на половину утратила уже свою мистическую таинственность, Одоевскій производилъ такое впечатлѣніе, то вы подумайте, какое впечатлѣніе долженъ былъ производить онъ въ 20-е годы въ средѣ общества, погруженнаго въ глубокій мистицизмъ. И надо отдать справедливость, обстановка кабинета Одоевскаго не была одной только обстановкой, фантастическими аксессуарами романтика, который, драпируясь въ мантію средневѣкового Фауста, скрывалъ бы подъ нею тощую скудость поверхностнаго диллетантизма. Напротивъ того, когда вы читаете «Русскія ночи» Одоевскаго, васъ невольно поражаетъ универсальность и обстоятельность знаній этого человѣка по самымъ разнообразнымъ отраслямъ. Можно положительно сказать, что вы не много найдете въ Россіи людей, которые обладали бы такимъ обширнымъ энциклопедизмомъ. Онъ изучилъ многія отрасли естественныхъ наукъ и зналъ ихъ не только въ томъ состояніи, въ какомъ онѣ находились въ его время, но и въ историческомъ ихъ развитіи съ древнихъ временъ; о музыкѣ онъ судилъ не какъ диллетантъ, т.-е. не объ одникъ эстетическихъ впечатлѣніяхъ и ощущеніяхъ по поводу различныхъ пьесъ, но какъ знатокъ музыки въ ея техническихъ таинствахъ, и опять-таки имѣлъ свѣдѣнія объ историческомъ ходѣ развитія музыкальнаго искусства. Рядомъ съ различными философскими системами древнихъ и новыхъ вѣковъ, рядомъ съ энциклопедистами XVIII вѣка и нѣмецкими идеалистами его времени, до Шеллинга включительно, онъ изучилъ различныя школы политической экономіи, отъ Адама Смита до Фурье (мы видимъ въ его «Русскихъ ночахъ», что онъ былъ знакомъ со школой Фурье. См. «Соч. Од.», Т. I, стр. 333).

Подобная универсальная образованность, ставившая его цѣлой головой выше своихъ современниковъ, невольно приводила его къ такимъ идеямъ и вопросамъ, которые въ туманныхъ и темныхъ головахъ людей 30-хъ годовъ были немыслимы. Такъ напримѣръ, говоря о вредѣ излишняго раздробленія наукъ по отдѣльнымъ спеціальностямъ, онъ между прочимъ выставляетъ слѣдующіе вопросы:

«Скажите мнѣ, сдѣлайте милость, химическій составъ тѣхъ или другихъ веществъ, употребляемыхъ въ пищу, какое можетъ имѣть вліяніе на организмъ человѣка и слѣдственно на одинъ изъ источниковъ общественнаго богатства?»—«Извините, это не по моей части; я занимаюсь лишь финансовой наукой.»

«Скажите, нельзя-ли объяснить нѣкоторыя историческія происшествія вліяніемъ химическаго состава веществъ, въ разныя времена употреблявшихся въ пищу человѣкомъ?» — «Извините, я не могу развлекаться изученіемъ исторіи: я—химикъ.»

«Скажите, милостивый государь, до какой степени распространеніе теорій *за* и *противъ*, врожденныхъ идей въ Платоновомъ смыслѣ, могутъ имѣть вліяніе на административныя мѣры въ томъ или другомъ государствѣ?»—«Какой странный вопросъ! онъ слишкомъ далекъ отъ меня: я—чиновникъ, бюрократъ.»

«А вы, милостивый государь, не можете-ли мнѣ сказать, до какой степени гармоническое построеніе души человѣческой должно быть принимаемо въ соображеніе при полицейскомъ устройствѣ города?»—«Это, кажется, принадлежитъ къ камеральнымъ наукамъ; а я преподаю логику и риторику.»

«Милостивый государь, вы такъ хорошо пишете, что-бы вамъ написать книгу человѣческимъ языкомъ, которая-бы сдѣлала для всякаго привлекательными и доступными физическія занятія?»—«Что дѣлать? Это не мой предметъ! Я занимаюсь только изящной литературой.»

Въ то-же время Одоевскій былъ конечно первый въ Россіи, который вздумалъ усомниться въ исторіи, какъ въ наукѣ, отведя ей въ числѣ гуманныхъ наукъ такое же мѣсто, какое метеорологія имѣетъ въ числѣ наукъ положительныхъ. По мнѣнію Одоевскаго, исторія только тогда сдѣлается наукой, когда приметъ методъ положительныхъ наукъ.

«Вы знаете также,—говоритъ Одоевскій (370-я стр. 1-й части «Соч. Од.»),—что въ нашемъ вѣкѣ аналитическая метода въ большомъ ходу; я не понимаю, какъ никто до сихъ поръ не догадался приложить къ исторіи того-же способа изслѣдованія, какой напримѣръ употребляютъ химики при разложеніи органическихъ тѣлъ; сначала доходятъ они

*

до ближайшихъ началъ тѣла, каковы напримѣръ кислоты, соли и проч., наконецъ до самыхъ отдаленныхъ его стихій, каковы напримѣръ четыре основные газа; первыя различны въ каждомъ органическомъ тѣлѣ, вторыя—равно принадлежатъ всѣмъ органическимъ тѣламъ. Для этого рода историческихъ изслѣдованій можно было-бы образовать прекрасную науку съ какимъ-нибудь звучнымъ названіемъ, напримѣръ *Аналитической этнографіи* *). Эта наука была бы въ отношеніи къ исторіи тѣмъ-же, что химическое разложеніе и химическое соединеніе въ отношеніи къ простому механическому раздробленію и механическому смѣшенію тѣлъ.» «Почему знать!—говоритъ онъ ниже: – можетъ быть историки посредствомъ *аналитической этнографіи* **) дойдутъ до нѣкоторыхъ изъ тѣхъ-же результатовъ, до которыхъ дошли химики въ физическомъ мірѣ; откроютъ взаимное сродство нѣкоторыхъ элементовъ, взаимное противодѣйствіе другихъ, способъ уничтожать или мирить сіе противодѣйствіе; откроютъ незнакомый тотъ чудный химическій законъ, по которому элементы тѣлъ соединяются въ опредѣленныхъ пропорціяхъ и въ прогрессіи простыхъ чиселъ, какъ одинъ и одинъ, одинъ и два и такъ далѣе; можетъ быть наткнутся на то, что химики съ отчаянія назвали каталитической силой, т. е. превращеніе одного тѣла въ другое посредствомъ присутствія третьяго безъ яваго химическаго соединенія; можетъ быть также убѣдятся они, что въ историческомъ производствѣ должно употреблять необходимо реактивы *чистые* ***), безъ всякой примѣси, подъ страхомъ наказанія фальшивыми результатами; даже приблизится можетъ быть и къ основнымъ элементамъ. Конечной, идеальной цѣлью аналитической этнографіи было-бы—*возстановить исторію* ****), т. е., открывъ анализисомъ основные элементы народа, по симъ элементамъ систематически построить его исторію; тогда можетъ быть исторія получила-бы нѣкоторую достовѣрность, нѣкоторое значеніе, имѣла-бы право на названіе науки, тогда какъ до сихъ поръ она только весьма скучный романъ, исполненный прежалкихъ и неожиданныхъ катастрофъ, остающихся безъ всякой развязки, и гдѣ авторъ безпрестанно забываетъ о своемъ героѣ, извѣстномъ подъ названіемъ «человѣка».

Но и этого еще мало: въ «Русскихъ почахъ» вы встрѣчаете идею о развитіи органической жизни, близкую къ теоріи Дарвина, которую Одоевскій, такъ сказать, предчувствовалъ, хотя конечно не имѣлъ о ней понятія. Дѣло въ томъ, что извѣстная теорія Мальтуса послужила отличнымъ подспорьемъ для романтика изобразить въ произведеніи «Послѣднее самоубійство» грандіозную и мрачную картину того момента, когда земной шаръ переполнится и жизнь станетъ въ противорѣчіи сама съ собою, т. е. послужитъ источникомъ смерти и истребленія, такъ что людямъ останется, проклиная жизнь, поспѣшить избавиться отъ нея общимъ самоубійствомъ. Развивая такую картину, Одоевскій между прочимъ говоритъ:

«Вскорѣ между толпами явились люди—они, казалось, съ давняго времени вели счетъ страданіямъ человѣка—и въ итогѣ выводили все его существованіе. Обширнымъ, адскимъ взглядомъ они обхватывали минувшее и преслѣдовали жизнь съ самаго ея зарожденія Они вспоминали, какъ она, подобно татю, закралась сперва въ темную земляную глыбу и тамъ, посреди гранита и гнейса, мало-по-малу истребляя одно вещество другимъ, развила новыя произведенія, болѣе совершенныя; потомъ, на смерти одного растенія, она основала существованіе тысячи другихъ; истребленіемъ растеній она размножила животныхъ; съ какимъ коварствомъ она приковала къ страданіямъ одного рода существъ наслажденія, самое бытіе другого рода! Они вспоминали, какъ наконецъ, честолюбивая, распространяя ежечасно свое владычество, – она все болѣе и болѣе умножала раздражительность чувствованія, и безпрестанно въ каждомъ новомъ существѣ прибавляя къ новому совершенству новый способъ страданія, достигла наконецъ до человѣка, въ душѣ его развернулась со всей своей дѣятельностью и счастіе всѣхъ людей возстановила противъ счастія каждаго человѣка.»

При этомъ становится рѣшительно загадкой, какъ человѣкъ съ такой свѣтлой головой, съ такой массой знаній, и притомъ знаній, въ которыхъ положительныя науки преобладали,—ограничился одними только предчувствіями, темными гаданіями и отдѣльными мыслями въ духѣ положительнаго міросозерцанія, а не сдѣлался положительнымъ мыслителемъ всецѣло? Какъ онъ могъ удовлетвориться такой туманной, мистической философіей, какова была философія Шеллинга, и всѣ свои аргументы, взятые изъ положительныхъ наукъ, употребилъ для доказательствъ истины этого мутнаго ученія? Не противорѣчитъ-ли это вполнѣ положенію, которое въ послѣднее время такъ часто высказывается современными мыслителями—именно, что съ увеличеніемъ массы положительныхъ знаній разсѣевается мистическій туманъ и человѣкъ съ метафизической почвы переходитъ на почву положительную? Здѣсь мы находимъ повидимому полное опроверженіе такого взгляда. Какихъ-же еще знаній недоставало Одоевскому, чтобы встать на положительную почву? Свѣдѣнія его были гораздо обширнѣе, чѣмъ у многихъ русскихъ реалистовъ нашего времени, но при всемъ томъ онъ былъ приверженецъ Шеллинга. Но дѣло въ томъ, что положеніе о вліяніи положительныхъ знаній на мысль безусловно можетъ быть примѣнено только къ ходу историческаго развитія всего человѣчества; къ отдѣльному-же человѣку это положеніе должно быть примѣняемо крайне относительно. Не масса знаній сама по себѣ измѣняетъ міросозерцаніе, но тотъ трудъ, который производитъ мозгъ надъ этой массой, и та переработка самаго мозга, которая происходитъ во время этого труда,—переработка, обусловливающая такъ-называемое умственное развитіе. Физіологія не дошла еще до того, чтобы опредѣлить, въ чемъ заключается измѣненіе мозга во время развитія мысли, но гипотетически мы можемъ сказать съ большой достовѣрностью, что та или другая система міросозерцанія зависитъ не отъ одной массы знаній, но и отъ большей или меньшей энергіи, утонченности и вообще выработки мозгового вещества. Выработка же эта есть дѣло не одного только частнаго развитія индивидуума, но преемственное развитіе въ цѣломъ ряду поколѣній. Мы видимъ, что при всемъ разнообразіи въ степеняхъ умственнаго совершенства, начиная отъ идіота и до геніальнаго человѣка, въ данномъ поколѣніи всегда замѣчается извѣстный уровень мозгового совершенства, опредѣляющій степень общаго міросозерцанія и духъ времени, и какой-бы массой свѣдѣній ни обладали отдѣльные люди, какъ бы они ни были геніаль-

*) **) ***) ****) Курсивы въ подлинникѣ.

ны, имъ никогда не удастся уйти слишкомъ далеко отъ образованной массы своихъ современниковъ. Если они и дѣлаютъ два-три открытія и пріобрѣтенія въ богатствѣ мысли, то въ этомъ они по большей части повинуются общему движенію всего передового поколѣнія; имъ принадлежитъ обыкновенно только пальма первенства въ высказываньи того, къ воспринятію чего всѣ мыслящіе люди уже готовы и что у многихъ таится уже на душѣ. Причинъ такого приравненія мысли индивидуума къ массѣ и невозможности уйти отъ нея слишкомъ далеко впередъ можно насчитать множество. Возьмемъ геніальнаго человѣка, у котораго мозгъ гораздо совершеннѣе, чѣмъ не только у всѣхъ современниковъ, но и у нѣсколькихъ послѣдующихъ поколѣній. Но вѣдь этотъ человѣкъ, какъ онъ ни геніаленъ, переживаетъ въ дѣтствѣ такіе моменты развитія, въ которые мозгъ его менѣе совершененъ, чѣмъ у многихъ взрослыхъ современниковъ его съ крайне ограниченными способностями. Эти люди воспитываютъ геніальнаго юношу, т. е., сказать точнѣе, внушаютъ ему такія мозговыя привычки въ видѣ всякаго рода идей, вѣрованій, предразсудковъ, которыя лежатъ въ общемъ уровнѣ развитія общества. Эти мозговыя привычки пріобрѣтаютъ тѣмъ болѣе упорства, что человѣкъ воспринимаетъ ихъ не отъ однихъ воспитателей и не изъ однихъ учебниковъ, а отъ всей окружающей его среды, усиливая ихъ ежедневными впечатлѣніями. Затѣмъ, если при увеличеніи массы свѣдѣній у человѣка и начнутъ проскальзывать новые взгляды и новыя идеи, вмѣсто того, чтобы принимать ихъ прямо и непосредственно, какъ они возникаютъ въ индуктивной работѣ мозга, человѣкъ замѣчаетъ противорѣчіе ихъ съ привычными взглядами и понятіями, вынесенными изъ воспитанія, и прямое развитіе мысли замедляется борьбой противорѣчій и стремленіемъ помирить ихъ и выйти изъ нихъ такъ или иначе. Хорошо еще, если и передовое движеніе въ обществѣ совпадаетъ съ такимъ-же процессомъ или уже вышло изъ него; въ такомъ случаѣ борьба рѣшается скоро при посредствѣ внѣшнихъ вліяній, поддержкѣ со стороны другихъ людей и общемъ сотрудничествѣ въ разработкѣ мысли; но если передовое движеніе совершается совсѣмъ въ иномъ духѣ и въ обратную сторону? Не забудьте, что въ каждомъ передовомъ движеніи заключается бездна заразительнаго и увлекательнаго энтузіазма, подъ обаяніемъ котораго отдѣльный человѣкъ, какъ-бы онъ ни былъ геніаленъ, подчиняется общему теченію, и вмѣсто индуктивной работы мозга надъ массой свѣдѣній, онъ можетъ поступить наоборотъ: увлекшись даннымъ движеніемъ, всѣ свои знанія пріурочить къ оправданію и ускоренію этого движенія. Случается и такъ, что люди, одаренные богатой индукціей, приходятъ къ идеямъ, опережающимъ нѣсколько поколѣній, но однѣ изъ этихъ идей утаиваютъ, отчасти изъ боязни быть непонятыми, отчасти изъ собственнаго недовѣрія къ нимъ, другія идеи и желали-бы высказать, но не въ силахъ, потому что они могутъ владѣть въ совершенствѣ только языкомъ, выработаннымъ современнымъ имъ поколѣніемъ, а такой языкъ оказывается безсильнымъ для выраженія идей, слишкомъ ужъ превышающихъ общій уровень образованности. Иногда впрочемъ и удается людямъ высоко-талантливымъ и геніальнымъ высказывать мысли, судьба которыхъ сдѣлаться современными только черезъ нѣсколько столѣтій, но зато эти мысли остаются не только непонятыми всѣми слѣдующими поколѣніями, но и сами изобрѣтатели ихъ не придаютъ имъ того значенія, какое будетъ имъ придаваться только впослѣдствіи. Это мы видимъ и на Одоевскомъ. Отдѣльныя свѣтлыя мысли, которыя мы встрѣчаемъ въ его произведеніяхъ, только въ настоящее время могутъ быть оцѣнены надлежащимъ образомъ и онѣ сами собою мечутся намъ въ глаза. Но въ эпоху Бѣлинскаго подобныя мысли положительно не замѣчались, и Бѣлинскій не обратилъ на нихъ никакого вниманія. Но и самъ Одоевскій не достаточно цѣнилъ эти мысли. Его привела къ нимъ невольная индукція мозга при массѣ свѣдѣній, которыми онъ обладалъ, но эти мысли шли совершенно въ разрѣзъ съ направленіемъ его мозга, которое было внушено ему духомъ его времени и общимъ движеніемъ мысли его современниковъ. Вліяніе дѣтскаго воспитанія и окружающей среды было слишкомъ сильно, чтобы нѣсколькимъ ушедшимъ впередъ мыслямъ пошатнуть все зданіе тѣхъ преданій, въ духѣ которыхъ Одоевскій былъ воспитанъ и въ атмосферѣ которыхъ онъ жилъ; шеллингова философія болѣе соотвѣтствовала этимъ преданіямъ и въ то-же время была передовой, которой всѣ увлекались. Въ то-же время Одоевскій нашелъ и нѣкоторыя точки соприкосновенія съ идеями Шеллинга многихъ изъ тѣхъ идей, къ которымъ пришелъ универсальностью своего образованія. Такъ напримѣръ, онъ дошелъ до удивительно свѣтлой и только въ настоящее время вполнѣ развившейся идеи, что науки, чѣмъ болѣе спеціализируются и разрозниваются, тѣмъ становятся безсильнѣе; изученіе-же ихъ въ живой связи и взаимное просвѣтленіе фактами одной науки фактовъ другой—должны значительно ускорить движеніе знаній и привести къ богатымъ результатамъ. Но вѣдь и Шеллингъ нападалъ на спеціализированіе знаній и односторонность опытныхъ наукъ, все безсиліе которыхъ, по его мнѣнію, заключалось въ томъ, что каждая изъ нихъ изучаетъ какой нибудь отдѣльный уголокъ вселенной, совершенно опуская изъ вида, что только созерцаніе цѣлаго зданія въ тѣсной связи всѣхъ его частей можетъ дать понятіе о немъ. Разница только въ томъ, что современная мысль ищетъ связи между отдѣльными науками для того, чтобы этимъ расширить сферу опытнаго метода; философія-же Шеллинга, нападая на спеціальности, нападала вмѣстѣ съ тѣмъ и на стремленіе ихъ достигнуть чего-нибудь путемъ опыта. Эти два теченія мы встрѣчаемъ и въ «Русскихъ ночахъ» Одоевскаго. Съ одной стороны, съ точки зрѣнія Шеллинга, Одоевскій распространяется о безплодности наукъ достигнуть чего-либо путемъ опыта, и вмѣстѣ съ Шеллингомъ превозноситъ внутреннее чувство, посвящающее человѣка въ тайны тождества и гармоніи вселенной. Въ другихъ-же мѣстахъ, какъ мы видѣли выше, онъ превозноситъ опытный методъ до того, что не считаетъ наукой исторію, не усвоившую еще вполнѣ этого метода И замѣчательно, что, высказавши такую идею, Одоевскій самъ созналъ, что она противорѣчитъ всей почти книгѣ, и не скрываетъ этого сознанія:

«*Викторъ*. Побѣда, побѣда, господа! нашъ идеалистъ самъ нечувствительно дошелъ до того, противъ чего возставалъ, дошелъ до необходимости опыта, эмпиризма... въ томъ и дѣло, другъ: какими окольными путями ни обходи знаніе, все дойдешь до его единственнаго исходнаго пункта, т. е. до чувственнаго опыта...»

И далѣе затѣмъ въ словахъ Фауста Одоевскій видимо старается заштопать на живую нитку внезапную прорѣху, но тщетно путается онъ въ доказательствахъ трудности правильнаго опыта. Противорѣчіе тѣмъ болѣе остается противорѣчіемъ, что на 302 стр. Одоевскій считаетъ безсмысленными самыя слова—фактъ, чистый опытъ, положительныя знанія, точныя науки, и даже, хотя въ шутку только, считаетъ эти слова порожденіемъ Люцифера; а между тѣмъ въ отвѣтъ Виктору на его вышеприведенныя восклицанія о побѣдѣ говоритъ: «Я никогда не отвергалъ необходимости опыта вообще и важности чувственныхъ опытовъ. Хорошо, если человѣкъ можетъ увѣриться въ истинѣ всѣми тѣми органами, которые ему для сего даны Провидѣніемъ,—даже рукой. Весь вопросъ въ томъ: всѣ-ли эти органы мы употребляемъ? и т. д.».

Подобныя противорѣчія какъ нельзя болѣе характеризуютъ ту страшную, тяжелую раздвоенность, которую вы найдете въ умахъ всѣхъ современниковъ Одоевскаго и на Западѣ, и у насъ. Съ одной стороны наука невольно наталкивала ихъ на новыя идеи которыя насильно вырывались изъ нихъ, съ другой стороны они пугались этихъ идей и спѣшили укрыться отъ нихъ подъ сѣнь различныхъ мистическихъ и метафизическихъ ученій. Они вѣрили въ прогрессъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отчаявались въ возможности его; они твердили вмѣстѣ съ Шеллингомъ о міровой гармоніи и въ то-же время ничего не видѣли въ жизни человѣка, кромѣ всеобщей дисгармоніи, проклиная эту самую жизнь и оплакивая судьбу человѣчества. Всю эту раздвоенность, всѣ эти муки борьбы между надеждой и отчаяньемъ вы встрѣтите на каждой страницѣ сочиненій Одоевскаго. И всѣ эти выстраданныя думы вѣка выражены у Одоевскаго съ пламенной фантазіей романтика-созерцателя, причемъ Одоевскій нарочно какъ будто избираетъ такіе образы, которые поражаютъ васъ своей мрачной и эффектной грандіозностью: такъ напримѣръ мы видѣли, что для изображенія того мрачнаго отчаянья, какое можетъ возбудить въ насъ теорія Мальтуса, онъ рисуетъ передъ вами картину послѣднихъ дней размножившагося человѣчества. Для опроверженія теоріи Бентама и утилитаристовъ онъ развиваетъ цѣлую исторію вымершаго города, погибшаго вслѣдствіе исключительнаго развитія принципа пользы, и т. д.

Вліяніе сочиненій Одоевскаго на его современниковъ и младшее поколѣніе было громадно. Оно отразилось на всемъ. Если напримѣръ все поколѣніе Бѣлинскаго зачитывалось въ юности Гофмана, наполняло журналы переводами этого романтика, проводило мысли его въ критическихъ статьяхъ, если вліяніе Гофмана мы видимъ даже на Гоголѣ («Носъ», «Портретъ»), то этимъ поколѣніе тридцатыхъ годовъ было прямо обязано Одоевскому, который первый познакомилъ русскую публику съ Гофманомъ своими подражаніями этому писателю. Даже его «Русскія ночи» формою своею напоминаютъ «Серапіоновыхъ Братьевъ» Гофмана, въ которыхъ точно также представляется бесѣда нѣсколькихъ молодыхъ людей по ночамъ о различныхъ предметахъ, вызывающихъ на размышленіе. Вліяніе многихъ идей Одоевскаго отражается между прочимъ и на первыхъ сочиненіяхъ Искандера. Та-же вѣра въ прогрессъ вмѣстѣ съ отчаяньемъ въ немъ; то-же объясненіе несчастій и гибели, постигающихъ людей различными односторонностями въ жизни; то-же отчаянье въ западной цивилизаціи и надежда на обновленіе ея посредствомъ славянскаго міра. Наконецъ нельзя не обратить вниманіе на поразительную аналогію «Записокъ доктора Крупова» съ слѣдующаго рода размышленіями, которыя мы читаемъ на 35, 36 и 37 страницахъ «Русскихъ ночей»:

«Одинъ изъ наблюдателей природы пошелъ еще далѣе: онъ возбудилъ сомнѣніе еще болѣе горестное для самолюбія человѣческаго; разсматривая психологическую исторію людей, которыхъ обыкновенно называютъ сумасшедшими, онъ утверждалъ, что нельзя провести вѣрной, опредѣленной черты между здравой и безумной мыслью. Онъ утверждалъ, что на всякую, самую безумную мысль, взятую изъ дома сумасшедшихъ, можно отыскать равносильную, ежедневно обращающуюся въ свѣтѣ. Онъ спрашивалъ, какое различіе между увѣренностью одной женщины, что въ груди ея былъ цѣлый городъ съ башнями, колокольнымъ звономъ и теологическими диспутами, и мыслью Томаса Виллиса, автора извѣстной книги о сумасшедшихъ, что жизненные духи, находясь въ безпрерывномъ движеніи и сильно притекая къ мозгу, производятъ въ немъ взрывы, подобно пороху? Какое различіе между понятіемъ одного сумасшедшаго, что, когда онъ движется, движутся всѣ предметы вокругъ него, и доказательствами Птоломея, что вся солнечная система обращается вокругъ земли? Какое различіе между бѣдной дѣвушкой, которая почитала себя приговоренной къ смертной казни, и мыслью Мальтуса, что голодъ долженъ наконецъ погубить всѣхъ жителей земного шара? Состояніе сумасшедшаго не имѣетъ-ли сходства съ состояніемъ поэта, всякаго геніязобрѣтателя?» и т. д.

Даже самъ Бѣлинскій, при всемъ полемическомъ отношеніи къ нѣкоторымъ мыслямъ Одоевскаго, отдаетъ ему справедливость въ томъ вліяніи и впечатлѣніи, которое производили въ двадцатые и тридцатые годы на молодое поколѣніе его сочиненія.

«Эти апологи*)—говоритъ онъ—замѣчательны уже тѣмъ, что они не походили ни на что, бывшее до нихъ въ русской литературѣ; они не пользовались популярностью, потому что могли нравиться не всѣмъ. Старички острова Панхаи называли ихъ безнравственными; большинство публики, не находя въ нихъ ничего для фантазіи и не любя пищи, предлагаемой преимущественно для ума мыслящаго, пропустило ихъ безъ особеннаго вниманія; *но это юношество, одушевленное стремленіемъ къ идеальному въ хорошемъ значеніи этого слова, какъ противополож-*

*) Здѣсь дѣло идетъ о поэтическихъ аллегоріяхъ, которыми началъ свое литературное поприще Одоевскій съ 1824 года. Изъ этихъ аллегорій особенно замѣчательна «Старички и Островъ Панхаи»; аллегорія эта исполнена не только нравственнаго, но и политическаго смысла. Въ ней, въ образѣ старичковъ-младенцевъ, Одоевскій осмѣиваетъ отжившее поколѣніе своего времени.

ности пошлой прозы жизни,—это юношество читало их съ жадностью, и благодатны были плоды этого чтенія. Мы знаемъ это по собственному опыту, и кто умѣетъ судить о достоинствѣ вещей не по настоящему времени, а по ихъ историческому смыслу, кто помнитъ состояніе нашей литературы въ ту эпоху, когда лучшими журналами были «Вѣстникъ Европы» и «Сынъ Отечества» и еще не было «Московскаго Телеграфа», когда читающая публика была несравненно малочисленнѣе нынѣшней, тѣ согласятся съ нами...» а ниже: «какъ-бы то ни было, но чтеніе такихъ произведеній, какъ «Бригадиръ», «Балъ» и «Насмѣшка мертвеца», производитъ на молодую душу, еще свѣжую, не подвергшуюся нечистому прикосновенію житейской суеты, дѣйствіе электрическаго удара, потрясающаго всю нервную систему. И подобный нравственный ударъ оставляетъ въ юной, исполненной благороднаго стремленія душѣ самыя благодатныя слѣдствія. *Мы знаемъ это по собственному примѣру: мы помнимъ то время, когда избранная молодежь съ восторгомъ читала эти пьесы и говорила о нихъ съ тѣмъ важнымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно неофиты говорятъ о таинствахъ своего ученія.*»

Кружокъ шеллингистовъ, группировавшійся вокругъ Одоевскаго, не ограничивался одними отвлеченными преніями въ духѣ шеллинговой философіи: онъ не замедлилъ шеллинговы идеи переработать сообразно потребностямъ нашего общества, примѣнить ихъ къ вопросамъ жизни и литературы. Очень многіе считаютъ у насъ шеллингову философію родоначальницей славянофильства въ Россіи. Но это справедливо только отчасти. Дѣло въ томъ, что хотя западничество и славянофильство подъ этими названіями являются только съ сороковыхъ годовъ, но, собственно говоря, они ведутъ свое начало съ самой реформы Петра. Рядомъ съ различными прогрессивными направленіями, видѣвшими все спасеніе въ западной цивилизаціи, вы постоянно встрѣчаетесь съ реакціей противъ этихъ направленій, которая является сначала въ видѣ старообрядства, негодующаго на бритье бородъ и нѣмецкіе кафтаны; въ мрачную эпоху Бирона она включаетъ въ себя новый элементъ общей въ то время ненависти къ нѣмцамъ; при Екатеринѣ она вооружается противъ увлеченія французской философіей восемнадцатаго вѣка; въ эпоху Карамзина она вопитъ подъ перомъ Шишкова о порчѣ русскаго языка, а во время патріотическаго одушевленія послѣ войны двѣнадцатаго года подъ перомъ Глинки она воспѣваетъ доблесть русскаго духа, и тогда уже является идея, что только Россія можетъ спасти Европу изъ бездны анархіи, безбожія и опустошительныхъ войнъ. Идеи Шеллинга, правда, видоизмѣнили, осмыслили эту оппозицію, подложивши подъ нее новую философскую подкладку, но и на западничество они подѣйствовали такимъ-же обновляющимъ образомъ.

Философія Шеллинга впервые заставила задуматься все наше мыслящее общество о судьбѣ Россіи въ ряду другихъ народовъ человѣчества. Представляя все, что существуетъ, формой той или другой идеи безусловнаго разума, шеллингова философія подвела подъ эту формулу и значеніе отдѣльныхъ народностей въ ходѣ общечеловѣческой цивилизаціи. Каждая народность, по этой философіи, есть представительница особенной идеи, которую она вырабатываетъ въ своей жизни, доходитъ до выраженія ея, въ чемъ выражается самосознаніе народа, и затѣмъ, внося эту идею въ общую сокровищницу цивилизаціи, сходитъ съ историческаго поприща. При такомъ понятіи о значеніи народностей каждому шеллингисту должно было кинуться въ глаза непроходимое противорѣчіе съ этимъ понятіемъ всего хода развитія нашего общества, начиная съ Петра I. Если народъ можетъ быть названъ историческимъ только въ силу самостоятельной идеи, которую онъ развиваетъ, то какую-же идею вырабатываетъ русскій народъ, образованное общество котораго слѣпо идетъ за Западомъ и питается тѣмъ, что̀ вырабатываетъ послѣдній? Или русскій народъ не принадлежитъ къ числу великихъ историческихъ народовъ, не имѣетъ никакой собственной физіономіи, индивидуальности и удѣлъ его вѣчно брать чужое, ничего не давая своего, и слѣдовать за другими лишней спицей въ колесницѣ? Эти вопросы кошмаромъ легли на все поколѣніе тридцатыхъ годовъ. Не замедлили явиться всевозможные отвѣты на нихъ, изъ которыхъ впослѣдствіи сложились различныя направленія, до сихъ поръ господствующія въ нашей литературѣ. Одни вполнѣ оправдывали цивилизующее вліяніе на насъ Запада, и не только не желали его прекращенія, но, напротивъ того, находили, что оно было неполное, односторонное, исключительно внѣшнее; по ихъ мнѣнію, Россія должна была вполнѣ исчерпать образованность западной Европы во всей ея глубинѣ, проникнуться ея философіей и тогда явиться на поприще всемірной цивилизаціи вырабатывать какую-нибудь новую, самостоятельную идею. Люди этого мнѣнія въ западной цивилизаціи видѣли такой-же классицизмъ для Россіи, какимъ былъ для Европы въ эпоху Возрожденія классицизмъ древнихъ народовъ. Другіе, напротивъ того, напирали особенно на цивилизующее вліяніе древняго классицизма, ожидали, что и Россія только тогда сравняется съ Европой и выработаетъ свою собственную цивилизацію, когда она, подобно Европѣ, проникнется духомъ древняго классицизма. Третьи считали излишними всякія мысли о народной самостоятельности не потому, чтобы смотрѣли на нее, какъ на вещь излишнюю, но предполагали, что каждый народъ и безъ того уже имѣетъ ее по своей природѣ, сохраняетъ ее, какъ свою особенную физіономію, какъ бы онъ ни подражалъ другимъ народамъ, и еслибы онъ даже хотѣлъ отдѣлаться отъ нея, это не въ его власти, какъ не во власти отдѣльнаго человѣка хотѣть быть брюнетомъ, а не блондиномъ, и имѣть носъ орлиный, а не съ закорючкой кверху; поэтому можно смѣло брать отовсюду то, что̀ является передовымъ въ общечеловѣческой цивилизаціи, не опасаясь нисколько потерять этимъ свою индивидуальность. Появилось въ литературѣ, какъ увидимъ ниже, и такое крайнее мнѣніе, которое отсталость, невѣжество и безучастіе Россіи въ общей цивилизаціи приписало тому, что Россія не участвуетъ въ томъ религіозно-нравственномъ союзѣ, представителемъ котораго является католичество. Все это были мнѣнія, представлявшія различные оттѣнки западничества, и мнѣнія эти показываютъ, что шеллингова философія натолкнула западниковъ на вопросы о судьбѣ Россіи не менѣе, чѣмъ и противниковъ западной цивилизаціи. Послѣдніе-же, подъ вліяніемъ

той-же философіи, не замедлили обратиться въ славянофиловъ въ истинномъ значеніи этого слова. Основываясь на томъ, что каждая народность есть носительница особенной идеи и должна вырабатывать цивилизацію изъ своихъ собственныхъ началъ, славянофилы радикально отвергли весь петровскій періодъ съ его увлеченіями западной цивилизаціей и начали проповѣдывать необходимость возвращенія къ тѣмъ чистымъ народнымъ началамъ жизни, которыя господствовали въ до-петровской Руси и представлялись славянофиламъ общими всѣмъ славянскимъ народамъ. Съ особенной страстью ухватились славянофилы за идею о гніеніи Запада и ближайшей гибели его цивилизаціи. Но было бы ложно обвинять ихъ однихъ въ изобрѣтеніи подобной идеи и на нихъ сваливать весь грѣхъ въ ея распространеніи. Идея эта мелькала въ то время въ умахъ многихъ людей всевозможныхъ партій и на Западѣ, и у насъ, и, исходя изъ духа времени, она была заразительна въ то время. Появленіе же ея весьма понятно. Вы подумайте только, сколько горькихъ разочарованій вынесли люди начала XIX столѣтія изъ революціи и страшныхъ войнъ, закончившихъ ее. Въ концѣ XVIII вѣка юношески мечтали, что владычество разума начнется не сегодня-завтра, что кончилось навсегда царство невѣжества, суевѣрія и произвола. И вдругъ что-же? Феодализмъ, какъ его ни расшатывали, не палъ; рядомъ съ нимъ возвысился новый феодализмъ буржуазіи – безчеловѣчно-черствый, холодно-развратный, налегшій на все еще болѣе тяжелымъ гнетомъ, чѣмъ средневѣковой дворянскій феодализмъ. Старыя вѣрованія потеряли свое обаяніе, но царство разума не настало, и общество утопало въ мутномъ, темномъ мистицизмѣ, терзаясь муками раздвоенности между слѣпой вѣрой и такимъ-же слѣпымъ безвѣріемъ. Въ образованныхъ обществахъ замѣчалась всеобщая апатія, распущенность, холодный индифферентизмъ, дозволявшій Меттернихамъ всякаго рода произвольно ворочать судьбами народовъ и царствъ. Въ подобныя мрачныя эпохи всеобщаго разочарованія и изнеможенія не разъ уже приходили мысли о близкомъ концѣ всего, и мысли эти облекались въ формы господствующаго міросозерцанія. Въ средніе вѣка онѣ проявлялись на Западѣ и у насъ въ видѣ предреканія близкой кончины міра. Подъ вліяніемъ-же идей германской философіи онѣ выразились въ сравненіяхъ состоянія европейскихъ обществъ съ состояніемъ Рима въ послѣдній періодъ существованія и различныхъ гипотетическихъ фантазіяхъ о смѣнѣ цивилизаціи. Всѣ партіи разомъ могли увлечься такими мрачными мыслями, потому что всѣ равно были недовольны: феодалы видѣли конецъ цивилизаціи въ ослабленіи феодальнаго режима, буржуазные либералы—въ невозможности совсѣмъ избавиться отъ феодализма, демократы и соціалисты— въ безвыходности положенія народныхъ массъ, вѣрующіе люди—въ паденіи старыхъ вѣрованій, невѣрующіе—въ господствѣ мистицизма... Все заблужденіе заключалось здѣсь въ томъ, что люди, обративши муху въ слона, въ тяжеломъ гнетѣ современнаго момента видѣли рѣшеніе судебъ чуть-что не всего человѣчества, какъ это бываетъ иногда и съ отдѣльнымъ человѣкомъ: подъ впечатлѣніемъ сильнаго огорченія, особенно послѣ несбывшихся слишкомъ розовыхъ мечтаній, вдругъ покажется, что все кончено и остается только умереть, потому что никакой отрады въ жизни представиться больше не можетъ. Вина славянофиловъ заключалась не въ созданіи идеи о гніеніи Запада, а только въ томъ, что они ухватились за эту гипотетическую, неимѣющую ровно никакого научнаго основанія идею, вызванную только мрачнымъ моментомъ европейской жизни, и подъ эту идею начали впослѣдствіи искусственно и произвольно подводить историческіе факты, выбирая подходящіе и опуская противорѣчащіе — для оправданія своихъ доктринъ.

Выйдя изъ своихъ общихъ доктринъ, основанныхъ на шеллинговой философіи, славянофилы въ свою очередь, подобно западникамъ, представили различные оттѣнки въ своемъ ученіи, зависящіе отъ вліянія условій чисто уже реальныхъ, условій самой жизни. Такимъ образомъ у людей, въ которыхъ жизнь выработала тягу болѣе въ лѣвую сторону, славянофильство приняло оппозиціонный и отчасти даже демократическій характеръ: на петровскій періодъ они вооружались за гнетъ бюрократіи и централизаціи; въ древней Руси отвергали родовое начало; въ народныхъ началахъ выше всего ставили общину и развитіе всесословнаго земства; въ православіи видѣли принципы любви и братства; гніеніе Запада приписывали господству феодализма, католицизма и черствому легитимизму буржуазнаго порядка. У людей-же съ тягой направо, каковы напримѣръ М. Погодинъ и Шевыревъ, славянофильство приняло казенный характеръ порицанія Запада за его наклонность къ анархіи, рядомъ съ превознесеніемъ русскихъ народныхъ началъ, заключающихся въ кроткомъ смиреніи, долготерпѣніи и всепрощающей любви.

Но въ разбираемый мною періодъ не только всѣ эти оттѣнки славянофильства не выдѣлялись еще слишкомъ рѣзко, но и различія между западниками и славянофилами еще не было столь глубокаго и враждебнаго, какое мы увидимъ въ сороковыхъ годахъ. Напротивъ того, люди съ наклонностями къ западничеству и славянофильству тѣсно сливались еще въ одни общіе кружки: и тѣ, и другія тенденціи смѣшивались еще въ общемъ хаосѣ, такъ что въ журналахъ этого періода не въ рѣдкость встрѣтить статьи замѣчательныхъ писателей, въ которыхъ вы рядомъ съ западничествомъ можете встрѣтить идеи, способныя обрадовать каждаго славянофила. Это мы видимъ напримѣръ и въ «Русскихъ ночахъ» Одоевскаго.

«Горькое, странное зрѣлище!– читаете вы на 306-й стран. 1-й части:—мнѣніе противъ мнѣнія, власть противъ власти, престолъ противъ престола, и вокругъ сего раздора — убійственное, насмѣшливое равнодушіе! Науки вмѣсто того, чтобы стремиться къ единству, которое одно можетъ возвратить имъ ихъ мощную силу, науки раздробились въ прахъ летучій; общая связь ихъ потерялась, нѣтъ въ нихъ органической жизни; старый Западъ, какъ младенецъ, видитъ однѣ части, одни признаки—общее для него непостижимо и невозможно и т. д. Въ искусствѣ давно уже истребилось его значеніе; оно уже не переносится въ тотъ чудесный міръ, въ которомъ, бывало, отдыхалъ человѣкъ отъ грусти здѣшняго міра и т. д.

Религіозное чувство на Западѣ? оно было-бы давно уже забыто, еслибъ его внѣшній языкъ еще не остался для украшенія, какъ политическая архитектура или іероглифы на мебеляхъ и проч. Погибаютъ три главные дѣятеля общественной жизни! Осмѣлимся-же выговорить слово, которое можетъ быть теперь многимъ покажется страннымъ и черезъ нѣсколько лѣтъ слишкомъ простымъ: Западъ гибнетъ!»... «Мы поставлены на рубежѣ двухъ міровъ—читаемъ мы далѣе протекшаго и будущаго; мы новы и свѣжи; мы непричастны преступленіямъ Европы... Велико наше званіе и труденъ подвигъ! Все должны оживить мы! Нашъ духъ вписать въ исторію ума человѣческаго, какъ имя наше вписано на скрижаляхъ побѣды. Другая высшая побѣда—побѣда науки искусства и вѣры, ожидаетъ насъ на развалинахъ дряхлой Европы!..»

Но при всемъ искреннемъ пафосѣ, съ которымъ Одоевскій высказываетъ эти мысли, онъ не рѣшается выговорить ихъ отъ себя, а сообщаетъ въ видѣ рукописи, оставленной какими-то покойниками, и потомъ, представивши со стороны своихъ друзей нѣсколько возраженій, заключающихся въ томъ, что Западъ не только не падаетъ, но, напротивъ того, прогрессъ его во всѣхъ отношеніяхъ возрастаетъ, онъ отъ своего уже лица, т. е. устами Фауста, замѣчаетъ: «Я бы на это могъ тебѣ отвѣчать словами натуралистовъ, политиковъ, медиковъ — о томъ, что высшее развитіе силъ какого бы то ни было организма есть *начало конца;* но я лучше хочу согласиться съ тобой, что мнѣніе моихъ друзей о Западѣ преувеличено; я собственно не вижу въ немъ признака близкаго паденія, но потому только, что не вижу и того высшаго развитія силъ, о которомъ ты говоришь»... А ниже:

«*Викторъ*. Послушай: отрицать просвѣщеніе Запада – дѣло невозможное; ты этого не докажешь...

«*Фаустъ*. Я не отрицаю его и даже признаю, что намъ еще многому остается учиться на Западѣ; но я хотѣлъ-бы привести это просвѣщеніе въ настоящую оцѣнку...»

Такое смѣшеніе западничества и славянофильства мы встрѣтимъ во всѣхъ почти статьяхъ шеллингистовъ того времени.

Журнальная пропаганда шеллингистовъ сосредоточилась въ разбираемый нами періодъ въ трехъ послѣдующихъ одинъ за другимъ журналахъ: «Московскомъ Вѣстникѣ» (1827—1830 г.), «Европейцѣ» (1831 г.) и «Телескопѣ» (1831—1836 г.).

«Московскій Вѣстникъ» былъ основанъ по иниціативѣ Веневитинова, составившаго проэктъ журнала подъ заглавіемъ: «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала», который онъ прочелъ въ одномъ изъ своихъ литературныхъ вторниковъ. Въ исходѣ 1826 года Веневитиновъ сошелся съ Пушкинымъ, познакомилъ поэта со всѣми своими товарищами, и въ 1827 году былъ открытъ «Московскій Вѣстникъ» подъ редакціей М. Погодина и при непосредственномъ участіи въ журналѣ всѣхъ членовъ кружка. Но живое участіе въ журналѣ друзей Веневитинова продолжалось не долго. Послѣ смерти Веневитинова (15-го марта 1827 года) только съ годъ—не больше—журналъ продолжалъ вестись въ томъ видѣ, въ какомъ начался, т. е. сообщая читателямъ разнообразныя отрасли знаній и освѣщая ихъ идеями шеллинговой философіи. Но уже во второй половинѣ 1828 года вліяніе на журналъ Погодина сдѣлалось исключительнымъ, судя по тому, что журналъ переполнился статьями историческими, по большей части трудами самого редактора,—и вмѣстѣ съ этимъ весьма скучной полемикой съ Полевымъ, которая въ томъ только и заключалась, что съ точки зрѣнія ученаго педантизма обвиняла Полевого въ поверхностныхъ сужденіяхъ о фактахъ науки и недостаткѣ ученой добросовѣстности. Въ такомъ видѣ журналъ не могъ пережить тридцатаго, холернаго, года.

«Европеецъ» началъ издавать въ исходѣ 1831 года Ив. Кирѣевскій, при сотрудничествѣ Языкова, Баратынскаго, А. Хомякова, Жуковскаго, Вяземскаго и А. А. Тургенева, но на 2-й же книжкѣ журналъ былъ запрещенъ за статью Кирѣевскаго «XIX столѣтіе».

Одинъ «Телескопъ» Надеждина просуществовалъ болѣе пяти лѣтъ, пока и его не сгубило письмо Чаадаева.

Чтобы познакомить читателя со всѣми оттѣнками взглядовъ и мнѣній шеллингистовъ, мнѣ придется сдѣлать нѣсколько выписокъ изъ наиболѣе выдающихся статей, появившихся въ различное время въ этихъ трехъ журналахъ.

Вотъ напримѣръ, что̀ высказываетъ между прочимъ Веневитиновъ въ своемъ вышеозначенномъ проэктѣ о созданіи журнала:

«Всякому человѣку, одаренному энтузіазмомъ, знакомому съ наслажденіями высокими, представлялся естественный вопросъ: для чего поселена въ немъ страсть къ познанію, и къ чему влечетъ его непреоборимое желаніе дѣйствовать? Къ самопознанію, отвѣчаетъ намъ книга природы. Самопознаніе — вотъ идея, одна только могущая одушевить вселенную; вотъ цѣль и вѣнецъ человѣка. Науки и искусства, вѣчные памятники усилій ума, единственные признаки его существованія, представляютъ не что иное, какъ развитіе сей начальной и слѣдственно неограниченной мысли. Художникъ одушевляетъ холстъ и мраморъ для того только, чтобъ осуществить свое чувство, чтобъ убѣдиться въ его силѣ; поэтъ искусственнымъ образомъ переноситъ себя въ борьбу съ природой, съ судьбой, чтобы въ семъ противорѣчіи испытать духъ свой и гордо провозгласить торжество ума.

«Исторія убѣждаетъ насъ, что сія цѣль человѣка есть цѣль всего человѣчества; а любомудріе ясно открываетъ въ ней законъ всей природы.

«Съ сей точки зрѣнія должны мы взирать на *каждый народъ, какъ на лицо отдѣльное, которое къ самопознанію направляетъ всѣ свои нравственныя усилія, ознаменованныя печатію особеннаго характера.* Развитіе сихъ усилій составляетъ просвѣщеніе; цѣль просвѣщенія или самопознанія народа есть та степень, на которой *онъ отдаетъ себѣ отчетъ въ своихъ дѣлахъ и опредѣляетъ сферу своего дѣйствія;* такъ напримѣръ, искусство древней Греціи, скажу болѣе, весь духъ ея отразился на твореніяхъ Платона и Аристотеля; такимъ образомъ новѣйшая философія въ Германіи есть зрѣлый плодъ того-же энтузіазма, который одушевлялъ истинныхъ ея поэтовъ, тогоже стремленія къ высокой цѣли, которое направляло полетъ Шиллера и Гёте.

«Съ сей мыслью обратимся къ Россіи и спросимъ: какими силами подвигается она къ цѣли просвѣщенія? Какой степени достигла она въ сравненіи съ другими народами на семъ поприщѣ, общемъ для всѣхъ? Вопросы, на которые едва-ли можно ожидать отвѣта, ибо безпечная толпа нашихъ литераторовъ, кажется, не подозрѣваетъ ихъ необходимости. *У всѣхъ народовъ самостоятельныхъ просвѣщеніе раз-*

вивалось изъ начала, такъ сказать, отечественнаго; ихъ произведенія, достигая даже нѣкоторой степени совершенства и *входя слѣдственно въ составъ всемірныхъ пріобрѣтеній ума, не теряли отличительнаго характера.* Россія все получила извнѣ; оттуда это чувство подражательности, которое самому таланту приноситъ въ дань не удивленіе, но раболѣпство; оттуда совершенное отсутствіе всякой свободы и инстинкта дѣятельности».

Выставляя такимъ образомъ фактъ отсутствія самостоятельности въ развитіи нашего общества, объясняя далѣе этимъ фактомъ ничтожество нашей литературы, Веневитиновъ въ заключеніе своего проэкта журнала высказываетъ нѣсколько мыслей о томъ, какъ помочь горю и поставить наше общество на самостоятельную почву. Онъ предлагаетъ для этого два средства: философію и древній классицизмъ.

«При семъ нравственномъ положеніи Россіи – говоритъ онъ – одно только средство представляется тому, кто пользу ея изберетъ цѣлью своихъ дѣйствій. Надобно-бы совершенно остановить и внѣшній ходъ ея словесности, и заставить ее болѣе думать, нежели производить. Нельзя скрыть отъ себя трудности такого предпріятія. Оно требуетъ тѣмъ болѣе твердости въ исполненіи, что отъ самой Россіи не должно ожидать никакого участія; но трудность можетъ-ли остановить сильное намѣреніе, основанное на правилахъ вѣрныхъ и устремленное къ истинѣ? *Для сей цѣли надлежало-бы нѣкоторымъ образомъ устранить Россію отъ нынѣшняго движенія другихъ народовъ*, закрыть отъ взоровъ ея всѣ маловажныя происшествія въ литературномъ мірѣ, безполезно развлекающія ея вниманіе, *и, опираясь на твердыя начала философіи, представить ей полную картину развитія ума человѣческаго, картину, въ которой-бы она видѣла свое собственное предназначеніе».* Къ этому предложенію ниже онъ прибавляетъ: «Не безполезно-бы было обратить особенное вниманіе Россіи на древній міръ и его произведенія. Мы слишкомъ близки, хотя повидимому, къ просвѣщенію новѣйшихъ народовъ, и слѣдственно не должны бояться отстать отъ новѣйшихъ открытій, если будемъ вникать въ причины, породившія современную намъ образованность, и перенесемся на нѣкоторое время въ эпохи, ей предшествовавшія. Сіе временное устраненіе отъ настоящаго произведетъ еще важнѣйшую пользу. Находясь въ мірѣ совершенно для насъ новомъ, котораго всѣ отношенія для насъ загадки, мы невольно принуждены будемъ дѣйствовать собственнымъ умомъ для разрѣшенія всѣхъ противорѣчій, которыя намъ въ ономъ представятся. Такимъ образомъ мы сами сдѣлаемся преимущественнымъ предметомъ нашихъ розысканій. Древняя практика или вообще духъ древняго искусства представляетъ намъ обильную жатву мыслей, безъ коихъ новѣйшее искусство теряетъ большую часть своей цѣны и не имѣетъ полнаго значенія въ отношеніи къ идеѣ о человѣкѣ.»

Такимъ образомъ вотъ уже когда впервые была высказана мысль о пресловутомъ «классическомъ образованіи». Она прошла сквозь все умственное движеніе послѣдующаго времени, пока наконецъ нашла свое осуществленіе въ наше время, когда давно уже пора ей быть сданной въ архивъ вмѣстѣ съ прочимъ хламомъ, завѣщаннымъ намъ отцами.

Если поборники классическаго образованія могутъ вести свое начало съ Веневитинова, зато приверженцы западничества во многихъ отношеніяхъ обязаны И. Кирѣевскому. Личность И. Кирѣевскаго замѣчательна въ томъ отношеніи, что отъ нея одинаково вправѣ вести свое начало какъ позднѣйшіе западники, такъ и славянофилы. Первое юношеское образованіе И. Кирѣевскій получилъ подъ вліяніемъ французской философіи XVIII вѣка и сдѣлался тѣмъ же поверхностнымъ скептикомъ, какими были всѣ предшествовавшія поколѣнія, увлекавшіяся энциклопедистами, безъ всякой основательной умственной подготовки.

Могъ-ли этотъ скептицизмъ долго удержаться въ незрѣломъ умѣ юноши, когда даже такой универсально-образованный умъ, какъ Одоевскаго, и тотъ искалъ успокоенія и примиренія съ дѣтскими вѣрованіями въ философіи Шеллинга?

Естественно, что съ одной стороны, подъ вліяніемъ предыдущаго направленія, съ другой — подъ впечатлѣніемъ того восторга, съ какимъ соединялись первые моменты увлеченія Шеллингомъ, Кирѣевскій всѣ свои надежды и упованія возлагалъ на западную цивилизацію, и какъ человѣкъ, одаренный страстной, глубокой натурой, неспособной останавливаться на полдорогѣ, а, напротивъ того, доходившій до послѣдней крайности во всѣхъ выводахъ, онъ сдѣлался ультразападникомъ, превзошедшимъ всѣхъ своихъ единомышленниковъ въ своемъ западничествѣ. Но мы говорили уже выше, что шеллингова философія не обусловливаетъ собой непремѣнно западническихъ воззрѣній: изъ ея основаній одинаково исходили какъ западники, такъ и славянофилы. Въ то-же время въ крайнихъ и послѣдовательныхъ выводахъ своихъ философія эта ведетъ къ самому туманному мистицизму, къ которому пришелъ, какъ извѣстно, въ своей послѣдующей дѣятельности самъ Шеллингъ. Когда всѣ литературныя стремленія Кирѣевскаго были радикально парализованы, — «Европеецъ» былъ запрещенъ за извѣстную статью Кирѣевскаго «XIX вѣкъ», — статью, въ сущности самаго невиннаго содержанія, но въ которой почему-то заподозрили революціонную пропаганду; альманахъ «Денница», Максимовича, въ которомъ Кирѣевскій написалъ статью о Новиковѣ, былъ схваченъ, и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ, — Кирѣевскій уѣхалъ въ деревню съ разстроенными финансами отъ неудачи «Европейца», съ глубокимъ унынiемъ на душѣ. И нѣтъ ничего удивительнаго, что 10 лѣтъ подавленной энергіи, разъѣдающей тоски и бездѣйствія сдѣлали изъ романтика съ задаткомъ мистицизма мистика въ полномъ смыслѣ этого слова. Кирѣевскому не нужно было для этого даже перемѣнять основныхъ убѣжденій, а нужно было только послѣдовательно развить до конца общія начала философіи Шеллинга, которой онъ былъ проникнутъ, и схимникъ новоспасскаго монастыря, старецъ Филаретъ, за которымъ Кирѣевскій ухаживалъ при его смерти и которому біографъ приписываетъ его обращеніе на путь мистицизма, былъ тутъ совершено не при чемъ. Безъ сомнѣнія, Кирѣевскій долженъ былъ уже заключать въ себѣ порядочную дозу мистицизма для того только, чтобы сойтись съ этимъ старцемъ. Естественно, что подъ вліяніемъ мистицизма онъ измѣнилъ свои взгляды на отношеніе западной цивилизаціи къ намъ: видя въ православіи альфу и омегу всякой философіи и цивилизаціи, въ немъ онъ началъ полагать самобытность Россіи, основаніе ея цивилизаціи и будущее вліяніе на ходъ общечеловѣческаго просвѣщенія. Но этимъ только и ограничилось

славянофильство Кирѣевскаго. Юношескій закалъ сказался и въ послѣднемъ видоизмѣненіи міросозерцанія Кирѣевскаго: въ мистицизмѣ онъ искалъ только выхода изъ скептицизма, который былъ невыносимъ для его натуры, находящейся на степени романтической чувствительности и созерцательности, но тѣ идеи свободы и гуманности, которыя онъ вынесъ изъ юности, не покинули его и въ послѣднемъ періодѣ его жизни, и онъ не сходился съ позднѣйшими славянофилами во многихъ отношеніяхъ. «Сердцемъ я больше связанъ съ вами,—сказалъ онъ однажды съ глубокой печалью Грановскому,—но не дѣлю многаго изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько-же расхожусь въ другомъ.» Самый мистицизмъ его имѣлъ совершенно особенный характеръ: это не былъ мрачный, нетерпимый мистицизмъ изувѣра-фанатика, или-же исполненный холодной жестокости подъ личиной милосердія и высокомѣрной гордости подъ видомъ смиренія—мистицизмъ іезуита, а, напротивъ того, мягкій и гуманный мистицизмъ романтика, исполненный художественной созерцательности. «Я разъ стоялъ въ часовнѣ,—разсказывалъ однажды Кирѣевскій,— смотрѣлъ на чудотворную икону Богоматери и думалъ о дѣтской вѣрѣ народа, молящагося ей; нѣсколько женщинъ, больные старики стояли на колѣняхъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядѣлъ я потомъ на святыя черты и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мнѣ уясняться.. Да, это не просто доска съ изображеніемъ...вѣка цѣлые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ; она должна была наполниться силой, струящейся изъ нея, отражающейся отъ нея на вѣрующихъ. Она сдѣлалась живымъ органомъ, мѣстомъ встрѣчи между Творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дѣтьми, поверженныхъ въ прахѣ, и на святую икону —тогда и самъ увидѣлъ черты Богородицы одушевленными; она съ милосердіемъ и любовью смотрѣла на этихъ простыхъ людей... и я палъ на колѣни и смиренно молился ей.»

Это разсказъ не суроваго мистика, а художника, представившаго вамъ цѣлую картину—взять бы да и нарисовать ее, и вышло бы изображеніе въ духѣ итальянской живописи XV вѣка.. Я нарочно привелъ этотъ разсказъ, потому что онъ какъ нельзя болѣе характеризуетъ то созерцательно-художественное отношеніе къ жизни, которое мы увидимъ у всѣхъ людей сороковыхъ годовъ и начало котораго мы встрѣчаемъ уже у шеллингистовъ тридцатыхъ годовъ.

Знаменитая статья Кирѣевскаго «XIX вѣкъ», подвергшаяся гоненіямъ свыше, представляетъ въ себѣ выраженную въ сжатыхъ, но рѣзкихъ чертахъ полную программу западничества и рядъ доводовъ въ защиту этой программы, которые впослѣдствіи всегда служили главными основаніями въ полемикѣ западниковъ съ славянофилами. Выставляя въ своей статьѣ, что Европа заимствовала свое образованіе изъ классическаго міра, проводникомъ котораго была тамъ сначала церковь, потомъ съ XV вѣка наука, и замѣчая, что у насъ этого ничего не было, что мы до сихъ поръ представляемъ почву совершенно нетронутую, Кирѣевскій прямо выводитъ изъ этого, что для оплодотворенія этой почвы мы должны заимствовать образованіе изъ ближайшаго источника, какъ это сдѣлала въ свое время Европа; этимъ источникомъ представляется естественно западная цивилизація, которая для насъ такая-же классическая, какая для Европы была образованность древнихъ народовъ.

«На чемъ же основываются тѣ, говоритъ между прочимъ Кирѣевскій,—которые обвиняютъ Петра, утверждая, будто онъ далъ ложное направленіе образованности нашей, заимствуя ее изъ просвѣщенной Европы, а не развивая изнутри нашего быта?

«Эти обвинители великаго создателя новой Россіи съ нѣкотораго времени распространились у насъ болѣе, чѣмъ когда-либо: и мы знаемъ, откуда почерпнули они свой образъ мыслей. Они говорятъ намъ о просвѣщеніи національномъ, самобытномъ; не велятъ заимствовать, бранятъ нововведенія и хотятъ возвратить насъ къ коренному и старинно-русскому. Но что-же? Если разсмотрѣть внимательно, то это самое стремленіе къ національности есть не что иное, какъ непонятое повтореніе мыслей чужихъ, мыслей европейскихъ, занятыхъ у французовъ, у нѣмцевъ. у англичанъ и необдуманно примѣняемыхъ къ Россіи. Дѣйствительно, лѣтъ десять тому назадъ стремленіе къ національности было господствующимъ въ самыхъ просвѣщенныхъ государствахъ Европы; всѣ обратились къ своему народному, къ своему особенному; но тамъ это стремленіе имѣло свой смыслъ: тамъ просвѣщеніе и національность одно, ибо первое развилось изъ послѣдней. Поэтому если нѣмцы искали чисто нѣмецкаго, то это не противорѣчило ихъ образованности; напротивъ, образованность ихъ такимъ образомъ доходила только до своего сознанія, получала болѣе самобытности, болѣе полноты и твердости. Но у насъ искать національнаго — значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ европейскихъ нововведеній—значитъ изгонять просвѣщеніе; ибо, не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы ее, если не изъ Европы? Развѣ самая образованность европейская не была послѣдствіемъ просвѣщенія древняго міра? Развѣ не представляетъ она теперь просвѣщенія общечеловѣческаго? Развѣ не въ такомъ-же отношеніи находится она къ Россіи, въ какомъ просвѣщеніе классическое находилось къ Европѣ?»

Наконецъ однимъ изъ самыхъ крупныхъ и рѣзкихъ выраженій тѣхъ-же самыхъ вопросовъ, которые волновали все поколѣніе разсматриваемаго нами періода, представляетъ знаменитое письмо Чаадаева, напечатанное въ «Телескопѣ» 1836 г. Письмо это произвело потрясающее впечатлѣніе на всѣхъ современниковъ.

Во всѣхъ кружкахъ и партіяхъ, людяхъ, высоко и низко стоящихъ, оно отозвалось ужасомъ и недоумѣніемъ. Всѣ читали и не вѣрили своимъ глазамъ. Роковые вопросы, глубоко у всѣхъ лежавшіе на душѣ, были высказаны человѣкомъ стараго закала такимъ рѣзкимъ, грознымъ, обвинительнымъ тономъ, о которомъ никто въ то время и помышлять не смѣлъ. «Телескопъ» былъ тотчасъ-же запрещенъ; Болдыревъ старикъ, ректоръ московскаго университета и цензоръ, былъ отставленъ; Надеждинъ, издатель, сосланъ въ Усть-Сысольскъ; съ Чаадаева взята подписка ничего не писать, и онъ объявленъ сумасшедшимъ.

Но при всемъ этомъ надо замѣтить, что, какъ ни сильно было впечатлѣніе, какое произвело письмо Чаадаева, нельзя сказать, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ оно

оказало какое-либо положительное вліяніе въ нашей литературѣ.

Дѣло въ томъ, что только въ отрицательныхъ идеяхъ Чаадаевъ сошелся со своими современниками. То самое, что́ высказывали въ то время всѣ шеллингисты, что́ мы видѣли и у Веневитинова, и у Кирѣевскаго, то-же самое вы найдете и у Чаадаева, только въ болѣе рѣзкой формѣ, доведенное до мрачнаго, безотраднаго отчаянья... Чаадаевъ замѣчаетъ, что въ то время, какъ у каждаго народа есть нѣчто осѣдлое, свое, родное, къ чему онъ привыкъ, чѣмъ онъ дорожитъ... мы-же, словно какое нибудь кочевое племя, живемъ настоящей минутой и вѣчно какъ будто куда-то все ѣдемъ и находимся въ дорогѣ, на станціи, на распутьи, готовые тотчасъ-же покинуть то мѣсто, на которомъ въ настоящую минуту находимся. Прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущаго для нея вовсе нѣтъ, и Россія—это пробѣлъ разумѣнія, грозный урокъ, данный народамъ — до чего отчужденіе и рабство могутъ довести. Что-же касается до положительной стороны письма, до разъясненія причинъ такого печальнаго состоянія Россіи и указанія выхода изъ него, то мнѣніе Чаадаева представляется единственнымъ, исключительнымъ и промелькнувшимъ почти безслѣдно въ нашей литературѣ. Дѣло въ томъ, что Чаадаева, подобно Ив. Кирѣевскому, философія Шеллинга привела къ мистицизму, но разница въ томъ, что Кирѣевскій самъ вывелъ для себя мистицизмъ изъ общихъ основаній системы и выработалъ свой самостоятельный мистицизмъ православія, между тѣмъ какъ Чаадаевъ, во время своего путешествія заграницей познакомясь лично съ Шеллингомъ, увлекся мистицизмомъ буквально въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онъ представлялся въ послѣдующемъ періодѣ дѣятельности Шеллинга, и дошелъ до апоѳеоза католичества, въ которомъ онъ началъ видѣть альфу и омегу цивилизаціи Европы. Съ этой точки зрѣнія главная причина отдѣленія Россіи отъ Европы и печальнаго ея положенія, по мнѣнію Чаадаева, заключается въ томъ что мы не принадлежимъ къ тому умственному и нравственному союзу католичества, который связываетъ всѣ европейскіе народы въ одну нераздѣльную семью. Если хотите, и у Кирѣевскаго мелькаетъ та-же мысль въ его статьѣ «XIX вѣкъ», когда онъ говоритъ о томъ вліяніи, какое оказала католическая церковь въ средніе вѣка на цивилизацію Европы, и замѣчаетъ при этомъ въ Россіи отсутствіе подобнаго-же вліянія; но Кирѣевскій ограничиваетъ это сравненіе средними вѣками; для настоящаго-же времени онъ предполагаетъ иные выходы,—мы выше видѣли какіе. Для Чаадаева-же естественно никакого выхода не представлялось: онъ не могъ не сознавать, что обращеніе въ католичество всего народа — дѣло невозможное да и позднее, и поэтому считалъ зло неисправимымъ. Онъ ничего и не предлагалъ въ своемъ письмѣ, а только выставлялъ факты безвыходности съ своей точки зрѣнія.

VI.

Отношеніе шеллингистовъ къ литературѣ. — Новые критическіе взгляды на Пушкина (статьи Веневитинова и Кирѣевскаго).—Личность Надеждина.—Взаимное нерасположеніе между нимъ и Бѣлинскимъ.—Его участіе въ «Вѣстникѣ Европы». - Литературная безтактность Надеждина. - «Телескопъ».—Его пропаганда эстетическаго образованія и политическая безхарактерность. - Общій обзоръ движенія мысли въ половинѣ тридцатыхъ годовъ.—Всеобщая реакція.—Борьба ея съ московскимъ движеніемъ. - Славянофилы и характеръ ихъ пропаганды.—Печальное состояніе петербургской литературы.—«Библіотека для чтенія». - Тѣсная связь взглядовъ Сенковскаго со взглядами, господствовавшими въ петербургскихъ кружкахъ.— Реформы, произведенныя «Библіотекой для чтенія» въ литературѣ, и полемика Бѣлинскаго съ Шевыревымъ по поводу этихъ реформъ.

Рядомъ съ общими вопросами о судьбѣ Россіи шеллингисты не меньшее вниманіе обращали и на болѣе частные вопросы о характерѣ и развитіи современной имъ литературы въ Россіи. Исходя изъ философской системы, которая въ поэтическомъ творчествѣ видѣла по отношенію къ поэту воплощеніе міровыхъ идей въ пластическихъ, осязательныхъ формахъ, а по отношенію къ народу — таинственный, божественный актъ народнаго самосознанія, шеллингисты не могли не обратить вниманія на бѣдность и пустоту нашей литературы, которая съ одной стороны страдала отсутствіемъ всякихъ болѣе или менѣе глубокихъ идей, съ другой, не заключая въ себѣ никакой самобытности, была рабскимъ сколкомъ западныхъ литературъ. Вмѣстѣ съ этимъ шеллингисты видѣли, что хотя наша литература избавилась отъ ложно-классическихъ оковъ, но это не сдѣлало ее нисколько серьезнѣе и глубже; напротивъ того, она окончательно разнуздалась. На основаніи того новаго понятія, что поэтъ долженъ летать по волѣ своей фантазіи, писать сдѣлалось чрезвычайно легко, обществомъ овладѣла положительная стихоманія, и литература наполнилась лирическими поэмами въ романтическомъ духѣ, въ которыхъ поэты изливались въ своихъ чувствахъ на сотнѣ страницахъ и выводили необузданныхъ героевъ съ дикими страстями, кинжалами, ядами и всевозможными злодѣйствами. Въ тоже время критика еще болѣе раздувала эту горячку своимъ рабскимъ отношеніемъ къ современнымъ знаменитостямъ. Хотя она отучилась уже считать Пиндарами и Гомерами писателей предшествующаго періода нашей литературы, но свое безпристрастіе простирала только на писателей ложно-классической школы. Что-же касается писателей-романтиковъ, то она не переставала держаться относительно ихъ хвалебнаго тона и ограничивала свои отзывы о нихъ сравненіемъ ихъ съ различными европейскими знаменитостями. Такъ напримѣръ, Пушкина она ставила на одномъ ряду съ Байрономъ, и произведенія его сравнивала съ различными поэмами послѣдняго; въ Онѣгинѣ видѣла русскаго то Чайльдъ-Гарольда, то Донъ-Жуана и пр.

Шеллингисты первые вооружились противъ наводненія литературы стихами.

«Мы отбросили французскія правила—говоритъ Веневитиновъ въ статьѣ «Мысли объ изд. журн.»—не отъ того, чтобы мы могли ихъ опровергнуть какой-либо положительной системой, но потому только, что не могли примѣнить ихъ къ нѣкоторымъ произведеніямъ новѣйшихъ писателей, которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ правила невѣрныя замѣнились у насъ отсутствіемъ всякихъ правилъ. Однимъ изъ пагубныхъ послѣдствій сего недостатка нравственной дѣятельности была всеобщая страсть выражаться въ стихахъ. Многочисленность стихотворцевъ во всякомъ народѣ есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія; самыя типическія эпохи исторіи всегда представляютъ намъ самое малое число поэтовъ. Не трудно, кажется, объяснить причину сего явленія естественными законами ума; надобно только вникнуть въ начало всѣхъ искусствъ. Первое чувство никогда не творитъ и не можетъ творить, потому что оно всегда представляетъ согласіе. Чувство только порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ и тогда, уже снова обратившись въ чувство, является въ произведеніи. И потому истинные поэты всѣхъ народовъ, всѣхъ вѣковъ были глубокими мыслителями, были философами и, такъ сказать, вѣнцомъ просвѣщенія. У насъ языкъ поэзіи превращается въ механизмъ; онъ дѣлается орудіемъ безсилія, которое не можетъ себѣ дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается опредѣлительнаго языка разсудка. Скажу болѣе: у насъ чувство нѣкоторымъ образомъ освобождаетъ отъ обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетнаго наслажденія, отвлекаетъ отъ высокой цѣли совершенствованія.»

Въ то-же время шеллингисты возстали и противъ критики, слишкомъ пристрастной къ нашей литературѣ и ставившей ее наравнѣ съ европейской. Еще до возникновенія «Московскаго Вѣстника» Веневитиновъ, въ 1824 г., въ «Сынѣ Отечества» осмѣялъ Полевого, когда тотъ, при появленіи первой главы «Евгенія Онѣгина», сейчасъ-же сравнилъ Пушкина съ Байрономъ, въ Евгеніи Онѣгинѣ увидѣлъ типъ вродѣ Донъ-Жуана, въ общемъ-же характерѣ романа ему пригрезилось почему-то соотвѣтствіе тому, что въ музыкѣ называется capriccio.

«Кто отказываетъ Пушкину въ истинномъ талантѣ,—говоритъ между прочимъ Веневитиновъ,—кто не восхищался его стихами? Кто не сознается, что онъ подарилъ нашу словесность прелестными произведеніями? Но для чего-же сравнивать его съ Байрономъ,—съ поэтомъ, который, духомъ принадлежа не одной Англіи, а нашему времени, въ пламенной душѣ своей сосредоточилъ стремленіе цѣлаго вѣка, и еслибъ могъ изгладиться въ исторіи частнаго рода поэзіи, то вѣчно остался-бы въ лѣтописяхъ ума человѣческаго?

«Всѣ произведенія Байрона носятъ отпечатокъ одной глубокой мысли,—мысли о человѣкѣ, въ отношеніи къ окружающей его природѣ, въ борьбѣ съ самимъ собою, съ предразсудками, врѣзавшимися въ его сердце, въ противорѣчіи съ своими чувствами. Говорятъ: въ его поэмахъ мало дѣйствія. Правда, его цѣль не разсказъ; характеръ его героевъ не связь описаній; онъ описываетъ предметы не для предметовъ самихъ, не для того, чтобы представить рядъ картинъ, но съ намѣреніемъ выразить впечатлѣнія ихъ на лицо, выставленное имъ на сцену. Мысль истинно поэтическая, творческая.

«Теперь, г. издатель «Телеграфа», повторяю вамъ вопросъ: что такое Онѣгинъ? Онъ вамъ знакомъ, вы его любите. Такъ! но этотъ герой поэмы Пушкина, по собственнымъ словамъ вашимъ, «шалунъ съ умомъ, вѣтренникъ съ сердцемъ», и ничего болѣе. Я сужу такъ-же, какъ вы, т. е. по одной первой главѣ; мы можетъ быть оба ошибаемся, и оправдаемъ осторожность опытнаго критика, который, опасаясь попасть въ «кривотолки», не захотѣлъ произнесть преждевременно своего сужденія.

«Теперь позвольте спросить: что вы называете «новыми пріобрѣтеніями Байроновъ и Пушкиныхъ?» Байрономъ гордится новая поэзія, и я въ нѣсколькихъ строчкахъ уже старался замѣтить вамъ, что характеръ его произведеній истинно новый. Не будемъ оспаривать у него славы изобрѣтателя. Пѣвецъ «Руслана и Людмилы», «Кавказскаго плѣнника» и проч. имѣетъ неоспоримыя права на благодарность своихъ соотечественниковъ, обогативъ русскую словесность красотами, доселѣ ей неизвѣстными, но признаюсь вамъ и самому нашему поэту, что я не вижу въ его твореніяхъ пріобрѣтеній, подобныхъ Байроновымъ, «дѣлающихъ честь вѣку». Лира Альбіона познакомила насъ со звуками, для насъ совсѣмъ новыми. Конечно въ вѣкъ Людовика XIV никто бы не написалъ и поэмъ Пушкина; но это доказываетъ не то, что онъ подвинулъ вѣкъ, но то, что онъ отъ него не отсталъ. Многіе критики, говоритъ Полевой, увѣряютъ, что «Кавказскій плѣнникъ», «Бахчисарайскій фонтанъ» взяты изъ Байрона. Мы не утверждаемъ такъ опредѣлительно, чтобы нашъ стихотворецъ заимствовалъ изъ Байрона планы поэмъ, характеры лицъ, описанія; но скажемъ только, что Байронъ оставляетъ въ его сердцѣ глубокія впечатлѣнія, которыя отражаются во всѣхъ его твореніяхъ. Я говорю смѣло о Пушкинѣ, потому что онъ стоитъ между нашими стихотворцами на такой степени, гдѣ правда уже не колетъ глазъ.»

Совершенно такія-же мысли, только высказанныя болѣе ясно и опредѣленно, мы встрѣчаемъ въ статьѣ Кирѣевскаго «Нѣчто о поэзіи Пушкина» («Московскія Вѣдомости» 1828 г.):

«Время Чайльдъ-Гарольдовъ, слава Богу, еще не настало для нашего отечества, — говоритъ между прочимъ Кирѣевскій; молодая Россія не участвовала въ жизни западныхъ государствъ, и народъ, какъ человѣкъ, не старѣется чужими опытами. Блестящее поприще открыто еще для русской дѣятельности; всѣ роды искусствъ, всѣ отрасли познаній еще остаются неусвоенными нашему отечеству; намъ дано еще надѣяться,—что-же дѣлать у насъ разочарованному Чайльдъ-Гарольду?

«Посмотримъ, какія качества сохранилъ и утратилъ цвѣтъ Британіи, бывъ пересаженъ на русскую почву.

«Любимая мечта британскаго поэта есть существо необыкновенное, высокое. Не бѣдность, но преизбытокъ внутреннихъ силъ дѣлаетъ его холоднымъ къ окружающему міру. Безсмертная мысль живетъ въ его сердцѣ, и день, и ночь поглощаетъ въ себѣ все бытіе его и отравляетъ всѣ наслажденія. Но въ какомъ бы видѣ она ни являлась: какъ гордое презрѣніе къ человѣчеству, или какъ мучительное раскаяніе, или какъ мрачная безнадежность, или какъ неумолимая жажда забвенія, эта мысль всеобъемлющая, вѣчная—что она, если не невольное стремленіе къ лучшему, тоска по недосягаемомъ совершенствѣ? Нѣтъ ничего общаго между Чайльдъ-Гарольдомъ и толпой людей обыкновенныхъ: его страданія, его мечты, его наслажденія непонятны для другихъ; только высокія горы да голые утесы говорятъ ему отвѣтныя тайны, ему одному слышныя. Но потому именно, что онъ отличенъ отъ обыкновенныхъ людей, можетъ онъ отражать въ себѣ духъ своего времени и служитъ границей съ будущимъ, потому что *только разногласіе связуетъ различныя созвучія* *).

«Напротивъ того, Онѣгинъ есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Онъ также рав-

*) Курсивъ въ подлинникѣ.

нодушенъ ко всему окружающему; но не ожесточеніе, а неспособность любить сдѣлали его холоднымъ. Его молодость также прошла въ вихрѣ забавъ и разсѣянія; но онъ не завлеченъ былъ кипѣніемъ страстной неопытной души, но на паркетѣ провелъ пустую, холодную жизнь франта. Онъ также бросилъ свѣтъ и людей; но не для того, чтобы въ уединеніи найти просторъ взволнованнымъ думамъ, но для того, что ему было равно скучно вездѣ,

...Что онъ равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

«Онъ не живетъ вокругъ себя жизнью особенной, отмѣнной отъ жизни другихъ людей, и презираетъ человѣчество потому только, что не умѣетъ уважать его. Нѣтъ ничего обыкновеннѣй такого рода людей, а всего меньше поэзіи въ такомъ характерѣ.

«Вотъ Чайльдъ-Гарольдъ въ нашемъ отечествѣ, и честь поэту, что онъ представилъ намъ не настоящаго: потому что, какъ мы уже сказали, его время еще не пришло для Россіи, и дай Богъ чтобы никогда не приходило.»

Съ того-же 1828 года началъ печататься въ «Вѣстникѣ Европы» и рядъ статей Надеждина подъ псевдонимомъ Надоумки.

Но статьи эти надо рѣзко отличать отъ статей о томъ-же предметѣ Веневитинова и Кирѣевскаго, и вообще отношеніе Надеждина къ литературѣ носитъ совершенно иной характеръ, чѣмъ у прочихъ писателей его школы.

Личность Надеждина чрезвычайно двусмысленно и неопредѣленно рисуется въ нашей литературѣ. Самый первый шагъ его на литературное поприще невольно озадачиваетъ васъ. Почему Надеждинъ, увлекшійся философіей Шеллинга, не примкнулъ сразу къ кружку прочихъ шеллингистовъ, какъ товарищъ его Павловъ, и не печаталъ своихъ статей исключительно въ «Московскомъ Вѣстникѣ»,—журналѣ, которому онъ повидимому болѣе, чѣмъ всѣмъ другимъ, долженъ былъ сочувствовать, какъ шеллингистъ? Нѣтъ, онъ сталъ особнякомъ, въ сторонѣ, и пошелъ вдругъ въ «Вѣстникъ Европы», который былъ сосредоточіемъ всевозможной ветхости и гнили въ то время. Какъ человѣкъ талантливый и обладающій большой ученостью, онъ не могъ не обратить вниманія публики на свои статьи. Онѣ произвели большое впечатлѣніе, и вліяніе ихъ было такъ сильно, что отразилось всюду. Даже заклятые враги его, каковъ былъ Полевой, подчинились этому вліянію и начали повторять многія высказанныя имъ мысли. Но при всемъ этомъ вліяніи съ появленія его статей и до самой смерти его вы не встрѣтите о немъ ни одного отзыва, вполнѣ благосклоннаго. И не одни только враги отзывались о немъ такъ: даже послѣдователи и ученики его, тѣ, которыхъ воспиталъ онъ въ своей замѣчательной профессорской дѣятельности (а воспиталъ онъ цѣлое поколѣніе), и тѣ повидимому не питали къ нему большого уваженія, какъ къ писателю. По крайней мѣрѣ лучшій представитель этихъ учениковъ, да и притомъ такой, котораго онъ-же, Надеждинъ, вывелъ на свѣтъ въ своей «Молвѣ», которому подъ конецъ повѣрилъ въ полное распоряженіе свой «Телескопъ», однимъ словомъ, Бѣлинскій, помѣстилъ о немъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1841 г. отзывъ такого содержанія:

«Г. Надеждинъ началъ свое литературное поприще въ «Вѣстникѣ Европы», и началъ борьбой противъ романтизма. Въ первыхъ статьяхъ онъ явился псевдонимомъ Надоумкою; но когда были напечатаны отрывки изъ его диссертаціи, писанной для полученія степени доктора, всѣ узнали, что Надоумка и г. Надеждинъ — одно лицо. Статьи Надоумки отличались особенной журнальной формой, оригинальностью, но еще чаще странностью языка, бойкостью и рѣзкостью сужденій. Какъ въ нихъ, такъ и въ диссертаціи, можно было замѣтить, что противникъ романтизма понималъ романтизмъ лучше его защитниковъ и *былъ не совсѣмъ искреннимъ* врагомъ романтизма. Г. Надеждинъ первый сказалъ и развилъ истину, что поэзія нашего времени не должна быть ни классической (потому что мы не греки и не римляне), ни романтической (потому что мы не паладины среднихъ вѣковъ); но что въ поэзіи нашего времени должны примириться обѣ стороны и произвести новую поэзію. Мысль справедливая и глубокая; г. Надеждинъ даже хорошо и развилъ ее. Но тѣмъ не менѣе она немногихъ убѣдила и не вошла въ общее сознаніе. Много причинъ было этому, а главная изъ нихъ: *какая-то неискренность и непрямота въ доказательствахъ, свойственная докторанту, а не доктору,* и явное противорѣчіе между воззрѣніями г. Надеждина и ихъ приложеніемъ. Г. Надеждинъ, понимая, что классическое искусство было только у грековъ и римлянъ, называлъ французскую поэзію псевдоклассической, неестественной и надутой, въ то-же время съ благоговѣніемъ произносилъ имена Корнеля, Расина и Мольера и смѣло цитировалъ риторическіе стихи Ломоносова, Петрова, Державина и Мерзлякова, увѣряя, что въ нихъ-то и заключается всяческая поэзія Далѣе, очень хорошо понимая, что Шекспиръ, Байронъ, Гёте, Шиллеръ, Пушкинъ совсѣмъ не романтики, но представители новѣйшей поэзіи, онъ съ ожесточеніемъ глумился надъ ними, какъ надъ неистовыми романтиками, и смѣшивалъ ихъ съ героями юной французской литературы. *Это противорѣчіе едва-ли не было умышленно, во уваженіе невѣрныхъ отношеній докторанта, желающаго быть докторомъ, и потому, по мѣрѣ возможности, не желающаго противорѣчить закоренѣлымъ предубѣжденіямъ докторовъ.* По этой уважительной причинѣ г. Надеждинъ вооружился противъ Пушкина всѣми аргументами своей учености, всѣмъ остроуміемъ своихъ «надоумочныхъ» или, какъ говорили тогда его противники,—«недоумочныхъ»статей. Время и мѣсто не позволяютъ намъ распространяться о его подвигахъ въ ратованіи противъ Пушкина, ибо это длинная и притомъ забавная и занимательная исторія, которую мы предоставляемъ себѣ разсказать въ другое время, какъ скоро представится удобный случай. Теперь-же скажемъ только, что, *сдѣлавшись докторомъ и получивъ каѳедру, г. Надеждинъ сдѣлался журналистомъ и совершенно измѣнилъ свои литературные взгляды и даже орѳографію;* вмѣсто «эсѳетическій» и энѳузіазмъ», сталъ писать «эстетическій» и «энтузіазмъ»; разбирая «Бориса Годунова», заговорилъ о Пушкинѣ ужъ другимъ тономъ, хотя и осторожно, чтобы не слишкомъ рѣзко противорѣчить своимъ «надоумочнымъ» и «эсѳетическимъ» статьямъ. Во всякомъ случаѣ г. Надеждинъ—примѣчательное лицо въ нашей литературѣ и заслуживаетъ подробной и основательной оцѣнки, которую мы и предоставляемъ себѣ сдѣлать при случаѣ.»

Но и учитель съ своей стороны не чувствовалъ большого расположенія къ своему ученику, и нерасположеніе это было повидимому очень сильно, если заставило Надеждина, за неимѣніемъ какихъ-либо основательныхъ обвиненій противъ Бѣлинскаго, прибѣгать къ той мелочной лжи и клеветѣ, къ которой

въ настоящее время такъ часто прибѣгаютъ различные утонченные и щепетильные эстетики въ своихъ отзывахъ о томъ или другомъ молодомъ человѣкѣ.

«До моего знакомства съ Бѣлинскимъ—говоритъ И. Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ»—я все разспрашивалъ о немъ у Надеждина, который больной лежалъ тогда (въ 1838 г. *) въ гостинницѣ Демута, только-что вернувшись изъ Усть-Сысольска).

«Надеждинъ, который былъ вообще словоохотливъ, какъ будто избѣгалъ почему-то всякій разъ разговора о Бѣлинскомъ. Когда я разъ спросилъ о его образѣ жизни, о его привычкахъ, Надеждинъ засмѣялся во весь ротъ, обнаруживъ, по обыкновенію, свои десны, и сказалъ:

— Малый онъ съ талантомъ, съ убѣжденіемъ, но въ жизни ужаснѣйшій циникъ. Когда онъ работалъ у меня въ «Телескопѣ», я нанялъ ему небольшую, но миленькую и чистенькую квартиру съ мебелью, еще съ цвѣтами на окнахъ! Онъ не прожилъ въ ней и недѣли — не могъ — и переселился куда-то на Трубу, въ непроходимую грязь...

«Когда я сошелся съ Бѣлинскимъ, я однажды спросилъ его:

— Что, вы всегда были такой охотникъ до чистоты, какъ теперь?

— Что это за вопросъ?—перебилъ Бѣлинскій.

«Я ему передалъ слова Надеждина. Бѣлинскій расхохотался.

— Неужели онъ вамъ говорилъ?—вскрикнулъ онъ, весь вспыхнувъ.—Я клянусь вамъ, что ни о какой подобной квартирѣ я отъ роду не слыхивалъ—еще съ цвѣтами! хорошъ господинъ! Вы теперь меня видите и знаете: ну, похожъ-ли я на циника?»

Чтобы понять всѣ противорѣчія, какія мы встрѣчаемъ въ личности Надеждина, надо взять во вниманіе, что въ этомъ человѣкѣ постоянно боролись три элемента, изъ которыхъ каждый тянулъ его въ свою сторону: въ одно и то-же время онъ вмѣщалъ въ себѣ высокомѣріе ученаго педанта, карьеризмъ чиновника съ живыми интересами мыслящаго человѣка. Молодость свою провелъ онъ вдали отъ свѣта, въ стѣнахъ московской духовной академіи, погруженный въ сухую, тощую схоластику, отъ вліянія которой не могло избавить Надеждина вполнѣ даже увлеченіе философіей Шеллинга. Съ высоты своей учености онъ привыкъ смотрѣть на нашу литературу презрительно. Но если съ одной стороны онъ былъ правъ, потому что дѣйствительно литература наша была жалка и бѣдна сравнительно съ литературами западной Европы, зато съ другой стороны величайшее несчастіе его было то, что онъ не испыталъ на самомъ себѣ той хотя малой доли благотворнаго вліянія, какое производила на его современниковъ эта литература, какъ бы она ни была жалка и бѣдна. Какъ ни жидокъ былъ романтизмъ эпохи Пушкина и Полевого, но люди, увлекавшіеся имъ искренно и горячо, пріобрѣтали по крайней мѣрѣ чувство независимости, которое ставило ихъ въ оппозицію противъ нравственныхъ требованій существующаго порядка, пока они не измѣняли этому чувству. Надеждинъ въ своей ученой отчужденности отъ живого движенія общества остался чуждъ этого вліянія—ученый-же педантизмъ не могъ избавить его отъ того, если можно такъ выразиться, мандаринства, которымъ были проникнуты въ обществѣ всѣ, находившіеся внѣ сферы романтизма. Стремясь составить ученую карьеру, онъ конечно терся болѣе всего въ кружкѣ людей, которые были ему для этого нужны, представителемъ мнѣній которыхъ былъ Каченовскій съ своимъ «Вѣстникомъ Европы». Въ кружкѣ этихъ людей Надеждинъ привыкъ слышать ожесточенные нападки на романтизмъ за его безнравственность, растлѣніе молодого поколѣнія, ведущее къ ниспроверженію всякихъ общественныхъ и семейныхъ порядковъ, и пр. Мы далеки отъ предположенія, что Надеждинъ сознательно подлаживался подъ эти мнѣнія съ низкой цѣлью угодить людямъ, отъ которыхъ зависѣла его ученая карьера. Онъ могъ заразиться этими мнѣніями невольно, тѣмъ болѣе, что при своемъ гелертерствѣ, соединенномъ съ презрѣніемъ къ литературѣ, онъ могъ видѣть, и дѣйствительно видѣлъ, какъ онъ самъ объ этомъ говоритъ въ своей автобіографіи, въ ученыхъ, окружавшихъ его, представителей образованности Россіи. Но въ то же время Надеждинъ былъ слишкомъ живой человѣкъ, чтобы закупориться окончательно въ науку, отрѣшившись отъ всего, что дѣлалось вокругъ него. Философія Шеллинга натолкнула и его на тѣ же мысли, которыя она возбудила въ Веневитиновѣ, Кирѣевскомъ, но эти мысли соединились у Надеждина съ воззрѣніями Каченовскаго, и онъ выступилъ въ «Вѣстникѣ Европы» на защиту тенденцій этого журнала методомъ шеллинговой философіи. Этимъ и объясняется громадная разница статей Надеждина въ «Вѣстникѣ Европы» отъ статей Веневитинова и Кирѣевскаго въ «Московскомъ Вѣстникѣ» и «Европейцѣ». У обоихъ этихъ писателей, если вы не видите какихъ-либо опредѣленныхъ и сознательныхъ политическихъ убѣжденій, во всякомъ случаѣ замѣчаете въ нихъ сочувствіе и уваженіе ко всему тому, что носило въ себѣ хотя бы блѣдную тѣнь нравственной независимости. Они нападали на бѣдность нашей литературы и смѣялись надъ сравненіемъ русскихъ писателей съ иностранными, находя, что современная имъ литература производитъ на общество меньшее вліяніе, чѣмъ бы они желали. Но при этомъ имъ и въ голову не приходило, чтобъ это малое вліяніе было вредное, развращающее, вело къ ниспроверженію общественнаго порядка и пр.. Напротивъ, они дорожили и тѣмъ вліяніемъ, какое было въ наличности, и съ горячимъ сочувствіемъ относились къ писателямъ, любимымъ публикой. Веневитиновъ напалъ на Полевого, какъ мы видѣли выше, раньше Надеждина; но въ своей полемикѣ онъ держался въ строгихъ литературныхъ границахъ; онъ нападалъ на Полевого, какъ на плохого критика, но вмѣстѣ съ тѣмъ съумѣлъ оцѣнить въ немъ независимаго человѣка, и, когда основался «Московскій Вѣстникъ», онъ въ письмѣ изъ Петербурга убѣждалъ редакцію этого журнала быть осторожнѣе въ полемикѣ съ Полевымъ въ уваженіе къ особеннымъ достоинствамъ его журнала.

Совершенно обратное отношеніе мы видимъ въ статьяхъ Надеждина. Сквозь нападки на современныхъ писателей съ точки зрѣнія шеллингиста вы повсюду встрѣчаете строки, которыя были подстать скорѣе писателю полицействующему, каковы были

*) Слѣдовательно, еще до появленія нелестнаго отзыва Бѣлинскаго о Надеждинѣ.

въ то время Гречъ и Булгаринъ, чѣмъ писателю, мало-мальски мыслящему. Стоитъ сдѣлать двѣ-три выписки изъ первой статьи Надеждина «Литературныя опасенія» («В. Европы», № 22, 1828 г.), произведшей самое сильное впечатлѣніе, чтобы познакомиться съ тономъ и духомъ тенденцій Надеждина. Вы посмотрите напримѣръ, какіе прозрачные намеки на анархію и ниспроверженіе общественнаго порядка вы встрѣчаете въ отзывѣ Надеждина о «Евгеніи Онѣгинѣ» Пушкина.

«Par exemple!—продолжалъ неумолкающій Тлѣнскій [1]), прихлебнувши изъ чашки: — ты конечно читалъ новую поэму Залетина: «Евгеній Четверинскій»?

Я (зажигая лоскутокъ бумажки для раскуренія трубки).—Признаюсь, Богъ еще миловалъ!.. Меня и такъ уже тошнило съ этихъ *Евгеніевъ* [2]), которыхъ по справедливости надлежало бы назвать кокогеніями или выродками добраго вкуса! Вотъ и этотъ лоскуточикъ принадлежалъ, кажется, одному изъ нихъ.

Тлѣн. Вандалъ! такова-то всегда участь великихъ геніевъ: истинную цѣну узнаетъ только потомство! Но—выслушай однако меня!.. Новая поэма, которая, между нами будь сказано, есть Спріусъ литературнаго нашего міра!—овеществляетъ подъ образомъ пылкаго юноши, пресыщеннаго на зарѣ жизни бытіемъ своимъ и попавшагося въ душные Нерчинскіе рудники за произведенное имъ въ пылу безнадежнаго отчаянья смертоубійство и зажигательство (sic),—она, повторяю тебѣ, овеществляетъ высокую идею объ исполинскихъ силахъ души человѣческой, рано стряхнувшей съ себя оковы прозаической общественной жизни И сія гигантская мысль какъ мастерски исполнена. Доселѣ вышло только *три* [3]) главы поэмы: по *льва по когтю* [4]) узнать можно. Какая роскошь въ описаніяхъ! Какое богатство картинъ! Какая вѣрность въ обнаженіи сокровеннѣйшихъ изгибовъ сердца человѣческаго!.. Я пришлю тебѣ завтра мой экземпляръ съ портретомъ автора и почеркомъ руки его. Побереги только дорогой переплетъ..

Я. O tempora! o mores!

Тлѣн.. О темпоресъ! о морусъ!.. Здѣсь не у мѣста твои греческія цитаціи. Совѣтую тебѣ прочесть новую поэму со вниманіемъ и безъ предубѣжденій: ты увидишь тогда самъ, какъ несправедливы и неосновательны твои восклицанія.

Я. Нечего читать, любезный! видно сову по полету и ворону по перьямъ. О бѣдная, бѣдная наша поэзія! долго-ли будетъ ей скитаться по нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбойническимъ вертепамъ?.. Неужели къ области ея исключительно принадлежатъ одни мрачныя сцены распутства, ожесточенія, злодѣйства?.. Что за рѣзкая антипатія ко всему доброму, свѣтлому, мелодическому—радующему и возвышающему душу?.. Не такъ думалъ великій Горацій, законодатель и исполнитель творческаго искусства:

Musa dedit fidibus Divos, puerosque Deorum
Et pugilem victorem, et equum certamine primum,
Et juvenum curas, et libera vina referre [5])

Вотъ предметы поэзіи! Великіе подвиги и невинныя наслажденія человѣчества!

Süsser Wohllaut schläft in der Saiten Gold:
Der Sänger singt von der Minne Sold,
Er preiset das Höchste, das Beste,
Was das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt [1]).

Такъ мыслилъ и воспѣвалъ безсмертный Шиллеръ!—Безъ сомнѣнія, буйная игра страстей, какъ *изгращенное* [2]) отраженіе величія человѣческаго, и каррикатурные гротески смѣшныхъ слабостей и заблужденій, какъ *изнанка* [2]) вещественной нашей жизни, могутъ и должны составлять предметъ творческой дѣятельности генія; но подъ какой точкой зрѣнія? Въ идеальномъ свѣтѣ состраданія о несообразности ихъ съ нашимъ достоинствомъ и назначеніемъ! Это-то собственно означаетъ ту эстетическую *полировку ощущеній* [3]) (καθάρσις φόβου καὶ ἐλέου), которую нѣкогда Аристотель поставлялъ въ необходимый законъ ужасающей трагедіи. А нынѣ? Нынѣ поэзія съ какимъ-то непзъяснимымъ удовольствіемъ бродитъ по вертепамъ злодѣяній, омрачающихъ природу человѣческую; съ какой-то безстыдной наглостью срываетъ покровъ съ ея слабостей и заблужденій, и любуется изведенной на позоръ срамотой наилучшаго созданія Божія...» Къ этому ниже онъ прибавляетъ: «нынѣ совсѣмъ не то.... Наши пѣвцы воздыхаютъ тоскливо о блаженномъ состояніи первобытной дикости и услаждаются живописаніемъ бурныхъ порывовъ неистовства, *покушающагося ниспровергнуть до основанія священный оплотъ общественнаго порядка и благоустройства*.»

Не забудьте, что эти строки написаны въ 1828 г.—въ то время, когда воспоминанія 1825 года были еще самыя свѣжія, когда Пушкинъ былъ только-что возвращенъ изъ ссылки, когда каждый русскій журналъ висѣлъ на волоскѣ... Къ довершенію курьеза, въ одной изъ своихъ статей Надеждинъ обзываетъ всѣхъ представителей романтизма, Пушкина, Полевого и пр., «сонмищемъ нигилистовъ», предвосхищая такимъ образомъ пальму первенства у Тургенева въ изобрѣтеніи этого термина для означенія имъ всего выходящаго изъ границъ, безпорядочнаго, взбалмошнаго, анархическаго. Однимъ словомъ, читая статьи Надеждина, вы словно переноситесь изъ двадцатыхъ годовъ въ наше время, съ той только разницей, что писателей, запрещающихся въ наше время въ училищахъ и считающихся нигилистами, въ то время еще не существовало, а считались нигилистами и запрещались въ училищахъ поэты вродѣ Пушкина, Дельвига, Баратынскаго, на которыхъ современные педагоги смотрятъ, какъ на столпы благонамѣренности. Но отсутствіе всякаго литературнаго такта и прили-

---

[1]) Статья Надеждина написана въ видѣ разговора автора съ Тлѣнскимъ, въ которомъ Надеждинъ изображаетъ приверженца романтической школы.

[2]) [3]) [4]) Курсивъ въ подлинникѣ.

[5]) Для Тлѣнскаго, какъ первокласснаго поэта, я безбоязненно цитовалъ мѣста изъ Гораціевой «Artis Poeticae», которая, по моему мнѣнію, должна быть, если не кораномъ, то по крайней мѣрѣ *Ручной катехитической книжкой* для всѣхъ, нарекающихся поэтами. Не знающимъ латинскаго языка можно рекомендовать прекрасный переводъ *А. Ѳ. Мерзлякова*. Тамъ упомянутые стихи переведены слѣдующимъ образомъ:

Фебъ лирѣ далъ въ удѣлъ безсмертныхъ прославленье
Ихъ чадъ божественныхъ, героевъ награжденье,
Труды и честь бойцевъ, и юности златой
Любезны суеты и Вакха даръ благой!
Прим. Надеждина.

[1]) По переводу Жуковскаго:

Въ струнахъ золотыхъ вдохновенье живетъ!
Пѣвецъ о любви благодатной поетъ,
О всемъ, что святаго есть въ лирѣ,
Что душу волнуетъ, что сердце живитъ.
Прим. Надеждина.

[2]) [3]) [4]) Курсивъ въ подлинникѣ

чій со стороны Надеждина не ограничивалось одними только опасеніями относительно неспроверженія разныхъ священныхъ оплотовъ, а простерлось до того, что онъ дозволилъ подъ одной изъ своихъ статей помѣстить примѣчаніе Каченовскаго совсѣмъ ужъ не литературнаго свойства. Дѣло въ томъ, что послѣ статьи въ «Телеграфѣ», подъ псевдонимомъ Бенигны, въ которой опровергалось всякое значеніе Каченовскаго, послѣдній помѣстилъ подъ статьей Надеждина «Откликъ съ Патріаршихъ Прудовъ» слѣдующее примѣчаніе:

«Здѣсь приличнымъ почитаю объявить, что препираться съ Бенигной я не имѣю охоты, отказавшись навсегда отъ безплодной полемики; а теперь не имѣю на то и права, *предпринявъ другія мѣры къ охраненію своей личности отъ игриваго произвола его Бенигны и всѣхъ прочихъ.* Я даже не читалъ бы статьи телеграфической, еслибъ *не былъ увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и къ достоинству мѣста, при которомъ имѣю честь продолжать оную.*»

Эти другія мѣры состояли въ томъ, что Каченовскій обратился съ жалобами на Полевого къ разнымъ начальствамъ, цензурнымъ и сверхцензурнымъ; жалобы эти не имѣли послѣдствій, но подняли порядочную бурю въ литературѣ, причемъ не малая тѣнь пала и на Надеждина. Конечно онъ не былъ тутъ ни въ чемъ виноватъ активно, но во всякомъ случаѣ этотъ фактъ показываетъ полное отсутствіе въ Надеждинѣ всякаго чутья литературной чести, потому что какой же бы писатель, обладающій хоть каплей подобнаго чутья, рѣшился участвовать въ журналѣ, издатель котораго позволяетъ себѣ подобнаго рода вылазки за предѣлы литературной полемики, не говоря уже о томъ, чтобы терпѣть подъ своей статьей примѣчанія вродѣ вышеприведеннаго.

При такомъ способѣ веденія полемики со стороны противниковъ естественно, что Полевому весьма трудно было поддерживать полемику, направляя ее туда, куда слѣдовало. Роль Полевого въ этой полемикѣ была во всѣхъ отношеніяхъ печальна. Съ одной стороны противникъ побѣждалъ его въ томъ, въ чемъ былъ безспорно сильнѣе его, т. е. въ учености и въ болѣе зрѣлыхъ философскихъ основаніяхъ своей критики. А между тѣмъ слабыя стороны этого самаго противника, его литературная безтактность и отсутствіе чутья литературныхъ приличій были совершенно недоступны для открытаго нападенія со стороны Полевого при цензурныхъ условіяхъ того времени, и Полевой по необходимости долженъ былъ ограничиваться нападеніями на слогъ, орѳографію, педантизмъ и тому подобныя вещи, предоставляя читателю уже самому догадываться, что подъ этими мелочами скрывается нѣчто другое. Мы видѣли сейчасъ, что даже и такіе невинные нападки повели ученыхъ противниковъ Полевого къ обвиненію его въ неблагонамѣренности.

Вышедши на самостоятельное поприще, сдѣлавшись профессоромъ теоріи и исторіи изящныхъ искусствъ и издателемъ «Телескопа», Надеждинъ избавился мало-по-малу отъ вреднаго вліянія на него отсталыхъ педантовъ московскаго университета, измѣнилъ свои литературныя симпатіи и антипатіи, ему перестали уже мерещиться въ русской литературѣ *мрачныя преисподни губительнаго нигилизма*, о Пушкинѣ онъ началъ отзываться благосклонно, въ полемикѣ противъ Полевого держался въ литературныхъ предѣлахъ и пересталъ допускать въ свои статьи полицейскіе пріемы. Но при всемъ томъ въ «Телескопѣ» до самаго появленія въ немъ молодыхъ писателей сохранялся затхлый духъ мертвой схоластики и сухого педантизма. Идеи Шеллинга развивались въ этомъ журналѣ, какъ и на лекціяхъ Надеждина, преимущественно въ приложеніи къ эстетикѣ, и вопросъ о чувствѣ изящнаго стоялъ въ немъ на первомъ планѣ. Въ статьяхъ Надеждина впервые мы видимъ, что чувство изящнаго разсматривается не какъ только одинъ изъ элементовъ человѣческой природы, обусловливающій поэтическое творчество, а какъ всеобщій факторъ воспитанія и жизни. Хотя въ то время не было еще такихъ враговъ чистаго искусства, какіе появились впослѣдствіи, но Надеждинъ какъ будто предвидѣлъ ихъ, и въ своей статьѣ «Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія» («Телескопъ», 1831 г., № 10) онъ приводитъ слѣдующія возраженія противъ предполагаемыхъ противниковъ эстетическаго образованія:

«Изящныя искусства, разсматриваемыя сами по себѣ отдѣльно, могутъ легко показаться игрушками, вымышляемыми досужей изобрѣтательностью на забаву и негу праздности; и тогда много-много уже, если имъ, по снисхожденію, оставляется служебное преимущество: усыпать цвѣтами скорбный путь нашей жизни, осіявать отраднымъ весельемъ чело, осѣненное мрачными думами, и навѣвать освѣжающее успокоеніе сердцу, изнуренному тяжкими заботами. Но сія чисто посторонняя и случайная польза, не всегда и не для всѣхъ еще достигаемая, въ очахъ строгихъ ревнителей человѣческаго достоинства естественно не можетъ искупать вреда, причиняемаго *ихъ* злоупотребленіемъ: почему не удивительно, что *изящныя искусства* [1]) и вмѣстѣ съ ними всякое *эстетическое образованіе* [2]) осуждались и прежде на пренебреженіе и гибли, приносимыя въ жертву или гражданской дѣятельности, какъ въ древнія суровыя времена республиканскаго Рима, или умственному утонченію, какъ въ средніе мрачные вѣка схоластической іерархіи. Но это пренебреженіе не можетъ имѣть мѣста, если изящныя искусства будутъ представляться въ истинномъ ихъ свѣтѣ, какъ необходимыя условія *эстетическаго образованія* [3]). *Эстетическое образованіе* [4]) есть довершеніе и вѣнецъ нашей жизни: безъ него наша человѣческая природа вызрѣвать не можетъ. Оно должно оканчиваться поэзіей жизни, которая есть не что иное, какъ полное гармоническое развитіе всѣхъ струнъ человѣческаго бытія нашего. Не будь этого развитія — струны сіи никогда не издадутъ полныхъ и свѣтлыхъ звуковъ. Вся жизнь наша превратится тогда въ протяжную монотонію, хладную и мрачную. Въ нашихъ дѣйствіяхъ слышенъ будетъ тяжелый скрипъ механической работы: наши познанія будутъ отзываться унылой пустотой чахлаго педантизма. Безъ *эстетическаго образованія* [5]) мы не можемъ вполнѣ наслаждаться большинствомъ человѣческаго бытія нашего!..»

Эти мысли представляютъ сущность воззрѣній Надеждина; онѣ имѣютъ для насъ тѣмъ болѣе важности, что онѣ горячо воспринялись учениками покойнаго

[1]) [2]) [3]) [4]) [5]) Курсивы въ подлинникѣ.

профессора и впослѣдствіи отразились на цѣломъ поколѣніи, представителемъ котораго былъ кружокъ Станкевича.

Напирая преимущественно на эстетику, въ политическомъ отношеніи «Телескопъ» представлялъ полнѣйшую безхарактерность, отражая въ этомъ отношеніи безхарактерность самого издателя, и допускалъ на свои страницы оттѣнки всевозможныхъ мнѣній. Тутъ вы встрѣтите оппозиціонный романтизмъ начинавшаго уже въ то время Искандера рядомъ съ эстетическимъ индифферентизмомъ кружка Станкевича, католическимъ мистицизмомъ Чаадаева и казеннымъ патріотизмомъ Шевырева съ Погодинымъ. Имена этихъ двухъ писателей особенно часто встрѣчаются въ «Телескопѣ». Поступивши почти въ одно время съ ними въ число московскихъ профессоровъ и раздѣляя съ ними одни и тѣ же философскія воззрѣнія, Надеждинъ естественно сблизился со своими товарищами; очень можетъ быть, что если не по ихъ совѣту, то во всякомъ случаѣ въ виду близкаго ихъ участія и сотрудничества Надеждинъ основалъ свой журналъ. По всей вѣроятности вѣянію духа этихъ писателей «Телескопъ» обязанъ былъ мнѣніями, вродѣ нижеслѣдующаго:

«Въ жизни русскаго народа были такіе моменты, когда внутренняя полнота его, почивающая въ безмятежной тишинѣ, воздымалась, потрясенная чудной силой, и являясь во всей роскоши сокровеннаго своего могущества. Къ чести русскаго духа должно сознаться, что сила, производящая въ немъ сіи чудныя потрясенія, достойна великаго народа. Это любовь къ отечеству! Только сіе высокое и святое чувство могло колебать эту великую громаду исполинскихъ силъ и вызывать ее къ полной жизни. У другихъ націй сіи достопримѣчательныя эпохи всеобщаго движенія бываютъ обыкновенно слѣдствіями внутренняго разъединенія; всколыханная страстями жизнь раздѣляется на многія гряды волнъ, другъ другу враждебныя, другъ друга поборающія: отсюда междоусобное остервененіе, осквернение престоловъ и алтарей, разрушеніе всѣхъ общественныхъ связей, пятнающее любопытнѣйшія страницы въ лѣтописяхъ народовъ. Не такъ бываетъ съ народомъ русскимъ. Его всеобщее пробужденіе можетъ быть только слѣдствіемъ напряженнаго сосредоточія всѣхъ силъ его. Русскій человѣкъ, неумѣющій составлять для себя отдѣльную атмосферу бытія, можетъ потрясаться только общимъ колебаніемъ сферы, къ коей принадлежитъ, можетъ жить полной жизнью только въ единствѣ жизни отечества. И тогда-то обнаруживаются всѣ тайны его русской природы: всѣ струны русской его души издаютъ звуки полные, свѣтлые, могущественные. Смыслъ его жизни совершенно разгадывается: онъ является истиннымъ гражданиномъ и истиннымъ семьяниномъ, когда становится русскимъ.» («Рославлевъ или русскіе въ 1812 г.». Критика, статья II, стр. 219. «Телеск.», 1831 года. № 14.)

Въ заключеніе характеристики десятилѣтняго періода (1825—35) нашего развитія, который по всей справедливости можетъ быть названъ періодомъ шеллингистовъ, я считаю необходимымъ сдѣлать общій очеркъ положенія идей, партій и направленій въ литературѣ въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, т. е. въ то время, когда на литературное поприще выступили новыя силы въ лицѣ Бѣлинскаго, Лермонтова, Кольцова, Гоголя и пр.

Впродолженіи всего этого періода реакція, если не дошла еще до тѣхъ печальныхъ крайностей, до которыхъ достигла она въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, во всякомъ случаѣ успѣла уже заявить себя, въ особенности послѣ польской революціи тридцатаго года. Общество представляло въ это время картину безропотной, безусловной, рабской покорности передъ всѣмъ, что только ни дѣлалось въ средѣ его. Оно было преисполнено хроническаго страха, заставлявшаго людей шопотомъ говорить о каждомъ предметѣ самаго невиннаго свойства, хоть сколько-нибудь превышавшемъ уровень обыденности. Нѣмая апатія и скука царствовали повсюду, и, казалось, не было исхода изъ этого царства всеобщаго сна, застоя и беззастѣнчиваго произвола. Среди всего этого мрака и сна едва теплился чуть мерцающій огонекъ свѣта, пробивалась, журча, чуть слышно, живая струйка: это было философское броженіе умовъ въ нѣсколькихъ литературныхъ кружкахъ, и недаромъ это броженіе сосредоточилось въ стѣнахъ Москвы. Въ то время, какъ въ Петербургѣ все, что только было мыслящаго, выбыло изъ строя, въ московскомъ затишьѣ уцѣлѣли многія личности прежняго закала. Какъ прежде Москва была сосредоточіемъ опальнаго, неслужилаго дворянства, такъ и теперь всѣ, которые не хотѣли служить, которымъ было «прислуживаться тошно», удалялись въ Москву, гдѣ административное око не было такъ бдительно, какъ въ Петербургѣ, гдѣ общество, издавна привыкшее къ эксцентрическимъ проявленіямъ барской прихоти, не удивлялось столь же иногда эксцентрическимъ проявленіямъ независимой мысли, гдѣ Чаадаевъ, сложа руки гдѣ-нибудь у колонны, у дерева на бульварѣ, въ залахъ и театрахъ, въ клубѣ, могъ безнаказанно *сердить сторонившихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными*, и эти люди ѣздили къ нему, и звали его на свои рауты; гдѣ славянофилы впослѣдствіи могли наряжаться въ народные костюмы и являться въ нихъ въ барскія гостиныя проповѣдывать возвращеніе къ народнымъ началамъ. Среди степного хлѣбосольства, барской праздности и распущенности философскіе споры и пререканія служили немалымъ развлеченіемъ отъ скуки, и подъ вліяніемъ шеллингистовъ московскія гостиныя переполнились преніями о судьбахъ европейской и русской цивилизаціи, о необходимости усвоенія западной образованности или проникновенія народными началами. Все это движеніе, какъ читатели могли убѣдиться изъ многочисленныхъ выписокъ, которыя мы ему представили въ двухъ послѣднихъ главахъ, стояло на чисто-отвлеченной почвѣ общихъ, міровыхъ вопросовъ о судьбахъ цивилизаціи, не заключая въ себѣ ни малѣйшихъ опредѣленныхъ политическихъ тенденцій, никакого побужденія къ критическому анализу окружающей жизни; если нѣсколько передовыхъ людей и желали освобожденія крестьянъ и нѣкоторыхъ другихъ реформъ, то во всякомъ случаѣ таили эти мечты про себя, боясь ихъ высказывать кому-либо даже наединѣ. Но такой уже характеръ имѣла реакція того времени, что для нея казалось опаснымъ уже и то, что въ обществѣ были люди, которые не хотѣли слу-

жить и имѣли дерзость самостоятельно мыслить и заниматься въ своей частной жизни, чѣмъ имъ вздумается. Вмѣсто того чтобы восхищаться всѣмъ русскимъ и ставить Россію во главѣ Европы, они осмѣлились увѣрять людей, что Россія отстала отъ Европы, что она—государство не европейское, а азіятское, что передовые люди ея лишены всякаго философскаго образованія, литература мелка и пуста, и что, подражая во всемъ Западу, мы перенимаемъ отъ него дурного болѣе, чѣмъ хорошаго. Все это были одни слова, слова и слова—и слова-то самаго, въ сущности, невиннаго свойства. При мало-мальски разумной свободѣ и терпимости эти люди могли-бы смѣло быть предоставлены самимъ себѣ и трудно было-бы придумать болѣе мирныхъ, благонамѣренныхъ гражданъ съ ихъ скромными занятіями философскими науками и эстетическимъ созерцаніемъ. Но реакція, видя опасность въ одномъ уже романтическомъ стремленіи къ индивидуальной свободѣ чувства, мысли и воли, сама создавала себѣ оппозицію; преслѣдуя въ этихъ философахъ и эстетикахъ опасныхъ либераловъ, она убѣждала и общество въ томъ, что въ нихъ въ самомъ дѣлѣ таится оппозиція, и многіе изъ философовъ привыкли смотрѣть на себя, какъ на либераловъ. Создавши такимъ образомъ сама себѣ врага, реакція пошла далѣе: отъ 1831 до 1836 года были запрещены четыре изданія («Европеецъ», «Денница», «Телескопъ», «Телеграфъ»), издававшіяся подъ весьма строгой цензурой, несмѣвшія и заикаться о чемъ-либо политическомъ. Но движеніе, несмотря на строгія мѣры, шло crescendo, все болѣе и болѣе обращая на себя вниманіе общества и захватывая кругъ его все обширнѣе и обширнѣе. Въ концѣ разсматриваемаго нами періода движеніе это начало уже изъ общаго и неопредѣленнаго хаоса различныхъ мнѣній развѣтвляться на опредѣленныя категоріи и направленія. Такъ, статья Кирѣевскаго «XIX вѣкъ» и письмо Чаадаева выдѣлили славянофиловъ изъ общаго движенія и заставили ихъ сомкнуться въ отдѣльный кружокъ, который хотя еще и не вступалъ въ открытую вражду съ западниками, но дѣятельно началъ вести пропаганду своихъ идей въ московскихъ кружкахъ и гостиныхъ. Замѣчательно, что и въ то время уже славянофилы, не имѣвшіе еще печатнаго органа, любили прибѣгать для выраженія своихъ симпатій и заявленій къ обѣдамъ съ высокопарными спичами и декламаціями. Такъ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ, былъ въ Москвѣ проѣздомъ панславистъ Гай, игравшій потомъ какую-то неясную роль какъ кроатскій агитаторъ и въ тоже время близкій человѣкъ Бана Іелачича. Ему не трудно было разжалобить москвичей судьбой страждущей православной братіи въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдѣлана въ нѣсколько дней, и сверхъ того Гаю былъ данъ обѣдъ во имя всѣхъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За обѣдомъ одинъ изъ важнѣйшихъ по голосу и по занятіямъ славянофиловъ, разгоряченный вѣроятно тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было слѣдующее вовсе не христіанское выраженіе:

Упьюся я кровью мадьяровъ и нѣмцевъ.

Всѣ неповрежденные съ отвращеніемъ услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистикъ Андросовъ выручилъ кровожаднаго пѣвца: онъ вскочилъ со своего стула, схватилъ дессертный ножикъ и сказалъ: «Господа, извините меня, я васъ оставлю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старикъ настройщикъ Дицъ,—нѣмецъ; я сбѣгаю его прирѣзать и сейчасъ возвращусь». Громъ смѣха заглушилъ негодованіе.

Между тѣмъ какъ славянофилы проявляли свои симпатіи и антипатіи въ такихъ воинственныхъ крикахъ, профессоръ Надеждинъ своими лекціями и «Телескопомъ» направлялъ молодое поколѣніе на чисто эстетическіе и литературные вопросы, и въ половинѣ тридцатыхъ годовъ художественно-созерцательное и философски-рефлективное направленіе, въ свою очередь, начало выдѣляться все опредѣленнѣе и рѣзче—особенно, когда Бѣлинскій началъ свою дѣятельность.

При всемъ различіи взглядовъ и направленій московскіе литературные кружки въ половинѣ тридцатыхъ годовъ сходились въ одномъ: въ ожесточенной враждѣ къ Петербургу за тотъ давящій духъ сухого, механическаго бюрократизма, который царствовалъ въ его стѣнахъ, за тотъ узкій, практическій матеріализмъ, который съ холодной насмѣшкой встрѣчалъ всякое горячее увлеченіе какими-бы то ни было идеями, но болѣе всего—за его литературу. И Москва была права во всѣхъ этихъ отношеніяхъ. Общее печальное положеніе вещей нигдѣ не давало себя чувствовать такъ сильно, какъ въ Петербургѣ. Были въ этомъ городѣ свои литературные и ученые кружки, но они не только не представляли собой какого либо свѣжаго, обновляющаго движенія, а напротивъ того, самое печальное разложеніе нравовъ.

Петербургскіе литераторы этого времени дѣлились на двѣ категоріи. Съ одной стороны здѣсь отживало нѣсколько литературныхъ знаменитостей, каковы были Жуковскій, Крыловъ, а потомъ и Пушкинъ. Это были писатели-аристократы, какъ потому, что на нихъ смотрѣли съ благоговѣніемъ, какъ на столпы русской литературы, такъ и потому, что они вращались постоянно въ великосвѣтскомъ обществѣ. Къ писателямъ этой категоріи относились также князь Вяземскій, графъ Соллогубъ и князь В. Одоевскій. Но послѣдняго не слѣдуетъ смѣшивать съ остальными, упомянутыми нами. Вотъ какъ характеристически изображаетъ И. Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» неизмѣримую противуположность, какая существовала между княземъ Одоевскимъ и прочими великосвѣтскими писателями:

«Духъ касты, аристократическій духъ внесенъ былъ такимъ образомъ и въ литературу. Аристократическіе литераторы держали себя съ недоступной гордостью и вдалекѣ отъ остальныхъ своихъ собратій, изрѣдка относясь къ нимъ только съ вельможеской покровительственностью. Пушкинъ, правда, былъ очень ласковъ и вѣжливъ со всѣми, какъ я уже говорилъ, но эта утонченная вѣжливость была быть можетъ признакомъ самаго закоренѣлаго аристократизма. Его, говорятъ, приводило въ бѣшенство, когда какія-нибудь высшія лица принимали его, какъ литератора, а не какъ потомка Аннибалла, передъ кѣмъ...

*

Громада кораблей всплывала
И палъ впервые Наваринъ.

«Князь Одоевскій, напротивъ, принималъ каждаго литератора и ученаго съ искреннимъ радушіемъ и протягивалъ дружески руку всѣмъ выступавшимъ на литературное поприще, безъ различія сословій и званій. Одоевскій желалъ все обобщать, всѣхъ сближать, и радушно открылъ двери свои для всѣхъ литераторовъ. Онъ хотѣлъ показать своимъ свѣтскимъ пріятелямъ, что, кромѣ избранниковъ, посѣщающихъ салонъ Карамзиной, въ Россіи существуетъ еще цѣлый классъ людей, занимающихся литературой. Одинъ изъ всѣхъ литераторовъ-аристократовъ, онъ не стыдился званія литератора, не боялся открыто смѣшиваться съ литературной толпой, и за свою страсть къ литературѣ терпѣливо сносилъ насмѣшки своихъ свѣтскихъ пріятелей, которымъ не было никакого дѣла до литературы и которые вовсе не хотѣли сближаться съ людьми не своего общества... Свѣтскіе люди на вечерахъ Одоевскаго окружали обыкновенно хозяйку дома, а литераторы были биткомъ набиты въ тѣсномъ кабинетѣ хозяина, заставленномъ столами различныхъ формъ и заваленномъ книгами, боясь заглянуть въ салонъ... Цѣлая бездна раздѣляла этотъ салонъ отъ кабинета..»

Ко второй категоріи петербургскихъ литераторовъ принадлежали писатели-ремесленники. Но довольно сказать, что во главѣ ихъ могли стоять Гречъ съ Булгаринымъ, а впослѣдствіи—Сенковскій, чтобы опредѣлить, каковы были литературные кружки въ это время въ Петербургѣ. Они состояли изъ издателей-спекулянтовъ какого-нибудь альманаха, униженно кланявшихся и выпрашивавшихъ стишковъ у того или другого корифея литературы; изъ чиновниковъ, пописывавшихъ на досугѣ стишки или носившихъ въ «Сынъ Отечества» статейки, не ожидая за нихъ вознагражденія, и довольныхъ вполнѣ, если трудъ ихъ былъ напечатанъ. Это былъ омутъ, въ которомъ вращались безъ толку и смысла минутныя знаменитости того времени вродѣ Воейкова, Кукольника, Бенедиктова, Тимофѣева, Каменскаго, Ершова и проч., и проч. Въ этотъ вертепъ переселился доживать свой вѣкъ и Полевой. Все это сплетничало, пило, пило, сплетничало, ссорилось, мирилось, опять ссорилось, выставляло свои ссоры на показъ передъ публикой въ видѣ мелочной, придирчивой полемики, въ которой тѣмъ менѣе было смысла, что она возбуждалась не чѣмъ инымъ, какъ только личными дрязгами, безъ малѣйшихъ слѣдовъ столкновенія какихъ-либо убѣжденій или направленій. Нѣтъ ничего мудренаго, что изъ этого мутнаго броженія ничего не могло выйти къ концу разсмотрѣннаго нами періода, кромѣ «Библіотеки для Чтенія» Сенковскаго.

Собственно говоря «Библіотека для Чтенія» была вызвана такой-же живой потребностью въ журнальной литературѣ, какой былъ обусловленъ и успѣхъ «Телеграфа». Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ литература, освободившись отъ меценатства, встала лицомъ къ лицу передъ публикой на чисто коммерческую почву, она естественно увидѣла себя въ необходимости во что бы то ни стало удовлетворять вкусамъ, потребностямъ, интересамъ той массы, отъ которой теперь окончательно сталъ зависѣть сбытъ книжнаго товара. Но при этомъ новомъ положеніи вещей тотчасъ-же опредѣлились двѣ категоріи писателей, совершенно различно смотрѣвшихъ на книжное дѣло. Для однихъ книжное дѣло было не одной только отраслью торговли, но могущественнѣйшимъ орудіемъ просвѣщенія и развитія общества, источникомъ всевозможнаго прогресса. Имъ казалось, что недостаточно только сбывать выгодно книги, удовлетворяя вкусамъ, потребностямъ и интересамъ общества, какъ это дѣлаетъ любой фабрикантъ съ своимъ производствомъ. Вкусы общества могутъ быть дурны, потребности ложны, интересы мелки и жалки;—и первая обязанность писателя развивать и возвышать общество въ его вкусахъ, потребностяхъ и интересахъ. Другая-же категорія писателей въ успѣшномъ сбытѣ книжнаго товара видѣла альфу и омегу литературнаго производства; ради успѣха эти писатели готовы были принижаться до удовлетворенія самыхъ грубыхъ вкусовъ и самыхъ мелкихъ интересовъ публики, не только не помышляя о ея умственномъ развитіи, но, напротивъ того, развращая ее и укореняя въ невѣжествѣ. Таково было большинство петербургскихъ писателей этого времени, и «Библіотека для Чтенія» послужила выразительницей этого рода литераторовъ. При этомъ величайшей опасностью для успѣшнаго хода развитія общества представлялось въ глазахъ мыслящихъ людей того времени то обстоятельство, что этотъ журналъ при своемъ появленіи грозилъ сдѣлать безсильною всякую конкуренцію съ нимъ и воцариться надъ всей литературой. Причиной такихъ опасеній было то, что издатели журнала съ коммерческой точки зрѣнія съумѣли обставить изданіе весьма ловко и умно, употребивши всѣ средства для привлеченія къ нему публики. Въ то время, какъ большинство тогдашнихъ журналовъ издавалось на жалкія средства небогатыхъ издателей, почему журналы были тощи, издавались на сѣрой бумагѣ, выходили неисправно, ежеминутно грозя прекращеніемъ, «Библіотека для Чтенія» опиралась на солидную фирму Смирдина, книгопродавца и издателя, пользовавшагося большимъ уваженіемъ въ массѣ публики, такъ что публика смѣло могла положиться на финансовую прочность изданія. Въ программѣ журнала были имена всевозможныхъ знаменитостей того времени; казалось, что вся литература готова была слиться въ одномъ изданіи. Объявленіе о появленіи журнала было написано въ самомъ хвастливомъ тонѣ, «безстыдно-самохвальномъ», какъ выражается Бѣлинскій, а «Сѣверная Пчела» къ этому еще успѣла ввернуть и свой полицейскій патріотизмъ, объявивши, что кто не подпишется на «Библіотеку», тотъ не патріотъ, тотъ не любитъ отечества, не желаетъ ему добра, что тотъ ренегатъ, измѣнникъ... Когда-же появились первые нумера «Библіотеки», то, не говоря объ изяществѣ изданія, однимъ своимъ объемомъ и величиной этотъ журналъ представлялся Левіаѳаномъ среди массы своихъ тощенькихъ, маленькихъ, сѣренькихъ собратій. Естественно, что публика бросилась на это изданіе, и вскорѣ число подписчиковъ на «Библіотеку» дошло до небывалаго еще до того времени количества 5,000. Но сдѣлавши все возможное для внѣшности журнала, издатель въ то-же время ни мало не позаботился о томъ, чтобы и внутреннее содержаніе журнала соотвѣтствовало этой внѣшности. Да и какъ было ему позаботиться объ этомъ? Самъ онъ былъ человѣкъ чисто коммерческій и достоинство

литературныхъ дѣятелей могъ оцѣнивать только по количеству книжекъ, раскупаемыхъ публикой. Что-же касается до выбора хорошаго и добросовѣстнаго редактора, то чѣмъ онъ могъ руководствоваться въ этомъ выборѣ? Движеніемъ идей въ публикѣ? Но такого движенія еще не было. Если умственные интересы и были въ ней пробуждены, то во всякомъ случаѣ они были крайне смутны и неопредѣленны. Публика требовала умственной пищи, но ей было еще рѣшительно все равно, что бы ей ни дали. Что-же касается движенія идей въ литературныхъ кружкахъ, то здѣсь-то и былъ главный камень преткновенія. Литературные кружки въ Петербургѣ были въ это время до такой степени дрянны, мелки, безсодержательны, что, кого бы ни выбралъ изъ нихъ Смирдинъ, вышло бы въ результатѣ то-же самое, если еще не хуже. Въ Сенковскомъ Смирдинъ видѣлъ профессора, обладающаго авторитетомъ огромной учености, ловкаго разсказчика, владѣющаго легкимъ слогомъ и остроуміемъ. Это одно показываетъ, что выборъ Смирдина не былъ лишенъ всякой основательности: онъ выбралъ лучшаго редактора, какой только могъ представиться ему въ Петербургѣ, и если этотъ лучшій оказался человѣкомъ безъ всякихъ убѣжденій, основывавшимъ всѣ свои литературныя сужденія на личныхъ симпатіяхъ, антипатіяхъ и побужденіяхъ мелочного самолюбія, шарлатаномъ, привлекавшимъ непросвѣщенную публику плоскими шуточками и легкомысленной болтовней, то въ этомъ была вина не Смирдина, а той среды, въ которой человѣкъ, вродѣ Сенковскаго, могъ представляться дѣйствительно лучшимъ. Мнѣ кажется, что многіе приписываютъ лично Сенковскому такое, что было въ то время общимъ въ средѣ, въ которой онъ находился. Такъ напримѣръ, обвиняютъ Сенковскаго въ безсовѣстно-наглomъ и даже мефистофельско-злomъ глумленіи надъ невѣжествомъ публики, когда онъ Кукольника ставилъ рядомъ съ Байрономъ и Гёте, В. Зотова съ Лермонтовымъ, на Гоголя смотрѣлъ, какъ на русскаго Поль-де-Кока, и пр. Но не надо при этомъ забывать, что подобныя критическія сужденія принадлежали не одному Сенковскому, а господствовали въ массѣ петербургскихъ писателей того времени. Когда Кукольникъ читалъ своего Торквато-Тасса въ литературныхъ кружкахъ, его превозносили до небесъ и имя его постоянно ставили рядомъ съ именами М. Глинки и К. Брюлова—смотря на эти три имени, какъ на тріумвиратъ искусствъ того времени. На Лермонтова смотрѣли, какъ на писателя еще начинающаго, такъ-же, какъ и на Бенедиктова, В. Зотова, Бернета, Ершова, Тимофѣева и многихъ другихъ, и на всѣхъ ихъ возлагали равныя надежды, ожидая въ нихъ будущихъ Пушкиныхъ. Не менѣе легкомысленно смотрѣли и на Гоголя, цѣня въ немъ не болѣе, какъ веселаго разсказчика, обладающаго искусствомъ возбуждать смѣхъ, и не видѣли большой разницы между его произведеніями и комическими повѣстями барона Брамбеуса. Однимъ словомъ, каковъ былъ приходъ, таковъ былъ и попъ.

Мы не намѣрены входить въ подробную оцѣнку дѣятельности Сенковскаго на томъ основаніи, что дѣятельность эта оцѣнена уже со всѣхъ сторонъ, сначала Бѣлинскимъ, потомъ авторомъ «Очерковъ гоголевскаго періода», и прибавить что-либо новое къ этимъ оцѣнкамъ мы ничего не имѣемъ. Такъ-какъ цѣль нашей статьи не подробное разсмотрѣніе всѣхъ литературныхъ явленій выбраннаго нами періода безъ исключенія, а только обозрѣніе развитія критической мысли въ нашемъ обществѣ, то мы имѣли бы полное право и совсѣмъ не упоминать о Сенковскомъ съ его «Библіотекой для Чтенія», еслибы намъ не понадобилось это упоминаніе для болѣе нагляднаго представленія того печальнаго растлѣнія литературныхъ нравовъ, какое мы встрѣчаемъ въ Петербургѣ послѣ 1825 года,—растлѣнія, дошедшаго до самой беззастѣнчивой эксплуатаціи публики, которая была молода, свѣжа, съ юношескимъ жаромъ стремилась къ прогрессу и имѣла только несчастіе быть невѣжественной и неопытной въ выборѣ умственной пищи, а потому и рисковала попасть въ лапы книжныхъ барышниковъ и легкомысленныхъ фельетонныхъ паяцовъ, которые набросились на нее съ жадностью, въ виду легкой поживы. Въ то печальное время не одна «Библіотека для Чтенія», «Сѣверная Пчела» и «Сынъ Отечества» подвизались на поприщѣ эксплоатаціи невѣжества публики: Сенковскихъ развелось тогда многое множество. Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ былъ выше Сенковскаго Владиславлевъ со своей «Утренней Зарей», который, ничего не платя своимъ сотрудникамъ, распространялъ въ то-же время свое изданіе въ значительномъ количествѣ почти силой, пользуясь протекціей начальства. Или чѣмъ-же не Сенковскій былъ Плюшаръ со своимъ «Энциклопедическимъ Словаремъ», доведеннымъ до буквы *Г* и заключающимъ въ себѣ порядочные курьезы, Башуцкій со своей «Панорамой С.-Петербурга» и tutti quanti. И если хотите, то «Библіотека для Чтенія» подъ редакціей Сенковскаго, какъ наиболѣе крупное и выдающееся явленіе среди массы подобныхъ ему,—явленіе въ журнальномъ мірѣ грандіозное для того времени и представлявшееся, по своему успѣху, грознымъ для другихъ журналовъ, принесла свою, хотя бы и косвенную, чисто отрицательную пользу. Надо замѣтить, что въ то время люди мысли, смотрѣвшіе на журнальное дѣло, какъ на дѣло народнаго образованія, и заботившіеся прежде всего о серьезномъ содержаніи журналовъ, въ своихъ идеальныхъ стремленіяхъ слишкомъ мало заботились какъ о внѣшности своихъ изданій, такъ и объ искусствѣ придавать журналу разнообразіе и занимательность. Они судили о публикѣ по себѣ и совершенно забывали, что учить ее можно, только забавляя и завлекая, что прежде чѣмъ подписчикъ прочтетъ дѣльную статью, надо, чтобы былъ самый подписчикъ. Не говоря уже о томъ, что, при возрастающей потребности въ журнальной литературѣ въ массѣ публики, журналы издавались все въ такомъ-же мизерномъ видѣ, въ какомъ они существовали въ блаженныя времена бородинскаго боя, передовые люди умственнаго движенія, увлекшись философскими и эстетическими вопросами, стали наполнять журналы почти подъ рядъ туманно-философскими статьями русскаго издѣлія, историческими изысканіями, эстетической критикой, которая конечно далеко не вся была такъ талантлива, занимательна и вліятельна, какъ критика Бѣлинскаго. Стоитъ только

пересмотрѣть книжки «Московскаго Вѣстника», «Телескопа» и «Московскаго Наблюдателя», чтобы понять причину ограниченнаго числа подписчиковъ, какимъ пробавлялись всѣ эти журналы. При всей дѣльности, журналы эти были крайне сухи и однообразны и выказывали въ редакторахъ полное незнаніе того, какъ привлекать публику къ журналу. Мы уже замѣтили выше, что Погодинъ окончательно засушилъ «Московскій Вѣстникъ» своей исторіей. Но и молодой Бѣлинскій со своими друзьями оказалъ такую-же неопытность въ журнальномъ дѣлѣ въ «Московскомъ Наблюдателѣ», который и основанъ-то былъ именно въ видахъ оппозиціи противъ «Библіотеки для Чтенія». Не говоря уже о томъ, что въ то время трудно было разсчитывать на успѣхъ журнала, посвященнаго исключительно философско-эстетическимъ вопросамъ, вы можете встрѣтить среди нумеровъ «Наблюдателя» такія книжки, которыя были заняты невыносимо сухими статьями, представляющими кропотливыя ученыя изысканія на счетъ частныхъ вопросовъ по русской исторіи, такъ что вмѣсто журнальныхъ книжекъ подписчики получали спеціально-учебные сборники, которые конечно не разрѣзывали. Естественно, что ни одно изданіе въ такомъ видѣ не могло выдержать конкуренціи съ «Библіотекой для Чтенія». Чтобы противопоставить этому пустому и бездѣльному журналу журналъ дѣльный и полезный, необходимо было, чтобы послѣдній издавался въ такомъ-же объемѣ книжекъ, былъ столь-же занимателенъ, разнообразенъ и такъ-же изященъ по своей внѣшности, и мы видимъ, что «Библіотека для Чтенія» сдѣлала рѣшительный переворотъ, какъ въ наружной физіономіи журналовъ, такъ и въ расположеніи журнальныхъ отдѣловъ. Къ концу тридцатыхъ годовъ окончательно исчезли прежніе миніатюрные, карманные журнальцы на сѣренькой бумажкѣ въ восьмушку; а вновь возникавшія періодическія изданія печатались уже по образцу «Библіотеки для Чтенія», въ такомъ-же форматѣ, объемѣ, съ такими-же разнообразными отдѣлами, однимъ словомъ, въ такомъ видѣ, въ какомъ существуютъ журналы и въ наше время. Второй немаловажной заслугой «Библіотеки для Чтенія» или, сказать точнѣе, Смирдина было то, что Смирдинъ первый увеличилъ плату за журнальныя статьи. Онъ сдѣлалъ это, правда, не въ какихъ иныхъ видахъ, какъ чисто коммерческихъ, въ надеждѣ пріобрѣсти хорошихъ сотрудниковъ, но этимъ онъ безсознательно произвелъ реформу въ томъ отношеніи, что поставилъ литературный трудъ въ то положеніе, которое хоть сколько-нибудь соотвѣтствовало измѣненію литературныхъ нравовъ. Дѣло въ томъ, что прежде плата за журнальный трудъ считалась дѣломъ не только пустымъ и маловажнымъ, но и въ нѣкоторомъ отношеніи унизительнымъ для писателя. Одни изъ писателей слишкомъ высоко стояли, чтобы унижаться до грошевыхъ разсчетовъ съ издателями журналовъ; другіе въ романтическомъ увлеченіи смотрѣли на творческій трудъ, какъ на трудъ безкорыстный, и видѣли профанацію небеснаго акта творчества въ оцѣнкѣ его на прозаическія ассигнаціи, считая единственнымъ достойнымъ вознагражденіемъ поэта славу среди современниковъ и безсмертіе въ потомствѣ. Но какъ, впрочемъ идеально ни объясняли писатели двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ свою безсребренность, главная и чисто реальная причина ея заключается въ томъ, что литературный трудъ не успѣлъ еще выдѣлиться, какъ особенный и самостоятельный промыселъ. Большинство писателей основывало свое благосостояніе на различныхъ другихъ отрасляхъ промышленности: они были прежде всего помѣщиками, профессорами, чиновниками, военными, писателями-же были такъ только, между прочимъ, на досугѣ, и потому не особенно обращали вниманія на финансовое положеніе литературнаго труда. Но въ срединѣ тридцатыхъ годовъ въ литературныхъ кругахъ все чаще и чаще начали встрѣчаться люди бѣдные, ничѣмъ не обезпеченные и въ то-же время стремившіеся всю свою дѣятельность посвятить литературѣ. Однимъ словомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ литература, освободившись отъ покровительства, встала на коммерческую почву, и литературный трудъ долженъ былъ придти въ ту-же норму. Въ особенности необходимость такого условія должна была ощущаться писателями съ маломальски независимыми мнѣніями: они не могли не убѣждаться горькими опытами, что хотя-бы они избѣгали зависимости прямого покровительства, но служба и всякая другая профессія, отнимая время отъ ихъ литературнаго труда, въ то-же время грозитъ связать ихъ мысль и поставить ихъ въ зависимость отъ начальства, еще болѣе тяжелую и произвольную, чѣмъ зависимость отъ патрона. Въ этомъ отношеніи поднятіе цѣны литературнаго труда, совершенное по иниціативѣ Смирдина, было несомнѣнной заслугой для успѣха развитія литературы, какъ съ одной стороны тѣмъ, что поставило литературу на болѣе самостоятельную почву, сдѣлавши возможнымъ существованіе литературнаго труда въ видѣ отдѣльной отрасли промышленности, такъ съ другой стороны тѣмъ, что облегчило приливъ новыхъ и свѣжихъ силъ на поприще литературы изъ тѣхъ слоевъ общества, въ которыхъ наиболѣе развита энергія труда и борьбы. Казалось-бы, что такое нововведеніе должно было обрадовать всѣхъ современниковъ, если не вслѣдствіе особенной ихъ проницательности относительно важности будущихъ послѣдствій его, то по крайней мѣрѣ по тому простому и весьма не замысловатому чувству довольства, какое естественно ощущаетъ каждый человѣкъ, когда является возможность прибавленія въ его карманъ лишняго рубля. Но такъ было сильно развитіе романтизма въ то время, такъ съ другой стороны глубоко вкоренились прежніе барскіе порядки въ литературѣ, что нововведеніе Смирдина поразило многихъ непріятно и явились такіе безсребренные и близорукіе пессимисты, которые видѣли въ этомъ нововведеніи опасность, грозящую литературѣ окончательнымъ ея паденіемъ. По ихъ мнѣнію, печальное состояніе петербургской литературы отъ того собственно и зависѣло, что, съ поднятіемъ платы за литературный трудъ, писатели развратились и вмѣсто того, чтобы безкорыстно бесѣдовать съ музами въ тиши кабинетовъ, не помышляя о земномъ и тлѣнномъ, только и заботятся о томъ, какъ-бы побольше написать и побольше получить денегъ. Съ такими опасеніями за судьбу литературы выступилъ въ 1836

году пр. Шевыревъ въ своемъ «Московскомъ Наблюдателѣ», посвятивши этому предмету цѣлую статью подъ заглавіемъ «Словесность и торговля».

«Нашъ писатель — говоритъ Шевыревъ въ этой статьѣ—то, что можно сказать однимъ словомъ, выражаетъ предложеніемъ, а предложеніе, достаточное для мысли, вытягиваетъ въ длинный-предлинный періодъ, въ убористую страницу, страницу—въ огромный листъ печатный... Его слогъ, какъ проволока, можетъ до безконечности вытягиваться. Но въ чемъ тайна всего этого? Въ томъ, что цѣна печатнаго листа есть двѣсти или триста рублей; что каждый эпитетъ въ статьѣ его цѣнится можетъ быть въ гривну, каждое предложеніе есть рубль, каждый періодъ, смотря по длинѣ, есть синяя или красная ассигнація!..

«На журналы — говоритъ ниже Шевыревъ — я смотрю, какъ на капиталистовъ. «Библіотека для Чтенія» имѣетъ для меня пять тысячъ душъ подписчиковъ; «Сѣверная Пчела» можетъ быть вдвое. Замѣчательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что любятъ хвастаться всенародно своимъ богатствомъ. И эти души подписчиковъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ оброчныя: за ними никогда нѣтъ недоимки; онѣ платятъ впередъ, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи. Вотъ ѣдетъ литераторъ въ новыхъ саняхъ: ты думаешь, это сани? Нѣтъ, это статья «Библіотеки для Чтенія, получившая видъ саней, покрытыхъ медвѣжьей полостью, съ богатыми серебряными кистями. Вся эта бронза, этотъ коверъ, этотъ лакъ, чистый и опрятный—все это листы этой дорого заплаченной статьи, принявшіе разные виды саннаго издѣлія. Литераторъ хочетъ дать обѣдъ и жалуется, что у него нѣтъ денегъ. Ему говорятъ: напиши повѣсть и пошли въ «Библіотеку», вотъ и обѣдъ.

«Вызови на страшный судъ того писателя, котораго первый романъ, внушенный вдохновеніемъ честнымъ и приготовленный долгимъ трудомъ, завоевалъ вниманіе публики! Спроси совѣсть его о второмъ, о третьемъ, о четвертомъ его романѣ: вслѣдствіе чего они явились? Не насильно-ли онъ выпросилъ ихъ у непокорнаго вдохновенія, у невнимательной исторіи? Не отразился-ли онъ всѣмъ напряженіемъ силъ своихъ противъ условій музы, чтобы только воспользоваться свѣжестью перваго успѣха? Его насильственное второе, болѣе насильственное третье и четвертое вдохновеніе не было-ли плодомъ того безотчетнаго, но сладкаго чувства, что романъ теперь самая вѣрная спекуляція?»

Противъ подобныхъ сѣтованій и опасеній выступилъ въ «Телескопѣ» молодой, только-что начинавшій тогда писатель, студентъ, исключенный изъ университета за слабость способностей и нерадѣніе, и разбилъ ученаго профессора слѣдующими словами:

«Но что-же этимъ хотѣлъ сказать почтенный критикъ? Не противорѣчитъ-ли онъ самому себѣ? Теперь наши литераторы въ чести, живутъ своимъ ремесломъ, а не посторонними и чуждыми ихъ призванію трудами: это прекрасно, это должно радовать. Теперь талантъ есть богатое наслѣдство, онъ уже не ропщетъ на несправедливость судьбы, онъ уже не завидуетъ праву знатнаго происхожденія, доставляющаго всѣ выгоды, всѣ блага жизни: это утѣшительно, это отрадно! Но полно, правда-ли, что наша литература дастъ обѣды, живетъ въ чертогахъ, ходитъ по коврамъ, ѣздитъ въ каретахъ, въ лаковыхъ саняхъ, кутается въ медвѣжью шубу, въ бекешь съ бобровымъ воротникомъ, возвышаетъ голосъ на аукціонахъ опекунскаго совѣта, покупаетъ имѣнія... Нѣтъ-ли въ этихъ словахъ преувеличенія, гиперболъ? Не слишкомъ-ли далеко увлекся авторъ въ своемъ благородномъ негодованіи? Или не смѣшиваетъ-ли онъ вещей, ложно принимая одну за другую? Правда, намъ извѣстны два или три романиста, которые обезпечили на всю жизнь свое состояніе своими первыми романами, но это было еще до основанія «Библіотеки»; за что-же взводить на нее небывалыя вины, когда у ней бывалыхъ много? «Иванъ Выжигинъ» явился въ то время, когда еще наша литература не была торговлей, когда она была во всемъ цвѣту своемъ. Вслѣдъ за «Иваномъ Выжигинымъ» появились «Юрій Милославскій», «Дмитрій Самозванецъ», «Рославлевъ», «Послѣдній Новикъ»; «Библіотека» явилась уже послѣ нихъ. Повѣстями-же и журнальными статьями, даже при усиленной дѣятельности, можно только жить кое-какъ, но объ обезпеченіи своего состоянія нельзя и думать. Спрашиваю г. Шевырева: изъ участвующихъ въ «Библіотекѣ» помѣстилъ-ли хотя кто-нибудь болѣе двухъ или трехъ статей въ годъ?.. А на три статьи, какъ-бы онѣ дороги ни были, право, не наживешь чертоговъ, не заведешь кареты, много развѣ купишь сани, да безъ лошадей на нихъ далеко не уѣдешь... Гдѣ-жъ логика, гдѣ справедливость? Странное дѣло, какъ сильно овладѣла Шевыревымъ ложная мысль, что въ нашъ вѣкъ поэты и литераторы превратились въ какихъ-то великихъ моголовъ!?. Нѣтъ, г. критикъ, будемъ радоваться отъ искренняго сердца тому, что теперь талантъ и трудолюбіе даютъ (хотя и не всѣмъ) честный кусокъ хлѣба!.. И въ этомъ отношеніи «Библіотека для Чтенія» заслуживаетъ благодарность, а не упрекъ. Но вы видите въ этомъ вредъ для успѣховъ литературы; вы говорите, что наши вторые романы бываютъ какъ-то хуже первыхъ, третьи—хуже вторыхъ, что наши повѣсти водяны, періоды длинны, обременены безъ нужды эпитетами, глаголами, дополненіями: все это правда, во всемъ этомъ я согласенъ съ вами, но вы ошибаетесь въ причинѣ этого явленія. Вспомните, что каждый стихъ Пушкина обходился книгопродавцамъ въ красненькую, если не больше, а вѣдь стихи Пушкина отъ этого нисколько не стали хуже: вспомните, что за «Пиковую даму» и «Княжну Мими» «Библіотека» заплатила деньгами, ассигнаціями, а вы сами хвалите эти повѣсти. Вотъ вамъ самый простой и убѣдительный фактъ. Онъ доказываетъ, что истинный талантъ не убиваютъ деньги, что

Не продается сочиненье,
Но можно рукопись продать!»

Подобныя слова, исполненныя простого здраваго смысла, были неслыханнымъ явленіемъ въ то время. И замѣчательно, что эти слова высказалъ человѣкъ, принадлежавшій еще въ то время самъ къ школѣ Шевырева, романтикъ, идеалистъ, эстетикъ. Что-же это былъ за человѣкъ, который, при всемъ своемъ романтизмѣ, такъ просто и здраво могъ глядѣть на вещи и такъ реально понимать ихъ значеніе? Это былъ Бѣлинскій. А въ чемъ заключались особенности этого человѣка, которыя во многихъ отношеніяхъ выдѣляли его надъ окружающими его людьми и сдѣлали его столь знаменитымъ въ исторіи нашей литературы—это мы увидимъ въ слѣдующихъ главахъ.

VII.

Преобладающіе типы молодежи тридцатыхъ годовъ и ихъ соотвѣтствіе со средой умственнаго движенія.— Карамзинская сентиментальность, воскресная подъ видомъ романтическаго прекраснодушія. — Кружокъ Станкевича. — Прекраснодушіе его членовъ, элементы развитія и симпатіи кружка. — Дѣтство Бѣлинскаго.—Обстановка жизни его въ Москвѣ.— Его личныя особенности сравнительно съ прочими членами кружка.— Страсть Бѣлинскаго къ полемикѣ и недовольство этимъ Станкевича. — Взгляды

Бѣлинскаго въ первый періодъ его дѣятельности (1834—1836).—Вліяніе на Бѣлинскаго шеллингистовъ и Н. А. Полевого.—Свѣтлыя и темныя стороны литературной дѣятельности Бѣлинскаго въ этотъ періодъ.—Его общественные взгляды; французоѣдство и германофильство.—Теорія непроизвольнаго творчества и отличіе ея отъ теоріи чистаго искусства.—Мысли Бѣлинскаго о различіи поэзіи реальной отъ идеальной.—Еще нѣсколько словъ о спорѣ Бѣлинскаго съ Шевыревымъ по поводу статьи «Литературная торговля».—Общія заключенія о первомъ періодѣ дѣятельности Бѣлинскаго.

Въ третьей главѣ мы имѣли случай замѣтить, что съ передвиженіемъ центра умственнаго движенія изъ великосвѣтскихъ круговъ въ среду несановитаго дворянства должны были измѣниться и нравственные идеалы, которые зависятъ не отъ одного только чисто логическаго процесса умственнаго развитія, но имѣютъ глубокое соотвѣтствіе съ условіями быта среды, въ которой совершается умственное движеніе.

Казалось бы, что, слѣдуя хронологическому порядку, мы должны были-бы отъ Евгенія Онѣгина перейти немедленно къ Печорину и начать разбирать его, какъ идеальный типъ, преобладавшій въ тридцатые годы, на томъ основаніи, что Лермонтовъ назвалъ Печорина героемъ своего времени, современники-же его не возражали противъ этого и на Печорина смотрѣли дѣйствительно, какъ на любимаго своего героя.

Но если мы будемъ анализировать минувшую жизнь не по однимъ поэтическимъ произведеніямъ, а обратимъ вниманіе на дѣйствительные факты разбираемой намъ эпохи, то при этомъ насъ должно поразить слѣдующее явленіе: мы увидимъ, что въ 30-е и 40-е годы дѣйствительно было не мало Печориныхъ. Но всѣ они были явленіемъ далеко не новымъ, они повторяли зады, воплощая въ себѣ идеалъ, хорошо извѣстный русскому обществу уже въ двадцатые годы. Въ то-же самое время вовсе не они стояли во главѣ умственнаго движенія своей эпохи, не они двигали русскую мысль. Истинные-же герои своего времени, представители умственнаго движенія сороковыхъ годовъ, смотрѣли на Печориныхъ только со стороны; они по своему анализировали этотъ типъ, восхищались имъ, по свойственному романтикамъ обыкновенію любоваться всѣмъ картинно и эффектно выдающимся, но сами въ то-же время были представителями иного типа, нисколько не похожаго на печоринскій.

Причина такого явленія заключается въ томъ, что всякаго рода хищные типы производятся не иначе, какъ при слѣдующихъ двухъ условіяхъ жизни: или подъ условіемъ жизни, до послѣдней степени подавленной, лишенной всякихъ человѣческихъ правъ, ежеминутно оскорбляющей человѣка и доводящей его наконецъ до крайняго озлобленія и ожесточенія, или-же, напротивъ того, подъ условіемъ привычки къ необузданному произволу, сознанія безусловной высоты и силы надъ всѣмъ окружающимъ. Естественно, что въ то время, какъ хищные типы первой категоріи, т. е. озлобленные, преобладаютъ въ низшихъ, угнетенныхъ слояхъ общества, типы второго разряда—избалованные и пресыщенные, напротивъ того, нигдѣ не встрѣчаютъ такой удобной почвы для своего развитія, какъ въ великосвѣтскомъ кругѣ, въ высшихъ, привилегированныхъ классахъ общества. Не даромъ пѣвецъ этихъ типовъ, лордъ Байронъ, былъ представителемъ самой могущественнѣйшей и богатѣйшей аристократіи въ Европѣ. Наше высшее дворянство хотя и никогда не соотвѣтствовало англійскому лордству, не имѣя ни той свободы, ни тѣхъ правъ и могущества, которыя придавали бы титаническій видъ самой ничтожной посредственности, а мало-мальски талантливой личности предоставляли неограниченный просторъ для какого хотите широкаго разгула личной воли и фантазіи; но во всякомъ случаѣ оно было и свободнѣе, и независимѣе всѣхъ другихъ слоевъ общества. За неимѣніемъ могущества, основаннаго на правахъ, оно обладало могуществомъ привилегій, богатствъ и связей, что̀ ставило его во всякомъ случаѣ на неизмѣримую высоту передъ рабски приниженной, угнетенной, безсильной толпой. Присоедините къ тому обаяніе, какое производитъ на неразвитыхъ людей богатство, соединенное съ титуломъ, еще большее обаяніе свѣтскаго лоска и утонченности, и прибавьте къ этому острый, тонкій умъ, исполненный скептической ироніи подъ вліяніемъ идей XVIII вѣка,—и передъ вами самъ собою обрисуется всепобѣждающій демоническій типъ, напоминающій байроновскихъ героевъ, властитель думъ и сердецъ нашихъ бабушекъ. Да и впослѣдствіи, въ 30-е, 40-е годы, столичный высшій свѣтъ, нѣкогда представитель образованности въ Россіи, хотя и оскудѣлъ умственно, тѣмъ не менѣе продолжалъ еще по старой традиціи (для весьма многихъ и до сихъ поръ продолжаетъ) сохранять такое обаяніе, что стоило мало-мальски свѣтскому человѣку изъ столицы появиться въ провинціи, и онъ тотчасъ-же дѣлался всеобщимъ кумиромъ провинціальнаго общества, предметомъ обожанія со стороны женщинъ и поневолѣ дѣлался всепобѣждающимъ героемъ, хотя-бы по своей натурѣ не заключалъ въ себѣ ничего титаническаго и хищническаго. Вспомните только того весьма обыденнаго князя, который волей-неволей разыгралъ роль Печорина въ повѣсти Тургенева: «Дневникъ лишняго человѣка», отбивши у героя героиню ничѣмъ инымъ, какъ только обаяніемъ своего титула, несмотря на всѣ усилія со стороны героя увлечь героиню чтеніемъ русскихъ поэтовъ и эстетикой.

Въ то время, какъ свѣтское общество создавало такимъ образомъ хищные типы въ силу одного уже того обаянія, какое оно производило на простыхъ смертныхъ, почва несановитаго, захолустнаго дворянства средней руки была самой неплодородной почвой для печоринства и производила типы совершенно иного рода. Представьте себѣ жизнь обезпеченную, довольную, сытую до-нельзя и въ то же время совершенно замкнутую въ узкомъ кругѣ семейно-патріархальныхъ отношеній и мелкихъ матеріальныхъ заботъ. Безмолвная тишина полей и лѣсовъ, мирные патріархальные уголки тѣнистыхъ усадебъ, спрятанныхъ какъ будто отъ всего міра и всѣми забытыхъ,—все въ этой жизни располагало скорѣе къ лѣни, сну, маниловски-сладенькой мечтательности и буколически-сентиментальной созерцательности, чѣмъ къ хищной печоринской жаждѣ преобладанія и разрушенія. Юнымъ героемъ этого соннаго царства являлся до-нельзя откормлен-

ный Митрофанушка или Ильюша Обломовъ, счастливый, довольный баловень всѣхъ домочадцевъ, окруженный цѣлою толпой нянюшекъ, мамушекъ, дядекъ, лакеевъ, горничныхъ, которые безъ замедленія исполняютъ всѣ его прихоти, одѣваютъ, обуваютъ, кормятъ, поятъ и спать укладываютъ. Папенька прочитъ своего возлюбленнаго непремѣнно въ дипломаты, маменька мечтаетъ о гусарскомъ мундирѣ, гости наперерывъ предугадываютъ въ мальчикѣ будущаго генія, а Митрофанушка ни о чемъ не думаетъ, бѣгаетъ по лѣсамъ и лугамъ, охотится, удитъ и питается. Таково было дѣтство большинства передовыхъ людей сороковыхъ годовъ. Такъ напримѣръ, въ біографіи Станкевича мы читаемъ: «это былъ мальчикъ веселый, здоровый и необычайно-рѣзвый; деревенскій просторъ и относительная свобода, данная ребенку отцомъ его, развили въ немъ рѣзвость до того, что онъ сдѣлался для своихъ нянюшекъ, дядекъ и даже для посѣтителей дома почти тѣмъ, что̀ французы называютъ «enfant terrible». Далѣе біографъ разсказываетъ, какой характеръ имѣли шалости этого деревенскаго «enfant terrible».

«Разсказываютъ, что, стоя однажды на балконѣ деревенскаго дома, онъ увидѣлъ внизу отца, который разговаривалъ на крыльцѣ съ почтеннымъ купцомъ, обладавшимъ лысиной необыкновеннаго размѣра; лысина эта тотчасъ же привлекла вниманіе молодого Станкевича, и онъ никакъ не могъ воспротивиться искушенію плюнуть на нее сверху, что̀ и исполнилъ къ ужасу купца и къ совершенному недоумѣнію родныхъ. Въ другой разъ рѣзвость Станкевича была причиной пожара, истребившаго до тла отцовскую деревню, ту Удеревку, которая такъ часто приводится въ его перепискѣ. Будучи семи лѣтъ, онъ досталъ гдѣ-то ружье, пробрался на чердакъ дома и выстрѣлилъ въ кровлю. Кровля загорѣлась, и вскорѣ вѣтеръ разнесъ пламя по всей деревнѣ. Цѣлый день не могли отыскать мальчика: онъ убѣжалъ въ сосѣднюю рощу и собирался тамъ расположиться на житье, какъ дикій человѣкъ.»

Между тѣмъ какъ Станкевичъ, выкидывая такіе подвиги, проводилъ дни и недѣли на охотѣ и дома даже постоянно пребывалъ въ обществѣ лягавыхъ собакъ, другая знаменитость того времени—Грановскій «любилъ строить и брать крѣпости, предводительствуя строемъ своихъ сверстниковъ, былъ охотникъ добывать птицъ изъ гнѣздъ на высокихъ деревьяхъ, ловить голубей. Пѣтушій бой былъ зрѣлищемъ, за которымъ ребенокъ слѣдилъ съ страстнымъ увлеченіемъ».

«Т. Н. Грановскій въ зрѣломъ возрастѣ любилъ припоминать тѣ обстоятельства, которыя выказывали некрасивыя черты его ребяческаго характера. Такъ онъ разсказывалъ, что у родителей его была служанка сварливая и часто бившая дочь свою Агашу, на куклы которой онъ посматривалъ не безъ зависти.«Вотъ, баринъ,—говорила ему Агаша,—когда мать забьетъ меня до смерти, вамъ достанутся мои куклы», и онъ нетерпѣливо ждалъ и думалъ: когда же мать забьетъ Агашу и когда достанутся ему ея куклы? Однажды съ толпой крестьянскихъ мальчиковъ онъ осаждалъ устроенную ими крѣпость. Онъ карабкался по лѣстницѣ, когда одинъ изъ мальчиковъ отдернулъ ее, и онъ, свалившись на землю, ушибся такъ, что болѣлъ довольно долго послѣ этой осады. Онъ никому не открывалъ причины своего ушиба, но умѣлъ извлекать для себя пользу изъ случившагося; онъ обращался къ виновнику своей болѣзни съ требованіями различныхъ услугъ, добывалъ черезъ него лакомства, заставлялъ его исполнять всѣ свои желанія, зная, что тотъ не могъ отказать ему ни въ чемъ изъ опасенія открытія его вины.»

Мы представляемъ эти весьма непривлекательные факты дѣтства двухъ знаменитостей сороковыхъ годовъ, имѣя въ виду лишь наглядно показать читателю, каково было воспитаніе въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ усадьбахъ нашихъ несановитыхъ помѣщиковъ. И мы видимъ, что воспитаніе это не подвинулось особенно далеко послѣ фонвизинскаго времени; попрежнему оно лишено было всякихъ гуманныхъ началъ и ограничивалось однимъ кормленіемъ. Подъ вліяніемъ такого воспитанія, человѣкъ, вступая въ отроческій возрастъ, когда впервые пробуждается мысль, когда чувство и воображеніе начинаютъ усиленно дѣйствовать, впадалъ въ такъ-называемое прекраснодушіе. Все, что̀ окружало его, представлялось ему въ розовомъ цвѣтѣ, люди все такіе добрые, ласковые, любезные, природа такъ упоительна, все бы любовался ею; настоящее такъ весело и полно, будущее такъ свѣтло и радужно... «Гдѣ же зло на землѣ?» думалъ юноша, и оно казалось ему гдѣ-то далеко за горами, въ видѣ чудовищъ, отъ которыхъ юношу тщательно охраняетъ мудрое и благомыслящее правительство и благоустройство образованнаго гражданскаго общества. Даже все то, что̀ вовсе не пахло такимъ благоустройствомъ, юноша умѣлъ обратить въ хорошую сторону и смотрѣлъ одинаково свѣтлымъ взглядомъ на самыя мрачныя черты окружавшей его жизни. Если онъ слышалъ вдали стоны и вопли наказываемыхъ въ конюшнѣ крестьянъ и дворовыхъ, ему тотчасъ же представлялся образъ строгаго, но милостиваго до ангельской доброты родителя, который умѣетъ карать, но умѣетъ и миловать, и который своей строгостью приноситъ пользу этимъ людямъ; иначе они погибли бы. Если родитель по цѣлымъ ночамъ игралъ въ карты, проигрывая деревню за деревней, то въ глазахъ юноши онъ развлекался на досугѣ отъ своихъ хозяйственныхъ заботъ и трудовъ въ потѣ лица. За этимъ первымъ періодомъ безусловнаго прекраснодушія слѣдовалъ второй періодъ прекраснодушія сентиментально-эстетическаго. Въ этомъ періодѣ юноша представлялъ себѣ зло уже не за горами, а находилъ его вокругъ себя, но подъ вліяніемъ окружающей его среды и условій быта составлялъ своеобразныя понятія о различіи добра отъ зла. Съ одной стороны передъ нимъ былъ міръ изящно-утонченныхъ манеръ, изысканной любезности, тонкаго эстетическаго вкуса и сентиментально-нѣжныхъ чувствъ, однимъ словомъ, ароматный міръ салоновъ, бальныхъ залъ и будуаровъ; съ другой стороны—грубый, неотесанный, утопающій въ невѣжествѣ и буянствѣ міръ непросвѣщенной толпы и черни. Основывая все свое міросозерцаніе на развитіи чувства изящнаго въ отдѣльныхъ личностяхъ, юноша все подводилъ подъ эту формулу индивидуализма: если мужикъ пьянствовалъ и билъ жену, то это дѣлалъ онъ не потому, что былъ озлобленъ, раздраженъ, доведенъ до звѣрства, подъ вліяніемъ нищеты и угнетенія, а отъ того, что въ мужикѣ не развито тѣхъ эстетическихъ и гуманныхъ чувствъ, которыми преисполненъ дядюшка Кузьма

Андреичъ. Если же этотъ гуманный дядюшка и заушалъ иногда своего лакея Прошку, то это онъ дѣлалъ только въ минуты вспыльчивости, какъ отступленіе отъ своихъ гуманныхъ правилъ; къ тому-же Прошка хоть кого могъ вывести изъ терпѣнія и заставить забыть все на свѣтѣ. Если мелкій чиновникъ бралъ взятку, то опять-таки это происходило не отъ чего иного, какъ отъ того, что у него недоставало эстетическаго развитія, что у него не было такихъ высокихъ, прекрасныхъ идеаловъ, которые показали бы ему все нравственное ничтожество его поступковъ. Точно также и среди помѣщиковъ конечно вывелись бы звѣрскіе типы истязателей своихъ крѣпостныхъ, еслибы во всѣхъ равно было развито чувство изящнаго (но при этомъ опять-таки папенька и дяденька тщательно выгораживались, и эстетическое чувство допускало имъ посѣкать иногда крестьянъ ради острастки или строгости, необходимой съ людьми, лишенными всякихъ человѣческихъ понятій).

Въ періодъ такого прекраснодушія, особенно подъ вліяніемъ всеобщаго удивленія относительно геніальности мальчика и возлаганія на него блестящихъ надеждъ, у юноши начинали уже въ головѣ мелькать неясныя, но грандіозныя мечтанія о томъ, какъ современемъ онъ сдѣлается великимъ человѣкомъ и всю свою жизнь посвятитъ пользѣ отечества на военной, государственной службѣ или на поприщѣ науки, искусства. Но въ то время, какъ эти мечтанія въ самыхъ общихъ и весьма неопредѣленныхъ чертахъ рисовались въ воображеніи юноши, на первомъ планѣ стояла у него жизнь чисто внутренняя, созерцательная, жизнь, въ которой чувство и воображеніе не имѣли никакихъ предѣловъ и преобладали надо всѣмъ. Увлекаясь по старой традиціи идеалами Карамзина и Жуковскаго, а при знаніи нѣмецкаго языка зачитываясь Шиллеромъ, юноша высшій нравственный идеалъ свой полагалъ въ развитіи той сентиментальной чувствительности, которая должна была непремѣнно возбуждаться при всякомъ маловажномъ случаѣ. Главными проявленіями такой чувствительности считались наслажденіе природой, дружба и любовь. Въ силу этого юноша старался непремѣнно проливать слезы, глядя на закатъ солнца или увяданіе листьевъ осенью; онъ выбиралъ себѣ среди своихъ товарищей и сверстниковъ особенное существо, такъ называемаго *друга*, въ которомъ находилъ симпатію его души со своей, и окружалъ особеннымъ обожаніемъ, о которомъ въ наше прозаическое время трудно себѣ составить понятіе.

«Я вызывалъ симпатію,—говорилъ одинъ изъ передовыхъ людей сороковыхъ годовъ въ воспоминаніяхъ объ этомъ періодѣ своего развитія,—потому что не было мѣста въ одной груди вмѣстить все, волновавшее ее. Мнѣ надобна была другая душа, которой я могъ бы высказать свою тайну; мнѣ надобны были глаза, полные любви и слезъ, которые были бы устремлены на меня; мнѣ надобенъ былъ другъ, къ которому я могъ-бы броситься въ объятія и въ объятіяхъ котораго мнѣ было бы просторно, вольно...»

При такихъ представленіяхъ дружбы естественно, что стоило другу отлучиться на время въ сосѣдній городъ, и тотчасъ-же проливались горькія слезы разлуки, міръ пустѣлъ, жизнь становилась несносной, постылой, и юноша бродилъ въ тоскѣ, уныло повѣся голову. Если-же другъ долго не писалъ, то начинались новыя мученія.

«Другъ!—восклицаетъ Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Н—ву,—благодарю Бога, который сохранилъ тебя мнѣ! О, еслибы ты зналъ, что волновало меня! Получавши отъ тебя всегда письма почти каждую недѣлю, вдругъ не получать почти мѣсяцъ, знать, что боленъ, подозрѣвать Богъ знаетъ что! Я боялся писать къ тебѣ; боялся, что лицо, которому я повѣрю мои чувства... одинъ призракъ, одно имя! Ты можешь представить мое положеніе. Вчера приходилъ ко мнѣ твой Гаврило: я не могъ его видѣть; сказалъ ему: горе, готовъ былъ ревѣть. Послалъ Ивана къ Мел... не получалъ-ли онъ какого извѣстія? Нѣтъ.»

Но еще болѣе занимали сердце юноши мечтанія о любви. Въ любви юноша полагалъ всю сущность своего существованія, альфу и омегу жизни, и любовь грезилась юношѣ не иначе, какъ въ раздирательномъ и ужасномъ видѣ.

«Другъ!—восклицаетъ Станкевичъ въ одномъ изъ писемъ къ тому-же Н—ву,—я хотѣлъ бы одной бури. Пусть я останусь въ тѣхъ отношеніяхъ, въ какихъ теперь, но я хотѣлъ-бы перемѣны въ душѣ, хотѣлъ бы любви, любви грозной, палящей! Пускай бы опустошительный огонь ея прошелъ по всему ничтожному бытію моему, разрушилъ слабыя узы, которыми оно опутано, испепелилъ томительное горе и разсѣялъ безпокойные призраки, блуждающіе во мракѣ душевномъ. Я бы воскресъ, я бы ожилъ! Еслибы эта любовь была самая несчастная... Кажется, все я былъ бы лучше. Но да будетъ воля Божья. Можетъ быть я не постигаю бѣдствій такой любви!»

Представляя себѣ любовь въ такомъ ужасномъ видѣ—чѣмъ-то вродѣ губительной эпидеміи, готовой опустошительнымъ огнемъ разрушить слабыя узы бытія, юноша между тѣмъ только о томъ и думалъ, какъ-бы поскорѣе испытать подобный всеразрушающій недугъ, ежедневно ожидая роковой встрѣчи: «Смѣшно, а правда,—говоритъ Станкевичъ въ одномъ изъ писемъ,—съ дѣтства привыкъ я на балѣ ожидать сверхъестественнаго; какой-то важной катастрофы въ жизни—думаешь случайно встрѣтиться съ единственнымъ созданіемъ, которое совершенно наполнитъ душу!» Въ ожиданіи такой встрѣчи юноша создавалъ въ головѣ своей идеалъ женщины, облекая его въ такія радужныя краски, что въ дѣйствительности конечно онъ ничего не могъ найти подобнаго. «Но какой прекрасный призракъ въ душѣ!—восклицаетъ Станкевичъ,—все, что міръ представлялъ мнѣ свѣтлаго, божественнаго, сосредоточилось въ этомъ призракѣ. Прототипъ женщины основался въ сердцѣ моемъ, идеалъ невольно составился, но я не думаю искать его; эта несчастная привычка фантазировать о совершенствѣ». При такомъ идеальномъ представленіи женщины, юноша или воплощалъ свой идеалъ въ первую встрѣчную женщину и потомъ горько разочаровывался, или-же пренебрегалъ сочувствіемъ дѣвушки, которая сама по себѣ была достойна глубокой и страстной любви, но имѣла только несчастіе не соотвѣтствовать вполнѣ слишкомъ ужъ требовательному идеалу юноши.

Въ прекраснодушіи подобнаго рода у насъ привыкли многіе видѣть всю сущность романтизма и представляютъ себѣ романтика не иначе, какъ въ видѣ Александра Адуева гончаровскаго романа,—этой пародіи на пре-

краснодушное юношество. Но въ сущности прекраснодушіе далеко не исчерпываетъ собою всего романтическаго развитія; оно составляетъ одну только фазу его, за которой слѣдуетъ тотъ періодъ борьбы и раздвоенности, въ которомъ заключается высшая точка развитія романтическаго броженія и начало исхода изъ него. Періодъ прекраснодушія начался въ нашемъ обществѣ со временъ Карамзина и Жуковскаго, которые до сѣдыхъ волосъ остались представителями плаксивой сентиментальности и ребяческой экзальтаціи. Лучшимъ представителямъ умственнаго движенія александровскаго періода удавалось выходить изъ прекраснодушія, и многіе въ 20-е годы находились уже въ періодѣ раздвоенности, хотя, при скудости умственныхъ средствъ, и не имѣли силы выбиться изъ этого періода, вращаясь, какъ бѣлки въ колесѣ, между скептицизмомъ и мистицизмомъ. Но огромная масса общества, особенно провинціальнаго, при всемъ преобладаніи въ 20-е годы байроновскихъ и оппозиціонныхъ идеаловъ продолжала еще пребывать на степени прекраснодушія чисто карамзинскаго—вотъ почему, едва только передовое поколѣніе александровской эпохи сошло съ поприща, эта масса снова воскресила давно повидимому забытые слезы, вздохи и ахи Карамзина. Различіе между сентиментализмомъ конца прошлаго столѣтія и 30-хъ годовъ заключалось только въ томъ, что вмѣсто прежней безсодержательной сентиментальности Агатоновъ и Эрастовъ, не идущихъ далѣе самоуслажденія своей чувствительностью,— подъ вліяніемъ эстетически-художественнаго развитія въ періодъ Пушкина и романтическихъ идеаловъ на Западѣ явились новыя формы сентиментализма, въ видѣ прекраснодушныхъ художниковъ и поэтовъ, непонимаемыхъ толпой, прозрачно-свѣтлыхъ и чистыхъ натуръ не отъ міра сего, гибнущихъ отъ одного прикосновенія къ нимъ грязной и грубой прозы, и всякаго рода небесныхъ созданій и оскорбленныхъ невинностей. Эти кроткіе, смиренно-плаксивые типы были совершенной противоположностью прежнимъ гордымъ и демоническимъ героямъ въ байроновскомъ духѣ и вполнѣ соотвѣтствовали захолустному патріархальному, идиллическому быту провинціальныхъ юношей, взлелѣянныхъ въ помѣщичьихъ усадьбахъ нянюшками и мамушками на булочкахъ и сливочкахъ, въ тишинѣ лѣсовъ и полей. Еще бо́льшую противоположность демоническимъ героямъ представляли юноши, вышедшіе изъ бѣдныхъ слоевъ общества, изъ среды мелкаго чиновничества и духовенства. Они не успѣли еще выработать своихъ собственныхъ идеаловъ, соотвѣтствующихъ ихъ быту, но прекраснодушные идеалы усадебныхъ юношей конечно были гораздо ближе, сподручнѣе идоступнѣе имъ, чѣмъ демоническіе идеалы Лермонтова. Проживая на холодныхъ чердачкахъ грошовыми урочками, подъ вліяніемъ, а иногда и подъ покровительствомъ богатыхъ товарищей, скромные, робкіе, застѣнчиво-неловкіе, не только не спѣшили они увлекаться печоринствомъ, но, напротивъ того, поставляли своимъ идеаломъ—бѣжать отъ «хладныхъ объятій обманчиваго свѣта», уединялись въ тѣсные студенческіе кружки такихъ-же мечтателей, какъ и они, и въ тиши уединенія сосредоточивались въ себя, то упиваясь художественной созерцательностью прекрасныхъ возвышенныхъ идеаловъ, то терзаясь муками недостижимости послѣднихъ. Изъ такихъ провинціальныхъ элементовъ состоялъ въ началѣ 30-хъ годовъ небольшой кружокъ студентовъ филологическаго факультета въ Москвѣ, заключавшій въ себѣ Станкевича, Бѣлинскаго, Константина Аксакова, Каткова, Клюшникова, Красова и др.

Чтобы болѣе наглядно и полно познакомить читателей съ духомъ и характеромъ этого кружка, мы приведемъ нѣсколько свидѣтельствъ современниковъ относительно того крайняго прекраснодушія, которымъ былъ преисполненъ этотъ кружокъ.

Вотъ какъ характеризуетъ напримѣръ біографъ Станкевича Красова, поэта, стихотворенія котораго пользовались извѣстностью въ 40-е годы:

«Жизнь этого человѣка могла бы составить содержаніе весьма поучительнаго разсказа. Онъ весь былъ воодушевленіе, но, къ сожалѣнію, часто безъ дѣйствительныхъ серьезныхъ поводовъ къ тому. Восторженное состояніе, въ которомъ онъ находился, постоянно принималось тогда за коренное свойство его поэтической натуры, хотя скорѣе это было дѣло фантазіи, болѣзненно развитой насчетъ всѣхъ другихъ душевныхъ силъ. Онъ поминутно встрѣчалъ необыкновенныя созданія. Не останавливаясь долго на разборѣ, въ каждомъ переулкѣ, гдѣ поселялся, встрѣчалъ онъ чудныя существа и необычайныя происшествія, о которыхъ потомъ и разсказывалъ со всѣми *невольными* прикрасами возбужденнаго воображенія. Самъ онъ объяснялся съ находками своими чрезвычайно восторженно, и одна *изъ тѣхъ глубокихъ натуръ, которыя все понимаютъ*, послѣ поэтическаго монолога Красова съ недоумѣніемъ спрашивала Станкевича: почему нельзя понять ни одного слова въ разговорѣ его друга? Ко всему этому присоединялись у нашего поэта юношеская горячность въ привязанностяхъ, совершеннѣйшая безпечность въ жизни и неизмѣнная доброта сердца. По выходѣ изъ университета онъ жилъ бѣдно, ничего не дѣлалъ для поправленія своего положенія, цѣлый день пребывалъ въ мечтахъ и зимой спасался отъ холода подъ одѣяломъ своей постели, гдѣ снова фантазировалъ и писалъ стихи. Подобныя искреннія, дѣтски-открытыя натуры всегда вызываютъ симпатіи окружающихъ, и Станкевичъ, часто дававшій волю юмору своему насчетъ пріятеля, любилъ его однакожъ, какъ любятъ существо, живущее по своимъ особеннымъ, почти исключительнымъ законамъ. Одно время онъ бралъ у него уроки въ латинскомъ и греческомъ языкахъ, такъ какъ Красовъ поступилъ въ университетъ изъ семинаріи и зналъ языки эти довольно основательно. Нѣсколько позднѣе тщетныя усилія Станкевича вызвать пріятеля изъ праздности и обратить къ какому-либо труду ослабили нѣсколько чувство, связывавшее ихъ, особенно когда Станкевичъ замѣтилъ еще и признаки нѣкоторой претензіи въ фантазіяхъ Красова, что̀ неминуемо должно было случиться рано или поздно. Воодушевленіе, какъ и все другое на свѣтѣ, имѣетъ свои предѣлы, за которыми уже является насиліе его и ложная, непріятная подставка придуманнаго ощущенія. Чувство Станкевича однакожъ не истребилось совсѣмъ, и мы знаемъ, что онъ еще съ любовью вспоминалъ о старомъ своемъ другѣ въ Берлинѣ... По отъѣздѣ Станкевича въ Берлинъ Красовъ получилъ мѣсто въ Кіевѣ, но не ужился тамъ и возвратился въ Москву съ какимъ-то обозомъ, въ одной плохой шинелькѣ и питаясь чернымъ хлѣбомъ. Здѣсь получилъ онъ мѣсто преподавателя, безпрестанно отгадывая множество будущихъ талантовъ и геніевъ въ своихъ ученикахъ, наконецъ женился и недавно (т. е. около 1857 г.) умеръ въ больницѣ, оставивъ послѣ себя довольно многочисленное семейство.»

Въ то время какъ Красовъ олицетворялъ такимъ образомъ прекраснодушіе, возросшее на почвѣ пролетаріата, совершенно въ другомъ родѣ и духѣ представляется передъ нами прекраснодушіе его товарища, Константина Аксакова:

«Константинъ Аксаковъ — говоритъ И. Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ —въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ оставался до сорока слишкомъ лѣтъ, то-есть до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной, отдѣльной жизни, безъ подпоры семейства. Внѣ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятій онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ.»

К. Аксаковъ въ то время, какъ принадлежалъ къ кружку Станкевича, не былъ еще такимъ крайнимъ славянофиломъ, какимъ онъ прославился впослѣдствіи, но и тогда уже въ немъ обнаруживалась наклонность къ славянофильству, которая, чуждая еще всякихъ философскихъ основаній, ограничивалась ребяческой привязанностью къ Москвѣ и столь-же ребяческой ненавистью къ Петербургу, причемъ и любовь, и ненависть были основаны на художественной созерцательности вполнѣ прекраснодушнаго свойства. Вотъ какъ описываетъ И. Панаевъ одну свою прогулку съ К. Аксаковымъ по Москвѣ:

«Мы лежали на травѣ безъ сюртуковъ. Дневной жаръ начиналъ спадать понемногу. Легкій вечерній вѣтерокъ пріятно освѣжалъ насъ. Закатъ былъ великолѣпный.

— Есть-ли на свѣтѣ другой городъ, — говорилъ мнѣ Константинъ Аксаковъ,—въ которомъ бы можно было расположиться такъ просто и свободно, какъ мы теперь?.. Далеко-ли мы отъ центра города, а между тѣмъ мы здѣсь какъ будто въ деревнѣ. Посмотрите, какъ красиво разбросаны эти домики въ зелени на горѣ. Въ Москвѣ вы найдете множество такихъ уединенныхъ и живописныхъ уголковъ, даже въ нѣсколькихъ шагахъ отъ центра города... Вотъ вѣдь чѣмъ хороша Москва! Я не понимаю, какъ можно жить въ вашемъ холодномъ, гранитномъ Петербургѣ, вытянутомъ въ струнку?.. Нѣтъ, оставайтесь у насъ; у васъ русское сердце, а русское сердце легко можетъ биться только здѣсь, среди этого простора, среди этихъ историческихъ памятниковъ на каждомъ шагу... Какъ не любить Москву!.. Сколько жертвъ принесла она для Россіи!..

«Аксаковъ постепенно одушевлялся и, заговоря объ этихъ жертвахъ, вскочилъ съ земли; глазки его сверкали, рука сжималась въ кулакъ, голосъ его дѣлался все звучнѣе...

— Пора намъ сознать нашу національность, а сознать ее можно только здѣсь; пора сблизиться намъ съ нашимъ народомъ, а для этого надо сначала сбросить съ себя эти глупыя куртузыя нѣмецкія платья, которыя раздѣляютъ насъ съ народомъ (и при этомъ Аксаковъ наклонился къ землѣ, поднялъ свой сюртукъ и презрительно отбросилъ его отъ себя. Петръ, отрывая насъ отъ нашей національности, заставлялъ брить бороды; мы должны теперь отпускать ихъ, возвращаясь къ ней... Такъ-то, Иванъ Ивановичъ! сказалъ Аксаковъ въ заключеніе, кладя свою широкую ладонь на плечо мое, когда я приподнялся съ травы:—бросьте Петербургъ, переселитесь къ намъ... Мы славно заживемъ здѣсь. Не шутя, подумайте объ этомъ...

«Онъ натянулъ на себя узкій нѣмецкій сюртукъ, который дѣйствительно какъ-то неловко сидѣлъ на его коренастой фигурѣ, и мы отправились домой, когда уже солнце совсѣмъ сѣло.»

Курьезнѣе всего проявлялось прекраснодушіе К. Аксакова во время его поѣздки за-границу. Вотъ какой анекдотъ весьма характерическаго свойства разсказываетъ о немъ И. Панаевъ:

«На углу одной изъ берлинскихъ улицъ Аксаковъ замѣтилъ дѣвочку лѣтъ 17-ти, продававшую что-то. Дѣвушка эта ему понравилась. Она всякій день являлась на свое привычное мѣсто, и онъ нѣсколько разъ въ день проходилъ мимо нея, не рѣшаясь однако заговорить съ ней .. Однажды (дней черезъ девять послѣ того, какъ онъ въ первый разъ замѣтилъ ее) онъ рѣшился заговорить съ нею.

«Послѣ нѣсколькихъ несвязныхъ словъ, произнесенныхъ дрожащимъ голосомъ, онъ спросилъ ее, знаетъ-ли она Шиллера, читала-ли она его? Дѣвушка очень удивилась этому вопросу.

— Нѣтъ, отвѣчала она:—я не знаю, о чемъ вы говорите; а не угодно-ли вамъ чего-нибудь купить у меня?

«Аксаковъ купилъ какую-то бездѣлушку и началъ толковать ей, что Шиллеръ—одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ германскихъ поэтовъ, и въ доказательство съ жаромъ прочелъ ей нѣсколько стихотвореній.

«Дѣвушка выслушала его болѣе съ изумленіемъ, чѣмъ съ сочувствіемъ. Аксаковъ явился къ ней на другой день и принесъ ей въ подарокъ экземпляръ полныхъ сочиненій Шиллера.

— Вотъ вамъ, сказалъ онъ:—читайте его... Это принесетъ вамъ пользу. Вы увидите, что, независимо отъ таланта, личность Шиллера самая чистая, самая идеальная, самая благородная...

— Благодарю васъ, произнесла дѣвушка, дѣлая книксенъ:—а позвольте спросить, сколько стоитъ эта книжка?

— Четыре талера.

— Ахъ, Боже мой, сколько! наивно воскликнула дѣвушка.—Благодарю васъ...но ужъ если вы такъ добры, такъ лучше бы вы мнѣ, вмѣсто книжекъ, деньгами дали...

«Аксаковъ побѣднѣлъ, убѣжалъ отъ нея съ ужасомъ, и съ тѣхъ поръ избѣгалъ даже проходить мимо того угла, гдѣ она вела свою торговлю...»

Въ заключеніе считаю нелишнимъ привести еще одинъ анекдотъ касательно одного изъ знаменитыхъ членовъ кружка, Каткова.

«Катковъ былъ тогда очень молодъ,—говоритъ И. Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ»,— и его молодость проявлялась въ немъ странными фантазіями. Разъ какъ-то захотѣлось ему идти непремѣнно въ погребокъ и провести тамъ вечеръ, какъ это дѣлывалъ въ Берлинѣ знаменитый Гофманъ, которымъ всѣ мы сильно увлекались въ то время.

«Катковъ предложилъ мнѣ.

— Да вѣдь здѣсь нѣтъ такихъ погребковъ, какъ въ Германіи, возразилъ я:—здѣсь берутъ только вино въ погребкахъ, а не распиваютъ его тамъ... Если вы хотите, я пошлю за виномъ...

— Нѣтъ, я хочу непремѣнно пить въ погребкѣ.

— Да коли это здѣсь не водится?

— Отчего не водится?—Это вздоръ! Если не водится, такъ мы введемъ это въ обычай... Я знаю, почему вамъ не хочется: вы боитесь унизить этимъ свое достоинство... и, разгорячась болѣе и болѣе, Катковъ началъ нападать по этому поводу на различные дворянскіе предразсудки и нелѣпыя привычія, которыми я, по его мнѣнію, былъ зараженъ.

— Такъ вы рѣшительно не хотите идти со мною? спросилъ онъ въ заключеніе, складывая торжественно руки и щуря глаза.

— Рѣшительно нѣтъ.

— Ну, такъ я пойду одинъ.

«Катковъ взялся-было уже за шляпу, но потомъ отложилъ свое намѣреніе. Дня два послѣ этого онъ дулся на меня...»

Главой всѣхъ этихъ прекраснодушныхъ юношей

былъ Станкевичъ. Выше мы нѣсколько познакомили уже читателей съ характеромъ прекраснодушія этого человѣка. Во время своего студенчества Станкевичъ не былъ еще знакомъ съ Гегелемъ и стоялъ въ общемъ уровнѣ развитія своихъ товарищей, но и тогда уже онъ былъ центромъ кружка, и можно смѣло предположить, что вліяніемъ своимъ на товарищей и поклоненіемъ, которымъ онъ былъ окруженъ, онъ былъ обязанъ болѣе всего своей крайне нервной, болѣзненно-нѣжной натурѣ, въ которой чувствительность была доведена до послѣдней степени. Станкевичъ могъ казаться своимъ прекраснодушнымъ друзьямъ поистинѣ существомъ не отъ міра сего, воздушнымъ, безтѣлеснымъ геніемъ, исполненнымъ граціознаго, тонкаго изящества и нѣжнаго чувства. Недаромъ барышни называли Станкевича небеснымъ. Стоитъ взглянуть на его портретъ, чтобы убѣдиться, что это была натура, способная не столько подчинять энергіей воли, сколько влюблять въ себя своимъ изяществомъ. И мы видимъ, что во всѣхъ отзывахъ о Станкевичѣ современниковъ и людей близкихъ преобладаетъ восхищеніе сторонами характера его чисто женственными, изъ чего можно заключить, что онъ производилъ на своихъ товарищей совершенно такое же смиряющее и гуманизирующее вліяніе, какое можетъ произвести умная, развитая, изящная дѣвушка въ кругу молодыхъ людей одного съ нею возраста.

«Въ характерѣ Станкевича—говоритъ Анненковъ въ своей біографіи—не было нисколько элементовъ удали, которая такъ поэтически выражается у русскаго народа, а въ образованныхъ классахъ ограничивается трактирными и домашними кутежами, грубымъ посягательствомъ на права личности, иногда дикимъ произволомъ. Черта эта пріобрѣтаетъ важность, разумѣется, только съ той минуты, когда общество смотритъ на нее равнодушно, или даже съ примѣсью благосклонности, радуясь ей, какъ безвредному истоку юношескаго пыла. Мало того, что кругомъ Станкевича жизнь шла трезво и бодро, но *она, благодаря ему, носила рѣдкій оттѣнокъ скромности.* Несмотря на его природную веселость, было что-то *умѣренное и деликатное въ его шуткѣ*, подобно тому, какъ *мысль его отличалась истиннымъ цвѣтомъ мудріемъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это конечно держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ кругъ его, въ одномъ общемъ настроеніи и на одной нравственной высотѣ.*

«Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель,—читаемъ мы въ другихъ «Воспоминаніяхъ»—Станкевичъ естественно долженъ былъ больше любить созерцаніе и отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе: его артистическій идеализмъ ему шелъ, это былъ «побѣдный вѣнокъ, выступавшій на блѣдномъ, предмертномъ челѣ юноши».

Подъ кроткимъ и гуманнымъ вліяніемъ Станкевича кружокъ развивался, принимая въ себя всѣ элементы развитія, окружавшіе юношей. Друзья читали «Телеграфъ» Полевого, «Московскій Вѣстникъ» Погодина, «Телескопъ» Надеждина, увлекались сочиненіями кн. Одоевскаго, по цѣлымъ часамъ заслушивались краснорѣчивой импровизаціи любимаго своего профессора Надеждина и подъ вліяніемъ его пропаганды все болѣе и болѣе проникались идеей важности и необходимости эстетическаго образованія. Изъ аудиторіи Надеждина они спускались внизъ въ аудиторію Павлова, и обоимъ этимъ профессорамъ были обязаны тою страстью къ философіи, которая впослѣдствіи въ нихъ развилась. Уже въ университетѣ мысль ихъ начала работать въ духѣ шеллинговой философіи; это мы видимъ въ первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго и въ письмѣ Станкевича къ Невѣрову, въ которомъ онъ, подъ заглавіемъ «Моя метафизика», излагаетъ рядъ идей въ духѣ шеллинговой философіи. Но надо полагать, что московскіе профессора познакомили своихъ учениковъ только съ общими основаніями шеллинговой философіи; болѣе же основательное и самостоятельное знакомство съ Шеллингомъ началось въ кружкѣ Станкевича уже послѣ университета, въ 1835 г. По крайней мѣрѣ Станкевичъ говоритъ въ письмѣ къ Грановскому, что, окончивши курсъ и послѣ различныхъ колебаній, сомнѣній относительно того, чѣмъ бы заняться, онъ *нечаянно напалъ* на философію Шеллинга.

Станкевичъ жилъ у Павлова; по вечерамъ друзья собирались въ скромной комнатѣ Станкевича, и здѣсь велись оживленныя, юношескія бесѣды о чувствѣ изящнаго, о любви и дружбѣ и пр. Здѣсь Красовъ разсказывалъ свои встрѣчи съ неземными существами. Здѣсь Станкевичъ читалъ своимъ товарищамъ, не знавшимъ еще нѣмецкаго языка, какъ напримѣръ Бѣлинскому, своихъ любимыхъ нѣмецкихъ поэтовъ—Шиллера, Гёте, Гофмана. Изъ русскихъ же писателей друзья зачитывались Пушкинымъ, Жуковскимъ, а впослѣдствіи Лермонтовымъ и Гоголемъ. Въ этотъ періодъ развитія въ кружкѣ Станкевича Шиллеръ преобладалъ еще надъ Гёте, но болѣе всего друзья увлекались Гофманомъ. Мечтатель-фантазеръ, который не могъ заговорить объ искусствѣ равнодушно и едва касался какого-либо предмета искусства, то не иначе изображалъ его, по выраженію біографа Станкевича, какъ въ огненномъ нестерпимомъ блескѣ, въ сверхъестественныхъ, фантастическихъ размѣрахъ; исполнивъ же задачу, самъ падалъ ницъ передъ собственнымъ представленіемъ—такой писатель былъ какъ нельзя болѣе подъ стать юнымъ мечтателямъ и поклонникамъ искусства. Книжки «Московскаго Наблюдателя» были впослѣдствіи наполнены повѣстями Гофмана. До какой степени доходило увлеченіе Гофманомъ въ кружкѣ Бѣлинскаго, это мы видимъ изъ того, что Бѣлинскій еще въ 1839 году выражалъ между разговорами свое недоумѣніе: отчего западная критика не ставитъ Гофмана наравнѣ со всѣми великими поэтами Европы, между тѣмъ какъ онъ обладаетъ той же сущностью, тѣмъ же разнообразіемъ и той же глубиной проникновенія въ жизнь? Но Бѣлинскій не ограничился однимъ недоумѣніемъ и не замедлилъ рѣшить его въ пользу Гофмана. Каждый разъ, какъ только ему приходилось въ своихъ критическихъ статьяхъ говорить о Гофманѣ, онъ не иначе отзывался о немъ, какъ о писателѣ великомъ, а въ своей статьѣ «Раздѣленіе поэзіи на роды и виды», напечатанной въ «Отеч. Зап.» 1841 года, въ № 3-мъ, онъ между прочимъ дѣлаетъ слѣдующую параллель:

«Имена Ричардсоновъ, Фильдинговъ, Радклифъ, Левисовъ, Дюкро-де-Менилей, Лафонтеновъ, Шписовъ, Крамеровъ, Поль-де-Коковъ, Марретовъ, Диккенсовъ, Лесажей, Мачьюреновъ, Гюго, Де-Виньи,—имѣютъ свою относительную важность и пользуются, или пользовались, заслуженной извѣстностью:

но ихъ отнюдь не должно смѣшивать съ именами Сервантеса, Вальтеръ-Скотта, Купера, Гофмана и Гете, какъ романистовъ.»

Вы видите, что въ то время, какъ Диккенсъ и Гюго стоятъ рядомъ съ Поль-де-Кокомъ, Гофманъ становится рядомъ съ Гёте, и Бѣлинскій убѣждаетъ читателей не смѣшивать отнюдь этихъ двухъ категорій.

Безъ сомнѣнія, Гофману, въ особенности его повѣсти «Seltsame Leiden eines Theater-Directors», были обязаны друзья тѣмъ юношескимъ энтузіазмомъ, съ какимъ они смотрѣли на театръ. Театръ былъ для нихъ не однимъ только развлеченіемъ въ часы досуга, но храмомъ искусства, къ которому они питали религіозное обожаніе и въ который входили съ благоговѣніемъ.

«Театръ становится для меня атмосферой,—говоритъ Станкевичъ въ одномъ изъ писемъ Невѣрову,—*прекрасное* моей жизни не отъ міра сего. Излить свои чувства некому — тамъ, въ храмѣ искусства, какъ-то вольнѣе душѣ, множество народа не стѣсняетъ ее, ибо надъ этимъ множествомъ парятъ какая-то мысль, она закрываетъ отъ меня ничтожныхъ, не внемлющихъ голосу общественной любви въ искусствѣ... Наше искусство невысоко; но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, о его совершенствѣ, о прелести изящнаго, дѣлать планы эѳемерные, скоропреходящіе...»

Но еще рельефнѣе и пламеннѣе выражены эти самыя мысли въ первой статьѣ Бѣлинскаго «Литературныя мечтанія»:

«Театръ! Любите-ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, т. е. всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете-ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются-ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ?» и т. д.

Вотъ въ какой средѣ протекли первые и самые роковые годы молодости Бѣлинскаго. Но Бѣлинскій, вполнѣ раздѣляя все прекраснодушіе своихъ юныхъ друзей, всѣ ихъ мечты и фантастическіе порывы, въ то-же время явился въ кружкѣ Станкевича съ особеннымъ своимъ элементомъ, котораго мы не видимъ ни въ комъ изъ друзей его. Этотъ элементъ проходитъ сквозь всю дѣятельность Бѣлинскаго, не смотря на всѣ усилія друзей смирить и уничтожить его, и можно положительно сказать, что элементу этому обязанъ былъ Бѣлинскій половиной своей литературной славы и вліянія на современниковъ.

О дѣтскихъ годахъ Бѣлинскаго мы имѣемъ мало свѣдѣній. Знаемъ только, что онъ родился въ 1810 году, былъ сынъ чембарскаго уѣзднаго штабъ-лекаря, провелъ дѣтство въ уѣздной глуши, въ средѣ мелкаго уѣзднаго чиновничества, и онъ самъ говорилъ впослѣдствіи, что изъ своей семьи не вынесъ ни одного пріятнаго воспоминанія. Часто пьяный и грубый отецъ его привязывался къ нему иногда безъ всякаго повода; случалось, что и билъ его по чему попало. Въ гимназію онъ поступилъ 15-ти лѣтъ изъ чембарскаго уѣзднаго училища. Вотъ что говоритъ между прочимъ учитель пензенской гимназіи о гимназическихъ годахъ Бѣлинскаго:

«Въ гимназіи, по возрасту и возмужалости, онъ во всѣхъ классахъ былъ старше многихъ сотоварищей. Наружность его мало измѣнилась впослѣдствіи, онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движеніяхъ. Неправильныя черты лица его, между хорошенькими личиками другихъ дѣтей, казались суровыми и старыми. На вакаціи онъ ѣздилъ въ Чембаръ, но не помню, чтобы отецъ его пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ-бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу.»

Какъ всѣ натуры страстныя и глубокія, Бѣлинскій не могъ подчиниться школьной рутинѣ гимназическаго преподаванія, которое въ то время стояло на болѣе еще низкомъ уровнѣ, чѣмъ въ наше время, и въ которомъ долбня стояла на первомъ планѣ. Онъ учился, т. е. долбилъ, весьма плохо, въ одномъ классѣ просидѣлъ два года, а въ 1829 году былъ окончательно исключенъ изъ гимназіи за нехожденіе въ классъ. Какіе-то вліятельные знакомые помогли ему однакожъ въ 1829 году поступить въ московскій университетъ; но и тамъ онъ не могъ подчиниться школьной схоластикѣ записыванія часто весьма сноторныхъ лекцій и потомъ долбнѣ ихъ передъ экзаменомъ. Въ 1832 г., будучи уже на второмъ курсѣ, онъ оставилъ университетъ съ слѣдующей аттестаціей: «способностей слабыхъ и нерадивъ».

Въ то время, какъ забивающая мертвечина школьной рутины возбуждала въ Бѣлинскомъ такое непреодолимое отвращеніе, все свое время посвящалъ онъ знакомству съ русской литературой и чтенію всевозможныхъ книжекъ, какія только ему попадались подъ руку. Страсть къ чтенію развилась въ Бѣлинскомъ еще въ уѣздномъ училищѣ: уже тогда, по свидѣтельству смотрителя чембарскаго училища, Бѣлинскій гулялъ часто одинъ, не былъ сообщителенъ съ товарищами по училищу, не вмѣшивался въ ихъ игры и находилъ особенное удовольствіе за книжками, которыя доставалъ, гдѣ только могъ.

Особенно сильное вліяніе на развитіе и направленіе мыслей Бѣлинскаго имѣлъ учитель естественной исторіи М. М. Поповъ, оставившій воспоминанія о своемъ питомцѣ. Но было бы совершенно ошибочно думать, чтобы вліяніе учителя естественныхъ наукъ было въ духѣ реальномъ и возбуждало въ ученикахъ страсть къ естествовѣдѣнію. Напротивъ того, питомецъ филологическаго факультета казанскаго университета, Поповъ былъ страстный романтикъ и вотъ что говоритъ онъ о своемъ преподаваніи и вліяніи на Бѣлинскаго:

«Во время бытности Бѣлинскаго въ пензенской гимназіи преподавалъ я естественную исторію, которая начиналась уже въ 3-мъ классѣ (тогдашній курсъ гимназическій состоялъ изъ четырехъ классовъ). Поэтому онъ учился у меня только въ двухъ высшихъ классахъ. Но я зналъ его съ первыхъ, потому что онъ друженъ былъ съ соученикомъ своимъ, моимъ роднымъ племянникомъ, и иногда бывалъ въ нашемъ домѣ. Онъ бралъ у меня книги и журналы, пересказывалъ прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ. Скоро я полюбилъ его. По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неравный мнѣ: но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь дру-

гимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ.

«Домашнія бесѣды наши продолжались и послѣ того, какъ Бѣлинскій поступилъ въ высшіе классы гимназіи. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи онъ съ другими учениками слушалъ у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университетѣ я шелъ по филологическому факультету, и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себѣ, что иногда происходило въ классѣ естественной исторіи, гдѣ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ сидѣлъ такой-же страстный къ словесности ученикъ. Разумѣется, начинали я съ зоологіи, ботаники или ориктогнозіи и старался держаться этого берега, но съ середины, а случалось и съ начала лекціи, отъ меня-ли, отъ Бѣлинскаго-ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюфона-натуралиста я переходилъ къ Бюфону-писателю, отъ гумбольдтовой географіи растеній—къ его «картинамъ природы», отъ нихъ—къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру—въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковскаго... Бывало, когда отправляюсь за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до засѣки, что позади городского гулянья, или до рощи, что за рѣкой Пензой, Бѣлинскій приставалъ ко мнѣ съ вопросами о Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ, Пушкинѣ, о романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодыя сердца.

«Тогда Бѣлинскій, по лѣтамъ своимъ, еще не могъ отрѣшиться отъ обаянія первыхъ пушкинскихъ поэмъ и мелкихъ стиховъ. Непривѣтно онъ встрѣтилъ сцену: «Келью въ Чудовомъ монастырѣ». Онъ и въ то время не скоро поддавался на чужое мнѣніе. Когда я объяснилъ ему высокую прелесть въ простотѣ, поворотъ къ самобытности и возрастаніе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмалчивался или говорилъ: «дайте, подумаю; дайте, еще прочту». Если-же съ чѣмъ онъ соглашался, то, бывало, отвѣчалъ съ страшной увѣренностью: «совершенно справедливо».

Ниже Поповъ говоритъ, что Бѣлинскій читалъ съ жадностью тогдашніе журналы и всасывалъ въ себя духъ Полевого и Надеждина.

Знакомство съ литературой не замедлило впечатлительнаго юношу, преисполненнаго творческихъ силъ, натолкнуть на попытки къ самостоятельному творчеству, и во второмъ классѣ гимназіи, будучи 16-ти лѣтъ, онъ началъ писать стихи и повѣсти. Но уже въ 1830 году онъ смотрѣлъ на эти попытки критически, убѣдясь, что не рожденъ быть поэтомъ.

«Бывши во второмъ классѣ гимназіи,—говоритъ онъ въ письмѣ къ своему бывшему наставнику,—я писалъ стихи и почиталъ себя опаснымъ соперникомъ Жуковскаго; но времена перемѣнились. Вы знаете, что въ жизни юноши всякій часъ важенъ: чему онъ вѣритъ вчера, надъ тѣмъ смѣется завтра. Я увидѣлъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и, не хотя идти на перекоръ природѣ, давно уже оставилъ писать стихи. Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя, душа часто бываетъ полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ умѣ рождаются мысли высокія, благородныя; хочу ихъ выразить стихами и не могу! Тщетно трудясь, съ досадой бросаю перо. Имѣю пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имѣю душу пылкую и при всемъ томъ не имѣю таланта выразить свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Рѣчь мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не укладываются въ стопы, и я пашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу... Есть довольно много начатаго и ничего оконченнаго и обработаннаго, даже такого, что бы могло помѣститься не только въ альманахѣ, гдѣ собирается все отличное, но даже и въ «Дѣтскомъ журналѣ». Въ первый еще разъ я съ горестью проклинаю свою неспособность писать стихами и лѣность писать прозой.»

Но въ 1832 году неудачный опытъ написать драму, которая вышла блѣдна и безцвѣтна, окончательно убѣдилъ Бѣлинскаго, что онъ не рожденъ для поэтическаго творчества, хотя-бы и прозой. Эта неудача стоила Бѣлинскому тяжелаго унынія и паденія духа, тѣмъ болѣе, что обстоятельства его были со всѣхъ сторонъ плохи, почти безвыходны. Одинъ въ цѣломъ мірѣ, безсемейный голякъ, безъ всякихъ средствъ, безъ всякихъ связей, обладающій въ то-же время гордымъ, независимымъ характеромъ, для котораго, по собственнымъ-же словамъ его, не было ничего тягостнѣе, ужаснѣе, какъ быть обязаннымъ кому-либо, онъ былъ поставленъ лицомъ къ лицу передъ страшнымъ вопросомъ: чѣмъ питаться и какъ существовать. Мы не знаемъ, чѣмъ пробивался этотъ геніальный бѣднякъ со времени своего пріѣзда въ Москву въ 1829 г. и до 1834 года, когда онъ началъ сотрудничать въ «Телескопѣ». Намъ только извѣстно, что онъ во время уже сотрудничества въ журналѣ Надеждина, которое ему давало повидимому немного средствъ, жилъ между Трубой и Петровкой, въ какомъ-то переулкѣ—надъ кузницей и возлѣ прачешной, въ ужасной обстановкѣ:

«Каково-же было—говоритъ Лажечниковъ, посѣтившій его въ такомъ жилищѣ,—дышать этимъ воздухомъ, особенно ему, съ слабой грудью. Каково было слышать за дверьми упоительную бесѣду прачекъ и подъ собой стукотню отъ молотовъ русскихъ циклоповъ, если не подземныхъ, то подпольныхъ! Не говорю о бѣднѣйшей обстановкѣ его комнаты, незапертой (хотя я не засталъ хозяина дома), потому что въ ней нечего украсть. Прислуги никакой; онъ ѣлъ вѣроятно то, что ѣли его сосѣдки. Сердце мое облилось кровью... Я спѣшилъ бѣжать отъ смрада испареній, охватившихъ меня и пропитавшихъ въ нѣсколько минутъ мое платье, скорѣй, скорѣй на чистый воздухъ, чтобы хоть нѣсколько облегчить грудь отъ всего, что я видѣлъ, что я почувствовалъ въ этомъ убогомъ жилищѣ литератора, заявившаго Россіи свое имя...»

Кромѣ этого печальнаго факта, извѣстенъ еще другой, относящійся къ этому періоду жизни Бѣлинскаго и то же касающійся вопроса о существованіи. Между прочими мытарствами, удалось Бѣлинскому найти мѣсто домашняго секретаря у одного московскаго богача, любителя литературы, извѣстнаго въ ней подъ именемъ Прутикова. Должность Бѣлинскаго заключалась въ томъ, чтобы выглаживать и исправлять сочиненія этого квази-литератора. За такую должность назначалось небольшое жалованье, квартира, прислуга и столъ. Но Бѣлинскій недолго пробылъ на этомъ мѣстѣ; видно, ему такъ показалось солоно въ блестящихъ хоромахъ барина, что онъ въ одинъ прекрасный день бѣжалъ отъ него, завязавши въ носовой платокъ все свое имущество и оставивши своему патрону записку съ извиненіемъ въ томъ, что онъ не считаетъ себя способнымъ къ исполненію этой должности, и снова переселился онъ въ свою конуру на Трубѣ.

Всѣ эти факты совершенно оттѣняютъ Бѣлинскаго отъ тѣхъ прекраснодушныхъ юношей, которые его окружали, которымъ было легко благодушествовать въ

эстетическихъ созерцаніяхъ на папенькиныхъ хлѣбахъ. Позади ихъ были сладкія воспоминанія дѣтства, впереди открытое поприще для какой угодно дѣятельности при протекціи вліятельныхъ дяденекъ, тетенекъ и богатыхъ друзей всякаго рода; на каникулахъ ждала ихъ родительская усадьба со своими патріархальными объятіями, праздниками, гостями, охотами и прогулками... Подвернулся Грановскому случай поступить на университетское поприще, и онъ поѣхалъ на казенный счетъ за-границу; захворалъ Станкевичъ, и тотчасъ-же родители послали его на кавказскія воды, а потомъ за-границу. Сами московскіе профессора иначе относились къ баловнямъ судьбы, иначе къ пасынкахъ. Въ то время, какъ Бѣлинскій оставилъ университетъ съ аттестаціей слабыхъ способностей и нерадѣнія, въ то время, какъ Надеждинъ, журналъ котораго прославился именемъ Бѣлинскаго, съ брезгливостью щепетильнаго эстетика смотрѣлъ на убогое жилище знаменитаго критика и съ пренебреженіемъ отзывался о немъ, какъ о циникѣ, предполагая въ наивности сытаго человѣка, что Бѣлинскій живетъ убого изъ какой-то врожденной, будто-бы, страсти къ цинизму и грязи,—Станкевичъ, живя у Павлова, не замедлилъ познакомиться съ Надеждинымъ, Шевыревымъ и другими профессорами московскаго университета, которые приняли его ласково, съ участіемъ, окружили совѣтами и вскорѣ встали съ нимъ даже на дружескую ногу. «Павловъ и Шевыревъ—говоритъ въ одномъ изъ писемъ Станкевичъ—познакомили меня съ кн. Т—ой и я плясалъ у нея и проч.».

При такихъ условіяхъ жизни друзья Бѣлинскаго гораздо уже раньше были расположены къ примирительному взгляду на жизнь и людей и эстетическому квіэтизму, чѣмъ успѣли подвести свое отношеніе къ жизни подъ формулы гегелевской философіи. И въ первый періодъ своего развитія, когда они еще и не помышляли о Гегелѣ, они требовали отъ мыслящаго человѣка, чтобы онъ, во что бы то ни стало, былъ преисполненъ кроткаго, гармоническаго настроенія, чтобы онъ созерцалъ жизнь, анализировалъ ее, въ то-же время отнюдь не допуская вражды и ненависти въ отношеніи къ различнымъ ея проявленіямъ. Вражда и ненависть считались чѣмъ-то весьма негармоничнымъ, неизящнымъ, односторонниимъ и потому вычеркивались изъ жизни. А между тѣмъ всѣ обстоятельства жизни Бѣлинскаго съ дѣтскихъ лѣтъ къ тому и вели, чтобы озлобить и ожесточить его. Онъ не имѣлъ даже утѣшенія Красова, который, находясь въ такихъ-же бѣдственныхъ положеніяхъ, какъ и Бѣлинскій, состроилъ себѣ свой собственный міръ иллюзій и уходилъ въ него, забывая и холодъ, и голодъ дѣйствительности, и снисходительный юморъ своихъ богатыхъ друзей. Бѣлинскій не владѣлъ стихами, чтобы утѣшаться стихоизліяніями, и былъ слишкомъ уменъ, чтобы міръ иллюзій не разрушался ежеминутно передъ его глазами, какъ карточные домики. Вотъ подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ въ ранней юности уже онъ сосредоточилъ въ себѣ столько озлобленія, что его могли заглушить только на время гармоническіе идеалы и увѣщанія друзей въ ихъ духѣ. Онъ былъ далекъ еще, по своему развитію, отъ сознанія основныхъ причинъ своего озлобленія, но тѣмъ не менѣе онъ его чувствовалъ. Горечь, разъѣдавшая его сердце, искала выхода и, какъ это часто бываетъ съ людьми озлобленными, что они, не добираясь до главныхъ причинъ своего озлобленія, обрушиваютъ весь жаръ своего гнѣва на первые подвернувшіеся подъ руку предметы, такъ какъ чувство ихъ ищетъ какого-бы то ни было проявленія,—такъ это было и съ Бѣлинскимъ: онъ вышелъ на литературное поприще не отвлеченнымъ эстетикомъ, созерцателемъ и наблюдателемъ, въ какомъ видѣ представляли себѣ друзья его идеалъ критика, но съ горячей, страстной жаждой полемики, и хотя полемика эта вращалась исключительно въ предѣлахъ литературы, но тѣмъ не менѣе въ страстномъ саркастическомъ тонѣ ея, сладострастной жаждѣ нападать и разить—такъ и слышится озлобленіе человѣка, который чувствовалъ живую потребность хоть на что-нибудь излить горечь своей души. Вы посмотрите, какъ въ первой-же статьѣ своей Бѣлинскій самъ формулируетъ преобладающее настроеніе своего духа:

«У насъ нападаютъ иногда на полемику, въ особенности журнальную. Это очень естественно. Люди, хладнокровные къ умственной жизни, могутъ-ли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, *что за блаженство, что за сладострастіе души*—сказать какому-нибудь генію въ отставкѣ безъ мундира, что онъ смѣшонъ и жалокъ съ своими дѣтскими претензіями на великость, растолковать ему, что онъ не себѣ, а крикуну-журналисту обязанъ своей литературной значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ авторитетомъ на кредитъ, по старымъ воспоминаніямъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учителю, что онъ близорукъ, что онъ отсталъ отъ вѣка и что ему надо переучиваться съ азбуки; сказать какому-нибудь выходцу, Богъ вѣсть откуда, какому-нибудь пройдохѣ и Видоку, какому-нибудь литературному шарлатану, что онъ оскорбляетъ собой и эту словесность, которой занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ коихъ пользуется, что онъ наругался и надъ святостью истины, и надъ святостью знанія, заклеймить его имя поворомъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя-бы она была и баронская, и показать его свѣту во всей его наготѣ!... *Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграничное!* Конечно въ литературныхъ стычкахъ иногда нарушаются законы приличія и общежительности, но умный и образованный читатель пропуститъ безъ вниманія пошлые намеки о желтякахъ, объ утиныхъ носахъ, семинаристахъ, гарѣ, полугарѣ, купцахъ и аршинникахъ; онъ всегда съумѣетъ отличить истину отъ лжи, человѣка отъ слабости, талантъ отъ заблужденія; читатели-же невѣжды не сдѣлаются отъ того ни тупѣе, ни умнѣе. Будь все тихо и чинно, будь вездѣ комплименты и вѣжливости – тогда какой просторъ для бевсовѣстности, шарлатанства, невѣжества: некому обличить, некому изрѣчь грозное слово правды!»

А между тѣмъ друзья Бѣлинскаго о томъ только и хлопотали, чтобы повсюду были комплименты и вѣжливости. Они смотрѣли на страсть къ полемикѣ въ Бѣлинскомъ, какъ на недостатокъ, хотя сами невольно подчинялись вліянію этой полемики. Такъ напримѣръ, конечно Бѣлинскому былъ обязанъ Станкевичъ разочарованіемъ въ Шевыревѣ, какъ въ человѣкѣ. По крайней мѣрѣ при первомъ знакомствѣ съ Шевыревымъ Станкевичъ былъ отъ него безъ ума и

въ письмѣ къ Невѣрову отзывался о немъ съ восторгомъ. Но первая-же статья Бѣлинскаго разрушила это очарованіе. Дѣло въ томъ, что, вмѣсто безусловныхъ похвалъ, Бѣлинскій отозвался о стихотвореніяхъ Шевырева критически, и Станкевичъ тотчасъ-же увидѣлъ, какое мелкое, напыщенное самолюбіе скрывалось въ ученомъ профессорѣ подъ всѣми его громкими фразами. «Бѣлинскій—пишетъ Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ—въ своихъ «Литературныхъ мечтаніяхъ» (хорошая статья въ «Молвѣ»; Шевыревъ, говорятъ, хвалилъ ее, пока до него не дошло дѣло) сказалъ (хваля впрочемъ чрезвычайно Шевырева), что въ стихахъ его развивается мысль, а не изливается чувство. Справедливое замѣчаніе! Шевыревъ, говорятъ, взбѣсился и кричитъ: «какъ смѣетъ такъ говорить?» Это тонъ Полевого. Да развѣ онъ власть какая-нибудь, что объ немъ судить нельзя? Досадно!—конечно иные прибавятъ».

Послѣ того Станкевичъ въ своихъ письмахъ отзывался о Шевыревѣ не иначе уже, какъ о самолюбивомъ, ограниченномъ педантѣ. Онъ даже восхищался, когда Бѣлинскій впослѣдствіи болѣе уже рѣшительно напалъ на Шевырева въ 9 № «Телескопа» за 1835 годъ: «9 й № готовятъ,—писалъ Станкевичъ въ письмѣ Невѣрову;—въ немъ осмѣлились пошутить надъ Шевыревымъ, который съ важностью говоритъ о реформѣ въ русской просодіи и хочетъ ввести итальянскую. Не говоря уже о нелѣпости этой мысли, подумай, какъ не стыдно въ нашъ вѣкъ, богатый человѣческими интересами, думать о перемѣнахъ въ просодіи? Талантъ самъ создаетъ ее».

А между тѣмъ такъ сильна была тяга къ прекраснодушному квіэтизму, что тотъ-же самый Станкевичъ при всякомъ удобномъ случаѣ выражалъ въ письмахъ свое несочувствіе и неодобреніе къ полемическому тону Бѣлинскаго. Надо думать, что такое неодобреніе не ограничивалось одними намеками въ письмахъ къ Невѣрову, а служило предметомъ неоднократныхъ споровъ между Бѣлинскимъ и его друзьями; очень можетъ быть, что и приведенныя патетическія строки о сладострастіи полемики были возбуждены въ Бѣлинскомъ этими спорами. По крайней мѣрѣ намъ извѣстно, что Бѣлинскій имѣлъ обычай отвѣчать своимъ друзьямъ, въ разгарѣ спора, печатными статьями, какъ впослѣдствіи онъ отвѣчалъ Герцену «Менцелемъ» и «Бородинской годовщиной». Такимъ образомъ вотъ уже откуда ведетъ свое начало то пренебреженіе и отрицаніе всякаго живого и полемическаго отношенія къ жизни и литературѣ во имя олимпійскаго спокойнаго созерцанія и безстрастнаго браминскаго квіэтизма, какое впослѣдствіи мы видимъ въ людяхъ сороковыхъ годовъ, въ ихъ напримѣръ нападкахъ на полемическій тонъ «Современника» или «Русскаго Слова». Но было бы совершенно ложно обвинять въ этомъ квіэтизмѣ всю эпоху сороковыхъ годовъ и думать, чтобы онъ всецѣло господствовалъ въ эту эпоху, будучи произведеніемъ духа этого времени. Мы видимъ, что и въ сороковые годы онъ былъ произведеніемъ особенной среды, особенныхъ условій жизни, и далеко не господствовалъ безусловно, проявляясь только тамъ, гдѣ условія жизни вели къ его преобладанію. Что далеко не всѣ раздѣляли убѣжденія Станкевича относительно полемики, это мы видимъ изъ того, что слухи объ увѣщаніяхъ Станкевичемъ Бѣлинскаго достигли до Петербурга, и тамъ они встрѣчены были не совсѣмъ благосклонно. По крайней мѣрѣ они были формулированы въ томъ видѣ, что Станкевичъ цензируетъ статьи Бѣлинскаго, и Станкевичъ въ письмѣ къ Невѣрову вотъ какъ отозвался объ этихъ слухахъ:

«Не знаю, откуда эти чудные слухи заходятъ въ Питеръ. Я—цензоръ Бѣлинскаго? Напротивъ, я самъ свои переводы, которыхъ два или три въ «Телескопѣ», подвергалъ цензорству Бѣлинскаго въ отношеніи русской грамоты, въ которой онъ знатокъ, а въ мнѣніяхъ всегда готовъ съ нимъ посовѣтоваться и очень часто послѣдовать его совѣтамъ. Конечно его выходка неосторожна, но не болѣе; онъ хотѣлъ напасть на способъ составлять репутацію и оскорбилъ человѣческую сторону Бенедиктова *). Я ему это скажу».

Ужъ одни эти факты показываютъ, что Бѣлинскій далеко не былъ исключительнымъ произведеніемъ кружка Станкевича, какимъ-то эхомъ или, лучше сказать, протоколистомъ, который въ своихъ статьяхъ сообщалъ разговоры, которые велись на дружескихъ собраніяхъ кружка, преимущественно же мнѣнія Станкевича, систематизируя и обобщая ихъ, какъ многіе выставляютъ Бѣлинскаго, между прочимъ и біографъ Станкевича, Анненковъ. Мы видимъ, что Бѣлинскій съ перваго своего шага является личностью, по характеру своему вполнѣ оригинальной и рѣзко отличающейся отъ окружавшихъ его людей. Хотя онъ во многомъ подчинялся вліянію своего кружка, особенно впослѣдствіи, но не одно это вліяніе отражается на первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго. Пересматривая эти статьи и рядомъ съ ними письма Станкевича за эти же годы, мы видимъ, что какъ Бѣлинскій, такъ и друзья его равно находились подъ вліяніемъ литературы того времени и философскаго броженія въ духѣ Шеллинга, господствовавшаго въ Москвѣ. Такимъ образомъ, читая два первые тома Бѣлинскаго, мы встрѣчаемся тамъ со взглядами Полевого, Одоевскаго, Надеждина, Веневитинова и Кирѣевскаго. Со всѣми же этими писателями Бѣлинскій успѣлъ познакомиться уже на школьной скамьѣ гораздо ранѣе, чѣмъ вошелъ въ кружокъ Станкевича.

Самая первая статья Бѣлинскаго, «Литературныя мечтанія», написана подъ сильнымъ вліяніемъ полемическихъ этюдовъ Надеждина въ «Вѣстникѣ Европы», хотя конечно отличается отъ нихъ, какъ небо отъ земли, по благородству тона и литературной честности. Самое заглавіе статьи «Литературныя мечтанія» напоминаетъ заглавіе первой статьи Надеждина «Литературныя опасенія». Главной мыслью въ статьѣ Бѣлинскаго, какъ и во всѣхъ статьяхъ Надеждина,

*) Здѣсь дѣло идетъ о критикѣ Бѣлинскаго на стихотворенія Бенедиктова, помѣщенной въ «Телескопѣ» 1835 г. Статья эта дѣйствительно отличается безпощадной рѣзкостью, но при всемъ томъ мы убѣждены, что эта именно рѣзкость болѣе всего дѣйствовала на современниковъ, заставляя глубоко врѣзываться въ ихъ умы высказываемые идеи и взгляды; къ тому-же рѣзкость эта преисполнена глубокой, хотя и горькой правды.

является то положеніе, что у насъ нѣтъ литературы. Для доказательства этой мысли Бѣлинскій излагаетъ основанія шеллинговой философіи, проникаясь при этомъ тѣмъ высокимъ паѳосомъ, который такъ часто встрѣчается въ его статьяхъ и который производилъ на современниковъ потрясающее впечатлѣніе. По мнѣнію Бѣлинскаго,

«весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единаго, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи.» Проявленіе этой идеи въ нравственномъ мірѣ есть—«борьба между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной»... «Цѣль искусства воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы». «Доколѣ поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, дотолѣ онъ нравственъ, дотолѣ онъ и поэтъ; но какъ скоро онъ предположилъ себѣ цѣль, задалъ тэму, онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ, онъ теряетъ надо мной свою чародѣйскую власть, разрушаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ, если, при истинномъ талантѣ, имѣетъ похвальную цѣль, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей...»

Изложивши общія понятія объ искусствѣ, Бѣлинскій переходитъ затѣмъ къ вопросу, что̀ такое наша литература: «выраженіе общества или духа народнаго?»

«Каждый народъ,—говоритъ Бѣлинскій совершенно согласно съ тѣмъ, что говорили въ то время всѣ шеллингисты,—вслѣдствіе непреложнаго закона провидѣнія, долженъ выражать своей жизнью одну какую-нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества; въ противномъ случаѣ, этотъ народъ не живетъ, а только прозябаетъ, и его существованіе ни къ чему не служитъ... Да, только идя по разнымъ дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей единой цѣли; только живя самобытной жизнью, можетъ каждый народъ принести долю въ общую сокровищницу. Въ чемъ же состоитъ самобытность каждаго народа? Въ особенномъ, ему принадлежащемъ образѣ мыслей и взглядѣ на предметы, въ религіи, языкѣ, и болѣе всего въ обычаяхъ...»

Далѣе затѣмъ, исходя изъ этихъ идей, Бѣлинскій подробно обозрѣваетъ весь ходъ нашей литературы, начиная съ Кантемира, и сообразно тому, насколько тотъ или другой писатель представляется самостоятельнымъ и народнымъ, Бѣлинскій приходитъ къ тому выводу, что вся наша литература сосредоточивается въ четырехъ именахъ:

«Въ самомъ дѣлѣ, Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ — вотъ всѣ ея представители; другихъ покуда нѣтъ и не ищите ихъ Но могутъ-ли составить цѣлую литературу четыре человѣка, являвшіеся не въ одно время? И притомъ развѣ они были не случайными явленіями?.. Гдѣ же, спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало художниковъ по призванію, то-есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать—одно и то же, которые уничтожаются внѣ искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему святому призванію. У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы всюду проходитъ; теперь терзаемъ драму. И все это безъ причины, все это изъ подражательности. Когда же наступитъ у насъ истинная эпоха искусства? Она наступитъ, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, *въ которомъ бы выразилась физіономія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возращенное на родной почвѣ...*»

Мы нарочно представили экстрактъ первой статьи Бѣлинскаго, потому что онъ можетъ служить для насъ какъ бы конспектомъ основныхъ взглядовъ, преобладающихъ въ первый періодъ дѣятельности Бѣлинскаго, въ его статьяхъ въ «Телескопѣ» и «Молвѣ». Взгляды эти могутъ быть формулированы въ слѣдующихъ двухъ положеніяхъ: 1) поэтическое творчество заключается въ стремленіи поэта воплощать идею въ образы искусства, и оно до тѣхъ только поръ можетъ быть названо поэтическимъ творчествомъ, пока оно свободно и непроизвольно, и 2) идеи, воспроизводимыя поэтомъ, суть тѣ, представителемъ которыхъ является народъ, которому принадлежитъ поэтъ, и время, въ которое онъ живетъ. Этими двумя положеніями обусловливались многія симпатіи и антипатіи, въ которыхъ Бѣлинскій сходился съ большинствомъ шеллингистовъ, подвизавшихся въ то время въ Москвѣ. На основаніи этихъ положеній, онъ возставалъ между прочимъ на стремленіе поэтовъ поддѣлываться подъ народную поэзію, которое въ то время было распространено подъ вліяніемъ поднятаго въ литературѣ вопроса о народности. По мнѣнію Бѣлинскаго, Пушкинъ былъ болѣе народенъ, когда писалъ естественно и непроизвольно, по внушенію вдохновенія, чѣмъ когда вздумалъ поддѣлываться подъ народныя сказки, потому что всякая поддѣлка или предвзятая мысль парализируетъ непосредственное творчество, а только оно и можетъ быть истинно народнымъ. На тѣхъ же основаніяхъ напалъ Бѣлинскій и на Бенедиктова, въ каждомъ стихѣ котораго видѣлъ надуманную вычурность вмѣсто истиннаго, непосредственнаго творчества, и на Шевырева за то, что «большая часть оригинальныхъ произведеній Шевырева, за исключеніемъ весьма немногихъ, обнаруживающихъ неподдѣльное чувство, при всѣхъ ихъ достоинствахъ, часто обнаруживаютъ болѣе усилія ума, чѣмъ изліянія горячаго вдохновенія».

Но было бы ложно думать, чтобы, исходя изъ этихъ основаній, Бѣлинскій всю свою критическую дѣятельность основывалъ на томъ, что подводилъ подъ нихъ факты литературы и педантически отрицалъ все, что̀ не согласовалось съ ними. Въ то время въ литературѣ было много явленій, производившихъ на общество и молодежь сильное вліяніе, но которыя не были плодами непосредственнаго творчества и не носили на себѣ и слѣда народности. Таковы были произведенія Одоевскаго и Полевого. Бѣлинскій умѣлъ цѣнить всѣ литературныя явленія, которыя были прогрессивны для своего времени, хотя-бы и не подходили подъ вышеизложенныя опредѣленія поэтическаго творчества. Такъ не иначе, какъ съ энтузіазмомъ, отзывался Бѣлинскій о произведеніяхъ Одоевскаго и высоко цѣнилъ повѣсти Полевого.

Вліяніе Одоевскаго и Полевого на Бѣлинскаго бы-

ло не менѣе вліянія университетскихъ шеллингистовъ и отражается весьма сильно на первыхъ статьяхъ его. Можно положительно сказать, что въ то время, какъ университетскимъ шеллингистамъ былъ обязанъ Бѣлинскій своими эстетическими взглядами, изъ нѣмецкихъ писателей Шиллеру и Гофману, а изъ русскихъ Одоевскому и Полевому былъ обязанъ онъ взглядами моральными, нравственными идеалами. Не иначе, какъ подъ этими вліяніями, образовался у Бѣлинскаго идеалъ поэта и вообще писателя, въ видѣ мученика идеи, безкорыстно, до самоотверженія преданнаго ея служенію и стоящаго постоянно въ разладѣ съ пошлой толпой, непонимающей генія. По всей вѣроятности этимъ же вліяніямъ былъ обязанъ Бѣлинскій своей ненавистью къ людямъ большого свѣта за то, какъ онъ патетически выражался, что они «потеряли образъ и подобіе Божіе,— за то, что отреклись отъ Бога живого и поклонились идолу суетъ,—за то, что умъ, чувства, совѣсть, честь замѣнили условными приличіями!» Понятна послѣ этого становится та желчь, которую изливалъ Бѣлинскій при всякомъ удобномъ случаѣ на погоню за свѣтскостью въ литературѣ, какъ это мы видимъ напримѣръ въ нападкахъ на Шевырева, въ статьѣ «О критикѣ «Наблюдателя» или въ рецензіяхъ о «Современникѣ», журналѣ, считавшемся тогда средоточіемъ свѣтской литературы и прибѣжищемъ великосвѣтскихъ писателей.

Въ этихъ нападкахъ на свѣтскую пустоту, «на молодчиковъ и дэнди, какъ выражался Бѣлинскій, неимѣющихъ никакихъ познаній, кромѣ навыка легко болтать всякій вздоръ по-французски, становящихся смѣшными и жалкими анахронизмами», затѣмъ въ злыхъ и мѣткихъ сарказмахъ, которыми осыпалъ Бѣлинскій всякое легкомысленное отношеніе къ дѣлу мысли, постыдный, шарлатанскій торгъ непереваренными словоизверженіями, низкое, нагло-безсовѣстное отношеніе къ литературѣ разныхъ Гречей, Булгариныхъ и Сенковскихъ, съ другой стороны — въ возвеличеніи молодого поколѣнія за то, что оно, «разочаровавшись въ геніальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ»,—во всемъ этомъ мы видимъ живую, свѣтлую сторону пропаганды Бѣлинскаго въ этомъ періодѣ его дѣятельности. Эта сторона его пропаганды и производила именно то потрясающее впечатлѣніе на общество, которое заставило съ первыхъ-же статей Бѣлинскаго обратить на него всеобщее вниманіе. Этой своей пропагандой и заставлялъ Бѣлинскій молодежь изъ бальныхъ залъ бѣжать въ библіотеки и аудиторіи, отъ картъ бросаться за книги и отъ чтенія романовъ Поль-де-Кока, повѣстей Брамбеуса или Булгарина браться за Шекспира, Байрона, Гёте, Пушкина и Гоголя.

И вообще должно замѣтить, что, какъ ни узокъ былъ еще умственный кругозоръ Бѣлинскаго въ этотъ первый періодъ его дѣятельности и какъ ни отвлеченна та почва, на которой стоялъ онъ,—при всемъ томъ общее направленіе его мыслей было гораздо живѣе и прогрессивнѣе, чѣмъ въ послѣдующій періодъ его дѣятельности въ «Московскомъ Наблюдателѣ». Хотя вы и встрѣчаете въ концѣ первой статьи его (см. «С. Б.», т. I, стр. 128) нѣсколько мыслей, проникнутыхъ казеннымъ пошлымъ патріотизмомъ, вродѣ того, что просвѣщеніе двигается въ Россіи быстрыми шагами, руководствуемое высокими меценатами, а «благородное дворянство наконецъ вполнѣ увѣрилось въ необходимости давать своимъ дѣтямъ образованіе прочное, основательное, въ духѣ вѣры» и пр.,—понадо думать, что всѣ эти слова были умышленно вставлены въ статью, чтобы хоть какъ-нибудь загладить и затушевать рѣзкость нѣкоторыхъ мѣстъ ея и отрицательный характеръ общаго ея направленія. По крайней мѣрѣ эти слова совершенно не гармонируютъ съ цѣлой статьей и являются въ ней какъ-то съ боку-припеку. Но еще болѣе противорѣчатъ они со свидѣтельствомъ самого Бѣлинскаго объ этомъ періодѣ своей жизни. Вотъ что писалъ онъ, въ письмѣ своемъ къ Станкевичу, въ 1839 году, т. е. во время самаго сильнаго увлеченія философіей Гегеля, о направленіи мыслей своихъ въ первый періодъ дѣятельности подъ непосредственнымъ вліяніемъ Шиллера:

«Его «Разбойники», «Коварство и любовь», вкупѣ съ «Фіэско»,—этимъ произведеніемъ нѣмецкаго Гюго, наложили на меня дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухѣ. Его «Донъ-Карлосъ»—эта блѣдная фантасмагорія образовъ безъ лицъ и риторическихъ олицетвореній, эта апотеоза абстрактной любви къ человѣчеству, безъ всякаго содержанія, бросила меня въ абстрактный героизмъ, внѣ котораго я все презиралъ, все ненавидѣлъ (и еслибы ты зналъ, какъ дико и болѣзненно), и въ которомъ я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторгъ, сознавалъ себя нулемъ...»

Съ подобнымъ абстрактнымъ героизмомъ, какъ впослѣдствіи называлъ его Бѣлинскій, какъ нельзя болѣе гармонируютъ слѣдующія слова, которыя мы встрѣчаемъ въ той-же первой статьѣ Бѣлинскаго:

«И такъ, вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами свое своекорыстное *я*, дыши для счастія другихъ, жертвуй всѣмъ для блага родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего *я*, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства! Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ? Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь; онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды; не бойся зла, когда оно приносетъ тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни твой хребетъ, ползи змѣей между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обременяй лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титлъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ и голодъ, что такое угнетеніе и оскорбленіе, все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность и услужливость, отовсюду лесть и хваленіе, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ сравнитъ тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышаніе, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ слишкомъ жарко, а въ сердцѣ

*

слишкомъ холодно, что вопли угнетенныхъ тобой будутъ преслѣдовать тебя и на свѣтскомъ пиру, и на мягкомъ ложѣ сна, что тѣни погубленныхъ тобой окружатъ твой болѣзненный одръ, составятъ около него адскую пляску и съ яростнымъ хохотомъ будутъ веселиться твоими послѣдними предсмертными страданіями, что передъ твоими взорами откроется ужасная картина нравственнаго уничтоженія за гробомъ, мукъ вѣчныхъ!.. Э, любезный мой, ты правъ: жизнь—сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ!.. Зато весело поживешь, сладко поѣшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими ближними, а вѣдь это чего-нибудь да стоитъ!...» (См. «С. Б.», т. I, стр. 20, 21, 22.)

При всей риторической стереотипности этихъ фразъ, стоящихъ всецѣло на почвѣ догматическаго дуализма, въ нихъ столько жизни, паѳоса и желчи, что безъ сомнѣнія онѣ не были надуманы, а вылились всецѣло изъ переполненнаго чувствомъ сердца чистаго юноши, глубоко ненавидѣвшаго все гнусное, что дѣлалось вокругъ него, и искренно готоваго пожертвовать жизнью за благо отечества, какъ бы отвлеченно онъ ни представлялъ себѣ это благо.

Правда, уже въ первый періодъ своей дѣятельности Бѣлинскій враждебно относился къ направленію во Франціи литературы и мысли, въ особенности въ XVIII столѣтіи, говоря, что факты должно объяснять мыслью, а не мысли выводить изъ фактовъ, и что въ XVIII вѣкѣ опытъ привелъ ни къ чему иному, какъ къ скептицизму, матеріализму, безвѣрію, разврату и совершенному невѣдѣнію истины при обширныхъ познаніяхъ (см. «С. Б.», т. I, стр. 282). Уже тогда онъ смѣялся надъ женщинами-писательницами, между прочимъ и надъ Жоржъ Зандомъ, всѣхъ приверженцевъ женской эмансипаціи безразлично считалъ сенъ-симонистами, всѣхъ ихъ одинаково обвинялъ въ отверженіи брака и говорилъ, что если дать право женщинѣ писать, то логика заставляетъ посвятить ее и во всѣ прочія занятія мужчинъ, не исключая и военнаго, а между тѣмъ все имѣетъ свое назначеніе, все прекрасно въ предѣлахъ своего назначенія и дурно внѣ его, что поприще мужчины — цѣлый міръ, женское же поприще — возбуждать въ мужчинѣ энергію души, пылъ благородныхъ страстей, поддерживать чувство долга и стремленіе къ высокому и великому... (См. «С. Б.», т. I, стр. 400—407 и т. II, 145—147.)

Всѣ подобныя мысли совершенно соотвѣтствовали той узкости умственнаго горизонта, какую вы встрѣтите въ каждомъ мало развитомъ человѣкѣ, и въ тоже время исходили изъ духа романтическаго движенія въ томъ направленіи, какое оно приняло въ Германіи и у насъ. Не забудьте, что романтизмъ былъ не однимъ только освобожденіемъ поэзіи отъ французскаго ложнаго классицизма, но и оппозиціей недозрѣлой мысли противъ философіи XVIII вѣка, слишкомъ опередившей своимъ реальнымъ направленіемъ міросозерцаніе образованныхъ массъ европейскаго общества. Германское философское движеніе, смѣнившее французское, съ того и началось, что возстало не только противъ слабыхъ сторонъ философіи XVIII вѣка, но и противъ живыхъ и свѣтлыхъ ея началъ—духа опыта, анализа, скептицизма. Всѣ германскіе философы до Гегеля включительно не видѣли никакого различія между опытомъ и эмпиризмомъ. По ихъ общему мнѣнію, опытъ ни къ чему не ведетъ, какъ въ религіи — къ безбожію, въ нравственности—къ разврату, въ наукѣ—къ безцѣльному блужданію въ массѣ частныхъ, отрывочныхъ знаній—и всѣ они подъ рядъ проповѣдывали, что единственное спасеніе человѣчества—въ отвлеченномъ умозрѣніи, въ объясненіи всего сущаго абсолютной идеей, доходящей до самосознанія въ разумѣ человѣческомъ.

У насъ началось гоненіе противъ французскаго вліянія ранѣе еще увлеченія нѣмецкой философіей. Оно выразилось не только въ реакціонныхъ филиппикахъ писателей вродѣ Греча противъ философіи XVIII вѣка, но и въ такихъ для своего времени весьма прогрессивныхъ произведеніяхъ, каково «Горе отъ ума», преисполненное, какъ извѣстно, желчныхъ нападковъ на рабское подражаніе всему французскому и сожалѣющее, зачѣмъ мы не беремъ примѣръ съ Китая въ его незнаніи всего иноземнаго. Въ кружкахъ шеллингистовъ началось еще болѣе систематическое и философски сознательное гоненіе противъ французской философіи XVIII вѣка во имя философіи германской, противъ опытнаго метода первой во имя умозрительнаго метода послѣдней, и наконецъ противъ политическаго романтизма французской литературы двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ во имя абстрактнаго романтизма германской литературы, на изученіе которой набросились съ увлеченіемъ всѣ шеллингисты. Это направленіе отражается и на первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго, но отражается еще въ самыхъ общихъ и неопредѣленныхъ чертахъ, мелькомъ и кое-гдѣ. Бѣлинскій далекъ былъ еще отъ тѣхъ крайнихъ французоѣдства и германофильства, какія мы видимъ въ послѣдующій періодъ его дѣятельности. Хотя сочувствіе его видимо склонялось болѣе на сторону Германіи, но на томъ основаніи, что, по философіи Шеллинга, каждая народность, какъ носительница своей самостоятельной идеи, приноситъ свою долю пользы, онъ готовъ былъ признать долю пользы и за нелюбимыми французами, хотя и съуживалъ ихъ значеніе до того, что находилъ ихъ первыми только на паркетѣ, и ничего не видѣлъ во Франціи болѣе, какъ только законодательницу модъ, правилъ обхожденія, вѣжливости и хорошаго тона.

Точно такъ-же далекъ еще былъ Бѣлинскій въ этотъ періодъ своей дѣятельности отъ теоріи чистаго искусства. Хотя онъ и говорилъ, что творчество поэта есть великое таинство, что минута творчества есть минута великаго священнодѣйствія, что творчество безцѣльно съ цѣлью, безсознательно съ сознаніемъ, свободно съ зависимостью и т. д. (см. «С. Б.», т. I, стр. 209), что поэтъ только тогда можетъ создать истинно художественное произведеніе, когда творитъ непроизвольно, между тѣмъ какъ всякая надуманность парализуетъ творчество; но высказывая эти идеи, Бѣлинскій далекъ еще былъ отъ тѣхъ крайнихъ выводовъ изъ нихъ, какіе сдѣлалъ впослѣдствіи. Онъ не говорилъ еще, что такъ какъ творчество есть непроизвольное воплощеніе безотносительной идеи, то содержаніе истинной поэзіи — «не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьба человѣчества», что «художникъ въ дивныхъ образахъ осуществляетъ божественную идею

для нея самой, а не для какой-нибудь внѣшней и чуждой ей цѣли» и т. д. Напротивъ того, подъ идеями поэтическаго творчества Бѣлинскій разумѣлъ еще не однѣ міровыя идеи, отвлеченныя отъ всего минутнаго, проходящаго, а прежде всего — идеи, господствующія въ народѣ въ данное время. Какой-бы частный предметъ жизни ни вдохновлялъ художника, онъ не отрицалъ въ произведеніи его художественности, если видѣлъ, что чувство поэта искренно и непроизвольно вылилось изъ души его. «Если онъ—поэтъ, поэтъ истинный, — говорилъ Бѣлинскій (см. «С. Б.», т. I, стр. 35),—то не долженъ ли сочувствовать своему отечеству, раздѣлять его надежды, болѣть его болѣзнями, радоваться его радостями?»

Высоко ставя идеальную поэзію, представителемъ которой Бѣлинскій считалъ Шиллера, онъ опредѣлялъ ее такъ, что она «пересоздаетъ жизнь по собственному идеалу, зависящему отъ образа воззрѣнія поэта на вещи, отъ его отношеній къ міру, къ вѣку, къ народу, въ которомъ онъ живетъ». (См. «С. Б.», т. I, стр. 174.) Въ то-же время безцѣльное созерцаніе изящнаго и безотчетное наслажденіе эстетическимъ чувствомъ онъ считалъ принадлежностью міра древняго, отжившаго:

«Для насъ,—говоритъ онъ (см. «С. Б.», т. I, стр. 182),—внѣшняя природа безъ отношенія къ идеѣ всеобщей жизни не имѣетъ никакого смысла, никакого значенія, мы не столько наслаждаемся ею, сколько стремимся постигнуть ее; для насъ наша жизнь, сознаніе нашего бытія есть болѣе задача, которую мы ищемъ рѣшить, нежели даръ, которымъ бы мы спѣшили воспользоваться. Мы приглядѣлись къ ней, мы свыклись съ нимъ; для насъ жизнь уже не веселое пиршество, не праздничное ликованіе, но поприще труда, борьбы, лишеній и страданій. Отсюда проистекаетъ эта тоска, эта грусть, эта задумчивость и вмѣстѣ съ ними эта мыслительность, которыми проникнутъ нашъ лиризмъ. Лирическій поэтъ нашего времени болѣе груститъ и жалуется, нежели восхищается и радуется, болѣе спрашиваетъ и изслѣдуетъ, нежели безотчетно восклицаетъ. Его пѣсня — жалоба, его ода—вопросъ. Если его пѣсня обращена на внѣшнюю природу, онъ не удивляется ей, не хвалитъ ее, а ищетъ въ ней допытаться тайны своего бытія, своего назначенія, своихъ страданій. Для всего этого ему кажутся тѣсны рамы древней оды, и онъ переноситъ свой лиризмъ въ эпопею и драму. Въ такомъ случаѣ у него естественность, гармонія съ законами дѣйствительности—дѣло постороннее; въ такомъ случаѣ онъ какъ-бы заранѣе условливается, договаривается съ читателемъ, чтобы тотъ вѣрилъ ему на слово и искалъ въ созданіи не жизни, а мысли. Мысль—вотъ предметъ его вдохновенія...»

Не что иное, какъ подобное требованіе серьезнаго, глубокаго содержанія отъ поэтическихъ произведеній, заставило Бѣлинскаго въ концѣ первой же статьи своей высказать неслыханно смѣлый для того времени парадоксъ, что намъ и литературы пока вовсе не нужно, а прежде всего намъ нужно ученье, ученье, ученье,—три раза повторилъ Бѣлинскій это слово. Если же на 99-й стр. II тома мы и встрѣчаемъ мѣсто, повидимому стоящее въ противорѣчіи съ этимъ требованіемъ: «вдохновенію не нужна наука, оно ученѣе науки, оно никогда не ошибается» и т. д., то здѣсь подъ словомъ «наука» разумѣется не наука вообще, а пінтика, которую Бѣлинскій считалъ не только не способной создавать поэтовъ, но гибельной для поэтическаго творчества и, какъ на примѣръ вреда такой науки, онъ показываетъ ниже на французскую классическую литературу прошлаго столѣтія. Въ этомъ мы видимъ не что иное, какъ продолженіе пропаганды Полевого, точно также возставшаго на классицизмъ во имя свободы фантазіи поэта, и самая теорія непроизвольности творчества Бѣлинскаго была въ сущности та же романтическая теорія Полевого, только болѣе развитая и основанная на болѣе твердыхъ и логичныхъ философскихъ принципахъ.

До какой степени при всемъ идеализмѣ своихъ философскихъ началъ Бѣлинскій умѣлъ приходить неожиданно къ взглядамъ, поражающимъ своей положительностью и стоящимъ въ разрѣзъ со всѣми его симпатіями, это мы видимъ во второй же большой статьѣ его «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя». Въ этой статьѣ онъ объявилъ, категорично что, кромѣ идеальной поэзіи, можетъ быть еще иная - *реальная*, поэзія *жизни*, поэзія *дѣйствительности*, которая не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ, подъ одной точкой зрѣнія, разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины. (См. «С. Б.», т. I, стр. 174, 181.) .И замѣчательно, что при всемъ поклоненіи своемъ идеальной поэзіи Бѣлинскій чуялъ, что близки времена, когда реальная поэзія восторжествуетъ окончательно надъ идеальной.

«Итакъ—говоритъ онъ (см. «С. Б.», т. I, стр. 186)—поэзію можно раздѣлить на идеальную и реальную. Трудно было бы рѣшать, которой изъ нихъ должно отдать преимущество. Можетъ быть каждая изъ нихъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т. е. когда идеальная гармонируетъ съ чувствомъ, а реальная—съ истиной представляемой ею жизни. Но кажется, что послѣдняя, *родившаяся вслѣдствіе духа нашего положительнаго времени, болѣе удовлетворяетъ его господствующей потребности*. Впрочемъ здѣсь много значитъ и индивидуальность вкуса. Но какъ бы то ни было, въ наше время та и другая равно возможны, равно доступны и понятны всѣмъ; но со всѣмъ этимъ *послѣдняя есть по преимуществу поэзія нашего времени, болѣе понятная и доступная для всѣхъ и каждаго, болѣе согласная съ духомъ и потребностью нашего времени*. Теперь «Мессинская Невѣста» и «Жанна д'Аркъ» Шиллера найдутъ сочувствіе и отзывъ; *но задушевными созданіями времени всегда останутся тѣ, въ коихъ жизнь и дѣйствительность отражаются вѣрно и истинно.*»

Подобныя идеи можно назвать по истинѣ пророческими, потому что, высказывая ихъ въ 1835 году, Бѣлинскій не только опереживалъ свой вѣкъ, но и самого себя, потому что онъ далекъ еще былъ отъ того, чтобы на нихъ утвердить оцѣнку Гоголя, а тѣмъ болѣе всю свою критическую дѣятельность. Онѣ какъ бы невольно сорвались съ его языка подъ вдохновеніемъ неожиданно налетѣвшей свѣтлой мысли. Онъ высказалъ ихъ весьма колеблющимся, нетвердымъ голосомъ, то ставя идеальную поэзію рядомъ съ реальной, то послѣднюю выше первой, но съ робкими оговорками относительно индивидуальности вкуса. Далѣе въ своей статьѣ онъ оставилъ эти мысли совсѣмъ въ сторонѣ, какъ будто даже совсѣмъ забылъ о нихъ, и началъ развивать иныя основанія, на кото-

рыхъ и построилъ первую свою статью о Гоголѣ. Это были тѣ самыя основанія, которыя преобладали въ критической дѣятельности Бѣлинскаго въ этотъ періодъ, т. е., что творчество поэта должно быть непроизвольно и что этой непроизвольностью обусловливается народность поэта. Гоголь, по мнѣнію Бѣлинскаго, оттого и оригиналенъ и народенъ, что онъ поэтъ по преимуществу, непроизвольно выливающій свои произведенія изъ глубины своего духа. Но, хотя и мимолетно высказанныя, вышеозначенныя идеи о реальной поэзіи показываютъ, куда стремились инстинктивныя симпатіи Бѣлинскаго.

Послѣ этого можно ли удивляться тому здравому смыслу, который проявилъ Бѣлинскій въ полемикѣ съ Шевыревымъ о платѣ за литературный трудъ? Возраженія Бѣлинскаго имѣютъ для насъ тѣмъ бо́льшую важность, что здѣсь, кромѣ голоса здравомыслящаго человѣка, мы видимъ впервые раздавшійся голосъ литературнаго пролетарія, принявшаго на себя защиту нравственнаго права существовать литературнымъ трудомъ. И нечего удивляться, что идеалистъ, романтикъ, ни о чемъ повидимому не думавшій, кромѣ непроизвольности творчества, спустился неожиданно съ облаковъ и явился приверженцемъ такого грубаго матеріализма, какимъ могъ казаться въ то время вопросъ о деньгахъ. Какъ будто на почвѣ не только идеализма въ духѣ шеллинговой философіи, но и самаго туманнаго, средневѣкового мистицизма, не возникали подобные же вопросы? Они обусловливаются не точкой исхода изъ общаго міросозерцанія, а условіями жизни, и понятно, что въ то время, какъ высокомѣрно-черствыя слова ограниченнаго педанта могли быть пропущены мимо ушей сытыми и обезпеченными людьми, такъ какъ этимъ людямъ съ одной стороны было и легко, и лестно похвастаться безкорыстностью своего вдохновенія, а съ другой стороны эти люди привыкли издревле въ каждомъ бѣднякѣ видѣть продажную душу, готовую забыть совѣсть и честь изъза денегъ,— эти же самыя слова должны были глубоко оскорбить бѣдняка, жившаго въ мрачной конурѣ на Трубѣ. которому Шевыревъ объявилъ, что онъ не можетъ имѣть ни удобной, теплой квартиры, ни хоть сколько нибудь здоровой питательной пищи, не сдѣлавшись продажнымъ литературнымъ барышникомъ.

Я полагаю, все вышеизложенное достаточно опредѣленно и ясно показываетъ, какой характеръ имѣла дѣятельность Бѣлинскаго въ первый свой періодъ. Мы видимъ, что Бѣлинскій въ этотъ періодъ не имѣлъ еще никакого рѣзкаго, опредѣленнаго направленія и носилъ въ себѣ сѣмена и зародыши всевозможныхъ направленій, которыя впослѣдствіи развились въ нашей литературѣ. Онъ могъ сдѣлаться и славянофиломъ съ своей теоріей народной самобытности и народности творчества; могъ сдѣлаться западникомъ при исключительномъ увлеченіи нѣмецкимъ философскимъ движеніемъ; могъ сдѣлаться приверженцемъ чистаго искусства со своей теоріей непроизвольнаго творчества, но не чуждъ былъ склониться и на сторону полезнаго искусства, требуя, чтобы поэтъ радовался радостью отечества и скорбѣлъ скорбью его; могъ остаться съ гофмановскими и шиллеровскими идеалами, но могъ сдѣлаться приверженцемъ новаго реальнаго искусства, значеніе и важность котораго онъ уже предчувствовалъ. Подобное совпаденіе столь разнородныхъ элементовъ было не однимъ только броженіемъ юношескихъ силъ, неустановившихся и ненашедшихъ еще русла, по которому бы направиться въ одну опредѣленную сторону. Въ такомъ хаотическомъ состояніи находилась вся русская литература въ это время; весь періодъ шеллингистовъ, къ которому примыкаетъ Бѣлинскій началомъ своей дѣятельности, представляетъ въ себѣ такое же броженіе различныхъ элементовъ, которымъ впослѣдствіи суждено было выдѣлиться изъ общаго хаоса и играть различную роль въ дальнѣйшемъ развитіи нашей мысли. То же самое хаотическое совпаденіе различныхъ элементовъ мы видѣли у прочихъ шеллингистовъ; его же мы встрѣчаемъ и у Бѣлинскаго, только гораздо рельефнѣе и многостороннѣе, что зависѣло отъ большей талантливости, глубины и многосторонности богатой натуры Бѣлинскаго.

Далѣе затѣмъ зависѣло отъ обстоятельствъ жизни, которому изъ всѣхъ отдѣльныхъ положеній, найденныхъ нами въ первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго, суждено было развиться въ цѣлую теорію и получить преобладаніе въ послѣдующей его дѣятельности. Если бы онъ жилъ въ странѣ, въ которой сильно были бы развиты общественные вопросы, или по крайней мѣрѣ попалъ бы въ такой кружокъ, гдѣ такіе вопросы преобладали бы, то безъ сомнѣнія требованіе, чтобы поэтъ откликался на всѣ вопросы общественной жизни, не замедлило бы получить преобладаніе въ дальнѣйшей критической дѣятельности Бѣлинскаго; германофильство и французоѣдство были бы немыслимы при такомъ направленіи, и онъ скоро разстался бы съ ними. Попади онъ въ кружокъ славянофиловъ, и онъ сталъ бы напирать всего болѣе на идею самостоятельности поэзіи и цивилизаціи, отрицая все, что къ этой идеѣ такъ или иначе не подходитъ. Но Бѣлинскому суждено было въ самое глухое время всеобщей реакціи и полнаго отсутствія всякихъ общественныхъ интересовъ попасть въ кружокъ, въ которомъ исключительно преобладали вопросы отвлеченно философскіе и художественно-эстетическіе, въ которомъ всякій маломальски живой, общественный интересъ, выходящій за предѣлы индивидуальнаго самосозерцанія, считался признакомъ суетности и призрачности,— и въ слѣдующей главѣ мы увидимъ, какое вліяніе имѣлъ на Бѣлинскаго духъ этого кружка.

VIII.

Начало увлеченія кружка Станкевича гегелевской философіей —Новый коноводъ за отсутствіемъ Станкевича М. Бакунинъ.—Двойственность выводовъ изъ гегелевской философіи и причина ея. — Почему въ кружкѣ Станкевича утвердились выводы въ абстрактно-примирительномъ духѣ.– Соотвѣтствіе абстрактно-примирительнаго направленія съ характеромъ литературно-артистическихъ кружковъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ и ихъ соціальнымъ положеніемъ.– Почему Бѣлинскій подчинился этому направленію.—Характеристика увлеченія Гегелемъ кружка Станкевича. – «Московскій Наблюдатель» подъ редакціей молодыхъ друзей.—Эстетическія воззрѣнія Бѣлинскаго подъ угломъ зрѣнія абстрактно-примирительныхъ теорій.—Мнѣнія Бѣлинскаго о Шилле-

рѣ, Гёте, Пушкинѣ, Полежаевѣ, Гоголѣ и Грибоѣдовѣ.—Филиппики противъ французовъ и юной Германіи.—Восхваленіе Греча.—Оппозиція Станкевича противъ увлеченій его московскихъ друзей.—Полнѣйшій разладъ Бѣлинскаго съ духомъ и настроеніемъ общества и паденіе «Московскаго Наблюдателя».—Нѣсколько мыслей о томъ, почему факты такого-же рода повторялись неоднократно въ нашей литературѣ.—Матеріальное и нравственное положеніе Бѣлинскаго передъ отъѣздомъ въ Петербургъ.—Его собственный взглядъ на гибельное вліяніе замкнутаго кружка.

Съ прекращеніемъ «Телескопа» въ 1836 году кончается первый періодъ дѣятельности Бѣлинскаго. Затѣмъ слѣдуетъ двухлѣтній перерывъ, и мы опять-таки имѣемъ весьма смутныя свѣдѣнія о томъ, какъ жилъ и что дѣлалъ Бѣлинскій въ эти два года. Знаемъ только, что онъ собирался ѣхать за-границу въ качествѣ домашняго учителя въ какомъ-то семействѣ и учился нѣмецкому языку. Знаемъ, что онъ отдыхалъ въ какой-то идиллической усадьбѣ, въ «чистой сферѣ кроткой, христіанской семейной жизни», и Станкевичъ возлагалъ на эту сферу большія и ненапрасныя надежды относительно укрощенія сумрачнаго нрава своего ожесточеннаго пріятеля.

«Полный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ, свободнымъ умомъ, добросовѣстный,— писалъ Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ,—онъ нуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ благороднѣйшемъ ея смыслѣ; узнать нравственное счастье, возможность гармоніи внутренняго міра съ внѣшнимъ,—гармоніи, которая для него казалась недоступной до сихъ поръ, *но которой онъ теперь откроетъ*. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни! Семейство Бакунинныхъ—идеалъ семейства. Можешь себѣ представить, какъ оно должно дѣйствовать на душу, которая не чужда искры божіей! Намъ надобно туда ѣздить исправляться... но *я*—я боюсь испортиться. М. зоветъ меня съ своимъ обыкновеннымъ прямодушіемъ, добротой: не знаю, поѣду-ли? Во мнѣ другой недостатокъ, противоположный недостатку Бѣлинскаго: я слишкомъ вѣрю въ семейное счастье, я иногда съ сердечной болью думаю, что это одно возможное... Мнѣ надо больше твердости, больше жесткости.»

Изъ намековъ этого письма мы видимъ, что чистая сфера кроткой христіанской семейной жизни была не безъ вліянія на Бѣлинскаго и по всей вѣроятности не мало содѣйствовала отвлеченно-примирительному направленію, которое образовалось у Бѣлинскаго втеченіи этихъ двухъ промежуточныхъ лѣтъ.

Между тѣмъ увлеченіе философіей все болѣе и болѣе овладѣвало кружкомъ Станкевича. Мы видѣли въ предыдущей главѣ, что уже въ 1835 году Станкевичъ приступилъ къ самостоятельному изученію философіи Шеллинга. Отъ Шеллинга онъ тотчасъ-же перешелъ къ послѣдовательному изученію всѣхъ германскихъ философовъ, начиная съ Канта, и первое знакомство съ системой Гегеля тоже относится къ 1835 году. По крайней мѣрѣ въ этомъ году въ декабрьской книжкѣ «Телескопа» является большая передовая статья Станкевича: «Опытъ о философіи Гегеля», соч. Вильмена. Въ томъ-же году помѣщенъ былъ въ «Телескопѣ» переводъ лекціи Фихте «О назначеніи ученыхъ» (см. «Телескопъ» 1835 г., ч. 29, № 17).

Но крайнее увлеченіе философіей Гегеля началось въ кружкѣ уже послѣ прекращенія «Телескопа» и отъѣзда Станкевича заграницу (въ 1837 г.), и за отсутствіемъ послѣдняго вожакомъ этого увлеченія сдѣлался М. Бакунинъ.

Бакунинъ кончилъ курсъ въ артиллерійскомъ корпусѣ и былъ выпущенъ въ гвардію офицеромъ. Его отецъ, говорятъ, сердясь на него, самъ просилъ, чтобы его перевели въ армію; брошенный въ какой-то потерянной бѣлорусской деревнѣ съ своимъ паркомъ, Бакунинъ одичалъ, сдѣлался нелюдимымъ, не исполнялъ службы и дни цѣлые лежалъ въ тулупѣ на своей постели. Начальникъ парка жалѣлъ его, но дѣлать было нечего; онъ ему напомнилъ, что надобно или служить, или идти въ отставку. Бакунинъ не подозрѣвалъ, что онъ имѣетъ на это право, и тотчасъ попросилъ его уволить. Получивъ отставку, Бакунинъ пріѣхалъ въ Москву; съ этого времени (около 1836 г.) началась для Бакунина серьезная жизнь. Онъ прежде ничѣмъ не занимался, ничего не читалъ и едва зналъ по-нѣмецки. Съ большими діалектическими способностями, съ упорнымъ, настойчивымъ даромъ мышленія, онъ блуждалъ безъ плана и компаса въ фантастическихъ построеніяхъ и ауто-дидактическихъ попыткахъ. Станкевичъ понялъ его таланты и засадилъ его за философію. Бакунинъ по Канту и Фихте выучился по-нѣмецки и потомъ принялся за Гегеля, котораго методу и логику онъ усвоилъ въ совершенствѣ, и кому ни проповѣдывалъ ее потомъ? И Бѣлинскому, и дамамъ, и Прудону.

Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ отвлеченно-примирительнаго направленія, которое развилось въ кружкѣ Бѣлинскаго, мы должны установить надлежащую точку зрѣнія на основныя причины всѣхъ крайностей этого увлеченія. На разсматриваемое нами явленіе, какъ и на всѣ факты жизни, могутъ быть двѣ противоположныя точки зрѣнія—идеалистическая и реальная. Идеалистическая точка зрѣнія отличается тѣмъ, что она всѣ направленія, стремленія и поступки людей и всѣ историческія событія выводитъ непосредственно изъ идей По ея мнѣнію, люди сами по себѣ ни добры, ни злы, ни прогрессивны, ни регрессивны, а представляются какими-то tabula rasa, а все зависитъ отъ того, что будетъ написано на этихъ tabula rasa; если человѣкъ случайно увлечется добрыми и прогрессивными принципами, то изъ него выйдетъ прогрессистъ, а если злыми и регрессивными, то онъ сдѣлается обскурантомъ. Реальная-же точка зрѣнія предполагаетъ наоборотъ, что тѣ или другія направленія, стремленія и поступки людей происходятъ прежде всего отъ массы условій жизни, создающихъ въ человѣкѣ различныя симпатіи и антипатіи прежде еще ихъ разумнаго сознанія и формулированія, и что затѣмъ изъ образовавшагося уже наблюденія создаетъ человѣкъ рядъ соотвѣтствующихъ ему идей, принциповъ, создаетъ ихъ самъ или-же принимаетъ готовые уже, если такіе существуютъ. Реализмъ не отвергаетъ возможности увлеченія такими принципами, которые не имѣютъ никакого соотвѣтствія съ реальными наклонностями и побужденіями, вырабатываемыми жизнью, но подобныя увлеченія могутъ быть только временныя, не глу-

бокія, и человѣкъ скоро бросаетъ эти принципы, увлекаясь туда, куда тянетъ его жизнь.

До сихъ поръ относительно разсматриваемаго нами явленія преобладала въ литературѣ нашей идеалистическая точка зрѣнія. Исключительной виновницей отвлеченно-примирительнаго направленія въ кружкѣ Станкевича считалась философія Гегеля, въ особенности-же изъ всей этой системы пресловутая формула ея: *что дѣйствительно, то разумно, и что разумно—то дѣйствительно.*

Но не стоитъ большого труда разрушить такое заблужденіе. Дѣло въ томъ, что если всякая философская система, не исключая даже средневѣкового мистицизма *), можетъ послужить для выводовъ какъ въ духѣ квіэтизма, такъ и въ духѣ активнаго вмѣшательства въ жизненную борьбу, то философія Гегеля—въ особенности, потому что, заканчивая собой переходную эпоху романтическаго броженія, она заключила въ себѣ, какъ въ фокусѣ, ту раздвоенность, которая характеризуетъ собою эту эпоху. Философія Гегеля—это мостъ, одинъ конецъ котораго упирается въ средневѣковой мистицизмъ, другой—въ современный намъ реализмъ. Вотъ почему эта система представила зрѣлище, до того времени невиданное и неслыханное въ исторіи развитія различныхъ философскихъ системъ. Всѣ другія системы составляютъ замкнутый въ себѣ кругъ и отличаются тѣмъ, что, разъ вы согласились съ представителемъ ихъ въ основныхъ принципахъ, вы должны согласиться вмѣстѣ съ тѣмъ и во всѣхъ выводахъ, вы можете даже сами придти къ тѣмъ-же выводамъ, безъ помощи учителя. На почвѣ-же философіи Гегеля ученики его изъ однихъ и тѣхъ-же основаній пришли къ выводамъ діаметрально-противоположнымъ, чѣмъ ихъ учитель. И это зависѣло не отъ чего иного, какъ отъ двойственности, скрытой въ самыхъ основаніяхъ этой системы, стоящей на распутьи двухъ вѣковъ.

Мы говорили уже выше, обозрѣвая ходъ романтическаго броженія, что философія Гегеля была первая на почвѣ романтизма, рѣшившаяся смѣло отрѣшиться отъ дуализма и признать единое начало всего сущаго, хотя бы на первый разъ начало духовное, и дуализмъ, т. е. міросозерцаніе, основанное на представленіи борьбы между противоположными началами, явился въ философіи Гегеля не на первомъ планѣ, а на второмъ, какъ только переходное состояніе въ развитіи идеи, изъ котораго идея снова возвращается къ своему единству. Мы убѣждены, что въ такомъ понятіи, послужившемъ основнымъ началомъ всей философіи Гегеля, всецѣло отразился характеръ вѣка, въ который жилъ Гегель. Вспомните только, въ чемъ заключалась основная сущность романтическаго движенія: въ томъ, что мысль вышла изъ того дѣтски-непосреднаго довѣрія, въ какомъ она находилась въ средніе вѣка, и для нея начались муки борьбы и раздвоенности, изъ которой, казалось, не было никакого выхода. Гегель возвелъ это переходное состояніе мысли въ общій принципъ всего сущаго и, сообразно этому, началъ учить, что идея существуетъ сначала въ состояніи безраздѣльнаго, непосредственнаго бытія, потомъ она разлагается на свои противорѣчія. А далѣе... далѣе Гегель предчувствовалъ уже выходъ изъ своего вѣка, хотя и не сознавалъ его вполнѣ ясно: «далѣе—училъ Гегель—противорѣчія должны быть сняты и идея должна явиться въ новомъ блескѣ, сознанная разумомъ, воплощеная въ жизни, въ единствѣ своего многоразличія. Въ этомъ ученіи примиренія противорѣчій и заключалась та обаятельность философіи Гегеля, какую естественно она должна была имѣть для умовъ, растерзанныхъ сомнѣніями и противорѣчіями и невидѣвшихъ никакого исхода изъ нихъ; поэтому на нее и набросились всѣ съ жаждой найти въ ней конецъ всѣмъ сомнѣніямъ и разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ вѣка. Но затѣмъ сейчасъ-же и представляется вопросъ, въ чемъ-же должно заключаться это примиреніе противорѣчій, *синтезъ*, какъ называлъ его Гегель? Здѣсь-то именно и обнаружилась двойственность основаній гегелевской философіи, т. е. возможность изъ однихъ и тѣхъ-же основаній сдѣлать выводы совершенно противоположные—въ духѣ среднихъ вѣковъ или современнаго намъ мышленія. Люди, ближе стоявшіе къ среднимъ вѣкамъ, къ числу которыхъ принадлежалъ и самъ Гегель, приняли послѣднюю фазу развитія идеи, синтезъ, исключительно въ смыслѣ абстрактнаго мышленія: по ихъ мнѣнію, сущее есть не что иное, какъ діалектическій процессъ развитія идеи, разлагающейся на свои противорѣчія. Поэтому противорѣчія, которыми наполнена жизнь, суть явленія только кажущіяся, но не дѣйствительныя, точно такъ же, какъ и все частное, единичное есть призракъ. Дѣйствительно только общее, т. е. соединеніе противорѣчій въ сознаніи рефлектирующаго разума. Изъ этого выходитъ, что такъ-какъ міръ полонъ частностей и все въ мірѣ, если хотите, само по себѣ частное, то истинная дѣйствительность возможна только въ разумѣ человѣка, высшая-же фаза возсоединенія абсолютной идеи во всѣхъ ея противорѣчіяхъ есть философія Гегеля; въ ней абсолютная идея сказала свое послѣднее слово. Не напоминаетъ-ли вамъ подобное ученіе столь-же наивныя понятія о средоточіи всего вокругъ человѣка, господствовавшія въ средніе вѣка? Тогда точно такъ-же всѣ звѣзды небесныя вращались вокругъ земли и весь міръ былъ предоставленъ на служеніе человѣку, да и то не всѣмъ людямъ вообще, а только одному какому-нибудь избранному народу. На такой-же средневѣковой почвѣ стоялъ и Гегель, когда училъ, что абсолютная идея, пройдя въ своемъ процессѣ черезъ все мірозданіе, далѣе затѣмъ черезъ исторію Востока, Греціи, Рима, наконецъ завершила собой всемірную исторію, дойдя до полнаго своего синтеза въ племени германскомъ, именно—въ философіи Гегеля.

Но люди, стоявшіе уже въ дверяхъ новаго време-

*) Приверженецъ квіэтизма въ духѣ средневѣкового мистицизма можетъ опираться на то, что безъ воли божіей волосокъ не можетъ упасть съ головы человѣка, и что слѣдовательно нашъ удѣлъ—терпѣть, страдать и покоряться; на что приверженецъ активнаго вмѣшательства въ жизненную борьбу можетъ, на основаніи того-же міросозерцанія, возразить, что если все отъ Бога, то и стремленіе бороться со зломъ тоже можетъ быть внушаемо человѣку божіимъ вдохновеніемъ, причемъ Провидѣніе избираетъ человѣка орудіемъ для наказанія зла и водворенія правды на землѣ.

ни, сдѣлали изъ тѣхъ-же основаній совершенно иные выводы. Избавившись изъ узкой сферы индивидуализма и усвоивши себѣ идею всеобщаго, мірового, безконечнаго развитія, подъ снятіемъ противорѣчій они разумѣли единство идеи и бытія, осуществившееся не только въ мышленіи философа, но и въ самой жизни.

Поэтому для нихъ недостаточно уже было снимать противорѣчія въ рефлектирующемъ разумѣ: въ стремленіи вносить въ жизнь сознанную имъ идею и въ самой жизни снимать ея противорѣчія они и видѣли именно истинный процессъ осуществленія идеи въ единствѣ бытія и понятія.

Во всякомъ случаѣ и въ томъ, и другомъ выводахъ не было и тѣни оправданія всякихъ мерзостей во имя разумности дѣйствительности. О второмъ родѣ нечего и говорить: подъ истинно дѣйствительнымъ онъ понималъ только разумную дѣйствительность и въ формулѣ снятія противорѣчій объявлялъ войну всему, что не считалъ разумнымъ и совершеннымъ. Первый-же родъ выводовъ если и велъ къ отрѣшенію отъ всякаго активнаго отношенія къ жизни и безстрастному квіэтизму, то вовсе опять-таки не вслѣдствіе оправданія всѣхъ гадостей разумностью дѣйствительнаго, а, напротивъ того, признаніемъ всей реальной дѣйствительности за міръ случайности и призрачности и отрѣшеніемъ человѣка отъ этого міра въ отвлеченную сферу діалектики. Въ этомъ отношеніи гегелевская философія тѣсно сходилась съ средневѣковымъ аскетизмомъ, который точно также считалъ все относящееся къ внѣшней, окружающей насъ жизни—суетой и полагалъ, что истинная сфера жизни есть одна только сфера духовная, религіозно-созерцательная.

Но для того, чтобы признать такое ученіе аскетическаго отрѣшенія отъ жизни, для того, чтобы увѣровать въ него и увлечься имъ, нужно стоять на такой степени развитія, чтобы подобное ученіе было совершенно, что называется, по головѣ, да и этого еще мало: развѣ мы не видимъ множества людей, стоящихъ на очень низкой степени развитія, но которые тѣмъ не менѣе являются людьми вполнѣ живыми, готовыми откликаться такъ или иначе на всякій вопросъ жизни и которые никогда не предпочтутъ активному вмѣшательству въ дѣла жизни олимпійски-безстрастное, сухое, аскетическое созерцаніе ея или удаленіе отъ нея въ безвоздушное пространство какихъ-либо отвлеченныхъ умствованій? Для того, чтобы вступить на путь какого-бы то ни было аскетизма, необходимы особенныя условія жизни, предрасполагающія къ такому направленію мысли. Такимъ образомъ не въ одной философіи Гегеля должны мы искать источника заблужденій, развившихся въ кружкѣ Станкевича. Воспринятіе этой философіи въ томъ или другомъ видѣ прежде всего зависѣло отъ степени умственнаго развитія, на которой стоялъ кружокъ, но въ то-же время и отъ вліяній условій жизни, съ одной стороны общественныхъ, а съ другой—и частныхъ, большинства членовъ кружка. И если мы обратимъ вниманіе на все это, мы увидимъ, что какой-бы философской системой ни увлекся Бѣлинскій со своими друзья и, во всякомъ случаѣ они не замедлили бы придти къ выводамъ въ духѣ того-же квіэтизма и отвлеченной созерцательности.

Прежде всего надо обратить вниманіе на то, что кружокъ по своему развитію стоялъ на степени самаго узкаго индивидуализма. Хотя члены его и много толковали о цивилизаціи самостоятельной и подражательной, всѣ эти повидимому широкія идеи примѣнялись не иначе, какъ къ вопросу о развитіи отдѣльной личности въ томъ или другомъ духѣ. Въ саморазвитіи или взаимномъ развитіи между членами кружка замыкались всѣ умственные интересы друзей. Къ тому же и саморазвитіе это принималось въ тѣсномъ смыслѣ развитія изящно-эстетическаго и отвлеченно-философскаго. И это обусловливалось не одной только узостью умственнаго кругозора: сама жизнь вела къ этому.

Между тѣмъ какъ старое поколѣніе сходило мало-по-малу съ поприща, унося съ собой свои неоправданныя мечты или въ настоящіе гробы, или въ гробы въ видѣ мистицизма, нѣмой апатіи въ какой-нибудь усадьбѣ, въ отдаленномъ захолустьѣ, молодое поколѣніе воспитывалось среди глухой, непробудной реакціи, среди массы общества, совершенно индифферентнаго ко всякимъ вопросамъ, превышавшимъ мелочную, пошлую обыденность. Ни малѣйшаго живого звука вокругъ, ни малѣйшаго проблеска гдѣ-либо какого-нибудь общественнаго движенія, которое могло-бы обратить на себя вниманіе и заставить задуматься юношу;—глухое молчаніе вокругъ и утомительно скучная будничная канитель тянулась безъ конца мѣсяцы, годы... Среди такой пустоты и скуки вокругъ, можно себѣ представить, какъ сладка и упоительна могла казаться юношѣ внутренняя, отвлеченно-умственная жизнь въ стѣнахъ аудиторіи или въ тѣсномъ кружкѣ товарищей: тамъ была хоть какая-нибудь жизнь, движеніе, развитіе, горячіе споры и пренія, тамъ манила, увлекала и распаляла воображеніе философія своими бездонными пропастями отвлеченно-туманныхъ умствованій; тамъ лилась среди глубокой тишины, надъ притаившей дыханіе толпой, полная вдохновенія рѣчь любимаго профессора, который, казалось, такъ горячо, безкорыстно былъ преданъ своему дѣлу, и юношество поучалось у этого профессора тому, что на первомъ планѣ должно стоять въ жизни мыслящаго человѣка эстетическое развитіе, что тотъ никогда не сдѣлается истиннымъ человѣкомъ, въ комъ не развито чувство изящнаго, что только просвѣтлѣніе чувства художественной созерцательностью и мысли философскимъ анализомъ можетъ возвысить человѣка надъ массой грубаго эмпиризма и низкой чувственности. Подъ вліяніемъ этой пропаганды вчитывались, вдумывались, опять вчитывались, опять вдумывались юноши въ произведенія великихъ поэтовъ, путались въ философскихъ опредѣленіяхъ и категоріяхъ и аскетически удалялись въ эту отвлеченную сферу не только отъ грубой чувственности, но и отъ всей внѣшней, окружавшей ихъ жизни, и не только отъ участія въ ней, но и отъ анализа ея. При всѣхъ своихъ философскихъ увлеченіяхъ юноши оставались, по своимъ убѣжденіямъ общественнымъ, нравственнымъ, семейнымъ, на степени тѣхъ же патріархальныхъ, беззавѣтныхъ вѣрованій, какъ и любой простолюдинъ, незнавшій грамоты. Они сознавали, что общество тонетъ въ пошлости и грязи, но это сознаніе не шло у нихъ далѣе сожалѣнія, за-

чѣмъ толпа не увлекается такъ глубоко Шекспиромъ или Гёте, какъ они, и зачѣмъ не всѣ философы по Шеллингу и Гегелю. Такое прекраснодушіе, прямое слѣдствіе узкой, замкнутой жизни, школы и тѣснаго кружка, могло разсѣеваться очень быстро, если человѣкъ по выходѣ изъ училища долженъ былъ немедленно вступать въ близкое, непосредственное столкновеніе съ практической жизнью. Въ такомъ случаѣ ему оставалось что-нибудь изъ двухъ: или погибнуть, если онъ по своей натурѣ не могъ поладить съ окружающей его пошлостью—такъ и погибали въ то время многія свѣжія, молодыя силы, погибали часто въ глухой безвѣстности, безъ малѣйшаго участія или сожалѣнія,—или-же помириться съ дѣйствительностью въ такомъ видѣ, какова она есть, и, махнувъ рукой на юныя мечты, Шиллера и Гегеля, втянуться въ тину мелкой рутины... Но кромѣ этихъ двухъ, въ обоихъ случаяхъ печальныхъ, исходовъ былъ еще третій, возможный конечно не для всѣхъ, но для весьма значительнаго большинства юношей особенной среды. Это была та среда несановитаго дворянства, о которой мы говорили въ предыдущей главѣ. Это были юноши, составлявшіе въ то время большинство учащейся молодежи въ университетахъ. Они были не настолько знатны, чтобы по выходѣ изъ университета блистать въ большомъ свѣтѣ и втянуться по уши въ свѣтскую жизнь, и не настолько бѣдны, чтобы непремѣнно запрягаться въ служебную лямку. Многіе изъ нихъ, правда, удалялись и въ свѣтскіе, и въ служебные круги, но тѣ, въ которыхъ сильно были возбуждены умственные интересы, могли безъ всякихъ затрудненій избѣжать всякихъ столкновеній съ внѣшней жизнью и по выходѣ изъ университетовъ и училищъ оставаться все такими-же прекраснодушными мечтателями хоть до сѣдыхъ волосъ. Многіе изъ нихъ до сѣдыхъ волосъ такими и остались. Изъ этихъ-то прекраснодушныхъ пропріетеровъ и составились въ сороковые годы цѣлые кружки, группировавшіеся вокругъ какого-либо семейства, въ какой-нибудь упоительной усадьбѣ или гостепріимномъ домѣ Москвы. Таковы напримѣръ были, по воспоминаніямъ Панаева, семейства Аксаковыхъ, Щепкиныхъ, Майковыхъ; такова была чистая сфера кроткой христіанской семейной жизни, которой такъ восхищался Станкевичъ. Очень часто кружки собирались и вокругъ женщинъ, особенно привлекавшихъ силой развитаго ума или граціи—такова напримѣръ была Елизавета Павловна Фролова, съ которой были дружны Станкевичъ, Грановскій и многіе другіе замѣчательные люди того времени и о которой всѣ современники отзываются не иначе, какъ съ увлеченіемъ. Всѣ эти кружки вели жизнь, совершенно замкнутую въ своей сферѣ, и надо замѣтить, что врядъ-ли когда повторится на Руси подобная-же жизнь, до такой степени обаятельная, привольная, свѣтлая, при всей тяжести общественной обстановки того времени, исполненная утонченнаго, изящнаго эпикуреизма чисто-классическаго свойства. Въ самомъ дѣлѣ, читая различныя воспоминанія и описанія жизни этихъ кружковъ, вы точно будто переноситесь въ древній міръ, въ среду какихъ-нибудь аѳинянъ временъ Сократа, бесѣдующихъ въ тѣни прохладныхъ портиковъ о разныхъ философскихъ вопросахъ при дружескихъ и веселыхъ возліяніяхъ Вакху. Съ этимъ только и можно сравнить эти вѣчные разъѣзды то по усадьбамъ, то по заграничнымъ городамъ, этотъ обмѣнъ мысли и остроумія, философскихъ преній и эстетическихъ наслажденій, то въ какомъ-нибудь сельскомъ домикѣ за шипучимъ самоваромъ въ кругу изящныхъ женщинъ и такихъ-же изящныхъ юношей, то на дружеской пирушкѣ или гастрономически утонченномъ обѣдѣ, на которомъ шампанское лилось рѣкой, то въ дрезденской картинной галлереѣ, среди развалинъ Рима или въ аудиторіяхъ берлинскаго университета. Это былъ по истинѣ пиръ во время чумы. Я далекъ отъ утвержденія, чтобы веселіе этого пира ничѣмъ не омрачалось. Достаточно было мукъ непризнанной любви, или хотя и признанной, но быстро испарившейся и утратившей свѣжесть чувства вслѣдствіе преданія ея излишнимъ философскимъ рефлексіямъ; достаточно было преждевременной смерти какого-либо дорогого гостя пиршества, напримѣръ Станкевича, Фроловой или Бѣлинскаго, наконецъ достаточно было, чтобы чума, зацѣпивши кого-либо изъ пирующихъ, неожиданно швырнула его куда-нибудь къ чорту на кулички—веселіе пирующихъ смолкало, омрачалось на нѣкоторое время, но общій характеръ жизни мыслящихъ и артистическихъ кружковъ сороковыхъ годовъ все-таки былъ пиръ, пиръ и пиръ.

Читатель можетъ изливать сколько угодно иронія на эту среду и на характеръ ея жизни, на почвѣ которой и развились тѣ утонченные эпикурейцы, праздные фразеры и щепетильные эстетики, которые были воспроизведены впослѣдствіи литературой въ типахъ Лаврецкаго, Райскаго, Бакланова и проч. Мнѣ-же, въ качествѣ безпристрастнаго историка, приходится спокойно обсудить значеніе этой среды въ развитіи нашего общества, ея долю пользы и долю вреда, которыми мы ей обязаны. Приступая къ такому обсужденію, прежде всего я долженъ замѣтить читателю, что при всей его наклонности къ иронія онъ долженъ быть признателенъ этой средѣ за то, что только она и сохранила хоть какіе-либо свободные умственные интересы въ разбираемый нами періодъ, и не будь ея—всякіе умственные интересы надолго изсякли-бы въ нашемъ обществѣ, и Богъ-вѣсть въ какомъ положеніи находились-бы мы въ настоящее время. Этой заслугой своей вышеупомянутая среда была обязана не чему иному, какъ своей обезпеченности, дававшей ей возможность жить вполнѣ изолированной и въ своемъ родѣ независимой жизнью. Въ этомъ отношеніи философско-артистическіе кружки тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ въ миніатюрѣ исполнили роль, подобную средневѣковымъ монастырямъ, которые тоже при своей изолированности могли сохранить кой-какія струи древней цивилизаціи и не дали варварству окончательно стереть съ лица земли всякую ея традицію. Но такая изолированность отразилась такъ-же вредно на большинствѣ кружковъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ и на средневѣковыхъ монастыряхъ. Подобно тому, какъ послѣдніе, замкнутые отъ столкновенія съ живымъ міромъ въ отвлеченную сферу аскетизма, исказили самое наслѣдіе, которое древніе вѣка завѣщали имъ, обративши его въ сухую и мертвую

схоластику, то-же, въ другомъ только видѣ, случилось и съ артистически-философскими кружками, о которыхъ мы говорили. И здѣсь открывается передъ нами обратная, мрачная сторона вліянія этихъ кружковъ. Обезпеченные, на сколько было возможно, отъ непосредственныхъ столкновеній съ жизнью, наши философы и эстетики все болѣе и болѣе удалялись отъ того реальнаго ея анализа и пониманія, которое само собой возникаетъ путемъ опыта, когда жизнь начинаетъ тереть бока мало-мальски мыслящему человѣку. Вмѣсто такого анализа жизни явилось отвлеченно-схоластическое подведеніе подъ философскія категоріи ея общихъ схемъ вродѣ религіи, власти, семьи, науки и искусства... Подобно тому, какъ средневѣковой отшельникъ требовалъ, чтобы всѣ люди были такіе же аскеты, какимъ былъ онъ, не думая вовсе о томъ, есть-ли какая-либо возможность и надобность заглушать въ себѣ всѣ человѣческія потребности и страсти, живя не въ безлюдной пустынѣ, но въ мірѣ, ежеминутно возбуждающемъ ихъ въ человѣкѣ,—такъ и наши эстетики, подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій своей эпикурейской жизни, составили себѣ въ своемъ родѣ аскетическій идеалъ гармонически-изящнаго уравновѣшенія всѣхъ чувствъ и страстей и олимпійски-спокойнаго и философскаго созерцанія, чуждаго всякой односторонней вражды и злобы партій, и, подобно средневѣковымъ монахамъ, они совершенно забыли при этомъ, что такой браминскій квіэтизмъ трудно выполнимъ даже для нихъ, хотя сытая, обезпеченная жизнь болѣе всего могла способствовать успѣху подобнаго балансированія въ предѣлахъ гармоническаго спокойствія. Но что имъ было за дѣло до слезъ, стоновъ и проклятій ихъ ближнихъ? Ближніе должны были все это затаивать и глотать, если хотѣли возвыситься до ихъ олимпійски-величественнаго спокойствія; въ противномъ случаѣ они рисковали заслужить презрѣніе, какъ жалкія односторонности, неимѣющія силъ освободиться отъ узкой субъективности и возвыситься до истиннаго человѣческаго идеала—вѣчнаго сіянія Аполлона Бельведерскаго. Вотъ гдѣ настоящій, истинный источникъ того примиренія и оправданія, который развился въ кружкѣ Станкевича...

Иниціатива этого примиренія принадлежала не столько Гегелю, сколько людямъ вродѣ Станкевича, Боткина и пр., которые проповѣдывали безпристрастно-объективное отношеніе къ жизни, потому что не замѣчали на себѣ ея шиповъ и терній, потому что жизнь гладила ихъ мягкой, бархатной лапкой, скрывая про другихъ свои когти. Мы видѣли въ прошлой главѣ, что раньше еще увлеченія Гегелемъ Станкевичъ никакъ не могъ помириться съ полемическимъ задоромъ Бѣлинскаго, и не изъ чего иного, какъ изъ того, что уже тогда Станкевичъ успѣлъ создать идеалъ олимпійски-безстрастнаго созерцанія жизни. Что въ этомъ человѣкѣ было развито не столько примиреніе съ темными сторонами общественной жизни, сколько упорное отрѣшеніе отъ всякихъ живыхъ интересовъ ея и полный индифферентизмъ ко всему, что лежало внѣ вопросовъ эстетическихъ и философскихъ, это намъ весьма наглядно показываетъ одно изъ его заграничныхъ писемъ:

«Вотъ уже нѣсколько дней живу я въ Карлсбадѣ,—пишетъ онъ 20-го сентября 1837 года къ Невѣрову,—началъ пить воды и началъ немножко скучать—не съ кѣмъ молвить слова: молчатъ цѣлый день, право, непріятно... Вчера занимался я въ Lesesaal и пресерьезно читаю «Journal de Débats» и «Gazette de France»: хозяинъ думалъ, что я—охотникъ до политики, и, отъ всей души принимая участіе въ моемъ положеніи, тотъ-же часъ далъ мнѣ два нумера «Débats» на домъ, говоря: «ohne Politik zu lesen ist man doch todt»,—но я умираю отъ скуки, читая бо́льшую часть этихъ политическихъ толковъ. Меня занимаетъ отчасти романъ Тика «Tischlermeister», который я читаю въ свободные часы, больше по вечерамъ, потому что днемъ должно ходить» и проч.

Вы видите здѣсь не человѣка, оправдывающаго данный порядокъ жизни, который, при всемъ этомъ оправданіи, можетъ быть однако-же очень глубоко заинтересованъ вопросами жизни, можетъ зачитываться газетой своей партіи и активно относиться къ политикѣ, хотя-бы и въ духѣ своего оправданія. Напротивъ того, здѣсь передъ вами отвлеченный гелертеръ, который зѣваетъ надъ газетами и не можетъ понять, какъ это люди, вмѣсто высокихъ эстетическихъ наслажденій и философскихъ размышленій о началѣ всѣхъ началъ, могутъ заниматься такими мелочными дрязгами жизни, какъ различныя политическія пренія.

Но читатель при этомъ конечно сейчасъ-же спроситъ меня: если я считаю одной изъ главныхъ причинъ такого отрѣшенія отъ живыхъ вопросовъ изолированное положеніе людей отъ шиповъ и терній жизни вслѣдствіе тѣхъ благопріятныхъ условій, какія представляла для этого обезпеченная, независимая усадебная жизнь насчетъ труда другихъ, то какъ-же Бѣлинскаго я приравняю къ такимъ же условіямъ? Не выгораживалъ-ли я его въ предыдущей главѣ отъ его прекраснодушныхъ товарищей, не объяснялъ-ли я его страстную наклонность къ полемикѣ, его ненависть ко всему гордому, надменно-возвышающемуся, его разочарованіе и ожесточеніе противъ условій современной ему жизни именно тѣмъ, что человѣкъ этотъ слишкомъ много изстрадался, чтобы быть въ состояніи относиться съ той-же объективной безстрастностью, съ какой относились къ жизни счастливые его пріятели? Какъ-же теперь я объясню внезапный поворотъ Бѣлинскаго на путь того-же примирительнаго прекраснодушія, въ какомъ находились друзья его?..

Но мы видѣли уже въ предыдущей главѣ, что всѣ живыя стремленія Бѣлинскаго, всѣ симпатіи, выработанныя въ немъ жизнью, находились еще на степени неосмысленныхъ инстинктовъ, далекія еще отъ глубокаго, яснаго сознанія ихъ и принципіальнаго опредѣленія. Мысли Бѣлинскаго находились еще въ томъ неопредѣленномъ хаосѣ, въ которомъ предчувствіе идей и стремленій, согласныхъ съ характеромъ его, выработаннымъ жизнью, смѣшивались безразлично съ различными внѣшними вліяніями. Онъ стоялъ на распутьи самыхъ разнообразныхъ направленій мысли. При такомъ дѣтствѣ мысли достаточно было первыхъ встрѣтившихся людей, которые приласкали бы бездомнаго, одинокаго бѣдняка, приняли бы нѣжное, дружеское участіе въ немъ и явились-бы передъ нимъ съ выработаннымъ уже, систематическимъ міросозерцаніемъ, и ему тѣмъ естественнѣе было подчиниться вліянію этихъ людей, чѣмъ сами по себѣ умнѣе и

цѣльнѣе были эти люди, чѣмъ образованнѣе и идеальнѣе казались ему они, чѣмъ наконецъ увлекательнѣе была всепобѣждающая сѣть ихъ философской діалектики. Разъ сѣвши за праздничный пиръ, Бѣлинскій волей-неволей втянулся въ общее похмелье, хотя-бы это и было для него похмелье въ чужомъ пиру. Наконецъ, въ чемъ заключался для него жизненный опытъ? Пока только въ рядѣ гнетущихъ воспоминаній дѣтства. Но эти воспоминанія могли оттѣнять и представлять въ болѣе обаятельномъ свѣтѣ жизнь, исполненную тонкаго изящества, внѣшней гуманности, философскихъ преній и эстетическихъ наслажденій, которая представилась Бѣлинскому въ кружкѣ его пріятелей. Чѣмъ темнѣе было сзади, тѣмъ свѣтлѣе должно было казаться Бѣлинскому вокругъ въ новой обстановкѣ. Бѣлинскій былъ подобенъ полузамерзшему путнику, попавшему послѣ всѣхъ неистовствъ вьюги въ теплую избу; хотя въ избѣ и темно, и чадно, клопы и тараканы, но путнику должно казаться, что лучше этой избы ничего не можетъ быть. Такъ и Бѣлинскому могло казаться, что онъ нашелъ такихъ людей, выше которыхъ не можетъ вырабатывать жизнь, такую среду, которая по истинѣ можетъ быть названа земнымъ раемъ, и что нѣтъ и не можетъ быть конца блаженству въ этомъ раю. Естественно было Бѣлинскому закупориться отъ всего міра въ этомъ раѣ. Въ особенности его иллюзіи должны были расцвѣсть, когда и самое матеріальное положеніе обѣщало устроиться къ лучшему. Въ «Московскомъ Наблюдателѣ», который издавался Степановымъ подъ редакціей Андросова и Шевырева, произошла перемѣна: Шевыревъ оставилъ редакцію въ 1838 году, и на мѣсто его редакцію принялъ почти въ полное свое распоряженіе Бѣлинскій со своими друзьями. Это было выраженіемъ полнѣйшаго торжества Бѣлинскаго и его друзей надъ непріятелемъ въ лицѣ Шевырева. Въ это время увлеченіе философіей дошло въ кружкѣ Станкевича до своего апогея. Толковали о феноменологіи и логикѣ Гегеля безпрестанно: нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который-бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности, о ея *по себѣ бытіи*». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней. Какъ Франкеръ въ Парижѣ плакалъ отъ умиленія, услышавъ, что въ Россіи его принимаютъ за великаго математика и что все юное поколѣніе разрѣшаетъ у насъ уравненіе разныхъ степеней, употребляя тѣ-же буквы, какъ онъ,— такъ заплакали-бы всѣ эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шиллеры, Розенкранцы и самъ Арнольдъ Руге, котораго Гейне такъ удивительно хорошо назвалъ «привратникомъ гегелевой философіи»,—еслибъ они знали, какія побоища и ратованія возбудили они въ Москвѣ между Маросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ покупали. Главное достоинство Павлова состояло въ необычайной ясности изложенія, нисколько не терявшей всей глубины нѣмецкаго мышленія; молодые философы приняли, напротивъ, какой-то условный языкъ; они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей...

Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка, болѣе глубокая. Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманье; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля съ студентомъ. Все въ *самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое пустое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ, или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ». То-же въ искусствѣ. Знаніе Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого-ли, что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея), было столько-же обязательно, какъ имѣть платье. Философія музыки была на первомъ планѣ. Разумѣется, о Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ, зато производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходныя кантаты, сколько за то, что онъ бралъ философскія тэмы для нихъ: «Всемогущество Божіе», «Атласъ». Наравнѣ съ итальянской музыкой дѣлила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое.

Подобное направленіе не замедлило конечно отразиться на характерѣ «Московскаго Наблюдателя». Онъ началъ наполняться исключительно почти произведеніями нѣмецкихъ поэтовъ, и изъ поэтовъ Гёте, а изъ прозаиковъ Гофманъ стояли на первомъ планѣ. Въ то-же время ни одного нумера не проходило безъ какихъ-либо философскихъ и эстетическихъ разсужденій. Такимъ образомъ журналъ имѣлъ вовсе не такой энциклопедическій характеръ, какой мы привыкли себѣ представлять съ именемъ этого рода изданій у насъ, въ Россіи: это былъ журналъ спеціальный, философско-критическій исключительно. Рядомъ съ критическими статьями, построенными на основаніяхъ философіи Гегеля, тамъ встрѣчались статьи, посвященныя изложенію гегелевской философіи, наконецъ выдержки изъ самого Гегеля. Таковы были напримѣръ «Гимназическія рѣчи Гегеля», «О философской критикѣ художественнаго произведенія» Ретшера. Читатели журнала повидимому не совсѣмъ были до-

вольны крайней сухостью многихъ статей журнала, въ особенности статьей Ретшера. По крайней мѣрѣ объ этомъ мы имѣемъ свидѣтельство самого Бѣлинскаго: «Многіе читатели жаловались—говоритъ онъ въ одной изъ своихъ статей (см. «С Б.», т. II, стр. 314)—на помѣщеніе нами статьи Ретшера «О философской критикѣ художественнаго произведенія», находя ее темной, недоступной для пониманія». И при этомъ Бѣлинскій обращается къ публикѣ съ наставительнымъ тономъ: «прежде всего мы скажемъ, что не всѣ статьи помѣщаются въ журналахъ только для удовольствія читателей; необходимы иногда и статьи ученаго содержанія, а такія статьи требуютъ труда и размышленія».

Подъ вліяніемъ новаго направленія многіе прежніе взгляды Бѣлинскаго радикально измѣнились, другіе же получили развитіе, котораго прежде не имѣли. Прежде Бѣлинскій, выходя изъ теоріи непроизвольности творчества, съ одинаковымъ сочувствіемъ относился къ каждому лирическому стихотворенію, если видѣлъ, что оно проникнуто естественнымъ, непроизвольнымъ чувствомъ. Теперь-же, создавши себѣ идеалъ объективно-спокойнаго созерцанія жизни, онъ подвелъ подъ этотъ идеалъ поэтическое творчество: истинно-художественнымъ поэтическимъ произведеніемъ онъ сталъ теперь считать только такое, въ которомъ, при объективномъ созерцаніи жизни со стороны художника, онъ видѣлъ такое тѣсное, безразличное соединеніе идеи съ формой, чтобы идея совершенно поглощалась формой; всякое-же преобладаніе идеи или чувства надъ формой, по его мнѣнію, выдѣляло произведеніе изъ предѣловъ истинно-художественнаго творчества.

«Въ творчествѣ сила не въ идеѣ,—говоритъ онъ (см. т. II, стр. 386),—а въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предполагаетъ и условливаетъ идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благолѣпнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозрѣваетъ ее... Первый-же и высшій способъ непосредственнаго выраженія истины — говоритъ онъ ниже на 388 стр.—есть художественная поэзія, или поэзія формы; а поэзія содержанія, то-есть такая поэзія, которой сила и могущество заключается въ глубокости и великости идеи, занимаетъ середину между этими двумя способами непосредственнаго способа выраженія истины. Она колеблется между краснорѣчіемъ и художественностью, безпрестанно переходя то въ краснорѣчіе, что̀ вредитъ ей, то въ художественность, что̀ возвышаетъ ее. Въ этомъ смыслѣ она есть какой-то недоносокъ, и ея произведенія не могутъ надѣяться на долговѣчность.»

Отправляясь отъ такой узкой доктрины, Бѣлинскій началъ разить и отрицать все, что̀ не подходило къ ней, съ слѣпотой, поразительной для человѣка съ такимъ тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, какимъ былъ одаренъ Бѣлинскій. Такъ напримѣръ, этого мало, что Гёте за его олимпійскую безстрастность онъ поставилъ выше Шиллера, онъ началъ совершенно отрицать Шиллера и поставилъ его ниже Пушкина. «Шиллеръ,—говоритъ онъ,—въ которомъ философскій элементъ безпрестанно боролся съ художественнымъ элементомъ и часто побѣждалъ его, Шиллеръ едва-ли не въ большей части своихъ произведеній принадлежитъ къ числу этихъ полупоэтовъ (то-есть вышеозначенныхъ недоносковъ, витающихъ между художественностью и краснорѣчіемъ). Гёте и нашъ Пушкинъ—вотъ чисто поэтическія натуры: одному довольно сорваннаго цвѣтка, а другому завядшаго цвѣтка, нечаяно найденнаго имъ въ книгѣ, чтобы ринуть душу читателя въ міръ безконечнаго»... Сравнивая при этомъ произведеніе Шиллера «Идеалы» съ «Нереидой» Пушкина, онъ ставитъ послѣднее на неизмѣримую высоту выше «Идеаловъ», именно на томъ основаніи, что первое выражаетъ ясную и опредѣленную идею, которую вы можете формулировать, тогда какъ въ «Нереидѣ» Пушкина есть идея, но она такъ конкретно слита съ формой, что вамъ, чтобы выговорить ее, надо оторвать ее отъ формы, а форма такъ прекрасна, что у васъ не подымется рука на такую операцію». Изъ этого Бѣлинскій дѣлаетъ слѣдующаго рода заключеніе: «спросите всѣхъ, что̀ лучше «Идеалы» или «Нереида?», большинство станетъ за «Идеалы», но чьи глаза одарены ясновидѣніемъ вѣчной красоты, тѣ даже не станутъ и сравнивать этихъ двухъ произведеній...» За что̀ же Пушкина-то Бѣлинскій началъ ставить такъ высоко послѣ того разочарованія, съ которымъ онъ относился къ нему въ первый періодъ своей дѣятельности?... А именно за то самое, за что̀ прежде онъ не любилъ Пушкина, за отрѣшеніе отъ жизни въ олимпійскія сферы безстрастнаго гётевскаго созерцанія, которое было одновременно съ отрѣшеніемъ Пушкина отъ литературныхъ круговъ въ сферы высшаго свѣта. «Предметъ отрадный и грустный въ то же время,—говоритъ Бѣлинскій по поводу посмертныхъ произведеній Пушкина (см. «С. Б.», т. II, стр. 332),—съ одной стороны мысль, что эти посмертныя произведенія свидѣтельствуютъ о новомъ просвѣщенномъ періодѣ художественной дѣятельности великаго поэта Россіи, объ эпохѣ высшаго и мужественнѣйшаго развитія его геніальнаго дарованія, а съ другой стороны мысль о томъ жалкомъ воззрѣніи, съ какимъ смотрѣло на этотъ предметъ дѣтское прекраснодушіе, которое, выглядывая изъ узкаго окошечка своей ограниченной субъективности, мѣритъ дѣйствительность своимъ фальшивымъ аршиномъ и, осудивши поэта на жизнь подъ соломенной кровлей, на берегу свѣтлаго ручейка, не хочетъ признавать его поэтомъ на всякомъ другомъ мѣстѣ: какое противорѣчіе, и сколько отраднаго и горькаго въ этомъ противорѣчіи»... Изъ этой выдержки мы видимъ, что прежде Бѣлинскій нападалъ на Пушкина не за одну только искусственность творчества въ поддѣлываніи подъ народность, но и раздѣлялъ мнѣніе многихъ своихъ современниковъ, въ томъ числѣ и Полевого, что Пушкинъ и въ самой жизни пошелъ по ложной дорогѣ, несвойственной поэту. Теперь-же, напротивъ того, онъ смѣялся надъ мнѣніемъ, что среда можетъ испортить поэта, считая такое мнѣніе дѣтскимъ прекраснодушіемъ; теперь для него не было среды, не было жизни съ различными вліяніями, дурными и хорошими, а существовала только отвлеченная сфера творчества, чуждая всякихъ отношеній къ жизни, существовала сама для себя, была возможна при какихъ угодно обстоятельствахъ, потому что зависѣла не отъ чего иного, какъ отъ возвышенія

поэта надъ всѣмъ міромъ и безстрастнаго созерцанія людской жизни, кишащей гдѣ-то тамъ, внизу... Извѣстныя произведенія Пушкина: «Подите прочь, какое дѣло» и «Пока не требуетъ поэта», сдѣлались любимыми произведеніями Бѣлинскаго, которыя онъ началъ приводить каждый разъ для нагляднаго представленія своихъ идеаловъ поэта и художественнаго творчества.

Если Шиллеръ подвергся отрицанію съ точки зрѣнія этихъ идеаловъ, то можно себѣ представить, съ какимъ сожалѣніемъ долженъ былъ смотрѣть Бѣлинскій на такого extra-субъективнаго поэта, каковъ былъ Полежаевъ. Несмотря на то, что муза его не принадлежала къ числу первостепенныхъ, все-таки она была живымъ отголоскомъ погубленнаго человѣка, который не занимался вычурными измышленіями страданій сердца послѣ сытнаго ужина и нѣсколькихъ бутылокъ шампанскаго, а выражалъ дѣйствительное отчаянье человѣка, котораго вся жизнь была попрана и раздавлена, который на самомъ дѣлѣ

Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней.

И если взять въ соображеніе, что въ то время много было такихъ-же несчастныхъ, то понятнымъ представляется, что, какъ ни скромна и ни бѣдна была сама по себѣ муза Полежаева, все-таки она выражала собою одинъ изъ весьма немаловажныхъ мотивовъ жизни того времени. Поэтому она и находила сочувствіе въ каждомъ сердцѣ, мало-мальски не зачерствѣломъ и способномъ отзываться на всякіе естественные и живые мотивы поэзіи, какъ радостные, такъ и скорбные. Въ особенности-же муза Полежаева была дорога для людей, такъ или иначе пострадавшихъ отъ неправды жизни, потому что эти люди въ элегіяхъ Полежаева находили стоны и вопли своего собственнаго сердца. Но для Бѣлинскаго въ это время не существовало, какъ мы сказали, никакой связи между поэзіей и жизнью; онъ зналъ только свою доктрину, въ силу которой вычеркивалъ изъ области поэзіи половину всевозможныхъ явленій творчества. И вотъ какъ онъ отозвался о стихотвореніяхъ Полежаева согласно своей доктринѣ:

«Полежаевъ былъ рожденъ великимъ поэтомъ, но не былъ поэтомъ: его творенія—вопли души, терзающей самое себя, стонъ нестерпимой муки субъективнаго духа, а не пѣсни, не гимны, то веселые и радостные, то важные и торжественные, прекрасному бытію, объективно созерцаемому. Истинный поэтъ не есть ни горлица, тоскливо воркующая грустную пѣснь любви, ни кукушка, надрывающая душу однообразнымъ стономъ скорби, но звучный, гармоническій, разнообразный соловей, поющій пѣснь природѣ... Созданія истиннаго поэта суть гимнъ Богу, прославленіе его великаго творенія... Въ царствѣ божіемъ нѣтъ плача и скрежетовъ зубовъ—въ немъ одна просвѣтленная радость, свѣтлое ликованіе, и самая печаль въ немъ есть грустная радость... Поэтъ есть гражданинъ этого безконечнаго и святого царства: ему Богъ далъ плодотворную силу любви проникать въ таинства «полнаго славы творенья», и поэтому онъ долженъ быть его органомъ.. Вопли растерзаннаго духа, сосредоточеніе въ скорбяхъ и противорѣчіяхъ земной жизни доказываютъ пребываніе на землѣ и только тщетное порываніе къ свѣтлому, голубому небу — подножію престола Вездѣсущаго... Вотъ почему мы не оставляемъ имени поэта за Полежаевымъ, и думаемъ, что его пѣсни, нашедшія отзывъ въ современникахъ, не перейдутъ въ потомство. Плачевныхъ и скорбящихъ поэтовъ великій поэтъ Гёте характеризовалъ эпитетомъ лазаретныхъ, и этимъ вполнѣ опредѣлилъ ихъ отрицательное значеніе въ области искусства» (см. „С. Б.“, т. III, стр. 29, 30).

«Почему-же—спрашиваетъ ниже Бѣлинскій—было такъ, а не иначе, почему поэту не суждено было прозрѣть и въ безконечномъ чувствѣ безконечной любви найти разрѣшеніе и примиреніе противорѣчій бытія?»

Вы думаете, что хоть на подобный вопросъ послѣдуетъ сколько-нибудь прямой и вразумительный отвѣтъ? «На это одинъ отвѣтъ:—восклицаетъ Бѣлинскій,—да будетъ благословенна воля Провидѣнія!»...

Впрочемъ и въ Полежаевѣ Бѣлинскій открываетъ минутные проблески просвѣтленія и примиренія.

«Характеръ мрачнаго отчаянья и тяжелой скорби,—говоритъ онъ,—лежитъ на большей части сочиненій Полежаева, но съ его лиры срывались и торжественные звуки примиренія, и гармоническіе аккорды явленій жизни. Кому неизвѣстно его стихотвореніе «Провидѣніе», въ которомъ послѣ ужасовъ паденія онъ такъ торжественно воспѣлъ свое мгновенное возстаніе» и пр. (см. „С. Б.“, т. III, стр. 31).

Къ числу явленій творчества, которыя Бѣлинскій отрицалъ вслѣдствіе ихъ субъективности, относятся и всѣ сатирическія произведенія, за которыми Бѣлинскій въ свою очередь не признавалъ никакого истинно художественнаго значенія. Бѣлинскій признавалъ, что поэтъ имѣетъ право воспроизводить въ своихъ произведеніяхъ сферу пошлости жизни, отрицательный міръ призраковъ и случайностей, какъ онъ выражался на своемъ философскомъ языкѣ, но и въ такомъ случаѣ онъ требовалъ, чтобы поэтъ относился къ своимъ образамъ совершенно объективно, чтобы «поэтическимъ ясновидѣніемъ своимъ онъ провидѣлъ ихъ идею и, проведя ихъ черезъ свою творческую фантазію, просвѣтлялъ этой идеей ихъ естественную грубость и грязность».

«Объективность,—говоритъ онъ (см. „С. Б.“, т. III стр. 370),—какъ необходимое условіе творчества, отрицаетъ всякую моральную цѣль, всякое судопроизводство со стороны поэта. Изображая отрицательныя явленія жизни, поэтъ нисколько не думаетъ писать сатиры, потому что сатира не принадлежитъ къ области искусства и никогда не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ. Рисуя нравственныхъ уродовъ, поэтъ дѣлаетъ это совсѣмъ не скрѣпя сердце, какъ думаютъ многіе: нельзя сердиться и творить въ одно и то-же время; досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута величайшаго наслажденія. Поэтъ не можетъ ненавидѣть свои изображенія, каковы бы они ни были; напротивъ, скорѣе онъ ихъ любитъ, потому что они представляются ему уже просвѣтленными идеей.»

Идеаломъ такого объективно-безпристрастнаго изображенія отрицательной стороны жизни Бѣлинскій съ большой натяжкой считалъ Гоголя. Мы говоримъ съ натяжкою, потому что считаемъ всѣ требованія Бѣлинскаго относительно безпристрастной объективности построенными на воздухѣ и не имѣющими оправданія ни въ одномъ поэтическомъ произведеніи, когда-либо явившемся на свѣтъ. Субъективный элементъ присущъ въ такой-же мѣрѣ поэтическому творчеству, какъ и объективный, и какъ-бы послѣдній ни преобладалъ надъ первымъ въ нѣкоторыхъ произведе-

ніяхъ, во всякомъ случаѣ и они не могутъ вполнѣ быть свободны отъ субъективности. Если вы возьмете творенія Гёте или Пушкина за послѣдній періодъ ихъ жизни, и въ нихъ, при всемъ кажущемся олимпійскомъ спокойствіи, вы найдете своего рода субъективность, потому что если въ нихъ нѣтъ какихъ-либо острыхъ чувствъ радости, грусти, злобы, то неужели только одни острыя чувства и составляютъ сферу субъективности? Почему-же всякое спокойное, теплое чувство, «просвѣтленная радость, свѣтлое ликованье», какъ выражается Бѣлинскій, исключать изъ сферы субъективности? Если-же вы найдете субъективный элементъ даже въ самыхъ повидимому объективно-безстрастныхъ произведеніяхъ Гёте и Пушкина, то въ произведеніяхъ Гоголя субъективный элементъ преобладаетъ еще въ большей степени. Что же иное, какъ не чисто субъективный элементъ представляетъ въ произведеніяхъ Гоголя тотъ смѣхъ, изъ-подъ котораго слышится такая надрывающая грусть? Совершенно вопреки разсужденіямъ Бѣлинскаго о томъ, что нельзя сердиться и творить въ одно и то-же время, что досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута величайшаго наслажденія, Гоголь самъ признавался, что онъ садился писать въ самыя тяжелыя минуты своей жизни, что смѣхомъ надъ своими героями онъ старался заглушать тяжелую, гнетущую тоску, свинцомъ налегавшую на него временами.

Для того, чтобы наглядно показать нехудожественность сатиры, Бѣлинскій уже во время своей петербургской дѣятельности въ «Отечественныхъ Запискахъ», въ статьѣ «Горе отъ ума» (см. ч. III, стр. 357), представилъ параллельный разборъ «Ревизора» Гоголя и «Горе отъ ума» Грибоѣдова. «Ревизоръ» представляется въ разборѣ Бѣлинскаго очевидно идеаломъ художественной комедіи, по своей объективности, развитію дѣйствія, выдержанности характеровъ; между тѣмъ «Горе отъ ума» Бѣлинскій со своей смѣлой послѣдовательностью совершенно исключаетъ изъ области художественныхъ произведеній на томъ основаніи, что въ комедіи этой почти нѣтъ никакого дѣйствія, характеры вмѣсто того, чтобы выражаться въ поступкахъ, сами себя обличаютъ въ сатирическихъ монологахъ, субъективный, сатирическій элементъ преобладаетъ въ комедіи надъ всѣмъ, и въ каждомъ стихѣ вы чувствуете присутствіе самого Грибоѣдова. Оба эти образца комедіи подобраны весьма удачно, и разборъ ихъ въ частностяхъ вышелъ блистателенъ, но выводы тѣмъ не менѣе оказываются совершенно ложными. Недостатки «Горе отъ ума», весьма вѣрно указанные Бѣлинскимъ, происходятъ въ сущности вовсе не отъ того, чтобы сатира, преобладающая въ комедіи, сама по себѣ была элементомъ нехудожественнымъ и портила комедію въ той-же степени, какъ если бы комедія была наполнена алгебраическими вычисленіями. Недостатки комедіи зависятъ отъ несоблюденія такихъ художественныхъ условій, которыя составляютъ необходимость этого рода поэзіи—такова быстрота и полнота дѣйствія, сила драматическаго эффекта, выдержанность характеровъ; будь эти условія соблюдены, и сатирическія тирады не только не уменьшили бы достоинства комедіи, а придавали бы еще болѣе опредѣленности и рельефности ея положеніямъ, подобно тому, какъ напримѣръ сатирическія тирады нисколько не уменьшаютъ достоинствъ трагедій Шекспира, хотя вы найдете ихъ въ каждомъ актѣ, и никому не придетъ въ голову пенять на Шекспира, зачѣмъ онъ допускаетъ ихъ. Между тѣмъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, всѣ недостатки комедіи Грибоѣдова происходятъ всецѣло оттого, что сатира, преобладающая въ ней, есть элементъ нехудожественный.

«Выведемъ окончательный результатъ изъ всего сказаннаго нами о «Горе отъ ума», какъ оцѣнку этого произведенія—говоритъ онъ въ заключеніе своего разбора (см. „С. Б.“, т. III, стр. 432).—«Горе отъ ума» не есть комедія, по отсутствію или, лучше сказать, по ложности своей основной идеи; не есть художественное созданіе по отсутствію самоцѣльности, а слѣдовательно и объективности, составляющей необходимое условіе творчества. «Горе отъ ума»—сатира, а не комедія; сатира-же не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ. И въ этомъ отношеніи «Горе отъ ума» находится на неизмѣримо безконечномъ разстояніи ниже «Ревизора», какъ вполнѣ художественнаго созданія, вполнѣ удовлетворяющаго высшимъ требованіямъ искусства и основнымъ законамъ творчества.»

Рядомъ съ развитіемъ этой противоестественной эстетической теоріи задатки французоѣдства, которые мы видѣли въ первомъ періодѣ дѣятельности Бѣлинскаго, развились до послѣдней крайности. Въ первый періодъ онъ хотя и низко ставилъ французовъ, но все-таки находилъ въ нихъ кой-какія преимущества; теперь-же онъ началъ смотрѣть на весь французскій народъ, какъ на скопище развратныхъ изверговъ, не имѣющихъ ничего святого.

«Это народъ внѣшности,—говоритъ онъ на 312 стр. т. II,—онъ живетъ для внѣшности, для показу, и для него не столько важно быть великимъ, сколько казаться великимъ—быть счастливымъ, сколько казаться такимъ. Посмотрите, какъ слабы, ничтожны во Франціи узы семейственности, родства; въ ихъ домахъ внутренніе покои пристроиваются къ салону и домашняя жизнь есть только приготовленіе къ выходу въ салонъ, какъ закулисныя хлопоты и суетливость есть приготовленіе къ выходу на сцену. Французъ живетъ не для себя—для другихъ; для него не важно, что онъ такое, а важно, что о немъ говорятъ; онъ весь во внѣшности, и для нея жертвуетъ всѣмъ—и человѣческимъ достоинствомъ, и личнымъ своимъ счастіемъ. Самая высшая точка духовнаго развитія этой націи, цвѣтъ ея жизни—есть понятіе о чести... У французовъ—у нихъ во всемъ конечный, слѣпой разсудокъ, который хорошъ на своемъ мѣстѣ, т. е. когда дѣло идетъ о уразумѣніи обыкновенныхъ житейскихъ вещей, но который становится буйствомъ передъ Господомъ, когда заходитъ въ высшія сферы знанія. Народъ безъ религіозныхъ убѣжденій, безъ вѣры въ таинство жизни—все святое оскверняется отъ его прикосновенія, жизнь мретъ отъ его взгляда. Такъ оскверняется для вкуса прекрасный плодъ, по которому проползла гадина...»

«Все, что есть отвратительнаго въ человѣческой природѣ,—говоритъ онъ въ то-же время о французскихъ писателяхъ (см. „С. Б.“, т. II, стр. 396),—всѣ ея уклоненія, все, что есть ужаснаго въ гражданскомъ обществѣ, всѣ его противорѣчія—все это они отвлекли отъ природы человѣка и отъ гражданскаго общества, и рядъ чудовищно-нелѣпыхъ романовъ, повѣстей и драмъ наводнилъ весь бѣлый свѣтъ. Евгеній Сю просто-на-просто объявилъ, что

на этомъ свѣтѣ быть честнымъ и добрымъ—значитъ мѣтить прямо на висѣлицу или на колесо, а быть мерзавцемъ и извергомъ есть вѣрное средство наслаждаться всѣми благами міра сего. Гюго объявилъ себя защитникомъ всѣхъ гонимыхъ, т.-е. физическихъ и моральныхъ чудовищъ: по его теоріи, всѣ сосланные на галеры съ клеймомъ лиліи—люди добродѣтельные, невинно гонимые обществомъ. Бальзакъ проповѣдуетъ, что быть бѣднымъ—все равно, что заживо попасть въ адъ, и что быть счастливымъ и блаженнымъ значитъ—имѣть кучу денегъ и право ставить передъ своей фамиліей частицу *де*. Дюма возвѣстилъ міру, что любить женщину—значитъ быть готовымъ каждую минуту задушить, зарѣзать ее; что сильно и глубоко чувствовать—значитъ быть тигромъ, гіеной. Жоржъ Зандъ приглашаетъ людей къ естественному состоянію, почитая гражданскія установленія, и особенно бракъ, главной причиной человѣческихъ бѣдствій. Развратъ, кровосмѣшеніе, разбой, отцеубійство, дѣтоубійство, братоубійство, предательство, казни, пытки, кровь, гной, рѣзня, тюрьмы, дома разврата—сдѣлались любимыми пружинами для возбужденія эффекта. И что-же?—вы думаете, что это люди съ сильными страстями, съ могучей волей, мученики жизни? — Ничего не бывало! это просто добрые ребята, краснощекіе, полные, здоровые, богатые, по модѣ одѣтые, роскошно живущіе. За вкуснымъ обѣдомъ и бутылкой шампанскаго они охотно забываютъ свое ожесточеніе противъ жизни, а за порядочную сумму денегъ готовы написать диѳирамбъ въ честь ея. Они такъ писали только потому, что это было въ модѣ и товаръ хорошо съ рукъ шелъ. Дайте имъ денегъ — они обратятся къ религіи—и къ какой вамъ угодно: къ христіанской (даже къ католицизму), къ магометанской, къ жидовской; надбавьте цѣну—они поклонятся идоламъ. Это народъ сговорчивый, и если вы увидите у котораго-нибудь изъ нихъ на лбу морщины, а на устахъ злую усмѣшку, то смѣло можете сказать—

Какой сердитый видъ!
Не бойтесь—онъ на дождь сердитъ!

Но и германофильство Бѣлинскаго не было безусловнымъ и простиралось далеко не на всѣ явленія нѣмецкой жизни. Дѣло въ томъ, что въ то время существовала уже юная Германія, имѣя Бёрне и Гейне своими представителями. Эта юная Германія не ограничивалась отвлеченными сферами мышленія: она увлекалась живыми общественными вопросами своего времени и требовала, чтобы поэзія отзывалась на эти вопросы. И этого было довольно, чтобы Бѣлинскій преисполнился и противъ юной Германіи такого-же негодованія, какъ и противъ ненавистныхъ французовъ:

«Да, эта юная Германія (см. «С. Б.», т. II, стр. 425)—великій и поучительный урокъ для юношества всѣхъ націй! Она лучше всего показываетъ, какъ безплодны и ничтожны покушенія индивидуальностей на участіе въ ходѣ міродержавныхъ судебъ. Конечно общество живетъ, развивается, слѣдовательно измѣняется, но черезъ кого?—черезъ геніевъ, избранниковъ судьбы, которые производятъ благодѣтельные перевороты, часто сами того не зная, единственно удовлетворяя безсознательному стремленію своего духа. Кто выходитъ на сцену и говоритъ: «я—геній, я хочу измѣнить къ лучшему и общественныя начала», тотъ самозванецъ, который тотчасъ-же и дѣлается жертвой своего самозванства. Кто-же, не понимая жестокихъ уроковъ опыта и сознавши свое безсиліе перестроить дѣйствительность, живущую изъ самой себя, по непреложнымъ и вѣчнымъ законамъ разумной необходимости, будетъ тѣшить себя ребяческими выходками противъ нея, тотъ не перейдетъ въ потомство, но только заставитъ сказать о себѣ современниковъ—

Ай, моська! - знать она сильна,
Коль лаетъ на слона!

Но мы несогласны съ мнѣніемъ г. Губера о Гейне (Бѣлинскій разбираетъ статью Губера «Взглядъ на нынѣшнюю литературу Германіи»): онъ слишкомъ несправедливъ къ нему. Въ Гейне надо различать двухъ человѣкъ. Одинъ—прозаическій писатель съ политическимъ направленіемъ Зараженный тлетворнымъ духомъ новѣйшей литературной школы Франціи, онъ занялъ у нея легкомысліе, поверхностность въ сужденіи, безумство, которое для остраго словца искажаетъ святую истину. Живя въ Парижѣ, онъ изливаетъ свою желчь на то, что зимой бываетъ холодно, а лѣтомъ жарко, что Китай въ Азіи, тогда какъ ему бы надобно быть въ Европѣ, и на подобныя несообразности сего несовершеннаго міра, который не хочетъ перевернуться вверхъ дномъ, повѣривши мудрости Гейне. Потомъ въ Гейне надо видѣть поэта съ огромнымъ дарованіемъ, уже не болтуна француза, но истиннаго нѣмца-художника, котораго лирическія стихотворенія отличаются непередаваемой простотой содержанія и прелестью художественной формы.»

Наконецъ не иначе, какъ увлеченіемъ французоѣдствомъ можно объяснить тотъ фактъ, что рядомъ съ неблагопріятными отзывами о Шиллерѣ Гейне, Викторѣ Гюго, Жоржъ Зандѣ и проч. онъ помѣстилъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ» весьма благопріятный отзывъ о Гречѣ, этомъ ветеранѣ французоѣдства у насъ, на Руси. Приступая къ оцѣнкѣ сочиненій Греча, Бѣлинскій какъ будто чувствовалъ, что онъ намѣренъ дѣлать большія натяжки, разсыпая похвалы Гречу, и что читатели ожидаютъ отъ него совсѣмъ не этого.

«Нѣкоторые изъ читателей, опытныхъ въ дѣлѣ журналистики,—говоритъ онъ въ началѣ статьи (см. «С. Б.», т. II, стр. 455),—часто заранѣе знаютъ, какой приговоръ послѣдуетъ въ томъ или другомъ журналѣ той или другой книгѣ. Такъ напримѣръ, мы увѣрены, что многіе изъ читателей, приступивъ къ чтенію нашей статьи или еще только увидѣвъ въ ея началѣ титулъ сочиненій Греча, скажутъ—иные съ улыбкой удовольствія: «посмотримъ, какъ его тутъ отдѣлали!», а иные съ улыбкой недовѣрчивости и презрѣнія: «посмотримъ, какъ тутъ грызутся». Но мы очень рады обмануть ожиданіе тѣхъ и другихъ и доказать фактомъ, что не всѣ предсказанія сбываются, и что въ нашемъ журналѣ высказываются мнѣнія не о лицахъ, а о сочиненіяхъ.»

Мы уже видѣли выше, какую узкую мѣрку употреблялъ Бѣлинскій для опредѣленія того, художественно или нѣтъ данное произведеніе, и какому грозному ауто-да-фе отъ подвергалъ всѣ такія произведенія, которыя не подходили къ его опредѣленію художественности, какъ бы они сами по себѣ ни были занимательны и полезны. Но для Греча онъ мало того что дѣлаетъ изъятіе, оставляя въ сторонѣ свою мѣрку, но даже самъ нападаетъ на тѣ требованія, съ которыми онъ относился напримѣръ къ Шиллеру или Грибоѣдову.

«Обыкновенно прочтутъ романъ—говоритъ онъ (см. „С. Б.“, т. II, стр. 436)—и, не найдя въ немъ художественнаго произведенія, осуждаютъ его на ауто-да-фе, не подумавъ о томъ, что авторъ и не думалъ претендовать на титулъ поэта, а хотѣлъ просто написать быль или сказку, для удовольствія

и пользы читателей; и совершенно достигъ своей цѣли, потому что нашелъ себѣ и многочисленныхъ читателей, и почитателей. Что нужды, если въ романѣ нѣтъ творчества, но есть вымыселъ, занимательность; нѣтъ фантазіи—есть воображеніе; нѣтъ глубокихъ идей—есть вѣрныя практическія замѣчанія о жизни, плодъ опытности и знакомства съ жизнью не по однимъ книгамъ; нѣтъ огня поэзіи—есть теплота чувства; нѣтъ вдохновенія—есть одушевленіе; нѣтъ образовъ—есть портреты; нѣтъ художественности въ обработкѣ—есть слогъ, языкъ? Что нужды, что это произведеніе не вѣковое, не безсмертное? Авторъ и не имѣлъ на это претензіи: онъ хотѣлъ доставить своимъ современникамъ средство къ благородному и полезному развлеченію—и достигъ своей цѣли. Отъ автора должно требовать ни больше, ни меньше того, что онъ обѣщалъ...»

Въ такомъ явно-пристрастномъ тонѣ написанъ весь разборъ. Повсюду такія-же оговорки и рядомъ съ ними хвалебныя фразы. Грамматика Греча—драгоцѣнная сокровищница, неисчерпаемый рудникъ матеріаловъ для изученія русскаго языка и составленія грамматикъ; «Учебная книга русской словесности» хотя и содержитъ понятія не новыя, несообразныя съ современнымъ взглядомъ на искусство и литературу, не отличающіяся наукообразнымъ изложеніемъ и строгостью системы, но тѣмъ не менѣе книга заслуживаетъ вниманія уже по одному тому, что не похожа на всѣ бывшіе и до нея, и послѣ нея опыты въ этомъ родѣ. Успѣхъ романа Греча «Черная женщина» говоритъ много въ пользу общества, какъ доказательство, что въ немъ есть живая потребность внутренней жизни, и проч., и проч.

Такъ, подъ вліяніемъ ложныхъ теорій, не говоря уже о томъ, что общіе взгляды Бѣлинскаго, общественные и моральные, приняли крайне исключительное, узкое, уродливое направленіе, но и частные взгляды литературно-эстетическіе начали искажаться и перепутываться. Врожденное эстетическое чутье, составлявшее главную силу генія Бѣлинскаго, казалось, совершенно оставило его, притупилось, и мѣсто его заняло искусственное, схоластическое подведеніе фактовъ литературы подъ книжныя формулы ложно и узко понятой философской системы. Вмѣсто того здраваго смысла, который поражалъ васъ въ первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго, явился сухой, мертвый, отвлеченный выводъ, идущій иногда совершенно въ разрѣзъ съ фактами живой дѣйствительности. Наконецъ, какъ признакъ близкаго, окончательнаго паденія, въ отзывахъ Бѣлинскаго начало проскальзывать явное пристрастіе, начали попадаться фальшивыя фразы, повидимому очень громкія, но въ то-же время чуждыя всякаго содержанія, малѣйшей тѣни истины; — таково напримѣръ заключеніе о томъ, что въ обществѣ есть живая потребность внутренней жизни, выведенное изъ того, что общество зачитывается «Черной женщиной» Греча.

Мы говорили выше, что иниціатива такого исключительнаго направленія принадлежала Станкевичу. Но здѣсь мы должны замѣтить, что при всемъ прекраснодушіи и отрѣшенности отъ дѣйствительности Станкевичъ все-таки далекъ отъ такихъ печальныхъ крайностей, до какихъ дошли его московскіе друзья. По всей вѣроятности, еслибы Станкевичъ оставался въ Москвѣ, и онъ не замедлилъ бы придти къ тѣмъ-же результатамъ, но онъ былъ оторванъ отъ своего кружка заграничной поѣздкой и въ то-же время прожилъ нѣкоторое время въ Берлинѣ съ Грановскимъ, котораго одни занятія исторіей дѣлали человѣкомъ болѣе живымъ, невольно наталкивая его на современные вопросы. Грановскій былъ во многомъ обязанъ Станкевичу, и, надо замѣтить, вліяніе Станкевича на Грановскаго было гораздо благодѣтельнѣе, чѣмъ на прочихъ друзей его, потому что, при отсутствіи всякихъ реальныхъ или опредѣленныхъ научныхъ интересовъ, друзья прямо ринулись въ отвлеченныя сферы философіи, между тѣмъ какъ Грановскаго философія только отвлекла отъ погруженія въ сухую, педантическую разработку мелочныхъ фактовъ, въ которую онъ рисковалъ погрязнуть, еслибы Станкевичъ не указалъ ему, хотя и не на лучшій, но во всякомъ случаѣ на болѣе благотворный для нашего общества путь обобщенія фактовъ исторіи философіей. Но и Станкевичъ въ свою очередь остался не безъ вліянія со стороны Грановскаго. Съ другой стороны и заграничная обстановка дѣйствовала на Станкевича своими впечатлѣніями гораздо благотворнѣе, чѣмъ замкнутая жизнь въ Москвѣ въ тѣсномъ кружкѣ между Моховой и Маросейкой. Наконецъ Станкевичъ черпалъ философію Гегеля изъ болѣе чистыхъ источниковъ, чѣмъ друзья его, и глубже вдумывался въ ея основанія. По крайней мѣрѣ Станкевичъ уже въ то время, когда друзья его по уши тонули въ отвлеченныхъ умствованіяхъ, началъ чувствовать скуку и отвращеніе отъ сухихъ и схоластическихъ занятій и инстинктивныя порыванія къ дѣйствительности жизни. «Какъ сухи и безполезны—говорилъ онъ уже 1839 г.—нелѣпыя, безпокойныя, отвлеченныя занятія!..» и признается въ то-же время, что доселѣ былъ не въ состояніи прямо приступить къ пространной логикѣ Гегеля (въ 3 частяхъ) и познакомился съ нею по частямъ энциклопедіи, въ философіи права и въ лекціяхъ, что онъ не чувствуетъ въ себѣ довольно жизни, единства, полноты, чтобы броситься въ этотъ міръ скелетовъ, и что для сохраненія всей своей свѣжести мысль его постоянно должна набираться силъ въ наслажденіи искусствомъ, въ дѣйствительномъ мірѣ; въ письмѣ-же изъ Дрездена отъ 20-го мая 1838 г. онъ восклицаетъ въ отчаяніи, что одно спасеніе противъ сумасшествія — исторія. Увлеченія друзей его крайне огорчили его, и вотъ что̀ пишетъ онъ къ Грановскому въ 1840 г. по поводу извѣстія о крайностяхъ этихъ увлеченій:

«Извѣстія о литературныхъ трудахъ и понятіяхъ нашихъ знакомыхъ неутѣшительны. Что имъ далъ Шиллеръ? что за ненависть? Такъ какъ они не понимаютъ, что̀ такое дѣйствительность, то я думаю, что они уважаютъ слово, сказанное Гегелемъ. А если авторитетъ его силенъ у нихъ, то пусть прочтутъ, что̀ онъ говорилъ о Шиллерѣ въ «Эстетикѣ» въ разныхъ мѣстахъ, также о «Валленштейнѣ» въ мелкихъ сочиненіяхъ. А о дѣйствительности пусть прочтутъ въ «Логикѣ», что дѣйствительность въ смыслѣ непосредственности, внѣшняго бытія—есть случайность; что дѣйствительность въ ея истинѣ есть *Разумъ*, *Духъ*. А если Шиллеръ, по ихъ мнѣнію, не есть поэтъ дѣйствительности, а туманный, то я предлагаю имъ въ поэты Свѣчина, который описываетъ, какъ въ сраженіи: *иному стекло*

раздвоило. Но можешь сказать имъ только аргументы, безъ *яда насмѣшки* — это только ожесточаетъ, а они люди хорошіе, и я съ ними ссориться не хочу.»

Но если человѣкъ, и по своему характеру, и по своему изолированному положенію въ жизни, болѣе наклонный къ отвлеченнымъ, философскимъ занятіямъ, все-таки тяготился сухостью ихъ и чувствовалъ такіе-же порывы къ жизни, съ какими въ средніе вѣка тщетно боролись различные отшельники и монахи, то можно себѣ представить, что̀ долженъ былъ чувствовать Бѣлинскій, который былъ поставленъ, по своему положенію, прямо лицомъ къ лицу передъ обществомъ, для котораго общественное сочувствіе было важно не только въ нравственномъ отношеніи, но и въ чисто матеріальномъ, такъ какъ только это сочувствіе и могло дѣлать жизнь его хоть сколько-нибудь обезпеченной. Человѣкъ, обезпеченный въ своей жизни помимо труда, можетъ выдумать какую угодно дикую теорію и спокойно запереться съ ней отъ всего міра, бросивши на людей, съ высоты своего величія, улыбку гордаго презрѣнія; но совершенно въ иномъ положеніи находится бѣдный труженикъ, видящій все свое призваніе въ живой публицистикѣ, т. е. въ прямомъ вмѣшательствѣ въ вопросы жизни. Если онъ хочетъ, чтобы его слушали, онъ долженъ страстно отзываться на всѣ общественные интересы. Да и этого еще мало: онъ долженъ предугадывать тѣ общественныя инстинктивныя стремленія, которыя вырабатываетъ жизнь, доводить ихъ до всеобщаго опредѣленнаго сознанія и указывать по возможности пути къ ихъ осуществленію. Если-же вмѣсто того, чтобы жить со своимъ обществомъ и быть впереди его, онъ запрется отъ міра въ тѣсный кружокъ, выработаетъ въ этомъ кружкѣ какую-нибудь узенькую теорійку и выступитъ съ ней совершенно можетъ быть въ разрѣзъ съ общественными симпатіями и антипатіями, то нѣтъ ничего мудренаго, если проповѣдникъ встрѣтитъ всеобщее несочувствіе, насмѣшки, порицанія, и въ концѣ-концовъ пропаганда его останется безъ слушателей, гласомъ вопіющаго въ пустынѣ.

Правда, что во время «Московскаго Наблюдателя» наше общество было въ такой степени еще не развито, что не чувствовало еще почти никакой потребности въ публицистахъ въ истинномъ значеніи этого слова, т. е. въ смыслѣ современныхъ западныхъ публицистовъ; оно не сознавало еще вполнѣ ясно и опредѣленно всей тягости своего положенія, но тѣмъ не менѣе все-таки инстинктивно чувствовало лежащій на немъ гнетъ: оно скучало, оно было недовольно жизнью, оно страдало. Чѣмъ же, какъ не этимъ, вы объясните, что оно съ жадностью набрасывалось на всякое поэтическое произведеніе, исполненное грусти, тоски, озлобленія или смѣха надъ окружающей дѣйствительностью. Не даромъ это общество холодно встрѣтило произведенія Пушкина послѣдняго періода и въ то-же время съ жадностью зачитывалось Лермонтовымъ, въ которомъ воскресъ передъ нимъ Пушкинъ прежняго времени, только еще болѣе грустный, разочарованный, негодующій. Не даромъ это общество съ восторгомъ встрѣтило надрывающійся отъ грусти смѣхъ Гоголя. Теперь подумайте, какой критикъ могъ быть самымъ любимымъ и симпатичнымъ? Очевидно такой, который еслибы не былъ въ состояніи разъяснить обществу вполнѣ до самыхъ основныхъ причинъ его недовольство жизнью и его пристрастіе къ отрицательной поэзіи, то все-таки, на сколько возможно, постарался бы это сдѣлать. Наконецъ публика была бы довольна и тѣмъ, еслибы критикъ смѣялся вмѣстѣ съ Гоголемъ и плакалъ вмѣстѣ съ Лермонтовымъ надъ окружающей дѣйствительностью, доказывая, что и смѣяться, и плакать есть свои основательныя причины. Но могло-ли общество сочувствовать критику, который началъ проповѣдывать, что какъ ни гнусна дѣйствительность, а все-таки она разумна, потому что она есть проявленіе вѣчнаго разума, что поэтому мы должны мириться съ дѣйствительностью, какова бы она ни была, а всякое выраженіе недовольства жизнью, или желаніе улучшить ее есть самозванное поползновеніе вносить свою маленькую личную волю въ развитіе міровой, безусловной идеи, что поэтому всякій скорбящій или негодующій поэтъ вовсе не поэтъ, мы не должны ему сочувствовать, что Пушкинъ только тогда и достигъ до высшей поэтической зрѣлости, когда отрѣшился отъ лирической субъективности, что Гоголь не потому намъ нравится, что выводитъ на всеобщее посмѣшище пошлость жизни, а потому, что онъ художественно объективенъ и примиряетъ насъ съ отрицательными сторонами жизни, возводя ихъ въ перлъ созданія?.. Довольно сказать, что впродолженіи всего сотрудничества Бѣлинскаго въ «Московскомъ Наблюдателѣ» о Лермонтовѣ не было сказано почти ни слова. И знаете почему? Потому, что Лермонтовъ съ своимъ демоническимъ и байроническимъ направленіемъ никакъ не покорялся воззрѣнію друзей, и Бѣлинскаго, по свидѣтельству Панаева, ужасно это мучило... «Онъ видѣлъ,—говоритъ Панаевъ,—что начинающій поэтъ обнаруживаетъ громадныя поэтическія силы; каждое новое его стихотвореніе въ «Отеч. Записк.» приводило Бѣлинскаго въ экстазъ, а между тѣмъ въ этихъ стихотвореніяхъ *примиренія* не было и тѣни! Лермонтова оправдывали впрочемъ, тѣмъ что онъ молодъ, что онъ только что начинаетъ, нѣсколько успокоивались тѣмъ, что онъ владѣетъ всѣми данными для того, чтобы сдѣлаться современемъ полнымъ, великимъ художникомъ и достигнуть вѣнца творчества—художественнаго спокойствія и объективности...» Нѣтъ ничего мудренаго послѣ всего этого, что какъ ни низко стояло общество наше въ своемъ общественномъ развитіи, но оно все-таки въ массѣ имѣло на столько живое чутье, что отвернулось отъ проповѣдниковъ, подобныхъ врачу, который, вмѣсто всякаго врачеванья или хотя бы теплаго слова участія, вздумалъ бы совѣтовать больному помириться съ своей болѣзнью, такъ какъ болѣзнь его въ общемъ ходѣ жизни есть своего рода органическій процессъ, прерывать который мы не имѣемъ никакого права, потому что процессъ этотъ есть частичка общей работы мудрой природы, и что еще Богъ знаетъ: если, отрѣшась отъ субъективной точки зрѣнія, мы станемъ на объективно-міровую, то быть можетъ болѣзнь покажется намъ здоровьемъ, а здоровье—болѣзнью, и проч. Плодомъ по-

добной пропаганды было то, что «Московскій Наблюдатель» подъ новой редакціей пошелъ еще хуже, чѣмъ прежде, подписчиковъ сдѣлалось еще менѣе, и въ 1839 году, едва дойдя до 5-й книжки, онъ долженъ былъ прекратить свое существованіе. И можно-ли обвинять публику, что она предпочитала столь глубоко-философскому журналу — «Библіотеку для Чтенія», которая была въ это время въ апогеѣ своего успѣха? Какъ ни была безосновательна, иногда и прямо недобросовѣстна и пристрастна критика этого журнала, какъ ни была поверхностна и парадоксальна ученость его, какъ ни плоско и бѣдно было остроуміе его, но все-таки это былъ единственный хоть сколько-нибудь живой журналъ въ то время. Подсмѣиваясь надъ философской ученостью и туманнымъ языкомъ московскихъ писателей, журналъ этотъ легкимъ, популярнымъ языкомъ сообщалъ своимъ читателямъ всѣ новости и важныя открытія по части естествознанія и другихъ наукъ, и въ то время какъ «Московскій Наблюдатель», разражаясь грозными филиппиками противъ французской литературы, угощалъ публику повѣстями Гофмана, преклоняясь передъ его геніемъ, «Библіотека для Чтенія» переводила Бальзака, Жоржъ Зандъ, Гюго, а впослѣдствіи знакомила русскую публику съ произведеніями англійской литературы—Диккенсомъ и Теккереемъ. И мы убѣждены, что знакомство публики со всѣми этими писателями было неизмѣримо важнѣе и цѣннѣе въ ходѣ развитія нашего общества, чѣмъ всѣ выдержки изъ Ретшера, стихотворенія Клюшникова или повѣсти Кудрявцева. За одно это можно простить «Библіотекѣ для Чтенія» многіе ея грѣхи.

Вся эта исторія съ «Московскимъ Наблюдателемъ» тѣмъ болѣе характеристична, что подобныя ей исторіи не разъ повторялись въ нашей литературѣ и каждый разъ оканчивались такими же фіаско. Мы до такой степени еще люди средневѣковые, для насъ такъ еще непривычны сферы науки или философіи, что стоитъ только углубиться намъ въ какую бы то ни было спеціальную область, хотя бы даже и естествознанія, и мы тотчасъ же готовы закупориться въ этой области отъ всего міра; мы теряемъ всякую связь между различными элементами жизни и начинаемъ думать, что единственное спасеніе людей и всего міра зависитъ отъ того, чтобы всѣ только и дѣлали, что проникались нашей спеціальностью и ни о чемъ больше не заботились. Вмѣстѣ съ этимъ мы исполняемся гордаго высокомѣрія средневѣковыхъ адептовъ и съ презрѣніемъ начинаемъ смотрѣть на все, что́ не принадлежитъ къ узкой сферѣ нашей спеціальности... Мы совершенно забываемъ, что какъ ни важенъ въ области науки вопросъ о лабиринтахъ уха, но часто какой-нибудь романъ, даже не изъ первостепенныхъ, можетъ оказывать гораздо болѣе непосредственное, сильное, вліятельное дѣйствіе на настроеніе общества, на развитіе его сознанія и на ходъ его политической жизни, чѣмъ брошюрка о какихъ-нибудь инфузоріяхъ на рыбѣ, въ своемъ родѣ очень можетъ быть и почтенная. Въ нашемъ гордомъ увлеченіи мы готовы остановить весь ходъ развитія общественной мысли и общественныхъ интересовъ, потому что все это кажется намъ поверхностнымъ, ничтожнымъ, преисполненнымъ беллетристической легкости и лицемѣрнаго либерализма сравнительно съ важностью и глубокомыслiемъ таинствъ нашей науки. Мы забываемъ при этомъ, что самыя таинства науки не иначе могутъ быть проведены въ общество, какъ въ популярномъ, общедоступномъ изложеніи, и что чѣмъ въ болѣе беллетристическомъ видѣ передается истина, хотя бы и самая глубокая, тѣмъ скорѣе она можетъ быть распространена и усвоена. И кончается эта исторія всегда тѣмъ, что коварная публика становится спиной къ глубокомысленнымъ спеціалистамъ и бросается на то, что́ ей легко доступно, что́ соотвѣтствуетъ степени ея развитія, что́ отвѣчаетъ на ея вопросы, удовлетворяетъ ея интересамъ, оставляя въ то же время глубокомысленныхъ спеціалистовъ или оплакивать свое увлеченіе, или кипѣть негодованіемъ на мнимое развращеніе и измельчаніе общества...

Печально отразилось на личности Бѣлинскаго подобное увлеченіе. Матеріальное положеніе его, по прекращеніи «Московскаго Наблюдателя», сдѣлалось снова отчаянно. «При такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ—говоритъ И. Панаевъ—Бѣлинскій задолжалъ въ лавочку. Въ долгъ ему не хотѣли ничего отпускать. Обѣдъ его, при которомъ я не разъ присутствовалъ, былъ и безъ того неприхотливъ: онъ состоялъ изъ дурно-сваренаго супа, который Бѣлинскій густо посыпалъ перцемъ, и куска говядины изъ этого супа...»

Нравственное же состояніе Бѣлинскаго было еще хуже. Вмѣсто ожидаемаго примиренія, онъ обрелъ окончательный разладъ и съ самимъ собою, и съ окружающимъ его міромъ. Послѣднее время пребыванія своего въ Москвѣ онъ постоянно былъ въ раздраженномъ и взволнованномъ состояніи духа.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ однажды Панаеву:—мнѣ, во что бы то ни стало, надобно вонъ изъ Москвы... Мнѣ эта жизнь надоѣла и Москва опротивѣла мнѣ...

Въ то же время со всѣхъ сторонъ онъ слышалъ возраженія и порицанія относительно направленія его критическихъ статей. Не задолго затѣмъ онъ разошелся съ Герценомъ и всѣмъ кружкомъ его, и надо думать, что изъ многихъ устъ онъ слышалъ одни и тѣ же упреки. Это видно изъ намековъ и тона его же собственныхъ нижеприводимыхъ словъ. Дѣло дошло впослѣдствіи даже до личнаго оскорбленія, до того, что когда Бѣлинскому, въ бытность его уже въ Петербургѣ, былъ представленъ какой-то артиллерійскій офицеръ, послѣдній, узнавъ, что передъ нимъ авторъ «Бородинской годовщины», не хотѣлъ подать ему своей руки.

Вотъ что разсказываетъ Панаевъ относительно того, какъ относился Бѣлинскій въ послѣдніе дни своего пребыванія въ Москвѣ къ своимъ убѣжденіямъ и возраженіямъ противъ нихъ:

«Черезъ нѣсколько дней послѣ моего возвращенія изъ Москвы Бѣлинскій принесъ мнѣ прочесть свою рецензію на книгу Ѳ. Глинки «Бородинская годовщина», которую онъ отослалъ для напечатанія въ «Отечественныя Записки».

— Послушайте-ка, — сказалъ онъ мнѣ:—кажется мнѣ еще до сихъ поръ не удавалось ничего написать такъ горячо и такъ рѣшительно высказать наши убѣжденія. Я читалъ эту статейку Мишелю (Бакунину),

*

и онъ пришелъ отъ нея въ восторгъ—ну, а мнѣніе его чего-нибудь да стоитъ! Да что много говорить, я самъ чувствую, что статейка *вытанцовалась*...

«И Бѣлинскій началъ мнѣ читать ее съ такимъ волненіемъ и жаромъ, съ какимъ онъ никогда ничего не читалъ ни прежде, ни послѣ.

«Лихорадочное увлеченіе, съ которымъ читалъ Бѣлинскій, языкъ этой статьи, исполненной странной торжественности и напряженнаго пафоса, произвели во мнѣ нервное раздраженіе... Бѣлинскій самъ былъ явно раздраженъ нервически...

— Удивительно! превосходно!—повторялъ я во время чтенія и по окончаніи чтенія:—но я вамъ замѣчу одно...

— Я знаю, знаю—что. Не договаривайте,—перебилъ меня съ жаромъ Бѣлинскій:—меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни думали...

«Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи...

— Да! это мои убѣжденія!—продолжалъ онъ, разгорячаясь болѣе и болѣе.—Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого? Я только дорожу мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости. Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... они знаютъ это. Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ,—вы вѣдь еще меня мало знаете...

«Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза горѣли.

— Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ! Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой иронією), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себя...

«Разговоръ этотъ со всѣми подробностями живо врѣзался въ мою память. Бѣлинскій какъ будто теперь передо мной...

«Онъ бросился на стулъ, запыхавшись... и, отдохнувъ немного, продолжалъ съ ожесточеніемъ:

— Эта статья рѣзка, я знаю — но у меня въ головѣ рядъ статей, еще болѣе рѣзкихъ... Ужъ какъ же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмѣливается судить объ искусствѣ, ничего не смысля въ немъ!..»

Весь этотъ разговоръ съ Панаевымъ показываетъ, что Бѣлинскій и самъ чувствовалъ неправоту своихъ убѣжденій, иначе возраженія не дѣйствовали бы на него такъ болѣзненно, и вмѣсто паступательнаго тона не принималъ бы онъ тона оправдательнаго, и притомъ исполненнаго такой раздражительности, какъ будто кто затрогивалъ самую глубокую и болючую рану его.

Въ заключеніе мы считаемъ нелишнимъ привести мнѣніе самого Бѣлинскаго о вредномъ вліяніи на человѣка замкнутаго кружка, высказанное имъ въ 1845 году въ статьѣ «Славянскій Сборникъ» Н. В. Савельева-Ростиславича (см. VI т., стр. 433). Хотя мнѣніе это высказалъ Бѣлинскій, имѣя въ виду славянофиловъ, но тѣмъ не менѣе въ словахъ его такъ и слышится сознаніе личнаго опыта:

«Берегитесь, господа, обольщеній своего кружка: въ немъ какъ разъ увѣрятъ васъ, что вы—геній и что вы побѣдили всѣхъ вашихъ противниковъ, которые даже и не думали съ вами бороться, а просто или смѣялись надъ вами, или не обращали на ваше ратованіе никакого вниманія. Кружокъ—вещь опасная: онъ можетъ довести человѣка до жалкаго донъ-кихотства. Кружокъ и свѣтъ—двѣ вещи разныя; первый признаетъ за достовѣрное, доказанное и несомнѣнное то, надъ чѣмъ часто смѣется второй, какъ надъ нелѣпостью. Живите въ кружкѣ, который вамъ нравится; но заглядывайте и въ свѣтъ, прислушивайтесь и къ его сужденіямъ, чтобы не впасть сперва въ односторонность и исключительность, а потомъ и просто въ нелѣпость. Исключительное и безвыходное пребываніе въ себѣ, или въ пріятельскомъ кружкѣ, или въ приходѣ своего журнала—гибельны для человѣка. Ограниченіе себя однимъ и тѣмъ же, отчужденіе отъ всего, что не мы и не наше, гибельно не только для частныхъ лицъ, но и для народовъ: вспомните Китай и Японію!»

IX.

Вліяніе на Бѣлинскаго переѣзда въ Петербургъ. — Начало въ Бѣлинскомъ переходнаго процесса. — Свидѣтельство объ этомъ Тургенева.—Новый взглядъ на романтизмъ.—Статья о Лермонтовѣ.—Рефлексіи и отрицаніе рутинной морали.—Примиреніе съ французской литературой и увлеченіе романами Жоржъ-Зандъ.—Новые взгляды философскіе и эстетическіе.—Оцѣнка Пушкина и Ап. Майкова.

Пріѣздъ въ Петербургъ и начало сотрудничества въ «Отечественныхъ Запискахъ» послужили толчками, возбудившими въ Бѣлинскомъ умственный и нравственный переломъ.

Не говоря о томъ вліяніи, какое необходимо производитъ появленіе новыхъ, разномыслящихъ людей на членовъ замкнутаго кружка, увлекшагося какой-нибудь узенькой, односторонней доктриной, не малое освѣжающее и отрезвляющее дѣйствіе оказываетъ въ этомъ случаѣ всякое удаленіе отъ кружка въ видѣ путешествія, переселенія въ другой городъ, перемѣны занятій. Мы видѣли, что даже представитель кружка, Станкевичъ, сдѣлался уже не тотъ, что былъ въ Москвѣ, съ переселеніемъ за-границу: его начало тяготить то самое углубленіе въ отвлеченныя сферы гегелевской философіи, въ которомъ онъ прежде видѣлъ высокую задачу жизни. То-же самое случилось и съ Бѣлинскимъ по переѣздѣ его въ Петербургъ.

«Хотя москвичъ вообще оригинальнѣе и какъ будто самобытнѣе петербуржца, однако тѣмъ не менѣе онъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если переѣдетъ въ него жить—говоритъ Бѣлинскій въ своей статьѣ «Москва и Петербургъ» (см. «Соч. Бѣл.» т. XII, стр. 229).—Куда дѣваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургъ въ этомъ отношеніи—пробный камень человѣка: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворотомъ призрачной жизни, умѣлъ сберечь и душу, и сердце на счетъ здраваго смысла, сохранить свое человѣческое достоинство, не предаваясь донкихотству, тому смѣло можете вы протянуть руку, какъ человѣку... Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство; сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденныя праздной жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, и вы остаетесь можетъ быть съ тяжелой грустью, но въ этой грусти такъ много святого, человѣческаго.. Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не стоютъ въ глазахъ дѣльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому что

счастье глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка есть истина, и притомъ плодотворная въ будущемъ...»

Но было бы ошибочно думать, чтобы прежнія теоріи и фантазіи Бѣлинскаго спали съ него дѣйствительно съ легкостью осеннихъ листьевъ и чтобы переворотъ совершился въ немъ съ быстротой балетныхъ превращеній. Напротивъ того, цѣлые годы тянулось переходное состояніе въ умственномъ мірѣ Бѣлинскаго. Въ эти годы Бѣлинскій переживалъ тотъ же самый періодъ рефлексій и сомнѣній, какой въ то время переживали всѣ его современники, начиная съ Герцена и кончая Грановскимъ. Всѣ эти рефлексіи и сомнѣнія, всѣ эти блужданія въ потемкахъ различныхъ противорѣчій были столь же мучительны для Бѣлинскаго, какъ и для всѣхъ его современниковъ. Вотъ что свидѣтельствуетъ объ этомъ Тургеневъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ»:

«Вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ (1843 г.) его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одностороннее, не даютъ покоя человѣку, особенно въ молодости: философическіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и къ божеству, о происхожденіи міра, о безсмертіи души и т. п. Не будучи знакомъ ни съ однимъ изъ иностранныхъ языковъ (онъ даже по французски читалъ съ большимъ трудомъ) и не находя въ русскихъ книгахъ ничего, что могло-бы удовлетворить его пытливость, Бѣлинскій поневолѣ долженъ былъ прибѣгать къ разговорамъ съ друзьями, къ продолжительнымъ толкамъ, сужденіямъ и разспросамъ; и онъ отдавался имъ со всѣмъ лихорадочнымъ жаромъ своей жаждавшей правды души... И такъ, когда я познакомился съ Бѣлинскимъ, его мучили сомнѣнія Эту фразу я часто слышалъ и самъ употреблялъ не однажды; но въ дѣйствительности и вполнѣ она примѣнялась къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его, онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ день и ночно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ встанетъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала, но, поговоривъ часа два, три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было нелегко. «Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога,—сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ,—а вы хотите ѣсть!»

Это переходное состояніе отражается и въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго сороковыхъ годовъ,—эпохи сотрудничества его въ «Отечественныхъ Запискахъ». Перебирая статьи его этой эпохи, одна за другою, вы видите, какъ постепенно Бѣлинскій переходитъ изъ праваго лагеря гегеліанцевъ въ лѣвый и дѣлается наконецъ фейербахистомъ; отрѣшаясь отъ идеализма, все болѣе становится на реальную почву, наконецъ изъ поклонника чистаго искусства превращается въ проповѣдника искусства для жизни.

По пріѣздѣ въ Петербургъ въ 1839 году Бѣлинскій втеченіи перваго года все еще носился со своими московскими идеями. Первымъ дѣломъ онъ напечаталъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» двѣ свои знаменитыя статьи, написанныя имъ еще въ Москвѣ и выражающія апогей его московскихъ увлеченій: «Очерки Бородинскаго сраженія» и «Менцель, критикъ Гёте.» Затѣмъ, въ 1840 году была напечатана имъ критическая статья, посвященная разбору «Горя отъ ума» Грибоѣдова рядомъ съ «Ревизоромъ» Гоголя. Мы разсматривали эту статью въ 8-й главѣ и видѣли въ ней преобладаніе идей московскаго періода: комедія Гоголя въ этой статьѣ превозносится, какъ идеалъ комедіи, вслѣдствіе своей объективности, а «Горе отъ ума» выключается изъ ряда художественныхъ произведеній за преобладаніе въ ней сатиры.

Но уже и въ этой статьѣ, несмотря на преобладаніе въ ней все еще московскихъ теорій, вы видите вѣяніе новаго духа. Вы замѣчаете, что Бѣлинскій гораздо глубже усвоилъ гегелевскую философію и пришелъ къ болѣе правильному пониманію ея. Онъ уже не считаетъ все дѣйствительное разумнымъ и не проповѣдуетъ примиреніе съ мрачными сторонами жизни въ сферѣ отвлеченнаго мышленія. Напротивъ того, дѣйствительнымъ онъ признаетъ только разумное въ жизни, все же остальное относитъ къ категоріи призрачнаго. «Дѣйствительность — говоритъ онъ (см. «Соч. Б.», т. III, стр. 364) – есть во всемъ, въ чемъ только есть движеніе, жизнь, любовь; все мертвое, холодное, не разумное, эгоистическое—есть призрачность». Сообразно этимъ двумъ категоріямъ, онъ дѣлитъ и поэзію на положительную—поэзію разумной дѣйствительности, и отрицательную—поэзію неразумной призрачности.

Но особенно замѣчательна эта статья тѣмъ, что въ ней Бѣлинскій впервые рѣшился признать романтизмъ явленіемъ вполнѣ отжившимъ и не имѣющимъ никакого значенія въ современной жизни. Онъ провелъ на отношеніе романтизма къ классицизму взглядъ, основанный вполнѣ на гегелевской философіи. По его мнѣнію, древній классицизмъ и средневѣковой романтизмъ суть двѣ противоположности, тезъ и антитезъ. Въ одной крайности, именно въ классицизмѣ, Бѣлинскій видитъ преобладаніе формы надъ идеей, чувственной красоты надъ духомъ; въ романтизмѣ — наоборотъ: преобладаніе духа надъ формой. Искать идеала поэзіи въ одной изъ этихъ крайностей, по мнѣнію Бѣлинскаго, крайне нелѣпо, такъ какъ прогрессъ заключается не въ установленіи той или другой крайности, а въ примиреніи ихъ, синтезѣ.

«Наше новѣйшее искусство, — говоритъ онъ (см. «Соч. Б.», т. I, стр. 349),—начатое Шекспиромъ и Сервантесомъ, не есть ни классическое, потому что «мы не греки и не римляне», и ни романтическое, потому что мы не рыцари и не трубадуры среднихъ вѣковъ. Какъ-же его назвать?—Новѣйшимъ. Въ чемъ его характеръ? Въ примиреніи классическаго и романтическаго, въ тождествѣ, а слѣдовательно и въ различіи отъ того и другого, какъ двухъ крайностей. Происходя исторически, непосредственно отъ второго, изслѣдовавъ всю глубину и обширность его безконечнаго содержанія и обогатя его дальнѣйшимъ развитіемъ христіанской

жизни и пріобрѣтеніемъ новаго знанія, оно примирило богатство своего романтическаго содержанія съ пластицизмомъ классической формы.»

Мы не будемъ распространяться объ искусственности подобнаго метафизическаго взгляда на исторію искусства,—взгляда, который господствовалъ въ 40-е годы. Если вы вооружитесь имъ, то конечно вы должны будете безпрестанно становиться втупикъ при анализѣ различныхъ произведеній древнихъ, среднихъ и новыхъ вѣковъ. Такъ напримѣръ, на какомъ основаніи вы отвергнете преобладаніе внутренняго содержанія, идеи въ такихъ произведеніяхъ древности, какъ «Прометей» Эсхила, комедіи Аристофана, сатиры Ювенала? А съ другой стороны «Divina comedia» Данте, несмотря на то, что появилась въ самой глубинѣ среднихъ вѣковъ, представляетъ вовсе не преобладаніе идеи, содержанія надъ формой, а, напротивъ того, вы видите въ ней представленіе сверхчувственныхъ вещей, до такой степени чувственное и пластичное, что, читая комедію, забываете о духовности этихъ вещей. Но для насъ взглядъ Бѣлинскаго важенъ не по отношенію къ его вѣрности, а по значенію въ свое время. Статья Бѣлинскаго, проведшая подобный взглядъ и напечатанная въ 1840 году, представляется какъ бы сигнальнымъ выстрѣломъ, возвѣстившимъ переходъ отъ 30-хъ годовъ къ 40-мъ. Этотъ выстрѣлъ возвѣстилъ, что близокъ конецъ царству романтизма, что романтизмъ утратилъ свое значеніе передового знамени вѣка. Правда, тотъ же самый взглядъ провелъ еще ранѣе Бѣлинскаго Н. Надеждинъ въ своей диссертаціи о романтизмѣ. Но Надеждинъ не могъ имѣть такого вліянія, какъ по свой уклончивости, непрямотѣ, вилянію хвостикомъ передъ классицизмомъ, такъ и потому, что въ 30-е годы взглядъ, высказанный Надеждинымъ, былъ слишкомъ преждевременъ. Правда, что Бѣлинскій, возвѣстившій конецъ романтизма, тѣмъ не менѣе оставался до могилы во многихъ отношеніяхъ истымъ романтикомъ, подобно многимъ его современникамъ, но это показываетъ только, что умственные перевороты совершаются не по мановенію волшебнаго жезла, а имѣютъ свой неизбѣжный процессъ, который можно предвидѣть, можно сознавать, но перешагнуть черезъ который такъ же невозможно, какъ сразу отростить бороду или вырости на вершокъ. Статья Бѣлинскаго въ этомъ отношеніи возвѣстила не конецъ романтизма, а начало выхода изъ него, наступленіе эпохи броженія и борьбы идей, характеризующихъ собою 40-е годы. Послѣ статьи Бѣлинскаго крики противъ романтизма начинаютъ раздаваться въ литературѣ чаще, рѣшительнѣе и громче, и въ концѣ 40-хъ годовъ, какъ мы вскорѣ увидимъ, романтизмъ сдѣлался браннымъ прозвищемъ для всего отсталаго и отжившаго.

И надо отдать справедливость Бѣлинскому, что въ синтезѣ классицизма и романтизма, который онъ проповѣдывалъ, онъ предвидѣлъ именно то, къ чему стремилось человѣчество въ его время. Въ той же статьѣ о «Горе отъ ума» вы читаете слѣдующія многознаменательныя строки (см. «С. Б»., т. III, стр. 355, 357):

«Мечтательность въ XIX вѣкѣ такъ-же смѣшна, пошла и приторна, какъ и сантиментальность. Дѣйствительность - вотъ паролъ и лозунгъ нашего вѣка, дѣйствительность во всемъ, и въ вѣрованіяхъ, и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ жизни. Могучій, мужественный вѣкъ, онъ не терпитъ ничего ложнаго, поддѣльнаго, слабаго, расплывающагося, но любитъ одно мощное, крѣпкое, существенное.. Мечтательность была высшей дѣйствительностью только въ періодѣ юношества человѣческаго рода; тогда и формы поэзіи улетучивались въ онміамъ молитвы, во вздохъ блаженствующей любви или тоскующей разлуки. Поэзія-же мужественнаго возраста человѣчества, наша новѣйшая поэзія, ознаетъ наящную форму, просвѣтляетъ эеиромъ мысли, и на яву дѣйствительности, а не во снѣ мечтаній отворяетъ таинственныя врата священнаго храма духа. Короче, какъ романтическая поэзія была поэзіей мечты и безотчетнымъ порывомъ въ область идеаловъ, такъ новѣйшая поэзія есть поэзія дѣйствительности, поэзія жизни...»

Въ томъ же году въ статьѣ по поводу сочиненій Марлинскаго Бѣлинскій еще болѣе развилъ эту идею о поэзіи дѣйствительности, жизни.

«Истинно-художественное произведеніе всегда поражаетъ читателя—говоритъ онъ («Соч. Б.», т. III, стр. 458 и 459)—своей истиной, естественностью, вѣрностью, дѣйствительностью, до того, что, читая его, вы безсознательно, но глубоко убѣждены, что все разсказываемое или представляемое въ немъ происходило именно такъ, и совершиться иначе не могло. Когда вы его окончите, изображенныя въ немъ лица стоятъ передъ вами, какъ живыя, во весь ростъ, со всѣми малѣйшими своими особенностями—съ лицомъ, съ голосомъ, съ поступью, со своимъ образомъ мышленія; они навсегда и неизгладимо запечатлѣваются въ вашей памяти, такъ что вы никогда уже не забудете ихъ. Цѣлое піесы обхватываетъ все существо ваше, проникаетъ его насквозь, а частности ея памятны и живы для васъ только по отношенію къ цѣлому. И чѣмъ больше читаете вы такое художественное созданіе, тѣмъ глубже, ближе и неразрывнѣе совершается въ васъ внутреннее и задушевное освоеніе и сруженіе съ нимъ. Простота есть необходимое условіе художественнаго произведенія, по своей сущности отрицающее всякое внѣшнее украшеніе, всякую изысканность. Простота есть красота истины, и художественныя произведенія сильны ею, тогда какъ мнимо-художественныя часто гибнутъ отъ нея, и потому по необходимости прибѣгаютъ къ изысканности, запутанности и необыкновенности... Въ искусствѣ все невѣрное дѣйствительности есть ложь и обличаетъ не талантъ, а бездарность. Искусство есть выраженіе истины, и только одна дѣйствительность есть высочайшая истина, а все внѣ ея, т.-е. всякая выдуманная какимъ-нибудь «сочинителемъ» дѣйствительность, есть ложь и клевета на истину...»

Подобныя идеи, сдѣлавшіяся въ настоящее время азбучными истинами, были великими открытіями для русской публики въ то время, какъ писалъ эти строки Бѣлинскій. Публика эта продолжала еще въ то время зачитываться Марлинскимъ; на Гоголя смотрѣли, какъ на комическаго балагура или грязнаго пасквилянта, и въ поэзіи видѣли не болѣе, какъ праздный вымыселъ, сказку. Понятно, что, прежде чѣмъ дойти до идеи полезнаго искусства, совершенно послѣдовательно было со стороны Бѣлинскаго установить истинный взглядъ на искусство вообще, какое бы ни было, чистое или полезное, убѣдить публику, что истинное искусство высоко не вымысломъ, а правдой, вѣрнымъ воспроизведеніемъ жизни. Изъ этой же идеи самъ собою слѣдовалъ прямой выводъ, что искусство, цѣнное

правдою жизни—этимъ уже самымъ есть искусство полезное; если ставить искусство, воспроизводящее дѣйствительность, выше искусства вымысла, отрѣшеннаго отъ жизни, то во имя чего же другого, какъ не во имя насущной, жизненной полезности подобнаго искусства? Мы увидимъ вскорѣ, что Бѣлинскій не замедлилъ придти къ подобному выводу.

Въ томъ же 1840 году была помѣщена въ «Отечественныхъ Запискахъ» статья Бѣлинскаго о «Героѣ нашего времени» Лермонтова. Статья эта замѣчательна прежде всего тѣмъ, что Бѣлинскій рѣшился наконецъ заговорить о Лермонтовѣ, не пугаясь его субъективности; это былъ въ своемъ родѣ прогрессъ для него и большой шагъ отъ московскихъ теорій. Съ другой стороны статья замѣчательна тѣмъ, что она посвящаетъ васъ въ ту внутреннюю борьбу, которую началъ переживать Бѣлинскій съ своего пріѣзда въ Петербургъ. Анализъ знаменитаго романа Лермонтова, проведенный въ статьѣ, отличается именно тѣмъ, что это не историческій анализъ, не общественно-физіологическій, не эстетическій наконецъ, а чисто субъективный, отражающій внутренній міръ критика. Оставляя въ сторонѣ вліяніе Байрона на Лермонтова и общественную среду, создавшую Печорина, и къ которой онъ исключительно принадлежитъ, Бѣлинскій приравниваетъ героя романа Лермонтова къ своему вѣку вообще и къ самому себѣ въ частности; онъ видитъ въ немъ олицетвореніе того духа сомнѣній и рефлексій, который терзалъ въ это время всѣхъ мыслящихъ современниковъ Бѣлинскаго, въ томъ числѣ и его.

«Духъ его созрѣлъ для новыхъ чувствъ и думъ, — говоритъ Бѣлинскій о Печоринѣ, подразумѣвая въ этихъ словахъ свой вѣкъ и самого себя, — сердце требуетъ новой привязанности: *дѣйствительности* — вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ, и, презирая старые, онъ все-таки по нимъ-же судитъ о жизни. Отсюда это безвѣріе въ дѣйствительность чувства и мысли, это охлажденіе къ жизни, въ которой ему видится то оптическій обманъ, то безсмысленное мельканіе китайскихъ тѣней. Это—переходное состояніе духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ человѣкъ есть только возможность чего-то дѣйствительнаго въ будущемъ, и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкѣ называется и «хандрой», и «ипохондріей», и «мнительностью», и «сомнѣньемъ», и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія, и что на языкѣ философскомъ называется *рефлексіей*. Мы не будемъ объяснять ни этимологическаго, ни философскаго значенія этого слова, а скажемъ коротко, что въ состояніи рефлексіи человѣкъ распадается на два человѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судитъ о немъ. Тутъ нѣтъ полноты ни въ какомъ чувствѣ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дѣйствіи: какъ только зародится въ человѣкѣ чувство, намѣреніе, дѣйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваетъ зародышъ, анализируетъ его, изслѣдуетъ, вѣрна-ли, истинна-ли эта мысль, дѣйствительно-ли чувство, законно-ли намѣреніе, и какая ихъ цѣль, и къ чему они ведутъ — и благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ, рука, поднятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ и не ударяетъ... Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни, возстаетъ этотъ враждебный внутренній голосъ, чтобы заставить человѣка думать въ такое время, когда не думаетъ никто, и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ.

«Но это состояніе сколько ужасно, столь-же и необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствѣ, но чувство не есть еще послѣдняя ступень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При одномъ чувствѣ человѣкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа человѣческаго заключается въ его разумности, а послѣдній, высшій актъ разумности есть мысль. Въ мысли — независимость и свобода человѣка отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущеній. Когда человѣкъ поднимаетъ въ гнѣвѣ руку на врага своего — онъ слѣдуетъ чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своемъ человѣческомъ достоинствѣ и о своемъ человѣческомъ братствѣ со врагомъ можетъ удержать порывъ гнѣва и обезоружить поднятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болѣе или менѣе болѣзненную, смотря по свойству индивидуума. Если человѣкъ чувствуетъ хоть сколько нибудь свое родство съ человѣчествомъ и хоть сколько нибудь сознаетъ себя духомъ въ духѣ — онъ не можетъ быть чуждъ рефлексіи. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересовъ духа и которыхъ жизнь — апатическая дремота. И нашъ вѣкъ есть по преимуществу вѣкъ рефлексіи, почему отъ нея не освобождены ни тѣ мирныя и счастливыя натуры, которыя съ глубокостью соединяютъ тихость и невозмущаемое спокойствіе, ни самыя практическія натуры, если онѣ не лишены глубокости...»

Эта характеристика вѣка живо напоминаетъ намъ подобныя же характеристики, которыми начинаются статьи Герцена «Диллетанты-романтики» и «По поводу одной драмы». Въ разбираемой нами статьѣ Бѣлинскаго можно найти и другое сходство съ рефлективными статьями Герцена; именно въ статьѣ Бѣлинскаго вы видите такое же ироническое отношеніе къ установленнымъ правиламъ ходячей, рутинной морали, какое мы видимъ въ «Капризахъ и раздумьяхъ»... Подобное отношеніе представляется однимъ изъ неизмѣнныхъ симптомовъ, сопровождавшихъ рефлективный періодъ 40-хъ годовъ. Образцомъ иронiи, съ которой Бѣлинскій обращается къ пошлымъ моралистамъ, могутъ служить слѣдующія строки, встрѣчаемыя нами въ статьѣ (см. «С. Б.», т. III, стр. 601):

«Какой странный человѣкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельность ищетъ пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка! Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безнравственный человѣкъ!»... хоромъ закричатъ можетъ быть строгіе моралисты. Ваша правда, господа: но вы то изъ чего хлопочете, за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человѣку, не нападайте на него съ такой запальчивой храбростью: онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаѳемѣ не за пороки — въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе — но за ту смѣлую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ гово-

ритъ о нихъ. Вы позволяете человѣку дѣлать все, что̀ ему угодно, быть всѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и развратъ: но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человѣкъ думать и дѣйствовать, и какъ онъ въ самомъ дѣлѣ и не думаетъ, и не дѣйствуетъ... И за то ваше инквизиторское ауто-да-фе готово для всякаго, кто имѣетъ благородную привычку смотрѣть дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатѣ, въ своей комнатѣ, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собой, въ домашнемъ разсчетѣ съ своей совѣстью... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ негліже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ и общество отвергнетъ васъ изъ себя. Но этому человѣку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чѣмъ самому себѣ кажется и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человѣкѣ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нѣтъ; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человѣческое чувство возстаетъ на него... Ему другое назначеніе, другой путь, чѣмъ вамъ. Его страсти — бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни странны они,— острыя болѣзни въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморой, которыми вы, бѣдные, такъ безплодно страдаете... Пусть онъ клевещетъ на вѣчные законы разума, поставляя высшее счастіе въ насыщенной гордости; пусть онъ клевещетъ на человѣческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клевещетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смѣшивая юность съ возмужалостью—пусть!.. Настанетъ торжественная минута, и противорѣчіе разрѣшится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ!»...

Во всемъ этомъ, если хотите, много романтическаго и даже риторическаго. Типъ Печорина былъ разобранъ впослѣдствіи на иныхъ основаніяхъ, болѣе реальныхъ и объективныхъ, и въ глазахъ публики всталъ на одну доску съ Обломовымъ. Но вы не забудьте, что, когда Бѣлинскій впервые разбиралъ Печорина, этихъ новыхъ и реальныхъ основаній еще не существовало; повсюду господствовала одна только рутинная, пошлая мораль. Въ это время сочувственное отношеніе ко всему, выходящему такъ или иначе изъ предѣловъ этой морали, было въ высшей степени полезно въ томъ отношеніи, что подкапывалось подъ гнилую, отжившую мораль и расшатывало ея господство. Еслибы въ то время могъ появиться критикъ, который взглянулъ бы на Печорина глазами Добролюбова или Писарева, его анализъ былъ бы не понятъ современниками Бѣлинскаго, недоразвившимися до реальныхъ основаній этого анализа, и послужилъ бы только орудіемъ въ нападкахъ на Печорина различныхъ святошъ и лицемѣровъ того времени. Замѣчателенъ въ этомъ отношеніи тотъ фактъ, что преждевременные проблески идей будущаго вѣка бываютъ обыкновенно въ той же мѣрѣ вредны для прогресса, какъ и упорство старыхъ идей. Пока передовая мысль вѣка не совершила своего дѣла, нападки на нее, хотя бы и съ точки зрѣнія будущихъ и самыхъ зрѣлыхъ поколѣній, каждый разъ ставятъ полемизатора въ лагерь обскурантовъ и дѣлаютъ его ревностнымъ ихъ помощникомъ. Мы уже видѣли одинъ разительный примѣръ подобнаго явленія: такъ, Надеждинъ со своими идеями сороковыхъ годовъ въ концѣ двадцатыхъ годовъ сдѣлался было союзникомъ приверженцевъ ложно-классическихъ тенденцій.

Впродолженіи 1841 и 1842 годовъ Бѣлинскій писалъ свои статьи все еще подъ преобладающимъ вліяніемъ московскихъ теорій, хотя и значительно поколебленныхъ уже новымъ движеніемъ его мысли. Такъ, онъ отрѣшается мало-по-малу отъ своего французоѣдства и начинаетъ ставить французскую литературу рядомъ съ нѣмецкою, какъ ея антитезъ, имѣющій свое значеніе.

«Для нѣмца—говоритъ онъ—наука и искусство—сами себѣ цѣль и высшая жизнь, абсолютное бытіе; для француза наука и искусство—средства для общественнаго развитія, для отрѣшенія личности человѣческой отъ тяготящихъ и унижающихъ ее оковъ преданія, моментальнаго опредѣленія и временныхъ (а не вѣчныхъ) общественныхъ отношеній. Вотъ причина, почему литература французская имѣетъ такое огромное вліяніе на всѣ образованные народы; вотъ почему ея летучія произведенія пользуются такой всеобщностью, такой извѣстностью; вотъ почему они такъ и недолговѣчны, такъ эфемерны...»

Въ Англіи онъ видитъ примиреніе этихъ двухъ крайностей. Въ то же время въ рецензіи на романъ Жоржъ Занда «Бернаръ-Монра» (1841 г.) Бѣлинскій впервые является горячимъ поклонникомъ этой писательницы, которая въ послѣдующій періодъ его жизни сдѣлалась для него столь же любимымъ поэтомъ, какими были Гёте и Гофманъ въ лѣта его юности.

«Это не де-Бальзакъ,—восклицаетъ въ восторгѣ Бѣлинскій, — съ своими герцогами, герцогинями, графами, графинями и маркизами, которые столькоже похожи на истинныхъ, сколько самъ де-Бальзакъ похожъ на великаго писателя или геніальнаго человѣка. У Жоржъ Занда нѣтъ ни любви, ни ненависти къ привилегированнымъ сословіямъ, нѣтъ ни благоговѣнія, ни презрѣнія къ низшимъ слоямъ общества; для нея не существуютъ ни аристократы, ни плебеи; для нея существуетъ только человѣкъ, и она находитъ человѣка во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ слояхъ общества, любитъ его, сострадаетъ ему, гордится имъ и плачетъ о немъ. Но женщина и ея отношенія къ обществу, столь мало оправдываемыя разумомъ, столь много основывающіяся на преданіи, предразсудкахъ, эгоизмѣ мужчинъ, — эта женщина наиболѣе вдохновляетъ поэтическую фантазію Жоржъ Занда и возвышаетъ до пафоса благородную энергію ея негодованія къ легитимированной насиліемъ невѣжества, ея живую симпатію къ угнетенной предразсудками истинѣ. Жоржъ Зандъ есть адвокатъ женщины, какъ Шиллеръ былъ адвокатъ человѣчества. Мудрено-ли послѣ этого, что г-жа Дюданъ ославлена слѣпой чернью, дикой, невѣжественной толпой, какъ писательница безнравственная! Кто открываетъ людямъ новыя истины, тому люди не дадутъ спокойно кончить вѣка; зато, когда сведутъ въ раннюю могилу, то непремѣнно воздвигнутъ великолѣпный памятникъ, и какъ на святотатца будутъ смотрѣть на того, кто-бы дерзнулъ сказать хоть одно слово противъ предмета ихъ прежней остервенѣлой ненависти... Вѣдь и Шиллеръ при жизни своей слылъ писателемъ безнравственнымъ и развратнымъ...»

Какая очевидная разница и въ идеяхъ, и въ симпатіяхъ, и въ тонѣ между Бѣлинскимъ 1839 года и

41! Тотъ-ли это Бѣлинскій, который смотрѣлъ на произведенія Шиллера, какъ на уродливые ублюдки, смѣсь краснорѣчія и поэзіи, въ женскомъ вопросѣ видѣлъ однѣ бредни сенъ-симонистовъ, а Жоржъ Зандъ самъ считалъ, подобно невѣжественной толпѣ, писательницей безнравственной.

Въ 1843 году Бѣлинскій окончательно переходитъ въ лѣвый лагерь гегеліанцевъ, такъ что послѣдніе слѣды московскихъ увлеченій исчезаютъ. Гегелевскую діалектику онъ начинаетъ употреблять уже не въ видѣ одного усматриванія въ жизни различныхъ противорѣчій и искусственнаго сведенія ихъ въ примиряющіе синтезы, а съ цѣлью проповѣди вѣчнаго и неусыпнаго прогресса.

«До постиженія идеи — говоритъ Бѣлинскій въ обозрѣніи литературы за 1842 г. (см. «С. Б.», т. VII, стр. 56)—мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: слѣдовательно, идея сама по себѣ есть только одна сторона предмета, искусственно отдѣляемая нами отъ живой всецѣлости предмета для того, чтобы намъ можно было отрѣшиться отъ непосредственнаго, эмпирическаго способа понимать этотъ предметъ. И потому нѣтъ идей, которыя и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется какъ фактъ, какъ предметъ или какъ дѣйствіе. Осуществленіе идеи въ фактѣ имѣетъ свои непреложные законы, изъ которыхъ главнѣйшій—послѣдовательность и постепенность. Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ; но все, имѣющее идеи своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этотъ непреложный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человѣчествѣ. Природа явилась не вдругъ, готовая, но имѣла свои дни, или свои моменты творенія. Царство ископаемое предшествовало въ ней царству прозябаемому, прозябаемое — животному. Каждая былинка проходитъ черезъ нѣсколько фазисовъ развитія, и стебель, листъ, цвѣтъ, зерно суть не что иное, какъ непреложные послѣдовательные моменты въ жизни растенія. Человѣкъ проходитъ черезъ физическіе моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соотвѣтствуютъ нравственные моменты, выражающіеся въ глубинѣ, объемѣ и характерѣ его сознанія. Тотъ-же законъ существуетъ и для обществъ, и для человѣчества...»

Сознаніе этого закона заставляетъ Бѣлинскаго смѣло смотрѣть на будущее, не обращая вниманія на всѣ ужасы настоящаго. Такъ, въ своей статьѣ о сочиненіяхъ Баратынскаго (см. «С. Б.», т. VI, стр. 311) онъ смѣется надъ людьми, «которыхъ разложеніе и гніеніе элементовъ старой общественности, продажность, нравственный развратъ и оскудѣніе жизни и доблести въ современномъ—заставляютъ отчаяваться за будущую участь человѣчества»...

«Здѣсь очевидно демонъ губитъ ихъ на фактѣ,—говоритъ Бѣлинскій объ этихъ людяхъ, — за которымъ они не видятъ идеи, не понимая, что умираетъ и гніетъ только отжившее, чтобы уступить мѣсто новому и живому. Еслибы вмѣсто того, чтобы испугаться демона, они испытали его—онъ указалъ бы имъ на послѣднее время умиравшей древности, которая въ амфитеатрахъ своихъ тѣшилась кровавымъ зрѣлищемъ, какъ звѣри терзаютъ христіанъ, и которая, въ слѣпотѣ своей, не подозрѣвала, что этой побѣдой надъ мучениками она сама была побѣждена съ своими уже опошлившимися богами.. Тогда они поняли бы, что смерть старой истины еще не означаетъ смерти истины вообще...»

Этотъ законъ прогресса Бѣлинскій примѣняетъ и къ искусству. Если развивается въ мірѣ все сущее, то и искусство въ свою очередь подлежитъ развитію, и къ тому-же развитіе его, по мнѣнію Бѣлинскаго, всегда бываетъ связано съ другими сферами сознанія. «Въ эпоху младенчества и юношества народовъ искусство всегда болѣе или менѣе—выраженіе религіозныхъ идей, а въ эпоху возмужалости—философскихъ понятій». Кромѣ этого Бѣлинскій признаетъ на развитіе и характеръ искусства вліяніе природы, мѣстности, страны, климата, наконецъ политическихъ обстоятельствъ. Всѣ эти соображенія приводятъ Бѣлинскаго къ слѣдующему выводу:

«Изъ этого видно,—говоритъ онъ,—какъ жестоко ошибаются тѣ умозрительные судьи пающаго, которые хотятъ видѣть въ искусствѣ совершенно отдѣльный міръ, существующій независимо отъ другихъ сферъ сознанія и отъ исторіи. Основываясь на томъ, что предметъ искусства не временное и относительное, а вѣчное и безусловное, они думаютъ, что искусство унижаетъ себя, если подчиняется какимъ-бы то ни было историческимъ и временнымъ вліяніямъ. Но это значитъ смотрѣть на «вѣчное» и «безусловное», какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, какъ на логическія построенія, лишенныя всякой жизненности; ибо «вѣчное» выражается во времени, «безусловное» ограничивается формой проявленія, «безконечное» дѣлается доступнымъ созерцанію въ конечномъ.

«Байронъ, Шиллеръ и Гёте,—говоритъ Бѣлинскій въ другомъ мѣстѣ (см. «С. Б.», т. VI, стр. 208)—это философы и критики въ поэтической формѣ. О нихъ всего менѣе можно сказать, что они поэты, и больше ничего. Правда, Гёте, вслѣдствіе своей уже слишкомъ нѣмецкой натуры и аскетическаго образа воззрѣнія на міръ, Гете еще могъ бы подходить подъ идеалъ поэта, который поетъ, какъ птица, для себя, не требуя ничьего вниманія (лишь печатаетъ свои пѣснопѣнія для людей); но и онъ не могъ не заплатить дани духу времени: его «Вертеръ» есть не что иное, какъ вопль эпохи; въ его «Фаустѣ» заключены всѣ нравственные вопросы, какіе только могутъ возникнуть въ груди внутренняго человѣка нашего времени; его «Прометей» дышетъ преобладающимъ духомъ вѣка; многія изъ его мелкихъ лирическихъ піесъ суть не что иное, какъ выраженіе философскихъ идей... Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пѣніемъ», создастъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ исторической и философской дѣйствительностью современности, если она вообразитъ, что земля не достойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ сновидѣній и поэтическихъ созерцаній! Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадна была она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ... Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на тэмы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни. Что вошло, глубоко запало въ душу, то само собою проявится во внѣ.»

Сообразно съ этими новыми воззрѣніями Бѣлинскаго на искусство, измѣнилась и оцѣнка его поэтическихъ произведеній. Онъ началъ смотрѣть на нихъ не съ одной только эстетической точки зрѣнія, началъ искать въ нихъ не одного только соотвѣтствія

идеи и формы, а между прочимъ обращать вниманіе и на то, насколько произведеніе выражаетъ духъ современности и удовлетворяетъ интересамъ общества. Такъ напримѣръ, взглядъ его на Пушкина совершенно измѣнился сравнительно съ тѣмъ, какой онъ высказывалъ въ «Московскомъ Наблюдателѣ». Въ рядѣ статей, посвященныхъ разбору стихотвореній Пушкина, онъ ставитъ на видъ историческое значеніе Пушкина, какъ поэта, отдаетъ ему въ этомъ отношеніи полную справедливость, но въ то-же время смотритъ, какъ на большой недостатокъ Пушкина, на его стремленіе къ чистому искусству и отрѣшеніе отъ современности, и вслѣдствіе этого отрицаетъ значеніе Пушкина для 40-хъ годовъ.

«Какъ-бы то ни было,—говоритъ Бѣлинскій (см. «С. Б.», т. VIII, стр. 398),—но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и бо́льшую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возникаетъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные болѣзненные вопросы настоящаго.. Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія тѣмъ не менѣе были причиной постепеннаго охлажденія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумѣренный восторгъ возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношеніи, піесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И чѣмъ совершеннѣе становился Пушкинъ, какъ художникъ, тѣмъ болѣе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ, роскошнымъ міромъ его поэтическихъ совершеній. Публика съ одной стороны не была въ состояніи оцѣнить художественнаго совершенства его послѣднихъ созданій (и это конечно не вина Пушкина); съ другой стороны она вправѣ была искать въ поэзіи Пушкина болѣе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это конечно была не ея вина)...»

Рядомъ съ этимъ новымъ взглядомъ Бѣлинскаго на Пушкина мы можемъ поставить приговоръ его относительно таланта Ап. Майкова,—приговоръ, показывающій наглядно его требованія отъ современной поэзіи и нелишенный нѣкотораго пророческаго предвидѣнія. Бѣлинскій встрѣтилъ появленіе Ап. Майкова на литературномъ поприщѣ съ тѣмъ восторгомъ, съ какимъ онъ встрѣчалъ всѣ молодыя дарованія. Но, превознося антологическія произведенія Майкова, поставивши ихъ даже выше подобныхъ-же произведеній Пушкина, Бѣлинскій вмѣстѣ съ тѣмъ выразилъ опасеніе, чтобы Майковъ не ограничился однѣми антологіями.

«Но жаль было-бы,—говоритъ онъ въ «Обозрѣніи Русской Литературы за 1842 г.» (см. «С. Б.», т. VII, стр. 32),—еслибы только на этомъ остановился Майковъ. Антологическія стихотворенія, какъ бы ни были хороши,—не болѣе, какъ пробный камень артистическаго элемента въ поэтѣ. Ихъ можно сравнить съ ножкой Психеи, рукой Венеры, головой Фавна, превосходно высѣченными изъ мрамора. Конечно превосходно сдѣланная ножка, ручка, грудь, или голова, каждая изъ этихъ деталей можетъ служить доказательствомъ необыкновенныхъ скульптурныхъ дарованій, чувства пластики, изученія древняго искусства, но еще не составляетъ скульптуры, какъ искусства, и превосходно сдѣлать ножку, ручку, грудь или головку далеко не то, что создать цѣлую статую. Сверхъ того исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко не вполнѣ понятому), безъ всякаго живого, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можетъ сдѣлать великимъ или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени. Къ этому еще должно присовокупить, что одно да одно, теряя прелесть новости, теряетъ и свою цѣну. И такъ, мы желали бы, чтобы Майковъ или предавался основательному и обширному изученію древности и передавалъ на русскій языкъ, своимъ дивнымъ стихомъ, вѣчныя, неумирающія созданія эллинскаго искусства, или обрѣлъ въ тайникѣ духа своего тѣ сердечныя, задушевныя вдохновенія, на которыя радостно и привѣтливо отзывается поэту современность. Покоряясь требованіямъ справедливости, мы не можемъ не повторить здѣсь уже сказаннаго нами въ статьѣ о стихотвореніяхъ Майкова, что почти всѣ его не антологическія стихотворенія пока не обѣщаютъ въ будущемъ ничего особеннаго.»

X.

Двѣ струи въ движеніи мысли сороковыхъ годовъ: струя зрѣлаго и молодого поколѣнія.—Причины преобладанія отрицанія въ зрѣлыхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ.—Отрицательный характеръ сочиненій Бѣлинскаго съ 1843 года и недостатокъ опредѣленныхъ взглядовъ на положительность, натуральную школу и женскій вопросъ.—Направленіе молодежи сороковыхъ годовъ.—Первые проблески реальной мысли.—В. Н. Майковъ и его эстетическая теорія.—Критика метафизической эстетики.

Мы уже сказали въ предыдущей главѣ, что окончательный переходъ Бѣлинскаго въ лагерь лѣвыхъ гегеліанцевъ совершился въ 1843 году. Годъ этотъ во многихъ отношеніяхъ замѣчателенъ въ ходѣ развитія нашей мысли. Къ этому году успѣлъ и Герценъ обратиться въ фейербахиста; въ этомъ году Грановскій началъ читать публичныя лекціи; съ этого года «Отечественныя Записки» окончательно дѣлаются органомъ передовой партіи западниковъ, группирующихся въ тѣсный союзъ вокругъ Герцена, Бѣлинскаго и Грановскаго. Этотъ годъ можетъ считаться рубежемъ въ переходномъ процессѣ нашей мысли: до него мы видимъ все еще преобладаніе метафизики и мистицизма, послѣ него мысль начинаетъ съ большей и большей смѣлостью стремиться на почву реализма. До него передовые люди находились подъ сильнымъ вліяніемъ германской философіи; послѣ него начинаетъ преобладать вліяніе политическаго и соціальнаго движенія, господствовавшаго въ то время во Франціи.

При этомъ новомъ движеніи нашей мысли надо тщательно различать двѣ струи, которыя особенно рѣзко выступаютъ къ концу сороковыхъ годовъ—струю зрѣлаго и молодого поколѣнія. Грановскій, Герценъ, Бѣлинскій, Гоголь и др. называются обыкновенно людьми сороковыхъ годовъ потому только, что въ эти годы совершилось главное развитіе ихъ дѣятельности. Но въ то-же время они уже не были въ сороковые годы тѣмъ, что́ обыкновенно называется у

насъ молодымъ поколѣніемъ. Это было молодое поколѣніе тридцатыхъ годовъ. Изъ тридцатыхъ годовъ вынесли они свои преданія; тридцатые годы воспитали ихъ и направили. Въ сороковые-же годы они были уже людьми зрѣлыми и во многихъ отношеніяхъ установившимися. Это не мѣшало имъ переживать переходный процессъ развитія сороковыхъ годовъ. Но мы видѣли, какъ трудно давался имъ этотъ процессъ. И это очень понятно: въ 30 и 35 лѣтъ переходные процессы мысли не могутъ уже совершаться съ такой быстротой, какъ въ 20 и 25 лѣтъ; мозгъ человѣка такъ привыкаетъ мыслить въ извѣстномъ направленіи и системѣ, что словно окостенѣваетъ въ томъ видѣ, какъ онъ устроился въ молодые годы. Вотъ почему даже въ самыхъ даровитыхъ и сильныхъ умахъ людей сороковыхъ годовъ, наиболѣе освободившихся отъ метафизическихъ принциповъ, нѣтъ-нѣтъ, да и отзывались тридцатые годы. Вся сила и слабость ихъ пропаганды вполнѣ обусловливаются тѣмъ моментомъ въ переходномъ процессѣ развитія, когда мысль едва только сбрасываетъ иго отжившихъ принциповъ. Такая мысль всегда бываетъ болѣе критическая, отрицательная, чѣмъ положительная. Новаго еще нѣтъ; оно только-что строится, предвидится и смутно мелькаетъ передъ сознаніемъ въ блѣдныхъ и туманныхъ очеркахъ; между тѣмъ все старое и пережитое такъ еще свѣжо въ памяти, такъ глубоко врѣзалось у всѣхъ въ нравы и привычки, такъ наболѣло на сердцахъ всѣхъ и каждаго, что мысль невольно обращается ко всему этому. Она чувствуетъ свою силу, мощь въ отрицаніи этого стараго, она находитъ въ этомъ отрицаніи невыразимое сладострастіе. Но въ то-же время, когда ей приходится давать отчетъ, во имя чего-же она отрицаетъ, тутъ открывается передъ вами вся ея немощность и бѣдность: за неимѣніемъ ничего новаго, она ограничивается общими, неопредѣленными фразами, темными гаданіями, или-же, по привычкѣ, вертится въ очарованномъ кругу того-же стараго міросозерцанія, ограничиваясь только тѣмъ, что̀ называетъ бѣлымъ то, что́ съ точки зрѣнія стараго міросозерцанія считалось чернымъ, и наоборотъ, хотя въ сущности и черное, и бѣлое стараго міросозерцанія одинаково подлежитъ скептицизму. Бѣлинскій съ поразительной глубиной опредѣлилъ свой вѣкъ въ этомъ отношеніи, сказавши о Печоринѣ, что онъ готовъ для всего новаго, но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ и, презирая старые, онъ все-таки по нимъ-же судитъ о жизни.

Эти слова Бѣлинскаго о Печоринѣ вполнѣ примѣнимы къ нему самому. Въ самомъ дѣлѣ, самыя сильныя, патетическія и наиболѣе вліятельныя статьи или отдѣльныя мѣста изъ статей Бѣлинскаго послѣ 1843 года суть именно тѣ, въ которыхъ онъ отрицаетъ отжившіе принципы, формы и явленія жизни, окружавшей его. Но если вы захотите отдать себѣ отчетъ, что-же онъ ставитъ вмѣсто всего этого,— сколько ни перечитывайте статьи Бѣлинскаго, вы не въ состояніи будете составить хоть сколько нибудь опредѣленныхъ представленій о его положительныхъ идеалахъ и стремленіяхъ и придете только къ тому заключенію, что онъ держится въ какомъ-то очарованномъ кругу. Такъ напримѣръ, при каждомъ удобномъ случаѣ Бѣлинскій нападаетъ на романтизмъ. Въ романтизмѣ онъ преслѣдуетъ фантастичность, мечтательность, стремленіе жить мимо жизни.

«Разладъ съ дѣйствительностью — говоритъ онъ о романтикахъ (см. «С. Б.», т. X., стр. 269)—болѣзнь этихъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спѣшить жить, они вмѣсто этого только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздно: именно въ то время, когда человѣкъ не годится уже ни на что лучшее; развѣ это не такая-же, или даже еще не большая уродливость? Но теперь всѣ заговорили о дѣйствительности. У всѣхъ на языкѣ одна и таже фраза: «надо дѣлать!». А между тѣмъ все-таки ничто ничего не дѣлаетъ! Это показываетъ, что во что бы ни нарядился романтикъ, онъ все останется романтикомъ...»

Все это совершенно справедливо; но справедливо только въ отрицательномъ смыслѣ, въ приложеніи къ романтикамъ. Затѣмъ является немедленно неотвязный вопросъ: какъ-же нужно жить и что́-же дѣлать, чтобы не быть романтикомъ и не быть въ то-же время въ ряду пошлой толпы, которая живетъ не мысля? На это отвѣчаетъ вамъ Бѣлинскій слѣдующей отвлеченной философской формой:

«Человѣкъ долженъ сознавать жизнь, и разумъ долженъ вести человѣка по пути жизни—тѣмъ и отличается человѣкъ отъ животныхъ безсловесныхъ: но основой жизни долженъ быть инстинктъ, непосредственное чувство. Безъ нихъ жизнь есть пустое, холодное и, къ довершенію, преглупое умничанье; такъ-же какъ безъ мыслительности непосредственное существованіе есть животное состояніе...»

Все это очень красиво, какъ правильно-построенная, логическая формула, но формула слишкомъ общая, чтобы служить отвѣтомъ на вопросъ. По своей отвлеченности она ничѣмъ не отличается отъ азбучныхъ аксіомъ, вродѣ: праздность есть мать всѣхъ пороковъ, наука отворяетъ врата въ царство разума и пр., которыя, оставаясь вполнѣ истинными и непреложными аксіомами, тѣмъ не менѣе представляются какими-то засушеными остовами мысли, поражающими васъ своей мертвенностью и ничего не говорящими вашему уму.

Но когда изъ этихъ отвлеченныхъ аксіомъ Бѣлинскому приходилось спускаться въ міръ живой дѣйствительности и анализировать факты жизни, тогда оказывалось, что онъ ничего не былъ въ состояніи противопоставить романтизму, какъ тотъ-же слѣпой, практическій эмпиризмъ пошлой толпы.

Въ 1847 году появился на литературное поприще Гончаровъ съ своей «Обыкновенной Исторіей». Бѣлинскій оцѣнилъ весьма вѣрно вновь появившійся талантъ, объявивши, что Гончаровъ—поэтъ, художникъ и больше ничего, мыслитель-же онъ плохой; что Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью рисовать; говорить-же, судить и извлекать изъ нихъ нравственныя слѣдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ.

Но въ чемъ выражается слабость мысли Гончарова этого Бѣлинскій не могъ уяснить себѣ ясно и опре, дѣленно. Недостатокъ мыслительности Гончарова заключается именно въ томъ, что, отнесшись отрицательно къ романтизму и осмѣявъ его въ лицѣ Але-

ксандра Адуева, Гончаровъ въ то-же время въ противовѣсъ этому отжившему типу поставилъ, какъ идеалъ положительности, типъ еще болѣе отжившій. Если романтизмъ имѣетъ какое-либо значеніе въ исторіи нашего развитія, то именно то, что онъ первый напалъ на эмпиризмъ пошлой толпы. Романтики стоятъ вовсе не рядомъ съ Фамусовыми и Молчалиными, а неизмѣримо впереди нихъ. Но что́ такое дядюшка Петръ Ивановичъ Адуевъ, какъ не тотъ-же Фамусовъ, идеализированный Гончаровымъ, какъ типъ современной положительности? Ставить въ противовѣсъ мечтательности— эмпиризмъ, въ противовѣсъ романтика —Фамусова, это значитъ идти не впередъ а назадъ, становиться на точку зрѣнія беззавѣтной пошлости филистерства, не помышляющаго ни о чемъ болѣе, какъ о нарощеніи брюшка и капитальца, и считающаго все остальное праздной мечтательностью.

Между тѣмъ Бѣлинскій слѣпо слѣдуетъ за Гончаровымъ. Осыпавъ всевозможными насмѣшками Александра Адуева, онъ въ то же время совершенно доволенъ дядюшкой.

«Петръ Ивановичъ, — говоритъ онъ, — по своему человѣкъ очень хорошій; онъ уменъ, очень уменъ, потому что хорошо понимаетъ чувства и страсти, которыхъ въ немъ нѣтъ и которыя онъ презиралъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понималъ поэзію въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведеній Пушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было-бы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Иваповичъ—эгоистъ, холоденъ по натурѣ, неспособенъ къ великодушнымъ движеніямъ; но вмѣстѣ съ этимъ онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемѣръ, не притворщикъ, на него можно положиться, онъ не обѣщаетъ, чего не можетъ или не хочетъ сдѣлать, а что́ обѣщаетъ, то непремѣнно сдѣлаетъ. Словомъ, это въ полномъ смыслѣ порядочный человѣкъ, какихъ, дай Богъ, чтобы было больше...»

Что Гончаровъ выставилъ идеаломъ положительности отъѣвшагося филистера, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; но что Бѣлинскій могъ увлечься этимъ господиномъ, это можетъ представляться съ перваго взгляда рѣшительно непонятнымъ, если вы не примете въ соображеніе, что Бѣлинскій просто-на-просто увлекся до такой степени отрицаніемъ романтизма, что ему было рѣшительно все равно, чѣмъ ни бить ненавистный ему романтизмъ, и далѣе этого отрицанія онъ не отдавалъ себѣ ни въ чемъ отчета.

Но если Бѣлинскій оказывается согласнымъ съ Гончаровымъ въ главныхъ мотивахъ романа, то почему, спросите вы, онъ считаетъ Гончарова плохимъ мыслителемъ? Бѣлинскій даетъ вамъ отвѣтъ на этотъ вопросъ въ своемъ разборѣ «Обыкновенной Исторіи», но, разъ не попавши въ цѣль, не уловивши сущности недостатковъ романа, онъ остается на ложномъ пути и во всѣхъ своихъ выводахъ. По его мнѣнію, недостатокъ мыслительности Гончарова заключается въ томъ, что авторъ не выдержалъ характера Ал. Адуева, зачѣмъ онъ заставилъ его отрезвѣть и склониться на дорогу дядюшки; романтикъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, долженъ до сѣдыхъ волосъ оставаться романтикомъ, и Гончаровъ поступилъ бы справедливѣе, еслибы обратилъ Александра Ивановича въ славянофила.

«Тутъ Адуевъ,—говоритъ Бѣлинскій,—остался бы вѣрнымъ своей натурѣ, продолжалъ бы старую свою жизнь и между тѣмъ думалъ бы, что онъ и Богъ знаетъ какъ ушелъ впередъ, тогда какъ въ сущности онъ только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталъ о славѣ, о дружбѣ, о любви, а тутъ сталъ-бы мечтать о народахъ и племенахъ, о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ —вражда, о томъ, что во времена Гостомысла «славяне имѣли высшую и образцовую для всего міра цивилизацію», и пр.

Основная ошибка во всемъ этомъ сужденіи о развязкѣ «Обыкновенной Исторіи» заключается въ томъ, что Бѣлинскій почему-то романтизмъ считаетъ не преходящей фазой развитія, съ которой человѣкъ можетъ двигаться назадъ и впередъ, а какой-то врожденной болѣзнью, какъ будто извѣстный процентъ народонаселенія родится въ видѣ романтиковъ, и ужъ разъ кому на долю выпало это несчастье, тотъ такъ и остается на всю жизнь до гробовой доски романтикомъ. Между тѣмъ въ вѣкъ Бѣлинскаго превращеніе романтиковъ въ филистеры было явленіемъ весьма заурядным, особенно если взять во вниманіе, что при всеобщемъ стремленіи къ положительности даже такіе передовые и глубокіе мыслители, какъ Бѣлинскій, не могли себѣ представить иной положительности, какъ въ видѣ Петра Ивановича Адуева. Такимъ образомъ Гончаровъ совершенно справедливъ въ развязкѣ романа. Для подобной развязки ему вовсе не нужно было даже быть особенно глубокимъ мыслителемъ: ему нужно было только вооружиться хорошимъ художественнымъ чутьемъ, чтобы перенесть въ свое произведеніе всецѣло фактъ, который безъ сомнѣнія примелькался въ глазахъ его обыденной жизни. Но какъ-же Бѣлинскій не понялъ всей этой естественности развязки романа и почему захотѣлось ему непремѣнно, чтобы Адуевъ до конца жизни оставался романтикомъ? И опять-таки, по нашему мнѣнію, это произошло отъ увлеченія отрицаніемъ. Осмѣявши романтиковъ, Бѣлинскій не могъ не прихватить по дорогѣ и славянофиловъ. Вообще въ его полемикѣ всегда гдѣ были романтики, тамъ непремѣнно и славянофилы, и наоборотъ, а между тѣмъ Гончаровъ о славянофилахъ, какъ нарочно, не говоритъ въ своемъ романѣ ни полсловечка. У Бѣлинскаго и мелькнула въ головѣ соблазнительная идейка, какъ бы хорошо обратить Адуева въ заключеніе въ славянофилы и зачѣмъ это Гончаровъ упустилъ изъ виду. Вслѣдствіе этого онъ и призналъ въ Гончаровѣ слабаго мыслителя и такимъ образомъ, исходя изъ ложнаго основанія, нечаянно высказалъ правду.

Рядомъ съ пропагандой положительности мы видимъ въ Бѣлинскомъ проповѣдника искусства дѣйствительности, правды, почитателя Гоголя и защитника натуральной школы. Эта школа, ведя свое начало отъ Гоголя, на первыхъ шагахъ далеко опередила своего основателя. Она заимствовала отъ него одну только внѣшнюю форму; между тѣмъ духъ, господствовавшій въ ней, идеи, лежавшія въ ея произведеніяхъ, не имѣли ничего общаго съ мистическими, средневѣковыми тенденціями Гоголя. По своему внутреннему содержанію, натуральная школа была отголоскомъ того соціальнаго движенія, которое въ то время господствовало во Франціи. Защита раба отъ произвола господина, женщины отъ родового ига, осмѣя-

ніе апатіи и рутины, грубаго невѣжества, отсутствія честности, гуманности и гражданскаго чувства— вотъ мотивы натуральной школы.

Вслѣдствіе этого натуральная школа по самому существу своему была поэзіей тенденціозной. Писатели, принадлежавшіе къ этой школѣ, изображали жизнь не ради одной чистой художественности, а съ цѣлью анализа этой жизни, выраженія своихъ общественныхъ симпатій и антипатій. Этотъ анализъ былъ часто весьма не глубокій, узкій и поверхностный, завися отъ степени развитія большинства писателей того времени; нерѣдко писатели упускали совершенно изъ виду всякій анализъ и увлекались художественнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности безъ всякой цѣли, совершенно въ духѣ чистаго искусства; но во всякомъ случаѣ общее направленіе натуральной школы было все-таки тенденціозное, аналитическое и отрицательное по преимуществу. Въ концѣ сороковыхъ годовъ школа эта окончательно утвердилась въ нашей литературѣ. Въ это время въ ней подвизались уже Искандеръ, Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Достоевскій, Н. Некрасовъ, И. Панаевъ и пр.

Бѣлинскій глубоко понималъ значеніе и сущность этой новой школы. Съ энтузіазмомъ встрѣчалъ онъ каждый начинающій талантъ, идущій по этому направленію. Онъ не упускалъ случая, чтобы не распространиться по поводу значенія въ его время натуральной школы, и значенія не одного только художественнаго, но преимущественно общественнаго, гражданскаго. При этомъ онъ постоянно ратовалъ противъ чистаго искусства и доказывалъ, что служеніе общественнымъ интересамъ не только не унижаетъ искусства, но, напротивъ того, возвышаетъ его, расширяетъ сферу его содержанія. Но всѣ эти ратованія и доказательства были хороши только до той поры, пока Бѣлинскій оставался въ сферѣ общихъ философскихъ положеній; но едва спускался онъ къ анализу и оцѣнкѣ различныхъ литературныхъ произведеній своего времени, онъ снова сбивался на старую эстетику и путался въ неисходныхъ противорѣчіяхъ, стремясь къ новому, а судя все-таки по старому.

Такъ напримѣръ, въ 1847 году начали печататься въ «Современникѣ» «Записки Охотника» Тургенева. Первые разсказы этого сборника были помѣщены въ самомъ концѣ книги, въ отдѣлѣ смѣси. Но при всемъ томъ публика обратила вниманіе на эти разсказы и оцѣнила ихъ съ перваго-же появленія лучше многихъ повѣстей и романовъ, помѣщенныхъ въ первомъ отдѣлѣ того-же журнала. Въ обозрѣніи русской литературы за 1847 годъ мы читаемъ слѣдующій отзывъ Бѣлинскаго о «Запискахъ Охотника» Тургенева:

«Наконецъ въ первой книгѣ «Современника» за прошлый годъ былъ напечатанъ его разсказъ «Хорь и Калинычъ». Успѣхъ въ публикѣ этого небольшого разсказа, помѣщеннаго въ «Смѣси», былъ неожиданъ для автора и заставилъ его продолжать разсказы охотника. Здѣсь талантъ его обозначился вполнѣ. Очевидно, что у него нѣтъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собой, изъ какихъ образуются сами собой романы и повѣсти. Онъ можетъ изображать дѣйствительность, видѣнную и изученную имъ, если угодно—творить, но изъ готоваго, даннаго, дѣйствительнаго матеріала. Это не простое списыванье съ дѣйствительности, она не даетъ автору идей, но наводитъ, наталкиваетъ, такъ сказать, на нихъ. Онъ перерабатываетъ взятое имъ готовое содержаніе по своему идеалу, и отъ этого у него выходитъ картина, болѣе живая, говорящая и полная мысли, нежели дѣйствительный случай, подавшій ему поводъ написать картину; и для этого необходимъ въ извѣстной мѣрѣ поэтическій талантъ. Правда, иногда все умѣнье его заключается въ томъ, чтобы только вѣрно передать знакомое ему лицо или событіе, котораго онъ былъ свидѣтелемъ, потому что въ дѣйствительности бываютъ иногда явленія, которыя стоитъ только вѣрно переложить на бумагу, чтобы они имѣли всѣ признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ талантъ, и таланты такого рода имѣютъ свои степени. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Тургеневъ обладаетъ замѣчательнымъ талантомъ. Главная характеристическая черта его таланта заключается въ томъ, что ему едва-ли бы удалось создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣтилъ въ дѣйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы богатыя средства; даръ наблюдательности, способность вѣрно и быстро понять и оцѣнить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слѣдствія и такимъ образомъ догадкой и соображеніемъ дополнить необходимый ему запасъ свѣдѣній, когда разспросы мало объясняютъ.»

Прочитавши это опредѣленіе таланта Тургенева, вы сразу запутываетесь въ лабиринтѣ поразительныхъ противорѣчій. Съ одной стороны, казалось бы, что, по теоріи Бѣлинскаго, у Тургенева есть всѣ данныя для истиннаго художественнаго таланта, такъ какъ онъ не просто списываетъ съ натуры, «а перерабатываетъ взятое имъ готовое содержаніе по своему идеалу, и отъ этого у него выходитъ картина, болѣе живая, говорящая и полная мысли, нежели дѣйствительный случай, подавшій ему поводъ написать картину...» Казалось бы, что подъ такое опредѣленіе, по теоріи-же Бѣлинскаго, подходитъ не одинъ только родъ поэзіи, и притомъ какой-то самый низшій родъ, а поэзія вообще. Не самъ-же ли Бѣлинскій такъ часто проповѣдывалъ въ своихъ статьяхъ, что поэтъ не можетъ творить изъ себя, выдумывать дѣйствительность, что онъ только преображаетъ то, что́ видѣлъ и слышалъ, въ свои поэтическіе образы? И вдругъ оказывается, что Тургеневъ, который дѣлаетъ, по словамъ Бѣлинскаго, именно это самое, не имѣетъ таланта чистаго творчества, и потому не имѣетъ, что не можетъ создать характера, «подобнаго которому онъ не встрѣтилъ въ дѣйствительности», потому что онъ всегда долженъ держаться почвы дѣйствительности... Такимъ образомъ и оказывается въ концѣ концовъ, что истинное творчество есть вовсе не преображеніе дѣйствительности въ поэтическіе образы, а все тотъ-же метафизическій даръ поэта создавать свой собственный міръ; слѣдовательно, и всѣ произведенія натуральной школы, главное достоинство которыхъ въ томъ именно и заключалось, что они твердо держались почвы дѣйствительности, слѣдуетъ отнести не къ истинно-художественнымъ произведеніямъ, а къ тому-же низшему роду поэзіи, какъ и «Записки Охотника» Тургенева. А между тѣмъ тотъ-же Бѣлинскій постоянно восхвалялъ натуральную школу именно за то, что она держится на почвѣ дѣйствительности.

Это подведеніе подъ метафизическій принципъ про-

изведеній натуральной школы, совершенно не подходящихъ подъ этотъ принципъ, и было причиной, что Бѣлинскій не имѣлъ никакого истиннаго критеріума для опредѣленія относительнаго достоинства этихъ произведеній.

Такъ напримѣръ, и Григоровича, и Тургенева онъ ставилъ совершенно рядомъ съ Далемъ, чуждымъ поэтическаго творчества съ точки зрѣнія какого угодно принципа, метафизическаго или реальнаго. И очень понятно послѣ всего сказаннаго, почему Даль въ глазахъ Бѣлинскаго долженъ былъ стоять на одной доскѣ съ Тургеневымъ: Тургеневъ точно такъ-же не творилъ своего особеннаго міра, какъ и Даль, а такъ какъ Григоровичъ творилъ своихъ особенныхъ крестьянъ, не похожихъ на дѣйствительныхъ, и слѣдовательно совершенно подходилъ подъ метафизическій принципъ Бѣлинскаго, то Бѣлинскій и не замедлилъ признать его истиннымъ художникомъ. Только первые его опыты онъ сравниваетъ съ очерками Даля.

«Но его два послѣдніе опыта: «Деревня» и въ особенности «Антонъ Горемыка» — замѣчаетъ Бѣлинскій — идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. «Антонъ Горемыка» больше, чѣмъ повѣсть, это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все—относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вертится на продажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ—мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ—лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Это повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, *на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многаго...*»

Мы знаемъ въ настоящее время, на сколько Григоровичъ оправдалъ эти ожиданія Бѣлинскаго; мы знаемъ, какъ отнеслась къ его произведеніямъ новая, реальная критика, и видимъ наконецъ, что въ то время, какъ произведенія Григоровича давно всѣ забыты, несмотря даже на то, что авторъ ихъ еще живъ, «Записки Охотника» до сихъ поръ читаются всѣми и каждымъ съ наслажденіемъ, и именно вслѣдствіе своей художественности, такъ какъ общественные интересы, проводимые въ нихъ, принадлежатъ уже исторіи.

Дальше вышеупомянутаго метафизическаго принципа Бѣлинскій не пошелъ. Это былъ предѣлъ его развитія или, лучше сказать, его привычки, пріобрѣтенной имъ долгими годами увлеченія метафизическими идеями. Онъ привыкъ думать, что главная цѣль критики заключается въ опредѣленіи, на сколько поэтъ обладаетъ даромъ чистаго творчества, создающаго свой особенный міръ просвѣтленной дѣйствительности,—и съ этой точки зрѣнія до конца своего литературнаго поприща занимался подведеніемъ поэтовъ подъ искусственно-составленную метафизиками іерархію, во главѣ которой царилъ геній, затѣмъ слѣдовалъ геніальный талантъ и наконецъ просто талантъ, граничащій съ бездарностью. Мы увидимъ ниже, съ какимъ успѣхомъ молодая мысль разбила эту поэтическую табель о рангахъ Бѣлинскаго.

Мы уже видѣли выше, что Бѣлинскій еще въ 1841 г. сдѣлался поклонникомъ Жоржъ Занда и приверженцемъ женскаго вопроса. Послѣ того онъ неоднократно возвращался къ этому вопросу, и каждый разъ его рѣчи въ защиту угнетенной женщины были преисполнены искренней, задушевной теплоты и глубокаго сознанія ненормальности положенія женщины въ обществѣ. Но здѣсь опять-таки главная сила пропаганды Бѣлинскаго заключалась въ отрицаніи. Все то, что́ говорилъ Бѣлинскій о торговлѣ невѣстами, объ исключительномъ посвященіи жизни женщины кухнѣ и дѣтской, о положеніи женщины въ гостиной, о женщинахъ-писательницахъ—все это дышетъ поразительно глубокой правдой и мѣткостью, все это не потеряетъ значенія неоспоримой, хотя и грустной истины, пока не измѣнится положеніе женщинъ. Анализъ Татьяны и Ольги при разборѣ «Евгенія Онѣгина» надолго еще останется лучшимъ изъ всего, что писано у насъ о положеніи женщины въ Россіи.

Но если вы опять-таки захотите отдать себѣ отчетъ, во имя чего-же отрицалъ Бѣлинскій современное положеніе женщины, какой лучшій идеалъ этого положенія носился въ его воображеніи и какихъ требовалъ онъ измѣненій въ бытѣ женщинъ,—вы опять-таки не въ состояніи будете, перечитывая статьи Бѣлинскаго, составить объ этомъ ясное понятіе.

Сначала вамъ можетъ показаться, что Бѣлинскій требовалъ полнаго равенства женщинъ и мужчинъ и допущенія женщинъ ко всѣмъ занятіямъ, исполняемымъ нынѣ одними мужчинами.

«Мы охотно соглашаемся,—говоритъ онъ (см. «С. Б.» т. VII, стр. 146),—въ томъ, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы женщина только на одно то и родилась, чтобы любить; напротивъ, изъ этого слѣдуетъ, что женщина, подъ преимущественнымъ преобладаніемъ характера любви и чувства, *создана дѣйствовать въ тѣхъ-же самыхъ сферахъ и на тѣхъ-же самыхъ поприщахъ, гдѣ дѣйствуетъ мужчина*, подъ преимущественнымъ преобладаніемъ ума и характера. А между тѣмъ общественный порядокъ обрекъ женщину на исключительное служеніе любви и преградилъ ей пути *во всѣ другія сферы человѣческаго существованія*. Гаремы только фактически принадлежатъ Востоку: въ идеѣ они принадлежатъ и просвѣщенной Европѣ, и всему міру.»

Такъ писалъ Бѣлинскій въ 1843 году по поводу сочиненія Зинаиды Р—вой. Въ слѣдующемъ году, въ 1844, въ одной изъ статей о сочиненіяхъ Пушкина онъ посвятилъ еще нѣсколько строкъ положенію женщины, но изъ этихъ строкъ оказывается, что подъ сферами и поприщами, въ которыя должна быть допущена женщина наравнѣ съ мужчиной, Бѣлинскій подразумѣваетъ вовсе не тѣ или другія реальныя сферы дѣятельности, а философское раздѣленіе жизни на двѣ сферы: частную и общую, разумѣя подъ частной семейные интересы, а подъ общей—интересы человѣческіе. Такимъ образомъ и выходитъ, по теоріи Бѣлинскаго, что до сихъ поръ женщина жила въ одной семейной сферѣ, а отнынѣ должна быть посвящена и въ общечеловѣческую, но все-таки не иначе, какъ въ виду своего спеціальнаго, предназначеннаго природой призванія—быть хорошей женой и матерью.

«Но, скажутъ намъ: женщина—мать, а назначеніе матери свято и высоко—она воспитательница дѣтей своихъ. Прекрасно!—говоритъ Бѣлинскій по этому поводу (см. «Соч. Б.», т. VIII, стр. 172).—Но

вѣдь воспитывать не значитъ только выкармливать, выняньчивать (первое можетъ сдѣлать корова или коза, а второе — нянька), но и дать направленіе сердцу и уму, а для этого развѣ не нужно со стороны матери характера, науки, развитія, доступности ко всѣмъ человѣческимъ интересамъ? Нѣтъ, міръ знанія, искусства, словомъ, міръ общаго долженъ быть столько-же открытъ женщинѣ, какъ и мужчинѣ, на томъ основаніи, что и она, какъ и онъ, прежде всего—человѣкъ, а потомъ уже любовница, жена, мать, хозяйка и проч.»

И здѣсь мы видимъ тотъ же очарованный кругъ, въ которомъ вертится Бѣлинскій. Онъ отрицаетъ положеніе женщины, какъ самки, а самъ все-таки продолжаетъ смотрѣть на женщину, какъ на самку преимущественно, и скромныя желанія его не простираются далѣе того, чтобы эта самка интересовалась науками, искусствами, общественными вопросами для того, чтобы могла исполнять свои обязанности самки сознательно и разумно, не только выкармливала бы своихъ дѣтей, но и воспитывала бы ихъ, такъ какъ она не простая самка, а самка-человѣкъ. Если мы рядомъ съ этими взглядами Бѣлинскаго на женщину вспомнимъ, какія мнѣнія высказывали о томъ же предметѣ Грановскій, Герценъ, или хотя бы и Гончаровъ (въ своемъ романѣ «Обрывъ»), то для насъ станетъ ясенъ тотъ предѣлъ, далѣе котораго люди сороковыхъ годовъ въ женскомъ вопросѣ не пошли. Этотъ предѣлъ обусловливается вполнѣ метафизической системой ихъ міровоззрѣнія. Вмѣсто того чтобы анализировать различіе женщинъ отъ мужчинъ въ его историческомъ теченіи, какъ явленіе измѣняющееся, преходящее, они брали современное имъ различіе, какъ нѣчто субстанціальное, т. е. неизмѣнное, предуставленное природой, подводили его подъ тезы и антитезы и различныя философскія категоріи, и выходила изъ этого удивительная мѣшанина консервативнаго взгляда съ прогрессивнымъ. Смотря на современное имъ различіе женщинъ отъ мужчинъ, какъ на нѣчто предуставленное природой, неизмѣнное, они въ то же время проповѣдывали измѣненіе въ положеніи женщинъ, но такое измѣненіе, чтобы оно все-таки не выходило за предѣлы предуставленной неизмѣнности.

Намъ остается разсмотрѣть общественныя убѣжденія Бѣлинскаго. Но это мы оставимъ на слѣдующую главу, такъ какъ роковой предѣлъ Бѣлинскаго въ этой сферѣ болѣе всего выясняется въ его столкновеніи съ первыми проблесками въ концѣ сороковыхъ годовъ новой и реальной мысли.

Эти проблески новой и реальной мысли принадлежали молодому поколѣнію сороковыхъ годовъ и составляли ту другую струю въ движеніи въ сороковые годы, о которой мы упомянули въ началѣ этой главы.

Молодое поколѣніе сороковыхъ годовъ училось подъ сильнымъ вліяніемъ стараго. Оно начинало съ тѣхъ же метафизическихъ принциповъ, но гораздо скорѣе своихъ учителей переживало переходный процессъ и рѣшительнѣе свергало съ себя отжившія системы. Достигать этого ему было тѣмъ легче, чѣмъ энергичнѣе, свѣжѣе была молодая мысль и чѣмъ меньше было въ ней старыхъ привычекъ. При этомъ многіе изъ лучшихъ молодыхъ людей сороковыхъ годовъ не ограничивались однимъ отрицаніемъ и шли далѣе; мысль ихъ начинала работать въ новомъ, чисто-реальномъ направленіи, безъ малѣйшихъ уже метафизическихъ отзывовъ, и это вступленіе на реальный путь совершалось тѣмъ быстрѣе, что обновленная мысль находила готовый и богатый матеріалъ на Западѣ, и ей оставалось только усвоивать и перерабатывать его сообразно потребностямъ русской жизни.

Такимъ образомъ къ концу сороковыхъ годовъ составилось нѣсколько новыхъ и молодыхъ кружковъ, которые не довольствовались уже одними отвлеченно-философскими и эстетическими вопросами. Вниманіе ихъ было жадно приковано къ той драмѣ, которая разыгрывалась въ то время въ Европѣ. Не ограничиваясь одними поверхностными разсужденіями о мотивахъ этой драмы, они глубоко изучали соціальные вопросы того времени, прочитывая цѣлые томы политико-экономическихъ и соціологическихъ трактатовъ. Но не менѣе политическихъ и соціальныхъ вопросовъ занимали ихъ и всѣ прочія отрасли человѣческихъ знаній. Это новое движеніе не замедлило отразиться и въ литературѣ. Въ концѣ сороковыхъ годовъ начали появляться въ петербургскихъ журналахъ политико-экономическіе этюды, естественно-научныя обозрѣнія, новыя эстетическія теоріи, и въ то-же время была впервые проповѣдана русской публикѣ позитивная философія Конта—мы увидимъ въ одной изъ слѣдующихъ главъ, съ какимъ блистательнымъ талантомъ.

Между прочимъ въ 1846 году, когда Бѣлинскій со всѣми своими друзьями удалился въ обновленный «Современникъ», въ покинутыхъ «Отечественныхъ Запискахъ» появился новый молодой критикъ—Валеріанъ Николаевичъ Майковъ. Онъ былъ младшимъ братомъ извѣстнаго поэта Ап. Майкова, учился въ петербургскомъ университетѣ и кончилъ курсъ со степенью кандидата юридическихъ наукъ въ 1842 году. Слѣдовательно онъ былъ еще мальчикомъ, когда Бѣлинскій началъ свою литературную дѣятельность, и выступилъ на литературное поприще, когда Бѣлинскій кончалъ уже его. Впрочемъ В. Майковъ кончилъ свое поприще еще раньше Бѣлинскаго, едва начавши его. Лѣтомъ въ 1847 году онъ утонулъ, купаясь въ прудѣ, въ одной изъ окрестностей Петербурга. Онъ оставилъ послѣ себя нѣсколько статей въ «Отечественныхъ Запискахъ», изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны статьи о стихотвореніяхъ Кольцова («От. Зап.» 1846 г., т. 49) и о романахъ Вальтеръ-Скотта («От. Зап.» 1847 г. т. 51). Мы обратимъ вниманіе на статью его о Кольцовѣ, такъ какъ въ статьѣ этой наиболѣе полно выражаются воззрѣнія В. Майкова, и притомъ она послужила полемическимъ столкновеніемъ съ новымъ критикомъ со стороны Бѣлинскаго.

Такъ какъ мы имѣемъ дѣло съ критикомъ, то мы начнемъ съ изложенія эстетическихъ воззрѣній В. Майкова. Онъ начинаетъ свою статью о Кольцовѣ прямо съ того, что нападаетъ на самую слабую сторону критики Бѣлинскаго, на отсутствіе систематической и послѣдовательной теоретической подкладки подъ его литературными симпатіями и антипатіями. Онъ отдаетъ полную справедливость этой критикѣ.

«Она оказала—говоритъ онъ русской литературѣ разнообразныя заслуги. Главное, она служила до сихъ поръ энергическимъ выраженіемъ симпатіи къ новой школѣ искусства...» «Но—говоритъ онъ да-

лѣе—выражать симпатію и анализировать ее—двѣ вещи разныя и по сущности, и по результатамъ. Само собою разумѣется, что ваша страсть укрѣпляется, если узнаетъ себя въ выраженіи страсти другого, но укрѣпляется она безсознательно, безотчетно: кто выразилъ ее сильнѣе, чѣмъ бы вы сами могли выразить, тотъ еще не оправдалъ, не осмыслилъ ее въ глазахъ людей съ совершенно иными потребностями и даже въ собственныхъ вашихъ глазахъ. Справедливо и то, что *сильное* выраженіе всякой мысли и всякаго чувства озадачиваетъ людей, неимѣющихъ возможности противопоставить ему такого-же обнаруженія своей мысли и своего чувства, особенно если первое имѣетъ на своей сторонѣ большинство и моду. Но разсчитывать на такой успѣхъ своей рѣчи все равно, что полагаться на силу легкихъ и на крѣпость груди. Мы даже готовы жалѣть о томъ, чья недоказанная мысль нашла себѣ поддержку въ модѣ. Что будетъ съ этой мыслью? Пускай бы каждый понималъ ее по своему, обрѣзывалъ или раздувалъ по своему разумѣнію, прицѣплялъ къ такимъ идеямъ, какихъ и не подозрѣвалъ творецъ ея, однимъ словомъ, пускай бы каждый претворялъ ее такъ органически, чтобы не оставалось отъ нея и тѣни того смысла, какой онъ хотѣлъ ей дать. Въ этомъ больше хорошаго, чѣмъ дурного: бросая такимъ образомъ свою мысль въ круговоротъ всѣхъ идей, вращающихся въ обществѣ, вы подмазываете колеса этой машинѣ, давая ей пищу, работу, и тѣмъ самымъ поддерживаете ея движеніе. Но горе вамъ, если слово ваше разыгрываетъ въ публикѣ роль людской новинки, если оно, неоправданное собственными вашими доказательствами, пріобрѣтетъ въ публикѣ силу авторитета! Выразить свое мнѣніе публично и не подкрѣпить его доводами, которые самъ находишь убѣдительными, уже значитъ выразить свое неуваженіе къ свободѣ мнѣнія и претензію на диктаторство. Но за это-то, рано или поздно, всегда и приходится поплатиться горькимъ чувствомъ разочарованія. Прежде всего увидитъ диктаторъ, что идеи его не сливаются съ другими идеями его публики и находятся съ ними въ самой нелогической противоположности: доказать одну истину нельзя безъ того, чтобъ не доказать и цѣлаго ряда истинъ, изъ которыхъ она взята или, лучше сказать, объясненіе частнаго предполагаетъ объясненіе общаго. Чтобъ доказать напримѣръ, что Ломоносовъ не былъ поэтомъ, надо доказать, что дидактика не поэзія, а чтобъ успѣть въ этомъ, надо объяснить сущность того и другого, и т. д. Представимъ-же себѣ, что намъ навязано безъ всякихъ доказательствъ нѣсколько мыслей, которыя мы имѣли слабость принять на слово, — случай, болѣе чѣмъ не исключительный. Намъ не извѣстно ихъ основаніе, слѣдовательно, неизвѣстны и тѣ истины, которыя находятся съ ними въ связи—или какъ понятія однородныя, или какъ предшествующія посылки силлогизмовъ. Что изъ этого должно выйти? То, что мы не будемъ имѣть никакого понятія о вопросѣ, рѣшенномъ нашимъ диктаторомъ, а будемъ только опасаться проговориться по этому поводу въ чемъ-нибудь такомъ, что противорѣчитъ его приговору. Въ то-же время мы не перестанемъ рѣшать по старому всѣ тѣ вопросы, которыхъ онъ не коснулся, но которые объяснились бы намъ сами собой, какъ однородные съ рѣшеннымъ, или какъ обусловливающіе его, еслибъ только онъ, диктаторъ, снизошелъ на доказательное изложеніе своей идеи. Больно, должно быть, ему видѣть въ цѣломъ обществѣ такіе тощіе плоды своего слова, особенно если онъ не только не добивался диктатуры, но даже, какъ часто бываетъ, отвергалъ благороднымъ сердцемъ всякій помыселъ на завоеваніе умовъ силой своего личнаго вліянія. Еще больнѣе должно быть ему встрѣчать на каждомъ шагу безобразныя доктрины, развитыя изъ его-же мыслей его же поклонниками—а все потому, что мысли эти оставлены имъ самимъ безъ развитія.»

«Довольно—говоритъ В. Майковъ въ заключеніе—если изъ всего сказаннаго убѣдятся читатели, что теперь только-что пришла пора толковать о законахъ изящнаго, и что приняться за этотъ трудъ нельзя иначе, какъ правильнымъ вчинаніемъ иска на такія эстетическія ученія, которыя считаются опровергнутыми.»

Далѣе затѣмъ В. Майковъ приступаетъ къ разбору нѣсколькихъ стихотвореній Кольцова, выставляя на видъ тѣ сѣтованія, то негодованіе и ужасъ, какіе должны возбудить эти стихотворенія въ людяхъ отжившихъ эстетическихъ ученій, именно романтикахъ.

«Въ самомъ дѣлѣ,—говоритъ В. Майковъ,—какъ не негодовать господамъ романтикамъ на бѣднаго Кольцова, когда, вмѣсто того, чтобы гнушаться такими вещами, каковы напримѣръ физическій трудъ, любовь къ полезной работѣ, деньги, выручаемыя потомъ и терпѣніемъ, онъ совершенно преданъ земледѣльческому промыслу, совершенно сочувствуетъ пахарю, заботливо и любовно входитъ въ его тяжкія нужды, радуется его *прозаической* радости при видѣ урожая, слѣдуетъ за нимъ на пашнѣ» и пр. «Чтобы сочувствовать такимъ стихамъ, чтобы проникнуться ихъ основной идеей, чтобы понимать сладость труда, исполняемаго съ любовью, нѣжность человѣка къ животному, раздѣляющему съ нимъ тягость работы, неравнодушіе его даже къ механическимъ орудіямъ промысла и наконецъ вдохновительность мысли о плодахъ труда, о какихъ-нибудь *снопахъ тяжелыхъ*—для всего этого надо быть самому человѣкомъ трудящимся съ любовью, съ терпѣніемъ и безъ презрѣнія къ заработку. Можно-ли же требовать этихъ условій отъ романтика, отъ человѣка, гнушающагося всякимъ трудомъ, всякими матеріальными выгодами (послѣднее, разумѣется, только въ стихахъ)?»

Далѣе затѣмъ естественно слѣдуетъ вопросъ, чѣмъ же оправдывается допущеніе въ область поэзіи изображеніе простого крестьянскаго быта съ его практическими интересами рядомъ съ различными такъ-называемыми «поэтическими» сторонами жизни? Почему романтики, исключающіе изъ поэзіи изображеніе обыденной жизни, неправы, и чѣмъ объясняется симпатія новаго времени къ натуральной школѣ?

«Кто-жъ правъ—Кольцовъ или романтики?—говоритъ В. Майковъ:—здѣсь частный вопросъ долженъ перейти въ общій: спрашивается, въ чемъ сущность поэтическаго и непоэтическаго содержанія—ни болѣе, ни менѣе.»

Для рѣшенія этого вопроса В. Майковъ и налагаетъ новую эстетическую теорію, которая должна оправдать существованіе натуральной школы и поэзіи Кольцова не голословно, не диктаторски, а на основаніи общихъ законовъ искусства.

Теорію свою В. Майковъ выводитъ изъ слѣдующаго закона нашего психическаго міра: «каждый изъ насъ познаетъ и объясняетъ себѣ все единственно по сравненіи съ самимъ собою».

«Съ перваго взгляда — говоритъ В. Майковъ—кажется, что мы болѣе всего сочувствуемъ тому, что отъ насъ отдаленно, что намъ ново, чуждо, однимъ словомъ, *занимательно*. По крайней мѣрѣ все отдаленное, новое, чуждое влечетъ насъ къ себѣ съ неотразимымъ могуществомъ, между тѣмъ какъ все близкое, все старое, все *свое* съ каждой минутой теряетъ для насъ всю прелесть. Но если всмотрѣться въ этотъ фактъ поглубже, нельзя не увидѣть, что причина его заключается въ способности и склонности человѣка объяснять все по сравненію

съ самимъ собой и въ происходящей оттуда страсти усвоивать своей мыслью все, что встрѣчаетъ онъ посторонняго, непохожаго на него самого. Эта сила усвоенія, при встрѣчѣ съ предметомъ новымъ, оказывающимъ ей энергическое сопротивленіе, напрягается со всей данной ей мощью до тѣхъ поръ, пока не покоритъ себѣ познаваемаго или, лучше сказать, усвоиваемаго предмета. Такъ напримѣръ, описаніе быта дикарей Тихаго Океана *занимательно* для европейцевъ самой лучшей статистики какого угодно просвѣщеннаго государства Стараго Свѣта. Почему? Потому, что жизнь образованныхъ народовъ намъ уже извѣстна, мы ее уже усвоили себѣ, сравнили съ собственной жизнью и успокоились. Напротивъ, дикіе народы представляются намъ чѣмъ-то совершенно не похожимъ на насъ, и потому-то нами овладѣваетъ тревожное желаніе усвоить себѣ этотъ предметъ, сравнить его съ тѣмъ, что знаемъ мы о самихъ себѣ. И мы успокоиваемъ свою любознательность, унимаемъ свою тревогу только тогда, когда наконецъ и въ дикихъ народахъ узнаемъ людей, т. е. существа, подобныя намъ по натурѣ, хотя и совершенно различныя отъ насъ по развитію...

«Таково свойство занимательности: предметъ занимателенъ, любопытенъ для насъ до тѣхъ поръ, пока мы не сравнили его съ собственной природой. Но это и доказываетъ, что влеченіе наше ко всему новому, непонятному, обманчиво: если-бы мы дѣйствительно стремились къ нему, а не къ чему-нибудь другому, то мы и успокоивались-бы въ немъ. Напротивъ, оно насъ мучитъ и манитъ вдаль, и это мученіе продолжается до тѣхъ поръ, пока непонятное не сдѣлается понятнымъ, чужое – своимъ, постороннее—тождественнымъ съ нами. И такъ, истинное стремленіе наше въ томъ, чтобы во всемъ найти самихъ себя. Изъ этого слѣдуетъ, что занимательность и симпатичность предмета—два свойства, совершенно различныя: насъ занимаетъ то, что кажется намъ новымъ, неизвѣстнымъ, непонятнымъ; сочувствовать же можемъ мы только тому, въ чемъ мы уже дали себѣ отчетъ и въ чемъ нашли сами себя. Поэтому каждый предметъ, доступный нашему познанію, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины: къ первой относимъ мы все то, что нисколько не напоминаетъ намъ о собственной нашей природѣ – это сторона любопытная, подстрекающая одну любознательность; ко второй—все то, что въ немъ есть общаго съ нами, человѣкомъ—это сторона *симпатическая*, возбуждающая въ насъ *любовь*, сердечное, кровное сочувствіе. Количественное различіе впечатлѣній, произведенныхъ на насъ той и другой, заключается въ томъ, что любопытное владѣетъ нами только въ силу своей новости и дѣлается безразличнымъ тотчасъ-же по усвоеніи, между тѣмъ какъ симпатическое (назовите его какъ угодно) вѣчно будетъ имѣть для насъ интересъ, если мы только сами не теряемъ способности чувствовать и сочувствовать.»

Далѣе Майковъ объясняетъ, почему мы любуемся какимъ-нибудь ландшафтомъ.

«Отчего можетъ нравиться намъ ландшафтъ,— говоритъ онъ,—вовсе не поражающій красотой линій изображаемой мѣстности? Какое-нибудь плоское захолустье, двѣ-три кривыя березки, да сѣренькія тучи на горизонтѣ, напоминающемъ своими колерами цвѣтъ синяго молока, что въ нихъ такого, что могло-бы приковать къ себѣ наше вниманіе, заставить насъ прочувствовать и полюбить картину? Не отворачиваемся-ли мы на самомъ дѣлѣ отъ этой голой плоскости и отъ этихъ хворыхъ березокъ? Не ворчимъ-ли мы на эти грязныя тучки по десяти разъ въ часъ? Такъ; но это-то и влечетъ насъ къ картинѣ; во всѣхъ ея печальныхъ подробностяхъ человѣкъ находитъ частичку самого себя—узнаетъ плоскость, которая ему такъ надоѣла въ дѣйствительности, узнаетъ березки, которыя всегда казались жалкими усиліями бѣдной, но все-таки заботливой природы—скрасить безотрадную гладь поляны; узнаетъ дождевыя тучки, отъ которыхъ онъ кутался обвѣянное вѣтромъ лицо свое въ высокій воротникъ пальто, когда возвращался изъ департамента на дачу,—и эта странная встрѣча съ самимъ собой проливаетъ для него неизъяснимую прелесть на какой-нибудь ландшафтъ петербургскаго художника, потому что онъ не можетъ не любить самого себя, не интересоваться и не любоваться собой, какъ-бы онъ ни былъ плохъ для другихъ... Ужъ такъ онъ устроенъ, что всюду онъ себя отыщетъ и обрадуется находкѣ и полюбитъ ее. Положимъ даже, что на ландшафтѣ изображена не наша блѣдная сѣверная природа, а какія-нибудь окрестности Неаполя. Пусть посмотритъ на нихъ петербургскій автохтонъ, который никогда не видалъ природы роскошнѣе парголовской: что-жъ? это не помѣшаетъ ему симпатизировать и синему небу, и кремнистымъ холмамъ, которые одѣты ползучимъ плющемъ и цѣпкимъ виноградомъ съ баснословно-огромными кистями голубыхъ и лиловыхъ ягодъ, покрытыхъ матовой влагой,—и темнокожему лѣнтяю, валяющемуся на солнцѣ въ ожиданіи карлина, который удастся вымозжить ему у англичанина, когда этотъ прямолинейный и никогда не улыбающійся туристъ пройдетъ мимо его въ сопровожденіи плута-чичероне, съ цѣлью помучить нѣсколько живыхъ тварей въ *Собачьемъ гротѣ*. Разумѣется, для этого надобно имѣть нѣсколько искръ воображенія; но дѣло въ томъ, что воображеніе явится къ услугамъ нашего автохтона не для чего иного, какъ для того, чтобы перенести подъ неаполитанское небо собственную его особу, чтобы самого его пожарить на сорока градусахъ тепла, чтобы понѣжить его языкъ, привыкшій къ впечатлѣніямъ товара милютиныхъ лавокъ, невыразимо-нѣжнымъ и гастрономически-сложнымъ вкусомъ южнаго винограда. Иначе—что ему въ картинѣ неаполитанской природы? Легкость и незамѣтная правильность линій не объясняютъ вопроса; остается неразгаданной прелесть густой синевы неба, роскошной растительности, изнѣженности людей и животныхъ, развивающихся подъ вліяніемъ мѣстности. Пожалуй, можно дать другой видъ объясненію, но сущность его останется все та-же. Можно сказать, что мы вообще симпатизируемъ природѣ, хотя-бы она и не напоминала намъ человѣка. Такъ напримѣръ: дѣвственный лѣсъ, незнакомый съ топоромъ, непроходимая пустыня, въ которую никогда не пускался ни одинъ отважный искатель приключеній, жерло вулкана, отъ котораго удалялись люди,—развѣ изображенія такихъ предметовъ не могутъ произвести впечатлѣнія на душу зрителя? Конечно могутъ; но всмотритесь внимательнѣе и рѣшите, даютъ-ли и они возможность человѣку уйти отъ самого себя, плѣниться чѣмъ-нибудь такимъ, въ чемъ нѣтъ ничего ему родственнаго, соприсущаго? Нѣтъ, мы всюду сами съ собой; ибо вмѣстѣ съ природой мы составляемъ одно цѣлое, гармоническое произведеніе одной животворной силы; какъ часть этого цѣлаго, имѣющая свой частный организмъ, мы можемъ забывать о своемъ съ нимъ единствѣ, можемъ не замѣчать его, увлекаясь тяготѣніемъ собственнаго частнаго (индивидуальнаго) содержанія, но не можемъ не чувствовать его непосредственно, *безсознательно*. Пусть каждый изъ читателей повѣритъ эти слова собственными впечатлѣніями. Кто можетъ анализировать свои ощущенія — разумѣется, не во время самаго образованія ихъ въ душѣ, а съ помощью воспоминанія и размышленій тотъ навѣрное согласится съ нами, что природа производитъ на насъ разомъ два впечатлѣнія—и пріятное, и горькое, и что источникъ этой двойственности заключается въ нашемъ родствѣ или, лучше сказать, въ существенномъ тождествѣ съ ней. Предаваясь простому, не-

посредственному созерцанію ея нерукотворной жизни, мы невольно настраиваемся на одинъ ладъ съ ея гармоніей, сливаемся съ ея жизнью, какъ часть съ цѣлымъ, и чувство этого сліянія невыразимо сладко: чувствуешь, что безсознательно попалъ въ колею своихъ настоящихъ, непреклонныхъ законовъ, чувствуешь, что находишься въ своей сферѣ, или, лучше сказать, чувствуешь, что возвращаешься въ свою сферу. Въ то же время этотъ внезапный приливъ гармоніи, этотъ быстрый переходъ отъ нашей обыкновенной, искусственной жизни къ бытію нормальному, естественному, сообразному съ нашей сущностью, дѣйствуетъ на насъ и болѣзненно, рождаетъ грусть. слѣдствіе сравненія того и другого порядка вещей. Тяжело созерцаніе этой гармоніи при свѣжести воспоминанія о хаосѣ, изъ котораго вырвался на время; многіе не въ силахъ перенести ея впечатлѣнія безъ боли, точно такъ-же, какъ человѣкъ, изуродованный болѣзнью, не въ силахъ смотрѣть безъ грустнаго сожалѣнія о самомъ себѣ на розовыя лица, цвѣтущія жизнью и здоровьемъ...

«Теперь, соображая все сказанное, спрашиваемъ: что плѣняетъ насъ въ дѣйствительности и искусствѣ? Отвѣтъ будетъ такой: во всемъ мы плѣняемся собой. *Итакъ, нѣтъ на свѣтѣ предмета неизящнаго, неплѣнительнаго, если только художникъ, изображающій его, можетъ отдѣлять безразличное отъ симпатическаго и не смѣшивать симпатическаго съ занимательнымъ* *). Этимъ объясняется ложность не только неестественности, но и всякой эксцентричности содержанія изящнаго произведенія. Изобразить несуществующую жизнь и людей несуществующихъ—значитъ стремиться къ тому, чтобы изображеніе не возбудило въ людяхъ никакой симпатіи, чтобы они не поняли его, не могли объяснить себѣ, по сравненію изображеннаго съ собственной ихъ жизнью и собственной ихъ натурой. Равнымъ образомъ изображеніе существъ и явленій, выступающихъ изъ круга обыкновенныхъ людей и обыкновенныхъ событій, тогда только можетъ служить содержаніемъ изящному произведенію, когда художникъ умѣетъ представить ихъ, какъ результаты причинъ самыхъ понятныхъ и обыкновенныхъ; иначе они останутся любопытными загадками, а любопытному, какъ уже сказано, никто не можетъ сочувствовать. Другими словами: эксцентрическое явленіе тогда только дѣлается изящнымъ или симпатическимъ, когда художникъ съумѣетъ угадать и выразить его понятную, обыкновенную сторону. Принципы эти заключаютъ въ себѣ осужденіе классицизма и романтизма. Но слѣдуетъ-ли изъ этого, чтобы они оправдывали все, что современная литература выдаетъ намъ за натуральность и неизысканность?»

Далѣе слѣдуетъ оборотная сторона медали. Майковъ обращается къ дагеротипистамъ и копіистамъ живой дѣйствительности и старается въ свою очередь и ихъ опровергнуть на основаніи своихъ принциповъ. Эстетики старой школы возставали на безцѣльное списываніе съ дѣйствительности обыкновенно во имя того, что цѣль искусства — не одно только подражаніе природѣ, а выраженіе идей въ формѣ. Майковъ отвергаетъ этотъ метафизическій принципъ. По его мнѣнію, подъ него можно подвести все, что угодно. Въ самомъ дѣлѣ, по мнѣнію самихъ же метафизиковъ, весь міръ есть не что иное, какъ выраженіе идеи въ формѣ, затѣмъ и каждую человѣческую дѣятельность можно подвести подъ эту же формулу. Чтобы разграничить искусство отъ прочихъ сферъ дѣятельности человѣка, метафизики къ слову «форма» прибавляютъ художественная.

«Но такъ какъ—говоритъ Майковъ—этотъ эпитетъ и остается эпитетомъ, свидѣтельствующимъ только о темномъ предчувствіи *какого-то* отличія художественной дѣйствительности отъ дѣйствительности простой, непосредственной, то вопросъ и возвращается въ самого себя. Мы полагаемъ, что до тѣхъ поръ и останется онъ сфинксовой загадкой, пока эстетика будетъ ограничиваться толкованіемъ о различіи формъ художественной и дѣйствительной... Художественныя формы всегда останутся тождественными съ формами дѣйствительности—такъ, какъ это было до сихъ поръ, и не выдумать ничего лучшаго цѣлому легіону прометеевъ-эстетиковъ даже при помощи такого-же легіона риемоплетовъ и сказочниковъ...» «Другое дѣло — продолжаетъ Майковъ—писать и спорить о *художественной идеѣ*. Тутъ въ самомъ дѣлѣ есть о чемъ подумать: здѣсь опытъ, факты наводятъ на существованіе различія .. Голая мысль ученаго и живая мысль художника —двѣ силы существенно различныя...»

Оставивъ въ сторонѣ анализъ различныхъ фактовъ художественной дѣятельности, къ которой Майковъ приступаетъ далѣе, мы замѣтимъ только, что различіе мысли художественной отъ ученой заключается уже всецѣло въ самыхъ основныхъ принципахъ теоріи Майкова. Разграничивъ познаваніе предметовъ на занимательное и симпатическое, этимъ самымъ уже Майковъ положилъ и основаніе различія науки отъ искусства. Все то, что́ для насъ только занимательно, все это входитъ въ область науки, а съ другой стороны все симпатическое, все, въ чемъ мы находимъ хотя частичку самихъ себя, все, что́ напоминаетъ намъ о насъ,—все это входитъ въ область поэзіи именно своей этой симпатической стороной. Отсюда слѣдуетъ прямой выводъ о сущности поэтическаго творчества: «Художественная мысль—говоритъ Майковъ—зарождается въ формѣ любви или негодованія, и *тайна творчества—въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатической стороны*. Иными словами, *художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ (въ поэзію)*».

Само собою разумѣется, что послѣ такого опредѣленія поэзіи нечего и говорить о безцѣльномъ списываніи съ дѣйствительности. Такое списываніе могло бы быть оправдано скорѣе съ точки зрѣнія метафизики. На ея положеніе о томъ, что поэзія есть выраженіе идеи въ формѣ, копіистъ дѣйствительности могъ бы смѣло возразить, что, списывая дѣйствительность такъ, какъ она есть, онъ нисколько не отступаетъ отъ этого требованія: если дѣйствительность сама по себѣ есть уже выраженіе идеи въ формахъ, то и въ простыхъ снимкахъ она останется тѣмъ же самымъ, т. е. и снимки эти будутъ выражать идею въ формѣ. Но совершенно иначе представляется дѣло съ точки зрѣнія теоріи, развитой Майковымъ: по этой теоріи безцѣльное списыванье дѣйствительности, безъ возведенія ея въ сферы человѣческихъ интересовъ, совершенно выпадаетъ изъ области поэзіи и дѣлается безсмыслицей, если только такое списыванье не служитъ для какихъ-нибудь ученыхъ цѣлей.

Вотъ первая положительная эстетическая теорія, съ которой выступила молодая мысль, освободившаяся отъ метафизическихъ принциповъ. Надо ли при-

*) Курсивъ въ подлинникѣ.

бавлять, что эта теорія стоитъ уже на реальной почвѣ. Она намѣчена только общими чертами, требуетъ разработки, уясненій и подтвержденій фактами художественной дѣятельности и физіологическихъ изслѣдованій. Такъ напримѣръ, тайна вліянія на насъ красотъ природы значительно уяснилась въ нашихъ глазахъ послѣ В. Майкова, и мы уже не будемъ говорить, что природа дѣйствуетъ на насъ потому, что мы безсознательно чувствуемъ свое единство съ ней и сравниваемъ ея гармонію съ хаосомъ нашей жизни. Но подобныя мысли, высказанныя Майковымъ, выходятъ не изъ ложной основной теоріи, а отъ безсилія объяснить тѣ или другіе факты нашей психической жизни,—безсилія, зависящаго отъ недостатка физіологическихъ и психическихъ изысканій, которыя могли-бы пролить свѣтъ на эти факты. Эти промахи не мѣшаютъ теоріи оставаться самой по себѣ истинной и всѣ позднѣйшія открытія не только не опровергаютъ, а только больше подтверждаютъ и уясняютъ ее.

Въ слѣдующей главѣ мы разсмотримъ воззрѣнія Майкова на другіе предметы, причемъ обратимъ особенное вниманіе на тѣ воззрѣнія, на которыя наиболѣе напалъ Бѣлинскій. Теперь-же, въ заключеніе этой главы, считаемъ нелишнимъ, чтобы познакомить читателей нашихъ вполнѣ съ развитіемъ новыхъ эстетическихъ идей въ концѣ сороковыхъ годовъ, привести еще небольшую выдержку изъ одной критической статьи, напечатанной въ 53-мъ томѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1847 годъ. Эта критическая статья посвящена разбору перевода В. Модестова курса эстетики Гегеля. Статья, надо замѣтить, написана чрезвычайно тяжелымъ языкомъ. Не говоря уже о массѣ философскихъ терминовъ, испещряющихъ статью, самый слогъ отличается крайней темнотой и сбивчивостью изложенія. Во многихъ мѣстахъ вы не разберете даже, говоритъ-ли авторъ отъ себя, или онъ приводитъ слова какого-либо нѣмецкаго эстетика, гдѣ онъ кончаетъ цитату и гдѣ начинаетъ свои собственныя сужденія. Авторъ старается опровергнуть метафизическую эстетику, но самъ во многихъ мѣстахъ своей статьи путается въ метафизическихъ тонкостяхъ. Но въ то-же время вы часто натыкаетесь, какъ на оазисы въ степи, на рядъ мыслей, поражающихъ васъ своей реальностью, свѣжестью и глубиной. Такъ напримѣръ, вотъ что читаете вы на одной изъ страницъ критики:

«Точка зрѣнія умозрительной эстетики по преимуществу практическая: искусство существуетъ только потому, что въ природѣ нѣтъ истинно-прекраснаго. Капитолійская и Медичейская Венеры должны быть идеалами женской красоты; ландшафтная живопись должна очистить ландшафтъ отъ всего случайнаго. Между тѣмъ искусство далеко не превосходитъ природу; вездѣ уступаетъ оно ей въ свѣжести и полнотѣ жизни. Въ этомъ-то смыслѣ говоритъ Гёте, что всѣ формы искусства имѣютъ въ себѣ нѣчто ложное, даже самыя вѣрныя, самыя прочувствованныя. Пусть спроситъ себя каждый, не обращались-ли невольно его глаза въ трибунѣ во Флоренціи отъ Венеры Медичейской на живыя, одушевленныя формы прекрасныхъ женщинъ, разсматривавшихъ статую, на ихъ прелестно-застѣнчивую улыбку; или, если это кажется слишкомъ грѣшнымъ для нѣкоторыхъ набожныхъ душъ, спрашиваю, не лучше-ли во сто разъ, не гармоничнѣе ли всякой прекраснѣйшей картины отзывается въ нашей душѣ Неаполитанскій заливъ въ своей очаровательной дѣйствительности? Но цѣль искусства и не заключается совсѣмъ въ такомъ неравномъ соперничествѣ. *Оно есть языкъ, нечто болѣе, какъ языкъ, чувственное выраженіе нашихъ чувственныхъ мыслей, ощущеній и созерцаній* *). И только по той причинѣ, что это индивидуально-чувственное содержаніе не можетъ быть выражено никакимъ другимъ способомъ, какъ въ этихъ чувственныхъ формахъ природы и жизни, только потому и говоритъ имъ искусство.»

Такимъ образомъ уже въ 1847 году были высказаны тѣ идеи о преимуществѣ дѣйствительности передъ образами искусства,—идеи, которыя, нѣсколько лѣтъ спустя, высказанныя въ болѣе систематичномъ, полномъ, ясномъ изложеніи съ увлекательнымъ талантомъ,—возбудили порядочную бурю въ наукѣ и литературѣ. Въ 1847-же году мысли эти остались почти незамѣченными. Нѣтъ сомнѣнія, что рѣдко кто и прочелъ статью, въ которой онѣ изложены. Но надо полагать онѣ глубоко запали въ душу одного даровитаго студента, бывшаго въ то время на 2-мъ курсѣ филологическаго факультета с.-петербургскаго университета. Черезъ нѣсколько лѣтъ этотъ самый студентъ, къ ужасу устарѣлыхъ метафизиковъ и приверженцевъ чистаго искусства, предложилъ эти самыя мысли на соисканіе степени магистра.

XI.

Идеи В. Майкова объ отношеніи народности къ общечеловѣческой цивилизаціи и значеніе этихъ идей.—Общность основныхъ принциповъ западниковъ и славянофиловъ 40-хъ годовъ и противоположность идей В. Майкова съ этими принципами.—Полемика Бѣлинскаго съ славянофилами и внезапное смягченіе полемическаго тона со стороны Бѣлинскаго при появленіи статьи В. Майкова.—Опроверженіе Бѣлинскимъ идей В. Майкова.—Мнѣніе Бѣлинскаго о томъ, какъ слѣдуетъ относиться намъ къ современнымъ вопросамъ Запада.

Въ то время, какъ первая статья В. Майкова о Кольцовѣ посвящена изложенію новой эстетической теоріи, во второй статьѣ на первый планъ В. Майковъ выдвинулъ животрепещущій въ то время вопросъ объ отношеніи народности къ общечеловѣческой цивилизаціи,—вопросъ, какъ намъ извѣстно, сильно занимавшій всѣхъ мыслящихъ людей сороковыхъ годовъ, какъ славянофиловъ, такъ и западниковъ. По этому поводу, какъ мы сейчасъ увидимъ, В. Майковъ высказалъ нѣсколько идей, въ свою очередь совершенно новыхъ для сороковыхъ годовъ.

Статья эта начинается прямо съ опроверженія тѣхъ панегиристовъ Кольцова, которые называютъ его *типомъ русской натуры*. По мнѣнію В. Майкова, человѣкъ, котораго можно назвать типомъ какой бы то ни было націи, никакъ не можетъ быть не только великимъ, но даже и необыкновеннымъ. Далѣе слѣдуетъ изложеніе цѣлой теоріи для доказательства этого мнѣнія.

«Увлекаясь одностороннимъ изученіемъ человѣка, какъ члена общежитія,—говоритъ В. Майковъ,—

*) Курсивъ въ подлинникѣ.

мы легко доходимъ до того, что онъ представляется намъ не иначе, какъ французомъ или нѣмцемъ, англичаниномъ, пруссакомъ, испанцемъ и пр. При такомъ взглядѣ мы убѣждаемся, что только тотъ и имѣетъ физіономію, чью національность можно узнать среди другихъ національностей; идеальный, ничѣмъ неизмѣненный человѣкъ начинаетъ представляться намъ существомъ безкровнымъ, отрѣшеннымъ отъ органическихъ условій жизни, и по тому самому чѣмъ-то крайне-уродливымъ, ненормальнымъ. Продолжая такимъ образомъ изучать человѣка въ народахъ, мы открываемъ наконецъ, что каждый народъ отличается отъ другихъ не однѣми только слабостями, но и добродѣтелями; это открытіе приводитъ насъ къ заключенію, что національность есть совокупность условій, безъ которыхъ человѣкъ не можетъ проявлять той или другой свѣтлой стороны своей натуры...».

Противъ подобныхъ положеній, по мнѣнію В. Майкова, представляются слѣдующія соображенія:

«Вспомнимъ только, — говоритъ онъ, — что человѣкъ, къ какой-бы націи ни принадлежалъ и какимъ-бы обстоятельствамъ ни подвергался въ своемъ зачатіи, рожденіи и развитіи, все-таки принадлежитъ, по натурѣ своей, къ разряду существъ однородныхъ, называемыхъ *людьми*, а не французами, не нѣмцами, не русскими, не англичанами. Въ безконечномъ множествѣ органическихъ типовъ есть типъ человѣка, который не смѣшивается ни съ типомъ минерала, ни съ типомъ растенія, ни съ типомъ животнаго. Какое-же право имѣемъ мы смотрѣть на хорошія стороны народа, какъ на его особенность, какъ на исключительную принадлежность его національности? Не правильнѣе-ли было-бы видѣть въ нихъ черты общей человѣческой натуры, — черты, которыя могутъ быть пощажены одной національностью и заглушены другой? Приписывая честность нѣмцамъ, энтузіазмъ — французамъ, практическій смыслъ — англичанамъ, смѣлость — русскимъ и т. д., мы какъ будто признаемъ, что въ типъ человѣка не входитъ ни одно изъ этихъ прекрасныхъ свойствъ. А такъ какъ вообще всѣ добродѣтели, сколько ихъ есть въ руководствахъ нравственной философіи, давно уже розданы въ вѣчное и потомственное владѣніе каждая одному какому-нибудь племени или народу, то идеалъ человѣка, при такомъ взглядѣ на вещи, выходитъ какое-то совершенно-отрицательное, нулевое существо! Между тѣмъ, если мы хвалимъ честность нѣмца, энтузіазмъ француза, практицизмъ англичанина, смѣлость русскаго, то гдѣ-же источникъ и основаніе нашей похвалы, какъ не въ сознаніи того, что человѣкъ вообще, къ какому-бы племени ни принадлежалъ, подъ какимъ-бы градусомъ ни родился, долженъ быть и честенъ, и великодушенъ, и уменъ, и смѣлъ? Однимъ словомъ, общій всѣмъ людямъ идеалъ человѣка составленъ изъ свойствъ положительныхъ, которыя обыкновенно называются добродѣтелями и которыя всѣ вмѣстѣ составляютъ одно свойство — *жизненность*, т. е. гармоническое развитіе всѣхъ человѣческихъ потребностей и соотвѣтствующихъ имъ способностей. Пороковъ въ этомъ идеалѣ нѣтъ ни одного.»

Далѣе Майковъ, развивая эти идеи, выставляетъ въ основу своихъ доказательствъ то положеніе реальной философіи, что добродѣтели прирождены человѣческой природѣ, какъ силы, составляющія ея сущность; внѣшнія обстоятельства не создаютъ ихъ, а только вызываютъ изъ бездѣйствія, укрѣпляютъ и направляютъ, однимъ словомъ, *упражняютъ*, по собственному выраженію В. Майкова. Пороки же, наоборотъ, вовсе не принадлежатъ человѣческой природѣ; они-то и суть созданія внѣшнихъ обстоятельствъ: всѣ пороки, по словамъ В. Майкова, не что иное, какъ добрыя наклонности, или сбитыя съ прямого пути, или вовсе неуваженныя *внѣшними обстоятельствами*.

Подобное положеніе реальной философіи прямо ведетъ В. Майкова къ тому выводу, что если особенности каждаго народа создаются внѣшними обстоятельствами, то само собой разумѣется, что рядъ этихъ особенностей есть рядъ не добродѣтелей, а пороковъ. Внѣшнія обстоятельства, вліяя на народъ, искажаютъ такъ или иначе основныя свойства человѣческой природы, и искажаютъ естественно тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе народъ является подъ властью этихъ внѣшнихъ обстоятельствъ, чѣмъ болѣе онъ въ силу этого отличается отъ другихъ народовъ.

Но далѣе слѣдуетъ естественный вопросъ: если это такъ, т. е. если признаками отличительныхъ свойствъ народовъ служатъ не добродѣтели, а пороки, то откуда же является противоположная привычка отличать народы по добродѣтелямъ (практичности, энтузіазму, смѣлости и пр.)? Подобная ложная привычка, по мнѣнію Майкова, происходитъ не отъ чего иного, какъ отъ того, что, при перечисленіи народныхъ добродѣтелей, вниманіе обращается обыкновенно не на большинство народа, а на его выдающееся меньшинство. Это же меньшинство бываетъ обыкновенно діаметрально противоположно большинству народа по слѣдующей причинѣ: естественно, что чѣмъ сильнѣе личность, тѣмъ болѣе она имѣетъ возможности удовлетворять своимъ человѣческимъ потребностямъ и бороться съ внѣшними обстоятельствами, препятствующими этому удовлетворенію и искажающими этимъ самымъ человѣческую природу. Поэтому, чѣмъ сильнѣе личность, тѣмъ болѣе отрѣшается она отъ особенностей своего племени и тѣмъ болѣе приближается къ общечеловѣческому типу. Наиболѣе удается это тѣмъ личностямъ, которыхъ мы называемъ великими, геніальными и въ которыхъ мы дѣйствительно находимъ менѣе всего народныхъ особенностей. По большей же части меньшинство, стремясь выдѣлиться изъ подъ гнета обстоятельствъ, въ борьбѣ съ своей средой ударяется въ противоположную крайность и въ оппозицію этой средѣ развиваетъ въ себѣ наиболѣе такое свойство характера, которое въ этой средѣ развито всего менѣе. Подобное явленіе Майковъ формулируетъ въ видѣ слѣдующаго закона:

Каждый народъ имѣетъ двѣ физіономіи, одна изъ нихъ діаметрально противоположна другой; одна принадлежитъ большинству, другая — меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляетъ собой механическую подчиненность вліяніямъ климата, мѣстности, племени и судьбы. Меньшинство же впадаетъ въ крайность отрицанія этихъ явленій.

Далѣе въ статьѣ слѣдуетъ анализъ характера французской, нѣмецкой и русской народностей сообразно этому закону. Мы обратимъ вниманіе на то, какъ анализируетъ Майковъ русскую народность, причемъ читателю, безъ сомнѣнія, бросится въ глаза сходство идей Майкова съ идеями Бокля.

«Національныя особенности русскихъ — говоритъ В. Майковъ — совпадаютъ съ особенностями всѣхъ сѣверныхъ народовъ. Этимъ одолжены мы климату. Но, изучая самихъ себя, мы не можемъ не признать въ своей оригинальности столь-же сильныхъ влія-

ній *почвы и судьбы*. Необозримая плоскость земли, которую мы населяемъ, и татарское иго, которое перенесли мы впродолженіи двухъ съ половиною вѣковъ, вотъ двѣ силы — одна постоянная, другая преходящая, которыхъ дѣйствіе отзывается въ оттѣнкахъ нашей особенности. Равнина безжизненна, а особенно если она двѣ трети года покрыта снѣгомъ. Безпрестанное созерцаніе ея содѣйствуетъ къ усыпленію потребностей и силъ, спокойствію. Житель равнины, настраиваясь на одинъ ладъ съ природой, которая его окружаетъ, находитъ столько же наслажденія въ дремотѣ жизненности, сколько житель горъ въ безпрерывномъ ея обнаруженіи. Дѣятельность его поддерживается или безплодіемъ этой равнины, или излишней ея населенностью. Люди, поселившіеся на безплодномъ или слишкомъ маломъ участкѣ земли, поневолѣ дѣлаются трудолюбивы и предпріимчивы: въ нихъ развивается даже потребность оживить искусствомъ безжизненную мѣстность, которая имъ досталась на долю. Если-же она и плодородна, и обширна, тогда отъ нея нечего ждать никакого вліянія на человѣка, кромѣ постоянной дремы и страстной привязанности къ покою. Противоположность сѣверной и южной Россіи оправдываетъ эту истину. Въ странѣ болотъ, песку и глины возникла новгородская держава; развилось племя живое, бойкое, предпріимчивое. До сихъ поръ новгородскіе выселенцы отличаются отъ большинства русскаго народонаселенія своей жизненностью, любовью къ движенію и къ усовершенствованію своего быта. Напротивъ того, на хлѣбородныхъ земляхъ средней и южной Россіи живетъ народъ тяжелый, привязанный болѣе всего къ покою. Сверхъ того судьба наслала на Россію татарское иго, со всѣми его послѣдствіями, и болѣе четырехсотъ лѣтъ, именно отъ батыева нашествія до единодержавія Петра Великаго, дѣйствовала на насъ заодно съ природой. Петръ явилъ собой геніальную противоположность свойствамъ русскаго большинства и вступилъ съ нимъ въ борьбу, которая длится до сихъ поръ.

«Но законъ двойственности народныхъ физіономій такъ-же ясно проявляется между нами, какъ и въ другихъ націяхъ. Удальство, свойственное всѣмъ сѣвернымъ народамъ, такъ часто и сильно выражается въ русской жизни, что многіе принимаютъ его даже за черту нашей національности,—одна изъ тѣхъ ошибокъ, въ которыя такъ легко впасть всякому наблюдателю народныхъ нравовъ, незнакомому съ закономъ двойственности.

«Но, объяснивъ себѣ тайну отношеній національности къ человѣчности, легко понять всѣ противоположности явленій русскаго міра: уразумѣніе закона борьбы человѣческой натуры съ внѣшними вліяніями устраняетъ всякую сбивчивость въ объясненіи самыхъ противоположныхъ фактовъ. Чѣмъ инымъ объясните вы себѣ въ русскомъ народѣ съ одной стороны его привязанность къ покою, съ другой—его-же склонность къ удальству и его раздражительность?..».

Примѣняя далѣе всѣ эти идеи къ Кольцову, Майковъ рѣшительно отвергаетъ мнѣніе, что Кольцовъ былъ народный поэтъ, какъ представитель народнаго типа. По его мнѣнію, Кольцовъ былъ равно далекъ отъ обѣихъ противоположностей народнаго характера.

Онъ былъ одной изъ тѣхъ рѣдкихъ личностей, которымъ удается наиболѣе подойти къ общечеловѣческому типу. «Вся поэзія Кольцова—по мнѣнію В. Майкова—есть художественное выраженіе того всеобъемлющаго ученія любви къ жизни, до котораго человѣчество только-что доходитъ путемъ идей и опытовъ, совершенно неизвѣстныхъ нашему поэту. Ясно, что въ такомъ человѣкѣ не могло быть никакой болѣзненной односторонности, сколько-нибудь напоминающей собою народное удальство. Самая жизнь его представляетъ собой удивительный образецъ гармоніи между стремленіемъ къ лучшему и разумнымъ уваженіемъ къ дѣйствительности.»

Но въ то же время Майковъ признаетъ Кольцова народнымъ поэтомъ, въ смыслѣ *вѣрности* въ изображеніи народныхъ особенностей, русской дѣйствительности, жизни.

Въ заключеніе статьи Майковъ опровергаетъ искусственную табель о рангахъ, по которой Бѣлинскій пытался распредѣлять поэтовъ въ своей статьѣ о Кольцовѣ по степенямъ ихъ творчества, предполагая, что поэты бываютъ геніи, геніальные таланты и просто таланты.

«Нѣтъ никакого сомнѣнія,—говоритъ онъ, — что творческая сила вообще имѣетъ множество степеней, какъ и всякая человѣческая способность. Но можно ли сосчитать степени развитія и напряженія той или другой, можно-ли сказать опредѣлительно, что ихъ всего на-все три или четыре, десять или двѣнадцать? Нашлись люди, которые приписали Бѣлинскому именно эту претензію: изъ *таковыхъ* одни обрадовались случаю перетолковать его идею, а другіе остались ей очень довольны, ни мало не разобравъ, въ чемъ дѣло. Бѣлинскій говоритъ на стр. XLVIII: «толпа подражателей доказываетъ только то, что *и талантъ имѣетъ степени*, и *менѣе* талантливые подражаютъ *болѣе* талантливому». Не очевидно-ли послѣ этого, что, говоря о различныхъ степеняхъ творческой силы, онъ хотѣлъ только назвать тѣ изъ нихъ, которыя, по его мнѣнію, могутъ быть уловлены въ свойственныхъ имъ оттѣнкахъ? Но мы убѣждены съ своей стороны, что умножать число терминовъ для опредѣленія степеней какой бы то ни было силы, неподлежащей количественному измѣренію, значитъ не болѣе, какъ увеличивать сбивчивость языка, ничего не прибавляя къ объясненію самаго дѣла. Всякая попытка на этомъ мелочномъ поприщѣ ведетъ только къ тому, что опредѣляющій все болѣе и болѣе забываетъ простую истину, что умъ—великъ онъ или малъ—все таки умъ; воображеніе—сильно оно или слабо—все-таки воображеніе и т. п.

«Но главное, на что, по нашему мнѣнію, стоитъ обращать вниманіе при оцѣнкѣ степени какой бы то ни было способности человѣка, заключается въ анализѣ внѣшнихъ обстоятельствъ, содѣйствующихъ или препятствующихъ ея развитію. Можно даже сказать, что и нѣтъ иныхъ средствъ къ разрѣшенію вопросовъ о могуществѣ той или другой личности, потому что наши психологическія свѣдѣнія въ свою очередь ограничиваются знаніемъ *условій* развитія, дѣятельности и ослабленія психологическихъ потребностей и способностей. Если біографія человѣка не показываетъ намъ, какія противодѣйствія внѣшности преодолѣла его личность, мы не можемъ имѣть и масштаба для опредѣленія ея могущества. И наоборотъ: соображая плоды его дѣятельности съ силой встрѣченныхъ имъ противодѣйствій, мы идемъ по единственно-вѣрному пути къ разрѣшенію вопроса...»

Въ заключеніе статьи В. Майковъ дѣлаетъ слѣдующій приговоръ относительно стихотвореній Кольцова, какъ окончательный выводъ изъ всей статьи:

«По недостатку образованія, Кольцовъ не могъ своими произведеніями попасть въ колею современнаго ему движенія общества и литературы. Въ то же время могучая личность ставила его выше времени. Его произведенія положительно выразили собой тотъ идеалъ, на который остальные поэты наши указываютъ путемъ отрицанія. Онъ былъ болѣе поэтомъ возможнаго и будущаго, чѣмъ поэтомъ дѣйствительнаго и настоящаго. Его поэзія прямо при-

зываетъ къ полнотѣ наслажденія той жизнью, которой простые законы стремится опредѣлить и современная мудрость путемъ критики и утопіи. *Страсть и трудъ въ ихъ естественномъ благоустройствѣ*— вотъ простыя начала, изъ которыхъ сложился яркій идеалъ жизни, проникшій восторгомъ здоровую натуру поэта-мѣщанина!!.»

Мы не будемъ оспаривать Майкова, насколько Кольцовъ дѣйствительно былъ поэтомъ возможнаго будущаго въ томъ смыслѣ, какъ принимаетъ это Майковъ, т. е. въ смыслѣ воспѣванія страсти и труда въ ихъ естественномъ благоустройствѣ. Замѣтимъ только, что это мнѣніе не было исключительной принадлежностью одного Майкова. Въ концѣ сороковыхъ годовъ вся мыслящая молодежь, мало-мальски знакомая съ соціальными идеями, двигавшими западное общество въ то время, смотрѣла на Кольцова такимъ образомъ. Кольцовъ былъ любимѣйшимъ поэтомъ молодежи, именно какъ поэтъ труда, наслажденія жизнью и могучихъ страстей, цѣльныхъ, глубокихъ, чуждыхъ растлѣвающихъ рефлексій или экзальтацій,—страстей простого, естественнаго человѣка свободнаго труда.

Для насъ статья Майкова о Кольцовѣ важнѣе всего, какъ новый моментъ въ развитіи нашей мысли, обусловливающій собой всю послѣдующую эпоху. Въ самомъ дѣлѣ, въ этой статьѣ мы видимъ впервые смѣлое и радикальное отрицаніе узкихъ принциповъ народности и предпочтеніе имъ общечеловѣческихъ принциповъ. Послѣ того, какъ разъ народность была признана искаженіемъ человѣческой природы, признакомъ же прогресса поставлена бо́льшая или меньшая степень выдѣленія изъ узкой колеи народности и приближеніе къ общечеловѣческому типу,—послѣ этого никакія уступки, никакія соглашенія съ приверженцами принциповъ народности сдѣлались немыслимы. Можно смѣло сказать, что только со статьи В. Майкова началась настоящая оппозиція славянофильству. Въ этой оппозиціи противъ славянофиловъ встали уже не западники, не защитники усвоенія западной цивилизаціи, а проповѣдники той новой будущей цивилизаціи, которая должна явиться не въ западномъ или восточномъ, а въ общечеловѣческомъ духѣ, которая должна въ своемъ результатѣ сломать всѣ китайскія стѣны различныхъ народностей, уничтожить ихъ вѣчное соперничество о нравственныхъ преимуществахъ и матеріальныхъ выгодахъ, и сдѣлать изъ французовъ, нѣмцевъ, англичанъ, русскихъ—людей, которые жили бы въ единеніи любви и братства. Надо ли говорить, что таковъ былъ духъ всей послѣдующей эпохи движенія мысли нашей въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шестидесятыхъ годовъ. Передовые люди этой эпохи твердо стояли на общечеловѣческой почвѣ, были чужды всякихъ народныхъ пристрастій, и ихъ отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ западниками сороковыхъ годовъ.

Западники, какими бы они ни представлялись намъ антагонистами славянофиловъ, недалеко шли въ отрицаніи славянофильскихъ тенденцій и робко останавливались на полдорогѣ. Мы уже говорили выше, что нѣтъ возможности опредѣлить, гдѣ былъ конецъ славянофильства и начало западничества въ сороковые годы, теперь мы можемъ освѣтить яснѣе эту путаницу принциповъ. Дѣло въ томъ, что западники и славянофилы, равно основываясь на идеяхъ гегелевской философіи, совершенно сходились въ основныхъ взглядахъ на цивилизацію вообще и будущую цивилизацію Россіи. Какъ тѣ, такъ и другіе одинаково думали, что цивилизація не иначе можетъ выразиться, какъ въ духѣ народности, и исторія цивилизаціи есть исторія смѣны народностей по мѣрѣ того, какъ историческая народность выразитъ собой то, что̀ ей предопредѣлено выразить. Какъ славянофилы, такъ и западники одинаково вѣрили на всѣхъ этихъ основаніяхъ, что будущее принадлежитъ Россіи, которой суждено сказать новое слово цивилизаціи послѣ Европы, но сказать его не иначе, какъ въ духѣ своей народности.

Такимъ образомъ въ главныхъ основаніяхъ славянофилы и западники совершенно сходились, представляя собой одинъ и тотъ же результатъ гегелевской философіи. Пунктъ же ихъ раздѣленія начинался съ опредѣленія путей, по которымъ Россія должна идти для выполненія своего историческаго назначенія. По мнѣнію славянофиловъ, Россія, чтобы сказать свое новое слово, должна создать свою самостоятельную цивилизацію на народныхъ началахъ, отстранившись отъ всякаго вліянія Запада; западники же думали, что европейская цивилизація не только не помѣшаетъ созданію въ Россіи самобытной цивилизаціи, не только не убьетъ въ насъ нашей народности, но что, напротивъ того, только съ усвоеніемъ ея наши народныя начала дойдутъ до своей сознательности и полнаго развитія.

Послѣ этого понятно становится, что, расходясь другъ съ другомъ во взглядахъ не о цѣляхъ, а только о средствахъ нашего развитія, славянофилы и западники, при всей своей ожесточенной полемикѣ, часто совершенно сходились и говорили одно и то же, когда дѣло касалось не пунктовъ ихъ спора, а тѣхъ основаній, которыя у нихъ были общія. Тогда они становились въ рѣшительное недоумѣніе, изъ-за чего они спорятъ, начинались отданія относительныхъ справедливостей, дѣлались примирительные обѣды съ поцѣлуями, послѣ которыхъ снова начинался разладъ и споры.

Такъ продолжалось дѣло именно до тѣхъ поръ, пока не выдѣлились изъ кружка западниковъ люди, которые рѣшились предать новой реальной критикѣ не одни взгляды о путяхъ и средствахъ, а и о самыхъ цѣляхъ; они рѣшились заявить, что не только славянофилы, но и западники заблуждаются, мечтая о какой то цивилизаціи въ народномъ духѣ, что смѣшно и ставить вопросъ о томъ, повредитъ или не повредитъ цивилизація духу народности, когда цивилизація именно есть нѣчто противоположное этому духу, такъ какъ основная цѣль ея—вывести человѣка изъ узкой колеи народности на степень общечеловѣчности. Эти новые люди полагали, что западники робки и уклончивы въ своихъ спорахъ съ славянофилами, позволяя себѣ подобострастно раскланиваться передъ ихъ народными началами и разсыпаться въ увѣреніяхъ, чтобы тѣ не боялись западной цивилизаціи, что она и не дотронется до ихъ народныхъ началъ, а, напротивъ того, послѣднія еще болѣе процвѣтутъ. Такое лицемѣріе, по мнѣнію новыхъ людей, кромѣ униженія, не могло имѣть никакихъ благихъ результа-

товъ: не въ примѣръ честнѣе было снять маску и заявить прямо: да, господа славянофилы, цивилизація затѣмъ и явилась къ намъ, чтобы бороться съ вашими пресловутыми народными началами, и слава ей, если она будетъ побѣдительницей въ этой борьбѣ.

Вотъ смыслъ статьи Майкова. Послѣ этой статьи и вообще послѣ появленія людей съ отрицаніемъ принциповъ народности, западники сороковыхъ годовъ должны были почувствовать, что они болѣе солидарны съ славянофилами, чѣмъ они думали, и что они стоятъ въ такой же оппозиціи противъ новыхъ мыслителей, какъ и ихъ прежніе противники, славянофилы. Этимъ и объясняется тотъ фактъ, что по мѣрѣ того, какъ новые мыслители начали въ концѣ пятидесятыхъ годовъ получать все бо́льшую и бо́льшую силу въ литературѣ, прежніе западники, одинъ за другимъ, начали переходить въ лагерь славянофиловъ.

Но этотъ переходъ старыхъ западниковъ въ славянофильскій лагерь имѣетъ мѣсто не только въ шестидесятые годы. Мы видимъ, что тотчасъ же по появленіи статьи Майкова западники забили тревогу и почувствовали побужденіе попятиться назадъ, въ окрестности московскаго Кремля, въ лицѣ главнаго представителя своего - Бѣлинскаго.

О Бѣлинскомъ сохранились воспоминанія у всѣхъ знавшихъ его лично, какъ о наиболѣе ожесточенномъ противникѣ славянофиловъ. Какъ примѣръ его непримиримаго антагонизма съ московскими мыслителями, приводятъ его письма, въ которыхъ онъ упрекаетъ своихъ московскихъ сторонниковъ (Грановскаго, Герцена) за ихъ попытки къ примиренію и лобзанія съ противниками западной цивилизаціи. Въ послѣдніе годы литературной дѣятельности Бѣлинскаго вы не найдете ни одной статьи, въ которой онъ не нападалъ бы на славянофиловъ, не осыпалъ ихъ злыми и ожесточенными сарказмами.

Но за что́ собственно онъ нападалъ на славянофиловъ? Онъ нападалъ на нихъ только за смѣшныя и доходящія до абсурда крайности ихъ увлеченій. Онъ видѣлъ въ нихъ мистиковъ и романтиковъ, которые, увлеченные патріотическимъ пристрастіемъ ко всему русскому, отрицали все хорошее на Западѣ и преклонялись передъ всѣмъ русскимъ, не разбирая, хорошо оно или дурно, возводили все русское, народное въ идеалъ, доходя до слѣпого обожанія даже разныхъ устарѣлыхъ народныхъ обычаевъ, нравовъ, костюмовъ и пр. Онъ нападалъ на нихъ за отрицаніе петровской реформы, за порицаніе натуральной школы и вообще всякаго произведенія искусства, въ которомъ имъ не нравилось критическое отношеніе къ русской жизни.

Но вотъ появилась статья Майкова, и дѣло коснулось не однихъ уже только заблужденій и крайностей славянофиловъ, а самыхъ основаній ученій ихъ. И Бѣлинскій не замедлилъ обнаружить и по отношенію къ славянофильскому ученію тотъ же роковой предѣлъ, который мы видѣли въ немъ и по другимъ вопросамъ жизни. Статья Майкова открыла, такъ сказать, глаза Бѣлинскаго, ослѣпленнаго ожесточенной полемикой съ славянофилами, и онъ, внезапно прозрѣвши, увидѣлъ, что онъ далеко не такъ расходится съ ними, какъ думалъ, что въ виду новыхъ, болѣе смѣлыхъ противниковъ славянофилы являются скорѣе союзниками, чѣмъ врагами, и Бѣлинскій внезапно дѣлаетъ отбой отъ своихъ нападеній на славянофиловъ, протягиваетъ имъ руку въ знакъ примиренія, говоритъ о безполезности вражды и въ заключеніе набрасывается на новыхъ противниковъ, открыто высказывая, что лучше быть славянофиломъ, чѣмъ ими.

Все это мы находимъ въ статьѣ Бѣлинскаго «Взглядъ на русскую литературу 1846 г.» (см. «С. Б.», т. XI). Въ самомъ дѣлѣ, на самыхъ первыхъ страницахъ статьи васъ сразу поражаетъ радикальное измѣненіе въ отношеніи Бѣлинскаго къ славянофиламъ; словно это совершенно не тотъ Бѣлинскій, какимъ мы его знаемъ въ полемикѣ съ московскими мыслителями.

«Такъ называемое славянофильство — говоритъ онъ на 20-й страницѣ статьи – безъ всякаго сомнѣнія касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится—это другое дѣло. Но прежде всего славянофильство есть убѣжденіе, которое, какъ всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе несогласны. Славянофиловъ у насъ много, и число ихъ все увеличивается,— фактъ, который тоже говоритъ въ пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а съ ней и часть публики, если не вся публика, раздѣлились на двѣ стороны – славянофиловъ и неславянофиловъ. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но, разсмотрѣвши его ближе, нельзя не увидѣть, что существованіе и важность этой литературной котеріи чисто-отрицательныя, что она вызвана и живетъ не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которой обрекла себя. Поэтому нѣтъ никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, чего они хотятъ, да и сами они неохотно говорятъ и пишутъ объ этомъ, хотя и не дѣлаютъ изъ этого никакой тайны. Дѣло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ, мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности, всѣми вмѣстѣ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія, не въ томъ, что она говоритъ противъ гніющаго будто-бы Запада (Запада славянофилы рѣшительно не понимаютъ, потому что мѣряютъ его на восточный аршинъ), но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго, съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ напримѣръ, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междоумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по французски, по нѣмецки и по англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по русски, и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. Все это справедливо до извѣстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого бы то ни было факта, а должно изслѣдовать его причины, въ надеждѣ въ самомъ злѣ найти и средства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не дѣлали и не сдѣлали; но зато они заставили если не сдѣлать, то дѣлать это своихъ противниковъ. И вотъ гдѣ ихъ истинная заслуга.»

Уже въ этихъ строкахъ Бѣлинскій сильно сбивается

на славянофильскую почву и во многомъ вторитъ имъ. Далѣе онъ еще рѣзче выставляетъ точки соприкосновенія своихъ взглядовъ съ славянофильскими.

«Повторяемъ, славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ,—говоритъ онъ на 24-й страницѣ,—но тѣмъ не менѣе ихъ роль чисто-отрицательная, хотя и полезная на время. *Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимаютъ за его результатъ, хотятъ видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листья безвкусными, объявляютъ плодъ негоднымъ и предлагаютъ огромный лѣсъ, разросшійся на необозримомъ пространствѣ, пересадить на другое мѣсто и приложить къ нему другого рода уходъ.* По ихъ мнѣнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая Петровская Россія такъ-же молода, какъ и Сѣверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чѣмъ въ прошедшемъ. Они забыли, *что въ разгарѣ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тѣ основанія, которыя по окончаніи процесса должны исчезнуть; и часто не видно именно того, что впослѣдствіи должно явиться результатомъ процесса!!*»

Этими словами Бѣлинскій высказываетъ всю свою солидарность съ славянофилами: онъ не доволенъ на нихъ только за то, зачѣмъ они слишкомъ мрачно смотрятъ на подражательность нашего общества европейцамъ. Онъ соглашается съ ними, что эта подражательность прискорбна, но, смотря на нее, какъ на временное зло, утѣшаетъ славянофиловъ, что это зло преходящее и въ результатѣ славянофилы все-таки восторжествуютъ: не они, такъ внуки ихъ дождутся русской цивилизаціи совершенно въ народномъ духѣ. «Да, у насъ есть національная жизнь!—восклицаетъ онъ на 26-й страницѣ:—мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль—объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки и правнуки узнаютъ это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванья, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими...»

Теперь вы и подумайте, велико ли разстояніе всѣхъ этихъ мыслей отъ славянофильскихъ тенденцій? Сколько здѣсь точекъ совпаденія въ существенныхъ вопросахъ и какъ частны разнорѣчія. При такомъ углѣ зрѣнія одинъ шагъ, и вы—славянофилъ. Не понравится вамъ какая-либо реформа, перенятая съ Запада, не согласитесь вы съ ученіемъ, заимствованнымъ изъ Европы, и въ вашемъ голосѣ тотчасъ же зазвучатъ славянофильскія нотки о прискорбности подражательности, о необходимости самостоятельности жизни и мысли, о народныхъ началахъ, о здравомъ инстинктѣ народныхъ массъ и пр. И при всемъ томъ вы все-таки будете считать себя западникомъ, преклоняясь передъ реформами Петра, предпочитая фракъ зипуну или лимонадъ-газесъ — квасу...

На слѣдующей страницѣ Бѣлинскій уже не ограничивается одними комплиментами и отданіями долговъ справедливости славянофиламъ; онъ доходитъ даже до почтительныхъ извиненій передъ ними.

«Проснимъ извиненія у гг. славянофиловъ,—говоритъ онъ,—если мы приписали имъ что-нибудь такое, чего они и не думали или не говорили: еслибъ они могли упрекнуть насъ въ чемъ-нибудь подобномъ, пусть примутъ это за простую и неумышленную ошибку съ нашей стороны. Каковы бы ни были ихъ понятія или, по нашему, ошибки и заблужденія, мы уважаемъ ихъ источникъ. Мы можемъ сочувствовать всякому искреннему, независимому и благородному, въ его началѣ, убѣжденію, не только не раздѣляя его, но и видя въ немъ діаметральную противоположность нашему убѣжденію. На чьей сторонѣ истина разсудитъ время—великій и непогрѣшительный судья всѣхъ умственныхъ и теоретическихъ тяжбъ. Журналъ, который теперь одинъ остался органомъ славянофильскаго направленія, объявилъ нѣкогда «непримиримую вражду» всякому противоположному направленію. Что касается до насъ, имѣя свое опредѣленное направленіе, свои горячія убѣжденія, которыя намъ дороже всего на свѣтѣ, мы тоже готовы защищать ихъ всѣми силами нашими и вмѣстѣ съ тѣмъ противоборствовать всякому противоположному направленію и убѣжденію; но мы хотѣли-бы защитить наши мнѣнія съ достоинствомъ, а противоположнымъ противоборствовать съ твердостью и спокойствіемъ, безъ всякой вражды. Къ чему вражда? Кто враждуетъ, тотъ сердится, а кто сердится, тотъ чувствуетъ, что онъ не правъ. Мы имѣемъ самолюбіе до того считать себя правыми въ главныхъ основаніяхъ нашихъ убѣжденій, что не имѣемъ никакой нужды враждовать и сердиться, смѣшивать идеи съ лицами и, вмѣсто благородной и позволенной борьбы мнѣній, заводить безполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбія...»

Все это, если вы хотите, очень благородно, возвышенно и великодушно со стороны Бѣлинскаго, но вы не поймете, съ какой стати вздумалось ему, ни съ того, ни съ сего, великодушничать, протягивать руку заклятымъ врагамъ и даже на половину соглашаться съ ними, если не примете въ разсчетъ появленія новыхъ непріятелей, въ которыхъ Бѣлинскій встрѣчалъ гораздо болѣе разнорѣчій съ его идеями, чѣмъ въ славянофилахъ, которые съ одинаковымъ отрицаніемъ отнеслись какъ къ славянофиламъ, такъ и къ западникамъ съ Бѣлинскимъ во главѣ.

На слѣдующихъ же страницахъ Бѣлинскій дѣлаетъ натискъ на этихъ новыхъ враговъ.

Сначала онъ пускаетъ въ дѣло діалектику Гегеля; въ майковскихъ идеяхъ видитъ антитезъ славянофильству, въ своихъ же убѣжденіяхъ конечно—возсоединяющій синтезъ.

«Естественно,—говоритъ онъ на 32-й страницѣ,—что подобныя (т. е. славянофильскія крайности вызываютъ такія же противоположныя крайности. Одни бросились въ фантастическую народность, другіе въ фантастическій космополитизмъ, во имя человѣчества. По мнѣнію послѣднихъ, національность происходитъ отъ чисто-внѣшнихъ вліяній, выражаетъ собою все, что есть въ народѣ неподвижнаго, грубаго, ограниченнаго, неразумнаго, и діаметрально противополагается всему человѣческому. Чувствуя же, что нельзя отрицать въ народѣ и человѣческаго, противоположнаго, по ихъ мнѣнію, національному, они раздѣляютъ недѣлимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая послѣднему качества, діаметрально противоположныя качествамъ перваго. Такимъ образомъ, безпрестанно нападая на какой-то дуализмъ, который они видятъ всюду, даже тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ, они сами впадаютъ въ крайность самаго отвлеченнаго дуализма. Великіе люди, по ихъ понятію, стоятъ внѣ своей національности, и вся заслуга, все величіе ихъ въ томъ и заключается, что они идутъ прямо противъ своей національности, борятся съ ней и побѣждаютъ ее. Вотъ истинно русское и въ этомъ отношеніи рѣзко національное мнѣніе, которое не могло бы придти въ голову европейцу! Это мнѣніе вытекло прямо изъ ложнаго взгляда на реформу Петра Великаго, который, по общему въ

Россіи мнѣнію, будто бы уничтожилъ русскую народность. Это мнѣнія тѣхъ, которые народность видятъ въ обычаяхъ и предразсудкахъ, не понимая, что въ нихъ дѣйствительно отражается народность, но что они отнюдь еще не составляютъ народности. Раздѣлить народное и человѣческое на два совершенно чуждыя, даже враждебныя одно другому начала, значитъ впасть въ самый абстрактный, въ самый книжный дуализмъ.»

Но Бѣлинскій не останавливается на безпристрастномъ равновѣсіи гегелевскаго синтеза и не одинаково относится къ обѣимъ выставленнымъ имъ крайностямъ: къ славянофильству и космополитизму; вѣсы его синтеза тотчасъ-же склоняются на сторону славянофильства, и онъ отдаетъ послѣднему преимущество передъ космополитизмомъ.

Далѣе онъ входитъ въ длинныя разсужденія въ духѣ гегелевской философіи объ отношеніи личности къ идеѣ человѣка. Изъ этого разсужденія онъ выводитъ слѣдующія положенія:

«Что личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, то народность въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. Другими словами: народности суть личности человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. *Въ отношеніи къ этому вопросу я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа; а вторые и истину-то говорятъ, какъ такое-то изданіе такой-то логики...* Но, къ счастью, я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ чему...»

Уже во всѣхъ этихъ выдержкахъ вы видите нѣкоторое искаженіе и представленіе въ ложномъ свѣтѣ идей Майкова. Такъ напримѣръ, Майковъ нигдѣ не говорилъ, чтобы великіе люди уничтожали народность, а говорилъ только о ихъ личномъ выдѣленіи изъ узкой колеи народности и борьбѣ съ узкими національными элементами во имя общечеловѣческихъ идеаловъ. Что-же касается до уничтоженія народныхъ перегородокъ, то, съ точки зрѣнія Майкова, оно имѣетъ мѣсто не въ настоящемъ, а въ будущемъ; это — результатъ современной цивилизаціи, къ которому стремится она, но до котораго она далеко еще не достигла. Къ тому-же мнѣніе Майкова вовсе не исключительно самодѣльное русское, и насмѣшливыя слова Бѣлинскаго, что будто оно не могло бы придти въ голову европейцу,—лишены всякаго основанія. Напротивъ того, въ сочиненіяхъ многихъ современныхъ передовыхъ европейскихъ мыслителей вы найдете часто встрѣчаемое мнѣніе, что уже и въ настоящее время образованный англичанинъ гораздо болѣе имѣетъ общаго въ своемъ типѣ съ образованными-же людьми всѣхъ странъ, чѣмъ съ своимъ необразованнымъ землякомъ.

Но далѣе вы встрѣчаете еще большее искаженіе мнѣній Майкова. Такъ напримѣръ, говоря о противоположности меньшинства и большинства народа, Майковъ и не думалъ подъ меньшинствомъ разумѣть какое-либо привилегированное, сословное меньшинство, не думалъ даже и объ образованномъ меньшинствѣ. Подъ меньшинствомъ онъ разумѣетъ рядъ личностей, развивающихъ въ себѣ, вслѣдствіе избытка своихъ физическихъ или умственныхъ силъ, качества, противоположныя общимъ качествамъ среды. При этомъ Майкову рѣшительно все равно, къ какимъ-бы слоямъ общества эти личности ни принадлежали. Такъ напримѣръ, онъ находитъ своихъ людей покоя и удальцовъ—и среди западниковъ, и среди славянофиловъ. Различные выходцы изъ народа, самоучки, удальцы-разбойники, совершенно подходятъ подъ этотъ-же типъ. Между тѣмъ Бѣлинскій заставляетъ Майкова подъ меньшинствомъ подразумѣвать непремѣнно привилегированные классы и дѣлаетъ ему слѣдующее возраженіе:

«Раздѣленіе народа на противоположныя, враждебныя будто бы другъ другу большинство и меньшинство можетъ быть и справедливо со стороны логики, но рѣшительно ложно со стороны здраваго смысла. Меньшинство всегда выражаетъ собой большинство, въ хорошемъ или въ дурномъ смыслѣ. Еще страннѣе приписать большинству народа только дурныя качества, а меньшинству—одни хорошія. Хороша была бы французская нація, еслибы о ней стали судить по развратному дворянству временъ Людовика XV. Этотъ примѣръ указываетъ, что меньшинство скорѣе можетъ выражать собой болѣе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа, потому что оно живетъ искусственной жизнью, когда противополагаетъ себя большинству, какъ что-то отдѣльное отъ него и чуждое ему. Это мы видимъ и въ современной намъ Франціи, въ лицѣ bourgeoisie—господствующаго теперь въ ней сословія.» (См. стр. 40, 41.)

Когда вы читаете эти строки, соображая въ то же время идеи Майкова, то вы рѣшительно недоумѣваете, что это сдѣлалось съ Бѣлинскимъ! Невозможно представить себѣ, чтобы такой безукоризненно-благородный человѣкъ, какъ Бѣлинскій, умышленно исказилъ идеи своего противника для удобствъ полемики; невозможно и подумать съ другой стороны, чтобы такой добросовѣстный человѣкъ, какъ Бѣлинскій, ограничился поверхностнымъ перелистываніемъ статьи Майкова и не вдумался въ суть его идей. Остается предположить, что Бѣлинскій просто не понялъ этихъ идей, потому что онѣ выходили изъ круга его міросозерцанія, стѣсненнаго принципами гегелевской діалектики. Остается и здѣсь предположить предѣлъ, далѣе котораго не шелъ Бѣлинскій, не шли и всѣ его сверстники сороковыхъ годовъ.

Вообще статья Бѣлинскаго, которую мы разсматриваемъ, особенно дорога тѣмъ, что она проливаетъ большой свѣтъ на характеръ тѣхъ реакціонныхъ пріемовъ, съ какими сверстники Бѣлинскаго явились впослѣдствіи въ противодѣйствіе движенію шестидесятыхъ годовъ. Зачатки этихъ пріемовъ такъ и выглядываютъ во многихъ мѣстахъ статьи. Такъ напримѣръ, посмотрите, что говоритъ Бѣлинскій о великихъ людяхъ:

«Что же касается до великихъ людей, они по преимуществу—дѣти своей страны. Великій человѣкъ всегда національнѣе, какъ его народъ, ибо онъ потому и великъ, что представляетъ собой свой народъ. Борьба генія съ народомъ не есть борьба человѣческаго съ національнымъ, а просто-на-просто—новаго съ старымъ, идеи съ эмпиризмомъ, разума съ предразсудкомъ. Масса всегда живетъ привычкой, и разумнымъ, истиннымъ, полезнымъ считаетъ только то, къ чему привыкла. Она защищаетъ съ остервенѣніемъ то старое, противъ котораго вѣкомъ или менѣе назадъ съ остервенѣніемъ же боролась она, какъ противъ новаго. *Противодѣйствіе*

массы генію необходимо: это съ ея стороны экзаменъ генію: если онъ возьметъ свое, ни на что несмотря, значитъ, онъ—точно геній, т. е. въ самомъ себѣ носитъ свое право дѣйствовать на судьбы своего отечества. Иначе всякій резонеръ, всякій мечтатель, всякій философъ, всякій маленькій великій человѣкъ сталъ бы обходиться съ народомъ, какъ съ лошадью, направляя его по волѣ своихъ прихотей и фантазій то въ ту, то въ другую сторону...»

Въ первой половинѣ этой тирады вы ничего не находите, кромѣ ряда противорѣчій. Оказывается, что геній въ одно и то же время является и представителемъ народной массы, и ея антагонистомъ, защищающимъ новое противъ того стараго, къ которому масса привыкла. Но мы просимъ обратить особенное вниманіе нашихъ читателей на послѣднія строки тирады, напечатанныя курсивомъ. Вотъ они гдѣ задатки тѣхъ ядовитыхъ насмѣшекъ, которыми осыпали впослѣдствіи сверстники Бѣлинскаго людей шестидесятыхъ годовъ. Резонеры, мечтатели, маленькіе великіе люди, думающіе обходиться съ народомъ, какъ съ лошадью, направляя его по волѣ своихъ прихотей и фантазій!—только и слышалось впослѣдствіи со стороны людей сороковыхъ годовъ. Такова именно софистика гегелевской діалектики, что, подводя вещи подъ обширныя отвлеченныя категоріи и избѣгая точнаго опредѣленія ихъ, она даетъ мѣсто какимъ угодно толкованіямъ фактовъ. Понравится вамъ какое-нибудь ученіе, стоящее въ уровнѣ вашего міросозерцанія, вы готовы навязывать это ученіе всѣмъ и каждому, стремиться всѣми правдами и неправдами къ господству его, топтать противниковъ въ грязь, не думая о томъ, что вы относитесь къ ближнимъ, какъ къ лошадямъ, которыхъ стараетесь направить въ ту сторону, въ какую вамъ угодно. Нѣтъ, ваше поведеніе представляется вамъ борьбой геніальной мысли съ непониманіемъ толпы. А чуть вамъ не понравилось ученіе, можетъ быть просто потому, что оно стоитъ выше вашего пониманія, и тотчасъ-же выступаютъ на сцену резонеры, мечтатели, маленькіе великіе люди, фантастическіе космополиты и пр.

Но отношеніемъ къ новымъ людямъ, какъ резонерамъ, мечтателямъ и пр., не исчерпываются реакціонные пріемы сверстниковъ Бѣлинскаго. Рядомъ съ этимъ вы встрѣчаете еще одинъ общеупотребительный пріемъ, въ которомъ впрочемъ люди сороковыхъ годовъ сходятся съ реакціонерами всѣхъ вѣковъ. Этотъ пріемъ заключается въ томъ, что, выражая полное сочувствіе къ тому или другому ученію, къ той или другой реформѣ, реакціонеры въ то же время употребляютъ рядъ всевозможныхъ доводовъ для того, чтобы доказать, что данная реформа преждевременна, ученіе, при всей своей несомнѣнной истинности, безплодно, потому что предвосхищаетъ будущее, что мы можемъ любоваться сколько угодно на тѣ блага, какими пользуются люди на Западѣ, но сами до этихъ благъ еще не доросли, не созрѣли и, какъ дѣти, должны облизывать губки, смотря издали, какъ пируютъ большіе. Задатки такого пріема мы въ свою очередь встрѣчаемъ уже у Бѣлинскаго.

Ненавистные для него космополиты, какъ извѣстно, не ограничивались однимъ противопоставленіемъ принципамъ народности общечеловѣческой цивилизаціи. Изучая соціологію и политическую экономію и усвоивая послѣднія истины, добытыя этой наукой, они не думали, чтобы истины эти могли быть годны для одной страны и негодны для другой, или чтобы примѣненіе ихъ могло помѣшать рѣшенію вопросовъ жизни, стоящихъ позади этихъ истинъ. Напротивъ того, они полагали, подобно многимъ современнымъ европейскимъ публицистамъ, что безъ примѣненія этихъ истинъ къ жизни всѣ другіе вопросы, стоящіе позади ихъ, не могутъ никогда быть рѣшены правильно, и что всякое рѣшеніе этихъ вопросовъ безъ примѣненія новыхъ истинъ всегда будетъ равняться постройкѣ зданія на пескѣ.

Бѣлинскій въ свою очередь страстно проникался современными ему вопросами. Въ своей рецензіи на «Парижскія тайны» Евгенія Сю (см. «С. Б.», т. IX, стр. 1) онъ посвятилъ нѣсколько страницъ политическому движенію Франціи, и, читая эти страницы, вы видите, какъ глубоко понималъ Бѣлинскій современное ему положеніе Франціи, съ какимъ неподдѣльнымъ паѳосомъ и съ какой геніальной мѣткостью рисуетъ онъ отношеніе народа къ буржуазіи.

Но вышеупомянутая нами статья Бѣлинскаго («Обозр. р. лит. за 1846 г.») показываетъ намъ, что и для этихъ вопросовъ у Бѣлинскаго былъ свой роковой предѣлъ, далѣе котораго онъ не шелъ. Сочувствіе его къ новымъ истинамъ политической экономіи было чисто внѣшнее, какъ къ чему-то, способному возбуждать въ насъ извѣстныя симпатіи и антипатіи, но при всемъ томъ совершенно чуждому намъ и не имѣющему никакого отношенія къ нашей жизни.

«Теперь Европу занимаютъ новые великіе вопросы,—говоритъ онъ на 43-й страницѣ,— и интересоваться ими, слѣдить за ними намъ можно и должно, ибо ничто человѣческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то-же время для насъ было-бы вовсе безплодно принимать эти вопросы, какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что̀ примѣнимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали-бы играть роль Донъ-Кихотовъ, горячась изъ ничего. Этимъ мы заслужили-бы скорѣе насмѣшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, въ себѣ, вокругъ себя, вотъ гдѣ должны мы искать и вопросовъ, и ихъ рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно, если не будетъ блестяще..»

Дѣйствительно, если вы начнете смотрѣть съ чисто внѣшней, поверхностной стороны на новыя истины политической экономіи, то конечно вы не увидите ничего общаго между этими истинами и вопросами нашей жизни. Такъ напримѣръ, что̀ повидимому общаго между вопросомъ объ отношеніи рабочихъ къ фабрикантамъ во Франціи и вопросомъ объ освобожденіи крестьянъ, который стоялъ на первомъ планѣ въ глазахъ всѣхъ мыслящихъ людей въ сороковые годы? Съ одной стороны, шелъ споръ между людьми, одинаково свободными и гражданскиравноправными, о барышахъ, съ другой—дѣло шло о дарованіи элементарныхъ гражданскихъ правъ рабамъ, не имѣвшимъ не только движимой или недвижимой собственности, но о которыхъ нельзя было сказать даже, чтобы они были владѣльцами своего собственнаго тѣла. Естественно, что послѣдній вопросъ представлялся на нѣсколько вѣковъ стоявшимъ сзади перваго. Но если бы

Бѣлинскій усвоилъ себѣ всю суть новыхъ политико-экономическихъ истинъ, онъ увидѣлъ бы, что онѣ касаются не однихъ только отношеній рабочихъ къ фабрикантамъ, а относятся къ какимъ угодно вопросамъ жизни, и относятся не частью, а всецѣло составляютъ существенное основаніе правильности рѣшенія всякаго вопроса жизни, не исключая и вопроса объ освобожденіи крестьянъ. Люди же сороковыхъ годовъ смотрѣли на это не такъ: имъ казалось, что если есть что либо общее между политико-экономическими вопросами Запада и элементарными вопросами нашей жизни, то развѣ только одно общее чувство гуманности, изъ которой исходятъ тѣ и другіе. Имъ казалось, что сначала слѣдуетъ рѣшить какъ бы то ни было крестьянскій вопросъ, два, три другіе столь же элементарные вопроса нашей жизни; затѣмъ, лѣтъ черезъ 60, черезъ 100 и болѣе, когда у насъ явится промышленный пролетаріатъ, тогда только политико-экономическіе вопросы Европы будутъ у насъ современны, и мы получимъ право горячиться за нихъ. А до тѣхъ поръ мы можемъ слѣдить за развитіемъ этихъ вопросовъ на Западѣ, сочувствовать имъ, но проникаться ими и считать ихъ своими не должны, иначе мы прослывемъ за Донъ-Кихотовъ и надъ нами посмѣется Европа.

Вотъ вамъ и еще одинъ изъ ключей къ реакціоннымъ принципамъ людей сороковыхъ годовъ. Когда появились люди, которые не довольствовались однимъ созерцаніемъ и сочувствіемъ, глубоко проникались новыми политико-экономическими истинами, проникались не отчасти, а всецѣло и безраздѣльно, съ точки зрѣнія этихъ истинъ начали смотрѣть и на всѣ событія Европы, и на всѣ вопросы нашей жизни,—въ глазахъ людей сороковыхъ годовъ они не переставали слыть Донъ-Кихотами, предвосхищающими будущее, посмѣшищами и т. п. При этомъ люди сороковыхъ годовъ, привыкшіе къ своей раздвоенности, упустили изъ виду тотъ естественный законъ нашей психической жизни, что здоровый и цѣльный умъ не можетъ довольствоваться истиной отчасти, на половину, а тѣмъ менѣе судить о вещахъ иначе, какъ онѣ ему представляются съ точки зрѣнія этой истины. Такъ напримѣръ, здоровый, сильный умъ не можетъ составить о Кавурѣ одинъ взглядъ, а высказывать публикѣ другой на томъ основаніи, вотъ видите, что мы въ развитіи нашей общественной жизни не доросли еще и до Кавура. Вспомните, что въ этой послѣдовательности своимъ идеямъ именно и обвиняетъ Добролюбова Тургеневъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ».

Болѣе намъ не придется бесѣдовать въ этихъ очеркахъ о Бѣлинскомъ. Въ заключеніе считаю нелишнимъ сдѣлать такую же оговорку и относительно Бѣлинскаго, какую мнѣ пришлось сдѣлать относительно Грановскаго, для читателя, стоящаго на степени безусловнаго отрицанія или безусловнаго обожанія. Да не подумаетъ такой читатель, чтобы, выставляя различныя противорѣчія и предѣлы во взглядахъ Бѣлинскаго, я желалъ бы, не говоря уже объ отрицаніи значенія этого геніальнаго представителя нашей литературы, хоть на одну іоту уменьшить въ глазахъ публики это значеніе. Я имѣлъ въ виду только обозначить этотъ предѣлъ міросозерцанія Бѣлинскаго, оставаясь въ которомъ, Бѣлинскій представляется вполнѣ сыномъ своего вѣка и далѣе котораго начинается развитіе новой мысли, начало новой фазы нашего развитія. Какъ бы продолжалъ Бѣлинскій относиться къ этой новой фазѣ, еслибы жизнь и дѣятельность его продолжались, усвоилъ ли бы онъ новыя идеи, или онъ все болѣе и болѣе расходился бы съ ними вмѣстѣ со всѣми другими своими сверстниками—объ этомъ нѣтъ возможности судить, не входя въ область произвольныхъ фантазій и догадокъ. Впрочемъ, судя по живой, страстной, впечатлительной натурѣ Бѣлинскаго, по его чутью, крайнему ожесточенію, которое онъ вынесъ изъ всей своей жизни, наконецъ по его литературному положенію въ журналѣ, которому впослѣдствіи пришлось стоять впереди движенія новой мысли, судя по всему этому, можно предположить, что Бѣлинскій по всей вѣроятности скорѣе разошелся бы со своими сверстниками, чѣмъ не сошелся бы съ новыми литературными дѣятелями. Замѣтьте, что, не понявъ идей Майкова, онъ обвинилъ его не въ излишнемъ демократизмѣ, а, напротивъ того, въ мнимомъ аристократизмѣ.

XII.

Владиміръ Алексѣевичъ Милютинъ. -Краткія біографическія свѣдѣнія о его жизни.--Первая статья его «Пролетаріи и пауперизмъ».--Статьи о книгѣ Бутовскаго въ «Современникѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ».—Изложеніе идей позитивной философіи. Взгляды на политическую экономію и ея школы съ точки зрѣнія этихъ идей.—Передовая статья въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ началѣ 1848 года.—Общій характеръ умственнаго движенія въ концѣ сороковыхъ годовъ и нѣкоторое сходство его съ движеніемъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ.—Внезапный перерывъ этого движенія.

Однѣми статьями В. Майкова не ограничивались проблески новой реальной мысли въ концѣ сороковыхъ годовъ. Въ то время, какъ Майковъ явился представителемъ молодой критики, вмѣстѣ съ нимъ вышелъ на поприще литературы новый талантливый публицистъ — Владиміръ Алексѣевичъ Милютинъ. Настоящая глава будетъ посвящена ознакомленію читателей съ идеями этого писателя. Читатели найдутъ въ нихъ передовыя идеи нашего времени и увидятъ, съ какой силой таланта изложены эти идеи въ статьяхъ Милютина.

Владиміръ Алексѣевичъ Милютинъ родился 16-го декабря 1826 года. Поступивши въ московскій университетъ въ началѣ сороковыхъ годовъ, онъ перешелъ потомъ въ петербургскій, гдѣ и кончилъ курсъ по юридическому факультету со степенью кандидата въ 1847 году. Въ 1849 году онъ защищалъ диссертацію на званіе магистра «О недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россіи»; въ 1850 году былъ опредѣленъ въ петербургскій университетъ адъюнктомъ русскаго государственнаго права, а съ 1853 г. читалъ полицейское право. Какъ профессоръ, онъ былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей петербургскаго университета. Его аудиторія была постоянно полна слушателей изъ всѣхъ факультетовъ.

Въ послѣдніе годы своей жизни Милютинъ трудился надъ своей докторской диссертаціей «О Дьякахъ», посвящая ежедневно своимъ трудамъ до десяти часовъ. Въ то же время онъ былъ съ 1848 года членомъ географическаго общества, состоя производителемъ дѣлъ въ отдѣленіи статистики, а съ 1849 года—секретаремъ общества. Разнообразныя и усидчивыя занятія не замедлили подѣйствовать на слабое здоровье Милютина. Въ 1854 году онъ долженъ былъ ѣхать за-границу лечиться. Но болѣзнь оказалась неизлечимая и грозила Милютину близкой кончиной, исполненной мученій. Къ этому подвернулись нѣкоторыя сердечныя обстоятельства. Все это ввергло Милютина въ мрачную хандру, разрѣшившуюся самоубійствомъ. Въ 1855 г., 5-го августа, Милютина не стало. Онъ умеръ на 29-мъ году своей жизни, оставивши послѣ себя самыя блистательныя надежды.

Спеціальныя ученыя занятія по университету и въ географическомъ обществѣ не мѣшали Милютину удѣлять время для литературныхъ занятій. Онъ весьма часто помѣщалъ публицистическія и критическія статьи въ «Современникѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ». Началъ онъ свою литературную дѣятельность очень рано, 20-ти лѣтъ, будучи еще на 4-мъ курсѣ университета, и въ первыхъ статьяхъ успѣлъ уже обратить на себя всеобщее вниманіе. Статьи эти дѣйствительно открывали русской публикѣ совершенно новый міръ. Съ одной стороны публика познакомилась въ нихъ впервые съ основными началами позитивной философіи Огюста Конта, съ другой стороны—съ развитіемъ политико-экономическихъ школъ на Западѣ, ихъ борьбой и отношеніемъ къ передовымъ идеямъ современной жизни.

Первый его литературный трудъ появился въ 1846 году, въ видѣ ряда статей подъ заглавіемъ «Пролетаріи и пауперизмъ», которыя печатались въ «Отечественныхъ Запискахъ», начиная съ 50-го тома этого журнала. Въ этихъ статьяхъ вы находите весьма полное и обстоятельное изложеніе развитія пролетаріата на Западѣ, его причинъ и слѣдствій и отношенія къ этому явленію различныхъ политико-экономическихъ школъ.

Въ началѣ своего трактата Милютинъ выставляетъ на видъ то впечатлѣніе, которое производитъ развитіе пролетаріата на людей различнаго сорта, и говоритъ о томъ, какъ обязана смотрѣть на то же самое явленіе наука.

«Въ настоящее время—говоритъ онъ—есть много людей, въ которыхъ эта мрачная сторона дѣйствительности производитъ недоумѣніе, страхъ и даже отчаяніе. Твердо вѣруя въ высокое значеніе промышленности и въ необходимость прогресса, они не знаютъ, какъ оправдать такую цивилизацію, среди которой встрѣчаются факты столь горестные. Для того, чтобы избавиться отъ этого неразрѣшимаго для нихъ противорѣчія, одни малодушно останавливаются только при свѣтлой сторонѣ жизни, закрывая глаза при видѣ бѣдствій, страданій и язвъ человѣчества; другіе, въ противность истинѣ и дѣйствительности, упорно отрицаютъ самое существованіе зла, или по крайней мѣрѣ стараются уменьшить его значеніе, стараются скрыть его страшныя послѣдствія. Но наука, въ своемъ постоянномъ стремленіи къ истинѣ, не можетъ допускать ни такого равнодушія, ни такого антагонизма. Съ одной стороны, слѣдуя за успѣхами и за развитіемъ человѣчества, она не можетъ не сочувствовать его страданіямъ, потому что это сочувствіе составляетъ священную ея обязанность. Съ другой стороны для нея истина должна быть и святой, и неприкосновенной, и какъ бы истина эта ни была мрачна, наука не должна прятаться отъ ея свѣта, потому что иначе она отказалась бы отъ своего назначенія.

«Но если въ настоящее время есть люди, которые готовы жертвовать истиной изъ любви къ прогрессу и цивилизаціи, то съ другой стороны есть также люди, которые, по ненависти къ тому-же прогрессу или по какой-нибудь другой, неизвѣстной намъ причинѣ, доходятъ до самаго несправедливаго воззрѣнія на этотъ предметъ. Бѣдственное состояніе рабочихъ классовъ подаетъ имъ поводъ къ самымъ несправедливымъ нападкамъ на Западъ. Въ его настоящей организаціи они видятъ только неустройство, разладъ какъ мнѣній, такъ и интересовъ; изъ этого они глубокомысленно заключаютъ, что Западъ устарѣлъ, что онъ уже растратилъ всѣ жизненныя свои силы, что онъ гніетъ, что государствамъ его остается только рухнуться, и уступить свое поприще новымъ племенамъ. Но такіе взгляды, изъ какого бы источника ни проистекали они, не заслуживаютъ даже и опроверженія. Близоруким судьямъ Запада можно сказать, что они смотрятъ и не видятъ, слушаютъ и не слышатъ. Они не понимаютъ, что эта борьба интересовъ есть признакъ не распаденія, а жизни, что она показываетъ не гнилость общества, а, напротивъ, его зрѣлость, его свѣжесть, его силу. Они не видятъ, что надъ этимъ противорѣчіемъ мысли и убѣжденій возвышается стремленіе къ добру. И можно-ли назвать устарѣлымъ то общество, которое сознаетъ въ себѣ несправедливость и силится побѣдить ее? Можно-ли находить признаки упадка тамъ, гдѣ все дышетъ свѣжестью юности, гдѣ всѣ взоры и всѣ умы съ надеждой обращены на будущее, гдѣ все движется, все развивается!

«Нѣтъ! не гніютъ тѣ общества, которыя рождаютъ изъ себя безпрестанно и послѣдовательно новые элементы жизни - не гніютъ, а усиливаются и созрѣваютъ, переходя черезъ различные моменты и фазы къ совершенству. Гнилъ только тотъ, кто вовсе не примѣчаетъ своей гнилости. Тотъ только малодушенъ, кто, отгадывая у себя зло и неправду, предпочитаетъ спокойно лежать въ грязи, вмѣсто того чтобы трудомъ и пожертвованіями стремиться къ благородной цѣли».

Послѣ такого вступленія Милютинъ приступаетъ къ предмету своего трактата, который раздѣляется у него на два существенные отдѣла. Въ первомъ онъ излагаетъ причины пролетаріата, во второмъ—его слѣдствія.

Къ причинамъ пролетаріата онъ относитъ анархію конкуренціи, неправильное распредѣленіе поземельной собственности, тяжесть налоговъ прямыхъ и косвенныхъ и финансовые законы. Каждую изъ этихъ причинъ онъ разсматриваетъ съ полной обстоятельностью, не упуская ни одного изъ выводовъ современной политико-экономической науки.

Въ заключеніе этого отдѣла Милютинъ говоритъ нѣсколько словъ и о той мнимой причинѣ пролетаріата, въ которой рутинеры видятъ обыкновенно существенную причину бѣдности.

«Что касается—говоритъ онъ—до причинъ бѣдности, зависящихъ отъ вины самихъ людей, то на нихъ до сихъ поръ обращали слишкомъ много вниманія и приписывали имъ слишкомъ много важности, преимущественно потому, что для нѣкоторыхъ людей весьма выгодно и удобно возлагать на самихъ бѣдныхъ отвѣтственность за тѣ несчастія,

въ которыхъ виновно одно только общество... Но въ настоящее время, когда понятія о правдѣ и справедливости распространяютъ съ каждымъ днемъ свое господство надъ сферой общественныхъ явленій, такой своекорыстный и жестокій взглядъ на эту важную и мрачную сторону народной жизни сдѣлался уже невозможенъ. Теперь въ государствахъ западной Европы всѣ тѣ, которые не ослѣплены предразсудками и преданіями прошлаго, ясно понимаютъ, что бѣдность низшихъ классовъ проистекаетъ не отъ нихъ самихъ, а отъ другихъ, болѣе глубокихъ, болѣе существенныхъ причинъ, и что въ высшей степени было бы жестоко и несправедливо вмѣнять людямъ такія несчастія, въ которыхъ они вовсе не виноваты...»

Во второмъ отдѣлѣ, какъ мы сказали выше, Милютинъ разсматриваетъ послѣдствія пролетаріата, которыя онъ видитъ въ уменьшеніи нравственныхъ и физическихъ силъ рабочаго сословія, уменьшеніи производительности, увеличеніи числа преступленій, въ вырожденіи такого обширнаго класса общества, который составляетъ большинство населенія Европы, и опасности окончательнаго уничтоженія этого большинства.

Въ заключеніе трактата Милютинъ вооружается противъ тѣхъ экономистовъ, которые, по его словамъ, «думаютъ только объ усиленіи производительности, видятъ въ этомъ единственное средство для улучшенія участи рабочаго класса и увѣряютъ, что о справедливомъ распредѣленіи богатствъ заботиться не нужно, что оно сдѣлается само собою вмѣстѣ съ постепеннымъ увеличеніемъ числа продуктовъ и пониженіемъ ихъ цѣны...».

Противъ этихъ экономистовъ Милютинъ выставляетъ представителей новой школы, которые, по его словамъ, оставивъ тотъ безплодный путь, по которому шли доселѣ ихъ предшественники, устремили все свое вниманіе на изученіе недостатковъ современнаго экономическаго устройства и на пріисканіе способовъ къ исправленію этихъ недостатковъ и къ усовершенствованію этого устройства. Твердо убѣжденные въ томъ, что свобода промышленности въ настоящую минуту недостаточна для разрѣшенія всѣхъ вопросовъ, вызываемыхъ бѣдствіями рабочаго класса, что принципъ laissez faire, laisssez passer тяготѣетъ только надъ рабочими, потворствуя капиталистамъ, они поставили себѣ задачей утвердить политическую экономію на новыхъ, болѣе разумныхъ и болѣе сообразныхъ съ требованіями настоящаго времени основаніяхъ. «Надо,— говорятъ они, — чтобы работа была организована и чтобы наука, изучивъ законы производительности, опредѣлила законы отношенія труда къ капиталу, отношенія раціональнаго, а не на слѣпомъ случаѣ основаннаго».

Относясь затѣмъ критически къ различнымъ направленіямъ этой новой школы экономистовъ, Милютинъ находитъ, что она не рѣшила еще той задачи, которую предстоитъ разрѣшить современной наукѣ, что по вопросу, какъ о тѣхъ главныхъ началахъ, на которыхъ должно быть основано отношеніе капитала къ труду, такъ и о средствахъ для замѣны того или другаго устройства экономическаго устройствомъ болѣе разумнымъ и справедливымъ, экономисты новой школы не успѣли еще дойти до единогласнаго утвердительнаго и вполнѣ формулированнаго рѣшенія. И на этомъ пути, какъ и между приверженцами промышленной анархіи, Милютинъ находитъ множество самыхъ разнородныхъ мнѣній, самыхъ противоположныхъ теорій. Но это не мѣшаетъ ему цѣнить всю важность и все великое значеніе новой школы экономистовъ.

«Нѣтъ никакого сомнѣнія, — говоритъ онъ,— что многія изъ современныхъ ученій носятъ на себѣ явную печать мечтательности и невозможности; но слѣдуетъ-ли изъ этого, что надо презирать тѣхъ, которые впадаютъ въ такія заблужденія и вѣруютъ въ такіе призраки? Развѣ человѣчество доходило когда-нибудь до сознанія истины внезапно и съ одного раза? Развѣ всѣ тѣ истины, которыя принимаются теперь за неопровержимыя аксіомы, не выработались постепенно и втеченіи столѣтій, развиваясь изъ борьбы односторонніхъ, исключительныхъ и ошибочныхъ мнѣній? Развѣ наконецъ мы не знаемъ, что множество новыхъ идей, при первомъ появленіи своемъ возбудившихъ смѣхъ и недовѣрчивость, впослѣдствіи приняты и осуществлены человѣчествомъ во всемъ ихъ объемѣ и во всей полнотѣ? Не будемъ-же отвѣчать насмѣшкой на усилія людей, которыхъ неограниченная любовь къ своимъ собратіямъ доводитъ часто до крайностей, до преувеличенія, до смѣшныхъ можетъ быть взглядовъ и ученій. Станемъ, напротивъ, поощрять эти усилія, потому что въ нихъ заключается вѣрный залогъ для будущаго усовершенствованія науки и для исцѣленія тѣхъ язвъ, отъ которыхъ страдаютъ современныя общества на Западѣ. Станемъ сочувствовать этимъ благороднымъ стремленіямъ, и твердо вѣруя въ обѣтованія божественнаго Спасителя, съ любовью ожидая пришествія того времени, когда воля Божія осуществится на землѣ, эту живую вѣру; эту твердую надежду, эту возвышенную любовь противопоставимъ и гордой недовѣрчивости, и преступному равнодушію, и безплодному оптимизму...»

Въ 1847 году вышла книга А. Бутовскаго «Опытъ о народномъ богатствѣ или о началахъ политической экономіи». Въ этой книгѣ А. Бутовскій является приверженцемъ экономистовъ школы неограниченной свободы промышленности, причемъ авторъ придерживается идей Сэ и повторяетъ всѣ тѣ нападки, которыми осыпала эта школа новѣйшихъ экономистовъ. Книга Бутовскаго послужила для Милютина такимъ-же прекраснымъ предлогомъ для проведенія своихъ идей, какую услугу оказало впослѣдствіи для другого писателя руководство Горлова. Милютинъ написалъ по поводу этой книги сразу двѣ критическія статьи, изъ которыхъ одну помѣстилъ въ «Современникѣ» (см. «Совр.», 1847 г., т. V и VI), а другую въ—«Отечественныхъ Запискахъ» (см. «От. Зап.», 1847 г., т. 55).

Въ «Современникѣ» Милютинъ изложилъ цѣлую исторію политической экономіи, разсмотрѣвши весьма обстоятельно и подробно всѣ школы этой науки, начиная съ меркантилистовъ и физіократовъ, перейдя затѣмъ къ смитовской школѣ и закапчивая теоріями соціалистовъ. Мы не имѣемъ ни возможности, ни цѣли подробно излагать всѣ взгляды Милютина; желая ознакомить читателей нашихъ только съ основными идеями этого писателя, мы опускаемъ эту статью въ «Современникѣ», равно какъ и другую прекрасную монографію Милютина, напечатанную тоже въ «Современникѣ»: «Мальтусъ и его противники» (см. «Совр.», 1847 г., т. IV и V), и обращаемся къ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ», въ которой наиболѣе развиты именно тѣ общія основанія, изъ которыхъ исходилъ

Милютинъ въ своихъ взглядахъ на различныя политико-экономическія школы.

Статья о книгѣ Бутовскаго, напечатанная въ «Отечественныхъ Запискахъ», дорога для насъ именно тѣмъ, что въ ней Милютинъ высказываетъ основы своего міросозерцанія, и вы видите, что передъ вами стоитъ уже не гегеліанецъ, не фейербахистъ, а строгій и послѣдовательный позитивистъ. Онъ начинаетъ свою статью прямо съ изложенія основаній позитивной философіи Ог. Конта. На первой-же страницѣ онъ говоритъ о трехъ періодахъ умственнаго развитія: миѳологическомъ, метафизическомъ и положительномъ. Представляя характеристику каждаго изъ этихъ періодовъ и въ заключеніе заявляя, что настоящая цѣль умственной дѣятельности человѣка состоитъ въ томъ, чтобы возвести каждую отрасль познаній на степень науки положительной, т. е. науки въ истинномъ смыслѣ, Милютинъ находитъ, что хотя многія науки достигли этого, но рядомъ съ ними мы находимъ множество и такихъ наукъ, которыя не вышли еще изъ періода миѳологически-метафизическаго направленія. Сюда Милютинъ вмѣстѣ съ Контомъ причисляетъ всю отрасль знаній, извѣстныхъ подъ названіемъ общественныхъ наукъ.

Далѣе затѣмъ Милютинъ приступаетъ къ изъясненію причинъ подобной отсталости общественныхъ наукъ, что́ даетъ ему поводъ къ изложенію извѣстной іерархіи наукъ Ог. Конта. «Въ категорію положительныхъ наукъ—говоритъ онъ—вошли прежде всего математика и астрономія, потомъ химія и наконецъ физіологія». Если послѣдняя опоздала вслѣдствіе многосложности, спеціальности ея феноменовъ и зависимости отъ другихъ явленій, то общественная наука уступаетъ въ этомъ отношеніи даже самой физіологіи. «Явленія общественныя,—говоритъ Милютинъ,—несравненно сложнѣе и спеціальнѣе всѣхъ другихъ, имѣютъ въ себѣ гораздо менѣе самостоятельности, находясь въ самой тѣсной зависимости отъ всѣхъ другихъ явленій и въ самой близкой связи съ интересами и страстями человѣка...»

Затѣмъ второй и не менѣе важной причиной отсутствія положительности въ общественныхъ наукахъ Милютинъ полагаетъ недостатокъ разнообразія въ матеріалахъ для наблюденій, на которыхъ должна строиться каждая наука. «Общественная жизнь—говоритъ онъ—развивается медленно и постепенно; въ первое время она такъ проста и однообразна, что не представляетъ собой достаточной пищи для умственной дѣятельности. И не въ одни первыя времена общественной жизни этотъ недостатокъ матеріаловъ для наблюденія составляетъ препятствіе къ образованію положительной науки: препятствіе это сохраняется весьма долго во всей своей силѣ и изглаживается только постепенно, мало-по-малу. Можно даже сказать безъ преувеличенія, что только въ наше время сфера общественныхъ явленій достигла наконецъ той степени обилія и разнообразія, при которой является уже возможность построить общественную науку на положительныхъ основаніяхъ». Съ другой стороны, по словамъ Милютина, не изучивъ природы человѣка индивидуальнаго, невозможно было приступить къ изученію человѣка общественнаго. Но физіологическое изученіе человѣка достигло надлежащей степени совершенства только весьма недавно, въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Ниже онъ излагаетъ тѣ условія, какія необходимы, чтобы общественныя науки достигли степени положительныхъ знаній. Первое условіе, по его мнѣнію, заключается въ очищеніи этихъ наукъ отъ произвольныхъ фантазій, преобладанія воображенія, идеализма, въ подчиненіи воображенія господству методы наблюдательной и опытной; затѣмъ онъ требуетъ превращенія абсолютныхъ понятій въ относительныя; наконецъ говоритъ о необходимости отказаться навсегда отъ господствующаго стремленія къ безграничному и произвольному вліянію на общественные факты.

«То-же самое стремленіе—говоритъ онъ—руководило прежде и всѣми другими науками въ ихъ практическихъ приложеніяхъ. Но относительно явленій астрономическихъ, физическихъ, химическихъ, даже физіологическихъ это самообольщеніе человѣка, естественное въ первое время, мало-по-малу исчезло вслѣдствіе успѣховъ положительной методы, раскрывшей существованіе естественныхъ и необходимыхъ законовъ, которымъ подчиняются всѣ явленія и которые не могутъ быть отмѣнены нашимъ произволомъ. Но въ сферѣ общественной эти несбыточныя надежды, къ сожалѣнію, сохраняются до сихъ поръ во всей своей силѣ. Всѣ политическія и соціальныя школы постоянно приписываютъ человѣку власть измѣнять по произволу устройство общественныхъ отношеній и навязывать свои личныя стремленія цѣлымъ народамъ или даже цѣлому роду человѣческому. Онѣ всегда позабываютъ, что въ этой сферѣ, точно такъ же, какъ и во всѣхъ другихъ, существуетъ извѣстный порядокъ вещей, неизмѣнный и необходимый, который ограничиваетъ дѣятельность человѣка точными, постоянными предѣлами.»

Далѣе Милютинъ приступаетъ къ изложенію положеній въ пользу возможности примѣненія метода положительныхъ наукъ къ общественнымъ наукамъ. Сначала онъ говоритъ о необходимости такого-же раздѣленія общественныхъ наукъ на статику и динамику, какое существуетъ въ наукахъ естественныхъ. Далѣе онъ трактуетъ о возможности приложенія къ общественнымъ наукамъ различныхъ средствъ наукъ положительныхъ, какъ-то: наблюденія, опыта, сравненія, историческаго способа изслѣдованія. Рядомъ съ этими прямыми средствами онъ указываетъ и на косвенныя, вытекающія изъ соотношеній науки общественной съ другими науками положительными. «Въ настоящее время—говоритъ онъ—по большейчасти или не знаютъ этихъ соотношеній, или пренебрегаютъ ими: общественная наука изучается и обрабатывается обыкновенно, какъ наука отдѣльная, независимая, занимающая совершенно самостоятельное мѣсто въ энциклопедіи человѣческихъ познаній. Это стремленіе къ изолированію общественной науки чрезвычайно вредно, потому что выражаетъ въ себѣ отсутствіе одного изъ важнѣйшихъ условій положительности и доставляетъ самое значительное пособіе господству метафизическаго направленія».

Исходя изъ этихъ основаній, Милютинъ отвергаетъ за политической экономіей всякую положительность. Можно-ли назвать политическую экономію наукой, когда она не опредѣлила даже области и цѣли своего изученія? По мнѣнію Милютина, истинная наука имѣетъ цѣлью не одно изученіе фактовъ и не одно практиче-

ское приложеніе добытыхъ истинъ къ жизни, а изученіе законовъ природы. Описаніе фактовъ есть не болѣе, какъ средство, а приложеніе открытыхъ истинъ къ дѣйствительности жизни не болѣе, какъ внѣшняя цѣль. Политическая-же экономія раздѣляется на два противоположные лагеря, которые ведутъ ожесточенные споры о самыхъ цѣляхъ своей науки. Съ своей стороны экономисты считаютъ обыкновенно простое описаніе экономическихъ фактовъ нашего времени единственнымъ назначеніемъ науки.

«Вся дѣятельность экономистовъ—говоритъ Милютинъ—ограничивается обыкновенно описаніемъ и объясненіемъ существующаго порядка вещей; они собираютъ отовсюду и разлагаютъ на составныя части современныя явленія экономическаго міра, выводятъ изъ этого анализа познанія экономическихъ законовъ, дѣйствующихъ въ настоящее время и при нынѣшнихъ условіяхъ общественной жизни, и потомъ, не дѣлая никакого различія между прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ, выдаютъ всѣ открытыя ими правила, по большей части временныя, случайныя, за законы общіе, постоянные, одинаково дѣйствующіе во всѣ времена и на всѣхъ ступеняхъ развитія. Нѣкоторые даже не употребляютъ и этой уловки, а объявляютъ прямо, что политическая экономія должна быть наукой чисто-описательной, показывающей порядокъ производства, распредѣленія и потребленія богатствъ въ современныхъ обществахъ; отказываясь такимъ образомъ отъ обязанности восходить отъ наблюденія надъ фактами къ познанію ихъ законовъ, или употребляя для исполненія этой обязанности совершенно ложную методу, состоящую въ произвольномъ смѣшеніи частныхъ и временныхъ законовъ съ законами общими и необходимыми, экономисты искажаютъ кромѣ того понятіе о своей наукѣ и другимъ образомъ, исключая изъ ея сферы всѣ практическіе вопросы и не обращая никакого вниманія на приложеніе ея истинъ къ усовершенствованію экономическаго быта. Соціалисты съ своей стороны вдаются въ противоположную крайность и, пренебрегая изученіемъ дѣйствительнаго, существующаго, занимаются единственно изслѣдованіями о будущемъ и возможномъ. Политическая экономія въ ихъ глазахъ есть наука чисто-юридическая, опредѣляющая взаимныя права и обязанности общества и его членовъ въ отношеніи къ ихъ матеріальнымъ интересамъ. Основная идея ея—идея права, изъ которой должны быть выведены, по ихъ мнѣнію, рѣшенія всѣхъ общественныхъ и экономическихъ вопросовъ. Однимъ словомъ, политическая экономія, какъ понимаютъ ее соціалисты, принимающіе въ этомъ случаѣ опредѣленіе физіократовъ, есть не болѣе, какъ искусство дѣлать людей богатыми и счастливыми; ея призваніе будетъ достигнуто, если она придумаетъ такой способъ устройства общественныхъ отношеній, который обезпечитъ каждому пользованіе всѣми возможными благами и который будетъ сообразенъ съ требованіями разума и справедливости. Возможно-ли такое идеальное устройство? Можетъ-ли оно быть согласовано съ существованіемъ тѣхъ неизмѣнныхъ законовъ, которымъ безусловно подчиняется дѣятельность отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ обществъ? Объ этомъ соціалисты заботятся весьма мало, потому что, наперекоръ экономистамъ, признающимъ все существующее разумнымъ, принимаютъ обыкновенно справедливое за единственный критеріумъ возможнаго.»

Относясь такимъ образомъ критически какъ къ экономистамъ, такъ и соціалистамъ, Милютинъ не отрицаетъ впрочемъ ни тѣхъ, ни другихъ безусловно, а указываетъ только односторонности обѣихъ партій, мѣшающія политической экономіи встать на положительную почву. Съ одной стороны и описательный методъ экономистовъ имѣетъ свое значеніе въ наукѣ, съ другой — и приложеніе открытыхъ истинъ къ жизни, чего добиваются соціалисты, имѣетъ безспорную важность, но ни то, ни другое не исчерпываетъ цѣли политической экономіи: первое есть только средство науки, второе—ея внѣшняя цѣль; истинная-же, существенная цѣль политической экономіи заключается въ открытіи тѣхъ общихъ, постоянныхъ *законовъ*, по которымъ совершается матеріальное развитіе обществъ, и, только установившись въ преслѣдованіи этой цѣли, политическая экономія можетъ сдѣлаться положительной наукой.

Вотъ основные взгляды Милютина, исходя изъ которыхъ онъ анализируетъ всѣ политико-экономическія школы. Не вдаваясь въ подробности анализа, мы только замѣтимъ, что, по глубинѣ и мѣткости многихъ его замѣчаній, по ясности и силѣ изложенія, статьи его представляютъ замѣчательнѣйшее литературное явленіе своего времени. Онѣ и теперь могутъ читаться съ большимъ интересомъ и пользой, и весьма жалко, что онѣ не собраны и не изданы отдѣльно. Въ то-же время, читая ихъ, приходишь въ невольное удивленіе, что юноша, едва достигнувъ 20-ти лѣтъ, успѣлъ уже запастись такой массой знаній самыхъ разнообразныхъ и выступилъ на литературное поприще съ такими зрѣлыми, положительными и глубокими идеями. При этомъ сознаешь всю великость преждевременной утраты нашей литературой и наукой такой по истинѣ колоссальной силы, обѣщавшей огромные результаты въ своемъ развитіи. Въ то-же время нельзя не подивиться всей забывчивости нашей литературной критики, которая до сихъ поръ игнорировала этого, можно сказать, перваго вполнѣ сформировавшагося и опредѣлившагося представителя новой эпохи, новаго міросозерцанія и новаго направленія въ нашей литературѣ. И нельзя сказать, чтобы статьи его были преждевременны, чтобы онѣ прошли безслѣдно въ свое время. Напротивъ того, онѣ произвели сильное впечатлѣніе въ литературѣ и публикѣ. Въ журналахъ, враждебныхъ «Современнику» и «Отечественнымъ Запискамъ», онѣ возбудили полемику, въ которую вмѣшался и самъ Бутовскій, защищая свою книгу и свои идеи. Въ тоже время многіе второстепенные журналы («Финскій Вѣстникъ», «Литературная Газета», «Сынъ Отечества») въ своихъ рецензіяхъ на книгу Бутовскаго цѣликомъ повторили взгляды Милютина, ссылаясь на статьи его. На среду университетской молодежи какъ статьи, такъ тѣмъ болѣе лекціи Милютина, безъ сомнѣнія, остались не безъ благодѣтельнаго вліянія.

Вообще нужно замѣтить, что, начиная съ 42-го и по 47-й годъ, журналистика наша представляетъ одинъ изъ самыхъ цвѣтущихъ своихъ періодовъ, мало чѣмъ уступающихъ послѣдующему такому-же періоду отъ 58-го по 63-й годъ. Особенно, если вы примете во вниманіе стѣснительность цензурныхъ условій того времени, то приходится еще болѣе удивляться, какъ при всей этой стѣснительности литература могла однако-же высказывать такъ много. Это можно объяснить себѣ только рядомъ блестящихъ талантовъ, которые стояли въ то время во главѣ журналистики. Въ концѣ-же этого періода литература наша совершенно на-

чала принимать тотъ характеръ, который развился въ ней впослѣдствіи, въ концѣ 50-хъ годовъ. Читая «Отечественныя Записки» и «Современникъ» за 1846 и 1847 годы, вы совершенно иногда забываете, что передъ вами нумера, вышедшіе въ концѣ 40-хъ, а не въ началѣ 60-хъ годовъ. Развертываете вы журналъ, передъ вами политико-экономическое обозрѣніе совершенно въ духѣ 60-хъ годовъ, естественно-научная статья, новая эстетическая теорія, изложеніе позитивной философіи. Переглядываете вы хотя бы передовую критическую статью въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ первомъ нумерѣ 1848 года, «Русская литература въ 1848 году», и вы глазамъ своимъ не вѣрите:

«Самое важное, характеристическое явленіе современной жизни,—читаете вы, — заключается въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человѣка занимаетъ умы всѣхъ сословій. Удобство земного существованія, повсюдное довольство — вотъ главный вопросъ, вопіющая забота нашего вѣка.»

«Давно-ли Германія погружена была въ умозрѣнія?—читаете вы далѣе—теперь иное время. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась. Путешественники, посѣщавшіе Берлинъ, нашли опустѣлыми аудиторіи философскихъ наукъ. Публика охладѣла къ лекціямъ pro и contra Гегеля. Предложеніе Фихте учредить съѣзды философовъ по образцу другихъ ученыхъ съѣздовъ осталось предложеніемъ. Вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дѣлать въ холодной отвлеченности философскихъ системъ. Какимъ-же наукамъ принадлежитъ теперь первенство и сила развитія?—Наукамъ общественнымъ. Какъ земное благосостояніе человѣка замѣнило собой его идеальное, фантастическое, отвлеченное отъ земли блаженство, такъ политическая экономія изгнала философію. Но интересы дѣйствительности должны быть разлиты по всему обществу и застрахованы обществомъ; поэтому другая характеристическая черта нашего времени — соціальность предлагаетъ господствующей наукѣ главную задачу: показать законы равномѣрнаго распредѣленія блага по всѣмъ классамъ, опредѣлить разумныя начала, постоянныя правила общественнаго богатства.»

«Другая наука,—читаете вы, перевернувъ страницу, двѣ,—получившая въ послѣднее время сильное развитіе, есть физіологія. Такъ и быть долженствовало! Ея быстрые успѣхи и обширное приложеніе совпадаютъ съ осѣдлостью той мысли, что человѣкъ, призванный на землю, не долженъ упускать изъ виду своего призванія, если онъ хочетъ произвести что-нибудь прочное. Вмѣсто вражды съ живымъ организмомъ, современность начала изучать его строеніе и отправленія. Бросивъ ипотезы, она избрала методу положительныхъ изслѣдованій и при помощи ихъ увидѣла, въ чемъ истинная сила людей. Успѣхи физіологіи (и естественныхъ наукъ вообще) приводятъ къ сознанію началъ и законовъ общественной жизни: другихъ путей къ этому не существуетъ...»

«Что дѣлаетъ критика при такомъ движеніи ума? Конечно не остается праздной и неподвижной. Она измѣняетъ свою точку зрѣнія сообразно общему повороту, объясняетъ новые поводы къ своему расположенію или непріязни. Замѣчательно, что послѣдній періодъ нашей литературы, извѣстный подъ именемъ «пушкинскаго», отличается двумя характеристическими чертами: сильнымъ развитіемъ поэзіи и сильнымъ развитіемъ критики, особенно въ послѣдніе годы. Но въ этой быстро поднявшейся, хотя и молодой по времени, критикѣ легко уже подмѣтить періоды возрастанія, степени успѣха. Теперь съ чисто-эстетической арены она ступила на другія пространства, не стѣсняясь одной сферой художественнаго творчества, но имѣя дѣло съ цѣлымъ твореніемъ жизни. Она вмѣнила себѣ въ обязанность смотрѣть на произведенія словесныя съ той стороны, которой они соприкасаются съ общественнымъ бытомъ. Ея цѣль—оцѣнить литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ.»

Неправда-ли, что если я не предупредилъ бы читателя, что все это находится въ первомъ нумерѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1848 годъ, онъ подумалъ бы навѣрное, что я сдѣлалъ извлеченія изъ какой-нибудь книжки «Современника» за 59-й или 60-й годъ? Но еще болѣе приходите вы въ удивленіе, когда среди всѣхъ этихъ привѣтствій новому времени и новымъ идеямъ, вы внезапно встрѣчаете въ статьѣ прямой намекъ на вопросъ объ освобожденіи крестьянъ: «Поставить нормальныя отношенія,—читаете вы,—опредѣлить, гдѣ больше обоюдной пользы—въ барщинной обработкѣ, или въ отдачѣ земли въ наемъ—такова настоящая задача землевладѣльцевъ! Нѣкоторыя книги и журнальныя статьи показали, что люди, принимающіе участіе въ устройствѣ сказанныхъ нормальныхъ отношеній, находятъ только тѣ привилегіи важными, отъ которыхъ есть существенный интересъ».

Не трудно объяснить себѣ такое оживленіе журналистики въ концѣ 40-хъ годовъ, если мы примемъ въ разсчетъ, что и передовое, образованное общество въ это время, при всей косности массъ, при всемъ страшномъ застоѣ во всѣхъ элементахъ общественной жизни, находилось въ состояніи сильнаго броженія умовъ при переходѣ въ новую фазу своего развитія. Политическое движеніе на Западѣ и въ особенности во Франціи еще болѣе увеличивало напряженность этого броженія. Можно положительно сказать, что въ концѣ 40-хъ годовъ общество наше было уже вполнѣ готово вступить на путь движенія 60-хъ годовъ: были уже подняты многіе изъ тѣхъ философскихъ и общественныхъ вопросовъ, которые впослѣдствіи волновали умы людей 60-хъ годовъ, явились уже нѣкоторые симптомы предстоящаго раскола стараго поколѣнія и молодого, метафизиковъ и реалистовъ, людей слова и людей дѣла. Мы видѣли уже и первые приступы къ литературной полемикѣ между старой метафизической школой и новой реальной. Но движеніе это было быстро и радикально остановлено той паникой, какую произвела французская революція. Не прошло и 3-хъ, 4-хъ мѣсяцевъ послѣ появленія вышеупомянутой статьи въ «Отечественныхъ Запискахъ»—и всего этого новаго движенія, которое такъ радостно привѣтствовала статья, какъ бы и не существовало. Оно было отодвинуто на цѣлыя 10 лѣтъ назадъ. Въ прогрессивномъ лагерѣ литературы положительно остались одни беллетристы и поэты, да и то не всѣ. Герценъ былъ уже за-границей, Бѣлинскій и В. Майковъ въ могилахъ, Грановскій хандрилъ, игралъ въ карты и, входя въ различные компромиссы во внѣшней жизни, во внутренней—путался въ туманномъ мистицизмѣ и метафизическихъ рефлексіяхъ; Милютинъ все болѣе и болѣе уходилъ въ сферу науки, и если не покидалъ литературы, то говорилъ преимущественно о вопросахъ частныхъ, научно-спеціальныхъ. Начался самый безцвѣтный періодъ въ русской журналистикѣ и одинъ изъ самыхъ мрачныхъ періодовъ русской жизни. Про-

изошелъ одинъ изъ тѣхъ болѣзненныхъ перерывовъ, которые столь обыкновенны въ развитіи нашего русскаго общества.

XIII.

Нѣсколько словъ объ отношеніи качественнаго развитія мысли къ количественному и о вліяніи этого отношенія на основной законъ развитія мысли.—Состояніе общественнаго развитія въ началѣ пятидесятыхъ годовъ.—Реакція сверху и снизу.—Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства.—Безцвѣтность и произвольность критики пятидесятыхъ годовъ.—Беллетристика пятидесятыхъ годовъ.—Возвращеніе къ теоріи чистой науки.—Ученость среди молодежи и наплывъ ея въ журналистику.—Общее заключеніе о состояніи общественной мысли въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ.

Еслибы мы имѣли дѣло съ областью чистой мысли и цѣль нашего обозрѣнія ограничивалась бы тѣмъ, чтобы показать только, какъ живая человѣческая мысль, развиваясь на нашей русской почвѣ, перешла отъ мистицизма къ метафизикѣ, а потомъ отъ метафизики къ реализму, не касаясь при этомъ вопроса о томъ, какой кругъ общества обнималъ этотъ умственный процессъ, то мы могли бы считать трудъ нашъ покончennымъ предыдущей главой. Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что къ концу сороковыхъ годовъ весь этотъ процессъ мысли былъ уже совершенъ: передовая мысль наша, хотя бы въ кругу трехъ, четырехъ человѣкъ, рѣшительно встала на почву реализма, отвергла всѣ метафизическія бредни, теорію чистаго искусства замѣнила теоріей искусства для жизни; наконецъ отъ задачъ индивидуально-нравственныхъ перешла къ вопросамъ общественнымъ и политическимъ. Мы видѣли, что въ концѣ сороковыхъ годовъ были подняты уже многіе изъ тѣхъ вопросовъ общественныхъ и философскихъ, съ которыхъ началось впослѣдствіи движеніе шестидесятыхъ годовъ. Но мы намекали уже въ вступленіи къ нашему труду, что обозрѣніе одного только процесса чистой мысли не можетъ дать никакихъ ясныхъ и опредѣленныхъ понятій о ходѣ развитія общества. Процессъ развитія чистой мысли несомнѣнно совершается по той формулѣ, которую установилъ и достаточно уяснилъ Ог. Контъ въ своей «Позитивной философіи». Формулу эту, заключающуюся въ переходѣ мысли отъ миѳологіи къ метафизикѣ и отъ метафизики къ положительности, можно считать основнымъ закономъ развитія человѣческой мысли. Но при этомъ не надо забывать, что законъ этотъ касается только качественнаго развитія мысли, то-есть измѣненія мысли въ ея содержаніи. Между тѣмъ мысль развивается въ обществѣ не только качественно, но и количественно: рядомъ съ измѣненіемъ ея содержанія идетъ распространеніе ея въ обществѣ. Это количественное развитіе мысли имѣетъ свои условія и законы, и притомъ такого рода, что въ ходѣ развитія общества основной контовскій законъ развитія мысли можетъ быть не только парализованъ, но и обращенъ вспять. И въ этомъ явленіи не будетъ ничего неестественнаго. Въ природѣ нѣтъ ни одного закона, дѣйствіе котораго не могло бы быть на время парализовано и совершенно искажено другими законами, дѣйствующими въ одно съ нимъ время. Такъ напримѣръ, законы паденія тѣлъ нисколько не мѣшаютъ воздушному шару подниматься въ высшіе слои атмосферы вмѣсто того, чтобы падать на землю съ вычисленной наукой скоростью, и въ тоже время подобное нарушеніе воздушнымъ шаромъ этихъ законовъ ни мало не скандализуетъ ихъ: они остаются тѣми же законами и тотчасъ же начинаютъ свое дѣйствіе надъ воздушнымъ шаромъ, едва только прекратится вліяніе причинъ, по которымъ шаръ поднимался вверхъ. Такъ точно и въ развитіи общества мысль вмѣсто того, чтобы повиноваться контовскому закону, можетъ идти совершенно обратно: отъ реализма къ мистицизму. Контовскій законъ нисколько не теряетъ вслѣдствіе этого своего значенія и не перестаетъ дѣйствовать тамъ, гдѣ ему не мѣшаютъ постороннія вліянія. Но вы подумайте, на какую шаткую и неопредѣленную почву всталъ бы обозрѣватель развитія общества, еслибы, ограничившись однимъ контовскимъ закономъ развитія чистой мысли, онъ не принялъ бы въ соображеніе тѣхъ посторонніхъ вліяній, которыя дѣйствуютъ на этотъ законъ, ускоряютъ его или замедляютъ и совсѣмъ парализуютъ. Подобный изслѣдователь былъ бы подобенъ физику, который вздумалъ бы всѣ физическія явленія на землѣ подводить подъ законы паденія тѣлъ.

Въ области физики вы не найдете ни одного подобнаго безумца; между тѣмъ въ соціологіи заблужденія такого рода встрѣчаются на каждомъ шагу. Едва открывается одинъ какой-нибудь законъ общественной жизни, и тотчасъ вы встрѣчаете массу трактатовъ, брошюръ и статей, которые весь сложный механизмъ развитія общества стараются подвести подъ этотъ законъ и объяснить имъ. Увлечется какой нибудь мыслитель теоріей Спенсера и ужъ онъ ничего не видитъ въ человѣческой жизни, кромѣ одного безконечнаго дифференцированья. Другой всю исторію подводитъ подъ дарвиновскій законъ борьбы за существованіе и полового подбора; третій все и вся объясняетъ вліяніемъ природы на человѣка; четвертый весь прогрессъ обусловливаетъ однимъ расширеніемъ знаній; пятый все основываетъ на смѣнѣ сословій; шестой, наконецъ, на все смотритъ подъ угломъ контовскихъ періодовъ развитія мысли. Результатомъ такой односторонности въ изслѣдованіяхъ и выходитъ то, что сами по себѣ всѣ эти законы человѣческаго развитія несомнѣнны, но тѣмъ не менѣе, разсматриваемые отдѣльно, безъ всякой связи другъ съ другомъ, да къ тому еще при попыткахъ объяснить все и вся однимъ изъ нихъ, они не оправдываются фактами жизни и въ концѣ концовъ приводятъ изслѣдователя къ неизбѣжнымъ противорѣчіямъ.

Чтобы показать наглядно, насколько односторонне разсматривъ развитіе общества, принимая во вниманіе одинъ какой-нибудь законъ этого развитія, мы возвратимся къ закону Конта и постараемся наглядно показать, какъ ходъ общественной жизни можетъ жестоко обмануть изслѣдователя и поставить его втупикъ съ его тремя контовскими періодами. Это прямо относится къ нашему трактату, такъ какъ мы имѣемъ дѣло именно съ переходомъ передовой мысли нашего общества изъ мистицизма черезъ метафизику къ реализму.

Итакъ, представьте себѣ общество, состоящее изъ тысячи человѣкъ, пребывающихъ на степени перваго миѳологическаго періода развитія. Изъ этого общества выдѣляется мало-по-малу сто человѣкъ, переходящихъ во второй періодъ—метафизическій; затѣмъ изъ этихъ 100 человѣкъ 10 человѣкъ доходятъ до третьяго періода и становятся реалистами. Для изслѣдователя, имѣющаго дѣло съ областью чистой мысли, этихъ явленій совершенно достаточно, чтобы сказать вамъ, что мысль свое дѣло сдѣлала, совершила свой неизбѣжный процессъ, дошла до геркулесовыхъ столбовъ позитивизма, и затѣмъ остается только славить нашъ смѣлый вѣкъ, въ который разсѣянъ мистическій и метафизическій туманъ, повалено столько устарѣлыхъ кумировъ, сдѣлано такъ много открытій, изобрѣтеній и пр., и пр. Многіе историки и публицисты такъ обыкновенно и поступаютъ. XIX вѣкъ получилъ даже названіе *положительнаго*, вѣка паденія мистицизма и метафизики, господства точныхъ наукъ и пр., и пр. Однимъ словомъ, человѣчество дошло до третьяго періода контовской философіи, и ему остается только торжественно шествовать по пути реализма, дѣлать новыя открытія, примѣнять ихъ къ усовершенствованію человѣческой жизни, прилагать положительный методъ къ изученію законовъ соціологіи, и такъ далѣе, до безконечности. Но исторія жестоко можетъ разрушить всѣ иллюзіи оптимистовъ, какъ она не разъ уже это дѣлала.

Возвратимся къ нашему примѣрному обществу: 10 реалистовъ, 90 метафизиковъ и 900 полуднкарей, изъ которыхъ 800 только что не приносятъ жертвы пнямъ и камнямъ на распутьяхъ. Подумаешь, какой прогрессъ, какое торжество реализма! И не забудьте при этомъ, что численный перевѣсъ, большинство, слѣдовательно и матеріальная сила—на сторонѣ такихъ принциповъ, которые не очень-то допускаютъ мыслить несогласно съ ними и на всякое противорѣчіе знаютъ одно возраженіе—показаніе кулака. При такихъ условіяхъ десятокъ нашихъ реалистовъ завтра же можетъ исчезнуть безслѣдно съ лица земли. Останутся одни метафизики; а метафизики по самому существу своему—народъ шаткій: сегодня они строютъ смѣлую метафизическую систему, идущую въ разрѣзъ со всѣми господствовавшими до нихъ бреднями, завтра же они эту же самую систему могутъ подвести подъ тѣ же бредни или подъ новыя въ ихъ духѣ; для фантазіи законовъ не писано и нѣтъ ничего легче слѣдовать по теченію вѣтра, обитая въ метафизическихъ высотахъ и не чувствуя твердой почвы подъ ногами. При такихъ условіяхъ изслѣдователю можетъ представиться совершенно обратный путь мысли, вопреки всѣмъ законамъ позитивной философіи. Сегодня въ передовыхъ журналахъ и газетахъ кричатъ еще о торжествѣ реализма, о положительныхъ знаніяхъ, а завтра какая нибудь метафизическая теорія будетъ считаться вдругъ знаменемъ прогресса; на реализмъ прошлаго вѣка начнутъ смотрѣть, какъ на заблужденіе умовъ, уклонившихся отъ истиннаго пути, впавшихъ въ односторонность; а послѣ-завтра и метафизическая теорія покажется ничѣмъ болѣе, какъ кичливостью гордаго ума, дерзнувшаго и т. д., и начнется мрачное царство какого нибудь безумнаго спиритизма. Развѣ въ исторіи не бывало подобныхъ обратныхъ шествій? Развѣ Бэконъ, Локкъ, Кабанисъ не были почти совсѣмъ въ дверяхъ позитивизма, и это нисколько не помѣшало много времени послѣ нихъ господствовать неограниченно надъ всею Европой метафизикѣ Гегеля. Средневѣковой мистицизмъ, этотъ первый періодъ европейской мысли, развился изъ второго періода—метафизическаго древняго міра. Древніе пошли было по пути, начертанному Контомъ, дошли до метафизики, да потомъ взяли вдругъ, да и свернули назадъ. Этотъ печальный фактъ объясняютъ обыкновенно недостаткомъ положительныхъ знаній въ древней цивилизаціи люди, которые обусловливаютъ прогрессъ исключительно количествомъ знаній. Положимъ, что у древнихъ не было настолько знаній, чтобы они могли вступить въ третій положительный періодъ развитія, однакоже столько же знаній они имѣли, чтобы дойти до метафизики: почему же они не удержались въ своемъ метафизическомъ періодѣ, а обратились вспять—или они какъ нибудь растеряли всѣ свои знанія, забыли ихъ? Но тогда, значитъ, исторія идетъ по пути не одного только накопленія знаній, случаются въ ней, наоборотъ, и растерянія, и что же обезпечиваетъ человѣчество впредь отъ подобныхъ случайностей? Особенно если принять во вниманіе, что наша пропорція реализма—1% взята самая преувеличенная и завидная. О, еслибы въ европейскомъ народонаселеніи былъ 1 реалистъ на 100 человѣкъ населенія, какъ бы тогда кричали наши оптимисты о торжествѣ положительности! А вѣдь въ дѣйствительности весь нашъ пресловутый реализмъ—капля въ морѣ всеобщаго варварства и дикости человѣческаго рода...

Надо ли ко всему этому прибавлять, что возможность всякихъ пертурбацій и обратныхъ шествій, нисколько не опровергая контовскаго закона трехъ періодовъ, прямо зависитъ отъ количества распространенія идей въ обществѣ, чѣмъ только и обусловливается дѣйствительное торжество этихъ идей. Что толку, что древніе дошли до метафизики, когда метафизиковъ была среди нихъ ничтожная горсть, потонувшая въ массахъ, коснѣвшихъ въ политеизмѣ. Поэтому, мы не имѣемъ никакого права впадать въ розовый оптимизмъ, мѣряя развитіе общества и человѣчества на нашъ субъективный аршинчикъ и предполагая, что если въ нашемъ умѣ восторжествовали какія нибудь начала, то это значитъ, что начала эти восторжествовали повсюду, и человѣчество до нихъ дожило. Подобное заблужденіе свойственно только метафизикамъ, которые подъ человѣчествомъ разумѣютъ отвлеченную идею, одинаково осуществляющуюся въ массѣ населенія земного шара и въ одномъ человѣкѣ. Такъ, Гегель полагалъ, что безусловная идея, создавши всю вселенную, дошла до апогея своего развитія въ лицѣ его—Гегеля, додумавшагося до своей философіи.

На Западѣ впрочемъ очень простительно ученымъ и публицистамъ кичиться торжествомъ прогресса и новыхъ идей, такъ какъ обратныя шествія тамъ рѣдки, медленны, совершаются втеченіи иногда цѣлыхъ столѣтій, и легко ихъ совсѣмъ не замѣчать. Къ тому же большинство писателей, принадлежа къ привилегированнымъ классамъ, носителямъ европейской образованности, съ давнихъ временъ привыкли считать

прогрессъ своего меньшинства прогрессомъ всего человѣчества и рѣдкіе изъ нихъ замѣчаютъ, на какой вулканической почвѣ воздвигнутъ весь этотъ призрачный прогрессъ.

Но у насъ подобныя заблужденія крайне непростительны, такъ какъ у насъ передовые кружки, носители новыхъ идей, обыкновенно состоятъ изъ нѣсколько добрыхъ пріятелей, которые составляютъ обыкновенно контрастъ не только съ необразованными массами, но даже и съ меньшинствомъ, имѣющимъ претензію считаться образованнымъ. Чуть не каждыя десять лѣтъ эти добрые пріятели стушевываются со всѣми своими прогрессивными успѣхами подъ напоромъ всеобщаго невѣжества, и развитіе общественной мысли начинается сызнова, съ мистическаго періода.

Такъ, мы уже видѣли, что въ то время, когда передовые кружки въ двадцатые годы интересовались различными общественными вопросами, для образованныхъ массъ не существовало никакихъ другихъ интересовъ, кромѣ эстетическихъ. Высшимъ словомъ прогресса для этой массы были стихотворенія Пушкина; единственнымъ существеннымъ вопросомъ — вопросъ о томъ, какой школѣ поэзіи слѣдуетъ существовать: классической или романтической? Сошли съ поприща жизни люди двадцатыхъ годовъ, общество такъ и осталось со своимъ романтизмомъ и Пушкинымъ, причемъ развитіе началось снова съ мистицизма, причемъ передовые мыслители тридцатыхъ годовъ, стоя на почвѣ авторитета и преданія, начали толковать о тщетѣ призрачныхъ вопросовъ дня и о неприличіи непосвященнымъ людямъ ниспускаться въ область публицистики.

Нѣчто подобное повторилось въ концѣ сороковыхъ годовъ. Между тѣмъ какъ въ нѣсколькихъ передовыхъ кружкахъ совершился переворотъ отъ метафизики къ реализму и отъ вопросовъ индивидуально-нравственныхъ къ общественнымъ, въ обществѣ, подъ вліяніемъ этихъ кружковъ, только-что началось философское и нравственное броженіе въ самомъ первомъ его періодѣ. Въ то время какъ передовое слово изъ устъ Бѣлинскаго громило Гоголя за его «Переписку съ друзьями», эта самая «Переписка» была еще тревожнымъ вопросомъ для огромнаго большинства общества. Суровый аскетизмъ въ видѣ подавленія грѣховной плоти или мучительныя рефлексіи, эти первые проблески сомнѣнія, были заурядными явленіемъ въ обществѣ впродолженіи почти всѣхъ пятидесятыхъ годовъ. Типъ Лизы, героини повѣсти Тургенева «Дворянское Гнѣздо», былъ современнымъ женскимъ типомъ даже во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ

Рядомъ съ аскетизмомъ другимъ передовымъ словомъ въ обществѣ была *гуманность*,—понятіе, принадлежащее къ области чисто индивидуально-нравственной. Носясь съ вопросами о гуманности, общество показывало этимъ, что оно только-что додумалось до основныхъ началъ гражданственности, только-что дошло до отрицанія грубаго азіатскаго варварства, въ которомъ до того времени утопало. Чтобы понять всю элементарность этого слова, которое такъ гремѣло въ концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятыхъ годовъ, надо только принять въ соображеніе, что въ понятіи *гуманность* на первомъ планѣ стоялъ вопросъ о томъ, бить или не бить, причемъ только весьма немногіе смѣльчаки рѣшали этотъ вопросъ полнымъ отрицаніемъ битья, и считались вслѣдствіе этого крайними радикалами; большинство-же благонамѣренныхъ гражданъ сводило вопросъ на то, чтобы бить, но только съ приличной просвѣщенному человѣку кротостью, вѣжливостью и умѣренностью. Это и считалось гуманностью на обыденномъ языкѣ.

Рука объ руку съ гуманностью шелъ столь-же элементарный вопросъ о честности. Вѣдь если подумать, что вопросъ о честности, занимавшій человѣчество еще во времена Моисея, могъ быть вопросомъ у насъ въ пятидесятыхъ годахъ, то сами по себѣ разсѣеваются всѣ иллюзіи о гигантскихъ шагахъ нашего прогресса. Причемъ даже и въ этомъ отношеніи люди, которые подъ честностью разумѣли вѣрность своимъ убѣжденіямъ и готовность поплатиться кое-какими матеріальными благами, не говоря уже о чемъ другомъ,—такіе люди считались крайними радикалами. Большинство-же ограничивалось болѣе скромнымъ вопросомъ: грабить или не грабить, причемъ пускались въ тончайшія разграниченія доходовъ грѣшныхъ отъ безгрѣшныхъ и задавались рѣшеніемъ глубочайшихъ нравственно-философскихъ вопросовъ въ томъ родѣ, что можно-ли считать безчестнымъ поступкомъ, если судья, рѣшая ваше дѣло правильно и по закону, принимаетъ отъ васъ вознагражденіе за то, что, приступая къ вашему дѣлу не въ очередь, онъ этимъ ускоряетъ его ходъ, или преступаетъ-ли законы честности штабсъ-капитанъ, если солдаты у него сыты и одѣты, а у него все-таки остается сверхъ всего экономія, которую куда-же дѣть?—не въ казну-же представлять обратно!

При такой всеобщей неразвитости умовъ большинства образованнаго общества нѣтъ ничего мудренаго, что первые проблески реальной мысли, въ видѣ статей В. Майкова и Милютина, остались совершенно незамѣченными и непонятыми обществомъ, которое выносило крайне смутныя и неопредѣленныя понятія даже изъ статей Бѣлинскаго или лекцій Грановскаго, стоявшихъ гораздо ближе къ развитію большинства.

Если даже такой могучій умъ, какъ умъ Бѣлинскаго, не могъ осилить вопроса о томъ, въ чемъ заключается истинная положительность мысли, явившаяся на смѣну метафизики и романтизма, и смѣшалъ положительность съ мѣщанской узкой практичностью Петра Ивановича Адуева, то чего-же было ожидать отъ его читателей? Въ образованной средѣ всѣ эти толки литературы о положительности ограничились насмѣшками надъ романтиками, восклицавшими нѣкогда, что деньги—тлѣнъ, да прославленіемъ комфорта и энергическаго наживанія капиталовъ. Идеаломъ подобной положительности явился практическій дѣятель, заводящій фабрики, выписывающій изъ Англіи машины, обрабатывающій поля по всѣмъ правиламъ агрономіи съ Либихомъ въ рукахъ, ворочающій милліонами—однимъ словомъ, Штольцъ въ романѣ Гончарова. Изъ послѣдователей подобнаго идеала вышли впослѣдствіи учредители безчисленныхъ акціонерныхъ обществъ, возникавшихъ и лопавшихся, какъ мыльные пузыри, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ,

концессіонеры, биржевые игроки и всякаго рода аферисты, о которыхъ и понятія не имѣли патріархальные сороковые годы.

Если даже для Бѣлинскаго экономическіе вопросы, волновавшіе западную Европу, представлялись хотя и интересными съ научной точки зрѣнія, но въ то-же время чѣмъ-то совершенно чуждымъ нашей жизни въ такой-же степени, будто какой-нибудь китайскій вопросъ объ отношеніи буддизма къ конфуціеву ученію, то можно себѣ представить, какъ должна была относиться ко всѣмъ этимъ толкамъ о пролетаріатѣ, Мальтусѣ, Адамѣ Смитѣ и Луи-Бланѣ образованная среда, тѣмъ болѣе, что среда эта состояла почти сплошь изъ людей обезпеченныхъ, сытыхъ. По одному этому для людей этихъ были совершенно чужды и непонятны стремленія западноевропейскихъ массъ. Къ тому-же люди эти привыкли у себя дома смотрѣть на эти массы, какъ на безсловесныя, вьючныя животныя. Мы видѣли, что даже такой гуманный мыслитель, какъ Грановскій, и тотъ въ торжествѣ массъ не предвидѣлъ ничего лучшаго, какъ гибель цивилизаціи. Правда, образованнѣйшіе люди въ душѣ не прочь были отъ освобожденія крестьянъ. Но это были тайныя желанія совершенно платоническаго свойства, исполненіе которыхъ пугало опасеніемъ всякихъ ужасовъ анархіи и представлялось въ отдаленномъ будущемъ. Къ тому-же эти платоническія желанія нисколько не мѣшали образованнѣйшимъ людямъ не только пользоваться всѣми своими правами надъ крестьянами, но и злоупотреблять ими...

Литературные толки о недостаточности однихъ личныхъ, узко-эгоистическихъ интересовъ, о необходимости жизни общественной, исполненной гражданскихъ доблестей, отражались въ образованной средѣ смутными мечтами, что какъ бы это хорошо было говорить цицероновскую рѣчь передъ какимъ-нибудь многочисленнымъ собраніемъ и быть прерываемому громкими аплодисментами. О содержаніи цицероновской рѣчи просвѣщеннымъ Маниловымъ не приходило и въ голову. А такъ какъ мечты оставались мечтами, не представляя въ дѣйствительности ни малѣйшаго осуществленія, то вся гражданская доблесть просвѣщенныхъ Маниловыхъ сводилась на административную карьеру, причемъ Маниловъ или втягивался въ рутину чиновничьей жизни и обращался въ обыденнаго чиновника, или-же, не поладивъ на службѣ, гордо выходилъ въ отставку и вступалъ въ рядъ унылыхъ Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, заваливался на обломовскій диванъ и ворчалъ про себя такъ, чтобы этого никто не услышалъ, на судебныя и административныя неправды, соображая при этомъ, что законы святы, но исполнители лихіе супостаты, и что стоитъ только на тѣ-же мѣста, при всѣхъ тѣхъ-же порядкахъ, поставить людей европейски-образованныхъ, вродѣ ихъ, просвѣщенныхъ Маниловыхъ, то, безъ сомнѣнія, они не замедлятъ искоренить всяческое зло и водворить повсюду правду, законъ и порядокъ.

Ко всему этому надо присовокупить еще то важное соображеніе, что при общей неразвитости образованной среды самыя условія жизни ея не очень-то благопріятствовали тому, чтобы новыя идеи особенно глубоко проникали въ нее, утверждались въ ней и развивали ее. Здѣсь невольно припоминается всѣмъ извѣстная притча о сѣятелѣ и о различныхъ почвахъ, на которыя попадало сѣмя его. Надо признаться, что почва, на которую по преимуществу падали сѣмена литературной мысли въ сороковые годы, была самая неблагопріятная. Это была такая среда, которая, по свойству своего быта и по всѣмъ наслѣдственнымъ качествамъ, должна была отнестись къ новымъ идеямъ враждебно, потому что эти идеи въ концѣ концовъ сводились къ отрицанію самаго ея существованія. Если-же она и увлекалась этими идеями, то увлекалась легкомысленно, поверхностно, ради забавы, такъ какъ вся жизнь ея была рядомъ забавъ и развлеченій отъ скуки и бездѣлья. Все это увлеченіе сводилось на то, чтобы въ сумерки, между обѣдомъ и картами, потолковать о Мальтусѣ и о матеріяхъ важныхъ. А чуть встрѣчался мало-мальски серьезный человѣкъ, видѣвшій въ литературныхъ идеяхъ вопросы жизни, а не праздной забавы, среда эта тотчасъ-же начинала открещиваться отъ этихъ идей, и оказывалось тогда, что единственные вопросы, которые могутъ ее серьезно занимать,—это вопросы объ итальянской оперѣ, преимуществахъ французской кухни передъ англійской и о томъ, что предпочтительнѣе—страстность брюнетки или нѣжность блондинки.

При всѣхъ этихъ условіяхъ понятно, что едва сошли съ литературнаго поприща передовые и лучшіе дѣятели сороковыхъ годовъ, и отъ всего того движенія идей, которое мы разсматривали въ цѣломъ рядѣ предшествовавшихъ главъ, не осталось повидимому и слѣда. Этого мало сказать, что движеніе было остановлено, парализовано; нѣтъ: оно было словно отброшено назадъ, къ концу тридцатыхъ и началу сороковыхъ годовъ.

Когда въ нашей литературѣ говорятъ о тѣхъ мрачныхъ и глухихъ годахъ, которые послѣдовали за 1848 годомъ, то характеризуютъ обыкновенно только одну сторону реакціи: такъ, описываютъ тотъ страхъ, какой обуялъ все общество и воцарилъ повсюду мертвое молчаніе, описываютъ, какъ люди говорили шепотомъ о вещахъ самаго невиннаго свойства, вродѣ того, что будочникъ ограбилъ прохожаго, какъ цензура дошла до такой строгости, что вымарала вольный духъ изъ поваренной книги, какъ ограничили число студентовъ въ университетахъ до 300 человѣкъ, и носились слухи о совершенномъ закрытіи университетовъ, какъ по всѣмъ мужскимъ заведеніямъ вводили маршировку и пр., и пр. Но при этомъ опускаютъ совершенно другую сторону той-же реакціи—реакцію самого общества, происшедшую вслѣдствіе той причины, что, по выбытіи изъ строя людей передового движенія мысли, общество, не успѣвшее еще догнать этихъ людей, осталось при идеяхъ, давно уже разбитыхъ и отвергнутыхъ литературой сороковыхъ годовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя конечно пенять на литературу, что въ пятидесятые годы она не могла ясно и прямо высказывать взгляды, какіе проповѣдывались въ петербургскихъ журналахъ сороковыхъ годовъ, но вѣдь никто-же не могъ заставить литературу проповѣдывать взгляды противоположные. А между тѣмъ мы именно видимъ это въ литературѣ пятидесятыхъ годовъ.

Такъ, въ критикѣ снова воцарилась теорія чистаго искусства и метафизическая эстетика. Мы не будемъ уже говорить о «Москвитянинѣ», гдѣ царствовалъ Ап. Григорьевъ и на основаніи идей чистаго искусства ликовалъ о кончинѣ натуральной школы, этой, по его мнѣнію, литературѣ задничъ дворовъ и грязныхъ подваловъ, которая умышленно представляла жизнь въ мрачномъ видѣ, вслѣдствіе раздраженнаго самолюбія писателей этой школы. «Москвитянинъ» былъ журналъ, отпѣтый еще во времена Бѣлинскаго. Но и въ петербургскихъ журналахъ — «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современникѣ» — критика приняла то-же исключительно эстетическое направленіе. Въ обоихъ журналахъ помѣщались скучныя, сухія статьи, трактовавшія о художественныхъ достоинствахъ стихотвореній Фета, Тютчева и Ап. Майкова. Выходила повѣсть Тургенева, романъ Хвощинской, комедія Островскаго, и тотчасъ-же въ каждомъ журналѣ слѣдовала казенная рецензія, монотонно пересказывающая содержаніе произведенія, отмѣчающая и перепечатывающая лучшія и наиболѣе художественныя мѣста, затѣмъ дѣлающая ни на чемъ не основанныя замѣчанія о томъ, что тотъ или другой характеръ не выдержанъ, та или другая сцена излишня и т. п. И все это совершенно произвольно, случайно, безъ всякихъ руководящихъ идей. Читая рецензіи въ двухъ-трехъ журналахъ о какой-нибудь комедіи Островскаго, вы можете думать и соображать, сколько угодно времени, и ни за что не догадаетесь, на какомъ основаніи эта комедія въ одномъ журналѣ расхвалена, въ другомъ признана слабой, почему критику показалось вдругъ, что «Бѣдная невѣста» лучше или хуже, чѣмъ «Свои люди сочтемся»... Въ тридцатые годы подобныя произвольныя сужденія въ петербургскихъ журналахъ легко объясняются личностями и обиженными самолюбіями, и вамъ стоитъ заглянуть за кулисы литературной жизни, чтобы сейчасъ-же для васъ стало ясно, на какомъ основаніи рецензентъ расхвалилъ или охаялъ автора. Въ сороковые-же годы сужденія критики были еще произвольнѣе, потому что очень часто не основывались рѣшительно ни на чемъ, хотя бы даже и на личностяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, какую-же личность могъ имѣть рецензентъ къ «Бѣдной невѣстѣ», ставя ее выше или ниже «Своихъ людей»? Здѣсь очевидно разгуливалъ на просторѣ вышедшій изъ всякихъ границъ произволъ чистой эстетики.

Что-же, какъ не подобный произволъ, заставило неизвѣстнаго рецензента «Отечественныхъ Записокъ» признать въ повѣстяхъ Хвощинской, кромѣ всѣхъ другихъ достоинствъ, какой-то еще особенный поэтическій колоритъ или ароматъ, который будто бы давно уже не встрѣчался въ русскихъ повѣстяхъ?

Понятно, что подъ вліяніемъ такой безпутной критики и беллетристика пятидесятыхъ годовъ, въ свою очередь, блуждала въ потемкахъ. Большинство беллетристовъ пятидесятыхъ годовъ были совершенно дѣтьми толпы. Движеніе сороковыхъ годовъ вызвало ихъ на литературное поприще, направило ихъ поэтическую дѣятельность, возбудило въ нихъ многіе тревожные вопросы; но оно прекратилось, когда они только-что начинали мыслить, и передовыя идеи, результаты этого движенія, остались для нихъ недоступны. Одни изъ нихъ, каковы напримѣръ Гончаровъ, Писемскій, Достоевскій, остались всецѣло въ первомъ періодѣ мышленія на почвѣ преданія и авторитета. О нихъ смѣло можно сказать, что сороковые годы не смутили ихъ младенческой невинности, и мысль ихъ осталась въ полной неприкосновенности на степени міросозерцанія тридцатыхъ годовъ. Другіе-же восприняли кое-какіе обрывки изъ идей сороковыхъ годовъ. Такъ напримѣръ, Авдѣевъ увлекся идеей женской эмансипаціи, но понялъ ее въ узкомъ смыслѣ эмансипаціи одной чувственности. Григоровичъ изъ всего движенія сороковыхъ годовъ вынесъ единственное новое для него убѣжденіе, что и мужики могутъ такъ-же любить и страдать, какъ и дворяне. Развѣ только объ одномъ Тургеневѣ можно сказать, что сороковые годы задѣли мысль его сильнѣе, чѣмъ прочихъ современныхъ ему беллетристовъ, по крайней мѣрѣ онъ дошелъ въ своемъ развитіи до періода метафизики и рефлексій. Но и онъ остановился въ самомъ началѣ этого періода на такомъ еще распутьи, что вы и не разберете, къ которому пункту онъ ближе — къ тому-ли, куда движеніе сороковыхъ годовъ его направило, или къ тому, изъ котораго онъ вышелъ. То вы встрѣтите въ его произведеніяхъ порывы къ свободѣ, къ счастью, къ земнымъ положительнымъ наслажденіямъ, то вдругъ огорошитъ онъ васъ мрачнымъ, аскетическимъ вопросомъ, словно выхваченнымъ изъ «Переписки съ друзьями» Гоголя, вродѣ того, что имѣемъ-ли мы право на жизнь и не есть-ли преступленіе уже то, что мы живемъ? То онъ смѣло рушитъ всѣ узкіе семейные предразсудки и перегородки, возвеличивая передъ вами Елену въ «Наканунѣ» или Наталью въ «Рудинѣ», которыя готовы пренебречь мнѣніемъ свѣта, принужденіями родныхъ и, разорвавши со всѣмъ старымъ, ринуться вслѣдъ за Рудинымъ и Инсаровымъ на широкій просторъ жизни; то вдругъ онъ пускается въ томительныя рефлексіи, въ этихъ самыхъ порывахъ къ свободѣ, счастью и широкому простору жизни видитъ что-то преступное, ему мерещится какой-то роковой предѣлъ, перейдя за который непремѣнно должны слѣдовать тоска по всему милому старому, болѣзненная сердечная боль вслѣдствіе разрыва съ нимъ, угрызенія совѣсти и призраки всякаго рода. Въ этомъ отношеніи Тургеневъ остался романтикомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Въ то же время вы не разберете, принадлежитъ-ли онъ къ славянофиламъ или западникамъ. Въ этомъ отношеніи онъ дѣлитъ судьбу со всѣми прочими людьми своего вѣка, Бѣлинскимъ Грановскимъ и пр., стоя на распутьи между Петербургомъ и Москвой и не зная, въ какую сторону направить путь. Такъ, въ «Дымѣ» напримѣръ онъ смѣется надъ славянофилами, надъ поисками народности въ искусствѣ, говоря, что единственнымъ побудительнымъ словомъ для насъ должно быть слово «цивилизація», и выражая мысль, что въ этомъ словѣ «цивилизація» образцомъ для насъ до сихъ поръ служитъ Европа. Въ Рудинѣ-же онъ высказываетъ наоборотъ, что *внѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ* и проч.

Что касается Островскаго, то о міросозерцаніи его трудно судить по его комедіямъ, слишкомъ объектив-

нымъ; біографическихъ-же свѣдѣній о немъ мы никакихъ не имѣемъ, но и у него вы найдете слѣды тѣхъ-же колебаній между Москвой и Петербургомъ. Въ однѣхъ комедіяхъ его тѣ черты стараго патріархальнаго быта, которыя сохранились въ средѣ нашего купечества, представляются вамъ въ самомъ мрачномъ видѣ вполнѣ отрицательно; въ другихъ-же комедіяхъ, какъ напримѣръ «Не въ свои сани не садись» или «Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ», тотъ-же самый патріархальный бытъ представленъ въ нѣсколько идеальномъ свѣтѣ, въ столкновеніи съ гнилыми элементами нашей жизни, растлѣнными подъ вліяніемъ западной цивилизаціи. По основной идеѣ, вышеупомянутыя комедіи весьма близко сходятся съ тенденціями многихъ повѣстей Кохановской, написанныхъ вполнѣ въ славянофильскомъ духѣ.

Далѣе затѣмъ, если спросите, какой эстетической теоріи придерживалось большинство беллетристовъ пятидесятыхъ годовъ, то и на этотъ вопросъ придется дать вамъ самый неопредѣленный отвѣтъ. Повидимому подъ вліяніемъ движенія сороковыхъ годовъ они слѣдовали теоріи искусства для жизни. По крайней мѣрѣ вы видите въ большинствѣ повѣстей и романовъ пятидесятыхъ годовъ попытки провести какой-нибудь взглядъ на изображаемую дѣйствительность, выразить какую-нибудь думу, вопросъ, проанализировать тотъ или другой типъ, то или другое явленіе жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ васъ поражаетъ въ беллетристахъ пятидесятыхъ годовъ полное отсутствіе серьезнаго и глубокаго изученія жизни, стремленія расширять по возможности кругъ своихъ наблюденій и стараться уловить жизнь во всемъ ея безконечномъ разнообразіи и единствѣ этого разнообразія. Напротивъ того, вы видите передъ собой эпикурейцевъ и диллетантовъ, которые рисуютъ вамъ первое, что только подвернется имъ подъ руку, совершенно какъ чистые художники, послѣдователи искусства для искусства. Наведетъ ихъ подмѣченный въ жизни фактецъ на какое-нибудь раздумьице, по большей части исключительно моральнаго свойства,—ладно; а не то, не прогнѣвайтесь, выйдетъ передъ вами безцѣльная картинка во фламандскомъ или итальянскомъ вкусѣ. При этомъ надо замѣтить, что такъ какъ жизнь большинства беллетристовъ пятидесятыхъ годовъ вращалась въ узкомъ и тѣсномъ кругу замкнутой среды, къ которой они принадлежали, такъ какъ и въ этой средѣ они наблюдали жизнь по преимуществу съ лицевой ея стороны, какъ она проявлялась въ салонахъ, разодѣтая, приглаженная, припомаженная, то можете себѣ представить, какъ узокъ и однообразенъ былъ кругъ образовъ беллетристики пятидесятыхъ годовъ.

Послѣ той пестроты образовъ и типовъ изъ всѣхъ слоевъ жизни, какимъ отличается литература въ эпоху Гоголя, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, мало-по-малу вся беллестристика сводится на три-четыре типа: типъ лишняго человѣка, фразера или байбака, томной дѣвы, жаждущей любви, да молодой женщины, неудовлетворенной Менелаемъ и жаждущей Париса. Вотъ и всѣ передовые типы, которые разрабатывала беллетристика пятидесятыхъ годовъ.

Началось безконечное повтореніе однихъ и тѣхъ-же романсовъ: «Онъ меня разлюбилъ, онъ меня погубилъ», или «Скажите ей, какъ пламенно и нѣжно», или «Старый мужъ, грозный мужъ» и т. п. Такимъ образомъ беллетристика вся свелась на анализъ одной только стороны жизни—всевозможныхъ млѣній, воздыханій и терзаній любви. Да и то, какой-же это былъ анализъ? Это было просто изображеніе различныхъ любовныхъ сценъ, исполненное утонченнаго, изящнаго сладострастья, причемъ писатели, подъ вліяніемъ преобладающей критики, заботившейся только о художественныхъ колоритахъ и ароматахъ, о томъ лишь и думали, какъ бы превзойти одинъ другого въ изображеніи какого-нибудь сельскаго ландшафта, свиданія при блескѣ луны, женской прелести и граціи и тому подобныхъ художественныхъ принадлежностей, нисколько, если хотите, не лишнихъ, но въ которыя нерѣдко уходилъ весь художникъ, полагая на нихъ всю сущность своего произведенія и забывая за ними о болѣе серьезныхъ и высокихъ цѣляхъ искусства.

Рядомъ съ критикой и беллетристикой сдѣлала нѣсколько шаговъ назадъ и наука. Въ сороковые годы въ университетахъ читалась философія и не было ни одного передового талантливаго ученаго и профессора, которые не старались бы обобщить философскими идеями изучаемые ими факты и въ то-же время популяризировать свою науку. Это было время публичныхъ чтеній и общихъ курсовъ, показывающихъ, что ученые сороковыхъ годовъ не запирались отъ толпы, не корчили изъ себя таинственныхъ адептовъ высшаго знанія, доступнаго только для немногихъ; они спѣшили подѣлиться съ толпой своими знаніями и въ то же время связать, такъ или иначе, свою науку съ жизнью. Однимъ словомъ, это было время Грановскаго, который, приготовляясь къ каѳедрѣ, уже додумался до тщеты для русскаго профессора забиваться въ мелочную разработку фактовъ; это было время появленія статей: «Буддизмъ въ наукѣ», «Цехъ ученыхъ», «Писемъ объ изученіи природы».

Въ пятидесятые годы обо всемъ этомъ движеніи науки къ толпѣ, къ жизни какъ будто исчезло всякое и преданіе. Снова ученые и профессора замкнулись въ непроницаемые цехи, снова сухая, мелочная, схоластическая разработка мелкихъ фактиковъ сдѣлалась единственнымъ содержаніемъ науки и снова всплыла наверхъ, казалось бы давно уже потопленная, теорія чистой науки.

Здѣсь мы можемъ позволить себѣ прибѣгнуть къ нашимъ личнымъ воспоминаніямъ и присовокупить, что безъ ужаса мы не можемъ вспомнить объ этомъ времени, когда почти вся учащаяся молодежь состояла изъ зубрилъ, не думавшихъ ни о чемъ другомъ какъ только о скорѣйшемъ окончаніи курса и о полученіи аттестата, и изъ студентовъ занимающихся, подъ которыми разумѣлись ученые юные-старцы. Это были несчастные аскеты, которые чуть что не съ пятнадцати лѣтъ, съ шестого класса гимназіи, прямо съ Смарагдова и Зеленецкаго, когда въ головѣ ихъ не успѣвало еще образоваться двухъ-трехъ связныхъ мыслей, уже избирали какую-нибудь узенькую спеціальность, и блѣдные, изнеможенные, вѣчно сосредоточенные

въ себя, въ свою глубокую ученость, просиживали дни и ночи надъ фоліантами, составляя словарь какой-нибудь лѣтописи или сличая различные варіанты какого-нибудь римскаго писателя. Профессора, въ свою очередь, поощряли въ молодыхъ ученыхъ такія занятія. Студентъ не составилъ еще никакого связнаго понятія объ общемъ историческомъ ходѣ развитія человѣчества или о царствахъ животныхъ, а ему уже совѣтывали спеціально заняться изслѣдованіемъ салическихъ законовъ, государственнаго устройства Іерусалимскаго королевства или какого-нибудь отряда насѣкомыхъ. Общество, не додумавшееся до идей сороковыхъ годовъ или забывшее ихъ, въ свою очередь съ благоговѣніемъ смотрѣло на подобную ученость, и чѣмъ спеціальнѣе, уже, чѣмъ непонятнѣе для толпы являлось ученое изслѣдованіе, тѣмъ болѣе внушало оно уваженія. Подобное поклоненіе чистой и спеціальной учености проникло даже въ журнальную литературу. Толстые журналы тѣмъ болѣе внушали уваженія къ себѣ, чѣмъ болѣе наполнялись сухими, ни для кого неинтересными и никому непонятными спеціально-учеными статьями. Уже около половины пятидесятыхъ годовъ на «Современникъ» начали смотрѣть съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, какъ на журналъ пустой и легкомысленный, беллетристическій и фельетонный по преимуществу, хотя и въ немъ встрѣчались порой статьи чисто-ученыя, каковы напримѣръ: «О русской журналистикѣ прошлаго столѣтія» — статьи В. Милютина, или его-же трактатъ объ Алкивіадѣ. Наибольшимъ-же почетомъ за свою ученость славились «Отечественныя Записки». Журналомъ этимъ не брезгали самые записные адепты чистой науки. И еще бы: вся художественная критика и полемика были загнаны въ этомъ журналѣ въ особенный маленькій отдѣлъ, подъ названіемъ «Журналистики». Въ критическомъ-же отдѣлѣ помѣщались статьи вродѣ изслѣдованія о лѣтописи Якимовской, о русскихъ журналахъ съ 1764 по 1767 годъ, о сказкахъ въ XIII и XIV вѣкахъ и въ особенности объ одной переведенной съ арабскаго языка изъ «Тысячи одной ночи» и проч.

И такъ, вотъ вамъ общая картина состоянія общества и литературы въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ.

Полное забвеніе всѣхъ идей сороковыхъ годовъ; возвращеніе къ теоріи чистаго искусства и чистой науки; беллетристика, посвященная интересамъ одного узенькаго кружка образованной среды и притомъ изображающая этотъ кружокъ съ одной только стороны тонкихъ ощущеній любви въ разныхъ ея фазахъ и позахъ. А въ обществѣ — или безсмысленное, безсознательное, пошлое прозябаніе, или едва пробудившаяся мысль, путающаяся въ томительныхъ рефлексіяхъ и бросающаяся изъ мрака противорѣчій и сомнѣній всякаго рода то въ мрачный аскетизмъ, то въ поверхностный и легкомысленный эпикуреизмъ чувственныхъ наслажденій и оргій, то въ спеціальную узенькую ученость, то въ такую-же узенькую, эгоистическую практичность. А надъ всѣмъ этимъ возвышался квасной патріотизмъ, возбужденный и раздутый до послѣдней крайности крымской войной, кричавшій на страницахъ «Сѣверной Пчелы» или «Москвитянина» о забросаніи шапками Европы, гремѣвшій трескучими драмами воскресшаго Кукольника на Александринскомъ театрѣ или воинственными куплетами, перепечатываемыми во всѣхъ журналахъ и возвѣщавшими русской публикѣ о томъ, какъ

Въ воинственномъ азартѣ,
Воевода Пальмерстонъ
Поражаетъ Русь на картѣ
Указательнымъ перстомъ.

XIV.

Переходъ отъ индивидуально-нравственныхъ идей къ общественнымъ. — Неподготовленность общества къ общественнымъ вопросамъ. — Средневѣковыя точки зрѣнія на реформы. — Статья Пирогова «Вопросы жизни». — Возрожденіе идей сороковыхъ годовъ. — Значеніе въ этомъ отношеніи петербургскаго университета. — Метаморфоза «Современника». — Статьи «Очерки гоголевскаго періода» и «Лессингъ». — Возбужденіе философскаго броженія въ обществѣ.

Говоря въ предыдущей главѣ о томъ, что общество не успѣло усвоить себѣ идей сороковыхъ годовъ, мы вовсе не думаемъ этимъ утверждать, чтобы все движеніе сороковыхъ годовъ прошло безслѣдно и не оказало никакого вліянія на общество. Напротивъ того, вліяніе было громадно, только оно заключалось не въ непосредственномъ усвоеніи со стороны общества идей и міросозерцанія, до котораго додумались передовые люди сороковыхъ годовъ, а въ томъ возбужденіи умовъ, какое произвело это движеніе. Хотя общество не дошло до реализма, стоявшаго во главѣ западной мысли, но во всякомъ случаѣ и то было большимъ прогрессомъ, что отъ вопросовъ эстетическихъ, которые исключительно занимали образованную среду въ концѣ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, движеніе сороковыхъ годовъ привело эту среду къ вопросамъ философскимъ и нравственнымъ, отъ которыхъ одинъ шагъ до вопросовъ чисто общественныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни элементарны были тѣ идеи о гуманности, о честности, о принесеніи пользы обществу, и хотя повидимому это были идеи исключительно индивидуальныя, касающіяся поведенія личности, но едва изъ теоріи онѣ переходили къ практикѣ, тотчасъ-же приводили къ вопросамъ общественнымъ. Человѣкъ, лично стремящійся къ гуманности, честности и принесенію пользы, естественно желалъ, чтобы и всѣ его сограждане стремились къ тому-же, и если онъ вокругъ себя не находилъ этого, то естественно онъ дѣлался протестантомъ противъ всѣхъ окружавшихъ его общественныхъ золъ и несовершенствъ. Если-же развитой человѣкъ кромѣ того во всѣхъ своихъ гуманныхъ и высокихъ стремленіяхъ постоянно встрѣчалъ отпоръ со стороны не однѣхъ только личностей, поступающихъ вопреки этимъ стремленіямъ, а со стороны самыхъ порядковъ общества, и оказывалось въ концѣ-концовъ, что порядки эти шли совершенно въ разрѣзъ съ стремленіями развитого человѣка, то естественно было додуматься послѣднему въ концѣ-концовъ и до несостоятельности самихъ порядковъ. Положимъ, что не всѣ доходили до такихъ выводовъ; очень многіе, можно сказать большинство, останавливались на полпути на одномъ перелитіи новаго вина въ старые мѣхи, т. е. на мечтахъ о томъ, что, оставивши все по

старому, стоитъ только поставить на старыя мѣста людей новыхъ и развитыхъ; но и подобнаго рода господа этимъ самымъ желаніемъ показывали, что и они недовольны настоящимъ положеніемъ дѣлъ и желаютъ кое-какихъ перемѣнъ, хотя бы только въ видѣ должностныхъ перемѣщеній...

Этотъ неизбѣжный переходъ отъ идей индивидуально-нравственныхъ къ общественнымъ былъ ускоренъ самымъ ходомъ общественныхъ дѣлъ въ Россіи. Реакція, подавивши движеніе сороковыхъ годовъ, сама явилась невольной возбудительницей общественныхъ идей въ образованной средѣ, своими крайностями обративъ невольное вниманіе общества ко всеобщей безурядицѣ и ускоривъ этимъ переходъ отъ вопросовъ индивидуально-нравственныхъ къ общественнымъ. Всеобщее беззаконіе и произволъ судовъ, безчинства откупщиковъ, поившихъ народъ почти водой, поголовное взяточничество и круговой грабежъ, ожидавшій васъ чуть-что не на каждомъ перекресткѣ, обѣдненіе крестьянъ, отягощенныхъ оброками и барщинами, увеличивающееся съ каждымъ годомъ число бѣглыхъ и бродягъ всякаго рода, и неизбѣжные вмѣстѣ съ этимъ разбои по дорогамъ и городамъ,— все это росло crescendo, невольно возбуждая недовольство и ропотъ среди людей самыхъ благонамѣренныхъ и смирныхъ, и дошло наконецъ до геркулесовыхъ столбовъ, обнаружившись во всемъ своемъ страшномъ безобразіи въ общей безурядицѣ крымской кампаніи.

Послѣ крымской войны вопросъ о необходимости перестроить всѣ общественные порядки на новый ладъ, произвести безконечный рядъ реформъ сдѣлался всеобщимъ вопросомъ, возбудившимъ всѣ слои общества, безъ исключенія. Началась эпоха всевозможныхъ обличеній, эпоха шумныхъ ликованій о наступленіи новой эры, о возрожденіи и пр. Трудно придумать такую сторону жизни, такое учрежденіе, такое колесико изъ безчисленныхъ колесъ общественной машины, которыя не возбудили бы вопроса о необходимости чистки, передѣлки, переформировки... Довольно сказать, что отъ государственныхъ вопросовъ первой важности, каковы вопросы объ освобожденіи крестьянъ, земствѣ и гласныхъ судахъ, реформаторскія стремленія проникли даже въ русскую грамматику и возбудили жаркія пренія въ педагогическомъ мірѣ объ изгнаніи изъ алфавита нѣсколькихъ лишнихъ буквъ.

Но при поднятіи всей этой массы общественныхъ вопросовъ тотчасъ-же и обнаружилась полнѣйшая неподготовленность общества къ политической жизни, отсутствіе всякаго теоретическаго развитія для правильной и систематической постановки всѣхъ этихъ вопросовъ. Вопросы эти, возбужденные западно-европейской цивилизаціей, исходили изъ цѣлой системы новаго міросозерцанія, стоявшаго въ Европѣ совершенно въ разрѣзъ съ міросозерцаніемъ старымъ, средневѣковымъ. Между тѣмъ наша образованная среда приступила къ этимъ вопросамъ, оставаясь, какъ мы говорили уже въ предыдущей главѣ, на почвѣ стараго міросозерцанія, основаннаго на авторитетѣ и преданіи. Вслѣдствіе этого и произошло такое явленіе, что общество видѣло въ массѣ задуманныхъ реформъ не перестройку самой системы общественнаго строя, а рядъ частныхъ мѣропріятій, очень хорошихъ каждое само по себѣ, но не имѣющихъ въ то-же время ничего общаго, улучшающихъ бытъ, но ни мало не измѣняющихъ его основаній. Такой взглядъ, положимъ, совершенно соотвѣтствовалъ тѣмъ изъ реформъ, которыя дѣйствительно касались различныхъ частностей общественнаго строя, измѣняли однѣ формы его, таковы напримѣръ были — уничтоженіе откуповъ, сокращеніе штатовъ, судебная реформа и пр. Но чуть дѣло доходило до реформъ, которыя касались основныхъ началъ общественнаго строя, каковы напримѣръ были крестьянская реформа, вопросъ о земствѣ, о воспитаніи, то здѣсь тотчасъ-же и обнаруживалась непроходимая путаница вопросовъ, исходящихъ отъ новаго міросозерцанія съ средневѣковыми системами мышленія. Такъ напримѣръ, массы кричали о необходимости освобожденія крестьянъ, но въ то-же время, при средневѣковомъ строѣ своей мысли, онѣ привыкли въ крѣпостномъ правѣ видѣть единственное спасеніе общества отъ анархіи и никакъ не могли себѣ представить, чтобы тридцати-милліонное населеніе крестьянъ могло существовать внѣ привычнаго авторитета помѣщичьей власти, оставаясь въ предѣлахъ гражданственности, осѣдлости и мирнаго труда. Крестьяне представлялись имъ не иначе, какъ въ видѣ кровожадныхъ звѣрей, которыхъ стоитъ только выпустить изъ клѣтокъ и они тотчасъ-же разбредутся въ разныя стороны, перестанутъ работать, платить подати, повиноваться властямъ и начнутъ махать топорами во всѣ стороны, проливая безъ всякой нужды моря крови. Подобное дикое понятіе, надо сказать правду, существовало въ концѣ пятидесятыхъ годовъ не въ однихъ только кругахъ ретроградовъ и крѣпостниковъ. Даже многіе люди, считавшіеся образованными, либералами, искренно желавшіе освобожденія крестьянъ, и тѣ побаивались всякаго рода анархій со стороны крестьянъ и заблаговременно принимали разумныя мѣры къ эмиграціи. Изъ подобныхъ опасеній, источникъ которыхъ прямо кроется въ средневѣковомъ строѣ мысли, и происходили различныя нелѣпыя предположенія и гаданія о томъ, какъ бы устроить дѣло такимъ образомъ, чтобы и крестьяне были свободны, и власть помѣщиковъ надъ ними оставалась въ прежней силѣ. Изъ подобнаго-же средневѣкового міросозерцанія исходили различные проэкты выкуповъ, отправлявшіеся прямо отъ средневѣковой точки зрѣнія на крестьянина, какъ на вещь, принадлежавшую помѣщику и которую необходимо купить у него, чтобы выпустить ее на свободу.

Если читатель ближе желаетъ познакомиться съ подобнаго рода взглядами, то онъ можетъ прочитать множество статей объ освобожденіи крестьянъ въ различныхъ журналахъ конца пятидесятыхъ годовъ. Мы же съ своей стороны, чтобы нагляднѣе показать нашимъ читателямъ, на какихъ традиціонныхъ точкахъ зрѣнія стояла образованная среда въ началѣ движенія шестидесятыхъ годовъ и какъ велика была путаница взглядовъ, обратимъ вниманіе на знаменитую и конечно всѣмъ извѣстную статью Н. И. Пирогова — «Вопросы жизни», напечатанную въ «Морскомъ Сборникѣ», въ 23-мъ т. 1856 года. Статья эта знаменита не только тѣмъ, что подняла въ обществѣ и журналистикѣ цѣлый рядъ вопросовъ о воспитаніи, но кромѣ того это былъ первый могучій тол-

чокъ, возбудившій общественную мысль и приведшій ее въ сильное движеніе. Статью, мало сказать, что всѣ прочитали: она возбудила послѣ себя огромные толки и споры по всей Россіи, съ нею носились изъ угла въ уголъ, она была перепечатана во многихъ журналахъ. Имя Пирогова, и безъ того извѣстное публикѣ, какъ имя перваго хирурга въ Россіи, сдѣлалось именемъ передового мыслителя своего вѣка. Даже студенты петербургскаго университета, *собираясь* издавать студенческій сборникъ, обратились *къ* Пирогову подать имъ напутственный совѣтъ въ ихъ предпріятіи. Если Пироговъ считался передовымъ человѣкомъ въ 1856 году, то это показываетъ, что идеи его и въ самомъ дѣлѣ стояли впереди этого времени, и масса образованнаго общества другихъ, болѣе передовыхъ идей не знала. Посмотримъ-же, что это были за идеи, къ какой системѣ міросозерцанія можно ихъ причислить?

Цѣль статьи Пирогова заключалась въ томъ, чтобы внушить обществу, что воспитаніе должно заключаться не въ узко-утилитарныхъ цѣляхъ, не въ томъ, чтобы приготовлять чиновниковъ, моряковъ, докторовъ, невѣстъ, а въ томъ, чтобы прежде всего приготовить человѣка. Изъ дѣтей, не развитыхъ до степени людей, никогда не выйдетъ и хорошихъ спеціалистовъ; между тѣмъ кто развился до человѣка, изъ того скорѣе всего можно ждать хорошаго медика, солдата и пр.

Мысль безъ сомнѣнія совершенно истинная и внушающая полное сочувствіе. На первый вглядъ всякому читателю можетъ показаться, что въ этой мысли снова воскресаютъ передъ нами сороковые года, потому что въ чемъ-же и заключалось главнымъ образомъ движеніе сороковыхъ годовъ, какъ не въ томъ, чтобы довести людей изъ непосредственнаго, безсознательнаго существованія до сознанія, что они — люди, и внушить имъ стремленіе къ осуществленію высшихъ человѣческихъ идеаловъ.

Но сходство основной мысли статьи Пирогова съ идеями сороковыхъ годовъ чисто-внѣшнее, не идущее дальше общей неопредѣленной фразы. Если-же мы, не ограничиваясь однимъ этимъ внѣшнимъ сходствомъ, захотимъ точнѣе опредѣлить взгляды, изложенные въ статьѣ, то мы увидимъ, что между идеями сороковыхъ годовъ и взглядами Пирогова существуетъ неизмѣримая разница, и это намъ покажетъ, какъ образованная среда, въ лицѣ своего передового человѣка, Пирогова, относилась къ идеямъ сороковыхъ годовъ, заимствуя отъ нихъ одну внѣшнюю оболочку и въ тоже время вкладывая въ нее содержаніе вполнѣ средневѣкового качества.

Въ самомъ дѣлѣ, что проповѣдывали сороковые годы? Проповѣдывали они, что прежде всего надо быть людьми. Но какой-же вѣкъ не проповѣдывалъ того-же самаго? Вѣдь и дикарь по своему признаетъ, что надо быть человѣкомъ, понимая подъ этимъ извѣстную долю силы, ловкости, хитрости и тому подобныхъ качествъ, составляющихъ идеалъ дикаря. Что-же понимали подъ словомъ *быть человѣкомъ* сороковые года? А подъ этимъ сороковые года понимали не что иное, какъ то, чтобы каждый человѣкъ принадлежалъ самому себѣ, былъ свободенъ во всѣхъ своихъ мысляхъ, чувствахъ, выборѣ дѣйствій и самыхъ дѣйствіяхъ; чтобы стремленіе къ совершенству было продуктомъ его собственной свободной мысли, а не внушенной извнѣ, не принятой на вѣру; чтобы далѣе затѣмъ стремленіе къ счастью было его собственной заботой, а не заботой другихъ за него. Подобныя идеи именно и шли въ разрѣзъ со старой системой мышленія и жизни. Старая система была несостоятельна вовсе не тѣмъ, что задавалась исключительно утилитарными цѣлями приготовлять обществу солдатъ, медиковъ, техниковъ, и пр. Сущность этой системы заключалась въ томъ, что человѣкъ не принадлежалъ въ ней самому себѣ, а былъ неотъемлемой собственностью семьи, общины, государства и пр. За него думали одни, о немъ заботились другіе, ему предписывали, сколько имѣть мыслей въ головѣ и какихъ именно, и ужъ ни одной мысли лишней онъ не осмѣливался усвоить себѣ сверхъ комплекта, ни одного шага въ жизни сдѣлать, не положеннаго въ церемоніалѣ его шествія по пути жизни. При такомъ положеніи человѣкъ обращался въ машину не только вслѣдствіе того, что дѣлался узкимъ спеціалистомъ какого-нибудь ремесла, а и потому, что думалъ, чувствовалъ, дѣйствовалъ не по своей человѣческой иниціативѣ, а сообразно тому, какъ его завели и направили мастера, которые въ свою очередь были машинами, имѣющими за собою другихъ мастеровъ высшаго разряда, и т. д. Все это было очень повидимому стройно, однообразно, размѣрно, но въ то-же время и крайне безжизненно, монотонно, а въ заключеніе всего никуда и негодно, потому что колеса машинъ постоянно ржавѣли, винты разъѣзжались, производить-же починку очевидно было бы некому, если-бы система эта была доведена до такого совершенства, что не стало бы на свѣтѣ ни одного человѣка, а существовали бы однѣ машины; при такихъ условіяхъ въ концѣ-концовъ весь механизмъ или остановился бы или разъѣхался въ разныя стороны. Но по счастью оставалась извѣстная доля людей, не обращенныхъ еще въ машины. Вотъ эти-то люди сначала долгое время пытались чинить и чистить колеса машинъ, но, видя, что ничто не помогаетъ, что пока чинишь одну часть механизма, десять другихъ портятся въ это время и приходятъ въ большее еще разстройство,—они махнули рукой и начали отвергать самую систему машинообразной жизни. Такое отрицаніе было послѣднимъ результатомъ движенія сороковыхъ годовъ.

Теперь рядомъ съ этимъ разберемъ подробнѣе мысли Пирогова и посмотримъ, какое отношеніе имѣютъ онѣ къ вышеупомянутому взгляду сороковыхъ годовъ на человѣка.

«Вспомнимъ еще разъ, — говоритъ Пироговъ въ началѣ статьи,—что мы—христіане и слѣдовательно главной основой нашего воспитанія служитъ и должно служить Откровеніе.

«Всѣ мы съ дѣтства не напрасно-же ознакомлены съ мыслью о загробной жизни, всѣ мы не напрасно-же должны считать настоящее приготовленіемъ къ будущему.

«Вникая-же въ существующее направленіе нашего общества, мы не паходимъ въ его дѣйствіяхъ ни малѣйшаго слѣда этой мысли. Во всѣхъ обнаруживаніяхъ по крайней мѣрѣ жизни практической и даже отчасти и умственной мы находимъ

рѣзко выраженное матеріальное, почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служитъ идея о счастіи и наслажденіяхъ въ жизни земной.»

Такимъ образомъ въ самомъ началѣ статьи Пироговъ отвергаетъ весь результатъ мысли XIX вѣка, потому что въ чемъ-же и заключается этотъ результатъ, какъ не въ признаніи за человѣкомъ права стремиться къ положительному счастью и къ наслажденіямъ жизни земной. Мы видѣли въ предшествующихъ главахъ, что передовые люди сороковыхъ годовъ въ свою очередь вслѣдъ за Европой признали за человѣкомъ это право. Но Пироговъ стремленіе къ земному счастью считаетъ отступленіемъ человѣка отъ надлежащаго пути; по его мнѣнію, идеальный человѣкъ на настоящее долженъ смотрѣть, какъ на приготовленіе къ будущему, и поэтому не особенно дорожить благами этого настоящаго... Какая-же это точка зрѣнія, какъ не средневѣковая? Чѣмъ подобныя идеи отличаются отъ взглядовъ, которые вы на каждой страницѣ можете встрѣтить въ «Перепискѣ съ друзьями» Гоголя?

Отправившись отъ такой архаической точки зрѣнія, Пироговъ развиваетъ свою мысль далѣе и приходитъ къ такому заключенію, что преобладаніе матеріальныхъ стремленій въ обществѣ показываетъ, что общество въ жизни своей все еще находится на степени язычества. Пирогова ужасаетъ радикальный разладъ основного ученія, которое люди держатъ въ своей головѣ, съ ихъ жизнью, не имѣющей никакихъ точекъ соприкосновенія съ этимъ ученіемъ, и онъ грозитъ обществу опаснымъ потрясеніемъ, если не распаденіемъ.

Новая мысль въ свою очередь не отвергаетъ этого разлада міросозерцанія массы съ жизнью. Но она въ этомъ разладѣ видитъ прежде всего именно несостоятельность самаго міросозерцанія. Это міросозерцаніе старалось всячески исковеркать жизнь, подавить ее ради заоблачныхъ мечтаній, и счастье еще для человѣчества, что это не удалось: человѣческая природа оказалась слишкомъ упруга, и жизнь, прорывая всѣ плотины, постоянно стремилась по своему естественному пути. Новая мысль потому собственно и новая, что она вмѣсто того, чтобы сѣтовать на жизнь массы, зачѣмъ она идетъ въ разрѣзъ съ міросозерцаніемъ, напротивъ того, сѣтуетъ больше всего на міросозерцаніе, считая его никуда негоднымъ и убѣждая массу бросить его, какъ лишній тормазъ. Взамѣнъ-же его новая мысль предлагаетъ другое міросозерцаніе, болѣе согласное съ основными и естественными стремленіями жизни.

Пироговъ-же съ своихъ средневѣковыхъ точекъ зрѣнія приходитъ къ совершенно противоположнымъ результатамъ:

«Существуетъ—говоритъ онъ—только *три* возможности или *три* пути вывести человѣчество изъ этого ложнаго и опаснаго положенія.

«*Или* согласить нравственно-религіозныя основы воспитанія съ настоящимъ направленіемъ общества.

Или перемѣнить направленіе общества.

Или наконецъ приготовить насъ воспитаніемъ къ внутренней борьбѣ, неминуемой и роковой, доставивъ намъ всѣ способы и всю энергію выдерживать неравный бой.

«Слѣдовать первымъ путемъ—значило-бы искажать то, что намъ осталось на землѣ святого, чистаго и высокаго. Одна только упругая нравственность фарисеевъ и іезуитовъ можетъ поддѣлываться высокимъ къ низкому и соглашать произвольно вѣчныя истины нашихъ нравственно-религіозныхъ началъ съ меркантильными и чувственными интересами, преобладающими въ обществѣ. Исторія показала, чѣмъ окончилась попытка пашизма, подъ личиной іезуитства, ультрамонтановъ и энциклопедистовъ, шедшихъ этой тропой человѣческихъ заблужденій.

«Измѣнить направленіе общества есть дѣло Промысла и времени.

«Остается третій путь. Онъ труденъ, но возможенъ; избравъ его, придется многимъ воспитателямъ сначала перевоспитать себя.

«Приготовить насъ съ юныхъ лѣтъ къ этой борьбѣ,—значитъ именно «*сдѣлать насъ людьми*».

«То-есть—тѣмъ, чего не достигнетъ ни одна наша *реальная школа* въ мірѣ, заботясь сдѣлать изъ насъ съ *самаго нашего дѣтства* негоціантовъ, солдатъ, моряковъ, духовныхъ пастырей или юристовъ.»

Итакъ, согласовать воспитаніе съ живыми, естественными стремленіями общества къ земнымъ благамъ, ко всеобщему счастью, оставивши въ сторонѣ средневѣковое міросозерцаніе, идущее въ разрѣзъ съ этими живыми и естественными стремленіями, это, по мнѣнію Пирогова, значитъ идти по пути іезуитовъ и энциклопедистовъ. Что общаго могъ найти Пироговъ между іезуитами и энциклопедистами, объ этомъ нужно у него спросить, это остается темною водой во облацѣхъ воздушныхъ... Далѣе затѣмъ измѣнить направленіе общества, то-есть по всей вѣроятности принудить его отказаться отъ естественныхъ стремленій къ земнымъ благамъ и счастью, это, по мнѣнію Пирогова, дѣло времени и Промысла, значитъ, объ этомъ мы не смѣемъ дерзать и думать. Что-же намъ остается дѣлать? Дѣйствовать путемъ воспитанія на молодое поколѣніе, воспитывать изъ него такихъ людей, которые не шли бы за толпой, не увлекались бы стремленіями къ земнымъ благамъ; а, оставаясь вѣрными все тому-же міросозерцанію, о которомъ ратуетъ Пироговъ, укрѣплялись бы въ борьбѣ... вы думаете въ борьбѣ съ какимъ-нибудь внѣшнимъ зломъ... нѣтъ, Пироговъ ясно говоритъ вамъ *о роковой борьбѣ внутренней*. Противъ чего-же долженъ бороться внутри себя идеальный человѣкъ Пирогова? спросите вы. Конечно опять-таки противъ соблазнительныхъ побужденій къ внѣшнимъ благамъ. Впрочемъ ниже Пироговъ очень наглядно и отчетливо обрисовываетъ намъ своего идеальнаго человѣка, котораго должно произвести, по его мнѣнію, идеальное воспитаніе:

«Каковъ долженъ быть юный атлетъ, приготовляющійся къ этой роковой борьбѣ?

«Первое условіе: онъ долженъ имѣть отъ природы хотя какое-нибудь притязаніе на умъ и чувство.

«Пользуйтесь этими благими дарами Творца, но не дѣлайте одаренныхъ безсмысленными поклонниками мертвой буквы, *дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета, суемудрыми приверженцами грубаго матеріализма*, восторженными расточителями чувства и воли и холодными адептами разума.»

Итакъ, вотъ вамъ идеальный человѣкъ, котораго рекомендуетъ вамъ Пироговъ въ образецъ! вотъ, по его мнѣнію, какихъ людей должно создавать воспитаніе!

Но развѣ это человѣкъ? спросите вы. Конечно, отвѣтимъ мы, это не человѣкъ, а чистѣйшая машина, въ которой, по мнѣнію Пирогова, должно быть вложено два-три валика ума и чувства, и онъ долженъ на этихъ валикахъ разыгрывать безконечную симфонію о неприкосновенности авторитета, вѣчно маршируя въ предназначенномъ ему кружкѣ, въ блаженной серединѣ между поклоненіемъ мертвой буквѣ и суемудріемъ грубаго матеріализма, расточеніями чувства и воли и безстрастіемъ холоднаго разума...

Такимъ образомъ Пироговъ хотя и отправляется повидимому отъ громкой фразы новаго чекана *о развитіи человѣка*, но въ то-же время стоитъ все еще на почвѣ средневѣкового міросозерцанія; подъ развитіемъ человѣка онъ разумѣетъ вовсе не эмансипацію личности, эту дѣйствительно новую идею XIX вѣка, а, напротивъ того, пригвожденіе личности къ отвлеченному, мертвому принципу во имя заоблачныхъ фантазій...

Эмансипація личности, индивидуализмъ обособляетъ личность, даруетъ ей полную свободу идти по какому угодно пути и думать какъ угодно, лишь бы только конечно своей свободой не заѣдать такой-же свободы другихъ; вслѣдствіе этого индивидуализмъ прямо ведетъ къ разнообразію жизни. Между тѣмъ подобное разнообразіе совершенно противно средневѣковому міросозерцанію. Подчиняя человѣка внѣшнему отвлеченному принципу, подавляя въ немъ всѣ естественныя стремленія и обезличивая его, средневѣковая мысль о томъ только и заботилась, чтобы все на землѣ пришло къ мертвому, сухому однообразію, чтобы повсюду господствовалъ одинъ и тотъ-же отвлеченный принципъ, и люди, слѣпо повинуясь ему, обратились бы въ машины, марширующія размѣренными шагами по одному направленію, слушаясь команды и не задаваясь размышленіями, куда они идутъ.

Пироговъ, вѣрный своей средневѣковой точкѣ зрѣнія, не упустилъ изъ виду и этого машиннаго однообразія. Вотъ что говоритъ онъ между прочимъ о выгодахъ своего идеальнаго воспитанія:

«Оно (то-есть воспитаніе) самое удобное и для правительствъ, и для подданныхъ. Для правительствъ потому, что всѣ воспитанники до извѣстнаго возраста будутъ образовываться, *руководимые однимъ и тѣмъ-же направленіемъ, въ одномъ духѣ, съ одной и той-же цѣлью; слѣдовательно, нравственно-научное воспитаніе всѣхъ будущихъ гражданъ будетъ находиться въ однихъ рукахъ.* Всѣ виды, всѣ благія намѣренія правительствъ къ улучшенію просвѣщенія будутъ исполняться послѣдовательно, съ одинаковой энергіей и одновѣдомственными лицами.

«Для подданныхъ потому, что всѣ воспитанники до вступленія ихъ въ число гражданъ будутъ дружно пользоваться одинакими правами и одинаковыми выгодами воспитанія.»

Послѣ всего этого рѣшительно дѣлается непонятнымъ, противъ чего-же ратуетъ Пироговъ? Задался человѣкъ мыслью, что будто воспитаніе въ Россіи ни о чемъ болѣе не заботится, какъ объ узко-утилитарныхъ цѣляхъ, о приготовленіи разныхъ спеціалистовъ... Но не только-что этого ничего не было въ то время, какъ писалъ Пироговъ свою статью, но, напротивъ того, воспитаніе въ Россіи было тогда организовано именно въ томъ самомъ духѣ, о которомъ ратуетъ Пироговъ. Правда, существовало въ то время на Руси много всякаго рода спеціальныхъ заведеній—корпусовъ, семинарій и пр., но во всѣхъ этихъ заведеніяхъ не столько заботились о томъ, чтобы выпускать хорошихъ спеціалистовъ, сколько именно о томъ, чтобы приготовлять людей, воспитанныхъ въ духѣ тѣхъ принциповъ, которые Пироговъ ставитъ во главѣ воспитанія... Въ этомъ отношеніи однообразіе воспитанія было доведено до идеальнаго совершенства, превосходящаго мечты Пирогова. Въ результатѣ оказывалось, что выпущенные медики немногимъ болѣе имѣли свѣдѣній въ медицинѣ, чѣмъ выпущенные кадеты, а выпущенные кадеты знали толкъ въ военныхъ наукахъ можетъ быть даже менѣе, чѣмъ окончившіе курсъ семинаристы; но зато педагоги заботились всѣми силами, чтобы и медики, и кадеты, и семинаристы выходили всѣ на одинъ покрой,—людьми, пропитанными духомъ тѣхъ средневѣковыхъ принциповъ, о которыхъ такъ горячо заботился нѣкогда блаженной памяти Магницкій и которыми задался вдругъ, ни съ того, ни съ сего, передовой мыслитель пятидесятыхъ годовъ, Пироговъ.

Для довершенія болѣе близкаго знакомства съ взглядами Пирогова мы выпишемъ еще два мѣста изъ его статьи,—мѣста, которыя сами по себѣ, безъ всякихъ комментаріевъ, свидѣтельствуютъ о томъ, съ какими архаическими, допотопными взглядами выступилъ Пироговъ въ своей статьѣ.

Какъ вамъ нравится напримѣръ хотя бы такой афоризмъ:

«Все, что́ есть высокаго, прекраснаго на свѣтѣ: искусство, вдохновеніе, наука, не должно слишкомъ сродняться со вседневной жизнью; оно утратитъ свою первобытную чистоту, выродится и запылится прахомъ.»

А вотъ вамъ взглядъ Пирогова на свободу женщинъ:

«Воспитаніе, наряжая, выставляетъ ее (то-есть женщину) на показъ для зѣвакъ, обставляетъ кулисами и заставляетъ ее дѣйствовать на пружинахъ такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съѣдаетъ эти пружины, а черезъ щели истертыхъ и изорванныхъ кулисъ она начинаетъ высматривать то, что́ отъ нея такъ бережно скрывали. Мудрено ли, что ей тогда приходитъ на мысль пробовать самой, какъ ходятъ люди. *Эмансипація— вотъ эта мысль. Паденіе—вотъ первый шагъ. Пусть многое останется ей неизвѣстнымъ. Она должна гордится тѣмъ, что многаго не знаетъ.* Не всякій врачъ. Не всякій долженъ безъ нужды смотрѣть на язвы общества...

«Если женскіе недапты, толкуя объ эмансипаціи, разумѣютъ одно воспитаніе женщинъ,—они правы. Если они разумѣютъ эмансипацію общественныхъ правъ женщины, то они сами не знаютъ, чего хотятъ.»

Послѣ всего этого читатель конечно станетъ въ недоумѣніе и спроситъ, что-же такъ поразило общество въ статьѣ Пирогова? Система воспитанія, предлагаемая Пироговымъ, не представляла ничего конечно новаго ни относительно основного принципа воспитанія, ни относительно общественнаго его положенія. Что касается перваго пункта, то Пироговъ предлагалъ поставить во главѣ воспитанія такой принципъ, о которомъ далеко прежде него успѣли уже позаботиться, а относительно общественнаго положенія онъ

проповѣдывалъ все ту-же централизацію воспитанія, которая и безъ того была доведена до nec plus ultra. Но общество такъ мало думало еще о какихъ-нибудь иныхъ принципахъ, кромѣ предложеннаго Пироговымъ, и такъ мало заботилось объ общественномъ положеніи воспитанія, что въ этихъ пунктахъ оно и не ждало отъ Пирогова ничего новаго. Для него оказалась неслыханной новостью и такая элементарная мысль, что воспитаніе должно заботиться не о приготовленіи офицеровъ, медиковъ и священниковъ, а о развитіи человѣка, что поэтому съ дѣтскихъ лѣтъ обрекать человѣка на какую-нибудь спеціальность, не спросясь его способностей и наклонностей, значитъ коверкать всю его жизнь и пр. Подобныя мысли въ практическомъ ихъ примѣненіи повели къ тому, что бо́льшая часть среднихъ учебныхъ заведеній, прежде казавшихся спеціальными, были преобразованы такъ, что бы они казались общеобразовательными; спеціальныя-же заведенія начали устроиваться для юношей, окончившихъ уже курсы среднихъ учебныхъ заведеній и способныхъ сознательно избирать дорогу. Въ теоретическомъ-же отношеніи мысль о необходимости развитія прежде всего человѣка естественно повела къ вопросу: что-же это значитъ развить человѣка? значитъ-ли это то, что́ предполагаетъ Пироговъ, или что-нибудь другое?

Мы не знаемъ, какъ рѣшило бы общество этотъ вопросъ и скоро-ли бы оно, предоставленное само себѣ, дошло въ этомъ рѣшеніи до какихъ-нибудь болѣе новыхъ и болѣе основательныхъ взглядовъ, чѣмъ тѣ, которые мы встрѣтили въ статьѣ Пирогова. Не знаемъ также, далеко-ли пошло бы общество во всѣхъ задуманныхъ реформахъ при своемъ средневѣковомъ строѣ мысли. Но движеніе при самомъ своемъ началѣ осложнилось весьма важнымъ элементомъ—именно возрожденіемъ идей сороковыхъ годовъ и быстрымъ развитіемъ въ большой массѣ общества того философскаго процесса, который былъ уже пройденъ предшествовавшимъ поколѣніемъ въ сороковыхъ годахъ. Въ предыдущей главѣ, сравнивая реакцію пятидесятыхъ годовъ съ подобной-же ей реакціей двадцатыхъ годовъ, мы не упоминали объ одномъ весьма существенномъ различіи между ними. Дѣло въ томъ, что когда люди двадцатыхъ годовъ сошли съ своего поприща, отъ нихъ остались одни темныя преданія, и поколѣніе тридцатыхъ годовъ начало путь умственнаго развитія почти снова, не имѣя за собой никакихъ наставниковъ сзади и получивши отъ своихъ предшественниковъ самое скудное наслѣдство. Между тѣмъ отъ сороковыхъ годовъ осталась богатая литература, въ которой отразилось все философское движеніе этой эпохи. Литература эта была почти забыта во время пятидесятыхъ годовъ. Но все-таки она оставалась; были и люди, которые помнили о ней, держали ее въ головѣ или развивались по ней. И замѣчательно при этомъ, что подобно тому, какъ въ тридцатые годы философское движеніе началось по преимуществу въ кружкахъ московскаго университета, такъ теперь исходомъ движенія послужилъ петербургскій университетъ. Въ тѣсныхъ кружкахъ его идеи сороковыхъ годовъ сохранились во всѣхъ тѣхъ результатахъ, до какихъ дошла мысль младшаго поколѣнія сороковыхъ годовъ, и мало того, получили дальнѣйшее развитіе, болѣе глубокое и основательное.

Въ журналистикѣ воскресителемъ и распространителемъ идей сороковыхъ годовъ явился «Современникъ», который въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ обновился новыми и молодыми силами и всталъ сразу на ту высоту, на которой была журналистика въ исходѣ сороковыхъ годовъ. Такъ, журналъ этотъ явился приверженцемъ реальной эстетики, отвергавшей ученіе метафизиковъ о преимуществѣ образовъ искусства передъ образами дѣйствительности, и въ то-же время врагомъ чистаго искусства и чистой науки. Въ концѣ 1855 года въ «Современникѣ» начался рядъ статей, извѣстныхъ подъ заглавіемъ «Очерки гоголевскаго періода», имѣвшихъ спеціальную цѣль познакомить публику съ литературно-философскимъ движеніемъ сороковыхъ годовъ и показать значеніе двухъ главныхъ представителей этого движенія—Гоголя и Бѣлинскаго.

Хотя реакція миновала уже въ концѣ 1855 года, а тѣмъ болѣе въ 1856 году, но какъ сильно было ея обаяніе и неуспѣвшее еще разсѣяться впечатлѣніе, это мы можемъ судить по содержанію «Очерковъ». Хотя авторъ ихъ очевидно понималъ всю сущность и значеніе движенія сороковыхъ годовъ и отлично зналъ, что движеніе это заключалось не въ одной смѣнѣ литературныхъ школъ и критическихъ принциповъ, а было движеніемъ въ то-же время философско-нравственнымъ, приведшимъ передовыхъ людей къ вопросамъ соціальнымъ, пробудившимъ въ нихъ общественные интересы, тѣмъ не менѣе мы видимъ, что авторъ былъ принужденъ вдвинуть свое обозрѣніе въ тѣсную рамку вопросовъ литературно-эстетическихъ. Онъ не могъ даже рѣшиться назвать свое обозрѣніе прямымъ именемъ — вродѣ «философское движеніе идей въ сороковыхъ годахъ» или «о значеніи Бѣлинскаго и его вѣка», а назвалъ вѣкъ этотъ вѣкомъ Гоголя и придалъ своему обозрѣнію такой видъ, какъ будто оно имѣло въ виду ничего болѣе, какъ показать эстетическое значеніе литературной школы Гоголя и отношеніе къ этой школѣ различныхъ критиковъ. Довольно сказать, что въ обозрѣніи, имѣвшемъ спеціальной своей цѣлью показать публикѣ значеніе Бѣлинскаго и познакомить публику съ его идеями, авторъ долго не могъ рѣшиться назвать по имени то самое историческое лицо, съ которымъ онъ взялся познакомить публику. Такъ, въ первой статьѣ, упоминая о Бѣлинскомъ, онъ называетъ его не иначе, какъ авторомъ статей о Пушкинѣ; критику его называетъ глухо критикой гоголевскаго періода, центромъ которой были «Отечественныя Записки», а въ другомъ мѣстѣ говоритъ, что только-что высказанное мнѣніе о Гоголѣ извлечено имъ изъ статьи «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», напечатанной ровно двадцать лѣтъ тому назадъ въ «Телескопѣ», 1835 г., часть XXVI, и принадлежащей автору «статей о Пушкинѣ». И только въ шестой уже статьѣ (напечатанной въ іюльской книжкѣ 1856 года) авторъ рѣшается впервые упомянуть имя Бѣлинскаго, сказать прямо, что главнымъ дѣятелемъ критики гоголевскаго періода былъ Бѣлинскій. Но и этого еще всего мало: говоря о критикѣ Бѣлинскаго, о его идеяхъ, дѣлая множество выпи-

сокъ и извлеченій изъ его статей, авторъ не рѣшается въ то-же время высказать прямо главной и основной своей мысли, которая должна бы была проникать собой все обозрѣніе, именно той мысли, что вѣкъ Бѣлинскаго имѣетъ много общаго съ вѣкомъ философскаго движенія въ Германіи въ XVIII столѣтіи и что роль Бѣлинскаго въ этомъ вѣкѣ напоминаетъ собой роль Лессинга. Для того, чтобы выразить эту мысль, авторъ принужденъ былъ параллельно съ «Очерками гоголевскаго періода» печатать трактатъ о Лессингѣ, и въ этомъ уже трактатѣ, въ предисловіи, онъ дѣлаетъ темные намеки на сходство эпохи Бѣлинскаго съ эпохой Лессинга. Такъ, онъ говоритъ, что по большей части доля литературы въ историческомъ процессѣ, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не такъ значительна, чтобы заслуживать особеннаго вниманія, что литература почти всегда имѣла для развитія человѣческой жизни только второстепенное значеніе. Но далѣе онъ замѣчаетъ, что бывали и свои исключенія изъ этого порядка, хотя ихъ и очень немного, бывали случаи, когда литература являлась дѣйствительно главной двигательницей историческаго развитія. Нѣмецкая литература послѣдней половины прошедшаго и первыхъ годовъ нынѣшняго вѣка, по мнѣнію автора, есть одна изъ самыхъ важныхъ между этими рѣдкими явленіями. Отъ начала дѣятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоеванія Западной Германіи Наполеономъ, законодательства Штейна въ Пруссіи и до распространенія философіи,—явленій, которыя овладѣваютъ послѣдующимъ развитіемъ нѣмецкаго народа), втеченіи пятидесяти лѣтъ, развитіе одной изъ величайшихъ между европейскими націями, будущность странъ отъ Балтійскаго до Средиземнаго Моря, отъ Рейна до Одера опредѣлялась литературнымъ движеніемъ. Участіе всѣхъ остальныхъ общественныхъ силъ и событій въ національномъ развитіи должно назвать незначительнымъ сравнительно съ вліяніемъ литературы. Ничто не помогало въ то время ея благотворному дѣйствію на судьбу нѣмецкой націи; напротивъ, почти всѣ другія отношенія и условія, отъ которыхъ зависитъ жизнь, не благопріятствовали развитію народа. Литература одна вела его впередъ, борясь съ безчисленными препятствіями...

Представляя въ такомъ видѣ значеніе нѣмецкой литературы прошлаго столѣтія, авторъ далѣе высказываетъ рядъ намековъ, что и у насъ былъ періодъ, въ который литература имѣла такое-же значеніе. Но до какой степени темны и уклончивы эти намеки—объ этомъ можно судить по тому, что авторъ не рѣшается не только назвать прямо, о какомъ періодѣ русской литературы онъ говоритъ, но старается по возможности замаскировать даже тотъ фактъ, что онъ дѣлаетъ какія бы то ни было сближенія. Такъ, по его мнѣнію, еслибы не вышелъ изъ моды старый и въ сущности вовсе не безполезный обычай объяснять въ предисловіяхъ къ сочиненіямъ, трактующимъ объ ученыхъ предметахъ, какую пользу приноситъ вообще знаніе, какую пользу въ частности приноситъ знаніе того предмета, о которомъ трактуется въ этомъ сочиненіи, и какую пользу въ особенности принесетъ знаніе этого предмета тѣмъ читателямъ, для которыхъ назначается это сочиненіе, еслибы не вышелъ изъ моды этотъ старый обычай, тогда авторъ долженъ былъ бы сказать что-нибудь о той особенной пользѣ, какую можемъ извлечь мы, русскіе, изъ знакомства съ судьбами нѣмецкой литературы временъ Лессинга, Шиллера и Гёте. Еслибы не вышелъ также изъ моды другой старый, добрый обычай—проводить параллели между сходными явленіями въ исторіи различныхъ народовъ, то авторъ могъ бы также отыскать нѣкоторыя занимательныя аналогіи между положеніемъ нѣмецкой литературы того времени и *положеніемъ нѣкоторыхъ другихъ литературъ въ другія времена.* Наконецъ еслибы не вышли изъ моды «Разговоры въ царствѣ мертвыхъ», то авторъ могъ бы выставить Лессинга, разговаривающаго напримѣръ съ Пушкинымъ и Гоголемъ въ Елисейскихъ поляхъ: Лессингъ разспрашивалъ бы Пушкина и Гоголя о русской литературѣ и въ свою очередь сообщалъ бы имъ различныя замѣчанія о литературѣ вообще.

Все это наглядно показываетъ, что движеніе сороковыхъ годовъ даже въ 1856 году представлялось еще чѣмъ-то такимъ, о чемъ въ печати нельзя было говорить прямо и открыто, не прибѣгая къ темнымъ и уклончивымъ намекамъ. Но тѣмъ не менѣе вышеозначенныя статьи—«Очерки гоголевскаго періода» и «Лессингъ»—произвели сильное вліяніе на общество, особенно на молодое поколѣніе. И прежде статьи Бѣлинскаго, особенно о Пушкинѣ, кое-кѣмъ перечитывались, теперь-же старые журналы сороковыхъ годовъ рѣшительно вошли въ моду. Статьи передовыхъ дѣятелей сороковыхъ годовъ выдирались изъ нихъ, переплетались въ отдѣльные сборники, перечитывались, переписывались. Снова началось сильное философское броженіе, заключающееся въ ломкѣ всѣхъ старыхъ допотопныхъ, средневѣковыхъ идей, преданій, предразсудковъ. Процессъ этого броженія совершался тѣмъ быстрѣе, что съ одной стороны онъ овладѣлъ по большей части молодыми, свѣжими умами, не окрѣпшими еще въ привычкахъ къ старымъ и отжившимъ идеямъ. Съ другой стороны, эти молодые и свѣжіе умы, находя въ предшествовавшей литературѣ сороковыхъ годовъ готовое разрѣшеніе многихъ философскихъ вопросовъ, были избавлены отъ необходимости и трудности доходить своимъ собственнымъ умомъ до этого рѣшенія. Наконецъ, втретьихъ, съ этой эпохи началось знакомство русской публики съ послѣдними результатами западной мысли уже не въ видѣ однихъ туманныхъ изложеній этихъ результатовъ русскими писателями, а въ видѣ переводовъ на русскій языкъ трактатовъ западныхъ мыслителей, такъ что русская публика могла наконецъ почерпать новыя идеи изъ самыхъ ихъ источниковъ. Сначала эти переводы были рѣдки и распространялись по преимуществу въ рукописномъ видѣ; потомъ они мало-по-малу составили громадную отрасль печатной литературы, далеко превзошедшую бѣдную отрасль отечественной литературы какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи.

Но вышеозначенными двумя элементами, то-есть возбужденіемъ общественныхъ реформъ и философскимъ броженіемъ, еще не исчерпывается движеніе

шестидесятыхъ годовъ. Оно осложнилось кромѣ всего этого еще и третьимъ явленіемъ, игравшимъ немаловажную роль въ этомъ движеніи. Объ этомъ явленіи и будетъ рѣчь въ слѣдующей главѣ.

XV.

Вліяніе движенія сороковыхъ годовъ на умственное развитіе непривилегированныхъ классовъ.—Появленіе новаго нравственнаго идеала въ концѣ пятидесятыхъ годовъ и его соотвѣтствіе съ средой образованнаго пролетаріата.—Два различныя отношенія къ этому идеалу въ эпоху движенія шестидесятыхъ годовъ.—Добролюбовъ, какъ представитель новаго идеала.—Характеръ дѣтства Добролюбова.—Привязанность его къ матери.—Ученіе дома и въ семинаріи.—Страсть къ авторству.—Аскетизмъ.—Романтическія мечты и порывы.—Разочарованіе въ нихъ и обращеніе къ дѣйствительности.—Поступленіе въ педагогическій институтъ.—Характеръ институтской жизни Добролюбова и первые проблески новаго идеала.—Новые удары жизни. Ожесточеніе.—Окончательное развитіе новаго идеала.—Писаніе романа.—Внутреннія тревоги и колебанія.

Мы имѣли уже случай замѣчать въ нашемъ трудѣ о той аналогіи, какая постоянно существуетъ между идеальнымъ типомъ даннаго вѣка и характеромъ той среды, въ которой въ этотъ вѣкъ сосредоточивается умственное движеніе. Такъ, мы видѣли, что пока умственное движеніе сосредоточивалось преимущественно въ кругахъ великосвѣтскаго общества, героемъ времени былъ изящный денди, съ внѣшнимъ лоскомъ европейскаго образованія, поверхностно усвоившій нѣсколько послѣднихъ идеекъ, смотрящій на всѣхъ и все съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ и легкомысленно надо всѣмъ смѣющійся, пресыщенный всевозможными излишествами, скучающій и разочарованный не столько вслѣдствіе того, что-бы жизнь не давала ему и въ самомъ дѣлѣ никакого содержанія, сколько вслѣдствіе той крайней легкости, съ какой исполнялась всякая его прихоть и все покорялось передъ его титулами и богатствами.

Далѣе затѣмъ мы видѣли, что съ передвиженіемъ центра умственнаго движенія изъ великосвѣтскихъ круговъ въ среду несановитаго, провинціальнаго дворянства средней руки измѣнился и герой времени, отразивши опять-таки характеръ той среды, которая въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ сдѣлалась представительницей умственнаго движенія въ Россіи. Условія жизни этой среды, освобождая людей отъ всякихъ насущныхъ заботъ и энергическихъ усилій въ борьбѣ за существованіе, не давали имъ однакожъ возможности доходить до такого крайняго пресыщенія, до какого доходили великосвѣтскіе герои предыдущей эпохи. Привилегированное положеніе ихъ хотя и внушало имъ порядочную долю высокомѣрія въ отношеніи къ низшимъ, непривилегированнымъ классамъ, но въ то-же время высокомѣріе это имѣло свои границы, за которыми люди эти чувствовали себя маленькими и ничтожными смертными, въ виду того большого свѣта, на который они глядѣли издали и о которомъ тайно вздыхали. Однимъ словомъ, жизнь подставляла къ ихъ устамъ готовую и даровую чашу, но позволяла имъ пить изъ этой чаши потихоньку и понемножку, вѣчно смакуя, но никогда не напиваясь до сыта и не доходя до дна чаши. Тишина сельской жизни, скромные, но усладительные ландшафтики вокругъ, вѣчная безпечность, не роскошная, но изящная и въ то-же время комфортабельная обстановка, сладкое far niente, наполненное тихими бесѣдами съ другомъ, съ милой или наслажденіями изящными искусствами — таково было все содержаніе жизни этой среды въ самомъ ея наилучшемъ видѣ. Изъ такой жизни и вышелъ герой сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, въ видѣ Манилова и Обломова, въ одно и то-же время — сентиментальный, женоподобный эпикуреецъ, любитель тихихъ созерцаній, сладкихъ бесѣдъ съ музами, лакомка до гастрономическихъ обѣдовъ, нѣжный селадонъ, млѣющій и тающій передъ обаяніемъ женской красоты и въ то-же время безхарактерная тряпица, не способная ни къ малѣйшему напряженію воли.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ мы видимъ новое перемѣщеніе центра умственнаго движенія въ среду непривилегированнаго мыслящаго пролетаріата, въ классъ разночинцевъ и мѣщанъ, выражаясь оффиціальнымъ языкомъ. Такой переворотъ въ свою очередь ознаменовался созданіемъ новыхъ нравственныхъ идеаловъ. На сцену выступили новые герои времени, въ свою очередь выражающіе вполнѣ духъ и характеръ своей среды. Подобное перемѣщеніе центра умственнаго движенія значительно осложнило процессъ общественнаго броженія въ знаменитую эпоху шестидесятыхъ годовъ. Фактъ этотъ заслуживаетъ полнаго вниманія при обозрѣніи этой эпохи. Упустивши его изъ виду, вы не въ состояніи будете понять весьма многихъ явленій, не стоящихъ въ прямой причинной связи ни съ философскими идеями, ни съ общественными вопросами, возбудившими рядъ реформъ.

Этимъ перемѣщеніемъ центра умственнаго движенія эпоха шестидесятыхъ годовъ была обязана въ свою очередь движенію сороковыхъ годовъ. Мы говорили въ началѣ нашего трактата, что уже въ двадцатые годы выступили на сцену два могучіе проводника интеллигенціи въ массу общества — журналистика и университеты, и вокругъ этихъ проводниковъ сгруппировалось все умственное движеніе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Журналистика и университеты, можно сказать, въ такой-же степени удешевили образованіе и ускорили обращеніе идей въ массахъ общества, на сколько впослѣдствіи желѣзныя дороги ускорили и удешевили обращеніе самихъ массъ въ странѣ. Бѣдный человѣкъ, сынъ мелкаго чиновника, священника, мѣщанина, въ прежніе годы оканчивалъ обыкновенно все образованіе уѣзднымъ училищемъ, семинаріей, гимназіей; теперь онъ, при мало-мальски недюжинныхъ способностяхъ, имѣлъ возможность продолжать свое образованіе въ университетѣ. Права и привилегіи, соединенныя съ университетскими дипломами, еще болѣе усилили движеніе дѣтей изъ непривилегированныхъ классовъ къ университетамъ. Университетъ избавлялъ отъ нищеты, дѣлалъ человѣка изъ жалкаго пресмыкающагося паріи передовымъ гражданиномъ, которому открывались всевозможныя карьеры и почести. Литература въ свою очередь сдѣлалась доступна для бѣдныхъ классовъ населенія. До двадцатыхъ годовъ передовые люди,

принадлежавшіе преимущественно къ высшимъ слоямъ общества, нерѣдко собирали обширныя библіотеки изъ массы иностранныхъ художественныхъ и философскихъ сочиненій. Но между тѣмъ какъ владѣльцы поучались изъ своихъ книгохранилищъ, для грамотныхъ людей изъ бѣдныхъ классовъ общества и то уже было праздникомъ, если въ ихъ среду попадалъ томикъ Ломоносова, Державина, Карамзина, какой нибудь раздирательный романъ Радклифъ или Жанлисъ, переведенный варварскимъ языкомъ и изданный чуть-что не на оберточной бумагѣ. Кое-гдѣ ходили по рукамъ разрозненныя книги карамзинскаго «Вѣстника», нумера «Сына Отечества» или какого нибудь «Благонамѣреннаго», но изъ всего этого ничего не выносилось, кромѣ сентиментальныхъ слезъ надъ чувствительными романами, поползновенія составить тетрадочку изъ стихотвореній Жуковскаго и Пушкина, да напыщенной риторики казеннаго патріотизма.

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ въ средніе, а черезъ нихъ и въ бѣдные классы общества начался наплывъ журналовъ съ энциклопедическимъ характеромъ, съ стремленіемъ познакомить читателей съ результатами европейской науки и мысли. Тѣ самыя политическія и философскія идеи, которыя прежде были закупорены въ библіотекахъ знатныхъ людей, теперь сдѣлались доступными для бѣднѣйшихъ классовъ въ популярныхъ журнальныхъ изложеніяхъ, въ извлеченіяхъ и переводахъ. Бѣдный семинаристъ, гимназистъ, приходскій учитель получили возможность, не зная ни одного иностраннаго языка, не выѣзжая изъ своей глуши, знакомиться съ произведеніями Шекспира и Гете, съ идеями Шеллинга и Гегеля, наконецъ съ политико-экономическими вопросами, волновавшими Западъ. То возбужденіе мысли, которое мы видѣли въ кружкахъ средняго дворянства въ сороковые годы, неминуемо должно было при такихъ условіяхъ сообщиться и въ слои грамотнаго пролетаріата.

Первоначально, когда процентъ мыслящаго пролетаріата былъ еще ничтоженъ въ средѣ умственнаго движенія и большинство передовыхъ людей принадлежало къ дворянскому кругу, въ литературѣ и жизни естественно преобладали идеалы, сообразные большинству. Въ это время ничтожная горсть мыслящаго пролетаріата, разсѣянная въ видѣ незамѣтныхъ единицъ въ образованной средѣ, увлекалась за большинствомъ и раздѣляла идеалы его, не соображая всей односторонности этихъ идеаловъ и несообразности ихъ съ условіями жизни всякой иной среды, кромѣ той, которая эти идеалы создала. Естественно, что преслѣдованіе идеаловъ, въ концѣ концовъ исключительно сводящихся на эпикурейское наслажденіе всѣмъ изящнымъ, только и возможно, что при условіи полной обезпеченности, соединенной съ безграничнымъ досугомъ, чуждымъ какихъ бы то ни было матеріальныхъ заботъ и дрязгъ. Для бѣдняка не было никакой возможности подойти хоть на одинъ куриный шагъ къ такимъ идеаламъ. Едва входилъ онъ въ общество избранниковъ, онъ тотчасъ же долженъ былъ чувствовать всю несообразность своей особы въ виду идеально изящныхъ существъ, окружавшихъ его, начиная съ своей дурноскроенной и сшитой, часто и обветшалой одежды, со своихъ неловкихъ манеръ и кончая тѣмъ мучительнымъ сознаніемъ, что какъ ни старайся наслаждаться сонатой Бетховена или закатомъ солнца, а все-таки впереди всего всплываетъ мысль о томъ, что-то завтра придется ѣсть и какъ бы это устроить, чтобы палецъ не выглядывалъ изъ сапога. Бѣдному человѣку оставалось только чувствовать свое ничтожество и смиряться. Такъ обыкновенно онъ и дѣлалъ, и литература въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ была права, выставляя на сцену бѣдняка не иначе, какъ въ видѣ неуклюжаго медвѣдя, застѣнчиваго, робкаго, смиренно сидящаго на кончикѣ стула, говорящаго почти шопотомъ несообразныя вещи и внутренно терзающагося своимъ убожествомъ. Но по мѣрѣ того, какъ литература сороковыхъ годовъ начала разъяснять мало-по-малу, сколько ничтожной мишуры въ ложномъ блескѣ тѣхъ избранниковъ, передъ которыми смирялся прежде бѣднякъ, и чѣмъ обусловливается возможность вѣчно и исключительно помышлять объ одномъ изящномъ, бѣднякъ началъ поднимать свою голову. Онъ вдругъ почувствовалъ, что онъ, оборванный, неуклюжій, неловкій, стоитъ на неизмѣримой степени выше многихъ изящныхъ существъ, передъ которыми онъ смирялся, выше тѣмъ во первыхъ, что совѣсть у него чище, а во вторыхъ тѣмъ, что въ то время, какъ они, при всей своей мнимой идеальности, постоянно жалуются на свою безхарактерность, онъ же, закаленный въ борьбѣ со своей нищетой, чувствуетъ въ себѣ неистощимый родникъ силъ. Но литература сороковыхъ годовъ оказала одну только отрицательную услугу бѣдняку, разубѣдивши его въ концѣ концовъ въ прежнихъ идеалахъ и поставивши его на ноги. Новые же идеалы бѣднякъ создалъ самъ, сообразно реальнымъ условіямъ своего быта. Это созданіе новыхъ идеаловъ произошло именно въ то время, когда процентъ мыслящаго пролетаріата въ сферѣ умственнаго движенія сдѣлался настолько уже великъ, что самый центръ этой сферы перемѣстился въ среду умственнаго пролетаріата, и среда эта, въ свою очередь, явилась съ идеалами, сообразными условіямъ своего быта и своихъ основныхъ стремленій.

Сообразно новымъ идеаламъ, выступилъ на сцену и новый герой времени. Это былъ уже не прежній эпикуреецъ, эстетикъ и селадонъ; напротивъ того, въ немъ поражали наклонности спартанскаго свойства, доходившія порой до крайностей. Онъ началъ проповѣдывать простоту и безыскусственность въ одеждѣ, жилищѣ, пищѣ. Врагъ изнѣженности и лѣни, онъ требовалъ, чтобы человѣкъ былъ закаленъ въ перенесеніи холода и голода, чтобы онъ непрестанно трудился, и энергія его не ослабѣвала ни на минуту въ дѣятельности и борьбѣ. Вмѣсто прежняго поклоненія красотѣ, онъ выше всего поставилъ пользу, общественное благо, требуя, чтобы и наука, и искусство, и литература служили не для личнаго безотчетнаго наслажденія диллетантовъ, а соединялись въ одномъ непреклонномъ стремленіи къ водворенію на землѣ всеобщаго счастья, справедливости и братства. На женщину онъ началъ смотрѣть не какъ на предметъ эпикурейскихъ наслажденій, а какъ на равноправное существо, и онъ проповѣдывалъ образованіе женщинъ не ради только того, чтобы женщина вслѣдствіе развитія сдѣлалась

лучшей самкой, а чтобы она могла занять мѣсто въ жизни во всѣхъ отношеніяхъ рядомъ съ мужчиной.

Было бы ошибочно появленіе такого идеала приписывать исключительно одному только новому міросозерцанію, проповѣданному въ сороковыхъ годахъ и возродившемуся въ концѣ пятидесятыхъ. Реальная философія, явившаяся на смѣну метафизикѣ, сама по себѣ не заключаетъ въ себѣ никакихъ нравственныхъ кодексовъ и ограничивается только тѣмъ, что тѣ самые факты, которые метафизика объясняла по своему, она объясняетъ иначе или совсѣмъ отказывается отъ всякихъ объясненій. Такъ, реальная философія показываетъ вамъ, при какихъ условіяхъ жизни являются тѣ или другіе нравственные идеалы, но въ то-же время она не только не предписываетъ вамъ слѣдовать непремѣнно тому идеалу или другому, а, напротивъ того, внушаетъ вамъ, что, какимъ бы идеаломъ вы ни увлекались отвлеченно, жизнь все-таки приведетъ васъ къ такому изъ нихъ, какой сообразенъ съ условіями вашего быта. Сообразно этому положенію реальной философіи мы и должны искать причинъ появленія новаго нравственнаго кодекса не въ ней самой, а въ условіяхъ жизни той новой среды, которая выступила на сцену умственнаго движенія въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. И дѣйствительно, стоитъ только принять въ соображеніе эти условія, мы сейчасъ же увидимъ, какъ прямо и непосредственно вытекаетъ изъ нихъ новый идеалъ.

Человѣкъ ставитъ на первый планъ и возводитъ въ идеалъ обыкновенно такія свои стремленія, какія преобладаютъ въ его жизни и въ которыхъ онъ видитъ необходимое условіе для поддержанія своего существованія. Естественно, что человѣкъ, обезпеченный отъ всякихъ трудовъ и заботъ, въ разнообразіи и утонченности наслажденій видитъ единственное средство не помереть отъ скуки, и онъ привыкаетъ во всемъ искать наслажденія, на все смотрѣть съ этой точки зрѣнія и въ развитіи все болѣе и болѣе утонченныхъ, болѣе и болѣе разнообразныхъ и обаятельныхъ наслажденій полагать единственный, исключительный принципъ, идеалъ жизни. Столь же естественно, что ничѣмъ необезпеченный бѣднякъ, принужденный ежеминутно трудиться, чтобы не помереть съ голоду, и бороться за свое существованіе, привыкаетъ на первый планъ ставить въ жизни трудъ и борьбу. Стремленіе къ счастью, къ пользѣ, сначала личной, а потомъ, подъ впечатлѣніемъ всеобщихъ страданій вокругъ, къ пользѣ общей — вотъ чѣмъ по необходимости бываютъ заняты всѣ его помышленія, и онъ въ свою очередь возводитъ это стремленіе въ идеалъ, во всемъ ищетъ прежде всего пользы, побѣды надъ гнетущей нуждой. И отъ науки, и отъ искусства, и отъ публицистики онъ требуетъ прежде всего помощи, помышленія объ улучшеніи его жалкой участи. Его выводитъ изъ себя эгоистъ, который, углубясь въ науку или созерцаніе искусства, ищетъ въ своихъ занятіяхъ однихъ наслажденій и не думаетъ о пользѣ и улучшеніи участи его, бѣдняка. Въ ожесточеніи онъ начинаетъ отрицать всѣ тѣ отрасли человѣческой дѣятельности, которыя не имѣютъ въ виду ничего, кромѣ однихъ наслажденій. Отвлеченно судя, онъ конечно не правъ въ подобныхъ отрицаніяхъ. Въ сущности, и у него всѣ стремленія къ личной и общественной пользѣ клонятся ни къ чему иному, какъ къ тому, чтобы доставить и себѣ, и другимъ возможно большее количество наслажденій. Но не спѣшите винить его слишкомъ строго въ его часто дѣйствительно излишнихъ крайностяхъ и противорѣчіяхъ. Вы сами виноваты въ томъ, что путь къ той цѣли, къ которой онъ стремится, такъ дологъ и труденъ, что на этомъ безконечномъ пути онъ забываетъ часто о самой цѣли и возводитъ въ основной принципъ жизни средства, которыми онъ добивается своей цѣли.

Если затѣмъ мы обратимъ вниманіе на чисто внѣшнія черты типа новаго героя времени, то и въ нихъ мы не увидимъ ничего такого, что́ было бы навѣяно откуда-нибудь извнѣ и не лежало бы всецѣло въ нравахъ и бытѣ тѣхъ бѣдныхъ классовъ общества, изъ которыхъ вышелъ этотъ герой. Въ самомъ дѣлѣ, отрицаніе излишнихъ свѣтскихъ этикетовъ и предразсудковъ, изысканности въ одеждѣ, въ пищѣ, въ обстановкѣ — вѣдь это все могло показаться чѣмъ то неслыханно новымъ, дерзкимъ и разрушительнымъ развѣ только для людей, никогда не видавшихъ иной тарелки на столѣ, кромѣ серебряной, никогда не ходившихъ пѣшкомъ и не имѣвшихъ ни малѣйшаго понятія объ обстановкѣ иныхъ квартиръ, кромѣ бельэтажныхъ. Между тѣмъ и въ прежніе годы, когда еще у подобныхъ господъ и въ помышленіи не было приходить въ ужасъ отъ появленія различныхъ Базаровыхъ или Рахметовыхъ, бѣдняки ходили въ тѣхъ же поношенныхъ и дешевыхъ костюмахъ, безъ перчатокъ и англійскихъ проборовъ, спали только что не на гвоздяхъ и питались ситниками съ ветчиной. И прежде мало-мальски умненькія и разсудительныя дѣвушки изъ бѣдныхъ классовъ населенія не торчали по цѣлымъ часамъ у зеркала и не считали предосудительнымъ ходить въ ситцевыхъ или кисейныхъ нещеголеватыхъ платьицахъ, сшитыхъ собственными руками. Конечно съ точки зрѣнія господъ, привыкшихъ, чтобы дамы или дѣвицы не иначе ходили по улицамъ, какъ съ ливрейнымъ лакеемъ сзади, могло казаться чѣмъ-то неслыханно новымъ и неприличнымъ, чтобы молодая дѣвушка могла ходить по улицамъ одна и куда ей вздумается, но для дѣвушекъ изъ бѣдныхъ классовъ въ этомъ не было ровно ничего новаго, не представлялось ни малѣйшаго вопроса. Онѣ и прежде ходили по городу однѣ безъ провожатыхъ, и никто этому не удивлялся, никто даже не замѣчалъ этого, пока нравы бѣдныхъ классовъ общества не вошли въ моду и не пріобрѣли себѣ множества подражателей изъ другихъ слоевъ общества. Точно также и вопросъ о женскомъ трудѣ могъ быть вопросомъ только для людей, не видавшихъ или, лучше сказать, не замѣчавшихъ иныхъ женщинъ, кромѣ воздушныхъ созданій, фей, украшавшихъ бальныя залы и салоны, для которыхъ вопросъ о ненужномъ трудѣ могъ дѣйствительно казаться совершенно излишнимъ и Богъ вѣсть кѣмъ навѣяннымъ откуда-то извнѣ. Но для массы женщинъ бѣднаго класса въ этомъ вопросѣ не было ровно ничего новаго: за много, много лѣтъ раньше поднятія его эти женщины принуждены были заботиться о кускѣ хлѣба и трудиться, и никому не каза-

лось страннымъ или неестественнымъ существованіе женской прислуги, акушерокъ, гувернантокъ и проч.

Вы можетъ быть возразите мнѣ, что въ стремленіи найти строгое соотвѣтствіе нашихъ нравственныхъ идеаловъ шестидесятыхъ годовъ съ условіями быта бѣдныхъ классовъ общества я забываю, что вѣдь многія стороны этихъ идеаловъ коренятся въ ученіяхъ, проповѣданныхъ уже въ сороковые годы людьми, вовсе не принадлежавшими къ бѣднымъ классамъ населенія. Такъ напримѣръ, мы видѣли, что теорія чистаго искусства и чистой науки отвергалась уже въ сороковые годы, и въ то-же время начали уже проводиться принципы утилитаризма. Но на это мы замѣтимъ, что люди сороковыхъ годовъ не сами выдумали эти принципы, а пришли къ нимъ потому, что принципы эти господствовали въ то время на Западѣ. А на Западѣ принципы эти вышли все-таки изъ бѣдныхъ классовъ общества. Что-же касается людей сороковыхъ годовъ, то большинство ихъ принимало принципы эти отвлеченно, теоретически, въ видѣ безстрастныхъ, безжизненно холодныхъ формулъ и фразъ, которыя, пребывая въ головахъ ихъ безъ всякой связи и осмысленности, нисколько не мѣшали имъ въ своей практикѣ жизни, въ своихъ живыхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ слѣдовать все тому-же своему эпикурейскому принципу наслажденія. По этой причинѣ принципы утилитаризма такъ легко и забылись, едва только въ концѣ сороковыхъ годовъ сошли со сцены люди, проповѣдывавшіе ихъ, и снова большинство людей сороковыхъ годовъ возвратилось къ теоріямъ чистаго искусства, чистой науки и проч. Но совершенно иначе принялись тѣ-же самые утилитарные принципы на новой почвѣ мыслящаго пролетаріата, выступавшаго на поприщѣ умственнаго движенія въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Здѣсь эти принципы нашли сродство съ условіями самаго быта; они встали не въ разладъ съ основными стремленіями жизни, а, напротивъ, узаконили и осмыслили эти стремленія, и въ свою очередь стремленія эти оживили принципы; изъ отвлеченныхъ теоретическихъ формулъ они обратились въ живыя слова страсти и того горячаго энтузіазма, съ какими выступили новые люди шестидесятыхъ годовъ на проповѣдь своихъ новыхъ нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ.

Чтобы судить о томъ тѣсномъ соотвѣтствіи, какое существуетъ между новыми нравственными идеалами шестидесятыхъ годовъ и бытомъ той среды, изъ которой эти идеалы вышли, стоитъ только принять во вниманіе тѣ два совершенно различныя отношенія къ этимъ идеаламъ, какія мы видимъ въ различныхъ людяхъ шестидесятыхъ годовъ. Для однихъ идеалы эти являлись чѣмъ-то совершенно новымъ, стояли совершенно въ разрѣзъ со всѣми ихъ прежними понятіями, нравами, привычками и перевертывали всю ихъ жизнь. Для юнаго питомца какого-нибудь лицея или училища правовѣдѣнія было безспорно радикальнымъ переворотомъ въ жизни перестать франтить и, вслѣдствіе того, преградить себѣ доступъ въ сферы большого свѣта, разстроить нѣсколько хорошихъ связей, потерять возможность выгодно и быстро составить карьеру, вооружить противъ себя родныхъ, замѣнить упорнымъ труженичествомъ привычку къ свѣтской разсѣянности и строгою воздержностью и бережливостью — наклонность къ мотовству и разнузданности страстей. Между тѣмъ тѣ-же самые идеалы ровно ничего новаго не вносили въ жизнь бѣдняка: они только подчеркивали его привычки, осмысливали его стремленія, развивали до разумной сознательности зародыши различныхъ симпатій и антипатій его. Въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ измѣняли филиппики противъ изнѣженности, праздности, роскоши, фатовства и прочаго жизнь бѣднаго честнаго труженика, гнѣздящагося гдѣ-нибудь на чердачкѣ и ходящаго въ подбитой воздухомъ шинелькѣ въ трескучіе морозы, и что удивительнаго могло быть для дѣвушки, питающейся какимъ-нибудь ремесломъ, въ новой идеѣ о необходимости самостоятельнаго женскаго труда?

Вслѣдствіе этого наиболѣе чистые, вѣрные, кровные, если можно такъ выразиться, представители новыхъ идеаловъ выходили по преимуществу изъ бѣдныхъ слоевъ общества. Что-же касается иныхъ слоевъ, то вслѣдствіе трудности переворота, радикально измѣняющаго жизнь и нравы людей этихъ слоевъ, только весьма немногіе, наиболѣе сильные и богато одаренные люди могли глубоко проникаться новыми идеалами и послѣдовательно проводить ихъ въ жизни. Большинство послѣдователей новыхъ идеаловъ изъ привилегированныхъ слоевъ явились только диллетантами этихъ идеаловъ, принимали одну внѣшность ихъ, доводили ее часто дѣйствительно до смѣшныхъ крайностей и нелѣпостей, и между тѣмъ какъ языки ихъ болтали фразы въ новомъ духѣ, въ жизни ихъ сохранялись старые нравы и привычки, унаслѣдованные отъ отцовъ и дѣдовъ.

Къ сожалѣнію, литература до сихъ поръ еще недостаточно разграничила эти два отношенія къ новымъ идеаламъ: съ одной стороны, простыя естественныя отношенія людей, приготовленныхъ самою жизнью къ ихъ осуществленію, съ другой — искусственное, натянутое, ходульное отношеніе къ нимъ людей, не имѣющихъ съ этими идеалами ничего общаго, какъ по складу своей жизни, такъ и по всѣмъ своимъ наслѣдственно-укоренившимся привычкамъ, симпатіямъ и антипатіямъ. Между тѣмъ впродолженіи всего движенія шестидесятыхъ годовъ и до нашего времени проходятъ въ жизни эти два отношенія, дѣлящія представителей новыхъ идеаловъ на два типа, рѣзко отличающіеся другъ отъ друга. Въ послѣдовавшую эпоху новой реакціи реакціонная литература, въ своихъ пресловутыхъ нападкахъ на новыхъ людей, или представляла ихъ въ самомъ нелѣпомъ карикатурномъ видѣ, или же брала черты второго типа, выводя на сцену различныхъ диллетантовъ и фразеровъ. Что-же касается литературы, стоявшей на сторонѣ новыхъ идеаловъ, то она, въ оппозицію реакціонной литературѣ, начала представлять, въ свою очередь, не дѣйствительныхъ, реальныхъ новыхъ людей того или другого типа, а какія-то невозможно-идеальныя совершенства, соединяющія въ себѣ букеты самыхъ возвышенныхъ добродѣтелей. Подобнаго рода свѣтозарные герои явились передъ публикой конечно не простыми естественными продуктами своей среды, а дѣйствительно чѣмъ-то новымъ, небывалымъ, словно свалившимся вдругъ съ неба.

Между тѣмъ какъ литература сошла такимъ образомъ съ почвы безпристрастнаго анализа дѣйствительности, жизнь, вѣрная своимъ законамъ, своему пути, не замедлила выставить впереди умственнаго движенія эпохи нѣсколько представителей новаго идеала во всей ихъ безъискусственной простотѣ и естественности. Къ числу такихъ представителей принадлежитъ между прочимъ Николай Александровичъ Добролюбовъ. Личность Добролюбова должна играть одну изъ главныхъ ролей въ исторіи развитія нашего общества, не только какъ перваго вполнѣ реальнаго критика и публициста, не только какъ даровитаго проповѣдника новыхъ идей, наложившаго печать своего живого слова на цѣлую эпоху: въ то-же время личность эта замѣчательна, какъ человѣкъ, какъ типъ, вполнѣ цѣльный, опредѣленный и могущій служить однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей той новой среды, которая выступила на поприще умственнаго движенія. Среда эта и прежде выпускала изъ себя порой талантливыхъ людей, становившихся во главѣ вѣка, каковы были: Ломоносовъ, Полевой, Бѣлинскій. Но всѣ они, дѣйствуя въ чуждой имъ сферѣ, невольно подчинялись давленію ея духа, увлекались болѣе или менѣе ея идеалами, ея принципами. Въ лицѣ-же Добролюбова среда эта впервые выступила сама собою и смѣло выставила свои собственные идеалы и принципы въ разрѣзъ со всѣми прежними идеалами и принципами, выставила ихъ не только въ словѣ, но и въ самой жизни. Слово и жизнь такъ нераздѣльны въ личности Добролюбова, что говорить о его словѣ, не говоря о его жизни,—невозможно. Не опредѣливши его, какъ типъ своего времени и своей среды, вы не въ состояніи будете получить яснаго понятія о значеніи его сочиненій.

Еще болѣе поучительнымъ должно представиться намъ знакомство съ жизнью Добролюбова вслѣдствіе того, что, давая намъ понятіе о естественномъ и чистомъ представителѣ новыхъ идеаловъ, знакомство это должно разрушить множество иллюзій. Подъ впечатлѣніемъ, съ одной стороны, массы обезьянъ, дилетантовъ и фразеровъ прогресса, съ другой — подъ обаяніемъ реакціонной литературы, выставлявшей этихъ господъ въ видѣ дѣйствительныхъ представителей новыхъ людей, публика наша до такой степени получила ложныя, искаженныя понятія о новыхъ людяхъ, что, когда появились въ печати «Отцы и Дѣти» Тургенева, она готова была повѣрить нелѣпому слуху, ходившему въ то время, что будто Тургеневъ своего Базарова срисовалъ съ Добролюбова. Базаровъ и Добролюбовъ! Это совершенно все равно, что сказать будто Грибоѣдовъ срисовалъ Репетилова съ Чаадаева или Лермонтовъ въ Грушницкомъ изобразилъ Бѣлинскаго!

Николай Александровичъ Добролюбовъ родился въ Нижнемъ-Новгородѣ 24-го января 1836 года. Отецъ его, Александръ Ивановичъ, былъ священникъ нижегородской Никольской церкви.

Такимъ образомъ родители его принадлежали, по своему положенію и состоянію, вполнѣ къ среднему кругу непривилегированной среды, т. е. были далеки какъ отъ безпомощной нищеты мелкаго мѣщанства, такъ и отъ избытка купеческаго круга. Это именно такой центръ пролетаріата, который повсюду и во всѣ времена былъ самой плодотворной почвой для произведенія сознательныхъ друзей народа и борцовъ за его интересы, основателей религіозныхъ сектъ, проповѣдниковъ новыхъ общественныхъ идей, изобрѣтателей и проч. Человѣкъ, воспитанный этой средой, обыкновенно привыкаетъ съ младенчества къ простой и незатѣйливой обстановкѣ; жизнь не изнѣживаетъ его, но въ то-же время и не на столько бѣдна его обстановка, чтобы въ немъ загрубѣли всѣ чувства и исчезли всякія потребности къ улучшенію своего быта. Съ самаго дѣтства человѣкъ этотъ чувствуетъ и на себѣ, и на родныхъ всю тяжесть борьбы за существованіе, всю унизительность печальной зависимости каждаго шага жизни отъ грубаго произвола. Жизнь такимъ образомъ рано начинаетъ открываться ему съизнанки, и онъ привыкаетъ обращать все свое вниманіе на мрачныя стороны ея. Но въ то же время тяжесть всего этого гнета не на столько все-таки сильна въ этой средѣ, чтобы окончательно обезличить и убить человѣка, загородивши ему всякую дорогу къ исходу изъ его положенія. Напротивъ того, какъ ни бѣдны средства этой среды и какъ ни тяжело они достаются, все таки ихъ хватаетъ на столько, чтобы давать дѣтямъ образованіе. И такъ какъ въ образованіи представляется для этой среды единственный выходъ изъ гнетущихъ обстоятельствъ, то понятно, что мало-мальски талантливый человѣкъ всѣми силами души пристращается къ книгамъ. Въ книгахъ онъ ищетъ не одни только умственные и нравственные интересы, но и чисто практическіе, матеріальные: книга не только должна научить его, образовать, но освободить и даровать лишній кусокъ хлѣба. Наконецъ нужно обратить вниманіе и на то, что центральное положеніе этой среды между богатствомъ и нищетой, привилегированными и низшими классами общества, представляетъ ту выгоду, что человѣкъ, находясь въ такомъ центрѣ, имѣетъ сношенія съ различными слоями общества, пріучается изучать эти слои, сравнивая ихъ другъ съ другомъ, и усвоиваетъ такимъ образомъ вполнѣ опредѣленныя и реальныя понятія объ ихъ отношеніяхъ одинъ къ другому.

Дѣтство свое Добролюбовъ провелъ такъ-же монотонно и однообразно, какъ проводятъ его всѣ дѣти изъ его среды. Первой воспитательницей его была мать его, Зинаида Васильевна, женщина, по общимъ отзывамъ, умная и прекрасная, и Добролюбовъ тѣмъ болѣе былъ привязанъ къ ней, что дѣлилъ съ нею всѣ мелкія домашнія невзгоды, которыя столь часты въ семействахъ средняго круга, гдѣ глава дома, занятой съ утра до вечера различными трудами и заботами, приходитъ домой поздно, усталый, угрюмый, и нерѣдко на своихъ домочадцахъ вымещаетъ тѣ непріятности, какія втеченіи дня ему пришлось испытать при исполненіи своихъ обязанностей; гдѣ ежедневно и ежечасно всплываютъ всякія мелкія дрязги, заботы и черныя мысли о нерадостномъ настоящемъ и темномъ будущемъ; гдѣ на каждомъ шагу ждетъ то какое-нибудь униженіе, то какое-нибудь лишеніе. Чтобы вполнѣ очертить мрачный фонъ дѣтства Добролюбова, стоитъ только выписать изъ дневника его одинъ день, описанный съ весьма характеристическими подробностями, бросающими яркій свѣтъ на все дѣтство До-

бролюбова и всю обстановку его родительскаго крова, тѣмъ болѣе, что день этотъ новогодній, въ который домашняя обстановка въ каждомъ семействѣ принимаетъ наиболѣе парадный и праздничный видъ.

«1-го января 1852 г.

Вотъ и еще одинъ годъ «юркнулъ въ вѣчность!». И еще годъ прошелъ, и еще годомъ сократилась жизнь моя. Грустно встрѣтилъ я этотъ годъ, котораго ждалъ я, можно сказать, съ нетерпѣніемъ. Много я надѣялся на него и отъ него... Но вотъ пришелъ онъ, и при самомъ вступленіи его надежды мои разсыпаются прахомъ. Грустно, невесело!.. Тяжелый день провелъ я нынѣ. Теперь (12-й часъ вечера) на дворѣ бушуетъ вѣтеръ, злится буря, свиститъ и воетъ, и бурлитъ. и это довольно близко къ состоянію души моей. Я не сдѣлалъ нынѣ ничего добраго и полезнаго. Встрѣчая новый годъ, не хотѣлъ я спать всю ночь, но въ два часа «лечь полежать» —не больше —и задремалъ, и уснулъ.. А свѣча осталась на столѣ не погашенная, а книга лежала раскрытая. Къ счастью огарокъ былъ не великъ и вѣроятно скоро догорѣлъ и погасъ самъ собой. Впрочемъ можетъ быть погасла и няня. Я не говорилъ объ этомъ ни слова, но цѣлое утро былъ въ какомъ-то смущеніи. Надѣлалъ-было я дѣла – подумалъ я, проснувшись, и прямо бросился въ другую комнату къ столу, свѣчѣ и книгѣ и, нашедъ все въ цѣлости, не мало былъ удивленъ и еще болѣе обрадованъ... Потомъ я поздно пришелъ къ обѣднѣ, простоялъ у порога, скопфузился при исполненіи нелѣпой фантазіи, пришедшей мнѣ въ голову поздравить въ церкви А. Н. Ник..., *которая мнѣ только кивнула на мое привѣтствіе*, и ушелъ, не достоявъ молебенъ. Потомъ вздумалось мнѣ идти поздравить мою крестную—Л. В П.; я пошелъ, *встрѣтилъ сухой пріемъ*, проскучалъ лишніе полчаса въ жизни, *былъ раздосадованъ невниманіемъ къ себѣ*, получилъ порученіе, которое потомъ позабылъ исполнить, и не знаю еще, какъ отдѣлаюсь!.. Дома оскорбилъ маменьку, но вскорѣ помирился. Въ половинѣ шестого пошелъ къ одному изъ товарищей, хорошему знакомому, В. В. Л., просидѣлъ тамъ часа два ни скучно, ни весело, хотя смѣялся очень много... Оттуда мнѣ чрезвычайно хотѣлось, необыкновенно хотѣлось побывать у постояльцевъ нашихъ Щ.. и поиграть тамъ съ ихъ прекрасными дѣтьми. . особенно одна.. Тамъ было бы такъ весело!.. Все это думалъ я дорогой, но дома ждало меня достойное заключеніе этого дня... Нужно было случиться, чтобы у насъ въ этотъ день сбѣжала со двора наша корова.. Папенька и такъ нынѣ былъ довольно въ худомъ расположеніи духа по нѣкоторымъ обстоятельствамъ; но когда сказали ему объ этомъ, онъ окончательно растерялся, и, пришедши домой, я засталъ его въ крайне мрачномъ расположеніи. особенно потому, что это случилось въ новый годъ и слѣдовательно предвѣщало несчастія въ будущемъ, — предразсудокъ, оказавшій однако сильное вліяніе на папашу Къ вящшему несчастію, мамаша съ старшей моей сестрой уѣхали къ А. И. Н. на вечеръ, папаша былъ одинъ, и я долженъ былъ подвергнуться непріятностямъ. Сначала папаша пожалѣлъ о коровѣ, побранилъ заочно работницу—за дѣло! и принялся писать свои дѣла .. Я думалъ, что ждать мнѣ больше нечего, взялъ свѣчу и пошелъ къ себѣ въ комнату. Но папаша позвалъ меня къ себѣ и сказалъ, что еслибы я мало-мальски радѣлъ отцу, жалѣлъ его, еслибы у меня хотя немного было мозгу въ головѣ, то я занялся бы этимъ дѣломъ, а не оставилъ его безъ вниманія, будто мнѣ все равно, хоть все гори, все распропади .. Послѣ этого нечего было ждать ласковаго слова. Я таки испугался предстоящей сцены, и поскорѣе, по приказанію папаши, сошелъ въ кухню и разспросилъ кухарку объ успѣхахъ ея поисковъ, которые были совсѣмъ безуспѣшны. Узнавши это, я въ точности донесъ папашѣ. Онъ сталъ что-то говорить, и вдругъ, Богъ-вѣсть какъ, разговоръ перешелъ ко мнѣ, и тутъ-то я долженъ былъ выслушать множество вещей, которыхъ теперь и не припомню въ подробностяхъ. Но только главный смыслъ ихъ былъ таковъ: «Ты—негодяй; ты не радѣешь отцу, не смотришь ни зачѣмъ; не любишь и не жалѣешь отца, мучишь меня и не понимаешь того, какъ я тружусь для васъ, не жалѣя ни силъ, ни здоровья. Ты—дуракъ, изъ тебя толку немного выйдетъ; ты ученъ, хорошо сочиняешь, но все это вздоръ. Ты—дуракъ и будешь всегда дуракомъ въ жизни, потому что ты ничего не умѣешь и не хочешь дѣлать. Вы меня не слушаете, вы меня мучите; когда-нибудь вспомните, что я говорилъ, да будетъ поздно. Можетъ, я не долго ужъ проживу. Отъ такихъ безпокойствъ, тревогъ и непріятностей поневолѣ захочешь умереть; лучше прямо въ могилу, чѣмъ этакъ жить. Ничего въ свѣтѣ нѣтъ для меня радостнаго; нигдѣ я не найду отрады, весь свѣтъ подлецъ; всѣ твои науки никуда не годятся, если не будешь умѣть жить. Умѣй беречь деньгу; безъ денегъ ничего не сдѣлаешь; деньги—охъ!—трудно достаются; надо умѣть да и умѣть пріобрѣтать ихъ; какъ меня не будетъ, вы съ голоду всѣ умрете; никакія твои сочиненія тебѣ не помогутъ!.. Изъ тебя ничего хорошаго не выйдетъ; хило-гнило, хило-гнило; немного въ тебѣ мозгу, а еще умнымъ считаешься.» Все это, на разныя манеры повторяемое, я слушалъ отъ 8-ми до 11-ти часовъ— ровно три часа .. Каково это вынести? *Не въ первый и не въ послѣдній разъ слышалъ я эти упреки*, но нынѣ они особенно были тяжелы для меня. Они продолжались три часа; произносились не съ сердцемъ, не въ гнѣвѣ, но очень спокойно, только въ необыкновенно мрачномъ и грустномъ тонѣ. Я не видѣлъ никакого повода къ такому обороту разговора, хотя большей частью и сознавалъ относительную справедливость высказываемыхъ замѣчаній. Но все это ничего бы: особенно поразили меня упреки въ нелюбви, нерадѣніи къ отцу, пророческія слова о томъ, что изъ меня ничего не выйдетъ; всего-же болѣе эти жалобы на свои труды и безпокойства, на то, что недолго ему остается жить. Чуть не плачу и теперь, припоминая это. Однако мнѣ не хочется вѣрить, и я не смѣю вѣрить этимъ словамъ. Но когда папаша говорилъ, я не смѣлъ, я не могъ произнести ни одного слова, если онъ самъ не спрашивалъ меня: «такъ-ли?» на что я отвѣчалъ только: такъ-съ... Я бы нашелся, что сказать, но у меня недоставало духу говорить... Не понимаю, что это такое. А папашѣ это видимо непріятно.. Но что-же дѣлать? Не такъ, не такъ надо со мной говорить и обращаться, чтобы достигнуть того, чего ему хочется. Нужно прежде разрушить эту робость, побѣдить это чувство приличія передъ роднымъ отцомъ, будто чужимъ, смирить эту недовѣрчивость, и тогда уже явится эта младенческая искренность и простота. Впрочемъ, что винить папашу?— я виноватъ, одинъ я причиной этого. Должно быть я гордъ, и изъ этого источника происходитъ весь мой гадкій характеръ Это впрочемъ кажется у насъ наслѣдственное качество, хотя въ довольно благородномъ значеніи... Однако чудный денекъ! Всѣ такъ встрѣчаютъ новый годъ? Не правда-ли?.. Можно повеселиться!» ..

Итакъ, вотъ вамъ вся грустная картина дѣтства Добролюбова: провинціальная скука внѣ дома, разсѣваемая изрѣдка какимъ-нибудь часикомъ молодого хохота съ товарищемъ, оскорбительное невниманіе и небрежность въ обращеніи со стороны губернскихъ шутихъ, едва удостоивавшихъ ничтожнаго и неловкаго семинариста величественнаго кивка головой или сухого пріема, а дома—ежеминутныя ожиданія какой-нибудь бури, невыносимыхъ попрековъ и унизитель-

*

ныхъ порицаній... Робкое безмолвіе передъ гнѣвомъ отца и мучительное чувство отчужденности отъ него. Только однѣ ласки матери хоть сколько-нибудь скрашивали эту жизнь. Послѣ этого всего страстная привязанность Добролюбова къ матери своей такъ естественна и понятна въ семействахъ съ такимъ строемъ жизни: это не та холодная, отвлеченная любовь къ матери, которую вы часто можете встрѣтить среди роскошной обстановки, такъ-называемое чувство сыновняго долга, внушаемое обыкновенно малюткѣ гувернанткой на французскомъ языкѣ. Это привязанность къ другу и хранителю дѣтства, къ товарищу страданій и невзгодъ.

«Отъ нея—писалъ Добролюбовъ въ 1854 году послѣ смерти матери - получилъ я свои лучшія качества, съ ней сроднился я съ первыхъ дней моего дѣтства; къ ней летѣло мое сердце, гдѣ-бы я ни былъ, для нея было все, все, что я ни дѣлалъ. Она понимала эту любовь; но я не успѣлъ показать ее на дѣлѣ, не успѣлъ осуществить то, чѣмъ хотѣлъ ее радовать... Мало радостныхъ минутъ доставилъ я ей. Я былъ слишкомъ гордъ, я не хотѣлъ прежде времени высказывать даже ей, моей дорогой, своихъ гордыхъ плановъ и надеждъ, думалъ, что будетъ время — на дѣлѣ увидитъ она, какого сына имѣетъ и сколько онъ любитъ ее... Не случилось такъ!.. И почему-же не вѣрить мнѣ, что она смотритъ на меня съ высоты небесъ, радуется... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ—если это правда, если она видитъ меня, мою тоску, мои терзанья, мои сомнѣнья, она умолитъ Бога, чтобы Онъ послалъ ее вразумить бѣднаго жалкаго сына. Иначе ей будетъ рай не въ рай, если только она не разлюбила меня. Мать моя! Милая, дорогая моя! Я всего лишился въ тебѣ! Видишь, я плачу... Мнѣ тяжело, мнѣ горько! Помолись за меня, чтобы Богъ остановилъ меня на краю гибели!.. Вѣдь ты—чистая праведница, и Богъ услышитъ тебя. Явись мнѣ, утѣшь меня... Дай мнѣ вѣру, надежду... Съ надеждой можно жить въ мірѣ... Неужели-же разстояніе между нами такъ непроходимо, что и материнское сердце не услышитъ мольбы страдающаго сына? Или я въ самомъ дѣлѣ долженъ думать, что ты не существуешь болѣе и что я—тоже машина?.. Но зачѣмъ-же эта странная тоска, эта трусть, эти сомнѣнія? Мать моя! Вѣрю, что ты любишь меня... Вразуми и научи безпомощнаго! Заставь меня вѣрить и утѣшаться будущимъ!.. Мое положеніе такъ горько, такъ страшно, такъ отчаянно, что теперь ничто на землѣ не утѣшитъ меня. Самая сильная радость обратится у меня въ печаль, самая громкая слава, огромное богатство, всевозможные успѣхи только заставятъ сокрогнуться мое сердце при одной мысли, что еслибы это знала мамаша, какъ-бы мы съ ней порадовались!.. И эта мысль тяжко, громаднымъ камнемъ падетъ мнѣ на сердце, и не будетъ мнѣ счастья въ счастьи одинокаго эгоизма...»

Не правда-ли, какъ напоминаетъ это страстное, нѣжное обращеніе Добролюбова къ умершей матери тѣ пресловутыя фразы вродѣ: *умерла старина*, *откланялась* или, еще лучше, *подохла*, которыми современные наши беллетристы характеризуютъ небрежное и циническое отношеніе людей молодого поколѣнія къ своимъ престарѣлымъ родителямъ!... Какъ въ самомъ дѣлѣ похожъ Добролюбовъ на Базарова, снисходительно треплющаго своего отца по плечамъ...

Матери былъ обязанъ Добролюбовъ началомъ своего умственнаго развитія. Уже трехъ лѣтъ, со словъ матери своей, онъ заучилъ нѣсколько басенъ Крылова и прекрасно произносилъ ихъ передъ домашними и чужими... Мать-же выучила его и читать да, кажется, и писать азбуку. Когда ему стало 8 лѣтъ, то приглашенъ былъ въ учители для него кончившій курсъ семинаріи—Садовскій; но этотъ послѣдній занимался не болѣе двухъ мѣсяцевъ, потому что поступилъ самъ въ священники. Тогда приглашенъ былъ къ нему Михаилъ Алексѣевичъ Костровъ, семинаристъ философскаго класса, впослѣдствіи зять его, мужъ старшей сестры, который приготовлялъ мальчика впродолженіи 3-хъ лѣтъ!

«Поступивъ къ нему въ учителя, — говоритъ Костровъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Добролюбовѣ,— я старался, во-первыхъ, заохотить его къ ученію, чтобы «*учиться*» обратилось для него въ главную и насущную потребность; а, во-вторыхъ, доводить его до яснаго, по возможности полнаго и отчетливаго понятія о каждомъ предметѣ, не слишкомъ заботясь о буквальномъ заучиваніи имъ уроковъ (конечно при обученіи латинскому и греческому языкамъ приходилось ограничиваться только впрочемъ совершенно достаточнымъ знаніемъ всякихъ правилъ грамматическихъ и синтаксическихъ). Покойная мать его не разъ тутъ замѣчала, что изъ нашей классной комнаты почти только и слышно: «почему», «отчего», да «какъ» и т. д. Отецъ его, видя, что сынъ его, при своей отличной воспріимчивости, при усердіи и любознательности, оказывалъ отличные успѣхи, и что вообще наше ученіе идетъ въ порядкѣ, не мѣшалъ намъ и свободно предавался своимъ служебнымъ и хозяйственнымъ занятіямъ—только иногда навѣдывался о его успѣхахъ и давалъ ему тѣ или другіе вопросы по тому или другому предмету.»

Одиннадцати лѣтъ Добролюбовъ былъ отданъ въ духовное училище, и черезъ годъ успѣлъ уже попасть въ четвертый, послѣдній классъ этого училища. Въ училищѣ онъ съ перваго-же года обратилъ на себя вниманіе какъ учителей, такъ и товарищей. Робкій, застѣнчивый мальчикъ нѣжной, барской наружности съ мягкими руками, въ то-же время онъ поразилъ всѣхъ бойкостью и находчивостью отвѣтовъ и начитанностью, необыкновенною для 12-тилѣтняго ребенка.

«Пытались объяснить успѣхъ Добролюбова—говоритъ въ воспоминаніяхъ о немъ товарищъ его, М. Е. Лебедевъ—посторонней помощью, но скоро разубѣдились. Когда учитель заставлялъ въ классѣ учениковъ фразировать по-латыни русскія предложенія и разсказывать по-латыни своими словами изъ «Корнелія Непота» и «Латинской христоматіи», то Добролюбовъ постоянно отличался при всѣхъ. Наконецъ и собственные опыты подражателей его увѣрили, что это довольно возможно и безъ посторонней помощи. Съ такимъ-же успѣхомъ Добролюбовъ занимался священной исторіей, географіей, ариѳметикой и другими науками, занялъ повсюду 4-й № въ спискахъ, а въ 1848 году перешелъ во 2-е отдѣленіе словесности (низшее отдѣленіе семинаріи, по множеству воспитанниковъ дѣлившееся на два параллельныя отдѣленія). Въ семинаріи съ теченіемъ времени Добролюбовъ погружается въ ученыя занятія. Отъ товарищей держится такъ-же далеко, хотя принимаетъ къ себѣ всѣхъ, кому угодно его посѣтить. Но все свободное отъ посѣщеній время занятъ книгами. Онъ читалъ русскихъ авторовъ, ученыя сочиненія, журналы и дома, и въ классахъ. Въ его упражненіяхъ по классу реторики и піитики постоянно было видно знакомство съ лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на видъ учителемъ словесности. Въ немногихъ упражненіяхъ, какія были по исторіи всеобщей, бы-

ла видна та-же начитанность. Его возраженія, напримѣръ, по математикѣ профессору-монаху, по исторіи противъ учебника Кайданова были выслушиваемы учениками съ участіемъ, которое возрастало, когда профессоръ не рѣшалъ возраженій, а заминалъ ихъ своимъ авторитетомъ, невозможностью распространяться по причинѣ недосуга и другими уловками. Въ среднемъ отдѣленіи семинаріи Добролюбовъ поражалъ громадными сочиненіями по философскимъ тэмамъ, особенно объ ученіи отцовъ церкви, отчасти изъ русской церковной исторіи...»

Сочиненія эти дѣйствительно были колоссальны по своему объему для ученика семинаріи—въ 30, 40, 100 листовъ (конечно писчихъ), и недаромъ Добролюбовъ въ глазахъ отца былъ литераторомъ уже на семинарской скамейкѣ. Впрочемъ, кромѣ этихъ классныхъ сочиненій, въ Добролюбовѣ рано, еще на 14-мъ году, обнаружилась страсть къ авторству, конечно въ видѣ писанія стиховъ, причемъ онъ между прочимъ переводилъ Горація. Въ 1850 году онъ даже рѣшился послать въ «Москвитянинъ» письмо, прося у редакціи 100 руб. и обѣщая за нихъ прислать 40 стихотвореній. А въ 1852 году онъ послалъ въ редакцію «Сына Отечества» 12 стихотвореній подъ псевдонимомъ Владиміра Ленскаго.

Что касается до внутренняго развитія Добролюбова, то оно шло своимъ путемъ, переходя тѣ-же неизбѣжные періоды, какіе мы видимъ въ развитіи каждаго человѣка и общества,—періодъ дѣтской непосредственности, періодъ романтизма и рефлексій и наконецъ періодъ реализма. Разница между Добролюбовымъ съ его сверстниками и людьми предшествовавшей эпохи заключалась только въ томъ, что тѣ-же самые періоды, которые люди сороковыхъ годовъ переживали впродолженіи цѣлой своей жизни, останавливаясь часто на второмъ и даже на первомъ, люди молодого поколѣнія успѣвали переживать впродолженіи первой юности, такъ что въ 20 лѣтъ являлись часто вполнѣ уже на реальной почвѣ.

Выходъ изъ дѣтской непосредственности выразился у Добролюбова, какъ у многихъ натуръ глубокихъ, сильныхъ и сосредоточенныхъ въ себѣ, въ видѣ суроваго, самобичующаго аскетизма. Аскетизмъ, начиная съ среднихъ вѣковъ и до нашего времени, является нерѣдко первой формой мысли, пробужденной и дошедшей до сознанія. Естественно, что идеи и вѣрованія, которыя безсознательно бродятъ въ головѣ нашей, внушаемыя съ самаго ранняго дѣтства, при первомъ возбужденіи мысли вдругъ пробуждаются, складываются въ стройную систему, представляются чѣмъ-то новымъ, какъ будто прежде ихъ не было у насъ въ головѣ. Тогда люди поверхностные, разсѣянная жизнь которыхъ разнообразна внѣшними впечатлѣніями, ограничиваются обыкновенно рѣдкими минутами благочестивыхъ размышленій, послѣ которыхъ съ спокойной совѣстью вступаютъ въ обыденную рутину жизни, не имѣющей ничего общаго съ этими размышленіями; люди съ пламеннымъ воображеніемъ бросаются въ туманный и таинственный мистицизмъ; люди-же, привыкшіе сосредоточиваться въ себѣ и слѣдить за каждымъ своимъ шагомъ и помышленіемъ, вслѣдствіе однообразія своей жизни, подавленности и ряда несчастій, или-же по особенному складу глубокой, строго-логической и послѣдовательной натуры,—начинаютъ стремиться согласовать съ своими идеями каждый шагъ жизни, что и ведетъ ихъ, по характеру идей, къ аскетизму. Поэтому аскетизмъ чаще всего встрѣчается въ жизни, какъ первая фаза развитія, съ одной стороны у людей геніальныхъ, съ другой — несчастныхъ и подавленныхъ, и вслѣдствіе послѣдней причины—въ низшихъ слояхъ общества.

Во время самаго большого разгара своего аскетизма Добролюбовъ въ дневникѣ своемъ ежедневно велъ списокъ всѣхъ своихъ прегрѣшеній съ благочестивыми укоризнами себя и оканчивалъ эти списки словами: «Господи! Спаси мя, не остави мене погибающа!» Вотъ образчикъ подобнаго рода самобичеваній:

«7-го марта 1853 года, 1-й часъ пополудни.

«Нынѣ сподобился я причащенія пречистыхъ таинъ Христовыхъ и принялъ намѣреніе съ этого времени строже наблюдать за собой. Не знаю, будетъ-ли у меня силъ давать себѣ каждый день отчетъ въ своихъ прегрѣшеніяхъ, но по крайней мѣрѣ прошу Бога моего, чтобы онъ далъ мнѣ положить хотя начало благое. Боже мой! Какъ мало еще прошло времени, и какъ уже много лежитъ на моей совѣсти! Вчера, во время исповѣди, я осудилъ духовника своего и потомъ скрылъ это, не покаялся; кромѣ того я сказалъ не всѣ грѣхи, и это не потому, что позабылъ ихъ или не хотѣлъ, но потому, что не рѣшился сказать духовнику, что еще рано разрѣшать меня, что я еще не все сказалъ. Потомъ я сѣтовалъ на отца духовнаго, что онъ не о многомъ спрашивалъ меня; но развѣ я долженъ ожидать вопросовъ, а не самъ говорить о своихъ прегрѣшеніяхъ? Только вышелъ я изъ алтаря, и сдѣлался виновенъ въ страхѣ человѣческомъ, затѣмъ человѣкоугодіе и, хотя легкій, смѣхъ съ товарищами присоединились къ этому. Потомъ суетныя помышленія славолюбія и гордости, разсѣянность во время молитвы, лѣность къ богослуженію, осужденіе другихъ — увеличили число грѣховъ моихъ» и т. д., и т. д.

Но подобнаго рода аскетизмъ не былъ впрочемъ исключительнымъ и всеобъемлющимъ явленіемъ въ психической жизни юноши. Съ одной стороны разнообразное чтеніе, съ другой – жизнь постоянно возбуждали въ немъ соотвѣтствующія впечатлѣнія и влеченія. Такъ, въ одно время съ вышеозначенными самобичеваніями Добролюбовъ, по собственнымъ словамъ своимъ, «хотѣлъ походить на Печорина и Тамарина, хотѣлъ толковать, какъ Чацкій». Въ то-же время, читая списки грѣховъ, вы видите въ числѣ ихъ первые проблески тревожныхъ сомнѣній, которыя все болѣе и болѣе начинаютъ овладѣвать юношей, и тщетно онъ гонитъ ихъ отъ себя... Это уже начало второго періода—сомнѣній, рефлексій и романтическихъ порываній. Въ этотъ періодъ съ презрѣніемъ и ненавистью начинаетъ смотрѣть юноша на всю окружавшую его пошлость губернской жизни. «Все пошло, глупо, мелко,—восклицаетъ онъ въ своемъ дневникѣ;—ничто не удовлетворяетъ порывовъ высокаго ума, глубоко чувствующаго сердца...»

Въ то-же время онъ мечтаетъ объ университетѣ, о литературной славѣ, и питаетъ глубокую, страстную привязанность къ пріѣхавшему въ 1851 году изъ Петербурга учителю нѣмецкаго языка, Ивану Максимовичу Сладкопѣвцеву. Привязанность эта, хотя и

основанная повидимому на реальныхъ основаніяхъ, то-есть благотворномъ вліяніи Сладкопѣвцева на развитіе юноши, тѣмъ не менѣе носила чисто романтическій характеръ, соединяясь съ той безотчетной влюбчивостью, какую нерѣдко испытываютъ 17-тилѣтніе мальчики. Такъ, Добролюбовъ, еще не видя Сладкопѣвцева, успѣлъ уже влюбиться въ него заочно, по однимъ слухамъ, распространивши свое обожаніе даже на внѣшность предмета любви:

«Смутно я постигалъ что-то прекрасное—говоритъ онъ въ письмѣ къ Сладкопѣвцеву—въ этомъ соединеніи понятія: брюнетъ, изъ петербургской академіи, молодой, благородный и умный... Не говоря уже объ умѣ и благородствѣ, надо замѣтить, что я особенно люблю брюнетовъ, чрезвычайно уважаю петербургскую академію и молодыхъ профессоровъ предпочитаю старымъ. Я съ нетерпѣніемъ ждалъ минуты, когда увижу васъ, и во все это время я чувствовалъ что-то особенное... Чего ищешь, то обыкновенно скоро находишь: на слѣдующій-же день я съ полчаса прогуливался по нижнему корридору и дождался-таки васъ. Правду сказать, при моей близорукости, я не могъ хорошо разсмотрѣть вашей физіономіи; но и одинъ бѣглый взглядъ на васъ достаточенъ былъ, чтобы произвести во мнѣ самое выгодное впечатлѣніе. Я люблю эти гордыя, энергическія физіономіи, въ которыхъ выражается столько отваги, ума и мужества. Признаюсь, я нѣсколько ошибся тогда, признавши васъ существомъ гордымъ и недоступнымъ, но это было тогда полезно мнѣ тѣмъ, что я сталъ съ того времени считать васъ чѣмъ-то высшимъ, неприступнымъ, передъ чѣмъ я долженъ только благоговѣть и смиренно посматривать на слѣдъ, жалѣя, что не могу взглянуть прямо въ глаза.»

Это благоговѣйное смотрѣніе въ слѣдъ продолжалось не дни, не недѣли, а мѣсяцы и повидимому около года. Впродолженіи всего этого времени юноша обожалъ своего учителя издали, не смѣя и думать о томъ, чтобы сблизиться съ нимъ; издали онъ радовался и печалился, боялся и стоялъ горой за предметъ своего обожанія. Когда случай наконецъ свелъ его съ Сладкопѣвцевымъ, онъ шелъ къ нему съ тѣмъ трепетомъ, съ какимъ только ходятъ на первое свиданіе. Познакомившись со своимъ учителемъ, Добролюбовъ еще болѣе привязался къ нему.

«Что-то особенно привлекало меня къ нему,—пишетъ онъ въ дневникѣ,—возбуждало во мнѣ болѣе, нежели просто привязанность—какое-то благоговѣніе къ нему. При всей короткости нашихъ отношеній я уважалъ его, какъ не уважалъ ни одного профессора, ни самого ректора или архіерея—словомъ, какъ не уважалъ ни одного начальника. Ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ не рѣшился бы я оскорбить его; просьбу его я считалъ для себя закономъ. Вздумалъ-бы онъ публично наказать меня, я послушался-бы, перенесъ наказаніе, и мое расположеніе къ нему нисколько-бы отъ того не уменьшилось... Какъ собака, я былъ привязанъ къ нему, и для него я готовъ былъ сдѣлать все, не разсуждая о послѣдствіяхъ, и пр...»

Но блаженный міръ золотыхъ мечтаній о славѣ, наукѣ, университетѣ и упоеніе безкорыстнаго дѣтскаго обожанія—все это вскорѣ было разрушено самымъ безжалостнымъ образомъ. Жизнь бѣдняка такъ ужъ складывается, что не даетъ ему долго пребывать въ мірѣ романтическихъ иллюзій и скоро отрезвляетъ, возвращая его на землю и заставляя его почувствовать всю мизерность окружающей его дѣйствительности.

Первыя разсѣялись мечты объ университетѣ. Добролюбовъ долго не рѣшался заговорить съ отцомъ объ этомъ щекотливомъ предметѣ; наконецъ изъ косвенныхъ разспросовъ онъ узналъ, что родителямъ его очень трудно, почти невозможно содержать его во время университетскаго курса. Тогда ему пришлось отложить въ сторону свои мечты и утѣшать себя взамѣнъ ихъ тѣмъ, чтобы выйти годомъ раньше изъ семинаріи и поступить въ петербургскую духовную академію. Мечты объ авторствѣ въ свою очередь начали колебаться.

«Главнымъ образомъ—пишетъ онъ въ дневникѣ соблазняетъ меня авторство, и если мнѣ хочется въ Петербургъ, то не по желанію видѣть сѣверную Пальмиру, не по разсчетамъ на превосходство столичнаго образованія: это все на второмъ планѣ, это только средство. На первомъ-же планѣ стоитъ удобство сообщенія съ журналистами и литераторами. *Прежде я безотчетно увлекался этой мыслью, а теперь уже начинаю подумывать, что*

То кровь кипитъ, то силъ избытокъ . .

Надежда на журналистовъ для меня очень плоха, потому что, не доучившись годъ въ семинаріи, я въ академіи долженъ буду заниматься очень сильно, и времени праздпаго у меня не будетъ, и притомъ я не знаю новыхъ языковъ, слѣдовательно переводное дѣло уже не по моей части, а иначе какъ начать?»

Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ потерпѣла жестокое испытаніе и привязанность Добролюбова къ учителю. Сладкопѣвцева перевели въ Тамбовъ—и эта утрата, разомъ освѣтивши всю бѣдность, монотонность и безпомощность жизни юноши, довела его до крайней степени отчаянья и ожесточенія.

«Боже мой! — пишетъ онъ въ дневникѣ — люди пристращаются къ красотамъ природы, къ картинамъ, статуямъ, деньгамъ, и они не имѣютъ препятствій для наслажденія ими. Всѣ эти вещи могутъ принадлежать имъ, быть ихъ неотъемлемой собственностью, если только не принадлежатъ всѣмъ, что также не мѣшаетъ всякому наслаждаться ими... Чѣмъ-же виноватъ я, что привязываюсь къ человѣку, превосходнѣйшему творенію Божію? Чѣмъ я несчастливъ, что моя душа не любитъ ничего въ мірѣ, кромѣ такой-же души? Ужели преступленіе то, что я инстинктивно отгадываю умъ, благородство, доброту человѣка и, отгадавши, всѣми силами души привязываюсь къ нему? И за что-же наказывать меня, за что отнимать у меня счастье, когда оно такъ чисто, невинно и благородно? Сколько ни имѣй я привязанностей, всегда злая судьба умчитъ отъ меня далеко любимый предметъ, и въ душѣ—тоскливое воспоминаніе и горькое сознаніе своего отчаянія. . Я рожденъ съ чрезвычайно симпатичнымъ сердцемъ: слезы сострадательности чаще всѣхъ бывало вытекали изъ глазъ моихъ. Я никогда не могъ жить безъ любви, безъ привязанности къ кому бы то ни было. Это было такъ, что я себя не запомню. Но эта постоянная насмѣшка судьбы, по которой всѣ мои надежды и мечты обыкновенно разлетались прахомъ, постоянно сушитъ и охлаждаетъ мое сердце, и нѣтъ ничего мудренаго, что скоро оно будетъ твердо и холодно, какъ камень. Вотъ хоть бы и теперь—что вдругъ понадобилось Ивану Максимовичу въ Тамбовѣ? Чѣмъ ему нехорошо здѣсь? Что за обстоятельства? А между тѣмъ я страдаю, и еще какъ страдаю—тѣмъ болѣе, что мнѣ этого ни передъ кѣмъ нельзя высказать: всѣ станутъ смѣяться. Я бѣшусь только внутренно, и произношу тысячу проклятій. Но какія проклятія, какія слова выразятъ то, что я чувствую теперь въ глубинѣ души моей! Я пробовалъ всѣ энергическія

восклицанія русскаго народа, которыми онъ выражаетъ свои сильныя ощущенія, но все, что я знаю,—слабо, не выражаетъ... и я попрежнему взволнованъ, и по-прежнему въ душѣ моей кипитъ и бурлитъ страшное безпокойство. Я теперь надѣлалъ бы чортъ-знаетъ что, весь міръ перевернулъ бы вверхъ дномъ, выцарапалъ бы глаза, откусилъ бы пальцы тому... который подписалъ увольненіе Ивана Максимовича. Но, увы! это ни къ чему не поведетъ, и мнѣ остается только стараться смирить свои бѣшеные порывы...»

Всѣ эти разочарованія привели Добролюбова къ мучительному сознанію своего ничтожества передъ обстоятельствами, которыя, какъ будто нарочно, смѣялись надъ бѣднякомъ, разрушая въ прахъ его самыя завѣтныя мечты и вертя имъ по какому-то слѣпому произволу. Тяжелое уныніе и апатія были слѣдствіемъ этого сознанія.

«Я совершенно опустился,—пишетъ Добролюбовъ объ этомъ своемъ состояніи,—ничего не дѣлалъ, не писалъ, мало даже читалъ... Что-то такое тяготило меня и, указывая на всю суету мірскую, говорило: «Къ чему? Что тебя здѣсь ожидаетъ? Тебѣ суждено пройти незамѣченнымъ въ твоей жизни, и при первой попыткѣ выдвинуться изъ толпы обстоятельства, какъ ничтожнаго червя, раздавятъ тебя... И ничего ты не сдѣлаешь, ничего не можешь ты сдѣлать, не смотря на всю твою самонадѣянность», и припомнился мнѣ желчный стихъ Лермонтова:

Не вѣрь, не вѣрь себѣ, мечтатель молодой!..»

Это былъ кризисъ, послѣ котораго энергія воскресла съ новой силой и напряженностью, но это была уже не энергія романтическихъ мечтаній и безотчетныхъ порывовъ, а сознательной борьбы съ гнетущими обстоятельствами. Бѣднякъ впервые трезво взглянулъ на свое положеніе и сознался, что даромъ ему ничего не дается, что достигнуть чего нибудь онъ можетъ только усидчивымъ, кропотливымъ трудомъ, и въ немъ появились первые ростки новаго идеала — идеала положительнаго труженика, который, энергически стремясь къ возвышеннымъ цѣлямъ, не пренебрегаетъ въ то-же время матеріальными условіями жизни, сознаетъ ихъ неотразимость и старается принимать ихъ въ соображеніе при каждомъ своемъ шагѣ:

«Тогда я все собирался ѣхать въ университетъ—пишетъ онъ объ этой перемѣнѣ въ началѣ 1853 года—и между тѣмъ ничего не дѣлалъ; нынѣче мои предположенія опредѣленнѣе, и я готовлюсь ихъ выполнить. Тогда мнѣ представлялось, что въ университетѣ лучше учиться, чѣмъ въ академіи. Но я считалъ тогда совершенно излишнимъ думать о томъ, что будетъ по окончаніи курса; теперь я подумалъ объ этомъ и нашелъ, что разница между тѣмъ и другимъ самая малая, а между тѣмъ сберегается въ четыре года около 1,000 р. сер.,—вещь немаловажная. Кромѣ того замѣтно даже мнѣ самому (впрочемъ это не диво: я люблю наблюдать надъ собой), что я сдѣлался гораздо серьезнѣй, положительнѣй, чѣмъ прежде. Бывало я хотѣлъ все исчислить, все понять и узнать; науки казались мнѣ лучше всего, и моей *страстью къ книгамъ* я хотѣлъ доказывать—для самого себя—безкорыстное служеніе и природное призваніе къ наукѣ. Нынѣ я въ своихъ мечтахъ не забываю и деньги и, разсчитывая на славу, разсчитываю вмѣстѣ на барыши, хотя еще не могу отказаться отъ плана—употребить ихъ опять-таки для пріобрѣтенія новой славы. Страсть мою къ книгамъ я не называю нынѣче влеченіемъ къ наукѣ, а настоящимъ ея именемъ, и вижу въ ней только признакъ того, что я большой библіофилъ, потому что я люблю книги, какого бы рода онѣ ни были, и сгораю желаніемъ, увидя книгу, не узнать то, что въ ней написано, но только узнать, что это за книга, какова и проч. Самому чтенію какой-бы то ни было книги я большей частью предаюсь только для удовольствія сказаться себѣ: читалъ то и то; эта, и другая, третья, и десятая книга мнѣ извѣстны... Поэтому-то я такъ люблю нынѣ читать журналы и преимущественно отдѣлъ библіографіи и журнальныя замѣтки. Недавно присоединилось сюда и другое побужденіе: я читаю иное для того, что это пригодится на пріемномъ экзаменѣ. Далѣе я пока не простираюсь. Литературныя цѣли мои достигаются пока только записываньемъ, списываньемъ и писаньемъ.»

Рядомъ со всѣмъ этимъ повліяло на Добролюбова и чтеніе беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Какъ ни узокъ былъ кругъ ихъ художественныхъ образовъ, какъ ни мелки и жалки были ихъ положительные идеалы, какъ наконецъ ни отстало было ихъ міросозерцаніе, но тѣмъ не менѣе различные отголоски идей сороковыхъ годовъ постоянно отзывались въ ихъ произведеніяхъ. Въ то-же время они не переставали выставлять во всемъ безобразіи героевъ растлѣннаго эпикуреизма праздной жизни своей среды. Отвращеніе, возбуждаемое этими героями, было тѣмъ сильнѣе, что изображеніе ихъ носило совершенно субъективный характеръ. Писатели любили своихъ героевъ, выставляли ихъ нерѣдко какъ лучшихъ представителей своей среды и тѣмъ не менѣе обнаруживали всю ихъ несостоятельность, рефлектируя и плача вмѣстѣ съ ними надъ несостоятельностью всей своей среды. Такими самоизгрызеніями беллетристы сороковыхъ годовъ сами внушали въ молодомъ поколѣніи то отвращеніе отъ всѣхъ прежнихъ идеаловъ, за которое они впослѣдствіи напали на это молодое поколѣніе... Такому вліянію беллетристовъ сороковыхъ годовъ подвергся и Добролюбовъ.

«Въ началѣ прошлаго года — пишетъ онъ все о томъ-же своемъ возрожденіи — я, какъ-то все сбивался: хотѣлъ походить на Печорина и Тамарина хотѣлъ толковать, какъ Чацкій, а между тѣмъ представлялся какимъ-то Вихляевымъ и особенно похожъ былъ на Шамилова. Изображеніе этого человѣка глубоко укололо мое самолюбіе, я устыдился, и если не тотчасъ принялся за дѣло, то по крайней мѣрѣ сознался потребность труда, пересталъ заноситься въ высшія сферы, и мало-по-малу исправляюсь теперь. Конечно много здѣсь подѣйствовало на меня и время, но не могу не сознать, что и чтеніе «Богатаго Жениха» также способствовало этому. Оно пробудило и опредѣлило для меня давно спавшую во мнѣ и смутно понимаемую мной мысль о необходимости труда, и показало все безобразіе, пустоту и несчастіе Шамиловыхъ. Я отъ души поблагодарилъ Писемскаго. Кто знаетъ, можетъ быть онъ помогъ мнѣ, чтобъ я со временемъ лучше могъ поблагодарить его!?..».

Слѣдствіемъ подобнаго возрожденія энергіи и обращенія ея къ труду и положительнымъ цѣлямъ было то, что въ томъ-же году уже Добролюбовъ имѣлъ возможность выйти изъ семинаріи за два года до окончанія курса, и въ августѣ 1853 года онъ отправился въ Петербургъ держать пріемный экзаменъ въ санктпетербургскую духовную академію. Но въ Петербургѣ онъ узналъ о возможности поступить въ педагогическій институтъ и поступилъ туда, такъ какъ институтъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, все-таки бли-

же подходилъ къ университету во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ академія. Поступивши въ институтъ, на казенный конечно счетъ, Добролюбовъ избралъ, такъ сказать, средній путь: удовлетворилъ, на сколько возможно, своимъ мечтамъ объ университетѣ и въ тоже время избавилъ своихъ родителей отъ необходимости содержать его.

По пріѣздѣ въ Петербургъ и по поступленіи въ институтъ развитіе Добролюбова пошло еще конечно быстрѣе. Онъ весь углубился въ книги.

«Онъ читалъ, читалъ всегда и вездѣ, по временамъ внося содержаніе прочитаннаго (хотя онъ и безъ того хорошо помнилъ) въ имѣвшуюся у него толстую въ алфавитномъ порядкѣ библіографическую тетрадь, — говоритъ товарищъ Добролюбова, Радонежскій, въ своихъ воспоминаніяхъ объ институтскихъ годахъ Добролюбова, — въ столѣ у него было столько разнаго рода замѣтокъ, рѣдкихъ рукописей, тетрадей, корректуръ, держа которыя въ первое время онъ зарабатывалъ себѣ копѣйку, въ шкапу столько книгъ, что и ящикъ въ столѣ, и полки въ шкапу ломились.»

Это исключительное погруженіе въ міръ науки и идей отражалось какъ въ письмахъ Добролюбова, такъ и во всѣхъ его отношеніяхъ къ людямъ.

«Въ его первыхъ письмахъ изъ Петербурга—говоритъ Лебедевъ въ своихъ воспоминаніяхъ — выражалось совершенное невниманіе къ красотамъ столицы, полное хладнокровіе къ нимъ, которое онъ замѣтно старался передать и тѣмъ, кто требовалъ отъ него подробныхъ описаній. А какъ у семинаристовъ водится описывать всякій городъ, куда метнетъ ихъ судьба учиться, то молчаніе Добролюбова было очень непріятно для его товарищей. Нашлось довольно людей, которые, нисколько не сговариваясь между собой, прямо осудили его за то, что онъ корчитъ изъ себя ужъ очень умнаго человѣка, на котораго будто не дѣйствуетъ никакая внѣшность. Упреки въ гордости, въ невнимательности къ товарищамъ и тому подобное посыпались отовсюду. Зато безъ всякой просьбы съ ихъ стороны Николай Александровичъ дѣлился съ знакомыми тѣми идеями, какія онъ встрѣтилъ или развилъ въ институтѣ; онъ высылалъ цѣлыя тетрадки записокъ, печатные листки по почтѣ, или съ вѣрными людьми къ нѣкоторымъ знакомымъ, къ профессорамъ; онъ звалъ ихъ на честную, благую дѣятельность, рисовалъ имъ идеалы обязанностей, преимущественно священническихъ; въ пріѣзды въ Нижній онъ довершалъ такія сношенія лично...»

Такимъ образомъ вы видите, что уже въ семнадцать лѣтъ изъ Добролюбова выработался энтузіастъ, до самозабвенія преданный идеямъ, развитію себя и другихъ, стремленію осуществлять въ жизни высокіе идеалы и побуждать къ этому ближнихъ. Уже съ семнадцати лѣтъ онъ привыкаетъ къ серьезному отношенію къ жизни, ищетъ всюду пользы и содержанія, дѣлается врагомъ безцѣльныхъ созерцаній и чувствоизліяній, вслѣдствіе чего, находя излишнимъ пускаться въ описаніе красотъ столицы, спѣшитъ подѣлиться съ товарищами своими идеями. И во всемъ этомъ вы не видите ни капли чего-либо напускного, навѣяннаго извнѣ. Такъ выработала и направила молодого человѣка сама жизнь со всѣми своими невзгодами, препятствіями, разочарованіями, лишеніями, униженіями и прочими прелестями положенія бѣднаго семинариста, самостоятельно пробивающаго себѣ дорогу безъ всякихъ протекцій и какихъ-либо посторонннихъ поддержекъ.

А жизнь не переставала наносить ему ударъ за ударомъ, все болѣе и болѣе напрягая его энергію въ борьбѣ съ обстоятельствами, раскрывая ему глаза на всю безпомощность положенія массы такихъ бѣдняковъ, какъ онъ, ожесточая его и не давая ни минуты отдохнуть и забыться въ какихъ-нибудь успокоительныхъ мечтахъ и сладкихъ иллюзіяхъ. Не прошло и года по поступленіи его въ институтъ, какъ вдругъ умерла у него мать. Не успѣлъ онъ оправиться отъ страшнаго потрясенія, какое произвела на него утрата этого нѣжно любимаго имъ друга дѣтства, какъ вслѣдъ за матерью пошелъ въ могилу и отецъ, оставивши послѣ себя все семейство въ крайней нищетѣ, къ тому же обремененное тяжкими долгами, въ которыхъ старикъ запутался, вздумавши передъ своей смертью строить домъ, не имѣя на это надежнаго капитала. На рукахъ студента перваго курса осталось семейство изъ пяти сестеръ и двухъ братьевъ. Въ отчаяньи Добролюбовъ намѣревался уже бросить институтъ и искать мѣста уѣзднаго учителя въ своемъ городѣ, и едва только уговорили его родные, знакомые и товарищи отказаться отъ этого намѣренія, доказавъ ему, что скуднымъ жалованьемъ уѣзднаго учителя онъ не въ силахъ будетъ содержать свое семейство, для самыхъ выгодъ котораго необходимо, чтобы онъ кончилъ курсъ въ институтѣ. Ему представили также, что три года, оставшіеся ему до окончанія курса, сестры и братья его будутъ безбѣдно жить—одни у родственниковъ, другіе у нѣкоторыхъ изъ прихожанъ, уважавшихъ его отца. Такъ было и сдѣлано. Но Добролюбовъ былъ слишкомъ гордъ и независимъ, и не могъ допустить, чтобы его братья и сестры существовали исключительно милостью другихъ; къ тому-же родные его были сами люди небогатые, и Добролюбовъ принужденъ былъ, не щадя себя, работать день и ночь. Сверхъ своихъ институтскихъ занятій онъ началъ давать уроки, доставать переводы, и такимъ образомъ пріобрѣталъ деньги на содержаніе сестеръ и братьевъ.

Это семейное несчастіе повліяло какъ на здоровье Добролюбова, такъ и на всѣ его нравственныя и умственныя убѣжденія.

Начать съ того, что смерть матери такъ сильно подѣйствовала на основы его міросозерцанія, что послѣ этой катастрофы совершился окончательный переворотъ, разрушившій всѣ его дѣтскія убѣжденія.

«— За что такъ строга судьба?—говорилъ онъ однажды Радонежскому:—матушка моя была такъ религіозна... такъ набожна... и такъ необходима малолѣтней семьѣ нашей... Зачѣмъ было отнимать ее у насъ?.. Поневолѣ задумаешься..»

«— Неужели-же разстояніе между нами такъ непроходимо, что и материнское сердце не услышитъ мольбы страдающаго сына?—пишетъ онъ въ вышеприведенномъ обращеніи къ умершей матери,—или я въ самомъ дѣлѣ долженъ думать, что ты не существуешь болѣе и что я—тоже машина...»

Вмѣстѣ съ переворотомъ основныхъ убѣжденій, переворотомъ, въ которомъ жизнь участвовала не менѣе, если не болѣе книги, совершился подъ вліяніемъ той-же катастрофы окончательный закалъ его нравственныхъ и общественныхъ стремленій.

Первый пылъ отчаянья, во время котораго Добро-

любовь говорилъ своимъ роднымъ, что на что́ ему и жизнь-то теперь, развѣ только для братьевъ и сестеръ, для которыхъ онъ еще лѣтъ пять-шесть поживетъ,—смѣнился сдержаннымъ, холоднымъ и тѣмъ болѣе мрачнымъ ожесточеніемъ.

«— Въ концѣ августа—говоритъ Радонежскій — на обратномъ пути изъ дома въ Петербургъ я встрѣтилъ Добролюбова на желѣзной дорогѣ, уже ѣхавшаго на этотъ разъ съ какимъ-то бариномъ-землякомъ во II классѣ.»

— Что новаго у васъ, Николай, въ Нижнемъ?

— Отецъ умеръ, отвѣтилъ онъ.

Въ холодномъ тонѣ отвѣта, сказаннаго Добролюбовымъ съ язвительной улыбкой, мнѣ послышалось проклятіе, посланное судьбѣ... Да, онъ смѣялся, сообщая мнѣ эту грустную новость, но такъ смѣялся, что меня покоробило...

Эта холодная, язвительная улыбка, скрывающая за собой ѣдкую горечь, негодованіе и озлобленіе, сдѣлалась послѣ того основной чертой характера Добролюбова, отразившейся впослѣдствіи во всѣхъ его сочиненіяхъ.

Другой, столь-же основной чертой характера Добролюбова сдѣлалась нетерпимость ко всякимъ безотчетнымъ восторгамъ и безцѣльнымъ радостямъ,—нетерпимость, если хотите, нѣсколько аскетическая, но весьма понятная для человѣка, которому въ 18 лѣтъ жизнь успѣла насолить столько, сколько насолила она Добролюбову. Такова естественная логика бѣдняка: тяжела жизнь для большинства смертныхъ, все въ ней какъ будто нарочно, на зло, по какой-то безчеловѣчной насмѣшкѣ судьбы устроено такъ, чтобы существованіе тысячъ было подавлено, искажено, отравлено ради благополучія нѣсколькихъ избранниковъ. До смѣху-ли и веселыхъ пѣсенъ при взглядѣ на подобное зрѣлище? И такъ:

— Радонежскій! перестанешь-ли ты сердечные романсы распѣвать?—вскричалъ однажды Добролюбовъ своему товарищу; —ужели ты не имѣешь въ запасѣ для пѣнія чего-нибудь получше? На, вотъ, пой!..—И Добролюбовъ сунулъ своему товарищу стихотворенія Некрасова: «Оставь, пожалуйста, любовь и цвѣты, пой «жизнь» или плачь: это одно и то-же—ну, свисти!» И при этомъ единственная пѣсня, которую Добролюбовъ любилъ и часто просилъ Радонежскаго спѣть ее,— была: «Не слышно шуму городского».

Но было бы ложно думать, чтобы эта энергія ожесточенія, направившая всѣ силы Добролюбова на борьбу съ различными мрачными элементами жизни, не ослабѣвала ни на минуту, чтобы нервы его были постоянно одинаково напряжены и чтобы 18-ти-лѣтній юноша обратился въ какую-то безчувственную машину, направленную въ одну сторону. Жизнь постоянно представляла юношѣ свои различныя приманки и искушенія. Молодая, кипучая натура заявляла о своихъ требованіяхъ. Силы, направленныя къ одной цѣли, ослабѣвали порой: тогда являлась живая потребность покоя, отдыха, наслажденій. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ молодомъ человѣкѣ возникалъ страхъ опуститься, потерять энергію, упустить изъ виду главную цѣль жизни, утратить благородную злобу, помириться съ жизнью, и начиналась внутренняя борьба, подобная той, какую испытывалъ Гамлетъ между любовью къ Офеліи и сыновнимъ долгомъ мести.

«Странное дѣло,—пишетъ Добролюбовъ въ своемъ дневникѣ въ одну изъ подобныхъ минутъ,—нѣсколько дней тому назадъ я почувствовалъ въ себѣ возможность влюбиться; а вчера, ни съ того, ни съ сего, вдругъ мнѣ пришла охота учиться танцовать. Чортъ знаетъ, что это такое! Какъ-бы то ни было, а это означаетъ во мнѣ начало примиренія съ обществомъ. Но я надѣюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сдѣлать что-нибудь, я долженъ не убаюкивать себя, не дѣлать уступки обществу, а, напротивъ, держаться отъ него дальше, питать желчь свою. При этомъ разумѣется конечно, что я не буду дѣлать себѣ насилія, а стану ругаться только до тѣхъ поръ, пока это будетъ занимать меня и доставлять мнѣ удовольствіе. Дѣлать то, что́ мнѣ противно, я не люблю. Если даже разумъ убѣдитъ меня, что то, къ чему имѣю я отвращеніе, благородно и нужно, и тогда я сначала стараюсь пріучить себя къ мысли объ этомъ, придать болѣе интереса для себя этому дѣлу, — словомъ, развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны съ абсолютной справедливостью, не были противны и моему личному чувству. Иначе, если я примусь за дѣло, для котораго я еще недовольно развитъ, и слѣдовательно не гожусь, то, во-первыхъ, выйдетъ изъ него—«не дѣло, только мука», а во-вторыхъ никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разумѣ столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвованіе собственной личностью отвлеченному понятію, за которое бьешься.»

«Жизнь меня тянетъ къ себѣ, тянетъ неотразимо,—пишетъ Добролюбовъ въ другомъ мѣстѣ,—бѣда, если я встрѣчу теперь хорошенькую дѣвушку, съ которой близко сойдусь—влюблюсь непремѣнно и сойду съума на нѣкоторое время... И такъ вотъ она начинается жизнь-то... Вотъ время для разгула и власти страстей... А я, дурачекъ, думалъ въ своей педагогической и метафизической отвлеченности, въ своей книжной сосредоточенности, что уже я «пережилъ свои желанья и разлюбилъ свои мечты». Я думалъ, что войду на поприще общественной дѣятельности чѣмъ-то вродѣ Катона безстрастнаго или Зенона Стоика. Но вѣрно жизнь возьметъ свое...»

Одновременно съ этими бореніями и совершенно согласно съ ними окончательно выяснился и выработался въ умѣ Добролюбова тотъ новый идеалъ труженика, о которомъ мы говорили въ началѣ этой главы. Увлекшись этимъ дѣломъ, Добролюбовъ вознамѣрился выставить его въ романѣ, за писаніе котораго съ жаромъ принялся онъ въ 1855 году. Вотъ какія любопытныя свѣдѣнія сообщаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Радонежскій объ этомъ романѣ:

«Если не ошибаюсь, въ февралѣ 1855 года я отправился въ лазаретъ. Въ лазаретѣ я нашелъ Добролюбова здоровымъ. Онъ по вечерамъ тамъ что-то писалъ и записывался иногда далеко за полночь. Я полюбопытствовалъ спросить: что ты пишешь, Николай?...»

«—А вотъ слушай. И онъ мнѣ прочелъ отрывокъ изъ предполагаемаго романа. Отрывокъ этотъ составлялъ первыя главы. Въ нихъ, помню, дѣло шло о воспитаніи двухъ мальчиковъ. Одинъ изъ нихъ былъ аристократенокъ—маменькинъ сынокъ, другой пріемышъ—соединенный братъ, служившій компаньономъ барченку... Мнѣ особенно памятны тѣ страницы, гдѣ авторъ говоритъ о деспотическихъ отношеніяхъ перваго къ послѣднему, и сцена, гдѣ мальчикъ пріемышъ-сирота однажды отдалъ встрѣченной имъ на улицѣ дѣвушкѣ-нищей, босой, съ окровавленными ногами, свои сапоги, за что́ барыня-мать больно высѣкла своего пріемнаго сына... Я долго

слушалъ этотъ разсказъ, полный горячаго сочувствія къ сиротѣ и читанный Добролюбовымъ съ большимъ одушевленіемъ... На глазахъ у меня навернулись слезы. Потомъ эти мальчики были отданы въ одно заведеніе учебное, вмѣстѣ учились, кончили курсъ удачно. Барченокъ жилъ и учился съ протекціей... Сирота—самъ собой, безъ помощи, всегда въ борьбѣ съ нуждой и людьми, подъ вліяніемъ чего характеръ послѣдняго выработался симпатичный, твердый, самостоятельный. Чтеніе, помню, кончено было (тутъ-же былъ и конецъ рукописи будущаго большого романа) на томъ мѣстѣ, гдѣ эти два героя начинаютъ служебную карьеру, какъ и слѣдовало ожидать, различными путями. Маменькинъ сынокъ поступаетъ подъ крыло какого-то директора департамента, а сирота самъ гдѣ-то находитъ для себя мѣсто... Заглавія этого романа мнѣ тогда Добролюбовъ не сказалъ, вѣроятно и самъ еще не зналъ, какъ его назвать; но замѣтилъ мнѣ, что пишется легко, что вовсе не такой трудъ, какъ онъ прежде думалъ, писать повѣсти .. Кажется, этой повѣсти или романа покойный Добролюбовъ такъ и не кончилъ.»

Надо ли прибавлять, что въ этомъ сиротѣ, пробивающемъ самостоятельную дорогу, Добролюбовъ изобразилъ самого себя. Вмѣстѣ съ выработкой подобнаго идеала онъ естественно сдѣлался ожесточеннымъ врагомъ всякой мишуры, рисовки, нарядныхъ мундировъ, ловкихъ поклоновъ и заискивающихъ улыбокъ, шикалъ въ театрѣ Максимову за его слишкомъ усердныя раскланиванья съ публикой, чуть не побилъ товарища, высказавшагося противъ освобожденія крестьянъ при первыхъ слухахъ объ эмансипаціи. Наконецъ въ то-же время начали въ немъ бродить идеи вродѣ той, какъ бы хорошо было уничтожить неравенство состояній, дѣлающее, по собственнымъ словамъ его, всѣхъ несчастными.

Но надо замѣтить, что и при преслѣдованіи этого новаго идеала бывали въ жизни Добролюбова свои реакціи, свои тревоги и сомнѣнія, въ которыя ему вдругъ начинало казаться, что внѣшность и свѣтская мишура составляютъ нѣчто такое необходимое въ жизни, безъ чего онъ погибнетъ. Въ такія минуты Добролюбовъ, забывая о своихъ новыхъ идеалахъ, становился въ положеніе тѣхъ бѣдняковъ сороковыхъ годовъ, которые, какъ мы говорили выше, терзались своимъ ничтожествомъ среди свѣтскаго общества.

«Мы остались вдвоемъ съ В. А., и я сталъ ей говорить совершенно безъ застѣнчиво о своей застѣнчивости, неловкости, незнаніи свѣтскихъ приличій, неумѣньи держать себя въ обществѣ и т. п.—говоритъ Добролюбовъ въ одномъ мѣстѣ своего дневника: - она согласилась, что я дѣйствительно не боекъ, но утѣшала меня тѣмъ, что всѣ означенныя достоинства находятся во мнѣ не въ столь высокой степени, какъ я думаю. А въ самомъ дѣлѣ, какое-то ужасающее сходство нашелъ я въ себѣ съ Чулкатуриными. Я былъ внѣ себя, читая разсказъ; сердце мое билось сильнѣй, къ глазамъ подступали слезы, и мнѣ такъ и казалось, что со мной непремѣнно случится рано или поздно подобная исторія. Чувства-же, подобныя чувствамъ Чулкатурина на балѣ, мнѣ приходилось не разъ испытывать...»

Вотъ каковъ былъ Добролюбовъ передъ началомъ своей литературной дѣятельности. Таковъ былъ въ истинномъ смыслѣ этого слова типическій представитель молодого человѣка той новой среды, которая выступила на поприще умственнаго движенія въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Безъ сомнѣнія, многіе молодые люди изъ этой среды, прочтя біографическія свѣдѣнія о Добролюбовѣ, найдутъ въ различныхъ чертахъ его характера, жизни, во многихъ его чувствахъ, думахъ и тревогахъ много знакомаго и общаго съ собой. Оттого-то Добролюбовъ и можетъ быть названъ вполнѣ типическимъ героемъ своего времени, и нельзя не послать упрека нашимъ беллетристамъ, что, измышляя различныхъ Базаровыхъ да Волохевыхъ, они упустили изъ виду заглянуть хотя бы въ «Современникъ» 1862 года № 1-й, гдѣ помѣщены «Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова», изъ которыхъ мы заимствовали вышеизложенныя свѣдѣнія. Эти матеріалы показали бы имъ, что передумалъ и перечувствовалъ молодой человѣкъ новаго поколѣнія въ своемъ развитіи, и каковъ онъ на самомъ дѣлѣ, въ живой дѣйствительности, въ лицѣ своего наиболѣе типичнаго представителя.

XVI.

Начало литературной дѣятельности Добролюбова.—Добролюбовъ, какъ воскреситель идей сороковыхъ годовъ.—Реальныя основанія его міросозерцанія.—Эстетическія воззрѣнія.—Преобладаніе публицистики надъ критикой въ статьяхъ Добролюбова.—Характеръ публицистической дѣятельности Добролюбова.—Борьба противъ господства авторитета и вліяній крѣпостного права.—Обличеніе отсутствія народныхъ интересовъ, безсилія и мелочности въ литературѣ.—Положительные идеалы Добролюбова.—Выставленіе типа молодого поколѣнія противъ типа людей сороковыхъ годовъ.—Исканіе цѣльныхъ характеровъ въ народѣ.—Вѣра въ живыя силы народа и противупоставленіе ихъ дряблости интеллигентной среды.—Заключеніе о Добролюбовѣ.—Общіе выводы и положенія изъ всего трактата.

Уже въ началѣ 1855 года Добролюбовъ познакомился и вошелъ въ сношенія съ однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ «Современника». Радонежскій говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что Добролюбовъ отправился со своей неоконченной повѣстью, о которой была рѣчь въ предыдущей главѣ, къ этому сотруднику, и тотъ прямо и положительно сказалъ Добролюбову, чтобы онъ не совался въ беллетристику, что онъ пишетъ не повѣсть, а критику на сцены, имъ самимъ придуманныя. Надо полагать, что этотъ приговоръ сотрудника «Современника» окончательно направилъ Добролюбова на тотъ путь, на который онъ не замедлилъ вскорѣ послѣ того вступить.

Такъ, лѣтомъ 1856 года, за годъ до окончанія курса въ педагогическомъ институтѣ, Добролюбовъ отдалъ въ «Современникъ» историко-литературную статью о «Собесѣдникѣ любителей русскаго слова» и вскорѣ потомъ разборъ «Акта главнаго педагогическаго института». Въ обѣихъ этихъ статьяхъ Добролюбовъ выступилъ не такъ, какъ обыкновенно выступаютъ начинающіе писатели, то-есть съ задатками будущаго таланта, но въ то-же время съ неопредѣленными, шаткими взглядами и подъ вліяніемъ предшественниковъ и учителей; напротивъ, онъ сразу явился передъ публикой во всей силѣ и зрѣлости таланта, вполнѣ сформировавшагося. Будучи студентомъ 3-го курса, онъ уже стоялъ впереди своего вѣка, и первыя статьи его являются передъ нами нисколько

не слабѣе послѣднихъ, писанныхъ передъ смертью. Такъ, въ статьѣ объ «Актѣ» вы видите ту-же спокойную, сдержанную и тѣмъ болѣе безпощадную иронію, какую можете встрѣтить въ послѣднихъ статьяхъ «Свистка». Въ статьѣ о «Собесѣдникѣ» васъ поражаетъ громадная начитанность Добролюбова: вы видите, что онъ успѣлъ уже изучить всю русскую литературу съ Ломоносова и до новѣйшаго времени, и изучилъ се не поверхностнымъ діллетантскимъ способомъ, а чисто ученымъ, до мельчайшихъ библіографическихъ подробностей. Такое изученіе по истинѣ поразительно въ 19-ти лѣтнемъ юношѣ, особенно, если принять во вниманіе, что у него, сверхъ этихъ ученыхъ трудовъ, были на шеѣ казенныя институтскія занятія и семья, для обезпеченія которой онъ долженъ былъ зарабатывать матеріальныя средства Въ то-же время статья о «Собесѣдникѣ» показываетъ вамъ, что Добролюбовъ вполнѣ уже усвоилъ весь духъ и всѣ результаты движенія сороковыхъ годовъ, что и поставило его сразу впереди своего вѣка, стоявшаго, какъ мы уже говорили, сзади этихъ результатовъ. Такъ, въ самомъ началѣ статьи онъ прямо нападаетъ на узкоспеціальное, библіографическое направленіе современной критики, сравнивая ее съ критикой сороковыхъ годовъ.

«За 15 20 лѣтъ передъ этимъ—говоритъ онъ—ко всему хотѣли прилагать эстетическія и философскія начала, во всемъ искали внутренняго смысла, всякій предметъ оцѣнивали по тому значенію, какое имѣетъ онъ въ общей системѣ знаній или между явленіями дѣйствительной жизни. Тогда господствовали высшіе взгляды, тогда старались уловить духъ, характеръ, направленіе, оставляя въ сторонѣ мелкія подробности, не выставляя на показъ всѣхъ данныхъ, а выбирая изъ нихъ только наиболѣе характерныя. Тогда критика обыкновенно рисовала намъ прежде всего фасадъ зданія, потомъ представляла намъ его планъ, говорила о матеріалахъ, изъ которыхъ оно построено, разсказывала о внутреннемъ устройствѣ и затѣмъ анализировала впечатлѣніе, которое производитъ это зданіе. Нынѣ это дѣлается не такъ. (Разумѣется здѣсь—прибавляетъ при этомъ Добролюбовъ въ выноскѣ—большинство случаевъ, изъ которыхъ съ прошедшаго года начали появляться пріятныя исключенія) Прежде всего намъ показываютъ отдѣльно каждый кирпичъ, каждое бревно, каждый гвоздикъ, употребленный при постройкѣ дома, разсказывая подробно, гдѣ каждый изъ нихъ купленъ, откуда привезенъ, гдѣ лежалъ до того времени, какъ занялъ свое настоящее мѣсто. Затѣмъ занимаются изслѣдованіемъ, на сколько, кѣмъ и какъ обрубленъ и обсѣченъ сырой матеріалъ, приготовленный для постройки. Наконецъ представляютъ смѣту, сколько эти матеріалы стоили во время самой постройки и сколько они теперь стоютъ. Теперь дорожатъ каждымъ малѣйшимъ фактомъ біографіи и библіографіи. Можно надѣяться—говоритъ далѣе Добролюбовъ — далеко уйдетъ съ ними молодое поколѣніе. Много эта критика сообщитъ ему живыхъ воззрѣній, много породитъ отрадныхъ, прекрасныхъ явленій въ области умственной жизни, много подѣйствуетъ на развитіе общества... Пусть библіографы — заключаетъ Добролюбовъ эту характеристику современной ему критики—съ презрѣніемъ отвернутся отъ моего труда; пусть люди, ищущіе все только фактовъ, голыхъ, сырыхъ фактовъ, пусть они обвиняютъ меня въ недостаткѣ научнаго, моральнаго изслѣдованія, въ пристрастіи къ общимъ взглядамъ, пусть мой трудъ покажется имъ неосновательнымъ, пустымъ, легкимъ. Я не боюсь обвиненія и надѣюсь найти защиту передъ читателями именно въ легкости моего обозрѣнія. Я всѣми силами старался скрыть черную работу, которая положена въ основаніе зданія, снять всѣ лѣса, по которымъ лазилъ я во время стройки, потому что почитаю ихъ совершенно излишними украшеніями. Я старался представить выводы, результаты, итоги, а не частные счеты, не множители и дѣлители. Можетъ быть, отъ этого трудъ мой потеряетъ *научное* достоинство, но зато его можно будетъ читать, а я хочу лучше служить для чтенія, нежели для справокъ...» (см. «С. Д.», т. I, стр. 1—4 *).

Въ концѣ сороковыхъ годовъ такія идеи конечно никого не удивили бы; напротивъ того, возбудили бы всеобщее сочувствіе. Но такова была отсталость общества въ пятидесятые годы, что въ этихъ самыхъ идеяхъ большинство общества, въ особенности же солидные и строгіе адепты различныхъ спеціальностей, видѣли дерзкое глумленіе надъ наукой и легкомысленное отрицаніе ея. Даже самое невинное участіе въ журналѣ, помѣстившемъ эти двѣ первыя статьи Добролюбова, хотя и безъ подписи его имени, могло навлечь на Добролюбова всевозможныя непріятности въ институтѣ. Поэтому Добролюбовъ долженъ былъ отложить свое сотрудничество въ «Современникѣ» до окончанія курса. Въ послѣдній годъ пребыванія своего въ институтѣ онъ ограничилъ свою литературную дѣятельность помѣщеніемъ нѣсколькихъ педагогическихъ статей въ журналѣ Чумикова и Паульсона. И только по окончаніи курса, въ половинѣ 1857 года, началъ онъ свое постоянное сотрудничество въ «Современникѣ», а въ концѣ 1858 года онъ уже принялъ въ свое завѣдываніе отдѣлъ критики и библіографіи въ этомъ журналѣ.

Мы говорили уже, что исходъ пятидесятыхъ годовъ былъ эпохой возрожденія идей сороковыхъ годовъ въ массѣ молодого поколѣнія и мыслящаго пролетаріата, причемъ тотъ самый процессъ умственнаго броженія, который обнималъ собой всю жизнь стараго поколѣнія, въ новомъ поколѣніи совершался въ самомъ юномъ возрастѣ, подъ вліяніемъ литературы сороковыхъ годовъ. Мы прослѣдили этотъ процессъ на Добролюбовѣ, видѣли, какъ юноша перешелъ черезъ мистицизмъ и романтизмъ, рефлексіи и сомнѣнія всякаго рода, и въ 19 лѣтъ онъ явился передъ нами усвоившимъ уже всѣ результаты движенія сороковыхъ годовъ. Читая статьи Добролюбова, вы не найдете уже тѣхъ колебаній и сомнѣній, той двойственности реальныхъ и метафизическихъ идей, какія мы встрѣчали въ сочиненіяхъ мыслителей предшествующей эпохи. Вы видите, что мысль Добролюбова рѣшительно и твердо стоитъ на реальной почвѣ. Поэтому въ статьяхъ его вы не встрѣтите тѣхъ рѣзкихъ противорѣчій, переходовъ отъ одного строя мысли къ другому, противоположному, тѣхъ, однимъ словомъ, періодовъ умственнаго процесса, которые мы видѣли въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго или Герцена. Мысль Добролюбова одна и та-же въ послѣдней статьѣ, что и въ первой, примѣненная только къ различнымъ обстоятельствамъ и вопросамъ времени, и содержаніе этой мысли—полное, торжественное и безвозвратное отреченіе отъ всѣхъ обветшалыхъ и отжившихъ взглядовъ. Мы не будемъ подробно излагать тѣхъ реальныхъ основа-

*) Всѣ ссылки на страницы мы дѣлаемъ по второму изданію сочиненій Добролюбова.

ній, изъ которыхъ исходилъ Добролюбовъ въ своихъ статьяхъ, иначе намъ пришлось бы въ сотый разъ повторять идеи, о которыхъ мы неоднократно распространялись уже въ нашемъ обзорѣ. Отрицаніе заоблачныхъ и метафизическихъ фантазій, убѣжденіе, что явленія жизни частной и общественной подчиняются непреложнымъ, естественнымъ законамъ природы, сознаніе важности естественныхъ наукъ и опытнаго метода для изученія человѣка и общества, объясненіе побужденій и дѣйствій человѣка вліяніемъ обстоятельствъ, образующихъ характеръ его, отрицаніе отвлеченной теоріи нравственнаго долга и выводъ началъ нравственности изъ естественныхъ побужденій эгоизма на разныхъ ступеняхъ развитія, отрицаніе средневѣковой теоріи подавленія страстей и проповѣдь гармоническаго развитія ихъ—всѣ эти краеугольные камни реализма вы найдете въ каждой статьѣ Добролюбова. Желающіе болѣе подробно познакомиться съ этими основами міросозерцанія Добролюбова могутъ обратить особенное вниманіе на слѣдующія его статьи: «Буддизмъ, его догматы, исторія и литература», соч. В. Васильева (см. «С. Добр.», т. II, стр. 321), «Жизнь Магомета», соч. Вашингтона Ирвинга (см. «С. Д.», т. I, стр. 614). Въ обѣихъ статьяхъ Добролюбовъ проводитъ свои взгляды на значеніе и характеръ вѣрованій въ исторіи. Въ статьѣ «Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умственной и нравственной дѣятельностью (см. «С. Д.», т. II, стр. 25)» ы найдете взгляды Добролюбова на единство человѣческой природы и на тѣсную зависимость духовной дѣятельности человѣка отъ его матеріальнаго организма. Въ статьѣ «Русская цивилизація, сочиненная г. Жеребцовымъ» (см. «С. Д.», т. II, стр. 275) теорія эгоизма развивается, какъ основа любви къ общему благу (см. стр. 308); въ статьѣ о Станкевичѣ (см. «С. Д.», т. II, стр. 1) та-же теорія эгоизма противуставляется теоріи нравственнаго долга и свободное влеченіе сердца представляется основой нравственности (см. стр. 10 и 11).

Мы тѣмъ болѣе имѣемъ права не распространяться объ основныхъ началахъ міросозерцанія Добролюбова, что роль Добролюбова въ нашей литературѣ была отнюдь не роль проповѣдника новой философской системы. Чисто-философскіе вопросы занимали Добролюбова гораздо въ меньшей степени, чѣмъ напримѣръ Бѣлинскаго въ концѣ тридцатыхъ годовъ или Герцена въ началѣ сороковыхъ, и весьма немного найдете вы въ собраніи его сочиненій такихъ статей, которыя были бы посвящены исключительно развитію тѣхъ или другихъ положеній реальной философіи. Послѣдняя служила для Добролюбова не предметомъ и цѣлью его пропаганды, а только исходной точкой, отъ которой онъ отправлялся,—почвой, утвердясь на которой онъ дѣлалъ свое дѣло.

Въ такой же степени какъ нельзя Добролюбова назвать проповѣдникомъ реальной философіи, такъ было бы ложно считать его исключительно критикомъ, то-есть проповѣдникомъ какой-нибудь новой эстетической теоріи. Что касается эстетической теоріи, то Добролюбовъ весьма недалеко ушелъ въ ней отъ Бѣлинскаго и является въ этомъ отношеніи, въ свою очередь, воскресителемъ забытыхъ идей сороковыхъ годовъ. Онъ стоитъ впереди Бѣлинскаго въ своихъ эстетическихъ взглядахъ на столько лишь, на сколько онъ опережаетъ современниковъ Бѣлинскаго и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, то-есть: принявши новую теорію, утвердившись въ новыхъ взглядахъ, онъ уже безвозвратно покинулъ старые, основанные на метафизическихъ основаніяхъ. Такъ, мы видѣли, что и Бѣлинскій уже стоялъ за теорію искусства для жизни, требовалъ, чтобы произведеніе писателя удовлетворяло не однимъ эстетическимъ требованіямъ, но въ то-же время заключало въ себѣ какое-нибудь философское или общественное содержаніе. Но Бѣлинскій, какъ мы видѣли, очень часто въ практикѣ отступалъ отъ этихъ взглядовъ и въ оцѣнкахъ своихъ руководился началами чисто эстетической критики. Добролюбовъ же рѣшительно отвергаетъ эстетическую критику. Такъ напримѣръ, въ началѣ своей статьи о «Наканунѣ» онъ прямо говоритъ, что эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень. «Малому знакомству съ чувствительными барышнями — говоритъ онъ — одолжены мы тѣмъ, что не умѣемъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ. Откровенно признаваясь въ томъ и отказываясь отъ роли «воспитателя эстетическаго вкуса публики», мы избираемъ другую задачу, болѣе скромную и болѣе соразмѣрную съ нашими силами». Это отрицаніе эстетической критики навлекло на Добролюбова болѣе всего гоненій со стороны чистыхъ эстетиковъ и обвиненій его въ томъ, что, отрицая эстетическую критику, онъ будто бы является приверженцемъ критики тенденціозной, требующей, чтобы поэты вдохновлялись различными гражданскими тенденціями и писали свои произведенія, искусственно задаваясь утилитарными тэмами.

Между тѣмъ въ сущности Добролюбовъ былъ такой же врагъ искусственной тенденціозности, какъ и Бѣлинскій, и во всемъ томъ, что было реальнаго въ эстетическихъ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго, Добролюбовъ совершенно сходится съ нимъ. Такъ напримѣръ, въ началѣ статьи о «Грозѣ» Островскаго (см. т. 3-й, стр. 511) онъ прямо говоритъ:

«Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подъ вліяніемъ извѣстной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь бы талантъ его былъ чутокъ къ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ извѣстной идеи не потому, что авторъ задался этой идеей при его созданіи, а потому, что автора его поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собой. Такимъ образомъ напримѣръ: философія Сократа и комедіи Аристофана, въ отношеніи къ религіозному ученію грековъ, служатъ выраженіемъ одной и той-же общей идеи—разрушенія древнихъ вѣрованій; но вовсе нѣтъ надобности думать, что Аристофанъ задавалъ себѣ именно эту цѣль для своихъ комедій: она достигается у него просто картиной нравовъ того времени. Изъ его комедій мы рѣшительно убѣждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой миѳологіи уже прошло; то-есть онъ практически приводитъ насъ къ тому, что Сократъ и Платонъ доказываютъ философскимъ образомъ. Такова и вообще бываетъ разница въ способѣ дѣйствія произведеній поэтическихъ и собственно теоретическихъ. Она соотвѣтствуетъ разницѣ въ самомъ способѣ мышленія художника и мыслителя: одинъ мыслитъ конкретнымъ образомъ, никогда не теряя

изъ виду частныхъ явленій и образовъ, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки въ общей формулѣ; но существенной разницы между истиннымъ знаніемъ и истинной поэзіей быть не можетъ: талантъ есть принадлежность натуры человѣка, и потому онъ несомнѣнно гарантируетъ намъ извѣстную силу и широту естественныхъ стремленій въ томъ, кого мы признаемъ талантливымъ. Слѣдовательно и произведенія его должны создаваться подъ вліяніемъ этихъ естественныхъ, правильныхъ потребностей натуры; сознаніе нормальнаго порядка вещей должно быть въ немъ ясно и живо, идеалъ его простъ и разуменъ, и онъ не отдастъ себя на служеніе неправдѣ и безсмыслицѣ, не потому, чтобы не хотѣлъ, а просто потому, что не можетъ—не выйдетъ у него ничего хорошаго, если онъ вздумаетъ насиловать свой талантъ. Подобно Валааму захочетъ онъ проклинать Израиля, и противъ его воли, въ торжественную минуту вдохновенія, въ его устахъ явятся благословенія вмѣсто проклятій. А если и удастся ему выговорить слово проклятія, то оно лишено будетъ внутренняго жара, будетъ слабо и невразумительно. Намъ нечего ходить далеко за примѣрами — наша литература изобилуетъ ими едва-ли не болѣе всякой другой. Возьмите хоть Пушкина и Гоголя: какъ бѣдны и трескучи заказныя стихотворенія Пушкина, какъ жалки аскетическія попытки Гоголя въ литературѣ! Доброй воли было у нихъ много, но воображеніе и чувство не давали достаточно матеріала для того, чтобы сдѣлать истинно поэтическую вещь на заказныя, искусственныя тэмы. Да и не мудрено: дѣйствительность, изъ которой почерпаетъ поэтъ свои матеріалы и свои вдохновенія, имѣетъ свой натуральный смыслъ, при нарушеніи котораго уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остовъ его. Съ этимъ остовомъ и принуждены были всегда оставаться писатели, хотѣвшіе вмѣсто естественнаго смысла придать явленіямъ другой, противный ихъ сущности.»

Такимъ образомъ основной эстетической теоріей Добролюбова является, какъ и у Бѣлинскаго,—та же теорія непроизвольнаго, естественнаго творчества, влекущаго поэта къ изображенію дѣйствительности, правды жизни. Различіе между Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ съ одной стороны и чистыми эстетиками съ другой—заключалось только въ томъ, что послѣдніе, проповѣдуя ту-же самую теорію, говорили, что превосходное изображеніе древеснаго листочка столько же важно, какъ превосходное изображеніе характера человѣка. Добролюбовъ-же возражалъ на это, повторяя то, что̀ неоднократно говорилъ и Бѣлинскій:

«Можетъ быть субъективно это будетъ и справедливо: собственно сила таланта можетъ быть одинакова у двухъ художниковъ, и только сфера ихъ дѣятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэтъ, тратящій свой талантъ на образцовыя описанія листочковъ и ручейковъ, могъ имѣть одинаковое значеніе съ тѣмъ, кто съ равной силой таланта умѣетъ воспроизводить напримѣръ явленія общественной жизни. Намъ кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнѣе вопросъ о томъ, на что̀ употребляется, въ чемъ выражается талантъ художника, нежели то, какіе размѣры и свойства имѣетъ онъ въ самомъ себѣ, въ отвлеченіи, въ возможности» (см. «С. Д.», т. 2-й, стр. 585).

Но еще разъ повторяемъ, высказывая подобные взгляды на искусство, Добролюбовъ тѣмъ не менѣе все-таки не былъ критикомъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, сообразно этимъ взглядамъ.

Взгляды эти въ свою очередь не составляли главной цѣли дѣятельности Добролюбова, а были только исходными точками, отъ которыхъ онъ отправлялся. Скромная роль оцѣнщика изящныхъ произведеній, ихъ относительныхъ достоинствъ и недостатковъ, хотя-бы и съ точекъ зрѣнія критики содержанія, была совершенно не по характеру какъ вѣка, въ который выразилась дѣятельность Добролюбова, такъ и самого дѣятеля. Это былъ слишкомъ бурный и тревожный вѣкъ, и слишкомъ много было поставлено въ немъ роковыхъ и существенныхъ вопросовъ жизни, чтобы мало-мальски живой человѣкъ могъ довольствоваться проведеніемъ новыхъ критическихъ взглядовъ на изящныя произведенія своего времени, а тѣмъ болѣе такой человѣкъ, какъ Добролюбовъ, котораго, какъ мы видѣли, сама жизнь привела, своими ударами и испытаніями, къ общественнымъ вопросамъ. Поэтому мы и видимъ въ Добролюбовѣ не столько критика, сколько публициста. Произведенія искусства, которыя являлись въ его время, служили для него вовсе не предметами его разсмотрѣнія, а только предлогами для того, чтобы обсуждать тѣ факты жизни, которые въ этихъ произведеніяхъ отражались. Какъ критикъ, онъ конечно обязанъ былъ бы обращать вниманіе на каждое литературное явленіе, мало-мальски выдающееся изъ ряда посредственности, и разъяснять публикѣ значеніе этого явленія, опредѣлять ему мѣсто въ литературѣ. Такъ дѣлалъ въ свое время Бѣлинскій, который не упускалъ изъ виду ни одного выдающагося произведенія своего времени и каждое подвергалъ надлежащей оцѣнкѣ съ своей точки зрѣнія. Но публицистъ, преслѣдующій свои особенныя цѣли, очевидно не имѣетъ надобности обращать вниманіе на каждое произведеніе, а беретъ изъ нихъ только такія, какія почему либо пригодны для его пропаганды; наконецъ, что касается тѣхъ произведеній, какія онъ выбираетъ для своего разсмотрѣнія, то для него важны они не сами по себѣ, какъ образцы литературныхъ успѣховъ, а по тѣмъ фактамъ, которые онъ въ нихъ находитъ. Такъ дѣлалъ и Добролюбовъ. Въ выборѣ произведеній для своего анализа онъ руководствовался чисто публицистическими цѣлями и обращалъ вниманіе только на такія изъ нихъ, которыя этимъ цѣлямъ такъ или иначе удовлетворяли. Такъ напримѣръ, романъ Писемскаго «Тысяча Душъ», надѣлавшій не мало шуму въ свое время, совершенно не подвергся критикѣ Добролюбова, хотя критикъ въ истинномъ значеніи этого слова конечно былъ обязанъ высказать о немъ свое сужденіе, и тѣмъ болѣе обязанъ, чѣмъ важнѣе были недостатки этого романа. Между тѣмъ Добролюбовъ умолчалъ объ этомъ романѣ, именно вслѣдствіе его недостатковъ, такъ какъ, представляя факты жизни невѣрно, романъ этотъ не даетъ возможности положиться на него. «О «Тысячѣ Душъ»—говоритъ Добролюбовъ (см. т. 3, стр. 304)—мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнѣнію, вся общественная сторона этого романа сильно пригнана къ заранѣе сочиненной идеѣ. Стало быть, тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени ловко составилъ авторъ свое сочиненіе. *Положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ, изложенныхъ авторомъ, невозможно, потому что отношеніе его къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво*». Въ этихъ словахъ отношеніе Добролюбова къ

задачамъ критика совершенно такое-же, каково отношеніе историка-прагматика къ исторической критикѣ. Послѣдняя разсматриваетъ всѣ историческіе источники безъ исключенія, имѣя въ виду опредѣленіе ихъ достовѣрности или нелѣпости; между тѣмъ историкъ-прагматикъ выбираетъ для своего изслѣдованія одни достовѣрные источники, на которые можно положиться при обсужденіи историческихъ фактовъ.

Такимъ образомъ ни философскія задачи, ни критическія не были главными цѣлями дѣятельности Добролюбова. Онъ былъ публицистъ въ истинномъ значеніи этого слова—всѣ его статьи направлены были къ проповѣди новыхъ общественныхъ идеаловъ и къ анализу современной ему жизни на основаніи этихъ идеаловъ. Въ этомъ заключается вся цѣль его дѣятельности, и этой цѣлью опредѣляется все его литературное значеніе, сила и вліяніе на общество. Подъ перомъ Добролюбова съ русской критикой сдѣлалось такое-же превращеніе, какое случается испытывать парижскимъ кафэ или паркамъ въ моменты особенно сильнаго напряженія общественной жизни: предназначенные для отдыха и мирныхъ наслажденій, они вдругъ обращаются въ арены бурныхъ преній и политической борьбы. Такъ точно измѣнилась подъ вліяніемъ обстоятельствъ критика, имѣвшая во времена Бѣлинскаго скромное назначеніе заниматься чисто литературными вопросами. Внѣшняя форма осталась та же самая: то-же повидимому обсужденіе того или другого изящнаго произведенія; между тѣмъ содержаніе вдругъ раздвинулось и совершенно вышло изъ прежнихъ границъ. Литературная критика обратилась въ критику жизни, критику общества, и соціальные вопросы отодвинули литературные на самый задній планъ

На всѣхъ этихъ основаніяхъ, не распространяясь болѣе о философскихъ и эстетическихъ воззрѣніяхъ Добролюбова и довольствуясь тѣмъ, что мы сказали объ этомъ предметѣ на предыдущихъ страницахъ, мы считаемъ необходимымъ обратить все наше вниманіе на общественные взгляды Добролюбова, на характеръ и цѣли его пропаганды въ качествѣ публициста, чѣмъ, еще разъ повторяю, и опредѣляется все значеніе его въ литературѣ.

Подъ общимъ и крайне широкимъ понятіемъ публициста разумѣются писатели самыхъ разнообразныхъ свойствъ и спеціальностей, не имѣющихъ часто ничего общаго между собой: сюда входитъ и газетный обличитель, не идущій далѣе раскрытія какихъ нибудь частныхъ злоупотребленій или беззаконій, и партизанъ, отстаивающій принципы своей партіи, и составитель проэкта объ устройствѣ какой нибудь новой отрасли правленія, и смѣлый утопистъ, рисующій передъ вами картину совершенно новой и небывалой на землѣ жизни. Совершенно иная роль представляется публицисту въ обществѣ, въ которомъ политическая жизнь вполнѣ развита со всѣми своими аттрибутами — свободой преній и борьбой партій —и въ обществѣ патріархальномъ, апатичномъ и равнодушномъ къ вопросамъ общаго блага. Въ послѣднемъ случаѣ публицисту приходится говорить о такихъ элементарныхъ предметахъ, о которыхъ въ развитыхъ обществахъ публицистъ конечно почелъ бы столь-же излишнимъ распространяться, какъ о какой нибудь табличкѣ умноженія.

Наконецъ если мы возьмемъ массу публицистовъ-прогрессистовъ, къ какимъ конечно принадлежалъ Добролюбовъ, то есть — такого рода публицистовъ, которые предлагаютъ обществу новые пути и цѣли, то мы увидимъ, что во всѣ времена и во всѣхъ странахъ публицисты этого рода представляютъ два рѣзкіе типа; иногда типы эти соединяются и въ одной личности, но чаще всего проявляются раздѣльно, сообразно наклонности публициста выразить дѣятельность въ томъ или другомъ типѣ. Эти два типа суть: 1) типъ возбудителя и 2) типъ указателя.

Въ самомъ дѣлѣ предположите, что вы живете въ очень скверной, сырой и грязной квартирѣ, рискуя подвергаться съ семействомъ всевозможнымъ болѣзнямъ. Въ то же время вы платите за квартиру крайне дорого и терпите, вдобавокъ, всевозможныя непріятности отъ вашего хозяина. Между тѣмъ вы продолжаете жить на вашей квартирѣ, терпѣливо сносите всѣ ея неудобства и непріятности, и вамъ не приходитъ и въ голову мѣнять ее. Наконецъ являются къ вамъ на выручку ваши пріятели съ цѣлью во что бы то ни стало перетащить васъ на новоселье. Что-же нужно сдѣлать для этого вашимъ пріятелямъ? Очевидно прежде всего имъ необходимо убѣдить васъ, что ваша квартира никуда не годится, представить въ самыхъ яркихъ краскахъ всѣ ея неудобства, всю недобросовѣстность вашего хозяина, всю неблаговидность вашей безпечности и терпѣливости, наконецъ всѣ гибельныя послѣдствія, которымъ вы рискуете подвергнуться со всѣмъ вашимъ семействомъ, если останетесь на прежней квартирѣ. Всѣ эти доводы необходимо представить вамъ, чтобы внушить рѣшимость и энергію къ перемѣнѣ квартиры. Но этого всего еще недостаточно: при всемъ убѣжденіи въ необходимости переѣзда, вы можете остаться на прежней квартирѣ, полагая, что новыхъ квартиръ въ городѣ не имѣется, а если и есть нѣсколько пустыхъ, то пожалуй онѣ еще хуже той, которую вы занимаете. Ко всему этому васъ можетъ удержать и неимѣніе лишнихъ средствъ къ переѣзду. Но могутъ найтись и такіе практическіе и услужливые друзья, которые возьмутся отыскать вамъ болѣе удобную и дешевую квартиру, убѣдятъ васъ во всѣхъ ея преимуществахъ относительно старой, наконецъ предложатъ вамъ и нѣсколько весьма дѣльныхъ совѣтовъ къ отысканію средствъ, необходимыхъ для вашего переѣзда. Ничто конечно не мѣшаетъ тѣмъ же самымъ пріятелямъ, которые возбудили въ васъ рѣшимость къ перемѣнѣ квартиры, приняться и за вторую половину дѣла, то есть за пріисканіе для васъ новой квартиры. Но чаще всего въ жизни роли раздѣляются. Одни обладаютъ болѣе всего силой убѣжденія, жаромъ страстнаго, энергическаго энтузіазма, способнаго увлекать всѣхъ за собой, въ другихъ же преобладаетъ спокойная и практическая разсудочность, дѣлающая ихъ наклонными къ обдумыванью различныхъ мѣръ и средствъ. Этимъ различіемъ темпераментовъ и складовъ ума и опредѣляются два вышеупомянутые типа публицистовъ — публицистъ проповѣдникъ - обличитель и публицистъ-мѣропріятель.

Человѣкъ, глубоко, пламенно, до мозга костей проникнутый своими идеалами, въ самыхъ юныхъ лѣтахъ успѣвшій ожесточиться подъ ударами судьбы, энергиче-

скій, трудолюбивый и въ то же время впечатлительный и страстный до лирическихъ стихонзліяній, Добролюбовъ, по всему складу характера, ума и жизни, былъ именно созданъ для роли публициста-проповѣдника и обличителя. Такимъ и является онъ въ своихъ сочиненіяхъ. Что же касается содержанія его пропаганды, то оно вполнѣ опредѣляется степенью развитія и состояніемъ общества, среди котораго онъ жилъ и дѣйствовалъ.

Мы уже говорили, что это было общество средневѣковое, полудикое, въ которомъ впервые только-что пробудились самыя элементарныя понятія о гуманности, справедливости, честности, общественномъ благѣ; но всѣ эти понятія бродили въ смутномъ хаосѣ неосмысленныхъ фразъ и безотчетныхъ, неопредѣленныхъ порывовъ. Общество было сильно возбуждено рядомъ реформъ, задуманныхъ частью вслѣдствіе сознанія невозможности существовать при прежнихъ порядкахъ, частью подъ вліяніемъ Запада, но всѣ эти реформы понимались въ видѣ частныхъ мѣръ и нисколько не мѣшали господствовать во всѣхъ отношеніяхъ жизни, съ одной стороны, все тому же средневѣковому принципу безусловнаго подчиненія авторитету, съ другой стороны — тѣмъ привычкамъ, нравамъ и идеаламъ, которые основывались на крѣпостномъ правѣ и готовы были пережить его.

Вотъ противъ этихъ-то обветшалыхъ и отжившихъ началъ жизни и направилъ Добролюбовъ главнымъ образомъ свою пропаганду. Что касается принципа безусловнаго авторитета, то съ неумолимой послѣдовательностью и безъ малѣйшихъ уступокъ преслѣдуетъ этотъ принципъ Добролюбовъ во всѣхъ его проявленіяхъ въ семьѣ, въ школѣ, въ обществѣ и смѣло отвергаетъ его не только въ отношеніи къ взрослымъ людямъ, но и къ дѣтямъ.

Статья «О значеніи авторитета въ воспитаніи» (См. «С. Д.», т. 1, стр. 237) посвящена именно анализу растлѣвающаго вліянія принципа безусловнаго послушанія на развитіе ребенка. Для изложенія взглядовъ на этотъ предметъ Добролюбовъ воспользовался «Вопросами жизни» Пирогова, по поводу которыхъ и написана статья. Но съ первыхъ-же страницъ вы видите, какая радикальная противоположность между взглядами Пирогова и Добролюбова. Добролюбовъ, правда, не оспариваетъ взглядовъ Пирогова; напротивъ того, отдаетъ полную справедливость главному положенію его, заключающемуся въ томъ, что воспитаніе должно быть не узко-спеціальное, а общее, съ цѣлью воспитанія человѣка. Но, соглашаясь съ этимъ положеніемъ Пирогова, Добролюбовъ тотчасъ-же идетъ въ совершенно противоположную сторону отъ автора «Вопросовъ жизни». Мы видѣли, что Пироговъ подъ общимъ воспитаніемъ разумѣлъ подчиненіе человѣка отвлеченнымъ, заоблачнымъ принципамъ, и притомъ принципамъ такого рода, изъ которыхъ прямо и непосредственно вытекаетъ подчиненіе авторитету. Добролюбовъ, совершенно наоборотъ, въ слѣпомъ подчиненіи авторитету и полагаетъ главную причину убійства въ дѣтяхъ внутренняго человѣка. По мнѣнію Добролюбова,

«отсутствіе самостоятельности въ сужденіяхъ и взглядахъ, вѣчное недовольство въ глубинѣ души, вялость и нерѣшительность въ дѣйствіяхъ, недостатокъ силы воли, чтобы противиться посторонннимъ вліяніямъ, вообще обезличеніе, а вслѣдствіе этого легкомысліе и подлость, недостатокъ твердаго и яснаго сознанія своего долга и невозможность внести въ жизнь что-либо новое, болѣе совершенное, отличное отъ прежде установленныхъ порядковъ — вотъ дары, которыми *безусловное* повиновеніе при воспитаніи надѣляетъ человѣка, отпуская его на жизненную борьбу!.. И съ такими-то качествами — говоритъ Добролюбовъ — человѣкъ долженъ ратовать за свои убѣжденія противъ цѣлаго общества, и онъ, привыкшій жить чужимъ умомъ, дѣйствовать по чужой волѣ, онъ долженъ вдругъ поставить *себя* мѣркой для цѣлаго общества, долженъ сказать: «вы ошибаетесь, я правъ; вы дѣлаете дурно, а вотъ какъ нужно дѣлать хорошо!..» Да гдѣ-же онъ возьметъ столько силы? Во имя чего онъ будетъ бороться? Неужели во имя авторитета своихъ наставниковъ, которые до сихъ поръ управляли его жизнью и понятіями? Да кто-же наконецъ далъ ему право на это? Собственно говоря, его отношенія и теперь нисколько не измѣнились: до сихъ поръ были подчиненныя отношенія въ воспитаніи и обученіи, теперь настали точно такія-же отношенія въ службѣ и общежитіи. Какая-же голова можетъ переварить такое умозаключеніе: вотъ черта — пятнадцать, двадцать лѣтъ — до которой ведутъ тебя, заставляя безпрекословно и *безусловно слушаться* другихъ; это дѣлается для того собственно, чтобы, перешедши черезъ эту черту, ты умѣлъ *бороться* съ другими. Гораздо естественнѣе заключить, что и въ послѣдующей жизни человѣкъ долженъ вести себя именно такъ, какъ до сихъ поръ заставляли его» (см. стр. 251).

Но было бы ошибочно думать, что, отвергая въ воспитаніи принципъ слѣпого послушанія, Добролюбовъ проповѣдывалъ полный произволъ въ жизни дитяти и предоставленіе послѣдняго всѣмъ прихотямъ его рефлексовъ. Напротивъ того, вотъ какой идеалъ воспитанія предлагаетъ Добролюбовъ взамѣнъ прежняго средневѣкового:

«Но чего-же вы хотите? спросятъ насъ: — неужели-же можно предоставить ребенку полную волю, ни въ чемъ не останавливая его, во всемъ уступая его капризамъ?

«Совсѣмъ нѣтъ. Мы говоримъ только, что не нужно дрессировать ребенка, какъ собаку, заставляя его выдѣлывать тѣ или другія штуки, по тому или другому знаку воспитателя. Мы хотимъ, чтобы въ воспитаніи господствовала разумность и чтобы разумность эта вѣдома была не только учителю, но представлялась ясно и самому ребенку. Мы утверждаемъ, что всѣ мѣры воспитателя должны быть предлагаемы въ такомъ видѣ, чтобы могли быть вполнѣ и ясно оправданы въ собственномъ сознаніи ребенка. Мы требуемъ, чтобы воспитатели выказывали болѣе уваженія къ человѣческой природѣ и старались о развитіи, а не о подавленіи *внутренняго человѣка* въ своихъ воспитанникахъ, и чтобы воспитаніе стремилось сдѣлать человѣка нравственнымъ не по привычкѣ, а по сознанію и убѣжденію.»

Наиболѣе обстоятельное и полное разсмотрѣніе всѣхъ причинъ и слѣдствій слѣпого подчиненія авторитету мы видимъ въ статьяхъ Добролюбова «Темное царство» (см. т. 3, стр. 1). Въ статьяхъ этихъ Добролюбовъ, воспользовавшись комедіями Островскаго, представилъ самый подробный анализъ того средневѣкового порядка, въ которомъ главнымъ основаніемъ жизни и является именно безграничное царство авторитета. Шагъ за шагомъ прослѣдилъ онъ за всѣми мельчайшими оттѣнками того страшнаго паденія и нравственнаго растлѣнія, какое является прямымъ слѣдствіемъ царства авторитета, ведущее однихъ къ необузданному произволу самодурства, другихъ или къ

полному обезличенію, или-же къ искаженію личности путемъ лицемѣрія, лжи, коварства и тому подобныхъ качествъ, развивающихся подъ гнетомъ самодурства. Не ограничиваясь одними дикими и звѣрскими проявленіями самодурства, Добролюбовъ, въ лицѣ Русакова, одного изъ дѣйствующихъ лицъ комедіи Островскаго «Не въ свои сани не садись», анализируетъ самодурство въ самомъ гуманномъ, кроткомъ и идиллически-патріархальномъ видѣ его и находитъ, что и въ такомъ наилучшемъ видѣ самодурство ведетъ къ тѣмъ-же результатамъ.

Анализируя всѣ слѣдствія царства безусловнаго авторитета, Добролюбовъ не опускаетъ при этомъ и того существеннаго вопроса, который представляется главнымъ основаніемъ всего анализа и безъ разрѣшенія котораго статьи потеряли бы половину своего значенія: именно вопроса о томъ, что-же побуждаетъ людей терпѣть такихъ безобразныхъ самодуровъ, какіе являются передъ нами въ комедіяхъ Островскаго, и склоняться подъ ихъ игомъ? Добролюбовъ находитъ двѣ причины, удерживающія людей отъ противодѣйствія самодурству: *чувство законности* и *необходимость въ матеріальномъ обезпеченіи*.

По мнѣнію Добролюбова, понятіе о законности само по себѣ крайне относительное. Законы не вѣчны и не абсолютны. Вступая въ общественный союзъ, человѣкъ беретъ на себя обязанность не только повиноваться имъ, но и стараться о пріисканіи лучшихъ законовъ и объ уничтоженіи негодныхъ.

«Такимъ образомъ, въ силу самаго чувства законности, устраняется застой и неподвижность въ общественной организаціи, мысли и волѣ дается просторъ и работа; нарушеніе формальнаго statu quo нерѣдко требуется тѣмъ-же чувствомъ законности. Такъ понимаютъ и объясняютъ—говоритъ далѣе Добролюбовъ—чувство законности люди просвѣщенные, люди, участвующіе, подобно намъ, въ благодѣяніяхъ цивилизаціи. Но не такъ понимаютъ его тѣ темные люди, которыхъ изображаетъ намъ Островскій. Въ его «темномъ царствѣ» вопросъ становится совершенно иначе. Тамъ господствуетъ вѣра въ однѣ разъ навсегда опредѣленныя и закрѣпленныя формы. Знанія здѣсь ограничены очень тѣснымъ кругомъ, работы для мысли—почти никакой; все идетъ машинально, разъ навсегда заведеннымъ порядкомъ. Отъ этого совершенно понятно, что здѣсь дѣти никогда не выростаютъ, а остаются дѣтьми до тѣхъ поръ, пока механически не передвинутся на мѣсто отца. Понятно и то, почему средніе термины, посредствующіе между самодурами и угнетенными, вовсе не имѣютъ опредѣленной личности, а заимствуютъ свой характеръ отъ положенія, въ какомъ находятся: то ползаютъ передъ высшими, то въ свою очередь задираютъ носъ передъ низшими. Точно механическія куколки: поставятъ ихъ на одинъ конецъ — кланяются: передернутъ на другой—вытягиваются и загибаютъ голову назадъ... И все это происходитъ отъ недостатка внутренней самостоятельности, отъ забитости природы. Человѣку съ малыхъ лѣтъ внушаютъ, что онъ самъ по себѣ — ничто, что онъ есть нѣкоторымъ образомъ только орудіе чьей-то чужой воли и что вслѣдствіе того онъ долженъ не разсуждать, а только слушаться, слушаться и покоряться. Единственный предметъ, на который можетъ еще быть направленъ его умъ, это—пріобрѣтеніе умѣнья приноравливаться къ обстоятельствамъ. Кто съумѣетъ такъ повернуть себя, тому и благо: онъ вынырнетъ... А кто не съумѣетъ, тому бѣда—задавятъ...» (см. стр. 113 и 114). «Но чувство законности, — говоритъ дальше Добролюбовъ (см. стр. 132), — сдѣлавшись пассивнымъ и окаменѣлымъ, превратившееся въ тупое благоговѣніе къ авторитету чужой воли, не могло-бы такъ кротко и безмятежно сохраняться въ угнетенныхъ людяхъ, при видѣ всѣхъ нелѣпостей и гадостей самодурства, если-бы его не поддерживало что нибудь болѣе живое и существенное. И дѣйствительно, оно поддерживается постоянно тѣмъ, что въ людяхъ есть неизбѣжное стремленіе и потребность—обезпечить свой матеріальный бытъ. Эта потребность, въ соединеніи съ тупымъ и неразумнымъ чувствомъ законности, чрезвычайно благопріятствуетъ процвѣтанію самодурства... Матеріальныя блага (см. стр. 133) нужны всякому человѣку, но они уже захвачены самодурами, такъ что слабая, угнетенная сторона, находящаяся подъ ихъ вліяніемъ, должна и въ этомъ зависѣть отъ самодурной личности какого-нибудь Торцова и Уланбековой; можно-бы отъ нихъ потребовать того, чѣмъ они владѣютъ не по праву; но чувство законности запрещаетъ нарушать должное уваженіе къ нимъ... Что-же изъ этого выходитъ? Слѣдствіе кажется ясно: нужно «безъ роптанія просить» отъ самодуровъ, чтобы они, живя сами, дали жить и другимъ.. Но чтобы они исполнили просьбу, нужно снискать ихъ милость; а для этого надо во всемъ съ ними согласиться, имъ покориться и «съ терпѣньемъ тяготу сносить», если придется... А тяготы придется довольно, судя по крутому характеру Гордѣя Карпыча или г-жи Уланбековой, да и по ихъ непроходимой глупости... Ко всему этому надо себя приготовить, воспитать себя для этого, а именно: *переломить* свой характеръ, *выбить* изъ головы дурь, то-есть собственныя убѣжденія, *смирить* себя, то-есть отложить всякую мысль о своихъ правахъ и о человѣческомъ достоинствѣ. Все это самими самодурами очень успѣшно и выполняется надъ всѣми людьми, родящимися въ предѣлахъ ихъ вліянія. Оттого-то у нихъ и есть всегда подъ руками такъ много безотвѣтныхъ Митей, Андрюшъ, работящихъ Потапычей и т. п. Если-же въ комъ и послѣ самодурной дрессировки еще останется какое нибудь чувство личной самостоятельности, и умъ сохранитъ еще способность къ составленію собственныхъ сужденій, то для этой личности и ума готовъ торный путь: самодурство, какъ мы убѣдились, по самому существу своему тупоумно и невѣжественно, слѣдовательно ничего не можетъ быть легче, какъ надуть любого самодура. Человѣкъ, сохранившій остатки ума, непремѣнно на то и пускается въ этомъ самодурномъ кругѣ «темнаго царства», если только пускается въ практическую дѣятельность; отсюда и произошла пословица, что умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ. Такимъ образомъ подъ самодурами два разряда ихъ воспитанниковъ и кліентовъ—живые и неживые. Неживые, задавленные, неподвижные, такъ ужъ и лежатъ, не обнаруживая никакихъ попытокъ: перетащатъ ихъ съ одного мѣста на другое—ладно, а не перетащатъ—такъ и сгніютъ .. Живые, напротивъ, все стараются помѣститься получше и поближе около самодура, а если линія подойдетъ, то и ножку ему подставить, чтобы сѣсть на него верхомъ и самимъ задурить. И новый самодуръ ужъ бываетъ хуже, опаснѣй и долговѣчнѣй, потому что онъ хитрѣе прежняго и наученъ его горькимъ опытомъ. Такъ оно все и идетъ: за однимъ самодуромъ другой, въ другихъ формахъ, болѣе цивилизованныхъ, какъ Уланбекова цивилизована сравнительно напримѣръ съ Брусковымъ, но въ сущности съ тѣми же требованіями и съ тѣмъ же характеромъ. Живыя натуры угнетаемой стороны пускаются въ плутни для своего обезпеченія, а неживыя стараются своей неподвижностью и покорностью заслужить себѣ милость самодура и капельку живой воды (которую онъ впрочемъ даетъ имъ очень рѣдко, чтобы не слишкомъ оживали).»

Рядомъ съ необузданнымъ господствомъ авторитета, не менѣе существенной причиной растлѣнія общественныхъ нравовъ представлялось крѣпостное право, которое отразилось самыми ужасными послѣдствіями на цѣлой средѣ общества, стоявшей до эпохи Добролюбова во главѣ интеллигенціи. Добролюбовъ съ той же обстоятельностью анализируетъ искаженіе нравственныхъ и умственныхъ качествъ людей подъ вліяніемъ крѣпостного права, какую мы видимъ и при анализѣ вліянія господства авторитета. Вы не найдете статьи Добролюбова, въ которой, при томъ или другомъ случаѣ, въ той или другой формѣ, не было бы задѣто этой больной стороны нашего общественнаго организма. Но наиболѣе полному и подробному разсмотрѣнію этого вопроса посвящены двѣ статьи — «Деревенская жизнь помѣщика въ старые годы» (см. «С. Д.» т. I, стр. 344) и «Что такое обломовщина?» (см. «С. Д.» т. II, стр. 578). Послѣдняя статья представляется однимъ изъ самыхъ лучшихъ произведеній Добролюбова — рядомъ съ «Темнымъ царствомъ», лучшимъ по важности и обширности обобщеній, къ которымъ приходитъ Добролюбовъ при своемъ анализѣ современной ему русской жизни. Тѣ умственныя и нравственныя качества, которыя Гончаровъ вложилъ въ типъ своего героя, Добролюбовъ распространяетъ на всю среду, къ которой принадлежитъ Обломовъ, на всѣ прошедшіе и настоящіе идеалы этой среды, и, дѣлая весьма остроумныя сближенія, находитъ, что и Онѣгинъ, и Печоринъ, и Бельтовъ, и Рудинъ — суть тѣ же Обломовы, только въ разныхъ формахъ, сообразно времени ихъ появленія и различію въ темпераментахъ.

«Общее у всѣхъ этихъ людей то,—говоритъ Добролюбовъ (см. стр. 611),—что въ жизни нѣтъ имъ дѣла, которое бы для нихъ было жизненной необходимостью, сердечной святыней, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ значило бы лишить ихъ жизни. Все у нихъ внѣшнее, ничто не имѣетъ корня въ ихъ натурѣ. Они пожалуй и дѣлаютъ что-то такое, когда принуждаетъ внѣшняя необходимость, такъ какъ Обломовъ ѣздилъ въ гости, куда тащилъ его Штольцъ, покупалъ ноты и книги для Ольги, читалъ то, что она заставляла его читать. Но душа ихъ не лежитъ къ тому дѣлу, которое наложено на нихъ случаемъ. Еслибы каждому изъ нихъ даромъ предложили всѣ внѣшнія выгоды, какія имъ доставляются ихъ работой, они бы съ радостью отказались отъ своего дѣла...

«Даже наиболѣе образованные люди, притомъ люди съ живой натурой, съ теплымъ сердцемъ, чрезвычайно легко отступаются въ практической жизни отъ своихъ идей и плановъ, чрезвычайно легко мирятся съ окружающей дѣйствительностью, которую однако на словахъ не перестаютъ считать пошлой и гадкой. Это значитъ, что все, о чемъ они говорятъ и мечтаютъ,—у нихъ чужое, наносное; въ глубинѣ же души ихъ коренится одна мечта, одинъ идеалъ—возможно-невозмутимый покой, квіэтизмъ, обломовщина...»

«Да, всѣ эти обломовцы никогда не перерабатывали въ плоть и кровь свою тѣхъ началъ, которыя имъ внушили, никогда не проводили ихъ до послѣднихъ выводовъ, не доходили до той грани, гдѣ слово дѣлается дѣломъ, гдѣ принципъ сливается съ внутренней потребностью души, исчезаетъ въ ней и дѣлается единственной силой, двигающей человѣкомъ. Потому-то эти люди лгутъ безпрестанно, потому-то они и являются такъ несостоятельными въ частныхъ фактахъ своей дѣятельности. Потому-то и дороже для нихъ отвлеченныя воззрѣнія, чѣмъ живые факты, важнѣе общіе принципы, чѣмъ простая жизненная правда...

«Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности, я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это—Обломовъ.

«Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ—Обломовъ.

«Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность походовъ и смѣлыя разсужденія о безполезности *тихаго шага* и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ—Обломовъ.

«Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали, я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

«Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человѣчества и втеченіи многихъ лѣтъ съ неуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тѣ-же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

«Остановите этихъ людей въ ихъ смутномъ разглагольствованіи и скажите: вы говорите, что не хорошо то и то; что-же нужно дѣлать? Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство, они скажутъ: «да какъ-же это такъ вдругъ?» Непремѣнно скажутъ, потому что Обломовы иначе отвѣчать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: что-же вы намѣрены дѣлать? Они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: «Что дѣлать? Разумѣется, покориться судьбѣ. Что-же дѣлать! Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами...» и пр. Больше отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ ихъ лежитъ печать обломовщины...»

Тѣ же самыя средневѣковыя начала, которыя Добролюбовъ караетъ въ обществѣ, онъ находитъ и въ литературѣ.

Литература въ его время имѣла гордую, кичливую и воинственную осанку. Наполнившись массой рѣзкихъ и тщедушныхъ обличеній по части мелочныхъ и частныхъ злоупотребленій, въ то же время литература становилась на ходули, приписывала себѣ громадное значеніе въ дѣлѣ общественнаго развитія, гордо величала себя судомъ общественной совѣсти, благодѣтельной гласностью и хвалилась тѣмъ, что она борется съ общественнымъ зломъ и разсѣваетъ мракъ прошедшей ночи...

Но, по мнѣнію Добролюбова, литература всегда была и будетъ только отраженіемъ общественнаго настроенія. «Никогда и нигдѣ—говоритъ онъ—литературные дѣятели не сходили съ эѳирныхъ пространствъ и не приносили съ собой новыхъ началъ, независимыхъ отъ дѣйствительной жизни. Литература постоянно отражаетъ тѣ идеи, которыя бродятъ въ обществѣ, и большій или меньшій успѣхъ писателя можетъ служить мѣркой того, насколько онъ умѣлъ въ себѣ выразить общественные интересы и стремленія» (см. «С. Д.» т. II, стр. 439).

Но если это такъ, если литература служитъ отраженіемъ жизни, а не жизнь складывается по литературнымъ программамъ, то естественно, что если въ жизни преобладаютъ средневѣковыя начала господства авторитета и вліянія крѣпостного права, то и въ литературѣ должны преобладать тѣ же начала и влія-

нія, та же апатія, отсутствіе всякой иниціативы, узкость взглядовъ, приниженность и т. п.

Всѣ вышеприведенные недостатки общества Добролюбовъ дѣйствительно находитъ въ современной ему литературѣ.

Начать съ того, что эта литература партіальная, то есть, существуетъ въ нѣдрахъ одной среды, небольшого кружка и, чуждая всякихъ народныхъ интересовъ, недоступная народу, удовлетворяетъ интересамъ и потребностямъ той горсти, для которой она существуетъ.

«Напрасно также у насъ—говоритъ Добролюбовъ (см. т. I, стр. 563)—и громкое названіе *народныхъ* писателей: народу, къ сожалѣнію, вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высокихъ пареній Державина и т. д. Скажемъ больше: даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онъ и грамотѣ выучится; онъ долженъ заботиться о томъ, какъ-бы дать средства полмилліону читающаго люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишутъ для удовольствія читающихъ. Забота не малая! Она-то и служитъ причиной того, что литература доселѣ имѣетъ такой ограниченный кругъ дѣйствія. Не навязывай мы народу заботы о нашемъ прокормленіи и о всякомъ нашемъ удовольствіи, такъ конечно мы-же были-бы въ выигрышѣ; наши просвѣщенныя идеи быстро распространились-бы въ массахъ и мы стали-бы имѣть больше значенія, наши труды стали-бы цѣнить выше. Но, къ сожалѣнію, литература, т. е. ея восхвалители и многіе дѣятели находятся въ горькомъ самообольщеніи, изъ котораго трудно извлечь ихъ. Изобразивши художественнымъ образомъ красу природы, неба, цвѣтъ розово-желтый облаковъ, или совершивши глубокій анализъ какого-нибудь перегороженнаго сердца, или трогательно разсказавши исторію будочника, вынувшаго пятакъ изъ кармана пьянаго мужика, литераторъ воображаетъ, что онъ ужъ невѣсть какой подвигъ совершилъ, и что отъ его созданія произойдутъ для народа послѣдствія неисчислимыя. Напрасно: созданіе это, во-первыхъ, и не дойдетъ до народа, а, во-вторыхъ, если и дойдетъ, то ни мало не займетъ его и не принесетъ ему пользы. Массѣ народа чужды наши интересы, непонятны наши страданія, забавны наши восторги. Мы дѣйствуемъ и пишемъ, за немногими исключеніями, въ интересахъ кружка, болѣе или менѣе незначительнаго; оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всѣ понятія и сочувствія носятъ характеръ партіальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся народа и для него интересные, то трактуются опять не съ обще-справедливой, не съ человѣческой, не съ народной точки зрѣнія, а непремѣнно въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партіи, того или другого класса.»

Далѣе затѣмъ Добролюбовъ находитъ, что подобно тому, какъ общество наше подъ гнетомъ слѣпого поклоненія авторитетамъ обращаетъ вниманіе на различныя несовершенства общественнаго строя только тогда лишь, когда на нихъ устремляютъ свои взоры разныя авторитетныя личности, такъ и литература поднимаетъ вопросы, обсуждаетъ и обличаетъ постояннозадникомъ числомъ. Въ статьѣ «Литературныя мелочи прошлаго года» (см. «С. Д.» т. II, стр. 431) Добролюбовъ представляетъ цѣлый рядъ фактовъ изъ современной ему жизни, показывающихъ подобное отсутствіе всякой иниціативы въ литературѣ. Въ статьяхъ же «Русская сатира Екатерининскаго времени» (см. «С. Д.» т. I, стр. 117) и «О степени участія народности въ развитіи русской литературы» (см. «С. Д.» т. I, стр. 589) онъ проводитъ подобный же взглядъ и на историческое прошлое нашей сатиры.

«Стоитъ всмотрѣться пристальнѣе въ нашу сатиру,—говоритъ онъ (см. т. I, стр. 605),—чтобы убѣдиться, что она проповѣдывала зады. Положеніе нашихъ сатириковъ было въ самомъ дѣлѣ отличновыгодное; они видѣли передъ глазами въ другихъ частяхъ Европы лучшій порядокъ и могли смѣяться надъ нашимъ дурнымъ порядкомъ, зная, чего именно хотятъ они. Они могли выставлять на позоръ наши заблужденія, наше невѣжество, почерпнувъ изъ западной науки истины, еще неизвѣстныя и недоступныя нашему обществу. Но что-же дѣлала сатира? Она всегда шла позади жизни, тогда какъ, по своему исключительному положенію среди нашего общества, могла опережать ее; она видѣла порокъ только тогда, когда онъ былъ уже уличенъ, опубликованъ и всенародно наказанъ; ранѣе она не осмѣливалась дотронуться до него ..».

Но этого мало, что сатира шла позади реформъ—она постоянно отличалась мелочностью и узкостью взгляда.

«Когда человѣкъ говоритъ о дѣлѣ, говоритъ Добролюбовъ въ статьѣ «Русская сатира Екатерининскаго времени» (см. т. I, стр. 119),—то прямая цѣль его словъ та, чтобы дѣло было сдѣлано; когда сатирикъ возстаетъ противъ недостатковъ, то у него непремѣнно есть стремленіе исправить недостатки. Но чтобы подобная цѣль могла достигаться, нужно говорить дѣльно и договаривать до конца; иначе никакого толку не выйдетъ. Если меня напримѣръ порицаютъ за то, что я живу въ дурной квартирѣ и ѣмъ плохую пищу, между тѣмъ какъ у меня нѣтъ денегъ для лучшей квартиры и пищи, то очевидно, что всѣ порицанія не принесутъ мнѣ ровно никакой пользы. Человѣкъ, истинно желающій, чтобы я исправился отъ дурной привычки скудно ѣсть и жить въ бѣдности, непремѣнно обратитъ свои обличенія не на квартиру и столъ мой, а на то, зачѣмъ я самъ ничего не дѣлаю для своего обезпеченія, или на то, зачѣмъ другіе не вознаграждаютъ моего труда, какъ слѣдуетъ. То же самое и въ нравственной жизни общества. Большая часть общественныхъ явленій не можетъ быть измѣнена просто волей частныхъ лицъ: нужно измѣнить обстановку, дать другія начала для общей дѣятельности, и тогда уже обличать тѣхъ, которые не съумѣютъ воспользоваться выгодами новаго устройства. Наши сатирики отчасти не хотѣли понять этого, а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствіе законности, спѣсь и жестокость въ обращеніи съ низшими, подлость передъ высшими и пр. Но весьма рѣдко въ этихъ обличеніяхъ проглядывала мысль, что всѣ эти частныя явленія суть не что иное, какъ неизбѣжныя слѣдствія ненормальности всего общественнаго устройства. Большей частью нападали на взяточника такъ, какъ будтобы все зло взяточничества зависѣло единственно отъ личной наклонности такихъ-то къ обдиранію просителей. Никогда въ сатирахъ нашихъ вопросъ о взяткахъ не переходилъ въ разсмотрѣніе общаго вреда бюрократіи и тѣхъ обстоятельствъ, которыми сама бюрократія порождена и развита. То же было и во всѣхъ другихъ вопросахъ. Большая часть сатириковъ нашихъ уподоблялась человѣку, обличающему бѣдняка за то, что тотъ не живетъ въ роскоши, и добросовѣстно убѣжденному, что отъ этихъ обличеній жизнь бѣдняка пойдетъ лучше. Нѣкоторые изъ обличителей задавались такой мыслью: «мы, дескать, будемъ обличать и ославлять бѣдняка за его скудость; когда это дойдетъ до хозяина, отъ котораго онъ получаетъ жалованье, такъ хозяинъ то усовѣстится да и сдѣлаетъ ему прибавку». Раз-

сужденіе это, замѣчательное по своей наивности, очевидно руководило весьма многими изъ нашихъ сатириковъ, отъ Сумарокова до нашихъ дней, и вслѣдствіе того обличенія бѣдняка въ скудости обыкновенно заканчивались увѣщаніемъ исправиться, оставаясь на службѣ у того же хозяина ..»

Такой-же характеръ, по мнѣнію Добролюбова, имѣла обличительная литература и въ его время.

«Уже нѣсколько лѣтъ — говоритъ онъ (см. т. I, стр. 443) — всѣ наши журналы и газеты трубятъ, что мгновенно, какъ бы по манію волшебства, Россія вскочила со сна и во всю мочь побѣжала по дорогѣ прогресса, такъ что ее теперь собаками не догонишь... Нѣсколько лѣтъ уже каждая статейка, претендующая на современное значеніе, непремѣнно начинается у насъ словами: «*въ настоящее время, когда поднято столько общественныхъ вопросовъ*» и т. д., слѣдуетъ изложеніе вопросовъ. Нѣсколько лѣтъ уже русская литература льстила обществу, увѣряя, что въ немъ теперь пробудилось самосознаніе, раскаяніе въ своихъ порокахъ, стремленіе къ совершенствованію; а русское общество похваливало литературу за то, что она такъ старается вызолотить горькія пилюли, которыя наконецъ заставила его принимать прошедшая его жизнь. Лесть и самообольщеніе — таковы были главныя качества *современности* въ литературныхъ явленіяхъ послѣдняго времени. Странно сказать это о литературѣ въ то время, когда она изъ кожи лѣзла, по собственному признанію, *преслѣдуя и обличая, карая и вырывая съ корнемъ* всякое зло и пепотребство на землѣ русской. Но всмотритесь пристальнѣе въ характеръ этихъ обличеній, вы безъ особеннаго труда замѣтите въ нихъ нѣжность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только нѣжности, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тѣхъ достойныхъ друзей, одинъ изъ которыхъ у Гоголя мечтаетъ о томъ, какъ высшее «начальство, узнавъ о ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами.»

«Конечно это плохо, это гадко, безумно, отвратительно», говорятъ всѣ обличители, не скупясь на сильные эпитеты, и вы думаете: вотъ молодцы-то, вотъ энергическіе-то дѣятели!.. Погодите немножко: это въ нихъ говоритъ Собакевичъ; но Маниловъ не замедлитъ вступить въ свои права, и у нихъ тотчасъ явится мостикъ черезъ рѣчку и огромнѣйшій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно даже видѣть Москву.

— Конечно чиновники берутъ взятки, но вѣдь это единственно отъ недостаточности жалованья; прибавьте жалованья, и взятокъ не будетъ въ Россіи... Невозможно же допустить предположеніе, чтобы взятки брали и тѣ чиновники, которые, по своему чину и мѣсту служенія, получаютъ хорошіе оклады. Нѣтъ, какъ можно: вся язва взяточничества ограничивается чиновниками низшихъ судебныхъ инстанцій, получающими ничтожное жалованье.

— Просвѣщеніе плохо подвигается — правда. Но вѣдь вся бѣда въ томъ только, что въ гимназіяхъ учителя и учебники плохи. Но еслибы гимназіи приготовляли достойныхъ слушателей для нашихъ великихъ профессоровъ, да еслибы профессора и академики удостоили заняться составленіемъ учебниковъ, о! тогда у насъ мгновенно водворилось-бы лучезарное просвѣщеніе. «Общества нѣтъ въ деревнѣ; надобно въ городъ ѣздить, чтобы увидаться съ образованными людьми — какъ говоритъ Маниловъ. Но конечно еслибы сосѣдство близкое, еслибы такой человѣкъ, съ которымъ бы въ нѣкоторомъ родѣ можно было поговорить о любезности, о хорошемъ обращеніи, слѣдить какую-нибудь этакую науку...» словомъ, еслибы такой образцовый человѣкъ, какъ вы, Павелъ Ивановичъ... о! тогда наша деревня и уединеніе имѣли бы много пріятностей...

— Ремесленный классъ у насъ въ дурномъ положеніи — жаль Но это зависитъ впрочемъ отъ личности хозяевъ, и больше ни отчего; надо только запретить хозяевамъ бить и морить голодомъ мальчишекъ, и ремесленники наши будутъ блаженствовать.

— Промышленность у насъ развивается слабо, торговля не въ блестящемъ положеніи... Ахъ, это очень просто: конкуренція слаба оттого, что тарифъ высокъ. Пониженный тарифъ — это универсальная и радикальная мѣра для развитія нашей промышленности.

— Мужики живутъ плохо. Что дѣлать? Мужики, во-первыхъ грубы и необразованны; а вслѣдствіе того, во-вторыхъ, они мало имѣютъ потребностей и неспособны къ высшимъ, деликатнымъ наслажденіямъ. Они привыкли къ своей судьбѣ, и ею довольны, значитъ, объ этомъ и толковать нечего. Слѣдуетъ только позаботиться объ уничтоженіи *злоупотребленій* ихъ положенія.

— Пропивается сильно русскій человѣкъ... Это грустное явленіе.. Но вѣдь тутъ вся бѣда оттого происходитъ, что система винныхъ сборовъ несовершенно устроена. Стоитъ завести акцизъ вмѣсто прежняго откупа (и даже съ небольшой надбавкой), и все пойдетъ отлично.

Въ такомъ видѣ представляются намъ почти всѣ русскіе обличители. Кричатъ, кричатъ противъ какихъ-то злоупотребленій, какихъ-то дурныхъ порядковъ... Подумаешь, у нихъ на умѣ и Богъ знаетъ какія обширныя соображенія. И вдругъ, смотришь, у нихъ самыя кроткія и милыя требованія; мало этого — оказывается, что они и кричатъ-то вовсе не изъ-за того, что составляетъ дѣйствительный, существенный недостатокъ, а изъ-за какихъ-нибудь частностей и мелочей...»

Но Добролюбовъ не ограничивался одними отрицаніями средневѣковыхъ и отжившихъ началъ въ жизни и литературѣ и ратованіями противъ печальныхъ результатовъ долгаго господства этихъ началъ. Рядомъ съ отрицательными взглядами онъ постоянно проповѣдывалъ новые положительные идеалы, стоящіе въ разрѣзъ со всѣми старыми. Такъ, въ статьѣ «Литературныя мелочи прошлаго года» онъ впервые въ нашей литературѣ сдѣлалъ параллель между людьми сороковыхъ годовъ и молодымъ поколѣніемъ.

«Люди сороковыхъ годовъ, по его мнѣнію, проникнуты были высокими, но нѣсколько отвлеченными стремленіями. Они стремились къ истинѣ, желали добра, ихъ плѣняло прекрасное; но выше всего былъ для нихъ *принципъ*. *Принципомъ*-же называли общую философскую идею, которую признавали основаніемъ всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнѣнья и отрицанья купили они свой принципъ и никогда не могли освободиться отъ его давящаго, мертвящаго вліянія. Что-то пантеистическое было у нихъ въ признаніи принципа: жизнь была для нихъ служеніемъ принципу, человѣкъ — рабомъ принципа; всякій поступокъ, не сообразенный съ принципомъ, считался преступленіемъ. Отвлекшись такимъ образомъ отъ дѣйствительной жизни и обрекши себя на служеніе принципу, они не умѣли вѣрно разсчитать свои силы и взяли на себя гораздо больше, чѣмъ сколько могли сдѣлать. Немногіе только умѣли, подобно Бѣлинскому, слить самихъ себя съ своимъ принципомъ и такимъ образомъ придать ему жизненность. У Бѣлинскаго внѣшній, отвлеченный принципъ превратился въ его внутреннюю, жизненную потребность: проповѣдывать свои идеи было для него столь-же необходимо, какъ ѣсть и пить. Но немногіе могли дойти до такого сліянія своей личности съ философскимъ принципомъ. Большая часть осталась только при разсудочномъ пониманіи принципа и потому вѣчно насиловали себя на такія вещи, которыя были имъ вовсе не по натурѣ и не по нраву. Отсюда вѣчно фальшивое положеніе, вѣчное недовольство собой, вѣчное ободреніе и расшевели-

*

ванье себя громкими фразами, и вѣчныя неудачи въ практической дѣятельности.» (См. т. 2-й, стр. 456.)

Противъ сороковыхъ годовъ, людей отвлеченнаго принципа, Добролюбовъ ставитъ новыхъ людей — реальныхъ людей «съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ», какъ онъ называетъ ихъ.

«Благодаря трудамъ прошедшаго поколѣнія говоритъ онъ—*принципъ* достался этимъ людямъ уже не съ такимъ трудомъ, какъ ихъ предшественникамъ, и потому они не столь исключительно привязали себя къ нему, имѣя возможность и силы повѣрять его и соразмѣрять съ жизнью. Осмотрѣвшись вокругъ себя, они, вмѣсто всѣхъ туманныхъ абстракцій и призраковъ прошедшихъ поколѣній, увидѣли въ мірѣ только *человѣка*, настоящаго человѣка, состоящаго изъ плоти и крови, съ его дѣйствительными, а не фантастическими отношеніями ко всему внѣшнему міру. Они въ самомъ дѣлѣ стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которой отличалось прошлое поколѣніе; но зато они гораздо тверже и жизненнѣе... они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе къ дѣйствительной жизни. Отвлеченныя понятія замѣнились у нихъ живыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовались ярче и отняли много силы у общихъ опредѣленій. Люди новаго времени не только поняли, но и почувствовали, что абсолютнаго въ мірѣ ничего нѣтъ, а все имѣетъ только относительное значеніе. Оттого для нихъ невозможно увлеченіе тенденціями, подобными напримѣръ слѣдующимъ: «pereat mundus et fiat justitia;» «лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни»; «лучше убить свое сердце, чѣмъ измѣнить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому» и т. д. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ мало имѣетъ значенія. На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое, существенное благо; эта точка зрѣнія отражается во всѣхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кровнаго, живого родства съ человѣчествомъ, полное разумѣніе солидарности всѣхъ человѣческихъ отношеній между собой — вотъ тѣ внутренніе возбудители, которые занимаютъ у нихъ мѣсто *принципа*. Ихъ послѣдняя цѣль—не совершенная, рабская вѣрность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а приносеніе возможно большей пользы человѣчеству; въ ихъ сужденіяхъ люди возвышаются не по тому, сколько было въ нихъ сокрыто великихъ силъ и талантовъ, а по тому, сколько они желали и умѣли сдѣлать пользы человѣчеству; не тѣ событія обращаютъ на себя особое ихъ вниманіе, которыя имѣютъ характеръ грандіозный или патетическій, а тѣ, которыя сколько нибудь подвинули благосостояніе массъ человѣчества...»

Впрочемъ было бы ложно думать, что Добролюбовъ только и ограничивался, что этимъ идеаломъ молодого поколѣнія, построеннымъ на чисто философскихъ основаніяхъ, и что въ замѣнѣ отвлеченныхъ принциповъ реальными взглядами онъ полагалъ все спасеніе русскаго общества. Взгляды его были въ этомъ отношеніи гораздо шире и глубже тѣхъ изъ позднѣйшихъ публицистовъ, которые ограничивались прославленіемъ молодого поколѣнія и на одну только среду трезвыхъ реалистовъ «съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ» возлагали всѣ свои упованія. Преслѣдуя самодурство, дармоѣдство, праздность и апатію однихъ людей, приниженность, низкую угодливость и коварство другихъ — однимъ словомъ всѣ пороки, громоздящіеся въ старомъ средневѣковомъ строѣ жизни,—Добролюбовъ искалъ свѣжихъ, нерастлѣнныхъ силъ общества во всѣхъ его слояхъ. Типъ пламеннаго энтузіаста, преданнаго душой и тѣломъ дѣлу спасенія своей родины и слившійся съ этимъ дѣломъ, былъ его высшимъ идеаломъ, который онъ представилъ въ своей характеристикѣ Инсарова, но это не мѣшало ему сочувственно относиться ко всякому проявленію въ жизни простоты, искренности, гуманности, любви къ труду, сознанія чувства своего достоинства и готовности отстоять его, хотя бы цѣной жизни, противъ покушеній самодурства... Но гдѣ-же могъ находить Добролюбовъ всего болѣе такихъ качествъ? Очевидно въ средѣ простыхъ и бѣдныхъ тружениковъ, нерастлѣнныхъ высокомѣріемъ, дармоѣдствомъ и праздностью, — средѣ, близко знакомой ему съ дѣтства, — средѣ, къ которой онъ самъ принадлежалъ, — наконецъ въ массѣ чернаго люда, интересы котораго онъ ставилъ на первый планъ во всѣхъ общественныхъ вопросахъ. Къ этой средѣ всего болѣе лежало его сердце, къ ней стремились всѣ его симпатіи, въ ней онъ искалъ болѣе всего свѣжихъ силъ, въ нее онъ вѣрилъ и полагался на нее гораздо въ большей степени, чѣмъ даже на массу интеллигенціи, на которую онъ, напротивъ того, постоянно смотрѣлъ скептически. Замѣчательно, что впродолженіи всей своей дѣятельности всего одинъ только разъ онъ, въ контрастъ всего стараго и отжившаго, выставилъ молодое поколѣніе. По большейже части для своихъ контрастовъ онъ обращался къ средѣ простолюдиновъ. Такъ, мы видимъ въ статьѣ «Черты для характеристики русскаго простонародья» (по поводу разсказовъ Марка Вовчка). вотъ какую параллель проводитъ Добролюбовъ между интеллигенціей и простыми классами народа:

«Общее разслабленіе, болѣзненность, неспособность къ глубокой, сосредоточенной страсти характеризуетъ если не всѣхъ, то *большинство* нашихъ «цивилизованныхъ» собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желаютъ они—такъ что жить безъ того не могутъ, и все-таки ничего не дѣлаютъ для осуществленія своихъ желаній; страдаютъ они такъ что умереть лучше, а живутъ себѣ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простого человѣка: онъ или неиграетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ и ужъ не толкуетъ о своихъ желаніяхъ, или ужъ если привяжется, если рѣшится, то привяжется и рѣшится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно одолѣть для достиженія страстно-желаннаго и глубоко-задуманнаго. Если-же нельзя достигнуть, простой человѣкъ не останется, сложа руки: по малой мѣрѣ онъ измѣнитъ все свое положеніе, весь образъ своей жизни, убѣжитъ, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдетъ; часто онъ просто естественнымъ образомъ не переживетъ неудачи въ достиженіи цѣли, которая уже проникла въ существо его и сдѣлалась ему необходима для жизни; если-же физическое сложеніе его слишкомъ крѣпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазіи, онъ не церемонится покончить съ собой насильственнымъ образомъ. И это тоже служитъ для насъ свидѣтельствомъ, какъ для простого, здороваго человѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безплодная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды,—жизнь, подобная той, какую проводятъ напримѣръ Игрушечкины господа и многіе другіе въ томъ же родѣ» (см. «С. Д.», т. 3-й, стр. 454).

Этотъ нравственный закалъ въ простыхъ людяхъ Добролюбовъ прямо выводитъ изъ склада ихъ жизни, чуждой самодурскихъ основаній. Такъ, восхищаясь типомъ Дуни въ «Бѣдной Невѣстѣ» Островскаго, Добролюбовъ говоритъ:

«Да, эта дѣвушка сохранила въ себѣ чистоту сердца и все благородство, доступное человѣку. Но чтоже она такое въ нашемъ обществѣ? Не отверженали она имъ? *Да и не этому-ли отверженію, не отчужденію-ли отъ мрака самодурныхъ дѣлъ, кишащихъ въ нашей средѣ общественной, надобно приписать и то, что она такъ отрадно сіяетъ передъ нами благородствомъ и ясностью своего сердца?*» (см. т. 3-й, стр. 149).

То же самое говоритъ онъ и о Любимѣ Торцовѣ: «Онъ грязенъ, пьянъ, тяжелъ; онъ надорванъ жизнью и очень запустилъ самъ себя. *Но та-же самая жизнь, лишивъ его готовыхъ средствъ къ существованію, унизивъ и заставивъ терпѣть нужду, сдѣлала ему то благодѣяніе, что подломила въ немъ основу самодурства.* Онъ—родной братецъ Гордѣя Карпыча и, по его-же разсказамъ, былъ съ молоду самодуромъ не хуже его. Но какъ пришлось ему паясничать на морозѣ за пятачокъ, да просить милостыню, да у брата изъ милости жить, такъ тутъ пробудилось въ немъ и человѣческое чувство, и сознаніе правды, и любовь къ бѣднымъ братьямъ, и даже уваженіе къ труду...»

Но изъ всѣхъ простыхъ типовъ наиболѣе всего увлекся Добролюбовъ типомъ Катерины въ «Грозѣ», посвятивъ характеристикѣ этого типа цѣлую статью подъ названіемъ «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ». Типъ Катерины разочаровалъ его, не говоря о всѣхъ прочихъ сильныхъ типахъ, выставленныхъ въ нашей беллетристикѣ, даже въ Инсаровѣ, которымъ онъ восхищался въ статьѣ «Когда же придетъ настоящій день».

«Русская жизнь—говоритъ онъ въ своей статьѣ о «Грозѣ» Островскаго (см. т. 3-й, стр. 537)—дошла наконецъ до того, что добродѣтельныя и почтенныя, но слабыя и безличныя существа не удовлетворяютъ общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя-бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознаніе правды и права, здравый смыслъ проснулись въ людяхъ, они непремѣнно требуютъ не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродѣтельные герои прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь, въ дѣятельность. Но чтобы внести ихъ въ жизнь, надо побороть много препятствій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодолѣнія препятствій нужны характеры предпріимчивые, рѣшительные, настойчивые. Нужно, чтобы въ нихъ воплотилось, съ ними слилось то общее требованіе правды и права, которое наконецъ прорывается въ людяхъ сквозь всѣ преграды, поставленныя дикими самодурами. Теперь задача представлялась въ томъ, какъ-же долженъ образоваться и проявиться характеръ, требуемый у насъ новымъ поворотомъ общественной жизни. Задачу эту пытались разрѣшить наши писатели, но всегда болѣе или менѣе неудачно. Намъ кажется, что всѣ ихъ неудачи происходили оттого, что они просто логическимъ процессомъ доходили до убѣжденія, что такого характера ищетъ русская жизнь, и затѣмъ кроили его сообразно съ своими понятіями о требованіяхъ доблести вообще и русской въ особенности. Такимъ образомъ и явился напримѣръ Калиновичъ, чуть не таскающій купца за бороду, чтобы тотъ пожертвовалъ десять тысячъ на пользу общества, и истязающій въ тюрьмѣ стараго князя, на любовницѣ котораго женился, чтобы составить себѣ карьеру. Такъ явился и Штольцъ, отлично управляющій имѣніями и умѣющій живо уничтожать фальшивые векселя при помощи благодѣтельнаго начальства. Явился Инсаровъ, бросающій нѣмца въ воду, несоглашающійся жить даромъ въ гостяхъ на дачѣ у пріятеля и даже не рѣшающійся жениться на любимой дѣвушкѣ!! Явилась и княжна Зинаида, нѣчто среднее между Печориномъ и Ноздревымъ въ юбкѣ... Не такъ понятъ и выраженъ русскій сильный характеръ въ «Грозѣ». Онъ прежде всего поражаетъ насъ своей противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ. Не съ инстинктомъ буйства и разрушенія, но и не съ практической ловкостью улаживать для высокихъ цѣлей свои собственныя дѣлишки, не съ безсмысленнымъ трескучимъ паѳосомъ, но и не съ дипломатическимъ, педантскимъ разсчетомъ является онъ передъ нами. Нѣтъ, онъ сосредоточенно-рѣшителенъ, неуклонно вѣренъ чутью естественной правды, исполненъ вѣры въ новые идеалы и самоотверженъ въ томъ смыслѣ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тѣхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ водится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями, не мгновеннымъ паѳосомъ, а просто *натурой*, всѣмъ существомъ своимъ. Въ этой цѣльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю силу, продолжаютъ держаться внѣшней, механической связью...»

Но не одни только отдѣльныя проявленія цѣльныхъ натуръ искалъ Добролюбовъ среди простыхъ классовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ питалъ живую и горячую вѣру въ массу народа во всей ея сложности и видѣлъ въ ней единственную мощную силу, на которую можетъ всегда положиться во всѣхъ своихъ разумныхъ и благихъ стремленіяхъ безсильная и ничтожная сама по себѣ интеллигенція. Онъ былъ чуждъ тѣхъ славянофильскихъ тенденцій, по которымъ «что ни мужикъ, то геній», или «русскій мужикъ топоромъ больше сдѣлаетъ, чѣмъ англичане со всѣми машинами» (см. т. 3, стр. 411), но еще въ большей степени чуждъ онъ былъ противоположной крайности, того завѣщаннаго крѣпостнымъ правомъ мнѣнія, что народъ есть не что иное, какъ стадо безсмысленныхъ барановъ, не имѣющихъ ни человѣческаго разума, ни человѣческихъ чувствъ, ни даже человѣческаго языка, и что весь вопросъ состоитъ въ томъ, какихъ пастуховъ поставить надъ этими стадами: знакомыхъ со всѣми послѣдними открытіями естествознанія или незнакомыхъ. Добролюбовъ далекъ былъ отъ того пресловутаго мнѣнія цивилизованныхъ баричей, что народъ самъ собою никогда не дойдетъ до сознанія малѣйшаго улучшенія своего быта, пока трезвые реалисты съ крѣпкими нервами не снизойдутъ до него и не просвѣтятъ его... Онъ зналъ, что такой путь прогресса очень долгій и пришлось бы ждать много столѣтій, пока трезвымъ реалистамъ удалось бы сдѣлать это. Вѣря, что въ народѣ таится живая сила жизни, хотя и подавленная временно, онъ полагалъ, что эта сила можетъ воспрянуть гораздо скорѣе, прежде чѣмъ народные благодѣтели примутся за дѣло просвѣщенія народа. Съ цѣлью внушить обществу это свое завѣтное вѣрованіе въ народъ, Добролюбовъ написалъ двѣ статьи «Непостижимая странность» (см. «С. Д.» т. 4, стр. 140) и «Народное дѣло. Распространеніе обществъ трезвости» (т. 4-й, стр. 71). Въ первой статьѣ онъ разсказываетъ о томъ, какъ внезапно воскресли къ новой жизни и дѣятельности итальянцы, повидимому

совершенно подавленные подъ гнетомъ средневѣковыхъ предразсудковъ, невѣжества, суевѣрія и считавшіеся народомъ, лишеннымъ всякой жизни и стремленій къ лучшему. Во второй статьѣ онъ имѣетъ дѣло съ нашимъ народомъ, который выразилъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ свой протестъ противъ винныхъ откуповъ заведеніемъ обществъ трезвости, и выразилъ его вполнѣ самостоятельно, безъ всякихъ вліяній литературныхъ или какихъ-нибудь другихъ. Въ статьѣ этой мы остановимся на одной страницѣ, которая, по нашему мнѣнію, выражаетъ всю суть убѣжденій Добролюбова и бросаетъ яркій свѣтъ на весь характеръ его литературной дѣятельности. Вотъ это мѣсто (см. стр. 75-ю):

«Нѣтъ такой вещи, которую бы можно было гнуть и тянуть безконечно: дойдя до извѣстнаго предѣла, она непремѣнно изломится или оборвется. Такъ точно нѣтъ на свѣтѣ человѣка и нѣтъ общества, котораго нельзя было-бы вывести изъ терпѣнія. Вѣчной апатіи нельзя предположить въ существѣ живущемъ; за летаргіей должна слѣдовать или смерть, или пробужденіе къ дѣятельной жизни. Слѣдовательно, ежели правда, что нашъ народъ совершенно равнодушенъ къ общественнымъ дѣламъ, то изъ этого вытекаетъ вопросъ: нужно-ли считать это признакомъ близкой смерти націи, или нужно ждать скораго пробужденія? Пессимисты готовы, пожалуй, осудить на медленную смерть цѣлое племя славянское; но, по нашему глубокому убѣжденію, они крайне несправедливы. Ихъ обманываетъ временная летаргія, и они не хотятъ видѣть признаковъ жизненности, по временамъ обнаруживающихся въ нашемъ народѣ. А между тѣмъ существованіе этихъ признаковъ не только подтверждается внимательными наблюденіями, но даже оправдывается нѣкоторыми соображеніями a priori. Говоря о народѣ, у насъ сожалѣютъ обыкновенно о томъ, что къ нему почти не проникаютъ лучи просвѣщенія, и что онъ поэтому не имѣетъ средствъ возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя къ гражданской дѣятельности и проч. Сожалѣнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не даютъ намъ права махнуть рукой на народныя массы и отчаяться въ ихъ дальнѣйшей участи. Не одно скромное ученье, подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болѣе или менѣе фразистая, ведетъ народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь—путь жизненныхъ фактовъ, никогда не пропадающихъ безслѣдно, но всегда влекущихъ событіе за событіемъ, неизбѣжно, неотразимо. Факты жизни не пропускаютъ никого мимо; они дѣйствуютъ и на безграмотнаго крестьянскаго парня, и на отупѣвшаго отъ фухтелей кантониста, какъ дѣйствуютъ на студента университета. Холодъ и голодъ, отсутствіе законныхъ гарантій въ жизни, нарушеніе первыхъ началъ справедливости въ отношеніи къ личности человѣка—всегда дѣйствуютъ несравненно возбудительнѣе, нежели самыя громкія и высокія фразы о правдѣ и чести. Точно такъ и наоборотъ: матеріальное довольство и полное признаніе всѣхъ нравственныхъ правъ человѣка успокоиваютъ его несравненно болѣе, нежели всѣ глубокомысленныя внушенія о кротости и благодушномъ терпѣніи. Поэтому, если розовое настроеніе духа, развивающееся въ богатомъ жежебокѣ, мы не можемъ принять за доказательство того, что и для рабочаго бѣднякa очень весело жить на свѣтѣ, такъ отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы, въ противномъ случаѣ, нельзя было сдѣлать заключенія обратно. Напротивъ, если богатый и свободный отъ дѣлъ человѣкъ жалуется на то, что тяжело жить на свѣтѣ, то изъ этого именно можно заключить, что бѣдному труженику еще тяжелѣе, хотя онъ можетъ быть и не умѣетъ такъ краснорѣчиво изобразить свои страданія, по недостатку образованности. Образованность именно ведетъ къ большей или меньшей степени ясности сознанія и затѣмъ къ умѣнью формулировать то, что сознается... Но и неформулированное страданіе все-таки—страданіе. Пусть оно таится, пусть не принимаетъ опредѣленнаго выраженія, это не должно обманывать насъ: есть предѣлъ, за которымъ оно можетъ ярко обозначиться, и тогда безъ всякихъ книгъ, безъ отвлеченныхъ соображеній, не говоря никакихъ фразъ, даже не принимая особаго имени для себя, оно проявится на самомъ дѣлѣ. *Дѣйствительный фактъ, отразившись въ практической жизни дѣятельнаго, рабочаго человѣка, породитъ тоже дѣйствительный фактъ, тогда какъ книжныя теоріи и предположенія образованныхъ людей можетъ быть такъ и останутся только теоретическими предположеніями.*»

Въ этой тирадѣ, какъ въ фокусѣ, сосредоточиваются всѣ основанія пропаганды Добролюбова, слагавшейся изъ двухъ элементовъ: глубокой вѣры въ народъ, въ его живыя силы, готовыя перейти въ дѣятельность подъ вліяніемъ жизненныхъ фактовъ, и рядомъ съ этимъ недовѣріе къ пассивной интеллигенціи, возросшей на гнилой почвѣ самодурства и обломовщины... Изъ этихъ двухъ элементовъ его пропаганды прямо проистекаетъ, съ одной стороны, наклонность его къ выставленію контрастовъ простой среды съ цивилизованной, далеко не въ пользу послѣдней; съ другой стороны—весь безчисленный рядъ сарказмовъ, которыми онъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, осыпалъ интеллигенцію со всѣмъ ея мишурнымъ прогрессомъ отвлеченныхъ теорій и громкихъ, риторическихъ фразъ, заносчивой кичливости на словахъ и дряблому безсилію, безхарактерности и несостоятельности на дѣлѣ...

Не долго продолжалась дѣятельность Добролюбова: въ концѣ 1860 года его уже не было. Но столь плодовита и плодотворна была она что вся послѣдующая эпоха прогрессивной литературы можетъ быть названа эпохой Добролюбова, потому что литература въ эпоху эту разрабатывала и развивала то, что положилъ въ основаніе ея представитель, шла по его направленію. И до сихъ поръ еще вліяніе Добролюбова ощущается во всемъ, что только есть лучшаго въ современной нашей литературѣ. Если вы и встрѣтите какія-либо отступленія отъ того пути, на который поставилъ Добролюбовъ литературу, то отступленія эти имѣютъ не прогрессивный, а регрессивный характеръ, такъ что вполнѣ выдерживаютъ буквальный смыслъ слова *отступленіе*.

Вліяніе Добролюбова на жизнь было еще благотворнѣе и ощутимѣе. Представитель среды мыслящаго труженичества, онъ выдвинулъ эту среду впередъ изъ мрака, загнанности и робости, онъ внушилъ ей сознаніе собственнаго достоинства, возбудилъ въ ней горячую энергію и направилъ ее на служеніе народнымъ интересамъ и на упорную борьбу со всѣми мрачными элементами невѣжества и самодурства. Послѣ него и въ литературѣ, и въ жизни все истинно прогрессивное устремилось на путь реальныхъ стремленій о *существенномъ* улучшеніи благосостоянія народа. Всѣ мертвые, отвлеченные принципы, поверхностный дилетантизмъ, метафизика и эстетика, напыщенная ри-

торика и эпикурейская созерцательность—все это удалилось пресмыкаться и отживать свой вѣкъ на задніе дворы литературы и жизни. Идеалъ энергическаго, честнаго труженика—простого, искренняго, естественнаго и безъискусственнаго въ различныхъ проявленіяхъ своихъ чувствъ и стремленій, руководящагося во всѣхъ своихъ поступкахъ *натурой*, живой страстью, а не отвлеченными принципами—такой идеалъ смѣнилъ всѣ прежніе. Выше и естественнѣе этого идеала до сихъ поръ еще не создала жизнь, и нужно ли прибавлять, что, всматриваясь во всѣ факты жизни Добролюбова, его развитіе, его энергическую дѣятельность, наконецъ доблестную кончину въ самоотверженіи упорнаго труда и борьбы—невольно приходишь къ заключенію, что, проповѣдуя вышеупомянутый идеалъ, Добролюбовъ проповѣдывалъ самого себя. Въ самомъ дѣлѣ, наиболѣе полное, безукоризненно-совершенное, доблестное сліяніе съ проповѣдываемымъ идеаломъ рѣдко вы встрѣтите въ исторіи. Понятно, что передъ этимъ чистымъ, свѣтлымъ, незапятнаннымъ ни одной пылинкой образомъ смолкаетъ всякая вражда и останавливаются въ безмолвіи желчные памфлетисты, злобные приверженцы мрака и обскурантизма, которые конечно не переставали бы вопить и глумиться надъ священной памятью неумолимаго карателя ихъ, еслибы они хоть одно пятнышко усматривали на этой памяти.

Очеркомъ дѣятельности Добролюбова мы можемъ считать свой трудъ покончennымъ. Надѣемся, что цѣль, которую предположили мы въ вступленіи къ нашему обозрѣнію, хоть въ малой мѣрѣ достигнута—при всѣхъ недостаткахъ труда. Цѣль эта заключалась въ томъ, чтобы очертить процессъ развитія передовой мысли нашего общества отъ двадцатыхъ годовъ до шестидесятыхъ и показать этимъ очеркомъ, что движеніе шестидесятыхъ годовъ естественно и послѣдовательно вытекло изъ всего этого процесса, безъ всякихъ скачковъ куда-либо въ сторону или внезапнаго разрыва со всѣмъ прошлымъ ради идей и взглядовъ, произвольно вломившихся въ нашу литературу, словно внезапно свалившихся съ неба на нашу голову. И дѣйствительно, что̀ мы видимъ изъ всего нашего обозрѣнія? Къ какимъ результатамъ оно привело насъ?

Результаты эти мы можемъ формулировать въ слѣдующихъ положеніяхъ:

1) Уже въ сороковые годы мысль наша направилась на почву положительности, и все движеніе сороковыхъ годовъ было ничѣмъ инымъ, какъ стремленіемъ передовой мысли сбросить съ себя оковы старыхъ преданій и путы метафизики.

2) Уже въ сороковые годы былъ проповѣданъ утилитаризмъ искусства и науки.

3) Уже въ концѣ сороковыхъ годовъ начали проповѣдываться новыя эстетическія, нравственныя и общественныя теоріи, основанныя на началахъ реализма. Было уже высказано много живыхъ и свѣтлыхъ мыслей о важности естествознанія въ антропологіи и соціологіи, о необходимости опытнаго метода въ этихъ наукахъ. Наконецъ была проповѣдана позитивная философія Огюста Конта.

4) Движеніе шестидесятыхъ годовъ было такимъ образомъ главнымъ образомъ основано на возрожденіи идей сороковыхъ годовъ, не усвоенныхъ массой неразвитаго общества и подавленныхъ реакціей пятидесятыхъ годовъ.

5) Новаго въ движеніи шестидесятыхъ годовъ было только окончательное упроченіе передовой мысли на почвѣ реализма и болѣе плодотворное, широкое и всестороннее развитіе идей реализма съ одной стороны, а съ другой—перемѣщеніе центра умственнаго движенія въ среду мыслящаго пролетаріата, повлекшее за собою развитіе новыхъ нравственныхъ идеаловъ.

6) Но и въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ мы видимъ тотъ-же естественный и неизбѣжный результатъ движенія сороковыхъ годовъ: распространяя идеи посредствомъ университетовъ и журналистики и расширяя кругъ мыслящаго общества, люди сороковыхъ годовъ неизбѣжно пришли къ возбужденію мысли въ массѣ бѣдныхъ слоевъ общества; послѣдніе и выступили наконецъ на поприще умственнаго движенія съ тѣми идеалами, какіе были присущи имъ по складу ихъ жизни и характеру ихъ реальныхъ стремленій.

7) Что-же касается антагонизма, который возникъ въ шестидесятые годы между старымъ и молодымъ поколѣніемъ, то, въ философскомъ отношеніи, противниками движенія шестидесятыхъ годовъ явились вовсе не люди сороковыхъ годовъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, то-есть не тѣ изъ поколѣнія сороковыхъ годовъ, которые вполнѣ усвоили всѣ передовыя идеи своего времени. Такіе люди и не думали идти противъ движенія шестидесятыхъ годовъ, хотя они можетъ быть и отставали отъ этого движенія въ нѣкоторыхъ второстепенныхъ положеніяхъ. Возстали-же противъ молодого поколѣнія мыслители, практики, публицисты и беллетристы, усвоившіе изъ всего движенія сороковыхъ годовъ одни жалкіе обрывки, поверхностныя фразы и оставшіеся, по своему міросозерцанію, во многихъ отношеніяхъ романтиками тридцатыхъ годовъ. Но подобные господа, еслибы только они могли глубоко вдумываться въ содержаніе различныхъ идей, а не скользить по поверхности ихъ, конечно не стали бы выставлять имена передовыхъ дѣятелей сороковыхъ годовъ въ укоръ молодому поколѣнію, а должны были бы признать себя врагами и тѣхъ авторитетовъ, которымъ они покланяются и за которые укрываются въ своемъ жалкомъ невѣжествѣ.

Но есть другая и болѣе существенная причина антагонизма между людьми сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ,—причина чисто соціально-физіологическая. Тотъ новый слой общества, который вошелъ въ русло умственнаго движенія въ шестидесятые годы и всталъ впереди, не могъ не встать въ оппозицію съ людьми сороковыхъ годовъ, даже лучшими изъ нихъ, даже при всемъ согласіи съ нѣкоторыми изъ нихъ въ основныхъ убѣжденіяхъ и стремленіяхъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ борьбой не міросозерцаній или поколѣній, а общественныхъ слоевъ, съ міровымъ, вѣчнымъ антагонизмомъ любимцевъ и пасынковъ судьбы...

ТРИ ЧЕЛОВѢКА СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ.

I.

Всякій умственный процессъ имѣетъ три необходимые періода въ своемъ развитіи. Во время перваго періода хотя мысль является уже возбужденной и приведенной въ движеніе, но старыя убѣжденія до такой степени тяготѣютъ еще надъ умами вслѣдствіе глубоко вкоренившейся привычки къ нимъ, что людямъ кажется, что съ поколебаніемъ ихъ все должно придти въ хаосъ и разрушеніе. Поэтому человѣкъ ограничивается только созерцаніемъ своихъ нравственныхъ убѣжденій, анализируетъ ихъ, не имѣя въ виду ничего иного, какъ только проникнуть въ нихъ какъ можно глубже и довести себя до разумнаго сознанія ихъ. Но такой анализъ прямо ведетъ къ тому, что старое міровоззрѣніе оказывается исполненнымъ неразрѣшимыхъ противорѣчій и внутри себя, и въ своихъ приложеніяхъ въ жизни. Въ то-же время въ области мысли все болѣе и болѣе выясняются новыя идеи, идущія совершенно въ разрѣзъ господствующему міровоззрѣнію, и начинаютъ все назойливѣе и назойливѣе заявлять свое превосходство сравнительно съ отживающими идеями. Тогда начинается второй періодъ процесса,—періодъ борьбы, раздвоенности и мучительнаго скептицизма въ области мысли и жизни. Какъ старое міросозерцаніе, такъ и новое заявляютъ равныя права гражданства и въ то-же время взаимно другъ друга уничтожаютъ. Мозгъ человѣка дѣлается ареной борьбы противоположныхъ идей. Человѣкъ самъ сознаетъ въ это время, что въ немъ идетъ борьба свѣта и тьмы, жизни и смерти, и тѣмъ тревожнѣе, мучительнѣе бываетъ его настроеніе, что онъ самъ не знаетъ, гдѣ жизнь, гдѣ смерть. Наконецъ наступаетъ третій періодъ, но онъ заключается не въ примиреніи и не въ снятіи противорѣчій, какъ учила гегелевская философія, а въ рѣшительной побѣдѣ новаго міровоззрѣнія надъ старымъ. Въ этомъ періодѣ старое міровоззрѣніе окончательно рушится и производится та страшная ломка его, вслѣдствіе которой приверженцы старыхъ идей видятъ въ этомъ періодѣ одно безусловное отрицаніе, разрушеніе, нигилизмъ, не замѣчая въ своей близорукости, что рядомъ съ разрушеніемъ и отрицаніемъ стараго повсюду возникаетъ и развивается новое, красуется и ликуетъ, исполненное свѣжей, весенней жизни на развалинахъ отжившаго.

Въ тридцатые годы нынѣшняго столѣтія преобладали явленія перваго періода того умственнаго процесса, который мы переживали въ то время. Всѣ вопросы и сомнѣнія, волновавшіе людей тридцатыхъ годовъ, разрѣшались постоянно въ духѣ старыхъ міровоззрѣній. Отжившія преданія были такъ еще дороги, что малѣйшій разладъ съ ними болѣзненно отзывался въ сердцахъ, и мыслители изощрялись въ схоластической діалектикѣ, чтобы натянуть какое бы то ни было примиреніе съ тѣмъ, что безвозвратно отжило и испускало послѣднее дыханіе. Это были бальзамировщики, тщетно старавшіеся предохранить отъ тлѣнія разлагавшійся трупъ посредствомъ различныхъ втираній и умащиваній. Это были жены Лота, готовыя обратиться въ соляные столбы, лишь бы не выпускать изъ глазъ родного пепелища. Но на такомъ распутьи могли остаться только такія личности, которыя были или слишкомъ стары, чтобы мозгъ ихъ могъ энергически продолжать процессъ развитія, или были окончательно растлѣны условіями быта той размягчающей и притупляющей сферы усадебной жизни, которая во всѣ времена была особенно урожайна на всякаго рода философовъ-примирителей, поверхностныхъ созерцателей и артистовъ-эпикурейцевъ. Всѣ-же люди, одаренные хоть малѣйшей энергіей мысли, пошли впередъ и вступили во второй періодъ умственнаго процесса,—въ періодъ скептицизма и раздвоенности. Сороковые годы и представляютъ собою этотъ второй періодъ.

Съ самаго начала сороковыхъ годовъ картина умственной жизни совершенно измѣняется. Дѣленіе людей прогресса и застоя на классиковъ и романтиковъ окончательно исчезаетъ къ этому времени. Вмѣсто этихъ узкихъ рамокъ, основанныхъ исключительно на художественныхъ интересахъ, принимаются болѣе широкія рамки вопросовъ о направленіи въ Россіи образованности вообще, выработанныя московскимъ философскимъ движеніемъ въ духѣ Шеллинга. Между тѣмъ какъ люди, приверженные старымъ міровоззрѣніямъ, основаннымъ на преданіяхъ до-петровской Руси, сосредоточиваются въ Москвѣ подъ знаменемъ славянофильства, люди движенія впередъ отъ средневѣковыхъ міровоззрѣній и формъ сосредоточиваются въ Петербургѣ подъ общимъ названіемъ западниковъ. Такимъ образомъ умственный антагонизмъ между двумя столицами принимаетъ такой же видъ, какъ это было при Петрѣ I и Екатеринѣ II. Едва только мысль двинулась съ новой энергіей и смѣлостью отъ допетровскихъ преданій, тотчасъ-же всѣ мало-мальски талантливые представители движенія покинули Москву, совершенно подобно тому, какъ нѣкогда покинулъ ее знаменитый основатель Петербурга, и Москва, съ оставленіемъ ее западниками, еще болѣе утвердилась въ своемъ консерватизмѣ всякаго рода. Замѣчательно, что въ сороковые годы, когда западники начали сосредоточиваться въ Петербургѣ, въ большую моду вошли въ литературѣ сравненія обѣихъ столицъ относительно различныхъ ихъ особенностей, достоинствъ и недостатковъ. Кто только не упражнялся въ то время въ этихъ сравненіяхъ, начиная съ Бѣлинскаго и Герцена и кончая К. Аксаковымъ; послѣдній довелъ это сопоставленіе Москвы съ Петербургомъ даже до сцены, написавши водевиль, въ которомъ москвичъ встрѣчается съ петербуржцемъ на станціи среди московскаго шоссе и оба начинаютъ пѣть куплеты о взаимныхъ преимуществахъ и недостаткахъ обѣихъ столицъ.

При всемъ томъ, что раздѣленіе мыслящихъ людей на славянофиловъ и западниковъ стояло на первомъ планѣ въ сороковые годы, и при всей ожесточенной борьбѣ этихъ партій, замѣчательно, что онѣ въ томъ видѣ, какъ существовали въ сороковые годы, имѣли гораздо болѣе точекъ соприкосновенія, чѣмъ раздѣленія. Это не была борьба двухъ философскихъ системъ, такъ-какъ славянофилы опирались на тѣ-же философскія ученія, какъ и западники; не была, съ другой стороны, борьба двухъ политическихъ партій, такъ-какъ славянофилы, со своимъ отрицаніемъ петровскаго періода, представляли такую-же оппозицію противъ господствовавшей въ то время реакціи, какъ и западники. Не менѣе западниковъ желали они освобожденія крестьянъ, улучшенія судовъ и администраціи; что-же касается общихъ идеаловъ общественной жизни, то западники представляли столь-же смутныя и неопредѣленныя идеи, какъ и славянофилы. Что касается до сословныхъ принциповъ, то на нихъ тѣмъ менѣе можно основывать раздѣленіе этихъ партій, такъ какъ славянофилы принадлежали къ той-же средѣ, какъ и западники, вырабатывавшей въ обоихъ лагеряхъ одинаковые типы диллетантовъ, фразеровъ, эстетиковъ, эпикурейцевъ и діалектиковъ, исполненныхъ мрачной, разъѣдающей рефлексіи. Но что же могло раздѣлять славянофиловъ отъ западниковъ, если они сходились въ такихъ трехъ принципахъ, какъ философскій, политическій и сословный,—принципахъ, на которыхъ съ испоконъ вѣковъ основывались всѣ партіи? Основой дѣленія было именно съ одной стороны стремленіе во что бы то ни стало удержаться на до-петровскихъ средневѣковыхъ принципахъ мысли и жизни—въ то время, какъ съ другой стороны была постоянная тяга отрѣшаться отъ нихъ все болѣе и болѣе. Мы нарочно употребляемъ здѣсь такія неопредѣленныя слова, какъ стремленіе и тяга, потому что только такія слова и могутъ соотвѣтствовать столь неопредѣленнымъ отношеніямъ, какія существовали между славянофилами и западниками въ сороковые годы. Въ самомъ дѣлѣ: при всемъ томъ, что славянофилы основывали всѣ свои ученія на слѣпой и часто фанатической вѣрѣ, въ то время, какъ западники все болѣе и болѣе пропикались скептицизмомъ, при всемъ этомъ отрѣшеніе западниковъ отъ средневѣковыхъ преданій было дѣломъ не одной минуты, не какимъ-нибудь отважнымъ скачкомъ, послѣ котораго западники вдругъ начали отрицать все и вся, что ихъ связывало съ стариной. Это былъ весьма медленный, постепенный, трудный процессъ, который шелъ шагъ за шагомъ, все болѣе и болѣе отдаляя людей прогресса отъ средневѣковыхъ преданій. Сороковые годы, какъ мы уже сказали, представляютъ именно тотъ второй періодъ переходнаго процесса, въ который новыя начала мысли вступили въ рѣшительную борьбу со старыми, но старыя начала все еще заявляли свое существованіе на каждомъ шагу и не сразу уступали свое мѣсто. Поэтому, при всѣхъ насмѣшкахъ надъ юродствами славянофиловъ, у большинства западниковъ было такъ много еще непоколебленныхъ предразсудковъ, преданій и слѣпыхъ упованій, что сами они на половину были такіе-же славянофилы. Достаточно указать на беллетристовъ сороковыхъ годовъ—Тургенева, Писемскаго, Л. Толстого и пр. Подумайте, къ какой категоріи можно ихъ причислить—къ западникамъ или славянофиламъ? Всѣ они воспитались подъ вліяніемъ западническихъ кружковъ, всѣ они ставятъ во главѣ своей Бѣлинскаго, этого самаго рьянаго гонителя славянофиловъ. Но тотъ-же самый Тургеневъ, который въ «Дымѣ» смѣется надъ славянофильствомъ, прославляя западную цивилизацію, въ «Рудинѣ», напротивъ того, выставляетъ нѣсколько идей вполнѣ славянофильскихъ, вродѣ того, что внѣ народности нѣтъ спасенія, что космополитизмъ—нуль и пр. А кто такой Л. Толстой—западникъ онъ, или славянофилъ? То-же самое и Писемскій въ своемъ «Взбаломученномъ морѣ». Замѣчателенъ въ этомъ отношеніи тотъ фактъ, что едва отрѣшеніе отъ средневѣковыхъ преданій приняло въ кружкахъ западниковъ болѣе широкіе размѣры, весьма многіе изъ западниковъ сороковыхъ годовъ увидѣли въ себѣ гораздо болѣе солидарности съ славянофилами, чѣмъ съ своими-же послѣдователями, и примкнули къ славянофиламъ.

По этому всему одной борьбой славянофиловъ съ западниками далеко не исчерпывается характеръ и духъ движенія сороковыхъ годовъ; не въ ней одной заключалась сущность прогресса въ сороковые годы, а въ томъ движеніи, которое совершалось въ самыхъ кружкахъ западниковъ, въ тѣхъ развѣтвленіяхъ, которыя повели къ тому, что къ концу сороковыхъ годовъ одинъ западникъ отличался отъ другого въ большей степени, чѣмъ иной западникъ отъ славянофила. Это движеніе, дробленіе людей на различные оттѣнки мыслей, постоянные переходы отъ однѣхъ системъ къ другимъ, смѣшеніе различныхъ взглядовъ и ученій, множество точекъ соприкосновенія между самыми повидимому противоположными воззрѣніями, наконецъ взаимное вліяніе и полировка между людьми, отставшими въ одномъ и опередившими другъ друга въ другомъ,—все это вмѣстѣ представляетъ такой пестрый хаосъ въ эпоху сороковыхъ годовъ, что изслѣдованіе этой эпохи дѣлается крайне затруднительнымъ. Если въ каждый вѣкъ люди перерастаютъ другъ друга, какъ деревья въ лѣсу, то можно себѣ представить, до чего доходитъ такое перерастаніе въ такія переходныя эпохи, къ какимъ принадлежатъ сороковые годы. Въ подобныя эпохи нѣтъ никакой возможности провести особенно рѣзкихъ границъ между людьми отсталыми и передовыми, такъ какъ въ каждомъ человѣкѣ вы найдете два враждующіе лагеря, изъ которыхъ одинъ тянетъ въ одну сторону, другой—въ другую. Вы можете встрѣтить во главѣ движенія людей, опередившихъ своихъ современниковъ въ одномъ отношеніи на цѣлое поколѣніе, зато въ другомъ отставшихъ отъ нихъ на нѣсколько поколѣній. Люди, едва начинающіе умственное развитіе, ни къ чему не пришедшіе, ничего не рѣшившіе, становятся вдругъ во главѣ движенія и ведутъ за собою свое поколѣніе, въ то-же время сами идя за другими людьми, которые, въ свою очередь, учатся у третьихъ. Люди, вчера еще отставшіе и заблуждавшіеся, сегодня становятся вдругъ впереди тѣхъ, которые вчера еще ихъ укоряли въ отсталости и заблужденіи; наконецъ, при постоянномъ теченіи развитія, вы встрѣ-

чаетъ въ каждомъ пунктѣ его своихъ утопленниковъ,—людей, которые вчера еще плыли впереди другихъ, а сегодня уже лежатъ на днѣ трупами и задніе пловцы переплываютъ ихъ.

Чтобы читатели могли наглядно судить, какое въ этомъ отношеніи вавилонское столпотвореніе представляютъ собою 40-ые годы, мы намѣрены помѣстить параллельно характеристики трехъ дѣятелей этой эпохи, которые всѣ трое являются вождями своего вѣка и оказываютъ на свое поколѣніе громадное вліяніе, а между тѣмъ одинъ отстаетъ отъ своихъ современниковъ на нѣсколько столѣтій, другой стоитъ въ общемъ уровнѣ эпохи, а третій во многихъ отношеніяхъ опереживаетъ своихъ современниковъ. Эти три человѣка суть: Н. В. Гоголь, Т. Н. Грановскій и А. И. Герценъ. Они могутъ служить намъ тремя путеводительными маяками, которые покажутъ намъ начало, средину и выходъ изъ хаоса сороковыхъ годовъ. Въ то-же время они могутъ служить масштабомъ для измѣренія различныхъ дѣятелей того времени.

II.

Итакъ, начнемъ съ Гоголя. Вліяніе его на развитіе художественной литературы признается столь сильнымъ, что весь періодъ литературы сороковыхъ годовъ называется гоголевскимъ. Переворотъ, который Гоголь совершилъ въ нашей литературѣ, заключается, какъ всѣмъ извѣстно, въ томъ, что онъ первый рѣшился радикально обратиться въ своемъ творчествѣ отъ разныхъ романтическихъ красотъ и эксцентричностей къ простой и обыденной дѣйствительности и изображать ее во всей ея непривлекательной грязи, не идеализируя и не выбирая изъ нея одни художественные перлы. Были и до него художники, которые изображали грязь и пошлость дѣйствительности (Фонвизинъ, Капнистъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ), но они не имѣли такой силы, чтобы всю литературу обратить на этотъ путь и создать цѣлую школу, идущую совершенно въ разрѣзъ со всѣми прежними художественными традиціями. Но въ то-же самое время тотъ-же Гоголь, опередившій, въ художественномъ отношеніи, многихъ даже послѣдующихъ дѣятелей литературы, не только что не былъ человѣкомъ сороковыхъ годовъ—не принадлежалъ даже и къ XIX столѣтію, и можно даже сказать, что этимъ онъ и обязанъ былъ той легкостью, съ которой онъ отрѣшился отъ всѣхъ художественныхъ традицій, въ духѣ которыхъ были воспитаны его современники. Онъ былъ выходецъ изъ страны, отдаленной отъ центровъ московско-петербургскаго умственнаго движенія, которая едва покончила свою самобытную жизнь, дико-воинственную, вполнѣ средневѣковую, и была преисполнена пѣсенъ, легендъ и преданій этой жизни, сохранявшихъ еще свѣжее обаяніе только-что минувшаго вчерашняго дня. Идеалы этой среды были вполнѣ средневѣковые. Съ одной стороны, это былъ рыцарскій идеалъ удалого казака Запорожской сѣчи, съ другой—мрачнаго, набожнаго аскета-отшельника Кіево-печерской лавры. Степь или монастырь—таковы были два единственныя убѣжища въ средневѣковой Руси для людей, не ладящихъ съ дѣйствительностью. Съ уничтоженіемъ казачества остался одинъ монастырь.

Съ міросозерцаніемъ непосредственно средневѣковымъ, религіозно-набожнымъ, пріѣхалъ Гоголь въ Петербургъ въ такое время, когда послѣдній представлялъ полное запустѣніе и отсутствіе всякаго умственнаго движенія. Здѣсь онъ замкнулся въ тѣсный кружокъ своихъ товарищей-земляковъ, стоявшихъ на той-же степени развитія, какъ и онъ. Сѣренькое петербургское небо и такая-же сѣренькая жизнь, полная лишеній, нужды и заботъ о существованіи, тяжелымъ свинцомъ налегли на молодого человѣка, и вся эта обстановка должна была показаться ему вдвое бѣднѣе, жальче и пошлѣе сравнительно съ яркими цвѣтами малороссійской природы и преданіями отжившей старины, исполненными обаятельной, свѣжей поэзіи. Малороссы, заѣхавшіе въ Петербургъ, обыкновенно долго носятся съ пѣснями и преданіями своей родины и приходятъ въ слезливое умиленіе отъ одного запаха малороссійскаго сала. Такъ точно и Гоголь, при своемъ пламенномъ воображеніи, весь унесся въ воспоминаніе о своей родинѣ, въ ея поэтическія преданія, и плодомъ этого явились «Вечера на хуторѣ» и «Тарасъ Бульба». Если хотите, эти произведенія можно причислить къ романтическимъ—но это былъ вовсе не тотъ романтизмъ, который господствовалъ въ Европѣ и у насъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, который проникался образами и мотивами среднихъ вѣковъ искусственно, съ задними мыслями, и по большей части одѣвалъ въ рыцарскія латы своихъ-же современниковъ, исполненныхъ внутренняго разлада, скептицизма или туманной мечтательности. Романтизмъ Гоголя въ «Вечерахъ на хуторѣ» является передъ нами вполнѣ средневѣковымъ. Отношеніе Гоголя къ природѣ, жизни и преданіямъ своей родины преисполнено той наивной непосредственности, той дѣтской простоты, вслѣдствіе которыхъ «Вечера на хуторѣ» являются передъ нами словно средневѣковыми новеллами. Самый юморъ, которымъ преисполнены «Вечера»,—безхитростный, добродушный, вполнѣ народный, малороссійскій юморъ.

Появленіе «Вечеровъ» сблизило Гоголя съ литературнымъ міромъ—онъ познакомился съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, Вяземскимъ, впослѣдствіи съ Шевыревымъ и Погодинымъ. Все это были люди отжившіе или остановившіеся. Лучшій изъ нихъ былъ безспорно Пушкинъ, но это былъ Пушкинъ послѣдняго періода своей дѣятельности. Онъ былъ полезенъ Гоголю своими совѣтами по художественной части; что-же касается обще-развивательнаго вліянія, то въ этомъ отношеніи онъ могъ быть болѣе вреденъ, чѣмъ полезенъ.

Такимъ образомъ Гоголь остался совершенно внѣ умственнаго движенія своего времени. Въ юности его занимали интересы исключительно художественные, литературные, причемъ для него вовсе не существовало тѣхъ мучительныхъ вопросовъ о судьбѣ, духѣ и направленіи русской образованности, надъ разрѣшеніемъ которыхъ мучилось поколѣніе тридцатыхъ годовъ. Онъ не сдѣлался ни западникомъ, ни славянофиломъ. Западникомъ онъ не могъ сдѣлаться потому, что имѣлъ весьма смутныя понятія о духѣ и направленіи

западной образованности, и никакое ученіе Запада не увлекало его. Что-же касается славянофильства, то Гоголь хотя и стоялъ на почвѣ того-же до петровскаго міросозерцанія, на которомъ славянофилы основывали все спасеніе міра, но онъ отличался все-таки отъ нихъ тѣмъ, что славянофилы были люди троиутые, раздвоенные, сами находились уже внѣ до-петровскаго міросозерцанія и только натягивали во что бы то ни стало возвращеніе къ нему и примиреніе съ нимъ посредствомъ различныхъ хитросплетеній гегелевской діалектики, заразившись ею отъ того-же растлѣннаго Запада, который такъ проклинали. Между тѣмъ на Гоголѣ не было и слѣда никакой подобной западной проказы: до-петровское міросозерцаніе было предметомъ такой-же непосредственной, наивной вѣры для него, какъ и для любого простолюдина, и ему не для чего было стремиться къ возвращенію къ тому, въ сферѣ чего онъ и безъ того всецѣло находился.

Одно время впрочемъ и онъ подчинился нѣсколько духу своего времени. Послѣ наивной фантастичности народныхъ преданій, какую мы видимъ въ «Вечерахъ», онъ обратился въ «Портретѣ» къ искусственной фантастичности въ гофмановскомъ родѣ, съ другой стороны началъ выводить въ своихъ произведеніяхъ романтическихъ художниковъ совершенно въ духѣ прекраснодушныхъ идеаловъ того времени. Но это вѣяніе вѣка было мимолетнымъ. Какъ у человѣка вполнѣ средневѣкового,—у Гоголя преобладало то непосредственное, эмпирическое воззрѣніе на жизнь, которое ведетъ въ творчествѣ къ преобладанію внѣшняго пластицизма. Фантастическіе образы его явились слишкомъ преисполненными плоти и крови, и гофмановская туманная, мистическая фантастичность была совершенно не по плечу Гоголя, чтобы онъ могъ проникнуться ею и остановиться на ней. Съ другой стороны, и прекраснодушный художникъ не могъ сдѣлаться его идеаломъ при томъ религіозномъ настроеніи, которымъ Гоголь былъ проникнутъ съ самой ранней юности и которое отзывается во всей его перепискѣ уже со скамьи Нѣжинскаго лицея. Такъ, уже въ «Портретѣ» вы видите, что прекраснодушная, исключительная преданность искусству ведетъ, по мнѣнію Гоголя, къ тому, что художникъ творитъ чуть не антихриста; высшимъ-же идеаломъ человѣка уже въ этой повѣсти является передъ вами аскетъ, замаливающій въ монастырѣ грѣхъ своей молодости.

Съ точки зрѣнія этого средневѣкового идеала осмѣивалъ Гоголь и окружающую его тину мелочей и дрязгъ. Было бы совершенно ложно думать, что міръ Собакевичей, Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Коробочекъ можетъ казаться пошлымъ и лишеннымъ всякаго образа и подобія человѣческаго только съ высоты чайльдъ-гарольдовскихъ или бельтовскихъ идеаловъ. Отъ него съ ужасомъ отшатнулся бы и любой средневѣковой аскетъ вродѣ Савонароллы. Гоголь-же обладалъ именно той сильной, нетерпимой натурой, которую обыкновенно глубоко возмущаетъ разладъ дѣйствительности съ идеаломъ, къ какому бы вѣку ни принадлежалъ этотъ идеалъ, и, обладая геніальнымъ юморомъ, Гоголь принялся осмѣивать окружающую его жизнь изъ чистой потребности своего духа, внѣ всякихъ вѣяній какихъ-либо идей философскихъ или политическихъ, внѣ всякихъ художественныхъ традицій. Поэтому вы не найдете и тѣни какихъ-либо сознательныхъ гражданскихъ тенденцій въ сатирѣ Гоголя. Гоголь и не воображалъ, что, смѣясь надъ пошлостью жизни, онъ смѣется и надъ тѣмъ общественнымъ строемъ, который порождаетъ эту пошлость, а когда этотъ выводъ былъ сдѣланъ изъ его произведеній другими, онъ съ ужасомъ отъ него отшатнулся. Онъ воображалъ въ своей средневѣковой наивности, что общественный бытъ въ томъ видѣ, въ какомъ существовалъ при немъ, есть нѣчто такое-же незыблемое, утвержденное съ испоконъ-вѣковъ, какъ перемѣны временъ года, и что допущеніе малѣйшаго серьезнаго измѣненія въ немъ—есть нѣчто вродѣ святотатства. Что-же касается Ноздревыхъ, Плюшкиныхъ, Хлестаковыхъ, то онъ объяснялъ ихъ пошлость тѣмъ, что они не просвѣщены свѣтомъ его аскетическихъ, средневѣковыхъ идеаловъ. Недаромъ онъ обѣщалъ, что въ третьей части изъ устъ Плюшкина польются иныя рѣчи. Изъ этого міровоззрѣнія прямо и естественно вышелъ переходъ къ послѣднему періоду дѣятельности Гоголя, ознаменовавшемуся «Перепиской съ друзьями». На это произведеніе Гоголя многіе смотрятъ, какъ на паденіе его таланта, какъ на окончательное растлѣніе его подъ гнетомъ обстоятельствъ, болѣзни и пр., и пр. Кто не знакомъ съ тѣми ожесточенными нападками, которыя посыпались на Гоголя со всѣхъ сторонъ послѣ появленія «Переписки съ друзьями»? Кто изъ современниковъ не читалъ грозныхъ писемъ Бѣлинскаго къ Гоголю и писемъ Павлова, которыя были перепечатаны во многихъ газетахъ и журналахъ при своемъ появленіи? Но, въ сущности, по отношенію къ самому Гоголю послѣдній періодъ его дѣятельности не только не былъ паденіемъ и растлѣніемъ, а, напротивъ, шагомъ впередъ. Весь этотъ переломъ произошелъ оттого, что Гоголь вовсе не принадлежалъ къ числу тѣхъ созерцательныхъ натуръ, которыя могутъ ограничиться однимъ художественнымъ творчествомъ. Въ немъ была слишкомъ сильна жилка пропаганды, что ясно видно изъ всей переписки его съ самыхъ юныхъ лѣтъ. Кого только онъ ни назидалъ, начиная съ матери и сестры и кончая Погодинымъ и Шевыревымъ? Что-же мудренаго, если ему показалось недостаточнымъ осмѣивать пошлыхъ людей, а захотѣлось вмѣстѣ съ тѣмъ и внушить имъ тѣ самые идеалы и принципы, на основаніи которыхъ онъ ихъ осмѣивалъ? Это побужденіе усиливалось въ немъ по мѣрѣ того, какъ и самъ онъ все глубже и глубже проникался этими принципами по мѣрѣ своей зрѣлости и наконецъ дошелъ до того изступленнаго экстаза, въ которомъ ему начали грезиться видѣнія, дѣйствительный и фактическій міръ перемѣшались въ его глазахъ и онъ вообразилъ себя чѣмъ-то вродѣ пророка. Это было сумасшествіе, если хотите, но то самое, съ какимъ въ средніе вѣка совершали религіозные перевороты люди вродѣ Магомета, Гусса, Лютера и прочихъ реформаторовъ. Гоголя обвиняли при этомъ въ страшномъ высокомѣріи, скрывающемся подъ напускнымъ смиреніемъ. Но, спрашивается, какой-же фанатикъ, увлекшійся до энтузіазма своей идеей, не воображаетъ, что онъ пришелъ обновить міръ, и что міръ долженъ внимать ему и идти за нимъ, иначе всѣ

погибнутъ? Да и возможно-ли увлеченіе пропагандой безъ того качества, которое обыкновенно, когда пропаганда намъ нравится, называютъ величіемъ, возвышеннымъ энтузіазмомъ и пр., а когда не нравится, то высокомѣріемъ? Единственнымъ промахомъ Гоголя было развѣ то, что пропаганда его явилась не во время. Явись она не только въ средніе вѣка, а лѣтъ сорокъ назадъ, и никого-бы она не удивила. Живи Гоголь во времена Новикова онъ, конечно сначала участвовалъ-бы въ новиковскихъ сатирическихъ журналахъ, а потомъ сдѣлался-бы ревностнымъ массономъ, и это казалось-бы столь-же естественнымъ, какъ это намъ представляется въ Новиковѣ. Никто не находилъ-бы въ «Перепискѣ съ друзьями» никакого высокомѣрія или помѣшательства, и тотъ-же Бѣлинскій или Павловъ съ уваженіемъ отзывались-бы о «Перепискѣ съ друзьями», какъ о памятникѣ успѣховъ въ свое время русскаго просвѣщенія. Но и отъ того времени, въ которое появилась, «Переписка съ друзьями» была явленіемъ не слишкомъ уже отсталымъ. Подумайте только о томъ, многимъ-ли отличаются принципы самого Бѣлинскаго московскаго періода его дѣятельности отъ принциповъ «Переписки съ друзьями»? Развѣ только тѣмъ, что первые были замаскированы гегелевской діалектикой, привлекавшей своей замысловатостью и новизной, и потому казались передовымъ, новымъ словомъ, тогда какъ въ «Перепискѣ» тѣ же принципы были высказаны съ ничѣмъ неприкрытой наготой, съ наивнымъ энтузіазмомъ изувѣра. Но въ этомъ отношеніи «Переписка» была полезнѣе «Менцеля» или «Бородинской годовщины». Появившись въ такое время (1847 г.), когда средневѣковое міросозерцаніе находилось въ самой упорной борьбѣ съ новыми идеями, «Переписка» оказала своимъ принципамъ самую медвѣжью услугу, выразивши ихъ во всемъ ихъ умственномъ убожествѣ, со всѣми внутренними противорѣчіями. Этимъ Гоголь, какъ будто нарочно, напоказъ выставилъ всю ихъ несостоятельность и заставилъ людей мало-мальски свѣжихъ съ большей рѣшимостью отшатнуться отъ нихъ и поспѣшить отъ нихъ избавиться. Между тѣмъ какъ тѣ же самые принципы, выраженные въ статьяхъ Бѣлинскаго московскаго періода, подъ прикрытіемъ гегелевской діалектики, могли многихъ сбить съ толку и остановить навсегда на степени того двухсмысленнаго прогресса, который, оставаясь на одномъ и томъ же мѣстѣ, воображаетъ, что онъ идетъ впередъ, перемалывая старое на новый ладъ.

Средневѣковой человѣкъ по своимъ міровоззрѣніямъ, такой же былъ Гоголь и по всѣмъ своимъ привычкамъ. До него вовсе не коснулась господствовавшая въ то время идея независимости литературы, и онъ всецѣло принадлежалъ еще къ тѣмъ минувшимъ вѣкамъ, въ которые писатели взапуски добивались покровительства. Ему и въ голову не приходило считать унизительными хлопоты о различныхъ вспомоществованіяхъ. Но рядомъ съ этимъ вы видите въ немъ полное отсутствіе особенной искательности, лести, желанія пробиться вверхъ или составить состояніе. Это былъ вѣчно скитающійся, безсемейный казакъ въ личинѣ писателя, перевозившій все свое добро въ небольшомъ чемоданѣ. Большія суммы денегъ, получаемыя имъ отъ продажи своихъ сочиненій, или же въ видѣ вспомоществованій свыше, онъ употреблялъ на стипендіи въ пользу бѣдныхъ московскихъ студентовъ, или же скупалъ дорогія картины для того, чтобы выручить изъ нужды бѣдныхъ художниковъ, и въ то же время терпѣлъ иногда нужду и не зналъ, какъ перебиться. Самое то чудное, прекрасное далеко, куда онъ такъ часто удалялся, чтобы оттуда созерцать Россію, вполнѣ соотвѣтствовало его міровоззрѣніямъ. Это былъ Римъ, въ которомъ средніе вѣка процвѣтали еще во всей своей красотѣ, и тамъ Гоголь бродилъ воплощеннымъ анахронизмомъ XIX столѣтія среди величавыхъ памятниковъ отжившей старины, мечтая о тѣхъ блаженныхъ временахъ, когда, подъ покровительствомъ владѣтельныхъ особъ, великіе художники, исполненные религіознаго энтузіазма, цѣлые годы проводили надъ какой-нибудь мадонной или расписываньемъ церковнаго плафона. Живымъ напоминаніемъ этого давно минувшаго времени служилъ для Гоголя Ивановъ, проведшій полжизни надъ своей знаменитой картиной, такой же средневѣковый аскетъ, какимъ былъ и Гоголь.

III.

Въ то время, какъ Гоголь можетъ служить для насъ представителемъ средневѣковыхъ принциповъ въ ихъ чистомъ и непосредственномъ видѣ,—современникъ его, Тимофей Николаевичъ Грановскій, является вполнѣ человѣкомъ сороковыхъ годовъ, живымъ воплощеннымъ типомъ тѣхъ промежуточныхъ людей, въ которыхъ старыя идеи упорно боролись съ новыми и которые въ изнеможеніи останавливались на этой борьбѣ, будучи не въ силахъ найти никакого исхода изъ нея и не смѣя рѣшиться смѣло пойти въ одну какую нибудь сторону.

Какъ по своему характеру, по своимъ убѣжденіямъ, такъ и по всему складу и ходу жизни, Грановскій является преисполненнымъ тѣхъ непримиримыхъ противорѣчій, которыми обыкновенно всегда отличаются люди промежуточные, стоящіе на рубежѣ двухъ противоположныхъ міровоззрѣній. Родясь въ богатомъ помѣщичьемъ семействѣ, онъ провелъ свое дѣтство подъ вліяніемъ такихъ размягчающихъ условій усадебной жизни, что изъ него обѣщалъ выйти или праздный, безвольный эпикуреецъ, или отвлеченный эстетикъ-созерцатель, вродѣ массы людей его поколѣнія, не пошедшихъ далѣе этого тепличнаго склада ума и характера. Довольно того, что родители только тогда вздумали отвезти мальчика въ Москву и помѣстить его въ частный пансіонъ Кистера, когда мальчику исполнилось уже 13 лѣтъ. Но и выборъ заведенія былъ сдѣланъ зря, чтобы только какъ нибудь отдѣлаться, хотя для виду, отъ обязанности воспитанія сына. Грановскій учился въ пансіонѣ всего два года, оставаясь втеченіи этого времени очень долго дома всякій разъ, какъ пріѣзжалъ въ сенью свою на вакацію, и не научился въ пансіонѣ этомъ ничему—даже нѣмецкому языку, несмотря на то, что заведеніе содержалось нѣмцемъ. Отправившись домой на вакаціонные мѣсяцы послѣ двухлѣтняго ученія въ пансіонѣ, Грановскій уже не возвращался туда—и три года провелъ въ ро-

дительскомъ Погорѣльцѣ въ мучительной скукѣ праздности, бродя по цѣлымъ днямъ съ ружьемъ въ рукахъ по лѣсамъ и болотамъ. Единственное живое вліяніе, какое испыталъ на себѣ въ эти потерянные годы Грановскій, было вліяніе француза Жаньо, съ которымъ онъ познакомился въ Орлѣ. Замѣчательно, что рѣдкій изъ передовыхъ дѣятелей нашего стараго времени обошелся безъ благотворнаго вліянія тѣхъ выходцевъ изъ Франціи, которыхъ нѣкогда такъ преслѣдовала наша отечественная сатира. Безъ такого вліянія не обошелся и Грановскій. «Устами француза — говоритъ біографъ Грановскаго—произносились рѣчи и понятія цивилизованной націи, и мальчикъ, которому былъ уже шестнадцатый годъ, почувствовалъ различіе ихъ отъ того, что слышалось вокругъ него, среди полуобразованнаго общества, среди сосѣдей и помѣщиковъ, посѣщавшихъ Погорѣлецъ». До 18-ти почти лѣтъ Грановскій проживалъ недорослемъ въ родительской усадьбѣ, съ увлеченіемъ предаваясь танцамъ и безпечному веселью и рѣдко ложась спать ранѣе пяти часовъ утра. Наконецъ отецъ Грановскаго, человѣкъ до крайности безпечный, праздный игрокъ и мотъ, приведшій свое семейство къ окончательному разоренію,—рѣшился отправить сына въ Петербургъ на службу. Какъ истый питомецъ усадебной теплицы, сынъ конечно ни о чемъ болѣе не мечталъ, какъ объ эполетахъ, и только просьбы матери, которая одна изъ всѣхъ домашнихъ оказывала на сына благотворное нравственное вліяніе, склонили его на гражданское поприще, и весной 1831 года, съ помощью какого то друга матери, Грановскій опредѣлился на службу въ департаментъ министерства внутреннихъ дѣлъ. «Впечатлѣніе столицы, чтеніе (къ которому Грановскій успѣлъ уже пристраститься еще во время своей усадебной праздности), новыя встрѣчи съ людьми не остались безъ вліянія на даровитаго юношу. Онъ скоро и мучительно началъ чувствовать недостаточность своего образованія и своихъ познаній,—говоритъ біографъ Грановскаго,— и слѣдствіемъ этого было то, что Грановскій, несмотря на неодобреніе отца, въ іюлѣ 1831 года вышелъ въ отставку и началъ готовиться къ вступительному университетскому экзамену. Надо было случиться, что въ это самое время умерла мать Грановскаго, и всѣ обстоятельства жизни его радикально измѣнились. Наслѣдникъ богатаго имущества вдругъ очутился въ положеніи бѣдняка, который принужденъ собственными усиліями пробивать дорогу среди нужды и лишеній. Онъ конечно тотчасъ же понялъ, что со смертью матери нечего надѣяться на родовыя имѣнія, что если онъ не обезпечитъ себя самостоятельнымъ трудомъ, то и самого его, и сестеръ ждетъ неминуемая нищета, такъ какъ отъ управленія имѣніями отцомъ ничего нельзя было ожидать, кромѣ неминуемаго разоренія. Поэтому съ удвоеннымъ рвеніемъ принялся Грановскій за приготовленіе къ экзамену. Въ то же время отецъ его, среди своихъ оргій, часто забывалъ о сынѣ и не высылалъ ему денегъ, или же высылалъ такія ничтожныя суммы, что избалованный питомецъ роскоши и нѣги долженъ былъ нерѣдко голодать по нѣскольку дней, питаясь чаемъ съ картофелемъ, впадать въ долги, пробиваться уроками, а впослѣдствіи переводными и компилятивными статейками въ «Библіотекѣ для Чтенія» Сенковскаго.

Такимъ образомъ самыми обстоятельствами жизни Грановскій былъ поставленъ такъ, что среда, къ которой онъ принадлежалъ, была обращена къ нему своей обратной стороной дикой, варварской грязи, соединенной съ печальнымъ нравственнымъ растлѣніемъ. Это заставило юношу на университетской скамьѣ уже обратить вниманіе на мрачныя стороны нашей жизни. Рядомъ съ этимъ Грановскій зачитывался «Телеграфомъ», и уже въ университетѣ, пристрастившись къ исторіи, познакомился съ сочиненіями Гизо, Баранта, Сисмонди, Тьера, Вильмена и пр. Все это вмѣстѣ внушило юношѣ то живое расположеніе къ общественнымъ вопросамъ, котораго были такъ чужды московскіе мыслители кружка Станкевича съ ихъ отвлеченно-эстетическими умозрѣніями.

Но рядомъ съ этою несомнѣнною энергіей, которую обнаружилъ Грановскій во время своего студенчества, васъ поражаютъ первые шаги его въ жизни за университетомъ, представляющіе радикальную противоположность съ тѣмъ отважнымъ скачкомъ, которымъ шагнулъ Грановскій изъ канцеляріи въ университетъ.

Пройдя въ какія нибудь пять лѣтъ среди нужды и всякаго рода лишеній два курса, которые, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, проходятся обыкновенно лѣтъ въ десять, Грановскій успѣлъ при этомъ обратить на себя вниманіе профессоровъ, и его хотѣли послать заграницу для занятія впослѣдствіи каѳедры. Въ то-же самое время Грановскій любилъ дочь сосѣда по имѣніямъ отца, дѣвушку, по словамъ біографа Грановскаго, весьма пріятной наружности, сосредоточеннаго, сдержаннаго нрава и одаренную замѣтнымъ умомъ. Казалось бы, что для человѣка, закаленнаго въ трудѣ и борьбѣ съ жизнью, успѣвшаго пристраститься къ наукѣ и для котораго планъ жизни представлялся уже опредѣленнымъ, поѣздка заграницу не только-что не могла стоять поперекъ вопроса о любви, напротивъ того, должна была способствовать благополучному разрѣшенію его, хотя бы и отсрочивала на время это разрѣшеніе. Немного нужно было имѣть здраваго смысла и твердости характера, чтобы разсудить, что долгъ и призваніе должны стоять на первомъ планѣ, особенно же, если раньше устройства положенія невозможно и думать о женитьбѣ. Но Грановскому вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вздумалось разыграть роль Митрофанушки комедіи Фонвизина —не хочу, молъ, учиться, хочу жениться—и онъ отклонилъ отъ себя поѣздку заграницу на томъ основаніи, по словамъ біографа, что не желалъ на долгое время разставаться *съ нею*.

Но и въ любви Грановскій не нашелъ тѣхъ удовольствій, которыхъ вѣроятно ожидалъ, отказавшись ѣхать заграницу. Начались различныя ревности, упреки, рефлексіи и привели къ тому, что довѣріе къ Е. П. ослабѣло въ сердцѣ Грановскаго и порой онъ началъ подумывать уже о томъ, что бракъ съ иной женщиной, которую онъ менѣе бы любилъ, но болѣе довѣрялъ, обѣщалъ бы ему болѣе счастья. Казалось бы, чего еще дожидать отъ любви послѣ подобныхъ рефлексій? Но въ 1835 году снова было сдѣлано предложеніе Грановскому ѣхать заграницу для

приготовленія къ профессурѣ—теперь уже отъ московскаго университета черезъ П. К. Ржевскаго, служившаго при московскомъ попечителѣ, графѣ С. Г. Строгановѣ. И вдругъ, что-же: послѣ всѣхъ рефлексій, Грановскій снова спѣшитъ къ Е. П. рѣшить: ѣхать ему или остаться, готовый покориться ея рѣшенію, каково бы оно ни было. Дѣвушка однакоже оказалась съ характеромъ болѣе серьезнымъ и самоотверженнымъ, чѣмъ ея возлюбленный. При всемъ томъ, что, по словамъ біографа, она рисковала потерять, вслѣдствіе поѣздки Грановскаго, гораздо болѣе, чѣмъ онъ, она не замедлила выговорить свое разрѣшающее partez, и Грановскій уѣхалъ, съ умиленіемъ всю жизнь вспоминая потомъ объ этомъ великодушномъ отвѣтѣ. Послѣ такого умиленія чего, казалось, было ждать, какъ не большей еще привязанности къ дѣвушкѣ отъ истинно и горячо любящаго человѣка? И что-же вдругъ вышло: Грановскій уговорился съ своей возлюбленной не переписываться во время его отсутствія для избѣжанія толковъ, любопытства и опасеній, возбужденныхъ отношеніями молодыхъ людей въ кругу родныхъ и въ обществѣ, среди котораго осталась Е. П., а получать извѣстія черезъ общую пріятельницу М. А. С., которая часто видѣлась съ Е. П. и вела переписку съ Грановскимъ. Но эта пріятельница, одна изъ тѣхъ старыхъ, перезрѣлыхъ дѣвъ, которыя среди провинціальнаго бездѣлья отъ скуки бываютъ часто такія любительницы и искусницы сводить и разводить влюбленныхъ, оказалась коварнѣйшимъ другомъ. Она оклеветала передъ Грановскимъ его возлюбленную, а передъ послѣдней его, вслѣдствіе этого произошла ссора, и любовь Грановскаго, на карту которой онъ ставилъ всего себя, разсѣялась, какъ дымъ. Позже Грановскій убѣдился въ коварствѣ злой женщины; узналъ онъ также, что дѣвушка и тутъ оказалась выше его: она не разлюбила его при всѣхъ наущеніяхъ пріятельницы; пять лѣтъ послѣ того провела она въ нѣмой тоскѣ, въ полномъ уединеніи... Можно себѣ представить, сколько стыда, нравственнаго униженія и раскаянія оставила въ сердцѣ Грановскаго подобная развязка.

«Его мучила мысль,—говоритъ біографъ,—что эта третья сестра, какъ онъ началъ называть ее, можетъ презирать его, въ ея глазахъ онъ можетъ казаться пустымъ и бездушнымъ человѣкомъ. Онъ рѣшился объяснить ей въ короткомъ письмѣ все дѣло, какъ оно было, и сказать, какъ мучительна для него мысль о возможности презрѣнія съ ея стороны. Отъ нея онъ получилъ отвѣтъ въ короткихъ и простыхъ словахъ: она благодарила его за письмо и признавалась, что *око утѣшило ее во многомъ*. Такъ кончились навсегда личныя сношенія Грановскаго съ дѣвушкой, которую онъ любилъ въ первой юности. Они никогда не встрѣчались болѣе, но до кончины, постигшей ее за годъ до смерти Грановскаго, онъ сохранилъ горячее участіе въ третьей сестрѣ своей. Незамѣтно и тайно для нея онъ постоянно слѣдилъ за ея судьбой, освѣдомлялся обо всемъ, что имѣло отношеніе къ ней и ея семейству, доставлялъ ей книги руками другихъ лицъ, радовался, когда представился ему случай принять на свое попеченіе воспитаніе маленькой сестры ея. Съ глубокой грустью и вѣчнымъ упрекомъ самому себѣ вспоминалъ онъ ее въ лучшіе, счастливѣйшіе часы своей жизни. Когда для него настало время новой счастливой любви, онъ вспоминаетъ въ письмахъ сестрамъ свою прежнюю невѣсту: «Боже мой, Боже мой! Я жестоко наказанъ за ошибки моей юности. Покуда будетъ живо это воспоминаніе, я не могу быть вполнѣ счастливымъ, а воспоминаніе это не умретъ никогда.» Онъ признается въ другомъ письмѣ: «Признаться-ли вамъ? Это воспоминаніе преслѣдуетъ меня, даже когда сижу возлѣ Лизы. Чѣмъ могу я искупить мою вину?»

Когда вы читаете всю эту исторію въ біографіи Грановскаго, то вамъ постоянно чудится, что передъ вами одна изъ повѣстей Тургенева, нѣчто вродѣ «Рудина» или «Аси», съ однимъ изъ тѣхъ Гамлетовъ сороковыхъ годовъ, которые, по своимъ идеямъ, стояли выше всей окружающей ихъ толпы, а по своимъ отношеніямъ къ жизни являлись несостоятельнѣе самыхъ посредственныхъ практиковъ, съ одной стороны выказывали удивительную силу характера, рѣшаясь въ одиночку и часто безъ всякой поддержки и сочувствія бороться противъ тьмы темъ и освѣщать собою эту бездну, и въ то-же время у нихъ на столько не доставало энергіи, воли и здраваго смысла, чтобы рѣшить какой-нибудь маленькій вопросикъ въ ихъ частной жизни; они рефлектировали, путались въ безплодныхъ сомнѣніяхъ и сожалѣніяхъ тамъ, гдѣ дѣло было ясно, какъ день, и кончалось тѣмъ, что какая-нибудь старая дѣва могла помыкать ими, какъ тряпкой.

Что касается до своей второй привязанности, то хотя она и увѣнчалась законнымъ бракомъ, Грановскій и тутъ успѣлъ разыграть еще болѣе совершенно роль Рудина, и этотъ фактъ имѣетъ для насъ особенную важность, потому что здѣсь замѣшиваются въ дѣло уже и принципы, и фактъ этотъ можетъ служить для насъ переходомъ къ характеристикѣ убѣжденій и взглядовъ Грановскаго.

Мы уже говорили о томъ, что первымъ и самымъ главнымъ источникомъ всѣхъ золъ, всѣхъ лишеній, непріятностей и горестей въ жизни Грановскаго былъ его отецъ, который своей безпечностью чуть не погубилъ всю жизнь его въ дѣтствѣ, съ расточительностью котораго потомъ всю жизнь свою Грановскій боролся, спасая кое-какъ своихъ сестеръ отъ окончательнаго разоренія, платя за старика долги. и проч. Мы уже говорили, что ненадежность этого человѣка была главной двигательной силой энергіи Грановскаго: она-то и побудила его стремиться встать на самостоятельную ногу. Но разъ человѣкъ выработалъ себѣ самостоятельность и вступилъ на свой собственный путь, казалось бы, какое дѣло кому бы то ни было до того, какое рѣшеніе приму я въ томъ или другомъ своемъ дѣлѣ, касающемся лично меня, особенно, если самому мнѣ лѣтъ уже подъ 30-ть. Тѣмъ болѣе, казалось-бы, что въ такомъ дѣлѣ, какъ женитьба, гдѣ идетъ вопросъ о судьбѣ не одного человѣка, а и той особы, съ которой онъ вступаетъ въ бракъ, мыслимое-ли дѣло, будучи уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, отказываться отъ иниціативы рѣшенія такого вопроса и возлагать его всецѣло на рѣшеніе папеньки? И вдругъ что-же мы видимъ: въ 1840 году Грановскій влюбился въ молодую дѣвушку Мюльгаузенъ, полюбила и она его. Въ то время Грановскій успѣлъ уже занять каѳедру, и имя его съ каждымъ днемъ пріобрѣтало болѣе и болѣе знаменитости. Родители невѣсты были рады этому браку. Передъ тѣмъ, какъ дѣлать

имъ предложеніе, Грановскій, по обыкновенію, написалъ отцу, прося его родительскаго благословенія на женитьбу. Казалось, это письмо не имѣло никакого иного значенія, кромѣ обычнаго соблюденія приличій и сыновняго почтенія къ престарѣлому родителю. Но Грановскій сдѣлалъ изъ него тотчасъ-же драму и всталъ въ трагикомическую позу роли Кабанова въ «Грозѣ». Почтенный профессоръ, герой дня, стоявшій уже во главѣ умственнаго движенія Россіи въ то время, надежда всѣхъ друзей прогресса,—какъ молоденькая, только-что выпущенная институточка, со страхомъ и трепетомъ началъ ожидать, что̀ скажетъ папенька и какъ рѣшитъ его участь. «Я не женюсь безъ его согласія,—писалъ онъ къ своей сестрѣ съ сентиментальностью 17-ти-лѣтней пансіонерки,—браки безъ согласія родителей приносятъ несчастіе...» Къ довершенію комизма, родитель и не думалъ спѣшить отвѣтомъ на просьбу сына. По всей вѣроятности, онъ увлекся какими-нибудь обѣдами, попойками, картежными турнирами и, забывши о письмѣ сына, откладывалъ день за день отвѣтъ, предполагая, что не къ спѣху. Прошла недѣля, другая, третья и только черезъ шесть недѣль родитель наконецъ собрался и прислалъ сыну свое благословеніе. Грановскій чуть не сходилъ съума въ это время. «Лѣнь-ли, равнодушіе, или-же искренняя забота о моемъ будущемъ препятствуютъ ему писать мнѣ? Боже мой, какъ дорого-бы я далъ за то, чтобы быть неправымъ противъ него, чтобы послѣднее изъ трехъ предположеній было справедливо», писалъ онъ къ своей сестрѣ. Въ другомъ письмѣ онъ писалъ, что не женится безъ согласія отца, но уже не пріѣдетъ въ его семью; что онъ не сталъ-бы упрекать отца ни въ чемъ, но ему было-бы трудно быть съ нимъ такимъ, какимъ сынъ долженъ быть для отца. Въ этихъ словахъ выразилась вся бездна противорѣчій, которая сидѣла въ Грановскомъ. Казалось-бы, что ужъ если стоять на кабановской точкѣ зрѣнія святости отеческаго veto, то слѣдовало-бы проводить этотъ взглядъ послѣдовательно до конца, такъ какъ онъ требуетъ не одного только повиновенія скрѣпя зубы, но почтительнаго, соединеннаго съ искренней готовностью безропотно одобрять всякое родительское распоряженіе. Между тѣмъ вы видите здѣсь, съ одной стороны,—желаніе подчиниться отеческой власти, соединенное съ мистическимъ страхомъ, какъ-бы въ противномъ случаѣ бракъ не вышелъ несчастнымъ, съ другой-же стороны - протестъ, и какой еще протестъ! сынъ объявляетъ отцу: я послушаюсь твоей воли, но зато потомъ ты мнѣ не отецъ и я тебя и знать не хочу! Или иначе: я сначала почту твою власть, а потомъ попру ее ногами. Въ результатѣ отъ такого абсурда вышло-бы, что всѣ остались-бы въ накладѣ: отецъ потерялъ-бы на всегда сына, сынъ потерялъ-бы и отца, и невѣсту, но за какую-же вину пострадала-бы здѣсь дѣвушка изъ-за того, что въ ней возбудилъ чувство такой безвольный человѣкъ, который могъ рѣшиться бросить ее по приказанію папеньки послѣ всѣхъ нѣжныхъ чувствоизліяній? Къ довершенію всѣхъ противорѣчій, слѣдуетъ еще замѣтить, что Грановскій далеко не во всѣхъ случаяхъ жизни слѣдовалъ тому-же самому принципу, который вдругъ вздумалось ему примѣнить къ женитьбѣ своей на Мюльгаузенъ. Такъ напримѣръ, неодобреніе отца нисколько не помѣшало ему поступить въ университетъ, и онъ не думалъ о томъ, что его ждетъ несчастіе на новомъ поприщѣ, на которое онъ выступилъ вопреки родительской воли. Въ то-же время, будучи еще студентомъ, онъ поспѣшилъ изъ Петербурга въ Погорѣлецъ, узнавши, что отецъ выдаетъ сестру его замужъ насильно за немилаго человѣка, и Грановскій разстроилъ этотъ бракъ, конечно вопреки воли родителя, нисколько не помышляя, что власть родителя такъ-же священна въ положительныхъ отправленіяхъ, какъ и въ своихъ veto.

Подобныя нравственныя противорѣчія только и можно объяснить себѣ тѣмъ, что въ Грановскомъ сидѣли двѣ противоположныя системы міровоззрѣній: одна—до-петровская, архаическая, вся основанная на средневѣковыхъ преданіяхъ, другая—новая, система XIX столѣтія, основанная на идеяхъ свободы разума, чувства и воли личности отъ всѣхъ стѣсняющихъ оковъ обветшалаго родового быта.

IV.

Таковъ былъ Грановскій и во всѣхъ своихъ убѣжденіяхъ, во всѣхъ своихъ поступкахъ. Едва только уѣхалъ онъ заграницу, какъ тотчасъ-же предался горькимъ, мучительнымъ рефлексіямъ и сомнѣніямъ касательно того, правильно-ли избралъ онъ путь, рѣшившись посвятить себя изученію исторіи. Съ одной стороны, на него нашли сомнѣнія въ собственной своей личности, онъ ужаснулся громадности труда при видѣ той колоссальной литературы, какая существовала въ то время уже въ Германіи по части разработки исторической науки, ему показалось, что онъ совсѣмъ не подготовленъ къ такому труду и взялся не за свое дѣло; съ другой стороны, онъ впалъ въ общій въ то время всѣмъ романтикамъ скептицизмъ относительно безсилія науки вообще достигнуть какихъ-нибудь основательныхъ знаній. Изъ этого состоянія его вывелъ Станкевичъ, указавши ему на гегелевскую философію, какъ на цѣлительный бальзамъ отъ всѣхъ его мукъ сомнѣнія.

«Мужество, твердость, Грановскій!--писалъ онъ ему:--не бойся этихъ формулъ, этихъ костей, которыя облекутся плотію и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметъ—жизнь человѣчества: ищи-же въ этомъ человѣчествѣ образа Божія: но прежде приготовься трудными испытаніями—займись философіей. Занимайся тѣмъ и другимъ; эти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя—наслажденіе! тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но вѣрь, вѣрь— и иди путемъ своимъ... Теперь ты занимаешься исторіей; люби-же ее, какъ поэзію, прежде нежели ты свяжешь ее съ идеей, какъ картину разнообразной и причудливой жизни человѣчества, какъ задачу, которой рѣшеніе не въ ней, а въ тебѣ, и которое вызовется строгимъ мышленіемъ, приведеннымъ въ науку. Поэзія и философія — вотъ душа сущаго. Это жизнь, любовь; внѣ нихъ все мертво Ты скорбишь о томъ, что едва знаешь имена тѣхъ людей, которыхъ Миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что на счетъ величія людей можно имѣть разныя понятія съ Миллеромъ, я скажу одно: что за потребность узнать и того, и другаго, и третьяго? Ты узнаешь ихъ тогда, когда въ

тебѣ будетъ вопросъ, котораго рѣшенію они могутъ способствовать. Всякое чтеніе полезно только тогда, когда къ нему приступаешь съ опредѣленной цѣлью, съ вопросомъ. Работай, усиливай свою дѣятельность, но не отчаивайся въ томъ, что ты не узнаешь тысячи фактовъ, которые зналъ другой. Конечно твое будущее назначеніе обязываетъ тебя имѣть понятіе обо всемъ, чтб сдѣлано для твоей науки до тебя: но это пріобрѣтается легко, когда ты положишь главное основаніе своему знанію, а это основаніе скрѣпишь идеей...»

Плодомъ такихъ совѣтовъ было то, что Грановскій занялся философіей Гегеля, и въ ней онъ дѣйствительно нашелъ успокоеніе отъ многихъ сомнѣній, съ какими онъ приступилъ къ своимъ трудамъ. Въ это время послѣдователи гегелевской философіи успѣли уже раздѣлиться на два лагеря. Между тѣмъ какъ строгіе послѣдователи Гегеля отстаивали въ своемъ журналѣ «Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik» систему своего учителя противъ критики новыхъ гегеліанцевъ, послѣдніе сгруппировались вокругъ основаннаго въ 1838 году изданія «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst», и главнымъ стремленіемъ ихъ было приложеніе общихъ принциповъ гегелевской философіи къ различнымъ вопросамъ общественной жизни, религіи, политики и литературы. Къ числу этихъ новыхъ гегеліанцевъ принадлежалъ и философъ Ганцъ, лекціи котораго оказали большое вліяніе на Грановскаго, и по всей вѣроятности имъ опъ былъ обязанъ не мало тому живому, страстному интересу, какой онъ принималъ во всѣхъ общественныхъ вопросахъ своего времени.

Такъ, бывши еще заграницей, Грановскій, на обѣдѣ у одного богатаго вѣнскаго банкира, Вальтера, явился горячимъ защитникомъ освобожденія крестьянъ противъ росказней какой-то русской дамы, утверждавшей, что крестьяне не желаютъ измѣненія своей участи. Въ то-же время въ историческихъ трудахъ его болѣе всего занимали вопросы общественные. Одно время онъ увлекся-было изученіемъ славянскихъ языковъ, но рвеніе его къ филологическимъ занятіямъ скоро охладѣло. «Они могутъ быть полезны для филологическихъ изслѣдованій,—писалъ онъ о славянскихъ языкахъ,—а слѣдовательно и для исторіи, но я совсѣмъ другого ищу въ этой наукѣ. Меня почти исключительно занимаетъ развитіе политическихъ формъ и учрежденій. Это односторонпее направленіе, но я не могу изъ него вырваться». «Болѣе всего меня занимаетъ пока исторія Испаніи,—писалъ онъ въ тоже время къ Фролову,— я много перечиталъ и любопытство мое усилилось. У этого народа были въ XIV вѣкѣ конституціонныя формы и понятія о свободѣ, до какихъ дай Богъ нѣмцамъ дойти черезъ сто лѣтъ. Предметомъ для моей диссертаціи я выбралъ: объ образованіи и упадкѣ вольныхъ городскихъ общинъ въ среднихъ вѣкахъ. Надѣюсь, что мнѣ позволятъ».

Такимъ образомъ Грановскій явился въ Москву изъ-за границы стоящимъ значительно впереди въ своемъ развитіи сравнительно съ московскими друзьями кружка Станкевича. Отвлеченно-примирительное направленіе ихъ тяжело поразило Грановскаго, и онъ горько жаловался на понятія Бѣлинскаго и близкихъ ему людей въ письмѣ къ Станкевичу.

Но увы, Грановскому, представлявшему высшую фазу развитія сравнительно съ кружкомъ Станкевича, суждено было остановиться на этой фазѣ и не пойти далѣе, и тѣ-же самые дѣятели мысли (Бѣлинскій, Бакунинъ), которые стояли сзади него въ началѣ сороковыхъ годовъ, въ концѣ того-же десятилѣтія оказались значительно впереди его. Все это произошло оттого, что Грановскій остановился на полдорогѣ, сочувствуя новымъ идеямъ вполовину, и въ то-же время не въ силахъ будучи отдѣлаться отъ тѣхъ старыхъ преданій, въ духѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ и привыкши къ нимъ до такой степени, что внѣ ихъ ему было страшно и жутко.

Такъ напримѣръ, съ одной стороны, онъ съ живымъ и страстнымъ интересомъ слѣдилъ за событіями, разыгравшимися во Франціи въ 1848 году. Онъ былъ повидимому на сторонѣ народныхъ массъ, впервые громко заявившихъ свои естественныя, человѣческія требованія на улучшеніе своей участи, но вмѣстѣ съ тѣмъ впадалъ въ раздумье: «торжество массъ не будетъ-ли гибелью лучшихъ плодовъ цивилизаціи, доступныхъ покуда меньшинству; побѣда пролетаріевъ не сгубитъ-ли современную цивилизацію, какъ вторженіе варваровъ сгубило древнюю», и хотя при этомъ біографъ Грановскаго замѣчаетъ, что просвѣщеніе было въ глазахъ послѣдняго не роскошью, не утонченнымъ наслажденіемъ аристократическаго меньшинства, но необходимою, высокою цѣлью жизни человѣчества, тѣмъ не менѣе вышеупомянутыя раздумья и сомнѣнія именно подтверждаютъ совершенно противное: вы видите, что въ головѣ человѣка сидитъ удивительный абсурдъ: онъ желаетъ, чтобы плоды цивилизаціи были доступны всему человѣчеству, а не одному привилегированному меньшинству, и въ то-же время боится, чтобы отъ этого распространенія плодовъ цивилизаціи въ массахъ не произошло варварства, иначе говоря, онъ боится, чтобы не сгибла такая высокая цивилизація, при которой на одного грамотнаго приходится 1,000 неграмотныхъ, и не настало такого дикаго варварства, при которомъ, наоборотъ, на 1,000 грамотныхъ приходился-бы одинъ неграмотный! Но мнѣ возразятъ, что Грановскій боялся не того, что всѣ будутъ образованы; онъ этого искренно желалъ, онъ боялся только внезапнаго торжества массъ, еще не успѣвшихъ цивилизоваться, и отъ этого порядка вещей ожидалъ варварства. Но въ этомъ еще болѣе противорѣчій: вы подумайте только о томъ, подвинулась-ли бы впередъ цивилизація человѣчества, если-бы древняя цивилизація сохранялась до сего дня, и въ то-же время большая часть Европы была наполнена такими-же дикими варварами, какъ это было въ какомъ-нибудь III столѣтіи? Варвары восторжествовали, Римъ палъ, наступили, правда, вѣка мрака и невѣжества, но погибла-ли черезъ это цивилизація человѣчества? Нѣтъ, тѣ-же варвары воспользовались плодами древней образованности, просвѣтились ею и повели ее дальше къ такимъ результатамъ, о которыхъ въ древности и не мечтали. Такимъ образомъ если мы даже согласимся съ Грановскимъ, что торжество необразованныхъ массъ должно повести къ новому варварству, то на какомъ-же основаніи предполагать, что новые варвары не способны будутъ поступить такъ-же, какъ и прежніе, почему они не воспользуются плода-

ми внѣшней цивилизаціи и не поведутъ ее къ такому развитію, о которомъ въ наше время и не снится?.. Въ этомъ отношеніи плакать о гибели цивилизаціи можно только въ томъ случаѣ, еслибы вы предположили, что новые варвары неспособны вкушать плоды цивилизаціи. Въ такомъ случаѣ вы стояли-бы на твердой почвѣ, и ваши сѣтованія были-бы основательны. Но какое значеніе имѣетъ такое предположеніе? Это предположеніе Собакевича или Ноздрева, воображавшихъ, что только съ чиновниковъ 14-го класса начинаются люди, а ниже слѣдуютъ не люди, а звѣри, которыхъ ежеминутно нужно держать въ крѣпкой уздѣ и укрощать, иначе они тотчасъ-же все сожгутъ и истребятъ, а потомъ разлѣнятся и поѣдятъ сами себя. Грановскій конечно былъ далекъ отъ такого непосредственно-варварскаго взгляда на вещи, онъ былъ гуманистъ, онъ сознавалъ свою человѣческую солидарность съ низшимъ братомъ, въ силу чего становился на его сторону, но въ то-же время, незамѣтно для него самого, логика его продолжала работать въ духѣ Простаковой. Этимъ только и можно объяснить себѣ, почему человѣкъ желалъ всеобщаго просвѣщенія и въ то-же время въ массахъ ему такъ и грезились все только одни варвары и варвары безъ конца.

Таковъ-же является передъ нами Грановскій и относительно женскаго вопроса.

«Грановскій всегда вѣрилъ—говоритъ біографъ—въ возможность высокаго умственнаго и нравственнаго развитія женщины, всегда радовался, когда встрѣчалъ его. Онъ не любилъ и не желалъ того, что̀ многіе разумѣютъ подъ словомъ *эмансипація женщины*, уравненія во всемъ ея общественнаго положенія съ положеніемъ мужчины, уравненія ея съ послѣднимъ въ задачахъ жизни, въ практической дѣятельности, но онъ желалъ, чтобы женщина равнялась мужчинѣ въ участіи ума и сердца къ общечеловѣческимъ интересамъ. Женщина-дѣлецъ, женщина-торгашъ, женщина-юристъ наводила на него смущеніе. «Не люблю женщинъ, знающихъ законы», говорилъ онъ по поводу дѣловыхъ способностей дамы, съ успѣхомъ занимавшейся своими процессами. Зато съ уваженіемъ и живымъ участіемъ видѣлъ онъ женщину, воспитывающую и обучающую дѣтей,—женщину, посвящающую себя попеченіямъ о больныхъ и страждущихъ. Съ уваженіемъ и благоговѣніемъ смотрѣлъ онъ и на ту, которая подъ гнетомъ исключительнаго положенія не падала духомъ, и изъ любви къ дорогимъ ей лицамъ принимала на себя даже такіе заботы и труды, которые обыкновенно долженъ нести мужчина. Въ такомъ исключительномъ явленіи онъ узнавалъ торжество сильной любви, и это глубоко трогало его».

Здѣсь вы видите опять-таки порядочный сумбуръ совершенно двухъ противоположныхъ міровоззрѣній. Съ одной стороны, подъ вліяніемъ новыхъ идей, Грановскій радовался, когда встрѣчалъ женщину развитую и равняющуюся мужчинѣ въ участіи ума и сердца къ общечеловѣческимъ интересамъ, но въ то же время никакъ не могъ отдѣлаться отъ той старой традиціи, которая требуетъ, чтобы кругъ занятій женщины не выходилъ изъ кухни и дѣтской, и его коробило, когда онъ видѣлъ женщину за какимъ-нибудь непривычнымъ занятіемъ, подобно тому, какъ прадѣдушку его коробило, если онъ видѣлъ женщину за книжкой. Онъ допускалъ, чтобы женщина принимала иногда на себя заботы и труды, которые обыкновенно долженъ нести мужчина; но дѣлалъ такую уступку только ради любви къ дорогимъ ей лицамъ, причемъ логика его до такой степени была забита еще старыми предразсудками, что онъ никакъ не могъ сдѣлать того простого и естественнаго вывода: если разъ будетъ допущено, чтобы женщина принималась за мужскія дѣла изъ-за высокой любви къ родителямъ, мужу, дѣтямъ, то на какомъ-же основаніи отвергать, что бы она дѣлала то-же самое изъ-за болѣе еще высокой любви къ отечеству и человѣчеству?

То-же мы видимъ и относительно общихъ міровоззрѣній Грановскаго. Когда въ половинѣ сороковыхъ годовъ начали все чаще и чаще появляться люди, перешедшіе по своему міросозерцанію въ третій періодъ умственнаго процесса, и особенно такихъ людей было много въ младшемъ поколѣніи въ то время еще университетской молодежи, Грановскій несочувственно встрѣтилъ это новое направленіе мысли.

«Въ 1845 году—говоритъ біографъ Грановскаго—авторъ «Писемъ объ изученіи природы» слушалъ въ Москвѣ лекціи сравнительной анатоміи и ему казалось, что онъ познакомился въ аудиторіи и анатомическомъ театрѣ съ новымъ, сильнымъ поколѣніемъ юношей съ направленіемъ реалистическимъ, т. е. положительно-научнымъ. Эта молодёжь разглядѣла, въ чемъ онъ расходился съ Грановскимъ и хотѣла, чтобы онъ непремѣнно склонилъ его на сторону ихъ, будто бы, философскихъ мнѣній. Все это опять приводило къ спорамъ между друзьями. Философскія мнѣнія и примѣръ юношей не могли не увлекать Грановскаго. Положительно научное направленіе понималъ онъ не менѣе и не хуже, чѣмъ они. Не положительное научное направленіе, не пріемы и способы естествовѣдѣнія осуждалъ Грановскій, а легкомысліе, въ началѣ изученія и труда уже смѣло провозглашающее послѣдніе результаты науки, возводящее въ догматы свои догадки, свои шаткія соображенія.»

Здѣсь дѣло идетъ именно о тѣхъ средневѣковыхъ преданіяхъ, въ которыя Грановскій глубоко вѣрилъ, по словамъ біографа, и въ скептическомъ отношеніи къ нимъ видѣлъ легкомысліе, въ началѣ изученія и труда провозглашающее послѣдніе результаты науки... Но это показываетъ, что, при всемъ своемъ уваженіи къ положительному направленію, онъ, съ одной стороны, не понималъ его истиннаго духа, съ другой стороны, проникался имъ, какъ и всѣмъ, только на половину. Основная формула, опредѣляющая все положительное направленіе, заключается въ томъ, чтобы ничего не принимать и не отрицать голословно на вѣру, не провѣренное опытомъ и анализомъ разума. Разъ вы утвердились въ этой формулѣ, вы можете пожалуй, какъ большинство позитивистовъ, сказать: далѣе предѣловъ опытнаго знанія для меня мракъ, и я не имѣю основанія ни утверждать, ни отрицать чего-либо за этими предѣлами. Но разъ вы перешли за эти предѣлы и сказали, что хотя тамъ и мракъ, но я вѣрю, что тамъ и то, и другое, и третье, и вѣрю не на какомъ иномъ основаніи, какъ на томъ, что мнѣ этого хочется, и затѣмъ никакихъ доказательствъ не захотите представлять съ своей стороны, никакихъ возраженій слушать отъ другихъ, однимъ словомъ, *хочется*, *вѣрю*—и все тутъ... то конечно при такомъ способѣ мышленія нечего будетъ и говорить о положительномъ методѣ; вы выходите изъ него и изъ контиста дѣлаетесь кантистомъ. Такимъ былъ Грановскій: онъ слѣдовалъ положительному

методу только до извѣстныхъ предѣловъ, а за этими предѣлами для него начинался міръ завѣтныхъ преданій и милыхъ призраковъ, которые онъ лелѣялъ слѣпо, по привычкѣ, не допуская ни малѣйшей критики, ни малѣйшихъ возраженій, съ тѣмъ самымъ легкомысленнымъ догматизмомъ, который онъ подозрѣвалъ въ своихъ противникахъ. Наглядныимъ образцомъ слѣпого, не терпящаго возраженій догматизма Грановскаго можетъ служить то знаменитое окончаніе споровъ его съ друзьями, которое повело за собой прямой разрывъ съ ними. Послѣ цѣлаго ряда діалектическихъ преній по поводу различныхъ вопросовъ, касающихся средневѣковыхъ преданій, Грановскій, измѣнившись въ лицѣ, объявилъ, что для него *лично* необходимы эти преданія на томъ основаніи, что онъ много схоронилъ, и затѣмъ, блѣдный, придавая себѣ видъ посторонняго, онъ обратился къ друзьямъ съ просьбой—никогда не говорить съ нимъ объ этихъ предметахъ. Послѣ этотъ споръ былъ конечно прекращенъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и отношенія Грановскаго къ друзьямъ сдѣлались крайне натянутыми, и эта натянутость дошла до того, что впослѣдствіи лучшаго друга своей юности Грановскій поставилъ на одну доску съ Погодинымъ. Далѣе затѣмъ должны были слѣдовать открытый разрывъ и вражда, и только смерть избавила Грановскаго отъ этихъ печальныхъ послѣдствій...

Враждебное отношеніе къ новому реальному направленію и къ естественнымъ наукамъ выразилось еще рельефнѣе въ запискѣ «Объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ», которую Грановскій представилъ въ 1855 году министру народнаго просвѣщенія Норову.

Надо замѣтить, что въ то время вопросъ о классическомъ образованіи стоялъ совершенно въ обратномъ отношеніи, чѣмъ въ наше время. Реакціонеры того времени были преисполнены еще преданій временъ первой французской революціи и въ классицизмѣ подозрѣвали алгебру революцій, предполагая, что всѣ онѣ произошли не отъ чего иного, какъ отъ увлеченія исторіей древняго міра съ его знаменитыми республиками. На этомъ основаніи, во время самаго сильнаго разгара реакціи, со вступленіемъ въ должность министра народнаго просвѣщенія Ширинскаго-Шихматова, обученіе классическимъ языкамъ было почти совсѣмъ прекращено, и былъ даже вопросъ объ исключеніи изъ исторіи всего періода греческой и римской исторіи до Августа.

Въ оппозицію такого направленія реакціи, начиная съ двадцатыхъ годовъ, было не мало приверженцевъ классическаго образованія. Такого приверженца мы видѣли уже въ Веневитиновѣ. Но Веневитиновъ проповѣдывалъ классицизмъ, вовсе не думая противопоставлять его какой-нибудь иной системѣ образованія: онъ видѣлъ вокругъ себя одно голое невѣжество при полномъ отсутствіи какой бы то ни было системы образованія и проповѣдывалъ классицизмъ потому, что онъ одинъ былъ передъ его глазами, отчасти и въ тѣхъ же можетъ быть видахъ, въ какихъ другіе его такъ боялись. Что касается до реакціи 1849 года, то она, возведя гоненіе на классицизмъ, въ свою очередь, вовсе не думала противопоставлять ему реализма. Хотя насчетъ уменьшенія уроковъ греческаго и латинскаго языковъ и была введена такъ-называемая естественная исторія, но она была вставлена въ такія узенькія рамочки и преподавалась въ такомъ жалкомъ видѣ, что здѣсь очевидно дѣло шло вовсе не о реальномъ образованіи и не о преобладаніи естественныхъ наукъ, а просто о томъ, что, съ одной стороны, надо было чѣмъ-нибудь заштопать пробѣлъ, сдѣланный въ гимназическомъ преподаваніи уменьшеніемъ уроковъ древнихъ языковъ, а съ другой—принизить общій уровень преподаванія всѣхъ предметовъ, заглушая одинъ другимъ и не давая ни одному широкаго простора. И то, и другое, какъ извѣстно, въ скоромъ времени было достигнуто болѣе-практическимъ путемъ—введеніемъ въ рядъ предметовъ гимназическаго преподаванія маршировки...

Въ виду такихъ обстоятельствъ становится непонятнымъ, какимъ образомъ Грановскій могъ подозрѣвать въ тѣхъ жалкихъ курсахъ естественной исторіи, какіе существовали въ гимназіяхъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, преобладаніе естественныхъ наукъ и реальнаго образованія и бить тревогу по этому поводу? Или естественныя науки даже въ такомъ жалкомъ видѣ казались Грановскому ненавистными и опасными? Въ этомъ отношеніи записку Грановскаго недостаточно объяснить одной оппозиціей либеральнаго приверженца классицизма противъ мѣръ реакціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ вы видите въ запискѣ и крайнее ослѣпленіе со стороны Грановскаго враждой противъ новаго, реальнаго направленія, которое начинало господствовать среди молодежи. Реакція, живя старыми традиціями, и не подозрѣвала еще объ этомъ направленіи, но Грановскій оказался подозрительнѣе самой реакціи: онъ ее самое заподозрилъ въ стремленіяхъ къ реализму, и нашелъ необходимымъ предварить ее противъ такого опаснаго заблужденія. Съ одной стороны, въ запискѣ своей Грановскій выступаетъ въ защиту классицизма противъ обвиненій, къ которымъ подали поводъ революціонныя движенія въ Европѣ, и старается доказать, что такія движенія возникаютъ не изъ школъ, а изъ различныхъ историческихъ причинъ. Но когда онъ начинаетъ говорить о вредѣ естественныхъ наукъ, онъ оставляетъ въ сторонѣ историческія причины, какъ основные факторы нравственности общественной и частной, и приписываетъ недостатки современной эпохи прямо и непосредственно естественнымъ наукамъ и школамъ, въ которыхъ онѣ преподаются.

«Знакомя юношу только съ внѣшней природой и съ ея механическими и химическими законами,—говоритъ онъ,—естествознаніе, отрѣшенное отъ ученій, имѣющихъ предметомъ духовныя стороны бытія, неминуемо приводитъ къ матеріализму... Оно много содѣйствовало къ развитію безотрадной и безсильной на великіе нравственные подвиги положительности, которая принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ явленій нашей жизни.»

Въ сущности, если хотите, и въ этихъ словахъ вы можете отыскать блѣдный призракъ истины. Грановскій былъ бы вполнѣ справедливъ, еслибы дѣло шло дѣйствительно объ устройствѣ такой системы образованія, при которой только и дѣлали бы, что учили однѣ естественныя науки. Такое образованіе было

бы конечно крайне односторонне; это было бы полуобразованіе, способное притуплять способности дѣтей, не менѣе исключительнаго долбленія греческихъ и латинскихъ вокабулъ. Но вѣдь никто въ то время и не думалъ о такой нелѣпости. Грановскій подавалъ свою записку такимъ людямъ, которые питали страхъ ко всѣмъ наукамъ, безъ исключенія. И этимъ людямъ онъ вздумалъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, нашептывать соображенія слѣдующаго рода: «вы, молъ, гоните классицизмъ, заподозривая въ немъ зародыши всѣхъ революціонныхъ тенденцій; но классицизмъ ни въ чемъ этомъ не виноватъ, онъ готовъ быть вашимъ другомъ и пріятелемъ. Вы же и не подозрѣваете, что у васъ есть настоящій врагъ — это естествознаніе; въ своемъ невѣдѣніи вы пожалуй предадитесь ему въ руки, но его-то вамъ и слѣдуетъ болѣе всего бояться, потому что онъ прямо ведетъ къ матеріализму, къ печальной положительности, чуждой нравственныхъ подвиговъ, и проч., и проч.». Мнѣ возразятъ, что Грановскій подразумѣвалъ здѣсь подъ матеріализмомъ конечно ту узкую, эгоистическую практичность наполненія своего кармана, при полномъ отсутствіи всякаго чувства самоотверженія ради общественнаго блага, что въ то время было не въ рѣдкость встрѣтить въ людяхъ, получившихъ исключительно-техническое, спеціальное воспитаніе и чуждыхъ вліянія гуманныхъ наукъ. Но мы не видимъ въ запискѣ Грановскаго разъясненія употребляемыхъ имъ выраженій въ эту сторону. Онъ въ самомъ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ употребляетъ выраженія: «матеріализмъ, печальная положительность, ведущая къ отсутствію нравственныхъ подвиговъ», давая возможность толковать ихъ, какъ кому угодно. А между тѣмъ онъ имѣлъ въ виду именно такихъ людей, которые подъ матеріализмомъ готовы были понять опасный и дерзкій вольтеріанизмъ, а подъ отсутствіемъ нравственныхъ подвиговъ—покушеніе на всѣ нравственныя основы семейной и общественной жизни.

Что касается до того общаго представленія пути прогресса человѣчества, которое служило для Грановскаго точкой отправленія для всѣхъ его историческихъ разсмотрѣній, то нигдѣ это представленіе не выражается такъ ясно, какъ въ слѣдующихъ словахъ его, приводимыхъ въ біографіи:

«Разсматривая съ вершины настоящее погребальное шествіе народовъ къ великому кладбищу исторіи, нельзя не замѣтить на вождяхъ этого шествія двухъ особенно рѣзкихъ типовъ, которые встрѣчаются преимущественно на распутіяхъ народной жизни, въ такъ называемыя переходныя эпохи. Одни отмѣчены гордой, самонадѣянной силой. Эти люди идутъ смѣло впередъ, не спотыкаясь на развалины прошедшаго. Природа одаряетъ ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но нерѣдко отказываетъ имъ въ любви и поэзіи. Сердце ихъ не отзывается на грустные звуки былого. Зато за ними право побѣды, право историческаго успѣха. *Большее право на личное сочувствіе историка* имѣютъ другіе дѣятели, въ лицѣ которыхъ воплощается вся красота, все достоинство отходящаго времени. Они—его лучшіе представители и доблестные защитники... Но ни тѣмъ, ни другимъ, ни поборникамъ старыхъ, ни водворителямъ новыхъ началъ, не дано совершить ихъ подвига во всей его чистотѣ и задуманной опредѣленности. Изъ ихъ совокупной дѣятельности Провидѣніе слагаетъ нежданный и невѣданный имъ выводъ.»

Подобное построеніе въ основаніяхъ своихъ коренится всецѣло на гегелевской философіи. Поборники старины являются здѣсь тезомъ, поборники новизны — антитезомъ, нежданный же и невѣдомый выводъ Провидѣнія—это синтезъ. Но Грановскій не ограничился однимъ подведеніемъ историческаго процесса подъ формулы гегелевской философіи; въ такомъ случаѣ ему слѣдовало бы съ одинаковымъ безпристрастіемъ отнестись какъ къ тезу, такъ и къ антитезу. Но между тѣмъ вы видите, что представители отжившаго, по его мнѣнію, почему-то болѣе заслуживаютъ право на личное сочувствіе историка. Эта точка зрѣнія чисто-субъективная, и подъ историкомъ нужно разумѣть здѣсь не историка вообще, а лично Грановскаго, который естественно долженъ былъ питать болѣе сочувствія къ представителямъ отжившаго, такъ какъ онъ самъ былъ отчасти такимъ представителемъ, выдерживавшимъ напоръ новыхъ идей своего вѣка.

Этимъ стояніемъ между двумя міровоззрѣніями, отжившимъ и нарождавшимся, можно легко объяснить себѣ и то свойство его характера, на которое современники Грановскаго смотрѣли, какъ на особенное достоинство его: именно, въ немъ была та мягкая елейность, вслѣдствіе которой онъ вносилъ миръ и гармонію въ среду людей, ни въ чемъ не сходящихся другъ съ другомъ, будучи посредникомъ между самыми противными воззрѣніями. Подобное свойство характера Грановскаго зависѣло прямо изъ его положенія на распутьѣ міровоззрѣній: въ каждомъ онъ находилъ симпатичныя стороны, точки соприкосновенія со своими воззрѣніями и старался всячески примирить противорѣчія, находя, что каждая спорящая сторона имѣетъ свою долю правды. Но, къ довершенію всѣхъ противорѣчій, рядомъ съ этимъ качествомъ мы видимъ въ Грановскомъ совершенно противоположное, исходящее изъ того же самаго источника. То же самое стояніе на распутьѣ, которое вело его къ посредничеству и примиренію между спорящими сторонами, въ то же время, съ другой стороны, располагало его враждебно ко всѣмъ направленіямъ, существовавшимъ въ его время. При этомъ елейность и враждебность постоянно боролись въ Грановскомъ, и изъ этого выходилъ порядочный сумбуръ. Такъ напримѣръ, принимая въ соображеніе вышеприведенную тираду Грановскаго относительно бо́льшаго права на сочувствіе отходящаго времени, можно было бы предположить, что Грановскій долженъ былъ питать самое сильное сочувствіе изъ всѣхъ своихъ современниковъ именно къ славянофиламъ, потому что какихъ же вы найдете въ сороковые годы болѣе *лучшихъ и доблестныхъ защитниковъ отходящаго времени*, по выраженію Грановскаго, какъ не въ людяхъ этого ученія? Но между тѣмъ Грановскій вотъ какъ отзывается о славянофилахъ на смертномъ одрѣ за два дня до смерти: «Эти люди противны мнѣ, какъ гробы, отъ нихъ пахнетъ мертвечиной. Ни одной свѣтлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозиція ихъ безплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи того, что́ сдѣлано у насъ въ полтора столѣтія». И можно-ли повѣрить, что подобные от-

зывы о славянофилахъ, неоднократно срывавшіеся съ языка Грановскаго, нисколько не мѣшали ему брататься и цѣловаться съ ними послѣ застольныхъ рѣчей и тостовъ? Столь же неопредѣленны были и отношенія Грановскаго къ своимъ друзьямъ послѣ вышеописанной размолвки изъ-за убѣжденій.

«Полный, безвозвратный разрывъ съ друзьями былъ для Грановскаго невозможенъ,—говоритъ біографъ,—онъ плакалъ и обвинялъ себя въ безсиліи разорвать дружескую связь, которая повидимому не могла продолжаться. Съ отчаяніемъ замѣчалъ онъ, что друзья прикрѣплены къ душѣ его такими нитями, которыхъ нельзя перерѣзать, не захвативъ живого мяса. До конца своей жизни онъ не отказался отъ тѣхъ вѣрованій, которыя возбуждали его споры съ друзьями, но порой, подъ вліяніемъ тоски по нимъ, готовъ былъ обвинять себя въ романтизмѣ, лишь бы уменьшить ту пропасть, которая раздѣляла его отъ нихъ. Онъ понималъ ошибки и заблужденія Герцена, сожалѣлъ о безплодной тратѣ его таланта, нерѣдко негодовалъ на его мнѣнія, хотѣлъ печатно возражать имъ, но и на одрѣ смерти думалъ и болѣлъ душой о своемъ далекомъ, заблудившемся на чужбинѣ другѣ.»

Это вѣчное присутствіе двухъ враговъ въ мозгу человѣка, эти противорѣчія, колебанія, желаніе отдаться прогрессивному напору и вмѣстѣ съ тѣмъ устоять на одномъ мѣстѣ, были причиной безъисходнодурного настроенія духа, humeur noire, какъ называлъ его Грановскій, вѣчныхъ рефлексій и того безплоднаго, мучительнаго копанья внутри себя, которое составляетъ извѣстную всѣмъ характеристическую особенность людей сороковыхъ годовъ.

«Я думалъ, что счастье отучитъ меня—писалъ Грановскій В. П. Бакунину—отъ глупой привычки сверлить себя (по выраженію Станкевича) и подсматривать, что тамъ внутри дѣлается. Но я остался вѣренъ этой привычкѣ. Зато какъ я высмотрѣлъ себя! Кажется, нѣтъ ни одного закоулка въ сердцѣ моемъ, въ которомъ-бы я не побывалъ и не посмотрѣлъ, какъ тамъ обстоитъ. Разумѣется, что эта работа теперь стала пріятнѣе и виды лучше. Но сколько грусти примѣшивается къ моему счастью! Въ самыя лучшія мгновенія меня охватываетъ чувство странной тоски и невольно приходятъ въ голову стихи Гёте, не помню изъ какой пьесы:

Besser durch Leiden
Will ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.»

Это мрачное настроеніе духа еще болѣе усилилось въ Грановскомъ въ послѣдніе годы жизни, когда обострившаяся реакція тяжелымъ, свинцовымъ гнетомъ налегла на все, когда Грановскій, подозрѣваемый свыше за либерализмъ и ожидая ежеминутно кары, въ то-же время расходился съ лучшими своими друзьями въ основныхъ убѣжденіяхъ. Преслѣдуемый мучительной тоской, онъ маялся, стремясь заглушить ее то усиленнымъ трудомъ, то въ вихрѣ свѣтскихъ развлеченій. Наконецъ онъ пристрастился къ игрѣ, ища въ ней забвенія; но игра, разстроивши его состояніе, впутавши въ неоплатные долги, вмѣсто забвенія, еще болѣе увеличила его хандру, прибавивши къ ней мучительное чувство нравственнаго униженія. Много разъ въ жизни приходила Грановскому мысль о самоубійствѣ; въ послѣдніе-же годы мысль эта особенно часто посѣщала его. «Съ каждымъ днемъ чувствую болѣе и болѣе необходимость труда,—писалъ онъ Фролову въ августѣ 1848 года.—Жизнь становится тяжела безъ него. Сердце блѣднѣетъ, вѣрованія и надежды уходятъ. Подчасъ глубоко завидую Бѣлинскому, во время ушедшему отсюда. Скучно жить, Фроловъ! Еслибъ не жена...»

V.

Говоря о недостаткахъ, слабостяхъ и всѣхъ противорѣчіяхъ Грановскаго, я дѣлалъ это вовсе не съ тѣмъ чтобы унизить историческое значеніе этого во всякомъ случаѣ замѣчательнаго человѣка своего времени. У насъ такъ привыкли въ мало-мальски чтимой исторической знаменитости предполагать непремѣнно воплощеніе безусловныхъ нравственныхъ идеаловъ, что всякій недостатокъ, замѣчаемый въ этой личности, стараются подвести подъ нѣчто идеальное. Въ малѣйшемъ-же выставленіи недостатковъ великаго человѣка такими, каковы они на самомъ дѣлѣ, сейчасъ-же готовы заподозрить злостное стремленіе снять съ пьедестала авторитетъ, развѣнчать знаменитость и показать, что она не заслуживаетъ никакого вниманія. Но читателей, которые были бы способны заподозрить меня въ подобныхъ ехидныхъ поползновеніяхъ, я спѣшу предупредить, что выставленіе на видъ всѣхъ вышеозначенныхъ недостатковъ Грановскаго нисколько не можетъ помѣшать цѣнить значеніе этого человѣка не меньше, чѣмъ цѣнятъ его истые поклонники, которые никакихъ недостатковъ за ними признать несогласны. Я уже говорилъ, что большинство недостатковъ Грановскаго происходило не отъ какихъ-либо органическихъ пороковъ, принадлежавшихъ лично Грановскому, а отъ характера того момента въ процессѣ развитія мысли, представителемъ котораго былъ Грановскій. Этотъ моментъ былъ столько-же необходимъ, какъ и всѣ другіе. Не переживя его, нельзя было идти далѣе, и чтобы понять значеніе Грановскаго въ свое время, нужно разсматривать его вліяніе на современниковъ именно въ предѣлахъ этого момента, внѣ котораго онъ былъ слабъ и несостоятеленъ, но въ которомъ личность его выростаетъ во всей колоссальности. Мы не даромъ и не ради одного униженія сравнили Грановскаго съ Рудинымъ. Дѣйствительно, ни одинъ изъ дѣятелей сороковыхъ годовъ не подходилъ такъ близко къ типу Рудина, какъ Грановскій, и подходилъ не одними своими недостатками, но и достоинствами. Подобно, какъ у Рудина, у Грановскаго всѣ силы души вылились и сосредоточились въ живомъ, изустномъ словѣ. Онъ не былъ ни спеціалистомъ-изслѣдователемъ въ области своей науки, ни философомъ, глубоко и послѣдовательно проводившимъ какую-либо философскую теорію, ни общественнымъ дѣятелемъ, твердо державшимся какихъ-либо выработанныхъ принциповъ,—онъ былъ ораторомъ-проповѣдникомъ, и только тогда, когда начиналъ говорить передъ толпой, онъ дѣлался тѣмъ Грановскимъ, слава котораго перешла въ потомство. По этому самому осязательно представить силу и вліяніе Грановскаго на своихъ современниковъ такъ-же трудно, какъ на основаніи однихъ воспоминаній современниковъ составить понятіе о талантѣ давно сошедшаго со сцены актера. Здѣсь мнѣ можетъ быть сдѣлано та-

кое возраженіе, что, предполагая въ Грановскомъ отсутствіе послѣдовательныхъ и систематическихъ убѣжденій, этимъ самымъ уже мы отвергаемъ и всякое вліяніе Грановскаго на современниковъ, какъ оратора, потому что вліяніе ораторской рѣчи зависитъ конечно не отъ одного искусства говорить, а прежде всего отъ самаго содержанія рѣчи. Къ чему-же могъ привести Грановскій своихъ слушателей, когда самъ онъ колебался между непримиримыми противорѣчіями, не въ силахъ будучи привести свои взгляды въ какую-нибудь стройную систему?

Если мы будемъ брать во вниманіе только такихъ людей, которые сами находились въ томъ-же періодѣ развитія, какой переживалъ Грановскій, то конечно мы должны будемъ признать, что у Грановскаго не было никакихъ данныхъ вести этихъ людей дальше, тѣмъ болѣе, что и самъ онъ не пошелъ дальше этого періода. Но не забудьте, что передъ Грановскимъ стояла цѣлая толпа, которая не доросла еще и до развитія Грановскаго. Своими горячими, вдохновенными импровизаціями Грановскій производилъ на эту толпу именно то благотворное вліяніе, что будилъ въ ней умственные интересы и подымалъ ее до себя, предоставляя другимъ, послѣдующимъ дѣятелямъ мысли вести эту толпу далѣе. Вы не забудьте, что до появленія Грановскаго на каѳедрѣ всѣ умственные интересы этой толпы сосредоточивались въ узкой сферѣ эстетическихъ вопросовъ и двухъ-трехъ романтическихъ идеальчиковъ. Грановскій сразу раздвинулъ передъ этой толпой умственную перспективу, начавши развивать передъ нею картины историческаго развитія человѣчества и вводя ее въ область вопросовъ общественныхъ и политическихъ. Если онъ въ этой области является не столько проводникомъ какихъ-нибудь глубокихъ истинъ или новыхъ идей, сколько художникомъ-созерцателемъ, стремящимся воскресить передъ слушателями историческія событія въ видѣ изящныхъ картинъ, исполненныхъ живыхъ красокъ, то для толпы его слушателей это еще увеличивало его популярность и вліяніе. Для людей, привыкшихъ до того времени вращаться почти исключительно въ области поэзіи и беллетристики, созерцательно-художественный способъ изложенія исторіи былъ какъ нельзя болѣе послѣдовательнымъ переходомъ изъ области эстетики въ область соціологіи. До какой степени сильно было вліяніе импровизацій Грановскаго, это мы видимъ изъ того, что едва онъ началъ свои лекціи—все общество обратило на него вниманіе. Вскорѣ повсюду въ Москвѣ даже салонные дамы заговорили объ исторіи и философіи съ цитатами. Всѣмъ конечно извѣстно, какими шумными оваціями ознаменовались публичныя лекціи Грановскаго въ Москвѣ. Послѣ заключительныхъ словъ Грановскаго на послѣдней лекціи вся аудиторія поднялась съ восторженными рукоплесканіями, раздались крики: «браво!» «прекрасно!» трескъ, шумъ; дамы махали платками, другія бросились къ каѳедрѣ, жали руки преподавателя, требовали его портрета. Онъ хотѣлъ уйти изъ аудиторіи, но толпа преграждала ему путь. Онъ стоялъ блѣдный, сложа руки и склоня голову, хотѣлъ произнести нѣсколько словъ и не могъ. Шумъ одобренія поднялся съ новой силой, росъ и длился. Студенты толпой заняли лѣстницу, по которой, при тѣхъ-же выраженіяхъ восторга, Грановскій, изнемогшій отъ волненія, едва могъ пробраться въ залы университета.

— Лекціи Грановскаго, сказалъ Чаадаевъ, выходя съ одной изъ нихъ:—имѣютъ историческое значеніе.

Дѣйствительно, лекціи Грановскаго имѣютъ свое историческое значеніе, независимо даже отъ личности профессора, просто потому уже, что въ нихъ впервые на Руси публично передъ толпой началъ проповѣдываться прогрессъ, не въ видѣ одного только частнаго процвѣтанія наукъ или искусствъ, но въ связи съ общимъ развитіемъ жизни общественной и политической. Не забудетъ исторія и тѣхъ овацій со стороны толпы, которыя мы только что припомнили читателямъ. Историческое значеніе этихъ овацій, выдѣляющее ихъ изъ ряда тѣхъ заурядныхъ аплодисментовъ, которые толпа щедро разсыпаетъ ежедневно, заключается въ томъ, что здѣсь толпа аплодировала не одной виртуозности исполненія, не изъ-за одного удовлетворенія жажды минутнаго наслажденія: впервые она привѣтствовала здѣсь мысль, въ которой смутно чуяла что-то новое, рѣзко выдѣляющееся изъ мрака, окружающаго ее. Это были аплодисменты свѣту, разуму, прогрессу, въ оппозицію всему, что только было темнаго, безсмысленнаго, давящаго въ то время... Однимъ словомъ, это были первые аплодисменты на Руси, имѣвшіе чисто-демонстративный характеръ. Но несомнѣнно еще болѣе сильное и благотворное вліяніе имѣлъ Грановскій на толпу своихъ юныхъ слушателей—учащейся молодежи. Въ этомъ отношеніи мы должны отдать справедливость Грановскому: несмотря на то, что лекціи его оказывали на студентовъ вліяніе, конечно неизмѣримо болѣе благотворное, чѣмъ лекціи многихъ другихъ профессоровъ, читавшихъ въ то время въ московскомъ университетѣ, онъ не думалъ, что однимъ чтеніемъ казенныхъ лекцій всѣ обязанности его въ отношеніи къ студентамъ исполнены и всѣ счеты покончены. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ профессоровъ, которые смотрятъ на свою профессію съ чисто чиновничьей точки зрѣнія, какъ на казенную службу изъ-за куска хлѣба, отбылъ ее и съ колокольни долой, которые отдѣляютъ непроницаемой стѣной себя отъ студентовъ и до такой степени позволяютъ себѣ забываться въ своей профессорской важности, что начинаютъ смотрѣть на студентовъ, какъ въ старину важные баре смотрѣли на своихъ крестьянъ, то-есть, что студентовъ слѣдуетъ держать отъ себя въ почтительномъ отдаленіи и не спускаться до разговоровъ съ ними, иначе они могутъ забыться. Грановскій съ самаго поступленія своего въ университетъ поставилъ себя совершенно на иную ногу.

«Случалось,—говоритъ біографъ,—что, утомленный посѣтителями, онъ спасался бѣгствомъ изъ дома, но студентовъ онъ принималъ ежедневно. Его совѣты, участіе, книги были къ ихъ услугамъ. «Мнѣ, по пріѣздѣ сюда, совѣтовали держать себя подалѣе отъ студентовъ, потому что они легко забываются—писалъ онъ къ Станкевичу еще вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву (25-го ноября 1839 года).—Я не послушался и хорошо сдѣлалъ. Въ исполненіи моихъ обязанностей я не сдѣлаю никакой уступки, но внѣ этихъ обязанностей мнѣ нельзя запретить быть пріятелемъ со студентами. Примѣромъ мнѣ служитъ въ этомъ отношеніи Рѣдкинъ, который, давно ординар-

вый, хорошо знаетъ нравы студентовъ и позволяетъ имъ обращаться съ собой, какъ съ товарищемъ: они говорятъ ему, когда онъ дурно читалъ и т. д. Это не мѣшаетъ ему на экзаменѣ ставить пріятелямъ своимъ нули и единицы, за что они вовсе не сердятся, потому что привыкли. Каждый знаетъ, чего онъ стоитъ, и не требуетъ болѣе... Разумѣется, что иногда случается ошибаться—приходитъ студентъ, показываетъ большое участіе къ наукѣ, проситъ совѣтовъ и книгъ, а оказывается, что это тонкая политика; но вѣдь безъ этого нигдѣ нельзя обойтись.»

Но Грановскій не ограничивался одними совѣтами и рекомендаціями книгъ. Очень часто собиралъ онъ къ себѣ лучшихъ студентовъ и читалъ домашнія лекціи, которыя, будучи свободны отъ всякихъ цензурныхъ стѣсненій, по всей вѣроятности еще благотворнѣе вліяли на молодыхъ людей, чѣмъ чтенія въ стѣнахъ университета. Подобныя отношенія къ студентамъ, которыхъ такъ опасались нѣкоторые профессора, не только не повели Грановскаго къ какимъ-нибудь непріятнымъ столкновеніямъ со своими слушателями, но, напротивъ того, при своемъ вліяніи на молодежь, онъ имѣлъ возможность одною силою убѣжденія и теплой, дружеской рѣчи сдерживать въ границахъ молодые, горячіе порывы, которые въ то время наказывались иногда на ряду съ самыми тяжкими уголовными преступленіями. Такъ напримѣръ, защищеніе диссертаціи Грановскимъ 21-го февраля 1845 года сопровождалось такими-же шумными овиціями, какъ и окончаніе чтенія публичныхъ лекцій въ 1843 году, причемъ студенты и слушатели не ограничились уже одними одобреніями любимому диспутанту, но присоединили къ нимъ шиканья и свистки нѣкоторымъ изъ его противниковъ. Друзья послѣднихъ не замедлили распустить по Москвѣ слухъ, что въ университетѣ былъ бунтъ. Такая молва въ то время могла привести Богъ-вѣсть къ какимъ послѣдствіямъ. Желая прекратить на будущее время повтореніе подобныхъ овацій съ цѣлью избѣжанія излишнихъ непріятностей, которымъ могли-бы подвергнуться юноши, Грановскій въ одной изъ первыхъ лекцій послѣ диспута обратился къ своимъ слушателямъ съ замѣчательной рѣчью. Рѣчь эта можетъ служить образцомъ того, какъ можетъ и долженъ говорить профессоръ со студентами. Тутъ вы не видите и тѣни какого-либо надменнаго начальническаго тона, укоризнъ, распеканья, застращиванья Профессоръ не становится во враждебный лагерь относительно студента, не видитъ въ немъ непремѣнно крамольника, который готовъ низвергнуть всѣ существующіе порядки изъ одной любви къ разрушенію, и не считаетъ необходимымъ обѣщать какъ можно болѣе строгихъ мѣръ взысканій, чтобы остановить и обуздать этого крамольника. Мы нарочно приводимъ всю эту рѣчь цѣликомъ, потому что она представляетъ Грановскаго съ самой свѣтлой его стороны.

«Милостивые государи!

«Благодарю васъ за тотъ пріемъ, которымъ вы почтили меня 21-го февраля. Онъ меня еще болѣе привязалъ къ университету и къ вамъ, мм. гг. Въ этотъ день я получилъ самую благородную и самую драгоцѣнную награду, какую только могъ ожидать преподаватель. Теперь отношенія наши уяснились; поэтому я думаю, мм. гг., что впередъ внѣшнія изліянія вашихъ чувствъ будутъ излишни, точно такъ, какъ между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новыя увѣренія въ дружбѣ. Теперь эти рукоплесканія могутъ только обратить на васъ вниманіе. Я прошу васъ, мм. гг., не перетолковывайте этихъ словъ въ дурную сторону. Я говорю не изъ страха за себя, даже не изъ страха за васъ, мм. гг.—я знаю, что страхомъ васъ нельзя остановить. Меня заставляютъ говорить причины болѣе разумныя, болѣе достойныя меня и васъ. Мы равно, и вы, и я, принадлежимъ къ молодому поколѣнію,—тому поколѣнію, въ рукахъ котораго жизнь и будущность. И вамъ, и мнѣ предстоитъ благородное и, надѣюсь, долгое служеніе нашей великой Россіи,—Россіи, преобразованной Петромъ,—Россіи, идущей впередъ, и съ равнымъ презрѣніемъ внимающей и клеветамъ иноземцевъ, которые видятъ въ насъ только легкомысленныхъ подражателей западнымъ формамъ, безъ всякаго собственнаго содержанія, и историческимъ жалобамъ людей, которые любятъ не живую Русь, а ветхій призракъ, вызванный ими изъ могилы, и нечестно преклоняются предъ кумиромъ, созданнымъ ихъ праднымъ воображеніемъ. Побережемъ-же себя на великое служеніе. Въ заключеніе скажу вамъ, мм. гг., что гдѣ-бы то ни было и когда-бы то ни было, если кто-нибудь изъ васъ придетъ ко мнѣ во имя 21-го февраля, тотъ найдетъ во мнѣ признательнаго и благодарнаго брата.»

Замѣчательно, что какъ держалъ себя Грановскій по отношенію къ студентамъ, такъ-же относился онъ и ко всему обществу. Такъ-же двери его были открыты для всѣхъ.

«Онъ никогда не скупился—говоритъ біографъ—своимъ временемъ и участіемъ; онъ готовъ былъ дѣлиться со всѣми и каждымъ своими талантами, занятіями, способностями, всѣмъ и каждому онъ готовъ былъ дарить свои совѣты, указанія, помощь. Мать, незнающая, что дѣлать со своимъ сыномъ, какъ его воспитывать, гдѣ учить, обращалась къ Грановскому. Онъ принималъ ее у себя, ѣхалъ къ ней, говорилъ съ ней и сыномъ, давалъ совѣты и наставленія, и исполнялъ это будто по обязанности. Учитель, ищущій мѣста, педагогъ или гувернеръ-иностранецъ, литераторъ или молодой ученый къ нему же обращались за совѣтомъ, рекомендаціей, нужной книгой, часто за однимъ сочувствіемъ или одобреніемъ своимъ намѣреніямъ и предпріятіямъ. Много расточалъ Грановскій на все это своихъ силъ и способностей; сколько добра было посѣяно такой щедростью—кто это знаетъ, кто скажетъ?»

Какъ относительно студентовъ Грановскій не ограничивался однѣми университетскими лекціями, такъ и для публики онъ не ограничивался одними публичными чтеніями. Онъ нерѣдко читалъ домашнія лекціи своимъ друзьямъ въ Москвѣ и въ провинціи. Такъ, лѣтомъ въ 1849 году, въ Порѣчьѣ, имѣніи бывшаго министра просвѣщенія графа С. С. Уварова, онъ читалъ «о переходныхъ эпохахъ въ исторіи человѣчества». Все это ясно показываетъ, что живое слово передъ толпой было не одной только профессіей Грановскаго, но его насущной потребностью, его жизнью. Да и по всѣмъ своимъ привычкамъ—это былъ человѣкъ отнюдь не кабинетный,—напротивъ того, вполнѣ общественный. Его постоянно влекли къ себѣ большія собранія, балы, клубы, обѣды; онъ всегда былъ тамъ, гдѣ много народу, шуму и свѣту. Ему-бы слѣдовало жить совсѣмъ не среди нашего общества, которое въ своей крайней пустотѣ и ничтожествѣ только и могло предоставить Грановскому, ухаживаніе за пошлыми свѣтскими львицами, пикники, танцы да карты. Его могла-бы удовлетворить только жизнь, полная одушевленнаго, разумнаго общественнаго движенія. Только среди общества политически-зрѣлаго талантъ

его могъ-бы вполнѣ развернуться; конечно и убѣжденія его могли бы выработаться и сдѣлаться болѣе твердыми и систематическими. Но и при данной обстановкѣ жизни, какъ человѣкъ общественный, Грановскій рѣзко отличался этимъ отъ весьма многихъ изъ своихъ друзей, которые, напротивъ того, въ презрительномъ взглядѣ на толпу, въ удаленіи отъ свѣта и замыканіи въ тѣсные кружки видѣли всю сущность своей оппозиціи и главное условіе осуществленія своихъ идеаловъ.

VI.

На личность Герцена у насъ привыкли смотрѣть, какъ на демона отрицанія и сомнѣнія, который чуть не съ колыбели отвергъ все святое, всю жизнь только и дѣлалъ, что отрицалъ и разрушалъ, заразилъ этимъ цѣлое поколѣніе и покончилъ тѣмъ, что оторвался отъ родной почвы, разрушилъ всякія связи съ своей родиной и былъ въ свою очередь забытъ ею. Такой стереотипно-мелодраматическій взглядъ дѣлаетъ личность Герцена совершенно какой-то загадкой, случайнымъ, безсвязнымъ явленіемъ, баснословнымъ минотавромъ, который Богъ-вѣсть изъ какихъ странъ и зачѣмъ приплылъ къ морскому берегу, поѣлъ всѣхъ дѣтей въ прибрежномъ городѣ и уплылъ обратно въ море. Не ищите здѣсь какой-либо органической связи личности Герцена съ эпохой, въ которую онъ жилъ, не ищите обоюднаго вліянія его на эпоху и эпохи на него. Людямъ подобнаго взгляда кажется, что, не явись Герценъ,—и весь ходъ нашего развитія былъ-бы иной. Но почему-же вдругъ, ни съ того, ни съ сего, явился онъ и развился въ такую экстраординарную форму? Да такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, пришла человѣку такая блажь въ голову, онъ и сдѣлался русскимъ Мефистофелемъ.

Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, оставляя въ сторонѣ его политическія увлеченія и заграничную дѣятельность, такъ-какъ, безъ сомнѣнія, не настало еще время судить объ этомъ, беря въ разсчетъ только его литературную дѣятельность въ Россіи, періодъ, въ который онъ еще развивался вмѣстѣ и рука объ руку съ развитіемъ его вѣка, въ который слагалось его міросозерцаніе, устанавливались взгляды на жизнь и людей, мы не только не видимъ, чтобы Герценъ стоялъ особнякомъ и былъ исключительно выродкомъ изъ массы своихъ современниковъ; напротивъ того, мы можемъ назвать его вполнѣ произведеніемъ своего вѣка, потому что ни на одномъ изъ дѣятелей разбираемой нами эпохи не отразился вѣкъ такъ полно и всесторонне, во всѣхъ своихъ переходахъ, какъ на личности Герцена. Всѣ прочіе передовые дѣятели выражаютъ собою тотъ или другой моментъ переходнаго процесса, выражаютъ часто весьма рѣзко и опредѣленно, но въ то-же время вполнѣ исчерпываются этимъ моментомъ. Въ личности-же Герцена вы видите наслоеніе всѣхъ прогрессивныхъ направленій, господствовавшихъ въ нашей литературѣ, начиная съ двадцатыхъ годовъ и до 60-го. Такимъ образомъ Полевой, Одоевскій, Чаадаевъ, Веневитиновъ, Баратынскій всецѣло принадлежатъ къ 20-мъ годамъ. Бѣлинскій, какъ ни видоизмѣнялись его взгляды, въ основѣ своей остался эстетикомъ надеждинской школы. Грановскій является вполнѣ произведеніемъ сороковыхъ годовъ. У всѣхъ этихъ дѣятелей преобладающій складъ мысли остался тотъ, который они пріобрѣли подъ вліяніемъ идей, господствовавшихъ въ наукѣ и литературѣ въ цвѣтущее время ихъ жизни, отъ 20-ти до 25-ти лѣтъ, много до 30-ти. Всѣ они кончаютъ 30-ми годами, очень смутно понимая дальнѣйшее движеніе, или, напротивъ того, начинаютъ ими, вынося изъ прежней эпохи весьма неопредѣленныя и блѣдныя традиціи. Между тѣмъ Герцена вы можете отнести къ каждому изъ моментовъ развитія, пережитаго нашимъ обществомъ съ двадцатыхъ годовъ, и въ то-же время ни къ одному исключительно. Такъ напримѣръ, онъ является передъ нами вполнѣ человѣкомъ двадцатыхъ годовъ, такъ-какъ духъ этой эпохи, дѣйствуя на него въ дѣтствѣ, опредѣлилъ характеръ всей его жизни. Въ такой-же степени онъ и шеллингистъ тридцатыхъ годовъ, особенно въ своихъ послѣдующихъ сочиненіяхъ, основные взгляды которыхъ напоминаютъ вамъ кн. Одоевскаго. Не менѣе того онъ и гегеліанецъ-западникъ петербургскаго кружка Бѣлинскаго; затѣмъ — фейербахистъ пятидесятыхъ годовъ. Всѣ эти направленія съ одинаковой рѣзкостью отразились въ Герценѣ, и очень можетъ быть, въ этомъ характерѣ развитія заключается секретъ его вліянія на эпоху: почему онъ, не проповѣдуя никакого опредѣленнаго ученія философскаго, политическаго или литературнаго, въ то-же время вліялъ на людей самыхъ разнородныхъ взглядовъ, будучи способенъ въ каждомъ задѣть чувствительную струнку.

Этимъ своимъ эклектизмомъ Герценъ былъ обязанъ какъ особенности своего общественнаго положенія, такъ и всему складу жизни. Онъ очень рано началъ развиваться и могъ такимъ образомъ напитаться духомъ эпохи, о которой большинство его современниковъ получило одни блѣдныя преданія. А въ юности онъ постоянно вращался среди самыхъ разнообразныхъ сферъ общества, не принадлежа всецѣло ни къ одной средѣ, и ни одинъ литературный кружокъ не завладѣлъ имъ вполнѣ, хотя въ то-же время ни одинъ не остался ему чуждымъ.

Отецъ его, И. Яковлевъ, былъ одинъ изъ крупныхъ московскихъ богачей, окруженный знатной родней. Если, по своему положенію, характеру и складу жизни, Яковлевъ и не стоялъ въ средѣ передовой оппозиціи двадцатыхъ годовъ, то во всякомъ случаѣ онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ гордыхъ и независимыхъ баръ, типъ которыхъ исчезъ впослѣдствіи. Воспитанный французскимъ гувернеромъ въ домѣ набожной тетки, онъ 16-ти лѣтъ поступилъ въ Измайловскій полкъ сержантомъ, послужилъ до павловскаго воцаренія и вышелъ въ отставку гвардіи капитаномъ; въ 1801 году онъ уѣхалъ заграницу и прожилъ, скитаясь изъ страны въ страну, до конца 1811 года. Въ это время онъ сошелся съ матерью Герцена, семнадцатилѣтней нѣмкой, которая, увлекшись русскимъ бариномъ, оставила родительскій домъ, была спрятана въ русскомъ посольствѣ въ Касселѣ и затѣмъ въ мужскомъ платьѣ переѣхала русскую границу.

Отъ этой-то романической четы родился въ Москвѣ,

въ 1812 году, Александръ Ивановичъ, прозванный по матери Герценъ. Еслибы изъ Герцена вышелъ знаменитый полководецъ, то біографы конечно не замедлили-бы найти много знаменательнаго какъ въ самомъ годѣ рожденія Герцена, такъ и въ первыхъ происшествіяхъ его жизни, тотчасъ-же послѣ рожденія. Отецъ Герцена, по своей барской безпечности, откладывалъ день за день отъѣздъ изъ Москвы во время нашествія французовъ и не успѣлъ позавтракать передъ отъѣздомъ, какъ Москва была уже занята непріятелемъ. Затѣмъ пожаръ выгналъ все семейство изъ дома. Они очутились безъ крова, окруженные горящими домами и французскими войсками. На нихъ напали пьяные солдаты, причемъ дядя Герцена, Н. И. Голохвастовъ, былъ раненъ по лицу тесакомъ, а маленькаго Герцена, еще грудного младенца, солдатъ вырвалъ у кормилицы, развернулъ пеленки, обыскалъ ихъ, надѣясь найти въ нихъ завернутыя драгоцѣнности, затѣмъ разодралъ ихъ и бросилъ. Завернутый въ кусокъ равендука, схваченнаго кормилицей съ билліарда въ одномъ изъ сосѣднихъ домовъ, въ которыхъ бѣглецы тщетно думали пріютиться, младенецъ кричалъ благимъ матомъ, такъ какъ у кормилицы его пропало молоко, и какой-то французскій солдатъ сжалился надъ нимъ, давши малюткѣ кусокъ хлѣбнаго мякиша, размоченнаго водой. Вся эта исторія кончилась тѣмъ, что всѣхъ ихъ забрали въ плѣнъ и потомъ отца Герцена выпустили изъ Москвы съ семействомъ подъ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ отвезъ къ императору Александру письмо отъ Наполеона.

Разсказы о пожарѣ Москвы, о Бородинскомъ сраженіи, о Березинѣ, о взятіи Парижа были колыбельной пѣснью Герцена. Мать его и прислуга, отецъ и Вѣра Артамоновна (няня Герцена) безпрестанно возвращались къ грозному времени, поразившему ихъ такъ недавно, такъ близко и круто. Потомъ возвратившіеся генералы и офицеры стали наѣзжать въ Москву. Старые сослуживцы отца Герцена по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва окончившейся кровавой борьбы, часто бывали у него. Они отдыхали отъ своихъ трудовъ и дѣлъ, разсказывая ихъ. Это было дѣйствительно самое блестящее время петербургскаго періода; сознаніе силы давало новую жизнь; дѣла и заботы, казалось, были отложены на завтра, теперь хотѣлось попировать на радостяхъ побѣды. Тутъ Герценъ еще больше наслушался о войнѣ, чѣмъ отъ Вѣры Артамоновны. Онъ очень любилъ разсказы графа Милорадовича, который говорилъ съ чрезвычайной живостью, съ громкимъ смѣхомъ, и Герценъ не разъ засыпалъ подъ нихъ на диванѣ за его спиной. Разумѣется, при такой обстановкѣ Герценъ былъ отчаянный патріотъ и собирался въ полкъ...

Послѣ нашествія французовъ отецъ Герцена снова поселился въ Москвѣ и зажилъ тамъ въ затворничествѣ, представляя изъ себя одного изъ тѣхъ недовольныхъ и презирающихъ всѣхъ и все, кромѣ себя, баръ, которые во множествѣ проживали въ Москвѣ въ то время, засѣдая въ своихъ домахъ, какъ медвѣди въ берлогахъ. Считая каждое чувство сентиментальностью, малѣйшую откровенность фамильярностью, старикъ вѣчно былъ сдержанъ и сосредоточенъ, не допуская къ себѣ ни одного человѣка далѣе предѣловъ холодной, свѣтской учтивости. Разумѣется, онъ не былъ счастливъ; всегда на сторожѣ, всѣмъ недовольный, онъ видѣлъ съ стѣсненнымъ сердцемъ непріязненныя чувства, вызванныя имъ у всѣхъ домашнихъ; онъ видѣлъ, какъ улыбка пропадала съ лица, какъ останавливалась рѣчь, когда онъ входилъ; онъ говорилъ объ этомъ съ насмѣшкой, съ досадой, но не дѣлалъ ни одной уступки и шелъ съ величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмѣшка, иронія, холодная, язвительная и полная презрѣнія, было орудіе, которымъ онъ владѣлъ артистически, онъ его равно употреблялъ противъ всѣхъ. Въ первую юность многое можно скорѣе вынести, нежели *шпыняньe*, и Герценъ въ самомъ дѣлѣ удалялся отъ отца и велъ противъ него маленькую войну, соединяясь съ слугами и служанками.

Ко всему остальному отецъ увѣрилъ себя, что онъ опасно боленъ, и безпрестанно лечился. Сверхъ домоваго лекаря, къ нему ѣздили два или три доктора, и онъ дѣлалъ по крайней мѣрѣ три консиліума въ годъ. Гости, видя постоянно непріязненный видъ его и слушая однѣ жалобы на здоровье, которое далеко не было такъ дурно, рѣдѣли. Онъ сердился на это, но ни одного человѣка не упрекнулъ, не пригласилъ. Страшная скука царила въ домѣ, особенно въ безконечные зимніе вечера. Двѣ лампы освѣщали цѣлую анфиладу комнатъ. Сгорбившись и заложивъ руки на спину, въ суконныхъ или поярковыхъ сапогахъ (вродѣ валенокъ), въ бархатной шапочкѣ и въ тулупѣ изъ бѣлыхъ мерлушекъ, ходилъ старикъ взадъ и впередъ, не говоря ни слова, въ сопровожденіи двухъ-трехъ коричневыхъ собакъ... Стѣны, мебель, слуги, все смотрѣло съ неудовольствіемъ, исподлобья. Само собою разумѣется, всѣхъ недовольнѣе былъ самъ хозяинъ. Искусственная тишина, шопотъ, осторожные шаги прислуги выражали не вниманіе, а подавленность и страхъ. Въ комнатахъ все было неподвижно, пять-шесть лѣтъ однѣ и тѣ-же книги лежали на однихъ и тѣхъ-же мѣстахъ и въ нихъ тѣ-же замѣтки. Въ спальной и кабинетѣ годы цѣлые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уѣзжая въ деревню, онъ бралъ ключъ изъ своей комнаты въ карманъ, чтобъ безъ него не вздумали вымыть половъ или почистить стѣнъ.

Вотъ подъ гнетомъ какой суровой, давящей, однообразной обстановки провелъ Герценъ свое дѣтство. Не умиротворяющее и разсѣевающее вліяніе имѣла на нравъ ребенка роскошная обстановка богатаго дома, а, напротивъ, сосредоточивающее въ себѣ и ожесточающее. Строптивая и ненужная заботливость о физическомъ здоровьѣ, рядомъ съ полнымъ равнодушіемъ къ нравственному, страшно надоѣла ему. Предостереженія отъ простуды, отъ вредной пищи, хлопоты при малѣйшемъ насморкѣ, кашлѣ. Зимой мальчикъ по недѣлямъ сидѣлъ дома, а когда позволялось проѣхаться, то въ теплыхъ сапогахъ, шарфахъ и пр. Дома былъ постоянно нестерпимый жаръ отъ печей; все это должно было сдѣлать изъ Герцена хилаго и изнѣженнаго ребенка, еслибъ онъ не наслѣдовалъ отъ матери непреодолимаго здоровья. Она, съ своей сторо-

ны, вовсе не дѣлила этихъ предразсудковъ и на своей половинѣ позволяла Герцену все то, что запрещалось на половинѣ отца. Ученье шло плохо, безъ соревнованія, безъ поощреній и одобреній, безъ системы и надзора. Мальчикъ занимался спустя рукава и думалъ памятью и живымъ соображеніемъ замѣнить трудъ. Разумѣется, что и за учителями не было никакого присмотра. Однажды условившись въ цѣнѣ—лишь-бы они приходили въ свое время и сидѣли свой часъ—они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета въ томъ, что дѣлали.

Десяти лѣтъ ребенокъ узналъ уже особенность своего положенія, семейнаго и общественнаго, въ качествѣ незаконнаго сына. Это еще болѣе отдалило его отъ отца и внушило ему въ то-же время мысль, что онъ гораздо менѣе зависитъ отъ отца, чѣмъ другія дѣти. Эта самобытность очень нравилась ребенку.

Такимъ образомъ Герценъ, воспитанный въ богатомъ домѣ, не только-что не втянулся въ окружающую его жизнь, но, напротивъ того, съ 10-ти лѣтъ уже почувствовалъ полное отчужденіе свое отъ нея. Онъ весь углубился въ себя, сосредоточился, началъ вести жизнь исключительно воображенія. Вскорѣ онъ пристрастился къ чтенію. У отца его и дяди была довольно большая библіотека, составленная изъ французскихъ книгъ прошлаго столѣтія. Съ жадностью началъ онъ пожирать романы Лафонтена, комедіи Коцебу. Но болѣе всего произвели на мальчика впечатлѣніе Вертеръ, «Свадьба Фигаро». Онъ былъ влюбленъ въ Херубима и графиню, и сверхъ того самъ себя воображалъ Херубимомъ. У него замирало сердце при чтеніи, и, не давая себѣ никакого отчета, онъ *чувствовалъ* какое-то новое смущеніе. Особенно упоительна казалась ему сцена, гдѣ пажа одѣваютъ въ женское платье. Герцену страшно хотѣлось спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайкомъ поцѣловать ее. На дѣлѣ мальчикъ былъ далекъ отъ всякаго женскаго общества.

Но одна мечтательность въ карамзинскомъ духѣ не исчерпывала всего умственнаго кругозора дѣтскихъ лѣтъ Герцена. На впечатлительнаго и воспріимчиваго юношу не могли не произвести сильнаго впечатлѣнія масса слуховъ, которые ежедневно начали доноситься до его ушей въ половинѣ двадцатыхъ годовъ. Ему было тогда уже 13 лѣтъ. Какъ всѣ дѣти, воспитанныя подъ какимъ-нибудь тяжелымъ гнетомъ, онъ естественно болѣе симпатизировалъ сторонѣ лѣвой, чѣмъ правой, и хотя и самъ ясно не понималъ, что такое дѣлается вокругъ него, тѣмъ не менѣе воображалъ себя злоумышленникомъ.

Свои тринадцатилѣтнія злоумышленія онъ не замедлилъ сообщить учителю русской словесности И. Е. Протопопову, который былъ типомъ того благороднаго и неопредѣленнаго либерализма, который часто проходитъ съ первымъ сѣдымъ волосомъ, съ женитьбой и мѣстомъ, но все-таки облагораживаетъ человѣка. Протопоповъ былъ тронутъ и, уходя, обнялъ мальчика со словами: «дай Богъ, чтобы эти чувства созрѣли въ васъ и укрѣпились». Послѣ этого онъ носилъ своему ученику мелко переписанныя и очень затертыя тетрадки стиховъ Пушкина, «Оду на свободу», «Кинжалъ», «Думы» Рылѣева, и мальчикъ переписывалъ ихъ тайкомъ. Подъ вліяніемъ такого настроенія перемѣнился и кругъ чтенія Герцена. Въ подвальной библіотекѣ отца онъ открылъ какую-то исторію французской революціи, написанную роялистомъ, и съ жадностью принялся читать ее.

Здѣсь мы опять натыкаемся на вліяніе французскихъ выходцевъ на нашу молодежь стараго времени. Между тѣмъ какъ гувернантка Герцена, m-me Прово, очень часто разсказывала ему эпизоды изъ французской революціи и особенно любила останавливаться на фактахъ эпохи Робеспьера, передъ глазами мальчика, въ лицѣ французскаго учителя Бушо, было живое олицетвореніе этой эпохи: Бушо находился въ Парижѣ во время революціи и былъ неисправимый якобинецъ. Человѣкъ суровый, угрюмый, съ огромнымъ носомъ и очками, онъ долгое время не пускался ни въ какіе разговоры, спрягалъ глаголы, диктовалъ примѣры, бранилъ своего ученика и уходилъ, опираясь на толстую сучковатую палку. Онъ смотрѣлъ, съ своей демократической точки зрѣнія, съ презрѣніемъ на барченка и часто говорилъ: «изъ васъ ничего не выйдетъ».

Но вотъ однажды этотъ барченокъ обратился къ нему съ вопросомъ объ одномъ изъ эпизодовъ французской революціи.

Послѣ этого Бушо измѣнилъ свой взглядъ на мальчика, смѣнилъ гнѣвъ на милость, прощалъ ошибки и разсказывалъ эпизоды 93-го года и какъ онъ уѣхалъ изъ Франціи, когда «развратные и плуты» взяли верхъ. Онъ съ той же важностью, не улыбаясь, оканчивалъ урокъ, но уже снисходительно говорилъ: «я, право, думалъ, что изъ васъ ничего не выйдетъ, но ваши благородныя чувства спасутъ васъ».

Между тѣмъ учитель русской словесности не ограничился однимъ поощреніемъ либеральныхъ чувствъ въ своемъ ученикѣ. Рьяный романтикъ двадцатыхъ годовъ, онъ не замедлилъ конечно внушить ученику своему страсть къ современной литературѣ, къ Жуковскому, Пушкину, Грибоѣдову и отрицаніе всей старой литературы до Жуковскаго. Подъ такимъ вліяніемъ кругъ чтенія мальчика совершенно измѣнился: Лафонтенъ, Коцебу и пр. были брошены; онъ началъ читать съ разборомъ. Прежде онъ читалъ съ одинаковымъ удовольствіемъ все, что попадалось: трагедіи Сумарокова, сквернѣйшіе переводы восьмидесятыхъ годовъ разныхъ комедій и романовъ; теперь сталъ выбирать, цѣнить; бравши книгу, справлялся тотчасъ, въ которомъ году печатана, и бросалъ ее, ежели она была печатана больше пяти лѣтъ тому назадъ, хотя бы имя Державина или Карамзина предохраняло ее отъ такой дерзости.

Подъ вліяніемъ такого воспитанія, въ 15 лѣтъ изъ Герцена образовался романтикъ двадцатыхъ годовъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Онъ увлекался порой вольтеріанизмомъ, любилъ иронію и насмѣшку—и рядомъ съ этимъ съ глубокимъ благоговѣніемъ читалъ Библію по славянски и въ Лютеровомъ переводѣ. Онъ увлекался до энтузіазма Пушкинымъ, два мѣсяца носилъ въ карманѣ первую главу «Онѣгина», пока не вытвердилъ ее наизусть, но выше всего ставилъ Шиллера, унеся изъ первой юности въ болѣе зрѣлыя лѣта поклоненіе этому поэту. Чтеніе Шил-

лера рядомъ съ Плутархомъ настроили юношу на героическій ладъ, и онъ постоянно предугадывалъ въ себѣ будущаго «Брута или Фабриція». Въ то же время онъ питалъ романтическую страсть къ одной своей кузинѣ (впослѣдствіи извѣстной русской писательницѣ Т. В. Пассекъ), которая была старше его годами, разыгрывала изъ себя роль сентиментальной героини въ карамзинскомъ духѣ, требовала, чтобы ее называли Темирой, при каждой встрѣчѣ съ блѣдной подругой земного шара дѣлала къ ней лирическое воззваніе и сравнивала свою жизнь съ цвѣтками, брошенными въ «буйныя волны». Герценъ открывалъ своей возлюбленной всѣ тайны своего сердца, рисовался передъ нею будущимъ «Брутомъ или Фабриціемъ», а она, какъ свойственно всѣмъ барышнямъ, въ которыхъ имѣютъ несчастіе влюбляться несовершеннолѣтніе юноши, вертѣла будущимъ «Брутомъ или Фабриціемъ» по своему произволу. Былъ у Герцена конечно и романтическій другъ, мальчикъ почти однихъ съ нимъ лѣтъ (впослѣдствіи извѣстный русскій поэтъ и публицистъ Огаревъ), который въ глазахъ Герцена разыгрывалъ роль маркиза Позы; юноши дѣлили вмѣстѣ всѣ свои мечты и думы, проливали горькія слезы, когда находились въ разлукѣ другъ съ другомъ, и на Воробьевыхъ горахъ торжественно клялись въ виду всей Москвы пожертвовать жизнью на избранную борьбу.

VII.

Но воспитаніе Герцена не ограничилось одними романтическими и политическими вліяніями, о которыхъ мы сообщили на этихъ страницахъ. Судьба какъ будто нарочно хотѣла создать изъ Герцена человѣка съ самымъ разностороннимъ образованіемъ и подсунула ему родственника, котораго можно назвать по истинѣ небывалымъ, чудеснымъ явленіемъ среди общества двадцатыхъ годовъ. Это былъ реалистъ шестидесятыхъ годовъ, типъ вполнѣ въ базаровскомъ духѣ, преждевременно развившійся въ двадцатые годы. Въ жизни встрѣчаются иногда подобнаго рода застрѣльщики, забѣжавшіе слишкомъ впередъ и перешедшіе далеко за черту своего вѣка. Современники смотрятъ на нихъ обыкновенно, какъ на какихъ то выродковъ и полуумныхъ чудаковъ, и никто не подозрѣваетъ въ нихъ предтечей грядущаго времени. Таковъ былъ родственникъ Герцена, котораго онъ выставляетъ подъ именемъ Химика. Это тотъ самый Химикъ, о которомъ въ комедіи Грибоѣдова сказано:

— Онъ—химикъ, онъ—ботаникъ,
Князь Ѳедоръ, нашъ племянникъ,
Отъ женщинъ бѣгаетъ и даже отъ меня.

Мы не можемъ удержаться и не познакомить читателей съ этимъ поразительнымъ типомъ, тѣмъ болѣе, что онъ имѣлъ на Герцена огромное вліяніе.

Отецъ Химика былъ старый деспотъ и развратникъ, окруженный гаремомъ изъ своихъ крѣпостныхъ. Онъ страшно тѣснилъ сына и даже ревновалъ его къ своей серали. Химикъ хотѣлъ разъ отдѣлаться отъ этой неблагородной жизни опіемъ; его спасъ слутайно товарищъ, съ которымъ онъ занимался химіей. Отецъ перепугался и передъ смертью сталъ смирнѣе съ сыномъ. По смерти отца Химикъ далъ отпускную несчастнымъ одалискамъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, наложенный отцомъ на крестьянъ, простилъ недоимки и даромъ отдалъ рекрутскія квитанціи, которыя продавалъ имъ старикъ, отдавая дворовыхъ въ солдаты.

Жилъ онъ чрезвычайно своеобычно: въ большомъ домѣ своемъ на Тверскомъ бульварѣ занималъ одну крошечную комнату для себя и одну для лабораторіи. Старуха, мать его, жила черезъ корридоръ въ другой комнаткѣ, остальное было запущено и оставалось въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ было при отъѣздѣ его отца въ Петербургъ. Почернѣвшіе канделябры, необыкновенная мебель, всякія рѣдкости, стѣнные часы, *будто-бы* купленные Петромъ I въ Амстердамѣ, кресла, будто бы изъ дома Станислава Лещинскаго, рамы безъ картинъ, картины, обороченныя къ стѣнѣ,— все это, поставленное кое-какъ, наполняло три большія залы, нетопленныя и неосвѣщенныя. Въ передней люди играли обыкновенно на торбанѣ и курили (въ той самой, въ которой прежде едва смѣли дышать и молиться). Человѣкъ зажигалъ свѣчку и провожалъ гостя этою оружейною палатой, замѣчая всякій разъ, что плаща снимать не надобно, что въ залахъ очень холодно. Густые слои пыли покрывали рогатыя и курьезныя вещи, отражавшіяся и двигавшіяся вмѣстѣ со свѣчой въ вычурныхъ зеркалахъ. Солома, оставшаяся отъ укладки, спокойно лежала тамъ и сямъ вмѣстѣ съ стриженной бумагой и бичевками. Рядомъ этихъ комнатъ достигалась наконецъ дверь, завѣшанная ковромъ, которая вела въ страшно натопленный кабинетъ. Въ немъ Химикъ, въ замаранномъ халатѣ на бѣличьемъ мѣху, сидѣлъ безвыходно, обложенный книгами, обставленный стклянками, ретортами, тигелями, снарядами... Хозяйство Химика было еще менѣе сложно, особенно когда мать его уѣзжала на лѣто въ подмосковную, а съ нею и поваръ. Камердинеръ его являлся часа въ четыре съ кофейникомъ, распускалъ въ него немного крѣпкаго бульону и, пользуясь химическимъ горномъ, ставилъ его къ огню вмѣстѣ съ всякими ядами. Потомъ онъ приносилъ изъ трактира полрябчика и хлѣбъ—въ этомъ состоялъ весь обѣдъ. По окончаніи его камердинеръ мылъ кофейникъ и горнъ входилъ въ свои естественныя права. Вечеромъ снова являлся камердинеръ, снималъ съ дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наслѣдству отъ отца, и груду книгъ, стлалъ простыню, приносилъ подушки и одѣяло, и кабинетъ такъ же легко превращался въ спальню, какъ въ кухню и столовую.

Поверхностный и со страхомъ пополамъ вольтеріанизмъ нашихъ отцовъ нисколько не былъ похожъ на убѣжденія Химика. Его взглядъ былъ спокойный, послѣдовательный, оконченный. Онъ считалъ Жоффруа Сентъ-Илера мистикомъ и Окэна просто поврежденнымъ. Онъ съ пренебреженіемъ закрылъ сочиненія натуръ-философовъ... Сами выдумали первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ ни найти, ни понять нельзя. Взглядъ его становился еще безотраднѣе во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ. Онъ находилъ, что на человѣкѣ такъ же мало лежитъ отвѣтственности за добро и зло, какъ на звѣрѣ; что все—дѣло организаціи, обстоятельствъ и вообще

устройства нервной системы, отъ которой *больше требуютъ, нежели она въ состояніи дать*. Семейную жизнь онъ не любилъ, говорилъ съ ужасомъ о бракѣ и наивно признавался, что онъ прожилъ тридцать лѣтъ, не любя ни одной женщины.

Впрочемъ одна теплая струйка въ этомъ охлажденномъ человѣкѣ оставалась, она была видна въ его отношеніяхъ къ старушкѣ-матери. Они много страдали вмѣстѣ отъ отца, бѣдствія сильно сплавили ихъ. Онъ трогательно окружалъ одинокую и болѣзненную старость ея, насколько умѣлъ, покоемъ и вниманіемъ.

Совершенно въ pendant Базарову, Химикъ относился къ изящнымъ искусствамъ совершенно въ разрѣзъ со своимъ эстетическимъ вѣкомъ. Въ 1846 году, когда Герценъ началъ входить въ моду послѣ первой части «Кто виноватъ?», Химикъ написалъ ему письмо, въ которомъ выразилъ, что онъ съ грустью видитъ, что Герценъ употребляетъ на пустыя занятія свой талантъ. «Я съ вами помирился за ваши письма объ изученіи природы; въ нихъ я понялъ (на сколько человѣческому уму можно понимать) нѣмецкую философію,—зачѣмъ-же, вмѣсто продолженія серьезнаго труда, вы пишете сказки?»

Впрочемъ теорій своихъ, кромѣ химическихъ, Химикъ никогда не проповѣдывалъ: онѣ высказывались случайно, вызывались споромъ. Онъ даже нехотя отвѣчалъ на романтическія и философскія возраженія Герцена. Но зато на своей почвѣ отъ камней до орангутанга его все занимало, здѣсь онъ былъ занимателенъ, чрезвычайно ученъ, остеръ и даже любезенъ... Съ самаго начала знакомства съ Герценомъ онъ началъ убѣждать его бросить «пустыя» занятія литературой и «опасныя безъ всякой пользы» политикой—и приняться за естественныя науки. Онъ далъ мальчику рѣчь Кювье о геологическихъ переворотахъ и Декандолеву растительную органографію. Видя, что чтеніе идетъ на пользу, онъ предложилъ свои превосходные собранія, снаряды, гербаріи и даже свое руководство. И хотя Герценъ, по своему развитію, не могъ согласиться съ выводами Химика и горячо отстаивалъ свои романтическія мечтанія, но это не помѣшало ему пристраститься къ естественнымъ наукамъ и поступить въ университетъ на математическій факультетъ, чему онъ прямо былъ, по собственному сознанію, обязанъ Химику. Такая реальная струя, которая пахнула на Герцена въ первыхъ юношескихъ лѣтахъ, безъ сомнѣнія, не мало содѣйствовала какъ ускоренію переходнаго умственнаго состоянія, которое переживалъ Герценъ вмѣстѣ со своими современниками, такъ и тому, что онъ гораздо ближе стоялъ къ поколѣнію пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, чѣмъ всѣ его современники, воспитанные исключительно на гегелевской философіи и въ духѣ художественной созерцательности.

Въ университетѣ развитіе Герцена продолжалось въ духѣ все тѣхъ-же элементовъ: тотъ же сентиментальный романтизмъ въ шиллеровскомъ духѣ, рядомъ съ нимъ дѣтское либеральничанье, состоящее въ чтеніи запрещенныхъ стишковъ и распѣваніи недозволенныхъ пѣсенокъ, и въ то-же время занятія естественными науками (Герценъ по окончаніи курса получилъ даже серебряную медаль за астрономическую диссертацію). Домашній гнетъ тоже мало измѣнился въ годы университетской жизни Герцена; молодого либерала, воображавшаго себя шиллеровскимъ героемъ, продолжали держать на помочахъ: за нимъ посылали въ университетъ слугу, который долженъ былъ провожать его домой, какъ 17-ти-лѣтнюю барышню, и до 21 года ему не позволялось возвращаться домой послѣ половины одиннадцатаго. Разница заключалась только въ томъ, что прежде Герценъ развивался одиноко, теперь же вокругъ него составился кружокъ. Это былъ одинъ изъ очень немногочисленныхъ въ то время кружковъ, который среди молодежи, усиленно долбящей ради полученія чина коллежскаго регистратора или изнывающей въ томномъ сентиментализмѣ, интересовался, хотя и по-дѣтски, вопросами общественной жизни.

Послѣ 1830 года началась, какъ извѣстно, всеобщая реакція въ Европѣ, которая отразилась, какъ мы уже видѣли, и у насъ. Реакція, какъ чума, не разбираетъ никого, ни старыхъ, ни молодыхъ; но иначе дѣйствуетъ она на послѣднихъ, чѣмъ на первыхъ: въ то время, какъ людей зрѣлыхъ и пожилыхъ она обезкураживаетъ, разочаровываетъ или окончательно растлѣваетъ, молодежь она углубляетъ въ книги, сосредоточиваетъ въ заботы о собственномъ развитіи и побуждаетъ искать новыхъ путей мысли и жизни. Такъ случилось и съ нашимъ университетскимъ кружкомъ послѣ 1830 года, послѣ французской революціи, польскаго погрома и холеры. Застольный беранжеровскій либерализмъ пересталъ удовлетворять молодыхъ людей, потерялъ для нихъ всю свою чарующую силу. Тогда одни изъ нихъ бросились на изученіе русской исторіи; другіе углубились въ нѣмецкую философію; третьи, успѣвшіе слишкомъ уже глубоко проникнуться общественными интересами, въ томъ числѣ Герценъ и Огаревъ, увлеклись сенъ-симонизмомъ. Подобное увлеченіе было совершенно въ духѣ того времени, не только потому, что сенъ-симонизмъ подвизался въ то время на сценѣ европейской жизни и о немъ кричали во всѣхъ газетахъ, но и потому, что онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ степени развитія молодыхъ людей. На половину соціальное ученіе, на половину религіозная секта, сенъ-симонизмъ одной ногой стоялъ на средневѣковой почвѣ, а другой на почвѣ XIX столѣтія. Проповѣдуя равенство и братство, общность труда и достоянія, въ то же время онъ увлекался іерархіей и централизаціей философовъ-правителей вполнѣ въ духѣ средневѣкового католичества. Такое ученіе совершенно соотвѣтствовало настроенію нашихъ юныхъ романтиковъ, которые поклонялись всякому генію, всякой силѣ, выдающейся впередъ надъ пошлой рутиной жизни. Къ этому чисто романтическому настроенію присоединялись и представленія религіозныя. Въ это время мысли о томъ, что Западъ не въ силахъ переварить прогрессивное движеніе, что старыя условія жизни слишкомъ вкоренились въ его бытъ и онъ не можетъ избавиться отъ нихъ и перестроить жизнь на новыхъ началахъ, что въ немъ началось разложеніе, подобное послѣднимъ вѣкамъ древней цивилизаціи, уже развивались въ кружкахъ московскихъ шеллингистовъ и отражались въ литературѣ въ сочиненіяхъ кн. Одоевскаго, которыми моло-

дежь зачитывалась именно въ это самое время. Подъ вліяніемъ этихъ идей, сенъ-симонизмъ представлялся молодымъ людямъ не простой соціальной мечтой вродѣ республики Платона или утопіи Томаса Мура, а новой религіей, которая явилась среди разлагающагося міра для того, чтобы обновить его, подобно тому, какъ нѣкогда христіанство явилось среди разлагавшихся древнихъ обществъ. Отъ подобной исторической аналогіи для молодыхъ умовъ, находившихся всецѣло на почвѣ дѣтскихъ преданій, достаточно было одного незначительнаго шага, чтобы перейти къ полному сближенію христіанства и сенъ-симонизма, и они начали смотрѣть на христіанство и сенъ-симонизмъ, какъ на первое и послѣднее слово одного и того-же ученія. Такимъ образомъ сенъ-симонизмъ сдѣлался для нихъ откровеніемъ, религіей, которая была для нихъ безраздѣльна съ ихъ дѣтскими вѣрованіями.

Какъ всѣ неофиты, молодые люди съ восторгомъ и жаромъ начали проповѣдывать свое ученіе направо и налѣво, не разбирая долго, какое дѣйствіе можетъ произвести ихъ проповѣдь на того или другого, и вскорѣ они вооружили противъ себя какъ реакціонеровъ, такъ и либераловъ. Такъ, къ этому времени относится разрывъ Герцена съ Полевымъ, съ которымъ онъ познакомился въ концѣ университетскаго курса и бывалъ иногда у него и у брата его Ксенофонта. Это было время пущей славы Полевого, предшествовавшее запрещенію «Телеграфа».

Въ сущности, молодые люди, какими-бы они себя ни воображали прогрессистами по отношенію къ прежнимъ дѣятелямъ литературы, стояли еще на весьма неопредѣленной и сомнительной почвѣ. Они находились еще всецѣло въ томъ первомъ періодѣ умственнаго движенія, въ которомъ старыя міровоззрѣнія остаются еще нетронутыми и только пріурочиваются къ двумъ-тремъ новымъ идейкамъ. Сенъ-симонистическая религія ихъ, безраздѣльно связанная съ дѣтскими вѣрованіями, была еще не Богъ-вѣсть какимъ шагомъ впередъ: она заключала въ себѣ обильные задатки мистицизма, и молодые люди, оставленные на свободѣ въ Москвѣ, предоставленные самимъ себѣ, могли въ дальнемъ развитіи своемъ свернуть на путь Кирѣевскаго и Хомякова. Но реакція, изгнавши нашихъ сенъ-симонистовъ изъ Москвы, разославши ихъ по городамъ и весямъ (1834 г.), изъ безвредныхъ мечтателей сдѣлала мучениковъ идеи. Вслѣдствіе этого толчка сенъ-симонистическая религія ихъ перестала ограничиваться однѣми историческими гипотезами объ обновленіи міра; изъ фантазіи она перешла въ кровь и нервы, приняла характеръ ожесточенія и въ то-же время развилась въ пламенный мистицизмъ. У насъ такъ привыкли съ именемъ мистика соединять непремѣнно представленіе о человѣкѣ, въ высшей степени преданномъ чиноначалію, и съ другой стороны, представлять себѣ либерала, и особенно пострадавшаго, непремѣнно отчаяннымъ атеистомъ, матеріалистомъ, для котораго ничего нѣтъ святого, что многимъ покажется просто чѣмъ-то баснословнымъ, что Герценъ, находясь въ Вяткѣ, былъ набожнымъ и горячимъ мистикомъ. Но это было дѣйствительно такъ, и мы имѣемъ на это нѣсколько фактическихъ доказательствъ. Здѣсь мы видимъ еще одно ясное подтвержденіе того закона развитія, что политическія убѣжденія и увлеченія нисколько не зависятъ отъ степени умственнаго развитія, и, каковы-бы они ни были, развитіе это во всякомъ случаѣ идетъ своимъ путемъ, переходя черезъ свои неизбѣжныя фазы.

Къ этому времени относится знакомство Герцена съ извѣстнымъ архитекторомъ Витбергомъ. Благочестивый художникъ, преисполненный религіознаго энтузіазма, Витбергъ былъ глубокимъ мистикомъ. Послѣ того какъ постройка его знаменитаго храма на Воробьевыхъ горахъ не удалась, онъ былъ запутанъ строительной коммиссіей и сосланъ въ Вятку. Дѣля одну общую участь, Герценъ сошелся съ Витбергомъ, и послѣдній содѣйствовалъ окончательному развитію тѣхъ задатковъ мистицизма, которые, какъ мы сказали, находились уже въ Герценѣ.

Близость съ Витбергомъ была большимъ облегченіемъ въ Вяткѣ для Герцена. Серьезная ясность и нѣкоторая торжественность въ манерахъ придавали ему что то духовное. Онъ былъ очень чистыхъ нравовъ и вообще скорѣе склонялся къ аскетизму, чѣмъ къ наслажденіямъ; но его строгость ничего не отнимала отъ роскоши и богатства его артистической натуры. Онъ умѣлъ своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колоритъ, что возраженіе замирало на губахъ, жаль было анализировать, разлагать мерцающіе образы и туманныя картины его фантазіи. Мистицизмъ Витберга лежалъ долей въ его скандинавской крови; это та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видимъ въ Сведенборгѣ, похожая, въ свою очередь, на огненное отраженіе солнечныхъ лучей, падающихъ на ледяныя горы и снѣга Норвегіи.

Вліяніе Витберга поколебало Герцена. Именно въ эту эпоху, когда Герценъ жилъ съ Витбергомъ, онъ болѣе чѣмъ когда-нибудь былъ расположенъ къ мистицизму. Разлука, ссылка, религіозная экзальтація писемъ, получаемыхъ имъ, любовь — все это помогало Витбергу. И еще года два послѣ Герценъ былъ подъ вліяніемъ идей мистически-соціальныхъ, взятыхъ изъ Евангелія и Жанъ-Жака, на манеръ французскихъ мыслителей вродѣ Пьера Леру. Въ этомъ духѣ въ 1838 году Герценъ написалъ историческія сцены, которыя тогда принимались за драмы. Въ однѣхъ онъ представилъ борьбу древняго міра съ христіанскимъ; тутъ Павелъ, входя въ Римъ, воскрешалъ мертваго юношу къ новой жизни. Въ другихъ, — борьбу оффиціальной церкви съ квакерами и отъѣздъ Уильяма Пенна въ Америку, въ Новый Свѣтъ. Между прочимъ отъ этого періода сохранился рядъ писемъ Герцена къ Витбергу, драгоцѣнныхъ въ томъ отношеніи, что представляютъ самое наглядное и непосредственное свидѣтельство о томъ настроеніи, въ которомъ находился Герценъ во время своей ссылки. Всѣ они преисполнены набожнаго благочестія: Герценъ смиренно предается въ нихъ волѣ Всеблагого Провидѣнія и описываетъ свои религіозныя чувства и думы, которыя онъ ощущалъ въ себѣ при слушаніи божественныхъ службъ во время Страстной недѣли и Пасхи. Замѣчательно, что въ то-же самое время Огаревъ, будучи брошенъ на Кавказъ и отдаленъ отъ своего друга нѣсколькими тысячами верстъ, переживалъ

самостоятельно періодъ такого-же мистицизма. Онъ писалъ текстъ для Гебелевой ораторіи «Потерянный Рай», предполагая, что въ идеѣ «Потеряннаго Рая» заключается вся исторія человѣчества.

VIII.

Въ 1838 году Герценъ былъ переведенъ изъ Вятки во Владиміръ, и въ этомъ-же году онъ женился. Хотя конечно любовь и женитьба каждаго человѣка обусловливаются многими частными и случайными обстоятельствами, тѣмъ не менѣе въ нихъ выражается часто весьма рельефно личность человѣка, весь складъ его характера. Такимъ образомъ, сравнивая между собою любовныя интриги нѣкоторыхъ передовыхъ личностей сороковыхъ годовъ, мы такъ и видимъ въ нихъ характеръ тѣхъ слоевъ нашей интеллигенціи, которые вырабатывала жизнь въ разбираемую нами эпоху. Гоголь въ первой своей любви выразилъ вполнѣ средневѣкового художника вродѣ Торквато-Тасса: подобно какому-нибудь бѣдному пажу Вальтеръ-Скоттовскаго романа, онъ исполнился безмолвнаго и отдаленнаго обожанія къ какой-то столь-высокопоставленной особѣ, что онъ не рѣшился въ своихъ письмахъ даже назвать ее, ограничиваясь одними намеками; такъ и унесъ тайну своей любви въ могилу, предоставивши біографамъ строить какія-угодно догадки. Станкевичъ, болѣзненный, сентиментальный мечтатель, зафилософствовавшійся идеалистъ, подводившій все и вся въ жизни подъ свои книжныя формулы, таковъ-же оказался и въ своей любви: полюбивши дѣвушку, которую самъ-же расхваливалъ до небесъ, онъ вдругъ предался мучительнымъ рефлексіямъ насчетъ того, дѣйствительно-ли эта дѣвушка такова, какою онъ себѣ ее представлялъ, или, говоря философскимъ языкомъ, соотвѣтствуетъ-ли объектъ взгляду на него подъ угломъ зрѣнія субъективнаго настроенія, гемута созерцателя, и дѣйствительно-ли любитъ Станкевичъ ее, или только воображаетъ, что любитъ, т.-е. есть-ли это чувство разумное, истинное осуществленіе идеи любви, или это явленіе призрачное. Подъ гнетомъ такихъ рефлексій, Станкевичъ замучилъ и себя, и дѣвушку, и свелъ ее наконецъ въ могилу; а когда она умерла, вмѣсто всякихъ сожалѣній объ умершей или угрызеній совѣсти, Станкевичъ, какъ истинный Донъ-Кихотъ своего философскаго увлеченія, нашелъ въ ея смерти утѣшеніе и разрѣшеніе своихъ рефлексій, гегелевское примиреніе противорѣчій въ лонѣ вѣчнаго бытія. Мы уже видѣли, какимъ Рудинымъ проявился Грановскій въ своихъ двухъ любовныхъ исторіяхъ. Что касается женитьбы Герцена, то въ ней такъ и видится передъ вами протестантъ, объявившій рѣшительную борьбу противъ узъ, которыя угнетали его съ самаго дѣтства. Вмѣсто всякихъ эстетическихъ созерцаній, рефлексій и сомнѣній, вы видите здѣсь протестъ и борьбу съ перваго шага и до послѣдняго. Самый предметъ любви былъ избранъ Герценомъ не столько вслѣдствіе того, чтобы въ немъ воплощались какіе-либо романтическіе или художественные идеалы, сколько изъ-за общихъ страданій, которыя сблизили молодыхъ людей. Герценъ полюбилъ одну свою дальнюю родственницу, съ которой былъ знакомъ съ дѣтства; вмѣстѣ они терпѣли семейный гнетъ почти отъ однихъ и тѣхъ-же родственниковъ. Любовь ихъ проявилась не вдругъ, а медленно развивалась годами, и они дошли до ея сознанія уже тогда, когда Герценъ былъ въ Вяткѣ. Между тѣмъ какъ Герценъ былъ переведенъ во Владиміръ, гнетъ, который терпѣла дѣвушка, сдѣлался невыносимымъ. Родственники, у которыхъ она жила, знали о ея любви къ Герцену и нарочно въ ея присутствіи старались всячески чернить ея возлюбленнаго. Наконецъ ей стали сватать женіховъ, намѣреваясь выдать ее замужъ насильно. Тогда Герценъ рѣшился на отчаянный поступокъ: онъ тайкомъ уѣхалъ изъ Владиміра, явился внезапно въ Москву, похитилъ свою невѣсту и, воротясь во Владиміръ, женился на ней, объявивши конечно въ городѣ, что къ нему невѣста пріѣхала сама.

Въ 1840 году Герценъ былъ освобожденъ отъ ссылки и, пріѣхавши въ Москву, впервые сошелся здѣсь съ кружкомъ Станкевича. Это было время самаго сильнаго увлеченія гегелевской философіей въ этомъ кружкѣ и примирительнаго взгляда на вещи. Новые знакомые приняли Герцена такъ, какъ принимаютъ эмигрантовъ и старыхъ бойцовъ, людей, выходящихъ изъ тюремъ, возвращающихся изъ плѣна или ссылки, съ почетнымъ снисхожденіемъ, съ готовностью принять въ свой союзъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ не уступая ничего, а намекая на то, что они—сегодня, а Герценъ съ друзьями уже—вчера, и требуя безусловнаго принятія феноменологіи Гегеля и притомъ по ихъ толкованію.

Здѣсь мы встрѣчаемся съ весьма рѣзкимъ и бросающимся въ глаза фактомъ, свидѣтельствующимъ, до какой степени были перепутаны въ сороковые годы отношенія между передовыми людьми по ихъ развитію, и какъ трудно провести какую-либо черту въ эту эпоху между отсталостью и прогрессивностью. Съ одной стороны, Герценъ стоялъ конечно впереди кружка Станкевича, смотря на многія вещи гораздо свѣтлѣе и реальнѣе, чѣмъ Бѣлинскій и друзья его съ ихъ схоластическими, книжными примиреніями. Но зато, съ другой стороны, и кружокъ Станкевича опереживалъ Герцена въ томъ отношеніи, что Герценъ дѣйствительно былъ еще вчера, т. е. принадлежалъ еще къ эпохѣ двадцатыхъ годовъ, въ то время, какъ кружокъ Станкевича—былъ сегодня, исповѣдуя философскую систему, бывшую въ то время послѣднимъ словомъ человѣческаго разума. Вслѣдствіе такихъ взаимныхъ преимуществъ обѣ стороны должны были повліять другъ на друга. Такъ и случилось. Несмотря на то, что послѣ спора о статьѣ Бѣлинскаго «Бородинская годовщина» Герценъ и Бѣлинскій разошлись озлобленными другъ на друга врагами—оба противника почувствовали себя пораженными въ самыхъ существенныхъ сторонахъ своихъ убѣжденій. Столкновеніе съ Герценомъ произвело сильный нравственный толчокъ въ Бѣлинскомъ; съ этого спора начался въ немъ быстрый, но рѣшительный переломъ. Что касается Герцена, то и для него началась новая эпоха. Среди этой междоусобицы онъ увидѣлъ необходимость ex ipsa fonte bibere и серьезно занялся Гегелемъ. Въ то же время онъ очевидно изъ перваго періода сво-

его развитія перешелъ во второй: онъ потерялъ прежнюю цѣльность дѣтской непосредственности, всѣ его юныя вѣрованія и радужныя мечты начали колебаться въ своихъ основаніяхъ; онъ исполнился тѣхъ внутреннихъ противорѣчій, которыя, какъ мы уже говорили, характеризуютъ собою второй періодъ переходнаго умственнаго процесса. Такимъ образомъ и онъ не избѣжалъ общей участи своихъ современниковъ: и онъ предался мрачнымъ рефлексіямъ, копаньямъ въ своемъ сердцѣ и пр. Въ такой внутренней работѣ прошли два года въ жизни Герцена—1841 и 1842 года. Это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ его жизни. По крайней мѣрѣ воспоминанія его о пребываніи въ Новгородѣ исполнены мрачной и давящей грусти. Видно, что нелегко давалась ему борьба и много мучительныхъ минутъ пережилъ онъ въ ней. Но та реальная подкладка, которая была подложена въ его университетскомъ образованіи, съ другой стороны и тотъ личный опытъ, который съ дѣтскихъ лѣтъ щупалъ его бока и не давалъ ему ни минуты забыться и потеряться въ книжныхъ, отвлеченныхъ формулахъ,—все это помогало процессу, ускоряло его, и Герценъ имѣлъ возможность не закиснуть на немъ, подобно многимъ своимъ современникамъ. Ускоренію выхода Герцена изъ этихъ сумерекъ много содѣйствовало между прочимъ столкновеніе его въ Новгородѣ съ одной престарѣлой генеральшей Л. Д., повидимому женщиной недюжиннаго ума. Женщина эта схоронила дѣтей, и такъ какъ жизнь ея послѣ этой утраты потеряла всякое содержаніе, въ отчаяньи она кинулась въ мрачный мистицизмъ. У Л. Д. все было кончено. Тутъ не было сомнѣній, шаткости, теоретической слабости. Врядъ ли іезуиты или кальвинисты были такъ стройно послѣдовательны своему ученію, какъ она. Вмѣсто того чтобы ненавидѣть смерть, она, лишившись своихъ малютокъ, возненавидѣла жизнь. Это то и надобно для мистицизма, для этого апоѳеоза смерти; пренебреженіе земли, пренебреженіе тѣла не имѣетъ другого смысла. И такъ, гоненіе на все жизненное, реалистическое, гоненіе на наслажденіе, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существованія. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гете, ни Пушкина. Нападки ея на философію шли совсѣмъ съ другой стороны. Она иронически увѣряла, что всѣ діалектическія подмостки и тонкости—барабанный бой, шумъ, которымъ трусы заглушаютъ страхъ своей совѣсти. Вы никогда не дойдете, говорила она, до основъ міра никакой философіей, а храбрости отвергнуть эти основы у васъ у всѣхъ нѣтъ. Вы слишкомъ люди, чтобы не ужаснуться этихъ послѣдствій, внутреннее отвращеніе отталкиваетъ ихъ; вотъ вы и выдумываете ваши логическія чудеса, чтобы отвести глаза, чтобы дойти до того, что просто и дѣтски дано религіей. Герценъ возражалъ, спорилъ, но внутри чувствовалъ, что полныхъ доказательствъ у него нѣтъ, и что она тверже стоитъ на своей почвѣ, нежели онъ на своей. Надобно было, чтобы къ тому же, для довершенія бѣды, подвернулся тутъ инспекторъ врачебной управы, добрый человѣкъ, но одинъ изъ самыхъ смѣшныхъ нѣмцевъ, отчаянный поклонникъ Окэна и Каруса. Онъ разсуждалъ цитатами, имѣлъ на все готовый отвѣтъ, никогда ни въ чемъ не сомнѣвался и воображалъ, что совершенно согласенъ съ Герценомъ. Докторъ выходилъ изъ себя, бѣсился тѣмъ больше, что другими средствами не могъ взять, находилъ воззрѣнія Л. Д. женскими капризами, ссылался на шеллинговы чтенія объ академическомъ ученіи и читалъ самъ отрывки изъ Бухардовой физіологіи для доказательства, что въ человѣкѣ есть начало вѣчное и духовное, а внутри природы спрятана какая то личность. Л. Д., давно прошедшая этими «задами» пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала на него глазами. Споры эти занимали Герцена до того, что онъ съ новымъ ожесточеніемъ принялся за Гегеля. Мученіе неувѣренности недолго продолжалось, истина вдругъ мелькнула передъ глазами и стала становиться яснѣе и яснѣе; Герценъ склонился на сторону противницы, но не такъ, какъ она хотѣла.

Ее смутило это, но она скоро оправилась и сказала: «Жаль мнѣ васъ, а можетъ оно и къ лучшему; вы въ этомъ направленіи долго не останетесь, въ немъ слишкомъ пусто и тяжело. А вотъ.—прибавила она, улыбаясь,—нашъ докторъ, тотъ неизлечимъ; ему не страшно, онъ въ такомъ туманѣ, что не видитъ ни на шагъ впередъ...» Однако лицо ея было блѣднѣе обыкновеннаго.

Изъ этого всего мы видимъ, что споры и пренія о началахъ міра, абсолютахъ и философскихъ тонкостяхъ не ограничивались Москвой, Петербургомъ и учено-литературными кружками, но повсемѣстно были распространены по всей Россіи, отъ Новгорода до Вятки и отъ Владиміра до Кавказа, по разнымъ захолустьямъ, уѣзднымъ городкамъ и помѣщичьимъ усадьбамъ. Въ нихъ принимали участіе ученые и литераторы, студенты и семинаристы, инспектора врачебной управы и салонныя дамы. Въ наше время трудно себѣ представить, чтобы люди, даже весьма молодые, очень долго спорили о такихъ вопросахъ, какъ вопросъ о безсмертіи души или отношеніи безотносительнаго къ относительному. Но въ то время люди пожилые и много пережившіе до того увлекались подобными спорами, что забывали о питьѣ и ѣдѣ и цѣлые дни и ночи проводили въ жаркихъ преніяхъ. Закадычные друзья дѣлались заклятыми врагами, не согласясь въ какомъ нибудь пунктѣ гегелевской философіи; мужья расходились съ женами и считали свой бракъ несчастнѣйшимъ, если жены, сами по себѣ прекраснѣйшія женщины и во всемъ другомъ гармонирующія съ мужьями, не соглашались мыслить по Гегелю и Фейербаху. Наконецъ молодые люди съ того начинали свои ухаживанья за предметами любви, что посвящали ихъ въ таинства германской философіи, и Рудинъ, ораторствовавшій гдѣ нибудь въ захолустьи на непонятномъ никому языкѣ, среди Ноздревыхъ и Коробочекъ, сдѣлался героемъ дня, новымъ свѣтиломъ, кумиромъ скучающихъ дамъ, барышень, ожидающихъ чего то необыкновеннаго, и вытѣснилъ собою прежнихъ героевъ въ печоринскомъ духѣ. Такъ было сильно философское броженіе, овладѣвшее положительно всѣмъ образованнымъ обществомъ Къ концу сороковыхъ годовъ оно шло все crescendo, захватывая собою новые и новые круги общества, спускаясь все ниже и ниже и вмѣстѣ съ тѣмъ становясь съ

каждымъ годомъ реальнѣе, переходя отъ отвлеченныхъ вопросовъ къ вопросамъ семейнымъ и общественнымъ. Но возвратимся къ Герцену.

Рядомъ съ этимъ внутреннимъ переворотомъ началось и его знакомство съ Фейербахомъ, который соотвѣтствовалъ этой новой фазѣ его развитія. Но мы говорили уже, что всякое новое направленіе не смывало безслѣдно все старое въ Герценѣ и не овладѣвало имъ безусловно. Такъ напримѣръ, сдѣлавшись мистикомъ, онъ не закрылъ уши для всего иного, не прервалъ всякой связи со всѣмъ прошлымъ и не сдѣлался фанатикомъ мистицизма, подобно Гоголю. Увлекшись Гегелемъ, онъ не закопался, подобно друзьямъ Станкевича, въ отвлеченныя умствованія и, наконецъ сдѣлавшись послѣдователемъ Фейербаха, онъ не увлекся исключительной пропагандой ученія этой школы. Романтизмъ двадцатыхъ годовъ оставилъ въ немъ свой глубокій слѣдъ въ томъ отношеніи, что онъ на всю жизнь остался ненавистникомъ всего пошлаго, посредственно рутиннаго, пресмыкающагося, въ то время какъ все выдающееся изъ общаго уровня обыденности, все дерзающее идти не по торнымъ тропинкамъ постоянно возбуждало въ немъ симпатію. Въ свою очередь и мистицизмъ въ той соціальной формѣ, въ какой развился онъ у Герцена, навсегда избавилъ его отъ того поверхностнаго и формальнаго либерализма, на которомъ остановились многіе изъ его современниковъ, и заставилъ его глубоко вникать въ основы общественныхъ отношеній. Точно также и гегелизмъ прошелъ не безслѣдно, развивши въ Герценѣ діалектическія способности. Въ то-же время, начиная съ первой фазы своего развитія и до послѣдней, мы видимъ постоянное преобладаніе въ Герценѣ одного—именно, глубокаго интереса къ вопросамъ общественной жизни: каждое направленіе, которое только онъ по очереди переживалъ, онъ постоянно пріурочивалъ къ этимъ вопросамъ. Наконецъ подъ всѣми періодами его жизни и литературной дѣятельности вы видите подкладку того реальнаго образованія, которое онъ пріобрѣлъ на физико-математическомъ факультетѣ и впослѣдствіи опытами самой жизни. Романтикъ, мистикъ, гегеліанецъ, фейербахистъ въ общихъ идеяхъ, онъ становился на строго-реальную, положительную почву, едва только переходилъ къ анализу частныхъ фактовъ.

Но этими философскими элементами не ограничилось литературное воспитаніе Герцена. Обладая сильнымъ художественнымъ талантомъ и природнымъ остроуміемъ, онъ воспринялъ вмѣстѣ со своими современниками то эстетическое развитіе, которое въ сороковые годы стояло, какъ извѣстно, на первомъ планѣ и часто доходило даже до крайней односторонности. Не заглушивъ однако всѣхъ другихъ интересовъ, эстетическое развитіе даровало Герцену могущественное орудіе художественности, нелишнее для всякаго писателя. Впродолженіи всей своей жизни не покидалъ онъ великихъ европейскихъ поэтовъ—Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера, Гейне, а изъ русскихъ—Пушкинъ и Гоголь были постоянными его любимцами. Но повидимому изъ всѣхъ европейскихъ писателей болѣе всего вліянія оказали на него два писателя: Жанъ Поль-Рихтеръ и Бёрне, очень можетъ быть потому, что оба эти писателя всего ближе подходили по своему положенію среди своихъ современниковъ и вліянію къ тому, что былъ Герценъ среди нашего общества. Вліяніе Жанъ-Поль Рихтера замѣтно не на одномъ Герценѣ, а на многихъ писателяхъ тридцатыхъ годовъ, въ особенности на Одоевскомъ. Разница только въ томъ, что жанъ-полевская философская иронія, витающая между мистицизмомъ и скептицизмомъ, у Одоевскаго склонялась болѣе къ мистицизму, у Герцена, напротивъ того,—къ скептицизму. Бёрне напоминаетъ Герценъ во многихъ своихъ политическихъ фельетонахъ, блещущихъ столь же убійственнымъ остроуміемъ и такой же ѣдкой ироніей.

Со всѣми этими элементами литературнаго таланта Герцена мы наглядно познакомимся при разборѣ его сочиненій.

IX.

Мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, когда и гдѣ началъ Герценъ печататься. Знаемъ только, что первая статья Герцена, появившаяся подъ псевдонимомъ Искандера, была напечатана въ послѣднемъ, 33-мъ томѣ «Телескопа» въ 1836 году, когда Герценъ былъ уже въ Вяткѣ. Статья эта, подъ заглавіемъ «Гофманъ», напечатана въ особенномъ отдѣлѣ «Телескопа», носившемъ названіе «Знаменитые современники». Статья была отдана Полевому, а попала по ошибкѣ въ «Телескопъ», причемъ пріятель Герцена К., считая неосторожнымъ оставить подъ нею настоящую фамилію Герцена, впервые поставилъ Искандеръ,—подпись, которую Герценъ шутя употребилъ въ одной статьѣ, назначенной не для печати. Мы не знаемъ, когда Герценъ написалъ статью о Гофманѣ, но, по содержанію и характеру, она повидимому всецѣло принадлежитъ еще къ первому періоду его развитія,—къ эпохѣ юнаго сентиментальнаго романтизма. Онъ вполнѣ заплатилъ въ этой статьѣ дань своему времени, явившись такимъ же горячимъ поклонникомъ Гофмана, какими были всѣ юноши тридцатыхъ годовъ. Въ статьѣ вы встрѣчаете цѣлый рядъ восторженныхъ восклицаній.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Герценъ является крайне субъективенъ, какъ всѣ слишкомъ юные писатели. Онъ иногда совершенно сливаетъ личность Гофмана со своею, и вамъ кажется, что, говоря о Гофманѣ, подъ нимъ онъ разумѣетъ самого себя. Таково напримѣръ описаніе воспитанія Гофмана.

Но и въ этой юной статьѣ Герценъ не ограничивается одними романтическими пареніями и восклицаніями. Среди разныхъ превыспренныхъ сентиментальностей вы натыкаетесь на мысли совершенно иного склада и видите въ нихъ задатки будущаго Герцена. Такъ напримѣръ, на одной страницѣ онъ объясняетъ фантастичность Гофмана совершенно въ романтическомъ духѣ тѣмъ, что Гофманъ становится ираченъ, ибо начинаетъ разглядывать дѣйствительный міръ во всей его прозѣ, во всѣхъ его мелочахъ, что это простуда отъ міра реальнаго, холодъ и ужасъ, навѣваемый дыханіемъ людей на грудь чистаго юноши, что вслѣдствіе этого-то рождается въ Гофманѣ потребность сорваться съ пути битаго, обыкновеннаго, пыль-

наго, которую мы равно видимъ во всѣхъ истинныхъ художникахъ, и пр. Но переверните страницу, и вы увидите совершенно иное объясненіе той же фантастичности и отрѣшенности отъ дѣйствительности Гофмана. Оказывается, что Гофманъ не потому отвернулся отъ дѣйствительнаго міра, что разглядѣлъ его во всѣхъ мелочахъ, во всей его прозѣ, а потому, что онъ вовсе его не зналъ; онъ былъ занятъ до того концертами, что не замѣтилъ приближенія Наполеона. Герценъ видитъ въ этомъ тѣнь прошедшаго, сверхземного направленія литературы германской, въ противоположность земному, общественному направленію французской литературы. По мнѣнію его, сочинители, жившіе до 1813 года, воображали, что все земное слишкомъ низко для нихъ, и жили въ облакахъ; но это имъ не прошло даромъ. Когда же Германія проснулась при громѣ лейпцигской битвы, явилось новое поколѣніе, болѣе земное, болѣе національное. Гейне бичевалъ своимъ ядовитымъ перомъ направо и налѣво старое поколѣніе, которое разобщило себя съ родиной, прошлую эпоху, которая такъ колоссально, такъ величественно окончилась въ Веймарѣ 22-го марта 1832 года.

Подобныя мысли, сказанныя въ 1836 году, когда ничего не признавали выше германской философіи и романтической поэзіи, когда во Франціи видѣли только законодательницу модъ и свѣтскихъ приличій, когда литературу ея ставили ниже всѣхъ другихъ литературъ, могли казаться безумной ересью. Особенно, если взять во вниманіе, что Герценъ еще болѣе превознесъ французскую литературу въ другомъ мѣстѣ статьи, сказавши, что Франція столь-же мало могла симпатизировать съ Вальтеръ-Скоттомъ, сколько съ Веллингтономъ и со всѣмъ торизмомъ, что французы замѣнили это направленіе другимъ, болѣе глубокимъ, принялись за анатомическія разъятія души человѣческой, стали раскрывать всѣ раны тѣла общественнаго и пр. Рядомъ съ этимъ васъ поражаетъ и самая постройка статьи: историческій методъ преобладаетъ въ ней надъ философскимъ, который начиналъ въ то время входить въ особенную моду. Тогда статьи начинались обыкновенно съ изложенія общихъ философскихъ основаній, послѣ чего писатель приступалъ уже къ частнымъ фактамъ, которые онъ и подводилъ подъ изложенныя основанія. Такой методъ господствуетъ во всѣхъ статьяхъ Бѣлинскаго. Между тѣмъ Герценъ построилъ свою статью совершенно иначе: онъ началъ съ частныхъ фактовъ, съ біографіи Гофмана, желая объяснить направленіе Гофмана его жизнью. Затѣмъ онъ приступилъ къ общимъ историческимъ даннымъ эпохи Гофмана, причемъ онъ постоянно указывалъ на тѣсную зависимость того или другого литературнаго направленія отъ обстоятельствъ жизни и исторіи того или другого народа. Наконецъ приступаетъ къ разбору сочиненій Гофмана, какъ общему выводу изъ всѣхъ данныхъ.

Періодъ мистицизма Герцена опредѣленно выражается только въ тѣхъ сценаріяхъ, о которыхъ мы выше упоминали. Къ этому же времени (1838 г.) относятся «Записки одного молодого человѣка» и «Еще изъ записокъ молодого человѣка». Обѣ статьи написаны во Владимірѣ и напечатаны въ № 12-мъ 1840 г. и № 1-мъ 1841 г. «Отеч. Записокъ». Посвященныя личнымъ воспоминаніямъ, статьи эти не отражаютъ въ себѣ и тѣни того мистическаго настроенія, которое переживалъ Герценъ. Мы уже говорили, что мистицизмъ, какъ необходимая фаза развитія, прошелъ черезъ Герцена, не завладѣвши имъ всецѣло, и вопросы общественной жизни все-таки стояли на первомъ планѣ. Это мы видимъ въ обѣихъ вышеупомянутыхъ статьяхъ. При этомъ весьма замѣчательно то, что хотя обѣ статьи относятся къ одному году, но между ними находится такая разница въ тонѣ, духѣ и содержаніи, словно какъ-будто между ними годы разстоянія, и первую статью писалъ все тотъ же юноша, который намъ знакомъ въ статьѣ о Гофманѣ, между тѣмъ вторая написана человѣкомъ зрѣлымъ, много испытавшимъ и на многое озлобленнымъ. Очень можетъ быть, что это рѣзко бросающееся въ глаза различіе зависитъ отъ различія предметовъ въ обѣихъ статьяхъ. Первая статья посвящена воспоминаніямъ дѣтства и юности. Сентиментально-романтическій періодъ этого времени хотя и миновалъ для Герцена, но былъ такъ еще близокъ и свѣжъ въ его памяти, что, увлекшись воспоминаніями о немъ, онъ весь ушелъ въ него, снова, такъ-сказать, пережилъ его и заговорилъ даже его языкомъ. По крайней мѣрѣ вся статья исполнена свѣтлаго, радужнаго настроенія; это гимнъ юности, дружбѣ, любви, написанный столь же высокопарнымъ слогомъ, съ обильными восклицательными знаками и многоточіями, какой мы видѣли въ статьѣ о Гофманѣ. Другая статья («Еще изъ зап. молод. чел.») посвящена воспоминаніямъ о Вяткѣ, т. е. именно самому тяжелому времени въ жизни Герцена,—времени, которое быстро и радикально восторженнаго мечтателя превратило въ человѣка холоднаго и горькаго опыта, чуть не доведя его до запоя подъ тяжелымъ, давящимъ гнетомъ тюфяевской канцеляріи. Понятно, что тонъ воспоминаній объ этомъ періодѣ совершенно иной. Здѣсь и тѣни вы не увидите прежней восторженности. Напротивъ того, здѣсь впервые встрѣчаетесь вы съ той безпощадной ѣдкой ироніей, которая составляла отличительную черту многихъ произведеній Герцена.

Вся первая половина статьи, представляющая описаніе нравовъ и жизни жителей Малинова, исполнена этой ѣдкой, чисто-бѣрневской ироніи. Во второй половинѣ статьи Герценъ какъ-будто хочетъ отвести душу, остановившись, послѣ цѣлаго ряда свинообразныхъ личностей, на необыкновенномъ типѣ, рѣзко оттѣняющемъ собою всю окружающую его пошлость Онъ изображаетъ передъ нами глубокомыслящаго, развитого и много испытавшаго на своемъ вѣку Трензинскаго, случайно попавшаго въ окрестности Малинова устраивать имѣніе и улучшать бытъ крестьянъ, которыхъ онъ выигралъ у одного русскаго князя во время своего скитанія заграницей. Да не подумаетъ читатель, чтобы личность эта была дѣйствительно встрѣчена Герценомъ въ окрестностяхъ Вятки. Типъ этотъ былъ внушенъ Герцену воспоминаніемъ о Чаадаевѣ, какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ въ одномъ изъ своихъ воспоминаній; онъ наклепалъ на Малиновъ Трензинскаго и, не думая, не гадая, сдѣлалъ портретъ Чаадаева, даже наружность

взята съ него: «нѣжное, бѣлое, какъ мраморъ, лицо, сѣроголубоватые глаза, холодная улыбка, чело, какъ черепъ голый». Личность Трензинскаго дѣйствительно вышла въ статьѣ Герцена полусочиненной, полуисторической. Все присочиненное въ ней авторомъ крайне неестественно и ходульно. Вы видите передъ собой небывалаго героя, который, выигравши огромное имѣніе въ окрестностяхъ Вятки, сдѣлался однимъ изъ тѣхъ добродѣтельныхъ помѣщиковъ, вродѣ Костанжогло, типъ которыхъ нерѣдко впослѣдствіи появлялся въ нашей литературѣ съ легкой руки Гоголя. Но изъ-подъ этого Костанжогло передъ вами мелькаетъ иная личность, болѣе напоминающая вамъ что-то живое, хотя и прошлое: вы видите передъ собой типъ мыслящаго человѣка тридцатыхъ годовъ, и этотъ типъ дѣйствительно можетъ быть напоминаетъ собою Чаадаева, хотя рѣчи, которыя говоритъ Трензинскій, очевидно принадлежатъ не Чаадаеву, а самому Герцену. Въ этихъ рѣчахъ вы опять встрѣчаетесь съ тѣми мыслями объ отвлеченности и отсутствіи живыхъ интересовъ у германскихъ писателей, которыя мы видѣли въ статьѣ о Гофманѣ. Разница только въ томъ, что въ статьѣ о Гофманѣ мысли эти высказаны вскользь и мимоходомъ, здѣсь же, напротивъ того, онѣ стоятъ на первомъ планѣ, выражаются въ живыхъ образахъ, съ дагеротипной рѣзкостью и обрушиваются безъ церемоніи на главнаго представителя германскаго парнаса—Гёте.

Надо полагать, что недаромъ Герценъ такъ неожиданно обрушился въ концѣ статьи о Малиновѣ на германскихъ поэтовъ и на Гёте въ особенности. Въ это время кружокъ Станкевича развилъ до послѣдней крайности свои идеи въ духѣ гармоническаго примиренія и объективнаго созерцанія. «Московскій Наблюдатель» именно съ 1838 года поступилъ въ руки кружка, и Бѣлинскій въ томъ же году въ цѣломъ рядѣ статей разразился громами противъ французовъ, противъ Шиллера и возвеличеніями гётевской объективности и олимпійскаго безстрастія. Безъ сомнѣнія, нумера «Наблюдателя» попадали въ руки Герцена, и подъ впечатлѣніями статей Бѣлинскаго онъ написалъ окончаніе своего разсказа. По крайней мѣрѣ въ разговорахъ автора съ Трензинскимъ вы такъ и видите вліяніе духа, господствующаго въ статьяхъ Бѣлинскаго въ это время. Причемъ Герценъ сдѣлалъ здѣсь перемѣщеніе, самъ перескочивши въ Трензинскаго, а въ своемъ лицѣ, отъ котораго ведется весь разсказъ, изобразивши послѣдователя идей Бѣлинскаго.

Такимъ образомъ, когда авторъ замѣчаетъ Трензинскому, что вся задача жизни заключается въ томъ, чтобы стоять выше всѣхъ обстоятельствъ и ихъ покорить, чтобы внутренній міръ сдѣлать независимымъ отъ наружнаго, Трензинскій отвѣчаетъ ему на это, что это хорошо въ стихахъ и въ трактатахъ, а не на самомъ дѣлѣ и не для всѣхъ; что внутренняя полнота, особенно при экзальтаціи воображенія, можетъ сдѣлать человѣка совершенно независимымъ отъ всего внѣшняго, но это не для всѣхъ: для этого надобно имѣть можетъ быть слабонервныхъ родителей, вообще склонность къ сумасшествію, такъ какъ и сумасшествіе есть независимость отъ внѣшняго міра.

Но Герцену мало показалось сравнить доктрину кружка Станкевича съ сумасшествіемъ. Онъ захотѣлъ поразить московскихъ философовъ въ самое сердце, показавши все безобразіе олимпійской объективности въ лицѣ кумира ихъ, Гёте. Далѣе Трензинскій разсказываетъ свою встрѣчу съ Гете. Ему было 18 лѣтъ, когда онъ съ отцомъ путешествовалъ за-границей, и имъ пришлось выѣхать изъ Парижа въ самый разгаръ первой революціи. Съ трудомъ добрались они до границы и здѣсь, среди войскъ коалиціи, гибнущихъ отъ голода и грязи, на вечерѣ у владѣтельнаго князя, они встрѣтили Гёте. Довольно поздно онъ явился во фракѣ, съ гордымъ, важнымъ видомъ. Всѣ привѣтствовали его съ величайшимъ почтеніемъ, но его взоръ не былъ привѣтливъ, не вызывалъ дружбы, а благосклонно принималъ привычную дань вассальства. Каждый могъ чувствовать, что онъ не товарищъ ему. Князь предложилъ кресло возлѣ себя; онъ сѣлъ, сохраняя ту особенную Steifheit, которая въ крови у нѣмецкихъ аристократовъ. Послѣ важнаго разсказа Гёте о случайной встрѣчѣ съ королемъ, который принялъ его за герцога, потому что Гёте былъ въ герцогской каретѣ, *какъ всегда*—прибавилъ къ тому Гёте, — заговорили о политикѣ, и изъ устъ поэта полились высокомѣрныя, хвастливыя рѣчи, причемъ Гёте сравнивалъ революцію съ ордой гунновъ и высказалъ увѣренность, что нашъ Готфридъ образумитъ скоро ихъ, да и сами французы ему помогутъ. Но противъ Гете выступилъ сѣдой полковникъ, который 10 лѣтъ провелъ на бивуакахъ и въ лагеряхъ и зналъ политическія дѣла конечно ближе и лучше величественнаго олимпійца. Онъ сдѣлалъ ему цѣлый рядъ возраженій въ томъ родѣ, что неужели поэтъ думаетъ, что французы примутъ австрійцевъ съ распростертыми объятіями, когда всякій день показываетъ, какой свирѣпо-народный характеръ принимаетъ эта война, когда поселяне жгутъ свой хлѣбъ и свои дома для того, чтобы затруднить непріятеля? Возраженія свои полковникъ заключилъ энергически, сказавши, что онъ женѣ, матери, сестрѣ, еслибы онѣ у него были, не сказалъ-бы ни слова объ этой кампаніи, изъ которой нѣмцы принесутъ грязь на ногахъ и раны на спинѣ.

Гете понялъ, что ему не совладать съ такимъ соперникомъ, и почетно отступилъ, заявивши, что міръ политики ему совершенно чуждъ, что ему скучно, когда онъ слушаетъ о маршахъ и эволюціяхъ, о преніяхъ и мѣрахъ государственныхъ, что онъ не могъ никогда безъ скуки читать газетъ; все это что-то такое преходящее, временное, да и вовсе чуждое по самой сущности намъ, что есть другія области, въ которыхъ онъ себя понимаетъ царемъ: зачѣмъ-же онъ пойдетъ безъ призыва, дюжиннымъ резонеромъ, вмѣшиваться въ дѣла, возложенныя Провидѣніемъ на избранныхъ имъ нести бремя управленія? И что̀ ему за дѣло до того, что дѣлается въ этой сферѣ?

Слово «дюжинный резонеръ» попало въ цѣль: полковникъ сжалъ сигару такъ, что дымъ у нея пошелъ изъ двадцати мѣстъ, а впрочемъ довольно спокойно, но съ огненными глазами, сказалъ, что онъ простой человѣкъ, нигдѣ себя не чувствуетъ ни царемъ, ни геніемъ, а вездѣ остается человѣкомъ, съ дѣтства затвердя пословицу: «homo sum et nihil humanum a

me alienum puto», что наконецъ двѣ пули, пролетѣвшія сквозь его тѣло, подтверждаютъ его право вмѣшиваться въ тѣ дѣла, за которыя онъ платитъ своей кровью.

Гёте сдѣлалъ видъ, что не слышитъ словъ полковника, и, обращаясь къ сосѣдямъ, заявилъ, что и среди военнаго стана онъ такъ-же далекъ отъ политики, какъ въ веймарскомъ кабинетѣ, и что онъ занимается теоріей цвѣтовъ.

Но прошло нѣсколько лѣтъ. Трензинскій вмѣстѣ съ полковникомъ встрѣтили въ веймарскомъ театрѣ Гёте, который присутствовалъ на дебютѣ своей пьесы, какого-то политическаго фарса, и выслушалъ недовольство публики своей пьесой. Оказалось, что Гёте, толковавшій, что политика ниже его, самъ пустился въ памфлеты.

Этотъ разсказъ показываетъ намъ огромную начитанность Герцена и силу фантазіи, дававшую ему возможность, не бывши за-границей, не видавши жизни и нравовъ Европы своими собственными глазами, изображать съ такой живостью и дагеротипной полнотой сцены, подобныя вышеприведенной. Читая анекдотъ о Гёте, вы точно будто слушаете разсказъ очевидца этой сцены.

Тирады Трензинскаго замѣчательны еще тѣмъ, что онѣ могутъ дать хотя блѣдное представленіе о характерѣ споровъ, которые велъ Герценъ съ Бѣлинскимъ въ 1840 году. И въ томъ видѣ, въ какомъ являются передъ читателями возраженія Герцена въ устахъ Трензинскаго, въ нихъ достаточно соли. Но если взять во вниманіе, что въ живой, устной бесѣдѣ, не стѣсняемой никакими условіями печати, возраженія Герцена были вдесятеро прямѣе, рѣзче и безпощаднѣе, то понятно становится, что Бѣлинскій могъ быть доведенъ до такого крайняго нервнаго потрясенія, ярости и изнеможенія, которыя онъ обнаружилъ въ своемъ разговорѣ съ Панаевымъ.

Статья «Еще изъ записокъ молодого человѣка» была какъ-бы перчаткой, которую Герценъ намѣревался бросить друзьямъ Станкевича изъ своего далека. Напечатана эта статья была въ «Отечественныхъ Запискахъ», правда, тогда, когда Бѣлинскій самъ началъ уже колебаться въ своихъ московскихъ мнѣніяхъ, и такимъ образомъ она немного опоздала своимъ появленіемъ, явившись бомбою, упавшей на поле, очищенное непріятелемъ. Но тѣмъ не менѣе во всякомъ случаѣ она замѣчательна, какъ противоположный полюсъ, противовѣсъ относительно статей Бѣлинскаго въ «Московскомъ Наблюдателѣ», какъ первое заявленіе въ печати о выходѣ изъ мрака среднихъ вѣковъ отвлеченной схоластики и примирительнаго квіэтизма—на свѣжій воздухъ и свѣтъ.

X.

И такъ, мы видимъ, что 1841 и 42 годы были въ жизни Герцена періодомъ умственнаго переворота, въ который поколебались всѣ его философскія и моральныя убѣжденія. Можно себѣ представить, какая страшная ломка должна была произойти въ мозгу человѣка, который втеченіи двухъ лѣтъ изъ мистика преобразовался въ фейербахиста, пройдя черезъ всѣ лабиринты гегелевской философіи. Понятно, что этотъ быстрый внутренній переворотъ, потрясши всѣ умственныя силы Герцена, послужилъ для нихъ освѣжительной грозой и произвелъ въ нихъ такое сильное возбужденіе, какого онѣ до того времени не имѣли. Это и было причиной, что послѣ 1842 года началось дѣятельное участіе Герцена въ литературѣ. Прежде онъ писалъ мало и появленіе его статей въ журналахъ было рѣдкой случайностью. Мы не знаемъ даже, писалъ-ли что-либо Герценъ съ 1839 года по 42-й. Если что-либо и писалъ, то во всякомъ случаѣ не нашелъ годнымъ къ печати. Между тѣмъ послѣ 1842 года Герценъ разражается цѣлымъ рядомъ статей, непрерывно печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ», а потомъ въ «Современникѣ» до 1847 года включительно. Кромѣ возбужденія, бывшаго слѣдствіемъ вышеписаннаго переворота, плодовитости литературной дѣятельности Герцена въ эти 5 лѣтъ много способствовали и внѣшнія обстоятельства. Это было самое безоблачное время въ жизни Герцена. Онъ былъ свободенъ и спокоенъ. Жизнь его, устроившаяся въ Москвѣ въ концѣ 1842 года и продолжавшаяся пять лѣтъ, была очень изящна и носила особый характеръ новаго, дѣятельнаго совершеннолѣтія, характеръ возмужалости и силы. Судорожно натянутые нервы въ Петербургѣ и Новгородѣ отдали, и Герценъ снова былъ на болѣе русской почвѣ и въ кругу, совершенно сочувствующемъ.

Между тѣмъ кружокъ Герцена вполнѣ слился съ кружкомъ Бѣлинскаго, который, какъ мы увидимъ ниже, успѣлъ уже избавиться отъ своихъ теоретическихъ увлеченій и вступилъ въ самый цвѣтущій и благотворный періодъ своей дѣятельности. Къ соединившимся кружкамъ примкнулъ Грановскій и многіе другіе, болѣе юные, тогда только-что начинавшіе литературные дѣятели. Такимъ образомъ составился умственно-нравственный союзъ, который всталъ во главѣ нашей образованности того времени. Въ этомъ союзѣ вы не найдете особенно глубокой и строгой солидарности въ убѣжденіяхъ; одни опереживали другихъ въ этомъ отношеніи; у него не было никакой опредѣленной, реальной цѣли, которая связывала бы членовъ въ стремленіи къ осуществленію какого-нибудь задуманнаго предпріятія. Всѣхъ ихъ связывало одно: общая любовь къ наукѣ, къ эстетическимъ наслажденіямъ, общее стремленіе къ прогрессу и гуманности. Но болѣе всего смыкала ихъ въ тѣсный кружокъ та противоположность, какую представлялъ каждый изъ нихъ сравнительно съ глубокимъ мракомъ невѣжества, пошлости и рабства, какой царствовалъ повсюду вокругъ ихъ.

Въ этомъ-то кружкѣ и въ эти пять лѣтъ было сосредоточіе той завидной жизни, полной эстетическихъ наслажденій, философскихъ преній и утонченнаго, изящнаго эпикуреизма, жизни,—которую можно смѣло сравнить съ возлежаніями древнихъ эпикурейскихъ философовъ въ прохладѣ тѣнистыхъ садовъ и съ пиромъ во время чумы. Какъ Герценъ, такъ и Панаевъ съ особенной любовью останавливаются на этомъ времени въ своихъ воспоминаніяхъ, подробно описывая разныя встрѣчи, проводы, дачные farniente въ роскошныхъ, живописныхъ подмосковныхъ, какъ напримѣръ въ Соколовѣ, гдѣ и произошелъ разрывъ

Герцена съ Грановскимъ, во время лѣтняго обѣда въ саду, совершенно въ духѣ аттическихъ философовъ. Нѣтъ ничего мудренаго, что этотъ постоянный обмѣнъ мыслей, чувствъ и наслажденій не мало способствовалъ плодовитости литературной дѣятельности Герцена въ этотъ періодъ.

Всѣ сочиненія, написанныя Герценомъ съ 1842 до 1847 г., то-есть до времени отъѣзда его заграницу, можно раздѣлить на три разряда по своему содержанію. Одни посвящены разсмотрѣнію умственной дѣятельности человѣка, области знанія, таковы: «Диллетантизмъ въ наукѣ», «Диллетанты-романтики», «Цехъ ученыхъ», «Буддизмъ въ наукѣ», «Письма объ изученіи природы». Другія имѣютъ своимъ предметомъ область практической жизни, касаются вопросовъ морали, таковы: «По поводу одной драмы», «По разнымъ поводамъ», «Новыя варіаціи на старыя тэмы» (всѣ три статьи извѣстны подъ общимъ названіемъ «Капризы и раздумье»), «Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести», «Изъ сочиненій доктора Крупова». Наконецъ, въ третьихъ, преобладаетъ элементъ нравоописательный, анализъ общественныхъ отношеній, таковы: «Кто виноватъ?» «Сорока-воровка», «Москва и Петербургъ», «Новгородъ и Владиміръ», «Станція Едрово», «Прерванные разсказы». Обо всѣхъ трехъ разрядахъ мы скажемъ по нѣсколько словъ о каждомъ въ отдѣльности.

Сочиненія первыхъ двухъ категорій въ особенности отражаютъ въ себѣ переходный процессъ развитія, который Герценъ переживалъ со всѣми своими современниками. Они вполнѣ вызваны тѣми двумя годами, въ которые пережилъ Герценъ философскій переворотъ. Въ самомъ началѣ первой своей статьи, посвященной вопросу о знаніи, «Диллетантизмъ въ наукѣ», Герценъ дѣлаетъ характеристику своей эпохи. Характеристика эта тѣмъ болѣе имѣетъ цѣны, что въ ней въ каждой строкѣ слышится вамъ вопль человѣка, который самъ лично пережилъ то, о чемъ онъ говоритъ. По мнѣнію Герцена, эпоха его есть рубежъ двухъ міровъ, оттого—особая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убѣжденія, все прошедшее міросозерцаніе потрясены, но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще принести плоды; первые листы, почки пророчатъ могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ нѣтъ, и они чужды сердцу. Множество людей осталось безъ прошедшихъ убѣжденій и безъ настоящихъ. Другіе механически спутали дѣло того и другого и погрузились въ печальныя сумерки. Люди внѣшніе предаются въ такомъ случаѣ ежедневной суетѣ; люди созерцательные страдаютъ и во что бы ни стало ищутъ примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго камня нравственному бытію, человѣкъ не можетъ жить.

Сдѣлавши такое вступленіе, Герценъ приступаетъ къ своему философскому анализу, причемъ всѣ статьи первой категоріи представляются однимъ общимъ трактатомъ, въ которомъ онѣ играютъ роль отдѣльныхъ главъ, и хотя въ каждой говорится о какомъ-либо отдѣльномъ предметѣ, но всѣ онѣ имѣютъ тѣсную связь между собою, и для лучшаго уразумѣнія ихъ слѣдуетъ читать вмѣстѣ, одна за другой, въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ появлялись въ печати. Общій вопросъ, который Герценъ разрабатываетъ въ этомъ философскомъ трактатѣ, заключается въ анализѣ отношеній современниковъ Герцена въ наукѣ. Герценъ держится въ своемъ анализѣ гегелевской діалектики, но въ то-же время онъ гегеліанецъ-фейербахистъ, то-есть, принадлежитъ къ тому моменту гегелевской философіи, когда она, почти отрѣшившись отъ дуализма, пришла ко многимъ выводамъ, хотя и гадательнымъ, гипотетическимъ, но все-таки стоящимъ почти на реальной уже почвѣ.

Гегеліанцы-дуалисты и мистики, мирившіе философію съ преданіями, представляли себѣ возможность существованія безусловной идеи въ себѣ, прежде обнаруженія ея во внѣшній міръ; затѣмъ—учили они—явился внѣшній міръ, вслѣдствіе стремленія безусловной идеи опредѣлиться внѣ себя. Такимъ образомъ, внѣшній міръ явился антитезомъ безусловной идеи; онъ во всемъ противоположенъ ей: безусловная идея—безотносительна, безгранична, разумна; во внѣшнемъ мірѣ, наоборотъ, все случайно, относительно, ограничено, неразумно.

Слѣдуя философіи Фейербаха, Герценъ рѣшительно отвергъ возможность существованія идеи внѣ ея проявленія, предположивши, что такое раздѣленіе, невозможное въ дѣйствительности, имѣетъ мѣсто только въ человѣческомъ мышленіи. Диллетанты часто предлагаютъ въ различныхъ видахъ вопросъ: «какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое внѣшнее, а что оно было прежде существованія внѣшняго?» Но, по мнѣнію Герцена, наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе, какъ внутреннее и внѣшнее, можно разъять такъ, чтобы одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другого. Въ абстракціи, разумѣется, мы можемъ отдѣлить причину отъ дѣйствія, силу—отъ проявленія, субстанцію—отъ наружнаго. Но диллетантамъ не того хочется: имъ хочется *освободить* сущность, внутреннее такъ, чтобы можно было посмотрѣть на него; они хотятъ какого-то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внѣшнее; внутреннее, не имѣющее внѣшняго, просто—безразличное ничто. Жизнь жива, какъ все органическое живое, только какъ цѣлостность. При разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвыя абстракціи съ запахомъ трупа. Если хотите, и здѣсь есть еще слѣды дуализма въ томъ отношеніи, что все-таки допускается внѣшнее и внутреннее не по отношенію только къ субъекту, наблюдающему міръ, но какъ нѣчто дѣйствительно существующее въ вещахъ, то-есть, какъ будто вещи сами по себѣ имѣютъ наружную форму и внутреннее содержаніе, которое выражается въ этой внѣшней формѣ, но во всякомъ случаѣ и въ томъ былъ большой уже шагъ впередъ, что внутреннее и внѣшнее представляются здѣсь связанными въ одно безраздѣльное цѣлое. Такое представленіе возвышаетъ внѣшній міръ въ глазахъ мыслителя, вопреки всѣмъ ученіямъ, основаннымъ на преданіи: внѣшній міръ съ этой точки зрѣнія представляется уже не рядомъ относительныхъ, преходящихъ, неразумныхъ случайностей, служащихъ только для

противопоставленія безусловной идеѣ, въ которой будто кроется вся сущность бытія. Напротивъ того, связанный безраздѣльно съ своимъ внутреннимъ содержаніемъ, онъ самъ въ себѣ представляется исполненнымъ творческихъ силъ, обусловливающихъ бытіе, жизнь, прогрессъ. Прямой выводъ изъ такого представленія—апоѳеозъ природы и вѣнца ея творчества—человѣка.

По мнѣнію Герцена, человѣкъ не внѣ природы и только относительно противоположенъ ей, а не въ самомъ дѣлѣ; еслибы природа дѣйствительно противорѣчила разуму, все матеріальное было-бы нелѣпо, не цѣлесообразно. Мы привыкли человѣческій міръ отдѣлять каменной стѣной отъ міра природы—это несправедливо; въ дѣйствительности вообще нѣтъ никакихъ строго проведенныхъ межей и граней, къ великой горести всѣхъ систематиковъ; но въ этомъ случаѣ сверхъ того упускаютъ изъ виду, что человѣкъ имѣетъ свое міровое призваніе въ той-же самой природѣ, доканчиваетъ ее возведеніемъ въ мысль; они противоположны такъ, какъ полюсы магнита, или, лучше, какъ цвѣтокъ противоположенъ стеблю, какъ солома колосу. Все то, что̀ неразвито, чего недостаетъ природѣ, то есть, то развивается въ человѣкѣ: на чемъ-же можетъ основаться дѣйствительная противоположность ихъ? Это былъ-бы бой неравный и невозможный. Природа не имѣетъ силы надъ мыслью, а мысль есть сила человѣка; природа—какъ греческая статуя; вся внутренняя мощь ея, вся мысль ея—ея наружность; все, что̀ она могла собою выразить, выразила, предоставляя человѣку обнаружить то, чего она не могла; она относится къ нему, какъ необходимое предшествующее, какъ предположеніе (Voraussetzung); человѣкъ относится къ ней, какъ необходимое послѣдующее, какъ заключеніе (Schluss). Жизнь природы—безпрерывное развитіе, развитіе отвлеченнаго простого, неполнаго, стихійнаго—въ конкретное, полное, сложное, развитіе зародыша расчлененіемъ всего заключающагося въ его понятіи, и всегдашнее домогательство вести это развитіе до возможно-полнаго соотвѣтствія формы содержанію—это діалектика физическаго міра. Всѣ стремленія и усилія природы завершаются человѣкомъ; къ нему они стремятся, въ него впадаютъ они, какъ въ океанъ.

Съ этой точки зрѣнія гегелевская діалектика служила Герцену вовсе не для того, чтобы мирить философію съ преданіемъ, и не для того, чтобы, созерцая дисгармонію различныхъ противорѣчій въ жизни, находить ихъ примиреніе въ абстрактномъ мышленіи. Для него недостаточно было снятія этихъ противорѣчій въ умѣ философа; онъ вѣрилъ, что сама жизнь, независимо отъ мышленія, миритъ противорѣчія и снимаетъ ихъ въ своемъ прогрессивномъ процессѣ; въ этомъ онъ видѣлъ всю ея сущность, все то, что̀ онъ называлъ цѣлесообразностью природы. Это была его вѣра, тотъ рай, въ который онъ уповалъ, въ которомъ видѣлъ выходъ изъ того мрака безъисходныхъ противорѣчій и рефлексій, въ которыхъ путались всѣ его современники, и который именно онъ и называлъ сумерками, Grübeln.

На этой вѣрѣ въ снятіе противорѣчій процессомъ самой жизни и основывается весь философскій анализъ Герцена. Люди не понимаютъ науки, относятся къ ней ложно, не находятъ въ ней примиренія, какое она можетъ дать, потому что они раздвоились, по мнѣнію Герцена: съ одной стороны ему представляется масса диллетантовъ и романтиковъ, съ другой—цехъ записныхъ спеціалистовъ и буддистовъ въ наукѣ. По этимъ четыремъ категоріямъ расположены и статьи Герцена, причемъ каждой категоріи посвящается особенная статья. Диллетанты и романтики не находятъ примиренія въ наукѣ, проклинаютъ ее; спеціалисты и буддисты, напротивъ того, находятъ ложное примиреніе въ ея буквѣ, не проникая въ ея сущность, не вно̀ся ея въ жизнь.

Диллетанты смотрятъ въ телескопъ: отъ того видятъ только тѣ предметы, которые по меньшей мѣрѣ далеки, какъ луна отъ земли, а земного и близкаго ничего не видятъ. Ученые смотрятъ въ микроскопъ и потому не могутъ видѣть ничего большого; для того чтобы быть ими замѣченнымъ, надобно быть незамѣтнымъ человѣческому глазу; для нихъ существуетъ не кристальный ручей, а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Диллетантъ занимается всѣмъ sciibila, да еще сверхъ того тѣмъ, чего знать нельзя, т.-е. мистицизмомъ, магнитизмомъ, физіогномикой, гомеопатіей, гидропатіей и пр. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя одной главѣ, отдѣльной вѣтви какой-нибудь спеціальной науки и, кромѣ ея, ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Расплываясь въ морѣ частностей и детальныхъ крупицъ знанія, цеховые ученые въ то-же время валомъ отдѣлены отъ жизни. Между тѣмъ какъ массы дѣйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ,—ученые являются послѣ разсуждать о происшествіи.

Изливши цѣлый потокъ иронія на диллетантовъ и цеховыхъ спеціалистовъ, Герценъ, вѣрный гегелевской методѣ, въ заключеніи приступаетъ къ вопросу о томъ, когда же будетъ конецъ этому раздвоенію и въ чемъ онъ будетъ заключаться. Главное, что̀ дѣлаетъ науку *ученыхъ* трудной и запутанной, это метафизическія бредни и тьма-тьмущая спеціальностей, на изученіе которыхъ посвящается цѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукѣ необходимо улетучивается то и другое, и остается стройный организмъ, разумный и оттого *просто понятный*. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдѣльныхъ отраслей науки, которая очень справедливо останется въ рукахъ спеціалистовъ, но не въ ней дѣло. Наука въ высшемъ смыслѣ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Нѣтъ мысли, которую нельзя было-бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи.

Въ статьѣ «Буддизмъ въ наукѣ» Герценъ изливаетъ свою иронію на ученыхъ формалистовъ, вродѣ того доктора, вмѣстѣ съ которымъ онъ велъ философскія пренія въ Новгородѣ съ мистической генеральшей, какъ мы видѣли выше; съ другой стороны—на отвлеченныхъ философовъ-примирителей, вродѣ московскаго кружка Бѣлинскаго. Буддисты науки, по мнѣнію Герцена,—это люди, которые, такъ или сякъ поднявшись въ сферу всеобщаго, изъ

нея не выходятъ. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обширную храмину, въ которой дѣлать нечего, а почетно, на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдѣ надобно работать, а иногда погибнуть. Вина буддистовъ состоитъ въ томъ, что они не чувствуютъ потребности этого выхода въ жизнь—дѣйствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимаютъ за *всяческое* примиреніе, не за поводъ къ дѣйствованію, а за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не расти за переплетомъ книги. Они все снесутъ за пустоту всеобщности... Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объяснено, сознано, и человѣчество достигло *абсолютной* формы бытія, что̀ доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественной эпохѣ, но какъ ея результатъ, то-есть по совершеніи бытія. Для нихъ такое доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутишь, они пренебрегаютъ ими. Спросите ихъ, отчего при этой абсолютной формѣ бытія въ Манчестерѣ и Бирмингамѣ работники мрутъ съ голоду и прокармливаются настолько, насколько нужно, чтобы они не потеряли силъ? Они скажутъ, это—случайность.

Такимъ образомъ, по мнѣнію Герцена, вся односторонность подобнаго рода буддистовъ науки заключается въ томъ, что они ограничиваются примиреніемъ въ отвлеченной сферѣ мышленія, не внося его въ жизнь, тогда какъ истинный процессъ идеи есть въ то-же время процессъ жизни, а не одной мысли. Изъ такого положенія самъ собою слѣдуетъ выходъ изъ односторонности буддистовъ—это выходъ въ жизнь, въ дѣятельность.

Въ то время какъ всѣ разобранныя нами статьи разсматриваютъ различныя отношенія людей къ наукѣ, «Письма объ изученіи природы» имѣютъ дѣло съ самою наукой; здѣсь Герценъ предаетъ такому-же философскому анализу различные методы знанія. Онъ видитъ здѣсь такое-же раздвоеніе, ведущее къ односторонности и сбивающее ученыхъ и философовъ съ пути истиннаго знанія. Раздвоеніе это заключается, по мнѣнію Герцена, въ томъ непримиримомъ антагонизмѣ, который нѣсколько столѣтій уже продолжается между естествовѣдѣніемъ и философіей, эмпириками и идеалистами. Философія съ своей стороны и естествознаніе съ своей, оба заявляютъ странное притязаніе на обладаніе, если не всей истиной, то единственно истиннымъ путемъ къ ней. Одна проницала тайны съ какой-то недосягаемой высоты, другое смиренно покорялось опыту и не шло далѣе; другъ къ другу они питали ненависть, они выросли на взаимномъ недовѣріи; много предразсудковъ укоренилось съ той и съ другой стороны; столько горькихъ словъ пало, что, при всемъ желаніи, онѣ не могутъ примириться до сихъ поръ. Философія и естествовѣдѣніе отстращиваютъ другъ друга тѣнями и привидѣніями, наводящими въ самомъ дѣлѣ страхъ и уныніе. Давно-ли философія перестала увѣрять, что она какими-то заклинаніями можетъ вызвать сущность, отрѣшенную отъ бытія? всеобщее, существующее безъ частнаго? безконечное, предшествующее конечному? и проч. Положительныя науки имѣютъ свои маленькія привидѣньица: это силы, отвлеченныя отъ дѣйствія, свойства, принятыя за самый предметъ, и вообще разные кумиры, сотворенные изъ всякаго понятія, которое еще не понято: exempli gratia—жизненная сила, эоиръ, теплотворъ, электрическая матерія и проч. Все было сдѣлано, чтобы не понять другъ друга, и они вполнѣ достигли этого. Выходъ изъ этой раздвоенности, по мнѣнію Герцена, представляется естественно самъ собою: такъ какъ эмпирія и спекуляція несостоятельны именно вслѣдствіе своей разъединенности, то въ соединеніи ихъ и заключается истинный методъ знанія. Безъ эмпиріи нѣтъ науки, такъ какъ нѣтъ ея и въ одностороннемъ эмпиризмѣ. Опытъ и умозрѣніе—двѣ необходимыя, истинныя, дѣйствительныя степени одного и того-же знанія; спекуляція—больше ничего, какъ высшее развитіе эмпиріи; взятыя въ противоположности исключительно и отвлеченно, онѣ также не приведутъ къ дѣлу, какъ анализъ безъ синтеза, или синтезъ безъ анализа. Правильно развиваясь, эмпирія непремѣнно должна перейти въ спекуляцію, и только то умозрѣніе не будетъ пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытѣ. Опытъ есть хронологически первое въ дѣлѣ знанія, но онъ имѣетъ свои предѣлы, далѣе которыхъ онъ или сбивается съ дороги, или переходитъ въ умозрѣніе. Это два магдебургскія полушарія, которыя ищутъ другъ друга и которыхъ, послѣ встрѣчи, лошадьми не разорвешь.

Вотъ идеи, которыя Герценъ положилъ въ основаніе своихъ «Писемъ», и для подтвержденія этихъ идей онъ изложилъ цѣлую исторію философіи, начиная съ древней и кончая новѣйшей. Всѣ эти идеи, равно какъ и тѣ, которыя мы привели въ нашихъ извлеченіяхъ изъ другихъ философскихъ статей Герцена, конечно покажутся читателямъ не новыми, давно уже вошедшими во всеобщее употребленіе и неподлежащими никакому спору. Но пусть вспомнятъ только читатели, какія душевныя муки испытывалъ Грановскій, приступая къ изученію исторіи и не зная, по какому пути ему идти: сдѣлаться ли цеховымъ спеціалистомъ, потонуть въ морѣ мелочныхъ фактовъ, при страшномъ обиліи матеріаловъ, разработанныхъ нѣмецкой наукой, или, наоборотъ, расплыться въ облакахъ общихъ отвлеченныхъ умозрѣній и сдѣлаться диллетантомъ науки. Вспомните, съ другой стороны, въ какой печальный буддизмъ ударился Бѣлинскій, вспомните наконецъ о томъ, что уже въ пятидесятыхъ годахъ Грановскій продолжалъ лелѣять милые призраки и сѣтовалъ о печальной положительности XIX вѣка, въ которой ему мерещилось паденіе нравственности, прекращеніе великихъ подвиговъ самоотверженія и пр. Читатели поймутъ, что всѣ эти статьи Герцена въ свое время были откровеніями, которыя переворачивали все въ головѣ каждаго мало-мальски свѣжаго человѣка и освѣщали ему новый путь—путь положительнаго знанія. Для отвлеченныхъ философовъ-примирителей, формалистовъ и диллетантовъ, останавливавшихся на полдорогѣ со своими вопросами о началѣ началъ и сѣтованіями на науку, что она не можетъ отвѣчать на подобные вопросы, каждая статья Герцена была тѣмъ чувствительнѣйшимъ ударомъ, что онъ билъ ихъ на основаніи того же самаго Гегеля,

изъ котораго всѣ эти люди выводили свои односторонніе доктрины. Можно даже сказать, что гегелевскую діалектику Герценъ нарочно примѣнилъ съ возможной строгостью въ видѣ оружія, чтобы бить отвлеченныхъ мыслителей, романтиковъ и диллетантовъ ихъ же любимой системой. Особенное же значеніе въ развитіи русской мысли безспорно занимаютъ «Письма объ изученіи природы». Съ появленіемъ этихъ писемъ и начало развиваться въ нашемъ обществѣ то стремленіе къ изученію естественныхъ наукъ, которое съ шестидесятыхъ годовъ сдѣлалось, какъ извѣстно, такой же всеобщей модой, какой было увлеченіе философіей въ сороковые годы.

XI.

Ко второй категоріи относятся сочиненія, имѣющія предметомъ область практической дѣятельности человѣка — мораль. Въ этихъ сочиненіяхъ еще болѣе отражаются тѣ муки сомнѣній и рефлексій, которыя пережилъ Герценъ во время своего переходнаго состоянія. Въ началѣ перваго сочиненія этой категоріи Герценъ дѣлаетъ характеристику своей эпохи, подобную той, какую онъ сдѣлалъ въ началѣ своихъ сочиненій первой категоріи; только тамъ онъ говоритъ объ отношеніяхъ своихъ современниковъ къ наукѣ, здѣсь онъ имѣетъ дѣло съ отношеніемъ ихъ къ нравственности, практической дѣятельности. Отличительная черта эпохи, по мнѣнію Герцена, есть Grübeln. Мы не хотимъ шага сдѣлать, не выразумѣвъ его, мы безпрестанно останавливаемся, какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ. Некогда дѣйствовать; мы переживываемъ безпрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и съ другими — ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее насъ подверглось испытующему взгляду критики. Это болѣзнь промежуточныхъ эпохъ. Встарь было не такъ: всѣ отношенія, близкія и дальнія, семейныя и общественныя,—были опредѣлены. Оттого много думать было нечего: стоило сообразоваться съ положительнымъ закономъ, и совѣсть удовлетворялась... На всѣхъ перепутьяхъ жизни стояли тогда разныя неподвижныя, грозныя привидѣнія для указанія дороги, и люди покорно шли по ихъ указанію... Ко всему привязывающійся, сварливый вѣкъ нашъ, шатая и раскачивая все, что̀ попадалось подъ руку, добрался наконецъ и до этихъ призраковъ, подточилъ ихъ основаніе, сжегъ огнемъ критики, и они улетучились, исчезли. Стало просторно; но просторъ даромъ не достается; люди увидѣли, что вся отвѣтственность, падавшая *внѣ ихъ*, падаетъ *на нихъ*; имъ самимъ пришлось смотрѣть за всѣмъ и занять мѣста привидѣній; упреки стали злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно, пришлось проводить сквозь горнило сознанія статью за статьей прежняго кодекса; а пока этого не сдѣлано—начались Grübeln. Ясное, какъ дважды два—четыре дѣтямъ, исполнилось мучительной трудности для современниковъ нашихъ. Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ васъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы, и, вмѣсто того чтобъ наслаждаться жизнью, — мы мучаемся.

Подобныя идеи показываютъ ясно предметъ анализа сочиненій этой категоріи. Здѣсь Герценъ имѣетъ дѣло съ несостоятельностью рутинной морали, основанной на преданіяхъ, предразсудкахъ, привычкахъ, укоренившихся вѣками, стоящей въ совершеніомъ противорѣчіи съ практической жизнью. Въ практической дѣятельности людей Герценъ видитъ тотъ же неизмѣнный процессъ діалектическаго развитія идей, какой онъ замѣчаетъ повсюду. Люди дѣлаютъ ошибки, промахи, впадаютъ въ пороки и преступленія, или, напротивъ, совершаютъ подвиги добродѣтели и геройства, не вслѣдствіе какихъ-либо постороннихъ предписаній, которымъ они слѣдуютъ или не слѣдуютъ по своей волѣ, а по независящимъ отъ нихъ законамъ діалектическаго развитія жизни. Поэтому вмѣсто того, чтобы приступать къ анализу дѣятельности людей съ судейской мѣркой, т.-е. съ цѣлью обвинять или оправдывать, гораздо благоразумнѣе изслѣдовать причины паденій и несчастій людей, лежащія въ общихъ законахъ жизни.

Такъ Герценъ и дѣлаетъ въ своей статьѣ «По поводу одной драмы». Статья эта замѣчательна тѣмъ, что она служитъ основой, такъ сказать, тэмой извѣстнаго романа Герцена «Кто виноватъ?». Романъ представляетъ болѣе полное развитіе и художественное воспроизведеніе тѣхъ самыхъ идей, которыя мы встрѣчаемъ въ этой статьѣ. Разница между статьей и романомъ заключается въ томъ, что въ романѣ на первомъ планѣ стоитъ женщина, Круциферская, которой пришлось выйти замужъ за одного а потомъ полюбить другого; въ статьѣ такую роль играетъ мужчина, Эмиль.

Послѣ романа «Кто виноватъ?» наша литература неоднократно прибѣгала къ подобному сюжету. Не говоря уже о романахъ Авдѣева, которые всѣ построены на немъ, о «Полинькѣ Сакс» Дружинина, во многихъ романахъ Тургенева, Гончарова, Писемскаго этотъ сюжетъ повторяется въ томъ или другомъ видѣ. При всемъ этомъ надо различать два рода отношеній къ подобному сюжету, не имѣющія между собою ничего общаго. Такъ напримѣръ, въ одномъ изъ новѣйшихъ и наиболѣе выдающихся романовъ съ подобнымъ сюжетомъ авторъ на первый планъ ставитъ эмансипацію женщины по отношенію къ свободѣ чувства; онъ заранѣе предполагаетъ, что брачныя оковы, если только это не оковы взаимнаго чувства, безсмыслены, что женщина имѣетъ такія же права на свободу чувства, какъ и мужчина; что поэтому заставлять женщину насильно исполнять супружескія обязанности, подавлять свои чувства, быть вѣрной изъподъ палки, ревновать ее — дико, негуманно и ни къ чему не ведетъ, а что лучше всего полюбовно разойтись и предоставить дѣло развитію обстоятельствъ и свободному проявленію чувствъ. Совершенно иного рода представляется отношеніе къ тому же вопросу въ романѣ «Кто виноватъ?», и смѣшивать его съ вышеприведеннымъ современнымъ романомъ съ такимъ же сюжетомъ отнюдь не слѣдуетъ. Самое заглавіе романа показываетъ, что это вовсе не пропаганда сознанныхъ убѣжденій, а вопросъ, рефлексія. Романъ вовсе не имѣетъ цѣлью показать вамъ, какъ нужно поступать въ случаѣ, если ваша жена полюбитъ другого или сами вы ей измѣните: цѣль его —

изслѣдовать причины, вслѣдствіе которыхъ происходятъ подобныя явленія, и показать вамъ, что, какъ бы мораль ни относилась къ этимъ измѣнамъ и сколько бы мученій они не причиняли людямъ, они неизбѣжны въ томъ случаѣ, если нарушается правильный ходъ діалектическаго развитія жизни. Такая постановка вопроса прямо зависитъ отъ того рефлективнаго переходнаго періода, въ который написанъ романъ. Въ этотъ періодъ людей занималъ не столько вопросъ о томъ, какъ устраивать жизнь на какихъ-нибудь новыхъ основаніяхъ, сколько разочарованіе во всѣхъ старыхъ основахъ, убійственная, разлагающая критика всѣхъ противорѣчій, которыя впервые представлялись людямъ въ ихъ жизненныхъ отношеніяхъ.

Съ цѣлью этой критики, какъ въ статьѣ, такъ и въ романѣ, Герценъ выставляетъ на сцену людей, изъ которыхъ ни къ одному вы не придеретесь: всѣ они одинаково добрые, гуманные, всѣ они любятъ другъ друга и искренно желаютъ осчастливить одинъ другого. А между тѣмъ въ концѣ-концовъ всѣ они дѣлаютъ другъ друга несчастными. Кто-же изъ нихъ виноватъ въ этомъ? Пошлая мораль конечно не замедлитъ обвинить ихъ: зачѣмъ они отдались своимъ страстямъ, зачѣмъ они не вооружились сентенціей, что долгъ прежде всего, и не подавили своихъ чувствъ! Но развѣ они не дѣлали этого? развѣ они напрашивались на чувства? Мы видимъ, что въ обоихъ случаяхъ они только тогда сознали свои взаимныя отношенія, когда зло совершилось и воротить прежняго уже было нельзя, чувства не вычеркнешь изъ сердца однимъ взмахомъ пера, а подавленіе его, когда оно уже развилось, не могло загладить несчастія: для Круциферскаго и для Генріэты счастье жизни заключалось въ безраздѣльной любви къ нимъ дорогихъ существъ; но разъ они сознали возможность со стороны этихъ существъ посторонней любви, жизнь ихъ отравлена во всякомъ случаѣ, какъ бы дорогія имъ существа ни поступили. Такимъ образомъ ни пошлая ходячая мораль, ни схоластическій формализмъ, видящій въ бракѣ мертвую форму, осуществленіе идеи брака ради самаго брака, что-бы ни скрывалось подъ этой формой, не въ состояніи ничего подѣлать въ подобнаго рода происшествіяхъ и оказываются одинаково несостоятельны въ своихъ приговорахъ. А между тѣмъ вина, произведшая катастрофу, существуетъ, только искать ее слѣдуетъ не въ личностяхъ, не въ ихъ произволѣ, а въ тѣхъ діалектическихъ противорѣчіяхъ въ жизни, въ снятіи и примиреніи которыхъ только и заключается разумное и прочное счастье людей. Дѣло въ томъ, что человѣческая жизнь слагается изъ двухъ противоположныхъ элементовъ — частнаго и общественнаго. Общество и семья, по мнѣнію Герцена, это — тезъ и антитезъ, и только при соединеніи этихъ элементовъ въ разумный синтезъ возможно счастье, независимое ни отъ какихъ случайностей. Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство всеобщему, но раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать столько-же для рода, сколько для себя,—словомъ, развить эгоистическое сердце во всѣхскорбящее, обобщить его разумомъ и въ свою очередь оживить имъ разумъ... Человѣкъ безъ сердца—какая-то безстрастная машина мышленія, не имѣющая ни семьи, ни друга, ни родства; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія, изъ него пробѣгаетъ по жиламъ струя огня всесогрѣвающаго и живительнаго; имъ живое сотрясается въ наслажденіи, радо себѣ. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преображается, теряя свою дикую, судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ расширенія интересовъ уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Въ самомъ колебаніи между двумя мірами — личности и всеобщаго — есть непреодолимая прелесть; человѣкъ чувствуетъ себя живою, сознательною связью этихъ міровъ, и, теряясь, такъ сказать, въ свѣтломъ эонрѣ одного, онъ хранитъ себя и слезами, и восторгами, и всей страстностью другого. Человѣческая жизнь—трудная статистическая задача; безчисленныя противоположности, множество борющихся элементовъ ринуты въ одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, безпрестанно усложняется; проще всего камень, зато и жизнь его состоитъ въ одномъ мертвомъ, косномъ покоѣ. Человѣкъ не можетъ отказаться безнаказанно отъ участія во всѣхъ обителяхъ, въ которыя онъ призванъ своимъ временемъ. Человѣкъ развившійся равно не можетъ ни исключительно жить семейной жизнью, ни отказаться отъ нея въ пользу всеобщихъ интересовъ...

Если при подобномъ синтезѣ семейной и общественной жизни только и возможно истинное, разумное счастье человѣка, то съ другой стороны отсутствіе этого совпаденія, исключительный перевѣсъ одного элемента, дѣлаетъ жизнь односторонней, исполненной всевозможныхъ колебаній, случайностей, построенной на огнедышащей горѣ. Въ этомъ и надо искать главную причину катастрофы, случившейся съ героями драмы.

Закулисная вина несчастія этихъ людей, по мнѣнію Герцена,—тѣснота и неестественная для человѣка жизнь праздности; преступное отчужденіе отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человѣческому внѣ ихъ тѣснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Другихъ винъ не ищите, вотъ больное мѣсто! Еслибы въ нихъ было развито *живое* религіозное чувство, еслибы *человѣчность* ихъ не ограничивалась первой ступенью, т. е. семейной жизнью,—катастрофы этой конечно не было бы. Еслибы Эмиль, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей, имѣлъ симпатію къ современности, любовь къ родинѣ, къ искусству, къ наукѣ, остался ли бы онъ, сложа руки, въ ничтожной праздности, истощая силы души на противодѣйствіе несчастной любви? Можетъ быть эта любовь и посѣтила бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ женой, потому что онъ былъ бы сильнѣе ея той стороной бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, ихъ жизнь была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула.

Подобное поставленіе необходимости совпаденія семейнаго и общественнаго элемента для прочности

счастья логически приводитъ Герцена къ женскому вопросу, только здѣсь вопросъ этотъ является вовсе не по отношенію къ свободѣ чувства отъ брачныхъ узъ, а въ болѣе общей, философской сферѣ. Герцену представляется здѣсь то противорѣчіе, что въ дѣйствительности міръ всеобщихъ интересовъ, жизнь общественная, художественная, сціентифическая существуетъ только для мужчины; а у бѣдной женщины ничего нѣтъ, кромѣ ея семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцемъ; ея міръ ограниченъ спальней и кухней... Но, по мнѣнію Герцена, на женщинѣ лежатъ великія семейныя обязанности относительно мужа—тѣ же самыя, которыя мужъ имѣетъ къ ней, а званіе матери поднимаетъ ее надъ мужемъ, и тутъ то женщина во всемъ ея торжествѣ: женщина—больше мать, чѣмъ мужчина отецъ; дѣло начальнаго воспитанія есть дѣло общественное, дѣло величайшей важности, а оно принадлежитъ матери. Можетъ ли это воспитаніе быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему римляне такъ уважали Корнелію, мать Гракховъ?.. Во-вторыхъ, ея семейное призваніе никоимъ образомъ не мѣшаетъ ея общественному призванію. Міръ религіи, искусства, всеобщаго—точно такъ-же раскрытъ женщинѣ, какъ намъ, съ той разницей, что она во все вноситъ свою грацію, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся исторія Италіи не совершилась ли подъ безпрерывнымъ вліяніемъ женщинъ? Не доказали ли онѣ мощь геніальности своей на престолѣ, какъ Екатерина II, и на плахѣ, какъ Роланъ? Нужны ли доказательства людямъ, которые своими глазами видѣли Сталь, Рашель, Беттину и теперь еще видятъ исполинскій талантъ геніальной женщины?

Такая постановка женскаго вопроса значительно отличается отъ постановки того же вопроса въ наше время. Здѣсь вы не найдете того анализа экономическаго, гражданскаго и политическаго положенія женщины, который стоитъ въ настоящее время на первомъ планѣ. Вопросъ ставится здѣсь на философскую почву и не идетъ далѣе теоретическихъ доказательствъ равенства женщины съ мужчиной. Это, такъ сказать, азбука женскаго вопроса. Но и подобная азбука была новизной для современниковъ Герцена, особенно если мы вспомнимъ, что̀ говорили по поводу этого вопроса такіе передовые дѣятели, какъ Бѣлинскій и Грановскій.

Въ романѣ Герцена «Кто виноватъ?» основная идея, какъ я сказалъ уже выше, та же, что̀ и въ статьѣ «По поводу одной драмы», но въ романѣ эта идея выражена гораздо полнѣе и всестороннѣе. Въ статьѣ всѣ дѣйствующія лица драмы развиты въ одну сторону—исключительно семейнаго элемента; въ романѣ Герценъ сдѣлалъ попытку представить рядомъ двѣ противоположности: Бельтовъ и Круциферскій—это тезъ и антитезъ. Въ то время, какъ Круциферскій весь ушелъ въ семейную жизнь, въ Бельтовѣ вы видите, напротивъ того, полнѣйшій выходъ изъ этой жизни въ сферу общественную, всеобщую. На типъ Бельтова многіе смотрѣли прежде, смотрятъ и теперь, какъ на типъ неудавшійся, невыдержанный. Бѣлинскій ставитъ на первый планъ эту невыдержанность. Въ первой части онъ видитъ въ Бельтовѣ лишеннаго всякой практичности, испорченнаго богатствомъ барича, богатая, многосторонняя натура котораго не имѣла никакого корня, который скользилъ по всему, не имѣя ни къ чему особеннаго призванія, не въ силахъ будучи ни въ чемъ сосредоточить своихъ силъ. «По въ послѣдней части романа—говоритъ Бѣлинскій—Бельтовъ вдругъ является передъ нами какой то высшей, геніальной натурой, для дѣятельности которой дѣйствительность не представляетъ достойнаго поприща. Это уже совсѣмъ не тотъ человѣкъ, съ которымъ мы такъ хорошо познакомились прежде; это уже совсѣмъ не Бельтовъ, а что то вродѣ Печорина. Разумѣется, прежній Бельтовъ былъ гораздо лучше, какъ всякій человѣкъ, играющій свою собственную роль. Сходство съ Печоринымъ для него крайне невыгодно. Не понимаемъ, зачѣмъ автору нужно было съ своей дороги сойти на чужую!..»

Если смотрѣть на романъ съ исключительно художественной стороны, то дѣйствительно типъ Бельтова является невыдержаннымъ: инымъ во второй части, чѣмъ въ первой, и въ первой естественнѣе, чѣмъ въ послѣдней. Но это зависитъ оттого, что самъ Герценъ во второй части является совсѣмъ инымъ, чѣмъ въ первой. Въ первой части онъ художникъ-нравоописатель, онъ рисуетъ вамъ жизнь, окружающую его, въ такомъ видѣ, какъ она представлялась его глазамъ, и Бельтовъ является передъ вами однимъ изъ типовъ этой жизни, однимъ изъ тѣхъ Бельтовыхъ, которымъ не было числа въ сороковые года. Во второй же части изъ простого разсказчика Герценъ дѣлается философомъ. Ко всѣмъ своимъ типамъ онъ подходитъ съ отвлеченной точки зрѣнія; изъ живыхъ людей онъ преображаетъ ихъ въ философскія категоріи. Поэтому и Круциферскій, и Бельтовъ являются совершенно иными. Подобное превращеніе является искусственнымъ и условнымъ въ той же степени, какъ условны выраженія различныхъ реальныхъ величинъ алгебраическими буквами X или Y. Реальный Круциферскій самъ по себѣ представляется вовсе не исключительнымъ самцомъ, для котораго ничего не существуетъ, кромѣ семьи: учительство вовсе не семейное, а чисто общественное дѣло; Круциферскій же является передъ нами хорошимъ учителемъ, увлеченнымъ своимъ призваніемъ. Бельтовъ въ свою очередь—вовсе не человѣкъ, исключительно ушедшій въ сферу всеобщаго; онъ—просто праздношатающійся хлыщъ, и ужъ если сравнивать, кто живѣе, положительнѣе и съ болѣе полезными результатами увлекается общественнымъ дѣломъ, то преимущество вы отдадите скорѣе Круциферскому, чѣмъ Бельтову. Это была ошибка Герцена, что онъ для своихъ философскихъ категорій взялъ изъ дѣйствительности не вполнѣ соотвѣтствующіе типы. Но если вы оставите въ сторонѣ анализъ этихъ типовъ со стороны реальнаго соотвѣтствія ихъ выражаемымъ категоріямъ; если вы скажете: каковы бы ни были Бельтовъ и Круциферскій передъ нами, но положимъ, что Бельтовъ служитъ намъ выраженіемъ человѣка безъ семейнаго элемента, а Круциферскій—олицетвореніемъ самца (вѣдь вы-же дѣлаете иногда подобныя превращенія, говоря напримѣръ, что, положимъ, книга эта будетъ означать французскую армію, другая книга—нѣмецкую, вотъ эта пе-

сочница будетъ Седаномъ, чернильница—Парижемъ и пр.), въ такомъ случаѣ останется передъ вами философское развитіе сюжета, которое и составляетъ сущность романа, его силу, его главное достоинство. Имѣя въ виду эту философскую сторону романа, мы и замѣтили, что, совпадая со статьей «По поводу одной драмы», романъ гораздо шире развилъ ту же философскую идею. Это философское развитіе идеи, такъ сказать, спасло романъ, выручило всѣ его художественные недостатки, заставило забыть о нихъ. Читающая публика была глубоко потрясена новой постановкой семейной морали въ этомъ романѣ. Можно сказать, что съ него начался тотъ анализъ семейныхъ отношеній, который мы видимъ во всѣхъ романахъ и повѣстяхъ, которые печатались въ пятидесятыхъ годахъ въ нашихъ журналахъ. Безъ сомнѣнія, не малое вліяніе оказывала здѣсь Жоржъ Зандъ, которая была любимѣйшей писательницей людей 40-хъ годовъ.

За статьей «По поводу одной драмы» слѣдуетъ во второй категоріи цѣлый рядъ мелкихъ статей, связанныхъ двумя общими заглавіями: «По разнымъ поводамъ» и «Новыя варіаціи на старыя тэмы». Статьи эти не имѣютъ такого систематическаго философскаго развитія, какъ всѣ вышеразобранныя; это рядъ отдѣльныхъ мыслей, замѣчаній, рефлексій, совершенно справедливо названныхъ: «Капризы и раздумье». Вся общепринятая, рутинная мораль представляется вамъ въ этихъ «Капризахъ» наизнанку, и Герценъ разбиваетъ положеніе за положеніемъ этой морали, показывая всю пропасть противорѣчій, которыми полна жизнь и понятія людей. Люди, напримѣръ, съ троянской войны толкуютъ о нравственной независимости, о стремленіи къ ней, о ея достоинствахъ и прелестяхъ, между тѣмъ на дѣлѣ оказываются несравненно болѣе привязанными къ авторитетамъ, внѣшнимъ велѣніямъ, къ указаніямъ, нежели къ нравственной свободѣ. И очень понятно, почему это происходитъ: внѣшній авторитетъ несравненно удобнѣе: человѣкъ сдѣлалъ скверный поступокъ—его пожурили, наказали, и онъ какъ будто и не дѣлалъ своего поступка; онъ бросился на колѣни, попросилъ прощенія, его можетъ и простятъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда человѣкъ оставленъ на самого себя: его мучитъ униженіе, что онъ отрекся отъ разума, что онъ сталъ ниже своего сознанія, ему предстоитъ трудъ примириться съ собою не слезливымъ раскаяніемъ, а мужественной побѣдой надъ слабостью... Моралисты часто умилительно говорятъ о гибельномъ порокѣ властолюбія; властолюбіе, какъ и всѣ прочія страсти, доведенное до крайности, можетъ быть смѣшнымъ, печальнымъ, вреднымъ, смотря по кругу дѣйствія; но властолюбіе само по себѣ вытекаетъ изъ хорошаго источника—изъ сознанія своего личнаго достоинства. Основываясь на немъ, человѣкъ такъ бодро, такъ смѣло вступалъ вездѣ въ борьбу съ природой и развилъ въ себѣ ту гордую несгнетаемость, которая насъ поражаетъ въ англичанахъ. Къ тому же въ нѣсколько устроенномъ обществѣ властолюбіе, какъ дикая страсть, является такъ рѣдко, что едва ли стоитъ о немъ говорить. Совсѣмъ иное дѣло умалчиваемая моралистами любовь въ подвластности, къ авторитетамъ, основанная на самопрезрѣніи, на уничтоженіи своего достоинства она такъ обща, такъ эпидемически поражаетъ цѣлыя поколѣнія и цѣлые народы, что о ней стоило бы поговорить; но они молчатъ!

Что такое эгоизмъ? сознаніе личности, ея замкнутости, ея права? Или что нибудь другое? Гдѣ оканчивается эгоизмъ и начинается любовь? Да и дѣйствительно ли эгоизмъ и любовь противоположны; могутъ ли они быть другъ безъ друга? Могу ли я любить кого-нибудь не для себя? могу ли я любить, если это не доставляетъ *мнѣ*, именно *мнѣ*, удовольствія? Не есть ли эгоизмъ одно и то же съ индивидуализаціей, съ этимъ сосредоточиваніемъ и обособленіемъ, къ которому стремится все сущее, какъ къ послѣдней цѣли? Всего меньше эгоизма въ камнѣ; у звѣря эгоизмъ сверкаетъ въ глазахъ; онъ дикъ и исключителенъ у дикаго человѣка; не сливается ли онъ съ высшей гуманностью у образованнаго? Вы думаете, что моралисты разрѣшали эти вопросы,—нѣтъ! они отдѣлываются доблестнымъ негодованіемъ противъ всего эгоистическаго. Они знаютъ, что эгоизмъ—значительный порокъ; имъ этого довольно; ихъ безпорочная натура мечетъ громы на него и не унижается до его пониманія. Странные люди! вмѣсто того чтобы именно на эгоизмѣ, на этомъ въ глаза бросающемся грунтѣ всего человѣчества, создать житейскую мудрость и разумныя отношенія людей, они стараются всѣми силами уничтожить, замарать эгоизмъ, т.-е. срыть die feste Burg человѣческаго достоинства, и сдѣлать изъ человѣка слезливаго, сентиментальнаго, прѣснаго добряка, напрашивающагося на добровольное рабство... Что мы сказали объ эгоизмѣ, то-же должно сказать о своеволіи. Мининъ началъ своевольно великое дѣло возстанія противъ чужеземнаго порабощенія. Неужели его своеволіе похоже на своеволіе пьяницы, придирающагося къ прохожимъ? Я полагаю, что разумное признаніе своеволія есть высшее нравственное признаніе человѣческаго достоинства, что до него и домогаются всѣ... Точно въ такомъ-же отношеніи находится и пристрастіе къ справедливости. Здѣсь опять не можетъ быть и рѣчи о томъ, что всякое пристрастіе выше всякой справедливости—главное дѣло въ томъ, *во имя чего* человѣкъ пристрастенъ... Справедливость въ человѣкѣ, увлеченномъ страстью, ничего не значитъ, довольно безразличное свойство лица, подтверждающаго, что днемъ—день, а ночью—ночь. Въ основѣ всѣхъ отвлеченныхъ, безличныхъ сужденій нашихъ (математическихъ, химическихъ, физическихъ) лежитъ справедливость, но въ основѣ всего личнаго, любви, дружбы лежитъ пристрастіе. Бракъ основанъ на пристрастномъ предпочтеніи одной женщины всѣмъ остальнымъ, одного мужчины — всѣмъ прочимъ. Предпочтеніе, которое мать оказываетъ своему ребенку,— вопіющее пристрастіе; мать, которая была-бы справедлива къ дѣтямъ, могла-бы служить образцомъ сухого и бездушнаго существа. Семейная любовь—такое-же пристрастіе, невыдерживающее критики, какъ любовь къ отечеству. Строго справедливъ космополитъ. Справедливъ человѣкъ, ничего не любящій особенно. Такимъ образомъ въ концѣ-концовъ и выходитъ, что добродѣтели моралистовъ оказываются часто въ жизни гнусными пороками, а пороки, казнимые ими,—высокими добродѣтелями.

Анализъ всѣхъ подобныхъ противорѣчій, которыми преисполнена жизнь и умы людей, изъ-за которыхъ льются ежедневно, совершенно напрасно, горячая кровь и горькія слезы, привелъ Герцена послѣдовательно къ злому, ироническому парадоксу: да полно, въ здравомъ-ли умѣ находится человѣческій родъ? Если возможны частные случаи умопомѣшательства, то почему-же невозможно гуртовое сумасшествіе? Не справедливѣе-ли поэтому, вмѣсто всякихъ моральныхъ, судейскихъ, оправдывающихъ, карающихъ взглядовъ, глядѣть на жизнь людей и на ихъ дѣла съ чисто-медицинской, патологической точки зрѣнія? Не есть-ли вся исторія человѣчества—болѣзненный процессъ сумасшествія и медленное выздоровленіе отъ этой болѣзни? Такимъ образомъ вѣнцомъ всѣхъ этихъ рефлективныхъ статей явились «Записки доктора Крупова». Здѣсь философская иронія Герцена разыгрывается до полнаго crescendo, встаетъ во всей своей высотѣ. Всеобъемлемость смѣлость и глубина этой иронія по истинѣ поразительны. «Записки доктора Крупова» по всей справедливости можно поставить рядомъ съ похвалой глупости Эразма Роттердамскаго и съ сатирами Свифта. Здѣсь подъ одинъ иронической парадоксъ подведены безсмысленная, пошлая, сонная жизнь уѣзднаго русскаго городка и вся исторія человѣчества. Замѣчательно при этомъ то, что, при всей кажущейся безотрадности подобной иронія, въ ней вы вовсе не слышите того мрачнаго, потерявшаго всякую надежду отчаянія, которое вы видите напримѣръ въ сатирѣ Ювенала; напротивъ того, отъ нея отзывается чѣмъ-то свѣжимъ, полнымъ силъ и жизни, вызывающимъ и возбуждающимъ. Это не стоны разочарованной старости, а отчаянный прыжокъ молодости, удалой размахъ смѣлаго ума. Таково и дѣйствіе ея: она нисколько не наводитъ на васъ того разлагающаго унынія, какое, казалось-бы, было свойственно подобной сатирѣ. Напротивъ того, она только рушитъ въ васъ всѣ общепринятые, рутинные предразсудки, узенькія понятьица, рубрики, параграфы, построенные наукой, и глубокомысленныя подведенія историками подъ высшія цѣли прогресса различныхъ историческихъ глупостей. Она подчеркиваетъ, такъ сказать, всѣ рефлективныя статьи Герцена, составляетъ ихъ заключительный залпъ. И дѣйствительно, усомнившись въ границахъ ума и безумія, предположивши, что оффиціальные, патентованные сумасшедшіе въ сущности, и не глупѣе и не поврежденнѣе всѣхъ остальныхъ, но только самобытнѣе, сосредоточеннѣе, независимѣе, оригинальнѣе, даже, можно сказать, геніальнѣе, далѣе этого въ рефлексіи пойти трудно, хотя впрочемъ впослѣдствіи Герценъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ впередъ. Въ «Запискахъ доктора Крупова» проведена та мысль, что исторія есть процессъ выздоровленія человѣчества отъ его болѣзни; такимъ образомъ вамъ остается надежда, что когда-нибудь человѣчество выйдетъ изъ своего сумасшествія. Впослѣдствіи, подъ гнетомъ иныхъ обстоятельствъ, иныхъ думъ, во многомъ разочарованный и обезкураженный, Герценъ написалъ дополненіе къ «Запискамъ доктора Крупова» или, лучше сказать, возраженіе противъ нихъ. Здѣсь онъ опровергаетъ надежду на выздоровленіе, какъ иллюзію, не имѣющую никакихъ реальныхъ основаній Онъ смѣется здѣсь надъ самимъ докторомъ Круповымъ, подобно тому, какъ докторъ Круповъ прежде смѣялся надъ историками, видящими въ каждомъ историческомъ фактѣ разумную цѣлесообразность. Но это уже не прежняя иронія, полная молодыхъ силъ, жизни, надеждъ. Въ ней слышится уже вамъ горечь обманутыхъ упованій, безотрадное отчаянье. (См. П. Зв. Aphorismata, по поводу психической теоріи д ра Крупова. Сочиненіе Тита Ливіафанскаго. Изд. 1858 г.)

Къ третьей категоріи относятся нравоописательныя сочиненія Герцена, въ которыхъ анализъ общественной жизни, общественныхъ отношеній стоитъ на первомъ планѣ.

Преобладающій характеръ этого рода сочиненій—простой, безъискусственный разсказъ, исполненный мѣстами злой иронія, мѣстами неподражаемаго остроумія и художественной пластичности. Это цѣлый рядъ характеристикъ помѣщичьихъ гнѣздъ, типовъ, замѣчательныхъ современниковъ, отдѣльныхъ эпизодовъ современной и прошлой жизни, написанныхъ частью по личнымъ воспоминаніямъ, частью по разсказамъ очевидцевъ. Даже первая часть «Кто виноватъ?», этого художественно-философскаго произведенія, представляетъ собою рядъ характеристикъ и біографій изъ помѣщичьей жизни, очевидно не придуманныхъ, а взятыхъ цѣликомъ изъ жизни. Въ прерванномъ разсказѣ «Долгъ прежде всего» Герценъ безъ сомнѣнія представляетъ въ лицѣ Анатоля своего современника Печорина, кончившаго, какъ извѣстно, переходомъ въ католичество и поступленіемъ въ іезуитскій орденъ. Повѣсть «Сорока воровка» написана по разсказу извѣстнаго московскаго актера М. С. Щепкина. Дальнѣйшимъ продолженіемъ подобнаго рода очерковъ современной жизни представляются «Былое и думы», это въ одно и то-же время автобіографія и мемуары.

Главное содержаніе всѣхъ этихъ характеристикъ—анализъ семейной жизни помѣщиковъ въ связи съ отношеніями ихъ къ крестьянамъ. Здѣсь вы находите мрачную картину того нравственнаго разложенія, какое крѣпостное право оказывало на господъ и крѣпостныхъ. «Сорока-воровка» и «Поврежденный» въ особенности посвящены этому анализу крѣпостного права. Всѣ эти характеристики вмѣстѣ съ «Записками Охотника» Тургенева положили начало новой школѣ литературы. Это былъ дальнѣйшій шагъ впередъ послѣ гоголевской сатиры. Послѣдняя процвѣтала всецѣло на почвѣ чистаго искусства. Она изображала обыденную жизнь съ чисто-художественными цѣлями, чтобы изобразить ее такъ, какъ она представляется въ дѣйствительности, безъ всякихъ покушеній къ анализу печальныхъ явленій русской жизни, предоставляя читателямъ выводить самимъ какія угодно соображенія. Совершенно иное отношеніе къ изображаемой пошлости мы видимъ въ очеркахъ Герцена и Тургенева. Здѣсь представляется намъ на первомъ планѣ анализъ общественныхъ отношеній. Мрачныя стороны жизни являются не одними произвольными отклоненіями отдѣльныхъ личностей отъ личныхъ моральныхъ идеаловъ, существующихъ съ испоконъ вѣковъ, а слѣдствіемъ ненормаль-

ныхъ общественныхъ отношеній. При этомъ у Тургенева, Григоровича, Писемскаго, Гончарова подобный анализъ ограничивается крѣпостнымъ правомъ. У Герцена-же, кромѣ анализа крѣпостного права, мы повсюду встрѣчаемъ намеки на отсутствіе общественной дѣятельности, иниціативы, всеобщее безправіе, дикость произвола, тупость бюрократіи, въ особенности провинціальной... Такимъ образомъ въ то время, какъ философскія и моральныя сочиненія Герцена содѣйствовали ускоренію умственнаго переходнаго процесса своей эпохи, разрушая старые предразсудки, установившіеся по преданію кумиры и призраки, заслонявшіе людямъ свѣтъ истины,—въ это время художественные характеристики и очерки Герцена будили общественное сознаніе, направляя его отъ романтическихъ идеаловъ и заоблачныхъ паренія къ анализу окружающей общественной жизни.

XII.

Въ 1846 году умеръ отецъ Герцена. Сдѣлавшись наслѣдникомъ богатаго имущества и человѣкомъ вполнѣ самостоятельнымъ, Герценъ тотчасъ-же началъ хлопотать о заграничномъ паспортѣ и въ 1847 году имѣлъ уже возможность уѣхать заграницу. Онъ поѣхалъ безъ всякихъ опредѣленныхъ плановъ, не зная, сколько пробудетъ заграницей и что тамъ будетъ дѣлать. По всей вѣроятности, когда онъ переѣзжалъ русскую границу, ему и въ голову не приходило, что онъ переѣзжаетъ ее не только въ первый, но и въ послѣдній разъ, и что ему не придется воротиться болѣе на родину. Мы отчасти познакомились съ міросозерцаніемъ Герцена, и можемъ себѣ представить, съ какими идеями оставилъ онъ Россію. Это былъ рьяный западникъ, для котораго въ европейской образованности представлялся не одинъ только рядъ роковыхъ, мучительныхъ вопросовъ, волновавшихъ его: онъ не сомнѣвался, что эта-же образованность и разрѣшитъ эти вопросы, и быть можетъ въ скоромъ будущемъ. Какъ гегеліанецъ, онъ вѣрилъ, что, какъ-бы ни казались непримиримы противорѣчія, встрѣчаемыя повсюду, жизнь, и не что другое, какъ сама жизнь, въ своемъ неизбѣжномъ процессѣ, не замедлитъ помирить и снять ихъ. Масса впечатлѣній европейской жизни не замедлила подѣйствовать на живой, воспріимчивый умъ, а солидная подкладка образованности и развитія мысли помогла осилить эту массу впечатлѣній, уложить ее въ порядокъ, взвѣсить и предать надлежащему анализу. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что, по отъѣздѣ за границу, горизонтъ зрѣнія Герцена сразу расширился. Изъ философа-моралиста, рефлектировавшаго по Гегелю, изъ нравописателя помѣщичьяго и чиновнаго быта своей родины онъ сразу ставится на высоту европейскаго публициста и пишетъ въ «Современникъ» письма изъ Парижа («Письма изъ Avenue Marigny»), подъ которыми, не задумавшись, подписался-бы любой изъ лучшихъ европейскихъ публицистовъ того времени.

«Письма изъ Avenue Marigny», напечатанныя въ «Современникѣ» 1847 года, составляютъ первыя четыре изъ четырнадцати политическихъ писемъ, изданныхъ впослѣдствіи (въ 1855 году) подъ общимъ заглавіемъ «Письма изъ Франціи и Италіи». Письма эти составляютъ какъ бы дневникъ всего видѣннаго, слышаннаго, перечувствованнаго и пережитаго втеченіи бурнаго періода европейской жизни отъ 1847 г. по 1852 годъ. Здѣсь вы найдете анализъ всего, что волновало въ то время Италію и Францію, разъясненіе многихъ внутреннихъ пружинъ событій, духа партій, ихъ недостатковъ и промаховъ.

Но, что для насъ всего дороже въ этихъ письмахъ, такъ это то, что они могутъ служить для насъ отличнымъ матеріаломъ для анализа самого ихъ автора. Они показываютъ почти день за день, какъ измѣнялись взгляды Герцена подъ вліяніемъ хода событій и какъ онъ пережилъ новый переломъ въ своей жизни, сдѣлавшій изъ юнаго мечтателя, полнаго надеждъ, мечтаній и энтузіазма, мрачнаго пессимиста, разочаровавшагося окончательно въ томъ самомъ европейскомъ прогрессѣ, который при отъѣздѣ его заграницу представлялся ему въ самомъ розовомъ цвѣтѣ.

Въ первыхъ письмахъ Герценъ излагаетъ свои впечатлѣнія и наблюденія, вынесенныя имъ изъ парижской жизни. Онъ раздѣляетъ Парижъ на два разряда; на Парижъ въ предѣлахъ ценза и Парижъ, стоящій за цензомъ. Къ послѣднему онъ относится съ глубокимъ сочувствіемъ. На балахъ блузниковъ онъ видитъ полное отсутствіе канкана; онъ удивляется уваженію къ женщинѣ, трогательному вниманію къ дѣтямъ въ низшихъ классахъ населенія. Въ то же время онъ пораженъ развратомъ буржуазіи, господствовавшей во Франціи, и разложеніе нравовъ въ этомъ сословіи кажется ему тѣмъ болѣе безнадежнымъ, чѣмъ мельче, бездушнѣе и скареднѣе этотъ развратъ.

Герценъ является въ первыхъ письмахъ все еще во многомъ очарованнымъ Европой. Онъ не прочь иногда и поучить соотечественниковъ парижскими нравами. Такъ, онъ подробно описываетъ, какъ парижане могутъ обходиться совсѣмъ почти безъ прислуги, въ противоположность нашимъ барамъ того времени, которые имѣли по слугѣ при каждомъ чубукѣ. Онъ все еще надѣется, что новыя экономическія начала побѣдятъ буржуазію въ пользу народныхъ массъ, и что для буржуазіи скоро наступитъ свой 1789 годъ, въ который царство ея падетъ, какъ нѣкогда пало во Франціи царство дворянства.

Но при всѣхъ этихъ надеждахъ, послѣ перваго же обаянія парижской жизни, когда Герценъ приглядѣлся собственными глазами и близко къ положенію Франціи передъ 1848 годомъ, въ него тогда уже закрались первые зародыши разочарованія. Къ осени сдѣлалось ему невыносимо тяжело въ Парижѣ. Онъ не могъ сладить съ безобразнымъ нравственнымъ паденіемъ, которое его окружало. Онъ чувствовалъ, что въ душу его забирается то самоотверженіе, тотъ холодъ и то «все равно», которое вносится утраченными надеждами, разрывомъ съ дѣйствительностью, презрѣніемъ къ настоящему, и только иногда по негодованію чувствовалъ онъ молодость силъ и прежнее одушевленіе.

Онъ все еще вѣрилъ, что Франція выздоровѣетъ безъ радикальныхъ средствъ, небеснаго огня и морской воды; но ему не хотѣлось быть сидѣлкой у ея изголовья, пока она ломается въ припадкѣ безумія,

сдерживаемая грязными и циническими руками цирюльниковъ и больничныхъ сидѣлокъ. Ему захотѣлось ѣхать въ Италію, отдохнуть, захотѣлось моря, теплаго воздуха, пышной зелени и людей—не такъ истасканныхъ, не такъ выжившихъ изъ сердца. И онъ рѣшился ѣхать въ половинѣ октября.

Кромѣ моря, теплаго воздуха и пышной зелени, тянули Герцена въ Италію и тѣ политическія движенія, которыя начались тамъ, какъ предвѣстіе наступавшей всеевропейской революціи. Вотъ онъ и въ Италіи, онъ ходитъ по римскимъ площадямъ, слѣдя за народными движеніями по поводу реформъ Пія IX, и восхищается всѣмъ итальянскимъ, но болѣе всего самими итальянцами. Между тѣмъ событія разыгрываются съ страшной быстротой. Изъ Франціи долетаютъ вѣсть за вѣстью, одна другой поразительнѣе. Вихрь поднимающейся бури увлекаетъ нашего путника, и онъ не слышитъ земли подъ собою.

Герценъ безъ сомнѣнія въ развивающейся революціи видѣлъ начало воплощенія идеи въ жизнь, діалектическаго снятія противорѣчій, конецъ царства буржуазіи и начало новой эры исторіи человѣчества. Но съ какой скоростью очаровали его событія, съ такой же не замедлили они его и разочаровать. Онъ поспѣшилъ изъ Италіи въ Парижъ, но не для того, чтобы ликовать на праздникѣ возрожденія человѣчества, а для того, чтобы съ каждымъ днемъ хоронить надежду за надеждой и мечту за мечтой. Какъ утопающій за соломинку, онъ все еще схватывался за надежду, что, сколько бы ни пришлось ждать парижскому народу, рано или поздно онъ отомститъ за іюльскіе дни, за апрѣльскую измѣну, за обманъ въ ратушѣ, за ложное воззваніе Кавеньяка; что войну, начатую іюльскими днями, остановить невозможно, что вся Европа вовлечена въ нее. Но рядомъ съ этими надеждами на французскій народъ вы читаете горькія сѣтованія на него. Герцена поражала странная судьба Франціи быть великой въ болѣзни и пошлой въ здоровьѣ, быть великой одинъ день и ничтожной на другой день. Конечно важно и то, что она обладаетъ этой силой стряхивать время отъ времени съ себя грязь, что она не можетъ долго оставаться въ покоѣ, что ей необходимо новое, перемѣна, движеніе; но тѣмъ не меньше ея невыдержка поразительна. Французскій народъ внезапно возстаетъ; неотразимый и грозный, вступаетъ въ отчаянный бой съ общественнымъ зломъ. Противостоять ему въ эти минуты невозможно, онъ беретъ Бастилію, онъ беретъ Тюльери, онъ отражаетъ цѣлую армію—это надо переждать. По мѣрѣ того какъ онъ одолѣваетъ врага, силы его слабѣютъ, умъ тускнѣетъ, энергія исчезаетъ, онъ дѣлается равнодушнымъ къ тому, за что́ проливалъ кровь... Народы, по мнѣнію Герцена, поднявшіе голову послѣ революціи 1830 года, уже громко негодовали на французскую реакцію; они отпрянули съ досадой отъ Франціи послѣ 24-го февраля, которое такъ много обѣщало и такъ ничего не сдѣлало. Еще подобный взрывъ и такое паденіе, и, вы увидите, европейскіе народы отвернутся отъ Франціи и позволятъ ей безплодно рѣзаться сколько угодно, не удостоивая ея ни симпатіей, ни участіемъ. Это старая басня волка и мальчика, дѣлавшаго напрасную тревогу. Возмужалое человѣчество не позволитъ себя безпрерывно надувать и станетъ равнодушно смотрѣть на страну, которая, какъ русскіе крестьяне до Годунова, имѣетъ одинъ день свободы въ году, а триста шестьдесятъ четыре дня рабства.

По подобныя сомнѣнія были цвѣточками сравнительно съ тѣми мрачными, какъ ночь, мыслями, полными разочарованія и отчаянья, которыя проскальзываютъ въ послѣднихъ письмахъ и систематически развиваются въ трактатѣ, извѣстномъ подъ заглавіемъ «Съ того берега».

Сочиненіе это представляетъ результатъ послѣдняго умственнаго переворота, пережитаго Герценомъ въ эпоху отъ 1848 по 1851 годъ. Это заключительный выводъ изъ цѣлой жизни человѣка. До появленія этого сочиненія Герценъ въ различныя эпохи представлялся намъ различно мыслящимъ человѣкомъ, но съ появленіемъ «Съ того берега» міровоззрѣніе его установилось окончательно, и всѣ дальнѣйшія его сочиненія суть только различныя варіаціи на одну тэму, развитіе идей, которыя высказаны въ этой брошюрѣ. Этотъ послѣдній переворотъ, опредѣлившій все дальнѣйшее міровоззрѣніе Герцена, не коснулся основныхъ философскихъ и моральныхъ взглядовъ его. Въ 35 лѣтъ такіе взгляды рѣдко мѣняются; развитіе, полученное въ молодости, начинаетъ уже тяготѣть надъ человѣкомъ, и мозгъ не съ такой уже легкостью отдѣлывается отъ привычныхъ идей, какъ въ 20, въ 25 лѣтъ. Такъ было и съ Герценомъ. Онъ представляется намъ въ своемъ сочиненіи «Съ того берега» съ философской точки зрѣнія тѣмъ же полуметафизикомъ, полуреалистомъ, какимъ онъ былъ и прежде. Онъ не держится, правда, съ такой послѣдовательностью гегелевской методы, какъ въ своихъ прежнихъ статьяхъ, и старается свои доказательства основывать на реальной почвѣ, на фактахъ, наблюденіяхъ, аналогіяхъ жизни человѣка съ жизнью растеній или животныхъ и пр.; но всѣ эти доказательства онъ употребляетъ для подтвержденія идей, въ сущности вполнѣ гипотетическихъ и не имѣющихъ никакихъ точныхъ, не подлежащихъ критикѣ основаній. Разница между Герценомъ 1847 и 1851 года заключается только въ томъ, что, оставаясь на той же метафизической почвѣ, онъ перешелъ изъ одной крайности въ другую: подобно тому, какъ прежде онъ былъ метафизически и страстно очарованъ Европой, такъ теперь онъ впалъ въ столь же метафизическое и страстное разочарованіе въ ней. Прежде онъ ожидалъ, что Европа не замедлитъ блистательно осуществить его любимыя идеи; теперь же онъ началъ отвергать всякую возможность дальнѣйшаго прогресса въ Европѣ. Словомъ, онъ возвратился къ тридцатымъ годамъ, къ своей первой юности, когда онъ знакомился съ различными московскими шеллингистами, читалъ Одоевскаго, по всей вѣроятности и лично съ нимъ бесѣдовалъ, увлекался сенсимонизмомъ, и въ головѣ его носились идеи о близкой кончинѣ западной цивилизаціи. Эти идеи всплыли теперь въ головѣ его съ новой силой, страстностью и аргументаціей.

Эта новая аргументація невольно подкупаетъ васъ. Формы европейской гражданственности, по мнѣнію Герцена, ея цивилизація, ея добро и зло разочтены по

другой сущности, развились изъ иныхъ понятій, сложились по инымъ потребностямъ. До нѣкоторой степени формы эти, какъ все живое, были измѣняемы, но, какъ все живое, измѣняемы до нѣкоторой степени; организмъ можетъ воспитываться, отклоняться отъ назначенія, приладиваться къ вліяніямъ до тѣхъ поръ, пока отклоненія не отрицаютъ его особности, его индивидуальности, то, что составляетъ его личность; какъ скоро организмъ встрѣчаетъ такого рода вліянія, дѣлается борьба, и организмъ побѣждаетъ или гибнетъ. Явленіе смерти въ томъ и состоитъ, что составныя части организма получаютъ иную цѣль; онѣ не пропадаютъ; пропадаетъ личность; а онѣ вступаютъ въ рядъ совсѣмъ другихъ отношеній, явленій.

Подобнаго рода сравненія на первый взглядъ представляются остроумны и заманчивы. Но начните вдумываться въ нихъ, и вы увидите, что съ одной стороны здѣсь смѣшиваются понятія народнаго организма, формъ общественныхъ отношеній и цивилизаціи; съ другой стороны въ основѣ лежитъ гипотеза весьма шаткая и до сихъ поръ недоказанная, именно та, что будто общественные организмы совершенно аналогичны съ животными и подчинены тѣмъ же законамъ жизни и смерти. Еслибы даже подобная гипотеза и была доказана, то и въ такомъ случаѣ мы не имѣли-бы права судить о томъ, разлагается европейская цивилизація, или нѣтъ, имѣя въ рукахъ такое неопредѣленное мѣрило, какъ отношеніе сложившихся исторически формъ жизни къ пережитымъ идеямъ. Какъ ни худы эти формы, но люди къ нимъ привыкли, обжились въ нихъ; новыя-же идеи такъ недавно появились, что большинство даже и не знаетъ о ихъ существованіи. Другіе такъ мало еще вникли въ нихъ, что скользятъ по нимъ поверхностно, весьма смутно сознавая ихъ. Мы не знаемъ поэтому, что будетъ, когда люди такъ-же глубоко сознаютъ новыя идеи и такъ-же привыкнутъ къ нимъ, какъ они знаютъ и привыкли къ своимъ старымъ идеямъ. Если и тогда отжившія формы окажутся непоколебимы, дѣло другое; тогда дѣйствительно можно будетъ предвидѣть, что европейская цивилизація дальше не пойдетъ. Но до тѣхъ поръ всякое сужденіе объ этомъ будетъ крайне опрометчиво и фантастично. Съ другой стороны, тутъ надо взять и то во вниманіе, что новыя идеи можетъ быть не потому не находятъ немедленнаго осуществленія, что общественные организмы Европы дряхлы, а потому, что сами онѣ, эти идеи, находятся еще въ хаотическомъ броженіи, въ смутныхъ, гипотетическихъ гаданіяхъ и требуютъ огромной выработки, развитости, зрѣлости для того, чтобы имѣть возможность хоть какого-нибудь практическаго примѣненія къ жизни. Истинный скептикъ, стоящій вполнѣ на реальной почвѣ, непремѣнно долженъ принять все это въ соображеніе и воздержаться отъ преждевременныхъ гадательныхъ силлогизмовъ. Но идеалисты сороковыхъ годовъ поступали не такъ. Хотя многіе изъ нихъ, въ томъ числѣ и Герценъ, возвысились до такой уже степени реализма, что отвергали цѣлесообразность, смотрѣли на жизнь, какъ на процессъ развитія, опредѣляющагося не цѣлью, къ которой это развитіе идетъ, а даннымъ моментомъ его въ совокупности со всѣми предшествовавшими причинами, вызвавшими этотъ моментъ; но рядомъ съ этимъ они требовали немедленнаго осуществленія своихъ высокихъ идеаловъ. Природа должна была сойти, въ угоду имъ, со своего историческаго пути причинъ и слѣдствій и сейчасъ-же сдѣлаться храмомъ для ихъ возвышенныхъ идеаловъ. Если она этого не дѣлала, идеалистъ тотчасъ-же выходилъ изъ терпѣнія и разражался проклятіями или противъ природы, или противъ самихъ идеаловъ. Если въ головѣ идеалиста разыгрывались великолѣпныя симфоніи, а на скрипкѣ онъ могъ производить одни только нестройные звуки, ему и въ голову не приходило, что ему надо было научиться играть: виновата оказывалась скрипка, и онъ разбивалъ ее въ дребезги.

Естественно, что вполнѣ на почву фантазіи становится Герценъ, когда онъ переходитъ къ предсказаніямъ будущаго. По его мнѣнію, одно утѣшеніе и остается, что будущія поколѣнія выродятся еще больше, еще больше обмелѣютъ, обнищаютъ умомъ и сердцемъ, имъ уже и наши дѣла будутъ недоступны и наши мысли будутъ непонятны. Народы передъ паденіемъ тупѣютъ, ихъ пониманіе помрачается, они выживаютъ изъ ума, какъ эти Меровинги, зачинавшіеся въ развратѣ и кровосмѣшеніяхъ и умиравшіе въ какомъ то чаду, ни разу не пришедшіе въ себя. Какъ аристократія, выродившаяся до болѣзненныхъ кретиновъ, измельчавшая въ ростѣ, исказившаяся въ чертахъ,— и мѣщанская Европа изживаетъ свою бѣдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вялыхъ чувствахъ, безъ убѣжденій, безъ изящныхъ искусствъ, безъ мощной поэзіи. Слабыя, хилыя, глупыя поколѣнія протянутся какъ нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покрываломъ и предастъ забвенію лѣтописей. А тамъ? А тамъ настанетъ весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гробовой доскѣ. Варварство младенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣнитъ старческое варварство; дикая, свѣжая мощь распахнется въ молодой груди новыхъ народовъ, и начнется новый кругъ событій и третій томъ всеобщей исторіи. Основной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ принадлежать соціальнымъ идеямъ. Соціализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій, до нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой соціализмъ займетъ мѣсто нынѣшняго консерватизма и будетъ побѣжденъ грядущей, неизвѣстной намъ революціей... Вѣчная игра жизни, безжалостная смерть, неотразимая, какъ рожденіе, corsi e ricorsi исторіи, perpetuum mobile жизни.

Подобнаго рода гипотезы тѣмъ обольстительнѣе, что опровергнуть ихъ такъ же невозможно, какъ и доказать. Происхожденіе ихъ совершенно аналогично съ образованіемъ всякаго рода суевѣрій. Случится напримѣръ съ вами неудача въ пятницу; приходитъ опять пятница и, вслѣдствіе ассоціаціи идей, вы ждете опять неудачи. Какъ докажу я вамъ, что предположеніе ваше—вздоръ, что никакой неудачи не случится? Вѣдь, положа руку на сердце, я и самъ не знаю, удачно ли выйдетъ ваше предпріятіе. Я могу

только сказать, что если оно не удастся, то конечно не пятница будетъ въ этомъ виновата, но отъ тѣхъ или другихъ причинъ неудача все-таки возможна. Такъ и въ этомъ случаѣ. Пришлось человѣчеству испытать однажды колоссальную неудачу: палъ Римъ, погибла цѣлая цивилизація и смѣнилась варварствомъ. Подходитъ новая пятница, въ видѣ возникновенія новой цивилизаціи. Люди и начинаютъ думать, по чистой ассоціаціи идей, что и съ новой цивилизаціей случится то же: и она должна пасть, и смѣниться новымъ варварствомъ. Вставши на почву реальнаго скептицизма, вы можете только пожать плечами на такое предположеніе: законы соціальной жизни такъ мало еще изслѣдованы, что не только что гадать о томъ, какой путь изберетъ жизнь въ будущемъ, невозможно, трудно предсказать, что будетъ завтра. Очень можетъ быть, что и новая цивилизація погибнетъ; погибнетъ не потому, чтобы таковъ былъ удѣлъ всякой цивилизаціи, а по какимъ нибудь своимъ, непредвидимымъ причинамъ, совершенно инымъ, не имѣющимъ ничего общаго съ причинами паденія древней цивилизаціи, а можетъ быть и не погибнетъ. Можетъ быть самое понятіе о цивилизаціи сдѣлается совершенно инымъ, и та цивилизація, о паденіи которой мы трепещемъ, покажется нашимъ предкамъ дикимъ варварствомъ. Будетъ можетъ быть и такое время, когда не только древняя, наша, но и цивилизаціи многихъ будущихъ вѣковъ сольется въ глазахъ будущихъ потомковъ въ одно темное пятно доисторическихъ временъ. Все это одни пустыя гаданья, не имѣющія тѣни положительности и совершенно равносильныя вопросу о томъ, можетъ ли стукнуться о землю комета, или не можетъ, и что произойдетъ въ такомъ случаѣ. И въ наше время подобныя гаданія возможны, но мы не придаемъ имъ никакого значенія и допускаемъ ихъ, какъ игру ума послѣ сытнаго обѣда для легкаго пищеваренія. Но люди сороковыхъ годовъ ставили подобные вопросы на первый планъ; они мучили ихъ и отравляли имъ жизнь. Герценъ серьезно спорилъ съ Грановскимъ о томъ, можетъ ли идея, въ своемъ развитіи въ общечеловѣческой цивилизаціи, вдругъ быть отодвинута назадъ геологическимъ переворотомъ, хвостомъ кометы, и начать развитіе съ начала, съ плѣсени на камняхъ. Герценъ доказывалъ, что это возможно; Грановскій и слышать не хотѣлъ о такой возможности. По его мнѣнію, если бы и случилось кометѣ смести родъ человѣческій съ лица земли или раздробить землю на кусочки, идея продолжала бы развиваться на другихъ планетахъ. Подобныя гаданія въ свое время были, если хотите, не безъ пользы, имѣли свое значеніе: они составляли противовѣсъ инымъ гипотезамъ, еще болѣе нелѣпымъ. Мысль наша пріучалась, посредствомъ нихъ, къ самостоятельности, независимости отъ космическихъ представленій отцовъ и дѣдовъ. Но эта польза простиралась только до тѣхъ предѣловъ, до какихъ предположенія оставались предположеніями. Но разъ они принимали догматическій характеръ утвержденія, они становились столь же вредны, какъ и тѣ преданія, въ противовѣсъ которыхъ они шли. Герценъ могъ сколько угодно гадать о паденіи европейской цивилизаціи, оставаясь на степени парадоксальной ироніи, подобной той, какую мы видѣли въ «Запискахъ доктора Крупова». Но онъ серьезно проникся этой гипотезой, увѣровалъ въ нее, какъ въ нѣчто положительное, началъ пріурочивать къ ней каждый фактъ европейской жизни — изъ публициста сдѣлался пророкомъ-фаталистомъ. Такое превращеніе, которое только и можно себѣ объяснить вліяніемъ реакціи, не только отодвинуло Герцена назадъ отъ автора «Писемъ о природѣ» къ автору писемъ къ Витбергу и сценаріямъ, но еще дальше—къ квіэтизму кружка Станкевича. Въ самомъ дѣлѣ, послѣдовательный выводъ изъ гипотезы паденія цивилизаціи есть отрѣшеніе отъ всякихъ интересовъ жизни. Если вы разъ убѣждены, что міръ, окружающій васъ, гніетъ, рушится, мельчаютъ интересы, люди, а высокія стремленія, сохранившіяся отъ прежнихъ лѣтъ, остаются безплодными среди всеобщаго разложенія, то конечно вамъ только и остается, что или бѣжать изъ этого чада, или, сложивши руки, безстрастно наблюдать процессъ гніенія. Герценъ, по крайней мѣрѣ теоретически, къ такому результату и приходитъ. По его мнѣнію, слѣдуетъ выйти вонъ изъ душной комнаты, гдѣ оканчивается длинная, бурная жизнь, выйти на чистый воздухъ изъ тяжелой, заразительной атмосферы, на поле изъ больничной палаты. Много найдется мастеровъ бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживутъ на счетъ гнили. Слѣдуетъ оставить имъ трупъ не потому, что они хуже или лучше васъ, а потому, что они этого хотятъ; а Герценъ не хочетъ, потому что они въ этомъ живутъ, а онъ страдаетъ.

Такъ и мудрѣйшіе изъ римлянъ сошли совсѣмъ со сцены, и превосходно сдѣлали. Они разсѣялись по берегамъ Средиземнаго моря, пропали для другихъ въ безмолвномъ величіи скорби, но не пропали для себя, и черезъ пятнадцать столѣтій мы должны сознаться, что собственно они были побѣдители—они, единственные, свободные и мощные представители независимой личности человѣка, его достоинства. Они были люди, ихъ нельзя было считать поголовно, они не принадлежали къ стаду и не хотѣли лгать, а, не имѣя съ симъ ничего общаго, отошли и пр.

Подобнаго рода квіэтизмъ въ сущности ничѣмъ не отличается отъ квіэтизма тѣхъ московскихъ философовъ, противъ которыхъ Герценъ нѣкогда возсталъ съ такой энергіей. Въ самомъ дѣлѣ, не все ли равно, во имя чего складывать на груди руки: во имя ли примиренія противорѣчій жизни въ отвлеченномъ мышленіи, или во имя сознанія непримиримости ихъ вслѣдствіе гнилости окружающаго насъ міра?

XIII.

Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что подобнаго рода квіэтизмъ оставался у Герцена всегда только въ теоріи. Это былъ слишкомъ живой, увлекающійся и энергическій человѣкъ, чтобы оставаться, сложа руки, въ безстрастномъ созерцаніи и холодныхъ резонерствахъ тамъ, гдѣ жизнь слишкомъ громко заявляла себя. Онъ откладывалъ въ такомъ случаѣ въ сторону свои теоріи о мудрѣйшихъ римлянахъ съ ихъ безмолвнымъ величіемъ скорби и вмѣшивался въ толпу, проникаясь ея реальными, насущными интересами, хотя самъ онъ, высоко цѣня свои рефлексіи, смотрѣлъ,

какъ на слабость характера, на такія жизненныя отступленія отъ своихъ теорій. Впрочемъ и въ теоріи онъ не могъ долго оставаться въ торричеліевой пустотѣ мудрѣйшихъ римлянъ. Это былъ только первый ударъ реакціи, отъ котораго въ глазахъ его все потемнѣло. Но вскорѣ потомъ онъ очнулся отъ этого удара, горизонтъ его мысли освѣтился новыми вѣрованіями и упованіями. Не найдя осуществленія своихъ идеаловъ въ Европѣ, онъ началъ ожидать этого отъ Россіи. Въ Россіи онъ началъ видѣть тѣхъ варваровъ, которые идутъ на смѣну падающей цивилизаціи. Здѣсь опять по всей вѣроятности вспомнились ему тридцатые годы, Одоевскій, споры съ славянофилами... Но было бы совершенно неосновательно въ подобныхъ теоріяхъ Герцена видѣть его полную солидарность съ славянофилами и думать, что Герценъ послѣ 1848 г. сдѣлался вполнѣ приверженцемъ этого ученія. Герценъ сходился съ славянофилами только въ томъ, что Европа гніетъ и будущее принадлежитъ Россіи, но за этими общими основаніями Герценъ и славянофилы расходились совершенно въ двѣ противоположныя стороны: славянофилы опирались, въ доказательствахъ своей теоріи, на сравненіи исторически выработанныхъ формъ общественнаго быта на Западѣ и у насъ. Они находили, что формы до-петровской Россіи гораздо лучше формъ западной жизни. Поэтому они и убѣждали перестать пересаживать съ Запада на нашу почву вредныя формы, а обратиться къ началамъ до-петровской жизни. При этомъ они не ограничились отрицаніемъ формъ западной жизни; они шли далѣе: въ самыхъ философскихъ и соціальныхъ ученіяхъ Запада, во всѣхъ послѣднихъ выводахъ европейской мысли они не находили ничего творческаго, благотворнаго, ничего не видѣли, какъ только старческое отрицаніе всѣхъ старыхъ формъ и вѣрованій западной жизни, ведущее къ разочарованію, душевной пустотѣ и отсутствію всякой энергіи въ жизни. На этомъ основаніи они отвергали и всѣ результаты западной мысли. По ихъ мнѣнію, всякое увлеченіе какимъ нибудь западнымъ ученіемъ есть уже зараза, такое же растлѣніе, какъ принятіе въ здоровый организмъ матеріи гніющаго трупа. Такимъ образомъ, не только формы общественной жизни, но и самая мысль Россіи должна быть совершенно самостоятельна и опять-таки основана на началахъ чисто народной стихіи до-петровской Руси. Такимъ образомъ славянофилы проповѣдывали вовсе не преемственность цивилизаціи, а созданіе для Россіи новой цивилизаціи, нисколько не похожей на европейскую. Та не удалась, растлѣвается, зачѣмъ что нибудь перенимать—давайте строить снова, по своему, пользуясь европейскимъ опытомъ только отрицательно, т. е. избѣгая ошибокъ, которыя привели Европу къ гибели. Герценъ же стоялъ на точкѣ зрѣнія именно преемственности; славянофилы смотрѣли назадъ, а онъ впередъ; они требовали возвращенія къ старымъ формамъ русской жизни, Герценъ же отрицалъ ихъ, и не только за ихъ негодность, отрицалъ самое ихъ существованіе, такъ что, по его мнѣнію, возвращаться было совершенно не къ чему. Россія, по его мнѣнію, является совсѣмъ особеннымъ міромъ, съ своимъ естественнымъ бытомъ, съ своимъ физіологическимъ характеромъ—не европейскимъ, не азіатскимъ, а славянскимъ. Она участвуетъ въ судьбахъ Европы, не имѣя ея историческихъ преданій, свободная отъ ея обязательствъ прошедшему. Какое счастье, сказалъ Бентамъ Александру I-му, когда онъ былъ въ Лондонѣ послѣ наполеоновскихъ войнъ, что русскому законодателю не приходится бороться на каждомъ шагу съ римскимъ правомъ; къ этому слѣдуетъ прибавить: ни съ феодализмомъ, ни съ католицизмомъ, ни съ протестантизмомъ. Корчая книга и уложеніе не захватываютъ всѣхъ проявленій жизни, не заправляютъ всякимъ дѣйствіемъ, остальныя учрежденія введены насиліемъ и держатся насиліемъ. У насъ нигдѣ нѣтъ этихъ наглухо заколоченныхъ предразсудковъ, которые у западнаго человѣка какъ параличемъ отбиваютъ половину органовъ. Въ основѣ народной жизни лежитъ сельская община—съ раздѣленіемъ полей, съ коммунистическимъ владѣніемъ землей, съ выборнымъ управленіемъ, съ правомѣрностью каждаго работника (тягла). Все это находится въ состояніи подавленномъ, искаженномъ, но все это живо и пережило худшую эпоху. Въ то время, какъ славянофилы ничего не видѣли въ результатахъ европейской мысли, кромѣ признака растлѣнія западной цивилизаціи, Герценъ, наоборотъ, въ нихъ то именно и видѣлъ все будущее. По его мнѣнію, Европа не оттого гніетъ, что пришла къ подобнымъ результатамъ, а потому что безсильна воплотить ихъ въ жизнь, что̀ Россіи очень легко исполнить, несвязанной ничѣмъ съ прошедшимъ. Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія Герцена, все несчастіе Европы заключается именно въ томъ самомъ упорномъ консерватизмѣ всѣхъ европейскихъ партій относительно сохраненія во что бы то ни стало старыхъ формъ жизни, за который стоятъ славянофилы, который они желали бы утвердить и въ Россіи.

Герценъ впрочемъ самъ нерѣдко входилъ въ опроверженія славянофильскихъ теорій. По его мнѣнію, ошибка славянъ состоитъ въ томъ, что имъ кажется, что Россія имѣла когда то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и наконецъ петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имѣла этого развитія и не могла имѣть. То, что̀ приходитъ теперь къ сознанію у насъ, то что̀ начинаетъ мерцать въ мысли, въ предчувствіи, то, что̀ существовало безсознательно въ крестьянской избѣ и на полѣ—то теперь только всходитъ на пажитяхъ исторіи, утученныхъ кровью, слезами и по̀томъ двадцати поколѣній. Эти основы нашего народнаго быта—не воспоминанія, а живыя стихіи, существующія не въ лѣтописяхъ, а въ настоящемъ; но онѣ только уцѣлѣли подъ труднымъ историческимъ вырабатываніемъ государственнаго существа и подъ государственнымъ гнетомъ потомъ сохранились, но не развились. Сомнительно, нашлись ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ было недостаточно. Въ Индіи до сихъ поръ и споконъ вѣка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на раздѣлѣ полей; однако индусы съ нею недалеко ушли. Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся длинная исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патріархальномъ

бытѣ славянскомъ. Артель и сельская община, раздѣлъ прибытка и раздѣлъ полей, мірская сходка и соединеніе селъ въ волости, управляющіяся сами собой,— все это краеугольные камни, но все же камни... и безъ западной мысли нашъ будущій соборъ остался бы при одномъ фундаментѣ

Бо́льшая часть сочиненій Герцена, слѣдующихъ за брошюрой «Съ того берега», представляетъ развитіе этихъ основныхъ идей, на которыхъ Герценъ остановился, какъ мы сказали выше, послѣ 1848 года. Таковы «Старый міръ и Россія», «Le développement des idées révolutionnaires en Russie», «Peuple Russe et le socialisme», «Концы и начала» и пр. При этомъ надо отдать справедливость всѣмъ этимъ сочиненіямъ, что, хотя бы вы и были несогласны съ основными идеями ихъ, хотя бы вы ихъ считали вполнѣ гадательными и метафизическими, тѣмъ не менѣе сочиненія эти имѣютъ и свои неотъемлемыя достоинства. Анализъ европейской жизни, который Герценъ дѣлаетъ для подтвержденія своихъ гадательныхъ выводовъ, самъ по себѣ во всякомъ случаѣ поражаетъ васъ своей мѣткостью, проницательностью и глубиной, хотя бы вы и не соглашались съ выводами этого анализа. Это чисто прудоновскій анализъ, основанный на томъ же самомъ методѣ раскрытія противорѣчій. Онъ имѣетъ и значеніе, совершенно аналогичное анализу Прудона: сила того и другого чисто отрицательная. Какъ Прудонъ, такъ и Герценъ до тѣхъ поръ только на своей почвѣ, пока они, раскрывая противорѣчія во всѣхъ существующихъ формахъ жизни, убѣждаютъ васъ въ ихъ несостоятельности. Положительная же сторона анализа, выводы изъ него у обоихъ одинаково слабы, метафизичны, гадательны. Вставши на такую точку зрѣнія на сочиненія Герцена, вы можете согласиться во многомъ съ Герценомъ, но вмѣсто того, чтобы выводить изъ его анализа заключеніе о паденіи всей цивилизаціи, полномъ разложеніи европейскаго міра, вамъ слѣдуетъ остановиться на томъ предположеніи, что современная исторія Европы представляетъ такое же разложеніе формъ старой жизни, какое было въ XV вѣкѣ въ той же Европѣ, не предрекая преждевременно, что выйдетъ изъ этого разложенія. Впрочемъ и въ этомъ отношеніи Герценъ предупреждаетъ васъ. Онъ не всегда въ своихъ гаданіяхъ о кончинѣ европейскаго міра держится того историческаго тона, какой преобладаетъ въ брошюрѣ «Съ того берега». Иногда на него находили минуты просвѣтлѣнія и изъ утвердительнаго тона онъ переходилъ въ предположительный, допускалъ частицу *если*. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ самъ называетъ взглядъ брошуры «Съ того берега» болѣзненнымъ, страстнымъ, личнымъ.

Подобная болѣзненность объясняется вполнѣ печальнымъ положеніемъ, въ которомъ находился Герценъ, начиная съ 1848 года и до 1856 г. Это положеніе сдѣлалось еще печальнѣе, когда онъ, потерявши въ одинъ годъ мать, сына, наконецъ жену, — поселился въ 1852 году въ Лондонѣ на долгое житье.

Онъ былъ униженъ, по его собственнымъ словамъ. Самолюбіе его было оскорблено, онъ сердился на самого себя. Совѣсть угрызала за святотатственную порчу горести, за годъ суеты, и онъ чувствовалъ страшную, невыносимую усталь... Ему была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы безъ суда и осужденія его исповѣдь, была бы несчастна его несчастіемъ; но кругомъ стлалась больше и больше пустыня, никого близкаго... ни одного человѣка... Онъ не думалъ прожить въ Лондонѣ дольше мѣсяца, но мало-по-малу сталъ разглядывать, что ему рѣшительно некуда ѣхать и незачѣмъ. Такого отшельничества онъ нигдѣ не могъ найти, какъ въ Лондонѣ...

Вотъ онъ и зажилъ въ Лондонѣ, въ печальномъ уединеніи, чужой и ненужный никому среди лондонской суеты, отрѣзанный непроходимой стѣной отъ родины. Съ ужасомъ глядѣлъ онъ на усиливавшуюся реакцію въ Европѣ, на дошедшую до геркулесовыхъ столбовъ реакцію въ Россіи. Началась крымская война. Повсюду кругомъ начали раздаваться воинственные крики. И между тѣмъ какъ европейскіе публицисты наперерывъ другъ передъ другомъ проповѣдывали крестовый походъ противъ новыхъ варваровъ, грозящихъ завоевать Европу, Герценъ какъ будто нарочно, въ разрѣзъ господствующему настроенію европейской публицистики, въ это то самое время началъ печатать въ «The Englisch Republic» свои письма къ редактору этого обозрѣнія В. Линтону о преимуществахъ Россіи передъ Европой, о ея призваніи смѣнить на пути цивилизаціи дряхлѣющій міръ («Старый міръ и Россія»). Брань и насмѣшки посыпались тогда со всѣхъ сторонъ на Герцена отъ нѣмецкихъ и англійскихъ публицистовъ. Одни говорили, что въ этихъ письмахъ Герценъ ставитъ въ образецъ и идеалъ крѣпостное состояніе; другіе обвиняли Герцена въ предположеніи завоевать не только Константинополь, но и Вѣну; третьи считали ложью и выдумкой все сказанное Герценомъ о сельской общинѣ. «Онъ дошелъ до того,—восклицаетъ одинъ изъ публицистовъ,— что даже въ устройствѣ украинскихъ казаковъ старается показать начала демократическія, почти республиканскія».

Такъ тянулась жизнь Герцена до 1855 года, когда рядъ вѣстей, внезапно нахлынувшихъ изъ Россіи, одна другой свѣтлѣе и радостнѣе, возбудили въ Герценѣ новый энтузіазмъ, удесятерили, какъ онъ выражается, надежды и силы. Здѣсь начинается новый и послѣдній періодъ дѣятельности Герцена. Подробное разсмотрѣніе этого періода не входитъ въ наше обозрѣніе, имѣющее цѣлью лишь очертить предѣлы развитія мысли въ передовыхъ кружкахъ нашего общества 40-хъ годовъ и обозначить три грани этого развитія. Мы ограничимся только нѣсколькими замѣчаніями касательно общаго характера убѣжденій Герцена въ этотъ послѣдній періодъ его жизни.

Этотъ періодъ ознаменовался, какъ извѣстно, изданіемъ «Колокола». Изданіе «Колокола» навлекло на Герцена всего болѣе обвиненій въ безплодномъ агитаторствѣ, въ растлѣніи цѣлаго поколѣнія. О немъ составилось понятіе, какъ о революціонерѣ, который ни о чемъ болѣе не мечтаетъ, какъ о разрушеніи всякаго порядка семьи, собственности, о пролитіи морей крови и пр...

Я не буду входить въ разбирательство причинъ составленія о Герценѣ подобнаго мнѣнія, предоставляя это дѣло исторіи. Я ограничиваюсь только указаніемъ

читателямъ на то бьющее въ глаза противорѣчіе, что именно въ то время, когда о Герценѣ состоялось подобное мнѣніе, онъ высказывалъ самыя умѣренныя убѣжденія. Для примѣра достаточно представить отношеніе Герцена къ тремъ слѣдующимъ другъ за другомъ фазамъ броженія 60-хъ годовъ.

Въ первый періодъ броженія на главномъ планѣ стоялъ крестьянскій вопросъ. Общество было исполнено смутныхъ тревогъ. Люди самыхъ противоположныхъ партій ждали, что этотъ вопросъ разрѣшится потрясеніемъ всего общественнаго строя. Между тѣмъ Герценъ въ это время съ свѣтлымъ энтузіазмомъ привѣтствовалъ въ своемъ «Колоколѣ» начинанія правительства. Онъ доказывалъ, что разрѣшеніе этого вопроса правильно, т. е. съ надѣломъ землей, не только не можетъ повести къ революціи, а еще болѣе привяжетъ народъ къ правительству. Со всѣхъ сторонъ сыпались къ нему письма, обвинявшія его въ умѣренности. Отъ него ждали какой нибудь революціонной программы. Но Герценъ отвѣчалъ на всѣ эти обвиненія и ожиданія, что, увидѣвши, что на знамени новаго движенія въ Россіи стоитъ не конституція, не республика, не парламентъ, не муниципальная свобода, не война съ Австріей, не завоеваніе Турціи, а освобожденіе крестьянъ съ землей,—онъ бросилъ все и прилѣпился къ этому жизненному вопросу для Россіи, что въ этомъ причина всего успѣха «Колокола». Если же среди распрей, споровъ и общественной борьбы изъ за крестьянскаго вопроса «Колоколъ» сталъ бы звонить всемірной республикѣ о солидарности народовъ, то читатели «Колокола» не замедлили бы сказать: «что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали въ Руссо и Вольтерѣ, въ исторіи первой революціи и газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину—ну, гдѣ же читать ваши деклamаціи?»

Послѣ того началась эпоха прокламацій и красныхъ призраковъ. Герценъ не замедлилъ осмѣять составителей прокламацій. Онъ сравнилъ ихъ съ дѣтьми, которыхъ восхищаетъ терроръ революцій, какъ дѣтей—терроръ сказокъ съ своими чародѣями и чудовищами. При этомъ онъ категорически объявилъ, что онъ давно разлюбилъ обѣ чаши, полныя крови, статскую и военную, и равно не хочетъ пить изъ черепа боевыхъ враговъ, ни видѣть голову герцогини Ламбаль на пикѣ, что какая бы кровь ни текла, гдѣ нибудь текутъ слезы, что французскій терроръ всего менѣе возможенъ у насъ, такъ какъ у насъ нѣтъ ни новыхъ догматовъ, ни кровавыхъ катехизисовъ для оглашенія; нашъ переворотъ долженъ начаться съ сознательнаго возвращенія къ народному благу, къ началамъ, признаннымъ народнымъ смысломъ и вѣковымъ обычаемъ. Закрѣпляя право каждаго на землю, т. е. объявляя землю тѣмъ, чѣмъ она есть—*неотъемлемой стихіей*, мы только подтверждаемъ и обобщаемъ народное понятіе объ отношеніи человѣка къ землѣ. Отрекаясь отъ формъ, чуждыхъ народу, втѣсненныхъ ему полтора вѣка назадъ, мы продолжаемъ прерванное и отклоненное развитіе, вводя въ него новую силу мысли, науки. Наконецъ, пока фактически земля подъ нимъ, народъ не подымется Для народа подняться трудно; это не рискъ своимъ лицомъ, не каторга, не палачи, а полное разореніе семьи, невспаханное поле, голодныя дѣти, саранча постоя...

Совершенно на такихъ же основаніяхъ возсталъ впослѣдствіи Герценъ и противъ крайнихъ западныхъ коммунистовъ въ своихъ «Письмахъ къ старому товарищу», напечатанныхъ въ сборникѣ посмертныхъ статей А. И. Герцена. По мнѣнію Герцена, если понятія государства, суда сильны и крѣпки, то еще крѣпче укоренены понятія о семьѣ, о собственности, о наслѣдствѣ. Отрицаніе собственности само по себѣ безсмыслица; видоизмѣненіе ея, вродѣ перехода изъ личной въ коллективную, неясно и неопредѣленно. Крестьянину на Западѣ такъ же необходимо привилась его любовь къ своей землѣ, какъ въ Россіи легко понимается крестьянствомъ общинное владѣніе. Собственность, и особенно поземельная, для западнаго человѣка представлялась освобожденіемъ, его самобытностью, его достоинствомъ и величайшимъ гражданскимъ значеніемъ. Можетъ быть, онъ убѣдится въ невыгодѣ безпрестанно крошащихся и дробныхъ участковъ и въ выгодѣ свободнаго хозяйства, общинныхъ запашекъ полей; но какъ же его «безъ пристрастія» уломать, чтобъ онъ спервоначала отказался отъ вѣками взлелѣянной мечты, которою онъ жилъ и тѣшился и которая дѣйствительно поставила его на ноги, прикрѣпила къ нему землю, къ которой онъ былъ прежде крѣпокъ. Вопросъ о наслѣдствѣ, по мнѣнію Герцена, еще труднѣе. Кромѣ холостыхъ фанатиковъ, вродѣ монаховъ, раскольниковъ, икаріанъ и пр., никакая масса не согласится на безусловное отреченіе отъ права завѣщать какую нибудь часть достоянія своимъ наслѣдникамъ. Въ худшемъ человѣческомъ положеніи, у дворовыхъ крѣпостныхъ людей, были кое какія тряпки, которыя они оставляли своимъ и которыя почти никогда не отбирались помѣщиками. Отымите у самаго бѣднаго мужика право завѣщать—и онъ возьметъ колъ въ руки и пойдетъ защищать своихъ, свою семью и свою волю... Въ заключеніе Герценъ выражаетъ то мнѣніе, что дикіе призывы къ тому, чтобы закрыть книги, оставить науку и идти на какой то безсмысленный бой разрушенія принадлежатъ къ самой неистовой демагогіи и къ самой вредной, что за ними прямо слѣдуетъ разнузданіе дикихъ страстей, le déchaînement des mauvaises passions, что этими словами мы шутимъ, нисколько не считая, насколько они вредны для дѣла, для слушающихъ.

Всѣ подобныя мнѣнія какъ то весьма трудно вяжутся съ понятіемъ о Герценѣ, какъ объ агитаторѣ-революціонерѣ, жаждущемъ взрывовъ и насильственныхъ переворотовъ. Намъ кажется, что Герценъ былъ чистѣйшій идеалистъ сороковыхъ годовъ, который половину жизни провелъ въ рефлексіяхъ, главная сила котораго заключалась въ разлагающей критикѣ, которою онъ перемалывалъ все, подвергавшееся его наблюденіямъ, не щадя ни друзей, ни враговъ, ни старыя, ни новыя явленія жизни.

Въ то же время и мысль, что онъ сдѣлался такимъ только подъ конецъ жизни, причемъ, по мнѣнію однихъ, онъ отрезвѣлъ и исправился, а по мнѣнію дру-

гихъ, отсталъ подъ гнетомъ старости,—такая мысль, въ свою очередь, лишена основанія. Онъ былъ почти однимъ и тѣмъ же, начиная съ 1848 года. Для примѣра, достаточно сравнить его характеристику русскихъ эмигрантовъ, писанную подъ конецъ жизни, съ тѣмъ, что онъ писалъ въ пятидесятыхъ годахъ объ эмигрантахъ сороковыхъ годовъ—французскихъ, нѣмецкихъ и русскихъ (Сазоновѣ, Энгельгардтѣ). Не мѣшаетъ также сравнить его полунасмѣшливую характеристику современныхъ развитыхъ женщинъ, помѣщенную имъ въ «Полярной Звѣздѣ» за 1869 г, съ тѣмъ, что писалъ онъ о разныхъ женщинахъ сороковыхъ годовъ во 2-й части «Былое и Думы». Герценъ самъ о себѣ сказалъ совершенно справедливо, что съ іюньскихъ дней (1848) началась послѣдняя часть его жизни.

ГЕРОИ ВѢЧНЫХЪ ОЖИДАНІЙ.

(„Разореніе“, романъ Глѣба Успенскаго. Спб. 1871 г.).

I.

Всякая блаженная середина бываетъ пошла и всѣ ублюдки уродливы, но нѣтъ ничего безобразнѣе той помѣси эстетической критики съ тенденціозной, какая часто встрѣчается въ настоящее время въ нашей литературѣ то на столбцахъ газетъ, то на страницахъ журналовъ, а оттуда переходитъ въ салонную болтовню о литературныхъ новостяхъ. Пріемы этой критики весьма незамысловаты и изобрѣтены не ею, а достались ей по наслѣдству, потому что въ каждый вѣкъ существовала подобная междоумочная критика и употребляла одни и тѣ же неизмѣнныя правила: къ произведеніямъ общепризнанныхъ знаменитостей относись смѣло, восторгайся ихъ эстетическими красотами, силою художественнаго таланта, и развѣ если они черезчуръ ужъ плохи, то удивляйся, какъ такой высокій талантъ и т. д. Что же касается произведеній именъ новыхъ, непризнанныхъ и не попавшихъ еще въ литературную табель о рангахъ, то, чтобы не попасться въ просакъ, избѣгай всякихъ рѣшительныхъ приговоровъ: можешь замѣтить въ произведеніи съ серьезнымъ тономъ знатока кое какія достоинства, кое-какіе недостатки, поощрительно заявить, что авторъ подаетъ нѣкоторыя надежды, войти въ небольшое разсужденьице по поводу той или другой современной идейки; но главное заключается въ томъ, чтобы оставить для себя два выхода изъ рецензіи, чтобы впослѣдствіи во всякомъ случаѣ можно было, опираясь на рецензію, сказать: мы говорили нѣкогда то и то, послѣдствія оправдали наши предположенія. Этому дорогому правилу, завѣщанному предками, держится и современная намъ междоумочная критика.

Что особенно подкупаетъ публику въ подобной критикѣ, такъ это то, что робко и уклончиво держась спасительной серединки, рецензенты всегда умѣютъ съ серьезнымъ тономъ знатоковъ выставить нѣсколько замѣчаній по поводу произведенія, повидимому совершенно неопровержимыхъ. Откроетъ вамъ рецензентъ нѣсколько несомнѣнныхъ достоинствъ произведенія, и вамъ остается только удивляться его проницательности, такъ-какъ вы сами раньше рецензента обратили вниманіе на эти достоинства. Затѣмъ заявитъ онъ, что произведеніе выиграло бы, еслибы было менѣе растянуто, тотъ или другой характеръ былъ бы выдержанъ или выкинутъ изъ пьесы, какъ лишній, въ томъ или другомъ мѣстѣ не было бы напущено излишней темноты и проч.,—и опять вамъ остается только соглашаться съ критикомъ и удивляться вѣрности и мѣткости его критическаго чутья. Въ заключеніе критикъ съ тономъ благороднаго либерала напускается на тѣ скверны жизни, какія изображены въ произведеніи, или наконецъ на самого автора за непохвальность его гражданскихъ чувствъ,—и вамъ остается только проникнуться глубокимъ уваженіемъ къ доблести вашего согражданина.

Но начните вглядываться въ цѣлый рядъ подобныхъ рецензій, вамъ представится странное зрѣлище: вы увидите, что произведенія самыхъ разнородныхъ писателей, если послѣдніе не имѣютъ еще счастія принадлежать къ общепризнаннымъ знаменитостямъ, ставятся рецензентомъ въ одинъ безразличный рядъ: Глѣбъ Успенскій, Николай Успенскій, Лейкинъ, Левитовъ, Омулевскій, Крестовскій (псевдонимъ), Кущевскій,—вы и не думайте ожидать, чтобы междоумочная критика установила вамъ какіе бы то ни было опредѣленные взгляды на всѣхъ этихъ писателей. Всѣ они поощряются по одной и той же мѣркѣ: во всѣхъ ихъ находятся свои несомнѣнныя достоинства, несомнѣнные недостатки и своя тенденція, которую слѣдуетъ одобрить или предать порицанію. Я убѣжденъ, что еслибы возсталъ изъ гроба самъ Шекспиръ и выпустилъ на свѣтъ комедію, конечно въ духѣ нашего времени и подъ новымъ именемъ, междоумочная критика не замедлила бы отнестись къ нему съ тѣмъ же поощрительнымъ тономъ: замѣтила бы въ немъ нѣсколько несомнѣнныхъ достоинствъ,—и пошелъ бы гулять онъ по свѣту на одномъ ряду съ Лейкинымъ, Александровымъ, Аверкіевымъ и прочими драматургами Александринки.

Это полнѣйшее отсутствіе всякаго критеріума въ междоумочной критикѣ отъ того именно и зависитъ, что она и отъ эстетическихъ принциповъ отстала, но и къ реальнымъ принципамъ не пристала. Съ одной стороны отыскиваніе эстетическихъ достоинствъ и недостатковъ въ произведеніи по мѣркамъ отжившей

умозрительной эстетики прямо ведетъ къ тому, что не только произведенія новыхъ талантовъ, но и всѣ величайшіе памятники искусства, если не знать предварительно, что они величайшіе, можно поставить въ одинъ безразличный рядъ, потому что нѣтъ такого произведенія на свѣтѣ, въ которомъ, при мало-мальски тщательномъ анализѣ, вы не нашли бы рядомъ съ достоинствами своихъ недостатковъ. Эстетическая критика потому именно и пала, что она морочила людей на каждомъ шагу. Заблуждалась она и въ томъ отношеніи, будто образы искусства выше образовъ дѣйствительности, но еще болѣе заблуждалась она, воображая, что чѣмъ выше, геніальнѣе произведеніе, тѣмъ строже соблюдены въ немъ всѣ законы изящнаго, тѣмъ болѣе найдете вы въ немъ гармоническаго соотвѣтствія частей съ цѣлымъ, и что эти эстетическія совершенства могутъ служить вѣрнымъ мѣриломъ достоинства и высоты произведенія. Оказалось, что не только образы искусства не выше дѣйствительности, но что и съ формальной стороны искусство только стремится къ достиженію идеаловъ красоты и гармоніи, но такъ же рѣдко и случайно достигаетъ этихъ идеаловъ, какъ и все въ природѣ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ только въ небольшомъ, моментально вылившемся изъ души лирическомъ стихотвореніи поэтъ еще можетъ удовлетворить всѣмъ законамъ эстетики относительно симметріи, гармоніи частей съ цѣлымъ, единства, полноты и проч. Но чуть дѣло коснется мало-мальски крупнаго произведенія, для созданія котораго необходимъ годъ времени и болѣе, требованія эстетики становятся совершенно неисполнимыми. Поэтъ—существо живое, измѣняющееся; сегодня онъ уже не тотъ, чѣмъ былъ вчера; на него постоянно дѣйствуютъ всевозможныя внѣшнія обстоятельства и ежеминутно измѣняютъ его настроеніе, мысли, планы. Можно ли послѣ этого ожидать, чтобы произведеніе его, писанное втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, или хотя бы и мѣсяцевъ, было гармоническимъ цѣлымъ? И дѣйствительно, мы видимъ, что почти всѣ крупныя произведенія поэзіи представляются не столько стройными, симметрическими храмами, сколько наслоеніями пластовъ внутренней жизни поэта, расположенными столь же неправильно со всевозможными покатостями, неровностями и кривизнами, какъ и геологическія формаціи. Нужно употребить неимовѣрное хитросплетеніе софистической діалектики, чтобы доказать, что та или другая драма Шекспира представляетъ единое цѣлое, въ которомъ будто бы нѣтъ ничего излишняго, ничего недосказаннаго, въ которомъ каждая часть служила бы для выраженія основной идеи произведенія, и что въ драмѣ Шекспира не можетъ быть измѣнена или выброшена ни одна строчка безъ нарушенія гармоніи цѣлаго. О «Фаустѣ» Гёте, поэмахъ Байрона, «Евгеніи Онѣгинѣ» Пушкина и говорить нечего. Въ произведеніяхъ Гейне образы, чувства, идеи мелькаютъ передъ вами въ хаосѣ и съ прихотливостью сонныхъ грезъ, а «Мертвыя Души» Гоголя слѣдовало бы совершенно исключить изъ ряда изящныхъ произведеній. Не говоря ужъ о томъ, что это произведеніе неоконченное, не говоря о томъ, что вторая часть его писана совершенно подъ инымъ настроеніемъ поэта, чѣмъ первая, вы не видите въ немъ рѣшительно ничего, что напоминало бы вамъ о гармоническомъ, замкнутомъ въ себѣ цѣломъ. Это галлерея портретовъ, повѣшенныхъ рядомъ, причемъ каждый портретъ самъ по себѣ и для себя. Въ эту галлерею можно было бы вносить новые портреты; можно и уносить оттуда каждый въ отдѣльности. Оставшіеся ни мало не потеряютъ, если ихъ товарищъ будетъ унесенъ; съ своей стороны ни мало не потеряетъ и унесенный товарищъ: глава о Плюшкинѣ, помѣщенная въ какой-нибудь христоматіи, представляется вамъ не безсвязнымъ отрывкомъ, а совершенно отдѣльнымъ произведеніемъ. Однимъ словомъ, еслибы эстетическая критика не была слѣпа, уклончива, а смѣло и послѣдовательно договорилась до конца, то ей пришлось бы, въ pendant своимъ противникамъ, отрицателямъ искусства, которыхъ она нѣкогда обвиняла въ предпочтеніи сапоговъ Шекспиру, самой, въ свою очередь, предпочесть изящно сдѣланный подсвѣчникъ большинству великихъ произведеній поэзіи.

Но не въ состояніи будучи найти въ старой эстетикѣ никакого вѣрнаго критеріума для опредѣленія достоинства произведеній, междоумочная критика наша недалеко идетъ и по пути новыхъ реальныхъ принциповъ полезнаго искусства. Она ограничивается только указаніемъ на тенденцію и признаніемъ произведенія полезнымъ или вреднымъ по вѣрности тенденціи. Но надо-ли много говорить о томъ, что и тенденціи не могутъ дать никакого вѣрнаго критеріума для оцѣнки относительнаго достоинства произведеній? Хорошо, если передъ вами два произведенія, изъ которыхъ въ одномъ проведена тенденція полезная, а въ другомъ очевидно—ложная и вредная. Ну, а если вы натыкаетесь на два произведенія съ одинаково полезными тенденціями? Неужели оба одинаково полезны, потому что въ нихъ проведена одинаково полезная тенденція? Но почему-же иное произведеніе подымаетъ въ васъ столько чувствъ и думъ, что не исчерпать ихъ цѣлыми томами критическихъ трактатовъ; а объ иномъ, при всей похвальности тенденціи, трудно бываетъ сказать нѣсколько словъ? Отъ этихъ вопросовъ междоумочная критика отдѣлывается обыкновенно нѣсколькими рутинными, стараго покроя фразами вродѣ: такова сила художественнаго таланта, тайна творчества, возведенія въ перлъ созданія и пр.

Всѣ эти мысли невольно пришли мнѣ въ голову, когда я читалъ «Разореніе» Гл. Успенскаго Вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ подвизается Гл. Успенскій на литературномъ поприщѣ, но замѣтила-ли наша междоумочная критика этотъ молодой и свѣжій талантъ, отличила-ли отъ ряда другихъ талантовъ молодой школы, оцѣнила-ли его по достоинству? Положимъ, что первые очерки Гл. Успенскаго еще не могли обратить на него особеннаго вниманія критики, потому что это были нетвердые и неопредѣленные шаги начинающаго таланта, по которымъ трудно еще было судить, что̀ изъ него выйдетъ, и пойдетъ-ли онъ дальше. Но вотъ передъ вами первое его крупное произведеніе, почти два года назадъ напечатанное на журнальныхъ страницахъ. Это произведеніе впервые обнаружило въ Гл. Успенскомъ сильный самостоятельный талантъ, рѣшительно выходящій изъ ряда обыкновенныхъ и пролагающій свою собственную дорогу. Про-

изведеніе Гл. Успенскаго не напоминаетъ вамъ ничего, появлявшагося въ литературѣ прежде и послѣ. Отъ первой страницы и до послѣдней все въ немъ ново, свѣжо, оригинально. Обратила-ли наша междоумочная критика вниманіе на эту отрадную и свѣтлую надежду нашей юной литературы и разъяснила-ли, что́ именно заслуживаетъ особеннаго вниманія въ произведеніи Гл. Успенскаго и чѣмъ этотъ талантъ отличается отъ массы всякаго рода писателей романовъ, повѣстей и очерковъ?

Можно заранѣе предвидѣть, какъ отнеслась бы, если уже не отнеслась, междоумочная критика къ произведенію Гл. Успенскаго. Прежде всего она замѣтила бы, что «Разореніе» представляетъ первую попытку Гл. Успенскаго отъ мелкихъ очерковъ провинціальной жизни перейти къ созданію романа, но что попытка эта, къ сожалѣнію, не удалась: вышелъ все-таки не романъ, а тотъ-же рядъ очерковъ, связанныхъ вмѣстѣ на живую нитку. Довольно сказать, что въ романѣ вы видите полное отсутствіе всякаго сюжета. Только въ концѣ уже его завязывается что-то вродѣ сюжета, вертящагося около вопроса объ эмансипаціи женщинъ отъ семейнаго деспотизма, но и этотъ сюжетъ прерывается въ самомъ началѣ развитія, оканчиваясь безобразною уличною сценою. Что́-жедѣлаютъ дѣйствующія лица романа Гл. Успенскаго? А ничего не дѣлаютъ: спятъ, зѣваютъ и жалуются на томительную скуку, нагоняя еще болѣе томительную скуку на читателя. Но всего болѣе надоѣдаетъ вамъ въ романѣ главный его герой, Михаилъ Ивановичъ, этотъ протестантъ изъ народа, выгнанный отовсюду фабричный «за бунты», какъ онъ выражается. Этотъ господинъ впродолженіи всего романа ничего не дѣлаетъ, какъ только шатается изъ мелочной лавочки въ кабакъ, отъ однихъ знакомыхъ—къ другимъ, и все жалуется и злится на «прижимку». Онъ весь исчерпывается передъ вами на двухъ-трехъ первыхъ страницахъ романа, но авторъ заставляетъ его стонать и жаловаться до послѣдней страницы. Наконецъ эти безконечныя жалобы героя повидимому надоѣли самому автору, и онъ прервалъ свой разсказъ, предвидя, что еслибы продолжалъ его долѣе, то далѣе ему ничего не оставалось бы дѣлать, какъ приводить новыя тирады сѣтованій своего героя. Къ этому надо прибавить нѣкоторую искусственность, съ которою Гл. Успенскій мѣстами утрируетъ комизмъ своихъ героевъ, желая нагляднѣе выставить ихъ пошлость. Мѣстами вы видите самого автора, говорящаго устами своихъ героевъ. Такъ напримѣръ, въ длинной тирадѣ Черемухина въ концѣ романа такъ и видится вамъ въ каждомъ словѣ самъ авторъ, анализирующій этого Черемухина его же собственными устами. Эта тирада очень напоминаетъ вамъ тѣхъ дѣйствующихъ лицъ плохихъ комедій, которыя вдругъ, ни съ того, ни съ сего, обращаются къ зрителямъ, о существованіи которыхъ они должны были бы не подозрѣвать, и начинаютъ разсказывать имъ о прежнихъ обстоятельствахъ своей жизни, чтобы уяснить зрителямъ сюжетъ комедіи. Точно также и Михаилъ Ивановичъ былъ бы естественнѣе, еслибы симпатіи, антипатіи и сѣтованія его авторъ съумѣлъ представить хотя-бы и глубокими, мѣткими, но все-таки инстинктивными гаданіями человѣка темнаго, дошедшаго до всего путемъ личнаго опыта, непросвѣтленнаго знаніями. Михаилъ же Ивановичъ подчасъ такъ сознательно формулируетъ свое недовольство, будто онъ знакомъ со всѣми новѣйшими открытіями политической экономіи. Очевидно, что въ тирадѣ Михаила Ивановича на половину высказывается передъ вами самъ авторъ.

Но, при всѣхъ этихъ недостаткахъ, замѣтила-бы далѣе междоумочная критика, вы видите мѣстами въ произведеніи Гл. Успенскаго задатки сильнаго и недюжиннаго юмора. Вы найдете въ романѣ Гл. Успенскаго страницы, которыя могли бы быть украшеніемъ любого романа Диккенса. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ припомнить только въ романѣ Гл. Успенскаго картину гнѣзда взяточниковъ, разоренныхъ новѣйшими реформами и умирающихъ на развалинахъ прежней веселой жизни. Ужасенъ видъ этого опустѣлаго, заброшеннаго жилища, исполненнаго плесени, духоты и одуряющаго запаха ладона. Эта тупоумная старуха-бабка, все продолжающая шептать съ жадностью: «въ карманъ-то, въ карманъ-то норови»; этотъ параличный хозяинъ, надъ головою котораго сынъ разражается проклятіями; эта хозяйка, которая чуть не ежедневно соборуется втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, а послѣ отходной быстро вскакиваетъ съ постели и ругается на всю улицу съ водовозомъ или съ мужемъ; наконецъ этотъ умирающій молодой музыкальный талантъ, забитый, запуганный домашнимъ гнетомъ, вообразившій, что онъ виновенъ въ непочтеніи къ родителямъ, къ самому Богу, за то, что игралъ подъ воскресенья и двунадесятые праздники, обвѣсившій стѣны своей коморки лубочными картинками, изображающими смерть съ косой, адъ, геенну, страшный судъ, лежащій, обернувшись къ стѣнѣ, не говорящій ни съ кѣмъ ни слова и ожидающій смерти и всякихъ ужасовъ,—все это вмѣстѣ во всѣхъ своихъ подробностяхъ представляетъ потрясающее дѣйствіе. Отъ подобной картины не отказался бы лучшій юмористъ въ Европѣ.

Только жалко, прибавила бы ко всему этому междоумочная критика, что Гл Успенскій не всегда употребляетъ свой юморъ тамъ, гдѣ онъ нуженъ, что онъ расточаетъ его безъ мѣры и подвергаетъ ему такія вещи, передъ которыми каждый истинно-прогрессивный писатель долженъ останавливаться съ уваженіемъ. Такъ напримѣръ, наши земскія и мировыя учрежденія, составляющія высшую степень современнаго россійскаго прогресса и въ которыхъ таится драгоцѣнный залогъ всего нашего будущаго, очевидно должны возбуждать въ писателяхъ скорѣе чувство восторга, располагающаго къ одописанію, чѣмъ побужденіе къ смѣху и сатирѣ. Когда авторъ заставилъ свою героиню Наденьку познакомиться съ семействомъ Шапкина, мы надѣялись, что въ лицѣ Шапкина онъ изобразитъ намъ положительный типъ современной русской доблести въ лицѣ либеральнаго дѣятеля по мировымъ учрежденіямъ, высоко парящаго надъ всею окружающею его пошлостью и распространяющаго вокругъ себя свѣтъ, торжество правды, законности и уваженія къ порядку. Но авторъ не замедлилъ пролить свой юморъ даже и на эту свѣтлую сторону нашей жизни, изобразивши засѣданіе мирового съѣзда съ тѣмъ же смѣхомъ сквозь слезы, какъ и какое-ни-

будь гнѣздо отжившихъ взяточниковъ. Это непочтительное отношеніе къ драгоцѣнному залогу показываетъ въ авторѣ наклонность къ отрицанію ради отрицанія, и авторъ, самъ не замѣчая того, подаетъ руку тѣмъ врагамъ прогресса, которые рады въ нашихъ земскихъ и мировыхъ учрежденіяхъ отыскивать всевозможные недостатки.

Вотъ и все, что можетъ сказать или уже сказала о произведеніи Гл. Успенскаго междоумочная критика. Все это можно было бы развить гораздо болѣе на десяткахъ страницъ, привести множество цитатъ изъ романа для подтвержденія всѣхъ вышеизложенныхъ мнѣній, и я убѣжденъ, публика осталась бы вполнѣ довольна критикой, даже можетъ быть болѣе, чѣмъ она останется довольна тою критикою, какую встрѣтитъ на слѣдующихъ страницахъ. По-прочтеніи подобной критики, какому нибудь салонному говоруну можно было бы вдосталь посмѣяться надъ тѣмъ, что наши юные литераторы до сихъ поръ не выучились составлять сюжетовъ, заставляютъ мужиковъ говорить чуть что не цитатами изъ Прудона, и что вотъ до чего дошло наше поколѣніе: отрицаетъ даже такія благодѣтельныя учрежденія нашего времени, какъ гласный судъ и земскія собранія. Болѣе благосклонные къ юному поколѣнію можетъ быть заинтересовались бы прочесть «Разореніе», если еще не читали; прочитавши, замѣтили бы, что, да, дѣйствительно, молодой авторъ не безъ таланта; юморъ его мѣстами задоренъ, но все это еще такъ молодо и незрѣло, хотя и подаетъ кое-какія надежды. Вотъ и все, къ чему могла бы привести подобная критика. А между тѣмъ это все не даетъ и тѣни понятія объ истинномъ значеніи и достоинствѣ произведенія Гл. Успенскаго. Какъ бы ни были велики эстетическіе недостатки «Разоренія», но въ немъ схвачены такіе существенные и общіе мотивы современной намъ жизни, которые наводятъ насъ на множество тяжелыхъ и грустныхъ размышленій. Чтобы оцѣнить по достоинству произведеніе Гл. Успенскаго, критика должна указать, въ чемъ заключается умѣнье автора схватывать общіе мотивы нашей современной жизни, какіе именно мотивы схвачены въ романѣ Гл. Успенскаго, и какое дѣйствіе производятъ они на читателя, на какія мысли наталкиваютъ его. Но для всего этого нужно установить особенный критеріумъ, такъ какъ вышеупомянутые критеріумы не могутъ дать обо всемъ этомъ и приблизительнаго понятія.

II.

Актъ творчества можетъ быть раздѣленъ на два совершенно различные и даже противоположные момента: моментъ образованія поэтическихъ образовъ и моментъ, въ который готовые уже образы овладѣваютъ поэтомъ и возбуждаютъ его къ воспроизведенію ихъ въ формахъ искусства. Умозрительная эстетика имѣла постоянно дѣло только съ послѣднимъ моментомъ, которому придавала самое главное значеніе, который и считала собственно поэтическимъ творчествомъ. Что же касается до образованія поэтическихъ образовъ, то на этотъ моментъ она смотрѣла, какъ на непостижимую тайну поэтическаго творчества, предполагая, что поэтическіе образы создаются какъ то вдругъ, моментально, во всей своей величинѣ, въ экстазѣ поэтическаго ясновидѣнія.

А между тѣмъ въ сущности этотъ первый моментъ поэтическаго творчества длится неизмѣримо долѣе второго. Онъ представляетъ вовсе не взрывъ экстаза, а медленное и постепенное, продолжающееся день за день, годъ за годъ развитіе различныхъ умственныхъ комбинацій. Этотъ первый моментъ составляетъ самую главную и существенную часть поэтическаго творчества. Можно сказать даже, что отъ него зависитъ почти все. Между тѣмъ новѣйшія психологическія изысканія пролили такой уже свѣтъ на всѣ наши мозговые процессы, что этотъ первый моментъ творчества уже не составляетъ болѣе непостижимой тайны.

Новѣйшая психологія учитъ насъ, что въ основѣ всѣхъ умственныхъ отправленій лежитъ индукція, то-есть сведеніе въ нашемъ умѣ отдѣльныхъ представленій къ общимъ образамъ, категоріямъ, идеямъ. Если таково существенное свойство нашего ума, то неужели одно поэтическое творчество изъято изъ этого закона нашей психической жизни и имѣетъ свои особенные законы? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Образованіе поэтическихъ образовъ совершается по тѣмъ же законамъ индукціи. Поэтъ приходитъ къ своимъ созданіямъ такимъ же медленнымъ путемъ изученія и обобщенія, какъ и ученый къ своимъ открытіямъ. Этимъ обусловливается и достоинство произведеній искусства. Въ области науки мы ставимъ низко компиляцію, пережевывающую добытыя уже и всѣмъ извѣстныя мысли, какъ бы хорошо ни была эта компиляція изложена. Съ другой стороны, мы тѣмъ выше ставимъ ученый трактатъ, чѣмъ больше находимъ въ немъ новыхъ открытій и чѣмъ важнѣе тѣ обобщенія, къ которымъ приводитъ насъ ученый. Но не то же ли самое наблюдается нами и въ мірѣ искусства? Что дѣлаетъ произведеніе особенно цѣннымъ въ глазахъ нашихъ, какъ не новыя открытія и обобщенія, къ которымъ приходитъ поэтъ путемъ изученія окружающей его жизни? Почему мы низко цѣнимъ подражательныя произведенія, сколько бы ни доставляли они намъ эстетическаго наслажденія? Потому что одно эстетическое наслажденіе никогда не удовлетворяетъ насъ; мы постоянно ищемъ въ произведеніи новыхъ итоговъ и обобщеній нашей жизни; подражательный же поэтъ—тотъ же компиляторъ, пересказывающій намъ то, что уже добыто и повѣдано намъ другими.

Нельзя сказать, чтобы старая эстетика и критика, основанная на ней, вполнѣ игнорировали этотъ законъ поэтическаго творчества. Онѣ часто говорили намъ о томъ, что одного таланта мало для созданія мало-мальски порядочныхъ произведеній, что творить изъ ничего нашъ умъ не можетъ, что поэтъ долженъ наблюдать и изучать окружающую его жизнь. Но старая эстетика ограничивалась этими общими фразами, не разъясняя ихъ, не доводя ихъ до сознательнаго и ясно формулированнаго критеріума, а, напротивъ того, тотчасъ же переходила къ радикальнымъ противорѣчіямъ съ этими положеніями, начиная говорить о поэтическомъ чутьѣ, предвидѣніи, ясновидѣніи и проч. Этого мало сказать, что поэтъ дол-

женъ изучать жизнь. Нужно изслѣдовать различныя степени и способы изученія жизни—и затѣмъ опредѣлить, какъ отражаются они на поэтическихъ созданіяхъ, дѣлая ихъ выше или ниже.

Индукція вовсе не есть результатъ развитія, принадлежность однихъ умовъ, обогащенныхъ всевозможными знаніями. Это такое же существенное свойство человѣческаго ума, каково напримѣръ свойство желудка переваривать пищу. Желудку все равно, что бы въ него ни положили: опустите въ него одну крошку хлѣба, онъ начнетъ уже свою работу, проглотите кусокъ камня, онъ будетъ стараться переработать и его, не заботясь о результатахъ. Точно такъ же дѣйствуетъ и нашъ мозгъ. Какъ только онъ получилъ два, три представленія, онъ тотчасъ пытается выжать изъ нихъ обобщенія, и ему все равно, каковы эти представленія и каковы выйдутъ изъ нихъ обобщенія. По мѣрѣ того, какъ количество представленій увеличивается, умъ доходитъ до сознанія несостоятельности прежнихъ обобщеній, являются на ихъ мѣстѣ новыя, болѣе широкія и основательныя. Этимъ обусловливаются всѣ фазы развитія человѣческаго ума, всѣ ошибки и заблужденія вѣковъ, отъ которыхъ человѣчество медленно освобождается съ расширеніемъ знаній. Такъ напримѣръ, даже такое повидимому дѣло чистой фантазіи, какъ миѳологія, есть не что иное, какъ одна изъ первыхъ ступеней индукціи. На этой ступени люди, наблюдая окружающій ихъ міръ, приравниваютъ къ себѣ, обобщаютъ съ собою все, имѣющее движеніе, производящее то или другое дѣйствіе, и приходятъ къ заключенію, что всѣ подобные предметы въ природѣ такія же живыя существа, какъ и человѣкъ. При большей же степени развитія люди убѣждаются, что предметы матеріальной природы—не живыя существа; тогда они начинаютъ дедуктивно приписывать движеніе этихъ предметовъ человѣкообразнымъ существамъ, управляющимъ міромъ. Сравнивая дѣйствія силъ природы съ своими дѣйствіями, люди приходятъ къ тому выводу, что существа, управляющія міромъ, неизмѣримо колоссальнѣе, сильнѣе, могущественнѣе людей. Здѣсь начинаетъ уже работать фантазія; но мы видѣли, что толчкомъ къ ней все-таки послужила индукція, да и самая фантазія, создающая миѳологію, работаетъ чисто-индуктивнымъ путемъ: люди обобщаютъ характеры и качества своего племени въ типы и затѣмъ приравниваютъ эти типы къ различнымъ силамъ природы, смотря по тому, какое впечатлѣніе производитъ на нихъ то или другое явленіе. Такимъ образомъ и выходитъ всегда, что въ богѣ грома олицетворяется типъ скоропреходящаго гнѣва, богъ солнца является красавцемъ, пребывающимъ въ вѣчно-свѣтломъ, сіяющемъ настроеніи духа, и пр.

Теперь мы посмотримъ, какъ дѣйствуетъ индукція творчества въ развитіи отдѣльнаго человѣка, обладающаго поэтическимъ талантомъ. Человѣкъ этотъ живетъ въ своемъ дѣтствѣ обыкновенно въ весьма ограниченной для его кругозора средѣ—семьи и школы. Нѣсколько человѣкъ родныхъ, нѣсколько знакомыхъ, приходящихъ въ домъ отца, прислуга, да десятокъ, другой товарищей, изъ которыхъ болѣе близкихъ къ юношѣ—много пять, шесть человѣкъ. Однимъ словомъ, не наберется и 20 человѣкъ, которые служатъ матеріаломъ для первыхъ обобщеній юноши, да къ тому же эти люди по большей части скрываютъ отъ него существеннѣйшія явленія своей жизни. Но зато ближе всего, въ полной откровенности стоитъ передъ юношею онъ самъ, и онъ можетъ наблюдать сколько угодно явленія своей молодой, бьющей ключомъ жизни.

Какъ только въ умѣ юноши сложатся нѣсколько образовъ и типовъ изъ этого маленькаго мірка, тотчасъ же въ немъ является потребность воспроизводить эти образы, творить. Рядомъ съ этимъ дѣйствуетъ конечно возбудительно и заразительно чтеніе изящныхъ произведеній. Юноша обыкновенно подражаетъ любимымъ поэтамъ; но если у него есть хоть маленькій зародышъ самостоятельнаго творчества, онъ не ограничивается однимъ рабскимъ подражаніемъ, а пытается пустить въ дѣло и свой маленькій запасецъ первыхъ обобщеній. При этомъ онъ поступаетъ совершенно такъ же, какъ и дикари на степени антропоморфизма: онъ приравниваетъ весь міръ къ самому себѣ и тому маленькому мірку, который окружаетъ его. Какъ бы онъ ни пытался отрѣшиться отъ этого міра въ сферу и обстановку иной жизни, иныхъ людей, онъ непремѣнно изобразитъ на первомъ планѣ самого себя, своихъ двухъ, трехъ товарищей; мать героя будетъ похожа на его собственную мать; дѣтство героя онъ наполнитъ впечатлѣніями своего собственнаго дѣтства; явится въ его разсказѣ слуга,—онъ будетъ непремѣнно похожъ на того Ивана или Павла, который ему примелькался въ дѣтствѣ. Вотъ почему всѣ юныя произведенія писателей бываютъ особенно дороги для ихъ біографовъ, проливая много свѣту на дѣтство и юность писателей.

По мѣрѣ того, какъ юноша вступаетъ въ жизнь, раздвигается передъ нимъ кругозоръ его наблюденій, вмѣстѣ съ тѣмъ становятся разнообразнѣе и общѣе его поэтическіе образы. Онъ создаетъ типы различныхъ сословій и состояній, помѣщиковъ, крестьянъ, ученыхъ и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ начинаетъ проникать въ тѣ общіе мотивы жизни, которые принадлежатъ множеству людей.

При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на два совершенно различные склада жизни писателей. Писатель можетъ всю жизнь провести въ какой-нибудь тѣсной сословной средѣ, и даже въ этой средѣ въ небольшомъ кружкѣ знакомыхъ. Очевидно, такая жизнь не замедлитъ произвести свое вліяніе на его творчество. Обобщенія его будутъ частны, узки; самое большее, до чего онъ достигнетъ, будетъ развѣ то, что ему удастся схватить кое-какіе типы другихъ сословій и круговъ жизни съ чисто внѣшней стороны. Изъ общихъ же мотивовъ жизни онъ схватитъ только мотивы своей среды; обо всемъ, что выходитъ изъ этой среды, онъ будетъ судить гадательно, гипотетически и всюду онъ будетъ совать тѣ самые мотивы, какіе ему удалось подмѣтить въ своей средѣ.

Но поэтъ можетъ жить жизнью, исполненною самыхъ разнообразныхъ приключеній и столкновеній съ разнородными слоями общества. Въ то же время передъ нимъ можетъ разыгрываться какая нибудь общественная драма, историческое движеніе, въ кото-

ромъ принимаютъ дѣятельное участіе массы всякаго народа, и, прислушиваясь къ говору этихъ массъ, поэтъ знакомится съ мотивами жизни всевозможныхъ круговъ. Сначала типы и жизнь различныхъ слоевъ общества представляются ему только въ своихъ отличительныхъ чертахъ, неимѣющихъ повидимому ничего общаго между собою и часто совершенно противоположныхъ: тряпичники, роющіеся въ навозѣ и собирающіе разбитыя банки, и вельможи, рѣшающіе судьбы міра—кажутся ему словно существами различныхъ породъ животныхъ. Но мало-по-малу онъ начинаетъ находить общее въ жизни самыхъ противоположныхъ слоевъ общества, подмѣчать такіе существенные мотивы жизни, которые общи цѣлому народу, вѣку или даже всему человѣчеству. Степени подобныхъ обобщеній бываютъ различны, завися, какъ отъ круга наблюденій поэта, такъ и отъ способности обобщенія, и отъ этихъ степеней только однѣхъ и зависитъ достоинство произведенія писателя. Писателя, умѣвшаго схватить общенародные типы и мотивы, мы ставимъ и цѣнимъ всегда неизмѣримо выше писателей, не выходящихъ изъ сословной сферы; въ свою очередь еще выше ставимъ мы поэтовъ общечеловѣческихъ мотивовъ. Послѣднихъ очень немного, и только ихъ произведенія никогда не теряютъ своего интереса и пользы, и очень понятно почему: когда вы читаете произведеніе писателя, не выходящаго изъ круга частныхъ обобщеній, то, какъ бы глубоко ни проникались вы образами поэта, они все-таки остаются болѣе или менѣе чужды вамъ, если только вы сами не принадлежите къ кругу жизни, хорошо изученному поэтомъ. Вы проникаетесь жалостью, негодованіемъ къ героямъ произведенія, завидуете имъ или чувствуете свое превосходство надъ ними,—но все таки чувствуете вмѣстѣ съ тѣмъ, что смотрите на нихъ со стороны. Когда же вы читаете произведеніе, схватывающее общечеловѣческіе мотивы жизни, то, хотя бы авторъ изображалъ передъ вами совершенно чуждую вамъ жизнь, онъ и въ этой жизни покажетъ вамъ нѣчто, принадлежащее вамъ самимъ, и глубоко взволнуетъ васъ, затронувши ваши личные интересы, мечты, желанія, стремленія и пр.

Всѣ эти теоретическія положенія вполнѣ подтверждаются историческими наблюденіями. Перечтите біографіи всевозможныхъ писателей, вы не найдете ни одного, который бы, живя въ тѣсномъ, замкнутомъ кругу, написалъ бы что либо истинно великое. Напротивъ того, мы видимъ, что всѣ общечеловѣческіе поэты—начиная съ Эсхила и кончая Байрономъ—жили весьма разнообразною жизнью; они были или тружениками, пробивающимися изъ нищеты и мрака, или скитальцами, изгнанниками, не говоря о томъ, что почти всѣ они являлись въ эпохи наиболѣе напряженнаго пульса общественной жизни, въ которой сами принимали непосредственное участіе и наблюдали ее ужъ никакъ не изъ своего кабинета, не по газетамъ и реляціямъ.

Понятно послѣ этого становится и то, почему у насъ не можетъ явиться ни одного писателя, котораго можно было бы поставить на одну высоту съ Шекспиромъ или Байрономъ. До сихъ поръ всю вину въ этомъ исключительно сваливали на необразованность нашихъ поэтовъ и утѣшали насъ обыкновенно тѣмъ, что погодите, молъ, вотъ мы сравняемся съ Европой и даже опередимъ ее, тогда и у насъ будутъ свои Гёте и Сервантесы. Но при этомъ вы примите только то въ соображеніе, что хотя у насъ и мало писателей вполнѣ образованныхъ, тѣмъ не менѣе, если вы возьмете русскаго писателя даже самаго необразованнаго, и онъ окажется образованнѣе Софокла, просто уже потому, что живетъ въ XIX столѣтіи послѣ Р. Х., тогда какъ Софоклъ жилъ въ V столѣтіи до Р. Х., когда люди не имѣли еще никакихъ опредѣленныхъ понятій о томъ, какія страны лежатъ далѣе бассейна Средиземнаго моря, думали, что солнце ѣздитъ по небу на колесницѣ Аполлона и злая мойра управляетъ судьбою людей. И между тѣмъ въ тотъ вѣкъ всеобщаго невѣжества могъ развиться Софоклъ, тогда какъ у насъ не можетъ произвести Софокла никакое общеевропейское блестящее образованіе. Очевидно, что причины этого нужно искать отнюдь не въ отсталости нашей отъ Европы, а въ чемъ-то другомъ. Въ чемъ же именно? Всѣ вышеприведенныя данныя могутъ дать прямой и ясный отвѣтъ.

Страна удивительныхъ противорѣчій—наше отечество отличается тѣмъ отъ многихъ странъ Европы, что нигдѣ сословныя перегородки не такъ слабы и не такъ шатки, какъ у насъ: мы можемъ похвастаться, что въ настоящее время у насъ почти нѣтъ сословій, которыя спорили бы между собою о правѣ существованія и боролись не на животъ, а на смерть. Но если мы не имѣемъ четырехъ западныхъ сословій, зато у насъ можно насчитать тысячи всевозможныхъ сословій, которыя дѣйствительно не борятся между собой, потому что не хотятъ и знать другъ друга. У насъ, что занятіе, что ремесло, то и свое собственное сословіе, и каждое сословіе отдѣлено другъ отъ друга китайскою стѣною. Да мало еще этого: у насъ люди, получающіе въ годъ 5,000 рублей доходу, только и знаютъ людей, получающихъ столько же; людей же съ 1,000 рублей они уже чуждаются, какъ плебеевъ, а на людей съ 10,000 рублей смотрятъ уже издали, зная, что тѣ не допустятъ ихъ въ свою компанію, какъ въ свою очередь—плебеевъ. При подобныхъ условіяхъ мы всѣ живемъ въ тѣсныхъ замкнутыхъ, кружкахъ, считая только свой кружокъ за людей единственно полезныхъ въ мірѣ, только свою профессію достойною занятія порядочнаго человѣка; на всѣхъ же остальныхъ ближнихъ мы косимся и отстраняемся отъ нихъ въ ужасѣ, какъ бы боясь, чтобы одно прикосновеніе къ нимъ не лишило насъ нашей невинности. Каждый кружокъ у насъ имѣетъ свое особенное прозябаніе, питается своими иллюзіями, создаетъ даже свой особенный языкъ, понятный только для членовъ кружка. Оттого у насъ и случается зачастую, что иной кружокъ, живя въ тѣсной замкнутости и не зная о томъ, что дѣлается за его стѣнами, унесется въ своей иллюзіи въ такія эмпиреи и выкинетъ вдругъ такое колѣнце на удивленіе всему свѣту, что, будучи не въ силахъ отдать себѣ отчета, что побудило людей дойти до подобнаго увлеченія, не зная тѣхъ путей, какими мысли этихъ людей додумались до чертиковъ, вы чувствуете себя словно въ какомъ-то Бедламѣ и видите людей окончательно поврежденныхъ.

Теперь подумайте, гдѣ же нашимъ писателямъ доходить до такихъ общечеловѣческихъ обобщеній, которыя могли-бы поставить ихъ на одну высоту съ Шекспиромъ или Сервантесомъ? Гдѣ же у насъ такая общественная жизнь, такое всемірно-историческое движеніе, которое приводило бы въ столкновеніе и выдвигало бы наружу существенныя стороны людей различныхъ состояній и доставляло бы поэту обильный матеріалъ для наблюденій и обобщеній? Прозябая въ тѣсныхъ, замкнутыхъ кружкахъ, наши писатели только и могутъ доходить до тѣхъ частныхъ, узкихъ обобщеній, какія имъ доставляетъ ихъ кружокъ. Они только и могутъ выставлять рельефно типы своей среды. Обо всѣхъ же прочихъ слояхъ общества они уже судятъ гадательно, гипотетично, изображая только внѣшнія черты; внутреннія же предполагая все тѣ же, какія имъ удалось подмѣтить въ своей средѣ. Такимъ образомъ, если писатель—помѣщикъ, то и всѣ его герои будутъ смахивать на помѣщиковъ: у него и мужикъ будетъ выставленъ какимъ-то селадономъ, млѣющимъ въ порывѣ нѣжной страсти и дрожащимъ при видѣ обнаженной ручки или ножки деревенской красавицы. Если онъ—офицеръ, то у него и всѣ герои будутъ смахивать на офицеровъ, и мужикъ въ его повѣсти при порывѣ ревности выйдетъ съ дубиною въ рукахъ на дуэль съ оскорбителемъ своей чести. При этомъ нужно замѣтить, что немногихъ писателей, которымъ удалось обобщить типы и мотивы жизни цѣлаго класса помѣщичьяго, купеческаго или военнаго, мы по всей справедливости считаемъ нашими первоклассными корифеями, потому что обобщенія ихъ, какъ ни частны сами по себѣ, все-таки довольно широки сравнительно съ обобщеніями тѣхъ писателей, жизнь которыхъ сосредоточивается въ тѣсномъ кружкѣ пяти, шести человѣкъ. Послѣдніе на всю жизнь страны, о которой не имѣютъ ровно никакого понятія, смотрятъ обыкновенно съ точки зрѣнія иллюзій своего кружка и искажаютъ эту жизнь, елико возможно. Кромѣ двухъ, трехъ такъ называемыхъ положительныхъ типовъ, являющихся ходячими олицетвореніями иллюзій кружка, всѣ остальные герои у нихъ представляются обыкновенно или блѣдными призраками, или стереотипными манекенами. Вотъ почему немногіе молодые таланты наши гибнутъ въ самомъ началѣ своего поприща, не идя далѣе многообѣщающихъ начинаній, но и первоклассные таланты, при условіяхъ нашей жизни, бродятъ часто въ потемкахъ, рискуя ежедневно попадать впросакъ. Такимъ блужданіемъ въ потемкахъ является напримѣръ отношеніе нашихъ первоклассныхъ беллетристовъ къ молодомупоколѣнію. Критика вооружилась на подобное отношеніе вовсе не потому, чтобы требовала отъ беллетристовъ нашихъ непремѣнно выставленія молодого поколѣнія въ идеальномъ свѣтѣ. Никто этого отъ беллетристовъ не требовалъ; никому и въ голову не приходило, чтобы въ молодомъ поколѣніи олицетворились всевозможныя добродѣтели и не было ни одного порока. Пусть бы беллетристы выставляли отрицательныя стороны молодого поколѣнія,—и критика, и молодое поколѣніе ничего не могли бы чувствовать къ правдивымъ беллетристамъ, кромѣ глубокой признательности. Нечего и говорить о томъ, что выставленіе недостатковъ бываетъ всегда вдесятеро полезнѣе и богаче результатами превознесенія достоинствъ. Но для того, чтобы выставлять недостатки какой-либо среды, нужно прежде всего глубоко изучить эту среду; собрать какъ можно болѣе наблюденій изъ ея жизни и тогда уже рѣшиться дѣлать какіе-либо выводы и обобщенія. Теперь подумайте, могутъ-ли, положа руку на сердце, по чистой совѣсти, беллетристы наши громко заявить, что да, они изучили молодое поколѣніе и создавали свои типы не гипотетически, не наобумъ, не по двумъ, тремъ случайно встрѣчаемымъ экземплярамъ? Видѣли ли ихъ когда нибудь среди этого молодого поколѣнія наблюдающими его бытъ, нравы, интересы? Напротивъ того, можно сказать, что послѣднія произведенія нашихъ первоклассныхъ беллетристовъ какъ будто нарочно для того написаны, чтобы показать людямъ несостоятельность теоріи поэтическаго ясновидѣнія и всю важность опыта для поэтическаго творчества. Вся сила таланта не выручила ни Тургенева, ни Гончарова, едва они съ почвы изученной ими дѣйствительности сошли на почву жизни, о которой не позаботились составить себѣ никакого яснаго понятія. Писатель, написавшій «Записки Охотника», писатель, создавшій типъ «Обломова», - начали вмѣсто истинныхъ представителей молодого поколѣнія угощать насъ—совершенно подобно начинающимъ писать гимназистамъ 7-го класса—ходульными героями въ духѣ Марлинскаго! Въ наукѣ всякія самоувѣренныя сужденія, произвольныя заключенія о неизученныхъ фактахъ называются шарлатанствомъ. Въ искусствѣ подобное же отношеніе къ дѣйствительности считается поэтическимъ ясновидѣніемъ!

Вотъ на этомъ основаніи мы нѣсколько разъ уже говорили, и считаемъ нелишнимъ повторять каждый разъ, что единственную надежду нашей современной литературы составляетъ та реальная школа молодыхъ писателей, которые смѣло разрываютъ всякую связь со всѣми литературными традиціями, оставляютъ всякія попытки создавать по отвлеченнымъ теоріямъ положительные типы и вообще творить на основаніи поэтическаго ясновидѣнія, а начинаютъ прямо съ азбуки, наблюдаютъ и изучаютъ народъ въ разныхъ слояхъ его и рисуютъ намъ нашу жизнь такъ, какъ она представляется ихъ наблюденіямъ. Не надѣяться, что подобный способъ индуктивнаго изученія жизни въ результатѣ своемъ произведетъ писателя, если не общечеловѣческаго, то всенароднаго, значитъ не придавать никакого значенія индуктивному методу, отрицать самое свойство человѣческаго ума доходить до чего-либо путемъ опытовъ и наблюденій. Пусть подобнаго рода скептики сидятъ у моря и ждутъ появленія такого генія, который, не выходя изъ своего кабинета, очаруетъ ихъ глубокимъ анализомъ ихъ жизни, а въ ожиданіи подобнаго чуда пусть тѣшатся эстетическими красотами поэтовъ, никуда не заглядывающихъ далѣе нѣсколькихъ будуаровъ съ запахомъ свѣжаго женскаго тѣла, итальянскихъ операхъ, клубовъ да баденской рулетки.

Мы же будемъ твердо убѣждены, что, идя по тому пути, на который наша литература сороковыхъ годовъ только выступила, но тотчасъ же съ него и своротила

ла, и на которомъ изъ пожилыхъ писателей удержались только Островскій, да гр. Л. Толстой,—по этому пути раньше или позже литература наша дойдетъ до созданій истинно великихъ произведеній. И мы тѣмъ болѣе имѣемъ право питать подобныя надежды, что рядомъ съ тѣмъ печальнымъ растлѣніемъ, какое представляютъ всѣ прочія отрасли нашей беллетристики, только одна эта отрасль, напротивъ того, имѣетъ постоянный и несомнѣнный прогрессъ. Первымъ замѣчательнымъ явленіемъ на этомъ пути,—явленіемъ, обратившимъ на себя всеобщее вниманіе, были произведенія Рѣшетникова. Какъ ни преждевременно сошелъ съ литературнаго поприща этотъ талантъ, но онъ успѣлъ уже сдѣлать много замѣчательныхъ обобщеній изъ круга жизни низшихъ классовъ нашего общества. Но обобщенія Рѣшетникова были все-таки еще довольно частны; они не простирались далѣе быта нашихъ восточныхъ инородцевъ, рабочаго сословія и духовнаго. Едва Рѣшетниковъ выходилъ изъ этихъ рамокъ, онъ уже становился на шаткую почву догадокъ, гипотетическихъ или черезчуръ конкретныхъ образовъ, словомъ, обнаруживалъ полное незнакомство со всѣми прочими слоями нашей жизни. Гл. Успенскій составляетъ шагъ впередъ послѣ Рѣшетникова. Онъ не ограничивается уже изученіемъ быта одного какого-либо слоя или среды общества, а изучаетъ бытъ общества въ его совокупности—въ разныхъ его слояхъ и въ столкновеніяхъ этихъ слоевъ между собою. И вмѣстѣ съ тѣмъ вы встрѣчаете въ его произведеніи нѣсколько обобщеній, касающихся не одного только крестьянскаго, фабричнаго или помѣщичьяго класса, а всей русской жизни вообще. Да не подумаетъ читатель, чтобы мы вслѣдствіе этихъ обобщеній смотрѣли на произведенія Гл. Успенскаго, какъ на высшую точку, до которой можетъ только достигнуть эта школа беллетристики, чтобы мы считали Гл. Успенскаго писателемъ вполнѣ всенароднымъ. Нѣсколько обобщеній еще не составляютъ всего, что входитъ въ идеалъ всенароднаго поэта. Къ тому же обобщенія обобщеніямъ рознь, но и тѣ обобщенія, до которыхъ достигъ Гл. Успенскій, ставятъ «Разореніе» въ число замѣчательнѣйшихъ произведеній послѣдняго времени и заставляютъ ожидать отъ Гл. Успенскаго въ будущемъ многаго.

III.

Гл. Успенскій изображаетъ передъ вами нѣсколько типовъ изъ жизни неизвѣстнаго губернскаго города, и типы эти не принадлежатъ даже къ верхамъ интеллигенціи этого города. Что общаго между жителями столицъ, усвоившими себѣ высшую цивилизацію Европы, жадно слѣдящими по журналамъ и газетамъ за развитіемъ европейской жизни, принимающими живое участіе во всѣхъ современныхъ вопросахъ общественной жизни отечества, раздѣляющимися на партіи, спорящими, соглашающимися, опять спорящими, и нѣсколькими темными лицами, выведенными на сцену Гл. Успенскимъ въ своемъ романѣ? Они не только не принимаютъ участія въ дѣлахъ Европы, но многіе изъ нихъ имѣютъ самое неопредѣленное понятіе о томъ, что гдѣ-то за морями лежитъ нѣмечина, живутъ гишпанцы и англичане, за что-то въ высшей степени недоброжелательные къ намъ. Ихъ общественные интересы не простираются далѣе круга ихъ околотка и мелкихъ сплетенъ губернскаго захолустья. Они тоже спорятъ и мирятся между собою, но не по вопросу о реальномъ и классическомъ образованіи, о земскихъ и городскихъ повинностяхъ, а о какомъ нибудь ухватѣ, разбитой мискѣ со щами, или же—это уже самый высшій общественный вопросъ—о подмазкѣ резизора, или о томъ, изъ-за чего фабриканту вздумалось угостить чаемъ рабочихъ. Но посмотримъ, дѣйствительно ли такъ-таки и нѣтъ уже ничего общаго между Черемухиными, Птицыными, Печкиными, Михаилами Ивановичами, Надями, Ванями и прочими захолустными личностями, являющимися передъ нами въ разсказѣ, и самыми передовыми изъ передовыхъ читателей нашихъ.

Первое, что васъ поражаетъ во всѣхъ этихъ людяхъ,—это полное отсутствіе всякой активности, малѣйшихъ попытокъ отстаивать свои принципы или вносить ихъ въ жизнь самостоятельно и неуклонно. Въ мірѣ, очерченномъ Гл. Успенскимъ, есть свои злыя начала и благія, отжившіе и свѣжіе элементы, тираны и угнетенные—но всѣ они являются безразлично жертвами какого-то внѣшняго рока, своего рода мойры, которая управляетъ ихъ судьбою и которой они безропотно покоряются. Жизнь тянется монотонно, безцвѣтно, скучно, вяло, день за день, завтра—какъ вчера. Царство Черемухиныхъ и Птицыныхъ, это гнѣздо провинціальнаго хищничества, стоитъ повидимому незыблемо, и нѣтъ ему конца. Все гнѣздо объѣдается и опивается до потери сознанія, что могутъ существовать на свѣтѣ ревизоры, до потери счета нарожденному числу дѣтей; многое множество поглощается этою прорвою чужихъ денегъ, трудовъ и слезъ. Но въ то же время никто не отдаетъ себѣ отчета, откуда вышли всѣ эти Черемухины, Птицины и гдѣ конецъ ихъ объѣданію и опиванью. Всѣмъ кажется, что такъ всегда было и всегда будетъ, подобно тому, какъ пауки никогда не перестанутъ ѣсть мухъ, а куры вѣчно будутъ глотать червяковъ.

Но вдругъ является нежданно, негаданно толчокъ внѣшней, словно сверхъестественной силы, не имѣющей ничего общаго съ этимъ міромъ глухихъ губернскихъ улицъ. Черемухины, Птицины падаютъ, предаются суду, отставляются, подвергаются всеобщему презрѣнію. Старыя начала побѣждены: новые, свѣжіе элементы торжествуютъ, сказалъ бы иной публицистъ. Ничего не бывало. Можно ли тутъ и говорить о какой-либо побѣдѣ или пораженіи, когда самой борьбы никакой не было. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ обо всѣхъ этихъ Черемухиныхъ, Птицыныхъ можно сказать, что они поражены, когда имъ и въ голову не приходило отстаивать свое пированье? Черемухины и Птицины относятся къ своему паденію, какъ къ дѣйствію внѣшней, стихійной силы вродѣ пожара или землетрясенія. Они воютъ и плачутъ при видѣ своего неожиданнаго бѣдствія, но въ то же время чувствуютъ фатальность его; имъ не на кого жаловаться, некого обвинять, не на кого ожесточаться—и они, какъ всегда это бываетъ въ бѣдствіяхъ, ниспосланныхъ свыше, напускаются другъ на друга, изыскивая причину сво-

его несчастія въ человѣкѣ, наиболѣе согрѣшившемъ, разгнѣвавшемъ божество и не съумѣвшемъ умилостивить его.

«Въ семьѣ Птициныхъ шелъ вой и плачъ—говоритъ Успенскій. Исчезновеніе кармана, изъ котораго можно было произвольно выхватывать, сколько душа желаетъ, подорвало даже идиллію семейной жизни.

— Въ карманъ-то, въ карманъ-то норови! едва дыша, лепетала бабка.

— Прикарманили, матушка! Нечего накарманивать-то, плакала ея дочь и съ нѣжностью гладила по головѣ сына, попавшагося въ двадцати уголовныхъ дѣлахъ.—Поцѣлуй меня, зайчикъ мой! говорила она ему.

— Отстаньте вы съ поцѣлуями... Нашли время! До чего вы меня довели? оскаливался сынъ на матушку, которую ему было не за что уважать.— Что я отъ васъ видѣлъ, пользу какую? Вамъ только подавай .. ризу сдѣлать дали обѣщаніе... Ну, и хваталъ .. Вы—мать, развѣ я могу ослушаться...

«Птицинъ лежалъ въ параличѣ, и надъ нимъ тотъ же рабски покорный сынъ срывалъ свой гнѣвъ.

— А называетесь генералъ! Не умѣли во-время подмазать ревизора. Вамъ жаль .. А небось, какъ съ меня, такъ подавай... Какъ принесешь—«умникъ».. А-а... Богъ васъ наказываетъ... Какой вы отецъ? Удавлюсь вотъ возьму!..»

Неудивительно, что сынъ могъ говорить родителю такимъ образомъ: они были равны въ хищничествѣ.

Развѣ передъ нами пораженные люди, а не погорѣльцы, грызущіеся другъ съ другомъ на пожарищѣ и обвиняющіе одинъ другого въ неосторожномъ обращеніи съ огнемъ? Еслибы они чувствовали себя пораженными, то конечно они еще дружнѣе прижались бы другъ къ другу послѣ своего пораженія. Но вы видите, что всѣ они начинаютъ чуждаться другъ друга, совершенно подобно дикарямъ, которые, видя ближняго, пораженнаго ударомъ какой-нибудь мойры, боятся прикоснуться къ нему, чтобы и самимъ не подвергнуться гнѣву того же божества.

«Товарищи мужа, —читаемъ мы въ романѣ, —скомпрометированные тѣмъ же, чѣмъ и онъ, сторонились отъ нея и, какъ пьянчужки, отрезвленные въ кварталѣ, сердито смотрѣли другъ на друга и на нее; иные изъ нихъ, перебравшись въ новые суды, перестали нюхать табакъ, стали курить сигары, обрились, умылись и старались казаться людьми совершенно новыми, или отдѣланными заново. Всѣ знакомства, всѣ старинныя пріязни какъ-будто и не существовали, всѣ они держались на «дѣлежѣ» и копчились вмѣстѣ съ нимъ!..»

Совершенно такъ-же жители города, разрушеннаго землетрясеніемъ, безропотно покоряются своей участи и разъѣзжаются въ разныя стороны, забывая о существованіи другъ друга.

Такую же пассивность вы видите въ противоположномъ лагерѣ свѣтлыхъ личностей и свѣжихъ силъ этого захолустья. Вѣяніе новой жизни радуетъ тѣхъ изъ нихъ, которые мало-мальски сознаютъ значеніе этого вѣянья. Паденіе Черемухиныхъ, Птициныхъ кружитъ имъ голову. Ихъ приводитъ въ восторгъ все, что ни видятъ они вокругъ себя: и то, что въ судахъ или вагонахъ желѣзной дороги обращаются вѣжливо съ народомъ, и то, что какой-нибудь прежній грабитель тащитъ въ залогъ къ закладчицѣ изъ крѣпостныхъ послѣдній свой галстухъ и даетъ ей волю накуражиться надъ нимъ такъ-же, какъ онъ прежде надъ ней куражился, и то страшное запустѣнье, какое представляютъ изъ себя жилища Птициныхъ и Черемухиныхъ. «Обмякла прижимка, теперь уже не то.»... торжествуютъ свѣтлыя начала глухихъ губернскихъ улицъ, но во всей этой радости вы опять-таки не видите перваго и самаго главнаго: сознанія своей силы, успѣха своего предпріятія. Это не побѣдители, отдыхающіе въ сладкой усталости усилій борьбы, а какіе то праздные зрители. Такъ дикари поютъ гимны солнцу, прорѣзавшему мрачныя тучи, или пляшутъ на трупахъ враговъ, пораженныхъ ударомъ грома.

О, конечно только въ глухихъ улицахъ губернскаго города мы встрѣчаемъ такое поразительное отсутствіе всякой активности, борьбы, самостоятельной жизни, иниціативы Ну, а въ прогрессивныхъ, передовыхъ сферахъ развѣ не то же самое? Загляните въ русскую исторію, и что вы тамъ увидите: развѣ не тѣ же толчки внѣшнихъ, посторонникъ силъ, являющихся то въ видѣ неожиданныхъ реформъ Петра. то въ видѣ войны 12-го года, то въ видѣ крымской кампаніи? Послѣ каждаго подобнаго толчка —тѣ-же паденія какихъ-нибудь Черемухиныхъ, Птициныхъ, тѣ-же восторги о наступленіи новыхъ временъ, занимающихся зорь, тѣ-же восклицанія Михаила Ивановича о томъ, что «прижимка обмякла и что теперь уже не то!», и то-же внутреннее, неотвязное сознаніе, что всѣ наступившія благодѣянія пришли извнѣ, что мы тутъ не причемъ, ни въ чемъ не виноваты, и можемъ только чувствовать признательность, ликовать и благословлять судьбу, которая послала намъ счастье, свалившееся на насъ съ неба, безъ всякихъ усилій съ нашей стороны выработать его своими собственными трудами.

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ они, какіе-бы тони было труды? Что дѣлаютъ обыкновенно наши ликующіе герои прогресса до наступленія внѣшняго толчка, который исполняетъ ихъ невинныя души чувствомъ чисто-телячьяго изумленія? Они могутъ видѣть себя, какъ въ зеркалѣ, въ двухъ-трехъ положительныхъ типахъ разсказа Гл. Успенскаго, какъ-бы ни высоко стояли они по своему образованію сравнительно съ темными героями глухой улицы провинціальнаго захолустья.

Россійскій герой прогресса—это Ваня, отличающійся только тѣмъ отъ своихъ любостяжательныхъ родныхъ, что чувствуетъ въ себѣ страсть попискивать на скрипицѣ, и на удовлетвореніе этой страсти онъ готовъ промѣнять всѣ соблазнительныя приманки заднихъ крылецъ чиновничьяго гнѣзда. Ему надо очень немного: онъ былъ-бы доволенъ, еслибы его оставили въ покоѣ, и онъ могъ бы издавать свои звуки въ тишинѣ, никого не трогая и не задѣвая. Но и этого-то малаго не можетъ онъ завоевать себѣ, бѣдняга. Вся жизнь его—рядъ колотушекъ со стороны отца, матери, всякаго рода униженій и оскорбленій со стороны начальства, товарищей. Безропотно, молча, сноситъ онъ все это и дѣлаетъ уступки за уступками безсмысленнымъ усиліямъ приравнять его къ общей чиновничьей рутинѣ. Странная, потрясающая картина живого человѣка, который является въ глазахъ глупцовъ, пошляковъ и злодѣевъ словно какою-то бездушной куклой, надъ которою они могутъ потѣшаться, какъ имъ вздумается, и этотъ живой человѣкъ не

дѣлаетъ даже тѣхъ естественныхъ барахтаній самосохраненія, какія вы видите въ птицѣ или рыбѣ, попавшихся въ руки охотника. Но еще страшнѣе дѣлается у васъ на душѣ, когда вы видите, что этотъ живой человѣкъ доведенъ до такой степени заморенности, окончательнаго обезличенья, что, сходя наконецъ на смертный одръ, онъ не сохраняетъ даже чувства внутренней правоты, того сладкаго сознанія мученичества, которое одно только остается утѣшеніемъ невинно загубленной жертвѣ. Напротивъ того, его начинаютъ терзать раздумья: «а что, какъ если люди правы, что, если я самъ виноватъ во всемъ и терплю достойныя возмездія за свои собственныя вины?» О, россійскій герой прогресса, какъ часто ты доходишь до подобнаго самоизгрызенія и кончаешь тѣмъ, что теряешь всякое сознаніе, гдѣ правая сторона, гдѣ лѣвая, и начинаешь каяться, зачѣмъ ты нѣкогда считалъ своимъ правомъ лелѣять въ сердцѣ два-три естественныя, человѣческія стремленія!

Россійскій герой прогресса—это Надя, вся жизнь которой проходитъ въ томъ, что она ходитъ изъ одной комнаты въ другую, со двора въ садъ и жалуется, что ей скучно.

— Да вотъ какъ же, отвѣчаютъ ей на это:—сейчасъ для васъ заиграютъ въ барабаны, въ трубы затрубятъ, чтобы вамъ веселѣе было... Оченно всѣ объ этомъ въ заботѣ, чтобы васъ увеселить... Сію минуту-съ...

На досугѣ начинаются раздумья, откуда эта скука? Рядъ размышленій, толкованій и наблюденій приводятъ Надю или, все равно, героя россійскаго прогресса къ мысли, что скука происходитъ отъ ничегонедѣланія. У простого, молъ, человѣка дѣловъ много. Онъ скуки не знаетъ. Никто не видывалъ, чтобы напримѣръ мужикъ шатался, да валялся этакъ-то, да зѣвалъ: «мнѣ скучно!» Отродясь и не было такого мужика... У простого человѣка—скуки нѣту, дѣла у него.

Плодомъ такихъ размышленій является отыскиванье дѣла и даже не столько отыскиванье дѣла, сколько размышленія объ отыскиваньи дѣла—размышленія, кончающіяся обыкновенно вопросомъ: неужели надо идти въ кухарки? О, герои россійскаго прогресса! кому неизвѣстны всѣ эти пресловутыя ваши раздумья о такъ-называемомъ *дѣлѣ*, начинающіяся различными опытами надъ собою, всѣмъ извѣстными попытками идти въ портные или сапожники, ѣхать въ Америку для заведенія тамъ земледѣльческихъ колоній! Но всѣ эти исканья оканчиваются обыкновенно сбиваньемъ на старыя рутинныя дорожки. Въ результатѣ получается та же скука, сопровождаемая рядомъ горькихъ разочарованій—и только новый внѣшній толчокъ можетъ измѣнить это расположеніе духа. Тогда хотя дѣла никакого все-таки не представляется, но и скуки уже не бываетъ, а начинается рядъ ликованій, изумленій и признательностей.

Но лучше всего герой россійскаго прогресса выражается въ Михаилѣ Ивановичѣ. Мы уже говорили выше устами неждоумочной критики, что типъ Михаила Ивановича мѣстами слишкомъ субъективенъ, и авторъ высказывается самъ устами своего героя. Здѣсь же мы замѣтимъ, что въ лицѣ Михаила Ивановича изображенъ передъ нами на столько общій типъ россійскаго прогрессиста, къ какой-бы средѣ этотъ прогрессистъ ни принадлежалъ, что Гл. Успенскому нужно было имѣть невозможную силу объективности, чтобы не слиться самому всецѣло съ этимъ типомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Михаилъ Ивановичъ—это типъ россійскаго прогрессиста съ головы до ногъ, отъ своего происхожденія до своего исчезновенія, неизвѣстно куда и зачѣмъ. Подобно всѣмъ россійскимъ прогрессистамъ онъ не можетъ даже похвастаться, чтобы самое его прогрессивное настроеніе было неизбѣжнымъ явленіемъ въ жизни, чтобы онъ это настроеніе принялъ въ себя наслѣдственно отъ отца и дѣда, всосалъ съ молокомъ матери, былъ воспитанъ въ немъ средою. Напротивъ того: то, что Михаилъ Ивановичъ называетъ своимъ «просіяніемъ», является въ его жизни, въ свою очередь, дѣйствіемъ случайнаго, внѣшняго толчка, безъ котораго не было бы передъ вами и прогрессиста, а выработался бы такой же мелкій плутишка, какъ и всѣ его окружающіе. Онъ самъ разсказываетъ о своемъ дѣтствѣ слѣдующее:

— Сталъ я о себѣ думать... И дѣлаю такое замѣчаніе, что у всѣхъ народовъ идетъ грабежъ.. Думаю: мужикъ мнѣ не дастъ, съ кого мнѣ? Думалъ, думалъ, затрудняся въ мысляхъ, глядь—бѣжитъ ко мнѣ на печку барчукъ маленькій, Черемухинскій сынокъ: «скажи сказочку...» Изволь. Сказалъ. Онъ и повадился ко мнѣ на печку шататься сказки слушать. «Э, думаю, другъ-пріятель: надо быть, тебѣ въ хоромахъ хвостъ-отъ присѣкаютъ, что ты во мнѣ—въ мужикѣ—получаешь нужду...» Подумалъ такъ-то. Бѣжитъ барчукъ. «Скажи сказку..»—«Дай копейку!» Эдакъ-то рѣзанулъ. «Дашь—скажу, нѣтъ—не будетъ разсказу... Я и то, молъ, языкъ весь отколотилъ, разсказывающи тебѣ.» Припугнулъ его такимъ манеромъ, и сталъ онъ мнѣ пятачки, да гроши таскать и сталъ я ихъ попрятывать. И такъ было ловко научился я поколупывать съ него, такъ-то ли пристально въ разбойники приготовлялся, анъ тутъ-то и подвернись ко мнѣ человѣкъ.. Максимъ Петровичъ...семинаристикъ, племянникъ Черемухинскій. Часто онъ къ намъ въ кухню хаживалъ, дожидался, пока дяденька, самъ Черемухинъ-то, проснется, полтинничекъ у него попроситъ... Когда тверезъ—тихій такой... «На сапоги», говоритъ.. А Черемухинъ: «То-то, говоритъ, на сапоги!..» И сердито на него смотритъ, а тотъ боится. Это когда тверезъ. Ну, а коли ежели да пьянъ, такъ ужъ тутъ никакого страху для него нѣту... Тутъ ужъ онъ кричитъ, бунтуетъ... И дяденьку-то такъ-то ли поливаетъ... «Взяточники, разбойники... Докуда вы разбойничать будете... провались вы и съ полтинниками...» Разъ зимой скинулъ съ себя полушубокъ и шваркнулъ его объ земь. «Подавитесь вы имъ!..» и ушелъ. Бывало такъ, что и стекла онъ выбивалъ въ дому, и ворота исписывалъ ругательными словами. Вотъ я на этого человѣка и наскочилъ. Отъ него я и получилъ вдохновеніе, напримѣръ. То-есть сначала-то меня за виски отворочалъ, а потомъ ужъ объяснилъ мнѣ существо..»

Теперь пусть кто-либо изъ россійскихъ прогрессистовъ скажетъ по чистой совѣсти, что-бы и онъ всѣмъ своимъ «просіяніемъ» не былъ обязанъ совершенно случайно подвернувшейся головомойкѣ, нравственной или физической, со стороны Максима Петровича, который, въ свою очередь, по всей вѣроятности, обязанъ своимъ просіяніемъ дѣлу чистой случайности безъ которой существовалъ бы членъ врачебной упра-

вы, помощникъ столоначальника, діаконъ, ревизоръ, но не было бы прогрессиста.

Но какъ бы то ни было, прогрессистъ созданъ и гуляетъ по бѣлому свѣту въ видѣ Михаила Ивановича съ его просіяніемъ. Что же онъ дѣлаетъ, что производитъ полезнаго его просіяніе, какое дѣйствіе оказываетъ на людей и на него самого?..

Произведеніе чистой случайности, Михаилъ Ивановичъ является совершенно лишней спицей въ колесницѣ въ сонномъ прозябаніи нашей захолустной жизни. Внѣшній толчокъ, въ видѣ просіянія, оторвалъ его отъ общей массы, онъ свернулъ съ битой колеи мелкаго плутовства и очутился гдѣ-то въ воздухѣ, но остался въ тоже время съ тѣми же наслѣдственными свойствами своей среды, съ которыми родился. Просіяніе даровало ему только сознаніе того, что вокругъ многое гадко, но не даровало ни малѣйшей энергіи къ борьбѣ съ этимъ гадкимъ, ни малѣйшаго опредѣленнаго плана жизни, выдержки въ этомъ планѣ — однимъ словомъ, ничего того, чѣмъ такъ отличается западный человѣкъ, на какой бы ступени онъ ни стоялъ. Въ сущности, Михаилъ Ивановичъ со всѣмъ своимъ просіяніемъ остался все тѣмъ же безвольнымъ, пассивнымъ существомъ, какимъ былъ бы, еслибы этого просіянія и не случилось. Онъ весь ушелъ въ анализъ всевозможныхъ прижимокъ, которыя представлялись ему на каждомъ шагу, и началъ ежеминутно истощаться въ безплодной злобѣ на все его окружающее.

«Пить бы надо,—говорилъ онъ,—слабъ, не могъ, а все больше злился, потому, которыя я получалъ отъ Максима Петровича мысли, то никакимъ родомъ онѣ у меня изъ головы не выходили. Злился, злился я; бѣсился, бѣсился, да одново подгулялъ и махнулъ въ арендателя камнемъ... Спасибо, скрозь колесо камень прошелъ, а то бы въ каторгѣ быть. Да еще то облегчило, что ночью было, не могли вызнать кто такой, такъ что собственно по подозрѣнію шесть мѣсяцевъ высидѣлъ...»

Вотъ вамъ единственная активность, на которую является способенъ Михаилъ Ивановичъ,—активность всѣхъ пассивныхъ натуръ: выйти изъ себя въ одну изъ мрачныхъ минутъ, кинуть, зажмуря глаза, чѣмъ попало и куда попало, не нанеся ни вреда, ни пользы, и затѣмъ радоваться, что дешево обошлось, что камень въ колесѣ застрялъ и что дѣло было ночью, такъ что легко было спрятать кукишъ въ карманъ. Вотъ гдѣ истинная художественность: въ нѣсколькихъ словахъ вы видите обобщеніе, дающее вамъ глубокую перспективу! Подумайте только, къ какой массѣ ежедневныхъ случаевъ нашей жизни можно примѣнить этотъ фактъ! Художникъ, менѣе глубокій, не съумѣлъ бы открыть передъ вами всю иронію поступка Михаила Ивановича. Иной поставилъ бы конечно поступокъ этотъ на ходули, какъ взрывъ негодованія честнаго человѣка, у котораго до того накипѣло на сердцѣ, что онъ готовъ на все, и вышло-бы нѣчто даже героическое въ этомъ метаніи камнемъ подгулявшаго мастерового. Другой нравописатель представилъ-бы тотъ-же самый фактъ съ обличительной точки зрѣнія, что вотъ, молъ, кинулъ пьяный человѣкъ камень; камень попалъ въ колесо, но сейчасъ-же поставили дѣло такъ, что какъ-будто онъ хотѣлъ убить арендатора—и совершенно невинный человѣкъ просидѣлъ ни за что, ни про что полгода въ острогѣ. Гл. Успенскій въ томъ же фактѣ представилъ одно изъ существенныхъ свойствъ характера недовольнаго человѣка русскаго издѣлія, на какихъ-бы ступеняхъ развитія и положенія этотъ человѣкъ ни стоялъ.

И вотъ, въ заключеніе, россійскій прогрессистъ, въ лицѣ Михаила Ивановича, оборванный, худой, голодный, съ глухимъ кашлемъ въ груди—всюду изгнанный, никуда непринимаемый, безъ занятій, безъ денегъ, ходитъ изъ угла въ уголъ, изъ мелочной лавочки въ кабакъ, отъ Черемухиныхъ къ Птицынымъ, разражается тѣми же безплодными жалобами на всеобщую прижимку, и никто не слушаетъ его, вездѣ гонютъ его или смѣются надъ нимъ. Но это еще не верхъ трагичности положенія Михаила Ивановича: въ заключеніе онъ, гонитель всякой прижимки, самъ попадаетъ на хлѣбы къ той-же прижимкѣ и притомъ въ самой унизительной роли дворового шута.

Однажды, когда онъ лежалъ пьяный въ канавѣ, бормоча свои проклятія, мимо шелъ барчукъ Уткинъ, проживающій праздно въ своей усадьбѣ и отъ скуки занимающійся стрѣляніемъ галокъ. Уткина заинтересовали нѣкоторыя слова Михаила Ивановича, долетѣвшія до его ушей.

— Вы кто такой? спросилъ барчукъ, когда Михаилъ Ивановичъ выскочилъ изъ канавы.

— Отставной рабочій... съ заводу-съ... Выгнанъ за бунты.

— За что?

— За бунтованія. Потому что я бунтовался, производилъ, напримѣръ, возмущенія... мятежи...

«Это было до того любопытно,— читаемъ мы далѣе въ повѣсти,—что Уткинъ тотчасъ-же нашелъ нужнымъ сдѣлать полезное дѣло, пріютивъ Михаила Ивановича, тѣмъ болѣе, что это дѣло не стоило ни копейки. Михаилъ Ивановичъ поселился въ кухнѣ и въ короткое время пошелъ у всѣхъ за большого чудака. Не одинъ барчукъ смѣялся всякій разъ, когда изъ устъ его выходили слова вродѣ «прижимка», «къ осьмому часу», „увѣдомился» и проч.“

Итакъ, вотъ вамъ заключительная иронія жизни россійскаго прогрессиста: сдѣлаться шутомъ у какого-нибудь пугателя воронъ, который отъ скуки готовъ подъ часокъ позабавиться красивостью слога, рѣзкостью выраженій и отрицаній чудака. Кстати, отчего не пріютить бездомнаго бродягу!

И вотъ Михаилъ Ивановичъ живетъ насчетъ той-же прижимки, которую отрицаетъ, причемъ не въ силахъ выпутаться изъ своего положенія, старается смягчить иронію его тѣми палліативными средствами, къ какимъ всегда прибѣгаютъ пассивныя существа. Здѣсь вы опять встрѣчаетесь съ весьма характеристической чертой нашей жизни. Вы видите сплошь и рядомъ, что пассивные люди, чувствуя унизительность своего положенія, вмѣсто того чтобы выйти изъ него прямо и смѣло куда-бы то ни было, хоть-бы на голодную смерть въ канаву, стараются обыкновенно замаскировать свое нравственное униженіе напускной грубостью и рѣзкостью съ тѣми, отъ кого зависитъ ихъ участь. Нагрубятъ, и какъ будто поднимутся въ своихъ глазахъ, покажутъ, что хоть мы отъ тебя и зависимъ, а все-таки мы тебя въ грошъ не ставимъ, и сами не хуже тебя. Подобное самообольщеніе доходитъ часто до того, что тѣ-же люди, которые не въ силахъ сдѣлать шагу, чтобы выйти самимъ изъ своего униженія, въ то-же время искренно желаютъ, чтобы это произошло

само собою посредствомъ ихъ грубости, чтобы виновникъ ихъ униженія вышелъ наконецъ изъ терпѣнія и прогналъ ихъ отъ себя. И если имъ удастся достигнуть этого, они чувствуютъ себя въ барышахъ: еслибы они сами вышли изъ своего положенія, имъ пришлось-бы ограничиться простымъ сознаніемъ исполненія нравственнаго долга, теперь-же они начинаютъ считать себя не то героями, не то мучениками, съ самодовольствомъ припоминаютъ рѣзкость своихъ отвѣтовъ и рисуются жертвами своей правдивости и людского коварства.

Совершенно таковъ Михаилъ Ивановичъ въ своихъ бесѣдахъ съ Уткинымъ.

— Михаилъ Ивановичъ! говоритъ барчукъ, торопливо проходя мимо него по саду, чтобы ошарашить изъ ружья галку.—Такъ увѣдомились?

— Я довольно аккуратно въ жизни своей увѣдомился, какъ простому человѣку... начинаетъ Михаилъ Ивановичъ вслѣдъ барчуку; но въ этотъ моментъ раздается оглушительный выстрѣлъ, крикъ разлетающихся галокъ и лай собакъ...

— Эхъ, ума-то нагулялъ! иронически шепчетъ Михаилъ Ивановичъ, качая головой.—Сколько, чай, на эдакую-то тетерю пошло... Прокъ!..

— Были у Синицына? возвращаясь съ убитой галкой, спрашиваетъ барчукъ.

— Былъ-съ.

Михаилъ Ивановичъ говоритъ съ сердцемъ, но старается скрыть это.

— Аффишъ не было-съ, разобраны .. продолжаетъ онъ.

— Что-жъ въ городѣ?

— На столбу объявлено воздухоплаваніе слона... въ эрмитажѣ... Рубь за входъ.

— Чортъ знаетъ что такое!

— Во всѣхъ Европахъ одобряли, прибавляетъ Михаилъ Ивановичъ, не скрывая сердца и какъ-бы говоря въ то-же время: «стоишь-ли ты слона-то смотрѣть».

По уходѣ барчука, на трачѣ остается мертвая птица. Михаилъ Ивановичъ смотритъ на нее и говоритъ:

— Вотъ это господское дѣло!.. Хлопнулъ и пошелъ. А ружье кто ему выработалъ?

Теперь подумай, русскій прогрессистъ, какъ часто услужливые романисты, желая изобразить твои гражданскія доблести, только одну доблесть и находятъ въ тебѣ обыкновенно: это твое умѣнье героически нагрубить начальнику отдѣленія и быть изгнанну съ должности столоначальника... О, еслибы подумалъ ты, русскій прогрессистъ, какъ жестоко унижаютъ тебя этимъ наши романисты! Знай-же, что истинный прогрессистъ не грубитъ, потому что не ставитъ себя въ такое ложное положеніе, чтобы ему нужно было грубить, или же старается выйти поскорѣе изъ этого положенія, какъ-бы то ни было. Грубятъ-же рабы, грубятъ существа безвольныя, апатичныя, во всемъ полагающіяся на другихъ, грубятъ дѣти подъ властію родителей, грубятъ люди, живущіе на чужой счетъ.

IV.

Слѣдствіемъ пассивности, зависимости различныхъ перемѣнъ жизни не отъ собственныхъ усилій, а отъ случайныхъ внѣшнихъ толчковъ—бываетъ страшная, одуряющая скука, вялость и сонливость существованія, причемъ всѣ интересы, мечты и надежды человѣка сосредоточиваются въ ожиданіи, что вотъ, вотъ нагрянетъ такой факторъ, который сейчасъ-же все вокругъ перевернетъ, и въ заключеніе непремѣнно осыплетъ всевозможными благами угнетенную добродѣтель, сидящую въ ожиданіи этихъ благъ на заваленкѣ у воротъ и вертящую пальчикъ вокругъ пальчика. Такова вѣковая участь россійскаго прогрессиста, что онъ, вѣчно скучая и бездѣйствуя въ настоящую минуту, все ждетъ какихъ-нибудь благихъ и необыкновенныхъ перемѣнъ въ близкомъ будущемъ,—перемѣнъ, которыя сразу осуществятъ всѣ его надежды и сдѣлаютъ его изъ праздная лѣнтяя энергическимъ дѣятелемъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы постоянно чего-нибудь ожидаемъ и ожидаемъ внѣшняго, отъ насъ нисколько не зависящаго—утѣшая себя, что вотъ, молъ, когда дождемся, тогда только и будемъ дѣлать дѣло... Если ожидать бываетъ подчасъ нечего, то мы уносимся въ область фантазіи и создаемъ себѣ такія мечты, что, какъ встрѣтишься съ инымъ такимъ надѣющимся и ожидающимъ человѣкомъ, только подивишься: казалось-бы, не глупый человѣкъ и не безъ здраваго смысла въ головѣ, а между тѣмъ такъ и смотритъ въ Бедламъ.

Совершенно точно такъ-же предаются всѣ ожиданіямъ и въ разсказѣ Г. Успенскаго. Наденьки, Сашеньки, скромныя, робкія, застѣнчивыя розы глухихъ губернскихъ улицъ, тихохонько ходящія изъ комнаты въ комнату, тихонько поливающія цвѣты, тихонько читающія «Юрія Милославскаго»,—ожидаютъ обыкновенно женіховъ. Эти ожиданія наиболѣе положительныя и осуществимыя. Дѣвушки конечно дождутся женіховъ. Безъ сомнѣнія, подвернется такой благорасположенный герой, что осчастливитъ угнетенную невинность, — вродѣ Павла Ивановича Печкина, съ солиднымъ мѣстомъ, солиднымъ жалованьемъ, солиднымъ домомъ, запретъ птичку въ стѣны затхлыхъ комнатъ, припретъ наружную дверь коломъ, чтобы птичка не улетѣла, избавитъ ее, ради благополучія, отъ всѣхъ трудовъ, заботъ, думъ,—и будетъ она расплываться въ сонномъ бездѣйствіи, разваливаясь съ утра до вечера на пуховикахъ.

Ну, а ты, читатель, не ожидаешь никакого жениха? Вотъ Михаилъ Ивановичъ, такъ тотъ ожидаетъ. Максимъ Петровичъ, внушившій ему просіяніе ума, уѣхалъ въ Петербургъ, обѣщавши выписать туда Михаила Ивановича, но не выписалъ. И вотъ всѣ мечты, надежды, ожиданія Михаила Ивановича сосредоточились на этомъ миѳическомъ Максимѣ Петровичѣ. Гдѣ онъ, что онъ, можетъ быть его вовсе уже нѣтъ, или онъ терпитъ такую-же участь, какъ и Михаилъ Ивановичъ, и ему вовсе не до своего пріятеля; можетъ быть онъ и самъ возлагаетъ всѣ надежды на какого-нибудь Максима Петровича—всѣ подобныя соображенія не приходятъ и въ голову Михаилу Ивановичу. Максимъ Петровичъ представляется въ глазахъ его какимъ-то невиннымъ, всемогущимъ существомъ, держащимъ въ рукахъ рогъ изобилія, чтобы излить изъ него всевозможныя благополучія на горемычную голову Михаила Ивановича.

Но для того, чтобы достигнуть этого рога изобилія, Михаилъ Ивановичъ лелѣетъ другую надежду: онъ ждетъ не дождется, когда окончатъ постройку желѣзной дороги, которая повезетъ его въ Петербургъ къ Максиму Петровичу. Чуть не каждый день ходитъ онъ

къ строющемуся вокзалу освѣдомляться, не готова-ли чугунка. Но онъ не ограничивается надеждою на желѣзную дорогу, какъ на средство къ достиженію Максима Петровича. Какъ истый россійскій прогрессистъ, онъ тотчасъ-же возводитъ ожидаемый предметъ въ универсальное средство отъ всѣхъ человѣческихъ бѣдствій. Ему кажется, что когда обладятъ чугунную дорогу, которая скоро можетъ простого человѣка въ Петербургъ доставлять, тогда наступитъ конецъ всякой прижимкѣ, потому что стоитъ проѣхать на чугункѣ въ Петербургъ, да поразсказать тамъ — и дѣло будетъ въ шляпѣ...

Вамъ конечно смѣшны золотыя надежды Михаила Ивановича на чугунку, но одинъ-ли онъ, темный и нигдѣ не ученый человѣкъ, ожидалъ отъ нея возвращенія земного рая? Не слыхали ли вы на каждомъ шагу и отъ людей, которые не чета Михаилу Ивановичу, подобныхъ же восклицаній, что погодите, молъ, вотъ выстроятъ желѣзныя дороги, увидите, что такое будетъ?

Описаніе пріѣзда перваго поѣзда и впечатлѣнія, какое произвелъ онъ на городъ,—составляетъ чуть-ли не лучшее мѣсто въ романѣ Гл. Успенскаго, и безспорно лучшее, что только являлось въ нашей литературѣ въ послѣдніе годы. Пассивность, скука и вялость жизни губернскаго захолустья сразу всплываютъ наружу и оттѣняются въ виду прошумѣвшаго мимо поѣзда, словно бѣлыя зданія на черномъ фонѣ тучи. Я считаю нелишнимъ сдѣлать нѣсколько выдержекъ, чтобы припомнить читателю это лучшее мѣсто въ романѣ, въ которомъ художественный пафосъ Гл. Успенскаго доходитъ до своей крайней высоты.

«Не для одного Михаила Ивановича и Черемухиныхъ этотъ день былъ чѣмъ-то особеннымъ, не будничнымъ, когда люди умираютъ отъ скуки, и не праздничнымъ, когда люди могутъ пить, спать до обморока и смотрѣть фейерверкъ въ присутствіи господина начальника губерніи. Въ этомъ днѣ чувствовалось что-то томительное и радостное. Въ нашу глушь, въ нашу скуку, беззащитную, брошенную жизнь, пришло что-то совсѣмъ новое, сулящее лучшее будущее, и еще не измѣнившее нашей тоски, нашего гореванья ни на волосъ. Не одинъ Михаилъ Ивановичъ ни свѣтъ ни заря суетился и торопился на машину—весь городъ былъ какъ-то наэлектризованъ этой новостью, такъ что, когда часовъ въ шесть Михаилъ Ивановичъ, сопровождаемый Надей и Софьей Васильевной, пришелъ въ вокзалъ - здѣсь уже были толпы народа Все это двигалось, было весело, собиралось уѣхать, улетѣть; ни одной заспанной щеки, ни однихъ глазъ, заплывшихъ отъ одури, нельзя было встрѣтить среди толпы, бродившей по широкимъ компатамъ вокзала. Вся эта суета, пробужденіе чѣмъ-то горькимъ отзывались въ сердцѣ Нади; а Михаилъ Ивановичъ, въ жизни котораго событія слѣдовали въ послѣднее время съ такой ошеломляющей быстротой, почувствовалъ нѣкоторый страхъ, вслѣдствіе чего, попросивъ барышенъ поглядѣть за узелкомъ, скрылся на время неизвѣстно куда, а возвратившись черезъ нѣсколько минутъ, имѣлъ лицо весьма радостное.

— То-есть вотъ какъ обладимъ дѣла!—сказалъ онъ Надѣ, тряхнувъ кулакомъ.

— Вы водки напились?—вмѣсто отвѣта, сказала та.

— Да, голубчики!—снимая картузъ, залепеталъ Михаилъ Ивановичъ:—милыя!.. Да какъ мнѣ не выпить?.. Ангелочки вы мои.

И принялся цѣловать у барышень руки, что хотя и было не особенно замѣтно среди толпы, однако заставило Надю и Софью Васильевну уйти впередъ на платформу.

«Скоро Михаилъ Ивановичъ розыскалъ ихъ и здѣсь. Но отъ изліяній воздерживался, ибо всеобщее вниманіе было обращено на лѣсъ, изъ котораго съ минуты на минуту долженъ былъ выпорхнуть первый поѣздъ. Въ ожиданіи его шли разговоры. Благородные толковали о томъ, что теперь представляется удобный случай ѣздить въ Москву, въ театръ. «Утромъ выѣхалъ, къ обѣду тамъ; умылся, одѣлся и—маршъ, а къ утру опять дома». «Великолѣпно!» Другіе, изъ числа тѣхъ же благородныхъ, смотрѣвшіе на это дѣло глубже, разсуждали о подвозѣ, о расширеніи. Простой народъ, не имѣвшій возможности понять, что оный подвозъ и оное расширеніе могутъ образоваться изъ ихъ дырявыхъ лаптей, трактовалъ чугунку съ точки зрѣнія величайшей умственной чуши.

— Потребовалъ ты чаю,—слышалось въ толпѣ.

— Ну?

— Ну, сейчасъ подаютъ тебѣ—га-ярячева... изъ первыхъ кипятковъ... Чуешь, чтобы бѣлымъ ключомъ кипѣлъ—ну, чтобы ты его выпилъ! Ужъ, чтобы, братъ, ты его въ три минуты выхватилъ... Ужъ, братъ, тутъ ни-ни...

— А ежели не дохлебаю?

— А ежели ты его не дохлебаешь—штрафъ! Потому, ей некогда тебя дожидаться, пока ты расхлебывать будешь! Ты хлебнулъ, а ужъ она, братъ, хвостомъ вильнула, - за тысячу верстъ .. Тутъ, братъ, ужъ ни Боже мой!..

— Хитра пружина!..

«Въ другой группѣ слышалось:

— А батюшка?

— А батюшка, — онъ почему? Потому что онъ съ кропиломъ. Какъ она подлетитъ, сейчасъ онъ ей кропиломъ въ эвто мѣсто .. Напримѣръ, въ морду ей,—будемъ такъ говорить, для того, что намъ требуется, чтобы она насъ снабжала, напримѣръ, на пользу, но нежели, чтобы дозволить ей разводить бѣсину—прости Господи! Надо его выколотить оттэда. Вотъ почему отецъ Амвросій съ причтомъ, а нежели вы утверждаете, чтобы принимать ему благословеніе отъ петербургскаго генерала .. фальшъ.

«Разговоры публики были прерваны необыкновенно-громкимъ крикомъ какого-то сильнѣйшаго горла, раздавшимся откуда-то сверху.

— Ана-а!.. Бра-атцы!..

«Все зашумѣло, шатнулось и замолкло.

«Изъ глубины начинавшаго темнѣть лѣса выглянули два красные глаза, донесся жиденькій свистокъ—это былъ первый поѣздъ.

— Вотъ она, матушка! шепталъ захмѣлевшій Михаилъ Ивановичъ въ то время, когда среди всеобщаго молчанія поѣздъ все ближе и ближе подходилъ къ платформѣ.

— Ахъ, голубчики! — слышалось робко то тамъ, то сямъ.

«Поѣздъ пришелъ и остановился. Молчаніе смѣнилось еще болѣе оживленнымъ движеніемъ. Говоръ. Шумъ. Смѣхъ. Михаилъ Ивановичъ чуть не плакалъ отъ радости и безпрепятственно цѣловалъ ручки своихъ спутницъ, которыя были совершенно подавлены всѣмъ, что видѣли.

— Дай Богъ вамъ! за вашу доброту!.. Надежда Андреевна! Софья Васильевна! — бормоталъ Михаилъ Ивановичъ.

— Отыщите брата! Пожалуста! — просила его Надя.

— Подъ землей вырою-съ! На нихъ надежда! Для васъ, для маменьки вашей... Ту-ись...

«И снова начиналось хватаніе рукъ, цѣлованье концовъ кофты, въ которую была одѣта Надя... Долго на спинѣ Михаила Ивановича плясалъ узелъ съ пожитками отъ поклоновъ и памѣреній стать на колѣнки. Звонокъ прервалъ эти изліянія.

— Дай Богъ вамъ...—крикнулъ Михаилъ Ивановичъ, махнувъ картузомъ и скрылся въ толпѣ. Въ дверяхъ началась давка, уничтожившая сразу всю новизну минуты.

«Затертыя толпой, Надя и Софья Васильевна не видали, какъ Михаилъ Ивановичъ, высунувъ голову въ вагонное окно, искалъ ихъ глазами, чтобы еще разъ сказать: «дай Богъ вамъ!» Онѣ слышали, какъ застучали колеса поѣзда, раздались свистки, повисли надъ головой черные клубы дыма.

«Видѣли, какъ дымъ поблѣднѣлъ и исчезъ.

«Громъ колесъ сдѣлался тише и скоро замолкъ.

«Поѣздъ выглянулъ черной массой у новаго чугуннаго моста, прогремѣлъ надъ водой, окуталъ дымомъ старинную зарѣченскую колокольню, на которой жиденькіе колокола возвѣщали третій звонъ, и скрылся.

«Толпа долго стояла и смотрѣла вслѣдъ. Многіе почему-то вздохнули и пошли по домамъ.

. . . . . .

«На бульварѣ играла музыка и происходило обычное провинціальное гулянье. Между темнѣвшими въ вечернемъ сумракѣ сучьями деревъ, въ особенности же около небольшого кафе, въ русскомъ вкусѣ, виднѣлись разноцвѣтные фонари, освѣщая то женскую шляпку, то столъ съ чайнымъ приборомъ и проч. Липовая аллея, тянувшаяся по низменному берегу рѣки, около старинной кремлевской стѣны, была наполнена народомъ, медленно двигавшимся и весьма скучавшимъ. Когда замолкла музыка, то въ саду наставала почти мертвая тишина; слышался только шумъ ногъ и шлейфовъ по песку, стукъ чайной ложечки о край стакана и возгласъ: «человѣкъ!» Скука, составляющая обычное достояніе провинціальнаго гулянья, такъ-какъ обществу должно же надоѣсть исключительное занятіе однимъ гуляньемъ,—эта скука въ нынѣшній день перваго поѣзда была какъ-то упорнѣе и молчаливѣе обыкновеннаго. И можно сказать положительно, что «первый поѣздъ» игралъ въ этой всеобщей задумчивости не послѣднюю роль. То что-то новое», сопряженное съ нимъ, та новая власть, какъ-бы понукающая заснувшій народъ впередъ, которая скрыта въ этомъ событіи, и другіе элементы его, неуловимые, но вломившіеся въ нашъ умъ и тронутые имъ съ новой силой, — все это какъ-то отягчало душу не одного изъ тосковавшихъ на бульварѣ, помимо тѣхъ, разумѣется, которые были озабочены перемѣною начальства, распекаіемъ, даннымъ губернаторомъ, и проч., и проч. Не одинъ семинаристъ, изъ числа тѣхъ, которые выступаютъ на гульбище позднимъ вечеромъ и скитаются по заднимъ аллеямъ, боясь испугать своимъ халатомъ публику, не одинъ изъ нихъ чертилъ въ эту минуту планы будущей жизни въ Петербургѣ, куда теперь такъ легко попасть, и въ ожиданіи котораго нелегко живется. Не одинъ подгулявшій мастеровой, раздумавшись на лавочкѣ около рѣки о своей судьбѣ, подумалъ о томъ, что «была не была—удеру отсэда! Пропадай!» Не одна Надя и Софья Васильевна завидовали участи улетѣвшихъ изъ этого мертваго царства.»

Теперь поразмысли, читатель, надъ этой картиной: имѣетъ-ли она одно частное значеніе, т. е. ограничивается ли однимъ изображеніемъ пріѣзда перваго поѣзда въ губернскій городъ, или и въ этомъ фактѣ авторъ съумѣлъ схватить такой общій мотивъ нашей жизни, что, хотя бы ты никогда въ губернскомъ городѣ не былъ и не испытывалъ, какое впечатлѣніе производитъ на губернскаго жителя первый поѣздъ, между тѣмъ ты чувствуешь во всемъ этомъ что-то какъ будто весьма близкое, испытанное тобою, пробуждающее въ тебѣ какія-то воспоминанія? Это потому, что хотя ты и не губернскій житель, но все-таки—русскій человѣкъ, и твоя жизнь немногимъ разнообразнѣе и живѣе жизни глухой улицы въ губернскомъ городѣ; въ ней тоже много монотоннаго, вялаго, тоскливаго. Поэтому въ твоей жизни бывали своего рода первые поѣзды, въ видѣ минутъ, въ которыя такъ или иначе вдругъ передъ тобою проносилась иная жизнь, полная тревоги, дѣятельности, страсти. Ты вдругъ просыпался отъ своего одуренія, но просыпался только для того, чтобы сознать во всей ясности всю пустоту твоего собственнаго прозябанія и, вздохнувши раза два, три отъ всей глубины души, снова погрузиться въ то же онѣмѣніе. Каждое чтеніе какой-либо живой, задирающей книги, каждая встрѣча съ маломальски дѣятельнымъ, полнымъ мысли и жизни человѣкомъ заставляютъ васъ чувствовать то-же, что чувствовали до извѣстной степени жители города по возвращеніи со станціи на бульваръ. И дай Богъ, читатель, чтобы въ твоей жизни почаще случались подобныя минуты пробужденія.

V.

Но вялость и одуряющая скука монотонной жизни являются еще не послѣдними результатами пассивности. Есть результаты еще болѣе трагическіе и роковые. Люди пассивные, ничего не предпринимающіе для устройства своего счастія, во всемъ полагающіеся на другихъ, дѣлаются въ концѣ-концовъ игрушкою въ рукахъ перваго встрѣчнаго аферіста или шарлатана, которому ничего не стоитъ обольстить ихъ блестящими обѣщаніями взяться устраивать за нихъ ихъ дѣла—и въ концѣ-концовъ обратить ихъ въ слѣпое орудіе замысловъ и цѣлей, иногда самыхъ постыдныхъ.

Въ романѣ Гл. Успенскаго мы видимъ два рода эксплуататоровъ пассивности, играющихъ не послѣднюю роль въ современной намъ жизни. Перваго рода эксплуататоры—это люди сами по себѣ не глупые и не злые. Они часто вполнѣ искренно желаютъ служить дѣлу прогресса, но вся ихъ несостоятельность заключается въ томъ, что рядомъ съ такъ называемымъ «развитіемъ», побуждающимъ ихъ приносить пользу, въ нихъ глубоко сидитъ рядъ привычекъ, принятыхъ наслѣдственно и затѣмъ взлелѣянныхъ воспитаніемъ. Вслѣдствіе этого, за что бы они ни принялись, въ нихъ дѣйствуютъ разомъ по сту направленій, они подходятъ къ дѣлу, по выраженію Черемухина, по сорока семи дорогамъ, осѣняемые сорока-семью разнородными взглядами.

«Въ прежнее время—говоритъ совершенно справедливо Гл. Успенскій—воспѣваніе безплодныхъ шатаній человѣка этой породы составляло единственный подвигъ литературы, которая такимъ образомъ сдѣлала его почти образцомъ истиннаго героя, никогда не упоминая о вліяніи оброковъ, взятокъ, откупныхъ доходовъ на развитіе нравственнаго капитала человѣка, выросшаго среди ихъ и на нихъ. И, благодаря сокрытію вышеупомянутыхъ, весьма некрасивыхъ вещей, типъ этотъ былъ весьма плѣнителенъ—и разнообразіе его оттѣнковъ было безконечно, хотя сущность оставалась одна и та же—недостатокъ нрав-

ственныхъ силъ, вслѣдствіе обезличивающаго вліянія семьи. Въ настоящее время привлекательная сторона этого типа утратилась безвозвратно, но существованіе его и до сихъ поръ не подлежитъ никакому сомнѣнію, обнаруживается поминутно, только въ иной формѣ. Прежде онъ просто ничего не дѣлалъ и шатался по помѣщичьимъ паркамъ, опустошая сердца помѣщичьихъ дѣвицъ; теперь же онъ пытается дѣлать дѣло, выказываетъ желаніе радѣть народу, но срывается и, внезапно опустошивъ земскій сундукъ, исчезаетъ куда-нибудь подальше доживать свой вѣкъ. Такъ какъ нравственная пустота весьма удобно принимаетъ всякія направленія и выказываетъ готовность ко всякому сочувствію, подобно стакану, который одинаково способенъ принять и воду, и вслѣдъ за ней вино, то было множество случаевъ, когда шатающійся типъ принималъ участіе въ дѣлахъ совершенно новыхъ, и на первыхъ порахъ казался дѣйствительно дѣльнымъ человѣкомъ, какъ тотъ же стаканъ кажется краснымъ, когда въ немъ красное вино. Но по обыкновенію участіе это оканчивалось тѣмъ, что въ дѣло вмѣшивался будочникъ, а самое лучшее предпріятіе оскандаливалось на глазахъ массы и доставляло полную возможность врагамъ его опорочивать и его сущность».

Надо ли много распространяться о томъ, какими міріадами кружатся эти трутни вокругъ такъ называемаго нашего прогресса? При этомъ мы постоянно видимъ, что, чѣмъ бѣднѣе ихъ нравственное содержаніе, тѣмъ краснорѣчивѣе ихъ языкъ, тѣмъ смѣлѣе замыслы и блистательнѣе обѣщанія, которыми они морочатъ публику, и тѣмъ скорѣе попадаются на ихъ удочку наши простодушные и пассивные прогрессисты.

Въ романѣ Гл. Успенскаго подобными трутнями представляются молодой Черемухинъ, барчукъ Уткинъ и блестящій герой новыхъ судебныхъ учрежденій Шапкинъ.

Молодой Черемухинъ, какъ только встрѣчается съ Михаиломъ Ивановичемъ въ Петербургѣ, тотчасъ же забираетъ его въ свой нумеръ, берется разыскать миѳическаго Максима Петровича и устроить всѣ его дѣла. Михаилъ Ивановичъ, какъ истый россійскій прогрессистъ нашего времени, вполнѣ возлагаетъ всѣ свои заботы на услужливаго пріятеля, а самъ складываетъ спокойно на груди свои руки и предается полнѣйшему бездѣйствію въ нумерѣ Черемухина.

И кончается все это тѣмъ, что Черемухинъ пропиваетъ всѣ деньги Михаила Ивановича и въ заключеніе кается ему въ своей несостоятельности.

Уткинъ, въ свою очередь, является такимъ же эксплуататоромъ Сонечки и Наденьки. Онъ начинаетъ свое знакомство съ ними съ поднятія женскаго вопроса, является передъ ними съ искреннимъ желаніемъ спасти Софью Васильевну отъ безсмысленнаго деспотизма мужа, читаетъ передъ ними чуть не цѣлыя лекціи о необходимости своей корки хлѣба, но рядомъ съ этими красивыми тирадами тотчасъ же и обнаруживаются тѣ сотни направленій, которыя тянутъ его въ разные концы.

Съ одной стороны, чтобы отъ словъ перейти къ дѣлу, оказалась необходимость идти въ первый дворъ и просить заказъ бѣлья. Еслибъ Уткинъ былъ простой мужикъ, умѣющій войти въ первыя ворота, остановить первую бабу и, назвавъ ее теткой или красавицей, прямо объявить ей въ чемъ дѣло, то онъ бы такъ и сдѣлалъ. Но у него были сотни разнородныхъ взглядовъ на предметъ, и поэтому, какъ только его дѣло обнаружилось вполнѣ, вся серьезность и значеніе его поблекли. Уткинъ представилъ себѣ, какъ онъ, барчукъ, стоитъ среди двора и проситъ бѣлья въ стирку, и какъ потомъ онъ идетъ съ узломъ. Въ головѣ его мелькнула мысль, что такъ не бываетъ, что это даже смѣшно. Онъ былъ совершенно согласенъ съ тѣмъ, что это нужно, что это дѣйствительно такъ, и въ то время находилъ, что это невозможная и смѣшная чушь. Таковы были свойства нравственной толкучки.

Но подобное препятствіе для оказанія истинной пользы своимъ новымъ знакомкамъ еще не вполнѣ опредѣляетъ Уткина. Вслѣдъ затѣмъ онъ встрѣчается съ шутливымъ офицеромъ, который наводитъ его на совершенно новыя соображенія, развитію которыхъ не мало помогаетъ картина бабъ съ обнаженными колѣнками, полощущихъ бѣлье на рѣкѣ. И вотъ вамъ весь Уткинъ на лицо, во всемъ своемъ нравственномъ безобразіи—открывающій за собою цѣлую толпу подобныхъ ему женскихъ эмансипаторовъ, начинающихъ съ вопроса о женской самостоятельности и корки хлѣба и оканчивающихъ мыслью о томъ, что нельзя ли при этомъ кстати и попользоваться ..

Такимъ же благодѣтелемъ рода человѣческаго является передъ вами и Шапкинъ. Посмотрите на него со стороны – что за красота, что за изящество въ движеніяхъ, въ манерахъ, во всей обстановкѣ его жизни. Его домъ—идеалъ семейнаго блаженства и семейныхъ добродѣтелей, его рѣчи дышутъ благородствомъ и гуманностью. Когда онъ идетъ, стоитъ или говоритъ, то кажется вамъ, что даже вокругъ него распространяется не то сіяніе, не то благоуханіе. По-видимому онъ такъ горячо сочувствуетъ благу народа, такъ искренно желаетъ оказать всякую пользу неимущему и невѣдующему собрату. Но вотъ онъ стоитъ передъ толпою этихъ собратій. Ему предстоитъ говорить судебную рѣчь. Казалось, что здѣсь-то бы и развернуться его доблести. Безъ сомнѣнія, онъ сообразилъ, что передъ нимъ народъ темный, что необходимо спуститься до его пониманія и заговорить съ нимъ самымъ простымъ и удобопонятнымъ языкомъ, чтобы онъ уразумѣлъ, чего отъ него требуютъ и чего онъ можетъ ожидать. Но тутъ и являются передъ нами тѣ же сотни направленій. Шапкинъ не можетъ забыть, что онъ, какъ бы то ни было, кончилъ курсъ университета съ степенью кандидата, что онъ—блестящій ораторъ, что передъ нимъ сидятъ двѣ, три губернскія львицы, наведены на него лорнеты—въ ожиданіи, какъ польется его красивая рѣчь... И вотъ онъ, забывая, къ кому обращена рѣчь, начинаетъ сыпать своими de caro, ab ovo, ex-abrupto, умственный уровень, декорумъ той среды, гдѣ подсудимый и пр., начинаетъ мотивировать, формулировать, обособлять—къ ужасу мужиковъ, недоумѣвающихъ, что̀ таится подъ этими пугалами-словами: розга или штрафы. Изъ этого и выходятъ подчасъ смѣшныя и грустныя комедіи вродѣ той сцены съ бабой, которую Шапкинъ цѣлый часъ вразумлялъ, чтобы она держалась въ передѣлахъ кассаціи, а она, въ отвѣтъ на всѣ его краснорѣчивые

доводы, ползала передъ нимъ на колѣнахъ, умоляя среди горькихъ рыданій помиловать ея собаку.

— Развѣ ты не понимаешь, что она хочетъ? говорила Шапкину его жена по выходѣ изъ суда.

— Разумѣется, понимаю... Но видишь, въ чемъ дѣло...

— Такъ зачѣмъ же ты не слушаешь ея?.. Она говоритъ свое, а ты свое..

— Поэтому-то мы оба и правы: она говоритъ, что ей нужно, а я—что мнѣ нужно.

— Да она не понимаетъ тебя. Ты былъ въ университетѣ, а она...

— Чѣмъ же я виноватъ, что она не была тамъ?

Шапкинъ улыбался. Жена молчала.

— Я самъ въ томъ же положеніи, какъ и она. Я не могу ей сдѣлать добра потому, что она тоже не можетъ доставить мнѣ удовольствія быть ей полезнымъ... Когда мы будемъ вмѣстѣ съ ней по одной книжкѣ читать, тогда все это и кончится.

Вотъ она, вѣчная логика Шапкиныхъ. Они рады оказать своимъ ближнимъ всевозможныя благодѣянія, но для этого необходимо, чтобы ближніе эти развились до счастья принимать благодѣянія изъ ихъ бархатныхъ ручекъ, возвысились до ихъ высокообразованнаго величія. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же они виноваты, что мужики не понимаютъ ихъ, зачѣмъ не воспитывались въ университетахъ!.. При этомъ замѣчательно, что въ то-же время Шапкину и въ голову не приходитъ спросить себя: ну, а пока мы не будемъ читать вмѣстѣ съ этими людьми по одной книжкѣ или говорить съ ними однимъ языкомъ, то въ чемъ же заключается приносимая мною польза на моемъ мѣстѣ и за что я получаю жалованье? За то, что я удивляю двухъ-трехъ барынь съ лорнетками своимъ краснорѣчіемъ? Что же я такое, общественный дѣятель или комедіантъ, потѣшающій публику?

Но всѣ эти простодушные эксплоататоры хороши тѣмъ, что они не долго обманываютъ людей, полагающихся на нихъ, быстро обнаруживая всю свою несостоятельность. Рядомъ же съ ними есть другого рода артисты, дѣйствующіе уже не по сотнѣ направленій, а стремящіеся къ какой нибудь одной опредѣленной своекорыстной цѣли, и пассивные люди являются слѣпыми орудіями въ ихъ рукахъ для исполненія ихъ замысловъ, совершенно не входящихъ въ разсчетъ этихъ пассивныхъ людей. Такимъ слѣпымъ орудіемъ является передъ вами Михаилъ Ивановичъ. Какъ истый россійскій прогрессистъ, онъ только умѣлъ возлагать надежды на чугунку, но въ то же время палецъ о палецъ не двинулъ для того, чтобы снискать средства и быть въ состояніи воспользоваться этою благодѣтельницею, которая должна доставить его къ Максиму Петровичу. Ему и въ голову не приходило, что чугунка даромъ его не повезетъ. Когда чугунка была облажена, онъ тогда только догадался, что у него въ карманѣ ни гроша и ѣхать ему не на что, и впалъ въ мрачное уныніе. Но тутъ подвернулся нѣкій купецъ, подслушавшій случайно его сѣтованіе на прижимку. Это былъ одинъ изъ мѣстныхъ кулаковъ, желавшій получить въ аренду казенный заводъ. И вотъ, чтобы предпріятіе это удалось, кулаки вознамѣрились воспользоваться Михаиломъ Ивановичемъ и отправить его въ Петербургъ, чтобъ онъ тамъ, жалуясь на прижимку, внушилъ мысль кому слѣдуетъ: эво, молъ, до чего народъ нѣмцемъ-арендателемъ прижатъ, что, ровно бѣшеные, на послѣдніе въ Питеръ бѣгутъ жалиться... Сказано, сдѣлано... Михаилъ Ивановичъ и поѣхалъ въ Петербургъ на купеческія деньги слѣпымъ орудіемъ ихъ замысла, поѣхалъ жаловаться на прижимку, чтобы оказать этимъ пользу такой же прижимкѣ. Это верхъ ироніи. Этимъ по истинѣ Гл Успенскій имѣлъ полное право закончить романъ. Подобный результатъ жизни Михаила Ивановича—хуже смерти и всякой другой катастрофы, къ какимъ прибѣгаютъ обыкновенно романисты, чтобы покончить романъ и отдѣлаться отъ героя! Еслибы Гл. Успенскій вздумалъ продолжать романъ далѣе, то ему оставалось бы только сообщить читателю рядъ подробностей, о которыхъ читатели и сами могутъ догадаться. Это было бы все равно, что, доведя героя до трагической смерти, начать подробно описывать въ послѣдней главѣ, какъ разлагался его трупъ въ могилѣ!

VI.

Много можно бы еще чего сказать по поводу романа Гл. Успенскаго, потому что на каждой страницѣ его вы найдете сцены и очерки, открывающіе передъ вами глубокія перспективы и наводящіе васъ на цѣлый рядъ размышленій о тѣхъ или другихъ сторонахъ общей неурядицы нашей житейской суеты. Но предоставляемъ это сдѣлать самимъ читателямъ, иначе намъ долго пришлось бы еще бесѣдовать. Въ заключеніе мы скажемъ только, что произведенія Г. Успенскаго особенно полезны при нашей замкнутой жизни, при обыкновеніи смотрѣть на міръ въ узенькое окошечко какого-нибудь тѣснаго кружка нашего прозябанія и уноситься въ милыхъ сердцу иллюзіяхъ въ различныя эмпиреи. Произведенія Гл. Успенскаго однимъ ударомъ способны разрушать всѣ подобныя иллюзіи, открывая намъ жизнь не такою, какова она намъ кажется изъ нашего прекраснаго далека, а во всей ея неподкрашенной правдѣ. Г. Успенскій обладаетъ въ этомъ отношеніи удивительнымъ даромъ одной небольшой сценкой открыть передъ вами изнанку невыразимой пошлости даже тамъ, гдѣ иной романистъ конечно ничего не нашелъ бы, кромѣ однѣхъ свѣтлыхъ сторонъ, и заставилъ читателей отдыхать душою. Такъ напримѣръ, припомните только сцену изъ «Наблюденій лѣнтяя». Вотъ передъ вами нѣсколько молодыхъ людей—такихъ образованныхъ, такихъ гуманныхъ, мыслящихъ—собрались и бесѣдуютъ о высокихъ предметахъ. Какой богатый сюжетъ для начала романа съ великолѣпными женскими типами, анализомъ любви, борющейся съ призваніемъ гражданскаго долга и пр. Романистъ стараго покроя не замедлилъ бы въ кругъ этихъ предающихся глубокомысленнымъ бесѣдамъ героевъ тотчасъ втереть дѣву съ задатками страстности и неразгаданныхъ думъ въ темныхъ очахъ, а Гл. Успенскій вмѣсто этого заставилъ появиться протопопа, и вся компанія отъ вызывающихъ на размышленіе разговоровъ

ринулась вслѣдъ за приглашеніемъ протопопа топить кобеля, богъ-вѣсть зачѣмъ и для чего, и кончилось дѣло всеобщей попойкой. О, русская жизнь, какъ видна ты вся, будто на ладони, въ одной этой сценкѣ!.. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы ты ни предпринималъ, о чемъ бы ни размышлялъ, мой читатель, въ концѣ концовъ ты все-таки придешь къ одному: пойдешь топить кобеля и при этомъ случаѣ напьешься.

ГРАФЪ ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ—

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МЫСЛИТЕЛЬ.

I.

Элементарный принципъ реальнаго искусства заключается, какъ всѣмъ извѣстно, въ томъ, чтобы изображать жизнь такъ, какъ она есть, во всей ея неподкрашенной правдѣ, не идеализируя и не искажая ея. Въ этомъ принципѣ выразилось первое сознаніе реальнаго искусства въ отличіе его отъ романтизма, и долгое время принципъ этотъ исключительно господствовалъ въ критикѣ, приверженной реальному искусству. Установленіе его составляло главную заслугу дѣятельности Бѣлинскаго, сущность такъ-называемой натуральной школы. Въ эпоху сороковыхъ годовъ принципа этого совершенно было достаточно, чтобы пошатнуть всѣ устарѣлые романтическіе взгляды на искусство и водворить господство новой реальной школы.

Но, когда этотъ принципъ восторжествовалъ къ концу сороковыхъ годовъ, оказалось, что онъ далеко не обнимаетъ собою всей сущности искусства и не опредѣляетъ его цѣлей. Изображать жизнь въ ея неподкрашенной правдѣ—прекрасно; но, съ одной стороны, съ какой же цѣлью долженъ поэтъ быть какимъ-то рабскимъ эхомъ жизни, и притомъ эхомъ, далеко уступающимъ отражаемымъ звукамъ? А съ другой стороны—долженъ ли поэтъ дѣйствительно, подобно эху, отражать безразлично все, что только ни вошло въ его кругозоръ, или онъ имѣетъ право выбора? Вышеупомянутый принципъ потому и оказался недостаточенъ, что онъ не отвѣчалъ на эти вопросы и допускалъ въ области искусства хаосъ и безцѣльность. Въ самомъ дѣлѣ, что бы поэту ни задумалось: явленія, выражающія собою духъ вѣка или журчанія ручейковъ, роковыя стремленія своихъ современниковъ, или же впечатлѣнія и мелкія подробности рыбныхъ ловлей—все безразлично входило въ область реальнаго искусства и допускалось вышеупомянутымъ принципомъ, лишь бы только изображеніе было вѣрно дѣйствительности. Изъ этого выходили распущенность и произволъ почти столь же необузданные, какіе господствовали и въ романтизмѣ съ его теоріей безусловной свободы поэтической фантазіи. Тогда-то и возникли двѣ партіи: одна осталась при прежнемъ принципѣ, т.-е. вполнѣ довольствовалась тѣмъ, чтобы искусство изображало художественно-вѣрно жизнь, не входя при этомъ въ разборъ, что и для чего изображается произведеніемъ. Люди этой партіи не отвергали того, что искусство должно быть полезно, но въ то же время они полагали, что польза его заключается въ самой его сферѣ, безотносительно къ содержанію изящныхъ произведеній, что искусство само по себѣ приноситъ свою специфическую пользу тѣмъ уже, что художественно изображаетъ жизнь во всей ея правдѣ, и требовать отъ него другихъ какихъ-нибудь цѣлей—это значитъ выводить его изъ своей сферы, заставлять его переставать быть искусствомъ. Противъ этихъ приверженцевъ стараго принципа возникли новые люди, которые начали доказывать, что старый принципъ недостаточно опредѣляетъ значеніе и цѣль искусства, что для поэта недостаточно вѣрно изображать первое, что попалось ему на глаза и привлекло его вниманіе, что не всякое изображеніе дѣйствительности имѣетъ одинаковое значеніе и приноситъ одинаковую долю пользы, что неизмѣримая бездна лежитъ между безцѣльнымъ изображеніемъ соловьиныхъ трелей или любовныхъ томленій и такихъ явленій жизни, въ которыхъ лежатъ существенныя задачи вѣка. Болѣе десяти лѣтъ велись ожесточенные споры между защитниками искусства для искусства и искусства для жизни, и кончились въ свою очередь торжествомъ новаго принципа утилитарнаго искусства. По крайней мѣрѣ въ настоящее время *) торжество это можно считать до такой степени полнымъ, что если въ литературѣ и раздаются еще порою отдѣльные голоса приверженцевъ искусства для искусства, то голоса эти слишкомъ и робки, и ничтожны, чтобы обращать на себя вниманіе, и противъ нихъ никто уже и не возражаетъ, считая это дѣло совершенно излишнимъ. Но торжество какой-либо идеи всегда бываетъ въ то же время обнаруженіемъ слабыхъ сторонъ ея. То же самое происходитъ нынѣ и съ утилитарнымъ принципомъ.

«Я пришелъ въ міръ не для того, чтобы уничтожить законъ, а чтобы поправить». Это изрѣченіе пригодно для каждой новой идеи, являющейся на смѣну старой. Какъ бы ни казалась отжившей старая идея, но не надо забывать, что и она когда-то была новою, была какой нибудь ступенью въ развитіи человѣчества и какое нибудь новое сознаніе принесла людямъ своимъ появленіемъ. Неужели же это пріобрѣтеніе

*) Т. е. въ 1872 году, когда была писана эта статья.

безвозвратно утрачивается для человѣчества съ появленіемъ новой идеи и новая до основанія разрушаетъ старую, не оставляя въ ней и слѣда? Иначе сказать, неужели все развитіе человѣчества заключается въ вѣчной безсмысленной смѣнѣ идей, въ результатѣ оказывающихся одинаково ложными? Ничуть ни бывало: старыя идеи не уничтожаются, а только теряютъ свое безусловное господство, ограничиваются новыми идеями и входятъ въ нихъ въ видѣ элементовъ. Это мы видимъ въ какой угодно области мысли, въ томъ числѣ и въ сферѣ эстетическихъ понятій. Основная формула всѣхъ нѣмецкихъ метафизиковъ заключалась въ томъ, что искусство должно быть свободнымъ, непроизвольнымъ актомъ творчества. Реальная эстетика, явившаяся на смѣну метафизической, не опровергнула этой формулы, а только ограничила ее: да, сказала она, конечно это такъ, но, при всей свободѣ и непроизвольности творчества, поэтъ не можетъ отрѣшиться отъ дѣйствительности; произвести что-нибудь свое, не находящееся въ сферѣ жизни, совершенно не въ его власти; всякая такая попытка есть болѣзнь творчества, ведетъ къ произведеніямъ безобразнымъ, уродливымъ, и только такое произведеніе можно назвать художественнымъ, въ которомъ, при всей свободѣ и непроизвольности творчества, воспроизводится жизнь во всей ея правдѣ.

Утилитаризмъ въ свою очередь не заключаетъ въ себѣ отрицанія ни произвольности творчества, ни тѣмъ менѣе вѣрности дѣйствительности поэтическихъ образовъ. Признавая и то, и другое, онъ опять-таки является только ограниченіемъ натуральнаго искусства, говоря, что только такое произведеніе искусства заслуживаетъ уваженія современниковъ и памяти потомства, которое, при условіи непроизвольности творчества и вѣрности дѣйствительности, проникнуто общественными интересами времени.

Въ такомъ видѣ и являлся утилитаризмъ искусства при своемъ появленіи въ статьяхъ Бѣлинскаго послѣдняго періода его дѣятельности и Добролюбова. Проводя утилитаризмъ, писатели эти не забывали и того, что было истиннаго въ прежнихъ принципахъ, и всячески заботились о приведеніи въ согласіе новаго принципа со старыми. Мы могли бы привести множество цитатъ изъ статей Добролюбова, въ которыхъ этотъ горячій приверженецъ принципа искусства для жизни преслѣдовалъ всякую преднамѣренность творчества, искусственность или же искаженіе дѣйствительности, фальшь,—не менѣе самыхъ рьяныхъ защитниковъ искусства для искусства.

Но по мѣрѣ того, какъ утилитаризмъ окончательно восторжествовалъ, онъ возъимѣлъ претензію быть единственнымъ и исключительнымъ принципомъ искусства, и началъ игнорировать всѣ прежніе принципы, не входя даже въ разсмотрѣніе ихъ, какъ будто ихъ вовсе никогда не существовало. Вмѣстѣ съ тѣмъ не замедлилъ обнаружиться и весь вредъ исключительнаго и односторонняго господства его въ критикѣ. Оказывается, что взятый отдѣльно, безъ содѣйствія предшествовавшихъ принциповъ, утилитаризмъ ведетъ искусство къ такому же хаотическому произволу, какъ и прежніе принципы во время ихъ исключительнаго господства. Въ самомъ дѣлѣ, вы посмотрите, что только дѣлается въ современной беллетристикѣ: нынѣ не требуется отъ писателя ни знанія жизни въ ея неподкрашенной, правдѣ ни возведенія дѣйствительности въ перлъ созданія, какъ выражались нѣкогда, или, сказать проще, обобщеній частныхъ явленій въ общіе образы; писатель можетъ остановиться на первыхъ конкретныхъ фактахъ, обратившихъ на себя вниманіе, взять своихъ двухъ-трехъ пріятелей, и, произвольно перемѣшавши ихъ качества, написать безъ дальнихъ околичностей романъ изъ нѣсколькихъ ихъ похожденій; можетъ и этого не дѣлать: имѣетъ полный произволъ искажать дѣйствительность, какъ ему вздумается, пригоняя ее къ задуманной идеѣ, даже совсѣмъ обойтись безъ дѣйствительности, выдумать небывалыхъ героевъ изъ своей собственной фантазіи, поставить ихъ въ самую фантастическую обстановку, гдѣ-то между небомъ и землей, и заставить продѣлывать подвиги или преступленія, подобныхъ которымъ вы не сыщете на всемъ земномъ шарѣ, и лишь бы романъ былъ написанъ бойко, не причинялъ зѣвоты и, что прежде всего и главнѣе всего, въ немъ была бы проведена поучительная тенденція,—и будьте увѣрены, романъ найдетъ своихъ почитателей въ томъ лагерѣ, для котораго эта тенденція пріятна. Въ самомъ дѣлѣ, неужели есть хоть малѣйшій признакъ поэтическаго творчества или блѣдная тѣнь правды жизни въ тѣхъ многочисленныхъ романахъ, которые пишутся словно по заказу для «Русскаго Вѣстника», въ которыхъ непремѣнно должны парадировать растрепанные нигилисты съ различными коварными интригами, съ поддѣлываньемъ векселей, обольщеніемъ дѣвъ и отравленіемъ старцевъ, а рядомъ съ ними благонамѣренные администраторы-патріоты должны разрушать всѣ эти злокозненныя интриги, жениться на обольщенныхъ нигилистами дѣвахъ и при встрѣчахъ съ благодушными крестьянами получать отъ нихъ хлѣбъ-соль на серебряныхъ блюдахъ. Что представляетъ изъ себя наприм. романъ Лѣскова «На ножахъ», какъ не какой-то горячечный бредъ разстроеннаго воображенія, потерявшаго всякое чутье дѣйствительности и дошедшаго до чудовищныхъ галлюцинацій! Не говоря уже о томъ, что въ этомъ романѣ, по прихоти фантазіи автора и по тону тенденціи, жизнь искажается елико возможновъ своихъ существенныхъ, общихъ явленіяхъ, — авторъ не позаботился, чтобы читатели, хотя бы въ мелкихъ аксессуарахъ и подробностяхъ, видѣли окружающую ихъ дѣйствительность. Дѣйствующія лица говорятъ богъ-вѣсть какимъ страннымъ языкомъ, подобнаго которому нигдѣ не слышишь, представляются исключительными, нигдѣ невиданными уродами, и вся обстановка ихъ жизни освѣщена такимъ какимъ-то страннымъ, мистическимъ свѣтомъ, словно это жители не русской земли, а иной планеты, на которой солнце свѣтитъ не бѣлымъ, а синевато-зеленымъ цвѣтомъ. Но и беллетристы противоположнаго лагеря, тенденціозные романисты вродѣ Бажина, Шеллера, Омулевскаго, въ одинаковой мѣрѣ не заботятся объ изображеніи дѣйствительности, правды жизни. Разница только въ томъ, что здѣсь вмѣсто необузданныхъ нигилистовъ творятъ всевозможныя пакости развращенные филистеры, а надъ ними парятъ въ

облакахъ молодые реалисты «съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ». Я говорю: «парятъ въ облакахъ», потому что, когда вы читаете романъ или повѣсть этого рода, передъ вами стушевываются и земля, и небо, и вы видите передъ собою одно тріумфальное шествіе свѣтозарныхъ героевъ, совершенно въ такомъ же родѣ, какъ изображаются тріумфальныя шествія на барельефахъ: смотрите вы на барельефъ, и передъ вами не существуетъ древней жизни со всею ея обыденною обстановкою, никакого ландшафта, одно бѣлое поле да такое же бѣлое кудрявое деревцо въ сторонѣ, и подъ нимъ колесницы и побѣдители, величественно правящіе рьяными конями. Точно то-же самое представляютъ изъ себя и романы вышеупомянутыхъ беллетристовъ. Откуда берутъ они своихъ величавыхъ, мудрыхъ, яко зміи, героевъ, гдѣ они ихъ видятъ, не спрашивайте объ этомъ. Въ романахъ этихъ беллетристика совершенно сошла съ почвы реализма и ударилась въ шиллеровскій идеализмъ созданія русскихъ маркизовъ Позъ и Іоаннъ д'Аркъ. Здѣсь жизнь даже ужъ и не искажается, а просто выдумывается сообразно проводимой тенденціи.

Въ концѣ концовъ не уничтожается-ли и самый принципъ утилитаризма такимъ его исключительнымъ преслѣдованіемъ? Человѣческое слово можетъ быть полезно только тогда, когда оно заключаетъ въ себѣ истину. Всякая ложь, даже самая блестящая, высказываемая хотя бы даже съ самыми благородными, высокими цѣлями, непремѣнно въ концѣ концовъ должна произвести не пользу, а величайшій вредъ. О вредѣ романовъ въ духѣ тенденцій «Русскаго Вѣстника» нечего и говорить; но не трудно доказать, что и выставленіе новыхъ людей, въ видѣ маркизовъ Позъ и Іоаннъ-д'Аркъ, можетъ принести не менѣе вреда для тѣхъ же самыхъ юношей, для поученія которыхъ эти романы пишутся. Вмѣсто того, чтобы представлять этимъ юношамъ жизнь въ ея настоящемъ свѣтѣ, вмѣсто того, чтобы заставлять ихъ узнавать себя въ произведеніяхъ со всѣми ихъ недостатками, авторы употребляютъ всѣ усилія закрыть отъ нихъ настоящую дѣйствительность со всѣмъ ея жалкимъ убожествомъ, обольщая ихъ различными радужными призраками. Послѣдствія подобныхъ обольщеній очевидны: юноша прочтетъ нѣсколько подобныхъ романовъ и не замедлитъ вообразить самого себя однимъ изъ ихъ героевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ начинаются поиски повсюду людей съ необъятными силами и непоколебимой энергіей, причемъ каждый встрѣченный, сказавшій двѣ, три фразы, согласныя съ воззрѣніями юноши, кажется ему человѣкомъ не отъ міра сего и находитъ подобіе себѣ въ томъ или другомъ романѣ Бажина, и кончается все это тѣмъ горькимъ и тяжелымъ разочарованіемъ идеализма, изъ котораго немногіе выходятъ, не утративъ молодыхъ силъ и завѣтныхъ убѣжденій. Что̀ такое это все, какъ не тотъ же романтизмъ, только въ новой оболочкѣ, съ иными кличками?

Но неужели-же возвратиться ко временамъ чистаго искусства и снова воспѣвать что взбредетъ на умъ, слѣпо повинуясь всѣмъ прихотямъ художественнаго вдохновенія?... Никто объ этомъ не говоритъ; что̀ пройдено, къ тому возвращаться было бы крайне постыдно, и не даромъ явился принципъ утилитаризма искусства; но только цѣль его не пренебрегать всѣми прежними принципами, а только ограничивать ихъ. Актъ поэтическаго творчества попрежнему обязанъ изображать жизнь такъ, какъ она есть. Что же касается тенденціозности произведеній, то она должна заключаться вовсе не въ томъ, чтобы во что бы ни стало приноравливать изображаемую дѣйствительность къ тенденціи. Тенденціозность должна предшествовать творчеству, руководя поэта не столько въ изображеніи жизни, сколько въ изученіи ея. Поэтъ, проникнутый серьезными и глубокими идеями, стоящими впереди вѣка, очевидно не будетъ обращать исключительнаго вниманія на красоты природы, по цѣлымъ часамъ слѣдить за тѣмъ, какъ тучки плывутъ по небосклону; онъ станетъ изучать такія явленія жизни, которыя такъ или иначе относятся къ вопросамъ, занимающимъ его умъ. И если онъ обладаетъ дѣйствительнымъ талантомъ, явленія эти не замедлятъ сложиться въ поэтическіе образы. Тогда пусть онъ садится къ столу и воспроизводитъ эти образы; пусть въ это время онъ ни о чемъ не думаетъ болѣе, какъ только о поэтическомъ воспроизведеніи, и задастся исключительно художественными цѣлями, и, повѣрьте, произведенія его въ гораздо большей степени проникнуты будутъ серьезными, глубокими тенденціями, чѣмъ еслибы онъ преднамѣренно задался ими. Не только помимо, но иногда и вопреки воли его поэтическіе образы станутъ сами по себѣ вопіять вамъ о вашихъ скорбяхъ и нуждахъ и будутъ производить на васъ тѣмъ сильнѣйшее впечатлѣніе, чѣмъ меньше преднамѣренности со стороны автора. Таковъ законъ иллюзіи, что всякое преднамѣренное мѣткое замѣчаніе, нечаянная острота, случайно сорвавшіяся съ языка, дѣйствуютъ сильнѣе разсчитанныхъ и взвѣшанныхъ предварительно словъ. Въ этомъ отношеніи искусство должно идти совершенно по тому же пути, по какому идетъ наука. Когда ученый принимается за свои изслѣдованія, онъ ограничивается только общими, всѣмъ и каждому съ дѣтскихъ лѣтъ извѣстными соображеніями о томъ, что̀ всѣ научныя изслѣдованія должны клониться къ пользѣ людямъ. Но было бы нелѣпо, еслибы ученый захотѣлъ заранѣе опредѣлить, какую долю пользы принесутъ его изслѣдованія и въ какомъ видѣ; вдругъ бы ему пришла въ голову мысль: дай, молъ, я открою такой газъ, который горѣлъ бы свѣтлѣе водорода и стоилъ бы вдесятеро дешевле. Вы конечно тотчасъ-же усомнились бы въ успѣхѣ подобнаго предпріятія, назвали бы ученаго химеристомъ и готовы были бы побиться объ закладъ, что подобныя преднамѣренныя изысканія ни къ чему не поведутъ. Но мало того, что они ни къ чему не поведутъ — они могутъ помѣшать ученому сдѣлать десять полезнѣйшихъ непредвидимыхъ открытій втеченіи того времени, которое онъ потратитъ на свой замыселъ. На этомъ основаніи вы не требуете отъ ученаго ничего болѣе, какъ только того, чтобы онъ изслѣдовалъ свой предметъ и затѣмъ повѣдалъ міру о тѣхъ открытіяхъ, къ которымъ естественно и непроизвольно привели его изысканія. Совершенно точно такъ-же долженъ поступать и поэтъ. Вся обязанность его заключается въ томъ, чтобы изучать окружающую его людскую жизнь въ самыхъ разнообраз-

ныхъ ея проявленіяхъ и затѣмъ повѣдать намъ въ поэтическихъ образахъ о результатѣ своихъ изслѣдованій. Польза же подобныхъ повѣданій будетъ прямо зависѣть отъ того, насколько богаты результаты изученія поэтомъ жизни, т.-е. насколько глубоко успѣлъ онъ проникнуть въ изучаемую имъ область и сдѣлать въ ней болѣе или менѣе существенныя открытія. Основной методъ такого изученія долженъ быть такой же индуктивный, какъ и во всѣхъ другихъ наукахъ, иначе сказать, изученіе должно основываться на возможно большемъ количествѣ фактовъ, чѣмъ только и можетъ обусловливаться вѣрность выводовъ. Таковъ основной, единственно-истинный принципъ искусства, который, къ сожалѣнію, пренебрегается нашими современными беллетристами: они считаютъ совершенно излишнимъ заниматься постояннымъ и пристальнымъ изученіемъ жизни въ самыхъ разнообразныхъ ея сферахъ и полагаютъ, что сдѣлали свое дѣло и совѣсть ихъ можетъ быть спокойна, если имъ удалось стереотипную тенденційку, принятую въ наслѣдство отъ бабушки или вычитанную изъ книжки, пришпилить кое-какъ, на живую нитку, къ двумъ, тремъ блѣднымъ образамъ, или совершенно конкретнымъ, или же составленнымъ изъ самаго ограниченнаго круга наблюденій. И они воображаютъ, что произведенія ихъ могутъ быть въ какой-нибудь степени полезны!

Для большей ясности и вразумительности считаю нелишнимъ въ заключеніе этой главы привести всѣ вышеозначенные принципы въ краткихъ формулахъ, въ ихъ послѣдовательности другъ за другомъ. И такъ:

1) Поэтическое творчество должно быть свободно и непроизвольно.

2) Оно должно воспроизводить жизнь во всей ея неподкрашенной правдѣ.

3) Оно должно стремиться къ воспроизведенію существенныхъ явленій жизни, въ которыхъ выражаются духъ вѣка и его интересы.

4) А этого поэтъ можетъ достигнуть только путемъ всесторонняго изученія жизни.

II.

Произведенія гр. Л. Толстого потому и дороги для насъ въ смыслѣ разъясненія всѣхъ этихъ принциповъ, особенно послѣдняго, что они наглядно показываютъ, до чего можетъ достигнуть художникъ путемъ изученія жизни и безхитростнаго воспроизведенія ея въ поэтическихъ образахъ, и какъ съ другой стороны тенденціи, которыми иногда старается тотъ же художникъ освѣщать образы свои, не только не освѣщаютъ ихъ, а, напротивъ этого,—портятъ впечатлѣніе, которое образы производятъ сами по себѣ, заглушаютъ ихъ естественный голосъ.

Гр. Л. Толстой принадлежитъ къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Школа эта имѣетъ свое историческое значеніе въ томъ отношеніи, что въ ней впервые возникло стремленіе къ серьезному анализу жизни на основаніи тѣхъ новыхъ, гуманныхъ идей, наплывъ которыхъ съ Запада составляетъ главную суть умственнаго движенія сороковыхъ годовъ. Въ защитѣ раба отъ помѣщичьяго произвола, женщины — отъ домашняго гнета, въ отрицаніи праздности, лѣни и нравственной распущенности, этихъ результатовъ крѣпостного права, заключается несомнѣнная заслуга этой школы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она имѣетъ и свои недостатки, зависящіе отъ духа времени и условій жизни представителей ея. Школа эта—та самая, которая при своемъ возникновеніи, въ послѣдніе годы Бѣлинскаго, славилась подъ названіемъ натуральной. Она возникла такимъ образомъ въ то время, когда отъ писателей начинали уже требовать проникновенія общественными интересами, но требованіе это было еще вопросомъ спорнымъ, между тѣмъ безгранично царилъ принципъ, не требующій отъ искусства ничего болѣе, кромѣ вѣрнаго изображенія жизни. Въ силу этого, беллетристы сороковыхъ годовъ постоянно колебались между принципами искусства для искусства и утилитарнымъ: останавливая свое вниманіе на такихъ явленіяхъ жизни, въ которыхъ выражались существенные интересы ихъ времени, рядомъ съ этимъ они предавались той безцѣльной созерцательности, которая допускалась принципомъ натуральной школы и въ то же время была столь естественна при складѣ жизни большинства представителей этой школы. Это и было причиною такого обилія описательной поэзіи въ произведеніяхъ всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Произведенія эти переполнены описаніями красотъ природы, тончайшихъ мелочей быта и обыденныхъ сценъ жизни, вродѣ печенья пироговъ, проводовъ, встрѣчъ, ѣзды на долгихъ или перекладныхъ и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ принципъ натуральной школы не заключалъ въ себѣ требованія всесторонняго и сравнительнаго изученія жизни въ разныхъ слояхъ общества и совершенно довольствовался знаніемъ со стороны поэта одной маленькой частицы жизни, лишь бы онъ изображалъ ее вѣрно. Въ силу этого, беллетристы сороковыхъ годовъ позволяли себѣ имѣть весьма поверхностныя свѣдѣнія о всѣхъ прочихъ слояхъ общества, кромѣ того интеллигентнаго, къ которому сами принадлежали. Иногда они дѣлали вылазки и въ другіе слои, но если только бытъ этихъ слоевъ не искажался авторами, если въ него не вносились нравы, понятія и чувства той же интеллигентной среды (что случалось очень часто), то во всякомъ случаѣ выбирались факты чисто конкретные, случайно попавшіе въ кругозоръ художника, и выводились въ произведеніи для того, чтобы выставить какую-либо вредную сторону крѣпостного права или же внушить публикѣ, что и подъ сермягою бьется такое же человѣческое сердце. Существенныя же основы быта всѣхъ прочихъ слоевъ общества, кромѣ интеллигентнаго, ихъ основныя стремленія, симпатіи и антипатіи въ соприкосновеніи съ интеллигентнымъ слоемъ оставались чужды беллетристикѣ сороковыхъ годовъ: по большей части она занималась изображеніемъ одного интеллигентнаго слоя въ различныхъ отношеніяхъ людей этого слоя другъ къ другу. Подобныя односторонность и замкнутость беллетристики въ одномъ слоѣ общества были не малою помѣхою для разрѣшенія тѣхъ существенныхъ задачъ, которыя были заданы этой школѣ вѣкомъ. Школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ стремилась освѣтить ту страшную нравственную распущенность, дряблость, ту крайнюю искусственность

жизни, до какихъ дошла интеллигентная среда вслѣдствіе ненормальности своего общественнаго положенія. Простой, здравый смыслъ говоритъ вамъ, что всѣ вышеупомянутые недостатки интеллигентной среды только и могутъ быть освѣщены въ настоящемъ свѣтѣ въ сопоставленіи этой среды съ другими слоями общества, въ которыхъ этихъ недостатковъ нѣтъ, и въ то же время наибольшій вредъ этихъ недостатковъ обнаруживается очевидно опять-таки въ отношеніяхъ интеллигентной среды къ прочимъ слоямъ общества. Между тѣмъ этого-то именно и не могла сдѣлать беллетристика сороковыхъ годовъ, весьма мало знакомая съ прочими слоями общества и занимавшаяся почти исключительно однимъ интеллигентнымъ слоемъ. Она выводила на сцену постоянно безхарактернаго, нравственно-распущеннаго героя, но всѣ эти качества могла показывать только по отношенію героя къ матери, любимой дѣвушкѣ, другу. Въ то же время, при всемъ отрицательномъ отношеніи къ подобному герою, она все-таки питала къ нему величайшую нѣжность, какъ къ представителю интеллигенціи. Такимъ образомъ герой оказывался несостоятельнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, но при всемъ томъ рисовался выше всѣхъ головою; и читатель оставался въ полномъ недоумѣніи, кто сей герой и какъ объяснить дрянность его отношеній къ ближнимъ: ненормальностью его самого или этихъ ближнихъ? Представляетъ ли господинъ этотъ собою печальный результатъ неправильной обстановки жизни, или можетъ быть такова участь всякаго, возвысившагося надъ своею средою и вставшаго вслѣдствіе этого съ нею въ разладъ? Впрочемъ, къ концу сороковыхъ годовъ беллетристы начали болѣе склоняться къ первому предположенію: безхарактерный герой пересталъ рисоваться выше всѣхъ головою, а началъ изображаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ: никуда негоднымъ продуктомъ растлѣнной среды; изъ Бельтова онъ былъ разжалованъ въ Обломова. Вмѣстѣ съ установленіемъ подобнаго взгляда на безхарактернаго героя, еще болѣе почувствовалась потребность оттѣненія послѣдняго героями съ противоположными качествами. Въ прежніе годы герой оттѣнялся средою, которая предполагалась стоящей ниже его, теперь же онъ оказался нисколько не выше своей среды, ея органическимъ продуктомъ. Казалось, что тутъ-то и должно было возникнуть сознаніе, что самое лучшее оттѣненіе безхарактерности героя—это поставленіе его въ соприкосновеніе съ другими слоями общества. Между тѣмъ большинство беллетристовъ сороковыхъ годовъ продолжали имѣть все такія же смутныя понятія о прочихъ слояхъ общества; поневолѣ они принуждены были, для оттѣненія безхарактерныхъ героевъ, *сочинять* героевъ характерныхъ силою своего воображенія и отвлеченнаго мышленія—сходя такимъ образомъ съ реальной почвы изображенія дѣйствительности. Нѣкоторые такъ и дѣлали. Другіе начали возводить въ идеалъ различныхъ кулаковъ, находящихся въ той же интеллигентной средѣ, лишь бы только эти кулаки проявляли хотя блѣдную тѣнь характерности и твердости нравственныхъ правилъ по отношенію къ матери, женѣ и другу, и читатель долженъ былъ вѣрить, что передъ нимъ если не идеальныя совершенства, то во всякомъ случаѣ столпы русской земли, черноземныя силы. И вѣрилъ простодушный читатель, благодаря тому, что писатели не заботились представить, какъ проявляетъ себя почтенный сынъ, вѣрный мужъ и неизмѣнный другъ къ людямъ, не стоящимъ столь близко къ нему. Читатель же менѣе простодушный задавалъ себѣ естественный вопросъ: какимъ чудодѣйственнымъ образомъ на почвѣ изображаемой среды могутъ возникать столь доблестные герои, если естественнымъ продуктомъ ея являются Обломовы въ различныхъ видахъ и формахъ? Въ такое безвыходное противорѣчіе поставила себя натуральная школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ, сойдя съ почвы объективнаго изображенія жизни на почву идеализаціи дѣйствительности.

Принадлежа къ этой школѣ, гр. Л. Толстой представляетъ въ своихъ произведеніяхъ и многія такія свойства и особенности, которыя характеризуютъ ее. Такъ вы найдете въ нихъ такое же обиліе художественной созерцательности, результатомъ которой являются многочисленныя описанія природы, внѣшнихъ обыденныхъ чертъ жизни, рядомъ съ анализомъ всевозможныхъ психическихъ ощущеній до самыхъ мельчайшихъ и неуловимыхъ. Особенное богатство въ этомъ отношеніи представляютъ первыя повѣсти гр. Л. Толстого: «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность». Но и въ послѣднемъ произведеніи гр. Толстаго «Война и миръ» вы найдете не менѣе описательной поэзіи на каждой страницѣ. Стоитъ только припомнить такія выдающіяся вещи въ этомъ родѣ, какъ описаніе бала у Ростовыхъ или святочнаго пикника. Мы указываемъ на эту особенность произведеній гр. Л. Толстого, которую раздѣляетъ онъ со всѣми беллетристами одной съ нимъ школы, не какъ на достоинство или недостатокъ этихъ произведеній, а какъ на характеристическую принадлежность ихъ, которая зависитъ отъ многихъ условій жизни, создавшей эту школу, и должна утратиться вмѣстѣ съ паденіемъ ея.—Не входя въ разбирательство частныхъ, индивидуальныхъ причинъ, зависящихъ отъ склада характера и темперамента того или другого писателя, замѣтимъ только, что общая причина богатства описательной поэзіи въ нашей беллетристикѣ зависитъ, по нашему мнѣнію, отъ бѣдности содержанія нашей жизни и ея тоскливаго однообразія: вслѣдствіе недостатка такихъ сильныхъ впечатлѣній, которыя всецѣло овладѣвали бы фантазіей художника, наши писатели имѣютъ бездну досуга наблюдать различные мелкіе детали жизни и этими деталями иногда и ограничиваются.

Вмѣстѣ съ тѣмъ у гр. Л. Толстого, подобно какъ и у всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, на первомъ планѣ рисуются тѣ же безхарактерные герои интеллигентной среды, анализъ нравственной несостоятельности которыхъ и составляетъ главное содержаніе творчества гр. Л. Толстого. Но въ то же время гр. Л. Толстой не раздѣляетъ многихъ недостатковъ представителей своей школы, и этимъ онъ обязанъ, по нашему мнѣнію, тому, что сфера наблюденій жизни у гр. Толстого гораздо шире, чѣмъ у прочихъ представителей его школы. Въ его произведеніяхъ вы найдете типы не одной только интеллигентной среды, но различныхъ слоевъ общества—мѣщанъ, крестьянъ, солдатъ, казаковъ, бѣдныхъ студентовъ и музыкан-

товъ и пр., и всѣ эти типы рисуются передъ вами въ надлежащемъ свѣтѣ и не въ однѣхъ только внѣшнихъ формахъ, но и въ существенныхъ свойствахъ, представляющихъ отличіе ихъ нравовъ, понятій и стремленій сравнительно съ привилегированнымъ слоемъ общества При такихъ условіяхъ и безхарактерный герой, составляющій главный предметъ творчества гр. Л. Толстого, рисуется передъ нами совершенно въ иной перспективѣ, чѣмъ у прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Гр. Л. Толстой не принадлежитъ ни къ тѣмъ беллетристамъ своей школы, которые безхарактернаго героя ставили на романтическій пьедесталъ выше всѣхъ головою, ни къ тѣмъ, которые, ради отрицательнаго отношенія къ безхарактерному герою, выдумывали изъ своей фантазіи характерныхъ героевъ или идеализировали кулаковъ.

Вмѣсто всего этого гр. Толстой, относясь къ своему безхарактерному герою совершенно объективно и безпристрастно, не преувеличивая и не умаляя его, анализируетъ его въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ жизни, отъ колыбели и до могилы. Не довольствуясь одними отношеніями его къ ближайшимъ родственникамъ, друзьямъ и любимымъ женщинамъ, онъ приводитъ героя въ соприкосновеніе съ личностями различныхъ слоевъ жизни;—отъ этого отрицаніе въ неизмѣримой степени выигрываетъ. Безхарактерный герой рисуется передъ вами несостоятельнымъ не въ одной сферѣ семейныхъ и сердечныхъ вопросовъ, но во всѣхъ общественныхъ отношеніяхъ; онъ пасуетъ не передъ одними идеальными героями авторскихъ измышленій, но передъ простыми обыкновенными смертными, ежедневно встрѣчаемыми въ жизни. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой представляетъ сравнительно съ прочими представителями своей школы шагъ впередъ на пути реализма, и во многихъ отношеніяхъ приближается къ той новой школѣ писателей, которые бросили прежній путь субъективно-психическаго анализа душевныхъ настроеній героевъ интеллигентной среды и принялись изучать жизнь объективно, какъ она проявляется въ отношеніяхъ различныхъ общественныхъ слоевъ между собою. Мы не говоримъ, чтобы онъ вполнѣ принадлежалъ къ этой новой школѣ, въ его произведеніяхъ анализъ душевныхъ настроеній интеллигентныхъ героевъ все-таки преобладаетъ, но самый этотъ анализъ значительно расширяется тѣмъ, что не ограничивается одной семейной или любовной сферой, а касается часто такихъ сторонъ жизни, которыя или совсѣмъ не затрогивались беллетристикой сороковыхъ годовъ, или же затрогивались едва-едва, мелькомъ и поверхностно.

Самая внѣшняя форма произведеній гр. Толстого значительно отличается отъ формы произведеній прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ: вмѣсто повѣстей и романовъ съ законченными сюжетами, весь узелъ которыхъ основывается у беллетристовъ сороковыхъ годовъ обыкновенно на любви, произведенія гр. Толстого представляютъ рядъ очерковъ и частныхъ эпизодовъ изъ жизни героевъ, въ которыхъ очень часто любовь не играетъ ровно никакой роли; есть произведенія, обходящіяся и совсѣмъ безъ любви—каковы «Утро помѣщика», «Маркеръ». Даже произведеніе «Война и миръ» хотя и названо романомъ, но это вовсе не романъ по своей внѣшней формѣ: вы не найдете въ немъ одного цѣльнаго сюжета, вокругъ котораго были бы сконцентрированы всѣ дѣйствующія лица, что вы встрѣтите во всѣхъ европейскихъ романахъ безъ исключенія. Это—галлерея всевозможныхъ картинъ изъ жизни нашего общества начала нынѣшняго столѣтія. Здѣсь вы найдете цѣлые десятки сюжетовъ, не имѣющихъ никакихъ точекъ соприкосновенія, и изъ которыхъ каждый могъ бы послужить темою для особеннаго романа. Авторъ руководился очевидно вовсе не той задачей, чтобы написать романъ изъ жизни перваго десятилѣтія, а чтобы изобразить эту жизнь въ наибольшей полнотѣ во всемъ ея разнообразіи. Единственное исключеніе въ этомъ отношеніи изъ всѣхъ произведеній гр. Л. Толстого составляетъ романъ «Семейное счастье». Здѣсь дѣйствительно мы видимъ цѣльный сюжетъ, основанный на любви. Но зато и по внутреннему содержанію романъ этотъ наиболѣе подходитъ къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ: дѣйствіе романа сосредоточивается въ узкой сферѣ нѣсколькихъ личностей интеллигентной среды, и все содержаніе его—анализъ всевозможныхъ ощущеній супружеской любви въ различныхъ ея періодахъ, — содержаніе, какъ видите, крайне частное.

III.

Произведенія гр. Толстого «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» заключаютъ картину воспитанія безхарактернаго героя. Произведенія эти какъ нельзя болѣе наглядно показываютъ, какъ излишня какая-либо надуманная тенденціозность, если поэтическіе образы изображаемые художникомъ передъ вами, сами по себѣ внушаютъ вамъ рядъ идей, независимо отъ того, думалъ ли поэтъ провести эти идеи, или онъ ни о чемъ не помышлялъ, какъ только о художественномъ воспроизведеніи своихъ образовъ. Въ самомъ дѣлѣ, читаете вы произведенія эти, и вамъ постоянно кажется, что у автора не было въ виду ничего иного, кромѣ желанія рисовать,—и рисовать-то при томъ микроскопическими штрихами столь микроскопическія вещи, какъ дѣтскія игры, радости и печали. Сначала вы теряетесь въ массѣ безсодержательныхъ повидимому очерковъ: но мало-по-малу, по мѣрѣ того, какъ вы вчитываетесь, передъ вами возникаетъ стройная картина дѣтства и юности тысячъ людей, подобныхъ герою, и эта картина показываетъ вамъ ясно, откуда берутся и какъ складываются въ нашей жизни тѣ безхарактерные люди, которыми и теперь еще полны наши интеллигентные слои. Въ этомъ отношеніи мы нисколько не преувеличимъ, если скажемъ, что во всей нашей беллетристикѣ мы можемъ поставить рядомъ только двухъ писателей, которые съ такой полной обстоятельностью рисуютъ передъ нами дѣтскіе годы и воспитаніе героевъ нашей интеллигенціи—именно Гончарова съ его «Сномъ Обломова» и гр. Л. Толстого съ его «Дѣтствомъ», «Отрочествомъ» и «Юностью».

Первое, что васъ поражаетъ, когда вы читаете «Дѣтство»,—это полная изолированность ребенка отъ жизни взрослыхъ, совершенная отчужденность его отъ интересовъ семьи. Не говоря уже о томъ что

ребенокъ не участвуетъ ни въ какихъ трудахъ взрослыхъ и потому не пріучается считать себя полезнымъ членомъ семьи,—онъ не принимаетъ никакого участія и въ ихъ радостяхъ или печаляхъ. Гр. Толстой нигдѣ не говоритъ объ этомъ, но онъ даетъ вамъ это чувствовать. Вы видите, что передъ ребенкомъ совершается страшная семейная драма, одна изъ тѣхъ драмъ, которыя столь часты въ нашей интеллигентной средѣ: тщеславный мотъ, фразеръ и селадонъ губитъ жизнь молодой и порядочной женщины, сдѣлавшей роковую ошибку влюбиться въ него по неопытности и выйти за него замужъ. Она истаиваетъ въ слезахъ при видѣ его легкомыслія, губящаго семейство, и сходитъ въ могилу обманутая, униженная, оскорбленная, почти брошенная въ деревенскомъ захолустьѣ. И все это остается совершенно незамѣченнымъ ребенкомъ, безъ малѣйшаго протеста или простого вопроса о томъ, что такое дѣлается вокругъ него. У насъ много толкуютъ о вредѣ посвященія дѣтей въ семейныя дрязги; стараются даже, ради сохраненія въ дѣтяхъ младенческой чистоты и невинности, а также и должнаго уваженія къ родителямъ, производить семейныя ссоры при закрытыхъ дверяхъ, удаляя дѣтей какъ можно подальше. Вы найдете не мало несчастныхъ матерей, которыя считаютъ обязанностью заглушать въ подушкѣ свои слезы и считали бы страшнымъ нравственнымъ преступленіемъ выразить передъ дѣтьми хоть одну жалобу на отца. Но какія бы вы педагогическія соображенія ни приводили въ пользу этого, а все-таки вы не докажете, чтобы въ этомъ скрываніи семейной грязи, въ этихъ улыбкахъ милымъ дѣтямъ, когда на сердцѣ у насъ скребутъ кошки, не было возмутительнѣйшаго лицемѣрія. Вы убѣждены, что воспитаніе должно быть основано на истинѣ, и между тѣмъ на первыхъ же порахъ вмѣсто истины представляете дѣтямъ ложь, притворство, лицемѣріе. Вы умышленно стараетесь казаться передъ дѣтьми въ лучшемъ свѣтѣ, не тѣмъ, что вы на самомъ дѣлѣ, умышленно стараетесь скрывать передъ ними жизнь въ ея неподкрашенной правдѣ. Насколько въ этомъ отношеніи и честнѣе, и правдивѣе васъ тѣ простые и безхитростные люди, у которыхъ не существуетъ для дѣтей никакой цензуры на семейные интересы, вопросы и дрязги, которые открыто высказываютъ передъ дѣтьми всѣ жалобы и протесты. Дѣтскій инстинктъ всегда подскажетъ ребенку, гдѣ правда, гдѣ ложь, и дѣтское сердце всегда встанетъ на сторону угнетеннаго противъ угнетателя. Правда, при такомъ воспитаніи вы не будете наслаждаться зрѣлищемъ дѣтской невинности, играющей въ куколки и лошадки, когда на столѣ лежитъ мать, убитая горемъ; зато ваше дитя смолоду пріучится видѣть жизнь не въ цвѣтахъ и благоуханіяхъ, а со всѣми ея заботами и дрязгами, пріучится любить и ненавидѣть то, что стоитъ любви и ненависти, а главное дѣло—привыкнетъ жить человѣческой жизнію мысли, труда и борьбы, а не животнымъ прозябаніемъ, заключающимся въ одномъ питаніи.

Жизнь героя повѣсти гр. Л. Толстого, изолированная отъ всѣхъ вопросовъ и интересовъ взрослыхъ, была именно такой животной жизнію отдѣльныхъ безсвязныхъ впечатлѣній: сегодня школьная скука; завтра охота, игры съ сверстниками, поѣздка въ Москву на долгихъ, бабушкины именины съ гостями, безотчетная влюбчивость въ товарищей и подругъ. А тамъ вдругъ внезапная смерть матери, произведшая, правда, тяжелое впечатлѣніе на мальчика, но все-таки вполнѣ безсознательное впечатлѣніе неожиданнаго и безсмысленнаго удара слѣпого рока. Можно себѣ представить, какъ освѣтилась-бы вся дальнѣйшая жизнь ребенка, еслибы у него при этомъ событіи было хоть малѣйшее темное предчувствіе причины смерти матери, хоть бы какая-нибудь одна ея слеза или жалоба остались въ его памяти. Сколько сознанія было бы внесено тогда въ умъ ребенка видомъ лежащей въ гробу страдалицы, сколько думъ заронилось бы въ головѣ его, какъ ясно опредѣлились бы его симпатіи и антипатіи. Это былъ бы тяжелый, страшный, но великій нравственный урокъ на всю жизнь,— но этотъ урокъ миновалъ нашего героя. Безсмысленными глазами глядѣлъ онъ на трупъ, и какъ ни велико казалось отчаяніе ребенка, оно мигомъ разсѣялось, когда схоронили мать и увезли дѣтей въ Москву, и смѣнилось рядомъ новыхъ впечатлѣній, столь-же мимолетныхъ и безслѣдныхъ.

Изолированный такимъ образомъ отъ жизни, ребенокъ былъ совершенно предоставленъ той страшной умственной и нравственной праздности, которая составляетъ удѣлъ тысячи дѣтей въ нашей интеллигентной средѣ. У мальчика возникали весьма живые вопросы, которые онъ обращалъ къ внѣшнему міру за неимѣніемъ никакихъ вопросовъ и интересовъ въ своей семьѣ.

«Когда я глядѣлъ на деревни и города, которые мы проѣзжали,—говоритъ герой гр. Л. Толстаго,—въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило по крайней мѣрѣ такое же семейство, какъ наше, на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ, на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, какъ я привыкъ видѣть это въ Петровскомъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ, мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ: что же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? и изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учатъ-ли ихъ, пускаютъ-ли играть, какъ наказываютъ? и т. д.»

Но никто не позаботился дать никакихъ отвѣтовъ на такіе вопросы мальчика: вмѣсто этого мальчика начали забивать рутинной школьной дрессировкой, ученіемъ французскихъ и нѣмецкихъ вокабулъ, рѣкъ, городовъ и историческихъ фактовъ съ докучной хронологіей.

Такая умственная и нравственная праздность не замедлила принести свои плоды. Умъ юноши, не находя пищи и содержанія извнѣ, бросился пожирать самого себя, углубился въ рядъ отвлеченнѣйшихъ вопросовъ и началъ строить различныя гипотезы и теоріи вродѣ стоицизма, эпикуреизма, или же бросался въ кругъ безъисходнаго скептицизма.

«Впродолженіи года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь—говоритъ герой г. Л. Толстаго,—всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ

жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую степень, до которой можетъ достигать умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему...

«Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка.

«Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояніе души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивая себя: о чемъ я думаю? я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю? Я думаю, что я думаю, о чемъ я думаю, и такъ далѣе. Умъ за разумъ заходилъ...»

Въ нравственномъ мірѣ юноши происходило то-же стремленіе, за недостаткомъ истиннаго нравственнаго содержанія, создать содержаніе отвлеченное, фантастическое. Онъ не былъ пріученъ ни къ какому труду, успѣшное совершеніе котораго удовлетворяло бы его самолюбіе, не приносилъ никому никакого добра и пользы, которыя могли-бы доставить ему нравственное довольство. За неимѣніемъ никакого подобнаго реальнаго содержанія нравственности, онъ удовлетворялъ свое самолюбіе тѣмъ, что создавалъ себѣ всевозможные величественные идеалы, воображая себя олицетвореніемъ ихъ. Дѣйствительность часто разрушала подобныя мечты. Вдругъ онъ начиналъ себя чувствовать такимъ ничтожнымъ и жалкимъ, пока не отвлекался отъ дѣйствительности и снова не уносился въ міръ своихъ фантазій.

«Я часто воображалъ себя великимъ человѣкомъ, — говоритъ герой гр. Л. Толстого, — открывающимъ для блага всего человѣчества новыя истины, и съ гордымъ сознаніемъ своего достоинства смотрѣлъ на остальныхъ смертныхъ; но странно, приходя въ столкновеніе съ этими смертными, я робѣлъ передъ каждымъ, и чѣмъ выше ставилъ себя въ собственномъ мнѣніи, тѣмъ менѣе былъ способенъ съ другими не только высказывать сознаніе собственнаго достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движеніе.»

Иногда эти ничѣмъ неудовлетворяемые нравственные порывы принимали религіозный характеръ подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній вродѣ говѣнья. Юноша ударялся въ аскетизмъ самобиченій и самоугрызеній и составлялъ себѣ правила жизни, мечтая сразу измѣниться и начать совершенно новую жизнь:

«Нынѣче я исповѣдаюсь, очищаюсь отъ всѣхъ грѣховъ, думалъ онъ; и больше уже никогда не буду... (тутъ онъ припоминалъ всѣ грѣхи, которые больше всего мучили его). Буду каждое воскресенье ходить непремѣнно въ церковь и еще послѣ цѣлый часъ читать евангеліе, потомъ изъ бѣленькой, которую я буду получать каждый мѣсяцъ, когда поступлю въ университетъ, непремѣнно два съ полтинной (одну десятую) я буду отдавать бѣднымъ, и такъ, чтобы никто не зналъ; и не нищимъ, а стану отыскивать такихъ бѣдныхъ, сироту или старушку, про которыхъ никто не знаетъ. У меня будетъ особенная комната, и я буду самъ убирать ее и держать въ удивительной чистотѣ, человѣка-же ничего для себя не буду заставлять дѣлать. Вѣдь онъ такой-же, какъ и я. Потомъ буду ходить каждый день въ университетъ пѣшкомъ (а ежели мнѣ дадутъ дрожки, то продамъ ихъ и деньги эти отложу тоже на бѣдныхъ) и въ точности буду исполнять «все» (что было это «все», я никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо понималъ и чувствовалъ это «все» разумной, нравственно безупречной жизни).»

Подъ впечатлѣніемъ такихъ мыслей юноша однажды дошелъ до такого религіознаго экстаза, что ему мало показалось одинъ разъ поисповѣдываться у монаха. Поздно ночью онъ всталъ и поѣхалъ въ монастырь исповѣдаться во второй разъ, воображая въ то-же время при этомъ, что такой прекрасной души молодого человѣка никогда никто не встрѣчалъ въ жизни, да и не встрѣтитъ, даже и не бываетъ подобныхъ. Въ этомъ мѣстѣ гр. Толстой сдѣлалъ драгоцѣнное сближеніе всей этой сферы искусственныхъ, натянутыхъ и подогрѣтыхъ экстазовъ съ міромъ здраваго смысла простого народа.

Юношѣ мало было внутренняго довольства самимъ собою. Ему захотѣлось подѣлиться съ кѣмъ нибудь своими ощущеніями.

«Мнѣ ужасно хотѣлось поговорить съ кѣмъ нибудь; но такъ какъ никого подъ рукою не было, кромѣ извощика, я обратился къ нему.

— Что, долго я былъ? спросилъ я.

— Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора, вѣдь я—ночной, отвѣчалъ старичокъ извощикъ, теперь, повидимому, съ солнышкомъ, повеселѣвшій сравнительно съ прежнимъ.

— А мнѣ показалось, что я былъ всего одну минуту, сказалъ я.—А знаешь, зачѣмъ я былъ въ монастырѣ? прибавилъ я, пересаживаясь изъ углубленія, которое было на дрожкахъ, ближе къ старичку извощику.

— Наше дѣло какое? Куда сѣдокъ скажетъ, туда и веземъ, отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ, все-таки, какъ ты думаешь? продолжалъ я допрашивать.

— Да, вѣрно, хоронить кого, ѣздили мѣсто покупать, сказалъ онъ.

— Нѣтъ, братецъ; а знаешь, зачѣмъ я ѣздилъ?

— Не могу знать, баринъ, повторилъ онъ.

Голосъ извощика показался мнѣ такимъ добрымъ, что я рѣшился въ назиданіе его разсказать ему причины моей поѣздки и даже чувство, которое я испытывалъ.

— Хочешь, я тебѣ разскажу? вотъ видишь-ли...

И я разсказалъ ему все и описалъ всѣ свои прекрасныя чувства. Я даже теперь краснѣю при этомъ воспоминаніи.

— Такъ-съ, сказалъ извощикъ недовѣрчиво.

И долго послѣ этого молчалъ и сидѣлъ неподвижно, только изрѣдка поправляя полу армяка, которая все выбивалась изъ подъ его полосатой ноги, прыгавшей въ большомъ сапогѣ на подножкѣ калибера. Я уже думалъ, что и онъ думаетъ про меня то-же, что духовникъ, то-есть, что такого прекраснаго молодого человѣка, какъ я, другого нѣтъ на свѣтѣ, но онъ вдругъ обратился ко мнѣ:

— А что, баринъ, ваше дѣло господское.

— Что? спросилъ я.

— Дѣло-то, дѣло господское, повторилъ онъ, шамкая беззубыми губами.

«Нѣтъ, онъ меня не понялъ», подумалъ я, но уже больше не говорилъ съ нимъ до самаго дома.»

Вотъ вамъ одинъ изъ образчиковъ тѣхъ сближеній, которыя часто дѣлаетъ гр. Л. Толстой между искусственной жизнью отвлеченныхъ умствованій и натянутыхъ экзальтацій праздной среды и естественной, наполненной трудомъ и реальными заботами жизнью простого человѣка. Сами по себѣ подобныя умствованія, экзальтаціи, рефлексіи могутъ показаться чѣмъ-то весьма почтеннымъ, какой-то высокой работою умственнаго и нравственнаго самосовершенствованія, возвышающаго человѣка надъ всѣмъ окружающимъ міромъ. Но всѣ эти иллюзіи разомъ разрушаются въ сопоставленіи съ логикой рабочаго человѣка, и тамъ, гдѣ вы видѣли рядъ возвышенныхъ идей или героическихъ стремленій къ идеальному совершенству, передъ вами открывается безобразная пошлость праздности, эгоизма и напыщеннаго высокомѣрія. Гр. Толстой въ этомъ отношеніи не щадитъ своихъ героевъ и относится къ нимъ съ самой безжалостной ироніей, которая представляется тѣмъ злѣе, что она скрыта подъ видомъ такого повидимому добродушнаго, объективно-безхитростнаго разсказа. Такъ, въ одномъ мѣстѣ гр. Толстой заставляетъ друга своего героя, Неклюдова, среди самаго разгара разговора о различныхъ возвышенныхъ предметахъ—оттаскать кулакомъ по головѣ лакея Ваську въ внезапномъ порывѣ бѣшенства, послѣ чего Неклюдовъ спѣшитъ загладить свой поступокъ долгою и жаркою молитвою и вечеръ кончается слѣдующими восклицаніями друзей:

«— Отлично жить на свѣтѣ? сказалъ я.

— Отлично жить на свѣтѣ, отвѣчалъ онъ такимъ голосомъ, что я въ темнотѣ, казалось, видѣлъ выраженіе его веселыхъ, ласкающихся глазъ и дѣтской улыбки.»

Религіозная экзальтація овладѣваетъ не одними людьми, подобными герою гр. Толстого; ее могутъ испытывать люди различныхъ слоевъ общества. Но у людей, у которыхъ жизнь полна реальнаго содержанія, религіозная экзальтація тѣсно соединяется съ различными существенными вопросами жизни, принимаетъ дѣятельный характеръ и составляетъ одинъ изъ періодовъ ихъ развитія, оставляющій свои глубокіе слѣды на всю ихъ жизнь, какъ бы потомъ ни измѣнялись убѣжденія человѣка. Но мы говорили уже, что жизнь героя гр Толстого, лишенная всякаго содержанія, представляла одинъ безконечный рядъ мимолетныхъ впечатлѣній, случайно возникавшихъ и такъ же случайно исчезавшихъ. Однимъ изъ такихъ впечатлѣній, навѣяннымъ говѣніемъ, былъ и тотъ религіозный экстазъ который съ такой же быстротой исчезъ послѣ говѣнья, съ какой возникъ, и не оставилъ послѣ себя ни малѣйшаго слѣда въ молодомъ человѣкѣ. Прошло говѣнье—и разсѣялись всѣ аскетическія грезы, забыта рѣшимость продать дрожки и раздѣваться безъ помощи человѣка, тетрадь правилъ куда-то исчезла,—и что же осталось? Осталось только то, что безсознательно навѣвалось окружающей юношу жизнью: преждевременное развитіе чувственности, какъ прямой результатъ умственной и нравственной праздности, Мальчикъ чуть что не 12 или 13 лѣтъ—по цѣлымъ часамъ заглядывался въ щолочку дѣвичьей, заигрывалъ съ горничными, а впослѣдствіи влюблялся въ каждую встрѣченную дѣвицу не живымъ и непосредственнымъ чувствомъ, а по программамъ читаемыхъ романовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ прежніе умственные и нравственные идеалы смѣнились мало-помалу сознаніемъ превосходства своей среды, раздѣленіемъ людей на comme il faut и mauvais genre и стремленіемъ во что бы то ни стало возвыситься до идеала comme il faut.

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей—говоритъ герой гр. Л. Толстого—въ то время, о которомъ я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas! Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно comme il ne faut pas и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной разныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали—я ихъ презиралъ совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно выговаривавшій по французски, тотчасъ же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. «Для чего ты хочешь говорить, какъ мы, когда не умѣешь?» съ ядовитой усмѣшкой спрашивалъ я его мысленно. Второе условіе comme il faut были ногти—длинные, отчищенные и чистые; третье было умѣнье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной презрительной скуки. Кромѣ того у меня были общіе признаки, по которымъ я, не говоря съ человѣкомъ, рѣшалъ, къ какому разряду онъ принадлежитъ. Главнымъ изъ этихъ признаковъ, кромѣ убранства комнаты, перчатокъ, почерка, экипажа, были ноги. Отношеніе сапогъ къ панталонамъ тотчасъ рѣшало въ моихъ глазахъ положеніе человѣка. Сапоги безъ каблука съ угловатымъ носкомъ, а концы панталонъ узкіе, безъ штрипокъ — это былъ *простой*; сапогъ съ узкимъ круглымъ носкомъ и каблукомъ и панталоны узкія, внизу со штрипками, облегающіе ногу, или широкіе со штрипками, какъ балдахинъ стоящія подъ носкомъ,—это былъ человѣкъ mauvais genre, и т. п.»

Создавши такой внѣшній, условный идеалъ, юношѣ ничего уже не стоило пренебрегать всѣми нравственными правилами, лишь бы казаться ближе къ своему идеалу comme il faut'наго человѣка. Такъ за чаемъ у Неклюдова онъ не стыдится лгать самымъ нахальнымъ образомъ, тщеславно хвастаясь родственными богатствами ради того, чтобы возвыситься въ глазахъ знакомыхъ.

«Когда зашелъ разговоръ о дачахъ, — говоритъ онъ,—я вдругъ разсказалъ, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее пріѣзжали смотрѣть изъ Лондона и изъ Парижа, что тамъ есть рѣшетка, которая стоитъ триста восемьдесятъ тысячъ, и что князь Иванъ Ивановичъ мнѣ очень близкій родственникъ, и я нынѣче у него обѣдалъ, и онъ звалъ меня непремѣнно пріѣхать къ нему на дачу жить съ нимъ цѣлое лѣто, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу, нѣсколько разъ бывалъ на ней, и что всѣ эти рѣшетки и мосты для меня нисколько не занимательны, потому что я терпѣть не могу роскоши, особенно въ деревнѣ; я люблю, чтобы въ деревнѣ уже было совсѣмъ, какъ въ деревнѣ...»

Такъ изъ нашего героя создавался обыденный хлыщъ, какихъ много можно встрѣтить ежедневно въ три часа на Невскомъ проспектѣ; но вотъ пришлось этому хлыщу сѣсть по волѣ папеньки на университетскую скамейку, и онъ попалъ совершенно въ иную

сферу жизни, не имѣющую ничего общаго съ тою, которой былъ окруженъ до того времени...

Здѣсь гр. Толстой дѣлаетъ нѣсколько очерковъ бѣдныхъ студентовъ, въ средѣ которыхъ очутился нашъ герой. Очерки эти намѣчены самыми крупными чертами, безъ особенной художественной отдѣлки и деталей; между тѣмъ мы не знаемъ въ нашей литературѣ другого въ такой же степени характеристическаго изображенія бѣдняковъ-студентовъ, исполненнаго столь искренняго сочувствія къ трудящемуся юношеству, безъ малѣйшей въ то же время идеализаціи его.

Ничтожество и пошлость героя ярко рисуются передъ вами въ различныхъ столкновеніяхъ его съ учащейся молодежью. Сначала онъ пробуетъ относиться къ ней высокомѣрно, какъ подобаетъ человѣку comme il faut относиться къ mauvais genre. Но огорошенный нѣсколько разъ людьми, въ которыхъ не встрѣчаетъ ни малѣйшаго желанія смотрѣть на него, какъ на высшее существо, онъ смиряется. Долгое время дичится товарищей, снося тоскливое одиночество. Наконецъ мало-по-малу сближается съ ними, втягивается въ ихъ кружокъ и начинаетъ открывать въ нихъ такія достоинства, которыхъ онъ и не подозрѣвалъ съ своей comme il faut'ной точки зрѣнія:

«Съ каждымъ днемъ я больше и больше извинялъ непорядочность этого кружка, втягиваясь въ ихъ бытъ и находя въ немъ много поэтическаго! Только одно честное слово, данное мной Дмитрію, не ѣздить никуда кутить съ ними, удержало меня отъ желанія раздѣлять ихъ удовольствія.

«Разъ я хотѣлъ похвастаться передъ ними своими знаніями въ литературѣ, въ особенности французской, и завелъ разговоръ на эту тему. Къ удивленію моему, оказалось, что, хотя они выговаривали иностранныя заглавія по русски, они читали гораздо больше меня, знали, цѣнили англійскихъ, даже испанскихъ писателей, Лесажа, про которыхъ я даже и не слыхивалъ. Пушкинъ и Жуковскій были для нихъ литература (а не такъ, какъ для меня, книжки въ желтомъ переплетѣ, которыя я читалъ и училъ ребенкомъ). Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, въ особенности Зухинъ, гораздо лучше и яснѣе о литературѣ, чѣмъ я, въ чемъ я не могъ не сознаться.

«Въ знаніи музыки я тоже не имѣлъ передъ ними никакого преимущества. Еще къ большему удивленію моему, Оперовъ игралъ на скрипкѣ, другой изъ занимавшихся съ нами студентовъ игралъ на віолончели и фортепьяно, и оба играли въ университетскомъ оркестрѣ, порядочно знали музыку и цѣнили хорошую. Однимъ словомъ, все, чѣмъ я хотѣлъ похвастаться передъ ними, исключая выговора французскаго и нѣмецкаго языковъ, они знали лучше меня и нисколько не гордились этимъ. Могъ-бы я похвастаться въ моемъ положеніи свѣтскостью, но я ея не имѣлъ, какъ Володя;—такъ тоже такое была та высота, съ которой я смотрѣлъ на нихъ? Мое знакомство съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ? выговоръ французскаго языка? дрожки? голландская рубашка? ногти? Да ужъ не вздорли все это? начинало мнѣ глухо приходить иногда въ голову, подъ вліяніемъ чувства зависти къ товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видѣлъ передъ собой. Они всѣ были на ты. Простота ихъ обращенія доходила до грубости, но и подъ этой грубой внѣшностью былъ видимъ страхъ хоть чуть-чуть оскорбить другъ друга. *Подлецъ*, *свинья*, употребляемые ими въ ласкательномъ смыслѣ, только коробили меня и мнѣ подавали поводъ къ внутреннему подсмѣиванью, но эти слова не оскорбляли ихъ и не мѣшали имъ быть между собой на самой искренней дружеской ногѣ. Въ обращеніи между собой они были такъ осторожны и деликатны, какъ только бываютъ очень бѣдные и очень молодые люди. Главное же, что-то широкое, разгульное чуялось мнѣ въ этомъ характерѣ Зухина и его похожденіяхъ въ «Лиссабонѣ». Я предчувствовалъ, что эти кутежи должны были быть что-то совсѣмъ другое, чѣмъ то притворство съ зажженнымъ ромомъ и шампанскимъ, въ которомъ я участвовалъ у барона З.»

Такое сближеніе съ новымъ кругомъ людей должно было раньше или позже произвести переворотъ въ нашемъ героѣ.—Къ сожалѣнію, гр. Л. Толстой остановился въ своей повѣсти «Юность» на началѣ этого переворота, и оставилъ повѣсть неоконченной, ограничившись невыполненнымъ до сихъ поръ обѣщаніемъ разсказать дальнѣйшую исторію героя въ «слѣдующей, болѣе счастливой половинѣ его юности.»

Впрочемъ и не имѣя подъ руками такого разсказа, можно предвидѣть, что потомъ сталось съ героемъ. Университетъ оторвалъ его отъ родной почвы фатовства и comme il faut'ства, внушилъ ему рядъ разумныхъ идей и стремленій, но не могъ влить въ его жилы новую кровь и пересоздать его нервы, не могъ замѣнить того здороваго воспитанія, котораго не доставало юношѣ въ дѣтствѣ. Не принимая до того времени никакого участія въ реальной жизни окружающихъ его людей труда и борьбы, не зная, что это за люди, онъ вошелъ въ эту жизнь и въ кругъ этихъ людей совершенно постороннимъ и даже ненавистнымъ человѣкомъ, съ рядомъ отвлеченныхъ мечтаній, не имѣющихъ съ этой жизнью ничего общаго,—а что изъ этого вышло, это мы увидимъ на дѣйствующихъ лицахъ другихъ повѣстей гр. Л. Толстого, героевъ, совершенно подобныхъ тому, какого мы встрѣтили въ разобранномъ произведеніи.

IV.

За произведеніями «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» слѣдуетъ повѣсть «Утро помѣщика», представляющая первый шагъ въ жизни безхарактернаго героя. И въ этомъ уже первомъ шагѣ герой представляется передъ вами во всей своей несостоятельности, причемъ вы видите, что эта несостоятельность зависитъ не отъ одной только нравственной распущенности, надломленности и апатіи героя, но отъ ненормальности всѣхъ условій его жизни и отношеній къ другимъ людямъ, такой страшной ненормальности, что даже самыя почтенныя и энергическія усилія приносить пользу людямъ, разливать вокругъ себя добро парализируются сами собою,—и это еще самое лучшее, когда они только парализируются. При настойчивости подобныхъ усилій, дѣятельность, основанная на началахъ гуманности и терпимости, превращается въ попраніе всѣхъ человѣческихъ правъ, и вмѣсто добра и пользы результатами выходятъ вредъ и зло. Когда вы созерцаете типы вродѣ Тентетникова и Обломова, вы можете подумать, что все несчастіе этихъ людей зависитъ отъ ихъ изнѣженности и дряблости, плодовъ дурного воспитанія и избалованности жизнью, и что будь воспитаніе ихъ иное, проживи они хоть нѣсколько лѣтъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ

жизни, закаляющихъ характеръ, они могли бы, если-бы захотѣли, что-нибудь сдѣлать на своемъ мѣстѣ и въ своемъ положеніи. Гр. Толстой окончательно разочаровываетъ васъ въ подобныхъ предположеніяхъ. Своимъ безпощаднымъ анализомъ онъ доказываетъ вамъ, что герои его безсильны сдѣлать что-либо полезное ближнимъ вслѣдствіе не одной только своей безхарактерности, а самаго своего положенія.

Въ самомъ дѣлѣ, пора понять и признать, что истинныя и положительныя добро и польза заключаются единственно и исключительно въ результатахъ производительнаго труда. Всякое другое добро или случайно, минутно и обусловлено для своего проявленія существованіемъ зла вродѣ напримѣръ спасенія утопающаго, или же мнимо и эфемерно и очень часто подъ личиною добра заключаетъ въ себѣ рядъ возмутительнѣйшихъ золъ и несправедливостей.

Точно также прогрессъ для того, чтобы быть истиннымъ, естественнымъ и прочнымъ прогресомъ, долженъ исходить изъ труда и корениться въ немъ. Всякій иной прогрессъ ложенъ, эфемеренъ и крайне ненадеженъ.

Представьте себѣ, что у меня есть маленькое хозяйство, которое составляетъ единственный источникъ моего существованія. Я тружусь, и земля такъ вознаграждаетъ мой трудъ, что я не только обезпеченъ въ необходимомъ, но у меня отъ каждаго года остается избытокъ. Этотъ избытокъ и есть залогъ какъ моего личнаго прогресса, такъ и прогресса всего человѣчества. Избыткомъ этимъ только и могутъ обусловливаться съ одной стороны пріобрѣтеніе средствъ для улучшенія хозяйства, съ другой—существованіе досуга для умственнаго развитія. При такихъ условіяхъ прогрессъ долженъ возрастать въ геометрической прогрессіи, такъ какъ всѣ элементы его, дѣйствуя взаимно другъ на друга, составляютъ особенный прогрессивный кругъ: избытокъ улучшаетъ хозяйство, улучшенное хозяйство даетъ еще большій избытокъ; умственное развитіе, пріобрѣтенное въ часы досуга, въ свою очередь дѣйствуетъ и на улучшеніе хозяйства, и на увеличеніе избытка, а послѣдній доставляетъ все большія и большія средства для умственнаго развитія.—При такомъ правильномъ теченіи прогресса, если по прошествіи X времени бѣдныя хижины замѣнятся дворцами, жалкія патріархальныя орудія—паровыми машинами, знахари—искусными медиками и пр., всѣ подобные плоды прогресса явятся зрѣлыми плодами, возрощенными на родной почвѣ. Въ то-же время люди, которые будутъ пользоваться всѣмъ этимъ, будутъ стоять въ уровнѣ такого прогресса: они сами его произвели и сами сознательно, какъ свое добро, будутъ сохранять его и заботиться объ его возрастаніи. Въ этомъ и заключается естественность и прочность прогресса, свободно возрастающаго изъ нѣдръ труда.

Но представьте себѣ, что у васъ есть другъ, который, предположимъ даже, изъ самыхъ честныхъ и безкорыстныхъ видовъ станетъ отбирать отъ васъ ежегодно весь избытокъ вашего хозяйства и класть его въ банкъ, на томъ основаніи, что вы, въ его глазахъ, человѣкъ безпечный и расточительный, и что гораздо благоразумнѣе, если капиталъ будетъ накапливаться, лежа въ банкѣ, чѣмъ станетъ расточаться въ вашихъ рукахъ.—Принявши на себя такую заботливость о вашемъ благосостояніи, пріятель вашъ, въ вознагражденіе за свои труды, присвоиваетъ себѣ пользованіе процентами съ вашего капитала, накапливающагося въ банкѣ. Что произойдетъ вслѣдствіе этого? Естественно, что по прошествіи того же X времени ваше хозяйство, не улучшаемое избытками, должно остаться совершенно въ такомъ же положеніи, какъ и въ первый годъ вашего труда, и сами вы нисколько не подвинетесь въ умственномъ развитіи. Но этого мало, что хозяйство ваше нисколько не улучшится; оно навѣрное разстроится, потому что не только для улучшенія, но и для сохраненія хозяйства въ одномъ положеніи необходима извѣстная доля избытка. При такихъ условіяхъ вмѣсто прогрессивнаго круга долженъ совершиться такой же кругъ регрессивный. По мѣрѣ истощенія хозяйства, у васъ будетъ все меньше и меньше становиться досуга для умственнаго развитія; вы будете употреблять всѣ силы, все время, чтобы натянуть во что бы ни стало сумму, которую вы обязались доставлять другу для внесенія въ банкъ. Въ этихъ усиліяхъ, вмѣсто того, чтобы развиваться, вы будете тупѣть и грубѣть; а ваше отупѣніе въ свою очередь отзовется на еще большемъ разстройствѣ хозяйства. Наконецъ всеобщій упадокъ можетъ дойти до того, что вы не въ силахъ уже будете удѣлять вашему пріятелю никакого избытка отъ вашего хозяйства, и если вашъ другъ будетъ продолжать требовать уплаты такихъ же суммъ, вы будете принуждены платить ихъ съ самаго имущества.

Но что же въ этотъ самый X времени произойдетъ съ вашимъ пріятелемъ? Живя на проценты съ вашего капитала, онъ все время имѣлъ безграничный досугъ и слѣдовательно полнѣйшую возможность умственнаго развитія. Онъ и явится передъ вами по прошествіи X времени человѣкомъ въ высшей степени развитымъ, передовымъ свѣтиломъ своего времени. Въ головѣ его будутъ вмѣщаться всѣ современныя идеи, до которыхъ додумалось человѣчество, онъ будетъ говорить на нѣсколькихъ языкахъ, будетъ знать все, что дѣлается на земномъ шарѣ, въ нѣдрахъ его и въ небесныхъ сферахъ, будетъ судить о томъ, какое правленіе болѣе или менѣе способствуетъ прогрессу, въ какомъ положеніи должна находиться женщина въ семействѣ и государствѣ, какое воспитаніе лучше – классическое или реальное и пр., и пр. Однимъ словомъ, это будетъ прогрессистъ въ полномъ смыслѣ этого слова, но весь этотъ прогрессъ будетъ сосредоточиваться исключительно въ головѣ вашего пріятеля, и вамъ отъ него не будетъ ни теплѣе, ни сытнѣе. Это не прогрессъ дѣйствительный, осуществленный, а только одно отвлеченное представленіе его, радужныя гаданія о немъ. Въ самомъ дѣлѣ, что толку, что въ головѣ вашего пріятеля сидитъ великолѣпный отель на манеръ американскихъ, когда не только вы, но и этотъ блестящій прогрессистъ должны довольствоваться въ дѣйствительности грязненькой харчевней, и въ то же время вы знаете, что если бы вашъ пріятель взялся за построеніе американскаго отеля, онъ все-таки ничего не произвелъ бы кромѣ той же грязной харчевни, по-

тому что ни онъ, ни тѣмъ менѣе окружающіе его люди не имѣютъ ни малѣйшихъ приспособленій, навыка, сноровки, средствъ, для созданія такихъ отелей, которые устраиваютъ американцы.

Предположимъ теперь, что вашъ прогрессивный пріятель, неожиданно, какъ снѣгъ на голову, является въ среду вашей безпомощной нищеты и, сострадая къ вашему бѣдственному положенію, рѣшается мало того, что помочь вамъ, а сразу возвысить васъ на высоту самаго блестящаго прогресса. Положимъ, что для этого онъ готовъ пожертвовать всѣмъ капиталомъ, накопившимся втеченіи многихъ и многихъ лѣтъ отъ вашихъ избытковъ. Капиталъ этотъ такъ великъ, что, затративъ его, онъ можетъ разомъ завести въ вашемъ хозяйствѣ всѣ тѣ улучшенія, которыя возникли-бы сами собою втеченіи того времени, въ которое вы отдавали ему свои избытки. Прекрасно: онъ можетъ возвратить вамъ все, что онъ взялъ у васъ, но какъ возвратитъ онъ вамъ потерянное время, въ которое вы могли-бы умственно развиться до возможности пользоваться всѣми предлагаемыми вамъ благами, а вы между тѣмъ не развились, потому что этого времени не имѣли? Какъ сразу поставитъ онъ васъ на ту высоту, чтобы вы могли не только пользоваться, но имѣть хоть малѣйшій толкъ въ томъ, чѣмъ предлагаютъ вамъ пользоваться? Что толку, что вашъ пріятель окружитъ васъ паровыми машинами, когда вы не имѣете ни малѣйшаго понятія о нихъ, ни навыка владѣть ими, да и самъ вашъ пріятель не лучше васъ знаетъ, какъ съ ними обращаться, имѣя одни отвлеченныя соображенія въ головѣ объ ихъ преимуществѣ. Мы говорили выше, что по прошествіи X времени у васъ могъ быть выстроенъ дворецъ. Положимъ, что и пріятель захочетъ выстроить вамъ тотъ-же дворецъ. Но при этомъ надо взять въ соображеніе, что, при естественномъ развитіи прогресса, этотъ дворецъ вамъ было-бы выстроить чрезвычайно легко, потому что вы, конечно тогда только занялись-бы постройкою его, когда прогрессъ успѣлъ-бы уже выработать въ вашемъ околоткѣ кирпичные заводы и каменщиковъ. Но въ настоящемъ случаѣ ничего этого въ наличности не имѣется, а имѣетесь только вы съ развалившейся избенкою и умѣньемъ сколотить кое-какъ изъ бревенъ патріархальный шалашикъ. Да наконецъ, что бы стали дѣлать вы во вновь выстроенномъ дворцѣ, когда у васъ нѣтъ ни навыка, ни потребности жить въ десяти огромныхъ комнатахъ, ни мебели, необходимой для этого. Понятно, что вамъ покажется неуютно, нехозяйственно, жутко въ пустыхъ огромныхъ сараяхъ, и вы предпочтете вашу развалившуюся избушку великолѣпному дворцу вашего пріятеля. Наконецъ надо обратить вниманіе и на то обстоятельство, что какъ ни мизерна жизнь ваша, а въ ней успѣли уже образоваться свои привычки, примѣненія, склонности, залоги будущаго естественнаго прогресса, еслибы предоставили ему свободное развитіе. У васъ напримѣръ развита страсть къ пчеловодству, или условія мѣстности склоняютъ васъ къ воздѣлыванію льна, винокуренію, лѣснымъ промысламъ. На этихъ производствахъ было-бы всего естественнѣе вамъ прогрессировать. Между тѣмъ пріятель вашъ вдругъ устраиваетъ ни съ того, ни съ сего для васъ огромный свеклосахарный заводъ, или склоняетъ васъ вступить въ иное коммерческое предпріятіе широкихъ размѣровъ. Очень понятно, что вы откажетесь отъ подобныхъ предложеній вашего пріятеля, такъ какъ они идутъ противъ вашихъ склонностей, отвлекаютъ васъ отъ привычнаго, любимаго труда къ чуждому и незнакомому вамъ, и къ которому вы вдобавокъ не имѣете ни малѣйшей подготовки. Что-же останется дѣлать вашему пріятелю? Или идти по пути Угрюмъ-Бурчеева, то-есть силою устраивать вашъ бытъ по своему усмотрѣнію, перевернуть все кверху дномъ въ вашей жизни и въ концѣ концовъ привести васъ къ окончательному разоренію и отвращенію отъ подобнаго насильственнаго прогресса, или начать устраивать прогрессъ на европейскій ладъ посредствомъ выписываемыхъ для этого нѣмцевъ, махнувши на васъ рукою и заставивши васъ оплачивать эти затѣи, хотя вы и не принимали въ нихъ ни малѣйшаго участія.

Но есть еще третій путь, повидимому самый разумный и естественный: вашъ пріятель можетъ вмѣсто того, чтобы пытаться сразу поставить васъ на вершину европейскаго прогресса, дѣлать это исподволь и постепенно, приглядѣться къ вашей жизни, принять въ соображеніе условія вашего быта, ваши склонности и привычки, и начать дѣлать улучшенія въ вашей жизни съ мелочей, хоть съ того напримѣръ, что покрыть тесомъ ваши избы, развалившіяся возобновить, увеличить количество вашего скота и пр. Но и этотъ путь не замедлитъ оказаться столь-же искусственнымъ, ложнымъ, а потому и ни къ чему не приводящимъ. Неизмѣримая разница существуетъ между тѣмъ, улучшаете-ли вы свой бытъ сами, самостоятельно, избытками вашего труда, или какой-нибудь близкій вамъ человѣкъ, считая васъ вѣчно несовершеннолѣтними, принимаетъ на себя заботу объ улучшеніи вашей участи. Только при самостоятельномъ улучшеніи своего быта возможно развитіе той мужественной энергіи, которая составляетъ необходимое условіе всякаго прогресса. Между тѣмъ всякая посторонняя опека, привычка видѣть надъ собою щедрую руку, которая все для тебя сдѣлаетъ, что ни пожелаешь, все въ твоемъ хозяйствѣ сейчасъ-же исправитъ, приведетъ въ порядокъ и заштопаетъ каждую прорѣху—все это прямо ведетъ къ апатіи, застою и деморализаціи. При такихъ условіяхъ нечего и думать о прогрессѣ. Это смерть и растлѣніе.

Но что-же тогда дѣлать вашему пріятелю? Отвѣтъ на этотъ вопросъ весьма простъ и незамысловатъ. Вы хотите, чтобы окружающіе васъ люди были счастливы: предоставьте-же ихъ самимъ себѣ, ничего имъ даромъ не давайте, но ничего отъ нихъ и не берите даромъ, и они сами съумѣютъ устроить свою судьбу, на томъ простомъ основаніи, что и рыба ищетъ гдѣ глубже Вы хотите, чтобы люди развивались,—не торопитесь-же принимать на себя роли ихъ развивателей, развѣ они сами обратятся къ вамъ. Европа не думала о развитіи Россіи, русскіе сами пошли учиться у Европы,—въ то время какъ всѣ цивилизаторскія стремленія Австріи въ славянскихъ земляхъ возбуждаютъ въ славянахъ только оппозицію народныхъ инстинктовъ, препятствующихъ естественному теченію прогресса.

Вотъ до этой-то простой истины и не могутъ ни-

какъ додуматься герои гр. Толстого. Они постоянно мечтаютъ о томъ, какъ бы разсѣять вокругъ себя всевозможный прогрессъ, не замѣчая того, что сами они продолжаютъ стоять на такой почвѣ, которая обусловливаетъ собою полную невозможность прогресса, допуская одинъ призракъ его, очень часто весьма ослѣпительный для глазъ, но все-таки пустой и холодный!

Такимъ героемъ является между прочимъ Нехлюдовъ въ повѣсти «Утро помѣщика». Здѣсь вы встрѣчаетесь не съ лѣнью, апатіей, изнѣженностью и прочими обломовскими качествами, присущими нашей интеллигенціи. Напротивъ того, передъ вами та молодая, пылкая энергія, какую только возможно бываетъ встрѣтить въ 19-ти лѣтнемъ юношѣ, къ тому еще студентѣ. Не кончивъ еще курса въ университетѣ, проведя лѣто въ деревнѣ, Нехлюдовъ до такой степени увлекся мыслью о устроеніи быта крестьянъ, что рѣшился тотчасъ-же оставить университетъ, столицу, прекратить всѣ прежнія связи, и всю жизнь посвятить благу принадлежащихъ ему мужиковъ.

«Онъ видѣлъ передъ собой,—читаемъ мы въ повѣсти,—огромное поприще для цѣлой жизни, которую онъ посвятитъ на добро и въ которой слѣдовательно будетъ счастливъ. Ему не надо искать сферы дѣятельности; она готова: у него есть прямая обязанность—у него есть крестьяне... И какой отрадный и благодарный трудъ представляется ему—«дѣйствовать на этотъ простой, воспріимчивый, неиспорченный классъ народа, избавить его отъ бѣдности, дать довольство, передать имъ образованіе, которымъ по счастію я пользуюсь, исправить ихъ пороки, порожденные невѣжествомъ и суевѣріемъ, развить ихъ нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду дѣлать это для собственнаго счастія, я буду наслаждаться благодарностью ихъ, буду видѣть, какъ съ каждымъ днемъ я дальше и дальше иду къ предложенной цѣли. Чудная будущность! Какъ могъ я прежде не видѣть этого?»

«И кромѣ этого, въ то-же время думалъ онъ: кто мнѣ мѣшаетъ самому быть счастливымъ въ любви къ женщинѣ, въ счастьѣ семейной жизни? И юное воображеніе рисовало ему еще болѣе обворожительную будущность. «Я и жена, которую я люблю такъ, какъ никто никогда никого не любилъ на свѣтѣ, мы всегда живемъ среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, съ дѣтьми, можетъ быть со старухой теткой; у насъ есть наша взаимная любовь, любовь къ дѣтямъ, и мы оба знаемъ, что наше назначеніе—добро. Мы помогаемъ другъ другу идти къ этой цѣли. Я дѣлаю общія распоряженія, даю общія, справедливыя пособія, завожу фермы, сберегательныя кассы, мастерскія; а она, съ своей хорошенькой головкой, въ простомъ бѣломъ платьѣ, поднимая его надъ стройной ножкой, идетъ по грязи въ крестьянскую школу, въ лазаретъ, къ несчастному мужику, по справедливости, незаслуживающему помощи, и вездѣ утѣшаетъ, помогаетъ... Дѣти, старики, бабы обожаютъ ее и смотрятъ на нее, какъ на какого-то ангела, на Провидѣніе. Потомъ она возвращается и скрываетъ отъ меня, что ходила къ несчастному мужику и дала ему денегъ, но я все знаю и крѣпко обнимаю ее, и крѣпко и нѣжно цѣлую ея прелестные глаза, стыдливо-краснѣющія щеки и улыбающіяся румяныя губы.»

Исполненный подобныхъ юныхъ грезъ, Нехлюдовъ, оставшись въ деревнѣ, энергически принялся за хозяйство, составилъ правила дѣйствій, всю жизнь и занятія свои распредѣливъ по часамъ, днямъ и мѣсяцамъ, причемъ воскресенья были у него назначены для пріема посѣтителей, дворовыхъ и мужиковъ, для обхода хозяйства бѣдныхъ крестьянъ и для поданія имъ помощи съ согласія міра, который собирался вечеромъ каждое воскресенье и долженъ былъ рѣшать, кому и какую помощь нужно было оказывать. Въ такихъ занятіяхъ прошло болѣе года, и этого года было вполнѣ достаточно, чтобы разочаровать Нехлюдова во всей дѣятельности, во всѣхъ его замыслахъ и мечтахъ.

Въ своихъ отношеніяхъ къ мужикамъ онъ постоянно встрѣчалъ два рода явленій: исполненный недовѣрія отпоръ противъ всѣхъ его плановъ и предложеній относительно тѣхъ или другихъ мѣръ къ улучшенію быта мужиковъ. Это былъ отпоръ жизни, желавшей устроиться, худо-ли, хорошо-ли, но по своему и течь по тѣмъ русламъ, какія удалось уже ей самой проложить, а не по направленіямъ, измышленнымъ праздной фантазіей барина. А гдѣ онъ не встрѣчалъ такого отпора, тамъ онъ находилъ полную деморализацію, нагло въ глаза издѣвавшуюся надъ нимъ и дѣлавшуюся тѣмъ распущеннѣе и нахальнѣе, чѣмъ болѣе онъ прилагалъ заботъ объ ея исправленіи. Въ представленномъ въ повѣсти воскресномъ утрѣ Нехлюдова мы встрѣчаемъ нѣсколько явленій того и другого рода.

Такъ, между прочимъ, Нехлюдовъ на своей новой фермѣ построилъ нѣсколько герардовскихъ каменныхъ избъ, думая перевести туда лучшихъ своихъ крестьянъ. Вотъ онъ приходитъ на дворъ къ крестьянину Чурисенку съ предложеніемъ подобнаго переселенія. Печальное зрѣлище крайней нищеты встрѣчаетъ онъ во дворѣ Чурисенка. Изба, клѣти, амбары представляютъ развалины, готовыя ежеминутно рухнуть. И между тѣмъ этотъ Чурисенокъ ни разу не обратился къ нему съ просьбою о помощи, тогда какъ Нехлюдовъ никогда не отказывалъ мужикамъ и только того добивался, чтобы всѣ прямо приходили къ нему за своими нуждами. Нехлюдовъ почувствовалъ досаду, боль и даже нѣкоторое озлобленіе на мужика за такое невниманіе со стороны послѣдняго къ его гуманности. Здѣсь подъ гуманностью выступаетъ порядочная доля безчеловѣчнаго высокомѣрія: Нехлюдовъ не могъ поставить себя на мѣстѣ мужика и не понималъ, что если онъ въ себѣ, въ своемъ родственникѣ или другѣ цѣнилъ гордость, не любящую обязываться, просить, кланяться, то тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ-бы оцѣнить такія качества въ крестьянинѣ. Несмотря на всю гуманность, логика его продолжала въ этомъ отношеніи двоиться, и то самое, что уважалъ онъ въ лицахъ своей среды, не нравилось ему въ мужикахъ. Мы видѣли выше, что при мысли о мужикахъ онъ не иначе представлялъ ихъ себѣ, какъ умиляющимися при видѣ его благодѣяній и возсылающими къ нему горячія благодаренія. Понятно, не могъ онъ оцѣнить и слѣдующихъ простыхъ, но исполненныхъ глубокаго человѣческаго достоинства словъ Чурисенка:

— «Не все-же на барскій дворъ ходить! Коли нашему брату повадку дать къ вашему сіятельству за всякимъ добромъ на барскій дворъ кланяться, какіе мы крестьяне будемъ?»

Не обративши вниманія на эти слова и не желая понять, что предъ нимъ стоитъ человѣкъ, вовсе не желающій принимать отъ него какихъ-либо благодѣяній, Нехлюдовъ приступилъ таки къ Чурисенку съ

предложеніемъ переселиться въ герардовскую избу, и встрѣтилъ еще болѣе рѣшительный отпоръ.

«Нехлюдовъ сталъ-было доказывать мужику,—читаемъ мы въ повѣсти,—что переселеніе, напротивъ, очень выгодно для него, что плетни и сараи тамъ построятъ, что вода тамъ хорошая, и т. д., но глупое молчаніе Чуриса смущало его, и онъ почему-то чувствовалъ, что говоритъ не такъ, какъ бы слѣдовало. Чурисенокъ не возражалъ ему; но когда баринъ замолчалъ, онъ слегка улыбнувшись, замѣтилъ, что лучше-бы всего было поселить на этомъ хуторѣ стариковъ дворовыхъ и Алешу-дурачка, чтобы они тамъ хлѣбъ караулили.

— Вотъ бы важно было! замѣтилъ онъ и снова усмѣхнулся.—Пустое это дѣло, ваше сіятельство!

— Да что-жъ что мѣсто нежилое? терпѣливо настаивалъ Нехлюдовъ:—вѣдь и здѣсь когда-то мѣсто было нежилое, а вотъ живутъ-же люди; и тамъ, вотъ: ты только первый поселись съ легкой руки... Ты непремѣнно поселись.

— И, батюшка, ваше сіятельство, какъ можно отличить! съ живостью отвѣчалъ Чурисъ, какъ будто испугавшись, чтобы баринъ не принялъ окончательнаго рѣшенія:—здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное: и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье что-ли бабѣ стирать, скотину-ли поить—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони-заведенное, и гумно, и огородники, и ветлы,—вотъ что мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только-бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить—много довольны вашей милостью останемся: а нѣтъ, такъ и въ старенькой свой вѣкъ какъ-нибудь доживемъ. Заставь вѣкъ Бога молить, продолжалъ онъ, низко кланяясь; не сгоняй ты насъ съ гнѣзда нашего, батюшка!..»

Что было дѣлать Нехлюдову послѣ подобныхъ доводовъ, какъ не ретироваться въ крайнемъ смущеніи и не ограничиться послѣ всѣхъ своихъ широкихъ замысловъ создать счастіе Чурисенка—скромною и рутинною подачкою ему нѣсколькихъ десятковъ рублей на корову,—да и тѣ Чурисенокъ принялъ безъ всякой особенной благодарности и неохотно.

Еще большій отпоръ встрѣтилъ Нехлюдовъ и во дворѣ крестьянина Дутлова. Дутловъ былъ мужикъ, окруженный многочисленнымъ семействомъ, достаточный, у котораго не только все хозяйство находилось въ полной исправности, но были припрятаны и деньги въ кубышкѣ. Нехлюдовъ явился къ нему съ предложеніемъ, чтобы онъ нанялъ у него земли десятинъ 30 и кромѣ того купилъ вмѣстѣ съ нимъ лѣсъ.

Но и здѣсь жизнь стремилась устроиться по своему, а не по замысламъ Нехлюдова. Еще Нехлюдовъ не успѣлъ заикнуться о своемъ предложеніи, какъ старикъ Дутловъ обратился къ нему съ просьбою, чтобы онъ отпустилъ его сыновей по оброку въ извозъ.

— Мало-ли чѣмъ другимъ вы-бы могли заняться дома: и землей и лугами... возражалъ Нехлюдовъ.

— Какъ можно, ваше сіятельство! подхватилъ Ильюшка съ одушевленіемъ:—ужъ мы съ этимъ родились, всѣ эти порядки намъ извѣстные, способное для насъ дѣло, самое любезное дѣло, ваше сіятельство, какъ нашему брату съ рядой ѣздить.

Когда же наконецъ Нехлюдовъ заикнулся о своихъ намѣреніяхъ, онъ встрѣтилъ такое крайнее и, хотя и обидное, но справедливое недовѣріе со стороны старика, что ему осталось только проклинать ту минуту, въ которую ему вздумалось идти къ старику со своими предложеніями.

— Что-жъ, батюшка Митрій Миколаевичъ, какъ насчетъ ребятъ-то прикажете? сказалъ старикъ.

— Да я-бы тебѣ совѣтовалъ вовсе не отпускать ихъ, а найти здѣсь имъ работу, вдругъ, собравшись съ духомъ, выговорилъ Нехлюдовъ.—Я, знаешь, что тебѣ придумалъ: купи ты со мной пополамъ рощу въ казенномъ лѣсу, да еще землю...

— Какъ-же, ваше сіятельство, на какія-же деньги покупать будемъ? перебилъ онъ барина.

— Да вѣдь небольшую рощу, рублей въ двѣсти, замѣтилъ Нехлюдовъ.

Старикъ сердито усмѣхнулся.

— Хорошо, кабы были, отчего-бы не купить, сказалъ онъ.

— Развѣ у тебя этихъ денегъ нѣтъ? съ упрекомъ сказалъ баринъ

— Охъ, батюшка ваше сіятельство! отвѣчалъ съ грустью въ голосѣ старикъ, оглядываясь въ двери: только-бы семью прокормить, а ужъ намъ не рощи покупать.

— Да вѣдь есть у тебя деньги, что-жъ имъ лежать? настаивалъ Нехлюдовъ.

Старикъ вдругъ пришелъ въ сильное волненіе; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

— Може злые люди про меня сказали, заговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ: —такъ вѣрьте Богу, говорилъ онъ, одушевляясь все болѣе и болѣе и обращая глаза къ иконѣ:—что вотъ, лопни мои глаза, провались я на семъ мѣстѣ, коли у меня что есть окромѣ пятнадцати цѣлковыхъ, что Ильюшка привезъ, и то подушныя платить надо—вы сами извольте знать: избу поставили..

— Ну, хорошо, хорошо! сказалъ баринъ, вставая съ лавки.—Прощайте, хозяева!»

Встрѣчая подобные отпоры во всемъ, что было лучшаго въ деревнѣ, рядомъ съ этимъ Нехлюдовъ находилъ и такихъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами, кланялись, изъявляли благодарности, о чемъ баринъ мечталъ нѣкогда съ такимъ упоеніемъ, но зато въ этихъ крестьянахъ его поражали такая апатія, лѣнь, такое отсутствіе малѣйшаго чувства человѣческаго достоинства, такая полная деморализація, что онъ терялся и приходилъ къ сознанію, что ему только и остается, что или махнуть на все рукою, или принять крутыя, насильственныя мѣры. Все это въ концѣ концовъ совершенно обезкуражило его и разсѣяло, какъ дымъ, всѣ его грезы.

«Гдѣ-же мои мечты?» думалъ теперь юноша, послѣ своихъ посѣщеній подходя къ дому: «вотъ ужъ больше года, что я ищу счастія на этой дорогѣ, и что-жъ я нашелъ? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собой; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нѣтъ, я просто недоволенъ собой! Я недоволенъ потому, что я здѣсь не знаю счастія, а желаю, страстно желаю счастія. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? за что? Кому отъ этого стало легко? Правду писала тетка, что легче самому найти счастіе, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле Еслибъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, еслибъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недовѣріе, безпомощность! Я даромъ трачу лучшіе годы жизни», подумалъ онъ, и ему почему-то вспомнилось, что сосѣди, какъ онъ слышалъ отъ няни, называли его недорослемъ; что денегъ у него въ конторѣ ничего уже не оставалось, что выдуманная имъ новая молотильная машина, къ общему смѣху мужиковъ, только свистѣла и ничего не молотила, когда ее въ первый разъ, при многочисленной публикѣ, пу-

стили въ ходъ въ молотильномъ сараѣ что со дня на день надо было ожидать пріѣзда земскаго суда для описанія имѣнія, которое онъ просрочилъ, увлекшись различными новыми хозяйственными предпріятіями. И вдругъ такъ-же живо, какъ прежде, представилась ему деревенская прогулка по лѣсу и мечта о помѣщичьей жизни, такъ-же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, въ которой онъ поздно ночью сидитъ при одной свѣчкѣ съ своимъ товарищемъ и обожаемымъ шестнадцатилѣтнимъ другомъ. Они часовъ пять сряду читали и повторяли какія-то скучныя записки гражданскаго права, и, окончивъ ихъ, послали за ужиномъ, сложились на бутылку шампанскаго и разговорились о будущности, которая ожидаетъ ихъ. Какъ совсѣмъ иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслажденій, разнообразной дѣятельности, блеска, успѣховъ и несомнѣнно вела ихъ обоихъ къ лучшему, какъ тогда казалось, благу въ мірѣ—къ славѣ.

«Онъ уже идетъ и быстро идетъ по этой дорогѣ», подумалъ Нехлюдовъ про своего друга: «а я...»

Но зачѣмъ же такъ долго останавливаться, спроситъ меня иной читатель, на повѣсти, представляющей дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой? Неудачная дѣятельность Нехлюдова принадлежитъ ко временамъ крѣпостного права, есть явленіе историческое, невозможное въ настоящее время при свободѣ крестьянъ, и подробное обсужденіе этой дѣятельности не имѣетъ никакихъ отношеній къ современнымъ вопросамъ.

Но въ томъ-то и состоитъ особенность поэтическихъ произведеній, отражающихъ въ себѣ характеристическія и существенныя явленія жизни, что значеніе ихъ не утрачивается съ нѣсколькими реформами, какъ бы ни были важны послѣднія, и они надолго сохраняютъ свою силу, служа маяками, освѣщающими иногда длинныя перспективы временъ.—Такъ напримѣръ, «Горе отъ ума», изображающее нравы московскаго общества 20-хъ годовъ, представляетъ въ себѣ многія черты жизни, встрѣчающіяся на каждомъ шагу и въ настоящее время, 60 лѣтъ спустя. Дѣятельность Чичикова и прочихъ героевъ «Мертвыхъ Душъ» тоже сдѣлалась невозможной со времени эмансипаціи, но это не мѣшаетъ имъ существовать попрежнему въ русской жизни; они всѣ остались тѣ же самые, и измѣнились только формы проявленія ихъ качествъ. То же самое можно сказать и о Нехлюдовѣ. Эмансипація не уничтожила подобныхъ героевъ, а только отняла у нихъ возможность дѣйствовать силою тамъ, гдѣ нельзя было ничего сдѣлать добровольно. Такъ, Нехлюдовъ могъ прежде, еслибы захотѣлъ, заставить Чурисенка переселиться въ герардовскую избу, а Дутлова—купить лѣсъ; нынѣ онъ этого не въ состояніи сдѣлать; но онъ остался тѣмъ-же Нехлюдовымъ, а подобныхъ ему Нехлюдовыхъ вы можете встрѣтить на каждомъ шагу. Каждый маменькинъ сынокъ, читающій на досугѣ хорошія книжки и подъ вліяніемъ ихъ мечтающій посвятить всю жизнь народу, котораго онъ не знаетъ и на котораго онъ въ то же время привыкъ смотрѣть съ гордымъ пренебреженіемъ, есть Нехлюдовъ съ головы до ногъ. Каждый практическій дѣятель, видящій въ желѣзныхъ дорогахъ или сыроваренія панацею отъ всѣхъ народныхъ бѣдствій, каждый ревнитель народнаго просвѣщенія, воображающій, что стоитъ завести нѣсколько школокъ и выучить сотню сельскихъ дѣтей читать и писать, и образованіе широкою рѣкою польется въ массы народа; каждый газетный чиновникъ-публицистъ, измышляющій подъ сѣнью канцеляріи передовыя статьи о народныхъ нуждахъ и потребностяхъ; каждый судебный ораторъ вродѣ выведеннаго Гл. Успенскимъ въ «Разореніи» Шапкина, сожалѣющій, что половина слушателей не были въ университетѣ и потому не могутъ его понимать—все это современныя воплощенія того же самаго Нехлюдова со всѣми его особенностями: полной неспособностью встать въ мало-мальски человѣческія отношенія съ народомъ и оказать ему хоть каплю истинной пользы, и въ то же время привычкой считать себя свѣтилами прогресса, воображать, что каждое слово, каждый жестъ ихъ долженъ осчастливить тысячи и возбудить со всѣхъ сторонъ чувства изумленія къ ихъ доблести и горячей благодарности. Повѣсть гр. Толстого говоритъ всѣмъ этимъ господамъ: Вы хотите быть полезными народу? Но для этого прежде всего перестаньте принимать на себя роль народныхъ опекуновъ и благодѣтелей, перестаньте смотрѣть на народъ, какъ на несовершеннолѣтнихъ дѣтей, которыя безъ вашихъ заботъ должны погибнуть. Знайте, что какъ ни жалка, ни бѣдна жизнь народа, а все-таки это жизнь, и какъ всякая естественная жизнь подлежитъ своему самостоятельному развитію, требуя только тепла, воздуха, свѣта и пищи для того, чтобы расцвѣсти во всемъ своемъ цвѣтѣ... Заботьтесь-же только объ одномъ: чтобы доставить всѣ эти необходимыя условія для жизни и дать ей полный просторъ для развитія. Иначе вы будете представлять изъ себя садовника, который, поставивъ растеніе въ темнотѣ и оборвавъ листья, будетъ въ то же время унавоживать его землю и тщательно поливать ее, воображая, что у него что-нибудь выростетъ изъ этого. Знайте, что въ такомъ случаѣ ваши дѣйствительно полезныя мѣропріятія или будутъ производить неожиданный вредъ, или-же будутъ отскакивать отъ народа, какъ отъ стѣны горохъ, чисто вслѣдствіе той естественной оппозиціи, по которой вамъ самимъ часто въ большей степени нравится худшее свое, до чего вы дошли самостоятельно, чѣмъ лучшее, навязываемое со стороны, и притомъ людьми, къ которымъ вы не имѣете особеннаго довѣрія.

V.

Въ повѣсти «Утро помѣщика» представляется, какъ мы видѣли, первый шагъ въ жизни безхарактернаго героя. Здѣсь герой является передъ нами исполненный молодыхъ надеждъ и энергіи, не знающей удержа; онъ ищетъ опредѣленной цѣли жизни и спѣшитъ испробовать свои силы въ какой-либо широкой и плодотворной дѣятельности. Такъ всегда начинаютъ подобные герои. Они не знаютъ мудраго пути начинать съ малаго и постепенно путемъ труда и борьбы доходить до великаго,—пути, по которому идутъ всѣ истинно-геніальные люди; нашимъ героямъ непремѣнно нужно или сразу все, или ничего. Примутся они за какое-нибудь дѣло, и тотчасъ же вообразятъ себя благодѣтелями если не всего человѣчества, то цѣлаго

края, поэтому и дѣло свое спѣшатъ поставить на ходули, придать ему сразу грандіозные цѣли и размѣры. Но зато, какъ скоро возникаетъ ихъ очарованіе, такъ же скоро слѣдуетъ и разочарованіе. Жизнь не замедлитъ показать имъ всю искусственность, отвлеченность и эфемерность ихъ замысловъ. Такъ, мы видѣли, что для Нехлюдова достаточно было года, чтобы убѣдиться въ несостоятельности своей дѣятельности. Но, разъ сбитые съ своего пути, Нехлюдовы не ищутъ уже ни новаго пути, ни возвращенія на старый. Вся дальнѣйшая жизнь представляется рядомъ безцѣльныхъ скитаній и случайныхъ порывовъ, смотря по тому, куда дуетъ вѣтеръ. Начиная день, они не могутъ отдать себѣ хотя приблизительнаго отчета, что съ ними будетъ вечеромъ: можетъ быть женятся, можетъ быть очутятся на пути въ Америку, можетъ быть проиграютъ все свое состояніе и пустятъ въ лобъ пулю. Одно только неизмѣнно преслѣдуетъ ихъ всю жизнь, составляя существенное ихъ отличіе—это постоянный разладъ убѣжденій и дѣятельности. Убѣжденія ихъ попрежнему прекрасны, высоки, во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненны и, попрежнему, едва только пытаются они осуществить которое нибудь, на дѣлѣ выходитъ какъ-то совершенно невольно, неотразимо, словно по какому-то фатуму, тяготѣющему надъ ними, нѣчто совершенно противоположное.

Повѣсти «Люцернъ», «Альбертъ», «Казаки», «Маркеръ» представляютъ передъ нами рядъ подобныхъ скитаній и порывовъ безхарактернаго героя послѣ своего неудачнаго перваго шага.

Въ повѣсти «Люцернъ» мы встрѣчаемъ Нехлюдова, скитающагося по Европѣ въ качествѣ туриста. Остановившись въ Люцернѣ, онъ пошелъ вечеромъ гулять по набережной озера и заслушался пѣнія уличнаго тирольца. Тиролецъ пѣлъ такъ хорошо, что вокругъ него собралась толпа, которая жадно внимала ему. Элегантные путешественники различныхъ націй стояли на улицѣ и на балконахъ, притаивъ дыханіе. И каково-же было удивленіе Нехлюдова, когда по окончаніи пѣнія не только никто ничего не далъ бѣдному пѣвцу, но толпа осмѣяла его, когда онъ обратился къ ней съ протянутою шляпою. Нехлюдова тяжело поразила эта сцена, ему сдѣлалось больно, горько, по собственнымъ его словамъ, стыдно за маленькаго человѣка, за толпу, за себя, какъ будто онъ самъ просилъ денегъ, ему ничего не дали и надъ нимъ смѣялись... За симъ послѣдовалъ цѣлый рядъ рефлексій о несообразности жизни вообще и въ особенности относительно настоящаго факта. Нехлюдовъ началъ задавать себѣ вопросы вродѣ того, что отчего этотъ безчеловѣчный фактъ, невозможный ни въ какой деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ собираются путешествующіе, самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное, гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дѣло? И какимъ образомъ въ Швейцаріи, въ свободной странѣ, республикѣ, могъ существовать законъ, вслѣдствіе котораго тиролецъ рисковалъ быть посаженъ въ тюрьму за свое невинное уличное пѣніе: неужели это свободное то, что люди называютъ даже *положительно* свободное государство,—то, въ которомъ есть хоть одинъ гражданинъ, котораго сажаютъ въ тюрьму за то, что онъ, никому не вредя, никому не мѣшая, дѣлаетъ единственное, что можетъ, для того, чтобы не умереть съ голода?

Всѣ эти размышленія были прекрасны, пока оставались одними размышленіями, но когда Нехлюдову вздумалось осуществить ихъ на практикѣ, оказалось нѣчто совсѣмъ неподходящее.

Нехлюдову захотѣлось отличиться, показать, что онъ вовсе не такой безчувственный и черствый человѣкъ, какъ элегантные англичане и прочая толпа, осмѣявшая тирольца. Но какъ же онъ могъ выразить это отличіе? Простой здравый смыслъ скажетъ вамъ, что сдѣлать это было очень просто: никто ничего пѣвцу не далъ и его осмѣяли, а Нехлюдову оставалось, не принимая участія въ этомъ смѣхѣ, дать пѣвцу денегъ, что послѣднему только и надо было. Тѣмъ и ограничился бы всякій простой, безъискусственный человѣкъ съ душою. Но Нехлюдову этого было недостаточно: онъ привыкъ каждый ничтожный поступокъ становить на ходули и возводить на степень необыкновеннаго геройства. Такъ и въ настоящемъ случаѣ ему захотѣлось устроить посредствомъ пѣвца демонстрацію безчувственной толпѣ и въ особенности элегантнымъ англичанамъ, громко заявить передъ ними, что вотъ, молъ, какой передъ ними гуманный человѣкъ, какое у него рѣдкое сердце и какъ глубоко онъ усвоилъ идею равенства: стыдитесь, молъ, и поучайтесь. И вотъ онъ послѣдовалъ за пѣвцомъ, остановилъ его, пригласилъ выпить съ нимъ вина, повелъ его въ самую фешенебльную гостинницу, произвелъ тамъ скандалъ, разругалъ швейцара и лакеевъ, какъ они смѣли сидѣть въ присутствіи его по той причинѣ, что онъ пьетъ вино съ человѣкомъ, бѣдно одѣтымъ, тогда какъ предъ богатыми англичанами они не смѣли садиться; затѣмъ потребовалъ, чтобы его ввели въ лучшую залу, и тамъ присутствіемъ пѣвца разогналъ чопорныхъ англичанъ, собиравшихся ужинать. Бѣдный, робкій пѣвецъ игралъ во всемъ этомъ самую жалкую роль, не то жертвы, не то пассивнаго орудія героизма Нехлюдова, глоталъ вмѣстѣ съ шампанскимъ, которымъ угощалъ его разгнѣванный баринъ, горечь презрительныхъ подсмѣиваній, которыми со всѣхъ сторонъ его осыпали, и до чрезвычайности былъ радъ, когда наконецъ удалось ему избавиться отъ непрошеннаго защитника его правъ и убраться поскорѣй по добру, по здорову...

Все это, если хотите, имѣетъ въ основаніи со стороны Нехлюдова рядъ побужденій, безукоризненно честныхъ и высокихъ. Но вдумайтесь поглубже въ его поступокъ, и вы найдете въ немъ безчеловѣчіе, превышающее бездушіе чопорныхъ англичанъ и толпы. Не дать денегъ уличному пѣвцу, это вовсе еще не значитъ оскорбить его, а напротивъ того—унизить себя передъ нимъ. Осмѣять его—въ этомъ, безспорно, видно желаніе унизить его человѣческое достоинство. Но заставить пострадать часъ, другой, употребивъ его жалкимъ, пассивнымъ орудіемъ для выказанія своего геройства и показанія бездушія ближнихъ,—въ этомъ уже не одно только униженіе человѣческаго

достоинства, а окончательное попраніе его, уничиженіе личности. И послѣ этого Неклюдовъ могъ кипятиться во имя идеи равенства на слугъ, которые сидѣли предъ пѣвцомъ, и на англичанъ, ушедшихъ ихъ залы! Какъ будто схватить съ улицы бѣднаго человѣка, робѣющаго передъ вами и несмѣющаго сопротивляться, привести его въ фешенебльную гостинницу на всеобщее посмѣяніе и великодушно напоить его лучшимъ шампанскимъ, такой поступокъ выше чѣмъ-нибудь отношенія слугъ и англичанъ къ пѣвцу и имѣетъ въ себѣ хотя блѣдную тѣнь равенства! И какой же вышелъ изъ всего этого толкъ? Были-ли хоть посрамлены лакеи и англичане и получили-ли урокъ? Ничуть не бывало. Лакеи остались лакеями, при убѣжденіи, что гостинница, въ которой они служатъ, перестанетъ быть фешенебльной, если будутъ допускаемы въ нее уличные пѣвцы, а англичане, надо полагать, удалились изъ залы не столько потому, что ихъ оскорбилъ видъ бѣдно одѣтаго человѣка, сколько съ мыслью, что по всей вѣроятности русскій варваръ, привыкшій у себя дома забавляться съ шутами, вздумалъ и заграницей потѣшиться тѣмъ же, избравъ себѣ шута въ уличномъ пѣвцѣ, а потому лучше уйти отъ возмутительной сцены. И дѣйствительно, поступокъ Нехлюдова по отношенію къ пѣвцу напоминаетъ весьма потѣхи нашихъ прадѣдовъ, которые, не довольствуясь повседневными шутами, любили подъ веселый часъ посадить рядомъ съ собой за столъ оборваннѣйшаго бѣдняка изъ толпы и забавляться при видѣ, какъ онъ смущается, пьетъ лучшее вино, не пивъ до сегодня ничего кромѣ водки, и какъ присутствіемъ его возлѣ хозяина скандализируются какія-нибудь чопорныя барыни.

Разсказъ «Альбертъ» представляетъ подобный же эпизодъ изъ жизни безхарактернаго героя. Герой этого разсказа, Делесовъ, принимаетъ на себя роль покровителя искусства. Встрѣтивъ на петербургскомъ баликѣ полусумасшедшаго, спившагося музыканта Альберта и увлекшись его игрою, онъ рѣшается взять его въ свой домъ, устроить ему карьеру и возвратить свѣту погибающій талантъ. При этомъ онъ конечно тотчасъ же становится въ позу благодѣтеля человѣческаго рода и начинаетъ гладить себя по головкѣ: «право, я не совсѣмъ дурной человѣкъ; даже совсѣмъ недурной человѣкъ. Даже очень хорошій человѣкъ, какъ сравню себя съ другими...» Но, какъ всѣ подобные благодѣтели человѣческаго рода, онъ смотритъ постоянно только на одну сторону своего дѣла: на величіе своей личности въ виду такого благороднаго дѣла; на личность же покровительствуемаго онъ не обращаетъ ровно никакого вниманія; ему не приходитъ и въ голову, что его великодушіе нисколько не разрѣшаетъ ему забывать уваженія къ человѣческимъ правамъ ближняго, на какой бы крайней степени паденія ни находился этотъ ближній. Такъ онъ думаетъ вылечить Альберта отъ пьянства и остепенить тѣмъ, что запираетъ его въ своей квартирѣ, велитъ человѣку никуда его не выпускать и не давать ему ни капли вина. Такое крайнее насиліе доводитъ Альберта до бѣшенства, и великодушный подвигъ Делесова кончается слѣдующей сценой:

«Ночью Делесова разбудилъ стукъ упавшаго стола въ передней и звукъ голосовъ и топота. Онъ зажегъ свѣчу и съ удивленіемъ сталъ прислушиваться... Погодите, Дмитрію Ивановичу скажу, говорилъ Захаръ; голосъ Альберта бормоталъ что-то горячо и несвязно. Делесовъ вскочилъ и со свѣчей выбѣжалъ въ переднюю. Захаръ въ ночномъ костюмѣ стоялъ противъ двери, Альбертъ въ шляпѣ и альмавивѣ отталкивалъ его отъ двери и слезливымъ голосомъ кричалъ на него.

— Вы не можете не пустить меня. У меня паспортъ, я ничего не унесъ у васъ. Можете обыскать меня. Я къ полиціймейстеру пойду.

— Позвольте, Дмитрій Ивановичъ! обратился Захаръ къ барину, продолжая спиной защищать дверь Они ночью встали, нашли ключъ въ моемъ пальто и выпили цѣлый графинъ сладкой водки. Это развѣ хорошо? А теперь уйти хотятъ. Вы не приказали, а потому я не могу пустить ихъ.

Альбертъ, увидавъ Делесова, еще горячѣе сталъ приступать къ Захару.

— Не можетъ меня никто держать! не имѣетъ права! кричалъ онъ, все больше и больше возвышая голосъ.

— Отойди, Захаръ, сказалъ Делесовъ:—я васъ держать не хочу и не могу, но я совѣтывалъ-бы вамъ остаться до завтра, обратился онъ къ Альберту.

— Никто меня держать не можетъ. Я къ полиціймейстеру пойду, все сильнѣе и сильнѣе кричалъ Альбертъ, обращаясь только къ Захару и не глядя на Делесова:—Караулъ! вдругъ завопилъ онъ неистовымъ голосомъ

— Да что-же вы кричите такъ-то? вѣдь васъ не держатъ, сказалъ Захаръ, отворяя дверь.

Альбертъ пересталъ кричать. «Не удалось? Хотѣли уморить меня, нѣтъ!..» бормоталъ онъ про себя, надѣвая галоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, онъ вышелъ въ дверь. Захаръ посвѣтилъ ему до воротъ и вернулся.

— И слава Богу, Дмитрій Ивановичъ! а то долголи до грѣха, сказалъ онъ барину:—и теперь серебро повѣрить надо...»

Въ повѣсти «Казаки» представляется одна изъ дальнѣйшихъ фазъ жизни безхарактерныхъ героевъ. Послѣ цѣлаго ряда всевозможныхъ несообразностей, вродѣ вышеописанныхъ, расточивъ половину имущества, надѣлавъ долговъ, подобные герои въ одинъ прекрасный день вдругъ приходятъ къ убѣжденію, что вся окружающая ихъ жизнь и ихъ собственная искусственна, нелѣпа, исполнена призрачности и лжи и что необходимо сразу разорвать съ нею и начать новую жизнь, простую, естественную на лонѣ природы, въ средѣ ея дѣтей непосредственно-наивныхъ, цѣльныхъ и нерастлѣнныхъ цивилизаціей. Подобныя идиллическія стремленія, родоначальникомъ которыхъ считается, какъ извѣстно, Руссо, присущи всѣмъ вѣкамъ, только въ каждый вѣкъ они находятъ различныя примѣненія. Такъ, въ 60-е годы герои, ищущіе разрыва съ своей средой и новой жизни, удалялись въ кружки, такъ называемыхъ, новыхъ людей и мечтали вмѣстѣ съ ними о заведеніи земледѣльческихъ колоній на новыхъ основаніяхъ въ какихъ-нибудь дѣвственныхъ лѣсахъ, вдали отъ всякихъ человѣческихъ обществъ. Въ 30-е же и 40-е года безхарактерные герои стремились обыкновенно на Кавказъ, гдѣ имъ грезилась новая жизнь въ видѣ Амалатъ-бековъ, черкешенокъ, горъ, обрывовъ, страшныхъ потоковъ и опасностей...

Въ повѣсти «Казаки» и представляется намъ одинъ изъ такихъ россійскихъ Жанъ-Жаковъ Руссо въ видѣ Оленина, который въ сущности тотъ же Нехлюдовъ и Делесовъ. Послѣ цѣлаго ряда безплодныхъ порывовъ—свѣтской жизни, службы, хозяйства, му-

зыки, которымъ, по словамъ гр. Толстого, онъ отдавался на столько лишь, на сколько они не связывали его, и отъ которыхъ спѣшилъ поскорѣе отдѣлываться, какъ только начиналъ чуять приближеніе труда и мелочной борьбы съ жизнію, — Оленинъ опредѣлился юнкеромъ въ кавказскую армію съ цѣлью начать новую жизнь.

«Уѣзжая изъ Москвы,—читаемъ мы въ повѣсти,—онъ находился въ самомъ счастливомъ настроеніи духа, когда, сознавъ прежнія ошибки, юноша вдругъ скажетъ себѣ, что все это было не то, — что все прежнее было случайно и незначительно,—что онъ прежде не хотѣлъ жить *хорошенько*,—но что теперь, съ выѣздомъ его изъ Москвы, начинается новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаянія, а навѣрное будетъ одно счастіе.»

Сообразно этимъ мыслямъ,—

«Чѣмъ дальше уѣзжалъ Оленинъ отъ центра Россіи, тѣмъ дальше казались отъ него всѣ его воспоминанія, и чѣмъ больше подъѣзжалъ къ Кавказу, тѣмъ отраднѣе становилось ему на душѣ. Уѣхать совсѣмъ и никогда не пріѣзжать назадъ, не показываться въ общество—приходило ему иногда въ голову. «А эти люди, которыхъ я здѣсь вижу,—*не люди*; никто изъ нихъ меня не знаетъ, и никто никогда не можетъ быть въ Москвѣ въ томъ обществѣ, гдѣ я былъ, и узнать о моемъ прошедшемъ.» И совершенно новое для него чувство свободы отъ всего прошедшаго охватывало его между этими грубыми существами, которыхъ онъ встрѣчалъ по дорогѣ и которыхъ не признавалъ людьми наравнѣ съ своими московскими знакомыми. Чѣмъ грубѣе былъ народъ, чѣмъ меньше было признаковъ цивилизаціи, тѣмъ свободнѣе онъ чувствовалъ себя.»

Такъ мечталъ Оленинъ, и не подозрѣвалъ онъ, что все прошлое, отъ чего онъ такъ жадно желалъ отрѣшиться, онъ везетъ съ собою на Кавказъ, что оно сидитъ во всемъ его существѣ и, какъ фатумъ, будетъ преслѣдовать его до гробовой доски, что онъ носитъ на своемъ челѣ особенную печать проклятія, вслѣдствіе которой не знать ему мѣста на землѣ, гдѣ-бы онъ могъ пріютиться. Не зналъ онъ также и того, что въ средѣ людей простыхъ, безыскусственныхъ и цѣльныхъ вся ложь его существа, вся его дрянность должны обозначиться съ особенной яркостью во всемъ ужасающемъ видѣ, какъ черныя пятна на бѣломъ фонѣ.

Такъ и случилось. Явившись въ полкъ, Оленинъ первымъ дѣломъ всталъ въ ложныя и неестественныя отношенія къ товарищамъ. Врагъ всякаго труда, онъ конечно постарался избѣгнуть служебной лямки, и это ему было очень легко сдѣлать, такъ-какъ его, какъ богатаго юнкера, не посылали ни на ученье, ни на работы. Товарищи считали его аристократомъ и потому держали себя въ отношеніи къ нему съ достоинствомъ, а онъ чуждался ихъ общества; онъ, вотъ видите, имѣлъ безсознательное отвращеніе къ битымъ дорожкамъ и здѣсь также не пошелъ по избитой колеѣ жизни кавказскаго офицера.

Онъ началъ вести вполнѣ своеобразную жизнь въ казачьей станицѣ, въ которой поселился. Жители этой станицы были потомки раскольниковъ, въ отдаленныя времена бѣжавшихъ отъ преслѣдованій на берега Терека. Они сохранили вѣру и языкъ предковъ, но въ своихъ нравахъ, понятіяхъ и обычаяхъ слились съ абреками, съ которыми постоянно дрались, что не мѣшало имъ въ то-же время скрещиваться съ врагами браками.—Это было племя въ одно и то-же время земледѣльческое и дико-воинственное, и при всей грубости нравовъ и понятій въ этихъ людяхъ проглядывала та мужественная отвага, тѣ глубокія нравственныя начала, которыя вы можете встрѣтить на какой угодно степени цивилизаціи въ каждой средѣ, жизнь которой основана на трудѣ и борьбѣ, какой-бы ни было борьбѣ: съ дикими племенами, съ стихіями природы или съ общественнымъ зломъ. Поселившись въ этой станицѣ, Оленинъ проводилъ всѣ дни на охотѣ, въ бесѣдахъ съ старымъ казакомъ Ерошкой, котораго онъ щедро поилъ чихиремъ, и въ созерцаніи окружающаго его быта, простота и естественность котораго приводили его въ восторгъ. Въ этомъ и заключалась такъ-называемая новая жизнь, въ сущности, какъ видите, столь-же праздная и пустая, какъ и старая, отъ которой Оленинъ воображалъ себя отрѣшившимся. Оленинъ былъ въ восхищеніи отъ этой жизни и во время своихъ скитаній по лѣсамъ предавался слѣдующимъ размышленіямъ:

«Отчего я счастливъ, и зачѣмъ я жилъ прежде? раздумывалъ онъ:—какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ, кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастія!» И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. «Счастіе вотъ что, сказалъ онъ самъ себѣ:—счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастія: стало-быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славу, удобства жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворять этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастія незаконна. Какія-же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!..». Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому-бы сдѣлать добро, кого-бы любить. Вѣдь ничего для себя не нужно, все думалъ онъ: отчего-же не жить для другихъ?»

Вы видите, въ какомъ заколдованномъ кругѣ вертится Оленинъ. Отъ какой-бы жизни онъ ни отрѣшился и къ какой бы жизни ни пришелъ, онъ не въ состояніи додуматься ни до какой другой нравственной теоріи, какъ только одной: отрѣшенія отъ своей личности въ пользу другихъ, но такого отрѣшенія, которое на практикѣ ведетъ всегда наоборотъ—къ уничтоженію личности ближняго ради возвышенія своей. Это своего рода нравственная лихорадка; подобно тому, какъ въ физической человѣкъ тѣмъ больше чувствуетъ холодъ, чѣмъ больше горитъ его тѣло, такъ и здѣсь: чѣмъ эгоистичнѣе человѣкъ, чѣмъ болѣе развита въ немъ наклонность возвышаться, преобладать надъ личностями ближнихъ и жертвовать ими въ свою пользу, тѣмъ болѣе такой человѣкъ имѣетъ всегда пристрастіе къ теоріямъ нравственныхъ самоотреченій и самопожертвованій. «Жить для блага другихъ!» Сколько въ этомъ до сей поры мерещится нравственнаго величія и какъ эта фраза заставляетъ биться сердце юноши! Придетъ-ли время, когда вполнѣ додумаются люди до того, сколько безчеловѣчія въ этой красивой фразѣ? Убѣдятся-ли они когда-нибудь, что истинная нравствен-

*

ность заключается не въ томъ, чтобы жить для блага другихъ, унижая этихъ другихъ своими самопожертвованіями, а въ томъ, чтобы жить съ другими для общаго и взаимнаго блага?

Ложность такой теоріи не замедлила конечно обнаружиться, едва только Оленину удалось осуществить ее на практикѣ. Онъ нанималъ квартиру у хорунжаго, у котораго была красавица дочка, Маріана. Въ эту дѣвушку былъ влюбленъ удалой казакъ Лукашка. Но хорунжій былъ богатъ, а Лукашка бѣденъ, у него не было еще и коня. Желая облагодѣтельствовать Лукашку и помочь ему жениться на Маріанѣ, Оленинъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, подарилъ ему одного изъ своихъ коней. Конечно въ этомъ не было еще большого самопожертвованія для человѣка, который имѣлъ у себя дома, въ имѣніи, какъ онъ самъ хвастался Лукашкѣ, до 100 головъ лошадей до 300 и 400 рублей каждая; но во всякомъ случаѣ подобный поступокъ былъ до такой степени не въ нравахъ простыхъ обитателей станицы, что поставилъ ихъ въ крайнее, весьма естественное недоумѣніе. И между тѣмъ какъ Оленинъ, какъ ребенокъ, восхищался своей радостью съ лакеемъ Ванюшею, разсказавъ ему не только, что онъ подарилъ Лукашкѣ лошадь, но и зачѣмъ подарилъ, и всю свою новую теорію счастія,—Лукашка, до подарка коня бывшій весьма расположенъ къ Оленину, проникся рядомъ соображеній, весьма неожиданныхъ для послѣдняго.

«Лукашка пошелъ одинъ на кардонъ и все раздумывалъ о поступкѣ Оленина. Хотя конь и нехорошъ былъ по его мнѣнію, однако стоилъ по крайней мѣрѣ сорокъ *монетовъ*, и Лукашка былъ очень, очень радъ подарку. Но зачѣмъ былъ сдѣланъ этотъ подарокъ, этого онъ не могъ понять, и потому не испытывалъ ни малѣйшаго чувства благодарности. Напротивъ, въ головѣ его бродили темныя подозрѣнія въ дурныхъ умыслахъ юнкера. Въ чемъ состояли эти умыслы, онъ не могъ дать себѣ отчета, но и допустить мысль, что такъ ни за что, по добротѣ, незнакомый человѣкъ подарилъ ему лошадь въ сорокъ *монетовъ*, ему казалось невозможно. Какъ бы пьяный былъ, тогда-бы еще понятно было, хотѣлъ покуражиться. Но юнкеръ былъ трезвъ, а потому хотѣлъ подкупить его на какое нибудь дурное дѣло. «Ну, да врешь!» думалъ Лукашка «Конь-то у меня, а тамъ видно будетъ! Я самъ малый не промахъ. Еще кто кого проведетъ! Посмотримъ!» думалъ онъ, испытывая потребность быть на сторожѣ противъ Оленина, и потому не разсказывалъ, какъ ему достался конь. Однимъ говорилъ что купилъ; отъ другихъ отдѣлывался уклончивымъ отвѣтомъ. Однако въ станицѣ скоро узнали правду. Мать Лукашки, Маріана, Илья Васильевичъ и другіе казаки, узнавшіе о безпричинномъ подаркѣ Оленина, пришли въ недоумѣніе и стали опасаться юнкера. Несмотря на такія опасенія, поступокъ этотъ возбудилъ въ нихъ большое уваженіе къ *простонародью* и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашкѣ коня въ пятьдесятъ монетовъ бросилъ юнкирь-то, что у Ильи Васильевича стоитъ, говорилъ одинъ.—Богачъ!

— Слыхалъ, отвѣчалъ другой глубокомысленно: — должно услужилъ ему. Поглядимъ, поглядимъ, что изъ него будетъ. Эко дьяволу счастье!

— Экой народъ продувной изъ юнкирей, бѣда! говорилъ третій—какъ разъ подожжетъ или что.»

Такимъ образомъ, вмѣсто ожидаемаго поклоненія его геройской добротѣ, Оленинъ поступкомъ своимъ возбудилъ въ станицѣ недоброжелательство и подозрительность въ отношеніи къ себѣ и сразу всталъ въ ложныя и неестественныя отношенія къ окружающимъ его людямъ.

И что же! въ концѣ концовъ оказалось, что Лукашка былъ правъ въ своихъ предчувствіяхъ чего-то недобраго отъ Оленина: дальнѣйшее поведеніе послѣдняго оправдало недоброжелательство къ нему Лукашки.

Оленинъ подарилъ Лукашкѣ коня съ цѣлью способствовать ему этимъ въ женитьбѣ на Маріанѣ. Но мало-по-малу онъ самъ влюбился въ Маріану. Сначала онъ долго упорствовалъ въ своемъ самоотверженіи, стараясь подавить въ себѣ любовь къ Маріанѣ, въ пользу Лукашки, но когда случай позволилъ ему сблизиться съ Маріаною, страсть его дошла до такого разгара, что забыто было все, и Лукашка, и самоотверженіе, — Оленинъ былъ готовъ приписаться въ казаки и жениться на Маріанѣ. Молодая дѣвушка въ сознаніи своей молодости и красоты кокетничала съ Олениным. Весьма естественно, онъ возбудилъ ея женское любопытство своеобразностью своей жизни, вѣчной задумчивостью и отчужденностью отъ всѣхъ. Кромѣ того, безъ сомнѣнія, ее прельстили слухи о его несмѣтныхъ богатствахъ и щедрости — это былъ соблазнъ, показывающій, что герои, подобные Оленину, распространяютъ ядъ своего собственнаго растлѣнія и на другихъ людей, съ которыми они вступаютъ въ сношенія. Но недолго продолжалось это заблужденіе. Когда Лукашка былъ смертельно раненъ въ сшибкѣ съ абреками, ея любовь къ нему вдругъ воскресла въ ней съ прежней силой; вмѣстѣ съ тѣмъ къ Оленину она почувствовала крайнее нравственное омерзеніе, и его ухаживаніе за нею окончилось слѣдующей сценой:

«— Маріана, сказалъ онъ:—а Маріана! можно войти къ тебѣ?

Вдругъ она обернулась. На глазахъ ея были чуть замѣтныя слезы. На лицѣ была красивая печаль. Она посмотрѣла молча и величаво.

— Оставь, сказала она. Лицо ее не измѣнилось, но слезы полились у ней изъ глазъ.

— О чемъ ты? Что ты?

— Что? повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ.—Казаковъ перебили, вотъ что.

— Лукашку? сказалъ Оленинъ.

— Уйди, чего тебѣ надо?

— Маріана! сказалъ Оленинъ, подходя къ ней.

— Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— Маріана, не говори, умолялъ Оленинъ.

— Уйди, постылый! крикнула дѣвка, топнула ногой и угрожающе подвинулась къ нему. И такое отвращеніе, и презрѣніе, и злоба выразились на лицѣ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надѣяться; что онъ прежде думалъ о неприступности этой женщины, была несомнѣнная правда.

Оленинъ ничего не сказалъ ей и выбѣжалъ изъ хаты. Послѣ этого ему оставалось одно: идти своей натуральной дорогой, т. е. опредѣлиться въ штабъ, что онъ и сдѣлалъ. «Не простившись ни съ кѣмъ и черезъ Ванюшку расплатившись съ хозяевами, онъ собрался ѣхать въ крѣпость, гдѣ стоялъ полкъ, читаемъ мы въ повѣсти. Одинъ дядя Ерошка провожалъ его. Они выпили, и еще выпили. Такъ же, какъ во время его проводовъ изъ Москвы, ямская тройка стояла у подъѣзда. Но Оленинъ уже не считался, какъ тогда, самъ съ собой и не говорилъ себѣ, что все, что онъ думалъ и дѣлалъ здѣсь, было *не то*. Онъ уже не обѣщалъ себѣ новой жизни. Онъ любилъ Маріанку больше чѣмъ прежде, и зналъ теперь, что никогда не можетъ быть любимымъ ею.»

«Записки Маркера» представляютъ послѣднія нравственныя судороги безхарактернаго человѣка послѣ цѣлаго ряда всевозможныхъ пертурбацій. Разочарованный во всѣхъ своихъ величавыхъ порывахъ, во всѣхъ своихъ надеждахъ на обновленіе жизни, на счастіе, потерявшій уваженіе и ко всей своей средѣ, и къ самому себѣ, убѣдившійся, что жизнь, окружающая его, и самъ онъ представляютъ рядъ лжи и несообразностей, и въ то же время съ презрѣніемъ отвергнутый всѣмъ, что не носитъ на себѣ печати этого страшнаго растлѣнія,—Нехлюдовъ дошелъ до той страшной сердечной пустоты, въ которой человѣкъ ничего уже не ищетъ въ жизни, какъ только минутныхъ наслажденій, чтобы уйти отъ себя, забыться. Въ такомъ состояніи онъ сходится съ весьма сомнительнаго вида завсегдатаями какого-то сомнительнаго трактирчика, втягивается въ игру, проигрываетъ послѣдніе остатки своего состоянія и наконецъ пускаетъ себѣ въ лобъ пулю, оставивъ послѣ себя письмо, въ которомъ читаемъ мы слѣдующаго рода ужасающія признанія:

«Богъ далъ мнѣ все, чего можетъ желать человѣкъ: богатство, имя, умъ, благородныя стремленія. Я хотѣлъ наслаждаться и затопталъ въ грязь все, что было во мнѣ хорошаго.

«Я не обезчещенъ, не несчастенъ, не сдѣлалъ никакого преступленія; но я сдѣлалъ хуже: я убилъ свои чувства, свой умъ, свою молодость.

«Я опутанъ грязной сѣтью, изъ которой не могу выпутаться и къ которой не могу привыкнуть. Я безпрерывно падаю, падаю, чувствую свое паденіе и не могу остановиться...

«И что погубило меня? Была-ли во мнѣ какая нибудь сильная страсть, которая бы извинила меня? Нѣтъ.

«Хороши мои воспоминанія!

«Одна ужасная минута забвенія, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидѣлъ, какая неизмѣримая пропасть отдѣляла меня отъ того, чѣмъ я хотѣлъ и могъ быть. Въ моемъ воображеніи возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Гдѣ тѣ свѣтлыя мысли о жизни, о вѣчности, о Богѣ, которыя съ такой ясностью и силой наполняли мою душу? Гдѣ безпредметная сила любви, отрадной теплотой согрѣвавшая мое сердце? Гдѣ надежда на развитіе, сочувствіе ко всему прекрасному, любовь къ роднымъ, къ ближнимъ, къ труду, къ славѣ? Гдѣ понятіе обязанности!

«— А какъ бы я могъ быть хорошъ и счастливъ, ежели бы я шелъ по той дорогѣ, которую, вступая въ жизнь, открылъ мой свѣжій умъ и дѣтское, истинное чувство! Не разъ пробовалъ я выйти изъ колеи, по которой шла моя жизнь, на эту свѣтлую дорогу. Я говорилъ себѣ: употреблю все, что есть у меня воли, и не могъ. Когда я оставался одинъ, мнѣ становилось неловко и страшно съ самимъ собой. Когда я былъ съ другими, я забывалъ *невольно* свои убѣжденія, не слыхалъ болѣе внутренняго голоса и снова падалъ.

«Наконецъ я дошелъ до страшнаго убѣжденія, что не могу подняться, пересталъ думать объ этомъ и хотѣлъ забыться; но безнадежное раскаяніе еще сильнѣе тревожило меня. Тогда мнѣ въ первый разъ пришла мысль о самоубійствѣ...»

Какое страшное сознаніе, и сколько въ то же время правдивости и честности въ немъ! Увы! прошли тѣ наивныя времена, когда безхарактерные люди, колотя руками въ грудь, всенародно каялись въ своей дрянности и несостоятельности. Добролюбовъ въ своихъ статьяхъ не мало потѣшался надъ подобными самоуниженіями, не зная коне чно, что̀ будетъ впереди. А впереди произошло то, что сарказмы его произвели свои дѣйствія, самоугрызенія вышли теперь изъ моды, унеся съ собою послѣдній остатокъ правды, которой вы могли добиться у безхарактернаго человѣка нашей интеллигенціи. Нынѣ вы ни отъ кого ужъ не услышите тѣхъ откровенныхъ сознаній, какія были весьма нерѣдки въ 40-ые и 50-ые годы; подобныя сознанія исчезли изъ самыхъ сокровенныхъ тайниковъ души современныхъ намъ безхарактерныхъ людей. Впрочемъ надо признаться, что тутъ дѣйствуютъ не одни сарказмы Добролюбова: много здѣсь имѣютъ вліянія духъ и обстоятельства времени. Прежде всѣ общественныя отношенія интеллигентнаго героя были замкнуты въ такомъ тѣсномъ кругѣ и столь были нелѣпы и неестественны, что онъ не могъ, при всемъ своемъ желаніи, ни въ чемъ найти ни утѣшенія, ни оправданія, и естественно, что въ честномъ сознаніи своей несостоятельности видѣлъ единственную заслугу и право хоть на какое-нибудь уваженіе. Но нынѣ жизнь создала множество такого рода дѣятельностей, въ которыхъ тотъ же самый герой, принося не болѣе пользы, чѣмъ и преждѣ, можетъ съ достоинствомъ подвизаться на свободной, нейтральной почвѣ, не приходя въ особенно роковыя столкновенія съ людьми не своей среды и оставаясь поэтому совершенно довольнымъ и собою, и окружающей его жизнью. Онъ можетъ сказать нѣсколько рѣчей, проникнутыхъ дѣловымъ, практическимъ тономъ, въ земскомъ собраніи или на какомъ нибудь съѣздѣ, засѣданіи того или другого общества,—рѣчей, которыя, можно надѣяться, будутъ приняты въ соображеніе, хотя и останутся безъ послѣдствій. Онъ можетъ сдѣлаться адвокатомъ, концессіонеромъ желѣзной дороги, биржевымъ игрокомъ, разразиться цѣлымъ рядомъ передовыхъ статей въ той или другой газетѣ о пользѣ развитія свеклосахарной промышленности или излишнемъ распространеніи пьянства въ какой-нибудь Пошехонской губерніи, можетъ наконецъ заняться устройствомъ благородныхъ концертовъ съ благотворительною цѣлію или суетиться и бѣгать до упаду по случаю заведенія общества бережливости, въ тѣхъ видахъ, чтобы люди, которымъ ничего не стоитъ проиграть въ вечеръ 100 рублей въ карты, могли покупать хлѣбъ по $2\frac{1}{2}$ копѣйки вмѣсто $2\frac{1}{2}$ и проч., проч. При такихъ условіяхъ безукоризненная слава нашего современнаго героя будетъ расти не по днямъ, а по часамъ, деньги сыпаться въ карманы горстями, а, что самое главное, время окажется занято до такой степени, что не останется ни минуты свободной для того, чтобы отдать себѣ отчетъ во всей своей дѣятельности и предаться самоугрызеніямъ при сознаніи, что мы въ сущности тѣ же Нехлюдовы, если не похуже еще. По этому всему и такой страшный исходъ, къ какому пришелъ Нехлюдовъ, сдѣлался въ настоящее время почти невозможенъ.

Современные Нехлюдовы не вѣшаютъ болѣе головы, а напротивъ того, чѣмъ ниже падаютъ нравственно, тѣмъ выше ее задираютъ. Они не оплакиваютъ уже своихъ юношескихъ мечтаній облагодѣтельствовать родъ человѣческій, слиться съ народомъ и пр.,

и пр., и только посмѣиваются надъ ними съ практической точки зрѣнія, какъ надъ ребяческими мечтами. Предаваясь оргіямъ и разврату, они дѣлаютъ это не съ тѣмъ, чтобы забыться, уйти отъ своихъ разъѣдающихъ думъ; нѣтъ, они просто развлекаются въ часы досуга, и эти развлеченія въ свою очередь не могутъ привести ихъ къ исходу Нехлюдова, потому что послѣдній забывался, проживая свое наслѣдіе, а они развлекаются, срывая въ то же время новые и новые куши. Развѣ иной въ разгарѣ своихъ развлеченій зарвется до того, что залѣзетъ въ земскій или казенный сундукъ, да и то при этомъ несчастномъ случаѣ только развѣ одинъ изъ десяти окончитъ нехлюдовской смертію, девять же предпочтутъ убраться за границу. Однимъ словомъ, вѣкъ лишнихъ людей прошелъ, лишніе люди сѣнились людьми нужными, какъ справедливо замѣтилъ недавно одинъ изъ нашихъ публицистовъ, но, прибавимъ мы къ этому справедливому замѣчанію, нужные люди остаются въ сущности попрежнему лишними, и нехлюдовщина продолжаетъ разъѣдать нашу жизнь.

Всѣ разобранныя нами произведенія гр. Толстого достаточно знакомятъ насъ съ характеромъ его поэтическаго творчества. Творчество это представляется намъ реальнымъ въ истинномъ и высшемъ смыслѣ этого слова. Главный, отличительный признакъ этой реальности—полное отсутствіе всякой идеализаціи, преувеличенія, вымысла.—Произведенія гр. Толстого отражаютъ, какъ чистое и вѣрное зеркало, людей въ ихъ натуральный ростъ, такими,—каковы они представляются намъ въ дѣйствительности, со всѣми ихъ недостатками и слабостями.—Разобравши цѣлый рядъ повѣстей, мы не встрѣтили ни одного типа, который не былъ бы всецѣло взятъ изъ жизни, въ которомъ мы не видѣли бы обыкновенныхъ людей, ежедневно встрѣчающихся въ жизни. Въ то же время мы не нашли ни одного такого характера, который представлялъ бы искусственное воплощеніе различныхъ идеальныхъ качествъ, и о которомъ можно было бы сказать, что хорошо было бы встрѣтить въ жизни такого господина или такую госпожу, но что навѣрное никогда ихъ не встрѣтишь, потому что художникъ ихъ выдумалъ, а не взялъ изъ дѣйствительности. Далѣе затѣмъ мы видимъ, что, стоя на такой реальной почвѣ, гр. Л. Толстой обращаетъ вниманіе не на первое, что только бросается ему на глаза. Его поражаетъ постоянно одно изъ самыхъ характеристическихъ явленій нашего общества—именно крайняя искусственность, ходульность и призрачность жизни нашей интеллигентной среды. Это явленіе и составляетъ главное содержаніе большинства его произведеній. При этомъ мы должны замѣтить, что подобное содержаніе не искусственно придумывается и проводится писателемъ, а составляетъ вполнѣ естественный результатъ его изученія жизни и непроизвольно отражается во всѣхъ его твореніяхъ, отчего они и производятъ такое сильное, неотразимое впечатлѣніе. Впечатлѣніе это еще болѣе усиливается тѣмъ, что, сопоставляя интеллигентную среду съ иными слоями общества, гр. Л. Толстой въ такой же мѣрѣ чуждъ идеализаціи этихъ слоевъ, какъ чуждъ онъ идеализаціи интеллигентнаго слоя. Напротивъ того, мы видѣли, что по большей части онъ сопоставляетъ своихъ безхарактерныхъ героевъ съ самыми повидимому невзрачными представителями иныхъ слоевъ общества, но въ то-же время какъ-то невольно, можетъ быть безъ вѣдома самого автора, эти невзрачные люди, вродѣ комическаго нѣмца, гувернера Карла Ивановича (въ повѣсти «Дѣтство»), убогаго Чуриса, бездомнаго уличнаго пѣвца тирольца, воинственно-грубыхъ казаковъ и казачекъ,—оставляютъ въ васъ болѣе теплое и отрадное впечатлѣніе, чѣмъ всѣ эти Нехлюдовы, Делесовы и Оленины со своими идеальными стремленіями и нравственнымъ убожествомъ. Ваше сердце какъ-то невольно отдыхаетъ на этихъ людяхъ; можетъ быть потому, что въ нихъ, при всемъ отсутствіи внѣшняго лоска образованности и свѣтскости, вы встрѣчаете неизмѣримо болѣе той простой, непосредственной и тѣмъ болѣе высокой человѣчности, той цѣльности и невыставляющейся на показъ и на ходули силы, которыя вы тщетно будете искать въ элегантныхъ герояхъ съ ихъ принятыми напрокать гуманными идеями и мишурными доблестями.

То же самое вы встрѣчаете и въ прочихъ повѣстяхъ гр. Толстого, на которыхъ я не буду долго останавливаться, иначе статья моя вышла-бы безконечна. Такъ, въ повѣсти «Три смерти»—рядомъ съ величественной смертью дерева, срубленнаго дровосѣками, и не менѣе величественной смертью ямщика, поражающаго васъ тѣмъ непритворно-прозаическимъ спокойствіемъ, съ которымъ встрѣчаетъ онъ свой конецъ, Толстой представляетъ смерть молодой барыни, окруженной попеченіями родственниковъ и докторовъ и при самомъ послѣднемъ издыханіи незабывающей капризничать, попрекать въ своей смерти мужа и рисоваться своимъ положеніемъ.

Подобныя-же параллели вы встрѣтите на каждой страницѣ въ очеркахъ севастопольской и кавказской войны. Здѣсь также, рядомъ съ напускной аффектаціей мишурнаго героизма, подъ внѣшней оболочкой котораго скрывается часто самая не героическая трусость, рядомъ съ тщеславнымъ хвастовствомъ, съ какимъ мнимые герои разсказываютъ о своихъ небывалыхъ подвигахъ, искажая и преувеличивая дѣла, въ которыхъ они участвовали, васъ поражаетъ простое, непритворно-спокойное и въ то же время серьезное отношеніе къ своему дѣлу нижнихъ чиновъ. Не напрашиваясь на героизмъ и не помышляя о немъ, послѣдніе являются въ сущности передъ вами истинными героями: отъ нихъ зависитъ исходъ всякаго сраженія, они всегда находятся ближе къ смерти, ихъ болѣе падаетъ, и въ то же время они спокойнѣе самыхъ отчаянныхъ храбрецовъ встрѣчаютъ смерть, и вмѣстѣ съ тѣмъ имъ не приходитъ и въ голову хвастаться и тщеславиться своимъ мужествомъ.

Очерки севастопольской войны имѣютъ и другое важное достоинство; именно, что они представляютъ первое вполнѣ реальное отношеніе искусства къ военнымъ дѣйствіямъ.—Въ очеркахъ этихъ военныя дѣйствія впервые представляются во всей своей прозаичности, такъ, какъ они совершаются на самомъ дѣлѣ, разоблаченныя отъ того ореола бранныхъ ужасовъ и героическихъ аффектацій, въ какомъ эти дѣйствія представляются въ разсказахъ хвастливыхъ очевид-

цевъ и въ произведеніяхъ художниковъ романтическаго періода нашей литературы.—Чтобы понять, какой громадный шагъ сдѣлало въ этомъ отношеніи искусство, слѣдуетъ рядомъ съ очерками гр. Л. Толстого припомнить хотя бы описаніе Полтавской битвы Пушкина или «Бородино» Лермонтова. У гр. Толстого вы не найдете и слѣда такихъ ужасающихъ батальныхъ картинъ, чтобы рука бойцовъ колоть устала и ядрамъ пролетать мѣшала гора кровавыхъ тѣлъ. Читая очерки гр. Толстого или хотя бы описаніе того же Бородинскаго сраженія въ «Войнѣ и мирѣ», вы сразу чувствуете всю ходульность и риторичность вышеупомянутыхъ картинъ Пушкина и Лермонтова, которыя и теперь еще принимаются многими за чистую монету и во всѣхъ школахъ заучиваются и разбираются дѣтьми, какъ образцы истинно-художественнаго воспроизведенія сраженій.

Въ этомъ отношеніи гр. Толстой имѣлъ полное право сказать въ концѣ первыхъ своихъ очерковъ о севастопольской войнѣ:

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны...

«Герой-же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда.»

VI.

Въ судьбѣ гр. Л. Толстого есть много общаго съ судьбою Гоголя. Дѣятельность Гоголя, какъ всѣмъ извѣстно, имѣетъ два періода: въ первый періодъ онъ писалъ свои произведенія, не задаваясь никакими особенными замыслами: повинуясь своему непосредственному творчеству, онъ воспроизводилъ жизнь такъ, какъ она представлялась его художественному наблюденію, и, несмотря на такую повидимому безцѣльность творчества, каждое произведеніе его этого періода исполнено глубокаго и важнаго содержанія, что зависѣло ни отъ чего иного, какъ отъ громадной силы творческихъ способностей Гоголя, умѣвшаго быстро схватывать общія и существенныя явленія жизни. Въ концѣ этого періода онъ началъ писать «Мертвыя Души», имѣя первоначально въ виду опять-таки ничего болѣе, какъ нѣсколько картинъ изъ нравовъ русскаго захолустья.—Но вотъ наступилъ для Гоголя періодъ мистицизма; сообразно новому психическому настроенію, Гоголю недостаточно уже показалось прежняго непосредственнаго творчества.

Онъ началъ стремиться къ тому, чтобы каждый его шагъ въ жизни былъ исполненъ высшихъ цѣлей, стремился къ осуществленію тѣхъ мистическихъ идеаловъ, которые онъ себѣ поставилъ; сообразно этому онъ сталъ задавать себѣ вопросы: къ чему я пишу? какая цѣль всего этого осмѣянія пошлости? Вся его литературная дѣятельность показалась ему безцѣльной, и онъ началъ ее искусственно направлять къ своимъ идеаламъ.—Мы знаемъ, какъ это отразилось на «Мертвыхъ Душахъ». Въ первой части «Мертвыхъ Душъ» мы видимъ того же Гоголя, какой извѣстенъ намъ по «Миргороду», «Арабескамъ», «Ревизору», но чѣмъ далѣе подвигаемся мы въ чтеніи второй части, тѣмъ болѣе Гоголь-художникъ превращается передъ нами въ Гоголя-мистика: являются божественные помѣщики и божественные откупщики, очевидно взятые не изъ жизни, а отвлеченно задуманные въ высшихъ соображеніяхъ; начинаются мистическія разсужденія и, надо полагать, что еслибы Гоголю удалось кончить «Мертвыя Души«, въ третьей части не было бы уже и слѣда чего либо художественнаго, какихъ либо характеровъ, сценъ, а былъ бы рядъ поученій въ духѣ «Переписки съ друзьями».

Совершенно то же самое представляетъ гр. Л. Толстой въ своей литературной дѣятельности.—Всѣ произведенія его до «Войны и мира» являются передъ нами плодомъ непосредственнаго творчества и соотвѣтствуютъ вполнѣ первому періоду литературной дѣятельности Гоголя. Богатство ихъ содержанія въ свою очередь зависитъ отъ массы художественныхъ наблюденій гр. Толстого и силы его творческихъ способностей, при помощи которыхъ онъ усвоилъ эти наблюденія и вывелъ изъ нихъ нѣсколько существенныхъ обобщеній жизни.

Далѣе слѣдуетъ произведеніе гр. Толстого «Война и миръ», которое по обширности замысла играетъ такую же роль относительно предыдущихъ произведеній гр. Толстого, какую играютъ «Мертвыя Души» въ ряду прочихъ произведеній Гоголя. Отъ мелкихъ очерковъ, частныхъ эпизодовъ жизни гр. Толстой приступаетъ къ обширной эпопеѣ, имѣющей цѣлью представить цѣлую историческую эпоху во всемъ разнообразіи ея жизни.

И опять-таки подобно Гоголю, гр. Толстой въ первой половинѣ своего произведенія (въ первыхъ 3-хъ томахъ) является передъ нами тѣмъ же гр. Толстымъ, какимъ мы его знали прежде.—Повидимому онъ не имѣетъ въ виду ничего иного, какъ только представить галлерею картинъ изъ жизни великосвѣтскаго общества начала нынѣшняго столѣтія.—Съ этой стороны романъ не только представляется безукоризненнымъ, но его можно поистинѣ назвать явленіемъ, небывалымъ еще въ нашей литературѣ, однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ ея. Въ самомъ дѣлѣ, въ литературѣ нашей вы найдете множество романовъ, повѣстей, драмъ и комедій и даже поэмъ изъ великосвѣтской жизни,—но вы не найдете такого полнаго, обстоятельнаго, рельефнаго изображенія этой жизни, какое представляется вамъ въ «Войнѣ и мирѣ». Здѣсь вы видите рядъ существенныхъ типовъ великосвѣтской среды, исчерпывающихъ все ея содержаніе. Такіе характеры, какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Билибинъ и пр., и пр.,—представляютъ поистинѣ типы, нисколько не менѣе существенные, чѣмъ безсмертные типы «Мертвыхъ Душъ», и могутъ служить для той среды, представителями которой являются они, такими же родовыми названіями, кличками, какъ Чичиковъ, Маниловъ, Ноздревъ, Плюшкинъ и проч. Типы эти изслѣдованы во всѣхъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ. Всѣ ихъ можно подраздѣлить на четыре разряда. Одни изъ нихъ, каковы Курагины, Долоховъ, представляютъ послѣднюю степень

нравственнаго растлѣнія, доходящую до отсутствія въ нихъ всего человѣческаго не только по отношенію къ людямъ иныхъ слоевъ общества, но и къ стоящимъ на одной съ ними высотѣ. Это римляне послѣдняго періода имперіи,—люди, приближаться къ которымъ положительно опасно, потому что въ случаѣ надобности они не только готовы унизить ваше человѣческое достоинство, лишить васъ чести, пустить васъ по міру въ одной рубашкѣ, но даже и отправить васъ на тотъ свѣтъ. При этомъ нужно замѣтить, что самые страшные изъ этихъ плотоядныхъ звѣрей суть такіе, которые при всѣхъ своихъ чудовищныхъ свойствахъ сохраняютъ извѣстную долю сдержанности, такта, изворотливости,—которые постоянно себѣ на умѣ и умѣютъ надѣвать на себя личины различныхъ добродѣтелей. Таковъ напримѣръ князь Курагинъ; не менѣе ужасенъ и Долоховъ съ своей отчаянной дерзостью, стальными нервами и обаяніемъ недюжинныхъ силъ, сидѣвшихъ въ этомъ человѣкѣ. Въ лицѣ Долохова гр. Толстой окончательно развѣнчиваетъ и ставитъ на свое мѣсто тотъ демоническій типъ, который въ 30-е и 40-е годы былъ столь любезенъ нашей художественной литературѣ, что она и до сихъ поръ не можетъ вспомнить о немъ безъ нѣкотораго томнаго вздоха. Долоховъ—это почти тотъ же Печоринъ,—но вмѣсто удивленія возбуждающій подъ правдивымъ перомъ гр. Толстого одно омерзеніе.—Большаго снисхожденія заслуживаютъ типы вродѣ Анатолія Курагина и сестры его, Елены Безухой,—въ томъ отношеніи, что животные инстинкты до такой уже степени заглушаютъ въ нихъ и разсудокъ, и волю, что по большей части герои эти сами дѣлаются жертвами своего разврата.

Ко второй категоріи принадлежатъ карьеристы вродѣ Бориса Дубецкаго, Берга выслуживающіе и наживающіеся. Вѣчно приглаженные и припомаженные, умѣренные въ своихъ страстяхъ и привычкахъ, сдержанные и почтительные, они имѣютъ видъ порядочныхъ людей, но въ сущности въ нихъ не болѣе человѣчности, чѣмъ и въ людяхъ первой категоріи. Они не сдѣлаютъ вамъ безъ нужды зла,—и только; но не ждите отъ нихъ добра, помощи, участія: сухи и холодны они ко всему, въ чемъ не видятъ своего личнаго блага Ихъ дружба и любовь опредѣляются различными служебными видами, и какъ бы вы глубоко ни были привязаны къ одному изъ такихъ господъ,—если только можно быть къ нимъ привязаннымъ,—будьте увѣрены, что, выжавши изъ васъ весь нужный для нихъ сокъ, они васъ бросятъ, какъ тряпку, едва только потеряютъ въ васъ надобность. Такъ, Борисъ прекратилъ дружбу съ Ростовымъ, которымъ былъ облагодѣтельствованъ, какъ только всталъ на свои ноги. Въ своихъ служебныхъ и другихъ узкосвоекорыстныхъ разсчетахъ они не любятъ бывать въ обществѣ людей, не только стоящихъ ниже ихъ, но и равныхъ, а предпочитаютъ забираться въ высшія сферы, гдѣ, низкопоклонничая и услуживая, мало-по-малу втираются въ довѣріе, затѣмъ незамѣтно становятся на равную ногу и лѣзутъ еще выше.

Къ третьей категоріи относятся Ростовы. Это люди, у которыхъ вы найдете много человѣческаго: они способны безкорыстно любить и увлекаться, способны подчасъ на какой-нибудь высокій порывъ подъ вліяніемъ минуты, но вмѣстѣ съ тѣмъ вы видите въ нихъ полное отсутствіе всякой цѣли въ жизни, какого-нибудь серьезнаго дѣла, малѣйшаго анализа жизни и людей. Это какія-то взрослыя дѣти съ безмятежными дѣтскими вѣрованіями и воззрѣніями на міръ, слѣпо отдающіяся настоящей минутѣ, вѣчно жаждущія широкаго и свѣтлаго веселья, счастія. Если жизнь иногда и угоститъ ихъ какою-нибудь горькой минутой, стоитъ погладить ихъ по головкѣ и поднесть имъ новую игрушку, и они мигомъ забываются, утѣшаются и опять довольны и веселы; если вдругъ подвернутся обстоятельства, которыя нарушаютъ неприкосновенность ихъ дѣтскихъ воззрѣній, они слѣпо гонятъ отъ себя прочь сомнѣнія и считаютъ какимъ то преступленіемъ допускать въ себѣ малѣйшую самостоятельность мысли. Такъ, когда имѣніе ихъ отъ слишкомъ широкой жизни разстраивается, они спѣшатъ выписать изъ полка сына своего Николушку, воображая, что онъ какимъ-то небеснымъ чудомъ выручитъ изъ бѣды. Николушка пріѣзжаетъ; ничего не понимая въ счетахъ и разсчетахъ по имѣнію, набрасывается на управляющаго Митеньку, осыпавъ его градомъ ругательствъ, сбрасываетъ его съ лѣстницы, и все семейство сразу успокоивается послѣ такой сцены, какъ будто отъ одного этого имѣніе должно поправиться, и затѣмъ снова начинается рядъ веселыхъ праздниковъ и охотъ. Такъ, впечатлительная Наташа, почитавшая своимъ долгомъ влюбляться въ каждаго встрѣчнаго новаго мужчину, вдругъ вздумала послѣ помолвки своей съ княземъ Андреемъ бѣжать съ Анатолемъ Курагинымъ. Послѣ скандала, какой вышелъ изъ этого, и отказа жениха, она впала въ отчаяніе, была близка къ смерти, но стоило Пьеру Безухову радушно улыбнуться ей и сказать нѣсколько словъ участія, и она снова расцвѣла, и всего прежняго какъ не бывало. Такъ, Николай Ростовъ послѣ тильзитскаго мира, несправедливости, которой подвергся другъ его Денисовъ, ужасающаго зрѣлища госпиталей, раненыхъ, вдругъ исполнился неожиданныхъ сомнѣній, готовыхъ поколебать весь его экстазъ, которымъ онъ проникался на различныхъ смотрахъ и парадахъ; но ударивъ злобно по столу кулакомъ, онъ вскричалъ товарищу, который выражалъ подобныя же сомнѣнія:

«— Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все!» И сомнѣній его какъ не бывало.

Къ четвертой категоріи относятся люди, развившіе въ себѣ высшія умственныя и нравственныя стремленія путемъ чтенія и размышленій. Они постоянно спрашиваютъ себя: зачѣмъ мы живемъ, ищутъ цѣли жизни, стараются анализировать и опредѣлять различныя явленія, окружающія ихъ, отношенія свои къ другимъ людямъ. Таковы князья Болконскіе—отецъ, дочь Марія и сынъ Андрей, Пьеръ Безухій. Но такъ какъ они продолжаютъ стоять въ тѣхъ же ненормальныхъ условіяхъ жизни, то цѣли, которыя они себѣ ставятъ, не выходятъ естественно изъ ихъ жизни и натуры, а искусственно придумываются, чтобы хоть чѣмъ нибудь наполнить пустоту жизни, и какъ такія цѣли ни прекрасны бываютъ въ теоріи,—осуществленныя, онѣ или обращаются въ ничто, или вмѣсто

добра приносятъ неожиданное зло тѣмъ людямъ, къ которымъ относятся. Однимъ словомъ, здѣсь мы встрѣчаемся съ той-же нехлюдовщиной.

Такъ, старикъ Болконскій, отставной генералъ-аншефъ екатерининскихъ временъ, жившій безвыѣздно въ деревнѣ, твердившій, что есть только два источника людскихъ пороковъ: праздность и суевѣріе, и вслѣдствіе этого убѣжденія наполнявшій свою жизнь никому не нужной дѣятельностью вродѣ точенія на токарномъ станкѣ, перестроекъ по имѣніямъ и выкладокъ изъ высшей математики, державшій весь домъ подъ гнетомъ суроваго деспотизма,—воображалъ, что существенная цѣль, оставшаяся ему въ жизни, — воспитаніе дочери Маріи. Но все это воспитаніе заключалось въ томъ, что онъ до двадцати лѣтъ давалъ ей уроки алгебры и геометріи, глумился надъ ея некрасивостью и распредѣлялъ всю ея жизнь въ безпрерывныхъ занятіяхъ. Молодая дѣвушка до такой степени была подавлена его деспотизмомъ, что, входя въ кабинетъ отца, молилась предварительно, чтобы свиданіе сошло благополучно. Подъ вліяніемъ такого страха, молодая дѣвушка очевидно не могла ничего понимать изъ геометрическихъ толкованій отца, что каждый разъ окончательно выводило изъ себя старика, и происходили бурныя сцены. Подъ вліяніемъ такого деспотизма Марія кинулась въ крайній мистицизмъ, читала мистическія книги, окружала себя странниками и калѣками, мечтала сама сдѣлаться странницей, и воображала, что главная цѣль ея жизни—самоотверженіе ради отца. Обезличенье ея при этомъ доходило до такой степени, что она, столь терпѣвшая отъ отца, приходила въ ужасъ, когда братъ ея, князь Андрей, относился въ ея глазахъ къ отцу критически. Вмѣстѣ съ тѣмъ, живя постоянно въ отвлеченномъ мірѣ духовныхъ созерцаній, перемѣшанныхъ съ сухими алгебраическими выкладками,— она не имѣла ни малѣйшаго понятія ни о людяхъ, ни о жизни, до крайней и самой комической наивности. Такъ, когда князь Курагинъ пріѣхалъ къ нимъ сватать сына, она тотчасъ-же плѣнилась молодымъ человѣкомъ. Онъ ей показался добръ, храбръ, рѣшителенъ, мужественъ и великодушенъ. Потомъ она застала весьма скандалезную сцену между Анатолемъ и гувернанткою-француженкою, M-lle Bourienne; но и тутъ она не разочаровалась въ своемъ женихѣ; она поняла въ своей наивности сцену эту такъ, что Анатоль и M-lle Bourienne влюбились другъ въ друга; въ то-же время разсудила, что она не должна мѣшать ихъ счастію, такъ какъ цѣль ея жизни—самоотверженіе, и отказала жениху на этомъ основаніи. Но еще комичнѣе представляется сцена ея съ возмутившимися крестьянами при нашествіи французовъ. — Возбужденные ложными слухами, крестьяне ожидали отъ французовъ воли, и не только не хотѣли сами переселяться при ихъ нашествіи, но не соглашались отпустить и барышню, которая осталась въ имѣніи одна послѣ смерти отца. Между тѣмъ Марія поняла ихъ волненіе такимъ образомъ, что они боятся, что она уѣдетъ и оставитъ ихъ въ жертву французамъ, и она обратялась къ собравшимся крестьянамъ съ такою рѣчью:

«— Я очень рада, что вы пришли, начала княжна Марія, не поднимая глазъ и чувствуя, какъ быстро и сильно билось ея сердце. — Мнѣ Дронушка сказалъ, что васъ разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалѣю, чтобы помочь вамъ. Я сама ѣду, потому что опасно здѣсь... и непріятель близко... потому что... Я вамъ отдаю все, мои друзья, и прошу васъ взять все, весь хлѣбъ нашъ, чтобы у васъ не было нужды. А если вамъ сказали, что я отдаю вамъ хлѣбъ съ тѣмъ, чтобы вы остались здѣсь, то это неправда. Я, напротивъ, прошу васъ уѣзжать со всѣмъ вашимъ имуществомъ въ нашу подмосковную, и тамъ я беру на себя и обѣщаю вамъ, что вы не будете нуждаться. Вамъ дадутъ и домы, и хлѣба.—Княжна остановилась. Въ толпѣ только слышались вздохи.

— Я не отъ себя дѣлаю это, продолжала княжна,— я это дѣлаю именемъ покойнаго отца, который былъ вамъ хорошимъ бариномъ, и за брата, и за его сына.

— Вишь, научила ловко, за ней въ крѣпость поди! Дома разори, да въ кабалу и ступай. Какъ же? Я хлѣбъ, молъ, отдамъ! слышались голоса въ толпѣ. Княжна Марья, опустивъ голову, вышла изъ круга и пошла въ домъ.

«Долго эту ночь, читаемъ мы далѣе, княжна Марья сидѣла у открытаго окна въ своей комнатѣ, прислушиваясь къ звукамъ говора мужиковъ, доносившагося съ деревни, но она не думала о нихъ. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о нихъ, она не могла бы понять ихъ...»

Становится просто жалко и страшно за человѣка при видѣ такого крайняго идіотизма, до котораго была доведена дѣвушка, сама по себѣ неглупая и съ различными идеальными стремленіями.

Что касается до брата ея, князя Андрея, то на первый взглядъ онъ вамъ можетъ показаться человѣкомъ съ глубокимъ умомъ, твердымъ и энергичнымъ характеромъ, солиднымъ, практическимъ, но, вглядѣвшись пристальнѣе въ различныя пертурбаціи его жизни, вы открываете въ немъ тѣ же знакомыя вамъ черты Нехлюдова. Женившись, Богъ вѣсть какъ, на пустомъ и кокетливомъ свѣтскомъ ребенкѣ, онъ скучаетъ женою, скучаетъ свѣтской жизнью. «Свяжи, говоритъ онъ, себя съ женщиной и, какъ скованный колодникъ, теряешь всякую свободу. И все, что есть въ тебѣ надеждъ и силъ, все только тяготитъ и раскаяніемъ мучаетъ тебя. Гостиныя сплетни, балы, тщеславіе, ничтожество,—вотъ заколдованный кругъ, изъ котораго я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь...»

Однакожъ онъ отправился-таки на войну, и здѣсь мы встрѣчаемся съ поразительной двойственностью логики въ подобныхъ людяхъ: съ одной стороны вы видите въ немъ сознаніе, что онъ ничего не знаетъ и никуда не годится, но это сознаніе не мѣшаетъ ему мечтать, что онъ совершитъ одинъ или нѣсколько такихъ подвиговъ, что сдѣлается спасителемъ отечества, и слава его вознесется наравнѣ съ Наполеономъ. Эти мечты особенно обуяли его, когда онъ узналъ о переходѣ французовъ чрезъ Таборскій мостъ и объ опасности, въ которую была этимъ переходомъ поставлена русская армія. «Извѣстіе это, читаемъ мы въ романѣ, было горестно и вмѣстѣ съ тѣмъ пріятно князю Андрею. Какъ только онъ узналъ, что русская армія находится въ такомъ безнадежномъ положеніи, ему пришло въ голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ— тотъ Тулонъ, который выведетъ его изъ рядовъ неиз-

вѣстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славѣ! Слушая Билибина, онъ соображалъ уже, какъ, пріѣхавъ къ арміи, онъ на военномъ совѣтѣ подастъ мнѣніе, которое одно спасетъ армію, и какъ ему одному будетъ поручено исполненіе этого плана».

Не правда-ли, какъ напоминаютъ подобныя мечты весь сонмъ Нехлюдовыхъ?

Мы уже говорили выше, что сразу безъ труда, безъ борьбы сдѣлаться историческимъ героемъ, благодѣтелемъ и спасителемъ человѣческаго рода—объ этомъ только и мечтаютъ Нехлюдовы, въ этомъ только и полагаютъ они всю цѣль жизни; всѣ другія, болѣе скромныя цѣли кажутся имъ жалкимъ удѣломъ толпы, недостойными ихъ милости.

Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ однимъ изъ тѣхъ сопоставленій, которыя составляютъ отличительную черту таланта гр. Толстого и такъ рѣзко оттѣняютъ несостоятельность его героевъ. Между тѣмъ какъ князь Андрей все ждалъ минуты, когда онъ со знаменемъ въ рукахъ спасетъ все россійское войско, онъ встрѣтилъ наканунѣ передъ дѣломъ при Шенграбенѣ въ палаткѣ маркитанта маленькаго, грязнаго, худого артиллерійскаго офицера Тушина, который былъ безъ сапогъ, отдавши ихъ сушить маркитанту. Въ немъ не было и тѣни чего нибудь героическаго, и вѣроятно ему и въ голову не приходило спасать Россію. Робкій и застѣнчивый передъ начальствомъ, онъ представлялъ въ своей фигурѣ что-то особенное, совершенно не военное, нѣсколько комическое, но чрезвычайно привлекательное. И каково-же было удивленіе князя Андрея, когда на другой день, между тѣмъ какъ онъ безъ пользы слонялся по полю сраженія, этотъ невзрачный офицерикъ оказался истиннымъ героемъ, и тѣмъ болѣе поразительнымъ, что геройство это было совершенно безсознательное. Будучи начальникомъ батареи, расположенной въ центрѣ, онъ одинъ съ небольшой ротой, безъ прикритія, держался съ четырьмя пушками до самаго конца дѣла, отразилъ картечью двѣ атаки и зажегъ деревню Шенграбенъ, между тѣмъ какъ непріятель выставилъ противъ этой назойливой батареи десять пушекъ, полагая, что тутъ сосредоточены главныя наши силы, и никакъ не воображая дерзости стрѣльбы четырехъ никѣмъ не защищенныхъ пушекъ. Поразительнѣе всего при этомъ было то, что Тушинъ и не замѣчалъ своего отчаяннаго геройства. Онъ былъ на батареѣ, какъ дома, покуривалъ свою коротенькую трубочку, дружески разговаривалъ со своими пушками, называя ихъ различными прозвищами, иногда поморщивался, когда возлѣ него падалъ какой-нибудь солдатикъ, и только тогда окончилъ свое дѣло, когда получилъ черезъ Болконскаго приказаніе отступать. И, какъ часто встрѣчается съ истинными героями, вмѣсто удивленія и награды онъ получилъ выговоръ отъ главнокомандующаго, зачѣмъ при отступленіи не успѣлъ захватить съ собою всѣхъ пушекъ.

«Въ то время на порогѣ показался Тушинъ, читаемъ мы въ романѣ: робко пробиравшійся изъ-за спинъ генераловъ. Обходя генераловъ въ тѣсной избѣ, сконфуженный, какъ и всегда, при видѣ начальства, Тушинъ не разсмотрѣлъ древка знамени и споткнулся на него. Нѣсколько голосовъ засмѣялось.

— Какимъ образомъ орудіе оставлено? спросилъ Багратіонъ, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смѣявшихся, въ числѣ которыхъ громче всѣхъ былъ Жерковъ. Тушину теперь только, при видѣ грознаго начальства, во всемъ ужасѣ представилась его вина и позоръ въ томъ, что онъ, оставшись живъ, потерялъ два орудія. Онъ такъ былъ взволнованъ, что до сей минуты не успѣлъ подумать объ этомъ. Смѣхъ офицеровъ еще больше сбилъ его съ толку. Онъ стоялъ передъ Багратіономъ съ дрожащей нижней челюстью и едва проговорилъ: «Не знаю... ваше сіятельство... людей не было, ваше сіятельство».

— Вы бы могли изъ прикрытія взять!

Что прикрытія не было, этого не сказалъ Тушинъ, хотя это была сущая правда. Онъ боялся *подвести* этимъ другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрѣлъ прямо въ глаза Багратіону, какъ смотритъ сбившійся ученикъ въ глаза экзаменатору.

Молчаніе было довольно продолжительно. Князь Багратіонъ, видимо, не желая быть строгимъ, не находилъ что сказать, остальные не смѣли вмѣшаться въ разговоръ. Князь Андрей изъ подлобья смотрѣлъ на Тушина, а пальцы его рукъ нервически двигались.

— Ваше сіятельство, прервалъ князь Андрей молчаніе своимъ рѣзкимъ голосомъ:—вы меня изволили послать къ батареѣ капитана Тушина. Я былъ тамъ и нашелъ двѣ трети людей и лошадей перебитыми, два орудія исковерканными и прикрытія никакого.

Князь Багратіонъ и Тушинъ одинаково упорно смотрѣли теперь на сдержанно и взволнованно говорившаго Болконскаго.

— И ежели, ваше сіятельство, позволите мнѣ высказать свое мнѣніе, продолжалъ онъ: то успѣхомъ дня мы обязаны болѣе всего дѣйствію этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина съ его ротой, сказалъ князь Андрей и, не ожидая отвѣта, тотчасъ же всталъ и отошелъ отъ стола.

Князь Багратіонъ посмотрѣлъ на Тушина и, видимо не желая выказать недовѣрія къ рѣзкому сужденію Болконскаго и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя себя не въ состояніи вполнѣ вѣрить ему, наклонилъ голову и сказалъ Тушину, что онъ можетъ идти. Князь Андрей вышелъ за нимъ.

— Вотъ спасибо, выручилъ, голубчикъ, сказалъ ему Тушинъ. Князь Андрей оглянулъ Тушина и, ничего не сказавъ, отошелъ отъ него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это было такъ странно, такъ не похоже на то, чего онъ надѣялся.»

Я не знаю, нужно-ли входить въ дальнѣйшія разъясненія всей глубины и мѣткости подобнаго сопоставленія мишурнаго, кичливаго стремленія къ геройству, изъ котораго никогда ничего не выходитъ, какъ изъ лопнувшаго мыльнаго пузыря, рядомъ съ истиннымъ геройствомъ, которое сплошь и рядомъ всплываетъ неожиданно въ жизни въ какомъ-нибудь маленькомъ, незамѣтномъ, смѣшномъ человѣчкѣ, и сіяетъ кроткой, гуманной простотой, соединяясь иногда съ наивной робостью и застѣнчивостью передъ ложнымъ блескомъ различныхъ надутыхъ и пустыхъ величій. Вышеприведенная сцена говоритъ сама по себѣ ясно и вразумительно: ничтожному изъ малыхъ сихъ ничего не стоитъ затмить тебя, высокопарный герой высшаго полета. Выведеніе на сцену Тушина рядомъ съ Болконскимъ принадлежитъ, по моему мнѣнію, къ числу самыхъ свѣтлыхъ, можно сказать великихъ проблесковъ таланта гр. Толстого.

Послѣ того какъ Болконскому не удалось спасти отъ гибели русскую армію, раненый, онъ вышелъ въ отставку и захандрилъ. Отъ скуки онъ занялся раз-

личными либеральными идеями, бродившими въ то время въ обществѣ. Такъ, занявшись устройствомъ имѣній, онъ перечислилъ 300 душъ крестьянъ въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другихъ барщину замѣнилъ оброкомъ. Это было поистинѣ единственное доброе дѣло, которое онъ сдѣлалъ впродолженіи всей своей жизни. Но вы подумаете можетъ быть, что онъ это сдѣлалъ, проникнутый тою гуманною, христіанскою, теплою любовью къ низшимъ міра сего, которая одна могла бы смирить его гордыню, смягчить его черствое сердце, утолить его праздную тоску и наполнить пустоту его жизни?.. Нѣтъ, видно, то безпредѣльное небо, которое созерцалъ онъ съ такимъ умиленіемъ раненый при Аустерлицѣ,— внушало ему болѣе любви къ самому себѣ, чѣмъ къ ближнимъ. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что послѣ всѣхъ своихъ возвышенныхъ мыслей онъ не сдѣлался хоть на столько человѣчнѣе, чтобы постыдиться произносить подобныя циническія рѣчи:

— Ну, вотъ ты хочешь освободить крестьянъ, говорилъ онъ Пьеру:—это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засѣкалъ и не посылалъ въ Сибирь), и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ заживутъ, и онъ такъ-же счастливъ, какъ и былъ прежде. А нужно это для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо. Вотъ кого мнѣ жалко и для кого бы я желалъ освободить крестьянъ. Ты можетъ быть не видалъ, а я видѣлъ, какъ хорошіе люди, воспитанные въ этихъ преданіяхъ неограниченной власти, съ годами, когда они дѣлаются раздражительнѣе, дѣлаются жестоки, грубы, знаютъ это, не могутъ удержаться и все дѣлаются несчастнѣе и несчастнѣе. Князь Андрей говорилъ это съ такимъ увлеченіемъ, что Пьеръ невольно подумалъ о томъ, что мысли эти наведены были Андрею его отцомъ. Онъ ничего не отвѣчалъ ему.

— Такъ вотъ кого мнѣ жалко – человѣческаго достоинства, спокойствія совѣсти, чистоты, а не ихъ спинъ и лбовъ, которыя, сколько ни сѣки, сколько ни брей, все остаются такими же спинами и лбами.»

Подумаешь, до какого отсутствія всякой здравой логики можетъ довести человѣка безчеловѣчіе узкаго сословнаго эгоизма. Андрей не въ силахъ оказывается понять той простой истины, что грубость, жестокость потому только и могутъ считаться пороками, ведущими за собой угрызенія совѣсти, что онѣ причиняютъ страданія тѣмъ людямъ, на которыхъ обрушиваются. Если же князь Андрей полагалъ, что, сколько ни сѣки спинъ, ни брей лбовъ, они все останутся такими же спинами и лбами, и что мужикамъ нисколько не хуже, если ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь,— то спрашивается, что же послѣ этого находилъ онъ худого въ грубости и жестокости людей своей среды? На какомъ иномъ основаніи мы не раскаиваемся въ жестокости и не грубѣемъ, когда колемъ на щепы дерево или рвемъ на клочки бумагу, какъ не въ томъ убѣжденіи, что дерево и бумага не чувствуютъ при этомъ ни нравственной, ни физической боли?

Если во всякомъ случаѣ лучшій представитель своей среды является передъ нами въ такомъ печальномъ видѣ, то я не знаю, нужно ли послѣ того много распространяться о Пьерѣ Безухомъ, объ этой жалкой игрушкѣ въ рукахъ всѣхъ окружавшихъ его людей, у котораго вся жизнь представляетъ рядъ непредвидимыхъ случайностей, бросающихъ его, какъ куклу, то въ ту, то въ другую сторону, безъ малѣйшей упругости сопротивленія съ его стороны. Отвлеченный теоретикъ, увлекавшійся французской революціей и поклонявшійся Наполеону, онъ все ищетъ, какимъ бы заняться ему дѣломъ, и вдругъ неожиданно дѣлается первымъ богачемъ, наслѣдуя титулы и имѣнія графа Безухова; втягивается въ омутъ свѣтской жизни, опивается, объѣдается, женится на Еленѣ Курагиной, увлекшись бѣлизною ея плечъ, для того, чтобы разойтись съ нею при первой ей измѣнѣ и вызвать на дуэль перваго ея любовника. Столь-же неожиданно дѣлается потомъ изъ вольтеріанца масономъ, встрѣтясь во время пути на станціи съ старымъ масономъ временъ Екатерины, пишетъ мистическій дневникъ, разъѣзжаетъ по своимъ имѣніямъ съ цѣлью улучшить бытъ крестьянъ, заводитъ школы, больницы, аптеки и остается доволенъ своей дѣятельностью, особенно торжественными встрѣчами, какія устраиваютъ ему крестьяне по приказу управляющихъ, и не замѣчаетъ при этомъ, сколько новыхъ тягостей налагаютъ на крестьянъ эти управляющіе по причинѣ его благодѣтельныхъ распоряженій. Передъ войною 12-го года онъ, посредствомъ мистическихъ выкладокъ, преобразовавши при этомъ свою фамилію въ l'Russe Besuhof, опредѣлилъ что судьба его связана таинственной связью съ судьбою Наполеона, и исполнился великой радости, мечтая, что «его любовь къ Ростовой, антихристъ, нашествіе Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoleon и l'Russe Besuhof, все это вмѣстѣ должно было созрѣть, разразиться и вывести его изъ того заколдованнаго, ничтожнаго міра московскихъ привычекъ, въ которыхъ онъ чувствовалъ себя плѣненнымъ, и привести его къ великому подвигу и великому счастію». Въ такихъ мечтаніяхъ онъ полетѣлъ въ дѣйствующую армію, не опредѣляясь однакоже въ военную службу, безцѣльно толкался по батареямъ во время бородинскаго сраженія, остался въ Москвѣ во время вступленія въ нее французовъ. Тутъ созрѣла у него мысль убить Наполеона; онъ одѣлся въ мужицкое платье, купилъ пистолетъ и ножъ, но вмѣсто исполненія своего трагическаго замысла очень весело побесѣдовалъ о любви съ французскимъ капитаномъ за бутылкой бордо, и потомъ былъ захваченъ французами по подозрѣнію въ поджигательствѣ на пожарѣ, гдѣ онъ спасалъ изъ огня какого-то ребенка.

Однимъ словомъ, въ Пьерѣ Безухомъ является передъ нами Нехлюдовъ начала нынѣшняго столѣтія въ полномъ своемъ блескѣ, со всѣми своими характеристическими особенностями, въ такой неподкрашенной правдѣ, въ какой одинъ только гр. Толстой умѣетъ воспроизводить подобные типы.

VII

Тремя первыми частями исчерпывается, по нашему мнѣнію, романъ во всемъ, что только есть въ немъ лучшаго. Не отрицаю, что въ слѣдующихъ частяхъ есть въ немъ множество прекрасныхъ сценъ и кар-

тинъ, стоящихъ вполнѣ въ уровнѣ таланта гр. Толстого, но со второй половиной романа случилась исторія, во многомъ напоминающая собою исторію съ «Мертвыми Душами» Гоголя. Чѣмъ далѣе читаете вы романъ, тѣмъ болѣе и болѣе непосредственно правдивое художественное творчество автора смѣняется передъ вами странной неестественностью, надуманностью. Безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ смѣняется односторонними, пристрастными взглядами на нихъ съ точки зрѣнія мистическихъ теорій. Художественныя сцены и картины все болѣе и болѣе смѣняются длинными отвлеченными разсужденіями, причемъ гр. Толстой не замѣчаетъ, какъ одну и ту же канитель, растягивая на десяткахъ страницъ, онъ повторяетъ десятки разъ; наконецъ, послѣдняя часть шестого тома представляетъ изъ себя одни сплошныя разсужденія на различныя историко-философскія темы. Художникъ исчезаетъ здѣсь совершенно, уступая мѣсто мыслителю.

Такое странное и печальное явленіе можно объяснить себѣ только однимъ способомъ. До созданія «Войны и мира» гр. Толстой ограничивался одними наблюденіями конкретныхъ фактовъ жизни, дѣлая изъ нихъ тѣ художественныя обобщенія, которыя онъ и представилъ намъ въ своихъ произведеніяхъ. При этомъ міросозерцаніе его, основныя философскія убѣжданія оставались, такъ сказать, нетронутыми, въ той степени развитія, въ какой гр. Толстой оставилъ нѣкогда школьную скамью. Такъ напримѣръ, его историческіе взгляды не шли дальше учебниковъ, въ которыхъ всѣ историческіе факты объясняются доброю и злою волею стоящихъ впереди историческихъ дѣятелей и вожаковъ. Задумавши писать историческій романъ, изображающій жизнь цѣлой эпохи, и притомъ эпохи, сильной важными историческими событіями, гр. Толстой необходимо приступилъ къ изученію ея по различнымъ памятникамъ, мемуарамъ, біографіямъ и сочиненіямъ европейскихъ и русскихъ историковъ. Такое изученіе раздвинуло умственный горизонтъ гр. Толстого, открывши ему новыя области жизни и мысли, о которыхъ до того времени онъ имѣлъ самыя элементарныя, смутныя понятія. Въ головѣ его зароились новыя мысли и начался умственный процессъ, поглотившій всѣ его силы. Путемъ этого процесса гр. Толстой дошелъ до того, что снова открылъ Америку и изобрѣлъ порохъ и книгопечатаніе;—иначе сказать, онъ додумался до такихъ историко-философскихъ истинъ, которыя давно уже были открыты до него, но онъ ихъ снова открылъ для самого себя и вообразилъ при этомъ весьма естественно, и какъ это часто бываетъ, что истины эти должны быть новостью и для всего человѣчества. Такъ напримѣръ, для какого мало-мальски серьезно образованнаго человѣка можетъ быть въ настоящее время новостью, что историческое событіе зависитъ не отъ одной воли того или другого лица, а имѣетъ за собою тысячи различныхъ причинъ, совокупность которыхъ и производитъ это событіе? Эта истина давно уже сдѣлалась банальной въ области исторіи, и никто, держа ее въ головѣ и принимая въ соображеніе, не станетъ распространяться о ней, подобно тому, какъ не почтетъ нужнымъ писать трактатъ о томъ, что воздухъ состоитъ изъ кислорода и азота или что $2 \times 2 = 4$. Между тѣмъ человѣкъ, впервые додумавшійся до такой идеи, весьма естественно можетъ проникнуться ею до такого крайняго увлеченія, что будетъ чувствовать потребность проповѣдывать эту идею на всѣхъ перекресткахъ, развивая ее на тысячи ладовъ и подкрѣпляя всевозможными доводами изъ областей философіи, психологіи, исторіи и проч. Увлеченіе всякой новой идеей имѣетъ такой характеръ маніи до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не свыкается съ нею, и она не дѣлается заурядной идеей его.—Подобное увлеченіе новичка идеею исторической причинности мы видимъ въ гр. Толстомъ. Онъ забываетъ ради нея о своемъ романѣ и о его герояхъ. Мало того, что при каждомъ удобномъ случаѣ онъ возвращается къ ней и на тысячу ладовъ повторяетъ одно и то-же,—но, какъ я уже говорилъ, послѣднюю часть романа всецѣло посвящаетъ философскимъ разсужденіямъ все на ту-же тему, и все для того, чтобы убѣдить насъ, что походъ Наполеона въ Россію зависѣлъ не отъ одной его личной воли, честолюбивыхъ замысловъ, а отъ сцѣпленія цѣлаго ряда причинъ. Когда вы читаете всѣ подобныя разсужденія, вамъ становится съ одной стороны смѣшно за автора, съ такой наивной горячностью посвящающаго васъ въ свое давно открытое открытіе, съ другой стороны—неловко и стыдно за себя, какъ это и должно быть, если вашъ пріятель вдругъ заподозритъ васъ, что вы земной шаръ считаете плоскостью, и начнетъ съ жаромъ убѣждать васъ, что земля шарообразна.

Въ то-же время, какъ только гр. Толстой, какъ и каждый новичокъ идеи, опускается отъ своей излюбленной идеи къ фактамъ и пытается приложить ее къ нимъ, передъ вами обнаруживается вся неопытность его обращаться съ нею, все неумѣнье обсуждать историческіе факты на ея основаніи. Мы можемъ вѣрить въ разумную цѣлесообразность всей вселенной, но отнюдь не историческихъ событій, совершающихся на такомъ атомѣ, какъ нашъ земной шаръ. Съ одной стороны подъ совокупностью причинъ исторія разумѣетъ рядъ факторовъ естественныхъ, изъ которыхъ весьма многіе потому уже не могутъ вызывать событій ради какихъ-либо высшихъ цѣлей, что они лишены всякой сознательности. Съ другой стороны, самое понятіе объ отношеніи слѣдствія къ причинѣ не представляетъ ничего общаго съ понятіемъ объ отношеніи цѣли и намѣренія: слѣдствіе есть только явленіе, неизмѣнно вызывающееся другимъ явленіемъ, а отнюдь не цѣль своей причины. Далѣе затѣмъ разумная цѣлесообразность событій опровергается и тѣмъ, что въ исторіи мы видимъ на каждомъ шагу такую-же слѣпую инерцію движеній, какъ и въ физическихъ явленіяхъ. Совершается какой-нибудь историческій толчокъ, возбуждающій извѣстное движеніе народовъ, и движеніе это долго идетъ по своему направленію, послѣ того какъ всякій смыслъ его давно уже потерянъ. Такъ между двумя народами иногда возбуждается ненависть вслѣдствіе какихъ-либо основательныхъ причинъ, но ненависть эта долго переживаетъ эти причины и въ свою очередь возбуждаетъ рядъ событій, зависящихъ уже отъ нея самой. Наполеоновскія войны носили именно этотъ характеръ слѣпой и неосмысленной инерціи. Когда европейскія государства составили реакціонную

коалицію для подавленія революціи, тогда борьба Франціи съ этой коалиціей имѣла свое разумное основаніе: это была борьба двухъ противоположныхъ началъ. Но мало-по-малу, когда революція во Франціи была подавлена тѣмъ самымъ орудіемъ, которымъ она защищалась противъ враговъ, то-есть войскомъ, смыслъ борьбы Франціи съ европейской коалиціей былъ потерянъ, между тѣмъ разъ возбужденное движеніе продолжалось все по одному направленію по слѣпой инерціи. Французы поклонялись Наполеону и шли за нимъ, попрежнему возбуждаемые революціонными энтузіазмомъ и мечтая, что цѣль наполеоновскихъ войнъ—вводить во всѣ страны Европы новыя начала. Европейскія государства въ свою очередь въ Наполеонѣ видѣли исчадіе революціи и боролись съ нимъ во имя охранительныхъ началъ. Самъ Наполеонъ вѣрилъ въ революціонное значеніе своихъ войнъ, вслѣдствіе чего вводилъ въ завоеванныя имъ страны свои кодексы и конституціи. И до такой степени была сильна инерція въ этомъ отношеніи, что идея о революціонномъ значеніи семейства Наполеона продолжала существовать до нашего времени, до Седана. Къ ней пріурочивали и крымскую войну, и освобожденіе Италіи. Не будь Седана, окажись Наполеонъ III побѣдителемъ въ войнѣ съ Пруссіей, очень можетъ быть, что и въ настоящее время весьма многіе видѣли бы въ этой побѣдѣ торжество революціоннаго Наполеона надъ прусскимъ феодализмомъ.

Но совершенно иначе объясняетъ гр. Толстой значеніе наполеоновскихъ войнъ. Для него не существуетъ въ исторіи ошибокъ, вѣковыхъ заблужденій, народныхъ сумасшествій, неосмысленныхъ движеній, не ведущихъ часто за собою ничего, кромѣ всеобщаго вреда, новознаградимыхъ потерь и гибели. Доказывая на десяткахъ страницъ идею исторической причинности, онъ въ то же время ратуетъ за разумную цѣлесообразность событій. По его мнѣнію, всѣ причины, которыми историки объясняютъ наполеоновскія войны, суть причины мелкія, второстепенныя, не исключая даже и французской революціи. Все это даже не причины, а просто слѣдующія другъ за другомъ событія, изъ которыхъ мы совершенно произвольно и безосновательно предыдущее считаемъ причиной послѣдующаго. Настоящія же причины недоступны для нашего ума. Онѣ стоятъ гдѣ-то за кулисами исторической сцены, въ видѣ какого-то таинственнаго предопредѣленія, которое движетъ народами по своему благоусмотрѣнію и сталкиваетъ ихъ сообразно своимъ замысламъ. Такъ и въ настоящемъ случаѣ причина наполеоновскихъ войнъ заключается не въ революціи, не въ европейской коалиціи, не въ честолюбіи Наполеона. Ничуть ни бывало: по неисповѣдимымъ историческимъ причинамъ, по недоступнымъ человѣческому уму предусмотрѣніямъ положено гдѣ-то, чтобы европейскіе народы двигались въ началѣ нынѣшняго столѣтія сначала съ запада на востокъ, потомъ съ востока на западъ,— они и давай двигаться, такъ что даже самая французская революція произошла не почему-нибудь другому, какъ потому, чтобы послужить сигналомъ этого движенія: надо же было съ чего-нибудь начать двигаться. Вотъ какъ курьезно понимаетъ гр. Толстой идею исторической причинности. Вы думаете, что безсиліе генія совершить что либо по своему личному произволу, вопреки законамъ исторической жизни и народнымъ стремленіямъ, оправдалось по отношенію къ Наполеону въ томъ простомъ и очевидномъ фактѣ, что всѣ его завоеванія рушились прахомъ, основать общеевропейскую имперію ему не удалось, народы снова сложились въ тѣ-же группы, въ которыхъ существовали прежде, и даже многія безспорно полезныя преобразованія, которыя сдѣлалъ Наполеонъ въ завоеванныхъ имъ государствахъ, были отвергнуты, какъ навязанныя силою извнѣ. Нѣтъ, отсутствіе личной свободы со стороны Наполеона заключалось въ томъ, что все, что онъ ни замышлялъ онъ, казалось бы, повидимому совершенно произвольно по своей иниціативѣ и въ личныхъ видахъ, все это клонилось къ тому, чтобы совершилась предусмотрѣнная прогулка народовъ съ запада на востокъ и обратно. Такимъ же самымъ образомъ и русскіе отступали паредъ Наполеономъ вовсе не потому, что военныя силы ихъ были значительно слабѣе наполеоновскихъ и полководцы робѣли въ виду военнаго генія Наполеона, а опять-таки вслѣдствіе того же высшаго предусмотрѣнія: надо было, чтобы прогулка съ запада на востокъ дошла до своего надлежащаго пункта, Москвы, а потомъ, само собою, должно было начаться обратное шествіе. Неужели гр. Толстой, который рядомъ съ подобными курьезами высказываетъ столько свѣтлыхъ и реальныхъ взглядовъ на частности той же самой войны, не понимаетъ, какой дикій, чисто-восточный фатализмъ проповѣдуетъ онъ въ то же время? Замѣтьте при этомъ, что онъ считаетъ отжившимъ взглядъ древнихъ на историческія событія, основывающійся на произвольномъ управленіи народами и царями воли божествъ. А самъ между тѣмъ проводитъ тотъ же самый взглядъ, замѣняя только личную волю человѣкообразныхъ божествъ древняго міра предопредѣленіями какихъ то таинственныхъ, безусловныхъ силъ, безличныхъ и между тѣмъ сознательныхъ и разумныхъ. «На вопросъ о томъ, что составляетъ причину историческихъ событій, говоритъ онъ, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ міровыхъ событій предопредѣленъ свыше, зависитъ отъ совпаденія всѣхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ, и что вліяніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событій есть только внѣшнее, фиктивное».

Становится просто непонятно, какъ можетъ столь дико заблуждаться столь свѣтлый умъ, который во многихъ мѣстахъ романа такъ мѣтко судитъ объ отношеніи историческихъ личностей къ массамъ и высказываетъ неоднократно мысли, вполнѣ основательныя. Такова напримѣръ мысль, что историческія событія совершаются всегда, даже въ самыхъ деспотическихъ государствахъ, не государственными людьми, а массами, отъ духа которыхъ, энергіи, готовности исполнить то или другое приказаніе зависитъ не только успѣхъ предпріятія, но и слава генія: полководецъ идетъ во главѣ арміи недеморализованной, энергической, исполненной по той или другой причинѣ жажды борьбы и побѣдъ—онъ побѣждаетъ, то-есть побѣждаетъ армія, и побѣда зависитъ отъ совокупныхъ дѣйствій всѣхъ солдатъ, но приписывается она полководцу, и онъ попадаетъ въ геніи. Въ противномъ случаѣ,

историки не замедлятъ открыть вамъ бездну ошибокъ, зависящихъ конечно отъ неспособности полководца — и не обращаютъ при этомъ вниманія на то обстоятельство, что въ разгарѣ сраженія половина приказаній полководца остается неисполненными за невозможностью, часто просто потому, что адъютантъ, несущій приказаніе, падаетъ убитый и раненый на дорогѣ; въ то же время дѣлается войсками множество удачныхъ и неудачныхъ движеній, помимо всякихъ приказаній начальства. Все это совершенно справедливо,—и, развивая далѣе подобныя свѣтлыя мысли гр. Толстого, мы можемъ замѣтить, что и во внутренней жизни народа наблюдается та же зависимость историческихъ дѣятелей отъ духа и настроенія массъ. Въ геніи попадаетъ обыкновенно не тотъ, который измышляетъ изъ своей головы что либо непредвидѣнное, а кто уловляетъ духъ времени, настроеніе массъ, ихъ потребность или готовность принять рядъ полезныхъ реформъ. Отъ всего этого прямо зависитъ успѣшность самыхъ реформъ, такъ какъ онѣ исполняются конечно не лично геніальнымъ преобразователемъ, онъ только ихъ предлагаетъ, утверждаетъ, а масса приводитъ ихъ въ исполненіе и конечно можетъ, если не активнымъ сопротивленіемъ, то пассивнымъ бездѣйствіемъ, непониманіемъ наконецъ, парализовать всѣ его дѣйствія. Все это несомнѣнно; только все-таки остается непонятнымъ, зачѣмъ же для объясненія различныхъ настроеній массъ, не довольствуясь реальными и опредѣленными причинами, необходимо гр. Толстому прибѣгать къ какимъ то сверхъестественнымъ и таинственнымъ? Что за причина такого страннаго заблужденія ума, такъ неожиданно повернувшаго къ мистицизму?

Не желая слѣдовать примѣру г. Толстого и считать подобное заблужденіе слѣдствіемъ таинственныхъ и неразгаданныхъ причинъ, мы постараемся объяснить его причинами очевидными и надѣемся, что объясненіе наше покажется читателямъ небезосновательнымъ. Дѣло въ томъ, что умственный процессъ, возбудившійся въ гр. Толстомъ изученіемъ событій начала нынѣшняго столѣтія, принялъ не обыкновенное, естественное теченіе, а осложнился особенными, посторонними вліяніями искусственныхъ теорій весьма сомнительнаго свойства. Здѣсь встрѣтились два противоположныхъ теченія: одно теченіе чистое и прозрачное, какъ хрусталь,—это теченіе самостоятельной дѣятельности ума гр. Толстого, который перенесъ свой индуктивный методъ отъ изученія окружающей его жизни къ изученію жизни прошлой и приложилъ къ послѣдней тѣ же обобщенія, найдя въ ней факты иными только по своей внѣшности, но подобными по сущности: ту же искусственность, ходульность, нравственную распущенность и безцѣльность жизни интеллигентныхъ слоевъ общества, рядомъ съ полезной естественной жизнью безъискусственно-простыхъ, цѣльныхъ и сильныхъ людей труда. Отсюда онъ пришелъ къ окончательному выводу, что исторію производитъ народъ, событія совершаются усиліями и трудами темныхъ массъ, отъ стремленій и настроеній которыхъ зависитъ все и вся. Но онъ не могъ остановиться на этомъ истинномъ и глубокомъ выводѣ. Здѣсь вмѣшалась другая струя мысли и помутила чистоту ясныхъ и свѣтлыхъ воззрѣній гр. Толстого. Это—роковая струя, погубившая не одинъ талантъ на Руси! Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ особеннаго рода мистицизмомъ, представляющимъ, если хотите, одну изъ неизбѣжныхъ стадій умственнаго развитія, но тѣмъ не менѣе это все-таки процессъ крайне-болѣзненный, показывающій намъ, что наша психическая природа подобно физической имѣетъ свои критическіе недуги, которые, какъ весеннія грозы, даютъ могучій толчокъ развертывающимся силамъ.

Но необходимо, чтобы весеннія грозы дѣйствительно были весенними; подъ осень же тѣ-же самыя грозы способны производить лишь неизгладимыя опустошенія, ускоряющія приходъ зимы. Такъ и въ человѣческой природѣ тѣ-же критическіе недуги, которые очень легко переносятся въ юности и обновляютъ молодыя силы, напротивъ того, въ старости принимаютъ весьма зловѣщій характеръ. Старческій организмъ не въ состояніи бываетъ осилить ихъ и приходитъ въ полное разстройство.

Это именно произошло съ Гоголемъ. Вся бѣда заключалась въ томъ, что мистическій періодъ развитія Гоголь началъ переживать слишкомъ поздно для своихъ лѣтъ, чтобы переварить его и выйти изъ него побѣдителемъ, и ни умственныя, ни физическія силы его не выдержали кризиса.

Мы боимся, чтобы и съ гр. Л. Толстымъ не случилось того же. По крайней мѣрѣ, когда вы читаете «Войну и миръ», вамъ кажется, что съ каждой страницей на васъ словно надвигаются какія то мрачныя тучи и затмѣваютъ яркіе лучи поэзіи гр. Л. Толстого. И еслибы вышеозначенныя теоретическія разсужденія встрѣчались въ романѣ отдѣльными клочками, были бы сами по себѣ, не вмѣшиваясь въ актъ поэтическаго творчества художника. Но мы, напротивъ того, видимъ, что воззрѣнія эти стремятся покорить своей власти образы поэта, придать имъ свой особенный мистическій оттѣнокъ, совершенно исказивши ихъ жизненную правду. Возьмите вы напримѣръ эпизодъ вліянія на Пьера Каратаева.

Начало увлеченія Пьера простыми людьми послѣ бородинскаго сраженія стоитъ совершенно на реальной почвѣ. Весьма естественно, что запутавшійся въ омутѣ свѣтской пустоты, разочарованный и нравственно надломленный, Пьеръ могъ увлечься видомъ простыхъ и сильныхъ людей, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, безъ всякаго хвастовства и напускного геройства смотрѣвшихъ въ глаза смерти; понятно, что онъ долженъ былъ ясно почувствовать, въ сравненіи съ правдой, простотой и силой этихъ людей, ощущеніе своей ничтожности и лживости и проникнуться стремленіемъ «*войти въ эту общую жизнь всѣмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣлаетъ ихъ такими* ..» Такія мысли и чувства мы видѣли уже въ цѣломъ рядѣ героевъ гр. Толстого и можемъ встрѣтить ихъ зачастую въ жизни. Не менѣе естественно выведенъ типъ Каратаева.

Простой, гуманный, одаренный художественной натурой и теплымъ сердцемъ, много испытавшій въ жизни,—Каратаевъ самъ по себѣ являлся бы весьма живой и удачно-очерченной личностью въ романѣ, еслибы гр. Толстой не возвелъ его на пьедесталъ,

представивъ въ немъ какого-то вдохновеннаго глашатая народной мудрости, исполненной неизреченныхъ глубинъ, чуть что не живое олицетвореніе божественной правды и благости. Вліяніе его на Пьера было столь сильно, по словамъ гр. Толстого, что Пьеръ совершенно переродился: онъ самъ исполнился кроткой терпимости и благодушія, подъ обаяніемъ которыхъ во всемъ сталъ видѣть Бога, все ему показалось ведущимъ къ благу, всѣ люди сдѣлались его друзьями и, незамѣтно для самихъ себя, почувствовали потребность повѣрять ему всѣ сокровенныя свои тайны. Нѣтъ, говоритъ Пьеръ, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотнаго человѣка-дурачка.

Неужели гр. Толстой до такой степени потерялъ свое художественное чутье правды, что не понимаетъ, сколько надуманной неестественности и лжи во всемъ этомъ? Гдѣ въ жизни встрѣчалъ онъ подобныя чудодѣйственныя превращенія?..Развѣ только въ письмахъ Гоголя, описывавшаго друзьямъ своимъ различныя свои просіянія и умиротворенія...

Вообще въ послѣднихъ частяхъ романа чаще и чаще вы встрѣчаетесь съ гоголевской философіей различныхъ просіяній. Такъ, длинное описаніе смерти князя Андрея преисполнено разсужденій на такія темы, что счастье, находящееся внѣ матеріальныхъ силъ, внѣ матеріальныхъ внѣшнихъ вліяній на человѣка, счастье одной души, счастье любви—понять можетъ всякій человѣкъ, но сознать и предписать его могъ только одинъ Богъ, что, любя человѣческой любовью, можно отъ любви перейти къ ненависти, но божеская любовь не можетъ измѣниться; ничто, ни смерть, ничто не можетъ разрушить ее; она есть сущность души и пр

Положимъ, что гр. Толстой не дошелъ еще до того, чтобы дарить насъ подобными изреченіями отъ своего лица; онъ очень ловко влагаетъ ихъ въ уста умирающаго человѣка, для котораго подобныя размышленія могутъ быть весьма естественны, но во всякомъ случаѣ допущеніе, чтобы цѣлыя страницы были заняты подобными разсужденіями, хотя бы и въ устахъ героя, да и вообще весь мистическій колоритъ кончины Андрея,—все это весьма зловѣщіе знаки.

Признаемся откровенно, намъ страшно за гр. Толстого. Мы боимся, что одинъ изъ самыхъ могучихъ, свѣтлыхъ и симпатичныхъ талантовъ настоящаго времени погибнетъ такъ же ужасно, какъ погибъ талантъ Гоголя. Очень можетъ быть, что такъ и будетъ. Не впервые намъ приходится оплакивать подобный печальный исходъ нашихъ талантовъ, причемъ замѣчательно, что къ нему приходятъ обыкновенно наиболѣе сильныя и свѣтлыя дарованія.

Вороны почувствовали уже имъ любимый запахъ и не замедлили слетѣться. Такъ въ «Зарѣ», вскорѣ послѣ появленія романа «Война и Миръ», гр. Толстой объявленъ геніемъ, а романъ его однимъ изъ величайшихъ произведеній настоящаго времени. О, еслибы могъ почувствовать гр. Толстой, сколько злой иронія заключается для него въ похвалѣ «Зари»!.. Еслибы только онъ понялъ, что не за то превознесла его «Заря», что въ его произведеніяхъ можно найти дѣйствительно великаго, а именно за то, что предвѣщаетъ начало печальнаго паденія его таланта, за тѣ затхлыя тенденціи, въ которыхъ онъ сошелся съ «Зарею»... Но гр. Толстой, который самъ проникся уже этими тенденціями, конечно принялъ за чистую монету похвалы «Зари», и ему остается только, подобно Гоголю, вообразить себя пророкомъ и начать провозглашать людямъ вѣщіе глаголы. Повидимому онъ уже и начинаетъ: такъ, въ настоящее время онъ издаетъ букварь для народныхъ школъ, и въ началѣ нынѣшняго года въ дружественныхъ своихъ органахъ, «Зарѣ» и «Весѣдѣ», напечаталъ по повѣсти изъ предназначенныхъ для этого букваря...Повѣсть, помѣщенная въ № 2 «Зари», «Кавказскій плѣнникъ», напоминаетъ намъ прежняго гр. Толстого; она столь же проста, безъискусственна, реальна и исполнена того же глубокаго содержанія, какъ и всѣ его предыдущія произведенія. Что же касается до повѣсти «Богъ правду любитъ, да не скоро скажетъ», помѣщенной въ № 3 «Весѣды», то она представляетъ пересказъ каратаевской легенды о купцѣ, невинно сосланномъ въ каторгу и встрѣтившемся тамъ съ настоящимъ виновникомъ преступленія, за которое былъ сосланъ. Легенда эта преисполнена дикаго фатализма и мистицизма, и довольно сказать, что въ ней-то именно Пьеръ наиболѣе прозрѣлъ глубину народной мудрости и пришелъ отъ нея въ окончательное умиленіе, чтобы понять, что это за прелесть такая!..

Все это очень печально!.. И все это происходитъ не отъ чего другого, какъ отъ того, что гр. Толстой покинулъ прежній путь творчества, зависящій отъ естественныхъ обобщеній въ поэтическіе образы частныхъ фактовъ жизни, и промѣнялъ его на идущій отъ предвзятыхъ теорій, произвольно подчиняющихъ себѣ поэтическіе образы, искажающихъ ихъ, иногда и побуждающихъ поэта просто выдумывать образы изъ своей фантазіи...

Только одно индуктивное творчество есть истинно свободное, реальное и полезное, потому что только оно одно можетъ вполнѣ вѣрно и безпристрастно изображать передъ вами правду жизни, а отъ одной правды только и можно ждать истинной пользы...

ВОЛНЫ РУССКАГО ПРОГРЕССА.

«Романы и повѣсти» Хвощинской, 8 томовъ Спб. 1859 г. —«Большая Медвѣдица», романъ Хвощинской 1 т. Спб. 1872 г

I.

Неизвѣстно, вслѣдствіе какихъ причинъ, по какимъ законамъ, но можно положительно сказать, что развитіе всего человѣчества и каждаго общества совершается въ видѣ періодическихъ приливовъ и отпусканій, въ видѣ волнъ, среди которыхъ подымаются свои грозные, всесокрушающіе девятые валы, бываютъ и свои минутныя затишья.

Любопытно при этомъ наблюдать тѣ неизмѣнно повторяющіеся симптомы общественной мысли, какими сопровождаются эти акціи и реакціи. Подобныя наблюденія тѣмъ болѣе поучительны, что они ясно показываютъ намъ, какъ ничтоженъ въ жизни нашей такъ называемый историческій опытъ: мы постоянно видимъ, что люди, которые вчера еще смѣялись надъ своими предшественниками, сегодня повторяютъ ихъ глупости, слѣпо подчиняясь тому эпидемическому повѣтрію, которое, какъ холера, періодически возвращается, несмотря на всѣ предосторожности.

Одинаковость симптомовъ, сопровождающихъ акціи и реакціи, дѣйствительно поразительна. Такъ мы видимъ, что каждый приступъ какого-либо напряженнаго движенія общественной мысли и жизни неизмѣнно сопровождается сильнымъ развитіемъ скептицизма, который разъѣдаетъ своимъ безпощаднымъ анализомъ всѣ устарѣлые элементы мысли и жизни, смѣло рушитъ всѣ старые кумиры и не щадитъ никакихъ тайниковъ ума и сердца. Въ эти дивныя минуты кровь обращается въ жилахъ сильнѣе, самый воздухъ бываетъ насыщенъ какимъ-то электричествомъ безпокойной отваги, мысль стремится въ головахъ людей въ какомъ-то вихрѣ, и имъ не сидится на мѣстѣ. Все будничное, обыденное тяготитъ ихъ; всѣ прославленныя вѣками добродѣтели азбукъ и прописей кажутся имъ смѣшны и пошлы. Они не считаютъ безполезной тратой времени разрѣшеніе существенныхъ вопросовъ мысли и жизни, не смотрятъ на попытки вносить въ жизнь свои мечты, какъ на безумную борьбу съ историческими судьбами, ихъ же не прейдеши, и въ этой отважной борьбѣ со стихіями они представляются исторіи поистинѣ могучими титанами.

Литература въ такія эпохи бываетъ скептическая, отрицательная по преимуществу. Но она осмѣиваетъ и бичуетъ не однѣ только завѣдомо-мрачныя стороны жизни, а идетъ далѣе: открываетъ смѣшное и пошлое и тамъ, гдѣ уличная толпа привыкла находить одни свѣтлыя явленія. Въ своемъ отрицаніи она доходитъ иногда до скептическихъ сарказмовъ надъ всѣмъ человѣчествомъ, обращается въ горькій плачъ надъ несостоятельностью человѣческаго рода вообще. Въ такія именно эпохи и создаются произведенія вродѣ «Похвалы глупости» Эразма, первой части «Фауста», «Записокъ доктора Крупова» и пр. Понятно, что при такомъ размахѣ отрицанія созданіе идеальныхъ типовъ въ духѣ отжившей морали бываетъ немыслимо. Понятія о добрѣ и злѣ, добродѣтеляхъ и порокахъ до такой степени перемѣшиваются подъ вліяніемъ скептицизма, все запретное по кодексу обыденной морали дѣлается столь привлекательнымъ, что добродѣтельные герои, если и выводятся въ литературѣ, то являются обыкновенно въ самой непроглядной пошлости, стушевываясь передъ демоническими героями отрицанія. Такъ, добродѣтельный Круциферскій стушевывается передъ Бельтовымъ.

Но вотъ опускается волна жизни, кровь начинаетъ обращаться въ жилахъ медленно, мысль работать вяло, наступаетъ эпоха всеобщей апатіи, усталости и словно какого-то изнеможенія... Съ одинаковымъ равнодушіемъ глядятъ люди на смѣхъ и слезы, на разгулъ пошлости, глупости и звѣрства. Мельчаютъ интересы, съуживаются понятія, прежніе титаны сходятъ съ поприща и появляется всякая мразь и нечисть обгладывать ихъ велічкіе трупы. Словомъ:

То былъ вѣкъ богатырей;
Но смѣшались шашки,
И полѣзли изъ щелей
Мошки да букашки.

Смѣшнѣе всего то, что эти мошки и букашки воображаютъ обыкновенно, что они далеко ушли впередъ отъ павшихъ титановъ, которые конечно не годятся имъ и въ подметки. Они смѣются обыкновенно надъ этими титанами, какъ надъ безумцами, утопистами, идеологами, теоретиками и воображаютъ, что только съ нихъ началась истинная положительность, практичность, настоящее дѣло. И дѣйствительно, что толку мучиться и умирать безплодно надъ рѣшеніемъ вѣковыхъ вопросовъ жизни? Развѣ можно рѣшить ихъ однимъ разрубленіемъ гордіева узла? Благоразумно ли бороться съ такими стихійными силами, какъ историческая необходимость, вѣковой строй быта? Однимъ словомъ, прежняя отвага, гордо говорившая—«или все, или ничего», смѣняется скромною, нищенскою логикою пришибленныхъ, приниженныхъ попрошаекъ, которые, робко протягивая руку жизни, просятъ у нея Христа-ради хоть чего-нибудь, хоть копѣечку, все лучше, чѣмъ ничего...

Это пресловутое *хоть что-нибудь* дѣлается господствующимъ принципомъ вѣка, знаменемъ прогресса; въ немъ именно и полагаютъ мошки да букашки всю свою практическую мудрость, всю суть истинной, современной положительности. О! сколько развращающаго и притупляющаго въ этомъ *хоть что-нибудь*, изъ-за котораго дѣлаются уступки за уступками, продаются за грошъ самыя дорогія убѣжденія, подавляются самыя святыя чувства, сквозь пальцы смо-

трится на многое, отъ чего должно было бы облиться кровью сердце каждаго мало-мальски порядочнаго человѣка, и кончается дѣло тупымъ, самодовольнымъ успокоеніемъ совѣсти, подачею пятака на общую пользу — все хоть что-нибудь.

Вмѣстѣ съ успокоеніемъ пытливаго духа анализа и отрицанія снова возвращаются люди къ своимъ пенатамъ, къ своей будничной обстановкѣ, словно прокутившіеся блудные сынки подъ отеческій кровъ. Снова дѣлается мила сердцу прописная, уличная мораль съ ея умилительными добродѣтелями въ духѣ всѣмъ извѣстныхъ дѣтскихъ повѣстей съ благонравными Настеньками и послушными Коленьками. Люди перестаютъ быть героями, но зато, Боже мой, какими они дѣлаются патріотами! Они терпятъ, допускаютъ, глотаютъ, унижаются, но взамѣнъ этого спѣшатъ наэлектризовать себя различными патріотическими чувствами, чтобы забыть свою личную низость въ созерцаніи величія ихъ отечества.

Литература въ такія эпохи дѣлается безцвѣтною, безцвѣтною, вялою, исполняется мелкими дрязгами, вспышками задорнаго самолюбія, инсинуаціями и клеветами всякаго рода. Вмѣсто принциповъ, выступаютъ въ ней на первый планъ личности со всею своею грязью застоявшейся жизни. Художественныя произведенія, подчиняясь общему духу успокоенія, исполняются изящными картинками въ духѣ чистаго искусства, сказочными сюжетами, усладительными любовными сценками, нѣжащими и разслабляющими мотивами жизни утонченнаго и сытаго комфорта. Съ негодованіемъ и презрѣніемъ относится литература къ прежнимъ своимъ героямъ отрицанія и сомнѣнія, и взамѣнъ ихъ создаетъ положительные типы, какъ для успокоенія сердецъ читателей, такъ и для ихъ назиданія, причемъ героями ея оказываются тѣ же современные рыцари принесенія пятаковъ на общую пользу, скромные представители мѣщанскихъ добродѣтелей, тихаго семейнаго счастія и отдохновенія на лонѣ улыбающейся сельской природы.

Подобную волну акціи и реакціи вы можете прослѣдить, сравнивая между собою сороковые и пятидесятые годы. Какъ ни стѣснена была мысль людей сороковыхъ годовъ, но это была могучая мысль, которая рвала всѣ преграды и увлекала за собою все. Въ самомъ воздухѣ въ это время было что-то отрицательное, скептическое. Люди ни на чемъ не могли остановиться и успокоиться. Всѣ старыя преданія, предразсудки подвергались въ это время разлагающей критикѣ. Каждая попытка примиренія и успокоенія встрѣчалась злымъ, ѣдкимъ смѣхомъ, и снова начиналась ломка всесокрушающаго скептицизма. Въ литературѣ этого періода, эпохи сатанинскаго хохота доктора Крупова, вы не встрѣтите ни одного добродѣтельнаго типа. Она выводила очень часто героевъ своего времени, каковы были Печоринъ, Бельтовъ и пр., но эти герои являлись не идеалами для подражанія, а лишь собирательными типами, представителями своихъ современниковъ со всѣми ихъ достоинствами и недостатками. И мало сказать, что достоинства и недостатки ихъ не имѣли ничего общаго съ правилами уличной морали, напротивъ того, были діаметрально противоположны имъ. Ихъ достоинства въ томъ именно и заключались, что они не имѣли ни одной добродѣтели, любимой пошлою толпою, какъ-то скопидомства, умѣнья ладить и привлекать, кротости, смиренія и пр. Ихъ недостатки въ свою очередь совершенно не входили въ списокъ пороковъ и слабостей, преслѣдуемыхъ моралистами: таковъ былъ недостатокъ духа единенія и активности.

До такой степени было заразительно повѣтріе времени, что даже Гоголь, человѣкъ вполнѣ стараго міросозерцанія, и тотъ увлекся вѣяніемъ всеобщаго скептицизма. Къ эпохѣ сороковыхъ годовъ относятся всѣ его комедіи съ «Ревизоромъ» во главѣ и первая часть «Мертвыхъ Душъ». Прочтите эти произведенія и въ свою очередь вы найдете въ нихъ рядъ отрицаній безъ малѣйшаго поползновенія успокоить на чемъ-нибудь читателя и примирять его съ дѣйствительностью. Напротивъ того, вы видите, что въ «Мертвыхъ Душахъ» Гоголь смѣется надъ добродѣтельными героями романовъ.

Но вотъ наступили пятидесятые годы, и куда дѣлось все это повѣтріе пытливаго анализа и отрицанія! Уже въ 48-мъ году круповскій хохотъ вдругъ смѣнился самодовольнымъ хихиканьемъ Петра Ивановича Адуева, этого отъѣвшагося представителя узкой практичности, составленія карьеры и наживанія капиталовъ. И вдругъ критика, та самая критика, которая стояла во главѣ эпохи отрицанія и сомнѣнія, — не поняла всей оскорбительности появленія этого хохота въ литературѣ, хотя бы онъ относился и къ вещамъ дѣйствительно смѣшнымъ. Она не предугадала, что этотъ высокомѣрный хохотъ съ потрясеніемъ брюшка не ограничится однимъ Александромъ Адуевымъ, а обратится ко всему, что только не подходитъ къ мудрости собиранія грошей. Критика привѣтствовала Петра Ивановича Адуева, какъ представителя современной практичности, положительности. Въ одномъ этомъ фактѣ видится начало конца. И этотъ конецъ не замедлилъ явиться.

Въ 1849 году большинства передовыхъ людей эпохи уже не было на поприщѣ литературы и жизни. Оставшіеся какъ-то съежились, сжались и сдѣлались тише воды, ниже травы. Такъ, Грановскій, сказавши «стой» сомнѣнію, положилъ ему границу, за которую оставилъ въ утѣшеніе своей старости любимые призраки дѣтства и вмѣстѣ съ тѣмъ началъ дѣлать уступки за уступками, сдѣлки за сдѣлками, чтобы *хоть чѣмъ-нибудь* остаться полезнымъ Московскому университету. Милютинъ, начавшій свою литературную дѣятельность рядомъ животрепещущихъ вопросовъ, разбился на мелкіе спеціальные вопросики. Въ журналистикѣ оказалось полное отсутствіе критики публицистики. Въ ней продолжали повидимому господствовать прежнія симпатіи и антипатіи, прежнія идеи, направленія. Но все это крайне съузилось, опошлилось. Наступила эпоха усладительныхъ пѣснопѣній Фета, Тютчева и Ап. Майкова, — эпоха воспѣваній рыбныхъ ловлей въ Парголовѣ, патріотическихъ чувствоизліяній и классическихъ Пропилей съ ихъ мелочными археологическими изысканіями. Даже Кукольникъ, всѣми давно забытый и уничтоженный критикою Бѣлинскаго, воскресъ и на сценѣ Александринскаго театра, и на страницахъ журналовъ съ своими воинственными драмами и безконечными романами, и о

немъ заговорили въ литературѣ съ нѣкоторымъ уваженіемъ.

Натуральная школа все еще существовала, но въ какомъ жалкомъ видѣ существовала она! При своемъ возникновеніи школа эта поставила широкую программу изображенія русской жизни во всей ея сложности и всесторонняго анализа этой жизни. Но программа эта оказалась вскорѣ неисполнима. Большинство беллетристовъ пятидесятыхъ годовъ изъ всей русской жизни хорошо знали одну только жизнь помѣщичьихъ усадьбъ, да и ее съ одной только стороны: какъ она проявляется разодѣтая, приглаженная, припомаженная въ парадныхъ комнатахъ и салонахъ... И вотъ изъ натуральной школы вышелъ особенный родъ поэзіи баловъ, семейныхъ праздниковъ, пикниковъ, обѣдовъ, — поэзіи идиллическихъ сельскихъ ландшафтовъ, нѣжныхъ свиданій при лунѣ подъ сѣнію густолиственныхъ, запущенныхъ садовъ и утонченнаго анализа разныхъ моментовъ любви, возникающей или гаснущей, непризнанной или обманутой, и пр.

Вмѣстѣ съ этимъ съуженіемъ круга содержанія бсллетристики измѣнился и духъ ея направленія. Разслабляющая нервы, изнѣживающая сценами любви, исполненными утонченной, художественной и тѣмъ болѣе возбудительной чувственности, беллетристика пятидесятыхъ годовъ вполнѣ утратила прежній духъ отрицанія и сомнѣнія и обратилась въ своихъ конечныхъ выводахъ къ кодексу обыденной, рутинной морали.

Желая дать отдохнуть сердцу читателя на положительныхъ сторонахъ нашей жизни, она начала выводить доблестныхъ героевъ принесенія пятаковъ — благонравныхъ, благовоспитанныхъ, великодушныхъ, практическихъ, постоянныхъ въ любви и дружбѣ — Волынцевыхъ, Штольцевъ и прочія такъ называемыя черноземныя натуры и силы — представителей непосредственной естественности или, сказать проще, беззавѣтнаго невѣжества и міросозерцанія въ духѣ Домостроя...

Были и въ эту эпоху свои исключенія, пробивалась своя живая струйка сквозь груду всякаго мусора. Иногда появлялись произведенія безъ всякаго желанія успокоить и примирить читателя на какой-нибудь рутинной пошлости подъ видомъ непосредственной естественности. Но это были одни исключенія, служившіе признакомъ, что общество не окончательно еще пало и что въ немъ таилась еще искра жизни.

Вотъ подъ вліяніемъ какихъ тяжкихъ, неблагопріятныхъ условій литературы и жизни начала свое поприще въ 1849 г. Надежда Дмитріевна Хвощинская, извѣстная подъ псевдонимомъ В. Крестовскій. При этомъ нужно замѣтить, что литературная судьба этой писательницы весьма оригинальна: 40 лѣтъ подвизалась на литературномъ поприщѣ Хвощинская и въ этотъ періодъ времени она, можно сказать, пережила двѣ славы. Въ 50-е годы, годы наиболѣе плодовитой дѣятельности Хвощинской, она обращала на себя постоянно общее вниманіе публики и была въ числѣ любимѣйшихъ писателей. Нумеръ «Отечественныхъ Записокъ» съ повѣстью или романомъ ея привѣтственно встрѣчался всѣми. Но вотъ настали гордые, заносчивые 60-е годы — и Хвощинская вдругъ словно стушевалась. Публика совершенно забыла свою прежнюю любимицу, не вспоминая о ней хотя бы даже и лихомъ. Довольно того, что когда въ 1859 году вышло полное изданіе романовъ Хвощинской, — критика Добролюбова совершенно игнорировала это явленіе, хотя Добролюбовъ имѣлъ нерѣдко надобность отзываться о писателяхъ, въ неизмѣримой степени менѣе даровитыхъ и не имѣющихъ и десятой доли того значенія, какое имѣла въ свое время Хвощинская — такъ напримѣръ, посвятилъ же Добролюбовъ статью произведеніямъ графини Растопчиной. Но вотъ настали 70-е годы, Хвощинская словно воскресла изъ мертвыхъ. Снова публика вспомнила о своей прежней любимицѣ. Послѣдній романъ Хвощинской, «Большая Медвѣдица», обратилъ на себя вниманіе публики, какъ одно изъ лучшихъ произведеній прошедшаго года. Газетные рецензенты не замедлили подробно расписать обо всѣхъ достоинствахъ и недостаткахъ этого романа. О «Большой Медвѣдицѣ» говорили, спорили, рѣдко кто ея не читалъ... Какъ же вы теперь объясните молчаніе о Хвощинской 60-хъ годовъ и внезапное возвращеніе сочувствія къ нѣкогда любимой писательницѣ въ наше время? Или талантъ ея, неудовлетворявшій почему-либо 50-е годы, вдругъ развился и возросъ въ наше время до высшаго уровня современнаго искусства, или же наоборотъ, не возвращается-ли наше общество и литература къ эпохѣ 50-хъ годовъ? Анализъ произведеній Хвощинской въ связи съ измѣненіями духа общественнаго движенія въ различныя эпохи долженъ дать намъ отвѣтъ на этотъ вопросъ.

II.

Перечитывая произведенія Хвощинской 50-хъ годовъ, вы постоянно чувствуете невыразимую жалость, видя передъ собою могучій, свѣжій, оригинальный и весьма симпатичный талантъ и чувствуя, какъ онъ не можетъ, такъ сказать, расправить крыльевъ, сжатый съ одной стороны узкостью круга наблюденій, а съ другой — что́ еще того хуже — узкостью самаго міросозерцанія писателя. Развившись на почвѣ 50-хъ годовъ, въ эпоху апатіи, застоя и полной разъединенности общества, талантъ этотъ поневолѣ вошелъ въ узкую колею тогдашней беллетристики. При этомъ нужно замѣтить, что, какъ писательница, Хвощинская принуждена была еще болѣе съузить ту тѣсную сферу наблюденій, въ которую замкнута была беллетристика 50-хъ годовъ. Какъ ни жалокъ былъ кругъ наблюдательности писателя-мужчины въ 50-е годы, но онъ все-таки былъ значительно шире круга наблюдательности образованной женщины въ эту эпоху. Мужчина все-таки сталкивался хоть сколько нибудь съ различными слоями жизни внѣ своей среды. Для наблюдательности женщины открыта была исключительно одна только жизнь дѣвичьихъ, дѣтскихъ, будуаровъ и гостиныхъ, жизнь баловъ, парадныхъ пріемовъ, утонченныхъ разговоровъ о чувствахъ и нѣжныхъ интимныхъ бесѣдъ подъ звуки фортепьяно. Женщина могла только отвлеченно судить, что гдѣ-то совершаются какіе-то общественные подвиги и гадости, но самые герои этихъ гадостей

постоянно являлись передъ женщиною не иначе, какъ своею парадною стороною, во фракахъ, раздушенные физически и нравственно... Молодой администраторъ, покоритель сердецъ провинціальныхъ барышень, можетъ быть только и дѣлалъ на службѣ, что читалъ газеты, сплетничалъ, зѣвалъ да потягивался, но это ему не мѣшало являться въ салонъ такимъ утомленнымъ и ораторствовать передъ женщиною о тягости исполненія долга отечеству. Капитанъ-исправникъ, только-что съ пѣною у рта оравшій на оторопѣлыхъ крестьянъ, могъ очень легко представиться наблюдательницѣ добрымъ старичкомъ стараго закала, выше всего ставящимъ правду-матку.. При такихъ условіяхъ женщина могла анализировать людей только въ той степени, какъ проявляются они въ семьѣ, въ свѣтскихъ развлеченіяхъ, и главное дѣло—по отношенію къ ней самой.

Этими причинами обусловливается тотъ узкій кругъ жизни, который обнимаетъ собою романы Хвощинской. Она ограничивается почти исключительно изображеніемъ свѣтской жизни провинціальныхъ круговъ,—это романы баловъ, пикниковъ и сельскихъ отдохновеній. Преобладающими типами этихъ романовъ являются на первомъ планѣ коварная интригантка-матушка, съ молоду кокетка, тщеславная любительница роскоши, блеску и свѣтскихъ развлеченій, а подъ старость суровая ханжа или нервная тиранка, которая держитъ весь домъ въ ежовыхъ рукавицахъ, производитъ ежедневно чувствительныя нервныя сцены съ истериками и выдаетъ своихъ дочерей за первыхъ попавшихся болвановъ ради поправленія финансовъ и положенія въ свѣтѣ, не принимая при этомъ въ разсчетъ слезъ и рыданій дѣвушекъ, — однимъ словомъ, это видоизмѣненный сообразно времени типъ Простаковой. На второмъ планѣ парадируетъ добрякъ-отецъ, ни во что не входящій, съ молоду украшавшійся рогами, приставляемыми нѣжной супругой, а подъ старость выдерживающій ежедневно ея истерики, покоряющійся безусловно ея непоколебимой волѣ и оплакивающій судьбу дочерей, выдаваемыхъ за негодяевъ. Далѣе идетъ типъ изнѣженнаго, избалованнаго селадона съ высокими фразами о чувствахъ, объ обязанностяхъ и вполнѣ несостоятельнаго на дѣлѣ,—оказывающагося и коварнымъ другомъ, и безхарактернымъ любовникомъ. Затѣмъ слѣдуетъ типъ сынка, обезличеннаго и доведеннаго до послѣдней степени идіотизма подъ гнетомъ материнскаго деспотизма, соединеннаго съ баловствомъ, типъ Митрофанушки нашего времени. Наконецъ, слѣдуетъ рядъ дѣвушекъ простыхъ, добрыхъ, способныхъ глубоко и сильно полюбить, но совершенно въ свою очередь обезличенныхъ и доведенныхъ до пассивнаго повиновенія. Вотъ кругъ любимыхъ типовъ Хвощинской, которые парадируютъ при небольшихъ видоизмѣненіяхъ въ большинствѣ ея романовъ. Едва только выходитъ изъ этого круга Хвощинская, какъ ужъ начинаетъ сочинять или выводить такіе блѣдные очерки, въ которыхъ и не узнаешь живой, осязательной дѣйствительности. Такъ напримѣръ, въ повѣсти «Баритонъ» Хвощинская покусилась вывести передъ нами бытъ семинаристовъ. Но стоитъ прочесть рядомъ съ «Баритономъ» «Очерки Бурсы» Помяловскаго, которые кстати появились въ литературѣ въ одно почти время съ «Баритономъ», чтобы увидѣть, насколько Хвощинская знаетъ дѣйствительный бытъ семинаристовъ. Бурсаки въ повѣсти ея выглядятъ совершенно вербными херувимчиками передъ чудищами «Очерковъ Бурсы».

Но при этомъ надо замѣтить, что какъ ни тѣсна сфера наблюдательности Хвощинской, авторъ глубоко изучилъ жизнь своего уголка, во всей его ужасающей пустотѣ лжи и крайняго растлѣнія. Здѣсь мы по всей справедливости можемъ сказать, что хотя для умственнаго кругозора женщинъ были недоступны многія сферы жизни, какія могъ наблюдать мужчина, но зато тѣ сферы жизни, въ которыхъ вращалась женщина, она постигала не однимъ наблюденіемъ со стороны, но тяжелымъ опытомъ самой жизни, всѣмъ своимъ существомъ. Вся одуряющая пошлость, ложь, растлѣнность этой жизни тяжелымъ гнетомъ ложились на женщину, какъ на существо безправное, угнетенное и лишенное часто всякой возможности выбиться изъ своего положенія. Мужчина, которому тяжело жилось подъ домашней кровлей и въ кругу провинціальнаго сплетничества, могъ уѣхать учиться, служить, путешествовать. Издали гнетъ чувствовался менѣе сильно, и даже совсѣмъ не чувствовался. Та самая губернская сплетня, которая была весьма снисходительна къ мужчинѣ, или надъ которою онъ смѣялся, молодецки заломивъ на бекрень шапку, женщину уничтожала. По этимъ причинамъ вы не найдете въ произведеніяхъ Хвощинской того эпикурейско-художественнаго отношенія къ жизни, какое встрѣтите въ произведеніяхъ мужчинъ-писателей 50-хъ годовъ. Послѣдніе изображали передъ нами ту-же самую жизнь, но умѣли ее какъ-то смягчить, представить въ игриво-граціозномъ, изящномъ видѣ, благосклонно отдать справедливость нѣсколькимъ добрымъ качествамъ какой-нибудь сельской мегеры — вродѣ напримѣръ гостепріимства, здраваго смысла и простоты патріархальныхъ нравовъ. Однимъ словомъ, весьма естественно, что люди, которымъ жилось весело, привольно и легко, были расположены вездѣ находить свѣтлыя и поэтическія стороны. Они не чувствовали на самихъ себѣ всего ужасающаго гнета пошлости и зла, и эти стороны жизни вовсе не казались имъ такъ ужасны. Счастіе или несчастіе всей ихъ жизни зависѣли часто отъ единственнаго вопроса: полюбитъ или не полюбитъ? Этотъ вопросъ и развивали они преимущественно въ своихъ произведеніяхъ.

Произведенія Хвощинской пятидесятыхъ годовъ, напротивъ того, отличаются почти полнымъ отсутствіемъ чистой художественности и диллетантскаго отношенія къ жизни. Вы не найдете въ нихъ ни одной черточки, которая не служила-бы къ опредѣленной, серьезно задуманной цѣли. Если у Хвощинской и встрѣчаются различныя описанія природы, то всегда въ возможно сжатомъ видѣ на столько, на сколько это необходимо для декораціи описываемаго событія и приданія колорита разсказу, и никогда Хвощинская не увлекается ландшафтомъ до забвенія главной цѣли, къ которой ведетъ свой разсказъ. Сцены любви отличаются у Хвощинской, въ свою оче-

редь, цѣломудренною чистотою. Вы не найдете въ нихъ и тѣни того сластолюбиваго упоенія, съ какимъ пишутся обыкновенно эти сцены нашими писателями-селадонами. По большей части это сцены слезъ и рыданій любви, попираемой различными неправдами и дрязгами жизни. Живо и глубоко чувствуя всѣми своими нервами, если можно такъ выразиться, всю одуряющую ложь пошлой жизни свѣтскаго досуга, постигши всю грязь провинціальныхъ сплетень, тщеславія, зависти и мелкой злости, весь давящій, обезличивающій и уничтожающій гнетъ семейнаго деспотизма, Хвощинская не смягчаетъ, не идеализируетъ всей этой печальной дѣйствительности, а изображаетъ ее во всей ея безобразной наготѣ, не жалѣя красокъ, не жалѣя анализа, крайне утонченнаго, подчасъ даже, если можно такъ выразиться, поистинѣ микроскопическаго. Каждый ея романъ—потрясающая драма, въ концѣ-концовъ которой у васъ непремѣнно разрывается сердце при видѣ какой-нибудь жертвы той среды, которую изображаетъ обыкновенно Хвощинская. Эта жертва—по большей части женщина: или молодая дѣвушка, судьбою которой родители распоряжаются, какъ имъ угодно, тщетно рыдающая у ногъ ихъ въ мольбахъ о своемъ счастіи; или старая дѣва, представляющаяся мишенью для плоскихъ насмѣшекъ высокомѣрныхъ благодѣтелей, пріютившихъ ее изъ жалости, и праздныхъ селадановъ, приходящихъ къ нимъ въ гости; или молодая дама-вдова, которую какой-нибудь пошлый свѣтскій хлыщъ и волокита позволяетъ себѣ компрометтировать безнаказанно въ глазахъ свѣта, и она не знаетъ, куда дѣться ей подъ гнетомъ страшныхъ клеветъ и сплетень, обрушивающихся на нее со всѣхъ сторонъ въ праздномъ обществѣ, которое радо посплетничать отъ нечего дѣлать, ради забавы.

Но при всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ, отличающихъ романы Хвощинской, вы все-таки чувствуете, читая ихъ, что вы неудовлетворены, что чего-то вамъ не достаетъ. Точно какъ будто надъ вами виситъ низенькій потолокъ и мѣшаетъ вамъ вздохнуть полною грудью. Вы плачете надъ печальною судьбою героевъ Хвощинской, а между тѣмъ чувствуете въ то-же время, что въ васъ сидитъ какой-то неудержимый хохотъ, которымъ хочется вамъ осмѣять этихъ же героевъ. Иногда-же вдругъ вы чувствуете, читая романъ, ту пеловкость, съ которою выслушиваютъ обыкновенно нравственныя поученія. Что это фа причина? Объ этомъ мы поговоримъ въ слѣдующей главѣ.

III.

Казалось-бы, что по всѣмъ своимъ симпатіямъ и антипатіямъ Хвощинская вполнѣ согласовалась съ духомъ шестидесятыхъ годовъ и должна была-бы быть цѣнима этою эпохою болѣе всѣхъ писателей пятидесятыхъ годовъ. Но это можетъ казаться только съ перваго взгляда.

Дѣло въ томъ, что тѣ-же пятидесятые годы, которые не дали Хвощинской широты наблюденія, не дали ей и широты міросозерцанія. Все несчастіе Хвощинской заключается въ томъ, что талантъ ея развился подъ вліяніемъ эпохи затишья, паденія волны, и это помѣшало Хвощинской глубоко усвоить, если можно такъ выразиться, всю суть злобы нашего XIX вѣка.

Злоба нашего вѣка заключается не въ одномъ только отрицаніи различныхъ личныхъ отступленій отъ правилъ рутинной морали, но въ отрицаніи самой этой морали, въ отрицаніи всѣхъ отжившихъ идеаловъ совершенства и счастія. Нашъ скептическій вѣкъ нашелъ бездну противорѣчій, какъ въ самомъ кодексѣ этой морали, такъ и въ приложеніи ея къ жизни. Такъ напримѣръ, попробуйте согласить хотябы благонравное желаніе помочь ближнему съ тѣмъ нравственнымъ униженіемъ, въ какое вы ставите ближняго этою помощью, попробуйте отдѣлить чувство признательности отъ низкопоклонства передъ благодѣтелемъ. Попробуйте согласовать ненасытность желаній, этотъ могучій и чуть-ли не единственный рычагъ всего прогресса человѣчества, съ мудрымъ правиломъ довольствоваться малымъ, скромною жизнію честнаго труда подъ соломенною кровлею и пр. Захотите вы помогать ближнимъ, желая быть идеальнымъ человѣкомъ, вы рискуете или застыть въ высокомѣрной роли благодѣтеля, или-же ежедневно испытывать тяжелое чувство, нравственно унижая людей своими благодѣяніями. Не хотите вы принимать на себя роли благодѣтеля, вы рискуете сдѣлаться эгоистомъ, глухимъ къ страданіямъ ближнихъ. Вздумаете вы слѣдовать естественному побужденію расширять свои потребности до безконечности и искать имъ удовлетворенія, вы рискуете сдѣлаться эксплуататоромъ. Начнете ограничивать ваши желанія,—рискуете со всѣмъ вашимъ честнымъ трудомъ и возвышенными чувствами обратиться въ ограниченную посредственность, въ вьючное животное, на которомъ будутъ возить воду люди, держащіеся противоположныхъ правилъ, и пр.

Вся эта путаница жизни періодически выдвигаетъ людей, которые, указывая на эти противорѣчія и изыскивая средства избавиться отъ нихъ, и составляютъ злобу вѣка. Надо-ли говорить, что сами по себѣ эти люди вовсе не представляются воплощеніемъ добродѣтелей? Вѣдь они созданы тою-же средою, какъ и всѣ прочіе ихъ ближніе, и въ своей практикѣ жизни принуждены также путаться въ неисходныхъ противорѣчіяхъ, какъ и всѣ смертные, потому что такъ устроена жизнь, и другой какой-нибудь жизни, кромѣ данной, въ наличности не имѣется. Если люди, въ эпохи наиболѣе напряженнаго импульса общественной жизни выходящіе впередъ подъ именемъ новыхъ людей, героевъ вѣка, являются лучше другихъ, то лучше они единственно сознаніемъ несостоятельности даннаго строя жизни, непримиримою готовностью жертвовать всѣмъ ради стремленія измѣнить этотъ строй. Впрочемъ и жертвовать-то, собственно говоря, бываетъ имъ нечего. Съ одной стороны скептицизмъ, съ другой—рядъ страданій, которыя выносятъ они изъ жизни, отнимаютъ у нихъ особенную любовь къ окружающей ихъ дѣйствительности. Они не вѣрятъ въ возможность достиженія личнаго счастія и совершенства въ нѣдрахъ той жизни, которою пресмыкается большинство. Они убѣждены, что это счастье достижимо не иначе, какъ путемъ такихъ сдѣлокъ, въ

результатѣ которыхъ, при всемъ искреннемъ стремленіи къ истинному совершенству, непремѣнно лежитъ отупѣніе и растлѣніе. Каждое новое движеніе создаетъ новыхъ людей въ такомъ родѣ, и каждый разъ эти люди, при всѣхъ общихъ свойствахъ этой породы, имѣютъ свои особенныя качества, создаваемыя эпохой. Но еще разъ повторяю, качества эти не имѣютъ ничего общаго съ прекрасными добродѣтелями азбукъ и прописей. Такъ, напримѣръ, были эпохи, въ которыя лучшіе и наиболѣе живые люди поневолѣ являлись праздными и безполезными скитальцами, тогда какъ на всякой прописи вы прочтете, что праздность есть мать всѣхъ пороковъ. Есть и теперь огромная среда, въ которой наиболѣе хорошіе люди являются въ видѣ горчайшихъ пьяницъ. Наконецъ вы найдете въ исторіи нѣсколько такихъ мгновеній, когда единственную живую искупительную силу лучшихъ людей составляло ожесточеніе. Такимъ былъ напримѣръ Вильгельмъ Телль со своими героями, а что-же хорошаго въ ожесточеніи съ точки зрѣнія обыденной морали?

Послѣ всего этого понятнымъ становится, что истинный художникъ, художникъ правды, никогда не будетъ дѣлать тщетныхъ и совершенно нехудожественныхъ попытокъ изображать передъ вами идеальныхъ людей въ духѣ обыденной морали. Если только онъ глубокомысленный, безпристрастный и и всесторонній наблюдатель, то наблюденія не замедлятъ привести его къ убѣжденію, что уличная мораль, мораль азбукъ и прописей представляется не чѣмъ инымъ, какъ застывшей скорлупой, которую огненная лава жизни рветъ и мечетъ во всѣ стороны, а гдѣ скорлупа тверда или сила жизни немощна прорвать ее, тамъ неминуемо воцаряются молчаніе и холодъ смерти и зловонный сирадъ гніенія. Поэтому не вѣрьте художнику, если онъ представитъ вамъ добродѣтельнаго, совершеннаго человѣка, добраго, гуманнаго, мягкаго, вседовольнаго, дѣятельнаго въ сферѣ скромной практики, не задающагося несбыточными мечтами и сіяющаго счастіемъ въ кругу семейнаго и общественнаго служенія. Подобный господинъ, если только не выдуманъ художникомъ, если только это не чудовищный Костанжогло, если онъ взятъ художникомъ изъ жизни, значитъ художникъ недостаточно глубоко изучилъ его и выдаетъ вамъ мѣдный пятакъ за червонецъ. Въ такомъ случаѣ вамъ самимъ не мѣшаетъ присмотрѣться внимательнѣе къ идеалу художника, и навѣрно вы откроете подъ мнимыми добродѣтелями черты обыденнаго черствaго филистера, типъ золотой, близорукой посредственности, самодовольнаго, грубаго резонерства, плаксивой сентиментальности и пр. Истинные художники, жившіе въ эпохи сильныхъ умственныхъ возбужденій общества и глубоко постигшіе злобу вѣка, никогда и не дѣлали попытокъ созданія идеальныхъ людей среди жизни, неспособной по своему строю создавать нравственныя совершенства. Типы-же лучшихъ людей вѣка, выведенные ими, являются передъ вами отнюдь не идеальными и сіяющими въ сознаніи своихъ совершенствъ; напротивъ того, они отражаютъ въ себѣ всѣ муки, страданія и болѣзни вѣка. Они допускаютъ критическое отношеніе къ себѣ и сходятъ съ поприща вмѣстѣ со своимъ вѣкомъ. Таковы были Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ, Бельтовъ, Рязановъ.

Величайшій недостатокъ романовъ Хвощинской въ томъ собственно и состоитъ, что, не въ силахъ будучи остановиться на одномъ отрицаніи, она спѣшитъ успокоить читателей, выводя рядъ свѣтлыхъ явленій, положительныхъ, идеальныхъ типовъ, но эти типы являются совершенно въ духѣ смиренномудрія пятидесятыхъ годовъ. Хвощинской въ голову какъ-будто не приходитъ, что нисколько не идеальные, мало-мальски живые люди не могли-бы и минуты остаться въ нѣдрахъ этой затхлой среды, которую она изображаетъ. Они бѣжали-бы изъ этой среды, куда видно, и въ этомъ бѣгствѣ и заключалось-бы ихъ единственное право на званіе живыхъ людей. Большинство-же идеальныхъ героевъ Хвощинской, обыкновенно принадлежа къ той-же средѣ, занимаются тѣми-же пустяками, какъ и никуда негодные люди, которыхъ Хвощинская отрицаетъ. Живя такою жизнью, какою живетъ вся эта среда, эти герои остаются при всемъ этомъ идеальными, по крайней мѣрѣ мы должны вѣрить Хвощинской, что они идеальные, потому что Хвощинская надѣляетъ ихъ всевозможными добродѣтелями обыденной морали, вродѣ постоянства въ любви и въ дружбѣ, гуманности къ низшимъ, честности въ денежныхъ разсчетахъ и пр., и пр. Но подъ всѣми этими качествами передъ вами, вопреки желанію самого автора, такъ и проглядываютъ или филистерство, или узкая ограниченность мѣщанской посредственности, или-же невообразимая тряпичность. Особенно любитъ часто Хвощинская оттѣнять свѣтскую среду людьми несвѣтскаго покроя, всевозможными бѣдняками и тружениками. Но всѣ бѣдные труженики въ свою очередь являются у нея очень жалкими существами подъ личиною идеальныхъ совершенствъ. Всѣ они терпятъ тысячу всевозможныхъ оскорбленій со стороны свѣтскихъ хлыщей, и не только хлыщамъ проходитъ все это безнаказанно, но въ то-же время вы видите, что бѣдняковъ какой-то магнитъ такъ и тянетъ непремѣнно въ ту самую свѣтскую среду, гдѣ имъ нѣтъ мѣста. Да полно, знаетъ-ли Хвощинская не идеальныхъ, а имѣющихъ хоть каплю самолюбія людей изъ среды бѣдныхъ тружениковъ?

Нѣсколько подробный анализъ двухъ-трехъ типовъ изъ романовъ Хвощинской нагляднѣе познакомитъ насъ съ идеалами этого писателя.

Прежде всего возьмемъ повѣсть Хвощинской «Приходскій учитель».

На первыхъ-же страницахъ этой повѣсти васъ поражаютъ феномены по-истинѣ удивительные. Вы видите бѣдняка, круглаго сироту, безъ родныхъ, безъ средствъ, но имѣющаго доблестнаго покровителя въ лицѣ нѣкоего Алексѣя Петровича, бывшаго начальникомъ отца героя. Доблестный покровитель опредѣляетъ героя приходскимъ учителемъ, и герой торжествуетъ, изливая въ своемъ дневникѣ цѣлые потоки своихъ чувствъ и восторговъ по поводу улыбающейся природы, сельской простоты и своей скромности... «Деревня, глушь—восклицаетъ онъ—этого мнѣ давно хотѣлось: душа моя давно сотворена для нихъ; молодая, она любитъ тѣнь и тишину, тѣсный пріютъ, скромный уголъ. Все это мечталось мнѣ еще въ классахъ. Не мнѣ шумѣть въ свѣтѣ, и охотно уступаю я другимъ

свое мѣсто въ его волненіяхъ, свою долю въ его славѣ, почестяхъ, даже довольствѣ. Мнѣ нужно очень немногое...»

Всѣ эти чувства скромный, но съ возвышенной душой молодой человѣкъ излагаетъ въ почтительныхъ письмахъ къ своему благодѣтелю. Благодѣтель, въ свою очередь, присылаетъ ему длинныя письма, наполненныя наставительныхъ поученій, которыя приводятъ молодого человѣка въ умиленіе: «Письмо — восклицаетъ онъ — такъ-же благородно, полно доброты, веселости и милой насмѣшки, какъ тотъ, кто писалъ его!..» Читаете вы далѣе и видите, что молодой человѣкъ все болѣе и болѣе торжествуетъ на лонѣ улыбающейся природы... Онъ ходитъ со своими учениками, сельскими ребятами, любоваться заходомъ солнца и дѣлится съ ними ощущеніями по этому поводу, заставляетъ ихъ долбить таблицу умноженія, читаетъ, пишетъ, умиляется при полученіи каждаго письма отъ благодѣтеля и аккуратно записываетъ въ дневникъ каждое свое ощущеньице. Дѣти души въ немъ не видятъ, начальство одобряетъ его, и онъ этимъ очень доволенъ. Одобреніе начальства еще болѣе усиливаетъ въ немъ рвеніе къ дѣлу...

Но вдругъ поселяется по сосѣдству молодая помѣщица, и все довольство, все спокойствіе благонравнаго и благонадежнаго молодого человѣка рушится. Отъ скуки эта помѣщица приманиваетъ къ себѣ бѣднаго приходскаго учителя и начинаетъ съ нимъ кокетничать. У бѣднаго молодого человѣка голова пошла кругомъ. Забыты и улыбающаяся природа, и книги, и школа. «Бѣдная школа!—пишетъ въ своемъ дневникѣ нашъ герой—стоило не заняться ею мѣсяцъ—и все разстроено. Вмѣсто понятливыхъ дѣтей, начинавшихъ любить ученье, вокругъ меня школьники, которымъ лишь-бы кончить. Меня начали *не слушаться и не бояться*. Грустно; жаль; виноватъ—я, но я и не могу не быть виноватымъ. Утѣшаться своимъ дѣломъ я болѣе не умѣю...»

Цѣлые вечера началъ просиживать молодой человѣкъ въ салонѣ кокетливой сирены, не обращая вниманія на все свое жалкое и унизительное положеніе ничтожной игрушки въ рукахъ скучающей барыни и притомъ такой ничтожной, мелкой игрушки, съ которою не церемонились. «Со мной она мучительно-измѣнчива, — пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ, —то внимательна и добра, встрѣчаетъ привѣтливо, говоритъ не умолкая, заставляетъ читать себѣ, приглашаетъ провожать въ прогулкахъ; то не замѣчаетъ, тутъ-ли я, или, еще хуже, преслѣдуетъ колкостями и насмѣшками. Прикажетъ придти, и тутъ-же призоветъ управляющаго и толкуетъ о несносномъ тяжебномъ дѣлѣ, которому конца нѣтъ. И такъ цѣлые часы...»

Читая все это, вы приходите къ невольному заключенію, что Хвощинская иронизируетъ, что она сознательно выводитъ передъ вами типъ безхарактерной размазни, благонамѣренной посредственности во всей ея тряпичности. Но вскорѣ вы жестоко разочаровываетесь въ своемъ предположеніи. Читая далѣе, вы видите, что сочувствіе автора къ своему герою растетъ не по страницамъ, а по строкамъ. Передъ вами не осмѣиваемая личность, а, напротивъ, воспѣваемая за свои добродѣтели дѣйствительно необыкновеннаго свойства. Дѣло въ томъ, что коварная помѣщица продаетъ свое имѣніе и уѣзжаетъ, оставя конечно своего обожателя въ полномъ пренебреженіи. Новыми владѣльцами имѣнія дѣлаются Ардабьевы, состоящіе изъ великосвѣтской барыни, двухъ дочерей и пасынка. Пасынокъ Ардабьевъ представляется вамъ весьма ловко и удачно очерченнымъ типомъ безхарактернаго, избалованнаго селадона, который жалуется на свою праздность, отсутствіе всякой самостоятельности вслѣдствіе излишней заботливости мачихи, а самъ въ то-же время палецъ о палецъ не двинетъ, чтобы выйти изъ своего положенія. Подобный господинъ, сходясь съ приходскимъ учителемъ, дѣлается закадычнымъ другомъ его, и герой нашъ привязывается къ своему другу, что называется, по гробъ жизни. Между прочимъ Ардабьевъ волочится за нѣкоею Софьею Николаевною, дочерью небогатаго помѣщика, которая гоститъ у Ардабьевыхъ. Особенной любви онъ къ ней не чувствуетъ, а такъ балуется отъ скуки и праздности. Приходскій учитель, въ свою очередь, влюбляется въ Софью Николаевну, но, видя, что за нею ухаживаетъ Ардабьевъ, и предполагая, что она влюблена, въ свою очередь, въ Ардабьева, рѣшается скромно пожертвовать своею любовью милому другу. Здѣсь вы видите самопожертвованіе въ пользу друга — добродѣтель № 1-й.

Затѣмъ Ардабьевъ проигрывается въ картишки. Достать денегъ ему неоткуда, а мачихи онъ боится. Тогда доблестный другъ рѣшается для него на новое самопожертвованіе: рискуя потерять уваженіе благодѣтеля, онъ пишетъ ему письмо, въ которомъ разсказываетъ ему придуманную исторію, что будто онъ, увлекшись игрою, проигрался и проситъ у него денегъ... Благодѣтель присылаетъ денегъ — и другъ выученъ изъ бѣды. Новое великодушіе, относящееся къ той-же добродѣтели № 1-й.

Далѣе затѣмъ герой нашъ *подслушиваетъ* разговоръ Ардабьева съ Софьей Николаевной, изъ котораго узнаетъ, что Софья Николаевна любитъ его, бѣднаго приходскаго учителя, а Ардабьева презираетъ. При этомъ приходскій учитель убѣждается, какъ люди коварны. Тотъ самый другъ, которому онъ пожертвовалъ уваженіемъ благодѣтеля, котораго выручилъ изъ бѣды,—этотъ самый другъ, выслушавъ признаніе Софьи Николаевны, начинаетъ третировать своего спасителя съ презрительными насмѣшками барича, который не можетъ переварить, что какая-то мелочь, мразь, въ видѣ приходскаго учителя, сдѣлалась вдругъ счастливымъ соперникомъ, и кого же — его, Ардабьева!

Бѣдный герой нашъ горестно оплакиваетъ измѣну и коварство друга, но стоитъ ему услышать одно его нѣжное слово, и онъ снова бросается въ его объятія. Здѣсь вы видите постоянство въ дружбѣ и забвеніе обидъ — добродѣтели № 2-й и 3-й.

Герой нашъ млѣетъ отъ восторга, узнавши, что онъ взаимно любимъ, и притомъ такимъ совершенствомъ, какъ Софья Николаевна, но онъ бѣденъ, онъ не можетъ составить счастія любимой дѣвушки, онъ не хочетъ заѣсть ея жизни, подвергая ее всѣмъ ужасамъ нищеты, и рѣшается разстаться съ нею. Добродѣтель безъ названія—№ 4.

Но за всѣ эти огорченія, испытанія и пожертвованія герой нашъ вознаграждается подъ конецъ повѣсти сторицею: благодѣтель узнаетъ, что его протеже и не думалъ проигрываться и что заемъ денегъ у него былъ со стороны учителя подвигомъ самопожертвованія. Конечно льются со всѣхъ сторонъ слезы умиленія, и герой уѣзжаетъ изъ села на зовъ своего высокаго благодѣтеля въ его отеческія объятія...

Читатель, можетъ быть, возразитъ мнѣ, прочитавши всю эту сантиментальную размазню, что «Приходскій учитель» — одна изъ первыхъ повѣстей Хвощинской, написанная безъ сомнѣнія въ ранней юности, и что ее не слѣдуетъ вовсе брать во вниманіе при оцѣнкѣ таланта ея. Возьмемъ же наиболѣе зрѣлое и самое удачное произведеніе Хвощинской «Въ ожиданіи лучшаго», напечатанное въ «Русскомъ Вѣстникѣ», въ 58-мъ или 59-мъ году.

Мы не будемъ говорить объ отрицательныхъ типахъ романа. Эти типы столь же безукоризненны, какъ и въ прочихъ произведеніяхъ Хвощинской, и даже, если хотите, очерчены съ гораздо большей тщательностью, рельефностью и полнотой.

Лица всего княжескаго семейства—старуха княгиня Десятова, ея внуки—Вася и Жанъ, ея приживальщицы—Аделаида Григорьевна и Анна Ѳедоровна съ дочерью Полиной,—словно живыя рисуются передъ вами въ романѣ въ своей будничной обстановкѣ. Мы посмотримъ на положительные характеры романа, идеальные типы, которыми Хвощинская оттѣняетъ изображаемую ею среду. Здѣсь намъ представится совершенно особенный міръ идеальныхъ армейскихъ артиллеристовъ и еще болѣе идеальныхъ управляющихъ имѣніями...

Дѣло въ томъ, что у княгини Десятовой была крестница, которая вышла замужъ за армейскаго артиллериста Алексинскаго, человѣка, одареннаго красотой, состояніемъ и всѣми возможными добродѣтелями; но по уши втянувшаяся въ свѣтскую жизнь, безхарактерная и легкомысленная, Алексинская не могла оцѣнить всѣхъ достоинствъ своего идеальнаго мужа, и у молодыхъ супруговъ начался естественный въ такомъ случаѣ разладъ. Съ характеромъ разлада насъ отлично познакомитъ сама Алексинская въ своемъ признаніи княгинѣ.

— Вы знаете, maman, продолжала Катерина Александровна: — что, когда четыре года назадъ я вышла за Nicolas, я не любила его de cet amour immense, этой безмѣрной любовью, которой мы бы должны любить того, кому отдаемъ всю жизнь. J'étais orpheline on m'a, mal conseillé. Nicolas молодъ, хорошъ собой конечно; я ничего не могла сказать противъ этого; можетъ быть, было и увлеченіе съ моей стороны. Но у него были свои привычки, у меня—мои. Помните, maman, всѣ, и вы говорили, что тутъ между нами бездна?

— Я это всегда говорила, отвѣчала княгиня:— конечно твой мужъ и хорошъ собой, и съ прекраснымъ состояніемъ, и не глупъ, но вы съ нимъ разнаго круга, а сколько тамъ ихъ ни воспитывай... что онъ? артиллерійскій офицеръ былъ, армейскій; что же онъ видѣлъ? Вышелъ въ отставку, заставили его; только ты ввела его куда-нибудь.

— Да, maman, и вы знаете, что это стоило труда. Я должна была выносить это. Вы знаете, какъ трудно сдѣлать что-нибудь такъ, въ семействѣ, между мужемъ и женой, чтобы одна сторона не замѣчала вліянія другой. Мой мужъ сталъ недоволенъ, что я брала на себя этотъ трудъ.

— Le sot! прервала княгиня: — что же, лучше то общество, въ которомъ онъ таскался, se trainait là, въ провинціи?

— Не знаю, отвѣчала покраснѣвъ молодая женщина:—но онъ былъ недоволенъ, онъ даже выражалъ, что это ему непріятно. Я понимаю.. я не эгоистка, я понимаю, что его самолюбіе было затронуто; но и онъ долженъ былъ понять, что это необходимо... Вы не повѣрите, maman, я выдерживала сцены!.. Онъ страстно любилъ меня, я это знаю, онъ это доказывалъ, но какое упрямство! Онъ сталъ умолять меня избавить его отъ этой «школы приличія.» Вотъ я даже заучила фразу! Потомъ онъ сталъ умолять меня отдалиться отъ моего общества; то говорилъ, что оно слишкомъ часто насъ разлучаетъ, то оно ему въ тягость, наконецъ, что оно пусто.

Княгиня покачала головой, улыбаясь.

— Что же мнѣ оставалось дѣлать? я сказала ему, въ минуту раздраженія, dans un moment d'irritation, что не могу же я для него бросить кругъ, гдѣ для меня все родное. Я стала выѣзжать одна. До этого времени я все думала, все вѣрила, что онъ меня любитъ. Онъ ничего не выговаривалъ мнѣ, ни въ чемъ не противорѣчилъ, но сдѣлался такъ несносно скученъ, что, право, раздражалъ мнѣ нервы. Молчитъ, читаетъ. Я стала просто убѣгать изъ дома. Онъ отыскалъ какихъ-то старыхъ друзей; они начали появляться у него. Это были не оргіи, о нѣтъ! но сберутся, разговариваютъ, курятъ, все это иногда за полночь. Случалось, я возвращаюсь съ бала и нахожу это общество уже не въ его кабинетѣ, но въ залѣ; на одномъ столѣ ужинъ, на другомъ шахматы, мой рояль открытъ! Его пріятель какой-то пѣвалъ романсы. Онъ вздумалъ представить мнѣ этого пѣвца: страшный, съ длиннѣйшими усами; вы можете вообразить, какъ мало меня интересовалъ его теноръ!.. Я думаю, эти физіономіи сдѣлали тогда на меня такое впечатлѣніе, что... Тогда я была въ такомъ положеніи... Я должна отдать Nicolas эту справедливость; онъ, казалось, былъ самъ готовъ упасть въ обморокъ, если видѣлъ, что я блѣднѣла. Но что за манера беречь мое здоровье, удерживая меня дома? Я продолжала выѣзжать, coute que coute. Тогда родилась моя Лили... Мнѣ говорили, что мужъ мой сходилъ съ ума отъ радости, а потомъ съ горя, когда я едва не умерла. Онъ, говорили мнѣ, десять дней не пилъ, не ѣлъ, не спалъ, не отходя отъ моей постели. Я не могла этому вѣрить, когда онъ бралъ на руки Лили; не знаю, чего я всегда боялась; ея нѣжное личико и его лицо вмѣстѣ cela me faisait un effet terrible... Онъ не далъ мнѣ привязаться къ этому ребенку... впрочемъ слава Богу, что не далъ: я потеряла сына такъ скоро, еще не оправясь сама! Тутъ его слезы... Не эгоизмъ ли былъ съ его стороны мучить меня слезами, жалобами? развѣ я не должна быть для него дороже ребенка, котораго и онъ, и я равно лишились? Тутъ я поняла, какъ въ два года мы стали далеки другъ отъ друга. Между нами все было кончено, въ глубинѣ сердца. Я это чувствовала... Мы поѣхали въ деревню. Онъ оставлялъ меня одну, по цѣлымъ днямъ хозяйничалъ. У меня было только чтеніе, работа. Онъ предлагалъ прогулки... но вѣдь это нестерпимо, когда люди уже не понимаютъ другъ друга! Я имѣла мужество и, право, могу сказать это не хвалясь, я имѣла достоинство не обманывать его, не притворяться, не скрывать чувства холода, скуки, которое онъ мнѣ внушалъ...

— Давно пора было дѣлать это, замѣтила княгиня, прилежно работавшая: — надо было начать съ этого. Эти господа способны какъ разъ возгордиться при малѣйшемъ вниманіи женъ. Что же, онъ дѣлалъ тебѣ сцены?

— О, нѣтъ, никогда. Онъ молчалъ.

— Какъ человѣкъ ничтожный.
— Но онъ отмстилъ мнѣ, maman!
— Отмстилъ? Какъ? развѣ онъ способенъ?
— Hélas, oui, maman! Едва мы воротились сюда, онъ возобновилъ свои старыя знакомства, надѣлалъ новыхъ, по своему вкусу, сталъ уѣзжать изъ дома такъ же часто, какъ прежде я уѣзжала отъ него, сталъ играть... Это продолжается два года... En un mot, maman,il me n'eglige!
«Катерина Александровна прослезилась.»

Прочитавши эту тираду, вотъ вы и поразмайте, какъ смотрѣть вамъ на героя романа: какъ на идеальный, добродѣтельный типъ, или какъ на человѣка съ головой положительно какой-то деревянной. Съ одной стороны, чѣмъ же онъ не идеалистъ: посмотрите, какъ нѣжно, глубоко, страстно, постоянно любитъ онъ свою жену, просиживаетъ ночи у ея изголовья, когда она больна, проливаетъ горькія слезы при видѣ умершей малютки. Какая возвышенная страсть, что за нѣжное сердце!.. Посмотрите, какъ тяготитъ его пустое свѣтское общество, со всей его чопорностью: онъ бѣжитъ отъ хладнаго свѣта въ кружокъ милыхъ друзей, такихъ же простыхъ, добрыхъ, гуманныхъ, какъ и онъ самъ, и въ этомъ кружкѣ длятся за полночь задушевныя бесѣды о добрѣ, истинѣ, благѣ... И этого ангела во плоти не понимаетъ его пустая, вѣтреная супруга! О, сколько горя причиняетъ она ему! А онъ, хоть бы слово упрека. Молчитъ и страждетъ, ища въ кружкѣ друзей развлеченія отъ домашняго горя.

Но рядомъ со всѣмъ этимъ вы видите, что въ этомъ героѣ не хватало настолько здраваго смысла, чтобы если не до свадьбы, то въ первые же мѣсяцы супружества понять всю суть своей супруги и всю пропасть, которая лежитъ между имъ и ею,—пропасть, замѣтьте, которую видѣли всѣ, кромѣ него. Какъ ни искажены всѣ понятія Алексинской, какъ ни легкомысленно судитъ она обо всемъ, но, читая вышеприведенную тираду ея, вы невольно сознастесь, что она гораздо умнѣе своего мужа и правѣе его.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же она виновата, что расходится съ мужемъ и въ привычкахъ, и въ понятіяхъ, и въ симпатіяхъ? Чѣмъ виновата она, что она его не любитъ, что онъ даже отвратителенъ ей? Она вѣдь не скрываетъ своего охлажденія къ нему, не притворяется любящей, не обманываетъ его. Казалось бы, что, не имѣя никакихъ идеальныхъ совершенствъ, человѣкъ, одаренный хоть каплей простого, грошоваго самолюбія, могъ бы принять въ соображеніе, что разъ его не понимаютъ, не цѣнятъ, не любятъ, то нечего надоѣдать женщинѣ своей непрошенной любовью, а остается разорвать съ ней всякія сношенія или устроить жизнь такъ, чтобы не мѣшать другъ другу... Но ужъ я не знаю, до какихъ только невозможныхъ, немыслимыхъ предѣловъ доходитъ, трудно и назвать что,—тупоуміе, слѣпота или крайняя дряблость Алексинскаго, который продолжаетъ донимать супругу своей нѣжной страстью, упрашиваетъ ее не ѣхать въ деревню, куда она хочетъ скрыться хоть на время отъ надоѣдавшаго ей человѣка, пишетъ ей нѣжныя письма, вродѣ того, что двадцать-четыре часа безъ нея были очень долги, мечется во всѣ стороны, чуть не умираетъ, узнавши объ ея измѣнѣ, и наконецъ лишаетъ себя жизни, убѣдившись окончательно въ ея пошлости.

Я не хочу утверждать, чтобы такихъ людей, какъ Алексинскій, не было въ дѣйствительности; но въ жизни такіе люди представляются весьма жалки и дряблы. Они являются передъ вами вполнѣ произведеніями той же среды, которая выдвигаетъ передъ вами героевъ вродѣ Катерины Александровны, Полины, Жана и прочихъ личностей романа, и нисколько они не лучше этихъ лицъ. Отчасти преслѣдуя узкіе идеальчики въ духѣ прописной морали, отчасти руководясь слѣпыми, безотчетными страстями, люди эти способны надѣлать болѣе зла, чѣмъ даже обыденные, пошлые люди той же среды, не беря въ разсчетъ, что жизнь ихъ въ основаніяхъ своихъ лежитъ на такихъ же ложныхъ началахъ, какъ и жизнь Десятовыхъ. Въ самомъ дѣлѣ, у такихъ людей, какъ Алексинскій и пріятель его Неряцкій, не достаетъ на столько здраваго смысла и простой деликатности, чтобы не навязываться женщинѣ со своими чувствами и понятіями, которыя она и не понимаетъ, и не раздѣляетъ, не тиранить ее своими нравоученіями, подсматриваніями, подслушиваніями (замѣчательно, что у Хвощинской идеальные типы усердно подслушиваютъ при всякомъ удобномъ случаѣ), великодушными прощеніями и проч. Въ этомъ отношеніи, какъ ни пошлы осмѣиваемые Хвощинской свѣтскіе люди, но они являются гораздо здравомыслящѣе идеальныхъ героевъ, а старуха Десятова положительно умнѣе всѣхъ въ романѣ. Ее нисколько не удивляетъ разладъ съ мужемъ ея крестницы, она не прибѣгаетъ при этомъ ни къ какимъ нравоучительнымъ сентенціямъ о святости семейнаго долга и обязанностяхъ жены, а напротивъ того, когда крестница возражаетъ, что при всемъ разладѣ она не раздѣляетъ съ мужемъ денежныхъ счетовъ, княгиня хладнокровно отвѣчаетъ на это:

— Совсѣмъ напрасно; это бы первое слѣдовало раздѣлить...

Положимъ, она произноситъ эти слова изъ опасенія, чтобы Алексинскій не прокутилъ денегъ своей жены. Но изъ какихъ бы пошлыхъ побужденій ни сказала княгиня эти слова, во всякомъ случаѣ не въ тысячу-ли разъ благоразумнѣе ея отношеніе къ дѣлу, чѣмъ всѣ эти нравственныя разглагольствованія, навязыванія и терзанія во имя идеальныхъ призраковъ семейнаго счастія со стороны Алексинскаго и Неряцкаго? Не заботясь ни о какихъ идеалахъ любви и семейнаго долга, княгиня въ то же время весьма послѣдовательно разсуждаетъ, что если существуетъ пропасть между мужемъ и женой, то эту пропасть ничѣмъ не наполнишь, и вмѣсто того, чтобы трудиться понапрасну о построеніи черезъ эту пропасть соломенныхъ мостиковъ, не честнѣе ли признать фактъ разлада, какъ онъ есть, и идти до конца, безъ всякихъ остановокъ, колебаній и оглядываній: если нѣтъ любви и согласія, если все идетъ врозь—и привычки, и симпатіи, то естественно остается раздѣлиться и имуществами.

Въ неизмѣримой степени гуманнѣй и деликатнѣй оказывается княгиня и во взглядѣ на связь Алексинской съ Жаномъ... Она не спѣшитъ оглушить свою крестницу громами упрековъ за измѣну ея супруже-

скому долгу, не терзаетъ и безъ того несчастную женщину изъявленіями лицемѣрнаго негодованія и презрѣнія къ падшей преступницѣ. Она очень хорошо повидимому понимаетъ, что если женщина не любитъ одного, то никакими силами и законами не потушите въ ней любви къ другому, и было бы въ высшей степени жестоко и безчеловѣчно клеймить позоромъ и оскорбленіями женщину за то, что ея сердце не повинуется нравственнымъ сентенціямъ. Вы посмотрите, какъ гуманно и деликатно встрѣчаетъ княгиня крестницу послѣ всего семейнаго погрома.

«Недѣли черезъ двѣ Катерина Александровна пріѣхала въ Бубново. Вася бѣжалъ отъ нея, самъ не зная чего сконфузясь. Княгиня поднялась на эстаблисманѣ и встрѣтила ее привѣтливо.

— Bonjour, mon enfant. Тебя давно не видно.

Молодая женщина была сконфужена и дрожала. Она, вродѣ Васи, сама не знала, чего боялась; ласковый пріемъ княгини ее ободрилъ и разчувствовалъ; она обнялась со старухой и вскричала:

— Ah, chère maman, je suis une malheureuse!

— Что такое? спросила княгиня, наморщивъ брови: — мужъ твой боленъ? Это еще не большая печаль.

— Ему лучше, maman, mercі.. Я потому и не была у васъ... Ему лучше, мы даже скоро возвратимся въ Москву, какъ только будетъ можно. Этимъ временемъ... я столько вынесла, chère maman, что, право, надо, чтобы Богъ далъ силу отдохнуть отъ всего. Я даже думала ѣхать заграницу.

— Что-же?

— Нѣтъ, я потомъ разочла сама. Мнѣ лучше быть между своими, между обществомъ, которое мнѣ давно знакомо, нежели одной, въ чужой землѣ, съ нимъ!..

— Развѣ твой мужъ хотѣлъ тоже ѣхать? спросила съ усмѣшкой княгиня.

— Да. Онъ и предлагалъ мнѣ.

— Ему-то, заграницу! сказала княгиня, продолжая усмѣхаться.—Ну, что онъ?

— Ничего, все то-же... отвѣчала Катерина Александровна, потупляя голову.

— Franchement, il n'y avait rien entre vous? спросила княгиня.

— Oh rien! отвѣчала поспѣшно Катерина Александровна.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Клянусь вамъ... И за что-же?

— И онъ все попрежнему влюбленъ? спросила княгиня, улыбаясь съ удовольствіемъ особы, которой эта сцена напоминаетъ ея собственное прошлое.

— О, попрежнему, отвѣчала Катерина Александровна.

— Il est bête, mais la perle des maris, произнесла княгиня:—только скучно съ нимъ очень; рессурсовъ ужъ никакихъ. Впрочемъ въ Москвѣ тебѣ будутъ развлеченія, будешь выѣзжать, принимать у себя.

— Онъ обѣщалъ мнѣ два бала.

— Назначь дни кромѣ того. Я пріѣду къ тебѣ играть. Останься теперь у меня на весь день. Пехлецовъ пріѣдетъ, а то я безъ партіи.

Катерина Александровна подумала, что это ея обязанность, и сняла шляпку. Она подумала еще, освѣжившись въ родномъ ей обществѣ, что вынесла слишкомъ много въ эти горькіе дни отъ грубыхъ людей, и можетъ позволить себѣ нѣсколько часовъ удовольствія. Она стала очень весела и поиграла въ саду въ воланъ съ Васей.»

Теперь вы сравните эту сцену съ слѣдующими нравственными истязаніями, которымъ подвергаетъ Катерину Александровну, въ качествѣ представителя идеальнаго совершенства, Неряцкій.

«— Отворите, Катерина Александровна, послышалось вдругъ за дверью балкона.

Она вскочила и машинально отворила; вошелъ Неряцкій.

— De quel droit, monsieur... начала она, теряясь, гнѣвансь, испугавшись.

— Я видѣлъ, что вы еще не ложились, отвѣчалъ онъ, запирая дверь спальни:—a de quel droit, это ужъ я знаю. Вы знаете, что вашъ мужъ боленъ? Я присылалъ вамъ сказать, — сказали вамъ? Почему вы не пришли къ нему въ ту же минуту?

— А по какому праву вы меня допрашиваете? возразила Катерина Александровна:—вы забываетесь; c'est une insolence, ça n'a pas de nom...

— А то, что вы сдѣлали, — какъ назвать? прервалъ онъ тихо.—То, что вы сдѣлали, Катерина Александровна, избавляетъ отъ учтивости съ вами. Понимаете вы это? Извольте сказать мнѣ, что вы,— а потомъ кричите, что я забываюсь.

— О, какая низость, какая низость! вскричала Катерина Александровна, рыдая и падая въ кресло. - Vous êtes un homme horrible, вы сдѣлали мое несчастіе, вы донесли на меня, вы осмѣлились за мной подсматривать, подслушивать.

— Не подслушивалъ, а только слышалъ! Не подсматривалъ, а только увидѣлъ ваше униженіе: вы сами выставляли его на показъ цѣлому свѣту! Вы обезумѣли! Если бы четыре дня тому назадъ не прибѣжалъ я сюда, Пехлецовъ засталъ бы васъ съ вашимъ княземъ...

— Monsieur Неряцкій!

— Я не допосилъ,—я долженъ былъ призвать вашего мужа!

— И призвали! наслаждайтесь вашимъ дѣломъ! Онъ меня убьетъ!

— Нѣтъ, *вы* его убьете. . Да думаете-ли вы когда нибудь о чемъ нибудь? Есть у васъ сердце, или нѣтъ? Онъ вамъ прощаетъ, а вы ему чѣмъ платите? слезами и мольбами за любовника! Вы мнѣ скажите, васъ учили хоть катехизису? Толковали вамъ, что такое совѣсть? Вы поклоны земные кладете на умиленіе всей вашей дворни,—а есть ли въ вашей дворнѣ женщина, которая бы пала ниже васъ?

«Катерина Александровна вскочила, не имѣя силы вскрикнуть.

— Обидѣлись? продолжалъ Неряцкій:—да въ вечернихъ молитвахъ вашихъ вы, благочестивая, разбираете ли себя? Вотъ онъ, глубокій развратъ! Вы отдались отъ нечего дѣлать, отъ пустоты, отъ лѣни понять честнаго человѣка, который загубилъ себя, связавшись съ вами .. вы отдались, а не полюбили. Любить вы не умѣете,—иначе вы бы любили вашего мужа! Это даже не страсть, это у васъ такъ, препровожденіе времени, привычка... и даже въ ней никакого достоинства! Я видѣлъ, слышалъ: негодяй васъ больше знать не хочетъ, а вы вѣшаетесь ему на шею...

— Sortez, monsieur Неряцкій! вскричала Катерина Александровна.

— Я бы убилъ васъ, продолжалъ онъ:—безъ малѣйшаго права, я-бы убилъ васъ! Я бы не сталъ, какъ этотъ несчастный, совать себѣ пистолетъ въ ротъ... какъ удалось его выхватить! Не надо васъ на свѣтѣ,—не потому, что вы невѣрная жена, не потому, что вы *одного* оскорбили,—а потому что вы отвратительное порожденіе отвратительнаго общества, потому что вы мелки, развращены, потому что, погубивъ человѣка, вы пищите о томъ, что будетъ съ вами и какъ на васъ поглядятъ тамъ, въ свѣтѣ вашемъ .. будь онъ проклятъ! Слушайте, что я говорю: вамъ этого не говорили и никто не скажетъ!.. Вотъ вы вся тутъ: онъ умираетъ, вы романы читаете!

«Неряцкій бросилъ книгу о полъ...»

Но довольно, довольно! Силъ нѣтъ выносить болѣе возмутительности этой сцены, этихъ наглыхъ, безцѣльныхъ и безчеловѣчныхъ рѣчей грубаго пошляка,

принявшаго на себя добровольно и безъ всякихъ правъ фарисейскую роль нравственнаго палача!.. И хоть-бы вспомнила эта ходячая мораль, величественно напоминающая о катехизисѣ, притчу «о блудницѣ» изъ того же катехизиса или всѣмъ извѣстное изреченіе «не судите да не судимы будете!..» Такъ вотъ они каковы эти идеальныя совершенства Хвощинской, вотъ она какова, по мнѣнію Хвощинской, та среда, въ которой она видитъ противоположность свѣтской пустоты. Признаться сказать, эта прославляемая среда представляется въ романѣ неизмѣримо нелѣпѣе и пошлѣе свѣтской среды, и послѣдняя является передъ нами по истинѣ во сто разъ гуманнѣе и цивилизованнѣе. Послѣ этого понятно, что Катерину Александровну тянуло въ общество, гдѣ не тыкали въ нее пальцами, не позволяли себѣ дѣлать ей грубыхъ оскорбленій во имя того, что она пала, и поэтому, молъ, лишается права учтивости съ нею. Понятно, что она бѣжала отъ людей, которые не съ однихъ свѣтскихъ точекъ зрѣнія, а на самомъ дѣлѣ являются передъ нами грубыми дикарями и невоспитанными невѣждами. Что же это за дрянная среда, которую Хвощинская представила намъ, какъ вмѣстилище нравственныхъ совершенствъ? Откуда взяла она своихъ безобразныхъ героевъ? А это не что иное, какъ среда самодовольнаго, грубаго мѣщанства, равно ненавистная какъ для людей большого свѣта, такъ и для противоположныхъ имъ людей злобы нашего вѣка. Здѣсь мы должны кстати замѣтить, что какъ ни противоположны между собой люди большого свѣта и люди злобы вѣка, но въ то же время они гораздо болѣе имѣютъ общаго во многихъ своихъ правилахъ, чѣмъ оба эти сорта людей съ мѣщанской средой. Вы можете сколько угодно обвинять пустоту свѣтской жизни, но вмѣстѣ съ этимъ, съ точки зрѣнія самыхъ передовыхъ идей вѣка, вы должны отдать полную справедливость многимъ свѣтскимъ правиламъ, такъ напримѣръ, хотя бы мудрѣйшему правилу не соваться съ непрошеннымъ участіемъ въ чужія семейныя дѣла, не позволять себѣ давать совѣтовъ, когда у васъ ихъ не спрашиваютъ, и не пускаться въ моральныя сентенціи, если вы не носите на себѣ рясы, которая васъ къ этому обязываетъ. Въ силу этихъ правилъ, истинно свѣтскій человѣкъ никогда не позволитъ себѣ надѣлять нравственными оплеухами женщину, измѣнившую мужу. Онъ способенъ даже и съ преступникомъ любезно заговорить о политикѣ или погодѣ, ни словомъ, ни движеніемъ не намекая, что онъ передъ этимъ преступникомъ—нравственное совершенство. Крайности въ этомъ отношеніи сходятся. Но полно, крайности ли это? Тѣ привычки истинно-свѣтскаго воспитанія, которыя дѣлаютъ человѣка равно со всѣми привѣтливымъ, любезнымъ, деликатнымъ и сдержаннымъ, особенно въ щекотливыхъ семейныхъ вопросахъ, не являются ли закостенѣвшими и обратившимися въ безсознательныя привычки, отголосками той эпохи, когда среда, создавшая эти свѣтскія правила, стояла во главѣ умственнаго движенія вѣка, впервые додумалась до основныхъ началъ нравственной эмансипаціи и провозгласила первые уроки истинной гуманности. Впослѣдствіи умственное движеніе перешло въ другія сферы общества; свѣтская среда застыла въ томъ видѣ, въ какомъ остановилась ея жизнь; гуманныя идеи вывѣтрились изъ ея сознанія, но многія изъ правилъ, которыя нѣкогда возникли изъ этихъ идей, остались въ ней въ видѣ культурныхъ привычекъ, безсознательно передаваемыхъ отъ отцовъ дѣтямъ. Въ силу этого пребыванія гуманныхъ и прогрессивныхъ идей за кулисами безсознательныхъ повидимому свѣтскихъ привычекъ, послѣднія и имѣютъ въ себѣ такую привлекательность и силу, что дѣлаются обязательными для каждаго мало-мальски образованнаго человѣка. Такъ напримѣръ, возьмите хоть свѣтскій обычай, въ силу котораго мужъ и жена имѣютъ не только отдѣльныя спальни, но и отдѣльныя половины квартиръ, и не только чужой человѣкъ, но и мужъ не можетъ войти въ спальню женщины безъ ея позволенія. Развѣ въ этомъ обычаѣ вы не видите перваго шага эмансипаціи женщины и ея равноправности? Женщина, безотвѣтная раба, не смѣетъ не только помышлять о правѣ пускать или не пускать мужа въ спальню, не смѣетъ обыкновенно имѣть и свою спальню. Но до такой степени сильно еще варварство мѣщанскихъ нравовъ, что когда въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ явился романъ, въ которомъ авторъ рекомендовалъ такое устройство семейной жизни, грубая мѣщанская среда вдругъ пришла въ ужасъ и забила тревогу о покушеніи на семейную нравственность, забывши, что подобный обычай давно существуетъ въ томъ самомъ свѣтскомъ обществѣ, съ котораго такъ постоянно и такъ пошло старается обезьяничать та же самая мѣщанская среда. Герои же Хвощинской находятся на такой еще низкой ступени цивилизаціи, что, какъ мы видѣли, позволяютъ себѣ насильно врываться въ спальню женщины, даже не будучи ихъ мужьями. Впрочемъ, что же значитъ врываніе въ спальню передъ нахальнымъ врываніемъ въ нравственный міръ человѣка! Это ужъ конечно пустяки—такъ, ничтожные свѣтскіе обычаи, которыми нравственный герой всегда можетъ пренебречь. Развѣ можетъ быть вопросъ о схватываніи за волосы, когда вслѣдъ за этимъ готовится ударъ ножемъ въ сердце?

Но вы можетъ быть скажете, что Хвощинская и не думала выставлять такихъ господъ, какъ Алексинскій и Неряцкій, нравственными идеалами; что она нарисовала намъ нѣсколько типовъ въ тѣхъ ихъ столкновеніяхъ, въ какихъ они представлялись ей въ самой жизни, предоставляя читателю самому выводить какія угодно заключенія изъ анализа этихъ типовъ. Но Хвощинская вовсе не принадлежитъ къ числу писательницъ вполнѣ объективныхъ и относящихся къ своимъ типамъ съ полнымъ безразличіемъ; впрочемъ такихъ писателей и не бываетъ. Хвощинская не упускаетъ ни одной отрицательной черточки своихъ героевъ, чтобы не указать на нее читателямъ. Къ Алексинскому же и Неряцкому она относится съ безусловной симпатіей, какъ къ типамъ вполнѣ положительнымъ, и въ особенности къ Неряцкому. Вотъ заключательныя слова ея романа:

«Неряцкій впрочемъ давно не управляющій въ Вознесенскомъ; онъ въ то же лѣто простился съ Алексинскимъ. Съ тѣхъ поръ онъ перебывалъ почти во всѣхъ концахъ Россіи, съѣздилъ въ Америку и теперь занимается устройствомъ одного чугуннаго

завода. *Люди, какъ онъ, не затериваются, а когда человѣкъ занятъ, ему легко живется*».

Мы тоже скажемъ, въ свою очередь, что люди, подобные Неряцкому, не затериваются, и что легко живется на свѣтѣ подобнымъ устроителямъ чугунныхъ заводовъ съ ихъ чугунными лбами и нервами.

Но мы представили читателямъ, въ лицѣ приходскаго учителя, Алексинскаго и Неряцкаго,—наиболѣе типичныхъ представителей идеальнаго міра Хвощинской. Далѣе слѣдуетъ рядъ личностей совершенно безцвѣтныхъ, различныхъ добродѣтельныхъ помѣщиковъ средней руки, идеальныхъ чиновниковъ гражданской палаты и пр., и пр. Характеры эти совершенно соотвѣтствуютъ стереотипнымъ героямъзаурядныхъ французскихъ романовъ. Таковы, напримѣръ, Бѣлягинъ въ романѣ «Кто-жъ остался доволенъ?», Карзановъ—въ романѣ«Испытаніе»,Нестоевъ—въ романѣ «Послѣднее дѣйствіе въ комедіи»—все это больше ничего, какъ благородные jeunes premiers, умѣющіе постоянно и пламенно любить и мужественно отстаивать свою честь передъ дуломъ пистолета...

Послѣ этого всего понятно, что шестидесятые годы не могли удовлетвориться романами Хвощинской. Съ одной стороны, шестидесятые годы не находили ничего новаго въ ея отрицаніи свѣтской пустоты,—конькѣ, достаточно изъѣзженномъ нашею литературою со временъ сатирическихъ журналовъ Новикова. Но это-бы еще ничего, а главное то, что тотъ идеальный міръ, который противопоставляетъ Хвощинская своимъ отрицаніямъ, является передъ нами именно тѣмъ самымъ міромъ, надъ которымъ болѣе всего смѣялись шестидесятые годы. Герои узенькихъ идеальчиковъ мѣщанскаго счастья и мѣщанскихъ добродѣтелей, рыцари блаженной серединки, представители постепеннаго прогреса—это были тѣ самые господа, которые наиболѣе кричали: «въ наше время, когда», публично хвастались въ газетахъ, что они не берутъ взятокъ, были вѣчно вседовольны и всесовершенны, и впослѣдствіи первые встали въ ряды благоразумныхъ сѣятелей и піонеровъ, принявшихся расчищать поле россійскаго прогресса отъ вредныхъ плевелъ безразсуднаго отрицанія. Въ то же время хотя шестидесятые годы симпатизировали людямъ честнаго труда, возставая на среду свѣтской праздности, но подъ людьми честнаго труда они разумѣли вовсе не сердобольныя посредственности, довольствующіяся скромною жизнью подъ соломенною крышей, и тѣмъ менѣе тѣхъ тружениковъ, которые толкутся въ переднихъ благодѣтелей и втираются, во что бы то ни стало, въ свѣтское общество, чтобы сидѣть тамъ хоть на кончикѣ стула, глотая всякія униженія.

IV.

Да, шестидесятые годы были гордою эпохой, которая не умѣла и не хотѣла мириться на какихъ-нибудь узенькихъ и маленькихъ идеальчикахъ. Шестидесятые годы требовали отъ литературы, чтобы она лучше не выводила ничего положительнаго, идеальнаго, чѣмъ обманывала людей, утѣшая ихъ пряничными героями, изъ-подъ сусальнаго золота которыхъ выглядывало бы копѣечное тѣсто.

Но измѣнились времена и снова упала волна нашей жизни. И опять мельчаютъ интересы, мельчаютъ люди; опять жизнь начинаетъ тянуться день за день, безцвѣтно и вяло, и опять мы видимъ въ литературѣ тѣ же неизмѣнные симптомы. Снова героями ея сдѣлались рыцари пятаковъ, благолѣпные администраторы въ pince-nez и съ пушистыми бакенбардами, ревностные поборники мѣщанскихъ добродѣтелей и установители россійскаго прогресса въ благоприличные предѣлы. Эти рыцари величественно красуются въ современныхъ романахъ, пылая негодованіемъ и презрѣніемъ къ павшимъ и отошедшимъ въ вѣчность героямъ отрицанія и сомнѣнія шестидесятыхъ годовъ, которыхъ усердные романисты спѣшатъ въ запуски осмѣивать и освистывать. Снова подняла голову узкая мѣщанская мораль, дѣлающая передовые вопросы литературы и жизни изъ карточки актрисы, снявшейся слишкомъ декольте, или излишняго поднятія ноги танцовщицей. И въ этомъ отношеніи стыдливая и скромно потупляющая взоры литература нашего времени вполнѣ уподобляется старой дѣвѣ, которая чѣмъ болѣе ахаетъ и возмущается о безнравственности, чѣмъ болѣе старается отогнать отъ себя всякія нечистыя мысли, тѣмъ болѣе преслѣдуютъ ея воображеніе самыя соблазнительныя картины. Совершенно точно такъ же и тѣ изъ нашихъ литераторовъ, которые наиболѣе бьютъ тревогу о паденіи нравовъ, въ то же время наиболѣе угощаютъ читателей клубничными сценами самаго вожделѣннаго свойства.

Вмѣстѣ со всѣмъ тѣмъ вы слышите въ литературѣ и грубые, наглые голоса, напоминающіе вамъ вполнѣ поборниковъ нравственности вродѣ Неряцкаго... Совершенно въ pendant Неряцкому, находившему, что Катерина Александровна, измѣнивши мужу, лишается этимъ права на учтивость, и эти голоса негодуютъ на судей, обращающихся вѣжливо съ подсудимыми. Вѣкъ Неряцкихъ, вѣкъ грядущаго господства грубаго мѣщанства требуетъ, чтобы преступникамъ читались такія же нотаціи, какія Неряцкій читалъ Катеринѣ Александровнѣ, и, что всего смѣшнѣе, подобные голоса раздаются изъ той самой части литературы, которая болѣе всего претендуетъ на защиту свѣтскихъ интересовъ и свѣтскихъ нравовъ! Послѣ этого всего понятно, что при всеобщемъ измельчаніи литературныхъ интересовъ, при крайнемъ съуженіи литературной мысли—романъ Хвощинской «Большая Медвѣдица» приходится вполнѣ въ уровень нашему времени. Въ шестидесятыхъ годахъ романъ этотъ коекѣмъ прочелся бы, кое-кому понравился, но навѣрное остался бы безъ вниманія, какъ напримѣръ остался незамѣченнымъ въ свое время романъ «Въ ожиданіи лучшаго». Но въ наше время «Большая Медвѣдица» сдѣлалась вдругъ передовымъ явленіемъ литературы, несмотря на то, что романъ этотъ нисколько что ниже «Въ ожиданіи лучшаго», но не выдерживаетъ критики сравнительно съ многими произведеніями Хвощинской пятидесятыхъ годовъ.

Говорятъ, что въ романѣ вы встрѣтите множество прекрасныхъ отдѣльныхъ сценъ, отдѣланныхъ съ неподражаемымъ художествомъ, что многіе свѣтскіе и провинціальные типы очерчены съ рельефностью и выдержанностью недюжиннаго таланта, таковы Лидія Верховская, Волкаревы, Духановъ и пр., что общественныя симпатіи и антипатіи автора вполнѣ честны

и современны и проч., и проч. Но при этомъ забываютъ, что развѣ можно судить о достоинствѣ романа по нѣсколькимъ отдѣльнымъ сценамъ и мѣстамъ, по двумъ, тремъ удачнымъ типамъ, забывая, что сила романа въ тѣхъ обобщеніяхъ жизни и въ тѣхъ выводахъ, къ которымъ приходитъ читатель изъ чтенія всего романа отъ начала до конца. Отдѣльныя прекрасныя мѣста и удачно очерченные типы вы встрѣтите и въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» Тургенева, и въ «Взбаломученномъ морѣ» Писемскаго, а тѣмъ болѣе въ «Обрывѣ» Гончарова, но между тѣмъ люди, маломальски серьезно смотрящіе на литературу, остались почему-то недовольными этими произведеніями при всѣхъ ихъ эстетическихъ красотахъ. Что же касается до честности симпатій и антипатій автора, то что намъ до нихъ за дѣло, если мы видимъ, что авторъ питаетъ симпатіи въ тому, о чемъ онъ имѣетъ весьма смутныя и неопредѣленныя понятія; мы не знаемъ, можетъ быть онъ и не симпатизировалъ бы этимъ самымъ явленіямъ жизни, еслибы изучилъ ихъ, какъ слѣдуетъ.

Прежде всего поражаетъ васъ въ романѣ крайняя неестественность главнаго героя романа—Верховскаго: но что всего смѣшнѣе, вы видите такого рода неестественность, при условіи которой только и оказалась возможной фабула романа, то-есть поставь авторъ своего героя на вполнѣ естественную почву—и романъ далѣе первой части оказался бы невозможенъ.

Чтобы читатель могъ судить, какъ неестественъ Верховскій, мы сравнимъ его съ героемъ небольшой повѣсти Хвощинской «Искушеніе», написанной въ 1854 году.

Герой этой повѣсти—Озеринъ представляется вполнѣ прототипомъ Верховскаго. Въ повѣсти развивается передъ вами та же самая борьба честной бѣдности съ искушеніемъ разбогатѣть легкимъ, но постыднымъ образомъ. У Озерина богатый дядя, который обѣщаетъ сдѣлать его наслѣдникомъ всѣхъ своихъ богатствъ съ тѣмъ, чтобы онъ помогъ ему выиграть неправедный процессъ, грозящій разореніемъ цѣлому семейству. Но надо замѣтить, что та же самая идея развита въ повѣсти въ неизмѣримой степени естественнѣе и вѣрнѣе, чѣмъ въ «Большой Медвѣдицѣ».

Съ одной стороны, вы не понимаете, какъ такая идеальная женщина, какъ мать Верховскаго, могла воспитать такого дрянного и слабохарактернаго сына. Вѣдь вы подумайте, что за обстановка окружала Верховскаго въ дѣтствѣ. Мать его по смерти отца бросила все прежнее—свѣтскую праздность, балы и наряды,—не захотѣла слышать ни о какихъ благодѣяніяхъ и протекціяхъ и начала самостоятельно зарабатывать честный хлѣбъ уроками. Сынъ въ промежуткахъ чтенія, занятій, переводовъ, англійскихъ уроковъ носилъ воду, кололъ дрова, топилъ печи, подметалъ дворъ...«Онъ прежде любилъ ее,—говоритъ Хвощинская:—въ бѣдности сталъ обожать. Онъ видѣлъ, что она не старалась выказывать твердость только для того, чтобы поддержать его: она не притворялась, она была тверда въ самомъ дѣлѣ, въ самомъ дѣлѣ товарищъ, съ которымъ легко жилось, при которомъ было стыдно сробѣть или залѣниться. *Она была его нравственной силой*,—говоритъ далѣе Хвощинская, какъ будто прямо издѣваясь надъ читателемъ: ему хотѣлось быть чѣмъ-нибудь для нея. Онъ сталъ ея радостью. Бѣдность была велика, но велико было счастіе всякій день больше и больше любить другъ друга, встрѣчаться каждое утро съ восторгомъ, будто послѣ разлуки нѣсколькихъ годовъ, жить только вдвоемъ—и все не наговориться».

Какъ же это изъ такого воспитанія Верховскій не вынесъ никакого нравственнаго закала и поддался, очертя голову, первому искушенію, когда отъ него въ то же время никто не требовалъ, никто не ждалъ такой ужасной жертвы. Неужели мать, читая, бесѣдуя съ юношей, никогда не натыкалась на вопросъ о женитьбѣ, и ей въ голову не пришло внушить сыну, что такое значитъ—жениться на богатой, или съ другой стороны, неужели она никогда не говорила ему, чего она ожидаетъ отъ него въ жизни? Вотъ-то-то и есть, что бѣда изображать слишкомъ идеальные типы, имѣя дѣло съ нашей жизнью! Другое дѣло, еслибы Хвощинская вмѣсто «ненаглядной» и «святой», какъ величаетъ постоянно Верховскій свою мать, вывела бы обыкновенную, обѣднѣвшую помѣщицу, которая поневолѣ принуждена давать уроки, иначе нечѣмъ было бы ей жить, и при этомъ съ утра до ночи только и дѣлаетъ, что стонетъ о своей бѣдности, о своемъ унизительномъ положеніи, разсыпается передъ сыномъ слезливыми рѣчами о своемъ самопожертвованіи для него и о томъ, что конечно онъ воздастъ ей за все это сторицею, когда выучится, сдѣлается генераломъ, женится на богатой, разбогатѣетъ и пр.—тогда понятенъ былъ бы пагубный шагъ Верховскаго, къ которому онъ былъ бы приготовленъ съ дѣтства.

Вотъ въ этомъ отношеніи «Искушеніе» и представляется перломъ сравнительно съ «Большою Медвѣдицею». Вы видите здѣсь наглядно побудительныя причины къ искушенію, и притомъ такого рода, которыя заурядны въ жизни. Бѣдные родители, отпуская дѣтей на послѣднія деньги въ университеты, о томъ только и мечтаютъ обыкновенно, что сыновья, выйдя кандидатами, начнутъ хватать звѣзды съ неба, что имъ будутъ открыты двери повсюду, что почести и богатства такъ и посыпятся на нихъ. А между тѣмъ изъ университетовъ сыновья зачастую выносятъ рядъ убѣжденій, совершенно противоположныхъ ожиданіямъ родителей... Вотъ и образуются двѣ противоположныя тяги при первомъ столкновеніи молодого человѣка съ жизнью. Убѣжденія, вынесенныя изъ университета, тянутъ въ одну сторону, а родные слезно умоляютъ и плачутъ, вопятъ о неблагодарности, о черствости сердца, гордости и проч. «Къ чему послужило,—говорятъ они,—все это образованіе, которое мы тебѣ дали, зачѣмъ тратили на тебя послѣднія деньги, когда ты не хочешь воспользоваться такимъ прекраснымъ случаемъ, чтобы, осчастливя себя, выручить и насъ изъ той нищеты, которую мы столько лѣтъ терпѣли, и притомъ терпѣли отчасти и по твоей милости, удѣляя на твое воспитаніе послѣднія крохи?» Вотъ здѣсь есть о чемъ подумать, есть съ чѣмъ побороться... Вамъ становится жаль Озерина, когда вы видите, что его толкаютъ въ пропасть родные—мать и сестра, которыя ежедневно жалуются передъ нимъ на свою нищету и съ жадностью ухватываются за предложеніе дяди, укоряя Озерина въ гордости и

безсердечіи, если онъ откажется отъ этого предложенія. Положеніе Озерина поистинѣ трагическое: согласиться на предложеніе дяди—значитъ ринуться прямо въ пропасть лжи и преступленія и сказать прости всѣмъ своимъ убѣжденіямъ; отказаться—но тогда онъ останется навсегда въ глазахъ матери неблагодарнымъ, безчувственнымъ сыномъ и долженъ будетъ вѣчно слушать попреки, не въ силахъ будучи доставить роднымъ такого матеріальнаго довольства, какое имъ представлялось, еслибы онъ послушался ихъ.

Подобное положеніе Озерина тѣмъ болѣе поражаетъ васъ, чѣмъ заурядніе и общіе оно. Вы сознаете, читая повѣсть, что можетъ быть подъ каждою кровлею совершается подобная борьба, и кто въ своей жизни не вынесъ нѣсколько такихъ же мгновеній? Вотъ это и есть именно то, что́ называется въ искусствѣ широкимъ обобщеніемъ. Между тѣмъ какъ женитьба Верховскаго представляется какимъ-то исключительнымъ, необъяснимымъ случаемъ, если взять въ разсчетъ идеальность матери и тотъ нравственный закалъ, который онъ долженъ былъ получить въ дѣтствѣ и который еще болѣе должно было укрѣпить университетское образованіе. Въ дѣйствительности людямъ съ подобнымъ воспитаніемъ и развитіемъ, какое получилъ Верховскій не пришла бы и въ голову мысль о такой женитьбѣ .. Не нашелъ-бы онъ мѣста, поѣхалъ-бы къ матери раздѣлять съ нею нищету и грошовые уроки, и навѣрное въ два-три года что-нибудь и подвернулось-бы лучшее. Но тогда не было-бы и романа, не было-бы падшаго Верховскаго съ воспоминаніями о «святой».

Но предположимъ, что такъ или иначе Верховскій палъ. Далѣе затѣмъ вы встрѣчаете новый рядъ несообразностей, опять-таки ставящихъ «Большую Медвѣдицу» въ весьма невыгодное положеніе сравнительно съ «Искушеніемъ».

Дѣло въ томъ, что та острая нравственная борьба, которая изображена въ обоихъ произведеніяхъ, не можетъ длиться долго, не уничтоживъ человѣка. Человѣкъ можетъ воротиться на прежнюю дорогу, но не иначе, какъ вскорѣ послѣ паденія, пока есть еще возможность возврата и еще не поздно. Если же человѣкъ безвозвратно оторванъ отъ старыхъ береговъ, то волна жизни не замедлитъ унести его. Конечно случается иногда, что прежнее глубоко сидитъ въ сердцѣ человѣка, и ложность шага не перестаетъ мучить его, но при такихъ обстоятельствахъ нервы его не въ состояніи бываютъ выносить долго подобныхъ мученій, стыда, угрызеній и воспоминаній. Если нѣтъ возврата, человѣкъ начинаетъ искать какого-бы то ни было исхода, чтобы покончить сразу съ погубленной жизнью, онъ стрѣляется, а не то—ему грозитъ сумасшествіе, чахотка. Вообще, какъ-бы ни были сильны нервы,—постоянное, упорное напряженіе ихъ такъ же невозможно, какъ и постоянная безсонница. Но случаи трагическихъ исходовъ изъ нравственной борьбы вообще рѣдки. По большей же части чувство самосохраненія беретъ верхъ; къ тому же новая обстановка, новая среда, въ которую человѣкъ вступаетъ,—оказываютъ свое вліяніе на него, обтесываютъ, полируютъ его по своему. Сначала ему жалко прежняго, неловко, стыдно своего паденія—но мало по малу болото, въ которое онъ свалился, всасываетъ его; онъ свыкается со своимъ положеніемъ, обживается въ новой средѣ, а совѣсть—о, для нея какъ разъ возникаютъ цѣлыя утѣшительныя теоріи, которыми человѣкъ спѣшитъ не только оправдать свой поступокъ, но даже представить его въ идеальномъ свѣтѣ—и глядишь, часто не только въ два-три года,—въ нѣсколько мѣсяцевъ передъ вами совсѣмъ иной господинъ, не имѣющій ни малѣйшаго подобія съ прежнимъ.

Въ «Искушеніи» нравственная борьба представлена тѣмъ естественнѣе, чѣмъ короче она длится—всего какихъ-нибудь два мѣсяца, въ исходѣ которыхъ Озеринъ не выдерживаетъ и круто разрываетъ съ дядею сношенія, чѣмъ и кончается повѣсть. Хотя и изъ этихъ двухъ мѣсяцевъ Озеринъ вынесъ столько униженія, столько гнетущихъ воспоминаній, что конечно всю жизнь будутъ ему помниться эти два мѣсяца, но все-таки его хоть сколько-нибудь будетъ поддерживать и утѣшать спасительный выходъ изъ искушенія. Верховскій же влѣзъ въ болото по уши, безъисходно, безутѣшно, и между тѣмъ впродолженіи 10 лѣтъ остался тѣмъ же Верховскимъ, какимъ былъ подъ вѣнцомъ или шелъ за гробомъ матери, т.-е. съ тѣмъ же гнетущимъ сознаніемъ своего паденія и съ тѣми же острыми муками совѣсти. Но вѣдь это невозможно прежде всего съ чисто-физіологической точки зрѣнія. Не аллегорически, а буквально это точно также нелѣпо, какъ представить человѣка, который 10 лѣтъ куска хлѣба въ ротъ не бралъ и остался все такимъ же полнымъ, румянымъ, сильнымъ. Или нервы у Верховскаго были изъ толстыхъ стальныхъ проволокъ? При нашихъ скудныхъ физіологическихъ свѣдѣніяхъ мы не въ состояніи ощутить всей колоссальности этой нелѣпости, но наши потомки навѣрно расхохочутся при представленіи Верховскаго, который 10 лѣтъ все нылъ, нылъ и не изнылъ... Для нихъ это будетъ такая же безобразная гипербола, какою представляется для насъ выпиваніе нашими богатырями чары вина въ полтора ведра. Верховскій могъ прожить 10 лѣтъ со своею супругою (и замѣтьте, какою еще ужасною супругою) только при одномъ условіи—окончательнаго всосанія его тѣмъ болотомъ, въ какое онъ попалъ. И нельзя сказать, чтобы Хвощинская не вѣдала о процессѣ подобнаго всасыванья. Такъ, вы видите въ концѣ уже романа, что Верховскій вдругъ какъ-то начинаетъ мириться и съ обстановкой, и съ обществомъ, и съ женою, начинаетъ жаждать покоя и веселья, роскошно убираетъ домъ къ восхищенію Лидіи Матвѣевны, восхищается помѣщикомъ Ильинцинымъ, главнымъ соучастникомъ въ грабительствѣ, процессъ о которомъ ему поручено изслѣдовать, склоняется все болѣе и болѣе на сторону Волкарева—и все это въ то время, когда подъ бокомъ у него была уже Катерина со своими пламенными увѣщаніями. Какъ же это втеченіи 10 лѣтъ раньше, при болѣе удобныхъ обстоятельствахъ, онъ не успѣлъ опошлѣть, а началъ пошлѣть только въ концѣ романа?..—Но опять-таки въ такомъ случаѣ была бы жизненная правда, но не вышло бы романа, потому что настоящій Верховскій, каковы подобные люди бываютъ въ жизни, безъ сомнѣнія, явился бы передъ Катериною послѣ 10-ти-лѣт-

няго супружества съ Лидіей Матвѣевной въ такомъ уже безобразномъ видѣ, что вмѣстолюбви могъ бы внушить героинѣ одно омерзѣніе...

Хвощинская могла-бы, правда, влюбить Верховскаго и вскорѣ послѣ его женитьбы и смерти матери, но тогда Верховскій былъ столь еще юнъ, что не могъ бы занимать того положенія въ губернскомъ обществѣ, какъ впослѣдствіи. Ему, пожалуй, и не поручили бы ни покупки имѣнія, ни слѣдствія — какъ молокососу. Однимъ словомъ, куда ни кинь, все выходитъ клинъ.

Далѣе затѣмъ отъ Верховскаго намъ приходится обратиться къ міру праведниковъ и святыхъ, выражаясь цвѣтистымъ языкомъ Хвощинской, или, сказать проще, къ тѣмъ героямъ азбучной морали, которыми Хвощинская утѣшаетъ обыкновенно сердца читателей и въ которыхъ она ищетъ примиренія съ жизнью.

«А вѣдь есть люди, говоритъ Верховскій, оглядываясь на широкое пространство, открытое кругомъ.—Градъ, говорятъ, праведниками спасается. Должны быть люди, въ которыхъ живо сознаніе, которые въ настоящемъ видятъ не одну нужду да корысть... Далеко запрятались эти люди!»...

Далѣе оказывается, что градъ, въ который попалъ Верховскій, спасается двумя праведниками: идеальнымъ предсѣдателемъ палаты государственныхъ имуществъ Багрянскимъ и столь же идеальной дочерью его Катериной.

Но здѣсь мы имѣемъ дѣло даже не съ обыденной уличной моралью. Передъ нами предстаетъ утѣшительный типъ въ духѣ «Переписки съ друзьями» Гоголя.

На первый разъ васъ поражаютъ черты характера Багрянскаго, повидимому и въ самомъ дѣлѣ идеальныя. Выйдя изъ семинаристовъ, почти изъ народа, Багрянскій оказался человѣкомъ крѣпкаго закала— честный, трудолюбивый, врагъ роскоши и свѣтской пустоты и ставящій на первый планъ благо ввѣренныхъ ему крестьянъ, о которыхъ онъ печется, какъ родной отецъ. Всѣ, выходящіе отъ него изъ кабинета или изъ палаты, выходятъ не иначе, какъ со слезами умиленія. Волкаревъ его ненавидитъ и дѣлаетъ ему всякія непріятности, но онъ смѣло борется со всѣми неправдами и остается непоколебимъ.

У него есть дочка, которая составляетъ его единственное утѣшеніе, гордость, которой онъ чуть не молится. У него есть сынъ, изъ котораго вышелъ негодяй, и онъ не хочетъ и слышать о немъ.

Ко всѣмъ этимъ достоинствамъ присоединяется еще то, что онъ до крайности религіозенъ. Впродолженіи всего романа онъ только и дѣлаетъ, что все молится, кладетъ земные поклоны, и Хвощинская съ большими подробностями излагаетъ намъ каждую его молитву.

Но вотъ пріѣзжаетъ сынъ, произведенный въ офицеры изъ рядовыхъ, въ которые онъ былъ разжалованъ за свои преступленія, и родительское сердце его разчувствовалось!

«— Домъ твоего отца твой домъ! произнесъ Багрянскій, твердо и торжественно осѣняя его крестомъ.—Боже, помилуй, прости меня грѣшнаго! Прощаю и разрѣшаю тебя, сынъ мой! да будетъ надъ тобой милость Господня и мое благословеніе, во имя Отца и Сына, и Святого Духа отнынѣ и до вѣка! Аминь!»

Такъ, читатель, отецъ простилъ своего блуднаго сына. Простилъ негодяя, и вдругъ что-же: словно по мановенію волшебнаго жезла, самъ изъ идеальнаго человѣка сдѣлался негодяемъ. Его начало заѣдать самолюбіе, что онъ съ своей стороны недостойнаго простилъ, а Катерина не хочетъ прощать брату его преступленій и выказываетъ къ тому же неудовольствіе, зачѣмъ отецъ простилъ такого преступнаго сына. Видя подобную гордыню со стороны дочери, отецъ началъ еще болѣе класть земныхъ поклоновъ, чтобы Господь смирилъ сердце ея, но, молясь о смиреніи дочери, въ то же время самъ онъ сдѣлался жестокъ и несправедливъ съ подчиненными и крестьянами. Но будемъ говорить словами самого автора.

«Онъ рыдалъ. Ему было ее какъ-то жаль, жаль, безмѣрно жаль. Почему? Онъ отворачивался отъ этого вопроса. Онъ освѣтился самъ для себя своимъ прощеніемъ сыну и считалъ обязанностью смирить ее, пробудить въ ней чувство раскаянія и милосердія. Эта была одна его мысль. Занятый только тѣмъ, что происходило и волновало его въ семьѣ, истомленный, растерянный, онъ переставалъ сознавать, что дѣлалъ. Его тяготилъ трудъ, служба... прежде было изъ-за чего трудиться! Теперь являлась усталость, вялость въ дѣлахъ, требующихъ энергіи, копотливость въ пустякахъ, трата времени, забывчивость, что-то вдругъ старчески мелкое и злое. Его презрительный тонъ съ подчиненными, придирчивость, подозрительность становились невыносимы. Прежде его строгости боялись только виноватые; теперь, повторяя Богу, что совершилъ подвигъ благости, онъ будто свыше принялъ благословеніе карать и казнить... или, страдая и стыдясь этого «подвига», вымещалъ его на другихъ, срывалъ сердце, наслаждался, находя людей виноватыми. Въ палатѣ удивлялись и трепетали. Дома, въ утренніе часы просителей, его грубая брань на крестьянъ терзала Катерину.

— Послушайте, сказала она, захлопывая и запирая дверь въ прихожую, гдѣ толпились крестьяне: - оглянитесь на себя, что вы дѣлаете?

— Что ты, матушка?

— Что вы дѣлаете? повторила она:—вы несправедливы, вы жестоки, вы шутите. Оглянитесь. Это несчастные, ихъ обидѣли, они просятъ заступиться; вся-то вина ихъ—нагрубили, а вы ихъ ведете въ ссылку! Опомнитесь, разберите!

— Не за свое берешься, Катерина Николаевна...»

Вотъ вамъ и нравственный идеалъ, сила жизненнаго закала, праведникъ, спасающій градъ, старый мудрецъ, рѣчамъ котораго съ удивленіемъ внималъ Верховскій. Изъ-подъ всей цвѣтистой риторики, въ которую Хвощинская облекла своего героя, вдругъ передъ вами самъ собою предсталъ настоящій Багрянскій, какимъ созидаетъ подобныхъ людей жизнь, старая приказная ханжа, которую можетъ сломить первая семейная невзгода, да и невзгода-то самаго какого-то допотопнаго свойства, вертящаяся на домостроевскомъ вопросѣ: прощать или не прощать, покарать преступнаго сына или помиловать. Видя подобнаго Багрянскаго въ послѣднихъ частяхъ романа, вы поневолѣ начинаете думать: да не таковъ-ли онъ былъ и прежде до своего превращенія? Не возвела-ли Хвощинская своего героя на пьедесталъ, чтобы непремѣнно найти спасающаго градъ праведника? Тѣмъ болѣе, что самый процессъ превращенія старика заставляетъ

васъ сомнѣваться въ своемъ правдоподобіи. Описанный какой-то падутой риторикой, полубиблейскимъ слогомъ, поставленный въ какія-то заоблачныя выси, припахивающій запахомъ постнаго маслица — этотъ процессъ превращенія живо напоминаетъ вамъ Гоголя въ его послѣдніе годы, и вамъ невольно думается, что послѣ «Большой Медвѣдицы» не издастъ-ли Хвощинская переписку съ друзьями въ такомъ же духѣ и тонѣ.

Но все это цвѣточки, ягодки впереди. Въ концѣ романа Багрянскій дѣлается положительнымъ чудовищемъ, послѣ внезапнаго открытія Верховскаго въ спальнѣ Катерины и постыднаго бѣгства героя. Казалось бы, что нисколько не идеальный человѣкъ, самый обыкновенный изъ обыкновенныхъ рутинеровъ — и тотъ, еслибы нѣжно любилъ дочь, то хоть бы выслушалъ ее, прежде нежели проклинать и карать. А этому мудрецу могучаго закала и опыта, и въ голову не пришло, что передъ нимъ дочь, которая столько лѣтъ дѣлила съ нимъ радость и горе, помогала ему во всемъ, составляла его единственную гордость и утѣшеніе... Не удостоивъ ее трехъ-четырехъ словъ объясненія, онъ сразу началъ третировать ее куда хуже, злѣе и безчеловѣчнѣе, чѣмъ третировалъ Неряцкій Катерину Александровну. Какъ вамъ понравится напримѣръ хотя-бы слѣдующій разговоръ:

«Какъ вы себя чувствуете?—спросилъ онъ, бѣгло оглянувъ ее всю, отъ гладко-убранныхъ волосъ до пышнаго платья.—Разрядилась!

— Батюшка, вскричала она: — что вы съ собой дѣлаете?

Онъ отсторонился, оглянулся опять съ отвращеніемъ, съ ужасомъ, съ презрительной насмѣшкой восторженнаго торжества, и закинулъ голову, будто наступая на что-то поверженное.

— Надо вамъ объявить, началъ онъ.—Кто сегодня оправлялъ лампадку?

Онъ указалъ на образъ.

— Не знаю,- отвѣчала Катерина.

— Не ты, слава Богу! Не смѣй прикасаться. И безъ того столько времени... Господи, прости мое прегрѣшеніе!

Въ страхѣ и умиленіи онъ зашепталъ молитву.»

Не напоминаетъ-ли вамъ Багрянскій въ этой омерзительной сценѣ старую Кабаниху «Грозы»? Да, онъ таковъ и есть съ ногъ до головы, и еслибы Хвощинская, не мудрствуя лукаво, безъ цвѣтистой риторики и идеальничанья представила намъ Багрянскаго, какъ онъ есть въ самой жизни, тогда навѣрное ей пришлось бы съ первой страницы отнестись къ этому господину отрицательно. Но тогда не было бы праведника, спасающаго градъ, не было бы дивнаго уголка, обвѣяннаго благодатью, въ которомъ даже щи со снытью и манная каша кажутся вкуснѣе, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ; не надъ чѣмъ было бы пролить цвѣтистой риторики.

Теперь намъ остается разсмотрѣть типъ главной героини романа—Катерины. Здѣсь мы опять видимъ то же печальное заблужденіе таланта, какое мы видѣли вездѣ. Вѣдь пельзя сказать, что Хвощинская сочиняла типы, выдумывала; она беретъ ихъ изъ дѣйствительности: и Неряцкихъ, и Багрянскихъ вы встрѣтите много въ жизни. Но бѣда вся въ томъ, что эти типы она ложно освѣщаетъ, возводитъ ихъ на идеальные пьедесталы и иногда страшно искажаетъ ихъ, желая утѣшить сердца читателей такими прекрасными явленіями жизни, въ которыхъ ничего нѣтъ въ сущности прекраснаго, или если и есть свои хорошія стороны, то далеко не столь безусловно идеальныя, какъ ихъ обыкновенно старается раздуть авторъ.

То же самое мы видимъ и въ типѣ Катерины. Задуманъ этотъ типъ весьма удачно. Но для того, чтобы уяснить намъ, что такое Катерина не въ романѣ, а въ самой жизни, для этого намъ слѣдуетъ поступить съ ней такъ-же, какъ мы поступали и съ другими героями романовъ Хвощинской, т. е. снять ее съ пьедестала и развѣнчать отъ всѣхъ риторическихъ украшеній, вродѣ «черныя вьющіяся косы», «гордые взоры», пламенныя рѣчи», ненаглядная радость», «чище свѣтлостей солнечныхъ» и проч.

Въ сущности Катерина больше ничего, какъ смазливенькая провинціальная барышня съ нѣсколькими хорошими задатками и не безъ характера. Энергическая, страстная, она жаждетъ широкаго круга жизни, дѣятельности, встрѣчи съ идеальными людьми, но въ то же время жизнь ея замкнута въ тѣсный кругъ провинціальнаго захолустья, ея горячая головка путается въ лабиринтѣ узкихъ, отжившихъ преданій, перемѣшанныхъ съ радужными мечтаніями самаго неопредѣленнаго свойства. Подобнаго рода барышни постоянно томятся и чего-то ждутъ, имъ хочется сдѣлать что-нибудь полезное и притомъ выходящее изъ ряда обыкновеннаго, и все онѣ не знаютъ, къ чему приложить свои молодыя силы, которыя бродятъ въ нихъ и ищутъ исхода. Отсюда рядъ бросаній въ разныя стороны: то примется барышня за чтеніе и не выпускаетъ изъ рукъ книги по цѣлымъ днямъ, то набѣжитъ на нее волна веселья, и она порхаетъ по бальнымъ заламъ до упаду, то вздумаетъ помогать папенькѣ, начнетъ строчить разныя бюрократическія бумаги, то вдругъ страстно привяжется къ какому-нибудь котенку.

Еслибы Хвощинская въ такомъ простомъ и безхитростномъ видѣ представила намъ Катерину, образъ ея былъ бы все-таки симпатиченъ, но отъ него вѣяло бы простой, жизненной правдой, вы видѣли бы въ этомъ образѣ тысячи провинціальныхъ барышень самаго высшаго сорта, какой только можетъ производить наша убогая жизнь. И съ другой стороны вамъ понятна была бы любовь Катерины къ Верховскому. Не идеальная, а обыкновенная провинціальная барышня, мало видѣвшая людей, мало знакомая съ жизнью, могла легко не разглядѣть съ перваго взгляда дрянности Верховскаго, и въ то же время среди пустыхъ провинціальныхъ фатовъ ее легко могъ поразить человѣкъ, при первомъ же свиданіи заявившій себя отдачей сосѣднимъ крестьянамъ земли, неправильно отнятой у нихъ прежнимъ владѣльцемъ. Мы не будемъ входить въ соображенія на счетъ того, на сколько высокъ и великодушенъ подобный подвигъ, и подвигъ-ли это. Но Катерина и въ такомъ мизерномъ родѣ ничего подобнаго не видала вокругъ себя — и Верховскій могъ легко показаться ей необыкновеннымъ героемъ, — человѣкомъ, котораго она такъ долго ждала. Къ тому же человѣкъ этотъ такъ несчастенъ, такъ убитъ судьбой, и очень понятно, что увлекшаяся и влюбившаяся по уши провинціальная

барышня сейчасъ-же возомнила, что цѣль жизни ея найдена: быть его утѣшительницей, нравственной поддержкой, склонить его на разные подвиги и, помогая ему въ совершеніи этихъ подвиговъ, идти съ нимъ рука объ руку. Но какіе же особенные подвиги могла сочинить Катерина для своего героя при скудости и мертвенности жизни вокругъ нея, да къ тому же еще при полномъ невѣдѣніи этой жизни? Она была совершенно въ положеніи ребенка, воображеніе котораго вращается въ кругу того маленькаго мірка, среди котораго онъ живетъ, и онъ въ состояніи придумать только такія игры, которыя отражаютъ жизнь этого мірка. Такъ и Катерина могла измыслить для своего героя только такіе подвиги, какіе были въ сферѣ наблюдаемой ею жизни. Она видѣла вокругъ себя однихъ только помѣщиковъ да чиновниковъ, чиновниковъ да помѣщиковъ — и естественно, никакъ не могла представить себѣ своего героя иначе, какъ въ видѣ доблестнаго помѣщика или идеальнаго чиновника. И вотъ, не замѣчая, что жалкій герой ея находится совершенно подъ башмакомъ своей Лидіи Матвѣевны, Катерина начала торопить его ѣхать въ деревню устраивать благосостояніе крестьянъ, а потомъ, убѣдившись въ несостоятельности подобныхъ мечтаній, начала ожидать отъ Верховсваго высокихъ подвиговъ въ роли слѣдователя.

Вотъ вамъ настоящая, неподкрашенная Катерина, какой создала ее наша русская провинціальная жизнь. Но Хвощинская тѣ же самыя черты возводитъ во что-то безусловно-идеальное, выше котораго она не можетъ себѣ ничего представить. Катерина является передъ вами въ романѣ въ какомъ-то гордомъ сіяніи вседовольнаго, всеблаженнаго, покоющагося въ самомъ себѣ совершенства. Это какая-то Іоанна д'Аркъ своего околотка. Она руководитъ всѣми занятіями отца, даетъ практическіе совѣты крестьянамъ; мудрая, какъ змій, насквозь видитъ людей со всѣми ихъ недостатками. Каждое слово ея дышетъ глубокой правдой и паѳосомъ героини.

Но какъ же такая необыкновенная комета на горизонтѣ нашей жизни могла полюбить Верховскаго, не понявши сразу всей его несостоятельности? Какъ согласить змѣиную мудрость глубокаго ума съ тѣми палліативными затычками, въ которыхъ Катерина видитъ всю суть полезной дѣятельности и для своего отца, и для своего героя, и для себя самой? Объяснить это можно только тѣмъ, что сама Хвощинская, при узости своего міросозерцанія, дальше Катерины ничего не можетъ себѣ и представить, потому и спѣшитъ успокоить на ней сердце читателя, возводя ее въ безусловный идеалъ. Вставши разъ на ложную точку зрѣнія, Хвощинская зашла съ своей Катериной въ такія неисходныя дебри, что изъ героини сдѣлала въ концѣ концовъ посмѣшище.

Вы подумайте, чѣмъ могла кончить не идеальная, а та обыкновенная Катерина, образецъ которой мы выше представили. Разочарованной въ своей любви, униженной своимъ любовникомъ, который, не забудьте, предлагалъ ей уѣхать съ нимъ въ Петербургъ и сдѣлаться тамъ чѣмъ-то вродѣ содержанки его, обруганной отцомъ, Катеринѣ оставалось два исхода: или наложить на себя руки, пойти въ монастырь,—чѣмъ кончаютъ многія провинціальныя барышни въ ея родѣ,—или же переродиться и сдѣлаться женщиной злобы нашего вѣка. Но подобное перерожденіе не ограничилось бы одними внѣшними обстоятельствами ея жизни, т. е. тѣмъ, что, покинувъ домъ отца, она начала бы самостоятельную, трудовую жизнь. Этого мало: драма, которую вынесла она, была такого потрясающаго свойства, что неминуемо должна была перевернуть весь ея и умственный, и нравственный міръ. Всѣ ея дѣтскія узкія понятія, заоблачныя мечты, всѣ ея симпатіи и антипатіи рушились бы разомъ—и она узрѣла бы ложность всей своей прежней жизни и несостоятельность всѣхъ людей, которыми была окружена, не исключая и своего папеньки. Воспоминаніе о своей любви къ Верховскому осталось бы въ ней не иначе, какъ въ видѣ стыда о прежней глупости, соединеннаго съ непримиримымъ презрѣніемъ и ненавистью къ пошляку, который, при всѣхъ своихъ возвышенныхъ фразахъ, любилъ въ ней одно тѣло и жаждалъ только упиться ея объятіями. Очень можетъ быть, и даже можно сказать навѣрное, что изъ нея не вышло бы ничего особенно необыкновеннаго и идеальнаго на новомъ пути, вышла бы заурядная работница маленькаго труда—какая-нибудь переводчица, акушерка или учительница; но и при всемъ томъ она была бы лучше многихъ, считающихъ себя полезнѣйшими дѣятелями на поприщѣ жизни: она была бы выше ихъ именно сознаніемъ невозможности примириться на томъ, на чемъ мирятся обыкновенно эти полезнѣйшіе дѣятели, и желаніемъ идти далѣе.

Но вы не должны забывать, что вѣдь Хвощинская въ лицѣ Катерины представила намъ идеальный типъ. Идеальные же люди, по самой своей сущности, одарены тѣмъ свойствомъ, что они могутъ измѣняться только во внѣшности, т. е. въ своей внѣшней судьбѣ; внутренній же міръ ихъ долженъ оставаться неизмѣненъ, потому что, разъ вы допустили возможность измѣненія во внутреннемъ мірѣ человѣка, этимъ однимъ вы отрицаете идеальность его: что измѣняется къ лучшему или худшему, то не есть уже идеально, совершенно. Катерина, какъ идеальная личность, и остается въ романѣ Хвощинской неизмѣнной. Вся драма, которую она вынесла, измѣняетъ одну только ея внѣшнюю судьбу. Изъ помощницы предсѣдателя палаты она дѣлается сельской учительницей. И вотъ передъ вами живая картина: представьте себѣ во мракѣ ночи толпу темныхъ, несвѣдущихъ крестьянъ и передъ ними сіяющаго красотой ангела, возвѣщающаго истину.

«Свѣтъ, дрожа, установился и озарялъ *ее* всю. *Она* показывала вверхъ, поднявъ голову. Ея черная коса длиннымъ кольцомъ перекинулась черезъ плечо. Толстыя складки рубашки высоко легли на грудь и падали до распущенной опояски; широкіе, красивые концы шелестили по клѣтчатой поневѣ.

Она говорила. Слышались и слова, но лучше ихъ — *ея* голосъ, ободряющій, ласковый, веселый; отъ него должны были бѣжать и страхъ, и невѣдѣніе; въ немъ была свобода, радость, убѣжденіе... Еще слышались старческіе вздохи и оханье... Но ужъ ихъ начали смѣнять вопросы, толковыя рѣчи, что-то увѣренное, надежное... Поднялся простой, молодой смѣхъ, потомъ говоръ, шутки. . Милый голосъ раздавался среди всѣхъ, ясный, какъ счастье...»

Подумаешь, какая картина, совершенно въ современномъ духѣ, скажетъ иной читатель, который не читалъ «Тише воды и ниже травы» Гл. Успенскаго и не знаетъ, какая дѣйствительность и жалкая проза ожидаетъ каждую сельскую учительницу, какъ бы она ни была идеальна.

Но мы не будемъ разочаровывать читателя и напоминать ему о вышеупомянутомъ очеркѣ Гл. Успенскаго, мы примемъ живую картину Хвощинской за чистую монету. И такъ, повидимому передъ нами нѣчто совершенно въ современномъ духѣ: женщина, поучающая народъ и объясняющая ему всѣ свѣтила небесныя. Но, о, ужасъ! такъ какъ эта женщина представляется вамъ идеальнымъ и слѣдовательно неизмѣннымъ типомъ, то вы видите передъ собой въ то же время совершенно ту же самую Катерину, какую видѣли ее въ объятіяхъ Верховскаго, нисколько неизмѣнившуюся, со всѣми тѣми же симпатіями, антипатіями и допотопными понятіями. Мало этого, даже постыдную любовь свою къ Верховскому она чтитъ въ груди своей, какъ святыню. Постоянство въ любви во что бы то ни стало тоже вѣдь входитъ въ кодексъ идеальныхъ представленій Хвощинской.

И вотъ вамъ новая живая картина:

Кружокъ разошелся.

«*Она* осталась одна, стояла и смотрѣла на прелестныя семь созвѣздій въ высотѣ, подъ столбомъ огненной пыли. Задумавшись, забывшись, *она* сложила руки...»

Вотъ вы теперь и подумайте о всей чудовищной несообразности, которая таится подъ этой прекрасной картиной: вы представьте только себѣ современную женщину, поучающую народъ и въ то же время забывающуюся въ сладостномъ раздумьѣ, вспоминая, при созерцаніи семи созвѣздій въ высотѣ, о своемъ миломъ, который предлагалъ ей нѣкогда доблестный путь—сдѣлаться его содержанкой...

Но наша публика всѣмъ этимъ довольна, она удовлетворена романомъ Хвощинской!.. И дѣйствительно, чего же ей надо лучше? Глубокій, безпощадный анализъ жизни, представленіе правды во всей ея безобразной наготѣ—могли бы пожалуй испугать публику, напоминая ей о всемъ жалкомъ убожествѣ ея жизни... Публика же жаждетъ сна и успокоенія. И чѣмъ же можно лучше усыпить ее, какъ не подобными поэтическими картинками въ идеальномъ духѣ.—Не вдумываясь въ правдоподобіе этихъ картинъ, публика можетъ спать спокойно въ сладостной мысли, что если въ жизни ея возможны такія лучезарныя явленія, то чего же лучше: остается только почаще увѣщевать людей, чтобы они шли по пути Багрянскаго и Катерины, и представлять имъ поболѣе подобныхъ образцовъ для подражанія...

И всего печальнѣе, что на такомъ ложномъ пути удовлетворенія мелкимъ и жалкимъ идеальчикамъ пошлой толпы стоитъ талантъ по-истинѣ недюжинный. Можно положительно сказать, что изъ всѣхъ писательницъ-женщинъ Хвощинская по силѣ таланта способна была бы занять первое мѣсто... И что стоитъ ей, обладающей даромъ такого мѣткаго анализа пошлости жизни, такимъ подчасъ удивительнымъ чутьемъ дѣйствительности, отрѣшиться разъ навсегда отъ своего сентиментальнаго идеальничанья? Вѣдь это вовсе не трудно: стоитъ только дать себѣ слово никогда впредь не оттѣнять своихъ произведеній идеальными образами, а если въ дѣйствительности представится повидимому нѣчто идеальное, то не вѣрить съ перваго раза своимъ впечатлѣніямъ, а вглядѣться поглубже, осмотрѣть предметъ со всѣхъ сторонъ, изучить его—можетъ быть при тщательномъ анализѣ очарованіе пропадетъ,—и предметъ окажется далеко не столь идеальнымъ, какъ съ перваго раза... Зрѣлое разочарованіе всегда полезнѣе скороспѣлаго, поверхностнаго очарованія...

СТАРЫЙ ИДЕАЛИЗМЪ ВЪ СОВРЕМЕННОЙ ОБОЛОЧКѢ.

«Сказки Кота-Мурлыки», собранныя Николаемъ Вагнеромъ. Изданіе Стасовой и Трубниковой. Спб. 1872 г.

Сказки Вагнера были приняты публикой со всеобщимъ сочувствіемъ. По крайней мѣрѣ, сколько намъ ни приходилось встрѣчаться съ читателями ихъ, мы постоянно слышали одни лестные отзывы объ этой книгѣ. Журнальные и газетные рецензенты не замедлили, въ свою очередь, отозваться о книгѣ Вагнера, какъ о выдающемся явленіи нашего времени, и признали въ ней бездну высокихъ достоинствъ. Словомъ, книга пришлась совершенно по вкусу общества и пріобрѣла полный успѣхъ.

Но всѣ похвалы, расточаемыя книгѣ Вагнера, носятъ чисто внѣшній и крайне поверхностный характеръ. Книга понравилась публикѣ потому, что въ ней сочувствіе автора къ различнымъ гуманнымъ и передовымъ идеямъ нашего времени облечено въ художественную форму, причемъ Вагнеръ выказалъ себя писателемъ съ богатымъ воображеніемъ. Но изъ всѣхъ почетныхъ о ней отзывовъ читатели едва-ли могутъ дать себѣ ясный отчетъ въ томъ, какова общая система міровоззрѣнія сказокъ; удовлетворяютъ ли онѣ всѣмъ требованіямъ современной педагогики, что онѣ даютъ и къ какимъ результатамъ приводятъ? Между тѣмъ разъясненіе этихъ вопросовъ одно только можетъ показать истинное значеніе книги Вагнера. На эти-то вопросы мы и постараемся отвѣтить нашей статьей

Въ сказкахъ Вагнера, безспорно, задѣваются всевозможные моральные и соціальные вопросы нашего времени. Но есть два рода отношенія къ вопросамъ жизни: идеалистически-рефлективное—нашихъ отцовъ и дѣдовъ и отношеніе реальное—нашего времени. Естественно, что прежде всего слѣдуетъ опредѣлить, какое изъ этихъ двухъ отношеній преобладаетъ въ сказкахъ Вагнера; однимъ этимъ опредѣленіемъ могутъ быть окончательно рѣшены характеръ и достоинство сказокъ.

Съ реальной современной точки зрѣнія жизнь—есть естественный процессъ природы, неотразимо стремящійся отъ ряда причинъ къ неизбѣжнымъ слѣдствіямъ. Одно это опредѣленіе сразу уничтожаетъ

реальность всѣхъ такъ называемыхъ вѣковѣчныхъ идеаловъ, отъ которыхъ шла обыкновенно мысль идеалистовъ добраго, стараго времени. Всѣ подобные идеалы становятся въ рядъ нашихъ субъективныхъ мечтаній и утопій. Сама же по себѣ жизнь очевидно и не думаетъ объ осуществленіи ихъ, такъ-какъ въ ней въ настоящемъ нѣтъ ничего безотносительнаго, безусловнаго, а въ будущемъ ничего цѣлесообразнаго. На основаніи этихъ положеній истинный реалистъ въ жизни своей долженъ руководиться не предписаніями отвлеченныхъ теорій, а влеченіями и призывами самой жизни въ ея прогрессивномъ процессѣ. Благо для него то, что́ способствуетъ этому процессу, а зло—что́ ему препятствуетъ. Но отнюдь не долженъ онъ это благо и зло возводить въ какіе либо безусловные принципы, имѣющіе одинаковое значеніе для всѣхъ обстоятельствъ и временъ. Никогда не долженъ онъ забывать, что благо и зло суть такія же относительныя вещи въ жизни, какъ и все въ ней относительно: что́ сегодня благо, завтра можетъ быть зломъ, и наоборотъ. Словомъ, благо только то, что въ данный моментъ способствуетъ прогрессивному процессу жизни, хотя бы это благо и не казалось таковымъ съ безусловно-идеальной точки зрѣнія. Такъ напримѣръ, предположите, что въ Россію снова вторглись бы изъ Азіи несмѣтныя толпы варваровъ. Было бы безспорнымъ благомъ, обязанностью всѣхъ и каждаго вооружиться и идти защищать свою родину, несмотря на то, что съ точки зрѣнія безусловныхъ идеаловъ, требующихъ, чтобы мы любили и враговъ своихъ, проливать кровь нахлынувшихъ на насъ азіатовъ—есть зло, для избѣжанія котораго намъ слѣдовало бы смиренно сидѣть сложа руки и покоряться всему, что́ при такомъ воображаемомъ нашествіи ни стали бы съ нами дѣлать нахлынувшія орды. Подобный разладъ между благомъ съ точки зрѣнія безусловныхъ идеаловъ и жизненнаго процесса можно встрѣтить на каждомъ шагу, и только того можно назвать истиннымъ реалистомъ, кто, не обращая вниманія на этотъ разладъ, повинуется жизни, а-не отвлеченнымъ теоріямъ.

Не такъ поступали передовые люди въ средѣ нашихъ отцовъ и дѣдовъ. Они постоянно носились съ своими вѣковѣчными идеалами, немедленнаго и полнаго осуществленія ихъ искали въ жизни и по ихъ мѣркѣ судили обо всѣхъ ея явленіяхъ. Но, не находя нигдѣ, ни въ себѣ, ни внѣ себя, ничего соотвѣтствующаго идеаламъ, они обыкновенно всю жизнь проводили въ мукахъ и терзаніяхъ при видѣ этого разлада. Какая бы живая страсть ни возникла въ ихъ душѣ и какъ бы ни была она естественна, законна и необходима, но такъ какъ страсть эта именно по своей естественности носила всегда характеръ относительнаго, условнаго, а они искали во всемъ безусловнаго, то они въ каждой такой страсти, въ каждомъ поступкѣ находили свои противорѣчія, односторонности, отступленія отъ безусловныхъ идеаловъ. Они не смѣли ни сильно любить, ни сильно ненавидѣть. Каждое сильное чувство парализовали они разъѣдающими рефлексіями. Результатомъ всего этого представлялось отсутствіе всякихъ живыхъ страстей, всякой энергіи и дѣятельности, мрачное разочарованіе и въ себѣ, и въ людяхъ, и вѣчный разъѣдающій анализъ всевозможныхъ противорѣчій жизни.

Сообразно всему этому и воспитаніе дѣтей носитъ совершенно иной характеръ съ идеалистической точки зрѣнія, иной—съ реальной. Воспитатель-реалистъ, не преслѣдуя въ жизни ничего безусловнаго, не мечтаетъ конечно и о томъ, чтобы изъ ребенка создать непремѣнно идеальнаго человѣка. Смотря на воспитанника, какъ на явленіе въ своемъ родѣ относительное, какъ на сумму физическихъ и умственныхъ силъ, которыя, какъ бы ни были велики, во всякомъ случаѣ ограничены, воспитатель-реалистъ помышляетъ только о томъ, какъ бы развить эти силы, на сколько это возможно, и дать имъ вѣрное направленіе, но направленіе не къ безусловнымъ опять-таки идеаламъ, а къ тому, чтобы своей дѣятельностью будущій членъ общества способствовалъ прогрессивному процессу жизни, а не парализовалъ его. Не заботясь о несоотвѣтственности относительныхъ явленій жизни съ безусловными идеалами, воспитатель-реалистъ не станетъ спѣшить, чтобы ребенокъ какъ можно скорѣе усвоилъ себѣ эти безусловные идеалы и постигъ суетность и несостоятельность всего земного, сравнительно съ ними. Вся забота его будетъ состоять въ томъ, чтобы возбудить въ воспитанникѣ живыя страсти и такъ направить ихъ, чтобы при всей ихъ относительности онѣ могли принести наиболѣе пользы самому воспитаннику и другимъ людямъ. Такимъ образомъ, если въ воспитанникѣ возбуждается страсть къ любознательности, воспитатель-реалистъ не станетъ толковать ребенку о ничтожествѣ человѣческихъ знаній передъ идеаломъ вѣчной и безусловной истины и о томъ, что человѣкъ, гоняясь за знаніями, вѣчно вертится на одномъ мѣстѣ, какъ бѣлка въ колесѣ, тщетно стараясь постигнуть непостижимое, а, напротивъ того, онъ будетъ стараться еще болѣе усилить въ ребенкѣ страсть къ пріобрѣтенію знаній, указывая на всю благотворность этой страсти въ прогрессѣ человѣчества. Если въ ребенкѣ развивается сильное чувство къ какому-нибудь человѣку, воспитатель-реалистъ не станетъ толковать о ничтожествѣ этого чувства передъ всеобъемлющей любовью, проникающей всю вселенную, или о томъ, что на время не стоитъ любить, а вѣчно любить—невозможно, и что раньше или позже недуги страстей угаснутъ при словѣ разсудка. Если ребенокъ хочетъ повеселиться, воспитатель-реалистъ не станетъ отравлять дѣтскаго веселья сентиментальными соображеніями въ такомъ родѣ, что вотъ, молъ, онъ смѣется и скачетъ, а другіе въ это время плачутъ, какъ будто эти другіе такъ сейчасъ и перестанутъ плакать оттого только, что ребенокъ перестанетъ веселиться. Наконецъ, если ребенокъ захочетъ помочь бѣдному, голодному, страдающему, воспитатель-реалистъ не станетъ толковать ему о томъ, что ни частная, ни общая благотворительность ни къ чему не ведутъ, что, хотя бы ему удалось устроить благосостояніе цѣлыхъ массъ, эти массы не замедлятъ снова сойти на прежній путь эксплуатаціи и нищеты, и вдобавокъ ему, благодѣтелю человѣческаго рода, отплатятъ черной неблагодарностью и пр., и пр.

Но не такъ дѣйствовали воспитатели-идеалисты добраго, стараго времени. Отправляясь отъ своихъ возвышенныхъ идеаловъ, они все воспитаніе основывали на томъ, чтобы какъ можно скорѣе внушить дѣ-

тямъ эти идеалы и возбуждать въ нихъ стремленіе къ немедленному осуществленію ихъ. Разочарованные и въ себѣ самихъ и во всѣхъ своихъ сверстникахъ, они обыкновенно всю надежду возлагали на дѣтей, мечтая, что съ нихъ-то и начнется конечно тотъ золотой вѣкъ, который представлялся въ радужныхъ краскахъ ихъ воображенію. Они воображали даже, что, раньше возбужденія въ дѣтяхъ безусловныхъ идеаловъ, дѣти сами по себѣ уже существа идеальныя. «Въ ихъ сердцахъ, говорили они, сама природа, простая, прямая, великая. Они старше васъ цѣлымъ поколѣніемъ; выше васъ цѣлой головой, потому что въ этой головѣ уже сложились тѣ пути, до которыхъ добивались наши отцы и дѣды, и все-таки не добились!..» И вотъ, на основаніи этихъ мечтательныхъ надеждъ, начинали они огуломъ валить въ младенческія головы всѣ свои растлѣнныя рефлексіи и сентиментальныя сѣтованія о тщетѣ всего земного. Они воображали, что эти головы, въ которыхъ сложились уже, по ихъ мнѣнію, всѣ пути, конечно не замедлятъ распутать всѣ противорѣчія, въ лабиринтѣ которыхъ сами они бродили и путались, а младенческія головы между тѣмъ путались еще болѣе ихъ головъ именно потому, что были младенческія... Ребенокъ не вполнѣ еще постигалъ свои отношенія къ родителямъ и нянькѣ, а ему уже задавались вопросы о томъ, въ какой степени правы или неправы были Лиръ, Гамлетъ, и «отчего подъ ношей крестной весь въ крови влачится правый, отчего вездѣ безчестный встрѣченъ почестью и славой».—Такимъ образомъ воспитанникъ, мысль котораго не успѣвала еще окрѣпнуть, пріучался уже мучиться надъ рѣшеніями различныхъ головоломныхъ вопросовъ отвлеченнѣйшаго свойства, анализировать малѣйшіе оттѣнки своихъ ощущеній, и даже такихъ ощущеній, которыхъ въ немъ и возникнуть еще не могло, сообразно его возрасту... Результатъ такого воспитанія былъ двоякій: или воспитанникъ, если у него были здоровыя силы и крѣпкіе нервы, дойдя до извѣстнаго возраста и освободясь отъ воспитателя, бросалъ всю эту канитель праздныхъ и растлѣвающихъ рефлексій и начиналъ руководиться своей природой и страстями, возбуждаемыми жизнью, руководиться слѣпо и случайно, такъ какъ воспитатели заботились только о рѣшеніи разныхъ, такъ-называемыхъ, роковыхъ вопросовъ жизни, а не томъ, чтобы разумно направить страсти воспитанника,—или же, если это былъ слабый, нервновоспріимчивый ребенокъ, то изъ него дѣлался безхарактерный, дряблый мечтатель, сентиментальный плаксa съ растроенными нервами или полусумасшедшій фантазеръ. Въ этомъ отношеніи всѣ недостатки послѣдняго романа Ѳ. Достоевскаго «Бѣсы» мы готовы простить за одну истинную, чрезвычайно мѣтко схваченную черту воспитанія добраго, стараго времени; это именно—если читатель припомнитъ — воспитаніе знаменитымъ историкомъ и героемъ 40-хъ годовъ, Верховенскимъ, сына своей благодѣтельницы: все это воспитаніе заключалось въ томъ, что педагогъ постоянно терзалъ воспитанника патетическими рѣчами самаго неопредѣленнаго свойства; воспитанникъ ничего не понималъ изъ этихъ рѣчей, но онѣ такъ постоянно возбуждали его нервы, что съ нимъ дѣлались истерики, и въ концѣ концовъ воспитатель растлилъ своего ученика и нравственно, и физически до такой степени, что довелъ до столбняка и до того, что ему начали мерещиться чортики. При всемъ преувеличеніи, эта метода воспитанія Верховенскаго можетъ служить тѣмъ не менѣе весьма характеристическимъ типомъ идеалистической системы воспитанія.

Что касается до книги Вагнера, то въ ней мы можемъ найти два рода сказокъ: однѣ изъ нихъ, по нашему мнѣнію, совершенно соотвѣтствуютъ всѣмъ требованіямъ реальнаго воспитанія дѣтей. Таковы—«Курилка», «Чудный мальчикъ», «Папа-пряникъ», «Береза», «Дядя-Пудъ». Всѣ эти сказки, при своей свѣжей, такъ и бьющей изъ каждой строки художественности, въ то же время чрезвычайно просты, естественны; нѣтъ въ нихъ ничего вычурно-фантастическаго, ничего мечтательнаго, сентиментальнаго или слишкомъ отвлеченнаго для дѣтскаго возраста. Въ каждой изъ этихъ сказокъ анализируется какое-нибудь дѣйствительное явленіе жизни, и притомъ разсматриваются такія явленія, которыя вполнѣ доступны дѣтскому анализу, могутъ быть даже заурядными въ тѣсномъ кругу дѣтской жизни. Такъ напримѣръ, безъ сомнѣнія каждый ребенокъ встрѣчалъ въ своей жизни, среди даже своихъ сверстниковъ, тщеславныхъ болтуновъ и хвастуновъ, вродѣ Курилки; каждый ребенокъ могъ въ своей жизни быть поставленъ въ положеніе царевны Меллины, Луппа, Кики и Толля. Достоинство вышеупомянутыхъ нами сказокъ въ томъ именно и заключается, что, имѣя дѣло съ конкретными фактами, онѣ анализируютъ и обобщаютъ ихъ, насколько это пригодно для дѣтскаго возраста. Въ результатѣ своемъ онѣ возбуждаютъ въ дѣтяхъ симпатію къ однимъ явленіямъ жизни и антипатію къ другимъ,—цѣль, по нашемумнѣнію, вполнѣ разумная, которую и должно имѣть постоянно въ виду истинное реальное воспитаніе. Скажемъ по справедливости, что, еслибы вся книга была наполнена подобными сказками, ее можно было бы назвать лучшей педагогической книгой для дѣтскаго чтенія и рекомендовать ее непремѣнно пріобрѣсти всѣмъ родителямъ.

Но, къ величайшему нашему сожалѣнію, Вагнеръ не могъ удержаться на реальной почвѣ анализа частныхъ и доступныхъ для дѣтскаго возраста явленій жизни. Въ нѣкоторыхъ сказкахъ онъ пустился въ отвлеченнѣйшій анализъ тонкихъ психическихъ ощущеній и самыхъ общихъ, сложныхъ явленій жизни, и притомъ анализъ вполнѣ рефлективнаго свойства, въ духѣ сентиментальнаго романтизма 20-хъ годовъ.—Всѣ подобнаго рода сказки, выставляющія различныя неисходныя противорѣчія или тщету жизни, своимъ унылымъ тономъ мрачнаго разочарованія способны навести силинъ даже на взрослаго человѣка; можно представить себѣ, какъ разъѣдающе должны онѣ дѣйствовать на дѣтей, тѣмъ болѣе, если принять во вниманіе, что сказки написаны такимъ философскимъ языкомъ и трактуютъ о такихъ отвлеченныхъ предметахъ, что дѣти настолько же поймутъ ихъ, насколько воспитанникъ Верховенскаго понималъ его патетическія рѣчи.

Самое предисловіе къ сказкамъ поражаетъ васъ своимъ страннымъ тономъ; вы словно переноситесь за 50 лѣтъ назадъ и видите передъ собой унылаго романтика вродѣ Жанъ-Поль Рихтера, словно развер-

тываете «Русскія ночи» кн. Одоевскаго. Только въ нихъ можно встрѣтить рядъ сарказмовъ въ такомъ родѣ:

«Бѣдный Котъ былъ немного помѣшанъ. У него была одна idée fixe, отъ которой не могли освободить его всѣ европейскіе и американскіе эскулапы.

— Я, — говорилъ онъ, — родился на свѣтъ внизъ головой, и съ тѣхъ поръ все на свѣтѣ мнѣ кажется вверхъ ногами.

— На верху стоятъ сильные и прекрасные золотые тельцы, передъ которыми многіе преклоняются, или по крайней мѣрѣ скачутъ и пляшутъ на заднихъ лапкахъ, а мнѣ кажется, что на верху стоятъ тѣ самые маленькіе червячки, которые весь день-деньской роются въ землѣ изъ-за насущнаго хлѣба и стоятъ потому, что первые должны-же быть когда-нибудь послѣдними...

— На верху стоитъ человѣколюбивое братство и отдаетъ своему ближнему послѣднюю собственную рубашку, — а мнѣ кажется, что на верху стоитъ именно та самая собственная рубашка, которая ближе къ тѣлу, чѣмъ всякая другая.

— На верху стоитъ столбъ прогресса съ рукой, указующей, куда идти людямъ, а мнѣ кажется, что этотъ столбъ давно лежитъ на боку, а на немъ лежатъ люди, твердя въ умиленіи сердецъ: chi va piano va sano!»

— На верху стоитъ свѣтильникъ міра, потому что никто не ставитъ его подъ столъ, — а мнѣ кажется, что онъ именно стоитъ подъ тѣмъ столомъ, за которымъ пируетъ добрая богиня Глупость и ворожитъ всѣмъ, кому хорошо живется на свѣтѣ.

— На верху стоитъ истина, вѣчно влекущая на свободу сознанный фактъ, — а мнѣ кажется, что на верху курятся тѣ самыя старыя курильницы, которыя стоятъ тамъ со временъ древнихъ авгуровъ, а внизу... Но внизу нельзя ничего разобрать за облаками одуряющаго дыма...

— Ахъ! скоро-ли же мнѣ представится, что люди не ходятъ вверхъ ногами и не болтаютъ ногами по воздуху?»

Многимъ любителямъ эффектныхъ противопоставленій понравилась эта романтическая риторика, но мы спросимъ, для кого и для чего она написана?.. Что поймутъ изъ всего этого дѣти, когда даже и для взрослыхъ все это имѣетъ смыслъ только при чтеніи между строкъ, да и то самый бѣдный и рутинный смыслъ общихъ мѣстъ... Подъ конецъ же авторъ заговорился до того, что не только для дѣтей, но и для взрослыхъ, одна фраза такъ и останется вѣчной загадкой: признаться, мы долго думали надъ тѣмъ, какъ это «истина влечетъ на свободу сознанный фактъ», и не проникли философскаго тумана этого изреченія.

Для примѣра того, въ какія растлѣвающія сентиментально-чувствительныя рефлексіи пускается порой Вагнеръ, мы разскажемъ содержаніе нѣкоторыхъ самыхъ большихъ и видныхъ сказокъ, помѣщенныхъ въ книгѣ. Начнемъ съ сказки «Мила и Нолли». Гдѣ-то на морѣ-океанѣ существовали Голубые острова, владѣнія феи Лазуры. Обитатели этихъ острововъ не знали никакихъ трудовъ, заботъ, страстей и печалей, и наслаждались вѣчнымъ блаженствомъ подъ владычествомъ феи Лазуры. Между прочими счастливцами былъ одинъ юноша, любимецъ феи Лазуры, котораго эта жизнь вѣчнаго блаженства не могла удовлетворить, и онъ внезапно исполнился одной изъ самыхъ тлетворныхъ человѣческихъ страстей, именно ревностью. Дѣло было такъ:

«— Разъ вечеромъ на веселомъ пиру, — разсказывалъ преступникъ, — я лежалъ подлѣ Лазуры, въ кругу нашей веселой и веселившейся толпы. Лазура ласкала, улыбаясь, мои волнистые кудри, точно такъ же какъ она ласкала всѣхъ безъ разбора, и я смѣялся, ловилъ ея маленькія бѣлорозовыя ручки и цѣловалъ ихъ. Потомъ она быстро вскочила и понеслась въ пляскѣ съ другимъ юношей, а я, вмѣсто того чтобы засмѣяться и точно также броситься вертѣться съ какой-нибудь изъ тѣхъ прекрасныхъ дѣвушекъ, которыя лежали возлѣ меня, я вдругъ почувствовалъ, что я одинокъ и что всѣ эти дѣвушки не замѣнятъ мнѣ одной Лазуры. Не знаю, почему мнѣ вдругъ показалось, что она должна принадлежать мнѣ и никому больше. Нашъ пиръ былъ на Лебяжьемъ островѣ, мы всѣ танцовали, сидѣли или лежали на берегу, а передъ нами плавали цѣлыя стада лебедей; они также рѣзвились, играли, брызгались и громко кричали. Когда Лазура вернулась на свое мѣсто, я хотѣлъ снова положить голову на ея плечо, хотѣлъ схватить ея хорошенькую ручку, и не могъ. Я чувствовалъ, что во мнѣ происходитъ что-то страшное, неиспытанное. Она быстро обернулась ко мнѣ, улыбаясь, посмотрѣла на меня и потомъ вдругъ захлопала въ ладоши, такъ что всѣ къ ней обернулись.

— Смотрите, — закричала она указывая на меня, — вотъ чудо! между нами чужой! Онъ вѣрно выросъ изъ какихъ-нибудь сѣмянъ, которыя были принесены къ намъ водой или вѣтромъ изъ людского свѣта. Ну, мы сейчасъ будемъ охотиться за нимъ, а чтобы прохладить его, мы его выкупаемъ. Квинъ! ату его, чужой! — И она махнула рукой, и въ то-же время я, весь сконфуженный и перепуганный, полетѣлъ, въ видѣ лебедя, прямо въ море, а вслѣдъ за мной полетѣли орѣхи, яблоки, апельсины, камешки, каждый бросалъ чѣмъ попало мнѣ въ догонку, и всѣ кричали: «ату его, ату, чужой!» и всѣ хохотали до упаду.

Такъ былъ превращенъ въ лебедя нечестивецъ, выросшій изъ человѣческихъ сѣмянъ, занесенныхъ вѣтромъ на блаженные острова, и въ заключеніе былъ изгнанъ феей Лазурой изъ ея владѣній. «Прощай, сказала она, ступай въ тотъ старый міръ страстей и пороковъ, добра и зла, лжи и правды, которому ты принадлежишь по натурѣ. Ступай и не возвращайся къ намъ до тѣхъ поръ, пока ты не узнаешь его и не почувствуешь къ нему полнаго и глубокаго отвращенія».

Лебедь и полетѣлъ въ міръ страстей и пороковъ. — «Я не буду разсказывать вамъ, говорилъ онъ, что я видѣлъ и сколько страданій я пережилъ. Я видѣлъ смерть и подлость. Не разъ мое бѣдное сердце переставало биться, и мнѣ казалось, что я умираю. Не разъ я прилеталъ къ Голубымъ островамъ съ глубокимъ омерзеніемъ и ненавистью ко всему людскому, съ желаніемъ остаться на нихъ. Но невѣдомая сила снова гнала меня прочь въ этотъ ненавистный и презираемый міръ, гдѣ я принужденъ былъ скитаться...»

Наконецъ лебедь сдѣлался покровителемъ двухъ гонимыхъ существъ, — маленькой Милы, преслѣдуемой злой мачихой, и сиротки Нолли. Онъ поселилъ ихъ сначала на Зеленыхъ островахъ, потомъ на островахъ Попугаевъ, а впослѣдствіи, когда они выросли и полюбили другъ друга, перевезъ ихъ на Голубые острова, въ царство феи Лазуры.

Здѣсь, предварительно, прежде нежели они вступили въ область вѣчнаго блаженства, между ними произошелъ слѣдующій чувствительный разговоръ:

«— Вы оба, — сказалъ Лебедь, — любящія и дорогія другъ другу взрослыя дѣти. Въ вашихъ дѣтскихъ сердцахъ нѣтъ мѣста никакому тяжелому, враждебному для кого-бы то ни было чувству, но эти сердца только тогда будутъ покойны и защищены отъ всякаго горя, когда въ нихъ не будетъ той страсти, которая горитъ въ нихъ теперь такимъ чистымъ, но бурнымъ огнемъ. Эта страсть тотчасъ падаетъ и

превращается въ тихое чувство довольства и веселья, когда она не принадлежитъ двумъ только сердцамъ, а разливается на всѣхъ, кто отвѣчаетъ нашимъ помысламъ. Если такихъ лицъ много, если они окружаютъ насъ цѣлой толпой, то между ними нѣтъ, не можетъ быть избранниковъ сердца, они всѣ для него равны и оно принадлежитъ имъ всѣмъ. И тогда въ немъ не можетъ быть этого тяжелаго сосредоточеннаго чувства, которое мы называемъ любовью, оно постоянно ликуетъ полное довольствомъ, весельемъ и вѣчнымъ, невозмутимымъ счастьемъ.

— Мила!—отвѣчай мнѣ: если вокругъ тебя будутъ такіе-же юноши, какъ твой Нолли, если они съ такой-же любящей, нѣжной лаской будутъ цѣловать твои руки и твои ясные глаза, будешь-ли ты отвѣчать имъ на ихъ ласки такъ-же, какъ ты отвѣчаешь Нолли?

Мила молчала; она вся покраснѣла, такъ что слезы выступили на ея глазкахъ. Она смотрѣла на Нолли и гладила его черные кудри, какъ будто ждала отъ него отвѣта и помощи.

— Нолли,—сказалъ Лебедь,—если Мила не отличитъ тебя въ толпѣ другихъ юношей, если ея сердце, до сихъ поръ постоянно страдавшее отъ наплыва тѣхъ глубокихъ чувствъ, въ которыхъ нельзя найти границы между наслажденіемъ и страданіемъ, если это сердце наконецъ успокоится въ тихихъ радостяхъ, если Мила будетъ постоянно весела, довольна и счастлива,—Нолли! отвѣчай, будетъ-ли довольно тѣмъ твое собственное сердце и не возмущается-ли оно теперь при одной мысли о томъ, что Мила не будетъ принадлежать тебѣ одному, что въ ея сердцѣ не будетъ даже завиднаго уголка для тебя?

— Нѣтъ!—вскричалъ Нолли, поднявшись съ камня и откинувъ назадъ свои черные кудри.—Нѣтъ! Я не знаю, найдетъ-ли мое сердце счастье и довольство въ любви ко мнѣ всѣхъ дѣвушекъ, такихъ-же прекрасныхъ, какъ Мила; но я знаю, что мое сердце будетъ вполнѣ довольно счастьемъ дорогой моей Милы, если она, моя родная, будетъ весела, довольна, счастлива. О, Лебедь! лучше, желаннѣе этого ничего не представляется, ничего не можетъ представиться моему любящему сердцу!

— Нолли!—воскликнула Мила и крѣпко обняла его,—дорогой мой! Я не хотѣла отвѣчать Лебедю, потому что боялась огорчить тебя. Ахъ! если вмѣсто одного тебя, вокругъ меня будетъ много такихъ-же точно, какъ ты, добрыхъ и милыхъ Нолли, то я ужъ не буду любить ни тебя, ни ихъ такъ сильно, какъ я люблю теперь тебя одного. Вѣдь сердце дорожитъ только тѣмъ, что рѣдко и дорого! И если глубокая, сильная привязанность исчезнетъ изъ него, тогда чѣмъ-же оно будетъ жить, чѣмъ оно будетъ полно?

— Наслажденьемъ, весельемъ, довольствомъ собственнымъ и всѣхъ окружающихъ тебя!—отвѣтилъ Лебедь. И еще не договорилъ онъ послѣдняго слова, какъ вдругъ въ воздухѣ, гдѣ-то вдали, раздалась чудная музыка...

Наши любящіе молодые люди вступили въ міръ блаженства. Но блаженство это не могло ихъ удовлетворить. Мила видѣла вокругъ себя множество Нолли, какъ двѣ капли воды, похожихъ на него, но все искала своего собственнаго Нолли, который въ свою очередь искалъ ее. Однимъ словомъ, оказалось, по словамъ Милы, что «сердце не можетъ забыть того, съ кѣмъ оно сроднилось; оно ищетъ не ласкъ, не веселья, а глубокой любви!..»

Поздно вечеромъ встрѣтились тоскующія и ищущія другъ друга существа, и едва успѣли они опомниться отъ восторга встрѣчи, какъ сердца ихъ снова исполнились горестью: околѣла ихъ любимая собачка Волчокъ, другъ и товарищъ ихъ дѣтства и неизмѣнный спутникъ ихъ, и напрасно фея Лазура старалась утѣшить ихъ, обративъ растущіе вокругъ цвѣты во множество Волчковъ: оказалось, что еслибы фея Лазура всѣ цвѣты, которые цвѣтутъ на Голубыхъ островахъ, обратила въ Волчковъ, они не замѣнили бы одного Волчка, потому что, по словамъ Милы, съ ними не будутъ связаны крѣпкимъ узломъ взаимнаго чувства дорогія для сердца воспоминанія...

Вслѣдъ затѣмъ начались со стороны Милы томныя рефлексіи, весьма напоминающія собою доброе, старое время, золотую молодость нашихъ бабушекъ...

«—Нолли,—говоритъ Мила, закрывъ глаза,—мои мысли бѣгутъ, бѣгутъ, и я никакъ не могу остановить ихъ. Голова моя кружится. Скажи мнѣ, дорогой мой, что такое смерть? И неужели, какъ говорила Лазура, жизнь есть вѣчная перемѣна различныхъ образовъ? Для чего-же живемъ мы, волнуемся, страдаемъ, и неужели дѣйствительно нѣтъ ничего лучше, выше, блаженнѣе той жизни, которой живутъ эти веселыя дѣти, окружающія Лазуру?

— Мила моя,—говоритъ Нолли,—сердце привыкаетъ къ тѣмъ волненіямъ, съ которыми сжилось оно съ дѣтства, ему тяжело разстаться съ этими сильными, но сладкими страстями. Если-же оно не сроднилось съ ними, то для него нѣтъ ничего желаннѣе мирныхъ удовольствій, среди которыхъ такъ легко и свободно живется.»

Или еще того лучше:

«— Мила,—говоритъ Нолли, и голосъ его дрожитъ,—дорогая моя Мила, что съ тобою? Мнѣ страшно за тебя и за себя: мнѣ кажется, что ты не любишь меня больше.

— Нѣтъ, Нолли, нѣтъ, мой милый другъ,—и она крѣпко цѣлуетъ его,—я люблю тебя, но скажи мнѣ: развѣ любовь не то-же опьяненье? Развѣ рано или поздно не ослабнутъ ея натянутыя струны? Развѣ не улетятъ всѣ грезы ея и сладкія волненія, какъ милый, обманчивый сонъ, и чувства не завянутъ въ насъ, какъ цвѣты поздней, морозной осенью? И тогда... что-же останется въ жизни?.. Ахъ, Нолли, Нолли! Скажи мнѣ, для чего мы живемъ?..

Почти вѣдь буквально, какъ у Лермонтова:

Что страсти?.. Вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ
Замолкнетъ при словѣ разсудка.
И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,
Такая пустая и глупая шутка!..

Однимъ словомъ, закуражилась барышня такъ, что все не по ней — и любовь не по ней, и жизнь не по ней, и смерть не по ней; ныла, ныла въ объятіяхъ Нолли, наконецъ изныла и умерла...

«Фея Лазура унеслась въ какіе-то надзвѣздные міры со всѣмъ своимъ царствомъ счастливыхъ существъ», читаемъ мы въ заключеніи сказки. «Давно уже пропалъ и слѣдъ Голубыхъ острововъ. Уцѣлѣлъ только островъ Лебяжій на Тихомъ Океанѣ... Онъ весь окруженъ подводными камнями и неприступными скалами, нѣтъ къ нему ни подхода, ни подъѣзда. На немъ стоитъ Нолли и думаетъ свою глубокую думу о томъ: чего недоставало для полнаго счастья его дорогой, ненаглядной Милѣ?.. Да! чего недоставало?..»

Мы нарочно подробнѣе постарались познакомить читателей съ этою сказкою, но при всемъ томъ мы не могли привести и десятой доли тѣхъ сентиментальныхъ томленій и воздыханій, какими наполнена она. Для чего-же, спрашиваемъ мы, написана эта сказка? Что это за странный, болѣзненный бредъ разстроеннаго воображенья и разстроенныхъ нервовъ? Положимъ, что было когда-то давно, давно такое время, когда всѣ подобные, такъ называемые, роковые вопросы жизни—«кого любить, къ чему стремиться?» могли казаться верхомъ прогресса, но въ наше время подносить дѣтямъ чашу подобнаго рода прокислыхъ напит-

ковъ сентиментализма, по нашему мнѣнію, верхъ безумія, просто непонятнаго.

Въ сказкѣ «Колесо счастія» затрогивается одинъ изъ дѣйствительно роковыхъ вопросовъ нашей жизни: именно рабочій вопросъ; но ставится онъ въ свою очередь на почву романтическихъ рефлексій, неизбѣжно приводящихъ всѣ вопросы къ одному знаменателю: сознанію тщеты всего земного и унылому разочарованію

Героемъ этой сказки является Гранжо. Внукъ стараго тряпичника, онъ остается круглымъ, обездоленнымъ сиротою послѣ смерти дѣда; попадаетъ на фабрику тамъ своимъ умомъ и смышленностью пріобрѣтаетъ быстрые успѣхи, обращаетъ на себя всеобщее вниманіе и возвышается до того, что не только дѣлается главнымъ управляющимъ фабрики, но, уличивши фабриканта въ злоупотребленіи по части казенныхъ подрядовъ, отнимаетъ у него фабрику угрозою «донести на него правительству», женится на его дочери и вмѣстѣ съ тѣмъ оказывается внезапно графомъ, вслѣдствіе открытія стараго документа, доставшагося ему отъ дѣда. Для чего автору нужно было сдѣлать своего героя непремѣнно графомъ, употребивши рутинный пріемъ французскихъ романовъ и трескучихъ мелодрамъ, объ этомъ нужно ужъ у него спросить. По всей вѣроятности Вагнеръ желалъ, чтобы герой его, идеальный во всѣхъ отношеніяхъ, былъ идеаленъ и по своему титулу. Но это мелочь и не въ этомъ заключается сущность сказки.

Сдѣлавшись графомъ и владѣльцемъ фабрики, Гранжо занялся устройствомъ благосостоянія рабочихъ и довелъ свою фабрику до верха совершенства. Она достигла такихъ громадныхъ размѣровъ, что убила почти всѣ другія фабрики, уничтожила всякую конкуренцію. Вмѣстѣ съ тѣмъ рабочіе начали вести жизнь почти роскошную. Но не долго продолжался этотъ земной рай. Какъ подобаетъ съ рефлективной точки зрѣнія, изъ самаго нѣдра благополучія начали возрастать ростки гибели этого благополучія. Съ одной стороны отсутствіе конкуренціи новело фабрику къ застою; счастливые рабочіе, довольные своею участью, не видѣли никакой нужды въ какихъ-либо улучшеніяхъ: «я своимъ положеніемъ доволенъ, мнѣ больше ничего не надо, а общее дѣло—не мое дѣло», говорилъ каждый изъ нихъ. Съ другой стороны, избытокъ благосостоянія повелъ нѣкоторыя горячія натуры къ излишествамъ, мотовству: явились развратники, пьяницы; они разорялись и рядомъ съ ними возникли жадные къ деньгамъ ростовщики, которые ссужали промотавшихся деньгами за жидовскіе проценты. Равновѣсіе было такимъ образомъ нарушено. Гранжо боролся противъ всего этого, но тщетно. Противъ него былъ составленъ цѣлый заговоръ, чтобы свергнуть его и утвердить свободу труда и капитала. Во главѣ заговора всталъ рабочій Вилень и такъ ловко повелъ дѣло, что Гранжо дѣйствительно долженъ былъ оставить фабрику. Съ участіемъ слѣдилъ онъ послѣ того за дѣлами общества.

«—Можетъ быть, думалъ онъ, прійдетъ оттуда что-нибудь неожиданное, новое, успокоительное, на чемъ-бы я могъ отдохнуть. Но ничего новаго и успокоительнаго не доходило до его слуха, а почти все шло такъ, какъ онъ предвидѣлъ. Страсти дѣлали свое дѣло. Общество падало, разрушалось медленно и неотразимо. Самымъ сильнымъ въ борьбѣ, которая теперь шла въ немъ, оказался Вилень. Не даромъ онъ и хлопоталъ о новомъ, или, правильнѣе говоря, старомъ принципѣ. Онъ быстро все подобралъ къ рукамъ. Онъ былъ главный распорядитель и руководитель. Ловко онъ эксплуатировалъ и средства, и страсти общества, игралъ на самолюбіи, завелъ поощренія, биржу. Начались разныя поддѣлки, удешевленія, кредитъ фабрики быстро падалъ; давно уже явилось раздвоеніе: явились хозяева и работники, и притомъ много хозяевъ, которые грызлись изъ-за каждой копейки, изъ-за грошоваго дивиденда, рыли другъ другу ямы и торопили гибель общества. Самые кроткіе и безобидные давно его оставили и унесли капиталы. Наконецъ явились несомнѣнные зловѣщіе признаки мерзости запустѣнія: ремонтъ зданій былъ брошенъ, на многомъ явились какія-то случайныя заплаты. Положеніе рабочихъ ухудшалось, поднялся ропотъ. Вилень уже разсчитывалъ общую ликвидацію и свой барышъ; и за этими разсчетами одинъ разъ, въ теплую октябрьскую ночь, засталъ его пожаръ фабрики. Зарево далеко разлилось. Два дня и двѣ ночи горѣли зданія общества, и сгорѣли до тла. Пострадали самые бѣдные и невинные. Земли, зданія и все, что̀ можно было продать,—было продано, и все исчезло, какъ дымъ, безъ слѣдовъ.»

Удивительно въ этомъ отношеніи, какъ сходятся крайности. Спросите вы у любого идеалиста-романтика добраго, стараго времени, какое мнѣніе имѣетъ онъ объ экономистахъ школы Сэ, съ ихъ оправданіемъ эксплуатаціи капитала и промышленнаго произвола. Онъ конечно отзовется о нихъ съ отвращеніемъ, какъ о черствыхъ защитникахъ безчеловѣчнаго филистерства. Но заставьте вы этого же самаго романтика обсуждать рабочій вопросъ со своей точки зрѣнія, и что̀ же: такова уже эта рефлективная точка зрѣнія, стремящаяся во всемъ открывать противорѣчіе и созерцать въ жизни смерть и въ смерти жизнь, что романтикъ не замедлитъ съ своей стороны развить передъ вами тѣ же доводы, какіе развивали въ свое время безчувственные экономисты въ защиту своихъ теорій. Точно также романтикъ будетъ увѣрять васъ, что отсутствіе конкуренціи должно привести къ застою, а благосостояніе поведетъ рабочихъ къ лѣности и разврату; и такимъ образомъ все зданіе промышленности разрушится.

Но развѣ не бывало въ исторіи попытокъ заводить такія благодѣтельныя фабрики, какъ фабрика Гранжо, и развѣ эти попытки не кончались такъ же неудачно и совершенно подобно тому, какъ это описано у Вагнера? спроситъ меня читатель. Да, отвѣтимъ мы, существовало много подобныхъ попытокъ и кончались онѣ столь же неудачно. Но вы подумайте только, когда на Западѣ было особенное повѣтріе на эти попытки? Тогда, какъ рабочій вопросъ только-что возникъ и коренился на почвѣ романтизма, представлялся въ видѣ прекрасныхъ, но совершенно отвлеченныхъ теорій, осуществленіе которыхъ возлагалось на идеальныя личности; личности эти должны были явиться благодѣтелями человѣческаго рода и водворять повсюду благосостояніе и счастіе. Неудачи всѣхъ подобныхъ попытокъ и произошли отъ такой личной постановки вопроса. Онѣ показываютъ намъ только то, что всякое стремленіе осуществить отвлеченную теорію должно рушиться передъ напоромъ жизни, какъ бы ни казалась эта теорія прекрасна и логически совершенна. Но эти неудачи нисколько не опровергаютъ возможности естественнаго возникновенія и свободнаго развитія ассоціацій путемъ самаго жизненнаго процесса. Величайшая ошибка Вагнера въ томъ имен-

но и заключается, что онъ снова вздумалъ поднять на ноги отжившую старину и поставилъ вопросъ на идеалистическую почву частнаго благотворительнаго предпріятія. Для чего же это? Для того, чтобы преждевременно запугать умъ молодого читателя безъисходной дилеммой и привести его къ сознанію, что вопросъ неразрѣшимъ и что лучше махнуть на него рукой, предоставивши жизни идти какъ ей угодно; однимъ словомъ, laisser faire, laisser passer... Конецъ сказки подтверждаетъ это наше предположеніе. Когда Гранжо умиралъ, ему постоянно мерещилась покойная жена его Али: свѣтлая, лучезарная, въ какомъ-то сіяющемъ, бѣломъ платьѣ изъ ажурной кисеи, и говорила ему:

«— Я—прогрессъ; но ты не думай, мой дорогой другъ, чтобы я все вела къ лучшему: я дѣлаю только все сложнѣе, и дурное, и хорошее, и умъ, и глупость, и мнѣ дѣла нѣтъ до людей: я—дитя природы...

— Видишь ли, отъ борьбы я становлюсь свѣтлѣе; но утихнетъ борьба—и весь мой свѣтъ расплывается въ общей массѣ, и пѣтъ во мнѣ яркихъ, сверкающихъ искръ!..

— Другъ мой, дорогой мой другъ! ты напрасно думалъ, что я погибну—я не могу погибнуть. Я приняла въ себя всю темную массу и стала еще блестящее. Но вглядись въ этотъ блескъ: онъ только ослѣпляетъ, а внутри—тамъ много темнаго, гораздо больше, чѣмъ было.—И Гранжо дѣйствительно видитъ это темное, страшное, отталкивающее: въ немъ кишатъ черные черви людскихъ страстей и прихотей. Онъ снова мечется, мучительно мечется и падаетъ безъ памяти.»

Какъ вамъ нравится это мрачное разочарованіе въ прогрессѣ, въ смыслѣ улучшенія отношеній людей между собой,—представленіе прогресса въ видѣ спенсеровскаго дифференцированья, въ образѣ холоднаго сіянія, вмѣщающаго въ себѣ всѣ человѣческія гадости!.. И это представляется результатомъ обсужденія одного изъ передовыхъ вопросовъ современной жизни и подносится дѣтямъ для возбужденія въ нихъ вѣры въ прогрессъ и энтузіазма къ слѣдованію по его пути!.. До какой въ самомъ дѣлѣ нужно додуматься крайней мудрости, чтобы обратиться къ дѣтямъ съ такими словами: «Вотъ вамъ, дѣти, дорога; по ней должны вы шествовать въ вашей жизни; только будьте увѣрены, что никуда она васъ не приведетъ!..»

Совершенно согласно съ этимъ духомъ разъѣдающихъ рефлексій и тоскливаго разочарованія у Вагнера мы видимъ страсть рисовать картины самаго мрачнаго характера, всеобщаго разлада, разрушенія, смерти. Иногда въ подобной маніи онъ доходитъ до крайняго изступленія фантазіи, какъ напримѣръ въ сказкахъ «Максъ и Волчокъ» и «Али-Гафизъ»; иногда же, какъ въ сказкахъ «Пѣсенка земли» и «Швея», онъ разливается въ слезливой чувствительности... И то, и другое, по нашему мнѣнію, должно одинаково тлетворно дѣйствовать на дѣтей.

Много въ былое время толковали у насъ о вредѣ излишней фантастичности сказокъ, но всѣ эти толки были крайне односторонни и поверхностны, потому что подъ фантастичностью разумѣли обыкновенно исключительно фантастичность миѳологическую: сказки о лѣшихъ, домовыхъ, мертвецахъ и пр., а вредъ подобной фантастичности видѣли исключительно въ развитіи суевѣрныхъ инстинктовъ въ ребенкѣ. Между тѣмъ вредъ подобныхъ сказокъ заключается въ сущности не столько въ развитіи суевѣрія, сколько въ сильномъ возбужденіи воображенія и потрясеніи всей нервной системы, могущемъ довести ребенка до галлюцинацій, въ крайнемъ случаѣ до сумасшествія. Разувѣрить ребенка въ несуществованіи лѣшихъ и домовыхъ не стоитъ большой трудности. Но случается нерѣдко, что дѣти, нисколько не вѣрящія ни въ домовыхъ, ни въ мертвецовъ, такъ сильно возбуждаются разсказами объ этихъ предметахъ и пріобрѣтаютъ къ нимъ такую страсть, что днемъ и ночью грезятъ прочитаннымъ, теряя способность заниматься и думать о чемъ-нибудь другомъ. Здѣсь все зависитъ не столько отъ самыхъ фактовъ, передаваемыхъ сказкой, сколько отъ той силы впечатлѣнія, съ какой они передаются. Въ этомъ отношеніи «Вій» Гоголя можетъ гораздо сильнѣе подѣйствовать на ребенка, невѣрующаго въ содержаніе повѣсти, чѣмъ та-же самая легенда, разсказанная вяло и безцвѣтно, на вѣрующаго. Но, если вредъ фантастическихъ сказокъ заключается не столько въ содержаніи ихъ, сколько въ силѣ впечатлѣнія, дѣйствующей на нервы ребенка, то очевидно, что вредна сказка со всякимъ излишнимъ направленіемъ фантазіи, хотя бы въ ней и не говорилось ни о какихъ сверхъестественныхъ вещахъ. Мало этого, въ послѣднемъ случаѣ сказка должна подѣйствовать еще вреднѣе. Читая миѳологическую сказку, ребенокъ, потерявшій уже вѣру въ реальность миѳическихъ существъ, какъ бы сильно ни напечатлѣвался прочитаннымъ, во всякомъ случаѣ не можетъ напечатлѣться до такой степени сильно, какъ еслибы онъ слѣпо вѣрилъ всему, что̀ читалъ; такимъ образомъ иллюзія до нѣкоторой степени уменьшается. Между тѣмъ фантастическая сказка, въ которой представлены въ преувеличенномъ видѣ различныя раздирательныя вещи, съ претензіей на ихъ реальность, дѣйствуетъ на воображеніе неудержимо, и иллюзія въ этомъ случаѣ не имѣетъ границъ. Трудно себѣ представить, до какого умоизступленія можно довести маломальски нервнаго ребенка, пичкая его такими апокалипсическими картинами, какъ сонъ «Али-Гафиза»... Излишняя чувствительность сказокъ, вродѣ «Пѣсенки земли» или «Швеи», въ свою очередь должна дѣйствовать на дѣтей самымъ разлагающимъ образомъ. Въ «Швеѣ» такое вредное дѣйствіе по крайней мѣрѣ выкупается содержаніемъ сказки; «Пѣсенка же земли», не имѣя ровно никакого содержанія, какъ будто нарочно для того только и написана, чтобы пощекотать чувствительность дитяти и заставить его лишній разъ прослезиться. Въ самомъ дѣлѣ, все содержаніе сказки въ томъ только и заключается, какъ постепенно хворалъ и таялъ ребенокъ съ теченіемъ временъ года, начиная съ весны, и какъ онъ наконецъ умеръ зимой, къ огорченію своей матери... Если Вагнеръ воображаетъ подобными разсказами развивать въ дѣтяхъ чувствительность, то онъ весьма ошибается; ошибается въ такой же степени, въ какой заблуждался бы медикъ, еслибы мечталъ развить дѣятельность желудка дитяти, заставляя его глотать большими дозами различныя наркотическія, возбуждающія снадобья. Не чувствительность, а нервную экзальтацію разовьетъ онъ въ дѣтяхъ своими «Пѣсенками земли»,—ту нервную экзальтацію, при которой человѣкъ, воспитанный на подобныхъ разсказахъ,

будетъ готовъ проливать обильныя слезы при видѣ мухи, утопающей въ стаканѣ, и въ то же время будетъ глухъ и холоденъ къ дѣйствительному горю ближняго, если только это горе не проявляется въ раздирательномъ видѣ. Ребенку постоянно будетъ мерещиться швея, умирающая въ нетопленной комнатѣ съ голоду надъ работой, а тутъ-же, передъ нимъ, его же мамаша или сестрица станутъ распекать дѣйствительную, а не воображаемую швею за то, что она не поспѣла во время, не угодила; ребенку же и въ голову не придетъ, какое страшное горе терпятъ отъ всевозможной житейской грязи швеи, не умирающія надъ работой. Напротивъ того, онъ пожалуй еще приметъ сторону мамаши и у него сложится такое понятіе, что въ дѣйствительности передъ нимъ конечно не та швея, какую онъ видѣлъ въ сказкѣ: то была швея идеальная, а эта распутная; та умерла надъ работой, чтобы во время поспѣть; эта же принесла шитье недѣлей позже, чѣмъ обѣщала, испортила талію, и еще отвѣчаетъ дерзкими словами на справедливые упреки мамаши. Впрочемъ, чтобы не тратить много словъ, мы можемъ привести и фактическія доказательства, какъ дѣйствуютъ нѣкоторыя сказки Вагнера. Намъ приходилось уже не разъ слышать, что одинъ ребенокъ зарыдалъ отъ «Пѣсенки земли»; другой—впалъ въ истерику при чтеніи «Швеи». Замѣчательно, что подобныя вещи намъ приходилось слышать отъ почитателей книги Вагнера, которые приводили эти факты въ видѣ доказательства того, какое благотворное и сильное дѣйствіе производятъ эти сказки на дѣтей. Да, надо признаться, дѣйствительно сильное, и по благотворности своей не уступающее дѣйствію рѣчей Верховенскаго: тѣ тоже доводили воспитанника до истерикъ...

Но Вагнеру мало сказокъ слезоточивыхъ и съ апокалипсическими картинами; вы найдете въ книгѣ сказку, въ которой представляется передъ вами не что иное, какъ сумасшедшій бредъ пьяницы, находящагося въ бѣлой горячкѣ! Такова сказка «Маіоръ и сверчокъ». Самое начало этой сказки поражаетъ васъ своей курьезностью:

«— Эй, Иванъ! Тащи паровозъ! Мы поѣдемъ черезъ Китай прямо въ Ямайку.

И тотчасъ же тащитъ денщикъ Иванъ небольшой походный самоваръ красной мѣди и ставитъ его на столъ. Онъ очень хорошо знаетъ, чего требуетъ майоръ, потому что каждый вечеръ аккуратно майоръ ѣздитъ черезъ Китай прямо въ Ямайку. И несетъ Иванъ Китай въ маленькомъ ящикѣ изъ карельской березы, который попрежнему называется чайницей. Несетъ онъ и чайникъ, и стаканъ, и самую чистѣйшую ямайку, въ высокой бутылкѣ съ разволоченнымъ ярлыкомъ.

Пьетъ майоръ стаканъ, пьетъ другой. Въ самоварѣ красной мѣди видно его красное лицо съ вспотѣвшимъ лбомъ и длинными усами.

«Ну!» думаетъ майоръ: «теперь я въ самой Ямайкѣ!..»

Затѣмъ маіору начинаетъ грезиться, что сверчокъ въ своей трескотнѣ разсказываетъ ему жизнь, какъ онъ сошелся съ подругой и эта подруга препебрегла игрой на фортепьяно хозяйки дома, въ которомъ они жили, и пришла слушать пѣсню своего возлюбленнаго. Маіора привелъ этотъ разсказъ въ такое умиленіе, что, стукнувъ по столу кулакомъ, онъ вскричалъ:

«— Эхъ! вѣдь это дѣйствительно хорошо; но этого я никогда не испытывалъ, а тоже былъ молодъ. И помню я и панну Юзефу, и панну Филицату — и мазуречка панна, не кохайся дармо. Ахъ! вы всѣ, ясноокія панны! И скоро ли я доберусь до пани Ямайки?! И майоръ выпилъ еще стаканъ, но который, онъ уже и самъ не понималъ.»

Далѣе затѣмъ сверчокъ началъ разсказывать о томъ, какъ между его собратьями произошелъ раздоръ съ тѣхъ поръ, какъ одни изъ нихъ поселились въ избахъ съ людьми, и началась у нихъ безконечная борьба съ полевыми сверчками. Разсказъ этотъ, а вмѣстѣ съ нимъ и вся сказка кончается слѣдующимъ образомъ:

«И чуть не каждый день, - пѣлъ сверчокъ,—идутъ у насъ битвы—цѣлые длинные годы. Это безконечная, старая сказка. И нѣтъ конца нашимъ у собицамъ и распрямъ. Старые, сѣдые сверчки говорятъ, что наконецъ настанетъ время, когда улягутся всѣ раздоры, и всѣ мы, сверчки, по-братски соединимся въ одинъ народъ, въ одно стадо... Да видно, это блаженное время тогда настанетъ, когда ни одного сверчка на свѣтѣ не будетъ! —И сверчокъ пропѣлъ свое грустное послѣднее: «Чильжиль!» и замолкъ.

А майоръ?.. Но майоръ уже давно ничего не говорилъ.

Свѣча догорѣла, самоваръ потухъ, трубка погасла, а самъ майоръ лежалъ истымъ богатыремъ, просто на полу, подлѣ кресла, и храпѣлъ богатырски ..

Ахъ! навѣрно теперь онъ былъ въ самой Ямайкѣ.»

Мы изложили содержаніе этой сказки не столько потому, чтобы и подобную сказку считали вредной для дѣтей, сколько для того, чтобы доказать, до какого непостижимаго сумбура договаривается порой Вагнеръ. Въ виду такой нелѣпицы конечно смѣшно и говорить о какомъ-либо дѣйствіи или вліяніи ея на дѣтей. Она любопытна только, какъ весьма характеристическій фактъ, до какого бреда додумываются современные наши русскіе мыслители и, что всего замѣчательнѣе, возбуждаютъ этимъ бредомъ сочувствіе публики и похвалы газетныхъ рецензентовъ!..

Въ заключеніе намъ остается еще разъ выразить наше искреннее сожалѣніе, что Вагнеръ, въ которомъ мы не можемъ не признать и художественнаго таланта, и умѣнья говорить съ дѣтьми, не удержался на реальной почвѣ объективнаго анализа относительныхъ явленій жизни, а пустился въ область раздирательныхъ и туманныхъ рефлексій, не принявши въ соображеніе разумныхъ педагогическихъ требованій. Мы отъ души желали-бы, чтобы Вагнеръ не оставлялъ начатаго имъ дѣла, то есть написалъ бы еще томъ сказокъ, но при этомъ, чтобы поступалъ осмотрительнѣе, обдумывалъ тщательно, о чемъ можно говорить съ дѣтьми и о чемъ нельзя, и не воображалъ, что въ дѣтскій умъ можно валить все, что только ни взбредетъ въ голову, надѣясь, что онъ все перемелетъ и обратитъ въ муку. Если-же у Вагнера такая уже субъективная натура, что онъ не можетъ воздержаться отъ чувствительныхъ сердцеизліяній всего, что у него только кипитъ на сердцѣ, тогда пусть онъ лучше ужъ и не пишетъ дѣтскихъ сказокъ, а подвизается на поприщѣ какихъ-нибудь лирическихъ стихотвореній.

1873.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕКРАСНОДУШІЕ ВЪ МУНДИРѢ РЕАЛИЗМА.

Сочиненія А Михайлова. Спб. 1873 года.

I.

Подъ весьма естественнымъ вліяніемъ Добролюбова въ настоящее время весьма распространена у насъ, такъ называемая, общественная критика, заключающаяся въ томъ, что критикъ, упомянувши вскользь объ естетическихъ достоинствахъ произведенія, все свое вниманіе устремляетъ на факты жизни, изображенные въ произведеніи, причемъ каждому отдѣльному типу посвящается особенный тщательный анализъ, затѣмъ слѣдуетъ еще болѣе подробный анализъ отношеній дѣйствующихъ лицъ между собою; каждая сценка подаетъ критику поводъ входить въ многорѣчивыя разсужденія о различныхъ суетахъ міра сего, и въ результатѣ критикъ старается сдѣлать выводы опять-таки не столько о достоинствахъ и недостаткахъ произведенія, сколько о качествѣ изображаемыхъ поэтомъ фактовъ жизни.

Но слишкомъ усердные послѣдователи Добролюбова упускаютъ часто простую до банальности истину, что для того, чтобы анализъ фактовъ жизни по произведеніямъ былъ вѣренъ и могъ привести къ плодотворнымъ результатамъ, необходимо, чтобы въ разбираемыхъ произведеніяхъ находились дѣйствительные факты, а не измышленія досужей фантазіи поэта и чтобы факты эти были представлены въ истинномъ ихъ свѣтѣ и въ настоящей величинѣ. Послѣдователи геніальнаго критика забываютъ, какъ осторожно обходился съ фактами произведеній самъ ихъ геніальный учитель. Такъ напримѣръ, онъ оставилъ безъ разбора одно довольно крупное произведеніе своего времени, именно «Тысячу Душъ» Писемскаго, и въ одной изъ своихъ статей онъ объясняетъ, что умалчиваетъ о романѣ Писемскаго, о которомъ такъ много въ то время говорили, именно потому, что, сообразно характеру своей критики, онъ не можетъ положиться на романъ, сомнѣваясь въ истинности изображенныхъ въ немъ фактовъ.

Но что-же въ такомъ случаѣ дѣлать общественной критикѣ, если появляется произведеніе, обращающее на себя вниманіе и въ то-же время представляющее факты жизни столь невѣрно, что судить по этому произведенію о жизни не представляется никакой возможности, и особенно, если является не одно такое произведеніе, а цѣлый ихъ рядъ, создается цѣлая школа? Неужели-же каждый разъ поступать съ ними такъ, какъ поступалъ Добролюбовъ съ романомъ Писемскаго, т.-е. оставлять ихъ безъ вниманія? Но развѣ въ одинъ прекрасный день не можетъ произойти такой казусъ, что общественной критикѣ придется совсѣмъ замолчать, если литература, вслѣдствіе какихъ-нибудь печальныхъ обстоятельствъ, будетъ вся переполнена произведеніями, искажающими факты жизни, и критика не захочетъ дѣлать ложные выводы изъ невѣрныхъ источниковъ. Или можетъ быть критикѣ въ такомъ случаѣ слѣдуетъ держаться отрицательнаго пріема, т.-е. докладывать читателямъ, что факты, изображаемые писателемъ, невѣрны, искажены: въ дѣйствительности они не такіе, какъ въ разбираемомъ произведеніи, а вотъ, молъ, какіе? Но какъ же вы, въ качествѣ критика, въ состояніи будете показать дѣйствительные факты противъ искаженныхъ произведеніемъ, иначе сказать, представить истинные образы противъ ложныхъ? Для этого нужно быть такимъ-же поэтомъ, какъ тотъ, котораго вы разбираете. Или можетъ быть для этого достаточно взять такія произведенія, въ которыхъ тѣ-же факты представлены въ истинномъ ихъ видѣ и сопоставить съ искаженными фактами разбираемаго произведенія? Прекрасно, если имѣются подъ рукой такія спасительныя произведенія, истинность образовъ которыхъ для всѣхъ читателей равно

несомнѣнна, такъ что произведенія эти безъ спора и безъ излишнихъ разсужденій могутъ быть всѣми приняты за единицу критической мѣры. Ну, а что-же дѣлать, если такихъ единицъ мѣры не имѣется въ виду въ данномъ случаѣ, если мы встрѣчаемъ въ цѣломъ рядѣ произведеній различныхъ писателей факты спорные, неизслѣдованные, неприведенные въ ясность; если о нихъ всякій молодецъ судитъ на свой образецъ и какого-либо общаго критеріума еще не составлено? Понятно, что въ каждомъ произведеніи, трактующемъ объ этихъ фактахъ, будетъ отражаться тотъ или другой изъ многочисленныхъ взглядовъ, равно ни для кого не обязательныхъ, и въ этомъ отношеніи, какъ въ беллетристикѣ, такъ и въ критикѣ, которая вздумаетъ судить объ этихъ фактахъ по образамъ искусства, вы встрѣтите полнѣйшій произволъ личныхъ вкусовъ и предубѣжденій. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите вы напримѣръ съ одной стороны рядъ типовъ людей сороковыхъ годовъ, выставленныхъ Тургеневымъ, Гончаровымъ, Писемскимъ и прочими писателями этой школы. Какъ ни разнообразны всѣ эти типы, но во всѣхъ ихъ вы найдете нѣчто общее, одно, точно какъ будто всѣ эти писатели нарочно предварительно сговорились, какъ имъ изображать людей своего поколѣнія и, спѣвшись, составили одинъ хоръ, совершенно стройный, несмотря на все разнообразіе голосовъ и тоновъ. Эта общность типовъ невольно убѣждаетъ васъ въ истинности ихъ изображенія и даетъ вамъ полную возможность привести къ одному знаменателю все ихъ кажущееся разнообразіе. А отчего произошло это согласіе хора? Ни отчего иного, какъ оттого, что въ пятидесятые годы, когда беллетристика начала изображать людей сороковыхъ годовъ, взгляды на этихъ людей все болѣе и болѣе установлялись, люди эти ясно представлялись воображенію писателей со всѣми психическими особенностями, достоинствами и недостатками, представлялись, однимъ словомъ, людьми, облеченными въ плоть и кровь своего вѣка, а не отвлеченными идеалами или мелодраматическими злодѣями. Понятно, что при существованіи довольно полнаго комплекта типовъ сороковыхъ годовъ, не подлежащихъ сомнѣнію, общественная критика могла смѣло обсуждать по беллетристическимъ произведеніямъ людей предшествовавшаго поколѣнія, и Добролюбовъ стоялъ въ этомъ отношеніи на твердой почвѣ. Понятно также, что, принявши типы Рудина, Лаврецкаго, Обломова мѣриломъ для нашихъ критическихъ изслѣдованій, мы можемъ смѣло сказать, что если въ данномъ произведеніи изображаются люди сороковыхъ годовъ, не имѣющіе ничего общаго съ вышеупомянутыми типами, то авторъ очевидно искажаетъ факты жизни или сочиняетъ свои собственные. Но возьмите типы людей шестидесятыхъ годовъ, появившіеся въ современной намъ беллетристикѣ, и вы сразу запутаетесь въ лабиринтѣ самыхъ безъисходныхъ противорѣчій и напрасно будете искать чего-либо общаго въ разнообразіи художественныхъ образовъ, чисто-калейдоскопическомъ. Въ самомъ дѣлѣ, есть-ли хоть что-либо общее между Базаровымъ, Марковъ Волоховымъ, героями Стебницкаго съ одной стороны, а съ другой—героями повѣстей и романовъ, печатаемыхъ въ «Дѣлѣ»? Какъ оріентироваться критикѣ въ этомъ хаосѣ,—какіе типы принятъ мѣриломъ жизненной правды: типы беллетристовъ «Дѣла», или «Русскаго Вѣстника»? Здѣсь дѣло чисто личнаго вкуса, личныхъ пристрастій критика: если онъ смотритъ на вещи съ точки зрѣнія московской публицистики, то онъ будетъ васъ убѣждать, что истинные представители людей шестидесятыхъ годовъ олицетворяются въ типахъ Базарова, Марка Волохова, героевъ «Некуда», а на героевъ беллетристики «Дѣла» будетъ смотрѣть, какъ на вымышленныхъ пристрастными авторами. Точно также, только наоборотъ, будетъ и оступать критикъ, раздѣляющій взгляды петербургской публицистики. Но съ обѣихъ сторонъ всѣ доводы будутъ одинаково голословны и бездоказательны, и читателямъ больше ничего не останется, какъ или склоняться на сторону того или другого критика, тоже сообразно своимъ личнымъ пристрастіямъ, или-же пожимать только плечами, сомнѣваясь въ истинности типовъ беллетристики обоихъ лагерей.

Что-же дѣлать въ такомъ случаѣ общественной критикѣ, если только она захочетъ строить свое зданіе на землѣ, а не въ воздухѣ, захочетъ быть настоящей критикой фактовъ жизни дѣйствительныхъ, а не праздной болтовней по поводу фантастическихъ и пристрастныхъ измышленій беллетристовъ разныхъ лагерей? Общественной критикѣ при такихъ условіяхъ ничего не приходится дѣлать, какъ уступить свое мѣсто иной критикѣ—именно историко-физіологической. Прежде, чѣмъ дѣлать какіе-либо выводы о фактахъ жизни по данному произведенію, самое произведеніе должно быть разсмотрѣно, какъ продуктъ жизни, критика должна изслѣдовать прежде всего, на какой почвѣ выросъ этотъ продуктъ, что его вызвало и есть-ли это продуктъ здоровый и годный на что-либо или больной, протухлый и вредный. Подобная критика обусловливаетъ своими заключеніями возможность или невозможность критики общественныхъ фактовъ по данному произведенію. Но въ то-же время и сама она по себѣ есть уже общественная критика: разница между нею и критикою добролюбовской школы заключается только въ томъ, что вмѣсто того, чтобы анализировать сотни сомнительныхъ фактовъ, заключающихся въ произведеніи, она анализируетъ одинъ несомнѣнный фактъ—самое произведеніе. Результатъ-же ея анализа тотъ-же самый: изслѣдовать условія общественной жизни, направляющія творчество писателей.

Въ данномъ случаѣ по вопросу о беллетристикѣ «Дѣла» и о Михайловѣ въ особенности, по моему мнѣнію, только и можетъ имѣть мѣсто историко-физіологическая критика. Мнѣ конечно ничего не стоило-бы наговорить листовъ хоть на десять всевозможныхъ разсужденій о людяхъ шестидесятыхъ годовъ по романамъ Михайлова, особенно принимая въ соображеніе, что романы эти являются въ видѣ объемистыхъ 5 томовъ, и каждый томъ конечно могъ-бы дать матеріалу листа на два для всевозможныхъ анализовъ. Но мнѣ кажется, что вся эта болтовня имѣла-бы такой-же смыслъ, какъ еслибы кто вздумалъ судить о людяхъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ по романамъ Марлинскаго или, еще лучше, писать историческое изслѣдованіе о нравахъ XVI вѣка

по «Юрію Милославскому» Загоскина. Въ неизмѣримой степени умѣстнѣе въ настоящемъ случаѣ историко-физіологическій анализъ беллетристики «Дѣла». Тѣмъ болѣе, что мы много уже говорили о томъ, чѣмъ были вызываемы и какъ создавались типы московской беллетристики,—между тѣмъ о типахъ беллетристовъ «Дѣла» намъ приходилось говорить только мимоходомъ. Желая загладить этотъ пробѣлъ, мы и выбираемъ романы Михайлова, какъ наиболѣе плодовитаго представителя беллетристики «Дѣла».

II.

Прежде чѣмъ мы приступимъ къ главному предмету нашей статьи, именно къ изслѣдованію достовѣрности типовъ молодого поколѣнія беллетристики «Дѣла», считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о характерѣ творчества Михайлова, общемъ у него со всѣми прочими беллетристами его школы: Бажинымъ, Омулевскимъ и пр.

Первое, что поражаетъ васъ у всѣхъ этихъ беллетристовъ, это — крайняя бѣдность, однообразіе и стереотипность типовъ, выводимыхъ ими въ своихъ произведеніяхъ. Возьмите напримѣръ хоть того-же Михайлова. Передъ вами 5 томовъ его сочиненій; и если взять во вниманіе, что «Мертвыя Души» Гоголя занимаютъ всего одинъ томъ, а комедія Грибоѣдова, не знаю, заняла-ли бы сто страничекъ въ изданіи Михайлова, можно было-бы подумать, что Михайловъ исчерпалъ типы нашего современнаго общества во всѣхъ его слояхъ, что называется, до тла. И что-же мы видимъ: во всѣхъ его романахъ на первомъ планѣ стоятъ однѣ и тѣ же шесть личностей, истрепанныхъ беллетристикой нашей до того, что на нихъ буквально лица уже не видно. Типы эти слѣдующіе:

1) Герой и героиня романа, представляющіе лучезарное сіяніе прогресса и совершенствъ нравственныхъ, умственныхъ и физическихъ. О нихъ будетъ особенная рѣчь впереди.

2) Злодѣй романа — высокій смуглый мужчина, съ оловянными, леденящими глазами и насупленными бровями; помѣщикъ-практикъ съ большими связями, консерваторъ и деспотъ. Когда онъ входитъ въ свой домъ, всѣ домашніе разбѣгаются. Онъ разлучаетъ влюбленныхъ другъ въ друга дворовыхъ, вгоняетъ въ гробъ жену и чуть не засѣкаетъ розгами героя романа (послѣ чего герой обыкновенно впадаетъ въ горячку и, вынося ее, дѣлается новымъ человѣкомъ).

3) Злодѣйка романа—бабушка или тетушка, съ княжескимъ гербомъ на каретѣ, занятая вѣчно своей родословной, бредящая свѣтскими приличіями и презирающая чернь. Она своимъ тлетворнымъ вліяніемъ готова погубить героя и сдѣлать изъ него свѣтскаго шалопая, но добрыя начала торжествуютъ надъ зломъ, герой озаряется свѣтомъ прогресса, а тетушка, разорившаяся и всѣми забытая, умираетъ на рукахъ тѣхъ, которыхъ она прежде презирала.

4) Комисаріатскій чиновникъ — взяточникъ и низкопоклонникъ, передъ высшими пресмыкается, съ низшими надмененъ, помышляетъ только о чинахъ, наградахъ и взяткахъ. Кончаетъ обыкновенно тѣмъ, что попадаетъ подъ судъ послѣ крымской кампаніи, лишается всего благосостоянія и начинаетъ злобно шипѣть противъ молодого поколѣнія и всѣхъ новыхъ порядковъ.

5) Петербургская кумушка—мѣщанка или чиновница низшаго сорта, подобострастная ко всему, имѣющему вѣсъ и деньги, жадная ко всякаго рода подаркамъ, готовая ограбить наслѣдниковъ умершаго богатаго родственника, безчеловѣчная къ дочери или невѣсткѣ и склонная въ каждомъ движеніи и шагѣ молодого человѣка или дѣвушки подозрѣвать какія-либо грязныя побужденія.

6) Свѣтскій шалопай, паркетный шаркунъ, любитель пикниковъ и рысаковъ, кончающій разореніемъ отца, воровствомъ, тюрьмой или самоубійствомъ.

Таковы главные, неизмѣнные типы, на которыхъ строются обыкновенно всѣ романы Михайлова. Къ нимъ можно присоединить нѣсколько второстепенныхъ, столь же однообразныхъ и стереотипныхъ; таковы напримѣръ пошлые учителя стараго времени, неизмѣнно въ каждомъ романѣ таскающіе за волосы учениковъ въ классѣ, изрыгающіе ругательства вродѣ «ослы», «сволочь» и пьющіе горькую;—учителя новаго пошиба, исполненные либеральнаго духа и устремляющіе героевъ въ такъ называемую «свѣтлую даль»;—нѣмцы, являющіеся постоянно сухими, бездушными формалистами;—крѣпостные дядьки добраго, стараго времени, преданные душой и тѣломъ господамъ и за то обглоданные литературой до костей и пр., и пр. Рядомъ со всѣмъ этимъ старымъ литературнымъ тряпьемъ парадируютъ личности, созданныя по образцу типовъ англійскихъ романовъ, каковы напримѣръ штабсъ-капитанъ Прохоровъ въ романѣ «Лѣсъ рубятъ—щепки летятъ», или капитанъ Хлопко въ романѣ «Въ разбродъ». Подобные типы, пересаженные съ англійской почвы на русскую, бросаются въ глаза своей курьезностью. Представьте вы въ самомъ дѣлѣ россійскаго капитана на деревяшкѣ и съ краснымъ носомъ, вѣчно шатающагося по переднимъ знатныхъ домовъ съ просьбами о вспоможеніяхъ въ рукахъ,—и вдругъ этотъ капитанъ является передъ вами глубокомысленнымъ философомъ, мудро рѣшающимъ всѣ вопросы жизни, читающимъ чувствительную мораль своимъ дѣтямъ, въ отношеніи къ которымъ онъ играетъ роль нѣжнаго отца самыхъ идеальныхъ свойствъ (такъ напримѣръ, когда однажды къ нему явился одинъ изъ его кадетовъ-сыновей въ неприличномъ видѣ, онъ его не только не отдубасилъ костылемъ, какъ-бы этого слѣдовало ожидать отъ россійскаго капитана на деревяшкѣ и съ краснымъ носомъ, а бережно раздѣлъ, уложилъ въ постель, далъ ему выспаться, и когда тотъ на другой день лежалъ полубольной съ похмѣлья въ постели, добродѣтельный отецъ читалъ ему различныя душеспасительныя книги). Но еще лучше выходитъ у Михайлова россійскій морякъ стараго времени, съ трубкой Жукова въ рукахъ, за стаканомъ грогу, съ соблазнительными картинками по стѣнамъ и громаднымъ псомъ подъ столомъ, который между прочимъ занимается тѣмъ, что ходитъ по чердакамъ и подваламъ утѣшать страждущихъ, помогать алчущимъ и жаждущимъ и въ свою очередь поражаетъ читателей глубиной сво-

ихъ житейскихъ взглядовъ и чувствительностью сердобольнаго сердца.

Подобные типы, столь мало свойственные русской почвѣ и такъ сильно напоминающіе различныхъ Пенденисовъ и Копперфильдовъ,—побудили даже одного рецензента заподозрить Михайлова въ томъ, что будто онъ если не цѣликомъ передѣлываетъ англійскіе романы на русскіе нравы, то по крайней мѣрѣ заимствуетъ изъ нихъ цѣлыя главы и сцены, и Михайловъ былъ названъ компиляторомъ англійскихъ романовъ Но я не стану такъ далеко простирать моихъ подозрѣній, такъ-какъ для подтвержденія ихъ слѣдовало бы перерыть всю англійскую беллетристику за послѣднее тридцатилѣтіе, держа въ то-же время въ рукахъ 5 томовъ сочиненій Михайлова, что я считаю дѣломъ, при всей его трудности, совершенно безполезнымъ, а не совершивши этого дѣла, я считаю съ своей стороны крайне недобросовѣстнымъ рѣшиться бросить человѣку подобное обвиненіе, совершенно голословное и основанное на однихъ только предположеніяхъ. При томъ-же, ужъ если основываться на предположеніяхъ, то человѣчнѣе будетъ съ нашей стороны не отягчать, а, напротивъ, наивозможно уменьшать прозинность ближняго, и потому я склоненъ скорѣе предположить, что Михайловъ не только никогда не занимался передѣлкой сценъ, главъ, а тѣмъ болѣе цѣлыхъ англійскихъ романовъ на русскіе нравы, но что типы онъ заимствовалъ совершенно безсознательно, вслѣдствіе одного только подчиненія вліянію англійской беллетристики. Подобное предположеніе имѣетъ тѣмъ большее основаніе, что подчиненіе Михайлова вліянію англійской беллетристики можетъ быть объяснено тѣми-же причинами, какія обусловливаютъ однообразіе и стереотипность всѣхъ его прочихъ типовъ. Объ этихъ-то причинахъ мы и поговоримъ теперь.

Здѣсь я прошу читателей припомнить тѣ идеи, которыя мнѣ неоднократно уже случалось проводить въ своихъ статьяхъ, именно что процессъ поэтическаго творчества вовсе не составляетъ противоположности съ процессомъ развитія научныхъ идей, а есть одинъ и тотъ-же. Въ основаніяхъ обоихъ процессовъ лежитъ одна и та-же индукція, и разница вся только въ томъ, что въ одномъ случаѣ представленіе, образовавшееся въ нашемъ мозгу путемъ индуктивнаго процесса, на столько ясно и рельефно представляется нашему воображенію и такъ сильно овладѣваетъ нами, что побуждаетъ насъ къ полному воспроизведенію его въ формахъ искусства, въ другомъ случаѣ—мы можемъ ограничиваться для выраженія этого представленія однимъ условнымъ символомъ въ видѣ слова или логическаго сочетанія нѣсколькихъ словъ устной или письменной рѣчи. Разъ вы подчиняете творчество процессу индукціи, очевидно, этимъ самымъ уже вы обусловливаете богатство и бѣдность его не одной только силой или слабостью умственныхъ способностей человѣка, но и количествомъ воспринимаемыхъ впечатлѣній. Я не отвергаю, что сила или слабость таланта играетъ большую роль въ творчествѣ. Отъ нихъ прямо зависитъ способность поэта ориентироваться въ массѣ воспринятыхъ впечатлѣній и извлекать изъ нихъ обобщенія болѣе или менѣе важныя и существенныя (вѣдь и въ наукѣ тоже для важныхъ открытій требуются и великіе умы). Но съ другой стороны никакая сила таланта не выручитъ, если жизнь писателя, бѣдная впечатлѣніями, не даетъ ему никакой пищи для индукціи.

Принявши въ основаніе этотъ законъ творчества, я неоднократно дѣлалъ параллели между условіями жизни западныхъ и русскихъ писателей и старался объяснить, почему творчество западныхъ писателей въ неизмѣримой степени богаче разнообразіемъ поэтическихъ образовъ и типовъ, чѣмъ творчество писателей русскихъ. Я обусловливалъ это явленіе тѣми причинами, что, во-первыхъ, на Западѣ жизнь гораздо разнообразнѣе и сложнѣе, чѣмъ у насъ. Во-вторыхъ, тамъ вы не встрѣтите такой замкнутости, какая распространена въ нашемъ обществѣ. Западный писатель, заинтересованный въ различныхъ общественныхъ движеніяхъ своей страны, не ограничивается двумя, тремя пріятелями изъ своихъ-же собратьевъ-литераторовъ, а вращается во всѣхъ слояхъ общества. Люди, съ которыми онъ встрѣчается, рисуются передъ нимъ не съ одной только внѣшней стороны, какъ они являются ежедневно, подобравшись и украсившись, въ салонахъ, на бульварахъ, въ канцеляріяхъ или за прилавками, а въ настоящемъ своемъ видѣ въ роковыя минуты общественныхъ бурь и катастрофъ. При такихъ условіяхъ западный писатель не ощущаетъ никогда недостатка въ впечатлѣніяхъ жизни. Напротивъ того, жизнь мечется ему въ глаза такимъ обиліемъ красокъ и звуковъ, что только успѣвай все это переработать и употребить къ дѣлу. Русскій писатель составляетъ полнѣйшую противоположность относительно западнаго по всѣмъ условіямъ своей жизни. Въ то время, какъ западный вступаетъ на литературное поприще, успѣвши объѣхать полъ-Европы, перемѣнить нѣсколько профессій, побывать на сотняхъ митинговъ, и, сдѣлавшись писателемъ, онъ продолжаетъ такую-же разнообразную и бурную жизнь, русскій начинаетъ считать себя писателемъ съ 3-го класса гимназіи, съ перваго безграмотнаго стихотворенія, написаннаго въ подражаніе Пушкину. А сдѣлаться писателемъ для гимназиста 14 лѣтъ, — это значитъ начать удаляться отъ людей и свѣта, вести такъ-называемую разумную, мыслящую жизнь, вѣчно сидѣть взаперти, исписывая кипы бумаги, и видѣться съ однимъ, много двумя товарищами, занимаясь съ ними рѣшеніемъ различныхъ глубокомысленныхъ вопросовъ жизни. Послѣ 10 лѣтъ такой затворнической жизни русскій писатель поступаетъ наконецъ въ цехъ какого-нибудь литературнаго кружка, и начинается новое затворничество, въ сообществѣ съ двумя-тремя сотрудниками своего журнала. При этомъ надо замѣтить, что беллетристы-помѣщики сороковыхъ годовъ вели жизнь все-таки болѣе разнообразную, чѣмъ беллетристы-пролетаріи нашего времени. Ненормальностью въ ихъ жизни было только то, что они вращались въ однихъ привилегированныхъ слояхъ общества и были потому способны изображать жизнь исключительно только этихъ слоевъ. Но зато, будучи людьми обезпеченными, они имѣли и досугъ, и средства путешествовать и по Россіи, и по Европѣ, встрѣчаться съ массой личностей своего слоя и хоть этотъ-то слой они имѣли возможность воспроизводить во всемъ его типическомъ

разнообразіи и со всѣхъ его сторонъ. Жизнь-же современныхъ намъ писателей пролетаріевъ складывается именно такъ, что они почти совсѣмъ лишены возможности видѣть жизнь. Она состоитъ обыкновенно изъ двухъ періодовъ. Въ первый періодъ писатель борется съ нуждой, съ людьми, и всячески пробивается впередъ. Это—самый живой періодъ въ его жизни: здѣсь онъ, переходя черезъ различныя мытарства, встрѣчается съ разнообразными личностями, и масса впечатлѣній, которыя онъ при этомъ воспринимаетъ, даетъ могучій толчокъ его творчеству. Кончается этотъ періодъ тѣмъ, что молодой человѣкъ наконецъ одерживаетъ побѣду надъ обстоятельствами; проще сказать, обратитъ на себя вниманіе редактора какого нибудь виднаго журнала, и первое произведеніе, напечатанное въ одномъ изъ нумеровъ журнала, вызоветъ нѣсколько лестныхъ рецензій въ газетахъ о появленіи новаго таланта. Вслѣдъ за этой побѣдой начинается новая жизнь писателя; онъ начинаетъ срывать лавры своей побѣды: является сотрудникомъ одного изъ лучшихъ журналовъ; положеніе его обезпечивается, кругъ знакомства упрочивается, всѣ мытарства кончаются; но вмѣстѣ съ тѣмъ кончаются и прежнія столкновенія съ различными сторонами жизни, съ людьми всевозможныхъ слоевъ общества. Начинается однообразная, монотонная, уединенная жизнь россійскаго журналиста, и конечно такая жизнь не замедлитъ отразиться на его творчествѣ. Въ первомъ своемъ произведеніи писатель воспроизводитъ обыкновенно впечатлѣнія своего дѣтства и юности. Здѣсь вы встрѣтите изображеніе и тѣхъ людей, съ которыми сталкивался онъ, и всѣхъ пережитыхъ имъ мытарствъ. Но этимъ первымъ произведеніемъ и исчерпывается обыкновенно все творчество молодого писателя. Во второмъ ему приходится уже переживать старое, успѣвшее потускнѣть и стереться въ его воображеніи. Въ третьемъ ему остается сочинять фантастическіе образы. Послѣднее обстоятельство тѣмъ болѣе имѣетъ мѣсто, если писатель, человѣкъ занимающійся, читающій, успѣваетъ во время срыванія лавровъ увеличить свое теоретическое развитіе. Является масса новыхъ идей и взглядовъ на различныя явленія жизни. Между тѣмъ запасъ поэтическихъ образовъ остается столь-же скудный, какъ и прежде. Естественно, что голая отвлеченная идея, не находя живого, соотвѣтствующаго ей образа, облекается въ какой-нибудь блѣдный и тощій символъ. Писатель напримѣръ заинтересовался ненормальностью отношеній капиталистовъ къ рабочему классу, но въ дѣйствительности онъ не видалъ ни одного фабриканта, а на рабочихъ смотрѣлъ только изъ окна своего кабинета. Нѣтъ ничего мудренаго, что и капиталистъ, и рабочій въ его произведеніи выйдутъ не живыми образами, взятыми изъ жизни, а стереотипными манекенами, символизирующими собою отвлеченныя идеи. Въ этомъ отношеніи я каюсь въ неточности, назвавши тѣ 6 личностей, которыя постоянно парадируютъ въ романахъ Михайлова, типами; это не типы, а символы, въ такой-же совершенно степени, въ какой для ребенка напримѣръ одна и та-же палка служитъ символомъ и меча, и коня. Но, встрѣчая въ литературѣ подобнаго рода стереотипные манекены, вы сдѣлали-бы слишкомъ быстрое заключеніе, еслибы объяснили существованіе ихъ исключительно бездарностью сочиняющихъ ихъ авторовъ. Ничуть не бывало: обладая самымъ сильнымъ талантомъ, писатель можетъ унизиться до самаго бѣднаго символизма и стереотипности, при скудости содержанія фантазіи.

Скудость поэтическихъ образовъ, извлеченныхъ изъ жизни индуктивнымъ путемъ, объясняетъ весьма легко и склонность нашихъ писателей къ подражательности западнымъ образцамъ. Въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ не развита эта склонность въ такой сильной степени, какъ у насъ. Англійскіе романы читаетъ вся Европа, и ужъ конечно съ ними знакомъ каждый нѣмецкій и французскій писатель. Но, не говоря о первостепенныхъ талантахъ, даже самые заурядные французскіе и нѣмецкіе романисты являются передъ вами вполнѣ народно-оригинальными, и ни въ одномъ плохенькомъ романчикѣ вы не встрѣтите такой пересадки англійскихъ типовъ и нравовъ на иную почву, какъ у Михайлова.

Объяснить это можно такимъ образомъ: когда вы читаете хорошій англійскій романъ Диккенса или Теккерея, у васъ являются въ головѣ поэтическіе образы этого романа въ видѣ готовыхъ уже типовъ, которые такъ ясно представляются вашему воображенію, какъ-будто они были созданы вами самими путемъ индукціи. Если рядомъ съ этими типами у васъ въ мозгу стоятъ и множество другихъ, оригинальныхъ, созданныхъ вами самими изъ впечатлѣній окружающей васъ жизни, въ такомъ случаѣ новые пришельцы нисколько не могутъ вытѣснить или заслонить старыхъ. Напротивъ того, здѣсь долженъ начаться новый процессъ мозга—сравненіе типовъ и нравовъ англійской жизни съ типами и нравами жизни русской, и это сравненіе должно привести къ наибольшему только уясненію, къ наибольшей рельефности созданныхъ вами типовъ. Такимъ образомъ при этихъ условіяхъ иностранныя произведенія не подчиняютъ васъ, а только обогащаютъ ваше творчество, придаютъ болѣе жизненности и смысла изображаемымъ вами типамъ. Но совершенно другое дѣло, если у васъ въ мозгу вмѣсто живыхъ, яркихъ типовъ находятся однѣ только отвлеченныя идеи, облеченныя въ тусклые, стереотипные символы. И вдругъ въ это бѣдное содержаніемъ воображеніе вносится рядъ живыхъ и сильныхъ поэтическихъ образовъ какой-нибудь чуждой жизни. Понятно, что эти образы завладѣютъ вашимъ мозгомъ вполнѣ, они одни будутъ постоянно носиться передъ вами и совершенно непроизвольно вы будете воспроизводить въ поэтическомъ творчествѣ не что-либо другое, какъ эти образы.

При этой характеристикѣ условій жизни современнаго беллетриста-пролетарія я взялъ все-таки еще лучшія условія для творчества: я все-таки предположилъ, что беллетристъ принужденъ былъ пробиваться и испытывать всевозможныя мытарства. Прежде чѣмъ онъ попалъ въ цехъ писателей, онъ можетъ быть пѣшкомъ пришелъ въ столицу изъ какой-нибудь дальней губерніи. Подобныхъ беллетристовъ все-таки хватаетъ на три, на четыре произведенія вполнѣ жи-

выя и оригинальныя. Но можно себѣ представить условія еще болѣе неблагопріятныя для творчества, хотя въ то же время вовсе не столь бѣдственныя въ матеріальномъ отношеніи для субъекта. Представьте себѣ, что беллетристъ, сынъ мелкаго чиновника или ремесленника, родился и прожилъ полъ-вѣка въ столицѣ, въ одномъ какомъ-нибудь затхломъ пяти-этажномъ домѣ и имѣлъ возможность изучать жизнь только изъ окна, обращеннаго въ стѣну противостоящаго дома; а между тѣмъ талантъ въ соединеніи съ нуждой побуждаетъ его писать безъ устали многотомные романы. Что-же мудренаго, если въ этихъ романахъ вы не встрѣтите ни одного живого типа, если авторъ будетъ постоянно открывать снова Америку, въ длинныхъ водянистыхъ разсужденіяхъ распространяясь передъ вами о томъ, какъ постыдно ѣздить на рысакахъ, когда въ подвалахъ каждаго дома стонетъ отъ холода и голода нищета; если наконецъ въ этихъ романахъ вы найдете только одни блѣдные намеки на окружающую васъ жизнь и зато такое удивительное смѣшеніе нравовъ и типовъ всѣхъ странъ, что отъ этого вавилонскаго столпотворенія у васъ голова пойдетъ кругомъ. Вините въ этомъ не автора, не его талантъ или отношеніе къ дѣлу, а условія жизни, которыя производятъ на нашей почвѣ такія печальныя и уродливыя явленія.

Михайловъ, по моему мнѣнію, есть именно одна изъ жертвъ подобныхъ условій. Было-бы слишкомъ и несправедливо, и опрометчиво бѣдность и стереотипность типовъ въ его романахъ обусловливать недостатками его таланта; о талантѣ Михайлова не можетъ быть и рѣчи. Это—x, величина неизвѣстная и не представляющая никакой возможности опредѣлить ее и измѣрить подобно тому, какъ нѣтъ возможности опредѣлить, какую силу могъ-бы имѣть голодный, отощавшій человѣкъ, если бы онъ велъ правильную жизнь. Мы можемъ только судить по нѣкоторымъ первымъ опытамъ Михайлова, что недаромъ онъ обратилъ на себя вниманіе съ самаго начала своего литературнаго поприща и заставилъ ожидать отъ себя чего-либо дѣльнаго. Мы укажемъ здѣсь не на «Гнилыя болота», этотъ первый романъ Михайлова, напечатанный въ «Современникѣ» и представляющій, по нашему мнѣнію, начало конца. Нѣтъ, просимъ обратить вниманіе на небольшой разсказъ, напечатанный въ первомъ томѣ его сочиненій подъ заглавіемъ «Двѣ семьи», и сравнить его со всѣми прочими произведеніями. Въ этомъ разсказѣ вы не найдете никакихъ широкихъ задачъ. Это—просто картина съ натуры, представляющая жизнь одного изъ мрачныхъ казенныхъ петербургскихъ домовъ, биткомъ набитаго бѣднымъ служащимъ людомъ. Здѣсь вы не найдете ни парадныхъ тетушекъ, ни паркетныхъ шалопаевъ, которыхъ, судя по живости и вѣрности изображенія, смѣло можемъ сказать, Михайловъ никогда не видывалъ вблизи. Но зато всѣ типы разсказа дышатъ поразительной яркостью и дагеротипностью. Прочтя этотъ разсказъ, вы не заподозрите Михайлова въ передѣлкѣ иностранныхъ нравовъ на русскій ладъ или въ искусственномъ сочиненіи неизученной жизни. Передъ вами чисто русская жизнь, и притомъ петербургская, мѣщанская. Хотя и здѣсь нѣкоторыя личности идеализированы и выступаютъ изъ общаго фона картины, словно конфектныя картинки на грязной, запачканной мухами стѣнѣ; таковы типы: добродѣтельной матери, морализующей на манеръ англійской мистрисъ, и Насти, напоминающей болѣе нарижскую швею, чѣмъ петербургскую. Но зато все прочее—типъ отца героя, картина святочныхъ оргій мрачнаго дома, славящихъ Христа ребятишекъ, характеристика сосѣдней семьи Степановыхъ,—все это дышетъ жизненной правдой и особенно рѣзко выступаетъ изъ всего пятитомнаго хлама безконечныхъ романовъ Михайлова. Мы убѣждены, что типы и картины, описанные въ этомъ разсказѣ, составляютъ единственную собственность фантазіи Михайлова. Это все, что онъ успѣлъ вынести изъ жизни, и передавши это читателямъ, сразу оказался банкротомъ; и ему ничего не осталось болѣе, какъ сочинять парадныхъ тетушекъ и паркетныхъ шалопаевъ отчасти по наслышкѣ, отчасти по образцу англійскихъ романовъ.

Впрочемъ нельзя сказать, чтобы Михайлову такъ будто-бы ужъ и не оставалось ничего дѣлать, написавши «Двѣ семьи» и выложивши въ нихъ всѣ свои живыя впечатлѣнія. Говоря о ненормальности условій жизни современныхъ намъ беллетристовъ-пролетаріевъ, мы вовсе не считаемъ эти условія такими роковыми и неизбѣжными, чтобы противъ нихъ тщетна была всякая борьба и оставалось только, покорившись судьбѣ, оплакивать участь нашей современной беллетристики. Вмѣстѣ съ тѣмъ я далекъ и отъ той мысли, чтобы побѣда надъ этими условіями зависѣла исключительно отъ какихъ-либо коренныхъ измѣненій всего строя нашей жизни. Есть условія жизни дѣйствительно непобѣдимыя или требующія для своего устраненія основныхъ реформъ, но есть и такія, которыя зависятъ иногда просто отъ жизни спустя рукава или отъ неразумѣнія ихъ ненормальности, и побѣда надъ подобными условіями возможна при небольшихъ личныхъ усиліяхъ. Къ числу такихъ легкопобѣдимыхъ ненормальныхъ условій принадлежатъ, по моему мнѣнію, и тѣ, о которыхъ мы бесѣдовали въ этой главѣ.

Здѣсь мнѣ приходится сказать нѣсколько словъ объ одномъ вопросѣ, весьма старомъ, но который и до сихъ поръ остается новымъ, такъ какъ и до настоящаго времени еще онъ не рѣшенъ вполнѣ ясно и окончательно; это именно вопросъ о произвольности поэтическаго творчества.

Въ правильномъ разрѣшеніи этого вопроса мѣшало то, что весьма многіе приверженцы произвольности творчества ставили эту произвольность не на томъ мѣстѣ, гдѣ-бы слѣдовало: они говорили обыкновенно, что она должна имѣть мѣсто въ самомъ актѣ творчества, что поэтъ долженъ *творить сознательно*, разумно, задаваясь высшими цѣлями, такъ какъ онъ существо разумное; предаваться-же во время своего творчества волѣ необузданной стихійности, по ихъ мнѣнію, значило унижать свое человѣческое достоинство. Говоря такія темныя и неопредѣленныя рѣчи, приверженцы произвольности дѣлали нападеніе на такой пунктъ, въ которомъ они прежде всего должны были-бы согласиться съ врагами своей теоріи, еслибы они, не довольствуясь прекрасными, но въ то-же

время безсмысленными фразами, захотѣли-бы обсудить дѣло серьезнѣе и глубже съ реальной точки зрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, разъ вы вникните въ тѣ законы, по которымъ совершается творческій процессъ, вы непремѣнно должны придти къ убѣжденію, что процессъ этотъ не можетъ быть произвольнымъ. Съ одной стороны вамъ представится индукція, выработка общихъ представленій изъ массы частныхъ впечатлѣній, — процессъ ума, не подлежащій ни малѣйшему произволу и доходящій до сознанія человѣка только тогда, когда онъ уже совершился гдѣ-то въ тайникахъ мозга. Съ другой стороны, вы видите рефлексъ воспроизведенія впечатлѣнія. Здѣсь произволъ можетъ быть только отрицательный: можно задержать рефлексъ, воздержаться отъ воспроизведенія поэтическаго образа; но разъ рефлексъ допущенъ вашей волей, опять-таки конецъ произволу: вы невольно стремитесь туда, куда влечетъ васъ рефлексъ.—Но согласиться съ врагами произвольности въ томъ, что самый актъ творчества непроизволенъ, вовсе не значитъ согласиться съ ними вполнѣ и отказаться отъ своей теоріи, а только оставить за ними пунктъ, на которомъ они твердо держатся и сбить съ котораго ихъ нѣтъ никакой возможности. Но есть другой пунктъ, на который не обращаютъ никакого вниманія ни они, ни ихъ противники, а между тѣмъ это именно и есть тотъ пунктъ, на которомъ должна опираться вся теорія произвольности творчества. Пунктъ этотъ ясно откроется намъ, если мы обратимъ вниманіе на то, что не одно поэтическое творчество, а всякое человѣческое дѣло имѣетъ двѣ стороны—произвольную и непроизвольную. Управлять силами природы, это—значитъ пользоваться ими въ свою пользу, направлять процессы природы къ различнымъ нашимъ цѣлямъ; между тѣмъ самое дѣйствіе силъ, совершеніе процессовъ отъ вашей воли нисколько не зависятъ. Разъ вы произвольно вызвали извѣстную силу,—она начинаетъ дѣйствовать совершенно непроизвольно отъ васъ, и вы сами подчиняетесь ея дѣйствію. Вы можете напримѣръ произвольно назначить, куда идти локомотиву, опредѣлить, какъ слѣдуетъ дѣйствовать пару на рычаги и колеса, но, разъ машина пущена въ ходъ,—вы подчиняетесь движенію ея совершенно непроизвольно. На животныхъ процессахъ эта граница произвольности и непроизвольности еще яснѣе: непроизвольно отъ васъ совершается процессъ желудка, но это не мѣшаетъ вамъ произвольно подвергать этому процессу ту или другую пищу, въ тѣ или другіе часы; вы можете даже правильно воспитать свой желудокъ, внушить ему различныя качества и привычки; но, разъ вы это сдѣлаете, вы непроизвольно подчиняетесь этимъ привычкамъ. Точно также произвольно воспитываете вы вашъ мозгъ, даете ему ту или другую пищу въ видѣ чтенія, наблюденій, опытовъ и пр. и затѣмъ подчиняетесь непроизвольному дѣйствію его процессовъ. Въ этомъ отношеніи ученый—тотъ-же машинистъ, который, подложивши дрова подъ котелъ и отвернувши клапанъ, отдается всецѣло движенію локомотива. Точно также и поэтическое творчество: какъ-бы оно ни было стихійно и непроизвольно само по себѣ, но почему-же, управляя всѣми стихіями природы, мы не можемъ управлять и этой стихіей, нисколько не нарушая непроизвольности ея процесса? Вопросъ заключается здѣсь только въ томъ, до какихъ границъ можетъ простираться произволъ въ актѣ творчества, и гдѣ начинается его непроизвольность. Возвращаясь къ нашимъ сравненіямъ, мы находимъ, что во всѣхъ нашихъ управленіяхъ силами природы произвольность имѣетъ мѣсто передъ совершеніемъ даннаго процесса и заключается въ приготовленіи матеріаловъ, вызывающихъ процессъ и въ его направленіи. То же самое должно имѣть мѣсто и въ управленіи процессомъ творчества: подвергать этотъ процессъ нашему произволу—это значитъ сознательно приготовлять матеріалъ, вызывающій творчество, иначе сказать, употреблять всѣ усилія для обогащенія нашей фантазіи тѣми или другими образами, могущими вызвать творческій процессъ. Къ сожалѣнію, объ этомъ первомъ и главнѣйшемъ дѣлѣ, въ которомъ только и возможенъ нашъ произволъ въ актѣ творчества, прилагается у насъ всего менѣе заботъ. Всю произвольность творчества полагаютъ только въ направленіи его, то-есть въ томъ, чтобы поэтъ былъ преисполненъ полезныхъ цѣлей, стремился проводить прекрасныя идеи и разрѣшать роковые вопросы современности, но о томъ и не помышляютъ, что вѣдь для этого необходимо, чтобы поэтъ отлично зналъ жизнь того общества, которому служитъ, чтобы воображеніе его было переполнено живыми и яркими образами этой жизни, а безъ этого всѣ прекрасныя идеи останутся отвлеченными призраками, будутъ проведены блѣдно, вяло, гипотетично, никого не увлекутъ, не убѣдятъ, не принесутъ поэтому ни малѣйшей пользы, и поэтъ, при всемъ своемъ стремленіи къ произвольности творчества, останется непроизвольной жертвой бѣдности своей фантазіи. Это все равно, что выстроить прекрасную желѣзную дорогу, проведя ее къ важнѣйшему пункту страны, распространиться потокомъ громкихъ фразъ о ея полезности и позабыть только о весьма пустомъ и маломъ: о топливѣ и водѣ для локомотивовъ. Но въ этомъ отношеніи надо признаться, что не только у насъ, но и на Западѣ, и не только въ средѣ защитниковъ теоріи непроизвольности творчества, но и въ рядахъ приверженцевъ противоположной теоріи, творчество и до сей поры пребываетъ на степени необузданной стихійности, и въ своемъ теченіи зависитъ не отъ нашего разумнаго произвола, а отъ различныхъ случайныхъ, внѣшнихъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ, если на Западѣ творчество богаче, чѣмъ у насъ, а у насъ у 2, 3 первостепенныхъ писателей богаче, чѣмъ у нѣсколькихъ второстепенныхъ, и наконецъ доходитъ до поразительной нищеты у романистовъ вродѣ Михайлова, то это нисколько не зависитъ отъ бо́льшихъ или меньшихъ усилій со стороны различныхъ поэтовъ: они играютъ тутъ роль пассивныхъ резервуаровъ, и что́ случайно вольетъ въ нихъ жизнь, то они и даютъ вамъ. Если жизнь, вслѣдствіе особенныхъ общественныхъ или ихъ собственныхъ личныхъ условій, доливаетъ ихъ до краевъ, они поставляютъ себѣ это въ заслугу и тщеславятся богатствомъ своей фантазіи, поразительнымъ знаніемъ человѣческаго сердца или нравовъ своего общества, а если иначе сложившаяся жизнь не дастъ имъ ни капельки, то не ждите отъ

нихъ какихъ-либо попытокъ личными усиліями наполнить пустоту своей фантазіи. Въ этомъ отношеніи наука представляетъ радикальную противоположность по отношеніи къ искусству: въ то время, какъ ученый объѣзжаетъ весь земной шаръ, прорывается въ глубь его, роется въ архивахъ и въ различныхъ обломкахъ старины, изобрѣтаетъ всевозможные инструменты для того, чтобы изучать то, чего не въ состояніи видѣть простой глазъ; въ то время, однимъ словомъ, какъ передъ каждымъ ничтожнымъ открытіемъ вы видите массу усидчиваго труда, — поэтъ сидитъ сложа ручки и, изрекая трескучія фразы о святомъ призваніи искусства поднимать и разрѣшать роковые вопросы жизни, спѣшитъ возвѣстить міру о какихъ-нибудь двухъ-трехъ жалкихъ впечатлѣніцахъ маленькаго уголочка, въ которомъ онъ прозябаетъ. По своей необузданной, подверженной всякимъ случайностямъ стихійности — искусство можно сопоставить съ наукой развѣ что тѣхъ глубоконевѣжественныхъ вѣковъ, когда люди, не прилагая никакихъ усилій къ пріобрѣтенію новыхъ знаній, довольствовались свѣдѣніями о томъ, что имъ мозолило глаза: прибрежные жители знали породы морскихъ рыбъ или выбрасываемыхъ моремъ раковинъ и не умѣли отличить одного дерева отъ другого; обитатели лѣсовъ въ свою очередь, зная породы и качества различныхъ деревьевъ, не умѣли отличить ржи отъ овса, и проч. Такъ и современные намъ поэты: родился поэтъ во дворянствѣ, глядишь, только и умѣетъ изображать однихъ дворянъ, а какъ только вздумаетъ вывести передъ вами мѣщанина или крестьянина, такъ и выйдутъ передъ вами «цвѣты, похожіе на птицъ, и птицы, похожія на цвѣты». Проведетъ поэтъ полъ-жизни въ обществѣ трехъ литераторовъ и двухъ передовыхъ дѣвицъ высшаго развитія — и только эти пять личностей и варіируютъ на всевозможные лады во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Въ силу этого, если писатель хочетъ не на однихъ словахъ, а на дѣлѣ осуществить теорію произвольности творчества и принести истинную, а не эфемерную пользу своему обществу, онъ обязанъ употребить для каждаго написаннаго листа хотя малую часть тѣхъ усилій, которыя употребляетъ ученый часто для того только, чтобы имѣть основаніе сказать одну только фразу. Жизнь мало даетъ русскому писателю, и неужели ему вѣчно сидѣть сложа руки и ждать у моря погоды, когда общественныя обстоятельства сложатся такъ удачно, что массы всевозможныхъ впечатлѣній посыпятся съ неба и оплодотворятъ безъ всякихъ съ его стороны усилій его пустопорожнюю фантазію? Вѣдь этого онъ пожалуй и никогда не дождется, а жизнь между тѣмъ уходитъ безцѣльно и безплодно, оставляя за собой, вмѣсто сочныхъ и питательныхъ плодовъ, одинъ никому ненужный навозъ. Чѣмъ труднѣе обстоятельства, тѣмъ болѣе усилій долженъ употреблять противъ нихъ человѣкъ, если только онъ захочетъ не напрасно носить имя человѣка. А въ отношеніи русскаго писателя не требуется даже и сотой доли тѣхъ страшныхъ усилій, какія употребляетъ западный ученый для своихъ изысканій: ему не нужно ни переплывать морей, ни спускаться въ шахты, ни вскрывать вонючихъ труповъ, ни проводить мѣсяцевъ и лѣтъ въ обществѣ кровожадныхъ дикарей по примѣру Ливингстона или Миклухи-Маклая, ни наконецъ висѣть въ воздухѣ на веревочкѣ, разбирая іероглифическую надпись на скалѣ. Отъ него требуется только менѣе замкнутости, бо́льшаго круга знакомства въ разныхъ слояхъ общества, частой перемѣны мѣста жительства, или хотя-бы нѣсколькихъ экскурсій по Россіи, по возможности пѣшкомъ или на долгихъ и съ обозами. Нашъ русскій писатель (за весьма немногими исключеніями) такой еще бѣлоручка, при всѣхъ своихъ демократическихъ стремленіяхъ, что великій подвигъ для него — войти въ хату мужика. Но туда онъ еще входитъ иногда, скрѣпя сердце, среди лѣтнихъ наслажденій природой въ деревнѣ — для того, чтобы записать народную пѣсенку или движимый какими-нибудь высоко-филантропическими цѣлями. Но войти въ кругъ людей мало-мальски не нашего лагеря и не равной съ нами степени развитія, fi donc, какую-же мы можемъ имѣть солидарность во всѣхъ этихъ кругахъ: какъ будто медицинскій студентъ долженъ имѣть непремѣнно солидарность съ тѣми трупами, которые онъ изслѣдуетъ съ своими научными цѣлями? То-ли дѣло сидѣть въ комфортабельныхъ кабинетахъ и тянуть какую нибудь безконечную канитель, стремясь къ развитію такъ называемаго молодого поколѣнія въ духѣ возвышенныхъ идей. Въ слѣдующихъ главахъ мы увидимъ, много-ли выходитъ у насъ изъ этого пресловутаго вѣчнаго развиванія такъ-называемыхъ молодыхъ поколѣній.

III.

Если вы начнете разсматривать положительные типы въ литературахъ различныхъ странъ, временъ и направленій, то вамъ сразу представится, что они раздѣляются на двѣ категоріи: 1) типы относительные и 2) безусловно-идеальные.

Относительные типы — это представители даннаго вѣка или среды. Они являются въ произведеніи писателя обыкновенно облеченными въ плоть и кровь своего времени, со всѣми своими типическими особенностями, достоинствами и недостатками. Вы можете симпатизировать имъ, увлекаться ими, видя передъ собой лучшихъ людей вѣка, но это не мѣшаетъ вамъ разсматривать ихъ, какъ продуктъ извѣстныхъ условій жизни и находить въ нихъ недостатки, обусловливающіеся вреднымъ вліяніемъ среды, воспитанія, политическаго строя общества, и проч. Ужъ мы не будемъ распространяться о такихъ типахъ, какъ Евгеній Онѣгинъ, Печоринъ, Чацкій, Бельтовъ и проч.; всѣ эти герои своего времени являются типами вполнѣ относительными, дальше десятилѣтія не переживаютъ, выростая и стушовываясь со своимъ поколѣніемъ, и нетолько въ критикѣ послѣдующаго періода, но и въ современной имъ вы встрѣтите не восторженное къ нимъ удивленіе, какъ къ воплощеннымъ идеаламъ, а безпристрастный, холодный анализъ, воздающій имъ должное, какъ лучшимъ представителямъ своего времени, и вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчающій на нихъ всѣ язвы современнаго общества. Возьмите многочисленныхъ героинь нашихъ романовъ и повѣстей, начиная съ Татьяны Пушкина и кончая Еленой въ «Наканунѣ» и Ольгою въ «Обломовѣ». Всѣ эти пре-

красные, увлекательные типы повидимому больше всего подходятъ къ безусловно идеальнымъ. Но нѣтъ, и въ нихъ вы видите въ свою очередь представительницъ вѣка и среды: передъ вами русскія женщины тридцатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ и притомъ исключительно привилегированныхъ слоевъ общества. Всѣ онѣ являются не иначе, какъ въ теплыхъ гнѣздышкахъ, сначала въ отеческихъ, потомъ въ мужниныхъ, и имѣютъ такъ мало самостоятельности, что многія изъ нихъ не въ состояніи оказываются выйти замужъ по собственному выбору и влеченію. Теплыя гнѣздышки такъ для всѣхъ нихъ необходимы, что если ихъ выпустить внезапно на волю, онѣ немедленно-же должны погибнуть, такъ какъ онѣ плохо образованы, не пріучены ни къ какому труду, не знаютъ ни людей, ни жизни. Всѣ онѣ стремятся къ развитію, но не иначе, какъ черезъ процедуру любви: сами пальчикомъ не поведутъ для своего развитія, а все сидятъ сложа ручки и млѣютъ въ ожиданіи, когда явится передъ ними *онъ* и начнетъ ихъ развивать. Это ожиданіе доходитъ до такой степени нетерпѣнія, что наконецъ барышни набрасываются на перваго встрѣчнаго, воображая, что это есть сей *онъ*, и обыкновенно горько разочаровываются въ своемъ героѣ. Очевидно, что во всемъ этомъ нѣтъ ничего безусловно идеальнаго. Но авторы и не думали изображать безусловно идеальныхъ женщинъ. Они безхитростно вывели лишь лучшихъ женщинъ своего времени, предоставляя намъ судить о нихъ, какъ намъ угодно.

Совершенно не таковы безусловно-идеальные типы въ литературѣ. Къ нимъ вы уже не придеретесь ни съ какой стороны: каждый шагъ ихъ—доблесть, каждое движеніе — подвигъ, и вамъ только и остается восхищаться, умиляться и поучаться. Подобнаго рода типы бываютъ двухъ родовъ. Одни изъ нихъ играютъ рутинную роль добродѣтельныхъ героевъ и героинь, безъ всякихъ претензій, чисто по традиціи, потому что романъ, происшедшій, какъ извѣстно, изъ сказки, до сихъ поръ въ глазахъ многихъ немыслимъ безъ царевича и царевны неописанной красоты. Но есть эпохи, въ которыя образуется особенная склонность къ созерцанію безусловно-идеальныхъ типовъ; въ такія эпохи является рядъ произведеній, въ которыхъ добродѣтельные герои играютъ уже не традиціонную роль сказочныхъ царевичей, а, напротивъ, главная цѣль поставляется въ томъ, чтобы изобразить наивозможно-идеальную личность, и всѣ силы автора устремляются къ этой цѣли.

Я не знаю, нужно-ли много распространяться насчетъ того, что на почвѣ истинно-реальной поэзіи возможны только относительные типы, потому именно, что она всецѣло основывается на наблюденіяхъ дѣйствительности; въ дѣйствительности-же мы можемъ наблюдать одни относительныя явленія. Безусловные идеалы суть только отвлеченныя категоріи нашего мышленія, и стремиться ихъ олицетворять—это значитъ стремиться къ невозможному, причемъ мы постоянно рискуемъ впадать въ грубыя заблужденія: или намъ приходится возводить въ идеалъ относительную дѣйствительность, вовсе въ сущности не идеальную, или-же разрушать всякую связь причинности и, обходя всѣ законы жизни, предполагать чистую чудесность. Поэты-идеалисты и идутъ обыкновенно по этимъ двумъ путямъ. Вспомните напримѣръ хотя-бы безусловно-идеальные типы эпохи романтизма: съ одной стороны передъ вами рисуются возведенные въ идеалъ безумные фантазеры и мечтатели, въ сущности не только не заключающіе въ себѣ ничего идеальнаго, но весьма противные своимъ сентиментальнымъ прекраснодушіемъ; съ другой стороны—маркизы Позы, Іоанны д'Арки и цѣлый рядъ безплотныхъ юношей и дѣвъ, появленіе которыхъ среди полуварварскихъ обществъ не обусловливается никакими дѣйствительными, осязательными причинами и которые представляются вамъ возникшими такъ, вдругъ, ни съ того ни съ сего, словно феи и гномы изъ-подъ пола балетной сцены.

Идеализмъ въ жизни и искусствѣ параллельно съ метафизикой въ наукѣ считаются обыкновенно извѣстной степенью умственнаго развитія, за которой слѣдуетъ періодъ процвѣтанія положительныхъ знаній и реальнаго искусства. Но правильность въ послѣдовательности этихъ періодовъ постоянно нарушается вслѣдствіе той причины, что въ то время, какъ до реализма доразвивается ничтожное меньшинство, массы-же общества продолжаютъ коснѣть въ грубомъ невѣжествѣ и нерѣдко, прорывая плотину передовой мысли, снова воскрешаютъ такія системы мысли или литературныя школы, которыя, съ точки зрѣнія передовой мысли, представляются давно отжившими. Этому атавизму много способствуетъ и то, что въ переходные періоды подъ знамена новыхъ идей становятся многіе люди, далеко не доразвившіеся до этихъ идей, увлекшіеся ими совершенно поверхностно, усвоившіе кое-какія хлесткія фразы, и очень часто подъ оболочкой повидимому совершенно новой вы можете разглядѣть у подобныхъ господъ системы мышленія самаго архаическаго свойства. Между тѣмъ этотъ архаизмъ мысли сближаетъ ихъ съ толпой, которая сама исполнена архаическихъ понятій и потому является склонной болѣе понимать этихъ псевдореалистовъ, чѣмъ истинныхъ. Становясь такимъ образомъ во главѣ толпы, дѣлаясь ея любимцами, эти господа сильно тормозятъ движеніе, выдавая давно отжившее и заплѣсневѣлое за только что родившееся и, въ надеждѣ открытія новыхъ путей, поворачивая на старыя торныя дорожки.

Къ этому надо присоединить еще и вліянія общественныхъ условій, которыя могутъ способствовать къ обращенію мысли на реальный путь или, наоборотъ, обращать ее вспять на почву метафизики и идеализма. Въ этомъ отношеніи ничто такъ не ускоряетъ устремленія мысли на реальную почву, какъ политическая зрѣлость общества, развитіе въ немъ самодѣятельности и активности, и это весьма естественно. Человѣку, проникнутому общественными интересами, и притомъ не платонически только, а активно, некогда бываетъ задумываться надъ различными метафизическими отвлеченностями и безусловными идеалами: въ борьбѣ съ тѣми или другими наличными условіями жизни онъ привыкаетъ устремлять свою мысль въ сферу относительныхъ явленій; анализъ этихъ явленій стоитъ въ его умственной лабораторіи на первомъ планѣ и прямо ведетъ его къ положительнымъ выво-

дамъ въ наукѣ и реальнымъ образамъ въ искусствѣ. Поэтому въ странахъ съ сильно развитой общественной активностью люди дѣлаются реалистами прежде даже, чѣмъ сознаютъ это. По міросозерцанію они являются передъ вами повидимому метафизиками и даже исполненными наивныхъ вѣрованій, между тѣмъ весь процессъ ихъ мысли стоитъ уже на чисто реальной почвѣ анализа относительныхъ явленій, не имѣя никакой точки соприкосновенія съ отвлеченными теоріями, которыя хранятся на всякій случай въ ихъ мозгу, гдѣ-то въ кладовой, безъ всякаго употребленія. Примѣромъ такого преждевременнаго развитія реализма можетъ служить Англія. Въ самомъ дѣлѣ, недаромъ Англія, страна Бэкона, Локка, Юма, Ньютона, Адама Смитта, Милля, Шекспира, Свифта и Диккенса, послужила колыбелью современнаго реализма, какъ въ наукѣ, такъ и въ искусствѣ. Недаромъ она съ 18-го вѣка увлекаетъ за собой на почву реализма всю Европу. Въ то же время это страна, въ которой самодѣятельность и активность общества развились тогда, когда на континентѣ ни о чемъ подобномъ и не мечтали. Мысль англичанъ привыкла уже работать на реальной почвѣ. Мы видимъ, что въ Англіи самыя мистическія и аскетическія секты, вродѣ пуританъ или квакеровъ, не отрѣшались отъ жизни въ какія-либо отвлеченныя, заоблачныя сферы, а, напротивъ того, принимали характеръ политическихъ партій, устремлявшихся въ сферу рѣшенія вопросовъ чисто относительнаго свойства. Совершенную противоположность представляютъ страны, въ которыхъ общество, чуждое всякой самодѣятельности, влачитъ пассивную жизнь, утопая въ тинѣ мелочей и дрязгъ. Мысль въ этомъ обществѣ, находя мало пищи внѣ себя, поневолѣ углубляется внутрь психическаго міра, къ различнымъ отвлеченнымъ категоріямъ. Отсюда является наклонность къ созданію воздушныхъ метафизическихъ теорій, опирающихся не на факты дѣйствительности, а на эти отвлеченныя категоріи. Вмѣстѣ съ тѣмъ мыслящіе люди привыкаютъ къ самосозерцанію. Находя вокругъ себя повсюду одно безцѣльное, безсмысленное прозябаніе, исполненное возмутительныхъ пошлостей, они видятъ спасеніе своего человѣческаго достоинства единственно только въ томъ, чтобы отрѣшиться отъ всего ихъ окружающаго и начать въ уединеніи воспитывать себя въ духѣ какого-нибудь выспреннаго идеала. Таково начало нравственнаго идеализма, вѣчно сентиментально умиляющагося при созерцаніи различныхъ возвышенныхъ идеаловъ и въ личномъ воплощеніи ихъ ищущаго единственное спасеніе общества; вѣчно то терзающагося при мысли о недостижимости этихъ идеаловъ, то, напротивъ того, наивно воображающаго, что идеалы уже достигнуты, и потому въ гордомъ высокомѣріи смотрящаго сверху внизъ на жалкое, пресмыкающееся человѣчество. Отсюда наконецъ и вѣчное исканіе по свѣту идеальныхъ личностей, причемъ замѣчательно, что мысль идеалистовъ всѣхъ вѣковъ и странъ постоянно раздваивалась въ этомъ исканіи идеальныхъ личностей: съ одной стороны имъ казалось, что есть особенныя избранныя натуры, по самому призванію своему чуть не съ колыбели обреченныя быть воплощеніемъ идеала; съ другой стороны они вѣрили въ возможность сдѣлаться идеальнымъ каждому человѣку путемъ цѣлаго ряда подвиговъ воспитанія съ себѣ идеала и наконецъ просвѣтлѣнія имъ. Нужно-ли говорить о томъ, какая страна Европы была колыбелью, какъ цѣлаго ряда метафизическихъ системъ въ философіи, такъ и цѣлаго ряда сентиментально-прекраснодушныхъ идеаловъ въ поэзіи. Это страна благодушныхъ, пассивныхъ филистеровъ и мечтательныхъ бюргшей—Германія, въ которой общество такъ долго было лишено всякой активной самодѣятельности,—страна, и до сихъ поръ еще не отрѣшившаяся вполнѣ отъ метафизики и сентиментальнаго прекраснодушія.

Наше общество имѣетъ большую аналогію съ германскимъ начала XVIII столѣтія по отсутствію всякой активной самодѣятельности, разрозненности, мелкости и дрянности интересовъ. Къ этимъ всѣмъ качествамъ прибавьте еще остатки грубой, чисто-азіатской одичалости нравовъ, вслѣдствіе которой человѣкъ, мало-мальски избѣгающій непечатной брани или употребленія десницы, считается уже какимъ-то высшимъ существомъ, избранной натурой. Понятно, что и на нашей почвѣ сентиментально-прекраснодушный идеализмъ долженъ имѣть крѣпкіе корни и роскошныя произростанія. Мы и видимъ, что, начиная съ Карамзина, съ первыхъ зачатковъ философскаго движенія подъ вліяніемъ энциклопедистовъ XVIII вѣка, развивается у насъ и сентиментализмъ, сначала въ версальскомъ духѣ, затѣмъ въ геттингенскомъ: чувствительные Эрасты, стонущіе на могилахъ Агатоновъ, смѣняются прекраснодушными художниками въ гофмановскомъ духѣ, и вообще все умственное развитіе постоянно принимаетъ видъ отрѣшенія отъ суетнаго свѣта, тѣсной замкнутости въ интимныхъ кружкахъ и личнаго воспитанія себя въ духѣ различныхъ возвышенныхъ идеаловъ.

Въ сороковые годы этотъ характеръ развитія началъ измѣняться Съ одной стороны наплывъ реальной мысли съ Запада былъ слишкомъ ужъ силенъ, съ другой—обстоятельства жизни принимали день ото дня все болѣе и болѣе мрачный характеръ и поневолѣ заставляли обращать на себя вниманіе и задумываться, отвлекая такимъ образомъ мысль отъ созерцанія возвышенныхъ идеаловъ. Вслѣдствіе всего этого мысль передовыхъ кружковъ нашего общества начала устремляться на реальный путь. Созерцаніе безплотныхъ идеаловъ смѣнилось анализомъ окружающей дѣйствительности. Явился Гоголь, и такъ была сильна наклонность мысли перейдти на реальную почву, что даже этому крайнему мистику и аскету удалось создать новую, чисто реальную школу въ поэзіи. Крымская катастрофа еще сильнѣе устремила мысль передовыхъ кружковъ на реальную почву общественныхъ вопросовъ и анализа окружающей дѣйствительности. Относительная свобода печати и выписка иностранныхъ книгъ изъ-за-границы усилили еще болѣе наплывъ реальныхъ идей современныхъ западныхъ мыслителей. Начались реформы, и казалось, вниманіе общества окончательно устремилось изъ отвлеченныхъ сферъ — въ сферы относительныхъ явленій жизни. По крайней мѣрѣ въ концѣ 50-хъ годовъ въ передовыхъ кружкахъ вопросъ о возвышенности тѣхъ или другихъ личныхъ идеаловъ стоялъ на заднемъ

планѣ: люди раздѣлялись на категоріи не сообразно ихъ личной нравственности — на просвѣтленныхъ носителей идеаловъ и пресмыкающуюся во тьмѣ толпу, а на консерваторовъ и прогрессистовъ по отношенію къ тѣмъ или другимъ общественнымъ вопросамъ; искали не идеальныхъ личностей для взаимнаго самосозерцанія, а союзниковъ для борьбы.

Но — увы!—весь этотъ пресловутый реализмъ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ оказался явленіемъ крайне ненадежнымъ и эфемернымъ. Только какіе-нибудь десятки передовыхъ мыслителей вполнѣ встали на реальную почву и отрѣшились отъ всѣхъ остатковъ идеализма. Между тѣмъ въ массахъ общества идеалистическая закваска была такъ еще сильна, такъ глубоко въѣлась въ жизнь и такъ была ей сродна, что стоило немножко утолить всеобщую жажду реформъ, и вниманіе общества снова устремилось отъ общественныхъ вопросовъ къ индивидуально-нравственнымъ. И вотъ уже съ 1863 года въ огромной массѣ общества исканіе новыхъ формъ жизни смѣняется исканіемъ новыхъ личныхъ идеаловъ. Реализмъ въ глазахъ этой массы является не извѣстнымъ методомъ мышленія, каковъ онъ есть самъ по себѣ, а какимъ-то готовымъ уже кодексомъ личной нравственности, имѣющимъ въ виду сдѣлать изъ человѣка особеннаго сорта существо, такъ-называемаго *трезваго реалиста*.—Затѣмъ умственное движеніе снова принимаетъ прежній характеръ отрѣшенія отъ окружающей жизни, самовоспитанія въ тѣсной замкнутости сектаторскихъ кружковъ въ духѣ новѣйшихъ идеаловъ, погони за идеальными личностями не отъ міра сего, со младенчества предназначенными къ наиполнѣйшему воплощенію въ себѣ типовъ трезваго реализма, наконецъ чисто-схоластическаго рѣшенія вопросовъ о томъ, какъ себя вести такъ, чтобы ни на одну секунду не отклониться отъ идеала трезваго реализма, на какой спать для этого постели, курить или нѣтъ сигары, ѣсть-ли сардинки и телятину, или ограничиваться одною ветчиною съ ситникомъ, по примѣру Рахметова.

Въ литературѣ такой новый наплывъ идеализма отразился въ критикѣ «Дѣла», и Писаревъ, начавшій свою литературную дѣятельность съ проповѣди «базаровскаго типа», сдѣлался вскорѣ идоломъ новѣйшихъ идеалистовъ. Этотъ пресловутый писаревскій базаровскій типъ (не имѣвшій ничего общаго съ тургеневскимъ Базаровымъ) прекрасно характеризуетъ собою новый идеалъ, въ которомъ начали искать спасенія отъ всѣхъ скорбей и болѣзней. На первомъ-же планѣ въ этомъ идеалѣ стоитъ полное отрѣшеніе отъ всего окружающаго.

«Люди прошлаго,—говоритъ Писаревъ,—метались и суетились, надѣясь гдѣ-нибудь пристроиться и какъ нибудь втихомолку, урывками, незамѣтно влить въ жизнь свои честныя убѣжденія. Люди настоящаго не мечутся, ничего не ищутъ, нигдѣ не пристраиваются, не подаются ни на какіе компромиссы и ни на что не надѣются. Въ практическомъ отношеніи они такъ-же безсильны, какъ Рудины, но они сознали свое безсиліе и перестали махать руками. «Я не могу дѣйствовать теперь,—думаетъ про себя каждый изъ этихъ новыхъ людей,—не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружаетъ, и не стану скрывать своего презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До тѣхъ поръ буду жить самъ по себѣ, какъ живется, не мирясь съ господствующимъ зломъ и не давая ему надъ собой никакой власти. Я—чужой среди существующаго порядка вещей, и мнѣ до него нѣтъ никакого дѣла. Занимаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ, думаю что хочу, и высказываю — что можно высказывать.»

«Пойдетъ-ли за ними общество,—говоритъ въ другомъ мѣстѣ Писаревъ про своихъ новыхъ реалистовъ,—до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собой, своей внутренней жизнью и не стѣсняютъ ея въ угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здѣсь личность достигаетъ полнаго самоосвобожденія, полной особности и самодѣятельности.»

Прочитавши рядъ такихъ тирадъ, поразмыслите, чѣмъ отличается въ соціологическомъ отношеніи подобнаго рода новѣйшій идеалъ отъ романтическаго идеала 30-хъ годовъ? И тамъ, и здѣсь предписывается одно и то же: хочешь быть счастливъ, освободись отъ всѣхъ стѣсненій, налагаемыхъ на тебя суетнымъ свѣтомъ, со всѣми его обычаями, приличіями и китайскими церемоніями, замкнись въ гордое уединеніе и, презирая жалкое, пресмыкающееся человѣчество, предавайся свободному полету своего духа. Разница здѣсь только въ употребленіи времени: романтикъ 30-хъ годовъ наполнялъ его созерцаніемъ образовъ чистаго искусства, романтикъ 60-хъ годовъ—рѣзаніемъ лягушекъ. Но если-бы романтикъ 70-хъ годовъ занялся ловленіемъ мухъ,—то и тутъ разница была-бы небольшая: романтики всѣхъ трехъ родовъ могутъ воображать, что они олицетворили свой идеалъ и достигли высшаго нравственнаго довольства собой и счастія; въ соціологическомъ-же отношеніи всѣ они въ равной степени представляютъ изъ себя высокомѣрныхъ филистеровъ, индифферентныхъ ко всему, что вокругъ нихъ происходитъ, и успокоившихся на пресловутой пошлой философіи: «моя хата съ краю, ничего не знаю».

Да не подумаетъ читатель, чтобы я считалъ Писарева изобрѣтателемъ базаровскаго типа и на него одного возлагалъ всю вину воскрешенія филистерскаго идеализма. Нѣтъ, я весьма далекъ отъ той устарѣлой теоріи, которая все приписываетъ геніямъ и воображаетъ, что они изобрѣтаютъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, что ни взбредетъ имъ въ голову. Писаревъ былъ лишь наиталантливѣйшимъ выразителемъ новѣйшаго идеализма. Философія-же эта—есть болѣзнь вѣка; она періодически высыпаетъ наружу въ обществѣ пассивномъ, лишенномъ всякой самодѣятельности, какъ выраженіе жалкаго малодушія, безсилія, трусости, привычки къ сонному спокойствію и отвращенія отъ малѣйшаго энергическаго движенія.

Устремленіе общества на путь новѣйшаго сентиментальнаго прекраснодушія, отразившись въ критикѣ Писарева, не замедлило проявиться и въ беллетристикѣ. Вскорѣ создалась цѣлая школа романовъ, спеціальная цѣль которыхъ заключается въ томъ, чтобы, изображая идеальные типы въ духѣ трезваго реализма и по образцу писаревскаго Базарова, показывать россійскимъ людямъ путь ко спасенію.—Михайловъ является передъ нами представителемъ этой школы.

IV.

Да, господа Михайловъ, Бажинъ, Омулевскій и проч., конечно вы ставите выше всего поэзію реальную, вы стоите за нее горой и ужъ, разумѣется, воображаете, что съ васъ только и началась на Руси истинная поэзія. Такъ знайте-же, что ваши произведенія отстоятъ отъ почвы реализма, какъ небо отъ земли. Вы — создатели не реальной школы въ нашей литературѣ, а воскресители сентиментальнаго прекраснодушія тридцатыхъ годовъ, эпохи Н. Полевого, кн. Одоевскаго и Марлинскаго.

Да иначе не можетъ и быть. Ужъ если все современное мыслящее общество, вслѣдствіе отсутствія активности и соединеннаго съ ней обращенія мысли къ анализу относительныхъ фактовъ, стремится къ созерцанію различныхъ прекрасныхъ, безусловныхъ идеальчиковъ, то на васъ эта болѣзнь вѣка должна отразиться во сто кратъ болѣе, чѣмъ на прочихъ современникахъ. Поразительное отсутствіе всякой наблюдательности дѣйствительныхъ фактовъ жизни въ вашихъ произведеніяхъ доказываетъ, что вы ведете кабинетную, затворническую жизнь писателей-отшельниковъ и вращаетесь вѣчно въ кружкѣ 3-хъ—4-хъ пріятелей, которыхъ возводите конечно въ идеалъ и съ которыхъ списываете вашихъ героевъ. Такая ненормальная жизнь прямо ведетъ въ заоблачныя сферы созерцанія различныхъ воздушныхъ видѣній не отъ міра сего — и ужъ тутъ конечно не можетъ быть и рѣчи о реальной поэзіи.

Возьмемъ опять Михайлова, какъ представителя школы, и посмотримъ, что̀ такое его идеальные типы сами по себѣ и какъ онъ къ нимъ относится.

Мы уже говорили выше, что поэты-идеалисты, силясь воплотить въ реальные образы свои абстрактные идеалы, идутъ двумя путями: они или выставляютъ передъ нами героевъ не отъ міра сего, монстровъ, разрушая всякую связь причинности, или же возводятъ въ идеалъ дѣйствительность вовсе не идеальную. Михайловъ умудрился какимъ-то чудодѣйственнымъ образомъ избрать разомъ оба пути, и изъ этого вышла удивительная нескладица. Въ каждомъ романѣ Михайлова жизнь героя описана весьма подробно и обстоятельно во всѣхъ, что называется, воздыханіяхъ, начиная съ перваго крика младенца и до трезвыхъ сентенцій умудреннаго опытомъ зрѣлаго мужа. Начинаете вы читать романъ и въ первыхъ главахъ видите въ геро̀ѣ передъ собою человѣка вполнѣ не отъ міра сего. Чтобы читатели могли ясно представить себѣ, насколько герои Михайлова выше всѣхъ обыкновенныхъ смертныхъ, я попрошу только ихъ вспомнить свое собственное дѣтство, особенно если дѣтство это протекло въ помѣщичьемъ домѣ. Мальчику нерѣдко приходилось видѣть зуботычины и пощечины, расточаемыя родителями дворовымъ. Случалось ему, пожалуй, быть свидѣтелемъ и болѣе серьезныхъ экзекуцій. Но какъ будто видъ побоевъ и сѣченій самъ по себѣ наводилъ мальчика на мысль о ненормальности такихъ явленій? Ничуть не бывало. Ребячьему уму установленный вѣками порядокъ жизни представлялся столь-же незыблемымъ, какъ незыблемо стоитъ земля, а надъ ней раскидывается сводъ небесный. Каждый разъ при экзекуціяхъ онъ видѣлъ передъ собой не однѣ стонущія жертвы, но и родителей, огорченныхъ, разсерженныхъ, твердившихъ, что эти бестіи вгоняютъ ихъ въ гробъ, раздражая постоянно своимъ непослушаніемъ, грубостью, пьянствомъ, или-же разоряютъ утаиваньемъ того, что̀ имъ не принадлежитъ. Такимъ образомъ каждая экзекуція оправдывалась виной въ глазахъ ребенка. Онъ самъ начиналъ раздражаться на грубіяновъ, пьяницъ и воровъ, и въ немъ зарождались инстинкты жестокости, заставлявшіе его съ злорадствомъ смотрѣть на истязанія, и подчасъ самому поднимать свою маленькую ручонку на Ѳедьку или Таньку, надѣвшихъ ему неловко чулки. Изрѣдка въ душѣ ребенка проявлялось и чувство инстинктивной жалости, особенно по отношенію къ какому-нибудь своему любимцу. Онъ могъ обратиться къ родителямъ и съ просьбой о помилованіи, но эта жалость была всегда явленіемъ частнымъ, единичнымъ, инстинктивнымъ, не исходящимъ ни изъ какого общаго принципа и ни къ какому принципу не приводящимъ. Гуманные принципы являлись обыкновенно впослѣдствіи, вычитывались изъ книгъ, выслушивались въ аудиторіяхъ, но долго приходилось имъ бороться съ грубыми привычками, вынесенными изъ дѣтства, и не всегда эта борьба оканчивалась побѣдой. Вспомните типъ Нехлюдова въ повѣсти Л. Толстого «Юность». Онъ стремится къ гуманному идеалу, создаетъ различныя душеспасительныя теоріи жизни, но это не мѣшаетъ ему, въ самомъ пылу бесѣды съ пріятелемъ о высокихъ вопросахъ жизни, съѣздить своего лакея по физіономіи, вымѣщая на немъ несносную зубную боль, приключившуюся герою въ эту минуту. Вотъ это называется истинный реализмъ въ поэзіи. Сопоставьте рядомъ съ этимъ фактъ не изъ беллетристики уже, а прямо изъ жизни: И. Панаевъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ онъ, будучи взрослымъ юношей, романтикомъ, начавшимъ уже вращаться въ литературныхъ кружкахъ, въ свою очередь, въ пылу гнѣва, съѣздилъ по физіономіи своего крѣпостного лакея, былъ тутъ-же посрамленъ своимъ пріятелемъ, и тогда только впервые почувствовалъ всю гнусность подобныхъ выходокъ и серьезно задумался о ненормальности крѣпостного права. У Михайлова герои родятся уже эмансипаторами. Такъ напримѣръ, Шуповъ *на десятомъ году* разъигралъ со своими родственниками цѣлую сцену по поводу собиранія ими съ крестьянъ оброка. Онъ былъ такъ уже развитъ, что могъ сопоставить мягкое обращеніе умершей матери со слугами и подаваніе ею милостыни нищимъ съ фактомъ собиранія оброка съ крестьянъ и вывести изъ этого сопоставленія принципъ гнусности собиранія оброка, и до такой степени разошелся мальчикъ: «не хочу брать оброка, мамаша сама давала нищимъ, я — наслѣдникъ!», что былъ отцомъ высѣченъ наконецъ до полусмерти. Послѣ порки *десятилѣтній мальчикъ* былъ согласенъ на другую такую-же порку, лишь-бы не принудили его просить прощенія у дяди, котораго онъ возненавидѣлъ и оскорбилъ за то, что тотъ не заступился за крестьянъ, и кончилась эта исторія тѣмъ, что тотъ-же *десятилѣтній мальчикъ*, послѣ всего этого погрома, воспылалъ единственной страстью учиться, развиваться!..

Такую-же совершенно сцену разъигралъ съ своимъ отчимомъ Бубновымъ герой романа «Въ разбродъ»—Теплициннъ и въ свою очередь былъ высѣченъ до полусмерти. Послѣ порки онъ тоже на 10-мъ году загорѣлся страстью учиться, развиваться. У него былъ дядя, капитанъ Хлопко, тотъ самый передѣланный съ англійскихъ нравовъ на русскіе морякъ, о которомъ мы говорили во второй главѣ. Онъ разсказывалъ мальчику разные эпизоды изъ исторіи и изъ своихъ кругосвѣтныхъ путешествій, и хотя безспорно подобные разсказы имѣли свое развивательное вліяніе, но во всякомъ случаѣ нужно представить себѣ 10-тилѣтняго мальчика въ высшей степени необыкновеннымъ, чтобы у него могло быть психическое настроеніе, которое у обыкновенныхъ смертныхъ является на шестнадцатомъ, семнадцатомъ году:

«Невеселая наша жизнь, притѣсненія, постоянное одиночество или бесѣды съ такимъ идеалистомъ, какъ дядя, навели меня на мысль, что и меня ждутъ впереди страданія, что я долженъ приготовиться къ нимъ, и я, экзальтированный до крайности, сталъ развивать въ себѣ физическія силы и пробовать свою выносливость. Меня радовало, если мнѣ удавалось поднять что-нибудь тяжелое или справиться въ борьбѣ съ Гаврюшкой. Помню, что я однажды въ эту зиму взялъ горячій уголь въ руки и держалъ его до тѣхъ поръ, пока онъ остылъ. Изъ моихъ глазъ градомъ катились слезы, моя ладонь болѣла очень долго, но я былъ радъ и торжествовалъ въ душѣ, вспоминая о Іоаннѣ Гуссѣ. Меня стали особенно привлекать такія зрѣлища, какъ рѣзаніе куръ, и хотя мнѣ было очень жалко бѣдныхъ хохлушекъ, но я не убѣгалъ и смотрѣлъ до конца на ихъ казнь, помня, что дядя разсказывалъ о многихъ людяхъ, падающихъ въ обморокъ при видѣ крови.»

Въ романѣ «Жизнь Шупова» есть герой плебейскаго происхожденія, Колька, который въ свою очередь поражаетъ васъ въ 10-ти-лѣтнемъ возрастѣ глубокомысліемъ соціальныхъ взглядовъ. Такъ, онъ создаетъ цѣлую теорію о томъ, какъ жить безъ воровства: «по его соображеніямъ слѣдовало работать, цѣлый день работать, бумаги писать въ должности, сапоги или платье шить дома,—все работать и на выработанныя деньги нанимать маленькую, самую маленькую комнатку и жить одному, не имѣя дѣтей, одѣваться просто, ну, совсѣмъ просто, вотъ какъ мужики одѣваются»... Такимъ образомъ вотъ уже въ какомъ возрастѣ являются въ современныхъ намъ трезвыхъ реалистахъ ихъ идеалы честнаго труженичества и чуждой малѣйшей роскоши, спартанской жизни! Въ томъ-же самомъ возрастѣ они начинаютъ уже и протестовать противъ истязаній не только людей, но и животныхъ:

«— Одного я не понимаю, серьезно и задумчиво говорилъ онъ мнѣ однажды:—за что это собакъ и лошадей мучаютъ?

— Да вѣдь и людей мучаютъ, Колька, отвѣчалъ я.—Ты самъ-же мнѣ говорилъ...

— Людей! такъ люди души свои за это за самое спасутъ. Вотъ и я теперь, еслибы умеръ, такъ святымъ-бы сталъ, съ нѣжной улыбкой промолвилъ онъ полушутя.—А у собакъ и у лошадей души нѣтъ.»

Я-бы могъ массу представить всевозможныхъ фактовъ, показывающихъ необычайность героевъ Михайлова. У Михайлова есть напримѣръ герой—Павелъ Панютинъ, который, снѣдаемый безнадежной любовью, закучиваетъ съ богатыми шалопаями на пикникахъ и ужинахъ съ куртизанками; но такъ какъ онъ никакихъ наслѣдственныхъ капиталовъ для этого не имѣетъ, а кутить на чужой счетъ считаетъ безчестнымъ, то онъ старается трудомъ пріобрѣсти деньги, необходимыя для кутежей. Казалось-бы, что для пріобрѣтенія уроками или переводами количества денегъ, достаточнаго, чтобы можно было стоять на одной ногѣ съ богатыми кутилами, требуется такая масса труда, что ни времени, ни силъ не хватило-бы на самую цѣль пріобрѣтенія, т. е. на кутежи. И, наоборотъ, участіе въ кутежахъ, въ свою очередь, требуетъ столько и времени, и силъ, что послѣ нихъ истощенному организму не до усидчиваго труда. Но для необъятныхъ силъ Панютина не существуетъ животной экономіи: трудясь, какъ волъ, онъ кутитъ, какъ гусаръ,—и силы его ни мало не изнуряются отъ такой жизни. У Михайлова есть героиня Катерина Александровна Прилежаева, которая выходитъ изъ мрака грязнаго петербургскаго подвала, изъ міра голода, холода, пьянства и лохмотьевъ нищеты, словно Афродита изъ морской пѣны, исполненная лучезарнаго сіянія нравственныхъ и физическихъ совершенствъ, и необразованная, едва умѣющая писать и читать—сразу дѣлается идеальнѣй всѣхъ идеальныхъ людей на свѣтѣ. Но довольно; однимъ словомъ, чудесъ въ романахъ Михайлова не оберешься. Надо впрочемъ замѣтить, что всѣ подобныя чудеса не составляютъ особенности творчества одного Михайлова. У всѣхъ писателей этой школы вы найдете то же самое: у всѣхъ у нихъ десятилѣтніе отроки развиваютъ соціальныя теоріи и шестилѣтнія дѣти протестуютъ. Мнѣ даже кажется, что будто я гдѣ-то читалъ, не помню у Михайлова или у Бажина, такую сцену, какъ младенецъ, сосущій млеко матери, внезапно оторвался отъ сосца и глубоко задумался о томъ, какое право имѣетъ онъ потреблять, не вознаграждая своего потребленія никакимъ производствомъ съ своей стороны? Такое отступленіе отъ идеала честнаго труженичества такъ взволновало бѣдняжку, что онъ раскричался благимъ матомъ и ничѣмъ не могли его успокоить. Груди онъ послѣ того не хотѣлъ ни за что брать и такъ и умеръ, не успѣвъ придумать, за какой-бы полезный трудъ приняться ему, и въ то же время не желая ни одного шага болѣе дѣлать по опасному и кривому пути филистерскаго дармоѣдства. Читатель можетъ усомниться въ справедливости передаваемаго мной факта; я и самъ не вполнѣ увѣренъ, дѣйствительно-ли я читалъ что-нибудь подобное, но во всякомъ случаѣ нѣтъ сомнѣнія, что если до сихъ поръ еще ни одному беллетристу «Дѣла» не пришелъ въ голову такой поэтическій образъ идеальнаго младенца, то навѣрное скоро придетъ, и мы не замедлимъ прочитать на страницахъ «Дѣла» въ романѣ Михайлова или Омулевскаго умилительную сцену трагической смерти младенца, который предпочелъ смерть отступленію отъ пути трезваго реализма.

Въ силу всего этого, когда вы начинаете читать романъ Михайлова, васъ невольно заинтересовываетъ судьба героя, такъ какъ вы проникаетесь слѣдующимъ соображеніемъ: Господи, ужъ если герой съ такихъ малыхъ лѣтъ проявляетъ столь необыкновенные задатки, такъ осмысленно и глубоко обсуждаетъ всѣ окружающія его явленія, такъ рано устремляется на путь

развитія,и притомъ развитія въ духѣ трезваго реализма, такъ сочувствуетъ всему страждущему и угнетенному, такъ негодуетъ противъ всего угнетающаго, то что-же изъ него потомъ выйдетъ? Невольно припоминаете вы при этомъ біографіи различныхъ великихъ людей, не только русскихъ, но и западныхъ, и даже и въ ихъ дѣтствѣ, при всемъ желаніи біографовъ показать вамъ, что историческіе герои уже въ пеленкахъ создавали планы своей будущей дѣятельности, вы не видите и десятой доли того, что̀ проявляютъ въ своемъ дѣтствѣ герои Михайлова!

Но читаете вы дальше и съ каждой страницей убѣждаетесь, что гора рождаетъ мышь. Въ половинѣ романа уже Михайловъ, какъ-бы совсѣмъ забывая, какихъ онъ намѣревался представить намъ великановъ, начинаетъ насъ убѣждать, что герои его—обыкновеннѣйшіе смертные, какъ мы съ вами; что они вовсе и не думали питать въ себѣ идеалы съ самаго рожденія, а должны до нихъ достигнуть путемъ долгаго искуса, соединеннаго съ цѣлымъ рядомъ испытаній и страданій, опасностей сбиться съ прямого пути и дѣйствительныхъ заблужденій. И въ этихъ заблужденіяхъ герои наши оказываются такими иногда тряпичными, что какая-нибудь полоумная тетушка способна бываетъ направить ихъ на дорогу шалопайства, и если они не свертываютъ окончательно на эту дорогу, то благодаря вовсе не ихъ стойкому нравственному противодѣйствію, а чисто внѣшнимъ, случайнымъ обстоятельствамъ вродѣ того, что тетушка разоряется, уѣзжаетъ или умираетъ. Но, какъ-бы то ни было, въ концѣ романа герои наконецъ просвѣтляются таки новыми идеалами въ духѣ честнаго труженичества и трезваго реализма, въ осуществленіи этихъ идеаловъ находятъ мирную пристань отъ всѣхъ жизненныхъ бурь и невзгодъ и начинаютъ блаженствовать во вседовольствѣ и совершенствѣ.

Начинаете вы вглядываться въ этихъ вседовольныхъ и совершенныхъ героевъ, потому что, какъ хотите, а весьма любопытно посмотрѣть, что̀ это за дива-совершенства въ семъ мірѣ, заключающемъ въ себѣ такую массу всевозможныхъ несовершенствъ, да и кромѣ того среди цѣлаго ряда сомнѣній, огорченій и всякаго рода жизненныхъ дрязгъ самаго возмутительнаго свойства, которыя вы ежедневно испытываете, развѣ не лестно поучиться, какъ это хорошіе люди устраиваютъ безоблачное счастіе, нельзя-ли и намъ присоединиться къ нимъ какъ-нибудь? Ужъ не производитъ-ли Михайловъ невиданнаго и неслыханнаго чуда: не даетъ-ли онъ намъ ключъ отъ эдема? Начинаете вы съ этими мыслями всматриваться, говорю я, въ просвѣтленныхъ новѣйшими идеалами героевъ, и что̀-же представляется вамъ? Вы видите передъ собой милыхъ голубковъ, чистенькихъ, гладенькихъ, а какихъ невинныхъ, Боже мой, какихъ невинныхъ! Всѣ нравственныя, христіанскія и семейныя добродѣтели соединяются въ нихъ: кротость и незлобивость сердца, нѣжная преданность родителямъ, утѣшеніе алчущихъ и жаждущихъ и пр., и пр. Сидятъ они въ теплыхъ уголкахъ, въ уютныхъ гнѣздышкахъ и, проливая слезы умиленія при созерцаніи взаимныхъ добродѣтелей, тихо воркуютъ вамъ: мы тише воды, ниже травы, мы ничтожные мураши, простые люди толпы! Въ пріобрѣтеніи честнаго куска хлѣба путемъ какого нибудь муравьинаго полезнаго труда—вся наша философія и все наше счастіе; за большимъ-же мы не гонимся!.. Куда намъ: знай сверчокъ свой шестокъ. Всѣ наши несчастія и огорченія въ прошлой жизни оттого именно и происходили, что мы метались безъ пути, взваливая себѣ на плечи громадные труды не по силамъ, будучи неподготовлены и къ малымъ трудамъ. Теперь мы опомнились, познали наше ничтожество и скромно «*сошли со сцены для того, чтобы начать мирную, быть можетъ, буржуазную жизнь съ трудомъ изъ-за куска хлѣба*». И вотъ, какъ видите, живемъ, любимъ другъ друга, совѣсть наша спокойна и рыльце наше въ пушку. Только вы не подумайте, что мы всецѣло такъ ужъ и окунулись въ тину пошлаго филистерства. Ничуть не бывало: мысли наши попрежнему возвышенны, мы занимаемся на досугѣ естественными науками, готовы и школу завести, если разрѣшитъ начальство, наконецъ всегда готовы помочь и бѣдному, осушить слезы плачущаго... Чего-жъ вамъ больше?

Вслушиваясь въ такую философію мурашинскаго ничтожества, вы невольно припоминаете что-то весьма знакомое, затерявшееся въ вашей памяти: Ба! Да вѣдь это философія Молотова,—та самая, которую онъ развивалъ своей невѣстѣ въ концѣ повѣсти. Совершенно то же самое: «мы люди темные, будемъ благодушествовать въ тепломъ гнѣздышкѣ въ сознаніи своей честности». Да и всѣ герои Михайлова сходятся къ молотовскому типу и похожи на Молотова, какъ двѣ капли воды.—Да, читатели, всѣ эти Прохоровы, Теплицины, Шуповы—снимки съ Молотова; но подумайте только, какая неизмѣримая разница между отношеніемъ къ своему герою Помяловскаго и Михайлова!

Въ Молотовѣ Помяловскій изобразилъ передъ нами своего рода представителя среды. Это была первая попытка въ нашей литературѣ представить героя изъ той новой среды мыслящаго пролетаріата, которая съ конца пятидесятыхъ годовъ начала играть первенствующую роль въ сферѣ умственнаго движенія нашего общества. Какъ представитель среды, какъ своего рода герой времени, Молотовъ несомнѣнно имѣетъ многія неотъемлемыя достоинства. Такъ напримѣръ, васъ могутъ привлекать въ немъ его неподкупная честность, плебейская гордость, доходящая часто до такой степени нравственной щепетильности, что даже въ желаніи сдѣлать ему подарокъ со стороны помѣщиковъ, у которыхъ онъ давалъ уроки, онъ видитъ побужденіе унизить его нравственное достоинство и отказывается не только отъ подарка, но и отъ мѣста; далѣе, его стремленіе составить свое счастіе собственными руками, никому не дѣлаясь обязаннымъ въ немъ, ни передъ кѣмъ не сгибаясь, никому ни въ чемъ не уступая; наконецъ, нравственная стойкость и энергія въ этомъ пути, соединенная съ суровымъ самообладаніемъ, привычкой воздерживаться отъ всякихъ мимолетныхъ увлеченій, прихотей и слабостей, могущихъ въ концѣ-концовъ свести съ того прямого пути, который разъ избралъ себѣ человѣкъ. Все это—качества безспорно прекрасныя и рѣзко отличающія Молотова отъ всѣхъ прежнихъ героевъ, возросшихъ на почвѣ крѣпостного права, безхарактерныхъ, рас

пущенныхъ и бездѣльно шатающихся, куда подуетъ вѣтеръ. Но, какъ ни хороши эти качества, съ реальной точки зрѣнія и они вполнѣ относительны, т. е. при однихъ условіяхъ жизни могутъ произвести какіе-нибудь благіе результаты, при другихъ-же условіяхъ, слава Богу, если изъ нихъ не выйдетъ чего-либо весьма непривлекательнаго. Какъ писатель реальный, Помяловскій и относится къ своему герою вполнѣ реально: онъ не спѣшитъ возвести въ нѣчто безусловно-идеальное хорошія качества своего героя, а безпристрастно показываетъ намъ въ своей повѣсти, какъ они, при данныхъ условіяхъ жизни, только и могли привести Молотова, что къ 20,000 капитала, мягкому дивану, фарфоровымъ вазамъ по угламъ, семейному колпаку и усыпительному сознанію, что я — человѣкъ толпы, и потому отъ меня ничего не требуется какъ только, чтобы я въ чужой карманъ не залѣзалъ и спины передъ ближнимъ не гнулъ, а въ остальномъ — Богъ проститъ. И въ концѣ-концовъ Помяловскій скорбитъ о его судьбѣ, какъ скорбѣли объ Онѣгинѣ, Чацкомъ, Бельтовѣ, Рудинѣ — ихъ авторы. «Скучно, господа!» восклицаетъ онъ въ заключеніи повѣсти. А Михайловъ, наоборотъ, при взглядѣ на окончательную судьбу тѣхъ-же Молотовыхъ, умиляется, приходитъ въ телячій восторгъ и восклицаетъ сентиментально-риторическимъ тономъ, живо напоминающимъ языкъ Карамзина:

«Стократъ счастливъ тотъ, кто не слыхалъ словъ праздно извѣрившейся старости, кто унесъ въ своей памяти хотя одинъ милый образъ, который, какъ яркій лучъ изъ мрака прошедшаго, озарялъ одинокую душу своей красотой, своей любовью и твердой вѣрой въ свои силы. Счастливъ читатель, который окончилъ чтеніе хотя одного романа и не потупилъ въ отчаяніи головы, но поднялъ ее и бодро и весело устремилъ свои взоры за героями въ ихъ будущую, неизвѣстную ему, читателю, жизнь, въ страну вымысла, созданную его пробужденнымъ воображеніемъ. Въ этой странѣ свѣтлые образы навсегда останутся свѣтлыми, и никакого пятна не наложитъ на нихъ наша грязная жизнь. Свѣтлое настроеніе охватитъ душу читателя и промелькнетъ въ его головѣ мысль: «еще можно жить на свѣтѣ, еще есть хорошіе люди, они мнѣ какъ будто знакомы...».

Что-же за причина такого радикально-противоположнаго отношенія къ одному и тому-же типу двухъ различныхъ писателей? Какая-же можетъ быть иная причина какъ не время: Помяловскій жилъ въ вѣкъ наибольшаго реалистическаго движенія въ нашемъ обществѣ, когда ко всему относились критически, когда не вѣрили, чтобы можно было достигнуть олицетворенія какихъ-бы то ни было идеаловъ, хотя призрака личнаго счастія среди гнетущихъ и растлѣвающихъ обстоятельствъ жизни. А нынѣ вѣкъ другой, нынѣ мы только и ищемъ, что оправданія нашего малодушія, дряблости, безсилія въ борьбѣ съ обстоятельствами, и готовы возвести въ идеалъ всякую мерзость, лишь-бы хоть въ чемъ-нибудь найти успокоеніе и усыпить въ мирной пристани ничтожества проснувшуюся совѣсть.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти самозванные защитники новыхъ людей, Михайловъ, Омулевскій, Бажинъ, выставляя намъ не настоящихъ людей нашего поколѣнія со всѣми ихъ недостатками и слабостями, а свои золотушные идеальчики, унижаютъ и топчутъ въ грязь своихъ кліентовъ неизмѣримо въ большей степени, чѣмъ враги. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, что̀ унизительнѣе для дѣйствительныхъ новыхъ людей, представленіе-ли ихъ въ видѣ хищныхъ Карловъ Моровъ, какъ это дѣлаетъ московская беллетристика, или прекраснодушно-невинныхъ тряпичностей тише воды, ниже травы? Признаться сказать, подобная защита ужаснѣе самаго жестокаго обвиненія.

Но при созерцаніи типовъ Михайлова приходятъ въ голову мысли, еще болѣе возмущающія душу до глубины. Посмотришь вокругъ себя и видишь, что личное счастіе — не въ романахъ Михайлова; а въ дѣйствительности — и до сихъ не прямо, а обратно пропорціонально развитію, т. е. и до сихъ поръ, чѣмъ менѣе развитъ человѣкъ, тѣмъ легче ему помириться со многимъ, съ чѣмъ не помирится никогда человѣкъ истинно-развитый, и тѣмъ больше шансовъ устроить свои дѣлишки. Посмотришь, какъ нынѣ живется развитымъ людямъ, и, вмѣсто тѣснаго сожитія въ блаженныхъ эмпиреяхъ, въ духѣ единенія, любви и общаго труда, видишь всеобщій разладъ, вопль и скрежетъ зубовный на развалинахъ цѣлаго ряда такъ-называемыхъ «благихъ начинаній»! Посмотришь, какъ осмѣянно и попрано все, чѣмъ когда-то жилъ, на что̀ надѣялся, что̀ было въ молодости твоей святыней; и раздается вокругъ тебя одинъ циническій хохотъ объѣвшихся, но не треснувшихъ еще отъ жиру всякаго рода дѣльцовъ и срывателей кушей... А въ ушахъ еще не смолкъ грохотъ пушекъ, такъ недавно доказывавшихъ міру, что грубой матеріальной силѣ и теперь ничего не стоитъ наплевать на всѣ гуманныя, высокія идеи, которыя стоили человѣчеству столько слезъ и крови, и стереть ихъ съ лица земли, какъ будто ихъ никогда и не было... На сердцѣ у васъ кошки скребутъ, читатель. Развертываете вы книгу прогрессивнаго журнала, мечтая, что въ ней, если и не найдете утѣшенія, то хоть разыскаете скорбь вашу, и вдругъ передъ вами прекраснодушный романистъ строитъ умилительно-сентиментальную физіономію и говоритъ вамъ: «вы страждете, вы мечетесь по свѣту, а отчего? — Отъ того, что многое берете на себя не по силамъ; бросьте лучше всѣ ваши кичливыя мечты, предоставьте передовымъ дѣятелямъ заботы о судьбахъ міра, исполнитесь кроткаго смиренномудрія, смѣшайтесь съ толпой, займитесь честнымъ муравьинымъ трудомъ и обрѣтете миръ и покой, *увидите, что̀ есть еще хорошіе люди, еще можно жить на свѣтѣ*, и благо вамъ будетъ!»

Благо вамъ, философы честной пошлости, философы трезваго приниженія ниже травы, тише воды, философы дряблаго малодушія, воображающіе сохранить свое человѣческое достоинство, отстранившись отъ всего, что̀ дѣлается вокругъ васъ и укрывшись отъ жизни въ раковинку блаженнаго прекраснодушія! Вамъ только и живется на свѣтѣ.

НАШИ ГРЯДУЩІЕ БИСМАРКИ.

«Національный вопросъ въ исторіи и литературѣ». А. Градовскаго. Спб. 1873 г.

Метафизическій методъ все болѣе и болѣе утрачиваетъ свое значеніе для разрѣшенія вопросовъ общественныхъ, но онъ сохранилъ еще значеніе (вслѣдствіе отсталости государственныхъ наукъ) для разрѣшенія вопросовъ политическихъ...
(Изъ книги А. Градовскаго, стр. 67).

I.

Національный вопросъ на первый взглядъ можетъ привести насъ къ очень грустнымъ мыслямъ, особенно если мы сравнимъ, чѣмъ былъ этотъ вопросъ лѣтъ 50 тому назадъ и чѣмъ онъ сталъ въ наше время. Вспомните въ самомъ дѣлѣ, какимъ великимъ пріобрѣтеніемъ ума человѣческаго казался онъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, какимъ и модньмъ, и смѣлымъ, и страшнымъ казался онъ тогда, какими надеждами и мечтами кружились молодые горячія головы при одномъ словѣ «народность» и какой злобой исполнялись сердца сѣдовласыхъ старцевъ, различныхъ Шульцевъ, Стурдзъ, Коцебу и прочихъ приверженцевъ священнаго союза и Меттерниха, сколько энергіи расточено ради этой идеи и сколько принято вѣнцовъ мученичества. Извѣстно, что послѣ вѣнскаго конгресса вся Европа была опутана сѣтью тайныхъ обществъ, и большинство этихъ обществъ, въ особенности — карбонаріи, гетерія, Tugend-Bund, на первомъ планѣ своей дѣятельности ставили принципъ народности. Не говоря уже о Гарибальди, Маццини, Кошутѣ, политическая дѣятельность которыхъ всецѣло посвящена была національному принципу, мы можемъ насчитать многихъ и другихъ политическихъ дѣятелей, которые хотя переходили впослѣдствіи къ инымъ принципамъ, но начинали свое политическое развитіе непремѣнно съ національнаго принципа; для примѣра приведемъ наиболѣе всѣмъ извѣстное и громкое имя Лассаля. Но, оставляя въ сторонѣ политическихъ дѣятелей, мы видимъ, что и наука, и искусства въ равной степени съ усердіемъ служили національному принципу. Такъ, въ эпоху господства метафизической философіи всѣ знаменитые германскіе философы заплатили свою дань національному принципу, начиная съ Фихте, который готовъ былъ пожертвовать жизнью этому принципу и изображеніе котораго нѣмецкіе студенты носили на трубкахъ именно ради этой готовности, и кончая Шеллингомъ и Гегелемъ, возводившими національный принципъ въ основное начало исторіи человѣчества. При этомъ замѣтимъ, что не одна только гегелевская школа выступила съ пресловутой теоріей избранныхъ народовъ и поставила во главѣ общечеловѣческой цивилизаціи германскую народность, которой, по ея мнѣнію, суждено сказать послѣднее слово цивилизаціи; по пути Гегеля шли писатели, нисколько не принадлежащіе къ его школѣ. Одно время сдѣлалось какъ бы conditio sine qua non патріотизма, чтобы каждый историкъ во главѣ общечеловѣческой цивилизаціи ставилъ непремѣнно народность, къ которой онъ имѣлъ честь принадлежать. Такъ, Гизо въ своихъ философо-историческихъ этюдахъ представительницей европейской цивилизаціи считаетъ Францію, и даже Вокль, знаменитый Бокль, котораго ставятъ во главѣ историковъ-реалистовъ, внесшихъ въ историческую науку положительный методъ, въ свою очередь идетъ по пути метафизика Гегеля и, считая предствительницей общечеловѣческой цивилизаціи свою Англію, дѣлаетъ ее чѣмъ-то вродѣ масштаба для измѣренія хода цивилизаціи въ другихъ народахъ.

Что касается искусствъ, то они раньше исторіи и политики съ конца прошлаго столѣтія уже устремились на народную почву. Съ нихъ-то началось развитіе національнаго принципа, начало которому положилъ своей дѣятельностью Лессингъ.

Все романтическое движеніе въ литературѣ было ничѣмъ инымъ, какъ служеніемъ національному принципу. Когда же изъ міра наукъ и искусствъ, изъ темныхъ лабиринтовъ тайныхъ обществъ, національный принципъ впервые всплылъ на поверхность законной международной политики въ видѣ греческаго вопроса, это произвело взрывъ такого необузданнаго энтузіазма во всей Европѣ, что даже великій поэтъ, стоявшій во главѣ всѣхъ европейскихъ литературъ, рѣшился пожертвовать этому вопросу всѣ свои могучія силы, всѣ свои матеріальныя средства и самую жизнь.

Въ развитіи нашего общества мы можемъ въ свою очередь припомнить такой моментъ, когда національный принципъ не былъ удѣломъ одного кружка, а представлялъ изъ себя модную идею, которою увлекалась вся мыслящая молодежь. Это было въ 20-ые годы. Тогда не существовало еще позднѣйшаго дѣленія на славянофиловъ и западниковъ, а всѣ общественные и литературные дѣятели, стоявшіе во главѣ умственнаго движенія, были немножко славянофилы. Этимъ и объясняются тѣ славянофильскія рѣчи Чацкаго, которыя повидимому звучатъ такъ странно въ устахъ молодого человѣка, только что пріѣхавшаго изъ-за границы и ругающаго наповалъ московское общество, но онѣ весьма понятны, если мы примемъ во вниманіе, что въ то время вся и петербургская, и московская молодежь, увлекаясь національнымъ принципомъ, повсюду твердила вслѣдъ за Чацкимъ:

Пускай меня объявятъ старовѣромъ,
Но хуже для меня нашъ сѣверъ во сто кратъ
Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ промѣнъ на новый ладъ:
И нравы, и языкъ, и старину святую,
И величавую одежду на другую,
По шутовскому образцу...

Но вотъ прошло 50 лѣтъ и —Боже мой!—что-же сдѣлалось въ наше время изъ этого нѣкогда моднаго, прогрессивнаго и даже революціоннаго принципа! Градовскій съ откровенностью, поражающей васъ наивнымъ простодушіемъ, въ предисловіи къ своему трактату прямо объявляетъ, какую роль суждено играть въ наше время національному принципу. «Эта теорія національно-прогрессивнаго государства,—говоритъ онъ на страницѣ IV,—одна можетъ быть противупоставлена требованіямъ нашего времени, сдержать завоеванія ученій, которыя принято называть «разрушительными», хотя они суть только «инобытіе» господствовавшей государственной теоріи».

Итакъ принципъ, который въ свою очередь былъ нѣкогда требованіемъ времени и считался (такова ужъ видно судьба всѣхъ требованій времени) разрушительнымъ ученіемъ, противъ завоеванія котораго былъ поставленъ оплотомъ священный союзъ, въ настоящее время становится самъ на мѣсто священнаго союза, своего кровнаго врага, и принимаетъ прискорбную и жалкую роль обуздателя какихъ-то новыхъ современныхъ требованій. И Градовскій совершенно правъ, навязывая національному принципу такую роль, отъ которой конечно всѣ умершіе великіе бойцы за этотъ принципъ должны перевернуться въ своихъ гробахъ, а живые покраснѣть отъ стыда. Вотъ уже 10 лѣтъ, какъ національный принципъ играетъ въ европейской жизни именно эту самую роль обуздателя и гасителя. Въ самомъ дѣлѣ: чуть въ какой-нибудь европейской странѣ слишкомъ ужъ громко начинаютъ заявлять себя живыя требованія времени, тотчасъ-же подымается какой-нибудь національный вопросъ, которыхъ такъ много наросло въ европейской жизни, завязывается кровопролитная война; поля опустошаются, тысячи семействъ сиротѣютъ, число нищихъ увеличивается въ странѣ, народъ стонетъ отъ увеличенія налоговъ вслѣдствіе уплаты военныхъ издержекъ и контрибуцій. Но если бѣдствуетъ народъ, зато торжествуетъ національный принципъ, и въ разгулѣ необузданнаго шовинизма дѣйствительно обуздываются и забываются всѣ живыя требованія времени. Примѣромъ благотворнаго торжества національнаго принципа можетъ служить намъ современная Германія. Объединенные подъ гегемоніей Пруссіи, возвратившіеся изъ Франціи гордыми побѣдителями, нагруженными несмѣтными добычами, нѣмцы, въ восторгѣ отъ торжества національнаго принципа, забыли всѣ тѣ глубокія идеи, всѣ тѣ мучительные вопросы времени, которые подымались и разработывались съ такимъ усердіемъ и ученостью въ ихъ отечествѣ. Всѣ геніальные умы затмились, все стушевалось и надъ всѣмъ царитъ одинъ чванный шовинизмъ, преисполненный дикихъ пристрастій и наглыхъ дифирамбовъ пангерманизма и слѣпого поклоненія грубой, матеріальной силѣ. А Франція,—чему обязана она своимъ тридцатилѣтнимъ рабствомъ подъ гнетомъ искателя приключеній и своимъ постыднымъ паденіемъ въ результатѣ этого рабства, какъ не тому-же національному принципу, служителемъ котораго объявилъ себя Наполеонъ III и ловко умѣлъ время отъ времени подымать различные національные вопросы и отвлекать французскіе умы отъ вопросовъ внутренней политики внѣшними войнами, снискивая себѣ въ то же время популярность и славу защитника угнетенныхъ народностей...

Послужилъ-ли національный принципъ хотя-бы къ тому, чтобы въ международныхъ сношеніяхъ побудить дипломатовъ соблюдать права народностей, если не на самостоятельность, то хотя-бы на выраженіе воли подчиняться тому или другому изъ государствъ, присвоивающихъ себѣ данную страну? Ни чуть не бывало. Подобно тому, какъ при Меттернихѣ и до него кроили и перекраивали Европу во имя идеи политическаго равновѣсія, столь-же произвольно и теперь кроятъ и перекраиваютъ ее во имя національныхъ принциповъ, идей объединенія и округленія. Разница только въ томъ, что прежде полагали при присоединеніи областей къ тому или другому государству, что у населенія нѣтъ надобности спрашивать согласія, такъ какъ народы по существу своему призваны повиноваться государственнымъ людямъ, заботящимся о ихъ благѣ; теперь-же не считаютъ нужнымъ и спрашивать согласія на томъ основаніи, что населенія по существу своему должны тянуть къ родственной національности... И вотъ вслѣдствіе одной войны, ведущейся ради національныхъ принциповъ, присоединяется Ницца къ Франціи, вслѣдствіе другой—Эльзасъ и Лотарингія къ Германіи. Предоставляемъ болѣе тонкимъ и глубокомысленнымъ политикамъ, вродѣ хоть того-же Градовскаго, опредѣлить, чѣмъ отличается прежнее присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи къ Франціи отъ нынѣшняго присоединенія ихъ къ Германіи; мы-же отказываемся находить въ обоихъ фактахъ присоединенія существенную разницу.

II.

Если мы отъ національнаго принципа обратимся къ разнымъ другимъ, которые тоже въ свою очередь и въ свое время стояли во главѣ европейскаго движенія, то и въ ихъ судьбѣ мы увидимъ такое-же превращеніе изъ двигателей прогресса въ тормазы его. Такъ напримѣръ, возьмите хотя-бы дѣятельность первыхъ миссіонеровъ, распространявшихъ христіанство среди полудикихъ германскихъ племенъ. Сколько энтузіазма и самопожертвованія было въ этихъ людяхъ. Изъ цивилизованныхъ городовъ, бросая всѣ удобства жизни и прерывая всѣ кровныя связи, шли они въ лѣсныя трущобы къ дикимъ варварамъ, на холодъ, голодъ, мученія, иногда и вѣрную смерть. Они мечтали, что имъ удастся смягчить грубые нравы, обуздать дикія страсти и внушить дикарямъ принципы любви и гуманности, и воображали они, что ихъ дѣятельность будетъ имѣть результатомъ католическую теократію, которая на цѣлые вѣка наляжетъ тяжелымъ гнетомъ на Европу,—гнетомъ, отъ котораго европейскіе народы не могутъ вполнѣ избавиться и понынѣ?

Но вотъ противъ этого гнета въ XV вѣкѣ возстала европейская мысль, возбужденная знакомствомъ съ идеями древней цивилизаціи и цѣлымъ рядомъ открытій и изобрѣтеній. Началось новое движеніе, исполненное столь-же горячаго энтузіазма. На знамени прогресса были написаны великія слова: свобода совѣсти и право каждому толковать св. писаніе по своему разумѣнію. Все, что̀ было живого въ европейскихъ обществахъ, устремилось за вождями этого движенія, и думали-ли эти вожди, что, эмансипируя Европу отъ авторитета папъ, они ведутъ ее къ порабощенію изсушающимъ умъ и сердце схоластическимъ резонерствомъ пастырей различныхъ реформатскихъ церквей, которые въ концѣ концовъ подадутъ руку свѣтской власти для искорененія всякихъ новыхъ побѣговъ европейской мысли?

А движеніе XVIII вѣка, все это броженіе скептическихъ и гуманныхъ идей, разрѣшившееся общеевропейскимъ взрывомъ, что̀ вышло изъ всего этого? Промышленная анархія на почвѣ безусловнаго индивидуализма и мнимой равноправности, да идеалъ единой, нераздѣльной республики, съ убійственной централизаціей, поддерживаемой штыками. Если республиканцы, вѣрные преданіямъ эпохи якобинцевъ, не являются еще вполнѣ реакціонерами, то благодаря только тому, что Европа и до сихъ поръ не отдѣлалась отъ притязаній феодализма, съ которымъ боролись ихъ отцы въ концѣ прошлаго столѣтія.

Переходя такимъ образомъ отъ одного движенія идей къ другому и видя, что каждая серія идей изъ прогрессивной дѣлается въ концѣ концовъ консервативной и реакціонной, невольно становишься втупикъ и спрашиваешь себя: что-же это за нелѣпая игра и стоитъ-ли послѣ этого къ чему-нибудь стремиться, если исторія осязательно убѣждаетъ тебя, что все кажущееся тебѣ непреложною истиною покажется ложью лѣтъ черезъ 50, а можетъ быть и ранѣе, а прекрасныя убѣжденія твои обратятся въ оружіе жестокихъ преслѣдованій? Гдѣ-же послѣ этого настоящая-то истина, правда, и стоитъ ли послѣ этого жить на землѣ, будучи смѣшной и жалкой игрушкой какой-то безсмысленной исторической коловратности?

Но всѣ подобныя сомнѣнія происходятъ ни отъ чего иного, какъ отъ укоренившейся въ насъ привычки отдѣлять человѣческій родъ отъ всего прочаго животнаго царства непроницаемой стѣной, воображать, что съ появленія человѣка такъ сразу и началось на землѣ царство разума, и вслѣдствіе этого требовать, чтобы вся исторія человѣчества слагалась по непреложнымъ законамъ безусловной разумности.

Если же мы, отрѣшившись отъ этого предразсудка, снимемъ человѣка съ того пьедестала, на который привыкли ставить его, убѣдимся, что человѣкъ, какъ-бы онъ ни возвышался надъ прочими животными своей способностью умственнаго развитія, тѣмъ не менѣе раздѣляетъ съ ними одну долю, подчиняясь не однимъ только идеямъ разума, а различнымъ вѣяніямъ тѣхъ-же самыхъ темныхъ инстинктовъ, какіе руководятъ всѣми животными, если, однимъ словомъ, мы признаемъ, что исторія человѣчества не есть исторія разумныхъ существъ, а только стремящихся сдѣлаться разумными, мы, правда, разочаруемся во многихъ радужныхъ фантазіяхъ, но зато перестанемъ смотрѣть мрачными глазами на всѣ вышеупомянутыя движенія прогресса, увидимъ, что въ каждомъ изъ нихъ есть своя доля истины, правды, и не все со временемъ дѣлается удѣломъ реакціи.

Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое животный инстинктъ и чѣмъ отличается онъ отъ разума? Было время, когда ему приписывали чудеса и ставили его даже выше человѣческаго разума, видя въ немъ частицу божественнаго предусмотрѣнія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ рушилась вѣра въ цѣлесообразность явленій природы, исчезла и вѣра въ чудодѣйственность инстинкта. Онъ оказался ничѣмъ инымъ, какъ рядомъ инертныхъ привычекъ, образовавшихся путемъ ассоціацій впечатлѣній и часто повторявшихся рефлекторныхъ движеній. Въ такомъ видѣ инстинктъ является не только ни чѣмъ либо противоположнымъ разуму,—это тотъ же разумъ, но или находящійся въ зачаточномъ состояніи, не дошедшій еще до самосознанія и способности критически относиться къ явленіямъ внѣшняго міра и своимъ собственнымъ отправленіямъ, или же, напротивъ того, разумъ, утратившій самосознаніе, омертвѣвшій, если можно такъ выразиться. Мы просимъ читателей обратить особенное вниманіе на этотъ двоякій характеръ инстинкта, такъ какъ это обстоятельство будетъ играть не малую роль въ нашихъ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ. Дѣло въ томъ, что инстинктъ не всегда предшествуетъ разуму, иногда онъ слѣдуетъ за нимъ, и это мы видимъ во многихъ проявленіяхъ инстинкта уже въ различныхъ низшихъ классахъ животныхъ. Это обстоятельство и обманывало людей, заставляя ихъ видѣть разумную цѣлесообразность тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ является одна механическая инерція наслѣдственной привычки, періодически повторяющаяся не только безъ всякой цѣли и смысла, но иногда и во вредъ животнаго. Такъ напримѣръ, возьмите вы хотя бы привычку кошки зарывать свой пометъ въ землю. Очень можетъ быть, что при образованіи этой привычки кошкой руководили какія нибудь разумныя основанія; но, разъ образовалась эта привычка, она дѣйствуетъ съ безсознательной машинальной аккуратностью махового колеса паровой мельницы, которое, разъ заведенное, будетъ вертѣться, хотя бы и не было подъ жерновомъ ни крупинки муки. Такъ и кошка, находясь въ компатѣ, при видѣ своего помета, непремѣнно поскребетъ полъ задними лапками, нисколько не отдавая себѣ отчета въ томъ, что въ этомъ случаѣ подобное дѣйствіе лишено всякой цѣлесообразности. А что̀ можетъ быть разумнѣе привычки бѣлки сохранять запасъ провизіи на зиму, но, разъ сложившаяся, эта привычка въ свою очередь теряетъ всякую разумность и обращается въ такой же машинальный и безсмысленный обычай, и мы видимъ, что прирученная бѣлка продолжаетъ прятать гдѣ нибудь въ уголку дома свой зимній запасъ, нисколько не обращая вниманія на то, что сожительство съ людьми обезпечиваетъ ея продовольствіе и безъ этихъ сбереженій. Точно также наконецъ и овцы, привыкшія не безъ разумныхъ основаній слѣдовать за вожакомъ, доводятъ эту привычку до такой машинальности, что бросаются за своимъ вожакомъ и въ пропасть, въ случаѣ неудачнаго скачка съ его стороны.

Совершенно подобныя же проявленія машинальнаго, безсмысленнаго инстинкта мы можемъ встрѣтить на каждомъ шагу въ жизни человѣка и во всемірной исторіи. Мы не будемъ много распространяться о массѣ всякаго рода повседневныхъ обычаевъ и приличій, опутывающихъ нашу жизнь и своей машинальностью прямо относящихся къ инертнымъ привычкамъ инстинкта. Таковы, напримѣръ, суевѣрія, изъ которыхъ многія имѣютъ свое историческое происхожденіе, показывающее, что не всегда они были столь безсмысленны, какъ въ наше время. Такъ напримѣръ, когда простолюдинъ при встрѣчѣ съ попомъ спѣшитъ свернуть въ сторону, при этомъ ему и въ голову не приходитъ, что онъ машинально повторяетъ привычку своего предка-язычника, который имѣлъ свои разумныя основанія свертывать съ дороги при встрѣчѣ съ христіанскимъ священникомъ, опасаясь гнѣва языческихъ боговъ. Проявленія безотчетныхъ инстинктивныхъ и часто вполнѣ рефлекторныхъ движеній мы можемъ встрѣтить и въ болѣе крупныхъ историческихъ явленіяхъ, чѣмъ приметы, суевѣрія и мелкіе обычаи захолустій. Петръ Великій напримѣръ сознательно брилъ бороды боярамъ, желая сдѣлать ихъ европейцами хотя бы по одной внѣшности, но послѣ него обычай запрещенія носить бороды привилегированнымъ классамъ обратился въ мертвый формализмъ, дошедшій до такого отсутствія всякой осмысленности, что бороды не смѣли носить люди, съ ногъ до головы уже оевропеившіеся, и когда никому и въ голову не приходило соединять съ ношеніемъ бородъ какихъ-либо старовѣрческихъ наклонностей. А графъ Шамборъ? Не верхъ ли нелѣпости, что вопросъ быть или не быть королемъ соединяется въ его мозгу неразрывно съ вопросомъ, будутъ или не будутъ на французскихъ знаменахъ нарисованы излюбленные цвѣточки. Какая можетъ быть разумная связь между тѣми или другими общественными принципами и тряпками, развѣвающимися на башняхъ. Это проявленіе самаго слѣпого инстинкта человѣка, до такой степени привязавшагося къ символу извѣстной идеи, что онъ потерялъ возможность представлять себѣ эту идею безъ символа и готовъ даже пожертвовать ради символа самой идеей. Но да не подумаетъ читатель, что подобный абсурдъ составляетъ особенность одного графа Шамбора. Смѣшеніе идеи съ мертвой формой, съ которой иногда совершенно случайно соединяется идея, составляетъ одно изъ самыхъ существенныхъ историческихъ явленій въ жизни всѣхъ народовъ; отъ этого не изъяты даже люди, стоящіе впереди вѣка. Возьмите напримѣръ такой фактъ, какъ низверженіе вандомской колонны. Что такое въ сущности этотъ фактъ, какъ не ребяческій гнѣвъ разумныхъ существъ противъ неодушевленнаго куска гранита, которому рѣшительно все-равно, стоять или лежать на Вандомской площади. Разсуждая по простому здравому смыслу, казалось бы такъ очевидно, что тѣ или другіе памятники, представителями какихъ бы вредныхъ идей они ни были, сами по себѣ не могутъ принести никакого вреда, если мы постараемся искоренить вредныя идеи изъ самой жизни. Протекутъ вѣка и памятники останутся въ глазахъ толпы ничѣмъ инымъ, какъ свидѣтелями прожитаго и будутъ только оживлять своимъ присутствіемъ историческія воспоминанія. Не смѣшно ли тратить время и силы на разрушеніе бездушныхъ столбовъ, въ то время, какъ то зло, представителями котораго эти столбы являются, продолжаетъ господствовать во всѣхъ отношеніяхъ жизни? Или ужъ если такъ необходимо выражать свой гнѣвъ на бездушныхъ камняхъ, то почему же не начать дѣло разоренія съ египетскихъ пирамидъ и колизея, которые остаются передъ нами памятниками тоже не богъ вѣсть какихъ доблестей человѣчества? Но какъ вы тамъ ни разсуждайте, сидя въ своемъ кабинетѣ, а вотъ нашлись-таки люди, взяли да и повалили вандомскую колонну. И замѣтьте притомъ, что подобный поступокъ не есть дѣло минутнаго увлеченія. Онъ былъ совершенъ не внезапно, впопыхахъ, какъ обыкновенно народъ въ дни возстаній срываетъ гербы и флаги. Это дѣло было совершено систематически: взялся за него одинъ изъ лучшихъ архитекторовъ Парижа и совершилъ его хладнокровно, по всѣмъ правиламъ искусства, принявши всѣ мѣры, чтобы колонна своимъ паденіемъ не повредила окружающихъ зданій. Однимъ словомъ, какъ будто дѣло шло здѣсь о чемъ-либо весьма цѣлесообразномъ и имѣющемъ важные результаты для исторіи страны или для Парижа.

Именно это-то смѣшеніе идеи съ формой и наклонность привязываться къ формѣ болѣе, чѣмъ къ идеѣ, происходящая по всей вѣроятности отъ той причины, что идея отвлеченна, а форма осязательна, мы видимъ во всѣхъ вышеупомянутыхъ міровыхъ историческихъ движеніяхъ. Каждое движеніе въ началѣ своемъ бываетъ весьма разумно и цѣлесообразно и приноситъ міру рядъ идей, истинность которыхъ несомнѣнна и которыя и не думаютъ отживать вмѣстѣ съ своимъ вѣкомъ, а, напротивъ того, продолжаютъ существовать въ умахъ лучшихъ людей во всѣ послѣдующіе вѣка. Такъ напримѣръ, развѣ умерли тѣ идеи гуманности, любви ближняго паче себя, которыя принесли христіанскіе миссіонеры дикарямъ германскихъ лѣсовъ? А идеи свободы совѣсти или права ума самостоятельно разсуждать, не ограничиваясь однимъ слѣпымъ повиновеніемъ высшимъ авторитетамъ, а идеи равенства передъ закономъ, народнаго самовластія,— развѣ всѣ эти идеи оказались впослѣдствіи вредными и ложными и были отвергнуты передовыми мыслителями позднѣйшихъ вѣковъ? Ничуть не бывало: онѣ и понынѣ считаются лучшимъ достояніемъ человѣчества и между собой живутъ вполнѣ дружно, нисколько не отрицая одна другую, позднѣйшая— старѣйшую, и составляя одну стройную систему, поддерживая и дополняя одна другую. Нѣтъ, не идеи низводили прогрессивныя движенія на почву реакціи, а именно тѣ условныя историческія формы, въ которыхъ эти идеи проявлялись. Мы видимъ, что при каждомъ движеніи выдвигалась впередъ какая-либо форма, которая, цѣпляясь за передовыя идеи, изъявляла претензію составлять съ ними нѣчто одно, нераздѣльное. Люди до такой степени привыкли соединять свои любимыя идеи съ этой формой, что привычка и привязанность къ формѣ, возрастая все болѣе и болѣе, доходили наконецъ до того, что за формой забывались и самыя идеи. Тогда-то и кончалась всякая разумность и цѣлесо-

образность, а начинались дѣйствія слѣпого инстинкта въ видѣ машинальнаго исполненія привычныхъ формъ и стремленія сохранить ихъ во что бы то ни стало, хотя бы подобное сохраненіе не только не имѣло ничего общаго съ идеями, но шло вполнѣ въ разрѣзъ съ ними. Подобное низведеніе разумнаго движенія идей на степень слѣпого инстинкта мы дѣйствительно видимъ въ каждомъ изъ разсматриваемыхъ нами историческихъ моментовъ. Въ началѣ среднихъ вѣковъ формой, изъявившей претензію составлять сосудъ для идей христіанскихъ миссіонеровъ, послужила католическая церковь, и до такой степени эта форма впослѣдствіи смѣшалась съ христіанскими идеями, что людямъ начало казаться, что для спасенія достаточно принадлежать къ католической церкви и исполнять ея обряды, а о проведеніи самихъ идей въ жизнь перестали и помышлять, и даже начали поступать совершенно вопреки ихъ, когда ради сохраненія излюбленной формы начали воздвигать кровавыя войны и костры инквизиціи. Въ XVI вѣкѣ такой формой явились различныя реформатскія церкви, которыя въ свою очередь, поставивши на своемъ знамени свободу совѣсти и разума, забыли впослѣдствіи о своихъ основныхъ принципахъ и, когда свобода критики коснулась ихъ самихъ, начали дѣйствовать въ союзѣ со свѣтской властью противъ идей, которыя сами же нѣкогда воздвигли. Гуманныя и скептическія идеи XVIII вѣка прилѣпились въ глазахъ вѣрныхъ преданіямъ первой революціи къ идеалу единой, нераздѣльной, централизованной республики, и въ свою очередь, разъ эта форма восторжествуетъ и утвердится хотя бы во Франціи, приверженцы ея всегда будутъ готовы воздвигнуть гоненія, весьма не гуманныя, противъ каждаго противника подобной формы.

III.

Національный принципъ, составляющій предметъ нашихъ разсужденій, въ свою очередь не избѣгъ той же участи перехода изъ сферы разумности въ сферу слѣпыхъ инстинктовъ бездушнаго формализма. Въ основѣ этого вопроса лежитъ идея вполнѣ разумная, несомнѣнно истинная и явившаяся не случайно, не свалившаяся съ неба такъ, вдругъ, ни съ того ни съ сего, а вынесенная изъ горькаго опыта жизни. Чтобы понять весь смыслъ этой идеи и всю ея важность, надо обратить вниманіе на то, что какъ гуверналисты дореволюціонной эпохи, такъ и раціоналисты эпохи революціи вполнѣ игнорировали фактъ существованія различныхъ народностей. Гуверналисты, вѣрные феодальнымъ понятіямъ и преданіямъ, всѣ государственные вопросы сводили къ вопросамъ о владѣніи землей, люди же, населявшіе землю, по ихъ понятіямъ, составляли нѣчто одно нераздѣльное съ землями и имѣли въ ихъ глазахъ значеніе, нисколько не большее, чѣмъ лѣса или луга, т. е. разсматривались исключительно только, какъ статьи дохода. Очевидно, что вопросы о народныхъ интересахъ не могли имѣть здѣсь и мѣста, потому что не все ли было равно для феодальнаго владыки, какіе бы народы ни населяли различныя части государственной территоріи, лишь бы только эти народы исправно платили подати и поставляли рекрутовъ въ государственную армію?

Естественно, что при такихъ воззрѣніяхъ единственными вопросами международной политики могли быть вопросы о правахъ на владѣніе тѣми или другими землями различныхъ государствъ, и не столько даже государствъ, сколько ихъ представителей, такъ что уничтоженіе какого-либо государства и присоединеніе его территоріи къ другому представлялось въ глазахъ государственныхъ людей не потерей завоеваннымъ народомъ свободы, а просто экспропріаціей бывшаго владѣтеля.

Раціоналисты XVIII вѣка возстали противъ всѣхъ этихъ порядковъ, основанныхъ на феодальныхъ преданіяхъ. Въ основѣ своихъ ученій они поставили тотъ всѣмъ извѣстный принципъ новаго времени, что не люди существуютъ для государства, а государство — для людей. Основываясь на этомъ принципѣ, они начали создавать à priori планы такихъ государственныхъ устройствъ, которыя, будучи основаны на разумныхъ началахъ, служили бы къ наибольшему счастью и благополучію. Въ теоріи всѣ эти планы были прекрасны, основывались на истинно гуманныхъ идеяхъ свободы и равноправности, но, когда пришлось осуществлять ихъ на дѣлѣ, въ дѣйствительности раціоналисты встрѣтили не тѣхъ апріорныхъ людей, которые въ ихъ фантазіи стремились къ братству и единенію въ духѣ свободы и любви, а рядъ народностей, находящихся на различныхъ ступеняхъ культуры, имѣющихъ каждая свои дорогія историческія воспоминанія, свои освященные вѣками обычаи и формы жизни, наконецъ свои симпатіи и антипатіи. Однимъ словомъ, въ дѣйствительности раціоналисты встрѣтились не съ разумными существами, готовыми слѣдовать законамъ разума, а съ стадными животными, слѣпо повинующимися различнымъ вѣяніямъ инстинкта. Еслибы раціоналисты были чистые мыслители, то они конечно остановились бы передъ такой дѣйствительностью и ограничились бы тѣмъ, что сказали бы людямъ: вотъ вамъ рядъ идей, способныхъ осчастливить васъ и сдѣлать настоящими людьми. Способны вы принять эти идеи и слѣдовать имъ — ваше счастіе, а нѣтъ — вините себя, мы все-таки будемъ дѣлать свое дѣло и проповѣдывать вамъ наши идеи, авось, вы когда-нибудь и прозрѣете. Но раціоналисты не могли ограничиться этимъ, потому что они были людьми не однихъ словъ, но и дѣла. Они до такой степени вѣрили въ силу и спасительность своихъ идей, что имъ казалось, что и насильно навязанныя, эти идеи должны принести свою пользу. И вотъ начались всевозможныя попытки раціональныхъ реформъ сверху, которыми сначала занимались философствующіе правители вродѣ Фридриха Великаго, Екатерины и Іосифа II, а потомъ всѣ эти частныя попытки смѣнились однимъ колоссально-безумнымъ опытомъ Наполеона — разрушить силой меча всѣ національныя перегородки, слить всѣ европейскіе народы подъ одинъ скипетръ и водворить въ нихъ національныя учрежденія, выработанныя французской революціей. Національный принципъ былъ прямымъ логическимъ выводомъ изъ всѣхъ этихъ неудачныхъ попытокъ къ насильственному водворенію на землѣ царства разума.

Попытки эти показали людямъ, что, какъ ни прекрасны могутъ быть тѣ или другія учрежденія въ теоріи, въ дѣйствительности они могутъ осуществиться только тогда, когда они свободно и естественно развиваются въ жизни народа. Необходимо поэтому, чтобы народъ дорось до нихъ, понялъ ихъ, захотѣлъ ихъ. Все-же искусственно навязываемое народу, помимо его желанія, не только не приноситъ ему пользы, но причиняетъ неизгладимый вредъ потому, что парализуетъ свободное и естественное развитіе народной культуры, обращая народъ изъ живого существа въ мертвый матеріалъ, изъ котораго можно будто-бы вылѣпить какую угодно форму по нашему личному произволу. Въ результатѣ выходитъ тотъ выводъ, что каждая народность имѣетъ право на свободное, самобытное развитіе, и всякое насиліе надъ ней не только ради своекорыстнаго господства, но и съ самыми благодѣтельными цѣлями терпимо быть не можетъ. Вотъ основаніе національнаго принципа. Я полагаю, что каждый здравомыслящій человѣкъ согласится съ истинностью подобнаго основанія и не найдетъ въ немъ ничего такого, что́-бы впослѣдствіи могло сдѣлаться регрессивнымъ и реакціоннымъ, подобно тому, какъ не можетъ быть ничего реакціоннаго въ христіанскихъ идеяхъ любви и гуманности, въ реформаціонныхъ идеяхъ свободы совѣсти и разума, въ скептическихъ идеяхъ XVIII вѣка. Защищая право каждаго народа на свободное и самостоятельное развитіе, національный принципъ, взятый въ своемъ чистомъ видѣ, и не думаетъ навязывать народамъ тѣ или другія стремленія, такое развитіе, а не другое, предполагать напримѣръ, что каждая народность непремѣнно должна стремиться къ единству, къ созданію своихъ особенныхъ, самобытныхъ государственныхъ формъ и пр., и съ другой стороны отвергать возможность раздробленія народа на нѣсколько государствъ или соединеніе нѣсколькихъ народностей въ одно государство. Для національнаго принципа важно только, чтобы надъ народомъ не производилось никакого насилія и воля его свято соблюдалась. Что-же касается характера народныхъ желаній, то, какъ-бы они ни были противуположны, народный принципъ долженъ относиться къ нимъ съ одинаковымъ уваженіемъ. И дѣйствительно мы можемъ предположить себѣ рядъ проявленій народныхъ стремленій, діаметрально противоположныхъ другъ другу,—и всѣмъ имъ одинаково долженъ сочувствовать національный принципъ. Является напримѣръ народность, находящаяся въ раздробленномъ состояніи, желающая соединиться въ одно цѣлое. Такова была Италія въ недавнее время. Конечно національный принципъ долженъ принять такое стремленіе подъ свое покровительство и вооружиться всѣми своими силами противу людей, желающихъ насильственно сохранить раздробленіе народности изъ какихъ-нибудь своекорыстныхъ видовъ или теорій политическаго равновѣсія. Но вотъ мы видимъ другую народность—напримѣръ Англію, стремящуюся къ раздробленію; мы видимъ, что одна огромная часть, въ видѣ Америки, отвалилась уже отъ своей метрополіи. Не сегодня-завтра то же сдѣлается съ Индіей или англійскими владѣніями въ Австраліи. Національный принципъ долженъ и такое стремленіе взять подъ свое покровительство въ виду людей, которые насильственно старались-бы сохранить единство народа ради государственной цѣлости. Отторгнутая завоеваніемъ провинція съ отвращеніемъ переноситъ чужеземное иго и тянетъ къ единоплеменному государству. Нужно ли и говорить о томъ, какъ долженъ отнестись къ этому національный принципъ? Но вотъ происходитъ нѣчто совершенно противоположное: отторгнутая провинція, вродѣ напримѣръ Эльзаса и Лотарингіи, такъ сжилась съ своими завоевателями, что совершенно приросла къ нимъ, особенно послѣ того, какъ успѣла много кое-чего пережить съ ними общаго. И вдругъ сосѣдняя народность, которой нѣкогда принадлежала эта провинція, снова возвращаетъ ее себѣ на томъ основаніи, что населеніе этой провинціи одного съ ней племени, между тѣмъ какъ населеніе возвращенной провинціи не хочетъ и знать своихъ земляковъ и продолжаетъ тянуть къ своимъ прежнимъ завоевателямъ. Неужели же національный принципъ долженъ одобрить это насильственное присоединеніе провинціи ради теоріи народнаго единства? Нѣтъ, онъ долженъ не забывать, что единственное истинное основаніе его—есть отрицаніе всякаго насилія надъ цѣлымъ народомъ или хотя бы частію его, и онъ въ свою очередь долженъ стать на сторону провинціи, не желающей присоединенія, и объявить, что единство, созданное насильственнымъ путемъ, вовсе не есть единство. Нѣсколько народовъ насильственно связываются въ одно государство подъ верховной властью, совершенно всѣмъ имъ чуждой. Примѣръ такого государства представляетъ Австрія. Нужно-ли опять-таки говорить о томъ, какъ долженъ отнестись къ этому факту національный принципъ? Но можетъ случиться и такъ, что нѣсколько народностей пожелаютъ составить одно государство или можетъ быть онѣ давно уже составили и отлично ужились между собой. Европа можетъ представить намъ и такой примѣръ въ видѣ Швейцаріи, въ которой дѣйствительно подъ одной государственной формой вотъ уже нѣсколько вѣковъ существуютъ три народности: французская, нѣмецкая и итальянская. Представьте-же себѣ, что вдругъ Франція, Италія и одна изъ нѣмецкихъ державъ вздумали бы составить между собой союзъ съ цѣлью раздѣленія Швейцаріи, ради объединенія народностей каждой изъ союзныхъ державъ. Чью-бы сторону долженъ здѣсь принять національный принципъ: сторону ли державъ, выступившихъ приверженцами національнаго объединенія, или швейцарцевъ, желающихъ составлять одно государство, несмотря на различіе народностей, входящихъ въ него? Очевидно сторону швейцарцевъ. Онъ долженъ былъ-бы напомнить приверженцамъ объединенія, что подобно тому, какъ иностранецъ, съ которымъ мы прожили десять лѣтъ въ одной комнатѣ душа въ душу, дѣлается для насъ въ неизмѣримо большей степени роднымъ, чѣмъ тотъ кровный родственникъ, съ которымъ мы никогда въ жизни не видались, такъ и для гражданъ Берна гораздо роднѣе граждане Женевы, чѣмъ граждане Вѣны или Берлина. Много значитъ прожить съ кѣмъ-нибудь долгое время подъ одними впечатлѣніями жизни, и въ этомъ отношеніи

доктрина народнаго объединенія является мертвой, абстрактной теоріей, идущей въ разрѣзъ со всѣми народными симпатіями и влеченіями, и національный принципъ долженъ воспротивиться всѣми своими силами противъ такого насилія.

Наконецъ представимъ себѣ, что во главѣ народа стоитъ правительство, состоящее изъ людей, сильно увлеченныхъ культурными формами какой-нибудь чуждой національности и желающихъ во что-бы то ни стало пересадить эти формы на почву своего народа. Между тѣмъ массы народа, дорожа своей собственной культурой, вовсе этого не желаютъ и относятся къ реформамъ враждебно. И какъ-бы пересаживаемыя культурныя формы ни были выше народныхъ, національный принципъ непремѣнно долженъ возстать противъ такой пересадки, именно во имя того, что ничто насильно навязанное народу не можетъ пустить въ немъ глубокихъ корней и не можетъ принести ему никакой пользы, а, напротивъ того, только извращаетъ его понятія, пріучая его, вслѣдствіе инстинктивной оппозиціи противъ насилія, съ отвращеніемъ относиться къ такимъ предметамъ, которые сами по себѣ должны-бы были внушать, напротивъ того, сочувствіе и могли-бы принести бездну блага. Но мы можемъ представить себѣ и совершенно обратный случай: народъ всей массой увлекается формами чуждой культуры и желаетъ пересадить эти формы на свою почву. Во главѣ же его стоятъ люди, держащіеся такого мнѣнія, что народъ долженъ, во что-бы то ни стало, сохранять свои народныя культурныя формы и отнюдь не перенимать чужихъ, и люди эти начинаютъ употреблять всѣ усилія, чтобы удержать народъ отъ подражанія чуждымъ ему формамъ. Долженъ-ли національный принципъ встать на сторону подобныхъ консерваторовъ? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. И въ этомъ случаѣ, какъ во всѣхъ предыдущихъ, для него должна быть дорога народная воля и онъ долженъ заявить людямъ, желающимъ идти противъ этой воли: да, неестественно навязывать народу насильно формы чуждой ему культуры, но столь же неестественно и насильно стараться удерживать въ народѣ его старыя формы. Желаніе, созрѣвшее въ массахъ народа относительно принятія какой-нибудь чуждой культурной формы, должно считать столь естественнымъ и нормальнымъ, какъ если бы эта чуждая форма была создана самимъ народомъ: чего народъ желаетъ, то значитъ ему не чуждо, то значитъ народно и должно ему принадлежать неотъемлемо.

Я прошу читателя извинить меня, если я надоѣлъ ему рядомъ своихъ антитезъ. Но я желалъ ими вполнѣ исчерпать всевозможныя отношенія къ различнымъ явленіямъ жизни національнаго принципа, взятаго въ его чистомъ видѣ. И мы видимъ изъ этого ряда антитезъ, что національный принципъ самъ по себѣ не имѣетъ ничего общаго съ теоріей народнаго единства, требующаго, чтобы каждый народъ составлялъ непремѣнно одно, особенное государственное цѣлое и чтобы отнюдь нѣсколько народовъ не могли сливаться въ одно государство или, наоборотъ, одинъ народъ раздробляться на нѣсколько государствъ; не имѣетъ ничего общаго и съ доктринами народной исключительности, требующей, чтобы народъ свято сохранялъ всѣ свои культурныя формы и въ принятіи каждой чуждой формы видѣлъ гибель.

IV.

Но мы уже говорили, что національный принципъ, какъ и всѣ прочіе предшествовавшіе ему великіе историческіе принципы, не могъ удержаться въ своемъ чистомъ видѣ и въ свою очередь перешелъ впослѣдствіи на почву мертваго формализма. Этому помогли тѣ же историческія обстоятельства, которыя и вызвали его. Истинному пониманію принципа въ его чистомъ видѣ очень часто мѣшаютъ тѣ вполнѣ естественныя, но тѣмъ не менѣе инстинктивныя и лишенныя всякой осмысленности реакціи въ противоположную сторону, которыя слѣдуютъ за всякимъ увлеченіемъ и которыя Градовскій, слѣдуя гегелевской терминологіи, называетъ инобытіемъ. Съ одной стороны гуверналисты и раціоналисты до такой степени пренебрегали народными интересами, считая народы ничѣмъ инымъ, какъ какимъ-то мертвымъ матеріаломъ, для осуществленія своихъ своекорыстныхъ и абстрактныхъ цѣлей, и такъ произвольно позволяли себѣ дѣлить и соединять ихъ, что вызвали противоположную крайность, въ силу чего приверженцы національнаго принципа не могли остановиться на одномъ только отрицаніи какихъ-бы то ни было насилій надъ волей народовъ, а начали воображать, что народы по самому существу своему внутренно нераздѣлимы и внѣшне несоединимы, что ужъ такъ положено самой природой, чтобы человѣчество раздѣлялось на отдѣльныя народныя группы, причемъ каждая народная группа должна непремѣнно составлять особенное, независимое цѣлое, потому что она есть особенный живой организмъ; мечтать же изъ двухъ-трехъ организмовъ составить искусственно одинъ столь же нелѣпо, какъ и, наоборотъ, расчленять организмъ на части, мечтая изъ каждой части создать особенное живое существо. Съ другой стороны надо вспомнить, что въ XVIII в. всѣ европейскіе народы были увлечены французской цивилизаціей. Это увлеченіе, какъ извѣстно, не ограничивалось однѣми идеями, распространявшимися французскими мыслителями, а доходило до крайностей, лишенныхъ всякой осмысленности и стоявшихъ вполнѣ на почвѣ рефлективныхъ движеній подражательности. Перенимали изъ Франціи все, что только бросалось въ глаза: костюмы, убранство комнатъ, архитектуру домовъ и садовъ; старались и говорить, и ходить, и писать, какъ французы, и также развратничать, какъ развратничали въ Версали. Эта крайность вызвала противоположную крайность, столь-же слѣпую и неосмысленную. Послѣ наполеоновскихъ войнъ всѣ ударились въ квасной патріотизмъ, начали прославлять народные обычаи и нравы, возводить въ идеалъ различныя народныя качества иногда самаго неидеальнаго свойства и отрицать полезность перенесенія съ почвы одной народности на почву другой какихъ-бы то ни было культурныхъ формъ. Подобному увлеченію ревностно вторила метафизическая философія, выступившая со своей извѣстной теоріей, заключающейся въ томъ, что каждая народность есть выразительница одной какой-нибудь стороны без-

условной идеи и поэтому должна развиваться совершенно самостоятельно; увлеченіе же какими-нибудь культурными формами чуждой цивилизаціи можетъ повести только къ тому, что народность, потерявши свою индивидуальную особенность, обезличится и утратитъ всякое историческое значеніе. На почвѣ такихъ ученій и развились различныя германофильства, славянофильства и пр. Такимъ образомъ національный принципъ и вступилъ на почву мертваго формализма. Вмѣсто того чтобы ограничиваться одной защитой свободныхъ проявленій народной воли и отрицаніемъ какихъ-бы то ни было насилій надъ народами, онъ началъ самъ навязывать народу рядъ стремленій, выведенныхъ à priori изъ различныхъ метафизическихъ началъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ предписывать народамъ предвзятыя формы жизни. Требованіе, чтобы народность, непремѣнно объединенная, непремѣнно была нераздѣльно связана государственными формами, созданными опять-таки непремѣнно ею самой,— сдѣлалось благочестивымъ желаніемъ націоналистовъ. Въ эти узкія рамки они начали стремиться втиснуть всю историческую жизнь европейскихъ народовъ, отрицая внѣ этихъ рамокъ возможность какого-бы то ни было движенія жизни. Но вѣдь это величайшее насиліе, какое только можно себѣ представить. Чтожъ, такъ оно и должно быть: каждый принципъ, переходя на почву формализма, приходитъ къ отрицанію тѣхъ самыхъ идей, какія положены въ его основаніе. Къ этому же пришелъ и національный принципъ: отъ отрицанія насилія онъ самъ неминуемо долженъ былъ обратиться къ насиліямъ, разъ онъ создалъ себѣ фетиша, поклоненіе которому сдѣлалъ всеобщей обязанностью. Пока подобный формализмъ стоялъ еще на почвѣ отвлеченныхъ теорій кабинетныхъ мыслителей вродѣ нашихъ славянофиловъ 40-хъ годовъ, можно было и не замѣтить противорѣчія между ними и чистыми основаніями національнаго принципа. Можно было думать, что націоналисты-формалисты ограничатся пропагандой своихъ утопій, но въ то-же время, во имя основныхъ началъ своего принципа, никогда не покусятся силой провести эти утопіи въ жизнь, въ случаѣ если жизнь, не послушавшись, будетъ идти своей дорогой. Но когда національный формализмъ началъ переходить въ Европѣ отъ слова къ дѣлу, когда онъ проникъ въ сферу международной и внутренней политики, тогда и обнаружилось, что въ дѣйствительности онъ иначе не можетъ быть проведенъ, какъ путемъ цѣлаго ряда самыхъ грубыхъ и убійственныхъ насилій. Германское объединеніе показываетъ намъ наглядно, каковы первые шаги національнаго формализма въ жизни. Но это только цвѣточки, а ягодки будутъ впереди, и мы не знаемъ еще, сколько крови будетъ пролито, сколько будетъ совершено ужасныхъ насилій и попрано самыхъ естественныхъ народныхъ стремленій.

V.

У насъ не существуетъ еще такой національной партіи, какъ въ Пруссіи, гдѣ эта партія строго организована, имѣетъ опредѣленную, признаваемую всѣми членами программу дѣйствій и стоитъ во главѣ правленія, являясь въ настоящее время побѣдительницей всѣхъ другихъ партій общества. У насъ существуютъ только разрозненные славянофильскіе кружки, идеи которыхъ и до сихъ поръ находятся въ состояніи хаотическаго броженія въ области чистой мысли, безъ малѣйшей возможности перейти къ какимъ либо дѣйствіямъ. Въ 40-е же годы славянофильскія идеи находились еще въ большемъ хаосѣ и, стоя на почвѣ метафизическихъ теорій, еще менѣе имѣли соприкосновеній съ дѣйствительностью, будучи ничѣмъ болѣе, какъ отвлеченными мечтаніями кабинетныхъ людей. До какой степени неопредѣленно и, если можно такъ выразиться, безформенно было славянофильство, это мы можемъ судить по тому, что подъ знамена славянофильскія ставились не одни только чистые славянофилы, вродѣ Кирѣевскихъ, Хомякова, К. Аксакова,—не одни люди, проповѣдующіе гніеніе Запада и искавшіе идеаловъ для будущей общечеловѣческой цивилизаціи въ славянскомъ мірѣ, но и такіе поборники кваснаго и оффиціальнаго патріотизма, какъ Погодинъ. Къ славянофильству же причисляли себя и различные археологи по славянскимъ древностямъ, занимавшіеся своими изысканіями ради одной страсти къ разрываніе архивовъ и которые въ вопросѣ о томъ, къ какому вѣку относится языкъ краледворской рукописи, видѣли альфу и омегу всѣхъ славянскихъ вопросовъ, такъ что на помыслы о будущихъ судьбахъ славянства у нихъ не было ни времени, ни охоты. Сюда же шли и мистики всякаго рода, вродѣ Гоголя, по той простой причинѣ, что они находили много сочувственнаго въ томъ положеніи славянофильскаго ученія, что оскудѣніе вѣры и развитіе скептицизма есть одинъ изъ признаковъ гніенія Запада, хотя у подобныхъ мистиковъ только и общаго было съ славянофилами, что этотъ единственный пунктъ. Находясь въ состояніи такого безформеннаго хаоса, славянофильство только и проявляло свою дѣятельность, что туманно-философскими разсужденіями о гніеніи Запада и о переходѣ общечеловѣческой цивилизаціи на славянскую почву, богословскими трактатами о преимуществѣ православной церкви передъ всѣми западными церквами, историческими изысканіями, съ цѣлью доказательства преимущества различныхъ культурныхъ формъ славянскаго быта, да собираніемъ памятниковъ народной поэзіи. Такимъ образомъ славянофилы были вполнѣ безобидными мечтателями. Никто и не воображалъ, чтобы когда-нибудь хотя малая часть ихъ простодушныхъ мечтаній могла быть осуществлена. Всѣ ихъ невинныя крайности не возбуждали ничего болѣе, кромѣ столь же невиннаго смѣха, который переходилъ къ негодованіе тогда только, когда какой либо слишкомъ расходившійся славянофилъ обзывалъ въ жару полемики измѣнниками отечества тѣхъ изъ своихъ враговъ, на которыхъ и безъ того уже косились въ высшихъ сферахъ.

Но въ началѣ 60 годовъ изъ безформенной массы славянофильства начала выдѣляться особенная фракція людей, которые, выражая сочувствіе чистымъ славянофиламъ, раздѣляя многія ихъ идеи, тѣмъ не менѣе говорили, что они вовсе не славянофилы и не раздѣляютъ многихъ ихъ крайностей. Люди эти были

названы почвенниками, потому что въ органахъ своихъ («Время», «Эпоха», «Заря») они все толковали о народной почвѣ и на каждое явленіе жизни смотрѣли съ той точки зрѣнія, что имѣетъ-ли оно народную почву подъ ногами, или не имѣетъ. Было у нихъ еще и другое сатирическое названіе «стрижей», данное имъ вслѣдствіе крайней безобидности иневинности ихъ робкихъ воркованій о почвѣ. Но какъ ни туманны и неопредѣленны, какъ ни робки и безобидны были всѣ эти стрижиныя воркованія, они не были сами по себѣ столь маловажны, какими казались въ то время. Это былъ первый, хотя и колеблющійся, нерѣшительный, но тѣмъ не менѣе новый шагъ перевести славянофильство изъ его заоблачныхъ метафизическихъ высей на почву дѣйствительности, очистить его отъ всего того, что представлялось слишкомъ утопичнымъ и несбыточнымъ въ славянофильскомъ ученіи или что слишкомъ уже шло въ разрѣзъ со всеобщими требованіями, и путемъ уступокъ сблизить славянофильскія идеи съ общественнымъ движеніемъ. Все это дѣлалось крайне неумѣло вслѣдствіе того, что во главѣ этой новой славянофильской фракціи стояли люди, не отличающіеся особенной даровитостью и не вполнѣ опредѣлившіе тотъ путь, на который они выступили, и потому они постоянно сбивались съ него то въ сферы чистаго славянофильства, то на почву реакціонной публицистики въ духѣ Каткова, то удалялись вдругъ въ чисто-литературные вопросы, видѣли особенную важность въ опредѣленіи, на сколько можно считать народными писателями Пушкина или Островскаго,—вопросы, на которые конечно не обратилъ бы и вниманія маломальски талантливый публицистъ, неуклонно стремящійся къ своей цѣли. Такъ шли дѣла до начала изданія въ Москвѣ «Бесѣды». Въ этомъ органѣ новое направленіе славянофильства наконецъ выяснилось и опредѣлилось на столько, что о немъ можно сдѣлалось говорить, какъ о дѣйствительно новомъ направленіи. Чистые славянофилы, вѣрные преданіямъ эпохи Хомякова и Кирѣевскихъ, сколько мы слышали, отзывались о «Бесѣдѣ» не совсѣмъ дружелюбно, несмотря на то, что «Бесѣда» считалась въ обществѣ славянофильскимъ органомъ, и они имѣли на это право. Хотя «Бесѣда» очень высоко ставила славянофиловъ и много толковала о ихъ заслугахъ, но принимала ихъ ученія далеко небезусловно и относилась къ нимъ критически. Это критическое отношеніе къ славянофиламъ обусловливалось тѣмъ, что у сотрудниковъ «Бесѣды» были свои особенные взгляды, значительно отличавшіеся отъ славянофильскихъ, хотя повидимому и возросшіе на ихъ почвѣ. Особенность же этихъ взглядовъ въ томъ именно и заключалась, чтобы оформить широкія и расплывчатыя славянофильскія идеи, вставивши ихъ въ узкія, но за то рѣзко опредѣленныя рамки національнаго формализма, и такимъ образомъ метафизическія утопіи обратить въ политическое ученіе, могущее служить практической и возможной къ осуществленію программой правительственныхъ дѣйствій. Такой переходъ славянофильства съ отвлеченной почвы на практическую имѣетъ, по нашему мнѣнію, весьма большую важность въ нашей жизни. Этимъ путемъ славянофильство изъ небольшихъ кружковъ мечтателей, не имѣющихъ ни малѣйшаго вліянія въ жизни, можетъ превратиться въ обширную политическую партію, которая, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, будетъ имѣть огромное вліяніе въ нашей жизни, если только не поглотитъ все. Примѣръ такого всепоглощенія мы видимъ въ современной Германіи и не имѣемъ шансовъ утверждать, чтобы и у насъ не могло бы произойти чего-либо подобнаго. Напротивъ того, многія обстоятельства заставляютъ насъ предполагать, что національный формализмъ можетъ возъимѣть у насъ торжество, гораздо можетъ быть въ болѣе скоромъ времени, чѣмъ многіе предполагаютъ. Въ него конечно не замедлятъ влиться всѣ тѣ фракціи безхарактернаго либерализма, который въ настоящее время не находитъ подъ ногами никакой почвы и будетъ очень радъ, когда ему представится рядъ опредѣленныхъ стремленій, повидимому весьма либеральныхъ и въ то же время не лишающихъ либеральныхъ людей дорогой для нихъ невинности. За него же въ своихъ видахъ и по своему ухватится реакція и на свой ладъ обработаетъ приставшихъ либераловъ, и тогда—первое столкновеніе съ Европой, особенно съ Германіей, и націоналисты встанутъ во главѣ общества...

Въ виду возможности подобнаго хода идей и событій въ нашемъ будущемъ, считаю не лишнимъ представить читателямъ характеристику взглядовъ нашихъ нарождающихся націоналистовъ, обозначить тѣ пункты, въ которыхъ они расходятся съ славянофилами, и показать, въ чемъ заключается растлѣвающее и мертвящее вліяніе этого новѣйшаго формализма и какъ онъ, стараясь опереться на реальную почву историческаго опыта и оправдать свое ученіе непреложными законами человѣческой жизни, между тѣмъ идетъ противъ этого опыта и измышляетъ свои собственные законы, обходя истинные. Для этого я избираю Градовскаго, какъ наиболѣе крупнаго сотрудника «Бесѣды», и такъ какъ онъ собралъ всѣ свои статьи, помѣщенныя въ этомъ органѣ въ одну книжку, заглавіе которой и помѣщено мной въ началѣ этой статьи. Книжка эта можетъ дать намъ самое полное и вполнѣ ясное понятіе, къ чему стремятся наши новые націоналисты.

VI.

А. Градовскій является въ своей книгѣ горячимъ приверженцемъ славянофиловъ. Но было бы ошибочно считать его самого славянофиломъ въ той же степени, въ какой являются передъ нами Кирѣевскіе, Хомяковъ и К. Аксаковъ. Въ своихъ публичныхъ лекціяхъ о значеніи славянофиловъ, прочитанныхъ имъ въ нынѣшнемъ году въ Петербургѣ и напечатанныхъ въ концѣ книги, Градовскій весьма опредѣленно обозначаетъ тѣ пункты, въ которыхъ онъ расходится съ славянофилами, ясно опредѣляя этимъ особенности доктрины національнаго формализма. Въ началѣ первой же лекціи онъ отрицаетъ тождество своихъ взглядовъ съ славянофильскими въ слѣдующихъ словахъ: «все, что здѣсь будетъ сказано, есть выраженіе моего личнаго взгляда на ученіе первыхъ представителей славянофильства. Мое выраженіе не есть аполо-

гія Кирѣевскаго, Хомякова и К. Аксакова. Оно будетъ такой же *критикой* славянофильства, какъ и критика ихъ противниковъ. Можетъ быть мнѣ удастся указать на нѣкоторые бо́льшіе «грѣхи» школы, чѣмъ ниъ».

И дѣйствительно, въ первой же лекціи Градовскій указываетъ на такой существенный пунктъ своего разногласія съ славянофилами, въ которомъ послѣдніе оказываются гораздо болѣе сходящимися съ своими врагами, западниками, чѣмъ съ доктринерами національнаго формализма. Пунктъ этотъ есть вопросъ объ общечеловѣческой цивилизаціи. Славянофилы, какъ извѣстно, и не думали отрицать общечеловѣческую цивилизацію. Стоя на метафизической почвѣ, они вѣрили вслѣдъ за Гегелемъ, что народы раздѣляются на историческіе, составляющіе ту или другую ступень въ обнаруженіи безусловной идеи, и неисторическіе, слѣпо идущіе вслѣдъ за историческими и сами по себѣ ничего не вносящіе въ исторію. Затѣмъ въ каждую эпоху выдвигается впередъ одна какая-либо избранная народность, въ которой наиболѣе воплощается тотъ или другой фазисъ обнаруживанія идеи, и народность эта сходитъ съ историческаго поприща, отслуживши свою роль. Исходя изъ такой теоріи, славянофилы наравнѣ съ западниками признавали общечеловѣчность цивилизаціи. Мало этого, они за-одно съ западниками вѣрили и въ то, что славянскій міръ призванъ для того, чтобы послужить новой ступенью въ этой цивилизаціи. Разногласіе ихъ съ западниками начиналось съ опредѣленія тѣхъ путей, по которымъ должны идти славяне и въ особенности русскіе для исполненія своей всемірно-исторической роли. Западники утверждали, что Россія должна прежде всего всецѣло воспринять цивилизацію Запада со всѣми ея наиболѣе совершенными культурными формами и потомъ уже думать о произнесеніи какихъ либо новыхъ словъ. Славянофилы же возражали, что стремиться переносить на народную почву идеи и формы западной жизни—значитъ обезличивать свою народность и подводить ее къ роли неисторическихъ народовъ, не имѣющихъ никакой самостоятельности. Къ тому же Западъ отслужилъ исторіи, роль его кончена, онъ начинаетъ гнить, и заимствовать отъ него что-либо—это значитъ вносить трупную гниль въ здоровый организмъ живой русской народности; эта народность, призванная служить новой ступенью въ общечеловѣческой цивилизаціи, въ самой себѣ носитъ уже особенности, сообразныя этому предназначенію, и нужно, отстранившись отъ подражательности Западу, обратить все вниманіе на развитіе этихъ особенностей. Такимъ образомъ въ основаніи славянофильскихъ ученій все-таки стояла общечеловѣческая цивилизація, и они вѣрили, что когда славяне достигнутъ своего предназначенія, когда они возвѣстятъ міру новыя начала цивилизаціи, эти начала будутъ обязательны для всего міра, а не для однихъ славянъ, и отчаянная Европа можетъ быть найдетъ свое спасеніе, промѣнявши свои отжившія культурныя формы на живыя начала, развитыя славянами, и отдастъ пальму первенства славянскому міру въ ходѣ общечеловѣческой цивилизаціи.

Градовскій рѣзко отрицаетъ самую возможность общечеловѣческой цивилизаціи. По его мнѣнію, отношеніе между общечеловѣческимъ и народнымъ такое же, какъ между логическимъ понятіемъ и реальнымъ явленіемъ.

«Наше представленіе объ общечеловѣческомъ есть продуктъ логическаго и философскаго обобщенія всѣхъ частныхъ явленій, говоритъ онъ: — поэтому человѣкъ, желающій признать, что дѣйствительное бытіе имѣетъ только общечеловѣческое, а частное, народное есть только призракъ, ничтожный съ точки зрѣнія общечеловѣческаго, долженъ вмѣстѣ съ тѣмъ встать на почву чистой метафизики. Онъ долженъ признать, вмѣстѣ съ Гегелемъ, что міръ есть проявленіе отвлеченной идеи, а отдѣльные народы и люди суть только преходящіе и ничтожные «сосуды» абсолютнаго. Онъ долженъ признать, какъ это сдѣлалъ Платонъ, что идея предмета существуетъ не только *независимо* отъ этого предмета, но чтб одна она и имѣетъ бытіе. На дѣлѣ представляется другое. Идея есть *представленіе* мыслящаго субъекта: она существуетъ *въ немъ и черезъ него*; то, что мы называемъ общечеловѣческими стремленіями, не имѣетъ реальнаго бытія. На дѣлѣ эти общечеловѣческія стремленія воплощены, выражены въ учрежденіяхъ, поэзіи, искусствѣ, философіи и т. д. разныхъ народовъ; въ нихъ и черезъ нихъ только они получаютъ дѣйствительное бытіе. Эти различныя выраженія народной мысли и нравственныхъ стремленій не могутъ быть замѣнены *однообразными* учрежденіями и формами, построенными на отвлеченныхъ представленіяхъ о человѣческихъ стремленіяхъ и способностяхъ, ибо въ мірѣ существуютъ не слова и понятія, а народы и люди...»

Но, являясь такимъ образомъ отрицателемъ общечеловѣческой цивилизаціи, о которой мечтали славянофилы и западники сороковыхъ годовъ, Градовскій тотчасъ же сдается на компромиссъ весьма замѣчательный въ томъ отношеніи, что рядомъ съ другими подобными ему компромиссами онъ составляетъ именно ту хитросплетенную сѣть, которую ткутъ наши націоналисты для уловленія массы наивныхъ простаковъ.

«Но неужели-же, по нашему мнѣнію, говоритъ Градовскій далѣе:—общечеловѣческое есть только фикція, плодъ абстракціи, не имѣющій никакого значенія въ жизни народовъ? О, нѣтъ! Это значилобы отрицать достоинство одной изъ драгоцѣннѣйшихъ способностей человѣческаго духа и ума,—способности къ обобщенію, къ составленію общихъ понятій. Если мы нападаемъ на злоупотребленія, часто дѣлаемыя изъ общихъ понятій, то мы никакъ не намѣрены отрицать ихъ великаго достоинства въ цивилизаціи. Роль этихъ общихъ понятій, съ нашей точки зрѣнія, проявляется въ *двоякомъ* отношеніи. Во-первыхъ, представленіе объ общечеловѣческомъ раскрываетъ намъ совокупность тѣхъ коренныхъ условій, безъ которыхъ немыслима нормальная жизнь человѣка и цѣлаго народа, каковы-бы ни были особенности ихъ культуры. Такими условіями мы можемъ назвать напримѣръ личную безопасность, свободу совѣсти, свободу мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здравія, народнаго продовольствія, образованія и т. д. Эти условія должны быть признаны необходимыми для цѣлаго круга народовъ. Съ этой точки зрѣнія отвергались и отвергаются разныя фарисейскія заявленія ложной теоріи народности,—своекорыстные возгласы напримѣръ американскихъ рабовладѣльцевъ, доказывавшихъ, что рабство есть естественное призваніе негра, или русскихъ крѣпостниковъ, доказывавшихъ, что крѣпостное право есть необходимое національное достояніе Россіи. Въ этомъ смыслѣ справедливо знаменитое восклицаніе В. Гумбольдта,

повторенное братомъ его Александромъ въ «Космосѣ»: «Нѣтъ племенъ болѣе благородныхъ, чѣмъ другія. Всѣ одинаково созданы для свободы,—для той свободы, которая въ первобытномъ обществѣ принадлежитъ лицу, но у націй, обладающихъ настоящими политическими учрежденіями, есть право цѣлаго общества.»

«Во-вторыхъ, общечеловѣческими, т. е. не принадлежащими къ существеннымъ особенностямъ отдѣльныхъ народовъ, являются внѣшнія, такъ сказать, техническія условія осуществленія человѣческихъ цѣлей или выраженія нашихъ идеаловъ, каково-бы ни было ихъ внутреннее содержаніе. Таковы напримѣръ пути сообщенія, орудія экономическаго обмѣна, производства, машины и т. д.; техника въ поэзіи, искусствѣ и т. п. Для того, чтобы нарисовать картину, нужно знать много техническихъ пріемовъ, какъ для того, чтобы написать поэму, нужно знать правила версификаціи. Эти техническіе пріемы и правила имѣютъ такое-же общечеловѣческое значеніе, какъ и желѣзныя дороги, машины и т. д., т. е. усвоеніе ихъ не предполагаетъ *отреченія* отъ своей народности, отказа отъ самостоятельности мысли и духа.»

Всѣ подобныя соображенія Градовскій формулируетъ въ видѣ слѣдующей формулы: *вмѣсто того, чтобы говорить объ общечеловѣческой цивилизаціи, правильнѣе говорить объ общечеловѣческомъ въ цивилизаціи.*

Отрицая такимъ образомъ общечеловѣческую цивилизацію, Градовскій этимъ самымъ расщепляетъ ее на массу частныхъ цивилизацій отдѣльныхъ народовъ, причемъ каждая изъ такихъ частныхъ цивилизацій только и годится для того народа, который ее производитъ.

«Итакъ, говоритъ онъ: —понятіе *цивилизаціи*, слишкомъ, нужно замѣтить, общее понятіе, представляется намъ въ двоякомъ видѣ и значеніи: во-первыхъ, со стороны внѣшнихъ условій жизни и способовъ труда, цивилизація представляется намъ общечеловѣческой; со стороны ея *содержанія* она разбивается на культуры различныхъ народовъ, изъ которыхъ каждая самостоятельно проявляетъ одну изъ сторонъ, одинъ изъ оттѣнковъ человѣческаго духа. Другими словами, со стороны своего содержанія, человѣческая цивилизація представляется намъ въ формѣ совокупности частныхъ, національныхъ культуръ; поэтому ни одна изъ нихъ не можетъ быть признана *общечеловѣческой* цивилизаціей.»

Ниже, когда мы будемъ разбирать всѣ эти доктрины Градовскаго по существу, мы увидимъ, на сколько справедливы онѣ, и справедливо ли, что общечеловѣческое существуетъ только въ частныхъ цивилизаціяхъ отдѣльныхъ народностей, общечеловѣческая же цивилизація не можетъ никогда быть осуществлена въ дѣйствительности; развитіе каждымъ народомъ своей особенной культуры можно ли считать conditio sine qua non исторіи, явленіемъ субстанціоннымъ или преходящимъ и временнымъ; затѣмъ наконецъ такія прекрасныя понятія, какъ *личная безопасность*, *свобода совѣсти*, *свобода мысли и слова*, *правосудіе*, *обезпеченіе условій народнаго продовольствія*, *образованія и т. д.*, понятія, которыя Градовскій считаетъ общечеловѣческими и необходимыми для каждаго народа, осуществимы ли они безъ выработки нѣкоторыхъ раціональныхъ культурныхъ формъ общежитія, которыя для всѣхъ народовъ должны являться столь же необходимыми, какъ и самыя понятія, а безъ этого если мы, мечтая объ этихъ прекрасныхъ вещахъ, будемъ коснѣть на исконныхъ обычаяхъ народной культуры, то не останутся ли они навсегда однѣми только громкими фразами безъ содержанія? Всѣ такіе вопросы будутъ рѣшены нами въ слѣдующихъ главахъ. Теперь же мы отлагаемъ ихъ пока въ сторону, возвращаясь къ спеціальной цѣли настоящей главы, къ опредѣленію различія между взглядами чистаго славянофильства и доктринами національныхъ формалистовъ вродѣ Градовскаго,— и возможныхъ практическихъ послѣдствій этого различія.

И такъ, какая повидимому ничтожная разница:— не все ли равно, блюсти ли народныя культурныя формы отъ чужеземныхъ вліяній во имя того, что въ этихъ формахъ таятся зерна будущей всемірной цивилизаціи, или просто потому, что каждая народность обязана, по предписанію высшаго начальства, имѣть свои особенныя формы, подобно тому, какъ каждый обыватель города долженъ носить въ карманѣ свой особенный паспортъ, свидѣтельствующій о его личности. Разница дѣйствительно ничтожна на первый взглядъ. Но стоитъ хоть немножко вдуматься въ нее, и вы увидите, къ какимъ громаднымъ результатамъ ведетъ она. Вы только представьте себѣ, что вы—просвѣщенный буржуа, отецъ многочисленнаго семейства, богатый владѣтель имѣній, домовъ, акцій, облигацій, ведете обширныя дѣла, торгуете, участвуете въ нѣсколькихъ акціонерныхъ компаніяхъ, играете на биржѣ и пр., и пр. Вы конечно увлечены до мозга костей такъ называемой европейской цивилизаціей, которая представляется вамъ въ видѣ массы фабрикъ съ дымящимися трубами, непроницаемыхъ для взора лѣсовъ корабельныхъ мачтъ, теряющихся изъ виду рядовъ великолѣпныхъ зданій, испещренныхъ вывѣсками, свидѣтельствующими о томъ, что въ этихъ зданіяхъ сосредоточены богатства со всѣхъ концовъ свѣта, желѣзнодорожныхъ поѣздовъ, съ визгомъ стремящихся по разнымъ направленіямъ и во всѣ стороны, суетливой дѣятельностью пристаней и биржъ и пр. Всѣ эти блага цивилизаціи тѣмъ болѣе привлекаютъ васъ, что при пятидесятитысячномъ и еще того болѣе доходѣ—они такъ легко доступны вамъ; вы ихъ царь и богъ, вы сами ихъ создаете, а они возносятъ васъ на бо́льшую и бо́льшую высоту. Привлекаютъ васъ и другія стороны европейской цивилизаціи: сытый, довольный, окруженный всевозможными удобствами, пользующійся всеобщимъ почетомъ, въ свободныя минуты послѣобѣденной дремоты вы любите помечтать о такихъ прекрасныхъ чадахъ европейскаго прогресса, какъ свобода совѣсти, свобода слова и пр., и пр., и вотъ начинаетъ вамъ грезиться, что какъ бы это было пріятно, какъ это дѣлается въ Англіи, стоять на высокой трибунѣ и, произнося увлекательную рѣчь передъ согражданами, сознавать, что ты вѣдь тоже въ своемъ родѣ законодатель, отъ тебя зависитъ счастье и благоденствіе всей твоей страны.

И вдругъ въ разгарѣ подобныхъ послѣобѣденныхъ грезъ вторгается къ вамъ господинъ весьма мрачнаго вида, съ бородой до пояса и одѣтый не въ платье новѣйшаго фасона, а въ

Красную рубашку,
Платокъ шелковый кушакомъ,
Армякъ татарскій на распашку
И шапку съ бѣлымъ козырькомъ...

И начинаетъ этотъ господинъ замогильнымъ голосомъ читать вамъ цѣлый рядъ анаѳемъ за ваше увлеченіе гнилымъ и коварнымъ Западомъ и отступничество отъ искоиныхъ и вѣковѣчныхъ началъ славянскаго міра...

«Не стыдно-ли вамъ, вопитъ нежданный гость, что вы, увлекшись наружной мишурой, внѣшнимъ блескомъ западнаго прогресса, создали изъ него золотого тельца и, поклонившись ему, забыли о тѣхъ народныхъ славянскихъ началахъ, въ которыхъ все спасеніе не только для однихъ славянъ, но для всего человѣчества? Бросьте заражать гангреной западнаго растлѣнія здоровый, молодой организмъ вашего народа и обратитесь къ тѣмъ кореннымъ основамъ русской народности, на которыхъ была воздвигнута древняя Русь, пока Петръ не сдвинулъ ее своей дерзновенной десницей.»

Подумайте, не придете-ли вы въ ужасъ отъ подобныхъ рѣчей вашего гостя, не представится-ли вамъ тотчасъ-же, что вамъ предлагаютъ ни больше, ни меньше, какъ возвратиться ко временамъ Котошихина и Домостроя, разрушить до основанія ненавистный Петербургъ, прогнать заграницу иностранцевъ въ видѣ купцовъ, ремесленниковъ и всякаго рода спеціалистовъ, засѣсть въ златоверхой Москвѣ и... прощай, шампанское и устрицы, прощайте, Шнейдерша и Кадуджа!..Ваше тонкое обоняніе, способное по одному нюху отличить шестирублевый лафитъ отъ пятирублеваго, уже чуетъ запахъ кислой капусты на постномъ маслѣ, запиваемой квасомъ, вамъ уже грезятся блаженныя времена коренныхъ основъ до-петровской Руси, времена пытокъ и правежей, заключенія женъ въ терема, чинныхъ азіатскихъ церемоній съ подобострастными поклонами въ поясъ и исполненной дикаго изувѣрства, кичливой и слѣпой ненависти ко всему иноземному. Что-же мудренаго, если васъ броситъ въ потъ и холодъ отъ рѣчей вашего собесѣдника, и если, вздохнувши свободно послѣ его ухода, вы прикажете лакею никогда больше такого страшнаго господина не впускать.

Но вотъ къ вамъ приходитъ баринъ совсѣмъ въ иномъ видѣ: въ изысканномъ европейскомъ костюмѣ самаго новѣйшаго фасона, съ стеклышкомъ у глаза и шляпой въ рукѣ, и говоритъ вамъ: «Прогрессъ, mon ami, о! прогрессъ великое дѣло, ему мы обязаны и желѣзными дорогами, и газомъ, и свободой слова, и свободою совѣсти! Я не сомнѣваюсь, что всѣ эти дары прогресса должны составлять общечеловѣческое достояніе, и мы обязаны пользоваться ими наравнѣ со всѣми народами, но, mon ami, все это только одна внѣшность прогресса, внутренняя-же его сторона, содержаніе у каждаго народа должны быть свои; каждый народъ долженъ идти своимъ путемъ и свято соблюдать свои исконныя народныя начала. Не говоря уже о томъ, что этого требуетъ народная гордость, honneur national, что народъ, не дорожащій ничѣмъ своимъ и охотно воспринимающій все чужое, тѣмъ самымъ открыто заявляетъ о своемъ ничтожествѣ; надо обратить вниманіе и на то, что если мы будемъ пренебрегать народными основами нашей жизни, на которыхъ зиждется все наше благосостояніе, порядокъ и нравственность, то все пойдетъ кверху дномъ. Если допускать, чтобы у насъ вводились западныя учрежденія совершенно произвольно, такъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, изъ одной слѣпой подражательности, то сегодня у насъ будутъ вводиться коллегіи или маіораты, потому что таковые существуютъ на Западѣ, завтра мы вздумаемъ затѣять революцію, потому что на Западѣ революція послѣ-завтра на Западѣ уничтожается религія, собственность, браки и всѣ начнутъ поѣдать другъ друга, неужели-же и мы должны дѣлать то же?.. Нѣтъ, mon cher, подумай о томъ, что ты—отецъ многочисленнаго семейства, у тебя святая собственность, а еще болѣе святая родина, о крѣпости, величіи и славѣ которой ты обязанъ заботиться. Когда тебѣ привозятъ съ Запада два ящика шампанскаго, то и такіе пустяки ты критикуешь, ящикъ съ хорошимъ виномъ берешь себѣ, а съ дурнымъ предоставляешь негоціанту; то тѣмъ болѣе, если дѣло идетъ о такихъ вещахъ, какъ учрежденія, на которыхъ зиждется все твое благосостояніе: здѣсь должна быть самая строгая критическая оцѣнка. Въ этомъ отношеніи ужъ если мы должны кому подражать, то развѣ одной Англіи, въ которой весь прогрессъ основывается на развитіи народныхъ обычаевъ, и Англія дорожитъ ими и не промѣняетъ ихъ ни на какіе другіе. Такъ и мы должны дорожить нашими національными обычаями, гордясь тѣмъ, что мы—русскіе...» Не правда-ли, что подобныя рѣчи должны вызвать въ васъ чувства совершенно противуположныя, чѣмъ возбудилъ первый посѣтитель. Въ самомъ дѣлѣ, не укоряетъ онъ васъ ни фракомъ, ни Шнейдершей, ни канканомъ, не пугаетъ никакими жупелами вродѣ сирадной гангрены западнаго растлѣнія, предлагаетъ вамъ заботиться не о такихъ заоблачныхъ и далекихъ отъ васъ вещахъ, какъ обновленіе всемірной цивилизаціи славянскими началами, а о своей собственной рубашкѣ, которая естественно всего ближе къ вашему тѣлу. Твердо и упорно держась своей народной культуры во всѣхъ ея особенностяхъ, даже и *экономическихъ*, какъ во многихъ мѣстахъ заявляетъ Градовскій, вы конечно будете заботиться прежде всего объ обезпеченіи вашего личнаго благосостоянія отъ наплыва какихъ-либо такихъ ученій, которыя, не дорожа народными особенностями, возмечтали-бы, пожалуй, изиѣнить экономическій бытъ народа на чисто-раціональныхъ общечеловѣческихъ началахъ и въ концѣ-концовъ, пожалуй, могли-бы помѣшать вамъ во многихъ изъ такихъ практическихъ дѣлишекъ, обдѣлывать которыя вамъ легко въ настоящее время, при данныхъ экономическихъ особенностяхъ вашей страны. Конечно при такихъ соображеніяхъ вы уже не прогоните вашего гостя, а, напротивъ того, заключите его въ объятія, а послѣ нѣкоторыхъ размышленій придете въ восторгъ и превознесете его выше небесъ, когда сознаете, какое великое благодѣяніе дѣлаетъ онъ для васъ, устремляя васъ на путь національнаго! Въ самомъ дѣлѣ: до сихъ поръ, когда вы ратовали противъ слишкомъ смѣлыхъ реформъ въ экономическомъ бытѣ страны, чѣмъ другимъ могли вы защитить ваше желаніе statu quo, кромѣ сбивчивой теоріи laissez

*

faire, laissez passer, которую и сами вы вдобавокъ не вполнѣ ясно понимали, и вы смущались и падали духомъ, когда враги бросали вамъ въ лицо обвиненіе въ безчеловѣчномъ, узкомъ эгоизмѣ... Теперь же вы чувствуете почву подъ ногами, ваши стремленія удержать statu quo получаютъ освѣщеніе высшими принципами, и вы можете смѣло возразить врагамъ: нѣтъ, не изъ узкаго эгоизма ратую я противъ вашихъ утопій, а изъ желанія строго держаться основныхъ началъ народности, потому что въ этихъ началахъ я вижу единственное спасеніе и единственную славу народа; отступивъ же отъ нихъ, народъ долженъ обратиться въ ничтожество и погибнуть. Однимъ словомъ, мы не де-Местры, не Коцебу, мы—Катоны...

Если мы отъ этого основного различія между ученіемъ націоналистовъ и чистымъ славянофильствомъ обратимся къ частностямъ, то и здѣсь мы найдемъ то же стремленіе очистить славянофильство отъ всѣхъ слишкомъ уже отталкивающихъ своей дикостью крайностей и путемъ компромиссовъ сдѣлать его популярнымъ. Такъ напримѣръ извѣстно, какъ славянофилы смотрѣли на Петра. Они отрицали его реформы всецѣло, приписывая имъ все зло разрыва образованныхъ классовъ съ народомъ и устремленія ихъ на путь слѣпой подражательности Западу. Какъ просвѣщенный буржуа, вы хотя и не прочь согласиться, что Петръ точно перенималъ изъ Запада многое совершенно зря и напрасно, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ младенчества вы уже привыкли близко ставить къ сердцу эту личность, сознавая, что вы ей обязаны всѣми благами прогресса, кромѣ того видѣть въ ней особенную славу своей родины, такъ какъ не одни русскіе, но и всѣ западные историки ставятъ Петра на одномъ ряду съ величайшими геніями человѣчества. Очевидно, что отрицаніе Петра должно возбуждать въ васъ еще большее озлобленіе противъ славянофиловъ. Градовскій весьма любезно уступаетъ вамъ этотъ пунктъ вашихъ симпатій. Оказывается, что можно стоять за народныя начала, нисколько не отрицая Петра.

«Здѣсь справедливость требуетъ замѣтить,—говоритъ Градовскій:—что ихъ (т. е. славянофильскія) мнѣнія объ этомъ историческомъ событіи конечно преувеличены. Конечно рѣзкое осужденіе реформы Петра было естественнымъ результатомъ того въ свою очередь преувеличеннаго мнѣнія людей противоположнаго лагеря, которые серьезно полагали, что *историческая жизнь Россіи началась только съ Петра*. Конечно далѣе они, по самой своей, такъ сказать, критической позиціи, склонны были останавливаться только на отрицательныхъ сторонахъ реформы. Но это не снимаетъ съ нихъ отвѣтственности за многія увлеченія и крайности, замѣченныя впрочемъ самимъ Хомяковымъ въ его превосходной статьѣ о «Старомъ и новомъ». Это не снимаетъ съ нихъ упрека въ неполномъ пониманіи личности Петра, котораго они не умѣли выдѣлить изъ послѣдующей исторіи. Они не увидѣли *народныхъ* чертъ въ преобразователѣ Россіи и его во многихъ отношеніяхъ свободнаго отношенія къ Западу. Мало того. Они не дали себѣ труда отвѣтить на вопросъ: дѣйствительно-ли исторія XVIII столѣтія такъ оторвана отъ исторіи предыдущей, и не былъ-ли разрывъ болѣе внѣшнимъ, чѣмъ внутреннимъ? Этого, правда, они не могли сдѣлать, потому что исторія XVIII столѣтія едва начинаетъ выступать изъ мрака, благодаря обилію издаваемыхъ теперь матеріаловъ.»

Въ то же время немаловажной причиной непопулярности славянофиловъ было то обстоятельство, что, доводя до послѣднихъ крайностей свою теорію спасительности славянскихъ основъ жизни, они возводили въ идеалъ такіе народные обычаи и качества, въ которыхъ, съ точки зрѣнія простого здраваго смысла, не только не представляется ничего идеальнаго напротивъ того, которые показываютъ только низкую степень развитія, грубое невѣжество народа. Таково напримѣръ было возведеніе К. Аксаковымъ въ идеалъ отсутствія письменныхъ гарантій, какъ въ средѣ современнаго намъ заволустнаго купечества, такъ въ особенности въ до-петровской Руси, въ различныхъ договорныхъ сношеніяхъ торговыхъ и государственныхъ. Славянофилы видѣли въ этомъ преимущество славянъ передъ Западомъ. По ихъ мнѣнію, отсутствіе письменныхъ гарантій у славянъ показываетъ, что они на первый планъ ставятъ живой духъ, они вѣрятъ въ человѣка и потому ищутъ гарантій въ его свободной совѣсти, а не въ мертвой буквѣ. Западъ не вѣритъ въ человѣка и потому видитъ необходимость порабощать его мертвой буквѣ.

Какъ просвѣщенный буржуа, вы конечно должны придти въ ужасъ отъ подобныхъ славянофильскихъ взглядовъ. Вамъ сейчасъ-же безъ сомнѣнія представится, что славянофилы мечтаютъ ни болѣе, ни менѣе, какъ объ уничтоженіи векселей, заемныхъ писемъ, акцій, облигацій и всякихъ торговыхъ актовъ, на которыхъ зиждется все ваше благосостояніе и при отсутствіи которыхъ завтра-же пожалуй къ вамъ явятся сотни славянофиловъ особеннаго рода и во имя свободы духа растащутъ всѣ ваши капиталы. Въ то же время вамъ хорошо извѣстно, какъ оправдывается на практикѣ идеальное качество отсутствія письменныхъ гарантій въ средѣ нашего купечества и предстаютъ передъ вами мрачные типы Большова, Подхалюзина и прочихъ героевъ комедій Островскаго. Но Градовскій и тутъ является вашимъ другомъ и успокоиваетъ вашу тревогу.

«Съ другой стороны, говоритъ онъ:—они (т. е. славянофилы) слишкомъ идеализировали древнюю Русь въ томъ смыслѣ, что уваженіе свое къ *принципамъ* древней жизни они переносили иногда на *самыя формы*, а иногда и на *отсутствіе формъ*, гдѣ онѣ были бы нужны. Такъ, К. Аксаковъ упорно проповѣдуетъ безполезность юридическихъ гарантій разныхъ правъ, личныхъ и общественныхъ, и видитъ въ безформенности древней Руси нѣкоторую заслугу, даже высшій принципъ, возвышающій насъ надъ Западомъ, слишкомъ увлеченнымъ формой. Онъ забываетъ, что отсутствіе формъ и гарантій въ самой древней Руси было не повсемѣстно. Новгородъ и Псковъ, развитые больше другихъ частей, выработали свои «гарантіи». Во-вторыхъ, отсутствіе гарантій въ другихъ мѣстахъ было признакомъ несовершенства общественнаго, даже можетъ быть отсутствія грамотности.»

Вотъ какимъ представляется принципъ національнаго формализма въ его отношеніяхъ къ славянофильству. Мы видимъ, что это то же славянофильство, но очищенное отъ всѣхъ слишкомъ нелѣпыхъ крайностей и обращенное изъ кабинетныхъ метафизическихъ бредней въ политическое ученіе, могущее имѣть немалый успѣхъ въ ближайшемъ будущемъ. Далѣе мы

разсмотримъ этотъ самый принципъ по существу въ его отношеніи къ исторіи и жизни.

VII.

Формалисты всѣхъ возможныхъ видовъ имѣютъ два неотъемлемыя качества.

Во-первыхъ, всѣ они ужасные казуисты. Хитрая изворотливость, которой славятся послѣдователи Лойолы, эти формалисты католическаго принципа, присуща до извѣстной степени и формалистамъ всѣхъ другихъ родовъ. И это очень понятно. Стремясь какую нибудь преходящую и условную форму жизни возвести въ нѣчто непреложное и безусловное и втиснуть въ нее всю жизнь, формалисты ищутъ оправданія своей доктрины въ господствующемъ въ данное время міросозерцаніи, стараются основать ее или на божественномъ правѣ, если въ обществѣ преобладаетъ теологическое міросозерцаніе, или на законахъ безусловнаго разума, если господствуетъ метафизика. А если господствуетъ реализмъ, то формалисты начинаютъ толковать объ опытахъ и наблюденіяхъ положительныхъ знаній. Во всѣхъ этихъ случаяхъ пускаются въ ходъ всѣ діалектическія уловки съ цѣлью согласить во что бы то ни стало свою доктрину съ основами міросозерцанія; искусственно сглаживаются и уравниваются всѣ вопіющія противорѣчія; одинъ и тотъ-же законъ жизни въ одномъ случаѣ заставляютъ дѣйствовать, въ другомъ его парализуютъ и игнорируютъ; всю исторію переиначиваютъ на свой ладъ, факты, которые хоть сколько нибудь служатъ въ пользу доктрины, выставляютъ на первый планъ, а противорѣчащіе, если ихъ нельзя опровергнуть, оставляютъ въ сторонѣ, а если нельзя о нихъ умолчать, считаютъ случайными исключеніями; если въ видахъ оправданія доктрины нужно вамъ доказать, что бѣлое вовсе не бѣлое, а черное только кажется чернымъ, а въ самомъ дѣлѣ есть голубое,—формалистъ не остановится и передъ этимъ.

Вторымъ неизмѣннымъ качествомъ каждаго формалиста является крайняя слѣпота относительно противниковъ. Понять и уяснить воззрѣнія противниковъ и умѣть стать на ихъ точку зрѣнія для формалиста дѣло немыслимое. Сѣшивая идею съ формой и видя въ формѣ все спасеніе, формалистъ полагаетъ обыкновенно, что каждый, отрицающій форму, непремѣнно тѣмъ самымъ долженъ отрицать и тѣ принципы, которые неразрывно связаны въ глазахъ формалиста съ формой. Мало этого: такъ какъ въ существованіи излюбленной формы формалистъ усматриваетъ, еще разъ повторяемъ, все спасеніе міра, то въ отрицаніи формы естественно онъ подозрѣваетъ злостное покушеніе подорвать всѣ основы жизни. Такъ напримѣръ, ультра-католикъ никакъ не можетъ допустить, чтобы человѣкъ, не признающій папу главой церкви и принадлежащій къ какому нибудь другому вѣроисповѣданію, могъ быть болѣе чистымъ и истиннымъ христіаниномъ, чѣмъ онъ, ультра-католикъ. Ему постоянно представляется, что отрицающій католичество тѣмъ самымъ отрицаетъ христіанство, нравственность и является врагомъ человѣчества, исчадіемъ сатаны, готовымъ на всякія преступленія.

Оба эти качества мы можемъ прослѣдить и въ Градовскомъ, являющемся передъ нами представителемъ національнаго формализма.

Такъ, Градовскій очень хорошо понимаетъ, что какими-нибудь метафизическими теоріями современную публику не проведешь. Прошли тѣ блаженныя времена, когда все, что вамъ угодно, вы могли безъ особенныхъ трудностей выводить изъ законовъ развитія безусловной идеи. Нашъ скептическій вѣкъ требуетъ фактовъ, реальныхъ основъ для подтвержденія какихъ-бы то ни было взглядовъ. Доказать, что то или другое ученіе основывается на непреложныхъ данныхъ положительныхъ знаній—это значитъ въ наше время сдѣлать это ученіе обязательнымъ для всѣхъ и каждаго, и наоборотъ доказать, что какія либо мнѣнія стоятъ въ области чистой метафизики,—это значитъ представить ихъ произвольными, фантастическими и уронить въ глазахъ публики. Вѣрный своему стремленію сдѣлать національный принципъ популярнымъ и обязательнымъ, Градовскій первымъ дѣломъ спѣшитъ поставить его на почву господствующаго міросозерцанія, доказать, что онъ основывается на непреложныхъ естественно-научныхъ, географическихъ, ботаническихъ и даже геологическихъ данныхъ, и что въ то же время всѣ противники національнаго принципа суть чистые метафизики.

«При разрѣшеніи вопроса о разрушеніи національностей,—говоритъ онъ на 56 стр.,—мы имѣемъ дѣло не съ основаніями «раціональными», съ посылками и умозаключеніями, а съ совокупностью *стихійныхъ силъ, подчиненныхъ неизмѣннымъ естественно-историческимъ законамъ*.

Процессъ образованія народности подчиненъ законамъ образованія человѣческихъ породъ, языковъ, религій, зависитъ отъ условій среды, *т. е. географическихъ, геологическихъ, ботаническихъ и т. д.* особенностей страны, сдѣлавшейся мѣстомъ осѣдлости народа; онъ находится въ тѣсной связи съ образованіемъ экономическаго быта въ той или другой странѣ, отъ разныхъ комбинацій въ раздѣленіи занятій, въ распредѣленіи богатствъ и зависящаго отъ этихъ обстоятельствъ образованія и комбинаціи общественныхъ классовъ и т. д.

Всѣ эти условія и причины бытія народностей имѣютъ одинъ признакъ: *они находятся внѣ власти человѣческой воли, не подчиняются формальнымъ законамъ логики*. Отсюда сама собой обнаруживается несостоятельность пріемовъ разрушенія народности. Признавая возможность и необходимость своей задачи, она ставитъ вопросъ слѣдующимъ образомъ:

Необходимо-ли и дозволительно-ли съ точки зрѣнія началъ разума существованіе народностей?

Отвѣчая на этотъ вопросъ отрицательно, она логически приходитъ къ необходимости разрушенія.

Подобный пріемъ былъ-бы умѣстенъ только въ томъ случаѣ, еслибы самое основаніе народностей было въ началахъ разума. Но *положительная наука* должна прежде всего поставить вопросъ: гдѣ основаніе національныхъ различій? *Естественныя науки, антропологія, географія, филологія и исторія* дали-бы ей отвѣтъ на этотъ вопросъ и *одни* могли-бы дать его.

Но если основаніе народности - въ естественно-историческихъ условіяхъ страны и народонаселенія, то мы очевидно не имѣемъ права (т. е. научнаго права), говоря о разрушеніи народности, поставить вопросъ о томъ, «оправдываетъ» или не оправдываетъ разумъ ихъ существованія? Мы только вправѣ и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ-ли научные факты какія-нибудь данныя въ пользу того, что условія, вліяющія на образова-

ніе національныхъ особенностей и самыхъ народностей, исчезнутъ?

Самое смѣлое воображеніе не можетъ себѣ представить, чтобы люди когда-нибудь пришли къ однообразной структурѣ тѣла, къ однообразнымъ психологическимъ проявленіямъ, заговорили-бы однимъ языкомъ, чтобы самая земля, съ ея физическими особенностями, не имѣла больше вліянія на различіе культуръ и т. д. Такимъ образомъ *естественно-историческія* основанія народности даны непреходящими условіями внѣшняго міра и природы человѣка. Они, какъ и самыя народности, стоятъ внѣ вліянія раціональныхъ началъ и субъективной воли.

Идемъ далѣе. Если существованіе или несуществованіе народности не зависитъ отъ субъективной воли, то точно такъ же независимы отъ раціональныхъ основаній и личнаго произвола и коренныя стремленія каждой національности образовать самостоятельное національное общество съ своей территоріей и своей государственной властью. *Исторія показываетъ намъ*, что каждое племя, энергическое и способное къ развитію, стремилось укрѣпиться въ извѣстной странѣ, ассимилировать племена слабѣвшія, сложиться въ цѣльную народность, выработать самостоятельныя политическія учрежденія,—словомъ, образовать свое государство. Племена, обиженныя историческими условіями, считали для себя величайшимъ несчастіемъ, если имъ не удавалось составить независимое политическое общество и приходилось жить въ чужомъ государствѣ.»

Такимъ образомъ вы видите, что при вопросѣ о національномъ принципѣ вамъ приходится имѣть дѣло съ непреложными данными географическими, ботаническими и даже геологическими, и вамъ ничего не остается, какъ только уступить Градовскому и умолкнуть, иначе вы рискуете попасть въ разрядъ метафизиковъ, что́ конечно очень прискорбно и постыдно въ нашъ положительный вѣкъ. Исторія, гласитъ Градовскій, показываетъ вамъ, что каждое энергическое племя стремится сложиться въ цѣльную народность и составить свое самостоятельное государство,—неужели же вы станете спорить съ исторіей или возмечтаете перевернуть ее на свой ладъ?

Въ приведенной нами цитатѣ изъ книги Градовскаго открывается передъ нами и другое изъ вышеозначенныхъ качествъ формалистовъ. Мы видимъ, что Градовскій не ограничивается тѣмъ, что представляетъ своихъ противниковъ метафизиками, пренебрегающими непреложными данными положительныхъ наукъ. Онъ предполагаетъ въ нихъ гораздо болѣе, чѣмъ лишь одни неправильные взгляды, возставая на теорію *разрушенія* народностей и отрицая возможность вліянія *субъективной воли*, *произвола* на народныя стихіи. И можете себѣ представить, Градовскій не въ какомъ-либо переносномъ или метафизическомъ смыслѣ обвиняетъ своихъ противниковъ въ покушеніи разрушить народности и вмѣстѣ съ ними государства, а въ самомъ прямомъ, буквальномъ, и совершенно въ серьезъ. Изъ многихъ мѣстъ книги Градовскаго явствуетъ, что онъ представляетъ своихъ противниковъ не иначе, какъ въ видѣ отвлеченныхъ космополитовъ, которые мечтаютъ въ одинъ прекрасный день однимъ ударомъ разрушить народности, государства и слить все человѣчество въ одинъ организмъ, насильственно сгладивъ всѣ культурныя особенности и подчинивъ всѣхъ смертныхъ однообразнымъ формамъ цивилизаціи, основанной на началахъ разума. Васъ можетъ быть поразитъ подобное дѣтски-наивное представленіе злоехидныхъ космополитовъ, угрожающихъ человѣчеству чѣмъ-то вродѣ новаго вавилонскаго столпотворенія наизнанку, вы можетъ быть подумаете, что подобныя грубыя представленія свойственны никакъ не ученому мужу, занимающему каѳедру въ одномъ изъ столичныхъ университетовъ, читающему публичныя лекціи, издающему книги съ цитатами изъ Лассаля и Прудона, а скорѣе какой-нибудь дряхлой старушкѣ, изжившей вѣкъ въ провинціальномъ захолустьѣ и воображающей, что гдѣ-то за моремъ есть фармазоны, отрекшіеся отъ Христа и предавшіе душу чорту, и которые въ одинъ прекрасный день могутъ нагрянуть и съѣсть живьемъ бѣдную старушку. Но погодите удивляться и не забывайте, что вы имѣете дѣло съ формалистомъ, который по самому существу своему не способенъ имѣть никакого яснаго понятія о своихъ противникахъ, по самому существу своему склоненъ воображать, что кто не считаетъ его излюбленныя формы безусловнымъ началомъ жизни, кто смотритъ на существованіе отдѣльныхъ народностей, какъ на явленіе преходящее, и въ то-же время не замѣчаетъ въ исторіи никакого особенно таинственнаго стремленія со стороны каждой народности слиться непремѣнно въ одинъ государственный организмъ, такой злодѣй непремѣнно питаетъ коварные замыслы завтра-же приступить къ разрушенію государствъ, народностей и къ слитію человѣчества въ одинъ безразличный организмъ. Не будемъ отрицать, можетъ быть и есть такіе мечтатели,—мало-ли чего нѣтъ подъ луной,—продолжающіе стоять на почвѣ отвлеченнаго раціонализма XVIII вѣка, но, увлекшись полемикой съ подобными покойниками, Градовскій въ слѣпотѣ своей не замѣтилъ, что у него могутъ быть иные противники, болѣе современные, которые и не воображаютъ посягать на какія-либо разрушенія, которые можетъ быть болѣе его, Градовскаго, отрицаютъ всякое насиліе надъ народностями и потому весьма далеки отъ какихъ-бы то ни было произвольныхъ сглаживаній культурныхъ особенностей во имя единства общечеловѣческой цивилизаціи. Но противники эти въ то-же время имѣютъ свои реальныя основанія утверждать, что отдѣльныя народности вовсе не представляютъ особенныхъ цѣльныхъ организмовъ, и государственныя формы, объединяющія народности, отнюдь нельзя считать естественными органами подобныхъ организмовъ, что стремленіе къ единству никакъ нельзя считать существеннымъ и необходимымъ условіемъ жизни каждаго народа. Далеко не всѣ удавшіяся попытки къ народному объединенію исходили изъ народной воли, многія изъ нихъ были столь-же насильственны и искусственны, какъ и сплоченіе разнородныхъ національностей въ одно государственное цѣлое, и въ результатѣ имѣли столь-же нивеллирующее и растлѣвающее вліяніе, какое Градовскій приписываетъ вліянію Австрійской имперіи на славянъ или насильственному соединенію всѣхъ народовъ земного шара въ одно цѣлое. Съ другой-же стороны противники эти допускаютъ, что при полномъ отсутствіи всякихъ насильственныхъ и искусственныхъ мѣръ отдѣльныя народности, въ какое-бы то ни было отдаленное время, могутъ соединиться въ одну общечеловѣческую народность вполнѣ естественно и непроизвольно, дѣй-

ствіемъ тѣхъ-же самыхъ географическихъ, антропологическихъ, физіологическихъ и пр. законовъ, которые вліяютъ на образованіе отдѣльныхъ народностей, и что поэтому общечеловѣческая цивилизація можетъ когда-нибудь сдѣлаться не одной отвлеченной фикціей, а реальнымъ фактомъ.

Постараемся-же доказать Градовскому возможность подобнаго рода противниковъ національнаго формализма, и что онъ, такъ рьяно ополчающійся въ своей книгѣ на отвлеченныхъ раціоналистовъ во имя будто-бы реальныхъ основаній, самъ всецѣло стоитъ на почвѣ того-же самаго отвлеченнаго раціонализма и далекъ отъ истинно реальныхъ основаній, какъ небо отъ земли, что, возставая на своихъ противниковъ за жестокія поползновенія съ ихъ стороны къ насильственному водворенію на землѣ однообразной культуры и уничтоженію всѣхъ индивидуальныхъ особенностей, онъ самъ стоитъ на почвѣ такой доктрины, которая и въ настоящее, и въ прошедшее, и будущее времена ни къ чему не приводила и не можетъ привести въ своемъ осуществленіи, какъ именно къ убійственному нивеллированію и сглаживанію тѣхъ индивидуальныхъ особенностей, которыя ежедневно возникаютъ въ человѣческомъ родѣ совершенно самостоятельно и независимо отъ существованія отдѣльныхъ народностей.

Доказательства мои будутъ раздѣлены на два отдѣла, на первый взглядъ представляющіе рѣзкую противоположность. Въ первомъ отдѣлѣ я постараюсь доказать, что отдѣльныя народности въ своей внутренней жизни вовсе не представляютъ ни въ государственномъ, ни въ культурномъ отношеніи такого органическаго единства, какой навязываетъ имъ Градовскій. Во второмъ же отдѣлѣ будетъ доказано мной, что историческій прогрессъ въ томъ и заключается, что съ одной стороны народности, приходя все въ бо́льшія и бо́льшія столкновенія другъ съ другомъ, непремѣнно должны сливаться въ бо́льшія и бо́льшія группы, пока всѣ не сольются въ одну народность, и съ другой стороны, что по мѣрѣ того, какъ человѣкъ будетъ одерживать все бо́льшія и большія побѣды надъ природой и, освобождаясь отъ ея вліянія, самъ подчинять ее своему вліянію,—вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ естественныя культурныя формы, которыя создались помимо воли человѣка дѣйствіемъ историческихъ условій, непремѣнно должны смѣняться раціональными. На первый взглядъ оба отдѣла могутъ показаться взаимно-отрицающими другъ друга. Развѣ можетъ быть и рѣчь, подумаетъ читатель, о возможности внѣшняго единства между различными народностями, если авторъ начинаетъ съ того, что отрицаетъ внутреннее единство въ каждой народности. Но это противуположность только кажущаяся. Если же читатель потрудится глубже вникнуть въ дѣло, онъ убѣдится, что возможность слитія различныхъ народностей въ одно цѣлое только и можетъ быть доказана, если прежде всего вамъ удастся доказать отсутствіе внутренняго органическаго единства въ каждой народности. Въ самомъ дѣлѣ, только такіе элементы могутъ сливаться, которые не представляютъ внутренняго органическаго единства, организмы же сливаться другъ съ другомъ не могутъ: каждый организмъ по самой своей сущности представляетъ необходимымъ условіемъ своей жизни отдѣльное существованіе; прекращеніе этой отдѣльности есть разрушеніе самаго организма, смерть. На какомъ же иномъ основаніи и отрицаютъ приверженцы національнаго формализма возможность слитія народностей въ одно цѣлое, какъ не на томъ, что каждая народность есть, по ихъ мнѣнію, особенный организмъ и поэтому самому обречена на отдѣльное существованіе отъ другихъ народностей, рискуя, въ противномъ случаѣ, перестать быть организмомъ и слѣдовательно умереть. На этомъ основаніи, если намъ удастся доказать, что народности вовсе не представляютъ собой отдѣльныхъ организмовъ, этимъ самымъ уже мы расчистимъ путь къ доказательству возможности сліянія народностей въ общечеловѣческой цивилизаціи.

VIII.

За что Градовскій съ особенной рьяностью нападаетъ на раціоналистовъ XVIII вѣка? За то именно, что они, создавая à priori какія-нибудь теоріи основаннаго на разумѣ государственнаго устройства, стремились осуществить ихъ совершенно искусственнымъ путемъ, не принимая въ разсчетъ историческихъ условій жизни народовъ; отрицая все то, что́ есть, они мечтали сразу ввести то, что́ должно быть. «Съ научной точки зрѣнія,—говоритъ Градовскій:—нельзя *желательность* извѣстнаго положенія дѣлать признакомъ его практической годности.»

Прекрасно. Но не стоитъ-ли самъ Градовскій на почвѣ раціонализма, требуя, чтобы государство основывалось на почвѣ народности, чтобы оно составляло нѣчто одно нераздѣльное съ народомъ, было его органомъ, выразителемъ его жизни, стремленій, развитія и пр?

Вѣдь и въ этомъ случаѣ Градовскій высказываетъ только то, что́ *ему желательно*: государство *должно быть* органически народнымъ, высказываетъ онъ во многихъ частяхъ своей книги. Но такимъ-ли оно на самомъ дѣлѣ является въ условіяхъ исторической жизни, и годно-ли практически, осуществимо-ли желаніе Градовскаго? Вѣдь это тоже вопросъ съ научной точки зрѣнія.

И надо признаться, что въ какихъ отвлеченныхъ сферахъ ни витали раціоналисты, а они были не въ примѣръ и логически послѣдовательнѣе его, и научно честнѣе: они играли въ открытую, они смѣло провозглашали свой разрывъ съ исторіею и не дѣлали никакихъ уловокъ для соглашенія своихъ утопій съ историческимъ опытомъ, не искажали историческихъ фактовъ и не выдумывали своей собственной исторіи, чтобы оправдать ею свои теоріи. Они прямо говорили: да, ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ вы ничего не найдете подобнаго тому, что́ мы вамъ даемъ, но зато ваше прошлое и настоящее основано на игрѣ неразумныхъ стихій, а то, что́ мы вамъ даемъ, будетъ основано на законахъ безусловнаго разума. Градовскій, говоря о томъ, что́ должно быть, предполагаетъ, что это уже есть, и переворачиваетъ всю исторію на изнанку для того, чтобы доказать вамъ, что оно и всегда такъ было.—Если повѣрить ему на слово, то

можно подумать, что государственныя формы развиваются на почвѣ той или другой народности вполнѣ аналогично съ развитіемъ органовъ растенія: какъ изъ одного зерна выходятъ и корни, и стебли, и листья, такъ, по мнѣнію Градовскаго, всѣ функціи и права политической власти развиваются изъ какой-нибудь первобытной формы общества, вродѣ напримѣръ патріархальной семьи.

«До образованія государственной формы,- говоритъ онъ на стр. 44,—права и функціи политической власти находились въ рукахъ извѣстныхъ *властей*, выработанныхъ первобытными формами общества. Права законодательства, суда и управленія находились послѣдовательно въ рукахъ отца семейства, патріарха-родоначальника, собранія родовыхъ старшинъ, вотчинника-феодала и т. д.

«Два признака отличали этотъ порядокъ вещей.

«Права и функціи власти были соединены *частными* правами лицъ, ими облеченныхъ. Они какъ-бы вытекали изъ нихъ. Родоначальникъ изъ своей отеческой власти выводилъ право на жизнь и смерть своихъ подчиненныхъ, на внутреннее управленіе дѣлами рода, на веденіе внѣшнихъ сношеній и т. д. Феодальный-вотчинникъ видѣлъ въ судѣ одно изъ своихъ поземельныхъ правъ, статью дохода. Власть не была въ это время общественной должностью, предназначенной для осуществленія общественныхъ интересовъ.

«При такой системѣ *частныхъ* властей политическая жизнь представлялась чѣмъ-то разрозненнымъ. Племена, роды, феодальныя владѣнія не имѣютъ внутренней связи; они не способны къ общности національной жизни. Самыя условія этой жизни, и больше всего юридическія условія, не представляютъ однообразія, единства, необходимыхъ для правильнаго общенія.

Процессъ образованія государственной власти состоитъ въ томъ, что права и функціи политической власти постепенно конфискуются у всѣхъ частныхъ властей. Феодалы лишаются права законодательства, суда, правъ управленія финансоваго, полицейскаго, права частныхъ войнъ и т. д. Всѣ эти права сосредоточиваются въ рукахъ одного лица или учрежденія, дѣйствующаго во имя общественныхъ интересовъ, дѣлаются существенными *аттрибутами* верховной власти. Поэтому этотъ процессъ можетъ быть названъ *сосредоточеніемъ* или *централизаціей* власти. Словомъ, сосредоточеніе власти состоитъ въ томъ, что вмѣсто многихъ родоначальниковъ, вотчинниковъ и т. д., остается *одинъ*. Централизованная власть сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ только часть функцій прежнихъ властей, именно функціи, имѣющія политическое значеніе.

«Единство власти приводитъ къ единству и однообразію всѣхъ условій общежитія, что допускаетъ возможность болѣе широкаго и всесторонняго общенія. Единство законодательной власти установляетъ единство и равенство въ правахъ и обязанностяхъ, централизація суда ведетъ къ единообразному примѣненію и охраненію законовъ, единство администраціи—къ общности силъ и мѣръ въ осуществленіи разныхъ общественныхъ интересовъ. Такъ, вмѣстѣ съ образованіемъ центральной политической власти образуется и самое *государство*, какъ форма человѣческаго общенія, какъ разнообразное и единое въ своемъ разнообразіи политическое общество.»

На первый взглядъ вамъ можетъ показаться, что подобная система развитія государства основана всецѣло на историческомъ опытѣ, поэтому не подлежитъ сомнѣнію, и вамъ остается только удивляться, какъ въ самомъ дѣлѣ органически, естественно и систематично совершается процессъ развитія государства. Но если вы вздумаете, не повѣривши Градовскому на слово, примѣнить эту схему къ развитію любого изъ историческихъ государствъ и просмотрѣть по историческимъ фактамъ, такъ-ли на самомъ дѣлѣ развивались государства, вы тотчасъ и увидите, что схема Градовскаго виситъ въ воздушномъ пространствѣ и отличается, мало сказать, отвлеченностью, а вполнѣ произвольной фантастичностью.

Но прежде чѣмъ мы займемся анализомъ историческихъ фактовъ, съ цѣлью опроверженія фантастической схемы Градовскаго, мы считаемъ не лишнимъ уяснить, что мы должны считать подъ словами органическій, естественный, искусственный, противуестественный и пр. Дѣло въ томъ, что у насъ весьма произвольно играютъ этими словами и изъ этой игры и выходятъ такіе фокусы-покусы, какъ представленный намъ Градовскимъ въ видѣ его вышеозначенной схемы. До какой степени темно у насъ понятіе объ естественномъ, это мы можемъ судить по тому, что, вопреки всѣмъ законамъ логики, понятіе это имѣетъ два антитеза: противоестественный и искусственный. Но съ реальной точки зрѣнія послѣднее понятіе вовсе не составляетъ антитеза естественному. Реализмъ признаетъ, что все, какъ въ природѣ, такъ и въ жизни человѣка, совершается по непреложнымъ естественнымъ законамъ, и слѣдовательно въ исторіи все безразлично должно быть признаваемо равно естественнымъ. Противуположностью такому естественному можетъ быть только признаніе такихъ явленій, которыя совершались-бы вопреки всѣмъ естественнымъ законамъ дѣйствіемъ силъ, лежащихъ внѣ природы. Признаете вы или нѣтъ возможность такихъ явленій, назовете-ли вы ихъ сверхъестественными или просто неестественными, во всякомъ случаѣ они одни могутъ быть истиннымъ антитезомъ всего естественнаго. Искусственное же есть не антитезъ, а только видъ естественнаго и имѣетъ свой особенный антитезъ, обусловливающійся понятіемъ искусственнаго. Въ самомъ дѣлѣ, что мы подразумѣваемъ подъ этимъ словомъ? Всѣ явленія, въ которыхъ обнаруживается сознательное стремленіе человѣка примѣнить силы и законы природы къ своимъ личнымъ цѣлямъ. Всякое такое явленіе гораздо правильнѣе и точнѣе было бы обозначить словомъ произвольно-естественнаго и антитезомъ этого произвольно-естественнаго будетъ понятіе о непроизвольно-естественномъ, т. е. о всѣхъ такихъ явленіяхъ, которыя совершаются внѣ воли человѣка. Но, не говоря уже о произвольно-естественномъ, и непроизвольно-естественное далеко не все можетъ быть названо въ то же время и органическимъ. Органическое составляетъ только видъ непроизвольно-естественнаго, въ противуположность неорганическому. Органическими мы вправѣ считать только такія явленія, которыя присущи органическимъ тѣламъ и составляютъ ихъ жизненные процессы, опредѣляемые біологіей. Не считая нужнымъ вдаваться въ подробности разсмотрѣнія всѣхъ общеизвѣстныхъ признаковъ органическаго, мы укажемъ только на два существенные закона, которые будутъ играть важную роль въ нашихъ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ. Во-первыхъ, все органическое развивается изъ самаго себя, — причемъ изъ внѣшней природы входитъ въ организмъ только матеріалъ, перерабатываемый организ-

момъ для своихъ жизненныхъ цѣлей. Такимъ образомъ мы не можемъ себѣ и представить возможности существованія такого организма, части котораго развились бы не изъ него, а существовали прежде отдѣльно, а потомъ взяли сошлись, да и составили бы готовый организмъ. Во-вторыхъ, всѣ органическіе процессы суть непроизвольно-естественные: воля человѣка можетъ ихъ ускорить, замедлить, остановить и уничтожить, но вызвать и производить ихъ личными усиліями — внѣ власти человѣка. По крайней мѣрѣ до нашихъ временъ никто еще не сдѣлалъ живого организма.

На основаніи этихъ двухъ законовъ вы можете смѣло назвать или шарлатаномъ и гаеромъ, или попугаемъ, повторяющимъ человѣческія слова, смысла которыхъ онъ не понимаетъ, всякаго господина, который будетъ вамъ толковать о народномъ или государственномъ организмѣ, предполагая, что этотъ организмъ сложился изъ отдѣльныхъ частей, которыя нѣкогда существовали безъ всякой связи другъ съ другомъ, или что явился такой чародѣй, который разрозненныя части *насильственно сплотилъ* въ одинъ живой организмъ посредствомъ, положимъ, хоть завоеванія.

И вотъ, если мы обратимся теперь къ схемѣ Градовскаго, поразившей насъ на первый взглядъ своей несомнѣнностью, мы увидимъ, что Градовскій, желая доказать органичность развитія государства, въ первыхъ-же строчкахъ отрицаетъ его, представляя первый періодъ этого развитія въ такомъ видѣ: «при такой системѣ частныхъ властей, политическая жизнь представлялась чѣмъ-то разрозненнымъ. Племена, феодальныя владѣнія не имѣютъ внутренней связи, они не способны къ общности національной жизни. Самыя условія этой жизни, и болѣе всего юридическія условія, не представляютъ однообразія, единства необходимыхъ для правильнаго общенія».

И дѣйствительно, въ исторію какого изъ индо-европейскихъ народовъ вы ни заглянете, вездѣ вы увидите въ эпоху образованія государственныхъ формъ вмѣсто одного зерна, изъ котораго впослѣдствіи развивался бы организмъ государства, массу отдѣльныхъ частей, совершенно разрозненныхъ, изъ которыхъ каждая живетъ своей особенной жизнью и стремится не къ единенію съ другими частями, а, напротивъ того, къ полному обособленію и независимости. Можно положительно сказать, что единственной, если не органической, то вполнѣ непроизвольно-естественной формой государства является родовая или лично-семейная община земледѣльческая, промышленно-торговая или военная. При благопріятныхъ условіяхъ эта община развивается въ городъ (civitas) и только въ подобномъ маленькомъ естественно развившемся государствѣ вы можете видѣть государственныя формы, создавшіяся вполнѣ органически, изъ какого-нибудь патріархально-семейнаго зерна, безъ участія личнаго произвола какихъ-либо завоевателей. Такъ образовались древне-греческія республики, древне-русскіе города (Кіевъ, Новгородъ, Псковъ и пр.). И у германскихъ народовъ были зародыши подобныхъ-же государственныхъ формъ. По крайней мѣрѣ Тацитъ и Цезарь представляютъ намъ германцевъ живущими небольшими общинами съ общимъ землевладѣніемъ, причемъ общественныя дѣла рѣшались на сходкахъ всѣми свободными людьми общины. Каждая община выбирала своихъ судей и распорядителей, и только въ случаѣ войны являлся общій предводитель всего племени, но и этотъ предводитель имѣлъ только временное значеніе въ военное время. Въ мирное-же время власть его почти уничтожалась, и только впослѣдствіи, когда войны сдѣлались непрерывными и подъ чуждыми вліяніями идей римской цивилизаціи и библейскихъ, временной предводитель превратился въ постояннаго короля. — Такимъ образомъ мы имѣемъ основаніе предполагать, что если германцы развивались-бы на своихъ мѣстахъ вполнѣ самобытно и мирно, внѣ всякихъ внѣшнихъ вліяній, безъ передвиженій и завоеваній, то и они сложились-бы въ рядъ городовъ-государствъ, политически совершенно независимыхъ другъ отъ друга.

По крайней мѣрѣ передъ нашими глазами тотъ несомнѣнный фактъ, что чѣмъ болѣе развитіе того или другого народа подходило къ непроизвольно-естественному, чѣмъ менѣе участвовалъ въ немъ завоевательно-личный элементъ, тѣмъ сильнѣе въ такомъ народѣ было стремленіе къ политической разъединенности и тѣмъ дольше она сохранялась. Изъ крупныхъ историческихъ народовъ мы можемъ указать на два такихъ народа: русскій и древне-греческій. — Дѣйствительно, въ исторіи обоихъ народовъ завоеваніе играло самую ничтожную роль въ образованіи государствъ, и вотъ мы видимъ, что Русь слагается въ видѣ вѣчевыхъ городовъ, связь между которыми становилась все слабѣе до татарскаго ига. Въ Греціи является цѣлый рядъ совершенно независимыхъ республикъ.

Такимъ образомъ на первой же страницѣ исторіи передъ нами предстоитъ одинъ изъ самыхъ великихъ всемірно-историческихъ народовъ, который не только не сложился въ единое политическое цѣлое, но который достигнулъ высокаго развитія и положилъ основаніе всемірной цивилизаціи, пока не былъ соединенъ; объединеніе-же было его смертью. — Отношеніе греческихъ республикъ между собой было совершенно такое-же, какое представляется нынѣ между современными европейскими государствами: точно также они то воевали между собою, то заключали союзы; очень часто являлось преобладаніе одной державы надъ другими и возбуждало оппозицію, весьма похожую на наши теоріи политическаго равновѣсія. Если существовали между греками кой-какія попытки къ политическому объединенію, то замѣчательно что, во-первыхъ, онѣ никогда не обнимали всего эллинскаго народа, а были частно-племенными, каковы были союзъ іоническихъ городовъ подъ гегемоніей Аѳинъ, ахейскій союзъ, дорическое объединеніе большей части Пелопонеза подъ властью Спарты. Во-вторыхъ, во всѣхъ этимъ союзахъ и слѣда мы не видимъ чего-либо непроизвольно-естественнаго, органическаго: это были или насильственно-завоевательныя стремленія одного возвысившагося государства, какъ напримѣръ Спарты, а впослѣдствіи Македоніи. Но Спарта нашла въ греческихъ республикахъ не готовность объединиться подъ ея владычествомъ, а, напротивъ того, дру-

жественный отпоръ; Македонія-же должна была разрушить многіе греческіе города до основанія, чтобы заставить ихъ забыть о своей политической независимости. Или-же попытки объединенія устраивались между свободными державами по сознательному соглашенію, договору, и носили такимъ образомъ характеръ чисто раціональный, который между прочимъ Градовскій самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергаетъ въ образованіи государствъ. Въ самомъ дѣлѣ, Градовскій смѣется надъ раціоналистами за ихъ теорію общественнаго договора, которой они объясняли происхожденіе государствъ, и дѣйствительно смѣшно все подводить подъ эту теорію. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы нужно было впадать въ другую крайность и отвергать совсѣмъ существованіе раціональнаго начала въ исторіи, и вотъ почти на первой же страницѣ исторіи мы видимъ проявленіе начала чисто раціональнаго: сначала іонійскіе города, а потомъ ахейскіе составляютъ на основаніи свободнаго общественнаго договора союзъ, который былъ болѣе, чѣмъ простымъ политическимъ союзомъ: это была федерація городовъ, весьма напоминавшая собой федерацію сѣверо-американскихъ штатовъ.

Разумъ—одинъ изъ могучихъ дѣятелей исторіи, и отвергать его вліяніе въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ установленіе формъ общежитія, значитъ лишать человѣчество того, чѣмъ оно единственно отличается отъ всѣхъ прочихъ животныхъ. Поэтому слѣдуетъ отвергать не раціонализмъ самъ по себѣ, а только ложное его направленіе. Конечно когда раціонализмъ является въ видѣ отвлеченныхъ теорій меньшинства, и это меньшинство стремится насильно осуществить свою теорію, отъ такого раціонализма Боже избави. Но совершенно другое дѣло, когда одно или нѣсколько независимыхъ обществъ вполнѣ сознательно и свободно что-либо производятъ или измѣняютъ въ своемъ бытѣ по разумнымъ соображеніямъ. Такой раціонализмъ во имя права человѣка распоряжаться своей судьбой имѣетъ всегда мѣсто въ исторіи: онъ развивается по мѣрѣ развитія человѣчества, и ниже мы увидимъ, къ какимъ результатамъ онъ можетъ привести впослѣдствіи.

Но можетъ быть, при всемъ отсутствіи органической государственной связи, греки все-таки имѣли внутреннюю, духовную связь, сознаніе, что всѣ они составляютъ одинъ народъ, и можетъ быть это сознаніе, забывавшееся въ мирное время, съ особенной силой воскресало въ моменты нападенія иноплеменнаго врага, каковымъ были напримѣръ персы? Но и такое трансцедентальное единство представляетъ весьма спорный вопросъ. Достаточно того, что у политически-разъединенныхъ грековъ, разсѣянныхъ по берегамъ и островамъ Мраморнаго и Средиземнаго морей, не могло сложиться идеи объ обще-греческой территоріи. Существовали только отдѣльныя территоріи: Аѳинская, Спартанская, Ѳивская, Коринѳская и проч. Поэтому, когда иноплеменники нападали на грековъ, они нападали не на греческую землю вообще, а на владѣніе того или другого государства. Это государство обращалось тогда къ различнымъ греческимъ городамъ съ просьбой о помощи, искало союзниковъ, и греческіе города далеко не всегда и не всѣ подымались противъ общаго врага. Такъ, покоривши Лидійское царство, персы покорили и подвластныя имъ іонійскія колоніи. Іонійцы возмутились и просили помощи у европейскихъ грековъ. Изъ нихъ спартанцы наотрѣзъ отказались помочь іонійцамъ; имъ было не до того: они были заняты войною съ Аргосомъ. Аѳиняне же поддерживали возстаніе малоазійскихъ грековъ, и то не столько ради искренняго желанія помочь единоплеменникамъ, сколько ради мести персамъ, пріютившимъ у себя бѣжавшаго тирана Гиппія. Такимъ образомъ, при первомъ же столкновеніи съ персами, греки проявили себя совершенно такъ-же, какъ проявили-бы себя и современныя европейскія государства при вторженіи въ Еврону какого-нибудь азіатскаго племени. Еслибы это племя завоевало Россію и Германію, Англія могла-бы продолжать держать строгій нейтралитетъ и еще пожалуй радовалась-бы, что избавилась отъ двухъ цивилизованныхъ соперниковъ, а Франція могла-бы протянуть руку побѣжденнымъ державамъ, еслибы въ лагерѣ азіатовъ очутились наполеониды, и новый Чингисъ-Ханъ обѣщалъ-бы возстановить ихъ на престолѣ Франціи. И всѣ дальнѣйшія войны съ персами носятъ такой-же разъединенный характеръ со стороны грековъ. Сначала еще мы видимъ кой-какое стремленіе сплачиваться въ союзы и дѣйствовать сообща противъ общаго врага,—союзы, заключеніе которыхъ возможно и между различными народами. Но и въ этихъ союзахъ мы не замѣчаемъ особеннаго патріотическаго единодушія: такъ, одни города спѣшатъ безропотно покориться персамъ, другіе колеблятся и не знаютъ, къ чему пристать — къ партіи сопротивленія или покорности; третьи, какъ опять та же Спарта, на словахъ соглашаются сопротивляться, а на дѣлѣ медлятъ, отвиливаютъ и предоставляютъ другимъ освобождать отъ персовъ Элладу. Такой порядокъ мы видимъ во время первыхъ войнъ съ персами. Далѣе же мы встрѣчаемъ еще менѣе единодушія: весь греческій міръ распадается на два враждебно-политическіе лагеря; начинаются Пелопонезскія войны, и ужъ тутъ не только мы не видимъ и возможности, чтобы весь народъ, какъ одинъ человѣкъ, возсталъ и слился въ одномъ общемъ чувствѣ и т. д., а напротивъ того: то та, то другая стороны прибѣгаютъ къ персамъ, ища въ нихъ союзниковъ противъ единоплеменнаго врага. Такъ, аѳинскій полководецъ Кононъ одерживаетъ надъ спартанцами побѣду при Кандіи при помощи персидскаго флота, а спартанцы отплачиваютъ своимъ врагамъ анталкидовымъ миромъ, по которому они отдаютъ во власть персовъ всѣ малоазійскія колоніи съ островами Кипромъ и Клазоменъ.

Но что-же тутъ хорошаго въ этой разъединенности? спроситъ меня читатель. Развѣ не эта разъединенность и погубила Грецію? Еслибы Греція составляла нѣчто цѣлое, органически-единое, то можетъ быть не было-бы и Римской имперіи, и геніальный народъ представилъ-бы намъ и не такія еще чудеса цивилизаціи? Но развѣ я представляю разъединенность Греціи, какъ нѣчто идеальное? Ничуть не бывало. Я только констатирую фактъ, доказывающій, что стремленіе къ единству и органическое развитіе государственныхъ формъ вовсе не составляютъ фа-

тально неизбѣжнаго условія жизни каждаго народа. Я могу повторить здѣсь слова самого Градовскаго: «*мы очевидно не имѣемъ права* (*т.-е. научнаго права*), говоря о разъединеніи Греціи, *ставитъ вопросъ о томъ, оправдываетъ ими не оправдываетъ разумъ* его существованія. *Мы только вправѣ и должны задавать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ ли научные факты какія-нибудь данныя въ пользу того*, что каждая народность представляетъ изъ себя послѣдовательно развивающійся политическій организмъ».

Какъ-бы то ни было, но городъ,—эта единственная, непроизвольно-естественная форма государства,—до такой степени сдѣлался привычной формой древней жизни, что, когда Римъ объединилъ наконецъ весь древній міръ, онъ не могъ сразу вырвать съ корнемъ этого глубоко вкоренившагося растенія. Римъ лишалъ города одной только политической независимости и въ то же время предоставлялъ имъ полное самоуправленіе: они сохраняли свой судъ, свою выборную полицію и администрацію и самостоятельно рѣшали всѣ свои внутреннія дѣла. Казалось, что весь древній міръ готовъ былъ обратиться въ федерацію, напоминавшую собой Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты. Но для осуществленія подобной федераціи недоставало одного, и самаго главнаго: древній міръ далекъ былъ отъ той степени развитія, чтобы соединеніе могло произойти вполнѣ сознательно, свободно, добровольно и на равныхъ правахъ. Оно было совершено насильственно не ради единенія въ духѣ любви и братства, а съ своекорыстными цѣлями господства. Объединивши весь древній міръ подъ своею властью, Римъ началъ высасывать всѣ производительные соки изъ покоренныхъ областей. Громадныя богатства, начавшія стекаться отовсюду въ всемірный городъ, произвели страшное растлѣніе правовъ и до такой степени исказили древне-римскую культуру, что свободныя республиканскія формы должны были смѣниться деспотическими. Усиленіе деспотизма въ Римѣ вліяло и на муниципальную свободу городовъ, все болѣе и болѣе подавляя ее. Страшные поборы, особенно тягостно падавшіе на выборныхъ представителей городовъ, произвели то, что на муниципальныя должности начали смотрѣть не какъ на почетъ, а какъ на наказаніе. Города бѣднѣли, обезлюживались, наконецъ едва влачили свое существованіе. И все-таки обратите вниманіе на ихъ живучесть: они одни пережили Римскую имперію, и въ то время, какъ всѣ ея искусственныя, насильственно поддерживаемыя формы разбились въ дребезги передъ напоромъ варваровъ, эти органически-сложившіяся формы уцѣлѣли. И это произошло очень естественно.

Мы уже говорили выше, что у германцевъ, еслибы они развивались на своихъ мѣстахъ, внѣ всякихъ внѣшнихъ вліяній, могъ бы развиться такой же порядокъ, какъ въ древней Греціи или до-монгольской Руси, т. е. рядъ независимыхъ городовъ, связанныхъ весьма слабой политической связью или ничѣмъ не связанныхъ. Но развитію такого порядка помѣшали два обстоятельства: съ одной стороны—напоръ новыхъ народовъ, хлынувшихъ въ Европу съ Востока; съ другой стороны,—сосѣдство цивилизованнаго государства, въ свою очередь дѣлавшаго нападенія на германцевъ. Все это сплочивало германцевъ въ орды, поддерживало и развивало въ нихъ воинственный духъ и военный порядокъ. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ растлѣнія въ Римской имперіи начались и вторженія въ нее варваровъ. Есть полное основаніе предполагать, что подобныя вторженія были не столько вторженіями цѣлыхъ племенъ, сколько военныхъ дружинъ, вродѣ походовъ первыхъ русскихъ князей на Грецію, причемъ мы видимъ, что Святославу напримѣръ понравилась Болгарія, онъ засѣлъ въ ней, забывши о Кіевѣ. Такъ засѣдали въ завоеванныхъ странахъ и германскія варварскія полчища, забывая свою родину. Во всякомъ случаѣ варвары, опустошая и покоряя римскія провинціи, и не воображали вносить въ нихъ какое-либо органическое государственное устройство. Удовлетворивши жаждѣ добычи повсемѣстнымъ грабежемъ, они потомъ располагались въ странѣ военнымъ лагеремъ, съ единственной цѣлью собирать доходы съ покоренныхъ областей и благоденствовать. Что же дѣлали въ это время покоренные жители: латиняне, галлы, бритты, иберы и пр.? Они разбѣгались при появленіи варваровъ, а потомъ, когда тѣ насыщались грабежемъ, снова сходились на пепелища разрушенныхъ городовъ, строились на нихъ или по близости и снова заводили у себя свое исконное муниципальное правленіе, съ которымъ сжились. Варварамъ до этого не было никакого дѣла; главной заботой ихъ было собирать поболѣе дохода съ покоренныхъ земель, и они не только не вмѣшивались въ самоуправленіе городовъ, но, напротивъ, поощряли такой порядокъ, желая по всей вѣроятности ободрить испуганный народъ и снова собрать его изъ лѣсовъ въ города. Такъ, по свидѣтельству Григорія Турскаго, король франковъ Хлотарь даже присягнулъ разнымъ городамъ франкской державы не навязывать имъ никакихъ новыхъ законовъ и учрежденій.

Такимъ образомъ съ самаго начала образованія современныхъ намъ государствъ не представляется и слѣдовъ чего-либо органическаго,—естественнаго и непроизвольнаго развитія разнообразія изъ единства. Напротивъ того, передъ нами насильственное сцѣпленіе совершенно разнородныхъ элементовъ. Мы видимъ нѣсколько враждебныхъ лагерей, составляющихъ государства въ государствахъ: съ одной стороны передъ нами короли съ вассалами, составляющіе внѣшній, пришлый военно-деспотическій элементъ, и если считать этотъ элементъ головами развивавшихся народно-государственныхъ организмовъ, то мы будемъ имѣть чудодѣйственные организмы, головы которыхъ развились не изъ сѣмени вмѣстѣ съ другими членами тѣла, а приросли къ тѣлу извнѣ. Съ другой стороны города со своими вольностями, основанными на римскомъ правѣ. Съ третьей стороны духовенство, это новое государство въ государствѣ, не желающее знать никакихъ другихъ властей, кромѣ единой власти римскаго папы. И всѣ эти элементы, несмотря на попытку къ искусственно-насильственному соединенію ихъ въ видѣ монархіи Карла, этого неудачнаго подражанія Римской имперіи, всѣ они тянутъ врозь и наконецъ совсѣмъ расползаются. Феодалы отлагаются отъ королей, и по мѣрѣ того, какъ распадается

насильственно сцѣпляющій военно-деспотическій элементъ, непроизвольно естественные элементы начинаютъ развиваться и усиливаться: города получаютъ все болѣе и болѣе свободы, правъ, и обращаются почти въ независимыя республики.

Въ самомъ дѣлѣ, къ 13 вѣку мы видимъ, что вся Европа покрыта сѣтью вольныхъ городовъ, которые наперерывъ стремятся то силою оружія, то путемъ мирныхъ договоровъ, вродѣ покупокъ за деньги льготныхъ грамотъ, пріобрѣсти полную независимость отъ феодализма. И въ то время, какъ за стѣнами городовъ царствуетъ грубое варварство, въ городахъ начинаетъ кипѣть совершенно иная жизнь: развиваются торговля и промышленность, нравы смягчаются, является страсть къ наукамъ и искусствамъ, совершаются первыя изобрѣтенія. Между тѣмъ какъ внѣ городовъ господствуетъ необузданный произволъ феодальнаго и крѣпостного права, не возбуждающаго ни малѣйшаго протеста и признаваемаго божественнымъ, въ городахъ, какъ итальянскихъ, такъ и германскихъ, возникаетъ демократическое движеніе: все болѣе и болѣе богатѣющіе купцы и ремесленники возстаютъ на городскихъ дворянъ и требуютъ равенства въ участіи въ городскомъ правленіи. При всемъ этомъ замѣчателенъ тотъ фактъ, что въ мѣстностяхъ Европы, въ которыхъ феодальныя стихіи пришли въ наиболѣе раздробленное состояніе, и гдѣ взаимная борьба между ними парализовала всякія попытки къ насильственнымъ объединеніямъ, тамъ города достигли наибольшей независимости и цвѣтущаго состоянія. Таковы были Италія, въ особенности сѣверная, Швейцарія и Германія. При этомъ сначала города боролись съ феодализмомъ, каждый въ отдѣльности, впослѣдствіи же начали составлять союзы, весьма напоминавшіе древне-греческіе. Такова была напримѣръ Ломбардская лига, составившаяся противъ Фридриха II изъ городовъ Вероны, Верчелли, Мантуи, Гуасталлы, Виченцы, Падуи и Тревизо. Таковъ былъ на сѣверѣ знаменитый Ганзейскій союзъ, состоявшій изъ 90 городовъ, которые, пользуясь самостоятельностью каждый въ отдѣльности, въ то же время имѣли союзное правительство, владѣвшее союзной казной и войсками. Эти союзныя войска вмѣстѣ съ любекскимъ флотомъ очистили Балтійское море отъ морскихъ пиратовъ, прекратили набѣги норманновъ и обезопасили Ганзу отъ рыцарей-разбойниковъ въ мрачную эпоху кулачнаго права. Союзы городовъ, сначала случайные и частные, со временемъ дѣлаются все болѣе и болѣе обширными, и вотъ мы видимъ, въ XIV вѣкѣ настаетъ такой критическій моментъ, въ который едва не совершился въ жизни Европы великій переворотъ. Дѣло въ томъ, что Швейцарія, освобожденіе которой приписывается миѳическому Вильгельму Теллю и представляется обыкновенно какимъ-то исключительнымъ явленіемъ, въ сущности есть не что иное, какъ памятникъ такого движенія, которое въ моментъ освобожденія Швейцаріи было общеевропейскимъ и едва всей Европѣ не придало видъ Швейцаріи. Такъ, рядомъ съ швейцарскимъ союзомъ образовались союзы рейнско-швабскихъ и франконскихъ городовъ. Оба эти союза, соединившись между собой, предложили пристать къ нимъ и швейцарскому союзу, и послѣдній присталъ къ швабскимъ и франконскимъ городамъ, хотя и не во всемъ своемъ составѣ. Такимъ образомъ составилась лига изъ 70 городовъ, основаніемъ которой послужилъ союзный договоръ, заключенный въ Констанцѣ 21 февраля 1385 года. Не довольствуясь этимъ, лига вошла въ сношеніе съ Ганзою, и стоило только пристать къ ней ганзейскимъ и верхне-италійскимъ городамъ, тогда образовалась бы такая сила, противъ которой феодалы всей Европы конечно не могли бы устоять, еслибы даже способны были къ единодушному сопротивленію, и тогда Европа могла бы принять видъ древней Греціи. Но германскіе князья во время поняли угрожавшую имъ опасность и, прежде чѣмъ города успѣли сплотиться въ такой колоссальный союзъ, они напали на нихъ дружными усиліями. Въ 1388 и 1389 гг. произошло нѣсколько битвъ, результатомъ которыхъ было то, что города принуждены были покориться, союзъ распался и власть князей сдѣлалась неограничена. Уже никакое энергическое сопротивленіе не мѣшало имъ болѣе ослаблять города и всячески притѣснять ихъ. Но дорого стоило Германіи это паденіе городовъ: вмѣстѣ съ нимъ надолго пали и торговля, и благосостояніе страны; нравы огрубѣли и одичали; надо всѣмъ воцарился необузданный деспотизмъ феодальныхъ владѣтелей и католическаго духовенства, эксплуатировавшаго грубое суевѣріе.

Въ то время, какъ въ Германіи побѣда феодальныхъ князей надъ городами повела къ усиленію ихъ могущества и къ окончательному раздробленію Германіи, во Франціи и Англіи произошли иныя комбинаціи между элементами средневѣковыхъ обществъ, результатомъ которыхъ было дѣйствительно объединеніе этихъ странъ, но все таки это объединеніе не представляетъ ничего естественно-органическаго и является насильственнымъ, и потому искусственнымъ. Такъ, во Франціи въ моментъ объединенія мы видимъ не народный организмъ, развивающій многое изъ единаго, а четыре враждебные лагеря, упорно борющіеся между собой: съ одной стороны феодалы стремятся свергнуть съ себя всякую зависимость отъ королей; съ другой — города стремятся къ независимости отъ феодаловъ; съ третьей стороны короли въ теоріи воспитываютъ въ себѣ идеалы абсолютизма, завѣщанные Востокомъ и Римомъ, фактически-же не имѣютъ еще почти никакой власти; и наконецъ въ четвертыхъ духовенство стремится покорить теократической власти папы всѣ прочіе элементы общества. — Если при такихъ условіяхъ Франція не распалась на мелкія части и не образовала изъ себя нѣсколькихъ государствъ вмѣсто одного, то благодаря тому, что королевская власть соединилась съ городами противу общихъ враговъ, феодаловъ. Но, покоривши феодаловъ и обуздавши притязанія духовенства, она потомъ уничтожила и своихъ союзниковъ, подавила самостоятельность городовъ и, утвердивши необузданный абсолютизмъ, распространивши на всю страну давящую и мертвящую централизацію, начала стягивать къ себѣ всѣ соки страны, пока не истощила ее до послѣдней степени. Видѣть нѣчто народно-органическое въ подобномъ объединеніи отказывается даже Градовскій: «успѣхи королевской власти, — говоритъ

онъ на 8 стр., не вездѣ разрѣшили національный вопросъ; короли даже не въ состояніи были дать этому вопросу правильную постановку. Нужно имѣть въ виду, что, во-первыхъ, королевская власть приняла въ себя много элементовъ феодальнаго права, и во-вторыхъ, что она въ дѣйствіяхъ своихъ выдвигала на первый планъ чисто политическіе и юридическіе вопросы,—вопросы о единствѣ власти, закона и администраціи.» Мы можемъ прибавить къ этимъ словамъ Градовскаго, что короли не только что *не вездѣ*, но нигдѣ и не думали о разрѣшеніи національнаго вопроса. Какъ элементъ пришлый, основавшійся въ различныхъ странахъ на правѣ завоеванія, королевская власть по самому существу своему смотрѣла на завоеванныя земли, какъ на свои *владѣнія*. Главный же и единственный принципъ всякаго владѣнія—есть пользованіе предметомъ владѣнія; по отношенію къ землѣ пользованіе это заключается въ собираніи доходовъ. Естественно, что феодально-королевская власть на Западѣ эту дѣятельность ставила на первый планъ, въ ней видѣла все свое призваніе, о ней только и заботилась.—Такимъ образомъ, покоряя феодаловъ, короли вовсе и не думали дѣлать это изъза какихъ-либо отвлеченныхъ идей національнаго единства: феодалы въ глазахъ ихъ были ничѣмъ болѣе, какъ своевольными арендаторами, вздумавшими раздѣлить ихъ владѣнія между собой и присвоить себѣ ихъ земли. Точно также и борясь съ притязаніями католическаго духовенства, короли и не воображали о національной независимости отъ всепокоряющей власти папы; здѣсь точно такъ-же является передъ нами вопросъ исключительно финансовый объ увеличеніи доходовъ. По крайней мѣрѣ въ такомъ видѣ представляется намъ знаменитый споръ между Бонифаціемъ VIII и Филиппомъ Красивымъ,—этотъ роковой моментъ въ сверженіи Франціей теократическаго ига. Все несогласіе между папой и королемъ произошло изъ того, что король ради наибольшихъ доходовъ вздумалъ обложить податями духовенство. Папа запретилъ это. Тогда король въ свою очередь запретилъ вывозъ золота куда бы то ни было изъ Франціи, слѣдовательно и въ Римъ. Наконецъ усиленіе администраціи и та крайняя централизація, которую развили во Франціи короли, все это имѣло единственную цѣль—систематизацію собиранія доходовъ. Въ этомъ отношеніи знаменитая фраза Людовика XIV «l'état c'est moi» является прямымъ логическимъ выводомъ изъ самой идеи феодально-королевской власти. Фразой этой Людовикъ XIV откровенно выразилъ, что онъ вовсе не есть глава или представитель какого-то тамъ еще народа. Никакого народа онъ и знать не хочетъ, а знаетъ онъ только свое помѣстье, составляющее его неотъемлемую собственность, часть его самого (какъ обыкновенно объясняютъ юристы идею всякой собственности), которое потому только и существуетъ, что онъ—Людовикъ XIV; онъ именно и есть l'état.

Въ Англіи мы видимъ тѣ же самые общественные элементы: тѣхъ же феодальныхъ бароновъ, города и королей, имѣющихъ притязаніе видѣть въ себѣ l'état. Разница представляется здѣсь только въ комбинаціи враждебныхъ лагерей. Такъ, здѣсь города соединяются не съ королями противъ бароновъ, а съ баронами противъ королей. Слѣдствіемъ такой комбинаціи и было то, что короли въ Англіи не могли достигнуть такого могущества, какъ во Франціи, не имѣя возможности составить постояннаго войска, какое образовали французскіе короли при помощи городовъ. Власть ихъ поэтому все болѣе и болѣе падала послѣ каждаго дружнаго натиска бароновъ въ соединеніи съ городами. Результатомъ этого и образовалось полное отсутствіе централизаціи и то знаменитое англійское self-government, на которое съ такой завистью смотрятъ всѣ континентальные народы. Англійская конституція со всѣми своими широкими правами есть какъ бы рядъ мирныхъ договоровъ между воюющими лагерями.

Но какъ ни различно сложились государственныя формы въ трехъ передовыхъ европейскихъ странахъ—Германіи, Франціи и Англіи, въ основѣ этого образованія лежитъ одна и та же искусственная комбинація элементовъ, одинаково враждебныхъ другъ другу, одинаково взаимно другъ друга исключающихъ. Образованіе государственныхъ формъ западной Европы вышло такимъ образомъ вовсе не изъ естественно-органическаго развитія, а изъ борьбы между этими враждебными элементами, причемъ въ однѣхъ странахъ, какъ во Франціи XIII вѣка и современной Германіи, произошло *насильственное* подчиненіе всѣхъ элементовъ одному, одержавшему побѣду, въ другихъ, какъ въ Англіи, мы видимъ *раціональный* договоръ, установившій отношенія между враждебными лагерями. Но и послѣ того, какъ объединеніе совершилось, вышеозначенные элементы не слились въ одно органическое тѣло, и до сихъ поръ они существуютъ каждый своей особенной жизнью въ видѣ сословій, ведущихъ между собой борьбу, то открытую, то тайную. Но мало того, что вмѣстѣ съ объединеніемъ борьба не уменьшилась, она еще осложнилась, потому что среднее сословіе, въ которое слились города, раздѣлилось на два элемента, на капиталистовъ и рабочихъ, и послѣдніе составили враждебный лагерь, могущій вступать въ различные союзы со всѣми прежними элементами. Отсюда весьма естественнымъ представляется и тотъ антагонизмъ между государствомъ и обществомъ, противъ котораго ратуетъ Градовскій. Этотъ антагонизмъ вытекаетъ прямо изъ историческаго положенія вещей въ Европѣ. Правительства пришлыя, поработившія различные самостоятельные элементы странъ и насильственно сплотившія ихъ, естественно тѣмъ самымъ и утвердили взглядъ на себя, какъ на нѣчто внѣшнее и тяготѣющее надъ страной. Взглядъ этотъ утверждался вѣками, и вы подумайте только, въ какихъ слояхъ западно-европейскихъ обществъ наиболѣе господствуетъ онъ? Въ городскомъ среднемъ сословіи. Какіе классы общества наиболѣе оказываются приверженными теоріямъ государственнаго невмѣшательства и ограниченія государственныхъ функцій однимъ охраненіемъ личной безопасности—опять таки буржуазные классы, т. е. тѣ же города, привыкшіе съ начала среднихъ вѣковъ уже стремиться къ независимости отъ феодальныхъ владѣтелей и къ огражденію своихъ внутреннихъ городскихъ дѣлъ отъ внѣшняго вмѣшатель-

ства. Но объяснимый исторически, подобный взглядъ имѣетъ свое оправданіе и въ современномъ положеніи вещей. Онъ былъ-бы ложенъ только въ томъ случаѣ, еслибы въ дѣйствительности во Франціи, Англіи или иной странѣ существовали тѣ идеальныя національно-органическія государственныя формы, о которыхъ мечтаетъ Градовскій, но такихъ формъ нигдѣ не существуетъ. Въ дѣйствительности искусственно сложившіяся государственныя формы служатъ орудіемъ въ рукахъ одного какого-нибудь элемента, одержавшаго верхъ и стремящагося поработить всѣ прочіе. Отсюда весьма естественно въ городскихъ классахъ, наиболѣе образованныхъ и издревле привыкшихъ къ самоуправленію, стремленіе гарантировать свои внутреннія дѣла отъ произвольнаго вмѣшательства администраціи, являющейся слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ то той, то другой изъ господствующихъ партій.

Читатель можетъ опять задать мнѣ вопросъ: неужели же я смотрю, какъ на нѣчто идеальное, на всю эту рознь элементовъ, изъ которыхъ слагается европейская жизнь. Неужели я не желаю, подобно Градовскому, чтобы каждый народъ представлялъ стройный государственный организмъ, вполнѣ сливающійся, отождествляющійся съ народомъ и органы котораго не дрались бы между собой, а, напротивъ того, составляли нѣчто систематически стройное, единодушно-взаимно-дѣйствующее, многое въ единомъ и единое во многомъ? Но мало ли чего бы я ни желалъ: здѣсь идетъ дѣло не о томъ, что было бы желательно, а о томъ, что есть на самомъ дѣлѣ. И я, если вамъ угодно, могу еще разъ повторить два мудрыхъ изреченія Градовскаго: 1) съ научной точки зрѣнія нельзя желательность извѣстнаго положенія дѣлать признакомъ его практической годности, и 2) мы очевидно не имѣемъ права (т. е. научнаго права), говоря о государственномъ единствѣ народовъ, поставить вопросъ о томъ, оправдываетъ или не оправдываетъ разумъ существованія этого единства? Мы только вправѣ и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ ли научные факты какія нибудь данныя въ пользу того, что государственныя формы различныхъ народовъ сложились естественно и представляютъ органическое единство?

И научные факты говорятъ намъ: нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ.

Но можетъ быть отсутствіе органическаго единства въ государственныхъ формахъ нисколько не мѣшаетъ народу быть единымъ въ культурномъ отношеніи, т. е. каждый народъ, какіе бы враждебные политическіе элементы не заключалъ въ своихъ нѣдрахъ и хотя бы даже былъ политически разъединенъ, подобно древнимъ грекамъ, при всемъ томъ говоритъ однимъ языкомъ, исповѣдуетъ одну религію, имѣетъ одинаковый бытъ во всѣхъ своихъ элементахъ и отдѣльныхъ частяхъ, одинаковый складъ ума, одинаковую наклонность къ созданію своеобразныхъ произведеній искусства или къ процвѣтанію тѣхъ или другихъ наукъ и пр. Но и въ этомъ отношеніи мы не найдемъ положительно ни одного народа, который впродолженіи всей своей исторіи имѣлъ бы однообразную культуру во всѣхъ своихъ отдѣльныхъ частяхъ. Напротивъ того, мы видимъ, что народъ или постоянно дѣлится на различныя культуры, не имѣющія между собой часто ничего общаго; или же съ теченіемъ времени въ немъ возникаютъ такія культурныя разновидности, которыя теряютъ всякую связь съ общей культурой.

Начнемъ, если вамъ угодно, опять съ грековъ. Говоря однимъ языкомъ, они имѣли одни вѣрованія, нравы и обычаи, учились по однѣмъ и тѣмъ же пѣснямъ Гомера, сходились со всѣхъ странъ свѣта на олимпійскія игры, гдѣ при всемъ своемъ политическомъ разъединеніи сливались въ одинъ народъ въ созерцаніи своихъ вѣковѣчныхъ памятниковъ искусства, которые составляли гордость и славу каждаго грека безразлично. Тѣ, которые судятъ такимъ образомъ, имѣютъ о древней Греціи самое поверхностное понятіе.—По пѣснямъ Гомера и по олимпійскимъ играмъ заключать объ единствѣ греческой культуры —все равно, что предполагать европейскую культуру однообразной на томъ основаніи, что всѣ европейцы молятся по одному и тому же Евангелію и время отъ времени устраиваютъ въ столичныхъ городахъ всемірныя выставки, на которыхъ состязуются другъ передъ другомъ въ произведеніяхъ промышленности, торговли, изящныхъ искусствъ и пр. Искони Греція раздѣлялась на двѣ культуры, весьма мало похожія одна на другую—дорическую, представительницей которой является передъ нами Спарта, и іонійскую, дошедшую до высшаго своего процвѣтанія въ Аѳинахъ. Между обѣими культурами было такъ-же мало общаго, какъ въ настоящее время между культурой Италіи и Пруссіи.—Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ съ одной стороны — народъ мореплаватель, мыслитель, предпріимчивый, дѣятельный, способный на всѣ мастерства и въ изящныхъ искусствахъ дошедшій до недосягаемой высоты, народъ утонченно-изящный, впечатлительный, крайне подвижный и въ то же время любящій роскошь и нѣгу; и съ другой стороны—народъ воинственный, закаленный въ перенесеніи холода и голода, привыкшій къ грубой солдатской простотѣ жизни, выше всего ставящій въ человѣкѣ физическую силу и все воспитаніе полагающій въ солдатской выправкѣ. Самое смѣлое воображеніе, выражаясь словами Градовскаго, не можетъ себѣ представить Фидія въ Спартѣ или Пиѳагора въ аркадской Кинефѣ. Вся та высокая цивилизація, которую греки завѣщали міру, принадлежала исключительно почти одному іонійскому племени, между тѣмъ къ грекамъ принадлежатъ и македоняне, имѣвшіе опять-таки свою особенную культуру, не похожую ни на аттическую, ни на спартанскую.

Если мы заглянемъ въ средніе вѣка, то здѣсь мы встрѣтимъ еще болѣе пестрое разнообразіе жизни въ культурномъ отношеніи. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите вы богатую культуру южной Франціи, на почвѣ которой расцвѣла знаменитая провансальская поэзія и начались первые задатки протестантства въ лицѣ альбигойцевъ, и сравните съ дикой, варварской Нормандіей или Бретанью. Возьмите культуру торгово-промышленной Англіи и сравните ее съ культурой горной Шотландіи. Возьмите нѣмцевъ балтійскихъ прибрежій и сравните ихъ съ тирольцами, саксонцами...

Возьмите новгородскую культуру торговой республики и сравните ее съ одной стороны съ культурой запорожской сѣчи, этой военно-лагерной вольницы, и съ другой стороны съ культурой Москвы, основанной на византійско-татарскомъ абсолютизмѣ. И вообще если мы примемъ во вниманіе, по совѣту Градовскаго, географическія, климатическія и всѣ прочія естественно-историческія условія жизни народовъ, то найдемъ, что культуры раздѣляются не столько по народностямъ, сколько по характеру мѣстностей. Такимъ образомъ передъ нами будутъ культуры не русскихъ, французовъ и англичанъ, а горныхъ странъ, приморскихъ, рѣчныхъ, степныхъ, лѣсныхъ и пр., и мы увидимъ, что горцы или поморяне всѣхъ странъ имѣютъ гораздо больше общихъ чертъ въ своей культурѣ, чѣмъ напримѣръ тѣ же горцы и поморяне со своими единоплеменниками, живущими въ лѣсахъ или степяхъ. Тѣ политическія объединенія, которыя происходили въ нѣкоторыхъ странахъ Европы въ концѣ среднихъ вѣковъ, какъ напримѣръ во Франціи и въ Россіи, до нѣкоторой степени дѣйствительно сгладили всѣ эти мѣстныя культурныя особенности и подчинили цѣлые народы однообразной культурѣ центра; но въ подобномъ сглаженіи, нивелированіи было столько же искусственнаго, насильственнаго и подавляющаго, сколько Градовскій находитъ въ подчиненіи славянскихъ народовъ единообразной культурѣ Австрійской имперіи, и стоили они не менѣе страшныхъ кровавыхъ жертвоприношеній. Такъ, въ Россіи нужно было нѣсколько десятковъ тысячъ новгородцевъ потопить въ Волховѣ и разселить по всѣмъ городамъ, чтобы прировнять новгородскую землю къ Москвѣ. Во Франціи воздвигались цѣлые походы на альбигойцевъ, кончившіеся окончательнымъ истребленіемъ роскошной провансальской культуры. —Не знаемъ, много-ли выиграла французская національность отъ уничтоженія всякихъ мѣстныхъ особенностей и отъ сосредоточенія всей національной жизни въ Парижѣ, но намъ извѣстно, что потеряла Россія отъ уничтоженія въ лицѣ Новгорода важнаго торговаго пункта, который служилъ въ свое время для страны единственнымъ посредникомъ между ней и западной Европой въ сбытѣ мѣстныхъ произведеній, и какихъ неимовѣрныхъ усилій стоило Россіи создать новый такой пунктъ. Мы можемъ также представить себѣ, какое гибельное вліяніе экономическое и нравственное произвело бы на Англію подавленіе въ сѣверо-американскихъ колоніяхъ стремленія къ независимости и къ созданію своей собственной культуры. Въ этомъ отношеніи, если мы возьмемъ любое изъ западно-европейскихъ государствъ, составленныхъ изъ одной народности, то къ каждому мы можемъ буквально примѣнить то же самое, что Градовскій говоритъ о государствѣ, искусственно составленномъ изъ различныхъ народностей. Вотъ что говоритъ онъ на 28 стр.:

«Искусственныя государства не удовлетворяютъ самымъ элементарнымъ потребностямъ народнаго развитія: они не могутъ обезпечить коренныхъ условій гражданской свободы. Созданныя обыкновенно насиліемъ, они должны направить всѣ свои средства на сохраненіе и поддержаніе своего искусственнаго единства. Они, въ силу вещей, должны бываютъ подавлять всякое свободное проявленіе жизни и даже мысли. Развитіе свободы кажется имъ опаснымъ потому, что оно можетъ напомнить насильственно сплоченнымъ народностямъ объ ихъ правахъ. Признаніе даже административнаго самоуправленія кажется невозможнымъ, потому что за нимъ можетъ явиться требованіе самостоятельности политической. Такія государства безпрерывно живутъ между страхомъ внутренней революціи и внѣшняго нападенія. Малѣйшее пробужденіе общественной жизни внутри кажется предвѣстникомъ грознаго переворота. Усиленіе сосѣда вызываетъ тревожныя опасенія. Правительство такого государства поставлено въ весьма фальшивое положеніе. Оно вѣчно должно питать подозрѣніе къ собственному обществу, зависть къ сосѣдямъ. Можетъ-ли оно разрѣшить великія нравственныя и экономическія задачи, къ которымъ призвано государство?»

Говоря это, Градовскій подразумѣваетъ конечно все ту же несчастную Австрійскую имперію, о которой націоналисты не могутъ вспомнить безъ скрежета зубовъ и существованіе которой составляетъ ихъ истинное несчастіе. Но мы спрашиваемъ Градовскаго, къ какому-же изъ современныхъ намъ западно-европейскихъ государствъ не могутъ быть буквально примѣнены тѣ же самыя слова? Или быть можетъ къ Англіи, которую націоналисты постоянно превозносятъ, какъ образецъ народа, развившагося вполнѣ самобытно, и въ которомъ народное правительство, выражая собой волю всего народа, стремится выполнять великія національныя задачи? Но и въ Англіи ея хваленое широкое самоуправленіе, неприкосновенность личности, готовность правительства выслушивать свободно раздающіеся голоса общественнаго мнѣнія и удовлетворять всѣмъ потребностямъ общества, всѣ эти прелести имѣютъ мѣсто только до первой роковой минуты, до чернаго дня, и въ извѣстныхъ рамкахъ. Чуть напримѣръ въ какой-нибудь части Англіи создастся мѣстная культура, слишкомъ ужъ обособившаяся отъ общаго уровня жизни, заявитъ о своемъ существованіи и потребуетъ своихъ правъ,—отношеніе правительства къ этой мѣстности тотчасъ-же и принимаетъ характеръ отношеній австрійской администраціи къ угнетеннымъ славянамъ, и куда тогда дѣваются и свобода общественнаго мнѣнія, и habeas corpus, и все прочее. Одинъ примѣръ подобнаго отношенія мы уже имѣемъ передъ собой въ фактѣ отложенія сѣверо-американскихъ англійскихъ колоній. Чего требовали колоніи? О политической независимости онѣ еще и не мечтали, когда подняли знамя возстанія. Онѣ добивались одного: признанія за ними со стороны метрополіи равноправности, права присылать депутатовъ въ парламентъ, освобожденія отъ отяготительныхъ таможенныхъ пошлинъ и другихъ налоговъ, устроенныхъ въ пользу метрополіи. Чѣмъ же отвѣтила имъ Англія на эти справедливыя требованія? Репрессивными мѣрами. Колоніи силой оружія добились не только того, чего требовали, но и большаго—политической независимости. Ну, а что было бы, если бы счастье войны склонилось на сторону Англіи, еслибы краснорѣчіе Вильяма Питта не одержало верхъ въ парламентѣ? Развѣ положеніе колоній не было бы въ настоящее время хуже, чѣмъ положеніе Ирландіи,—этой другой страны, отношеніе англійскаго правительства къ которой нисколько не лучше, чѣмъ отношеніе австрійскаго правительства

къ любому изъ угнетенныхъ славянскихъ народовъ?

Но мы никогда не кончили-бы, еслибы вздумали привести всевозможныя доказательства въ пользу того, что народно-органическія государственныя формы существуютъ только въ воображеніи Градовскаго. Ограничиваясь приведенными нами историческими фактами, мы можемъ резюмировать въ заключеніи всѣ тѣ выводы, которые прямо истекаютъ изъ этихъ фактовъ. И такъ: 1) стремленіе къ единству вовсе не лежитъ въ природѣ каждаго народа, какъ необходимое условіе его органическаго развитія: оно можетъ быть или не быть; 2) всѣ историческія попытки къ объединенію носятъ двойной характеръ: или *насильственный*, когда одна часть или одинъ изъ элементовъ національности силой оружія покоряетъ всѣ прочія, стремящіяся къ политической независимости, или *рациональный*, когда нѣсколько независимыхъ политическихъ единицъ соединяются въ одно государство посредствомъ свободнаго, сознательнаго общественнаго договора (іонійскій и ахейскій союзы, Швейцарія, С.-Американскіе Соединенные Штаты); 3) государственныя формы никакъ нельзя назвать естественно-органическими формами объединенной народности. Единственными естественно-органическими государственными формами являются въ исторіи civitates — города, исключающіе своимъ существованіемъ всякую мысль о народномъ единствѣ; всѣ-же болѣе крупныя государственныя формы, обнимающія цѣлыя народности, являются уже искусственными комбинаціями, создающимися путемъ насильственнаго сцѣпленія отдѣльныхъ элементовъ или раціональнаго соглашенія, и наконецъ, 4) однообразіе культуры тоже не составляетъ необходимаго условія жизни каждаго народа; напротивъ того, мы не знаемъ положительно ни одного народа, который искони не раздѣлялся-бы на культурныя разновидности сообразно различнымъ условіямъ мѣстности, населяемой народомъ, не говоря уже о томъ, что исторія постоянно создаетъ среди народа новыя и новыя культурныя особенности, не имѣющія иногда ничего общаго съ общимъ культурнымъ типомъ народа.

IX.

Доказавши, что существованіе отдѣльныхъ народностей вовсе не есть существованіе отдѣльныхъ саморазвивающихся политическихъ организмовъ, теперь мы приступимъ ко второй части нашего трактата,—къ доказательству, что тѣ самыя условія жизни, которыя создаютъ отдѣльныя народности, могутъ эти самыя народности соединять въ болѣе обширныя группы и даже слить когда-нибудь все человѣчество въ одинъ народъ.

Такъ какъ ни политическія формы, ни культурныя особенности не составляютъ всеобщаго и безусловнаго мѣрила отдѣльности народовъ, то у насъ остается одно только мѣрило, одинъ признакъ такой отдѣльности—это языкъ. И дѣйствительно, языкъ составлялъ во всѣ времена единственный и несомнѣнный признакъ существованія отдѣльнаго народа. Не даромъ наши предки отождествляли понятіе языка и народа, называя оба эти понятія однимъ словомъ *языкъ*. Надо отдать имъ честь, такое отождествленіе показываетъ, что они гораздо вѣрнѣе, чѣмъ Градовскій и всѣ прочіе подобные ему націоналисты, сознавали, что существованіе отдѣльнаго народа только и есть, что существованіе отдѣльнаго языка (разумѣется, конечно живого). Въ самомъ дѣлѣ: народъ можетъ раздѣляться на какія угодно политическія и культурныя группы, совершенно независимыя и даже крайне враждебныя, можетъ измѣнять какъ угодно свою культуру, можетъ потерять окончательно свою политическую независимость, но, пока онъ говоритъ однимъ особеннымъ языкомъ, онъ не перестаетъ считаться отдѣльнымъ народомъ. Такъ, древніе греки, не составлявшіе ни политическаго, ни культурнаго единства, тѣмъ не менѣе считаются отдѣльнымъ народомъ, потому что говорили отдѣльнымъ языкомъ. Точно также считаются, единственно на основаніи языка, отдѣльнымъ народомъ финны, никогда не имѣвшіе ни политической независимости, ни даже своей особенной культуры.

Какія-же существуютъ условія жизни, которыя, создавая особенные языки, тѣмъ самымъ полагаютъ начало отдѣльности народовъ? Что эти условія лежатъ не въ политическихъ формахъ и не въ культурныхъ особенностяхъ, доказательствомъ этому можетъ служить то, что группы людей слагаются въ отдѣльныя народности, начинаютъ говорить однимъ языкомъ, не смотря ни на политическую разъединенность, ни на культурныя особенности. Не говоря уже о древнихъ грекахъ, мы видимъ, что и всѣ современныя намъ народности Европы начали свое отдѣльное существованіе тогда, когда объ ихъ объединеніи никто и не думалъ. Какія же это такія особенныя условія?

Историческимъ путемъ вопросъ этотъ рѣшить нѣтъ пока еще никакой возможности. Въ предѣлахъ исторіи намъ представляются уже готовыми нѣсколько системъ языковъ, причемъ каждая система раздѣляется на группы: греческую, латинскую, кельтскую, германскую. Условія-же образованія этихъ группъ теряются въ доисторической древности. Но, за невозможностью рѣшить вопросъ историческимъ путемъ, можно принять другой методъ для его рѣшенія: можно взять нѣсколько современныхъ намъ европейскихъ народовъ и разсмотрѣть тѣ условія, которыя способствуютъ къ наибольшему развѣтвленію того или другого языка на мѣстныя нарѣчія и говоры. Очевидно, что это будутъ тѣ-же самыя условія, которыя и первоначально вліяли на образованіе первобытныхъ системъ и группъ языковъ.

Здѣсь насъ на первый-же взглядъ поражаетъ слѣдующій поразительный фактъ: народъ, говорящій повидимому однимъ языкомъ, перестаетъ понимать другъ друга, если отдѣльныя части его живутъ слишкомъ изолированной жизнью и очень мало имѣютъ между собою общенія. Поэтому въ странахъ горныхъ и лѣсныхъ встрѣчается наибольшее количество мѣстныхъ говоровъ, доходящихъ до-того, что сосѣднія одноплеменныя селенія съ трудомъ понимаютъ другъ друга.

Если одинъ языкъ раздѣляется на мѣстные говоры, доходящіе до полнаго отсутствія взаимнаго пониманія при условіи полной изолированности, зато, наоборотъ, мы видимъ, что при условіи частаго общенія сли-

ваются языки не только различныхъ группъ, но и системъ. И это очень естественно: если въ одной мѣстности поселяется нѣсколько племенъ, и между ними устанавливаются различныя сношенія въ видѣ союзовъ, войнъ, торговли и пр., то необходимость заставляетъ ихъ понимать другъ друга, и вотъ мало-по-малу между ними дѣйствительно устанавливается одинъ языкъ, составляющій первое и необходимое условіе человѣческихъ сношеній. Установленіе языка происходитъ двумя путями: или языкъ одного племени, наиболѣе сильнаго, цивилизованнаго, вытѣсняетъ всѣ другіе и дѣлается всеобщимъ языкомъ цѣлой группы племенъ, или-же происходитъ амальгама нѣсколькихъ племенныхъ и мѣстныхъ. Какъ на примѣръ перваго явленія мы можемъ указать на Россію, въ которой масса финскихъ и татарскихъ племенъ совершенно слились съ русскимъ племенемъ, воспринявши ихъ языкъ. Что касается до второго явленія, то я не знаю, нужно-ли и приводить примѣры его, такъ они многочисленны и общеизвѣстны: передъ нами цѣлый рядъ западно-европейскихъ языковъ, изъ которыхъ большая часть суть амальгамированные—таковы англійскій, французскій, итальянскій, испанскій, венгерскій и проч.

Рядомъ съ образованіемъ одного общаго языка усиленіе сношеній между людьми данной мѣстности производитъ и другія явленія. Такъ, съ одной стороны усиливается брачное скрещиванье между племенами, сливающее ихъ физіологическія особенности, а затѣмъ съ бо́льшимъ развитіемъ цивилизаціи является и новый факторъ — подражательность. Отдѣльныя племена перенимаютъ другъ у друга религіозныя вѣрованія, обычаи, пѣсни, костюмы и пр.

Что касается до этого послѣдняго фактора, то мы считаемъ нелишнимъ остановиться на немъ подолѣе, такъ какъ онъ представляется особеннымъ пугаломъ, какъ для чистыхъ славянофиловъ стараго пошиба, такъ и для новѣйшихъ націоналистовъ. Въ сущности, онъ принадлежитъ къ числу всемірно-историческихъ неизбѣжныхъ факторовъ жизни человѣческой. Можно положительно сказать, что безъ прямого или косвеннаго вліянія его не обходится ни одинъ шагъ въ жизни какъ отдѣльнаго лица, такъ и всего человѣчества. И это очень понятно: факторъ этотъ составляетъ одно изъ существенныхъ свойствъ человѣческой природы: существо, съ такими воспріимчивыми нервами, какъ человѣкъ, не можетъ не быть подражательнымъ. Подражательность есть актъ вполнѣ непроизвольно-естественный, зависящій отъ нервныхъ рефлексовъ, и ратовать противъ него въ сущности такъ-же нелѣпо, какъ ратовать противъ смѣха, плача и прочихъ физіологическихъ нервныхъ отправленій. Но этого мало, что воздержаніе отъ подражательности, какъ и отъ всѣхъ прочихъ непроизвольно-естественныхъ отправленій человѣческой природы, есть насиліе, искаженіе естественнаго хода процессовъ этой природы, — кромѣ того великій вредъ подобнаго воздержанія заключается въ томъ, что въ лицѣ подражательности мы имѣемъ такой факторъ, на которомъ зиждется вся преемственность прогресса. Въ самомъ дѣлѣ: возможно-ли было-бы воспитаніе дѣтей, развитіе каждаго отдѣльнаго человѣка, еслибы мы лишены были дара подражательности? Самый геніальный человѣкъ, прежде чѣмъ начнетъ творить свои великія и вполнѣ оригинальныя творенія, ничѣмъ инымъ не руководится въ своемъ первоначальномъ развитіи, какъ только стремленіемъ *походить* на лучшихъ людей, образцы которыхъ онъ видитъ передъ собою въ жизни или въ исторіи, и если онъ начинаетъ подобное подражаніе съ одной внѣшности, съ подражанія манерамъ, походкѣ или слогу человѣка, подъ вліяніемъ котораго находится, то неужели онъ этимъ такъ сейчасъ-же ужъ и рискуетъ потерять свою личность и дальше одной внѣшности не пойдетъ? Можно судить о ребячествѣ подобнаго подражателя, о низкой степени его развитія, но бить по этому поводу тревогу и предрекать гибель ребенку, видя, какъ онъ копируетъ взрослаго,—это въ свою очередь смѣшное и жалкое ребячество. Поэтому намъ всегда казалось, что люди, приходящіе въ ужасъ при видѣ галломановъ и англомановъ въ нашемъ обществѣ, суть такіе-же дикари, какъ и всѣ эти маны. Разница между первыми и послѣдними только та, что послѣдніе по своему развитію стоятъ на такой еще низкой степени, что ихъ увлекаетъ къ подражательности, какъ дѣтей, одна внѣшность. Первые-же воображаютъ, что стоитъ только воздержаться отъ такой подражательности, чтобы сейчасъ-же получить способность творить нѣчто свое, оригинальное. У дѣтей, только что начинающихъ развиваться, тоже въ свою очередь находятъ подобныя минуты оригинальничанья: дай, начну дѣлать все не такъ, какъ другіе, а какъ нибудь совершенно иначе, и ребенокъ вообразитъ при этомъ, что одно подобное оригинальничанье дѣлаетъ его взрослымъ.

Возставая противъ подражательности, націоналисты не соображаютъ, что безъ нея не могло-бы образоваться ни одного народа и, слѣдовательно не было-бы и ихъ, націоналистовъ, а существовали-бы отдѣльныя мелкія племена, съ такой невообразимой пестротой нравовъ, обычаевъ, вѣрованій, костюмовъ, что самъ квартальный никогда-бы ничего тутъ не разобралъ. Но въ томъ-то и дѣло, что рядомъ съ образованіемъ одного общаго языка и физіологическимъ скрещиваніемъ начинается безконечный процессъ подражательности, сначала чисто внѣшней, иногда и самой нелѣпой по своему ребячеству. Малѣйшее улучшеніе въ бытѣ одной хижины воспринимается другой, третьей,—цѣлымъ племенемъ, нѣсколькими сосѣдними племенами. Такимъ путемъ масса мѣстныхъ миѳовъ и суевѣрій слагается въ общенародный культъ. Ремесло одного племени и даже можетъ одного рода дѣлается ремесломъ всего народа. Наконецъ какъ-же иначе, какъ не путемъ взаимной подражательности, вырабатываются тѣ красивые національные костюмы, за которые такъ ратовали славянофилы? Конечно такая подражательность имѣетъ свои границы: не все можетъ быть усвоено населеніемъ всей данной мѣстности. Можетъ случиться, что мѣстность эта, съ одной стороны прилегая къ морю, съ другой уходитъ далеко вглубь материка, гдѣ она имѣетъ видъ гористой, лѣсной или луговой страны. Конечно лѣсные жители не въ состояніи подражать во всемъ береговымъ, и наоборотъ. Кое-что они усвоятъ другъ у друга,

но кое-что создадутъ свое, сообразно различнымъ условіямъ своей жизни, и вотъ въ средѣ одного народа начнутъ образовываться культурныя разновидности.

Всѣ три вышеозначенные факторы — образованіе общаго языка, физіологическія скрещиванія и подражательность — соединяются въ одномъ общемъ понятіи ассимиляціи племенъ. — Основная-же причина такой ассимиляціи является въ усиленіи общенія между отдѣльными племенами.

Градовскому извѣстенъ хорошо законъ ассимиляціи и онъ его не отвергаетъ:

«Ассимиляція племенъ,—говоритъ онъ на 22 стр.,—совершается на каждомъ шагу. Племя сильное и количественно, и нравственно вбираетъ въ себя всѣ менѣе сильные народы, живущіе на одной съ нимъ территоріи. Ихъ особенности, наиболѣе крѣпкія, переходятъ съ своей стороны въ типъ господствующаго племени, сообщая ему больше разнообразія и оригинальности. Вотъ почему и народность, образовавшаяся такимъ путемъ, отличается необыкновенной энергіей и крѣпостью. Принципъ національности нисколько не противорѣчитъ ассимиляціи племенъ, если изъ нихъ впослѣдствіи образуется одна народность, съ общимъ языкомъ, единствомъ нравовъ и другихъ культурныхъ признаковъ.»

Прекрасно; но только почему-же Градовскій, допуская ассимиляцію племенъ, ограничиваетъ ее одними племенами и предполагаетъ, что разъ племена сложились въ народы и—стопъ, машина! Далѣе ассимиляція уже невозможна, и если племена способны соединяться въ народы, то народы уже неспособны ассимилироваться между собой?—Мнѣ кажется, что разъ существуетъ въ природѣ извѣстный законъ, онъ всегда долженъ дѣйствовать, какъ только онъ вызывается своей причиной, и исключенія здѣсь немыслимы, признаніе ихъ есть отрицаніе самаго закона.

Но въ томъ-то и дѣло, что Градовскій силится поставить націонализмъ не на его настоящую почву, оттого и путается на каждомъ шагу. Какъ ученіе по самому существу своему метафизическое, основанное на чисто абстрактныхъ началахъ, оно не имѣетъ ничего общаго съ реальными законами природы, и потому подтверждать его ими трудъ совершенно напрасный. Другое дѣло, еслибы Градовскій послѣдовалъ примѣру противниковъ Дарвина, утверждающихъ, что виды животныхъ суть неизмѣнныя субстанціи и существовали всегда, и сталъ-бы въ свою очередь утверждать, что и народы суть такія-же неизмѣнныя субстанціи, что образовались они каждый изъ отдѣльнаго семейства и, разъ образовавшись, никакимъ измѣненіямъ и смѣшиваніямъ подвергаться уже болѣе не могутъ. Правда, утверждая подобную нелѣпость, Градовскій противорѣчилъ-бы всѣмъ фактамъ исторіи, но зато былъ-бы вполнѣ на своей почвѣ: народы его фантазіи были-бы дѣйствительно неизмѣнными субстанціями, выражающими различныя стороны человѣческаго духа... Но разъ онъ допускаетъ образованіе народовъ изъ племенъ путемъ ассимиляціи, разъ онъ вводитъ реальный законъ природы въ свои фантастическія умозрѣнія, и всѣ эти умозрѣнія должны разсыпаться въ прахъ, какъ сонныя грезы передъ дѣйствительностью. Законъ ассимиляціи тотчасъ-же наводитъ насъ на слѣдующіе выводы: отдѣльныя племена ассимилируются въ народы, когда приходятъ въ очень близкое и постоянное сношеніе между собой: а если-же между ними нѣтъ такихъ сношеній, то остаются разрозненными. Ну, а что сдѣлалось-бы съ народами, еслибы и они въ свою очередь стали приходить все въ болѣе частое и тѣсное сближеніе,—не должны-ли были-бы и они подвергнуться закону ассимиляціи? Почему-же законъ этотъ долженъ былъ-бы остановить здѣсь свое дѣйствіе, не смотря даже на то, что существовали-бы всѣ условія, необходимыя къ его дѣйствію? Если-же законъ не дѣйствуетъ въ настоящее время или дѣйствуетъ слабо, то можетъ быть потому, что недостаточно еще сильны условія его, т. е. сношенія между народами не достигли еще до такой степени, чтобы они могли подвергнуться быстрой ассимиляціи? Такимъ образомъ весь вопросъ сразу сводится не на то, субстанціальны народы или нѣтъ, лежитъ-ли различіе между ними въ ихъ природѣ, или не лежитъ, а просто на то, можно-ли допустить такое увеличеніе сношеній между народами, при которыхъ они должны слиться между собою?

И если мы обратимся съ этимъ вопросомъ къ исторіи, то она не замедлитъ отвѣтить на этотъ вопросъ положительно, потому что вся она основана ни на чемъ иномъ, какъ на все болѣе и болѣе развивающемся общеніи между отдѣльными народами. Въ самомъ дѣлѣ, что мы видимъ въ исторіи? Сначала отдѣльные народы развиваются каждый самъ по себѣ, чуждаются другъ друга, имѣютъ другъ о другѣ весьма мало свѣдѣній и нѣкоторые доводятъ эту изолированность до такой степени, что готовы предать смерти дерзкаго чужеземца, рѣшившагося вступить на ихъ почву. Такъ развиваются Римъ, Греція, Египетъ, восточныя царства,—отдѣльно другъ отъ друга, какъ будто ихъ раздѣляютъ цѣлые океаны. Но вотъ они начинаютъ приходить въ сношенія другъ съ другомъ.— Сношенія эти имѣютъ первоначально характеръ весьма односторонній: ограничиваются торговлею и завоеваніями. Но и подобнаго рода элементарныя сношенія не замедлили произвести первые задатки ассимиляціи. Такъ является потребность понимать другъ друга, и поверхъ различныхъ языковъ возвышаются сначала греческій, потомъ латинскій языки, которые дѣлаются языками образованныхъ сословій и международныхъ сношеній. Развивается взаимная подражательность въ нравахъ, обычаяхъ, костюмахъ, причемъ конечно греки, какъ народъ, занимавшій первую степень въ древней цивилизаціи, становятся наиболѣе предметомъ подражанія. Ихъ философскія идеи, успѣхи въ искусствахъ, утонченныя, изящныя манеры, костюмы дѣлаются общимъ достояніемъ. Наконецъ начинаютъ смѣшиваться народные культы и потомъ смѣняются одной общей религіей — христіанской, объявившей, что для нея нѣтъ различія между народами, что для всѣхъ племенъ земного шара она равно обязательна.

Въ средніе вѣка повидимому вся эта работа ассимиляціи разрушается: опять на сцену являются мелкія племена, не сложившіяся даже въ народныя группы, и вносятъ съ собой пестрое разнообразіе мѣстныхъ культуръ. Но на самомъ дѣлѣ начала ассимиляціи, положенной древнимъ міромъ, не погибли: начать съ

того, что вошедшіе въ историческое русло свѣжіе народы не успѣли развить своихъ отдѣльныхъ народныхъ культовъ, всѣ они приняли христіанскую религію, сдѣлавшуюся общей для всей Европы, и хотя она раздѣлилась на двѣ церкви, хотя это раздѣленіе составляетъ конекъ, заѣзжанный націоналистами, но все-таки тотъ фактъ, что вмѣсто дюжины дюжинъ мѣстныхъ языческихъ культовъ образовалось всего два вида одной общей религіи, говоритъ несомнѣнно въ пользу ассимиляціи. Особенно богатыхъ успѣховъ ассимиляція народовъ не могла конечно достигнуть въ средніе вѣка, когда не существовало еще и самыхъ народовъ, и ассимиляція должна была работать надъ соединеніемъ племенъ въ народы. Но и въ средніе вѣка сношенія между массами европейскаго населенія были на столько сильны, что была потребность для образованныхъ классовъ въ общемъ языкѣ, какимъ продолжалъ пребывать латинскій языкъ. Даже и подражательность не ограничивалась слитіемъ племенъ въ народныя группы; такъ, мы видимъ, возвышается провансальная культура, простирающая районъ своего вліянія далеко за предѣлы Франціи: увлеченіе формами этой культуры одно время было почти общеевропейскимъ. За Провансомъ выдвигается впередъ Италія въ эпоху renaissance,—за нею въ XVIII вѣкѣ французская культура дѣлается предметомъ всеобщихъ подражаній.

Но какъ ни увеличивались впродолженіи всей исторіи сношенія между народами, никогда еще они не доходили до такой степени, какой начинаютъ достигать въ нынѣшнемъ столѣтіи. Одни такія изобрѣтенія, какъ желѣзныя дороги, пароходы и телеграфы, разомъ на цѣлыя сотни и тысячи миль сблизили между собою человѣчество. Судить о вліяніи подобныхъ изобрѣтеній на такой вѣковой процессъ, какъ ассимиляція, конечно теперь еще трудно, такъ какъ они существуютъ безъ году недѣлю, но несомнѣнно, что съ ихъ введенія началась такая циркуляція людей по всему европейскому материку, какой еще не было ни въ древніе, ни въ средніе вѣка даже между населеніемъ одной мѣстности. Подобная циркуляція не можетъ не отразиться со временемъ на процессѣ ассимиляціи.

Въ самомъ дѣлѣ, что̀ можетъ помѣшать ассимиляціи народовъ при все болѣе и болѣе возрастающей циркуляціи народонаселеній? Другое дѣло, еслибы народы представляли до такой степени различные виды животнаго царства, что между ними невозможно было брачное смѣшеніе, но этого мы не видимъ. Напротивъ того, при всемъ своемъ распаденіи на отдѣльныя народности, родъ человѣческій все-таки настолько однороденъ, что скрещиванье возможно даже между такими его разновидностями, какъ бѣлая и черная расы. Другое было бы опять дѣло, еслибы каждый человѣкъ былъ обреченъ говорить только на одномъ своемъ языкѣ, но и этого нѣтъ: люди способны говорить разомъ на нѣсколькихъ языкахъ, и уже въ настоящее время есть такой языкъ, зная который можно объѣхать свѣтъ и вездѣ находить людей, говорящихъ на этомъ языкѣ. Нужно ли объяснять, какой это языкъ?

Что же касается смѣшиванья культуръ, то здѣсь мы встрѣчаемся разомъ съ двумя факторами ассимиляціи. Съ одной стороны передъ нами является первобытный факторъ, въ видѣ подражательности. И хотя націоналисты на стѣну лѣзутъ при одномъ упоминаніи объ этомъ ненавистномъ имъ факторѣ, но и они не въ силахъ являются отвергнуть его безусловно и дѣлаютъ уступку, допуская подражательность, но только разумную, вооруженную критикой. Прекрасно, мы и сами не особенно высоко цѣнимъ непроизвольно-рефлективную, слѣпую подражательность, считая ее признакомъ крайне низкой степени образованности, хотя въ то же время и не видимъ въ ней такой бѣды, какую представляютъ себѣ націоналисты. Мы сами выше всего цѣнимъ подражательность разумно-критическую, осмысленную. Но только намъ кажется, что подобнаго рода подражательность скорѣе всего должна повести къ ассимиляціи народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же инымъ можетъ явиться взаимная разумная подражательность народовъ, какъ не подборомъ культурныхъ формъ? Россія напримѣръ видитъ въ Англіи судъ присяжныхъ и, критически взвѣсивши это учрежденіе, находитъ, что по всѣмъ разумнымъ соображеніямъ слѣдуетъ и у насъ ввести подобную форму суда. Вводятъ. Вотъ уже однимъ учрежденіемъ англійская культура сдѣлалась болѣе сходной съ русской. Далѣе затѣмъ англичане могутъ завтра же додуматься, что положеніе русскихъ крестьянъ, надѣленныхъ землей и живущихъ общинами, гораздо лучше положенія англійскихъ фермеровъ, и, критически взвѣсивши, найдутъ, что вопросъ первой необходимости дать фермерамъ землю и ввести общину. Дѣло конечно не легкое, стоющее тяжелыхъ усилій, борьбы можетъ быть и серьезныхъ государственныхъ потрясеній, но партія реформы преодолѣваетъ всѣ препятствія,—и вотъ англійская культура дѣлается еще болѣе похожей на русскую. Въ настоящее время наиболѣе разумной формою суда является судъ присяжныхъ; но въ сущности этотъ судъ является далеко не безусловнымъ совершенствомъ, такъ какъ большую роль играетъ въ немъ слѣпой случай, участь подсудимаго зависитъ часто отъ того или другого подбора присяжныхъ, не говоря уже о возможности подкуповъ и другихъ злоупотребленій. Ну, а если въ какомъ нибудь государствѣ выработается болѣе разумная и совершенная форма суда, неужели же она не обязательна будетъ и для каждаго народа, желающаго жить разумной жизнью, и неужели тотъ или другой народъ долженъ отвергнуть эту лучшую форму изъ одного нелѣпаго оригинальничанья, изъ желанія имѣть хоть и худое, да свое?

Націоналисты, отвергая возможность общечеловѣческой цивилизаціи и толкуя объ общечеловѣческомъ въ цивилизаціяхъ отдѣльныхъ народностей, твердятъ постоянно, что подражательность должна ограничиваться только такими предметами, какъ научныя открытія, техническія изобрѣтенія и гуманныя идеи, равно обязательныя для всего человѣчества, а затѣмъ основныя формы народной культуры должны оставаться ненарушимыми. Но гдѣ же граница между дозволеннымъ и недозволеннымъ къ воспріятію, между тѣмъ, что̀ составляетъ общечеловѣческое въ культурѣ народа, у котораго мы перенимаемъ что либо, и тѣмъ, что̀ только и можетъ принадлежать этому народу и

къ воспріятію негодно? И сказать по правдѣ, не только націоналисты не уяснили это намъ, врядъ ли они и сами-то себѣ достаточно уяснили это. Въ этомъ отношеніи они судятъ такъ, какъ имъ Богъ на душу положитъ, руководствуясь въ своихъ сужденіяхъ чисто личными вкусами: что имъ лично по душѣ въ западной жизни, то они считаютъ общечеловѣческимъ и годнымъ для воспріятія, что́ не нравится, то они считаютъ народно-культурнымъ, возможнымъ только въ средѣ того народа, гдѣ это выработалось, и негоднымъ для воспріятія. Но и этого мало: не составивши себѣ яснаго критерія относительно того, что́ слѣдуетъ считать общечеловѣческимъ и что̀ народно-культурнымъ, націоналисты, если придется къ слову, то готовы отвергнуть и такія вещи, которыя, казалось бы, должны и по ихъ теоріи быть общечеловѣческими, потому что составляютъ неотъемлемое качество человѣческой природы. Такъ напримѣръ, знаете ли, что̀ между прочимъ отрицаетъ Градовскій? Общечеловѣчность такихъ неизбѣжныхъ степеней умственнаго развитія, какъ мистицизмъ, метафизика и реализмъ. Какъ же такъ отвергаетъ? спросите вы меня; во имя чего-же ратуетъ онъ противъ метафизическихъ космополитовъ, какъ не во имя реализма, доказывая, что всѣ естественно-научныя, географическія и геологическія данныя подтверждаютъ его ученіе? А тотъ эпиграфъ, который взятъ изъ книги Градовскаго и поставленъ во главѣ настоящей статьи, что̀ же онъ выражаетъ иное, какъ не отрицаніе метафизическаго метода въ политическихъ наукахъ во имя положительнаго? Я могу подтвердить возраженіе читателя еще болѣе яснымъ фактомъ, что Градовскій — большой другъ и пріятель реализма. Такъ ниже, подъ тѣми словами его, которыя взяты мною въ эпиграфъ, онъ прямо говоритъ, что вопросъ объ уничтоженіи государствъ не могъ бы явиться, *еслибы политическая наука искала не принциповъ, а законовъ общественнаго развитія, еслибы она шла путемъ положительнымъ, а не метафизическимъ*. И при всемъ томъ этотъ-же самый господинъ, который толкуетъ о преимуществѣ положительнаго метода передъ метафизическимъ, въ другомъ мѣстѣ книги смотритъ и на метафизику, и на реализмъ, какъ на такія вещи, которыя мы восприняли съ Запада вмѣстѣ со всѣми другими ученіями въ подражательной слѣпотѣ и безъ всякой нужды. «На насъ налетали,—говоритъ онъ на 302 стр.,— разныя направленія европейской мысли, временно порабощали насъ, но также быстро улетали, уступая мѣсто другимъ. Налетѣло на насъ вольтеріанство и улетѣло, уступивъ мѣсто масонству и мистицизму; налетѣлъ псевдоклассицизмъ, потомъ романтизмъ, байронизмъ; подчинялись мы экономизму, парламентаризму, соціализму, радикализму и милитаризму; переживали догматическій раціонализмъ, идеализмъ, реализмъ, матеріализмъ. Что́ переживемъ мы еще, извѣстно единому Богу»... Вотъ и послушайте послѣ того Градовскаго. Въ одномъ мѣстѣ онъ вопитъ на васъ, что вы—метафизикъ, что не отдаете преимущества положительному методу, а попробуйте-ка отдать преимущество, то и увидите, что́ скажетъ вамъ Градовскій; и окажется, что вашъ идеализмъ и реализмъ, вмѣстѣ со всѣми прочими изиами, перешедшими къ намъ съ Запада, показываютъ, что вы—неосмысленный, слѣпой подражатель и плохой патріотъ. Но какъ-же мнѣ мыслить? воскликнете въ сердечномъ сокрушеніи. Вѣдь остается вывернуться изъ своей кожи, чтобы мыслить, не будучи въ то же время ни мистикомъ, ни метафизикомъ, ни реалистомъ? На это я могу посовѣтовать вамъ одно—перестаньте совсѣмъ мыслить, тогда дѣйствительно вы не будете ни мистикомъ, ни реалистомъ, ни метафизикомъ, и уже совсѣмъ перестанете походить на западнаго европейца, да не мѣшаетъ къ тому же вамъ начать ходить на четверенькахъ, такъ какъ на Зэпадѣ имѣютъ обыкновеніе ходить на двухъ ногахъ; можетъ быть вы и угодите тогда Градовскому.

И не забавно-ли, что Градовскій, огуломъ отрицающій и мистицизмъ, и метафизику, и реализмъ, т. е. значитъ всякую мысль, является въ то же время такимъ либераломъ, что признаетъ общечеловѣческими и обязательными каждой народности подобныя вещи, какъ личная безопасность, свобода совѣсти, свобода мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здравія, народнаго продовольствія, образованія и т. д.? Но или Градовскій признаетъ все это на однихъ словахъ и играетъ ими ради только успокоенія простодушныхъ читателей его книги въ томъ, что націонализмъ вовсе не такое ужъ обскурантное ученіе, чтобы отрицать, ради соблюденія народной культуры, излюбленныя всѣми россійскими либералами прогрессивныя стремленія. А если-же онъ серьезно считаетъ всѣ эти вещи общечеловѣческими, то значитъ онъ нисколько не вдумывался въ смыслъ ихъ, и онѣ остаются въ его фантазіи воздушными замками. Иначе онъ понялъ бы, что осуществленіе этихъ замковъ невозможно безъ существенныхъ измѣненій народныхъ культуръ. Въ самомъ дѣлѣ, попробуйте-ка ввести свободу слова въ государствѣ съ централизованной властью, опирающейся на постоянное войско, вродѣ напримѣръ Франціи, или свободу совѣсти въ теократическомъ государствѣ. Вѣдь и такая реформа, какъ освобожденіе крестьянъ, есть реформа, измѣняющая всѣ отношенія общества и ставящая народную культуру на совершенно иномъ основаніи. А система народнаго образованія, обезпеченіе условій народнаго здравія и продовольствія? Конечно для людей, взирающихъ на вещи поверхностно, всѣ подобныя вещи осуществить такъ же легко, какъ выпить стаканъ воды: стоитъ послать въ провинцію нѣсколько полуграмотныхъ учителей, да нѣсколько лекарей, менѣе свѣдущихъ, чѣмъ иной фельдшеръ, да устроить балъ въ случаѣ голода—и дѣло въ шляпѣ. Но человѣкъ, мало-мальски серьезно вдумывавшійся въ это дѣло, пойметъ, что выполненіе всѣхъ этихъ общественныхъ отношеній невозможно безъ такихъ реформъ въ этихъ отношеніяхъ, которыя въ результатѣ должны совершенно измѣнить физіономію народной культуры. Теперь мы спрашиваемъ, какимъ путемъ и правильнѣе, и совершеннѣе, и скорѣе могутъ быть совершены эти реформы, путемъ-ли выработки всѣми народами сообща формъ общежитія, выгодныхъ для осуществленія ихъ, и затѣмъ заимствованія другъ у друга наиболѣе совершенныхъ формъ, или каждый народъ долженъ зажать уши и глаза на то, что́ дѣлается по этимъ вопросамъ у дру-

гихъ народовъ и заняться ими самостоятельно? Очевидно, что если Градовскій для рѣшенія вопроса о правосудіи допускаетъ заимствованіе формъ западныхъ судовъ и не требуетъ, чтобы мы, въ ожиданіи самостоятельной выработки лучшихъ, сидѣли на старой системѣ судопроизводства, то подобныя-же уступки онъ долженъ сдѣлать и для всѣхъ прочихъ вопросовъ—и сводится все это на ту-же выработку общеевропейской цивилизаціей такихъ формъ жизни, при которыхъ только и возможно осуществленіе вышепоставленныхъ вопросовъ и которыя по этому самому должны быть столь-же обязательны для каждаго народа, какъ и самые вопросы. Но къ чему-же можетъ привести эта выработка наилучшихъ формъ общежитія, какъ не къ той-же ассимиляціи европейскихъ народовъ въ культурномъ отношеніи?

Но кромѣ подражательности существуетъ и другой факторъ, значительно вліяющій на сглаженіе мѣстныхъ культуръ, являющійся въ видѣ той массы открытій и изобрѣтеній, которыя, освобождая человѣка отъ вліянія природы, наоборотъ, покоряютъ ему ее. Въ самомъ дѣлѣ, не самъ-ли Градовскій увѣряетъ насъ, что различіе культуръ зависитъ отъ географическихъ, климатическихъ и прочихъ естественно-историческихъ условій? Но, силясь поставить такимъ образомъ свое ученіе на реальную почву, онъ и не замѣчаетъ, какъ этимъ самымъ онъ уничтожаетъ его. То-ли дѣло, Градовскій, метафизическая почва: вставши на нее, вы-бы сказали намъ, что культуры различны потому, что въ нихъ выражается развитіе самоопредѣляющагося духа, разлагающаго свое внутреннее единство въ внѣшнемъ разнообразіи—и ужъ тутъ никакія возраженія были-бы невозможны и разнообразіе культуръ было-бы утверждено на вѣки на незыблемыхъ столбахъ діалектики. А то вздумали вы полагать непреложность разнообразія культуръ на началахъ реализма, который только и допускаетъ, что одни преходящія, относительныя явленія! Что-же мудренаго, если и ваше разнообразіе оказывается преходящимъ и относительнымъ съ реальной точки зрѣнія, и тѣ-же самыя географическія, климатическія условія, которыми вы старались подтвердить ваше ученіе, они-то и рушатъ его. Не говоря о томъ, что сами по себѣ условія эти измѣнчивы, кромѣ того человѣкъ оказывается способнымъ измѣнять ихъ силой знанія и воли и освобождаться отъ ихъ вліянія. Горы перерѣзываются тоннелями, рѣки—мостами, русла ихъ произвольно измѣняются, поля искусственно орошаются влагой, степи покрываются лѣсами, и лѣсныя страны обращаются въ степи; люди говорятъ другъ съ другомъ черезъ океаны, привозятъ массы льду въ тропическія страны и ѣдятъ бананы подъ 70° сѣверной широты – а Градовскій увѣряетъ насъ, что естественныя условія составляютъ нѣчто роковое, непреодолимо дѣйствующее на разнообразіе культуры. Можно подумать, что цивилизованные европейцы, поселившіеся въ Индіи, должны, подъ обаяніемъ индійской природы, обратиться въ индусовъ, вѣрить въ сторукихъ и стоногихъ боговъ и выстаивать по цѣлымъ годамъ на одной ножкѣ въ созерцаніи Брамы, что землетрясенія, усиливающія суевѣрія въ народахъ, населяющихъ вулканическія страны, должны такъ же дѣйствовать и на людей образованныхъ, имѣющихъ свѣдѣнія о естественныхъ причинахъ этихъ явленій...

Но можетъ быть читатель возразитъ мнѣ, что конечно природа не можетъ имѣть на человѣка образованнаго, являющагося на лоно ея окруженнымъ утонченнымъ комфортомъ, со всѣми возможными орудіями для борьбы съ ней, такого вліянія, какое она производитъ на беззащитнаго дикаря. Но тѣмъ не менѣе на массу людей, живущихъ подъ различными широтами, болѣе или менѣе жгучіе лучи солнца, болѣе или менѣе роскошная природа должны оказывать свое вліяніе и полагать различія культурныхъ типовъ. Конечно сумрачному небу сѣвера не создать итальянца, а подъ лучами неаполитанскаго солнца не развиться суровой энергіи сѣвернаго человѣка. Да, для настоящаго времени, когда массы необразованнаго народа живутъ цѣлыми поколѣніями въ одной мѣстности, конечно это такъ. Но мы не знаемъ, что будетъ тогда, когда циркуляція европейскаго населенія увеличится до такой степени, что оно будетъ вращаться по Европѣ, а придетъ время, и по всему земному шару, какъ вращается по городу населеніе столицы; когда даже человѣкъ, проживши всю жизнь въ одной мѣстности, не будетъ обезпеченъ отъ того, что не женится на женщинѣ, пріѣхавшей изъ Австраліи, что дѣти и внуки его не очутятся въ разныхъ концахъ свѣта. Что подобная циркуляція не лежитъ внѣ возможности и человѣчество стремится къ ней, это видно изъ того, что образованные и обезпеченные классы Европы и Америки и теперь уже близки къ ней. Никто изъ читающихъ эти строки не можетъ поручиться за себя, что онъ не кончитъ жизни гдѣ-нибудь въ Ниццѣ, Каирѣ, Туркестанѣ или Нерчинскѣ, что не женится на итальянкѣ, что дѣти и внуки его не очутятся на берегахъ Миссисипи и пр. Не забудьте при этомъ, что когда циркуляція народовъ дойдетъ до такой степени, тогда только собственно и можетъ начаться истинная ассимиляція ихъ. Но очевидно, что тогда не будетъ ни итальянца, ни англичанина, именно потому, что ни въ Италіи, ни въ Англіи не будетъ такого продолжительнаго устоя населенія, чтобы солнце, климатъ и природа могли повліять на созданіе особеннаго культурнаго типа.

Мнѣ могутъ сказать, что я занесся въ міръ утопій, что если возможно допустить осуществленіе подобныхъ фантазій, то въ слишкомъ отдаленное время, черезъ цѣлые десятки и сотни тысячъ лѣтъ. Ну, что-жъ, можете ставить и цѣлые милліоны, но при этомъ подумайте также и о томъ, что вы не смущаетесь, когда астрономъ вычислитъ вамъ, что черезъ столько-то тысячъ лѣтъ, такого-то года, мѣсяца и числа будетъ солнечное затмѣніе, что черезъ нѣсколько милліоновъ лѣтъ земля должна перестать вращаться вокругъ своей оси и быть постоянно обращенной къ солнцу одной стороной. Вы вѣрите этимъ пресказаніямъ, потому что они основаны на законахъ природы. Но почему-же вы не допускаете подобныхъ-же предсказаній и въ жизни человѣческой, если они въ свою очередь основаны на законахъ природы? А въ данномъ случаѣ законъ ясенъ, очевиденъ, проходитъ черезъ всю исторію человѣчества и нынѣ во очію продолжаетъ дѣйствовать вокругъ васъ, и дѣйствія его бро-

саются въ глаза своими результатами. Для доказательства возьмите хоть такой крупный фактъ, что и въ настоящее время, если гдѣ сохраняются еще особенно рѣзко и дагеротипно народно-культурные типы, то въ однихъ необразованныхъ классахъ европейскаго населенія, и тутъ культурное различіе доходитъ даже до мѣстно-племеннаго; житель какого-нибудь кантона, затерянаго въ горахъ, и вообще изолированнаго захолустья, не выглядитъ даже и нѣмцемъ или французомъ, а носитъ совершено особенный типъ, только и принадлежащій данной мѣстности. Зато чуть человѣкъ войдетъ въ струю цивилизаціи, да особенно если порыскаетъ по Европѣ, и у него является уже особенный, общекультурный типъ, характеризующій не француза, англичанина, нѣмца, а вообще цивилизованнаго человѣка. До какой степени образованные люди всѣхъ странъ имѣютъ въ культурномъ отношеніи гораздо болѣе общаго между собою, чѣмъ по отношенію къ своимъ необразованнымъ соотечественникамъ, это мы можемъ судить по одному весьма простому наблюденію, которое вѣроятно каждый испыталъ на себѣ. Вамъ конечно случалось, читая иностранные романы, встрѣчать среди выставленныхъ героевъ людей, вполнѣ знакомыхъ вамъ, имѣющихъ много общихъ чертъ и съ вами, и съ окружающими васъ образованными людьми не только по убѣжденіямъ, но по чисто типическимъ чертамъ характера. Ну, а начните-ка читать хотя-бы Рѣшетникова, много-ли общаго найдете вы между вашими знакомыми и его героями? Если-же въ настоящее время ассимиляція успѣла уже такъ много сдѣлать, то что-же помѣшаетъ ей въ будущемъ достигнуть еще бо́льшихъ успѣховъ? Или націоналисты остановятъ ея дѣйствіе? Но всѣ ихъ старанія нисколько не дѣйствительнѣе усилій остановить ладонями теченіе широкой и быстрой рѣки. Они могли-бы быть страшны для дѣйствія ассимиляціи, еслибы захотѣли быть послѣдовательнѣе, т. е. еслибы поняли, что сохраненіе культурныхъ особенностей народа только и возможно, что при полной его изолированности, и еслибы сообразно этому убѣжденію имъ удалось снова воздвигнуть китайскія стѣны между народами и установить по всѣмъ странамъ Европы запрещеніе иностранцу вступать на чужую землю, а туземцу дѣлать хоть одинъ шагъ за границу; тогда ассимиляція дѣйствительно прекратилась-бы. Но націоналисты—въ то же время и либералы; они стремятся согласить свою доктрину съ требованіями времени и допускаютъ поэтому и братскія сношенія между народами и даже разумное заимствованіе общечеловѣческаго въ цивилизаціи,—несчастные, думаютъ-ли они, что этими допущеніями они прямо расчищаютъ дорогу къ ненавистному для нихъ слитію народностей?

Читатель спроситъ меня при этомъ: что же сдѣлается съ государствами, когда ассимилируются народы,—сольются-ли и они тоже въ одно всемірное государство, или прекратятъ совсѣмъ свое существованіе? На этотъ вопросъ я отказываюсь отвѣчать и нахожу только, что это совершенно безразлично. Мы видимъ по крайней мѣрѣ, что грекамъ политическая разрозненность не мѣшала слиться въ одинъ народъ, между тѣмъ какъ преждевременное и насильственное сцѣпленіе нѣсколькихъ народовъ въ одно государство, въ видѣ Австріи, неособенно способствуетъ къ слитію этихъ народовъ. Во всякомъ случаѣ, мнѣ кажется, что ассимиляція народовъ, зависящая отъ одного увеличенія свободной циркуляціи населеній, нисколько не мѣшаетъ существованію отдѣльныхъ политическихъ формъ, такъ что въ этомъ случаѣ Градовскій можетъ быть спокоенъ: я не собираюсь разрушать государства.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРОГО ТОМА.

1874—1875.

1. Литературныя противорѣчія 1
2. Винегретъ современной морали 37
3. Наша современная беззавѣтность 69

1876—1877.

4. Бесѣды о русской словесности 103
   (I. Наше современное литературное безвременье.—II. Поэзія графа Ал. Толстого, какъ типъ чужеяднаго творчества.—III. О различіи художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности отъ художественно-техническаго).
5. А. И. Левитовъ. Его жизнь и сочиненія 193

1878—1880.

6. Николай Алексѣевичъ Некрасовъ 239
7. Разладъ художника и мыслителя. 313
8. Эпидемія легкомыслія 335
9. Женскій вопросъ съ точки зрѣнія парижскаго бульварнаго публициста . . 347

1882.

10. Жизнь въ литературѣ и литература въ жизни (Письма къ читателямъ). . . 373
    (I. Глѣбъ Успенскій, какъ разрушитель иллюзій.—II. Вс. Мих. Гаршинъ).
11. Новый человѣкъ деревни 449

1885—1887.

12. Мысли и замѣтки по поводу нравственно-философскихъ идей графа Л. Толстого 469
13. Власть тьмы. 529

14. Пѣсни о женской неволѣ 543
15. Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ 561
16. Женщины въ пьесахъ Островскаго 701

1891—1894.

17. Кое-что изъ моихъ личныхъ воспоминаній 739
18. Есть-ли у г. А. Чехова идеалы? 793
19. Замѣтки о текущей литературѣ 825
(I Д. С. Мережковскій.—„О причинахъ упадка и новыхъ теченіяхъ современной русской литературы“—II. „Искусство и нравственность“, очеркъ кн. Ѳ. Волконскаго.—III. Каблицъ (І. Юзовъ). „Основы народничества“.—IV. „Грѣхъ“, романъ П. Засодимскаго).

1874-1875.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРОТИВОРѢЧІЯ.

„Пугачевцы“, историческій романъ, сочиненіе Евг. Салiаса, въ 4 томахъ. Москва. 1874. — «Богатыри», романъ въ трехъ частяхъ изъ времени императора Павла. Н. Чаева. Москва. 1873.

I.

Въ тоскливыя эпохи всеобщей апатіи, равнодушія, застоя, когда не видно вокругъ нигдѣ ни малѣйшаго просвѣта, когда ложь и зло представляются окончательно восторжествовавшими, безъ возврата утвердившимися повсюду и даже снискавшими довѣріе, почетъ и уваженіе въ глазахъ пошлой толпы, — остается одно утѣшеніе: любоваться тѣми роковыми противорѣчіями, въ которыя становятся зло, неправда и всякое извращеніе человѣческой природы и мысли. Не думайте, чтобы я о подобномъ утѣшеніи говорилъ въ ироническомъ смыслѣ. Безъ шутокъ, развѣ не отрадно видѣть, что при полномъ отсутствіи съ вашей стороны возможности личной борьбы за васъ борется природа, жизнь, назовите ее, какъ хотите, которая роковымъ путемъ ведетъ вашего врага къ той ямѣ, которую онъ вамъ копаетъ... И эта яма не есть одна мечта, представляемая въ далекомъ будущемъ: вы видите, что врагъ ежедневно скользитъ по наклонной плоскости и въ то же время, запутываясь въ тѣхъ тенетахъ, которыя плететъ про васъ, лишаетъ себя всякой возможности остановиться въ своемъ паденіи... Назовите меня человѣкомъ въ высшей степени негуманнымъ, лишеннымъ чувства христіанскаго всепрощенія, но я откровенно долженъ сознаться, что не въ силахъ бываю воздержаться отъ сладострастнаго упоенія при видѣ, какъ бьющій кулакъ самъ разбивается о предметъ, который бьетъ. Если же вамъ и не часто могутъ представляться въ жизни усладительныя зрѣлища подобныхъ возмездій, зато ежедневно вы можете утѣшаться картинами тѣхъ противорѣчій, въ которыя ежеминутно становится кичливое зло. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не отрадно увидѣть вдругъ, что господинъ, бросившій вамъ въ лицо обвиненіе въ неуваженіи къ собственности, оказывается промотавшимъ всѣ свои имѣнія, надѣлавшимъ долговъ безъ возможности ихъ выплатить и проигравшимъ въ карты значительный кушъ изъ казеннаго сундука, или что другой господинъ, семейный и окруженный дѣтьми, вопитъ о вредѣ отрицанія семейныхъ основъ—и тутъ же дѣлаетъ глазки супругѣ своего ближняго,— вѣдь это все по истинѣ праздники въ нашей тоскливой жизни... Вы можетъ быть скажете мнѣ, что вовсе тутъ ничего нѣтъ отраднаго; напротивъ того, подобныя зрѣлища должны увеличивать скорбь, еще болѣе подымать жолчь и доводить до крайняго отчаянія и ожесточенія, что если васъ могло бы что-либо утѣшить, то развѣ отсутствіе въ жизни воровъ, являющихся защитниками собственности, и развратныхъ селадоновъ, защищающихъ семейныя основы. Но вольно-жъ вамъ забираться въ отвлеченныя сферы и оттуда созерцать жизнь, требуя отъ нея такихъ праздниковъ, которыхъ, навѣрное можно сказать, въ ваше недолговременное существованіе вы отъ нея не дождетесь... Пользуйтесь лучше тѣмъ, что́ даетъ вамъ жизнь, отдаваясь всецѣло навѣваемымъ ею впечатлѣніямъ. Сдѣлайтесь простіи сердцемъ и уподобитесь тѣмъ школярамъ, которые исполняются неописанной радостью и беззавѣтно хохочутъ при видѣ, какъ падаетъ злой учитель съ подпиленнаго стула, и, отдаваясь минутѣ восторга, не думаютъ, что злой учитель, поднявшись съ полу, не замедлитъ конечно задать имъ. Очень можетъ быть, что, сдѣлавшись такими беззавѣтными школярами, вы почувствуете въ себѣ приливъ такихъ силъ на борьбу, какихъ вамъ никогда не собрать вашими превыспренными размышленіями и сердобольными сѣтованіями о суетахъ и сквернахъ сего міра.

Подобный приступъ я сдѣлалъ съ той цѣлью, чтобы подготовить читателя къ праздничному созерцанію одного изъ вопіющихъ противорѣчій въ скромной сферѣ нашей литературы. Это одно изъ тѣхъ роковыхъ противорѣчій, которыя неминуемо возникаютъ на почвѣ всякаго извращенія мысли, всякаго отказа слѣдовать за свѣжей струей жизни. Надѣясь, что мои читатели внемлютъ моему воззванію и въ сердечной

простотѣ возликуютъ вмѣстѣ со мной при зрѣлищѣ, что обскурантизмъ и изувѣрство не остаются безнаказанными даже и въ такой безобидно-скромной сферѣ, какъ наша литература, я приступаю къ созерцанію и ликованію.

Читателямъ моимъ хорошо конечно извѣстно о томъ вѣковомъ антагонизмѣ, который существуетъ между Москвою и Петербургомъ, извѣстно, безъ сомнѣнія, и о тѣхъ историческихъ обстоятельствахъ, изъ которыхъ этотъ антагонизмъ развился. Петербургъ самымъ своимъ возникновеніемъ обусловилъ его, потому что туда вслѣдъ за Петромъ бросилось все молодое, живое, жаждущее простора мысли и дѣятельности, свѣта и обновленія, все, отрицавшее допетровскую Русь съ ея узкостью умственнаго кругозора и мертвой обрядностью, —а сзади въ Москвѣ остается мракъ невѣжества и изувѣрства, толпы старовѣровъ-святошъ, полагавшихъ все спасеніе въ брадахъ и кафтанахъ, да горсть бояръ, исполненныхъ традицій мѣстничества и самоуправства, затворившихся въ своихъ дѣдовскихъ теремахъ и въ безсильной злобѣ ворчавшихъ на новые порядки, при которыхъ, обходя ихъ, древнихъ и высокоименныхъ боляръ, возвышали на высшія государственныя должности людей новыхъ, иногда изъ самыхъ низшихъ, подлыхъ сословій.

Прошло безъ малаго 200 лѣтъ съ возникновенія Петербурга, и какъ мало измѣнился этотъ порядокъ вещей. И теперь еще каждый молодой и свѣжій побѣгъ мысли, развивающійся подъ вліяніемъ западно-европейской цивилизаціи, находитъ себѣ пріютъ и сосредоточивается главнымъ образомъ въ Петербургѣ; и теперь еще въ Москвѣ тѣ-же партіи и тенденціи, какія были 200 лѣтъ тому назадъ, какъ будто Петръ вчера только оставилъ первопрестольную столицу. Разница произошла развѣ только въ томъ отношеніи, что тенденціи эти болѣе сознательно формулировались, нашли себѣ различныя философскія и соціальныя подкладки, осложнились, развились въ цѣлыя ученія. Такъ, петровскіе старовѣры обратились въ славянофиловъ. Старобоярство приняло видъ англоманіи съ ея приверженностью къ крупному землевладѣнію, вотчинной полиціи и пр. Но сущность осталась та же самая даже до мелочей: и до сегодня въ Москвѣ вы встрѣтите и отрицаніе реформъ Петра, и изувѣрное отвращеніе ко всему западно-бусурманскому, и пристрастіе къ брадамъ и кафтанамъ; съ другой стороны то-же ворчаніе на излишнюю демократичность правительственныхъ реформъ, ту-же страсть считать древніе роды и тѣ-же золотыя мечты о томъ, что настанутъ когда-нибудь блаженныя времена, когда неміогіе бояре будутъ владѣть многимъ. Мы даже видимъ немалое сходство въ томъ отношеніи, что подобно тому, какъ при Петрѣ московскіе бояре, съ охотой отдавая своихъ дѣтей въ классическое славяно-греко-латинское заиконоспасское училище, открещивались отъ заводимыхъ Петромъ реальныхъ техническихъ училищъ, такъ и нынѣ Москва, лелѣя по старой традиціи излюбленный классицизмъ съ Катковскимъ лицеемъ во главѣ, открещивается отъ распространенія реальныхъ училищъ.

По отношенію къ литературѣ московскія тенденціи высказывали постоянно два рода требованій. Съ одной стороны, на почвѣ старобоярскихъ тенденцій развилась теорія искусства для искусства, олимпійскаго отношенія къ жизни, требующая, чтобы поэтъ отрѣшился отъ всякаго преходящаго, партіоннаго интереса дня, не вмѣшивался въ житейскія дрязги, а созерцалъ однѣ вѣчныя общечеловѣческія красоты. Съ другой стороны, на почвѣ славянофильства возникло требованіе, чтобы русская поэзія была самобытна, причемъ самобытность эта поставлялась въ томъ, чтобы писатели развивали непремѣнно русскіе, исконные идеалы—терпѣнія, смиреніемудрія, любве, и пр., и пр.

Что касается теоріи чистаго искусства, то я не знаю, можетъ ли быть и сомнѣніе въ томъ, что мы обязаны ей Москвѣ и преимущественно старобоярскимъ тенденціямъ. Вы только подумайте, кому было скорѣе всего задаться этой теоріей, хотя бы она пришла къ намъ и съ Запада, суетливому-ли петербургскому люду, занятому ежеминутно всевозможными дрязгами жизни, готовому не только поэзію, но и религію обратить къ своимъ практическимъ цѣлямъ, или же, напротивъ того, московскимъ олимпійцамъ, гордо смотрѣвшимъ изъ оконъ своихъ московскихъ теремовъ на всю кишащую суету новой жизни и презрительно отстранявшимся отъ всякаго вмѣшательства въ нее. Тоскливое однообразіе, затишье московской жизни въ соединеніи съ безусловной праздностью,— все это невольно располагало москвичей къ трансцендентальности, къ отвлеченію отъ всего временного, преходящаго и къ созерцанію вѣчнаго и неизмѣннаго. Нѣтъ ничего мудренаго, что когда отъ соколовъ и голубей, полетомъ которыхъ москвичи любовались въ то время, какъ царь-плотникъ стругалъ, пилилъ и строилъ новую Россію, они перешли къ духовнымъ наслажденіямъ, то, привыкши взирать горѣ, они потребовали, чтобы поэзія услаждала ихъ досугъ такими же полетами въ облакахъ, какіе въ прежніе годы совершали сокола и голуби. И дѣйствительно, теорія чистаго искусства развилась въ московскомъ философскомъ кружкѣ Станкевича; впервые пущена въ свѣтъ, развита во всѣхъ своихъ философскихъ положеніяхъ и доведена до послѣднихъ крайностей она была въ «Московскомъ Наблюдателѣ», —журналѣ, издававшемся въ Москвѣ въ концѣ 30 годовъ. Бѣлинскій, бывшій въ то время самымъ талантливѣйшимъ и усерднѣйшимъ проповѣдникомъ ея, воспринялъ ее на московской почвѣ. Стоило ему только переселиться въ Петербургъ, не прошло года, какъ онъ сдѣлался приверженцемъ совершенно противоположной теоріи искусства для жизни, и по собственному признанію его, подобной метаморфозѣ онъ былъ обязанъ ничему иному, какъ тому общему духу и настроенію жизни, которые обхватили его въ Петербургѣ. Вы мнѣ скажете, что и въ Петербургѣ впослѣдствіи были органы, защищавшіе теорію искусства для искусства. Мало ли чего! Я могу прибавить къ вашему возраженію, что въ Петербургѣ возникли впослѣдствіи и славянофильскіе органы, а въ Москвѣ издавался лѣтъ 10 «Телеграфъ», не имѣвшій ничего общаго съ московскими тенденціями Въ Москвѣ же родился, воспитался и развился Герценъ.

Но всѣ эти возраженія нисколько не измѣняютъ дѣла: для насъ важно не то, гдѣ и какъ отразилось какое-либо ученіе, а на какой почвѣ оно возникло, кому принадлежитъ его иниціатива, и безъ сомнѣнія иниціатива теоріи чистаго искусства принадлежитъ Москвѣ. Теорія эта только и могла впервые явиться и развиться на почвѣ московскаго барства. Точно также не составляетъ исключенія и Н. А. Полевой со своимъ «Телеграфомъ», потому что идеи, развиваемыя имъ въ «Телеграфѣ», онъ усвоилъ подъ вліяніемъ петербургскаго западническаго движенія, и все равно, гдѣ бы онъ ни издавалъ свой журналъ, въ Москвѣ ли, въ Казани или Харьковѣ, все-таки журналъ остается на почвѣ петербургскаго движенія, и съ московскими тенденціями онъ не только не имѣлъ ничего общаго, но постоянно ратовалъ противъ нихъ. Это былъ боецъ, ворвавшійся въ самую среду непріятельскаго стана. О Герценѣ и говорить нечего: все его развитіе совершалось вопреки окружавшимъ его московскимъ тенденціямъ; когда же онъ возсталъ противъ Бѣлинскаго, то статьи свои, въ которыхъ защищалъ теорію искусства для жизни, печаталъ въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ.

Что касается теоріи самобытности русской поэзіи въ видѣ выставленія исконныхъ идеаловъ, то я не знаю, нужно ли и доказывать, что, всецѣло вытекши изъ славянофильскихъ ученій, она неотъемлемо принадлежитъ Москвѣ. Впервые вполнѣ развита была эта теорія въ «Москвитянинѣ», преклонившемся передъ Гоголемъ главнымъ образомъ за то, что тотъ, не довольствуясь однимъ отрицательнымъ отношеніемъ къ русской жизни, стремился подъ конецъ своего поприща къ положительнымъ типамъ и все обѣщалъ, что у него польются звуки иныхъ рѣчей,—въ «Москвитянинѣ», съ негодованіемъ относившемся къ натуральной школѣ и обличительной литературѣ, отыскивавшемъ исконные русскіе идеалы даже въ самодурахъ Островскаго и умилявшемся передъ дѣдушкой Багровымъ и Куролесовымъ.

Изъ этихъ двухъ московскихъ теорій такъ и сыпались въ разныя времена и въ различныхъ органахъ всевозможныя шишки на нашу бѣдную русскую литературу. Съ одной стороны изъ славянофильскаго лагеря преслѣдовали ее постоянно за рабское преклоненіе передъ идеалами и образцами западныхъ литературъ, за измѣну русскимъ идеаламъ и предрекали ей вѣчное отсутствіе какой-либо самобытности, полное обезличеніе и бѣзцвѣтность. Съ другой стороны изъ лагеря теоретиковъ чистаго искусства нападали на нее постоянно за измѣну чистому искусству, за стремленіе служить тьмамъ низкихъ истинъ и въ свою очередь предсказывали ей, что если она будетъ стремиться къ тенденціозности, то совсѣмъ перестанетъ быть изящнымъ искусствомъ, а сдѣлается иллюстрированной публицистикой и должна будетъ неминуемо измельчать и обезцвѣтиться.

Если послушать всѣ эти нападки, раздающіяся не одинъ уже десятокъ лѣтъ, то можно подумать, что съ нашей литературой давно уже приключилось все, что̀ ей обѣщано: давно уже она въ преклоненіи передъ Западомъ потеряла всякую самобытность, обезличилась и обезцвѣтилась; давно уже, служа низкимъ истинамъ, обратилась въ рядъ ничтожныхъ памфлетовъ. Ну, и конечно такая судьба постигла наиболѣе петербургскую литературу, развившуюся на почвѣ западничества. Что-же касается литературы, придерживающейся московскихъ тенденцій, то естественно въ ней только и слѣдуетъ искать задатковъ и самобытности, и непосредственности; однимъ словомъ—драгоцѣнныхъ перловъ истиннаго, чистаго, высокаго и притомъ чисто русскаго искусства.

Но дѣйствительность убѣждаетъ насъ совершенно въ противоположномъ. Начать съ того, что если когда-либо наша литература находилась поистинѣ въ рабскомъ подчиненіи западнымъ литературамъ и представляла изъ себя одно жалкое ихъ эхо, то это было только впродолженіи перваго ея періода—такъ называемаго ложно-классическаго. Но въ этотъ періодъ писатели наши увлеклись не столько какими-либо западными идеалами и ученіями, сколько однѣми формами поэзіи, считавшимися непреложными и обязательными равно для всѣхъ народовъ. Что-же касается идеаловъ и ученій, то большинство русскихъ писателей того времени мало чѣмъ расходилось съ московскими тенденціями: всѣ они преклоняются ницъ передъ такъ называемой святыней предковъ, всѣ они преисполнены были пламенной любви къ отечеству и, настраивая свою лиру на высокій ладъ, воспѣвали славу храбрыхъ россовъ, ширину размаха русской богатырской натуры, великодушіе и щедрость высокопоставленныхъ дворянъ и всякаго рода генераловъ, такъ что стремились воспроизводить въ искусствѣ именно исконные русскіе идеалы, а если что и отрицали, то опять-таки совершенно въ духѣ московскихъ тенденцій: отрицали слѣпое обезьянство французскимъ нравамъ въ разныхъ петиметрахъ, воротившихся изъ-за границы модникахъ, пристрастіе ко всѣму иноземному, доходившее въ людяхъ высшаго свѣта до забвенія роднаго языка, и прочее въ этомъ родѣ, такъ что даже и въ наше время славянофилы весьма склоняются къ тому, что не слѣдуетъ-ли причислить къ ихъ лагерю всѣхъ этихъ отрицателей добраго, стараго времени. И между тѣмъ вся эта вѣрность исконнымъ русскимъ идеаламъ, вся эта безукоризненная чистота искусства, не вмѣшивавшагося ни въ какія низкія дрязги жизни и витавшаго постоянно въ заоблачныхъ высотахъ,—все это ни мало не дѣлало литературу нашу ни самобытной, ни естественной. Напротивъ того, никогда она не была такъ искусственна, преднамѣренна, безлична и безцвѣтна, какъ именно въ этотъ первый періодъ своего существованія. И, напротивъ того, именно съ тѣхъ поръ, какъ наше общество начало увлекаться не однѣми формами, но и идеями, ученіями, духомъ западной цивилизаціи, съ тѣхъ поръ и начинаетъ развиваться въ нашей литературѣ и естественность творчества, и самобытность, и всѣ эти вещи возникаютъ отнюдь не на почвѣ московскихъ тенденцій, а того самаго западничества, которое, по мнѣнію московскихъ мыслителей, должно было постоянно держать литературу въ оковахъ подражательности и тенденціозности.

Въ самомъ дѣлѣ: первые зачатки самобытности русской литературы положили романтики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, внесшіе въ нашу жизнь имен-

но тотъ строптивый западный духъ отрицанья, духъ сомнѣнья и анализа, который такъ ненавистенъ московскимъ мыслителямъ обѣихъ категорій. Первымъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ является Пушкинъ, этотъ человѣкъ, получившій въ родительскомъ домѣ свѣтское образованіе во французскомъ духѣ, напитавшійся въ бытность свою въ лицеѣ и въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ либеральными идеями, заимствованными съ Запада, потомъ сдѣлавшійся поклонникомъ Байрона,—и этотъ Пушкинъ, положивъ начало самобытности русской литературы, воспиталъ Гоголя, поставившаго окончательно нашу литературу на самостоятельную дорогу. Правда, Гоголь не былъ западникомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Это былъ самородокъ, дѣйствовавшій совершенно инстинктивно Онъ былъ слишкомъ мало образованъ для того, чтобы сознательно сдѣлаться западникомъ или славянофиломъ. Но все-таки обратите вниманіе на то, что бо́льшую часть своей литературной дѣятельности онъ совершилъ въ Петербургѣ, и Петербургъ не только не мѣшалъ его самобытности, но, напротивъ того, всячески поощрялъ ее въ лицѣ Пушкина и Жуковскаго, Бѣлинскаго и Плетнева, и очень можетъ быть, что преобладанію въ его произведеніяхъ смѣха сквозь слезы, составлявшаго главную сущность и самобытность его таланта, онъ былъ обязанъ именно тому духу скептицизма, иронiи, которымъ онъ былъ охваченъ въ Петербургѣ. Ужъ конечно не Москвѣ, имѣющей тенденцію вѣчно умиляться и восторгаться передъ всѣмъ отечественнымъ, онъ обязанъ былъ тѣмъ знаменитымъ: «скучно на этомъ свѣтѣ, господа», которымъ заканчивается одинъ изъ первыхъ его юмористическихъ разсказовъ. Напротивъ того, Москвѣ онъ былъ обязанъ только тѣмъ, что по мѣрѣ того, какъ подъ конецъ своей жизни все болѣе и болѣе проникался онъ московскими тенденціями, онъ терялъ и естественность, и самобытность своего творчества; оно все болѣе и болѣе обезцвѣчивалось, обезличивалось, дѣлалось преднамѣреннымъ, искусственнымъ, и наконецъ Гоголь, вмѣсто своихъ драгоцѣнныхъ поэтическихъ образовъ, началъ изливаться отвлеченнѣйшими тенденціями изувѣрнаго характера...

Послѣ Гоголя литература наша окончательно становится на самобытную почву. Всѣ послѣдующіе писатели: Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Некрасовъ, Щедринъ, Помяловскій, Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій, являются писателями вполнѣ самобытно-русскими, не только по своему происхожденію или потому, что они пишутъ по-русски, но по духу и характеру своихъ произведеній, по отношенію ихъ къ русской жизни, потому, что ихъ произведенія составляютъ нѣчто совершенно особенное въ ряду европейскихъ литературъ, возникшее вслѣдствіе своихъ особенныхъ причинъ. А между тѣмъ всѣ эти писатели и не помышляли о своей самобытности, и не думали стремиться во что бы то ни стало достичь ея. Всѣ они являются передъ нами болѣе или менѣе сознательными западниками. Всѣ они, развившись подъ непосредственнымъ вліяніемъ западной цивилизаціи, увлекались и увлекаются западными идеями и ученіями. Произведенія ихъ, не имѣя ничего общаго съ московскими тенденціями, неотъемлемо составляютъ литературу петербургско-западнаго движенія.

И замѣтьте: мало того, что вся эта петербургско-западническая литература представляетъ нѣчто самобытное и особенное по отношенію ко всѣмъ прочимъ европейскимъ литературамъ, въ самыхъ нѣдрахъ своихъ, вмѣсто предсказаннаго обезличенія, она представляетъ поразительное развитіе индивидуальнаго разнообразія. На почвѣ этой литературы сдѣлалась повидимому совершенно немыслимой рабская подражательность не только образцамъ западной литературы, но и лучшимъ произведеніямъ россійской. Совершенно вопреки старой эстетикѣ, которая полагала, что второстепенные и третьестепенные таланты по самому существу своему предназначены быть эхами геніевъ и первостепенныхъ талантовъ, литература, возникшая на петербургской почвѣ, представляетъ безконечную оригинальность въ лицѣ самыхъ маленькихъ и дюжинныхъ талантиковъ. Здѣсь каждый мелкій разсказчикъ имѣетъ свою физіономію и вкладываетъ въ литературу нѣчто особенное, свое. Когда говорятъ, что Гоголь создалъ натуральную школу и что всѣ послѣдующіе писатели пятидесятыхъ годовъ шли по его пути, подъ этимъ вовсе не подразумѣваютъ, чтобы они были болѣе или менѣе рабскими подражателями Гоголя. Слово «путь» принимается здѣсь въ самомъ общемъ, отвлеченномъ смыслѣ,—въ томъ именно, что послѣдующіе послѣ Гоголя писатели занялись, подобно ему, изображеніемъ обыденной русской дѣйствительности. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы они принялись изображать тѣ-же самыя черты дѣйствительности, которыя изображалъ Гоголь, и подъ тѣми же углами зрѣнія. И въ этомъ-то отсутствіи рабской подражательности, въ этомъ богатомъ развитіи индивидуальности представляется, по нашему мнѣнію, весьма отрадный признакъ избытка творчества и жизни въ современной намъ литературѣ. Жестоко ошибаются въ этомъ отношеніи тѣ изъ современныхъ критиковъ, которые, замѣчая отсутствіе въ литературѣ геніальныхъ талантовъ, вѣчно вопятъ о бѣдности и мнимомъ измельчаніи литературы. Напротивъ того, намъ кажется, что литература, въ которой на одинъ, на два геніальные таланта представляется цѣлый рядъ рабскихъ ихъ подражателей, гораздо бѣднѣе творчествомъ и менѣе жизненна, чѣмъ литература, въ которой хотя и нѣтъ геніевъ, удивляющихъ вселенную, но зато каждый писатель представляетъ особенный міръ, каждый идетъ по своей совершенно особенной дорогѣ и гдѣ, не говоря уже о талантахъ, стоящихъ впереди, даже и такіе второстепенные беллетристы, какими были въ прежнее время Вс. Крестовскій (псевдонимъ), а въ наше время—Боборыкинъ или Кущевскій, представляются писателями вполнѣ оригинальными и чуждыми подражательности.

Съ другой стороны, если мы взглянемъ на петербургскую литературу съ точки зрѣнія теоріи непосредственности творчества, то и тутъ передъ нами откроется поразительное зрѣлище. Мы видимъ, что, начиная съ эпохи Бѣлинскаго и Гоголя, большинство писателей отрицаютъ теорію чистаго искусства и стремятся своими произведеніями служить тѣмъ или дру-

гимъ общественнымъ интересамъ; но замѣчательно, что это стремленіе нисколько не мѣшаетъ свободѣ ихъ творчества и не дѣлаетъ ихъ преднамѣренно тенденціозными. Проникновеніе тѣми или другими идеями извѣстнымъ образомъ освѣщаетъ ихъ поэтическіе образы, даетъ имъ смыслъ, но въ произведеніяхъ ихъ на первомъ планѣ стоятъ все тѣ-же поэтическіе образы, взятые изъ жизни и совершенно естественно возникшіе въ ихъ творческой фантазіи. Возьмите вы въ этомъ отношеніи хотя бы Щедрина, какъ писателя наиболѣе тенденціознаго. Что болѣе всего вамъ нравится въ немъ? Очевидно умѣнье выставить на всеобщее осмѣяніе типы всевозможныхъ пошляковъ, разыгрывающихъ различныя роли въ общественной жизни. Но откуда же беретъ Щедринъ эти типы? Конечно они являются у него не изъ какихъ-либо отвлеченныхъ тенденцій. Онъ беретъ ихъ изъ жизни, создаетъ путемъ вполнѣ свободнаго творчества; и тенденціозность заключается у него только въ мастерствѣ, съ которымъ онъ выставляетъ на первый планъ наиболѣе пошлыя стороны своихъ героевъ. Ну, а Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій, что въ нихъ найдете вы преднамѣренно тенденціознаго? Какія такія предвзятыя темы въ ихъ очеркахъ? Или можетъ быть вы скажете, что преднамѣренность ихъ произведеній заключается въ самомъ побужденіи изображать жизнь непремѣнно однихъ только страждущихъ, низшихъ слоевъ общества? Но тогда я спрошу васъ, на какомъ логическомъ основаніи, при видѣ двухъ поэтовъ, изобразившихъ двухъ обѣдающихъ людей, вамъ можетъ придти въ голову фантазія, что изображеніе лукуловскаго пира сибарита Майковымъ или Фетомъ должно принадлежать къ чистому искусству, а изображеніе Рѣшетниковымъ подлиповца, питающагося лебедой,—къ искусству преднамѣренно-тенденціозному, если въ обоихъ случаяхъ изображенія отличаются одинаковой объективностью и вѣрностью дѣйствительности? Вы отвѣтите мнѣ можетъ быть, что Майковъ или Фетъ, изображая пирующаго сибарита, ни о чемъ не помышляли, какъ только о художественномъ воспроизведеніи своего образа, между тѣмъ какъ Рѣшетниковъ изобразилъ своего голодающаго подлиповца съ предвзятымъ намѣреніемъ привести читателя къ тѣмъ или другимъ соціальнымъ выводамъ. Но, высказывая подобное сужденіе, не принимаете ли вы на себя роли тѣхъ прокуроровъ, которые опираются въ своихъ обвиненіяхъ не на факты судебнаго слѣдствія и показанія свидѣтелей, а на свои собственныя гипотезы относительно того, что могъ думать преступникъ, когда собирался совершить преступленіе? Вы вѣдь не присутствовали при актѣ творчества Рѣшетникова и не слышали отъ него лично или отъ другого кого о тѣхъ разсчетахъ, которые будто бы онъ имѣлъ, садясь писать «Подлиповцевъ»? Передъ вами на лицо одинъ фактъ—разсказъ писателя, отличающійся такой же объективностью, какой отличается и описаніе лукуловскаго пира сибарита, какое же право имѣете вы судить о преднамѣренности? Вѣдь очень можетъ быть, что Рѣшетниковъ, подобно Майкову или Фету, ничѣмъ не руководился въ своемъ писаніи «Подлиповцевъ», какъ лишь стремленіемъ изобразить то, что онъ болѣе всего встрѣчалъ въ жизни, что врѣзалось въ его фантазію и произвело на него сильное впечатлѣніе. Что же касается соціальныхъ выводовъ изъ произведенія, то это ваше личное дѣло, и вы его совершенно напрасно навязываете автору. Вѣдь и изъ изображенія лукулловскаго пира можно сдѣлать свои соціальные выводы. Можно ихъ дѣлать наконецъ изъ разсмотрѣнія самихъ фактовъ жизни, не читая поэтическихъ произведеній, изображающихъ эти фактые. Нужели же и сама жизнь производитъ эти факты тоже съ преднамѣренной тенденціей привести васъ къ извѣстнымъ выводамъ? Такъ напримѣръ, неужели жизнь нарочно придумала самарскій голодъ для того, чтобы доказать людямъ, что при неразсчетливомъ хозяйствѣ возможно и плодороднѣйшую почву обратить въ безплодную? Наконецъ очень возможно, что Рѣшетниковъ сознавалъ, какіе выводы извлекутъ читатели изъ его произведенія. Возможно даже, что это сознаніе было главнымъ побудительнымъ стимуломъ въ его творчествѣ. Но что намъ до этого за дѣло, если мы въ произведеніи этого не видимъ, если оно является передъ нами простымъ, безхитростнымъ изображеніемъ дѣйствительности, и выводы не навязываются намъ авторомъ, а сами собой явствуютъ изъ представленныхъ фактовъ? И замѣтьте, что подобный характеръ непреднамѣренной преднамѣренности, непроизвольной естественности, имѣетъ большинство произведеній, возникающихъ на петербургской почвѣ. Конечно и тутъ въ семьѣ не безъ урода: и тутъ вы можете встрѣтить романы гг. Михайлова и Комп., въ которыхъ дѣйствительно преобладаютъ отвлеченныя тенденціи, факты же, образы берутся не изъ жизни, а сочиняются авторами, подгоняясь къ тенденціямъ. Но подобныя явленія представляются все-таки не главными, преобладающими въ петербургской литературѣ; не въ нихъ основной стволъ литературнаго развитія. Они суть только мертвые наросты на живомъ тѣлѣ, которые не замедлятъ конечно отвалиться.

Совершенно иное явленіе представляетъ изъ себя литература, возникшая на почвѣ московскихъ тенденцій. Она вся цѣликомъ составляетъ мертвый наростъ самаго гангренознаго свойства, причемъ она преисполнена именно тѣхъ самыхъ недостатковъ, которые она подозрѣваетъ въ петербургской литературѣ. Начать съ того, что ужъ я не знаю, можно ли и говорить о національной самобытности этой литературы, когда каждый писатель, какъ только вступаетъ на почву московскихъ тенденцій, тотчасъ же теряетъ свою собственную, личную самобытность и мало того, что обезличивается до послѣдней крайности, но совершенно теряетъ способность поэтическаго творчества въ смыслѣ дара говорить образами, склоняясь къ простому изверженію различныхъ отвлеченныхъ идей. Мы уже говорили о подобной метаморфозѣ съ Гоголемъ, котораго московскія тенденціи превратили изъ автора «Ревизора», «Мертвыхъ Душъ» въ автора «Переписки съ друзьями». Но кромѣ Гоголя можно насчитать и множество другихъ примѣровъ подобнаго же паденія творчества. Возьмите напримѣръ хотя бы Кохановскую, которая начала свою литературную дѣятельность рядомъ вполнѣ оригинальныхъ, яркихъ и непроизвольно-естественныхъ поэтическихъ образовъ,

между тѣмъ какъ въ послѣднихъ ея произведеніяхъ совершенно уже нѣтъ почти никакихъ образовъ, а идетъ безконечный рядъ отвлеченнѣйшихъ разсужденій, исполненныхъ трескучей реторики и мистическаго бреда въ славянофильскомъ духѣ. Подумайте, что сдѣлала Москва изъ Писемскаго, Ѳ. Достоевскаго? А Л. Толстой, этотъ писатель, развившійся на почвѣ петербургской литературы, что же, какъ не Москва побудила его принять на себя несвойственную ему роль историческаго философа и наводнить свой послѣдній прекрасный романъ длиннѣйшими туманными полуфилософскими, полумистическими разсужденіями о судьбахъ міра сего? Словомъ кто только вступитъ на почву московскихъ тенденцій, у того, будь онъ поэтъ до мозга костей, тотчасъ же является побужденіе изрекать неизреченные глаголы, и онъ начинаетъ цѣлыя страницы и томы наполнять мистическими резонерствами или начнетъ вездѣ отыскивать враговъ отечества.

На основаніи всего этого я ужъ не знаю, нужно ли и говорить о томъ, насколько московская литература при такомъ своемъ положеніи можетъ быть представительницей своихъ излюбленныхъ теорій чистаго искусства и непреднамѣренности творчества? Напротивъ того, совершенно въ разрѣзъ съ этими теоріями она является вся сплошь преднамѣренно тенденціозной, и эта преднамѣренная тенденціозность ея дошла до такихъ поразительныхъ крайностей, что всѣ московскіе беллетристы въ настоящее время подведены окончательно подъ одну норму, подъ одинъ, такъ сказать, ранжиръ, причемъ, мало того, что опредѣлено, какія они должны проводить тенденціи въ свои произведеніяхъ, но и какъ проводить, такъ что московскимъ беллетристамъ не нужно уже трудиться надъ созданіемъ сюжетовъ и типовъ для своихъ романовъ: все это существуетъ уже въ готовомъ видѣ, вродѣ тѣхъ формъ, въ которыя отливаются различныя фигуры на литейныхъ или фарфоровыхъ заводахъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы ни представлялось на первый взглядъ разнообразно содержаніе московскихъ романовъ, существуетъ всего на-все двѣ неизмѣнныя формы, въ которыя всѣ они отливаются: одна форма для романовъ съ тенденціями «Московскихъ Вѣдомостей», другая—для романовъ въ славянофильскомъ духѣ. Если угодно, я могу сообщить вамъ обѣ формы, такъ что вы безъ всякаго труда будете въ состояніи написать романъ для «Русскаго Вѣстника» или какого-нибудь будущаго славянофильскаго органа.

Форма романовъ въ духѣ тенденцій «Московскихъ Вѣдомостей» должна быть слѣдующая:

На первомъ планѣ изобрази героя-охранителя. Онъ долженъ быть красивъ и статенъ, древняго рода, князь или графъ (не мѣшаетъ при этомъ страницу, другую посвятить характеристикѣ его предковъ и разобрать по листочкамъ все его генеалогическое древо). Характера онъ долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро-отважнаго, немного пожалуй и стремительнаго; убѣжденій, само собою разумѣется, безкорыстно честныхъ, и всѣ силы души его должны стремиться къ борьбѣ съ неправдою и зломъ на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности, въ особенности же окраинъ отечества. Еще до своего служебнаго поприща онъ можетъ уже начать эту борьбу въ какой-нибудь либеральной гостиной губернскаго города, разразившись тирадой о паденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лягушки никогда не могутъ замѣнить того божественнаго упоенія, какое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранной прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мѣшалъ имъ цѣнить все изящное и любить свою родину паче жизни. Подобная рѣчь должна возбудить всеобщій смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьи-нибудь глубокія синія очи могутъ затуманиться томной задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и заблестѣть живымъ участіемъ, когда герою мимоходомъ среди споровъ удастся сбить съ толку отрицающаго гимназиста или до такой степени опѣшить и сконфузить хвастливаго пана Взексержинскаго, что панъ, схвативши свою конфедератку, быстро отретировался бы, кипя злобой и обѣщаясь отмстить герою посредствомъ коварной польской интриги. Затѣмъ можешь опредѣлить героя на государственную службу въ качествѣ мирового посредника, судебнаго слѣдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, и здѣсь должна начаться уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. Зло это должно представляться въ двоякомъ конечно видѣ: 1) въ видѣ коварной польской интриги, осуществленной въ образѣ пана Взексержинскаго, который подъ предлогомъ служенія своей отчизнѣ долженъ мстить герою изъ чисто личныхъ видовъ за нанесенную героемъ обиду въ присутствіи синеокой дѣвы; 2) въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, который долженъ быть изображенъ въ романѣ панургомъ стадомъ, возмущающимъ крестьянъ, подсовывающимъ въ карманы героя возмутительныя прокламаціи, посягающимъ наконецъ на самую жизнь героя, и все это не по собственному убѣжденію, а подъ вліяніемъ все той же польской интриги. Въ борьбѣ съ этими исчадіями ада герой можетъ быть оклеветанъ и попасть подъ судъ, быть отравленъ, нѣсколько разъ истекать кровью отъ нанесенныхъ ранъ, но въ концѣ концовъ все-таки выйти сухимъ изъ воды, побѣдя и посрамя вокругъ себя все и вся, и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Для большей полноты всей этой картины борьбы новаго Донъ-Кихота съ вѣтреными мельницами можно повести героя въ различные центры золъ; такъ напримѣръ, пусть онъ пріѣдетъ въ Петербургъ и тамъ побродитъ по разнымъ литературнымъ или студенческимъ кружкамъ. А не то отправь его за-границу, заставь его тамъ столкнуться съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути выбросить изъ чемодана какого-нибудь юнаго спутника за бортъ парохода пукъ прокламацій. Въ перемежку со всѣми этими политическими сценами должны идти любовныя интриги. Рядомъ со всѣми своими героическими качествами герой долженъ обладать конечно и даромъ покорять женскія сердца. Всѣ женщины должны влюбляться въ него съ первой встрѣчи, и у героя сквозь его жизнь должны пройти три вида любви: одна любовь игриваго и скабрезнаго свойства, въ которой должна разыгрывать роль или юная губернаторша, опутывающая героя тенетами кокетства, или

супруга закадычнаго друга, съ которой герою приходится совершенно случайно ночевать въ двухъ смежныхъ комнатахъ и совершенно нечаянно сдѣлаться жертвою ея страстности. Другая любовь, вспыхивающая внезапно, какъ ураганъ, доводящая героя до высшаго экстаза страстности и повергающая его въ концѣ-концовъ къ крайнее изнеможеніе и нравственное оцѣпенѣніе, это—любовь къ какой-нибудь юной полькѣ, ну, хоть сестрѣ пана Взексержинскаго, а не то къ россіянкѣ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей какой-нибудь кровавой смертью, положимъ, хоть на баррикадѣ во время осады Парижа. Наконецъ третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамѣтная сначала, но зато впослѣдствіи самая глубокая, истинная и безконечная, это—любовь къ той синеокой дѣвѣ, которая въ pendant герою должна представлять изъ себя типъ коренной русской женщины, стремящейся къ домашнему очагу, свято охраняющей всѣ основы и неспособной къ какимъ-либо мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ. Съ этой своей совершенной во всѣхъ отношеніяхъ парой герой долженъ почить отъ всѣхъ своихъ треволненій и, уставши охранять отечество своей собственной грудью, посвятить остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

Форма романа въ славянофильскомъ духѣ должна быть совершенно иного рода. Здѣсь не требуется отъ героя ни графскаго, ни княжескаго титула, достаточно, чтобы онъ былъ коренной русскій помѣщикъ, самой чистой славянской крови безъ малѣйшей подмѣси. Генеалогическаго древа писатель въ свою очередь можетъ совсѣмъ не касаться, но зато жизнь и нравы родительской усадьбы, исполненные чисто русскихъ исконныхъ чертъ, должны быть описаны во всѣхъ подробностяхъ, съ охотами и рыбными ловлями, святочными гаданіями, хороводами, храмовыми праздниками, постами и розговѣньями, и ужъ тутъ писатель долженъ не пожалѣть художественныхъ красокъ. Не мѣшаетъ даже для большей полноты картины заглянуть въ сборники Сахарова, Снегирева, Рыбникова, Кирѣевскаго и проч., откуда писатель можетъ заимствовать нужныя для него свѣдѣнія о гаданіяхъ, ворожбахъ, святочныхъ пѣсняхъ и обогатить всѣмъ этимъ матеріаломъ свой разсказъ для того, чтобы поэтичность его была вполнѣ въ русскомъ духѣ и чтобы каждый читатель, прочтя описаніе жизни усадьбы, могъ въ умиленіи воскликнуть:

Здѣсь Русь живетъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Проведя свое дѣтство среди такой обстановки, герой потомъ долженъ быть оторванъ отъ своей исконной среды, отданъ родителемъ въ какое-нибудь столичное заведеніе и тамъ, пройдя различные курсы, долженъ напитаться духомъ западной цивилизаціи, сдѣлаться ея горячимъ поклонникомъ, увлечься различными кичливыми и разрушительными ученіями растлѣннаго Запада, а воротившись на каникулы домой въ родную усадьбу, начать нѣсколько свысока съ презрѣніемъ и отрицаніемъ относиться ко всѣмъ исконнымъ святынямъ и дорогимъ обычаямъ русской старины. При этомъ не мѣшаетъ изобразить нѣсколько сценъ, въ которыхъ герой попадался-бы впросакъ и былъ-бы посрамленъ въ своей кичливости. Можно напримѣръ изобразить разговоръ героя съ сельскимъ іереемъ, причемъ простой и здравый, чисто русскій умъ іерея, исполненнаго христіанскаго смиренія, одержалъ-бы верхъ надъ западной мудростью занесшагося барича. Затѣмъ для того, чтобы представить русскій міръ не только въ его старинныхъ уголкахъ, но во всей совокупности въ роковую минуту, когда онъ поднимается, сплачивается въ одного исполина и обнаруживаетъ всю мощь славянскаго духа, слѣдуетъ изобразить какую-либо важную эпоху вродѣ народной войны 12 года, севастопольской обороны, суворовскихъ походовъ, московской чумы и проч., и проч. Необходимо пустить героя въ эту кашу, заставить его испытать всевозможныя мытарства, голодать, холодать, тонуть, нѣсколько разъ лежать убитымъ на полѣ брани,—при всѣхъ этихъ испытаніяхъ встрѣчаться постоянно съ народомъ и внезапно прозрѣть, увидѣть всю великость этого народа и все ничтожество западной мудрости передъ его міровоззрѣніями, исполненными неизреченно глубокой правды, хотя и облеченными въ оболочку дѣтской простоты и христіанскаго смиренія, чуждаго малѣйшей рисовки и кичливости. Результатомъ подобнаго прозрѣнія должно быть перерожденіе героя: онъ вдругъ долженъ почувствовать въ себѣ избытокъ елейной мягкости, всепрощенія и преисполниться исконными русскими идеалами смиренномудрія, терпѣнія и любве. Можно и другими путями привести героя къ этому перерожденію, болѣе простыми и быстрыми, посредствомъ напримѣръ того-же самаго вышеупомянутаго іерея, если писатель, не желая писать многотомный романъ, хочетъ ограничиться небольшой повѣстью; посредствомъ наконецъ любви, вліянія матери, какъ это сдѣлала напримѣръ Кохановская въ своей повѣсти «Галька». Вовсякомъ случаѣ перерожденіе необходимо, и оно должно составлять основу романа, написаннаго въ славянофильскомъ духѣ. Этимъ перерожденіемъ романъ вполнѣ исчерпывается. За нимъ герою ничего больше не остается, какъ сочетаться законнымъ бракомъ съ русской дѣвой неизреченной красоты и начать осуществлять купно съ ней исконные русскіе идеалы смиренномудрія, терпѣнія и любви.

Конечно можно придумать множество различныхъ варіантовъ на эти темы. Писатели могутъ вмѣсто женитьбы въ концѣ романа уморить своихъ героевъ ужасной смертью, могутъ заставить ихъ влюбиться въ блондинку или въ брюнетку, могутъ послать заграницу или въ Ташкентъ и на Кавказъ, могутъ развернуть интригу романа въ западномъ краѣ или во всѣхъ частяхъ свѣта. На первый взглядъ вамъ можетъ показаться, что одинъ романъ не похожъ на другой, что и въ московской беллетристикѣ есть свое разнообразіе. Но стоитъ припомнить всѣ романы, вышедшіе въ послѣднія 10 лѣтъ, всмотрѣться въ ихъ сюжеты, и вы увидите, что всѣ они непремѣнно подойдутъ подъ одинъ изъ этихъ двухъ шаблоновъ, во всѣхъ нихъ проводятся двѣ неизмѣнныя тенденціи: 1) вотъ они каковы подрывающія всѣ основы исчадія польской интриги и панургова стада нашего либерализма и 2) великъ Богъ земли Русской.

II.

Что же за причина подобныхъ противорѣчій въ литературныхъ сферахъ? Какъ же это случилось, что петербургская литература, никогда не помышляя о самобытности, сдѣлалась самобытной? Ратуя за полезное творчество, однакожъ осталась чуждой преднамѣренной тенденціозности? И напротивъ того, московская литература, при всѣхъ своихъ стремленіяхъ и къ самобытности, и къ чистотѣ искусства, дошла до крайняго обезличія и впала въ самую узкую тенденціозность?

Причины такого страннаго явленія очень просты и понятны. Начать съ того, что самобытность есть явленіе вполнѣ непроизвольное. Она вырабатывается естественнымъ жизненнымъ процессомъ и всякое вмѣшательство личной воли въ этотъ процессъ не только не способствуетъ ему, но препятствуетъ и парализируетъ его. На основаніи этого закона, гдѣ только являлась какая-либо самобытность, она возникала сама собой, нежданная, негаданная. Стремленіе-же вызвать ее никогда ни къ чему не вело, какъ только къ напускному оригинальничанью, производящему всегда непріятное впечатлѣніе лжи и фальши и скрывавшему подъ собой полную безцвѣтность. Между тѣмъ наша петербургская литература, развившись подъ вліяніемъ общаго увлеченія Западомъ, съ самаго начала встала на естественную почву въ томъ отношеніи, что беззавѣтно отдалась этому увлеченію. Она явилась подражательной не вслѣдствіе какихъ либо предвзятыхъ теорій, а потому, что и общество, и литераторы вполнѣ естественно и беззавѣтно увлекались образцами западной словесности. Такимъ образомъ съ самаго возникновенія петербургская литература отдалась всецѣло непроизвольному жизненному процессу, увлекаясь тѣми впечатлѣніями, какія преобладали въ передовыхъ кружкахъ общества. Эта-то непосредственность ея и вывела ее на путь самобытности.—Слившись путемъ подражательности съ литературами Запада, она начала вмѣстѣ съ европейскимъ литературнымъ движеніемъ переживать всѣ его фазы и дожила до современныхъ намъ эстетическихъ требованій, чтобы каждый поэтъ творилъ свободно, воспроизводя въ своихъ произведеніяхъ тѣ впечатлѣнія, какія навѣваетъ на него жизнь. Эти требованія, положившія начало новаго реальнаго искусства, и повели къ той индивидуализаціи искусства, о которой мы выше говорили: каждый поэтъ, въ какой-бы странѣ онъ ни жилъ, началъ воспроизводить въ своихъ произведеніяхъ тѣ образы и впечатлѣнія, какія навѣвала на него окружающая его дѣйствивельность, переставши брать себѣ въ образцы Байтона, Гёте, Шиллера или Шекспира и стремиться розвышаться до нихъ. Эта-то индивидуализація искусства естественно повела за собой и національную самобытность. Помимо того, что каждый поэтъ сдѣлался выразителемъ жизни и интересовъ своей страны, онъ сталъ самимъ собою, началъ отражать въ своихъ произведеніяхъ свою личность, естественно и традиціонно носящую въ себѣ тѣ или другія народныя черты.

Между тѣмъ какъ петербургская литература достигла самобытности, нисколько не заботясь о ней, путемъ одной индивидуализаціи искусства, Москва въ своемъ славянофильскомъ лагерѣ возъимѣла цѣль поставить литературу на самобытную почву путемъ вполнѣ преднамѣреннымъ, обязывая каждаго поэта *стремиться* быть самобытнымъ, причемъ подъ самобытностью разумѣлась не личная самобытность каждаго поэта, а особенная собирательная самобытность русскаго искусства, въ которомъ личность поэта должна пропасть, какъ пропадаетъ она въ народной пѣснѣ. По московскимъ теоріямъ поэтъ, чтобы сдѣлаться самобытнымъ, долженъ изучать народную поэзію былыхъ временъ, набираться всевозможныхъ народныхъ поэтическихъ мотивовъ, читая лѣтописи и всякіе сборники, посѣщать такія глухія захолустья, гдѣ-бы стародавняя русская жизнь наиболѣе сохранилась со всѣми своими старинными міровоззрѣніями, повѣрьями и поэтическими обрядами языческихъ временъ. Посредствомъ такого изученія поэтъ долженъ проникнуться народнымъ міровоззрѣніемъ и народными мотивами, слиться съ народной поэзіей и сдѣлаться такимъ образомъ національно-самобытнымъ. Но надо-ли много распространяться о томъ, какъ неестественъ и ложенъ такой путь? Начать съ того, что въ основѣ его лежитъ не живое, непосредственное творчество подъ впечатлѣніемъ окружающей дѣйствительности, а рядъ археологическихъ изысканій. Поэтъ долженъ перестать здѣсь быть самимъ собой, а сдѣлаться подражателемъ тѣхъ разнообразныхъ народныхъ мотивовъ, которые народъ создалъ 200, 300 и болѣе лѣтъ тому назадъ. Я говорю 200, 300 лѣтъ назадъ, потому что народное творчество въ томъ собирательномъ, безличномъ видѣ, въ какомъ оно существовало нѣкогда, совсѣмъ почти изсякаетъ. Новыхъ мотивовъ народъ почти не создаетъ болѣе, а старые сохраняетъ по традиціи, но, находя въ нихъ слишкомъ мало отзывовъ на современную ему жизнь, постепенно забываетъ. Народъ какъ бы истинктивно передалъ свою лиру передовымъ образованнымъ поэтамъ своей страны и ждетъ отъ нихъ новыхъ звуковъ, новыхъ пѣсенъ, которыя выразили-бы тѣ радости и горе, которыми онъ живетъ. Образованные поэты что-же вдругъ хотятъ сдѣлать? Обратиться къ народу съ той ветошью, которую онъ давно бросилъ! Положимъ, что въ этой ветоши много поэтическаго, но вѣдь все это поэтическое давно уже пережито и мохомъ поросло, но вѣдь каждое поэтическое потому оно и является такимъ, что оно выстрадывается жизнью. Почему же и народныя пѣсни такъ хватаютъ васъ за душу, какъ не потому, что нѣкогда живые люди выразили въ нихъ свои современныя радости и печали... А вы вмѣсто того, чтобы подражать этимъ живымъ людямъ въ томъ отношеніи, чтобы по примѣру ихъ выразить въ новыхъ мотивахъ ваши современныя впечатлѣнія жизни, думаете подражать самимъ мотивамъ, естественно отжившимъ вмѣстѣ съ той жизнью, которая ихъ вызвала. Не значитъ-ли это отказываться отъ живой дѣйствительности и обращаться вспять, мечтая воскресить мертвое? Во всякомъ случаѣ такого рода археологическая поэзія вовсе не есть самобытная, а въ свою очередь подражательная. Разница только въ томъ, что предметами

подражательности являются здѣсь образцы не грекоримской или современно-западной поэзіи, а древнерусской. Но это все равно, вѣдь не считаемъ же мы самобытными писателями псевдоклассиковъ XVIII вѣка или нѣмецкихъ ультра-романтиковъ вродѣ Бюргера, Уланда и проч. Естественно, что на почвѣ такого самобытничанья не вышло до сихъ поръ ничего истинно самобытнаго, а являются одни только археологически скучныя и сухія измышленія, вродѣ драмъ Чаева или Аверкіева, искусственныя поддѣлки подъ народную поэзію А. Толстого, да изрѣдка попытки изображенія домовыхъ, лѣшихъ и прочихъ личностей нашей доморощенной миѳологіи въ томъ поэтическомъ обаяніи, въ какомъ они должны были представляться, по мнѣнію поэтовъ XIX столѣтія, ихъ предкамъ, жившимъ 1,000 лѣтъ тому назадъ. И замѣтьте при этомъ, что если вошли въ народъ кое-какія произведенія изъ нашей цивилизованной литературы, то выросшія отнюдь не на почвѣ московскихъ тенденцій, а той же петербургской литературы.

Что же касается отсутствія преднамѣренной тенденціозности въ петербургской литературѣ и крайняго развитія ея въ московской, то на это имѣются свои особенныя причины, лежащія въ томъ различіи вліяній, какія оказываютъ на поэтическое творчество идеи объективно-естественныя и субъективно-искусственныя. Но прежде, чѣмъ я буду говорить объ этомъ различіи вліяній, необходимо объяснить, что я разумѣю подъ идеями объективно-естественными и субъективно-искусственными.

Объективно-естественныя идеи суть такія, которыя вытекаютъ помимо нашихъ желаній непосредственно изъ фактовъ. Онѣ немыслимы безъ этихъ фактовъ, равно какъ и факты немыслимы безъ нихъ. Онѣ лежатъ въ фактахъ, въ извѣстномъ порядкѣ вещей, независимо отъ того, сознаемъ мы ихъ или не сознаемъ, потому что онѣ суть нечто иное, какъ эти факты, и дѣлаются идеями уже тогда, когда доходятъ до нашего сознанія. Такова напримѣръ идея о томъ, что рабство растлѣваетъ нравственно въ одинаковой степени господина и раба. Мы можемъ не желать, чтобы это было такъ, можемъ не сознавать этого, но тѣмъ не менѣе все-таки тамъ, гдѣ въ жизни являются господинъ и рабъ, тамъ непремѣнно будетъ осуществляться эта идея въ видѣ обоюднаго нравственнаго растлѣнія. Изъ наблюденій цѣлаго ряда такихъ растлѣній мы и выносимъ вышеозначенную идею.

Субъективно-искусственныя идеи образуются совершенно другимъ путемъ. Онѣ возникаютъ изъ нашихъ желаній, симпатій или антипатій — личныхъ, сословныхъ или племенныхъ. Мы выносимъ ихъ такимъ образомъ не изъ фактовъ, а напротивъ того, стараемся навязать ихъ фактамъ, хотя бы въ фактахъ такихъ идей и не лежало вовсе, а были другія, совершенно противоположныя. Такова напримѣръ идея рабовладѣльческая, желающая доказать, что рабство — полезное учрежденіе въ экономическомъ и нравственномъ отношеніяхъ, или идеи аристократическія, видящія все спасеніе общества въ крупномъ землевладѣніи, батрачествѣ и вотчинной полиціи. Таковы идеи всякой національной исключительности, вродѣ пангерманизма, мечтающаго, что нѣмцы призваны огермanизировать всѣ европейскіе народы, или славянофильства, воображающаго, что весь родъ человѣческій находится въ состояніи гніенія, кромѣ однихъ славянъ, призванныхъ обновить чуть-что не всю вселенную.

Изъ этого различія идей объективно-естественныхъ и субъективно-искусственныхъ проистекаетъ и различіе вліянія ихъ на творчество поэта. Я не знаю, нужно ли и доказывать, что преднамѣренность въ проведеніи идей объективно-естественныхъ — вещь совершенно немыслимая. Зачѣмъ я буду преднамѣренно проводить въ своихъ произведеніяхъ такія идеи, которыя и безъ того уже лежатъ въ фактахъ и сами собой, помимо моего старанія, вытекаютъ изъ нихъ? Совершенно достаточно будетъ для меня ограничиться тѣмъ, что изобразить факты, и они конечно скажутъ сами за себя лучше всякихъ моихъ разглагольствованій. Другое совсѣмъ дѣло идеи субъективно-искусственныя. Задавшись ими, творчество, наоборотъ, никакимъ инымъ быть не можетъ, какъ преднамѣреннымъ. Я не могу здѣсь брать прямо факты дѣйствительности и выставлять ихъ, какъ они суть, потому что въ нихъ я рискую вовсе не найти такихъ идей, какія я желаю провести, а можетъ быть совершенно противоположныя. Поэтому я долженъ прежде всего сдѣлать строгій выборъ фактовъ и подтасовать такіе, которые мнѣ наиболѣе по вкусу. Но и такіе факты могутъ не совсѣмъ прямо подходить къ моей излюбленной идеѣ. Тогда я принужденъ буду нѣсколько измѣнить ихъ, произвольно исказить сообразно моимъ цѣлямъ. Если же при этомъ избранные и произвольно измѣненные мною факты все-таки не будутъ вполнѣ выражать мою идею, я долженъ пойти далѣе и самъ уже выдумать такіе факты, которыхъ въ дѣйствительности совсѣмъ нѣтъ и быть не можетъ.

Но тѣмъ и отличалась всегда петербургская литература западническаго движенія, что она проникалась постоянно такими объективно-естественными идеями, которыя, составляя содержаніе передовой европейской мысли, являлись къ намъ не въ видѣ отвлеченныхъ тенденцій, а какъ продуктъ вѣкового опыта жизни. Такія идеи по самому существу своему могли вести творчество поэтовъ не къ преднамѣренности, а только къ обогащенію этими незамѣчаемыми прежде фактами. Для примѣра возьмите хотя бы вышеозначенную идею вреда рабства, вполнѣ развившуюся въ передовыхъ кружкахъ нашего общества только въ концѣ сороковыхъ годовъ, и подумайте, какого рода вліяніе на творчество нашихъ поэтовъ могла оказать эта идея? Никакого иного, какъ лишь передъ поэтами вдругъ открылся цѣлый рядъ фактовъ жизни, на которые они прежде не обращали вниманія. Прежде помѣщичья власть представлялась передъ ними съ одной только стороны своей патріархальности, какъ она рисуется напримѣръ въ «Семейной хроникѣ» Аксакова. Если сатира и нападала на злоупотребленія помѣщичьей власти, то именно только на *злоупотребленія*, причемъ предполагалось, что тамъ, гдѣ помѣщичья власть существовала въ своемъ идеальномъ видѣ, чуждая злоупотребленій, крѣпостное право не производило никакого нравственнаго вреда ни на помѣщиковъ, ни на крестьянъ. Мы видимъ, что даже у

Гоголя въ его «Мертвыхъ Душахъ» факты растлѣвающаго вліянія крѣпостного права совершенно игнорируются. Чичиковъ, Ноздревъ, Маниловъ, Плюшкинъ и проч. представляются пошляками чисто по своей доброй волѣ, по недостатку воспитанія, по невѣжеству, но вмѣстѣ съ тѣмъ предполагается, что они могли бы быть и иными при томъ же положеніи вещей, предполагается на почвѣ того же крѣпостного права возможность такого отраднаго явленія, какъ Костанжогло, а въ своей «Перепискѣ съ друзьями» Гоголь проповѣдуетъ своимъ друзьямъ, какъ подобаетъ идеальному помѣщику держать себя по отношенію къ крестьянамъ. Но вотъ является идея нравственнаго вреда рабства и передъ русскими писателями вдругъ открывается цѣлая Америка. Передъ ними разомъ всплываетъ наружу цѣлая масса фактовъ, повсюду, вокругъ нихъ и въ нихъ самихъ, показывающихъ, до какой нравственной дряблости доводитъ и въ какое фальшивое положеніе ставитъ рабство людей, самыхъ образованныхъ, гуманнѣйшихъ и готовыхъ облагодѣтельствовать своихъ крестьянъ. Какая же тутъ нужна была преднамѣренность, чтобы проводить идею вреда рабства? Бери только всѣ эти открывшіеся факты и изображай ихъ вполнѣ объективно, оставаясь въ сферѣ самаго чистѣйшаго искусства. Такъ и сдѣлали петербургскіе писатели. Начиная съ «Записокъ Охотника» появилась цѣлая серія литературы, выставляющей вредное нравственное вліяніе крѣпостного права. Можно сказать даже, что вся литература пятидесятыхъ годовъ была посвящена этому вопросу. Но преднамѣренно-тенденціознаго все-таки ничего не было въ ней, а было одно художественно-объективное выставленіе фактовъ, обличающихъ нравственный вредъ крѣпостного права. Точно также подѣйствовали на болѣе юныхъ писателей новыя экономическія идеи: онѣ не повели за собой никакой преднамѣренности, а только заставили глубже вникать въ нѣкоторые факты жизни, которые въ свою очередь прежде игнорировались. Не далѣе, какъ въ пятидесятые годы, если выводился на сцену рабочій людъ, то съ одной только комической стороны невѣжества, пьянства, грубости, жаргона и проч. Фабричный работникъ изображался не иначе, какъ ухарскимъ, франтоватымъ парнемъ съ гармоникой въ рукахъ, сельскимъ Донъ-Жуаномъ, готовымъ подчасъ выйти и съ кистенемъ на большую дорогу. Но вотъ появились новыя экономическія идеи и повели за собой изученіе быта рабочаго люда совсѣмъ съ другой стороны: появились очерки Рѣшетникова, Гл. Успенскаго и проч., въ которыхъ преднамѣренной тенденціозности въ свою очередь столь же мало, какъ и въ повѣстяхъ пятидесятыхъ годовъ, изображающихъ нравственный вредъ рабства.

Совершенно въ иномъ положеніи находится московская беллетристика. Она задается не объективно-естественными идеями, а субъективно-искусственными. Для нея важно не изображеніе правды жизни, какъ она есть, а проведеніе тенденцій, съ одной стороны узко-консервативныхъ, съ другой стороны столь же узко-національныхъ. Извольте пребывать въ предѣлахъ свободы творчества и чистаго искусства, когда вамъ нужно доказать въ вашемъ произведеніи, что всѣ пережитыя нами реформы страдаютъ излишествомъ демократизма и что движеніе шестидесятыхъ годовъ ни къ чему не привело, какъ только ко всеобщей нравственной распущенности, особенно въ средѣ молодого поколѣнія. Въ дѣйствительности можетъ быть ничего этого нѣтъ, ни излишняго демократизма реформъ, ни всеобщей распущенности, но для васъ необходимо, чтобы это все было. Что же остается вамъ, какъ не натягивать всячески факты, не искажать дѣйствительности, не придумывать такихъ вещей, какихъ въ дѣйствительности со свѣчкой не отыщешь. Путемъ цѣлаго ряда подобныхъ искаженій дѣйствительности ради подогнанія ея къ извѣстной узкой тенденціи и образовались наконецъ тѣ неизмѣнныя фабулы, тѣ стереотипные образы, въ которыхъ замерла и окостенѣла московская беллетристика.

Точно къ такой же преднамѣренности ведутъ беллетристику съ своей стороны и славянофильскія идеи. Онѣ заранѣе предписываютъ поэту, что̀ ему искать въ дѣйствительности и какъ ее изображать. Такъ французъ, сообразно имъ, долженъ быть выставленъ непремѣнно вѣтренымъ и тщеславнымъ хвастуномъ, нѣмецъ—сухимъ педантомъ, англичанинъ—своекорыстнымъ любостяжателемъ, русскій же, мало-мальски не зараженный тлетворной заразой Запада,—долженъ быть преисполненъ терпѣнія, смиренномудрія и любве. О свободѣ творчества, о непосредственномъ изображеніи жизни во всей ея правдѣ конечно при этомъ не можетъ быть и рѣчи. Поэтъ приступаетъ здѣсь къ дѣйствительности не для того, чтобы изучать ее. Онъ заранѣе уже знаетъ, какой ему надо ее представить: факты жизни выходятъ у него прямо изъ предвзятыхъ идей. Что̀ же мудренаго, если они являются отвлеченно-туманными, если наконецъ и совсѣмъ не является никакихъ образовъ, а мѣсто ихъ занимаетъ рядъ голыхъ, отвлеченныхъ разсужденій?

III.

Романы гр. Салиаса и Чаева, заглавія которыхъ выставлены въ началѣ статьи, представляютъ крайнюю ступень того обезличенія, до котораго дошла въ послѣднее время московская беллетристика. Въ самомъ дѣлѣ, до сихъ поръ московскіе беллетристы, будучи однообразны въ тенденціяхъ и общихъ фабулахъ своихъ произведеній, все-таки хоть до нѣкоторой степени разнообразили ихъ тѣмъ, что каждый по своему варьировалъ эти фабулы, самостоятельно развивалъ ихъ въ тѣ или другіе сюжеты, бралъ на себя трудъ измышлять своихъ собственныхъ мужскихъ и женскихъ героевъ. Такъ что, какъ ни сливались личности московскихъ беллетристовъ въ общей физіономіи московской тенденціозности, все-таки до нѣкоторой степени можно было отличить Писемскаго отъ Достоевскаго, Достоевскаго—отъ Стебницкаго, Стебницкаго отъ Маркевича и проч. Салиасъ и Чаевъ съумѣли вполнѣ отрѣшиться отъ своихъ собственныхъ физіономій. Ихъ самихъ вы тщетно будете искать въ романахъ: вы найдете въ нихъ вездѣсущее присутствіе одной только личности — гр. Л. Толстого, у котораго романисты взяли цѣликомъ все, что̀ только можно было взять,—характеры, сцены, мотивы, философію, словомъ, ободрали бѣднаго автора «Войны

и мира», что называется, до ниточки, представивши такимъ образомъ образцы такого рабскаго подражанія, какого давно уже не слыхано было въ нашей литературѣ. Саліасъ и Чаевъ написали свои романы какъ будто для того, чтобы показать, что для такой узко-тенденціозной беллетристики, какъ московская, въ живомъ творчествѣ нѣтъ никакой нужды. Въ самомъ дѣлѣ на что оно? Существуютъ готовыя, предвзятыя тенденціи, существуютъ неизмѣнныя фабулы, соотвѣтствующія этимъ тенденціямъ. Однимъ словомъ, канва дана, нужно-ли при этомъ ломать голову надъ придумываніемъ своихъ собственныхъ узоровъ: можно и ихъ брать готовыми изъ другихъ романовъ.

Замѣчательную роль играетъ романъ гр. Л. Толстого «Война и миръ» въ этомъ новомъ шагѣ обѣднѣнія творчества московской беллетристики. Видно, до одурѣнія пріѣлись московскимъ беллетристамъ всѣ ихъ стереотипные образы непрекословно-твердыхъ обрусителей, косматыхъ отрицателей и хвастливыхъ пановъ Взексержинскихъ, и романъ гр. Л. Толстого со своими художественными, свѣжими образами былъ для нихъ тѣмъ же, что для людей, нѣсколько дней ничего не ѣвшихъ, приглашеніе къ роскошному обѣду. Не въ силахъ сами ничего создать, съ азартомъ набросились они, очертя голову, на сытныя, вкусныя яства, и некогда имъ было даже разжевать ихъ какъ слѣдуетъ, а такъ цѣликомъ и глотаютъ, отправляя мясо и овощи громаднѣйшими кусками въ свои опустѣлые желудки. Но истощенные, больные желудки плохо перевариваютъ эти куски, и то, что у гр. Толстого вышло и художественно, и реально, и умно, то у нихъ обезображивается, пригоняясь къ ихъ узкимъ, предвзятымъ тенденціямъ.

Романъ гр. Толстого стоитъ какъ-бы на распутіи двухъ дорогъ: его можно причислить разомъ и къ московской, и къ петербургской литературамъ. Съ одной стороны, въ немъ довольно явно проглядываютъ московскія тенденціи. Не говоря уже о мистической теоріи рокового движенія народовъ съЗапада на Востокъ и потомъ обратно съ Востока на Западъ, теоріи, развитіе которой занимаетъ по крайней мѣрѣ четверть романа, вы найдете и во многихъ художественныхъ образахъ романа в ѣяніе московскаго духа,— такъ напримѣръ, въ идеализаціи Кутузова и, напротивъ, въ бросаніи нѣкоторой тѣни на Сперанскаго, въ пресловутомъ перерожденіи Пьера посредствомъ сближенія съ народомъ и въ особенности съ Каратаевымъ, олицетворяющимъ въ себѣ русско-народный идеалъ терпѣнія, смиренномудрія, любве и проч. Но вмѣстѣ со всѣмъ этимъ въ романѣ гр. Толстого вы найдете и чисто петербургскую струйку. Не забудьте, что гр. Толстой только въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ началъ склоняться на почву московскихъ тенденцій. Вольшей-же частью своихъ предыдущихъ произведеній онъ примыкаетъ всецѣло къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, и въ произведеніяхъ этихъ заключается еще болѣе рѣзкій и безпощадный анализъ среды, растлѣнной крѣпостнымъ правомъ, чѣмъ у прочихъ писателей одной съ нимъ школы. Трудно предположить, чтобы гр. Толстой такъ сразу и освободился отъ той привычки къ глубокому анализу реальныхъ фактовъ жизни, въ которой талантъ его воспитался и развился. Немудрено, что и въ «Войнѣ и мирѣ» эта привычка сильно заявляетъ себя. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что реалистъ-аналитикъ постоянно борется въ романѣ съ мистикомъ и часто побѣждаетъ. Въ каждомъ фактѣ романа раскрываются передъ вами какъ-бы двѣ истины: одна — объективно-естественная, лежащая въ самомъ фактѣ, независимо отъ воли художника, другая— субъективно-искусственная, навязываемая художникомъ-мистикомъ. Такъ напримѣръ, возьмите вы хотя-бы такой рѣзкій фактъ, какъ перерожденіе Пьера. Фактъ этотъ изображенъ у гр. Толстого такъ, что, откинувъ всѣ мистическія умствованія, вы можете объяснить его путемъ вполнѣ реальнымъ, и это именно потому, что гр. Толстой не выдумалъ этого факта, не исказилъ ради него дѣйствительности, а изобразилъ его вполнѣ безпристрастно, оставивши въ немъ ту объективно-естественную идею, какая въ немъ заключается. И потому, вставши на вполнѣ реальную почву, вы должны согласиться съ гр. Толстымъ, что, да, Пьеръ долженъ былъ переродиться послѣ того, что въ немъ произошло, не потому конечно, что онъ пришелъ въ соприкосновеніе съ исконными русскими идеалами, но потому, что Пьеръ баричъ, Пьеръ, жившій до сихъ поръ отвлеченными идеалами безъ всякаго примѣненія ихъ къ жизни, вдругъ вошелъ въ среду труда, дѣла, въ среду дѣйствительно совершенно особенныхъ идеаловъ, присущихъ всему человѣчеству труждающемуся, человѣчеству обремененному, и незнакомыхъ только человѣчеству пирующему, къ какому бы оно въ свою очередь племени ни принадлежало. Войдя въ эту новую среду, проживя вмѣстѣ съ ней ея жизнью, понятно, что онъ освѣжился духомъ, избавился отъ цѣлаго ряда мучившихъ его безполезныхъ рефлексій и сомнѣній, почувствовалъ въ себѣ живое участіе къ людямъ, готовность откликаться на всякую радость и горе ближняго, наконецъ додумался до признанія возможности для каждаго человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на вещи по своему. Точно также на вполнѣ реальной почвѣ стоитъ гр. Толстой, описывая напримѣръ хотя-бы патріотическіе восторги Коли Ростова въ Тильзитѣ и тотъ исходъ, который Ростовъ далъ своимъ внезапно налетѣвшимъ сомнѣніямъ послѣ тильзитскаго мира; гр. Толстой не поспѣшилъ чувства Ростова и боязнь сомнѣній съ его стороны обобщить, какъ нѣчто присущее каждому русскому сердцу, которое по особенному таинственному опредѣленію судьбы будто-бы должно непремѣнно приходить въ восторгъ передъ нѣкоторыми предметами и гнать отъ себя прочь всякія сомнѣнія. Какъ истинный художникъ-реалистъ, гр. Толстой вселилъ эти чувства исключительно въ Колю Ростова, и въ немъ они весьма понятны и естественны, какъ въ гусарѣ, живущемъ однимъ сердцемъ, въ области наивныхъ дѣтскихъ вѣрованій и упованій, и для котораго малѣйшее напряженіе мыслительныхъ способностей тяжело и невыносимо.

Но этой безпристрастной объективности, этого глубокаго анализа, которые составляютъ главное достоинство романа гр. Толстого, у подражателей его вы не найдете. Они или безъ толку нагромождаютъ

свои произведенія образами, взятыми изъ его романовъ, представляя эти образы въ одной ихъ внѣшности и лишая ихъ того глубокаго смысла, въ какомъ выступаютъ они въ романѣ, или-же искажаютъ ихъ, приноравливая къ узкимъ тенденціямъ, которыми задаются. Первымъ занимается преимущественно гр. Саліасъ, вторымъ—Чаевъ.

IV.

Представьте вы себѣ художника, чуждаго какихъ либо предвзятыхъ тенденцій, приступающаго къ изученію той или другой исторической эпохи съ цѣлью написать историческій романъ изъ этой эпохи. Казалось-бы, что если у художника есть хоть крупица свободнаго творчества и если въ своемъ изученіи онъ будетъ стоять на вполнѣ объективно-реальной почвѣ, то въ результатѣ изученія у него долженъ будетъ явиться рядъ образовъ, вполнѣ своеобразныхъ, принадлежащихъ этой эпохѣ, а не какой либо другой, выражающихъ ея нравы, духъ, преобладающіе типы. Представьте же вы себѣ XVIII вѣкъ, столь богатый самыми яркими красками, столь рѣзко отличающійся и нравами, и характерами, и событіями, возьмите къ тому же такой важный моментъ этого вѣка, какъ пугачевскій бунтъ,—казалось-бы, здѣсь-ли не разгуляться творчеству, мало-мальски сильному и свободному? Здѣсь, что ни человѣкъ, то типъ, и типъ совершенно особенный, своеобразный, который вы только и можете найти, что въ XVIII вѣкѣ, въ царствованіе Екатерины. А сколько разнообразныхъ до безконечности драматическихъ сюжетовъ можете вы придумать на этой почвѣ, богатой всевозможными столкновеніями страстей, высокаго самоотверженія и безчеловѣчнаго своекорыстія, утонченной гуманности, основанной на изученіи передовыхъ мыслителей вѣка и дикаго звѣрства Киргизъ-Кайсацкихъ степей. Я полагаю, что при разнообразіи и рѣзкости красокъ этой эпохи не нужно даже особенно сильнаго таланта для того, чтобы написать произведеніе вполнѣ оригинальное, въ которомъ ни одной черты не было-бы откуда-либо заимствованной, каждая принадлежала-бы изображаемому вѣку.

И что же мы видимъ въ романѣ гр. Саліаса? До какой степени творчество автора сковано московскими тенденціями, когда даже изъ этой богатой эпохи онъ ничего не могъ вынести, кромѣ все той же неизмѣнной фабулы романовъ «Русскаго Вѣстника», скелетъ которой былъ выше представленъ мною!

Такъ, на первомъ же планѣ рисуется передъ нами все тотъ же пресловутый герой «Русскаго Вѣстника», гордый, непреклонно-твердый, храбро отважный охранитель князь Данило Родивонычъ Хвалынскій, генеалогическому древу котораго гр. Саліасъ посвящаетъ три страницы (ст. 62, 63, 64), причемъ мы подробно узнаемъ весь родъ Хвалынскихъ, начиная съ татарина Хаванъ-Атръ-Мира, плѣненнаго Іоанномъ Грознымъ въ Казани, переведеннаго въ Москвуи положившаго начало славному роду князей Хвалынскихъ.

Послѣ участія въ турецкомъ походѣ князь Данило, на пути въ отцовскую усадьбу Азгаръ, заѣзжаетъ къ одному отцовскому знакомому, богатому помѣщику, опальному московскому боярину Артемію Никитичу Соколъ-Уздальскому, съ генеалогическимъ древомъ котораго гр. Саліасъ въ свою очередь знакомитъ насъ еще съ большими подробностями (см. стр. 25—30).

Артемій Никитичъ оказывается играющимъ роль своего рода нигилиста XVIII вѣка. Онъ участвуетъ въ различныхъ тайныхъ обществахъ, распространяетъ прокламаціи и сѣетъ смуту, подготовляя такимъ образомъ пугачевскій бунтъ. Князь Данило, какъ только пріѣзжаетъ къ нему, такъ сейчасъ-же и начинаетъ свое донкихотское поприще въ духѣ московскихъ тенденцій, сцѣпляясь съ этимъ коварнымъ крамольникомъ своего времени.

«— Масонъ! Масонъ! говоритъ Артемій Никитичъ:—а что такое масонъ? Стали швыряться новымъ словомъ, а что оно сказываетъ? Никому не вѣдомо. Въ Бога не вѣришь: масонъ! Екатерину Великую не почитаешь: масонъ! Науками занятъ иль въ гости мало ѣздишь: опять масонъ! А то и воръ—масонъ!

— Я свое поясненіе имѣю масону, выговорилъ князь холодно:—недовольный, завидующій лѣзъ къ дѣламъ государства и не попалъ, обойденъ наградами, забился въ темный уголъ, чтобъ оттуда вредить всячески правленію государыни.

— Это все я? захохоталъ старикъ, остановись передъ княземъ.

— Нѣту, не ты. Ты отъ праздности или такъ, прости за откровенное слово, съ жиру!

— Съ жиру! Я! Ладно! Инъ быть по твоему. Пусть будетъ съ жиру. А неурядица, неустройство всего отечества, разбои, смертоубійство, раскольничьи безобразія въ лѣсахъ? Самозванство на Приволжьѣ, атаманство, душегубство! А войны безконечныя: то на турокъ лѣземъ зря, то не въ свое дѣло мѣшаемся. Слышь, поляка дѣлить. Да съ кѣмъ? Съ нѣмцами! Вѣдь это все одно, что родного брата жиду продавать. Вы воюете, кресты да вотчины съ тысячами душъ себѣ загребаете, а православный народъ рекрутчинами да алтынами отбаярившся! А тягости подушныя, поземельныя, да еще тамъ всякія. А волокита приказная, судьи да палачи, да плети, да Сибирь на праваго и виноватаго?

— Полно, прежде-то болѣе правды въ судахъ было, какъ мѣшокъ-то ходилъ и кричалъ на улицахъ, да курляндцы русскихъ судили! молвилъ князь.

— Я про тѣ времена не говорю, я про свои сказываю и равняю съ нынѣшними. Ты въ разныхъ Гирсахъ или Букарештахъ воевалъ... Вотъ теперь насмотришься на наши Букарешты, какъ у насъ своя турка приказная нашу-же кровь пьетъ. Увидишь невиданное сребролюбство да мздоимство. Ты вѣдаешь-ли, какую народъ поговорку сказываетъ про Господа Бога? Сказываетъ: почто Бога бояться, онъ не приказный; знать одолѣли! Тебѣ хорошо? А ты воззри на государство. Чума! Чума!

Князь разсмѣялся и бросилъ тесемку на столъ.

— Чему ты радуешься?

— И въ чумѣ виновата государыня?

— Я не про эту чуму сказываю. Я про всероссійскую приказную чуму. А про московскую тоже скажу: охранять края государства правительская забота.

— По твоему будь теперь императрица Елисавета аль Петръ Ѳедоровичъ, не было-бы и чумы въ Москвѣ, аль была-бы излеченная?

Князь засмѣялся. Артемій Никитичъ не отвѣчалъ и послѣ минутнаго молчанія выговорилъ насмѣшливо:

— Объявила она тоже нѣмцамъ изъ Риги, что я-де, молъ...

— Кто *она*? отчетливо и холодно произнесъ князь.

— Екатерина Алексѣевна: одна у насъ царица. Царьковъ-то много развелось! ехидно процѣдилъ сквозь зубы Артемій Никитичъ. — Сербская принцесса Хламида Угаровна! прибавилъ онъ и захохоталъ.

Князь Данило вспыхнулъ, всталъ и вдругъ выговорилъ громко и повелительно:

— Была Ангальтъ-Цербская принцесса, а нынѣ великая монархиня всей Россіи, императрица Екатерина Великая, которой я, князь Хвалынскій, присягалъ въ долгѣ службы и въ вѣрности противу всякаго супостата иноземнаго и отечественнаго, а потому не подобаетъ мнѣ слушать болѣе твои крамольничьи рѣчи...

Наступило молчаніе.»

Эта сцена и особенно заключеніе ея вполнѣ опредѣляетъ роль, которую предоставлено играть герою въ романѣ, и онъ остается вѣренъ этой роли до конца.

Такъ, простившись съ Уздальскимъ, на пути въ Азгаръ онъ случайно сталкивается съ клевретомъ Уздальскаго, мѣщаниномъ Долгополовымъ, везшимъ на Волгу пачки прокламацій, арестуетъ его, захватываетъ прокламаціи, узнавши по тесемочкамъ, которыми онѣ были перевязаны, кто былъ ихъ виновникъ, и восклицаетъ:

«— Ну, старый тетеревъ, добро-же! Самъ сатана тебя мнѣ въ рукѣ пихаетъ.»

А сдѣлавши полицейское дознаніе, князь приходитъ еще въ большую ярость.

«—Саморучно убилъ бы стараго пса, не взирая на его хлѣбъ-соль, подумалъ князь и сжалъ кулаки.»

Затѣмъ князь, проѣздомъ черезъ Казань, попадаетъ на губернаторскій балъ и въ ужасѣ видитъ, что зала наполнена плѣнными конфедератами и танцуютъ что же вдругъ, о ужасъ! мазурку!

«— Гдѣ я? невольно выговорилъ онъ громко.

Появленіе въ дверяхъ статной фигуры неждannаго гостя и новаго, еще невиданнаго гвардейскаго мундира очевидно произвело точно такое же сильное впечатлѣніе.

Музыка гудѣла, но притопыванье стихло; нѣсколько паръ сбилось въ кучку, и всѣ обернулись къ вошедшему.

Иванъ уже подбѣжалъ къ брату.

— Скажи, Ваня, гдѣ мы съ тобой, и что эта притча въ языцѣхъ?

— Что? Какъ? А то новый плясъ, второй разъ ужъ его, сказываютъ, въ Казани пляшутъ. Я еще его самъ не видывалъ и не знаю.

— А эти ссыльные: конфедераты, французскіе офицеры, турки, весь этотъ страшный сгонъ ссыльныхъ? Что здѣсь острогъ или губернаторскій домъ? Толкучка или балъ?

— Тише, братецъ, услышатъ.

— Пусть слышатъ. Когда я говорю дѣло, то говорю громко. Срамота!

— Да чего вы осерчали? Я въ толкъ не возьму. Это все плѣнные. Вы же сами воевали и забрали. Полагать надо, вы тутъ знакомыхъ повстрѣчаете, разсмѣялся князь Иванъ—.То-то не чаялось встрѣтиться на балѣ, послѣ воевательства.

— Тогда здѣсь не мѣсто офицеру гвардіи.»

Къ довершенію ужаса, офицеръ гвардіи встрѣтилъ въ лицѣ Яна Бжегинскаго того самаго поляка, который при штурмѣ краковской цитадели едва не убилъ его, ранивъ ударомъ сабли въ плечо. Князь конечно не замедлилъ поссориться съ своимъ прежнимъ врагомъ, воспользовавшись тѣмъ предлогомъ, что Янъ Бжегинскій, приглашая даму на танецъ, нечаянно поставилъ локоть недалеко отъ лица князя. Ихъ сейчасъ же розняли, но отважный боецъ съ врагами отечества и непреклонно твердый охранитель не замедлилъ разразиться слѣдующей угрозою:

«— Добро, вымолвилъ Данило, смѣясь сухо и отходя: —заутра я соберу моихъ лихачей и его какъ жида выпорю нагайками на дому».

Какъ видите, не обходится романъ и безъ пресловутой коварной польской интриги. Оказывается въ концѣ концовъ, что и пугачевскій бунтъ поднятъ былъ все той же коварной польской интригой. По крайней мѣрѣ изъ романа явствуетъ, что вотъ онъ какъ начался:

Все у того же мятежнаго Артемія Никитича былъ внукъ Вячеславъ, рожденный отъ племянника его Алексѣя и польки Людовики. Когда отецъ и мать у Вячеслава умерли и онъ остался на попеченіи дяди, однажды, послѣ долгой бесѣды съ Артеміемъ Никитичемъ, онъ исчезъ. Артемій Никитичъ сначала сказалъ, что юноша уѣхалъ въ Польшу погостить къ теткѣ, родной сестрѣ своей матери, а черезъ полгода объявилъ, что Вячеславъ не хочетъ возвращаться въ Россію и проситъ все свое имущество продать, а деньги переслать къ нему въ Краковъ. Съ той поры никто ничего не слыхалъ о Вячеславѣ. Что было съ нимъ въ Польшѣ, авторъ объ этомъ не распространяется, но довольно того, что возвращается онъ оттуда съ намѣреніемъ сдѣлаться самозванцемъ, и дѣлается имъ, возмущая Яксайскую станицу. Надо полагать, что въ Краковѣ на Вячеслава во все время пребыванія его тамъ неустанно вліяла польская интрига и подготовила его къ смѣлому замыслу, причемъ конечно не мало дѣйствовала тутъ въ сообществѣ съ іезуитами и любовь какой нибудь обольстительной панны съ честолюбіемъ Марины Мнишекъ, какъ это можно судить по слѣдующимъ мечтаньямъ Вячеслава, нужно по правдѣ сказать, цѣликомъ взятымъ изъ «Бориса Годунова» Пушкина.

«Изъ-за чего? думалъ молодой малый.—Жить-бы тихо и мирно, въ уголкѣ своемъ, не затѣвая погибельныхъ подвиговъ. Пожелала она иного.. громче да славнѣе, и сгубитъ А если... Если суждено и мнѣ...»

И чудная картина возставала на глазахъ его. Кремль златоглавый... звонъ колокольный.. Толпы несмѣтныя и оглушительные клики... Стоитъ онъ на краю стѣны зубчатой, и у ногъ его кишитъ этотъ людъ... Она около него, ея рука въ его рукѣ...»

Такимъ образомъ и оказывается, что начало пугачевскаго бунта положила все та-же польская интрига. Самозванцемъ явился не прямо Пугачевъ, а этотъ самый Вячеславъ, креатура польской интриги, въ союзѣ съ крамольническимъ русскимъ боярином Соколъ-Уздальскимъ. Пугачевъ же сдѣлался самозванцемъ уже впослѣдствіи, когда казаки, недовольны будучи гуманной мягкостью Вячеслава и его отвращеніемъ отъ кровожадности, рѣшились отдѣлаться отъ него. Этимъ и воспользовался Пугачевъ: при помощи казака Чики ночью въ степи онъ убилъ Вячеслава, бросилъ трупъ его въ рѣку и объявилъ самого себя Петромъ III.

Положивши начало пугачевскаго бунта, коварная польская интрига не дремала и во все его продолженіе: такъ, Янъ Бжегинскій отправился въ войско Пугачева, сдѣлался его главнымъ подручникомъ,

устроилъ ему артиллерію на санкахъ, а братъ его Казиміръ, хитрый, сосредоточенный іезуитъ, держалъ въ рукахъ нити настоящей польской интриги, велъ огромную переписку съ разными европейскими дворами, съ Турціей и съ польскими іезуитами и въ концѣ концовъ собственноручно отравилъ Бибикова, когда тотъ началъ одолѣвать мятежниковъ.

При описаніи этой польской интриги бросается въ глаза еще одинъ рутинный пріемъ, весьма часто встрѣчающійся въ романахъ «Русскаго Вѣстника». Писатели этихъ романовъ, имѣя конечно въ виду свои московскія тенденціи, любятъ изображать недоумѣніе народа, не понимающаго, изъ чего польскіе или русскіе революціонеры, будучи баричами, стараются мутить его или становятся во время бунта въ его ряды, идя такимъ образомъ противъ своихъ-же. Такъ въ романѣ Саліаса Пугачевъ представленъ непонимающимъ, изъ-за чего Янъ Бжегинскій явился вдругъ такимъ усерднымъ его сподвижникомъ.

«— Постой на часъ! остановилъ его Пугачевъ.— Чуденъ ты. Съ какого ты рожна ко мнѣ вышелъ отъ нихъ?.. Денегъ тебѣ не надо... Вина не пьешь .. Не изъ холоповъ, изъ добродзеевъ... А? Аль опять не отвѣтишь?

Бжегинскій молчалъ и смотрѣлъ въ уголъ на осьмиконечные кресты бѣлыхъ знаменъ, недвижно повиснувшихъ въ воздухѣ.

— Они-то всѣ... мои-то... Что казаки, что татарва, все одно вѣдь... Изъ-за дубины за шашку схватились. Будь ихъ жизнь хорошая—ихъ-бы ко мнѣ въ становище калачемъ не заманилъ никакой шайтанъ... Да и я-то... Я-то .. Развѣ..: Э-эхъ!!..

Пугачевъ махнулъ рукой и замолчалъ на мгновеніе.

— Кабы мнѣ ходъ былъ въ люди, горячо молвилъ онъ.—Я былъ въ прусской-то войнѣ не изъ послѣднихъ... Изъ кожи лѣзъ Ну вотъ. Въ эсаулы начальство не пустило въ цари вышелъ... Почешутъ нынѣ затылки-то.. Да не обо мнѣ рѣчь. Ты скажи, съ чего лѣзешь. А?

— Тебѣ этого, Емельянъ Иванычъ, не смекнуть. Брось! Прости, сказалъ Бжегинскій.

— Нѣтъ, постой. Я, братъ, многаго чего не вѣдаю по моей малограмотности и простому состоянію, но коли мнѣ пояснятъ, я все пойму... мнѣ вотъ одинъ про звѣзды въ Польшѣ толковалъ. Я все понялъ... Ты полоненный... Такъ! смекаю, назадъ хочешь, что-ль .. Помочь тебѣ бѣжать до Вятки я смогу, чрезъ иргизскихъ старцевъ, цѣлехонекъ у меня дойдешь до Варшавы.

— Нѣтъ! Спасибо!

— Стой! Ты не мыслишь-ли, что я инако пригожусь, что я впрямь въ царяхъ буду въ Москвѣ сидѣть на престолѣ... Ни-и! Изъ грязи да въ князи! не можно, братъ! День мой—ну, и вѣкъ мой! Я токмо погуляю гораздо по Россіи. Пусть галдятъ обо мнѣ! ну, чтожъ молчишь, не откроешься. Ну Богъ съ тобой, спасибо за послугу. Ступай! А нужда будетъ, приди и сказывай. Все сдѣлаю, что могу.»

Подобная сцена наглядно показываетъ вамъ, до какого отсутствія всякаго соображенія можетъ довести человѣка тенденціозная рутина. Пожалуй можно допустить безъ труда недоумѣніе захолустнаго мужика, къ которому является вдругъ баринъ во фракѣ и начинаетъ проповѣдывать революцію. Но вы представьте себѣ Пугачева, участвовавшаго въ прусской кампаніи, бывшаго въ Польшѣ, гдѣ ему даже звѣзды показывали, представьте себѣ Пугачева сознательно стягивавшаго въ свой станъ всѣ недовольные элементы, и онъ вдругъ наивно не понимаетъ, для чего Янъ Бжегинскій пришелъ къ нему! Смѣтливый, хитрый и постоянно держащій ухо востро, Пугачевъ сталъ-бы вдругъ, ни съ того, ни съ сего, изливать свою душу передъ первымъ проходимцемъ! Если на него находили минуты уныніе и невѣрія въ успѣхъ своего дѣла, то скорѣе всего передъ своимъ же братомъ-казакомъ онъ могъ излить свое горе, а ужъ никакъ не передъ человѣкомъ, на котораго онъ смотрѣлъ, какъ на чужого, и зналъ, повѣрьте, очень хорошо зналъ, зачѣмъ этотъ чужой человѣкъ пришелъ къ нему, и безъ сомнѣнія понималъ, что не разочаровывать нужно этого полезнаго помощника, а, напротивъ, всячески привлекать надеждами на успѣхъ и обольстительными обѣщаніями впереди относительно его отчизны, держать съ нимъ, однимъ словомъ, политику. Въ противномъ же случаѣ Пугачевъ мало того, что терялъ лучшаго изъ своихъ полководцевъ, но кромѣ того наживалъ опаснаго врага, который, уйдя изъ его стана, могъ разгласить повсюду, что Пугачевъ вовсе не страшенъ, что это больше ничего, какъ замотавшійся воръ, и дѣла его такъ плохи, что и самъ онъ не надѣется на успѣхъ.

Встрѣтите вы въ романѣ Саліаса и еще одну особенность, общую у него со всѣми московскими беллетристами: —именно страсть вводить сверхъестественный элементъ въ описываемыя событія. Я не берусь рѣшать, какъ развилась эта особенность въ московской беллетристикѣ, явилась-ли она въ оппозицію разнымъ измамъ, или же беллетристы искренно вѣрятъ во всякую чертовщину, и эта вѣра сохраняется въ Москвѣ, по старой традиціи со временъ Домостроя и Котошихина. Можетъ быть даже вѣра эта на ряду съ генеалогіями героевъ составляетъ особенный великосвѣтскій шикъ, за которымъ такъ гонятся нѣкоторые изъ беллетристовъ «Русскаго Вѣстника»? Но только ни одинъ изъ романовъ этихъ беллетристовъ не обходится безъ привидѣній, предсказаній, вѣщихъ сновъ и проч. Не обошелся безъ чертовщинки и гр. Саліасъ въ своемъ романѣ. Правда, настоящихъ привидѣній, которыя являлись бы съ того свѣта, вы у него не найдете, развѣ только сумасшедшій шутъ Михалка, незаконнорожденный братъ князя Родивона Зосимовича, азгарскаго барина, пугаетъ князя, перерядившись въ красный мундиръ умершаго князя Зосимы. Но предсказанія и вѣщіе сны вы встрѣтите въ романѣ на каждомъ шагу. Такъ, герой романа, князь Данило, видѣлъ два раза повторявшійся сонъ, будто онъ лѣзъ черезъ высокую стѣну по грудѣ камней, среди пламени и несъ въ рукахъ дѣвицу съ черной косой, которая поцѣловала его, и затѣмъ оба они упали въ пропасть. Сонъ этотъ впослѣдствіи буквально сбылся: князь дѣйствительно встрѣтилъ въ лицѣ Милуши ту самую дѣвицу, которую видѣлъ во снѣ, женился на ней, прозрѣвши въ этомъ свою судьбу и воскликнувши: «Да будетъ Его святая воля! сужена ты мнѣ, Милуша, и я беру тебя безъ трепета ложнаго». Впослѣдствіи сонъ окончательно сбывается: во время казанскаго погрома князю дѣйствительно приходится переносить жену среди пламени черезъ стѣну и, поцѣловавшись, упасть съ нею со стѣны на аршинномъ разстояніи отъ земли.

«— Упали! Ну вотъ и весь мой сонъ! Слава Богу! восторженно воскликнулъ Данило.—Во снѣ дальше ничего не было! А на яву? Будетъ?! Будетъ?! Мужиченокъ ты мой .. (Милуша была переодѣта мужикомъ въ это мгновенье).

— Будетъ... страстно шепнула Милуша, прижимаясь къ мужу.»

Янъ Бжегинскій въ свою очередь оказывается магомъ и хиромантикомъ. Такъ онъ гадаетъ по рукѣ Паранѣ Уздальской и предсказываетъ ей ея будущую судьбу.

«— Ну! ну! Когда я выйду замужъ и за кого? спросила Параня, усмѣхаясь и косясь на Ивана.

— Вы никогда замужъ не выйдете!

— Никогда! Вотъ какъ, и солгалъ... и солгалъ!.. У меня можетъ и женихъ уже есть.

— Такъ линія показываетъ.

— Долго-ли я проживу?

— Очень, очень... очень не долго, пани, смѣясь, продолжалъ Бжегинскій.

— Нѣтъ... Я много хочу. Сто лѣтъ.

— И умрете вы не простой, а страшной смертью. Serieusement, je vois là une mort terrible, прибавилъ Янъ, обращаясь къ Дювалю, и предсказаніе Яна Бжегинскаго сбылось буквально: Параня дѣйствительно умерла ужасной смертью; она была привязана мятежниками къ хвосту лошади.»

Сама эта Параня является въ романѣ вѣщею дѣвою, разыгрывавшею во время осады Яицка роль Іоанны д'Аркъ, прозванная осажденнымъ гарнизономъ ангеломъ и разразившаяся подъ конецъ пророчествомъ, поистинѣ чудеснымъ. Такъ, она явилась къ одному изъ начальниковъ гарнизона, Симонову, въ среду на страстной недѣлѣ и въ экстазѣ проглаголила:

«— Радуйтесь и веселитесь! За утро спасены будете до 12-ти Евангеліевъ. Симоновъ посмѣялся надъ этимъ пророчествомъ, но на другой день дѣйствительно въ крѣпость явился цѣлый отрядъ изъ мятежнаго войска съ повинной головой, ведя трехъ связанныхъ пугачевскихъ комендантовъ и таща съ собой хлѣба, муки и всякой провизіи, а черезъ четыре дня прибыли въ крѣпость войска генерала Мансурова.

Параня показала Симонову на ворота и молвила:

— Отворите! Взыскалъ Господь... Перекрестившись три раза, она глянула на свѣтлое небо и шепнула: славенъ Господь на небеси и расточатся враги его!.»

Самъ Пугачевъ, когда одинъ изъ его приближенныхъ казаковъ, Шигаевъ, выразилъ свое недоумѣніе по тому поводу, что зачѣмъ онъ милуетъ казака Лысова, открыто высказывающаго враждебные замыслы противъ Пугачева, разразился цѣлымъ рядомъ тяготѣвшихъ надъ нимъ предсказаній:

«— Я чтой-то и не смекну, сказалъ Шигаевъ.— Что онъ тебѣ, батька съ маткой, что-ль?

— Скажу я тебѣ... Боязно мнѣ трогать его, поганаго, а то-бъ давно сжилъ Были мы въ Сакмарскомъ городкѣ на свадьбѣ, какъ Татищеву еще только одолѣли. Ну, была тамъ ворожея или колдунья... Изъ Сибири что-ль сказывалась .. Тебя не было, ты еще валялся отъ убивства старшинскаго... Ну, вотъ эта вѣдьма ворожила намъ... Мнѣ, русачку тому, да Лыскѣ—троимъ!.. И говоритъ:«эхъ, тѣснота молодцамъ на бѣломъ свѣтѣ... Помрутъ русый да рыжій не своей смертію, а кто ихъ уходитъ, двадцать недѣль проходитъ.»

— У-ухъ! отозвалась вдругъ Фаина Ѳоминишна, словно испугалась чего.

— Мнѣ тогда не въ домекъ было... А теперь я это смекаю... А еще то-же сказывала: высоко полетишь — далече упадешь и на четыре части развалишься.

— У-ухъ! снова отозвалась Фаина Ѳоминишна.— Во всю ночь теперь не засну!

— А вотъ помню я тоже... какъ былъ я въ Польшѣ на Вяткѣ, задумчиво продолжалъ Пугачевъ.— Иду разъ селеньемъ, мнѣ невѣдомымъ, дорогой... Дѣвчонка у колодца двухъ коней поитъ. Ведерка большущая и не справится... Я взялъ у ней коней, напоилъ, да и спрашиваю, какъ мнѣ ближе на границу пройти.. А она говоритъ... Иди, иди, на царство придешь .. Да, такъ и сказала чудно.»

Да, по истинѣ чудно, можемъ и мы въ свою очередь замѣтить гр. Саліасу.

Впрочемъ надо замѣтить, что гр. Саліасъ не вполнѣ и не во всемъ вѣренъ тенденціи «Московскихъ Вѣдомостей». Происходитъ-ли это отъ молодости и ненаметанности, или можетъ быть у гр. Саліаса такой же складъ ума, что ему трудно твердо удержаться на какой-нибудь тенденціи и остаться ей логически послѣдовательнымъ до конца, но только онъ открываетъ намъ вдругъ такія завѣсы, какія прочіе его товарищи, беллетристы «Русскаго Вѣстника», тщательно соблюлаютъ закрытыми. Еще ни въ одномъ московскомъ романѣ герой «Московскихъ Вѣдомостей», гордый и непреклонно-твердый охранитель, не представлялся въ истинномъ своемъ свѣтѣ, каковъ онъ есть въ дѣйствительности Постоянно онъ парадируетъ въ романахъ героемъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, исполненнымъ и храбрости, и честности, и главное дѣло ума въ своей борьбѣ съ неблагонамѣренными элементами общества. Всѣ дѣйствія его клонятся ко благу, всѣ отношенія его къ людямъ преисполнены бываютъ самой безукоризненной нравственности и гуманности, и привлекаютъ къ нему сердца иногда даже заклятыхъ враговъ его. Гр.-же Саліасъ въ дальнѣйшемъ развитіи романа представилъ своего князя Данилу Хвалынскаго въ такомъ явно-неблаговидномъ свѣтѣ, что на страницахъ «Русскаго Вѣстника» герой этотъ сдѣлался какъ-бы обличеніемъ изнанки всѣхъ подобныхъ ему высокодоблестныхъ охранителей, парадирующихъ на страницахъ этого журнала.

Мы не будемъ много распространяться о его отношеніяхъ къ женѣ Милушѣ, въ которыхъ онъ является безъ всякихъ преувеличеній негодяемъ въ высшей степени. Женившись зря, вслѣдствіе вѣщаго сна, онъ скоро охладѣваетъ къ своей женѣ и бросаетъ ее на волю судьбы, увлекшись общественной дѣятельностью. Несчастная женщина среди общаго переполоха, послѣ ужасной смерти отца ея, заживо сожженнаго въ своей усадьбѣ возмутившимися крестьянами, попадаетъ въ руки своего прежняго жениха Андрея Уздальскаго, который, пользуясь ея неопытностью, опаиваетъ ее и безчеститъ. Узнавши объ этомъ, князь Данила схватываетъ обольстителя при содѣйствіи своей дворни, привозитъ его въ свою усадьбу и предаетъ истязаніямъ публично въ присутствіи толпы своихъ холоповъ. Что-же касается до жены, то тщетно она, любящая его до мозга костей, у ногъ его умоляла о прощеніи и доказывала свою невинность, князь не переставалъ терзать ее упреками, проклятьями, самой площадной бранью, отталкивалъ ее отъ себя безъ малѣйшей жалости, силою заключилъ

ее въ монастырь, а потомъ, послѣ минутнаго перемирія и мелькнувшей прежней нѣжности,—въ ея же почти глазахъ нагло измѣнилъ ей на дикую и развратную татарку, и кончилось все тѣмъ, что Милуша ушла отъ него неизвѣстно куда, можетъ быть на вѣрную и ужасную смерть.

Не вдаваясь въ излишнія подробности всей этой возмутительной драмы, мы лучше обратимъ вниманіе на общественную дѣятельность князя Данилы, гдѣ прославленный герой «Русскаго Вѣстника» и является въ своемъ настоящемъ видѣ.

Во время разгара мятежа князь конечно преисполняется жаромъ разить враговъ отечества. Но онъ слишкомъ гордъ, чтобы скромно причислиться къ какому нибудь изъ дѣйствовавшихъ полковъ, подъ чье нибудь начальство. Онъ рѣшается дѣйствовать самостоятельно, снаряжаетъ изъ своихъ холоповъ и охочихъ наемниковъ свой собственный *региментъ черныхъ гусаръ*, стоившій ему нѣсколько тысячъ рублей помимо содержанія. «Люди, охотники и наемщики, читаемъ мы въ романѣ, навербовывались быстро изъ того люда, что кишѣлъ теперь всюду по городамъ и по дорогамъ, безъ вида, безъ стана, безъ хлѣба и часто безъ совѣсти, потерянной понемногу и поневолѣ съ холоду и съ голоду. И многіе молодцы, тянувшіе до батюшки явленнаго царя, попали въ черные гусары и охотно, весело (а главное сытно и тепло) поскакали съ княземъ-командиромъ усмирять того-же явленнаго батюшку и его сподвижниковъ».

Вы можетъ быть подумаете, что князь Данило со своимъ чернымъ региментомъ отправился прямо на пугачевцевъ? Ни чуть не бывало. Оно просто началъ нападать на мирныя селенія, жечь, грабить и вѣшать, не разбирая ни праваго, ни виноватаго и считая всѣхъ крестьянъ безразлично мятежниками.

«Жегъ, билъ и вѣшалъ, читаемъ мы въ романѣ, все и всѣхъ попадавшихся подъ руку на пространствѣ отъ Бугульмы до Юзеевой и между прочимъ *сбрилъ* три большія татарскія деревни. Благодаря этому, душъ восемьсотъ, оставшихся вдругъ безъ крова и хлѣба, тучей двинулись въ Берду, побросавъ женъ и дѣтей, по унося съ собой звѣрскую ярость и злобу на царицыны порядки и полки. Черный региментъ въ двѣ недѣли навелъ ужасъ на провинцію, и его боялись, какъ если-бъ то былъ легіонъ чертей...»

Въ концѣ концовъ подобной дѣятельности князь Данило чуть не запоролъ до смерти настоящаго воеводу Царицына, принявши его за пугачевскаго воеводу.

Немудрено, что Бибиковъ, узнавъ обо всѣхъ этихъ подвигахъ князя, сдѣлалъ о немъ слѣдующаго рода похвальный отзывъ:

«— Герой! Veni, vidi... и перваго, кто подвернулся—на висѣлицу! или изъ пистолета! Самъ—и сыщикъ и судья, и палачъ. Три села сжегъ, а куда пошли погорѣльцы—въ Берду!.. Царицѣ услужилъ?.

— Это знаменитый князь Хвалынскій? почтительно спросилъ Куницынъ.

— Знаменитый?! Эдакихъ знаменитыхъ я тебѣ, голубчикъ, роту наберу, а коли влѣзутъ въ одинъ мѣшокъ, то и въ воду ихъ! .

— Человѣкъ, сказывали мнѣ, полезный... для общества.

— Человѣкъ? вздохнулъ Бибиковъ задумчиво.— Великое это слово, голубчикъ мой. И всего-то мудренѣе человѣкомъ быть,.. Я вотъ какъ стараюсь сего званія добиться. А должно и умру, не добьюсь!.. А онъ-то... Хвалынскій-то? Много ихъ на Руси такихъ. Вотъ они что!.. показалъ Бибиковъ на ящикъ изъ воска.—Осина подъ орѣхъ».

Неправда-ли, читатель, какъ мѣтко и правдиво въ лицѣ князя Данилы гр. Саліасъ обличаетъ донъ-кихотство своего-же лагеря. Что-же такое этотъ князь Данило, какъ не представитель многочисленныхъ героевъ московскихъ тенденцій, которые, воображая себя охранителями, съ такимъ-же слѣпымъ азартомъ набрасываются на все и вся, повсюду подозрѣвая измѣны и интриги, готовы всю Русь крещеную заподозрить во всевозможныхъ измахъ, и въ результатѣ ихъ дѣятельности оказывается то же самое принниманіе своихъ за чужихъ и тѣ-же медвѣжьи услуги началамъ, охранителями которыхъ они являются? По моему мнѣнію, личность князя Данилы—самая живая черта въ романѣ.

Рядомъ съ такимъ удачнымъ произведеніемъ тенденцій «Москов. Вѣдом.», вы встрѣчаете въ романѣ, какъ уже выше было говорено, массу заимствованій изъ «Войны и мира» гр. Толстого, доходящихъ до удивительной безцеремонности. Гр. Саліасъ словно нарочно подрядился переложить сцены «Войны и мира» на нравы XVIII столѣтія. Для доказательства, какъ близокъ переводъ, мы можемъ привести нѣсколько примѣровъ, наиболѣе выдающихся.

Такъ, вы конечно помните, какъ Долоховъ побился объ закладъ съ англичаниномъ, что онъ, сидя на покатомъ выступѣ окна и ни за что не держась, выпьетъ залномъ бутылку рома. Точно также и въ романѣ гр. Саліаса Ахлатскій бьется объ закладъ съ Туровымъ, что онъ взъѣдетъ на конѣ по лѣсамъ строившейся колокольни до самаго креста, и гр. Саліасъ позаботился обставить подробное описаніе этого путешествія такими-же захватывающими духъ ужасами.

Помните вы въ романѣ Толстого описаніе болѣзни и смерти князя Андрея, отличающееся весьма художественными картинами горячечнаго бреда, перемѣшаннаго съ мистическими размышленіями. У гр. Саліаса вы тоже найдете подобныя-же описанія и горячечнаго бреда, и мистическихъ размышленій, героемъ которыхъ является князь Иванъ Хвалынскій, раненный подъ Оренбургомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что представляютъ изъ себя, какъ не варіаціи на описанія гр. Толстого, хотя-бы подобныя выдержки:

«Это *что-то* теперь кружится въ немъ, бѣжитъ — и стучитъ молоточками. Молоточки эти разные... Вотъ бѣгутъ и стучатъ маленькіе, черные, бархатные молоточки, они добрые, они любятъ его Но вотъ близится одинъ побольше, шершавый; тихо близится онъ—ползетъ, и вотъ ударилъ изо всей силы и прошелъ, но боль осталась отъ удара. Какъ тарики, опять забѣгали маленькіе молоточки и за ними другіе и третьи, и сотни, и тысячи .. Но вотъ опять *онъ* тащится, тотъ большой молотокъ, огромный, злой!!»

А вотъ и другая варіація на тему возвращенія сознанія:

«И онъ сталъ глядѣть себѣ на блѣдно-желтыя, еще слабыя руки, на протянутыя ноги въ теплыхъ сафьянныхъ сапожкахъ, на грудь и плечи въ бархатномъ мѣховомъ кафтанѣ съ застежками.

— Это князь Иванъ Родіоновичъ; такъ всѣ они зовутъ. Отъ чего мнѣ *это* все жалко и я *это все* люблю больше, чѣмъ даже родныхъ? продолжалъ онъ думать, глядя на себя.—Не все-ли равно... А кого я больше люблю, *это все* или Парашу... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Параню! Параню! Пускай это все пропадетъ, лишь-бы она осталась. Да вѣдь тогда меня не будетъ, мнѣ будетъ все равно, гдѣ Парася? Какъ-же это?! Мысли Ивана спутались.„

Подобно Пьеру, Иванъ по выздоровленіи почувствовалъ въ себѣ перерожденіе, новыя мысли и взгляды на все, такъ что даже начальникъ его Тавровъ замѣтилъ въ немъ разительную перемѣну.

«— Ты, князь, голубчикъ, разумнѣе сталъ. Вотъ что... Гляди! Похудѣлъ, а похорошѣлъ; глаза свѣтятся, и смѣтливость въ нихъ примѣтна нынѣ. Все лицо разумнѣе глядитъ, а не то, что до-днесь было; булка какая-то сдобная, да румяная, да умишко съ птичій носокъ.. »

Разница впрочемъ въ этомъ отношеніи заключается въ томъ, что въ романѣ гр. Толстаго Пьеръ послѣ всѣхъ своихъ испытаній и болѣзни дѣлается дѣйствительно совершенно инымъ и перерожденіе его для читателя вполнѣ очевидно. Между тѣмъ въ романѣ гр. Саліаса перерожденіе князя Ивана является одной подражательной фразой: князь по выздоровленіи является все тѣмъ-же Иванушкой, и для васъ остается загадкой, въ чемъ заключается перерожденіе его.

Припомните въ романѣ гр. Толстого замыселъ Пьера убить Наполеона, созрѣвшій въ немъ подъ вліяніемъ масонскаго мистицизма и натянутаго сближенія своего имени съ апокалипсическимъ числомъ 666. Въ романѣ гр. Саліаса вы найдете тоже личность, мечтающую убить Пугачева:—это именно Парася, возмнившая, что ей свыше предопредѣлено совершить подвигъ, подобный Юдиѳи. Въ романѣ гр. Толстого особенно рельефно выдается по своей художественности и глубокому анализу сцена разстрѣливанія въ Москвѣ мнимыхъ поджигателей, въ числѣ которыхъ является Пьеръ, съ ужасомъ наблюдающій эту сцену и ожидающій своей участи. Въ pendant этой сценѣ и гр. Саліасъ изобразилъ сцену разстрѣливанія захваченныхъ пугачевцевъ, въ числѣ которыхъ парадируетъ князь Иванъ, пришедшій въ лагерь Бибикова съ пугачевскимъ паспортомъ, и точно также авторъ заставляетъ его смотрѣть на эту сцену, испытывая всѣ ужасы ожиданія смерти. Точно также неохотно отрядъ исполняетъ возложенное на него порученіе.

Подъ конецъ романа гр. Саліасъ подражаетъ гр. Толстому и въ томъ отношеніи, что точно также старается провести идею, что всѣ историческія событія обусловливаются массовыми движеніями, причемъ отдѣльныя личности играютъ роль чисто служебную, и не онѣ движутъ массами, а массы ими. Такъ и въ пугачевскомъ бунтѣ, по мнѣнію гр. Саліаса, главную роль игралъ не Пугачевъ, а народное движеніе, выдвинувшее Пугачева, и въ случаѣ еслибы Пугачевъ погибъ или былъ захваченъ въ началѣ возстанія, то бунтъ все-таки шелъ бы своимъ путемъ, причемъ роль Пугачева тотчасъ-же была-бы замѣщена другимъ и третьимъ лицомъ, особенно если принять во вниманіе, что въ разгарѣ волненія явилось множество Пугачей, каждый съ своей шайкой. Мысль эта конечно имѣетъ основаніе, но только разница въ проведеніи ея у гр. Толстого и гр. Саліаса заключается въ томъ, что у перваго историческія личности и массы дѣйствуютъ и совершаютъ событія, вышеозначенную-же идею проводитъ самъ авторъ, обсуждая эти событія. Гр.-же Саліасъ заставляетъ самихъ дѣйствующихъ лицъ разговаривать по поводу совершаемыхъ ими событій, и у него простой степной казакъ Чумаковъ читаетъ вамъ лекцію по философіи исторіи, причемъ оказывается глубокимъ знатокомъ закона акцій и реакцій, не хуже Стронина, и предсказываетъ новое такое-же народное движеніе черезъ 50 лѣтъ. Но послушаемъ лучше самого философа:

— Я, Емельянъ, тебя тоже почиталъ. Полагалъ я изъ насъ первымъ тебя-же по многоумію и отвагѣ, потому тебя и допустилъ въ Петры; а не будь тебя, я-бы самъ назвался... Но то времячко, казакъ, быльемъ нынѣ затянуло. Уходился ты что-ль? Аль набаловался?.. Не вѣдаю, но токмо сказываю тебѣ, и вѣрно сказываю... Не тотъ ты нонѣ, Емельянъ, и не тѣ ужъ тебѣ сани подавай. Не подѣлать тебѣ болѣ никакихъ дѣловъ нигдѣ... Да что и дѣлать-то?.. Ты гульнуть хотѣлъ и мы тожъ; и народъ православный тожъ—кто гульнуть, кто обиду очистить... Ну, вотъ мы въ полъ-Россіи сполохъ и учинили... А ты все про себя взялъ... Знаешь ты, сказывается сказка вотъ: тащили казаки изъ Яика карягу въ сто пудъ и гадали, съ чего она легко идетъ изъ воды въ руки, а лягуха большущая, сидѣвши на карягѣ, то прослышала и потомъ своимъ товаркамъ и репортуетъ, какъ она молодцамъ карягу изъ воды подавала. Такъ-же и ты, Ивановичъ, все про себя взялъ. Ну вотъ, суньси нынѣ опять на Казань, да Пензу—полагаешь что-ль, паки все по старому будетъ... Вотъ черезъ годовъ пятьдесятъ али и болѣе—ино дѣло! Холопье подневольное опять понатерпится отъ господъ—ну, положи ихъ... Опять они въ охотѣ будутъ... Полно, братъ, пора, говорю, съ колокольни...»

Мы указали только на нѣсколько наиболѣе выдающихся и бросающихся въ глаза фактовъ заимствованій, между тѣмъ въ романѣ на каждой страницѣ вы встрѣтите массу мелкихъ и неуловимыхъ заимствованій въ тѣхъ или другихъ чертахъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, въ манерѣ анализировать ихъ мысли и чувства, представлять послѣднія минуты ихъ жизни и проч., и проч.

Тамъ же, гдѣ гр. Саліасъ избѣгаетъ подобнаго обезьянства гр. Толстому, гдѣ онъ поневолѣ остается самимъ собою, тамъ онъ безцвѣтенъ до послѣдней крайности и не имѣетъ никакой собственной физіономіи. Тамъ онъ бросается то въ трескучую реторику временъ Марлинскаго, то народничаетъ на манеръ Н. Полевого и М. Погодина, то напоминаетъ Загоскина, какъ по мелодраматической стереотипности описаній разныхъ пугачевскихъ ужасовъ, такъ и по цвѣтистости слога. Такъ напримѣръ, возьмите вы хотя бы первыя страницы романа, въ которыхъ авторъ силится представить аналогію между народной жизнью и океаномъ. Передъ вами словно будто гимназическое сочиненіе добрыхъ старыхъ временъ господства реторики Кошанскаго:

«Силенъ и грозенъ море-океанъ, но сильнѣе и грознѣе его гульливое, перемѣнчивое море житейское!

Бываетъ на морѣ-океанѣ: безпредѣльно и незыблемо стелется живое лоно водъ, облитое закатомъ солнца, или объятое звѣздной синевой полуночи, или укрытое мглой; горделиво смотрится оно въ да-

лекія небеса, спокойное, величавое, словно полное какой-то великой, тайной думой.

Много загадочной жизни въ одушевленномъ, живомъ просторѣ морскомъ. Сверху тишь да гладь, позлащенная солнцемъ, а подъ ной скрыто много...

Бываетъ и на морѣ житейскомъ: стоитъ оно въ чудномъ затишьѣ, всюду миръ и покой, также величаво отражаетъ оно и свои далекія небеса, неразгаданныя и непроглядныя разумомъ людскимъ...» и проч., и проч.

А вотъ вамъ образецъ народничанья на погодинскій ладъ:

«Въ ту пору, о которой рѣчь пойдетъ, житье-бытье на Руси святой было ничего. Слава Богу! Времена только были непонятныя, тяжкія времена; безправье да неурядица, грѣхъ да бѣда, просто дымъ коромысломъ по всей землѣ православной. Знать, самый онъ, черный день пришелъ, да заглянулъ на дворъ. За грѣхи что-ль наказалъ Господь? Трудно стало жить, куда трудно! Почитай, даже совсѣмъ нельзя жить. Ложись да и помирай... А то ничего! Слава Богу!..»

Что касается до описанія мятежнаго лагеря, гдѣ гр. Саліасъ тоже принужденъ былъ стоять на собственной почвѣ, то здѣсь онъ въ свою очередь безцвѣтенъ и стереотипенъ. Кромѣ мужиковъ Савки да Яшки, ни одного рѣзкаго и опредѣленнаго типа передъ вами: казаки, башкиры, крестьяне, холопы — проходятъ передъ вашими глазами, какъ тѣни кровожадныхъ страшилищъ, жаждущихъ душегубства, пьянства и разврата. Самъ Пугачевъ является блѣдною и неопредѣленною тѣнью какой-то распущенной мямли, которая вѣчно киснетъ подъ гнетомъ своего дѣла, и приближенные казаки тщетно стараются всячески ободрить его и поднять въ немъ энергію, и такимъ онъ является съ самаго начала, между тѣмъ какъ изъ вышеприведенной нами тирады Чумакова мы можемъ заключить, что такимъ долженъ Пугачевъ являться только впослѣдствіи, когда дѣло начало клониться явно къ проигрышу, что въ немъ долженъ былъ произойти какой-то переломъ, но этого въ романѣ мы и не видимъ.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ отзывахъ относительно романа гр. Саліаса, которые мнѣ приходилось слышать отъ людей компетентныхъ въ исторіи и спеціально занимавшихся XVIII столѣтіемъ. Они говорятъ, что гр. Саліасъ очевидно добросовѣстно изучилъ пугачевскій бунтъ и что романъ его представляетъ несомнѣнную фактическую вѣрность исторіи.

Правда, что и относительно фактической вѣрности можно усомниться, такъ какъ проявляющееся во многихъ лицахъ романа стремленіе пригнуть историческіе факты къ московскимъ тенденціямъ очевидно не говоритъ въ пользу исторической объективности, а введеніе въ исторію русаго самозванца, предшествовавшаго Пугачеву, принадлежитъ прямо къ историческому вымыслу, но допустимъ, что въ большинствѣ своихъ характеристикъ гр. Саліасъ остается вѣренъ исторіи. Мы спрашиваемъ, достаточно-ли для художественнаго романа одной фактической вѣрности? Вѣдь романъ не есть историческая монографія. У серьезнаго художника, берущагося изобразить какую либо историческую драму, должны быть свои особенныя художественныя цѣли, не ограничивающіяся тѣмъ только, чтобы историческія личности были одѣты въ костюмы, принадлежащіе своему вѣку, говорили архаическимъ языкомъ, думали и дѣйствовали сообразно историческимъ источникамъ и пр. Художникъ долженъ развернуть передъ нами картину исторической борьбы во всей ея драматической коллизіи, показать намъ всѣ ея неизбѣжныя, роковыя причины и ея трагическій исходъ. Такъ художникъ, вздумавшій изобразить пугачевскій бунтъ, долженъ, по нашему мнѣнію, главное вниманіе читателя остановить на картинахъ той всеобщей неурядицы, которая предшествовала бунту,—картинахъ помѣщичьяго звѣрства, канцелярской волокиты — и съ другой стороны тѣхъ стоновъ народныхъ, которые тщетно раздавались повсюду и замирали безъ участія и сочувствія... Картины эти должны представить русскую дѣйствительность того времени въ такой ужасающей правдѣ, чтобы читатель, незнакомый съ исторіей, по однимъ имъ могъ судить, что съ обществомъ, дошедшимъ до такого безправія, неминуемо должно произойти какое-нибудь потрясеніе. Между тѣмъ гр. Саліасъ на подобныхъ картинахъ останавливается менѣе всего: сухо и безучастно, мелькомъ, на нѣсколькихъ страницахъ разсказываетъ онъ о народныхъ бѣдствіяхъ, описывая судьбу Савки и Яшки и ломаясь при этомъ въ пошломъ народничаньѣ, между тѣмъ какъ весь романъ наполненъ у него описаніемъ по роману гр. Толстого любовныхъ чувствованій и горестныхъ приключеній различныхъ высокопоставленныхъ героевъ, да мелодраматическими сценами грабежей и неистовствъ, исполненными трескучихъ эффектовъ въ загоскинскомъ духѣ. Можете послѣ этого находить, что гр. Саліасъ совершенно вѣрно изобразилъ казанское общество того времени (употребивши, замѣчу въ скобкахъ, для своего изображенія половину красокъ, которыми гр. Толстой обрисовываетъ общество, жившее 40 лѣтъ спустя), но я все-таки буду стоять на своемъ, что гр. Саліасъ обнаруживаетъ въ своемъ произведеніи ничего болѣе, какъ диллетанта во всѣхъ отношеніяхъ: диллетанта художника, диллетанта историка и диллетанта по отношенію къ тѣмъ тенденціямъ, которымъ служитъ, и романъ его недалеко отошелъ отъ тѣхъ quasi-историческихъ романовъ, какіе писались 40 лѣтъ тому назадъ Загоскинымъ и Лажечниковымъ, Р. Зотовымъ и Булгаринымъ...

V.

Чаевъ представляетъ изъ себя совершенно иной типъ, возросшій на почвѣ московскихъ тенденцій. Не говоря уже о томъ, что онъ отличается отъ гр. Саліаса по самымъ тенденціямъ, такъ какъ придерживается болѣе славянофильства, чѣмъ тенденцій «Московскихъ Вѣдомостей», но кромѣ того и по самому отношенію къ своимъ тенденціямъ представляетъ не малую разницу.

Такъ въ лицѣ гр. Саліаса мы видѣли диллетанта, порхающаго по цвѣткамъ россійской словесности и съ ловкостью почти военнаго человѣка умѣвшаго скомкать въ общій хаосъ тенденціи «Московскихъ Вѣдомостей», историческіе факты и образы, взятые изъ

романа гр. Толстого. Чаевъ представляется намъ типомъ знаменитаго ученика Фауста—Вагнера.

Особенности Вагнеровъ хорошо всѣмъ извѣстны. Во-первыхъ, они отличаются глубокимъ до мозга костей и рабскимъ проникновеніемъ своимъ ученіемъ и являются въ бо́льшей степени фанатиками, чѣмъ ихъ учителя. Во вторыхъ, они съуживаютъ до послѣдней степени ученія, которыми увлекаются, низводя ихъ къ ряду рутинныхъ и пошлыхъ формулъ. И въ третьихъ наконецъ, у нихъ есть удивительная склонность увлекаться по преимуществу смѣшными сторонами ученія и доводить эти смѣшныя стороны до послѣдней степени карикатурности. Всѣ эти качества вагнерства вы найдете у Чаева въ обиліи.

Мы не станемъ много распространяться о художественной сторонѣ романа, представляющей сплошной рядъ рабской подражательности гр. Толстому. Еслибы мы захотѣли представить списокъ всѣхъ заимствованій изъ «Войны и мира», то пришлось бы выписывать весь романъ, потому что, какую бы сцену Чаевъ ни вздумалъ изображать передъ нами, княжескій домъ или придворный балъ, военный бивакъ или сраженіе, историческаго героя Суворова или романтическаго героя Катенева, — во всемъ этомъ такъ и сидитъ гр. Толстой; присутствія же самого Чаева, какъ художника, вы въ романѣ положительно не найдете ни на одной страницѣ.

Что же касается до внутренняго содержанія романа, то здѣсь-то Чаевъ и является передъ нами Вагнеромъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Нужно ли и говорить о томъ, что того глубокаго, объективнаго анализа русской жизни со всѣми ея достоинствами и недостатками,—анализа, какой вы встрѣчаете у гр. Толстаго, здѣсь нѣтъ и тѣни. Не найдете вы и тѣни хотя бы той философской подкладки, которую подшивали подъ свои разсужденія первые славянофилы. Какъ Вагнеръ, Чаевъ исповѣдуетъ славянофильское ученіе не столько умомъ, сколько сердцемъ: онъ понимаетъ его не иначе, какъ въ видѣ слезнаго умиленія передъ всѣмъ русскимъ, представленія русской жизни въ ореолѣ идеаловъ терпѣнія, смиренномудрія и любви и низводитъ славянофильство до казеннаго кваснаго патріотизма временъ «Русскаго Вѣстника» С. Глинки. Чтобы познакомить читателей съ философіей и витійствомъ сего доблестнаго росса, мы ограничимся двумя, тремя наиболѣе характеристичными мѣстами изъ его романа, исчерпывающими до тла всѣ незамысловатыя идейки нашего Вагнера славянофильства.

Вотъ какъ Чаевъ характеризуетъ напримѣръ то движеніе вспять, которое, по его мнѣнію, необходимо для всего русскаго общества и которымъ уже увлеклось будто бы молодое поколѣніе:

«Уже туда, смотрите, въ старину, къ живому, вѣчному ключу народной мудрости кинулось новое наше поколѣніе; чего-то ищетъ оно около старыхъ, родныхъ развалинъ, допрашиваетъ ихъ... Но вѣковые камни нѣмы, пока не отнесется сердцемъ къ старинѣ къ нимъ вопрошающій. *Туда, въ прошедшее*, кто-то зоветъ русскихъ ратаевъ мысли; спасаютъ памятники народнаго творчества, точно отцовское имущество во время внезапнаго пожара; всѣ смотрятъ съ упованіемъ не на потомковъ, а на прадѣдовъ; не отъ грядущаго ждутъ обновленія мысли, возрожденія, а отъ прошедшаго, отъ смолкшей, прежде думали мы, навсегда тысячелѣтней были. И уже не «впередъ», а «стой, осмотрись; никакъ мы позабыли что-то»—нерѣшительно, но ясно произносятъ мыслящіе люди; уже хватились многіе, а скоро хватятся и всѣ, весь длинный поѣздъ молодыхъ, богатыхъ силой и надеждами переселенцевъ, что позабыли взять они съ собой прадѣдную казну, забравъ второпяхъ, вмѣсто богатыхъ аксамитовъ, мѣшковъ съ бурмицкимъ жемчужнымъ зерномъ, самоцвѣтовъ-камней старорусской воды, забравъ повокупленную рухлядь, всякій хламъ, который только тяготитъ, обременяетъ путниковъ. Да, мы еще въ дорогѣ... Въ дорогѣ еще Русь. Не потому-ли всѣмъ, отъ ямщика до русскаго поэта, —всѣмъ слышится что-то свое родное въ яркомъ звонѣ вѣщуна-колокольца, въ неудержимомъ бѣгѣ разметавшей гривы и ремни удалой тройки? Да, русская, родная наша мысль еще въ дорогѣ. Тамъ, впереди, на синей полосѣ-каймѣ необозримой дали, словно видать родныя кровли, главы, золотые кресты? Брось лишній хламъ; укладывай, не покидай дѣдовскихъ кованныхъ ларцовъ, переселенцы; не вѣрь, будто они пусты и не нужны. Верхомъ груди этимъ старымъ старьемъ телѣги, и тогда съ Богомъ въ путь, тогда «впередъ» съ молитвой и богатырской пѣснью.»

Вотъ этимъ-то и отличаются Вагнеры, что они какъ начнутъ говорить въ духѣ своего ученія, то говорятъ на чистоту въ самомъ что ни есть крайнемъ духѣ, и ужъ не ждите отъ нихъ, чтобы они отступили хоть на шагъ отъ своихъ словъ, примѣняясь къ вашимъ убѣжденіямъ или духу вѣка. Умный адептъ славянофильства, видя напримѣръ въ васъ прогрессиста, стремящагося впередъ, начнетъ вамъ представлять различные доводы въ пользу того, что идти впередъ это и значитъ проникаться народными началами и что, не проникаясь ими, нельзя впередъ сдѣлать и шагу, или, если въ васъ преобладаютъ демократическія стремленія, умный адептъ начнетъ вамъ доказывать, что въ проникновеніи народными началами и лежитъ вся суть демократизма; и только одинъ Вагнеръ способенъ повести дѣло такъ наголо, что, не обращая никакого вниманія на ваши стремленія, воскликнуть: «съ Богомъ и молитвою, ура!. Маршъ!.. Назадъ!..»

Одна эта выдержка характеризуетъ Чаева вполнѣ. Надо впрочемъ замѣтить, что, восторгаясь непрестанно среди всѣхъ своихъ слезныхъ умиленій, Чаевъ не упускаетъ случая каждый разъ дѣлать надлежащія внушенія насмѣшливому либералу. Такъ, описывая встрѣчу героя своего съ императоромъ Павломъ, Чаевъ изображаетъ тѣ патріотическія чувства, которыя возгорѣлись въ душѣ героя, и при этомъ въ свою очередь не позабытъ насмѣшливый либералъ:

«Государь приложилъ руку къ шляпѣ и поѣхалъ далѣе; у молодого капитана пробѣжала дрожь по членамъ: зашевелилось, закипѣло какое-то мощное чувство въ груди,—чувство любви, преданности, покорности, знакомое каждому русскому, *зови его, какъ хочешь, либераломъ*, но оно вспыхиваетъ—это чувство въ русскомъ при видѣ царя; и ошибается тотъ, кто назоветъ его раболѣпствомъ, подобострастіемъ... Нѣтъ, оно чисто, искренно, безкорыстно и живо до сихъ поръ въ золотой душѣ богатыря народа.»

Приходя на послѣдней страницѣ романа въ самый яркій разгаръ пафоса при созерцаніи русскихъ народныхъ началъ, Чаевъ и тутъ не забываетъ насмѣшливаго либерала:

*

«Отчего, восклицаетъ онъ: — русскіе купцы, не смотря на безобразныя, возмутительныя подчасъ отношенія «хозяина» къ фабричному, сидѣльцу, отчего они ближе къ народу, чѣмъ мы, литераторы? Оттого, что купецъ съ нимъ вмѣстѣ молится, вѣруетъ, а мы *скептически* относимся къ тому, что дороже всего, дороже жизни нашему народу; жизнью онъ жертвовалъ не разъ, но никогда не жертвовалъ своей вѣрой; бѣднякъ удавленникъ—и тотъ снимаетъ съ шеи крестъ, чтобы не обругать своимъ постыднымъ дѣйствіемъ святыню... «Но какъ-же мнѣ увѣровать, когда наука идетъ впередъ», возразятъ быть можетъ мнѣ: «когда она убѣдительно разрушаетъ міръ монхъ прежнихъ дѣтскихъ вѣрованій?» Да полно, убѣдительно-ли она опровергаетъ то, что и понять-то нѣтъ возможности однимъ умомъ, безъ сердца? Вотъ къ этимъ мѣняющимся вмѣстѣ съ фасономъ шляпъ ученіямъ нужно-бы относиться скептически. Не ослѣпляетъ-ли вамъ глаза новизна идейки отрицанія—новой вѣдь только для того, кто не читалъ Экклезіаста? Не вѣруете-ли вы, какъ мусульманинъ въ пророка, въ мудреца, поставившаго въ основаніе своего ученія предположеніе, гипотезу, которую почему-то приняли за аксіому, за непреложную истину? Нѣтъ?.. Такъ отойдите отъ народа; онъ не пойметъ васъ; вы разстались съ нимъ. Народъ не можетъ не вѣровать; какъ пересталъ онъ вѣровать, такъ пересталъ быть народомъ; утративъ вѣчную идею, его связующую, имъ вносимую въ міровую братчину мысли, онъ потерялъ право на свое существованіе.»

Этою выпискою изъ романа Чаева я могу закончить статью, предложивши только Чаеву передѣлать выписку въ такомъ родѣ:

«Отчего петербургскіе писатели, несмотря не безпощадно отрицательное, скептическое отношеніе къ народу (конечно въ цѣлой его совокупности), отчего они ближе къ народу, чѣмъ мы, московскіе литераторы? Оттого, что петербургскій литераторъ вмѣстѣ съ нимъ смѣется надъ тѣмъ, что достойно смѣха, и страдаетъ его страданіями, а мы только и дѣлаемъ, что умиляемся передъ тѣмъ, что народъ давно пережилъ и готовится бросить, какъ старую, негодную ветошь. И еще благо намъ, московскимъ литераторамъ, что народъ не знаетъ насъ, а еслибы онъ насъ узналъ, еслибы въ нашихъ многотомныхъ писаніяхъ прочелъ, какую старину мы ему хотимъ навязать,—старину, отъ которой и до сихъ поръ болятъ у него всѣ кости и суставы, то... лучше ужъ и не говорить, что̀ бы тогда было».

ВИНЕГРЕТЪ СОВРЕМЕННОЙ МОРАЛИ.

Сочиненія Алексѣя Потѣхина, 6 т. Спб. 1873—4 г.

I.

Съ личностью Потѣхина, какъ писателя, я былъ знакомъ чуть не съ гимназической скамьи. Случалось нерѣдко бесѣдовать съ нимъ то дома, читая его повѣсти и романы, то въ театрѣ, присутствуя на представленіяхъ его драмъ и комедій. Но видно правду говоритъ пословица, что вы не узнаете человѣка, пока не съѣдите съ нимъ пуда соли. Такъ, имѣя дѣло постоянно съ однимъ какимъ-либо произведеніемъ Потѣхина черезъ длинные промежутки времени и ограничиваясь поэтому тѣми микроскопическими дозами соли, какія обрѣтаются въ его произведеніяхъ, я постоянно находился въ невѣдѣніи и недоумѣніи, что за писатель Потѣхинъ? Нельзя сказать, думалъ я, чтобы онъ былъ безталанный, однако же рядомъ съ художественными чертами сколько вы найдете въ каждомъ произведеніи его сочиненнаго или стереотипнаго. Нельзя сказать, чтобы Потѣхинъ былъ приверженецъ какихъ-либо отжившихъ началъ, защитникъ мрака и изувѣрства. Напротивъ того: мнѣ казалось, что онъ постоянно силится идти впереди вѣка, каждое произведеніе его проникнуто такимъ повидимому искреннимъ и горячимъ либерализмомъ, любовью къ народу и ненавистью ко всевозможнымъ его притѣснителямъ, и однакожъ сквозь этотъ либерализмъ проглядываютъ такіе рутинные взгляды и на жизнь, и на народъ, что просто становишься втупикъ и недоумѣваешь, какъ подобные взгляды могутъ уживаться съ стремленіемъ идти впереди вѣка и съ либерализмомъ, и что составляетъ главную суть произведеній Потѣхина, его кровныя убѣжденія—либерализмъ или эти взгляды?

И только теперь, когда я могу сказать, что я съѣлъ пудъ соли съ Потѣхинымъ, прочитавши заразъ шесть томовъ его произведеній, я наконецъ уяснилъ себѣ, что̀ такое Потѣхинъ и какъ художникъ, и какъ мыслитель.

Что касается до художественнаго значенія произведеній Потѣхина, то я не намѣренъ особенно много распространяться объ этомъ. Замѣчу только, что Потѣхинъ, какъ художникъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые, не производя ничего самобытнаго, отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ поэтическіе образы, мотивы, пріемы, которые въ данное время господствуютъ въ литературѣ. Нельзя сказать, чтобъ это была рабская подражательность передовымъ писателямъ. Нѣтъ, это не слѣпое эхо, а подпѣвъ хору, въ которомъ пѣвецъ можетъ вамъ предоставить бездну варіацій вполнѣ оригинальныхъ и не лишенныхъ пріятности, но тѣмъ не менѣе оригинальны будутъ только варіаціи, тема же не принадлежитъ пѣвцу. Такимъ же пѣвцомъ варіацій является передъ нами въ литературѣ и Потѣхинъ. Такъ, въ началѣ 50-хъ годовъ была въ особенной модѣ этнографія—знакомство съ народнымъ бытомъ: явились со-

биратели народныхъ пѣсенъ и путешественники съ цѣлью изученія обычаевъ, суевѣрій, нравовъ, ремеслъ и занятій народа. Во главѣ этихъ этнографовъ стоялъ въ то время Даль, очерки котораго наперерывъ печатались во всѣхъ журналахъ. Написалъ нѣсколько этнографическихъ очерковъ и Потѣхинъ, съ нихъ-то именно и начавши свое литературное поприще. Но по всей вѣроятности въ то время Потѣхинъ только что успѣлъ покинуть школьную скамью, потому что очерки его исполнены тѣхъ слезливыхъ умиленій передъ русскою природою, величавою красотою и чистотою русскихъ городовъ, завиднымъ довольствомъ и богатствомъ русскихъ селъ, чистотою и патріархальностью русскихъ нравовъ и пр. и пр., какія вы встрѣтите въ учебныхъ христоматіяхъ, представляющихъ образцы путешествій,—и все это описано тѣмъ цвѣтистымъ слогомъ, какимъ излагаютъ свои путешествія гимназисты въ классныхъ сочиненіяхъ. Возьмемъ для образца хотя описаніе Ярославля.

«Но между тѣмъ лодка все еще стоитъ на мѣстѣ. Полюбуйтесь пока на красивый Ярославль. Какъ хороша его набережная, обнесенная чугунной рѣшеткой, обсаженная липами, чистая, опрятная. На углу, образованномъ впаденіемъ Которости въ Волгу, стоитъ огромное зданіе Демидовскаго лицея, а рядомъ съ нимъ красуется златоглавый соборъ. По ту сторону Которости и по озеру Волги поднимаются каменныя зданія, частныя и казенныя. Которость, извиваясь, исчезаетъ изъ вашихъ глазъ, закрываемая съ одной стороны прилежащими къ ней домами, съ другой—большими кладенцами дровъ, заготовленными на зиму. Долго любовались вы красивымъ городомъ, но наконецъ вниманіе ваше утомлено однимъ и тѣмъ-же предметомъ, и вы невольно обращаете его на будущихъ вашихъ спутниковъ. Вотъ мирное купеческое семейство, собравшееся на богомолье въ Вабайскій монастырь, лежащій въ 30-ти верстахъ отъ Ярославля, на правомъ берегу Волги. Два молодыя лица среди этого семейства, съ веселыми, улыбающимися физіономіями, кажутся вамъ недавно обвѣнчанной счастливой четой, и вѣроятно ея-то будущее счастье хочетъ освятить вся семья усердной молитвой. Вотъ какой-то молодецъ въ синей чуйкѣ, служащій приказчикомъ у купца одной изъ низовыхъ губерній и возвращающійся къ своему дѣлу послѣ свиданія съ родными своими, живущими въ Ярославлѣ. Съ любовью смотритъ она на свой родной городъ и съ привѣтливой улыбкой говоритъ вамъ, указывая на него:—Каковъ городокъ-то? Вѣдь не хуже иной столицы?»

И къ какому только городу ни подъѣзжалъ бы Потѣхинъ, къ Кинешмѣ ли, къ Костромѣ ли, къ Плесу ли, тотчасъ же онъ приходитъ въ восторженное состояніе и начинаетъ восклицать:

«Вотъ посмотрите, на право виднѣется заштатный городокъ Плесъ. Какъ красивъ онъ! Множество разнообразныхъ деревянныхъ домиковъ и между ними два или три большіе каменные, расположенные у подошвы высокой горы, а на самой верхушкѣ этой горы высятся Божіи храмы, вознося свои кресты къ самому небу. Вся эта картина окружена вмѣсто рамы густымъ темнымъ лѣсомъ. Въ этомъ городкѣ есть жизнь, движеніе: небольшая пристань доказываетъ, что онъ ведетъ торговые обороты хлѣбомъ.»

Отдавши долгъ этнографіи и познакомивши насъ и съ тѣмъ, какъ ловятъ рыбу на Волгѣ въ Саратовской губерніи и какъ отплясываютъ кадрили на вечеринкахъ въ уѣздныхъ городахъ, Потѣхинъ заплатилъ свою лепту и тѣмъ повѣстямъ изъ народнаго быта, которыя въ свою очередь играли не малую роль въ литературѣ 50-хъ годовъ. Въ самомъ дѣлѣ, кромѣ развѣ Гончарова и Хвощинской я не могу припомнить ни одного беллетриста 50-хъ годовъ, который не написалъ бы хотя одной повѣсти изъ народнаго быта, но особенно отличался по этой части Григоровичъ, посвятившій почти всю литературную дѣятельность изображенію крестьянскаго быта. Цѣль всѣхъ этихъ повѣстей заключалась въ томъ, чтобы съ одной стороны увѣрить русскую публику, что и подъ сермягою бьется человѣческое сердце, что и простой мужикъ въ лаптяхъ можетъ любить, страдать и питать всѣ тѣ нѣжныя и раздирательныя чувствія, какія питаютъ образованные люди, а съ другой стороны противопоставить изнѣженному, растлѣнному быту образованныхъ слоевъ общества патріархальную чистоту, нравственную стойкость, выносливость крестьянской среды. Заплатилъ, какъ я уже сказалъ, Потѣхинъ дань и этому роду литературы, написавши нѣсколько повѣстей и драмъ изъ народнаго быта. Я не буду распространяться здѣсь объ этихъ произведеніяхъ Потѣхина, такъ какъ о нихъ будетъ особенная рѣчь впереди.

Въ большой модѣ были въ 50-е годы романы и повѣсти изъ провинціальнаго великосвѣтскаго быта, въ которыхъ дѣйствіе вращалось обыкновенно на балахъ и маскарадахъ, объясненія въ любви совершались подъ звуки кадрили въ ярко освященной залѣ губернскаго бала, или сонаты Бетховена за роялемъ въ изящно убранной гостиной, а не то подъ трели соловьинаго пѣнія въ тѣнистыхъ аллеяхъ усадьбы. Въ романахъ этихъ благородная и честная бѣдность ставилась обыкновенно въ противоположность свѣтской мишурѣ. Бѣдный, но съ возвышенной душой герой награждался презрѣніемъ и осмѣивался бездушнымъ свѣтомъ за то, что не имѣлъ даже хотя-бы какихъ-нибудь 200 душъ родового имущества, а героиня, хотя и не бѣдная, но съ столь-же возвышенною душою, подвергалась городскимъ сплетнямъ и пересудамъ и дѣлалась жертвою суетной среды.—Не замедлилъ отозваться Потѣхинъ и на эту школу беллетристики и написалъ объемистый романъ подъ заглавіемъ «Крушинскій». Героемъ этого романа является передъ нами молодой медикъ съ блестящимъ умомъ, съ пылкою душою, подающій большія надежды, но имѣющій одно несчастіе: быть сыномъ не богатаго дворянина, а бѣднаго причетника, и хотя онъ не гнушается своего происхожденія и даже гордится имъ, объявляя о немъ во всеуслышаніе въ великосвѣтской гостиной, однако же проклятое происхожденіе дѣлается причиною его гибели: онъ влюбляется въ дочь богатаго дворянина, и, несмотря на то, что героиня отвѣчаетъ ему на его любовь столь-же горячимъ и нѣжнымъ чувствомъ, несмотря на то, что онъ дважды спасаетъ отъ смерти отца героини, а самое ее избавляетъ отъ скандала во время губернскаго бала,—родители возлюбленной съ презрѣніемъ отказываютъ ему въ просьбѣ руки ихъ дочери, и герой въ отчаяньи умираетъ отъ чахотки. Такимъ образомъ Потѣхинъ своимъ романомъ какъ бы воззвалъ: бѣдныя дѣти причетниковъ, несчастные молодые люди, снискивающіе всевозможные дипломы, но не имѣющіе одного и

самаго главнаго диплома на уваженіе—дворянскаго, какая печальная участь ожидаетъ васъ!... Романъ, какъ видите, весьма назидательный и трогательный, а еслибы вы знали, какимъ чувствительнымъ слогомъ написанъ онъ! Для образца возьмемъ на удачу, какое попадется мѣсто: навѣрное найдется, надъ чѣмъ прослезиться. Вотъ напримѣръ раскрывается 137 страница; читайте:

«Между тѣмъ бѣдный Крушинскій жестоко страдалъ. Съ какой радостью летѣлъ онъ въ Родовое-Подгорное, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ онъ Наденьку, какъ радостно затрепетало его сердце, когда вошла она, и какъ вдругъ заныло оно, какъ будто кто его ранилъ, когда онъ увидалъ ее небрежный поклонъ, ея холодность. Неужели онъ ошибся? Неужели сердце обмануло его? Неужели онъ не произвелъ на нее никакого впечатлѣнія, или это впечатлѣніе было только минутное, которое тотчасъ же и замѣнилось совершеннымъ равнодушіемъ? Неужели она такая дѣвушка, у которой чувство мгновенно, какъ вспышка, у которой сердце такъ вѣтрено, такъ ничтожно, что можетъ отдаваться сегодня одному человѣку, а завтра другому? Неужели она ничтожная, пустая кокетка, для которой ничего не стоитъ показать чувство, котораго она вовсе не имѣетъ и не можетъ имѣть? Или не ошибся-ли онъ, не показалось-ли ему?..» и т. д.

Рядомъ съ утонченными нравами гостиныхъ и будуаровъ помѣщичій бытъ изображался иногда беллетристикою 50-хъ годовъ и съ другой своей, такъ сказать, задней стороны— грубаго цинизма дѣвичьихъ сералей, ярморочныхъ кутежей, обжорства именинныхъ обѣдовъ, безсмысленныхъ и комическихъ интригъ въ моменты выборовъ и проч., и проч. Кто не читалъ «Проселочныхъ дорогъ» Григоровича, посвященныхъ именно изображенію всей этой изнанки помѣщичьяго быта добраго стараго времени? Въ pendant «Проселочнымъ дорогамъ» и Потѣхинъ написалъ романъ «Бѣдные дворяне», въ которомъ вы найдете такія же картины и сцены, какими изобилуетъ романъ Григоровича. Впрочемъ нужно замѣтить, что романъ этотъ представляется самымъ удачнѣйшимъ произведеніемъ Потѣхина и рѣзко выдается изъ всего прочаго, написаннаго когда-либо авторомъ, а чѣмъ именно и почему, объ этомъ будетъ рѣчь впереди.

Въ концѣ 50 годовъ, въ знаменитое «*наше время, когда*», были въ большой модѣ герои въ видѣ молодыхъ либеральныхъ администраторовъ, у которыхъ весь либерализмъ заключается въ грозномъ преслѣдованіи мелкихъ взяточниковъ и которые въ видѣ Юпитеровъ громовержцевъ обрушивались на какое-нибудь захолустье карать злоупотребленія и водворять законность и порядокъ. Въ концѣ-же концовъ оказывалось, что ихъ ничего не стоило водить за носъ какому-нибудь плуту секретарю и что, преслѣдуя мелкое и прямое взяточничество, они сами склонялись къ взяточничеству болѣе косвенному, утонченному, облеченному во всѣ легальные аттрибуты, и къ которому не могли придраться не только законы, но и ихъ либеральная совѣсть. Сначала было подобные герои начали изображаться литературою въ серьезъ, какъ новые люди, представляющіе собою отрадное явленіе прогресса, но когда критика Добролюбова разъяснила, что это за новые люди, и въ какой степени они могутъ считаться отрадными явленіями прогресса, тогда литература начала относиться совершенно иначе къ своимъ излюбленнымъ администраторамъ-громовержцамъ, появился романъ Писемскаго «Тысяча Душъ», изобразившій въ лицѣ Калиновича подобнаго героя въ его истинномъ свѣтѣ. Потѣхинъ вывелъ того-же самаго Калиновича подъ именемъ Пустозерова въ комедіи «Мишура».

Однимъ словомъ, захотите-ли вы найти въ сочиненіяхъ Потѣхина героевъ сатиры Щедрина или комедій Островскаго, Писемскаго, Григоровича, Тургенева, навѣрное найдете. Герои эти на первый взглядъ могутъ показаться вамъ вполнѣ своеобразными, но стоитъ всмотрѣться въ нихъ и припомнить при этомъ то или другое произведеніе Островскаго, Писемскаго, Григоровича и проч., и вы увидите, что всѣ они представляютъ болѣе или менѣе удачныя варіаціи на данныя темы.

Я полагаю, что всего сказаннаго о художественной сторонѣ сочиненій Потѣхина совершенно достаточно, тѣмъ болѣе, что меня занимаетъ въ Потѣхинѣ не столько художникъ, сколько мыслитель, и не потому, чтобы въ сочиненіяхъ Потѣхина я встрѣчалъ какія-либо идеи, оригинальныя по своей глубинѣ, мѣткости или же нелѣпости; совсѣмъ напротивъ—меня занимаютъ здѣсь идеи, господствующія въ настоящее время въ массѣ образованныхъ слоевъ общества. Мы будемъ разсматривать Потѣхина, какъ образецъ той шаткости нравственныхъ понятій, какая господствуетъ въ наше время въ общественной толпѣ. Я далекъ отъ той мысли, чтобы Потѣхинъ одинъ только могъ служить для насъ подобнымъ образомъ. Если хотите, то и большинство нашихъ беллетристовъ не отличаются особенною глубиною и послѣдовательностью нравственныхъ идей, но Потѣхинъ имѣетъ для насъ въ настоящемъ случаѣ именно то преимущество, что не принадлежитъ къ числу особенно сильныхъ талантовъ. У сильнаго и хорошо воспитаннаго таланта вы часто совсѣмъ не разглядите нравственныхъ взглядовъ: образы, вѣрно схваченные изъ жизни и прошедшіе сквозь процессъ непосредственнаго творчества, могутъ говорить сами за себя и совершенно вопреки тѣхъ взглядовъ, какими смотритъ на нихъ самъ авторъ. Въ то же время, чѣмъ слабѣе талантъ, чѣмъ блѣднѣе образы, тѣмъ какъ-то рѣзче выдаются взгляды, какими авторъ смотритъ на жизнь. Ничѣмъ не выдѣляясь по своимъ взглядамъ изъ толпы, Потѣхинъ и будетъ служить для насъ мѣриломъ міровоззрѣній этой толпы.

II.

Мы всѣ ужасные либералы въ различныхъ нравственныхъ вопросахъ, особенно когда обсуждаемъ эти вопросы отвлеченно или-же занимаемся анализомъ тѣхъ или другихъ литературныхъ типовъ въ современныхъ художественныхъ произведеніяхъ. Всѣ мы большіе любители щеголять выраженіями: *ужая, рутинная нравственность, пошлая, прописная мораль*, и очень хорошо понимаемъ, что подъ этими словами подразумѣвается завѣщанный дѣдами нравственный кодексъ, опирающійся частью на преданія патріархальнаго быта, частью на сословныя и прочія соціальныя отношенія, и идущій совершенно въ разрѣзъ съ тѣмъ нормальнымъ удовлетвореніемъ есте-

ственныхъ потребностей человѣческой природы, которое одно только обусловливаетъ собой истинную нравственность. Въ силу этого мы беремъ подъ свою защиту многіе такіе поступки, которые, будучи повидимому безнравственны съ точки зрѣнія рутинной морали, тѣмъ не менѣе обусловливаютъ въ человѣкѣ стремленіе вырваться изъ оковъ мертваго обычая, избавиться отъ того обезличенія, къ которому приводитъ рутинная мораль, проявить въ себѣ живого человѣка, удовлетворивши своимъ живымъ, человѣческимъ потребностямъ, хотя-бы вопреки мнѣніямъ всей окружающей среды и съ опасностью не только потери репутаціи, но и жизни. Мы готовы въ неизмѣримой степени болѣе сочувствовать человѣку, который рѣшается пожить хоть минуту полной человѣческой жизнью, а тамъ хоть и въ могилу, чѣмъ господину, который возлагаетъ на себя нравственный подвигъ подавлять въ себѣ естественныя человѣческія потребности ради того, чтобы остаться вѣрнымъ узкимъ, условнымъ правиламъ житейской морали, ну, и конечно ужъ получить за такое благонравіе соотвѣтственную награду не только въ будущей, но и въ настоящей жизни. Въ первомъ случаѣ мы видимъ могучую природу, исполненную жизни, силъ, страсти и отваги, разрушающую всѣ оковы и препятствія, во второмъ случаѣ—малокровіе, дряблость, малодушіе, безотвѣтную покоряемость всякому гнету. На этихъ основаніяхъ мы симпатизируемъ невольно даже такимъ протестамъ, въ которыхъ не замѣчаемъ ничего цѣлесообразнаго, разумнаго и которые ничего не представляютъ собой, кромѣ простого взрыва жизни противъ стѣсняющихъ ее условій.

Но всѣ подобныя оправданія и симпатіи имѣютъ мѣсто только до тѣхъ поръ, пока мы вращаемся въ отвлеченномъ книжномъ мірѣ. Мы готовы симпатизировать Катеринѣ въ «Грозѣ» и даже видѣть гораздо болѣе истинной и естественной нравственности въ ея измѣнѣ мужу, чѣмъ еслибы она, подавивши всю кипѣвшую въ ней и рвавшуюся на свободу жизнь, сдѣлалась истуканомъ въ видѣ безотвѣтно почтительной дочери по отношенію къ свекрови, оскорблявшей ее на каждомъ шагу, и жены, вѣрной по гробъ нелюбимому и презираемому мужу. Мы проникаемся глубокимъ уваженіемъ къ Еленѣ въ «Наканунѣ» за то, что она, повинуясь призыву своей природы и увлекшись Инсаровымъ, свободно отдалась ему и пошла за нимъ, а не отреклась отъ своей страсти во имя того, чтобы остаться благонравной барышней и сдѣлаться потомъ добродѣтельно пресмыкающейся женой Паншина. Мы скорбимъ при видѣ Лизы въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», этой жертвы мистицизма и свѣтскихъ предразсудковъ, отрекшейся отъ жизни изъ боязни того смѣлаго шага, который подготовила ей жизнь. Но мы симпатизируемъ, уважаемъ, скорбимъ во всѣхъ этихъ случаяхъ единственно по винѣ писателей, которые навязали намъ эти чувства силой своего творчества, да еще благодаря критикѣ, которая разъяснила намъ эти образы не въ духѣ рутинной морали. Но стоитъ только намъ встрѣтить первый подобный фактъ не въ книгѣ, а въ самой жизни, гдѣ мы представлены своему собственному уму и гдѣ нѣтъ передъ нами ни художника, ни критика, которые вели-бы насъ на помочахъ,—и куда тогда дѣваются всѣ наши либеральныя сужденія, и снова всплываетъ передъ нами презираемая рутинная мораль, на основаніи которой мы только и оказываемся способными обсуждать встрѣчающіеся въ жизни факты, особенно если факты эти близко касаются и задѣваютъ насъ самихъ. Такъ, попробуйтека переварить, чтобы ваша жена, промаявшись съ вами нѣсколько лѣтъ монотоннымъ, безцѣльнымъ мѣщанскимъ прозябаніемъ, до такой степени измаялась однимъ зрѣлищемъ вашей механически-безжизненной, сухой порядочности (не говорю уже о томъ, что вы могли много разъ доставить ей зрѣлище жалкой трусости, малодушія, приниженія), что наконецъ, подобно Катеринѣ въ «Грозѣ», способна сдѣлалась-бы увлечься первымъ встрѣчнымъ проходимцемъ, лишь-бы только онъ не былъ похожъ на васъ и имѣлъ-бы въ себѣ хоть внѣшніе признаки чего-либо выходящаго изъ ряда обыденности? Попробуйте оправдать вашу дочь, которая вмѣсто того, чтобы по вашему желанію, выйти замужъ за молодого человѣка, подающаго большія надежды, вдругъ увлеклась-бы какимъ-то невѣдомымъ нищимъ-сербомъ и отправилась съ нимъ освобождать Сербію отъ Турціи, или, еще того лучше, подобно Лизѣ «Дворянскаго Гнѣзда», полюбила-бы вдругъ женатаго человѣка. И я все-таки вамъ скажу, что хотя я и не раздѣлялъ-бы вашихъ мнѣній, но все-таки уважалъ-бы въ васъ послѣдовательность, еслибы вы при подобныхъ случаяхъ открыто и честно встали-бы на сторону рутинной морали и стали-бы обсуждать поступокъ вашей жены или дочери прямо съ точки зрѣнія этой морали, нисколько не прикрываясь личиной мнимаго либерализма и не дѣлая никакихъ изворотовъ съ цѣлью примирить тенденціи ветхихъ кодексовъ съ новыми гуманными убѣжденіями: такъ относительно поступка жены вы-бы мнѣ заявили, что вѣдь никто ее не неволилъ идти за васъ, а разъ сдѣлала этотъ шагъ, дала роковой обѣтъ передъ Богомъ, людьми и вами, то должна свято соблюдать его, потому что на этомъ основаніи зиждется вся семейная нравственность; или же относительно дочери: «она моя дочь, я ее произвелъ на свѣтъ, возлелѣялъ, воспиталъ, сколькихъ она мнѣ стоила заботъ, денегъ. За это все она обязана безропотно повиноваться мнѣ, тѣмъ болѣе, что я, какъ человѣкъ опытный, лучше могу судить объ ея счастіи, чѣмъ она, ребенокъ, не знающій ни людей, ни жизни!» Такія сужденія могли-бы казаться мнѣ рутинными, пошлыми, но, еще разъ повторяю, я уважалъ-бы въ нихъ прямодушную честность. А то нѣтъ: я убѣжденъ, что вы ничего подобнаго мнѣ не скажете, что вы съумѣете въ вашемъ негодованіи на измѣнницу жену и непослушную дочь опереться на идеи самаго новѣйшаго чекана и произнесете приговоры тѣмъ болѣе жестокіе, что они будутъ облечены во всѣ аттрибуты сегодняшняго прогресса. Изъ вашихъ словъ окажется, что не вы рутинеръ въ вашей злобѣ, а, напротивъ того, ваша жена и дочь являются отступницами отъ пути прогресса и гуманности, а вы конечно несчатная жертва подобнаго ренегатства. Вотъ тутъ-то и начинается чудовищный сумбуръ старой рутины и новыхъ взглядовъ господствующій въ нравственныхъ приговорахъ не только пошлой, уличной толпы, но весьма

часто людей, считающихъ себя передовыми мыслителями вѣка. Почему ваша жена измѣнила вамъ? О конечно, потому что, путемъ-ли наслѣдственности или дурного воспитанія, она пріобрѣла такія барскія привычки, что для нея невыносимо постоянство труженической жизни, упорство въ разъ предначертанномъ пути. Ея слабые нервы утомляются однообразіемъ впечатлѣній, требуютъ постоянно новыхъ и сильныхъ возбужденій. Трудовые будни для нея каторга; ей необходимъ въ жизни постоянный праздникъ свѣтскихъ развлеченій съ музыкой, танцами и безпрестанной перемѣной декорацій. Или-же ваша жена измѣнила вамъ просто, потому что отъ природы она такая ужъ безхарактерная дряблая натура, что достаточно было перваго искушенія и небольшихъ усилій со стороны обольстителя, чтобы свести ее съ того честнаго и разумнаго пути жизни, который она избрала съ вами. Такимъ образомъ и выходитъ въ концѣ концовъ, что правда, свѣтъ, истина на вашей сторонѣ, вы олицетворяете въ своемъ лицѣ новый идеалъ честнаго энергическаго труженика, постояннаго въ своихъ убѣжденіяхъ, цѣляхъ, привязанностяхъ. Жена-же ваша представляетъ изъ себя конечно отживающій типъ изнѣженнаго, легкомысленнаго, растлѣннаго барства. Точно также и относительно дочери: поступокъ ея конечно ничѣмъ другимъ нельзя объяснить, какъ недостаточнымъ проникновеніемъ началами реализма. Очевидно въ ней много мечтательнаго романтизма, который помѣшалъ ей трезво обдумать свой поступокъ, понять всю безразсудность любви къ женатому человѣку или увлеченія какимъ-то сербомъ и мечтой избавленія Сербіи изъ-подъ ига турокъ, иначе она конечно предпочла-бы Паншина, этого практическаго реалиста до мозга костей, и ужъ конечно, выйдя за него замужъ, могла-бы принести неизмѣримо болѣе пользы обществу, чѣмъ своимъ безразсуднымъ шагомъ. Такимъ образомъ и здѣсь на вашей сторонѣ оказывается прогрессивное начало въ видѣ трезваго реализма, а на сторонѣ вашей дочери — отжившее начало мечтательнаго романтизма.

Причина подобнаго сумбура во всѣхъ нашихъ нравственныхъ сужденіяхъ очень понятна. Вы должны знать, что презираемая вами рутинная, пошлая, узкая мораль не съ неба же свалилась въ самомъ дѣлѣ и не навязана она вамъ какимъ-нибудь господиномъ, который сочинилъ ее на досугѣ отъ нечего дѣлать, но къ сожалѣнію былъ такъ слабоуменъ, что не могъ придумать ничего лучшаго. Мораль эта коренится въ основахъ быта, завѣщаннаго вамъ отцами и дѣтьми, и извлекается изъ всѣхъ условій окружающей васъ жизни. Она и эти условія—одно и то же. Естественно поэтому, что, пока будутъ продолжать существовать эти условія, нечего и думать о возможности существованія какой-либо иной морали, кромѣ выходящей изъ нихъ, и какими-бы гуманными и свѣтлыми идеями вы ни задавались, онѣ постоянно будутъ витать въ отвлеченной сферѣ, если у васъ не хватаетъ ни силы, ни энергіи, ни умѣнья создать такія условія жизни, которыя соотвѣтствовали-бы вашимъ гуманнымъ идеямъ. До тѣхъ поръ, какъ ни презирайте пошлую мораль, жизнь роковымъ, неизбѣжнымъ путемъ приведетъ васъ такъ къ ней не въ томъ, такъ въ другомъ случаѣ, и вы сами не замѣтите, какъ взгляды на конкретные факты у васъ разойдутся съ общими отвлеченными теоріями. И еще-бы: пока въ жизни господствуютъ условія, соотвѣтствующія пошлой морали, каждое отступленіе отъ этихъ условій, каждый истинно-свободный шагъ въ жизни представляется не иначе, какъ въ видѣ протеста противъ этихъ условій. А разъ вы подчиняетесь господствующимъ условіямъ и сами всѣмъ своимъ существованіемъ входите въ ихъ систему, то конечно каждый вышеозначенный протестъ есть протестъ противъ васъ самихъ, хотя-бы даже и не касался прямо и непосредственно вашей особы. Зрѣлище каждаго свободнаго человѣческаго шага неминуемо должно возбуждать въ васъ не то зависть, не то упрекъ, и вы конечно для успокоенія своей совѣсти и оправданія своей постыдной трусости не замедлите подыскать всѣ доводы въ пользу того, что истинно благоразумный человѣкъ,—такой конечно, какъ вы, никогда-бы на подобный рискованный шагъ не покусился, что шагъ этотъ ни къ какимъ полезнымъ результатамъ не приведетъ, что онъ вызванъ вовсе не естественной и разумной потребностью, а мечтательной утопичностью, вмѣстѣ съ желаніемъ показать себя, порисоваться и проч.,и проч. Всѣ подобные доводы вы конечно постараетесь построить на самыхъ новѣйшихъ теоріяхъ, но въ существѣ будетъ скрываться та же пошлая мораль въ видѣ тайнаго желанія съ вашей стороны, чтобы ближній вашъ жилъ, подобно вамъ, тише воды, ниже травы, ни на шагъ не отступая отъ проторенныхъ дорожекъ. Если смѣльчакъ, покусившійся на самостоятельный шагъ, близкій вамъ родственникъ или нѣжно любимый другъ, къ зависти присоединится еще чувство страха за любимаго вами человѣка, и естественно почему: люди подчиняются рутинной морали не изъ одной только любви къ ней или привычки, но также и изъ чувства самосохраненія. Мы уже говорили выше, что каждое отступленіе отъ правилъ рутинной морали является не иначе, какъ въ видѣ протеста противъ господствующихъ условій жизни, и каждый такой протестъ, хотя-бы самаго невиннаго и безобиднаго качества, представляется толпѣ не иначе, какъ покушеніемъ на подорваніе нравственныхъ началъ, развратомъ, преступленіемъ, заслуживающимъ если не кары закона, то осужденія общественнаго мнѣнія. Въ силу этого каждый самостоятельный шагъ въ жизни не по проторенным дорожкамъ ведетъ за собой неминуемо цѣлый рядъ непріятностей болѣе или менѣе крупнаго свойства. Вы же, не чая души въ вашемъ родственникѣ или другѣ, желаете ему конечно всякаго счастія, благополучія и избѣжанія какихъ-либо непріятностей. И вотъ начинаются съ вашей стороны отговариванья отъ рѣшительнаго шага во имя любви и дружбы. Отговаривать вы можете опять-таки на основаніи самыхъ новѣйшихъ и либеральнѣйшихъ теорій, но въ результатѣ будетъ все-таки желаніе, чтобы другъ вашъ не дѣлалъ рѣшительнаго шага, т. е. не отступалъ отъ правилъ уличной морали. При этомъ вамъ конечно и въ голову не придетъ, что вашъ ближній, какъ человѣкъ, имѣетъ право сво-

боднаго выбора, что взгляды на счастье могутъ быть различны до безконечности, что можетъ быть то благополучіе, которые вы прочите другу, горше для него всѣхъ тѣхъ непріятностей, какія могутъ его постигнуть за рѣшительнымъ шагомъ, и что въ этомъ рѣшительномъ шагѣ можетъ быть онъ видитъ такое счастіе, за которое онъ готовъ вынести не только всѣ предстоящія опасности, но и мучительную смерть...

До сихъ поръ я считалъ васъ только зрителемъ постороннихъ протестовъ. Но представьте вы себѣ, что протесты направлены прямо противъ васъ и мѣтятъ вамъ не въ бровь, а въ самый глазъ. О, тутъ вы навѣрное окунетесь уже по уши въ презираемую вами рутинную мораль, и даже не въ ту древлеписанную, общечеловѣческую мораль, которая прописывается на прописяхъ, а мораль еще болѣе узкую: сословную, чиновничью или фельдфебельскую. Но между тѣмъ обратите вниманіе на то, что подобные, направленные противъ васъ, протесты не исчерпываются одними экстраординарными случаями, вродѣ тѣхъ, о которыхъ мы говорили на предыдущихъ страницахъ. Помимо ихъ существуютъ въ жизни ежедневно и ежечасно тысячи мелкихъ, незамѣтныхъ протестиковъ, колющихъ васъ со всѣхъ сторонъ, и какъ повидимому ни ничтожны эти уколы, въ массѣ и они оказываютъ свое вліяніе и чуть ли даже не большее, чѣмъ протесты крупные и экстраординарные. Такъ напримѣръ, вы нанимаете работника. Не желая выдѣляться изъ среды и повинуясь закону предложенія и спроса, вы конечно заботитесь нанять слугу какъ можно дешевле и наложить на него какъ можно болѣе обязанностей. Но положимъ даже, что вы этого не дѣлаете, положимъ, что вы, уступая вашимъ гуманнымъ убѣжденіямъ, платите работнику рублемъ, двумя дороже установленной цѣны и требуете съ него менѣе труда, чѣмъ за установленную цѣну обыкновенно полагается, даете ему сверхъ того другія разныя льготы. Но при всѣхъ этихъ уступкахъ положеніе все-таки остается ненормальнымъ: хотя вы и гуманный господинъ, но все-таки господинъ, пользующійся львиной долей, а работникъ вашъ хотя и пользуется бо̀льшимъ, чѣмъ всѣ его собратья, все-таки пользованье ограничивается однѣми крупицами его труда. А между тѣмъ у васъ закрадывается уже въ душу тайное желаніе получить возмездіе за вашу гуманность въ видѣ признательности со стороны работника. По справедливости судя, еслибы вы раздѣлили съ работникомъ весь барышъ труда или если работника, являющагося въ видѣ домашняго слуги, пріобщили бы къ своему семейству,—и въ такомъ случаѣ вы только воздали бы должное и не заслуживали-бы ни малѣйшей благодарности. Но таково ужъ дѣйствіе рутины господствующихъ условій, что хотя бы теоретически вы и вовсе не желали особенныхъ изъявленій благодарности со стороны работника, но невольно вамъ будетъ казаться, что за два лишніе рубля непремѣнно вы должны обрѣсти со стороны работника и бо̀льшую благосклонность къ вамъ, и бо̀льшее усердіе въ работѣ.—А между тѣмъ въ дѣйствительности вы можете не только не обрѣсти ничего подобнаго, а, напротивъ того, наткнуться на цѣлый рядъ неожиданныхъ протестовъ. Окажется вдругъ, что лишнихъ два рубля нисколько не измѣнили работника въ отношеніи къ вамъ: попрежнему онъ сухъ съ вами и даже грубъ, не оказываетъ ни малѣйшаго усердія къ работѣ, старается, напротивъ, сдѣлать какъ можно меньше за ту же плату, да вдобавокъ еще вдругъ вы замѣчаете въ немъ, что онъ не прочь что нибудь и стянуть у васъ, что плохо лежитъ. Вы конечно приходите въ негодованіе: какъ, такъ вотъ что обрѣли вы вмѣсто ожидаемой признательности за вашу гуманность!.. Но чего же вы хотите тогда? — Вѣдь на основаніи вашихъ же гуманныхъ убѣжденій вы должны оправдать въ работникѣ и грубость, и лѣность, и даже воровство. Что же выражаютъ всѣ эти безнравственныя качества въ работникѣ, какъ не то, что онъ не осиновый чурбанъ, не машина, которая отъ васъ ничего не требуетъ, какъ только чтобы вы подкладывали подъ нее огонь, и готова работать на васъ съ размѣренной аккуратностью. Нѣтъ, это живой человѣкъ, протестующій противъ вашей несправедливости, хотя бы и въ самой грубой, первобытной формѣ;—живой человѣкъ, ищущій удовлетворенія своихъ живыхъ человѣческихъ потребностей, хотя бы и незаконнымъ путемъ. Еслибы вы захотѣли быть послѣдовательными вашимъ прогрессивнымъ убѣжденіямъ, то конечно вы должны были бы съ бо̀льшимъ уваженіемъ относиться къ работнику, который вамъ нагрубитъ и обокрадетъ васъ, чѣмъ къ такому, который, какъ бы вы его ни обсчитывали, будетъ все-таки работать на васъ, какъ волъ, и не только относительно вашего добра будетъ проявлять безукоризненную честность, но еще будетъ преисполненъ подобострастной признательности къ вамъ, доходящей до того, что при случаѣ готовъ будетъ положить жизнь за ваше добро и за васъ самихъ.—Но признайтесь, положа руку на сердце, что вы конечно предпочтете имѣть у себя въ работникахъ человѣка послѣднихъ качествъ, чѣмъ первыхъ, признайтесь, что относительно цѣлаго класса людей вы не имѣете иного идеала, какъ въ видѣ людей, которые работали бы, какъ волы, будучи совершенными безсребренниками, были бы безукоризненно честными къ вашей собственности и подобострастно-признательными къ вашей личности... Какъ бы вы были счастливы, еслибы весь этотъ классъ людей состоялъ изъ такихъ идеальныхъ личностей! Вотъ и подумайте, въ какомъ же духѣ всѣ подобныя благочестивыя желанія, какъ не въ духѣ самой рутинной морали?—Вы можете опять-таки скрыть не только отъ людей, но и отъ себя всю пошлость этой морали. Вы конечно зажмурите глаза на суть дѣла и антипатичныя вамъ качества работника начнете объяснять разными побочными причинами, вродѣ недостатка образованія въ простомъ человѣкѣ. Найдя такое объясненіе, вы проникнитесь прогрессивными заботами о распространеніи образованности въ массахъ, мечтая, что когда эта образованность распространится, то конечно работникъ встанетъ на почву законности, перестанетъ грубить, воровать, будетъ безукоризненно честенъ и трудолюбивъ, однимъ словомъ, познаетъ тогда все, что̀ пишется на прописяхъ: и что праздность есть мать всѣхъ пороковъ, и что за признательность и честность человѣкъ получаетъ награду въ сознаніи

чистоты своей совѣсти, и что сребролюбіе и строптивость суть дѣти ада, и что чужое добро въ прокъ не пойдетъ и пр. и пр., Вѣдь вы о подобномъ образованіи конечно только и мечтаете, проектируя даже особенныя заведенія для выдрессировки такой идеальной прислуги, которая не возмущала бы вашего олимпійскаго спокойствія никакими дрязгами...

Такимъ образомъ рутинная, пошлая мораль пребываетъ въ непоколебимомъ господствѣ, прикрываясь ради приличія передъ прогрессомъ разными либеральными тенденціями... Подобнаго рода прикрытіемъ служатъ въ настоящее время два рода тенденцій: съ одной стороны такъ-называемый практически-трезвый реализмъ, съ другой — демократическія убѣжденія.

Практически-трезвый реализмъ, заставляя васъ постоянно вопрошать почему и зачѣмъ и рѣшать глубокомысленные вопросы о томъ, что разумно, цѣлесообразно и что неразумно и нецѣлесообразно, естественно воздерживаетъ васъ отъ всякихъ увлеченій, отъ всякаго подчиненія стихійнымъ жизненнымъ силамъ, которыя вдругъ вздумали-бы вырваться изъ подъ гнета рутинной обыденности и пожалуй погубить васъ безъ всякой пользы. Практически-трезвый реализмъ, имѣя въ виду прежде всего пользу, и одну только осязательную, разумную пользу, учитъ васъ, что какія-либо попытки къ проведенію въ жизни болѣе разумной и естественной нравственности невозможны до тѣхъ поръ, пока всѣ люди не сдѣлаются трезвыми реалистами. До тѣхъ поръ всякое отступленіе отъ обыденной рутины жизни есть только смѣшное донъ-кихотство, не только не способствующее, но мѣшающее дѣлу насажденія трезваго реализма. Такимъ образомъ, чтобы не мѣшать дѣлу насажденія, вамъ остается только быть благонравнымъ по всѣмъ правиламъ рутинной морали и, будучи тише воды, ниже травы, заботиться только объ одномъ: о распространеніи практически-трезваго реализма въ обществѣ. Естественно, что подъ знамя подобнаго практически-трезваго реализма стекается все малодушно-трусливое, дряблое, все желающее почить въ мѣщанскомъ благодушіи, и невинность соблюдя, и капиталъ пріобрѣтя.

Подъ сѣнью демократическихъ убѣжденій тоже ищетъ въ нынѣшнее время прибѣжища всевозможная рутина.—Малѣйшее проявленіе протеста живой природы противъ оковъ обычая такъ нынѣ рѣдко, что поневолѣ выдается, а все выдающееся нѣтъ ничего легче по аналогіи подвести подъ проявленіе барства, подъ желаніе высокомѣрно выставиться впередъ, порисоваться. И вотъ каждая ничтожная тряпица спѣшитъ задрапировать свою никуда-негодность въ благолѣпіе народныхъ идеаловъ. Я—человѣкъ толпы, говоритъ современный Молчалинъ устами героевъ Михайлова, я въ герои не лѣзу. Мой единственный идеалъ зарабатывать въ потѣ лица свой хлѣбъ, какъ послѣдній работникъ, и я этимъ горжусь. И можете что угодно вамъ дѣлать съ подобнымъ современнымъ героемъ негеройства, можете попрать кровный трудъ его подъ ногами своими, лишить его послѣдняго куска хлѣба, плюнуть ему въ глаза, онъ все будетъ гордиться тѣмъ, что онъ человѣкъ народа и, какъ овца, все проститъ вамъ, потому что идеалъ его—скромная, безъискусственная простота и христіанское незлобіе человѣка народа. А затѣмъ, глядишь, вдругъ въ одинъ прекрасный день нашъ человѣкъ народа окажется крупнымъ капиталистомъ. Какъ это случилось? Очень просто! какъ человѣкъ народа, герой нашъ не имѣлъ барской привычки расточительности, онъ всегда презиралъ роскошь и былъ самымъ строгимъ ригористомъ; какъ пролетарій, онъ непрестанно памятовалъ о шомажѣ и припрятывалъ лишнюю копейку на черный день. Такъ путемъ, какъ видите, вполнѣ идеальнымъ онъ и обогатился,—и невинность соблюдя, и капиталъ пріобрѣтя.

III.

Въ сочиненіяхъ Потѣхина преобладаютъ демократическія тенденціи. Образованные слои общества онъ по большей части обрисовываетъ съ тѣхъ отрицательныхъ сторонъ, съ которыхъ они изображались беллетристикою пятидесятыхъ годовъ, т. е. со стороны праздности, изнѣженности, безхарактерности, высокомѣрія, чванства и пр. Положительные типы, высокіе нравственные идеалы онъ ищетъ преимущественно въ народѣ. Въ этомъ и заключается стремленіе Потѣхина идти впереди вѣка и тотъ либерализмъ, который бросается вамъ въ глаза съ перваго взгляда.

Но стоитъ только вглядѣться попристальнѣе и вдуматься, какого-же рода положительные типы находитъ Потѣхинъ среди народа и какіе нравственные идеалы навязываетъ ему, и вы увидите, что идеалы эти мало того, что въ духѣ прописной морали, по зачастую даже въ духѣ узко-сословномъ, т. е. Потѣхинъ представляетъ себѣ идеальныхъ крестьянъ въ такомъ видѣ, въ какомъ конечно для большинства благомыслящихъ россіянъ желательно, чтобы они были.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмите хотя-бы повѣсть Потѣхина изъ народнаго быта — «Титъ Софронычъ Казанокъ», помѣщенную во второмъ, томѣ его сочиненій.

Въ повѣсти этой Потѣхинъ выводитъ передъ нами идеальнаго пчеловода Григорія сына Тита Казанка:

«Славный былъ мужикъ этотъ Григорій, говоритъ Потѣхинъ:—умный, смышленый, зажиточный, хорошо велъ свои дѣла, отлично торговалъ. Главный промыселъ его было пчеловодство, и ужъ ни у кого нельзя было достать такого чудеснаго меда, самотека и прозрачнаго, какъ янтарь, и обсахареннаго, какъ крѣпкое мороженое. Какой хотите—спросите: цвѣточный-ли, липовый, или хлѣбный—ни одинъ изъ нихъ не уступитъ другому. Дѣлалъ онъ и воскъ превосходный: не то, что красный или желтый, нѣтъ! а такой чистый, такой бѣлый, какъ слоновая кость. И все это производилось не въ маломъ количествѣ. Вѣдь у Григорія было ульевъ пятьдесятъ, такъ что весь садикъ былъ заставленъ ими...»

«Трудамъ Григорія, казалось, покровительствовала сама судьба. Вотъ напримѣръ роится рой надъ деревней, густой тучей несется онъ, жужжа и извиваясь. Всякій мужикъ, у котораго есть хоть одинъ улей, бѣжитъ въ свой огородъ, надѣясь, что авось-либо ему выпадетъ такое счастье—привьется даровой рой; глаза всякаго подняты къ верху и жад-

но слѣдятъ за двигающейся живой массой. Вотъ рой остановился надъ однимъ чьимъ-то садомъ, вьется, жужжитъ, нѣкоторыя пчелы сѣли уже на плетень, на рябину, владѣтель сада внутренно торжествуетъ: закутанный въ вывороченную шубу, съ сѣткой на лицѣ и въ рукавицахъ, онъ усердно колотитъ палкой въ сковороду, надѣясь дребежжащими звуками этого оригинальнаго инструмента привлечь весь рой... но напрасно: маткѣ почему-то не нравится этотъ садъ, а можетъ быть не нравится и самъ хозяинъ, предлагающій гостепріимство, быстро поднимается она къ небу, а за нею несется и весь рой съ сердитымъ жужжаньемъ.

— Что, братъ, не привился? спрашиваетъ одинъ владѣтель другого.

— Да, дожидайся: привьется къ намъ! Смотри, коли не опять Григорію счастье.

И они не ошибаются. Дѣйствительно, рой покрываетъ плетень его сада, облѣпляетъ со всѣхъ сторонъ или черемуху, или яблонь. Григорій осторожно беретъ матку, сажаетъ ее въ стеклянный маточникъ, послѣдній ставитъ въ улей, и весь рой летитъ вслѣдъ за маткой.

Такимъ образомъ Григорій съ новымъ даровымъ ульемъ. А это хорошая примѣта: замѣчено, что рой не привьется никакъ къ мужику несчастному, или пьяницѣ, или неряхѣ. Спросите любого пчеловода изъ крестьянъ; онъ также станетъ васъ увѣрять въ этомъ. Да еще не только не привьется новый рой, а и старые-то ульи опустѣютъ, если мужикъ поведетъ дѣло не честно...»

Какъ ни курьезно подобное участіе со стороны пчелъ въ нравственности людей, пристрастіе ихъ къ людямъ честнымъ и антипатія къ пьяницамъ, неряхамъ и обманщикамъ; но положимъ, что Потѣхинъ тутъ не причемъ, онъ только передаетъ конечно народное повѣрье. Вы-можетъ быть пожелаете знать, что-же разумѣютъ пчелы подъ честностью и безчестностью мужиковъ? Можетъ быть честность пчеловодовъ въ предѣлахъ своего ремесла относительно другихъ пчеловодовъ, отсутствіе всякихъ продѣлокъ для привлеченія пчелъ въ свои ульи и отвлеченія ихъ отъ другихъ? А вотъ читайте далѣе и увидите:

«Да вотъ, не далеко идти. У Григорія сосѣдъ, такъ, мужиченка несправедливый, нечестный, вздумалъ было, по его примѣру, завести у себя ульи. Ну, пошелъ къ помѣщику и говоритъ ему: «денегъ, говоритъ, у меня, батюшка, нѣтъ, дѣлишки, говоритъ, мои плоховаты, а знаешь ты, что куда какъ выгодно въ нашемъ краю завести ульи; ссуди, говоритъ меня деньженками, будь отецъ родной. Къ дѣлу, говоритъ, этому я присмотрѣлся, и знаю, какъ его повести: куплю улья три, буду получать съ нихъ пуда три меда, половину отдавать тебѣ, а потомъ, какъ Богъ сподобитъ, дѣло пойдетъ хорошо, еще прикуплю ульевъ, что-бы ни сталъ получать меду—все одна половина тебѣ.» Баринъ согласился, далъ денегъ, и мужикъ купилъ улья. Первый годъ, что ни собралъ меду, половину отдалъ барину исправно, на другой годъ сборъ былъ также хорошъ, но мужику жаль стало отдавать половину, и онъ принесъ барину меньше противъ условія, а на третій годъ и ничего не далъ барину: сказалъ, что годъ былъ не хорошъ, мокрый, и цвѣту было мало, да и цѣлый улей у него вымеръ; ну, словомъ, наговорилъ ему турусы на колесахъ. Что же вы думаете? Года черезъ три послѣ того у него всѣ до одного улья опустѣли! Такъ, если у Григорія пчеловодство шло такъ успѣшно, значитъ, онъ былъ мужикъ добрый и честный. И это совершенно справедливо. За то какой и почетъ былъ Григорію! Поѣдетъ, бывало, на ярмарку съ медомъ или воскомъ, такъ тамъ всѣ рядовичи и даже богатые купцы, да и самъ иной баринъ попроще, да подобрѣе, который ужъ не черезъчуръ деликатенъ, величаютъ да чествуютъ его, не то что какого нибудь простого мужика, а всѣ съ нимъ съ отчества: Григорій Онуфричъ, да Григорій Онуфричъ. И всякій ему поклонится, и всякій добрымъ словомъ взыщетъ, а иной и чаемъ напоитъ, потому что Григорій никогда никого не обманывалъ, и всѣ, кто имѣлъ съ нимъ дѣло, считали его мужикомъ честнымъ и всегда благодарили за его хорошій товаръ.»

Какъ вамъ нравится вся эта выдержка? Оказывается, что и пчелы въ добрыя старыя времена имѣли совершенно своеобразныя понятія о нравственности. Мужикъ весь вѣкъ платилъ барину; баринъ однажды только заплатилъ мужику на обзаведеніе конечно ничтожную часть того, что онъ отъ него уже перебралъ. При этомъ замѣтьте, онъ далъ мужику денегъ не даромъ, а на условіяхъ по истинѣ жидовскихъ, чтобы мужикъ, сколько-бы у него потомъ ульевъ ни было, отдавалъ постоянно барину половину меду. Казалось-бы, что тутъ не могло и рѣчи быть о какой-либо нравственности. Естественно, что мужикъ, сгоряча самъ предложивши подобныя тягостныя условія, потомъ спохватился, ему стало жаль своего добра и, не находя иного исхода избавиться отъ подобныхъ поборовъ, прибѣгъ къ утайкѣ. Подобнаго рода утайки со стороны крестьянъ не были какимъ-либо исключеніемъ во времена крѣпостного права. На нихъ, можно сказать, держался весь крестьянскій міръ и безъ нихъ крестьяне задолго до освобожденія обнищали-бы до послѣдней крайности. Поэтому тутъ и немыслимъ вопросъ о нравственности или безнравственности; — тутъ шла борьба за существованіе; прилагать здѣсь мѣрки какой-либо морали также нелѣпо, какъ напримѣръ хотя въ такомъ случаѣ, что нравственно или безнравственно дать затрещину человѣку, напавшему на васъ въ лѣсу съ ножемъ въ рукахъ. Но, по мнѣнію Потѣхина, это не такъ: оказывается, что въ добрыя старыя времена помѣщики имѣли подъ рукой не однихъ только управляющихъ, бурмистровъ или старостъ для сбиранія недоимокъ, но сама природа со всѣми своими тварями земными и небесными заботилась объ ихъ интересахъ, и гдѣ не досматривало барское око, тамъ пчелы брали подъ свое покровительство барина и съ ужасомъ улетали отъ мужика, осмѣлившагося не уплатить сполна барину оброка. Хорошо также и окончаніе представленной нами выдержи на тему: будь честенъ, никого не обманывай и всѣ тебя будутъ величать по имени и отечеству и чайкомъ напоятъ. Такъ и просится это мѣсто въ какой-нибудь «Грамотѣй», «Солдатскій досугъ» и прочіе журналы, издающіеся для народа ради развитія въ немъ нравственности.

IV.

Не меньшимъ курьезомъ отличается повѣсть «Два охотника» (см. «Сочин. А. Пот.» т. I). Въ этой повѣсти Потѣхинъ вывелъ параллель двухъ охотниковъ, идущихъ въ рекруты за своихъ братьевъ. Изъ нихъ одинъ охотникъ оказывается безнравственнымъ, другой—идеально-добродѣтельнымъ.

Начнемъ съ характеристики безнравственнаго, по порядку изложенія самой повѣсти.

Въ деревнѣ Аришкинѣ жилъ богатый мужикъ Порфиръ Макарычъ, торговый, промышленный и хозяинъ хорошій, по словамъ Потѣхина. У него было четверо сыновей. Пока онъ былъ крѣпостной, онъ откупалъ своихъ дѣтей отъ очередей, принося помѣщику въ видѣ взятки посильную дань руб. по 300, а разъ пожертвовалъ даже своимъ меньшимъ сыномъ Степкою и отдалъ его барину во дворъ въ повара. Но вотъ пришла воля, откупиться отъ мірского приговора уже было не у кого, и его семья попала въ очередь. Между тѣмъ младшій сынъ его Степанъ, сдѣлавшись поваромъ, отошелъ отъ господъ послѣ воли, женился на дворовой дѣвушкѣ и проживалъ на частныхъ мѣстахъ, а когда у него не случалось мѣста, то пріѣзжалъ къ отцу на побывку. Потѣхинъ характеризуетъ его слѣдующимъ образомъ:

«Степка оказался парень рослый, толстый, рыжій. Отдали его въ ученье сначала къ своему повару, но тотъ только билъ его и ходилъ пить водку къ Порфиру за ученье сына; потомъ его нашли нужнымъ отдать къ повару сосѣдняго помѣщика на выучку, тамъ его тоже болѣе били, чѣмъ учили; но черезъ три-четыре года Степка, еще болѣе рослый, еще болѣе толстый и такой же рыжій, уже дѣйствовалъ въ качествѣ повара на кухнѣ своего барина. Поваръ онъ былъ плохой, но нрава оказался оригинальнаго: съ веселостью и сонливостью соединяя кровожадность, чувствовалъ особенное удовольствіе при видѣ чужихъ страданій; спать же могъ до 20 часовъ въ сутки. Рубя котлетки или отбивая мясо, онъ всегда въ тактъ припрыгивалъ и подпѣвалъ; забѣгавшихъ въ кухню собакъ и кошекъ ошпаривалъ кипяткомъ, а курицъ всегда щипалъ живыхъ и потомъ уже рѣзалъ; однажды совсѣмъ живого, но и совсѣмъ ощипаннаго индѣйскаго пѣтуха посадилъ на ворота, къ общему удовольствію всей дворни, хохотавшей надъ этой шуткой до упада. Барыня разъ брала его съ собой въ Москву; тамъ его ничего не удивило, не заняло и не поразило; все время пребыванія барыни въ столицѣ онъ проспалъ и только два раза куда-то пропадалъ; оказалось, что онъ ходилъ смотрѣть, какъ наказывали преступниковъ плетями, и потомъ разсказывалъ объ этомъ зрѣлищѣ съ особеннымъ удовольствіемъ и веселымъ смѣхомъ.»

Такимъ злодѣемъ съ наклонностями къ палачеству предстаетъ передъ нами безнравственный охотникъ. Его-то, какъ человѣка отрѣзаннаго отъ семьи и ненужнаго, начинаетъ уговаривать Порфиръ Макарычъ вмѣстѣ со своей семьей идти въ солдаты за братьевъ. Степанъ сначала конечно ломается, но потомъ соглашается за 300 рублей да гулянку. Начинается гулянка самаго безобразнаго свойства. Вотъ какими красками описана эта гулянка у Потѣхина:

«Заходитъ Степанъ въ кабакъ. Поитъ тамъ каждаго встрѣчнаго, или переколотитъ всѣхъ, кто подъ силу пришелся, или пойдетъ цѣловаться съ кѣмъ-нибудь, да и укуситъ до крови—за все это отвѣчай, какъ знаютъ, отецъ и братья, а его дѣло гулять: онъ охотникъ, за братьевъ охотой идетъ.

Вся семья глазъ не сводитъ со Степана, кто-нибудь изъ братьевъ слѣдитъ за каждымъ его шагомъ, чтобы, храни Богъ, какъ не набѣдилъ, да не попалъ подъ судъ, тогда и въ солдаты не примутъ; и вся семья исполняетъ каждую его прихоть, чтобы какъ не прогнѣвался, да не раздумалъ идти за братьевъ. А Степанъ это чувствуетъ, понимаетъ и ломается надъ семьей, сколько разуму стаетъ. Идетъ пьяный изъ кабака, нарочно повалится въ самую грязь, въ лужу, пересрамитъ всю одежду, да и не встаетъ, самъ идти не хочетъ, неси братъ на себѣ. И тащутъ эту тушу братья на себѣ, дѣлать-то нечего: охотникъ, за нихъ охотой идетъ. Еще на другой день новаго платья потребуетъ: это не хорошо, все выгрязнилось. Подходитъ Степанъ къ забору, рядомъ калитка. Не хочу идти въ калитку: разбирай заборъ—и разбираютъ Пріѣхалъ Степанъ съ катанья, съ пѣніемъ и музыкой подкатилъ къ крыльцу, братъ-кучеръ промокъ до костей, лошаденки подводятъ бока, раздышаться не могутъ, качаются, а Степанъ изъ кибитки нейдетъ, пусть снохи на рукахъ вынутъ и на лѣстницу внесутъ. Нечего дѣлать: тащатъ бабы десятипудоваго парня, а братья скоса только посматриваютъ на замученныхъ лошадей, да вздыхаютъ, а говорить нельзя: разсердится братецъ-охотникъ.

Пришелъ Степанъ домой, въ избу—пошелъ дымъ коромысломъ. Все не по немъ, все не такъ и не этакъ, и вся семья ему служитъ съ подобострастіемъ и раболѣпствомъ; заставитъ братьевъ и ихъ женъ плясать—и пляшутъ, заставитъ пѣсни пѣть—поютъ, вздумаетъ ни съ того, ни сего за волосы потаскать, или поколотить—даются, только развѣ про себя бормочутъ: «вотъ, дьяволъ, куда и сонъ прошелъ, и не дрыхаетъ теперь, и день, и ночь куражитъ!» Отецъ ужъ отъ грѣха изъ дома уходитъ, чтобы какъ изъ терпѣнья не выдти, да не поколотить охотника. А тому и на руку: видитъ, пришло его время. Созоветъ со всей деревни и изъ сосѣднихъ всѣхъ назначенныхъ въ рекрута — и пьянствуетъ съ ними, оретъ пѣсни цѣлую ночь, а вся семья служитъ, спать никто уйти не смѣетъ. Не узнаешь мирнаго, скромнаго и скупого Порфирова дома.»

Да не подумаетъ читатель, чтобы въ подобныхъ безобразіяхъ я находилъ что-либо нравственное съ точки зрѣнія какой-бы то ни было морали, пошлой или непошлой. Но я еще разъ повторяю,— есть такія явленія въ жизни, являющіяся неотразимыми слѣдствіями причинъ, для которыхъ какія-либо нравственныя мѣрки рѣшительно неприложимы, а если и приложимы, то приложеніе это является совершенно безплоднымъ и ничего не доказывающимъ въ равной степени, какъ еслибы кто пытался опредѣлить качество полотна, ограничившись тѣмъ, что смѣрилъ-бы его аршиномъ. Моралисты тѣмъ и несостоятельны, что они всѣ свои сужденія основываютъ обыкновенно на послѣднемъ явленіи послѣдняго дѣйствія драмы, и въ этомъ отношеніи они неизмѣримо хуже юристовъ, потому что послѣдніе, хотя въ свою очередь признаны обсуждать послѣднія явленія послѣднихъ дѣйствій, но все-таки принимаютъ въ соображеніе и всѣ прочія дѣйствія, допуская вслѣдствіе этого смягчающія обстоятельства, между тѣмъ какъ для моралистовъ существуетъ всегда одинъ только данный фактъ, къ которому они и прикладываютъ свои нравственныя мѣрки, имъ и дѣла нѣтъ до того, что вызвало этотъ фактъ. Видя, что разъярившійся господинъ пустилъ въ ближняго бутылкой и раскроилъ ему голову, они тотчасъ-же вопятъ о всей безнравственности выходить до такой степени изъ себя и прибѣгать къ подобной кулачной расправѣ, но при этомъ имъ и въ голову не приходитъ, что можетъ-быть обидчикъ, при всемъ безобразіи своего гнѣва, ангелъ сравнительно съ обиженнымъ, что порицаемый фактъ ничто въ сравненіи съ предшествующими фактами, вызвавшими пущеніе бутылки, какъ неудержимую реакцію.

Такъ и въ нашемъ случаѣ. Стоитъ только взглянуть на обстоятельства, предшествовавшія гулянкѣ Степана, и мы увидимъ, что безобразіе ея явилось не такъ, зря, изъ одной злой воли, а вызвано было своими уважительными причинами, и что люди, противъ которыхъ неистовствовалъ Степанъ, едва-ли были не похуже его и во всякомъ случаѣ стоили такого съ ними обращенія.

Начать съ того, что съ самаго дѣтства Степанъ въ своей семьѣ нашелъ не покровительство родного крова, не любовь и участіе, а предательство. Отецъ продалъ его барину за брата, отчудилъ его отъ семьи, бросилъ на руки чужихъ людей на побои и всякое мучительство, да къ тому-же, совершая самый актъ продажи, не упустилъ случая обидѣть его: «и приносилъ Порфиръ деньги, и приводилъ Степку, снабдивъ его что ни на есть хуже шубенкой и двумя рубашонками, за что и получилъ отъ барина строгій выговоръ и наставленіе о любви къ дѣтямъ»...

Брошенный такимъ образомъ семьей безъ всякой жалости, какъ подросшій щенокъ, послѣ всѣхъ побоевъ, которые онъ получилъ въ ученьи отъ чужихъ людей, могъ-ли Степанъ питать къ своей семьѣ хоть какое-нибудь уваженіе и дружелюбіе? И потомъ, когда онъ вышелъ на волю, сталъ жить на частныхъ мѣстахъ, то въ черные дни, когда онъ, потерявши какое-нибудь мѣсто, не зналъ куда преклонить голову, находилъ-ли онъ подъ родительскимъ кровомъ привѣтъ и радушіе? Нѣтъ, его бранилъ отецъ, попрекали братья, что онъ даромъ ѣстъ ихъ хлѣбъ, невѣстки кляли его и гоняли съ каждаго мѣста, на которое-бы онъ ни прилегъ, его наконецъ прогоняли совсѣмъ изъ дома, иди куда хочешь. И вдругъ что-же: эти люди, которые оттолкнули его изъ своей среды самымъ безчеловѣчнымъ образомъ, относились къ нему съ безцеремонностью грубаго эгоизма, дрожали за каждый кусокъ хлѣба, который онъ у нихъ съѣдалъ, и выгоняли его на голодъ и холодъ, эти люди, когда пришла до него нужда, начали всячески угождать ему, ухаживать:

«И спать ему даютъ, читаемъ мы, и кормятъ, какъ на убой, и еще не то, что попрекать кускомъ, а подчуютъ, ни на какую работу не посылаютъ, отецъ не ругается, братья не ропщутъ и не бормочатъ себѣ подъ носъ про лѣнтяя, дармоѣда брата, а жены ихъ, сношки любезныя, не только не клянутъ, не только не гонятъ съ каждаго мѣста, на которое-бы ни легъ—вишь ты, оно имъ непремѣнно понадобилось! не только не подбиваютъ противъ него всячески отца и мужьевъ, но еще—вотъ диво! ухаживаютъ за нимъ, и подчуютъ, и на печь посылаютъ, и одежу подъ голову постилаютъ, особливо двѣ молодыя снохи. Живетъ Степанъ и не нарадуется на свою жизнь привольную.»

И кончается все это ухаживанье тѣмъ, что наконецъ вся семья валяется въ ногахъ у милаго братца, прося его выручить изъ бѣды. Ужъ и не прогнѣвайтесь послѣ всего этого, если милый братецъ и отплатилъ своимъ роднымъ за всѣ прежнія ихъ ласки, и накуражился надъ ними вдоволь послѣ всѣхъ униженій и оскорбленій. И замѣтьте, что въ концѣ концовъ онъ оказывается все-таки честнѣе ихъ: онъ имѣлъ полную возможность, покуражившись и наломавшись надъ ними, отказаться отъ рекрутства, тѣмъ болѣе, что онъ второй разъ уже избавлялъ братьевъ отъ солдатчины: разъ вѣдь онъ былъ уже проданъ отцемъ за братьевъ, но онъ этого не сдѣлалъ, онъ пошелъ въ солдаты... На чьей-же сторонѣ здѣсь больше правды и великодушія? И можно-ли здѣсь прилагать какія-бы то ни было нравственныя мѣрки? Единственно, что можно здѣсь приложить, это извѣстную пословицу: что посѣяли, то и пожнете. И еслибы Потѣхинъ, будучи истиннымъ художникомъ, стоялъ выше рутинной морали, онъ конечно дальше этой пословицы не пошелъ-бы, онъ могъ ограничиться сценой гулянки и закончить ею свой очеркъ, представивши читателю самому выводить изъ него какіе угодно выводы. Но Потѣхину хотѣлось непремѣнно подвести выведенные факты подъ свои нравственные кодексы, захотѣлось провести параллель между охотникомъ безнравственнымъ и нравственнымъ съ его точки зрѣнія, и вотъ онъ далѣе въ своей повѣсти выводитъ передъ нами добродѣтельнаго охотника въ прелестномъ видѣ.

Въ сосѣдней деревнѣ Барамихѣ во время того-же самаго рекрутскаго набора очередь пала на семейство двухъ племянниковъ вышеупомянутаго Порфира—Павла и Алексѣя. Одному изъ нихъ предстояло идти въ солдаты, причемъ оба были женаты; Алексѣй женился недавно и не имѣлъ еще дѣтей, а у Павла были уже дѣти. Мірской сходъ порѣшилъ, чтобы братья кинули между собой жребій, но Алексѣй изъ великодушія согласился идти за брата безъ всякаго жребія.

Потѣхинъ характеризуетъ этого великодушнаго парня такимъ образомъ:

«Алексѣй жилъ всегда дома, былъ нерѣчистъ и на сходку изъ-за брата никогда не ходилъ; слылъ парнемъ смирнымъ, работящимъ, но не больно умнымъ.» А далѣе Потѣхинъ прибавляетъ къ этой характеристикѣ: «откуда такая тонкость, такая деликатность чувства въ простомъ, неразвитомъ мужикѣ? можетъ-ли та среда, въ которой онъ выросъ, имѣть такіе элементы? да вѣдь не даромъ онъ и слылъ на міру чуть не дурачкомъ, не даромъ во многихъ русскихъ сказкахъ, что ни дуракъ, то и умнѣе, и лучше всѣхъ...» Эта деликатность чувства заключалась въ томъ, что, пойдя за брата въ рекрута охотой и безъ всякой со стороны послѣдняго просьбы, Алексѣй потомъ предался грустнымъ размышленіямъ, почему это ему брата, отъ котораго онъ никогда добра не видѣлъ, жаль, а жены не жаль, женѣ, которая за него въ огонь рада идти, онъ зло дѣлаетъ?. «Экой грѣхъ, эка бѣда», думалъ онъ:—«жены-то я не люблю: пускай-бы непутная какая была, а то баба-то добрая, хорошая, души во мнѣ не слышитъ, жалко мнѣ ее, все-бы для нея сдѣлалъ, а поди вотъ ты, сердце къ ней не лежитъ... Не потерпитъ мнѣ Богъ за это!.. Вѣдь вотъ передъ Богомъ, въ церкви, давалъ обѣщаніе любить ее, а что дѣлаю?.. Сидитъ она, молчитъ, не глядитъ, работаетъ - ну, ничего, взгляну на нее, даже жалость возьметъ, такъ-бы и обнялъ, и приголубилъ; а начнетъ она ко мнѣ ластиться, да цѣловаться, либо теперь плакать, да приговаривать—ну, противно, не глядѣли-бы мои глаза... Что ты станешь дѣлать? и жалко мнѣ ее, и совѣсть зазритъ, а нѣтъ вотъ, не люба, не тянетъ меня къ ней...»

Но не въ этихъ однихъ размышленіяхъ заключалась деликатность чувствъ Алексѣя. Онъ проявилъ ее во время обычной гулянки новобранцевъ:

«Какъ охотникъ, какъ назначенный въ рекруты, Алексѣй по обычаю освобождался отъ всякихъ домашнихъ работъ и заботъ, и гулялъ заурядъ съ другими, назначенными къ поставкѣ, но гулялъ какъ-то тихо, уныло, никто его не замѣчалъ, никто о немъ

не разсказывалъ, никакихъ штукъ онъ не выкидывалъ, пьяные ребята рѣдко заходили звать его въ компанію, но и не гнали прочь, когда онъ приставалъ къ нимъ и тянулъ съ ними общую водку и пѣсню. Мало было даже и разговоровъ въ деревнѣ о томъ, что вотъ Алеха идетъ охотой за брата; всѣ смотрѣли на это просто и безъ удивленія, безъ похвалъ, точно какъ будто такъ и быть слѣдовало. Въ деревнѣ, какъ и въ городѣ, скромность рѣдко оцѣнивается, и на сходкѣ міромъ больше тотъ ворочаетъ, у кого глотка шире, да за словомъ, хотя и не больно умнымъ, въ карманъ не полѣзетъ. Даже въ семьѣ своей поступокъ Алексѣя скоро потерялъ свою цѣну: Павелъ и жена его, убѣдившись въ неизмѣнности намѣренія Алексѣя и не видя съ его стороны ни малѣйшей требовательности, ни малѣйшаго желанія напомнить о своемъ самопожертвованіи, почти не считали себя ничѣмъ ему обязанными, по крайней мѣрѣ не думали объ этомъ.»

Все это очень добродѣтельно и похвально и конечно не похоже на гулянку Степана, но все это одни только цвѣточки, ягодки впереди... Свою добродѣтель и деликатность чувствъ Алексѣй завершилъ подвигомъ, по истинѣ умилительнымъ. Въ довершеніе гулянки онъ вознамѣрился пойти проститься со своей прежней барыней и пригласить ее къ себѣ въ гости провести съ нимъ послѣдній вечеръ... Да мало того, что самъ онъ отправился къ барынѣ, но и увлекъ своего двоюроднаго брата Степана, того самаго демоническаго Степана, который отмачивалъ такія штуки надъ своими родными. По этому поводу у нихъ произошелъ такой разговоръ:

«— Слушай-ка, Степа, пойдешь ты къ барынѣ прощаться?

— А коего лѣшаго я не видалъ у нея?

— А проститься-то надо-же? Подемъ, братъ, и я пошелъ-бы съ тобой...

— Да развѣ только то, что чаемъ или кофеемъ напоитъ; а то плевать я хотѣлъ прощаться-то съ ней...

— Да что она? вѣдь она тебя не обижала? Тебѣ грѣхъ на нее жаловаться... Пойдемъ-ка, полно... Мнѣ одному-то идти ровно какъ не того.. Да я и не бывалъ николи... А сходить-то надо... Подемъ...

— Ну, подемъ...

И они пошли. У барыни въ гостяхъ Алексѣй вдругъ вздумалъ открывать ей всю свою душу, повѣрять всѣ свои горести, разрюмился и растаялъ парень совсѣмъ.

— Не надивлюсь я на себя: ну-ка, что я вамъ наговорилъ, откуда у меня столько рѣчей-то набралось... Не говаривалъ, кажись, столько отродясь.. а вы сидѣли, да слушали меня... Дай вамъ Богъ за то радости, а мнѣ ровно пооблегчало.. Ну, прощайте... Пора ужъ мнѣ... Вотъ что, матушка, попросилъ бы я тебя, да не знаю какъ... не прогнѣвалась-бы ты...

— Что, что такое? Говори, Алеша; я рада радостью...

— Погости ты у меня ужо... Приходи ко мнѣ въ гости, вотъ и съ дочками, всѣ приходите... а? Будь мать родная... Я сегодня выпрошу у брата, чтобы мнѣ хоть одинъ денекъ побольшничать въ дому, а ты и приходи ко мнѣ... Али тебѣ непригоже?

— Изволь, изволь, непремѣнно приду... Всѣ придемъ...

— Ну, вотъ ужъ покорнѣйше благодарю... Вотъ благодарю.. Ужъ буду радъ — приходите.. Ну, а теперь прощайте пока.

Барыня проводила Алексѣя со слезами и благословеніями...»

Неправда-ли, какъ это все умилительно. Выходитъ въ концѣ концовъ, что Потѣхинъ какъ будто нарочно написалъ повѣсть для того, чтобы провести въ ней слѣдующую нравственную сентенцію: если тебя отдадутъ въ рекруты, то не предавайся съ горя пьянству или дебоширству, не слѣдуй дурному примѣру развращеннаго Степана, а поступай такъ, какъ поступалъ исполненный деликатныхъ чувствъ Алексѣй: будь благонравенъ и трезвъ до послѣдняго дня, а если хочешь разгуляться да побольшничать въ послѣдній день, то ступай не въ кабакъ, а къ какому-нибудь начальству, настоящему или бывшему, отдай ему достодолжный поклонъ, пригласи его на пирушку и проведи послѣдній день гулянки въ лестномъ для тебя сообществѣ съ людьми чиновными и высокопоставленными, памятуя мудрый завѣтъ отцовъ, что сообщество съ людьми высшими возвышаетъ низшаго до нихъ.

За такое добродѣтельное поведеніе Алексѣй получилъ похвальный отзывъ и отъ своей тетушки Прасковьи.

«— А барыню развѣ звалъ? спросила она, когда онъ пришелъ пригласить ее на пирушку и объявилъ, что у него будетъ въ гостяхъ барыня.

— Звалъ.

— Ну, доброе дѣло, умно; хвалю за то. У насъ народъ на нее взъѣлся, самъ не знаетъ за что... Что барыня? Такъ чѣмъ она виновата, что барыня, коли такъ ее Богъ уродилъ... Вотъ были и всѣ въ крѣпости, а теперь царь отмѣнилъ, стала воля... Такъ она-то въ чемъ тутъ причина? нѣтъ, какъ были крѣпостные, такъ барыни боялись и почитали, а теперь — ругать, да норовятъ какъ обидѣть: не хорошо, я этого не хвалю... А ты хорошо сдѣлалъ, умно..

— Э, да вѣдь ты бы посмотрѣла, тетушка Прасковья, какъ меня въ господскомъ-то дому привѣчали... ровно я не мужикъ... Даже все сердце мое къ барынѣ раскрылось...

— Что-же? Барыня она добрая завсегда была... И впередъ Алексѣюшка никогда не смотри на людей и не дѣлай за людьми, а дѣлай такъ, какъ Господь тебѣ на душу положитъ.. Доброе дѣло, доброе дѣло, голубчикъ... Умница ты у меня, люди-то только въ тебѣ пути не знали...»

И правду говорила старушка; дѣйствительно что́ за умница былъ Алексѣюшка. Въ одномъ только она ошибалась, что будто люди пути въ немъ не знали. Какіе это люди? Развѣ какіе-нибудь Степаны и прочіе въ этомъ родѣ, не понимавшіе, какое счастіе и высшее наслажденіе въ жизни, когда къ тебѣ вдругъ придетъ въ гости барыня. Люди-же, имѣвшіе понятіе объ этомъ наслажденіи, конечно знали толкъ и въ Алексѣѣ, и я съ своей стороны скажу, что Алексѣй съ своими деликатными чувствами безъ сомнѣнія пошелъ далеко, давно уже обогналъ всѣхъ своихъ товарищей, тѣмъ болѣе, что барыня обѣщала писать, чтобы на него обратили вниманіе, если у нея окажутся знакомые въ томъ полку, куда онъ попадетъ; ужъ навѣрное кто ни кто, а Алексѣй выслужится въ унтеръ-офицеры...

Такъ вотъ какого рода добродѣтельныхъ крестьянъ рисуетъ намъ Потѣхинъ.

V.

Потѣхину удается иногда создать такой сюжетъ, который имѣетъ свое реальное значеніе, является очевидно не искусственно придуманнымъ, а взятымъ изъ жизни, но такова ужъ несчастная линія Потѣ-

хина, что вмѣсто того, чтобы продумать подобный сюжетъ и представить его во всей жизненной правдѣ, Потѣхинъ съумѣетъ и его подвести подъ рутинныя нравственныя тенденціи. Таковъ напримѣръ сюжетъ извѣстной драмы Потѣхина «Чужое добро въ прокъ не идетъ».

Представьте себѣ крестьянина, содержателя постоялаго двора и ямской станціи на большой торговой дорогѣ, человѣка зажиточнаго, разсчетливаго скопидома, который держитъ всю семью въ ежевыхъ рукавицахъ и требуетъ, чтобы домочадцы безпрекословно исполняли его волю и работали на него, какъ рабы. Между тѣмъ у него двое уже взрослыхъ сыновей, изъ которыхъ одинъ, Михайла, человѣкъ уже женатый и въ свою очередь отецъ семейства.

Однимъ словомъ, передъ вами картина патріархальнаго родового быта, остатки котораго и теперь еще не въ рѣдкость встрѣтить въ средѣ крестьянства и купечества, и вы видите передъ собой все то растлѣвающее вліяніе, какое производитъ родовой деспотизмъ на людей, подчиненныхъ ему.

Извѣстно, что родовой деспотизмъ въ средѣ домочадцевъ развиваетъ постоянно два рода типовъ. Одни люди, не одаренные ни силою, ни упругостью природы, безпрекословно склоняются подъ иго деспотизма, отрѣшаются совершенно отъ своей воли и обезличиваются до послѣдней степени. Все свое человѣческое достоинство они полагаютъ въ томъ, чтобы смотрѣть на все глазами своего повелителя, всячески угождать ему и безпрекословно во всемъ повиноваться. Въ этомъ заключается въ ихъ глазахъ высшій нравственный долгъ и всевозможныя человѣческія добродѣтели. Въ этомъ-же они предугадываютъ и единственный ключъ къ достиженію всевозможнаго благополучія. И они не ошибаются; дѣйствительно, отрѣшеніемъ отъ своей личности они съ одной стороны пріобрѣтаютъ внутреннее сознаніе своего нравственнаго совершенства, смотря на свое рабство, какъ на самоотверженіе въ пользу долга, съ другой стороны—пріобрѣтаютъ и внѣшнюю славу, такъ какъ ихъ поведеніе ставится въ примѣръ людямъ, менѣе добродѣтельнымъ и послушнымъ, чѣмъ они; съ третьей стороны—и что самое главное, они пріобрѣтаютъ благоволеніе со стороны своихъ повелителей; вслѣдствіе чего ихъ постоянно во всемъ отличаютъ, ставятъ впереди. Такимъ образомъ они пролагаютъ путь къ своему матеріальному благосостоянію, и когда наконецъ получаютъ самостоятельность по смерти напримѣръ родового повелителя, когда обзаводятся своей собственной семьей, воспитанные въ духѣ семейнаго деспотизма, они сами дѣлаются деспотами-самодурами и отъ своихъ домочадцевъ требуютъ такихъ-же добродѣтелей—безпрекословнаго повиновенія и угожденія, какія практиковали по отношенію къ своимъ родителямъ.

Другого рода люди, по силѣ и кипучести своей натуры, никакъ не могутъ выносить безропотнаго рабства. Терпѣть и ждать, пока судьба изъ подчиненныхъ сдѣлаетъ ихъ повелителями, не въ ихъ характерѣ. Имъ хочется сразу избавиться отъ всякой опеки и начать жить самостоятельной жизнью, никому не кланяясь и ни отъ кого не завися. Кромѣ того имъ кажется тѣсенъ узкій міръ семейныхъ обязанностей, они не могутъ вынести монотонной жизни рабства въ видѣ вѣчнаго торчанья за прилавкомъ, вѣчной ѣзды между двумя станціями и проч. Имъ хочется вездѣ побывать, все увидѣть, испытать, однимъ словомъ, погулять по бѣлу свѣту, и людей повидать, и себя показать. Изъ такихъ натуръ конечно послушныхъ сынковъ не выходитъ, но зато при благопріятныхъ условіяхъ развиваются Ломоносовы, которые, бросая родительскій кровъ, идутъ куда глаза глядятъ, проклинаемые своими самодурами родовыми владыками, но возвращаются черезъ нѣсколько лѣтъ великими людьми. Конечно не всѣ изъ нихъ кончаютъ такъ счастливо. Рядомъ съ Ломоносовыми изъ такихъ-же людей вырабатываются и разбойники. Иные изъ нихъ не имѣютъ столько силъ, чтобы сразу скинуть съ себя опеку, ограничиваются мгновенными вспышками противъ своего владыки, ищутъ разгула гдѣ-нибудь на сторонѣ и за глазами отъ повелителя. Такого рода люди составляютъ уже переходную ступень отъ идеально-послушныхъ домочадцевъ къ рѣшительно-непослушнымъ. Постоянное витаніе между послушаніемъ и непослушаніемъ, вѣчная забота о томъ, какъ-бы скрыть веселые разгулы на сторонѣ—все это крайне растлѣваетъ ихъ. Изъ нихъ дѣлаются безхарактерные, дряблые люди и ни къ чему неспособные пьяницы и развратники. Но и въ такомъ случаѣ причины ихъ нравственнаго паденія слѣдуетъ искать не въ нихъ самихъ, а въ ненормальности условій родового быта. Къ тому-же, какъ-бы низко ни падали они, а все-таки въ мало-мальски живомъ человѣкѣ они способны возбудить гораздо болѣе симпатіи, чѣмъ тѣ идеально-добродѣтельные послушники, о которыхъ мы выше говорили. И знаете-ли, случается въ жизни зачастую, что когда разоряется родитель, когда подъ старость, немощный, онъ не знаетъ куда преклонить голову, онъ скорѣе находитъ пріютъ въ домѣ блуднаго сына, чѣмъ идеально-послушнаго, котораго онъ ставилъ всегда въ примѣръ блудному. Всѣ эти вещи хорошо всѣмъ извѣстны со временъ Исава, продавшаго первенство своему младшему брату Іакову за чечевичную похлебку,—со временъ Шекспира, изобразившаго въ королѣ Лирѣ безразсуднаго деспота-родителя, оцѣнивающаго своихъ дѣтей по наружному виду ихъ подобострастія къ нему,—со временъ Шиллера съ его «Разбойниками».

Въ драмѣ Потѣхина мы видимъ оба вышеупомянутые типа въ лицѣ сыновей Степана Ѳедорова, Алексѣя и Михаила. Въ самомъ началѣ драмы мы встрѣчаемъ сцену, рельефно характеризующую обоихъ братьевъ во всемъ существенномъ различіи ихъ характеровъ. Вотъ эта сцена:

«*Михайло*. Ну, что, Алеха, въ городѣ ярманка, гуляютъ?

Алексѣй. Гуляютъ.

Михайло. Народу, чай, гибель?

Алексѣй. Много.

Михайло. Эхъ, чай, весело! Балаганы, чай, паяцы, выставка?

Алексѣй. Мнѣ-ка все равно.

Михайло. Такъ неужто, фаля, не погулялъ?

Алексѣй. Что мнѣ.. Гулять-то! Я не... не надо мнѣ.

Михайло. Такъ неужто пряниковъ или орѣховъ не купилъ? Чай, вѣдь, на водку-то дали?

Алексѣй. Дали... гривенникъ.

Михайло. Чай, опять отцу отдашь?

Алексѣй. Извѣстно... мнѣ куда? мнѣ-ка не надо.

Михайло. Слушай, Алеха! ты хоть дуракъ, а обиду мнѣ дѣлаешь. Теперь батька завсегда мнѣ глаза тычетъ, что ты всякую на-водку ему отдаешь...

Алексѣй. Такъ что мнѣ? на что мнѣ? деньги не мои... Я сытъ, одѣтъ... все отъ батюшки... его деньги.

Михайло. Да ты дуракъ, такъ по дурацки и толкуешь! Наводку твоя, и отецъ не требуетъ.

Алексѣй. Мнѣ не надо.

Михайло (передразнивая его). Э! мнѣ не надо! Кабы мнѣ подошлось въ городъ что свезти, да въ ярманку-то... ну ужъ я-бы, кажись, развязалъ поясъ. Да я и теперь, братъ, такое колѣно загнулъ, что любо-два. Тако колѣно, Алеха... слышь ты: везъ я двухъ молодцевъ, съ ярманки ѣхали .. Народъ—купцы, гулящій... съ ярманки; значитъ, денегъ много .. Я, это дѣло сейчасъ смекнувши, говорю: «Господа-купцы, прикажите удовольствіе сдѣлать... какъ быть порассейски... аванчикъ выкинуть?..»—Катай. говоритъ.—«А на водку много-ли будетъ?»—Ну, ужъ, говоритъ, будетъ. — «Полтинничекъ пожертвуете, такъ сдѣлаемъ?!» Полтинникъ, такъ полтинникъ—жертвуемъ, говоритъ, дѣлай.—«А какой, молъ, вамъ аванчикъ сдѣлать: нѣмецкій, французскій или рассейскій? Рассейскій всѣхъ будетъ позаористѣе, только дороже стоитъ: къ полтинничку гривенничекъ прикинете?» Ну ужъ, Алеха, и сдѣлалъ! Въ корню-то у меня Савраска, а на пристяжи-то справа Дьяволокъ, а слѣва — Бутузка. Какъ я, братъ Алеха, возжи-то подобралъ, да привсталъ, да по всѣмъ по тремъ задамъ провелъ разъ, да два, да какъ вскрикну: «батюшки, воры!.. родимые, грабятъ!.. душа, вынеси!» Какъ они, братъ, у меня взвились, да подхватили: Савраска-то, какъ шарикъ, Бутузка—кольцомъ, а Дьяволокъ и ржетъ, и землю роетъ, огнемъ палитъ!.. Эхъ, не рости зелена трава, не свѣти свѣтелъ мѣсяцъ! (Воодушевляясь). Только ухъ, ухъ... Ну, ну...

Алексѣй (тоже воодушевляясь). А... Ахъ! у... ухъ!.. Важно!

Михайло (въ увлеченіи). О! О! бѣда, Алеха! духъ захватываетъ... ровно вихорь какой... земля дрожитъ! только колесо за колесомъ поспѣвай; а они-то, мои соколики, трахъ! трахъ!.. Ну, потѣшилъ свою душеньку, ровно всю землю произошелъ, ровно подъ небомъ побывалъ...

Алексѣй. Ну, ну?

Михайло. Ну, цѣлковый, какъ есть, отвалили.

Алексѣй. Полно?

Михайло. Вѣрно слово! Ну, зато и уваженіе сдѣлалъ...

Алексѣй. Лошадей-то, чай, шибко вспарилъ?

Михайло. Еще-бы не вспарить! часа полтора водилъ: насилу отдышались.

Алексѣй. А что батюшка-то?

Михайло. Такъ, пустая голова, глупый твой разумъ, неужто я ему сказалъ? Ты не вздумай сказать!

Алексѣй. Такъ цѣлковый-то развѣ не отдалъ?

Михайло. Такъ неужто отдалъ? Я, чай, за свою послугу получилъ... онъ самъ не препятствуетъ: что, говоритъ, за послугу дадутъ, то твое.

Алексѣй (качаетъ головой). Негоже...»

Изъ этой сцены ясно видно все различіе между двумя братьями. Съ одной стороны, передъ вами идеально-добродѣтельный Алексѣй, являющійся, что называется, plus royaliste que le roi, и доводящій свою педантическую легальность до того, что отдаетъ отцу каждый гривенникъ, полученный на-водку, хотя отецъ вовсе этого и не требуетъ; съ другой стороны, Михайло, человѣкъ живой, страстный, увлекающійся, и такимъ является онъ во всей драмѣ. Его тяготитъ гнетъ отцовскаго деспотизма, и онъ постоянно мечтаетъ о раздѣлѣ, его тяготитъ жена, навязанная ему по всей вѣроятности насильно, ему хочется разгуляться по бѣлу свѣту, всего посмотрѣть, испытать! «Эхъ, говоритъ онъ: — кажись, кабы деньги, всего-бы этого насмотрѣлся, всякое-бы себѣ удовольствіе получилъ, да такихъ-бы лошадей тамъ себѣ накупилъ, что земля-бы подо мною дрожала... Просто неси, вихорь-атаманъ... разнеси ты мои косточки!..» Правда, грубы и матеріальны его мечты, но что-же дѣлать, если такова ужъ была его обстановка, что не могла внушить ему болѣе высокихъ и разумныхъ стремленій? Что-же дѣлать, если судьба свела его съ дряннымъ, развратнымъ Леонидомъ Константиновичемъ, а не послала ему человѣка, который могъ-бы дать какой-нибудь иной исходъ его жаждѣ разгуляться. Въ этомъ виноватъ не Михайло, а наша жизнь, которая не успѣла выработать для мужика ничего другого, кромѣ кабака; виноваты можетъ-быть и мы сами, оградившіе себя непроницаемой китайской стѣной отъ народа, со всѣми нашими высокими и разумными стремленіями, и обрекшіе народъ на жертву Леонидамъ Александровичамъ всякаго рода.. Но и въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами, Михайло способенъ неизмѣримо болѣе возбудить въ насъ симпатіи, чѣмъ Алексѣй, этотъ истуканъ, доведшій свое обезличеніе до отсутствія всякаго живого стремленія, ничего не желающій, не смѣющій и смотрящій, какъ на великій грѣхъ, на каждый самостоятельный шагъ помимо отцовской воли! Въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами этотъ жрецъ патріархальнаго культа въ вышеприведенной сценѣ и во всей драмѣ, онъ возбуждаетъ рѣшительное нравственное отвращеніе...

Я не знаю, какъ-бы распорядился истинно-реальный художникъ съ этими двумя типами, задуманными, какъ видите, весьма умно; но, Боже мой, что сдѣлалъ изъ нихъ Потѣхинъ! Начать съ того, что онъ самъ всталъ на точку зрѣнія патріархальной морали Степана Ѳедоровича, и Алексѣй вышелъ у него добродѣтельнымъ героемъ драмы, положительнымъ, идеальнымъ типомъ, оттѣняющимъ собой отрицательный типъ развратнаго Михайлы и служащимъ конечно для того, чтобы читатель могъ отдохнуть душей на такомъ свѣтломъ явленіи. Однимъ словомъ, вышла та же исторія, что и съ «Двумя охотниками». Къ тому же вмѣсто того, чтобы вывести дѣйствіе вполнѣ естественно изъ самаго драматическаго положенія дѣйствующихъ лицъ, Потѣхинъ сочинилъ искусственную завязку, введя въ драму случайный эпизодъ въ видѣ внезапно свалившихся съ неба 30,000... Это богатство нечаянно обронилъ проѣзжій купецъ. Михайло нашелъ деньги, но отецъ, по праву родительской власти, отнялъ ихъ отъ сына. Въ то время, какъ добродѣтельный Алексѣй постоянно твердилъ, что чужія деньги слѣдуетъ возвратить по принадлежности, Степанъ Ѳедоровичъ не очень-то желалъ идти по пути добродѣтели и припряталъ деньги, а чтобы смирить и заставить молчать Михайлу, началъ выдавать ему по мелочамъ на кутежи. Дѣло кончилось тѣмъ, что Ми-

хайло, стакнувшись съ развращеннымъ чиновничишкой Леонидомъ Александровичемъ, рѣшился, по наущенію послѣдняго, силой отнять у отца деньги, а въ случаѣ сопротивленія пожалуй и убить его. Но добродѣтельный Алексѣй все это подслушалъ и предупредилъ (замѣчательно, что въ нашей беллетристикѣ идеально-добродѣтельные герои постоянно занимаются подслушиваньемъ, подсматриваніемъ и предупрежденіемъ преступленій, и это не у одного Потѣхина, а у всѣхъ писателей, выводящихъ идеальные типы). Драма кончается умилительно: Степанъ Ѳедоровичъ прощаетъ, по просьбѣ все того же добродѣтельнаго Алексѣя, своего преступнаго сына, который обѣщается исправиться и пребывать впредь въ полномъ повиновеніи своему родителю, и въ то же время старикъ спѣшитъ отвезти по принадлежности деньги, надѣлавшія столько бѣды, на томъ основаніи, что чужое добро въ прокъ не идетъ. Такимъ образомъ въ заключеніи драмы и оказывается, что причину всѣхъ бѣдъ слѣдуетъ искать не въ ложности условій жизни и отношеній между собой дѣйствующихъ лицъ, а въ попыткѣ присвоенія чужихъ денегъ, и не будь этого случайнаго эпизода, все бы шло какъ по маслу въ семьѣ Степана Ѳедоровича, да и впредь конечно все будетъ обстоять благополучно вслѣдствіе того, что старикъ рѣшился возвратить купцу потерянныя послѣднимъ деньги. Такимъ образомъ Потѣхинъ и свелъ свою драму на слѣдующую прописную тенденцію: если найдешь на дорогѣ деньги, то спѣши отдать потерявшему или же представь ихъ поскорѣе въ часть, а въ противномъ случаѣ тебя могутъ постигнуть всевозможныя бѣдствія, потому что чужое добро въ прокъ не идетъ.

VI.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ такими произведеніями Потѣхина, въ которыхъ хотя дѣло и сводится въ концѣ-концовъ на рутинно-моральныя тенденціи, но все-таки въ основаніи мы видѣли кой-какія реальныя черты, взятыя очевидно изъ жизни и только ложно понятыя и фальшиво освѣщенныя. Но у Потѣхина есть такого рода произведенія, въ которыхъ реальныхъ чертъ жизни вы не встрѣтите и слѣда, которыя цѣликомъ состоятъ изъ однихъ нравственно-сентиментальныхъ воздыханій, въ которыхъ дѣйствующія лица—и крестьяне, и дворяне, только и дѣлаютъ, что морализируютъ, умиляются и изрекаютъ различныя душеспасительныя сентенціи... Таковъ напримѣръ романъ «Крестьянка» и продолженіе этого романа въ видѣ драмы «Шуба овечья, душа человѣчья». Героиней этихъ двухъ произведеній является идеально-добродѣтельная крестьянка, воспитанная сентиментально-добродѣтельнымъ нѣмцемъ, управляющимъ имѣнія. Впродолженіи всего романа она борется со своей страстью къ сосѣднему молодому помѣщику-ловеласу, который имѣетъ непреклонное намѣреніе обольстить ее; но добродѣтель ея торжествуетъ къ концу романа, и коварный обольститель уходитъ съ носомъ. Въ драмѣ же «Шуба овечья, душа человѣчья» добродѣтель этой самой героини награждается подъ конецъ законнымъ бракомъ съ другимъ помѣщикомъ, который оказывается великодушнѣе перваго и на балу, при всемъ собраніи дворянъ, громогласно объявляетъ, что онъ беретъ подъ свое покровительство угнетенную невинность и, пренебрегая всѣми свѣтскими предразсудками, предлагаетъ ей руку, несмотря на то, что онъ—благородный дворянинъ, а она—подлая крестьянка... Умилительно!..

Къ такого же рода нравственно-сентиментальнымъ воздыханіямъ принадлежитъ и драма «Судъ людской не Божій». Довольно сказать, что вся эта драма основана на роковомъ дѣйствіи родительскаго проклятія. Крестьянская дѣвушка слюбилась съ парнемъ; парень посватался къ ней, но отецъ, крестьянинъ зажиточный и гордый, не согласился на бракъ дочери съ бѣднякомъ, а узнавши, что она уже слюбилась съ нимъ, изрекъ свое родительское проклятіе, которое такъ подѣйствовало на дѣвушку, что она упала въ обморокъ и потомъ помѣшалась. Старикъ-отецъ спохватился, но поздно. Въ отчаяніи и сокрушеніи сердца отправился онъ вмѣстѣ съ возлюбленнымъ дочери въ Кіевъ на богомолье. На возвратномъ пути они встрѣтили на постояломъ дворѣ полупомѣшанную дѣвушку. Слѣдуетъ умилительная сцена: дѣвушка приходитъ въ себя, отецъ прощаетъ ее, милый предлагаетъ ей руку, но она отказываетъ ему на томъ основаніи, что во время сумасшествія ей снились всѣ адскія муки, и она дала обѣтъ никогда съ милымъ не сходиться, а всю жизнь посвятить Богу и отцу. Въ отчаяніи милый идетъ въ солдаты, а присутствующій при этомъ помѣщикъ Скрипуновъ, утирая слезы, восклицаетъ: «трогательная исторія! Именно наши крестьяне (дѣлаетъ въ воздухѣ неопредѣленное движеніе рукой)—удивительный народъ!.. съ душой!..»

Послѣ подобныхъ сентиментальностей естественно натыкаешься какъ на оазисъ въ степи и отдыхаешь душой, читая романъ «Вѣдные дворяне». Оттого ли, что въ этомъ романѣ Потѣхинъ имѣетъ дѣло съ средой, болѣе ему знакомой, чѣмъ крестьянская, или на Потѣхина на шелъ уже такой моментъ просвѣтленія, когда онъ писалъ этотъ романъ, но только въ этомъ произведеніи онъ стоитъ вполнѣ на реальной почвѣ. Вы не найдете здѣсь и слѣда сентиментальной морали, ни малѣйшаго побужденія къ изображенію добродѣтельныхъ героевъ, отрекающихся отъ своей человѣческой личности ради сохраненія невинности и видящихъ высшій нравственный идеалъ въ смиренномудріи, незлобіи, уваженіи къ старшимъ, повиновеніи и пр. Героемъ романа является бѣдный дворянинъ Никаноръ Александровичъ Осташковъ, воспитанный совершенно какъ крестьянинъ и ничѣмъ не отличающійся отъ окружающихъ его мужиковъ. Находящійся подъ сильнымъ вліяніемъ тетки, женщины смышленой и энергической, и безпрекословно подчиняясь ей во всемъ, человѣкъ недальнаго ума, онъ является въ началѣ романа передъ нами трудолюбивымъ парнемъ, способнымъ сдѣлаться усернымъ хозяиномъ-земледѣльцемъ. Но, женившись на дочери вольноотпущенной дворовой, онъ подчиняется новому вліянію тещи Прасковьи Ѳедоровны, которая совращаетъ его съ правильнаго пути, твердя ему, что онъ—дворянинъ, что ему слѣдуетъ идти въ дворянское общество, гдѣ онъ имѣетъ право быть принятымъ на равной ногѣ, гдѣ онъ

можетъ пріобрѣсти и покровительство, и участіе, можетъ пріобрѣсти знаніе хорошихъ манеръ, гдѣ его всему научатъ и впослѣдствіи опредѣлятъ на какую-нибудь дворянскую службу. Подобныя внушенія кончились тѣмъ, что Прасковья Ѳедоровна повела его наконецъ къ дворянамъ и втиснула въ нихъ кругъ. Но что же обрѣлъ въ этомъ кругу бѣдный Осташковъ вмѣсто ожидаемаго участія, покровительства, ученія и опредѣленія на службу? Дворяне начали глумиться надъ ихъ собратомъ, нежданно-негаданно вторгшимся въ ихъ среду съ внѣшностью мужика съ головы до ногъ; его наряжали въ разные шутовскіе костюмы, били нагайками, травили собаками, однимъ словомъ, онъ явился въ ихъ общество въ качествѣ шута. Сначала такое положеніе тяготило Осташкова, но потомъ онъ мало-по-малу втянулся въ свою должность шута, ему понравилась возможность жить на чужихъ хлѣбахъ, ничего не дѣлая и получая сверхъ того подачки. Картина постепеннаго превращенія Осташкова изъ скромнаго, честнаго труженика въ лѣнтяя-дармоѣда, пресмыкающагося у разныхъ благодѣтелей-милостивцевъ, терпѣливо переносящаго всевозможныя поруганія, подобострастно кланяющагося, восхваляющаго и униженно выпрашивающаго разныхъ подачекъ, надо отдать справедливость, исполнена Потѣхинымъ мастерски. Съ другой стороны, переводя своего героя отъ одного благодѣтеля къ другому, Потѣхинъ раскрываетъ передъ нами такую ужасающую картину праздности, пьянства, разврата, грубаго животнаго эгоизма, дикаго безчеловѣчія, гордаго высокомѣрія и дряблой безхарактерности, что волоса становятся дыбомъ, читая все это, и между тѣмъ все это совершенно правдиво и реально, безъ малѣйшихъ преувеличеній и искаженій. Однимъ словомъ, за однихъ «Бѣдныхъ дворянъ» можно простить Потѣхину всѣ грѣхи его прочихъ произведеній.

Сличая «Бѣдныхъ дворянъ» съ остальными произведеніями, невольно приходишь къ мысли, что Потѣхинъ не понялъ своего таланта и не умѣлъ постоянно держаться своей настоящей дороги. Начать съ того, что Потѣхинъ большую часть своей литературной дѣятельности посвятилъ драматической поэзіи, тогда какъ онъ не созданъ былъ ни драматургомъ, ни комикомъ.

Для драмы необходимъ глубокій и смѣлый мыслитель, исполненный скептицизма и иронія; между тѣмъ всѣхъ этихъ качествъ въ Потѣхинѣ нѣтъ и слѣда. Въ самомъ дѣлѣ: драма есть чадо переходныхъ эпохъ; она развивается тогда, когда рушится цѣлый кодексъ отжившей морали, и притомъ рушится не передъ однѣми отвлеченными теоріями передовыхъ мыслителей, но въ самой жизни вмѣстѣ съ тѣми порядками, которые онъ освящалъ. Цѣль—драмы представить борьбу живыхъ, естественныхъ, человѣческихъ стремленій съ различными давящими и стѣсняющими условіями жизни, являющимися въ видѣ мертвыхъ обычаевъ, предразсудковъ и всевозможныхъ заблужденій, коренящихся на почвѣ отжившаго быта. Поэтому истинный драматургъ непремѣнно долженъ стоять выше обыденныхъ міровоззрѣній толпы. Онъ долженъ раскрывать толпѣ всю нелѣпость, всѣ противорѣчія ея міровоззрѣній и показывать, къ какимъ трагическимъ послѣдствіямъ ведутъ подобныя міровоззрѣнія, какъ отъ нихъ гибнутъ лучшія силы общества. Писатель же, который раздѣляетъ всѣ отжившія міровоззрѣнія толпы, ничѣмъ не возвышается надъ ней, наивно воображаетъ, что трагическое въ жизни является не иначе, какъ въ случаяхъ отступленія отдѣльныхъ личностей отъ мудрыхъ правилъ уличной морали,—такой писатель не создастъ ни одной порядочной драмы. Злодѣи его будутъ всегда представлять неестественный мелодраматическій экстрактъ всякихъ гадостей или, напротивъ того, явятся вдругъ самыми симпатичными людьми изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ драмы; добродѣтельные же герои будутъ сентиментально-плаксивыми олицетвореніями сентенцій прописной морали и отталкивающими отъ себя приниженными пошляками. Въ цѣломъ же каждая драма такого писателя будетъ не чѣмъ инымъ, какъ иллюстраціей къ прописямъ и тѣмъ нравоученіямъ, которыя печатались нѣкогда въ старыхъ азбукахъ. Какъ писателю, стоящему не только на почвѣ обыденной рутинной морали, но не вполнѣ отрѣшившемуся отъ морали узко-сословной, полагающему нравственность мужика прежде всего въ почтеніи и угожденіи барину, Потѣхину нечего и думать быть драматическимъ писателемъ. Это совсѣмъ не его область.

Точно также и комедія совершенно не въ духѣ Потѣхина. По мѣткому и совершенно вѣрному замѣчанію Добролюбова, въ комедіяхъ Потѣхина недостаетъ смѣха, а это-то одно и составляетъ всю сущность комедіи. По моему же мнѣнію, стремленіе Потѣхина выводить въ комедіяхъ своихъ, рядомъ съ отрицательными типами, сентиментально-добродѣтельныхъ героевъ главнымъ образомъ оттого и происходитъ, что онъ не обладаетъ смѣхомъ: не въ силахъ достаточно осмѣять своихъ героевъ, Потѣхинъ поневолѣ чувствуетъ потребность оттѣнить ихъ и показать свое отрицательное къ нимъ отношеніе выведеніемъ положительныхъ типовъ. Такимъ образомъ положительные типы въ комедіяхъ Потѣхина играютъ роль хора древней драмы. Но такъ какъ эти типы выводятся постоянно на одинъ и тотъ же образецъ сентиментальной морали, то хоръ этотъ выходитъ очень однообразенъ, монотоненъ и плаксивъ!.. А между тѣмъ обладай Потѣхинъ хоть частицей смѣха, и смѣхъ самъ собой выручилъ бы его, несмотря даже на всю обыденность его морали. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, чѣмъ Гоголь по своей морали стоялъ выше Потѣхина? Но онъ былъ истинный художникъ, обладавшій неисчерпаемымъ богатствомъ смѣха, и смѣхъ этотъ выручалъ его: ему незачѣмъ было морализировать, достаточно было представить своихъ героевъ во всемъ ихъ комическомъ безобразіи и заставить читателя смѣяться надъ ними отъ души. Читатель хохоталъ, и цѣлый рядъ явленій представлялся ему въ пошломъ видѣ, независимо отъ того, что писатель можетъ быть глядѣлъ на пошлость этихъ явленій совсѣмъ съ иной точки зрѣнія, чѣмъ читатель. Возьмите другого писателя прошлаго столѣтія—Фонвизина. Подобно Потѣхину, онъ выводилъ сентиментально-добродѣтельныхъ героевъ, въ видѣ Правдина, Милона, Стародума. Мы считаемъ подобныя личности большимъ недостаткомъ комедій Фонвизина,—личностями, совершенно лишними и ни къ чему ненужными, но, не сво-

тря на то, мы все-таки уважаемъ комедіи Фонвизина. Почему? Потому что въ нихъ мы видимъ не одно сентиментальничанье, но и обильное количество смѣха. Отрицательныя личности фонвизинскихъ комедій не только оттѣняются добродѣтельными героями, но и сами по себѣ осмѣиваются, и въ этомъ смѣхѣ все достоинство этихъ комедій. Комедія же серьезная, безъ смѣха и съ сентиментально-плаксивыми воздыханіями—это не комедія, а селедка, посоленная вмѣсто соли сахаромъ. Комическій писатель, не умѣющій смѣяться,—это слѣпой художникъ и глухо-нѣмой пѣвецъ...

Судя же по «Бѣднымъ дворянамъ», настоящее призваніе Потѣхина есть скромный удѣлъ беллетриста-фотографа. Потѣхинъ долженъ по моему мнѣнію воздерживаться всѣми силами отъ всякой попытки что-либо художественно создавать, полагаясь на свою творческую фантазію, а тѣмъ болѣе пытаться выводить идеальные типы, которые всегда у него выходятъ безжизненно отвлеченны, по причинамъ, о которыхъ мы достаточно трактовали въ этой статьѣ. Удѣлъ Потѣхина—изображать безхитростно ту обыденную дѣйствительность, которая окружаетъ его и съ которою онъ хорошо знакомъ, изображать ее во всей правдѣ, какъ она ему представляется, ничего къ ней не присочиняя и не подвергая ее никакимъ нравственнымъ приговорамъ. Читатель самъ будетъ знать, какіе ему сдѣлать выводы изъ подобныхъ изображеній. И если Потѣхинъ не слѣдовалъ постоянно этому пути, то остается только пожалѣть объ этомъ.

НАША СОВРЕМЕННАЯ БЕЗЗАВѢТНОСТЬ.

«Альбомъ—группы и портреты». Хвощинской. (См. «Вѣстникъ Европы» № 12, 1874 г., и №№ 2 и 10, 1875 г.)

I.

Имѣете ли вы ясное понятіе о томъ, какое различіе между произведеніями, откликающимися на современные вопросы жизни и попадающими въ самую жилку современности? Я убѣжденъ, что многимъ изъ васъ не приходило даже и въ голову вопроса о подобномъ различіи. Откликается авторъ на тѣ или другіе изъ текущихъ вопросовъ, обсуждающихся въ передовыхъ статьяхъ газетъ, воскресныхъ фельетонахъ и въ журнальныхъ обозрѣніяхъ—и чего же больше, какой еще вамъ нужно такой особенной жилки? Весьма многіе изъ беллетристовъ и драматурговъ такъ именно и понимаютъ задачу искусства «откликаться на вопросы жизни». Такъ, въ знаменитое «наше время, когда», въ эпоху поднятія цѣлаго ряда вопросовъ о взяточничествѣ, откупахъ, крѣпостномъ правѣ и пр., и пр. сколько появилось произведеній, выставляющихъ отвратительныхъ взяточниковъ, жирныхъ, откормленныхъ откупщиковъ, звѣрообразныхъ помѣщиковъ и помѣщицъ, злоупотребляющихъ своимъ крѣпостнымъ правомъ, и рядомъ съ ними благолѣпныхъ администраторовъ, являвшихся насаждать честность, правду, гуманность, уваженіе къ закону и произносившихъ горячія, исполненныя паѳоса рѣчи объ исчезновеніи мрака, о наступленіи зари новаго сіяющаго дня и о своей высокой, гражданской доблести. Затѣмъ въ смутную эпоху 60-хъ годовъ развѣ мало появлялось произведеній, въ которыхъ парадировали растрепанные и всеотрицающіе нигилисты, поправшія всякій женскій стыдъ и пустившіяся во всѣ тяжкія стриженныя нигилистки и рисовались передъ вами польскія смуты со всей ихъ подпольной адской интригой? А потомъ вышли на сцену адвокаты, концессіонеры, дѣльцы. А нынѣ, посмотрите, обходится ли хоть одинъ общественный вопросъ и общественный скандалъ безъ того, чтобы такъ или иначе не отразиться въ беллетристикѣ—если не прямо, то въ соотвѣтствующихъ характерахъ и положеніяхъ.

Но какъ ни много въ послѣднія 15 лѣтъ появилось романовъ, повѣстей, комедій, очерковъ, откликающихся на вопросы жизни, произведенія же, попадающія въ жилку современности, всегда выходили, выходятъ и по всей вѣроятности будутъ выходить въ самомъ ограниченномъ количествѣ. Они отличаются отъ другихъ тѣмъ, что изъ чтенія ихъ вы выносите не одно только эстетическое наслажденіе, не одно оправданіе, порицаніе или объясненіе какихъ-нибудь частныхъ явленій, совершающихся передъ вами. Они обнаруживаютъ передъ вами самую суть современности, открываютъ передъ вами такія пропасти, на краю которыхъ стоите вы сами, такія трагическія катастрофы, въ которыхъ вы сами признаете себя дѣйствующимъ лицомъ. Поэтому они возбуждаютъ въ васъ рядъ роковыхъ мыслей, отъ которыхъ вы не въ силахъ отдѣлаться; мало того: пробуждаютъ въ васъ совѣсть, сокрушеніе о вашей собственной несостоятельности, заставляютъ васъ содрогнуться, подобно тому, какъ заставила содрогнуться пирующихъ та огненная надпись, которая появилась вдругъ на стѣнахъ дворца Вальтасара. Очевидно, что не много произведеній, способныхъ производить на васъ подобное впечатлѣніе. По большей части, читая произведеніе, вы остаетесь холоднымъ зрителемъ раскрываемой передъ вами картины и смотрите на нее, какъ на нѣчто совершенно для васъ постороннее. Возьмите для примѣра хотя бы «Злобу дня» Потѣхина. Она ли не откликается на самый повидимому животрепещущій вопросъ жизни, именно—вопросъ объ особенномъ увеличеніи числа самоубійствъ въ послѣднее время. Мало этого: авторъ въ своей комедіи вывелъ даже дѣйствительный фактъ, «быль», какъ говорили прежде. А между тѣмъ вы

*

смотрите на эту пьесу холодно, и дѣйствіе, развиваемое въ ней, представляется вамъ чѣмъ-то совершенно чуждымъ для васъ лично. Вы безъ сомнѣнія не принадлежите ни къ числу тѣхъ родителей, которые способны отдать замужъ свою дочь за безобразнаго купца ради поправленія своихъ обстоятельствъ, ни къ числу тѣхъ несчастныхъ дочерей, которымъ выпадаетъ на долю подобная участь. Конечно очень жаль, что наша жизнь столь безобразна, что на ея почвѣ могутъ совершаться такія чудовищныя драмы. Но вамъ-то лично что же остается тутъ дѣлать, какъ не радоваться, что вы, слава Богу, стоите на неизмѣримой высотѣ, надъ грязью этой жизни, и для васъ недоступны подобныя трагическія катастрофы, совершающіяся гдѣ-то далеко, далеко, въ самомъ низу, подъ вашими ногами? Съ такой высоты смотрите вы на нравы, характеры, положенія большинства произведеній, откликающихся на вопросы современности. Произведенія же, попадающія въ жилку современности, тѣмъ и отличаются, что васъ самихъ сбрасываютъ съ вашей мнимой высоты и разрушаютъ всѣ ваши гордыя иллюзіи.

Для подобнаго рода произведеній нуженъ конечно большой талантъ, но и большой талантъ не всегда здѣсь выручаетъ. Далеко не всѣ произведенія великихъ талантовъ можно считать попадающими въ жилку современности. Не всякое сѣмя, летающее по воздуху, оплодотворяется и производитъ растеніе. Нужно особенно счастливое стеченіе обстоятельствъ для того, чтобы произведеніе писателя, какъ бы онъ ни былъ талантливъ, попало въ жилку современности: это происходитъ только тогда, когда писатель или самъ переживаетъ нѣсколько событій, глубоко его потрясающихъ, или бываетъ близкимъ свидѣтелемъ подобныхъ событій. Во всякомъ случаѣ подобныя произведенія не пишутся, а выстрадываются; отъ нихъ вѣетъ всегда слезами и кровью.

Къ такого рода произведеніямъ безспорно принадлежатъ очерки современныхъ нравовъ Хвощинской, носящіе заглавіе «Альбомъ—группы и портреты». Я не хочу сказать, чтобы лучше этихъ очерковъ ничего не появилось въ печати въ послѣдне евремя. Конечно найдется не мало произведеній и болѣе сильныхъ по таланту авторовъ, и болѣе обработанныхъ. Я не скажу также, чтобы эти очерки были лучшіе изъ всего написаннаго Хвощинской: это—больше ничего какъ наброски, эскизы, въ которыхъ многое только намѣчено, многое не договорено, и вамъ самимъ предоставляется догадываться и дополнять картину своимъ воображеніемъ. Конечно, принимая во вниманіе, что Хвощинская написала цѣлый рядъ романовъ и повѣстей, вполнѣ развитыхъ и обработанныхъ въ художественномъ отношеніи, было бы странно ставить эти очерки выше всего, написаннаго ею прежде. Я и не дѣлаю этого. Я избѣгаю всякихъ сравненій и беру эти очерки сами по себѣ, какъ они мнѣ представляются. И представляются они мнѣ одними изъ тѣхъ немногихъ произведеній, которыя прямо попадаютъ въ жилку современности. И замѣчательно, что, при всей своей хаотичности, при всей своей необработанности, они тѣмъ не менѣе производятъ на читателя самое потрясающее впечатлѣніе. Послѣ чтенія ихъ вамъ становится тяжело и грустно, становится страшно и за себя, и за все общество. Вы видите, что каждая строка здѣсь выстрадана и заставляетъ васъ глубоко задумываться.

Подобнаго рода произведенія представляютъ особенно богатый матеріалъ для критики. Они не заставятъ критика задумываться, что̀ писать по поводу произведенія и съ какой стороны разбирать его, какъ это бываетъ съ весьма многими произведеніями, откликающимися на самые повидимому животрепещущіе вопросы жизни. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ для примѣра хотя бы опять-таки пресловутую «Злобу дня». Вѣдь ужъ самое заглавіе пьесы, казалось бы, должно вамъ внушать, что о ней конечно можно вдоволь наговориться любому критику. О чемъ же и толковать критикѣ, какъ не о злобѣ дня? А между тѣмъ попробуйте-ка, потолкуйте о злобѣ дня, парадирующей въ пьесѣ Потѣхина. Какіе вы типы станете анализировать, какія идеи, вызываемыя пьесой, разовьете передъ читателями? Неужели идею о томъ, какъ гнусно поступаютъ родители, приносящіе въ жертву своихъ дѣтей ради поправленія своихъ финансовъ? Неправда ли, что тошнота одолѣваетъ васъ при одной мысли о необходимости распространяться о такихъ азбучныхъ идеяхъ, и перо выпадаетъ изъ рукъ вашихъ. Да, много появляется произведеній нынѣ, откликающихся на вопросы современности, но не о многихъ можно написать болѣе десяти строкъ, и мало вы найдете такихъ, которыя, при всей своей животрепещущей современности, шли бы далѣе какихъ-нибудь прописныхъ труизмовъ вродѣ того, что терпѣніе и трудъ преодолѣваютъ все, чужое добро въ прокъ нейдетъ, чревоугодіе есть мать всѣхъ пороковъ и пр., Возьмите напримѣръ романъ Данилевскаго «Девятый валъ». Чѣмъ это не современный романъ? Написанъ легко, безъ сучка и задоринки, читается не безъ интереса. Найдете вы въ немъ хорошо обдуманные и строго выдержанные характеры, вполнѣ естественныя драматическія положенія, изображенія многихъ сторонъ жизни, въ своемъ родѣ любопытныхъ и мало затрогивающихся литературой, хотя бы напримѣръ нравовъ женскихъ монастырей. Однимъ словомъ, романъ недюжинный и небезполезный. Но попробуйте писать критическую статью объ этомъ романѣ, и о чемъ же придется вамъ распространяться въ ней? Неужели о вредѣ аскетизма и подавленія естественныхъ человѣческихъ потребностей? И я очень хорошо понимаю, почему по поводу романа Данилевскаго не появилось ни одной критической статьи въ нашей литературѣ. То же самое можно сказать о романѣ Печерскаго «Въ лѣсахъ». Романъ тянулся Богъ вѣсть сколько лѣтъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», вышелъ въ четырехъ объемистыхъ книгахъ, представляетъ много любопытныхъ этнографическихъ данныхъ: во всей подноготной рисуется здѣсь передъ вами жизнь раскольничьихъ скитовъ Костромскихъ лѣсовъ. Я убѣжденъ, что если не раздалось еще ропота на страницахъ какого-нибудь журнала или газеты, то скоро раздастся, что вотъ какая у насъ нынѣ критика: о такихъ крупныхъ и капитальныхъ вещахъ—и хоть бы полслова; можно положительно сказать, что у насъ теперь полное отсутствіе всякой критики. Но чтожъ вы

будете дѣлать, поневолѣ будетъ отсутствіе, потому что критикѣ рѣшительно нечего дѣлать съ подобнаго рода капитальными романами. Я по крайней мѣрѣ прочелъ романъ Печерскаго отъ доски до доски съ цѣлью непремѣнно написать о немъ статью, и что-же я вынесъ изъ него (исключая этнографическихъ свѣдѣній, разборъ которыхъ подлежитъ какому нибудь спеціальному, а никакъ не литературному журналу и тѣмъ менѣе литературной критикѣ): рядомъ съ пріѣвшимися картинами купеческихъ нравовъ, въ духѣ комедій Островскаго, представляющими развѣ ту поразительную новость, что тѣ же Титы Титычи рисуются въ романѣ Печерскаго въ идеальномъ цвѣтѣ широкихъ русскихъ натуръ и благодѣтелей народа, рядомъ съ любовными сценами, совершенно въ загоскинскомъ духѣ, причемъ добрый молодецъ, какъ увидитъ дѣвицу, такъ сейчасъ-же оба воспламеняются неудержимой страстью и располагаются вкушать чары любви гдѣ-нибудь подъ кустикомъ, а въ это время языческій богъ любви Ярило и вмѣстѣ съ нимъ Печерскій непремѣнно ужъ улыбаются во весь ротъ,—я нашелъ въ романѣ такое несмѣтное количество завтраковъ, закусокъ, обѣдовъ, ужиновъ, что единственное, что я вынесъ изъ романа, это—колоссальный аппетитъ. Ну, и что же мнѣ пришлось бы писать о романѣ Печерскаго? Какія мысли сообщить читателю? Пришлось-бы развѣ только распространяться на счетъ радостей бога Ярила вкупѣ съ Печерскимъ, да насчетъ того, какъ вкусно и сытно ѣдятъ въ раскольничьихъ скитахъ, какихъ истребляютъ огромныхъ стерлядей, донскихъ балыковъ, уральскую икру, запивая все это несмѣтнымъ количествомъ рюмокъ всякаго рода настоекъ, наливокъ, рому, шампанскаго и пр. и пр. Все это въ своемъ родѣ любопытно, но какое дѣло до всего этого литературной критикѣ? И поневолѣ пришлось отложить романъ Печерскаго въ сторону вмѣстѣ съ романомъ Данилевскаго.

Очерки же Хвощинской тѣмъ и хороши, что, какъ произведеніе, понадающее въ самую жилку современности, они не заставляютъ васъ задуматься, что́ писать по поводу ихъ и стоитъ ли писать что-либо. Они сами возбуждаютъ вашу мысль и тянутъ васъ къ перу для сообщенія тѣхъ впечатлѣній, какія толпой внѣдряются въ васъ послѣ чтенія и ищутъ выхода. Только подобнаго рода произведенія, по моему мнѣнію, и заслуживаютъ критики; о всѣхъ же прочихъ совершенно достаточно десяти, двадцати строкъ какой-нибудь газетной рецензіи.

Сообразно всему вышесказанному, цѣль моей статьи будетъ заключаться ни въ чемъ иномъ, какъ въ развитіи тѣхъ мыслей, какія я вынесъ изъ очерковъ Хвощинской.

II.

Лѣтъ 15 и 20 тому назадъ въ большой модѣ былъ совсѣмъ забытый нынѣ вопросъ о гамлетствѣ и донкихотствѣ, т. е. о различіи сильныхъ, непосредственныхъ натуръ, энергическихъ, рѣшительныхъ и беззавѣтно отдающихся влеченію своихъ страстей, и натуръ безхарактерныхъ, нерѣшительныхъ, раздвоенныхъ и изъѣденныхъ рефлексіей. Характеризовались тѣ и другія натуры совершенно правильно, но причина ихъ различія осталась невыясненной. Предполагалось, что фатально, самой природой суждено однимъ людямъ быть Гамлетами, другимъ—донъ-Кихотами. Мнѣ кажется, что это совсѣмъ неправильно.

Преобладаніе въ обществѣ гамлетства или донкихотства зависитъ по моему мнѣнію не отъ чего иного, какъ отъ характера той или другой эпохи. Бываютъ эпохи, когда люди представляются въ полной гармоніи со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ и строемъ жизни, являются преисполненными вѣры, что все стоитъ на своемъ мѣстѣ, какъ слѣдуетъ, что и сами они занимаютъ надлежащее мѣсто въ природѣ и жизни. Совѣсть ихъ или безпробудно спитъ, или, просыпаясь, легко находитъ себѣ удовлетвореніе въ тѣхъ или другихъ функціяхъ общественнаго строя. При такихъ условіяхъ людямъ конечно ничего не остается, какъ беззавѣтно отдаваться влеченіямъ своихъ страстей, какія-бы ни были эти страсти—чисто-животныя, чувственныя или самыя высокія. Въ такія эпохи въ обществѣ естественно должны преобладать донъ-Кихоты.

Но бываютъ другого рода эпохи, когда люди, додумываясь до какихъ-нибудь новыхъ системъ міросозерцанія, новыхъ общественныхъ или нравственныхъ идеаловъ, въ то же время не видятъ ни въ окружающемъ ихъ строѣ жизни, ни въ самихъ себѣ—ничего общаго съ этими идеалами. Жизнь влечетъ ихъ въ одну сторону, идеи требуютъ, чтобы они шли въ другую. Казалось-бы, что гдѣ-же могло представиться мѣсто для энергической, донъ-кихотской натуры, какъ не здѣсь: сразу порѣшить, по какому изъ двухъ путей идти и, не задумываясь долго, ринуться по избранной дорогѣ. Но въ томъ-то и дѣло, что существуетъ, собственно говоря, въ подобныя эпохи одинъ только путь: старая дорога, проторенная вѣками. Другой-же путь, требуемый новыми идеями, находится только въ отвлеченіи, а въ дѣйствительности нѣтъ ни малѣйшаго подобія его. Вы скажете, что и здѣсь есть мѣсто для энергическаго донъ-Кихота:—прокладывать новую дорогу. Сказать это конечно ничего не стоитъ, но на дѣлѣ это рѣшительно все равно, какъ сказать путнику, заблудившемуся въ лѣсу: зачѣмъ ты бродишь по топямъ и кочкамъ? проложи черезъ лѣсъ желѣзную дорогу, и она тебя быстро выведетъ на свѣтъ Божій. Всякая новая дорога прокладывается только тогда, когда является множество людей, нуждающихся въ ней; такъ точно и въ жизни. Смѣшно и думать, чтобъ отдѣльный человѣкъ, затерянный въ господствующемъ и утвержденномъ вѣками строѣ жизни, могъ перевернуть этотъ строй по своимъ идеямъ. Ему остается одно: бороться всѣми своими слабыми силами съ потокомъ жизни, увлекающимъ его по проложенному руслу. Вы не забудьте при этомъ, что бороться въ такомъ случаѣ приходится ему не только съ внѣшними обстоятельствами, но и съ самимъ собою, потому что самъ онъ—кровь отъ крови и кость отъ кости своихъ отцовъ, и въ себѣ самомъ онъ замѣчаетъ на каждомъ шагу многое, стоящее въ радикальномъ противорѣчіи съ новыми излюбленными идеями. Вотъ тутъ-то и начинается тотъ мучительный разладъ со всѣмъ строемъ жизни, людь-

ми и съ самимъ собою, который составляетъ сущность гамлетства. Человѣкъ теряетъ возможность съ прежней беззавѣтностью отдаваться своимъ страстямъ, потому что страсти эти влекутъ по проложенной старой дорогѣ, а ему хочется жить согласно своимъ излюбленнымъ идеямъ. Начинается мучительный анализъ каждаго шага и движенія, открывающій бездну противорѣчій, какъ во всемъ окружающемъ, такъ и во внутреннемъ мірѣ. Подобный анализъ парализуетъ всякую энергію страстей и влеченій и придаетъ человѣку видъ нерѣшительнаго, безхарактернаго, неспособнаго сдѣлать ни одного куринаго шага. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы подобные люди и въ самомъ дѣлѣ были безсильны и слабохарактерны. Имѣете-ли вы право считать безсильнымъ пловца потому только, что онъ не двигается съ мѣста, борясь съ быстрымъ потокомъ? Еслибы потокъ и увлекалъ его въ подобной борьбѣ, и въ такомъ случаѣ вы могли-бы изъ этого вывести только относительное заключеніе, что потокъ сильнѣе пловца, но это вовсе не мѣшало-бы пловцу, самому по себѣ, имѣть самую титаническую силу въ предѣлахъ человѣческой природы.

Я понимаю, почему Шекспиръ, жившій въ XVII вѣкѣ, создалъ типъ Гамлета. Это былъ вѣкъ самый гамлетическій. Въ это время новыя гуманныя идеи, составлявшія продуктъ древней цивилизаціи, все болѣе и болѣе вторгались въ умы образованнѣйшихъ людей, а строй жизни представлялъ обветшалыя средневѣковыя формы, не имѣвшія съ этими новыми идеями ничего общаго — естественно, что всѣ образованнѣйшіе люди этого вѣка, не исключая и самого Шекспира, должны были представляться гамлетами. Вникните съ исторической точки зрѣнія въ трагедію Шекспира, подумайте, въ чемъ заключается та внутренняя борьба, которая, совершаясь въ душѣ Гамлета, дѣлаетъ его столь нерѣшительнымъ и безхарактернымъ, какіе элементы борятся въ Гамлетѣ? Вы увидите, что—тѣ самые элементы, борьба которыхъ составляетъ сущность XVII вѣка. Въ Гамлетѣ представляется вамъ прежде всего образованнѣйшій человѣкъ своего времени, получившій въ лучшемъ университетѣ образованіе въ духѣ гуманизма.—Идеи, воспринятыя имъ, влекутъ его вовсе не къ какимъ-либо кровавымъ подвигамъ въ духѣ среднихъ вѣковъ, а къ мирнымъ кабинетнымъ бесѣдамъ съ философами и поэтами древности, къ энергическому содѣйствію развитію образованности въ своемъ отечествѣ и смягченію нравовъ въ духѣ просвѣщенной гуманности. Но въ то же время жизнь со своимъ средневѣковымъ строемъ не представляетъ Гамлету и тѣни возможности слѣдовать по этому пути. Этотъ строй разыгрываетъ вдругъ передъ Гамлетомъ трагедію совершенно въ средневѣковомъ духѣ въ видѣ убійства отца его роднымъ братомъ, узурпаціи престола и замужества матери за убійцу мужа. Мало того, что вся просвѣщенно-гуманная натура Гамлета была потрясена до послѣдней крайности столь ужасной катастрофой, но и на внѣшнее его положеніе она отразилась самымъ неблагопріятнымъ для него образомъ; она закрыла для него всякіе пути къ проведенію своихъ идей въ жизни, обрекши его на жалкую, пассивную роль придворнаго принца, отъ котораго конечно постарались бы впослѣдствіи отдѣлаться, когда у Клавдія явились бы свои дѣти, и Гамлетъ, въ качествѣ законнаго наслѣдника, мѣшалъ бы имъ занять престолъ. Къ этому ко всему присоединился и внутренній разладъ въ нравственномъ мірѣ самого Гамлета. Передъ нимъ, въ видѣ призрака отца, встала опять-таки вполнѣ средневѣковая идея кровавой мести, и Гамлетъ, этотъ гуманистъ семнадцатаго вѣка, въ то же время оказывается на столько еще все-таки средневѣковымъ человѣкомъ, что проникается идеей кровавой мести до мозга костей, и очень понятно почему: въ духѣ этой идеи онъ воспитанъ, и все, что окружало его, оправдывало ее и даже видѣло въ ней первую обязанность каждаго находящагося въ такихъ обстоятельствахъ, въ какихъ былъ Гамлетъ. Однимъ словомъ, Гамлетъ былъ въ положеніи современнаго намъ свѣтскаго человѣка, который, какъ-бы ни отрицалъ въ теоріи дуэли, эти подобныя-же средневѣковыя учрежденія, тѣмъ не менѣе не можетъ обойтись безъ нихъ подъ вліяніемъ первой вспышки оскорбленія. Но другое дѣло—проникнуться идеей кровавой мести, другое дѣло—привести ее въ исполненіе. Если для перваго Гамлетъ былъ достаточно еще средневѣковымъ человѣкомъ, то для послѣдняго онъ былъ слишкомъ ужъ гуманистъ, его цивилизованная натура была до такой степени смягчена образованіемъ, что онъ не способенъ уже былъ, не медля и не задумываясь, и съ такой-же беззавѣтностью, совершать кровавые поступки, какъ это дѣлали средневѣковыя непосредственныя натуры.—Поэтому мы и видимъ его постоянно резонирующимъ, колеблющимся, сомнѣвающимся, пока наконецъ потокъ жизни, продолжавшій струиться по средневѣковому руслу, не принесъ его самъ собою къ кровавой развязкѣ. И въ этомъ отношеніи Гамлета можно сравнить съ тѣми-же современными намъ свѣтскими людьми, которые выходятъ на дуэль, хотя всѣ убѣжденія ихъ вопіютъ противъ этого, и стрѣляютъ зажмуря глаза и на авось, но нуля и безъ ихъ воли можетъ совершить свое дѣло и случайно попасть въ цѣль. Но представьте вы себѣ этого самаго Гамлета живущимъ вѣкомъ позже, когда нравы были на столько уже гуманизированы и смягчены, что немыслимо уже стало, чтобы на престолахъ, въ глазахъ всего народа, совершались кровавыя преступленія, подобныя убійству отца Гамлета, а если они кое-гдѣ все еще и совершались, то идея кровавой мести совсѣмъ уже исчезла изъ умовъ людей,—вы не увидѣли-бы тогда въ этомъ самомъ человѣкѣ и тѣни того, что вы понимаете подъ словомъ гамлетство. Онъ представлялся бы вамъ просвѣщеннымъ принцемъ или королемъ вродѣ Фридриха Великаго или Іосифа, меценатствовалъ бы, поощряя философовъ и поэтовъ, велъ бы съ ними дружбу и переписывался, испрашивая у нихъ совѣтовъ, и мечталъ-бы о разныхъ гуманныхъ реформахъ для водворенія на землѣ царства разума. Онъ продолжалъ бы быть скептикомъ, но скептицизмъ этотъ вовсе не имѣлъ-бы того мрачнаго, парализующаго волю вліянія, какое мы видимъ въ скептицизмѣ XVII вѣка: онъ представлялся бы вамъ смѣлымъ порывомъ гордаго разума, отважно ниспровергающаго всѣ старые пред-

разсудки, имѣлъ бы на страсти скорѣе разнуздывающее, чѣмъ парализирующее вліяніе. И дѣйствительно, таковъ былъ скептицизмъ восемнадцатаго вѣка. Это былъ вѣкъ, въ который люди беззавѣтно отдавались влеченію своихъ страстей, какихъ-бы ни было — самыхъ высокихъ и самыхъ низкихъ; потому восемнадцатый вѣкъ и представляется намъ такимъ разнузданнымъ, потому въ пестрой картинѣ его мы и видимъ ужасающіе пороки и циническій развратъ рядомъ съ такими возвышенными, героическими проявленіями человѣческой натуры, какія выпадаютъ на долю только немногимъ избраннымъ эпохамъ.

Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ понятно становится, почему въ сороковые и пятидесятые годы вопросъ о гамлетствѣ былъ у насъ въ такой модѣ; это была самая гамлетическая эпоха въ нашей жизни. Отцы и дѣды людей сороковыхъ годовъ были исполнены такихъ-же противорѣчій, но они на эти противорѣчія или не обращали вниманія, или находили легкое примиреніе имъ въ жизни. Поэтому, не говоря уже о восемнадцатомъ вѣкѣ, и первая четверть девятнадцатаго представляетъ характеръ необузданно веселой и безпечной жизни въ образованныхъ слояхъ жизни. – Образованнѣйшіе и либеральнѣйшіе люди этой эпохи, увлекаясь до самоотверженія идеями восемнадцатаго вѣка, прилагали эти идеи исключительно только къ вопросамъ государственнымъ, но въ то же время имъ и въ голову не приходило о согласованіи своей личной жизни съ этими идеями. Либеральныя идеи нисколько не мѣшали имъ беззавѣтно наслаждаться жизнью, кутить, драться на дуэляхъ, донжуанствовать, пылать страстью къ красотѣ военнаго мундира, припечатывать бороды жидовъ къ столамъ и пр., и пр. Иной герой двадцатыхъ годовъ былъ способенъ въ порывѣ вспыльчивости оттаскать чубукомъ своего крѣпостного или деньщика, а потомъ черезъ часъ отправиться на засѣданіе тайнаго общества рѣшать вопросъ объ освобожденіи этого самаго прибитаго Ивана, и при этомъ ему и въ голову могла не прійти вся несообразность подобнаго совпаденія двухъ столь несоотвѣтствующихъ поступковъ. Въ своемъ фрондированіи онъ видѣлъ государственное дѣло на основаніи высшихъ философскихъ соображеній, а въ побіеніи Ивана—ничтожный частный случай вспыльчивости широкой русской натуры, а если его когда и смущали подобныя проявленія широкой натуры, то ему ничего не стоило утѣшаться мыслью, что Иванъ все-таки его любитъ и считаетъ хотя и вспыльчивымъ, но добрымъ бариномъ и конечно проститъ ему побои, когда увидитъ, что этотъ самый баринъ устроилъ ему свободу.

Сороковые же годы тѣмъ именно и отличаются, что въ эту эпоху люди перестали уже ограничиваться одними высшими соображеніями о государственныхъ судьбахъ отечества, а начали подводить къ одному знаменателю всѣ малѣйшія проявленія жизни, начали искать новыхъ путей не только для всего общества въ массѣ, но и для каждаго индивидуума. Не распространяясь о всемъ другомъ, самыя тѣ неудачи, которыя претерпѣли отцы, навели дѣтей на мысль о той массѣ нравственныхъ противорѣчій, при которой ни о какихъ удачахъ нечего было и мечтать. Люди сороковыхъ годовъ и обратили все свое вниманіе на эту массу противорѣчій. На очную ставку съ новыми и гуманными идеями, составляющими продуктъ современной цивилизаціи, были поставлены не только каждый малѣйшій шагъ жизни, но и каждое помышленьице, самое сокровенное. Не только кулачныя проявленія широкой русской натуры начали казаться поступками, непримиримыми никакими сдѣлками съ совѣстью, но начало оспариваться право на самыя повидимому невинныя наслажденія жизни, купленныя цѣной чужого труда. Но легко было мечтать о новыхъ идеальныхъ путяхъ жизни, слѣдовать же по нимъ не представлялось никакой возможности по той простой причинѣ, что въ жизни никакихъ такихъ путей не было и признака. Въ какую бы сторону ни направлялся мыслящій человѣкъ того времени, онъ вездѣ находилъ одни старые и рутинные пути, и жизнь, обхватывая его своимъ потокомъ, неудержимо влекла его по проложенному вѣками руслу. Мечталъ-ли онъ о честной гражданской дѣятельности, ему только и оставалось служить. Но, поступивши на службу, онъ, не говоря уже о томъ, что дѣлался мертвымъ колесомъ обветшалой бюрократической машины, кромѣ того долженъ былъ соглашаться на цѣлый рядъ компромиссовъ, смотрѣть сквозь пальцы на самыя возмутительныя вещи, а зачастую доходило до того, что ему предлагали на выборъ или дѣйствовать, какъ другіе и дѣлиться съ прочими какими-нибудь безгрѣшными доходами, или быть отстранену. Пробиться на верхнія ступени служебной іерархіи для пріобрѣтенія болѣе широкаго простора дѣятельности онъ не могъ и мечтать безъ протекцій, противъ которыхъ вопіяли всѣ его убѣжденія. Помышлялъ-ли онъ объ агрономической дѣятельности, поселялся въ деревнѣ и начиналъ хозяйничать, и здѣсь всѣ его идеалы разбивались въ пухъ и прахъ о вредные экономическіе и нравственные результаты крѣпостного права. Выступалъ онъ на ученое поприще, и, если не былъ рутинеромъ, лекціи его оказывались опасными, онъ принужденъ былъ малодушно скрывать истину, говорить даже вопреки ея,—или сходить съ каѳедры. Дѣлаясь писателемъ, онъ, при строгости тогдашней цензуры, вмѣсто высказыванья того, чѣмъ была преисполнена душа его, долженъ былъ писать Богъ знаетъ о какихъ пустякахъ. Приходило-ли ему въ голову жениться, и въ то время какъ въ головѣ его носился высокій идеалъ образованной, гуманной женщины, которая была бы во всѣхъ отношеніяхъ подругой его въ жизни, онъ находилъ не женщину, а самку, полуобразованную, исполненную предразсудковъ, искалѣченную воспитаніемъ и обезличенную семейнымъ рабствомъ. Прибавьте ко всему массу внутреннихъ противорѣчій, которыя на каждомъ шагу находилъ человѣкъ сороковыхъ годовъ въ себѣ—противорѣчій между тѣми новыми идеями, какими онъ увлекался, и массой привычекъ, въ духѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ и которыя глубоко успѣли внѣдриться въ него путемъ наслѣдственнаго подбора.—Понятно, что человѣкъ 40-хъ годовъ не могъ не быть Гамлетомъ, хотя бы и Щигровскаго уѣзда.

Затѣмъ наступили шестидесятые годы, которые нѣкогда ставились у насъ въ противуположность соро-

ковымъ годамъ и даже въ нѣкоторый антагонизмъ съ послѣдними, на томъ будто основаніи, что поколѣніе сороковыхъ годовъ состояло изъ людей одной праздной рефлексіи, а люди шестидесятыхъ годовъ были людьми дѣла. Но въ сущности шестидесятые годы со всѣмъ ихъ шумнымъ движеніемъ были конечно прямымъ результатомъ и, такъ сказать, наслѣдіемъ сороковыхъ годовъ. Различіе между первой и второй эпохами заключалось только въ томъ, что въ сороковые годы люди ограничивались однимъ сознаніемъ своихъ противорѣчій и сокрушеніемъ о нихъ; въ шестидесятые же годы въ цѣлой массѣ общества возбудилась неудержимая жажда во что бы то ни стало найти выходъ изъ мучительныхъ противорѣчій идей съ дѣйствительностью. Это была эпоха всеобщаго покаянія, стремленія къ обновленію. Люди шестидесятыхъ годовъ продолжали быть не менѣе раздвоенными, чѣмъ и предшествовавшее поколѣніе, но они не оставались только скорбными зрителями своей раздвоенности, а боролись съ нею, причемъ каждый по своему старался устроить жизнь на новыхъ и разумныхъ основаніяхъ, свергнувъ съ себя ветхаго человѣка. Конечно отдѣлаться отъ ветхаго человѣка сразу было очень трудно; оттого выходила путаница и сумятица невообразимыя: одни принимали за новыя начала старыя же, только нѣсколько заново подмалеванныя, другіе увлекались одной внѣшностью новизны и видѣли въ ней сущность, третьи впадали въ какую-нибудь узкую односторонность, иногда думая идти впередъ, уходили назадъ, чуть что не въ средневѣковую глубь, ударяясь въ мрачный и нетерпимѣйшій аскетизмъ или въ необузданную чувственность. Но какъ ни много было въ шестидесятые годы дикихъ увлеченій и печальныхъ заблужденій, а все-таки въ концѣ-концовъ это была честная эпоха,—эпоха, не допускавшая никакихъ компромиссовъ и требовавшая истиннаго, а не какого-либо призрачнаго обновленія жизни. Люди шестидесятыхъ годовъ были піонерами, наудачу и въ разсыпную напроломъ устремившимися пролагать новые пути въ невѣдомыя страны. Многіе измучились въ мучительной борьбѣ и пали; многіе погибли въ самомъ началѣ пути; многіе заблудились, зайдя въ непроглядную глушь; многіе струсили и малодушно обратились вспять. Но все-таки кой-какая тропа оказалась проложенной, кое-что самое непролазное вырублено и указанъ по крайней мѣрѣ выходъ изъ мучительныхъ противорѣчій предшествовавшаго поколѣнія.

Но многіе-ли пошли вслѣдъ за піонерами шестидесятыхъ годовъ по новой тропѣ? Увы, не прошло и десяти лѣтъ, какъ проложенная тропа оказалась вдругъ пустыней, лишь усѣянной кое-гдѣ трупами падшихъ путниковъ. Масса же общества, такъ искренно каявшаяся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, такъ повидимому горячо жаждавшая обновленія,—осталась въ старой глуши со всѣми своими прежними нравственными противорѣчіями, которыя въ скоромъ времени перестали вовсе смущать людей, такъ какъ жизнь успѣла выработать кой-какія формы, въ которыхъ оказалось очень легко находить полное примиреніе и съ внѣшней жизнью, и съ внутреннимъ нравственнымъ міромъ.

Уже передъ началомъ шестидесятыхъ годовъ были люди, которые пророчески предрекали, что жажда общества къ обновленію не замедлитъ удовлетвориться пустяками, и общество быстро найдетъ самое легкое примиреніе.

Не прошло и двадцати лѣтъ съ тѣхъ поръ, и жизнь успѣла вполнѣ оправдать эти пророчества. Большинство людей, такъ горячо когда-то обличавшихъ, такъ искренно сокрушавшихся и каявшихся, оказались Маниловыми, успѣвшими построить и мостикъ черезъ рѣку, и бельведеръ, изъ котораго Москва видна. И какъ немного было нужно для того, чтобы были забыты всѣ противорѣчія и люди снова изъ сокрушающихся Гамлетовъ подѣлались непосредственными донъ-Кихотами и, махнувши на все рукой, беззавѣтно отдались влеченію своихъ страстей...

Да, господа, нашъ вѣкъ, семидесятые годы, есть вѣкъ безспорно донъ-кихотскій, и люди сороковыхъ годовъ, оставшіеся въ живыхъ, могутъ позавидовать людямъ семидесятыхъ годовъ, вспомня свою мучительную юность, исполненную рефлекцій, сомнѣній и сокрушеній. Да и въ самомъ дѣлѣ, о чемъ-же сокрушаться современному намъ человѣку, въ чемъ сомнѣваться ему? Кто бы онъ ни былъ, этотъ современный человѣкъ,—биржевой-ли игрокъ, концессіонеръ-ли, инженеръ, адвокатъ, прокуроръ, медикъ, педагогъ, профессоръ, писатель — во всѣхъ профессіяхъ онъ чувствуетъ себя въ своей тарелкѣ съ одинаково спокойной совѣстью... Когда онъ садится за трапезу, ему и въ голову не приходитъ убійственная мысль, что онъ ѣстъ кровь и потъ своихъ крѣпостныхъ. Какіе-же нынѣ крѣпостные? Это—дѣло уже старое, начинающее обрастать мохомъ: крѣпостные замѣнились нынѣ распущенными и излѣнившимися мужиками, и современный человѣкъ является конечно скорѣе жертвой ихъ нахальнаго вымогательства, чѣмъ вымогателемъ. Какіе-бы громадные куши ни загребалъ современный человѣкъ и какой-бы роскошью себя ни окружалъ, совѣсть его остается спокойной, потому что онъ эти куши не воруетъ, не беретъ ихъ тайкомъ, въ видѣ взятокъ; они сами открыто со всѣхъ сторонъ валятся къ нему въ видѣ награды за его неусыпные труды и гражданскія доблести. Сознавая себя честнымъ труженикомъ, современный человѣкъ блеститъ героическимъ либерализмомъ и уже не гдѣ-нибудь за уголкомъ и съ оглядкой, въ интимномъ кружкѣ друзей, а открыто и громогласно передъ всѣмъ свѣтомъ, и за это снискиваетъ уваженіе и превознесеніе отъ свѣта: публика ему апплодируетъ, дамы шлютъ ему нѣжные взоры, а начальство награждаетъ чинами и орденами. Это — уже не печальный Гамлетъ, всюду лишній, всѣмъ мозолящій глаза и становящійся въ непримиримый разладъ со всѣмъ окружающимъ, а хозяинъ жизни, передъ которымъ двери всѣ растворяются настежъ, и всюду его принимаютъ съ почтеніемъ и распростертыми объятіями, не зная, куда его посадить. Захочетъ-ли онъ вкусить чары любви, и опять-таки о чемъ-же задумываться ему? Развѣ современная жизнь мало уже выработала женщинъ прелестныхъ, смѣлыхъ, пикантныхъ, горазднхъ на что угодно—и на игривую салонную болтовню, и на глубокомысленный разговоръ о Воклѣ, Дарвинѣ и Молешотѣ, и на безпечное срываніе цвѣтовъ наслажденій, и

на дѣловыя пренія въ какомъ-нибудь благотворительномъ дамскомъ комитетѣ и даже засѣданія по поводу вопроса о женскомъ трудѣ. Но впрочемъ зачѣмъ-же ему какая-нибудь *она*, одна? Искать себѣ такъ называемую подругу жизни для того, чтобы дѣлить съ ней радости и горе и оставаться ей вѣрнымъ до могилы— это уже старо, сентиментально, отзывается нѣмецкимъ бюргерствомъ, да и современный человѣкъ обладаетъ слишкомъ широкимъ сердцемъ для того, чтобы быть въ состояніи сосредоточиться на одной привязанности. И вотъ какъ посравнишь съ современными героями людей сороковыхъ годовъ, обидно станетъ за послѣднихъ: какими въ самомъ дѣлѣ сиреневыми, жалкими представляются Райскій или Лаврецкій, съ ихъ мучительными рефлексіями и томными восторгами у ногъ какой-нибудь сельской красавицы, сравнительно съ современнымъ дѣльцомъ, прожигающимъ жизнь въ кругу шикарныхъ кокотокъ и въ чаду свѣтскихъ клубныхъ и закулисныхъ интригъ самаго забубеннаго характера.

Да, читатель, намъ теперь не въ чемъ сомнѣваться, не къ чему стремиться: всегда мы можемъ найти самое легкое примиреніе для какихъ угодно нравственныхъ противорѣчій—въ должности-ли мирового судьи, на трибунѣ-ли судейской или земской, въ занятіяхъ-ли естественными науками, въ писаніи-ли передовыхъ статей самаго либеральнаго характера, и что-же намъ остается дѣлать, какъ не плыть по теченію, не отдаться влеченію своихъ страстей и не срывать цвѣты удовольствія, представляясь вполнѣ непосредственными натурами. Такъ мы и поступаемъ. И нѣтъ ничего мудренаго, что наша современная жизнь замѣтно повеселѣла и принарядилась сравнительно съ тѣмъ, что́ было лѣтъ десять тому назадъ. По тому разливному морю роскоши и веселья, какое кипитъ повсюду по большимъ и малымъ городамъ, она начинаетъ во многомъ напоминать жизнь дѣдовъ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Вы читали конечно очерки современныхъ провинціальныхъ нравовъ Кроткова въ августовской и сентябрьской книжкахъ «Отечеств. Запис.»? Вы замѣтили конечно, какая масса въ этихъ очеркахъ представляется вамъ непосредственныхъ кутилъ, беззавѣтныхъ весельчаковъ, которые только о томъ и думаютъ, какъ-бы повеселѣе мелькалъ день за днемъ въ ихъ жизни; какъ дѣти, увлекаются они до самозабвенія появленіемъ какого-нибудь фокусника въ городѣ и вслѣдъ за нимъ наперерывъ спѣшатъ продѣлывать его паясничество.

«Куда, подумаешь, дѣвалась солидность? спрашиваетъ одинъ изъ героевъ очерковъ Кроткова, глядя на всѣ эти невинныя забавы:—отчего это люди публично обнаруживаютъ легкомысленность, свойственную только ребенку? Это—люди-дѣти и дѣти вѣчно несовершеннолѣтнія! Присмотритесь-ка вы попристальнѣе къ особенностямъ теперешней жизни! Революція отвладывается до завтра, а сами идутъ смотрѣть фокусы! Секретарь, положимъ,—еще очень молодой человѣкъ, а паясничаетъ въ судѣ и внѣ суда!.. Забавляются, балуютъ фокусами, а какъ будто сами и не вѣдаютъ, что въ жизни всякій изъ насъ продѣлываетъ тысячи фокусовъ почище этихъ, и намъ не рукоплещутъ, а хлещутъ, да похлестываютъ!»

Посмотрите въ то же время, какой рѣкой льется вино всюду, на каждой страницѣ очерковъ Кроткова: люди пьянствуютъ и безобразничаютъ не по ночамъ и тайкомъ ото всѣхъ, а открыто, днемъ, въ публичныхъ мѣстахъ и при этомъ играютъ роль полныхъ хозяевъ, гдѣ-бы то ни было, громогласно заявляютъ, что они имѣютъ полное право пьянствовать и безобразничать, потому что они пьютъ на свои трудовыя деньги и къ тому же они—цвѣтъ интеллигенціи и никто имъ не указъ, а, напротивъ того,—съ нихъ, какъ съ интеллигенціи, должны брать примѣръ люди. Въ связи съ этимъ стоитъ конечно особенно замѣтное въ послѣднее время пристрастіе къ юбилейнымъ празднествамъ и банкетамъ по всякому удобному случаю. Наконецъ возьмите вы хотя-бы развивающуюся съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе страсть къ маскарадамъ съ арлекинадами, шуточными процессіями и аллегорическими представленіями. Я помню, какъ въ молодости меня странно поражало существованіе нѣкогда такого литературнаго общества, какъ «Арзамасъ». Я никакъ не могъ представить себѣ, какъ это серьезные люди, стоявшіе во главѣ интеллигенціи своего времени, могли быть въ то же время такими дѣтьми, чтобы собираться вдругъ для того, чтобы устраивать какія-то шуточныя процессіи, посвященія и обзывать другъ друга комическими прозвищами, точно передъ вами парадируютъ не первостепенные русскіе литераторы, а школьники. Для меня это было въ такой же степени дико, какъ еслибы я получилъ свѣдѣніе, что въ кружкѣ Станкевича или любомъ изъ кружковъ шестидесятыхъ годовъ— между прочимъ играли-бы въ чехарду. Но въ настоящее время я очень хорошо понимаю причину страсти къ дѣтскимъ забавамъ и шалостямъ въ членахъ «Арзамаза»; она происходила отъ того, что большинство членовъ были непосредственными натурами, подобно средневѣковымъ людямъ, которые по той же причинѣ въ свою очередь были страстные любители арлекинадъ и всякаго рода шуточныхъ процессій. Люди сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ потеряли способность ребяческаго веселья, потому что ко всему подходили они со своимъ анализомъ и скептицизмомъ, были полны тревожныхъ думъ и разъѣдающихъ рефлексій. Имъ казалось дикимъ надѣть вдругъ шутовское платье и пуститься въ плясъ, когда на сердцѣ скребутъ кошки, когда весь міръ кажется душной и сирадной тюрьмой, когда предстоитъ рѣшить столько роковыхъ и страшныхъ вопросовъ жизни. Естественно, что веселье и ребяческая шутка бѣжали безъ оглядки отъ этихъ серьезныхъ, насупившихся, мрачныхъ людей, всюду приносившихъ съ собой уныніе и отчаяніе... А теперь... теперь я нисколько не былъ-бы удивленъ, еслибы въ самыхъ наиинтеллигентнѣйшихъ кружкахъ повторились празднества «Арзамаса», и люди собрались-бы съ единственной цѣлью, надѣвши шутовскіе костюмы, ходить кверху ногами: мы опять вернули нашу беззавѣтную непосредственность, и жизнь снова приняла видъ ликующаго праздника; трещатъ ракеты и потѣшные огни, гремитъ музыка, летятъ въ потолокъ пробки, шампанское льется безконечной рѣкой, только и раздаются вокругъ, что тосты, пожеланія и восторги всевозможнаго процвѣтанія, а по уголкамъ слышится страстный шопотъ любви и звуки сочныхъ поцѣлуевъ,

а въ театрахъ нѣніе шансонетокъ и бѣшеные звуки канкана, и хохотъ, хохотъ, беззавѣтный хохотъ надъ всѣмъ и вся — неправда-ли, какъ весело живется, читатель?..

Но обратимся къ очеркамъ Хвощинской и посмотримъ, какъ отражается въ этихъ очеркахъ широкая масляница современной намъ жизни.

III.

Мы начнемъ не съ перваго, а съ третьяго очерка. Это мы сдѣлаемъ на томъ основаніи, что въ этомъ очеркѣ передъ нами рисуется одно изъ явленій шестидесятыхъ годовъ, возможное конечно и въ наше время, но по характеру своему относящееся все-таки къ недавно пережитому прошлому. Въ наше время драмы, подобныя той, какую вынесла героиня этого очерка, переживаются конечно гораздо скорѣе и легче, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ, и это очень понятно: всѣ прошлые моменты жизни переживаются послѣдующими поколѣніями гораздо скорѣе и легче, чѣмъ выносили ихъ люди, современные этимъ моментамъ. Такъ напримѣръ, тотъ же самый аскетическій мистицизмъ, который обхватываетъ всю жизнь Гоголя, въ жизни Добролюбова занимаетъ небольшой періодъ самой ранней юности.

И дѣйствительно, несмотря даже на то, что героиня этого очерка, Лизавета Васильевна Риднева, конечно далеко не принадлежитъ къ передовымъ прогрессисткамъ шестидесятыхъ годовъ и представляетъ заурядный типъ провинціальной свѣтской барыни, все-таки и въ ней видите вы тотъ же разлалъ съ самой собой, ту же борьбу непримиримыхъ противорѣчій, то же стремленіе выйти изъ нихъ, однимъ словомъ, все то же самое, чѣмъ жили въ шестидесятые года и что отражалось во всѣхъ безъ исключенія людяхъ этой эпохи.

Не принадлежа по своему типу къ числу передовыхъ прогрессистовъ шестидесятыхъ годовъ, Риднева тѣмъ болѣе замѣчательна въ томъ отношеніи, что показываетъ, какъ въ шестидесятые годы люди не вслѣдствіе только одного увлеченія передовыми идеями, но самой роковой силой обстоятельствъ выбивались изъ непосредственности, приходили къ самымъ непримиримымъ противорѣчіямъ и должны были искать какого-нибудь выхода изъ этихъ противорѣчій.

Лизавета Васильевна Риднева была воспитана вполнѣ въ духѣ дореформенныхъ порядковъ, и если бы не шестидесятые годы, то она конечно могла бы прожить всю жизнь свѣтской куколкой, ни о чемъ не задумываясь, ни къ чему не стремясь и заботясь до сѣдыхъ волосъ о срываніи цвѣтовъ наслажденій. Вотъ что мы читаемъ о ея ранней юности:

«Ея мать умерла давно; она ея не знала. Все, что она знала, — это, что она — единственная дочь, что отецъ несмѣтно богатъ, что ее обожаютъ. У нея перебывалъ десятокъ гувернантокъ и полные шкапы игрушекъ и нарядовъ. Позднѣе она какъ-то слышала, что существуютъ какіе-то откупа, что отецъ — предсѣдатель какой-то палаты и эти откупа отъ него зависятъ, что будетъ очень не хорошо, если они отойдутъ. Куда отойдутъ и какъ, и собственно что такое «отойти»—она не понимала и не спрашивала объясненія. Она слышала въ то же время, что еще многое перемѣнится и тоже будетъ не хорошо, но ей до этого не было дѣла. Именно тогда ей было особенно весело: ей минуло четырнадцать лѣтъ; у нея была предобрая, премилая, прехорошенькая гувернантка, m-me Вильдгольцъ, которая попросила отца давать вечера, чтобъ пріучить Лизу къ обществу. Лиза хозяйничала на этихъ вечерахъ, какъ большая. Дамы обращались съ ней немного покровительственно, но очень мило а дѣвицы — она знала навѣрное — ей завидовали. Со злости онѣ насчитывали ей лишніе года и — для нихъ-же было хуже: молодые люди сочли ее въ самомъ дѣлѣ *большой* и объяснялись ей въ любви Очень было хорошо, только не долго. Отецъ вдругъ вышелъ въ отставку, откупа совсѣмъ уничтожились; m-me Вильдгольцъ вдругъ за что-то разсердилась и уѣхала. Отецъ сказалъ Лизѣ, что больше не возьметъ ей гувернантки. Лиза была очень довольна, она и сама умѣла принимать гостей, а учиться — она ужъ прекрасно говорила по-французски, играла на фортепіано, рисовала цвѣты, даже умѣла дѣлать ихъ изъ папиросной бумаги, вышивала иногда по канвѣ, на рукахъ конечно, чтобы не кривить таліи, а танцовала въ совершенствѣ. Она и пѣла, но въ то время у дѣвушекъ было не въ модѣ пѣть романсы. Ея воспитаніе могло казаться вполнѣ оконченнымъ. У нея было уже нѣсколько женихов..»

Такъ все шло, какъ по маслу, и шло бы оно такъ до окончанія дней Лизы, еслибы не подоспѣли шестидесятые годы и не сбили героини нашей съ той торной дороги, по которой нѣкогда шли многія подобныя ей дѣвушки. Но прежде, чѣмъ сбить съ этой дороги обстоятельствами жизни, шестидесятые годы не замедлили осѣнить ее своимъ крыломъ и по части того движенія идей, которое, разливаясь широкимъ потокомъ по всей матушкѣ Руси, задѣло краешкомъ и Лизу. У отца ея была знакомая небогатая старуха Риднева. У этой старухи былъ молодой племянникъ, университетскій студентъ. Молодые люди какъ-то увидѣлись и влюбились другъ въ друга... Начались безконечныя прогулки въ огородѣ, поцѣлуи подъ чириканье воробьевъ. Ему было двадцать-два года, ей — шестнадцать.

Ридневъ побылъ въ городѣ N, гдѣ жила Лиза съ отцомъ, только во время вакаціи; потомъ онъ уѣхалъ на какой-то урокъ и оканчивать курсъ. Конечно въ короткое время сближенія съ дѣвушкой онъ не могъ сдѣлать Богъ вѣсть какіе успѣхи въ ея развитіи. Только въ пошлыхъ романахъ героини послѣ двухъ-трехъ бесѣдъ съ новымъ человѣкомъ сразу перерождаются и дѣлаются вполнѣ современными дѣвицами. Однако же, какъ ни ничтожно было его вліяніе на дѣвушку, въ ней успѣло уже забродить что-то новое, о чемъ до того времени не приходило ей и въ голову.

«Въ ней произошла какая-то перемѣна, читаемъ мы:—она сама себѣ казалась серьезнѣе, говорила о трудѣ, занятіяхъ. Она слышала, что мудрено свѣтской дѣвицѣ сдѣлаться трудовой женщиной, что нельзя привязаться къ занятіямъ, въ которыхъ съ дѣтства мы не признавали ни важности, ни смысла,— но она твердила, что такъ слѣдуетъ сдѣлать, если возможно. Для нея-это было невозможно. Учиться было не у кого и некогда. Получая письма Риднева, покрывая ихъ поцѣлуями и не понимая изъ нихъ половины, Лиза говорила себѣ, что *тогда* онъ всему ее выучитъ. Она бросилась читать, и читала романы...»

Сколько реальной правдивости въ этихъ строкахъ!

Когда совершается какое-нибудь большое движеніе въ обществѣ, оно захватываетъ собой всѣхъ и каждаго, но очевидно не всѣхъ въ равной степени, а сообразно воспитанію человѣка, средѣ, въ которой онъ живетъ, воспріимчивости натуры, близости къ центру движенія и тому подобнымъ обстоятельствамъ. Представить это вліяніе движенія въ той надлежащей мѣрѣ, въ какой оно въ данномъ случаѣ могло имѣть мѣсто,— немаловажная задача художника. И задачи этой не упустила изъ вида Хвощинская: конечно при воспитаніи, положеніи и жизни Лизы въ домѣ отца вліяніе духа времени не могло простираться далѣе того, что мы видимъ: Лиза начала говорить о трудѣ, занятіяхъ и читать романы—и этого было много въ ея житейской обстановкѣ.

Но вотъ произошла катастрофа, вызванная движеніемъ жизни—отецъ совсѣмъ разорился. Два года передъ тѣмъ «отошли» эти непостижимые откупа; теперь лопнули какія-то акціи; бѣжалъ какой-то кассиръ; нужно было передать другому только-что построенную желѣзную дорогу... Все продали: экипажи, лошадей, домъ...

Для Лизы началась новая жизнь, совершенно противоположная прежней:

«Уѣздный городишко; квартира.. коморка какая-то; потолки текли; разъ штукатурка свалилась, чуть головы не проломила. Отецъ на старости лѣтъ нашелъ службу: на телѣгѣ, по слякоти, по ночамъ ревизовалъ кабаки... А она... ну, все дѣлала, до всего дошла: и тряпки, и соръ, и корыто. Нужно было пить и ѣсть. А то—не было чего и поѣсть. Зубы-то молодые, здоровые... Ахъ, какъ ѣсть хотѣлось...»

Казалось-бы—это-ли не выходъ изъ противорѣчій, въ какія могла-бы встать Лиза, еслибы она продолжала развиваться въ прежней свѣтской и роскошной обстановкѣ? Что было общаго между такой обстановкой и идеями о трудѣ, занятіяхъ, навѣянными духомъ времени? Теперь-же, напротивъ того, Лиза встала именно въ такое положеніе, когда идеи о трудѣ сдѣлались наиболѣе пригодными и соотвѣтственными, мало того—даже неизбѣжными. Но мы видимъ, что легко было выйти изъ прежней обстановки жизни, особенно когда сами обстоятельства принудили къ тому Лизу, но другое дѣло было снять съ себя ветхаго человѣка, отдѣлаться отъ цѣлой массы привычекъ, вкусовъ и предразсудковъ, въ духѣ которыхъ была воспитана Лиза. И вотъ мы видимъ, что тамъ, гдѣ, казалось-бы, долженъ былъ открыться выходъ изъ противорѣчій, тамъ-то именно и началась настоящая-то борьба ихъ. При прежней обстановкѣ противорѣчія эти конечно не мѣшали-бы другъ другу и мирно уживались-бы подъ одной кровлей, какъ они зачастую уживаются въ непосредственныхъ натурахъ при мало-мальски обезпеченномъ довольствѣ. Но въ когтяхъ нужды, когда для человѣка требуется масса энергіи, опытности, знанія жизни и ловкости, чтобы бороться за свое существованіе и снискивать хоть черствый кусокъ хлѣба, тутъ-то обыкновенно и выступаетъ наружу та страшная неподготовленность къ жизни, какая обыкновенно бываетъ при свѣтскомъ воспитаніи, неумѣнье ступить шагу самостоятельно и безъ посторонней указки, незнаніе самыхъ обыденныхъ условій жизни, отсутствіе малѣйшей усидчивости въ трудѣ, изнѣженность и вслѣдствіе ея изнеможеніе и даже страданіе при малѣйшемъ напряженіи какихъ-либо усилій, отсутствіе всякой разсчетливости въ деньгахъ, невозможность обходиться безъ такихъ предметовъ роскоши, которые совершенно несвойственны при трудовой жизни и не по средствамъ,—все это прежде было совершенно незамѣтно, стушевывалось въ общемъ фонѣ свѣтской обстановки, могло казаться даже очень красивымъ, а теперь всплываетъ наружу, какъ нѣчто совершенно несообразное съ новымъ характеромъ жизни и конечно дѣлаетъ человѣка вдесятеро несчастнѣе самаго бѣднаго труженика, воспитаннаго и закаленнаго въ трудѣ и борьбѣ съ нищетой. Такой человѣкъ долженъ бороться не только съ внѣшними обстоятельствами, но и съ самимъ собой. Самое свое положеніе онъ мѣряетъ совершенно по другому масштабу, чѣмъ привычный бѣднякъ и труженикъ: таже самая обстановка, какой привычный труженикъ могъ-бы быть вполнѣ доволенъ, возбуждаетъ въ немъ брезгливость и отвращеніе. Онъ чувствуетъ себя глубоко несчастнымъ напримѣръ, что долженъ ѣздить въ вагонахъ третьяго класса, что на стѣнахъ у него самые простые обои, за столомъ неприхотливыя кушанья и пр., и пр. Все это конечно должна была испытать Лиза впродолженіи года своей бѣдственной жизни съ разорившимся отцемъ. Но этотъ годъ не исправилъ Лизы, не переродилъ ея и не привелъ ея натуры въ полное согласіе съ новой обстановкой. Конечно это было очень мало сравнительно съ десятками лѣтъ прежней завидной жизни. Потомъ обстоятельства нѣсколько измѣнились. Ридневъ кончилъ наконецъ курсъ, нашелъ мѣсто учителя, женился на ней. Но если замужество и вывело Лизу изъ безпомощной нищеты, въ всякомъ случаѣ мужъ далеко не могъ пріобрѣтать столько средствъ, чтобы обставить ее роскошью и дать ей возможность снова наслаждаться свѣтской жизнью. Семейная обстановка ея была въ общемъ уровнѣ жизни средняго круга. Такъ обыкновенно живутъ въ провинціяхъ гимназическіе учителя. Посмотримъ-же теперь, въ какомъ видѣ представляется намъ Лиза въ обстановкѣ средняго круга:

«Балованное дитя, читаемъ мы:—она могла покоряться необходимости, но покорялась, ей какъ случайному, временному; могла бороться съ бѣдой, даже удачно и смѣло, но находя силы и владѣя собой только сгоряча. Проходила бѣда—она помнила ее со злостью, ожесточаясь, но не становилась опытнѣе, мужественнѣе, не готовилась ни къ чему въ будущемъ. Она трудилась поневолѣ, но не пріучалась, не могла привыкнуть къ труду, со всякимъ днемъ больше ненавидѣла трудъ. Она выносила лишенія, потому что такъ складывались обстоятельства, но не понимала, какъ можно добровольно отказывать себѣ въ чемъ-нибудь. Для нея существовали только крайности: совершенная беззаботность или отчаяніе, и вся ея жизнь—каждый день ея жизни — состоялъ изъ безпрестанныхъ переходовъ изъ одной въ другую крайность Она не утѣшала себя, не успокоивала планами и мечтами: спокойствіе налетало само собой, мгновенно, при малѣйшемъ просвѣтѣ обстоятельствъ и, довольная тѣмъ, что успокоилась, она конечно не тревожила себя оглядкой, разборомъ прошедшаго, какимъ-нибудь соображеніемъ на будущее: она отдыхала, будто обновлялась на день, на два, иногда на нѣсколько часовъ до новой «бѣды...» Такъ прожила она тяжкій годъ съ полубезумнымъ отцомъ. Неожиданное счастіе—возвратъ

и любовь милаго человѣка, его попеченія, угожденія, снисходительность только поддержали это дѣтство мысли, эту жаркую, своевольную жизненность. Она принялась отдыхать всѣмъ своимъ существомъ. Она не умѣла ни работать, ни сберегать, ни заботиться. На наряды она не тратилась: она помнила, что они дорого стоятъ, и что грѣшно разорять Гришу, а главное—она знала, что въ весельи она безъ нарядовъ еще красивѣе. Но зато въ минуты веселья ей были необходимы пустяки, мелочи, праздничанье, маленькая роскошь въ убранствѣ дома, прихоть въ обѣдѣ; ей хотѣлось «кутить», какъ она кричала, обнимая своего Гришу съ радостными слезами. Привѣтливая, ласковая со всѣми, она любила дарить, не разбирая, нравятся-ли, годятся-ли подарки тѣмъ, кому она дарила. Иногда, вдругъ вспомнивъ свою бѣдность съ отцомъ, она бросалась помогать другимъ, не оглядываясь, чего это стоитъ, то-ли нужно и даже точно-ли нужна помощь; она только съ умиленіемъ, съ восторгомъ твердила, что помогаетъ не она, а все ея милый, золотой Гриша. Ее обманывали, она кляла обманщиковъ, но не дѣлалась осмотрительнѣй. Она только считала себя виноватой передъ мужемъ и все собиралась помогать ему, сбиралась зарабатывать, сбиралась учиться, заводила пяльцы и прочее, накупала учебниковъ, но все было некогда. Когда родилась дочка—ужъ и вовсе было некогда, хотя Лиза не кормила сама, хотя всѣ наряды дѣвочки шились въ магазинахъ.

— На свѣтѣ нѣтъ лучше нашей куколки! восклицала счастливица, поднося въ самомъ дѣлѣ прелестнаго ребенка влюбленному отцу.

«Онъ любилъ ее. Былъ-ли онъ счастливъ? Занятый цѣлый день, возвращаясь домой, онъ находилъ праздникъ, пѣсни, поцѣлуи, или—горькія слезы, жалобы, что нѣтъ того, нѣтъ другого, что онъ—труженикъ, а она—глупая; раскаяніе и опять поцѣлуи. Жизнь сердца выходила какая-то странная отъ этихъ безпрестанныхъ перемѣнъ. Молодая женщина была вспыльчива, своенравна и покорна; ей нельзя было выговаривать ни въ чемъ, потому что она приходила въ искреннее отчаяніе и страдала. Она была вся—желаніе принесть себя въ жертву, при малѣйшей неумѣлости на самую простую услугу, и не сознавала этой неумѣлости, и оскорблялась-бы до отчаянія, еслибы ей о ней замѣтили. Она была добра и несправедлива; мужества у нея не было. Рѣзкій переходъ отъ роскоши къ бѣдности, а потомъ къ житью средняго круга не сдѣлалъ для нея понятнѣе жизнь и людей; она осталась прежней «барышней» въ замашкахъ, въ оттѣнкахъ обращенія; у нея являлось иногда капризное важничанье. Случалось, она не скрывала, что ей скучно «безъ хорошаго общества»...

Вы подумайте только, какой поразительной вѣрностью жизни дышетъ каждая строка этой тирады! Было-ли хоть что нибудь подобное въ нашей литературѣ? Беллетристика наша втеченіи десяти послѣднихъ лѣтъ не мало вывела передъ нами женскихъ типовъ шестидесятыхъ годовъ, но всѣ они обыкновенно скраивались по двумъ формамъ: или выводились такія идеальныя женщины, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать: женщины эти, хотябы выходили изъ свѣтскаго круга и до 20-ти лѣтъ палецъ о палецъ никогда не двигали, сразу обыкновенно подъ вліяніемъ новаго человѣка, трезваго реалиста и доблестнаго развивателя, перерождались въ энергическихъ труженицъ, рушащихъ всѣ препятствія, трудолюбивыхъ, простыхъ, способныхъ мужественно переносить голодъ и холодъ. Или-же женщины шестидесятыхъ годовъ изображались передъ нами въ видѣ пошлыхъ стриженныхъ нигилистокъ, ломающихся, кричащихъ, говорящихъ грубости и не стыдящихся публично высказывать самыя циническія вещи. И въ то время, какъ беллетристика такъ глупо и нагло лгала намъ въ обоихъ случаяхъ,—жизнь была преисполнена именно явленій того самаго нравственнаго разлада съ жизнью и собой, какой изображаетъ Хвощинская, и женщины вродѣ Лизы Ридневой встрѣчались на каждомъ шагу. Сдвинутыя силой движенія идей съ своего обычнаго русла жизни, но не въ силахъ будучи сразу избавиться отъ своихъ прежнихъ привычекъ, вкусовъ и нравовъ, онѣ именно путались въ жизни, представляя рядъ вопіющихъ несообразностей. Фразы о трудѣ вмѣстѣ съ непривычкой къ труду и даже врожденной ненавистью къ нему, безпечность,—а черезъ минуту самое малодушное отчаянье, искренняя готовность не тратиться на наряды, не разорять ими мужа и ходить весь вѣкъ въ одномъ черномъ платьѣ, и рядомъ съ этимъ жажда кутнуть при первыхъ попавшихъ въ карманъ лишнихъ деньгахъ, покупка ни съ того, ни съ сего дорогого сервиза, а потомъ вдругъ готовность подарить этотъ сервизъ первому похвалившему его человѣку, рѣшеніе философскихъ вопросовъ о судьбахъ всего человѣчества и неумѣнье поставить самовара и обойтись при случаѣ безъ прислуги, вѣчное мечтаніе объ интимномъ кружкѣ избранныхъ друзей, а рядомъ съ этимъ неожиданныя претензіи, что скучно «безъ хорошаго общества», и радостный блескъ въ глазахъ при посѣщеніи важной особы, учебники и конфекты, вѣчные сборы трудиться и зарабатывать хлѣбъ и вѣчное откладыванье дѣла за недосугомъ, занятымъ въ сущности пустяками... Подумайте, развѣ вы не замѣчали подобныхъ чертъ въ вашихъ женахъ, сестрахъ, свояченицахъ и пр., и пр.! Ими были полны шестидесятые годы, и одна только наша такъ-называемая «реальная литература» отличалась поразительной слѣпотой къ такого рода вопіющимъ фактамъ жизни.

Но пойдемъ далѣе вслѣдъ за Хвощинской въ изображеніи судьбы Лизы Ридневой.

Тщетно ожидая, что жена пойметъ наконецъ его убѣжденія, понятія и сольется съ нимъ въ гармоніи полнаго товарищества, налегая въ то же время на работу сверхъ всякихъ силъ, чтобы быть въ состояніи исполнять всѣ прихоти и капризы жены, Ридневъ началъ хворать. Она не замѣчала, вѣрнѣе—ей не вѣрилось... еще вѣрнѣе: она не могла понять, чтобъ это могло быть въ самомъ дѣлѣ. Когда она наконецъ поняла, ея отчаяніе было бурно, безумно, мучительно и безсильно. Онъ умеръ въ отчаяніи за нее.

«Тогда вдругъ,—читаемъ мы далѣе:—любовь къ дочери выросла у нея въ обязанность. Все для нея. вся жизнь для нея! Прежде всего,—чтобъ она не знала бѣдности... Чтобъ не зябло это прелестное тѣльцо, не грубѣло это личико, не плакали эти глазки о пустякахъ, въ которыхъ нѣтъ отказа другимъ дѣтямъ. Страшное дѣло — дѣтскія слезы! Ей ужъ три года; ее видятъ на улицѣ. Чтобъ не смѣли безобразныя, безсовѣстныя, богатыя дѣти, не смѣли презирать ее за то, что она бѣдно одѣта! Она лучше всѣхъ, у нея все должно быть лучше, нежели у всѣхъ...»

Какъ вамъ нравятся подобныя мнѣнія Лизы Ридневой въ минуты отчаянія послѣ смерти мужа? Какая поразительная смѣсь горячей материнской любви и высокой готовности самопожертвованія для дочери,

которая осталась въ ея жизни единственнымъ утѣшеніемъ вмѣстѣ съ тщеславіемъ свѣтской женщины! Всѣ ея мечты о воспитаніи дочери только въ томъ и выражаются, *чтобы дочь ея не терпѣла*—о ужасъ! *—бѣдности, чтобы ни въ чемъ не было ей отказу и чтобы одѣта она была не хуже другихъ.* Вы конечно предвидите, что при такомъ воспитаніи Лиза создастъ не труженицу, а такую же избалованную, изнѣженную кокетку, какой была и сама. Но ваше предвидѣніе обманетъ васъ. На дѣлѣ оказывается, что Лиза была не въ состояніи выполнить даже и такого идеала воспитанія: при своей полной неумѣлости она способна была только уморить ребенка.

Въ самомъ дѣлѣ, легко было мечтать о самопожертвованіи для того, чтобы «не зябло это прелестное тѣльце, не грубѣло это личико, не плакали эти глазки о пустякахъ», но что же могла дѣлать Риднева для всего этого? Она ничему не могла учить и не умѣла работать. Она жила, закладывая, продавая понемногу, что́ имѣла, въ ожиданіи чего-то,—чего опредѣлить не могла. Она писала теткѣ; отвѣта не было. Запасъ вещей былъ очень не великъ; его достало только на два мѣсяца. Подступала осень. Шубы мужа уже не было давно, свою она заложила. Оставалось всего одно шелковое платье, но надо же было имѣть что-нибудь порядочное. Риднева отпустила горничную, нянька жаловалась, что ей слишкомъ много дѣла и грозила уйти.

Въ это время пріѣхала въ городъ труппа актеровъ на короткое время, на нѣсколько представленій, какъ обѣщали афиши, бѣлѣя на столбахъ.

«Риднева, читаемъ мы:—не разъ останавливалась передъ ними. Ей было горько, тяжело... и ей было скучно! Знакомыхъ было мало, и тѣ въ послѣднее время приходили все рѣже. Она очень любила театръ. Мужъ не любилъ его, судилъ какъ-то серьезно и строго, но не стѣснялъ ея, уступалъ ей, и она бывала въ театрѣ постоянно... Ей казалось, что теперь, въ настоящей тоскѣ, два часа спектакля были-бы полезны ей, какъ лекарство... Искушеніе было такъ сильно, что, прочтя афишу у театральнаго подъѣзда, она шла въ кассу, *готовая отдать за билетъ послѣднія деньги.*»

Но спектакль оказался отложеннымъ и, какъ случайно узнала Риднева отъ проходившихъ мимо актеровъ, по причинѣ внезапнаго замужества примадонны. Отъ тѣхъ же самыхъ актеровъ Риднева узнала, что антрепренеръ въ большомъ затрудненіи, откуда взять ему новую примадонну и не поскупился бы на большую плату, еслибы нашлась желающая замѣстить открывшуюся вакансію. Это извѣстіе, случайно подхваченное на улицѣ, имѣло важныя послѣдствія для Ридневой. Ей тотчасъ же пришло въ голову идти въ актрисы, благо представляется удобный къ тому случай. Больше ей, казалось, нечего было дѣлать. «Что это такое? размышляла она:—совсѣмъ другая жизнь, совсѣмъ другой міръ, невѣдомый... И какой заманчивый! Искусство, веселье и кусокъ хлѣба, честно заработанный»...

И вотъ на другое же утро Риднева отправилась къ антрепренеру. Казалось бы, чѣмъ же не непосредственная натура эта Риднева:—задумала и тотчасъ же привела свое намѣреніе въ исполненіе. Но на самомъ дѣлѣ во всемъ ходѣ поступленія Ридневой въ актрисы, въ каждомъ шагѣ ея вы видите все ту же раздвоенную натуру, находящуюся въ непрестанномъ разладѣ и съ самой собой, и съ жизнью. Такъ, она, какъ мы видѣли, смотрѣла на новый путь, который ей представлялся, какъ на заманчивый міръ искусства, какъ на кусокъ хлѣба, заработанный *честно*—чего же ей было смущаться въ такомъ случаѣ? Но она смущалась: она всю ночь передъ тѣмъ, какъ идти къ антрепренеру, проплакала. По выходѣ отъ антрепренера сказала сама себѣ:—«ну, вотъ, вотъ, все сдѣлано. Все рѣшено. И прекрасно. Новая жизнь. Благородное занятіе. *Артистка*—даже слово такое хорошенькое»... Но тутъ же она прибавила: «Гриша, да что же я не умерла вмѣстѣ съ тобой?» Эти слезы и подобныя восклицанія наглядно показываютъ вамъ, какъ силенъ былъ въ Ридневой ветхій человѣкъ и какъ ему трудно было уладить съ новымъ: сознавая, что идетъ зарабатывать честный кусокъ хлѣба на поприще благороднаго искусства, Лиза тѣмъ не менѣе шла на это поприще, какъ на позоръ, и оплакивала себя, вспоминая при этомъ мужа, какъ-будто ей грозило страшное нравственное паденіе. Безъ сомнѣнія тутъ дѣйствовалъ тотъ вѣковой предразсудокъ, который видитъ въ званіи актера нѣчто позорное, и Лиза до такой степени была заражена имъ, что даже долго не рѣшалась дебютировать въ томъ городѣ, гдѣ жила съ мужемъ. По привычкѣ она воображала, что о ней заговоритъ весь городъ. И конечно она ошиблась въ этомъ.

«Правда, читаемъ мы, слухи скоро расходятся въ провинціи, и на другой день уже всѣ знали, что вдова учителя Риднева идетъ на сцену, но говорили объ этомъ очень умѣренно. Въ богатыхъ салонахъ, гдѣ ея не знали, это было принято очень равнодушно. Тамъ, гдѣ она бывала съ мужемъ, ее ужъ успѣли забыть, и ея поступокъ вызвалъ только пожатіе плечъ, выражавшее, что она ни на что болѣе не способна. Средній кругъ оскорбился и закричалъ о скандалѣ,—*но Риднева никогда не дорожила мнѣніемъ «этихъ людей»*.

Къ этой внутренней душевной борьбѣ присоединялись еще и внѣшнія свойства ветхаго человѣка, сидѣвшаго въ Ридневой,—въ видѣ неопытности, неразсчетливости, вообще неумѣнья жить и обращаться съ людьми на практической почвѣ. Такъ, мы видѣли, Риднева знала, что антрепренеръ очень нуждается въ примадоннѣ и готовъ на большую прибавку противъ обыкновенной платы, лишь бы заручиться порядочной актрисой; тѣмъ не менѣе она такъ неумѣло повела свои переговоры съ антрепренеромъ, что послѣднему удалось нанять ее не только не за бо́льшую, но за меньшую плату. Получивши отъ него задатокъ, она не могла пройти мимо моднаго магазина безъ того, чтобы въ воображеніи ея не запестрѣли костюмы, наряды. Она заглянула въ окна магазина, вошла и черезъ полчаса возвращалась домой съ свертками покупокъ. Такъ, своей дочкѣ она купила стеганое пальто коричневаго лионскаго бархата. Дебютировала она въ сценѣ Евгенія Онѣгина съ Татьяной и, гнушаясь жалкой обстановкой провинціальнаго театра, на свой счетъ декорировала сцену такъ, чтобы обстановка хоть сколько-нибудь походила на великосвѣтскій салонъ, въ которомъ происходитъ объясненіе Евгенія съ Татьяной. Результатомъ такой

расточительности было естественно то, что Лиза въ короткое пребываніе труппы въ городѣ В. успѣла истратить все, что ей дали на подъемъ и сверхъ того распродала всю лишнюю мебель, посуду. Но ей было зато весело: новая совершенно сфера жизни, шумная, суетливая, аплодисменты, овація,—все это ее сначала очень занимало и кружило. Но затѣмъ она скоро свыклась со всѣмъ этимъ, приглядѣлась, и потянулась для нея прозаически однообразная, при всемъ кажущемся разнообразіи, убогая жизнь провинціальной актрисы:

«Дымная квартира, гдѣ за перегородкой хозяйка распиваетъ чай, заглядываетъ въ щелку, подслушиваетъ, насмѣхается, и хорошо еще, если не сплетничаетъ. Разсчетъ каждаго дня и невозможность, недосугъ свести этотъ разсчетъ толкомъ, привести жизнь въ порядокъ; одуряющая возня, безденежье, займы и вслѣдствіе ихъ сношенія съ людьми, которыхъ не пустилъ-бы на порогъ. Товарищество, которое можетъ быть могло-бы быть и пріятнымъ,—но эти товарищи живутъ также день за день, такимъ-же неустроеннымъ житьемъ, имъ также недосугъ, ихъ интересы также бѣдны. Одни—также скучаютъ, безъ возможности вырваться; другіе—втянулись и несносны. Изъ нихъ женщины жалки или пусты.»

Къ этому всему подоспѣла новая тяжелая нравственная борьба: антрепренеръ началъ убѣждать ее играть въ опереткахъ Оффенбаха, говоря, что въ наше время на однѣхъ серьезныхъ драмахъ и комедіяхъ не выѣдешь, и успѣхъ зависитъ отъ однѣхъ оперетокъ. Онъ поставилъ ей ультиматумъ — или взять на себя эти новыя роли, или оставить труппу. «Она долго рыдала, возвратясь домой. Она знала, чего отъ нея хотѣли. Въ короткую пору своего замужества она видѣла всѣ эти пьесы; тогда онѣ ее забавляли, нравились ей. То простодушно увѣренная, то упрямо, на зло, она спорила съ мужемъ, что не находитъ въ томъ ничего дурного, ничего, кромѣ откровеннаго смѣха... Теперь, когда ей предоставлялось на выборъ—голодать или тѣшить собой зрителей, какъ тѣ несчастныя, которыми она сама тѣшилась, она поняла ихъ положеніе»...

— Что дѣлать? Боже, что мнѣ дѣлать? повторяла она въ отчаяніи.

Случись съ Ридневой подобное же обстоятельство нѣсколькими годами позже, именно сегодня, она конечно не задумалась бы, что ей дѣлать. Наша современная жизнь, выработавши повсемѣстное примиреніе, позаботилась избавить и актрисъ, играющихъ въ опереткахъ, отъ всякой нравственной борьбы: создался особеннаго рода жанръ для женскихъ ролей въ подобныхъ опереткахъ, заключающійся въ томъ, чтобы было и шикарно, и пикантно, и въ то же время цѣломудренно, но такъ при этомъ цѣломудренно, чтобы цѣломудріе это еще усиливало соблазнъ въ большей степени, чѣмъ какая бы то ни была циническая разнузданность. По крайней мѣрѣ современные газетные рецензенты такъ взапуски и расхваливаютъ подобныя качества примадоннъ Буффа... Но Риднева еще и не подозрѣвала о возможности подобнаго выхода изъ своей нравственной борьбы. Ей казалось, что предстоитъ что-нибудь изъ двухъ: или оставить труппу и обречь себя на холодъ и голодъ, или махнуть рукой на все... Она рѣшилась на послѣднее:

«Риднева разучила роль и сыграла. Какъ новички творятъ чудеса храбрости, какъ безсильные ломаютъ крыши на пожарѣ, такъ и она, въ невѣдѣніи, въ неопытности, со злости, съ размаха превзошла всѣ ожиданія смѣлостью своего исполненія. Она была отвратительна. Ее вызвали пятнадцать разъ, а къ послѣднему вызову старичекъ изъ «золотой молодежи» ужъ успѣлъ достать и бросить ей букетъ. Антрепренеръ расцѣловалъ ея ручки.

— Каково? Смиренница, лукавая! повторялъ онъ.— А увѣряла, будто не умѣетъ.

Едва дыша, усталая, какъ никогда, Риднева спускалась съ лѣстницы. Въ корридорахъ, въ сѣняхъ всѣ говорили о ней, и никто не узналъ блѣдной, измученной женщины, когда вслѣдъ за горничной, которая несла ея узелъ, она неловко влѣзла на оборванныя извощичьи дрожки и упала головой на этотъ узелъ. Была темная, осенняя ночь и хлесталъ дождь.

Но зато «довольный» директоръ самъ предложилъ ей небольшую прибавку жалованья. Мѣняевъ, двадцати-трехъ-лѣтній юноша, ни за чѣмъ катающійся по Россіи, предлагалъ свои пятнадцать тысячъ дохода... Ея ремесло стало для нея каторгой.»

Вскорѣ это ремесло потеряло для нея и всякій смыслъ. Вѣдь она пошла въ актрисы изъ самопожертвованія, съ единственной цѣлью возрости и воспитать дочь, которая была единственнымъ утѣшеніемъ ея жизни. Между тѣмъ дѣвочка ея отъ плохого присмотра, отъ переѣздовъ, отъ лишеній, хворала, чахла, наконецъ и умерла. Тогда Риднева рѣшилась бросить ремесло провинціальной актрисы. Передъ тѣмъ умерла ея тетка по мужу, оставивши въ N небольшой домикъ. Она взяла отпускъ отъ антрепренера и отправилась въ N получать въ наслѣдство этотъ домикъ. Послѣ цѣлаго ряда скитаній въ N Риднева дошла до самаго отчаяннаго положенія. Она узнала, что полусумасшедшая старуха-ханжа, съ ужасомъ услышавши, что жена племянника ея пошла въ актрисы, пожертвовала оставшійся послѣ нея домикъ на церковь. Ей ничего не оставалось дѣлать въ N, и приходилось отправляться обратно въ труппу. Но случай свелъ ее съ нѣкіимъ нотаріусомъ Ешецкимъ, и послѣдній, воспользовавшійся ея дѣтской неопытностью, нагло надулъ ее, лишивши ея брошки, полученной въ бенефисъ, присвоивши эту брошку себѣ за какой-то яко бы долгъ ея отца. Брошка эта была послѣднимъ ея рессурсомъ, и съ потерей ея Ридневой было не съ чѣмъ выѣхать изъ N. Всѣми брошенная, безъ конѣйки денегъ въ карманѣ, въ грязномъ, холодномъ нумерѣ гостинницы, Риднева дошла до послѣдней степени отчаянія: она рѣшилась на самоубійство. Она воспользовалась тѣмъ, что половой забылъ въ ея номерѣ стклянку съ мышьякомъ, которымъ травилъ крысъ, и рѣшилась отравиться этимъ мышьякомъ. Сцена борьбы молодой жизни со смертью представляется лучшей сценой во всемъ очеркѣ. По справедливости можно сказать, что давно уже въ нашей литературѣ не было ничего подобнаго. Особенно замѣчательна эта сцена тѣмъ, что Риднева въ самую страшную минуту полной безпомощности, мрачнаго отчаянія, на краю могилы, остается передъ нами все той Лизой Ридневой, раздвоенной натурой, искалѣченной свѣтскимъ воспитаніемъ. Такъ, мы видимъ, что, рѣшившись окончательно покончить съ жизнью, Риднева находитъ у себя въ карманѣ рубль, оставшійся отъ разсчета съ половымъ. Тотчасъ же у

нея является мысль кутнуть въ послѣдній разъ въ жизни, и она посылаетъ полового за лучшими конфектами отъ Эрдера...

Когда конфекты были принесены, она крѣпко захлопнула дверь и съ какой то злостью повернула ключъ въ замкѣ.

«— Ну-съ, Лизавета Васильевна?.. сказала она громко, возвращаясь къ столу.—Теперь все готово.

Она развязала розовую ленту коробки, которую принесли.

— Кажется недурны... А *m*—еще лучше.

Она еще не посмотрѣла на *m*. Стклянка оставалась подъ диваномъ; она спрятала ее туда и не подходила. Она сѣла, облокотилась спокойно и ничего не думала. Раскрытый бумажникъ съ фотографіей опять бросился ей въ глаза.

— Люба, хочешь конфетку? сказала она громко и зарыдала.

— О дитя! въ тебя всю душу положила! Гриша, жизнь моя, помысломъ противъ тебя не была виновата! Прости, видишь, для кого срамилась, — для твоей же... Ты зачѣмъ ее взялъ? Ну, ничего я не умѣю, не могу, но я бы для нея подъ окна пошла просить и прожила бы, и я бы жила... было бы для чего жить! А теперь, что же? Гриша, — одинъ конецъ! Уйду къ вамъ... Вы меня примите, что ли? Или и вы прогоните, не гожусь? Что тамъ у васъ?. Господи!..

— Ужасъ!..Честная женщина — бывало, краснѣла, лаская мужа,—а тутъ всякій вечеръ, при сотняхъ глазъ, при сотняхъ ушей... Прислушалась, притерпѣлась къ стыду! Изъ-за куска хлѣба... вотъ каковъ хлѣбъ насущный!.. Нѣтъ, теперь я свободна, я одна, я не хочу... Но хоть бы и хотѣла,—понимаете ли вы, что вашей маменькѣ и срамиться—сунуться не съ чѣмъ?

Она помѣшанно хохотала.

— Кончено! вотъ здѣсь, въ этой грязи, сейчасъ будетъ кончено... И славно! Гриша, любовь моя, свѣтъ мой, поцѣлуй меня! Дай мнѣ вздохнуть, покаяться, освятиться твоимъ поцѣлуемъ... О, какъ я тебя любила!.. Прощайте! Довольно... Что-жъ, не ребенокъ я...

Она подошла къ дивану, протянула и отдернула руку. Она увѣряла себя, будто ей показалось, что кто-то стучится... Все было тихо.

— Гадость, должно быть, ужасная. Изъ аптеки. Какъ это отпускаютъ такъ неосторожно? мало ли можетъ быть несчастныхъ случаевъ, мало-ли кому вздумается... Вотъ напримѣръ мнѣ вздумалось... Это задохнешься отъ вони.

Она опять открыла форточку. Большой звѣзды ужъ не было. Хоть бы ее увидѣть. Куда онѣ идутъ, направо или налѣво? Гриша объяснялъ какъ-то.

— Тихо что-то. Всѣ въ театрѣ. А что, умираетъ кто-нибудь въ городѣ въ эту минуту?.. Холодно... Гдѣ меня похоронятъ?.. Вотъ, чѣмъ бѣгать по улицамъ за вздоромъ, зайти бы лучше въ монастырь, гдѣ похоронена мать... А какъ это странно — не знать матери...

Вдали, въ рѣдкомъ воздухѣ, раздался бой часовъ.

— Это — на соборной колокольнѣ, подумала она и сосчитала десять.—Еще рано. Весь день не было слышно этого боя; должно быть, теперь оттуда вѣтеръ. Что значитъ привычка: послѣ стольких лѣтъ я узнала этотъ колоколъ. Я вѣчно узнаю. Здѣсь родилась и здѣсь умру.

— Ну, что-жъ? Пора, что ли?

Она сошла съ окна.

— Отвратительно. Должно быть, жжетъ въ горлѣ. Можно заѣсть конфеткой. Успѣю, прежде нежели завертусь... А что какъ провертишься долго? Полчаса... часъ, больше... Господи! Какая должна быть боль... Вѣдь это горитъ; вотъ, заслонишь свѣчку, свѣтится... Горитъ! Во мнѣ будетъ горѣть... Господи!

Ложка выпала у нея изъ рукъ.

— Господи! въ двадцать пять лѣтъ, здоровой .. умереть, умереть, такъ вдругъ, въ такихъ мукахъ... Господи!.. А тамъ зайдутъ сюда, будутъ осматривать, слѣдствіе... Создатель, такая смерть... Всю жизнь, всю молодую жизнь плакала, голодала, унижалась, схоронила все... и околѣть, какъ крыса, и надъ мертвой еще наругаются, истерзаютъ, бросятъ въ яму... Господи! А другимъ тепло, свѣтло, цвѣты, роскошь. . Господи!

Она рвала на себѣ волосы.»

Въ это время въ корридорѣ послышался шумъ, голоса. Затѣмъ въ ея дверь застучали. Это ее искалъ тотъ самый Николай Дмитріевичъ Мѣняевъ, который предлагалъ ей свои пятнадцать тысячъ дохода... Риднева бросила стклянку въ окно и отворила дверь нумера.

Я далекъ отъ мысли, что Риднева была лучшей представительницей своего вѣка. Конечно въ ней слишкомъ много сидѣло ветхихъ началъ жизни, и борьба съ ними новыхъ началъ была неравная, оттого ветхія начала и побѣдили подъ конецъ. Безъ сомнѣнія, было въ то время не мало женщинъ, которымъ борьба обходилась легче и приводила ихъ къ болѣе утѣшительнымъ результатамъ. Но для подтвержденія нашего анализа это даже и лучше, что Хвощинская изобразила намъ въ лицѣ Ридневой худшую представительницу шестидесятыхъ годовъ. По крайней мѣрѣ мы видимъ теперь, какъ и подобная худшая представительница была все-таки охвачена духомъ своего времени, и она искала чего-то новаго, лучшаго, суетилась, говорила о необходимости трудиться, окружала себя учебниками... И она каждый шагъ въ жизни своей совершала не иначе, какъ съ мучительной борьбой, съ слезами и рыданіями...

А теперь... теперь я убѣжденъ, что эта самая Лиза Риднева навѣрное смѣется надъ всѣми своими прежними нравственными призраками и муками борьбы. Современная жизнь безъ сомнѣнія нашла и для нея свои примиренія и сдѣлала ее вполнѣ непосредственной натурой. Борьба ея оканчивается повидимому такъ мрачно въ разсказѣ Хвощинской, и за послѣдней точкой разсказа воображенію читателя рисуется конечно мрачная пропасть паденія, въ которую должна упасть Лиза послѣ того, какъ отворила двери Мѣняеву... Но успокойся, читатель: я убѣжденъ, что ничего такого ужаснаго съ Лизой не произошло. Хотя она и согласилась быть содержанкой Мѣняева, но навѣрное это унизительное положеніе продолжалось не долго. Недаромъ-же Лиза получила свѣтское воспитаніе во всѣхъ тонкостяхъ, и это воспитаніе внушило ей секретъ нравиться и очаровывать хотя-бы антрепренера при первомъ свиданіи—игрой физіономіи, умѣньемъ во-время представиться сконфуженной, во-время принять на себя личину дѣтской шаловливости. Повѣрьте, что Лиза не замедлила употребить всѣ эти средства и по отношенію къ Мѣняеву и съумѣла сдѣлать его ручнымъ и раболѣпно ползающимъ у ея ногъ. А затѣмъ... затѣмъ законный бракъ, законное владѣніе пятнадцатью тысячами дохода и—тепло, свѣтло, цвѣты, роскошь... однимъ словомъ,—все то, о чемъ мечтала Лиза передъ стклянкой съ ядомъ. И теперь она навѣрное смѣется надо всѣмъ: и надъ своимъ скромнымъ мученикомъ Гришей съ его убогой обстановкой, и надъ своими мечтами о честномъ насущномъ

кускѣ, и надъ прежней Лизой Ридневой, которая когда-то рвала волосы въ отчаяньи... Да и какъ-же ей не смѣяться, когда все, что позади ея, все такъ мизерно и жалко... а впереди роскошь блескъ, и безконечное веселье...

Посмѣемся и мы съ тобой, читатель, надъ нашимъ прошлымъ, такимъ мизернымъ и жалкимъ, когда и мы съ тобой мучили себя и отказывали себѣ во всемъ изъ-за разныхъ вопросовъ, конечно «фантастическихъ и утопичныхъ»—и ринемся впередъ. вмѣстѣ съ Хвощинской, въ сферу роскоши, блеска и беззавѣтнаго веселья...

IV.

Нѣкто Аяровъ ѣхалъ по желѣзной дорогѣ изъ одного далекаго города въ Петербургъ. На дорогѣ онъ услышалъ отъ двухъ разговаривавшихъ между собою пассажировъ, что недавно умерла нѣкая Новоселова, а эта Новоселова была нѣкогда предметомъ безнадежной и нераздѣленной страсти Аярова. Ему захотѣлось проститься съ этой когда-то милой для него женщиной на ея могилѣ, и онъ заѣхалъ въ городъ N, гдѣ была она похоронена. Тамъ онъ нашелъ скоро на кладбищѣ ея могилу, еще свѣжую и не украшенную памятникомъ. Ему захотѣлось снять фотографію съ этой могилы, и онъ направился къ городскому фотографу. Послѣдній оказался старымъ знакомымъ Аярова, нѣкимъ Либмейеромъ. Либмейеръ этотъ представлялъ изъ себя типъ вполнѣ современнаго непосредственнаго человѣка. Онъ былъ доволенъ и собою, и всѣмъ окружающимъ. Пріѣхалъ онъ въ N налегкѣ, почти ни съ чѣмъ, а въ семь лѣтъ у него былъ уже свой домикъ, свой садикъ, экипажъ, и все это, потому что онъ умѣлъ приноровиться ко вкусамъ городского общества, и публика забросала его заказами, не то что прежній фотографъ, у котораго не было никакой опытности понять публику N, и потому онъ убрался, продавши счастливому сопернику свои инструменты. Счастливый Либмейеръ находилъ, что Аяровъ былъ слишкомъ требователенъ къ здѣшнему обществу; онъ, Либмейеръ, засталъ его какъ разъ вслѣдъ за Аяровымъ и нашелъ, что оно, право, ничего...

«— Нѣтъ, здѣсь право не скучно, говорилъ онъ:— въ послѣднее время особенно Знаете, общество опять оживляется. Лѣтъ шесть, семь назадъ ужъ очень серьёзничали. Теперь какъ-то это все въ порядокъ приходитъ. Танцуютъ. Театръ есть, оперетки. Съ дамами есть о чемъ поговорить. А то, бывало, помните, неприступности... Ахъ, забавно: когда я только-что здѣсь обзавелся, ко мнѣ приходили двѣ дѣвицы, просили, чтобы я училъ ихъ снимать, да еще мало этого: читай я имъ химію... Мало ли какихъ затѣй бывало. Теперь вспомнить забавно; а что я въ крайности въ первое время выносилъ! Препараты, бывало, имъ снимаешь, жуковъ разныхъ... Право! чтожъ дѣлать! нужда!.. Но всего бывало непріятнѣе женскіе портреты: все—черный люстринъ, ни бантика, ни позы ни выраженія. Все—«строгая простота», а художнику это наказаніе. Только,-только хочешь освѣтить какъ нибудь, посадить,—кричатъ: «неестественно!» Какое ужъ тутъ искусство и какъ себя заявить...

— А теперь?—спросилъ Аяровъ

— О, теперь нѣтъ никакого сравненія! Дамъ не узнаешь, ожили, опять красота, опять наряды. Теперь художнику раздолье.

Такъ говорилъ Либмейеръ и въ доказательство показалъ Аярову цѣлую коллекцію женскихъ портретовъ, которые онъ собиралъ, снимая обитательницъ города N и съ ихъ согласія продавалъ эти портреты. Оказалось, что въ городѣ N завелась мода продажи карточекъ красивыхъ женщинъ для мужскихъ альбомовъ. Портреты были сняты по большей части все въ картинныхъ и эффектныхъ позахъ. Между прочимъ Либмейеръ особенно обратилъ вниманіе Аярова на одинъ изъ такихъ портретовъ.

— Позвольте, сказалъ онъ: - вотъ вамъ не улыбающаяся,— прервалъ художникъ, вынимая листъ большого размѣра, работу, которой онъ очевидно особенно гордился: — это, я вамъ даже назову, — m lle Бѣлушева, молодая особа, недавно воротилась изъ за границы, ѣздила съ матерью. Образована, пишетъ, дочь статскаго совѣтника, музыкантша. Она желала сохранить воспоминаніе о своемъ путешествіи. Видите, стоитъ на скалѣ; море и буря. Я скалу нарочно заказывалъ. Картонная, знаете, мохъ тутъ, растенія. Трудно было поставить, однако удалось.

Аяровъ упалъ головой на фотографію и расхохотался неудержимо. Дѣва, стоявшая на скалѣ, была шарообразна. Изъ-подъ узкой юбки съ фалбалами высовывались огромныя поля въ бантахъ; каблуки вонзались въ картонъ. Волосы безъ сомнѣнія фальшивые, потому что съ собственными такъ бы не расположились: взметанные пуками, космами нависли надъ низенькимъ круглымъ лбомъ и оттуда дико смотрѣли круглые бѣлые глаза; ротъ былъ разинутъ, одна рука прижата къ корсету, стянутому ремнемъ, другая, съ жестомъ ужаса, будто отталкивала даль...»

Вскорѣ не замедлилъ явиться къ Либмейеру и подлинникъ этого фантастическаго портрета въ видѣ M-lle Бѣлушевой съ своей матушкой. Онѣ оказались столь часто встрѣчающимися въ провинціи типами соискательницъ женіховъ, причемъ дочка, подходившая уже къ тридцатилѣтнему возрасту, только и мечтала какъ-бы поскорѣе выйти за кого-бы ни было замужъ и пристроиться, а матушка — какъ бы сбыть ее поскорѣе съ рукъ и избавиться отъ нея. Такъ мы видимъ изъ разговоровъ ихъ съ Либмейеромъ, что m-lle Бѣлушева не прочь найти свое счастіе и въ мастерской фотографіи. Когда-же онѣ увидѣли Аярова, и онъ оказался старымъ знакомымъ m-me Бѣлушевой, онѣ съ яростью набросились на него.

«— Вѣдь мы сверстники, мы знаемъ другъ друга съ дѣтства, объясняла m-me Бѣлушева, обращаясь къ Либмейеру.—Правда, я немного постарше васъ, но мы, женщины, всегда старше мужчинъ; жить начинаемъ раньше! Я была уже замужемъ. А этой особы вы конечно не помните?

Аяровъ ничего не помнилъ въ дѣтствѣ, а зналъ только, что эта барыня старше его около двухъ десятковъ лѣтъ и что въ его студенческое время у нея была уже взрослая дочка, которую она прятала въ институтѣ. Чтобы спросить что-нибудь, онъ спросилъ о супругѣ.

— Я—вдова, отвѣтила m-me Бѣлушева съ мгновенной грустью, отъ которой такъ-же быстро перешла въ растроганно-шутливый тонъ.—Теперь я всецѣло принадлежу вотъ этой дурочкѣ. Но позвольте-же вамъ ее представить: m-me fille, Nathalie.

Аяровъ еще разъ раскланялся. Дѣвица притихла и смотрѣла строго.»

Затѣмъ, вечеромъ, встрѣтивъ Аярова на бульварѣ, m-me Бѣлушева почти силою увлекла его въ свой салонъ на чашку чая, и тамъ произошла весьма харак-

терная сцена уловленія жениха. И какъ ни беззавѣтно пошлы и глупы были въ этой сценѣ обѣ Бѣлушевы, матушка и дочка, и хотя все, что онѣ говорили, высказывалось ими не въ серьезъ и отъ души, а ради только того, чтобы порисоваться и показать товаръ лицомъ, тѣмъ не менѣе въ словахъ ихъ оказалось много истиннаго пониманія современной намъ жизни. Видно правда, что судьба умудряетъ иногда дураковъ и пошляковъ, и что сквозь вопіющую ложь проглядываетъ иногда истина. Такъ, не доходя еще до дома, на бульварѣ, m-me Бѣлушева держала къ Аярову слѣдующую рѣчь:

«А помните... Много мы пережили съ вами, mon cher Аяровъ! Que d'illusions, bon Dieu, et que de folies! Блаженъ, кто устоялъ! Вотъ *прошло и не стало мило*, можно сказать о нашемъ прошедшемъ, и какое счастье, что мы видимъ по крайней мѣрѣ нашихъ молодыхъ, которые умнѣе насъ берутъ свое время! Знаете, когда вотъ такъ вглядываешься въ нихъ... Напримѣръ, обратите вниманіе на эти группы.

Мимо нихъ пробѣжали три дѣвицы и два кавалера. Они громко смѣялись, спѣша занять скамейку, и, опережая другъ друга, толкали встрѣчающихся. Аяровъ успѣлъ посторониться, но шлейфъ m-me Бѣлушевой нѣсколько пострадалъ. Кавалеры первые захватили мѣсто и не давали сѣсть дѣвицамъ; тѣ ужъ не смѣялись, а кричали и гнали:

— Какъ это учтиво! Пустите! Мы устали!

— Мы сами устали!

Восклицанія еще долго перекрещивались.

— Замѣчайте это, продолжала m-me Бѣлушева, отряхнувъ свой шлейфъ.—Я покоряюсь! прибавила она, прослѣдя за взглядомъ Аярова:—я—покоряюсь! это—неизбѣжно. Я—другое поколѣніе и уступаю мѣсто съ радостью: это — жизнь кипучая, полная надеждъ, полная будущаго. Это безпечно, это ровно ничего не думаетъ, не затѣваетъ, не перестраиваетъ, не сушитъ себя педантствомъ; это—живетъ! Живетъ и наслаждается, беретъ свое право, свою долю и умѣетъ крѣпко ихъ отстоять. О, они сильны! Тутъ есть характеръ. Прислушайтесь, вотъ хоть эти сейчасъ. *Наши* бы непремѣнно тутъ устраивали вселенную или что-нибудь въ этомъ родѣ, — а эти просто смѣются... Прислушивайтесь, вездѣ только веселый говоръ, безъ задней мысли, безъ стремленій этихъ Богъ вѣсть куда, безъ вопросовъ, которые ни къ чему не ведутъ, а только пачкаютъ воображеніе. А между тѣмъ эта молодежь благоразумнѣе, дѣльнѣе насъ; она умѣетъ устроиться; она понимаетъ, что химерами не живутъ; она разборчива въ выборѣ друзей, она не даетъ себя компрометтировать... О, это—люди! А мы-то? Грустно вспомнить! Милый мой, въ нашей молодости (вѣдь она была общая у насъ!) мы не слыхали смѣха. Весна безъ розъ, небо безъ лучей,—вотъ наша молодость. Чего мы хотѣли? Чего *вы* хотѣли, это вѣрнѣе! Не правда-ли, вы не съумѣете сказать? А между тѣмъ все было омрачено, все возмущено, всѣ связи порваны. . Другъ мой, и вы, вы тоже прикладывали къ этому руки!

— Laissez moi prendre votre bras. Все-таки я немного старше васъ и дама! разсмѣялась она, не замѣчая, что произноситъ монологи.—Ахъ, теперь мы легче вздохнули. Теперь у насъ возрожденіе, renaissance. Я радуюсь, я счастлива, что молодость моей дочери пришлась въ это, а не въ то время. Я говорю ей: ты умна, что опоздала родиться. Мы съ ней понимаемъ другъ друга. Je suis une heureuse mère, Аяровъ!.. Я молюсь... мы молимся съ ней вмѣстѣ, а этого въ наше время были лишены многія матери! . У нея столько талантовъ. Мы изучаемъ вмѣстѣ природу и искусство... Ахъ, нѣтъ, я не хочу думать, чтобы мы встрѣтились только на какіе нибудь два-три часа. Нѣтъ, вы пробудете еще, вы останетесь здѣсь, вамъ надо внушить... Но вотъ мы дома. Милости просимъ!»

М-lle Бѣлушева въ свою очередь весь вечеръ проводила передъ Аяровымъ параллели между прежнимъ и нынѣшнимъ временемъ...

«— Откуда это вы все знаете?

— Я-то?

— Вѣдь вы были тогда—дѣвочка.

— Да, дѣвочка, подтвердила она серьезно: — но дѣвочка думала крѣпче взрослыхъ. Преданія свѣжія; я добавила ихъ по догадкамъ, по наведенію, и выходитъ все ясно. И притомъ что-же? Не Богъ знаетъ какая премудрость была все ваше развитіе, ваши знанія, ваши планы, чтобы не постичь ихъ, господа! Я и не извиняюсь, что выражаюсь непочтительно. Это ужъ оцѣнено и сдано въ архивъ. Для васъ ужъ тоже настало молодое поколѣніе, какимъ вы были тогда сами, и, не гнѣвайтесь, мы васъ поняли. Но мы не ведемъ съ вами борьбы, мы—народъ мирный. Мы только позволяемъ себѣ иногда, вотъ такъ, пошутить немножко. Вы не сердитесь?»

Ниже она говоритъ:

«— Ну... хоть разобрать, что такое было ваше прошлое. Его подробности вы мнѣ когда-нибудь разскажете, а о дальнѣйшемъ я буду имѣть удовольствіе вамъ сейчасъ сообщить. Васъ интересуетъ Авдотья Андреевна. Позвольте ужъ къ этому образу присоединить и другой—тетушку Annette. Онѣ нераздѣльны—съ самой исторіи; онѣ дополняютъ одна другую... Вотъ-съ, когда покончились ваши сборища, ваши затѣи,—мой папаша-покойникъ даже любезно предложилъ молодому поколѣнію позабыть, какъ отворяется дверь въ его домъ,—ну, тогда вашимъ развитымъ дѣвицамъ, проводя васъ, ничего больше не осталось, какъ влюбляться и ловить женишковъ. Вѣдь въ вашемъ уставѣ это воспрещалось. Такъ-ли?

— Не помню.

— Ахъ, какой лукавый! А я знаю: и предписывалось «искать человѣка».—Это было вообще нѣсколько неудобопонятно, а для нашихъ двухъ барышенъ и подавно. Потому, вы не вообразите, какъ онѣ обрадовались, что отъ васъ избавились; все полетѣло—всѣ ваши литографіи, ваши рукописи,—а *онѣ* сами—по баламъ, по модньмъ магазинамъ. Радость-то какая: вѣдь все равно, что возвратъ въ лоно родительское, въ лоно церкви...»

Не правда-ли, во всѣхъ этихъ рѣчахъ Бѣлушевыхъ не малая доля истины? Но онѣ имѣли-бы еще болѣе смыслу, еслибы Хвощинская не окарикатурила личностей Бѣлушевыхъ. Во-первыхъ, она заставила ихъ слишкомъ ужъ прозрачно уловлять Аярова въ женихи, а во-вторыхъ, она совершенно напрасно заставила m-lle Бѣлушеву сняться въ такомъ уродливомъ видѣ—на скалѣ съ протянутой рукою. Отъ этого отзываетъ чѣмъ-то совершенно уже архаическимъ, какимъ-то романтизмомъ тридцатыхъ годовъ. Не таковы должны быть Бѣлушевы въ дѣйствительности: m-me Бѣлушева все-таки терлась нѣкогда въ какихъ-то кружкахъ, m-lle Бѣлушева—дѣвушка образованная, бывала за границей и даже сочинительница. Очевидно, онѣ должны стоять au courant современнаго прогресса, безукоризненно соблюдать всѣ его внѣшнія требованія, и тогда рѣчи ихъ получаютъ глубокій смыслъ въ ихъ устахъ. Развѣ вы не встрѣчаете, въ самомъ дѣлѣ нынѣ на каждомъ шагу подобныхъ Бѣлушевыхъ? Ивящныя, блестящія, безукоризненно прогрессивныя, онѣ засѣдаютъ въ дамскихъ комитетахъ, сочиняютъ, переводятъ и главное дѣло, собирая вокругъ себя цвѣтъ современной моло-

дежи, сіяютъ въ своихъ салонахъ невозмутимымъ самодовольствомъ, съ пренебреженіемъ посмѣиваясь надъ химерическимъ прошлымъ съ его утопическими мечтами о передѣлкѣ вселенной, мрачными юношами, отвергавшими всякія наслажденія жизни, и стрижеными дѣвицами, никогда ничего не надѣвавшими, кромѣ чернаго люстрина. Въ очеркѣ Хвощинской Бѣлушевы повели дѣло такъ неискусно, что не только не уловили Аярова, но заставили его поскорѣй уѣхать изъ N, чтобы не встрѣчаться съ ними болѣе. Въ дѣйствительности же Бѣлушевы уловляютъ жениховъ съ такимъ выработаннымъ тактомъ и тонкимъ кокетствомъ самой высокой пробы, что имъ удается улавливать сплошь и рядомъ людей, которые — не чета Аярову. Въ Аяровѣ много еще сидитъ элементовъ шестидесятыхъ годовъ, онъ полонъ воспоминаній юности. Къ тому же онъ сошелся съ Бѣлушевыми подъ вліяніемъ только-что пережитой и схороненной глубокой страсти; конечно трудно было уловить его при этихъ условіяхъ. Но вы представьте только себѣ его нѣсколько лѣтъ спустя, когда воспоминанія юности мало по малу изгладились бы, онъ между тѣмъ успѣлъ бы закружиться въ шумѣ современной жизни, да и притомъ столичной (вѣдь онъ ѣхалъ въ Петербургъ), умѣлъ бы устроить свое положеніе въ качествѣ хотя бы напримѣръ адвоката. И чѣмъ же тогда Бѣлушева была бы не жена ему: дочь статскаго совѣтника, образованная, музыкантша и вдобавокъ еще сочинительница; чего же ему нужно было бы болѣе при современной нашей беззавѣтности? Онъ бы гремѣлъ съ судейской трибуны, пожиная лавры и окружая себя все болѣе и болѣе блескомъ славы и матеріальныхъ благъ, она сочиняла бы книги и даже могла бы читать лекціи о женскомъ трудѣ,—и оба только дивились бы другъ на друга, шествуя рука объ руку и срывая по пути цвѣты наслажденія. Да здравствуетъ наша современная беззавѣтность!

V.

Но не все же одно веселье, не все же одни цвѣты наслажденія въ современной жизни. Бываютъ въ ней конечно и драмы. Вотъ передъ нами, во второмъ очеркѣ Хвощинской, одна изъ современныхъ драмъ, страшная, кровавая. Но странно, замѣтьте, и эта кровавая драма далеко не возмущаетъ общей гармоніи современной намъ жизни и ни мало не мѣшаетъ дѣйствующимъ лицамъ этой трагедіи оставаться вполнѣ непосредственными натурами. Что жъ, извѣстное дѣло, что непосредственныя натуры конечно въ большей степени, чѣмъ Гамлеты, способны на трагическія катастрофы. Но трагическія катастрофы непосредственныхъ натуръ отличаются тѣмъ, что, какой бы ужасъ и состраданіе къ героямъ и жертвамъ ни возбуждали бы онѣ въ васъ, вы не испытываете и тѣни той нравственной угнетенности, того разлагающаго душевнаго разстройства, того тревожнаго и мучительнаго чувства дисгармоніи, какія возбуждаются въ васъ гамлетическими драмами. Напротивъ того, здѣсь къ ужасу и состраданію вашему невольно примѣшивается то обаяніе, какое на васъ производитъ всякая свободная игра страстей, какія бы эти страсти ни были и къ чему бы онѣ ни приводили. Вы также невольно любуетесь такой игрой страстей человѣческихъ, какъ любуетесь роковой игрой стихій вродѣ бури или пожара, забывая иногда о тѣхъ бѣдствіяхъ, какія она приноситъ.

Героемъ подобной трагедіи является передъ нами Копыловъ. Онъ былъ героемъ вполнѣ современнымъ съ головы до ногъ, т. е. занималъ выгодное мѣсто, былъ агентомъ какой-то компаніи, имѣлъ небольшое, но очень приличное состояніе, однимъ словомъ, имѣлъ полную возможность срывать всѣ цвѣты наслажденія, и это нисколько не мѣшало ему въ то же время быть «чуткимъ на всякій современный вопросъ, принимать даже участіе во всякой чужой заботѣ», — и замѣтьте, что собственно и обличаетъ въ Копыловѣ современнаго человѣка: при этомъ откликаньи на всякій современный вопросъ Копыловъ, не хуже Либиейера или Бѣлушевыхъ, умѣлъ ладить съ окружающимъ его обществомъ: «Откровенность, говоритъ Хвощинская, способность увлекаться, пылкость, все принимающая къ сердцу, недостатокъ разсчета среди поголовнаго помѣшательства на разсчетѣ, могли подчасъ показаться наивными, могли вызывать осужденіе холодно-благоразумныхъ людей и презрѣніе рьяныхъ дѣльцовъ, но въ большинствѣ Копылова любили. Игривый, образованный, онъ вездѣ вносилъ съ собой оживленіе; въ немъ было что-то пряное, любящее, горячее... Копыловъ былъ рѣдкость».

Однимъ словомъ, Копыловъ стоялъ въ полной гармоніи какъ съ самимъ собой, такъ и со всѣмъ окружающимъ его обществомъ. И чего же могло недоставать этому удачѣ-доброму молодцу, лихачу-кудрявичу? Очевидно только одного: недоставало ему жениться. Но за этимъ дѣло не стало. Вскорѣ Копыловъ оказался влюбленъ, да такъ влюбленъ, что, читаемъ мы, «не умѣлъ скрывать этого, выносилъ намеки свѣтскихъ женщинъ, шутки пріятелей и добивался руки своей Клавдіи съ настойчивостью — не нашего времени». Такъ говоритъ Хвощинская, но совершенно напрасно она думаетъ, что настойчивость Копылова была не нашего времени. Напротивъ того, она принадлежала къ самой наисовременнѣйшей современности — и подумайте, къ какой же другой эпохѣ изъ прежнихъ могла она принадлежать? Герой сороковыхъ годовъ на мѣстѣ Копылова конечно, прежде чѣмъ добиться чего-нибудь, сталъ-бы анализировать Клавдію со всѣхъ сторонъ, разбирать ее по косточкамъ, соотвѣтствуетъ ли она вполнѣ его идеалу женщины, сталъ бы взвѣшивать на аптекарскихъ вѣсахъ и свое собственное чувство, и чувство героини, да такъ бы дѣло и кончилось однимъ безконечнымъ анализомъ на всю жизнь. Грубый герой шестидесятыхъ годовъ, прежде чѣмъ жениться, пожалуй, предложилъ бы какія-нибудь тривіальныя условія, вродѣ полнаго отреченія отъ всякихъ цвѣтовъ и газа, ношенія исключительно одного чернаго люстрина и занятія какимъ-нибудь насущимъ трудомъ, чѣмъ-нибудь вродѣ акушерства — и плюнулъ бы, не смотря на всю свою пылкую страсть, еслибы Клавдія на такія условія не согласилась. Но кто же, кромѣ Копылова, этого героя нашей современной беззавѣтности, способенъ отдаться своей страсти такъ всецѣло и такъ

очертя голову, безъ малѣйшихъ колебаній, думъ и какихъ бы то ни было вопросовъ? Подобнаго рода непосредственныя натуры всегда отличаются стремительной настойчивостью разъяренныхъ быковъ. Мы видимъ, что слѣпота страсти Копылова простиралась до того, что онъ не только не далъ себѣ ни малѣйшаго труда попристальнѣе вдуматься, согласуются ли характеръ, вкусы и привычки Клавдіи съ тѣми его принципами, которые побуждали его откликаться на общественные вопросы,—но онъ не замѣчалъ даже, что выходили за него ради однихъ матеріальныхъ выгодъ, что любили не его, а другого, который передъ свадьбой уѣхалъ изъ N и воротился опять...

И впослѣдствіи, когда Копыловъ успѣлъ разгадать, что такое Клавдія, успѣлъ разочароваться въ ней и убѣдиться, что его не любятъ, онъ занялся не какимъ-либо анализомъ или думами о томъ, какой выходъ найти изъ своего ложнаго положенія, а, какъ всегда бываетъ съ непосредственными натурами, одна страсть смѣнилась у него другой, такой же слѣпой, стремительной и чисто животной, какъ и первая. Что-бы сталъ дѣлать въ такомъ случаѣ человѣкъ сороковыхъ годовъ? Онъ конечно расплылся бы тотчасъ въ унылыхъ рефлексіяхъ, сталъ бы то въ женѣ, то въ самомъ себѣ отыскивать причины нелюбви и невѣрности супруги, ежедневно поглядывать на крючки въ стѣнахъ и примѣриваться на какой бы повѣситься—и такъ провелъ бы всю жизнь, а жена шалила бы и шалила. Человѣкъ шестидесятыхъ годовъ или оскорбился бы обманами жены и, выведя ихъ наружу, предложилъ бы впредь безъ всякихъ такихъ обмановъ откровенно поступать, какъ ей угодно, или же разошелся бы съ ней, постаравшись въ то же время устроить это такъ, чтобы не опозорить передъ свѣтомъ женщины. Копыловъ же, какъ современный герой, поступилъ совершенно такъ, какъ и всегда поступаютъ въ такомъ случаѣ непосредственныя натуры, вродѣ хотя бы Отелло. Убѣдившись въ невѣрности жены, онъ побѣжалъ въ гостинницу, гдѣ она обѣдала съ любовникомъ, и тамъ, въ бѣшенствѣ, зарѣзалъ столовымъ ножомъ послѣдняго.

Но и послѣ такого омерзительнаго поступка Копыловъ остался все той же непосредственной натурой: онъ тотчасъ же нашелъ для себя примиреніе въ непоколебимой рѣшимости принять на себя всѣ кары закона за свой поступокъ, не дѣлая ни шагу къ малѣйшему смягченію этихъ каръ. Онъ отказался отъ всякихъ объясненій своего поступка при допросахъ судебнаго слѣдователя, отказался отъ всякихъ объясненій на судѣ, не хотѣлъ принять адвоката, а когда тотъ насильно навязался, сбилъ его съ толку во время его рѣчи, прося поторопиться. Когда жена во время свидѣтельскихъ показаній выставляла его чудовищемъ, а себя несчастной и невинной жертвой этого чудовища, онъ и тутъ хоть бы слово сказалъ въ оправданіе себя или въ укоръ женѣ. Однимъ словомъ, до конца выдержалъ передъ публикой роль трагическаго героя, желающаго, чтобы на него неуклонно упалъ мечъ карающей Немезиды,—и эта роль конечно примирила его съ самимъ собой, потому что, согласитесь сами, какъ пріятно сознавать себя подобнымъ непреклоннымъ героемъ; помирила его и съ публикой, которая выразила глубокое сочувствіе къ трагической жертвѣ игры страстей, выступавшей передъ ней въ такомъ картинномъ величіи сокрушеннаго желанія пострадать во что бы то ни стало за свое преступленіе, и пострадать безъ малѣйшаго снисхожденія. Вышла однимъ словомъ очень эффектная сцена—трагическаго примиренія, возстановленія нравственной гармоніи, вотъ какъ напримѣръ у Шекспира Отелло задушилъ неповинную женщину, потомъ зарѣзалъ самъ себя,—и зрители должны выходить изъ театра съ сладостнымъ сознаніемъ, что преступленіе отомщено и нравственные законы судебъ уравновѣшены. Такъ по крайней мѣрѣ учили насъ старые эстетики.

Изъ этого всего наглядно видно, какъ легко героямъ нашей современной непосредственности не только производить гражданскіе подвиги доблестей и въ вознагражденіе за нихъ срывать цвѣты наслажденій, но и совершать самыя возмутительныя и грязныя преступленія. Имъ ничего не стоитъ найти въ такомъ случаѣ примиреніе въ самой жизни и пребывать картинными и величественными героями какъ въ глазахъ толпы, такъ и передъ очами своей совѣсти. И такъ, еще разъ: да здравствуетъ современная намъ беззавѣтность!

Казалось бы, что, въ виду всего вышесказаннаго, очерки Хвощинской должны были бы возбуждать въ васъ самое свѣтлое настроеніе. Что можетъ быть утѣшительнѣе и отраднѣе, какъ не созерцаніе людей, такихъ умныхъ, образованныхъ, блестящихъ, откликающихся на всѣ современные вопросы жизни и пользующихся всѣми благами, срывающихъ всѣ возможные цвѣты наслажденій, беззавѣтно отдающихся своимъ страстямъ, какъ истые донъ-Кихоты, и находящихся въ непрестанной гармоніи и съ самими собой, и съ окружающимъ ихъ обществомъ? И между тѣмъ очерки Хвощинской, вмѣсто ободряющихъ и радостныхъ впечатлѣній, возбуждаютъ въ васъ мучительную тоску и ужасъ. Вамъ становится какъ то жутко не только за всѣхъ этихъ людей, которымъ море по колѣно и у которыхъ нѣтъ ничего въ головѣ, ни вчерашняго, ни завтрашняго, но и за все общество, наполненное этими людьми. Въ васъ словно будто пробуждается совѣсть, и вы сознаете себя участникомъ въ какомъ-то отвратительномъ преступленіи... Вамъ кажется, будто весь этотъ пиръ совершается въ какомъ-то чужомъ домѣ, и какъ ни велико, какъ ни беззавѣтно веселье, а вы все ждете, что вотъ сейчасъ придетъ хозяинъ и отнесется къ вамъ, какъ къ непрошеннымъ гостямъ... Отчего это, читатель?

1876-1877.

БЕСѢДЫ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

(КРИТИЧЕСКІЯ ПИСЬМА.)

Письмо первое.

Наше современное литературное безвременье.

Въ настоящее время и въ журналахъ, и въ газетахъ, и въ различныхъ общественныхъ кружкахъ— повсюду господствуетъ минорный тонъ относительно состоянія литературы вообще, беллетристики-же и критики въ особенности. Всѣ жалуются, что критика находится въ такомъ упадкѣ, что совсѣмъ начинаетъ исчезать изъ журналовъ. Беллетристика-же только и держится, что корифеями прежней эпохи, блиставшими уже въ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годахъ; новыхъ-же талантовъ, которые можно-бы поставить на одну высоту со старыми, не является. И вотъ въ этотъ-то моментъ литературнаго безвременья я рѣшился писать къ вамъ критическія письма. Не подумайте, чтобы я мечталъ занять своими письмами опустѣвшую арену критики и принять на себя роль критическаго вождя, полагающаго за собой право рѣшить и вязать. Нѣтъ, просто по просту, когда во время жаркихъ сраженій избиваются всѣ полководцы, каждый солдатъ дѣлается генераломъ и подаетъ свои совѣты. Или на общественныхъ собраніяхъ, когда вожди партій оставляютъ арену, каждый обыватель, который прежде только и дѣлалъ, что сидѣлъ и глубокомысленно выслушивалъ, теперь встаетъ и подаетъ свое мнѣніе. Такъ точно и я предстаю передъ вами, простымъ рядовымъ и обывателемъ, и подаю свой голосъ, который вы вправѣ выслушать или оставить безъ вниманія.

Начинаю я свои письма, какъ вы можете судить по заглавію, съ разсужденій о нашемъ современномъ литературномъ безвременьи,— разсужденій, которыя, какъ я заявилъ уже выше, вы встрѣтите на всѣхъ перекресткахъ, безъ которыхъ не могутъ обойтись нынѣ, заговоривъ о литературѣ. Вслѣдствіе одной этой всеобщности толковъ о литературномъ безвременьи вопросъ этотъ получаетъ большую важность. Его слѣдуетъ поставить впереди и обсудить прежде всего. Онъ послужитъ мнѣ какъ-бы вступленіемъ въ мои критическія письма; дастъ мнѣ возможность, прежде чѣмъ я займусь анализомъ того или другого изъ современныхъ произведеній беллетристики, сдѣлать общій обзоръ состоянія современной литературы и вмѣстѣ съ тѣмъ высказать тѣ критеріи, которые будутъ руководить мной при оцѣнкѣ различныхъ произведеній, настоящихъ и будущихъ.

Что касается лично до меня, то я вполнѣ раздѣляю недовольство большинства общества современной беллетристикой. Если и существуютъ въ литературѣ два, три имени, которыя слѣдуетъ исключить изъ этого недовольства, если и появляется втеченіи года два, три произведенія, отмѣченныя сильнымъ талантомъ и обращающія на себя всеобщее вниманіе, то подобныя явленія представляются словно оазисами въ дикой пустынѣ. Они остаются сами по себѣ, а пустыня тоже сама по себѣ продолжаетъ пребывать все той-же безплодной пустыней. Такъ напримѣръ, возьмемъ хоть нынѣшній годъ, клонящійся уже къ концу и представляющій намъ свои итоги, и, нужно отдать ему справедливость, плачевные итоги по части художественной литературы. Такъ, изъ наиболѣе выдающихся произведеній только и можно отмѣтить, что трагикомедію Некрасова «Современные герои», нѣсколько очерковъ Щедрина, нѣсколько главъ романа гр. Толстого, одну комедію Островскаго, да два очерка Г. Иванова (этого чуть-ли не единственнаго изъ молодыхъ талантовъ, выстрадывающаго свои очерки, а не сочиняющаго ихъ). Но вѣдь это не составляетъ всей беллетристики за цѣлый годъ въ четырехъ толстыхъ журналахъ? Вѣдь это—капля въ морѣ? Вѣдь это все, переплетенное вмѣстѣ, составило бы небольшой томъ? Ну, а затѣмъ что-же представляетъ собой беллетристика нынѣшняго года? Далѣе затѣмъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» слѣ-

дуетъ романъ Смирновой «Сила характера». Въ Дѣлѣ» былъ помѣщенъ романъ Михайлова «Хлѣба и зрѣлищъ», и затѣмъ тянется и вѣроятно долго еще будетъ тянуться безконечный романъ Евг. Маркова «Черноземныя поля». А въ концѣ года выступилъ Лѣтневъ съ новымъ романомъ «Вѣшеная лощина». Въ «Вѣстникѣ Европы» парадировалъ А. Потѣхинъ, который началъ годъ повѣстью «Хворая», а окончилъ романомъ «Около денегъ». Въ промежуткѣ-же между этими двумя столпами беллетристики «Вѣстника Европы» мы только и видимъ, что два посмертныя произведенія, помѣщенныя конечно ради одного историческаго интереса: отрывки изъ драмы А. Толстого «Посадникъ» и повѣсть М. Авдѣева «Въ сороковые годы». Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» .. но беллетристика «Русскаго Вѣстника» —совсѣмъ особая статья: она стоитъ совсѣмъ за рубежемъ современнаго движенія литературы; для нея никакихъ эстетическихъ законовъ не писано, и говорить о ней — дѣло никакъ ужъ не художественной критики: Оставимъ мы ее лучше въ покоѣ съ ея «Млечными путями», «Избушками на курьихъ ножкахъ» и тому подобнымъ хламомъ.

Вотъ и все, за исключеніемъ нѣсколькихъ мелкихъ повѣстей, разсказовъ, очерковъ, о которыхъ не осталось въ головѣ ни малѣйшаго воспоминанія. Не правда-ли, какъ мало за цѣлый годъ для четырехъ толстыхъ журналовъ? Но этого мало, что мало, а главное дѣло въ томъ, что все это, вмѣстѣ взятое, и производитъ на большинство публики то впечатлѣніе неудовлетворенности, которое приводитъ читателей журналовъ къ сѣтованіямъ на литературное безвременье.

Читатель повидимому очень жаждетъ талантливой беллетристики, которая произвела бы на него сильное впечатлѣніе и вліяніе. Это можно судить по тому, что толпами бросается онъ къ тому журналу, въ которомъ заранѣе обѣщано ему произведеніе съ извѣстнымъ и любимымъ именемъ, не взирая даже на направленіе журнала и на то соображеніе, что въ журналѣ можетъ быть нечего будетъ читать, кромѣ обѣщанной приманки. Но каждый разъ читатель испытываетъ новое разочарованіе и приходитъ къ грустному сознанію, что все это—не то, чего бы ему хотѣлось. Главная же задача въ томъ, что читатель и самъ не можетъ рѣшить, что ему нужно отъ беллетристики и почему она не удовлетворяетъ его? Вѣдь если прислушаться ко всѣмъ тѣмъ эстетическимъ требованіямъ, какія бродятъ въ обществѣ, и притомъ въ передовыхъ и наиболѣе интеллигентныхъ его сферахъ, то остается только дивиться и пожимать плечами: чего же можетъ недоставать въ нашей современной беллетристикѣ такого, что́ бы не удовлетворяло этимъ требованіямъ и тѣмъ подавало поводъ къ жалобамъ на литературное безвременье? Во-первыхъ, читатель требуетъ, чтобы беллетристика изображала ему жизнь такъ, какъ она есть, во всемъ ея обыденномъ теченіи, со всѣми ея деталями. Во-вторыхъ,— чтобы писатель обобщалъ жизнь, представлялъ такіе типы и сюжеты, въ которыхъ, какъ въ фокусѣ, изображались бы черты жизни наиболѣе общія, встрѣчаемыя въ цѣлыхъ массахъ конкретныхъ явленій ея. Въ-третьихъ наконецъ, читатель требуетъ, чтобы произведенія отзывались на различныя злобы дня, были полезны въ тенденціозномъ отношеніи. И вотъ найдите мнѣ хоть одно такое изъ современныхъ беллетристическихъ произведеній, которое не удовлетворяло бы если не всѣмъ этимъ требованіямъ, то хоть одному изъ нихъ?

Что касается до изображенія жизни въ ея обыденномъ теченіи и до деталей, то беллетристы такъ и распинаются, чтобы изображать жизнь какъ можно полнѣй, всестороннѣй и подробнѣй, во всѣхъ ея мельчайшихъ оттѣнкахъ, со всѣмъ фламандской кухни пестрымъ соромъ. Вы найдете въ нашей литературѣ романы, въ которыхъ это эстетическое требованіе доведено до nec plus ultra, до идеальности,—романы, основанные всѣ подъ рядъ на анализѣ мелкихъ деталей жизни,—романы, въ которыхъ нѣтъ ни интриги, ни сюжета, ни какихъ-либо катастрофъ, ничего такого, что́ на языкѣ толпы называется романическимъ, а просто по просту разсказывается, какъ живутъ день за днемъ зауряднѣйшіе и на каждомъ шагу встрѣчаемые люди, какъ они пьютъ, ѣдятъ, ходятъ другъ къ другу въ гости, хозяйничаютъ и пр. Чтобы не далеко ходить, возьмите хоть «Черноземныя поля» Евг. Маркова. Чего же хотите вы совершеннѣе въ этомъ отношеніи? Вотъ уже цѣлый годъ тянется этотъ романъ, дотянулся едва-едва до второй части— и хоть-бы намекъ на какую нибудь романическую интригу, драматическій сюжетъ и т. п., а такъ-таки прямо и выкладывается передъ вами деревенская жизнь во всей ея подноготной. Читаете вы одну главу, въ ней описано, какъ Надя лечила телку. Такъ таки цѣлая глава и посвящена этому поучительному въ своемъ родѣ разсказу. Читаете другую главу, въ ней находите не менѣе поучительный разсказъ о томъ, какъ Надя учила деревенскихъ ребятишекъ и какъ при этомъ пріѣхали два сосѣдніе помѣщика, и Надя сконфузилась и застыдилась. Въ третьей главѣ слѣдуетъ описаніе, какъ деревенскія бабы молотили рожь, а господа пришли къ нимъ на гумно посмотрѣть на ихъ работу. Въ четвертой главѣ повѣствуется о томъ, какъ господа завтракали въ лѣсу и варили яичницу и пр., и пр. И замѣтьте при этомъ, что все это описано крайне вѣрно, до мельчайшихъ подробностей; люди передъ вами, какъ живые, и вся жизнь ихъ у васъ на ладони. Но и прочіе беллетристы, подвизавшіеся въ нынѣшнемъ году, хотя и не достигли въ изображеніи обыденной жизни во всѣхъ ея деталяхъ до такого совершенства, какъ Евг. Марковъ, все-таки нельзя сказать, чтобы и пренебрегли этимъ эстетическимъ требованіемъ. Дѣйствующія лица романовъ ихъ въ свою очередь встаютъ предъ вами, какъ живыя; нѣкоторыя изъ нихъ весьма типичны и напоминаютъ собой многихъ встрѣчаемыхъ въ жизни людей. Такъ напримѣръ, если вы обязываете меня видѣть въ гоголевскомъ Бетрищевѣ типъ, обобщающій многихъ военныхъ русскихъ генераловъ, то чѣмъ же уступаетъ ему столь же обобщающій типъ генерала Охлыстышева въ романѣ Смирновой? Если Акакія Акакіевича вы признаете типомъ всѣхъ крайне забитыхъ мелкихъ чиновниковъ, то почему же Лыткинъ въ романѣ Михайлова не можетъ въ та-

кой-же степени служить представителемъ всѣхъ спившихся съ кругу чиновниковъ-сутягъ, дошедшихъ до такой деморализаціи, что имъ ничего не стоитъ торговать честью своей дочери? Отчего Охлыстышевъ и Лыткинъ не могутъ служить кличками для весьма многихъ субъектовъ, встрѣчающихся въ жизни, подобно тому, какъ служатъ кличками Фамусовы, Чичиковы, Ноздревы и пр.? А объ А. Потѣхинѣ и говорить нечего: у него, въ «Хворой»-ли, въ «Около денегъ»-ли, что ни дѣйствующее лицо — то самый обобщительный типъ. Онъ только такія личности и выводитъ, какія вы можете встрѣтить въ жизни, изображаемой имъ на каждомъ шагу.

Что касается до вѣрности дѣйствительности, то конечно не всѣ беллетристы безукоризненны относительно ея. Много кое въ чемъ можно усомниться въ романѣ Смирновой и еще болѣе въ романѣ Михайлова относительно изображенія Михайловымъ великосвѣтскаго общества, котораго онъ повидимому и въ глаза не видалъ. Но и въ романѣ Смирновой, и въ романѣ Михайлова вы найдете черты жизни несомнѣнно вѣрныя и притомъ въ свою очередь не малое богатство деталей. Вы вспомните, какъ обстоятельно, до какихъ мелочныхъ подробностей описана у Смирновой повседневная жизнь семейства Охлыстышевыхъ. Возьмите хоть бы всѣ эти споры генерала съ Отто о внутренности земного шара и другихъ новѣйшихъ теоріяхъ, его причуды и капризы съ Марьей Николаевной. Развѣ все это — не типическія черты, знакомящія васъ съ жизнью Охлыстышевыхъ такъ коротко, въ такихъ подробностяхъ, какъ будто вы сами прожили нѣсколько лѣтъ въ этомъ семействѣ? Ну, а что касается Потѣхина, то и говорить нечего. Я не думаю, чтобы онъ хоть въ чемъ-нибудь уступилъ Евг. Маркову относительно вѣрности, дѣйствительности и обилія деталей. Возьмите во вниманіе хоть-бы то напримѣръ обстоятельство, что въ октябрьскомъ нумерѣ «Вѣстника Европы», въ которомъ начался печататься новый романъ Потѣхина, напечатано по крайней мѣрѣ листовъ пять романа, и эти пять листовъ представляютъ описаніе одного деревенскаго праздника. Деревенскій праздникъ, описанный на пяти печатныхъ листахъ, — какой же вы хотите большей еще обстоятельности? Вѣдь ужъ тутъ, значитъ, разобрано все по косточкамъ, ничего не упущено изъ вида до послѣдней подноготной. Ну, и дѣйствительно, остается только дивиться обилію деталей. Начнетъ ли Потѣхинъ описывать деревенскую часовню, ничего не пропуститъ безъ замѣчанія: и какой въ часовнѣ полъ, и какія стѣны, и какой потолокъ, и какіе образа что изображаютъ, въ окладахъ или безъ окладовъ, и какія паникадила передъ каждымъ образомъ, и какъ молятся мужики, какъ молятся бабы, въ чемъ кто одѣтъ и пр., и пр. Описываетъ ли Потѣхинъ крестный ходъ, онъ посвятитъ васъ въ такія подробности, которыя навѣрное вы пропустили бы безъ вниманія, еслибы сами присутствовали на этомъ крестномъ ходѣ: кто напримѣръ держалъ какую хоругвь или образъ, кто кому когда передалъ это держаніе, какъ бабы, набожно подлѣзая подъ образа, не опускали при этомъ случая дать тукманку въ шею какому-нибудь шаловливому мальчугану и пр., и пр. Однимъ словомъ, остается диву даться, до чего простирается тонкость наблюдательности Потѣхина.

Что касается до тенденціозности, то конечно трудно бываетъ иногда сказать, для чего пишутся новыя современныя произведенія и что они собой выражаютъ, хоть-бы тѣ-же произведенія Потѣхина. Такъ напримѣръ, для чего онъ написалъ свою «Хворую»? Хотѣлъ въ ней представить просто-на-просто грустную картину грубости нравовъ необразованнаго мужичья, или же провести болѣе возвышенную и тонкую мысль, что бѣдность и нужда заглушаютъ въ людяхъ всѣ родственныя и человѣческія чувства? Христосъ его вѣдаетъ. Точно также кто разгадаетъ тайну: какую идею провела Смирнова въ своемъ послѣднемъ романѣ? Наиболѣе простодушные читатели положили, что писательница написала свой романъ не съ какой иной цѣлью, какъ лишь для иллюстраціи десятой заповѣди: «не пожелай жены брата твоего». Но одинъ болѣе хитроумный критикъ рѣшилъ, что въ романѣ проведена нѣкоторая ироническая и злоехидная мысль — та именно, что какого-бы героя ни корчилъ изъ себя мужчина и какую силу характера ни обнаруживалъ онъ повидимому, но настойчивая женщина всегда окажется побѣдительницей, и онъ спасуетъ передъ ней въ рѣшительную минуту. Какъ-бы тамъ ни было, но даже и относительно этихъ произведеній, сомнительныхъ въ тенденціозномъ отношеніи, у насъ есть отличный оправдывающій критерій, выработанный предыдущей критикой и заключающійся въ томъ, что въ истинно-художественномъ произведеніи образы писателя говорятъ сами за себя, высказываютъ гораздо болѣе, чѣмъ онъ предполагалъ, иногда даже свидѣтельствуютъ совершенно вопреки его мыслямъ. А разъ вы признали, что романъ Смирновой или Потѣхина вѣрно изображаетъ жизнь — чего-же вамъ еще? Ну, и пусть образы, представленные ими, говорятъ сами за себя, а вы ихъ анализируйте и дѣлайте изъ нихъ свои выводы и заключенія.

Но вѣдь не все-же втеченіи нынѣшняго года являлись произведенія, относительно тенденціозности которыхъ остается поставить вопросительный знакъ. Развѣ не было произведеній несомнѣнно тенденціозныхъ, и притомъ съ тенденціями немаловажными и вполнѣ современными? Вотъ напримѣръ хоть-бы тѣ-же опять «Черноземныя поля» Евг. Маркова. Чѣмъ-же это — не тенденціозный романъ? Вѣдь если взять во вниманіе, что самымъ современнымъ вопросомъ, въ разрѣшеніе котораго наиболѣе углубилась наша интеллигенція въ нынѣшнемъ году, былъ вопросъ объ отношеніи города къ деревнѣ и объ опредѣленіи деревенской нравственности, то романъ Маркова точно будто нарочно написанъ въ видахъ этого вопроса, и я убѣжденъ, что публицисты «Недѣли» должны читать этотъ романъ всласть и приходить въ умиленіе отъ каждой его страницы. Все содержаніе романа въ томъ именно и заключается, что противъ изнѣженныхъ, изломанныхъ, растлѣнныхъ городскихъ верхоглядовъ поставлены крѣпкіе душой и тѣломъ люди деревни и воспѣты во всѣхъ своихъ деревенскихъ добродѣтеляхъ. Какой-же вамъ нужно еще тенденціи, наиболѣе бьющей въ современную жилку? Здѣсь именно является то искусство, которое вамъ такъ жела-

тельно,—искусство, ловящее сегодняшній моментъ и спѣшащее отвѣтить на вопросъ, только-что поднятый въ литературѣ.

Ну, а романъ Михайлова—чѣмъ-же это не романъ тенденціознѣйшій изъ всего, что появилось въ нынѣшнемъ году въ литературѣ нашей? Раскрыть намъ мрачную картину всей неурядицы, всего того возмущающаго душу циническаго безчеловѣчія, кроющагося подъ личиной гуманности, какія существуютъ въ отношеніяхъ жителей бельэтажей къ обитателямъ подваловъ, показать всю несостоятельность и эфемерность нашей грошовой филантропіи —Господи, да можно-ли придумать для романа тэму наиболѣе животрепещущую? Развѣ это—не одинъ изъ такихъ вопросовъ времени, которымъ беллетристъ обязанъ посвящать всѣ свои силы?

Послѣ всего этого только и осталось-бы повидимому радоваться, что наша литература находится на самой вѣрной дорогѣ и процвѣтаетъ, ликовать, признавая, что хотя и немного даетъ она втеченіи года пищи для ума и сердца въ количественномъ отношеніи, зато въ качественномъ вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ современнымъ требованіямъ отъ искусства. И при всемъ томъ публика остается почему-то недовольной беллетристикой, жалуется на литературное безвременье, чего-то ищетъ, чего-то ждетъ, словно будто совсѣмъ чего-то другого, и сама не знаетъ чего. Что-же сей сонъ значитъ?

И публика, по моему мнѣнію, совершенно права. Здѣсь происходитъ явленіе весьма естественное и довольно часто встрѣчаемое въ жизни. Публика находится въ положеніи молодой женщины, которая вышла замужъ не по любви, а по навязанному ей родителями разсчету. Казалось бы, чѣмъ не жизнь: домъ ея, какъ полная чаша, мужъ—вовсе не какой-нибудь беззубый, разваливающійся старикъ или негодяй, а молодой, красивый, добрый, образованный. Она не можетъ ни въ чемъ пожаловаться на него, питаетъ къ нему полное уваженіе, старается даже вообразить, что любитъ его. А между тѣмъ на сердцѣ у нея какая-то зловѣщая пустота, и что-то бродитъ въ ней тревожное, мучительное, назойливое, заставляющее ее задумываться, лить безпричинныя повидимому слезы и смотрѣть на все унылыми глазами. Это бушуютъ въ ней неудовлетворенные инстинкты страсти, жажда любви естественной, настоящей, а не навязанной и надуманной доводами холоднаго разсудка. Въ такомъ-же положеніи находится и публика наша. Ей навязали рядъ эстетическихъ доктринъ, искусственныхъ, узкихъ, схоластическихъ, и предлагаютъ ей художественныя произведенія, изготовленныя вполнѣ по рецептамъ этихъ доктринъ. Съ одной стороны она не смѣетъ ни слова возразить противъ этихъ доктринъ, такъ какъ современные критики наперерывъ внушаютъ ей, что въ доктринахъ этихъ вся современная мудрость. Съ другой стороны, разъ она соглашается съ этими доктринами, она не имѣетъ основанія возставать противъ произведеній искусства, написанныхъ вполнѣ въ ихъ духѣ. Но тѣмъ не менѣе въ ней не перестаютъ бродить художественные инстинкты, не имѣющіе ничего общаго съ навязанными ей доктринами, и требуютъ удовлетворенія такими произведеніями искусства, которыя вполнѣ согласовались-бы съ этими инстинктами. Она и не довольна, она и ропщетъ, она и ждетъ чего-то такого особеннаго, въ чемъ и сама себѣ не можетъ отдать отчета. Все это пока крайне не ясно. Но все это вполнѣ разъяснится для насъ, когда мы сдѣлаемъ нѣкоторое отступленіе, оставимъ на время въ сторонѣ публику съ ея недовольствомъ и современную нашу беллетристику со всѣми ея совершенствами и вникнемъ въ основанія художественныхъ творческихъ процессовъ, въ тѣ естественныя основанія, которыя лежатъ не въ какихъ-либо задуманныхъ эстетическихъ доктринахъ, а въ самой человѣческой природѣ, которыя съ одной стороны побуждаютъ великихъ и истинныхъ художниковъ къ созданію вполнѣ естественныхъ и сильныхъ произведеній искусства, съ другой-же стороны руководятъ инстинктами массъ, какъ при созданіи этими массами собирательно-народныхъ произведеній, такъ и при томъ сочувствіи или несочувствіи, которыя возбуждаются въ массахъ къ произведеніямъ личнаго творчества. Разъ мы это сдѣлаемъ, и если увидимъ, что естественныя основанія художественнаго творчества не имѣютъ ничего общаго ни съ господствующими нынѣ эстетическими доктринами, ни съ беллетристикой, вѣрной этимъ доктринамъ, для насъ и станетъ вполнѣ ясна причина инстинктивнаго недовольства публики современной беллетристикой, ясно станетъ и то, что требуется публикой, чего ей недостаетъ.

Подъ именемъ современныхъ эстетическихъ доктринъ мы имѣемъ дѣло, собственно говоря, съ весьма старыми доктринами, установленными еще Бѣлинскимъ и господствующими въ нашей литературѣ по крайней мѣрѣ лѣтъ уже 30, причемъ до сихъ поръ никому и въ голову не приходитъ подвергнуть эти доктрины пересмотру, свести ихъ на очную ставку съ тѣми успѣхами знаній, какіе въ эти 30 лѣтъ были пріобрѣтены во всѣхъ наукахъ, соприкасающихся съ эстетикой (въ физіологіи, психологіи, логики). Конечно это опущеніе происходитъ отчасти отъ того, что доктрины эти имѣютъ претензію носить авторитетное для нашего времени клеймо реализма. Но вопросъ еще—такъ-ли онѣ реальны, какъ кажутся? Не надо при этомъ забывать, что онѣ возникли въ то переходное время, когда реализмъ только-что возникалъ и различныя положенія его перепутывались съ метафизическими теоріями, отъ которыхъ не могло сразу отстать мышленіе людей 40-хъ годовъ, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. И дѣйствительно, даже раньше постановленія этихъ доктринъ на очную ставку съ новыми успѣхами знаній, мы можемъ усмотрѣть, что въ нихъ что-то неладно, чего-то какъ-будто недостаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, замѣтили-ли вы, что всѣ эти доктрины говорятъ исключительно только о цѣляхъ творчества и совершенно умалчиваютъ о причинахъ? Поэтъ, говорятъ они, *долженъ* воспроизводить обыденную жизнь такъ, какъ она есть, во всѣхъ ея деталяхъ; поэтъ *долженъ* отзываться на различныя злобы дня. Но изъ какихъ-же основныхъ побужденій человѣческой природы возникаютъ эти *должности*?—доктрины объ этомъ умалчиваютъ. Такимъ образомъ художественное творчество оказывается лишеннымъ всякаго основанія, и весьма нетрудно прямымъ, логическимъ вы-

водомъ изъ вышеупомянутыхъ доктринъ дойти до полнаго отрицанія творчества. Въ самомъ дѣлѣ, вы только подумайте: поэтъ долженъ изображать жизнь, какъ она есть. Что за абсурдъ такой! Для чего это рядомъ съ дѣйствительностью, полной жизни и красокъ, строить ни съ того, ни съ сего другую дѣйствительность, мертвую, книжную, которая навсегда останется блѣдной, жалкой копіей живой дѣйствительности, потому что не тѣ-же ли самыя доктрины внушаютъ намъ, что искусство никогда не сравняется съ дѣйствительностью и обречено на вѣчныя муки Тантала въ своихъ стремленіяхъ изобразить дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ такой, какая она есть? А если такъ, то тѣмъ болѣе оказывается нелѣпымъ трудъ, излишній даже и въ случаѣ успѣха. И вотъ, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать существованіе искусства, несостоятельнаго въ своей существенной цѣли, выступаетъ на сцену теорія искусства для жизни и начинаетъ предписывать искусству различныя утилитарныя цѣли: искусство, говоритъ она, должно воспроизводить обыденную жизнь во всѣхъ ея деталяхъ съ такими-то и такими-то научными, политическими, нравственными цѣлями и проч., и проч. Но если вы разберете всѣ эти предписанія, то окажется, что въ жизни и безъ искусства есть не мало функцій, достигающихъ тѣхъ-же цѣлей, но только гораздо прямѣйшимъ путемъ и болѣе сильными средствами, чѣмъ можетъ достигнуть ихъ искусство. Спрашивается: для чего-же ко всѣмъ этимъ функціямъ присоединять еще одну лишнюю и самую слабѣйшую, въ видѣ изображенія жизни во всѣхъ ея деталяхъ? Такъ напримѣръ, предположимъ, что мнѣ нужно сдѣлать какой-нибудь интересный психологическій анализъ—спрашивается: для чего стану я придумывать цѣлые сюжеты, сцены, любовныя объясненія и сверхъ того еще нагромождать детали на детали, описывать ни къ селу, ни къ городу столы, стулья, костюмы, природу, однимъ словомъ, захватывать бездну всякаго сору на пути, ни мало не относящагося къ моему анализу, когда я могу сдѣлать дѣло гораздо проще, написавъ небольшую брошюру, въ которой прямехонько изложу свой психическій анализъ, подтвердивъ его необходимыми фактами, и дѣлу конецъ—однимъ словомъ, какъ это дѣлаютъ ученые, которымъ и въ голову не приходитъ блажная мысль, трактуя объ условіяхъ эпидеміи самоубійствъ, начать вдругъ изображать самоубійство неизвѣстной дѣвушки въ гостинницѣ во всѣхъ подробностяхъ, не упуская изъ виду при этомъ и того замѣчательнаго обстоятельства, что у полового, который прислуживалъ самоубійцѣ, была уродливая шишка подъ носомъ? Или представьте себѣ, что я увлекся какимъ-нибудь животрепещущимъ современнымъ вопросомъ дня. И опять-таки—къ чему мнѣ всѣ эти детали, мебели, костюмы, природа, шишки подъ носами у половыхъ, когда я гораздо прямѣе могу достигнуть своей цѣли, пристроившись къ какой-нибудь газетѣ и начавши писать передовыя статьи—одну, другую, третью, пока наконецъ мнѣ не удастся увлечь публику своимъ вопросомъ и склонить ее къ разрѣшенію его? Возбудили-ли во мнѣ сильное негодованіе какія-нибудь отрицательныя явленія жизни—ну, хоть напримѣръ наши современные герои въ видѣ концессіонеровъ, биржевыхъ игроковъ и тому подобныхъ аферистовъ, то къ чему стану изливать свое негодованіе въ художественныхъ произведеніяхъ, зная, что въ нихъ явятся однѣ блѣдныя, безличныя копіи дѣйствительныхъ негодяевъ, совершенно для нихъ безобидныя, когда я могу гораздо прямѣе лично напасть на людей, возбудившихъ во мнѣ негодованіе хоть-бы въ газетныхъ фельетонахъ, поименно обозначая ихъ и показывая на нихъ и на ихъ поступки пальцами всей публикѣ? А не то я могу добиваться прокурорской каѳедры и пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для привлеченія этихъ людей къ судебной отвѣтственности. Ну, вотъ и подумайте опять: какое художественное произведеніе своими блѣдными копіями дѣйствительности произведетъ такое сильное впечатлѣніе на публику, какое способна произвести сама дѣйствительность, въ видѣ хотя-бы струсбергскаго процесса, въ которомъ безобразія современныхъ героевъ являются передъ публикой воочію и чувствительно бьютъ не только по нервамъ ея, но и по карманамъ? Какая геніальная сатира, какой гоголевскій юморъ покаратъ ихъ въ такой степени, какъ способенъ покарать ихъ судъ не однимъ смѣхомъ и свистомъ надъ подобными имъ выдуманными художественными типами, но позоромъ публичнаго разбирательства ихъ собственныхъ поступковъ и сообразнаго ихъ винѣ наказанія по законамъ?

Я могъ-бы привести массу и другихъ примѣровъ, показывающихъ полное банкротство искусства, если принимать его въ духѣ господствующихъ эстетическихъ доктринъ, но я полагаю, что и этихъ примѣровъ достаточно. Но искусство, и безъ того несостоятельное въ тѣхъ цѣляхъ, которыя ему навязываютъ современныя доктрины, должно оказаться еще несостоятельнѣе, если мы обратимъ вниманіе, какъ обыкновенно добиваются этихъ цѣлей художники, наиболѣе вѣрные этимъ доктринамъ. Вѣдь въ сущности они самымъ наивно-грубымъ образомъ надуваютъ и себя, и публику, воображая, что произведенія ихъ въ самомъ дѣлѣ проникнуты современными идеями въ духѣ полезнаго искусства, ради этихъ идей только и написаны. Въ дѣйствительности же проникновеніе это напоминаетъ то напускное благоговѣніе, которое принимали на себя древніе авгуры, когда совершали свои жертвы, и которое нисколько не мѣшало имъ, возводя очи горѣ, разсчитывать въ своемъ умѣ, какое получатъ они вознагражденіе за свою службу. Такъ точно и большинство нашихъ беллетристовъ только дѣлаетъ видъ, что отзывается на различныя злобы дня. Отзываніе это является обыкновенно въ видѣ самаго общаго рутиннаго мѣста, столь общеизвѣстнаго, что, казалось-бы, не стоило изъ-за этого трюизма и огородъ городить, не стоило и капусту садить. Дѣло заключается обыкновенно въ какой-нибудь сентенціи, вродѣ слѣдующихъ: грошовыя подачки съ высоты барскаго величія не приносятъ ни малѣйшей пользы нуждающимся, а только оскорбляютъ и деморализуютъ ихъ; люди, живущіе въ деревнѣ и занимающіеся сельскимъ хозяйствомъ, лучше знаютъ деревню и это хозяйство, чѣмъ городскіе обыватели; нужда разстраиваетъ семейныя узы и, дѣлая домочадцевъ взаимными врагами, доводитъ

ихъ до безчеловѣчныхъ преступленій и проч., и проч. Положивъ въ основаніе своего произведенія одинъ изъ подобныхъ трюизмовъ, беллетристъ воображаетъ, что заплатилъ дань вѣку, оправдалъ себя передъ теоріей полезнаго искусства. И затѣмъ, оставаясь такимъ образомъ съ очами, благоговѣйно возведенными горѣ, во всѣхъ своихъ помышленіяхъ онъ пребываетъ художникомъ вполнѣ въ духѣ чистаго искусства и начинаетъ съ спокойной совѣстью нагромождать детали на детали для того, чтобы показать: смотрите, молъ, какой я — тонкій наблюдатель, какъ я всесторонне обрисовываю предметы во всѣхъ мелочахъ, не забывая ни одной черточки, какія умѣю я рисовать художественныя картины природы, что вашъ Тургеневъ и проч., и проч. Для того, чтобы показать всю нелѣпость и эфемерность подобной комедіи, равно какъ и тѣхъ доктринъ, которыя ведутъ къ ней, мы и займемся опредѣленіемъ искусства не въ цѣляхъ его, а въ тѣхъ основныхъ побужденіяхъ человѣческой природы, изъ которыхъ возникаетъ художественное творчество, и изъ этихъ основныхъ побужденій мы попытаемся вывести, какъ условія, при которыхъ произведенія искусства производятъ на насъ сильнѣйшее впечатлѣніе и удовлетворяютъ нашимъ эстетическимъ потребностямъ, такъ и всѣ цѣли искусства, и все значеніе его въ жизни.

Доктрина, опредѣляющая цѣль искусства въ изображеніи жизни такъ, какъ она есть, опровергается прежде всего самыми элементарными философскими положеніями, давно, съ начала XVIII вѣка, принятыми равно всѣми философскими школами — метафизическими и реальными. Дѣло въ томъ, что какъ же такъ изображать дѣйствительность, какъ она есть, когда мы не знаемъ дѣйствительности въ томъ видѣ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ, когда мы имѣемъ дѣло не съ ней самой непосредственно, а съ тѣми впечатлѣніями, какія она производитъ на насъ, и представленіями, возникающими въ нашемъ мозгу вслѣдствіе впечатлѣній? Такимъ образомъ вышеупомянутую формулу слѣдовало-бы измѣнить такимъ образомъ: искусство должно воспроизводить дѣйствительность не въ томъ видѣ, какъ она есть сама по себѣ, а какъ она намъ представляется. Но разъ мы сдѣлаемъ такое измѣненіе, мы сразу перемѣстимъ искусство съ прежней почвы тщетной погони за вѣрностью дѣйствительности на почву вѣрности нашимъ представленіямъ. Міръ же представленій нашихъ есть нѣчто крайне относительное, условное, зависящее какъ отъ тѣхъ точекъ зрѣнія, съ какихъ мы смотримъ на различные предметы, такъ и отъ силы или слабости впечатлѣній. Представленія наши вовсе не составляютъ чего-либо постояннаго, незыблемаго, неизмѣннаго. Напротивъ того, они, словно призраки спиритизма, постоянно мѣняютъ свои очертанія, дѣлаясь то ярче, то туманнѣе, то увеличиваясь, то уменьшаясь въ своей интенсивности и экстенсивности. Измѣнчивость нашихъ представленій и зависимость ихъ отъ впечатлѣній я могу пояснить нѣсколькими наглядными примѣрами, причемъ я нарочно выбираю такіе примѣры, которые ближе подходятъ къ нашему дальнѣйшему разсмотрѣнію творческихъ процессовъ.

Такъ напримѣръ, возьмемъ на первый разъ такія повидимому опредѣленныя представленія, какъ представленія солнечнаго блеска и дневного свѣта. Я не говорю уже о томъ, что представленія эти ни мало не соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Мы очень хорошо знаемъ на основаніи несомнѣнныхъ научныхъ данныхъ, что само по себѣ солнце не имѣетъ вовсе никакой ослѣпительной яркости, а только производитъ опредѣленное движеніе эѳира. Понятіе же о яркости солнца и дневномъ свѣтѣ опредѣляетъ только отношеніе этихъ волнъ эѳира къ нашимъ глазнымъ нервамъ, и, какъ таковое, оно крайне относительно. Будь наши нервы устроены нѣсколько иначе, будь они хоть немножко туповатѣе, и солнце представлялось-бы намъ не болѣе яркимъ, чѣмъ луна, и день гораздо темнѣе. Да и при настоящемъ устройствѣ нашего глазного аппарата понятія о яркости солнца и дневномъ свѣтѣ остаются условными: чѣмъ выше солнце надъ горизонтомъ, тѣмъ кажется оно болѣе яркимъ. Для человѣка, только что вышедшаго изъ темной комнаты, можетъ показаться ослѣпительно-яркимъ нашъ темный, ненастный декабрьскій день, а если было-бы возможно жителя тропиковъ въ одно мгновеніе переселить въ Архангельскъ, то великолѣпный солнечный іюльскій день показался-бы ему пасмурнымъ и мрачнымъ.

Точно также — можемъ ли мы сказать, чтобы красавица была прекрасна сама по себѣ, когда намъ извѣстно, что красота ея есть не что иное, какъ собственное наше впечатлѣніе, производимое на насъ женщиной, и чѣмъ сильнѣе это впечатлѣніе, тѣмъ и женщина кажется намъ красивѣе? Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы она и на самомъ дѣлѣ была красивѣе: мы зачастую видимъ, что влюбленному человѣку предметъ любви представляется гораздо красивѣе, чѣмъ другимъ смертнымъ эта же самая женщина. Это конечно потому, что прочіе смертные смотрятъ на эту женщину далеко не съ тѣмъ страстнымъ восторгомъ, какъ влюбленный. Но и влюбленному впослѣдствіи предметъ его страсти будетъ казаться гораздо менѣе красивымъ, чѣмъ при первыхъ встрѣчахъ, когда страсть его потеряетъ свой острый характеръ и впечатлѣніе отъ непрестанныхъ повтореній сдѣлается привычнымъ. А если влюбленный разочаруется въ женщинѣ, то она можетъ показаться ему и совсѣмъ некрасивой. Эту дисградацію качествъ и признаковъ предметовъ, сообразно силѣ впечатлѣній и по мѣрѣ повторяемости послѣднихъ, мы замѣчаемъ въ жизни на каждомъ шагу. Этимъ конечно объясняется и тотъ общеизвѣстный фактъ, почему жители, постоянно населяющіе какую-нибудь красивую мѣстность, остаются совершенно равнодушны къ красотамъ окружающей ихъ природы, совсѣмъ какъ-будто и не замѣчаютъ ихъ, въ то время какъ пріѣзжіе выражаютъ самые шумные восторги. Подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній мы получаемъ наклонность преувеличивать предметы не только въ интенсивномъ, но и въ экстенсивномъ отношеніи, т. е. представлять ихъ не только красивѣй, безобразнѣй, смѣшнѣй, но и больше по своему объему или величинѣ. Извѣстныя поговорки, что «у страха глаза велики» и что «пугливый человѣкъ способенъ въ мухѣ увидѣть слона», какъ нельзя

болѣе философски опредѣляютъ наклонность преувеличивать предметы подъ вліяніемъ сильнаго впечатлѣнія страха.

Но не одинъ страхъ дѣйствуетъ такимъ образомъ. Такъ, когда вы въ первый разъ идете по какой-нибудь дорогѣ, она кажется вамъ несравненно длиннѣе, чѣмъ когда вы проходите тѣмъ же путемъ въ сотый разъ. Ту-же разницу относительно длины дороги чувствуете вы, смотря потому, идете ли по ней со свѣжими силами или усталые, одни или въ обществѣ. Когда вы въ первый разъ осматриваете квартиру, въ которой поселитесь, комнаты кажутся вамъ гораздо обширнѣе, чѣмъ онѣ будутъ казаться вамъ, когда обживетесь въ ней. Люди, привыкшіе жить въ большихъ залахъ, не замѣчаютъ громадности ихъ въ такой степени, какъ тѣ, которые впервые входятъ въ эти залы, привыкши толкаться въ маленькихъ комнаткахъ. Если человѣку въ первый разъ приходится пройти по карнизу пятиэтажнаго дома, то навѣрное высота карниза отъ мостовой представляется ему гораздо значительнѣе, чѣмъ привычному кровельщику, и безъ сомнѣнія смѣлость, которую обнаруживаютъ кровельщики при работахъ на высотахъ, во многомъ зависитъ отъ того обстоятельства, что высоты эти вслѣдствіе привычки къ нимъ вовсе не кажутся имъ такъ громадны, какъ прочимъ людямъ.

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ мы можемъ вывести то заключеніе, что чѣмъ сильнѣе впечатлѣнія, получаемыя нами отъ дѣйствительности, тѣмъ ярче, рѣзче, преувеличеннѣе, и въ интенсивномъ, и въ экстенсивномъ отношеніи, соотвѣтственныя имъ представленія. Но впечатлѣнія не ограничиваются тѣмъ, что производятъ въ нашемъ мозгу представленія: они кромѣ того возбуждаютъ въ насъ различные рефлексы, начиная отъ низшихъ, безпорядочныхъ, чисто мускульныхъ рефлексовъ ребенка и кончая тѣми стройными, организованными рефлексами, какіе проявляются у людей взрослыхъ и развитыхъ въ выразительныхъ мимическихъ движеніяхъ—въ пѣніи, въ словѣ. Здѣсь и лежитъ основаніе всѣхъ художественныхъ творческихъ процессовъ. Поэтическое творчество, по самому существу своему, есть нечто иное, какъ рефлектированье впечатлѣній. Въ этомъ и заключается съ одной стороны непосредственная непроизвольность его процессовъ, съ другой стороны—его естественная потребность, такая же роковая, какъ потребность ѣсть, пить, спать и проч. Что художественное творчество есть не что иное, какъ рефлектированье впечатлѣній, въ этомъ убѣждаетъ насъ то обстоятельство, что въ степеняхъ своей возбуждаемости оно управляется совершенно тѣми же законами, какіе существуютъ для всѣхъ рефлексовъ, начиная съ самыхъ низшихъ, управляющихся спиннымъ мозгомъ. Такъ, извѣстенъ законъ всѣхъ рефлексовъ, что чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ сильнѣйшій возбуждаетъ оно рефлексъ. То же самое видимъ мы и въ творчествѣ. Въ жизни очень часто замѣчаются случаи, что подъ вліяніемъ очень сильныхъ впечатлѣній люди, никогда не бывшіе до того времени поэтами, получаютъ вдругъ способность говорить стихами и нараспѣвъ; рѣчь ихъ дѣлается исполненной страсти и въ то же время цвѣтистой, изобразительной, образной. Вы конечно читали среди газетныхъ извѣстій объ одной болгаркѣ, которая, подъ сильнымъ впечатлѣніемъ разоренія турками деревни и убійства всѣхъ ея близкихъ, не иначе могла передавать свои впечатлѣнія обо всѣхъ ужасахъ, какіе она пережила, какъ пѣснею. А если мы, простые смертные, съ нашими тупыми и желѣзными нервами, способны дѣлаться поэтами подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній, то какъ же должны дѣйствовать эти сильныя впечатлѣнія на поэтовъ, людей крайне нервныхъ и впечатлительныхъ? Немудрено, что они получаютъ весьма сильныя впечатлѣнія отъ такихъ предметовъ, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, иногда и не замѣчая ихъ. Но и поэты, при всей ихъ впечатлительности, подвержены вліянію тѣхъ же законовъ рефлексовъ. И у нихъ поэтическое творчество возбуждается тѣмъ съ большей силой и напряженіемъ, чѣмъ сильнѣе возбуждающія его впечатлѣнія. И у нихъ, подобно тому, какъ и у насъ, чѣмъ чаще повторяется однородное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе и болѣе слабѣетъ вліяніе его, тѣмъ бѣднѣе становится рефлексъ, пока наконецъ не оказывается достаточнымъ для отраженія впечатлѣнія какого-нибудь простого символа, стоящаго въ случайной ассоціаціонной связи съ даннымъ впечатлѣніемъ. Такими символами являются между прочимъ слова языка, поэтическій смыслъ которыхъ давно забылся и стерся и которыя имѣютъ для насъ одно символическое значеніе наименованій понятій. Здѣсь—конецъ поэзіи и начало прозы въ видѣ совокупленія символовъ-словъ въ отвлеченныя формулы, сообразно связи и отношеній понятій между собою. И дѣйствительно, мы видимъ, что самые могучіе таланты, если не получаютъ новыхъ и сильныхъ впечатлѣній, а продолжаютъ вращаться въ кругу старыхъ и привычныхъ, исписываются, дѣлаются вялыми, скучными, повторяющимися и вмѣстѣ съ тѣмъ у нихъ все болѣе и болѣе развивается наклонность къ отвлеченнымъ разсужденіямъ о тѣхъ самыхъ предметахъ, которые прежде они изображали въ самыхъ яркихъ поэтическихъ краскахъ.

Итакъ, поэтическое творчество, какъ рефлектированье впечатлѣній, возбуждается тѣмъ напряженнѣе, чѣмъ сильнѣе послѣднія. Но мы видѣли выше, что чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ ярче и преувеличеннѣе получается представленіе нетолько въ интенсивномъ, но и въ экстенсивномъ отношеніи. Сопоставивъ эти два положенія, мы получимъ формулу для творчества, совершенно противуположную формулѣ господствующихъ эстетическихъ доктринъ. Вмѣсто недостижимаго стремленія изображать дѣйствительность такъ, какъ она есть, мы видимъ, что творчество, въ наибольшемъ напряженіи своихъ силъ, отражаетъ образы дѣйствительности въ преувеличенномъ видѣ сравнительно съ представленіями простыхъ смертныхъ.

Для бо́льшаго разъясненія подобной формулы творчества, я считаю не лишнимъ разрѣшить и распутать тѣ недоумѣнія, которыя навѣрно копошатся уже въ головѣ вашей, привыкшей къ принципамъ господствующей эстетики и соблазняющейся нѣкоторыми доводами этой эстетики, основанными на такой же

ложной очевидности, какова очевидность обращенія солнца вокругъ земли.—Вотъ кстати о солнцѣ. По вышеизложенной формулѣ творчества выходитъ, что художнику, какъ человѣку впечатлительнѣйшему, чѣмъ обыкновенные люди, солнце должно казаться гораздо болѣе блестящимъ, чѣмъ намъ. Надо поэтому ожидать, что художники должны на своихъ ландшафтахъ рисовать солнце гораздо интенсивнѣе въ своемъ блескѣ, чѣмъ оно кажется на небѣ простымъ смертнымъ. Но развѣ мы видимъ это въ живописи? Напротивъ того, мы видимъ, что ни одинъ художникъ въ мірѣ не нарисовалъ намъ солнца въ его истинномъ блескѣ, и мы можемъ смотрѣть на солнце ландшафтовъ сколько угодно, простыми глазами, не боясь ослѣпнуть. Да что говорить о солнцѣ? Пусть хоть одинъ художникъ во всемъ мірѣ, какъ-бы онъ ни былъ великъ, нарисуетъ намъ воздухъ, такой-же безконечно-прозрачный, какой онъ бываетъ въ природѣ, деревья, столь-же полныя ропота и движенія, тѣло человѣка въ такой-же степени нѣжно-прозрачное и трепещущее жизнью и пр., и пр. Развѣ не стремится ко всему этому искусство вотъ уже нѣсколько тысячелѣтій, и стремится совершенно тщетно, представляясь и до сихъ поръ одной блѣдной, мертвой копіей живой дѣйствительности?

Да, и стремилось, и стремится; но это стремленіе всегда было и будетъ одной пустой прихотью искусства и совсѣмъ не въ этомъ его смыслъ и основное значеніе. Ставя для искусства исключительно подобную цѣль, вы не можете представить, какъ вы унижаете его и сводите съ его истинной дороги. Начнемъ прежде всего съ солнца, съ его ослѣпительнымъ блескомъ. Солнце, правда, ослѣпляетъ насъ. Но что ослѣпляетъ оно въ насъ? Нашъ умъ, наши психическія чувства? Нѣтъ, одни глаза. Такимъ образомъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ силой не впечатлѣнія, а ощущенія. Правда, что ощущенія въ свою очередь возбуждаютъ въ насъ рефлексы тѣмъ сильнѣйшіе, чѣмъ они сами сильнѣе; но это—рефлексы низшіе, элементарные, лежащіе въ спинномъ мозгѣ и общіе у насъ со всѣми животными. Такъ, единственные рефлексы, какіе способно возбудить въ насъ солнце своимъ блескомъ, это—непроизвольное стремленіе мигать глазами, закрыться рукой, отвернуть голову. А вы хотите навязать подобнаго рода элементарные рефлексы искусству, приглашая его воспроизвести солнце въ его настоящемъ блескѣ? Зачѣмъ-же это? Чтобы въ васъ въ свою очередь возбудить тѣ-же элементарные рефлексы при взглядѣ на картину, заставить замигать глазами и отвернуться отъ нея? Стоитъ игра свѣчъ—нечего сказать! Да если вамъ этого такъ хочется, то ступайте не къ художнику, а къ физику; онъ доставитъ вамъ подобное наслажденіе своимъ друмондовымъ свѣтомъ. Художественное-же творчество заключается въ психическихъ рефлексахъ, лежащихъ въ головномъ мозгѣ; оно рефлектируетъ не элементарныя ощущенія, а тѣ сложныя душевныя настроенія, которыя возбуждаются цѣлымъ ансамблемъ впечатлѣній. Дѣло живописи заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобы нарисовать воздухъ, столь-же глубоко-прозрачный, какой онъ въ природѣ,—деревья, столь-же трепещущія и шепчущіяся, или тѣла съ такими-же переливающимися кровью жилками, а отразить то настроеніе художника, какое произвели на него эти предметы. Талантливый художникъ нарисуетъ пейзажъ карандашемъ, т. е. сдѣлаетъ всѣ предметы безразлично черными и приведетъ васъ въ большее восхищеніе, чѣмъ иной маляръ, написавшій тотъ-же пейзажъ красками, т. е. сдѣлавшій его болѣе подходящимъ къ дѣйствительности. А если мы посмотримъ на искусство съ точки зрѣнія отраженія душевныхъ настроеній, возбуждаемыхъ цѣлымъ ансамблемъ представленій, то мы тотчасъ и поймемъ, въ чемъ заключаются тѣ преувеличенія, къ которымъ ведетъ творчество въ своемъ сильномъ развитіи. Развѣ не случалось вамъ смотрѣть на пейзажи, изображающіе знакомыя вамъ мѣстности, и не приходилось приходить при этомъ въ изумленіе: неужели-молъ это—тѣ самые виды, которые вамъ такъ знакомы? Казалось-бы, на картинѣ далеко все не такъ живо, какъ въ дѣйствительности: и воздухъ не такъ прозраченъ, и деревья не такъ зелены, и вода—не вода, а просто нѣсколько черточекъ карандашемъ, а между тѣмъ въ цѣломъ мѣстность кажется вамъ на картинѣ гораздо красивѣе, чѣмъ въ природѣ. Вы тоже любовались не разъ ею, но не замѣчали такихъ красотъ ея, какія подмѣтилъ художникъ. Вы будете опять любоваться ею, всматриваться—и все-таки не найдете въ ней этихъ красотъ. Старинные эстетики объясняли этотъ фокусъ тѣмъ, что художникъ вложилъ въ картину свою идею, которая будто-бы и освѣтила пейзажъ своимъ особеннымъ свѣтомъ, или что своимъ художественнымъ чутьемъ онъ проникъ въ тайну красотъ природы и прозрѣлъ то, что́ недоступно очамъ простыхъ смертныхъ. Ничуть не бывало: никакихъ тутъ нѣтъ освѣщающихъ идей, тайнъ и прозрѣній; а весь фокусъ заключается въ томъ, что художникъ, какъ человѣкъ съ болѣе впечатлительной натурой, чѣмъ вы, воспринялъ отъ прекрасной мѣстности болѣе сильное впечатлѣніе, и, подъ вліяніемъ его, мѣстность показалась ему настолько-же красивѣе, насколько впечатлѣніе его сильнѣе вашего. Но этого еще мало: если при этомъ художникъ не зараженъ тормозящими творческіе порывы принципами рабской вѣрности дѣйствительности, если онъ всецѣло отдается своему творческому процессу въ его естественномъ теченіи, то надо ожидать, что творчество, стремящееся само-по-себѣ не къ вѣрному изображенію дѣйствительности, а къ наиболѣе сильнѣйшему отраженію психическаго настроенія художника, должно еще болѣе преувеличить тѣ элементы красивой мѣстности, которые наиболѣе поражаютъ художника, или по крайней мѣрѣ выставить ихъ на первый планъ, подчеркнуть такъ, какъ не заботится природа подчеркивать свои красоты, и подчеркнуть для того именно, чтобы какъ можно сильнѣе выразить настроеніе художника. Дѣйствительность или, собственно говоря, не сама дѣйствительность, а ваши представленія о ней при такихъ условіяхъ окажутся еще болѣе преувеличенными, измѣненными. Въ этомъ и заключается тайна художественнаго творчества и весь секретъ, почему въ наиболѣе талантливыхъ пейзажахъ вы совсѣмъ не узнаете знакомой вамъ мѣстности и приходите въ восторгъ отъ такихъ красотъ природы, мимо

которыхъ не одинъ десятокъ разъ проходили совершенно равнодушно.

То же можемъ мы сказать и о портретной живописи. Мы часто видимъ, что художники дѣлаютъ на портретахъ ослѣпительными красавицами женщинъ, въ дѣйствительности хотя и не дурныхъ, но далеко не столь красивыхъ; и не всегда происходитъ это вслѣдствіе шарлатанства, желанія польстить, угодить и проч. Очень часто это является невольно, вслѣдствіе того, что художнику очень нравится женщина, и онъ къ ней несовсѣмъ равнодушенъ. Точно также говорятъ обыкновенно, что истинный художникъ, когда пишетъ портретъ, не ограничивается вѣрной копіей съ оригинала, а стремится выразить въ портретѣ психическій характеръ человѣка, уловить существенныя черты его типа. Что-же это значитъ такое? Да не что иное, какъ то, что художникъ, подмѣтя въ лицѣ оригинала одну или двѣ наиболѣе рѣзкія и характеристическія черты характера его, преувеличитъ ихъ нѣсколько подъ силой впечатлѣнія и тѣмъ выставитъ ихъ на первый планъ и подчеркнетъ такъ, какъ онѣ не бываютъ обыкновенно подчеркнуты въ дѣйствительномъ лицѣ, которое къ тому-же безпрестанно мѣняетъ свое выраженіе подъ наплывомъ различныхъ впечатлѣній.

Если-же живопись, искусство наиболѣе, такъ сказать, прикрѣпленное къ дѣйствительности, не обходится безъ преувеличеній, то что-же сказать о тоническихъ искусствахъ, каковы музыка и поэзія?

Что музыка не ограничивается однимъ вѣрнымъ воспроизведеніемъ различныхъ психическихъ настроеній, а передаетъ ихъ въ усиленномъ видѣ—въ этомъ можетъ убѣдить насъ ежедневный опытъ дѣйствія на насъ музыки. Если вамъ грустно и у васъ является потребность въ соотвѣтственной музыкѣ, то послѣдняя непремѣнно усилитъ вашу грусть, доведетъ ее до высшаго напряженія. Прежде вы ограничивались только сосредоточенной тоской, а подъ вліяніемъ музыки начинаете вдругъ плакать; слезы невольно льются сами-собой и рыданія захватываютъ горло. Если вамъ весело, но весело такъ-себѣ, только немножко, то веселая музыка можетъ возвысить ваше веселье до шумнаго восторга, до пляса. Каждый знаетъ конечно, какая неизмѣримая разница между пѣсней, прочитанной и спѣтой, и въ какой сильной степени музыка усиливаетъ впечатлѣніе словъ романса.

Что-же касается поэзіи, этого всесильнаго искусства, не стѣсненнаго никакой матеріализаціей образовъ своихъ и дѣйствующаго непосредственно на воображеніе наше, то о ней и говорить нечего. Здѣсь принципъ преувеличенія представленій дѣйствительности подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній играетъ главную и преобладающую роль. Если вы припомните всѣ такія произведенія искусства, которыя произвели на васъ самое сильное впечатлѣніе и наиболѣе врѣзались въ память вашу,—произведенія, отмѣченныя самыми сильными проявленіями поэтическаго творчества, то, внимательнѣе всмотрѣвшись въ образы ихъ, вы увидите, что они изображаютъ дѣйствительность вовсе не въ томъ видѣ, какъ она представляется вамъ, а непремѣнно въ преувеличенномъ, усиленномъ, сообразно характеру творчества. Предметами такого творчества постоянно являлось или что-либо поразившее поэта своей необыкновенностью, монструозностью, новизной—однимъ словомъ, что-либо выдающееся изъ нормы обыденной жизни, или-же если поэтъ изображалъ и обыкновенное повидимому, то и это обыкновенное онъ возводилъ на степень необыкновеннаго, преувеличивая и усиливая тѣ черты, которыя наиболѣе поразили его.

Я не намѣренъ для доказательства этого останавливаться долго на народной поэзіи, въ которой, вслѣдствіе ея полной естественности и инстинктивной непосредственности, вышеозначенный принципъ творчества господствуетъ всецѣло. Такъ, мы видимъ, что народное творчество преимущественно останавливается на явленіяхъ жизни, наиболѣе поразившихъ народъ и оставшихся у него въ памяти, воспѣваетъ личности, наиболѣе выдавшіяся на сѣромъ фонѣ заурядной жизни, въ какомъ-либо отношеніи, хорошемъ или дурномъ. Въ лирическихъ пѣсняхъ своихъ народъ останавливается на наиболѣе драматическихъ и патетическихъ положеніяхъ частной и семейной жизни. Въ сказкахъ, легендахъ, новеллахъ дѣйствуютъ личности, поражающія тѣми или другими необыкновенными качествами, возвышающими ихъ надъ толпой, въ какомъ-бы видѣ ни появлялись эти качества—въ видѣ-ли удальства, хитрости, разврата, жестокости и проч. Преувеличенія представленій дѣйствительности въ народномъ эпосѣ вошли въ пословицу своей варварски-грубой и наивно-младенческой необузданностью. Народу мало было своего богатыря изобразить ломающимъ подковы и скручивающимъ въ вензеля желѣзные прутья: онъ заставлялъ его вывертывать дубы и раздирать львиныя челюсти. Чтобы показать, что богатыря вино не опьяняетъ, о немъ заставлялъ его выпивать чару въ полтора ведра, и проч.

Я не намѣренъ останавливаться и на всѣхъ прежнихъ школахъ поэзіи, древнихъ, средневѣковыхъ, ложно-классическихъ, ново-романтическихъ и проч., въ которыхъ дѣйствительность зачастую выставлялась не только въ томъ естественномъ преувеличеніи, которое обусловливается силой художественнаго впечатлѣнія, но въ искусственномъ, предвзятомъ и фантастически-необузданномъ: если выводилась красавица, такъ ужъ такая неописанная, что искры сыпались изъ глазъ, смотря на нее, а если изображался злодѣй, то ужъ такой злодѣй, что волоса могли встать дыбомъ при одной мысли о возможности встрѣчи съ подобнымъ бариномъ въ жизни...

Нѣтъ, мы лучше обратимъ вниманіе на новѣйшую, реальную поэзію и увидимъ, что и въ ней пресловутая вѣрность обыденной дѣйствительности принадлежитъ обыкновенно произведеніямъ второстепеннымъ, не отмѣченнымъ сильнымъ творчествомъ, не производящимъ ни малѣйшаго впечатлѣнія и не остающимся долго въ памяти. И, напротивъ того, всѣ произведенія реальной школы, со временъ Пушкина и Гоголя и до настоящаго времени, которыя считаются наиболѣе талантливыми и произвели самое сильное впечатлѣніе, отличаются только относительной вѣрностью дѣйствительности. На самомъ дѣлѣ мы видимъ въ нихъ постоянное измѣненіе дѣйствительности въ смыслѣ усиленія и преувеличенія тѣхъ чертъ ея, какія

поразили писателей. Такъ напримѣръ, вамъ извѣстно, что наша реальная школа успѣла создать цѣлый рядъ типовъ, которые обратились въ нарицательныя имена и до сихъ поръ еще подвергаются всевозможнымъ анализамъ критики: таковы Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Обломовъ, Фамусовъ, Молчалинъ, Чичиковъ, Ноздревъ и проч. Но что такое выражаютъ собою эти типы и каково отношеніе ихъ къ дѣйствительнымъ людямъ? Съ точки зрѣнія господствующей эстетики, типъ есть обобщеніе частныхъ и конкретныхъ характеровъ, встрѣчающихся въ жизни. Дѣйствительно, въ литературѣ нашей много есть типовъ въ этомъ смыслѣ слова, представляющихъ самыя широкія обобщенія. Но замѣтьте, что далеко не подобнаго рода широкія обобщенія цѣнятся въ литературѣ, не они доставляютъ славу авторамъ, не они подвергаются анализамъ критики. Напротивъ того, чѣмъ общѣе подобнаго рода типы, тѣмъ они блѣднѣе, неопредѣленнѣе и менѣе обращаютъ на себя вниманія. И это очень понятно: дѣло въ томъ, что такіе типы суть продукты нашего мышленія, и поэтическое творчество въ истинномъ смыслѣ тутъ не причемъ. Наши далеко непоэтическія головы наполнены ими. Намъ ничего не стоитъ тотчасъ-же вообразить себѣ типы помѣщика, чиновника, будочника, мужика, напоминающіе намъ большинство людей этого рода; можемъ представить себѣ еще болѣе общіе типы нѣмца, француза, англичанина, наконецъ и такой громаднѣйшій по своей общности типъ, какъ типъ человѣка, въ отличіе его отъ обезьяны. Мы видимъ, что писатели, бѣдные даромъ творчества, на подобныхъ типахъ только и выѣзжаютъ. Возмите напримѣръ нашихъ драматурговъ средней руки: Потѣхиныхъ, Александрова, Дьяченко и проч. Если выведетъ вамъ Дьяченко помѣщика, то помѣщикъ этотъ дѣйствительно будетъ напоминать собой большинство помѣщиковъ, встрѣчаемыхъ вами; адвоката—такъ онъ будетъ похожъ на всѣхъ адвокатовъ; купца—и опять-таки передъ вами будетъ, какъ есть, настоящій русскій купецъ, словно прямо явившійся на сцену изъ сосѣдней мелочной лавочки. Вѣдь если строго держаться принциповъ господствующей эстетики, то намъ слѣдовалобы этихъ писателей поставить во главѣ русской литературы, куда выше Гоголя. Потому что попробуйте въ жизни такъ часто, на каждомъ шагу, встрѣтить любого изъ гоголевскихъ героевъ, Хлестакова или Ноздрева, какъ вы можете встрѣтить героевъ какихъ-нибудь «Ошибокъ молодости», «Къ мировому» и «Свѣтскихъ ширмъ». Но однако-же мы почему-то очень низко цѣнимъ подобныя широкія обобщенія. Они не дѣлаются кличками, не западаютъ въ нашу голову, и мы тотчасъ-же и забываемъ ихъ, какъ вышли изъ театра. Что-же представляютъ собою тѣ вышеозначенные типы, которые сдѣлались нарицательными именами? А вотъ что:

Случалось вамъ въ жизни встрѣчать людей, поражающихъ васъ какими-нибудь рѣзкими особенностями? Это былъ тотъ-же чиновникъ, купецъ, помѣщикъ, мужикъ, но непохожій на массу людей одного съ нимъ рода, а, напротивъ того, выдѣляющійся изъ нихъ тѣмъ, что одна какая-нибудь черта типа оказывалась развитой въ немъ до монструозности, до выдѣленія изъ предѣловъ заурядности, до степени бросающейся въ глаза поразительности. При встрѣчахъ съ подобными монстрами, вы невольно восклицали: *вотъ такъ типъ*, и жалѣли, зачѣмъ вы—не Гоголь и не можете изобразить подобное рѣдкое явленіе. Такъ напримѣръ, вамъ конечно не разъ приходило въ голову, что знаменитая игуменья, мать Митрофанія, могла бы служить богатымъ типомъ для поэтическаго произведенія. Почему же такъ? Конечно не потому, чтобы она по чертамъ своего характера походила на массу заурядныхъ русскихъ игуменій и представляла собой ихъ обобщеніе, а, напротивъ того,—потому что она вышла изъ ихъ ряда, потому что одно изъ ихъ качествъ, именно любостяжаніе, подъ лицемѣрнымъ прикрытіемъ благочестія, оказалось развитымъ въ ней до такой монструозности и виртуозности, какихъ мы не замѣчаемъ въ массѣ заурядныхъ личностей этого рода.

Перечисленные нами типы, которые обратились въ нарицательныя имена, тѣмъ именно и отличаются, что представляютъ собой вовсе не обобщенія заурядnаго, а, напротивъ того, выдѣленія и преувеличенія наиболѣе характеристическихъ особенностей жизни. Писатели творили ихъ отнюдь не путемъ какихъ-либо схоластическихъ обобщеній, а брали ихъ цѣликомъ изъ жизни, поражаясь ими, какъ замѣчательными ея явленіями, или-же создавали ихъ, пораженные одною, двумя чертами жизни и раздувая эти черты въ цѣлые характеры, типы. Мы имѣемъ многочисленные факты подобнаго рода созданія типовъ. Такъ напримѣръ, не безъ основанія указываютъ на живыя лицъ, называя ихъ по именамъ и фамиліямъ, съ которыми былъ знакомъ въ Москвѣ Грибоѣдовъ и на которыя потомъ, какъ двѣ капли воды, оказались похожи лучшіе типы его комедіи: Фамусовъ, Молчалинъ, Софья, Скалозубъ. Точно также указываютъ на личность, съ которой Тургеневъ списалъ своего Рудина, указываютъ на личности, внушившія Гончарову Обломова и Марка Волохова, а Тургеневъ наконецъ самъ признается, что онъ изобразилъ въ Базаровѣ какого-то своего знакомаго доктора. Къ этому могу я прибавить свои собственныя наблюденія. Мнѣ случалось видѣть тѣ двѣ личности, которыя были знакомы Гончарову и которыя можетъ быть сознательно, а можетъ быть и безсознательно для самого автора послужили оригиналами для его типовъ. Дѣйствительно, онѣ нѣсколько напоминаютъ собою одинъ Обломова, другой—Марка Волохова. Но только напоминаютъ. На самомъ-же дѣлѣ въ романѣ Гончарова качества этихъ личностей оказались возведенными въ кубъ, если не въ высшую степень. Еслибы Гончаровъ ограничился одной рабской вѣрностью дѣйствительности, то конечно ни Обломовъ, ни Маркъ Волоховъ далеко не производили-бы въ романѣ его того впечатлѣнія, какое они производятъ. Они не казались бы намъ типами, не врѣзывались бы въ память, подобно тому, какъ тѣ личности, которыя послужили въ этомъ случаѣ оригиналами, вовсе не поразили меня своими обломовскими и марковолоховскими качествами, показались обыкновенными людьми съ кое-какими достоинствами и недостатками, свойственными каждому смертному. И напротивъ того, еслибы вамъ пришлось встрѣтиться

съ Обломовымъ и Маркомъ Волоховымъ, не съ такими, какіе встрѣчаются въ жизни, а вполнѣ подобными изображеннымъ въ романѣ Гончарова, они произвели бы на васъ впечатлѣніе необычайныхъ монстровъ, совершенно вышедшихъ изъ уровня обыденности.

Мнѣ скажутъ на это, что какое, молъ, дѣло намъ, съ кого списываютъ авторы свои типы и какъ они ихъ производятъ? Намъ достаточно, что они напоминаютъ намъ многихъ, и какъ-бы тамъ ни было, а все-таки Обломовъ есть обобщеніе всѣхъ Обломовыхъ, встрѣчаемыхъ въ жизни. Отъ того онъ и сдѣлался кличкою. На это я отвѣчу, что людей безносыхъ на Руси въ свою очередь вы найдете не мало, можетъ быть нисколько не менѣе Обломовыхъ. Представьте-же себѣ, что я нарисовалъ-бы портретъ съ одного безносаго знакомаго. Развѣ не сталъ бы онъ напоминать собой всѣхъ безносыхъ людей на Руси, самъ по себѣ, просто вслѣдствіе того, что всѣ безносые имѣютъ общее сходство въ отсутствіи носа? Но я-то былъ бы тутъ причемъ, и можно ли было бы сказать, что я сдѣлалъ какое-то обобщеніе, т. е. въ моемъ мозгу совершился особенный процессъ, вслѣдствіе котораго и произошло сходство портрета со всѣми безносыми? А между тѣмъ рѣчь-то у насъ о томъ вѣдь и идетъ, чтб такое поэтическое творчество: слѣдуетъ ли понимать его согласно господствующей эстетикѣ въ процессѣ обобщеній, т. е. понимать его такъ, что поэтъ, какъ увидитъ рядъ предметовъ, имѣющихъ много общаго, такъ сейчасъ-же приходитъ въ поэтическій восторгъ и начинаетъ обобщать ихъ, или совершенно наоборотъ—чѣмъ болѣе поэтъ встрѣчаетъ предметовъ, похожихъ другъ на друга, чѣмъ заурядиѣе и привычнѣе они для него вслѣдствіе этого, тѣмъ менѣе возбуждается въ немъ поэтическое творчество, требующее, сообразно законамъ рефлексовъ, для наибольшаго возбужденія наиболѣе сильныхъ впечатлѣній? И если всѣ данныя свидѣтельствуютъ въ пользу послѣдняго положенія, то принципъ господствующей эстетики, полагающій творчество въ обобщеніи заурядиаго, совершенно рушится. Въ одномъ случаѣ творчество можетъ возбудиться до крайней напряженности и создать геніальнѣйшее произведеніе, увлекшись предметомъ, завѣдомо существующимъ въ одномъ экземплярѣ и не имѣющимъ во всемъ мірѣ подобія себѣ, какова напримѣръ личность Петра I. Въ другомъ — поэтъ можетъ вдохновиться явленіемъ, существующимъ въ большомъ числѣ экземпляровъ. Но во всякомъ случаѣ вдохновеніе это будетъ происходить не отъ того, что предметъ встрѣчается часто, а отъ того, что онъ поразилъ чѣмъ нибудь поэта. Такъ точно и въ данномъ случаѣ: Гончаровъ увлекся типомъ Обломова не потому, что Обломовыхъ много, а потому что его поразили нѣкоторыя черты характера знакомаго господина. Когда Гончаровъ писалъ романъ, онъ только и имѣлъ въ виду представить какъ можно рельефнѣе и рѣзче эти черты. А затѣмъ уже найти сходство Обломова съ массой людей, подобныхъ ему, которыхъ писатель никогда не видалъ, не имѣлъ понятія о ихъ существованіи, это—уже дѣло читателей и критиковъ: писатель здѣсь въ сторонѣ.

Я-бы могъ привести бездну примѣровъ, показывающихъ, что писатели, подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній жизни, изображаютъ дѣйствительность далеко не всецѣло и всесторонне, со всѣми ея деталями, а постоянно берутъ одну ея сторону, смотря по характеру своего творчества, и усиливаютъ, преувеличиваютъ ее. Но объемъ статьи и желаніе представить свою эстетическую теорію со всѣхъ ея сторонъ принуждаютъ меня ограничиться однимъ, двумя примѣрами. Такъ, изъ современныхъ намъ писателей возьмемъ Щедрина, произведенія котораго производятъ очень сильное впечатлѣніе на публику и пользуются поэтому большой любовью. Между тѣмъ вамъ вѣроятно приходилось нерѣдко и слышать, и читать такого рода отзывы о Щедринѣ, что онъ преувеличиваетъ смѣшныя стороны жизни, раздуваетъ ихъ до карикатурности и шаржа, что въ дѣйствительности многіе изъ тѣхъ предметовъ, которые онъ осмѣиваетъ, вовсе не такъ смѣшны, какъ они являются въ его сатирахъ. Такъ напримѣръ, возьмите хоть статистическій съѣздъ, бывшій года два назадъ и осмѣянный имъ въ «Дневникѣ провинціала». Неужели-же на этомъ съѣздѣ все были такіе уроды, какіе изображены Щедринымъ, и неужели они только и дѣлали, что все шлялись по трактирамъ и заказывали разнообразные меню обѣдовъ? Я помню, что какой-то рецензетъ ввалился даже въ амбицію по поводу сатиры Щедрина и сослался на книгу Гацисскаго, какъ на доказательство, что статистики вовсе не такіе отпѣтые люди, какими изобразилъ ихъ Щедринъ. Ну, и что-жъ такое? Я убѣжденъ, что если-бы мы съ тобой, читатель, засѣдали на томъ-же самомъ съѣздѣ, мы не нашли-бы и десятой доли ничего такого смѣшного, что представилъ Щедринъ. Напротивъ того, мы пришли-бы въ нѣкоторое восторженное состояніе, увидя себя въ кругу такихъ милыхъ, такихъ интеллигентныхъ людей, столповъ науки и всевозможныхъ благихъ начинаній. Мы апплодировали-бы ихъ рѣчамъ, предлагали-бы тосты въ ихъ честь на обѣдахъ и упивались-бы зрѣлищемъ европейскаго прогресса на почвѣ почтенной и серьезной науки. А Щедринъ, какъ художникъ-сатирикъ, обратилъ вниманіе исключительно на одну смѣшную и пошлую сторону съѣзда, ее только одну и изобразилъ, и притомъ конечно въ преувеличенномъ видѣ. Но этимъ преувеличеніемъ онъ достигъ того, что рѣзче выставилъ эту пошлую сторону и заставилъ насъ глубже почувствовать ее. Обвиненія, которыя сыплятся на Щедрина за его раздуваніе смѣшныхъ сторонъ русской жизни, испытывали всѣ художники-сатирики отъ своихъ современниковъ. Гоголь впродолженіи всей своей жизни терпѣлъ подобныя-же обвиненія, что онъ искажаетъ жизнь, представляя ее односторонне исключительно въ однѣхъ грязныхъ, тривіальныхъ краскахъ, что онъ клевещетъ на Россію, потому что плохой патріотъ и т. п. Что-жъ, и дѣйствительно: возьмите хоть «Ревизора» для примѣра. Ну, гдѣ-же, хотя-бы и въ эпоху Гоголя, нашли-бы вы губернскій городъ, представляющій подборъ такихъ уродовъ, какіе изображены въ этой комедіи? Вѣдь еслибы въ самомъ дѣлѣ въ Россіи только и существовали, что одни Сквозники-Дмухановскіе, Земляники, Добчинскіе, Бобчинскіе, и притомъ въ такомъ безобразнѣйшемъ видѣ,

въ какомъ они рисуются передъ вами въ комедіи,— то какъ-же могло просуществовать подобное государство до эпохи Гоголя и давно уже не развалиться? Но въ томъ-то и дѣло, что, еслибы мы съ вами попали въ среду этихъ людей, они намъ далеко не показались-бы такими возмутительнѣйшими уродами, какими ихъ представилъ впечатлительный художникъ. Рядомъ съ различными недостатками и смѣшными сторонами этой среды мы нашли-бы конечно въ ней и хорошія качества, вродѣ добродушія и гостепріимства однихъ, остроумія другихъ, семейныхъ добродѣтелей третьихъ и т. д.; мы до нѣкоторой степени можетъ быть и помирились-бы съ этой средой, нашли-бы, что жить въ ней можно, смотря сквозь пальцы на кое-какіе ея грѣшки...

Изъ всего вышеизложеннаго мы можемъ теперь вывести опредѣленіе значенія и цѣли искусства въ совершенно иномъ родѣ, чѣмъ это обыкновенно дѣлается сообразно принципамъ господствующей эстетики. Съ одной стороны искусство, съ нашей точки зрѣнія, получаетъ право существованія помимо уже его высшихъ, утилитарныхъ цѣлей. Здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ эфемернымъ созданіемъ мертвой, книжной дѣйствительности рядомъ съ живой, а съ отраженіемъ впечатлѣній, съ рефлексами, т. е. съ однимъ изъ естественныхъ и необходимыхъ отправленій человѣческой природы. Говорить о ненужности искусства столь-же поэтому нелѣпо, какъ и говорить о ненужности всѣхъ прочихъ отправленій нашего организма. Мы имѣемъ возможность подавлять рефлексы, затаивая въ себѣ впечатлѣнія, но это будетъ уже искаженіе нормальнаго и правильнаго хода жизненныхъ процессовъ, аскетизмъ, рабство. Замѣтьте, что сосредоточенность наиболѣе развивается въ рабахъ и аскетахъ. На почвѣ истинной свободы нѣтъ мѣста какимъ-бы то ни было насиліямъ надъ естественными влеченіями природы.

Но кромѣ того, что искусство имѣетъ право существованія, какъ одно изъ естественныхъ отправленій человѣческой природы, оно можетъ оказывать немаловажную пользу въ жизни въ нравственномъ и гражданскомъ отношеніи. Только пользу эту слѣдуетъ полагать спеціальную, присущую сферѣ искусства, а отнюдь не навязывать ему такихъ цѣлей, которыя параллельно съ искусствомъ могутъ достигаться разными другими функціями жизни гораздо успѣшнѣе, при большемъ ихъ соотвѣтствіи этимъ цѣлямъ. Такъ напримѣръ, давно пора оставить ту мысль, что искусство можетъ разрѣшать какіе бы то ни было вопросы жизни. Вѣдь стоитъ только подумать, что искусство существуетъ не одну уже тысячу лѣтъ и не мало создало оно произведеній на всевозможныхъ живыхъ и мертвыхъ уже языкахъ,— произведеній, которыя цѣнятся нами очень высоко и пользуются большимъ уваженіемъ не за одну только чистую художественность ихъ. Но назовите мнѣ хоть одно такое произведеніе искусства, которое дѣйствительно разрѣшило бы хоть одинъ вопросъ нравственный, политическій, философскій, научный и пр., и найдите мнѣ хоть одинъ подобный вопросъ, слава разрѣшенія котораго принадлежала бы искусству. Не спорю, искусство очень часто касается всевозможныхъ такихъ вопросовъ, но беретъ ихъ или въ формѣ вопроса, или пользуется готовымъ уже разрѣшеніемъ ихъ въ сферѣ науки. Да и очень понятно: если вы потрудились надъ разрѣшеніемъ какого-нибудь вопроса, то развѣ только какая-нибудь особенная экстренная необходимость можетъ заставить васъ прибѣгать при изложеніи вашихъ рѣшеній къ такимъ окольнымъ и сложнымъ путямъ, какъ писаніе романа, драмы и т. п. Это совершенно то-же самое, что, полюбивши женщину и желая вступить съ ней въ бракъ, вы, вмѣсто того чтобы пойти къ ней и объясниться съ ней насчетъ вашей любви и брака въ обыкновенномъ прозаическомъ разговорѣ, вздумали бы сдѣлать это не иначе, какъ въ формѣ музыкальной симфоніи. Хотя конечно влюбленные композиторы нерѣдко выражаютъ свои чувства въ музыкальныхъ произведеніяхъ, посвящая ихъ предметамъ своей страсти, но это они дѣлаютъ только между прочимъ и при этомъ преслѣдуютъ болѣе музыкальныя цѣли, чѣмъ любовныя. Для разрѣшенія же вопроса о любви и бракѣ они все-таки обращаются къ любимымъ женщинамъ обыкновенными прозаическими рѣчами, а не музыкальными. Точно также совершенно неосновательно навязывать искусству и другія цѣли, столь же несвойственныя ему и гораздо успѣшнѣе достигаемыя другими функціями жизни, въ родѣ каранія злодѣевъ, защиты угнетенныхъ и т. п. Конечно никакое геніальное произведеніе неспособно покарать зло въ такой степени, какъ судъ или различныя иныя практическія преслѣдованія зла фактическаго, а не вымышленнаго творчествомъ, и конечно не въ примѣръ и доблестнѣе, и плодотворнѣе пойти къ дѣйствительнымъ бѣднымъ и угнетеннымъ и стараться помогать имъ елико возможно къ выходу изъ ихъ положенія, чѣмъ сидѣть въ комфортабельномъ кабинетѣ и расписывать о ихъ страданіяхъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что искусство имѣетъ свою спеціальную сферу пользы, которая выдѣляетъ его совершенно изъ всѣхъ прочихъ функцій человѣческой дѣятельности и тѣмъ болѣе даетъ ему право на существованіе. Истинная и существенная цѣль искусства должна выводиться изъ сущности поэтическаго творчества, изъ характера его процессовъ. Мы видѣли, что поэтическое творчество заключается въ рефлектированіи впечатлѣній, и тѣмъ сильнѣе возбуждается оно, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, овладѣвающее художникомъ. Теперь подумайте, съ какой же иной цѣлью можетъ художникъ рефлектировать свои впечатлѣнія, какъ не съ той естественно выходящей изъ самой природы рефлексовъ, именно—съ цѣлью передачи другимъ людямъ своего впечатлѣнія, возбужденія въ нихъ тѣхъ же страстныхъ импульсовъ, какіе овладѣваютъ художникомъ и побуждаютъ его къ созданію художественнаго произведенія. Такимъ образомъ природная область дѣйствія искусства это—міръ нашихъ чувствъ и страстей. Тѣ явленія жизни, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, не обращая на нихъ должнаго вниманія, не замѣчая ихъ и не придавая имъ должнаго значенія, развлекаемые разнородными, перекрещивающимися впечатлѣніями дѣйствительности, художникъ выдѣляетъ изъ пестраго хаоса жизни, выставляетъ передъ нами на первый

планъ, подчеркиваетъ, раздуваетъ ихъ въ интенсивномъ или экстенсивномъ отношеніи подъ вліяніемъ силы своего впечатлѣнія и мало того, что обращаетъ наше вниманіе на нихъ, но и поражаетъ насъ ими, возбуждая въ насъ тѣ или другіе страстные импульсы, въ видѣ восторга, жалости, состраданія, смѣха, негодованія и пр. При такомъ способѣ дѣйствія своего искусство, правда, не можетъ разрѣшать вопросовъ жизни, но оно можетъ возбуждать ихъ, заставляя обращать вниманіе людей на такія явленія жизни, которыя долго оставались бы въ тѣни и въ пренебреженіи, еслибы искусство не вызвало ихъ на свѣтъ и не приводило людей въ экстазъ зрѣлищемъ ихъ. Тѣ преувеличенія представленій дѣйствительности, какія мы видимъ на каждомъ шагу въ искусствѣ, играютъ роль не лжи и искаженія правды, а имѣютъ характеръ, совершенно подобный тѣмъ преувеличеніямъ, какія употребляютъ естественныя науки, вооружая ваши глаза оптическими инструментами и заставляя васъ видѣть мухъ со слоновъ и тончайшія ткани съ канаты, съ цѣлью наблюдать такія явленія природы, которыя не замѣтны для невооруженнаго глаза.

Совершенно подобно тому и искусство своими преувеличеніями представленій дѣйствительности вооружаетъ васъ своего рода естественнымъ микроскопомъ, но такимъ могучимъ, который дѣйствуетъ не только на ваши умственные взоры, предоставляя вамъ разсматривать въ крупныхъ размѣрахъ такія явленія жизни, которыя вы пропускаете безъ вниманія, но и возбуждаетъ ваши нервы къ страстному воспріятію впечатлѣній, возбуждаемыхъ предлагаемымъ зрѣлищемъ. Такимъ образомъ искусство представляется не только микроскопомъ, но и однимъ изъ сильнѣйшихъ средствъ, возбудительно дѣйствующихъ на волю и энергію людей, подверженныхъ его вліянію. Послѣднее обстоятельство, именно возбудительное дѣйствіе искусства на волю путемъ передачи рефлексовъ, открываетъ передъ нами новую сферу пользы искусства, именно — сферу практическую. Правда, искусство само по себѣ безсильно карать и миловать, освобождать угнетенныхъ и оказывать помощь страждущимъ. Но, приводя людей въ экстазъ своими образами, оно способно побуждать ихъ волю къ этимъ дѣйствіямъ. Когда еще жизнь подготовитъ вамъ такое зрѣлище, какъ овсянниковскій или струсберговскій процессы, да и подготовитъ ли еще, или нѣтъ,—искусство предупреждаетъ жизнь въ этомъ отношеніи. Представивъ рядъ поразительныхъ образовъ современныхъ пороковъ во всей ихъ гнусности, оно возбуждаетъ въ обществѣ негодованіе противъ этихъ пороковъ и жажду искорененія ихъ. Не въ силахъ такимъ образомъ само встать на мѣсто прокуратуры или администраціи, оно дѣйствуетъ на людей, находящихся въ этихъ сферахъ, и побуждаетъ ихъ къ преслѣдованію зла, поразительные образцы котораго оно представляетъ. Такимъ путемъ оно можетъ повліять на возбужденіе карательныхъ процессовъ или исполненіе надлежащихъ реформъ, ускорить то и другое.

Сдѣлаемъ теперь перечень всѣхъ тѣхъ выводовъ, къ какимъ мы пришли путемъ анализа художественнаго творчества въ его основныхъ процессахъ. Итакъ, вопреки мнѣнію господствующей эстетики: 1) Искусство представляется вовсе не воспроизведеніемъ жизни въ томъ видѣ, какъ она есть, а рефлектированіемъ впечатлѣній посредствомъ образовъ, заключающихъ въ себѣ представленія жизни въ преувеличенномъ видѣ, подъ вліяніемъ художественнаго пафоса. 2) Искусство вовсе не должно стремиться изображать жизнь непремѣнно всецѣло и всесторонне, со всѣми ея мелкими деталями; а напротивъ того, одностороннее изображеніе жизни есть одно изъ существенныхъ его качествъ, такъ какъ художественное творчество въ томъ и состоитъ, что художникъ выдѣляетъ и ставитъ на первый планъ тѣ явленія и стороны жизни, которыя его поразили; ихъ наиболѣе яркое представленіе онъ только и долженъ имѣть въ виду, заботясь о всѣхъ прочихъ сторонахъ жизни и деталяхъ лишь настолько, насколько они могутъ служить къ освѣщенію главнаго, что выставляется въ произведеніи. 3) Утилитарная цѣль искусства заключается вовсе не въ обсужденіи и рѣшеніи какихъ-либо вопросовъ жизни, а, въ умственномъ отношеніи въ поднятіи вопросовъ путемъ демонстрированія явленій жизни, а въ практическомъ—въ возбужденіи воли, энергіи, страстей въ томъ или другомъ направленіи.

Объемъ статьи, а также боязнь утомить читателей очень долгимъ пребываніемъ въ отвлеченныхъ сферахъ эстетики принудили меня ограничиться только краткимъ и общимъ очеркомъ тѣхъ эстетическихъ понятій, которыя будутъ руководить мною въ моихъ критическихъ письмахъ. Я надѣюсь впрочемъ въ послѣдующихъ письмахъ гораздо обстоятельнѣе, съ бо́льшими подробностями и аргументами, развить эти понятія при удобныхъ случаяхъ, какіе будутъ представляться во время разбора тѣхъ или другихъ произведеній. Теперь-же я намѣренъ, вооружившись вышеизложенными эстетическими положеніями, обратиться къ главному предмету нашей рѣчи—къ состоянію нашей современной беллетристики и причинамъ недовольства ею публики.

Я говорилъ уже выше, что, вопреки всѣмъ навязываемымъ публикѣ эстетическимъ доктринамъ, носящимъ внушительное клеймо реализма, публикой руководитъ естественный инстинктъ, идущій совершенно въ разрѣзъ съ этими доктринами. Теперь, на основаніи всего вышеизложеннаго, мы можемъ опредѣлить въ чемъ заключается этотъ инстинктъ. Дѣло въ томъ, что публика инстинктивно ищетъ въ произведеніяхъ искусства того, что должно составлять ихъ сущность, именно—яркихъ, поразительныхъ, волнующихъ душу образовъ, вообще сильныхъ впечатлѣній, въ какомъ-бы то ни было родѣ, возбуждаютъ-ли они восторгъ, смѣхъ, жалость, негодованіе и пр., и пр. Правда, что инстинктъ этотъ зачастую и обманываетъ публику, понуждая ее увлекаться издѣліями шарлатановъ, вродѣ французскихъ романовъ, повѣствующихъ о похожденіяхъ Рокамболя или «Петербургскихъ трущобъ» Всев. Крестовскаго, и шарлатаны эти ловятъ публику на удочку сильныхъ впечатлѣній, предлагая ей поразительныя зрѣлища грубо-фантастическихъ и безсмысленныхъ вымысловъ праздная и развращеннаго воображенія. Но зато тотъ-же самый инстинктъ способствуетъ публикѣ съ увлече-

ніемъ относиться къ каждому талантливому произведенію, отмѣченному несомнѣннымъ и могучимъ порывомъ поэтическаго паѳоса. Что-бы вы ни говорили о грубости и неразборчивости вкуса публики, но обратите вниманіе, что ни одно истинно-художественное сильное поэтическое произведеніе не остается незамѣченнымъ ею и не минуетъ возбудить при своемъ появленіи всеобщее вниманіе и восторги. Конечно критика не должна слѣпо подчиняться этимъ восторгамъ и воображать, что все, чѣмъ увлекается публика, непремѣнно представляетъ перлы художественнаго творчества. Она должна опредѣлять, не надуваетъ-ли писатель публику, не шарлатанитъ-ли онъ, истинные-ли перлы предлагаетъ онъ публикѣ или можетъ быть фальшивые. Но зато съ отрицательной стороны критика можетъ всецѣло подчиняться вкусамъ публики, и можно ввести въ критику разъ на всегда непреложную аксіому, что̀ все, что остается незамѣченнымъ публикой, что̀ не возбуждаетъ въ ней страстныхъ импульсовъ, что̀ ей не нравится—все это навѣрное несостоятельно, слабо, ничтожно въ художественномъ отношеніи, какъ-бы оно повидимому ни строго соотвѣтствовало господствующимъ эстетическимъ доктринамъ и какъ-бы высоко ни ставили его какіе-нибудь замкнутые кружки строгихъ цѣнителей изящнаго или партіонныхъ единомышленниковъ.

Итакъ, публика инстинктивно жаждетъ въ художественныхъ произведеніяхъ поразительныхъ образовъ и сильныхъ, страстныхъ впечатлѣній, и что же она находитъ въ современной намъ беллетристикѣ? Точно какъ будто нарочно, вопреки этимъ естественнымъ требованіямъ, большинство нашихъ беллетристовъ только и заботится о томъ, какъ бы представить рядъ явленій самыхъ заурядныхъ, самыхъ обыденныхъ, наиболѣе пріѣвшихся намъ въ самой жизни, давно намозолившихъ глаза наши, давно разсмотрѣнныхъ нами самими со всѣхъ сторонъ и надоѣвшихъ хуже, чѣмъ надоѣдаютъ дѣтямъ старыя и переигранныя игрушки. И подобныя пріѣвшіяся явленія обыденной жизни беллетристы съ педантической строгостью стараются обрисовать передъ нами непремѣнно со всѣхъ сторонъ и кропотливо нанизываютъ детали на детали, не забывая мельчайшихъ тонкостей, вродѣ стеариноваго пятнушка на верхней полкѣ въ кладовой, за кухней, въ квартирѣ одного изъ третьестепенныхъ лицъ романа. Начинаете вы читать романъ, мечтая, что вотъ сейчасъ передъ нами предстанетъ какой-нибудь поразительный современный типъ, вотъ разовьется сюжетъ, полный потрясающаго драматизма, и вы увидите въ немъ въ болѣе крупныхъ и рѣзкихъ чертахъ ту самую роковую борьбу, которую сами переживаете вмѣстѣ съ вашимъ вѣкомъ. Ни чуть не бывало: вмѣсто всего этого, авторъ начнетъ томить васъ длиннѣйшими описаніями комнатъ, въ которыхъ совершается дѣйствіе романа, мебели, которой убраны эти комнаты, домашней утвари, причемъ не забудетъ сообщить вамъ, гдѣ эта утварь куплена, въ какомъ магазинѣ и по какому побужденію въ томъ именно магазинѣ, а не въ другомъ. Потомъ поведетъ онъ васъ на кухню, обстоятельно познакомитъ съ прислугой, съ ея отношеніями къ господамъ и между собой, перечислитъ при этомъ всѣ горшки и ухваты, заглянетъ на плиту и замѣтитъ, какой супъ варится къ обѣду или что пирожки немножко подгорѣли. Затѣмъ послѣдуетъ рядъ домашнихъ сценъ, разговоровъ за обѣдами и чаепитіями,—разговоровъ самыхъ обыденныхъ, незначительныхъ, нимало не относящихся къ развитію сюжета и совершенно излишнихъ для обрисовки характеровъ, которые и безъ того могли бы вполнѣ рельефно обрисоваться въ сюжетныхъ сценахъ романа. Затѣмъ—затѣмъ потянется передъ вами рядъ великосвѣтскихъ обѣдовъ или завтраковъ въ салонахъ и отеляхъ, пикниковъ, загородныхъ гуляній, вѣнчаній, похоронъ. Если герой поѣдетъ куда-нибудь, авторъ начинаетъ вести подробнѣйшій дневникъ путешествія его: отъ которой до которой станціи онъ уснулъ, гдѣ выпилъ рюмку водки, гдѣ позавтракалъ, гдѣ далъ кондуктору на водку, гдѣ крупно поговорилъ съ сосѣдомъ, вздумавшимъ заснуть положа голову на его плечо, и пр. При описаніи же деревенской жизни и особенно народнаго быта вы не оберетесь подробностей, еще болѣе тщательныхъ, микроскопическихъ. Къ тому же здѣсь присоединяются еще новые описательные элементы; это именно природа со всѣми ея красотами, ландшафтиками лѣсовъ, полей, усадебъ, временъ года и борьбы стихій.

Что касается дѣйствующихъ лицъ романовъ, то они являются по большей части первыми встрѣчными знакомыми автора, съ которыхъ онъ списываетъ портреты, тщательно заботясь о вѣрности съ подлинниками. Передъ вами проходитъ рядъ личностей, совершенно случайныхъ, мелкихъ, блѣдныхъ, ничѣмъ особенно не замѣчательныхъ, не выдающихся какими-нибудь характеристическими особенностями времени или среды, вслѣдствіе сильнаго развитія и преобладанія которыхъ ихъ можно было бы назвать типами. А не то передъ вами является рядъ стереотипныхъ обобщеній, которыя, какъ я сказалъ уже выше, составляютъ продукты вовсе не художественнаго творчества, а той индуктивной работы мысли, которая свойственна всѣмъ и каждому. Такіе отвлеченные типы наиболѣе претятъ въ художественномъ произведеніи, потому что инстинктивно вы ждете отъ него, чтобы оно взволновало васъ какими-нибудь образами, представляющими новыя, только-что народившіяся явленія жизни и поразительныя своей новизной или же, если не новыя, то во всякомъ случаѣ хотя бы и старыя, но возведенныя въ перлъ созданія путемъ преувеличенія и выставленія на первый планъ наиболѣе характеристическихъ свойствъ ихъ. Авторъ же вмѣсто этого угощаетъ васъ стереотипными обобщеніями, которыми и безъ того полна ваша голова. Подобная стереотипность обобщеній, случайность, мелкость и блѣдность выводимыхъ личностей особенно имѣютъ мѣсто въ повѣстяхъ изъ народнаго быта, вообще изъ всѣхъ слоевъ, стоящихъ внѣ интеллигенціи—крестьянскихъ, мѣщанскихъ и купеческихъ. Это конечно происходитъ отъ того, что авторы мало того, что сами не живутъ жизнью этихъ слоевъ, но весьма мало соприкасаются съ ней для того, чтобы имѣть возможность напечатлѣться наиболѣе крупными и рѣзкими ея особенностями и уловить букетъ этихъ особенностей. Они наблюдаютъ ее со стороны, въ ея обыденномъ теченіи, въ деталяхъ, въ тѣхъ мелкихъ раздробленныхъ

личностяхъ, съ которыми случайно встрѣчаются, и выносятъ рядъ мелкихъ, слабыхъ впечатлѣній, которыя ведутъ къ столь же слабымъ творческимъ рефлексамъ. Отъ того повѣсти изъ народнаго быта по большей части и отличаются скукой, вялостью, стеоретипностью, полнымъ отсутствіемъ всякаго огня поэтическаго вдохновенія и силы впечатлѣнія. Это— вовсе не художественныя произведенія, а этнографическіе этюды въ беллетристической формѣ.

Да не подумаетъ читатель, чтобы я всецѣло отрицалъ выведеніе въ романахъ деталей обыденной жизни. Нѣтъ, пусть будутъ и детали; но во всякомъ случаѣ не въ нихъ должна заключаться сущность романа. Онѣ не должны стоять на первомъ планѣ. Изъ за тщательной, кропотливой обрисовки ихъ писатель не долженъ забывать все и вся и всецѣло отдаваться имъ. Онѣ должны играть въ произведеніи не болѣе, какъ самую второстепенную, декоративную роль. Авторъ имѣетъ право выставить ихъ лишь настолько, насколько онѣ дѣйствительно могутъ послужить къ обрисовкѣ характеровъ и жизни дѣйствующихъ лицъ. Но и при этомъ онъ не долженъ упускать изъ вида— что какъ бы не напустить въ свое произведеніе скуки длиннотами подобныхъ описаній и какъ бы мелочами не заслонить главнаго и не умалить вслѣдствіе этого силы общаго впечатлѣнія, въ которомъ заключается вся сущность произведенія. Къ тому же писатель не долженъ забывать и того, что онъ имѣетъ дѣло въ лицѣ читателей съ живыми людьми, которые сами обладаютъ кое-какой наблюдательностью, кое-что видѣли и кое-что сохраняется въ ихъ воображеніи, и, вмѣсто подробнѣйшихъ и кропотливѣйшихъ описаній, достаточно бываетъ двухъ-трехъ штриховъ, которые намекнули бы на общій характеръ жилища, одежды героя, чтобы у читателя самостоятельно обрисовались разныя мелкія подробности и возникла въ головѣ цѣлая картина. Сильные и опытные художники такъ обыкновенно и поступаютъ, останавливаясь только на главномъ и существенномъ, въ мелочахъ же довольствуясь одними намеками. Это и называется сжатостью художественнаго языка и умѣньемъ въ двухъ-трехъ словахъ сказать многое, нарисовать передъ вами цѣлыя картины.

Въ то же время не гоню я вовсе мелкіе, обыденные характеры или стереотипныя обобщенія. Они бываютъ иногда столь же необходимы въ произведеніи, какъ и детали. Вы найдете ихъ не въ маломъ количествѣ въ произведеніяхъ первостепенныхъ беллетристовъ, даже у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Щедрина и пр. Нельзя же требовать, чтобы писатель въ каждой выводимой личности изображалъ вамъ какой-нибудь замѣчательный типъ и напрягалъ всю силу своего творчества, чтобы поразить васъ. Мало ли въ романахъ бываетъ побочныхъ личностей, являющихся мелькомъ и чисто по необходимости. Сильные и истинные художники такъ обыкновенно и дѣлаютъ, что всѣ свои силы и все вниманіе обращаютъ на обрисовку двухъ-трехъ личностей въ произведеніи, а остальныя намѣчаютъ самыми общими чертами, иногда въ двухъ-трехъ словахъ. Я протестую только противъ того, чтобы во всемъ романѣ только и встрѣчались, что одинъ мелкія, случайныя, обыденныя личности, да стереотипныя обобщенія, и чтобы писатели въ тщательной обрисовкѣ подобныхъ личностей видѣли всю сущность поэтическаго творчества. Напротивъ того, поэтическое творчество, требующее для своего наибольшаго развитія сильныхъ впечатлѣній, весьма мало возбуждается при созданіи подобныхъ привычныхъ образовъ, отъ того образы эти и не производятъ на насъ никакого впечатлѣнія. Холодно читаемъ мы произведеніе, наполненное такими образами, и слава Богу, если не засыпаемъ за чтеніемъ. За то послѣ прочтенія романа все содержаніе его живо вылетаетъ изъ нашей памяти, не оставляя тамъ ни малѣйшаго слѣда. Прибавьте ко всему этому, что произведеніе, наполненное длиннѣйшими описаніями мелочныхъ деталей жизни, мелкими, обыденными сценками, случайными и блѣдными характерами или стереотипными обобщеніями, въ то же время и въ тенденціозномъ своемъ содержаніи представляетъ собой какое-нибудь банальное общее мѣсто, и вы тогда поймете, почему большинство беллетристическихъ произведеній такъ мало удовлетворяютъ публику.

Что же причина, что наша беллетристика все болѣе и болѣе погружается въ грубый натурализмъ безцѣльнаго кронотливо-мелочного списыванья обыденной жизни въ ея микроскопическихъ деталяхъ, выведенія случайныхъ, первыхъ попавшихся подъ руку людишекъ и расписыванія ихъ ежедневнаго времяпрепровожденія? Неужели все зло лежитъ въ господствующихъ эстетическихъ доктринахъ, которыя толкаютъ искусство на такую ложную дорогу? Но, судя по всему вышеизложенному, можно думать, что доктрины тутъ не причемъ. Онѣ могутъ узаконить грустный фактъ, но какъ же могутъ производить его? Вѣдь мы опредѣлили, что поэтическое творчесто зависитъ всецѣло отъ силы впечатлѣній; что оно измѣняетъ и преувеличиваетъ представленія дѣйствительности вовсе не искусственно и самопроизвольно со стороны поэта, а вполнѣ естественно и безсознательно. Поэтъ изображаетъ дѣйствительность въ томъ видѣ, какъ она ему представляется; если же преставленія эти оказываются преувеличенными, поразительными, то это не поэтъ сдѣлалъ ихъ такими, а сила впечатлѣнія, иллюзіи которой онъ самъ безсознательно подчинился. А если такъ, то при чемъ же тутъ ложныя эстетическія доктрины? Поэтъ можетъ свято исповѣдывать ихъ, воображая, что въ нихъ вся мудрость вѣка, и все-таки будетъ подчиняться въ своемъ творчествѣ не имъ, а силѣ своихъ впечатлѣній. И въ самомъ, дѣлѣ мы видѣли, что современныя эстетическія доктрины установились не сегодня, а господствуютъ лѣтъ уже тридцать, но не помѣшали же онѣ въ свое время появиться такимъ сильнымъ произведеніямъ, какъ «Мертвыя Души», «Обломовъ», «Рудинъ», «Гроза» и пр. Не мѣшаютъ онѣ и нынѣ, хотя не въ такомъ большомъ количествѣ какъ прежде, появляться произведеніямъ, производящимъ сильное впечатлѣніе могучестью поэтическаго творчества. А если не въ эстетическихъ доктринахъ, то въ чемъ же другомъ слѣдуетъ искать жалкаго состоянія нашей современной беллетристики? О, тутъ конечно дѣйствуетъ не одна какая-нибудь причина, а много причинъ весьма сложныхъ и весьма важныхъ, лежащихъ и въ общемъ скла-

дѣ нашей современной общественной жизни, и въ частныхъ уловіяхъ жизни нашихъ писателей. Но объ этихъ причинахъ нужно говорить или слишкомъ много, или лучше совсѣмъ не говорить. Въ двухъ же, трехъ словахъ говорить о нихъ не стоитъ, потому что такимъ образомъ ничего путнаго не скажешь и ограничишься только самыми неопредѣленными общими мѣстами. Распространяться же теперь вполнѣ обстоятельно объ этихъ причинахъ нѣтъ никакой возможности, такъ какъ время закончить настоящее письмо, которое и безъ того уже вышло достаточно длинно; а еслибы начать распространяться о причинахъ, то оно рисковало бы сдѣлаться безконечнымъ. Поэтому причины я отлагаю до слѣдующихъ писемъ. Мнѣ придется еще касаться ихъ и разъяснить очень много и при каждомъ удобномъ случаѣ. Настоящее же письмо вполнѣ достигло цѣли, ознакомивъ читателей съ тѣми эстетическими критеріями, на основаніи которыхъ я буду разбирать современныя и прошлыя поэтическія произведенія, и давъ читателямъ понятіе о томъ, какъ я смотрю на нашу современную изящную литературу и чего я отъ нея намѣренъ прежде всего требовать.

Письмо второе.

Поэзія графа А. Толстого, какъ типъ чужеяднаго творчества.

Если мы будемъ разсматривать поэтическое творчество, какъ естественное и непосредственное рефлектированіе впечатлѣній, навѣваемыхъ жизнью, и будемъ обусловливать силу и направленіе его силой и характеромъ впечатлѣній, то подобное воззрѣніе дастъ совершенно иное освѣщеніе двумъ спорнымъ эстетическимъ доктринамъ прошлаго десятилѣтія: доктринѣ искусства для искусства и искусства для жизни. Обыкновенно полагается такъ, что польза и значеніе поэтическихъ произведеній, помимо талантливости автора, всецѣло зависятъ отъ того, какой изъ двухъ доктринъ придерживается писатель—чистаго или полезнаго искусства: въ первомъ случаѣ произведенія его должны быть безцѣльны и потому безполезны, а во второмъ—проникнуты самыми современными тенденціями, и въ пользѣ ихъ не будетъ представляться ни малѣйшаго сомнѣнія. На дѣлѣ же и съ точки зрѣнія нашихъ воззрѣній на искусство это не всегда бываетъ такъ: что толку, что поэтъ будетъ исповѣдывать доктрину полезнаго искусства, если въ произведеніи его отразятся впечатлѣнія, ничтожныя по своей слабости и маловажности, и если оно будетъ ничѣмъ инымъ, какъ рутинною иллюстраціею общихъ мѣстъ, вполнѣ справедливыхъ, но тѣмъ не менѣе намозолившихъ всѣмъ глаза своей стереотипностью? А съ другой стороны, развѣ не можетъ случиться, что хотя бы иной поэтъ держался теоріи распречистѣйшаго искусства, тѣмъ не менѣе въ его поэтическихъ образахъ отразятся впечатлѣнія сильныя и животрепещущія по своему существенному значенію въ жизни, и произведеніе его само по себѣ будетъ въ высшей степени полезно, будетъ имѣть большое значеніе въ литературѣ. Такъ напримѣръ, скажите: какой доктрины, чистаго или полезнаго искусства, держались такія свѣтила поэзіи, какъ Дантъ, Шекспиръ или Байронъ? А Гоголь положительно держался теоріи чистаго искусства; но это не помѣшало ему создать рядъ произведеній, по значенію и пользѣ превосходящихъ все созданное до него въ русской литературѣ. А еще лучше возьмите народную поэзію: какой доктрины держится народъ, чистаго или полезнаго искусства, создавая свои пѣсни? Онъ творитъ ихъ совершенно непроизвольно, поетъ ихъ также безотчетно, какъ птицы небесныя, а между тѣмъ много ли найдете вы народныхъ пѣсенъ, которыя не отражали бы тѣхъ или другихъ роковыхъ и существенныхъ явленій его жизни и не имѣли бы серьезнаго значенія для него?

Такимъ образомъ, нисколько не отвергая, что искусство должно служить не ради однѣхъ праздныхъ эстетическихъ забавъ и утѣхъ, что оно имѣетъ свое спеціальное высшее, утилитарное назначеніе въ жизни, мы въ то же время должны признать, что достиженіе этого назначенія или же пребываніе искусства въ области эстетической побрякушности зависитъ вовсе не отъ доброй воли поэта и его эстетическихъ взглядовъ, а отъ характера впечатлѣній, возбуждающихъ его творчество. Характеръ же впечатлѣній зависитъ отъ суммы условій жизни поэта,—условій, создаваемыхъ эпохой, средой, наконецъ обстоятельствами личной жизни. И совершенно подобно тому, какъ жизнь создаетъ различные типы людей той или другой среды, того или другого вѣка, такъ-же точно создаетъ она и различные типы поэзіи. Типы эти, подобно людскимъ, возникаютъ и исчезаютъ сообразно возникновенію и исчезанію тѣхъ условій, которыя ихъ создаютъ. Такимъ образомъ, если вамъ не нравится какой-нибудь изъ существующихъ поэтическихъ типовъ, то это происходитъ прежде всего оттого, что онъ чуждъ условіямъ, характеру и складу вашей личной жизни, оттого, что, будь вы сами поэтомъ, ваша поэзія принадлежала бы къ другому типу, не имѣющему ничего общаго съ первымъ. Затѣмъ вы можете воздвигать на несимпатичный вамъ типъ поэзіи какія вамъ угодно гоненія. Пусть гоненія эти будутъ основаны на вполнѣ неопровержимыхъ, самыхъ глубокихъ и вѣскихъ истинахъ, и повѣрьте, что никакіе критическіе доводы не поколеблютъ существующаго типа поэзіи, пока не исчезнутъ условія, вызывающія и поддерживающія его существованіе.

Такъ напримѣръ, представьте себѣ господина, который съ пеленокъ привыкаетъ уже созерцать жизнь исключительно съ одной стороны красоты ея формъ. Когда еще питается онъ молокомъ деревенской красавицы (нарочно тщательно выбранной изъ сотенъ крестьянокъ по привлекательности своихъ формъ), когда сознаніе не успѣло еще проявиться въ немъ и только-только что воспитываются органы элементарныхъ ощущеній, его ручки ощупываютъ не иначе, какъ газъ, шелкъ и атласъ, въ которыхъ онъ изящно окутанъ; его глазенки останавливаются на ослѣпительномъ блескѣ артистически изваянныхъ бронзовыхъ или хрустальныхъ люстръ и канделябръ; его ушенки слушаютъ тихіе звуки отдаленныхъ музыкальныхъ мотивовъ, сладкій говоръ нѣжныхъ ласкъ на звучномъ французскомъ діалектѣ и т. п.

*

И потомъ, когда онъ начинаетъ подростать, отъ него тщательно отстраняется и удаляется все негармоническое, неуклюжее, тривіальное по внѣшнимъ формамъ, а если что-либо изъ подобнаго по необходимости торчитъ передъ его глазами, ему внушается презрѣніе и пренебреженіе ко всему подобному. Такъ напримѣръ, гувернеръ его можетъ имѣть бездну самыхъ почтенныхъ и высокихъ нравственныхъ достоинствъ, но никто не заботится обратить вниманіе мальчика на эти достоинства, а, напротивъ того, на первомъ планѣ ставятся неловкія манеры или всклокоченные волосы ментора, и осмѣиваются маменьками и папеньками, тетеньками и дяденьками. Заражаясь ихъ смѣхомъ, и мальчикъ осмѣиваетъ своего наставника, за некрасивыми формами его не замѣчая прекраснаго внутренняго ихъ содержанія. Такимъ образомъ мальчикъ привыкаетъ все, на что ни кидаетъ взоры свои, разсматривать исключительно со стороны красоты или безобразія формъ. Сама природа является глазамъ его прежде всего въ выровненномъ, вылощенномъ, изукрашенномъ видѣ симметрически-правильныхъ формъ сада, расположеннаго вокругъ замка. И только далѣе, за предѣлами сада, допускается настоящая природа, позволяется имѣть ей и свои дикія красоты, но все-таки непремѣнно не что иное, какъ красоты: взоры, привыкшіе нѣжиться прелестью изящныхъ формъ, и здѣсь прежде всего и болѣе всего ищутъ привычныхъ наслажденій. Прибавьте ко всему этому, что къ наступленію зрѣлаго возраста человѣкъ этотъ привыкаетъ главнымъ содержаніемъ жизни считать всевозможныя наслажденія, стараясь окружать себя со всѣхъ сторонъ всѣмъ нѣжущимъ и ласкающимъ чувства, и тщательно удаляетъ отъ себя не только все негармоническое, безобразное, тривіально-грязное, но и всевозмущающее, тревожащее душу въ какомъ бы то ни было отношеніи. Весьма понятно, что для такого господина «муза мести и печали» всегда будетъ чужда и ненавистна, какими бы доказательствами вы ни разсыпались передъ нимъ въ полезности и естественности такой музы. Ну, статочное ли дѣло, чтобы Некрасовъ могъ тронуть его стихотвореніемъ:

Жизнь въ трезвомъ положеніи
Куда не хороша!
Въ томительномъ боренiи
Сама съ собой душа и проч.

или чтобы Рѣшетниковъ могъ разжалобить его судьбою спившагося почтальона, когда видъ пьянаго простолюдина или разночинца никогда ничего въ этомъ господинѣ неспособенъ возбуждать, кромѣ одного единственнаго чувства гадливости и ненависти. Ему и въ голову не можетъ прійти, чтобы въ безобразной, съ точки зрѣнія изящества формъ, фигурѣ пьянаго почтальона могли происходить какія-нибудь «душевныя боренія». Помилуйте, какія-такія тутъ душевныя боренія, ха, ха, ха!.. Больше ничего, какъ безсмысленный бредъ хмельнаго идіота. Да и вправѣ ли вы требовать, чтобы этотъ господинъ постигъ вдругъ поэзію душевныхъ бореній спившагося разночинца или, еще того хуже, мужика, когда даже плачущую Ніобею, этотъ общечеловѣческій образъ материнской скорби, господинъ этотъ способенъ созерцать исключительно со стороны красоты ея слезъ, не допуская разстроивать свои чувствительные нервы тревожными размышленіями о томъ, что слезы эти не только красивы, но солоны и горьки, и что подъ ними таятся своего рода «душевныя боренія». Понятно, что среда такихъ господъ фатально должна воспитывать поэзію, главное содержаніе которой заключается въ отраженіи впечатлѣній изящныхъ формъ, которая на всѣ явленія жизни, на всѣ людскія радости и печали будетъ смотрѣть исключительно съ той точки зрѣнія, какъ красиво они проявляются и рисуются передъ глазами. Понятно также, что пока будетъ существовать эта среда, до тѣхъ поръ и этому типу поэзіи не будетъ конца. Этотъ типъ и есть то, что у насъ принято называть искусствомъ для искусства. Но въ сущности это вовсе не искусство для искусства. Это въ своемъ родѣ искусство для жизни: да, для жизни той среды, которая создаетъ такое искусство, потому что нуждается въ немъ, и создаетъ его сообразно *своимъ потребностямъ*, подобно тому, какъ иныя среды создаютъ свои типы искусства, сообразно своимъ потребностямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ жизнь средней руки французскаго буржуа, нѣмецкаго бюргера, мелкопомѣстнаго русскаго помѣщика или разночинца. Здѣсь вы не найдете уже конечно того восторженнаго культа прекрасныхъ формъ, какое мы видѣли въ жизни вышеозначеннаго господина. Прекрасному предпочитается здѣсь полезное. Главнымъ стимуломъ жизни является здѣсь не наслажденіе, а пріобрѣтеніе. Здѣсь и некогда, да нѣтъ и средствъ заводить прекрасную, нѣжащую взоры обстановку. Комнаты у подобныхъ людей наполняются старомодной, неуклюжей, дешевой мебелью, лишь-бы было на чемъ сидѣть, обѣдать или спать. Подобнымъ хламомъ эти люди дорожатъ иногда въ гораздо большей степени, чѣмъ знатные господа своей дорогой и изящной мебелью, но дорожатъ вовсе не въ силу того, чтобы онъ прельщалъ взоры ихъ изяществомъ своихъ формъ, а потому что однѣ вещи представляютъ память о дѣдушкѣ или бабушкѣ, по наслѣдству отъ которыхъ онѣ достались; другія дороги по собственнымъ воспоминаніямъ или по привычкѣ, потому что глаза успѣли приглядѣться къ нимъ съ самаго дѣтства. Наконецъ дорогъ весь этотъ хламъ и просто потому, что въ этой средѣ каждая мелочь идетъ въ счетъ, каждой ложкѣ и плошкѣ придается свое представительное значеніе, надъ каждой разбитой чашкой проливаются здѣсь подчасъ слезы. И еще-бы: вся жизнь въ этой средѣ слагается изъ мелочей; здѣсь сколачиваются капиталы по копейкамъ и денежкамъ. Здѣсь нѣтъ взрывовъ вулканическихъ страстей, ведущихъ за собою катастрофы и быстрые перевороты; а, напротивъ того, жизнь тянется въ однообразномъ теченіи мелочныхъ, повседневныхъ дрязгъ, вслѣдствіе чего такіе пустяки, какъ экстраординарная пирушка по случаю полученія ордена или поѣздка за 100 верстъ, принимаютъ здѣсь размѣры крупныхъ событій жизни, отъ которыхъ люди ведутъ свои эры. Характеры въ этой средѣ обрисовываются не геройскими подвигами или злодѣйствами, не какими-либо крупными поступками, а совокупнымъ рядомъ деталей домашней об-

становки и мелкихъ дрязгъ въ отношеніи къ небольшой группѣ людей. Наконецъ люди этой среды такъ привыкаютъ обращать пристальное вниманіе, взвѣшивать и высоко цѣнить каждую мелочь, что они рѣшительно теряютъ сознаніе различія мелкаго отъ крупнаго, и такіе вопросы, какъ заказъ новаго платья или оклейка стѣнъ новыми обоями, стоятъ въ головѣ ихъ на одномъ планѣ съ самыми существенными общими вопросами вѣка. Подумайте теперь: какой типъ поэзіи должна создать подобная среда? Нужно-ли распространяться, какой именно? Конечно это будетъ именно та пресловутая натуральная поэзія мелочей и дрязгъ жизни, которая, начиная съ 30-хъ годовъ, преобладаетъ въ Европѣ. Феодальный принципъ, опредѣляющій искусство сферой прекраснаго и высокаго, къ этому типу совершенно оказывается непримѣнимымъ. Люди, привыкшіе вращаться въ средѣ мелочей жизни и цѣнить ихъ со стороны исключительно утилитарной, не обращая особеннаго вниманія, насколько мелочи эти удовлетворяютъ чувству прекраснаго, очень понятно и въ искусствѣ будутъ отражать всѣ эти мелочи съ точки зрѣнія утилитарно-нравственнаго или матеріальнаго значенія ихъ въ жизни. Понятно также, что этотъ типъ поэзіи будетъ чуждаться выставленія крупныхъ характеровъ, сильныхъ страстей и выдающихся трагическихъ событій жизни Напротивъ того, онъ долженъ неуклонно стремиться къ изображенію обыкновенныхъ маленькихъ людишекъ во всей ихъ будничной обстановкѣ, съ ихъ миніатюрными добродѣтелями и пошленькими плотскими вожделѣньицами, съ ихъ семейными драмами, медленнымъ черепашьимъ шагомъ выплывающими изъ тины мелочей и дрязгъ повседневной жизни.

Замѣтьте, что недаромъ подобнаго рода типъ поэзіи въ видѣ натуральнаго романа развивается въ Европѣ вмѣстѣ съ окончательнымъ паденіемъ феодальныхъ режимовъ и утвержденіемъ господства буржуазныхъ, промышленныхъ классовъ. Подобно тому, какъ въ Англіи послѣ послѣдняго проблеска поэзіи феодальнаго режима, въ видѣ неоромантизма (Вальтеръ Скоттъ, Байронъ), воцаряется натуральный романъ на почвѣ всесильной англійской буржуазіи въ лицѣ такихъ крупныхъ представителей, какъ Диккенсъ, Тэккерей, Джорджъ Эліотъ и проч.,подобно тому, какъ во Франціи вскорѣ послѣ первой революціи, даровавшей господство промышленнымъ классамъ, возникла подобнаго-же рода школа натуральнаго романа въ лицѣ Бальзака, Стендаля, Флобера и Зола, точно такъ-же и у насъ въ свою очередь достаточно оказалось перемѣщенія центра умственнаго движенія изъ великосвѣтскихъ слоевъ общества въ среду мелкаго дворянства и разночинства, чтобы тотчасъ-же возникла натуральная школа, воцарилась поэзія мелочей и дрязгъ повседневной жизни, и мы видимъ, что представитель этой школы, Гоголь, является самъ всецѣло выходцемъ изъ этой среды и по своему происхожденію, и по своему воспитанію, и по всѣмъ обстоятельствамъ своей жизни.

Судя по всему этому, можно ожидать, что и натуральная поэзія мелочей и дрязгъ жизни имѣетъ крайне относительное значеніе и преходящее существованіе. Она конечно будетъ процѣтать и господствовать до тѣхъ только поръ, пока центръ умственнаго движенія будетъ сосредоточиваться въ средѣ промышленныхъ классовъ. Передвиженіе-же этого центра въ иные слои общества, напримѣръ въ народные, непремѣнно должно отозваться въ искусствѣ появленіемъ новыхъ типовъ поэзіи, соотвѣтствующихъ этимъ слоямъ. Первообразы этихъ типовъ мы и теперь впрочемъ можемъ наблюдать, какъ съ одной стороны въ собирательно-народномъ творчествѣ, такъ и въ произведеніяхъ поэтовъ-выходцевъ изъ народа, каковы: Кольцовъ, Шевченко, Никитинъ, Борисъ и проч. Замѣтьте, что, не смотря на то, что поэты эти оригинальны до крайности и вносятъ совершенно свѣжія струи въ литературу тѣхъ обществъ, среди которыхъ появляются, они стоятъ совершенно особняками, не дѣлаютъ пока переворотовъ въ той сферѣ поэзіи, къ которой принадлежатъ. Такъ напримѣръ, мы видимъ, что ни Кольцовъ, ни Шевченко ни мало не помѣшали появленію послѣ нихъ лиръ Ап. Майкова Фета, Тютчева и пр. въ такой степени, въ какой Жуковскій съ Пушкинымъ помѣшали трескучимъ одамъ, поэмамъ и трагедіямъ въ ложно-классическомъ духѣ, или въ какой степени Гоголь помѣшалъ появленію романовъ въ духѣ Полевого или Загоскина съ Кукольникомъ. Это происходитъ конечно отъ того, что въ средѣ умственнаго движенія общества и до сихъ поръ преобладаютъ слои, для которыхъ пушкинская муза роднѣе кольцовской. Такъ мы и до сихъ поръ видимъ: если появляется молодой лирикъ изъ привилегированныхъ классовъ, то онъ не станетъ подражать Кольцову или Никитину, а будетъ придерживаться мотивовъ и формъ лирики, выработанныхъ пушкинской традиціей, тогда какъ выходцы изъ народа начинаютъ обыкновенно подражаніемъ Кольцову. Стоитъ обратить при этомъ вниманіе и на то, что поэзія всѣхъ этихъ выходцевъ изъ народа, этихъ первыхъ піонеровъ будущихъ поэтическихъ типовъ, не подходитъ ни подъ одну изъ существующихъ до нынѣ эстетическихъ доктринъ. Это — отнюдь не поэзія прекрасныхъ образовъ, изысканныхъ формъ и выраженій и тѣмъ менѣе—поэзія мелочныхъ деталей жизни. При своей крайней, чисто младенческой простотѣ, чуждая всякихъ изысканныхъ вычурностей, она отличается чрезвычайной сжатостью и вмѣстѣ съ тѣмъ могучей силой страстности. Отъ нея такъ и вѣетъ упругой крѣпостью мускуловъ, развитыхъ земледѣльческимъ трудомъ, и свѣжестью непочатыхъ и необъятныхъ душевныхъ силъ. Она изображаетъ предметы крупными общими чертами, избѣгая мелкихъ детальныхъ штриховъ и тонкихъ оттѣнковъ различныхъ душевныхъ движеній. Видно, что она вышла изъ среды людей, слишкомъ занятыхъ, чтобы предаваться праздному созерцанію и подолгу останавливаться на каждой черточкѣ жизни. Природа въ ней если и описывается, то въ тѣсной связи съ жизнью человѣка и въ ея вліяніи на эту жизнь. Общее содержаніе ея заключается отнюдь не въ восторженномъ созерцаніи прекраснаго и не въ тщательномъ изображеніи дѣйствительности во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ, а въ глубокой, сурово-скорбной думѣ о жизни и судьбѣ человѣка, о борьбѣ съ людскими неправдами и о прискорбномъ преобладаніи кривды надъ правдой.

При всемъ этомъ слѣдуетъ замѣтить, что конечно не однимъ складомъ жизни и характеромъ тѣхъ или другихъ слоевъ общества опредѣляются типы поэзіи. Они въ значительной степени видоизмѣняются и осложняются, смотря по характеру эпохи. Такъ напримѣръ, примите во вниманіе, что во всѣхъ поэтическихъ произведеніяхъ Западной Европы послѣдней четверти прошлаго столѣтія и первой четверти настоящаго преобладаетъ наклонность къ грандіозному въ изображеніяхъ, какъ жизни человѣческой, такъ и природы. На сцену выступаетъ передъ вами цѣлый рядъ титаническихъ личностей, представляющихъ въ себѣ какъ бы фокусы всего человѣчества, каковы Фаустъ, Чайльдъ-Гарольдъ, маркизъ Поза и проч. Они обставляются соотвѣтствующей, величественной обстановкой: сюжеты произведеній развиваются постоянно то среди громоздящихся скалъ и вѣчныхъ снѣговъ Альпъ, то среди бушующихъ волнъ океановъ, то въ дѣвственныхъ лѣсахъ тропической природы, то подъ гигантскими сводами средневѣковыхъ храмовъ или замковъ или среди обвитыхъ плющами и миртами развалинъ классической древности. Въ общемъ своемъ содержаніи всѣ эти произведенія трактуютъ en grand о судьбахъ всего человѣчества, объ основныхъ началахъ человѣческой природы и вѣковѣчныхъ явленіяхъ жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что такой характеръ поэзіи лежитъ въ тѣсной связи съ общимъ настроеніемъ эпохи, въ которую Европа переживала двойной кризисъ, философскій и политическій. Жизнь въ то время ежедневно выдвигала чрезвычайныя событія, катастрофы и перевороты, всѣ страсти были взволнованы до послѣдней крайности и воображеніе крайне возбуждено и напряжено. Правда, что и послѣдующее пятидесятилѣтіе, составляющее середину нынѣшняго столѣтія, не лишено своего рода чрезвычайныхъ событій: стоитъ припомнить три революціи, пережитыя Франціею, съ ужасами іюльскихъ дней и коммуны, американскую войну за освобожденіе негровъ, освобожденіе Италіи, крымскую кампанію, германо-французскую войну или только-что пережитый терроръ на Балканскомъ полуостровѣ. Но какой-бы ужасъ ни возбуждали въ свое время эти событія въ современникахъ, они далеко не имѣютъ въ ихъ глазахъ того рокового, апокалипсическаго характера, какой представляли событія конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Къ тому-же всѣ эти событія совершаются маленькими людьми, далеко не рисующимися въ томъ ореолѣ величавой геніальности или трагичности, въ какомъ рисовались такіе дѣятели прошлаго вѣка, какъ Уашингтонъ, Наполеонъ I, Суворовъ, Робеспьеръ, Маратъ, Дантонъ и проч. Они возбуждаютъ въ васъ не восторженное удивленіе или ужасъ, а смѣхъ и презрѣніе своими смѣшными слабостями въ мѣщанскомъ духѣ, вродѣ мелочного тщеславія, погони за наживой, интригантства и передергиваній чисто-шулерскаго характера, жалкаго малодушія въ роковыя минуты и проч. А главное дѣло, мы слишкомъ умудрены опытомъ, чтобы каждое событіе, выходящее изъ обыденнаго уровня, встрѣчать, какъ возрожденіе всего человѣчества и начало новой эры. Мы очень хорошо впередъ предугадываемъ, что, сколько ни было-бы сожжено пороха, разрушено домовъ и пролито крови, въ концѣ-концовъ надъ всѣми развалинами совершившихся катастрофъ все-таки восторжествуетъ единственный, истинный владыка нашего вѣка—купецъ, съ аршиномъ въ одной рукѣ и мѣшкомъ золота въ другой. Немудрено. что всѣ вышеупомянутыя чрезвычайныя событія нашего времени нисколько не мѣшаютъ европейской жизни въ общемъ своемъ теченіи имѣть сѣренькій характеръ заурядности мирныхъ устоевъ буржуазнаго прозябанія. Куда ни обернетесь, повсюду вы наткнетесь на купца, аферista, мелкаго промышленника, биржевого игрока и шулера. Что-же мудренаго, что и поэзія спустилась нѣсколькими тонами ниже: вмѣсто того чтобы изображать судьбы человѣчества en grand, занялась анализомъ мелочей и дрязгъ буржуазной жизни, и вмѣсто того чтобы выводить на сцену Валленштейновъ, Манфредовъ или Іоаннъ д'Аркъ, героями своими избрала Пиквиковъ, Ругоновъ, Чичиковыхъ, Ревекъ Шарпъ и проч.

Не малое вліяніе на созданіе въ настоящемъ случаѣ не общихъ и гуртовыхъ, но личныхъ, индивидуальныхъ типовъ поэзіи имѣютъ конечно частныя условія жизни того или другого поэта. Но здѣсь мы вступаемъ въ такую необъятную область, что, изъ боязни разбросаться и запутаться въ массѣ конкретныхъ явленій. я считаю необходимымъ немедленно-же перейти къ главному предмету своего настоящаго письма—къ анализу поэтическаго творчества сошедшаго въ прошломъ году въ могилу графа Алексѣя Толстого. Его поэтическія произведенія, въ связи съ біографическими данными, покажутъ намъ, какія общія и частныя условія жизни и какъ вліяли на творчество этого современнаго намъ поэта и что они изъ него сдѣлали. Я избираю въ настоящемъ случаѣ для своего анализа гр. А. Толстого не только потому, что онъ недавно умеръ и послѣ его смерти изданы были въ прошломъ году всѣ его стихотворныя произведенія. Это только поводъ. Главное-же дѣло въ томъ, что гр. А. Толстой, какъ поэтъ, представляется мнѣ весьма рѣзкимъ и опредѣленнымъ типомъ для моего анализа.

Но прежде, чѣмъ мы займемся поэтическими произведеніями гр. А. Толстого, мы обратимъ вниманіе на тѣ автобіографическія свѣдѣнія о его жизни, которыя онъ изложилъ въ своемъ письмѣ къ флорентійскому профессору де-Губернатису, помѣщенномъ въ началѣ послѣдняго изданія его стихотвореній. При всей своей краткости и сжатости свѣдѣнія эти столь характерны, что даютъ вполнѣ ясное и опредѣленное понятіе объ условіяхъ жизни поэта и вліяніи этихъ условій на его творчество. Итакъ, что-же мы видимъ изъ этихъ свѣдѣній? Мы видимъ, во-первыхъ, что гр. Толстой родился и всю жизнь прожилъ исключительно въ самыхъ великосвѣтскихъ кругахъ общества. Затѣмъ мы видимъ, что хотя онъ родился въ Петербургѣ (въ 1817 году), но еще шестинедѣльнымъ увезли его въ Малороссію мать и дядя его съ материнской стороны, Алексѣй Перовскій, который, замѣтьте, былъ человѣкъ образованный, большой любитель изящныхъ искусствъ, и принималъ участіе въ русской литературѣ, въ которой извѣстенъ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. Итакъ, родиной своей гр. А. Толстой въ полномъ правѣ могъ считать Малороссію, гдѣ съ шестинедѣльнаго возраста онъ провелъ въ имѣніи родите-

лей первыя восемь или девять лѣтъ своей жизни. Дѣтство графа прошло, какъ онъ самъ говоритъ, чрезвычайно счастливо и оставило въ немъ одни свѣтлыя воспоминанія. И еще бы: конечно попеченіями любящихъ его нѣжно родителей онъ былъ тщательно огражденъ отъ всѣхъ непріятныхъ столкновеній и шероховатостей жизни: это была нѣжная гусеница, бережно окутанная въ вату, чтобы она не могла подвергнуться ни малѣйшему толчку или грубому прикосновенію стихій. Онъ не имѣлъ въ своемъ дѣтствѣ даже сверстниковъ, отношенія къ которымъ, въ видѣ насмѣшекъ, поддразниваній, обидъ, ссоръ и потасовокъ, могли-бы доставить ему первые тяжкіе опыты жизни. Онъ росъ въ полномъ одиночествѣ среди изящной обстановки, среди роскошной малороссійской природы, и очень понятно, что при такихъ условіяхъ въ немъ рано развилась мечтательность, причемъ воображеніе его начало создавать самыя причудливыя и фантастическія грезы, своей обольстительностью вполнѣ соотвѣтствующія изяществу обстановки окружающей его жизни. Для большей наглядности я считаю не лишнимъ иллюстрировать характеристику дѣтства поэта извлеченіемъ изъ стихотворной повѣсти его «Портретъ». Хотя я и не имѣю права утверждать, чтобы въ повѣсти этой гр. А. Толстой изобразилъ свое собственное дѣтство, но тѣмъ не менѣе мнѣ сдается, что хотя-бы и при нѣкоторыхъ иныхъ условіяхъ и подробностяхъ домашней обстановки дѣтство графа имѣло не мало общаго съ описаннымъ въ «Портретѣ», и несомнѣнно, что на послѣднемъ отражаются слѣды воспоминаній перваго. Вотъ что мы читаемъ въ вышеупомянутой повѣсти. Послѣ описанія казарменной архитектуры фасада родительскаго дома героя, поэтъ говоритъ:

«но внутри
Характеръ свой прошедшаго столѣтья
Домъ сохранилъ. Покоя два иль три
Могли бъ восторга вызвать междометье
У знатока. Изъ бронзы фонари
Въ стѣнахъ висѣли, и *любилъ смотрѣть я*,
Хоть былъ тогда въ искусствѣ не толковъ,
На лѣпку стѣнъ и форму потолковъ.

***

Родителей своихъ я видѣлъ мало;
Отецъ былъ занятъ; братьевъ и сестеръ
Я не зналъ; мать много выѣзжала;
Ворчали вѣчно тетки; *съ раннихъ поръ*
Привыкъ одинъ бродить я въ залъ изъ зала
И населять мечтами ихъ просторъ.
Такъ подвиги, достойные романа,
Воображать себѣ я началъ рано.

***

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна.
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,
Все въ той-же прозѣ движась безпрерывно,
Все, что зовутъ серьезныя дѣла,—
Я ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно.
Не говорю, что въ этомъ былъ я правъ,
Но видно такъ ужъ мой сложился нравъ.

***

Цвѣты у насъ стояли въ разныхъ залахъ:
Желто-фіолей много золотыхъ,
И много гіацинтовъ, синихъ, алыхъ,
И полевыхъ, и блѣдно-голубыхъ;
И я, міровъ искатель небывалыхъ,
Любилъ вникать въ благоуханье ихъ,
И въ каждомъ запахъ индивидуальный
Мнѣ музыкой какъ будто вѣялъ дальной.

***

Въ иные-жъ дни, прервавъ мечтаній сонъ,
Случалось мнѣ очнуться въ удивленьи,
Съ цвѣткомъ въ рукѣ. Какъ мной былъ сорванъ онъ –
Не помнилъ я; но въ чудныя видѣнья
Былъ запахомъ его я погруженъ.
Такъ превращало мнѣ воображенье
Въ волшебный міръ нашъ скучный старый домъ –
А жизнь межь тѣмъ шла прежнимъ чередомъ.

Къ этимъ галлюцинаціямъ, внушаемымъ полнымъ одиночествомъ мальчика среди роскошной и изящной обстановки, прибавьте еще обаяніе малороссійской природы, о которомъ гр. А. Толстой считаетъ нужнымъ два раза замѣтить въ своей автобіографіи. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что мѣстная природа, среди которой онъ жилъ, много содѣйствовала развитію въ немъ мечтательности и склонности къ поэзіи: «Воздухъ и видъ нашихъ большихъ лѣсовъ, страстно любимыхъ мной, оставили во мнѣ глубокое впечатлѣніе, имѣвшее вліяніе на мой характеръ и жизнь и сохраняемое мною до сей поры». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что, возвращаясь порой въ деревню, гдѣ провелъ первые годы, онъ никогда не могъ видѣть тѣхъ мѣстъ безъ особеннаго волненія.

При такихъ условіяхъ жизни въ мальчикѣ очень рано начало обнаруживаться поэтическое призваніе.

«Съ шестилѣтняго возраста,—говоритъ гр. А. Толстой:—началъ я марать бумагу и писать стихи – такъ было поражено мое воображеніе произведеніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мной въ какомъ-то толстомъ сборникѣ, дурно напечатанномъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную обертку. Видъ этой книги отпечатлѣлся въ моей памяти и заставлялъ биться сердце всякій разъ когда она мнѣ снова попадалась на глаза. Я таскалъ ее, бывало, съ собой всюду и прятался въ саду или въ лѣсу, чтобы, лежа подъ деревьми, изучать ее часами. Скоро я зналъ ее наизусть; я упивался музыкой разнообразныхъ романсовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику. Какъ ни были нелѣпы мои первые опыты, я долженъ однако сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны.»

Когда мальчику было восемь или девять лѣтъ, его повезли въ Петербургъ, гдѣ онъ былъ представленъ ко двору и допущенъ въ число дѣтей, составлявшихъ воскресное общество Цесаревича (покойнаго императора Александра Николаевича). Но съ слѣдующаго-же года начинаются постоянныя странствованія его съ родителями за-границей, имѣвшія огромное вліяніе на эстетическое развитіе и окончательное углубленіе его въ міръ прекрасныхъ образовъ искусства. Первое путешествіе было совершено въ Германію. «Во время пребыванія нашего въ Веймарѣ,—говоритъ гр. Толстой по поводу этого путешествія:—дядя свелъ меня съ Гёте, къ которому я инстинктивно проникся величайшимъ почтеніемъ за ту манеру, съ которой онъ говорилъ. Отъ этого посѣщенія у меня сохранились въ памяти величественныя черты Гёте и еще то, что я сидѣлъ у него на колѣняхъ».

Но самое роковое, въ смыслѣ нравственнаго и эстетическаго вліянія, наложившаго печать на всю жизнь поэта, было путешествіе въ Италію на 14 году его жизни.

«Мнѣ было 13 лѣтъ,—говоритъ гр. А. Толстой:—когда я съ родными сдѣлалъ первое путешествіе въ Италію. Невозможно изобразить силы моихъ впечатлѣній и переворота, совершившагося въ моей душѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища, о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія, прежде нежели встрѣтился съ ними. Мы начали съ Венеціи, гдѣ мой дядя сдѣлалъ большія покупки въ старомъ дворцѣ Гримани. Между прочимъ былъ купленъ бюстъ молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, великолѣпный экземпляръ, который когда-либо мнѣ случалось видѣть: онъ находится теперь въ Петербургѣ и принадлежитъ гр. Павлу Строгонову. Когда статую перенесли въ нашъ отель, я не отходилъ отъ нея. Я вставалъ ночью посмотрѣть на нее, и мое воображеніе мучилось нелѣпѣйшими подозрѣніями. Я задавалъ себѣ вопросъ, что мнѣ дѣлать, если вспыхнетъ пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, могу-ли я, въ случаѣ, унести статую на своихъ рукахъ. (Не правда-ли, какъ это опять-таки напоминаетъ повѣсть «Портретъ?» Невольно приходитъ въ голову, что не себя-ли изобразилъ поэтъ въ этомъ образѣ мальчика, крадущагося ночью, когда все въ домѣ заснуло, на фантастическое свиданіе съ таинственнымъ портретомъ, въ который онъ мечтательно влюбился, какъ въ живое существо.) Изъ Венеціи мы отправились въ Миланъ, Флоренцію, Римъ и Неаполь; при каждомъ посѣщеніи мой восторгъ и любовь къ искусству возрастали; дѣло дошло до того, что, по возвращеніи въ Россію, я впалъ въ настоящую тоску по Италіи, доходилъ до какого-то отчаянія, которое заставляло меня днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, когда мои сны заносили меня въ мой потерянный рай.»

По этимъ выдержкамъ изъ автобіографіи гр. А. Толстого вы можете судить, что все воспитаніе его въ дѣтствѣ какъ будто нарочно и вполнѣ систематично было направлено такъ, чтобы отвлечь его отъ всякихъ непосредственныхъ отношеній къ живой дѣйствительности и окончательно поселить въ отвлеченно-мечтательный міръ обольстительно-прекрасныхъ грезъ. Онъ по всей справедливости могъ къ самому себѣ отнести тѣ стихи своей повѣсти («Портретъ»), которые онъ вложилъ въ уста своего героя:

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна.
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,
Все въ той-же прозѣ двигаясь безпрерывно,
Все, что зовутъ серьезныя дѣла—
Я ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно...

И дѣйствительно, трудно представить себѣ жизнь, болѣе отрѣшенную отъ дѣйствительности и бѣдную внѣшними событіями, чѣмъ жизнь гр. А. Толстого. Семнадцати лѣтъ выдержалъ онъ выпускной экзаменъ въ московскомъ университетѣ. Въ 1836 году, по желанію матери, былъ прикомандированъ къ русскому посольству при нѣмецкомъ сеймѣ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ; позже поступилъ во II отдѣленіе собственной Его Величества канцеляріи. Въ 1855 году онъ записался въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ императорской фамиліи съ тѣмъ, чтобы отправиться въ крымскую кампанію. Но полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и достигъ только Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человѣкъ отъ тифа, полученнаго также и гр. Толстымъ. Наконецъ слѣдуетъ послѣднее замѣчательное событіе въ жизни гр. Толстого,— событіе, кладущее свою печать на всю его послѣдующую жизнь,— событіе, которымъ самъ онъ гордился, какъ своего рода нравственной доблестью, которое подчеркивали какъ его приверженцы, такъ и порицатели, одни прославляя его за него, другіе осуждая.

«Императоръ Александръ II,—говоритъ гр. А. Толстой въ своей біографіи: —во время коронаціи въ Москвѣ изволилъ назначить меня своимъ флигель-адъютантомъ. Но такъ какъ я вовсе не готовился быть военнымъ и, поступая въ стрѣлки, имѣлъ намѣреніе оставить службу тотчасъ по окончаніи войны, то я и представилъ мои сомнѣнія Его Величеству, и Государь Императоръ принялъ мою просьбу съ обычнымъ ему благодушіемъ и назначилъ меня егермейстеромъ двора.»

Это былъ отказъ отъ блестящей карьеры ради исключительнаго посвященія всей жизни служенію музамъ. Я уже сказалъ выше, что гр. А. Толстой самъ гордился этимъ подвигомъ, такъ что даже воспѣлъ его въ цѣлой поэмѣ, подъ заглавіемъ «Іоаннъ Дамаскинъ». Когда калифъ предложилъ Іоанну быть намѣстникомъ его и владѣть полцарствомъ, Іоаннъ отвѣчалъ ему:

Твой щедрый даръ,
О, государь, пѣвцу не нуженъ;
Съ иною силою онъ друженъ;
Въ его груди пылаетъ жаръ,
Которымъ зиждется созданье;
Служить Творцу—его призванье...

а въ концѣ этой высокопарной рѣчи Іоаннъ взмолился:

О, отпусти меня, калифъ.
Дозволь дышать и пѣть на волѣ!

Я сказалъ уже выше, что приверженцы гр. А. Толстого очень высоко ставятъ это самоотверженіе поэта въ пользу своего поэтическаго призванія, между тѣмъ какъ порицатели осуждаютъ графа за индифферентизмъ его къ дѣлу служенія и принесенія пользы отечеству. Они показываютъ, какъ это всегда при такомъ случаѣ дѣлается, на примѣръ Англіи, въ которой поэтамъ, ученымъ и философамъ призваніе ихъ нисколько не мѣшаетъ быть въ то же время государственными людьми, полководцами, банкирами и т.п.

Что касается до меня, то фактъ отказа гр. А. Толстого отъ блестящей карьеры я принимаю совершенно индифферентно, въ такой же степени индифферентно, какъ еслибы мнѣ сказали, что графъ А.Толстой отказался отъ блестящей партіи или выгодной покупки отличнаго имѣнія, и предложили-бы мнѣ при этомъ рѣшить вопросъ: какое вліяніе на поэтическое творчество графа могли имѣть подобные его поступки? Другое дѣло, еслибы вопросъ становился на нравственную почву, т. е. еслибы дѣло шло о рѣшеніи того, что имѣлъ-ли нравственное право гр. А. Толстой отказываться отъ практическаго служенія отечеству ради исключительнаго пристрастія къ изящнымъ искусствамъ, или чѣмъ могъ быть онъ полезнѣе для Россіи: въ качествѣ-ли государственнаго мужа, или поэта? Не знаю ужъ, въ какой степени были бы разрѣшимы подобные вопросы, но по крайней мѣрѣ я понимаю ихъ смыслъ и значеніе. Но насъ въ настоящемъ случаѣ занимаютъ вовсе не нравственные приговоры о томъ, достойно или недостойно, правильно или неправильно направилъ и употребилъ свою жизнь гр. А. Толстой, а опредѣленіе характера его поэтическаго творчества. И вотъ съ

этой точки зрѣнія я и утверждаю, что отказъ графа отъ блестящей карьеры не имѣетъ ровно никакого значенія. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь вы подумайте только, что могла-бы принести поэтическому творчеству графа самая блестящая карьера? Какой-бы важный постъ онъ ни занялъ и сколько-бы ни принесъ онъ пользы государству на этомъ постѣ, во всякомъ случаѣ дѣятельность его по общему характеру устройства нашей государственной службы, начиная съ самыхъ низшихъ и до самыхъ высшихъ инстанцій, была-бы крайне однообразна, суха, монотонна, вся состояла-бы изъ подписанія бумагъ, написанныхъ канцелярскимъ слогомъ, дѣловыхъ разговоровъ съ личностями, сопричастными къ службѣ, да какихъ-нибудь ревизіонныхъ поѣздокъ, обставленныхъ узкими рамками оффиціальнаго декорума. Я не думаю, чтобы подобнаго рода дѣятельность могла служить къ особенному обогащенію поэтическаго творчества новыми, свѣжими и сильными впечатлѣніями. Въ жизни графа, какъ это было у насъ издревле, со временъ Державина, какъ это и теперь бываетъ зачастую въ жизни служащихъ поэтовъ, было-бы конечно непроходимое раздвоеніе: съ одной стороны проза, съ другой— поэзія; по утрамъ скучныя и сухія кипы предписаній, отношеній, внушеній и распоряженій, а по вечерамъ или ночамъ, въ часы свободнаго досуга, сладкія бесѣды съ музами.

Я не отрицаю, чтобы люди не могли вмѣщать въ себѣ по нѣскольку призваній и страстей. Поэтому я вполнѣ допускаю, что иной поэтъ можетъ съ такимъ же рвеніемъ и увлеченіемъ по утру заниматься своими служебными обязанностями, съ какими по вечерамъ онъ брацаетъ на лирѣ. Но мы видѣли, что гр. А. Толстой съ самаго младенчества былъ совсѣмъ не такъ воспитанъ, чтобы быть способнымъ вмѣщать въ себѣ служебный жаръ вмѣстѣ съ поэтическимъ. Мы видѣли, что онъ весь до мозга костей былъ проникнутъ служеніемъ музамъ, только жилъ и дышалъ, что своими волшебными мечтами. Все же, что̀ зовутъ серьезныя дѣла, онъ ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно. Понятно, что такимъ образомъ онъ съ дѣтства былъ предуготованъ къ отказу отъ всякихъ блестящихъ карьеръ, и отказъ этотъ можно считать какимъ-либо особеннымъ нравственнымъ подвигомъ въ такой же степени, въ какой съ вашей стороны было-бы достойно удивленія, что, будучи музыкантомъ, вы не пошли-бы въ моряки.

Если гр. А. Толстой въ сущности ровно ничего не потерялъ для развитія своего поэтическаго творчества вслѣдствіе того, что отказался отъ обязанности посвящать нѣсколько часовъ дня занятіямъ, не имѣющимъ ничего общаго съ его поэтической дѣятельностью, то другой вопросъ: пріобрѣлъ-ли онъ что либо своимъ отказомъ? принесло-ли какую-нибудь пользу его творчеству исключительное посвященіе всего своего времени служенію музамъ? На первый поверхностный взглядъ казалось бы, что какъ же не принести пользы: чего же лучше, когда человѣкъ весь сосредоточивается на одномъ какомъ-нибудь дѣлѣ, всего себя отдаетъ ему, ничѣмъ не развлекаясь постороннимъ? При такихъ только условіяхъ конечно дѣло и можетъ быть совершено вполнѣ успѣшно и принести наиболѣе плодовъ. Такъ-то оно такъ, да не всегда только бываетъ такъ. Вотъ тутъ-то именно и раскрывается передъ нами все необъятное различіе искусства отъ всѣхъ другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. Другое совсѣмъ дѣло — ученый, философъ, медикъ, инженеръ и пр., и пр. Тѣ конечно чѣмъ болѣе сосредоточиваются въ своихъ занятіяхъ и чѣмъ болѣе посвящаютъ имъ времени, тѣмъ дѣло у нихъ идетъ успѣшнѣе. Искусство же — совершенно наоборотъ: требуетъ какъ можно большаго разнообразія жизни. Чѣмъ болѣе поэтъ сталкивается съ разнохарактерными явленіями дѣйствительности, чѣмъ болѣе самъ онъ выноситъ всевозможныхъ испытаній и треволненій, тѣмъ большей массой живыхъ впечатлѣній обогащается его творчество и тѣмъ живѣй, разностороннѣй и могучѣй становится оно. Вы посмотрите на большинство первостепенныхъ поэтовъ всѣхъ странъ; возьмите во вниманіе жизнь Шекспира, Сервантеса, Мольера, Байрона, Гейне, Шиллера, Гёте, Жоржъ Занда, Виктора Гюго, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и пр., и пр. Біографіи всѣхъ этихъ поэтовъ отличаются крайней пестротой внѣшнихъ событій ихъ жизни. Это вовсе не кабинетные затворники, всю жизнь проведшіе въ созерцаніи прекрасныхъ образовъ и дорожащіе каждой минутой, потерянной для служенія музъ, а, напротивъ того, — вѣчные скитальцы, которые сегодня не знаютъ, гдѣ будутъ завтра, искатели приключеній, изгнанники, страстныя натуры, которыя, подобно какъ мотылки на огонь, бросаются постоянно стремглавъ въ самый что ни есть бурный водоворотъ жизни. Если вы начнете слѣдить за событіями ихъ жизни, за тѣмъ, что̀ ихъ занимало, интересовало, увлекало, начнете перечитывать массу ихъ писемъ или дневниковъ, то вы совершенно подчасъ забудете, что передъ вами поэты, или придете къ заключенію, что искусство занимало въ ихъ жизни самое ничтожное мѣсто, стояло на самомъ заднемъ планѣ. Пушкинъ былъ совершенно правъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ,
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра
Быть можетъ всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Къ этой формулѣ отношенія жизни поэта къ его творчеству нужно развѣ присоединить только то, что, когда поэтъ малодушно погруженъ въ заботы суетнаго свѣта, когда межъ всѣхъ дѣтей ничтожныхъ міра онъ всѣхъ ничтожнѣе, эти моменты и представляются самыми роковыми для развитія его творчества. Въ эти моменты именно творчество его и обогащается новыми, живыми образами, развивается, растетъ. Самая-же жертва поэта Аполлону—это уже больше ничего, какъ заключительный актъ изверженія накопившагося матеріала, конечный результатъ всего, что̀ вынесъ поэтъ во время своего погруженія въ заботы суетнаго свѣта.

И вотъ, если мы, принявши въ разсчетъ это важное условіе для развитія творчества, обратимся къ произведеніямъ графа А. Толстого въ связи съ его

жизнью, мы тотчасъ и увидимъ, чего ему не доставало. Окажется, что не отсутствіе служебной карьеры мѣшало полному развитію его творчества, а недостатокъ разнообразія впечатлѣній и личныхъ опытовъ. Жизнь его и безъ того уже сдавлена была въ узкую колею великосвѣтскаго круга, а онъ еще болѣе съузилъ ее, посвящая большую часть времени замкнутому созерцанію прекрасныхъ образовъ искусствъ всѣхъ странъ и временъ. Теперь вы подумайте, какого рода поэта могли выработать подобныя условія? И раньше даже заглядыванья въ его произведенія, однимъ логическимъ выводомъ a priori можно рѣшить этотъ вопросъ. Творчество поэта можетъ давать вамъ только то, что̀ получаетъ. Если-же мы видимъ, что оно по большей части возбуждается вовсе не какими-либо непосредственными впечатлѣніями жизни, а отраженіями чуждыхъ впечатлѣній въ различныхъ произведеніяхъ искусства, такое творчество очевидно должно быть лишено всякой оригинальности и самобытности. Оно должно непрестанно измѣняться, какъ хамелеонъ, смотря потому, какіе поэты приспоpиваютъ его въ ту или другую минуту. Произведенія поэта подобнаго типа должны представляться калейдоскопомъ, варіирующимъ на тысячу ладовъ образы, мотивы, метафоры и фигуры поэтовъ всѣхъ странъ и временъ, но въ калейдоскопѣ этомъ въ то же время вы не найдете ни одного камешка или стеклышка, которые представлялись бы самостоятельнымъ, особеннымъ вкладомъ самого поэта. Это—чужеядное растеніе, которое способно оказывается питаться сокомъ какого угодно дерева, но только не дождетесь вы отъ него ни росинки его собственнаго сока. Да и странно было бы ожидать и требовать того, чего онъ дать не въ силахъ, потому что у него нѣтъ почвы подъ ногами, да кромѣ того нѣтъ и корней, которыми оно могло бы утвердиться къ какой-либо почвѣ.

Наша литература, особенно прежнихъ, до-гоголевскихъ временъ, когда она сосредоточивалась исключительно почти въ великосвѣтскихъ слояхъ общества и когда любителямъ изящнаго было особенно удобно и ничто не мѣшало вести замкнутую жизнь созерцанія прекрасныхъ образовъ искусства различныхъ странъ и эпохъ, была обильна поэтами подобнаго чужеяднаго типа. Мы видимъ, что даже и Пушкинъ славился способностью принимать на себя личины какихъ угодно западныхъ поэтовъ: то онъ корчилъ изъ себя Шенье, то Байрона, то Гёте, то Данта и пр., и пр. Но онъ жилъ слишкомъ разнообразной и бурной жизнью, и судьба слишкомъ мѣшала ему сосредоточиваться въ кабинетной художественной созерцательности, чтобы изъ него могъ выработаться исключительно типъ чужеяднаго творчества. Вслѣдствіе этого творчество его, обогащенное массой живыхъ и непосредственныхъ впечатлѣній, особенно въ эпоху скитальчества по югу Россіи и затѣмъ житья въ деревнѣ, создало массу произведеній вполнѣ самобытныхъ, заключающихъ въ себѣ образы и мотивы, принадлежащіе исключительно Пушкину и никакому иному поэту во всемъ мірѣ. Наиболѣе же полнымъ и совершеннымъ представителемъ чужеяднаго творчества, сопричисленнымъ даже къ лику классическихъ писателей литературы, былъ безъ сомнѣнія Жуковскій, творчество котораго только тогда и возбуждалось во всей своей силѣ, когда онъ переводилъ иностранныхъ поэтовъ или подражалъ имъ. Когда же онъ пытался быть самимъ собой, не Шиллеромъ, не Гёте, не Гомеромъ, не Уландомъ или Гебелемъ, а только Жуковскимъ, изъ подъ его пера выливалось нѣчто безцвѣтно-тягучее и приторно-слащавое, сентиментально-плаксивное, риторичное, растянутое и въ настоящее время совсѣмъ уже неудобочитаемое; однимъ словомъ,—нѣчто, подобное тѣмъ паточнымъ грошовымъ леденцамъ изъ мелочной лавки, которые мы могли сосать въ дѣтствѣ, но на которые въ настоящее время не можемъ безъ ужаса смотрѣть.

Графъ А. Толстой представляется именно такого рода поэтомъ, и его по всей справедливости можно назвать Жуковскимъ нашего времени, въ чемъ можетъ убѣдить насъ вполнѣ анализъ его произведеній, къ которому мы теперь и приступаемъ.

Прежде всего скажемъ нѣсколько словъ о его тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, чтобы сразу порѣшить съ небольшой серіей этихъ произведеній, совершенно не свойственныхъ его таланту, и затѣмъ приступить къ такимъ, которыя вполнѣ выражаютъ собою характеръ его творчества.

Общее мнѣніе о графѣ А. Толстомъ въ этомъ отношеніи еще задолго до его смерти утвердилось такое, что графъ А. Толстой не отличался особенной послѣдовательностью и стойкостью относительно гражданскаго направленія своей лиры, что рядомъ съ весьма либеральными стихотвореніями вы найдете у него и такія, которыя вполнѣ согласуются съ тенденціями «Русскаго Вѣстника»; найдете и въ славянофильскомъ духѣ, хотя, по характеру всей его поэтической дѣятельности, графа А. Толстого никакъ нельзя назвать славянофиломъ. Однимъ словомъ, впродолженіи своей жизни графъ успѣлъ раздать всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, но ни съ одной сестрой близко не сошелся и не вступилъ въ законный бракъ. Ну, и опять-таки одни при этомъ качаютъ головой, приписывая политическую непослѣдовательность графа его недоразвитости, недодуманности, а другіе превозносятъ его, видя въ этомъ же самомъ художественно-философское безпристрастіе поэта, парящаго своей творческой фантазіей превыше всѣхъ условныхъ и преходящихъ тенденцій дня. Самъ графъ А. Толстой объясняетъ свой политическій индифферентизмъ въ небольшомъ стихотвореніи слѣдующаго содержанія:

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,
За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ,
Но споръ съ обоими – досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;
Союза полнаго не будетъ между нами—
Не купленный никѣмъ, подъ чье-бъ ни сталъ я знамя,
Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снесть,
Я знамени врага отстаивалъ бы честь.

Не правда ли, какъ это темно, неопредѣленно и въ то же время поверхностно и легкомысленно? Видно, что графъ А. Толстой совершенно не постигалъ, что̀ значитъ быть привязану къ той или другой партіи, къ тому или другому дѣлу органической, естественно-свободной связью святыхъ убѣжденій, сросшихся съ

человѣкомъ. Онъ понималъ не иначе, какъ внѣшнюю связь въ видѣ какой-то клятвы, къ которой нужно быть привлечену со стороны. А ниже еще курьезнѣе: оказывается, что для того, чтобы твердо стоять за своихъ и не отстаивать чести знамени врага, т. е. не быть измѣнникомъ, нужно быть непремѣнно купленнымъ, а такъ какъ графа А. Толстого никто не позаботился купить, то... то, я полагаю, что гр. А. Толстой до конца дней своихъ не догадался, какой возмутительностью онъ нечаянно обмолвился. Я говорю *«нечаянно»*, потому что никакимъ способомъ не могу допустить, чтобы графъ А. Толстой сознательно могъ обнаружить подобную душевную низость и чтобы на самомъ дѣлѣ онъ былъ присущъ ей. Нечаянность этой обмолвки произошла, по моему мнѣнію, не изъ чего иного, какъ именно изъ того, что графъ никогда и не задумывался о томъ серьезно: что значитъ органически, душею и тѣломъ принадлежать къ какому-нибудь лагерю? А не задумывался онъ потому, что не было никакихъ побудительныхъ поводовъ, вовсе не для чего было задумываться ему объ этомъ. Принадлежность къ какому-либо лагерю ему, съ дѣтства и до сѣдыхъ волосъ погруженному въ міръ волшебныхъ, поэтическихъ грезъ, была совершенно въ такой же степени излишня, какъ и блестящая карьера. При его замкнутой жизни до него могли долетать изрѣдка кое-какіе неопредѣленные отголоски шума и гама современной жизни и, когда ему приходило въ голову отражать эти звуки въ своихъ пѣснопѣніяхъ, они выходили у него въ той же безсвязности, въ какой доносились до его ушей. И если вы внимательно прочитаете любое изъ подобныхъ произведеній, то вы увидите, что въ каждомъ изъ нихъ главную сущность составляетъ не столько выраженная идея, сколько внѣшняя художественность или игривость поэтическаго образа, причемъ поэтическій образъ до такой степени всегда владѣетъ художникомъ, что влечетъ его порой въ такія дебри, въ которыя онъ вовсе и не подумалъ бы самъ по себѣ забираться, еслибы его не завела туда безотчетно художественная фантазія. Такъ напримѣръ, возьмите хотя бы его «Пантелея», который въ свое время произвелъ большую сенсацію. Нѣкоторые напали на него не только за тенденціозность въ московскомъ духѣ, но и за то, что графъ будто бы вздумалъ проповѣдывать тѣлесное наказаніе, побуждая своего Пантелея-цѣлителя не жалѣть палки суковатыя на людей,

Что леченіемъ всякимъ гнушаются,
Они звона не терпятъ гуслярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взвѣсить, не смѣряти,
Все, кричатъ они, похороняти!
Только-то, говорятъ, и дѣйствительно,
Что для нашего тѣла чувствительно;
И пріемы у нихъ дубоватые,
И ученье-то ихъ грязноватое!

Во мнѣ по крайней мѣрѣ стихотвореніе это возбудило одну снисходительную улыбку. Чѣмъ же, подумалъ я, виноватъ мечтательный графъ, что въ его поэтическія заоблачныя сферы буйный вѣтеръ занесъ темные слухи о томъ, что есть какіе-то ехидные люди, которые бѣгаютъ отъ докторовъ и отъ гуслярнаго звона, рыскаютъ по базарамъ и что-то тамъ все покупаютъ?.. Что же касается суковатой палки Пантелея, то что же было дѣлать графу, если его поэтической фантазіи приснился св. Пантелей-цѣлитель, грозящій суковатой палкой. Какое же иное отношеніе къ ехиднымъ людямъ со стороны Пантелея могъ придумать гр. Толстой сообразно этому представленію, какъ не въ видѣ угрозы палкой? Очевидно, что тутъ вовсе и тѣни нѣтъ со стороны поэта какой-либо сознательно-злостной пропаганды чего-либо вродѣ шпицрутеновъ, а просто-по-просту—игривость поэтическаго образа, завлекшая поэта въ дикія дебри. Не менѣе курьезна и баллада «Потокъ-богатырь», въ которой шаловливая фантазія поэта вздумала заставить «Потока» видѣть во снѣ всю россійскую исторію во всѣхъ ея періодахъ и въ концѣ-концовъ очутиться въ анатомическомъ кабинетѣ медико-хирургической академіи и тамъ прійти вдругъ въ неописанный ужасъ, что стриженыя женщины препарируютъ трупы:

Ужаснулся Потокъ, отъ красавицъ бѣжитъ,
А онѣ восклицаютъ ехидно:
—Ахъ, какой онъ *пошлякъ!* ахъ, какъ онъ *не развитъ!*
Современности вовсе не видно!
Но Потокъ говоритъ, очутясь на дворѣ:
—То-жъ бывало у насъ и на Лысой Горѣ,
Только вѣдьмы, хоть голы и босы,
Но, по крайности, есть у нихъ косы!

Что это такое, какъ опять-таки не дикія дебри, въ которыя завлекла нашего поэта досужая фантазія? Вѣдь вы подумайте только о всей курьезности вымысла: заставить вдругъ современника Владиміра Святого присутствовать въ анатомическомъ музеѣ XIX столѣтія! Что-жъ удивительнаго, что подобный архаическій герой, покрытый ржавчиной десяти вѣковъ, не только долженъ прійти въ ужасъ при видѣ вскрываемыхъ труповъ, но просто не понять, что́ такое вокругъ него дѣлается. Но удивительно то, что, создавъ подобную нелѣпую фантасмагорію, поэтъ воображаетъ, что онъ жестоко поражаетъ устами Потока ненавистную ему современность, не замѣчая, что онъ больше ничего, какъ только самъ принижается до уровня понятій временъ X столѣтія. Спрашивается теперь: неужели слѣдуетъ смотрѣть на подобныя вещи, какъ на нѣчто серьезное, какъ на что-то продуманное и прочувствованное, какъ на ядовитыя стрѣлы, которыя кого-либо могутъ поразить, а не какъ на мыльные пузыри, главная сущность которыхъ состоитъ вовсе не въ томъ, что́ въ нихъ заключается, а единственно въ разноцвѣтныхъ отраженіяхъ снаружи? И замѣтьте, что подобной галантерейностью отличаются вовсе не одни только тенденціозныя произведенія, преслѣдующія ехидныхъ людей, которые

Звона не терпятъ гуслярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго...

Нѣтъ, возьмите вы стихотворенія, посвященныя совсѣмъ инымъ тенденціямъ, и въ нихъ вы найдете ту же бѣдность содержанія и преобладаніе внѣшней игривости фантазіи или формы. Обратите вниманіе на примѣръ на стихотвореніе:

Государь ты нашъ батюшка,
Государь Петръ Алексѣевичъ.

Стихотвореніе это, напечатанное въ «Днѣ», въ свое время произвело не малую сенсацію, благодаря конечно тому, что это былъ первый мало-мальски политическій намекъ, допущенный въ литературу. Но что это такое въ сущности, какъ не самое общее, намозолившее всѣмъ глаза, славянофильское мѣсто о непригодности реформъ Петра, выраженное въ граціозно-игривыхъ и шутливыхъ виршахъ? Неужели и это стихотвореніе можно принимать въ серьезъ, какъ выраженіе зрѣлой, глубокой и серьезной идеи? Меня по крайней мѣрѣ эта шутка занимала всегда только со стороны ея формы, и при этомъ я никакъ не могу отрѣшиться отъ мысли, что оно словно нарочно написано для дѣтей четырехъ и пятилѣтнихъ, едва начинающихъ лепетать. По крайней мѣрѣ сколько мнѣ ни приходилось слышать его, никогда оно не казалось мнѣ столь прелестнымъ, какъ въ устахъ ребенка, декламирующаго:

Государь ты нашъ батюшка,
Государь Петръ Алексѣевичъ,
Что ты изволись въ котлѣ валить?
Касицу, матуска, касицу,
Касицу, судалыня, касицу и проч.

При всемъ этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вамъ вотъ еще на какое весьма, по моему, замѣчательное и характеристическое обстоятельство: замѣтьте, что единственно серьезное, сильное, прочувствованное, тенденціозное стихотвореніе, о которомъ вы не скажете, что содержаніе въ немъ—дѣло второстепенное, а главная суть заключается въ затѣйливомъ образѣ—это стихотвореніе, носящее заглавіе «Противъ теченія»:

Други, вы слышите-ль крикъ оглушительный:
«Сдайтесь, пѣвцы и художники! Кстати-ли
«Вымыслы ваши въ нашъ вѣкъ положительный?
«Много-ли васъ остается, мечтатели?
«Сдайтеся натиску новаго времени!
«Міръ отрезвился, прошли увлеченія—
«Гдѣ-жъ устоять вамъ, отжившему племени,
«Противъ теченія?»

***

Други, не вѣрьте! Все та-же единая
Сила насъ манитъ къ себѣ неизвѣстная,
Та-же плѣнлетъ насъ пѣснь соловьиная,
Тѣ-же насъ радуютъ звѣзды небесныя!
Правда все та-же! Средь мрака ненастнаго,
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,
Дружно гребите, во имя прекраснаго,
Противъ теченія!» и проч.

Очень понятно, откуда взялась сила и прочувствованность этого стихотворенія. Во всѣхъ прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ дѣло шло о вещахъ, совершенно постороннихъ для поэта, до которыхъ ему въ сущности не было рѣшительно никакого дѣла и насчетъ которыхъ онъ не считалъ интереснымъ и нужнымъ особенно много задумываться. Здѣсь-же совершенно наоборотъ: онъ задѣтъ за живое; дѣло идетъ здѣсь о томъ, что̀ исключительно составляло все содержаніе его жизни—объ искусствѣ. И вотъ въ немъ подымается борецъ, отчаянно отстаивающій свое единственное достояніе. Вы видите въ этомъ стихотвореніи того самаго 14ти-лѣтняго мальчика, который когда-то оберегалъ купленнаго дядей фавна отъ минаго пожара. Удивительную цѣльность характера представляетъ въ этомъ отношеніи графъ А. Толстой. Рѣдко въ комъ вы встрѣтите такую строгую послѣдовательность, проходящую черезъ всю жизнь, съ самаго ранняго дѣтства и до могилы. Разъ посвятивши всю жизнь, всѣ свои помышленія искусству и до гробовой доски не измѣняя своему самоотверженному служенію, несмотря ни на какія препятствія или соблазны, понятно, что онъ только и могъ проникнуться единственнымъ общественнымъ интересомъ вполнѣ искренно, живо и горячо при видѣ враговъ предмета его пламеннаго поклоненія; только эти враги и могли быть его врагами, только они и были способны вывести его изъ себя. Замѣтьте, что и во всѣхъ почти прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, о чемъ-бы въ нихъ ни шла рѣчь, онъ не упускалъ случая прокричать лишній разъ караулъ противъ дерзновенныхъ покушеній на гуслярный звонъ.

И не злая-ли иронія судьбы, что самые пламенные и самоотверженные любовники рѣдко бываютъ въ то-же время счастливыми любовниками? Вспомните душевныя муки Сальери при горькомъ сознаніи, что

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній—не въ награду
Любви горящей самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки праздная?..

Точно также и графу А. Толстому за все его пламенное и самоотверженное поклоненіе искусству, за всѣ его труды, усердіе и моленія злая иронія судьбы не дала въ награду такого достоянія, какое одно только и составляетъ всю гордость и почетъ поэта: не дала ему никакой собственной поэтической физіономіи и не внушила ему ни одного вполнѣ самобытнаго произведенія. И такая злая насмѣшка судьбы была не однимъ слѣпымъ фатумомъ. Напротивъ того, именно излишнее посвященіе всей жизни художественной созерцательности и было, какъ выше уже объ этомъ я говорилъ, главной причиной этой бѣды.

Въ самомъ дѣлѣ, оставимъ въ сторонѣ вопросъ о тенденціозности, о внутреннемъ содержаніи стихотвореній гр. А. Толстого, будемъ разсматривать ихъ съ одной чисто художественной стороны. Вѣдь стихотворенія, написанныя безо всякой какой-либо философской или политической цѣли, вполнѣ въ духѣ чистаго искусства, самыя невиннѣйшія по своему содержанію, могутъ тѣмъ не менѣе быть вполнѣ самобытными, носить неизгладимую печать народности, эпохи и личной индивидуальности поэта. Вы возьмите напримѣръ массу лучшихъ стихотвореній Пушкина, ну, хоть его балладу «Бѣсы» или стихотвореніе

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна...

Стихотворенія эти только и могъ написать, что русскій поэтъ, и притомъ русскій поэтъ, жившій въ эпоху Пушкина, когда не существовало еще въ Россіи желѣзныхъ дорогъ, и очевидно поэтъ этотъ, чтобы написать подобныя стихотворенія, долженъ былъ порядкомъ поѣздить по россійскимъ дорогамъ того времени, и притомъ поѣздить не въ какихъ-либо заграничныхъ рессорныхъ экипажахъ, лежа на мягкихъ пуховикахъ и летя на курьерскихъ, а на перекладныхъ и на дол-

гихъ, въ простыхъ ямщицкихъ телѣгахъ—испытать, однимъ словомъ, всѣ невзгоды и всю скуку старинной русской дороги. Букетъ этихъ русскихъ дорожныхъ впечатлѣній и составляетъ всю прелесть, все обаяніе этихъ стихотвореній и всю ихъ самобытность. Или возьмите вы напримѣръ «Завѣщаніе» Лермонтова. Это невиннѣйшее по своему содержанію, отличающееся крайней простотой и незатѣйливостью, но въ тоже время глубоко трогательное стихотвореніе, способное вызвать въ иномъ читателѣ слезу, отличается въ то-же время самой рѣзкой самобытностью. Написать его могъ очевидно только русскій писатель, и притомъ только такой русскій писатель, который потолкался на Кавказѣ, подобно Лермонтову, не просто только путешествовалъ опять-таки въ комфортабельномъ дормёзѣ, любуясь изъ оконъ экипажа на живописныя картины, но именно потолкался и своими глазами видѣлъ и прочувствовалъ, какъ умираетъ затертый судьбой въ кавказскихъ горахъ простой и безхитростный русскій армейскій офицерикъ. Возьмемъ наконецъ Некрасова, и я нарочно указываю въ настоящемъ случаѣ на этого поэта, имѣя въ виду, что въ нѣкоторыхъ литературныхъ лагеряхъ утвердилось мнѣніе, будто поэтъ этотъ превозносится исключительно только за тенденціозность его стихотвореній въ современномъ духѣ. Нѣтъ, я вамъ укажу на такое стихотвореніе его, въ которомъ нѣтъ ни малѣйшей тѣни какой-либо тенденціозности. Вотъ напримѣръ прочитайте его «Бурю»:

Долго не сдавалась Любушка сосѣдка;
Наконецъ шепнула: есть въ саду бесѣдка...

Стихотвореніе это выражаетъ ничего болѣе, какъ только торжество любовника, къ которому явились на свиданіе, несмотря на дождь и бурю, и который изъ этого убѣждается въ силѣ любви къ нему женщины,—тема самая безобидная для какого угодно литературнаго лагеря, и притомъ самая общечеловѣческая для всѣхъ временъ и странъ. И Гейне, и Байрону, и Гёте, и Шенье, и какому-нибудь средневѣковому провансальскому труверу, и автору «Пѣсни пѣсней» могло прійти въ голову написать стихотвореніе на подобную-же тему. Можетъ быть даже въ западныхъ литературахъ вы и найдете нѣчто подобное. Но при всей общности темы, стихотвореніе Некрасова отличается тѣмъ не менѣе самой яркой и полной самобытностью. Отъ него такъ и вѣетъ свѣжимъ букетомъ жизни, и притомъ не какой-нибудь иной, какъ именно русской жизни. У иностраннаго поэта навѣрное та-же самая тема будетъ имѣть совершенно иное выраженіе, представитъ вамъ иной букетъ. Стихотвореніе-же Некрасова могъ написать только русскій поэтъ, и изъ современныхъ русскихъ поэтовъ—только Некрасовъ.

Но зачѣмъ брать такихъ первостепенныхъ поэтовъ, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Некрасовъ, когда и у Фета, и у Тютчева, и даже у Ап. Майкова вы найдете стихотворенія, отмѣченныя печатью жизни и самобытности?

Но найдите мнѣ хоть одно такое стихотвореніе у графа А. Толстого, одолѣвши которое вы почувствовали-бы, что прочли нѣчто совершенно новое и небывалое еще ни въ иностранной, ни въ русской литературѣ, нѣчто неотъемлемо принадлежащее графу А. Толстому. Напротивъ того, что ни приметесь читать, такъ сейчасъ-же на васъ и повѣетъ чѣмъ-нибудь давно уже знакомымъ вамъ и читаннымъ гдѣ-то прежде. Нѣкоторыя-же произведенія носятъ на себѣ самую явную печать тѣхъ или другихъ западно-европейскихъ или русскихъ писателей. Такъ напримѣръ, найдете вы и произведенія, очевидно навѣянныя Лермонтовымъ («Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ», «Въ совѣсти искалъ я долго обвиненья», «Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ», «Горними тихо летѣла душа небесами»). Нѣкоторыя напомнятъ вамъ Гейне («Змѣя, что по скаламъ влечешь свои извивы» и многіе Крымскіе очерки, какъ напримѣръ: «Вы все любуетесь на скалы» или «Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты»). Драматическая поэма «Донъ-Жуанъ» очевидно внушена изученіемъ «Фауста» Гёте, а «Драконъ», итальянскій разсказъ XII вѣка, носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды изученія Данта и проч., и проч.

Въ возраженіе на это вы мнѣ конечно укажете на цѣлую массу стихотвореній гр. А. Толстого, написанныхъ въ народномъ духѣ и даже размѣрами народныхъ пѣсенъ, вродѣ «Ходитъ спѣсь надуваючись», «Кабы знала я, кабы вѣдала», «Колокольчики мои, цвѣтики степные», «Не Божіимъ громомъ горе ударило», цѣлый рядъ наконецъ былинъ и балладъ изъ русской исторіи и пр., и пр.

Ну, что-жъ такое, что стихотворенія эти написаны въ духѣ народныхъ пѣсенъ и даже ихъ размѣрами, что нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ очень искусную и удачную поддѣлку подъ нихъ? Это нисколько еще не говоритъ въ пользу ихъ самобытности. Истинно самобытнымъ можетъ быть названо только такое произведеніе, которое создается подъ вліяніемъ непосредственныхъ впечатлѣній жизни. Создавая его, поэтъ вовсе не думаетъ о томъ, чтобы произведеніе было написано въ народномъ духѣ, а стремится только выразить то, что́ наполняетъ его душу. Оно можетъ быть совершенно не похоже ни на одну народную пѣсню ни по содержанію, ни по формамъ, представлять изъ себя нѣчто совершенно новое и небывалое, написанное совершенно особеннымъ размѣромъ, только-что изобрѣтеннымъ самимъ авторомъ, и тѣмъ не менѣе быть вполнѣ народно-самобытнымъ. Однимъ словомъ, въ подобнаго рода произведеніяхъ вы видите не одну только племенную самобытность, но и выраженіе индивидуальности поэта. Писать-же стихотворенія въ народномъ духѣ, вродѣ тѣхъ, какія писалъ гр. А. Толстой,—это совсѣмъ другое дѣло. Для этого вовсе не нужно жить непосредственно народной жизнью и притомъ бойкой, горячей жизнію, втягивать въ себя всѣми порами своего существованія народныя радости и народныя страданія, а, напротивъ того, совершенно достаточно, не выходя изъ кабинета, изучить нѣсколько сборниковъ народныхъ пѣсенъ, начиная съ Кирши-Данилова и Сахарова и кончая сборниками Кирѣевскаго, Рыбникова и Худякова.

Такимъ образомъ стихотворенія гр. А. Толстого, о которыхъ мы говоримъ, представляютъ продуктъ все

того же самаго отвлеченнаго, кабинетнаго творчества, которое я называю чужеяднымъ. Писать такимъ образомъ можно въ духѣ какой угодно народности, совершенно безотносительно, къ какому народу принадлежитъ самъ авторъ. И я не понимаю, чѣмъ могутъ отличаться, по процессу созданія, стихотворенія гр. А. Толстого въ духѣ русской народности отъ стихотвореній того же автора въ духѣ народности итальянской XII столѣтія, вродѣ «Дракона», отъ стихотвореній въ духѣ народности шотландской, вродѣ баллады «Эдвардъ», отъ пѣсенъ въ духѣ народности южныхъ славянъ Пушкина, отъ испанскихъ, греческихъ, еврейскихъ и т. п. мотивовъ Щербины или Вс. Крестовскаго. Во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ вы и слѣда не найдете искренняго, неподдѣльнаго чувства, живой, горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ, того, что составляетъ всю прелесть и всю силу истинной и вполнѣ естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми усиліями кропотливой художественной отдѣлки, мучительными потѣніями надъ инымъ неукладывающимся въ размѣръ стихомъ или недающейся риемой.

Особенно эти замѣчанія слѣдуютъ отнести къ былинамъ гр. А. Толстого, вродѣ «Алеши Поповича», «Ильи Муромца», «Садко», «Змѣя Тугарина» и пр. Яне буду ужъ распространяться много о всей эфемерной галантерейности этихъ произведеній гр. А. Толстого, о крайней праздности кабинетной фантазіи, услаждавшей поэтическіе досуги тѣмъ, чтобы заставить Садко лишній разъ проплясать передъ морскимъ царемъ, Алешу — проѣхаться по Днѣпру въ лодочкѣ съ похищенной красоткой или Илью Муромца — отпустить ещенѣсколько ругани противъ Владиміра и кіевскихъ порядковъ. Но и со стороны мнимой народности этихъ произведеній графа я спрашиваю у васъ: скажите, чѣмъ отличается эта вычитанная изъ сборниковъ пѣсенъ народность отъ народности тѣхъ чугунныхъ или фарфоровыхъ прессъ-папье, которые изображаютъ русскаго мужика, ѣдущаго на саняхъ въ лѣсъ за дровами, бабу, прядущую ленъ, или подгулявшаго крестьянина, ведомаго домой подъ ручку озабоченной и раздраженной супругой? Подобныя статуэтки могутъ быть вполнѣ правильны, типичны, даже изящны, могутъ служить прекрасными украшеніями для вашего письменнаго стола. Но кому же придетъ въ голову при созерцаніи ихъ подымать вдругъ какіенибудь серьезные эстетическіе вопросы и вообразить, что творцовъ ихъ можно назвать самобытными художниками, внесшими какой бы то ни было свой собственный вкладъ въ русское искусство? А вѣдь они съ неменьшимъ пожалуй успѣхомъ, чѣмъ и гр. А. Толстой, могли бы изобразить вамъ и Алешу Поповича, услаждающаго гуслярнымъ звономъ похищенную красавицу, и пляшущаго Садко, и Илью Муромца, ѣдущаго на конѣ съ мрачнымъ и насупленнымъ видомъ.

Какъ бы то ни было, а стихотворенія гр. А. Толстого, навѣянныя разными поэтами или написанныя въ духѣ различныхъ народностей, можно считать все-таки лучшими и наиболѣе удачными. Отъ нихъ вѣетъ по крайней мѣрѣ духомъ той поэзіи, которая вдохновляла графа и подъ вліяніемъ которой онъ создавалъ. Что-же касается до вполнѣ самостоятельныхъ произведеній его, въ которыхъ онъ является передъ нами только графомъ А. Толстымъ и никѣмъ болѣе, то всѣ они столь-же безхарактерны и слабы, какъ и подобныя же имъ самостоятельныя произведенія Жуковскаго. Между прочимъ слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое весьма характеристическое явленіе. Графъ А. Толстой, какъ это видно изъ многихъ мѣстъ его автобіографіи, былъ большой любитель природы. Мы видѣли, съ какимъ пафосомъ отзывался онъ о вліяніи на него малороссійской природы, среди которой онъ провелъ всю свою жизнь. Въ одномъ мѣстѣ своей автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить цѣлыя недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, но обыкновенно въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ по большей части въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась въ его поэзіи почти столько же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ графъ очень часто обращается къ природѣ и отличается немалой щедростью въ описаніяхъ ея красотъ. Но замѣчательно, что всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая эти описанія, вы не чувствуете и тѣни того обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ, не говоря уже о Пушкинѣ, Лермонтовѣ или Гоголѣ, но даже описанія С. Аксакова или Тургенева. Гдѣ ужъ тутъ толковать о воспроизведеніи впечатлѣній, внушаемыхъ природой, когда изъ описаній гр. А. Толстого вы не въ силахъ обыкновенно представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами вовсе не живыя, художественныя картины, а простой перечень предметовъ въ разсыпную, при чемъ воображенію вашему, если оно живо и богато, предоставляется самому слагать эти предметы во что-нибудь цѣльное и связное. Такъ напримѣръ, казалось бы, что ужъ какой иной природѣ, какъ не малороссійской, слѣдовало бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого, особенно если мы примемъ во вниманіе, что онъ все дѣтство провелъ среди нея и съ какимъ восторгомъ говоритъ онъ о ея вліяніи на него. А между тѣмъ этого-то именно вліянія вы и не найдете въ его стихотвореніяхъ, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, и только развѣ проѣзжалъ черезъ нее и видѣлъ ее мелькомъ. Не говоря уже о Гоголѣ, даже различные второстепенные малороссійскіе писатели, вродѣ Гребенки или Марко-Вовчка, даютъ вамъ гораздо болѣе ясное и опредѣленное представленіе малороссійской природы въ ея характеристическихъ особенностяхъ, чѣмъ описанія гр. А Толстого. Вы прочтите напримѣръ стихотвореніе, спеціально посвященное воспѣванію малороссійскаго края: «Ты знаешь край». Что здѣсь воспѣвается не что либо иное, какъ Малороссія, можно судить только потому, что упоминаются въ разныхъ мѣстахъ названія, относящіяся

къ этой странѣ, вродѣ парубковъ, Маруси, Грицко, Чубовъ, казачекъ, или историческія имена вродѣ Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго. Что же касается колорита и характеристическихъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого вы найдете рядъ самыхъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одной широтой съ Малороссіей. Вотъ для примѣра отрывки изъ этого стихотворенія:

Ты знаешь край, гдѣ все обильемъ дышетъ,
Гдѣ рѣки лются чище серебра,
Гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышетъ,
Въ вишневыхъ рощахъ тонутъ хутора,
Среди садовъ деревья гнутся долу,
И до земли виситъ ихъ плодъ тяжелый?
Шумя тростникъ надъ озеромъ трепещетъ,
И чистъ, и тихъ, и ясенъ сводъ небесъ,
Косарь поетъ, косa звенитъ и блещетъ,
Вдоль берега стоитъ кудрявый лѣсъ,
И къ облакамъ, клубясь надъ водою,
Бѣжитъ дымокъ синѣющей струею?

Какъ ты думаешь, читатель, знаешь ты такой край? Что это такое? Венгрія, Богемія, Силезія, а можетъ быть и Нормандія или Пикардія? Вѣдь во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ могутъ существовать всѣ признаки, означенные въ приведенныхъ нами стихахъ: и обиліе, и рѣки чище серебра, и деревья, гнущіяся долу отъ тяжести плодовъ, и трепещущій надъ озеромъ тростникъ, и ясный, тихій и чистый сводъ небесъ, не говоря ужъ о кудрявомъ лѣсѣ вдоль берега и дымкѣ, клубящемся надъ водой. Все, что напечатано курсивомъ въ приведенномъ отрывкѣ, составляетъ самыя банальныя общія мѣста, не курсивомъ же напечатано всего два стиха, но вѣдь и въ нихъ собственно малороссійскаго только и есть, что одно слово — хуторъ. Или вотъ вамъ другой отрывокъ, который я имѣю полное право совершенно преобразить въ картину тирольскаго селенія, перемѣнивъ въ немъ всего одно слово:

Ты знаешь край, гдѣ утромъ въ воскресенье,
Когда росой подсолнечникъ блеститъ,
Такъ звонко льется жаворонка пѣнье,
Стада блеятъ, а колоколъ гудитъ,
И въ Божій храмъ, увѣнчанный цвѣтами,
Идутъ *тирольки* пестрыми толпами?

Вслѣдствіе отсутствія всей прелести обаянія мѣстнаго колорита воспѣваемаго края и наполненія стихотворенія банальными общими мѣстами, оно невольно принимаетъ характеръ сухого, холоднаго и натянутаго риторизма. Можетъ быть этотъ риторизмъ гр. Толстой и принималъ за мажорный тонъ своей поэзіи. Фактъ этотъ меня глубоко поражаетъ: какъ это такъ—почти родиться въ Малороссіи (мы видѣли, что его туда привезли шестинедѣльнымъ ребенкомъ), прожить тамъ девять лѣтъ, часто возвращаться потомъ въ родимую деревню, каждый разъ быть не въ силахъ видѣть тѣ мѣста безъ особеннаго волненія и вмѣстѣ съ тѣмъ не вынести изъ мѣстъ этихъ ни одной живой краски, ни одной задушевной нотки или черточки быта обитателей этого края, ихъ радостей и страданій, обычаевъ, повѣрій и пр. Это только и можно объяснить крайней изолированностью жизни гр. А. Толстого, особенно въ дѣтствѣ. Въ то время какъ Гоголь, Грицко-Основьяненко или даже Гребенка и прочіе писатели, выросшіе въ Малороссіи, жили въ родительскихъ домахъ непосредственною жизнью края и имѣли болѣе тѣсныя сношенія съ разными его слоями, между прочимъ и съ простымъ народомъ, графу А. Толстому конечно только издали, изъ окна усадьбы, кое-когда приходилось видѣть, какъ

Парубки, кружась на пожнѣ гладкой,
Взрываютъ пыль веселою присядкой.

Но и эти буколическія картины конечно не столько его занимали, какъ какой-нибудь неизвѣстно когда и какъ сорванный гіацинтъ, запахъ котораго погружалъ его въ разныя чудныя видѣнія, уносившія его за тридевять земель отъ окружавшей дѣйствительности. Гдѣ же тутъ было напечатлѣться живыми впечатлѣніями этой дѣйствительности?

Вы посмотрите, какими общими, неопредѣленно-стереотипными чертами изобразилъ онъ между прочимъ и характеръ вообще русской природы:

Край ты мой, родимый край!
Конскій бѣгъ на волѣ!
Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!
Волчій голосъ въ полѣ!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, боръ дремучій!
Свистъ полночный соловья!
Вѣтеръ, степь и тучи!

Не правда ли, что подобное восьмистишіе опять-таки можно отнести къ какой угодно степной мѣстности, но меньше всего я отнесъ бы его къ Россіи, потому что, подумайте: ну, можно ли сказать, чтобы «въ небѣ крикъ орлиныхъ стай» составлялъ одинъ изъ характеристическихъ признаковъ русской природы? Еслибы еще графъ сказалъ «вороньихъ стай» — это куда бы еще ни шло, а то вдругъ орлиныхъ! Я уже не говорю о томъ, что очень сомнительно, чтобы орлы летали стаями.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, вслѣдствіе крайне замкнутой и изолированной жизни, можетъ быть богатъ внутренней жизнью, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ цѣлый рядъ весьма любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ или философскихъ процессовъ. Но и этого мы не можемъ сказать о гр. А. Толстомъ. Относительно обще-философскаго міросозерцанія гр. А. Толстой представляется намъ стоящимъ вполнѣ и всецѣло въ уровнѣ того великосвѣтскаго кружка, въ средѣ котораго онъ воспитался и прожилъ всю жизнь. Убѣжденія его, ясныя и опредѣленныя, словно отлитыя изъ бронзы и въ неизмѣнной формѣ проходящія черезъ всю жизнь безъ малѣйшихъ колебаній и какого-либо движенія, поражаютъ васъ крайней узостью чисто формальнаго піэтизма, давящаго васъ, словно низенькій потолокъ надъ головой. Это—самая низшая ступень дѣтскаго мистицизма совершенно особеннаго рода. Мистицизмъ —мистицизму рознь. И у Достоевскаго, и у гр. Л. Толстого, и у Тургенева вы найдете не малыя дозы мистицизма. Но мистицизмъ у этихъ писателей все-таки имѣетъ съ одной стороны свою собственную поэтическую окраску, а съ другой—въ немъ видна хоть какая-нибудь самостоятельная работа мысли. Мистицизмъ же гр. А. Толстого заключается, напро-

тивъ того, въ полномъ отреченіи отъ всякаго покушенія на мало-мальски самостоятельную мысль, въ рабской вѣрности буквѣ. Однимъ словомъ,—это вовсе не тотъ мистицизмъ, который въ поэзіи создаетъ образы, хотя и дико-фантастичные, но не лишенные своеобразной прелести, а тотъ, который подчасъ, ради подобострастной вѣрности традиціи, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности. Это мы можемъ видѣть съ большой наглядностью въ драматической поэмѣ гр. А. Толстого «Донъ-Жуанъ». Поэма эта, навѣянная «Фаустомъ» Гёте, нужно признаться, представляется однимъ изъ самыхъ неудачныхъ подражаній тѣмъ западнымъ образцамъ, которые вдохновляли нашего поэта. На первыхъ же страницахъ поэмы васъ поражаетъ, какъ грязное и безобразное пятно, своимъ антихудожественнымъ безвкусіемъ фигура сатаны. Представьте себѣ, что, вмѣсто того мрачнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ обольстительнаго духа протеста, который является передъ нами въ поэзіи Байрона, или вмѣсто гётевскаго Мефистофеля, чарующаго тонкимъ остроуміемъ своихъ сарказмовъ чисто вольтеровскаго пошиба, исполненнаго яда того самаго скептицизма прошлаго вѣка, олицетвореніемъ котораго и является передъ вами Мефистофель, вмѣсто наконецъ хотя бы стереотипно-средневѣкового дьявола въ огнѣ, дымѣ и сѣрномъ запахѣ,—передъ вами является вдругъ въ поэмѣ гр. А. Толстого какой-то неуклюжій буянъ, вродѣ подгулявшаго мастерового, и вся соль его сарказмовъ заключается въ рядѣ тривіальныхъ выраженій, вродѣ: шарахнулъ, напиралъ, далъ маху, лопнетъ око, караулъ и т. п. Какую идею думалъ выразить гр. А. Толстой въ образѣ этого грубаго, аляповатаго и неотесаннаго мужлана? Не приходитъ-ли вамъ невольно въ голову, что графъ только и заботился о томъ, чтобы согласно традиціи изобразить въ зломъ духѣ все, что только онъ могъ представить себѣ непріятнаго, а что могъ онъ представить себѣ болѣе непріятнаго съ великосвѣтской точки зрѣнія, какъ не тривіальныя выраженія? Вотъ онъ и нанизалъ ихъ безъ всякаго удержа и такта, желая представить въ сатанѣ самаго что ни есть mauvais genre. Но сатана является второстепеннымъ лицомъ поэмы—только въ началѣ и концѣ ея; главнымъ же героемъ парадируетъ Донъ-Жуанъ, къ которому мы теперь и обратимся.

Легенда о Донъ-Жуанѣ относится къ эпохѣ «Возрожденія» и чрезвычайно типично и рельефно выражаетъ собой духъ этой эпохи. Въ личности Донъ-Жуана олицетворяется протестъ человѣческой плоти противъ средневѣкового аскетизма, все то радостное обаяніе земной жизни со всѣми ея наслажденіями, которое повѣяло на современниковъ Донъ-Жуана отъ изученія классической древности. Это—язычество, возставшее противъ тысячелѣтняго гнета католическаго изувѣрства, со всѣми своими эротическими и вакхическими культами, чашами, наполненными янтарнымъ виномъ, гирляндами цвѣтовъ, страстными пѣснями и поцѣлуями при блескѣ луны, въ тиши благоухающихъ южныхъ ночей.

Въ этомъ отношеніи каждая подробность легенды имѣетъ свой особенный характеристическій, и можно даже выразиться, философскій, сообразно своему времени, смыслъ. Донъ-Жуанъ, подобно древнему Эросу, всюду несетъ съ собой любовь, но только не ограничивается ниспосыланіемъ ея смертнымъ, какъ языческій богъ, а, напротивъ того, какъ человѣкъ, самъ ею пользуется. Но въ то же время силы его имѣютъ чисто божественные размѣры, выходящіе изъ человѣческихъ предѣловъ. Такъ мы видимъ, что страсть его неотразима: ни одна женщина не въ силахъ устоять противъ его обольщеній. Онъ непобѣдимъ въ бояхъ и пирахъ, и даже святая инквизиція, со всѣми грозными аттрибутами своего могущества, безсильна противъ него. Лично для него никакихъ религіозныхъ или нравственныхъ законовъ, установленныхъ средневѣковыми нравами, не существуетъ. Вся поэзія жизни сосредоточивается въ его глазахъ въ любви и наслажденіяхъ земнымъ бытіемъ, и кромѣ обаянія этой поэзіи для него не существуетъ ничего завѣтнаго и святого. Разъ загорается въ его груди огонь этой поэзіи—и онъ готовъ преступить всѣ семейныя и гражданскія узы. Въ отвагѣ своей онъ мало того, что объявилъ войну всѣмъ, и духовнымъ, и гражданскимъ, властямъ, но дерзнулъ бросить вызовъ и самому небу. Такъ, убивши командора и обольстивши потомъ все равно жену его или дочь, онъ приглашаетъ статую его на пиршество. Замѣтьте, какая строгая послѣдовательность мнѣа и какъ вѣренъ остается Донъ-Жуанъ самому себѣ до самаго конца легенды: своимъ приглашеніемъ статуи ни на что-иное, какъ именно на пиршество, Донъ-Жуанъ словно наконецъ самый загробный міръ призываетъ къ вкушенію сладостей земного бытія. Но здѣсь, по понятіямъ современниковъ Донъ-Жуана, переполняется чаша дерзкой отваги протеста противъ аскетизма и изувѣрства среднихъ вѣковъ, или, лучше сказать, современники эти выдаютъ далѣе сами себя: въ страшномъ концѣ легенды, въ появленіи статуи командора на пиршество и въ увлеченіи ею Донъ-Жуана въ преисподнюю они выразили свое отношеніе къ протесту своего времени и вообще настроеніе эпохи. Очевидно, что протестъ классицизма противъ средневѣкового изувѣрства съ одной стороны, привлекалъ ихъ, какъ нѣчто новое, освѣжающее и въ то же время вполнѣ соотвѣтствующее естественнымъ требованіямъ человѣческой природы, освобождающее эту природу отъ оковъ, наложенныхъ мракомъ средневѣковаго невѣжества, но въ то же время это новое, освѣжающее и освобождающее пугало именно потому, что было новымъ и выходило изъ привычныхъ рамокъ жизни, казалось страшнымъ и гибельнымъ съ точки зрѣнія освѣщенныхъ вѣками понятій. Поэтому и Донъ-Жуанъ является съ одной стороны доблестнымъ героемъ, возбуждающимъ восторгъ, удивленіе и неодолимое влеченіе къ себѣ, а съ другой стороны—такимъ страшнымъ и неслыханнымъ злодѣемъ, что наконецъ земля была не въ состояніи держать такого нечестивца, и небо, возмущенное до послѣдней крайности его дерзостью, было вынуждено послать даже чудо, чтобы избавить міръ отъ этого чудовища.

Таковъ внутренній, философскій смыслъ легенды о Донъ-Жуанѣ, и вы видите, какую стройную поэтическую цѣльность имѣетъ этотъ послѣдній европейскій миѳъ, какъ относительно образа своего героя,

такъ и относительно фабулы. Здѣсь каждый камушекъ цѣпляется за камушекъ, и нѣтъ возможности ничего ни выкинуть, ни измѣнить. Реализуйте вы эту легенду, откиньте вы пиршество со статуей командора и проваливанье въ адъ, и Донъ-Жуанъ сейчасъ же перестаетъ быть Донъ-Жуаномъ въ смыслѣ дерзкаго протестанта, бросившаго гордый вызовъ всѣмъ земнымъ и небеснымъ силамъ, а обращается въ чувственнаго испанскаго кавалера, пьянаго забіяку и пошлаго клубничника, во что-то вродѣ россійскаго «Бурцева, еры, забіяки, собутыльника дорогого»... Съ другой стороны, заставьте вы Донъ-Жуана раскаяться въ своихъ проказахъ и постричься въ монастырь для замаливанія грѣховъ молодости, и выйдетъ, я не могу и выразить, какая анти-художественная, кисло-сладкая размазня на постномъ маслѣ. Правда, впослѣдствіи создалась и другая легенда о Донъ-Жуанѣ, именно съ такимъ концомъ раскаянія и постриженія. Но подобный варіантъ легенды могъ возникнуть не иначе, какъ въ средѣ очень набожныхъ католиковъ, можетъ быть и іезуитовъ. Очевидно, онъ принадлежитъ къ эпохѣ католической реакціи, когда съ одной стороны ослабъ духъ религіознаго протеста, и протестантизмъ, самъ испугавшись своихъ крайностей, началъ робко отступать и формироваться въ доктринерскія, окаменѣлыя ученія, а научный протестъ классицизма въ свою очередь утратилъ свое обаяніе новизны и, вмѣсто того чтобы призывать безразлично все человѣчество къ наслажденіямъ земной жизнью, обратился въ поблажку распущенности придворныхъ и великосвѣтскихъ нравовъ. Въ то-же время возродившееся усиліями братьевъ Лойолы католичество начало отвоевывать цѣлые народы и страны. Очевидно, что только тогда Донъ Жуанъ, отважно подавшій руку желѣзному пожатію страшнаго гостя, могъ превратиться въ Донъ-Жуана, набожно молящагося въ монашеской рясѣ въ католическомъ монастырѣ.

Типы подобныхъ, малодушно струсившихъ своей отваги, слезно-кающихся протестантовъ являются въ литературѣ всегда не иначе, какъ въ моменты реакцій. Кающійся Донъ-Жуанъ—это Европа, смиренно возвращавшаяся на лоно католицизма въ лицѣ Испаніи, Италіи, Франціи, Австріи, Польши. Замѣчательно при этомъ, что когда литература, въ свою очередь проникнутая реакціоннымъ духомъ, относится положительно къ подобнаго рода типамъ, она постоянно создаетъ нѣчто анти-художественное, приторно-прѣсное, отталкивающее отъ себя и претящее. Это очень понятно: впечатлѣніе, отражающееся въ художественномъ образѣ, только тогда можетъ дѣйствовать сильно и стройно на вашу душу, когда оно является цѣльнымъ, неразбитымъ, не преломленнымъ, не ослабленнымъ ассоціаціей съ какими-нибудь иными впечатлѣніями, совершенно противуположнаго рода и составляющими диссонансъ съ главнымъ. Въ этомъ-то и заключается вся тайна художественной гармоніи. Представьте-же вы теперь, что едва только вы настроились обаяніемъ молодости, силы, отваги, гордой независимости, вообще тѣми чарующими впечатлѣніями, какія навѣваютъ на вашу душу типы протестантовъ,—и вдругъ оказывается, что это очарованіе—ложь, миражъ, нѣчто весьма недостойное и непохвальное, и вамъ представляется тотъ же обаятельный образъ въ видѣ какого-нибудь смиреннаго святоши. Вы только представьте себѣ гордаго Чайльдъ-Гарольда, купившаго себѣ домъ въ Сити и обратившагося въ добродѣтельнаго лавочника и биржевого игрока;—Печорина, женившагося на Мери и сдѣлавшагося предсѣдателемъ губернской палаты министерства государственныхъ имуществъ;—Марка Волохова, обратившагося въ губернскаго штабъ-жандарма.

Я не говорю, чтобы подобныя превращенія были невозможны въ жизни и нетерпимы въ литературѣ; я указываю только на анти-художественность положительнаго отношенія литературы къ нимъ. Вы замѣтьте при этомъ, что всѣ художники съ мало-мальски сильнымъ и тонкимъ художественнымъ чутьемъ, выводя типы какихъ-либо протестантовъ, постоянно оставляли ихъ протестантами до конца произведеній и по большей части заставляли ихъ умирать какой-нибудь насильственной смертью. Такъ точно и большинство европейскихъ писателей, начиная съ Габріеля Телецъ (Тирсо-де-Молина) и кончая Пушкинымъ, выводившихъ на сцену Донъ-Жуана, положительно-ли, или отрицательно относились они къ этому типу, постоянно брали для фабулы своихъ произведеній первый варіантъ легенды и оставляли Донъ-Жуана самимъ собой до проваливанья сквозь землю. И одному только гр. А. Толстому пришло въ голову воспользоваться вторымъ, позднѣйшимъ варіантомъ и заставить Донъ-Жуана трогательно умирать въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ. Но этого еще мало: гр. А. Толстой вздумалъ смѣшать въ одну кашу оба варіанта легенды и для этого реализировалъ пиршество со статуей командора такимъ образомъ, что Донъ-Жуанъ по окончаніи пира уналъ въ обморокъ и видѣлъ во снѣ появленіе статуи и увлеченіе въ адъ, а когда проснулся—узналъ, что Донна-Анна отравилась, и убѣдился, что онъ ее все-таки не перестаетъ любить,—тутъ-то и раскаялся во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ. — Я не могу себѣ представить большей степени художественнаго безвкусія, какъ подобная реализація миѳовъ. Я допускаю, что миѳъ можетъ быть у каждаго писателя обработанъ по своему, сообразно духу времени и степени общественнаго развитія. Такъ напримѣръ, конечно эсхиловскій Прометей далеко не тотъ Прометей, какого создали тѣ эллины-дикари, которые только-что дошли до употребленія огня и прославили свое изобрѣтеніе въ прометеевскомъ миѳѣ. Конечно гётевскій Фаустъ имѣетъ очень мало общаго съ Фаустомъ средневѣковой легенды. Вѣдь и Донъ-Жуанъ у каждаго изъ писателей, выводившихъ его на сцену, выходилъ свой особенный Донъ-Жуанъ. Нисколько не въ претензіи я, что и гр. А. Толстой вывелъ своего собственнаго, особеннаго Донъ-Жуана, болѣе похожаго на Фауста, чѣмъ на Донъ-Жуана въ собственномъ смыслѣ этого слова: такъ, у гр. Толстого Донъ-Жуанъ кутитъ и переходитъ отъ одной женщины къ другой не отъ избытка и разгула жизненныхъ силъ, вырвавшихся на волю изъ-подъ гнета католическаго аскетизма, а

вслѣдствіе романтическаго исканія вполнѣ идеальной женщины и постояннаго разочарованія въ дѣйствительныхъ женщинахъ. Но я протестую противъ реализаціи фантастическихъ элементовъ миѳовъ и легендъ. По моему мнѣнію, если хочешь быть реальнымъ писателемъ до конца ногтей, такъ и не бери легендъ фабулами своихъ произведеній, а ищи дѣйствительныхъ, вполнѣ реальныхъ сюжетовъ. А если тебѣ хочется брать легенды, то бери ихъ всецѣло, памятуя, что въ фантастическихъ элементахъ этихъ легендъ и заключается обыкновенно вся и поэтическая, и философская суть ихъ. Вамъ извѣстна конечно народная легенда о томъ, какъ Іисусъ Христосъ явился въ одеждѣ нищаго въ русскую деревню, стучался во всѣ окна, прося ночлега, но нигдѣ его не приняли, а изъ богатыхъ хатъ прогнали даже съ бранью и побоями, а пріютилъ его самый бѣднѣйшій крестьянинъ, въ награду за что̀ и былъ обогащенъ: у него уголья на шесткѣ превращены были въ червонцы. Согласитесь сами, что вся поэзія, вся сила этой легенды въ томъ именно и заключается, что тутъ является на сцену Іисусъ Христосъ и что зазнавшіеся и возгордившіеся богачи гнали и поругали самого Бога. Но вы вообразите себѣ только, что вышла-бы за нелѣпость и за пошлость, если-бы иной реальный поэтъ захотѣлъ воспользоваться этой легендой, да только изъ излишняго усердія къ своему реализму вздумалъ-бы замѣнить Іисуса Христа какимъ-нибудь переодѣтымъ въ нищенское платье богачемъ-филантропомъ, который въ награду за гостепріимство бѣднаго мужика тихонько подложилъ-бы ему на шестокъ подъ уголья червонцы. Но, по моему мнѣнію, еще нелѣпѣе, еще пошлѣе, когда фантастическій элементъ легенды представляется въ видѣ сновъ или обмороковъ дѣйствующихъ лицъ легенды. Донъ-Жуана, сдѣлавшаго въ своей отвагѣ вызовъ самому загробному міру и павшаго въ неравной борьбѣ, я понимаю въ той-же степени, какъ и Святогора, вздумавшаго помѣряться съ тягой земли и въ свою очередь ушедшаго въ землю. Но Донъ-Жуанъ, упавшій вдругъ въ обморокъ, какъ нервная барышня, и видѣвшій во снѣ появленіе на пиршествѣ статуи—это верхъ художественной безвкусицы, это положительный абсурдъ. Легенда, теряя такимъ образомъ свой фантастическій смыслъ, не пріобрѣтаетъ взамѣнъ этого ни малѣйшаго смысла реальнаго, потому что, подумайте только, какихъ нелѣпыхъ сновъ не бываетъ и что значилъ подобный вздорный сонъ для Донъ-Жуана? Да я убѣжденъ, что еслибы самъ гр. А. Толстой увидѣлъ во снѣ появленіе сотни командорскихъ статуй, это не помѣшало-бы ему остаться все тѣмъ-же графомъ А. Толстымъ, встать утромъ съ постели какъ встрепанному и приняться тотчасъ за художественное созерцаніе какого-нибудь рѣдкостнаго фавна.

Остается сказать нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ гр. А. Толстого, о его историческихъ хроникахъ («Іоаннъ Грозный», «Борисъ Годуновъ», «Царь Ѳедоръ») въ связи съ романомъ «Князь Серебряный»; но обо всемъ этомъ я ограничусь только нѣсколькими словами. Драмы гр. А. Толстого составлены очень толково, умно, вполнѣ исторически вѣрно; на каждую безъ сомнѣнія положено не мало трудовъ изученія эпохи и героевъ ея. Но главные недостатки ихъ заключаются въ томъ, что въ нихъ и тѣни нѣтъ драматическаго пафоса: дѣйствія въ нихъ мало, эпическій, бытописательный элементъ преобладаетъ надъ драматическимъ, сюжеты не представляютъ той цѣльности и законченности, какая требуется отъ драмы. Вслѣдствіе всего этого драмы эти скучноваты на сценѣ и годятся болѣе для чтенія, чѣмъ для игры. Подобные недостатки этихъ драмъ очевидно находятся въ тѣсной связи съ общимъ характеромъ творчества гр. А. Толстого. Они зависятъ прямо отъ того, что, какъ все написанное графомъ, и драмы эти составляютъ продуктъ кабинетнаго, отвлеченнаго творчества по книгамъ. Онѣ составлены по источникамъ, какъ составляются историческія диссертаціи, а не созданы какими-либо сильными импульсами жизни, одушевившими поэта и напрягшими его творчество. Замѣчательно при этомъ, что даже и въ этихъ произведеніяхъ, составленныхъ по древнимъ лѣтописямъ и актамъ, несмотря на все погруженіе поэта въ чисторусскую, безпримѣсную жизнь, онъ не могъ остаться вполнѣ самимъ собой. Нѣтъ, у него тотчасъ-же явилась претензія представить изъ себя Шекспира—и вотъ онъ въ самой видной своей драмѣ, «Іоаннѣ Грозномъ», заставилъ какихъ-то волхвовъ-кореловъ разыграть передъ Борисомъ Годуновымъ роль макбетовскихъ вѣдьмъ и ударился въ крайность, противуположную той, какую мы видѣли въ его «Донъ-Жуанѣ». Тамъ онъ вздумалъ реализовать фантастическій элементъ легенды, а здѣсь, напротивъ того, ему пришло въ голову самовольно ввести фантастическій элементъ въ реальную жизнь—и вышло такъ-же некстати и такъ-же пошло.

Въ заключеніе считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ еще о весьма странномъ и необъяснимомъ недостаткѣ творчества гр. А. Толстого,—недостаткѣ впрочемъ внѣшнемъ. Мы видѣли изъ автобіографіи графа, что онъ началъ писать стихи съ 6-тилѣтняговозраста, увлекшиськакимъ-то толстымъ сборникомъ лучшихъ русскихъ поэтовъ. При этомъ графъ считаетъ нелишнимъ замѣтить, что какъ ни были нелѣпы его первые опыты, но въ метрическомъ отношеніи они были безупречны. Но не диво-ли, что въ то самое время, какъ поэтъ считалъ безупречными въ метрическомъ отношеніи свои первые опыты шестилѣтняго ребенка, на дѣлѣ стихотворенія графа А. Толстого, написанныя имъ впродолженіи всей жизни, далеко нельзя назвать безупречными въ метрическомъ отношеніи? Я не говорю уже о томъ, что вообще его стихъ тяжеловатъ, не отличается особенно гармоничностью и плавностью, и видно, что не легко ему давался, но очень нерѣдко въ его стихотвореніяхъ вы можете встрѣтить стихи, положительно неправильные, которые могутъ быть введены въ размѣръ только при искаженіи нѣкоторыхъ словъ въ ихъ удареніяхъ. Какъ вамъ понравятся напримѣръ такіе неуклюжіе стишки:

И ничего въ природѣ нѣтъ
Что-бы любовью не дышало...
Галокъ стая вьетъ
Поганыя гнѣзда...
Будешь красоваться листьями убрана...
Ассиріяне шли какъ на стадо волки и пр.

Встрѣчаются также и такіе стихи, которые метрически совершенно правильны, но дорого досталась повидимому автору эта правильность. Напримѣръ какъ вамъ нравится художественная прелесть и изысканность такого выраженія:

Все звонкое *птаство* летаетъ кругомъ,
Ликуючи въ тысячу *глотокъ*...

Эти два стиха хоть-бы и Тредьяковскому въ пору. Я не знаю ужъ какъ объяснить эту шероховатость стиховъ гр. А. Толстого—небрежностью-ли, съ какой онъ относился къ внѣшней отдѣлкѣ своихъ стихотвореній, недостаткомъ-ли музыкальнаго уха, неискусствомъ-ли владѣть стихомъ, или и здѣсь можетъ быть въ свою очередь играетъ роль тотъ же характеръ творчества гр. А. Толстого. Я полагаю, что каждый пишущій стихи замѣчалъ не разъ, что чѣмъ сильнѣй онъ возбужденъ или вдохновленъ, какъ выражались прежде, къ изложенію своихъ мыслей стихами, тѣмъ легче давались ему стихи, тѣмъ они выходили гармоничнѣе и плавнѣе. Напротивъ того, искусственно слагать стихи при совершенно спокойномъ расположеніи духа, безъ всякаго нервнаго возбужденія бываетъ чрезвычайно трудно, какъ бы ни владѣли вы искусствомъ риѳмоплетства. Попробуйте перелагать въ стихи какую-нибудь алгебру и вы увидите, насколькоэто труднѣй, чѣмъ написать стихотворное любовное посланіе въ порывѣ молодой страсти. Очень можетъ быть, что оттого у гр. А. Толстого и выходили стихи такъ тяжеловаты и шероховаты, что ему приходилось писать не въ порывѣ естественныхъ жизненныхъ возбужденій, а вымучивать ихъ, искусственно слагая холодныя измышленія,—продуктъ различныхъ художественныхъ созерцаній.

Я кончилъ—и мнѣ очень грустно, что о недавно умершемъ поэтѣ мнѣ пришлось изречь столько суровыхъ и черствыхъ приговоровъ. Чтобы смягчить ихъ хоть сколько-нибудь, въ видѣ послѣсловія я ставлю вотъ какой вопросъ. Мы видимъ, что во всѣхъ искусствахъ существуетъ строгое раздѣленіе двухъ областей, изъ которыхъ одна другую питаетъ и поддерживаетъ, но въ то-же время между этими двумя областями ставится рѣзкая грань, и никому въ голову не приходитъ смѣшивать обѣ области; каждая можетъ имѣть своихъ маэстровъ и свои шедѣвры, но опять-таки никто и не подумаетъ маэстра одной области переносить въ другую. Это—область искусства въ истинномъ смыслѣ этого слова, искусства живого, творящаго, развивающагося, и искусства, если можно такъ выразиться, аксессуарно-техническаго, низшаго, паразитно питающагося соками высшаго искусства. Такъ напримѣръ, никто вамъ не мѣшаетъ восхищаться работами Сазикова и Овчинникова и платить за нихъ большія деньги. Но придетъ-ли кому въ голову сравнивать эти работы съ произведеніями великихъ ваятелей вродѣ Бенвенуто-Челлини, и съ другой стороны съ чѣмъ сообразно, если-бы кто нибудь вздумалъ презрительно относиться къ работамъ Овчинникова и Сазикова, только потому что эти работы не могутъ быть сравнимы съ такими-же работами Бенвенуто-Челлини. Нѣтъ, всякій знаетъ, что Бенвенуто-Челлини—одинъ изъ первыхъ маэстро въ своей области, и Овчинниковъ и Сазиковъ—тоже первые въ своей. То же самое и въ музыкѣ: восхищеніе Бетховеномъ или Моцартомъ нисколько не мѣшаетъ вамъ находить, что вотъ въ данномъ трактирѣ существуетъ такой прекрасный органъ, лучше котораго вы не слыхали, и потому чаще посѣщать этотъ трактиръ съ спеціальной цѣлью наслаждаться звуками органа. Бетховенъ—первый въ своей области, трактирный органъ—въ своей, и одинъ другому въ вашихъ глазахъ нисколько не мѣшаетъ быть первымъ. Точно также можетъ быть первый декораторъ въ городѣ безъ всякаго сравненія съ Рафаэлями и Сальваторами-Розами и пр.

Скажите вы мнѣ, пожалуйста, отчего же въ одной только поэзіи не существуетъ никакого такого раздѣленія подобныхъ же областей, а всѣ поэты, мало мальски способные связать двѣ риѳмы, смѣшиваются въ одинъ безразличный хаосъ знаменитостей, всѣ тянутся если не въ Шекспиры и Гёте, то по малой мѣрѣ въ Пушкины, и критика непремѣнно должна глубокомысленно рѣшать, какое значеніе имѣетъ риѳмосплетатель въ судьбахъ русской литературы, что онъ внесъ въ нее, создалъ, а если окажется, что ничего особеннаго не создалъ, то непремѣнно затѣмъ должно послѣдовать презрѣніе, пренебреженіе съ одной стороны, а съ другой—оскорбленіе самолюбія, если поэтъ живой, или памяти его, если онъ покойный?

А между тѣмъ попробуйте разграничить обѣ области столь же строго, какъ онѣ разграничены въ другихъ искусствахъ, и вы сами сразу признаете первыми маэстрами такихъ поэтовъ, какіе нынѣ считаются одними изъ самыхъ послѣднихъ, хотя конечно при этомъ вамъ и въ голову не придетъ задавать глубокомысленные вопросы, имѣютъ ли эти поэты какое-либо значеніе и какое именно въ судьбахъ развитія русской поэзіи.

Точно также и относительно графа А. Толстого. Конечно послѣ тѣхъ колѣнопреклоненій передъ его поэзіей, которыя расточались въ прошломъ году и въ «Вѣстникѣ Европы», и въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и во многихъ газетахъ, мои приговоры имѣютъ мѣсто, какъ стремленіе умѣрить пылъ этихъ колѣнопреклоненій и опредѣлить болѣе хладнокровно и безпристрастно, чѣмъ же именно заслужила поэзія гр. А. Толстого подобныхъ овацій. Но представьте себѣ, что заранѣе, безъ всякихъ сомнѣній и недоумѣній, было бы понятно всѣмъ и каждому, что стихотворенія гр. А. Толстого имѣютъ такое же значеніе въ литературѣ, какъ занавѣси театровъ въ живописи, какъ канделябры или бронзовыя статуи подъ лампы работы того или другого знаменитаго маэстро въ этомъ родѣ, какъ вальсы Штрауса и т. п. Тогда конечно мои приговоры не имѣли бы ровно никакого смысла. Говорить о недостаткахъ описаній природы въ стихотвореніяхъ гр. А. Толстого, о промахахъ поэмы «Донъ-Жуанъ», о сномъ творности его драматическихъ хроникъ или шероховатости стиховъ было бы такъ-же нелѣпо, какъ замѣчать о недостаткѣ экспрессіи въ лицѣ купающейся нимфы на занавѣси театра или о несоразмѣрности членовъ бронзоваго рыцаря, держащаго въ рукахъ канделябръ со свѣчами. Напротивъ

того, я съ своей стороны готовъ былъ бы признать гр. А. Толстого однимъ изъ первыхъ маэстровъ по части галантерейной поэзіи, готовъ былъ бы искренно признаться, что многія изъ его произведеній не разъ доставляли мнѣ большое наслажденіе, что и впредь я готовъ послѣ сытнаго обѣда въ пріятной дамской компаніи усладить свой досугъ на ряду съ лучшими конфектами изъ модной кондитерской декламаціею чего-либо вродѣ:

Колокольчики мои,
Цвѣтики степные и пр.

Письмо третье.

О различіи художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности отъ художественно-техническаго («Около денегъ», романъ А. Потѣхина. Спб. 1877 г.).

Когда въ первомъ своемъ письмѣ я сдѣлалъ такое опредѣленіе основного эстетическаго принципа, что искусство заключается вовсе не въ стремленіи изображать дѣйствительность, какъ она есть, а, напротивъ того, въ измѣненіи ея, въ изображеніи въ преувеличенномъ и одностороннемъ видѣ, я убѣжденъ въ томъ, что такимъ опредѣленіемъ я привелъ читателя въ немалое недоумѣніе и, несмотря на всѣ мои старанія разъяснить подобное опредѣленіе въ тѣхъ краткихъ и сжатыхъ аргументахъ, какіе могли выпасть на долю небольшой статейки въ два печатныхъ листа, именно благодаря краткости и сжатости этихъ аргументовъ, читатель конечно остался неубѣжденнымъ. Къ этому безъ сомнѣнія немало способствовало и то, что опредѣленіе мое идетъ совершенно повидимому въ разрѣзъ съ тѣми эстетическими понятіями, которыя читатель всосалъ въ себя чуть не съ молокомъ матери, съ которыми онъ сжился и которыя снабжены такими достопочтенными аттрибутами уважительности въ видѣ разныхъ высокихъ словечекъ, что читатель, вправѣ считать эти понятія чуть не святыней. Помилуйте, какъ же не дорожить читателю, какъ святыней, такимъ эстетическимъ понятіемъ, которое гласитъ, что искусство должно изображать дѣйствительность, какъ она есть, потому что высшее святое призваніе его — отражать правду жизни. Ну, подумайте, что̀ можетъ быть выше, краше правды, и можно ли придумать для искусства служеніе святѣе, какъ отраженіе правды? И вдругъ является господинъ, который дерзаетъ посягать на подобное эстетическое понятіе, глубоко внѣдренное всѣми своими корнями въ новѣйшее прогрессивное и реальное міровоззрѣніе, рѣшается утверждать, что истинное искусство вовсе не есть представленіе дѣйствительности въ томъ видѣ, какъ она есть, а, напротивъ того, въ истинныхъ своихъ проявленіяхъ оно измѣняетъ дѣйствительность сообразно своимъ цѣлямъ, представляя ее въ преувеличенномъ или одностороннемъ видѣ. *Преувеличеніе*, *односторонность* — эти некрасивыя и ненавистныя слова представляются вѣдь ни чѣмъ инымъ, какъ аттрибутами лжи. Итакъ, дерзкій господинъ вмѣсто высокаго призванія служенія святой правдѣ обрекаетъ искусство на богомерзкое дѣло мороченья, подтасовыванья, лганья. Что это такое? Нахальная иронія, имѣющая цѣлью, унизивъ искусство въ его высшихъ цѣляхъ, показать его ничтожество и несостоятельность, или дикій абсурдъ упрямаго ума, который во что бы то ни стало хочетъ всѣ вещи видѣть шиворотъ на выворотъ?

Нѣтъ, ни то ни другое, а одна простая и безпристрастная истина. Первымъ дѣломъ спѣшу увѣрить читателя, что у меня и въ мысляхъ нѣтъ имѣть какое-либо покушеніе на отрицаніе служенія искусства правдѣ. Но при этомъ я спрашиваю у читателя: знаетъ ли онъ, въ мірѣ ли искусства, или въ мірѣ науки, хоть одну такую правду, которая не была бы относительна и односторонняя, а, напротивъ того, обнимала бы предметы со всѣхъ сторонъ и во всей ихъ сущности? Вѣдь даже такая простая и несомнѣнная истина, какъ $2 \times 2 = 4$, развѣ это не есть самая крайняя односторонность, какую только мы можемъ себѣ представить? Когда мы говоримъ, что два Ивана, да еще два Ивана составятъ четырехъ Ивановъ — вѣдь мы беремъ этихъ Ивановъ только съ одной стороны ихъ количественности и при этомъ не только совершенно упускаемъ изъ вида разныя ихъ качества и свойства, но даже въ нашихъ глазахъ они парадируютъ не какъ живые люди, а какъ отвлеченныя математическія единицы. Замѣтьте, что въ наукахъ положительныхъ и точныхъ вы болѣе всего встрѣтите на каждомъ шагу подобнаго рода односторонніе истины. Наиболѣе отчетливые, совершенные и удачные опыты, наиболѣе богатые выводы и открытія совершаются не иначе, какъ путемъ изолированія разсматриваемаго явленія отъ всѣхъ побочныхъ и излишнихъ для цѣлей изслѣдованія осложненій, или увеличенія до высшихъ степеней интенсивности изслѣдуемыхъ силъ, или произведенія такихъ искусственныхъ комбинацій, подобныя которымъ въ природѣ встрѣчаются очень рѣдко или и совсѣмъ не встрѣчаются. Вѣдь вы же нимало не въ претензіи на химика за то, что онъ изолируетъ подъ стекляннымъ колпакомъ азотъ въ такомъ его чистомъ и безпримѣсномъ видѣ, въ какомъ вы его нигдѣ не встрѣчаете въ природѣ. Вѣдь вы же допускаете, что ученые и техники съ научными или прикладными цѣлями усиливаютъ упругость воздуха или водяныхъ паровъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, въ какихъ въ природѣ такая упругость встрѣчается въ самыхъ рѣдкихъ и экстренныхъ случаяхъ. Вы не назовете лжецомъ ученаго, который, на основаніи самыхъ точныхъ математическихъ вычисленій, опредѣлитъ вамъ, какъ должна быть велика упругость водяныхъ паровъ для того, чтобы пары эти, заключенные въ нѣдра земли, разнесли на куски весь земной шаръ. Наконецъ не обвините вы въ искаженіи дѣйствительности технолога, преподносящаго вамъ нитроглицеринъ, котораго нигдѣ не имѣется въ природѣ внѣ химическихъ заводовъ. Однимъ словомъ, если вы не только допускаете, но и требуете, чтобы наука, спеціальная цѣль которой — истина, правда, измѣняла дѣйствительность сообразно цѣлямъ своихъ изслѣдованій, то на какомъ же основаніи имѣете вы право требовать, чтобы искусство отказалось отъ подобныхъ же отношеній къ дѣйствительности, особенно принимая во вниманіе,

что здѣсь такія отношенія возникаютъ не вслѣдствіе однихъ предумышленныхъ ухищреній изслѣдующаго ума, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вполнѣ инстинктивно, невольно и неотразимо вслѣдствіе силы страстныхъ импульсовъ художника? На какомъ основаніи тѣ самые пути, которые въ наукѣ ведутъ къ истинѣ, въ искусствѣ должны вести ко всяческой лжи? И неужели для того, чтобы искусству остаться платонически вѣрнымъ такъ-называемой «святой правдѣ», оно должно вѣчно пребывать на той же самой низшей ступени разсматриванія дѣйствительности во всемъ ея пестромъ и сложномъ хаосѣ, на какой стоитъ человѣческій умъ при самыхъ первыхъ зачаткахъ своего развитія.

Но въ томъ-то и дѣло, что искусство въ истинныхъ своихъ проявленіяхъ всегда относилось къ дѣйствительности совершенно такъ же, какъ и наука, то-есть разсматривало явленія ея изолированно, односторонне, увеличивало ихъ интенсивность или экстенсивность, наконецъ случалось ему зачастую слагать явленія эти и въ такія комбинаціи, какія хотя и возможны, но встрѣчаются въ дѣйствительности очень рѣдко или же и никогда. И замѣчательно, что именно такія произведенія искусства въ которыхъ явленія жизни разсматриваются наиболѣе изолированно, преувеличенно, въ которыхъ дѣйствительность наиболѣе измѣняется сообразно цѣлямъ творчества,—такія произведенія и производятъ наибольшее впечатлѣніе на читателей, они то въ концѣ-концовъ и заслуживаютъ лестнаго эпитета «правдивыхъ». Напротивъ того, всѣ попытки изображать дѣйствительность во всемъ ея пестромъ хаосѣ, разсматривать явленія жизни въ тѣхъ сложныхъ и случайныхъ ея комбинаціяхъ, въ какихъ она проявляется, обыкновенно ведутъ къ охлажденію или окончательному парализированію того основного впечатлѣнія, которое возбудило творчество художника. Произведенія подобнаго рода могутъ возбудить въ васъ удивленіе относительно наблюдательности художника или искусства вѣрно схватывать предметы, но въ концѣ - концовъ отъ нихъ вѣетъ убійственнымъ холодомъ, вы не вынесете изъ нихъ ни малѣйшаго цѣльнаго впечатлѣнія и страстнаго импульса, а главное дѣло, умъ вашъ будетъ совершенно такъ же неопредѣленно блуждать въ пестромъ хаосѣ художественныхъ образовъ, какъ онъ блуждаетъ въ хаотической средѣ сложныхъ явленій жизни. Такія произведенія смѣло можно уподобить тѣмъ неудачнымъ химическимъ опытамъ, въ которыхъ химикъ не позаботился изолировать свои элементы отъ излишнихъ осложненій, и вмѣсто искомаго соединенія, у него вышла какая-то мутная жидкость, въ которой Богъ вѣсть откуда взялся вдругъ кислородъ и для чего-то въ ней находится угольная кислота, которой вовсе не предполагалось въ искомомъ соединеніи. Нѣсколько примѣровъ я надѣюсь разъяснятъ мои мысли. При этомъ я нарочно начну съ самыхъ простыхъ, элементарно-грубыхъ фактовъ, чтобы показать, что и въ низшихъ своихъ проявленіяхъ искусство вовсе не нуждается въ представленіи дѣйствительности во всей ея сложности и со всѣхъ сторонъ, а измѣняетъ ее сообразно своимъ цѣлямъ.

Представьте себѣ, что на сценѣ изображается гроза. Я нарочно беру грозу на сценѣ, потому что конечно ни поэзія, ни музыка, ни живопись сами по себѣ въ отдѣльности не въ силахъ представить грозу такъ всесторонне, какъ сцена. Если изображеніе грозы на сценѣ въ художественномъ отношеніи вы и не сравните ни съ однимъ классическимъ произведеніемъ другихъ искусствъ, то это происходитъ единственно отъ того, что техника декоративнаго искусства, существующая безъ года недѣлю, далеко еще не развита до такихъ совершенствъ, какъ техника другихъ искусствъ, насчитывающихъ тысячелѣтія своего существованія. Но въ изображеніи своемъ вы можете удесятерить совершенство техники декоративнаго искусства и представить себѣ, что передъ вами на сценѣ въ видѣ грозы парадируетъ нѣчто, нисколько не уступающее по своей художественной высотѣ лучшимъ произведеніямъ всѣхъ прочихъ искусствъ. И все-таки въ какую десятую, сотую, тысячную степень вы ни возводили бы это совершенство, вы не должны упускать изъ виду, что это развитіе техники будетъ крайне односторонне, будетъ касаться всего на всего трехъ-четырехъ признаковъ грозы, и такихъ именно, которые изъ всей массы признаковъ разсматриваемаго явленія наиболѣе дѣйствуютъ на нашу душу, въ видѣ впечатлѣнія величія и страха этого явленія. Это будутъ черныя клубящіяся облака, зловѣщій сумракъ, ослѣпительный блескъ молніи, вой урагана, шумъ и потоки ливня. Эти симптомы театральная техника будетъ стремиться не только натурализовать въ возможной близости къ природѣ, но даже и преувеличивать ихъ грозность въ виду произведенія наибольшей силы впечатлѣнія.

Но изображать грозу только со стороны ея вышеозначенныхъ признаковъ, наиболѣе дѣйствующихъ на нашу душу—значитъ ли воспроизводить это явленіе всецѣло, со всѣхъ его сторонъ, во всей его реальной правдѣ и сущности? Начать съ того, что о чемъ искусство менѣе всего будетъ заботиться, такъ это именно о представленіи грозы въ ея сущности. Къ чему искусству эта сущность грозы въ видѣ электричества со всѣми его законами? Стремиться воспроизвести грозу на сценѣ въ такой ея реальной правдѣ, чтобы передъ зрителями была не картонная только гроза, а дѣйствительная, какъ есть настоящая, электрическая,—это всегда будетъ не только роскошью, но, напротивъ того, не трудно доказать, что погоня за подобнымъ излишествомъ близости къ природѣ сразу парализуетъ достиженіе существенной спеціальной цѣли изображенія. Вѣдь эта цѣль заключается не въ произведеніи физическаго опыта, а въ стремленіи поразить зрителей величіемъ картины грозы въ природѣ. Согласитесь же, что даже при всемъ несовершенствѣ декоративной техники искусство и въ наше время стоитъ ближе къ достиженію этой цѣли, чѣмъ еслибы оно произвело передъ зрителями настоящую грозу. Вы подумайте только, какъ мизерна была бы подобная гроза подъ тѣсными сводами театральной сцены и какъ она мало дала бы зрителямъ понятія о настоящей грозѣ подъ необъятными сводами неба. И вотъ вамъ сразу открываются двѣ односторонности: съ одной стороны односторонность науки, которая въ лицѣ физика упускаетъ совершенно изъ виду величественные аттрибуты грозы и представляетъ вамъ ее

въ видѣ цѣпи гальваническихъ и электрическихъ приборовъ, не имѣющихъ по своей наружности никакого и близкаго подобія съ изслѣдуемымъ явленіямъ природы, но за то представляющихъ сущность его; а съ другой стороны—односторонность искусства, которое только съ внѣшними аттрибутами грозы и имѣетъ дѣло, нисколько не касаясь сущности ея.

Но и къ внѣшнимъ аттрибутамъ искусство относится столь же односторонне, нисколько не заботясь о полнотѣ и всесторонности и ставя на первый планъ только такіе, которые въ данномъ случаѣ соотвѣтствуютъ его цѣлямъ. Такъ напримѣръ, въ дѣйствительности каждая конкретная гроза осложняется массой явленій, которыя всецѣло входятъ въ нее и зависятъ отъ нея, но которыя не только не заключаютъ въ себѣ ничего величественнаго и поразительнаго, но, напротивъ того, въ извѣстной степени охлаждаютъ и парализуютъ общее впечатлѣніе, производимое на насъ грозой. Гроза состоитъ не изъ однихъ только ослѣпительныхъ зигзаговъ молній, оглушительныхъ ударовъ грома, воя урагана и шума ливня. Любуясь на нее изъ окошка, вы увидите и тоскливое зрѣлище мутныхъ потоковъ грязи по улицамъ или колеямъ дорогъ, и комическія фигуры промокшихъ до костей прохожихъ съ вывороченными зонтиками, и тутъ-же какія-нибудь бабы съ грязными подобранными подолами забавно шлепаютъ по лужамъ босыми ногами, заботливо снимая съ мокраго забора повѣшанное сушиться бѣлье. Всѣ подобные аксессуары могутъ до такой степени занять и развлечь васъ, когда вы любуетесь грозой изъ окошка, что вы совершенно забудете о всемъ величіи зрѣлища. Очевидно, что художнику, имѣющему спеціальную цѣль поразить васъ величіемъ грозы,—не для чего приводить подобныхъ аттрибутовъ изображаемаго явленія, иначе онъ рискуетъ, при всемъ выигрышѣ относительно полноты и близости дѣйствительности, проиграть въ самомъ главномъ —въ силѣ основного впечатлѣнія, играющаго въ произведеніи его существенную роль. Другое дѣло, если это комическій художникъ. Тогда можетъ случиться совершенно наоборотъ: всѣ грозные аттрибуты бури отступятъ въ его изображеніи на самый задній планъ, они будутъ едва замѣтны въ картинѣ или можетъ быть даже и ихъ художнику удастся изобразить въ какомъ-нибудь комическомъ видѣ. На первый же планъ выступятъ передъ вами различные комическіе пассажи, сопровождающіе грозу, и будутъ рисоваться передъ вами не въ примѣръ смѣшнѣе, чѣмъ они проявляются въ дѣйствительности. Въ обоихъ случаяхъ передъ вами будетъ односторонность, преувеличеніе одного на счетъ другого, но нельзя сказать, чтобы это была ложь и искаженіе дѣйствительности. Это только естественное стремленіе художественнаго творчества выдвинуть передъ вашими глазами одну изъ правдъ, заключающихся въ предметѣ, и наиболѣе освѣтить ее, наиболѣе поразить васъ ею.

Тоже самое мы видимъ напримѣръ и въ ваяніи. Древніе скульпторы, нисколько не заботясь о томъ, чтобы тѣло ихъ статуй во всѣхъ отношеніяхъ походило на человѣческое, выставляли въ своихъ произведеніяхъ только одинъ аттрибутъ тѣла—красоту и гармонію различныхъ сочетаній линій. Это одно они только и имѣли въ виду и далѣе затѣмъ для нихъ было совершенно все равно, изъ бѣлаго ли, изъ чернаго ли мрамора были изваяны ихъ статуи или вылиты изъ бронзы, соотвѣтствовали ли онѣ въ своей величинѣ человѣческому росту, или не соотвѣтствовали. Подобной спеціализаціей они достигали той полноты и цѣльности впечатлѣнія, какія ставятъ произведенія ихъ на недосягаемую высоту. Впослѣдствіи, когда древняя цивилизація начала падать и вкусы начали грубѣть, явилось раскрашиванье статуй. Съ точки зрѣнія натурализма это былъ шагъ впередъ. Подумайте, какая разница относительно всесторонней близости дѣйствительности, представляется ли вамъ тѣло человѣческое бѣлымъ, чернымъ, бронзовымъ или въ своемъ натуральномъ цвѣтѣ. Но спрашивается, выиграло ли древнее ваяніе отъ подобной натурализаціи? Напротивъ того, совершенно проиграло. Обратите вниманіе на общеизвѣстную странность: казалось бы, что бѣлый цвѣтъ мраморныхъ статуй долженъ былъ бы болѣе всего возбуждать въ насъ представленіе о трупахъ, а между тѣмъ выходитъ совсѣмъ наоборотъ: когда мы любуемся мраморными статуями, намъ и въ голову не приходитъ, что статуи эти походятъ по своему цвѣту на мертвыя тѣла. Когда-же мы смотримъ на восковыя фигуры и раскрашенныя статуи, то, несмотря на ихъ натуральный цвѣтъ живого тѣла, онѣ производятъ на насъ тяжелое впечатлѣніе труповъ, и долгое пребываніе въ одиночествѣ въ обществѣ подобныхъ фигуръ способно возбудить въ васъ ужасъ, а нервнаго человѣка довести до галлюцинацій. Этотъ фокусъ очень легко объяснить: когда вы смотрите на мраморную статую, вы получаете отъ нея одно спеціальное впечатлѣніе красоты формъ; ею только вы и любуетесь въ статуѣ и совершенно при этомъ забываете о томъ, на сколько походитъ или не походитъ эта статуя на живое тѣло во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Васъ не только при этомъ не занимаетъ цвѣтъ статуи, но нимало не шокируетъ даже отсутствіе въ ней глазъ, такъ все вниманіе ваше поглощено преобладающимъ впечатлѣніемъ красоты формъ. Но попробуйте раскрасить эту статую,—и сейчасъ впечатлѣніе, получаемое вами отъ нея, осложнится, раздвоится: вы будете видѣть въ статуѣ не спеціально одну только красоту формъ, но и цвѣтъ тѣла, волосъ, выраженіе глазъ. Весь этотъ ансамбль невольно заставитъ васъ сравнивать статую съ живымъ человѣкомъ и оцѣнивать, на сколько подходитъ она къ нему, чего вы прежде не дѣлали. Подобное сравненіе немедленно-же выдвинетъ впередъ новое впечатлѣніе, именно то, что вотъ передъ вами повидимому совсѣмъ живой человѣкъ, а между тѣмъ онъ неподвиженъ, какъ трупъ. Это впечатлѣніе воцарится надо всѣми прочими и парализуетъ ихъ окончательно. Въ концѣ концовъ вамъ будетъ не до красоты формъ, не до цвѣта кожи, не до выраженія глазъ: вы будете только всматриваться въ мертвую неподвижность статуи и съ мурашками, проходящими по кожѣ, ожидать, что вотъ она сейчасъ кивнетъ головой, пошевелитъ пальцемъ, моргнетъ глазами и пр. Согласитесь, что подобными ожиданіями обыкновенно кончаются всѣ созерцанія восковыхъ фигуръ, какъ-бы онѣ ни были хорошо сдѣланы. Чтобы избѣ-

жать подобнаго непріятнаго впечатлѣнія мертвенности въ восковыхъ фигурахъ, люди придумали придавать имъ еще большую натурализацію, дѣлать ихъ движущимися. И хотя вслѣдствіе этого онѣ сдѣлались еще ближе къ дѣйствительности, онѣ все-таки стали не менѣе, если не болѣе отвратительны. Если въ движущихся фигурахъ васъ не поражаетъ болѣе трупная мертвенность, за то тѣмъ болѣе тяжелое давящее впечатлѣніе производитъ методичность и однообразная періодичность однихъ и тѣхъ-же движеній. Это нѣчто, при всей своей кажущейся близости къ дѣйствительности, совершенно несообразное съ ней, въ гораздо большей степени—ложь, чѣмъ статуя со своимъ бронзовымъ тѣломъ и безъ глазъ. Ну, чтожъ затѣмъ? Остается развѣ еще болѣе приблизить восковую фигуру къ дѣйствительности, заставить ее дѣлать самыя разнообразныя движенія и отвѣчать на ваши вопросы натуральнымъ человѣческимъ голосомъ. Но я убѣжденъ, что и въ такомъ случаѣ, вмѣсто цѣльнаго эстетическаго впечатлѣнія, вы вынесли-бы еще въ большей степени тяжелое чувство, вродѣ кошмара, которое тѣмъ сильнѣе проявилось-бы въ васъ, чѣмъ болѣе механику удалось-бы *обмануть* васъ близостью къ дѣйствительности, заставивши принять восковую фигуру за живого человѣка, а потомъ разочароваться въ этомъ. А главное дѣло, замѣтьте опять-таки фокусъ: въ то время какъ при созерцаніи какой-нибудь Венеры Милосской вамъ и въ голову не приходитъ, что художникъ лжетъ, надуваетъ васъ, выдавая вамъ за живого человѣка безглазую статую съ алебастрово-бѣлымъ тѣломъ и съ такими-же бѣлыми волосами, здѣсь, напротивъ того, первое представленіе, какое должна возбудить въ васъ поразительная близость восковой фигуры къ дѣйствительности, это—представленіе очень хитраго и искуснаго обмана. Этотъ фокусъ лежитъ въ существѣ натурализаціи, поставленной единственной и спеціальной цѣлью искусства. Когда художникъ вдохновленъ какой-нибудь правдой жизни, ну, хоть напримѣръ въ данномъ случаѣ правдой красоты формъ человѣческаго тѣла, онъ только и стремится къ тому, чтобы выразить эту правду, и образъ его будетъ дышать этой правдой, какъ-бы ни была она относительна и одностороння и хотя-бы художественный образъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ не имѣлъ ничего общаго съ дѣйствительностью. Если-же художника не поражаетъ никакая реальная, данная, конкретная правда, всегда односторонняя, если подъ правдой онъ подразумѣваетъ только общее, отвлеченное понятіе рабской вѣрности дѣйствительности, въ такомъ случаѣ каждый разъ, когда будетъ представляться къ этому какая-либо возможность, у художника должна естественно возникать благородная цѣль своей вѣрностью дѣйствительности обмануть зрителя или читателя, заставивши ихъ забыть, что передъ ними не настоящая дѣйствительность, а только художественно воспроизведенная. Такимъ образомъ мы видимъ, что ложь лежитъ скорѣй въ основѣ и цѣляхъ излишней погони за вѣрностью дѣйствительности, а никакъ не въ тѣхъ измѣненіяхъ ея, какія допускаетъ истинное искусство подъ вліяніемъ различныхъ творческихъ эксцессовъ. Не помню, 10 или 15, а можетъ быть и всѣхъ 20 лѣтъ тому назадъ, на академической выставкѣ была выставлена однимъ художникомъ картина, изображающая ничего болѣе, какъ задъ картины, т. е. холстъ и сосновую рамку со шпинъками по краямъ. До такой степени это было вѣрно изображено, что посѣтители выставки, невооруженные каталогами, въ недоумѣніи останавливались передъ этой картиной и спрашивали, за какую это провинность картина обращена передомъ къ стѣнѣ. Вотъ вамъ наглядная эмблема натурализма. Какъ назвать подобную выходку художника: безцѣльнымъ, пошлымъ обманомъ или, напротивъ того, самой реальной правдой жизни?

Обращаясь затѣмъ къ россійской словесности, я намѣренъ остановиться главнымъ образомъ на новомъ произведеніи А. Потѣхина, романѣ «Около денегъ», напечатанномъ въ трехъ послѣднихъ книжкахъ прошлаго года «Вѣстника Европы» и появившемся недавно въ отдѣльномъ изданіи. Но прежде чѣмъ я приступлю къ главному предмету моего письма, я намѣренъ представить двѣ параллели: одну въ видѣ контраста относительно произведенія Потѣхина, другую-же, наоборотъ, въ видѣ подобія ему. Это именно—двѣ поэмы Некрасова «Русскія женщины» и повѣсти Григоровича изъ народнаго быта. Выборъ этихъ произведеній сдѣланъ мной не случайно, несмотря на то, что они относятся повидимому къ разнымъ эпохамъ и не имѣютъ ничего общаго между собой по своему содержанію. Поэмы Некрасова я избираю на томъ основаніи, что я никакъ не могу припомнить ни одного художественнаго произведенія, вышедшаго въ послѣднія десять лѣтъ въ нашей печати, которое произвело-бы на публику такое сильное и цѣльное впечатлѣніе и которое вмѣстѣ съ тѣмъ было-бы такъ систематически односторонне, какъ именно эти самыя поэмы Некрасова. Что-же касается до Григоровича, я не знаю писателя, болѣе подобнаго А. Потѣхину, какъ именно этотъ беллетристъ 40 годовъ.

Начинаю съ поэмъ Некрасова. Я уже сказалъ выше, что я не могу припомнить никакого другого произведенія изъ появившихся въ послѣднія десять лѣтъ, которое равнялось-бы этимъ поэмамъ по силѣ и цѣльности производимаго ими впечатлѣнія. Изъ произведеній самого Некрасова, написанныхъ до и послѣ этихъ поэмъ, вы не найдете подобныхъ имъ по классически-строгой, если можно такъ выразиться, художественности. Это превосходство поэмъ Некрасова произошло, по моему мнѣнію, не изъ чего иного, какъ изъ того, что предметъ ихъ оказался столь близкимъ и дорогимъ душѣ художника, что всецѣло завладѣлъ имъ, возбудилъ его творчество до высшаго напряженія и заставилъ его забыть все остальное, побочное, все, чѣмъ осложнялся въ свое время этотъ предметъ. Когда вы прочтете эти поэмы, несомнѣнно онѣ произведутъ на васъ впечатлѣніе реальной правдивости, въ васъ не закрадется и тѣни сомнѣнія, что авторъ измѣнилъ дѣйствительность, однѣ ея стороны совсѣмъ опустилъ, другія-же выдвинулъ впередъ и представилъ въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ. А между тѣмъ, при всей реальной правдивости поэмъ, авторъ все это продѣлалъ. Не то чтобы самъ онъ все это искусственно, преднамѣренно продѣлалъ, но какъ-то это само все совершилось силой его творческаго пафоса.

Цѣль поэмъ Некрасова заключается въ томъ, чтобы выставить въ наиболѣе яркомъ свѣтѣ героизмъ тѣхъ нашихъ доблестныхъ соотечественницъ 20-хъ годовъ, которыя, покидая весь комфортъ роскошной жизни, всѣ прелести и приманки большого свѣта, отправлялись за своими мужьями раздѣлять ихъ суровую каторжную, казематную жизнь въ далекихъ и глубокихъ снѣгахъ Сибири. И поэмы съ такой исключительностью направлены къ этой цѣли, что не найдете вы въ нихъ ни одной черты, ни одного стиха, которые были-бы лишни, побочны, были-бы сами по себѣ и отвлекали-бы отъ главной цѣли поэмъ куда-нибудь совсѣмъ въ сторону. Каждая сцена, каждая деталь въ нихъ словно нарочно подобраны въ такомъ родѣ и духѣ, чтобы наиболѣе достигнуть цѣли выставленія героинь поэмъ въ наиболѣе обольстительномъ цвѣтѣ и величавомъ видѣ. Таковы контрасты золотыхъ сновъ и воспоминаній о прежней роскошной и веселой жизни, о молодости, балахъ, путешествіяхъ съ милымъ по южнымъ странамъ—съ печальной дѣйствительностью безконечнаго пути по унылымъ сибирскимъ сугробамъ, картина сибирской вьюги и ночлега въ хатѣ лѣсника изнѣженной львицы, въ углу на мерзлой и жесткой цыновкѣ, разсказъ о всей трудности семейной борьбы, выдержанной несчастной женщиной, сцена прощанія съ сыномъ, проводовъ, сцена уговариванія со стороны губернатора и самоотверженной готовности продолжать путь пѣшкомъ, съ колодниками по этапу и проч., и проч. Переберите вы всѣ эти сцены подъ рядъ, и вы убѣдитесь, что единственная и главная сторона, которая выступаетъ въ нихъ на первомъ планѣ, это — доблесть и сила самоотверженія выводимыхъ передъ вами героинь. Но развѣ одной этой стороной вполнѣ исчерпываются онѣ? Вы подумайте только: сколько другихъ сторонъ долженъ былъ-бы Некрасовъ освѣтить и очертить передъ нами, еслибы онъ вздумалъ гнаться за всесторонней вѣрностью дѣйствительности? Обратите вниманіе хотя-бы на то, что героини его мыслятъ, говорятъ и дѣйствуютъ совершенно подобно тому, какъ-бы стали мыслить, говорить и дѣйствовать лучшія и образованнѣйшія женщины того-же круга въ наше время. А между тѣмъ въ поэмахъ представляется прошлое, отстоящее отъ нашего времени на цѣлое полстолѣтіе. Въ это время общій колоритъ нравовъ, складъ и умственныхъ, и нравственныхъ качествъ людей, захваченныхъ струей цивилизаціи, успѣли значительно видоизмѣниться. Такъ напримѣръ, намъ извѣстно, что 50 лѣтъ тому назадъ въ высшихъ слояхъ общества, которые въ то время представлялись и образованнѣйшими слоями, были въ большой модѣ приторная сентиментальность и напускная экзальтація. Правда, что мужчины начинали въ значительной степени уже освобождаться отъ этихъ свойствъ вѣка и проникаться байроновскимъ романтизмомъ, но великосвѣтскія женщины, которыя въ то время по своему умственному развитію стояли далеко позади своихъ мужей, все еще были преисполнены и сентиментальности, и экзальтаціи. Качества эти въ то время не только не считались чѣмъ-либо позорнымъ и смѣшнымъ, напротивъ того, выставлялись на показъ и преувеличивались, потому что ими гордились, какъ признаками высшаго развитія и избранной натуры. Но тѣмъ не менѣе въ нашихъ глазахъ они неизбѣжно придаютъ смѣшной колоритъ женщинамъ начала нынѣшняго столѣтія не только въ мелочахъ ихъ обыденной жизни, вродѣ проливанія горькихъ слезъ надъ раздавленной божьей коровкой, но и въ болѣе крупныхъ, роковыхъ и высокихъ эпизодахъ жизни ихъ, гдѣ вышеупомянутые признаки вѣка проявлялись конечно еще въ болѣе рѣзкихъ чертахъ. Такъ, нѣтъ сомнѣнія, что и стремленіе къ мужьямъ въ ссылку въ Сибирь, изъ какихъ бы высокихъ и святыхъ побужденій оно ни проистекало и какимъ-бы ореоломъ героизма ни было окружено, тѣмъ не менѣе и оно по всей вѣроятности сопровождалось не малой дозой взрывовъ сентиментальности и экзальтаціи. Или вотъ вамъ и другая еще черта вѣка: извѣстно, что великосвѣтскіе люди начала нынѣшняго столѣтія отличались безумнымъ мотовствомъ, доходившимъ иногда до послѣднихъ предѣловъ вѣроятія. Женщины-же того времени превосходили конечно въ этомъ отношеніи мужчинъ, потому что мужчины мотали только изъ одной барской прихоти и самодурства, женщины-же сверхъ того слѣпо бросали деньги, потому что были по своему воспитанію безусловно лишены какого-бы то ни было знанія практической жизни, существовавшихъ въ то время отношеній, цѣнъ на разные продукты, чѣмъ конечно пользовались со всѣхъ сторонъ и надували барынь самымъ чудовищнымъ образомъ, беря съ нихъ сотни и тысячи рублей тамъ, гдѣ слѣдовало-бы платить копейками. Отъ такого недостатка конечно не были изъяты и героини наши, и надо полагать, что долгое и трудное путешествіе ихъ въ Сибирь не обошлось безъ цѣлаго ряда сценъ и комическихъ, и жалкихъ въ этомъ родѣ. По крайней мѣрѣ вотъ что мы читаемъ по поводу женъ декабристовъ въ запискахъ Черепанова (см. «Древняя и Новая Россія», № 7 1876 г.): «Дамы, какъ называютъ здѣсь женъ декабристовъ, разсыпали по здѣшней мѣстности кучи денегъ съ такой щедростью, что я самъ однажды получилъ отъ княгини Трубецкой пять рублей за очинку ей пера (тогда не было еще стальныхъ перьевъ). Это обстоятельство выдвинуло смѣтливыхъ людей изъ ничего на степень богачей. Такъ разжился мясникъ Ефремовъ, ссыльно-каторжникъ» и т. д. Хотя конечно сибирскій казакъ Черепановъ — неахти какой авторитетъ относительно достовѣрности сообщаемыхъ имъ свѣдѣній, и въ той-же «Древней и Новой Россіи», номера за 2, за 3, былъ уличенъ въ сообщеніи невѣрныхъ свѣдѣній именно относительно декабристовъ. Но если допустить даже, что онъ все это выдумалъ, то выдумано довольно правдоподобно, не въ частностяхъ, такъ въ общемъ. По крайней мѣрѣ я вполнѣ готовъ вѣрить, что различнымъ сибирскимъ плутамъ, вродѣ хотя-бы мясника Ефремова, выставляемаго Черепановымъ, пріѣздъ женъ декабристовъ былъ очень съ руки.

Представьте-же вы теперь, что Некрасовъ изъ желанія воспроизвести личности изображенныхъ женщинъ какъ можно всесторонніе и ближе къ дѣйствительности не упустилъ-бы придать имъ значительный оттѣнокъ сентиментальной экзальтаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ ребяческой непрактичности, заставлявшей ихъ сорить деньгами безъ всякаго разсчету и мѣры,

да ужъ кстати прибавилъ-бы нѣсколько дозъ великосвѣтской щепетильной гордости, отъ которой онѣ по старой привычкѣ никакъ не могли сразу отрѣшиться въ своемъ новомъ положеніи и которая, принося имъ милліонъ мелкихъ терзаній и уколовъ, омрачала и безъ того нерадостную жизнь ихъ. Относительно полноты и всесторонней вѣрности дѣйствительности произведеніе конечно выиграло-бы, но выиграло-ли бы оно въ достиженіи существенной своей цѣли: увлеченія читателя картиною нравственной доблести героинь поэмы? Въ томъ то и дѣло, что въ этомъ именно, въ самомъ-то главномъ оно и проиграло-бы. Теперь читатель выноситъ изъ него одно цѣльное, ничѣмъ ненарушаемое впечатлѣніе, въ видѣ чувства восторга и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокой жалости къ судьбѣ героинь, а тогда эта цѣльность нарушилась-бы. Читатель вынесъ-бы неопредѣленное чувство изъ нѣсколькихъ смѣшанныхъ впечатлѣній, изъ которыхъ одно парализовало-бы другое: хотя съ одной стороны героини и заслуживали-бы поклоненія за свой подвигъ, но съ другой — были-бы нѣсколько и смѣшны своей сентиментальностью, а съ третьей — возбудили-бы отвращеніе антипатичными чертами своей великосвѣтскости — вродѣ надутой щепетильной гордости, непрактичности, мотовства и пр. Такимъ образомъ и здѣсь въ поэмахъ Некрасова мы видимъ тотъ-же законъ обратно пропорціональнаго отношенія всесторонней вѣрности дѣйствительности къ силѣ впечатлѣнія, возбуждаемаго произведеніемъ. Нетрудно при этомъ доказать, что если бы въ другомъ случаѣ, тотъ-же Некрасовъ вздумалъ представить намъ весь комизмъ сентиментальной экзальтаціи, всю нелѣпость безумнаго мотовства нашихъ отцовъ и дѣдовъ или всю несообразность и дикость того ребяческаго незнанія жизни, которымъ наши бабушки гордились, то опять-таки и въ такомъ случаѣ большаго успѣха онъ достигъ-бы въ своемъ произведеніи только тогда, когда все вниманіе читателей исключительно обратилъ-бы на эти выставляемые недостатки. Конечно при этомъ было-бы совершенно излишне заставлять героевъ или героинь сверхъ всего совершать какіе-бы то ни было подвиги самоотверженія, и было-бы величайшей художественной ошибкой и чистѣйшимъ абсурдомъ въ видѣ сентиментально - экзальтированныхъ, безумно - расточительныхъ и дѣтски непрактичныхъ барынь изобразить вдругъ доблестныхъ женъ декабристовъ.

Но можно предположить, что Некрасовъ въ поэмахъ своихъ представилъ дѣйствительность нетолько крайне односторонне, но и преувеличенно. Я убѣжденъ по крайней мѣрѣ, что всѣ эти яркія, патетическія, потрясающія васъ сцены, каковы напримѣръ сцены свиданія съ мужемъ въ темницѣ, губернаторскаго уговариванья, появленія въ рудникахъ,— въ дѣйствительности далеко не были столь ярки и потрясающи и носили тотъ колоритъ сѣренькой заурядности, какой носитъ наша русская жизнь во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, начиная отъ самыхъ низкихъ и комическихъ и до преисполненныхъ высокаго трагизма. Такъ напримѣръ, возьмите вы хотя-бы сцену свиданія въ темницѣ. Женщина, ищущая такого свиданія, является у насъ обыкновенно не иначе, какъ въ видѣ хлопотливой просительницы въ пріемныхъ людей, власть имущихъ, а затѣмъ слѣдуютъ и самыя свиданія, мало чѣмъ отличающіяся отъ заурядныхъ, будничныхъ посѣщеній страждущихъ родныхъ въ больницахъ, причемъ, я не спорю, бываютъ и слезы, и патетическія сцены, но преобладаютъ конечно самыя будничныя хлопоты о снабженіи заключеннаго деньгами и разными необходимыми продуктами. И опять-таки я спрашиваю у васъ: неужели поэмы Некрасова выиграли-бы, если-бы онъ вздумалъ педантически соблюдать буквальную вѣрность дѣйствительности и наполнилъ-бы сцену свиданія разговорами княгини съ мужемъ о томъ, хорошо-ли его кормятъ и не нуждается-ли онъ въ сигарахъ или чистомъ бѣльѣ, и т. п.?

Вы сдѣлаете мнѣ быть можетъ такое возраженіе, что, положимъ, Некрасовъ имѣлъ свою спеціально-одностороннюю цѣль изобразить своихъ героинь только въ моменты совершенія ими ихъ высокаго подвига; но развѣ иной художникъ не могъ-бы задаться попыткой объективнаго всесторонняго воспроизведенія данной дѣйствительности не съ какой иной цѣлью, какъ лишь съ той, чтобы воспроизвести передъ нами ту или другую эпоху во всѣхъ ея хорошихъ и дурныхъ чертахъ, воскресить ее передъ нами во всѣхъ ея краскахъ? Неужели-же я отрицаю историческій романъ, да и вообще всякій романъ, какъ эпопею современной или прошлой жизни? Нѣтъ, я все это допускаю, но я отрицаю только объективно-безстрастное отношеніе художника какъ изображаемой имъ дѣйствительности,—то объективное безстрастное отношеніе, при условіи котораго только и возможно вполнѣ вѣрное и всестороннее изображеніе дѣйствительности. Такого рода отношеніе художника къ изображаемымъ явленіямъ совершенно, по моему мнѣнію, выходитъ изъ области искусства въ его истинномъ смыслѣ. Это вовсе не художественное творчество, а техника, ремесло. Изображенія подобнаго рода могутъ блистать своего рода совершенствами, но совершенства эти будутъ именно *своего рода*, не имѣющія ничего общаго съ совершенствами истинно-художественныхъ произведеній. Здѣсь мы будемъ имѣть дѣло съ совершенствами чисто техническими: съ вѣрнымъ и зоркимъ глазомъ, умѣньемъ схватывать колоритъ предметовъ, всѣ малѣйшіе оттѣнки ихъ и правильно разставлять подробности и пр., и пр. Но здѣсь и рѣчи не можетъ быть о истинныхъ, высшихъ задачахъ искусства — увлекать читателей изображаемыми явленіями жизни, возбуждать въ нихъ тѣ или другіе страстные импульсы, заставлять ихъ не однимъ воображеніемъ и мыслью, но всѣмъ существомъ переживать изображаемую жизнь. Подобныя изображенія наконецъ могутъ приносить свою пользу, но и польза ихъ совершенно своя, особенная, научно прикладная, служебная. Романы, все равно изъ исторической или современной жизни, не имѣющіе иной цѣли, какъ только объективно-всестороннее изображеніе жизни, вполнѣ, по моему мнѣнію, равняются по своему значенію и пользѣ атласамъ географическимъ, ботаническимъ, зоологическимъ и т. п. Всѣ подобные атласы тоже могутъ имѣть свои технически-художественныя совершенства въ смыслѣ вѣрности изображенія, изящества отдѣлки и т. п. Но, какъ-бы ни были прекрасно изображены въ нихъ цвѣты, попугаи, обезьяны или цѣлыя части свѣта, вѣдь не сравните-же вы ихъ съ лучшими со-

зданіями живописнаго творчества и будете смотрѣть на нихъ вовсе не въ художественныхъ интересахъ, въ видѣ возбужденія въ себѣ какихъ-либо страстныхъ импульсовъ, а съ чисто научной цѣлью помочь своей памяти и воображенію путемъ живого и наглядnаго представленія изучаемыхъ предметовъ. Но развѣ массы романовъ на всѣхъ языкахъ не ограничиваются преслѣдованіемъ столь-же чисто научно-прикладной цѣли помогать нашимъ воображенію и памяти при изученіи явленій жизни исторической или современной? Что иное можетъ принести вамъ чтеніе «Князя Серебрянаго» гр. А. Толстого, какъ не наглядное представленіе эпохи Іоанна Грознаго? Или съ какимъ инымъ побужденіемъ можете вы приняться за чтеніе романа «Въ лѣсахъ» Печерскаго, какъ не для того, чтобы узнать, какъ живутъ раскольники въ костромскихъ лѣсахъ, и прибавить нѣсколько нелишнихъ представленій въ сокровищницу своей памяти? Я и не думаю такимъ образомъ отрицать ни значенія, ни пользы всѣхъ подобныхъ произведеній, но только не воображайте, чтобы они въ свою очередь были продуктами художественнаго творчества, не считайте ихъ произведеніями искусства въ строгомъ смыслѣ этого слова и не смѣшивайте въ одну неопредѣленную кучу съ истинными перлами художественныхъ созданій, и притомъ дѣлайте такое строгое разграниченіе вовсе не ради установленія какой-либо іерархіи въ области искусства, возвеличенія однихъ произведеній насчетъ другихъ, а чисто въ виду ясности сознанія, что вотъ, молъ, эти вещи принадлежатъ къ одной категоріи, а тѣ совсѣмъ къ другой, хотя и тѣ и другія конечно могутъ быть въ своей области болѣе или менѣе совершенны: ботаническій атласъ можетъ быть не въ примѣръ совершеннѣе, какъ атласъ, чѣмъ иной художественный ландшафтъ, какъ ландшафтъ; но тѣмъ не менѣе атласъ пусть остается атласомъ, а ландшафтъ—ландшафтомъ.

При этомъ нужно обратить вниманіе и на то, что присутствіе художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности въ произведеніи или-же отсутствіе его не всегда зависитъ отъ одного количества творческихъ силъ, вложенныхъ въ писателя судьбой. Здѣсь играетъ большую роль также и напряженіе этихъ силъ, которое независимо отъ ихъ количества можетъ въ данномъ случаѣ имѣть бо́льшую или меньшую степень. Если предметы, съ которыми имѣетъ дѣло писатель, совершенно чужды ему, онъ относится къ нимъ вполнѣ индифферентно, никакая сторона этихъ предметовъ особенно не задѣваетъ его за-живое, не волнуетъ, не трогаетъ, то конечно можно ожидать, что писатель, какимъ-бы громаднымъ талантомъ ни обладалъ, будетъ относиться къ нимъ скорѣе какъ художникъ-техникъ, чѣмъ какъ художникъ-творецъ. У него безъ сомнѣнія тотчасъ-же должно явиться стремленіе обрисовывать эти предметы со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ ихъ мелочахъ, именно въ силу того, что всѣ стороны для него одинаково замѣчательны и незамѣчательны, а съ другой стороны при такомъ хладнокровіи онъ окажется способнымъ обратить вниманіе на такія не стоющія вниманія мелочи, какія онъ конечно совершенно опустилъ-бы изъ виду въ порывѣ страстнаго экстаза. Въ результатѣ должно выйти произведеніе, загроможденное ненужными подробностями, безчувственно и безсердечно холодное, не представляющее никакой основной и разумной цѣли, которая-бы двигала авторомъ, не дающее никакого цѣльнаго впечатлѣнія, и въ концѣ-концовъ, несмотря на то, что предметы въ немъ обрисованы повидимому мастерской кистью со всѣхъ сторонъ и съ самыми мелочными подробностями, вы вынесете о нихъ темное, неопредѣленное и сбивчивое понятіе, если только ранѣе и помимо произведенія вы не успѣли составить о нихъ болѣе яснаго понятія. Какъ на образцы такого явленія мы можемъ указать на массу бе́летристическихъ произведеній, представляющихъ жизнь слоевъ общества, совершенно чуждыхъ авторамъ и съ которыми послѣдніе имѣютъ очень мало точекъ соприкосновенія. Таковы напримѣръ романы, повѣсти, очерки изъ жизни крестьянъ, мѣщанъ и купцовъ. Какъ хотите, а только этимъ можно объяснить, что въ массѣ всѣ подобныя произведенія, несмотря на гуманное отношеніе къ героямъ со стороны авторовъ, поражаютъ насъ своей холодной объективностью, фотографичностью, полнымъ отсутствіемъ того живого, непосредственнаго отношенія къ изображаемымъ предметамъ и того горячаго одушевленія, какимъ бываютъ проникнуты повѣсти, изображающія жизнь и нравы интеллигентныхъ классовъ общества. Такъ напримѣръ, возьмите хотя-бы романы и повѣсти Григоровича изъ крестьянскаго быта. О нихъ существовало одно время, лѣтъ десять или пятнадцать тому назадъ, ложное предубѣжденіе, не знаю ужъ какъ возникшее, что будто въ повѣстяхъ этихъ изображены не настоящіе русскіе мужики, а нѣчто вродѣ пейзанъ романовъ Жоржъ Занда. Не знаю, можетъ быть въ большихъ романахъ Григоровича, вродѣ «Рыбаки» или «Переселенцы», вы и найдете двѣ-три фигуры, смахивающія на пейзанъ, но въ большинствѣ случаевъ, и особенно въ мелкихъ разсказахъ Григоровича, русскіе мужики являются вполнѣ похожими на настоящихъ и чистокровныхъ мужиковъ, со всѣми мелкими деталями ихъ быта, въ чемъ я вполнѣ убѣдился, перечитавши недавно подрядъ всѣ произведенія Григоровича въ этомъ родѣ. Отношеніе автора къ героямъ безхитростно простое, гуманное, въ то-же время безъ малѣйшей какой-либо напускной сентиментальности или идеализаціи. Рядомъ съ хорошими чертами крестьянскаго быта не упущена и масса дурныхъ. Вообще я не нашелъ почти никакой существенной разницы между этими повѣстями и современными намъ изображеніями крестьянскаго быта. Но меня поразила вотъ какая особенность во всѣхъ этихъ разсказахъ: надо замѣтить, что бо́льшая часть ихъ тенденціозны, стремятся выставить, что́ терпитъ крестьянинъ подъ гнетомъ крѣпостного права. Съ этой цѣлью авторъ избираетъ иногда вполнѣ драматическіе сюжеты, каковъ напримѣръ сюжетъ повѣсти «Антонъ-Горемыка». Послѣдній сюжетъ до того подкупилъ и увлекъ Бѣлинскаго, что тотъ поставилъ повѣсть эту превыше всего, что́ появилось въ то время въ литературѣ въ этомъ родѣ. «Несмотря на то,—говоритъ Бѣлинскій,—что внѣшняя сторона разсказа вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ—мужикъ простой, вовсе не изъ бой-

кихъ и хитрыхъ, онъ—лицо трагическое, въ полномъ значеніи этого слова. Это—повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя», и пр.

Я нисколько не ставлю Бѣлинскому въ вину подобный приговоръ, но все-таки мнѣ кажется, что въ немъ, въ лицѣ Бѣлинскаго, публицистъ преобладаетъ надъ критикомъ. Попробуйте перечитать эту повѣсть, и вы увидите, что сюжетъ ея самъ по себѣ дѣйствительно драматическій и трогательный, и нельзя сказать, чтобы былъ совсѣмъ отжившій для нашего времени: стоитъ только замѣнить въ немъ барскаго управляющаго сельскими властями, становымъ и судебными приставами—и онъ можетъ получить вполнѣ современное значеніе. Но странно, сужденіе ваше о драматичности разсказа будетъ чисто разсудочно-головное, и трогательный сюжетъ ни мало не тронетъ васъ. Дочитавъ повѣсть до конца, вы останетесь точно также апатично-спокойны, какъ будто прочли вовсе не о бѣдствіяхъ Антона-Горемыки, а рядъ художественныхъ картинъ, выставляющихъ прелести и красоты сельской природы. Оно такъ и есть: вы, собственно говоря, это самое и прочли и одними прелестями и ароматами сельской природы вы и должны были напечатлѣться. Дѣло въ томъ, что передъ вами вовсе не художникъ-публицистъ и драматургъ, который такъ глубоко былъ-бы взволнованъ судьбой Антона-Горемыки, что вздумалъ-бы выставить на первый планъ и поразить васъ всей оскорбительностью бѣдствій героя. Нѣтъ, передъ вами художникъ-жанристъ, который хотя поставилъ въ основѣ разсказа драматическій сюжетъ, заплативъ имъ дань вѣку, но въ сущности сюжетъ этотъ послужилъ ему ничѣмъ болѣе, какъ лишь канвой для вышиванія своихъ любимыхъ узоровъ. Но подумайте, развѣ вы заботитесь о канвѣ, когда любуетесь вышивкой? Очевидно, что одни узоры только и привлекаютъ все ваше вниманіе. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: авторъ нанизываетъ такую массу мелкихъ, иногда поразительно-микроскопическихъ деталей различныхъ оттѣнковъ сельской природы—во всѣхъ четырехъ временахъ года, въ полдень, въ полночь, вечеромъ и утромъ на разсвѣтѣ, въ лѣсу, въ полѣ, въ селѣ и въ хатѣ мужика, что гдѣ ужъ тутъ проникаться бѣдствіями Антона-горемыки, когда васъ только и хватаетъ на то, чтобы любоваться, какъ «кругомъ въ лѣсу царствовала тишина мертвая; на всемъ лежала печать глубокой, суровой осени; листья съ деревъ падали и влажными грудами устилали застывшую землю; всюду чернѣлись голые стволы деревъ» и пр., и пр., или какъ «возъ, навьюченный красноватымъ и сизымъ хворостомъ, медленно выѣзжалъ изъ лѣсу, скрыпя и покачиваясь изъ стороны въ сторону, какъ бы изловчаясь сбросить съ себя при первомъ косогорѣ лишнюю тяжесть» и пр., и пр.... Вообще любая повѣсть изъ народнаго быта Григоровича производитъ впечатлѣніе путешествія по картинной галлереѣ пейзажей и жанра. Вы только и дѣлаете, что переходите отъ одной картинки къ другой: тамъ вы находите, что колоритъ слишкомъ ярокъ, здѣсь, что, напротивъ того, положено много тѣни, въ третьемъ мѣстѣ васъ восхищаетъ ансамбль крестьянскихъ дѣвушекъ, очень удачно, картинно и типично сгруппированныхъ вокругъ воза коробейника, въ четвертомъ васъ поражаетъ наблюдательность художника, съумѣвшаго подмѣтить удивительно тонкій оттѣнокъ природы или жизни и пр., и пр. Въ результатѣ же, какъ и послѣ каждаго долгаго путешествія по залamъ музеевъ и выставокъ, должна получиться рядомъ съ физической усталостью и нѣкоторая нервная оскомина. Очевидно, что тутъ ужъ вамъ будетъ не до бѣдствій Антона-Горемыки: закружится просто голова отъ излишества сельскихъ пейзажей и ароматовъ, и вы начнете въ утомленіи перевертывать страницу за страницей, въ нетерпѣніи ожидая, что когда же всему этому будетъ конецъ?

Въ этомъ отношеніи повѣсти Григоровича изъ народнаго быта могутъ служить вамъ прекрасными образцами, показывающими, чтб выходитъ изъ того, если художникъ преслѣдуетъ въ своемъ произведеніи разомъ нѣсколько цѣлей, не сосредоточиваясь исключительно ни на одной. Очевидно, что въ такомъ случаѣ онъ или не достигаетъ ни одной изъ нихъ, и произведеніе его будетъ производить неопредѣленное и смѣшанное впечатлѣніе, или же въ результатѣ окажется перевѣсъ за той цѣлью, достиженіе которой болѣе интересуетъ художника, ближе его душѣ, сообразнѣе свойствамъ его таланта и складу его характера подъ вліяніями воспитавшихъ его условій среды и вѣка. Такъ вотъ и въ данномъ случаѣ: художникъ-пейзажистъ и жанристъ вытѣснилъ художника публициста вслѣдствіе того, что стороны сельской жизни, которыя болѣе всего занимали Григоровича и возбуждали его поэтическое творчество, встали на первый планъ и заслонили собой тѣ иныя стороны быта мужика, которыя Григоровичъ постигалъ только головой. Однимъ словомъ, здѣсь случилось нѣчто аналогическое съ тѣмъ, что происходитъ при различныхъ химическихъ опытахъ, вродѣ напримѣръ разложенія воды—причемъ вещества, имѣющія химическое сродство съ водородомъ, соединяются съ нимъ и освобождаютъ кислородъ, и обратно.

Но сочиненія Григоровича поучительны для насъ въ данномъ случаѣ не только сами по себѣ. Они могутъ служить подтвердительными фактами при нашемъ дальнѣйшемъ анализѣ новаго романа А. Потѣхина, потому что представляютъ изъ себя явленія, вполнѣ аналогичныя какъ съ этимъ романомъ, такъ и со многими произведеніями А. Потѣхина. Въ самомъ дѣлѣ, трудно сыскать въ нашей литературѣ двухъ писателей, столь схожихъ по своей литературной дѣятельности, какъ Григоровичъ и А. Потѣхинъ. Одинъ словно служитъ дополненіемъ и продолженіемъ другого. Правда, что между ними найдете вы кое-какую и разницу: такъ, Григоровичъ покажется вамъ конечно талантливѣе и умнѣе А. Потѣхина; онъ не задается съ такой беззавѣтной пошлостью сентенціями прописной морали, какъ это бывало зачастую съ А. Потѣхинымъ; въ то же время онъ отличный пейзажистъ, тогда какъ Потѣхинъ совсѣмъ не обладаетъ этимъ даромъ, и въ его произведеніяхъ вы почти не найдете ни одного описанія природы. Зато, въ то время какъ Григоровичъ ограничивается одними только помѣщиками и крестьянами, Потѣхинъ

сверхъ того изображаетъ купеческій и мѣщанскій бытъ. Григоровичъ подвизается исключительно въ области романа и повѣсти, тогда какъ Потѣхинъ сверхъ того извѣстенъ и какъ драматическій писатель.—Вотъ и все, чѣмъ эти два писателя отличаются другъ отъ друга. Но зато въ существенномъ они вполнѣ сходятся: именно оба представляются самыми ревностными приверженцами натурализма. Оба—жанристы съ ногъ до головы, и какими-бы сюжетами для повѣсти или романа ни задались, заботятся не столько о наиболѣе сильномъ выполненіи сюжета, сколько о томъ, какъ-бы очертить каждый встрѣчающійся въ повѣсти предметъ со всѣхъ сторонъ, какъ-бы не опустить ни малѣйшей подробности, и какъ у одного, такъ и у другого произведенія вслѣдствіе этого распадаются на массы мелкихъ жанровыхъ картиночекъ, разглядываніе которыхъ заставляетъ васъ совершенно забывать о главномъ содержаніи произведенія.

Въ этомъ отношеніи къ новому роману Потѣхина совершенно можно примѣнить то, что я говорилъ объ «Антонѣ-Горемыкѣ» Григоровича. Въ основѣ романа лежитъ сюжетъ, самъ по себѣ исполненный печальнаго трагизма. Но, когда вы читаете романъ, трагизмъ этотъ нисколько не трогаетъ васъ; вы находитесь даже въ недоумѣніи: зачѣмъ это авторъ повѣствуетъ намъ о какихъ-то грязныхъ любовныхъ шашняхъ, какія ежедневно заводятся на заднихъ дворахъ помѣщичьихъ усадебъ или купеческихъ фабрикъ, не столько изъ потребности любви, сколько изъ жажды поживиться на счетъ предмета страсти? Только когда вы дочитаете романъ до конца, и сюжетъ его развернется передъ вами во всей полнотѣ, вы наконецъ сообразите, что въ основѣ романа лежитъ цѣлая трагедія. Но вы сообразите это только своимъ разсудкомъ и въ то же время останетесь совершенно равнодушны къ судьбѣ дѣйствующихъ лицъ, точно будто романъ покончился общимъ благополучіемъ или, еще того лучше, ровно ничѣмъ не кончился, а между тѣмъ въ результатѣ получается одна разбитая жизнь и одинъ новый кулакъ на Руси, разжившійся самымъ возмутительнымъ образомъ. Этотъ недостатокъ сильнаго и цѣльнаго впечатлѣнія зависитъ, по моему мнѣнію, отъ двухъ причинъ: съ одной стороны отъ излишняго нагроможденія всевозможныхъ деталей, отвлекающихъ вниманіе читателя отъ главнаго содержанія романа и въ концѣ-концовъ утомляющихъ его, а съ другой стороны — отъ неправильнаго освѣщенія дѣйствующихъ лицъ романа, оттого, что автору, вслѣдствіе холоднаго безучастія къ своимъ героямъ, не удалось измѣнить изображаемую дѣйствительность, выдвинувши впередъ такія стороны, какія были нужны сообразно характеру сюжета.

Для того чтобы это вполнѣ было ясно читателю, я попробую извлечь сюжетъ изъ всего загромождающаго его хлама и представить его въ самомъ чистомъ видѣ, обративши вниманіе только на тѣ его стороны, въ которыхъ онъ выступаетъ во всемъ своемъ драматизмѣ. А затѣмъ мы посмотримъ, что сдѣлалъ изъ него Потѣхинъ.

На первомъ планѣ романа рисуется передъ нами семейство Терентья Савельевича Скоробогатаго, богатаго крестьянина деревни Сногищево, записаннаго въ купеческой гильдіи, владѣльца небольшой ткацкой фабрики и кабачнаго заведенія. Это былъ сѣдой, но бодрый еще старикъ, съ черными живыми глазами, блестѣвшими изъ подъ нависшихъ, вѣчно хмурыхъ бровей; онъ слылъ человѣкомъ скупымъ, нелюдимымъ, непривѣтливымъ. Отъ сельчанъ своихъ стоялъ въ сторонѣ и не сближался съ ними, смотря на нихъ свысока, какъ на своихъ фабричныхъ работниковъ; богачи-фабриканты съ своей стороны также сморѣли на него свысока и не нисходили до хорошаго знакомства съ нимъ. Бѣдной родни своей онъ дичился, какъ человѣкъ богатый и скупой, да къ тому же и непривѣтливый, а съ родней невѣстки, взятой изъ небогатой купеческой семьи сосѣдняго города, онъ не ладилъ изъ-за разсчетовъ о приданомъ. Вслѣдствіе этого Скоробогатый жилъ одиноко, и даже въ храмовой праздникъ, когда все село шумно пировало и принимало гостей со всего околотка, у него не было никакихъ гостей и ворота его были на запорѣ.

«Несмотря на то,—читаемъ мы въ романѣ,—что у Терентья Савельича считали не одинъ десятокъ тысячъ залежнаго капитала и оборотъ его фабричныхъ заведеній шелъ также на десятки тысячъ, онъ жилъ совсѣмъ по-мужицки: прислуги почти не держалъ, прибирала въ домѣ и кушанье стряпала его сестра, самъ онъ не гнушался и задать корма лошади, и заложить ее, если отъ фабрики жалѣлось оторвать рабочаго, а нужно было куда-нибудь ѣхать. Всю семью онъ держалъ въ великомъ страхѣ и послушаніи. Тридцатилѣтній сынъ исполнялъ только его приказанія, самолично не могъ ничѣмъ распорядиться и былъ у отца, какъ говорится, на посылушкахъ, несмотря на то, что въ послѣднее время старикъ какъ будто меньше сталъ заниматься дѣломъ, рѣдко ходилъ на фабрику и больше все сидѣлъ дома—деньги сторожилъ, какъ говорили въ деревнѣ. Сестра старика, Анфиса, была совсѣмъ ходячей машиной, разъ заведенной и пущенной въ ходъ для веденія всего домашняго хозяйства, неизмѣнно по однажды заведенному порядку. Дочь, Степанида Терентьевна, молчаливая, степенная, скопидомка и богомолка, пользовалась еще нѣкоторымъ вліяніемъ на отца, но и это вліяніе значительно уменьшилось съ тѣхъ поръ, какъ братъ женился и привелъ въ домъ невѣстку. Эта послѣдняя, бѣлая, румяная, тучная и сонливая, была любимицей старика и могла назваться настоящей хозяйкой, потому что дѣлала, что хотѣла, или, лучше сказать, вовсе ничего не дѣлала, но нерѣдко ломалась и капризничала надъ всей семьей, и старикъ терпѣливо переносилъ ея капризы.

Познакомившись въ главныхъ чертахъ съ членами семейства Скоробогатаго, теперь мы обратимъ все вниманіе на дочь Скоробогатаго, Степаниду Терентьевну, которая и является главной героиней нашего романа. Степанида осталась послѣ матери 14 лѣтъ и самые юные годы свои провела въ полнѣйшемъ уединеніи и одиночествѣ. Братъ былъ моложе ея только двумя годами, но онъ былъ постоянно занятъ на заводѣ, и она рѣдко его видѣла. Только угрюмый и нелюдимый отецъ да тетка Анфиса, послѣ смерти матери принявшая въ свои руки хозяйство, дѣлили ея одиночество. Степанида не знала веселья деревенской жизни, не имѣла подруги, не ходила на гулянки или на посѣдки, не водила хороводовъ, не пѣла пѣсенъ. Отецъ, старавшійся стать въ позицію кунца,

не хотѣлъ позволить ей никакого сближенія съ простыми деревенскими дѣвками; притомъ, хотя и православный, онъ былъ воспитанъ въ духѣ старой вѣры, которой придерживались его родители, и считалъ всякое веселье бѣсовскимъ навожденіемъ и великимъ грѣхомъ. Осталась Степанида въ дѣвкахъ и не вышла замужъ, благодаря эгоизму отца. Послѣ жены Терентій Савельичъ привыкъ къ постоянному присутствію дочери: она ему наливала чай, укладывала его пьянаго спать, шила ему рубашки, съ ней онъ иногда отъ скуки перекидывался словомъ, другимъ. Не малую роль при этомъ играла и скупость Терентія Савельича: женихи являлись и изъ купеческаго званія, наѣзжали и свахи, но никогда не могли добиться главнаго—никакого опредѣленнаго обѣщанія на счетъ приданаго. Особенной красотой Степанида не отличалась и вообще была не въ купеческомъ вкусѣ: слишкомъ суха, нетѣльна, очертанія лица рѣзкія, мужественныя, глаза очень выразительные, но строгіе, непривѣтливые; ни особенной бѣлизны, ни румянца. Понятно, что не нашлось ни одного жениха, который, не смотря на опасность ничего не получить болѣе существеннаго, рѣшился-бы добиваться ея руки. Какъ бы то ни было, но наступило время, когда Степанида перестала считать себя невѣстой и остановилась на мысли, что должна остаться вѣкъ свой въ дѣвкахъ. Тогда появилась въ ней наклонность къ богомолью, убѣжденіе, что она предназначена служить Богу, быть Христовой невѣстой. Это богомолье главнымъ образомъ выражалось въ томъ, что она сдѣлалась первой начетчицей въ селѣ и передъ каждымъ праздникомъ непремѣнно уже читала каноны и акаѳисты въ сельской часовнѣ, участвовала въ разныхъ крестныхъ ходахъ и т. п.

Ударившись въ богомольство, удовлетворенная общимъ почетомъ и уваженіемъ, сдѣлавшись излюбленной дщерью церкви, Степанида думала, что нашла настоящее свое призваніе, успокоилась, выкинула изъ головы всѣ грѣховныя дѣвичьи мечты и считала себя неуязвимой для стрѣлъ лукаваго. Но лукавый силенъ, какъ выражается Потѣхинъ, и вотъ у нея явился вдругъ искуситель.

Это былъ Капитонъ Абрамовъ Обожжухинъ, одинъ изъ фабричныхъ рабочихъ, человѣкъ бѣдный, семейный. Жена у него, Алена, была молодая, веселая, бойкая женщина, высокая, статная; сѣрые глаза ея, улыбка и все лицо выражали полную, беззавѣтную веселость. Эти глаза и лицо своимъ постояннымъ, почти неизмѣннымъ выраженіемъ, казалось, говорили одно: я хочу жить, жить и жить, весело и сытно, безъ труда и заботы, брать отъ жизни все, что она даетъ сегодня, не думая о слѣдующемъ днѣ, и Капитону въ свою очередь тоже хотѣлось жить весело и сытно, безъ труда и заботы; видъ посторонняго богатства и всякой достаточности возбуждалъ въ немъ естественную зависть и жажду разжиться. Но разжиться честнымъ трудомъ въ положеніи фабричнаго работника—дѣло трудное, и вотъ онъ рѣшился достигнуть своего стремленія окольнымъ путемъ, употребивъ на это единственный природный даръ, какимъ онъ владѣлъ: именно красоту и умѣнье ухаживать за дѣвками. Короче сказать, онъ вздумалъ приволокнуться за Степанидой, увлечь ее и попользоваться на ея счетъ, пригрѣть руки возлѣ ея капиталовъ. Замѣчательно, что къ предпріятію этому онъ приступилъ не безъ вѣдома жены, имѣвъ съ ней по этому поводу слѣдующаго рода оригинальный разговоръ на сонъ грядущій:

— «Алена, сказалъ вдругъ Капитонъ шопотомъ, обнимая жену одной рукой.

— Ась? Что? спросила Алена съ новымъ зѣвкомъ.

Капитонъ отвѣчалъ не вдругъ.—Давай гулять по согласу, неожиданно проговорилъ онъ.

— Какъ по согласу? живо повторила Алена, уже не зѣвая.

— Такъ, чтобы по любви... Вотъ мы съ тобой живемъ ладно, а достатковъ у насъ нѣтъ, бѣднота одна... Работаешь, работаешь, а все ничего нѣтъ.. Вотъ я теперь около Скоробогатихи обиходъ повелъ; можетъ, до чего дойдемъ... .

— Ну... торопила его Алена.

— Ну, такъ чтобы ужъ тебѣ не въ обиду .. Гуляй и ты... Вотъ по согласу...

Алена захохотала.—Ишь ты что выдумалъ... чего мнѣ и въ голову-то не вступало... Да съ кѣмъ же гулять-то?..

— Да съ кѣмъ хочешь, я спрашивать не стану: хочешь—скажешь, хочешь—нѣтъ, только, чтобы не въ обиду .. потому... надо домъ поднять... не все въ бѣдности жить... изъ дома чтобы не тащить .. одно... потому все съ тобой, а ни съ кѣмъ, намъ вѣкъ-то коротать ..

— Да мнѣ не надо, у меня и думки-то никакой нѣтъ...

— А это и того лучше .. Было-бы сказано, былъ бы согласъ, а нѣтъ никого, такъ и ладно, и мнѣ легче... Только смотри, чтобы и отъ тебя супротивъ меня никакой обиды не было...

— А долго ли гулять-то?

— Давай на два года...

— А послѣ любить будешь?

— Да и теперь буду, коли хошь ..

Алена опять засмѣялась.—Пострѣлъ экой... Гуляй, ничего .. только мотри, и я, коли вздумаю—гулять стану .

— Ужъ сказано, по согласу...

— Ахъ ты.. чтобъ тебя... Что выдумалъ .. Ну-ка, да еще подъ праздникъ-то ..

— Памятнѣй будетъ .. шутилъ Капитонъ.

— Ахъ, Капитошка, подлецъ... Ира, подлый! Алена смѣялась и со смѣхомъ уснула. Капитонъ уснулъ вслѣдъ за ней».

Послѣ такого уговора съ женой Капитонъ началъ энергически ухаживать за Степанидой, прикинулся святошей, началъ убѣждать ее, чтобы она учила его грамотѣ, чтобы онъ самъ могъ читать все божественное, и т. п. Степанида можетъ быть и удержалась бы отъ грѣха, какъ ни силенъ былъ соблазнъ, но тутъ приключились такія обстоятельства, которыя побудили ее стремглавъ броситься въ разверзшуюся подъ ногами пропасть. Обстоятельства эти являются въ видѣ семейнаго раздора, который все болѣе и болѣе разгорался въ домѣ Скоробогатовыхъ. Старикъ началъ явно обнаруживать сноха ческія наклонности по отношенію къ Матренѣ Карповнѣ, а послѣдняя, пользуясь этимъ, начала вертѣть по своему всѣмъ домомъ. Дошло дѣло до того, что старикъ подъ ея вліяніемъ отнялъ у Степаниды ключи отъ хозяйства и передалъ ихъ торжествующей невѣсткѣ. Это была кровная обида для Степаниды, которая привыкла большачничать въ домѣ. Она увидѣла теперь себя одинокой, безучастной сиротой, преданной врагамъ, въ видѣ Матрены Карповны, на поруганіе, лишней спицей въ

колесницѣ въ родительскомъ домѣ, лишенной всякой нравственной опоры... «Всѣ люди веселятся о праздникѣ... А я одна-то одинехонька, на всемъ бѣломъ свѣтѣ одна», думала про себя Степанида.—«Какъ весь вѣкъ прожила? какую радость себѣ видѣла? Отецъ родной... такъ и тотъ въ пору хоть изъ дома выгнать... таково я ему мила... Вона, какъ рявкнулъ кто-то: захохоталъ... видно, весело!.. Никакъ за заборомъ шепчутся... визжатъ, сиѣются... цѣлуются... Всѣмъ-то, всѣмъ-то весело, всѣ какъ люди...»

Подъ вліяніемъ подобныхъ тяжелыхъ, разъѣдающихъ думъ въ Степанидѣ естественно начала все болѣе и болѣе разгораться страсть къ Капитону, который не переставалъ напѣвать ей въ уши сладкія рѣчи. Она начала смотрѣть на него, какъ на единственнаго человѣка во всемъ мірѣ, который принимаетъ въ ней участіе и жалѣетъ ее; въ любви его начала она видѣть всю нравственную опору и все содержаніе своей жизни, и вотъ она отдалась ему и душой, и тѣломъ. Это была такимъ образомъ та роковая, страшная страсть отчаянія, которая возможна бываетъ только въ зрѣломъ возрастѣ,—страсть, въ которой вся жизнь ставится на карту и человѣкъ дѣлается способнымъ на все. Чтобы понять, чѣмъ пожертвовала Степанида, вы примите только во вниманіе тотъ ореолъ всеобщаго уваженія, какимъ пользовалась она въ селѣ своимъ благочестіемъ и святостью.

«Что я теперь, развѣ прежняя? размышляла она послѣ своего паденія:—прежде-то я всѣмъ прямо въ глаза смотрѣла, ни бояться, ни стыдиться мнѣ было нечего, всѣ мнѣ кланялись, уважали меня, иные грѣшницу меня чуть не святой почитали... А теперь какова я стала? что-бы было, кабы узнали все про все, какъ бы смотрѣть на меня стали? не то что кланяться, а на смѣхъ-бы подняли, пальцами-бы показывать стали... Попустилъ ты, Господи, попутать меня лукавому... И изъ-за чего я грѣху поддалась, изъ-за какой радости? Стыдъ да тоска одна, ровно ночь темная кругомъ, только и солнышко мое всходитъ, какъ онъ придетъ да сидитъ со мной, и то нока не вспомню, что онъ женатъ, что жена у него есть, что онъ любитъ ее... А вспомню и опять ровно изъ рая въ адъ, во тьму кромѣшную... А грѣхъто? а отвѣтъ-то на страшномъ судѣ, а муки-то вѣчныя?.. Батюшки мои, что же мнѣ съ собой дѣлать?.. Бросить бы его, убѣжать бы куда, чтобы не ворочаться, не видѣть и не слышать о немъ... Да куда я отъ него уйду, коли здѣсь вотъ онъ передъ глазами стоитъ кажинный часъ, минуту каждую... И въ сердечушкѣ, и въ думушкѣ—все онъ одинъ!»...

Такимъ образомъ немного радости принесла Степанидѣ страсть ея: рядомъ съ чувствомъ стыда и униженія начала ее терзать безумная ревность изъ боязни потерять въ лицѣ милаго единственное утѣшеніе въ жизни. Она ревновала Капитона и къ женѣ его Аленѣ, и къ своей невѣсткѣ Матренѣ Карповнѣ, которая въ свою очередь дѣлала глазки Капитону и склоняла его поступить на мѣсто кучера къ нимъ въ домъ. Всѣ эти терзанія Степаниды были на руку Капитону, и онъ очень ловко пользовался ими. Онъ началъ склонять ее заставить отца выдать ей наслѣдство, оставшееся ей отъ матери, и бѣжать съ нимъ куда-нибудь на край свѣта, въ мѣста укромныя, внизъ по матушкѣ по Волгѣ. Для Степаниды это предложеніе Капитона конечно было единственнымъ спасительнымъ исходомъ, и она съ радостью ухватилась за него. Но не такъ-то легко было уговорить старика отпустить ее якобы на богомолье, какъ она формулировала свое желаніе оставить родительскій домъ, а главное дѣло—побудить его разстаться съ ея деньгами. Старикъ уперся на своемъ: «Молись дома: кто тебѣ мѣшаетъ? Нѣту, Степанида, это ты и въ мышленіи не моги имѣть, чтобы вовсе уйти отъ меня... Чего быть никогда не возможно! Была дочерью покорливой, такъ будь до конца... Каковъ я ни есть грѣшникъ, а все ты—моя плоть, завсегда я это чувствую, не сумлѣвайся... Ступай-ка съ Богомъ въ свое мѣсто...»

Тогда Капитонъ началъ уговаривать ее рѣшиться на послѣднее отчаянное средство. «А вотъ что дѣлать, говорилъ онъ: — коли любъ я тебѣ, коли надобенъ, коли хочешь въ любви со мной жить и не хочешь дать заѣсть свой вѣкъ вовсе, такъ ждать да надѣяться на отца нечего, а надо короткимъ манеромъ взять свои деньги, да уйти...»

Короче сказать—украсть ихъ изъ сундука отца. Когда Степанида ужаснулась на первыхъ порахъ передъ подобнымъ предложеніемъ, Капитонъ постарался изъяснить ей, что «развѣ кто свои деньги беретъ, тотъ воруетъ? Вѣдь ты свои деньги возьмешь — не его...» Истерзавшаяся Степанида наконецъ рѣшилась на все... Въ ночь, когда отецъ, узнавъ отъ нея же о плутняхъ сына, поѣхалъ на ярмарку, она пробралась въ комнату отца, достала ключъ отъ его сундука, выбрала оттуда столько пачекъ денегъ, сколько могло ихъ помѣститься въ носовомъ платкѣ, и скрылась изъ дома. На условленномъ заранѣе мѣстѣ въ «Ямкахъ» ее ждалъ Капитонъ съ телѣгой. Затѣмъ идетъ слѣдующаго рода вознутительная сцена:

— «Ты? спросилъ онъ ее еще за нѣсколько шаговъ.

— Я, я... отвѣчала Степанида, задыхаясь и протягивая къ Капитону руку съ намѣреніемъ обнять его.

— А достала?

— Вотъ... и она указала на узелъ, который держала въ другой рукѣ.

— Молодецъ, Степа! ну, теперь покатимъ. Пойдемъ скорѣе къ лошади...

— Какъ бѣжала-то, какъ торопилась-то... говорила Степанида, слѣдуя за Капитономъ. — Думаю: ждетъ онъ меня...

— Ждалъ и есть... Много ли взяла?

— Не знаю ужъ... вотъ! Брала, сколь уложится... Подошли къ телѣгѣ. — Погоди-ка, я сяду первo въ телѣгу-то, да возжи возьму, а гнѣдко-то пугливъ, подхватываетъ вдругъ... Пожалуй, понесетъ... говорилъ Капитонъ, влѣзая въ телѣгу.—Ну, гдѣ деньгито? давай, да и полѣзай сама.

«Степанида протянула къ нему узелъ, который Капитонъ взялъ и положилъ на дно телѣги. Потомъ она, держась руками за край телѣги, поставила ногу на ступицу колеса и приподнялась было уже, чтобы занести другую ногу въ телѣгу, какъ вдругъ сильный толчекъ въ грудь опрокинулъ ее навзничь, и въ то же мгновеніе Капитонъ крикнулъ, лошадь хватила съ мѣста и понесла. Степанида, какъ ни была ушиблена и оглушена паденіемъ, но быстро вскочила и побѣжала вслѣдъ за телѣгой.

— Стой, стой, погоди!.. кричала она, но только нѣсколько мгновеній слышала крики Капитона, которыми онъ понукалъ лошадь, топотъ ея копытъ, стукъ колесъ и громыханье телѣги, видѣла вдали мелькающій силуэтъ милаго человѣка, его телѣги и лошади, затѣмъ все затихло, все скрылось. Но Степанида бѣжала еще и тогда, задыхаясь, плача и крича что-то

безсвязное дикимъ, прерывистымъ голосомъ. Наконецъ у нея помутилось въ глазахъ, стѣснило дыханіе, ноги отказывались двигаться, невыразимая тоска, ужасъ охватили ея душу, какіе-то отрывки мыслей, чувствъ проносились черезъ голову, сердце... И вдругъ все спуталось, смѣшалось: мысль, чувства, дыханіе оборвались—Степанида упала безъ чувствъ.»

За этой ужасной сценой быстро уже развивается развязка романа. Жену Капитона, Алену, не особенно обрадовали пачки денегъ, которыя онъ принесъ домой.—«Самъ не воровалъ, отвѣчала она мрачно на его увѣренія, что деньги не краденыя:—такъ на тебя, можетъ, уворованы... Знаю я, чьи онѣ... Скоробогатаго... Степанида украла, тебѣ передала...» И она сразу измѣнилась относительно своего обычнаго расположенія духа: веселость совсѣмъ пропала въ ея глазахъ, исчезла съ ея прежде всегда беззаботно-улыбавшагося лица; какая-то новая, безпокойная мысль, новое, непріятное чувство отражалось теперь на ея лицѣ, сдвинуло ея брови, провело морщину на лбу и сдѣлало складку около губъ. Она была честнѣе мужа. Несмотря на всѣ его старанія свести ее съ сыномъ Скоробогатаго, Иваномъ Терентьевичемъ, для того, чтобы и она въ свою очередь могла поживиться на его счетъ, она не могла принудить себя сойтись безъ любви съ человѣкомъ, который былъ ей противенъ. Такъ и теперь она не могла переварить тѣхъ средствъ, какія употребилъ ея мужъ для обогащенія. Между тѣмъ Степанида, очнувшись отъ своего обморока, воротилась домой, въ страшномъ душевномъ маразмѣ. Обманутая, поруганная, лишившись послѣдней святыни, которой только и дорога была ей жизнь, она рѣшилась, не помня себя, на отчаянную месть. Въ слѣдующую ночь, когда все село уснуло, она пошла и подожгла хату Капитона. Но месть эта ни къ чему не повела: хата сгорѣла. Капитонъ же съ женой спаслись; а деньги онъ заранѣе успѣлъ зарыть въ землю, и онѣ остались цѣлы.

«Черезъ недѣлю послѣ пожара стонъ стоялъ въ домѣ Терентія Савельича, читаемъ мы въ заключеніе романа: – воротясь съ ярмарки, онъ открылъ пропажу денегъ. Старикъ ревѣлъ, метался, рвалъ на себѣ волосы, кричалъ и топалъ надъ Степанидой. Она стояла передъ нимъ молча, какъ нѣмая. Иванъ ругался, Матрена ревѣла.

— Да скажешь-ли ты мнѣ хоть слово одно, вѣдьма ты прокл... вскричалъ наконецъ, выйдя изъ себя, Терентій Савельичъ, и бросясь на дочь. Толчкомъ въ голову онъ сшибъ съ нея платокъ. Степанида была совсѣмъ сѣдая... У Терентія Савельича опустились руки.

«Много лѣтъ послѣ того, ежедневно, во время службы въ церкви села Нагорнаго, можно было видѣть на колѣняхъ, у задней стѣны церковной, старую, желтую, всю въ черномъ, смиренную и всегда безмолвную Степаниду.»

Таковъ сюжетъ романа Потѣхина. Я не намѣренъ входить здѣсь въ подробное разбирательство, стоило или не стоило задаваться подобнымъ сюжетомъ. Очень можетъ статься, что еслибы я былъ беллетристомъ, то я и не остановился-бы на немъ, потому что меня заняли-бы болѣе существенныя и вопіющія явленія, совершающіяся «около денегъ», чѣмъ случайная любовная интрига съ цѣлью нажиться случайнаго проходимца въ лицѣ Капитона. Но попробуемъ взглянуть на сюжетъ этотъ съ чисто объективной точки зрѣнія и согласимся, что на почвѣ буржуазнаго индивидуализма, на которой стоитъ всецѣло А. Потѣхинъ, сюжетъ его романа во всякомъ случаѣ заслуживаетъ вниманія, и на немъ могъ-бы съ успѣхомъ остановиться художникъ съ крупнымъ талантомъ, вродѣ напримѣръ Островскаго. И вотъ, становясь на такую точку зрѣнія, я и говорю, что, избравъ для своего романа довольно богатый въ своемъ родѣ сюжетъ, Потѣхинъ не могъ увлечься имъ настолько, чтобы отнестись къ нему не какъ художникъ-техникъ, а какъ художникъ-творецъ.

Въ самомъ дѣлѣ подумайте: какая можетъ быть цѣль выбора подобнаго сюжета? Очевидно та, чтобы съ одной стороны привести читателя въ негодованіе при видѣ того возмутительнаго безчеловѣчія, къ которому можетъ прійти узкій эгоизмъ въ лицѣ Капитона въ преслѣдованіи своекорыстныхъ цѣлей; съ другой стороны—исполнить читателя жалости и участія къ несчастной и неповинной жертвѣ этого эгоизма въ лицѣ Степаниды. Чтобы успѣшнѣе достигнуть этой цѣли, авторъ долженъ былъ-бы, во-первыхъ, употребить всѣ усилія, чтобы увлечь читателя личностью Степаниды, сдѣлать для него дорогой судьбу ея, чтобы было что жалѣть и чему сострадать. А этого авторъ могъ достигнуть только въ такомъ случаѣ, еслибы самъ онъ увлекся своей героиней и выставилъ-бы впередъ наиболѣе симпатичныя стороны ея характера. Однимъ словомъ, автору слѣдовало-бы сдѣлать со Степанидой то-же самое, что Островскій сдѣлалъ съ Катериной въ «Грозѣ». А въ сюжетѣ мы видимъ всѣ данныя, чтобы сдѣлать Степаниду столь-же симпатичной, какъ и Катерина. Возьмите вы во вниманіе, что она должна быть столь-же страстная и кипучая натура, такая-же прямодушно честная, искренняя и одаренная такимъ-же богатымъ воображеніемъ. Прибавьте къ этому глубокую сосредоточенность, развившуюся въ ней вслѣдствіе той отчужденности отъ всѣхъ, и родныхъ, и чужихъ, въ условіи которой она была воспитана съ дѣтства, четырнадцати лѣтъ лишившись матери, не имѣя никогда ни одной подруги, не видя возлѣ себя ни одного близкаго лица, которому могла-бы открыть свою душу. Самая ея религіозная экзальтація, по моему мнѣнію, должна проистекать прямо изъ подобнаго уединеннаго, замкнутаго существованія, а вовсе не изъ одного положенія старой дѣвы, какъ это довольно цинически объясняетъ Потѣхинъ. Въ ханжествѣ заурядныхъ старыхъ дѣвъ обыкновенно преобладаетъ чертовый формализмъ, заключающійся въ безсмысленномъ преслѣдованіи буквы и въ рабской ея вѣрности. Подобная ханжа, будьте спокойны, никогда не допуститъ себя до такого смертнаго грѣха, какъ увлеченіе женатымъ человѣкомъ. Мало того: если человѣкъ этотъ оказался-бы и холостымъ, то достаточно, что онъ былъ ничтожнымъ батракомъ на ихъ фабрикѣ, и для брака съ нимъ было-бы препятствіе со стороны священной родительской воли, чтобы она поспѣшила употребить всѣ усилія для отогнанія всѣхъ грѣховныхъ помышленій. Наконецъ ханжи подобнаго рода, при всемъ своемъ благочестіи, въ то же время отлично знаютъ счетъ деньгамъ, и ужъ вы ихъ не надуете, и какъ-бы онѣ васъ страстно повидимому ни любили, повѣрьте, онѣ не отдадутъ вамъ

своихъ денегъ иначе, какъ пересчитавъ ихъ тщательно и взявши отъ васъ тутъ-же, изъ рукъ въ руки, надлежащій документикъ. Степанида-же въ экстазѣ своей страсти способна оказывается отдаться своему милому, не входя ни въ какія соображенія, ни религіознаго, ни матеріально-практическаго свойства, готова, оказывается, всѣмъ пренебречь, на все махнуть рукой и послѣдовать за своимъ милымъ на край свѣта. Степанида, какъ видно, жила до сихъ поръ въ такихъ заоблачныхъ сферахъ, что не знаетъ, сколько у нея своихъ денегъ, и до послѣдней минуты не подумала привести это въ извѣстность, а съ полной довѣрчивостью отдала все свое состояніе въ руки милому человѣку, полагая счастье своего существованія не въ деньгахъ, а въ немъ самомъ,—у такой женщины религіозный мистицизмъ долженъ проявляться не въ одномъ гнусливомъ чтеніи акаѳистовъ и ношеніи образовъ въ крестныхъ ходахъ, а представлять изъ себя болѣе раціонально-мечтательный характеръ.

Вы мнѣ скажете быть можетъ, что вѣдь все это есть въ романѣ Потѣхина, потому что откуда-же, какъ не изъ романа, взяты всѣ эти черты? Я и не говорю, чтобы ихъ совсѣмъ не было, потому что все это лежитъ въ характерѣ сюжета. Я утверждаю только, что автору не удалось поднять эти черты своей героини, подчеркнуть, выставить ихъ на первый планъ во всей ихъ поэтичности, въ то время, какъ цѣлый рядъ второстепенныхъ, крайне несимпатичныхъ чертъ, вродѣ напримѣръ мелочной сварливости съ невѣсткой изъ-за первенства въ домѣ, гнусливаго чтенія акаѳистовъ, внѣшней непривлекательности и пр., авторъ могъ-бы смѣло совсѣмъ опустить или отодвинуть все это на самый задній планъ. Авторъ же поступилъ какъ разъ совершенно наоборотъ: симпатичныя стороны Степаниды именно и упоминаются въ романѣ вскользь, онѣ-то и стоятъ на заднемъ планѣ или совсѣмъ опускаются, какъ напримѣръ раціонально-мечтательный характеръ мистицизма Степаниды; на первомъ же планѣ парадируютъ самыя несимпатичныя, мелочныя стороны ея характера.

Въ то время какъ Потѣхинъ такъ неправильно поступилъ съ своей героиней, не менѣе ложно отнесся онъ и къ герою. Здѣсь, напротивъ того, такія возмутительно-отвратительныя черты его характера, какъ скотскій эгоизмъ, жадность къ деньгамъ, грубое и черствое безчеловѣчіе, способное дойти до открытаго грабежа денегъ изъ рукъ любящей женщины, которая беззавѣтно отдалась этому негодяю, какъ-то стушевываются въ вашихъ глазахъ при чтеніи романа передъ такими привлекательными качествами героя, какъ физическая красота, удаль, донъ-жуанская жилка, въ видѣ умѣнья влѣзть въ сердце къ каждой женщинѣ, смышленость и продувная хитрость. Однимъ словомъ, передъ вами рисуется какой-то лихачъ-кудревичъ, которому на роду написано выйти въ люди и разбогатѣть, потому что во лбу у него сіяетъ свѣтелъ мѣсяцъ, и даже не свѣтелъ мѣсяцъ, а чуть-что не самое солнце красное.

При такой постановкѣ сюжета романъ производитъ на васъ совсѣмъ обратное и крайне фальшивое впечатлѣніе. Вмѣсто того чтобы проникаться участіемъ и жалостью къ героинѣ и возмущаться героемъ, какъ отъявленнымъ негодяемъ, вы, напротивъ того, невольно становитесь на сторону героя противъ героини. Она представляется вамъ какимъ то огородным пугаломъ, неуклюжей, простоватой дурой, которая сама такъ и лѣзетъ въ ротъ обману, и вы думаете: ну, чтожъ, такъ тебѣ, глупая баба, и надо, не соблазняйся амурами на старости лѣтъ и не вѣшайся первому встрѣчному на шею, не разобравши, что онъ за человѣкъ. Герой же, напротивъ того, возбуждаетъ въ васъ невольное участіе своей красотой, молодоватостью, ухарствомъ, смышленостью и пр., и пр. Когда читаете романъ, вы такъ и слѣдите за его подвигами: «ахъ, какой молодецъ, что за шустрый парень! Ахъ, удастся-ли ему это предпріятіе? Что какъ промахнется или попѣшаютъ?.. Нѣтъ, удалось-таки облапошить глупую бабу. И какъ ловко всѣ концы спряталъ, и деньги въ землю закопалъ, такъ что и поджогъ ни къ чему не повелъ. Молодецъ, одно слово, молодецъ!» Подумайте, чему въ такомъ случаѣ вы будете такъ радоваться, невольно, неотразимо радоваться, помимо всѣхъ доводовъ разсудка? Вѣдь ни чему иному, какъ нарожденію новаго кулака!

Я убѣжденъ, что Потѣхину и въ голову не приходило, какой эффектъ будетъ производить его романъ, но все это произошло изъ того, что онъ вовсе не заботился ни о какомъ эффектѣ. Онъ избралъ свой сюжетъ совершенно случайно, ни мало не увлекшись имъ, не проникшись душевно, взялъ его чисто какъ канву, чтобы нанизать на ней свои узоры, и въ этомъ нанизываніи узоровъ, въ видѣ массы мелкихъ бытовыхъ сценокъ, онъ положилъ всю свою душу; въ этомъ одномъ только и сосредоточилъ весь свой художественный трудъ. Поэтому, если вы хотите видѣть въ романѣ какія либо достоинства, вы должны совершенно забыть о сюжетѣ его, перестать разсматривать его, какъ нѣчто цѣлое, и совсѣмъ не принимать въ разсчетъ какое вы вынесете впечатлѣніе по прочтеніи его всего до конца, а, напротивъ того, обратить все вниманіе на отдѣльныя бытовыя, жанровыя сценки, въ которыхъ все дѣло заключается въ вѣрномъ и разностороннемъ изображеніи дѣйствительности. Многія изъ этихъ сценъ поразятъ васъ полнотой подробностей и наблюдательностью автора, не упускающаго ни одной микроскопической черточки изображаемой дѣйствительности. Таковы напримѣръ—картины сельскаго храмоваго праздника, отдѣльныхъ пирушекъ въ хатахъ крестьянъ, вечерняго моленья въ часовнѣ, крестнаго хода, неловкаго положенія и недоумѣнія церковнаго причта, явившагося въ домъ Скоробогатыхъ славить и попавшаго въ самую неудобную минуту семейнаго раздора. Все это—въ своемъ родѣ шедѣвры, хотя шедѣвры, по моему мнѣнію, одной художественной техники, а никакъ не поэтическаго творчества въ истинномъ смыслѣ этого слова. Но, чтобы достойно оцѣнить эти шедѣвры, я не совѣтую читать ихъ всѣ подрядъ въ той длинной галереѣ въ формѣ романа «Около денегъ», въ которой они развѣшаны: вы рискуете очень скоро вынести тяжелое утомленіе и вамъ будетъ не до шедѣвровъ. Лучше же всего не заботьтесь совсѣмъ о чтеніи всего романа подрядъ, а такъ, изрѣдка, возьмите и про-

читайте какую-нибудь одну отдѣльную сценку—она покажется вамъ гораздо лучше, чѣмъ въ связи съ другими.

Однимъ словомъ, въ то время, какъ въ лицѣ графа А. Толстого мы видѣли образецъ типа великосвѣтскаго и притомъ отвлеченно-кабинетнаго творчества, въ лицѣ же А. Потѣхина представляется намъ образецъ художника-техника, возросшаго на почвѣ буржуазной поэзіи,—этой поэзіи близорукаго натурализма, который до такой степени съ головою весь ушелъ въ созерцаніе микроскопическихъ черточекъ, оттѣночковъ обыденной, будничной дѣйствительности, что совершенно упускаетъ изъ виду существенныя стороны жизни и для котораго вся идеальная конечная цѣль поэтическаго творчества заключается въ томъ, чтобы не забыть сосчитать, сколько волосковъ красовалось въ бородѣ сельскаго дьякона въ Снегищевѣ въ тотъ моментъ, когда онъ служилъ всенощную наканунѣ храмоваго праздника.

АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ЛЕВИТОВЪ.

(ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ).

Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней.
Полежаевъ.

I.

Въ лицѣ Александра Ивановича Левитова, умершаго въ 1877 г., въ ночь со 2-го на 3-е января, русская литература утратила еще одну молодую и недюжинную силу. Еще одной свѣтлой надеждой, загорѣвшейся въ началѣ прошлаго десятилѣтія, стало менѣе. Еще просторнѣе сдѣлалась и безъ того опустѣлая арена молодой пореформенной беллетристики. Поразительна судьба всѣхъ дѣятелей мысли, вышедшихъ на поприще жизни въ концѣ 50-хъ или началѣ 60-хъ годовъ, но беллетристовъ въ особенности. Мало того, что имъ какъ-то не живется на свѣтѣ, что они такъ и умираютъ, одинъ за другимъ, едва достигая цвѣтущаго возраста. Помяловскій, Рѣшетниковъ, Левитовъ, Кущевскій, Вороновъ и многіе менѣе извѣстные могли-бы составлять цѣлое созвѣздіе въ современной намъ литературѣ, но они всѣ поспѣшили убраться въ могилы въ такую пору, когда силы писателя обыкновенно только-что начинаютъ развертываться во всемъ цвѣтѣ. Этого, я говорю, еще мало: судьба всѣхъ этихъ беллетристовъ замѣчательна въ другомъ еще отношеніи. Съ одной стороны, если взять въ разсчетъ направленіе и содержаніе поэтическихъ образовъ этой молодой школы русскихъ беллетристовъ и тѣ общественные слои, изображенію которыхъ эта школа посвятила себя, то можно думать, что она представляетъ собою немаловажный шагъ впередъ въ развитіи нашей литературы. Изъ узко-сословной сферы изображенія жизни однихъ образованныхъ слоевъ общества, въ какой пребывала по преимуществу беллетристика 40-хъ и 50-хъ годовъ, школа эта перешла рѣшительно, смѣло и безповоротно на почву народной жизни въ связи ея съ жизнью всѣхъ прочихъ общественныхъ слоевъ. Изъ узкой сферы исключительнаго психическаго анализа индивидуальныхъ страстей и душевныхъ движеній она обратилась къ вопросамъ общественнымъ и массовымъ. Казалось-бы, что этотъ важный прогрессивный шагъ впередъ нашей беллетристики долженъ былъ-бы ознаменоваться появленіемъ новыхъ блестящихъ талантовъ и выходомъ въ свѣтъ произведеній, которыя затмили бы все предыдущее, не только по своему общественному значенію, но и въ чисто-художественномъ отношеніи, въ силу большей широты захвата поэтическаго творчества, вслѣдствіе того, что творчество въ настоящемъ случаѣ начало возбуждаться впечатлѣніями не одного какого-нибудь узенькаго общественнаго уголочка, а свѣжей, широкой и могучей струей народной жизни, бьющей живымъ ключемъ, богатой красками и звуками страстной поэзіи. Но на дѣлѣ вышло нѣчто совершенно иное: молодые беллетристы не только не создали до сихъ поръ ни одного произведенія, которое можно бы ло бы поставить рядомъ съ «Мертвыми Душами» или «Ревизоромъ», но которое выдержало бы соперничество хотя бы съ лучшими произведеніями беллетристовъ 40-хъ годовъ. Вмѣсто тщательно-обработанныхъ, художественно стройныхъ и законченныхъ произведеній, какими мы такъ избалованы всей предыдущей литературой, они подарили насъ рядомъ неконченныхъ отрывковъ и безформенныхъ клочковъ, неуклюжихъ, нестройныхъ, отягощенныхъ мѣстами длинными и скучными разсужденіями, мѣстами фотографическимъ сырьемъ или безконечными описаніями мелочныхъ деталей. Передъ вами точно будто снова выплыло нѣчто архаическое и первобытное, возвратился хаосъ первыхъ дней созиданія. Литература въ лицѣ этихъ молодыхъ беллетристовъ словно бросила всѣ свои заимствованныя съ Запада, вѣками выработанныя, совершенныя формы и возвратилась къ тому безъискусственному виду, въ которомъ она пребывала въ эпоху Посошкова и Котошихина, когда наивные грамотѣи валили въ одну безформенную рѣчь подъ заглавіемъ «завѣщанія» или «слова» все, что было у нихъ на душѣ—и мораль, и сатиру, и публицистику, и душевный плачъ о неустройствахъ земли русской, и фантастическія свѣдѣнія о заморскихъ странахъ.

Но этого мало, что въ техническомъ, формальномъ отношеніи литература наша сдѣлала такимъ образомъ

шагъ назадъ въ лицѣ молодыхъ нашихъ беллетристовъ; въ то же время мы не видимъ ни малѣйшаго роста ихъ литературныхъ талантовъ. Какими являются они въ своихъ первыхъ и самыхъ юныхъ произведеніяхъ, такими-же видимъ мы ихъ и въ послѣднихъ, написанныхъ иногда лѣтъ черезъ 10 или 15, а у нѣкоторыхъ, какъ напримѣръ у Кущевскаго, замѣчается и регрессъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ.

Странное явленіе это не разъ останавливало вниманіе многихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ, причемъ каждый объяснялъ его по своему. Считая излишнимъ перечислять эти объясненія и входить въ подробный разборъ ихъ, я только замѣчу, что всѣ они распадаются на двѣ категоріи: одни, люди наиболѣе благосклонные къ беллетристамъ молодой школы, старались объяснить все это враждебнымъ вліяніемъ общихъ условій жизни. Къ другой категоріи принадлежатъ враги молодой школы, которые всю причину настоящей бѣды полагали въ самомъ возникновеніи и существованіи этой школы. По мнѣнію этихъ людей, школа эта такова ужъ по своему существу, что должна парализовать всякое развитіе, губить и сводить въ преждевременную могилу каждый талантъ, пошедшій по этому направленію, какъ бы онъ ни былъ великъ. Это происходитъ будто-бы въ силу того, что писатель, увлекшійся направленіемъ этой школы, перестаетъ быть самимъ собой, выходитъ изъ предѣловъ высокой культуры образованныхъ слоевъ общества, умаляется, принижается до узкихъ интересовъ и грубыхъ вкусовъ тѣхъ сферъ, изображеніемъ которыхъ онъ является, а главное дѣло съ почвы естественнаго и непосредственнаго творчества онъ переходитъ на почву творчества тенденціознаго, подчиняетъ свой талантъ разнымъ искусственнымъ требованіямъ либеральныхъ идей, начинаетъ писать на заданныя темы и этимъ путемъ убиваетъ всякій ростъ и развитіе своего таланта.

Что касается враждебнаго вліянія общихъ условій жизни, то люди, опирающіеся на это вліяніе въ своихъ объясненіяхъ разсматриваемаго явленія, забываютъ одно: именно, что условія эти потому уже самому, что они *общія*, должны были бы враждебно вліять на всю литературу во всей ея сложности, а не на одну небольшую группу ея. И еслибы этими общими условіями объяснялись какъ смертность, такъ и отсутствіе роста талантовъ въ беллетристахъ молодой школы, то слѣдовало-бы ожидать, что беллетристы 40-хъ годовъ должны были бы подвергаться еще большей смертности и еще меньшему развитію, потому что на самомъ расцвѣтѣ ихъ талантовъ они встрѣтили условія жизни не въ примѣръ тягостнѣе и враждебнѣе, чѣмъ молодые таланты прошлаго десятилѣтія. Но мы не только не видимъ этого, а, напротивъ того, лучшіе беллетристы 40-хъ годовъ дожили до самыхъ преклонныхъ лѣтъ, пережили почти всѣхъ своихъ юныхъ птенцовъ и наслѣдниковъ и успѣли обогатить литературу нашу произведеніями высокаго достоинства, которыми она вполнѣ вправѣ гордиться. Въ томъ-то и дѣло, что вмѣсто того, чтобы все зло полагать во враждебности общихъ условій, не слѣдуетъ-ли поискать особенныхъ частныхъ условій, вліявшихъ на жизнь нашихъ молодыхъ беллетристовъ?

Что же касается мнѣній второй категоріи, опиравшихся на вредъ самой школы, вродѣ приниженія до грубыхъ вкусовъ толпы или насилованія творчества подчиненіемъ его либеральнымъ тенденціямъ, то мнѣнія эти отличаются крайнею субъективностью. Люди, придерживающіеся ихъ, судятъ вполнѣ по самимъ себѣ, и сужденія ихъ могли-бы имѣть блѣдную тѣнь справедливости примѣнительно къ нимъ самимъ. Они до такой степени исключительно замкнуты въ узкія сословныя рамки своей среды, что внѣ культурныхъ нравовъ, обычаевъ, приличій этой среды они ничего не могутъ допустить, кромѣ непроглядnаго мрака, невообразимой грубости нравовъ и самой животной низменности побужденій. Внѣ интересовъ и содержанія своей среды все иное представляется для нихъ совершенно чуждымъ, непонятнымъ, какъ-бы вовсе не существующимъ. Понятно, что еслибы они вздумали снизойти до интересовъ толпы, стоящей гдѣ-то тамъ далеко внизу подъ ними, и начать изображать ея жизнь и нравы, это было-бы для нихъ самихъ тяжелымъ насиліемъ, чѣмъ-то совершенно искусственнымъ, натянутымъ, для чего они должны были каждый разъ, принимаясь за перо, совершенно выходить изъ своей тарелки и изворачивать себя въ три погибели. Подобный чисто субъективный предразсудокъ въ значительной степени поддерживается и тѣмъ, что въ литературѣ нашей вы встрѣтите впродолженіи послѣднихъ 30 лѣтъ не мало произведеній, которыя и въ самомъ дѣлѣ представляютъ подобныя насилованія и изворачиванія себя различныхъ гуманныхъ господъ, нисходившихъ до изображеній народныхъ нравовъ. Въ силу этого предразсудка, у насъ сложился даже стереотипный образъ беллетриста народныхъ нравовъ, представляющійся непремѣнно въ видѣ господина, переодѣтаго мужикомъ, или же безъ переодѣванія, въ соломенной шляпѣ, въ пиджачкѣ и съ тросточкой въ рукахъ ходящаго во время лѣтнихъ каникулъ среди простого народа по кабакамъ, постоялымъ дворамъ и ярмаркамъ съ спеціальною цѣлью занесенія въ записную книжечку каждаго мѣткаго выраженьица или разсказика для того, чтобы потомъ зимой, воротясь въ столицу и въ ея кружки, блестящіе высшей интеллигенціей, предать надлежащимъ анализамъ и обсужденіямъ собранный матеріалъ и состряпать какой-нибудь очеркъ или разсказъ изъ народнаго быта. Что-жъ, развѣ у насъ и не было подобнаго рода наблюдателей и собирателей, временно ниспускавшихся въ народныя массы, но въ то же время остававшихся совершенно чуждыми какъ народной жизни, такъ и народнымъ интересамъ? Но развѣ подобнаго рода явленія и субъективные выводы, основанные на нихъ, исключаютъ возможность выхода изъ самыхъ нѣдръ народныхъ массъ писателей, съ младенческихъ лѣтъ воспитанныхъ въ этихъ нѣдрахъ, глубоко-проникнутыхъ ихъ интересами и до самой смерти не переставшихъ жить въ глубокой связи со своей родимой средой, ея непосредственной жизнью? Для такихъ писателей изображеніе народныхъ нравовъ очевидно должно представляться вовсе не насилованіемъ творчества, изворачиваніемъ себя, искусственнымъ списываніемъ со стороны въ угоду либеральныхъ тенденцій, а, напротивъ того,

вполнѣ естественнымъ, непосредственнымъ продуктомъ творчества. Такіе писатели рискуютъ впасть въ искусственность, надуманность и ломанье себя именно тогда, когда пустятся изображать чуждые имъ нравы и мотивы такъ называемыхъ культурныхъ слоевъ общества, что напримѣръ было съ Рѣшетниковымъ, когда онъ пускался выводить на сцену великосвѣтскихъ людей, или съ Кольцовымъ, когда онъ брался за философскія темы.

Такъ вотъ такимъ образомъ и представляется вопросъ: тѣ молодые беллетристы, о которыхъ идетъ у насъ рѣчь, были-ли они больше ничего, какъ гуманные баричи, которымъ, по ихъ происхожденію, воспитанію и образу жизни, гораздо свойственнѣй было-бы изображать нравы и мотивы интеллигентныхъ слоевъ общества, а они ломали себя и, наблюдая чуждую имъ народную жизнь со стороны, насиловали свое творчество, подчиняя его либеральнымъ тенденціямъ, или же, напротивъ того, они сами были выходцами изъ народа и творили такъ-же естественно, непроизвольно и непринужденно, какъ, по мнѣнію нашихъ чистыхъ эстетиковъ, творятъ А. Майковъ и Фетъ? Въ первомъ случаѣ враги ихъ конечно совершенно правы. Но если мы имѣемъ дѣло со вторымъ обстоятельствомъ, если оказывается, что наши молодые беллетристы, происходя изъ народа и не переставая жить его жизнію и въ тѣсной связи съ нимъ, творили вполнѣ естественно и непроизвольно, нимало не насилуя своего таланта, творили, какъ только могли и умѣли, и все-таки не могли создать до сихъ поръ ни одного крупнаго произведенія, то конечно всѣ толкованія враговъ молодой школы рушатся сами собою. Вопросъ остается вопросомъ, и разрѣшенія его слѣдуетъ искать въ иномъ мѣстѣ.

Жизнь Александра Ивановича Левитова въ связи съ его сочиненіями способна, по моему мнѣнію, какъ нельзя болѣе привести насъ къ разрѣшенію этого вопроса. Съ одной стороны эта жизнь покажетъ намъ, какъ вполнѣ органически и какъ нельзя болѣе естественно каждое произведеніе умершаго писателя вытекло изъ его жизни и какую глубокую связь имѣло оно съ нею. Съ другой стороны, мы увидимъ, какія скорбныя обстоятельства мѣшали А. И. Левитову возноситься надъ своими первыми очерками и создать что-нибудь крупное.

II.

Для внѣшнихъ фактовъ жизни А. И. Левитова будетъ намъ служить некрологъ Нефедова, напечатанный въ мартовской книжкѣ «Вѣстника Европы» 1877 г., къ сожалѣнію единственный хоть сколько-нибудь обстоятельный изъ всѣхъ, появившихся вслѣдъ за смертію А. И. Левитова въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. Но изъ этого некролога намъ придется заниствовать только самые крупные факты и кое-какія изъ особенно характеристическихъ обстоятельствъ. Самыя же интересныя подробности жизни поэта, а главное дѣло факты внутренней психической жизни мы найдемъ въ самыхъ сочиненіяхъ А. И. Левитова. И вотъ вамъ на первомъ же шагѣ доказательство, какъ блистательно рушатся всѣ толкованія объ искусственномъ творчествѣ чуждой поэту жизни, приниженіяхъ, ломаніяхъ и т. п. Въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ одного изъ тѣхъ субъективнѣйшихъ поэтовъ, которые въ каждомъ произведеніи выкладываютъ всего себя и по сочиненіямъ которыхъ, словно по дневникамъ, можно написать біографію не только ихъ внутренняго психическаго развитія, но и многихъ внѣшнихъ обстоятельствъ ихъ жизни.

А. И. Левитовъ родомъ былъ тамбовецъ. Его воспитали и взлелѣяли тѣ самыя тамбовскія поля, широкое раздолье которыхъ подарило насъ уже однимъ дорогимъ сердцу каждаго русскаго и незабвеннымъ поэтомъ—Кольцовымъ. Онъ былъ сынъ сельскаго священника *), и дѣтство его прошло въ самой бѣдной и убогой обстановкѣ, ничѣмъ не отличавшейся отъ обстановки любого крестьянина изъ неособенно зажиточныхъ. Въ отрывкѣ изъ своей автобіографіи, носящей заглавіе «Мое дѣтство» (см. «Горе селъ и деревень», стр. 101), онъ приводитъ нѣсколько весьма характеристическихъ воспоминаній о своемъ дѣтствѣ.

«Я очень рано начинаю помнить себя,—говоритъ онъ: но эти раннія воспоминанія какъ тучей затемняются множествомъ сѣрыхъ, обыденныхъ дней будничной сельской жизни, необыкновенно-похожихъ другъ на друга. Теперь пристально всматриваясь въ непроглядный туманъ этихъ дней, я какъ будто вижу въ немъ что-то неясное, неопредѣленное, но вмѣстѣ съ тѣмъ страстно любимое мной: вотъ напримѣръ подъ однообразный, но могучій, шумъ большой рѣки, обтекавшей село съ трехъ сторонъ, проходитъ предо мной эта, такъ манящая меня въ настоящую минуту, тишина сельской жизни, идетъ она или даже не идетъ, а тихо-тихо летитъ, какъ нѣчто живое, имѣющее свой образъ, который въ моихъ глазахъ имѣетъ совершенно-опредѣленныя формы. Да, я осязательно ясно вижу, какъ надъ молчаливыми сельскими будпями, поднявшись нѣсколько выше свѣтлаго креста на новой церкви, на бѣлыхъ крыльяхъ паритъ, вмѣстѣ съ летучими облаками, кто-то свѣтлый и тихій, съ лицомъ стыдливымъ и кроткимъ, какъ у нашихъ дѣвицъ... Такъ я теперь, отдаленный отъ родного села долгими годами шумной столичной жизни, исполненной невыразимыхъ страданій, представляю себѣ мирнаго генія тихой сельской дѣятельности.

«Но исчезло видѣніе, и опять идутъ медленныя сельскія будни. Въ ушахъ раздается неразборчивый гулъ безпрестаннаго работника—деревенскаго дня. Въ какой-то угрюмой печали прислушиваются къ этому гулу понурыя и растрепанныя крыши домовъ и время отъ времени по улицѣ пролетитъ какая-нибудь лихая помѣщичья тройка, неистово позванивая валдайскимъ колокольцемъ и громыхая безчисленными бубенчиками; вяло проплетется прощалыга мѣщанинъ изъ сосѣдняго города съ краснымъ товаромъ; за тройкой и за мѣщаниномъ одинаково любопытно прорыщутъ сельскіе ребятишки и дѣвчонки, и опять—тишь, важная, медленная, и человѣка, желающаго поговорить съ ней, подмѣтить въ ней хоть какіе-нибудь признаки жизни, до глубокой тоски мучащая своимъ хмурымъ и какъ-бы упрямымъ молчаніемъ.

---

*) У Нефедова значится сыномъ дьякона. Но А. И. Левитовъ въ своей автобіографіи говоритъ, что отецъ его былъ священникомъ. Я позволяю себѣ считать свѣдѣніе, исходящее изъ-подъ пера самого А. И. Левитова, за болѣе достовѣрное.

Между прочимъ авторъ описываетъ тяжкую болѣзнь, продолжавшуюся всю зиму и едва прекратившуюся весной, къ святой недѣлѣ. Сквозь эту болѣзнь, по всей вѣроятности тифъ, сопровождаемый безпамятствомъ и бредомъ, мелькаютъ кое-какія смутныя воспоминанія, изъ которыхъ особенно характеристично описаніе Рождества и христославленія отца автора.

«Будили меня,—говоритъ авторъ:—по временамъ крики матери, разговоръ Ѳомы, топанье мужиковъ, вносившихъ отца, какъ и меня больного, въ горницу на рукахъ и укладывавшихъ его на постель. Помню я, одни изъ мужиковъ несли самого отца, въ рукахъ у другихъ находилась его высокая мѣховая шапка съ зелено-плисовымъ верхомъ, третьи держали его красивый кумачный кушакъ, войлочный теплый сапогъ, обшитый кожей. Всѣ они говорили матери съ улыбками, необыкновенно похожими на праздничную улыбку отца:

«—Матушка! извольте принять: все въ сохранности. Вотъ—кушакъ-съ; а вотъ — шапица; а вотъ—деньговъ рупь пять копеекъ.. Въ цѣльности все, потому мы—не какіе-нибудь, а дѣти духовныя, своего батюшку-священника помнимъ и знаемъ. По рюмочкѣ, матушка, мужичкамъ для праздника Христова, ваша милость будетъ...

«— Однѣхъ курочекъ, маменька, тридцать семь, ласкательно говорилъ раскраснѣвшійся Ѳома, вдругъ врываясь въ горницу:—четыре пѣтушка, маменька, сто двадцать шесть хлѣбцовъ-съ. Вотъ, мы нонѣшній день-съ какъ съ батюшкой орудовали-съ.-. Пожалуйте ручку-съ, маменька!

«Мужики, смотря на ухарство Ѳомы, принимались смѣяться, закрывая впрочемъ свои рты широкими и закорузлыми ладонями, чтобы попадья не видала ихъ улыбокъ, а мать кричала на Ѳому:

«—Разбойникъ! Разбойникъ! Доколѣ ты меня мучить будешь? Вѣдь это ты все батюшку пьянствовать-то назуживаешь. Чѣмъ-бы поберечь хозяина, а онъ - накось! Ишь, какъ самъ нализался! Не просила ли я тебя, безстыжія твои бѣльмы, поберечь его, а?.. Просила или нѣтъ, сказывай! Помяни мое слово, Ѳомка, послѣ новаго года я тебя въ три шеи отъ себя протурю.»

Рядомъ съ этими грустными и тоскливыми дѣтскими воспоминаніями по всѣмъ «Степнымъ очеркамъ» А. И. Левитова разсѣяны и болѣе отрадныя и свѣтлыя картины его дѣтства. Это—именно обаяніе южной, степной природы, положившее глубокій, неизгладимый слѣдъ на всю его жизнь и дѣятельность, сцены дѣтской бѣготни по широкому раздолью степей, игръ, занятій, пѣсенъ и самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Особенно въ этомъ отношеніи отличается очеркъ: «Уличныя картины.—Ребячьи учители». «Дѣти раздольныхъ полей,—говоритъ А. И. Левитовъ:—широкихъ луговъ и улицъ, мы всегда убѣгали отъ грустныхъ матерей нашихъ въ поля или на улицы, гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про эти колотушки, которыми такъ тщетно заставляли насъ забывать про эти обѣды» («Ст. очерки», гл. 2, стр. 51). Очеркъ «Дворянка» отличается по всей вѣроятности въ такой же степени субъективностью личныхъ воспоминаній. Въ немъ описываются игры степныхъ ребятъ подъ предводительствомъ полоумной старухи Забихи, помѣшавшейся вслѣдствіе того, что младшая сестра ея, оставшаяся на ея рукахъ, была обольщена какимъ-то бариномъ и умерла, приживши съ нимъ ребенка и покинутая имъ. Этотъ ребенокъ, въ видѣ черноглазой, бойкой и ласковой степной смуглянки, является въ очеркѣ первой любовью разсказчика. Племянница Забихи предводительствовала всѣми дѣтскими играми, командовала надъ самой полоумной теткой и вскорѣ такъ привязалась къ разсказчику, что они жить не могли другъ безъ друга и поклялись даже, когда выростутъ большіе, вступить въ законный бракъ.

«Отецъ принялся между прочимъ учить меня грамотѣ,—разсказываетъ А. И. Левитовъ:—которая особенно потому мнѣ не нравилась, что на цѣлые дни разлучала меня съ дѣвочкой. Я безполезно проводилъ мучительно-длинные и жаркіе лѣтніе дни, сидя надъ азбукой и тоскуя о знакомомъ огородѣ. Его веселье, его трава и плетень, раскаленное солнцемъ небо, покрывавшее его, представлялись мнѣ гораздо виднѣе, чѣмъ всѣ эти азбучные азы и титлы; а черномазая дѣвочка, съ своими длинными волосами, съ ясными, всегда такъ нѣжно смотрѣвшими глазами, бѣгавшая по этому огороду, окончательно затемняла глаза мои, такъ что они очень плохо знакомились съ раскрашенными яркой краской картинами въ священной исторіи, которыми отецъ хотѣлъ заохотить меня къ грамотѣ...»

Послѣ цѣлаго ряда руготни и истязаній отецъ мальчика, видя, что безъ дѣвочки ученье не идетъ въ голову сыну, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъ его подругу. Съ дѣвочкой ученье пошло быстро, такъ что очень скоро они, по собственному сознанію отца, и читать, и писать стали не въ примѣръ лучше его. Отъ «Сто четырехъ священныхъ исторій» съ картинами они перешли къ знакомой уже намъ Четьи-Минеи.

«Цѣлый годъ,—повѣствуетъ А. И. Левитовъ:—кажется, у насъ не было другого разговора, какъ только о пріобрѣтеніи мученическаго вѣнца. Различные примѣры мучениковъ и мученицъ закалили наши головы страстнымъ, истомлявшимъ желаніемъ идти куда нибудь и прославлять святое имя Христово по всѣмъ широкимъ концамъ земнымъ. Сонныя видѣнія наши были не что иное, какъ отрывки изъ святыхъ поэмъ Чети-Минеи.. Но Чети-Минея была скоро прочитана. Еще намъ откуда-то досталъ отецъ божественныхъ книгъ... Однажды услышалъ наши разговоры дьяконскій сынъ—семинаристъ, который ходилъ къ моему отцу учиться живописи. Какъ теперь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ читать, была «Графъ Монте-Кристо». Послѣ «Монте-Кристо» мы перечитали всѣ историческія сказки Дюма, а потомъ семинаристъ, пріѣхавъ чрезъ годъ уже на лѣтнія вакаціи, началъ читать вмѣстѣ съ нами Галахова «Хрестоматію.» Онъ терпѣливо и охотно вселялъ все лѣто въ наши мозги настоящее дѣло. Горько плакали мы въ это время надъ «Басурманомъ», весело смѣялись съ Киршей, а потомъ, когда пришла пора, семинаристъ объяснилъ намъ мучительную прелесть Пушкина и мрачно-величавое уныніе Лермонтова!..»

Всѣ эти факты дѣтства А. И. Левитова обнаруживаютъ намъ его въ видѣ крайне болѣзненнаго и нервно-впечатлительнаго ребенка, съ богатымъ воображеніемъ, развитымъ подъ обаяніемъ южной природы и возбужденнымъ фантастическими грезами подъ вліяніемъ чтенія Четій-Миней и слушанія всевозможныхъ сказокъ, легендъ и повѣрій, которыми въ обиліи была преисполнена среда, окружавшая мальчика. Въ играхъ съ сверстниками онъ конечно не былъ запѣвалой и предводителемъ. Отсутствіе физическихъ силъ вмѣстѣ съ пламенной экзальтаціей и грезами о всевозможныхъ мученическихъ вѣнцахъ дѣлали его въ глазахъ здоровыхъ, сильныхъ и реально-мыслящихъ степныхъ мальчугановъ какимъ-то особеннымъ

существомъ, не то блаженненькимъ, не то баричемъ. Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, прозывали на иначе, какъ дворянчикомъ, и все это въ дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣмена того мрачнаго ожесточенія противъ людской неправды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощному, — ожесточенія, составлявшаго главную сущность поэзіи Левитова. Уѣздная бурса и губернская семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе.

III.

Для этого самаго ужаснаго періода жизни А. И. Левитова отличнымъ матеріаломъ для насъ будетъ служить разсказъ его «Петербургскій случай», въ которомъ рисуется передъ нами петербургскій чиновникъ Иванъ Николаевичъ, мрачный, нелюдимый, сосредоточенный, сильно пьющій и подъ конецъ сходящій съ ума. Описывая галлюцинаціи бѣлой горячки своего героя, авторъ заставляетъ его вспоминать дѣтство и училищные годы, и передъ нами воскресаютъ очевидно воспоминанія самого автора, да мало еще этого: въ разсказъ вклеены отрывки изъ семинарскаго дневника съ обозначеніемъ даже чиселъ. Какъ всѣ детали этихъ воспоминаній, такъ и самый тонъ ихъ, исполненный слишкомъ нервно-болѣзненнаго и мрачнаго ожесточенія, доходящаго до отчаянія, невольно заставляютъ насъ думать, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чисто автобіографическими фактами.

«Во снѣ,—повѣствуетъ авторъ про своего героя, Ивана Николаевича:—очень долгое время передъ нимъ бѣсилось коростовое стадо разношерстныхъ ребятишекъ, голодныхъ, и потому воровавшихъ у всякаго все, что только попадало подъ руку; безпризорныхъ, и потому звѣрски изодравшихся; безъ хорошихъ, руководящихъ примѣровъ и слѣдовательно въ самомъ дѣтствѣ уже обреченныхъ на гибель, какъ почти безъ исключенія погибаютъ всѣ люди, неприспособляемые съ раннихъ лѣтъ къ правильнымъ пониманіямъ и отношеніямъ къ жизненной дѣйствительности. Пронзительный звонъ колокольчика загонялъ это стадо въ какія-то смрадныя стойла, гдѣ большею частью ему говорились какія-то ни въ одномъ слоѣ общественной жизни неупотребляемыя слова. Шипѣнье гибкихъ, двухъ-аршинныхъ розогъ, ревъ десятка дѣтей, которыхъ въ разныхъ стойлахъ полосовали ими, звонъ колокольчика и наконецъ ни отчего отъ этого непрерывавшееся внушеніе тарабарской гибели сливались въ одинъ общій, исполненный самаго варварскаго безобразія, гулъ и заставляли Ивана Николаевича какъ одержимаго горячкой, метаться на постели и кричать:

«—Боже мой! Боже мой! Что-же это за несчастныя времена были! Сколько честнаго и даровитаго сгублено ими!..»

Затѣмъ воспоминанія Ивана Николаевича переселяютъ насъ въ губернскій городъ и въ семинарію, и тутъ уже начинаются выписки изъ дневника, въ самомъ разсказѣ внесенныя въ кавычки:

«*3-го сентября.* Какъ только я, проводивши отца, пришелъ въ классъ, ученики прозвали меня франтомъ, потому что я былъ въ ватной сибиркѣ изъ желтой нанки и въ замшевыхъ перчаткахъ, такъ какъ руки у меня дома отъ работы и отъ нечистоты закоростовѣли, и отецъ намазалъ мнѣ ихъ сѣрой съ коровьимъ масломъ. Всѣ меня со смѣхомъ принялись бить, плевать въ лицо, а за мальчика съ большими глазами, который наканунѣ укралъ у меня задачу, стали звать выслужкой, т. е. ябедникомъ. Пришелъ профессоръ въ короткомъ сюртукѣ и въ пестрыхъ штанахъ, которые были на манеръ ситцевыхъ. Онъ сталъ говорить со мной, и тогда весь классъ почему-то вдругъ громко захохоталъ, а я сталъ плакать. Профессоръ вмѣсто того, чтобы заступиться за меня, подмигнулъ ученикамъ и сказалъ имъ: «не тревожьте его, братцы! Это—прекрасный молодой человѣкъ, сочиненіе Поль-де-Кока, романъ въ двухъ частяхъ.»

«Цѣлыхъ полтора часа издѣвался надо мной профессоръ, а классъ грохоталъ, и наконецъ, когда пробили звонокъ, онъ сказалъ мнѣ: «ну, прощай, дамскій портной! ха, ха, ха!»

«Такъ съ тѣмъ я и остался, и ни отъ кого мнѣ не было прохода, и имени мнѣ отъ товарищей другого не было, какъ только дамскій портной и прекрасный молодой человѣкъ. Всѣми силами старался я подружиться съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, но всѣ они, обругавши меня, насмѣявшись надо мной, уходили отъ меня.

«*Декабря 1-е.* Дали сочиненіе: «Весна пріятна». Нужно было написать три періода: причинный, уступательный и относительный; но я не понялъ, какъ профессоръ училъ сдѣлать это, а просто взялъ и сталъ говорить, какъ приходитъ весна, какъ солнце сушитъ грязь и, вмѣсто нея, встанешь иной разъ поутру, увидишь тропинку мягкую такую, такую бѣлую... Кто протопталъ ее за ночь, не знаешь; а потомъ побѣжишь по ней... Она криво бѣжитъ къ лавкѣ, къ попу, въ кабакъ, потомъ въ лѣсъ, гдѣ и прячется въ прошлогодней, успѣвшей уже обтаять, травѣ. Въ травѣ вода чистая и холодная, какъ ледъ. Руки и ноги бывало ужасно какъ зазнобишь, бродя въ этой водѣ. Онѣ сдѣлаются, бывало, красныя, какъ огонь, а потомъ посинѣютъ. У кого посинѣютъ руки и ноги, мы тому скажемъ: «у тебя руки и ноги помертвѣли», потомъ всѣ бросимся на этого мальчишку или дѣвчонку и станемъ оттирать, а сами хохочемъ на весь лѣсъ... Около насъ шумѣла глубокая и широкая рѣка, а по ней скоро неслись большія льдины съ густымъ камышемъ. Подъ нимъ бѣгали и жалобно кричали зайцы, а самыя льдины сіяли на солнцѣ, такъ-что мы жмурили глаза... Мы смотрѣли на это по цѣлымъ днямъ и цѣлые дни смѣялись.

«Все это я такъ и написалъ. И много другого еще про бабочекъ, про птицъ — потомъ, какъ у насъ однажды въ полноводье лодка плыла съ мельницы, которую чуть-чуть не затопила вдругъ прорвавшаяся плотина. Въ лодкѣ была мельничиха, сама она правила, отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли, и дѣти у нея въ лодкѣ ползали и кричали, а кто былъ на берегу, всѣ молили Бога, чтобы Онъ помогъ ей. Когда-же она подъѣхала къ берегу, тогда всѣ бросились цѣловать ее, а ребятишки, какіе тутъ были, смѣялись и плясали.

«На другой день пришелъ въ классъ профессоръ и спросилъ меня:—«Кто это тебѣ, чучело, написалъ сочиненіе?» Я ему сказалъ:—Никто! Это я самъ написалъ, и въ это время у меня лицо сдѣлалось красное, потому что я на него осерчалъ, зачѣмъ онъ мнѣ не вѣритъ, и мнѣ хотѣлось плакать. Тогда онъ схватилъ меня за уши и закричалъ: «Врешь, подлецъ! Сейчасъ сознавайся, кто тебѣ это написалъ?» Я громко зарыдалъ, а ученики загрохотали.

«Профессоръ согналъ меня въ это время съ перваго мѣста на послѣднее, а я написалъ письмо матери, чтобы она пріѣхала ко мнѣ и *исключила* меня, потому что я не могу понять ученья, т. е., какъ писать.

«Мать привезла мнѣ сухой малины и орѣховъ; долго плакала, прыскала мнѣ голову святой водой, потому что голова у меня горѣла, какъ въ огнѣ, а потомъ уѣхала домой съ обратными мужиками, и я остался одинъ.»

«Передъ Святой какъ-то сидѣли мы въ классѣ и профессоръ сказалъ намъ:—«Ну, братцы! Теперь скоро публичный экзаменъ будетъ, и намъ нужно на-

востриться стихи сочинять. Вотъ они какіе бываютъ стихи-то», какъ развернулъ книгу и началъ намъ читать стихотворенія разныхъ размѣровъ, объясняя при этомъ, что такое ямбъ, хорей, дактиль, анапестъ и т. д. И какъ я у дѣдушки, у протопопа, такихъ стиховъ прежде много читалъ, то и подумалъ, что писать ихъ не мудрено... Еще подумалъ, что какъ только я напишу стихи, сейчасъ меня всѣ полюбятъ, и профессоръ посадитъ меня на первое мѣсто... «Ну, кто-же напишетъ, братцы? еще разъ спросилъ онъ, и тогда я всталъ съ мѣста и сказалъ, что я могу писать. Онъ задалъ мнѣ «Осень»—и къ концу класса я приготовилъ вотъ какіе стихи:

Перезрѣли въ просахъ зерна,
Перезрѣли.
Звонкимъ лѣтомъ надъ рѣками
Птицы пролетѣли.
Вслѣдъ имъ пущенъ громкій выстрѣлъ
Отъ сѣнного стога.
«До весны прощайте, птицы,
Путь вамъ и дорога!»
Имъ стрѣлокъ сказалъ, ступая
Топкой колеею.
Былъ онъ съ темными усами,
Съ мералой бородою.

«Отъ этихъ стиховъ мнѣ стало еще хуже. Профессоръ избилъ меня за то, что онъ думалъ, что я ихъ списалъ изъ какой-нибудь книги, и все спрашивалъ меня, какого они размѣра, но я не зналъ этого. Пуще прежняго всѣ возненавидѣли меня; ученики изъ другихъ классовъ останавливали меня на улицахъ, въ корридорахъ и требовали, чтобы я прочиталъ имъ что-нибудь *вдругъ изъ своего ума*, и когда я не могъ этого сдѣлать, они били меня и говорили:—«Эхъ ты, сочинитель кислыхъ щей!»

«Однажды я попался на глаза инспектору. Онъ спросилъ у профессора словесности: «Этотъ, что-ли, у тебя парнишка стихи-то сочиняетъ?» Профессоръ отвѣтилъ: «такъ точно-съ! Дрянь самая безнравственная... Извольте обратить вниманіе на морду, ваше—іе! всегда внизъ... А это, доложу вамъ,— вѣрнѣйшій признакъ злохудожной души-съ...

«Инспекторъ долго и свирѣпо смотрѣлъ на меня, потомъ принялся ощупывать мою голову, стукать по ней въ разныхъ мѣстахъ концами пальцевъ и кулакомъ (всѣ говорили что онъ отлично умѣетъ узнавать человѣческія способности, и потому многіе господа привозили къ нему для этого своихъ дѣтей) и потомъ, обратившись къ профессору, сказалъ:

«— У него дѣйствительно очень развита шишка сочинительства. Только ты гляди у меня, сочинитель, не пей!.. Знаю я вашего брата. Всѣ вы таковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за нимъ построже, за каждый шагъ пробирайте... Небойсь, остынетъ, а то вѣдь это искушеніе сильно... Не всякій съ нимъ совладѣетъ... О-охо-хо!.. Пошолъ прочь!..

«Прошло цѣлыхъ два года еще такого-же безсмѣннаго горя, оскорбленій, слезъ — и видно было, что ребенокъ формируется. Онъ уже не плакалъ, а злился и негодовалъ, и эта злость, и негодованіе были выражены уже не ребячьимъ лепетомъ, а жаркимъ слогомъ юноши, въ которомъ закипѣло страстное и сильно-чувствующее сердце.

«Все-бы это опротивѣло мнѣ до безумія,—писалъ мальчикъ—еслибы я не подружился съ Василіемъ Западовымъ, который однажды заступился за меня, а потомъ посовѣтовалъ мнѣ, чтобы я самъ старался всякому носъ сорвать...

«— Какого ты чорта смотришь на этихъ подлецовъ? говорилъ Западовъ.—Колоти въ морду какого-нибудь мерзавца, сейчасъ-же тебѣ отъ этого веселѣе сдѣлается... Это, братъ—вѣрно! Ей Богу! Я это пробовалъ, и вотъ самъ видишь, кто теперь на меня налетаетъ? А во вѣдь и меня чуть-чуть не заклевали...

«Я очень его полюбилъ, и вчера мы выпили съ нимъ потихоньку отъ нашихъ квартирныхъ полуштофъ сантуринскаго и потомъ за полночь читали книгу «*Мертвыя Души*». Я много плакалъ, смѣялся, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мнѣ дѣлалось до того страшно чего-то, что зубы мои стучали, какъ въ лихорадкѣ... Въ мозгу пробѣгала какая-то смутная мысль о томъ, что «если-бы и мнѣ такъ-то»... Потомъ мысль эта вдругъ смѣнялась стыдомъ и злостью на себя за то, что она шевелится во мнѣ. Въ груди и головѣ моей неотступно сидѣлъ кто то и сердито говорилъ: «развѣ ты смѣешь желать *этого*?» и этотъ говоръ былъ настолько слышенъ мнѣ, что я терялъ всякую надежду на что-то; а между тѣмъ впервые услышанный мной *громъ другихъ рѣчей*, которыми поэтъ живописалъ людей и природу, лился на меня неизъяснимо-увлекавшей музыкой, отъ которой вздрагивало тѣло и расширялась грудь, вся переполненная чѣмъ-то кипучимъ и необыкновенно сильнымъ...»

«Сантуринское вино вмѣстѣ съ потрясающимъ впечатлѣніемъ чтенія Гоголя произвели то, что мальчикъ впалъ въ безпамятство и снова тяжко заболѣлъ. Очнулся онъ въ больницѣ послѣ кризиса спустя повидимому не малое время.

«— Да что ты, чортовъ сынъ, когда перестанешь барахтаться-то? загремѣлъ, разсказываетъ онъ, — надо мной голосъ человѣка, старавшагося связать мои руки. Ишь, дьяволенокъ, ишь здоровый какой! повторялъ этотъ голосъ.

«Я открылъ глаза и увидѣлъ выбѣленныя стѣны семинарской больницы, мать, умолявшую фельдшера не бить и не вязать меня и обѣщавшую за это сейчасъ же пойти въ лавку и отрѣзать ему сукна на штаны, и Васю Западова

«— Ну, мать, молись Богу! заговорилъ фельдшеръ матери. — Очнулся, значитъ, сто лѣтъ проживетъ. Бѣжи теперь, тащи мнѣ сукна, да прихвати атласцу на галстухи аршинчикъ. Очень я галстухами-то пообносился... Ухвати кстати, маменька, четверточку табаку жукетцу, мы тутъ воскуримъ съ твоимъ птенцомъ. Теперича ему это очень въ пользу пойдетъ...

«И странное дѣло! Вышелъ я изъ больницы съ совершенно облѣзлой головой. Посмотрю на себя въ зеркало, толкачъ толкачомъ, какъ есть уродъ; и между тѣмъ никто надо мной не смѣялся. Я сталъ думать, отчего это меня обижать перестали, хотя попрежнему смотрѣли недоброжелательно, изъподлобья, сумрачно—и дѣло объяснилось очень просто: мы всегда и въ классѣ сидѣли, и по улицамъ ходили вдвоемъ съ Западовымъ и, если на насъ налеталъ кто-нибудь съ дракой, мы его колотили до того, что начинали, противъ воли, истерически хохотать надъ его болями и бросали тогда уже, когда намъ самимъ дѣлалось нестерпимо больно отъ нашего смѣха... Потомъ мы съ Западовымъ стали брать деньги за то, что писали за другихъ учениковъ сочиненія—и на эти деньги покупали красное вино, которое въ банѣ и выпивали. Это еще болѣе увеличило почетъ, которымъ мы начинали пользоваться. У насъ оказалось много преданныхъ ребятъ, которымъ мы писали даромъ, и они разсказывали всѣмъ, что мы необыкновенно умные и добрые, такъ что къ намъ стали ласкаться изъ старшихъ классовъ. Разсуждая обо всемъ этомъ, мы съ Василіемъ очень смѣялись надъ товарищами и говорили другъ другу: «вотъ скоты! Когда мы имъ хотѣли душу отдать, они издѣвались надъ нами, какъ надъ собаками, а теперь... вонъ какая штука пошла!..

«Долго мы съ своими неопытными умами вертѣлись около этой штуки и наконецъ рѣшились поступать всегда такимъ образомъ: пробирать всѣхъ и вся, а то самого убьютъ...

«Ужъ и доставалось же отъ насъ нашимъ прія-

телямъ! Мы составили себѣ изъ двухъ нашихъ маленькихъ физическихъ силъ одну, о которую разбивались всѣ остальныя, а нравственныя силы къ намъ обоимъ сами пришли... Понявши этотъ фактъ, мы смѣялись и колушмятили, колушмятили и смѣялись...

«— Вотъ теперь въ насъ съ тобой сидятъ подлинно злохудожныя души! часто съ громкимъ хохотомъ говаривалъ Василій, раздавая направо и налѣво забористые тумаки.

«Впрочемъ когда мы оставались съ Западовымъ одни, мы долго совѣтывались, какъ бы намъ безъ драки помириться со всѣми—и не находили никакого другого средства. Я до слезъ унывалъ отъ этого, а Васютка надвинетъ-бывало брови, по лицу у него забѣгаютъ въ это время угрюмыя и вмѣстѣ печальныя тѣни—и скажетъ:

«— Э! не плачь! Чортъ съ ними! Давай-ка читать...»

И они съ жадностью принимались читать.

И далѣе воспоминанія А. И. Левитова передаютъ рядъ впечатлѣній, производимыхъ на юношей чтеніемъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Диккенса, Тэккерея и проч.

IV.

Это обиліе чтенія имѣло тѣ послѣдствія, что на 17-мъ году А. И. Левитовъ покинулъ семинарію, будучи на философскомъ отдѣленіи, и рѣшился отправиться въ Москву, въ университетъ. За неимѣніемъ средствъ, ему пришлось совершить это путешествіе въ 500 верстъ пѣшкомъ. Прійдя въ Москву, онъ началъ слушать лекціи въ университетѣ и готовиться ко вступительному экзамену. Горизонтъ его жизни въ эту пору значительно прояснился; это была повидимому лучшая эпоха его жизни. Онъ попалъ въ Москву и въ университетъ въ самое оживленное и горячее время общественнаго пробужденія передъ реформами. Послѣ той страшной семинарской каторги, какую мы видѣли на предыдущихъ страницахъ, началась для него полная надеждъ и мечтаній, горячихъ споровъ, разумнаго чтенія жизнь въ студенческомъ кружкѣ (въ которомъ, вмѣстѣ съ Левитовымъ, былъ Кельсіевъ). Выдержавши вступительный экзаменъ, А. И. Левитовъ однако же не остался въ московскомъ университетѣ, а перебрался въ Петербургъ, гдѣ поступилъ въ медико-хирургическую академію. Здѣсь жизнь его потекла такъ же дѣятельно, разумно и оживленно, какъ и въ Москвѣ; рядомъ съ студенческими занятіями онъ отдавать весь досугъ свой чтенію и изученію какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ поэтовъ и беллетристовъ. Но печальный случай измѣнилъ все: Левитовъ былъ запутанъ въ какія-то исторіи, исключенъ изъ академіи и очутился на далекомъ сѣверѣ—въ Шенкурскѣ, потомъ въ Вологдѣ.

Эта шенкурская и вологодская эпоха тяжело отразилась на всей жизни А. И. Левитова. Вдали отъ интеллигентныхъ центровъ, въ борьбѣ съ нищетой, среди уѣзднаго общества, тонущаго въ грубомъ матеріализмѣ, А. И. Левитовъ окончательно ожесточился, одичалъ и сжился съ тѣми низшими слоями общества, изобразителемъ жизни которыхъ онъ является. Въ то же время скука, праздность, лишенія и унынія вмѣстѣ съ заразительнымъ примѣромъ окружавшей его среды развили и ожесточили въ немъ тотъ порокъ, задатки котораго, въ видѣ выпиванія сантуринскаго и краснаго вина вмѣстѣ съ Западовымъ, мы видѣли уже въ семинарской жизни А. И. Левитова. Если можно какимъ добромъ помянуть этотъ періодъ его жизни, то развѣ тѣмъ, что въ это время онъ серьезно приступилъ къ литературнымъ трудамъ, и уже въ Шенкурскѣ были начаты имъ «Степные Очерки», а съ переѣздомъ въ Вологду онъ въ состояніи былъ окончить нѣкоторыя изъ начатыхъ работъ и послать въ Москву, въ редакцію одного журнала. «Въ 1861 году, повѣствуетъ Нефедовъ въ своемъ некрологѣ:—Левитовъ возвратился въ Москву. Возвращеніе это потребовало нѣсколькихъ мѣсяцевъ: онъ шелъ по обыкновенію пѣшкомъ и безъ гроша денегъ. Чтобы не умереть съ голоду и продолжать дальнѣйшее путешествіе, онъ принужденъ былъ останавливаться въ селеніяхъ, нанимался писать въ волостныхъ правленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику въ недѣлю. Такъ онъ и дошелъ до Москвы».

Съ 1861 года начинается дѣятельное участіе въ литературѣ. Онъ помѣщаетъ свои очерки сначала въ журналахъ: «Зрителѣ», «Развлеченіи», «Русской Рѣчи», потомъ во «Времени», «Современникѣ», «Библіотекѣ для Чтенія», «Искрѣ», «Недѣлѣ» и многихъ другихъ періодическихъ изданіяхъ. Къ этому-же времени относится между прочимъ и знакомство его съ разными литературными дѣятелями того времени, напримѣръ съ Ап. Григорьевымъ, который привѣтствовалъ его появленіе на литературное поприще и поощрилъ начинавшій талантъ. Вся дальнѣйшая жизнь А. И. Левитова носитъ довольно однообразный характеръ, такъ что вмѣсто подробнаго перечисленія фактовъ ея по годамъ, что было бы и довольно затруднительно вслѣдствіе неимѣнія обстоятельныхъ свѣдѣній для этого, я ограничусь одной общей характеристикой этой жизни.

Въ сущности это была не жизнь въ истинномъ смыслѣ этого слова, а какое-то непрестанное маянье и постепенное угасаніе. Литературный трудъ очень плохо обезпечивалъ бѣднягу, и къ тому-же онъ поспѣшилъ обзавестись семьей, чѣмъ еще болѣе отягчилъ и безъ того нерадостную жизнь свою. Можно положительно сказать, что впродолженіи всей жизни человѣкъ этотъ не зналъ что значитъ имѣть свой домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя бы самую убогую: онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ странникомъ, вмѣщавшимъ все свое добро въ маленькій чемоданчикъ, и съ этимъ чемоданчикомъ скитался по меблированнымъ комнатамъ, по столичнымъ чердакамъ и подваламъ. Къ тому же онъ не могъ не только примкнуть къ одному какому-либо изданію и сдѣлаться его постояннымъ сотрудникомъ, но и укорениться въ одной изъ столицъ: поживетъ въ Москвѣ годикъ, другой, а то и нѣсколько мѣсяцевъ, и начинаетъ тяготиться московской жизнью: «здѣсь все начинаетъ плесневѣть, говоритъ раздраженно своимъ близкимъ:—тутъ сдѣлаешься или пошлякомъ, или сопьешься...» Ѣдетъ въ Петербургъ: тамъ въ сущности—то же самое: подвальчики, чердачки, борьба съ нищетой, да еще къ тому и убійственный климатъ, подъ вліяніемъ котораго у Левитова ожесточается кашель, начинается кровохарканье, грудныя боли—

онъ ѣдетъ опять въ Москву—поправиться съ силами, отдохнуть, повидаться съ знакомыми. А въ Москвѣ опять ждетъ его все та же убогая, сырая, холодная комнатка гдѣ-нибудь въ захолустьѣ и тоскливое одиночество вмѣстѣ съ проклятіями сирадной, удушливой физической и нравственной атмосферѣ столичной жизни и тщетными порываніями степняка въ родной край, на широкій и вольный просторъ благоухающихъ степей.

Такъ жестоко страдалъ, томился и вянулъ степной цвѣтокъ, оторванный отъ родной почвы и непригрѣтый въ суетѣ и сирадѣ столичной жизни... Тоска по родинѣ и тщетныя порыванья въ родной край «на наслѣдственную полосу» проходятъ по всѣмъ сочиненіямъ А. И. Левитова; отражаются они и въ некрологѣ Нефедова.

— Я усталъ, говорилъ Александръ Ивановичъ Нефедову въ одну изъ бесѣдъ:—мнѣ необходимъ отдыхъ. Здѣсь, въ Москвѣ, или въ Петербургѣ объ этомъ нечего думать... Довольно, будетъ ужъ съ меня *столицій*-то: слава Богу, въ загривокъ-то достаточно-таки они наклали мнѣ.. Ахъ, братъ, на родину какъ тянетъ, если-бы ты зналъ!.. Стариковъ моихъ вживѣ ужъ нѣтъ—не хватило у нихъ силъ, мочи перенести горе; мой Шенкурскъ убилъ и отца, и мать. Такъ и не привелось видѣться со стариками... Теперь остались только сестра и братъ. Хоть-бы на нихъ взглянуть!..»

И вотъ не въ силахъ, за неимѣніемъ средствъ, попасть на родину и желая быть къ ней хоть поближе, онъ начинаетъ хлопотать о мѣстѣ уѣзднаго учителя въ Ряжскѣ. «Ряжскъ, говоритъ онъ:—вѣдь это—ужъ почти что моя родина: отъ Ряжска до Козлова по желѣзной дорогѣ, а тамъ—рукой подать мое село». Съ большими мытарствами и трудомъ досталъ себѣ это мѣсто А. И. Левитовъ, но не долго пробылъ на немъ. Въ августѣ 1866 г. уѣхалъ изъ Москвы, а въ декабрѣ писалъ уже Нефедову: «много ошибокъ и безтактныхъ вещей дѣлалъ я на своемъ вѣку, но, говоря по всей совѣсти, онѣ положительно блѣднѣютъ передъ такой великой глупостью, какъ мое поступленіе учителемъ въ Ряжскъ», и на рождественскихъ праздникахъ Левитовъ снова былъ уже въ Москвѣ. Такъ-же неудачна была попытка его посѣтить родину и позже, въ 1870 году. Въ іюнѣ этого года онъ писалъ Нефедову: «Ѣду на родину. Проѣздомъ черезъ Москву непремѣнно заверну къ тебѣ. Наконецъ то сбылись мои давнишнія мечты и желанія: я увижу родину!..» Но пріѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ ней, и вмѣсто родины ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близъ Ваганьковскаго кладбища, въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозь крышу дождь, и опять пошла жизнь, полная страданій и лишеній.

Впрочемъ нужно замѣтить, что не одинъ недостатокъ въ средствахъ и дороговизна центральныхъ квартиръ загоняли его постоянно на городскія окраины, въ глушь, какъ онъ выражался, «*дѣвственныхъ* улицъ». Эти дѣвственныя улицы привлекали его также и потому, что въ нихъ не было ненавистнаго ему городского шума, и онѣ напоминали ему своимъ полудеревенскимъ видомъ его родину, какъ объ этомъ самъ онъ говоритъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій.

Но не одна сельская обстановка и тишина дѣвственныхъ улицъ, разгонявшія хандру городской суеты и успокоивавшія раздраженные нервы страдальца, манили его къ себѣ: любилъ онъ и скромныхъ, бѣдныхъ обитателей этихъ улицъ, безхитростно-простыхъ, радушныхъ, душевныхъ людей нищеты, мастеровыхъ мѣщанъ, отставныхъ солдатъ и т. п. Онъ бѣжалъ къ этимъ людямъ отъ нравственныхъ противорѣчій, искусственности, напускной гуманности и черстваго высокомѣрія интеллигентныхъ слоевъ общества и чувствовалъ себя у нихъ какъ дома, отдыхалъ среди нихъ душой. Довѣріе, которое они питали къ нему, умѣнье стоять съ ними на равной ногѣ по-пріятельски – составляли его нравственную гордость, которую онъ высказываетъ въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій и которой тщеславится передъ своимъ интеллигентнымъ читателемъ.

Тщеславясь разницей отношеній простого люда къ нему и читателю, въ другомъ мѣстѣ, онъ наоборотъ, выставляетъ на видъ различіе своихъ личныхъ отношеній къ простому люду и къ интеллигентному слою. Изображая себя въ одномъ изъ очерковъ («Фигуры и тропы о московской жизни») проснувшимся послѣ сильной попойки у знакомаго московскаго обывателя дѣвственныхъ улицъ, Чижа, онъ восклицаетъ:

«Повторяю въ концѣ концовъ, что я былъ очень радъ, что очутился у Чижа, потому что часто также приходится мнѣ трудить ошалѣлую голову надъ разгадкой, у кого именно изъ моихъ барственныхъ друзей встрѣчаю я извѣстное утро, тысячью невидныхъ и неслышныхъ для посторонняго глаза голосовъ и лицъ то безпощадно осуждающее меня, бездомовнаго пьяницу, то словно жалѣющее и плачущее надо мной горячими слезами родныхъ людей, которыхъ я хочу выжить изъ моей памяти и никакъ не выживу?.. Съ ужасомъ думалъ я, разговаривая съ Чижихой: что-бы было со мной, ежели-бы я проснулся теперь не въ ея квартирѣ? Благовоспитанный другъ мой читалъ-бы мнѣ мораль, что необходимо и проч., отпаивалъ-бы кофеемъ, говорилъ-бы со мной *по-мужицки*, либеральничалъ; между тѣмъ самъ я въ каждомъ звукѣ, изъ какихъ состояли-бы его нескончаемыя рацеи, явственно разбиралъ-бы звонкій, нестерпимо-рѣжущій хохотъ уродливаго дьяволенка пьянства, который самымъ подлымъ образомъ вихлялся-бы передо мной въ синемъ пламени спиртовой лампы, варившей кофе, дразнилъ-бы меня и кричалъ другу моему и наставнику:

«— Да что это ты ему разговоры разговариваешь? ха, ха, ха! – Ему погромче тебя въ милліонъ разъ говорили когда-то, да не послушалъ... ха, ха, ха!» («Горе селъ и дер.», стр. 420).

«Въ Москвѣ у меня бездна литературныхъ и университетскихъ друзей, повѣствуетъ онъ въ другомъ мѣстѣ. («См. Ж. моск. закоул.», стр. 296):—которые меня весьма терпятъ и у которыхъ слѣдовательно я удобно могъ-бы сложить свой странническій посохъ, но,ославъ ихъ въ душѣ моей къ Богу въ рай, я, по прибытіи въ Москву, направился прямо въ дѣвственную улицу, гдѣ жилъ мой старый другъ, старый отставной унтеръ-офицеръ, который былъ кумъ, т. е. у котораго, благодареніе Создателю, мнѣ довелось привести въ крещеную вѣру трехъ дѣтей.»

Все это ясно показываетъ намъ въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не интеллигентнаго наблюдателя народныхъ нравовъ со стороны, а человѣка, вполнѣ сливавшагося съ народной жизнью и до конца своихъ дней не переставшаго быть человѣкомъ народа. Не на народъ, а на интеллигентные слои онъ смотрѣлъ со стороны, и то презрѣніе къ ихъ напускной гуман-

ности, искусственности и нравственнымъ противорѣчіямъ, какое мы видѣли въ вышеприведенныхъ цитатахъ, доходитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его сочиненій до крайней нетерпимости. Такъ, въ очеркѣ «Крымъ» («Жизнь моск. закоул.») онъ изливаетъ подобныя чувства именно на одного изъ элегантныхъ наблюдателей народныхъ нравовъ, затесавшагося въ кабакъ и ломавшагося тамъ своими легковѣсными фразами въ либеральномъ духѣ:

«Между тѣмъ, говоритъ онъ:—великосвѣтскія манеры моего случайнаго знакомаго неимовѣрно бѣсили меня, потому что, чѣмъ дольше сидѣли мы съ нимъ въ зловонномъ трактирѣ, тѣмъ больше онъ пропитывалъ харчевную атмосферу своими тончайшими духами, такъ-что самые нахальные крымскіе глаза безъ какого-то смущенія и даже какъ будтобы страха не могли выносить блеска опала въ его золотой булавкѣ, а въ то время, когда, казалось, самыя стѣны подземелья хотѣли лопнуть отъ шумнаго скопища, тискавшагося въ немъ, около нашего стола непопятнымъ образомъ былъ нѣкоторый просторъ. «Чортъ его побери совсѣмъ! злобно думалъ я про моего элегантнаго друга: —угораздитъ-же человѣка, одѣтаго въ такую изящную жакетку, въ галстухѣ котораго блеститъ наконецъ такое сверкающее произведеніе Фульды, затесаться въ *Крымъ*! Кажется, мнѣ придется хорошенько раскровянить его!» И клянусь вамъ, раскровянить этого молодца непремѣнно-бы слѣдовало, потому что его барство до крайности напугало присѣвшаго къ нашему столу стараго солдата. По его задумавшемуся лицу я очень хорошо видѣлъ, что солдатъ такъ-же, какъ и я, съ большимъ удовольствіемъ съѣздилъ-бы въ физіономію къ баричу.»

Въ этой цитатѣ А. И. Левитовъ—весь передъ вами, со всѣми его симпатіями и антипатіями и во всей наивной грубости степного дикаря. Хотя къ этому нужно замѣтить, что грубость эта была однимъ внѣшнимъ слоемъ грязи, наросшемъ на поэтѣ вслѣдствіе обстановки жизни его, но въ существѣ это была натура крайне нѣжная и деликатная, ни мало не способная приводить въ дѣйствіе тѣ угрозы, которыми онъ разразился противъ элегантнаго друга, смутившаго его своимъ пребываніемъ въ «Крымѣ». Объ этомъ мы можемъ судить по тѣмъ рефлексіямъ и насмѣшкамъ надъ собой, которыми ниже въ своемъ очеркѣ разражается поэтъ въ сознаніи неспособности къ выполненію грубой угрозы.

Послѣдніе годы жизни А. И. Левитова носятъ все тотъ-же мрачный колоритъ, что и вся его жизнь, если еще не мрачнѣе. Съ 1870 года до самой смерти Левитовъ почти безвыѣздно жилъ въ Москвѣ. Въ послѣдній разъ онъ посѣтилъ Петербургъ на короткое время въ 1871 году. Попрежнему зимой онъ жилъ гдѣ-нибудь у Драгомиловскаго моста, въ подвалѣ, или у Ваганьковскаго кладбища; потомъ переселялся въ какую-нибудь подгородную деревню или Петровско-Разумовское. Здоровье его медленно, но замѣтно уходило; кашель сталъ повторяться все чаще и чаще. Литературныя его работы шли тихо. Лучшая вещь, написанная имъ за послѣдній періодъ, помѣщена въ журналѣ «Грамотѣй» и носитъ заглавіе «Аховскій посадъ». Главнымъ, если не единственнымъ средствомъ къ жизни служило ему въ эти годы изданіе его сочиненій. Съ начала 1875 года онъ началъ быстро худѣть, зловѣщій кашель мучилъ его, и онъ часто жаловался на боль въ груди.

И умереть пришлось ему, какъ умираютъ многіе такіе-же бездомовные и безпріютные странники, закинутые въ чужедальнюю сторону, какимъ былъ и онъ: въ казенно-черствой обстановкѣ университетской клиники.

Я не знаю, какіе нужны комментаріи и нужны-ли какіе-бы то ни было, при видѣ этой столь безотрадно-прожитой жизни, для уясненія тѣхъ особенныхъ причинъ, которыя помѣшали молодымъ беллетристамъ и А. И. Левитову въ томъ числѣ возвыситься въ развитіи своихъ талантовъ до чего-либо великаго. Впрочемъ что касается до читателей, не отличающихся особенной быстротой соображенія, я прошу ихъ представить только себѣ общій характеръ жизни всѣхъ предыдущихъ, дореформенныхъ нашихъ поэтовъ и беллетристовъ, и читатели поймутъ тогда, какую діаметральную противоположность представляютъ пореформенные беллетристы. Прежніе наши поэты и беллетристы съ самаго нѣжнаго возраста были окружаемы всѣми и матеріальными, и умственными благами, способствовавшими къ процвѣтанію и быстрому развитію ихъ талантовъ. Дѣтство ихъ проходило гдѣ-нибудь на лонѣ природы, подъ тѣнистыми садами родимыхъ усадебъ, въ холѣ и нѣгѣ со стороны не чающихъ въ нихъ души родителей, подъ попеченіемъ русскихъ и иностранныхъ пѣстуновъ, причемъ будущіе украсители русскаго слова начинали свой младенческій лепетъ по-французски или по-англійски. По большей части случалось такъ, что или отецъ, или мать имѣли большое пристрастіе къ литературѣ, и въ домѣ была масса книгъ, журналовъ, кипсековъ, или гдѣ-нибудь въ углу дома таилась дѣдовская библіотека, въ которой мирно почивалъ въ русскомъ захолустьѣ гордый царствомъ разума XVIII-й вѣкъ. Глядишь, мальчикъ шести лѣтъ уже становился въ классическія позы и декламировалъ передъ гостями изъ Расина или Корнеля, а 10-ти лѣтъ писалъ стихами цѣлыя поэмы. Затѣмъ слѣдовали юношескіе годы, университетъ, отвлеченно-философскіе споры и шумныя студенческія попойки, на которыхъ торжественно варилась жжонка и весело играло шампанское... Потомъ начиналась настоящая жизнь, описаніе которой біографы относительно почти каждаго писателя начинаютъ съ того, что, «вырвавшись изъ подъ школьной ферулы, NN или ZZ нѣсколько лѣтъ провелъ въ вихрѣ шумныхъ свѣтскихъ развлеченій...» Затѣмъ если литературное призваніе преодолѣвало страсть къ волокитству, кутежамъ и картамъ, то остепенившійся поэтъ запирался въ кабинетъ и имѣлъ возможность предоставить полную волю своему вдохновенію. Ему ничто не мѣшало то или другое произведеніе по нѣскольку разъ переписывать, передѣлывать, работать надъ нимъ мѣсяцы и годы, пока наконецъ оно не возводилось въ его глазахъ въ «перлъ творенія». Въ то-же время онъ примыкалъ къ какому-нибудь литературному кружку, чему-нибудь вродѣ «Бесѣды любителей россійскаго слова», «Арзамаса», или позже къ кружку, группировавшемуся вокругъ Бѣлинскаго. И вотъ, не ограничиваясь уединенными бесѣдами съ музой, каждую написанную строчку подвергалъ онъ неоднократнымъ чтеніямъ авторитетнымъ и компетентнымъ друзьямъ, причемъ слѣдовали взаимныя обсужденія и обсужде-

ніе этихъ обсужденій, совѣты и обсужденія этихъ совѣтовъ, передѣлки и новыя обсужденія этихъ передѣлокъ и т. д. Одинъ литературный ветеранъ добраго стараго времени недавно еще выражалъ по этому поводу удивленіе, сравнивая его время, когда каждая написанная страница чуть не наизусть выучивалась всѣми друзьями и почитателями поэта, прежде чѣмъ отправиться въ типографію, и наше время — когда авторы спѣшатъ сдавать наборщикамъ свои рукописи, не перечитывая ихъ и не дожидаясь даже, чтобы обсохли на нихъ чернила. Но пусть этотъ ветеранъ познакомится съ обстоятельствами жизни А. И. Левитова, и онъ убѣдится, имѣли-ли возможность, какъ онъ, такъ и многіе собраты его (Помяловскій, Рѣшетниковъ, Кущевскій), культивировать, развивать свои таланты и творить такъ, какъ это дѣлали ихъ предшественники? Мы видимъ, что въ самомъ нѣжномъ ихъ дѣтствѣ, подъ сѣнію родительскихъ домовъ, успѣвали уже внѣдряться въ ихъ сердца задатки унынія и ожесточенія. Ихъ окружали со всѣхъ сторонъ и смущали младенческія души тяжкія хлопоты о насущномъ хлѣбѣ и разъѣдающія дрязги нищеты. Случалось, что родители проклинали часъ и день ихъ рожденія, смотря на нихъ, какъ на лишніе, голодные рты, и съ тукманками совали въ эти голодные рты послѣднюю черствую корку хлѣба. Въ родительскихъ домахъ они не только не видѣли ни одной свѣтской книжонки, напротивъ того, встрѣчали ту подозрительность и нерасположеніе къ свѣтской литературѣ, которыя до сихъ поръ замѣчаются среди народа. Затѣмъ слѣдовала отупляющая семинарская долбня, сопровождаемая рядомъ самыхъ безчеловѣчныхъ истязаній. Затѣмъ, послѣ большихъ мытарствъ и съ громадной тратой молодыхъ силъ, добирался юноша до столицы, но тамъ его встрѣчали голодъ, холодъ и сырость убогихъ коморокъ «*снебилью*», и безпомощный, не пригрѣтый ни чьимъ участіемъ юноша окончательно надламывался. Эта надломленность потомъ производила свое роковое дѣйствіе и парализовала всякую возможность къ дальнѣйшимъ шагамъ его на пути жизни. Являлись опущенность, апатія и полное равнодушіе къ окружающей обстановкѣ. Мало того, укоренялось что-то вродѣ привычки къ скитальчеству и безпріютности и послѣднее возводилось во что-то вродѣ нравственнаго принципа. Такъ, когда юношѣ улыбался какой-либо успѣхъ, являлся хорошій заработокъ и нѣсколько лишнихъ копеекъ въ карманѣ, ему начинало казаться, что онъ сейчасъ-же разлѣнится, ожирѣетъ, зазнается и забудетъ свое горе и горе тысячъ подобныхъ ему. И вотъ, вмѣсто того чтобы употребить зашедшую въ карманъ лишнюю копейку на улучшеніе своего положенія и средствъ къ дальнѣйшимъ успѣхамъ, онъ спѣшилъ поставить ее ребромъ, отдѣлаться отъ нея, словно она жгла его карманъ и какъ будто въ ней-то именно и лежало все зло и весь ядъ нравственной гибели. Такъ, А. И. Левитовъ, по словамъ многихъ его знавшихъ, начиналъ чувствовать себя словно будто отступникомъ и испытывать муки совѣсти, когда ему приходилось мѣсяцъ-другой проживать не въ какой-либо роскоши, а въ маломальски чистенькомъ номерѣ меблированныхъ комнатъ, которымъ едва удовлетворился-бы студентъ, но пожалуй и побрезговалъ-бы средней руки чиновникъ. У меня вотъ лежитъ на конторкѣ одна ненапечатанная еще нигдѣ рукопись Левитова, поля которой исписаны выдержками изъ русскихъ поэтовъ, особенно приглянувшимися и поразившими Левитова, и на первомъ планѣ красуется слѣдующее мѣсто изъ Лермонтова:

Глупецъ! Гдѣ посохъ твой дорожный?
Возьми его, пускайся вдаль.
Пойдешь-ли ты черезъ пустыню,
Иль городъ пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигдѣ пріютъ себѣ не строй...

Это была такимъ образомъ не одна вынужденная обстоятельствами нищета, но возведенная въ принципъ, своего рода подвижничество. Прибавьте ко всему этому, что всѣ беллетристы, о которыхъ мы говоримъ, изъ самаго ранняго возраста выносили пристрастіе къ вину и очень рано начинали пить горькую чашу, и пьянство ихъ представляло изъ себя не одинъ веселый загулъ молодости, а носило тотъ мрачный характеръ питья въ одиночку, какой представляетъ изъ себя такъ часто запой русскаго человѣка, и вамъ понятно станетъ, можно-ли было и думать объ особенно тщательномъ культивированіи, о развиваніи ихъ поэтическихъ талантовъ. Однимъ словомъ, въ лицѣ этихъ беллетристовъ представляется не что иное, какъ нѣсколько выходцевъ изъ степей и различныхъ россійскихъ захолустій, наивно простодушныхъ самоучекъ, которые безхитростно выражали въ своихъ разсказахъ и очеркахъ все, что видѣли, слышали, сами испытывали, все, что волновало, поражало и ожесточало ихъ. Передъ вами самородное и самодѣльное русское искусство, естественно возросшее на чистомъ воздухѣ русской жизни, внѣ всякихъ теплицъ, искусственныхъ орошеній и подогрѣваній. Поэтому произведенія этихъ писателей вдвое поучительны въ томъ смыслѣ, что показываютъ вамъ, какое искусство можетъ произрастать на настоящей русской почвѣ, сообразно качеству ея и всѣхъ условій произрастанія.

Въ то же время изъ всего вышеизложеннаго понятно станетъ, почему произведенія этихъ беллетристовъ представляютъ изъ себя такой необработанный въ техническомъ отношеніи видъ и хаотическій характеръ. Имѣли-ли возможность эти писатели заниматься тщательной обработкой своихъ произведеній и приданіемъ имъ художественно-совершенныхъ и прекрасныхъ формъ, когда съ одной стороны въ лицѣ ихъ мы видимъ самоучекъ, не успѣвшихъ даже и познакомиться иногда со всѣми таинствами традиціонной художественной техники, не только что вполнѣ усвоить ихъ, а съ другой стороны — до того-ли было имъ возводить свои произведенія въ «перлъ созданія», когда каждую едва написанную строчку приходилось поскорѣе торопиться сбывать на литературный рынокъ изъ опасенія завтра остаться безъ обѣда! Имъ очень часто некогда было и оканчивать свои произведенія, не только что обрабатывать ихъ. Такъ мы видимъ, что весьма многіе разсказы А. И. Левитова представляются началами, отрывками, эпизодами изъ большихъ работъ, задуманныхъ, но оставшихся невыполненными. Чтобы читателямъ представлялись вполнѣ наглядно причины подобной невыполнен-

ности работъ и отрывочности разсказовъ А. И. Левитова, я считаю нелишнимъ сдѣлать нижеслѣдующую выдержку изъ некролога Нефедова. Когда въ 1870 году Левитовъ пріѣхалъ изъ Петербурга въ Москву съ цѣлью отправиться далѣе на родину, у него былъ задуманъ романъ подъ заглавіемъ «Сны и факты» съ эпиграфомъ изъ Некрасова «Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ», и онъ сообщилъ уже Нефедову планъ этого романа.

— Первую главу я уже началъ писать, говоритъ Левитовъ.—Поѣду теперь на родину, поживу тамъ и буду продолжать.

«Но, продолжаетъ Нефедовъ:—видно ужъ такъ на роду было написано, чтобы желанія Левитова никогда не исполнялись: злая судьба не переставала надъ нимъ тѣшиться... Вмѣсто родины, ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близъ Ваганьковскаго кладбища, въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозь крышу дождь. Опять жизнь, полная лишеній и страданій... Одинъ изъ его друзей перетащилъ его на другую квартиру, на Остоженку. Здѣсь Левитовъ окончилъ первую главу своего романа. Здоровье его ухудшалось видимо, онъ ужъ началъ сомнѣваться, что не въ силахъ будетъ осуществить планъ. Вмѣсто романа, Левитовъ хотѣлъ написать повѣсть, которая была бы эпизодомъ изъ романа: заглавіе повѣсти онъ далъ: «Говорящая обезьяна.» Онъ не окончилъ и этой повѣсти; гнетущая нужда, необходимость дневного существованія вынуждали его искать денегъ. Написавши первую главу «Говорящей обезьяны», Левитовъ отослалъ ее въ одну изъ петербургскихъ редакцій и черезъ нѣсколько времени получилъ гонораръ до напечатанія; при этомъ была возвращена и рукопись, такъ какъ не найдено было возможнымъ печатать разсказъ въ такомъ неоконченномъ видѣ.»

Вотъ въ какомъ ужасномъ видѣ представлялось зачастую творчество нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Ну, не смѣшно-ли, въ виду всего этого, претендовать на законченность и совершенство художественныхъ формъ ихъ произведеній?

Вообще, обращая вниманіе на всѣ условія жизни А. И. Левитова, остается удивляться не тому, что онъ преждевременно сошелъ въ могилу, не успѣвъ возвыситься надъ своими первыми разсказами и создать что-либо выдающееся и великое, а, напротивъ того, поразительно, какъ онъ могъ все-таки прожить 47 лѣтъ и остаться до своей смерти на высотѣ своихъ «Степныхъ очерковъ», которые при всѣхъ ихъ техническихъ недостаткахъ во всякомъ случаѣ обличаютъ въ немъ несомнѣнное и весьма недюжинное художественное дарованіе. Это, еще разъ повторяю я, заслуживаетъ большого удивленія и показываетъ, какими мощными физическими, умственными и нравственными силами обладалъ покойный поэтъ.

V.

Познакомившись съ фактами жизни А. И. Левитова, теперь мы обратимся къ его сочиненіямъ. Эти факты жизни выяснили передъ нами обстоятельства и условія, которыя дѣйствовали на творчество поэта подобно тому, какъ поздніе весенніе и лѣтніе морозы дѣйствуютъ на всходы хлѣбовъ, особенно-же нѣжныхъ полуденныхъ растеній, несвойственныхъ слишкомъ сѣвернымъ широтамъ, и помѣшали этому творчеству развернуться вполнѣ роскошнымъ и богатымъ цвѣтомъ во всей его красѣ. Теперь мы посмотримъ, какъ тѣ-же самыя обстоятельства обусловили собою характеръ и содержаніе произведеній А. И. Левитова, какъ вполнѣ естественно и органически вытекли образы и мотивы творчества покойнаго поэта изъ фактовъ и условій его жизни. Мы увидимъ такимъ образомъ въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не одного изъ тѣхъ искусственно-тенденціозныхъ писателей, какими привыкли у насъ представлять себѣ всѣхъ беллетристовъ этой школы. Подобное представленіе предполагаетъ обыкновенно отсутствіе всякой органической связи между жизнью поэта и образами его произведеній. Онъ можетъ быть богатъ и бѣденъ, счастливъ или несчастливъ, можетъ жить въ какой угодно средѣ общества, пожалуй хоть въ полномъ затворничествѣ кабинетнаго труженичества, это—рѣшительно все равно: онъ искусственно нанизываетъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ факты жизни, какіе внушаетъ ему тенденціозность. Его сердце можетъ быть переполнено счастіемъ и блаженствомъ только что удовлетворенной любви, но долгъ велитъ ему изображать муки и слезы семейнаго раздора, и онъ долженъ во что бы то ни стало настраивать свои нервы на скорбный ладъ и выжимать изъ глазъ непослушныя слезы. Ему тепло и сытно послѣ какого-нибудь лукуловскаго обѣда передъ ярко-горящимъ каминомъ, а ему слѣдуетъ во что-бы то ни стало изображать муки голода и холода непокрытой нищеты. Сочиненія А. И. Левитова въ связи съ обстоятельствами его жизни показываютъ намъ совершенно противное. Мы видимъ въ лицѣ А. И. Левитова, поэта въ истинномъ смыслѣ этого слова,—который въ каждой строкѣ выражалъ всего себя всецѣло, со всѣми внутренними тайниками своей души, каждая строка котораго была пережита, вымучена не однимъ задѣваніемъ симпатическихъ струнъ его сердца, но и личнымъ тяжкимъ опытомъ. Однимъ словомъ, передъ нами — вовсе не поэзія гуманнаго сочувствія и состраданія, а поэзія личнаго горя. Въ этомъ отношеніи скорѣе можно усомниться относительно органической связи съ жизнью и непроизвольной непосредственности въ твореніяхъ весьма многихъ нашихъ поэтовъ, считающихся представителями «чистаго искусства», вродѣ напримѣръ Ап. Майкова, Тютчева, Фета и проч , чѣмъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Можно скорѣе подумать, что какой нибудь «Клермонтскій соборъ» Ап. Майкова или «Василій Шибановъ» гр. А. Толстого суть произведенія искусственно вымышленныя, не имѣющія ни малѣйшей связи ни съ внутреннимъ міромъ поэтовъ, создавшихъ эти произведенія, ни съ внѣшними обстоятельствами ихъ жизни, чѣмъ предположить это относительно любого изъ очерковъ А. И. Левитова.

Стоитъ обратить вниманіе на одну внѣшность произведеній А. И. Левитова, на форму ихъ, языкъ, пріемы автора, «физіономію» поэзіи его, если можно такъ выразиться, чтобы убѣдиться въ этомъ. Произведенія эти, какъ уже было объ этомъ говорено нами выше, представляютъ рядъ отрывочныхъ, клочковатыхъ, нестройныхъ и по большей части неоконченныхъ очерковъ. Но, собственно говоря, названіе «очерковъ» не совсѣмъ точно и можетъ дать нѣ-

сколько ложное понятіе о формѣ произведеній А. И. Левитова. Подъ очеркомъ разумѣется произведеніе объективно-эпическое, изображающее тѣ или другія явленія жизни въ общихъ, наиболѣе крупныхъ чертахъ и притомъ касающееся преимущественно внѣшнихъ сторонъ, не заходя глубоко въ сущность изображаемыхъ явленій. Но А. И. Левитовъ былъ слишкомъ субъективный поэтъ для того, чтобы быть способнымъ писать подобнаго рода художественно-созерцательные или тенденціозно-поучительные очерки. Поэтому если вы захотите въ точности опредѣлить форму произведеній его, то вы не найдете иного термина, какъ развѣ «безформенныя лиро-эпическія импровизаціи»! Каждое произведеніе А. И. Левитова представляетъ изъ себя обыкновенно разноцвѣтный калейдоскопъ образовъ, воспоминаній, мыслей и воплей наболѣвшей души. Все это въ пестромъ хаосѣ тѣснится, словно спѣша и едва поспѣвая другъ за другомъ и смѣняясь съ такою-же капризною произвольностью, какъ смѣняются сны или грезы въ горячечной головѣ. Съ большими обиняками добирается обыкновенно авторъ до главнаго предмета своего повѣствованія, и много ему нужно сначала выпустить переполняющихъ голову образовъ и впечатлѣній, чтобы наконецъ добраться. И всѣ эти обиняки дѣлаются безъ всякой предвзятой цѣли, съ той-же непроизвольностью, съ какой въ головѣ каждаго человѣка одни представленія смѣняются другими, занося его иногда не вѣсть въ какую область. Ему напримѣръ хочется изобразить вамъ горе какого нибудь сапожника или отставного солдата, но начинаетъ онъ рѣчь не иначе, какъ съ самого себя, изображая свою особу въ видѣ бездомнаго горемыки Ивана Сизаго, обычнаго своего псевдонима, и вотъ онъ разсказываетъ, какъ этотъ Иванъ Сизой идетъ поздно ночью по улицамъ какого-нибудь московскаго захолустья, тонетъ въ сугробахъ и разговариваетъ въ хмѣльномъ чаду съ едва мигающими фонарями. И вотъ развертывается передъ вами картина этого хмѣльного чада, проносятся образы одни другихъ мрачнѣе, цѣлый рядъ разъѣдающихъ думъ, свѣтованій, и вдругъ среди этой страшной мглы словно блеснетъ яркій лучъ солнца и развернется передъ вами, въ видѣ воспоминаній дѣтскихъ лѣтъ, степная картина, блещущая яркими красками и отраднымъ теплымъ колоритомъ, а далѣе—опять мракъ, снѣжные сугробы, свинцовыя грезы бѣлой горячки, а на слѣдующей же страницѣ передъ вами внезапно раздается молодой, бойкій, раскатистый хохотъ надъ какимъ-нибудь смѣшнымъ движеніемъ или выраженіемъ героя, и вся страница обливается мѣткимъ, сильнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ простодушно-веселымъ юморомъ. Однимъ словомъ, видно, что авторъ никогда не заботился ни о строгомъ планѣ, ни о размѣрахъ и соотвѣтствіи частей своего произведенія, а отдавался всецѣло на волю своей прихотливой фантазіи, не зная заранѣе, куда она его занесетъ. Фантазія-же эта была живая, пламенная, и вообще можно сказать, что поэзія А. И. Левитова по яркости колорита, по страстности и лиричности вполнѣ представляетъ изъ себя южный типъ. Это отражается и въ языкѣ А. И. Левитова. Слогъ его своей музыкальностью, пѣвучестью, принимающей въ лирическихъ и патетическихъ мѣстахъ почти стихотворные размѣры, напоминаетъ въ этомъ отношеніи слогъ Гоголя. Рѣчь А. И. Левитова представляетъ собой рядъ періодовъ, такихъ-же длинныхъ и закрученныхъ, какъ у Гоголя, и точно также длинноты ихъ главнымъ образомъ происходятъ отъ массы картинныхъ и затѣйливыхъ эпитетовъ, метафоръ и уподобленій, которыми до излишества оснащена рѣчь поэта. Въ тоже время одной изъ самыхъ рѣзкихъ, бросающихся въ глаза и весьма характеристическихъ особенностей поэзіи А. И. Левитова представляется страсть къ олицетвореніямъ мертвой природы. Ни одного очерка не обходится у А. И. Левитова безъ того, чтобы у него не переговаривались между собой или съ героями стулья, столы, диваны, самовары и пр. Такъ, въ одномъ очеркѣ онъ олицетворяетъ старое бревно, лежавшее у кабака въ одномъ степномъ селѣ, въ образъ пропившагося, обнищалаго старичонки и заставляетъ это бревно произносить цѣлые монологи о кабачныхъ посѣтителяхъ, садившихся на него калякать между собою; а подъ конецъ бревно это, возмутившись сценами происходившими возлѣ кабака, «приподнялось съ земли, гнѣвно засверкало впалыми глазами и заговорило столь грозно, что дорожная пыль отъ говора того яростно кружившимися столбами къ нему взвилась и всего его затуманила». Въ другомъ-же мѣстѣ своихъ произведеній («Вѣрное средство отъ разоренія») онъ заставляетъ разговаривать между собою мраморныя статуи на лѣстницѣ одного купеческаго дома въ Москвѣ, и статуи произносятъ цѣлые сатирическіе монологи о грубости и дикости купеческихъ нравовъ и пр. Эта страсть къ олицетвореніямъ, выходящая мѣстами изъ всѣхъ границъ и отягощающая излишними длиннотами рѣчь, и безъ того уже чрезвычайно образную и преисполненную яркихъ метафоръ и уподобленій, суть тоже свойства южнаго типа поэзіи А. И. Левитова.

Но довольно о внѣшней физіономіи поэзіи А. И. Левитова; обратимся теперь къ внутреннему ея характеру и содержанію. Но здѣсь на пути нашемъ стоитъ рядъ ходячихъ предразсудковъ, обойти которые нѣтъ никакой возможности и отъ которыхъ первымъ дѣломъ слѣдуетъ расчистить путь нашей характеристики. Предразсудки эти происходятъ вслѣдствіе отсутствія всякаго твердаго и опредѣленнаго критерія относительно беллетристики народнаго быта. Каждый руководствуется въ этомъ случаѣ своими личными требованіями и вкусами, смотря по тому, какими самъ глазами смотритъ на бытъ народа, насколько ему знакомъ или незнакомъ этотъ бытъ и что въ немъ онъ предполагаетъ или отрицаетъ. Такъ мы видимъ, что одни читатели и судьи вполнѣ удовлетворяются вѣрностью изображенія народнаго быта съ одной внѣшней его стороны, въ духѣ грубаго натурализма. Для нихъ совершенно достаточно, чтобы изображаемые мужики говорили вполнѣ вѣрно по-мужицки, чесали въ затылкѣ пятернею, когда слѣдуетъ, и просили на водку совершенно такъ же точно, какъ это происходитъ въ дѣйствительности. Затѣмъ если писатель съумѣетъ описать довольно натурально базарный или праздничный день въ селѣ, знаетъ, гдѣ у мужика ле-

жать соха и борона, когда и какъ происходитъ сватовство, какія рѣчи ведутся и какія пѣсни поются на дѣвичникѣ, при этомъ съумѣетъ описать ухаживанье парня за дѣвкою такъ, что оно выйдетъ настоящимъ деревенскимъ ухаживаньемъ, а не облеченными въ мужицкія рѣчи нѣжными изліяніями въ любви салонныхъ селадоновъ, да если еще ко всему этому съумѣетъ ловко ввернуть два-три мѣстныя словечка или особенности жаргона, то весьма многіе будутъ готовы видѣть въ авторѣ самаго тонкаго и глубокаго знатока народнаго быта. За то иные подходятъ къ этой беллетристикѣ съ такими страшными по своей необъятности и туманности требованіями, что невольный ужасъ беретъ за бѣдныхъ изобразителей народнаго быта. Людямъ этимъ постоянно мерещится, что гдѣ-то тамъ, въ нѣдрахъ народныхъ массъ, въ самой глубокой глубинѣ народной, словно на морѣ окіянѣ, на островѣ Буянѣ, за тридесятью замками, таится нѣкій кладъ въ видѣ особеннаго какого-то народнаго міросозерцанія, народныхъ идеаловъ, постиженіе которыхъ и должно будто бы составлять задачу каждаго нравописателя народнаго быта. Народъ, по мнѣнію этихъ господъ, вовсе не проводитъ открыто въ самой жизни этихъ своихъ завѣтныхъ идеаловъ, а блюдетъ ихъ въ своей душѣ и особенно тщательно скрываетъ ихъ отъ каждаго человѣка, носящаго европейское платье, питая къ такимъ людямъ крайнее недовѣріе. Поэтому самой высшей заслугой и конечной, идеальной цѣлью нравописателя должно представляться умѣнье заслужить полное довѣріе народа, войти въ его душу и успѣть захватить тамъ за хвостъ искомую жаръ-птицу для того, чтобы вывести ее на свѣтъ Божій въ очеркахъ, повѣстяхъ или романахъ. Такія рѣчи приходилось мнѣ не разъ слышать не отъ однихъ славянофиловъ, но и отъ людей, не имѣющихъ ничего общаго съ этимъ ученіемъ. Это — своего рода мистицизмъ, исканіе чего-то невѣдомаго, особеннаго, фантастически-чудеснаго и желаннаго, но чего именно — искатели сами не могутъ дать себѣ отчета.

Я не говорю, чтобы мы вполнѣ знали народную жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ и разнообразныхъ отношеніяхъ, знали всѣ нужды, желанія народа, всѣ его симпатіи и антипатіи и пр., и чтобы намъ нечего было изучать въ этой области и нечему поучаться въ ней. Напротивъ того, я первый готовъ утверждать, что область эта мало изучена, что мы—большіе невѣжды въ ней и что все, сдѣланное до сихъ поръ для этого изученія,—капля въ морѣ нашего невѣжества. Но въ то же время мнѣ сдается, что изученіе это должно быть настоящимъ, реальнымъ изученіемъ различныхъ народныхъ отношеній, нуждъ и возникающихъ изъ нихъ требованій, а вовсе не мистическимъ исканіемъ нѣкоего клада, который можетъ быть въ одинъ прекрасный день найденъ и открытъ ключемъ довѣрія и проникновенія въ душу простого человѣка, а затѣмъ должны будто бы послѣдовать сразу различныя сліянія, просвѣтленія, возрожденія и т. п. Путемъ науки, разсматривающей жизнь народа въ ея собирательномъ цѣломъ,—науки, вооруженной статистическими, экономическими, этнографическими, филологическими, историческими и пр., и пр. данными, мы можетъ быть раньше или позже дойдемъ до болѣе обстоятельнаго и точнаго знанія народной жизни, чѣмъ какое имѣемъ въ настоящее время, но какимъ бы безконечнымъ довѣріемъ вы ни пользовались въ кругу простыхъ людей и хоть бы, пользуясь этимъ довѣріемъ, вы залѣзли въ души тысячъ мужиковъ на всемъ пространствѣ Россіи, повѣрьте, что, вмѣсто искомыхъ таинственныхъ идеаловъ, вы всегда будете натыкаться на массу конкретныхъ отношеній и дрязгъ жизни, въ хаосѣ которыхъ совсѣмъ потеряетесь, и какъ ни будете копаться въ испытуемыхъ душахъ, ничего въ нихъ не откроете, кромѣ мелочныхъ будничныхъ насущныхъ заботъ о кускѣ хлѣба, о томъ какъ бы свалить съ плечъ недоимку, выгодно сбыть съ рукъ негодную лошаденку, которой въ прошлую ярмарку надулъ барышникъ, прибрать къ рукамъ и поутюжить лѣнивую невѣстку и т. п.—и тщетны будутъ всѣ ваши исканія. Но поди-те, вразумите въ этомъ нашихъ мистиковъ по части народныхъ идеаловъ: повѣрьте, что, какія бы новыя данныя и открытія ни представляла имъ наука въ своемъ изученіи народной жизни, они все будутъ оставаться недовольны; имъ все будутъ казаться, что за этими данными и открытіями таится нѣчто такое, что̀ именно и составляетъ самую суть-то, такъ сказать, пупъ земли.

Понятно, что подобные господа должны остаться неудовлетворенными и недовольными всѣми беллетристическими произведеніями изъ народнаго быта, какія только когда-либо появлялись въ нашей литературѣ, не исключая даже произведеній и такихъ знатоковъ народной жизни, какъ Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій или Левитовъ. Имъ подавай такой разсказъ, въ которомъ на нѣсколькихъ печатныхъ листахъ народная жизнь была бы исчерпана вся до тла, со всѣхъ ея сторонъ, во всей ея глубинѣ и во всей сути народныхъ идеаловъ, и чтобы въ разсказѣ этомъ героями парадировали не какіе-либо Ѳедоръ, Иванъ, Сидоръ, а нѣкій собирательный русскій человѣкъ, въ лицѣ котораго весь народъ предсталъ бы передъ ними, какъ онъ есть до самаго нутра. Но замѣтьте при этомъ, что еслибы появился такой чудо-разсказъ и сразу избавилъ-бы васъ отъ заботы изученія народнаго быта, предоставивъ вамъ только прочесть его и въ мигъ постигнуть всѣ таинства народныхъ идеаловъ, то мистики наши все-таки не удовлетворились бы, имъ все-таки казалось-бы что нѣтъ, это — не то, что народные идеалы все-таки продолжаютъ скрываться гдѣ-то за тридесятью замками на морѣ-окіанѣ, на островѣ Буянѣ.

Имѣя въ виду всѣ подобнаго рода требованія отъ разсказовъ изъ народнаго быта,—съ одной стороны требованія слишкомъ поверхностныя и жалкія по своимъ результатамъ, съ другой — слишкомъ строгія и неисполнимыя, я впередъ заявляю, что произведенія А. И. Левитова стоятъ совершенно внѣ этихъ требованій, не имѣя съ ними ничего общаго. Вовсе не заботясь о тщательномъ изученіи жизни народной со стороны, А. И. Левитовъ ни мало не заботился и о томъ, чтобы изображать народный бытъ въ его внѣшнихъ проявленіяхъ со всѣхъ возможныхъ сторонъ, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, и въ то же вре-

мя не имѣлъ онъ въ виду никакихъ мистическихъ проникновеній въ суть народныхъ идеаловъ. Какъ истинный, вполнѣ наивно-непосредственный художникъ, будучи самъ человѣкомъ народа и жившій его жизнью до послѣднихъ своихъ дней, онъ изображалъ въ своихъ произведеніяхъ не всю народную жизнь всецѣло, а только тѣ ея стороны, которыя его занимали, поражали, соотвѣтствовали фактамъ его личной жизни и вслѣдствіе этого наиболѣе возбуждали его творчество.

Такимъ образомъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова мы имѣемъ изображеніе народной жизни только съ нѣкоторыхъ сторонъ, наиболѣе авторомъ излюбленныхъ и завѣтныхъ, и согласно законамъ художественнаго творчества эти стороны народной жизни представляются въ произведеніяхъ А. И. Левитова въ гораздо болѣе рельефномъ, рѣзкомъ, поразительномъ цвѣтѣ, чѣмъ онѣ существуютъ въ дѣйствительности, гдѣ онѣ стушевываются въ массѣ разнородныхъ, конкретныхъ фактовъ.

VI.

Какія-же именно стороны народной жизни наиболѣе отразились въ произведеніяхъ А. И. Левитова, и почему онѣ именно, а не какія-либо другія? Отвѣтить на этотъ вопросъ было-бы очень легко даже a priori, не читая произведеній этихъ и будучи совсѣмъ съ ними незнакомымъ. Очевидно, что человѣкъ, прожившій жизнь такъ мрачно и безотрадно, какъ прожилъ ее А. И. Левитовъ, вынесшій изъ нея такъ много горя, слезъ и униженій, долженъ невольно обращать вниманіе преимущественно на мрачныя стороны окружающей его жизни, долженъ особенно близко принимать къ сердцу всяческое горе своихъ ближнихъ и чутко отзываться на каждый стонъ людскихъ страданій. И дѣйствительно, это мы и видимъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Онъ вполнѣ справедливо и весьма мѣтко озаглавилъ одно изъ изданій своихъ сочиненій «Горемъ селъ, деревень и городовъ». Дѣйствительно, въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ пѣвца народнаго горя и, прибавимъ мы отъ себя, народнаго пьянства, вытекающаго изъ этого горя и сопровождающаго его. Подъ «народнымъ горемъ», пѣвцомъ котораго является А. И. Левитовъ, слѣдуетъ разумѣть здѣсь не одно какое-либо тенденціозное горе, что-либо вродѣ «гражданской скорби» по случаю несправедливостей исправника или неправедныхъ поборовъ станового, но горе вообще во всѣхъ его многоразличныхъ видахъ: горе нищеты, семейнаго раздора, горе невѣжества, грубости нравовъ и суевѣрій, горе обманутыхъ ожиданій и неудавшейся жизни, горе безпомощнаго сиротства и безчеловѣчнаго надруганія, ломанья и помыканья всяческой силы надъ всяческой слабостью и пр., и пр. Однимъ словомъ, это—то самое «горе-злосчастіе», которое народъ воспѣваетъ во множествѣ пѣсенъ и сказокъ, олицетворяя его въ видѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до могилы и отъ котораго некуда схорониться доброму молодцу, ни въ пескахъ сыпучихъ, ни въ лѣсахъ дремучихъ.

Уже «Степные очерки», этотъ сборникъ первыхъ юношескихъ произведеній автора, являются передъ нами преисполненными этого горя. Кстати здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что ничто такъ не говоритъ въ пользу полной органичности и непроизвольной естественности произведеній А. И. Левитова, какъ время и обстоятельства жизни, подъ вліяніемъ которыхъ они являлись. Такъ, нѣтъ ничего естественнѣе, что наивный степнякъ, возросшій среди простора и раздолья заволжскихъ луговъ, подъ теплыми лучами полуденнаго солнца и затѣмъ кинутый судьбой на дальній сѣверъ въ шенкурскую глушь, долженъ былъ, томясь тоской по родинѣ, съ особенной отрадой и грустью воспоминать родную сторону. Всѣ ея краски должны были ярко воскресать въ его воображеніи, гораздо ярче, чѣмъ еслибы онъ оставался на родинѣ и не покидалъ ея; всѣ малѣйшія подробности ея быта должны были принять радужно-поэтическій, волшебный колоритъ. И конечно первыя произведенія поэта въ положеніи А. И. Левитова должны были отразить все это настроеніе и быть посвящены воспоминаніямъ о родномъ краѣ. Такъ, Гоголь, пріѣхавшій изъ Малороссіи, во время первыхъ лѣтъ своего одинокаго скитальчества по Петербургу и всякихъ мытарствъ, писалъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканки»; такъ и Левитовъ первыя свои произведенія посвятилъ изображенію жизни родного края и написалъ рядъ «Степныхъ очерковъ». И дѣйствительно, «Степные очерки»,— это лучшее произведеніе А. И. Левитова, блещутъ особенно яркимъ, поэтическимъ колоритомъ: они изобилуютъ описаніями красотъ степной природы, всѣхъ малѣйшихъ подробностей жизни обитателей степей, всѣхъ ихъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрій и суевѣрій. Массы личныхъ воспоминаній дѣтства разсѣяны по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкій очеркъ обходится безъ изображенія дѣтей, играющихъ по степнымъ лугамъ и лѣсамъ и живущихъ одной жизнью съ окружающей природой. И въ то же время каждая мелкая черточка выведена съ горячей, нѣжной любовью и блещетъ слезами надрывающей тоски бобыля, заброшеннаго въ чужедальнюю сторону.

Но всѣ прелести степной природы и все поэтическое обаяніе воспоминаній беззаботнаго дѣтства не могли заглушить преобладающихъ струнъ поэзіи А. И. Левитова, и въ своихъ «Степныхъ очеркахъ», какъ и во всѣхъ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ, А. И. Левитовъ является передъ вами все тѣмъ же пѣвцомъ народнаго горя: общее впечатлѣніе, какое выносите вы изъ «Очерковъ», сводится все къ тому же всеобщему горю, которое одно только и видитъ поэтъ во всей окружающей его жизни.

«Истинно скажу, говоритъ онъ въ своемъ очеркѣ «Уличныя картины.—Ребячьи учителя» (см. «Степ. Очерки», т. II, стр. 68):—что человѣкъ, которому приведетъ судьба не только-что родиться на мягкой почвѣ нашихъ сельскихъ улицъ, но и помять много травы этой, бѣгаючи по ней дитей неразумнымъ до тѣхъ поръ, пока придется ему въ послѣдній разъ потяготить гробомъ своимъ ихъ родную ширину, такъ присмотрится къ нимъ человѣкъ этотъ, что и самъ непремѣнно сдѣлается такимъ же молчаливо-печальнымъ, такимъ же покорно-страдающимъ, какими кажутся улицы, потому что во всю его жизнь лишь одно только горе, какъ обозъ какой нескончаемый

тянулось по нимъ. Родитъ горе степного человѣка и оно же его, по нашей пословицѣ, въ ранній гробъ кладетъ. Голова у него закружится и глаза ослѣпнутъ отъ слезъ при видѣ страданья, безсмѣнно ползущаго по уличной пыли, при видѣ нищеты, пугливо, какъ настращенный звѣрь, сравнявшейся съ этой пылью. Смотритъ на все это степной человѣкъ каждый день Божій до того, что и на свѣтлое солнышко взглянуть ему некогда, да и нельзя никакъ проглянуть къ нему, потому что нестолько заслоняютъ его отъ хорошихъ глазъ пыльные столбы, вздымаемые страданіемъ и нищетой, сколько тѣ громадные, все небо занимающіе клубы, которые вздымаетъ на нашихъ улицахъ глупая, чванливая, но богатая спѣсь, когда она съ крикливымъ хвастаньемъ, заглушающимъ всякій человѣческій голосъ, валитъ по посаду впереди и вслѣдъ за горемъ страдающимъ и горемъ нищенствующимъ...»

Иногда авторъ до такой степени увлекается зрѣлищемъ всеобщаго горя, что ему кажется, будто сама природа, цвѣтущая и роскошная степная природа, въ свою очередь преисполнена горя, и она вмѣстѣ съ людьми страдаетъ и стонетъ. Такъ, въ очеркѣ «Степная дорога днемъ» на 115 страницѣ онъ развиваетъ передъ нами слѣдующую картину страданія природы:

«Чувствую я, говоритъ онъ:—что голову мою начинаетъ жечь палящій жаръ степной. Удрученная своей скорбной думой, съ каждымъ шагомъ развивавшеюся все печальнѣй и печальнѣй, она невыразимо страдала: какія-то проклятія слагались въ ней, какая-то мука тяготѣла надъ ней и не давала ей возможности сообразить, лучъ-ли солнечный билъ въ нее этой мукой, или какое-то смертное томленіе, обыкновенно примѣчаемое въ пустынѣ, когда солнце зальетъ ее потоками своего палящаго свѣта, заставляетъ ее страдать?

«И дѣйствительно, самое равнодушное сердце не могло не биться усиленно при видѣ этой картины одного общаго, всецѣлаго, такъ сказать, страданія.

«И казалось вамъ, тѣмъ тяжелѣе страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновеннаго въ этихъ случаяхъ; только одни глаза видѣли во всемъ какую-то удушающую, гнетущую полноту...

«Придорожныя вѣшки, какъ человѣкъ въ нежданномъ несчастіи, распустили свои запыленныя вѣтви и молчаливо стояли будто окаменѣлыя. Десятки птицъ унизали ихъ кривые сучья. Идете вы и видите, какой-нибудь воронъ, въ другое время чуткій и пугливый, теперь не думаетъ примѣчать васъ. Вцѣпился онъ острыми когтями въ древесную кору, раздвинулъ сѣрыя крылья и озадаченно смотритъ на васъ, удивляясь повидимому вашей охотѣ шататься въ такую мучительную пору. Навстрѣчу вамъ время отъ времени пробѣжитъ тощая, искалѣченная, съ перебитой ногой, собака, съ хвостомъ, волочащимся по землѣ. И въ глазахъ животнаго видна та-же мука. Такъ жалобно посмотрѣла на васъ собака, такъ выразительно замахала хвостомъ, что будто просила васъ помочь какъ-нибудь ея перебитой ногѣ.

«А по обѣимъ сторонамъ степной дороги изъ золотыхъ волнъ ржи мелькаютъ бѣлыя рубахи на трудящихся спинахъ людей. Вамъ не видно красныхъ, изможденныхъ лицъ этихъ людей, покрытыхъ потомъ—и лучше!

«И все это какъ-то непріязненно молчитъ молчаніемъ мертвеца, словно по-чьему-нибудь строгому запрещенію... Но прихотливы бываютъ дорожныя думы... Ѣдете вы и думаете: что было-бы, ежели бы все это, не вынесши своей тяжкой боли, вскрикнуло вдругъ?..»

Подобные тоскливые мотивы проходятъ сквозь всѣ «Степные очерки» А. И. Левитова, и мотивамъ этимъ вполнѣ соотвѣтствуютъ сюжеты разсказовъ и выводимыя сцены. Повсюду передъ вами, какъ я уже сказалъ выше, льются слезы непокрытой нищеты и горькаго покинутаго сиротства, повсюду какая-нибудь безжалостная сила ломается надъ беззащитной слабостью, и на каждомъ шагу гибнетъ чья-нибудь молодая, только-что расцвѣтающая жизнь. Такимъ образомъ передъ вами проходитъ рядъ возмутительныхъ, иногда кровавыхъ драмъ, и болѣе всего ужасаетъ и леденитъ ваше сердце то обстоятельство, что далеко не всѣ эти драмы имѣютъ въ основѣ своей какую-бы то ни было роковую, систематическую борьбу. Напротивъ того: передъ вами развертывается картина дикаго, чисто средневѣкового неустройства, въ которомъ главную роль играютъ то слѣпой и безсмысленный случай, то такіе неоспоримо невмѣняемые факторы, какъ суевѣріе, грубость нравовъ и культуры и т. п. При такихъ условіяхъ вы видите, что въ этой средѣ ничья жизнь, ничье благосостояніе ни въ малѣйшей степени не обезпечены. Никто не можетъ поручиться, что завтра-же не грянетъ гроза, если не со стороны злыхъ вороговъ въ образѣ людей, то со стороны звѣрей, въ видѣ какого-нибудь волка, который съѣстъ ребенка, и всего ужаснѣе то, что гроза эта разразится нежданно-негаданно, изъ-за самыхъ повидимому пустыхъ и ничтожныхъ поводовъ.

Такъ, прочтите напримѣръ очеркъ «Расправу». Жила-была убогая вдова Козлиха, терпѣла самую горемычную бѣдность и беззащитность, но тянула свой сиротскій вѣкъ кое-какъ, такъ какъ была у нея и хатка, и кое-какое хозяйство, овечекъ даже имѣла. Такимъ образомъ могла-бы скоротать весь вѣкъ, свыкнувшись съ своей горемычной долей, какъ вдругъ выпадъ такой ничтожный случай, какихъ ежедневно можетъ быть по нѣскольку въ каждой деревнѣ, и посмотрите, что изъ этого случая вышло:

По сосѣдству отъ ея убогой хатки жилъ богатый и спѣсивый мужикъ Ѳедотъ, воротила всего сельскаго міра. Однажды, когда стадо возвращалось съ поля домой, Козлихина ярочка попала во дворъ Ѳедота. Козлиха обратилась тотчасъ-же къ Ѳедотовой старухѣ съ ласковой прссьбой возвратить ей ярочку, но та не тутъ-то было. Слово за слово, поругались старухи, закипѣла брань, а тамъ за каменья, насилу мужики розняли. Сѣрая бабочка была прогнана въ три шеи сыновьями Ѳедотихи. Но этимъ не кончилось дѣло. Ѳедотъ созвалъ міръ и началъ щедро угощать его съ цѣлью учинить судъ надъ Козлихой. Упоенный щедростью Ѳедота, міръ мало того что присудилъ горемычную Козлиху къ розгамъ, но и къ штрафу въ десять рублей, а такъ какъ десяти рублей у нея не было, то вышло вотъ какое окончательное рѣшеніе:

«—Знаете вы, православные, обратился къ міру Ѳедотъ: убогая баба Козлиха, вдовая, ни роду, ни племени нѣтъ у нея. Такъ я теперича за избу ея даю пять рублевъ, за дворъ и за животину, какая у нея есть, тоже пять рублевъ. Пусть на міру знаютъ, што

не притѣснитель я какой, не грабитель, а примѣромъ, на убожество ея взираючи, призрѣть хочу. За ее самое, ежели то-ись присудить вамъ захочется эдакъ, даю десять рублевъ за посмертную кабалу.»

Міръ на томъ и порѣшилъ. Продали Ѳедоту-же весь домашній скарбъ Козлихинъ и ее самое въ вѣчную ему кабалу, да еще и дивились ея счастію.

Вотъ передъ нами другая столь-же мрачная картина и такая-же ужасная драма, и опять-таки въ ней играетъ роль столь же слѣпой и непредвидѣнный случай (см. «Деревенскій Случай», т. 2, стр. 28):

Горькая солдатка сидитъ передъ печкой у огня и горюетъ. Живетъ она, правда, въ своей отцовской семьѣ, но не радостна жизнь ея: «Весь вѣкъ такъ-то гнусь,—говоритъ она сама съ собой: —а радости-то только и было, когда съ матерью въ дѣвкахъ жила. Да пожалуй и тогда-то не очень плясала. Голодъ-то съ холодомъ изъ избы отъ насъ сиротъ никогда не выхаживали. Смотрѣли мы только на другихъ отцовскихъ ребятъ, да на ихъ счастье серчали... Вишь вонъ братецъ родимый ратитъ себѣ сынка-то—вѣтру вольному подуть на него не даетъ. Такъ онъ и всю свою жизнь проживетъ, а мой, горемычный, теперь-то всей семьѣ на потѣху данъ (исхитрились сиротѣ прозвище дать: Безбокимъ, вмѣсто крещенаго имени, зовутъ!..); а какъ выростетъ, на службу за нихъ ступай, по чужимъ сторонамъ свою молодость развѣивай... Какое это счастье людское чудное?—шепотомъ спрашиваетъ стряпуха у избяной тишины.—Вонъ мальченка-то мой: такъ вѣдь онъ тоже, какъ и я, до самой темной могилы не знаючи свѣтлыхъ дней, пойдетъ, потому безъ меня съ нимъ въ нашей избѣ и горевать бы некому было. Вонъ все какіе веселые люди въ этой избѣ безъ насъ-бы жили!».

Говоритъ это горькая солдатка, а сама съ великой досадой на сынишку старшаго брата глядитъ. И между тѣмъ какъ мать, вся уйдя въ свои скорбныя думы, совсѣмъ упустила изъ виду игру мальчугановъ, вдругъ въ избѣ раздался болѣзненный крикъ:

«— Мамушка!—какъ будто вся эта большая изба закричала.—Онъ меня полыхнулъ...»

Опомнилась мать отъ этого крика, смотритъ, а ея послѣдняя радость лежитъ на полу, вся залитая горячей кровью. Мальчикъ въ красной рубахѣ равнодушно стоялъ надъ зарѣзаннымъ Безбокимъ съ новымъ хлѣбнымъ ножомъ и поучительно растягивалъ:

«— Я вѣдь тебѣ толкомъ сказывалъ, что полыхну, коль играть не станешь со мной. Тебѣ все въ медвѣдя хотѣлось!..»

Несчастная мать тотчасъ-же сошла съ ума, и на другой день ее увезли въ городъ, прикованную къ телѣгѣ.

Хотя въ этой трагедіи и играетъ роль непредвидѣнный случай въ видѣ ножа, подвернувшагося подъ руку ребенку, но не имъ однимъ обусловливается исходъ ея. За этимъ непредвидѣннымъ случаемъ все-таки таится здѣсь семейный раздоръ и притѣсненіе, а главное дѣло—сиротская беззащитность женщины, лишенной въ лицѣ взятаго въ солдаты мужа всякой опоры въ своей семьѣ. Но въ очеркахъ встрѣчаются и такого рода трагедіи, которыя лишены всякихъ побудительныхъ причинъ, въ которыхъ нежданно-негаданно является на сцену тяжелый родительскій кулакъ, обрушивается на любимое и лелѣянное дѣтище и губитъ его, дѣлая на всю жизнь несчастнымъ. Такъ напримѣръ, въ очеркѣ «Блаженненькая» авторъ рисуетъ передъ нами прелестную картину лѣтняго полудня въ степной деревнѣ; всѣ взрослые ушли на страду, остались дома одни дѣти. И вотъ передъ нами махонькая дѣвочка, одна-одинехонька, прокрадывается въ свою избу и начинаетъ въ ней хозяйничать. Съ большимъ трудомъ достаетъ она съ полокъ горшки съ съѣстнымъ, поставленные туда родителями, и начинаетъ уписывать говядину. А между тѣмъ на сосѣдней завалинѣ какая-то старуха разсказывала дѣтямъ сказку про непослушнаго брата Аленушки, Ванюшу. Заслушался ребенокъ этой сказки и забылъ про говядину.

Въ это время къ воротамъ подъѣхала телѣга. Съ нея соскочилъ мужикъ и пошелъ въ избу. Это былъ отецъ дѣвочки, что-то забывшій дома. Его пріѣзда не замѣтила очарованная сказкой малунья. Только-что вошелъ въ избу сердитый хозяинъ, кошка, безмятежно убиравшая украденную говядину, стремглавъ бросилась подъ печку, оставивъ на полу обличающія кости; мухи поднялись чорной жужжащей тучей; отъ громкаго прихлопа дверью голуби слетѣли съ избяной пелены; но ничего этого не слыхала дѣвочка. Попрежнему уткнулась она въ окно и напряженно слушала сказку, которая съ каждымъ словомъ становилась все занимательнѣе, а передъ ней стоялъ опустошенный горшокъ, валялись объѣдки ужина уработавшейся семьи. Злость взяла отца.

«— Ахъ, ты, каторжная!—крикнулъ онъ на дочь, и съ этимъ словомъ, захваченнымъ съ собою кнутомъ вытянулъ онъ ее вдоль спины.

«— А-а-ахъ! дико раздалось въ избѣ. По тѣлу бѣдняжки пробѣжала дрожь; она, какъ обожженная, вскочила съ лавки и бросилась въ сторону, противуположную той, съ которой послѣдовалъ ударъ. Въ ея прыжкѣ было что-то такое, что́ болѣе походило на отчаянный прыжокъ подстрѣленнаго зайца, нежели на прыжокъ ребенка, сознательно увертывающагося отъ наказанія. Она прижалась въ уголъ и безъ обыкновенныхъ въ этомъ случаѣ слезъ и воплей смотрѣла на отца.

«— Што это ты надѣлала, озорница?—спрашивалъ ее отецъ, съ котораго спалъ первый припадокъ гнѣва.—Сказывай, што?

Дѣвочка попрежнему молчала и все такъ же смутно, такъ же безсмысленно смотрѣла на него. И на отцовскую ласку потомъ ни однимъ звукомъ, ни однимъ движеніемъ не отвѣтилъ бѣдный ребенокъ. Помертвѣвшее смуглое личико, посинѣвшія губы и потухшіе глазки ясно сказали отцу, что дочь его отнынѣ уже ничего разумно не услышитъ, ни на что разумно не отзовется.

Такъ и остался ребенокъ на всю жизнь идіотомъ, «блаженненькою», какъ ее прозвали, на свое собственное и родителей мученіе и на людское посмѣяніе.

Подобный фактъ нѣсколько разъ повторяется въ «Степныхъ очеркахъ» А. И. Левитова: такъ, одинъ дьячекъ погубилъ сына своего Петрушу за то, что тотъ не удержалъ сдѣланный отцомъ змѣй: схватилъ

онъ его въ охапку, да объ дорогу его, какъ камень тяжелыми телѣгами убитую, бросилъ. Оказался мальчикъ послѣ этого случая хромъ и горбатъ, и какъ онъ прежде того еще немножко раскосъ былъ, такъ глаза-то у него пуще послѣ отцовскаго наказанія раскосились. Такъ наконецъ богатый купецъ на посадѣ Лука Петровичъ «однажды разсердился за что-то на своего единственнаго сына, да какъ царапнетъ его по головѣ палкой, тотъ и ополоумѣлъ. А прежде этого несчастія хорошій былъ мальчикъ. Пятнадцать годовъ ему въ то время считали, и торгаша такого смѣтливаго по хлѣбной части во всемъ уѣздѣ найти нельзя было, и грамотѣ зналъ не хуже приходскаго священника, а какъ отецъ паренька по головѣ ошарашилъ, не выдержалъ паренекъ и ополоумѣлъ: ополоумѣвши, блаженничать сталъ. Распустилъ слюни и въ глубокомъ безмолвіи сталъ бродить по селу».

Вообще описаніе несчастнаго, забитаго и запуганнаго дѣтства представляетъ одну изъ излюбленныхъ темъ А. И. Левитова и весьма часто повторяется, какъ въ «Степныхъ очеркахъ», такъ и во многихъ позднѣйшихъ его разсказахъ, что̀ безъ сомнѣнія представляетъ глубокую связь съ его собственнымъ дѣтствомъ. Такъ, въ «Степныхъ очеркахъ» мы находимъ цѣлый разсказъ «Горбунъ», посвященный изображенію любви двухъ запуганныхъ дѣтей—Анюты, дочери купца Козакова, и того самаго Петруши, котораго отецъ сдѣлалъ на-вѣки горбатымъ изъ-за змѣя. Разсказъ этотъ принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ, какъ по своему содержанію, такъ и по своей поэтичности; видно, что авторъ положилъ въ него всю душу. На первыхъ же страницахъ трогаетъ васъ до слезъ высокохудожественная картина забитой мужемъ-тираномъ матери, раздѣляющей съ маленькой своей дочерью общее ихъ горе.

Что касается типовъ, выведенныхъ въ «Степныхъ очеркахъ», то всѣ они, горемъ повитые и печалью взлелѣянные, рѣзко распадаются на двѣ совершенно противуположныя категоріи. Одни изъ нихъ представляютъ людей загнанныхъ, забитыхъ, кроткихъ, терпѣливо выносящихъ всѣ невзгоды, обиды и поношенія. Обезличенные и обездоленные, они съ смиренной покорностью стараются вымолить себѣ у судьбы и у людей право не на счастье, а хоть-бы на самое горемычное существованіе, и однимъ лишь слезами горючими и стонами протестуютъ противъ рушащихся на нихъ невзгодъ и поношеній. Таковы знакомые уже намъ Ковлиха, солдатка, такова мать Анюты и сама она съ своимъ милымъ горбуномъ-музыкантомъ и пр. Въ противуположность этимъ кроткимъ страдальцамъ рисуется передъ нами рядъ личностей, которыя, подъ вліяніемъ того же горя и тѣхъ же обстоятельствъ, доходятъ до мрачнаго ожесточенія. Это—натуры страстныя, крутыя, хищныя, глубоко сосредоточенныя. За каждую обиду стараются они заплатить вдесятеро, возмущаются наконецъ не только противъ всѣхъ людскихъ неправдъ, но и вообще противъ всего человѣчества и падаютъ въ неравной борьбѣ или спиваются въ одиночествѣ полнаго отчужденія ото всѣхъ и вся. Наиболѣе рѣзко и осмысленно проведена параллель между двумя столь противуположными типами въ очеркѣ «Степные выселки», самомъ обширномъ изъ всѣхъ степныхъ очерковъ, наиболѣе глубоко задуманномъ и тщательно отдѣланномъ, хотя къ сожалѣнію тоже неконченномъ. Здѣсь представляются намъ на первомъ планѣ два типа: типъ Ивана и Петра Крутого, которые, при довольно схожихъ обстоятельствахъ ихъ дѣтства, развились въ два совершенно противоположные человѣка.

Въ «Степныхъ очеркахъ» вы найдете нѣсколько такого рода гордыхъ и непокорливыхъ личностей, какъ Петръ Крутой. Таковы сапожникъ Шкурланъ со своими шестью сыновьями, защищавшій своихъ односельчанъ отъ обидъ властей и богатыхъ людей, недопускавшій бѣдныхъ парней сдавать неправильно въ рекруты и потомъ во время войны добровольно сдавшій въ солдаты всѣхъ своихъ шестерыхъ сыновей и самъ пошедшій съ ними Таковъ Петруша-художникъ, дьячковъ сынъ (см. «Ст. очерки», «Степная дорога ночью», стр. 52), который не захотѣлъ покориться молодому барину и поклониться ему и заѣхалъ ему въ физіономію, за что̀ былъ объявленъ сумасшедшимъ и засаженъ въ сумасшедшій домъ. Таковъ Теократовъ (тамъ-же, «Степная дорога днемъ», стр. 81), который, подобно автору, шелъ пѣшкомъ въ столицу искать счастья въ наукѣ, но, возмущенный самодурскими ломаньями и издѣваньями зятя надъ его горемычной сестрой, всадилъ этому зятю ножъ въ сердце и угодилъ такимъ образомъ подъ уголовщину. Такова бабушка Маслиха, уличная торговка, поражавшая дѣтей своимъ пѣніемъ псалмовъ и заступавшаяся за несчастненькихъ семинаристиковъ, готовая въ глаза вцѣпиться какому-нибудь слишкомъ ужъ безчеловѣчному изъ семинарскихъ воспитателей. Всѣ эти личности, умѣющія нетолько возмущаться и мстить за личныя обиды, но и стоять за други и братья, представляются передъ нами словно маяками, освѣщающими непроглядный мракъ невѣжества, притѣсненій съ одной стороны, и приниженности — съ другой; онѣ свидѣтельствуютъ своимъ присутствіемъ въ «Степныхъ очеркахъ», что не все еще окончательно подавлено въ той средѣ, которая рисуется передъ нами въ очеркахъ А. И. Левитова, и слѣдовательно не все еще окончательно погибло.

VII.

Заплативши такимъ образомъ дань своей родинѣ и воспѣвши ее въ «Степныхъ очеркахъ», А. И. Левитовъ выразилъ всѣ дальнѣйшія впечатлѣнія своей скитальческой жизни по меблированнымъ комнатамъ, чердакамъ и подваламъ обѣихъ столицъ въ рядѣ очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи 1875 года подъ заглавіемъ «Жизнь московскихъ закоулковъ», и ранѣе въ изданіи 1874 года—«Горе селъ, дорогъ и городовъ» (таковы очерки этого изданія: «Безпечальный народъ», «Петербургскій случай», «Фигуры и тропы о московской жизни», «Московскія уличныя картины», «Шоссейный день» и проч.). Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ другой категоріей сочиненій А. И. Левитова, рѣзко отличающейся отъ первой категоріи степныхъ разсказовъ и не имѣющей съ ними ничего общаго. Какъ ни много мрачныхъ красокъ народнаго горя собрано въ «Степныхъ очеркахъ», но эти мрач-

ныя краски все-таки смягчаются нѣсколько съ одной стороны обаяніемъ степной природы, съ другой—присутствіемъ цѣльныхъ, сильныхъ и благихъ характеровъ, на созерцаніи которыхъ отдыхаетъ сердце ваше, измученное зрѣлищемъ горя, слезъ, страданій и изнываній. Въ «Степныхъ очеркахъ» вы найдете не мало наконецъ и такихъ страницъ, въ которыхъ авторъ какъ-бы на время совершенно забываетъ главный предметъ своей поэзіи—изображеніе народнаго горя, увлекаясь то какими-нибудь воспоминаніями о впечатлѣніяхъ дѣтства, то бытовыми подробностями или юмористическими сценами. Когда-же вы примѣтесь читать «Жизнь московскихъ закоулковъ», вы должны проговорить про себя извѣстную вамъ надпись на вратахъ Дантова ада: «оставь за собой всякую надежду». Начать съ того, что вмѣсто юноши, исполненнаго нѣжной тоски по родинѣ, изъ-за каждой страницы выглядываетъ на васъ съ злобной саркастической улыбкой и съ непрерывными проклятіями на устахъ окончательно ожесточенный голякъ, утратившій всякія надежды въ своей неудавшейся жизни. Онъ словно на зло вамъ съ зубовнымъ скрежетомъ спѣшитъ набрасывать картины одна другой мрачнѣй, чудовищнѣй и безнадежнѣй и въ то-же время какъ будто тщеславится передъ вами своей одинокой, безучастной нищетой, своими отрепьями и своимъ безпробуднымъ пьянствомъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдкій очеркъ этой категоріи обходится безъ того, чтобы авторъ на первомъ-же планѣ не выставилъ самого себя голоднымъ, безпріютнымъ, шагающимъ по московскимъ или петербургскимъ улицамъ въ холодъ и непогоду, въ какомъ-нибудь рваномъ пальтишкѣ—и непремѣнно въ кабакъ или изъ кабака.

Какъ на наиболѣе рѣзкій примѣръ укажу на очеркъ «Грачевку», начинающійся такимъ образомъ (См. «Ж. моск. зак.», стр. 146).

«Начало весны для человѣка, неодѣтаго въ драповое пальто на легкой ватной подкладкѣ, необутаго въ крѣпкія калоши, – вещь, по общему мнѣнію, далеко неублажающая. Такимъ образомъ было однажды начало весны, а у меня не было драповаго пальто на легкой ватной подкладкѣ и калошъ не было, потому собственно можетъ быть, что были сапоги, которые, что называется, просили каши. Они, т. е. мои несчастные сапоженки, до того широко разинули свои рты, что какъ будто хотѣли вычерпать всю грязную воду, залившую грязныя улицы. Не знаю, какимъ образомъ не умеръ я въ описываемое время отъ холода первой весенней ночи, и какъ не отвалились у меня ноги, обваренныя рѣжущимъ кипяткомъ потаявшей изъ снѣга воды. И такъ, было начало весны. На дворѣ стояла непроглядная ночь, именно—та самая ночь, которой можно дать имя ночи любопытствующей,- ночи, всячески старающейся опредѣлить, что крѣпче на семъ свѣтѣ есть: дерево-ли фонарныхъ столбовъ, или лбы пѣшеходовъ, несчастные, бѣдные лбы, осужденные во время любопытствующихъ ночей стукаться не только объ означенные столбы, но пожалуй даже, говоря возвышенной рѣчью, и о холодный гранитъ тротуаровъ. Можете себѣ представить, какъ я благословлялъ эту ночь, шлепая по ея лужамъ. утопая въ ея канавахъ и ежеминутно удовлетворяя ея любознательность насчетъ того, такъ сказать, насколько я мѣдно-лобенъ. Весеннимъ страницамъ Фета, положительно докладываю, весьма было бы лестно украситься благословеніями, которыя я призывалъ на первую весеннюю ночь.»

И далѣе авторъ описываетъ, какъ квартирный хозяинъ выгналъ его за неплатежъ денегъ, какъ тщетно искалъ онъ ночлега у разныхъ своихъ пріятелей, и никто изъ нихъ не принялъ его на томъ основаніи, что у всѣхъ у нихъ по случаю рабочаго шабаша въ субботній день ночевали пріятельницы, какъ онъ встрѣтилъ наконецъ гдѣ-то на бульварѣ знакомаго, такого же, какъ и онъ, безпріютнаго ночлежника подъ открытымъ небомъ, и тотъ потащилъ его въ Грачевку, въ какой-то ужасный мазурническій вертепъ. «Мы,—сказалъ пріятель, – тамъ на гривенникъ хватимъ самой оглушающей водки и вдобавокъ просидимъ цѣлую ночь безданно, безпошлинно».

«Я, говоритъ авторъ при этомъ:—не буду ѣсть никакого меда, когда меня обѣщаютъ сводить въ какое-либо мѣсто, вродѣ нехорошевскаго клуба, гдѣ обыкновенно гнѣздятся по ночамъ тѣ ночныя птицы человѣческаго рода, рѣдкое появленіе которыхъ на улицѣ среди бѣлаго дня колетъ какъ будто свѣтлые глаза Божьему солнцу. Я быстро шагаю за моимъ руководителемъ въ нехорошевскій клубъ, куда меня тянетъ магнетическая надежда на возможное тепло, а въ темной дали яркой путеводной звѣздой блещетъ стаканъ водки, заглушающій человѣческое горе».

Въ другихъ очеркахъ авторъ съ большими подробностями описываетъ свои возвращенія съ различныхъ попоекъ, какъ онъ брелъ по темнымъ, тускло освѣщеннымъ закоулкамъ московскихъ трущобъ, шатаясь и отуманенный виномъ, разговаривалъ съ фонарями и другими неодушевленными предметами, которые оживали и принимали фантастическія формы подъ вліяніемъ мрачныхъ и гнетущихъ грезъ бѣлой горячки.

Въ этой категоріи очерковъ мы имѣемъ дѣло тоже съ народнымъ горемъ, но куда горю «Степныхъ очерковъ» сравняться съ нимъ. Это не то горе, которое идетъ размыкаться въ лѣсъ дремучій и тамъ успокоивается на лонѣ ласкающей природы—или разливается въ звучной пѣснѣ на все село, или наконецъ находитъ себѣ исходъ въ кельѣ Божьей невѣсты, послушницы. Это—горе, безвыходно и безучастно задыхающееся въ сирадѣ столичныхъ заднихъ дворовъ и сырыхъ подваловъ,—горе, стоны и вопли котораго безслѣдно исчезаютъ, заглушаемые шумомъ и гамомъ столичной суеты,—горе наконецъ, находящее себѣ единственный исходъ въ рядѣ безобразныхъ оргій, сопровождаемыхъ неистовыми взвизгиваніями и бѣшеной пляской трепака и общей кровавой потасовкой въ мутномъ чаду похмѣлья. Поэтому очерки этой категоріи, представляя нескончаемый рядъ мрачныхъ картинъ народныхъ попоекъ и потасовокъ, и являются какъ бы спеціально посвященными изображенію народнаго пьянства. Ни одного очерка, можно положительно сказать, не обходится безъ описанія какой нибудь оргіи, въ которой непосредственнымъ участникомъ является и самъ авторъ. Созерцаніе этого пьянства вмѣстѣ съ личнымъ участіемъ въ немъ словно сдѣлалось главнымъ содержаніемъ его жизни и поэзіи. «Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизмъ, говоритъ онъ въ очеркѣ «Крымъ» (см. «Ж моск. зак.», стр. 128),—ежели вамъ это понравится; но вѣдь я зачѣмъ пришелъ въ *Крымъ*? Я пришелъ въ *Крымъ* съ той цѣлью, чтобы смотрѣть цѣлую ночь многораз-

личные виды нашего русскаго горя; чтобы, смотря на эти виды, провесть всю ночь въ болѣзненномъ нытьѣ сердца, немогущаго не сочувствовать сценамъ людского паденія, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бѣснуясь больной душой, которая видитъ, что и она такъ же гибнетъ, какъ гибнетъ здѣсь столько народа».

Что касается до выводимыхъ личностей въ этихъ очеркахъ второй категоріи, то въ нихъ вы не найдете уже тѣхъ непосредственныхъ, цѣльныхъ, народно-типическихъ характеровъ, какіе проходятъ предъ вами въ «Степныхъ очеркахъ». Это все—личности надломленныя, перемолотыя и стертыя до полной безличности въ мытарствахъ столичной жизни, искаженныя иногда до потери всякаго человѣческаго образа и опустившіяся до страшнаго, чудовищнаго разврата. Про А. И. Левитова нельзя въ этомъ отношеніи сказать, чтобы онъ льстилъ народу и идеализировалъ его: онъ изображалъ народъ вполнѣ непосредственно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представлялся ему, глубоко сочувствуя ему и скорбя за него въ его вынужденномъ обстоятельствами паденіи. Какъ на особенно замѣчательные очерки по изображенію наиболѣе страшныхъ трущобныхъ типовъ и самыхъ сокровенныхъ подонковъ столичныхъ омутовъ слѣдуетъ указать на очерки «Крымъ», «Грачевка», «Безпечальный народъ», «Не сѣютъ, не жнутъ», «Шоссейный день».—Всѣ эти очерки обличаютъ въ А. И. Левитовѣ знатока народной жизни въ такихъ ея непроницаемыхъ столичныхъ трущобахъ, куда кромѣ него не приходилось заглянуть ни одному еще наблюдателю народныхъ нравовъ. Ничего подобнаго этимъ очеркамъ вы не найдете въ нашей литературѣ. Будь эти очерки болѣе тщательно обработаны въ техническомъ, формальномъ отношеніи и не столь растянуты, ихъ можно было-бы причислить къ числу первостепенныхъ произведеній русской литературы, хотя и въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, они представляются вполнѣ своеобразными и въ высшей степени замѣчательными явленіями ея.

Изъ всего вышеизложеннаго можно заключить, что субъективный элементъ въ очеркахъ второй категоріи присутствуетъ въ огромныхъ размѣрахъ, гораздо бо́льшихъ даже, чѣмъ въ «Степныхъ очеркахъ». Но есть очерки, въ которыхъ этотъ элементъ преобладаетъ вполнѣ и стоитъ на первомъ планѣ. Изъ этихъ вполнѣ субъективныхъ очерковъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ авторъ не ограничивается однимъ изображеніемъ народнаго горя, а дѣлаетъ различныя сопоставленія нравовъ и понятій, господствующихъ въ народной средѣ, съ разными гуманными и высокими идеалами, выработанными въ авторѣ высшимъ образованіемъ. Подобныя сопоставленія отличаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, переходящимъ въ мрачное отчаяніе при видѣ того, какъ идеалы автора такъ или иначе разбиваются о грубую и грязную дѣйствительность, полную мрака невѣжества. Тоскливые, разъѣдающіе мотивы проходятъ сквозь всѣ очерки А. И. Левитова второй категоріи. Въ этихъ мотивахъ предъ нами ярко выступаетъ въ лицѣ А. И. Левитова типъ тѣхъ писателей народниковъ-реалистовъ, которые проявлялись въ нашей литературѣ въ прошлое десятилѣтіе. Вышедши изъ народа, вынеся на своихъ плечахъ его страданія и живя до конца своихъ дней непосредственно его жизнью, они не идеализировали народа, не возводили его на пьедесталъ, не искали въ немъ какихъ-либо особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и считали «неотразимымъ вздоромъ» туманныя фантазіи народниковъ-мистиковъ предшествовавшаго періода, вродѣ Ап. Григорьева, олицетворенныхъ А. И. Левитовымъ въ типѣ учителя-народника. Это сознаніе «неотразимаго вздора» происходило конечно изъ того реальнаго опыта, который открылъ имъ всѣ вѣковыя язвы, всю ту вѣковую грязь, которая въѣлись въ народъ подъ вліяніемъ условій жизни его втеченіи многихъ столѣтій!.. Но дорого стоило имъ это трезвое сознаніе: увидя народъ не такимъ, какимъ-бы имъ хотѣлось его видѣть и какимъ представляли его предшественники ихъ, они исполнились глубокой, безвыходной скорбью о всѣхъ его язвахъ и страданіяхъ, и въ то же время дѣйствительность, представившаяся имъ, совершенно ошеломила ихъ и обезкуражила. Въ унынін и отчаяніи опустили они руки, тоскливо восклицая: «Во что же послѣ этого вѣрить? Къ кому идти? Куда преклонить голову? Что дѣлать?..» И они окончательно спивались, находя единственное утѣшеніе въ забвеніи вина и смерти.

Сочиненія А. И. Левитова въ этомъ отношеніи полезны не тѣмъ только, что раскрываютъ намъ народную жизнь со стороны ея горя, страданій и всѣхъ наросшихъ на народѣ вѣковыхъ сыпей и язвъ. Они вдвойнѣ поучительны должны быть для нашихъ новѣйшихъ народниковъ-мистиковъ, которые снова, подобно ихъ отцамъ и дѣдамъ, подходятъ къ народу съ исканіями невѣдомыхъ міру идеаловъ.—Пусть эти народники-мистики читаютъ сочиненія А. И. Левитова и съ одной стороны извлекаютъ изъ нихъ представленіе о народѣ, хотя и одностороннее, но тѣмъ не менѣе вполнѣ реальное представленіе человѣка, который самъ былъ изъ народа и вынесъ на своихъ плечахъ его тяготу. А съ другой стороны пусть они не забываютъ, что за періодомъ каждаго мечтательнаго и фантастическаго очарованія долженъ слѣдовать періодъ отрезвленія и разочарованія при видѣ суровой дѣйствительности, рушащей воздушные замки. Такъ мы и видимъ, что всѣ наши беллетристы-народники 60-хъ годовъ, Помяловскій, Рѣшетниковъ, А. И. Левитовъ, выразили собой моментъ разочарованія въ мистическихъ грезахъ относительно народа ихъ предшественниковъ. Теперь спрашивается: что же дѣлаютъ наши новѣйшіе народники-мистики, снова начавшіе искать въ народѣ различныхъ несказанныхъ идеаловъ, вродѣ новыхъ деревенскихъ словъ, долженствующихъ посрамить разстлѣнный городъ и заткнуть за поясъ европейскую науку, какъ не начинаютъ сызнова пережитую уже нашими отцами исторію фантастическаго очарованія и грозятъ въ грядущемъ новымъ періодомъ разочарованія, унынія, отчаяннаго опусканія рукъ и восклицаній: «во что же вѣрить? куда же дѣться? къ кому идти? что дѣлать?...»

Не было ли-бы въ милліонъ разъ благотворнѣй, если-бы мы вмѣсто подобнаго возвращенія къ заблужденіямъ отцовъ вчитались и вдумались глубже въ сочиненія беллетристовъ-народниковъ 60-хъ годовъ

*

и взяли бы въ разсчетъ дѣйствительность, открывшуюся намъ въ этихъ сочиненіяхъ? А затѣмъ, не останавливаясь на томъ унынiи и отчаяніи, на которомъ остановились эти беллетристы, ободрились бы, собрались съ силами и занялись бы трезвымъ пріисканіемъ цѣлительныхъ средствъ для излеченія тѣхъ народныхъ язвъ, которыя намъ показали эти беллетристы. Только въ подобномъ ободреніи и трезвомъ исканіи цѣлительныхъ средствъ могутъ проявиться тотъ новый шагъ впередъ и то желанное «новое слово», о которомъ мечтаютъ наши народники-мистики.

Моя полемика съ пріятелемъ по поводу статьи о Левитовѣ.

Въ статьѣ о Левитовѣ я провелъ ту мысль между прочимъ, что беллетристы-народники 60-хъ годовъ каковы Левитовъ, Рѣшетниковъ и др., выразили трезвымъ отношеніемъ своимъ къ народу, изъ среды котораго сами они вышли, реакцію противъ той идеализаціи народа, которая была въ ходу въ 50-е годы. Левитовъ даже пересолилъ въ этомъ отношеніи, такъ какъ къ концу своей жизни дошелъ до скептицизма и отчаянья въ томъ самомъ народѣ, быт котораго изображалъ всю свою жизнь. Въ заключеніе я поставилъ въ примѣръ этихъ беллетристовъ 60-хъ годовъ тѣмъ нашимъ новѣйшимъ народникамъ-мистикамъ, которые снова начинаютъ подходить къ народу съ исканіемъ какихъ-то особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и рискуютъ снова впасть въ разочарованіе весьма прискорбное и нежелательное.

Пріятеля моего смутили всѣ эти высказанныя мной мысли. Онъ возразилъ мнѣ, что, по его мнѣнію, въ 50-е годы никакой идеализаціи народа не существовало. Напротивъ того, на народъ смотрѣли свысока, какъ на чернь непросвѣщенну, и самое многое если питали гуманныя сожалѣнія къ его бѣдственнымъ положеніямъ; что беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшней его стороны: это былъ или жанръ, представляющій народъ въ разныхъ комическихъ проявленіяхъ его невѣжества и пьянства, или лирическій вопль о его страданіяхъ,—и что наконецъ только нашему времени принадлежитъ болѣе глубокое и серьезное отношеніе къ народу, стремленіе проникнуть въ его душу и выяснить его идеалы. Вотъ противъ подобныхъ взглядовъ моего пріятеля я и желаю сдѣлать нѣсколько возраженій.

Буду возражать въ хронологическомъ порядкѣ, начиная съ 50-хъ годовъ. Я не спорю, что въ 50-е годы вы можете найти весьма много людей, смотрѣвшихъ на народъ съ тѣмъ высокомѣрно-презрительнымъ или высокомѣрно-гуманнымъ взглядомъ, о которомъ говоритъ мой пріятель. Но вѣдь и въ наше время вы могли бы найти не менѣе, если не болѣе людей, продолжающихъ смотрѣть на народъ такимъ же взглядомъ. Я бы могъ представить многочисленные примѣры отзывовъ о народѣ людей, даже принадлежащихъ къ народной средѣ, вродѣ того что: «ну, да что вы хотите отъ мужичья»; «мужикъ—мужикомъ и воняетъ», и т. п. Но очевидно, что рѣчь идетъ у насъ не о массѣ публики, не о толпѣ, а о верхнихъ теченіяхъ передовой мысли, составляющихъ, такъ сказать, фарватеръ умственнаго движенія даннаго времени. И вотъ, обращаясь къ этому фарватеру, мы видимъ, что не одни славянофилы или народники-мистики вродѣ Ап. Григорьева, не одни сердобольные ходоки ради собиранія народныхъ пѣсенъ, повѣрій и всевозможныхъ этнографическихъ данныхъ ставили въ 50-хъ годахъ на пьедесталъ народъ и молились ему, то съуживая понятіе *народа* до людей податныхъ сословій, то расширяя его на всѣ сословія въ смыслѣ національныхъ преимуществъ русскаго народа сравнительно съ западными народностями. Вообще во всей литературѣ того времени различныхъ лагерей преобладалъ анализъ, противопоставлявшій нравственныя качества простого народа качествамъ интеллигентнаго меньшинства. Съ одной стороны порицались безхарактерная трафичность, развинченность, изнѣженность, искусственность, любовь къ фразѣ и внѣшней выставкѣ при пустотѣ содержанія интеллигентнаго меньшинства. Съ другой—возвеличивались цѣльность, непосредственность, выносливость, простота и прочія качества людей народа. На почвѣ подобнаго анализа воспитались многіе писатели сороковыхъ годовъ—Некрасовъ, Л. Толстой, Ѳ. Достоевскій, Марко-Вовчокъ, Кохановская, наконецъ и у Островскаго вы найдете то же стремленіе простотѣ и цѣльности людей народа противопоставить развинченность и искусственность интеллигентнаго слоя. Въ началѣ 50-хъ годовъ подобный анализъ былъ еще довольно смутенъ и неопредѣленъ, но въ концѣ—онъ успѣлъ уже прійти къ довольно яснымъ и опредѣленнымъ даннымъ. Такъ, возьмите вы Добролюбова: главная пружина всѣхъ его критическихъ и публицистическихъ взглядовъ постоянно заключалась въ скептическомъ отношеніи къ различнымъ нравственнымъ качествамъ интеллигентнаго меньшинства и въ сопоставленіи съ ними нравственныхъ качествъ народа. Но не одному Добролюбову принадлежали подобныя воззрѣнія. Въ то время они носились въ воздухѣ. На каждомъ перекресткѣ вы могли слышать фразы, что народъ и любитъ, и ненавидѣть умѣетъ глубже и сильнѣе, чѣмъ мы, что ничего мы не съумѣемъ для него сдѣлать, а онъ самъ можетъ сдѣдать для себя все, что ему нужно.

Я не нахожу ничего худого въ подобныхъ воззрѣніяхъ и, напротивъ того, очень уважаю ихъ, но въ нихъ былъ одинъ недостатокъ: именно неопредѣленность самаго понятія «народъ», которому поклонялись въ то время. Поклонялись именно не столько народу въ его реальной сути, сколько отвлеченному понятію о народѣ, въ которое вкладывали свое собственное содержаніе, рядъ идеальныхъ нравственныхъ качествъ, противополагая ихъ недостаткамъ интеллигентныхъ слоевъ; но въ то же время ни мало не заботились объ анализѣ самого народа въ его различныхъ элементахъ,—анализѣ, который могъ бы привести къ убѣжденію, что далеко не всѣ элементы, скрывающіеся въ народѣ, заслуживаютъ поклоненія, а только нѣкоторые, и притомъ такіе, которые вовсе не составляютъ исключительной собственности

одного мужика. Недостатокъ подобнаго анализа и былъ причиной, что одни, какъ напримѣръ Островскій въ нѣкоторыхъ своихъ комедіяхъ («Не въ свои сани не садись»), расширяя понятіе «народъ» до всѣхъ массъ, не носящихъ нѣмецкаго платья и не помазанныхъ лоскомъ европейской цивилизаціи, готовы были выставить противъ нравственныхъ недостатковъ интеллигентнаго меньшинства нравственную доблесть московскаго кулака вродѣ старика Русакова. Другіе же съуживали до nec plus ultra то же самое понятіе, подразумѣвая подъ нимъ исключительно мужиковъ въ сермягахъ и лаптяхъ, и притомъ такихъ мужиковъ, которые никогда изъ своей деревни не выѣзжали, такъ что, какъ попалъ мужикъ въ уѣздный или губернскій городъ,— причисленіе его къ средѣ «народа» дѣлалось уже сомнительнымъ въ ихъ глазахъ, а попалъ мужикъ въ столицу, — конечно: съ него стирались всѣ народныя клейма, и онъ совсѣмъ вычислялся изъ среды народа. Но зато каждая сермяга, не выѣзжавшая изъ своей деревни, была предметомъ слѣпого и совершенно безразличнаго поклоненія.

Въ 60-е годы все это сразу принимаетъ совершенно иной видъ. На первый планъ выступаетъ писаревщина, которая вполнѣ игнорируетъ народъ, смотритъ на него свысока, какъ на тупое и безмозглое стадо барановъ, и видитъ все спасеніе въ трезвыхъ реалистахъ, Базаровыхъ, углубленныхъ съ сигарами въ зубахъ въ различныя естественнонаучныя изслѣдованія. Рядомъ съ этимъ развивается народная беллетристика, и въ этой беллетристикѣ мы не видимъ уже и слѣда какой-бы то ни было идеализаціи народа. Но было бы совершенно напрасно предполагать, какъ это дѣлаетъ мой пріятель, чтобы беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшнихъ сторонъ, въ смыслѣ чистаго жанра. Правда, были и такіе беллетристы, каковы напримѣръ Н. Успенскій, В. Слѣпцовъ и пр.,—но развѣ можно сказать это о Рѣшетниковѣ, о Левитовѣ, о Н. И. Наумовѣ и другихъ, менѣе замѣчательныхъ и теперь уже забытыхъ? Правда, они не идеализировали народа и не искали въ немъ исключительно однихъ нравственныхъ совершенствъ, но отнюдь нельзя сказать, чтобы они обращали вниманіе на однѣ внѣшнія его стороны или смотрѣли на него свысока. Они трезво анализировали народъ, разлагали его на различные элементы, представляли его въ различныхъ видахъ: пьянымъ и трезвымъ, наживающимся и проживающимся, ищущимъ, гдѣ лучше живется, и вѣшающимся съ отчаянія, принижающимся до послѣдней степени самоуниженія и обращающимся въ звѣря въ порывѣ накипѣвшаго ожесточенія и пр., и пр. Этотъ анализъ доводилъ ихъ нерѣдко, какъ уже сказалъ я выше, до скептицизма и отчаянія относительно народа. У Рѣшетникова, какъ беллетриста непосредственно объективнаго, подобный скептицизмъ не замѣтенъ, но у Левитова, какъ у писателя крайне субъективнаго, онъ часто проявляется въ самомъ рѣзкомъ видѣ. Весьма многіе разсказы Левитова начинаются съ мотивовъ 50-хъ годовъ: авторъ жалуется на искусственность, раздвоенность и лабиринтъ нравственныхъ противорѣчій своихъ интеллигентныхъ пріятелей и бѣжитъ въ среду народа, мечтая, что тамъ онъ найдетъ «обѣщанное царство благодати», но при этомъ не забываетъ и себя продернуть въ качествѣ интеллигентнаго человѣка: «Ты куда? говоритъ онъ себѣ.—Зачѣмъ тебѣ къ нимъ? Ты ни любить такъ не умѣешь, какъ они, ни прощать»... Но далѣе затѣмъ это «обѣщанное царство благодати» изображается въ такомъ ужасномъ видѣ, что, вылетая изъ него стремглавъ, авторъ восклицаетъ въ отчаяніи: «Господи! Куда же я пойду?... Гдѣ и съ какими людьми я жить смогу?» Неужели пріятель мой желаетъ во что бы то ни стало игнорировать подобные мотивы разсказовъ Левитова и, несмотря на всю ихъ назойливость, будетъ упорствовать въ своемъ предположеніи, что беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшней стороны съ цѣлью юмора и жанра?

Перехожу теперь къ нашему времени. Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ литературныхъ и нелитературныхъ слояхъ снова появились побужденія къ идеализаціи народа, къ отысканію въ немъ различныхъ нравственныхъ идеаловъ, въ противоположность недостаткамъ интеллигентныхъ слоевъ. Напрасно въ этомъ отношеніи пріятель мой упрекаетъ меня, что, упоминая въ своей статьѣ о публицистахъ «Недѣли» съ ихъ пресловутымъ новымъ словомъ деревни, я стрѣляю по разлетѣвшимся воробьямъ, такъ какъ эти публицисты давно уже не появляются на столбцахъ «Недѣли», и журналъ этотъ повидимому пересталъ и думать о какихъ бы то ни было новыхъ словахъ. Дѣло тутъ совсѣмъ не въ «Недѣлѣ» и не въ ея замолчавшихъ публицистахъ. Неужели пріятель мой думаетъ, что публицисты эти были исключительнымъ, случайнымъ, эфемернымъ явленіемъ: появились ни съ того, ни съ сего и скрылись безъ слѣда? Еслибы это было такъ, то стоили ли они возраженія и въ то время, когда статьи ихъ печатались въ «Недѣлѣ»? Но мнѣ кажется, что это не такъ, что за публицистами «Недѣли» чуется въ самой интеллигентной массѣ смутное движеніе въ духѣ тѣхъ идей, которыя публицисты «Недѣли» высказали на страницахъ этой газеты. Это движеніе задѣло своимъ крыломъ и моего пріятеля, вслѣдствіе чего онъ и вздумалъ предписывать нашему времени проникновеніе въ народные идеалы. Такимъ образомъ воробьи оказываются вовсе не разлетѣвшимися, и мой пріятель самъ находится въ ихъ стаѣ. Поговоримъ же объ этихъ воробьяхъ.

Подобно тому, какъ не вижу я ничего дурного въ поклоненіи народнымъ нравственнымъ идеаламъ въ пятидесятые годы, такъ-же точно я готовъ отнестись съ полнымъ уваженіемъ къ такому-же явленію и въ наше время. Но въ то-же время я не желалъ-бы, чтобы поклоненіе это пошло по той-же дорогѣ, по какой оно шло 20 лѣтъ тому назадъ, и отличалось такой-же слѣпотой и неопредѣленностью. Начать съ того, что на первый планъ снова выступаютъ такіе темные и туманные термины, какъ *народъ*, *народность*, и противопоставляются націонализму. Въ контрастѣ съ націонализмомъ термины эти какъ будто и представляютъ нѣчто опредѣленное, но сами по себѣ они сильно хромаютъ туманностью и неопредѣленностью. Что вы подразумѣваете подъ словомъ *народъ*? Вы мнѣ отвѣ-

тите конечно: рабочіе слои населенія, мужиковъ, и нарисуете при этомъ нравственный типъ трудового человѣка, прибавивъ къ этому, что онъ вездѣсущъ, не принадлежитъ ни одной какой-либо національности, но встрѣчается повсюду, гдѣ человѣкъ въ потѣ лица зарабатываетъ хлѣбъ свой. Прекрасно. Но вы посмотрите, сколько неточностей въ вашихъ опредѣленіяхъ: съ одной стороны развѣ всѣ трудящіеся люди принадлежатъ исключительно къ числу мужиковъ, а съ другой стороны—можно-ли сказать, чтобы всѣ мужики представляли собой нравственные типы людей насущнаго труда? Дѣло въ томъ, что нравственный масштабъ далеко не всегда сходится съ масштабомъ политико-экономическимъ или сословнымъ, потому что кромѣ экономическихъ и общественныхъ условій на образованіе нравственныхъ типовъ вліяютъ многія иныя, болѣе частныя и случайныя. Съ политико-экономической точки зрѣнія на весьма многія отрасли труда слѣдуетъ смотрѣть, какъ на непроизводительныя и слѣдовательно вредныя, но люди, занимающіеся этими трудами, тѣмъ не менѣе все-таки могутъ представлять изъ себя вполнѣ тотъ нравственный типъ людей труда, которому вы поклоняетесь, и при этомъ совершенно независимо отъ того, къ какому-бы классу общества они ни принадлежали. У иного мужика, всю жизнь шагающаго за плугомъ, вы найдете въ гораздо большей степени подленькую чиновничью душонку подъ его сермягой, чѣмъ въ иномъ мелкомъ чиновникѣ, который въ свою очередь можетъ вполнѣ осуществлять собой нашъ нравственный типъ человѣка труда. Что мнѣ толку въ иномъ вашемъ мужикѣ, если при всей своей мужицкой внѣшности, капляхъ трудового пота на челѣ и рукахъ, покрытыхъ мозолями, онъ только и помышляетъ о томъ, какъ-бы подвернулся ему случай сцапать какимъ-либо манеромъ кушикъ, обратиться потомъ въ Дерунова и начать драть шкуру съ своихъ-же братьевъ-сотоварищей по тяжкому труду? Да я грязнаго, развратнаго щедринскаго тапера готовъ уважать въ большей степени, чѣмъ подобнаго вашего мужика. Вообще мужикъ, народъ—это нѣчто весьма сложное и разнохарактерное, чтобы можно было съ нравственной точки зрѣнія подвести его подъ одинъ типъ. А потому не лучше-ли оставить эти неподходящіе термины и замѣнить ихъ болѣе точными и опредѣленными? Такъ напримѣръ, гораздо было-бы яснѣе и точнѣе сдѣлать вотъ какіе контрасты: противъ инстинктовъ наживы пусть парадируютъ инстинкты насущнаго труда, въ то-же время противъ инстинктовъ владычества (стремленія возвыситься въ какомъ бы то ни было отношеніи надъ ближнимъ) — инстинкты братской любви и солидарности. Разъ вы сдѣлаете такіе контрасты и, принявъ ихъ въ соображеніе, взглянете на жизнь—вы и увидите, что элементы эти борются не только въ такихъ обширныхъ группахъ, каковы обширные слои общества, но и въ самыхъ нѣдрахъ того, что вы называете народомъ, мужиками.

Мой пріятель скажетъ мнѣ, что я хлопочу о пустякахъ, что весь споръ сводится на споръ о терминахъ, о словахъ. Но не пренебрегайте терминами, не играйте словами: отъ нихъ иногда всецѣло зависитъ ясность и точность мысли. Особенно слѣдуетъ опасаться вливанія новыхъ идей въ старые термины, подъ которыми мысль людей привыкла соединять нѣчто иное, не совсѣмъ подходящее къ вашимъ идеямъ; вы всегда рискуете, что это «нѣчто иное» прилипнетъ къ вашей идеѣ и потащится за нею ненужнымъ хвостомъ, запутывая и ваши собственныя понятія, и понятія вашихъ ближнихъ. Для примѣра того, какъ неточные термины затуманиваютъ головы и ведутъ къ отвлеченнымъ умствованіямъ, повидимому очень красивымъ и справедливымъ, но тѣмъ не менѣе вполнѣ призрачнымъ, я приведу двѣ выдержки, взятыя у двухъ совершенно различныхъ писателей, почти тождественныя по своему содержанію:

Въ повѣсти Златовратскаго «Золотыя сердца», два молодые человѣка бесѣдуютъ слѣдующимъ образомъ о сближеніи съ народомъ.

— «Скажи, Башировъ, заговорилъ пріятель: —ты хорошо вѣдь знаешь простой народъ?

— Что я знаю? знаю я Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю.

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучилъ же ты? Вотъ они съ тобой сходятся, тебѣ довѣряютъ. Ты, значитъ, знаешь, чѣмъ можно добиться ихъ довѣренности, чѣмъ разрушить ту стѣну недовѣрія, которая существуетъ между нами и ими?

— Знаю, протянулъ Ванюшка, хитро улыбнувшись.

— Въ чемъ же, въ чемъ штука-то? вскрикнулъ обрадовавшійся юноша: — трудно?

— Нѣтъ, ничего... легко!

— Легко?

— Не сумлявайся... легко...

— Ну, такъ въ чемъ же штука-то?

— Штука-то?.. Быть несчастнымъ!

Пріятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ.»

Въ одномъ изъ фельетоновъ Темкина двое пріятелей бесѣдуютъ о томъ-же предметѣ:

«— Позвольте однако, Сицкій; вѣдь вы начали съ того, что вы готовились къ познанію, такъ сказать, народа. А между тѣмъ вы во-первыхъ такъ говорите, какъ будто знаете его и теперь ужъ вдоль и поперекъ. А во-вторыхъ...

— Я составилъ себѣ понятіе, перебилъ Сицкій: — если увижу, что оно не полно или вздорно, такъ дополню или брошу...

— А во-вторыхъ, продолжалъ я—узнать народъ и учить его — это двѣ разныя вещи. И я все-таки думаю, что для того, чтобы узнать его, особенныхъ приготовленій не требуется. Это всякій можетъ при добромъ желаніи.

— Напрасно вы такъ думаете. Съ чего это мужикъ станетъ ради вашего добраго желанія душу предъ вами раскрывать? Вы должны его уваженіе пріобрѣсти, представиться ему прежде всего дѣльнымъ, стоющимъ человѣкомъ...

— Прежде всего! замѣтьте, вы все это еще «во-первыхъ» говорите. Во-первыхъ знаніе. Ну, хорошо. Значитъ есть и во-вторыхъ?

— Есть и во-вторыхъ, и въ-третьихъ. Во-вторыхъ какой нибудь физическій трудъ, мастерство, что нибудь, вообще какая нибудь умѣлость. Неумѣлость народъ только юродивымъ да блаженнымъ прощаетъ, а въ-третьихъ подвигъ...

— Какой такой подвигъ?

— Какой подвигъ—это вы изъ исторіи можете узнать...» и проч.

Все это и справедливо, и несправедливо. Это справедливо по отношенію только къ тѣмъ нѣкоторымъ элементамъ среди народа, которые осуществляютъ со-

бою нравственный типъ инстинктовъ насущнаго труда плюсъ инстинкты братской любви. Но вѣдь не къ одному народу, мужикамъ, а ко всѣмъ людямъ, представляющимъ этотъ нравственный типъ, подходить слѣдуетъ такъ, какъ предписываютъ Башкировъ и Сицкій. Очень можетъ быть, чтобы заслужить довѣріе Златовратскаго или Темкина тоже требуется и быть несчастнымъ, и быть умѣлымъ, и пріобрѣсти ихъ уваженіе, и подвигъ? Но вѣдь здѣсь говорится о народѣ вообще, о мужикахъ огуломъ Позвольте же и поспорить: не ко всякому мужику подойдете вы съ такими качествами: иной можетъ быть надъ вашимъ несчастіемъ-то только посмѣется да поглумится, умѣлость въ васъ способенъ оцѣнить только въ качествѣ ловкости въ кулачествѣ и хищничествѣ, а за подвигъ-то схватитъ васъ за шиворотъ да потащитъ къ становому...

Вотъ въ этой необходимости разборчивости,—необходимости, чтобы однородное стремилось къ однородному, соединялось съ подобнымъ и глядѣло въ оба, какъ-бы не наскочить на враждебные элементы,—и заключается задача нашего времени. Наша же привычка разсуждать отвлеченными категоріями, употребляя ветхіе и никуда негодные термины, ведетъ только къ невообразимой путаницѣ мысли и горькимъ разочарованіямъ, а порой—и къ тяжкимъ опытамъ въ жизни.

1878-1880.

НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ НЕКРАСОВЪ.

I.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ принадлежитъ къ помѣщичьему роду Ярославской губерніи, нѣкогда очень богатому, но впослѣдствіи обѣднѣвшему. Отецъ поэта, Алексѣй Сергѣевичъ, служилъ въ арміи и не отличался повидимому особеннымъ образованіемъ, судя по слѣдующимъ стихамъ изъ поэмы «Мать»:

Безспорно, онъ приличенъ по манерамъ,
Природный умъ и замѣчала въ немъ,
Но нравъ его, привычки, воспитанье...
Умѣетъ-ли онъ имя подписать?

Большую часть своей службы онъ состоялъ въ адъютантскихъ должностяхъ, которыя соединялись съ постоянными разъѣздами, такъ что Алексѣй Сергѣевичъ очень часто бывалъ то въ Кіевѣ, то въ Одессѣ, то въ Варшавѣ. По однимъ извѣстіямъ въ Варшавѣ, а по другимъ въ Херсонской губерніи онъ случайно познакомился съ семействомъ богатаго польскаго магната Андрея Закревскаго и влюбился въ старшую дочь его, Александру Андреевну, которая и съ своей стороны отвѣчала склонности молодого русскаго офицера. Но о согласіи родителей, игравшихъ въ Варшавѣ видную роль, нечего было и думать. Что могло быть общаго между бѣднымъ, едва грамотнымъ армейскимъ офицеромъ и дочерью знатнаго польскаго богача, получившей изысканное образованіе, красавицей, окруженной поклонниками, по богатству и знатности не уступавшими ея родителямъ? Тогда, не долго думая, Алексѣй Сергѣевичъ увезъ свою возлюбленную прямо съ бала и обвѣнчался съ ней по дорогѣ въ свой полкъ. Разгнѣванный тесть отвергъ свою дочь и не выдалъ ей капитала, назначеннаго ей въ приданое. И вотъ, жизнь изнѣженной и привыкшей къ роскоши польской панни съ перваго-же дня потянулась среди всякаго рода лишеній и дрязгъ походной армейской жизни. Пространствовавъ еще нѣсколько лѣтъ съ полкомъ, дослужившись до чина капитана, Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку и поселился съ семействомъ въ родовомъ своемъ имѣніи Ярославской губерніи и уѣзда, въ сельцѣ Грешневѣ, на почтовомъ трактѣ по Владимірской дорогѣ.

Вотъ какія свѣдѣнія сообщаетъ сестра покойнаго поэта, Анна Алексѣевна Буткевичъ, о состояніи своихъ родителей:

«Сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивавшееся столбами съ надписью столько-то душъ, принадлежавшихъ гг. Некрасовымъ, составляло только небольшую часть родовыхъ нашихъ помѣстій, находившихся, кромѣ Ярославской, еще въ Рязанской, Орловской и Симбирской губерніяхъ. Въ одно время, довольно отдаленное, все имѣніе представляло въ цѣломъ нѣсколько тысячъ душъ. Изъ нихъ прадѣдъ нашъ (воевода) проигралъ половину; дѣдъ нашъ, штыкъ-юнкеръ въ отставкѣ, проигралъ вторую; отцу нашему проигрывать было нечего, а въ карты играть онъ тоже любилъ. Къ выходу его въ отставку, по случаю раздѣла имѣнія съ братьями, на всѣхъ, т. е. трехъ братьевъ и двухъ сестеръ, оставалось 400 душъ.»

Изъ этого сообщенія мы можемъ заключить, что имѣніе родителей Н. А. Некрасова едва-ли превышало 100 душъ. Между тѣмъ семейство Алексѣя Сергѣевича было весьма многочисленно: всего было 13 братьевъ и сестеръ, изъ которыхъ въ живыхъ остались, по смерти поэта, лишь два брата его, Константинъ и Ѳедоръ Алексѣевичи, и одна сестра, Анна Алексѣевна. Алексѣй Сергѣевичъ повидимому не отличался скопидомствомъ, жизнь велъ разгульную, страстно любя охоту и карты; кромѣ того имѣлъ какія-то тяжбы по имѣнію, что̀ еще болѣе разстраивало благосостояніе семьи, и послѣдняя становилась не рѣдко въ затруднительное положеніе. Соображая все это, мы можемъ заключить, что если на долю Н. А. Некрасова и досталось кое-что родовое, то это могли быть лишь жалкія крохи.

«Сельцо Грешнево,—сообщаетъ далѣе сестра поэта:—стоитъ на низовой ярославско-костромской дорогѣ. Трактъ этотъ назывался Владимірскимъ и Сибирскимъ. Барскій домъ выходилъ на самую дорогу, и все, что по ней ѣхало и было видно, начиная съ почтовыхъ троекъ и кончая арестантами, закованными въ цѣпи, въ сопровожденіи конвойныхъ, было постоянной пищей нашего дѣтскаго любопыт-

ства. Во всемъ остальномъ Грешневская усадьба ничѣмъ не отличалась отъ обыкновеннаго типа тогдашнихъ помѣщичьихъ усадебъ. Мѣстность ровная, плоская, перерѣзываемая извилистой рѣчкой Самаркой. Передъ ней пастбища, луга, нивы, а позади безконечные дремучіе лѣса, сливающіеся съ горизонтомъ. Не вдалекѣ Волга. Въ самой усадьбѣ болѣе всего замѣчателенъ старый обширный садъ, обнесенный рѣшетчатымъ заборомъ, остатки котораго сохранились донынѣ. Ничего остального нѣтъ и слѣда. Гдѣ стоялъ обширный домъ, тамъ теперь скромное зданіе съ надписью: «Распивочно и на выносъ» — и ничего больше. Самый трактъ, по случаю сильныхъ весеннихъ разливовъ, давно упраздненъ; почтовая гоньба идетъ теперь по другому, высокому берегу Волги, гдѣ въ старое время почта ѣздила только весной по случаю бездорожицъ. Куда какъ глухо тамъ теперь стало. Не вѣрится, что 20 верстъ до Ярославля и 40 до Костромы.»

II.

Николай Алексѣевичъ родился еще во время походной жизни отца, въ 1821 году 22 ноября, въ Подольской губерніи, въ Винницкомъ уѣздѣ, въ какомъ-то еврейскомъ мѣстечкѣ. Онъ очень рано началъ помнить себя. По крайней мѣрѣ въ памяти его живо сохранился со всѣми подробностями эпизодъ вступленія въ наслѣдственный пріютъ, между тѣмъ какъ ему было тогда всего три года.

«Я помню, разсказывалъ онъ впослѣдствіи матери:—какъ мы подъѣхали къ дому, какъ меня взяли на руки; кто то свѣтилъ, идя впереди, и внесли въ комнату, въ которой былъ на половину снятъ полъ и виднѣлись земля и поперечины. Въ слѣдующей комнатѣ я увидалъ двухъ старушекъ, сидѣвшихъ передъ нагорѣвшей свѣчей, другъ противъ друга, за большимъ столомъ (это были бабушка и тетушка Алексѣя Сергѣевича). Онѣ вязали чулки и обѣ были въ очкахъ.»

Хорошая память всю жизнь составляла одно изъ главныхъ качествъ ума Н. А. Некрасова.

Но не веселыя картины дѣтства сохранились въ этой такъ рано пробудившейся памяти. Въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ Н. А. Некрасовъ даетъ намъ ясное представленіе о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ имъ изъ родительскаго дома. Такъ, лирическое стихотвореніе «Родина» всецѣло посвящено печальнымъ воспоминаніямъ дѣтства. Въ поэмѣ «Несчастные» подобныя-же дѣтскія воспоминанія рисуются еще въ болѣе подробныхъ и рѣзкихъ чертахъ.

Для дополненія всѣхъ такихъ нерадостныхъ картинъ слѣдуетъ представить себѣ, что тутъ-же, на глазахъ мальчика, плакала и увядала молодая, прекрасная женщина, угнетенная, непригрѣтая и оскорбленная во всѣхъ своихъ самыхъ завѣтныхъ чувствахъ, и эта женщина была мать несчастнаго ребенка. Вышедшая изъ болѣе цивилизованной среды и получившая блестящее образованіе, она конечно была лучомъ свѣта среди того непроглядnаго мрака, какой окружалъ дѣтство Н. А. Некрасова. Вліяніе ея на дѣтей было конечно громадно и, нужно-ли прибавлять, въ высшей степени благотворно. Не даромъ Н. А. Некрасовъ такъ часто вспоминалъ ее въ своихъ стихотвореніяхъ и постоянно относился къ ней съ страстнымъ благоговѣніемъ, какъ къ своему ангелу-хранителю, которому онъ обязанъ всѣмъ, что́ только было въ немъ святого и хорошаго:

И если я легко стряхнулъ съ годами
Съ души моей тлетворные слѣды,
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невѣжествомъ среды,
И если я наполнилъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты,
И носитъ пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви глубокія черты,—
О, мать моя, подвигнутъ я тобою!
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Если мы возьмемъ въ разсчетъ сильное, неотразимое нравственное вліяніе, какое оказывала мать на своего сына и которое безъ сомнѣнія еще болѣе усиливало привязанность его къ ней, то можно себѣ представить, что́ долженъ былъ чувствовать несчастный мальчикъ при видѣ слезъ и рыданій этого прекраснаго существа, всѣхъ тѣхъ униженій и оскорбленій, какія она безропотно переносила, наконецъ холодности и измѣны со стороны общаго тирана. Какое мрачное, ѣдкое, непримиримое ожесточеніе на всю жизнь долженъ былъ вынести юноша изъ всего этого ада кромѣшнаго! А что слова поэта представляютъ въ поэмѣ «Мать» не вымышленныя, а живыя черты, непосредственно относящіяся къ его личной жизни, въ этомъ можетъ убѣдить насъ свидѣтельство Ѳ. М. Достоевскаго, знавшаго Н. А. Некрасова въ эпоху его молодости и передающаго о немъ слѣдующее воспоминаніе («Дневникъ писателя», № 12, 1877 г.):

«Лично мы сходились мало и рѣдко, — говоритъ Достоевскій,—и лишь однажды вполнѣ съ беззавѣтнымъ, горячимъ чувствомъ, именно—въ самомъ началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятомъ году, въ эпоху «Бѣдныхъ людей». Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя разъ навсегда обрисовался передо мной этотъ загадочный человѣкъ самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то никогда не зажившая рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери—а то, какъ говорилъ онъ о своей матери, та сила умиленія, съ которой онъ вспоминалъ о ней, рождали уже и тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, но такое, что́ могло бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужъ конечно лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись гдѣ нибудь украдкой, чтобъ не видали (какъ разсказывалъ онъ мнѣ) съ мученицей-матерью, съ существомъ, столь любившимъ его. Я думаю, что ни одна потомъ привязанность въ жизни его не могла-бы такъ-же, какъ эта, повліять и властительно подѣйствовать на волю и на иныя темныя неудержимыя влеченія его духа, преслѣдовавшія его всю жизнь.»

Въ дореформенной помѣщичьей жизни мы встрѣчаемъ многочисленные примѣры, что дѣти, воспитавшіяся при такихъ обстоятельствахъ, при какихъ воспитывался Н. А. Некрасовъ, въ первые-же годы дѣтства получали стремленіе сближаться съ народомъ. Естественно, что ничто такъ не сближаетъ людей, какъ общій гнетъ или общее горе. Отъ шума и содо

ма грязныхъ оргій и дикихъ порывовъ необузданнаго гнѣва малютки убѣгали въ дѣвичьи, въ людскіе флигеля, а не то и въ деревню, если она была по близости отъ усадьбы. Тамъ они находили свои дѣтскія привязанности среди простого народа, страдали за нихъ и съ ними, плакали и заступались за своихъ любимцевъ. То-же самое безъ сомнѣнія было и съ Н. А. Некрасовымъ, какъ онъ свидѣтельствуетъ объ этомъ въ своемъ стихотвореніи «Родина»:

Но помню я: здѣсь что-то всѣхъ давило,
Здѣсь въ маломъ и большомъ тоскливо сердце
Я къ нянѣ убѣгалъ... ныло,

«За нашимъ садомъ,—сообщаетъ объ этомъ предметѣ сестра покойнаго поэта,—непосредственно начинались крестьянскія избы. Я помню, что это сосѣдство было постояннымъ огорченіемъ для нашей матери: толпа ребятишекъ, нарочно избиравшая для своихъ игръ мѣсто возлѣ рѣшетки усадебнаго сада, какъ магнитъ, притягивала туда брата; никакія преслѣдованія не помогали. Впослѣдствіи онъ продѣлалъ лазейку и при каждомъ удобномъ случаѣ вылѣзалъ къ нимъ въ деревню, принималъ участіе въ ихъ играхъ, которыя нерѣдко оканчивались общей дракой. Иногда высмотрѣвъ, когда отецъ уходилъ въ мастерскую, гдѣ доморощенный столяръ Баталинъ изготовлялъ незатѣйливую мебель, братъ зазывалъ къ себѣ своихъ пріятелей. Бѣловолосыя головы одна за другой пролѣзали въ садъ, разсыпались по аллеямъ и начинали безразличное опустошеніе отъ цвѣтовъ до зеленой смородины и пр. Заслыша гамъ, старуха-нянька, приноровившаяся выживать «пострѣловъ», трусила съ другого конца сада, крича: «баринъ, баринъ идетъ!» Спугнутые ребята бросались опрометью къ своей лазейкѣ. Впослѣдствіи, когда братъ уже былъ въ гимназіи и пріѣзжалъ въ деревню на каникулы, сношенія съ пріятелями возобновлялись: онъ пропадалъ по цѣлымъ днямъ, бродилъ съ ними по лѣсамъ или отправлялся на рѣку удить рыбу. Еще позднѣе, когда онъ пріѣзжалъ уже изъ Петербурга (съ 1844 г.), тѣ же пріятели возили его въ своихъ незатѣйливыхъ экипажахъ на охоту».

Въ то-же самое время, какъ было уже говорено выше, передъ окошками родительской усадьбы постоянно мелькали сцены изъ народной жизни весьма мрачнаго характера: бурлаки, охая и кряхтя, тянули свои лямки, оглашая окрестность своими заунывными пѣснями; по дорогѣ проходили, звеня цѣпями, этапы съ каторжниками. Одно время отецъ Некрасова былъ исправникомъ и любилъ часто, скуки ради, брать сына въ разъѣзды по дѣламъ службы. Такимъ образомъ мальчикъ 12 — 13 лѣтъ присутствовалъ при разныхъ сценахъ народной жизни, иногда очень печальныхъ и раздирающихъ душу, при уголовныхъ слѣдствіяхъ, при вскрытіи труповъ и кулачныхъ расправахъ въ духѣ прежняго времени. Все это и само по себѣ должно было тяжело дѣйствовать на воспріимчивые нервы мальчика, но это дѣйствіе конечно было еще сильнѣе на ребенка несчастнаго и угнетеннаго,—ребенка, который самъ дрожалъ, какъ осиновый листъ, смотря, какъ въ ногахъ у его отца валялся, прося помилованія, какой-нибудь провинившійся мужикъ, весь въ грязи и крови. Понятно послѣ того, что въ то время, какъ заунывныя пѣсни и жалобы бурлаковъ безслѣдно пронеслись мимо ушей не одного изъ нашихъ поэтовъ, подобно Некрасову проведшихъ дѣтство на Волгѣ, на послѣдняго онѣ произвели потрясающее впечатлѣніе, о которомъ онъ свидѣтельствуетъ намъ въ другой своей поэмѣ: «На Волгѣ».

III.

Началомъ своего умственнаго развитія Некрасовъ былъ обязанъ опять-таки конечно матери:

Та блѣдная рука, ласкавшая меня,
Когда у догоравшаго огня
Въ младенчествѣ я сиживалъ съ тобою,
Мнѣ въ сумерки мерещилась порою,
И голосъ твой мнѣ слышался въ потьмахъ,
Исполненный мелодіи и ласки,
Которымъ ты мнѣ сказывала сказки
О рыцаряхъ, монахахъ, королях.
Потомъ, когда читалъ я Данта и Шекспира,
Казалось, я встрѣчалъ знакомыя черты:
То образы изъ ихъ живого міра
Въ моемъ умѣ напечатлѣла ты.
И сталъ я понимать, гдѣ мысль твоя блуждала,
Гдѣ ты душой, страдалица, жила,
Когда кругомъ насилье ликовало,
И стая псовъ на псарнѣ завывала,
И вьюга въ окна била и мела!

Рано, съ семилѣтняго возраста, началъ мальчикъ писать стихи, и у матери его сохранялись первыя его безсвязныя младенческія вирши, начинавшіяся такъ:

Любезна маменька, примите
Сей слабый трудъ
И разсмотрите,
Годится-ли куда-нибудь.

Впослѣдствіи онъ читалъ все безъ разбора, что попадалось въ руки, и, по собственнымъ словамъ его, «что прочитаетъ, тому и подражаетъ». Такимъ образомъ къ 15-ти годамъ составилась у него уже цѣлая тетрадь, съ которой онъ и уѣхалъ въ Петербургъ.

Что-же касается первоначальнаго обученія, то имъ занимались съ дѣтьми наемные учителя изъ ярославскихъ семинаристовъ, а въ 1832 году Н. А. Некрасовъ былъ опредѣленъ въ ярославскую гимназію. Изъ подъ суроваго гнета родительскаго дома одиннадцатилѣтній мальчикъ попалъ вдругъ на безграничную свободу почти вполнѣ самостоятельной жизни: онъ поступилъ въ гимназію приходящимъ, а для жительства ему съ братомъ была нанята отдѣльная квартира въ городѣ, и къ нимъ приставленъ былъ для прислуживанія и надзора крѣпостной человѣкъ, причемъ конечно праздники и каникулы братья проводили дома, въ деревнѣ.

Такой внезапный переходъ отъ строгости домашней ферулы къ безграничной свободѣ, при отсутствіи всякаго разумнаго надзора и попеченія за дѣтьми, самъ по себѣ не представлялъ ничего утѣшительнаго. Но зло еще увеличивалось недобросовѣстностью дядьки. Ему полагалось на содержаніе, какъ себя, такъ и дѣтей, по 50 копѣекъ въ сутки, и деньги сдавались ему на руки, но онъ 20 копѣекъ удерживалъ себѣ и тратилъ ихъ на выпивку, просиживая по цѣлымъ днямъ въ кабакѣ, а тридцать копѣекъ отдавалъ дѣтямъ, предоставляя имъ кормиться на нихъ, гдѣ и какъ угодно. Они не отставали отъ своего пестуна и въ свою очередь шатались по трактирамъ.

Квартира Некрасовыхъ сдѣлалась притономъ всякаго рода гимназическихъ шалостей, сначала дѣтскихъ, а потомъ уже и не дѣтскихъ. Ученье шло при этомъ, разумѣется, не завидно. Особенно не давались Н. А. Некрасову древніе языки. Однакожъ все-

таки втеченіи шести лѣтъ онъ дотянулъ кое-какъ до 5-го класса. По всей вѣроятности онъ прошелъбы и весь курсъ, но къ несчастью примѣшались весьма натянутыя отношенія къ начальству. Продолжая неуклонно писать стихи, Н. А. Некрасовъ между прочимъ написалъ нѣсколько шуточныхъ и скабрезныхъ сатиръ на товарищей и на гимназическое начальство. Сатиры эти съ восторгомъ читались и заучивались наизусть товарищами, но когда наконецъ дошли онѣ до начальства, оставаться долѣе въ гимназіи было немыслимо.

IV.

Въ одно время съ этимъ преждевременнымъ выходомъ изъ гимназіи произошло событіе, произведшее на юношу не менѣе потрясающее впечатлѣніе: это была смерть любимаго брата Андрея, первая потеря близкаго человѣка. По словамъ сестры Николая Алексѣевича, эта потеря произвела сильный нравственный переворотъ въ юношѣ. Онъ словно очнулся отъ той распущенности, въ какой провелъ свои гимназическіе годы, впервые серьезно задумался о своей участи. Подобныя размышленія конечно еще болѣе обострялись тѣмъ опальнымъ положеніемъ, какое испытываетъ въ родительскомъ домѣ юноша, исключенный изъ училища. Отецъ Некрасова послѣ неудачи сына въ гимназіи рѣшился послать его доканчивать ученіе въ Петербургъ въ дворянскій полкъ (одинъ изъ тогдашнихъ корпусовъ, бывшій на Петербургской сторонѣ). Этимъ исполнилось всегдашнее желаніе его, чтобы сынъ шелъ по его пути въ военную службу. И вотъ, съ родительскимъ письмомъ отъ пріятеля отца, ярославскаго прокурора Полозова, къ начальнику III округа корпуса жандармовъ, генералу Полозову, и вмѣстѣ съ тѣмъ съ тетрадкой стиховъ отправился 15-ти-лѣтній мальчикъ одинъ одинехонекъ, скудно снабженный матеріальными средствами, изъ деревенской глуши въ омутъ столичной жизни. Въ которомъ это было году, объ этомъ существуютъ разнорѣчивыя извѣстія. Такъ,въ краткой біографіи, приложенной къ изданію стихотвореній Н. А. Некрасова, «Русская Библіотека», вып. VII, и написанной со словъ Н. А. Некрасова, означенъ 1839 г. Между тѣмъ, по сообщенію сестры покойнаго, онъ отправился въ Петербургъ 20-го іюля 1838 года, полгода спустя послѣ смерти любимаго брата, и везъ съ собой тетрадку стиховъ. Самъ-же Николай Алексѣевичъ не разъ и при многихъ свидѣтеляхъ говорилъ, что онъ прибылъ въ Петербургъ въ 1837 году, именно въ годъ смерти Пушкина. Это послѣднее извѣстіе согласуется и съ разсказами Некрасова о первыхъ своихъ мытарствахъ въ Петербургѣ, причемъ онъ представлялъ себя во время этихъ мытарствъ 15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ; въ 1839 же году ему было уже 17 лѣтъ.

V.

Во всякомъ случаѣ время, въ которое Н. А. Некрасовъ прибылъ въ столицу, принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ, какъ въ русской жизни вообще, такъ въ литературѣ въ особенности. Жизнь, казалось, совершенно замерла и окоченѣла. Ни малѣйшаго просвѣта въ будущемъ, ни тѣни какого-либо движенія въ настоящемъ. Разъединенность, мелкость интересовъ, скука и апатія безусловно царствовали во всѣхъ слояхъ общества. Только въ Москвѣ шевелилось въ тиши кое-что похожее на нѣкоторое умственное броженіе въ отвлеченныхъ сферахъ метафизики. Тамъ слагались новыя философско-литературныя партіи, готовыя лѣтъ черезъ пять выступить на состязаніе, воспитывались и развивались новыя могучія силы. Петербургъ-же представлялъ изъ себя полнѣйшую «мерзость запустѣнія», совершенно согласно съ слѣдующимъ началомъ одного малоизвѣстнаго стихотворенія Н. А. Некрасова:

Въ то время пусто и мертво
Въ литературѣ нашей было.
Скончался Пушкинъ—безъ него
Любовь къ ней въ публикѣ остыла.
Ничья могучая рука
Ея не направляла къ цѣли,
Лишь два задорныхъ поляка
На первомъ планѣ въ ней шумѣли.

Это была эпоха тріумвирата Сенковскаго, Греча и Булгарина, которые безусловно царили въ петербургской прессѣ, раздавали вѣнки на славу и безсмертіе своимъ приверженцамъ и кліентамъ, и глумились свысока надъ такими дорогими русскими именами, какъ Гоголь и Лермонтовъ. Полевой въ это время не тревожилъ уже молодыя сердца задоромъ романтическаго свободомыслія. «Телеграфъ» давно былъ закрытъ, и издатель его мыкался по петербургскимъ редакціямъ и книжнымъ лавкамъ, унижаясь до кумовства съ вышепоименованными тріумвирами и подлаживаясь подъ господствующій въ литературѣ ихъ камертонъ, порицалъ Гоголя, ставилъ на сцену патріотическія драмы и издавалъ спекулятивныя книжонки, помышляя лишь о прокормленіи семейства. Бѣлинскій былъ извѣстенъ въ этой литературѣ, какъ недоучившійся мальчишка, задорный московскій крикунъ, разражающійся гегелевскими цитатами съ чужого голоса, и надъ нимъ тоже глумились свысока. Его звѣзда только-что восходила. Онъ сотрудничалъ еще въ жалкихъ, едва влачившихъ свое существованіе московскихъ журнальцахъ и къ тому же былъ увлеченъ въ то время правымъ лагеремъ гегелизма, что̀ въ сильной степени затемняло его природное, геніальное, критическое чутье. Литературныя свѣтила первой величины, Жуковскій, Лермонтовъ,—чуждались литературныхъ кружковъ и пребывали въ великосвѣтскихъ и придворныхъ сферахъ. Гоголь, только-что замышлявшій «Мертвыя Души», бѣжалъ за-границу, смущенный и разочарованный тѣми враждебными толками, какіе возбудилъ въ полуобразованномъ обществѣ его «Ревизоръ». Онъ былъ уже исполненъ мистицизма и объятъ той душевной болѣзнью, которая разрушила его талантъ и свела его въ преждевременную могилу. Литературные кружки состояли изъ посредственностей, вродѣ Кукольника, Воейкова, Р. Зотова, Тимофѣева, Бернета, Межевича и т. п., которые воображали себя геніями и въ напыщенномъ самолюбіи то ублажали другъ друга грубой лестью, то грызлись, осыпая другъ друга оскорбительными колкостями и бранью устно и печатно. Въ то же время на

первомъ планѣ въ литературѣ господствовала спекуляція. Это былъ вѣкъ необузданнаго литературнаго аѳіотажа, когда впервые люди вполнѣ ясно сознали, что литература не есть одно безкорыстное служеніе музамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и коммерческое дѣло, при удачномъ веденіи котораго можно наживаться. И вотъ, различнаго рода литературныхъ дѣлъ мастера и лавочники, люди безъ всякихъ убѣжденій, безъ знанія дѣла, иногда и съ весьма покладливой совѣстью, съ алчностью ухватились за эту сторону литературной промышленности—и духъ спекуляціи всецѣло воцарился въ петербургской литературѣ, заразивъ даже и такія когда-то почтенныя личности, какъ Н. А. Полевой. Въ печати духъ этотъ выразился цѣлымъ рядомъ эфемерныхъ изданій, вродѣ «Панорамы С.-Петербурга» Башуцкаго, «Энциклопедическаго лексикона» Плюшара, «Утренней зари» Владиславлева, массы всякаго рода альманаховъ, сборниковъ и лубочныхъ, на скорую руку состряпанныхъ изданій для полуобразованнаго класса, исторій великихъ людей, сказокъ, иностранныхъ романовъ скабрезнаго содержанія и т. п. Еще болѣе усилился этотъ спекулятивный духъ, когда перестали разрѣшать основаніе новыхъ журналовъ. Тогда существовавшіе журналы стали перепродаваться за значительныя суммы. Нѣкоторые изъ немногихъ, имѣвшихъ привилегіи на изданіе журналовъ, и кое-какъ издававшіе ихъ—ловко воспользовались этимъ и перепродавали ихъ, дѣлая такимъ образомъ очень хорошія спекуляціи. И въ этомъ-то омутѣ пришлось провести Н. А. Некрасову первые, самые нѣжные и впечатлительные годы своей юности. Очень можетъ быть, что этой школѣ онъ былъ обязанъ и той литературно-промышленной практичностью, какая развилась въ немъ ко времени знакомства съ Бѣлинскимъ. Юный, 16-ти-лѣтній литературный работникъ, какъ волъ трудившійся ради скуднаго заработка, вмѣсто правильнаго развитія въ разумномъ кружкѣ, въ духѣ тѣхъ или другихъ идей, только и слышалъ, что одни спекулятивно-копѣечные разсчеты. Вокругъ него то и дѣло раздувались и лопались литературно-коммерческія предпріятія — и долгое время, цѣлые годы, литературное дѣло было обращено къ нему преимущественно своей матеріально-промышленной стороной.

VI.

Въ первые дни по прибытіи въ Петербургъ Некрасовъ не покидалъ еще намѣренія поступить въ дворянскій полкъ; явился къ Полозову съ рекомендательнымъ письмомъ, былъ имъ представленъ Я. И. Ростовцову, и дѣло было почти рѣшено. Но случайная встрѣча съ ярославскимъ товарищемъ, студентомъ Андреемъ Глушицкимъ, перерѣшила всю судьбу юноши. Глушицкій вмѣстѣ съ двумя другими студентами, Ильенковымъ и Коссовымъ (впослѣдствіи извѣстными учеными технологами и заслуженными профессорами), начали отговаривать Некрасова отъ поступленія въ корпусъ и развивать передъ нимъ всѣ преимущества университетскаго образованія и такъ увлекли его, что Некрасовъ рѣшился во что-бы то ни стало идти въ университетъ. Остановка была за вступительными экзаменами, такъ какъ Некрасовъ былъ слабъ въ древнихъ языкахъ и въ математикѣ, но Глушицкій познакомилъ своего товарища съ профессоромъ духовной семинаріи, Д. И. Успенскимъ, и они вдвоемъ взялись приготовить Некрасова въ университетъ. Тогда Некрасовъ сообщилъ Полозовымъ о своемъ намѣреніи промѣнять дворянскій полкъ на университетъ. Они одобрили это намѣреніе и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщили о томъ въ Ярославль своему родственнику. Когда наконецъ узналъ объ этомъ отецъ Некрасова, онъ воспылалъ сильнымъ гнѣвомъ на ослушнаго сына и отписалъ ему, что если онъ не отложитъ своего намѣренія идти въ университетъ и не покорится родительской волѣ, то пусть онъ впредь не разсчитываетъ ни на одну копѣйку родительской помощи, а существуетъ—какъ и чѣмъ знаетъ.

Такимъ образомъ шестнадцатилѣтній мальчикъ очутился безъ всякихъ средствъ къ жизни и безъ всякаго положенія съ 150 рублями въ карманѣ и съ паспортомъ «недоросля изъ дворянъ», по которому Н. А. Некрасовъ жилъ до конца своихъ дней.

Онъ поселился съ какимъ-то неизвѣстнымъ товарищемъ по университету на Малой Охтѣ. Довольствоваться имъ приходилось очень немногимъ: у сожителя былъ еще крѣпостной мальчикъ, приставленный къ нему родителями,—и они не могли тратить болѣе 15 коп. на троихъ на обѣдъ, который брали изъ какой-то ужасающей кухмистерской Пріятныя, должно быть, впечатлѣнія оставили по себѣ эти пятнадцатикопѣечные обѣды на троихъ, когда Некрасовъ, будучи уже на смертномъ одрѣ, серьезно говорилъ, что именно этимъ обѣдамъ онъ былъ обязанъ зародышемъ той болѣзни, которая сводила его 40 лѣтъ спустя въ гробъ. Потомъ Некрасовъ перебрался къ профессору Успенскому, у котораго ему было все-таки немного посытнѣе, хотя и довольно иногда безпокойно. Это былъ человѣкъ добрый и очень усердно занимался со своимъ ученикомъ классическими языками.

Пришелъ экзаменъ. Приготовленіе Успенскаго оказалось такимъ успѣшнымъ, что извѣстный тогда профессоръ римской словесности Фрейтагъ, очень требовательный латинистъ, поставилъ Некрасову на пріемномъ экзаменѣ изъ латинскаго языка 5«съ плюсомъ». «Но въ физическихъ наукахъ,—читаемъ мы въ біографіи при «Русской Библіотекѣ», т. VII, Стасюлевича, — самъ почтенный филологъ Успенскій былъ слабъ, и это отразилось роковымъ образомъ на его ученикѣ. Некрасовъ чувствовалъ, что изъ физики онъ не можетъ получить отмѣтки выше единицы. Это-бы еще ничего, такъ какъ одна единица въ то время не была препятствіемъ къ поступленію въ университетъ; но бѣда заключалась въ томъ, что льготная единица была уже пріобрѣтена на экзаменѣ изъ географіи у профессора Касторскаго.

«Въ виду такого печальнаго обстоятельства, Некрасовъ рѣшился явиться къ ректору П. А. Плетневу и откровенно высказать ему свое положеніе: онъ противъ воли отца поступаетъ въ университетъ—и теперь, если его не примутъ въ число студентовъ, его положеніе будетъ отчаянное. Плетневъ справился о прочихъ отмѣткахъ, отлично рекомендовавшихъ юношу, желавшаго притомъ поступить на философскій

факультетъ (нынѣ—историко-филологическій), и обнадежилъ Некрасова обѣщаніемъ ходатайствовать за него въ совѣтѣ. На основаніи этого обѣщанія Некрасовъ совсѣмъ не явился на экзаменъ изъ физики, и вслѣдствіе того въ совѣтѣ о немъ не было и рѣчи. Потому-же и Плетневъ не вспомнилъ о немъ, но послѣ, при свиданіи, убѣждалъ его все-таки не оставлять университета и поступить вольнослушателемъ. Некрасовъ сначала не рѣшался. Нѣсколько дней спустя на старомъ исаакіевскомъ мосту онъ видитъ, что кто-то догоняетъ и идетъ съ нимъ рядомъ, всматриваясь въ него. Это былъ Плетневъ. Онъ снова сталъ убѣждать его, и Некрасовъ подалъ прошеніе. Такъ началась университетская жизнь Некрасова, продолжавшаяся втеченіи 1839—1841 годовъ».

Матеріальное положеніе Некрасова во все это время было самое отчаянное: приходилось перебиваться кое-какъ грошовыми уроками и случайными журнальными работами, которыя не всегда были подъ рукой. «Ровно три года,—говорилъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ въ Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя-бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь, бывало, для виду газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь»... Силы Некрасова постоянно надрывались, и наконецъ онъ сильно заболѣлъ. Доктора объяснили причину болѣзни продолжительнымъ голоданіемъ и приговорили уже его къ смерти. Однако-же молодой и крѣпкій организмъ вынесъ болѣзнь, оставившую все-таки, по убѣжденію Некрасова, свои слѣды на всю жизнь его.

Нужно-ли говорить о томъ, что матеріальное положеніе и безъ того незавидное было окончательно подорвано этой болѣзнью. Приходилось пользоваться милостью квартирныхъ хозяевъ—какого-то отставнаго унтеръ-офицера и его жены, у которыхъ онъ нанималъ комнату на Разъѣзжей улицѣ. Задолжалъ имъ Некрасовъ во время болѣзни рублей сорокъ.

«Хозяинъ,—разсказываетъ онъ,—еще ничего, но хозяйка сильно безпокоилась, что я умру и деньги пропадутъ. За перегородкой постоянно слышались разговоры по этому поводу. Наконецъ въ одинъ прекрасный день ко мнѣ явился хозяинъ, объяснилъ свои опасенія съ полной откровенностью и просилъ меня написать ему росписку въ томъ, что я оставляю ему за долгъ свой чемоданъ, книги и остальныя вещишки. Я написалъ. Думаю: чего добраго не станутъ и хоронить, да и люди они были дѣйствительно бѣдные. Черезъ нѣсколько времени мнѣ стало однако лучше, и вскорѣ я настолько уже оправился, что рѣшился пойти съ Разъѣзжей на Выборгскую сторону къ одному знакомому студенту-медику. Добравшись кое-какъ до него, я тамъ засидѣлся до поздняго вечера. Возвращаясь ночью домой, сильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было холодное пальтишко, а дѣло было осенью, въ октябрѣ или въ ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ, другой... Не пускаютъ, говорятъ, что въ моей комнатѣ поселился уже другой жилецъ. Что-же касается до моего долга, то хозяева считаютъ себя вполнѣ удовлетворенными моимъ имуществомъ, которое я имъ отдалъ за долгъ, въ чемъ и выдалъ росписку. Скверно стало мнѣ. Я остался одинъ на улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ, въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза глядятъ, не сознавая куда и зачѣмъ, пробрался на Невскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія выставляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябъ. Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ силъ. Наконецъ уснулъ. Разбудилъ меня какой-то старикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо, сжалился надо мной и пригласилъ меня съ собой куда-то ночевать. Я пошелъ. Пришли на Васильевскій островъ, въ 15-ю линію. Тамъ, въ самомъ концѣ улицы, стоялъ деревянный полуразвалившійся домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ оказалось много народу. Все это были нищіе, которые собирались здѣсь ночевать. Не помню я всѣхъ разговоровъ, которые велись здѣсь, помню только, что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за это 15 копѣекъ.»

Замѣчательно, что тутъ же, почти рядомъ съ такой страшною нищетой, голодомъ и трущобными сценами притона нищеты, Н. А. Некрасовъ видѣлъ передъ собою картины сытой и праздной роскоши и даже самъ порой участвовалъ на ея утонченныхъ пирахъ.

«Въ тѣ времена,—читаемъ мы въ вышеупомянутой біографіи «Русской Библіотеки»,—преимущественно въ университетѣ сосредоточивалась молодежь изъ знати, и университетскіе товарищескіе кружки смѣшивали въ себѣ всѣ состоянія и званія. Бѣдный молодой человѣкъ, съ бюджетомъ чуть не въ нѣсколько копѣекъ въ день, легко сближался съ юношами высшихъ и богатыхъ классовъ,—и не только сближался, но, благодаря своимъ личнымъ талантамъ, способностямъ и веселому характеру, могъ даже первенствовать между ними; на студенческихъ собраніяхъ и пирушкахъ, устраиваемыхъ въ то время на подобіе нѣмецкихъ кнейповъ и коммершей, предводительствовалъ не тотъ, кто знатнѣе всѣхъ, но кто лучше дрался на эспадронахъ и рапирѣ, кто былъ мужественнѣе и физически ловчѣе. Въ такихъ-то веселыхъ и разгульныхъ товарищескихъ кружкахъ внезапно очутился провинціальный юноша, взросшій въ деревнѣ, и тутъ-то ознакомился впервые съ обыденной жизнью и нравами другихъ общественныхъ классовъ, которые безъ университетской жизни остались-бы ему извѣстными только по слухамъ. Эта новая обстановка, какъ и прежняя деревенская, не осталась безъ вліянія въ будущемъ на поэзію Некрасова и на самый его характеръ, а также и на условія дальнѣйшей жизни: завязанныя имъ тогда связи сохранились и впослѣдствіи; недостатки и слабая сторона жизни высшихъ общественныхъ слоевъ стали ему знакомы изъ первыхъ рукъ и хорошо знакомы.»

VII.

При такой тяжелой борьбѣ за существованіе Некрасову конечно нечего было и думать о правильномъ развитіи таланта путемъ свободнаго и несрочнаго творчества. Онъ долженъ былъ приняться почти сразу по пріѣздѣ въ Петербургъ (15-ти лѣтъ) за черный литературный трудъ, въ видѣ разныхъ срочныхъ журнальныхъ работъ, навертывавшихся ему случайно. Работалъ онъ такимъ образомъ и въ «Литературныхъ прибавленіяхъ» къ «Инвалиду», и въ «Литературной Газетѣ» А. Краевскаго, и въ «Сынѣ Отечества» Н. А. Полевого, съ которымъ познакомилъ его какой-то профессоръ университета, и въ «Пантеонѣ», и въ «Отечественныхъ Запискахъ»; писалъ водевили для Александринскаго театра; былъ поставщикомъ у кни-

гопродавца Полякова азбукъ и сказокъ по его заказу (такова напримѣръ сказка «Баба-Яга», лѣтъ черезъ тридцать вновь изданная по какому-то праву Печаткинымъ съ громкимъ именемъ автора). Такимъ образомъ, по собственнымъ его словамъ, онъ написалъ въ своей жизни до 300 печатныхъ листовъ прозы. Отъ этой массы написаннаго особенно большая доля выпала на рецензіи.

«Разбирать приходилось,—разсказывалъ Николай Алексѣевичъ,—всякія книги, какія только попадались подъ руки, не однѣ художественныя, но подчасъ и самыя ученыя. Собственныхъ-то благопріобрѣтенныхъ знаній на это конечно не хватало: за то выручала публичная библіотека. Пойдешь туда, подымешь всю ученость по предмету книги, ну, и ничего, сходило съ рукъ.»

Особенно помогъ ему встать на ноги и избавиться отъ крайностей нищеты Григорій Францовичъ Бенецкій, бывшій тогда наставникомъ-наблюдателемъ въ пажескомъ корпусѣ и преподавателемъ въ дворянскомъ полку. Гдѣ и какъ познакомился съ нимъ Некрасовъ—неизвѣстно. Это былъ очень хорошій человѣкъ, судя по словамъ Некрасова, и послѣдній всегда вспоминалъ о немъ съ любовью и уваженіемъ. Онъ содержалъ что-то вродѣ приготовительнаго пансіона для поступающихъ въ пажескій корпусъ или дворянскій полкъ и предоставилъ Н. А. Некрасову занятія при этомъ пансіонѣ по всѣмъ русскимъ предметамъ. Это избавило юношу по крайней мѣрѣ отъ прелестей ночлеговъ подъ открытымъ небомъ. Бенецкому-же былъ обязанъ Некрасовъ и появленіемъ изданія своихъ дѣтскихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: «Мечты и Звуки». Матеріальное положеніе его въ 1840 году вообще настолько уже улучшилось, что онъ могъ даже скопить нѣсколько деньжонокъ для этого изданія. Но онъ все-таки по всей вѣроятности не рѣшился-бы на это дѣло, еслибы его не склонилъ къ тому Бенецкій, обязавшись продать по билетамъ заранѣе рублей на 500. Принявшись за изданіе, Некрасовъ все-таки колебался, и на него нашло однажды такое раздумье, что онъ готовъ былъ отказаться отъ дѣла; но было уже поздно: Бенецкій успѣлъ продать до сотни билетовъ, и деньги были прожиты. Какъ тутъ быть? Въ раздумьи Н. А. Некрасовъ рѣшился пойти за совѣтомъ къ Жуковскому.

«Меня принялъ,—разсказывалъ Некрасовъ,—сѣденькій согнутый старичекъ, взялъ книгу и велѣлъ придти черезъ нѣсколько дней. Когда я пришелъ, онъ похвалилъ одно изъ этихъ стихотвореній, сказалъ, что у меня есть талантъ, но къ этому прибавилъ:

— Вы потомъ пожалѣете, если выпустите эту книгу.

Я сказалъ ему на это, что теперь уже поздно, и объяснилъ почему.

— Тогда снимите съ книги ваше имя,—посовѣтовалъ Жуковскій.»

Некрасовъ послушался этого совѣта, и книжка вышла лишь съ заглавными буквами его фамиліи Н. Н. Это небольшая книжонка въ восьмую долю листа, напечатанная на сѣрой бумагѣ, въ 102 страницы, въ типографіи Егора Алипанова. На заглавной страницѣ выставленъ 1840 годъ, цензурная-же отмѣтка съ надписью цензора А. Фрейганга помѣчена 25 го іюня 1839 года. Книга наполнена небольшими лирическими стихотвореніями вполнѣ дѣтскаго характера. Въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго проблеска позднѣйшаго некрасовскаго таланта. Это рядъ несвязныхъ и безсодержательныхъ виршей, какія въ то время писались весьма многими четырнадцатилѣтними гимназистами подъ обаяніемъ блестящей плеяды предшествовавшихъ поэтовъ,—виршей, вродѣ нижеслѣдующихъ:

Я не сплю, не сплю,—не спится,
Сердце грустію томится.
Сердце плачетъ въ тишинѣ,
Сердце рвется къ вышинѣ,
Къ безмятежному эфиру,
Гдѣ, одѣтая въ порфиру,
Блещетъ яркая звѣзда.
Ахъ, туда, туда, туда,
Къ этой звѣздочкѣ унылой,
Чародѣйственною силой
Занеси меня мечта!.. и пр.

Одно стихотвореніе, замѣчательное тѣмъ, что оно было первое, появившееся въ печати въ «Сынѣ Отечества» 1838 года, носило заглавіе «Мысль»:

Спитъ дряхлый міръ, спитъ старецъ обветшалый,
Подъ грустной тѣнію ночного покрывала,
Едва согрѣтъ остатками огня
Уже давно погаснувшаго дня.
Спи, старецъ, спи!.. отраднаго покоя
Минуты усладятъ заботы сѣдины
Воспоминаніемъ минувшей старины...
И можетъ быть въ тебѣ зажжется ретивое
Огнемъ страстей, погаснувшихъ давно,
И вспыхнетъ для тебя прекрасное былое!..
И можетъ быть распустится зерно
Въ тебѣ давно угасшей жизни силы,
И новой жизнію заглохшія могилы,
Печальный міръ, повѣютъ надъ тобой!
И снова ты проснешься отъ дремоты,
И снова, юноша съ пылающей душой,
Забудешь старые, утраченные годы,
И будешь жить ты жизнью молодой,
Какъ въ первый день созданія природы!..
. . . . . .
. . . . . .
Нѣтъ! тотъ-же все проснулся ты,
Такой-же дряхлый, обветшалый,
Еще дряхлѣй безъ покрывала...
Скрой безобразье наготы
Опять подъ мрачной ризой ночи!
Поддѣльнымъ блескомъ красоты
Ты не мои обманешь очи!..

Изданіе Некрасова встрѣтило, какъ всѣмъ извѣстно, безпощадный отзывъ Бѣлинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ». Это былъ одинъ изъ тѣхъ краткихъ отзывовъ, какіе можно встрѣтить въ каждой книжкѣ тогдашнихъ журналовъ по поводу безпрестанно появлявшихся въ то время изданій стихотвореній юныхъ поэтовъ, претендовавшихъ на славу Пушкина. Бѣлинскій въ своей рецензіи не входитъ вовсе и въ разборъ стиховъ Некрасова, а ограничивается нѣсколькими бѣглыми мыслями о томъ, какой пропасть дѣлаютъ люди, не одаренные поэтическимъ талантомъ, выступая на литературное поприще со стихами. Проза для нихъ благодарнѣе стиховъ:

«Если въ прозѣ нѣтъ даже чувства и воображенія, то могутъ быть умъ, остроуміе, наблюдательность, или хоть гладкій языкъ... Если стихи пишетъ человѣкъ, лишенный отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мысли, не умѣющій владѣть стихомъ и риѳмой, онъ, подъ веселый часъ, еще можетъ позабавить читателя своей бездарностью и ограниченностью: всякая крайность имѣетъ свою цѣну, а

потому В. К. Третьяковскій, профессоръ элоквенціи и паче хитростей поэтическихъ»—есть безсмертный поэтъ; но прочесть цѣлую книгу стиховъ, встрѣтить все знакомыя и истертыя чувствованьица, общія мѣста, гладкіе стишки, и много-много если наткнуться иногда на стихъ, вышедшій изъ души въ кучѣ риѳмованныхъ строчекъ, воля ваша, это чтеніе или, лучше сказать, работа для рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочесть въ журналѣ извѣстіе вродѣ: «Выѣхалъ въ Ростовъ». Посредственность въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ «Мечты и Звуки» г-на Н. Н.»

Вотъ и вся рецензія Бѣлинскаго, тѣмъ болѣе жестокая, чѣмъ короче и сжатѣе она. Впрочемъ въ «Сѣверной Пчелѣ», «Библіотекѣ для Чтенія» и «Современникѣ» Плетнева Некрасовъ прочелъ болѣе лестныя для себя рецензіи, видѣвшія въ его стихахъ проблески таланта и возлагавшія на него надежды. Книга, розданная на комиссію въ разные магазины, конечно не пошла, и впослѣдствіи Некрасовъ, какъ извѣстно, самъ ее скупалъ и истреблялъ, подобно Гоголю, истребившему такимъ образомъ своего «Ганца-Кюхельгартена».

Неудача съ «Мечтами и Звуками» имѣла между прочимъ прискорбное вліяніе на оставленіе Некрасовымъ университета, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Николай Глушицкій со словъ своего покойнаго брата Андрея Глушицкаго. (См. письмо его въ «Петербургскомъ Листкѣ» 1875 года.)

«Некрасовъ, въкачествѣ вольнаго слушателя, посѣщалъ университетскія аудиторіи въ 1839, 1840 и 1841 годахъ. Всего больше онъ любилъ посѣщать лекціи тогда еще молодого и краснорѣчиваго профессора русской словесности А. В. Никитенко, пока тотъ однажды въ одной изъ своихъ лекцій о новѣйшей русской литературѣ жестоко и безпощадно не поострилъ и даже не поглумился надъ Николаемъ Алексѣевичемъ, какъ надъ начинающимъ поэтомъ. А. В. Никитенко было извѣстно, что въ числѣ его слушателей находится и ярославскій гимназистъ Некрасовъ, уволенный изъ 5-го класса гимназіи за свою сатиру на тамошнее начальство, и что этотъ недоучившійся гимназистъ, не пугаясь великихъ тѣней Пушкина и другихъ нашихъ знаменитыхъ поэтовъ, дерзко осмѣливается выступить передъ публикой съ своимъ тощимъ сборникомъ стихотвореній «Мечты и Звуки», въ которыхъ, по мнѣнію А. В. Никитенко,—не было ни признака таланта, ни толку, ни ладу, а лишь одна вода да дубовые стихи и одно пустое риѳмоплетство, отъ которыхъ А. В. совѣтывалъ поскорѣе исцѣлиться автору. Таковъ въ сущности былъ приговоръ А. В. Никитенко надъ нашимъ начинающимъ поэтомъ. Честь и слава стойкости и увѣренности Некрасова въ своихъ поэтическихъ силахъ, что онъ не подчинился малодушно этому преждевременному приговору и смѣло продолжалъ свою литературную дѣятельность. Опрометчивое и даже отчасти неумѣстное сужденіе о Некрасовѣ, какъ о молодомъ поэтѣ, произнесенное въ университетской аудиторіи, однако имѣло нѣсколько и дурныя послѣдствія для Николая Алексѣевича: онъ тотчасъ-же распрощался съ аудиторіей суроваго профессора-словесника, а потомъ вскорѣ и вовсе покинулъ университетъ, не переставая впрочемъ поддерживать и продолжать дружбу и сношенія съ своими земляками и товарищами, оставшимися въ университетѣ».

VIII.

Съ 1841 по 1845 годъ слѣдуетъ періодъ жизни Некрасова,—самый темный въ біографическомъ отношеніи. Это былъ важнѣйшій періодъ во всей его жизни, потому что впродолженіи его окончательно сформировались всѣ его и умственныя, и нравственныя силы, и подъ конецъ его онъ является уже передъ нами такимъ, какимъ оставался почти неизмѣнно во всю свою послѣдующую жизнь. Въ то же время въ этотъ періодъ отъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ «Мечтахъ и Звукахъ», онъ перешелъ къ стихотвореніямъ, напечатаннымъ въ началѣ перваго тома изданія его произведеній. Но какъ произошла эта сформировка и этотъ радикальный переворотъ, изъ посредственнаго риѳмослагателя сдѣлавшій первостепеннаго поэта,—это остается необъяснимымъ. Мы знаемъ только, что въ это время, продолжая жить литературнымъ трудомъ, онъ вращался въ самыхъ разнообразныхъ кружкахъ,—великосвѣтскихъ, чиновныхъ, литературныхъ, театральныхъ, студенческихъ и пр. Къ этому-же времени относится и знакомство его съ кружкомъ Бѣлинскаго, который безъ сомнѣнія и былъ главнымъ двигателемъ умственнаго развитія Некрасова и виновникомъ переворота, опредѣлившаго всю дальнѣйшую литературную дѣятельность его.

«Въ началѣ 40-хъ годовъ, — говоритъ объ этомъ И. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—къ числу сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» присоединился Некрасовъ; нѣкоторыя его рецензіи обратили на него вниманіе Бѣлинскаго, и онъ познакомился съ нимъ. До этого Некрасовъ имѣлъ прямыя сношенія съ Краевскимъ. Я въ первый разъ встрѣтилъ Некрасова въ половинѣ 30-хъ годовъ (?) у одного моего пріятеля. Ему было тогда лѣтъ 17, онъ только-что издалъ небольшую книжечку своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ «Мечты и Звуки», которую впослѣдствіи онъ скупалъ и истреблялъ. Мы возобновили знакомство съ нимъ черезъ семь лѣтъ (?). Онъ, какъ и всѣ мы, очень увлекался въ это время Жоржъ Зандомъ. Онъ былъ знакомъ съ ней только по русскимъ переводамъ. Я звалъ его къ себѣ и обѣщалъ прочесть ему отрывки, переведенные мной изъ «Спиридіона». Некрасовъ вскорѣ послѣ этого зашелъ ко мнѣ утромъ, и я тотчасъ же приступилъ къ исполненію своего обѣщанія

«Съ этихъ поръ мы видались чаще и чаще. Онъ съ каждымъ днемъ болѣе сходился съ Бѣлинскимъ, разсказывалъ намъ свои горькія литературныя похожденія, свои разсчеты съ редакторами различныхъ журналовъ, и принесъ однажды Бѣлинскому свое стихотвореніе «На дорогѣ».

«Некрасовъ произвелъ на Бѣлинскаго съ самаго начала очень пріятное впечатлѣніе. Онъ полюбилъ его за его рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испыталъ такъ рано, добиваясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ смѣлый, практическій взглядъ не по лѣтамъ, который вынесъ онъ изъ своей труженической и страдальческой жизни—и которому Бѣлинскій всегда мучительно завидовалъ.

«Некрасовъ пускался передъ этимъ въ изданіе разныхъ мелкихъ литературныхъ сборниковъ, которые постоянно приносили ему небольшой барышъ.

Но у него уже развивалась въ головѣ болѣе обширныя литературныя предпріятія, которыя онъ сообщалъ Бѣлинскому.

Слушая его, Бѣлинскій дивился его сообразительности и смѣтливости и восклицалъ обыкновенно:

— Некрасовъ пойдетъ далеко... Это не то, что мы... Онъ наживетъ себѣ капиталецъ!

Ни въ одномъ изъ своихъ пріятелей Бѣлинскій не находилъ ни малѣйшаго практическаго элемента и, преувеличивая ихъ въ Некрасовѣ, онъ смотрѣлъ на него съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ.

Литературная дѣятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особеннаго. Бѣлинскій полагалъ, что Некрасовъ навсегда останется не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотрудникомъ, но когда онъ прочелъ ему свое стихотвореніе «На дорогѣ», у Бѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:

— Да знаете-ли вы, что вы поэтъ—и поэтъ истинный?

Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвысился въ глазахъ его... Его стихотвореніе: «Къ Родинѣ», привело Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ выучилъ его наизусть и послалъ его въ Москву къ своимъ пріятелямъ.. У Бѣлинскаго были эпохи, какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекался кѣмъ-нибудь изъ своихъ друзей... Въ эту эпоху онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и говорилъ о немъ. Некрасовъ съ этихъ поръ сдѣлался постояннымъ членомъ нашего кружка »

Къ этому періоду увлеченія Некрасовымъ относятся и тѣ строки письма Бѣлинскаго къ Тургеневу, которыя приводитъ А. Н. Пыпинъ въ своей біографіи Бѣлинскаго (см 275 стр. II части): «Некрасовъ написалъ недавно страшно-хорошее стихотвореніе (дѣло идетъ о стих. «Нравственный человѣкъ», помѣщенномъ въ № 3 «Современника»). Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ № 3), то пришлю къ вамъ въ рукописи. Что за талантъ у этого человѣка! И что за топоръ его талантъ!»

Въ вышеприведенной выдержкѣ изъ воспоминаній И Панаева проглядываетъ уже передъ нами то радикальное различіе въ складѣ воспитанія, которое сразу обнаружилось между Некрасовымъ и кружкомъ Бѣлинскаго. Съ одной стороны передъ нами идеалисты, воспитывавшіеся преимущественно по книгамъ, судившіе обо всемъ съ различныхъ теоретическихъ, философскихъ точекъ зрѣнія, выработанныхъ западной наукой, но въ то-же время до дѣтской простоты и наивности чуждые практики жизни и того индуктивнаго знанія ея и народа, какое дается только непосредственнымъ опытомъ, путемъ всевозможныхъ столкновеній съ различными житейскими дрязгами. Съ другой стороны мы видимъ человѣка, несмотря на свои 23—24 года, прожженнаго практикой жизни, успѣвшаго ожесточиться подъ гнетомъ борьбы за существованіе и въ то-же время представлявшаго изъ себя непосредственную натуру, черноземную силу, чуждую какого бы то ни было идейнаго развитія. Это различіе еще ярче обрисовывается передъ нами въ разсказахъ самого Некрасова о своихъ спорахъ и столкновеніяхъ съ людьми, принадлежавшими къ кружку Бѣлинскаго.

«Тяжелое, говоритъ онъ,—производили на меня впечатлѣніе всѣ эти люди: преобладала чисто фраза, діалектика, говорились общія мѣста, говорили больше о западной Европѣ, видно было незнаніе русской жизни и русскаго народа. Я сознавалъ, что все это было не то, что намъ нужно, но въ то-же время спорить съ ними не могъ, потому что они знали гораздо больше меня, гораздо больше меня читали. Сознавая все больше и больше что намъ нужно нѣчто иное, я началъ работать, учиться.»

Эти слова вдвойнѣ многознаменательны: наглядно указывая намъ на то различіе, какое существовало между Некрасовымъ и его новыми друзьями, въ то-же время они свидѣтельствуютъ и о томъ сильномъ вліяніи на умственное развитіе Некрасова, какое было произведено столкновеніемъ его съ кружкомъ Бѣлинскаго. Въ нихъ такъ и сквозитъ пробудившееся сознаніе недостатка теоретическаго развитія научныхъ знаній и необходимости восполнить этотъ пробѣлъ. Такое сознаніе естественно должно было развиться въ Некрасовѣ вслѣдствіе соприкосновенія съ средой, болѣе его умственно развитой и обогащенной знаніями. Рядомъ съ этимъ и нравственные идеалы Некрасова должны были значительно возвыситься и расшириться. Онъ не могъ не проникнуться тѣмъ горячимъ энтузіазмомъ къ новымъ идеаламъ и требованіямъ отъ жизни, какой господствовалъ въ кружкѣ подъ вліяніемъ Бѣлинскаго. По крайней мѣрѣ въ томъ образѣ, въ какомъ рисуетъ намъ Некрасова Достоевскій въ своемъ «Дневникѣ писателя», разсказывая о знакомствѣ своемъ съ нимъ именно въ ту эпоху его жизни, мы видимъ достаточную долю того самаго восторженнаго идеализма, съ которымъ Некрасовъ стоялъ, по своимъ словамъ, въ такой оппозиціи. Вотъ что разсказываетъ Достоевскій:

«Тогда (это тридцать лѣтъ тому назадъ!) произошло что-то такое молодое, свѣжее, хорошее—изъ того, что остается навсегда въ сердцѣ участвовавшихъ. Намъ тогда было по двадцати съ немногимъ лѣтъ. Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженеровъ, самъ не зная зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяцъ сорокъ-пятаго года. Въ началѣ зимы я началъ вдругъ «Бѣдныхъ людей», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича; но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки «Петербургскіе шарманщики» въ одинъ сборникъ. Кажется, онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: «Принесите рукопись (самъ онъ еще не читалъ ея); Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу». Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ, и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова...

«Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о «Мертвыхъ Душахъ» и читали ихъ, въ который разъ, не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «а не почитать-ли намъ, господа, Гоголя!» садятся и читаютъ, и пожалуй всю ночь. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую, какъ день, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба

чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «съ десяти страницъ видно будетъ». Но, прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ». Читаетъ онъ про смерть студента, — передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ: — и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: «Ахъ, чтобъ его!» — это про васъ-то, и этакъ мы всю ночь.» Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ!), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: «Что-жъ такое, что спитъ, мы разбудимъ его, это выше сна!» Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Такъ по крайней мѣрѣ онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи была во-истину проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь; говорили о поэзіи, и о правдѣ, и о «тогдашнемъ положеніи», разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя изъ «Ревизора» и изъ «Мертвыхъ Душъ», но главнос—о Бѣлинскомъ. «Я ему сегодня-же снесу вашу повѣсть, и вы увидите—да вѣдь человѣкъ-то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какая это душа!»—восторженно говорилъ Некрасовъ, тряся меня за плечи обѣими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!..»

Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его во всю жизнь свою. Тогда Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ. Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько мнѣ извѣстно, лѣтъ шестнадцати совершенно одинъ. Писалъ онъ тоже чуть не съ 16-ти лѣтъ. О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и можетъ быть сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такія минуты, и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ на вѣкъ и связываютъ неразрывно... «Новый Гоголь явился!»—закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ «Бѣдными людьми». «У васъ Гоголи-то какъ грибки растутъ»,— строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ...»

Вотъ въ видѣ какого восторженнаго и увлекающагося романтика рисуется передъ нами Некрасовъ въ разсказѣ Достоевскаго. Что же касается до сборниковъ, изданныхъ Некрасовымъ, о которыхъ говоритъ Панаевъ, то ихъ извѣстно намъ четыре: «Статейки въ стихахъ безъ картинокъ», изд. въ 1843 г.; «Физіологія Петербурга», изд. въ 1845 году; «Первое апрѣля», изд. въ 1846 г., и «Петербургскій сборникъ»—1846 г.

«Статейки въ стихахъ безъ картинокъ»—этотъ сборникъ изданъ былъ въ двухъ томахъ, по 30 коп. каждый. Содержаніе сборника лирическо-сатирическое. Здѣсь мы встрѣчаемъ «Говоруна»,—сатиру, явившуюся потомъ въ полномъ изданіи стихотвореній Некрасова.

«Физіологія Петербурга» вышла въ двухъ томахъ. Сборникъ этотъ носитъ еще на себѣ слѣды того спекулятивнаго духа петербургской прессы, въ школѣ которой Некрасовъ былъ воспитанъ. Даже самая мысль изданія подобнаго сборника отзывается подражаніемъ другому, столь-же спекулятивному предпріятію—именно «Панорамѣ Петербурга» Башуцкаго, о чемъ можно судить и по предисловію, въ которомъ излагается цѣль изданія сборника:

«Во Франціи,—читаемъ мы въ предисловіи, — обо всякомъ уголкѣ ея, сколько-нибудь и въ какомъ-нибудь отношеніи замѣчательномъ, не одна книга написана, а сочиненія о Парижѣ образуютъ собой большую отдѣльную литературу. Правда, Петербургъ описанъ не разъ въ отношеніи топографическомъ, климатическомъ, медицинскомъ и т. п. Башуцкій въ своей «Панорамѣ Петербурга» предпринялъ было описать не только внѣшность первой нашей столицы (улицы, зданія, дома, рѣки, каналы, мосты и т. д.), съ историческимъ обозрѣніемъ построенія и распространенія города, но и бросить взглядъ на характеристическія отличія петербургскаго быта и нравовъ; но почему-то его предпріятію, весьма полезному и прекрасно начатому, не суждено было дойти до окончанія, не говоря уже о томъ, что со времени его изданія Петербургъ во многомъ уже измѣнился. Сверхъ того книга Башуцкаго имѣетъ въ виду преимущественно описаніе, а не характеристику Петербурга, и ея типъ и характеръ болѣе оффиціальный, нежели литературный Содержаніе нашей книги, напротивъ, не описаніе Петербурга въ какомъ бы то ни было отношеніи, но его характеристика преимущественно со стороны нравовъ и особенностей его народонаселенія...

«Что касается лично до составителей этой книги, они совершенно чужды всякихъ притязаній на поэтическій или художественный талантъ; цѣль ихъ была самая скромная—составить книгу вродѣ тѣхъ, которыя такъ часто появляются во французской литературѣ и, занявъ вниманіе публики, уступаютъ мѣсто новымъ книгамъ въ томъ-же родѣ. Все самолюбіе составителей этой книги ограничивается надеждой, что читатели найдутъ можетъ быть въ нѣкоторыхъ, если не во всѣхъ изъ нашихъ очерковъ петербургской жизни болѣе или менѣе вѣрный взглядъ на предметъ, который взялись они изображать. Что же касается до нѣсколькихъ статей, помѣщенныхъ въ нашей книгѣ и подписанныхъ извѣстными въ нашей литературѣ именами, эти имена сами отвѣчаютъ за ихъ достоинство, и мы предоставляемъ судить о нихъ публикѣ.»

Такимъ образомъ «Физіологія Петербурга» не есть безразличный литературный сборникъ или альманахъ, какіе часто выходили въ то время, но является пріуроченнымъ къ опредѣленной спеціальной цѣли, сообразно которой подобраны и всѣ статьи. Такъ, въ первой части, тотчасъ-же послѣ вступленія, помѣщена статья Бѣлинскаго: «Петербургъ и Москва»; далѣе слѣдуетъ разсказъ В. И. Луганскаго—«Петербургскій дворникъ»; Д. В. Григоровича—«Петербургскіе шарманщики»; Е. П. Гребенки—«Петербургская Сторона», и заканчивается первая часть разсказомъ самого Некрасова: «Петербургскіе углы», отдѣльно отъ прочихъ разсказовъ почему-то процензурованнымъ Никитенкой. Этотъ незатѣйливый разсказикъ Некрасова носитъ на себѣ яркое отраженіе его прежней литературной нищеты. Героемъ его является интеллигентный пролетарій, нанимающій уголъ на заднемъ дворѣ у квартирной хозяйки и созерцающій изъ своего угла пьяную оргію прочихъ обитателей трущобы, справляющихъ новоселье новаго постояльца. Въ этомъ заключается все содержаніе разсказика, чуждаго какой-бы то ни было идеи и написаннаго вполнѣ въ духѣ жанра или «натуральной школы», какъ тогда вы-

ражались. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видно явное желаніе подражать гоголевскому комизму.

Во второй части сборника, среди ряда статей и разсказовъ, точно также трактующихъ о нравахъ и особенностяхъ петербургской жизни, Некрасовъ помѣстилъ большую свою сатиру—«Чиновникъ», вошедшую потомъ въ приложеніе къ третьей части послѣдняго изданія его сочиненій.

Сборникъ былъ украшенъ рисунками Тима, Бернардскаго и Маслова. Издателемъ «Физіологіи Петербурга» является книгопродавецъ Ивановъ, а Некрасовъ называется лишь редакторомъ сборника.

За этимъ сборникомъ въ слѣдующемъ 1846 году является альманахъ: «Первое апрѣля». Полное его заглавіе слѣдующее: «Первое апрѣля, комическій иллюстрированный альманахъ, составленный изъ разсказовъ въ стихахъ и прозѣ, достопримѣчательныхъ писемъ, куплетовъ, пародій, анекдотовъ и пуфовъ», С.-Петербургъ. 1846 г. Начинается сборникъ комическимъ вступленіемъ, въ которомъ авторъ, потѣшаясь надъ обычаемъ надувать другъ-друга 1-го апрѣля, разсказываетъ, какъ надуваютъ въ Петербургѣ въ этотъ день въ разныхъ слояхъ общества.

«Просимъ васъ однако, любезнѣйшій читатель, говорится въ концѣ вступленія: —не думать, что все сказанное нами сколько-нибудь касается нашей книги; нѣтъ! оно такъ только къ слову пришлось. Мы не интриганы и, смѣемъ увѣрить, гордимся этимъ. Скажемъ болѣе, трудъ нашъ добросовѣстенъ, до того добросовѣстенъ, что мы рѣшились даже посвятить нѣсколько страницъ однимъ пуфамъ, разнымъ лживымъ анекдотамъ и совершенно невѣроятнымъ исторіямъ съ той только цѣлью, чтобы заглавіе книги «Первое апрѣля» имѣло какое-нибудь значеніе, смыслъ; хоть сколько-нибудь относилось-бы къ содержанію и не показалось-бы публикѣ одной пустой обманчивой вывѣской, выставленной такъ только, для приманки. Если-же благосклонному читателю нѣкоторыя страницы, тѣ или другія, придутся не по вкусу, то да проститъ онъ насъ великодушно, или—что еще лучше—пусть вырветъ ихъ вовсе вонъ изъ книги. Богъ съ ними, мимо ихъ! Пусть предастъ ихъ даже пламени, закуритъ ими трубку, обернетъ что-нибудь, словомъ—распорядится этой дрянью по благоусмотрѣнію Мы заранѣе на все соглашаемся и утѣшаемся тѣмъ только, что вѣдь «одинъ Богъ безъ грѣха.»

Послѣднія строки написаны не даромъ: онѣ имѣютъ то значеніе, что въ книжкѣ на каждомъ шагу вы встрѣтите личные намеки и обличенія. Такова статейка о томъ, «какъ одинъ господинъ пріобрѣлъ себѣ за безцѣнокъ домъ въ полтораста тысячъ», обличающая нѣкоего Ведрина (Погодина), столь прославившагося своими путевыми записками. Такова «Портретная галлерея», заключающая въ себѣ пять стихотворныхъ портретовъ разныхъ личностей того времени; изъ нихъ особенно замѣчательна всѣмъ извѣстная эпиграмма на Булгарина:

Онъ у насъ восьмое чудо.
У него завидный нравъ... И т. д.

Такой-же обличительный характеръ имѣютъ статейки: «Дядюшка и племянникъ», «Пощечина», а также и «Водевилистъ».

Здѣсь-же помѣщена шутка Кульчицкаго, имѣющая отношеніе къ страсти Бѣлинскаго къ преферансу: «Какъ играютъ въ новѣйшее время въ преферансъ образованнѣйшіе люди». Книжка переполнена Некрасовскими куплетами. Между ними находится и пріобрѣвшая популярность извѣстная пародія на стихотвореніе Лермонтова: «И скучно, и грустно — и некого въ карты надуть». Изъ вошедшихъ въ позднѣйшія изданія стихотвореній Некрасова здѣсь помѣщено только одно: «Передъ дождемъ». Книга украшена массой карикатурныхъ политипажей. Некрасовъ самъ уже является издателемъ ея, безъ участія какой-либо книгопродавческой фирмы.

Въ томъ-же 1846 году былъ изданъ Некрасовымъ и третій альманахъ, извѣстный подъ заглавіемъ «Петербургскій сборникъ».

Этотъ сборникъ не имѣетъ уже ничего общаго съ предыдущими, ни по своей внѣшности, ни по своему содержанію. Тутъ уже не бросается намъ въ глаза спекуляція, нѣтъ зазывающихъ предисловій. Почтенный по своимъ размѣрамъ, сборникъ имѣетъ вполнѣ солидно-литературный видъ и напоминаетъ собой толстые нумера журнала, совершенно вродѣ одного изъ нумеровъ послѣдовавшаго за нимъ «Современника». Здѣсь встрѣчается рядъ лучшихъ литературныхъ именъ того времени: Тургенева («Помѣщикъ»), Искандера («Капризы и Раздумье»), А. Майкова, Сологуба, Кроненберга. Начинается сборникъ «Бѣдными людьми» Достоевскаго, оканчивается «Мыслями и замѣтками о русской литературѣ» Бѣлинскаго. Самъ издатель помѣстилъ въ немъ четыре своихъ стихотворенія: «Въ дорогѣ», «Пьяница», «Колыбельная пѣснь» и «Отрадно видѣть».

Практическіе совѣты Некрасова, а еще болѣе успѣхъ этихъ сборниковъ такъ подѣйствовали на Бѣлинскаго, что и самъ онъ увлекся было издательской дѣятельностью и предпринялъ изданіе сборника подъ заглавіемъ: «Левіаѳанъ». Уже было собрано много матеріала для этого изданія, когда лѣтомъ 1846 года, во время путешествія Бѣлинскаго по Россіи, Некрасовъ съ Панаевымъ порѣшили купить у Плетнева Пушкинскій «Современникъ», влачившій самое жалкое существованіе. По возвращеніи изъ путешествія Бѣлинскій такъ былъ увлеченъ новымъ предпріятіемъ Некрасова, дававшимъ возможность всему кружку Бѣлинскаго имѣть свой самостоятельный органъ, что оставилъ тотчасъ-же свое намѣреніе издавать «Левіаѳанъ» и передалъ Некрасову для первыхъ нумеровъ «Современника» весь собранный для проектировавшагося сборника матеріалъ. Съ 1847 года «Современникъ» началъ издаваться подъ новой редакціей.

Здѣсь мы приближаемся къ факту, всѣмъ извѣстному, но до сихъ поръ мало разъясненному,—къ разполкѣ Некрасова съ Бѣлинскимъ и кружкомъ его изъ-за положенія Бѣлинскаго въ «Современникѣ». Принимая въ разсчетъ значеніе Бѣлинскаго, какъ вообще въ литературѣ, такъ и по отношенію его къ новому журналу, друзья Бѣлинскаго ожидали, что онъ войдетъ въ журналъ полнымъ хозяиномъ его, рядомъ съ Некрасовымъ и Панаевымъ, не только въ литературномъ, но и въ матеріальномъ отношеніи. Но Бѣлинскій вошелъ въ журналъ лишь въ качествѣ постояннаго сотрудника по критическому отдѣлу съ опредѣленной годовой платой сначала въ 7.000, а потомъ

10,000 руб ассигн. Это положеніе показалось имъ слишкомъ второстепеннымъ для Бѣлинскаго; они охладѣли къ новому журналу и заявили, что будутъ смотрѣть на него, какъ на новыя «Отечественныя Записки», и будутъ посылать свои статьи безразлично въ оба журнала. Что касается до самого Бѣлинскаго, то, сколько можно судить изъ обнародованной до сихъ поръ переписки (см. «Бѣлинскій», соч. А. Н. Пыпина, т. II, гл. 9), положеніе его во всемъ этомъ недоразумѣніи было между двухъ огней. Онъ то соглашался со своими друзьями относительно ненормальности своего положенія въ «Современникѣ», писалъ рѣзкія письма о Некрасовѣ и вступалъ съ нимъ въ личныя объясненія, то становился на сторону послѣдняго и начиналъ укорять друзей въ неправильномъ пониманіи дѣла и въ совершенно неосновательномъ охлажденіи ихъ къ «Современнику».

Для разъясненія этого обстоятельства мы сопоставимъ рядомъ взгляды на него двухъ главныхъ виновниковъ разлада—Бѣлинскаго, въ видѣ писемъ его къ Тургеневу, помѣщенныхъ въ «Воспоминаніяхъ Тургенева о Бѣлинскомъ» («Вѣстникъ Европы» 1869 г., № 3), и двѣ записки Некрасова, написанныя имъ вскорѣ по обнародованіи Тургеневымъ этихъ писемъ. Вотъ письма Бѣлинскаго.

1) «С.-Петербургъ, 19-го февраля 1847 года.—Получилъ отъ К. ругательное письмо, но не показалъ Некрасову. Послѣдній ничего не знаетъ, но догадывается, а дѣлаетъ все-таки свое. При объясненіи со мной онъ былъ не хорошъ; кашлялъ, запикался, говорилъ, что на то, что я желаю, онъ, кажется, для моей-же пользы согласиться никакъ не можетъ по причинамъ, которыя сейчасъ-же объяснитъ, и по причинамъ, которыхъ не можетъ мнѣ сказать. Я отвѣчалъ, что не хочу знать никакихъ причинъ—и сказалъ мои условія. Онъ повеселѣлъ и теперь при свиданіи протягиваетъ мнѣ обѣ руки; видно, что доволенъ мной вполнѣ! По тону моего письма вы можете ясно видѣть, что я не въ бѣшенствѣ и не въ преувеличиваніи. Я любилъ его, такъ любилъ, что мнѣ и теперь иногда то жалко его, то досадно на него - за него, а не за себя. Мнѣ трудно переболѣть внутреннимъ разрывомъ съ человѣкомъ, а потомъ—ничего. Природа мало дала мнѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя мнѣ несправедливости; я скорѣе способенъ возненавидѣть человѣка за разность убѣжденій или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко цѣню Некрасова, и тѣмъ не менѣе онъ въ моихъ глазахъ - человѣкъ, у котораго будетъ капиталъ, который будетъ богатъ, а я знаю, какъ это дѣлается. Вотъ ужъ началъ съ меня. Но довольно объ этомъ.

...«Скажу, какъ новость: я можетъ быть буду въ Силезіи. Б. достаетъ мнѣ 2,500 руб. асс. Я было начисто отказался - ибо съ чѣмъ-же я бы оставилъ семейство - а просить, чтобы мнѣ выдали жалованье за время отсутствія, - мнѣ не хотѣлось. Но послѣ объясненія съ Некрасовымъ я подумалъ, что церемониться глупо. Онъ очень былъ радъ, онъ готовъ былъ сдѣлать все, только-бы я... Я написалъ къ Б., и теперь отвѣтъ его рѣшитъ дѣло.»

2) «С.-Петербургъ, 1-го марта 1847 года.—Скажу вамъ, что я почти перемѣнилъ мое мнѣніе насчетъ источника извѣстныхъ поступковъ Некрасова. Мнѣ теперь кажется, что онъ дѣйствовалъ добросовѣстно, основываясь на объективномъ правѣ—а до понятія о другомъ, высшемъ, онъ еще не дорось, а пріобрѣсти его не могъ, по причинѣ того, что выросъ въ грязной положительности и никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ на нашъ манеръ. Вижу—изъ его примѣра—какъ этотъ идеализмъ и романтизмъ можетъ быть полезенъ для иныхъ натуръ, предоставленныхъ самимъ себѣ Гадки они—этотъ идеализмъ и романтизмъ; но что за дѣло человѣку, что ему помогло дурное на вкусъ лекарство, даже и тогда, если, избавивъ его отъ смертельной болѣзни, привило къ его организму другія, но уже не смертельныя болѣзни; главное тутъ не то, что оно гадко, а то, что оно помогло.»

Вотъ что написалъ Некрасовъ подъ главнымъ впечатлѣніемъ этихъ двухъ писемъ:

«Мнѣ попался здѣсь «Вѣстникъ Европы», и я прочелъ выдержки изъ писемъ Бѣлинскаго. Прямо беру ихъ на себя, ибо онѣ для меня—не новость. Не такой былъ человѣкъ Бѣлинскій, чтобъ долго молчать. Помолчавъ нѣсколько дней, онъ высказалъ мнѣ горячо и болѣе рѣзко, чѣмъ въ этихъ письмахъ, свое неудовольствіе и свои сожалѣнія о внутреннемъ разрывѣ со мной и съ Панаевымъ. Можетъ быть плодомъ этихъ объясненій и было второе письмо къ Тургеневу, въ значительной долѣ уничтожающее первое. Сопоставивъ эти два письма, останется, что «Н. дѣйствовалъ добросовѣстно, но не переходилъ той черты, гдѣ начиналась его невыгода, изъ-за принципа, до котораго онъ не дорось». Кажется, такъ? Я останавливаюсь на этомъ. Я былъ очень бѣденъ и очень молодъ, восемь лѣтъ боролся съ нищетою, видѣлъ лицомъ къ лицу голодную смерть, въ 24 года я былъ уже надломленъ работой изъ-за куска хлѣба. Не до того мнѣ было, чтобы жертвовать своими интересами чужимъ. Бѣлинскій это понималъ, иначе не написалъ-бы въ томъ-же первомъ обвиняющемъ меня письмѣ, что онъ и теперь меня высоко цѣнитъ. А во второмъ письмѣ онъ говоритъ, что почти перемѣнилъ свое мнѣніе и насчетъ источника моихъ поступковъ. Съ меня этого довольно. Я не знаю, исчезло-ли въ его возрѣніи на меня впослѣдствіи это *почти*, но отношенія наши до самой его смерти были короткія и хорошія. Я не былъ точно идеалистъ (иначе прежде всего не взялся-бы за журналъ, требующій практическихъ качествъ), еще менѣе былъ я равенъ ему по развитію; ему могло быть скучно со мной, но помню, что онъ всегда былъ радъ моему приходу. Отношенія его ко мнѣ до самой смерти сохраняли тотъ характеръ, какой имѣли въ началѣ. Бѣлинскій видѣлъ во мнѣ богато-одаренную натуру, которой недостаетъ развитія и образованія. И вотъ около этого-то держались его бесѣды со мной, имѣвшія для меня значеніе поученія *). Не смотря на сильный по тому времени успѣхъ «Современника» въ первомъ году, мы понесли отъ перваго года 10,000 убытка (въ 1-мъ году «Современникъ имѣлъ 2,000 подписчиковъ); денежныя заботы, необходимость много работать—всѣ, такъ сказать, черновыя работы по журналу: чтеніе и исправленіе рукописей, а также добываніе ихъ, чтеніе корректуръ, объясненіе съ цензорами, возстановленіе смысла и связи статей послѣ ихъ карандашей, лежали на мнѣ, да я еще писалъ рецензіи и фельетоны,—все это, а также и послѣдовавшія съ февраля 1848 года цензурныя гоненія, сопровождавшіяся крайней шаткостью почвы подъ ногами каждаго причастнаго тогда къ литературѣ — довело здоровье мое до такого разстройства, что Бѣлинскій часто говаривалъ, что я немногимъ лучше его. Бѣлинскій вообще зналъ мою тогдашнюю жизнь до мельчайшей точности и строго говаривалъ мнѣ: «Что вы съ собой дѣлаете, Некрасовъ? смотрите! берегитесь, иначе съ вами то же будетъ, что со мной.» При этомъ въ его умирающихъ глазахъ я уловилъ однажды выраженіе, кото-

*) Далѣе вычеркнуты Некрасовымъ слѣдующія строки: «онъ ловилъ меня часто на словахъ—и одно слово давало ему поводъ высказать мнѣ многое, что было для меня и ново, и полезно.»

рое не умѣю иначе истолковать, какъ той любовью, о которой упоминается въ письмѣ къ Тургеневу, какъ о потерянной мной. Въ этомъ взглядѣ была еще глубокая скорбь. Впослѣдствіи я узналъ отъ общихъ нашихъ друзей, что въ близкой моей смерти онъ былъ убѣжденъ положительно. Припоминая и тысячу разъ передумывая, я прихожу къ убѣжденію, что главная моя вина въ томъ, что я дѣйствительно не умеръ вскорѣ за нимъ, но за эту вину я готовъ выносить не только клеветы г-на А., но и тонкіе намеки г-на Т., которые онъ хитро старается скрѣпить авторитетомъ Бѣлинскаго».

Вотъ и другая записка подобнаго-же рода, открывающая намъ другую сторону дѣла, именно отношеніе Некрасова къ Ив. Панаеву.

«Мнѣ попался здѣсь № 4 «Вѣстн. Европы» и я прочелъ намеки Тургенева и выдержки изъ писемъ Б. Прямо беру эти выдержки на себя, ибо онѣ для меня не новость: все это, даже въ болѣе прямомъ и рѣзкомъ видѣ, слышалъ я отъ самого Бѣлинскаго; онъ былъ не такой человѣкъ, чтобы молчать. Подувшись на меня нѣсколько дней, онъ самъ высказалъ мнѣ свои неудовольствія и свое сожалѣніе о послѣдовавшемъ въ немъ внутреннемъ разрывѣ со мной. Послѣдовали объясненія не со мной однимъ, но и съ Панаевымъ. Не надо думать, чтобъ я имѣлъ тогда вліяніе на Панаева, какое пріобрѣлъ впослѣдствіи. Онъ былъ десятью годами старше меня и находился въ эту эпоху на верху своей извѣстности. Я его, какъ и онъ меня, — тогда зналъ мало: онъ былъ для меня авторитетъ; притомъ деньги на журналъ были его (моихъ было только 5 т. р. асс., которые незадолго до того дала мнѣ взаймы на неопредѣленный срокъ Наталья Александровна Герценъ) Даже контрактъ съ Плетневымъ былъ заключенъ на имя одного Панаева. Значитъ въ сущности онъ одинъ былъ хозяиномъ дѣла. Только впослѣдствіи, спустя нѣсколько лѣтъ, при перемѣнѣ контракта съ Плетневымъ, прибавлено было въ контрактѣ мое имя, чѣмъ права мои уравнялись съ правами Панаева. Не хочу этимъ сказать, что Панаевъ помѣшалъ мнѣ сдѣлать желаемое Бѣлинскому, но я не могъ-бы этого сдѣлать помимо его. А мнѣніе Панаева было то-же, что и мое, именно, что представленіе Бѣлинскому доли было-бы безплодно для него и опасно для дѣла, въ виду неминуемо близкой смерти Бѣлинскаго, которая была рѣшена врачами, что не было тайной ни для кого изъ друзей его: пришлось-бы связать себя въ будущемъ, имѣя дѣло не съ нимъ, а съ его наслѣдниками... Это особенно пугало Панаева».

IX.

Чтобы вполнѣ ясно представить себѣ нравственный міръ Некрасова въ эту эпоху, въ которую онъ является передъ нами окончательно сформированнымъ человѣкомъ, надо обратить вниманіе прежде всего на общее состояніе нравственныхъ идеаловъ въ это время, а потомъ мы увидимъ, какъ ярко эти общіе идеалы отразились въ одномъ изъ тогдашнихъ произведеній Некрасова, весьма важномъ въ этомъ отношеніи.

Въ эту эпоху на Западѣ бродили новыя политико-экономическія ученія, которыя представляли собой насущный вопросъ дня, обусловливая собой какъ общественные, такъ и индивидуально нравственные идеалы. Но въ нашей жизни эти ученія, если и усвоивались нѣкоторыми наиболѣе передовыми и начитанными людьми, то оставались въ отвлеченной сферѣ науки, безъ малѣйшаго примѣненія не только къ общественнымъ интересамъ, но и къ личному поведенію. Но этого мало. Люди, увлекавшіеся мечтами объ осуществленіи въ отдаленномъ будущемъ теорій всеобщаго благосостоянія, въ настоящемъ продолжали руководствоваться рутинной практикой жизни. Передъ умственными очами ихъ носились такіе нравственные идеалы, которые, не имѣя ничего общаго съ новыми политико-экономическими ученіями, тѣмъ не менѣе увлекали людей въ свою очередь какъ нѣчто новое и прогрессивное. Это обусловливалось тѣмъ, что Россія въ эту эпоху доживала свой патріархально-крѣпостной складъ жизни. Съ каждымъ днемъ онъ чувствовался все болѣе и болѣе невыносимымъ. Въ оппозицію крѣпостной распущенности нравовъ у насъ явились новые буржуазные идеалы бережливости, скопидомства, семейной чистоты и наживы путемъ индивидуальнаго труда или честной промышленности. Въ русскомъ обществѣ подобные идеалы развились тѣмъ быстрѣе, что передъ нашими глазами былъ уже готовый образецъ ихъ на Западѣ, гдѣ въ то время буржуазный строй достигъ апогея своего владычества и поражалъ насъ своими успѣхами промышленности, представляя бросающуюся въ глаза противоположность съ сонной неподвижностью и апатіей помѣщичьей жизни, день ото дня клонившейся къ полному разоренію. Въ силу этого въ литературѣ нашей и начали появляться типы практическихъ Адуевыхъ, энергическихъ Штольцевъ, предпріимчивыхъ помѣщиковъ и купцовъ на манеръ англійскихъ пропріетеровъ и негоціантовъ—въ противоположность изнѣженнымъ, распущеннымъ, непрактичнымъ и лѣниво сонnымъ обитателямъ Обломовокъ.

Нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы судить о томъ, успѣлъ-ли усвоить Некрасовъ въ то время, когда вращался въ кружкѣ Бѣлинскаго, тѣ новыя политико-экономическія идеи, которыми до нѣкоторой степени увлекался теоретически кружокъ, и насколько могъ онъ ихъ усвоить. Но мы имѣемъ несомнѣнныя данныя, что онъ былъ въ это время всецѣло увлеченъ тѣми буржуазно-нравственными идеалами, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь. Объ этомъ мы можемъ судить по роману его «Три страны свѣта», который въ цѣломъ своемъ составѣ представляетъ изъ себя не что иное, какъ апоѳеозъ честной наживы путемъ энергической, практической предпріимчивости. На первыхъ-же страницахъ этого романа рисуется передъ нами герой его Каютинъ въ видѣ интеллигентнаго пролетарія, въ образѣ котораго Некрасовъ вспоминаетъ свою молодость. Каютинъ, подобно автору, вышелъ изъ помѣщичьей среды.

«Отецъ его промотался; на послѣднія деньги отправилъ сына въ Петербургъ къ старому сослуживцу съ просьбой опредѣлить мальчика въ дворянскій полкъ. Съ тѣхъ поръ Каютинъ не видалъ своего отца и своей родины. Старикъ скоро умеръ. Его деревню, проданную съ публичнаго торга, купилъ родственникъ покойнаго, приходившійся дядей нашему герою по матери. Поступить въ дворянскій полкъ возможности не представилось, за что Каютинъ, не чувствовавшій призванія къ военной службѣ, впослѣдствіи горячо возблагодарилъ судьбу. Его отдали въ гимназію. За него платилъ дядя. Каютинъ никогда не отличался особеннымъ прилежаніемъ, но, начавъ понимать свое положеніе, учился настолько хорошо, что выдержалъ экзаменъ въ университетъ. Около того времени дядя, человѣкъ причудливый,

рѣшительно отказался давать ему содержаніе Каютинъ сталъ жить уроками, причемъ имѣлъ удовольствіе убѣдиться собственнымъ опытомъ, какъ труденъ и подчасъ горекъ хлѣбъ, добываемый продажей своего времени въ томъ періодѣ жизни, который нуженъ человѣку на собственное образованіе. Кончивъ курсъ, онъ пробовалъ служить, но служба требуетъ труда упорнаго и непрерывнаго, а Каютину хотѣлось жить. Онъ не всегда являлся аккуратно къ своей должности и подвергался выговорамъ. Тутъ примѣшались дѣла, которыя называютъ сердечными: Каютинъ сошелся съ Поленькой (бѣдной швеей-сиротой) и горячо полюбилъ ее; аккуратно ходить на службу не оказалось уже никакой возможности. Каютинъ вышелъ въ отставку и возвратился къ урокамъ, проводя все остальное время у своей невѣсты...»

Въ началѣ романа мы находимъ его въ страшной нищетѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вполнѣ олицетворяетъ собой типъ, выросшій на почвѣ крѣпостного строя жизни. Онъ добръ, великодушенъ, никакая обида и непріятность долго не застаиваются въ немъ, и потому онъ вѣчно сохраняетъ веселое настроеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ — онъ лѣнивъ, вѣтренъ, безпеченъ. Хозяинъ выставляетъ у него раму за неплатежъ квартирныхъ денегъ, а онъ, возвращаясь поздно домой съ пьяной пирушки, не замѣчаетъ этого, ложится спать въ комнатѣ, продуваемой осеннимъ вѣтромъ, и у него ночью крадутъ послѣднее платье. Отправляясь искать счастья по бѣлу-свѣту на послѣднія трудовыя деньги, занятыя у Поленьки, онъ проигрываетъ эти деньги въ карты на одной изъ станцій какимъ-то незнакомымъ совсѣмъ людямъ, и вслѣдъ затѣмъ, самовольно завладѣвая ружьемъ смотрителя станціи, отправляется на озеро бить утокъ, затѣмъ попадаетъ на помѣщичью свадьбу и влюбляетъ въ себя невѣсту и т. д. Размышляя съ Поленькой о своемъ печальномъ положеніи, Каютинъ додумывается до слѣдующихъ мыслей, составляющихъ весь узелъ романа:

«— Въ Петербургѣ тебѣ нельзя работать, а въ провинціи дѣлать нечего,—сказала Поленька.

— Нечего! — воскликнулъ Каютинъ.—Какъ—нечего? Напротивъ, тамъ-то и работа нашему брату! Недаромъ говорятъ,—продолжалъ онъ съ шутливой торжественностью:—что отечество наше велико и обильно! Въ разнообразной производительности нашихъ лѣсовъ и горъ, земель и необъятныхъ рѣкъ скрываются неисчерпаемые источники богатствъ, неразработанные, нетронутые! Нужно только умѣнье, да твердая желѣзная воля... Бываютъ-же примѣры и у насъ, что человѣкъ, не имѣвшій гроша, черезъ десять, двадцать лѣтъ ворочаетъ сотнями тысячъ; а отчего? онъ отказываетъ себѣ во всемъ, отказывается отъ всего... обрекаетъ себя на безсрочную разлуку съ роднымъ угломъ, съ дѣтьми, со всѣмъ дорогимъ его сердцу... Съ опасностью жизни переплываетъ онъ огромныя пространства на плоту, на дрянной баркѣ, мерзнетъ, мокнетъ, питается Богъ знаетъ чѣмъ, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну па рубль за доставку чужого хлѣба подкрѣпляетъ и одушевляетъ его въ долгомъ, скучномъ и опасномъ плаваніи. Только успѣлъ онъ вздохнуть спокойно, почувствовавъ подъ ногами твердую землю, какъ новый выгодный оборотъ увлекаетъ его часто на совершенно-противоположный конецъ нашего необъятнаго царства. И вотъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ уже мчится на оленяхъ по унылой и однообразной тундрѣ, покупаетъ, вымѣниваетъ у дикарей звѣриныя шкуры, братается съ ними... А черезъ годъ ему можетъ быть придется быть въ Сибири... Та-же опять борьба, лишенія, вѣчный страхъ и вѣчная, неумирающая надежда.. Вотъ какъ куются денежки, Поленька! «Счастье!» говоримъ мы, когда такой человѣкъ воротится къ намъ съ милліонами. А многіе безъ дальнихъ справокъ просто пожалуютъ его въ плуты... Не всѣ наживаются плутнями и рѣшительно никто не наживался безъ долгаго, упорнаго, самоотверженнаго труда... Но мы—бѣлоручки: мы ждемъ, чтобы деньги сами пришли къ намъ, упали съ неба... о, тогда мы радехоньки... да притомъ всѣ мы большіе господа: если мы не служимъ, такъ намъ давай по крайней мѣрѣ занятіе профессора, литератора, артиста... Званіе артиста—конекъ нашъ, а купецъ, подрядчикъ, промышленникъ... намъ обидно и подумать! Какъ будто быть дѣятельнымъ купцомъ не почетнѣе и не полезнѣе, чѣмъ ничего недѣлающимъ гулякой, каковъ я напримѣръ... А, не правда-ли, Поленька?

— Ну, ты еще будешь дѣлать, — отвѣчала она.— Вѣдь ты годъ только какъ вышелъ изъ университета: когда-же тебѣ...

— И еще надо взять въ разсчетъ,—началъ Каютинъ, увлеченный своей мыслію:—что люди, пускающіеся у насъ въ такіе отважные промыслы, всѣ они безъ образованія, даже часто безъ свѣдѣній, необходимыхъ въ томъ дѣлѣ, которому они посвятили себя. Врожденный умъ, инстинктъ,—скорѣе; желѣзная настойчивость, постепенно пріобрѣтаемый опытъ, русская смѣтливость, да русское авось—вотъ единственные ихъ руководители... Что-же можетъ сдѣлать человѣкъ, у котораго при доброй волѣ, трудолюбіи, настойчивости и умѣ, разумѣется, есть еще свѣдѣнія?.. Я имѣю,—продолжалъ Каютинъ, одушевляясь болѣе и болѣе, начиная скорыми шагами ходить по комнатѣ:—нѣкоторыя свѣдѣнія въ механикѣ, въ горномъ искусствѣ... водяные пути сообщенія были всегда предметомъ особенныхъ моихъ занятій...

— Поѣзжай въ провинцію!—тихо и нерѣшительно сказала Поленька.»

Вслѣдствіе этого разговора Каютинъ и отправился въ провинцію сколачивать копѣйку торговлей. Послѣ долгихъ странствій по тремъ странамъ свѣта, всевозможныхъ мытарствъ, неудачъ, опасностей и разнообразныхъ столкновеній со всевозможнаго рода людьми, Каютинъ прибылъ въ Петербургъ совершенно переродившимся: изъ сонливаго шалопая и бѣлоручки онъ превратился въ предпріимчиваго, энергическаго и практическаго дѣльца и привезъ своей Поленькѣ нѣсколько сотенъ тысячъ, которыя сдѣлали ее счастливой.

Лелѣяніе подобнаго рода буржуазныхъ идеаловъ въ ту эпоху не только не мѣшало любви и сочувствію къ народу, но даже обѣ вещи казались вполнѣ солидарными другъ съ другомъ и выходящими одна изъ другой. Подобно тому, какъ во Франціи въ прошломъ столѣтіи люди, глубоко проникнутые стремленіями улучшить участь народа, воображали, что стоитъ только справиться съ феодализмомъ, и народъ тотчасъ-же процвѣтетъ, вслѣдствіе одного того, что каждому будутъ дарованы право и свобода наживаться честнымъ трудомъ по тому или другому промыслу, такъ точно и у насъ разсуждало большинство интеллигентныхъ людей до крымской кампаніи. Отрицалось одно заѣданіе крестьянскаго хлѣба на почвѣ крѣпостного права, и въ этомъ одномъ видѣлось все зло, причемъ думали, что стоитъ только освободить народъ отъ крѣпостной зависимости, и ничто не помѣшаетъ ему наживаться въ волюшку, мирно эксплуатируя богатства родного края.

На такой точкѣ зрѣнія стоялъ и Некрасовъ, когда писалъ свои «Три страны свѣта». Но было-бы совершенно ошибочно предполагать, чтобы однимъ идеаломъ узкаго практицизма весь исчерпывался этотъ человѣкъ. Въ тѣхъ-же «Трехъ странахъ свѣта», во второмъ томѣ ихъ, въ дневникѣ Каютина, мы видимъ нѣсколько какъ-бы случайно брошенныхъ взглядовъ на русскаго крестьянина,—взглядовъ, глубоко прочувствованныхъ и весьма многознаменательныхъ, которые совершенно выходятъ изъ рамокъ того времени, въ которое были высказаны, и не теряютъ своей современности до сегодня. Взгляды эти показываютъ намъ все богатство и многостороннюю сложность натуры Некрасова. Вотъ эти взгляды:

«Въ моихъ странствованіяхъ, и несчастіяхъ, и трудахъ одна была у меня отрада, безъ которой можетъ быть я не вынесъ-бы своей тяжелой раны. Не зналъ я русскаго крестьянина; готовыя истины были въ основѣ моего о немъ мнѣнія. Какъ всѣ мы, изъяснялъ я каждый поступокъ его по внѣшности факта, а еще чаще старался удаляться такихъ мыслей, также какъ и столкновеній съ простымъ классомъ.

Но необходимость свела меня съ нимъ, скука и общая доля сблизила; познакомился и породнился я съ русскимъ крестьяниномъ... среди моря, гдѣ равно каждому не разъ грозила смерть, въ снѣжныхъ степяхъ, гдѣ отогрѣвали мы другъ друга рукопашной борьбой, а подъ-часъ и дыханіемъ, въ сырой и тѣсной избѣ, гдѣ голодные и холодные жались мы другъ къ другу, шестьдесятъ дней не видя солнца Божьяго...

Труденъ доступъ къ его сердцу. Онъ суровъ, неразговорчивъ, неохотно обнаруживаетъ свое чувство, глубоко запрятываетъ въ душу тяжелую кручину. Ошибается тотъ, кто иначе думаетъ, кто, побродивъ по базару въ праздничный день, увидавъ двѣ-три деревенскія сходки, поговоривъ, хоть и за чаркой, съ нѣсколькими мужиками, думаетъ знать всю ихъ подноготную... Жалокъ такой наблюдатель! Нѣтъ, сердце его открывается не всякому и не вдругъ. Вотъ ужъ кажется ты довольно сблизился съ нимъ: онъ воленъ съ тобой въ обращеніи, и за словомъ въ карманъ не ходитъ; ты думаешь, говоритъ онъ тебѣ свою подноготную... Погоди, она у самого у него неясна, а ты не настолько расположилъ его къ себѣ и расшевелилъ, чтобы она у него выяснилась, облеклась въ слово... Ты самъ скоро убѣдишься, что не поймалъ еще истины, когда замѣтишь, что черезъ день онъ уже говоритъ не то, съ полнымъ равнодушіемъ, которое такъ часто тебя обманывало, приводя къ ложнымъ и неотраднымъ выводамъ! Будешь говорить ты съ нимъ еще разъ, узнаешь больше, услышишь много онъ нова, но и тутъ часто не то еще, чего ищешь... Будь простъ и добръ, а главное—будь искренень, спрячь подальше чувство собственнаго превосходства, умѣй отстранить всѣ порывы неизбѣжной надменности, которая невольно пробивается въ подобныхъ отношеніяхъ, да еще не показывай, что ты стараешься подъ него подладиться, и тогда только можешь ждать его искренности...

И тогда увидишь ты, что въ немъ есть душа, чувство, энергія, а что главное, въ немъ много иронія, иронія дѣльной и мѣткой, которая уже можетъ быть давно твою собственную особу пустила ходячей притчей по всему околотку...

Ни въ комъ, кромѣ русскаго крестьянина, не встрѣчалъ я такой удали и находчивости, такой отважности при совершенномъ отсутствіи хвастовства (замѣтьте—черта важная!) и, опять повторяю, такой удивительной насмѣшливости. Эти черты ужели мало говорятъ въ пользу его?

Я много люблю русскаго крестьянина, потому что хорошо его знаю. А кто, подобно многимъ нашимъ, послѣ обычной «жажды дѣлъ», впалъ въ апатію и сидитъ сложа руки, кого тревожатъ скептическія мысли, безотрадныя, безвыходныя, тому совѣтую я, подобно мнѣ, прокатиться по раздольному нашему царству, побывать среди всякихъ людей, посмотрѣть всякихъ видовъ.

Въ столкновеніи съ народомъ онъ увидитъ, что много живни, здоровыхъ и свѣжихъ силъ въ нашемъ миломъ и дорогомъ отечествѣ, увидитъ, что все идетъ впередъ... можетъ быть иначе, чѣмъ думали кабинетные теоретики, но совершенно согласно съ характеромъ народнымъ, съ его судьбами, древними и настоящими, и съ неизмѣннымъ закономъ историческимъ... Увидитъ и устыдится своего бездѣйствія, своего скептицизма, и самъ, какъ русскій человѣкъ, разохотится, расходится: откинетъ лѣнь и положитъ посильный трудъ въ сокровищницу развитія, славы и процвѣтанія русскаго народа...»

Вотъ что думалъ Некрасовъ въ моментъ смерти Бѣлинскаго и въ первые годы изданія «Современника».

Здѣсь кстати не лишнимъ будетъ сказать нѣсколько словъ какъ о беллетристикѣ, такъ и вообще о прозѣ Некрасова. Изъ беллетристическихъ произведеній Некрасова наиболѣе извѣстны: «Опытная женщина», повѣсть, напечатанная въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1841 г.; «Необыкновенный завтракъ», «Отеч. Зап.» 1843 г.; «Петербургскіе углы», въ «Физіологіи Петербурга» 1846 г.; «Три страны свѣта», «Современникъ» 1848—1849 г.; «Новоизобрѣтенная привилегированная краска Дирлинга и К°», «Совр.» 1850 г.; «Мертвое озеро», «Совр.» 1851 г.; «Тонкій человѣкъ», «Совр.» 1855 г. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ Некрасовъ является полнымъ приверженцемъ натуральной школы. Во многихъ мѣстахъ онъ впадаетъ въ явное подражаніе Гоголю, какъ относительно его юмора, такъ и манеры изображенія пошлости, преимущественно въ мелочахъ обыденной жизни. Такъ напримѣръ, «Новоизобрѣтенная привилегированная краска» очень напоминаетъ собой «Невскій проспектъ» Гоголя. Сюжетъ этой повѣсти заключается въ томъ, что петербургскій шалопай, вродѣ поручика Пирогова, волочится за женой красильщика Дирлинга, а тотъ подмѣчаетъ это и жестоко мститъ ему тѣмъ, что выкрашиваетъ его физіономію своей нелинючей краской и ставитъ его въ весьма непріятное положеніе предъ невѣстой, за которой герой сватается. Въ то-же время въ беллетристикѣ Некрасова преобладаетъ конкретный, фотографическій элементъ. Большинство характеровъ и даже сюжетовъ взяты непосредственно изъ дѣйствительности. Изъ этого не исключается даже и такой сложный по составу и мѣстами сказочный романъ, какъ «Три страны свѣта», написанный на манеръ французскихъ романовъ школы Евгенія Сю. Въ романѣ этомъ найдется не мало живыхъ чертъ тогдашней петербургской жизни. Такъ напримѣръ, всѣ подробности о книгопродавческой фирмѣ Кирпичева и К° представляются фотографическими снимками съ одной изъ извѣстнѣйшихъ въ то время книгопродавческихъ фирмъ.

По свидѣтельству Авд. Як. Головачевой (бывшей Панаевой), писаніе «Трехъ странъ свѣта» происходило такъ: сначала Н. А. Некрасовъ съ г-жей Панаевой составили общими совѣщаніями сюжетъ романа, а потомъ распредѣлили, какую кому изъ нихъ писать

главу, и у г-жи Головачевой есть томъ «Трехъ странъ свѣта», въ которомъ обозначено, что было написано ею и что Некрасовымъ. Изъ этихъ отмѣтокъ видно, что все, касающееся интриги и вообще любовной части романа, принадлежитъ перу г-жи Панаевой; Некрасовъ-же на свою долю избралъ детальную, аксессуарную часть, комическія сцены, черты современной жизни и описаніе путешествій Каютина. Затѣмъ если въ романѣ участвовало третье лицо, то оно парадируетъ въ видѣ какого-то купца, который разсказалъ Некрасову во всѣхъ подробностяхъ, какъ проводятъ барки черезъ боровицкіе пороги. Руководствуясь этимъ разсказомъ, Некрасовъ совсѣмъ передѣлалъ 6-ю главу 4-й части романа, такъ какъ онъ никогда не былъ на боровицкихъ порогахъ и описалъ-было несовсѣмъ вѣрно крушеніе барокъ Каютина.

Что-же касается «Мертваго озера», то Некрасову принадлежитъ въ немъ лишь одинъ сюжетъ, въ составленіи котораго онъ принималъ участіе вмѣстѣ съ г-жей Панаевой, и много что двѣ-три главы. А затѣмъ Некрасовъ захворалъ, слегъ въ постель и рѣшительно отказался продолжать романъ. Такимъ образомъ «Мертвое озеро» почти всецѣло принадлежитъ перу г-жи Панаевой.

Что касается до прозы Некрасова въ истинномъ смыслѣ этого слова, то вся она состоитъ изъ критики, рецензій, журналистики, фельетоновъ, носившихъ въ то время характеристическое названіе «смѣси», и т. п. Какъ на болѣе выдающіяся и позднѣйшія его критическія статьи, мы можемъ указать на «Журнальныя замѣтки» въ «Современникѣ» 1856 года, которыя онъ писалъ по случаю отъѣзда заграницу И. Панаева, завѣдывавшаго этимъ отдѣломъ. Статьи эти можно легко отличить по тому, что всѣ онѣ начинаются со слова «читатель» (на это отличіе есть письменное указаніе въ бумагахъ Некрасова).

Какъ критикъ, Некрасовъ является защитникомъ «натуральной школы» отъ различныхъ нападокъ на нее какъ въ московской, такъ и въ петербургской прессѣ, и вообще, не вводя ничего новаго, онъ твердо придерживается идей Бѣлинскаго. Тонъ его рецензій и журнальныхъ обозрѣній отличается бросающейся въ глаза благодушной мягкостью и отсутствіемъ всякаго полемическаго задора. Каждаго писателя онъ, прежде чѣмъ выразить свое несогласіе съ нимъ, старается осыпать лестными похвалами, въ каждой разбираемой вещи старается открыть свои хорошія стороны и достоинства. Трудно объяснить причину подобнаго характера его критическихъ замѣтокъ: происходилъ-ли онъ вслѣдствіе цензурныхъ условій того времени, когда маломальски задорный, рѣзкій тонъ, хотя-бы не заключавшій въ себѣ ни малѣйшаго слѣда чего-либо политическаго, возбуждалъ уже подозрѣнія цензуры, какъ нѣчто нарушающее мирное настроеніе общества и благочиніе,— или это зависѣло оттого, что въ то время количество литературныхъ силъ было еще крайне ограничено, всѣ литераторы, болѣе или менѣе знакомые между собой, не раздѣлялись еще на такіе непримиримо враждебные лагери, какъ впослѣдствіи, а, напротивъ того, сближались общими тяжелыми условіями ихъ положенія, наконецъ въ рѣдкомъ изъ нихъ Некрасовъ не подозрѣвалъ человѣка, который завтра-же могъ пригодиться въ качествѣ сотрудника «Современника»; такъ что здѣсь руководилъ Некрасовымъ особенный тактъ журналиста, хотя конечно мягкость Некрасовской критики могла обусловливаться и благодушными чертами его характера. По крайней мѣрѣ въ бумагахъ Некрасова находится слѣдующая замѣтка, записанная сестрой покойнаго съ его словъ. Дѣло идетъ о началѣ знакомства Некрасова съ Бѣлинскимъ, когда Некрасовъ не былъ еще издателемъ журнала. Онъ написалъ въ то время рецензію на романъ Загоскина въ какой-то газетѣ. Позже, когда Бѣлинскій познакомился съ Некрасовымъ, онъ сказалъ ему:

— Вы вѣрно смотрите, но зачѣмъ вы расхвалили Ольгу?

— Нельзя, говорятъ, ругать все сплошь,—отвѣчалъ Некрасовъ.

— Надо ругать все, что не хорошо, Некрасовъ, возразилъ Бѣлинскій:—нужна одна правда!

X.

Журнальную дѣятельность Некрасова, начиная съ основанія «Современника», можно раздѣлить на три періода: первый періодъ—съ 1847 по 1855 годъ представляется самой мрачной эпохой, какъ въ его журнальной дѣятельности, такъ и вообще въ жизни. Бѣлинскій умеръ въ 1848 году. Наступилъ періодъ самой мрачной реакціи, ударившейся въ панику подъ впечатлѣніемъ европейскихъ событій 1848 года. Журналъ все это время висѣлъ на волоскѣ, безъ денегъ, безъ подписчиковъ, подъ непрестаннымъ Дамокловымъ мечомъ цензуры. До какой степени доходила въ то время строгость цензуры, можно судить по «Иллюстрированному Альманаху», который издатели «Современника» обѣщали выдать своимъ подписчикамъ въ приложеніи къ журналу въ 1848 году. Альманахъ этотъ предполагался въ видѣ увѣсистаго тома, вродѣ «Петербургскаго Сборника», но онъ таялъ, таялъ и достигъ до $7^1/_2$ печатныхъ листовъ, но и въ такомъ тощемъ видѣ разсылка его подписчикамъ «Современника» была воспрещена, и подписчики были такимъ образомъ невольно обмануты. Между тѣмъ сборникъ заключалъ въ себѣ самыя невинныя вещи: «Семейство Тальниковыхъ» Станицкаго, «Лола Монтесъ» Дружинина, «Смотрины и рукобитье» В. Даля, «Встрѣча на станціи» И. Панаева, «Старушка» Майкова, «Заборовъ» Гребенки и проч. Вся бѣда была въ томъ, что большинство этихъ произведеній принадлежало къ натуральной школѣ, въ которой въ то время видѣли все зло и которую положили по возможности истребить съ корнемъ.

Съ 1853 года положеніе «Современника» сдѣлалось еще болѣе критическимъ: началась война, которая убавила число подписчиковъ и безъ того довольно скудное. Однимъ было не до чтенія журналовъ въ это мрачное время, другіе предпочли журналу газету. Въ 1856 году Некрасовъ предпринялъ было изданіе своихъ стихотвореній, но изданіе это было безусловно запрещено. Ко всему этому присоединилась тяжкая болѣзнь, которая была слѣдствіемъ частью ненормальной жизни въ молодости, частью не-

устанной, изнурительной работы, такъ какъ въ это время весь журналъ лежалъ на его плечахъ. Это была упорная, неподдававшаяся никакимъ леченіямъ болѣзнь горловыхъ органовъ. Лучшіе доктора русскіе и иностранные опредѣлили горловую чахотку и присудили его къ неизбѣжной смерти. Видя передъ собой приближеніе могилы, поэтъ, какъ это было и впослѣдствіи, лѣтъ черезъ двадцать, началъ писать свои послѣднія пѣсни:

Душа мрачна, мечты мои унылы,
Грядущее рисуется темно.
Привычки, прежде милыя, постылы,
И горекъ дымъ сигары. Рѣшено!
Не ты горька, любимая подруга
Ночныхъ трудовъ и одинокихъ думъ—
Мой жребій горекъ. Жаднаго недуга
Я не избѣгъ. Еще мой свѣтелъ умъ,
Еще въ надеждѣ глупой и послушной
Не ищетъ онъ отрады малодушной.
Я вижу все .. А рано смерть идетъ,
И жизни жаль мучительно. Я молодъ,
Теперь поменьше мелочныхъ заботъ,
И рѣже въ дверь мою стучится голодъ:
Теперь бы могъ я сдѣлать что-нибудь.
Но поздно!.. И т. д.

Въ сущности же было не только не поздно, но, напротивъ того, рано. Настоящая дѣятельность Некрасова, наиболѣе благотворная и широкая, предстояла ему еще впереди. Какъ ни мрачны были тучи, со всѣхъ сторонъ сгустившіяся надъ его головой, и какъ ни казалось, что и конца имъ не будетъ, что его ждетъ впереди одна неминуемая гибель, но вдругъ повѣяло отраднымъ теплomъ, тучи разсѣялись, засіяло солнышко, бури какъ не бывало, и новой жизнью и энергіей преисполнился совсѣмъ было увядшій поэтъ. Во-первыхъ болѣзнь вовсе не оказалась такой смертельной, какъ предрекли медики. Профессоръ медико-хирургической академіи Шипулинскій опредѣлилъ ее совсѣмъ иначе и предписалъ сообразно своему опредѣленію леченіе, шедшее въ полный разрѣзъ со всѣми мнѣніями знаменитостей, и выздоровленіе Некрасова, тщетно проведшаго передъ тѣмъ зиму въ Римѣ и зябнувшаго тамъ немилосердно въ холодныхъ отеляхъ, пошло такъ быстро, что вскорѣ отъ мнимой чахотки не осталось и слѣда, кромѣ нѣкоторой слабости голоса. А затѣмъ кончилась крымская война, началась эпоха либерализма и реформъ. «Современникъ» ожилъ: къ нему начали приливать новыя могучія литературныя силы, и количество подписчиковъ съ каждымъ годомъ начало возростать тысячами.

XI.

Здѣсь начинается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, который слѣдуетъ считать съ 1856 по 1866 годъ. Это былъ періодъ наибольшаго развитія силъ и дѣятельности Некрасова.

Умственный и нравственный горизонтъ поэта значительно раздвинулся подъ вліяніемъ того сильнаго движенія, какое началось въ обществѣ, и тѣхъ новыхъ людей, которые окружили его. Прежніе идеалы оттѣсняются новыми, и подобно тому, какъ Бѣлинскій не любилъ, когда ему напоминали объ его прежнихъ статьяхъ, вродѣ «Бородинской годовщины» или «Менцеля», такъ и Некрасовъ неохотно потомъ вспоминалъ о грѣхахъ своей молодости, вродѣ «Трехъ странъ свѣта». Это просвѣтленіе отразилось и въ творчествѣ поэта. Изъ прежняго горячаго, но крайне неопредѣленнаго протестанта противъ пошлости, рабства и всяческаго угнетенія, онъ теперь обращается въ пѣвца народнаго горя — въ широкомъ и глубокомъ, но вполнѣ опредѣленномъ смыслѣ. Все лучшее и наиболѣе сильное написано имъ въ этотъ второй періодъ его журнальной дѣятельности: «Размышленія у парадная подъѣзда», «Морозъ Красный носъ», «Коробейники», «Желѣзная дорога», «Крестьянскія дѣти» и проч. Въ то же время не перестаетъ онъ принимать дѣятельное участіе и въ изданіи журнала: и своимъ руководительствомъ, и своими практическими совѣтами, и связями, и наконецъ личными трудами. Такъ, между прочимъ ему принадлежитъ мысль о приложеніи «Свистка» къ «Современнику». Мысль эта явилась у него еще во время пребыванія въ Римѣ въ 1856 году. Ему тамъ часто попадалась въ руки одна изъ мѣстныхъ сатирическихъ газетъ, и подъ впечатлѣніемъ ея онъ вознамѣрился завести «Свистокъ» при «Современникѣ». Въ «Свисткѣ» этомъ было помѣщено не мало его сатирическихъ куплетовъ, изъ которыхъ нѣкоторые вошли въ приложеніе ко 2-й части полнаго собранія его сочиненій. Между прочимъ ему принадлежитъ «Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ», приписанная Добролюбову и напечатанная въ IV томѣ сочиненій Добролюбова (см. стр. 518, изд. 1871 г.). Добролюбовъ написалъ лишь одни примѣчанія къ этимъ куплетамъ. Въ то же время и матеріальное благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось лишь въ этотъ второй періодъ его жизни. Кромѣ успѣха «Современника», Некрасовъ не мало былъ обязанъ этимъ и изданію своихъ стихотвореній, которое было наконецъ ему разрѣшено въ 1860 году вслѣдствіе ходатайства графа Александра Владиміровича Адлерберга. По этому поводу въ бумагахъ Некрасова находится слѣдующаго рода собственноручная его записка:

«Великая моя благодарность графу А. В. Адлербергу, онъ много сдѣлалъ для меня, выхлопотавъ въ 60 году позволеніе на изданіе моихъ стихотвореній, что̀ запретилъ Норовъ въ 1856 году. Это дало мнѣ до 150,000. Желаю, чтобы это было напечатано послѣ моей смерти. Н. Некрасовъ.»

Прекращеніемъ «Современника» въ 1866 году кончается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, и затѣмъ слѣдуютъ два года переходнаго состоянія, весьма тяжелаго. Съ 1868 года начинается третій періодъ, въ которомъ Некрасовъ является уже во главѣ «Отечественныхъ Записокъ», и періодъ этотъ длится до его смерти.

Въ эти послѣднія десять лѣтъ своей жизни Некрасовъ былъ все также дѣятеленъ и бодръ духомъ, талантъ его стоялъ все на той-же высотѣ, и творчество его ознаменовалось рядомъ произведеній, не уступающихъ прежнимъ, — каковы: «Русскія женщины», «Кому на Руси жить хорошо» и проч. Но въ то же время физическія силы начали измѣнять ему съ каждымъ годомъ, онъ замѣтно старѣлъ, хилѣлъ,

а въ послѣднія пять лѣтъ часто пачалъ и прихварывать.

Жизнь въ послѣдніе годы велъ онъ довольно однообразную. Зимы проводилъ въ своей городской квартирѣ на Литейной, въ домѣ Краевскаго, въ которой онъ прожилъ лѣтъ двадцать. Зимой писалъ онъ весьма мало. Лѣтомъ уѣзжалъ или къ брату, въ ярославское имѣніе послѣдняго, или же въ Чудово, гдѣ онъ имѣлъ охотничью дачу. Тутъ-то обыкновенно, среди сельской обстановки и природы, и возбуждалось въ немъ поэтическое творчество, и рѣдкая осень обходилась безъ того, чтобы по возвращеніи въ городъ онъ не привозилъ чего-либо новаго, что̀ читалъ обыкновенно друзьямъ и обрабатывалъ для печати, пока столичная жизнь не втягивала его въ свое колесо. Большое вліяніе на его творчество имѣла врожденная и унаслѣдованная отъ отца страсть къ охотѣ. Объ этомъ предметѣ вотъ какія свѣдѣнія сообщаетъ сестра покойнаго:

«Братъ мой всю жизнь любилъ охоту съ ружьемъ и лягавой собакой. Десяти лѣтъ онъ убилъ утку на Чельскомъ озерѣ. Былъ октябрь; окраины озера уже заволокло льдомъ; собака не шла въ воду. Онъ поплылъ самъ за уткой и досталъ ее. Это стоило ему горячки, но отъ охоты не отвадило. Отецъ бралъ его на свою псовую охоту, но онъ не любилъ ея. Пріучили его къ верховой ѣздѣ очень оригинально и не особенно нѣжно. Онъ самъ разсказывалъ, что однажды восемнадцать разъ въ день упалъ съ лошади. Дѣло было зимой — мягко. Зато послѣ всю жизнь онъ не боялся никакой лошади и смѣло садился на клячу и на бѣшенаго жеребца. Но ѣздить любилъ шагомъ и хорошо стрѣлялъ съ лошади.

По мѣрѣ того какъ средства его росли и онъ дѣлался самостоятельнымъ, онъ придалъ охотѣ своей характеръ по своему вкусу и своимъ планамъ. Охота была для него не одной забавой, но и средствомъ знакомиться съ народомъ. Каждое лѣто періодически повторялось одно и то же. Поработавъ нѣсколько дней, братъ начиналъ собираться. Это значило, подавали къ крыльцу простую телѣгу, которую нагружали провизіей и порохомъ. Затѣмъ, вечеромъ или рано утромъ на другой день, братъ отправлялся самъ въ легкомъ экипажѣ съ любимой собакой, рѣдко съ товарищемъ. Товарища на охотѣ братъ не любилъ. Онъ пропадалъ на нѣсколько дней, иногда на недѣлю и болѣе. По разсказамъ происходило вотъ что: въ разныхъ пунктахъ охоты у него были уже знакомцы — мужики-охотники. Онъ до каждаго доѣзжалъ и охотился въ его мѣстности. Поѣздъ, сперва изъ двухъ троекъ, доходилъ до пяти, брались почтовыя лошади, ибо братъ собиралъ своихъ провожатыхъ и уже не отпускалъ ихъ до извѣстнаго пункта.

По окончаніи утренней охоты выбиралось удобное мѣсто; братъ со всей компаніей завтракалъ, говорилъ самъ мало или дремалъ. Компанія, которая получала не мало водки и сколько угодно мяса, была разговорчива—братъ слушалъ, или нѣтъ — это его дѣло.

Онъ говаривалъ, что самый талантливый процентъ изъ русскаго народа отдѣляется въ охотники; рѣдкій разъ не привозилъ онъ изъ своего странствованія какого-либо запаса для своихъ произведеній. Такъ однажды при мнѣ онъ вернулся и засѣлъ за «Коробейниковъ», которыхъ потомъ при мнѣ читалъ крестьянину Кузьмѣ. Въ другой разъ засѣлъ на два дня—и явились «Крестьянскія дѣти». Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно выдумать форму этой идилліи? этотъ сарай съ цвѣтными глазками:

Чу! шопотъ какой-то... а вотъ вереница
Вдоль щели внимательныхъ глазъ!
Все сѣрые, каріе, синіе глазки—
Смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты. . И т. д.

Орина, мать солдатская, сама ему разсказывала свою ужасную жизнь. Онъ говорилъ, что нѣсколько разъ дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ ней; а то боялся сфальшивить. Одно стихотвореніе, о которомъ сожалѣлъ, что не написалъ его, это — эпитафіи. Съ однимъ изъ своихъ друзей - охотниковъ онъ однажды переходилъ кладбище. Гаврило разсказывалъ ему о покойникахъ, могилы которыхъ обращали на себя вниманіе брата. Я помню только эпитафію:

Зимой игралъ въ картишки
Въ уѣздномъ городишкѣ,
А лѣтомъ жилъ на волѣ,
Травилъ зайчишекъ груды,
И умеръ пьяный въ полѣ
Отъ водки и простуды.

На зимней охотѣ съ нимъ однажды былъ казусъ. Онъ набралъ до восьмидесяти человѣкъ и ѣхалъ на медвѣдя. Мужики шли впереди. Увидалъ братъ зарево пожара и всю свою команду повернулъ отъ медвѣдя туда Деревню спасли, но охота на этотъ день пропала. Мужики не жалѣли медвѣдя, и убить его брату не пришлось, а деньги отдай. Надували его мужики много, но часто поступали съ нимъ честно. Кругъ его лѣтней охоты—луга смежныхъ губерній — Ярославской, Костромской, Владимірской. Онъ ихъ хорошо зналъ, и большая часть его типовъ принадлежитъ средней Россіи. Память у него была удивительная; онъ записывалъ однимъ словечкомъ цѣлый разсказъ и помнилъ его всю жизнь по одному записанному слову. При работѣ тетради эти съ непонятными никому отмѣтками были передъ его глазами.»

XII.

Первые признаки болѣзни, сведшей Некрасова въ могилу, появились уже въ началѣ 1875 года, но Некрасовъ перемогался больше года, продолжая вести прежнюю жизнь и не обращая особеннаго вниманія на болѣзнь, которую приписывалъ геморроидальнымъ припадкамъ, и былъ увѣренъ, что они не представляютъ никакой серьезной опасности. Но къ веснѣ 1876 года болѣзнь начала заявлять себя такъ сильно и мучительно, что потребовала уже серьезнаго леченія. Лѣто провелъ Некрасовъ въ Гатчинѣ, въ упорной борьбѣ съ своей болѣзнью, а осенью долженъ былъ ѣхать въ Крымъ, сильно уже ослабѣвшій и изнемогшій. Воротился онъ изъ Крыма, гдѣ пользовалъ его докторъ Боткинъ, зимой въ Петербургъ—и уже почти не вставалъ съ постели, изрѣдка только прогуливаясь по комнатѣ. Жестокія нервныя боли, увеличиваясь день ото дня, къ веснѣ 1877 года дошли до нестерпимыхъ, чисто адскихъ мукъ. Въ рѣдкія минуты успокоенія Некрасовъ не переставалъ слѣдить за литературой и жизнью, читалъ газеты, корректуры, писалъ свои послѣднія пѣсни. Такъ, во время пребыванія своего въ Крыму онъ написалъ, по словамъ докт. Н. А. Бѣлоголовaго («Болѣзнь Н. А. Некрасова», «Отеч. Зап.» 1878 г., № 10), поэму въ 1800 стиховъ, посвятивъ ее лечившему его тогда С. П. Боткину. Препятствія, встрѣтившіяся къ напечатанію этой поэмы, были послѣдними литературными непріятностями Некрасова. Жестоко пораженный этой

неудачей, Некрасовъ встрѣтилъ однажды Бѣлоголоваго слѣдующими словами:

— Вотъ оно, наше ремесло — литература! Когда я началъ свою литературную дѣятельность, я написалъ первую свою вещь, то тотчасъ-же встрѣтился съ ножницами; прошло съ тѣхъ поръ 37 лѣтъ, и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведеніе, и опять-таки сталкиваюсь съ тѣми-же ножницами!

Сознаніе близости смерти не покидало его еще съ осени 1876 года. Уже тогда, вспоминая свою прежнюю болѣзнь (50-хъ годовъ) и сравнивая ее съ настоящей, онъ говорилъ:

— Тогда всѣ доктора въ одинъ голосъ приговорили меня къ смерти, а у меня внутри не переставало жить убѣжденіе, что я останусь жить, а теперь совсѣмъ наоборотъ: доктора все обнадеживаютъ, а я убѣжденъ, что мнѣ не встать...

Каково было положеніе Некрасова весной 1877 года, можно судить по слѣдующему листочку, сохранившемуся въ его бумагахъ:

«Мартъ, 77 г. — Худо мнѣ! Мой домъ - постель. Мой міръ - двѣ комнаты: пока освѣжаютъ одну — лежу въ другой. Полъ-рюмки кипрскаго меня опьяняетъ; гранъ опіума дѣлаетъ меня идіотомъ, не всегда давая сонъ. Стиховъ уже писать не могу, но днями нападаетъ на меня самомнѣніе. На дняхъ муза моя на прощанье пропѣла мнѣ такую пѣснь:

Пускай чуть слышенъ голосъ твой,
Не громки тэмы пѣснопѣнья;
Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимаго забвенья!»

12-го апрѣля 1877 года была сдѣлана надъ Некрасовымъ вѣнскимъ хирургомъ, Бильротомъ, операція, которая спасла его отъ неминуемо-угрожавшей смерти, въ нѣкоторой степени облегчила его страданія и продлила его существованіе на восемь съ половиной мѣсяцевъ.

Но незавидно было это — не столько существованіе, сколько постепенное угасаніе. Больной былъ такъ слабъ, что лѣтомъ, несмотря на всю необходимость для него сухого, здороваго и свѣжаго воздуха, его могли едва перевезти на Черную-Рѣчку, гдѣ онъ провелъ лѣто на дачѣ графа Строгонова. Какъ онъ страдалъ и что онъ чувствовалъ въ это время, объ этомъ можно судить по слѣдующему сохранившемуся въ его бумагахъ листочку его дневника, который онъ принялся-было писать во время своей дачной жизни:

«14-го іюня. — Буду писать, что приходитъ въ голову, надо-же убивать время.

Онъ не былъ злобенъ и коваренъ,
Но былъ мучительно ревнивъ,
Но былъ въ любви неблагодаренъ
И къ дружбѣ нерадивъ.

Сибиряки обнаружили особенную симпатію ко мнѣ со времени моей болѣзни. Много получаю стиховъ, писемъ и телеграммъ. Было двѣ съ двумя десятками подписей. Я хотѣлъ сдѣлать на это намекъ въ стихотвореніи «Баюшки-баю» — и было тамъ четыре стиха:

И ужъ несетъ изъ дебрей снѣжныхъ
На гробъ твой лавры и вѣнецъ
Друзей невѣдомыхъ и нѣжныхъ
Хранимый Богомъ посланецъ.

— да побоялся, не глупо-ли будетъ. А теперь этого вопроса рѣшить не могу и подавно.

Вообще изъ страха и нерѣшительности и за потерей памяти я передъ операціей испортилъ въ поэмѣ «Мать» много мѣстъ, замѣнилъ точками иныя строки.

Очень тяжело растревоживать мысли — сейчасъ боли, какъ и въ эту минуту.

16-го іюня — Любимое стихотвореніе Бѣлинскаго было:

Въ степи мірской, широкой и безбрежной
(Пушкинъ).

Я же когда-то очень любилъ стихотв. Лермонтова «Бѣлѣетъ парусъ одинокій» и т. д. А теперь все повторяю:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день.
(Пушкинъ).

«16-го іюня, 7-й часъ.

Хотѣлъ было анализировать свое положеніе и свои ощущенія, но слишкомъ это мрачная работа, прибавишь себѣ муки — а ея много!

Не забыть отвѣтить Ир...ву (поэтъ-юноша грамотный, но дарованія не замѣтно.; пишетъ, что прибылъ въ Петербургъ на занятыя деньги.

Всего болѣе страшно, чтобы мое теперешнее положеніе не затянулось — или хоть немного-бы получше, или поскорѣй-бы конецъ.

Ничего не понимаю, что со мной дѣлается. Очень тяжело. Дождь! (Воскресенье).»

Такъ изнывалъ поэтъ, борясь со своей смертью, и единственнымъ отраднымъ утѣшеніемъ для него въ это время было скорбное участіе въ его болѣзни всего русскаго общества. Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ самыхъ дальнихъ ея участковъ стекались къ нему письма, стихотворенія, телеграммы, выражавшія глубокое, искреннее сочувствіе къ нему, какъ къ поэту народной скорби, вмѣстѣ съ пожеланіями долголѣтней жизни и избавленія отъ болѣзни.

«При всей скрытности своего характера, — говоритъ д-ръ Бѣлоголовый, — и необыкновенномъ умѣньи владѣть собой, онъ не могъ не выражать ясно, какъ всѣ эти манифестаціи его трогали и возвышали въ собственныхъ глазахъ. Разъ какъ-то, показывая мнѣ двѣ телеграммы, полученныя имъ въ это время изъ Ирбита, онъ сказалъ: «Часто намъ приходилось въ журналистикѣ говорить, что мы не знаемъ совсѣмъ нашего подписчика, и какого онъ мнѣнія о нашей дѣятельности, а вотъ онъ теперь для меня и открывается!» Возбужденный этими манифестаціями, онъ сдѣлался гораздо разговорчивѣй, охотно сталъ вспоминать и разсказывать различные эпизоды своей жизни, свои отношенія къ различнымъ нашимъ знаменитостямъ; подъ вліяніемъ наплыва этихъ воспоминаній онъ остановился на мысли составить свою біографію и лихорадочно приступилъ къ этому такимъ образомъ: частью онъ диктовалъ самъ, пользуясь всякимъ свободнымъ отъ боли часомъ, то брату Константину Алексѣевичу, то сестрѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, иногда даже ночью будилъ ихъ и заставлялъ писать подъ свою диктовку; частью же передавалъ устно тотъ или другой эпизодъ своей жизни кому-нибудь изъ друзей. Въ то же самое время онъ редактировалъ и выпустилъ въ свѣтъ отдѣльное изданіе своихъ «Послѣднихъ пѣсенъ;» наконецъ онъ тогда же сочинилъ (впрочемъ начало было имъ написано нѣсколько лѣтъ раньше) свою поэму «Мать и стихотвореніе «Баюшки-баю», появившееся въ мартовской книжкѣ (1877 г.) «Отечественныхъ Записокъ», изъ котораго публика, какъ изъ бюллетеня, могла усмотрѣть, что здоровье поэта все плохо, и что опасность близкой смерти его не устранена. Оно такъ и было на самомъ дѣлѣ...»

Дни поэта были сочтены.

«Около 20-го ноября — по словамъ доктора Бѣло-

головаго («Новое Время», 1878 г., № 661),—стали появляться приступы изнурительной лихорадки съ небольшими ознобами и потами, но настолько не рѣзкими, что больной не измѣнялъ обычный распорядокъ своего дня, хотя его крайнее исхуданіе и слабость еще замѣтно усилились за это время. Такъ продолжалось до 14-го декабря; въ этотъ день, въ седьмомъ часу вечера, онъ всталъ съ кровати и перешелъ въ столовую, чтобы посидѣть и пить чай, но съ первымъ же глоткомъ съ нимъ сдѣлался потрясающій ознобъ; его тотчасъ же перевели и уложили въ постель; ознобъ продолжался около четверти часа и подъ исходъ его началась рвота, во время которой, безъ видимой потери сознанія, онъ сталъ несвязно говорить и затѣмъ лишился употребленія правой руки и ноги. Когда черезъ полчаса я пришелъ къ нему, то нашелъ его въ видимо возбужденномъ состояніи, какъ бы подъ вліяніемъ страха; тѣмъ не менѣе онъ удивился, увидавъ меня въ неположенное время, и прежде всего сказалъ: «Зачѣмъ это васъ тревожили?» Затѣмъ менѣе ясно сталъ жаловаться на чай съ лимономъ, который онъ пилъ, говорилъ, что было кисло и что это возбудило въ немъ рвоту. Рвота при мнѣ была уже нѣсколько тише, а къ утру, подъ вліяніемъ холоднаго шампанскаго, почти совсѣмъ прекратилась. Всю ночь онъ провелъ безпокойно, но не произнесъ ни одного слова, такъ что окружающіе думали, что онъ лишился совсѣмъ языка, но когда я пришелъ утромъ, то онъ сталъ просить, чтобы его подняли съ постели, надѣли на него сапоги и поводили его по комнатѣ. Въ виду неотступныхъ просьбъ, ему помогли подняться, и, опираясь на двухъ человѣкъ, онъ два раза прошелся по комнатѣ, волоча правую ногу и очевидно не понимая происшедшей съ нимъ перемѣны, и только постоянно повторяя одну и ту же фразу: «ну, что это?» Затѣмъ его уложили, и съ этого времени онъ уже болѣе не вставалъ съ постели, хотя параличныя явленія обнаружили быструю наклонность къ улучшенію: рѣчь стала гораздо чище, движеніе въ ногѣ возстановлялось все болѣе и болѣе, только правая рука оставалась до конца жизни совершенно парализована. Съ этого же дня больной все ослабѣвалъ, очень мало ѣлъ, но много страдалъ отъ жажды и разныхъ болей, преимущественно въ лѣвой ногѣ, на которой стали появляться ограниченные инфильтраты въ клѣтчаткѣ, особенно на бедрѣ. 26-го декабря слабость достигла крайнихъ предѣловъ, рѣчь стала менѣе внятной и односложной, глотаніе затруднительнымъ; около 5 часовъ этого дня у больного явилось какъ-бы желаніе проститься съ окружающими: онъ каждаго изъ нихъ подозвалъ къ себѣ и произнесъ какое-то односложное слово, какъ-бы «простите.» Часа черезъ три послѣ этого я нашелъ его уже въ начавшейся агоніи, которая развивалась втеченіи всего 27-го числа. Эти послѣднія сутки тѣло его оставалось совершенно неподвижнымъ: мышцы лица не выражали никакого признака страданія и какъ-бы застыли, равно и самый взглядъ, не фиксировавшій уже предметовъ; работала только грудная клѣтка, и лѣвая рука все время находилась въ постоянномъ движеніи; онъ то поднималъ ее къ головѣ, то подносилъ къ губамъ, то клалъ на грудь. Такъ было еще въ 5 часовъ вечера, но когда я пріѣхалъ три часа спустя, то эти движенія руки уже прекратились, пульсъ почти исчезъ, дыханье стало нѣсколько рѣже и шумнѣе, и такъ продолжалось до самаго конца, передъ которымъ вылетѣлъ легкій, короткій хрипъ изъ груди—и въ 8 часовъ 50 минутъ Некрасова не стало.»

Похороны происходили 30-го декабря въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. День былъ ясный, но чрезвычайно морозный, и это конечно было главной причиной, что толпа, шедшая за гробомъ, не превышала четырехъ тысячъ человѣкъ. Тѣмъ не менѣе похороны Некрасова все-таки представляли собой видъ торжественной и трогательной овація въ память почившаго поэта. Послѣ отпѣванія въ церкви Новодѣвичьяго монастыря было произнесено протоіереемъ Горчаковымъ надгробное слово, съ глубокимъ чувствомъ и умомъ. Когда гробъ былъ опущенъ въ могилу и зарытъ, было произнесено еще нѣсколько теплыхъ словъ надъ могилой поэта, и затѣмъ толпа тихо разошлась, унося въ сердцахъ глубокую скорбь и вѣчную память о своемъ дорогомъ поэтѣ.

XIII.

Посмертныя изданія писателей, снабженныя портретами, факсимиле, біографіями и разными библіографическими работами, бываютъ обыкновенно по возможности полными изданіями, обнимающими всю дѣятельность автора и знакомящими насъ съ личностью писателя со всѣхъ ея сторонъ. Но конечно всего этого нельзя пока и требовать отъ посмертнаго изданія сочиненій Н. А. Некрасова. Личность покойнаго поэта играла слишкомъ выдающуюся и важную роль въ исторіи нашего прогресса въ послѣднія тридцать лѣтъ для того, чтобы тотчасъ-же послѣ смерти сдѣлаться вполнѣ достояніемъ исторіи. Его разнообразныя отношенія къ тѣмъ или другимъ общественнымъ слоямъ, къ тѣмъ или другимъ личностямъ, какъ умершимъ, такъ и находящимся въ живыхъ, равно какъ и его произведенія до сихъ поръ еще продолжаютъ представлять злобу дня и возбуждаютъ весьма многихъ людей не столько къ спокойнымъ и безпристрастнымъ изслѣдованіямъ, сколько къ жаркимъ полемическимъ схваткамъ, въ которыхъ выражается ожесточенная борьба партій. Очень понятно, что при такихъ условіяхъ нечего и ждать отъ посмертнаго изданія поэта той полноты, какая присуща въ настоящее время лишь изданіямъ различныхъ корифеевъ дореформеннаго періода. Такъ мы видимъ, что хотя изданіе это, въ техническомъ отношеніи представляющее лучшій образецъ современнаго типографскаго искусства, дополнено произведеніями, которыя, какъ сказано въ предисловіи, были опущены авторомъ по забывчивости и на которыя онъ однако сдѣлалъ указаніе въ своихъ бумагахъ, и кромѣ того приведены всѣ стихотворенія, появившіяся въ періодическихъ изданіяхъ непосредственно послѣ смерти Некрасова, втеченіи всего 1878 года, но сюда не вошли нѣкоторыя замѣчательныя произведенія поэта, которыя не могли быть напечатаны и при жизни его. Какъ ни обстоятеленъ и почтенъ библіографическій трудъ С. И. Пономарева, расположившаго произведенія поэта въ строгомъ хронологическомъ порядкѣ и снабдившаго ихъ примѣчаніями, занимающими 200 страницъ въ четвертомъ томѣ изданія, но конечно въ произведеніяхъ Некрасова все-таки много остается кое-чего неразъясненнаго и загадочнаго, что въ настоящее время и не можетъ быть разъяснено по многимъ обстоятельствамъ. Наконецъ что касается біографическихъ свѣдѣній, приложенныхъ къ первому тому изданія и извѣстныхъ читателямъ «Отечественныхъ Записокъ» (см. «Отеч. Зап.», 1878 г., №№ 5-й и 6-й), то, излагая ихъ на страницахъ нашего

журнала, я имѣлъ уже случай заявить, что для полной характеристики Н. А. Некрасова, какъ поэта, журналиста и человѣка, необходимо, чтобы были изданы массы писемъ, воспоминаній, записокъ и всевозможныхъ документовъ, по которымъ можно было-бы судить о разнообразныхъ отношеніяхъ покойнаго къ массѣ людей всевозможныхъ слоевъ общества и лагерей втеченіи сорокалѣтней литературной дѣятельности его, и что при такихъ условіяхъ мало-мальски обстоятельная біографія Н. А. Некрасова возможна будетъ не ранѣе, какъ лѣтъ черезъ двадцать или тридцать.

Но тогда-же я замѣтилъ, что какъ ни скудны сами по себѣ эти біографическія свѣдѣнія для полной характеристики Некрасова, какъ общественнаго дѣятеля и человѣка, во всякомъ случаѣ они достаточны для того, чтобы познакомить насъ, подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ жизни сложился талантъ Некрасова и въ какую сторону они направили его. И тогда-же я далъ обѣщаніе читателямъ заняться разсмотрѣніемъ поэтической дѣятельности Некрасова въ связи съ главными обстоятельствами его жизни, что я и спѣшу исполнить въ настоящее время, пользуясь выходомъ въ свѣтъ посмертнаго изданія произведеній Некрасова.

Какъ это ни прискорбно, но въ виду массы не столько критическихъ, сколько полемическихъ статей, появившихся въ прошломъ году вслѣдъ за смертью Некрасова, приходится, прежде чѣмъ начать характеристику Некрасова, какъ поэта, предпослать этой характеристикѣ нѣсколько доказательствъ въ пользу того, что Некрасовъ вполнѣ заслуживаетъ этого названія, что онъ былъ вовсе не холодный риторъ, искусственно приноравливавшійся ко вкусамъ своего времени, какъ о немъ думаютъ иные, а истинный лирикъ, непосредственно изъ жизни вынесшій свою поэзію, выстрадавшій ее, и притомъ не въ видѣ одного только сентиментально-гуманнаго сочувствія народному горю со стороны, но и путемъ тяжкихъ опытовъ и страданій личной жизни.

При такихъ условіяхъ моя статья естественно распадается на двѣ части. Въ первой будутъ приведены доказательства въ пользу неоспоримаго права Некрасова именоваться поэтомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова; а во второй я постараюсь разъяснить, чѣмъ былъ Некрасовъ въ качествѣ поэта.

Какъ первая, такъ и вторая части въ одинаковой степени будутъ опираться на біографическія данныя о жизни Некрасова, а потому первымъ дѣломъ мы обратимся къ нимъ и бросимъ общій взглядъ на характеръ жизни Некрасова для того, чтобы опредѣлить, какое вліяніе могла имѣть жизнь Некрасова на его поэзію и какъ она отразилась въ послѣдней.

XIV.

На первомъ планѣ представляется намъ дѣтство, проведенное въ глухую, безразсвѣтную пору крѣпостного права подъ тяжелымъ гнетомъ необузданнаго самодурства. Все, что стояло повыше въ этой средѣ, сначала запугивало ребенка, а потомъ злило, возмущало и ожесточало, а что было пониже, все это рисовалось передъ дѣтскими глазами въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, все это было задавлено, забито, возбуждало участіе и жалость и невольно влекло къ себѣ сердце ребенка влеченіемъ общаго горя. Такимъ образомъ уже въ самомъ нѣжномъ дѣтствѣ въ сердцѣ Некрасова должны были образоваться два противоположныя теченія: съ одной стороны отвращеніе отъ всего угнетающаго и давящаго, отъ всего «ликующаго, праздно болтающаго, омывающаго руки въ крови», и въ то же время влеченіе ко всему обиженному и угнетенному. Оба эти теченія образовались конечно сами собой, невольно, инстинктивно, подъ вліяніемъ всей обстановки жизни ребенка, безъ всякихъ какихъ-либо постороннихъ, предвзятыхъ наущеній и настроеній. По крайней мѣрѣ ни въ Некрасовѣ-гимназистѣ, ни даже въ Некрасовѣ-студентѣ мы не видимъ никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ. Онъ является передъ вами вполнѣ наивнымъ юношей-романтикомъ, увлекавшимся поэзіей Жуковскаго, Пушкина и Лермонтова и мечтавшимъ встать рядомъ съ ними, посредствомъ созданія стихотвореній въ ихъ родѣ и духѣ. Но тѣмъ не менѣе въ мозгу юноши безъ сомнѣнія продолжали въ скрытомъ состояніи развиваться тѣ два теченія, какія были возбуждены въ немъ всѣми впечатлѣніями дѣтства — дальнѣйшіе-же факты его жизни еще болѣе усилили и углубили эти теченія.

Такъ мы видимъ, что 15-тилѣтній мальчикъ, нигдѣ недоучившійся, не получившій никакихъ правъ и преимуществъ, былъ выброшенъ изъ родительскаго гнѣзда безъ всякой поддержки и участія. Въ настоящее время подобные случаи до такой степени многочисленны и такъ примелькались въ нашихъ глазахъ, что представляются однимъ изъ самыхъ обыденныхъ явленій жизни, никого не поражающихъ. Но въ концѣ 30-хъ годовъ, въ той средѣ, къ которой принадлежалъ Некрасовъ, это былъ весьма рѣдкій, исключительный случай Некрасовъ, гордо отвергши всякую родительскую помощь, предлагавшуюся ему подъ условіемъ подчиненія, имѣлъ видъ человѣка, безпримѣрно пустившагося вплавь въ открытое море, чисто на свой собственный страхъ и рискъ, не зная, что ему встрѣтится на пути и куда занесутъ его невѣдомыя волны. Началась борьба за существованіе въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Мы видѣли, что это была за борьба съ хроническимъ голодомъ, длившимся годы, при непосильномъ, дурно оплачиваемомъ трудѣ, всякаго рода униженіяхъ, оскорбленіяхъ и въ то же время искушеніяхъ, представлявшихся страстному юношѣ на каждомъ шагу въ омутѣ столичной жизни. Надо удивляться богатству и физическихъ, и умственныхъ, и нравственныхъ силъ этого человѣка при зрѣлищѣ этой борьбы: какъ только удалось ему выкарабкаться и не умереть преждевременно отъ голода и истощенія, не спиться, не исписаться и не изнельчать послѣ трехсотъ листовъ журнальной прозы, написанной подъ гнетомъ самой строгой цензуры, единственно ради скуднаго заработка, или наконецъ не махнуть рукой на неблагодарное литературное поприще и не начать устраивать какую-нибудь служебную карьеру въ видѣ тепленькихъ и хлѣбныхъ мѣстечекъ, что ему не представляло особеннаго труда сдѣлать при врожденной практической сметкѣ и знакомствѣ

съ нѣкоторыми университетскими товарищами изъ высшихъ сферъ. Но онъ мужественно вышелъ изъ этой тяжелой борьбы, оставшись вѣрнымъ какъ своему литературному призванію, такъ и жаждѣ независимости, и вотъ мы видимъ, что въ концѣ сороковыхъ годовъ онъ стоитъ уже на видномъ мѣстѣ въ литературѣ, въ кружкѣ передовыхъ и лучшихъ въ то время литературныхъ дѣятелей, во главѣ журнала.

Здѣсь мы встрѣчаемся съ вліяніемъ на Некрасова Бѣлинскаго, которому Некрасовъ наиболѣе былъ обязанъ направленіемъ своей музы. Мы видѣли, что, когда Некрасовъ вошелъ въ кружокъ Бѣлинскаго, онъ былъ удивленъ отвлеченностью мысли въ людяхъ этого кружка. И это очень понятно: кружокъ Бѣлинскаго былъ чисто западническій, воспитанный на почвѣ германской философіи. Впослѣдствіи къ увлеченію Гегелемъ и Фейербахомъ присоединилось въ кружкѣ изученіе новыхъ политико-экономическихъ доктринъ. Но всѣ, какъ философскія, такъ и политическія идеи, какія вращались въ кружкѣ, разрабатывались преимущественно въ отвлеченной, международной, такъ сказать, сферѣ. Русская дѣйствительность обсуждалась съ точки зрѣнія этихъ идей въ ея общихъ основахъ и порядкахъ, причемъ эти основы пріурочивались къ западнымъ. Бѣлинскій могъ глубоко сочувствовать народному горю и страстно желать всяческаго уврачеванія его, но, какъ человѣкъ, всю жизнь вращавшійся въ городахъ, онъ не имѣлъ возможности присматриваться къ проявленіямъ народной жизни въ дѣйствительности и мало зналъ мужика. Мужикъ былъ для него отвлеченной категоріей, сначала философской, въ смыслѣ непосредственной стихіи народнаго духа, потомъ политической, въ смыслѣ инертной массы, ждущей освободителей въ лицѣ интеллигентныхъ людей, просвѣщенныхъ въ духѣ гуманныхъ идей. Натуральная школа была въ это время въ апогеѣ своего развитія, но въ изображеніяхъ своихъ она не спускалась ниже мелкаго чиновника, за исключеніемъ развѣ одного казака Луганскаго, который впрочемъ изучилъ народъ болѣе со стороны этнографической и филологической, чѣмъ соціальной. Мотивы реальнаго народнаго горя являются въ нашей литературѣ съ появленіемъ новыхъ молодыхъ силъ, по большей части выходцевъ изъ провинцій, которые входятъ во вторую половину сороковыхъ годовъ въ кружокъ Бѣлинскаго и, оплодотворяясь идеями этого кружка, воплощаютъ эти идеи въ свои собственныя реальныя наблюденія. Таковы были сначала Кольцовъ, потомъ Тургеневъ, Григоровичъ и Некрасовъ. Можно положительно сказать, что только съ появленіемъ этихъ писателей вносится въ нашу литературу серіяга. И замѣчательно при этомъ, что мужикомъ одновременно занялись три молодые вышеупомянутые писателя, бывшіе въ то время въ большой дружбѣ между собой. Вліяніе Бѣлинскаго въ этомъ случаѣ могло быть только освѣщающее и осмысливающее тотъ матеріалъ, который лежалъ на скрытомъ видѣ въ мозгу Некрасова и его друзей.

Судя по тому въ какомъ видѣ представляетъ Некрасова Достоевскій, вспоминая о началѣ своего знакомства съ нимъ, можно полагать, что первая пора сближенія Некрасова съ Бѣлинскимъ была однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ мгновеній въ жизни Некрасова. Но не долго продолжалось это восторженное состояніе. Едва только взялъ на свои плечи Некрасовъ «Современникъ», какъ умираетъ Бѣлинскій, главная сила и опора изданія и въ то же время дорогой учитель, которому былъ обязанъ Некрасовъ расцвѣтомъ своего таланта. Потянулись тѣ мрачные годы, о которыхъ пережившіе ихъ до сихъ поръ вспоминаютъ съ ужасомъ. Въ эти годы тяжело было существовать въ сторонѣ отъ всего, ничѣмъ не занимаясь; каково-же было издавать журналъ, дрожать за каждый нумеръ, съ каждымъ годомъ видѣть убыль подписчиковъ и не знать, что будетъ завтра. Сколько новой желчи должно было ежедневно накипать въ сердцѣ, и безъ того уже ожесточенномъ и изнеможенномъ всей предшествовавшей борьбой съ гнетущими обстоятельствами. Прибавьте еще къ этому тотъ мрачный колоритъ, который лежалъ въ то время на всей русской жизни, тѣ удручающія и раздражающія черныя тѣни, которыя, помимо серьезныхъ и крупныхъ невзгодъ, ложились даже и на тѣ немногія утѣхи, какія были допущены мыслящему человѣку. А потомъ, когда общественный горизонтъ нѣсколько прояснился, когда журналъ упрочился и началъ процвѣтать, когда, по словамъ Некрасова, въ жизни его стало «поменьше мелочныхъ заботъ и рѣже въ дверь его сталъ стучаться голодъ», привязалась опасная болѣзнь и начала угрожать ему преждевременной могилой.

Можно положительно сказать, что только въ концѣ пятидесятыхъ годовъ Некрасовъ могъ вздохнуть нѣсколько свободнѣй, болѣе полной грудью, и если дальнѣйшая жизнь его была не безъ невзгодъ и тяжкихъ утратъ, то все-таки по крайней мѣрѣ онъ былъ матеріально обезпеченъ. Такимъ образомъ только въ сорокалѣтнемъ возрастѣ Некрасовъ началъ вполнѣ пользоваться тѣмъ завиднымъ комфортомъ, который многіе ставятъ въ противорѣчіе съ мрачнымъ тономъ его поэзіи. Но въ сорокъ лѣтъ человѣкъ окончательно является сформированнымъ. Начинается преклонный возрастъ, въ который черты характера и привычки являются уже прочно установившимися. Человѣкъ уже мало измѣняется и пользуется плодами своей предыдущей жизни, тѣмъ накопленнымъ матеріаломъ опытовъ, знаній, впечатлѣній, какіе онъ успѣлъ собрать въ болѣе молодые и цвѣтущіе годы. Естественно, трудно было ожидать, чтобы въ этомъ почтенномъ возрастѣ поэзія Некрасова вдругъ сразу измѣнила свой характеръ, какъ и содержаніе, и проникласъ какими-нибудь бравурными, радостными и ликующими звуками.

XV.

Если мы возьмемъ во вниманіе всѣ эти обстоятельства жизни Некрасова, то для насъ вполнѣ ясно откроется причина преобладанія въ поэзіи его мрачныхъ, скорбныхъ и желчныхъ звуковъ. Звуки эти прямо и непосредственно вытекаютъ изъ жизни поэта, изъ всего склада его нравственнаго характера, и скорѣе всего можно было-бы заподозрить поэзію Некрасова въ искусственности, еслибы онъ, при тѣхъ-же самыхъ обстоятельствахъ своей жизни, вздумалъ на-

стравивать свою лиру, во что-бы то нистало, на торжественный или эстетически-сентиментальный тонъ и

Въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря,
И ласки милой воспѣвать...

Подобно большинству лириковъ, Некрасовъ посвятилъ нѣсколько своихъ стихотвореній опредѣленію своей музы, и ему конечно мы болѣе должны вѣрить, чѣмъ постороннимъ людямъ, плохо знавшимъ обстоятельства жизни поэта и еще менѣе—тѣ внутренніе творческіе процессы, которые таились въ душѣ его. Таково стихотвореніе «Муза», въ которомъ поэтъ прямо говоритъ, что «музы ласково поющей и прекрасной не помнилъ надъ собой онъ пѣсни сладкогласной»:

Но рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ и т. д.

Въ звукахъ этой музы, даже и разгульныхъ, поэту слышалось въ смятеніи безумномъ:

Разсчеты мелочной и жадной суеты,
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
Погибшая любовь, подавленныя слезы,
Проклятья, жалобы, безсмѣнныя угрозы...

А въ заключеніе поэтъ говоритъ:

Такъ вѣчно плачущей и непонятной дѣвы
Лелѣяли мой слухъ суровые напѣвы,
Покуда наконецъ обычной чередой
Я съ нею не вступилъ въ ожесточенный бой.
Но съ дѣтства прочнаго и кровнаго союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрезъ бездны темныя насилія и зла,
Труда и голода она меня вела,
Почувствовать свои страданья научила
И свѣту возвѣстить о нихъ благословила...

Въ другомъ своемъ подобномъ-же стихотвореніи Некрасовъ обусловливаетъ свое творчество прямо тѣми чувствами, какія возбудила въ немъ жизнь:

Праздникъ жизни—молодости годы—
Я убилъ подъ бременемъ труда,
И поэтомъ, баловнемъ свободы,
Другомъ лѣни—не былъ никогда.
Если долго сдержанныя муки,
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пишу: риемованные звуки
Нарушаютъ мой обычный трудъ.

Ниже въ этомъ стихотвореніи поэтъ обращается къ своему стиху съ слѣдующими словами:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ,
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства!..

Здѣсь безъ сомнѣнія подъ «творящимъ искусствомъ» поэтъ подразумѣваетъ то объективно-спокойное, олимпійско-безстрастное творчество, идеаломъ котораго въ глазахъ Некрасова была поэзія Пушкина. Иными словами, Некрасовъ, обусловливая свое творчество исключительно накипѣвшими муками, подходящими подъ сердце, отрицаетъ въ себѣ именно то разсудочно-произвольное и вмѣстѣ съ тѣмъ холодно-дидактическое творчество, которое ему приписываютъ нѣкоторые критики.

XVI.

Если мы бросимъ теперь общій взглядъ на составъ стихотвореній Некрасова, то мы еще болѣе убѣдимся въ полной естественности и органичности ихъ, въ зависимости творчества Некрасова не столько отъ какихъ-либо разсчетовъ холоднаго разсудка, сколько отъ различныхъ вѣяній самой жизни. Такъ, у Некрасова, какъ у всѣхъ лириковъ, мы видимъ значительное присутствіе личнаго элемента. Отъ сорока до пятидесяти пьесъ въ посмертномъ собраніи сочиненій Некрасова вы найдете такихъ, которыя или относятся непосредственно къ личности поэта, носятъ автобіографическій характеръ, или вообще отличаются крайней субъективностью. Это составляетъ четверть всего, помѣщеннаго въ полномъ изданіи Таковы стихотворенія: «Родина», «Въ невѣдомой глуши», «На Волгѣ», «Рыцарь на часъ», «Мать» и проч., масса любовныхъ элегій, посланій къ друзьямъ. Ужъ если идти отъ той мысли, что Некрасовъ не былъ истиннымъ лирическимъ поэтомъ, а былъ лишь холоднымъ риторомъ, то придется и такія поэмы, какъ «О, письма женщины намъ милой!» или «Бурю» («Долго не сдавалась Любушка сосѣдка»), подводить во что бы ни стало подъ какія-либо тенденціи, что было бы въ высшей степени наивно и курьезно.

Далѣе затѣмъ вы видите рядъ стихотвореній, еще менѣе чѣмъ автобіографическія и субъективныя, имѣющія что-либо общее съ дидактикой въ духѣ той школы публицистовъ, въ угоду которымъ будто бы Некрасовъ писалъ. Таковы: «Ваня», «Школьникъ», «Похороны», «Маша», «Свадьба», «Аукціонъ», «Коробейники», «Зеленый шумъ», «Крестьянскія дѣти», «Дядя Мазай» и проч. Если предполагать тенденціозный дидактизмъ даже въ такихъ вещахъ, какъ граціозное изображеніе барыни, набавляющей неимовѣрныя цѣны на распродажѣ, потому что ей жалко разставаться съ своимъ насиженнымъ, семейнымъ гнѣздышкомъ, или сѣтованія о томъ, что безсердечная Маша толкаетъ въ гробъ труженика-мужа своимъ мотовствомъ и страстью къ нарядамъ,—въ такомъ случаѣ, чтобы не навлечь подозрѣнія въ дидактизмѣ, поэту только и остается, что изображать одни неодушевленные предметы, потому что нѣтъ такого случая въ жизни человѣческой, въ которомъ нельзя было бы усмотрѣть какой-либо тенденціи. Но въ томъ то именно и дѣло, что значеніе этихъ стихотвореній заключается въ ихъ полной непосредственности. Холодному дидактику они не могли бы прійти и въ голову и не имѣлъ бы онъ ни малѣйшаго повода писать ихъ. Но поэтъ могъ поразиться той или другой чертой жизни при случайной встрѣчѣ съ ней, провести эту черту сквозь творческій процессъ, осмыслить и вывести ее во всей ея драматичности или поэтичности, ни мало не заботясь о томъ, какое дидактическое значеніе будетъ имѣть его стихотвореніе. А подобныхъ непосредственныхъ стихотвореній вы найдете тоже не мало въ изданіи; вмѣстѣ съ автобіографическими, они составляютъ почти половину всего написаннаго Некрасовымъ.

Но есть основаніе предполагать и относительно большинства вполнѣ тенденціозныхъ стихотвореній, что Некрасовъ обязанъ былъ происхожденіемъ ихъ не столько какимъ-либо соображеніямъ холоднаго разсудка, сколько непосредственнымъ впечатлѣніямъ жизни, возбуждавшимъ творчество поэта. Такъ, мы видѣли изъ біографическихъ свѣдѣній о жизни Не-

красова, что Арина, мать солдатская, сама разсказывала ему о своемъ горѣ. Столь же непосредственному вѣянію жизни былъ обязанъ Некрасовъ и своими «Размышленіями у парадняго подъѣзда», этимъ наитенденціознѣйшимъ своимъ произведеніемъ. По разсказу г-жи Головачевой, Некрасовъ однажды утромъ пришелъ къ своему пріятелю Панаеву, не только безъ малѣйшихъ помышленій объ этомъ произведеніи, но вообще жалуясь, что фантазія его крайне оскудѣла и что ему совсѣмъ нечего писать. Какъ вдругъ вниманіе его привлекла именно та самая мужицкая сцена у парадняго подъѣзда знатнаго барина, жившаго противъ Панаева, которая описана въ вышеупомянутомъ стихотвореніи. Сцена эта такъ поразила и потрясла его, что въ тотъ же день по возвращеніи отъ Панаева онъ принялся за перо и написалъ свои «Размышленія у парадняго подъѣзда». Наконецъ во многихъ тенденціозныхъ произведеніяхъ мы видимъ въ свою очередь немалое присутствіе личнаго элемента. Такъ напримѣръ, вся первая часть обширной поэмы «Несчастные» посвящена личнымъ воспоминаніямъ и имѣетъ чисто автобіографическій интересъ. Описывая дѣтство героя поэмы, поэтъ вспоминаетъ свое собственное дѣтство, а далѣе, въ сопоставленіи столицы съ провинціальнымъ городкомъ, вы чуете въ каждомъ стихѣ вѣяніе впечатлѣній, пережитыхъ самимъ поэтомъ въ своей жизни. Въ самомъ дѣлѣ, кто же, какъ не самъ Некрасовъ, этотъ юноша, только что пріѣхавшій изъ провинціи и восхищавшійся пышностью столицы:

Ликуетъ сердце молодое—
Въ восторгѣ юноша. Постой—
Ты будешь говорить другое,
Родство постигнувъ роковое
Межъ этимъ блескомъ и тобой!
Пройдутъ года въ борьбѣ безумной,
И на красивыя плиты,
Какъ изъ машины винтъ негодный,
Быть можетъ, брошенъ будешь ты!
Счастливъ, кому мила дорога
Стяжанья, кто ей вѣренъ былъ,
И въ жизни ни однажды Бога
Въ пустой груди не ощутилъ.
Но если той тревоги смутной
Не чуждо сердце - пропадешь!
Въ глухую полночь, безпріютный,
По стогнамъ города пойдешь;
Громадный, стройный и суровый,
Заснувъ подъ тучею свинцовой,
Тогда предстанетъ онъ инымъ,
И, опоясанный гробами,
Своими пышными дворцами,
Величьемъ царственнымъ своимъ —
Не будетъ радовать. Невольно
Припомнишь бѣдный городокъ,
Гдѣ солнца каждому довольно, и пр.

Возьмите вы также сатирическую поэму «Судъ»,— сколько вы найдете въ ней стиховъ, вполнѣ субъективныхъ, прямо относящихся къ личности и жизни самого Некрасова. Кого же, какъ не самого себя, оплакиваетъ поэтъ напримѣръ въ слѣдующихъ стихахъ:

И такъ, любуйся: я плѣшивъ,
Я блѣденъ, нервенъ, я чуть живъ,
И таковы почти мы всѣ.
Но ты не думай, что тебя
Хочу разжалобить: любя
Свой трудъ—я вовсе не ропщу.
Я сожалѣнья не ищу;
«Коварный рокъ», «жестокій рокъ»
Не больше былъ ко мнѣ жестокъ,
Какъ и къ любому бѣдняку.
То правда: росъ я не въ шелку,
Подъ бурей долго я стоялъ,
Меня тиранила нужда,
Гнела любовь, гнела вражда;
Мнѣ N* мораль читалъ
И цензоръ слогъ мой исправлялъ,
Но не отъ этихъ общихъ бѣдъ
Я слабъ и хрупокъ, какъ скелетъ.
Ты знаешь я—«любимецъ музъ»,
А невозможно разсказать,
Во что обходится союзъ
Съ иною музой; благодать
Тому, чья муза не бойка:
Горитъ онъ рѣдко и слегка;
Но горе, ежели она
Славолюбива и страстна.
Съ желѣзной грудью надо быть,
Чтобъ этимъ ласкамъ отвѣчать,
Объятья эти выносить,
Кипѣть, горѣть—и не сгорать.
И вновь горѣть—и снова стыть.
Довольно! развѣ досказать,
Удобный случай благо есть,
Что я когда начну писать—
Перестаю и ѣсть, и спать...

Здѣсь вы такимъ образомъ видите еще одно откровеніе тайны творчества Некрасова и можете судить на сколько характеръ этого творчества подходитъ, къ разсудочно-холодному и дидактическому. Обратите наконецъ вниманіе еще на одно свойство поэзіи Некрасова,—свойство, обличающее прямо поэта - лирика, а никакъ не дидактика: это именно готовность каждую минуту, по волѣ фантазіи переходить отъ одного предмета къ другому, совершенно разнородному. Отъ поэта холоднаго, разсудочнаго творчества естественно было бы ожидать, что если онъ задался какой-нибудь темой, то онъ одну только эту тему и разовьетъ передъ вами, исчерпаетъ ее систематически всю до малѣйшихъ тонкостей, ничего не убавитъ, но ничего и не прибавитъ. Совсѣмъ не то вы видите у Некрасова: начавши читать иное стихотвореніе, вы не можете опредѣлить, что́ найдете въ серединѣ его и чѣмъ оно будетъ закончено, потому что, оставаясь вѣрнымъ лишь своему преобладающему настроенію, поэтъ, свободно и нисколько не стѣсняясь условіями цѣлостности произведенія, переходитъ отъ одного предмета къ другому, не имѣющему ничего общаго съ первымъ. Возьмите для примѣра хотя бы его стихотвореніе «О погодѣ». Чего вы только не найдете въ трехъ главахъ этой элегіи? Тутъ передъ вами и убогія похороны горемыки-чиновника, и замѣчанія сторожа о литераторскихъ могилахъ, и картина уличной давки при переходѣ черезъ долину изнеченныхъ дождемъ войскъ, и разговоръ съ разсыльнымъ Минаемъ о литературныхъ преданіяхъ, и трогательная картина проводовъ рекрутъ, осыпаемыхъ снѣгомъ, и разсужденія о томъ, что выноситъ въ столичной сутолокѣ бѣдный промышленный людъ. Однимъ словомъ, тутъ такъ много набросано самыхъ разнородныхъ сценъ и чертъ жизни, что глаза разбѣгаются. На какую же такую предвзятую тему написано это стихотвореніе и какое можете вынести вы изъ него поученіе? Неужели же на ту мел-

ко обличительную тему, что не слѣдуетъ допускать бѣшеную ѣзду на рысакахъ по городу, способную доходить до такого кощунства, чтобы сбивать гробы съ дрогъ, или же, еще того лучше, съ цѣлью внушенія подлежащему начальству, какъ оно дурно распоряжается, допуская существованіе кладбищъ на такихъ низкихъ, болотистыхъ мѣстахъ, что могилы чуть не до верху заливаются водой? Но тогда причемъ же парадируетъ здѣсь Минай съ корректурами и все прочее? Въ томъ и дѣло, что стихотвореніе это чуждо какой бы то ни было предвзятой поучительной темы. Общій смыслъ его только тогда станетъ для васъ ясенъ, если вы взглянете на него, какъ на чисто субъективно-лирическое, написанное съ единственной цѣлью выразить въ немъ всю ту гнетущую хандру, которую способна навѣять на мыслящаго человѣка картина столичной жизни въ мрачный, ненастный осенній день.

Злость беретъ, сокрушаетъ хандра,
Такъ и просятся слезы изъ глазъ—

Вотъ единственная тема стихотворенія, если только можно назвать это темой, а затѣмъ поэту все равно, какіе предметы ни приводить въ своемъ стихотвореніи, лишь бы они гармонировали съ его хандрой, были бы именно тѣми самыми, которые способны еще болѣе омрачить сердце въ каждомъ, мало-мальски не зачерствѣломъ человѣкѣ, подъ сумракомъ осенняго неба, дождя и грязи. «И безъ того тошно смотрѣть на бѣлый свѣтъ, говоритъ намъ это стихотвореніе:— а тутъ еще куда ни обернешься, вездѣ какая нибудь мерзость, кто нибудь кого нибудь бьетъ, чьи нибудь льются слезы!» У васъ у самихъ при чтеніи стихотворенія начинаетъ разрываться сердце на части и слезы нависаютъ на глаза, а васъ стараются увѣрить, что передъ вами холодный дидактикъ распинается на какую-то заданную тему.

Вообще нужно замѣтить, что ни объ одномъ писателѣ при жизни его не составилось столько односторонникъ и предразсудочныхъ взглядовъ, какъ о Некрасовѣ. Брали какой-нибудь одинъ изъ элементовъ его поэзіи, да и то не въ цѣломъ его видѣ, а часть элемента, и по этой части судили обо всей его дѣятельности. Такъ напримѣръ, конечно въ массѣ его произведеній вы найдете нѣсколько и такихъ, которыя написаны были не вслѣдствіе истиннаго и непосредственнаго поэтическаго вдохновенія, а съ предвзятыми тенденціозными цѣлями: таковы напримѣръ хотя бы разные сатирическіе куплеты, напечатанные въ «Свистокѣ» и другихъ изданіяхъ, но эти куплеты составляютъ такое незначительное меньшинство сравнительно со всѣмъ прочимъ, написаннымъ Некрасовымъ, что было бы въ высшей степени несправедливо по этимъ пьесамъ судить обо всей дѣятельности поэта. А между тѣмъ до сихъ поръ въ значительной массѣ публики сохраняется о Некрасовѣ мнѣніе, какъ о сатирикѣ-обличителѣ преимущественно, какъ о чемъ то вродѣ русскаго Ювенала. Я не отрицаю, чтобы въ поэзіи Некрасова не было сатирическаго элемента. Въ значительной дозѣ входитъ онъ въ массу произведеній не въ примѣръ серьезнѣе куплетовъ, вродѣ «Говоруна» или «Переписки Москвы съ Петербургомъ», но все-таки это больше ничего, какъ элементъ, и въ половину не исчерпывающій всей поэзіи Некрасова.

Если-же вы, откинувъ всѣ эти предвзятыя сужденія, будете перебирать подъ рядъ всѣ стихотворенія Некрасова, вы болѣе и болѣе будете убѣждаться, что передъ вами поэтъ-лирикъ въ истинномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова, который въ большинствѣ случаевъ пѣлъ вполнѣ безхитростно, повинуясь лишь своей творческой фантазіи или накипѣвшему чувству, мало заботясь при этомъ о строгой выдержкѣ и систематичности своихъ произведеній или о томъ въ какой степени они выйдутъ содержательны и какое произведутъ на читателя впечатлѣніе. Сегодня напримѣръ его поразили размышленія у парадnаго подъѣзда,—онъ пишетъ сатиру, исполненную гражданской скорби, а завтра онъ способенъ тѣмъ-же перомъ разсказывать вамъ о томъ, какъ «Долго не сдавалась Любушка-сосѣдка». Сегодня, подъ гнетомъ суеты столичной жизни, онъ вамъ передастъ свои скорбныя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ ненастнаго, осенняго дня, а завтра, подъ обаяніемъ сельскаго приволья, онъ васъ подаритъ трогательной буколической идилліей, въ которой разскажетъ о крестьянскихъ дѣтяхъ, о дядѣ Мазаѣ съ зайцами или о своихъ впечатлѣніяхъ, навѣянныхъ ветхой, полуразрушенной сельской церковью. Если большинство произведеній Некрасова однообразно по своему мрачному, тоскливому тону, зато по формѣ и содержанію они представляютъ самое пестрое разнообразіе. Подвести ихъ подъ какія-либо рубрики нѣтъ никакой возможности безъ какихъ-либо крайнихъ натяжекъ. Нѣкоторыя стихотворенія до того разнородны, какъ по содержанію, такъ и по стилю, что можно было бы приписать ихъ различнымъ поэтамъ. Такъ напримѣръ, статочное-ли дѣло, чтобы одному и тому-же писателю могли принадлежать поэма «Русскія женщины» и дума «Сторона наша убогая», элегантныя элегіи въ пушкинскомъ стилѣ, вродѣ «Да, наша жизнь текла мятежно», и рядомъ съ ними пѣсня, вродѣ «У людей-то въ дому—чистота, лѣпота». Можно положительно сказать, что вся русская жизнь отразилась въ стихотвореніяхъ Некрасова въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, начиная съ великосвѣтскихъ салоновъ и клубовъ и кончая чердачкомъ труженика, интеллигентнаго пролетарія или подваломъ мастерового, начиная съ барской усадьбы и кончая полуразвалившейся хатой тетушки Ненилы. При такомъ разнородномъ, всеобъемлющемъ содержаніи своихъ произведеній, Некрасовъ является отнюдь не пѣвцомъ какого-либо сословія, партіи, кружка,—а однимъ изъ тѣхъ собирательныхъ лириковъ, которые отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ думы цѣлаго вѣка своей родной земли, которые выплакиваютъ въ своихъ звукахъ слезы всѣхъ своихъ современниковъ и соплеменниковъ. Въ этомъ заключается причина популярности Некрасова не только среди людей одного съ нимъ лагеря, но и въ массѣ грамотнаго люда, чуждаго какихъ-либо партійныхъ увлеченій.

XVII.

Такое широкое значеніе стихотвореній Некрасова и глубокая связь ихъ съ своимъ вѣкомъ сдѣлаются для

насъ вполнѣ ясными, когда мы разсмотримъ, чѣмъ была лирика наша до Некрасова и чѣмъ стала она подъ его перомъ. Здѣсь я впередъ дѣлаю оговорку для избѣжанія всякихъ недоразумѣній, что я отнюдь не предполагаю дѣлать какія-либо сравненія Некрасова съ его славными предшественниками—Жуковскимъ, Пушкинымъ, Лермонтовымъ — относительно степени геніальности. Я считаю подобную оцѣнку дѣломъ совершенно праздным, излишнимъ и къ тому-же лишеннымъ всякой основательности, которая опиралась-бы на какія-нибудь осязательно-положительныя данныя, а не на одинъ произволъ личнаго вкуса. Что же касается вопроса о большемъ или меньшемъ относительномъ достоинствѣ художественныхъ формъ Некрасова, то и на этомъ вопросѣ я долго останавливаться не намѣренъ. Я впередъ готовъ уступить нашимъ эстетикамъ ихъ приговоры относительно того, что художественныя формы Некрасова менѣе стройны, выработаны и выдержаны, чѣмъ у его предшественниковъ, что стихъ его менѣе легокъ и гладокъ, что языкъ менѣе гибокъ, блестящъ и изященъ. Я съ своей стороны не только допускаю это, но готовъ, не останавливаясь на одномъ критеріи эстетическаго чувства, еще болѣе утвердить эти приговоры, осмысливши ихъ слѣдующаго рода соображеніемъ: въ исторіи мы видимъ нѣсколько весьма вѣскихъ примѣровъ, что изящныя формы, выработанныя до послѣдней степени совершенства на почвѣ даннаго содержанія жизни и мысли, не выдерживаютъ впослѣдствіи, едва только это содержаніе расширится и обогатится. Случается иногда, что ребенокъ начинаетъ учиться говорить мало искаженными, почти цѣльными словами и правильными предложеніями, и потомъ вдругъ, при какомъ-нибудь слишкомъ быстромъ наплывѣ новыхъ впечатлѣній, заговариваетъ такимъ неправильнымъ языкомъ, что самые близкіе люди съ трудомъ его понимаютъ. Тоже бываетъ и со взрослыми людьми: иной человѣкъ, обладающій довольно сноснымъ даромъ слова, вдругъ теряетъ его при какомъ-либо быстромъ скачкѣ въ своемъ развитіи, начинаетъ путаться въ своей рѣчи, не въ силахъ будучи ни подобрать словъ для своей мысли, ни уложить ихъ въ мало-мальски стройную рѣчь. То же наблюдаемъ мы и въ исторіи искусствъ. Изящныя формы и языкъ, выработанные при бѣдномъ содержаніи мысли и жизни, словно не выдерживаютъ наплыва болѣе богатаго содержанія, гнутся, ломаются, и начинается періодъ кажущагося паденія и формъ, и самаго языка, но это въ сущности есть періодъ медленной выработки новыхъ формъ, соотвѣтствующихъ новому содержанію. Этимъ только и можно объяснить, почему многія прекрасныя формы, доведенныя искусствомъ до высшей степени совершенства, представляются навсегда утраченными для человѣчества, каковы напримѣръ формы древняго искусства и преимущественно скульптуры.

Очень возможно, что то же самое произошло и на нашихъ глазахъ, сказавшись между прочимъ и въ лирикѣ Некрасова. Художественныя формы его поэзіи оказываются ниже формъ его предшественниковъ не потому, чтобы онъ не въ силахъ былъ усвоить ихъ въ полномъ ихъ совершенствѣ или принебрегалъ ими, а потому, что сами формы эти, выработанныя во время болѣе бѣднаго содержанія нашей общественной жизни и мысли, оказались недостаточными для нашего времени. Это предположеніе еще въ большей степени побуждаетъ насъ сосредоточить все вниманіе на сравненіи Некрасова съ предшествовавшими его лириками по отношенію къ содержанію. Однимъ словомъ, минуя всякіе эстетическіе вопросы о томъ, кто былъ выше, кто былъ ниже въ художественномъ отношеніи, мы займемся лишь вопросомъ о томъ, какъ различные вѣка отразились въ нашей лирикѣ—дореформенной и по-реформенной.

Помимо несомнѣнной выработки художественныхъ формъ, раздѣляющей непроходимой пропастью звучный, легкій и прозрачный стихъ Пушкина отъ тяжеловѣсныхъ и неуклюжихъ виршей Кантемира и Тредьяковскаго, помимо съ другой стороны перехода отъ ходульности и искусственности ложнаго классицизма на почву искренности и естественности реализма, мы видимъ въ нашей лирикѣ особеннаго рода движеніе, зависящее чисто отъ хода общественнаго развитія нашего общества въ связи съ различными западными вліяніями. Такъ, въ первую половину 18-го столѣтія въ лирикѣ Ломоносова мы замѣчаемъ полное отсутствіе личности. Предметами пѣснопѣній являются исключительно восторги или по поводу величія Божія, выражающагося въ какомъ-нибудь грандіозномъ явленіи природы, или по поводу государственной славы, по случаю какого-нибудь всероссійскаго торжества. Личность является такимъ образомъ непрестанно тонущей въ лучахъ чьей-нибудь славы, но иначе какъ колѣнопреклоненной, повергающейся ницъ и славословящей. Если она и вспоминаетъ порой о самой себѣ, то ради только того, чтобы выразить удивленіе по поводу своего жалкаго ничтожества и бренности передъ какимъ-нибудь величіемъ и плюнуть при этомъ лишній разъ на себя. Не только о заявленіи правъ на свое личное человѣческое достоинство или на самостоятельное существованіе тутъ не могло быть и рѣчи, но мы видимъ, что личность не дерзала посвящать читателей во внутренній міръ своихъ частныхъ интересовъ, радостей или страданій. Она словно старалась увѣрять всѣхъ и вся, что она совсѣмъ не живетъ сама по себѣ или для себя, и способна приходить въ восторгъ или заливаться слезами единственно лишь сообразно тому, усиливается или ослабляется блескъ славы отечества.

Подобный характеръ лирики соотвѣтствовалъ вполнѣ общественнымъ условіямъ того времени. Это былъ вѣкъ полнаго развитія крѣпостного строя, когда не одни крестьяне были закрѣпощены помѣщикамъ, но и всѣ классы общества, самые привилегированные, были въ свою очередь закрѣпощены государству, которое требовало, чтобы вся жизнь ихъ была посвящена ему, строго опредѣляло весь ихъ жизненный путь и нещадно карало за малѣйшій самостоятельный шагъ противъ обычной рутины. Въ это время немыслимое было дѣло существованіе поэта, который былъ бы только поэтомъ, не будучи въ то же время вѣрнымъ и неутомимымъ служакой до сѣдыхъ волосъ. Исполняя же долгъ государственной службы въ канцеляріи или на плацъ-парадѣ, онъ и въ кабинетѣ своемъ, въ бесѣдѣ съ музами, долженъ былъ не забывать того же самаго

долга, потому что государство управляло самыми его досугами и требовало, чтобы и они были посвящены его цѣлямъ. Ассамблеи и куртаги, балы, маскарады, народныя гулянья и спектакли,—все это возникало не само по себѣ, по частной иниціативѣ, а предписывалось, установлялось подъ угрозой штрафовъ и опалы за отклоненіе отъ предписанія и посвященіе своихъ досуговъ какимъ-либо постороннимъ развлеченіямъ, не имѣющимъ прямого отношенія къ государственной пользѣ или славѣ. Къ тому же воспѣваніе какихъ-либо личныхъ чувствъ поэта казалось тѣмъ болѣе неумѣстнымъ, что слушатели и читатели его были преимущественно высокопоставленные, государственные люди, которые могли бы посмотрѣть, какъ на величайшую дерзость, на претензію поэта посвятить ихъ въ интересики своего интимнаго мірка.

Указъ о вольности дворянства былъ первой брешью, нанесенной крѣпостному строю нашего общества. Онъ эманципировалъ отъ прикрѣпленія къ государству личность хотя бы въ средѣ одного дворянскаго сословія. Русскій дворянинъ получилъ право свободно располагать своей особой, посвящая ее государственной службѣ или же ограничиваясь личными интересами. Это не замедлило отозваться между прочимъ и на лирикѣ. Освобожденная личность скромно подняла свою голову и начала заявлять о своемъ существованіи. Вторженіе личности въ лирику произошло не вдругъ, а исподволь, съ постепенностью нѣсколькихъ десятилѣтій. Сначала, въ эпоху Екатерины, когда, несмотря на указъ о вольности дворянства, большинство дворянъ все еще продолжало большую часть своей жизни посвящать государству, и поэты всѣ поголовно состояли на государственной службѣ,—въ лирикѣ все еще продолжало преобладать славословіе. Но рядомъ съ нимъ начали допускаться и выраженія личныхъ чувствъ частной жизни, въ видѣ какого-нибудь сантиментальнаго романса, идилліи, посланія и т. п., причемъ выражаемыя чувства не имѣли еще индивидуально-конкретной окраски. Поэты словно будто не дерзали еще выражать свои собственныя личныя чувства, непосредственно относящіяся къ тому или другому факту ихъ жизни, а обобщали выражаемыя чувства, воспѣвая любовь, дружбу, тягость разлуки или скорбь утраты и т. п.—въ общемъ, отвлеченномъ ихъ видѣ. Такое отвлеченно-безплотное выраженіе чувствъ продолжалось вплоть до Пушкина, который первый придалъ своимъ лирическимъ стихотвореніямъ вполнѣ индивидуально-конкретный характеръ.

По мѣрѣ того какъ личность все болѣе и болѣе вторгалась въ лирику, славословіе отступало на задній планъ и мало-по-малу сходило со сцены, и это обусловливалось не одними только западными вліяніями, въ видѣ разныхъ либеральныхъ идей или увлеченія европейскими литературными школами, а вмѣстѣ съ тѣмъ имѣло глубокую связь съ внутреннимъ ходомъ дѣлъ. Со смертью Екатерины кончилась эпоха военной славы, когда всѣ силы общества и народа были крайне напряжены и сосредоточены во внѣшнихъ походахъ и завоеваніяхъ; 12-й годъ былъ послѣдней славной военной эпопеей, вдохновившей нашихъ отечественныхъ бардовъ. Послѣ него вдохновляться сколько-нибудь искренно на торжественный ладъ было уже положительно нечѣмъ. Пушкинъ заплатилъ правда обильную дань славословію, но, исключая оды «Клеветникамъ Россіи», всѣ его прочія славословія имѣютъ уже чисто ретроспективный характеръ. Онъ славитъ Петра, Екатерину, славитъ все тотъ-же 12-й годъ съ его героями. А за Пушкинымъ слѣдуетъ Лермонтовъ, который посвятилъ славословію всего на все три стихотворенія: «Два великана», «Бородино» и «Споръ». Но и въ этихъ трехъ произведеніяхъ струна славословія звучитъ очень слабо. Такъ, въ «Двухъ великанахъ» западный великанъ въ образѣ Наполеона прославляется нисколько не менѣе «стараго русскаго великана», и стихотвореніе оканчивается апоѳеозомъ трагической судьбы Наполеона. Въ «Бородинѣ» поэтъ заставляетъ славословить стараго ветерана солдата, который начинаетъ свою рѣчь съ того, что бросаетъ тѣнь на настоящее во имя славнаго прошедшаго:

Да, были люди въ наше время,
Богатыри – не вы!..

Въ «Спорѣ» славословіе выражается въ видѣ разговора двухъ кавказскихъ горъ, которыя прославляютъ уже не одни бранные подвиги, а вмѣстѣ съ тѣмъ и лопату, которая

Въ каменную грудь,
Добывая мѣдь и злато,
Врѣжетъ страшный путь

Однимъ словомъ, съ эпохи Лермонтова начинается въ лирикѣ нашей полное господство личнаго элемента Героемъ лирики является уже не государство, не храбрые Россы и всякаго рода звѣздоносцы, а интеллигентный человѣкъ средней руки, съ его личными радостями и печалями, не только не имѣющими ничего общаго съ оффиціальнымъ міромъ, но идущими нерѣдко въ разрѣзъ съ нимъ.

Но что-же внесла освободившаяся отъ государственныхъ узъ личность въ лирику, какими новыми звуками она насъ подарила и какія тайны повѣдала она намъ?—Увы! она раздѣлила общую судьбу всѣхъ тѣхъ освобожденныхъ, которые выходятъ на свободу въ полной нагогѣ и безпріютности, не зная, что съ собой дѣлать и куда дѣться. Не оказалось у нея за душой ни одного мѣднаго пятака: никакихъ завѣтныхъ (своихъ, внѣгосударственныхъ) традицій сзади, никакихъ сознательныхъ, опредѣленныхъ стремленій впереди,—наивно-дѣтское міросозерцаніе при полномъ отсутствіи какихъ либо знаній и непривычка къ мало-мальски самостоятельному шагу въ жизни безъ постороннихъ помочей. Къ тому-же предоставленная ей свобода была чисто отрицательнаго свойства; ее только всего и освободили, что отъ обязанности непремѣнно, во что-бы то ни стало, служить (хотя все-таки продолжали коситься на нее, если она слишкомъ пользовалась этой свободой), и предоставили ей скромный, узкій кругъ частной жизни, въ видѣ свѣтскихъ развлеченій, созерцанія красотъ природы и наслажденій дарами Вакха, Эрота и Гименея въ мирномъ кругу друзей. Очень понятно, что при такихъ условіяхъ жизни она не могла наполнить лирику особенно разнообразными мотивами и богатымъ содержаніемъ. И дѣйствительно, бѣдность и содержанія, и по-

тивовъ дореформенной лирики поразительна. Всю ее можно подвести подъ слѣдующія рубрики: 1) самыя элементарныя и рутинныя разсужденія о превратности судьбы и бренности человѣческой жизни, 2) воспѣваніе красотъ природы, преимущественно временъ года съ ихъ обычными смѣнами, 3) выраженіе разныхъ любовныхъ экстазовъ при встрѣчахъ, разлукахъ, измѣнахъ и утратахъ, 4) изъявленіе вакхическихъ и эротическихъ восторговъ, и наконецъ 5) какъ естественный результатъ крайней безсодержательности жизни—вѣчныя жалобы на скуку, тоску и душевную пустоту, которую нечѣмъ наполнить. Минуя всѣ прочія рубрики, мотивы которыхъ можно встрѣтить между прочими въ лирикѣ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, можно сказать, что только въ пятой рубрикѣ дореформенная интеллигентная личность выразила нѣчто вродѣ дѣйствительной своей завѣтной тайны:

Цѣли нѣтъ передо мной,
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоской
Однозвучной жизни шумъ.

Или:

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты,
Остались мнѣ одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

И такъ, сердечная пустота, праздность ума, отсутствіе всякой разумной цѣли и томительная тоска однообразной жизни—таково было единственное горькое сознаніе, которое вынесла интеллигентная личность изъ всѣхъ своихъ встрѣчъ, разлукъ, утратъ, вакхическихъ восторговъ и созерцаній, какъ зима смѣняется весною, а весна—лѣтомъ. Впрочемъ и до этого трезваго сознанія интеллигентный человѣкъ дошелъ не вдругъ, а съ постепенностью десятилѣтій. По крайней мѣрѣ до 30-хъ годовъ существовало лишь одно темное, неопредѣленное чувство, выражавшееся въ сантиментальной, романической, безпредметной меланхоліи эпохи Карамзина и Жуковскаго. Только подъ перомъ Пушкина промелькнуло дѣйствительно нѣчто вродѣ опредѣленнаго сознанія—въ вышеприведенныхъ стихотвореніяхъ. Но и въ вѣкъ Пушкина это сознаніе не было слишкомъ назойливо и далеко еще не составляло преобладающаго мотива лирики. Вѣкъ Пушкина былъ вѣкомъ легкомысленнымъ, веселымъ, жуировавшимъ напропалую на послѣднія деньги. Это былъ вѣкъ послѣднихъ яркихъ лучей заката старыхъ порядковъ жизни, послѣ чего старые порядки начали меркнуть и выказывать всю свою дрянность. Крестьянинъ въ то время не былъ еще разоренъ, и потому помѣщикъ, жившій на его счетъ, былъ богатъ, жизнь была дешева; страна пользовалась такимъ политическимъ могуществомъ, при которомъ она могла предписывать Европѣ законы. Преданія послѣдней бранной славы были слишкомъ еще свѣжи и наполняли сердца патріотической гордостью. Люди жили еще большей частью внѣ себя, если можно такъ выразиться, мало углубляясь въ свой внутренній, душевный міръ и рѣдко отдавая себѣ отчетъ относительно цѣлей и содержанія жизни. Поэтому и лирика Пушкина въ общемъ носитъ характеръ спокойный и бодрый, порой торжественно гордый, порой веселый и эротически-игривый или легкомысленно-безпечный, и только изрѣдка проскальзываетъ въ ней та тоскливая нота, которую мы обозначили выше, представляя собой словно моменты тревожнаго отрезвленія отъ непрестанной оргіи.

Совсѣмъ не то мы видимъ въ эпоху Лермонтова. Въ то время какъ славословіе совсѣмъ почти исчезаетъ изъ лирики, сознаніе душевной пустоты и безцѣльности жизни становится на первый планъ, дѣлается преобладающимъ мотивомъ, принимаетъ острый характеръ. Интеллигентный человѣкъ мечется въ гнетущей тоскѣ и нигдѣ не можетъ найти себѣ мѣста, ничѣмъ не можетъ утѣшиться. Всѣ вышеупомянутыя пять рубрикъ лирики смѣшиваются въ это время въ одну: идетъ-ли дѣло о красотахъ природы, о любви, о свѣтскихъ развлеченіяхъ или вакхическихъ пиршествахъ, повсюду слышатся однѣ и тѣ-же скорбныя ноты пресыщенія и отчаянія.

Но таково въ то-же время все еще продолжалось и умственное, и нравственное убожество интеллигентнаго человѣка, что, при всей его отчаянной скорби, въ немъ не пробуждалось еще ни тѣни сознанія основныхъ причинъ этой скорби, ни стремленій искать изъ нея какого-либо разумнаго выхода. Совѣсть его въ то-же время безпробудно спала: милліоны народа стонали подъ игомъ этого самаго интеллигентнаго человѣка, а онъ не только не замѣчалъ этихъ стоновъ, но продолжалъ легкомысленно жуировать, стараясь заглушить свое отчаянье въ забвеніи всякаго рода чувственныхъ излишествъ и истрачивая на эти излишества послѣднія крохи отцовскихъ наслѣдствъ. Пресыкаясь въ ничтожествѣ, онъ не только не стыдился этого ничтожества, но рисовался имъ, приравнивая свое разочарованіе и пресыщеніе къ величавымъ міровымъ стонамъ байроновскаго сплина.

XVIII.

Вѣкъ Некрасова былъ вѣкомъ рѣшительнаго кризиса, когда всѣ старые порядки оказались вполнѣ несостоятельными и начали быстро разрушаться. Интеллигентная личность въ это время окончательно освободилась отъ всѣхъ своихъ романтическихъ иллюзій, и ей сразу открылась самая печальная дѣйствительность. Она увидѣла себя на краю мрачной пропасти. Умственные и нравственные горизонты ея успѣли къ этому времени значительно расшириться, жизнь и наука даровали ей новые и общественные, и личные идеалы. Идеалы эти пробудили ея дремавшую совѣсть. Она исполнилась горячаго стремленія выйти изъ своего постыднаго положенія на новый путь добра и славы, но въ то-же время сознала, что надъ ней продолжаетъ тятотѣть печальное прошлое, парализуя всѣ ея благія начинанія и обращая въ никуда негодныя плевелы разсѣваемыя ею сѣмена прогресса.

Тотъ періодъ рефлексій, мучительнаго раздвоенія какъ слова и дѣла, такъ и самой мысли, который характеризуетъ собой 40-е и 50-е года, обусловливается не однимъ только переходнымъ мыслительнымъ процессомъ, но глубоко коренится и въ самыхъ соці-

альныхъ отношеніяхъ. Онъ прямо зависѣлъ отъ того, что интеллигентная личность, едва пробудилась ея совѣсть, сразу почувствовала себя въ одно и то же время и жертвой, и палачемъ, исполнилась страстнаго желанія сліянія съ народомъ во имя общаго блага, и въ то же время сознавала, что между нею и народомъ продолжаетъ зіять непроходимая бездна, выражала скорбные и горькіе протесты противъ постыднаго ничтожества своего соціальнаго положенія, разражалась отважными призывами выйти изъ него, и въ то же время чувствовала себя немощной, дряблой, малодушно-трусливой и неумѣлой сдѣлать хоть одинъ отважный и самостоятельный шагъ къ выходу.

Я не знаю, долго-ли продлился бы этотъ рефлективный періодъ и чѣмъ бы онъ разрѣшился, предоставленный самому себѣ, еслибы въ среду интеллигенціи не вторгнулся новый элементъ, до сей поры не парадировавшій на сценѣ нашей исторіи, — въ лицѣ разночинца. Разночинецъ явился примирителемъ всѣхъ противорѣчій, мостомъ, перекинувшимся черезъ пропасть, раздѣлявшую интеллигенцію отъ всѣхъ ея завѣтныхъ стремленій. Для него не существовало этой пропасти, потому что, не говоря уже о томъ, что по соціальному положенію онъ стоялъ ближе къ народу и лучше зналъ его, но и дѣлилъ съ нимъ одну общую участь, такъ что для него вопросъ о сближеніяхъ и сліяніяхъ не былъ, собственно говоря, вопросомъ. Новые идеалы пришлись ему совершенно по плечу, точно нарочно для него были сшиты, нигдѣ его не тѣснили, не были ни узки, ни широки, такъ какъ ему не пришлось наслѣдовать отъ предковъ такой структуры, которая бы шла совершенно въ разрѣзъ съ этими идеалами. Въ то же время онъ оказывался болѣе состоятельнымъ для борьбы въ видахъ осуществленія этихъ идеаловъ, такъ какъ былъ закаленъ борьбой за личное существованіе и явился на полѣ брани опытнымъ, обстрѣленнымъ борцомъ, успѣвшимъ нанюхаться всякаго пороха, и наконецъ каждый новый шагъ, завоеванный въ этой борьбѣ, былъ для него не великодушнымъ лишеніемъ, а, напротивъ,—прямымъ пріобрѣтеніемъ, между тѣмъ какъ при пораженіи онъ ничего не терялъ, такъ какъ ему положительно нечего было терять.

Войдя въ среду интеллигенціи, разночинецъ естественно долженъ былъ обогатить лирику совершенно новыми, до той поры неслыханными мотивами. Во-первыхъ, стоя ближе къ народу, присматриваясь и прислушиваясь къ его страдѣ, онъ долженъ былъ внести въ лирику мотивы его скорбной жизни. Затѣмъ онъ долженъ былъ обогатить лирику мотивами своей собственной борьбы за существованіе, звуками скудныхъ радостей и обильнаго горя своей жизни, наконецъ то рефлективно-унылое отношеніе къ новымъ идеаламъ, на которомъ остановилась интеллигенція 50-хъ годовъ, онъ долженъ былъ замѣнить звуками восторженнаго энтузіазма людей, для которыхъ не существуетъ никакихъ колебаній и сомнѣній и которые каждую минуту готовы животъ свой положить за эти идеалы.

XIX.

Широкое и многостороннее значеніе музы Некрасова, какъ выразителя всѣхъ мотивовъ своего вѣка, въ томъ именно и заключается, что онъ отразилъ въ своихъ стихотвореніяхъ всѣ тѣ элементы, броженіе которыхъ и составляетъ сущность современнаго намъ кризиса. Напрасно стали бы вы подводить его подъ одинъ какой нибудь опредѣленный, исключительный типъ. Какъ лирикъ переходной эпохи, отразившій въ своихъ стихахъ самые разнохарактерные мотивы своего времени, онъ далеко не представляетъ той цѣльности и однообразности, какія замѣчаемъ мы въ поэтахъ, выразителяхъ духа и мотивовъ того тѣснаго интеллигентнаго слоя, къ которому они принадлежатъ, или съ другой стороны чѣмъ бы могъ отличаться поэтъ, вышедшій прямо изъ народа и мало соприкасавшійся съ высшими слоями общества, вродѣ Кольцова. Въ лирикѣ Некрасова вы постоянно замѣчаете присутствіе двухъ человѣкъ, которые при всемъ своемъ тѣсномъ соприкосновеніи другъ съ другомъ, однакоже представляютъ значительную разнородность и порой даже чуть-что не противорѣчіе. Такъ, мы видимъ, что съ одной стороны лирика Некрасова, повинуясь духу времени, выражаетъ собой то пробужденіе совѣсти въ интеллигентномъ человѣкѣ, которое послѣдовало, какъ было сказано выше, въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ, тѣ отрицанія обветшалыхъ формъ жизни во имя новыхъ идеаловъ, горячіе порывы къ этимъ новымъ идеаламъ, протесты во имя ихъ, при горькомъ сознаніи надломленности, дряблости и безсилія сдѣлать хоть одинъ шагъ къ осуществленію этихъ идеаловъ. Но еслибы лирика Некрасова ограничивалась этими рефлективными мотивами умственной, нравственной и соціальной раздвоенности, онъ далеко не имѣлъ бы того широкаго значенія, какое пріобрѣлъ. Онъ только и былъ бы что лирикомъ рефлективнаго періода 40-хъ и 50-хъ годовъ. Правда, что и въ этомъ отношеніи слово его было бы новымъ, и онъ обогатилъ бы лирику мотивами и звуками, о которыхъ и помину не было въ вѣкъ Пушкина и Лермонтова, но все таки пѣсенка его была бы давно уже спѣтой, мы относились бы къ ней, какъ къ явленію историческому, подобно тому какъ въ беллетристикѣ мы относимся къ типамъ Рудина или Обломова, и ждали бы новыхъ пѣвцовъ, которые выразили бы мотивы тѣхъ новыхъ элементовъ жизни, которые успѣли войти въ жизнь нашу послѣ 50-хъ годовъ.

Но поэзія Некрасова не исчерпывается одними рефлективными мотивами 40-хъ и 50-хъ годовъ. Взлелѣявши въ нѣдрахъ помѣщичьей среды, судьба словно нарочно выкинула его потомъ изъ нея и заставила его протянуть лямку разночинца въ самомъ тяжеломъ ея видѣ — борьбы съ голодомъ изъ-за черствaго куска хлѣба, и изъ его лиры полились совершенно особенные, невѣдомые звуки, съ которыми ничего не имѣетъ общаго ни лирика дореформеннаго періода, ни рефлективная лирика 40-хъ и 50-хъ годовъ. Эти-то звуки и довершили значеніе Некрасова, какъ всеобъемлющаго пѣвца своего народа и вѣка.

XX.

По порядку элементовъ, обратимъ сначала вниманіе на тѣ мотивы его лирики, въ которыхъ выражается рефлективный духъ 40-хъ и 50-хъ годовъ. Здѣсь мы видимъ въ лицѣ Некрасова мрачнаго пессимиста, и муза его вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ эпитетамъ, которые онъ самъ къ ней приложилъ; она является дѣйствительно музой мести и печали. Безпощадно бичуя всевозможные общественные пороки, гнѣздящіеся на почвѣ старыхъ порядковъ, онъ ни въ чемъ въ то же время не находитъ утѣшенія, потому что не видитъ никакого выхода изъ мрачнаго положенія вещей. Печально глядитъ онъ на свое поколѣніе и, замѣчая въ немъ полный разладъ словъ и дѣлъ, одни радужныя мечты, при полной дряблости и безсиліи къ осуществленію ихъ, онъ восклицаетъ:

Покорись—о ничтожное племя!
Неизбѣжной и горькой судьбѣ:
Захватило васъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ;
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно;
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано.

Подобный мотивъ часто мелькаетъ во многихъ его стихотвореніяхъ. Въ поэмѣ «Саша» онъ развивается въ цѣлый типъ, вродѣ Рудина, и въ этомъ типѣ болѣе всего карается авторомъ именно все та же раздвоенность его поколѣнія, заключающаяся въ томъ, что

Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно, и сродно,
Только дающая силу и власть
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
Любитъ онъ сильно, сильнѣй ненавидитъ,
А доведись—комара не обидитъ!
Да говорятъ, что ему и любовь
Голову больше волнуетъ—не кровь!

Эти качества своего поколѣнія поэтъ примѣняетъ нерѣдко и къ себѣ самому, говоря:

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу, день за днемъ безпощадно губя;
Что я, силы своей не пытавъ ни на чемъ,
Осудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ,
И, лѣниво твердя: я ничтоженъ и слабъ!
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;
Что, дожившій кой-какъ до тридцатой весны,
Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны,
Чтобъ глупцы у моихъ пресмыкался ногъ,
Да и умникъ подъ часъ позавидовать могъ!
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,
Что любить я хочу, что люблю я весь міръ,
А брожу дикаремъ—безпріютенъ и сиръ,
И что злоба во мнѣ и сильна, и дика,
А до дѣла дойдешь—замираетъ рука!

Подобныя качества поэтъ прямо приписываетъ наслѣдственности и вліянію среды:

И прежде, чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,
Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ
Въ мою младенческую грудь...

Или въ другомъ мѣстѣ:

Но все, что жизнь мою опутавъ съ первыхъ лѣтъ,
Проклятьемъ на меня легло неотразимымъ,
Всему начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!..

Съ такой же скептической ироніей относится онъ и къ своей музѣ. Сначала, по его словамъ, куда ретивъ былъ его Пегасъ:

Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ...

Но не долго продолжалась эта смѣлость:

И что-жъ?.. мои послышавъ звуки,
Сочли ихъ черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки,
Иль поплатиться головой,

а поэту было всего двадцать лѣтъ тогда:

Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи,
И ласково любовь сулила
Мнѣ блага лучшія свои—
Душа пугливо отступила...

Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, не часты были его встрѣчи съ музой:

Украдкой, бѣдная, придетъ,
И шепчетъ пламенныя рѣчи,
И пѣсни гордыя поетъ,
Зоветъ то въ города, то въ степи,
Завѣтнымъ умысломъ полна,
Но загремятъ внезапно цѣпи
И мигомъ скроется она...
Не вовсе я ея чуждался,
Но какъ боялся! какъ боялся!
Когда мой ближній утопалъ
Въ волнахъ существеннаго горя—
То громъ небесъ, то ярость моря
Я благодушно воспѣвалъ.
Бичуя маленькихъ воришекъ
Для удовольствія большихъ,
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ
И похвалой гордился ихъ.
Подъ игомъ лѣтъ душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И муза вовсе отвернулась,
Презрѣнья гордаго полна.

Это рефлективно-скептическое отношеніе къ жизни доходитъ порой до такихъ предѣловъ, что та благодушно-простая, страстная любовь къ народу и вѣра въ его силы, которая проникаетъ многія стихотворенія Некрасова, словно будто покидаетъ его, и онъ восклицаетъ въ сокрушеніи:

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Не услаждаютъ очей.
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное
Только досаду родитъ..
Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,
Гдѣ-же твой идолъ стоитъ?

Остается одна лишь природа, и лишь на ея лонѣ ищетъ отдыха и утѣшенія измученное, истерзанное сердце поэта:

Мать природа! Иду къ тебѣ снова
Со всегдашнимъ желаньемъ моимъ—
Заглуши эту музыку злобы!
Чтобъ душа ощущала покой,
И прозрѣвшее око могло-бы
Насладиться твоей красотой!!..

Но особенное преимущество отдаетъ поэтъ природѣ своей родины. Она производила на него наиболѣе исцѣляющее и умиротворяющее вліяніе, и во многихъ стихотвореніяхъ онъ относится къ ней съ особенно-страстной любовью и нѣжностью. Такъ, въ стихотвореніи «Тишина» онъ прямо выражаетъ свое пристрастіе къ родной природѣ передъ иноземной:

Все рожь кругомъ, какъ степь живая,
Ни замковъ, ни морей ни горъ...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего,
Искалъ я примиренья съ горемъ
И не нашелъ я ничего!
Я самъ не свой: хандрю, нѣмѣю,
Не одолѣвъ свою судьбу,
Я тамъ погнался передъ нею,
Но ты дохнула—и съумѣю
Быть можетъ выдержать борьбу!
Я твой. Пусть ропотъ укоризны
За мною по пятамъ бѣжалъ,
Не небесамъ чужой отчизны—
Я пѣсни родинѣ слагалъ!

Припомнимъ также начало поэмы «Саша», гдѣ отношеніе поэта къ родной природѣ выражается въ еще болѣе страстномъ порывѣ, исполненномъ любви и сокрушенія:

Словно какъ мать надъ сыновней могилой,
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой,
Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ—
Долгая пѣсня за сердце беретъ;
Лѣсъ ли начнется - сосна да осина...
Не весела ты, родная картина!
Что же молчитъ мой озлобленный умъ?..
Сладокъ мнѣ лѣса знакомаго шумъ;
Любо мнѣ видѣть знакомую ниву—
Дамъ же я волю благому порыву
И на родимую землю мою
Всѣ накипѣвшія слезы пролью!
Злобою сердце питаться устало –
Много въ ней правды да радости мало;
Спящихъ въ могилѣ виновныхъ тѣней
Не разбужу я враждою моей.
Родина мать! Я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился.
Сколько-бъ на нивахъ безплодныхъ твоихъ
Даромъ не сгинуло силъ молодыхъ,
Сколько-бы ранней тоски и печали
Вѣчныя бури твои ни нагнали
На боязливую душу мою—
Я побѣжденъ предъ тобою стою!
Силу сломили могучія страсти,
Гордую волю погнули напасти,
И про убитую музу мою
Я похоронныя пѣсни пою.
Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно—
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!
Жизнью измятъ я... и скоро я сгину...
Мать не враждебна и къ блудному сыну:
Только-что ей я объятья раскрылъ—
Хлынули слезы, прибавилось силъ.
Чудо свершилось: убогая нива
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива;
Ласковый машетъ вершинами лѣсъ,
Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Всѣ вышеприведенные мотивы вполнѣ приравниваютъ Некрасова къ его сверстникамъ, вродѣ поэта Огарева или въ беллетристикѣ—Тургенева: также раздвоенность, тотъ же мрачный и безотрадный пессимизмъ, наконецъ и та же страстная любовь къ сельской природѣ, русскому ландшафту, сказавшаяся у Некрасова въ вышеприведенныхъ лирическихъ порывахъ, а у беллетристовъ 40-хъ годовъ въ страсти къ изображенію умиротворяющихъ сельскихъ пейзажей, которыхъ между прочимъ не мало вы найдете и въ стихотвореніяхъ Некрасова.

XXI.

Но мы сказали уже выше, что одними мотивами 40—50 годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова. Рядомъ съ ними вы найдете въ ней массу иныхъ звуковъ, остающихся совершенно чуждыми и непонятными для его сверстниковъ, но дѣлающихъ поэзію его особенно дорогой для людей младшихъ поколѣній. Въ этихъ звукахъ вы не увидите и слѣда того мрачнаго и унылаго пессимизма, какимъ преисполнены стихотворенія его, проникнутыя мотивами 40-хъ и 50-хъ годовъ. Здѣсь, напротивъ того, Некрасовъ является горячимъ энтузіастомъ, исполненнымъ ободряющей вѣры въ могучія силы народа и въ неизбѣжность побѣды свѣта надъ тьмой и правды надъ кривдой. Въ порывѣ подобнаго энтузіазма онъ восклицаетъ въ стихотвореніи «Школьникъ»:

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа
Столько славныхъ—то и знай—
Столько добрыхъ, благородныхъ,
Сильныхъ любящей душой,
Посреди тупыхъ, холодныхъ
И напыщенныхъ собой!

Припомните также въ «Пѣснѣ Еремушки» хотя-бы слѣдующіе стихи, проникнутые не менѣе искреннимъ и горячимъ энтузіазмомъ:

Въ пошлой лѣни усыпляющій
Пошлыхъ жизни мудрецовъ,
Будь онъ проклятъ, растлѣвающій,
Пошлый опытъ—умъ глупцовъ!
Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.
Будь счастливѣй! Силу новую
Благородныхъ юныхъ дней
Въ форму старую, готовую
Необдуманно не лей!
Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ,
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленіямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою,—
Возлелѣй ихъ, сохрани!
Братствомъ, истиной, свободою
Называются они.
Возлюби ихъ, на служеніе
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.
Будешь рѣдкое явленіе,
Чудо родины своей;
Не холопское терпѣніе,
Принесешь ты въ жертву ей—
Необузданную, дикую
Къ лютой подлости вражду
И довѣренность великую
Къ безкорыстному труду.
Съ этой ненавистью правою,
Съ этой вѣрою святой
Надъ неправдою лукавою
Грянешь Божіей грозой .
И тогда-то...

Подобныхъ мотивовъ вы не встрѣтите ни въ легковѣсно-свѣтской лирикѣ дореформеннаго періода, ни въ рефлективной поэзіи 40-хъ— 50-хъ годовъ. Это—мотивы новаго, выступившаго на сцену человѣка въ лицѣ разночинца, и въ вышеприведенныхъ стихахъ

выражается вся, если можно такъ выразиться, святая святыхъ этого новаго человѣка, всѣ его отношенія къ окружающей жизни и завѣтныя упованія...

Конечно одними бравурными мотивами необузданной, дикой вражды къ лютой подлости и жажды во имя безкорыстнаго труда и святой вѣры грянуть божьей грозой надъ лукавой неправдой, не исчерпывается еще все, чѣмъ живетъ этотъ новый человѣкъ. Въ жизни его вы найдете еще болѣе горя, а подъ часъ и отчаянья, сравнительно съ интеллигентными людьми 40-хъ—50-хъ годовъ. Но это горе носитъ совершенно иной характеръ и обусловливается другими причинами. Тамъ вы видите тяжкіе укоры проснувшейся совѣсти, при горькомъ сознаніи безсилія возстать духомъ и загладить вины отцовъ и свои собственныя. Здѣсь, напротивъ того, все зло лежитъ не внутри человѣка, а внѣ его, въ гнетущихъ обстоятельствахъ, борьбу съ которыми не выдерживаютъ силы, какъ-бы онѣ ни были могучи. Интеллигентный человѣкъ 40-хъ—50 хъ годовъ, со своей проснувшейся совѣстью, при всѣхъ своихъ гамлетовскихъ рефлексіяхъ, все-таки оставался тѣмъ-же изнѣженнымъ и праздднымъ бариномъ и продолжалъ пользоваться всѣми благами жизни; разночинецъ-же, подъ гнетомъ борьбы съ нищетой, обыкновенно запиваетъ. Онъ опускается въ это время повидимому до послѣдней степени самоуничиженія:

Запуганный, задавленный,
Съ поникшей головой,
Идешь какъ обезславленный,
Гнушаясь самъ собой,
Сгораешь злобой тайною...
На скудный твой нарядъ
Съ насмѣшкой не случайною
Всѣ, кажется, глядятъ.

Но при всемъ этомъ самоуничиженіи, внушаемомъ жалкимъ внѣшнимъ видомъ его, онъ все-таки далекъ въ душѣ своей отъ какихъ-либо гамлетовскихъ самобичеваній и того растлѣвающаго пессимизма, который, внушая, что не стоитъ ни за что приниматься, такъ какъ ни что ни къ чему не приведетъ, незамѣтнымъ образомъ оправдываетъ и узаконяетъ привычную лѣнь и апатію. Напротивъ того, на самой послѣдней точкѣ паденія въ немъ не перестаютъ кипѣть силы, жаждущія благой дѣятельности: едва только протрезвляется онъ,

И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.

Онъ сознаетъ въ то же время, что если онъ не въ силахъ достигнуть ни того, ни другого, то виной этого не собственная внутренняя дрянность, а слишкомъ ужъ безвыходное внѣшнее положеніе, нищета, которая заставляетъ его во что-бы-то ни стало гнуть спину надъ каторжнымъ, забивающимъ трудомъ, не давая ему возможности выбиться и приняться за любимое дѣло:

Ахъ! еслибъ часть ничтожную!
Старушку полечить,
Сестрамъ-бы нероскотную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелаго,
Гнетущаго труда—
Быть можетъ, буйну голову
Сносилъ-бы я тогда.
Покинувъ путь губительный,
Нашелъ-бы путь иной,
И въ трудъ иной—свѣжительный—
Поникъ-бы всей душой.

Вы видите, что на самой послѣдней ступени безвыходнаго отчаянья въ немъ продолжаетъ жить все тотъ-же разночинецъ съ его энтузіазмомъ святого, свѣжительнаго труда на общую пользу. Замѣтьте въ то же время глубоко и вѣрно подмѣченную черту новаго человѣка: онъ, идущій, какъ обезславленный, гнушаясь самъ собой, при видѣ своего скуднаго наряда, на который, какъ ему кажется, всѣ пальцами показываютъ, онъ при мечтѣ о ничтожной части прежде всего заботится не о себѣ, а о своей старушкѣ, какъ бы хорошо было ее полечить, о сестрахъ, которыхъ слѣдовало бы пріодѣть, а потомъ уже о себѣ. Строгіе моралисты конечно замѣтятъ при этомъ, что если онъ такъ заботится о своихъ родныхъ, такъ зачѣмъ-же пьянствуетъ?

Но мгла отвсюду черная
На встрѣчу бѣдняку,
Одна открыта торная
Дорога къ кабаку,—

отвѣчаетъ на подобное замѣчаніе конецъ стихотворенія.

Найдите во всей предыдущей поэзіи хотя блѣдный намекъ на подобный мотивъ, а между тѣмъ онъ открываетъ вамъ душевный міръ милліоновъ людей, живущихъ на Руси и гибнувшихъ нѣкогда въ полномъ безучастіи, не находя ни малѣйшаго отклика ихъ трагической доли въ области поэзіи. Люди самодовольные пробѣгутъ конечно мелькомъ подобностихотвореніе, и оно не оставитъ ни малѣйшаго слѣда въ ихъ сердцѣ, какъ нѣчто совершенно постороннее и чуждое имъ, способное возбудить въ нихъ самое большее, что отвлеченное сочувствіе свысока, и понятно, что они способны будутъ заподозрить искренность поэта, задѣвающаго подобныя темы. Нѣкоторые изъ нихъ находятъ неумѣстнымъ, что поэзія тратится на такія мизерности вмѣсто того, чтобы возвышать сердца горѣ, въ область «звуковъ сладкихъ и молитвъ». Но тѣ, которые увидятъ въ этомъ стихотвореніи самихъ себя, должны совершенно иначе отнестись къ нему. Отъ ихъ вниманія не скроется ни та теплая задушевность, ни тѣ горькія слезы, какими проникнуто это стихотвореніе: вѣдь это—ихъ собственная задушевность, ихъ слезы. Понятно, что въ концѣ концовъ подобное стихотвореніе должно быть для нихъ ближе, роднѣе, чѣмъ всѣ великолѣпныя изображенія, какъ поэтъ лежалъ въ долинѣ Дагестана или какъ онъ видѣлъ дѣву на скалѣ и т п.

Къ числу подобныхъ-же стихотвореній разночинаго типа относятся «Буря», «Застѣнчивость», «Ѣдули ночью по улицѣ темной».

«Буря» и «Застѣнчивость» представляютъ два противоположные полюса въ жизни разночинца. Въ первомъ стихотвореніи вы видите восторгъ восторжествовавшей страсти, но страсть эта носитъ совершенно иной характеръ и колоритъ, чѣмъ мы привыкли встрѣчать въ различныхъ любовныхъ элегіяхъ предшествующей лирики и даже въ Некрасовскихъ элегіяхъ пушкинскаго стиля. Тамъ, въ самомъ разгарѣ

страсти, не перестаетъ преобладать разлагающій анализъ, унылая рефлексія, которая во всѣ перипетіи страсти вноситъ ѣдкую горечь то взаимныхъ попрековъ, то меланхолическихъ предчувствій непрочности земного счастія и т. п. Здѣсь-же, напротивъ того, вы видите полную и беззавѣтную отдачу страсти безъ всякихъ колебаній и заботъ о завтрашнемъ днѣ. Единственнымъ препятствующимъ элементомъ является опять-таки чисто-внѣшнее обстоятельство, представляющееся въ настоящетъ случаѣ въ видѣ бури, которая грозитъ помѣшать свиданію; но и буря оказывается ни по чемъ, потому что Любушка, сосѣдка въ свою очередь не отступитъ передъ препятствіями въ виду счастія любви и, вопреки подозрѣніямъ счастливаго любовника, вовсе не такая пугливая нѣженка, чтобы въ бурю за ворота было ей выйти за диво.

Вообще по своей своеобразности и бравурному, страстному тону стихотвореніе это напоминаетъ собой многія пѣсни Кольцова, выражающія такую-же беззавѣтную удаль страсти здороваго и не искалѣченнаго русскаго простого человѣка.

Совершенно противоположный характеръ носитъ стихотвореніе «Застѣнчивость». Здѣсь воспѣвается одна изъ самыхъ общераспространенныхъ и роковыхъ слабостей разночинца. Здѣсь вы не видите уже удали, торжествующей страсти, а, напротивъ того,—унылое отчаяніе, вслѣдствіе невозможности избавиться отъ проклятой слабости:

На ногахъ словно гири желѣзныя,
Какъ свинцомъ налита голова,
Странно руки торчатъ безполезныя,
На губахъ замираютъ слова.
Улыбнусь—непроворная, жесткая,
Не въ улыбку улыбка моя,
Пошутить захочу—шутка плоская:
Покраснѣю мучительно я.

Но и здѣсь несчастливца не покидаетъ сознаніе, что въ сущности онъ — совсѣмъ не такой жалкій и ничтожный, какимъ представляется въ обществѣ, что въ душѣ его не мало таится могучихъ силъ:

Нѣтъ! мнѣ въ божьихъ дарахъ не отказано,
И лицомъ я не хуже людей.
Малодушье пустое и дѣтское,
Не хочу тебя знать съ этихъ поръ!
Я пойду въ ея общество свѣтское,
Я тамъ буду уменъ и остеръ!
Пусть пойметъ, что свободно и молодо
Въ этомъ сердцѣ волнуется кровь,
Что подъ маской наружнаго холода
Безконечная скрыта любовь....

И здѣсь наконецъ источникъ зла таится не внутри, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ:

Придавила меня бѣдность гробная,
Запугалъ меня съ дѣтства отецъ,
Безталанная долюшка слезная
Извела, доканала въ конецъ!..

Что касается до стихотворенія «Ѣду ли ночью по улицѣ темной», то оно представляетъ собой ту крайнюю степень мрачнаго, трагическаго пафоса, до котораго доводитъ бѣдняковъ-разночинцевъ неисходная борьба съ нищетой. Я не знаю ужъ, какой нужно обладать деревянностью и черствостью, чтобы рѣшиться утверждать, что подобное стихотвореніе, въ которомъ каждый стихъ рыдаетъ передъ вами, могло быть холодно, дидактически составлено искусственнымъ подборомъ мрачныхъ чертъ жизни, какъ это утверждаютъ наши критики, вродѣ Евг. Маркова. Подобное предположеніе доказываетъ только, что они даже и близко не видали той жизни столичныхъ угловъ и подваловъ, эпизодъ которой развитъ въ этомъ стихотвореніи. Люди же, видавшіе эту жизнь, а тѣмъ болѣе сами испытавшіе ее, поймутъ, что это стихотвореніе могло быть написано только человѣкомъ, который если не самъ лично, фактически, пережилъ подобный эпизодъ, то во всякомъ случаѣ бывалъ въ аналогическихъ положеніяхъ и видалъ такіе виды. Въ этомъ болѣе всего можетъ убѣдить не столько самый эпизодъ, изображенный довольно общими чертами, сколько та надрывающая скорбь, которой проникнуто стихотвореніе. Люди, желающіе умалить талантъ Некрасова сомнѣніемъ въ искренности его лиризма, не подозрѣваютъ, какое сверхъестественное, лежащее внѣ предѣловъ человѣческой природы могущество приписываютъ они ему, воображая, что поэтъ въ состояніи поддѣлаться, притвориться до такой поразительной близости къ естественному чувству. Есть особеннаго рода нравственная высота, постигать величіе которой не дано въ удѣлъ благодушнымъ Маниловымъ, пресмыкающимся въ низменной сферѣ мѣщанской, пошлой морали.

Ничему иному, какъ тому-же разночинному духу слѣдуетъ приписать особенное свойство некрасовской лирики, на которое мало обращала вниманіе критика при жизни поэта. Между тѣмъ какъ если серьезно и обстоятельно взвѣсить это обстоятельство, то поэзія Некрасова въ цѣломъ своемъ можетъ представиться обладающей совершенно противоположнымъ духомъ и характеромъ, чѣмъ принято ее считать. Оказывается, что ни одинъ изъ русскихъ современныхъ поэтовъ не любилъ такъ часто обращать вниманіе на свѣтлыя стороны нашей жизни, ни одинъ не изобразилъ такъ много положительныхъ, идеальныхъ, доблестныхъ типовъ, съ такимъ горячимъ, чисто шиллеровскимъ энтузіазмомъ, какъ именно этотъ самый поэтъ, котораго привыкли считать мрачнымъ пессимистомъ и желчнымъ отрицателемъ, который будто бы нарочно искусственно подбиралъ и нанизывалъ одни темныя стороны жизни. И что всего замѣчательнѣе—положительные, идеальные типы и образы Некрасова отнюдь не носятъ фантастическиотвлеченнаго характера, внѣ всякихъ предѣловъ времени и пространства, и съ другой стороны тѣмъ менѣе рисуются они въ какомъ-либо одномъ субъективномъ типѣ, повторяющемся въ различныхъ варіантахъ, какъ это мы видимъ напримѣръ у Байрона и его подражателей. Ни чуть не бывало. Какъ у истаго реалиста идеальные, типы Некрасова являются передъ вами облеченными въ плоть и кровь своего времени и той среды, къ которой они принадлежатъ. Они поражаютъ васъ разнообразіемъ конкретныхъ особенностей; ни одинъ не похожъ на другого. Въ то-же время они отнюдь не принадлежатъ къ одному какому-нибудь слою общества. Некрасовъ искалъ и находилъ ихъ всюду, въ самыхъ разнообразныхъ общественныхъ слояхъ, и можно положительно сказать, что ни одного слоя не обидѣлъ въ этомъ отношеніи.

Такъ, на самомъ верху общественной іерархіи, въ

великосвѣтскомъ кругу, рисуются передъ нами княгини Т—ая и М. Н. В—ская, съ ихъ мужьями-страдальцами. Въ этихъ доблестныхъ фигурахъ, исполненныхъ граціозно-нѣжной любви и въ то же время гордаго и непоколебимаго, какъ сталь, самоотверженія, — открывается передъ вами словно античный, классическій міръ величаваго героизма. А между тѣмъ въ каждомъ ихъ душевномъ движеніи и помышленіи, въ каждомъ шагѣ, словѣ, позѣ—вы видите русскую жизнь, русскую природу, русскихъ великосвѣтскихъ барынь, мирно и безпечно нѣкогда порхавшихъ по балamъ и маскарадамъ, и вдругъ, силой обстоятельствъ, превратившихся въ какихъ-то римскихъ матронъ эпохи Коріолана и Тарквинія Гордаго. Въ этомъ контрастѣ простыхъ и незатѣйливыхъ типичныхъ чертъ русской жизни съ античной величавостью доблестныхъ русскихъ женщинъ заключается главная иллюзія поэмъ Некрасова. Въ то же время, чтобы представить своихъ героинь во всемъ ихъ идеальномъ свѣтѣ, чтобы показать всю цѣну ихъ самопожертвованія, поэтъ съ геніальнымъ художественнымъ тактомъ въ особенно обольстительномъ свѣтѣ умѣлъ представить ихъ прошлую жизнь: всѣ эти волшебныя воспоминанія среди суровыхъ и безбрежныхъ сибирскихъ снѣговъ, при наводящемъ уныніе и ужасъ завываніи вьюги, о минувшихъ годахъ любви и счастія, роскоши и нѣги повергаютъ читателя въ тотъ невольный трепетъ, какой способны производить только величайшія созданія искусства. Припомните также сцену борьбы съ родительской властью и съ администраціей въ лицѣ губернатора,— это пробужденіе въ суровомъ администраторѣ человѣка, эти невольныя слезы его:

«Нѣтъ! вы поѣдете!..» вскричалъ
Нежданно старый генералъ,
Закрывъ рукой глаза:
«Какъ я васъ мучилъ... Боже мой!..
(Изъ подъ руки на усъ сѣдой
Скатилася слеза.)
«Простите! да, я мучилъ васъ,
Но мучился и самъ,
Но строгій я имѣлъ приказъ
Преграды ставить вамъ!
И развѣ ихъ не ставилъ я?
Я дѣлалъ все, что могъ,
Передъ судомъ душа моя
Чиста—свидѣтель Богъ!
Острожнымъ жесткимъ сухаремъ
И жизнью взаперти,
Позоромъ, ужасомъ, трудомъ
Этапнаго пути
Я васъ старался испугать.
Не испугались вы!
И хоть-бы мнѣ не удержать
На плечахъ головы,
Я не могу, я не хочу
Тиранить больше васъ...
Я васъ въ три дня туда домчу...
(отворяя дверь, кричитъ:)
Эй! запрягать сейчасъ!..»

Художественнѣе, глубже, выше всѣхъ этихъ сценъ, можно положительно сказать, ничего еще не было въ русской литературѣ. А главное дѣло: гдѣ-же тутъ передъ вами исключительный отрицатель и жолчный пессимистъ? Неужели этотъ самый поэтъ, который даже въ суровомъ лицѣ непреклоннаго исполнителя воли начальства съумѣлъ открыть вамъ свѣтлый лучъ человѣческаго образа?

Идя затѣмъ по нисходящей линіи общественной іерархіи, мы видимъ рядъ тихихъ и скромныхъ тружениковъ русской науки и мысли, мужественно и неустанно боровшихся въ тиши невѣжества и сходившихъ въ преждевременныя, безвѣстныя могилы, оплакиваемыхъ небольшой горстью друзей, которые одни только понимали, чего лишается Россія въ этихъ сподвижникахъ и мученикахъ нашего времени. Таковы были Бѣлинскій, Влад. Милютинъ, Добролюбовъ, Писаревъ, и всѣхъ ихъ воспѣлъ Некрасовъ въ восторженныхъ гимнахъ. Наибольшая доля этихъ гимновъ пришлась естественно на долю Бѣлинскаго, передъ которымъ Некрасовъ впродолженіи всей своей жизни не переставалъ благоговѣть не только какъ передъ великимъ человѣкомъ своей родины, но и какъ передъ своимъ учителемъ, которому былъ обязанъ своей славой. Кромѣ поэмы, воспѣвающей Бѣлинскаго и напечатанной въ одномъ изъ заграничныхъ изданій, кромѣ «Памяти пріятеля», мы находимъ въ отрывкахъ изъ «Медвѣжьей охоты» нѣсколько глубоко и горячо прочувствованныхъ строфъ, посвященныхъ памяти Бѣлинскаго, которыя я и привожу, какъ лучшій образецъ некрасовскаго одописанія:

Бѣлинскій былъ особенно любимъ...
Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель! предъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни!
Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,
Дремля и раболѣпствуя позорно,
Твой умъ кипѣлъ - и новыя стези
Прокладывалъ, работая упорно.
Ты не гнушался никакимъ трудомъ.
«Чернорабочій я - не бѣлоручка»,
Говаривалъ ты намъ—и напроломъ
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка!
Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва-ль не первый ты заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...
Не даромъ ты, мужая по часамъ,
На взглядъ глупцовъ казался перемѣнчивъ,
Но предъ врагомъ заносчивъ и упрямъ,
Съ друзьями былъ ты кротокъ и застѣнчивъ.
Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,
И разумъ твой горѣлъ, не угасая,
Самимъ собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя,—
То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя,
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ
Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя—
То недовольство, что душѣ живой
Не дастъ возстать противу новой силы
За то, что заслоняетъ насъ собой
И старцамъ говоритъ: «пора въ могилы!»

Такимъ образомъ въ поэзіи Некрасова снова воскресло славословіе, совсѣмъ было замершее въ эпоху Лермонтова, но это славословіе направилось совсѣмъ въ противоположную сторону, сбросило съ себя оффиціальную маску раболѣпства и лести, сошло съ риторическихъ ходуль ложнаго классицизма на реальную почву и начало воспѣвать то, что было на Руси истинно доблестнаго и великаго.

Но наиболѣе свѣтлые и положительные типы находилъ Некрасовъ конечно въ народной средѣ, и вотъ передъ нами проходитъ рядъ образовъ благодушныхъ, любвеобильныхъ, исполненныхъ могучей

удали, но чуждыхъ всякой гордой кичливости въ сознаніи своихъ богатыхъ силъ, добродушно смиренныхъ въ рѣдкихъ удачахъ и терпѣливо-кроткихъ въ своемъ неисходномъ горѣ.

XXIV.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ народу, какъ и во всѣхъ прочихъ, мы видимъ тѣ же два разнородные элемента. Такъ, въ однихъ изъ нихъ Некрасовъ является въ свою очередь исключительно поэтомъ 40—50 годовъ. Отношеніе его къ народу въ этихъ стихотвореніяхъ вполнѣ гуманное, исполненное горячаго участія къ народнымъ бѣдствіямъ подъ вліяніемъ новыхъ освободительныхъ идей, но въ то же время рефлективное, отрицательное, пессимистическое. Поэтъ смотритъ здѣсь на народъ со стороны и нѣсколько даже съ интеллигентнаго высока; народъ представляется ему подавленнымъ, забитымъ, обнищалымъ, въ то же время полудикимъ, исполненнымъ всевозможныхъ предразсудковъ, бредущимъ по житейской дорогѣ

Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,
Безъ понятья о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Вы жалѣете вмѣстѣ съ поэтомъ этотъ народъ, оплакиваете его во всѣхъ этихъ жалкихъ и убогихъ тетушкахъ Ненилахъ, Ванькахъ, топящихъ въ винѣ всѣ свои бурныя страсти и горе, яицкихъ, насильно оженныхъ на барышняхъ-крестьянкахъ и бьющихъ ихъ подъ пьяную руку, но вы тщетно стали-бы искать чего-нибудь свѣтлаго, положительнаго, отраднаго, что могло-бы возбудить въ васъ не одно состраданіе къ нимъ, но и глубокое сочувствіе. Не найдете вы здѣсь также и той ободряющей вѣры, которая открыла-бы вамъ всю ширь и глубину могучаго народнаго духа, таящагося въ этихъ людяхъ, показала-бы вамъ, какіе трезвые и здоровые идеалы у нихъ, и заставила-бы васъ въ концѣ-концовъ видѣть въ нихъ залогъ свѣтлаго будущаго. Напротивъ того, читая эти стихотворенія, вы вмѣстѣ съ поэтомъ способны прійти въ окончательное отчаяніе и воскликнуть: если и эти люди таковы, то гдѣ-же послѣ того выходъ и на что-же надѣяться? Однимъ словомъ:

Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,
Гдѣ-же твой идолъ стоитъ?

И все это происходитъ отъ того, что въ подобныхъ стихотвореніяхъ поэтъ стоитъ за пропастью, которая отдѣляетъ народъ отъ интеллигенціи, является вполнѣ чуждъ того глубокаго проникновенія въ душу и жизнь народа, которое могло-бы придавать стихотвореніямъ характеръ непосредственно-народный. Многія изъ нихъ проникнуты страстнымъ лиризмомъ, но лиризмъ этотъ является выраженіемъ не столько тѣхъ чувствъ, которыя переживаютъ изображаемыя личности изъ народа, сколько личнаго скорбнаго чувства самого поэта, который и стоитъ передъ вами на первомъ планѣ со своей проснувшейся совѣстью и душевнымъ разладомъ интеллигентнаго человѣка 40-хъ годовъ. Таковы стихотворенія: «Въ дорогѣ», «Тройка», «Извозчикъ», «На улицѣ» (Воръ, Проводы, Гробикъ, Ванька), «Вино», «Такъ, служба», «Забытая деревня», «Деревенскія новости», «На полѣ» и другія.

Но рядомъ со всѣми подобными стихотвореніями вы найдете другія, въ которыхъ поэтъ совершенно отрѣшается отъ себя, личность его исчезаетъ, сливается съ выводимыми на сцену народными личностями, словно самъ народъ устами поэта выражаетъ свои завѣтныя думы и чувства Самый стихъ поэта, не теряя своеобразности, принимаетъ характеръ народныхъ пѣсенъ, и языкъ его пріобрѣтаетъ такую богатую пластичность, образность, игривость и мѣткость, какія свойственны нашей народной рѣчи. Таковы изъ крупныхъ вещей: «Морозъ красный носъ», «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо»; изъ мелкихъ — «Сторона наша убогая», «Пахарь», «Съ работы», «Пѣсня» и пр. Въ подобныхъ вещахъ вы видите уже не одно отрицательное, обличительное отношеніе къ народу, въ видѣ пессимистическаго соболѣзнованія о его бѣдствіяхъ, изъ которыхъ не предвидится никакого выхода. Напротивъ того, народъ рисуется здѣсь прежде всего въ своихъ положительныхъ чертахъ, какъ могучій богатырь, который самымъ своимъ непреклоннымъ терпѣніемъ въ многовѣковыхъ страданіяхъ возбуждаетъ въ поэтѣ восторженное обаяніе и ободряющую вѣру въ его великое будущее.

Такъ напримѣръ, обратите вниманіе хотя-бы на «Думу», которая начинается горькими сѣтованіями на бѣдность и недостатокъ въ заработкахъ, а кончается апоѳеозомъ труда совершенно въ русско-народномъ духѣ, исполненномъ все той-же лихой удали:

Эй! возьми меня въ работники,
Поработать руки чешутся!
Повели ты въ лѣто жаркое
Мнѣ пахать пески сыпучіе,
Повели ты въ зиму лютую
Вырубать лѣса дремучіе
Только трескъ стоялъ-бы до неба,
Какъ деревья-бы валилися:
Вмѣсто шапки, бѣлымъ инеемъ
Волоса-бы серебрилися!

Чтобы понять вполнѣ наглядно и ясно все діаметральное различіе двухъ вышеозначенныхъ типовъ народныхъ стихотвореній Некрасова, вы сравните стихотвореніе «Тройку» съ поэмой «Морозъ красный носъ». Въ обоихъ произведеніяхъ содержаніе повидимому вполнѣ аналогично: и тамъ, и здѣсь оплакивается слезная доля русской крестьянки. А между тѣмъ какая неизмѣримая пропасть лежитъ между обоими произведеніями. Въ стихотвореніи «Тройка», представивши плѣнительный образъ деревенской дѣвушки, бѣгущей за тройкой съ проѣзжимъ корнетомъ, авторъ обращается къ ней съ слѣдующими сѣтованіями:

Поживешь и попразднуешь въ волю,
Будетъ жизнь и полна, и легка...
Да не то тебѣ выпало въ долю:
За неряху пойдешь мужика.
Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь,
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ
И свекровь въ три погибели гнуть.
Отъ работы и черной, и трудной
Отцвѣтешь, не успѣя расцвѣсть,
Погрузишься ты въ сонъ непробудный,
Будетъ нянчить, работать и ѣсть.

И въ лицѣ твоемъ, полномъ движенья,
Полномъ жизни—появится вдругъ
Выраженье тупого терпѣнья
И безсмысленный вѣчный испугъ;
И схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты свой жизненный путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Вы видите здѣсь правда глубокое, искреннее сочувствіе къ судьбѣ крестьянки, но сочувствіе это не имѣетъ ничего общаго съ народными взглядами на жизнь и его трезвыми идеалами. Совершенно не такъ-бы сталъ въ этомъ случаѣ сочувствовать самъ народъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вы не видите на первомъ-же планѣ эстетика, который прежде всего и болѣе всего оплакиваетъ потерю крестьянкой внѣшней красоты, которая скоро пропадетъ отъ тяжелаго труда? Ему досадно, зачѣмъ не проживетъ она въ праздной нѣгѣ, при которой красота конечно сохранилась-бы до сорока и болѣе лѣтъ, зачѣмъ выйдетъ замужъ за грязнаго мужика, который окажется непремѣнно ужъ злымъ привередникомъ и только и будетъ, что колотить ее взапуски со своей матерью, а главное дѣло, зачѣмъ она только и будетъ, что няньчить, работать и, можете себѣ представить,— ѣсть! Но этого всего мало: всю-то жизнь проработавши, въ концѣ-концовъ она окажется почему-то безполезно угасшей силой, такъ что невольно навертывается у васъ вопросъ: ну, а какимъ-же способомъ она могла-бы оказаться не безполезной силой? Неужели въ такомъ случаѣ, еслибы удалось ей догнать тройку съ проѣзжимъ корнетомъ и съ нимъ «попраздновать въ волю»?

Совсѣмъ не то видимъ мы въ поэмѣ «Морозъ красный носъ». На первомъ-же планѣ рисуется здѣсь передъ вами величавый типъ славянки, который, по словамъ поэта, и до сихъ поръ не успѣлъ еще измельчать и часто встрѣчается въ русскихъ селеніяхъ:

Есть женщины въ русскихъ селеніяхъ
Съ спокойною важностью лицъ,
Съ красивою силой въ движеніяхъ,
Съ походкой, со взглядомъ царицъ—
Ихъ развѣ слѣпой не замѣтитъ,
А зрячій о нихъ говоритъ:
«Пройдетъ—словно солнце освѣтитъ!
«Посмотритъ—рублемъ подаритъ».

Этотъ богатырскій образъ Дарьи своей величавостью придалъ высокій трагическій пафосъ всѣмъ ея горькимъ страданіямъ по случаю смерти мужа. Передъ вами не робкія слезы жалкаго безсилія, подавленности, загнанности, а могучіе стоны словно будто какой-то эпической героини, до послѣднихъ своихъ титаническихъ силъ борящейся съ злой судьбой. Въ семьѣ своей она — не безсмысленный манекенъ для всеобщихъ побоевъ, а равноправный членъ, несущій свою скорбную долю:

Лѣто онъ жилъ работаючи,
Зиму не видѣлъ дѣтей,
Ночи о немъ помышляючи,
Я не смыкала очей.
Ѣдетъ онъ, зябнетъ... а я-то, печальная,
Изъ волокнистаго льну,
Словно дорога его чужедальная,
Долгую нитку тяну.
Веретено мое прыгаетъ, вертится.
Въ полъ ударяется..
Проклушка пѣшъ идетъ, въ рытвинѣ крестится,
Къ возу на горочкѣ самъ припрягается.
Лѣто за лѣтомъ, зима за зимой—
Этакъ-то мы раздобылись казной!
Милостивъ будь къ крестьянину бѣдному,
Господи! все отдаемъ,
Что по копѣйкѣ, по грошику мѣдному,
Мы сколотили трудомъ!

Въ этихъ немногихъ стихахъ передъ вами обрисовывается вся доля крестьянской семьи, доля, правда, горькая, слезная, но исполненная высокой нравственной красоты, и въ особенности эпически-величаво рисуется здѣсь передъ нами эта женщина, которая, какъ вѣрная Пенелопа, ожидаетъ съ своимъ веретеномъ возвращенія мужа изъ его дальнихъ и трудныхъ странствій и въ то же время, словно Парка, прядетъ свою нитку, такую же длинную, какъ дорога ея милаго. Сколько здѣсь глубокой, своеобразной, потрясающей поэзіи! Таковой же остается героиня и до конца поэмы, когда по смерти мужа ей приходится исполнять мужичье дѣло, рубить дрова для своихъ горькихъ сиротокъ, и въ страшной истомѣ, въ приливѣ неутѣшнаго горя, она величественно замерзаетъ среди грознаго лѣсного уединенія. Согласитесь, что поэма эта въ половину потеряла бы свое чарующее, хватающее за душу и потрясающее обаяніе, еслибы поэтъ не съумѣлъ представить свою героиню въ томъ величаво идеальномъ свѣтѣ, въ какомъ она рисуется передъ нами, еслибы она хоть чуточку вышла бы пошлѣе, заурядніе, однимъ словомъ—одной изъ тѣхъ тупыхъ, полуумныхъ крестьянокъ съ «выраженьемъ тупого терпѣнья и безсмысленнаго вѣчнаго испуга», какая рисуется передъ вами въ «Тройкѣ». Но подумайте, въ чемъ же заключаются эти идеальныя черты Дарьи? Въ какихъ такихъ особенныхъ подвигахъ, которые выдѣляли бы ее изъ всѣхъ ее окружающихъ? Въ томъ то и дѣло, что никакихъ особенныхъ подвиговъ вы не видите: совершенно согласно съ народными идеалами та самая работа и няньченье дѣтей, къ которымъ авторъ въ «Тройкѣ» относится съ такой эстетической брезгливостью, здѣсь, напротивъ того, представлены во всемъ своемъ поэтическомъ апоѳеозѣ. Они-то и дѣлаютъ Дарью героиней, обнаруживая въ ней могучую силу трудовой женщины, чарующую васъ не только на верху безпечнаго счастія, но и въ трагической гибели подъ ударами лихой судьбы.

Здѣсь въ заключеніе я долженъ сдѣлать необходимую оговорку, что, говоря о двухъ различныхъ элементахъ творчества Некрасова и обозначая различныя стихотворенія, въ которыхъ преобладаетъ тотъ или другой элементъ, я въ то же время далекъ отъ дѣленія всѣхъ стихотвореній Некрасова на двѣ рубрики и рѣшительнаго распредѣленія ихъ—одесную или ошую. Слово «элементы» я употребляю здѣсь въ истинномъ и точномъ значеніи этого слова. Они оба въ одно и то же время сидѣли въ мозгу Некрасова, и когда дѣйствовалъ одинъ, другой не отсутствовалъ всецѣло, а тоже оказывалъ свое вліяніе и оставлялъ свои слѣды. Поэтому въ томъ или другомъ стихотвореніи можно видѣть только преобладаніе одного изъ элементовъ, а не полное, исключительное его господство. Есть, правда, и такія произведенія, въ которыхъ одинъ изъ элементовъ вполнѣ господствуетъ, какъ

напримѣръ та же «Дума» (Сторона наша убогая), вся проникнутая элементомъ народнымъ, или съ другой стороны «Рыцарь на часъ», въ которомъ рефлективный элементъ составляетъ всю суть. Но такихъ чистыхъ произведеній мало. Въ большинствѣ же оба элемента находятся въ смѣшанномъ состояніи, при преобладаніи одного. Такъ, въ поэмѣ «Морозъ красный носъ» хотя и преобладаетъ народный элементъ, но въ началѣ ея вы найдете кое-какіе слѣды и рефлективнаго. Въ «Тройкѣ», наоборотъ: вся первая половина стихотворенія, представляющая плѣнительный образъ крестьянской дѣвушки, подходитъ болѣе къ народному элементу. Принимая же въ соображеніе всю массу стихотвореній Некрасова во всей совокупности и въ хронологическомъ ихъ порядкѣ, можно положительно сказать, что преобладаніе рефлективнаго элемента относится къ первой половинѣ дѣятельности Некрасова что соотвѣтствуетъ въ самомъ обществѣ господству' этого элемента въ 40-ые—50-ые годы. По мѣрѣ же того, какъ разночинно-народный элементъ началъ вытѣснять рефлективный, и въ стихотвореніяхъ Некрасова начинается преобладаніе этого элемента, который все болѣе и болѣе овладѣваетъ имъ къ концу литературной дѣятельности. Его послѣднее неоконченое стихотвореніе «Кому на Руси жить хорошо» преисполнено народнаго элемента. Это произведеніе обѣщало быть широкой и всеобъемлющей эпопеей народной жизни въ самыхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ, нетолько въ однѣхъ мрачныхъ ея чертахъ, но и въ самыхъ свѣтлыхъ и радостныхъ моментахъ, что мы отчасти и видимъ въ напечатанныхъ главахъ.

Эти соображенія перевертываютъ вверхъ ногами всѣ приговоры относительно Некрасова со стороны критиковъ вродѣ Евг. Маркова и tutti quanti. Они обыкновенно говорятъ, что Некрасовъ, подпавши подъ вліяніе литературныхъ кружковъ 60-хъ годовъ, подчинился ихъ требованіямъ отрицательно-тенденціознаго отношенія къ жизни и народу и началъ ломать свой талантъ во исполненіе этихъ требованій. На дѣлѣ же мы видимъ нѣчто совершенно обратное. Именно подъ вліяніемъ рефлективныхъ кружковъ 40-хъ годовъ въ немъ преобладало отрицательное, пессимистическое отношеніе ко всему окружающему, въ томъ числѣ и къ народу. Кружки же 60-хъ годовъ, въ которыхъ преобладали разночинцы, дѣйствовали на него совершенно обратно: они будили въ немъ задремавшія струны сочувствія къ народу и борьбѣ съ тяжелыми условіями жизни, напоминая ему его собственную горемычную юность, возбуждали въ немъ восторженное отношеніе къ новымъ положительнымъ идеаламъ, любовь къ народу, вѣру въ его могучія силы, скопленныя неустаннымъ трудомъ и не сломленныя вѣковыми страданіями, раскрывали ему положительныя, идеальныя стороны народа, не имѣющія ничего общаго съ прежними его идеалами. И вотъ мы видимъ, что взгляды Некрасова на народъ значительно просвѣтлѣли и расширились: въ стихотвореніяхъ его начали встрѣчаться не однѣ убогія тетушки Ненилы и пьяные Ваньки, а Проклы, дѣдушки Савельи, Мазаи, Яковы, Дарьи, Катерины и проч. Однимъ словомъ, изъ скорбнаго поэта интеллигентнаго меньшинства рефлективнаго періода онъ обратился въ общенароднаго пѣвца въ самомъ обширномъ и глубокомъ смыслѣ этого слова.

Послѣ всего вышесказаннаго я не знаю, нужно-ли отвѣчать на вопросъ, который часто встрѣчается и въ литературѣ, и въ обществѣ въ позднѣйшее время, который мелькаетъ и въ послѣднихъ стихотвореніяхъ Некрасова, именно: какъ могутъ быть долговѣчны стихотворенія Некрасова, скоро ли они могутъ, утративши всякое современное и живое значеніе, сдѣлаться явленіемъ вполнѣ историческаго прошлаго, и главное дѣло, проторятъ-ли къ нимъ дорогу народныя лапти, поймутъ-ли ихъ народъ и отнесется-ли къ нимъ съ тѣмъ же восторгомъ, съ какимъ мы къ нимъ относимся, назоветъ ли ихъ своими народными пѣснями?

Очевидно, что весь Некрасовъ, во всемъ своемъ составѣ, не можетъ дойти ни до потомства, ни до народа, что, между прочимъ сказать, въ сущности одно и то же. Такъ, многія стихотворенія съ преобладаніемъ рефлективнаго духа 40-хъ—50-хъ годовъ и теперь уже начинаютъ утрачивать свое современное значеніе, а когда мы совсѣмъ покончимъ съ историческимъ періодомъ, начавшимся пробужденіемъ совѣсти въ интеллигентномъ человѣкѣ и рефлексіями и ознаменовавшимся появленіемъ разночинца, тогда и подавно всѣ подобныя стихотворенія сдѣлаются достояніемъ исторіи. Такъ напримѣръ, кромѣ историческаго интереса, какое будетъ дѣло народу до того, какъ нѣкогда Некрасовъ оплакивалъ въ «Рыцарѣ на часъ» свое безпутное поколѣніе, жаловался на стѣснительность цензуры въ поэмѣ «Судъ» или воспѣвалъ разныя свои размолвки и недомолвки съ женщинами въ своихъ любовныхъ явленіяхъ. Не узнаетъ или, лучше сказать, забудетъ себя народъ и въ этихъ ямщикахъ, насильно оженненныхъ на дворовыхъ дѣвушкахъ, воспитанныхъ на барскую ногу, огородникахъ, сосланныхъ въ Сибирь за любовь къ помѣщичьимъ барышнямъ, и проч. А что касается до филантроповъ, Киселей, клубныхъ типовъ, чиновниковъ и проч., и проч., то нечего и говорить о томъ, что все это и для насъ не сегодня-завтра утратитъ всякое, современное значеніе, а о народѣ и говорить нечего чтобы всѣ эти преходящія, временныя явленія нашего безпутства могли его занимать, когда они давно ужъ успѣютъ сойти съ исторической сцены и покрыться мглою общаго забенія. Но такія вещи, какъ «Морозъ красный носъ», «Коробейники», «Кому на Русжить хорошо» и подобныя имъ произведенія навѣрное останутся вѣковѣчными памятниками Некрасова. Ихъ нельзя не понять и не полюбить народу, потому что въ нихъ онъ увидитъ самого себя, вѣковѣчныя черты своего существа. Пусть совсѣмъ измѣнится бытъ народа, не будетъ ни Прокловъ, припрягающихся къ своимъ лошадямъ-кормилицамъ на косогорахъ, ни Дарій, сучащихъ, въ ожиданіи труженика-мужа, свою нитку, такую же длинную, какъ его дорога,—а все таки останется народъ съ тѣми же вѣковѣчными идеалами святого, неустаннаго труда и любвеобильнаго благодушія, а пока останется живъ народъ, не умретъ и пѣвецъ его—Некрасовъ.

РАЗЛАДЪ ХУДОЖНИКА И МЫСЛИТЕЛЯ.

(По поводу романа гр. Л. Толстого «Анна Каренина».)

А вы, друзья, какъ ни садитесь,
Все въ музыканты не годитесь.

Вслѣдствіе того что романъ тянулся очень долго, печатался съ большими промежутками, причемъ крайнее обиліе художественныхъ картинъ, сценъ, всякаго рода деталей и нюансовъ всецѣло поглощало вниманіе читателя, - произошелъ немалый скандалъ: большинство рецензентовъ, усердно трактовавшихъ о романѣ съ появленія первыхъ страницъ его въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и до выхода послѣдней части, впало въ просакъ, не замѣтивши громаднаго слона въ видѣ основной идеи произведенія. На романъ смотрѣли не иначе, какъ на рядъ художественныхъ картинъ изъ великосвѣтской жизни, связанныхъ лишь двумя параллельно идущими любовными сюжетами, но не имѣющихъ ни малѣйшей идейной подкладки, того высшаго философскаго синтеза, который осмыслилъ-бы все изображенное въ произведеніи. Раздѣляясь на два лагеря, поклонники и порицатели романа спорили между собой лишь о томъ, законна или незаконна идейная безсодержательность его. Порицатели ворчали на то, что авторъ только и дѣлаетъ, что водитъ читателя изъ одного салона въ другой, знакомя его до мельчайшихъ подробностей, какъ великосвѣтскіе люди обѣдаютъ, танцуютъ, ведутъ приходо-расходные счеты, женятся, рожаютъ, купаютъ дѣтей, совершаютъ вольныя и невольныя прелюбодѣянія, стрѣляютъ дуэлей,—и не мало не заботится о раскрытіи внутренняго смысла всего этого. Поклонники-же въ свою очередь тѣмъ именно и восхищались, что авторъ является чуждымъ всякихъ тенденцій, безхитростнымъ бытописателемъ и сердцевѣдомъ, совершеннымъ протоколистомъ по рецепту Золя. Восхищались тѣми или другими мѣстами, типами, глубиной психическаго анализа различныхъ сценъ,—и далѣе этого не шли всѣ восхищенія. Я въ жизнь свою не забуду, какъ одному изъ поклонниковъ болѣе всего понравилось въ романѣ изображеніе сердечныхъ тайнъ великосвѣтской барыни, и онъ печатно заявилъ свой восторгъ по поводу того, что гр. Толстой будто бы «возвысился до общечеловѣчности, съумѣвши изящную даму, лучшую изъ всѣхъ по уму, образованію, честности, представить такой-же плотоядной, вздорной, эгоистичной и грубой, какъ крестьянская баба»,— и ничего выше этого не нашелъ онъ въ романѣ. Только когда вышла послѣдняя часть, и въ ней съ особенной рельефностью почти что въ голомъ, отвлеченномъ видѣ выступила идея романа, рецензенты ухватились за нее, но высказали о ней лишь нѣсколько незначительныхъ словъ и то лишь въ приложеніи къ одной послѣдней части, а не ко всему роману въ его цѣломъ составѣ.

Я воображаю, въ какое уныніе должны были привести гр. Л. Толстого всѣ эти толки рецензентовъ и въ особенности поклонниковъ, ничего не прозрѣвшихъ, въ концѣ-концовъ въ романѣ его, какъ лишь стремленіе унизить - я ужъ не знаю что: деревенскую-ли бабу насчетъ Анны Карениной, или наоборотъ. Помилуйте, авторъ изъ силъ выбился, чтобы отъ первой страницы до послѣдней черезъ весь романъ провести свою завѣтную идею, которая можетъ быть составляетъ продуктъ всей его жизни, и вдругъ читатели ничего не усматриваютъ, кромѣ мастерского изображенія грѣхопаденія Анны! Это болѣе, чѣмъ обидно, это въ своемъ родѣ—трагично. Разъясненіе этого трагическаго казуса и будетъ составлять предметъ настоящей статьи, и къ этому разъясненію я приступаю безъ всякихъ околичностей.

Кромѣ вышеупомянутыхъ причинъ, растянутости печатанія и обилія деталей—трагическій казусъ, о которомъ мы говорили, имѣетъ еще и другую болѣе существенную причину. Дѣло въ томъ, что я не помню другого такого произведенія, въ которомъ художникъ находился-бы въ подобномъ-же антагонизмѣ съ мыслителемъ, какъ романъ гр. Л. Толстого. Онъ представляетъ изъ себя вполнѣ тотъ знаменитый возъ басни Крылова, который лебедь тащитъ въ облака, ракъ пятитъ назадъ, а щука тянетъ въ воду. Мыслитель говоритъ одно, а художникъ представляетъ вамъ совсѣмъ другое. Мыслитель требуетъ, чтобы художникъ такъ вотъ и такъ иллюстрировалъ его идею, а художникъ беретъ, да и пишетъ кистью совершенно наперекоръ мыслителю. Но такъ какъ художникъ въ тысячу разъ и сильнѣе, и правдивѣе мыслителя, то онъ кладетъ его въ лоскъ. Несчастный мыслитель низверженъ, затертъ, онъ тонетъ, задыхается въ разбушевавшихся стихіяхъ художественнаго творчества, изрѣдка онъ напоминаетъ вамъ о своей гибели, протягивая вамъ руки и испуская неистовые вопли. Эти вопли дико поражаютъ вашъ слухъ среди художественнаго пиршества, но тотчасъ-же и заглушаются новыми приливами поэтическихъ волнъ, и только въ послѣдней части мыслитель выносится передъ вами въ голомъ, обезображенномъ видѣ,—но это уже лишь истерзанный трупъ, выкинутый на берегъ враждебными волнами, какъ не имѣющій ничего съ ними общаго.

Для того чтобы вполнѣ разъяснить это странное, ненормальное и болѣзненное явленіе, мы займемся сначала анатоміей выброшеннаго трупа, изслѣдуемъ, что хотѣлъ сказать намъ авторъ, какъ мыслитель, а затѣмъ посмотримъ, что сказалъ онъ намъ, какъ художникъ.

Объ основныхъ воззрѣніяхъ гр. Л. Толстого было такъ много рѣчей въ послѣднее время, что я не считаю нужнымъ много распространяться объ этомъ. Всѣмъ и каждому нынѣ извѣстно, что воззрѣнія эти представляютъ не малую путаницу, въ безпредѣльномъ хаосѣ которой вы найдете частичку мистициз-

ма, частичку особеннаго рода московскаго культурнаго абсентеизма, частичку наконецъ чего-то туманнаго, неопредѣленнаго, безъименнаго, въ чемъ слышится не то вліяніе новѣйшаго народолюбства, не то отрыжка сантиментализма въ духѣ Ж. Ж. Руссо. Слѣдуетъ только отдать справедливость, что несчастный мыслитель, разгромляемый художникомъ, является въ послѣднемъ романѣ болѣе послѣдовательнымъ и опредѣленнымъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ. Здѣсь преобладаетъ передъ нами московско-культурный абсентеизмъ на подкладкѣ мистицизма, народолюбства же почти незамѣтно. Оттого и основная идея романа довольно ясна и проста. Ее можно даже выразить нѣсколькими словами. Вся суть заключается въ томъ, что единственное спасеніе для русскаго человѣка — быть самимъ собой, жить безхитростно и непосредственно, какъ создала его природа, твердо держась основныхъ культурныхъ началъ. Малѣйшее-же отклоненіе отъ этихъ началъ куда-либо въ сторону — тотчасъ-же поселяетъ разладъ и во внутренней, и во внѣшней жизни русскаго человѣка; и чѣмъ болѣе это отклоненіе, тѣмъ и разладъ больше, такъ что люди, которые совсѣмъ уже сошли съ культурной почвы, обезличились и обезцвѣтились,—представляютъ изъ себя не что иное, какъ среду полнаго нравственнаго разложенія. Здѣсь начинается область душевной агоніи, отчаянія, скорби и скрежета зубовъ; здѣсь гнѣздятся всѣ адскіе пороки и отсюда истекаютъ всѣ страшныя преступленія. Такова основная идея романа, взятая въ общей отвлеченной формулѣ. Формула эта имѣетъ повидимому славянофильскій характеръ. Но по ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что для того, чтобы твердо стоять на почвѣ и обрѣсти тѣмъ душевный миръ, спасеніе и праведность, далеко недостаточно держаться различныхъ славянофильскихъ принциповъ, т. е. принадлежать къ православной церкви и исповѣдывать всѣ ея догматы, любить братьевъ-славянъ и желать имъ въ будущемъ всякихъ благъ, но не иначе конечно, какъ подъ гегеміоніей Россіи, ненавидѣть гнилой Западъ и въ особенности нѣмцевъ, и не вдаваться ни въ какія умствованія и разсужденія, а быть ниже воды и тише травы, терпѣливо и безропотно перенося всякое иго, потому что, какъ размышлялъ Левинъ, еще при Рюрикѣ народъ сказалъ варягамъ: «княжите и владѣйте нами. Мы радостно обѣщаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя; но не судимъ и не рѣшаемъ». Нѣтъ, этого всего оказывается еще недостаточно: нужно быть кромѣ того еще особеннаго рода избранникомъ; необходимо *родиться на почвѣ* и возрости на ней. А это возможно лишь въ двухъ положеніяхъ: въ положеніи мужика-крестьянина или столбового дворянина-помѣщика, всю жизнь прожившаго въ своемъ имѣніи и ничѣмъ болѣе не занимающагося, какъ лишь сельскимъ хозяйствомъ. Да, первое условіе, чтобы кромѣ сельскаго хозяйства ничѣмъ болѣе не заниматься, потому что всякое постороннее занятіе является уже отклоненіемъ отъ культурной почвы на томъ основаніи, что все остальное оказывается заимствованнымъ нами съ Запада: не говоря уже о бюрократизмѣ, о формахъ городской свѣтской жизни, о судахъ, о наукѣ, о литературѣ, но даже и земскія учрежденія, народныя школы и больницы, фабрики и желѣзныя дороги и пр. и пр., Все это, какъ заимствованное съ Запада и не приросшее къ русской жизни, не вошедшее въ ея плоть и кровь,—есть искусственность, натяжка, заключаетъ въ себѣ большій или меньшій процентъ лжи и такъ или иначе поселяетъ разладъ во внутренней и внѣшней жизни русскаго человѣка. Повидимому такой взглядъ на вещи коренится на славянофильской почвѣ, но въ сущности онъ идетъ нѣсколько дальше: это тотъ послѣдній, крайній выводъ, который обыкновенно кончаетъ тѣмъ, что отрицаетъ всякую возможность практическаго осуществленія того ученья, изъ котораго онъ выходитъ. И дѣйствительно, разъ гр. Л. Толстой становится на такую исключительную точку зрѣнія, онъ необходимо долженъ отвергнуть и славянофильство въ томъ видѣ, въ какомъ оно осуществляется на практикѣ. Славянофильство есть явленіе жизни городской, ложной въ самыхъ своихъ основаніяхъ; оно возникло на почвѣ науки и философіи, заимствованныхъ съ Запада; оно допускаетъ разныя умствованія и разсужденія, обнаруживающія своего рода гордость разума; оно не ограничивается одной пассивной готовностью полной покорности и принятія на себя всѣхъ жертвъ и униженій, а изъявляетъ претензію судить и рѣшать и допускаетъ активное вмѣшательство въ вопросы о судьбахъ славянъ. Наконецъ къ славянофильству принадлежатъ не одни только столбовые дворяне, ни о чемъ не помышляющіе, какъ лишь о сельскомъ хозяйствѣ, но и свѣтскіе шаркуны, и чиновники, и профессора, и газетчики, люди безпочвенные, исполненные всевозможной лжи и полнаго разлада съ самими собой. Гр. Толстой не остановился и передъ этимъ послѣднимъ выводомъ изъ своей точки зрѣнія: онъ не замедлилъ поразить и самое славянофильство, отнесясь отрицательно къ самому дорогому и излюбленному моменту его проявленія,—тому общественному движенію въ пользу славянъ, какимъ ознаменовался 1876 годъ. Онъ прямо называетъ славянскій вопросъ однимъ изъ тѣхъ модныхъ увлеченій, которыя всегда, сѣняя одно другое, служатъ обществу предметомъ занятія, признаетъ, что много было людей, занимавшихся этимъ дѣломъ съ корыстными, тщеславными цѣлями, что газеты печатали много ненужнаго и преувеличеннаго, съ одной цѣлью обратить на себя вниманіе и перекричать другихъ, что при этомъ общемъ подъемѣ общества выскочили впередъ и кричали громче другихъ всѣ неудавшіеся и обиженные: главнокомандующіе безъ армій, министры безъ министерствъ, журналисты безъ журналовъ, начальники партій безъ партизановъ. Что же касается до народа, то гр. Толстой отрицаетъ всякую народность этого движенія. Тѣ сотни, тысячи добровольцевъ, которые шли въ Сербію воевать съ турками, по его мнѣнію, значили только, что въ восьмидесятимилліонномъ народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а десятки тысячъ людей, потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы—въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію .. Писаря волостные, учителя и изъ мужиковъ одинъ на тысячу можетъ быть знаютъ, о чемъ идетъ дѣло. Остальные-же 80 милліоновъ не только

не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія, о чемъ имъ надо-бы выражать свою волю. Какое-же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа?

Это и есть то, что я не могу никакъ иначе назвать, какъ московско-культурнымъ абсентизмомъ. Это своего рода феодализмъ, но не тотъ средневѣковой феодализмъ, который замыкался въ замки, окружалъ себя вассалами и отстаивалъ право чеканить монету и грабить по дорогѣ проѣзжихъ купцовъ, а нашъ дохорощенный феодализмъ самоновѣйшей чеканки, обходящійся безъ замковъ и вассаловъ и не предъявляющій претензій ни на какія иныя права, какъ лишь на право восклицать: моя хата съ краю, ничего не знаю, и мнѣ на все наплевать.

«Я считаю аристократомъ себя и людей подобныхъ мнѣ, —говорилъ Левинъ Облонскому: —которые въ прошедшемъ могутъ указать на три-четыре честныя поколѣнія семей, находившихся на высшей степени образованія, и которыя никогда ни предъ кѣмъ не подличали, никогда ни въ комъ не нуждались, какъ жили мой отецъ, мой дѣдъ. Мы—аристократы, а не тѣ, которые могутъ существовать только подачками отъ сильныхъ міра сего, и кого купить можно за двугривенный.»

«Я думаю, —говоритъ въ другомъ мѣстѣ Левинъ: — что двигатель всѣхъ нашихъ дѣйствій есть все-таки личное счастіе. Теперь въ земскихъ учрежденіяхъ я, какъ дворянинъ, не вижу ничего, что-бы содѣйствовало моему благосостоянію. Дороги не лучше и не могутъ быть лучше; лошади мои возятъ меня и по дурнымъ. Доктора и пункта (медицинскаго) мнѣ не нужно. Мировой судья мнѣ не нуженъ,—я никогда не обращаюсь къ нему и не обращусь. Школы мнѣ не только не нужны, но даже вредны. Для меня земскія учрежденія—просто повинность платить восемнадцать копѣекъ съ десятины, ѣздить въ городъ, ночевать съ клопами и слушать всякій вздоръ и гадости,—а личный интересъ меня не побуждаетъ.»

Представлю читателю еще одну выписку, чтобы передъ нами вполнѣ рельефно очертился тотъ идеалъ московско-культурнаго абсентизма, въ которомъ гр. Л. Толстой полагаетъ все спасеніе для русскаго человѣка.

«Прежде (это началось почти съ дѣтства и все росло до полной возмужалости), когда Левинъ старался сдѣлать что-нибудь такое, что сдѣлало-бы добро для всѣхъ, для человѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но сама дѣятельность всегда бывала нескладная, не было полной увѣренности въ томъ, что дѣло необходимо нужно, и сама дѣятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нѣтъ; теперь-же, когда онъ, послѣ женитьбы, сталъ болѣе и болѣе ограничиваться жизнію для себя,—онъ, хотя не испытывалъ болѣе никакой радости при мысли о своей дѣятельности, чувствовалъ увѣренность, что дѣло его необходимо, видѣлъ, что оно становится больше и больше. Теперь онъ, точно противъ воли, все глубже и глубже врѣзывался въ землю, какъ плугъ, такъ что ужъ и не могъ выбраться, не отворотивъ бороздъ.»

«Жить семьѣ такъ, какъ привыкли жить отцы и дѣды, то-есть въ тѣхъ-же условіяхъ образованія, и въ тѣхъ-же воспитывать дѣтей,—было непремѣнно нужно. Это было такъ-же нужно, какъ обѣдать, когда ѣсть хочется; а для этого такъ-же нужно знать, какъ приготовить обѣдъ, нужно было вести хозяйственную машину въ Покровскомъ такъ, чтобы были доходы. Такъ же несомнѣнно, какъ нужно отдать долгъ, нужно было держать родовую землю въ такомъ положеніи, чтобы сынъ, получивъ ее въ наслѣдство, сказалъ такъ-же спасибо отцу, какъ Левинъ говорилъ спасибо дѣду за все то, что онъ настроилъ и насадилъ. И для этого нужно было не отдавать землю въ наймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать лѣса.»

Вотъ вамъ единственный рецептъ душевнаго мира, праведности и счастія. Другого пути никакого гр. Л. Толстой не признаетъ; внѣ его все — искусственность и ложь и, какъ слѣдствіе искусственности и лжи, — унынie, разочарованіе, зубовный скрежетъ угрызеній и отчаянья.

Сообразно этой идеи и дѣйствующія лица романа распредѣлены одесную и ошую по большей или меньшей ихъ культурности и почвенности. Крайнюю правую представляетъ собою конечно ужъ Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, устами котораго глаголетъ самъ авторъ. Это главный герой романа, воплощенный идеалъ автора, человѣкъ мало того, что твердо стоящій на почвѣ, но, какъ мы сейчасъ видѣли, врѣзывающійся въ нее, какъ плугъ. Далѣе за Левинымъ слѣдуетъ семья князей Щербацкихъ, такой-же старый дворянскій московскій домъ, какъ и домъ Левиныхъ, и всегда бывшій въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ съ послѣднимъ. Въ этой семьѣ культурнѣе всѣхъ оказывается самъ старый князь, всѣ симпатіи и антипатіи котораго являются постоянно вполнѣ солидными съ Левинымъ. Затѣмъ слѣдуютъ княжны Кити и Долли. Что же касается до старой княгини, то хотя по своему типу и характеру она и много заключаетъ въ себѣ культурныхъ свойствъ, но зараженная свѣтскимъ тщеславіемъ и суетностью, она значительно уступаетъ князю и прочимъ членамъ семьи, за что и платится: устраиваетъ несчастный бракъ своей дочери Долли за князя Облонскаго и чуть не губитъ младшую дочь Кити сватовствомъ за графа Вронскаго, увлекшись блестящимъ мундиромъ, связями и петербургскимъ свѣтскимъ лоскомъ графа.

За князьями Щербацкими можно поставить дворянина Свіяжскаго, предводителя дворянства въ томъ уѣздѣ, гдѣ было имѣніе Левина. Хотя этотъ Свіяжскій и зараженъ былъ либерализмомъ и всякими новѣйшими заимствованными съ Запада идеями, но въ то же время это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, разсужденіе которыхъ, очень послѣдовательное, идетъ само по себѣ, а жизнь, чрезвычайно опредѣленная и твердая въ своемъ направленіи, идетъ сама по себѣ, совершенно независимо и почти всегда въ разрѣзъ съ разсужденіемъ,—и по своей жизни онъ, что бы тамъ ни разсуждалъ, твердо держался почвы; а посему его тоже слѣдуетъ поставить одесную, и пожалуй даже мѣстомъ выше тщеславной княгини Щербацкой.

Затѣмъ идетъ уже лѣвая сторона, въ которой фигурируютъ всѣ прочія дѣйствующія лица романа. Здѣсь мы видимъ такого писателя, какъ Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ, который горечь неудачи шестилѣтняго труда «Опыта обзора основъ и формъ государственности въ Европѣ и Россіи» топитъ въ искусственномъ увлеченіи славянскимъ вопросомъ. Здѣсь такой патентованный ученый; какъ Метровъ, который слѣпо мѣряетъ русскую жизнь на аршинъ западно-европейскихъ экономическихъ теорій. Здѣсь такой

докторъ, камъ московская знаменитость на консиліумѣ у князей Щербацкихъ, который, потребовавши осмотра больной Кити, «съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвичья стыдливость есть только остатокъ варварства, и что нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, чтобы еще нестарый мужчина ощупывалъ молодую обнаженную дѣвушку». Здѣсь знаменитый петербургскій адвокатъ, который вмѣсто участія и скорби исполняется злобной радостью, когда къ нему приходитъ совѣщаться о разводѣ мужъ, обманутый женой, въ лицѣ Алексѣя Александровича Каренина, и глаза адвоката преисполняются торжествомъ, восторгомъ, блескомъ, похожимъ на тотъ зловѣщій блескъ, который несчастный Каренинъ видалъ въ глазахъ жены. Здѣсь-же и самъ онъ—Алексѣй Александровичъ Каренинъ, бюрократическая машина, съ безцвѣтными оловянными глазами и съ длинными хрящеватыми ушами, свидѣтельствующими объ ограниченности умственныхъ способностей. Здѣсь и набожная графиня Лидія Ивановна, великосвѣтская сектантка, религіозное увлеченіе которой, вмѣсто того чтобы смягчить ея сердце, сдѣлало его еще болѣе черствымъ и безчеловѣчнымъ. Здѣсь и княгиня Бетси Тверская со своимъ свѣтскимъ кругомъ, который, по словамъ автора, «былъ собственно свѣтъ,— свѣтъ баловъ, обѣдовъ, блестящихъ туалетовъ,- свѣтъ, держащійся одной рукой за дворъ, чтобы не спуститься до полусвѣта, который члены этого круга думали, что презирали, но съ которымъ вкусы у него были не только сходные, но одни и тѣ же». Здѣсь и князь Степанъ Аркадьевичъ Облонскій — эпикуреецъ и сластолюбецъ съ ногъ до головы, разоряющій семейство своимъ мотовствомъ и оскорбляющій жену невѣрностью.

На самомъ-же, такъ сказать, низу этого адскаго винта красуются люди, окончательно отрѣшившіеся ото всего культурнаго, обезличившіеся вполнѣ и потерявшіе всякую почву подъ ногами. Таковъ Николай Левинъ, который въ университетѣ и годъ послѣ университета, не смотря на насмѣшки товарищей, жилъ какъ монахъ, въ строгости исполняя всѣ обряды религіи, службы, посты, и избѣгая всякихъ удовольствій, въ особенности женщинъ; и потомъ вдругъ его какъ прорвало: онъ сблизился съ самыми гадкими людьми и пустился въ самый безпутный развратъ, взялъ изъ деревни мальчика воспитывать, и въ припадкѣ злости такъ избилъ, что началось дѣло по обвиненію въ причиненіи увѣчья; проигралъ деньги шулеру, далъ ему вексель и самъ подалъ на него жалобу, доказывая, что тотъ его обманулъ; ночевалъ ночь въ части за буйство; поѣхалъ служить въ западный край и тамъ попалъ подъ судъ за побои, нанесенные старшинѣ; въ концѣ концовъ вступилъ въ сожитіе съ нѣкоей Марьей Николаевной, которую взялъ изъ распутнаго дома, и вошелъ въ какія-то темныя сношенія съ соціалистами. Послѣ такого ужаснаго господина остаются только преступный осквернитель чужого ложа графъ Алексѣй Кириловичъ Вронскій и сообщница его по прелюбодѣянію Анна Аркадьевна Каренина, о которыхъ намъ предстоитъ еще много рѣчей впереди.

Но гр. Л. Толстой не ограничивается только тѣмъ, что дѣлитъ своихъ дѣйствующихъ лицъ на два лагеря,— правыхъ и лѣвыхъ, для того чтобы однихъ похвалить и поставить имъ хорошій баллъ за поведеніе, а другихъ наказать выговоромъ и дурнымъ аттестатомъ. Не ограничивается онъ также однимъ раскрытіемъ различныхъ естественныхъ, историческихъ или соціологическихъ причинъ, по которымъ культурные люди преуспѣваютъ и обрѣтаютъ душевный миръ, нравственное совершенство и счастіе, а некультурные—душевный разладъ, угрызеніе преступной совѣсти и отчаянье. Нѣтъ, кромѣ того онъ изъявляетъ еще претензію раскрыть намъ нѣкіе таинственные пути Провидѣнія. Онъ поставилъ эпиграфомъ своего романа евангельскій текстъ: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ», и этимъ онъ какъ-бы хотѣлъ выразить, что само небо заботится, чтобы люди твердо стояли на культурной почвѣ, и если они отрѣшаются отъ культурности, то оно вооружается противъ нихъ своимъ страшнымъ гнѣвомъ. Николай Левинъ, графъ Вронскій и Анна Каренина, какъ наиболѣе сошедшіе съ почвы, являются въ романѣ преступными жертвами небеснаго отмщенія.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется намъ графъ Л. Толстой, какъ мыслитель. И еслибы этотъ мыслитель преобладалъ надъ художникомъ, т. е. еслибы онъ былъ послѣдовательнѣе, тверже, фанатичнѣе, а художникъ былъ-бы менѣе вѣренъ своимъ творческимъ инстинктамъ, менѣе чуткъ, менѣе искренъ и правдивъ,—тогда автору очень легко было-бы провести свою тенденцію самымъ убѣдительнымъ образомъ для читателя. Стоило только иначе освѣтить и слегка подтасовать изображенные факты, прибавить болѣе черныхъ красокъ съ одной стороны, болѣе свѣтлыхъ—съ другой, такъ чтобы Анна Каренина, Вронскій и Николай Левинъ—ничего-бы не возбуждали въ читателѣ, кромѣ нравственнаго омерзенія и ужаса передъ чернотой ихъ душъ, а К. Левинъ и князья Щербацкіе рисовались въ самомъ обольстительномъ сіяніи,—и дѣло было-бы въ шляпѣ. Такъ обыкновенно и поступаютъ плохіе тенденціозные художники вродѣ напримѣръ Бол. Маркевича: они ужъ если нарисуютъ передъ вами излюбленнаго имъ культурнаго героя, то такимъ красавцемъ, такимъ умнымъ, такимъ храбрымъ, честнымъ, великодушнымъ, что у васъ въ глазахъ рябитъ, глядя на него. Зато вокругъ героя, куда ни оглянитесь — одно нравственное и физическое уродство, малодушіе, низость, подлость, распутство. Вотъ что называется— быть непоколебимо твердымъ въ заданной тенденціи и вѣрнымъ ей. Но въ романѣ гр. Л. Толстого художникъ, какъ мы выше сказали, презрѣлъ мыслителя, возмутился противъ него, пошелъ своей дорогой и привелъ читателя къ выводамъ, которые можно назвать, пожалуй, діаметрально-противоположными тенденціи романа. Посмотримъ же, что намъ сказалъ художникъ вопреки мыслителю.

А художникъ первымъ дѣломъ взялъ да и уничтожилъ всѣ тѣ перегородки, которыя наставилъ мыслитель, и перемѣшалъ всѣ дѣйствующія лица, поставивъ передъ нами въ одинъ рядъ какъ правыхъ, такъ и лѣвыхъ, предоставивъ любоваться всѣми ими безразлично. Изобразивши хотя и мрачными красками,

но далеко не такими, какъ-бы слѣдовало по рецепту мыслителя, лѣвую сторону, онъ въ то же время не пощадилъ и правую, и выдалъ намъ съ головой своихъ культурныхъ героевъ. Онъ поступилъ въ этомъ отношеніи совершенно такъ, какъ поступаютъ правдивые, но тѣмъ не менѣе ужасные свидѣтели, которыхъ призываютъ въ судъ защитники для оправданія кліентовъ, а они вдругъ начинаютъ свидѣтельствовать къ еще большему обвиненію подсудимыхъ. Въ результатѣ вышла грустная, безнадежно мрачная картина, на темномъ фонѣ которой люди, претендующіе быть лучшими представителями своей среды, оказываются вдругъ чуть-что не хуже худшихъ. Это былабы геніальная и злѣйшая иронія, еслибы только художникъ сознавалъ, что онъ дѣлаетъ, и иронизовалъ бы на самомъ дѣлѣ.

Гр. Толстой въ своемъ романѣ вводитъ васъ въ яркій земной рай, въ который раскрыты двери лишь немногимъ избранникамъ, и знакомитъ насъ съ нѣсколькими такими счастливцами, которымъ поводимому можно отъ всей души позавидовать. Они живутъ въ своемъ раю, какъ птицы небесныя, не сѣютъ, не жнутъ и въ житницы не собираютъ, а только срываютъ цвѣты удовольствій, да и какихъ еще удовольствій: все, что только есть на земномъ шарѣ наиболѣе красиваго, рѣдкаго, цѣннаго и услаждающаго чувства, — все это стекается со всѣхъ концовъ міра въ ихъ роскошные и благоухающіе чертоги. Стоитъ только пожелать имъ чего либо въ предѣлахъ земного, и тотчасъ же это является къ ихъ услугамъ съ возможной поспѣшностью. Стоитъ захворать имъ насморкомъ, и ничего не стоитъ имъ собрать вокругъ одра больного первѣйшихъ знаменитостей со всей Европы. Для нихъ не существуетъ ни буйства стихій, ни усталости путешествій, потому что по дорогамъ, въ морѣ или по улицамъ города,—они повсюду продолжаютъ быть окружены такимъ же комфортомъ, какъ и дома: ни вѣтеръ не пахнетъ, ни одна капля дождя не упадетъ на нихъ. А когда они сходятся праздновать свой радостный праздникъ жизни, когда при блескѣ тысячи огней, среди троническихъ растеній, подъ чарующіе звуки музыки, смѣшивающіеся съ пѣвучими, нѣжными звуками лучшаго въ мірѣ языка, мелькаютъ и кружатся ихъ разодѣтыя, раздушенныя пары, когда лица ихъ сіяютъ радостью и взаимнымъ радушіемъ, когда вы видите, что самыя ихъ веселыя, игривыя рѣчи направлены умышленно къ тому, чтобы лишь развлекать и услаждать чувства, а отнюдь не смущать сердца и не отягощать вниманія какой нибудь головоломной и серьезной темой,—вамъ невольно приходитъ въ голову: вотъ оно наконецъ осуществленіе земного эдема, вотъ оно—передъ вами во очію царство гармоніи различныхъ западныхъ утопистовъ или Новый Сіонъ нашихъ раскольниковъ. И еще бы! вы возьмите хоть то во вниманіе, что здѣсь люди дошли до такой утонченности нравовъ, какая только мыслима на землѣ! Здѣсь невозможно никакое излишество: не только какая-нибудь безобразная пьяная сцена и громкій разговоръ, но даже малѣйшій грубый жестъ или тривіальное слово. Здѣсь о нѣкоторыхъ принадлежностяхъ туалета не позволяютъ себѣ даже и думать, не только что говорить. Однимъ словомъ, каждое малѣйшее движеніе головой или ногой, каждый звукъ голоса доведены здѣсь до полнаго изящества съ цѣлію свидѣтельствовать о красотѣ и достоинствѣ царя земли—человѣка.

А между тѣмъ оказывается, что трудно представить себѣ людей, болѣе несчастныхъ и жалкихъ, чѣмъ эти завидные счастливцы. По крайней мѣрѣ такими изображаетъ ихъ гр. Л. Толстой. Весь романъ отъ первой страницы до послѣдней исполненъ какими-то нравственными судорогами. Передъ нами словно нѣсколько темныхъ дикарей, которые сбились съ пути въ поискахъ обѣтованной земли и блуждаютъ въ болотахъ и дебряхъ, забывши, откуда они пришли и куда идутъ. У каждаго изъ нихъ невообразимая путаница въ головѣ, и когда они бесѣдуютъ, они такъ мало понимаютъ другъ друга, какъ будто съ ними только что случилось нѣчто вродѣ вавилонскаго столпотворенія и у нихъ смѣшались языки. Каждый изъ нихъ по своему ищетъ счастія, но въ концѣ концовъ оказывается, что если кто изъ нихъ пользуется хоть относительнымъ спокойствіемъ и довольствомъ, такъ это лишь тѣ «счастливцы, ума недальняго лѣнивцы», которымъ удалось разъ навсегда заглушить въ себѣ все человѣческое и, не поднимая никакихъ вопросовъ, не задавая себѣ никакихъ задачъ, поплыть по теченію, беззавѣтно отдавшись однимъ чисто свинскимъ инстинктамъ, памятуя лишь одно, что aprѣs nous le déluge. Но и изъ этихъ блаженныхъ людей ненарушимымъ счастіемъ пользуются лишь тѣ, которые усвоили себѣ мудрость наслаждаться благами чревоугодія, не дѣлая выбора изъ этихъ благъ, не устремляя всю свою алчность непремѣнно на одно какое-нибудь благо, а безразлично срывая каждый цвѣтокъ удовольствія, попадающійся подъ руку: ананасы такъ ананасы, огурцы такъ огурцы, вчера фленсбургскія устрицы, а сегодня — кислая капуста съ лучкомъ, ничего, — подавай намъ и капустицы. Но такихъ лицъ въ романѣ немного: Стива Облонскій, Васенька Весловскій, княжна Бетси —и только. Для этого безмятежнаго пользованія жизнью во всѣхъ ея формахъ и видахъ необходимъ особеннаго рода темпераментъ, который не каждому дается. Большинство же дѣйствующихъ лицъ романа выбираютъ какой нибудь особенный свой излюбленный лакомый кусокъ и всѣ свои душевныя силы употребляютъ на снисканіе именно этого куска; всякій другой кажется имъ и солонъ, и горекъ, и безвкусенъ. Но такъ какъ избранный лакомый кусокъ не всегда тотчасъ же попадаетъ въ ротъ алчущему: то кто-нибудь другой его перебьетъ, то самъ по себѣ кусокъ оказывается почему-либо недоступнымъ, и вотъ —начинаются муки неудовлетворенной страсти, оскорбленнаго самолюбія, разочарованія, отчаянія. И замѣчательно, что только въ подобныя горькія минуты жизни въ этихъ людяхъ пробуждаются высшіе человѣческіе инстинкты. Они вдругъ словно прозрѣваютъ, что кромѣ ихъ, несчастныхъ лишеніемъ одного желаннаго лакомаго куска, есть еще тысячи, милліоны еще болѣе несчастныхъ, которые можетъ быть впродолженіи всей жизни не видѣли даже и вдали-то чего-либо похожаго на лакомство. Сердца ихъ, которыя до того времени были глухи и слѣпы ко всему, что выходило изъ предѣловъ

ихъ личныхъ, чревоугодныхъ вожделѣній, смягчаются вдругъ, исполняются разными нѣжными и гуманными стремленіями. У нихъ является жажда кормить алчущихъ, поить жаждущихъ и врачевать недугующихъ. Но это просвѣтлѣніе длится обыкновенно очень недолго. Имъ становится и жутко, и неловко. Они чувствуютъ себя сейчасъ же не въ своей тарелкѣ и затѣмъ, словно устыдившись свой слабости, дѣлаются еще черствѣе, жесточе и безчеловѣчнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ: г. Л. Толстой съ такой систематичностью провелъ черезъ всѣ почти главныя дѣйствующія лица романа это явленіе, что мы можемъ разсматривать его въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Такъ, Вронскій, когда лакомый кусокъ въ видѣ Анны Карениной оказался вдругъ далеко не столь сладкимъ, какъ онъ ожидалъ, и сердце его наполнилось горечью и ираномъ, началъ поощрять бѣдныхъ тружениковъ искусства, а потомъ вздумалъ строить въ своей усадьбѣ больницу для крестьянъ по всѣмъ правиламъ современной науки, не упустивши завести при этомъ даже особенное кресло съ машинкой въ тѣхъ видахъ, «что больной не можетъ ходить—слабъ еще, или болѣзнь ногъ, но ему нуженъ воздухъ—и онъ ѣздитъ, катается»... Анна Каренина въ свою очередь, когда адъ, наполнившій ея сердце, дошелъ до самаго страшнаго разгара, тоже бросилась въ своего рода филантропію, взяла на свои руки семейство спившагося англичанина, бывшаго тренеромъ у Вронскаго, сама начала готовить мальчиковъ по-русски въ гимназію, а дѣвочку взяла къ себѣ. Левинъ, когда лакомый кусочекъ въ видѣ Кити пронесся мимо его рта, увлекся, какъ мы увидимъ ниже, разными проектами улучшенія быта крестьянъ, и даже у самаго у него явилось минутное поползновеніе войти въ шкуру мужика. M lle Варенька, воспитанница нѣкоей m-me Шталь, послѣ неудачной любви бросается въ религіозный экстазъ и наполняетъ свою жизнь разными дристіанскими подвигами вродѣ ухаживанія за больными и чтенія Евангелія преступникамъ. Даже Кити, побродушно наивная Кити, съ птичьимъ умишкомъ и инстинктами насѣдки, ни о чемъ не помышлявшая, какъ лишь о томъ, кого бы осчастливить законнымъ кредоставленіемъ своихъ прелестей, даже эта самая Кити, когда ей не удалось осчастливить Вронскаго, и ея душевный міръ, равно какъ и физическое здоровье, пошатнулись, тоже увлеклась примѣромъ Вареньки, прониклась жаждой христіанскихъ подвиговъ и начала ухаживать на водахъ за больнымъ художникомъ Петровымъ. Но когда послѣдній принялъ ухаживанія ея не въ религіозномъ, а совсѣмъ въ иномъ смыслѣ и влюбился въ нее, къ ужасу своей жены, Кити «какъ будто очнулась, почувствовала всю трудность безъ притворства и хвастовства удержаться на той высотѣ, на которую она хотѣла подняться. Кромѣ того она почувствовала всю тяжесть этого міра горя, болѣзней, умирающихъ, въ которомъ она жила. Ей мучительны показались тѣ усилія, которыя она дѣлала надъ собой, чтобы любить это, и поскорѣй захотѣлось на свѣжій воздухъ, въ Россію, въ Покровское».

Наконецъ даже самъ Алексѣй Александровичъ Карениннъ, чуть не съ пеленокъ обратившійся въ бюрократическую машину, въ которомъ все человѣческое совсѣмъ окаменѣло до такой степени, что онъ каждый разъ приходилъ чуть не въ неистовство, когда осмѣливались передъ нимъ плакать, котораго ничто въ жизни такъ не радовало, какъ красота симметрически расположенныхъ на его столѣ письменныхъ принадлежностей, который до такой степени не привыкъ къ какимъ-либо душевнымъ движеніямъ, что запутался, произнося слово *перестрадалъ*, и у него вышло *пеле-педе-страдалъ*,—даже и этотъ административный манекенъ въ самую трудную минуту жизни у постели тяжело больной жены испыталъ нѣчто вродѣ нравственнаго просвѣтлѣнія и умягченія и оказался способнымъ протянуть братскую руку примиренія счастливому сопернику.

На первомъ планѣ романа разыгрывается передъ нами трагедія страсти Анны Карениной и Вронскаго. Къ этой-то трагедіи гр. Л. Толстой, въ качествѣ мыслителя, и отнесъ грозный эпиграфъ: «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ». Но художникъ и пальцемъ не пошевелилъ, чтобы оправдать этотъ эпиграфъ. Напротивъ того, когда вы слѣдите за всѣми перипетіями этой драмы, то сначала вамъ дѣлается нѣсколько смѣшно при видѣ высокопарнаго приложенія такого грознаго изреченія къ банальной великосвѣтской комедіи, а потомъ вы приходите въ полное недоумѣніе. Неужели же, думаете вы, въ этой средѣ, можетъ быть въ жизни и дѣятельности самого Алексѣя Александровича Каренина, не нашлось-бы ничего въ неизмѣримо большей степени достойнаго отмщенія и воздаянія, чѣмъ этотъ любовный пантомимъ, разыгранный двумя праздными существами съ одной стороны отъ скуки, а съ другой — изъ естественной жажды любви и счастія?

Оба они, и Вронскій, и Анна, сходились въ томъ отношеніи, что ни въ дѣтствѣ, ни въ юности не испытали ни капли ничего согрѣвающаго душу.

«Вронскій,—говоритъ авторъ,—никогда не зналъ семейной жизни. Мать его была въ молодости блестящая, свѣтская женщина, имѣвшая во время замужества, и въ особенности послѣ, много романовъ, извѣстныхъ всему свѣту. Отца своего онъ почти не помнилъ и былъ воспитанъ въ Пажескомъ корпусѣ. Выйдя очень молодымъ, блестящимъ офицеромъ изъ школы, онъ сразу попалъ въ колею богатыхъ петербургскихъ военныхъ. Хотя онъ и ѣздилъ нерѣдка въ петербургскій свѣтъ, всѣ любовные интересы его были внѣ свѣта. Въ Москвѣ въ первый разъ онъ испыталъ, послѣ роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближенія со свѣтской, милой и невинной дѣвушкой (Кити), которая полюбила его.»

Правда, что ухаживаніе за Кити Вронскаго имѣло нѣсколько дурной и предосудительный характеръ праздняго свѣтскаго волокитства безъ намѣренія жениться, но во всякомъ случаѣ близость первой неиспорченной женщины начала будить въ сердцѣ свѣтскаго шалопая кое-какіе и человѣческіе инстинкты. «Я самъ себя чувствую лучше, чище,—говорилъ онъ себѣ:—я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мнѣ много хорошаго». А когда онъ вышелъ отъ Щербацкихъ, онъ прикинулъ воображеніемъ мѣсто, куда онъ могъ-бы ѣхать. Клубъ? партія безика, шампанское съ Игнатовымъ? Нѣтъ, не поѣду. Chateau des fleurs, тамъ найду Облонскаго, куплеты, cancan? Нѣтъ, надоѣло. Вотъ именно за то и люблю Щербац-

кихъ, что самъ лучше дѣлаюсь. Поѣду домой». Онъ прошелъ прямо въ свой номеръ у Дюссо, велѣлъ подать себѣ ужинать и потомъ, раздѣвшись, только успѣлъ положить голову на подушку, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Какъ ни безцѣльно было ухаживаніе Вронскаго за Кити, но очень возможно, что дѣло кончилось-бы серьезнымъ увлеченіемъ и женитьбой. Но чувство не успѣло еще созрѣть, какъ появленіе Анны въ Москву дало совсѣмъ иной оборотъ дѣлу. Блестящая и обаятельная Анна, женщина въ полномъ расцвѣтѣ, сразу затмила простенькую и наивную Кити, и къ тому же у нея, какъ мы сказали выше, было болѣе духовнаго сродства съ Вронскимъ. Дѣтства ея авторъ не описываетъ, но даетъ понять, что и ея сердце было такъ же мало согрѣто, какъ и Вронскаго. Въ замужествѣ ея за Карениннымъ не было и слѣда любви: это была какая-то дрянная интрига ея тетки, какая именно— авторъ почти не даетъ ни малѣйшаго разъясненія. Но зато въ одномъ мѣстѣ романа онъ заставляетъ Анну очень обстоятельно и краснорѣчиво признаться, какова была жизнь ея втеченіи восьми лѣтъ замужества.

Правъ!правъ!—проговорила она:—разумѣется,онъ всегда правъ, онъ христіанинъ, онъ великодушенъ! Да, низкій, гадкій человѣкъ! И этого никто, кромѣ меня, не понимаетъ и не пойметъ, и я не могу растолковать. Они говорятъ: религіозный, нравственный, честный, умный человѣкъ; но они не видятъ, что я видѣла. Они не знаютъ, какъ онъ восемь лѣтъ душилъ мою жизнь, душилъ все, что было во мнѣ живого,—что онъ ни разу и не подумалъ о томъ, что я—живая женщина, которой нужна любовь. Не знаютъ, какъ на каждомъ шагу онъ оскорблялъ меня и оставался доволенъ собой. Я-ли не старалась, всѣми силами старалась найти оправданіе своей жизни? Я-ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но прошло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Богъ меня сдѣлалъ такой, что мнѣ нужно любить и жить...»

Однимъ словомъ, какъ Вронскій, такъ и Анна бросились въ объятія другъ къ другу просто потому, что обоимъ въ одинаковой степени было такъ-же холодно и безпріютно на свѣтѣ, какъ какимъ-нибудь бѣднякамъ, которые гдѣ-нибудь на холодномъ чердачкѣ жмутся другъ къ другу, чтобы взаимно согрѣть свои окоченѣлые члены. И въ этомъ вся ихъ вина, и за это авторъ въ качествѣ мыслителя ниспосылаетъ на нихъ отмщеніе и воздаяніе. Но курьезнѣе всего то, что по ходу драмы отмщеніе и возданіе обрушивается на героевъ вовсе не за самый ихъ грѣхъ. Въ свѣтѣ и не такъ еще грѣшатъ разныя княжны Бетси и Стивы Облонскіе,—и все это имъ сходитъ какъ съ гуся вода. И герои наши могли грѣшить, сколько душѣ угодно, лишь бы все было шито и крыто. Праздные люди судачили бы о нихъ гдѣ-нибудь за уголкомъ, но продолжали-бы принимать ихъ у себя, бывать у нихъ и разсыпаться передъ ними въ любезностяхъ и всякихъ душевныхъ пожеланіяхъ. Алексѣй Александровичъ пеле педе - страдалъ-бы себѣ втихомолку, но въ концѣ концовъ остался-бы доволенъ, что жена его съумѣла поддержать достоинство его дома, и утѣшился-бы новымъ повышеніемъ по службѣ. Но виновники вздумали вдругъ отнестись къ своей любви гораздо честнѣе, чѣмъ другіе: осмѣлились любить другъ друга открыто передъ всѣмъ свѣтомъ, не остановились передъ тѣмъ, чтобы пожертвовать своей любви положеніемъ въ свѣтѣ, связями, карьерой. За эту дерзость и безумство и послѣдовало, собственно говоря, отмщеніе и воздаяніе. Свѣтъ не могъ простить ослушникамъ, преступившимъ вѣковѣчный и существенный законъ его, требующій сохраненія блестящей внѣшности и порядочности во что бы то ни стало, хотя-бы цѣной самаго возмутительнаго лицемѣрія и самой постыдной лжи. Началась положительная травля со стороны людей, которые въ тысячу разъ были преступнѣе и во всѣхъ отношеніяхъ ниже и гаже. Аннѣ нельзя было носу показать даже въ театръ, чтобы не испытать скандала со стороны какой-нибудь чопорной охранительницы нравственности, которая можетъ быть изъ этого-же театра готовилась отправиться на свиданіе съ любовникомъ. Даже та самая мать Вронскаго, которая въ юности только и дѣлала, что падала, сначала поощряла блестящую свѣтскую связь сына, потомъ возстала на нее, когда увидѣла, что это не шуточная свѣтская шалость, а роковая страсть, грозящая повредить карьерѣ сына. Но самое дѣятельное и безчеловѣчное участіе въ травлѣ принадлежитъ, въ качествѣ обманутаго мужа, Алексѣю Александровичу. У этой бюрократической деревяшки хватило однако же на столько іезуитскаго ехидства, чтобы облечь свои преслѣдованія въ личину религіозно-христіанскихъ обязанностей, и сначала онъ пытался было во имя этихъ обязанностей пригвоздить виновную супругу къ своему ложу силою своихъ супружескихъ правъ, а потомъ, когда это ему не удалось, и послѣ минутнаго смягченія у постели больной, онъ удвоилъ свою месть, отлично понявши, чѣмъ дойти несчастную женщину: онъ отнялъ у нея сына и запретилъ ей видѣться съ нимъ. Сцена тайнаго свиданія Анны съ сыномъ представляетъ верхъ трагическаго пафоса. Это одна изъ лучшихъ сценъ въ романѣ, одна изъ лучшихъ сценъ въ нашей литературѣ. Въ ней художникъ окончательно топчетъ въ грязь мыслителя. Здѣсь передъ нами вся, какъ на ладони, судьба этой несчастной женщины, судьба русской женщины вообще,—и сердце ваше наполняется глубокой жалостью къ ней и безпощаднымъ негодованіемъ къ ея мучителямъ. Не согрѣтая материнской любовью, воспитанная лишь на показъ для продажи на свѣтскомъ базарѣ, навязанная безсердечному идіоту обманомъ и хитростью, вродѣ того какъ цыгане сбываютъ на ярмаркѣ лошадей, униженная и оскорбленная во всѣхъ своихъ завѣтныхъ чувствахъ, она пьетъ послѣднюю страшную чашу униженія: ее заставляютъ тайкомъ вродѣ воровки красться для того, чтобы только мелькомъ взглянуть на своего ребенка...

Да пусть эта самая Анна Каренина была-бы въ тысячу разъ потерянѣй, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ, пусть-бы она шаталась по Невскому, вытаскивала-бы платки изъ карановъ, ночевала на Сѣнной въ домѣ Вяземскаго,— но есть преступленіе, которое превышаетъ всѣ возможныя преступленія на земномъ шарѣ: это — отнять ребенка у матери, и изверги, которые отваживаются на это безчеловѣчіе, заслуживаютъ

*

въ тысячу разъ страшнѣйшаго воздаянія и отмщенія, чѣмъ эта самая мать, будь она наипотеряннѣйшая женщина!

Но этимъ еще не исчерпываются всѣ испытанія, какими люди истерзали женщину за то, что она осмѣлилась открыто отдаться своей страсти безъ всякой лжи и притворства. Когда въ новомъ семейномъ гнѣздышкѣ, свитомъ Анною и Вронскимъ, вкрался мракъ, хаосъ и разладъ, зависѣвшіе единственно оттого, что гнѣздышко это было свито на воздухѣ и не имѣло никакой твердой почвы подъ собой, когда оба обитателя этого воздушнаго гнѣздышка убѣдились, что для ихъ примиренія и успокоенія необходимъ формальный разводъ Анны съ своимъ мужемъ, оказалось вдругъ, что этотъ разводъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и судьба двухъ любящихся людей всецѣло зависятъ отъ какого-то проходимца, парижскаго комми, ясновидящаго Жюля Ландо. Дѣло въ томъ, что Алексѣй Александровичъ, разставшись съ женой, кинулся въ религіозное великосвѣтское сектаторство подъ вліяніемъ той самой графини Лидіи Ивановны, которую онъ въ прежнія времена называлъ самоваромъ, а Лидія Ивановна свела его съ этимъ самымъ Ландо, обратившимся въ графа Беззубова. Алексѣй Александровичъ до такой степени подчинился сомнамбулическимъ вѣщаніямъ французскаго приказчика, что нѣсколькихъ безсвязныхъ словъ послѣдняго совершенно было достаточно ему, чтобы изречь свое veto относительно развода. Это была послѣдняя капля, переполнившая чашу. Послѣ этого послѣдняго посрамленія нѣтъ ничего мудренаго, что измученнымъ, истерзаннымъ нервамъ Анны въ каждомъ взглядѣ Вронскаго, въ каждомъ его невинномъ шагѣ и движеніи начали грезиться охлажденіе, измѣна и желаніе избавиться отъ нея. Въ концѣ концовъ только и оставалось ей, что броситься подъ поѣздъ, а ему—искать смерти въ Сербіи.

Я не спорю, ничего нѣтъ особенно высокаго и доблестнаго въ исключительной отдачѣ такой низменной страсти, какъ половая, и люди, которыхъ ничто не интересуетъ въ жизни, какъ лишь эта страсть, и которые считаютъ все для себя потерянными, если имъ не удастся полное удовлетвореніе ея, сами по себѣ очень жалкіе люди. Я готовъ въ то же время согласиться, что Анна и Вронскій отчасти и сами виноваты въ своей гибели: они возросли въ свѣтской обстановкѣ и до такой степени свыклись и сжились съ ней, что она сдѣлалась такой-же неотъемлемой стихіей ихъ, какъ воздухъ. Поэтому, если у нихъ и хватило мужества разорвать со свѣтомъ, они были не въ состояніи обойтись безъ него и какъ нибудь иначе устроить свою жизнь, въ какой-нибудь другой стихіи, въ которой для нихъ недоступна была-бы вся та трава, которую воздвигъ на нихъ свѣтъ. Они погибли, какъ погибаетъ рыба, выкинутая на несокъ, или мятежный матросъ, выброшенный за бортъ корабля за своеволіе и буйство.

Но не станемъ требовать отъ нихъ того, чего они не могли дать, и будемъ разсматривать ихъ относительно, въ предѣлахъ условій ихъ среды и жизни. Въ такомъ случаѣ вы должны будете отдать имъ полную справедливость, что въ тѣхъ узкихъ рамкахъ, въ которыхъ вращается ихъ жизнь и ихъ интересы, они являются людьми въ своемъ родѣ цѣльными, отдаваясь своей страсти безъ всякихъ колебаній и сомнѣній, съ героической готовностью пожертвовать ей и самую жизнь. Очень жалко, что на сценѣ является такая низменная страсть, какъ половая, но тѣмъ не менѣе остается несомнѣннымъ, что люди, способные съ такой непосредственной полнотой отдаться любви, съ неменьшей цѣльностью пожертвовали бы собой и всякой другой, болѣе высокой страсти, еслибы они могли увлечься ею при иныхъ условіяхъ жизни и среды. Важно не одно содержаніе жизни тѣхъ или другихъ людей, но и самые люди, представляющіеся мѣхами, носящими это содержаніе. И если желательно, чтобы содержаніе было дѣльное, то не менѣе необходимо, чтобы и мѣхи были хорошіе, крѣпкіе и твердые. Если жалко бываетъ видѣть плохое содержаніе въ здоровыхъ, крѣпкихъ мѣхахъ, то еще въ большей степени жалко, если прекрасное содержаніе вливается въ дрянные, ветхіе, кругомъ продырявленные мѣхи. А въ жизни на каждомъ шагу мы встрѣчаемъ такъ, что и содержаніе-то выѣденнаго яйца не стоитъ, да и мѣхи-то являются чортъ знаетъ какіе. Особенно въ нашей русской жизни мы такъ неизбалованы цѣльными характерами и могучими страстями, что насъ невольно радуетъ, словно вѣетъ на насъ какимъ-то свѣжимъ, ободряющимъ воздухомъ изъ иныхъ странъ при видѣ каждаго такого проявленія, хотя-бы и не Богъ вѣсть какого высокаго свойства. Понятно, что 30—40 лѣтъ тому назадъ, въ эпоху Лермонтова, Анна и Вронскій были-бы вознесены на пьедесталъ, какъ избранные люди, цѣлой головой выше всѣхъ окружающихъ, и зато непонятые, опозоренные и поглубленные «пошлой толпой». Для насъ конечно они не могутъ уже быть въ такой степени героями, какъ для нашихъ дѣдовъ и отцовъ, потому что потребности наши возвысились и расширились, и насъ не можетъ удовлетворить героизмъ любви; мы жаждемъ иного, болѣе содержательнаго героизма. Оттого графу Л. Толстому, въ качествѣ художника, ничего не стоило развѣнчать своихъ героевъ и представить ихъ во всемъ ихъ реальномъ убожествѣ. Но и развѣнчанные, они значительно выигрываютъ по сравненіи съ прочими дѣйствующими лицами и особенно съ героемъ россійской культурности, Константиномъ Левинымъ, котораго гр. Л. Толстой, въ качествѣ мыслителя, преподноситъ намъ, какъ положительный типъ для примѣра и поученія. Они мѣднаго пятака не имѣютъ за душой, да хоть въ любви-то мужественны, тверды и идутъ до конца, не оглядываясь по сторонамъ. Приступивши-же къ Левину, вы сразу проваливаетесь въ мутныя и бездонныя хляби россійской культурности. Передъ вами тотчасъ-же раскрываются всѣ тѣ прекрасныя качества, которыя дѣлаютъ изъ россійскаго культурнаго человѣка жалкое ничтожество и никуда негодную тряпку: расплывчатость, рыхлость, неопредѣленность, шаткость, легковѣсная увлекаемость каждымъ минутнымъ вѣяніемъ и отсутствіе всякаго упорства въ преслѣдуемой цѣли; разомъ нѣсколько самыхъ разнородныхъ стремленій, взаимно исключающихъ другъ друга, причемъ любовь всегда ужъ является препятствіемъ для общественныхъ стремленій или послѣднія становятся на дорогѣ люб-

ви, и въ то-же время человѣкъ и самъ не можетъ отдать себѣ отчета, любитъ онъ или не любитъ, вѣруетъ во что или не вѣруетъ, стремится къ чему-либо или такъ только ему кажется. Мыслитель преподноситъ намъ этотъ студень, какъ образецъ человѣчности, какъ якорь спасенія, какъ единственный залогъ душевнаго мира и счастія. Посмотрите-же, какъ зло и безпощадно художникъ смѣется надъ мыслителемъ.

На первыхъ же страницахъ романа Левинъ является передъ нами пріѣхавшимъ изъ деревни въ Москву свататься за Кити, и тутъ же сейчасъ начинаются передъ вами его нескончаемыя сомнѣнія и колебанія. Ему кажется, что Кити—такое совершенство во всѣхъ отношеніяхъ, такое существо превыше всего земного, а онъ такое жалкое, низменное существо, что не могло быть и мысли о томъ, чтобы другіе и она сама признали его достойнымъ ея. Въ глазахъ родныхъ Кити онъ не имѣлъ никакой привычной, опредѣленной дѣятельности и положенія въ свѣтѣ, былъ помѣщикъ, занимающійся разведеніемъ коровъ, стрѣляніемъ дупелей и постройками, то-есть бездарный малый, изъ котораго ничего не вышло, и дѣлающій, по понятіямъ общества, то самое, что дѣлаютъ никуда негодившіеся люди. Сама же таинственная, прелестная Кити, думаетъ онъ, не могла любить такого некрасиваго, какимъ онъ считалъ себя, и главное такого простого, ничѣмъ не выдающагося человѣка.

И вотъ вмѣсто того, чтобы ухаживать за любимой барышней, онъ упалъ духомъ и уѣхалъ въ деревню. Но, пробывъ два мѣсяца одинъ въ деревнѣ, онъ убѣдился, что это не было одно изъ тѣхъ влюбленій, которыя онъ испытывалъ въ первой молодости; что чувство это не давало ему покоя; что онъ не могъ жить, не рѣшивъ вопроса: будетъ или не будетъ она его женой; и что его отчаянье происходило только отъ его воображенья, что онъ не имѣетъ никакихъ доказательствъ того, что ему будетъ отказано. И онъ опять поѣхалъ въ Москву, теперь уже съ твердымъ рѣшеніемъ сдѣлать предложеніе и жениться, если его примутъ. Или... онъ не могъ думать о томъ, что съ нимъ будетъ, если откажутъ.

А ему взяли да и отказали. Постодушная Кити, жаждущая любви и гименея, не стала дожидаться, когда обожатель ея признаетъ себя достойнымъ ея, въ отсутствіе его успѣла влюбиться въ пріѣхавшаго въ Москву блестящаго Вронскаго и дала полную отставку своему прежнему суженому. Левинъ впалъ въ окончательное уныніе.

«Да—размышлялъ онъ:—что-то есть во мнѣ противное, отталкивающее, и не гожусь я для другихъ людей. Гордость, говорятъ. Нѣтъ, у меня нѣтъ и гордости. Еслибы была гордость, я не поставилъ бы себя въ такое положеніе. Да, она должна была выбрать его (Вронскаго). Такъ надо, и жаловаться не на кого и не на что. Виноватъ я самъ. Какое право имѣлъ я думать, что она захочетъ соединить свою жизнь съ моею? Кто я? И что я? На что живу? человѣкъ, ни кому и ни для чего не нужный.»

Съ этими мрачными мыслями онъ снова поѣхалъ въ деревню. Но дорожныя и деревенскія впечатлѣнія разсѣяли мракъ его души, ободрили его.

«Онъ чувствовалъ себя собой,—говоритъ авторъ—и другимъ не хотѣлъ быть. Онъ хотѣлъ теперь быть только лучше, чѣмъ онъ былъ прежде. Во-первыхъ, съ этого дня онъ рѣшилъ, что не будетъ больше надѣяться на необыкновенное счастіе, какое ему должна была дать женитьба, и вслѣдствіе этого не будетъ такъ пренебрегать настоящимъ. Во-вторыхъ, онъ уже никогда не позволитъ себѣ увлечься гадкой страстью, воспоминаніе о которой такъ мучило его, когда онъ собирался сдѣлать предложеніе. Потомъ и разговоръ брата о коммунизмѣ, къ которому тогда онъ такъ легко отнесся, теперь заставилъ его задуматься. Онъ считалъ передѣлку экономическихъ условій вздоромъ, но онъ всегда чувствовалъ несправедливость своего избытка въ сравненіи съ бѣдностью народа, и теперь рѣшилъ про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполнѣ правымъ, онъ, хотя и прежде много работалъ и не роскошно жилъ, теперь будетъ еще больше работать и еще меньше будетъ позволять себѣ роскоши. И все это казалось ему такъ легко сдѣлать надъ собой, что всю дорогу онъ провелъ въ самыхъ пріятныхъ мечтаніяхъ. Съ бодрымъ чувствомъ надежды на новую, лучшую жизнь онъ въ девятомъ часу ночи подъѣхалъ къ своему дому.»

Однимъ словомъ, и съ нимъ произошло то-же, что и со всѣми прочими дѣйствующими лицами романа: отпустили его съ носомъ, не солоно хлебавши, отъ лакомаго блюда,—и онъ тотчасъ же исполнился разными гуманными чувствами, состраданіемъ къ низшей братьи и стремленіемъ начать новую и лучшую жизнь. Это стремленіе, ничѣмъ особеннымъ не осуществляясь, не покидало Левина ни зимой, ни весной, ни лѣтомъ. Оно жило въ немъ и въ то время, когда онъ стрѣлялъ дупелей съ пріѣхавшимъ къ нему Облонскимъ, и въ то время, когда косилъ сѣно съ мужиками. На одномъ же изъ сѣнокосовъ мысли его о новой жизни приняли самый опредѣленный характеръ, и притомъ такой важный и роковой, что, казалось, судьба его должна была тотчасъ же рѣшиться. Я не могу удержаться, чтобы не выписать цѣликомъ это замѣчательное мѣсто романа:

«Возъ былъ увязанъ. Иванъ спрыгнулъ и повелъ за поводъ добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на возъ грабли, и бодрымъ шагомъ, размахивая руками, пошла къ собравшимся хороводомъ бабамъ. Иванъ выѣхалъ на дорогу, вступилъ въ обозъ съ другими возами. Бабы съ граблями на плечахъ, блестя яркими цвѣтами и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возовъ. Одинъ грубый, дикій бабій голосъ затянулъ пѣсню и допѣлъ ее до повторенія, и дружно, въ разъ, подхватили опять сначала ту же пѣсню полсотни разныхъ, грубыхъ и тонкихъ, здоровыхъ голосовъ.

Бабы съ пѣснью приближались къ Левину, и ему казалось, что туча съ громомъ веселья подвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его,—и копна, на которой онъ лежалъ, и другія копны, и воза, и весь лугъ съ дальнимъ полемъ—все заходило и заколыхалось подъ размѣры этой дикой, развеселой пѣсни съ криками, присвистами и еканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотѣлось принять участіе въ выраженіи этой радости жизни. Но онъ ничего не могъ сдѣлать, и долженъ былъ лежать и смотрѣть, и слушать. Когда народъ съ пѣснью скрылся изъ вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою тѣлесную праздность, за свою враждебность къ этому міру охватило Левина.

Нѣкоторые изъ тѣхъ самыхъ мужиковъ, которые больше всѣхъ съ нимъ спорили за сѣно,—тѣ, которыхъ онъ обидѣлъ, или тѣ, которые хотѣли обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему, и очевидно не имѣли и не могли имѣть къ нему никакого зла, и никакого—не только раскаянія, но и воспоминанія о томъ, что они хотѣли обмануть его.

Все это потонуло въ морѣ веселаго общаго труда. Богъ далъ день, Богъ далъ силы. И день, и силы посвящены труду, а въ немъ самомъ награда. А для кого трудъ? Какіе будутъ плоды труда? Это соображенія постороннія и ничтожныя.

Левинъ часто любовался на эту жизнь, часто испытывалъ чувство зависти къ людямъ, живущимъ этой жизнью, но нынѣче въ первый разъ, въ особенности подъ впечатлѣніемъ того, что онъ видѣлъ въ отношеніяхъ Ивана Парменова къ его молодой женѣ, Левину въ первый разъ ясно пришла мысль о томъ, что отъ него зависитъ перемѣнить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которой онъ жилъ, на эту трудовую, чистую и общую, прелестную жизнь.

Старикъ, сидѣвшій съ нимъ, уже давно ушелъ домой; народъ весь разбрелся. Ближніе уѣхали домой, а дальніе собрались къ ужину и ночлегу въ лугу. Левинъ, незамѣчаемый народомъ, продолжалъ лежать на копнѣ и смотрѣть, слушать и думать. Народъ, оставшійся ночевать въ лугу, не спалъ почти всю короткую лѣтнюю ночь. Сначала слышался общій веселый говоръ и хохотъ за ужиномъ, потомъ опять пѣсни и смѣхъ.

Весь длинный, трудовой день не оставилъ въ нихъ другого слѣда, кромѣ веселости. Передъ утренней зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемыхъ въ болотѣ лягушекъ и лошадей, фыркавшихъ по лугу въ поднимавшемся передъ утромъ туманѣ. Очнувшись, Левинъ всталъ съ копны и, оглядѣвъ звѣзды, понялъ, что прошла ночь.

«Ну, такъ что же я сдѣлаю? Какъ я сдѣлаю это?» сказалъ онъ себѣ, стараясь выразить для самого себя все то, что онъ передумалъ и перечувствовалъ въ эту короткую ночь Все, что онъ передумалъ и перечувствовалъ, раздѣлялось на три отдѣльные хода мысли. Одинъ, это было отреченіе отъ своей старой жизни, отъ своего ни къ чему ненужнаго образованія. Это отреченіе доставляло ему наслажденіе и было для него легко и просто. Другія мысли и представленія касались той жизни, которой онъ желалъ жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни онъ ясно чувствовалъ, и былъ убѣжденъ, что онъ найдетъ въ ней то удовлетвореніе, успокоеніе и достоинство, отсутствіе которыхъ онъ такъ болѣзненно чувствовалъ. По третій рядъ мыслей вертѣлся на вопросѣ о томъ, какъ сдѣлать этотъ переходъ отъ старой жизни къ новой. И тутъ ничего яснаго ему не представлялось. «Имѣть жену. — Имѣть работу и необходимость работы. Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться въ общество? Жениться на крестьянкѣ? Какъ-же я сдѣлаю это?» опять спрашивалъ онъ себя, и не находилъ отвѣта. «Впрочемъ я не спалъ всю ночь, и я не могу дать себѣ яснаго отчета», сказалъ онъ себѣ. «Я уясню послѣ. Одно вѣрно, что эта ночь рѣшила мою судьбу. Всѣ мои прежнія мечты семейной жизни вздоръ, не то», сказалъ онъ себѣ. «Все это гораздо проще и лучше.»

Читаете вы это мѣсто и думаете: вотъ, вотъ сейчасъ въ жизни героя нашего произойдетъ великій переломъ, всѣ высокія стремленія его осуществятся не громкимъ, но тѣмъ не менѣе очень почтеннымъ способомъ: праздный стрѣлокъ дупелей и унылый вздыхатель по коварной измѣнницѣ Кити обратится передъ нами въ честнаго и скромнаго труженика. Но надо-же было случиться, чтобы какъ нарочно въ эту самую минуту проѣхала мимо эта самая Кити на пути въ усадьбу къ своей сестрѣ Долли. А Левинъ незадолго передъ тѣмъ услыхалъ отъ Облонскаго, что Кити разочаровалась въ измѣнившемъ ей Вронскомъ и сдѣлалась снова свободна. Узрѣлъ Левинъ «правдивыя очи» своей Кити, блеснувшія удивленной радостью при видѣ его,—все пошло кругомъ въ головѣ его: и мечты о приписке въ общество, о женитьбѣ на крестьянкѣ, о трудовой, простой жизни,—разомъ разсѣялись прахомъ. «Нѣтъ,—сказалъ онъ себѣ: —какъ ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться къ ней. *Я люблю ее*».

Правда, что и послѣ этой неожиданной встрѣчи онъ нѣкоторое время все еще занимался вопросомъ о своихъ отношеніяхъ къ мужикамъ. Хозяйство, которое онъ велъ, опротивѣло ему и потеряло для него всякій интересъ, онъ не могъ не видѣть теперь того непріятнаго отношенія своего къ работникамъ, которое было основой всего дѣла. Напротивъ того, онъ ясно видѣть, что то хозяйство, которое онъ велъ, была только жестокая и упорная борьба между нимъ и работниками, въ которой на его сторонѣ было постоянное напряженное стремленіе передѣлать все на считаемый лучшимъ образецъ, на другой-жесторонѣ— естественный порядокъ вещей. И въ этой борьбѣ онъ видѣлъ, что при величайшемъ напряженіи силъ съ его стороны и безо всякихъ усилій и даже намѣренія съ другой достигалось только то, что хозяйство шло ни въ чью, и совершенно напрасно портились прекрасныя орудія, прекрасная скотина и земля. Правда, что вслѣдствіе всѣхъ этихъ мыслей и соображеній у Левина образовался планъ какихъ-то новыхъ и особенныхъ отношеній къ мужикамъ, какихъ именно. трудно понять изъ изложенія его мыслей. Все дѣло повидимому заключалось въ томъ, чтобы спустить уровень своего хозяйства до средняго уровня хозяйства крестьянъ и заинтересовать работниковъ въ успѣхѣ дѣла дѣлежемъ пополамъ добываемыхъ продуктовъ. Правда, что Левинъ въ такой восторгъ пришелъ отъ этого плана, что вообразилъ даже себя чѣмъ-то вродѣ Франклина.

Но все это было больше ничего, какъ уже послѣднія тучи разсѣянной бури. По пріѣздѣ больного брата къ нему въ усадьбу онъ прочелъ про себя нѣсколько гамлетовскихъ монологовъ о тщетѣ всего земного и о неизбѣжности смерти, поломался еще немножко передъ Кити, не пожелавши ѣхать къ Долли и встрѣтиться у нея съ Кити, поѣхалъ затѣмъ заграницу, все еще въ видахъ своихъ сельско-хозяйственныхъ плановъ, но когда воротился изъ-за границы въ Москву,—всѣ планы и мысли объ отношеніи къ мужикамъ окончательно были сданы въ архивъ. Тутъ онъ снова встрѣтился съ Кити, тотчасъ-же они помирились, объяснились,—и начались восторги неземного счастія. До мужиковъ-ли тутъ было?

Но и тутъ дѣло не обошлось безъ сомнѣній и колебаній. Уже въ самый день свадьбы на Левина вдругъ напалъ страхъ:

«Что, какъ она не любитъ меня? Что, какъ она выходитъ за меня только для того, чтобы выйти замужъ? Что, если она сама не знаетъ того, что дѣлаетъ? спрашивалъ онъ себя. Она можетъ опомниться и, только выйдя замужъ, пойметъ, что не любитъ и не могла любить меня». И страшныя, самыя дурныя мысли о ней стали приходить ему. Онъ ревновалъ ее къ Вронскому, какъ годъ тому назадъ, какъ-будто этотъ вечеръ, когда онъ видѣлъ ее съ Вронскимъ, былъ вчера. Онъ быстро вскочилъ. «Нѣтъ, это такъ нельзя!» сказалъ онъ себѣ съ отчаяніемъ; «пойду къ ней, спрошу, скажу послѣдній

разъ: мы свободны, и не лучше-ли остановиться? Все лучше, чѣмъ вѣчное несчастіе, позоръ, невѣрность!!» Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и со злобой на всѣхъ людей, на себя, на нее, онъ вышелъ изъ гостинницы и поѣхалъ къ ней.»

Кити онъ конечно очень удивилъ своими подозрѣніями, заставилъ ее плакать, утѣшать и снова увѣрять въ любви къ нему.

Но и женившись на Кити, онъ не переставалъ при всякомъ удобномъ случаѣ подвергаться разнымъ сомнѣніямъ и разочарованіямъ. То ему вдругъ не нравится, зачѣмъ Кити тотчасъ-же по пріѣздѣ въ усадьбу предалась разнымъ хозяйственнымъ мелочнымъ заботамъ. Онъ, вотъ видите, представлялъ себѣ семейную жизнь совсѣмъ иначе, воображалъ ее «только какъ наслажденіе любви, которой ничто не должно было препятствовать и отъ которой не должны были отвлекать мелкія заботы; онъ долженъ былъ, по его понятію, работать свою работу и отдыхать отъ нея въ счастіи любви, она должна быть любима и только». То, наоборотъ, ему казалось, что Кити слишкомъ мало трудится, «что не то, что она сама виновата (виноватой она ни въ чемъ не могла быть), но виновато ея воспитаніе, слишкомъ поверхностное и фривольное, что, кромѣ интереса къ дому, кромѣ своего туалета и кромѣ broderie anglaise, у нея нѣтъ серьезныхъ интересовъ: ни интереса къ дѣлу мужа, къ хозяйству, къ мужикамъ, ни къ музыкѣ, въ которой она довольно сильна, ни къ чтенію; она ничего не дѣлаетъ и совершенно удовлетворена».

Но этими сомнѣніями и разочарованіями дѣло не ограничивается. Приходитъ лѣто, начали къ Левину въ Покровское съѣзжаться разные родные и знакомые, а въ томъ числѣ пріѣхалъ Васенька Весловскій. И вдругъ въ первый-же день пріѣзда послѣдняго оказалось, что Левинъ такъ мало знаетъ свою жену Кити, такъ мало довѣряетъ ей и цѣнитъ ее, и слѣдовательно такъ мало любитъ ее, что невинное ухаживанье Весловскаго за молодой хозяйкой тотчасъ-же выводитъ его изъ себя: ему начинаютъ мерещиться какія-то особенныя безстыжія улыбки, которыми жена его отвѣчала будто-бы на улыбки Васеньки, и онъ тотчасъ-же воображаетъ себя обманутымъ мужемъ, въ которомъ нуждаются жена и любовникъ только для того, чтобы доставлять имъ удобства жизни и удовольствія. И кончается дѣло тѣмъ. что на третій день онъ самымъ безцеремоннымъ и грубымъ образомъ выпроваживаетъ Васеньку изъ усадьбы. Хорошо, что у простодушной Кити мозгъ и сердце были курячьи, и она тотчасъ-же простила, но вообразите себѣ, какъ-бы все это должно было жестоко оскорбить женщину, мало-мальски умную и съ характеромъ. Вслѣдъ затѣмъ онъ до такой степени подчиняется женскому элементу своей семьи въ видѣ жены и тещи, что ѣдетъ съ Кити на зиму въ Москву въ видахъ разрѣшенія ея отъ бремени и тамъ втягивается въ роскошную и разорительную свѣтскую жизнь съ головой, забывши окончательно всѣ свои сельскохозяйственныя мечтанія.

«Только въ самое первое время въ Москвѣ,—читаемъ мы въ романѣ: - тѣ страшные деревенскому жителю, непроизводительные, но неизбѣжные расходы, которые потребовались отъ него со всѣхъ сторонъ, поражали Левина. Но теперь онъ уже привыкъ къ нимъ. Съ нимъ случилось въ этомъ отношеніи то, что, говорятъ, случается съ пьяницами: первая рюмка - коломъ, вторая—соколомъ, а послѣ третьей - мелкими пташечками Когда Левинъ размѣнялъ первую сторублевую бумажку на покупку ливрей лакею и швейцару, онъ невольно сообразилъ, что эти никому не нужныя ливреи, но неизбѣжно необходимыя, судя по тому, какъ удивились княгиня и Кити при намекѣ, что безъ ливреи можно обойтись,—что эти ливреи будутъ стоить двухъ лѣтнихъ работниковъ, то-есть около трехсотъ рабочихъ дней отъ Святой до заговѣнь, и каждый день тяжкой работы съ ранняго утра до поздняго вечера, — и эта сторублевая бумажка еще шла коломъ. Но слѣдующая, размѣненная на покупку провизіи къ обѣду для родныхъ, стоившей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала въ Левинѣ воспоминаніе о томъ, что двадцать восемь рублей—это девять четвертей овса, который, потѣя и кряхтя, косили, вязали, молотили, вѣяли, подсѣвали и подсыпали, — эта слѣдующая пошла все-таки легче. А теперь размѣниваемыя бумажки уже давно не вызывали такихъ соображеній и летѣли мелкими пташечками. Соотвѣтствуетъ-ли трудъ, накопленный на пріобрѣтеніе денегъ, тому удовольствію, которое доставляетъ накупаемое на нихъ, это соображеніе уже давно было потеряно. Разсчетъ хозяйственный о томъ, что есть извѣстная цѣна, ниже которой нельзя продать извѣстный хлѣбъ, тоже былъ забытъ. Рожь, цѣну на которую онъ такъ долго выдерживалъ, была продана пятьюдесятью копѣйками на четверть дешевле, чѣмъ за нее давали мѣсяцъ тому назадъ. Даже и разсчетъ, что при такихъ расходахъ невозможно будетъ прожить весь годъ безъ долга, и этотъ разсчетъ уже не имѣлъ никакого значенія. Только одно требовалось: имѣть деньги въ банкѣ, не спрашивая, откуда онѣ, такъ чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этотъ разсчетъ до сихъ поръ у него соблюдался: у него всегда были деньги въ банкѣ. Но теперь деньги въ банкѣ вышли, и онъ не зналъ хорошенько, откуда взять ихъ. И это-то на минуту, когда Кити напомнила о деньгахъ, разстроило его; но ему некогда было думать объ этомъ.»

И еще бы, до того ли было думать ему о такихъ пустякахъ, когда у малаго голова совсѣмъ пошла кругомъ отъ московской жизни? Онъ обѣдалъ въ клубѣ, сблизился тамъ съ Вронскимъ, на котораго до тѣхъ поръ глядѣлъ звѣремъ, пилъ съ нимъ шампанское, проигралъ на билліардѣ 40 рублей и въ концѣ концовъ отправился съ Облонскимъ знакомиться съ Анной Карениной,—и такъ плѣнился ею, что Кити, слушая его восхищенія, какія онъ расточалъ по возвращеніи отъ Анны, не въ шутку подумала, что онъ влюбился въ эту женщину, и отъ ревности зарыдала.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется передъ вами этотъ культурный герой, возросшій непосредственно на россійской почвѣ. Не правда ли, что-то знакомое, много разъ встрѣчавшееся въ нашей литературѣ напоминаетъ онъ? И даже очень знакомое: вѣдь это все тотъ же нашъ старый пріятель Нехлюдовъ, съ которымъ знакомилъ насъ гр. Л. Толстой въ своей прежней художественной дѣятельности. Это новый варіантъ все того же почти уже отжившаго типа. Вы можетъ быть думали, что типъ этотъ давно уже выродился; нѣтъ, онъ все еще пока существуетъ, но во всякомъ случаѣ часъ его близокъ. Возросшій на почвѣ крѣпостного права, онъ не въ состояніи долго бороться съ новыми условіями жизни, и Левинъ является однимъ изъ послѣднихъ его могиканъ. Я убѣжденъ, что самъ онъ, этотъ Левинъ, не въ состояніи долго

удержаться въ томъ видѣ, въ какомъ онъ парадируетъ передъ нами въ романѣ, и непремѣнно переродится со временемъ во что нибудь совсѣмъ иное: или въ Дерунова, или въ Облонскаго. Правда, въ концѣ романа онъ мирится на путаницѣ какихъ-то туманныхъ компромиссовъ. Послѣ цѣлаго ряда гамлетическихъ разсужденій въ религіозномъ духѣ относительно того, вѣрить ему или не вѣрить и во что вѣрить и какъ вѣрить, послѣ тщетныхъ попытокъ найти отвѣтъ на свои тревожные вопросы у различныхъ философовъ, Левинъ вдругъ натолкнулся на одно банальное изреченіе нѣкоего мужика Ѳедора. «Да, такъ, значитъ—сказалъ этотъ Ѳедоръ -- люди разные: одинъ человѣкъ только для нужды своей живетъ, хоть бы Митюха, только брюхо набиваетъ, а Ооканычъ—правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнитъ». У Левина отъ этихъ словъ вдругъ произошло просіяніе. Слова эти сразу разрѣшили ему—и что такое Богъ, и что такое вѣра въ Бога, и какъ ему жить въ этой вѣрѣ, и сейчасъ же у него составилась самая успокоительная программа жизни.

«Такъ-же,—размышлялъ онъ,—буду сердиться на Ивана кучера, также буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, также будетъ стѣна между святая святыхъ моей души и другими, даже женой моей, также буду обвинять ее за свой страхъ и раскаяваться въ этомъ, также буду не понимать разумомъ, зачѣмъ я молюсь, и буду молиться,—но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мной, каждая минута ея—не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее!».

Но вы не вѣрьте ни успокоенію Левина, ни его словамъ с томъ, что до сихъ поръ жизнь его была безсмысленна, а теперь она получитъ смыслъ добра, который онъ въ нее вложитъ. Во-первыхъ, мы уже видѣли неоднократно, что при каждомъ новомъ оборотѣ мыслей Левину казалось, что вотъ-вотъ начнетъ онъ новую жизнь, исполненную всякихъ благъ, а дѣло всегда кончалось или правдивыми глазками Кити, или бутылками шампанскаго въ клубѣ. А во-вторыхъ, самая сила вещей влечетъ Левина по пути, отрицающему всякую возможность того «смысла добра», о которомъ онъ мечтаетъ. Вѣдь вы подумайте, что, по собственному сознанію Левина, хозяйство его при всѣхъ усиліяхъ сводится на нѣтъ и даже приноситъ ему убытокъ. А между тѣмъ не разъ—не два придется ему возить въ Москву Кити изъ-за прибавленія новыхъ и новыхъ членовъ семейства, и каждый разъ онъ будетъ вынужденъ тратиться на ливреи, клубные проигрыши и разнаго рода столичныя шалѣнья. Каждое лѣто усадьба его будетъ наполняться столичными гостями. А тамъ начнутъ подростать дѣти, нужно будетъ заботиться о ихъ воспитаніи и пристроиваньи. Для удовлетворенія всѣхъ этихъ нуждъ придется удвоивать, утроивать доходы съ имѣнья. Кто знаетъ, до чего при такихъ условіяхъ дойдетъ дѣло? Можетъ быть не достаточно окажется нанимать рабочихъ какъ можно дешевле и заботиться о томъ, чтобы они дѣлали какъ можно больше; понадобится и кабакъ, и постоялый дворъ окажется нелишнимъ. А не то придется ѣхать въ городъ и подобно Облонскому дежурить въ переднихъ у евреевъ, выклянчивая какого нибудь банковскаго мѣстечка съ кругленькимъ окладомъ. Очень возможно, что именно только тогда Левинъ найдетъ полное душевное успокоеніе отъ всѣхъ тревожащихъ его вопросовъ, хотя много-ли будетъ тогда въ жизни его «несомнѣннаго смысла добра»—объ этомъ предоставляю судить читателямъ.

Итакъ, вотъ что́ намъ нарисовалъ художникъ,—не правда-ли, совершенно вопреки мыслителю и точно будто нарочно ради опроверженія всѣхъ его идей? Излюбленный культурный человѣкъ оказался вдругъ хуже всѣхъ прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа, никуда негодной тряпицей, а вмѣсто спасительной почвы представилась нашимъ глазамъ какая-то мутная трясина. На этомъ основаніи я отъ души посовѣтывалъ бы графу Л. Толстому при слѣдующемъ изданіи романа перемѣнить эпиграфъ, и вмѣсто него напечатать тотъ самый, который поставленъ мной въ началѣ статьи. Эпиграфъ этотъ, правда, не будетъ такъ картиненъ и эффектенъ, какъ прежній, но зато гораздо болѣе будетъ подходить ко всѣмъ героямъ романа.

.....

ЭПИДЕМІЯ ЛЕГКОМЫСЛІЯ.

(«Литературный вечеръ», очеркъ И. Гончарова, „Русская Рѣчь“ № 1.)

Я не говорю уже о достоинствахъ критической статьи, но для того лишь, чтобъ она была, необходимо, чтобы разбираемое сочиненіе произвело на критика какое-бы то ни было впечатлѣніе. Пусть произведеніе будетъ и бездарно, и нелѣпо, но лишь бы оно чѣмъ нибудь поражало, хотя бы своими отрицательными качествами. Но нѣтъ ничего болѣе неблагодарнаго для критики произведеній скучныхъ. Извѣстно вѣдь, что скука именно и есть не что иное, какъ отсутствіе всякихъ впечатлѣній. Можно ли ожидать отъ критика чего-либо живого, если разбираемое произведеніе наводитъ лишь зѣвоту, дремоту, непреоборимое побужденіе уснуть и забыться отъ всякихъ мыслей.

Произведеніе-же Гончарова, нашего почтеннаго и маститаго беллетриста, такъ неожиданно прервавшаго свое десятилѣтнее молчаніе, мало того что скучновато, оно поражаетъ васъ своей эфемерностью.

Когда я прочелъ его, оно произвело на меня такое впечатлѣніе, какъ будто передо мной прошла полоса безцвѣтнаго, безформеннаго дыма и разсѣялась безъ всякаго слѣда. Такъ какъ я не причисляю себя къ числу присяжныхъ критиковъ и не имѣю несчастья

быть обязаннымъ, во что бы то ни стало, отдавать отчетъ относительно каждаго новаго произведенія литературнаго корифея, то весьма понятно, что у меня не могло явиться ни малѣйшаго побужденія не только писать объ очеркѣ Гончарова, но даже и говорить о немъ въ пріятельской бесѣдѣ.

Я и отложилъ о немъ всякія попеченія. Но странно, не смотря на то, что я и въ головѣ не держалъ его, и многія подробности и частности успѣли уже испариться изъ памяти, невольно какъ-то сама собою, словно въ силу тѣхъ невѣдомыхъ процессовъ, какіе порой безсознательно совершаются въ нашей головѣ, у меня явилась мысль, которая, какъ мнѣ показалось, открыла мнѣ секретъ эфемерности произведенія Гончарова. Вотъ этой то мыслью я и хочу подѣлиться съ читателями, тѣмъ болѣе, что я сомнѣваюсь, чтобы кто нибудь взглянулъ на произведеніе Гончарова именно съ этой стороны, какъ мнѣ представляется, весьма существенной.

Скажу вамъ прямо что, меня болѣе всего поразило въ произведеніи этомъ: именно—крайнее легкомысліе, какъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ очерка, такъ еще въ большей степени—легкомысліе самого автора. Гончаровъ, маститый беллетристъ, почтенный авторъ «Обыкновенной исторіи», «Обломова», «Обрыва», Гончаровъ, по цѣлымъ десятилѣтіямъ творящій свои увѣсистыя произведенія, тщательно обдумывающій и отдѣлывающій каждую сценку, каждый штришокъ,—и вдругъ легкомысліе: неправда ли,—два понятія трудно соединимыя? А между тѣмъ на самомъ дѣлѣ легкомысліе, проявившееся вдругъ въ лицѣ такого почтеннаго беллетриста, какъ Гончаровъ, дѣлаетъ это явленіе крайне замѣчательнымъ. Это показываетъ, что легкомысліе перестаетъ быть случайнымъ удѣломъ лишь нѣкоторыхъ личностей, по природѣ расположенныхъ къ нему, а принимаетъ эпидемическій характеръ. Сила эпидемій главнымъ образомъ познается по тому, насколько болѣзнь способна бываетъ захватывать такія атлетическія и поставленныя въ самыя благопріятныя условія натуры, которыя повидимому наиболѣе застрахованы отъ заразы. Поэтому мы вполнѣ вправѣ сказать, что если даже такіе писатели, какъ Гончаровъ, проявляютъ вдругъ крайнее легкомысліе, то значитъ эта болѣзнь приняла столь широкіе размѣры, что не щадитъ уже, что называется, ни пола, ни возраста. Однимъ словомъ, это уже не тотъ или другой частный случай, а признакъ времени.

А вы не шутите съ легкомысліемъ. У насъ ни на что не смотрятъ такъ легкомысленно, какъ на легкомысліе. Многіе не считаютъ его даже порокомъ, а видятъ въ немъ, равно какъ и во многихъ другихъ слабостяхъ, присущихъ великосвѣтскимъ кругамъ, своего рода украшеніе человѣка. На легкомысліе, равно какъ и на расточительность, необходимо имѣть особенное привилегированное право, болѣе всего конечно присущее прекрасному полу. Если великосвѣтская красавица не легкомысленна, то она представляется многимъ лишенной половины всѣхъ тѣхъ прелестей, какія соединены въ понятіи о великосвѣтской красавицѣ. А между тѣмъ само по себѣ легкомысліе болѣе чѣмъ слабость и порокъ: оно есть особеннаго рода душевная болѣзнь, первая ступень къ слабоумію. Я убѣжденъ, что физіологія откроетъ не сегодня, завтра, въ легкомысленномъ человѣкѣ то начало ослабленія нервныхъ центровъ, которое въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи ведетъ къ разнымъ родамъ помѣшательства. Въ самомъ дѣлѣ, что такое легкомысліе? Вѣдь это есть такое притупленіе мысли, при которомъ человѣкъ перестаетъ различать вещи въ ихъ взаимномъ соотношеніи и цѣнности, пустяки возводитъ на степень первой важности и въ важныхъ вещахъ ничего не находитъ кромѣ пустяковъ, руководится въ своихъ дѣйствіяхъ первыми мимолетными впечатлѣніями, теряя всякое сознаніе о послѣдовательности вещей, путая причины съ слѣдствіями, а иногда и совсѣмъ упуская изъ вида неминуемость послѣдствій. Я по крайней мѣрѣ не могу смотрѣть иначе, какъ на своего рода помѣшанныхъ, на тѣхъ легкомысленныхъ опустошителей казенныхъ сундуковъ, какіе нынѣ парадируютъ по всѣмъ городамъ и весямъ Россійской имперіи. Я бы понималъ логику этихъ людей, еслибы въ ихъ преступленіяхъ былъ злостный разсчетъ вродѣ быстраго обогащенія посредствомъ кражи и бѣгства отъ судейскихъ преслѣдованій, хотя бы въ Америку. Въ большей же части случаевъ ничего этого не замѣчается: человѣкъ опустошаетъ казенный сундукъ единственно ради сегодняшнихъ развлеченій, совершенно какъ бы потерявъ всякое сознаніе о различіи своихъ денегъ отъ чужихъ и забывъ о томъ, что завтра же придетъ ревизоръ и притянетъ хищника къ суду. Является ревизоръ, хищникъ и не думаетъ скрываться, а тотчасъ же, иногда за тѣмъ же пиршественнымъ столомъ, за которымъ минуту тому назадъ ему было море по колѣно, пускаетъ себѣ пулю въ лобъ или же отправляется на скамью подсудимыхъ съ самой безпечной и блаженной улыбкой. Что же это, какъ не тотъ же сумасшедшій, который зря зажигаетъ домъ, въ которомъ находится, ни мало не помышляя о томъ, что самъ же первый въ немъ сгоритъ, или бросается въ окно съ четвертаго этажа, мечтая прогуляться по тротуару?

Но легкомысліе не ограничивается одними спорадическими случаями. Это такая душевная болѣзнь, которая на ряду съ нѣкоторыми видами умопомѣшательства, вродѣ напримѣръ религіозной маніи, эпилепсіи, кликушества и т. п., можетъ принимать эпидемическій характеръ, разомъ проявляясь въ цѣлыхъ слояхъ общества или массахъ населенія. Исторія представляетъ намъ цѣлый рядъ вѣковъ, въ которыхъ легкомысліе овладѣвало цѣлыми народами и представлялось существенной чертой времени. И замѣчательно, что подобное развитіе эпидемическаго легкомыслія постоянно являлось предвѣстіемъ великихъ событій или страшныхъ катастрофъ. Таково было легкомысліе безпечныхъ жителей Содома и Гоморры, легкомысліе пировъ Вальтасара наканунѣ разрушенія Вавилона, легкомысліе римлянъ временъ имперіи, римской куріи въ эпоху реформаціи, версальскаго дворца при Людовикѣ XV и пр.

Какъ я сказалъ уже выше, легкомысленнѣе всѣхъ въ очеркѣ Гончарова является самъ авторъ его. Въ самомъ дѣлѣ, вы посмотрите только, что онъ дѣлаетъ. Онъ написалъ свой очеркъ не спроста, а имѣлъ серьезную цѣль—свести въ одно людей разныхъ на-

правленій и заставить ихъ высказаться въ горячемъ спорѣ о всѣхъ злобахъ дня. Но этого мало: кромѣ того онъ пожелалъ представить вамъ всю ту разноголосицу взаимнаго непониманія и озлобленія, которая дѣлитъ людей нашего времени на различные враждебные лагери, вслѣдствіе чего нашъ русскій прогрессъ, подобно крыловскому возу, остается на одномъ мѣстѣ. На этомъ основаніи авторъ поставилъ и эпиграфомъ къ своему очерку извѣстные стихи басни: «Лебедь рвется въ облака, ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду».

Сообразно этой цѣли Гончаровъ ведетъ своихъ читателей на великосвѣтскій литературный вечеръ, на которомъ читается одинъ изъ тѣхъ великосвѣтскихъ романовъ, которыхъ съ легкой руки гр. Л. Толстого особенно много расплодилось, по словамъ Гончарова, въ великосвѣтскихъ слояхъ общества. По всѣмъ признакамъ романъ этотъ былъ очень слабъ и плохъ; объ этомъ можно судить какъ по длинному описанію его, которому посвящена первая часть очерка, такъ и по тому обстоятельству, что романъ этотъ, по словамъ автора, былъ сколкомъ съ тѣхъ великосвѣтскихъ романовъ, имена авторовъ которыхъ не появлялись въ печати. Такъ что даже и «Русскій Вѣстникъ», столь падкій и снисходительный къ подобнымъ романамъ, не польстился на него. Значитъ онъ былъ слабѣе даже и тѣхъ романовъ Маркевича и Авсѣенки, какіе парадируютъ на страницахъ этого журнала.

Одно это обстоятельство значительно уже ослабляетъ иллюзію очерка. Авторъ не могъ придумать для чтенія на своемъ воображаемомъ литературномъ вечерѣ болѣе удачнаго предмета, какъ подобнаго рода романъ. Вѣдь для того чтобы сообразно цѣли очерка дѣйствующія лица его, люди различныхъ лагерей, собравшіеся на литературномъ вечерѣ, могли горячо и ожесточенно поспорить и высказать свои взгляды на различные животрепещущіе вопросы времени, необходимо, чтобы они были возбуждены чѣмъ нибудь Другое дѣло совсѣмъ, когда въ среду общества, какъ камень въ муравейникъ, ниспадаетъ вдругъ такое произведеніе, какъ «Горе отъ ума», «Ревизоръ», «Мертвыя души», «Обломовъ». Тогда это общество сразу все закопошится, какъ муравьи; повсюду начинаютъ литься и горячія рѣчи, и ожесточенные споры; люди самые молчаливые раскрываютъ уста и самые сдержанные—высказываются. Я не могу понять иначе гоголевскій «Разъѣздъ», какъ именно въ смыслѣ разъѣзда послѣ перваго представленія «Ревизора». Будь это первое представленіе комедіи Николая Потѣхина, то «Разъѣздъ» теряетъ уже всякій смыслъ. Но вы представьте себѣ, что дирекція вздумала-бы поставить на сцену одну изъ тѣхъ пьесъ, которымъ никогда не суждено бываетъ увидать свѣтъ ни на страницахъ журналовъ, ни на сценѣ. Мыслимо-ли, чтобы публика, толпясь въ сѣняхъ театра послѣ такого спектакля, высказывала всѣ свои завѣтныя убѣжденія съ такимъ жаромъ и ожесточеніемъ, какъ въ гоголевскомъ «Разъѣздѣ»? Очевидно, что еслибы тутъ лились рѣчи, то совсѣмъ другого рода и содержанія. А между тѣмъ романъ, прочитанный на литературномъ вечерѣ «Очерка», принадлежитъ именно къ послѣдней категоріи рукописей, которыя послѣ прочтенія сдаются редакторами обыкновенно въ конторы для возвращенія авторамъ. Можно-ли ожидать послѣ прочтенія подобнаго хлама какихъ-либо серьезныхъ и оживленныхъ преній? А между тѣмъ на литературный вечеръ собрались не одни только «счастливцы, ума недальняго лѣнивцы, которымъ жизнь куда легка» и которые въ литературѣ понимаютъ столько же, сколько и въ дифференціальныхъ исчисленіяхъ, вродѣ княгини Тецкой, графини Синявской, графа Пестова, Лелиной, Бибикова, Фертова и т. п. Всѣмъ этимъ легкомысленнѣйшимъ смертнымъ было спола-горя разсыпаться передъ авторомъ въ свѣтскихъ восхищеніяхъ, вродѣ того что: «comme c'est beau, comme c'est joli, c'est divin, c'est Homére, doublé de Tasse; vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai à coté de J.J.Rousseau» и т. п. Но зато всѣ подобные цѣнители дальше этихъ восклицаній и не пошли, ни въ какія пренія не пустились и разъѣхались по домамъ тотчасъ-же послѣ окончанія чтенія. Оставшіеся-же ужинать были по большей части люди образованные, эксперты по части литературы и всѣхъ прочихъ искусствъ, и знающіе цѣну вещей. Казалось, естественнѣе всего можно было-бы ожидать, что у нихъ, какъ это всегда бываетъ послѣ скучныхъ чтеній, явится побужденіе забыться отъ скуки, нагнанной на нихъ романомъ, въ веселыхъ разговорахъ о разнообразныхъ, но совершенно постороннихъ роману разговорахъ, а они пустились вдругъ въ серьезъ обсуждать романъ и спорить о его достоинствахъ.

Въ томъ-то и дѣло, что въ сочиненіяхъ съ тѣмъ литературнымъ пріемомъ, который въ настоящемъ случаѣ употребилъ Гончаровъ, предметомъ обсужденій и споровъ должна быть непремѣнно избрана такая вещь, которая возбуждала бы спорящихъ къ высказыванью своихъ мнѣній. Несоблюденіе этого существеннаго правила представляетъ первый пунктъ легкомыслія Гончарова.

Но авторъ не ограничился однимъ этимъ пунктомъ. Какъ уже выше было сказано, онъ вывелъ представителей разныхъ лагерей. Такъ, крайнюю правую представляетъ изъ себя Красноперовъ, сослуживецъ хозяина, бывшій нѣкогда пріятелемъ Греча и Булгарина. Правый центръ олицетворяется въ лицѣ старика Чешнева, человѣка сороковыхъ годовъ съ славянофильскимъ оттѣнкомъ мыслей. Въ самомъ центрѣ парадируетъ профессоръ словесности, написавшій много книгъ о литературѣ. Въ лѣвомъ центрѣ слѣдуетъ помѣстить редактора журнала, приглашеннаго племянникомъ хозяина—студентомъ, и наконецъ крайнюю лѣвую представляетъ газетный критикъ по беллетристикѣ Кряковъ, приглашенный племянникомъ-же.

Какъ только гости садятся за ужинъ послѣ чтенія романа, такъ сейчасъ-же у нихъ возникаетъ споръ по поводу прочитаннаго произведенія (авторъ котораго не присутствуетъ за ужиномъ), но это, собственно говоря, выходитъ не столько споръ, сколько турниръ, на которомъ представители различныхъ направленій, словно по заранѣе установленной очереди, начиная съ крайней правой, выходятъ преломить копье съ рыцаремъ крайней лѣвой, въ лицѣ Крякова, Что же касается до этого Крякова, то, какъ и подо-

баетъ рыцарю крайней лѣвой, онъ отличается всѣми тѣми стереотипными аттрибутами, какими обыкновенно рисуются въ романахъ нашихъ представители этого направленія: онъ ѣстъ и пьетъ за четверыхъ, говоритъ всѣмъ гостямъ въ глаза, не исключая и дамъ, рѣзкія грубости, употребляетъ, не краснѣя, тривіальныя выраженія, и вообще своимъ поведеніемъ возбуждаетъ такой ужасъ въ фешенебельныхъ гостяхъ, что они только и дѣлаютъ, что разражаются восклицаніями вродѣ: «mais c'est une horreur! c'est une peste. L'ours mal lâché!...» а нѣкій bonvivant Суховъ, хотя и въ шутку, но не безъ тенденціозности, совѣтуетъ хозяину послать за полиціей.

Первый открываетъ турниръ Красноперовъ, заявляя, что при Гречѣ и Булгаринѣ не смѣли-бы такъ вольничать: бывало, сочинители по стрункѣ ходили, и тѣ изъ нихъ только и выходили въ люди, которые побывали въ ихъ школѣ. Сколько ихъ, бывало, являлось къ Николаю Ивановичу на поклонъ и выслушивали отъ него благіе совѣты да слѣдовали имъ.

— „Который вамъ годокъ? вдругъ спросилъ Кряковъ Красноперова.

Общій смѣхъ покрылъ его вопросъ. Тотъ сердито молчалъ.

— А что?—спросилъ Суховъ, которому очевидно нравился задоръ въ противникахъ

— Да ужъ очень отзывается добрымъ старымъ временемъ! отвѣчалъ тотъ безцеремонно.—Вы, я думаю, родились при «старомъ и новомъ слогѣ»?

— А чтожъ, худо было что ли тогда при Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ? сердито возразилъ Красноперовъ.—Тогда умѣли слушаться старшихъ—и былъ порядокъ Отъ Греча и Булгарина доставалось не мало и Александру Сергѣевичу, когда онъ былъ молодъ и вольничалъ! А прочіе ходили тише воды, ниже травы.

— Какъ не ходить, когда ихъ, бывало, сѣкли, а Булгаринъ и Гречъ приговаривали!—вдругъ провозгласилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Такъ и надо! не худо-бы и теперь! ворчалъ Красноперовъ ближайшимъ сосѣдямъ: — а то ужъ очень расходились! Я бы всѣмъ сочинителямъ при полиціи списки завелъ, да выдавалъ-бы имъ желтые билеты на жительство.

Кругомъ его всѣ смѣялись.

— За что-же такъ немилостиво? спросилъ съ добродушнымъ смѣхомъ профессоръ. — Вѣдь ужъ это почти все было прежде; если не желтые билеты, такъ была, кажется, какая-то особая книга, куда записывали литераторовъ... но и это не помогло; самиже вы говорите, что сочинители ушли изъ подъ ферулы.

— Зачѣмъ выпускали? правительство ослабѣло, строгости нѣтъ! горячился Красноперовъ:—вотъ и порядка нѣтъ! Страху-бы намъ, страху! вотъ что нужно; а не свободу печати! Далъ бы я имъ свободу! Сколько зла отъ этого! Боже мой, сколько зла!

— Какое-же зло? и будто все зло? спросилъ, тоже смѣясь, журналистъ.

— Какое! Вы еще спрашиваете! Развѣ не видите! Все колеблется, разсыпается врозь, ни у кого нѣтъ ничего святого!

Въ заключеніе-же Красноперовъ расходился до того, что обозвалъ всѣхъ ужинавшихъ огуломъ нигилистами.

— Вы всѣ сами нигилисты, вотъ что! брякнулъ онъ.

— C'est trop fort! замѣтили на другомъ концѣ стола.

— Какъ такъ! Богъ съ тобой! говорилъ Урановъ.

— Объяснись, пожалуйста!

— Да такъ! вы сами за одно съ этими новыми. Кто больше, кто меньше... но всѣ, всѣ! Напримѣръ иные изъ васъ—и я знаю кто—вѣруютъ въ Бога по своему, разсуждаютъ... а не такъ, какъ указываетъ православная церковь; ходятъ разъ въ годъ на исповѣдь, «для примѣра»—говорятъ; другіе исповѣдуютъ противный господствующему строю правительства образъ мыслей и разсуждаютъ объ этомъ подъ рукой съ пріятелями, а сынки слушаютъ да на усъ мотаютъ! Что мудренаго послѣ того, что они не признаютъ и не уважаютъ ничего и никого!"

Понятно, что послѣ всѣхъ подобныхъ репликъ Кряковъ заявилъ Красноперову, что его стоило-бы посадить въ кунсткамеру вмѣстѣ со всѣми его умершими корифеями.

Затѣмъ выступилъ на арену профессоръ, который долго ораторствовалъ въ духѣ «нельзя не сознаться, но должно признаться», о свободѣ искусства, причемъ мнѣнія его точка въ точку совпадали съ тѣми мыслями, какія высказываетъ Евг. Марковъ въ своихъ критическихъ статьяхъ.

— „Прежде всего я требую свободы для искусства, говорилъ онъ: - а на него въ новое время хотятъ наложить оковы; оно не потерпитъ этого! Высокій талантъ не выкинетъ конечно изъ своей картины страданій, бѣдъ, золъ, тягостей и нуждъ человѣческихъ,—но кисть его при этомъ не обойдетъ и свѣтлыхъ сторонъ жизни; только тогда и возможна художественная правда, когда и то, и другое будетъ уравновѣшено, какъ оно есть и въ самой жизни. А новая школа уже сдѣлала себѣ спеціальность, можно сказать, ремесло служить только утилитарнымъ цѣлямъ, заставить искусство искать только всякихъ золъ, подъ святымъ предлогомъ любви и состраданія къ ближнему".

Послѣ этихъ споровъ и отстаиваній тенденціознаго искусства Кряковъ закончилъ свои состязанія съ профессоромъ слѣдующимъ заключавшимъ бой ударомъ:

— „Знаете-ли что, господинъ профессоръ, вѣдь этотъ ужинъ тонкій, дорогой, сказалъ онъ,—куда вамъ вашимъ краснорѣчіемъ заплатить за него?

— Что это вы говорите, съ вѣжливой строгостью замѣтилъ хозяинъ:—къ чему тутъ ужинъ! какъ вамъ не стыдно придавать такое значеніе дружеской бесѣдѣ!

— Не оспаривайте этого, возразилъ Кряковъ: - ни профессору, ни мнѣ такъ ужинать часто не приходится; ужинать мы сами васъ не позовемъ; а заплатить за гостепріимство хочется: это хотя не поэтическая, а житейская правда! Такъ-ли, господинъ профессоръ?

Но профессоръ съ достоинствомъ молчалъ.

Затѣмъ бросаетъ перчатку рыцарь сороковыхъ годовъ Чешневъ.

— „Народность, говоритъ онъ,—или, скажемъ лучше, національность—не въ одномъ языкѣ выражается: она въ духѣ единенія мысли, чувствъ, въ совокупности всѣхъ силъ русской жизни! Пусть космополиты мечтаютъ о будущемъ сліяніи всѣхъ племенъ и національностей въ одну человѣческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тѣхъ поръ, и даже для этой самой цѣли,—еслибъ такова была въ самомъ дѣлѣ конечная цѣль людского бытія,—необходимо каждому народу переработать всѣ соки своей жизни, извлечь изъ нея всѣ силы, весь смыслъ, всѣ качества и дары, какими онъ надѣленъ, и принести эти національные дары въ общечеловѣческій капиталъ! Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ богаче будетъ этотъ вкладъ и тѣмъ глубже и замѣтнѣе будетъ та черта, которую онъ прибавитъ къ всемірному образу человѣческаго бытія.

— Затѣйливо, нечего сказать; ну,такъ что-же? сказалъ Кряковъ:—что вы хотѣли этимъ сказать?

— То, что русскій народъ исполняетъ эту свою великую національную и человѣческую задачу, и что къ ней ровно и дружно работаютъ всѣ силы великаго народа, отъ царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, всѣ, какъ муравьи, живутъ, работаютъ, какъ будто въ разбродъ; думаютъ, чувствуютъ про себя; говорятъ пожалуй и на разныхъ языкахъ; но лишь только явится туча на горизонтѣ, загремитъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ, —смотрите, какъ соединяются всѣ нравственныя и вещественныя силы, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну мысль, въ одну волю — и какъ вдругъ всѣ, будто подъ наитіемъ Св. Духа, мгновенно поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одной силой! Баринъ, мужикъ, купецъ—всѣ идутъ на одну общую работу, на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ милліоны и копѣйки... и умираютъ, если нужно,—и какъ умираютъ! Передъ вами уже не графы, князья, военные или статскіе, не мѣщане или мужики—а одна великая, будто изъ несокрушимой мѣди вылитая статуя—Россія!

— Браво! C'est sublime! отлично! закричали всѣ. —За здоровье Дмитрія Ивановича! Человѣкъ, наливай шампанское! приказывалъ Ураковъ.

— За что? Вы всѣ это думаете и чувствуете! говорилъ онъ, отвѣчая чоканьемъ на чоканье: — это общій отвѣтъ нашему собесѣднику г. Крякову!

— Да! да! подхватили всѣ.

Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но вдругъ опять сѣлъ.

— До сихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ, началъ онъ, обращаясь къ Чешневу, но не договорилъ: его заглушилъ общій хохотъ.—А вы просто на просто шовинистъ! выпалилъ онъ, когда всѣ утихли.»

Въ такомъ родѣ и духѣ ведутся всѣ состязанія. Мы привели главные ихъ пункты и положенія; они же простираются на цѣлыя пятьдесятъ страницъ, достаточно утомляя читателя своей растянутостью. И вдругъ что же оказывается въ концѣ-концовъ? Оказывается, что этотъ самый озорникъ Кряковъ былъ вовсе не газетный критикъ радикальнаго направленія, а актеръ императорскихъ театровъ, явившійся на ужинъ по приглашенію племянника хозяина нарочно для того, чтобы разыграть роль радикальнаго критика.

Можете себѣ представить разочарованіе! И такъ оказывается, что это былъ вовсе не турниръ, а лишь одна комедія турнира!.. Одинъ изъ самыхъ существенныхъ общественныхъ элементовъ, противъ котораго главнымъ образомъ велись всѣ дебаты ужина, именно и отсутствовалъ, а мѣсто его занималъ актеръ императорскихъ театровъ, которому пришлось, импровизируя свою роль, врать, что только пришло въ голову, да еще при этомъ постоянно быть настороже, какъ бы его не узнали. Но какое-же значеніе въ такомъ случаѣ имѣютъ всѣ его возраженія и возраженія гостей противъ его возраженій? Они оказываются такими-же фальшивыми, какъ и борода съ усами, въ которой актеръ императорскихъ театровъ разыгрывалъ роль Крякова. Я не знаю, съ какой цѣлью устроилъ Гончаровъ подобнаго рода мистификацію? Для того-ли, чтобы придать болѣе игривости своему очерку, или можетъ быть имъ руководила особеннаго рода хитроумная уклончивость, желаніе остаться въ сторонѣ и умыть руки передъ читателями относительно Крякова, такъ что еслибы одни изъ критиковъ вломились въ амбицію, зачѣмъ Гончаровъ изобразилъ Крякова въ такихъ стереотипно безобразныхъ краскахъ, бросающихъ тѣнь на представителей этого лагеря, то Гончаровъ могъ-бы ловко отговориться тѣмъ, что вѣдь онъ тутъ ни въ чемъ не виноватъ, такъ какъ это не онъ изобразилъ Крякова въ подобномъ безобразіи, а актеръ императорскихъ театровъ, отъ котораго и требовать нельзя было чего либо другого, а еслибы иные критики нашли, что авторъ отнесся къ Крякову слишкомъ снисходительно и недостаточно напустилъ черныхъ красокъ, представилъ его и умнѣе, и скромнѣе, и практичнѣе, чѣмъ бываютъ въ дѣйствительности подобные люди, то отдувался-бы опять-таки актеръ: что-же дѣлать, если, импровизируя свою роль, онъ не съумѣлъ вполнѣ войти въ нее и представилъ отчасти самого себя, не въ силахъ будучи довести грубость, неприличіе и безуміе мыслей до степени дѣйствительнаго Крякова.

Какъ-бы то ни было, но подобная неожиданная мистификація окончательно лишаетъ очеркъ всякаго серьезнаго значенія и довершаетъ легкомысліе автора. Вмѣсто дѣйствительнаго столкновенія мнѣній различныхъ лагерей выходитъ какой-то водевиль съ переодѣваніями, нѣчто вродѣ извѣстной оперетки Оффенбаха «Званый вечеръ съ итальянцами», въ которой бойкая хозяйская дочь съ ухарскимъ jeune premier морочатъ гостей, разыгрывая роли разныхъ пѣвцовъ итальянской оперы, совершенно подобно тому, какъ и актеръ императорскихъ театровъ морочитъ своихъ собесѣдниковъ, разыгрывая роль Крякова.

А если здѣсь не серьезное столкновеніе мнѣній, а лишь мистификація актера, то причемъ же тутъ лебедь, ракъ и щука? вправѣ спросить читатель. Мало сказать, что не причемъ, а совершенно напротивъ: если вы внимательно всмотритесь въ очеркъ Гончарова, вы увидите, что всѣ дѣйствующія лица его вмѣстѣ съ ихъ авторомъ не только не тянутъ врозь, а выказываютъ поразительное единодушіе въ томъ смыслѣ, что всѣ они поголовно сходятся въ легкомысленнѣйшемъ отношеніи ко всему ихъ окружающему и въ общей всѣхъ ихъ въ одинаковой степени обуревающей жаждѣ веселья и веселья.

Начать съ того, что какимъ образомъ состряпался этотъ литературный вечеръ? Вы подумаете, что устроителемъ его, Урановымъ, руководилъ здѣсь какой нибудь серьезный интересъ къ литературѣ вообще и въ частности къ тому роману, который предназначался для чтенія? Ни чуть не бывало. Это былъ пустой и праздный малый, одинокій вдовецъ, посвящавшій лишь три дня въ недѣлю службѣ въ какомъ-то совѣтѣ, который онъ именовалъ утреннимъ клубомъ въ отличіе отъ вечерняго; остальное же время онъ тратилъ на визиты, обѣды, балы, карты и прочія свѣтскія удовольствія. Наступилъ май, всѣ начали разъѣзжаться, кто на дачу, кто въ деревню, и Уранову пришлось умирать отъ скуки, не досчитываясь то сосѣда за столомъ въ совѣтѣ или клубѣ, то партнера въ вистѣ,—и всякое утро вставать съ вопросами: «Кто изъ знакомыхъ уѣзжаетъ сегодня? У кого закрылись пріемные дни? Куда потратитъ онъ утро, съ кѣмъ будетъ обѣдать, какъ убьетъ вечеръ?»

И вдругъ какая находка: авторъ романа, сослуживецъ Уранова, предложилъ ему прочесть романъ у него въ домѣ, въ кружкѣ знакомыхъ!

«Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели авторомъ и авторъ слушателями—дѣло для него совсѣмъ не въ томъ, а въ томъ, что вся эта процедура займетъ у него цѣлую недѣлю: разъѣзды, приглашенія и наконецъ желанный вечеръ, проведенный по зимнему, далеко за полночь, потомъ ужинъ до утра! Кромѣ того послѣ долго будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти публично, у него, у Уранова!»

И такъ, вотъ какія эфемерныя цѣли руководили хозяиномъ въ устройствѣ у себя на дому литературнаго вечера. Затѣмъ, созывая своихъ свѣтскихъ знакомыхъ и желая, чтобы на литературномъ вечерѣ присутствовалъ и учено-литературный элементъ, онъ пригласилъ профессора и своего сослуживца Краснoперова, предположивши вдругъ въ немъ знатока литературы, потому что онъ былъ когда-то пріятелемъ съ Гречемъ и Булгаринымъ. Приглашеніе же совершенно чуждаго ему либеральнаго элемента легкомысленно поручилъ племяннику-студенту, а тотъ взялъ и подстроилъ ему актера императорскихъ театровъ въ качествѣ радикальнаго критика. Какъ студентъ, такъ и актеръ поступили въ настоящемъ случаѣ съ одинаковымъ легкомысліемъ, не зная, къ чему все это приведетъ и что изъ всего этого выйдетъ. Объ этомъ можно заключить изъ того уже, что актеръ съ самаго начала вечера покушался дать тягу. Такъ, во время перваго же перерыва чтенія онъ обратился къ студенту, косясь на звѣзды мужчинъ:

— Пусти меня или пойдемъ къ тебѣ наверхъ! Еще пожалуй проврешься—вонъ отъ тѣхъ бѣды наживешь! Онъ указалъ на сановныхъ стариковъ.

Студентъ засмѣялся.—Вздоръ какой! сказалъ онъ.

— Пойдемъ лучше въ буфетъ!

И дѣйствительно, опасенія актера оказались вздоромъ. Легкомысленнѣйшіе гости пустились за ужиномъ въ легкомысленнѣйшія пренія о «Байронѣ и о матерьяхъ важныхъ», но, какъ ни казались важны, оживленны и даже ожесточенны всѣ эти пренія, во всѣхъ нихъ чувствовался одинъ преобладающій нервъ: какъ-бы повеселѣе было за ужиномъ, а на остальное на все наплевать. Какъ мало занимали гостей и задѣвали за живое разбираемые вопросы, можно судить по тому, что, науськивая другъ на друга состязавшихся, они слѣдили за ихъ преніями, какъ за пѣтушинымъ боемъ, и покатывались со смѣху, восклицая безпрестанно: «ахъ, какой удачный ужинъ! Ахъ, какъ сегодня весело!» Что касается до актера, то, набравшись предварительно въ хозяйскомъ буфетѣ смѣлости и вдохновенія, онъ сыгралъ роль Крякова безъ запинки по всѣмъ нотамъ своей беззавѣтной пошлости и привелъ въ восторгъ всю компанію. Я не знаю, что было-бы, еслибы на пиру оказался вдругъ не мнимый, а настоящій Кряковъ? Можетъ быть онъ и одѣтъ былъ-бы, и ѣлъ, и пилъ, какъ и всѣ прочіе, не говорилъ-бы никакихъ грубостей и рѣзкостей и ничѣмъ не выдавался-бы изъ среды прочихъ гостей по внѣшней порядочности и благочинію, но чего добраго гостямъ не только не показалось-бы такъ весело, а совершенно напротивъ: его тихія и сдержанныя рѣчи покоробили-бы и взволновали пожалуй многихъ изъ присутствовавшихъ въ гораздо большей степени, чѣмъ ругательства мнимаго Крякова. Онѣ невольно заставили-бы задуматься безпечнѣйшихъ смертныхъ, упорно открещивающихся отъ всякой тѣни заботы о завтрашнемъ днѣ, и все собраніе можетъ быть онѣмѣло-бы отъ тоски и ужаса, словно при видѣ огненной надписи: «мани, факелъ, фаресъ!» И ушелъ-бы настоящій Кряковъ отъ нихъ, сопровождаемый раздраженіемъ общей непріязни. Пожалуй никто ему и руки не подалъ-бы, и ужинъ всѣми единогласно былъ-бы признанъ испорченнымъ присутствіемъ этого гостя, ненавистнаго хуже татарина.

Актеръ-же императорскихъ театровъ, ловкій парень, побывавшій во всевозможныхъ передѣлкахъ, зналъ отлично, на какихъ струнахъ ему слѣдуетъ сыграть, чтобы еще болѣе развеселить ликующую компанію. Онъ понималъ, что этимъ людямъ до крайности надоѣлъ чопорный этикетъ свѣтскихъ приличій и пріѣлись всѣ тѣ прѣсныя любезности и комплименты, которыми они привыкли осыпать другъ друга. Чтобы занять, развлечь и оживить этихъ пресыщенныхъ людей, требовалось что-либо выходящее изъ обыденной нормы, острое, пикантное, разнузданное. И вотъ онъ началъ, пользуясь своей ролью радикальнаго критика, бросать всѣмъ гостямъ прямо въ глаза самыя обидныя рѣзкости, подобно тѣмъ шутамъ добраго стараго времени, которые чѣмъ болѣе грубыми и наглыми остротами щекотали нервы изнѣженныхъ лестью придворныхъ, тѣмъ болѣе имѣли успѣха Эффектъ дѣйствительно удался какъ нельзя болѣе: чѣмъ грубѣе, тривіальнѣе и обиднѣе выражался мнимый Кряковъ, тѣмъ бо́льшій хохотъ возбуждалъ онъ въ восторженной и отуманенной виномъ публикѣ, и въ концѣ концовъ всѣ остались довольны другъ другомъ и проводили его чуть не съ объятіями, а вслѣдъ ему посыпались восклицанія: «Каково! а! Помилуйте, прелесть!.. Какой умный, образованный!..» и пр., и пр.

Вотъ и весь результатъ преній, столкновенія враждебныхъ мнѣній; неправда-ли, какой веселый результатъ? Послѣ того невольно отдашь справедливость, что послѣдовательнѣе и искреннѣе всѣхъ на этомъ литературномъ вечерѣ выказалъ себя нѣкій престарѣлый беллетристъ Скудельниковъ. Онъ во время чтенія и преній упорно молчалъ и апатично вскидывалъ порой глазами на все окружающее, такъ что лишь въ концѣ вечера вспомнили о немъ.

«—А вы, Матвѣй Ивановичъ, провозгласилъ вдругъ хозяинъ, обращаясь къ нему:—что молчите? ни слова не сказали?

— Я давно хотѣлъ сказать, да не дали...

— Ну, говорите теперь: что такое?

— А вотъ дыню и ананасъ забыли, такъ и остались неразрѣзанными! сказалъ онъ.

Всѣ засмѣялись.»

Кончаетъ Гончаровъ свой очеркъ бенгальскими огнями еще большей веселости: по уходѣ Крякова гости узнаютъ наконецъ отъ студента, кто былъ на самомъ дѣлѣ мнимый критикъ, и разражаются еще бо́льшимъ хохотомъ. Дядюшка бросается на шею племяннику, который своей хитрой выдумкой такъ оживилъ ужинъ, и затѣмъ, черезъ нѣсколько дней, всѣ отправляются въ Павловскъ на спектакль въ пользу герцеговинцевъ и осыпаютъ потѣшившаго ихъ актера всевозможными овaціями и подарками.

Но я кончилъ-бы не такъ на мѣстѣ Гончарова; въ заключеніи устроилъ-бы еще болѣе блистательный апофеозъ легкомыслія. Пусть-бы вся компанія вмѣстѣ съ Кряковымъ пустилась-бы въ плясъ хороводомъ вокругъ пиршественнаго стола, а впереди всѣхъ, въ этомъ вихрѣ легкомыслія, пусть-бы выступалъ самъ престарѣлый беллетристъ Скудельниковъ, въ роли короля легкомыслія съ дыней вмѣсто державы въ одной рукѣ и съ ананасомъ вмѣсто скипетра въ другой, и пѣли-бы они всѣ хоромъ, въ этомъ вихрѣ веселья, что-нибудь вродѣ:

Давайте пѣть, любить, плясать!
Что будетъ завтра—наплевать!

ЖЕНСКІЙ ВОПРОСЪ

СЪ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ ПАРИЖСКАГО БУЛЬВАРНАГО ПУБЛИЦИСТА.

(«Les Femmes qui tuent et les Femmes qui votent»; par Al. Dumas-fils. Sixième édition. Paris, 1880.)

Извѣстный всей Европѣ Александръ Дюма-fils—или le Petit-Dumas, какъ называли его при жизни отца,—принадлежитъ къ числу тѣхъ остроумныхъ, блестящихъ и плодовитыхъ фразеровъ и бульварныхъ крикуновъ, къ которымъ вполнѣ можно примѣнить пословицу, что они за словомъ въ карманъ не полѣзутъ, не смотря на то, что у нихъ нѣтъ царька въ головѣ, и они не помнятъ никакого родства. Это послѣднее обстоятельство, т. е. отсутствіе всякаго foi и loi, не только не мѣшаетъ, напротивъ того, - способствуетъ ихъ успѣху, составляющему существенную цѣль всей ихъ жизни и дѣятельности. Еслибы они вздумали прямо и безповоротно пойти въ одну какую-нибудь сторону, успѣхъ ихъ былъ-бы сомнителенъ, завися отъ судьбы ихъ партіи, отъ вытѣсненія ихъ идей какими-нибудь иными, болѣе новыми и болѣе основательными. Въ то время какъ одни изъ современниковъ носили-бы ихъ на рукахъ, другіе-бы ихъ порицали и всячески обижали. Но ни одна партія, ни одно ученіе, ни одна идея не дождутся никогда, чтобы эти люди всецѣло посвятили себя служенію имъ. Казалось-бы, что всѣ партіи, всѣ ученія, всѣ идеи должны были-бы вслѣдствіе этого возстать на нихъ и отвергнуть ихъ; а между тѣмъ выходитъ совершенно наоборотъ: въ итогѣ получается всеобщая популярность, доходящая порой до общеевропейской.

Подобная популярность достигается очень легко и просто. Во-первыхъ, тутъ не малую роль играетъ темпераментъ. Когда къ вамъ въ комнату входитъ пышащій здоровьемъ весельчакъ и разражается цѣлыми каскадами блестящихъ любезностей, каламбуровъ, шутокъ и анекдотовъ, заставляющихъ васъ хохотать до упаду, вы легко забываете нѣкоторую рознь его убѣжденій съ вашими, прощаете ему даже кое-какіе предосудительные поступки ради того, что онъ пріятно гладитъ васъ по шерсти и забавляетъ. Но тутъ кромѣ темперамента есть и кое-что другое. Всмотритесь во всѣ произведенія Ал. Дюма-фиса, и вы увидите вотъ что. Съ одной стороны передъ вами человѣкъ, находящійся au courant прогресса своего времени: всѣ самыя передовыя изъ передовыхъ идей онъ держитъ вѣеромъ въ рукахъ и разсыпаетъ ихъ передъ вами блестящимъ фейерверкомъ. Порою онъ за поясъ затыкаетъ самыхъ сильныхъ и рѣшительныхъ мыслителей своего вѣка и такимъ отчаянно-крайнимъ парадоксомъ ударитъ васъ вдругъ по нервамъ, что у васъ духъ займетъ и голова кругомъ пойдетъ, а потомъ, глядите, въ той-же самой книгѣ, черезъ двѣ-три страницы, посредствомъ различныхъ сладкопѣвныхъ руладъ и неизъяснимыхъ соловьиныхъ трелей, авторъ переходитъ совсѣмъ въ иной тонъ и выглядываетъ самымъ степеннымъ и разсудительнымъ столпомъ консерватизма. И все это дѣлается такъ мелодично, съ такимъ умомъ, тактомъ и хитросплетенной логикой, что изъ всего изъ этого получается удивительная симфонія, которой съ одинаковымъ восторгомъ заслушиваются и самые передовые люди вѣка, и самые отсталые рутинеры.

Передовые люди говорятъ при этомъ: — правда, онъ не совсѣмъ еще выработался и додумался, порой впадаетъ въ рутину и пошлость, но все-таки онъ славный малый,— посмотрите, какъ горячо стоитъ за наше дѣло, какъ далеко шагаетъ, высказывая такія смѣлыя вещи, на какія не каждый изъ насъ отважился-бы.

А сѣдовласый буржуа съ брюшкомъ и съ высокимъ положеніемъ въ свою очередь похваливаетъ:

— Правда, говоритъ,—иногда онъ и завирается, но все-таки въ общемъ разсуждаетъ солидно и основательно; да и завирается-то съ умомъ и не безъ хитрости. Опровергнуть всѣ эти новыя бредни трудъ не большой, и на это найдется у насъ мастеровъ не мало. А вотъ взять ихъ во всей ихъ соблазнительности, довести до абсурда и свести къ нулю,—это дѣло не простое, а онъ ловко его мастеритъ,—шалунъ!..

Такимъ образомъ автора расхваливаютъ направо, расхваливаютъ налѣво, расхваливаютъ впереди, расхваливаютъ назади,—и книгу раскупаютъ. Она выдерживаетъ десятки изданій, а автору только это и нужно: онъ наполняетъ свои карманы златомъ и спѣшитъ срывать цвѣты удовольствій подъ сѣнію бульварныхъ каштановъ. И главное дѣло—это умѣнье угодить и нашимъ, и вашимъ достигается вовсе не какой-либо преднамѣренной тактикой, путемъ разныхъ сдѣлокъ со своей совѣстью и честью, а вполнѣ непосредственно и невинно. Авторъ искрененъ до мозга костей: что у него на умѣ, то и на языкѣ, и вы не сомнѣваетесь ни на минуту, что онъ выкладываетъ

передъ вами всю душу. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ подать примѣръ нашимъ квази-откровеннымъ писателямъ, у которыхъ вся откровенность заключается въ томъ, чтобы безъ всякаго зазрѣнія совѣсти выказывать себя передъ вами лакеишками, да и лакеишками - то самыми грязненькими, отъ которыхъ вѣчно разитъ запахомъ лука и постнаго масла. Нѣтъ, это откровенность чисто европейская, утонченно-изящная, гуманная, не чурающаяся всѣхъ самыхъ передовыхъ и возвышенныхъ идей, но только понимающая ихъ особеннымъ, бульварнымъ способомъ, низводящимъ эти идеи до веселой, игривой и въ то же время совершенно пустой и праздной салонной болтовни.

Таковъ передъ нами Дюма - фисъ, какъ во всѣхъ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ, посвященныхъ женскому вопросу, такъ и въ предстоящей нашему разбору новой брошюрѣ, обратившей на себя такое пожирающее вниманіе всей Европы, что въ какой-нибудь мѣсяцъ разошлось шесть изданій. Начинаетъ онъ свою рѣчь очень высокимъ тономъ, тѣмъ самымъ высокимъ тономъ, какой обыкновенно употребляетъ В. Гюго, когда пророчествуетъ о судьбахъ Франціи, Европы и человѣчества.

«Въ мірѣ нравственномъ, — говоритъ онъ, — такъ же какъ и физическомъ, законы тѣсно сцѣплены другъ съ другомъ и непоколебимы. Въ ту минуту, какъ я пишу, морской вѣтеръ бьется въ стекла моей комнаты, подымаетъ волны и надуваетъ паруса тѣхъ, которые умѣютъ пользоваться этимъ кажущимся гнѣвомъ. Онъ гонитъ на материкъ пары, ниспадающіе росой или дождемъ, и разноситъ по полямъ невидимые зародыши, плодотворные или сорные, смотря потому, на какую они упадутъ почву; онъ укрѣпляетъ одни изъ нихъ, убиваетъ другіе; ничто не въ силахъ остановить его или отвратить; онъ творитъ, что должно, ускоряя смерть того, чему суждено погибнуть, и развивая жизнь того, чему суждено жить. То-же самое и съ идеями Онѣ надвигаются изъ-за горизонта и идутъ прямо впередъ, оплодотворяя общества, готовыя ихъ принять, и умерщвляя тѣ, которыя ихъ отвергаютъ или искажаютъ. Откуда происходятъ онѣ? Куда онѣ стремятся? Откуда берется вѣтеръ? Куда онъ стремится?.»

Развивая далѣе подобную аналогію и не заботясь особенно много о строгой ея послѣдовательности, причемъ идеи сравниваются въ ней то съ вѣтромъ, несущимъ зародыши, то съ самими зародышами, Дюма-фисъ находитъ, что подобно тому, какъ зародыши развиваются въ растеніи, такъ и идеи воплощаются въ живые факты. Въ этомъ, по его мнѣнію, и заключается тайна воплощенія.

«Люди, пожимающіе плечами или помирающіе со смѣху, пока идея остается въ области теоріи, приходятъ въ ужасъ, когда видятъ ее во плоти, шествующей къ опредѣленной цѣли. Сначала клеймятъ позоромъ ея послѣдователя, апостола, пророка; часто умерщвляютъ его; но онъ немедленно пріобрѣтаетъ учениковъ, вѣрующихъ, помощниковъ, мстителей, и начинается борьба. Идея постоянно торжествуетъ, и когда наконецъ спустя долгое время она принимается, утверждается, дѣлается оффиціальной и банальной, она стремится къ еще большему развитію сообразно новымъ потребностямъ. Очень часто видятъ нововведеніе въ томъ, что есть не что иное, какъ логическая дедукція и фатальный выводъ изъ первобытной идеи. И вотъ начинается новое сопротивленіе инертныхъ массъ; новое воплощеніе, новая борьба, новый прогрессъ. Пока идея не создаетъ своего человѣка, она остается безплодной; а если идея перестала создавать своихъ людей, — она умерла. Религіи, философіи, науки, политическія теоріи создаются неизбѣжно этимъ путемъ. Все вниманіе ваше въ этомъ отношеніи должно быть устремлено на то, происходитъ-ли воплощеніе: если нѣтъ, то это вѣрный признакъ близкой смерти идеи.»

Я полагаю, что изъ этой тирады достаточно ясно видно, что именно разумѣетъ авторъ подъ воплощеніемъ идеи, — именно людей идеи, ея проповѣдниковъ и борцовъ. Онъ самъ подчеркиваетъ это слово. Въ отсутствіи подобнаго рода воплощенія онъ видитъ, что идея или еще не начала жить, или она близка къ смерти. И это совершенно справедливо. Дѣйствительно, возьмемъ какую угодно идею, существовавшую уже въ жизни, ну, хоть освобожденіе американскихъ негровъ. Когда начала эта идея осуществляться? Только тогда, когда явились проповѣдники и партизаны свободы негровъ и начали проповѣдывать и распространять свое ученіе. Въ этомъ отношеніи строго нужно различать подобнаго рода истинное воплощеніе идеи отъ тѣхъ отрицательныхъ явленій жизни, которыя вызываются какими-нибудь ненормальными условіями жизни. Такія явленія могутъ въ концѣ концовъ привести къ новой идеѣ, но сами по себѣ они не заключаютъ въ себѣ ея и было бы совершенно ложно видѣть въ нихъ какія-либо воплощенія идеи. Такъ, въ нашемъ примѣрѣ негры задолго до появленія идеи объ ихъ освобожденіи и бѣгали отъ своихъ плантаторовъ, и убивали ихъ. Но можно ли въ подобныхъ фактахъ видѣть воплощеніе идеи эмансипаціи негровъ? Ничуть не бывало: подобные факты могли повторяться ежедневно втеченіи сотенъ и тысячъ лѣтъ и проходить совершенно безслѣдно, оставаясь изолированными явленіями, ничего не внушающими законодателямъ, какъ лишь заботу объ усиленіи судебныхъ преслѣдованій и карательныхъ мѣръ за такія дѣянія. Очевидно, что только съ той минуты, когда появились первые люди, которые сгруппировали эти факты, освѣтили ихъ новымъ свѣтомъ, показали ихъ значеніе и, въ противовѣсъ старой доктринѣ рабовладѣльчества, поставили новую доктрину освобожденія, — только съ этого момента и начинается воплощеніе идеи эмансипаціи негровъ.

То же самое конечно и относительно женскаго вопроса. Во всѣ вѣка, съ тѣхъ самыхъ поръ какъ только помнитъ себя человѣчество, во всѣхъ странахъ земного шара, не исключая Востока, вы можете встрѣтить не мало всякаго рода семейныхъ трагедій, въ которыхъ женщина является мстительницей то за свою попранную честь, то за свое невыносимое угнетеніе, и очень можетъ быть, что именно на Востокѣ, гдѣ женщина и наименѣе умственно-развита, и наиболѣе угнетена, чаще чѣмъ гдѣ-нибудь практикуются убійства коварныхъ любовниковъ и жестокосердыхъ мужей. Понятно, что всѣ подобные факты очень драгоцѣнны для женскаго вопроса, какъ наглядное доказательство ненормальности положенія женщины и необходимости реформъ въ пользу женщинъ. Но видѣть въ нихъ самихъ воплощеніе идеи женской свободы было бы очень рискованно. Сообразно такому взгляду можно было бы предположить, что женскій вопросъ долженъ возникнуть

именно на Востокѣ, гдѣ онъ наиболѣе воплощается такимъ образомъ. Но мы видимъ совершенно наоборотъ: женскій вопросъ возникаетъ въ Европѣ и Америкѣ,—странахъ, гдѣ женщина угнетена въ неизмѣримо меньшей степени, чѣмъ на Востокѣ, и гдѣ случаи кровавыхъ расправъ со стороны женщинъ гораздо рѣже.

Я полагаю, что читатель вполнѣ согласится со мной, что все только-что сказанное мной прямо вытекаетъ изъ вышеприведенныхъ словъ Дюма-фиса, и это заставляетъ насъ ждать, что дальнѣйшія страницы брошюры будутъ заключать въ себѣ лишь послѣдовательное развитіе этого основного взгляда.

Но авторъ брошюры на слѣдующихъ же страницахъ разрушаетъ всѣ эти наши ожиданія. Такъ, на первомъ планѣ онъ ставитъ три скандальные процесса, надѣлавшіе не мало шума въ нынѣшнемъ же году въ Парижѣ,—процессы: Маріи Біеръ, Виргиніи Дюмеръ и Тилли. Марія Віеръ—служанка и Виргинія Дюмеръ—актриса обвинялись въ убійствѣ своихъ любовниковъ, которые бросили ихъ, приживши съ ними дѣтей, а мадамъ Тилли, женщина порядочнаго общества, попала на скамью подсудимыхъ за то, что облила кислотой лицо любовницы своего мужа. Эти три процесса надѣлали шума не столько вслѣдствіе характера преступленій, не представляющихъ ничего особенно выдающагося и необыкновеннаго, сколько потому что всѣ три обвиненныя были оправданы присяжными, несмотря на сознаніе виновныхъ въ своемъ преступленіи.

Вотъ въ этихъ-то трехъ процессахъ и видитъ Дюма прежде всего воплощеніе идеи женской свободы!!

«Не отваживаясь приводить здѣсь – говоритъ онъ —великихъ историческихъ примѣровъ, которые читатели могутъ представить себѣ и безъ насъ, мы обратимъ вниманіе на три личности, вчера еще неизвѣстныя, но сегодня прославленныя недавними процессами,—на m-lle Марію Біеръ, m-lle Виргинію Дюмеръ и m-me Тилли. Что представляютъ изъ себя эти личности? Можно-ли смотрѣть на нихъ, какъ на существа изолированныя, выдѣлившіяся изъ средняго уровня жизни по своему темпераменту, нравамъ и преступленіямъ, выходящимъ изъ роду вонъ? Ничуть не бывало.—Это живыя, непосредственныя воплощенія идей, проповѣдуемыхъ мыслителями, моралистами, политиками, писателями, философами, –идей справедливыхъ, логическихъ, плодотворныхъ, которымъ, по мнѣнію этихъ мыслящихъ людей, пришло время осуществиться.

Какъ относилось французское общество къ этимъ идеямъ, пока онѣ представлялись исключительно въ теоретическихъ и невещественныхъ формахъ? Оно смотрѣло на представителей ихъ, какъ на сумасшедшихъ и опасныхъ мечтателей и утопистовъ. Эти люди однако же указывали на очевидныя опасности, предлагали неизбѣжныя реформы; они говорили законодателямъ:

«Вы должны создать законы, которые защищали бы невинность дѣвушекъ, достоинство женщинъ, жизнь дѣтей, права супруговъ и наказывали бы виновныхъ, вмѣсто того чтобы карать невинныхъ.» Но законодатели не удостоивали ихъ даже и отвѣтомъ. Тогда среди наблюденій однихъ и полнаго индифферентизма другихъ вдругъ возсталъ грубый фактъ —совершилось преступленіе, пала жертва, явился убійца, –и безъ всякаго видимаго повода передъ глазами всѣхъ проявилось извращеніе всѣхъ соціальныхъ плановъ, всѣхъ законовъ юридическихъ и моральныхъ: жертва возбуждаетъ ненависть, убійца сочувствіе, совѣсть присяжныхъ смущается, члены суда становятся втупикъ, законъ колеблется, оффиціальная справедливость обезоруживается передъ толпой, которая подавляетъ собой все, словно на народномъ собраніи или въ театрѣ.

«Вотъ это и есть воплощеніе идеи, которая внезапно становится лицомъ къ лицу со старыми преданіями, несостоятельными, но упорными, и стремится посредствомъ огня и крови занять мѣсто законовъ, когда-то бывшихъ прекрасными, но сдѣлавшихся несправедливыми и варварскими вслѣдствіе измѣненія нравовъ.

Размышлялъ-ли убійца объ этихъ вопросахъ, какъ мы это теперь дѣлаемъ? Читалъ-ли онъ, прежде чѣмъ совершить преступленіе, все, что было написано объ этомъ предметѣ? Ничуть не бывало. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ слѣпо повиновался своей страсти. Но его удовлетворенная страсть сама собой явилась передъ трибуналомъ заявленіемъ естественнаго, ненарушимаго человѣческаго права, которое общество должно было бы утвердить, но о которомъ оно не позаботилось.

Можно-ли назвать справедливымъ оправданіе виновныхъ, произнесенное судомъ и подтвержденное общественнымъ мнѣніемъ? Ни чуть не бывало. Это оправданіе показываетъ только, что законъ не можетъ дѣйствовать противъ настоящихъ виновниковъ, которыхъ онъ съ давняго времени укрываетъ, и что, будучи не въ силахъ удовлетворить абсолютной справедливости, онъ, законъ, осужденъ исполнять требованія справедливости относительной, граничащей съ несправедливостью.»

Итакъ мы видимъ, что Дюма-фисъ сначала говоритъ, что идея воплощается исключительно въ людяхъ которые ее проповѣдуютъ, и если не имѣетъ своихъ людей, то она или еще не родилась или уже умерла; что если эти люди и подвергаются насмѣшкамъ или гоненіямъ, то это ничего не значитъ: на мѣсто однихъ павшихъ—явятся другіе, ученики, послѣдователи, и идея въ концѣ-концовъ должна восторжествовать. Но потомъ вдругъ оказывается, что и эти свои люди ничего не значатъ, такъ какъ законодатели не удостоиваютъ ихъ даже отвѣта, а что истинное воплощеніе заключается въ грубыхъ, вопіющихъ фактахъ вродѣ вышеприведенныхъ. Но позвольте, спроситъ читатель:—что же вы видите въ этихъ фактахъ? Они повторялись съ испоконъ вѣковъ. Значитъ и идея ваша всегда воплощалась? Отчего же она до сихъ поръ не восторжествовала? Не оттого ли, что не было людей идеи, которые бы обращали вниманіе на эти факты и освѣщали ихъ? Не оттого-ли и самые эти обыденные факты сдѣлались вдругъ такими вопіющими, не оттого-ли и присяжные оправдали ихъ, и публика апплодировала имъ, и Дюма-фисъ закричалъ о нихъ,—что явились люди, формулировавшіе идею женской свободы и начавшіе ее проповѣдывать и распространять?

Но простимъ пока Дюма-фису эту маленькую непослѣдовательность. Должно-быть она у него въ крови. Какъ на первыхъ страницахъ, развивая свою риторическую аналогію, онъ сравнивалъ идеи то съ вѣтромъ, несущимъ зародыши, то съ зародышами, несомыми вѣтромъ, такъ теперь онъ путаетъ относительно воплощенія идеи, то находя его въ людяхъ, носящихъ идеи, то въ грубыхъ и стихійныхъ явленіяхъ жизни. Но еще разъ повторяю, не будемъ вмѣнять въ большую вину автору подобнаго рода путаницу понятій. По крайней мѣрѣ подождемъ, что

онъ дальше намъ скажетъ. Какъ бы мы ни были далеки отъ того, чтобы вмѣстѣ съ авторомъ считать главнымъ и существеннымъ воплощеніемъ женскаго вопроса—умерщвленіе коварныхъ любовниковъ или обливаніе кислотой физіономій счастливыхъ соперницъ, но воздержимся пока слишкомъ нападать на него за это: очень можетъ быть, что это болѣе ничего какъ увлеченіе публициста подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ тѣхъ процессовъ, на которыхъ онъ присутствовалъ. Процессы эти такъ поразили его, что онъ невольно придалъ значеніе фактамъ, парадировавшимъ на нихъ, гораздо большее значеніе, чѣмъ они того заслуживаютъ. Факты эти онъ и принялъ за исходную точку; но конечно онъ не остановится на нихъ, а пойдетъ далѣе и найдетъ въ жизни воплощеніе идеи женской свободы гораздо болѣе почтенныя, разумныя и истинныя. Въ ожиданіи этого посмотримъ, что̀ авторъ непосредственно извлекаетъ изъ поразившихъ его процессовъ, къ какимъ мыслямъ они его приводятъ. Это намъ пригодится для дальнѣйшаго изложенія взглядовъ автора.

На 73-й страницѣ для большей наглядности онъ представляетъ слѣдующій разговоръ между юстиціей и преступницами:

Юстиція (обращаясь къ m-lle Біеръ). Зачѣмъ вы убили этого человѣка?

Біеръ. Потому что ребенокъ, котораго я имѣла отъ него, умеръ черезъ него, и такъ какъ отецъ его бросилъ меня, я хотѣла, чтобы этотъ человѣкъ умеръ.

Юстиція. Зачѣмъ, имѣя такія мысли, вы возобновили свои сношенія съ нимъ?

Біеръ. Потому что мнѣ хотѣлось имѣть другого ребенка.

Юстиція. Объясните намъ это.

Біеръ. Я не могу. Но каждая мать пойметъ меня.

«Послѣ словъ Маріи Антуанетты - восклицаетъ Дюма-фисъ—передъ революціоннымъ трибуналомъ ни одна женщина, возмущенная жестокостью мужчины, не произносила слова болѣе глубокаго, трогательнаго, истиннаго!» Но перейдемъ къ m-lle Виргиніи Дюмеръ.

Юстиція. Вы убили вашего любовника?

Дюмеръ. Да.

Юстиція. Вы сожалѣете объ этомъ?

Дюмеръ. Нисколько. Еслибы во второй разъ повторилось то-же, я опять поступила-бы такъ-же.

Юстиція. Зачѣмъ-же вы убили?

Дюмеръ. Потому что я имѣла ребенка отъ него; хотѣла, чтобы онъ призналъ и не покидалъ его.

Юстиція. Но вы имѣли уже ребенка отъ другого человѣка?

Дюмеръ. Да, но тотъ умеръ.

Юстиція. Такимъ образомъ вы принадлежали уже другому человѣку?

Дюмеръ. Да, но я имѣла живого ребенка отъ этого.

«Перейдемъ къ m-me Тилли.

Юстиція. Вы облили кислотой лицо m-lle Маршаль?

Тилли. Да.

Юстиція. Потому что она была любовницей вашего мужа?

Тилли. Нѣтъ. Еслибы одна эта причина, я-бы простила.

Юстиція. За что-же тогда?

Тилли. За то, что у меня дѣти, а мой мужъ, отецъ ихъ, ожидалъ только смерти моей, чтобы дать моимъ дѣтямъ новую мать въ лицѣ этой женщины; онъ мнѣ самъ сказалъ объ этомъ, а я не хотѣла, чтобы мои дѣти имѣли другую мать, кромѣ меня, даже хотя-бы и послѣ моей смерти.

«Итакъ, говоритъ Дюма-фисъ,—дѣло идетъ о дѣтяхъ или, лучше сказать, о ребенкѣ. Женщина-мать, въ лицѣ комедіантки, служанки, великосвѣтской дамы, въ стыдѣ и въ славѣ, подъ секретомъ и открыто произвела на свѣтъ этого ребенка среди мукъ и пытокъ, стоновъ и криковъ, и ребенокъ этотъ, законный или незаконный, живой или мертвый, изъ утробы матери, изъ колыбели или могилы вопіетъ и беретъ подъ защиту свою мать, которую вы хотите осудить, противъ отца, ускользающаго отъ кары закона,—и попранный законъ отступаетъ. Не ясно-ли это?

«Что-бы вы ни дѣлали, что-бы вы ни говорили,—законы природы всегда останутся сильнѣе всѣхъ вашихъ кодексовъ и даже нравственныхъ правилъ; всегда они въ концѣ-концовъ будутъ одолѣвать васъ, и вы до тѣхъ поръ не будете знать покоя, пока не согласуете ваши законы и мораль съ природой. Безспорно вы поступаете вполнѣ нравственно и ничего вамъ это не стоитъ, когда вы говорите: дѣти природы не имѣютъ правъ отыскивать своего отца, и мы признаемъ права лишь за законными дѣтьми. Мы удостаиваемъ уваженія и покровительства только замужнюю женщину. Женщина-же, начиная съ 15 лѣтъ и 3 мѣсяцевъ, уступившая мужчинѣ, и если при этомъ не произошло никакого акта насилія, не имѣетъ права ничего требовать отъ насъ, если этотъ мужчина сдѣлаетъ ее матерью и броситъ. Произвольное же убійство наказывается тюрьмой, галерами и смертью, если будетъ доказано, что оно преднамѣренно, и пр.»

«Все это вполнѣ нравственно, просто, ясно, прекрасно, если угодно, но это не имѣетъ никакого соотношенія съ инстинктами, нуждами и потребностями всеобщаго творчества природы. Все это безполезныя угрозы, не имѣющія ни малѣйшаго вліянія на процессы этого творчества. И вотъ, когда великая борьба мужчины и женщины вторгается въ запертыя двери суда, женщина, въ продолженіи вѣковъ преданная на жертву вашимъ соціальнымъ комбинаціямъ, какъ дѣвушка, какъ супруга, какъ мать, возмущается и говоритъ вамъ въ лицо:

— Ну, что-жъ! Ну, да, я любила; я то, что вы называете, пала, т. е. уступила природѣ; я отдалась мужчинѣ и даже нѣсколько разъ. Да, я потомъ совершила преднамѣренное убійство, упражнялась даже для этого во владѣніи мужскимъ оружіемъ. Да, я поджидала этого человѣка и поразила его изъ засады постыднымъ образомъ въ спину, среди улицы. Да, я попросила у него послѣдняго поцѣлуя, и когда онъ сжалъ меня въ своихъ объятіяхъ и не могъ вывернуться отъ меня, я ему прострѣлила черепъ. Да, я наложила клеймо невѣрности своего мужа на лицо его сообщницы, молодой дѣвушки, противъ которой лично я ничего не имѣла и которая не считала меня, уважаемую женщину порядочнаго общества, способною на подобное безобразіе. Все это правда; но я - мать, священная особа, если я никогда не падала, и женщина, достойная прощенія, если я люблю ребенка, рожденнаго отъ моего грѣха. То, что я сдѣлала,—я сдѣлала во имя своего невиннаго ребенка, которому вы обязаны покровительствовать, но вы не покровительствуете. Вы позволили мужчинѣ обольстить меня, сдѣлать матерью, бросить меня потомъ обезчещенной, безъ средствъ и съ ребенкомъ на рукахъ. Вы позволили ему также, когда онъ женится на мнѣ, измѣнять мнѣ, имѣть любовницъ, противъ которыхъ вы не можете и не хотите меня защитить, ни позволить мнѣ взять состояніе, свое и дѣтей моихъ, и передать его другому; вы обрекли меня вѣчно принадлежать одному мужчинѣ, какъ-бы онъ ни былъ презрѣненъ, — что-жъ мнѣ остается дѣлать, какъ не убивать? Вы допустили, чтобы мой ребенокъ, законный или незаконный,—могъ не имѣть отца. За-

ключите-же его въ тюрьму или убейте его мать; вамъ только это и остается. Ну, что-жъ, къ дѣлу!

«Что вы можете отвѣтить на это?—Что во всякомъ случаѣ никто не вправѣ творить произвольный судъ? Что предумышленное убійство по такой-то и такой-то статьѣ кодекса должно быть наказуемо такъ-то? Но развѣ мы говоримъ, что преступницы имѣли право? Нисколько. Онѣ показали лишь вамъ, что мужчина неправъ, что законъ неправъ, и тогда толпа, — т. е. инстинктъ природы, обратилась въ третейскаго судью и принудила васъ постановить вердиктъ вашъ во имя невиннаго, т. е. ребенка, и это естественное чувство дошло до такой степени, что, когда государственный прокуроръ, защитникъ вашихъ законовъ, покровитель нравственности, органъ правосудія, потребовалъ дальнѣйшаго слѣдствія, чтобы лучше узнать истину,— публика закричала, какъ въ театральной залѣ, общественное мнѣніе заволновалось, печать пришла въ негодованіе. Вслѣдствіе того что не отпустили тотчасъ-же на свободу женщину-убійцу, которая не только не раскаялась въ своемъ преступленіи, но объявила, что она готова снова повторить его,— обвинитель въ глазахъ всѣхъ сдѣлался какъ-бы подсудимымъ.

«И всѣ эти безпорядки, всѣ эти преступленія, всѣ эти скандалы и беззаконія происходятъ не изъ чего иного, какъ изъ того, что вы не имѣете храбрости создать законы, которые обезпечивали-бы честь дѣвушекъ такими-же гарантіями, какими обезпечено у васъ самое грубое торговое дѣло, относились-бы съ равной справедливостью ко всѣмъ дѣтямъ безъ различія и допускали-бы члену семейнаго союза—въ случаѣ если онъ обезчещенъ, покинутъ или разоренъ другимъ членомъ — возстановлять свою честь, свободу и благосостояніе, не прибѣгая для этого къ прелюбодѣянію, аскетизму, самоубійству или убійству. Такъ какъ подобныхъ предупреждающихъ узаконеній у васъ нѣтъ, то у васъ мужья душатъ женъ, дѣвушки убиваютъ любовниковъ, жены обезображиваютъ соперницъ, толпа апплодируетъ всему этому,—и такимъ образомъ торжествуетъ идея.»

Допустимъ, что хотя все это нѣсколько старо, но отчасти и справедливо. Дѣйствительно, законы не гарантируютъ ни чести дѣвушекъ, ни правъ женъ,— и отъ этого происходятъ прискорбныя преступленія. Но какъ въ этихъ прискорбныхъ преступленіяхъ можетъ торжествовать идея,—объ этомъ нужно спросить у автора, да и при чемъ тутъ вообще идея, т. е. женскій вопросъ въ настоящемъ смыслѣ? Неужели этотъ вопросъ весь можетъ быть исчерпанъ законами о разводѣ и правахъ незаконныхъ дѣтей?

Въ томъ-то и дѣло, что не только эти законы не исчерпываютъ женскаго вопроса, но составляютъ лишь преддверіе къ нему. Не отъ нихъ зависитъ рѣшеніе женскаго вопроса, а, напротивъ того, они сами зависятъ отъ рѣшенія послѣдняго. Женскій вопросъ, если взять его ядро и очистить отъ скорлупы всѣхъ тѣхъ нравственныхъ, юридическихъ и сословныхъ аксессуаровъ, съ какими онъ обыкновенно соединяется,—есть вопросъ чисто экономическій: о матеріальномъ обезпеченіи женщины путемъ самостоятельнаго труда. Разъ съ этимъ вопросомъ когда-либо будетъ покончено, всѣ остальные, второстепенные, рѣшатся сами собой, безъ большого труда, потому что всѣ они всецѣло зависятъ отъ этого основного вопроса. А безъ разрѣшенія его, какіе законы, гарантирующіе права женщины, вы-бы ни постановляли, всѣ они будутъ тщетны, всѣ они тотчасъ-же разобьются о скалу экономической необезпеченности женщины. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему можетъ послужить право развода для женщины, не приученной ни къ какому труду, да и въ случаѣ способности трудиться не обезпеченной своимъ трудомъ? Если она къ тому-же не имѣетъ состоянія, то разводъ ставитъ ее въ безъисходную нищету, обрекаетъ чуть что не на голодную смерть, — положеніе, изъ котораго представляются лишь два выхода: или покориться и терпѣть тиранію перваго мужа, или подвергнуться риску новой тираніи. А если женщина имѣетъ состояніе, то и въ такомъ случаѣ законъ можетъ гарантировать это состояніе лишь отъ насильственнаго захвата со стороны мужа. Мы въ этомъ отношеніи счастливѣе Франціи, и у насъ, какъ извѣстно, имущество женщины, въ какомъ-бы семейномъ положеніи она ни находилась,—неприкосновенно. Но что-же изъ того? Это ничего не значитъ: развѣ мы имѣемъ дѣло съ воздушнымъ, милымъ созданіемъ, способнымъ лишь порхать по паркету, но вполнѣ чуждымъ всякаго знанія практической жизни,— подобное воздушное созданіе ничего не стоитъ провести, отобрать имущество его самымъ легальнымъ путемъ купчихъ крѣпостей, дутыхъ векселей или дарственныхъ записей и затѣмъ пустить барыню въ трубу и еще пожалуй съ ребенкомъ на рукахъ. И что-же въ такомъ случаѣ останется барынѣ, какъ не снова приняться за револьверъ или сѣрную кислоту, потому что законъ и на этотъ разъ останется безсиленъ со всѣми своими гарантіями? Барыню могутъ и тогда оправдать присяжные при апплодисментахъ публики и сочувственныхъ статьяхъ прессы. Но развѣ ей станетъ отъ этого легче и улучшится участь ея хоть сколько-нибудь?

Что-же касается до гарантіи бросаемыхъ отцами дѣтей, то здѣсь законъ еще болѣе безсиленъ, если вдуматься въ этотъ предметъ построже. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, какимъ путемъ можетъ законъ обезпечить покинутыхъ дѣтей? Принудить отца къ платѣ, въ видѣ оптовой или ежегодной денежной суммы, въ размѣрѣ, необходимомъ для содержанія и воспитанія ребенка? Но какъ вы обезпечите ребенка на рукахъ необезпеченной матери? Въ результатѣ должно получиться взаимное голоданіе и матери, и дитяти, при которомъ нечего и мечтать о какомъ-бы то ни было воспитаніи. Или законъ потребуетъ, чтобы виновный отецъ обезпечилъ не только ребенка, но и воспитательницу? Но въ такомъ случаѣ законъ станетъ въ противорѣчіе съ самимъ собой: съ одной стороны въ его кодексѣ будетъ красоваться право свободнаго развода, естественно уничтожающее обязанность мужчины содержать женщину, разъ она перестала быть его законной женой, а съ другой стороны—неразрывныя денежныя узы, вродѣ супружескихъ, связующія людей, совершенно чуждыхъ другъ другу. Для избѣжанія подобнаго противорѣчія придется и для случаевъ разводовъ законныхъ браковъ учредить тотъ-же законъ, обязывающій мужа содержать разведенную жену; въ противномъ-же случаѣ любители клубнички могутъ создать особеннаго рода легальный адюльтеръ, т. е. обольщать дѣвушекъ, проводя ихъ сквозь женитьбу и покончивая съ ними разводомъ, избавляя-

щимъ ловеласовъ отъ тѣхъ обязательствъ, съ которыми соединялся-бы незаконный адюльтеръ. Наконецъ законъ можетъ потребовать, чтобъ отецъ бралъ на свое попеченіе прижитаго ребенка и самъ заботился о содержаніи и воспитаніи его. Но это было бы все о нелѣпѣе. Потому что, нечего сказать, хорошо будетъ воспитаніе ребенка, силой закона навязаннаго родителю, не только равнодушному къ своему дѣтищу, но зачастую въ подобныхъ случаяхъ ненавидящему его; и каковы должны быть чувства матери при сознаніи, что ребенокъ ея отданъ на попеченіе человѣка, въ которомъ она разочаровалась, къ которому потеряла всякое уваженіе, а порой—дошла до ненависти къ нему. У меня на глазахъ совершается въ настоящее время драма подобнаго рода. Одинъ презрѣнный негодяй много лѣтъ тому назадъ женился и, приживъ съ женой нѣсколько человѣкъ дѣтей, бросилъ ее на произволъ судьбы со всѣми ея дѣтьми. Потомъ онъ сошелся съ одной очень юной и совершенно неопытной дѣвушкой и съ ней въ свою очередь прижилъ двоихъ дѣтей. Но и съ ней онъ въ настоящее время расходится. Однако-же, несмотря на то, что въ настоящемъ случаѣ ему гораздо легче отказаться отъ незаконныхъ дѣтей, чѣмъ когда онъ расходился съ законной женой, онъ не рѣшается этого сдѣлать вслѣдствіе особенныхъ обстоятельствъ Онъ изъявляетъ полную готовность взять дѣтей подъ свое покровительство, но съ однимъ только условіемъ: чтобы мать оставила дѣтей на полное его попеченіе и съ своей стороны, что бы онъ съ ними ни дѣлалъ, не позволяла себѣ ни малѣйшаго вмѣшательства въ воспитаніе ихъ. И вотъ несчастная мать борется въ настоящее время сама съ собою, не зная, что ей дѣлать: отказаться отъ предложенія негодяя и оставить дѣтей у себя? Но въ такомъ случаѣ она рискуетъ умереть съ ними съ голоду; согласиться — значитъ оставить дѣтей на жертву изверга, въ звѣрскомъ характерѣ котораго и полной деморализаціи она успѣла убѣдиться, проживши съ нимъ нѣсколько лѣтъ. Будь она обезпечена трудомъ настолько, насколько бываетъ обезпеченъ имъ мужчина,—тогда конечно и думать ей было-бы не о чемъ. Въ томъ и дѣло, что лишь при трудовой обезпеченности всѣ эти законы, о которыхъ мечтаетъ Дюма-фисъ, и могутъ имѣть свою силу: только обезпеченная трудомъ женщина можетъ безъ всякаго риска пользоваться разводомъ, только для нея существуютъ гарантіи дѣтей, прижитыхъ ею незаконно. Внѣ-же этого вопроса о кускѣ хлѣба, какія-бы пламенныя рѣчи ни расточали Дюма-фисы о попранныхъ правахъ женщины, всѣ эти рѣчи будутъ не чѣмъ инымъ, какъ мѣдью звенящею и кимвалами бряцающими.

Но опять-таки, повторяю, можетъ быть все то, что мы до сихъ поръ встрѣтили въ книгѣ Дюма-фиса, было однимъ лишь вступленіемъ къ рѣчи о женскомъ вопросѣ въ его сути. Правда, женскій вопросъ имѣетъ много входовъ и выходовъ, и очень жалко, что Дюма-фисъ ведетъ не прямой и парадной лѣстницей, а съ чернаго хода, разными грязненькими закоулочками; но не все-ли равно, откуда-бы ни войти, лишь-бы войти. Итакъ, пойдемте далѣе за Дюма-фисомъ и посмотримте, куда онъ насъ приведетъ.

А далѣе затѣмъ онъ повидимому имѣетъ намѣреніе ввести насъ прямо въ свѣтлыя и парадныя комнаты. Отъ женщинъ, которыя убиваютъ, онъ рѣзко переходитъ къ женщинамъ, которыя вотируютъ. «Это воплощеніе новой идеи—говоритъ онъ—не исчерпывается женщинами, которыя убиваютъ; въ туманныхъ сумеркахъ восходящаго солнца мы видимъ и другое воплощеніе, родственное первому».

И вотъ онъ приводитъ изъ какого-то журнала воззваніе къ женщинамъ Франціи. Мы не станемъ вслѣдъ за Дюма приводить цѣликомъ это воззваніе со всѣми его восклицаніями, а ограничимся только его сутью. Вотъ чего требуютъ поборницы женскаго вопроса, обращаясь ко всѣмъ французскимъ женщинамъ:

«Для осуществленія свободы, возможности учиться и жить независимымъ трудомъ намъ необходимо: 1) допущеніе женщинъ ко всѣмъ карьерамъ, къ какимъ только онѣ по природѣ способны; 2) ассоціація, а не подчиненіе въ нѣдрахъ брака; 3) допущеніе женщинъ къ судейскимъ должностямъ и въ составъ присяжныхъ и 4) право быть избирательницами и избираемыми, какъ въ общинѣ, такъ и въ государствѣ».

Вотъ и всѣ требованія воззванія. Вы видите ясно изъ этихъ требованій, что дѣло идетъ здѣсь о самой сути женскаго вопроса. Женщины требуютъ допущенія къ разнымъ отраслямъ труда или политическихъ правъ не ради одного тщеславнаго доказательства, что онѣ не менѣе мужчинъ способны быть судьями, чиновниками, медиками и т. п., а ради возможности жить независимымъ трудомъ, для чего естественно является первой необходимостью не только возвышеніе платы женскаго труда, но и расширеніе самой области женскихъ профессій. Нужно-ли и говорить о томъ, что лишь въ женщинахъ, заявляющихъ подобнаго рода требованія, слѣдуетъ видѣть то истинное и существенное воплощеніе идеи, о которомъ говоритъ Дюма въ началѣ своей книги? Онѣ-то и есть тѣ апостолы, пророки, ученики, послѣдователи, безъ появленія которыхъ идея или еще не родилась, или уже умерла. И посмотрите, какъ относится Дюма къ этимъ истиннымъ воплощеніямъ идеи.

Прежде всего онъ пророчитъ этимъ женщинамъ полный неуспѣхъ вслѣдствіе того, что никто изъ французскихъ женщинъ не прочтетъ ихъ воззванія. Для доказательства этого онъ раздѣляетъ женщинъ всего земного шара на нѣсколько категорій. Въ первомъ ряду идутъ женщины вполнѣ счастливыя и довольныя своимъ положеніемъ. Онѣ не только не требуютъ какихъ-либо реформъ, но боятся ихъ и считаютъ сумасшедшей каждую женщину, заявляющую о какой-либо реформѣ. Затѣмъ слѣдуютъ хитрыя и ловкія женщины, которыя тщеславятся тѣмъ, что онѣ не только не подчинены мужчинамъ, но, напротивъ, властвуютъ надъ ними и царятъ, ловко пользуясь всѣми условіями своего мнимаго рабства. На такихъ женщинъ конечно нечего и разсчитывать.

Затѣмъ идутъ женщины народа и деревень, сиискивающія въ потѣ лица хлѣбъ свой насущный, живущія по преданію матерей и свято передающія эти преданія дочерямъ. Сгибающіяся подъ тяжестью труда, вѣчно потупляющія взоръ свой въ землю, угнетенныя нуждой, порабощенныя привычкой, эти со-

*

зданія въ образѣ женщины не въ состояніи и мыслить объ измѣненіи своей участи. Онѣ не имѣютъ ни времени, ни способности обсудить и сообразить. Да къ тому онѣ и неграмотны; онѣ не только не въ состояніи прочесть подобное воззваніе къ нимъ, но не узнаютъ о существованіи его.

Далѣе слѣдуютъ благочестивыя женщины. Религія учитъ ихъ нести крестъ свой и страдать. Онѣ не только не жалуются на свою участь, но видятъ въ ней залогъ наградъ въ будущей жизни. Онѣ смотрятъ какъ на великій грѣхъ на чтеніе какихъ-либо свѣтскихъ книгъ, журналовъ или газетъ. Еслибы онѣ случайно узнали, что существуютъ женщины, заявляющія о какихъ-либо правахъ, онѣ пришли-бы въ ужасъ и увидѣли-бы въ этомъ навожденіе злого духа.

Затѣмъ выступаютъ женщины не счастливыя, не ловкія, не угнетенныя нищетой, не благочестивыя, у которыхъ достаточно развитъ умъ, чтобы сойтись съ какимъ угодно мужчиной или устроить себѣ самостоятельно какую угодно карьеру; онѣ не имѣютъ недостатка ни въ волѣ, ни въ терпѣніи, ни въ энергіи, ни въ честности. Онѣ обладаютъ идеальностью, нѣжностью и самоотверженіемъ въ достаточной мѣрѣ, чтобы быть хорошими женами и матерями, въ достаточной мѣрѣ чувствомъ достоинства и самоуваженія, чтобы не грѣшить; но именно вслѣдствіе того, что онѣ женщины, и притомъ женщины и не столь красивыя, и не столь смѣлыя, и не столь богатыя, какъ другія,— онѣ лишены не только чувствъ и радостей, но и того матеріальнаго благосостоянія, на которое онѣ имѣютъ право. Казалось-бы, что на нихъ-то болѣе всего могло бы разсчитывать воззваніе. Но нечего надѣяться и на подобныхъ женщинъ. Ихъ умъ, образованіе, невзгоды и испытанія, какія онѣ постоянно терпятъ, все имъ говоритъ о томъ, что положеніе ихъ требуетъ коренной реформы. Но ихъ скромность, привычка видѣть безплодными всѣ ихъ усилія, страхъ шума и скандала позволяютъ имъ лишь про себя тайно сочувствовать женскому вопросу. Онѣ страдаютъ, сомнѣваются, молчатъ, а потомъ, при наступленіи извѣстнаго возраста, ни на что болѣе не надѣются.

Наконецъ есть женщины умныя, просвѣщенныя, избавленныя отъ необходимости быть хитрыми, благодаря своей обезпеченности. Эти женщины смотрятъ на себя не какъ лишь на игрушку для удовольствія мужчины: онѣ интересуются всѣми великими общечеловѣческими вопросами и живутъ въ сообществѣ съ передовыми умами, не впадая однако въ тотъ педантизмъ, который бичуетъ Мольеръ. Эти женщины не сомнѣваются, что онѣ равны во всемъ мужчинамъ и впослѣдствіи получатъ одинаковыя съ ними права. Но онѣ въ то же время убѣждены, что этого шага невозможно добиться однимъ скачкомъ съ ихъ стороны, что починъ долженъ быть положенъ самими мужчинами, всякая же съ ихъ стороны рискованная поспѣшность можетъ лишь повредить дѣлу. Къ тому же этихъ женщинъ очень немного, и разсчитывать на нихъ нѣтъ никакого основанія. Вопросъ для нихъ слишкомъ серьезенъ, сложенъ и деликатенъ, чтобы предать его на публичное обсужденіе, гдѣ онъ можетъ попасть въ руки всякихъ нетерпѣливыхъ и экзальтированныхъ утопистокъ; подобныя союзницы, если онъ станетъ ихъ вербовать, скомпрометтируютъ его въ конецъ.

Я ужъ не говорю о вопіющемъ противорѣчіи, таящемся во всей этой тирадѣ, которая начинается со счастливыхъ женщинъ, не нуждающихся въ реформахъ, а кончается тѣми же счастливыми женщинами, въ которыхъ, какъ оказывается вдругъ, сосредоточивается все сочувствіе къ женскому вопросу. Спрашивается: для чего говоритъ все это авторъ? Не самъ ли онъ утверждалъ въ началѣ книги, что такова судьба каждой новой идеи при первыхъ ея воплощеніяхъ, что инертная толпа съ ужасомъ и отвращеніемъ встрѣчаетъ ее, гонитъ, преслѣдуетъ, но на это не слѣдуетъ обращать вниманія, потому что каждый разъ въ концѣ концовъ идея торжествуетъ? Что жъ въ томъ, что сегодня приверженцамъ женскаго вопроса способна внимать лишь горсть женщинъ, и притомъ такихъ, которыя менѣе всего нуждаются въ реформахъ? Вѣдь это повторяется съ каждой новой идеей! Когда впервые возникла идея освобожденія негровъ, друзьямъ этой идеи внимала въ свою очередь небольшая кучка людей, не имѣвшихъ ни малѣйшаго личнаго интереса въ этой реформѣ. И что, еслибы къ этимъ друзьямъ обратиться съ подобной же рѣчью: «Безумцы, къ кому вы взываете, кого вы хотите увлечь за собой, кто будетъ васъ слушать? Тѣ негры, у которыхъ господа добрые, и которые поэтому сыты и обезпечены, не нуждаются ни въ какихъ реформахъ. Негры, обладающіе умомъ, хитростью и ловкостью, сдѣлавшіеся приказчиками и старостами, управляющіе самими господами, еще менѣе нуждаются въ освобожденіи отъ рабства, изъ котораго извлекаютъ всѣ выгоды. Негры, наиболѣе угнетенные, согбенные подъ бременемъ труда и побоевъ, не имѣютъ ни времени, ни способности и помыслить объ измѣненіи своей участи; они не прочтутъ вашихъ воззваній, не узнаютъ о ихъ существованіи. Благочестивые негры смотрятъ на свои страданія, какъ на залогъ будущихъ наградъ. Негры средняго положенія, въ видѣ массы честныхъ и добродушныхъ тружениковъ, можетъ быть втайнѣ и желали бы перемѣны своей участи, но они слишкомъ скромны, слишкомъ боятся шума и скандала и такъ разочарованы въ успѣхѣ, что нечего и ждать, чтобы они къ вамъ пристали. Наконецъ если и есть горсть негровъ, которымъ счастливая случайность позволила развить свой умъ и встать au courant общечеловѣческихъ интересовъ, то для нихъ вопросъ объ ихъ освобожденіи слишкомъ деликатенъ, чтобы предавать его публичному обсужденію; они убѣждены, что рискованнымъ скачкомъ можно только повредить дѣлу; по ихъ мнѣнію, инициатива рѣшенія вопроса должна быть предоставлена плантаторамъ, иначе дѣло можетъ попасть въ руки утопистовъ, и тѣ его только скомпрометтируютъ.»

Не правда-ли, что при ретроспективномъ взглядѣ на ходъ эмансипаціи негровъ, какъ на идею, давно уже осуществившуюся, наглядно представляется вся нелѣпость подобныхъ рѣчей къ первымъ піонерамъ освобожденія невольниковъ? Но развѣ не то же самое говоритъ и Дюма піонерамъ женскаго вопроса? Погодите, онъ не то еще говоритъ имъ: «Откуда идутъ,— спрашиваетъ онъ, — нетерпѣливость, преувеличенія и

внѣшняя экзальтація всѣхъ этихъ опасныхъ партизанокъ? Мы не сомнѣваемся, что изъ искреннихъ убѣжденій; но страданія, разочарованія, личные промахи играютъ въ нихъ роль въ гораздо большей степени, чѣмъ безпристрастныя наблюденія. Кто страдаетъ, тотъ и кричитъ, - скажутъ намъ эти женщины. Нѣтъ сомнѣнія въ этомъ, но сами по себѣ страданія, равно какъ и наслажденія, не составляютъ неоспоримаго аргумента. Они могутъ быть логическимъ слѣдствіемъ, фатальной карой разнузданности воображенія, безразсуднаго своеволія, несбывшихся иллюзій, чрезмѣрной гордости, недостатка энергіи и воли.»

Сѣдовласый буржуа, читая эти строки, радостно потираетъ руками, а либеральный защитникъ женскаго пола продолжаетъ съ тѣмъ же апломбомъ. По его мнѣнію, существуетъ на свѣтѣ только два рода несчастій, въ которыхъ человѣкъ не воленъ,—нищета и болѣзнь. Всѣ же прочія несчастія зависятъ вполнѣ отъ насъ самихъ; всѣ они происходятъ изъ того, что человѣкъ гонится за личнымъ счастьемъ, рискуетъ, играетъ ради осуществленія своихъ фантазій, и когда эти фантазіи не осуществляются, признаетъ себя несчастнымъ. Поэтому, чтобы избѣгать подобныхъ несчастій, человѣку остается не питаться никакими иллюзіями и не рисковать, гоняясь за осуществленіемъ ихъ. Вы напримѣръ мечтаете о супружескомъ счастіи—не рискуйте, т. е. не женитесь, и вы избѣгнете скуки, опасностей и невзгодъ, соединенныхъ съ бракомъ; вы ищете счастья въ дѣтяхъ,—не имѣйте дѣтей, и вы избавитесь отъ риска потерять ихъ и претерпѣть отъ нихъ неблагодарность; довольствуйтесь малымъ и не стремитесь быть милліонеромъ, и вы не рискуете потерять все разомъ; не имѣйте любовницы, и никто вамъ не измѣнитъ, и т. д. И вотъ съ этой-то сумбурной теоріей счастья онъ обращается къ женщинамъ.

«Когда женщина—говоритъ онъ—требуетъ освобожденія отъ рабства мужчинѣ и въ то же время вѣритъ, что она можетъ быть независима отъ него, она глубоко заблуждается. Во-первыхъ, женщина дѣлается рабой мужчины только тогда, когда хочетъ этого, т. е. когда выходитъ замужъ, а вѣдь никто не заставляетъ ее выходить замужъ. Съ другой стороны она не можетъ быть независима отъ него, потому что мужчина исполняетъ разныя матеріальныя работы, которыя она не можетъ исполнять, но безъ которыхъ ея независимая жизнь немыслима: такъ, мужчина въ качествѣ солдата защищаетъ ея очагъ, не только семейный, но и дѣвственный. Что-же касается ея рабства, то еще разъ повторяемъ, оно вполнѣ добровольное. По закону женщина не только свободна въ равной степени съ мужчиной, но болѣе его. Такъ, женщина 21 года можетъ вступать въ бракъ безъ согласія родныхъ, а мужчина—только съ 25-тилѣтняго возраста. Мужчина несетъ воинскую повинность, женщина свободна отъ нея. Эта повинность чего-нибудь да стоитъ, и если вы требуете судейскихъ правъ, то несите за нихъ и обязанности. Мужчина подобныя права оплачиваетъ воинской повинностью; пусть въ такомъ случаѣ и женщина дѣлаетъ то же.

«Женщина поэтому не имѣетъ никакого основанія требовать себѣ правъ равныхъ съ мужчиной: она ихъ имѣетъ. Совершеннолѣтняя женщина нисколько не менѣе свободна, чѣмъ и совершеннолѣтній мужчина: она точно также можетъ оставить семью, гдѣ угодно жить, куда угодно ѣздить, покупать, продавать, торговать и устраивать какую угодно карьеру сообразно своимъ способностямъ, образованію и полу. Домашнюю обстановку она можетъ устроить, какую ей вздумается, и имѣть столько дѣтей, сколько ихъ ей пошлетъ природа. Вы возразите, что женщина, живущая по своей фантазіи и свободно рожающая дѣтей, сколько ей угодно,—считается безчестной и презираемой. Кѣмъ? Законами? Нисколько.- Нравами. Но обязанность каждой женщины—выйти замужъ, имѣть законнаго супруга и законныхъ дѣтей! Гдѣ вы это видите? Въ нравахъ—такъ, но въ законахъ ничего объ этомъ не сказано; законы регулируютъ бракъ, но не предписываютъ и даже не совѣтуютъ.

«Но—возразятъ женщины—любовь нашъ идеалъ; материнство—наше призваніе; не только идеалъ и призваніе, но право и обязанность. И мы требуемъ осуществленія этого права.

— Бракъ и установленъ съ этой цѣлью, отвѣтитъ на это общество.

— Но мужчины ищутъ приданыхъ и избѣгаютъ жениться на бѣдныхъ, а бѣдныхъ большинство. Можете вы принудить ихъ жениться на насъ?

— Нѣтъ.

— Прекрасно. Мужчина ищетъ свободы; онъ уклоняется не отъ любви, а отъ брака. Допустите въ такомъ случаѣ свободный союзъ. Мы только требуемъ права заключать его по контракту, во избѣжаніе измѣнъ со стороны свободнаго мужчины.

— Вы имѣете право, никто этого не запрещаетъ; одна только мораль.

— А кто основалъ эту мораль?

— Религіозные и политическіе законодатели.

— Значитъ мужчины?

— Да.

— А звали они женщинъ на совѣщанія, прежде чѣмъ утвердить эту мораль?

— Нѣтъ.

— Однако же женщины составляютъ половину человѣческаго рода, и онѣ сильно заинтересованы въ этомъ вопросѣ.

— Мужчины постановили всѣ эти рѣшенія сами.»

Мы не будемъ выписывать всѣхъ этихъ репликъ, которыя тянутся нѣсколько страницъ и, отклоняясь отъ сути женскаго вопроса, трактуютъ все о той же канители, т. е. о необходимости брачныхъ разводовъ, свободныхъ любовныхъ союзовъ и гарантіи незаконныхъ дѣтей. «Въ этомъ одномъ,—говоритъ авторъ въ заключеніе этихъ репликъ,—а отнюдь не въ занятіи общественныхъ должностей лежитъ истинная и вѣчная задача женскаго вопроса. На этой лишь почвѣ женщина имѣетъ на своей сторонѣ и природу, и справедливость, и всѣхъ тѣхъ, у кого есть сердце и совѣсть. Вотъ почему, когда, доведенная до крайности безстыдствомъ мужчины и варварствомъ закона, она дошла до остервенѣнія, начала убивать и калѣчить, правосудіе оказалось принужденнымъ молчать, а общественное мнѣніе возопило».

Вотъ онъ передъ вами, бульварный публицистъ, во всей своей красотѣ. Другого рода дѣло, когда передъ нимъ разыгрываются скандальные процессики; въ глазахъ его мерещатся любовныя пантомимы всякаго рода— и тутъ онъ на своей почвѣ, тутъ онъ собаку съѣлъ; а какъ только дѣло касается до истиннаго и серьезнаго рѣшенія женскаго вопроса, на той экономической почвѣ, на которой онъ только и можетъ быть рѣшенъ, какъ только передъ нимъ встаютъ истинныя защитницы женщинъ и говорятъ не о бѣгствѣ отъ надоѣвшаго мужа, а о товариществѣ въ бракѣ, не о прелестяхъ свободной любви, а о трудѣ, не о вымогательствѣ гарантирующихъ подачекъ отъ

безсердечныхъ и безстыжихъ бульварныхъ ловеласовъ, а о возможности посредствомъ обезпеченнаго благосостоянія, путемъ занятія мужскихъ профессій самостоятельно воспитывать своихъ дѣтей, —онъ сейчасъ же впадаетъ въ ужасъ, начинаетъ вопить о нетерпѣливости, о чрезмѣрной требовательности, о разнузданности воображенія, о несбыточныхъ иллюзіяхъ, личныхъ промахахъ и т. п. Это онъ-то, Александръ-то Дюма, укоряетъ вдругъ скромныхъ партизанокъ женскаго вопроса въ разнузданности воображенія, можете себѣ представить: — онъ, который весь женскій вопросъ сводитъ на вопросъ о клубничкѣ, о свободѣ удовлетворенія половыхъ потребностей подъ гарантіей закона.

Послѣ этого Дюма-фису оставалось сдѣлать лишь одинъ блистательный шагъ: ошикавши истинныхъ партизанокъ, ищущихъ рѣшенія женскаго вопроса на разумной почвѣ, въ то же время возвеличить своихъ бульварныхъ подругъ — парижскихъ проститутокъ, какъ наиболѣе благотворное олицетвореніе идеи женской свободы. И Дюма-фисъ этотъ шагъ дѣлаетъ.

Не всѣ-же женщины, по словамъ Дюма, покинутыя любовниками или оскорбленныя мужьями, способны стрѣлять или брызгать кислотой. И вотъ является проституція, какъ великій соціальный фактъ:

«То, чего нѣкогда стыдились и страшились, дѣлается карьерой, средой, историческимъ фактомъ, съ которымъ цивилизація должна будетъ считаться и который поведетъ къ непредвидимымъ измѣненіямъ въ нравахъ и законахъ. Эта карьера, предоставленная во всякое время бѣднымъ дѣвушкамъ, одареннымъ молодостью, красотой и умомъ, эта среда чувственности и наслажденій, постоянно открытая юношамъ и старикамъ, одареннымъ желаніями и деньгами, этотъ странный міръ, въ которомъ нѣтъ ни правъ, ни обязанностей, по мѣрѣ того какъ будетъ развиваться, будетъ получать все большее и большее значеніе, подобно другимъ мірамъ современнаго соціальнаго строя, —аристократіи, буржуазіи, демократіи.

«Подобно тому, какъ острова, выдвигаемые изъ морей геологическими переворотами, покрываются сначала лѣсами, а потомъ городами, такъ и этотъ міръ будетъ имѣть въ скоромъ времени свою автономію, свои учрежденія, свои общіе интересы, свою солидарность, свой идеалъ и даже свою нравственность. Это достовѣрно. Придетъ время, когда эта новая общественная сила будетъ заключать договоры съ правительствами. И теперь уже знатные люди, милліонеры, принцы порой женятся на гражданкахъ этого царства, а дочки этихъ гражданокъ, ни мало не краснѣя за ремесло матери и не имѣя нужды продолжать его, вступаютъ въ брачные союзы, на первыхъ порахъ яко-бы законные, и своими придаными содѣйствуютъ промышленности, торговлѣ, а иногда и пожалаютъ и возстановляютъ древніе гербы. Но этого мало. Женщины эти не имѣютъ угрызеній совѣсти, онѣ не сожалѣютъ о своей участи: ихъ слишкомъ много, онѣ слишкомъ организованы, богаты и славны, чтобы заниматься этимъ. И къ тому-же свѣтъ, который ихъ изгналъ и который часто завидуетъ имъ, вовсе не недоступенъ для нихъ. Онѣ не только держатъ въ своихъ рукахъ мужчинъ, но вербуютъ въ свои полки и женщинъ этого свѣта. А подъ старость онѣ становятся филантропками, расточаютъ милостыню, дѣлаются благодѣтельницами околота; администрація притомъ почтительно услуживаетъ имъ, церковь ихъ прославляетъ...»

Такимъ образомъ вовсе не съ какими-то тамъ безумными партизанками женскаго вопроса, а вотъ съ какимъ великимъ соціальнымъ фактомъ придется считаться цивилизаціи—съ проститутками!.. Такъ!..

Правда, Дюма-фисъ далѣе въ своемъ трактатѣ допускаетъ и другой, болѣе благородный выходъ для женщинъ, ищущихъ свободы внѣ брачныхъ узъ, — именно: на поприщѣ науки. Казалось-бы, что здѣсь менѣе всего было-бы мѣста для какихъ-либо эротическихъ предположеній. Но представьте себѣ, что нашъ бульварный сластолюбецъ даже и на этой сухой и строгой почвѣ не могъ обойтись безъ сладострастныхъ представленій, да и какихъ еще представленій! Такихъ, что тутъ, можно сказать, онъ и самого себя заткнулъ за поясъ. Оказывается, вотъ видите, что подобно тому, какъ женщина на религіозной почвѣ проявляла всегда гораздо болѣе фанатизма и страсти къ мученичеству за идею, чѣмъ мужчина, такъ это будетъ и на научной почвѣ.

«Она пойдетъ на самые тяжкіе труды ради науки, на самые мучительные и необыкновенные опыты для разрѣшенія задачи. Ей ничего не будетъ стоить вырѣзать у себя груди, подобно св. Агаѳіи, для раскрытія тайны образованія молока; она передастъ своего ребенка сосѣдкѣ, подобно св. Фелиситѣ, для того, чтобы отдаться звѣрямъ и провѣрить такимъ образомъ теорію Дарвина.»

И тутъ Дюма приходитъ вдругъ въ такой неистовый паѳосъ, что восклицаетъ внѣ себя:

«Пятнадцатилѣтніе юноши, вы, которые читаете тайкомъ эти страницы! Вы можетъ быть проживете на свѣтѣ еще шестьдесятъ лѣтъ, и я вамъ этого отъ души желаю, потому что дѣлается все труднѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ интереснѣе доживать до 75-тилѣтняго возраста. Вы можетъ быть услышите еще при жизни вашей, что кто-нибудь изъ моихъ будущихъ собратьевъ будетъ рекламировать въ пользу обезпеченія участи дѣтей, рожденныхъ отъ женщинъ и обезьянъ, какъ это я теперь дѣлаю въ пользу дѣтей, рожденныхъ отъ женщины и человѣка. И какъ только вы услышите подобную защиту, стучайте на мою могилу, постучите въ нее вашей тростью и скажите: «совершилось!» Нѣкоторые прохожіе спросятъ у васъ, въ чемъ дѣло; вы объясните имъ, если только въ то время будутъ еще существовать кладбища и могилы.»

Спрашивается: къ чему все это говоритъ Дюма? Для чего эта бездна отвратительнаго цинизма? Въ серьезъ развиваетъ онъ подобныя необузданно-дикія фантазіи, или и здѣсь, какъ и во многихъ мѣстахъ книги, подъ наружнымъ паѳосомъ скрывается ядовитая иронія надъ скромными усиліями женщинъ выбиться изъ ихъ вѣкового ярма, стремленіе довести до смѣшного и нелѣпаго абсурда женскій вопросъ и поглумиться надъ нимъ? А скорѣе всего подобныя вещи говорятся съ единственной цѣлью побалагурить, и, угодя скоромнымъ вкусамъ парижской публики, придать болѣе пикантный и пряный характеръ книгѣ; и ни о чемъ при этомъ не помышлялъ Дюма-фисъ, ни о какихъ женскихъ вопросахъ, какъ лишь о томъ, какъ пятнадцатилѣтніе мальчики, а можетъ быть и дѣвочки будутъ тайкомъ читать его интересную, по части клубнички, брошюрку.

Но зато въ концѣ книги Дюма-фисъ разражается вдругъ такимъ неожиданнымъ и блестящимъ фейерверкомъ и подноситъ вамъ такой роскошный букетъ свободомыслія, что многія даже серьезныя читательницы забудутъ конечно всѣ тѣ униженія и глуше-

нія, которыя дѣлалъ онъ имъ на предыдущихъ страницахъ книги, прохаживаясь вокругъ да около интимныхъ сторонъ ихъ жизни, — и пожалуй поднесутъ ему лавровый вѣнокъ, какъ истинному поборнику женскаго вопроса.

Нѣсколько страницъ назадъ, какъ мы видѣли, Дюма отрицалъ не только политическую, но и гражданскую правоспособность женщинъ. «Какое основаніе — говоритъ онъ — имѣютъ женщины добиваться правъ на занятіе разныхъ общественныхъ должностей и профессій? Каждое право должно оплачиваться обязанностью; мужчина за подобныя права несетъ ярмо воинской повинности; женщина избавлена отъ нея, зато она не должна претендовать и на мужскія права. Совершенно достаточно, чтобы были учреждены законы для свободныхъ любовныхъ союзовъ, и тогда однѣ женщины пойдутъ замужъ, другія — въ великое сословіе проститутокъ, — третьи на подмостки театра, четвертыя будутъ дѣлать научные опыты по части скотоложства, и женскій вопросъ будетъ такимъ образомъ порѣшенъ, — все пойдетъ какъ по маслу». И вдругъ Дюма-фисъ забываетъ все это, сказанное имъ въ той-же книгѣ нѣсколько страницъ назадъ, и является готовымъ преподнести женщинамъ не только гражданскія, но даже и политическія права!

Вы конечно и слыхали, и читали, и хорошо вамъ извѣстно о недавнемъ процессѣ Юбертины Оклеръ. Эта дѣвушка, Юбертина Оклеръ, не убила изъ револьвера ни одного любовника, не облила кислотой лица ни одной соперницы, а принадлежитъ именно къ тѣмъ партизанкамъ женскаго вопроса, которыхъ обвиняетъ Дюма-фисъ въ излишней нетерпѣливости, разнузданности воображенія и т. п. Она одна изъ первыхъ представительницъ общества «Право женщинъ» и одна изъ главныхъ сотрудницъ газеты этого общества, носящей то же названіе. Очень можетъ быть, что никто другой, какъ именно она сочинила и то воззваніе, къ которому отнесся Дюма такъ отрицательно. По крайней мѣрѣ вотъ что говоритъ объ этой интересной личности Людовикъ въ «Хроникѣ парижской жизни», въ № 9 «Отечественныхъ Записокъ»:

«Въ началѣ настоящаго года эта Оклеръ потребовала отъ мэра того парижскаго округа, гдѣ она живетъ, внесенія ея имени въ списки муниципальныхъ и парламентскихъ избирателей. Когда ей въ этомъ было отказано, она потребовала составленія объ этомъ отказѣ протокола. Черезъ нѣсколько времени, присутствуя въ мэріи на заключеніи гражданскаго брака, она произнесла цѣлую рѣчь о несправедливости относительно женщинъ статей гражданскаго кодекса, касающихся брака. Неожиданная эта манифестація обусловила появленіе циркуляра сенскаго префекта, которымъ запрещалось впредь при заключеніи брака говорить кому-бы то ни было, кромѣ мэра. Нѣсколько недѣль тому назадъ Оклеръ устроила, при пособіи своего общества, митингъ въ залѣ улицы Левисъ, для котораго залъ былъ особеннымъ образомъ убранъ. Съ каѳедры развѣвалась широкая красная лента съ напечатаннымъ на ней именемъ Луизы Мишель, участницы коммуны, отказавшейся отъ своего помилованія до тѣхъ поръ, пока въ ссылкѣ останется хотя-бы одинъ коммунаръ. Программа вечера была напечатана крупными буквами и такъ, чтобы всѣ присутствующіе могли ее прочесть. На программѣ этой между прочимъ напечатаны были слѣдующія фразы: «Нѣтъ обязанностей безъ правъ, и нѣтъ правъ безъ обязанностей», и слова Кондорсэ: «Или никто изъ людей не имѣетъ правъ, или права всѣхъ людей одинаковы; и тотъ, кто подаетъ голосъ противъ правъ другого, какой-бы религіи онъ ни придерживался, къ какому-бы полу ни принадлежалъ, какого-бы племени по цвѣту своей кожи ни былъ, — тѣмъ самымъ отказывается отъ своихъ правъ.» Что касается до самаго предмета чтенія, то г-жа Оклеръ съ полнѣйшимъ мастерствомъ говорила о всѣхъ сторонахъ и особенностяхъ женскаго вопроса, и такъ основательно и горячо, что увлекала своими доводами самыхъ отчаянныхъ скептиковъ, какъ напримѣръ репортера газеты «Temps», котораго рѣшительно очаровала до того, что онъ печатно назвалъ ее «Сарой Бернаръ женскаго вопроса».

«Главнѣйшимъ орудіемъ, которымъ женщины могутъ воспользоваться для своего освобожденія, долженъ быть, по мнѣнію Оклеръ, отказъ въ уплатѣ налоговъ, такъ какъ если у женщинъ отняты права, то у нихъ не можетъ быть и обязанностей. Подавая собой примѣръ, она отказалась платить существующій въ Парижѣ налогъ на квартиру и меблировку и, когда у нея за это была описана мебель, отправила въ различныя газеты слѣдующее заявленіе: «Я, представляющая собой ничто, когда дѣло идетъ о голосованіи, составляю нѣчто, какъ платежная единица. Сегодня описана моя мебель. Фискъ налагаетъ руку на мое имущество за то, что я требую пользованія своимъ правомъ взамѣнъ получаемаго съ меня налога, за то, что я не хочу платить суммы, за сборы которой я не подавала своего голоса и употребленія которой я не могу контролировать. Я протестую противъ такого захвата моего имущества. Я протестую противъ подобныхъ дѣйствій правительства, состоящаго исключительно изъ мужчинъ, которое отрицаетъ мои права и тѣмъ не менѣе беретъ мои деньги. Я заявляю, что въ этой борьбѣ одной противъ всѣхъ я не уступлю, а подчинюсь насилію. Юбертина Оклеръ.»

«И вотъ Юбертина Оклеръ обратилась съ жалобой къ суду совѣта сенской префектуры. Защищала свои требованія она сама. Совѣтъ слушалъ ее сначала съ простымъ любопытствомъ, а потомъ и съ весьма серьезнымъ вниманіемъ, такъ какъ слова ея были исполнены логики и увлекательнаго краснорѣчія. Явилась въ судъ она настоящей свѣтской дамой, въ очень изящномъ туалетѣ. Поддерживалъ ея требованія адвокатъ Антоненъ Левріэ, секретарь общества «Право женщинъ». При этомъ онъ ссылался на авторитетъ знаменитаго французскаго философа Кондорсе, «именемъ науки и сознанія поставившаго вопросъ о равенствѣ обоихъ половъ», и ссылался такъ-же на Гладстона, который уже добился нѣкоторыхъ избирательныхъ муниципальныхъ правъ для женщинъ Великобританіи и который вполнѣ сочувствуетъ ихъ стремленію къ полученію и избирательныхъ политическихъ правъ. Правительственный комиссаръ отвѣчалъ Левріэ, утверждавшему, что противъ требованій его кліентки не существуетъ опредѣленныхъ законовъ, прочтеніемъ тѣхъ статей кодекса, которыя относятся до податей и налоговъ и обязываютъ къ ихъ уплатѣ всѣхъ обывателей: холостыхъ молодыхъ людей и дѣвушекъ совершеннолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ, имѣющихъ средства къ существованію. Затѣмъ онъ прибавилъ, обращаясь къ г-жѣ Оклеръ: «Вы, сударыня, ошиблись дверью, вамъ слѣдовало обратиться съ вашей жалобой не въ совѣтъ префектуры, который не имѣетъ законодательной власти, а въ палату депутатовъ или сенатъ». Тогда г-жа Оклеръ составила петицію въ парламентъ, а общество «Право женщинъ» стало собирать для нея подписи, чтобы представить потомъ въ парламентъ.»

И вотъ подъ впечатлѣніемъ этого процесса Оклеръ на Дюма-фисъ внезапно нашло словно нѣкое просіяніе. Онъ вдругъ уразумѣлъ, что свобода жен-

щинъ отъ воинской повинности вовсе не составляетъ резона для лишенія ихъ гражданскихъ и политическихъ правъ; что во-первыхъ далеко не всѣ мужчины поголовно несутъ на себѣ воинскую повинность, однако-же правами пользуются не одни солдаты, а во-вторыхъ—нельзя сказать, чтобы женщины вовсе не участвовали въ воинской повинности, потому что онѣ оплачиваютъ содержаніе войска наравнѣ съ мужчинами. И вотъ Дюма-фисъ, не позаботившись хотябы зачеркнуть все то, что онъ говорилъ объ этомъ предметѣ на предыдущихъ страницахъ, беретъ подъ свою защиту Юбертину Оклеръ и начинаетъ ораторствовать въ защиту дарованія женщинамъ политическихъ правъ. Послушаемъ же, что говоритъ объ этомъ нашъ бульварный публицистъ:

«Въ 1847 году—говоритъ онъ—политическіе дѣятели, но правдѣ слишкомъ требовательные, просили у правительства пониженія избирательнаго ценза и присоединенія къ нему всѣхъ правоспобныхъ. Но правительство отказало безъ всякихъ основательныхъ поводовъ, и я не знаю, представило-ли оно какіе-либо резоны, хотя бы неосновательные. Этотъ отказъ повлекъ за собой революцію 1848 года, которая естественно не ограничилась первоначальнымъ проектомъ,—это было ея право, какъ революціи,—а ввела всеобщую подачу голосовъ, т. е. уничтожила всякій цензъ и допустила къ выборамъ не только всѣхъ правоспособныхъ, но и неправоспособныхъ мужского пола. Въ настоящее время всеобщая подача голосовъ существуетъ для всѣхъ мужчинъ безъ всякихъ ограниченій. И вотъ являются женщины и въ свою очередь говорятъ: «А мы что-жъ? Мы требуемъ присоединенія правоспособныхъ и съ нашей стороны!» Можетъ-ли быть что-либо послѣдовательнѣе, разумнѣе и справедливѣе? Какое различіе предположите вы между мужчиной и женщиной, чтобы отказать послѣдней въ правѣ вотировать, когда вы даровали это право мужчинѣ? Никакого различія.

— А полъ?

— Какой полъ?

— Женскій полъ.

— Но какую же тутъ роль играетъ полъ? Ни малѣйшей. Женщина не имѣетъ бороды, мужчина—длинныхъ волосъ. А что касается до другихъ различій, то они представляютъ такое преимущество женщинамъ, что мы лучше объ этомъ и толковать не станемъ.

— Будемъ говорить серьезно.

— Сдѣлайте одолженіе.

— Тутъ идетъ дѣло не о физическомъ, а о моральномъ половомъ различіи.

— Я васъ не понимаю.

— А между тѣмъ это ясно. По своему полу женщина слабѣе мужчины, и доказательствомъ этого служитъ то, что мы принуждены постоянно защищать ее.

— Мы защищаемъ ее такъ мало, что она принуждена защищаться сама выстрѣлами изъ револьвера, и мы такъ мало позаботились о предупредительныхъ мѣрахъ въ этомъ отношеніи, что принуждены оправдывать ее.

— Но это исключительные случаи. Извѣстно однако же, что женщина въ умственномъ отношеніи ниже мужчины. Вы сами объ этомъ писали.

— Если я это писалъ, то написалъ глупость, и сегодня я измѣняю свое мнѣніе. Не я первый, написавшій глупости, и не я послѣдній, измѣняющій мнѣнія, вотъ и все. Но я никогда не говорилъ подобной глупости. Мнѣ ее приписали; это не все равно, хотя и очень удобно въ спорѣ.

— Если вы не говорили подобной не глупости, а правды,—очень жаль, потому что она написана во всѣхъ книгахъ религіозныхъ, философскихъ и медицинскихъ.

— Наши религіозныя книги говорятъ намъ, что женщина привела мужчину къ потерѣ рая, значитъ—она была выше его, если могла заставить сдѣлать, что ей было угодно. Можетъ быть потому вы и не хотите предоставить ей вотировать, что боитесь, чтобы она снова не заставила васъ потерять рай, который вы возобновили и въ которомъ живете? Индѣйскія же религіозныя книги, которыя древнѣе нашихъ на семь или на восемь тысячъ лѣтъ, говорятъ, что Адамъ потерялъ рай, потому что не послушался Евы, которая совѣтовала ему не переступать установленныхъ Богомъ границъ рая. Во всякомъ случаѣ мужчина въ религіозныхъ книгахъ представляется ниже женщины. Что касается философскихъ книгъ, то онѣ совѣтуютъ намъ избѣгать, сколь возможно, сношеній съ женщинами, потому что эти обольстительныя созданія способны отвлечь мужчину отъ высокихъ помысловъ и ввергнуть его въ чувственность. Философы такимъ образомъ констатируютъ слабость не женщины, а мужчины. Медицинскія же книги только и говорятъ о томъ, что мужчина и женщина имѣютъ различныя отправленія и снабжены силами, сообразными этимъ отправленіямъ. Затѣмъ онѣ учатъ насъ, что если мужчина одаренъ большей мускульной силой, зато женщина превосходитъ его нервной силой, что если разумъ зависитъ отъ развитія и тяжести мозга, то женскій мозгъ долженъ быть совершеннѣе мужского, такъ какъ самый обширный и тяжелый изъ всѣхъ взвѣшенныхъ наукой мозговъ принадлежалъ женщинѣ, - вѣсилъ 2,200 граммъ, т. е. 460 граммами тяжеле мозга Кювье. Правда, что эта женщина не написала книги, подобной трактату Кювье объ ископаемыхъ, но для того чтобы положить голосъ въ урну, вовсе не требуется ни изобрѣтенія пороха, какъ это достаточно доказываетъ 7.000,000 избирателей, которыхъ мы имѣемъ во Франціи, ни способности носить на плечахъ по 500 кило, такъ что я не понимаю, почему мускульная слабость женщины, исключая при этомъ рыночныхъ торговокъ, акробатокъ и пр., препятствовала бы имъ вотировать. Почему мадамъ Де-Севинье, еслибы она была жива до сего дня и конечно не могла бы на народномъ празднествѣ ударить по головѣ турка съ силой 500 кило, не могла бы вотировать наравнѣ съ своимъ садовникомъ Павломъ?

— Но мадамъ де-Севинье исключеніе. Идеи же, обычаи и законы никогда не утверждаются сообразно исключеніямъ.

— Какъ, и ея бабушка—Шанталь тоже исключеніе? И Лафайетъ, и Ментенонъ, и Дасіе, и Гюнонъ, и Лонгевиль, и Шателэ, и Сталь, и Ролландъ, и Зандъ?

— Все исключенія.

— Во всякомъ случаѣ полъ, который представляетъ подобныя исключенія, завоевалъ полное право выражать свои мнѣнія не только при выборѣ мэра или муниципальныхъ совѣтниковъ, но и депутатовъ. Но исключенія на этомъ не останавливаются. А Клотильда, обратившая французовъ въ католичество, развѣ не имѣла вліянія на Хлодвига и на судьбу всей нашей страны? А Анна Боже, а королева Анна, а Бланка Кастильская, а Елизавета Венгерская, а Екатерина Великая, а Марія-Терезія?

— То были королевы!

— Но это не измѣняетъ ихъ пола, а показываетъ только, что женщины способны царствовать съ такимъ же умомъ и энергіей, какъ и мужчины. И никто мнѣ не докажетъ, почему полъ, не мѣшающій женщинамъ быть подобными королевами, мѣшаетъ имъ вотировать?

— Но дѣло идетъ здѣсь не объ однѣхъ только подобныхъ женщинахъ, а о массѣ, не имѣющей никакого понятія и смысла въ политикѣ.

— Смыслъ этотъ вовсе не трудно пріобрѣсть,

если судить по мужчинамъ, претендующимъ на него. Развѣ мало въ самомъ дѣлѣ женщинъ, о которыхъ замѣчательные люди говорятъ: «моя мать была умнѣйшая и честнѣйшая женщина; я ей всѣмъ обязанъ.» И я не понимаю, почему всѣ эти пребывающія въ неизвѣстности умнѣйшія и честнѣйшія женщины не имѣютъ права вотировать наравнѣ съ негодяями и идіотами мужского пола?

— Но не вы же ли сами сейчасъ, 200 строкъ назадъ, говорили, что права должны окупаться обязанностями и что женщины не могутъ ходить на войну подобно мужчинамъ?

— А Іоанна Французская, Іоанна Фландрская, Іоанна Блуасская, Іоанна Гашетъ, по поводу которой Людовикъ XI далъ преимущество женщинамъ передъ мужчинами на праздникѣ въ Бове, который она защищала во главѣ прочихъ женщинъ города противъ Карла Смѣлаго? А Іоанна д'Аркъ наконецъ? Въ такомъ случаѣ еслибы въ настоящее время какая-нибудь женщина сдѣлала то же, она все-таки не была бы допущена выбирать представителей страны, которую спасла? Это было бы комично.

— Всѣ эти женщины безъ сомнѣнія необыкновенныя и дѣлаютъ великую честь своему полу; но онѣ составляютъ исключенія, и необыкновенность ихъ доказываетъ, что онѣ стояли выше своего пола. Нѣсколько женщинъ могутъ быть храбры и героичны подобно мужчинамъ, женщины же всей массой не могутъ быть солдатами, а мужчины могутъ.

Гдѣ же вы это видѣли? А тѣ, которые ниже опредѣленнаго роста, а хромые, а кривоногіе, а близорукіе, а чахоточные, а льготные, а дѣти семидесятилѣтнихъ, стариковъ а вынувшіе счастливый жребій, а 150,000 священниковъ?—Развѣ всѣ эти мужчины носятъ ружье? А между тѣмъ они вотируютъ. Женщина избавлена отъ обязанности быть солдатомъ, потому что несетъ еще большую обязанность: она воспитываетъ солдата. И когда является завоеватель вродѣ Наполеона, который лишаетъ ее 1.800,000 дѣтей, то, неимѣющая права вотировать противъ подобной государственной формы, развѣ она не завоевала себѣ этого права своимъ плодородіемъ, страданіями и печалями? Нѣтъ, что хотите, всѣ возраженія, какія дѣлаютъ противъ права, требуемаго Юбертиной Оклеръ,—представляются чистой фантазіей.

— И вы серьезно требуете, чтобы женщины вотировали?

— Непремѣнно.

— Но вы хотите, чтобы онѣ потеряли всю свою грацію, женственность...

— Ну вотъ, мы дошли и до пошлостей! Будьте спокойны. Онѣ будутъ вотировать съ граціей. Сначала будетъ много смѣха, такъ какъ у насъ ничего не начинается безъ смѣха. Ну что-жъ, пусть посмѣются. Женщины введутъ въ моду шляпки à l'urne, корсажи au suffrage universel, юбки au scrutin secret. А потомъ? Потомъ - это войдетъ въ привычку, сдѣлается обязанностью, благомъ. Нѣкоторыя прекрасныя дамы въ городахъ, нѣкоторыя богатыя собственницы въ провинціяхъ, нѣкоторыя толстыя фермерши въ деревняхъ подадутъ примѣръ; прочія имъ послѣдуютъ. У нихъ будутъ свои собранія, сходки, клубы, какъ и у насъ. Подобно намъ, онѣ будутъ говорить глупости, платиться за нихъ и выпутываться изъ нихъ. Болѣе занятыя государственной политикой, онѣ менѣе будутъ удѣлять времени клерикальной пропагандѣ, а это будетъ не дурно.

«Мы слышимъ каждый день жалобы, и иногда не лишенныя основанія, на всеобщую подачу голосовъ, что нѣкоторые избиратели не въ состояніи читать именъ, за которыя они вотируютъ, въ рукописномъ видѣ,—необходимо, чтобы эти имена были для нихъ напечатаны. Поэтому требуютъ двухстепеннаго голосованія. Прекрасно; вотъ отличный поводъ испытать подобный способъ голосованія, приложивъ его для начала къ женщинамъ. Наконецъ доказательство, что женское вотированіе возможно, уже существуетъ на практикѣ. Я прочелъ въ одной газетѣ слѣдующее:

«Новый законъ въ Нью-Іоркѣ даровалъ женщинамъ право участвовать въ выборѣ директоровъ и администраторовъ общественныхъ школъ. Партизаны женскихъ правъ ведутъ дѣятельную пропаганду въ тѣхъ видахъ, чтобы 12 октября новыя избирательницы приняли участіе въ выборахъ 11,000 школьныхъ округовъ нью-іоркскаго штата. Первый опытъ былъ сдѣланъ надняхъ въ четырехъ мѣстностяхъ, и особенно въ Staten-Island, въ окрестности Нью-Іорка, онъ далъ самые блистательные результаты. Обыкновенно думаютъ, говоритъ Геральдъ, что женщины, вотируя, слѣдуютъ всегда за своими мужьями, если только дѣло не касается общаго ихъ врага -мужчины. Но это предположеніе совершенно опровергается выборами въ Staten-Island. Исключая случаевъ, когда выборы были единогласны, женскіе голоса были вполнѣ независимы. Былъ даже одинъ моментъ, возбудившій общій смѣхъ, когда одна женщина вотировала отрицательно сейчасъ же послѣ мужа, который далъ положительный голосъ, и мужъ поздравилъ свою прекрасную половину за храбрость имѣть свое мнѣніе.»

«Вы можете учредить - говоритъ далѣе Дюма – новый законъ вотированія женщинъ сначала со всѣми предосторожностями и предусмотрительностями, необходимыми въ странѣ, которая такъ дорожитъ рутиной; устройте двухстепенные, трехстепенные выборы, но введите этотъ законъ. Необходимо, чтобы въ палатѣ были депутаты отъ женщинъ. Франція должна подать цивилизованному міру примѣръ этой великой инціативы. Пусть она торопится: Америка готова предупредить ее.

«Я согласенъ, что эти первые депутаты отъ женщинъ въ національномъ собраніи не могутъ и не должны быть многочисленны, но они будутъ имѣть то великое преимущество передъ своими товарищами, что будутъ знать, что имъ дѣлать. Республиканскихъ депутатовъ въ 1854 году было тоже немного, всего пять. Но нынѣ они составляютъ большинство. При этомъ нужно еще замѣтить, что большинство ничего не доказываетъ, когда меньшинство твердо въ своихъ убѣжденіяхъ и хорошо организовано. Большинство показываетъ лишь то, что есть; меньшинство же часто представляетъ зародышъ того, что должно быть и что будетъ. Десяти лѣтъ не пройдетъ, какъ женщины будутъ такими же избирателями, какъ и мужчины. А что касается до права быть избираемыми, то объ этомъ мы подумаемъ послѣ, сообразно тому, какъ онѣ будутъ себя вести.»

Все это прекрасно, но какъ же согласить то вопіющее противорѣчіе, на которое намекаетъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти самъ авторъ устами воображаемаго противника женскаго вопроса, напоминающаго автору: «не вы же ли 200 строкъ назадъ говорили, что права должны окупаться обязанностями, а женщины не ходятъ на войну подобно мужчинамъ?»

Но если мы обратимъ вниманіе не на самыя рѣчи, произносимыя Дюма въ разныхъ мѣстахъ книги, а на то, къ чему онѣ относятся, то мы пожалуй не увидимъ здѣсь никакого противорѣчія. Вѣдь вы не забудьте, что въ обоихъ мѣстахъ книги дѣло идетъ о совершенно различныхъ предметахъ. Тамъ передъ Дюма стояла женщина и требовала расширенія жен-

скихъ профессій, т. е. права на трудъ, а здѣсь дѣло идетъ о политическихъ правахъ. Повидимому въ послѣднемъ случаѣ требованія женщинъ въ значительной степени превышаютъ первыя, въ сущности же совершенно наоборотъ, и очень понятно почему Дюма употребляетъ тѣ самые доводы противъ расширенія женскихъ профессій, которые потомъ опровергаетъ, когда дѣло идетъ о политическихъ правахъ Онъ является въ этомъ отношеніи самымъ послѣдовательнымъ представителемъ той праздной и сытой парижской толпы, которая въ настоящее время по отношенію не къ одному женскому, а и ко всѣмъ прочимъ вопросамъ, держится одной и той же надувательной системы. Толпа эта настолько уже привыкла не питать ни малѣйшаго страха передъ разными политическими требованіями, что готова разсыпать политическія права горстями, и направо, и налѣво, вполнѣ увѣренная, что отъ этого ничего въ сущности не измѣнится и все пойдетъ по старому. Такъ, всеобщая подача голосовъ существуетъ не день, не два, а тридцать слишкомъ лѣтъ; но, не говоря ужъ о соотвѣтствіи парламентскаго большинства съ большинствомъ избирателей, увеличивается ли хоть сколько нибудь въ національномъ собраніи количество членовъ, которые являлись бы истинными защитниками интересовъ большинства населенія? Ничуть не бывало. Кого же выбираютъ тѣ 7.000,000 избирателей, которые тѣснятся вокругъ урнъ? Людей, отъ которыхъ находятся въ полной экономической зависимости. Перемѣнится ли дѣло, если къ 7 милліонамъ избирателей присоединятся еще столько же? Не представляются ли французскія избирательныя урны своего рода бочками данаидъ, въ которыя опускайте— не 7, не 14 милліоновъ голосовъ, а хоть въ десять разъ болѣе, — и всѣ эти голоса провалятся въ эти бездонныя урны, какъ въ бездну, а въ результатѣ получится избраніе все тѣхъ же вседовольныхъ и всеблаженныхъ говоруновъ, о которыхъ Дюма самъ выражается, что для нихъ дороже всего рутина. Если ничтожная горсть женщинъ, образованныхъ и стоящихъ au courant прогресса, и пожелала бы выбрать защитниковъ своихъ интересовъ, то голоса ихъ безслѣдно пропадутъ въ темной, невѣжественной массѣ голосовъ существъ ихъ пола, лишенныхъ всякаго разумнаго сознанія и всякой самостоятельности, и которыя въ своемъ вотированіи будутъ руководствоваться не какими-либо женскими интересами, а обѣщаніями неизреченныхъ наградъ въ будущей жизни со стороны священника или угрозой мэра лишить мужа мѣста и обречь такимъ образомъ кучу дѣтей на голодную смерть.

О, повѣрьте, все это Дюма-фисъ знаетъ и отлично предугадываетъ, и именно въ этихъ соображеніяхъ онъ и готовъ даровать женщинамъ какія угодно политическія права!

Но какъ же по вашему, — спроситъ меня иная читательница, увлеченная брошюркой бульварнаго защитника женскаго пола, — значитъ: даровать женщинамъ политическія права во Франціи — дѣло совершенно излишнее, и ничего этого не нужно?

Нѣтъ, отчего же излишнее? Но политическія права женщинъ должны имѣть свою почву, свое основаніе, иначе они будутъ мнимыми правами, безплодными и безслѣдными. Основаніе же это можетъ быть не иное, какъ въ видѣ самостоятельнаго женскаго труда, поставленнаго на правильную экономическую почву. Вотъ этимъ именно и отличается Юбертина Оклеръ отъ бульварныхъ публицистовъ вродѣ Дюма: она тоже хлопочетъ о политическихъ правахъ женщинъ, но она считаетъ не менѣе важнымъ и экономическую сторону вопроса; она стремится къ тому, чтобы обѣ стороны поддерживали одна другую и взаимно помогали другъ другу. Дюма же фисъ готовъ даровать женщинамъ и всевозможныя гарантіи, и всевозможныя права, а какъ только дѣло коснется до того, чтобы эти гарантіи и права были основаны на твердой экономической почвѣ,—онъ и на попятный дворъ. Ну, что жъ, милыя читательницы, увѣнчивайте вашего защитника лаврами, прославляйте его, пропагандируйте, переводите на всѣ языки,—это будетъ показывать лишь, что вы понимаете женскій вопросъ такъ же узко, пошло и легкомысленно-канканно, какъ и вашъ герой, и что если васъ интересуетъ судьба женщинъ, то исключительно однѣхъ женщинъ салона, а что касается до тѣхъ милліоновъ существъ вашего пола, по отношенію къ которымъ женскій вопросъ лишь и имѣетъ свое истинное и глубокое основаніе, то интересы и права этихъ существъ для васъ не существуютъ, подобно тому какъ не существуютъ они и для бульварныхъ публицистовъ вродѣ Дюма-фиса, съ чѣмъ я васъ и поздравляю.

1882.

ЖИЗНЬ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ И ЛИТЕРАТУРА ВЪ ЖИЗНИ.

(ПИСЬМА КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ).

I.

Благосклонные читатели, я намѣренъ время отъ времени писать къ вамъ открытыя письма о томъ, что творится въ нашей текущей литературѣ Но простите великодушно, если волей неволей мои письма подчасъ будутъ далеко выходить изъ рамокъ литературныхъ обозрѣній. Давно прошли тѣ блаженныя времена, когда все умственное движеніе нашего отечества сосредоточивалось исключительно въ одной литературѣ, а въ жизни была такая тишь, гладь и божія благодать, что можно было судить и рядить о ней, нисколько не заботясь заглядывать въ нее помимо того, какъ она отражается въ литературѣ. Выйдутъ бывало въ свѣтъ «Мертвыя Души», и всѣмъ, и каждому было извѣстно, что, куда ни кинь свой взоръ, въ Тамбовъ, Рязань, Пензу, Смоленскъ,—вездѣ обрѣтешь однихъ и тѣхъ же неизмѣнныхъ Чичикова, Ноздрева, Манилова, Коробочку и пр. безъ малѣйшихъ варіантовъ и видоизмѣненій. Вы помните, я полагаю, когда появился романъ Гончарова «Обломовъ», критика именно такъ и отнеслась къ нему, что повсюду на Руси, въ каждомъ градѣ и веси, спитъ Обломовъ, и что и въ прошломъ мы видимъ рядъ Обломовыхъ, такъ что и Евгеній Онѣгинъ, и Печоринъ, и Рудинъ, и Бельтовъ,—все это Обломовы, и въ настоящемъ—каждый дышащій смертный есть Обломовъ, и вся Русь есть не что иное, какъ спящій Обломовъ, безмятежно-раскинувшійся на широкомъ ложѣ, занимающемъ чуть-что не половину земного шара. И критика въ то время была совершенно права.

Теперь совсѣмъ не то. Жизнь наша до такой степени осложнилась, перепуталась, а главное дѣло вышла изъ своей колеи, что разобраться въ этомъ хаосѣ не въ состояніи была бы никакая литература, хотя бы она состояла сплошь изъ однихъ Шекспировъ. Мы видимъ передъ собой пеструю и безформенную картину броженія, въ которой все кружится и мечется въ вихрѣ кипѣнія; едва вы обратили вниманіе на какую-нибудь фигуру въ этомъ калейдоскопѣ, какъ ужъ ея нѣтъ въ вашихъ глазахъ, и вы не можете себѣ отдать отчета, куда она дѣвалась, погрузилась ли въ кипящую массу, или лопнула пузыремъ. Золя съ пола-горя проповѣдывать свой протокольный романъ и создавать своихъ Макаровъ и Руговновъ, имѣя дѣло съ такимъ густымъ и неподвижнымъ устоемъ, какъ современная французская буржуазія, а у насъ... Я чувствую, какъ ко мнѣ протягивается редакторская рука, чтобъ схватить меня за фалду или зажать ротъ, въ опасеніи, что я произведу немалый скандалъ: въ первомъ же нумерѣ журнала, называющагося «Устоями», начну вдругъ доказывать, что никакихъ устоевъ у насъ не имѣется. Спѣшу поэтому оговориться, что я не имѣю ни малѣйшаго намѣренія какъ бы то ни было скомпрометтировать почтенный журналъ, удѣлившій мѣсто для моихъ бесѣдъ съ его читателями. Я не отрицаю существованія у насъ очень твердыхъ и незыблемыхъ устоевъ; не надо и говорить о томъ, что устои эти слѣдуетъ искать въ народѣ, т. е. не въ томъ абстрактномъ народѣ, который только и существуетъ на страницахъ «Руси», но въ реальномъ народѣ въ смыслѣ массы крестьянъ-земледѣльцевъ, которыми все держится на Руси, и на которыхъ, какъ на столбахъ гранитныхъ, держится и сама Русь. Но нельзя въ то же время упускать изъ вниманія, что и въ народѣ замѣчается въ свою очередь хаотическое броженіе, исхода котораго никто не можетъ предвидѣть. Не доказываютъ ли намъ всѣ наши лучшіе изслѣдователи народнаго быта, что патріархальной общинѣ грозитъ распаденіе; новая община на раціональныхъ началахъ находится въ состояніи совершенно еще не опредѣлившемся; семейный бытъ распадается; религіозныя вѣрованія представляютъ новое и сложное явленіе цѣлаго ряда сектаторскихъ движеній; одна часть народа бросаетъ землю и бѣжитъ въ города, наполняя ихъ массами голоднаго

пролетаріата, другая часть готова сейчасъ же забрать весь свой скарбъ и, покинувъ родныя пепелища, идти за тридевять земель искать благодатныхъ странъ съ медовыми рѣками и кисельными берегами. Если-же этотъ единственно прочный устой, основаніе всей земли, обнаруживаетъ въ настоящее время всѣ признаки переходнаго состоянія и соединеннаго съ нимъ хаотическаго броженія, то гдѣ же кромѣ него искать устоевъ? Не въ дворянствѣ-ли? Но не доказывала ли намъ московская пресса въ лицѣ своихъ столповъ—«Московскихъ Вѣдомостей» и «Русскаго Вѣстника» впродолженіи 20-ти лѣтъ, и доказывала, по моему мнѣнію, вполнѣ основательно и правильно, что дворянство, чтобы быть не однимъ пустымъ звукомъ, а дѣйствительнымъ устоемъ, должно основываться если не на крѣпостномъ правѣ, то на крупномъ землевладѣніи по примѣру Англіи? Но такъ какъ наше дворянство съ однимъ своимъ основаніемъ, именно крѣпостнымъ правомъ, распростилось на вѣки, что же касается другого основанія, т. е. крупнаго землевладѣнія, то всѣ мечты его объ этомъ предметѣ до сихъ поръ разбивались прахомъ, и попытки къ осуществленію ихъ ничего не оставляли послѣ себя, кромѣ крупныхъ скандаловъ, въ общемъ же этотъ устой представлялъ собой въ послѣднія двадцать лѣтъ одну сплошную картину разоренія и запустѣнія,—извольте послѣ того положиться на него! Затѣмъ остается буржуазія... Но стоитъ только подумать о томъ, что послѣ двухсотлѣтнихъ усилій создать у насъ буржуазію, въ настоящее время возможно появленіе вполнѣ компетентныхъ публицистовъ, которые на основаніи весьма вѣскихъ данныхъ доказываютъ, что крупное капиталистическое производство у насъ немыслимо, что все оно поддерживается искусственными подпорками въ видѣ субсидій, гарантій, концессій, монополій; что стоитъ только отнять эти подпорки, и все зданіе, построенное на пескѣ, неминуемо рухнетъ и разсыплется прахомъ. Хорошъ устой, о которомъ до сихъ поръ идетъ споръ, существуетъ онъ или нѣтъ, и есть ли какіе нибудь шансы для его развитія!

При такихъ условіяхъ литература теряется точно такъ-же, какъ потерялись въ послѣднее время и всѣ русскіе люди. Она не въ силахъ услѣдить за всѣмъ круговращеніемъ совершающагося броженія. Передъ ней ежедневно совершаются такія непредвидимыя событія, подымаются такіе неожиданные вопросы, что она то застигается врасплохъ и становится втупикъ, то принуждена бываетъ отражать въ себѣ эти событія и вопросы въ видѣ слабаго эха или совсѣмъ упускать изъ вниманія многое такое, что должно было бы составлять главный и существенный предметъ ея обсужденій. Даже и тѣ вещи, которыя не ускользаютъ отъ ея взоровъ, представляются ей крайне преходящими, эфемерными, призрачными. Она не видитъ вокругъ себя ни одного явленія, на которое могла бы положиться, какъ на нѣчто прочное, установившееся, составившее обыденную норму жизни. Если только можно примѣнить въ нашей современной литературѣ научный терминъ статики и динамики, то современная наша литература исключительно динамическая, чѣмъ она и отличается отъ литературы предшествовавшихъ періодовъ 40-хъ и 60-хъ годовъ, т. е. она разсматриваетъ не столько самыя явленія жизни въ ихъ сути, сколько непрестанныя измѣненія и всяческія пертурбаціи ихъ въ современномъ строѣ жизни. Но такъ какъ всѣ эти измѣненія представляются крайне хаотичными, неизученными, непредвидѣнными, не представляющими часто никакой возможности прослѣдить за ихъ началами и концами,—это отражается и въ литературѣ крайней шаткостью, неопредѣленностью, подчасъ какой-то болѣзненной двойственностью взглядовъ, отрывочностью картинъ, недосказанностью, или же голословіемъ и бѣдностью аргументовъ при всѣхъ признакахъ глубокой убѣжденности. Вы обратите вниманіе, что въ одномъ и томъ же лагерѣ объ однихъ и тѣхъ же предметахъ вы встрѣтите самые разнорѣчивые мнѣнія и толки, и о какихъ еще существенныхъ предметахъ: о томъ, что̀ такое деревня, сельская община, интеллигенція, отношеніе ея къ народу и пр. Люди вполнѣ солидарные очень часто расходятся во взглядахъ на эти предметы до полнаго взаимнаго антагонизма; но замѣчательнѣе всего то, что, вглядываясь въ этотъ антагонизмъ, вы не можете себѣ отдать отчета, въ чемъ же именно эти люди не согласны между собой, гдѣ таится главный корень ихъ разлада? Вмѣстѣ съ этимъ мы видимъ и еще одно явленіе, обусловливаемое тѣми же причинами,—явленіе, на которое успѣла уже обратить вниманіе критика: именно перевѣсъ въ современныхъ беллетристическихъ произведеніяхъ публицистическаго элемента надъ художественнымъ, разсужденій и размышленій надъ образами. И вы обратите вниманіе, что эта особенность замѣчается у наиболѣе выдающихся и руководящихъ талантовъ, каковы—гр. Л. Толстой, Салтыковъ, Гл. Успенскій и Златовратскій. И это очень понятно: беллетристамъ прежнихъ эпохъ ничего не стоило оставаться въ предѣлахъ художественнаго творчества, исключая изъ своихъ произведеній всякій анализъ изображаемыхъ предметовъ и предоставляя этотъ анализъ критикамъ и публицистамъ; они постоянно имѣли дѣло съ явленіями установившимися, хорошо всѣмъ извѣстными, издавна успѣвшими намозолить глаза; имъ достаточно было сдѣлать иногда легкій намекъ, маленькій штришокъ, чтобы всѣ сейчасъ же догадались, о чемъ идетъ рѣчь, и чтобы читатели сами сейчасъ же безъ труда дополнили недоговоренное. Совершенно въ иномъ положеніи современный беллетристъ: онъ постоянно имѣетъ дѣло съ такими новыми и невѣдомыми явленіями, которыя не только читателямъ неизвѣстны, но и для самого него представляютъ рядъ загадокъ. Вслѣдствіе этого онъ пребываетъ въ непрестанномъ страхѣ, что его не поймутъ или не повѣрятъ ему; для него недостаточно лишь показывать, а необходимо кромѣ того разъяснять, разжевывать. Въ то же время онъ не только изображаетъ,—а изучаетъ предметы, о которыхъ пишетъ, и замѣтьте при этомъ, что не столько самые предметы, сколько ихъ измѣненія и различныя движенія въ современномъ строѣ жизни,—и это не одно объективно спокойное олимпійское изученіе со стороны, а при непосредственномъ личномъ участіи въ изучаемомъ, участіи и умомъ, и сердцемъ, и нервами, и всѣмъ существомъ. Читая любое изъ выдающихся беллетристическихъ произведеній, вы видите передъ собой весь

этотъ скорбный и мучительный процессъ изученія и непрестаннаго пытанія; иной разъ все произведеніе вмѣсто того, чтобы давать вамъ какіе-либо положительные отвѣты является наполненнымъ одними вопросительными знаками, и Боже, сколько душевной муки слышится вамъ въ этихъ вопросительныхъ крючкахъ, какъ леденѣетъ въ васъ все, и сердце обливается кровью, когда вы читаете подобное произведеніе.

Понятно, что литературный обозрѣватель въ свою очередь является сбитымъ со всѣхъ прежнихъ прочныхъ позицій и точно также растерявшимся, какъ растерялись всѣ русскіе люди. Что ему дѣлать и какъ ему быть въ безформенномъ хаосѣ, который его окружаетъ? Слѣдовать примѣру прежнихъ обозрѣвателей, т. е. отмѣчать наиболѣе выдающіяся литературныя произведенія и анализировать изображаемую въ нихъ жизнь? Ну, а если обозрѣватель замѣчаетъ, что въ литературѣ и въ десятой долѣ не отражается того, что всѣхъ тревожитъ и волнуетъ, чѣмъ и онъ, обозрѣватель, скорбитъ и болѣетъ до нестерпимой боли, а что и отражается порой въ видѣ отдѣльныхъ намековъ и темныхъ экивоковъ,—не представляется никакой возможности притрогиваться къ этому, хоть слегка? А затѣмъ, принимая въ разсчетъ, что въ наиболѣе выдающихся произведеніяхъ передъ вами не столько образы, сколько разсужденія и размышленія, опять задача: какъ вы станете въ качествѣ критика анализировать анализъ; будетъ-ли какой смыслъ въ томъ, что вы, подхватывая разсужденія беллетриста, начнете имъ поддакивать или оспаривать ихъ, если для васъ также мало ясенъ результатъ всѣхъ этихъ разсужденій, какъ и для самого беллетриста? Прочтя въ иномъ произведеніи рядъ мучительныхъ вопросовъ, что вы будете дѣлать съ ними, если вы убѣждены, что вы не въ состояніи ничѣмъ утѣшить ни беллетриста, ни его читателей, такъ какъ рѣшить эти проклятые вопросы не въ силахъ все наше поколѣніе въ лицѣ лучшихъ его представителей, а отвѣтитъ на нихъ вся русская жизнь въ своемъ неизбѣжномъ теченіи, Богъ вѣсть, когда и какъ?...

Въ силу всего этого я принужденъ напередъ заявить, что, находясь, въ качествѣ литературнаго обозрѣвателя, и самъ въ такомъ-же недоумѣніи, въ какомъ въ настоящее время пребываетъ все на Руси, я не могу опредѣлить никакихъ рамокъ для своихъ писемъ къ читателямъ. Я могу сказать лишь одно: будемъ, читатель, бесѣдовать о томъ, чѣмъ у насъ наиболѣе болитъ душа, и тогда, когда у насъ накипитъ эта боль до невозможности, молчаливо сносить ее. Но придется-ли намъ разсуждать по поводу того или другого новаго беллетристическаго произведенія, ученаго трактата, передовой газетной статьи или литературнаго скандала,—это какъ Богъ на душу положитъ. Я по крайней мѣрѣ до такой степени не могу поручиться ни за форму, ни за содержаніе своихъ писемъ, что напередъ попрошу читателей не удивиться, если въ одинъ прекрасный день вмѣсто ожидаемаго письма появится вдругъ поэма въ стихахъ или трагедія, хотя ничего подобнаго у меня въ виду не имѣется.

Такъ напримѣръ, и на этотъ разъ, казалось бы, чего естественнѣе начать свои литературныя обозрѣнія съ подведенія итоговъ если не всей нашей современной литературы, то хоть за прошлый годъ. И это было бы такъ просто и легко: составить списокъ всего, что вышло въ прошломъ году наиболѣе выдающагося, затѣмъ разсортировать всѣ эти произведенія по степени ихъ талантливости или сообразно предметамъ, о которыхъ они трактуютъ, о каждомъ произведеніи сказать нѣсколько одобрительныхъ или неодобрительныхъ словъ, затѣмъ сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній о процвѣтаніи или паденіи беллетристики—и дѣло было бы въ шляпѣ. Но былъ-ли бы какой толкъ въ подобномъ инспекторскомъ смотрѣ беллетристовъ, когда въ послѣднее время передъ нами грознымъ призракомъ всталъ радикальный вопросъ не о какихъ либо достоинствахъ, направленіи или процвѣтаніи беллетристики, а о самомъ ея существованіи, ни болѣе ни менѣе какъ о томъ, слѣдуетъ-ли ей продолжать свое развитіе, или гораздо будетъ правильнѣе, если мы совсѣмъ вычеркнемъ ее изъ русской жизни, истребивъ ее всю до тла, такъ чтобъ и слѣда отъ нея никакого не осталось,—было бы только немножко мокренько. Ни у кого правда не хватило благородной смѣлости прямо поставить вопросъ объ уничтоженіи въ русской жизни Тургеневыхъ, Гончаровыхъ, Салтыковыхъ и гр. Толстыхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ конечно ужъ за одно о разрытіи священныхъ могилъ и развѣяніи по воздуху праховъ великихъ мучениковъ и сподвижниковъ русской мысли, начиная съ Пушкина и Лермонтова и кончая Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ. Главная особенность фантастическаго мракобѣсія, равно какъ пресмыкающагося передъ нимъ, поддакивающаго угодничества, заключается въ томъ, что они словно стыдятся договариваться до конца и ограничиваются тѣмъ, что высказываются на одну четверть, предоставляя вамъ объ остальныхъ трехъ четвертяхъ самимъ догадываться. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: ни у кого конечно не хватило на столько честной прямоты, чтобы прямо заявить: долой Тургенева, Гончарова, гр. Толстого, Салтыкова,—мы обойдемся и безъ нихъ; но это не мѣшаетъ массѣ людей, которые продолжаютъ восхищаться всѣми этими свѣтилами русской беллетристики и прославлять ихъ, въ то же время глумиться надъ русской интеллигенціей и кричать объ ея уничтоженіи въ видахъ отстраненія всякаго вреднаго средостѣнія. Но что же такое всѣ эти писатели, равно какъ и вообще вся наша литература, какъ не исключительный продуктъ интеллигенціи? И изъ отрицанія послѣдней не вытекаетъ-ли логически отрицаніе чуть-что не всего, что только есть на Руси печатнаго, кромѣ развѣ одного полнаго собранія Свода Законовъ?

Въ виду подобнаго рокового вопроса, поставленнаго, я и самъ не могу понять чѣмъ—временемъ или сошедшими съ ума съ одной стороны и исподличавшимися съ другой — публицистами, конечно не до инспекторскихъ смотровъ беллетристики. До того-ли тутъ, чтобы разсматривать хороши или дурны обои въ вашей квартирѣ, когда передъ вами поставленъ вопросъ о срытіи до основанія всего того дома, въ которомъ вы живете? Очевидно, что, оставляя въ сторонѣ все остальное, приходится прежде всего вѣдаться съ вопросомъ о судьбахъ и значеніи интеллиген-

ціи въ нашей жизни. Вопросъ этотъ впродолженіи всего прошлаго года стоялъ впереди и наиболѣе занималъ и волновалъ всѣ умы. Изъ за него въ журналистикѣ нашей не мало было споровъ и всяческихъ пререканій. Поставимъ и мы его впереди и посвятимъ ему первую нашу бесѣду. Я не буду входить здѣсь въ разборъ всѣхъ тѣхъ мнѣній и сужденій, какія были высказаны въ прошломъ году по этому поводу; я намѣренъ ограничиться тѣмъ, что подамъ свое отдѣльное мнѣніе и предоставлю читателямъ самимъ рѣшить, на сколько это мнѣніе подвинетъ рѣшеніе спора и выяснитъ предметъ его. Но мнѣ сдается, что вопросъ въ значительной мѣрѣ перестанетъ быть вопросомъ, разъ мы его поставимъ на почву исторіи, что я тотчасъ-же и сдѣлаю. И такъ, какъ видите, въ первомъ своемъ письмѣ вмѣсто того, чтобы толковать о тѣхъ или другихъ современныхъ намъ писателяхъ, намъ приходится имѣть дѣло съ исторіей. Но что-же вы будете дѣлать, если мы ея не знаемъ или забыли?

Въ послѣднія четыреста лѣтъ европейской жизни мы видимъ два колоссальныя умственныя движенія, весьма богатыя своими результатами не только въ смыслѣ развитія просвѣщенія въ привилегированныхъ, культурныхъ классахъ европейскихъ обществъ, но и улучшенія быта народныхъ массъ. Таковы—эпохи renaissance и энциклопедистовъ. И та, и другая имѣютъ совершенно различныя точки исхода и результаты, совершаются въ совершенно различныхъ областяхъ жизни, именно одна—въ духовно-религіозной сферѣ, другая—въ свѣтско-политической; тѣмъ не менѣе обѣ эти эпохи имѣютъ чрезвычайно много общихъ чертъ въ характерѣ и ходѣ движенія. Вотъ на эти-то черты мы и обратимъ наше вниманіе, потому что онѣ служатъ характеристическими признаками всякаго стихійнаго и массоваго умственнаго движенія; эти самыя черты мы найдемъ и въ нашей современной жизни за послѣднія 20 лѣтъ.

Первый существенный признакъ обоихъ движеній заключается въ томъ, что оба они начались сверху, въ высшихъ правящихъ и культурныхъ классахъ, которые въ обоихъ случаяхъ представляли изъ себя одну и ту же картину одряхлѣнія, отсутствія всякихъ высшихъ общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ и цѣлей, праздnаго тунеядства при громадномъ скопленіи богатствъ и крайняго разложенія нравовъ, напоминавшаго времена паденія Римской имперіи. И вдругъ эта праздная, извращенная, растлѣнная до мозга костей среда, сосущая соки изъ всѣхъ классовъ общества, внезапно озарилась яркими лучами новыхъ идей, раскрывавшихъ всю ея мерзость запустѣнія. Откуда-же являлись эти лучи? Не въ этой-же средѣ могли они возникнуть и съ другой стороны не изъ задавленныхъ, обобранныхъ и одичалыхъ народныхъ массъ, едва влачившихъ свое существованіе. А дѣло заключалось въ томъ, что въ обоихъ случаяхъ подъ высшимъ культурнымъ слоемъ изъ подъ земли струился совершенно особеннаго рода источникъ живой воды въ видѣ умственнаго движенія вѣка, развитія наукъ, искусствъ и всякаго рода идеаловъ религіозныхъ, общественныхъ и нравственныхъ. Источникъ этотъ находился порой въ полномъ пренебреженіи, забрасывался всякимъ мусоромъ и зарывался повидимому совсѣмъ подъ землей. Но въ самыя мрачныя эпохи всеобщаго одичанія и полнаго равнодушія къ умственнымъ и духовнымъ интересамъ онъ не изсякалъ и продолжалъ журчать въ тиши хоть по капелькѣ. Вы спросите, къ какому слою общества принадлежала эта струйка? Въ томъ-то и дѣло, что рѣшительно ни къ какому, или, лучше сказать, это былъ свой особенный слой, но отнюдь не такой традиціонный, какъ всѣ прочія сословія. Сюда попадалъ и членъ знатнаго рода, и дворянинъ средней руки, и монахъ, и купеческій первенецъ, и сынъ какого-нибудь ремесленника, а иногда и земледѣльца. Но главная особенность этого ручья заключалась въ томъ, что если человѣкъ не ограничивался тѣмъ, что мочилъ въ него только пальчики, а погружался въ него съ головой, онъ сейчасъ-же былъ неудержимо увлекаемъ силой теченія,—и тогда онъ переставалъ уже быть дворяниномъ, монахомъ, купцомъ и пр., а дѣлался лишь членомъ этого особеннаго слоя. То есть если, хотите, по метрикѣ онъ продолжалъ числиться приписаннымъ къ тому сословію, изъ котораго вышелъ, но никто объ этомъ не думалъ; это совсѣмъ забывалось, помнили только, что онъ былъ ученый, химикъ или медикъ, профессоръ, драматургъ, скульпторъ, композиторъ и *пр.* Обратите вниманіе, что въ біографіяхъ большинства подобныхъ людей мы встрѣчаемъ такую особенность, что родители, видя въ своемъ сынѣ наклонность къ той или другой умственной профессіи, возставали обыкновенно противъ этой наклонности, старались всячески подавить ее, а если это не удавалось, они проклинали своего сына, лишали его наслѣдства, смотрѣли на него, какъ на отщепенца и погибшаго человѣка. И это было естественно: дѣйствительно человѣкъ, погрузившійся въ источникъ, о которомъ мы говоримъ, дѣлался отщепенцемъ отъ своего сословія. Въ качествѣ дворянина онъ былъ обязанъ воевать, блистать и добиваться высшихъ почестей для поддержанія чести своего рода; какъ купецъ, онъ долженъ былъ торговать и увеличивать отцовскіе капиталы; какъ монахъ, онъ всего себя долженъ былъ отдать на служеніе куріи; будучи сыномъ ремесленника, онъ принадлежалъ къ извѣстному цеху и наслѣдовалъ ремесло отца. Но разъ онъ погружался въ источникъ живой воды, онъ не хотѣлъ ни воевать, ни торговать, ни дѣлать часовъ, онъ весь отдавался наукѣ или искусству, а порой жертвовалъ какой-нибудь идеѣ всѣми интересами того сословія, изъ котораго выходилъ.

Вотъ этотъ-то совершенно особенный, отдѣльный, междусословный слой людей, исключительно работающихъ мозгомъ, и составляетъ то, что мы можемъ назвать въ истинномъ и точномъ смыслѣ слова интеллигенціей страны.

Я уже говорилъ выше, что этотъ интеллигентный слой доходитъ порой до едва пробивающагося среди всякаго мусора по капелькѣ ручейка, но зато порой онъ вдругъ превращается въ необъятное море, затопляющее собой цѣлыя страны, и мчится бурными и бѣшеными волнами, увлекая все встрѣчаемое на пути въ свои пѣнящіяся пучины. Такъ это и было въ эпохи тѣхъ двухъ умственныхъ движеній, о которыхъ мы говоримъ. Тотъ свѣтъ, который внезапно озарилъ мер-

зость всеобщаго общественнаго запустѣнія, просіялъ изъ интеллигентнаго слоя: въ первомъ случаѣ въ видѣ возрожденія классической образованности, во второмъ—въ видѣ философскаго движенія XVIII вѣка. Мы не станемъ распространяться о томъ, какимъ путемъ и вслѣдствіе какихъ обстоятельствъ въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя возникло то и другое движеніе; это завело-бы насъ очень далеко, да и не въ этомъ наше дѣло. Для насъ важно то, что въ обоихъ случаяхъ тотъ могучій энтузіазмъ, который сконлялся въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя, первымъ дѣломъ увлекалъ за собой тѣ самые разложившіеся культурные слои, которые грозили смертью всему европейскому міру. Конечно это происходило потому, что вслѣдствіе безсодержательной пустоты жизни этихъ слоевъ и крайней нервной тряпичности и дряблости они представляли собой самый удобоподвижный матеріалъ для увлеченія куда угодно. По крайней мѣрѣ въ обоихъ движеніяхъ мы видимъ одно и то-же явленіе: въ эпоху renaissance наиболѣе ревностными поборниками классицизма были папы, кардиналы, прелаты, аббаты; въ эпоху XVIII вѣка первыми поклонниками энциклопедистовъ были придворные версальскаго двора и вообще парижская знать.—Въ обоихъ случаяхъ люди умственныхъ профессій, до того времени находившіеся въ крайнемъ пренебреженіи, входили вдругъ въ моду, ихъ начинали сажать всюду на первое мѣсто, знакомства съ ними добивались, какъ высочайшей чести; деньги сыпались рѣкой на поощреніе наукъ и искусствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ среда интеллигентнаго слоя начинала быстро расширяться. Это уже были теперь не одни междусословные отщепенцы, а, можно сказать, культурное общество всей своей массой вливалось въ берега интеллигентнаго источника, и послѣдній наводнялъ собою всю Европу. Каждый плюгавенькій аббатикъ въ XV вѣкѣ, каждый истасканный петиметрикъ въ XVIII в. мнили себя новыми людьми, поощряли, покровительствовали, ораторствовали, философствовали, кощунствовали и мечтали о близкомъ наступленіи золотого вѣка. Правда, это всеобщее наводненіе очень вредило чистотѣ струй интеллигентнаго источника; очень понятно, что онъ увлекалъ за собой всякую грязь, и весь уносимый имъ навозъ мнилъ себя передовой интеллигенціей; но это не мѣшало среди мутнаго и пѣнящагося потока оставаться прежнему фарватеру, наполняемому все тѣми-же чистыми и прозрачными струями, изъ которыхъ всякій могъ пить живительную влагу безъ малѣйшаго вреда для здоровья.

Къ тому-же увлеченіе новыми идеями не обходилось дешево разложившимся слоямъ общества: они не только никого не обманывали своей мнимой интеллигентностью, но, напротивъ того, сразу обнаруживали все вопіющее противорѣчіе склада своей жизни съ новыми идеями и всю свою несостоятельность примѣниться къ новымъ требованіямъ. Такъ напримѣръ, никого не поражало, когда профессора разныхъ итальянскихъ университетовъ, художники или поэты увлекались произведеніями древнихъ классиковъ и въ діалогахъ Платона искали разрѣшенія всѣхъ своихъ философскихъ вопросовъ; но когда папы, прелаты и вообще все католическое духовенство ударилось въ классицизмъ, это произвело впечатлѣніе скандала. Когда въ устахъ священнослужителей имена древнихъ боговъ начали преобладать надъ именами христіанскихъ святыхъ, когда нѣкоторые изъ нихъ открыто заявляли, что для нихъ авторитеты Цицерона или Аристотеля гораздо важнѣе, чѣмъ авторитеты не только отцовъ церкви, но и самаго Евангелія, когда на святѣйшемъ престолѣ появились папы, тщеславившіеся атеизмомъ, въ это время естественно современникамъ могло казаться, что не только католичество, но и самое христіанство близко къ концу, и что происходитъ возвращеніе къ древнему язычеству.

Совершенно въ такой-же степени были нелѣпы всѣ эти изношенные и раздушенные маркизы и герцоги XVIII вѣка, когда они, зачитываясь энциклопедистовъ и Ж.-Ж. Руссо, ораторствовали о свободѣ, равенствѣ и братствѣ, мечтали объ идиллической сельской жизни подъ соломенной крышей на лонѣ природы и среди всего своего безумнаго мотовства, кутежей и оргій проливали въ своихъ раззолоченныхъ чертогахъ сентиментальныя слезы о несчастномъ голодающемъ народѣ. Суворину, Вагнеру и кн. Демидову Санъ-Донато представляется можетъ быть, что они открыли и ни вѣсть какую Америку—въ видѣ сердобольнаго плача о несчастныхъ обитателяхъ дома Вяземскаго и воззваній къ пожертвованіямъ для облегченія ихъ участи. Но между тѣмъ куда какъ превосходили ихъ въ этомъ отношеніи развратные парижскіе селадопы XVIII вѣка. У Суворина оказывается такъ мало воображенія, что онъ, проживая въ Петербургѣ не одинъ уже десятокъ лѣтъ и отлично зная, что на Сѣнной есть домъ Вяземскаго и что̀ такое этотъ домъ Вяземскаго (да и одинъ-ли, полно, у насъ такой домъ въ Петербургѣ!), до сихъ поръ не могъ себѣ представить, какъ живутъ обитатели этого дома, ни на минуту не задумывался объ этомъ предметѣ и впредь конечно не позаботился-бы остановиться на подобныхъ размышленіяхъ, еслибы случайно не подвернулась статистика городского населенія, и ему не пришлось-бы во-очію увидѣть, что̀ творится въ домѣ Вяземскаго; тутъ только онъ ужаснулся и расплакался. А въ Парижѣ въ XVIII столѣтіи не одни газетные публицисты случайно, а маркизы, герцоги, придворныя дамы самостоятельно и нарочно лазили по чердакамъ, подваламъ и всякимъ вертепамъ нищеты и проливали тамъ не такія еще горькія слезы. Князь Демидовъ Санъ-Донато, пожертвовавши 5,000 рублей, обѣщалъ ежегодно жертвовать такую же сумму, и редакція «Новаго Времени» тотчасъ-же капитализировала это обѣщаніе и оцѣнила его въ 100,000. Во Франціи-же въ концѣ прошлаго столѣтія дѣло ограничивалось не однѣми капитализаціями обѣщаній, а на провинціальныхъ собраніяхъ и въ парижскихъ салонахъ собирались дѣйствительные капиталы въ сотни тысячъ и милліоны, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить участь той страшной нищеты, до какой въ то время дошли низшіе классы страны. И при всемъ томъ не только потомкамъ, но и современникамъ этихъ маркизовъ и герцоговъ во всѣхъ ихъ сентиментальныхъ возгласахъ и благотворительной щедрости чувствовалась бездна лицемѣрія и лжи.

Далѣе затѣмъ мы видимъ, что оба разсматриваемыя

нами движенія вдругъ словно переломляются. Первымъ дѣломъ, высшіе культурные классы быстро охладѣваютъ отъ того увлеченія, которому они первые поддались, и сторонятся отъ движенія, но зато оно все болѣе и болѣе развивается въ среднихъ классахъ и наконецъ въ народѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно совершенно измѣняетъ свой характеръ. Въ первый періодъ въ обоихъ случаяхъ оно имѣло обще-философскій, абстрактный характеръ. Дѣло шло о перерѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни и религіозныхъ, и нравственныхъ, и политическихъ, и художественныхъ, и культурныхъ; все перевертывалось наизнанку съ цѣлью не оставить на прежнемъ мѣстѣ ни одного камушка въ общественномъ строѣ; но все это производилось a priori, и дѣло ограничивалось одними разсужденіями, или-же предпринимались повидимому широкія и радикальныя реформы, но сводились къ нулю, и все шло по старому. Такъ, въ 15-мъ вѣкѣ передъ реформаціей сколько и говорилось, и писалось о необходимости перестроить церковь на совершенно новыхъ основаніяхъ, объ отрѣшеніи отъ всѣхъ прежнихъ злоупотребленій и заблужденій; издавались съ этой цѣлью буллы за буллами, собирались соборы. Но все оставалось по старому, и тѣ самые просвѣщенные папы, вродѣ Льва X, которые зачитывались Цицеронами и Демосфенами и украшали свой Ватиканъ произведеніями классической древности, оставались все тѣми-же вавилонскими блудницами, стягивавшими въ свой всемогущій Римъ лучшіе соки со всей Европы. Также точно и всѣ реформы XVIII вѣка во Франціи, несмотря на широкія философскія идеи, на которыхъ онѣ основывались, и при всемъ искреннемъ желаніи спасти разлагающееся общество, ни на іоту не подвигали дѣла: оставались все тѣ-же разстроенные финансы, тотъ-же своевластный бюрократизмъ, тѣ-же феодальные поборы безъ конца. Во второмъ періодѣ движенія мы видимъ совсѣмъ иной порядокъ вещей. Правда, золотой вѣкъ литературы и философіи кончается. Эразмы и Рейхлины, Вольтеры и Руссо сходятъ одинъ за другимъ со сцены. Въ литературѣ и въ мірѣ искусствъ наблюдается замѣтный упадокъ. Прежній широкій полетъ мысли значительно съуживается. Но зато мысль изъ метафизическихъ высотъ спускается на землю, на реальную почву насущныхъ вопросовъ жизни.

Вмѣстѣ съ этимъ переходомъ умственнаго движенія на практическую почву, тѣ культурные классы, которые прежде стояли во главѣ движенія, привѣтствовали его и поощряли, теперь, напротивъ того, становятся къ нему въ самыя враждебныя отношенія. И это очень понятно: дѣло теперь заключается не въ какихъ-либо отвлеченныхъ умствованіяхъ, а приходится платиться кое-чѣмъ реальнымъ; такъ, въ XV вѣкѣ папы видѣли, какъ ускользало изъ ихъ рукъ всемірное владычество надъ народами и королями; такъ, французскому дворянству XVIII вѣка предстояло разстаться съ феодальными привилегіями. Тогда приверженцы старины и status quo начинаютъ приписывать опасность подобныхъ жертвъ не какимъ-либо реальнымъ причинамъ, политическимъ и экономическимъ, а исключительно тому умственному движенію, которое яко-бы смутило умы вредными теоріями. Исключительными виновниками движенія являются тѣ самые философы, публицисты и поэты, которымъ такъ недавно еще чуть что не воздвигали алтари. Оказывается, что они, по совершенно произвольному злоумышленію, разорвали всѣ связи съ спасительными традиціями и заварили всю кашу. И вотъ борьба выходитъ изъ своей спеціальной сферы,—религіозной въ первомъ случаѣ, политической—во второмъ; она дѣлается чисто культурной борьбой цивилизаціи съ варварствомъ, просвѣщенія съ невѣжествомъ. Такъ, мы видимъ, въ XVI и XVII вѣкахъ инквизиція жгла на своихъ кострахъ не однихъ еретиковъ и всякаго рода церковныхъ отщепенцевъ, но и ученыхъ, философовъ, вообще всѣхъ интеллигентныхъ людей, дерзавшихъ мыслить свободно и самостоятельно, не сообразуясь съ католическими традиціями, въ которыхъ снова начали полагать все спасеніе. Точно также и Вандея,—еслибы восторжествовала, она конечно не ограничилась-бы одними своими политическими врагами, а набросилась-бы на всю интеллигенцію страны, увлеченную умственнымъ движеніемъ вѣка. Объ этомъ мы можемъ судить по ужасамъ бѣлаго террора въ эпоху реставраціи и по тенденціямъ такихъ реакціонеровъ-изувѣровъ, какъ Де-Местръ или Меттернихъ, которые возставали не противъ однихъ только политическихъ враговъ, а вообще противъ свободнаго и самостоятельнаго движенія идей въ интеллигентныхъ сферахъ; въ своихъ крестовыхъ походахъ противъ интеллигенціи они точно также опирались на здоровые инстинкты народныхъ массъ, которымъ яко-бы врождены ихъ излюбленные традиціонные принципы, какъ нѣкогда и инквизиція въ своихъ гоненіяхъ, воздвигаемыхъ противъ Галилеевъ или Бруно, льстила себя убѣжденіемъ, что она дѣйствуетъ за одно съ народомъ, который яко-бы по самому своему существу является строгимъ приверженцемъ католической ортодоксіи и ненавидитъ всякія еретическія умствованія.

Если мы теперь обратимся къ нашему отечеству, то и у насъ вы найдете такое-же умственное движеніе, совершающееся по тѣмъ-же самымъ законамъ, какъ и тѣ два колоссальныя европейскія движенія, которыя мы только что разсмотрѣли. Толчкомъ къ нашему движенію послужило все то-же развитіе философскихъ и гуманныхъ идей XVIII-го вѣка, которое не замедлило оказать свое вліяніе и на культурные слои нашего отечества. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что до императрицы Екатерины въ обществѣ нашемъ было полное отсутствіе всякой умственной жизни, не замѣчалось ни малѣйшей самостоятельной мысли или какой-бы то ни было самодѣятельности. Вся интеллигенція сосредоточивалась въ правительствѣ до такой степени, что интеллигенція и правительство совершенно отождествлялись. Если являлся въ то время человѣкъ, выдѣлявшійся изъ темной полуграмотной массы и увлекался какими-нибудь высшими умственными интересами (Ломоносовъ, Тредьяковскій), онъ сейчасъ-же вступалъ въ ряды правительства, дѣлался чиновникомъ. Совершенно не то мы видимъ въ концѣ XVIII-го вѣка. Къ этому времени и у насъ является самостоятельный интеллигентный слой людей, выдѣлившихся изъ общественной, инертной массы и посвятившихъ всю свою жизнь служенію чисто уи-

ственнымъ и нравственнымъ интересамъ. Правда, весь этотъ интеллигентный слой принадлежалъ къ дворянскому сословію; но ни Новиковъ, Радищевъ или Фонвизинъ, ни литературные кружки 20-хъ и 30-хъ годовъ, ни такъ называемые люди 40-хъ годовъ—по своимъ стремленіямъ не имѣли ничего общаго съ тѣмъ сословіемъ, къ которому они принадлежали. Напротивъ того, мы видимъ, что всѣ тѣ идеи, которыя они проповѣдывали, и цѣли, къ которымъ стремились, шли совершенно въ разрѣзъ съ узко-дворянскими принципами и интересами. Въ той общественной средѣ, въ которой они вращались, они постоянно играли роль отщепенцевъ, людей лишнихъ и безпокойныхъ. Извѣстно, чѣмъ кончилась дѣятельность Новикова. Фамусовъ говорилъ про Чацкаго, что такихъ людей не слѣдуетъ и на выстрѣлъ подпускать къ столицамъ. Пушкинъ и Лермонтовъ всю жизнь влачили въ изгнаніи и умерли преждевременно, насильственной смертью, которой они искали, разочарованные, оскорбленные, ожесточенные окружающей ихъ пошлостью. Рудины и Бельтовы бѣжали изъ отечества въ надеждѣ на чужбинѣ найти дѣло, котораго тщетно искали на родинѣ...

Наконецъ въ 60-е годы мы видимъ, что движеніе, которое до того времени струилось въ тѣсныхъ скалистыхъ берегахъ, едва пробиваясь среди мусора и навоза нашей жизни, вдругъ овладѣло цѣлыми массами людей изъ всѣхъ классовъ общества, а главное дѣло изъ дворянскихъ слоевъ спустилось въ средніе и мѣщанскіе классы. И у насъ мы видимъ то-же философское броженіе, то-же стремленіе перерѣшить всѣ вопросы жизни, и религіозные, и нравственные, и литературные, и общественные; и точно также подобное перерѣшеніе вращалось болѣе въ отвлеченныхъ, умозрительныхъ сферахъ, а на практикѣ хотя предпринимался рядъ широкихъ реформъ, но жизнь продолжала покоиться все на тѣхъ-же старыхъ, рутинныхъ основаніяхъ.

Конецъ 60-хъ и 70-е годы представляются у насъ началомъ того перелома движенія, о которомъ была рѣчь выше. И у насъ мы видимъ, что тѣ культурные слои, которые въ 60-е годы увлекались движеніемъ, не только охладѣваютъ къ нему, но и становятся такъ или иначе во враждебныя отношенія. Въ то-же время кончается золотой вѣкъ литературы. Дѣятели 40-хъ и 60-хъ годовъ или совсѣмъ сходятъ со сцены, или доживаютъ свои годы, успѣвши совершить всю свою кипучую дѣятельность, и ограничиваются теперь повтореніемъ стараго; но это старое никого не увлекаетъ такъ, какъ прежде, не удовлетворяетъ, не имѣетъ и тѣни прежняго обаянія. По своему содержанію движеніе значительно съужается: вы не видите уже прежнихъ полетовъ мысли, стремившейся перерѣшить всѣ вопросы жизни, не опустивши изъ виду ни одной ея стороны, общественной или индивидуально-нравственной. Теперь все поглощается однимъ вопросомъ—народнымъ,—вопросомъ вполнѣ практическимъ. Оказывается, что ранѣе разрѣшенія этого рокового вопроса жизни о всѣхъ прочихъ вопросахъ нечего и думать въ серьезъ: они сами собою рѣшатся, какъ только будетъ покончено съ основнымъ вопросомъ жизни.

Въ то-же время прежніе философы, публицисты-теоретики, критики и художники-созерцатели смѣняются практическими дѣятелями. Это мы видимъ даже и на беллетристикѣ. Въ послѣднее время не мало было толковъ о томъ, отчего нынѣ является такъ мало художественныхъ талантовъ изъ молодежи, отчего и тѣ, которые появились въ 60-ые годы (Гл. Успенскій, Н. Златовратскій, Н. Наумовъ и пр.), ограничиваются мелкими очерками и разсказами полубеллетристическаго, полупублицистическаго характера, а не создаютъ ничего такого увѣсистаго, высокохудожественнаго, какое создавалось въ 40-ые и 60-ые годы. Это вполнѣ объясняется вышеприведенной причиной. Не говоря уже о томъ, что очень многіе талантливые люди, вмѣсто того чтобы подвизаться на литературномъ поприщѣ, увлекаются практической дѣятельностью, но и тѣ, которые предпочитаютъ литературную арену, являются на ней все тѣми-же борцами. Не такое теперь время, чтобы возсѣдать на Олимпѣ и съ облачной высоты созерцать жизнь съ олимпійскимъ безпристрастіемъ. Каждое являющееся нынѣ художественное произведеніе, къ какому бы лагерю оно ни принадлежало, носитъ характеръ борьбы, преслѣдуетъ непосредственныя, практическія цѣли, и это дѣлается вовсе не вслѣдствіе какихъ-нибудь предвзятыхъ эстетическихъ теорій, требующихъ непремѣнно тенденціозной беллетристики. Тенденціозная беллетристика принадлежала къ философскимъ 60-мъ годамъ и отжила вмѣстѣ съ ними. Тенденціозная беллетристика поучала, развивала идеи, обличала. Современная-же беллетристика или задаетъ вопросы для практическаго рѣшенія ихъ, или непосредственно дѣйствуетъ, увлекая людей въ ту или другую сторону.

Наконецъ, какъ послѣдній и яркій признакъ времени, мы видимъ и возникшіе въ настоящее время толки объ устраненіи интеллигенціи, интересы которой яко-бы расходятся съ интересами народа, которая прервала будто-бы съ народомъ всякія живыя связи и стоитъ поперекъ правильнаго рѣшенія народнаго вопроса. Но вопросъ, господа, что вы разумѣете подъ интеллигенціей? Если тѣ культурные слои, которые нѣкогда увлечены были энтузіазмомъ движенія, но теперь все болѣе и болѣе отстаютъ отъ него, устраняются и выказываютъ всю свою дряблость, всѣ элементы полнаго разложенія и вырожденія, наконецъ все свое лицемѣріе скрыванія подъ громкими фразами стремленій самаго узко-эгоистическаго и низменнаго характера, въ такомъ случаѣ намъ ничего не остается, какъ протянуть вамъ руку полной съ вами солидарности относительно этого предмета. Но если вы сами такіе-же лицемѣры, если вы сами играете громкими словами слитія съ народомъ и служенія его интересамъ, прикрывая подъ этими фразами побужденьица самаго антинароднаго свойства, если въ лицѣ интеллигенціи вы мечтаете уничтожить то самое умственное движеніе, которое съ самаго начала своего, со временъ Новикова и Радищева и до сего дня, не только ни разу не измѣняло народнымъ интересамъ, а все болѣе и болѣе проникается ими... Въ такомъ случаѣ, милостивые государи, не слишкомъ-ли ужъ вы опоздали въ своемъ благородномъ стремленіи? Легко было отстранить

сразу всѣхъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ и спасти Русь отъ Пушкина и Лермонтова, Бѣлинскаго и Гоголя, но теперь это довольно уже трудно, господа.

II.

Въ прошломъ письмѣ я говорилъ между прочимъ о раздѣленіи каждаго умственнаго движенія на два рѣзкіе періоды: первый—абстрактно философскій и второй—періодъ практически-дѣятельный. Теперь я хочу доказать фактами нашей современной беллетристики, что мы вступаемъ въ настоящее время во второй практическій періодъ умственнаго движенія. Для этого я избираю Гл. Успенскаго, въ произведеніяхъ котораго послѣднихъ пяти лѣтъ наиболѣе ярко отражается именно то, о чемъ идетъ у насъ рѣчь.

Абстрактный періодъ умственнаго движенія постоянно отличается тѣмъ, что создаетъ цѣлый рядъ миражей, въ которыхъ приходится разочаровываться второму періоду. Это происходитъ, потому что въ первомъ періодѣ преобладаетъ отвлеченное мышленіе. Вмѣсто того чтобы анализировать факты живой дѣйствительности и изъ этого анализа дѣлать общіе выводы, люди, увлекающіеся новыми идеями, подводятъ факты подъ эти идеи, или-же путемъ логическихъ умозаключеній создаютъ такіе воображаемые факты, никакого подобія которымъ нѣтъ въ дѣйствительности. Таковы были напримѣръ въ XVIII вѣкѣ всѣ представленія о народѣ. Всѣмъ и каждому мало-мальски мыслящему и читающему человѣку было отлично въ то время извѣстно, что въ противуположность искусственнымъ нравамъ растлѣнной цивилизаціи, отъ которой слѣдовало во что-бы то ни стало освободиться, народная среда представляетъ собой именно тѣ самые естественные, неиспорченные, первобытные нравы золотого вѣка, о которыхъ мечталъ Руссо. Народъ не иначе рисовался въ воображеніи философовъ XVIII вѣка, какъ въ видѣ трудолюбивыхъ, добрыхъ, благодушныхъ и незлобивыхъ поселянъ, чуждыхъ всякихъ честолюбивыхъ и любостяжательныхъ страстей, зависти или мстительности, способныхъ довольствоваться самымъ малымъ и наслаждаться мирнымъ счастіемъ подъ соломенной кровлей, трогательно благодарныхъ за каждый проблескъ участія къ нимъ, терпѣливыхъ, кроткихъ и преисполненныхъ подобострастной покорности. Правда, они немного обнищали, голодаютъ, бѣдные, и вымираютъ чуть-что не цѣлыми провинціями, безропотно подчиняясь своей судьбѣ, но стоитъ протянуть имъ руку братской помощи, вывести ихъ изъ бѣдственнаго положенія, и отечество тотчасъ же процвѣтетъ, повсюду воцарятся тѣ буколическіе нравы золотого вѣка, какіе господствуютъ въ народной средѣ, и на благодѣтелей со стороны облагодѣтельствованныхъ польются цѣлые потоки умилительныхъ благословеній.

И каково-же было всеобщее разочарованіе, когда, вмѣсто всѣхъ этихъ воображаемыхъ идиллическихъ пастушковъ и пастушекъ, испуганнымъ взорамъ людей XVIII вѣка предстала вдругъ толпа побросавшихъ свои истощенныя поля, свирѣпыхъ, одичалыхъ браконьеровъ, принявшихся разорять помѣщичьи замки съ жестокостью гунновъ, или голодныхъ оборванныхъ городскихъ пролетаріевъ, начавшихъ устраивать кровавыя оргіи по улицамъ Парижа. Земледѣльцы же захолустныхъ мѣстностей, какова была Вандея, наиболѣе сохранившіе первобытный типъ французскаго крестьянина и подходившіе къ идиллическимъ фантазіямъ философовъ, вмѣсто благословеній за оказываемыя имъ благодѣянія, вздумали вдругъ ополчиться на своихъ благодѣтелей во имя сохраненія именно тѣхъ самыхъ феодальныхъ порядковъ, при которыхъ имъ такъ скверно жилось.

Историческій фактъ, приведенный нами, представляетъ собой безспорно крайнюю степень, до какой когда-либо доходило обольщеніе иллюзіей. Можно положительно сказать, что никогда, ни до того времени, ни послѣ него, люди такъ глупо не обманывались въ дѣйствительности и такъ радикально, такъ прискорбно не разочаровывались въ ней. Особенно-же трудно представить себѣ подобнаго рода иллюзіи въ нашъ практическій XIX вѣкъ реальнаго мышленія и трезваго анализа. Но нельзя сказать, чтобы и мы были совершенно застрахованы отъ всякихъ иллюзій. Люди могутъ руководствоваться идеями, добытыми вполнѣ реальнымъ путемъ, но обращаться съ ними нисколько не реально. Это бываетъ каждый разъ, когда идея, сама по себѣ реальная, превращается въ готовую абстрактную формулу, которую мы прилагаемъ къ фактамъ зря, ни мало не заботясь о провѣркѣ соотвѣтствія послѣднихъ съ этой идеей. Можетъ быть факты эти, если бы мы начали анализировать ихъ самостоятельно, привели бы насъ совсѣмъ къ инымъ выводамъ, а мы нисколько о такомъ анализѣ не заботимся, а подходимъ къ фактамъ съ предвзятыми о нихъ мнѣніями. Это ведетъ къ новымъ иллюзіямъ, правда не такимъ грубымъ, какъ вышеприведенная, но тѣмъ болѣе обольстительнымъ и поэтому вреднымъ, что онѣ опираются на данныя, заслуживающія полнаго уваженія.

И вотъ мы видимъ, что 60-е годы, этотъ абстрактный періодъ нашего умственнаго движенія, не смотря на свой реализмъ, въ свою очередь завѣщали намъ рядъ обольстительныхъ иллюзій, съ которыми намъ приходится нынѣ раздѣлываться при вступленіи въ новую, практическую фазу нашего умственнаго движенія.

И замѣчательно, что эти новыя иллюзіи, хотя далеко не столь грубы, какъ иллюзіи XVIII вѣка, тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы въ нихъ не было нѣкоторыхъ аналогическихъ чертъ. Въ настоящемъ случаѣ во главѣ стоятъ нѣсколько азбучныхъ истинъ, въ неоспоримости которыхъ не можетъ быть ни малѣйшихъ сомнѣній. Такъ напримѣръ, кому пришлобы въ голову усомниться въ томъ, что праздность и тунеядство разслабляютъ всѣ силы человѣка и ведутъ къ нравственному растлѣнію, а физическій трудъ, напротивъ того, укрѣпляетъ мускулы и нервы и создаетъ богатырей, какъ въ физическомъ, такъ и въ психическомъ отношеніяхъ. Далѣе затѣмъ, кому неизвѣстно, что и трудъ труду рознь; что только сельскій, земледѣльческій трудъ на лонѣ природы, на свѣжемъ, здоровомъ воздухѣ, при разностороннемъ упражненіи мускуловъ представляетъ собой идеалъ труда. Городской же фабричный или ремесленный трудъ въ помѣ-

щеніяхъ, наполненныхъ всякими ядовитыми испареніями, при крайне одностороннемъ упражненіи мускуловъ, не только не укрѣпляетъ человѣка, а, напротивъ, калѣчитъ его и физически, и нравственно. Согласитесь сами, что все это такія идеи, передъ которыми только и остается, что снять шляпу и отвѣсить въ знакъ уваженія глубокій поклонъ. Затѣмъ изъ этихъ идей логически проистекаетъ раздѣленіе всѣхъ обитателей страны на два противуположные міра, во многомъ напоминающее собой такое же раздѣленіе XVIII вѣка: съ одной стороны развращенный цивилизаціей городъ, съ другой — святая деревня во всей своей первобытной простотѣ. Тамъ индивидуализмъ, конкуренція, ожесточенная борьба за существованіе, здѣсь община, братство, справедливость, все «по равненію и по правдѣ». Тамъ люди такъ и норовятъ, какъ бы уклониться отъ письменныхъ, нотаріальныхъ актовъ, припечатанныхъ семью печатями. Здѣсь-же свято держатъ разъ данное слово, не скрѣпленное никакими бумагами или свидѣтельскими удостовѣреніями. Однимъ словомъ, тамъ—адъ кромѣшный, здѣсь—рай земной. И опять-таки, принимая подобное дѣленіе, какъ прямой, логическій выводъ изъ совершенно справедливыхъ идей, какъ широкую абстракцію, нельзя отказать этой абстракціи въ глубокой правдѣ. Но если мы начнемъ смотрѣть на эту истину не какъ на абстракцію, вѣрную лишь въ массовомъ, собирательномъ смыслѣ, съ птичьяго полета и при разсмотрѣніи вѣковыхъ историческихъ судебъ, а отнесемся къ ней, какъ къ чему-то конкретному, приложимому къ каждому данному факту окружающей насъ жизни, если мы въ каждой деревнѣ, въ которую входимъ, будемъ предполагать рай земной, а въ каждомъ встрѣчномъ мужикѣ или бабѣ прозрѣвать непремѣнно идеальныхъ представителей деревенскихъ началъ, мы не замедлимъ впасть въ міръ фантастическихъ иллюзій. Дѣло въ томъ, что логика жизни далеко отличается отъ логики нашего мышленія. Въ то время какъ мы выводимъ наши умозаключенія изъ двухъ-трехъ посылокъ, жизнь выводитъ свои факты изъ неисчислимаго количества причинъ. Мы создаемъ нашего идеальнаго мужика, соображая лишь оздоровляющія условія сельскаго труда; въ дѣйствительности же мужикъ является созданіемъ равнодѣйствующей силы самыхъ разнообразныхъ и противурѣчащихъ факторовъ, въ число которыхъ на каждомъ шагу входитъ и тотъ самый городъ, вліяніе котораго мы въ настоящемъ случаѣ совершенно игнорируемъ. Въ нашемъ мышленіи противуположности такъ и остаются противуположностями, враждебно обращенными другъ къ другу спинами. Въ жизни же противуположности непрестанно вліяютъ другъ на друга, стремятся слиться во-едино. Такъ и въ данномъ случаѣ: городъ и деревня могли-бы оставаться въ вѣчной своей противуположности, еслибы были отдѣлены другъ отъ друга китайской стѣной. Но они не только не отдѣлены, а, напротивъ того, тѣсно связаны другъ съ другомъ до такой степени, что ни городъ безъ деревни, ни деревня безъ города существовать не могутъ. А при такой связи они непрестанно вліяютъ другъ на друга и производятъ рядъ фактовъ и явленій совершенно особеннаго, специфическаго свойства, не имѣющихъ ничего общаго съ тѣми прямолинейными выводами, которые мы дѣлаемъ изъ нашихъ излюбленныхъ абстракцій.

Пока наше умственное движеніе пребывало въ первомъ абстрактномъ своемъ періодѣ, намъ ничего не значило вполнѣ игнорировать всю эту игру жизни и довольствоваться своими азбучными абстракціями. Мы были убѣждены, что стоимъ на реальнѣйшей почвѣ, когда въ дѣлѣ изученія народнаго быта ограничивались тѣмъ, что въ лирическихъ стихотвореніяхъ или беллетристическихъ разсказахъ оплакивали золотушную тщедушность, тряпичность и извращенность городского интеллигентнаго человѣка и противуполагали ему богатырей труда, гуманныхъ въ своей первобытной простотѣ, выносливыхъ, незлобиво-кроткихъ, безропотно покорныхъ своей участи. Подобно людямъ XVIII вѣка, мы проливали горькія слезы о томъ, что эти деревенскіе богатыри, которымъ несомнѣнно принадлежитъ будущее, терпятъ голодъ, холодъ и всякія неудобства жизни, и воображали, что стоитъ намъ протянуть имъ руку братской помощи, и наша ручка будетъ сейчасъ-же облобызана съ чувствомъ горячей благодарности. Въ каждомъ мужикѣ и бабѣ мы предполагали полную солидарность со всѣми нашими дорогими убѣжденіями и были увѣрены, что стоитъ намъ появиться въ народной средѣ и произнести тамъ нѣсколько словъ, какъ сейчасъ-же всѣ таящіяся въ глубинѣ народной души несознанные инстинкты тотчасъ-же всплывутъ наружу, получатъ опредѣленную формулировку, насъ конечно тотчасъ-же съ восторгомъ подхватятъ на руки и понесутъ, какъ какихъ-нибудь Прометеевъ.

Но первое практическое столкновеніе съ народной средой, первое ознакомленіе съ конкретными фактами народнаго быта должны были неминуемо поставить изучателей и наблюдателей въ полное недоумѣніе. Передъ ними сразу открылся цѣлый міръ фактовъ, управляющихся своими особенными законами и не только не имѣющихъ ничего общаго съ привычными абстракціями, но подчасъ идущихъ съ ними совершенно въ разрѣзъ. Мы не будемъ распространяться о томъ, какой невообразимый сумбуръ и смятеніе произвело въ умахъ массы мыслящихъ людей это неожиданное столкновеніе прекрасныхъ иллюзій съ печальной дѣйствительностью, сколько при этомъ было изломанныхъ и погибшихъ существованій, сколько малодушныхъ и слабыхъ людей впало въ постыдное уныніе, скороспѣлое разочарованіе, повѣсило голову и сложило руки въ безплодномъ отчаяніи. Обратимся прямо къ Гл. Успенскому, который намъ тотчасъ-же все это разскажетъ съ полной обстоятельностью, такъ какъ этотъ писатель является въ настоящее время наиболѣе яркимъ и полнымъ выразителемъ именно того паденія иллюзій, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. Если гдѣ въ настоящее время таится новое слово, то вотъ гдѣ слѣдуетъ искать его: въ произведеніяхъ Гл. Успенскаго послѣднихъ лѣтъ, потому что эти произведенія вполнѣ выражаютъ собой именно тотъ важный историческій моментъ, который мы переживаемъ.

И вы замѣтьте, что это новое слово принадлежитъ далеко не всей дѣятельности Гл. Успенскаго. Прежде

Гл. Успенскій былъ совсѣмъ не тотъ, чѣмъ онъ представляется нынѣ. Прежде онъ ограничивался въ своихъ разсказахъ очерками быта городскихъ мѣщанскихъ слоевъ и такъ называемыхъ разночинцевъ. Онъ только и дѣлалъ, что повѣствовалъ намъ о всѣхъ ихъ нравственныхъ, умственныхъ и экономическихъ недугахъ, порой весьма талантливо смѣялся надъ ними, порой не менѣе талантливо оплакивалъ ихъ, плакалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и надъ самимъ собой, такъ какъ во всѣхъ его произведеніяхъ сильно проглядывалъ чисто субъективный элементъ, и иногда авторъ вполнѣ сливался со своими героями. Но въ концѣ 70-хъ годовъ въ дѣятельности его мы видимъ рѣзкій поворотъ: онъ обращается къ деревнѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ его послѣдующихъ произведеніяхъ начинаетъ проглядывать чисто прудоновскій пріемъ. Совершенно подобно тому, какъ Прудонъ постоянно занимался тѣмъ, что бралъ различныя, освященныя вѣками, истины, давно обратившіяся въ неоспоримыя аксіомы, и раскрывалъ въ этихъ истинахъ массу логическихъ противорѣчій, точно такъ-же поступаетъ Гл. Успенскій и съ излюбленными нашими иллюзіями. Разница заключается въ томъ, что Прудонъ совершалъ свои операціи путемъ метафизической діалектики, Гл. Успенскій же дѣлаетъ то же самое художественными средствами представленія конкретныхъ фактовъ жизни народа, стоящихъ въ полномъ противорѣчіи съ прежними иллюзіями. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе, что передъ вами не холодный, безстрастный анатомъ, полосующій живое мясо съ улыбкой удальства и глухой къ страданіямъ жертвы. Не нужно забывать, что иллюзіи, съ которыми имѣетъ дѣло авторъ, составляютъ существенный элементъ жизни цѣлаго поколѣнія. Онъ самъ, авторъ, всю жизнь прожилъ съ этими иллюзіями, и онѣ были для него не менѣе дороги, чѣмъ и для любого читателя его произведеній. Поэтому ему приходится рѣзать по кускамъ не только сердце читателя, но и свое собственное, и каждое изъ послѣднихъ произведеній его производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто авторъ отрываетъ отъ себя по куску мяса съ нестерпимой болью и обливаясь кровью. И хотя подобное впечатлѣніе должно было-бы еще болѣе придавать цѣны всѣмъ мучительнымъ операціямъ Гл. Успенскаго, тѣмъ не менѣе каждое произведеніе его производитъ сенсацію чуть-что не скандала. Люди, сжившіеся съ своими иллюзіями, привыкшіе дорожить ими, какъ альфой и омегой знанія народной жизни, постоянно набрасываются на Гл. Успенскаго, обвиняя его то въ безтактности, на томъ основаніи, что будто-бы онъ, подчеркивая однѣ мрачныя стороны народной жизни, мирволитъ крѣпостникамъ и реакціонерамъ, то въ недостаткѣ правильнаго, логическаго мышленія, такъ какъ онъ будто-бы спѣшитъ дѣлать самыя широкія обобщенія на основаніи двухъ-трехъ фактиковъ. Авторъ настоящаго письма считаетъ своимъ долгомъ признаться, что и самъ онъ такъ былъ пораженъ рѣшительнымъ выступленіемъ Гл. Успенскаго на это новое поприще въ его разсказѣ «Черная работа» («От. Зап.» 1879 г., № 5), что не могъ сразу оцѣнить значенія этого переворота въ дѣятельности автора и въ свою очередь, дорожа все тѣми-же пресловутыми иллюзіями, напалъ нѣкогда на Гл. Успенскаго съ тѣми же обвиненіями въ скороспѣлости обобщеній. Только рядъ послѣдующихъ произведеній Гл. Успенскаго такого же характера, въ связи съ обстоятельствами и событіями жизни, могъ уяснить для автора важное значеніе новой дѣятельности Гл. Успенскаго, и онъ спѣшитъ загладить свою вину настоящимъ письмомъ, посвятивъ его опредѣленію этой новой дѣятельности Гл. Успенскаго въ ея истинномъ свѣтѣ и значеніи.

Начнемъ именно съ той самой «Черной работы», въ которой, какъ мы сказали выше, Гл. Успенскій впервые рѣшительно и рѣзко выступилъ на свое новое поприще. Повѣсть эта замѣчательна между прочимъ и тѣмъ, что здѣсь авторъ высказываетъ опредѣленно и ясно тѣ мотивы, которые побудили его идти по новой дорогѣ. Начинается повѣсть тѣмъ, что авторъ представляетъ себя измученнымъ «тоской, доходившей до физической боли». Эта тоска заставила его бѣжать изъ деревни «если не навсегда, то на нѣкоторое время», а въ послѣдній день эта жажда не думать о деревнѣ, освободиться хотя на время отъ этой безплодной муки достигла такой степени, что онъ вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ-бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одиннадцать часовъ вечера, «рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда» и не смотря на страшный буранъ, который ему пришлось вынести дорогой. Что-же причинило эту тоску до физической боли и заставило автора такъ поспѣшно бѣжать изъ деревни? Оказывается, что именно разладъ между азбучными истинами, съ которыми пріѣхалъ авторъ въ деревню, и тѣми конкретными фактами, которые обступили его въ деревенской жизни. «Адское душевное состояніе—говоритъ авторъ—долженъ пережить всякій, кто только, повинуясь даже инстинктивному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудно опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь, попробуетъ... ну, просто хоть только «пожить въ деревнѣ»... Слагается оно во-первыхъ изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревней фактовъ, въ которыхъ, по вашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбѣжнѣе тѣхъ цифирныхъ истинъ, какимъ учитъ васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатѣ что-нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно изо дня въ день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самомалѣйшей нити. Ниже читатель на примѣрахъ увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія; теперь-же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день надѣется, что вотъ-вотъ получится четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается то стеариновая свѣчка, то свиная морда, словомъ,—нѣчто неожиданное и невозможное. Представивъ себѣ все это, онъ только до нѣкоторой степени поймете, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ пережи-

вать всякій, кто смотритъ на деревню такъ, «какъ должно», по его мнѣнію, смотрѣть на нее».

И вотъ далѣе въ повѣсти передъ вами раскрывается такое вопіющее противорѣчіе фактовъ деревенской жизни съ привычной вамъ табличкой умноженія, какое естественно можетъ поставить втупикъ каждаго свѣжаго наблюдателя. Подобный наблюдатель подходитъ къ народу конечно ужъ съ рядомъ неоспоримыхъ истинъ вродѣ того, что крѣпостное право, малоземеліе и чрезмѣрность налоговъ дѣйствуютъ на народъ деморализирующимъ образомъ; ergo мужики господскихъ деревень должны быть во всѣхъ отношеніяхъ хуже мужиковъ государственныхъ, а изъ господскихъ самую высшую степень деморализаціи должны представлять крестьяне, бывшіе подъ властью наиболѣе строгихъ, жестокихъ и жадныхъ помѣщиковъ. И каково-же должно быть болѣзненное недоумѣніе наблюдателя, когда вдругъ въ дѣйствительности онъ встрѣчается съ фактами какъ-разъ совершенно противоположными. Передъ нимъ три рядомъ стоящія деревни: Солдатская, Разладинская и Барская, изъ которыхъ первая казенная, пользующаяся обиліемъ земель и всякихъ угодій и наименѣе обложенная податями, представляетъ собой высшую степень деморализаціи. Мало уступаютъ имъ разладинцы, бывшіе нѣкогда подъ властью доброй помѣщицы. Лучше-же всѣхъ живетъ и умнѣе всѣхъ выглядитъ крестьянинъ деревни Барской, бывшей подъ властью строгихъ и жестокихъ помѣщиковъ. «Словомъ,—говоритъ авторъ,—крестьянинъ, болѣе другихъ претерпѣвшій на своемъ вѣку, слѣдовательно, какъ вамъ думается, болѣе угнетенный (онъ пережилъ крѣпостное право), надѣленный плохой землей, обремененный налогами, вопреки всѣмъ смысламъ, вопреки всѣмъ таблицамъ умноженія всѣхъ частей свѣта, оказывается порядочнѣе, положительнѣе, умнѣе, даровитѣе, зажиточнѣе и честнѣе того крестьянина, который, имѣя доходы, покрывающіе всѣ посторонніе платежи, или платя сущую бездѣлицу и слѣдовательно имѣя всѣ условія для того, чтобы собственная его домашняя, личная жизнь была лучше, достаточнѣй, вольнѣй, чтобы забота его о мірскомъ благѣ была шире, и т. д., и т. д., оказывается, что такой крестьянинъ ничего не выдумалъ, кромѣ кабака, живетъ бѣдно, пьяно, фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ къ міру, къ себѣ, къ семьѣ!.. Мало того, вы видите, что отлично обставленная въ матеріальномъ отношеніи деревня какъ бы лишена даровитыхъ людей; есть міроѣды и міроопивалы, а умнаго, характернаго мужика нѣтъ, но, напротивъ, обиліе фальшивыхъ мужичонковъ, которые за рубль продадутъ отца родного и наобѣщаютъ въ три короба, а ничего не дѣлаютъ, не дорого возьмутъ соврать, надуть и т. д. Что же означаетъ эта непонятная тайна непонятной деревенской таблицы умноженія?»

Естественно первое, что придетъ вамъ въ голову, когда вы прочитаете подобную характеристику трехъ деревень, будетъ то утѣшеніе, что конечно авторъ имѣетъ здѣсь дѣло съ какимъ-нибудь однимъ исключительнымъ случаемъ, и развѣ можно дѣлать какіе-либо выводы изъ двухъ-трехъ фактиковъ? Но постойте, господа: во первыхъ, вы не знаете, имѣете-ли вы дѣло съ тремя исключительными фактами, или ихъ много на Руси, а во вторыхъ, если-бы фактъ, представляющійся вамъ, существовалъ и дѣйствительно въ единственномъ числѣ, то развѣ и этотъ единственный фактъ не разрушаетъ нашей таблички умноженія съ такой-же легкостью, какъ и тысяча ему подобныхъ? Вѣдь для того чтобы вы потеряли право говорить, что всѣ люди смертны, достаточно, чтобы оказался безсмертнымъ хоть одинъ изъ всѣхъ людей. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: совершенно достаточно, чтобы существовало на Руси въ единственномъ числѣ село Барское рядомъ съ Солдатскимъ и Разладинскимъ, чтобы привести васъ въ ужасъ и исполнить сердецъ ваше тоской до физической боли. Спрашивается только одно: слѣдуетъ-ли ради сохраненія дорогихъ вамъ истинъ закрывать глаза на подобнаго рода страшные факты и правъ-ли авторъ, выставляющій ихъ на показъ? По моему мнѣнію, онъ не только правъ, онъ выступаетъ въ настоящемъ случаѣ по-истинѣ героемъ: онъ глядитъ прямо въ глаза истинѣ, не страшась плыть противъ теченія и прослыть союзникомъ реакціонеровъ, которые на подобныхъ фактахъ конечно могли-бы воздвигнуть цѣлое зданіе, еслибы оставить послѣдніе безъ освѣщенія.

Но авторъ не ограничивается тѣмъ только, что голословно выставляетъ страшный фактъ, онъ его освѣщаетъ, и освѣщаетъ, по моему мнѣнію, совершенно справедливо, устраняя возможность всякихъ ложныхъ выводовъ изъ него въ пользу какихъ-либо реакціонныхъ поползновеній. Чтобы уяснить и представить рельефнѣй объясненія автора, мы, не ограничиваясь выписками изъ разсказа, присовокупляемъ нѣкоторыя собственныя замѣчанія. Дѣло вотъ въ чемъ: каждый строй жизни, порядокъ имѣетъ свои идеалы, и понятно, что идеалы эти осуществляются полнѣе тамъ, гдѣ порядокъ этотъ строже примѣняется. Естественное дѣло, что и крѣпостное право имѣло свой идеалъ крестьянина. На мужика смотрѣли въ то время не какъ на человѣка, а какъ на скотъ, необходимый въ дѣлѣ хозяйства на ряду съ прочими домашними животными. Сообразно этому взгляду выработался и идеалъ мужика, представляющій въ себѣ одну безустанную работу на господина при полномъ обезличеніи. «Идеалъ,— говоритъ авторъ: — требовалъ во 1-хъ безпрекословнаго исполненія чужихъ требованій, во 2-хъ требовалъ, чтобы у исполнителя было глубоко вкоренено убѣжденіе въ томъ, что все остальное, все его житьишко со всѣми животишками составляютъ дѣла, не стоющія вниманія».

«Такъ какъ такой идеалъ говоритъ далѣе авторъ,— тяготѣлъ надъ всѣмъ почти русскимъ крестьянскимъ людомъ, тяготѣлъ неумолимо сотни лѣтъ, то сообразно съ нимъ и выработался типъ крестьянина, населяющаго громадное большинство русскихъ деревень. Такой оставленный намъ барщиной въ наслѣдство крестьянинъ во-первыхъ—неустанный работникъ. Въ потѣ лица изо дня въ день онъ бьется надъ работой; во-вторыхъ, аккуратная уплата податей для него—первая забота, передъ которой меркнутъ всѣ личныя заботы; въ третьихъ, это человѣкъ, который отвыкъ разсуждать о чемъ-бы то ни было; онъ только спрашиваетъ: «сколько требуется?», «по чемъ сойдетъ съ души?». Раскладка всѣхъ этихъ душевыхъ рублей и копѣекъ составляетъ почти единственный предметъ общественныхъ деревенскихъ

сходокъ. «Своихъ» деревенскихъ предметовъ для разговоровъ на сходкахъ нѣтъ—отучены. И въ четвертыхъ наконецъ, онъ—неусыпный работникъ: работать, «биться на работѣ»—вотъ цѣль жизни, нить, связующая дни и годы въ цѣлую жизнь человѣческую. Онъ покоенъ, уставъ и измучившись на работѣ, потому что сдѣлано то, что̀ именно требовалось; онъ сына женитъ насильно, потому что «беретъ работницу хорошую», а остальное ничего не стоитъ. Мало устать на работѣ, надо просто измаяться, спасть съ тѣла, превратиться въ тѣнь; тотъ хорошій работникъ, кто не знаетъ «устали», у кого «горитъ огнемъ», кто «лютъ» и еще лучше «волъ» на работу. Вотъ во имя этого-то идеала и продолжаетъ жить крестьянинъ, какъ жилъ при барщинѣ. Тамъ, гдѣ барщина царила вполнѣ, тамъ мужикъ въ буквальномъ смыслѣ остался такимъ-же, какимъ былъ и при крѣпостномъ правѣ: такъ-же до свѣту выѣзжаетъ въ поле, такъ-же бьется изъ-за податей, такъ-же молча съ незадумывающимся равнодушіемъ исполняетъ, все, что ему прочитаетъ староста, и, исполнивъ вновь продолжаетъ маяться надъ работой, самъ перебиваясь кое-какъ и припрятывая достатокъ. Въ такихъ деревняхъ у крестьянъ есть совершенно опредѣленный взглядъ на себя и на божій свѣтъ, и, благодаря этому, они знаютъ, что̀ дѣлаютъ, изъ-за чего бьются. Вотъ почему оказывается, что бѣдная, заваленная работой и налогами деревня, неимѣющая никакихъ постороннихъ доходовъ, надѣленная сравнительно худшей, чѣмъ у сосѣдей, землей и притомъ въ маломъ количествѣ, живетъ лучше, аккуратнѣй, умнѣй и благообразнѣе той деревни, гдѣ идеалъ барщины почему-либо ослабленъ.»

Изъ всего этого вы можете ясно усмотрѣть, что крестьянинъ села Барскаго, при всей своей видимой порядочности и аккуратности, вовсе не представляетъ собой идеала мужика въ безусловномъ смыслѣ; это идеалъ относительный, выработанный крѣпостнымъ правомъ. Чтобы быть безусловнымъ, такому идеалу не достаетъ самаго главнаго и, смѣемъ думать, существеннаго:—человѣка. Крестьянинъ села Барскаго, въ которомъ задавлены всѣ человѣческія чувства и потребности и который обращенъ въ живую земледѣльческую машину на двухъ ногахъ, очевидно типъ отжившаго прошлаго. Это вандеецъ, не только какъ историческая аналогія, но въ тождественномъ смыслѣ. Вѣдь и въ Вандеѣ XVIII вѣка крестьянинъ выглядѣлъ, правда, тупѣе, суевѣрнѣе, диче, приниженнѣе но въ то же время былъ зажиточнѣе и порядочнѣе, чѣмъ крестьяне прочихъ мѣстностей Франціи. Онъ въ свою очередь наиболѣе сохранялъ типъ крестьянина стараго режима, и именно опять-таки потому, что въ Вандеѣ феодальный режимъ былъ строже выдержанъ и наиболѣе сохранился. Вандеецъ и противъ революціи ополчился конечно потому, что, будучи зажиточнымъ и довольнымъ своей участью, не нуждался ни въ какихъ реформахъ.

Но разъ старый порядокъ рушился, разъ крѣпостное право отошло въ вѣчность, можно-ли ожидать, чтобы типы, выработанные идеалами отжившаго порядка, могли долго просуществовать? Очевидно, что если и остаются до сихъ поръ села Барскія, если ихъ еще и много на Руси, во всякомъ случаѣ они доживаютъ послѣдніе годы. Только трехсотлѣтней каторгой крѣпостного права можно было парализовать въ такихъ крестьянахъ всякое развитіе человѣческихъ потребностей и сдерживать ихъ въ состояніи рабочаго скота. Но разъ эта дрессирующая школа закрыта, то какія-же силы могутъ остановить проявленіе въ людяхъ людей, какихъ-бы то ни было, хотя-бы и самыхъ безобразныхъ, но все-таки людей,—и при такихъ условіяхъ крестьяне села Барскаго не замедлятъ обратиться въ тѣхъ же Солдатскихъ и Разладинцевъ. Читатель спроситъ конечно при этомъ,—что-же въ этомъ отраднаго, и что хорошаго можетъ обѣщать подобное превращеніе? Отвѣчать на такой вопросъ очень затруднительно. Сколько изъ этого выйдетъ хорошаго и дурного, это покажетъ намъ исторія. Слѣдуетъ только принять во вниманіе, что когда сходитъ со сцены какой-нибудь отживший порядокъ (въ настоящемъ случаѣ крѣпостное право) и уноситъ съ собой свои старые идеалы, подобные моменты всегда отличаются большей или меньшей распущенностью, деморализаціей, которая продолжается до тѣхъ поръ, пока не устанавливаются новые порядки и не приносятъ съ собой новыхъ идеаловъ вмѣстѣ съ новыми способами ихъ осуществленія. Что народъ нашъ находится именно въ подобномъ переходномъ состояніи, объ этомъ свидѣтельствуетъ его собственное сознаніе. По крайней мѣрѣ повсемѣстно вы слышите изъ его устъ одинъ и тотъ-же говоръ, что народъ нынѣ ослабъ, извольничался, излѣнился, совсѣмъ скрутился, и все это потому, что нѣтъ надъ нимъ прежняго страха.

Изъ всего изъ этого въ концѣ концовъ слѣдуетъ тотъ выводъ, что табличка умноженія, которая повидимому поколебалась представленными авторомъ фактами, въ сущности вовсе не поколебалась, а осталась во всей своей вѣрности. Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ въ результатѣ крѣпостного права мы видимъ всеобщую деморализацію: съ одной стороны деморализацію крестьянъ села Барскаго, обезличенныхъ и обращенныхъ въ рабочій скотъ, съ другой—деморализацію Разладинцевъ и Солдатскихъ, остающихся безъ всякихъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ, которые руководили-бы ихъ въ жизни. Съ одной стороны—каторжная работа на почвѣ рабскаго альтруизма, съ другой – кабакъ. Если что поколебалось, то лишь тѣ иллюзіи, которыми мы до сихъ поръ плѣнялись: вмѣсто земного рая, обусловливаемаго оздоровляющимъ вліяніемъ сельскаго труда, авторъ нашелъ въ деревнѣ адъ кромѣшный, заставившій его бѣжать изъ деревни съ тоской, доходящей до физической боли. Для народниковъ-идилликовъ, продолжающихъ коснѣть въ своихъ буколическихъ иллюзіяхъ, подобное бѣгство можетъ казаться чуть что не святотатствомъ, но еще разъ воздадимъ честь автору, который ради святой истины не остановился передъ кровавой операціей вырыванья кусковъ живого мяса изъ любвеобильныхъ сердецъ своихъ читателей и не пожалѣлъ прекрасныхъ иллюзій, жить съ которыми во всякомъ случаѣ и легче, и теплѣе, чѣмъ съ тѣми страшными истинами, которыя онъ намъ раскрываетъ.

Далѣе за этимъ первымъ громогласнымъ выстрѣломъ до настоящей минуты идетъ непрерывная пальба со стороны Гл. Успенскаго все въ тѣ-же взлюбленныя иллюзіи. Мы отмѣтимъ только главные и наиболѣе яркіе его очерки подобнаго рода.

Таковы «Малые ребята»,—разсказъ, составляющій

безъ малаго половину книги, изданной г. Успенскимъ въ прошломъ году подъ общимъ, весьма характеристичнымъ заглавіемъ «Деревенская неурядица». Въ этихъ «Малыхъ ребятахъ», въ лицѣ петербургскаго интеллигентнаго чиновника Ивана Ивановича Полумракова, авторъ изображаетъ именно типъ человѣка, проникнутаго иллюзіями относительно деревенской жизни самаго буколическаго свойства, не уступающими пастушескимъ идилліямъ XVIII вѣка. Задавшись благородной цѣлью создать изъ своихъ дѣтей идеальныхъ людей и перепробовавъ безъ всякой пользы всевозможныя педагогическія средства, Полумраковъ остановился на оздоровляющемъ вліяніи деревни.

«Всѣ нравственныя муки,—читаемъ мы въ разсказѣ:—всѣ неразрѣшимыя нравственныя загадки для него оканчивались съ поселеніемъ въ деревнѣ. Она, эта самая деревня, должна дать дѣтямъ Ивана Ивановича, во-первыхъ, физическое здоровье, котораго не дадутъ ни гимнастики, ни прогулки въ скверахъ, ни дорогіе доктора. Деревня дастъ все это такъ, задаромъ. Во-вторыхъ она дастъ необходимыя прочныя начала нравственности. Въ то время, какъ ни педагогія, ни тѣмъ менѣе самъ Иванъ Ивановичъ не могутъ просто и ясно познакомить дѣтей съ причинностью явленій и человѣческихъ отношеній, деревня дастъ все это, простосердечно передавъ дѣтямъ теплую вѣру въ Бога и зародивъ такимъ образомъ зачатокъ связной мысли, пробудитъ искренность чувства и дастъ ему пищу въ простотѣ и деревенской откровенности человѣческихъ отношеній. Въ третьихъ, она же, эта самая деревня, уничтожитъ ненужное и гибельное въ дѣтяхъ сознаніе неравенства между людьми, котораго нельзя никакимъ образомъ избѣжать въ столицѣ. Дѣти будутъ въ толпѣ крестьянскихъ дѣтей пріучаться жить въ обществѣ человѣческомъ, начнутъ понимать, что такое жизнь» и т. д.

И вотъ Полумраковъ переселился со всѣмъ семействомъ въ деревню. Но деревня не замедлила предстать предъ нимъ во всей своей трезвой правдѣ, не имѣющей ничего общаго съ буколическими фантазіями барина. Начать съ того, что Полумраковъ никакъ не могъ добиться мало-мальски искреннихъ, человѣческихъ отношеній между нимъ и мужиками. Едва поселился онъ въ деревнѣ, какъ послѣдняя поняла, что за ея долготерпѣніе Господь послалъ ей доходную статью въ видѣ барина, живущаго на готовыя деньги, и ни одинъ человѣкъ не приближался къ усадьбѣ безъ своекорыстныхъ цѣлей. Дѣти Ивана Иваныча ежедневно находились въ обществѣ крестьянскихъ дѣтей, играли въ ихъ игры, но и тутъ Иванъ Иванычъ видѣлъ, что въ разсчетахъ своихъ ошибся. Дѣти крестьянскія были чисты духомъ и сердцемъ, но въ этой крестьянской чистотѣ отражалась только голая дѣйствительность, которая къ тому-же отражалась съ безпощадной фотографической вѣрностью. Дѣтскій умъ и душа принимали все, что эта дѣйствительность предлагала имъ, а она предлагала въ большинствѣ случаевъ матеріалъ далеко не кристальнаго достоинства. Игры заключались въ представленіяхъ поимки вора или деревенскихъ пьяныхъ празднествъ вродѣ «пропиванія невѣсты», причемъ дѣтямъ Полумракова, какъ барчатамъ, давались самыя деморализирующія роли становыхъ и всякаго рода господъ. Въ общихъ чертахъ въ деревнѣ дѣти Ивана Иваныча узнали, что они— не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому право карать, прощать и не прощать; получили нѣкоторую крѣпость нервовъ, пріучившихся быть нечувствительными во многихъ весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ получили какую-то сыпь, требующую серьезнаго леченія, и наконецъ пріобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ. Однимъ словомъ, деревня оказалась вовсе не педагогической панацеей, какъ о ней мечталъ Полумраковъ, а именно той самой убогой русской деревней, какой онъ безсознательно создалъ ее вмѣстѣ съ своими отцами и дѣдами. И кончилось дѣло все тѣмъ-же ужасомъ и тѣмъ-же бѣгствомъ къ своимъ, въ богоспасаемый городъ, гдѣ и свѣтло, и тепло, и въ чорта не вѣрятъ, и сифилисъ не пользуется такимъ потомственнымъ правомъ гражданства. Безпощадная, злая ироніа, проникающая весь этотъ разсказъ, говоритъ сама за себя, не требуя никакихъ комментаріевъ.

Такой-же ироніей отличается разсказъ «Не въ привычку дѣло», герой котораго Михаилъ Михайловичъ отправляется въ деревенскую глушь не съ однѣми уже педагогическими цѣлями, какъ Полумраковъ, а съ чисто практическими замыслами— слиться съ народомъ на почвѣ труда, завести даже сообща съ мужиками, употребивъ въ дѣло свои наслѣдственные капиталы, нѣчто вродѣ сельскохозяйственной коммуны. Но голова его была наполнена все тѣми-же обольстительными иллюзіями.

«Онъ пришелъ,—читаемъ мы въ разсказѣ,—трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ нажитыя общимъ трудомъ (какъ былъ М. М. въ этомъ глубоко увѣренъ въ то время юношескихъ фантазій, должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентныхъ людей. Что среди крестьянъ онъ непремѣнно отыщетъ людей, которые всецѣло не только поймутъ но еще и розовьютъ его мысли—въ этомъ онъ былъ совершенно увѣренъ. Крестьянинъ—это одѣтый въ полушубокъ живой памятникъ всего, что не упишешь въ 26-ти томахъ исторіи Соловьева. Мало того:, въ то прекрасное время къ фигурѣ крестьянина какъ-то невольно примыкало кромѣ 26-ти томовъ Соловьева еще все мучительно передуманное и перенятое европейской жизнью. Сообразивъ все это и соединивъ все, такъ безобразно-трудно пережитое человѣчествомъ, въ лицѣ крестьянина, которому настало время вздохнуть свободно, Михаилъ Михайловичъ не могъ не подозрѣвать, что такое существо, какъ крестьянинъ, бѣдный, измученный, забитый, испытавшій и перенявшій Богъ знаетъ какія невзгоды, несущій на своихъ плечахъ опытъ тысячелѣтнихъ трудовъ, долженъ, непремѣнно долженъ питать ненасытную жажду устроить жизнь по новому; у него въ горлѣ пересохло отъ этой жажды, онъ ждетъ не дождется, онъ страстно хочетъ вздохнуть полной грудью. Передъ этимъ величіемъ Михаилъ Михайловичъ—пигмей; онъ ничего не имѣетъ права желать, какъ только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знаніе, трудъ. Больше Михайлу Михайловичу ничего не нужно. Онъ пришелъ умиженнымъ и смиреннымъ работникомъ. Такъ Михайлу Михайловичу казалось... Онъ готовъ былъ простить всякую грубость, невѣжество, всякую непріятность со стороны его народныхъ сотоварищей; онъ зналъ, что иначе не можетъ быть, что не изъ чего выработаться было тонкостямъ и деликатностямъ, онъ былъ готовъ все простить и все претерпѣть... Но—увы!—народъ никакимъ образомъ не

могъ простить Михайлу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное,—какъ не могъ забыть и своего крѣпостного прошлаго. Этотъ крѣпостной опытъ крестьянъ съ одной стороны и съ другой—то, что Михаилъ Михайловичъ былъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ баринъ, и совершило и планы, и деньги Михаила Михайловича безъ остатка.»

Съ самаго перваго шага Михаилъ Михайловичъ всталъ съ мужиками въ самыя неискреннія и фальшивыя отношенія: онъ преклонялся передъ ними и панибратствовалъ, желая встать съ ними на вполнѣ равную ногу, а они во всемъ ему поддакивали и старались всячески потрафлять, видя въ его дѣлѣ лишь барскую фантазію и въ то же время смотря на него, какъ на дойную корову. Онъ убѣдился наконецъ, что лишь «примѣръ, результатъ видимый, осязательный доступенъ будетъ пониманію теперешняго крестьянина и научитъ его лучше всякихъ многословныхъ разсужденій, стало быть, надо не разглагольствовать, а взять дѣло на себя, на свою отвѣтственность»,—и началъ приказывать дѣлать то или другое безъ всякихъ разсужденій. Тогда роли окончательно опредѣлились.

«Полагая, что онъ только временно, такъ сказать, надѣлъ на себя шкуру барина, Михаилъ Михайловичъ незамѣтно, въ силу того-же, что онъ баринъ, въ самомъ дѣлѣ сталъ сбиваться съ равноправной ноги, и воспитанное долголѣтнимъ прошлымъ барство стало сначала понемногу выступать въ его умѣ и сердцѣ, и душѣ, а потомъ, и очень скоро, вылилось во всей своей прелести. Вмѣстѣ съ тѣмъ по мѣрѣ того, какъ въ Михайлѣ Михайловичѣ сталъ проступать уже неприкрашенный баринъ, въ крестьянинѣ (который, просимъ не забывать, только-что вышелъ изъ крѣпости) сталъ навстрѣчу барину выступать неприкрашенный рабъ. Баринъ началъ повелѣвать, а крестьянинъ принялся его надувать. Началась самая утонченная борьба двухъ естественныхъ враговъ, и надо отдать мужикамъ справедливость, молодцы они въ этой борьбѣ. Лаской, угожденіемъ, потрафленіемъ, предупрежденіемъ еще неродившихся, но имѣющихъ рано-ли поздно-ли родиться желаній, вотъ какъ они, и самые талантливые изъ нихъ, принялись дѣйствовать... У Михайла Михайловича стало образовываться все больше и больше праздnаго времени, ему становилось все легче и беззаботнѣй, точно кто поматерински заботился о немъ. Онъ даже лесть сталъ слушать, какъ должное, поддался на похвалу, на удивленіе его уму, знанію. Невѣдомо какъ и откуда взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тутъ вокругъ да около лебезить. И другая, и третья.. »

Дѣло кончилось тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ убилъ всѣ свои капиталы въ своемъ неудавшемся предпріятіи и въ концѣ концовъ впалъ въ полное разочарованіе, уныніе и спился. Михаилъ Михайловичъ является такимъ образомъ однимъ изъ представителей тѣхъ первыхъ піонеровъ-неудачниковъ, которые стремились слиться съ народомъ, не только что не зная его, но и сами неподготовленные къ тому дѣлу, за которое принимались, не успѣвшіе вполнѣ отрѣшиться отъ того наслѣдственнаго праха, который накопился на ихъ существѣ вѣками.—Поэтому здѣсь схваченъ авторомъ вопросъ гораздо глубже: тутъ дѣло идетъ не объ однѣхъ иллюзіяхъ, а о тѣхъ существенныхъ, вѣковыхъ складахъ жизни, которые отдѣляютъ глубокой пропастью отъ народа даже и такихъ благомыслящихъ господъ, какъ Михаилъ Михайловичъ. Неудача послѣдняго произошла не только потому, что онъ не зналъ народа и имѣлъ о немъ самыя фантастическія представленія, но и потому, что во всѣхъ своихъ привычкахъ, и такихъ притомъ мелочныхъ, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, онъ оставался все тѣмъ-же бариномъ, съ которымъ надо держать ухо востро. Довольно было того, что онъ пріѣхалъ въ деревню со станціи въ тарантасѣ, а не пришелъ пѣшкомъ съ котомкой за плечами и босыми ногами, не попросилъ Христа ради испить, щедро далъ на водку столько мелочи, сколько попалось въ руку въ карманѣ, и карьера его была рѣшена, его разсужденій не только не понимали, но и не пожелали понимать. Изъ этого всего вы видите, что иллюзіи иллюзіями, но избавленіе отъ нихъ однѣхъ еще не поможетъ дѣлу: это лишь первый шагъ, за которымъ долженъ послѣдовать цѣлый историческій процессъ, можетъ быть очень долгій и во всякомъ случаѣ чрезвычайно мучительный, путемъ котораго и народъ, и интеллигенція должны совершенно преобразоваться до самаго своего, что называется, нутра, для того чтобы они могли понять другъ друга и сблизиться на какихъ-либо общихъ интересахъ.

Далѣе затѣмъ въ рядѣ очерковъ, напечатанныхъ въ послѣдніе три года въ «Отечественныхъ Запискахъ» и частію изданныхъ отдѣльно, мы встрѣчаемъ микроскопическій анализъ, развертывающій передъ нами весьма мрачную картину деревенской жизни. Такъ, мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки, въ которыхъ все будто-бы совершается по правдѣ и по равненію, допускаютъ непризрѣнныхъ стариковъ, вдовъ и воспитываютъ въ своихъ нѣдрахъ, изъ брошенныхъ на произволъ судьбы сиротъ, деревенскихъ злодѣевъ, которые потомъ обращаются въ конокрадовъ или поджигателей, и сельскій міръ, допустившій развитіе на свою голову подобныхъ чудовищъ, затѣмъ обрушается на нихъ подчасъ съ какимъ-нибудь безпощадно жестокимъ кровавымъ самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе въ свою очередь оказывается миражемъ: вглядываясь въ инструкціи его, можно подумать, что деревня въ самомъ дѣлѣ живетъ общественными интересами, но, всматриваясь въ практическое примѣненіе этихъ инструкцій, видишь, что никакой общественной силы тутъ нѣтъ и проявить, и практиковать ее не на чемъ. Какіе-бы вопросы или проекты «оздоровленія», «образованія», «поднятія народной нравственности», «оживленія народа» ни подымались въ обществѣ,—въ деревнѣ изъ нихъ образуются другія, уже грустныя слова: «по гривеннику», «по двугривенному», «по полтинѣ», и вся умственная дѣятельность крестьянина занята такимъ образомъ почти только одной работой: достать денегъ.

«Обведя—говоритъ авторъ (см. «Люди и нравы современной деревни», стр. 51)—вокругъ Москвы кругъ радіусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мысли въ общихъ чертахъ опредѣлится именно этимъ стремленіемъ—«добыть денегъ», только денегъ, больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяться, къ крайнему огорченію людей, идеализирующихъ прочность деревенской общины, плохо опредѣляемое, но сильно чувствуемое крестьяниномъ желаніе—уйти

куда-нибудь, желаніе какъ-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ, и это стремленіе уйти изъ сухихъ и жесткихъ условій крестьянской среды объясняется все той-же необходимостью добывать все больше и больше денегъ.»

Но страшнѣе всего какъ для настоящаго, такъ и въ видахъ будущаго то, что въ то время какъ дѣйствительная интеллигентная сила, которая могла-бы оживить и раздвинуть умственный кругозоръ деревни, отвергается ею въ лицѣ Михаиловъ Михайловичей, отчасти вслѣдствіе слѣпого вѣкового недовѣрія, отчасти отъ неумѣлости самихъ Михаиловъ Михайловичей подойти къ народу и заставить слушать себя, и послѣдніе обращаются въ глазахъ крестьянъ въ какихъ-то гороховыхъ шутовъ и дойныхъ коровъ, а иногда во что-нибудь и похуже,—въ это время единственнымъ умственнымъ руководителемъ народа является кулакъ. И вотъ опять передъ нами рушится цѣлый рядъ иллюзій и ходячихъ, рутинныхъ мнѣній относительно значенія въ деревнѣ кулака. Ужъ не говоря о томъ, что община, въ которой все «по правдѣ и по равненію», въ достаточной степени оскандализована однимъ появленіемъ въ деревенской жизни кулака, съ его стремленіемъ водворить въ деревнѣ новое крѣпостное право на экономическихъ началахъ,—самая роль кулака въ деревнѣ оказывается совсѣмъ не такой, какой она представляется въ глазахъ нашихъ питающихся иллюзіями теоретиковъ. Они смотрятъ на кулака, какъ на нѣчто выдѣлившееся изъ народной среды и разорвавшее съ ней живую органическую связь. Кулакъ является въ ихъ глазахъ паразитомъ, сосущимъ всѣ соки деревни и не имѣющимъ никакихъ иныхъ отношеній къ ней. Какъ представитель индивидуализма, онъ по одному этому уже долженъ стоять въ антагонизмѣ съ общиннымъ сельскимъ міромъ, а какъ эксплуататоръ народнаго труда конечно ничего болѣе не способенъ возбуждать въ каждомъ мужикѣ, кромѣ ожесточенной ненависти. И вдругъ въ дѣйствительности оказывается, что не только общинная деревня не находится ни въ малѣйшемъ антагонизмѣ съ кулакомъ, а, напротивъ того, кулакъ является единственной умственной силой, воспитывающей деревню. Онъ играетъ роль руководителя, совѣтника и чуть не благодѣтеля деревни, какъ человѣкъ и съ деньгами, и со связями. Имъ любуются и подчасъ гордятся, какъ передовымъ талантливымъ представителемъ сельскаго міра.

«Мы охотно вѣримъ,—говоритъ Гл. Успенскій (см. «Деревенская неурядица», т. I, стр. 130),—въ дурное вліяніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никакимъ образомъ не можемъ ими объяснить деревенскаго кулачества, то есть выдѣленія среди деревенской массы личностей, эксплуатирующихъ эту массу. Бѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество—явленіе не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органическій недугъ. Но самая горькая и обидная черта этого явленія заключается не собственно въ хищничествѣ, а въ томъ, что ничего другого, хотя мало-мальски равнозначущаго, по разработкѣ и техникѣ, деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ. Есть-ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно усѣвшееся и усовершенствованное въ отношеніи, положимъ, самопомощи, какъ усовершенствовано кулачество? Существуетъ-ли словомъ, какое-нибудь явленіе, прямо противоположное и имѣющее какое-нибудь значеніе, пользующееся какимъ-нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ничего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужаснѣе, такъ это то, что въ кулачествѣ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человѣку, вышедшемуся въ кулака, надо передумать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знанія людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человѣкомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно геніальныя способности, и въ тоже время вы не можете не убѣдиться, что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ мірскихъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ —не выразилось. Что же значитъ это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (что будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непривѣтливымъ и разорительнымъ для самого народа путемъ?»

«Замѣчательна,—говоритъ авторъ ниже въ томъ-же очеркѣ—въ біографіи всякаго такого человѣка еще слѣдующая небезынтересная черта. Человѣкъ, какъ видите, вышелъ изъ ненавистничества какъ къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и другому прямой разсчетъ сокрушить этого ненавистника, но на дѣлѣ-же выходитъ иное. Баринъ, обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ онъ не безъ злорадства иной разъ говоритъ себѣ: «Но-о-смотримъ! Какъ-то вы на волѣ-то поживете! Какъ заберетъ въ руки какая-нибудь кулацкая морда—узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной даже радуется, что такой-то нажалъ мужиковъ: «Такъ ихъ и надо! Отлично! Право, молодецъ!» И невольно чувствуетъ симпатію, конечно все-таки считая нагрѣвателя канальей. Канальей его считаютъ и мужики, но развѣ они могутъ не поставить ему въ заслугу ловкости, съ которой онъ напримѣръ ожегъ чемадуровскаго и балабаевскаго барина? «Ужъ и развязная-же только башка у шельмы!» Такимъ образомъ при кличкахъ нарицательныхъ: «шельма», «плутъ», «пройдоха», «каналья» и т. д., тому-же человѣку сопутствуютъ и ничуть не въ меньшемъ количествѣ—и похвалы: «ловко!» «отлично!» «геніально оплелъ!» «молодчина!» и т. д.,—похвалы, основанныя, какъ видите, уже на уваженіи къ уму, таланту, дарованію. Это-то послѣднее уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заключается гибельность кулацкаго вліянія: онъ держится настолько-же хищничествомъ, насколько и нравственнымъ вліяніемъ на общественное сознаніе, которое, по множеству причинъ, не можетъ не считать его правымъ, умнымъ, а пожалуй и почтеннымъ... Какая другая дорога для деревенскаго умнаго, энергическаго человѣка теперь? спрошу я и подожду отвѣта. Именно во имя сочувствія и даже пожалуй невозможности несочувствія кулацкой морали (имѣющей, какъ мы твердо вѣримъ, въ недалекомъ будущемъ пропитать рѣшительно всѣ сферы общества) сила кулака велика и у мужиковъ, и у баръ, и у начальства. Онъ всѣхъ знаетъ, онъ понимаетъ всѣ деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столпъ, и совѣтникъ. Ему-же принадлежитъ первенствующая роль и въ деревенской дѣятельности. Дѣянія кулака—самыя крупныя и замѣтныя на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая изъ явленій современной деревенской улицы,—мораль кулацкая. А такъ какъ подрастаю-

щее деревенское поколѣніе, какъ и то, которое отживаетъ, учится жить и думать такъ, какъ учитъ дѣйствительность, улица, и такъ какъ противъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую улицу не проникаетъ ничего противодѣйствующаго ей, то мы, положа руку на сердце, рѣшительно не можемъ не сказать, что это поколѣніе воспитывается главнымъ образомъ только кулацкой моралью. Чистая дѣтская душа деревенскаго ребенка въ изобиліи принимаетъ впечатлѣнія, даваемыя кулацкой дѣйствительностью, и невольно безъ протеста подчиняется морали.»

Однимъ словомъ, интеллигенція мало того, что не пользуется среди народа никакимъ довѣріемъ и является совершенно отъ него отстраненной, сверхъ того она принуждена созерцать въ нѣмомъ отчаяніи, какъ народъ воспитывается въ духѣ кулачества Колупаевыми и Разуваевыми, обирающими его до ниточки и тѣмъ не менѣе являющимися въ глазахъ его свѣтилами ума и таланта. Вотъ какой ужасъ раскрывается передъ нами при выходѣ нашемъ изъ абстрактнаго періода умственнаго движенія и при первомъ столкновеніи съ суровой дѣйствительностью. Это такой ужасъ, передъ которымъ блѣднѣютъ всѣ тѣ страхи, какихъ натерпѣлись люди прошлаго столѣтія, когда отрѣшились отъ своихъ буколическихъ фантазій. Это трагедія, отъ исхода которой зависитъ существованіе не только интеллигенціи, но и самого народа.

Наконецъ въ нынѣшнемъ году Гл. Успенскій выступилъ съ очеркомъ «Власть земли» «(От. Зап.», № 1), въ которомъ съ новой энергіей набросился все на тѣ же иллюзіи. По силѣ, яркости и глубинѣ захвата этотъ очеркъ нисколько не уступаетъ «Черной работѣ», «Не впривычку дѣло» и «Малымъ ребятамъ», и немудрено, что онъ возбудилъ сенсацію, ни чуть не меньшую, чѣмъ нѣкогда произвела «Черная работа». Опять послышались негодующія рѣчи, что Гл. Успенскій тянетъ въ руку реакціонерамъ, что его очеркъ ведетъ къ такому печальному выводу, будто чѣмъ хуже положеніе крестьянина, т. е. чѣмъ меньшимъ количествомъ земли онъ владѣетъ и большими налогами является обложенъ, тѣмъ онъ не только нравственнѣй, порядочнѣй, но и въ матеріальномъ отношеніи оказывается зажиточнѣй, и наоборотъ, малѣйшее улучшеніе благосостоянія ведетъ его къ лѣности, пьянству и полной деморализаціи. Посмотримъ-же, на сколько подобный скандальный выводъ вытекаетъ изъ очерка Гл. Успенсаго.

На первый взглядъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ фактомъ, который въ свою очередь идетъ вопреки всѣмъ нашимъ табличкамъ умноженія. Героемъ очерка является крестьянинъ Иванъ Петровъ, который былъ нѣкогда трудолюбивымъ, нравственнымъ и зажиточнымъ мужикомъ, но потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего излѣнился, спился и обнищалъ до послѣдней степени. Послѣ долгихъ разспросовъ автора, какъ это могло случиться, онъ добился отъ Ивана Петрова лишь одного объясненія, поставившаго автора въ полное недоумѣніе: именно оказалось, что Иванъ Петровъ обнищалъ и спился ни отъ чего иного, какъ отъ «воли», «отъ свободной жизни».

«Такъ какъ,—говоритъ авторъ,—отвѣтъ этотъ ставитъ меня въ недоумѣніе и я рѣшительно не могу понять, почему «воля» можетъ губить человѣка, то Иванъ, чтобы разсѣять мое недоумѣніе и объясниться обстоятельнѣе, прибавляетъ:

— Отъ жизни отъ свободной... вотъ отъ чего!

— Что-же это значитъ? спрашиваю я въ полномъ недоумѣніи.

— А то значитъ, какъ жилъ я на вокзалѣ, получалъ я тридцать пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, народу имѣлъ подъ начальствомъ десять человѣкъ, доходу мнѣ каждый Божій день съ вагону ужъ безпримѣрно рубь серебра, а сочтите-ка, сколько въ зиму-то вагоновъ отправимъ? Ну, вотъ тутъ-то я значитъ и забаловалъ...

Слово «забаловалъ» до такой степени не подходитъ къ сорокалѣтнему мужественному, бородатому мужику, что не понимаешь даже, какъ онъ можетъ въ объясненіе своего поведенія употреблять такія выраженія, приличныя только развѣ малому ребенку. Но Иванъ не находилъ другого, болѣе точнаго выраженія.

— Вотъ и сталъ баловаться... При покойникѣ татенькѣ, бывало, капли въ ротъ не бралъ. Убьетъ, если узнаетъ, на смерть уколотитъ своими руками... Да и послѣ татеньки, когда ужъ оженился, своимъ хозяйствомъ сталъ жить, и то дозволялъ себѣ, когда угостятъ, да на праздникахъ, да иной разъ со скуки стаканчикъ... Все опасался и, покуда чего было, берегся... Ну, а ужъ тутъ на вокзалѣ, какъ стала мнѣ воля, стало мнѣ, значитъ, раздолье, сталъ я, однимъ словомъ, коротко сказать—баринъ, тутъ-то я и пошелъ... Жрешь бывало цѣлыя сутки, и все доверху не хватаетъ... Я какъ сейчасъ помню, съ чего началъ: у дорожнаго мастера Ивана Родіоныча именины были на Ивана Постнаго... Ну, онъ мнѣ и налилъ виноградного стаканъ, портвинъ прозывается... Я какъ двинулъ его, понравилось... Я и давай!.. А тамъ и коньякъ, лимонадъ... Вотъ съ тѣхъ самыхъ поръ и завелъ въ себѣ язву. А отчего? Все отъ вина!.. Все отъ непривычки... Отъ легкой жизни... Вотъ отчего!.. Бывало, денегъ полны карманы набью .. Ну, и сталъ черезъ это самое вродѣ послѣдней свиньи...»

«Такимъ образомъ,—говоритъ авторъ,—оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обиліе денегъ», т. е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, причиняетъ ему, напротивъ, крайнее разстройство, до того, что онъ дѣлается «вродѣ свиньи.»

Подобную несообразность со всѣми табличками умноженія авторъ и объясняетъ тѣмъ, что онъ называетъ «властью земли».

«Тайна эта—говоритъ онъ—по истинѣ огромная, и, думаю я, заключается, въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душой, мужественно сильна и дѣтски кротка,—словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ власть земли, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность ослушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ казаться огненнымъ, покуда будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца,—словомъ, до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣетъ, пока онъ весь, съ головы до ногъ и съ наружи до самаго нутра, проникнутъ и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, вѣющими на него отъ матери сырой земли. Погасите красный фонарь—и лицо Демона перестало быть краснымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ

заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобъ онъ забылъ «крестьянство»,—и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь... «Иди, куда хочешь...»

Такимъ образомъ вы видите, что не увеличеніе благосостоянія въ предѣлахъ крестьянскаго труда, т. е. не прибавленіе земли или уменьшеніе налоговъ сбило съ толку Ивана Петрова; его погубило то, что онъ отрѣшился отъ крестьянскаго труда, сошелъ съ земли на почву почти-что даровой наживы. Но тутъ можетъ представиться вотъ какое возраженіе. Хотя Иванъ Петровъ и отрѣшился отъ крестьянскаго труда, но не на всю-же жизнь, вѣдь онъ не порвалъ всѣхъ связей съ землей, продолжалъ принадлежать своему міру, за нимъ оставался прежній надѣлъ, и жена его, оставшаяся въ деревнѣ, поддерживала его хозяйство,—такъ что мѣсто на вокзалѣ имѣло характеръ временного отхожаго промысла, ничего въ сущности не измѣняя въ его жизни. Спрашивается теперь, отчего Иванъ Петровъ не воспользовался открывшейся ему возможностью нажить не одну сотнягу денегъ для того, чтобы потомъ на скопленный избытокъ расширить свое хозяйство и зажить припѣваючи? Отчего не хватило у него на столько силы воли, чтобы удержаться отъ всякихъ искушеній и подумать о завтрашнемъ днѣ, вмѣсто того чтобы ставить каждую копѣйку ребромъ? Вѣдь вотъ еврейчикъ Шнапъ, котораго авторъ ставитъ въ параллель Ивану Петрову, тотъ поступилъ совсѣмъ не такъ со своими заработками:

«Все онъ толкался въ разныхъ мѣстахъ и все на пустомъ поровилъ рублишко нажить. Тамъ барынь провожаетъ, тамъ мужику укажетъ, какъ и куда пройти... Ну, и даютъ кто рубль, кто гривенникъ... А онъ все прячетъ... все копитъ.—«На что, спрашиваютъ, копишь?»—«Карьеръ хочу дѣлать.»—Какой-такой?» — «Деньги наживать!» — «Зачѣмъ?»—«Лавку открывать.» - «А какъ откроешь?»—«Опять деньги наживать!» – «А какъ наживешь?» — «Еще больше буду наживать!»—«А какъ совсѣмъ уже много будетъ?»—«Опять буду еще больше стараться...» Вотъ и гляди на него.—«Пойдемъ, выпьемъ!» Ней детъ! копѣйки не истратитъ.»

Какъ ни предосудительно направлена энергія еврейчика Шнапа, во всякомъ случаѣ мы видимъ здѣсь своего рода нравственный закалъ, силу воли, неуклонно направляющую человѣка къ заданной цѣли. Отчего-же у Ивана Петрова ничего подобнаго мы не замѣчаемъ? Что за фатальная, мистическая сила пригвождаетъ его непремѣнно къ землѣ, и если земля не заставляетъ его тянуть неуклонную лямку, недоѣдать, недосыпать, изнуряться до послѣднихъ силъ, онъ сейчасъ же зазнается и теряетъ подъ ногами всякую нравственную почву? Или это не homo sapiens, а особенной породы животное, которое не въ состояніи существовать, не корпя надъ землей, подобно тому, какъ рыба дохнетъ, какъ только вы ее вынете изъ воды? Или это зависитъ отъ особенной рыхлости натуры славянскаго племени? И при чемъ же опять-таки остаются всѣ наши дорогія иллюзіи? Не мы ли въ противоположность тщедушному интеллигентному человѣку ставили этого богатыря, и физически, и нравственно закаленнаго въ борьбѣ со стихіями, и воображали, что для этого богатыря не существуетъ никакихъ такихъ искушеній, которыя сбиваютъ съ пути нашего брата, слабонервнаго, изнѣженнаго. Гдѣ же и искать нравственной стойкости, предусмотрительности, желѣзнаго стоицизма,—какъ не въ этой натурѣ, скованной морозами трескучими и бѣдами лютыми? И вдругъ этотъ самый богатырь оказывается такой рваной тряпкой, что стоитъ только, чтобы ему перепалъ въ карманъ лишній гривенникъ. и онъ сейчасъ обращается въ какого-то забубеннаго бонъ-вивана, затыкаетъ за-поясъ любого аристократа безуміемъ кутежей и мотовства и кончаетъ тѣмъ, что совсѣмъ сбивается со всякаго круга! Что сей сонъ значитъ?

Въ сущности-же все это оттого именно и происходитъ, что вы имѣете здѣсь дѣло съ богатыремъ, не съ прямолинейнымъ абстрактнымъ богатыремъ нашихъ фантазій, а съ реальнымъ богатыремъ—человѣкомъ. Вамъ ничего не стоитъ въ вашихъ иллюзіяхъ вообразить мужика такимъ героемъ, что суньте его въ огонь, онъ и въ огнѣ не сгоритъ, бросьте въ воду—онъ въ водѣ не потонетъ. Въ дѣйствительности-же, какой-бы онъ ни былъ богатырь, а онъ все-таки человѣкъ, который и въ огнѣ горитъ, и въ водѣ тонетъ, и вообще подчиняется всѣмъ законамъ своей человѣческой природы. А между этими законами есть одинъ всемірный законъ, на который къ сожалѣнію обращаютъ очень мало вниманія, а между тѣмъ этотъ законъ участвуетъ во многихъ какъ частныхъ и незначительныхъ случаяхъ жизни, такъ и историческихъ событіяхъ первой важности. Закономъ этимъ объясняется и настоящій загадочный случай.

Дѣло вотъ въ чемъ: жизнь каждаго организма зависитъ отъ приспособленія къ окружающей средѣ. Это приспособленіе выражается въ борьбѣ съ различными внѣшними вліяніями. Успѣхъ или неуспѣхъ борьбы обусловлены тѣмъ, удастся-ли организму накопить въ себѣ столько мускульныхъ и нервныхъ силъ, чтобы быть въ состояніи выдерживать борьбу. Если количество этихъ силъ уравновѣшивается съ силами внѣшнихъ вліяній или превышаетъ послѣднія, тогда мы и говоримъ про такой организмъ, что онъ приспособился, жизнь его обезпечена. Представьте-же себѣ такой случай, что данный организмъ вполнѣ приспособился къ выдерживаемой имъ борьбѣ, накопилъ въ себѣ столько силъ, сколько ихъ нужно для этого, и силы эти содержатся въ одномъ и томъ-же количествѣ, какъ вдругъ борьба эта сразу прекращается. Что тогда должно произойти? Очевидно въ организмѣ получится избытокъ силъ, не находящихъ никакого приложенія. Еслибы нашъ организмъ имѣлъ способность внезапно измѣняться во всѣхъ своихъ какъ формахъ, такъ и функціяхъ, тогда конечно ничего не стоило-бы ему тотчасъ-же уменьшить выработку силъ, теперь совсѣмъ излишнихъ, и такимъ образомъ приспособиться къ новымъ условіямъ жизни. Но къ сожалѣнію организмъ нашъ лишенъ подобной возможности быстрыхъ превращеній; онъ подчиняется силѣ привычки, своего рода инерціи во всѣхъ своихъ отправленіяхъ. Къ тому-же выработка извѣстнаго

количества силъ въ продолжительное время на столько развиваетъ органы, что они не могутъ по самой своей конструкціи уменьшить выработку. И вотъ мы видимъ, что эти излишнія силы, накапливаясь въ организмѣ, производятъ въ немъ различныя и матеріальныя, и нравственныя пертурбаціи. Смотря по темпераменту и условіямъ жизни организма, ему въ такомъ случаѣ угрожаютъ ожиреніе, различнаго рода гипертрофіи или душевные недуги вродѣ сплина, запоя, жажды широкаго и необузданнаго разгула, противъ которой безсильна оказывается самая желѣзная воля. Этимъ только и можно объяснить многіе загадочные случаи и въ частной, и въ общественной жизни. Не однимъ только Иванамъ Петровымъ, находящимся подъ властью земли, а людямъ всѣхъ слоевъ общества и всякихъ профессій угрожаетъ одно и то же. Мы часто по крайней мѣрѣ встрѣчаемъ, что живетъ какой-нибудь труженикъ воздержно, аккуратно, но стоитъ ему сойти съ почвы привычнаго труда и окунуться въ сферу легкой наживы или внезапно получить наслѣдство, у него закруживается, что называется, голова, и онъ теряетъ всякую власть надъ собой. Вотъ почему люди, внезапно обогатившіеся, гораздо чаще прокучиваютъ свои капиталы, чѣмъ тѣ, которые съ этими капиталами родились. И въ этомъ отношеніи естественно, что чѣмъ упорнѣе была предшествовавшая борьба съ условіями жизни и чѣмъ бо́льшаго напряженія силъ требовалъ трудъ, тѣмъ сильнѣе долженъ быть размахъ освободившихся силъ. Если даже и Акакію Акакіевичу, при томъ ничтожномъ напряженіи нервовъ, съ которымъ соединяется механическая канцелярская работа, не обходится даромъ внезапное опочиваніе на лаврахъ, то чего же мы можемъ ожидать отъ Ивана Петрова при той гигантской борьбѣ со всѣми силами природы, какой обусловливается крестьянская жизнь?

Я уже сказалъ выше, что тотъ-же самый законъ присутствуетъ и во многихъ крупныхъ историческихъ фактахъ. И дѣйствительно, чѣмъ-же, какъ не этимъ закономъ, можно объяснить, что аристократическія сословія Западной Европы, отличавшіяся суровыми и строгими нравами въ средніе вѣка, когда значительное количество мускульныхъ и нервныхъ силъ этихъ сословій тратилось на непрестанныя войны, вдругъ сразу деморализовались и предались необузданному разгулу, послѣ того какъ изъ воинственныхъ феодаловъ они превратились въ праздныхъ придворныхъ? То-же самое мы встрѣчаемъ во многихъ религіозныхъ сектахъ, которымъ изъ воинственныхъ, гонимыхъ, удавалось сдѣлаться господствующими: весь тотъ нравственный закалъ, доходящій до аскетическаго энтузіазма, который составлялъ ихъ главное достоинство, сразу исчезалъ и замѣнялся полной деморализаціей. Но не всегда «освободившіяся силы» ведутъ къ деморализаціи. Онѣ могутъ имѣть иные исходы, еще болѣе роковые и грозные. Ивану Петрову легко было предаться разгулу, потому что онъ былъ выведенъ изъ-подъ власти земли на поле даровой наживы. Представьте-же вы теперь, что онъ былъ-бы только устраненъ съ своей земли и затѣмъ предоставленъ на жертву бездомнаго скитанія: «иди, куда хошь!»... и предположите, что такой участи былъ-бы предоставленъ не одинъ Иванъ Петровъ, а цѣлые ихъ тысячи и милліоны. Подумайте, какой исходъ могъ-бы имѣть этотъ цѣлый океанъ «освободившихся силъ», и что могло-бы остановить и сдержать въ предѣлахъ этотъ страшный океанъ? Вотъ этимъ только и можно объяснить, почему рабочія массы, какъ напримѣръ на Западѣ фабричный пролетаріатъ, не смотря на всѣ экономическіе тиски, по цѣлымъ десяткамъ и сотнямъ лѣтъ безропотно переносятъ самое ужасное существованіе. Но вдругъ разражается какой-нибудь экономическій или политическій кризисъ, сразу огромное количество силъ, до того времени занятыхъ ежедневной работой, освобождается, и происходитъ тогда стихійный взрывъ, сдержать который не въ состояніи оказываются вооруженныя арміи, какъ это было напримѣръ въ 1848 г. въ Парижѣ. Вотъ въ этомъ отношеніи мы можемъ смѣло завѣрить публицистовъ, которые толкуютъ нынѣ о «разнузданіи звѣря»: пусть они успокоются и будутъ увѣрены, что никакіе патріотическіе кличи мракобѣснующихся газетъ съ одной стороны, никакія пропаганды съ другой—не въ состояніи «разнуздать звѣря», если къ нимъ не придутъ на помощь тѣ мудрые ревнители народнаго блага, которые мечтаютъ основать благосостояніе и могущество Россіи на быстромъ обезземеленіи крестьянъ. Только это обезземеленіе, если не будетъ принято противъ него самыхъ энергическихъ мѣръ, и можетъ произвести то, чего совершенно справедливо опасаются господа публицисты, произвести неминуемо, неудержимо, не смотря ни на какія предупредительныя мѣры.

Теперь въ концѣ концовъ и подумайте, слѣдуетъ-ли изъ очерка Гл. Успенскаго такой выводъ, что будто-бы чѣмъ крестьянамъ хуже живется, т. е. чѣмъ у нихъ меньше земли и большими налогами они обложены, —тѣмъ они нравственнѣй и порядочнѣй? Напротивъ того, что же и ведетъ къ тому, что Иваны Петровы бросаютъ свои земли и хозяйства и идутъ искать на вокзалахъ легкаго заработка, какъ не малоземеліе и излишнее обремененіе налогами? Развѣ ушелъ-бы Иванъ Петровъ на вокзалъ, еслибы земли у него было вдоволь и домъ его былъ-бы полной чашей? Отъ добра добра не ищутъ. И очеркъ Гл. Успенскаго представляетъ совершенно противоположное доказательство: именно, что деморализація Ивановъ Петровыхъ зависитъ отъ неустройства и скудости деревенской жизни. Власть земли перестаетъ быть властью, разъ этой земли такъ мало и такъ она скудна, что ею нельзя прокормиться. Вотъ къ какимъ сурово-трезвымъ, но глубоко-истиннымъ взглядамъ ведетъ прямой взглядъ на дѣло безъ всякихъ предвзятыхъ иллюзій. И нѣтъ никакихъ сомнѣній, что въ этихъ взглядахъ, хотя и не льстящихъ народу, таится гораздо болѣе любви къ мужику, чѣмъ во всѣхъ идеализированіяхъ его, а что взгляды эти могутъ принести неизмѣримо бо́льшую пользу и для народа, и для интеллигенціи—объ этомъ не можетъ быть и рѣчи.

III.

Въ лицѣ Андрея Осиповича Новодворскаго (А. Осиповича) русская жизнь потеряла одного изъ своихъ

литературныхъ младенцевъ. Правда, младенецъ этотъ появился на свѣтъ въ 1877 году, 24 лѣтъ отъ роду, и существовалъ затѣмъ пять лѣтъ безъ малаго, но печатался онъ такъ рѣдко, и талантъ его, хотя и обратилъ на себя вниманіе съ первой повѣсти, все-таки такъ мало еще опредѣлился, что до конца дней онъ оставался младенцемъ, главная дѣятельность, значеніе и слава котораго скрывались еще въ будущемъ. Но онъ—не расцвѣлъ и отцвѣлъ въ утрѣ пасмурныхъ дней. А случилось это потому, что онъ родился не въ сорочкѣ и былъ младенцемъ не какимъ либо государственнымъ, а именно литературнымъ. Извѣстно вѣдь, что русская жизнь далеко не ко всѣмъ своимъ дѣтищамъ—чадолюбивая мать; къ инымъ она относится какъ самая суровая мачиха. У нея есть свои любимцы, которыхъ она сама кормитъ, поитъ, не жалѣя молока, сама пеленаетъ, обмываетъ и пѣсенки надъ колыбелью распѣваетъ, вродѣ того, что «будешь въ золотѣ ходить, чисто серебро носить». Но зато другихъ она только и надѣляетъ, что одними шлепками,—и къ числу самыхъ нелюбимыхъ, самыхъ заброшенныхъ безспорно принадлежатъ младенцы литературные. «Ахъ, чтобъ васъ черти забрали; принесла васъ нелегкая на свѣтъ!» Подобной фразой вполнѣ опредѣляются всѣ отношенія суровой мачихи къ своимъ нежеланнымъ и негаданнымъ пасынкамъ. Одна часть русской жизни, представителями которой являются Катковы, Суворины, Буренины и тому подобный гадъ, при нарожденіи каждаго новаго литературнаго младенца приходитъ обыкновенно въ такое остервенѣніе, что такъ вамъ и кажется, что она его сейчасъ-же схватитъ за ноги да головой объ уголъ. Другая часть русской жизни, правда, очень сочувствуетъ нарожденію новыхъ литературныхъ чадъ и очень хлопочетъ о томъ, чтобы ихъ нарождалось какъ можно больше, но въ свою очередь все это болѣе на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. По крайней мѣрѣ прочтите коротенькій некрологъ Новодворскаго, напечатанный Ясинскимъ въ мартовской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», и вы увидите, что вся жизнь сошедшаго въ преждевременную могилу литературнаго младенца ничѣмъ не отличалась отъ жизни тѣхъ покинутыхъ птенцовъ, которые отдаются въ воспитательный домъ и затѣмъ умерщвляются въ глуши чухонскихъ деревень. До вступленія на литературное поприще, пока Новодворскій еще не народился на свѣтъ въ качествѣ литературнаго младенца, а находился еще въ эмбріональномъ состояніи, онъ существовалъ въ качествѣ молодого разночинца, борющагося за свое существованіе. Это существованіе, вполнѣ соотвѣтствуя эмбріональному періоду, представляло собой чистый мракъ кромѣшный безпріютнаго скитальчества, голода, холода или учительской каторги, исполненной всякаго рода униженій, въ нѣдрахъ барскихъ семей. Изъ этого мрака только и долетаютъ до насъ одни раздирающіе душу стоны, вродѣ слѣдующихъ:

«Скверно! Когда это все кончится? Такъ какъ я обязался быть религіознымъ, то на дняхъ былъ въ церкви. Бѣдная деревенская церковь, обычный священникъ, поучающій паству, усердствующій народный учитель завывающій съ своимъ хоромъ на клиросѣ и приводящій въ восторгъ поселянъ, все это, при холодной погодѣ и пасмурномъ днѣ, произвело на меня впечатлѣніе чего-то очень безпріютнаго, горемычнаго, сѣраго... Крестьянки причащали грудныхъ и годовалыхъ ребятъ и кормили ихъ послѣ церемоніи краюхой хлѣба. Мнѣ стало какъ-то очень тяжело. Я ясно почувствовалъ, что я теперь дальше отъ народа, чѣмъ когда-бы то ни было; что я теперь не только не могу быть чернорабочимъ, какъ мечталъ когда-то, но что даже положеніе народнаго учителя едва-ли было-бы мнѣ подъ силу... А между тѣмъ почти всѣ крестьяне и крестьянки были въ шубахъ, тогда какъ на мнѣ было плохенькое пальтишко — единственное мое теплое одѣяніе; между тѣмъ какъ девять десятыхъ всѣхъ этихъ мужиковъ никогда не голодали такъ, какъ голодалъ я, и ни одинъ такъ, какъ постоянно голодаютъ мать и сестренки... Дѣло значитъ ясно: мнѣ опротивѣла та обстановка безпріютности, которой пахнетъ при словѣ «мужикъ», опротивѣла, потому что я слабѣю, тогда какъ онъ не перемѣняется, что я измучился, усталъ отъ нравственныхъ мученій (каковы бы они ни были, они всегда бываютъ глупы), которыя ему меньше знакомы... А между тѣмъ я себя воспитываю, чтобы слиться съ народомъ! Да это просто насмѣшка! Насмѣшка надъ логикой съ моей стороны и горькая иронія обстоятельствъ надо мной!»

Или еще того проще, и тѣмъ ужаснѣе:

«Голодъ! Когда ты оставишь меня? Вѣчный физическій или душевный голодъ!.. Да будь хоть семи пядей во лбу, а если тебя бросить въ бездонное болото, ты такъ-же прекрасно потонешь, какъ самый слабый смертный! Вши такъ-же преспокойно могутъ заѣсть нищаго рабочаго, какъ заѣли бы Гёте, если-бы у него не было бѣлья, платья и жратвы... Грязь! «Это злѣйшій врагъ моей жизни!» Это моя фраза, но она произнесена въ другое время; она вырвалась у меня, какъ стонъ больной души, а потому я поставилъ ее въ кавычки, какъ изреченіе. Это было шесть лѣтъ тому назадъ. Я путешествовалъ изъ Москвы, не ѣлъ двое сутокъ и въ такомъ видѣ пріѣхалъ въ Винницу. До дому оставалось 45 верстъ, которыя надлежало пройти пѣшкомъ. Дѣло было въ октябрѣ. Дождь, грязь, слякоть. Со мной не было вещей, но зато, можно сказать, и штановъ не было, потому что тѣ жалчайшія лѣтнія панталоны, что были на мнѣ, въ смыслѣ удобства, смѣло можно было признать равными нулю; кромѣ того ботинки (тоненькія, помню, ботинки), шинелишка и башлыкъ. Безъ отдыха по этой дорогѣ я прошелъ тридцать верстъ, а зато потомъ чуть не падалъ на каждой верстѣ...»

Насколько улучшилось его положеніе послѣ рожденія въ качествѣ литературнаго младенца и какъ русская жизнь въ роли нѣжной матери пѣстовала свое талантливое и многообѣщающее чадо, вотъ что повѣствуетъ объ этомъ Ясинскій:

«1878—1880 гг. были особенно гибельны для здоровья Андрея Осиповича. Онъ перенесъ два тифа и сталъ кашлять. Жилъ онъ въ послѣднее время «роскошно», какъ онъ выражался. Уроками онъ добывалъ рублей 30—40 въ мѣсяцъ, которые и издерживалъ на себя, а литературный заработокъ отсылалъ родным. Комната у него была крошечная (отъ 10 до 15 р. въ мѣсяцъ), и онъ часто перемѣнялъ квартиру въ надеждѣ найти что-нибудь поудобнѣе, обѣдалъ въ кухмистерскихъ за 40 коп., одѣвался «весьма прилично», такъ что по внѣшности производилъ впечатлѣніе человѣка «благоденствующаго.» Бѣдность научила его относиться къ каждой заработанной копѣйкѣ съ уваженіемъ и жить съ изумительной аккуратностью...

«Зловѣщіе признаки исхода незамѣтной болѣзни Андрея Осиповича, которую онъ считалъ «легонькимъ бронхитомъ», появились въ срединѣ лѣта прошлаго года, когда онъ пожилъ на дачѣ въ крошечной комнаткѣ съ сквознымъ вѣтромъ и течью. Онъ поѣхалъ на югъ, въ Винницу, но тамъ дождь (фигурирующій въ предсмертномъ разсказѣ его: „Исто-

рія») промочилъ его до костей, и онъ уже серьезно простудился, такъ что, снова появившись въ августѣ въ Петербургѣ, испугалъ меня своимъ чахоточнымъ видомъ. Въ ноябрѣ онъ уѣхалъ заграницу—увы!—съ тѣмъ, чтобы не возвращаться на родину, которую такъ страстно любилъ и муками которой болѣлъ и терзался...»

Къ этому всему остается только прибавить, что онъ умеръ въ крайней нищетѣ въ казенной больницѣ, и это было не въ какомъ-нибудь захолустьѣ, а въ Ниццѣ, гдѣ такъ много русскихъ, и притомъ среди массы нашихъ соотечественниковъ конечно были такіе, которые знали, что такое былъ Новодворскій, читали его, можетъ быть хвалили и питали относительно его благія надежды... Скажи мнѣ, читатель, возможное-ли дѣло, чтобы въ Петербургѣ умеръ какой-нибудь нѣмецъ съ самымъ маленькимъ литературнымъ именемъ, и чтобы его соотечественники, нѣмцы, наибуржуазнѣйшіе булочники и колбасники, оставили-бы его умирать безъ всякихъ средствъ гдѣ-нибудь въ Обуховской больницѣ!.. У тебя не стынетъ кровь въ жилахъ, читатель?

А между тѣмъ этотъ ненакормленный, непригрѣтый и загубленный литературный младенецъ, какъ ни мало существовалъ онъ, успѣлъ оставить замѣтный слѣдокъ въ литературѣ. Очень можетъ быть, что его младенческій лепетъ и не дойдетъ до потомства, будетъ заглушенъ иными рѣчами, болѣе мужественными, громкими и блестящими, но современники его не забудутъ, такъ какъ разсказы его въ свое время произвели на нихъ глубокое впечатлѣніе и кое-что освѣтили имъ въ пониманіи окружающей ихъ низменной сутолоки, заставили ихъ кое-о-чемъ задуматься и кое-чѣмъ встревожиться такимъ, что они безъ этихъ произведеній пропустили-бы безъ всякаго вниманія. Ужъ одно то обратило всеобщее вниманіе, что въ лицѣ Новодворскаго выступила на литературное поприще первая художественная сила изъ рядовъ молодого поколѣнія 70-хъ годовъ, и надо отдать справедливость, выступила блистательно. Отъ перваго произведенія Новодворскаго «Ни пава, ни ворона» сразу повѣяло на всѣхъ чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ и главное дѣло совершенно новымъ. Самая форма произведенія этого поражала своей оригинальностью и полнымъ разрывомъ съ завѣщанными традиціями. По крайней мѣрѣ она настолько-же отступала отъ прилизанной, прикрашенной и припомаженной беллетристической формы, созданной 40-ми годами, насколько произведенія новыхъ французскихъ романтиковъ 20-хъ годовъ разнились отъ ложно-классической рутины. Бездна южно-русскаго юмора, смѣлое введеніе въ разсказъ не только классическихъ литературныхъ типовъ (Печорина, Рудина, Базарова и проч.), но и самого Тургенева, котораго авторъ заставилъ разговаривать съ героемъ его «Нови», Соломинымъ, безпрестанныя то лирическія, то юмористическія отступленія, и необузданное, прихотливое изложеніе, слѣдующее болѣе полету фантазіи и игрѣ сцѣпляющихся мыслей, чѣмъ внѣшнему развитію сюжета, все это напоминаетъ гейневскую прозу, и читатель отдыхалъ отъ монотонной рутины пріѣвшагося ему стараго беллетристическаго изложенія, расположеннаго обыкновенно по разъ установленному порядку: глава I—встрѣча героя съ героиней; глава II—біографія героя съ рожденія до встрѣчи съ героиней; глава III—біографія героини съ рожденія до встрѣчи съ героемъ; глава IV—объясненіе въ любви, глава V—паденіе; глава VI—начало измѣнъ, разлукъ и всякихъ мукъ и т. д. Здѣсь ничего этого не было: начиная читать страницу, читатель не зналъ, что встрѣтитъ неожиданно въ концѣ ея, и ему было весело.

Но форма формой, а главное, что всѣхъ интриговало, это содержаніе: всѣмъ и каждому было интересно узнать, что думаетъ, чувствуетъ и чѣмъ живетъ юная формація людей 70-хъ годовъ. До той поры эта юная формація изображалась или съ предвзятой карикатурностью и съ зубовнымъ скрежетомъ Авсѣенками и Незлобиными, или-же если и съ желаніемъ отнестись безпристрастно и правдиво, то людьми зрѣлаго и даже болѣе чѣмъ зрѣлаго возраста, которымъ приходилось ограничиваться наблюденіями со стороны и которые волей неволей примѣшивали къ своимъ наблюденіямъ воспоминанія своей собственной юности, протекшей въ иную эпоху, при иныхъ обстоятельствахъ и вѣяніяхъ. Здѣсь-же къ наблюденіямъ присоединялся опытъ, и само юное поколѣніе устами лучшаго своего представителя вѣщало намъ, чѣмъ оно живетъ и къ чему стремится.

Къ величайшему сожалѣнію, какъ преждевременная смерть, такъ и различныя внѣшнія обстоятельства, независѣвшія отъ автора, конечно мѣшали ему развернуть полную картину жизни современной намъ молодежи и представить послѣднюю во всѣхъ ея разнородныхъ типахъ. Ему удалось отдернуть передъ нами лишь одинъ кончикъ занавѣски, но и то, что показалъ онъ за этимъ кончикомъ, во всякомъ случаѣ заслуживаетъ полнаго вниманія, и мы остановимся на этомъ, для того чтобы опредѣлить значеніе того слѣдка, который оставилъ въ нашей литературѣ покойный писатель.

Повѣсти Новодворскаго очень рѣзко раздѣляются на два рода. Къ первому роду принадлежатъ: «Ни пава, ни ворона», «Карьера», «Романъ», а затѣмъ слѣдуютъ разсказы вродѣ «Мечтатели» и «Исторія». Въ послѣднихъ разсказахъ авторъ нѣсколько отступилъ отъ того пути, по которому шелъ сначала. Вмѣсто обрисовки типовъ людей молодого поколѣнія и раскрытія передъ нами внутренней ихъ жизни, что только и возможно въ нашей современной литературѣ при всѣхъ ея тягостныхъ условіяхъ, онъ увлекся тою особеннаго сорта беллетристикой, которая въ два, три послѣдніе года создалась подъ вліяніемъ событій и время отъ времени причиняетъ не мало тревожныхъ мукъ многимъ редакторамъ, которые обыкновенно только руками разводятъ, не зная, что имъ дѣлать и какъ быть при вопросѣ о помѣщеніи того или другого разсказа въ этомъ родѣ. Я признаю всю неизбѣжность подобной беллетристики и очень хорошо понимаю всю естественность того факта, что злоба дня, волнуя и угнетая всѣ сердца, не можетъ не употреблять всѣхъ усилій, чтобы такъ или иначе не вторгнуться въ литературу. Но, надо сказать правду,—неизвѣстно, къ чему приведутъ всѣ эти усилія въ будущемъ, въ настоящемъ-же они представляютъ собой

ничего болѣе, какъ «шопотъ, робкое дыханье». Это — беллетристика не въ какомъ-либо метафизическомъ, но въ буквальномъ смыслѣ — призрачная, потому что здѣсь вы не найдете ни типовъ, ни характеровъ, ни объясненій мотивовъ, поступковъ, ни психическаго анализа, а одни призраки, мелькающіе передъ вами въ густомъ, непроницаемомъ туманѣ. Герои этихъ разсказовъ мало того, что совершаютъ свои главные поступки гдѣ-то за кулисами и авторъ ни словечка не молвитъ о томъ, что они тамъ такое дѣлаютъ, но иногда они и совсѣмъ не выходятъ на сцену (какъ напримѣръ въ «Мечтателяхъ» Новодворскаго главный герой Псевдонимовъ).

Совсѣмъ другое дѣло первые три разсказа Новодворскаго. Въ нихъ повѣствуется не о какихъ-либо внѣшнихъ событіяхъ съ героями и такихъ происшествіяхъ, о которыхъ писатель предоставлялъ-бы вамъ самимъ догадываться, какъ знаете; конечно и здѣсь неизбѣжно встрѣчается кое-гдѣ нѣчтоподобное; но суть здѣсь не въ этомъ, а въ самомъ нутрѣ героевъ, въ ихъ нравственной конструкціи и типическихъ особенностяхъ. Этими разсказами мы и ограничимся.

Въ двухъ первыхъ разсказахъ, въ «Эпизодѣ изъ жизни ни павы, ни вороны» и въ «Карьерѣ», передъ нами рисуется одинъ и тотъ-же герой, отъ лица котораго ведутся оба разсказа Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что во второмъ разсказѣ герой этотъ мало того, что въ художественномъ отношеніи обрисованъ гораздо рельефнѣй, но въ то же время и освѣщенъ гораздо правильнѣе и сознательнѣй. Видно, что, когда Новодворскій писалъ «Эпизодъ», онъ хотя и вѣрно представлялъ себѣ типъ своего героя, какъ художникъ, но, какъ мыслитель, не успѣлъ еще осмыслить его вполнѣ и неясно сознавалъ, какое мѣсто занимаетъ герой его въ нашей жизни. Вслѣдствіе этой смутности сознанія онъ создалъ цѣлую теорію «ни-павства-ни-воронства», подъ которую подвелъ всѣхъ и вся,—и своего героя, и самого себя, и другого героя изъ народа — Печерицу, и даже самого Бѣлинскаго.

«Что такое Бѣлинскій, какъ типъ?» заставляетъ авторъ Соломина объяснять Тургеневу, съ которымъ онъ разговариваетъ въ Баденъ-Баденѣ: «это—«алчущая правды», вѣчно страдающая, вѣчно рвущаяся къ свѣту ни пава, ни ворона... Онъ родился между воронами, въ вороньей обстановкѣ; родился впечатлительнымъ, сердечнымъ, добрымъ и сразу сталъ чувствовать себя не ладно въ вороньей средѣ. Онъ задыхается, ищетъ воздуха. А тамъ, у подножья божества, спокойно расположились павы... Неотъемлемая особенность его характера—неудовлетворимость и стремленіе къ идеалу. Ни вороны, ни павы этого не испытываютъ. У первыхъ ничего подобнаго не зарождалось въ головѣ, а вторыя успокоились на лонѣ какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи или на такомъ громадномъ запасѣ силы, что предъ ней всѣ сомнѣнія, всѣ терзанія—нудь! Бѣлинскому завидно это олимпійское спокойствіе. Онъ такъ энергично рвется къ богинѣ, что наконецъ можетъ достать до нея рукой и съ восторгомъ смотритъ внизъ, на громадный вороній міръ, копошащійся тамъ, далеко. Но тутъ-то оказывается, что павой ему никогда не бывать, не потому, чтобы его ощипали, а просто потому, что въ немъ самомъ много вороньяго; онъ страстно любитъ воронъ... Вотъ и начинаетъ чудить Бѣлинскій. Онъ протягиваетъ руку внизъ, зоветъ воронъ, не смотря на то, что павамъ это можетъ быть вовсе нежелательно потомъ, видя, что вороны не обнаруживаютъ ни малѣйшаго поползновенія летѣть такъ высоко, онъ схватываетъ богиню за подолъ платья и тянетъ ее внизъ, къ воронамъ; когда и эти желанія ни къ чему не приводятъ, онъ, больной, измученный, проклинаетъ и божество, и воронъ и умираетъ .. ни павой, ни вороной,»

Все это очень и художественно, и остроумно. Подобнаго рода аллегоріи можно развивать до безконечности, нагромождая одну на другую, и изъ нихъ могутъ нѣкоторыя блистать не только остроуміемъ, но и глубокомысліемъ. Но если вы, отрѣшившись на время отъ этихъ аллегорій, взглянете на знакомыя вамъ черты Бѣлинскаго, какъ онѣ рисуются передъ вами въ его статьяхъ, письмахъ, фактахъ жизни, и затѣмъ сравните съ ними типическія черты героя разсказа Новодворскаго, сообразно тому, какъ эти черты рисуются въ его дѣйствіяхъ и помышленіяхъ, вы немедленно-же убѣдитесь, что между Бѣлинскимъ и героемъ Новодворскаго ничего нѣтъ общаго, что если «ни-павство, ни-воронство» понимать въ томъ смыслѣ, какъ авторъ прилагаетъ это къ Бѣлинскому, то герой разсказа его къ подобному понятію совсѣмъ не подходитъ, и наоборотъ, если «ни-павство, ни-воронство» олицетворяется въ типическихъ чертахъ героя, то Бѣлинскій тутъ останется совсѣмъ въ сторонѣ или, если хотите, правильнѣе сказать, Бѣлинскій по отношенію къ герою долженъ парадировать чистокровной павой.

Все это недоразумѣніе произошло изъ того, что авторъ, когда задумалъ писать свой эпизодъ, хотя художественно и вѣрно постигалъ своего героя, но такъ мало еще понималъ его, что вообразилъ его и въ самомъ дѣлѣ заправскимъ героемъ. Вслѣдствіе этого поставилъ его на пьедесталъ и мало того, что приравнялъ его къ Бѣлинскому, но сверхъ того присвоилъ ему очень лестную генеалогію, по которой вышло, что дѣдъ его былъ Демонъ, отецъ—Печоринъ, а Рудинъ и Базаровъ—старшіе братья. Въ концѣ концовъ Новодворскій приравнялъ своего героя и къ себѣ самому въ своемъ дневникѣ, а за нимъ и біографъ его, Ясинскій, въ свою очередь отождествляетъ покойнаго писателя съ его героемъ. Я никогда не видалъ Новодворскаго и не знаю его; Ясинскому конечно лучше судить объ этомъ. Но во всякомъ случаѣ подобное тождество, еслибы оно существовало, было-бы очень прискорбно, хотя мнѣ сдается, что если Новодворскій и находилъ въ себѣ черты, сходныя съ его героемъ, то конечно на самомъ дѣлѣ подобное сходство простиралось до такой лишь степени, въ какой Пушкинъ походилъ на Владиміра Ленскаго или Лермонтовъ - на Грушницкаго. Вѣдь увѣрялъ-же Гоголь, что, смѣясь надъ своими героями, онъ въ нихъ (не исключая Хлестакова и Плюшкина) осмѣиваетъ свои собственные недостатки.

Что-же такое представляетъ собою герой разсказовъ Новодворскаго, если мы отстранимъ всѣ аллегоріи и авторскія объясненія, а посмотримъ на него непосредственно, какъ онъ проявляетъ себя въ жизни? А вотъ что:

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ литература наша начала изображать такъ называемыхъ героевъ своего

времени, она постоянно изображала ихъ въ парномъ видѣ, т. е. вмѣсто одного выводила параллельно двухъ героевъ. Оба эти героя являлись обыкновенно помазанными однимъ и тѣмъ же елеемъ и поклоняющимися одному и тому-же богу ихъ эпохи, но въ то же время между ними замѣчалась существенная разница. Одинъ изъ нихъ представлялъ изъ себя настоящаго героя, служилъ дѣйствительнымъ и полнымъ воплощеніемъ духа своего времени. Натура не только воспріимчивая, но и глубокая, страстная энергія, незнающая покоя, желѣзная воля—являлись постоянно главными качествами этого героя. Иногда подъ вліяніемъ какой-нибудь мрачной эпохи въ подобномъ героѣ отрицательные элементы развивались насчетъ положительныхъ, и тогда онъ рисовался въ видѣ демона, въ которомъ преобладали хищническіе и разрушительные элементы; но и въ такомъ печальномъ видѣ герой заключалъ въ себѣ чарующее и обаятельное, что влекло къ нему всѣхъ мало-мальски увлеченныхъ движеніемъ вѣка.

Что-же касается второго героя, то онъ былъ или отраженіемъ перваго, или его блѣдной тѣнью и жалкой пародіей. Въ то время какъ первый представлялъ собой силу, второй былъ олицетвореніемъ слабости: безхарактерность, нерѣшительность, апатія, слабодушіе были преобладающими качествами его. Онъ и увлекался то духомъ времени совсѣмъ иначе: идеи вѣка отражались въ немъ плоско, мелко; онъ придавалъ большее значеніе формальной сторонѣ ихъ, чѣмъ углублялся въ ихъ суть. Въ то время какъ первый былъ отрицаніемъ пороковъ и недуговъ своего вѣка, второй, напротивъ, былъ весь проникнутъ ими. Это не мѣшало ему порой быть очень симпатичнымъ своей кротостью, прямодушіемъ и голубинымъ незлобіемъ,—но тѣмъ не менѣе онъ носилъ на себѣ всѣ грѣхи отцовъ и дѣдовъ, былъ до мозга костей зараженъ разными наслѣдственными худосочіями и подъ блестящей внѣшностью передовика скрывалъ въ себѣ вполнѣ ветхаго человѣка, полагаться на котораго было опасно. Различіе его отъ пошлой толпы въ этомъ отношеніи заключалось лишь въ томъ, что онъ сознавалъ міазмы и язвы, которыя разъѣдали его организмъ, но избавиться отъ нихъ не имѣлъ ни силъ, ни воли, и ограничивался лишь тѣмъ, что стучалъ до боли въ грудь и разражался самообличительными тирадами.

И дѣйствительно, вы не назовете мнѣ ни одного изъ выдающихся героевъ времени, рядомъ съ которымъ не стоялъ-бы его антиподъ: такъ, рядомъ съ Чацкимъ парадируетъ передъ нами произведеніе того-же духа времени—Репетиловъ, рядомъ съ Онѣгинымъ—Владиміръ Ленскій, рядомъ съ Печориныимъ—Грушницкій, рядомъ съ Рудинымъ и Бельтовымъ рисуются Круциферскіе, Чулкатурины и разные Гамлеты Щигровскаго уѣзда, рядомъ съ Базаровымъ—Николай Кирсановъ, рядомъ съ Рязановымъ (герой повѣсти Слѣпцова «Трудное время»)—Щетининъ. И если мы теперь спросимъ: къ какому-же разряду относится герой разсказовъ Новодворскаго? то я полагаю, что каждый безъ малѣйшихъ колебаній скажетъ намъ, что конечно ко второму, а никакъ не къ первому. Такимъ образомъ генеалогія нашего героя совершенно измѣняется: прадѣдушкой его является Репетиловъ, дѣдушкой—Владиміръ Ленскій со своей «душою чисто геттингенской», отцомъ — Чулкатуринъ, а Кирсановъ и Щетининъ—старшими братьями. Взглянемъ на нравственныя черты нашего героя, и мы въ этомъ убѣдимся.

Репетиловъ —и вдругъ герой разсказовъ Новодворскаго, что̀ можетъ быть тутъ общаго, помилуйте! Репетиловъ — богачъ, строющій каменные дома съ колоннами на Фонтанкѣ, кутила, игрокъ, волокита, шатающійся ночи на пролетъ то по великосвѣтскимъ баламъ и раутамъ, то по разнымъ вертепамъ разврата, Репетиловъ, который

... бредилъ цѣлый вѣкъ обѣдомъ или баломъ;
Объ дѣтяхъ забывалъ, обманывалъ жену;
Игралъ, проигрывалъ, въ опеку взятъ указомъ,
Танцовщицу держалъ, да не одну—
Трехъ разомъ;
Пилъ мертвую, не спалъ ночей по девяти;
Все отвергалъ: законы, совѣсть, вѣру...

и вдругъ—тщедушный, испитой отъ голода и нищеты юноша, весь оборванный, почти безъ штанишекъ, шлепающій въ бурю и дождь по грязи въ тоненькихъ ботиночкахъ безъ подошвъ и пробирающійся на пристань работать вмѣстѣ съ мужиками, таскать бревна. Есть-ли тутъ хоть тѣнь какого либо подобія?

Но вѣдь и ты, читатель, каковъ бы ты ни былъ и что бы изъ себя ни представлялъ, навѣрное не имѣешь ни малѣйшаго подобія со своимъ прадѣдомъ, несмотря на то, что навѣрное многое отъ него наслѣдовалъ и кровь у тебя въ жилахъ течетъ зараженная тѣми же міазмами. Репетилову съ пола-горя было строить дома на Фонтанкѣ, держать танцовщицъ, задавать роскошные обѣды и проигрывать десятки тысячъ, такъ какъ ему досталась отъ родителей масса населенныхъ имѣній, и къ тому же вмѣстѣ съ несмѣтными богатствами онъ наслѣдовалъ отъ предковъ остатокъ богатырскихъ физическихъ силъ: дѣдъ его ломалъ подковы, какъ бисквиты, и одинъ выходилъ чуть не на трехъ сразу медвѣдей; не мудрено, что и Репетилову ни почемъ сходили и безсонныя ночи, и безумные кутежи. Но сынокъ Репетилова—Владиміръ Ленскій былъ далеко уже не то; онъ могъ еще считаться въ деревенскомъ захолустьѣ богатымъ женихомъ, но уже ни домовъ каменныхъ съ колоннами, ни несмѣтныхъ тысячъ въ банкѣ, ни необозримыхъ земель,—ничего этого уже не было: все батюшка успѣлъ спустить на цыганочекъ, да въ картишки. Да и физическими силами Ленскій былъ уже не то. Здоровье его только и сохранялось, что при умѣренной жизни среди деревенскаго воздуха. Его «геттингенская душа» не жаждала уже того широкаго разгула и размаха, какъ безпардонная душа папеньки: онъ всю жизнь свою наполнялъ единственно тѣмъ, что писалъ стишки въ альбомы провинціальныхъ барышень, воспѣвалъ Ольгу Ларину, и былъ этимъ вполнѣ доволенъ. А сынъ его Чулкатуринъ опустился еще ниже. Онъ является мелкопомѣстнымъ, ничтожнымъ дворянчикомъ. Жалкій остатокъ дѣдовскихъ богатствъ уже не прокармливаетъ его, и онъ, чтобы не умереть съ голоду, принужденъ приняться за мелкую службу или учительство. Маленькое дѣло

за которое онъ берется единственно ради прокормленія, его не занимаетъ, бѣдность и униженное положеніе его гнетутъ, а вырваться изъ «заѣдающей среды» у него нѣтъ ни силъ, ни воли. На сердцѣ у него скребутъ кошки сознанія своей дрянности и дряблости; зараженный грѣхами отцовъ и развинченный безпутствомъ, организмъ носитъ въ себѣ зародыши всевозможныхъ хроническихъ недуговъ, — и онъ сходитъ въ преждевременную могилу, снѣдаемый злой чахоткой.

А далѣе — пошло еще того хуже. Крестьянъ отобрали. Послѣднія крохи въ видѣ выкупныхъ свидѣтельствъ были скоро прожиты. Поля начали зарастать бѣлоусомъ, усадьба ветшать, службы разваливаться, сады обратились въ непролазныя чащи. Наконецъ всѣмъ этимъ завладѣлъ Деруновъ,—и семья Чулкатуриныхъ быстро дошла до послѣдней степени нищеты. «Мы,—повѣствуетъ герой «Карьеры»,—прожили послѣднія крохи, оставшіяся послѣ отца, и быстро скатились по наклонной плоскости разоренія Новая квартира обходилась намъ по рублю въ мѣсяцъ. Это была половина избы какого-то отставного ундера, представлявшая двѣ крошечныя горницы, соединенныя не дверью, а промежуткомъ между кухонной печью и выступомъ противоположной стѣны. Первая отъ входа поступила въ мое владѣніе, вторую заняли мать съ сестрами. У меня было оконце, и у нихъ оконце»...

И это была нищета гораздо горше и ужаснѣй той нищеты, которую терпятъ обыкновенно люди низшихъ словъ общества. Тѣ хоть что-нибудь умѣютъ, на что-нибудь годны, и потому для нихъ больше представляется возможности найти хоть какой ни на есть скудный кусокъ хлѣба. А здѣсь вы видите полную растерянность, неумѣнье ни за что взяться, ни въ чемъ найтись, и въ концѣ-концовъ безвыходное отчаянье. Люди простого класса способны хоть съ собой-то распорядиться самимъ, обшить, обмыть и т. п., а здѣсь привыкли, чтобы за нихъ все дѣлали другіе, и потому теперь по шею тонутъ въ грязи, не въ состояніи будучи палецъ о палецъ ударить, чтобы хоть соръ-то вымести съ половъ или вещи привести въ порядокъ. Но зато попадетъ имъ случайно въ руки лишній грошъ въ видѣ какой-нибудь подачки или заложенной у еврея оставшейся еще отъ Ольги Ларионой брилліантовой брошки, сейчасъ-же этотъ послѣдній грошъ ставится ребромъ, и въ то время какъ забывается о томъ, что необходимо было-бы заштопать безобразную и бросающуюся въ глаза прорѣху, на столѣ являются конфекты и всякія финтифлюшки...

А что-же дѣлаетъ въ это время прядставитель рода Репетиловыхъ - Чулкатуриныхъ? Онъ занимается благороднымъ дѣломъ: лежитъ на диванѣ и мечтаетъ о широкой дѣятельности. Замѣчательно, что, несмотря на то, что малый кончилъ уже курсъ гимназіи, онъ не чувствуетъ ни малѣйшаго призванія къ какому-нибудь дѣлу, и для него рѣшительно все равно, за что-бы ни приняться, и въ то-же время въ мечтахъ о какомъ-нибудь дѣлѣ его занимаетъ не самое дѣло, а его собственная фигура, блистающая на героическомъ пьедесталѣ. Но послушаемъ, что самъ онъ говоритъ объ этомъ предметѣ:

«Въ инженеры»... «на медицинскій»... куда въ самомъ дѣлѣ дѣвать ся? Ну, хорошо – инженеръ. Ну, построилъ дорогу, мостъ построилъ... Развѣ трудно построить дорогу, когда деньги есть? Но, положимъ, трудно. Еще что-нибудь пос трошлъ; наконецъ все, все построилъ, что только возможно. Что-же потомъ? Чинить и поддерживать старое? Гм... Или вотъ: медикъ. Прописалъ одному лекарство. другому—лекарство, а черезъ мѣсяцъ они снова заболѣли. А умирать надо, — такъ ужъ ни одинъ медикъ не поможетъ. Развѣ вылечили моего отца? Умеръ вѣдь... А сестренка Вѣра? Коли башмаки дырявые, такъ никакое лекарство не поможетъ. Чиновникъ? Но мой отецъ былъ чиновникъ. Пріѣдетъ какой-нибудь ревизоръ, такъ жаль смотрѣть: суетится, ничего не помнитъ, дрожитъ... Эхъ-ма!..

«А между тѣмъ меня такъ и подмывало, такъ и тянуло «куда-то». Замѣчательно, что для меня не существовало математики, юриспруденціи, медицины и т. д., а былъ учитель математики, задающій задачи и пускающій ученикамъ пыль въ глаза; былъ инженеръ; былъ чиновникъ, пишущій за номерами какія-то бумаги страннымъ языкомъ, играющій въ карты, ѣздящій съ колокольчикомъ и боящійся ревизора; былъ медикъ, прописывающій рициновое масло и совѣтующій остерегаться его собрата, другого медика, тоже прописывающаго рициновое масло.

«Я началъ подробнѣе представлять себѣ всевозможнаго рода дѣятельности, потомъ соединялъ ихъ вмѣстѣ и тогда получалось нѣчто гармоническое. Непріятные представители разныхъ профессій замѣнились мало-по-малу пылкими молодыми людьми съ благородными порывами въ сердцѣ, съ огнемъ въ глазахъ, съ жаркимъ румянцемъ оживленія на щекахъ. Между прочимъ было много женщинъ. Взошло яркое солнце, зашумѣли рощи, заструились прозрачные ручьи, явились тучныя нивы, деревья погнулись подъ тяжестью плодовъ,—словомъ, вышла такая прелестная картина, я такъ увлекся обработкой подробностей, что не замѣтилъ, какъ наступилъ вечеръ и въ комнатѣ стемнѣло. Легкій ударъ по плечу вывелъ меня изъ области грезъ.

— О чемъ ты задумался, голубчикъ?

«То была моя старшая сестра и любимица Надя. Она присѣла ко мнѣ, склонила на плечо голову, и мы нѣсколько минутъ молчали. Я не отвѣтилъ на ея вопросъ; она сама приблизительно знала, о чемъ я задумался.

— А у насъ почти совсѣмъ денегъ нѣтъ... ты знаешь?, спросила она, словно отвѣчая на новое направленіе моихъ мыслей.

«Я кивнулъ головой.

– Право это ужасно! Я не знаю, что съ нами будетъ.. Когда у насъ еще было триста рублей, я взяла тихонько двѣсти и спрятала. Они у мамы подъ подушкой лежали. Думаю, тебѣ дамъ; она вѣдь все равно растратитъ. Но она такъ убивалась, плакала, что я назадъ положила. Теперь очень жалѣю, что не выдержала характера.

«Мы снова помолчали», и т. д.

Что представляютъ собой подобныя мечты, въ которыхъ на первомъ планѣ стоитъ обыкновенно не самое дѣло въ его сути и благихъ послѣдствіяхъ, а герой на пьедесталѣ? А это не что иное, какъ одинъ изъ существенныхъ міазмовъ, которые бродятъ по завѣщанію отъ отцовъ и дѣдовъ въ крови всѣхъ Репетиловыхъ, Чулкатуриныхъ. Въ «Эпизодѣ» подобное отношеніе къ дѣлу выставлено еще рельефнѣе, во всемъ его циническомъ безобразіи. Героиня обозвала нашего героя филистеромъ:

«А! филистеръ! - воскликнулъ онъ:—такъ вотъ же тебѣ!». Подъ покровительствомъ сильнаго баса, съ аккомпаниментомъ самоотверженнаго tenore dolce, я сразу погружаюсь въ грязь по колѣни и начинаю что-то расчищать во главѣ цѣлой арміи рабочихъ...

«Филистеръ? Смотри же теперь: видишь эти мозолистыя руки? видишь, какъ моему голосу повинуются тысячи народа? Да какого народа! Всѣ мрачны и силачи, словно изъ бронзы вылиты; а какъ говорятъ! Хочешь, любой изъ нихъ заговоритъ такимъ образцовымъ мужицкимъ нарѣчіемъ, что какую угодно книжку за поясъ заткнетъ?.. А я расчищаю, командую, работаю... Каждая изъ этихъ бронзовыхъ фигуръ обладаетъ бабой, которая не упрекаетъ, а только любитъ его, а я одинокъ... Ничего; мнѣ это, можно сказать, незамѣтно: другая идея у меня въ головѣ... И все командую, командую: покурю и снова командую.»

Да, подобнаго рода герои никакъ не могутъ себѣ вообразить ни такого порядка вещей, ни такого дѣла, чтобы собрались люди изъ любви къ самому дѣлу, а не къ пьедесталу, чтобы они затѣмъ уважали и любили другъ въ другѣ товарищей, братьевъ, а не пресмыкающихся передъ ними рабовъ, чтобы дѣйствовали любовно, сообща, по взаимному совѣту, настолько-же подчиняя своей волѣ товарища-брата, на сколько сами подчиняясь ему.

Имъ и въ голову не приходитъ ничего подобнаго. Для нихъ непремѣнно нужно, чтобы они гордо возвышались надъ толпой и тысячи народа повиновались ихъ голосу, а на нихъ въ восторгомъ въ это время любовались женскія очи. Вы представьте себѣ, что все человѣчество заразилось бы тѣмъ же, и каждый смертный только о томъ и мечталъ бы, чтобы командовать и командовать, покурить и командовать. Что бы могло изъ этого выйти иного, какъ не то, что всѣ поголовно взаимно другъ друга переѣли бы, и родъ человѣческій долженъ былъ бы прекратиться? Отчего же у насъ и рушатся многія хорошія дѣла раньше своего возникновенія, что соберется пять-шесть Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ, и не столько занимаетъ ихъ дѣло, сколько стремленіе во что бы ни стало преобладать надъ компаньонами и командовать, и въ результатѣ получается рядъ интригъ, пререканій, и, перегрызшись другъ съ другомъ, люди расходятся заклятыми врагами... Да будь ты на вѣки вѣчные проклятъ, старозавѣтный идеалъ командованія!...

Но одной этой гангреной не органичивается дѣло. Репетиловъ завѣщалъ своимъ потомкамъ еще одинъ міазмъ, преобладающій въ ихъ организмѣ и съѣдающій ихъ, а именно: необузданное сластолюбіе и чревоугодіе. Есть люди, у которыхъ главнымъ стимуломъ всѣхъ мыслей и дѣлъ является юбка. Куда бы ни забросила ихъ судьба, они тотчасъ же первымъ дѣломъ оглядываются вокругъ себя, нѣтъ ли гдѣ вблизи подходящаго сюжетца для романа, если возможно, то и для нѣсколькихъ романовъ. Что-бы они ни предприняли, повидимому совершенно посторонее и нейтральное, въ концѣ концовъ оказывается, что или это дѣлается ради побѣды надъ какимъ-нибудь непреклоннымъ сердцемъ, или же роковымъ путемъ сводится все къ той-же неизмѣной любовной интрижкѣ. Такъ напримѣръ, герой «Эпизода», сознавши наконецъ всю неблаговидность лежанія на диванѣ и мечтаній о широкой дѣятельности въ то время, какъ родные его чуть не умираютъ съ голоду, пошелъ на уроки—приготовить мальчика въ заведеніе. У насъ съ вами конечно подобнаго рода дѣло такъ бы и ограничилось вполнѣ прозаическимъ учительствомъ ради снисканія куска хлѣба. У героя же сейчасъ-же расцвѣлъ цѣлый романъ, героиней котораго сдѣлалась сама хозяйка дома,—дама лѣтъ 30, но не безъ пикантности; и какая еще любовь, самая возвышенная! Это у насъ съ тобой, читатель, можетъ быть выходитъ такъ, что дѣло, такъ дѣло, а любовь, такъ любовь, каждому необходимому элементу мы опредѣляемъ свое мѣсто въ жизни и повторяемъ вслѣдъ за Чацкимъ:

Когда дѣла, я отъ веселья прячусь,
Когда дурачиться—дурачусь,
Но смѣшивать два эти ремесла
Есть тьма искусниковъ,—я не изъ ихъ числа.

У этихъ-же людей все выходитъ какъ-то наоборотъ: у нихъ дѣло, какъ мы уже говорили выше, представляется только повидимому дѣломъ, а подъ этой видимостью непремѣнно скрывается какая-нибудь клубничка; такъ и наоборотъ—любовь принимаетъ въ ихъ глазахъ характеръ какого-то, мало сказать — возвышеннаго дѣла, священнодѣйствія. Благородная героиня никогда не спустится до того, чтобы признаться вамъ, что она жаждетъ ничего болѣе, какъ любви; нѣтъ, она жаждетъ дѣла, жертвы. А у героя конечно и помышленія нѣтъ о томъ, чтобы срывать цвѣты удовольствія: о нѣтъ, онъ подвиговъ, подвиговъ жаждетъ!

«Она склонилась ко мнѣ на грудь,—говоритъ герой «Эпизода»,—и тихонько всхлипывала.. Она не можетъ жить такъ; она мечтала о дѣятельности, о самоотверженіи и рѣшилась посвятить себя человѣку, казавшемуся ей великимъ; она ошиблась... Т. е. онъ конечно прекрасный, добрый, благородный... но она ему не нужна... А онъ такъ привѣтливъ, предупредителенъ къ ней... Ей это не по силамъ, она пойдетъ за мной. Такое мелодическое жужжаніе, прерываемое слезами и ласками. Я нѣжно поддерживалъ ее, не прерывалъ, далъ выплакаться въ волю. Наконецъ она успокоилась, выпрямилась и проговорила, улыбаясь юмористически, т. е. сквозь слезы:

— Не правда-ли, какая я слабая?.. О, отчего у меня нѣтъ твоей силы! Но вѣдь ты - скала! прибавила она черезъ минуту. Какъ она на меня посмотрѣла!..»

Послѣ подобной риторики чувства выступаетъ на сцену обыкновенно риторика дѣла. Надо-же героямъ показать другъ-другу, что они въ самомъ дѣлѣ жаждутъ не однихъ только срываній цвѣтовъ удовольствія, а подвиговъ, жертвъ... и вотъ въ какомъ видѣ являются эти подвиги:

«Мы нарядились очень мило и просто. Я надѣлъ красную рубаху и смазные сапоги; Анна Михайловна—сарафанъ съ пышными рукавами, заплела въ двѣ тяжелыя косы свои прекрасные волосы, воткнула какой-то простенькій цвѣтокъ и даже не взглянула въ зеркало; въ моихъ глазахъ она видѣла, что восхитительнѣе этого костюма ничего и выдумать невозможно. Мы вышли въ поле—не вечеромъ и не гулять, а въ жаркій полдень — «валять тяжелые снопы». У воротъ намъ встрѣтилась Марья Андреевна (племянница героини). Не знаю почему, я покраснѣлъ. На этотъ разъ не было никакого сомнѣнія: она вся превратилась въ насмѣшливый взглядъ; но интересно, что я покраснѣлъ еще до этого взгляда. Замѣтно было, что Анна Михайловна тоже какъ будто сконфузилась.

— Что это за маскарадъ?

«Это было сказано про себя, но какъ ядовито сказано! Таково было начало; конецъ вышелъ еще хуже. Противный маскарадъ!

«Въ полѣ кипѣла работа. Бабы въ однѣхъ рубахахъ, какъ бѣлые грибы, выглядывали изъ высокой ржи; парни и мужики съ потными загорѣлыми лицами клали снопъ за снопомъ и куда-то ужасно торопились. На жнивѣ стояла телѣга, подъ которой въ тѣни лежала мохнатая собака, высунувъ языкъ, и ребенокъ съ соской въ рукѣ и цѣлымъ роемъ мухъ на глазахъ. Тощая лошаденка со спутанными ногами паслась тутъ-же.

«Понятно, что пейзаны приняли насъ съ распростертыми объятіями. Нужно было видѣть ихъ улыбки! Анна Михайловна жала болѣе граціозно, чѣмъ хорошо, я—ни граціозно, ни хорошо; мы съ удовольствіемъ оставили серпы, чтобы присосѣдиться къ пейзанамъ, которые скоро расположились полдничать. Милый, простодушный народъ! Какъ они уставились на насъ, въ особенности бабы и дѣвки на Анну Михайловну! Какъ они вслушивались въ каждое наше слово! Не помню, о чемъ мы говорили, но очень хорошо и пріятно говорили.»

Маскарадъ,—какое это глубокое и мѣткое слово для выраженія не только вышеприведенной комической сцены, но и всей жизни этихъ героевъ: да, вся жизнь ихъ есть не что иное, какъ маскарадъ, и до гробовой доски приходится имъ парадировать шутами въ разныхъ дурацкихъ костюмахъ.

Но до какой степени подо всей этой риторикой словъ и маскарадомъ дѣла у этихъ господъ развращено и изгажено обыкновенно бываетъ воображеніе, объ этомъ мы можемъ судить по герою «Карьеры». Онъ былъ въ Петербургѣ, куда пріѣхалъ учиться, голодалъ и искалъ уроковъ. Случайно на улицѣ онъ познакомился съ дѣвушкой, которая была въ такомъ-же положеніи, какъ и онъ: тоже пріѣхала учиться, голодала и тщетно искала уроковъ. Бѣдняжка нѣсколько дней уже не ѣла и находилась въ такомъ изнеможеніи, что герой съ трудомъ дотащилъ ее до своей каморки и уложилъ на свою постель. Она начала метаться, бредить, и у нея очевидно начался голодный тифъ. И вотъ мы читаемъ: «Она забормотала какую-то безмыслицу, стала метаться на постели и рвать платье. Я разстегнулъ ей юбку, снялъ башмаки, чулки, сильно заштопанные на пяткахъ и съ влажными желтыми пятнами на подошвахъ, вытеръ до суха худыя, почти дѣтскія ноги и прикрылъ ихъ одѣяломъ».. Ну, и что-жъ далѣе? Далѣе мы съ тобой читатель поставили-бы конечно точку. Сдѣлалъ герой то, что былъ обязанъ сдѣлать каждый человѣкъ, у котораго сердце не обратилось еще въ камень, ну, и честь ему, что-жъ можетъ быть далѣе? Но герой и тутъ, у постели умирающей, не забылъ своихъ клубничныхъ грезъ, и, заключивъ вдругъ вышеприведенную фразу запятой, прибавилъ къ ней слѣдующія слова: «т. е. продѣлалъ все то, что при другихъ обстоятельствахъ могло-бы составить весьма пикантную страницу романа».

Какъ тебѣ нравится это, читатель? Вѣдь это уже мало сказать—цинизмъ, а чистое кощунство. Послѣ этого отъ героя можно ожидать, что онъ въ такихъ-же выраженіяхъ сталъ-бы надругаться и надъ трупомъ этой самой дѣвушки, вздумалъ-бы описывать напримѣръ, какъ онъ обмывалъ похолодѣвшіе члены только-что скончавшейся, и вдругъ-бы разразился чѣмъ-нибудь въ такомъ-же родѣ: «т. е. продѣлалъ все то» и т. д. О, Репетиловъ, Репетиловъ, что ты завѣщалъ своимъ потомкамъ!..

И вотъ этотъ-то испакощенный всяческими и физическими, и нравственными міазмами, завѣщанными отъ отцовъ и дѣдовъ, выродившійся правнукъ Репетилова рѣшается наконецъ, повинуясь духу времени, отъ риторики перейти къ самому дѣлу, и даже не какому-нибудь хитрому дѣлу, а лишь азбукѣ дѣла, дерзаетъ впрягаться въ трудовую лямку рабочаго человѣка. Но тутъ комедія превращается въ трагедію. Здѣсь подводится передъ нами роковой, окончательный итогъ всей жизни героя со всѣмъ его настоящимъ и прошлымъ. Какъ герой, онъ не могъ избрать какую-нибудь легкую и сообразную его истощеннымъ силамъ работу, а сразу рѣшился взяться за самую тяжелую, пошелъ на пристань таскать бревна... Но послушаемъ, какъ самъ онъ описываетъ свое горестное fiasco:

«Въ какомъ-то сладострастномъ опьяненіи подошелъ и я къ полѣну, но... въ этой минутѣ, казалось, сосредоточились, какъ въ фокусѣ, всѣ предшествовавшіе, разрозненные элементы скандала; полѣно было очень тяжело, такъ что при попыткѣ поднять его меня всего бросило въ жаръ.

«Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту, плаксиво притворился я, якобы хладнокровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей въ головѣ не было: было только одно чувство...

«Ахъ, какое это было чувство, «прекрасная читательница!..» Если-бы съ молодой дѣвушки, въ первый разъ выѣхавшей въ свѣтъ, въ самый разгаръ бала свалилось платье; если-бы только-что обвѣнчавшійся, страстно влюбленный юноша, выводя изъ церкви новобрачную, вдругъ почувствовалъ, что на ласки любимой женщины можетъ отвѣчать только слезами отчаянія—ни та, ни другой навѣрное не испытали-бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю.

— Ну, ну!. раздавались ободрительные голоса. Я употребилъ нечеловѣческое усиліе и поднялъ. Въ спинѣ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелѣе. У меня не хватило силъ донести его; я пошатнулся, выпустилъ свою ношу и самъ повалился на скользкія доски барки...

— Э, да что ты!..

— Ха! ха! Не сладко? слышались голоса товарищей.

«Я смутно сознавалъ все происходившее вокругъ. Мнѣ было невыносимо жутко.

— Ну, парень, серьезно проговорилъ старикъ-рабочій, тотъ самый сѣденькій мужичекъ въ красной рубахѣ, что сидѣлъ у мачты:—это видно—не твое дѣло, тебѣ-бы сюда не соваться...Дай, помогу, что-ли!

«Но мнѣ не нужна была его помощь. Я всталъ, молча поднялъ упавшую съ головы шапку и, тихо шатаясь, пошелъ прочь...

— Утікъ, хлопци, ей Богу... ха, ха, ха! слышалось сзади.

— Ишь, щелкоперъ!

— Чего зубы скалишь? Ну, извѣстно парень хворый... Изъ лакеевъ должно быть.

«Полнѣйшій хаосъ въ головѣ. Я брелъ на удачу, едва различая предметы: въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось: «хворый, хворый...» «Бѣдный, несчастный, тряпка!» Мной вдругъ овладѣло бѣшенство. «Отдайте же мнѣ мое здоровье, варвары!» крикнулъ я, сжавъ кулаки. Къ кому я обращался? Кого винилъ? Я самъ не сознавалъ. Голосъ мой, т. е. не мой, а какое-то тончайшее сопрано, прозвучалъ весьма минорно и заставилъ меня опомниться. Проходившая мимо баба съ корзиной въ рукахъ остановилась и сосредоточенно уставилась на меня удивленными глазами; пепельный салопъ, сѣрый пла-

*

токъ, вся какая-то сѣрая, лицо морщинистое, доброе, съ выраженіемъ: «хворый, бѣдняжка!»... Пробѣжала куцая собака съ глазами, говорившими какъ нельзя болѣе ясно: «проходи, знай, проходи, не трону: найдемъ и получше, если зубы почистить захочется.» Проѣхалъ ломовой извозчикъ; у лошади узда была мочалкой перевязана—надо полагать, колечко потерялъ; какая-то кокарда, какой-то красный кушакъ, шляпка...

«Я очутился на мосту, опершись о перила и сталъ глядѣть внизъ. «Ты—скала... придешь за мной? Я вѣдь ничего не боюсь... Нѣтъ, лучше не приходи, несчастный: куда тебѣ!»

«Пронеслась лодка, проплыла доска, отъ барки должно быть, гвозди торчали, щепка какая-то... Я тупо смотрѣлъ на все это. «А что, ежели-бъ этакъ шарахнуться?» Какая-то сладострастная судорога, послѣднее ясное ощущеніе и послѣдняя ясная мысль»...

Вотъ она передъ вами разгадка столь многихъ уединенныхъ выстрѣловъ, такъ часто раздававшихся въ послѣднее время. Выстрѣлы эти объясняются обыкновенно тяжкими условіями и смутными обстоятельствами нашего времени. Но сильные и цѣльные люди борятся съ этими условіями и обстоятельствами. Другое дѣло Репетиловы-Чулкатурины: здѣсь послѣднимъ словомъ жизни является отрезвленіе отъ самообольщенія пьедесталомъ, отчаянное сознаніе полной несостоятельности. Герой успѣлъ постыдно убѣжать отъ всего, что призывало его: убѣжалъ отъ родныхъ, которые взывали къ нему о помощи, убѣжалъ отъ женщины, которая полюбила его, убѣжалъ отъ ученья, убѣжалъ и отъ дѣла, которое оказалось ему не по силамъ, и что же ему остается, какъ не убѣжать и отъ самой жизни? Такъ скажи мнѣ теперь, читатель, что же тутъ общаго съ Бѣлинскимъ, этимъ въ своемъ родѣ цѣльнымъ и сильнымъ человѣкомъ, который всю жизнь стремился къ одной благой и высокой цѣли и палъ вовсе не вслѣдствіе своей несостоятельности, а, напротивъ, однимъ изъ самыхъ мужественныхъ и непреклонныхъ борцовъ русской мысли?.. Вотъ въ этомъ отношеніи «Карьера» и отличается отъ «Эпизода», что здѣсь тотъ-же самый герой не ставится ни на какой пьедесталъ, а является въ своемъ настоящемъ видѣ, во всемъ своемъ нравственномъ убожествѣ, съ кличкой кислятины, вполнѣ къ нему подходящей. А главное дѣло въ томъ, что здѣсь герой этотъ оттѣняется выведеннымъ рядомъ съ нимъ типомъ совсѣмъ иного закала. Таковъ Стремилинъ съ его характерной кличкой злючки. Но къ сожалѣнію типъ этотъ далеко не такъ всесторонне развитъ и очерченъ, какъ его товарищъ. Онъ выясняется нѣсколько лишь въ концѣ разсказа, и тамъ вы видите вполнѣ опредѣленно всю ту разницу, какая существуетъ между нимъ и героемъ разсказа. Когда герой, послѣ всѣхъ своихъ мытарствъ и постыдныхъ fiasco, возвращается снова домой, онъ вдругъ съ ужасомъ узнаетъ, что нищета семьи его дошла до такой крайней степени, что младшая сестра его, Катя, дошла до проституціи.

«Нѣтъ,—разсказываетъ онъ:—не могу передать въ точности безобразной драмы этого дня. Катя была, представьте себѣ... у офицера!.. То есть она прежде была у офицера, а потомъ узнала, что я пріѣду, и пропала. Что было дальше, представляется мнѣ теперь, какъ во снѣ. Я выбѣжалъ, помню, безъ шапки и направился прямо къ квартирѣ «офицера.» Небольшая комната, табачный дымъ, нѣсколько мужчинъ безъ сюртуковъ—за карточнымъ столомъ. Я дрожалъ, задыхался; я не могъ произнести ясно ни одного слова... Недоумѣвающіе взгляды, потомъ громкій смѣхъ и—«пошелъ вонъ!» Я вышелъ на улицу и натянулся на злючку. Въ первый разъ послѣ лѣтъ дѣтства я ему обрадовался; въ первый разъ онъ встрѣтилъ меня безъ насмѣшки. Онъ былъ блѣденъ и страшенъ.

— Отдай мнѣ эту дѣвушку! Я ее любилъ!.. Онъ схватилъ меня за плечо, но сейчасъ-же опомнился.

— Ты его убилъ.

«Онъ не получилъ отвѣта, взялъ меня, какъ ребенка, за руку, и мы вошли въ его комнату. Не помню, рѣшительно не помню... Это былъ какой-то тяжелый кошмаръ. Крикъ и гамъ—все покрывалъ голосъ злючки. Онъ разломалъ стулъ и махалъ имъ во всѣ стороны. Что-то потомъ блеснуло... Кто-то крикнулъ: «кровь!.. доктора!.»

Въ разсказѣ «Романъ» подобный-же типъ въ лицѣ Алешки очерченъ болѣе полно. Въ то время какъ злючка представленъ въ одномъ отрицательномъ видѣ истителя, здѣсь тотъ-же герой является передъ вами и съ положительной стороны, въ качествѣ спасителя молодой и неопытной дѣвушки отъ гибельнаго увлеченія пошлякомъ. Но и здѣсь этотъ типъ лишь намѣченъ и далеко не является передъ вами во весь ростъ, въ полномъ и всестороннемъ изображеніи, подобно тому, какъ рисуются передъ вами, словно до сихъ поръ живые,—Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Базаровъ. Смерть помѣшала Новодворскому исполнить эту задачу и оставила на его долю лишь Репетиловыхъ - Чулкатуриныхъ. Впрочемъ вообще нужно замѣтить, что до сихъ поръ и вся наша современная беллетристика страдаетъ тѣмъ-же весьма существеннымъ пробѣломъ. Въ «Запискахъ Темкина», въ «Золотыхъ сердцахъ» Златовратскаго, въ нѣкоторыхъ разсказахъ Гл. Успенскаго (напр. «Три письма») вы встрѣтите много отдѣльныхъ чертъ и намековъ на типъ героя нашего времени, но до сихъ поръ еще полнаго образа беллетристика наша не представила. Возможно-ли въ настоящее время выполненіе этой важной и трудной задачи, когда и кѣмъ она будетъ выполнена, и будетъ-ли—это покрыто мракомъ неизвѣстности.

IV.

Разсказы Вс. Гаршина, изданные отдѣльнымъ изданіемъ, были уже разобраны разными рецензентами, и всѣ въ одинъ голосъ признали, что Гаршинъ обладаетъ выдающимся и очень симпатичнымъ талантомъ. При этомъ были кое-гдѣ заявлены сожалѣнія, что Гаршинъ стоитъ на почвѣ мрачнаго гамлетизма, что очень прискорбно и странно для писателя изъ молодого поколѣнія въ наше мрачное и тяжелое время, когда всѣ силы должны употребляться на борьбу, а отнюдь не на какія-бы то ни было гамлетовскія рефлексіи.

Прискорбно это или не прискорбно—дѣло личнаго вкуса. Что же касается до того, пристало-ли молодому писателю предаваться гамлетовскимъ рефлексіямъ, это вопросъ вовсе не такой легкій, чтобы рѣшить его однимъ почеркомъ пера, и я его не то чтобы рѣшительно отстраняю, но желаю подойти къ нему совсѣмъ съ другой стороны, т. е. не съ той стороны—слѣдуетъ или не слѣдуетъ быть такому страннному явленію, а со стороны самаго явленія. Какъ бы то ни

было, а оно на лицо: молодой писатель съ выдающимся и симпатичнымъ талантомъ, вмѣсто того чтобы вдохновлять въ насъ мужество, выступаетъ передъ нами съ цѣлымъ рядомъ гамлетовскихъ сѣтованій на тщету всего земного. Что сей сонъ значитъ? Разъ фактъ существуетъ, онъ конечно имѣетъ свои причины, вызвавшія его. Конечно причины могутъ быть какія-нибудь случайныя, исключительныя, лежащія въ частной жизни автора и его натурѣ. Но, не говоря уже о вопіющемъ содержаніи разсказовъ Гаршина,— напередъ a priori можно заключить, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ такими причинами: вѣдь еслибы это было такъ, въ такомъ случаѣ Гаршинъ представлялъ бы собой явленіе исключительное, стоящее внѣ общаго теченія, и въ такомъ случаѣ онъ не производилъ бы впечатлѣнія таланта симпатичнаго, затрогивающаго сердца и волнующаго читателей своихъ. Да и вопросъ еще, существуютъ-ли такія единичныя явленія, которыя, вызываясь своими особенными, исключительно имъ принадлежащими причинами, стояли бы особняками внѣ духа времени и среды, какъ какіе-нибудь аэролиты, занесенные изъ другой планеты?

А разъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ, хотя бы и не съ всеобщимъ и преобладающимъ въ наше время, но во всякомъ случаѣ выдающимся и принадлежащимъ обширной категоріи, то вопросъ о причинахъ его становится на первомъ планѣ, и лишь по изслѣдованіи этихъ причинъ и по ближайшемъ знакомствѣ съ самымъ явленіемъ, мы можемъ придти къ заключенію, какое подлежитъ ему отвести мѣсто въ нашей жизни, и если это явленіе прискорбно, то имѣемъ-ли мы возможность отъ него избавиться.

Но прежде всего позвольте мнѣ вамъ задать такой вопросъ: имѣете-ли вы вполнѣ ясное и правильное понятіе о томъ, что̀ такое гамлетизмъ? Понятіе это образовалось въ эпоху полнаго господства метафизики, и я сильно сомнѣваюсь въ томъ, пробовали-ли вы это понятіе пересадить съ метафизической почвы на реальную, или оно остается въ вашей головѣ все въ томъ же неизмѣнномъ видѣ, въ какомъ вы его получили отъ отцовъ и дѣдовъ? Въ метафизическую же эпоху на гамлетизмъ смотрѣли чуть-что не какъ на особенную субстанцію, какъ на природный темпераментъ особеннаго рода, предполагая, что люди отъ рожденія являются Гамлетами или Донкихотами, совершенно подобно тому, какъ они родятся блондинами или брюнетами. Но нынѣ достаточно самаго элементарнаго знанія физіологіи и психологіи, чтобы понять всю нелѣпость подобнаго представленія гамлетизма. Достаточно двухъ-трехъ фактовъ историческихъ, двухъ-трехъ фактовъ изъ окружающей васъ жизни или личнаго опыта, чтобы понять, что гамлетизмъ есть не что иное, какъ извѣстное психологическое настроеніе, и что, подобно всѣмъ прочимъ психологическимъ настроеніямъ, онъ можетъ быть миролетнымъ или хроническимъ. Можно, пожалуй, родиться Гамлетомъ, но это не значитъ родиться съ какой-то неизмѣнной психической субстанціей, а все равно какъ родятся золотушными, съ наклонностью къ чахоткѣ, какому-нибудь виду сумасшествія и даже къ пьянству. Но этого мало, что гамлетизмъ, какъ извѣстное психическое настроеніе или, пожалуй, если хотите, болѣзнь, есть явленіе преходящее, которому каждый смертный можетъ подвергнуться, можетъ отъ него и избавиться, — происходитъ это настроеніе отъ самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ комбинацій и иногда отъ причинъ, діаметрально противоположныхъ, вслѣдствіе чего и характеръ каждаго случая гамлетизма является совершенно особенный, специфическій и своеобразный, такъ что подъ словомъ «гамлетизмъ» разумѣется понятіе крайне сложное. Общаго во всѣхъ сортахъ гамлетизма только и есть, что извѣстное психическое настроеніе со всѣми его симптомами, какъ-то: угнетеннымъ, мрачнымъ настроеніемъ духа, упадкомъ энергіи и активности, развитіемъ скептическаго и пессимистическаго взгляда сначала на свою собственную особу, а потомъ и на весь людской родъ, а въ концѣ концовъ наклонность къ помѣшательству, пьянству или самоубійству. Но ведутъ къ этому болѣзненному состоянію духа тысячи путей самыхъ разнородныхъ, и достаточно перечислить нѣсколько изъ нихъ, наиболѣе существенные, чтобы убѣдиться, отъ какихъ иногда совершенно противоположныхъ причинъ проистекаетъ гамлетизмъ.

Представьте себѣ, что масса образованныхъ, передовыхъ людей, а за ними и все общество впродолженіи многихъ десятковъ лѣтъ стремились къ прекрасной и благой, намѣченной впереди, цѣли. Много было принесено страшныхъ жертвъ, пролиты моря крови, чтобы достигнуть этой цѣли. Нѣсколько разъ казалось уже, что цѣль близка, почти въ рукахъ. Но въ концѣ концовъ она оказалась вдругъ такъ-же далека, какъ была въ началѣ. Массы охладѣли къ тщетнымъ усиліямъ, устали, махнули на все руками и предались безпробудной спячкѣ. Но среди этихъ массъ осталось нѣсколько неутомимыхъ борцовъ, неусыпныхъ стражей среди общаго сна, которые никакъ не могутъ упустить изъ вида все ту-же благую цѣль. Они продолжаютъ рваться къ ней, продолжаютъ будить окружающихъ и взывать къ нимъ. Но тщетны всѣ ихъ старанія разбудить кого-либо. Вмѣсто сочувствія они встрѣчаютъ одинъ ропотъ недовольства, какъ безпокойные люди, мѣшающіе спать, ихъ начинаютъ гнать и всячески преслѣдовать. Видя, что ничего не беретъ и что безсильны они вдохнуть въ общество прежнюю энергію, бодрствующіе борцы сами опускаютъ руки, энергія ихъ гаснетъ, они впадаютъ въ мрачное разочарованіе, въ нихъ начинаетъ развиваться скептическое настроеніе по отношенію и къ окружающимъ людямъ, и къ самимъ себѣ,— однимъ словомъ, изъ нихъ дѣлаются Гамлеты. Въ такого рода гамлетизмъ впадали идеалисты начала нынѣшняго столѣтія, выразителемъ котораго послужилъ лордъ Байронъ.

Но можетъ случиться и такъ, что опять-таки нѣсколько передовыхъ людей увлекутся цѣлью вовсе не какой-нибудь утопической, вѣковой, а, напротивъ того, самой простой и элементарной, и къ тому-же такой, которая давно уже осуществлена болѣе зрѣлыми обществами, и это осуществленіе успѣло принести несомнѣнно прекрасные плоды. Но къ сожалѣнію среда до такой степени невѣжественна, что не въ состояніи возвыситься до пониманія даже и этой простой и элементарной цѣли, и немногіе люди, сознавшіе

ее, являются отдѣльными свѣтлыми точками, теряющимися въ глухомъ и непробудномъ мракѣ. Такъ этихъ людей еще мало и такъ они разрозненны, что освѣтить имъ этотъ мракъ, каждый своимъ отдѣльнымъ свѣточемъ, нѣтъ никакой возможности,— и вотъ является сознаніе одиночества, безсилія, лишности, ненужности, а затѣмъ опять-таки скептицизмъ личный и общій,—и пошла писать губернія. Нужно-ли и прибавлять, что такого рода гамлетизмъ въ обиліи развивался въ 40-е годы на почвѣ нашей россійской жизни.

А вотъ и третій случай гамлетизма: человѣкъ стремится къ цѣли, въ сознаніи его вполнѣ осуществимой. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сознаетъ, что у него нѣтъ ни малѣйшихъ силъ для осуществленія, чувствуетъ себя полнымъ банкротомъ. Но въ то-же время онъ настолько субъективенъ (опять-таки вслѣдствіе слабости своихъ психическихъ силъ), что онъ не въ состояніи сознать, что это банкротство лишь его личное качество или можетъ быть двухъ-трехъ подобныхъ ему субъектовъ. Ему представляется, что вся среда, все современное поколѣніе, племя и чуть-что не всѣ человѣчество раздѣляетъ съ нимъ это банкротство. Въ результатѣ развивается гамлетизмъ опять-таки своего особеннаго рода — гамлетизмъ современныхъ намъ героевъ вродѣ «Ни павы, ни вороны» Новодворскаго (см. мое предыдущее письмо).

Въ-четвертыхъ, совершенно наоборотъ гамлетизмъ можетъ развиться при обиліи психическихъ силъ вмѣстѣ съ полнымъ отсутствіемъ какой-бы то ни было цѣли, къ достиженію которой силы эти могли-бы быть приложены. Таковъ гамлетизмъ Печорина. Въ-пятыхъ, независимо отъ количества силъ гамлетизмъ можетъ развиться, когда человѣка преслѣдуютъ двѣ цѣли, одинаково неизбѣжныя, но въ то же время совершенно противоположныя, исключающія другъ друга и поэтому парализующія энергію человѣка. Таковъ гамлетизмъ шекспировскаго Гамлета. Въ-шестыхъ, гамлетизмъ развивается очень часто въ высшихъ слояхъ общества, какъ истощеніе психическихъ силъ, вслѣдствіе пресыщенія земными благами; человѣкъ въ такомъ случаѣ приходитъ къ убѣжденію, что все на свѣтѣ суета суетъ и всяческая суета, потому что онъ все испыталъ, всѣмъ насладился и пришелъ къ заключенію, что все это выѣденнаго яйца не стоитъ. Наконецъ въ-седьмыхъ, опять-таки совершенно наоборотъ—особеннаго рода гамлетизмъ развивается на чердакахъ и въ подвалахъ отъ истощенія психическихъ силъ вслѣдствіе голода.

Вотъ сколько видовъ гамлетизма мы насчитали,—цѣлыхъ семь,—а далеко не исчерпали всѣхъ ихъ, взяли только попавшіеся подъ руку. Но если порыться въ исторіи, въ художественныхъ произведеніяхъ, въ жизни, можно очень легко насчитать и семью семь и все-таки не дойти до конца счета, потому что жизнь въ своихъ комбинаціяхъ безконечна. Каждый-же диссонансъ ея, все, что насъ давитъ, терзаетъ, мучаетъ,—все это можетъ привести къ гамлетизму, разъ мы поколебались духомъ въ борьбѣ, обезсилѣли или какимъ-нибудь путемъ потерянъ въ нашихъ глазахъ самый смыслъ борьбы.

Въ виду всего этого сказать, что такой-то писатель имѣетъ наклонность къ гамлетизму, еще не значитъ опредѣлить его. Слѣдуетъ показать, какой характеръ имѣетъ гамлетизмъ и въ какомъ отношеніи находится онъ къ своему вѣку. Вотъ объ этомъ-то мы и потолкуемъ по отношенію къ Гаршину.

Выше я уже замѣтилъ, что гамлетизмъ шекспировскаго Гамлета заключается въ томъ, что человѣкъ преслѣдуетъ разомъ двѣ противоположныя цѣли, которыя тянутъ его каждая въ свою сторону и тѣмъ самымъ парализуютъ его энергію. Подобнаго рода гамлетизмъ особенно сильно развивается въ переходные періоды, на рубежѣ двухъ эпохъ, когда старые идеалы, понятія и предразсудки всякаго рода мало того что не успѣли еще вполнѣ утратить своего обаянія, но, покоясь на старыхъ порядкахъ, продолжаютъ еще быть обязательными, какъ основной нравственный долгъ человѣка и гражданина; а между тѣмъ явились уже новые идеалы, которые раскрываютъ передъ человѣкомъ всю несостоятельность старыхъ и влекутъ его совершенно въ противоположную сторону. Такимъ именно и является шекспировскій Гамлетъ. Онъ вполнѣ олицетворяетъ въ своемъ лицѣ героя эпохи renaissance, когда средневѣковой мракъ едва успѣлъ разсѣяться, а солнце новой цивилизаціи едва озарило европейскій горизонтъ пурпуромъ восхода. Воспитанникъ Виттенбергскаго университета, философъ, Гамлетъ успѣлъ уже пріобщиться новаго духа гуманности. Характеръ его смягчился, утратилъ феодальную суровость. Кровь ему начала претить, и онъ не въ состояніи уже былъ проливать ее съ такимъ равнодушіемъ, какъ Лаертъ,—этотъ человѣкъ, вполнѣ вѣрный всѣмъ преданіямъ старины, не тронутый и потому въ своемъ родѣ цѣльный. Гамлетъ былъ бы вполнѣ на своемъ мѣстѣ въ качествѣ распространителя просвѣщенія въ своемъ отечествѣ, въ обществѣ такихъ-же, какъ онъ, философовъ, въ роли гуманнаго покровителя художниковъ и ученыхъ. Судьба-же его повлекла вдругъ совсѣмъ въ другую сторону, бросила въ грубую, полудикую среду и поставила лицомъ къ лицу съ звѣрскимъ преступленіемъ, противъ котораго возмутилась вся его природа. Средневѣковая традиція личной кровавой мести обязывала его за кровь платить кровью-же; онъ оставался вѣренъ этой традиціи, но мечъ колебался въ его рукахъ, привыкшихъ держать книги, и онъ не въ состояніи уже былъ отдаться жаждѣ мести съ такой-же беззавѣтностью, съ какой отдался ей Лаертъ. Оттуда и произошли всѣ колебанія, отсрочки, рефлексіи и пр.

Буквально въ такомъ-же положеніи мы видимъ героевъ перваго и третьяго разсказовъ Гаршина. Разсказы эти, «Четыре дня» и «Трусъ», были написаны, очевидно подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ послѣдней войны. Въ послѣдней же войнѣ была такая особенность, которую мы почти не встрѣчаемъ во всѣхъ предыдущихъ нашихъ войнахъ. Въ прежнія времена наши войска состояли изъ массы рядовыхъ, по большей части безграмотныхъ и темныхъ, которые, правда, насильственно отрывались отъ родины, семьи и плуга, но разъ этотъ болѣзненный процессъ выносился новобранцемъ, онъ потомъ вполнѣ входилъ въ роль солдата и смотрѣлъ на войну, какъ на свою священную обязанность безъ разсужденій и какихъ-либо со-

мнѣній. Интеллигентная же часть войска (исключая рѣдкихъ случаевъ насильственной отдачи въ солдаты въ видѣ административной кары) состояла почти вся изъ добровольцевъ, смотрѣвшихъ на войну, какъ на свое единственное призваніе, и притомъ считавшихъ это призваніе выше всѣхъ прочихъ государственныхъ и общественныхъ функцій. Все войско такимъ образомъ состояло изъ ревностныхъ поклонниковъ Марса, которые скучали во время мира и только на войнѣ чувствовали себя въ своей сферѣ, не только отправляли казенную службу, но священнодѣйствовали. Введеніе-же всеобщей воинской повинности внесло въ ряды нашей армій совершенно новый и до сихъ поръ невѣдомый элементъ—новобранцевъ, отрываемыхъ не отъ одного плуга, верстака, выручки и т. п., – но и отъ книги. Представьте себѣ юношу, который отъ 20 лѣтъ своей только-что расцвѣтающей жизни успѣлъ уже выработать дорогое призваніе, полюбилъ какую-нибудь науку или искусство или увлекся высокою цѣлью общественнаго характера, которая сдѣлалась для него дороже жизни. И вдругъ роковымъ, неизбѣжнымъ путемъ онъ долженъ все это бросить и обратиться въ пушечное мясо, отданное въ полное, безпрекословное распоряженіе людей, которыхъ онъ считаетъ ниже себя по образованію. Прибавьте еще къ этому рядъ гуманныхъ идей и всевозможныхъ философскихъ взглядовъ, которые съ одной стороны заставляютъ его содрогаться при одной мысли, что ему придется убивать ближнихъ, такихъ-же несчастныхъ людей, какъ и онъ, къ которымъ онъ не питаетъ ни малѣйшей злобы и съ которыми готовъ былъ бы обняться по братски, встрѣтясь съ ними не на полѣ брани;съ другой же стороны онъ скептически смотритъ на самую цѣлесообразность войны—для рѣшенія какихъ-бы то ни было вопросовъ. Что-же ему въ такомъ случаѣ остается дѣлать? Употребить какія-нибудь окольныя лазейки, чтобы избавиться отъ военной повинности? Но тысячи соображеній заставляютъ его смотрѣть на этотъ шагъ, какъ на крайне неблаговидный. Онъ видитъ во всеобщей воинской повинности круговую обязанность всѣхъ и каждаго защищать родину, и уклоненіе отъ этой обязанности во всякомъ случаѣ принимаетъ видъ эгоистическаго слабодушія, выступленія на почву привилегированнаго положенія и измѣны демократическому знамени. Въ то-же время онъ не сознаетъ еще себя настолько полезнымъ родинѣ на излюбленномъ поприщѣ, чтобы ради этой пользы съ спокойной совѣстью предоставить свой рекрутскій жребій другому несчастливцу, можетъ быть въ тысячу разъ болѣе полезному члену общества или своей семьи. Наконецъ въ немъ продолжаетъ сидѣть и традиціонный предразсудокъ: какъ ни скептически смотритъ онъ на служеніе Марсу, однако-жъ основную добродѣтель, предписываемую этимъ культомъ, —храбрость—онъсчитаетъоднимъизъобязательныхъ достоинствъ своей особы и боится, какъ-бы уклоненіе его отъ воинской повинности не было принято окружающими его людьми и въ особенности конечно прекраснымъ поломъ за трусость. И вотъ въ то время, какъ всѣ симпатіи, всѣ влеченія и убѣжденія влекутъ юношу въ одну сторону,—судьба тащитъ совсѣмъ въ противоположную, и онъ вноситъ въ ряды войскъ новый, неслыханный тамъ элементъ гамлетовскихъ рефлексій. Изъ него могъ бы выработаться вполнѣ Донъ-Кихотъ, еслибы жизнь его сложилась иначе и онъ былъ-бы въ состояніи весь отдаться служенію своей идеи,—теперь же онъ истый Гамлетъ, и любой прапорщикъ съ птичьими мозгами является передъ нимъ самымъ безукоризненнымъ Лаертомъ. Нужно-ли говорить о томъ, что подобныхъ юношей въ нашихъ полкахъ въ настоящее время не десятки, а можетъ быть тысячи, и Гаршинъ, изобразившій передъ нами подобныхъ героевъ, вывелъ на сцену отнюдь не какое-нибудь исключительное явленіе, а такое, которое съ каждымъ днемъ дѣлается все болѣе и болѣе заурядными.

Впрочемъ между героями двухъ вышеупомянутыхъ разсказовъ есть нѣкоторая разница. Герой «Четырехъ дней», когда шелъ на войну, хотя по своему общему развитію и былъ уже готовъ превратиться въ Гамлета, но въ немъ все еще преобладалъ Лаертъ завѣтовъ временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма. Онъ шелъ на войну не по одному велѣнію рока, а сознательно и добровольно, увлеченный идеей. Онъ не понималъ даже, въ силу чего окружавшіе его люди смѣялись надъ его военнымъ задоромъ и называли его «юродивымъ».

«Когда я затѣялъ идти драться,—говоритъ онъ:—мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мной. Ослѣпленный идеей, я не видѣлъ этихъ слезъ. Я не понималъ (теперь я понялъ), что я дѣлалъ съ близкими мнѣ существами. Да вспоминать-ли? Прошлаго не воротишь. А какое странное отношеніе къ моему поступку явилось у многихъ знакомыхъ. «Ну, юродивый. Лѣзетъ самъ не зная чего!» Какъ могли они говорить это? Какъ вяжутся такія слова съ ихъ представленіями о геройствѣ, любви къ родинѣ и прочихъ такихъ вещахъ? Вѣдь въ ихъ глазахъ я представлялъ всѣ эти доблести. И тѣмъ не менѣе я юродивый.»

Но до чего не успѣлъ онъ додуматься въ мирныя времена, то самое онъ постигъ опытомъ военныхъ дѣйствій. Вотъ онъ лежитъ передъ вами гдѣ-то въ кустахъ, раненый, забытый, рядомъ съ трупомъ турка, котораго онъ передъ тѣмъ убилъ, и тутъ, среди мукъ нестерпимой боли отъ ранъ, пожирающей жажды и отчаянья, его начинаетъ преслѣдовать цѣлый рядъ скептическихъ рефлексій.

«Предо мной,—говоритъ онъ,—лежитъ убитый мной человѣкъ. За что я его убилъ? Онъ лежи тъ здѣсь мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можетъ и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ-ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ. А я? И я также... Я-бы даже помѣнялся съ нимъ. Какъ онъ счастливъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ ранъ, ни смертельной тоски, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая черная дыра; вокругъ нея кровь. Это сдѣлалъ я. – Я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ зла никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду подставлять свою грудь подъ пули. И я пошелъ и подставилъ. Ну, и что-же? Глупецъ, глупецъ! А этотъ несчастный феллахъ (на немъ египетскій мундиръ) —онъ виноватъ еще меньше. Прежде чѣмъ ихъ посадили, какъ сельдей въ бочку, на пароходъ и повезли въ Константинополь, онъ и не слышалъ ни о

Россіи, ни о Болгаріи. Ему велѣли идти, онъ и пошелъ. Еслибы онъ не пошелъ, его стали-бы бить палками, а то быть можетъ какой-нибудь паша всадилъ-бы въ него пулю изъ револьвера. Онъ шелъ длиннымъ, труднымъ походомъ отъ Стамбула до Рущука. Мы напали, онъ защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящіеся его патентованной англійской винтовки Пибоди и Мартини, все лѣземъ и лѣземъ впередъ, онъ пришелъ въ ужасъ. Когда онъ хотѣлъ уйти, какой-то маленькій человѣкъ, котораго онъ могъ-бы убить однимъ ударомъ своего чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему штыкъ въ сердце. Чѣмъ-же онъ виноватъ? И чѣмъ виноватъ я, хотя я и убилъ его? Чѣмъ я виноватъ? За что меня мучаетъ жажда?

«Я не могу не думать о немъ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ:—неужели я бросилъ все милое, дорогое, шелъ сюда тысячеверстнымъ походомъ, голодалъ, холодалъ, мучался отъ зноя; неужели наконецъ я лежу теперь въ этихъ мукахъ ради того, чтобы этотъ несчастный пересталъ жить? А вѣдь развѣ я сдѣлалъ что-нибудь полезное для военныхъ цѣлей, кромѣ этого убійства? Убійство, убійца... И кто-же? Я...»

Здѣсь гамлетизмъ представляется только-что народившимся. Это первые проблески скептицизма. Всѣ вышеприведенныя мысли являются передъ нами не столько мыслями, сколько ощущеніями, и нужно было герою испытать то фантастически страшное положеніе, въ какомъ онъ находился, брошенный на полѣ битвы рядомъ съ гніющимъ трупомъ, и мучаясь чуть-что не муками агоніи, — чтобы онъ постигъ весь ужасъ и всю тщету человѣческой бойни, называемой войной. Совершенно не то представляетъ герой «Труса».

Еще ранѣе чѣмъ его взяли въ ополченіе, онъ уже является передъ нами вполнѣ сформировавшимся Гамлетомъ. Извѣстія съ поля войны производятъ на него потрясающее впечатлѣніе.

«Нервы,—спрашиваетъ онъ себя,—что-ли у меня такъ устроены, только военныя телеграммы съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ производятъ на меня дѣйствіе, гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ —это незначительная вещь! Отчего-же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстія о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человѣкъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человѣкъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныя дѣла съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, никто не обращаетъ вниманія?»

Отъ подобныхъ общихъ соображеній онъ переходитъ къ своей личности.

«Куда-же дѣнется твое «я»?—спрашивалъ онъ:—мы всѣмъ существомъ протестуемъ противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человѣкъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги, да аудиторію, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшій черезъ годъ-два начать иную работу, трудъ любви и правды; я наконецъ, привыкшій смотрѣть на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собой, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избѣгаю этого зла, - я вижу все мое зданіе спокойствія разрушеннымъ, а самого себя напяливающимъ на плечи то самое рубище, дыры и пятна котораго я сейчасъ только разсматривалъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ жалкой физической свободы располагать своимъ тѣломъ.»

Далѣе затѣмъ приходятъ ему вдругъ въ голову сомнѣнія въ своей храбрости.

«Быть можетъ,—думаетъ онъ:—всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоитъ-ли дѣйствительно заботиться объ какой-нибудь одной, неважной жизни, въ виду великаго дѣла! И въ силахъ-ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дѣла?» Но герой началъ припоминать всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи—правда, немногіе,—въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости. «Тогда—говоритъ онъ:—я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за ее. Стало быть, не смерть пугаетъ меня.»

Но уклониться отъ предстоящей участи, воспользовавшись кое-какими вліятельными знакомствами, и остаться въ Петербургѣ, состоя въ то-же время на службѣ, герой не былъ въ состояніи, его претило прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, а во-вторыхъ что-то, не подчиняющееся опредѣленію, сидѣло у него внутри, обсуждало его положеніе и запрещало ему уклоняться отъ войны. «Не хорошо», —говорилъ ему внутренній голосъ.

Этотъ внутренній голосъ потомъ ясно сформировался передъ нимъ устами одной знакомой барышни, Марьи Петровны: «Они (т.е. другіе),—сказала она:— тоже не пошли-бы, еслибы могли, но они не могутъ, а вы можете... Они идутъ воевать, а вы остаетесь въ Петербургѣ, живой, здоровый, счастливый, только потому что у васъ есть знакомые, которые пожалѣютъ послать знакомаго человѣка на войну. Я не беру на себя рѣшать, можетъ быть это и извинительно, но мнѣ не нравится, нѣтъ!»

И онъ пошелъ, своего рода «невольникъ чести», умирать подъ непріятельскими пулями безъ малѣйшаго энтузіазма и съ полнымъ отвращеніемъ къ дѣлу ненавистной ему войны.

Велика или мала доля подобнаго рода гамлетизма въ нашей жизни (кто ее можетъ измѣрить?), но можно навѣрно сказать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ такого рода гамлетизмомъ, который представляетъ отнюдь не миолетное явленіе, а, напротивъ того, явленіе это должно съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе разростаться. Съ каждымъ новымъ лучемъ свѣта знаній, съ каждой молодой силой, увлекаемой въ потокъ теченія передовыхъ идей, съ каждой мало-мальски искренней и успѣшной попыткой распространить просвѣщеніе въ массы, число подобнаго рода Гамлетовъ должно возрастать въ геометрической прогрессіи. Къ какимъ-бы горячимъ воззваніямъ ни прибѣгали шовинисты, когда бываетъ на ихъ улицѣ праздникъ, какія-бы великія и передовыя идеи ни выставляли они на знаменахъ войны, можно положительно сказать, что съ появленіемъ перваго Гамлета на ихъ улицѣ — дѣло ихъ рѣшительно проиграно въ буду-

щемъ. Я не отрицаю, что много еще можетъ встрѣтиться такихъ моментовъ въ исторіи, въ которые идеальныя, патріотическія или какія-нибудь иныя массовыя увлеченія будутъ настолько сильны, что самые сознательные Гамлеты забудутъ всѣ свои рефлексіи и на время подѣлаются самыми повидимому беззавѣтными Лаертами, но что подобные моменты будутъ встрѣчаться все рѣже и рѣже,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Самый этотъ укоренившійся въ нынѣшнемъ столѣтіи обычай придавать войнамъ непремѣнно какую-нибудь либеральную, освободительную цѣль, которая привлекала-бы людей, вдохновляла-бы ихъ и оправдывала всѣ отвратительные ужасы войны, свидѣтельствуетъ о томъ, что чистый военный задоръ все болѣе и болѣе изсякаетъ въ массахъ и все менѣе становится такихъ мѣднолобыхъ Лаертовъ, для которыхъ въ кровавомъ боѣ, все равно изъ-за чегобы то ни было, заключается единственное наслажденіе—колоть, рубить, крошить.

Съ поля войны Гаршинъ ведетъ насъ въ художественныя студіи въ своемъ разсказѣ «Художники», но и здѣсь мы находимъ такое-же развитіе гамлетизма, отвлекающаго самыхъ талантливыхъ художниковъ отъ искусства, совершенно подобно тому, какъ вполнѣ мужественные люди получаютъ отвращеніе отъ войны.—Дѣдовъ и Рябининъ,—это тѣ-же Лаертъ и Гамлетъ. Дѣдовъ въ своемъ родѣ цѣльный человѣкъ. Онъ весь до мозга костей преданъ своему искусству, и кромѣ того въ самомъ искусствѣ исключительно пейзажной живописи. Внѣ этого конька ничего для него не существуетъ, онъ живетъ и дышетъ восходами, заходами, лѣсными просѣками, ивами надъ прудами и т. п. Онъ понять не въ силахъ, какъ это можно сомнѣваться и задавать себѣ какіе-бы то ни было вопросы относительно значенія и цѣлей искусства. Для него искусство само въ себѣ и само по себѣ составляетъ цѣлый міръ, въ которомъ заключены свои начало и конецъ, исходъ и цѣль. Этому служенію чистому искусству способствуетъ во многихъ отношеніяхъ то обстоятельство, что Дѣдовъ—человѣкъ обезпеченный, получившій наслѣдство отъ тетки. Дѣло извѣстное, что подобнаго рода чистое искусство всегда родилось и родится на почвѣ паразитизма, и въ этомъ отношеніи Гаршинъ вполнѣ вѣрно опредѣлилъ ему мѣсто. Не менѣе вѣрно постигъ авторъ и тотъ фактъ, что Дѣдовы непремѣнно должны быть Сальери, т. е. люди съ крайне ограниченными талантами и достигающими чего-нибудь въ искусствѣ лишь потомъ усидчиваго труда. Дѣдовъ такимъ образомъ не только Лаертъ, но и Сальери, и это нисколько не исключаетъ одного и другого и вполнѣ совмѣстно. Лаертъ, какъ человѣкъ, слѣпо и безъ разсужденій преданный своему традиціонному дѣлу, въ свою очередь блеститъ передъ нами во всей красѣ своего узколобья. И въ самомъ дѣлѣ Дѣдовъ относится къ своему товарищу Рябинину совершенно какъ и Сальери къ Моцартувъ драмѣ Пушкина. «Чертовски,—говоритъ онъ,—талантливая натура, но зато лѣнтяй ужасный!»—И Сальери почти тѣми-же словами сѣтуетъ, что «геній озаряетъ голову безумца, гуляки праздного». Но Дѣдовъ не завидуетъ Рябинину во-первыхъ, такъ какъ у него другой жанръ въ искусствѣ, и онъ избавленъ отъ соперничества съ нимъ, а главное дѣло—Дѣдовъ не знаетъ никакихъ рефлексій, не понимаетъ даже возможности ихъ, считаетъ себя поэтому недосягаемо выше Рябинина и ликуетъ въ самодовольствѣ.

Рябининъ-же весь изъѣденъ рефлексіями. Для него мало искусства въ самомъ себѣ, онъ безпрестанно спрашиваетъ себя какое значеніе имѣетъ оно въ жизни и имѣетъ-ли какое-нибудь значеніе.

«Когда я хожу по выставкѣ—говоритъ онъ—и смотрю на картины, что я вижу въ нихъ? Холстъ, на который накапаны краски, расположенныя такимъ образомъ, что онѣ образуютъ впечатлѣнія, подобныя впечатлѣніямъ отъ различныхъ предметовъ. Люди ходятъ и удивляются: какъ это онѣ, краски, такъ хитро расположены! И больше ничего. Написаны цѣлыя книги, цѣлыя горы книгъ объ этомъ предметѣ: многія изъ нихъ я читалъ. Но изъ Тэновъ, Карьеровъ, Куглеровъ и всѣхъ, писавшихъ объ искусствѣ, до Прудона включительно, не явствуетъ ничего. Они все толкуютъ о томъ, какое значеніе имѣетъ искусство, а въ моей головѣ при чтеніи ихъ непремѣнно шевелится мысль: если оно имѣетъ его. Я не видѣлъ хорошаго вліянія картины на человѣка; зачѣмъ мнѣ вѣрить, что оно есть? Зачѣмъ вѣрить? Вѣрить-то мнѣ нужно, необходимо нужно; но какъ повѣрить? Какъ убѣдиться въ томъ, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному—возбужденію скверныхъ инстинктовъ напримѣръ) и тщеславію какого-нибудь разбогатѣвшаго желудка на ногахъ, который, не спѣша, подойдетъ къ моей пережитой, выстраданной, дорогой картинѣ, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчитъ: «мм... ничего себѣ», сунетъ руку въ оттопырившійся карманъ, броситъ мнѣ нѣсколько сотъ рублей и унесетъ ее отъ меня. Унесетъ вмѣстѣ съ волненіемъ, съ безсонными ночами, съ огорченіями и радостями, съ обольщеніями и разочарованіями. И снова ходишь одинокій среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечеромъ, машинально пишешь его утромъ, возбуждая удивленіе профессоровъ и товарищей быстрыми успѣхами. Зачѣмъ дѣлаешь все это, куда идешь?»

Откуда же являются подобнаго рода рефлексіи, гдородятся эти тревожные вопросы, нарушающіе творѣчество художника и возмущающіе весь его внутренній міръ? А все это происходитъ изъ той причины, что истинные художественные таланты, вродѣ Рябинина,—люди съ крайне чуткими, впечатлительными нервами, и какъ бы они ни старались устраниться отъ жизни, жизнь со всѣми своими ужасами, всѣми своими гадостями и грязью непрестанно волнуетъ ихъ, бѣситъ, терзаетъ, вызываетъ ихъ на страшный бой. Нужно имѣть желѣзные, лаертовскіе нервы Дѣдова, чтобы смотрѣть и не видѣть, слышать и не содрогаться, и при видѣ возмущающихъ зрѣлищъ ни о чемъ не думать, какъ лишь о красотѣ тоновъ неба, раскинувшагося надъ людскими безобразіями. Рябининъ этого не можетъ,—и вотъ въ немъ происходитъ мучительное, опять-таки чисто гамлетовское раздвоеніе: жизнь тянетъ его въ одну сторону, искусство—въ другую. Онъ пытается помирить этотъ разладъ, посвятивши искусство жизни, пишетъ картину, на которой изображаетъ весь испытанный имъ ужасъ при видѣ адской каторги рабочаго-котельщика, собственной грудью выдерживающаго на днѣ котла страшные удары молотомъ при утвержденіи заклепокъ. Картина выходитъ поразительная по своему

имѣютъ, какъ мы видѣли, всѣ шансы на развитіе и распространеніе въ будущемъ (конечно пока условія жизни, вызывающія ихъ, не измѣнятся), — этотъ, напротивъ того, обусловливается лишь явленіемъ, вполнѣ уже отжившимъ, именно крѣпостнымъ правомъ. Онъ является лишь отрыжкой дореформенныхъ порядковъ, царствовавшихъ на Руси до крымскаго погрома. Гамлеты этого рода—не что иное, какъ послѣдніе могикане того извращенія, какому подвергалась человѣческая природа на почвѣ рабства. Вскорѣ послѣ паденія феодальнаго режима и Западная Европа была знакома съ этого рода Гамлетами въ образѣ Вертеровъ, Рене и т. п. Но нынѣ они представляются лишь достояніемъ исторіи. Вскорѣ простимся съ ними и мы.

Наконецъ въ послѣднихъ двухъ разсказахъ «Attalea princeps» и «То, чего не было»,—является передъ нами гамлетизмъ самого автора, и это обстоятельство дѣлаетъ разсказы эти вдвое любопытнѣе. Мы обратимъ вниманіе на «Attalea princeps», какъ на болѣе цѣльную и къ тому же спорную.

На «Attalea princeps» многіе критики (и изустно, и печатно) взглянули крайне косо и заподозрили въ этой сказочкѣ даже нѣчто ретроградное. Помилуйте: росла въ оранжереѣ пальма, представляющая собой очевидно эмблему свободомыслія. По крайней мѣрѣ она одна тяготилась спертымъ воздухомъ оранжереи и низкими ея сводами: ей хотѣлось свѣжаго воздуха и небеснаго простора. И вотъ она вздумала перерости всѣ прочія растенія и одна, своими силами, разрушить стеклянный куполъ тюрьмы. Сказано, сдѣлано.

Но когда Attalea princeps достигла своей цѣли, и стекла оранжереи посыпались подъ напоромъ ея вѣтвей, она горько разочаровалась:

«Только-то? думала она.—И это все, изъ-за чего я томилась и страдала такъ долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей цѣлью?»

«Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину въ пробитое отверстіе. Моросилъ мелкій дождикъ пополамъ съ снѣгомъ: вѣтеръ низко гналъ сѣрыя клочковатыя тучи. Ей казалось, что онѣ охватываютъ ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснахъ да еляхъ стояли темнозеленыя хвои. Угрюмо смотрѣли деревья на пальму. «Замерзнешь! какъ будто говорили они ей.—Ты не знаешь, что̀ такое морозъ. Ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вышла изъ своей теплицы?»

«И Attalea поняла, что для нея все было кончено. Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодномъ вѣтрѣ, чувствовать его порывы и острое прикосновеніе снѣжинокъ, смотрѣть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задній дворъ ботаническаго сада, на скучный огромный городъ, виднѣвшійся въ туманѣ, и ждать, пока люди тамъ внизу, въ теплицѣ, не рѣшатъ, что̀ дѣлать съ ней».

А люди порѣшили спилить ее, такъ какъ не стоитъ дѣлать надъ ней новаго купола: она опять вырастетъ и все сломаетъ.

Вотъ въ этомъ-то во всемъ мудрые критики и провидѣли своего рода ретроградство, заключающееся будто бы въ слѣдующемъ нравоученіи, проистекающемъ изъ судьбы пальмы: не старайтесь перерости вашихъ ближнихъ гордымъ разумомъ, не стремитесь къ свободомыслію, ибо такое стремленіе ни къ чему не приводитъ, какъ лишь къ горестному разочарованію и къ пагубѣ.

Но подобнаго рода выводъ, отъ котораго дѣйствительно вѣетъ духомъ Фамусова и Молчалина, смѣю думать, принадлежитъ самимъ господамъ критикамъ, которые совершенно напрасно навязываютъ его разсказу Гаршина изъ особенной архаической привычки предполагать, что въ каждой баснѣ непремѣнно должна заключаться моральная сентенція. Вѣдь если захотѣть отыскивать въ художественныхъ произведеніяхъ моральныя сентенціи, то любую повѣсть, въ которой изображается порядочный человѣкъ, терпящій трагическій исходъ, можно подвести подъ что-нибудь подобное: не будьте порядочнымъ человѣкомъ, ибо вамъ угрожаетъ презрѣніе и ненависть пошляковъ, гоненія и преждевременная смерть. Попробуемъ же взглянуть на сказку Гаршина помимо всякихъ сентенцій, вполнѣ объективно, и тогда намъ откроется въ ней совершенно иной смыслъ.

Attalea princeps съ ея стремленіемъ къ чистому воздуху и небесному простору, съ ея призывомъ ко всѣмъ прочимъ растеніямъ «расти» выше и шире—очевидно олицетворяетъ собой передовую и лучшую часть нашей интеллигенціи. Интеллигенція эта по своимъ идеямъ, представляющимъ продуктъ иной, высшей цивилизаціи, дѣйствительно является среди насъ словно какимъ-то заморскимъ растеніемъ, хирѣющимъ въ тѣсныхъ оранжерейныхъ рамкахъ нашей жизни. Напрасно взываетъ она, чтобы окружающія ее растенія стремились на просторъ воздуха и свѣта. Никто ей не внемлетъ или отвѣчаютъ ей однимъ презрительными восклицаніями: «несбыточная мечта! вздоръ! нелѣпость!» и т. п. Когда-же она одна рѣшается выступить изъ затхлыхъ сводовъ оранжереи на просторъ полей и луговъ,—дѣйствительно что-жъ до сихъ поръ встрѣчало и встрѣчаетъ ее, какъ не горькое разочарованіе? Вмѣсто тепла и свѣта, т. е. вмѣсто того восторженнаго привѣта, который она надѣется встрѣтить за предѣлами оранжерейныхъ стѣнъ, на нее начинаетъ дуть со всѣхъ сторонъ морозный вѣтеръ нашего самобытнаго невѣжества; игла и сырость нашихъ отечественныхъ болотъ прохватываютъ ее до костей... Вспомните, обходилось-ли хоть одно свѣтлое мгновеніе, хотя одинъ восторженный и смѣлый порывъ нашей интеллигенціи (напр. шестидесятые годы) безъ того, чтобы дѣло не кончилось все однимъ и тѣмъ-же восклицаніемъ: «только-то? И это все, изъ-за чего томились и страдали мы такъ долго?» Съ этимъ восклицаніемъ уходитъ у насъ въ могилу чуть-ли не каждый истинно-интеллигентный человѣкъ, чуть-ли не каждое поколѣніе.

Такимъ образомъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ гамлетизмомъ совершенно особеннаго рода, вызываемымъ не тѣми или другими частными обстоятельствами, а

суммою всѣхъ условій нашей жизни. Это гамлетизмъ нашего вѣка, лежащій въ основахъ всѣхъ нашихъ общественныхъ отношеній. Сердитесь сколько угодно на Гаршина, зачѣмъ онъ раскрываетъ передъ вами эту горькую скорбь своего вѣка и бередитъ раны, проникающія глубоко въ ваши сердца, но согласитесь, что онъ тысячу разъ правъ въ своемъ гамлетизмѣ, и что гамлетизмъ этотъ отнюдь не случайное, личное качество автора и не пустой капризъ больной фантазіи, а болѣзнь, общая всѣмъ намъ.

V.

Нынѣшній годъ ознаменовалъ себя цѣлой облавой, воздвигнутой противъ сѣренькихъ, миролюбивыхъ, пугливыхъ и кроткихъ зайчиковъ нашей интеллигенціи, именующихся либералами, или чаще всего «лже-либералами» съ прибавленіемъ всякаго рода забористыхъ эпитетовъ. На этихъ невинныхъ звѣрьковъ съ длинными подвижными ушами, кроткими глазками и пушистыми мордочками напустилась цѣлая стая бѣшеныхъ псовъ съ лаемъ, визгомъ, пѣной вокругъ разинутыхъ пастей и хвостами, загнутыми вверхъ съ самымъ рѣшительнымъ воинственнымъ пафосомъ. Ужъ не говоря о «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и «Новое Время», и «Минута», и даже «Недѣля» и пр., и пр. такъ взапуски и летѣли пожрать несчастныхъ зайчиковъ, и я такъ и ждалъ, что вотъ-вотъ сейчасъ отъ нихъ не останется ни одного клочка.

Но дни шли за днями, а картина оставалась одной и той-же: все также летѣли пугливые зайчики, загнувши ушки назадъ, а за ними попрежнему гнались разсвирѣпѣвшіе псы съ разинутыми пастями, и все это въ то-же время какъ бы не двигалось съ мѣста, словно нарисованное на холстѣ. Поневолѣ начало мнѣ наконецъ приходить въ голову, что это одинъ миражъ, и что какъ зайчики, такъ и псы въ сущности—звѣри одного рода и вида, а только перерядились въ разные костюмы, что они вовсе не въ серьезъ преслѣдуютъ другъ друга, а такъ только забавляются, какъ школьники.

Въ этомъ убѣдило меня еще и вотъ какое обстоятельство. За неимѣніемъ никакой такой газеты, которая вполнѣ бы соотвѣтствовала моимъ убѣжденіямъ и вкусамъ, я подписываюсь на «Голосъ», ну, а «Голосъ», дѣло извѣстное, считается у насъ представителемъ либерализма и органомъ, наиболѣе излюбленнымъ всѣми либералами, и на газету эту въ большей степени, чѣмъ на всѣ прочіе либеральные органы, устремляется травля вышеозначенныхъ псовъ. Ну, такъ вотъ, читая «Голосъ» изо дня въ день, я замѣтилъ странное явленіе, поставившее меня положительно въ тупикъ: каждый разъ, когда «Голосъ» начинаетъ полемизировать съ «Московскими Вѣдомостями», или-же, какъ онъ обыкновенно съ брезгливостью выражается, «съ иной газетой, имя которой неприлично называть въ печати», вы видите, что «Голосъ» противъ московскихъ тенденцій и нападеній выставляетъ и защищаетъ какъ будто и въ самомъ дѣлѣ различные либеральные принципы и является такимъ образомъ на высотѣ своего призванія. Но какъ только тотъ-же самый «Голосъ» заговоритъ самъ по себѣ безъ всякихъ полемическихъ цѣлей, а особенно если рѣчь зайдетъ о той или другой крупной и волнующей злобѣ дня, глядишь иной разъ и очамъ своимъ не вѣришь: да вѣдь это совершенно то-же самое, что говорятъ и «Московскія Вѣдомости», это мало того, что тѣ-же тенденціи, но и выраженія, фразы, слова буквально одни и тѣ же. Изъ-за чего-же «Голосъ» встаетъ на дыбы и мечетъ такіе громы противъ «Московскихъ Вѣдомостей», изъ-за чего противъ «Голоса» учиняется такая бѣшеная травля? Стоитъ-ли огородъ городить, стоитъ ли капусту садить? Не лучше ли милымъ друзьямъ и братьямъ, вмѣсто того чтобы грызться не на животъ, а на смерть,—помириться, поцѣловаться и затѣмъ рука въ ручку и обнявшись бодро шествовать по одному и тому-же прогрессивному пути всероссійскаго недомыслія?

Это явленіе привело меня къ еще большему сомнѣнію въ дѣйствительности всей этой буйной распри между консервативными и либеральными органами. Что нибудь тутъ да не такъ, думалось мнѣ; это чистое недоразумѣніе, и если не обѣ стороны, то одна ужъ навѣрное тутъ лишь прикидывается и напускаетъ на себя, можетъ быть и сама того не признавая. Но кому же напускать на себя и играть роль? Если и предположить, что органы, вродѣ «Новаго Времени» или «Минуты», способны пѣть съ чужого голоса, не имѣя никакого своего, то ужъ никакъ вы не заподозрите, чтобы главный запѣвало хора, «Московскія Вѣдомости», искусственно играли какую-нибудь роль. Рѣчь ихъ постоянно такъ опредѣленна, тверда, послѣдовательна, какъ дай Богъ всякому органу. Съ самаго начала своего существованія онѣ, не сворачивая ни направо, ни налѣво, твердо, неуклонно и, по истинѣ сказать, побѣдоносно шествовали по одному и тому же пути. Да къ тому же и тенденціи «Московскихъ Вѣдомостей» все такого рода, что, лишь имѣя глубокую и непоколебимую вѣру въ нихъ, можно рѣшаться проповѣдывать ихъ такъ открыто и рѣзко, какъ это дѣлаютъ «Московскія Вѣдомости», и неими прикрывать что-либо иное, а скорѣе всего отъ нихъ свойственно прикрываться въ какую-нибудь овечью шкуру. Остается слѣдовательно предположить, что все недоразумѣніе въ настоящемъ случаѣ коренится на столбцахъ «Голоса», что играніе роли и прикидываніе принадлежитъ именно этой газетѣ, что, размахивая знаменемъ либерализма, она вовсе не серьезно дѣлаетъ это, а только играетъ роль, причемъ сотрудникамъ ея приходится волей-неволей облекаться въ костюмы, совершенно несвойственные имъ, и бѣднымъ имъ такъ не по себѣ въ этихъ костюмахъ, такъ трудно выдерживать свои роли, что, волей-неволей, они безпрестанно сбиваются въ своихъ репликахъ и впадаютъ въ тонъ своихъ противниковъ. Оттого-то конечно и выходитъ, что лишь въ полемическомъ задорѣ, когда имъ приходится говорить въ пику «Московскимъ Вѣдомостямъ», и они имѣютъ передъ своими глазами тенденціи своихъ противниковъ, противъ которыхъ ратуютъ, имъ легко выставлять знамя либерализма и вертѣть имъ передъ носомъ Каткова и Суворина, а когда приходится самостоятельно обсуждать какое-нибудь явленіе жизни или вопросъ и нѣтъ передъ ними иныхъ противниковъ, которыя

указывали-бы имъ какую причять позицію, они невольно впадаютъ въ тонъ этихъ самыхъ противниковъ, потому что по своей натурѣ, по своему нутру на самомъ дѣлѣ они ничѣмъ почти отъ нихъ не отличаются.

Какъ же объяснить это странное явленіе? Отчегоже это выходитъ такъ, что органъ, стоящій во главѣ либеральныхъ тенденцій, имѣющій самый обширный кругъ читателей и почитателей и пользующійся немалымъ авторитетомъ и у насъ, и въ Европѣ, именно какъ выразитель русскаго либерализма, такъ странно колеблется, такъ плохо выдерживаетъ свою роль и такъ часто впадаетъ въ тонъ, не имѣющій ничего общаго съ какимъ-либо самымъ скромнымъ либерализмомъ? Или противники «Голоса» выходятъ правы, когда утверждаютъ, что либерализмъ въ нашей жизни есть явленіе наносное, безпочвенное, не имѣющее ничего соотвѣтственнаго условіямъ нашей жизни, поэтому, молъ, если и ничего не стоитъ проводить его a priori, въ видѣ отвлеченныхъ тенденцій, то въ отношеніи къ тому или другому реальному факту онъ оказывается положительно непремѣннымъ?

Это недоразумѣніе на-днях разрѣшилъ намъ Кошелевъ въ своемъ фельетонѣ, напечатанномъ въ №337 «Голоса», и, надо ему отдать справедливость, разрѣшилъ блистательнымъ образомъ. Но произошелъ при этомъ не малый скандалъ: можете себѣ представить, на страницахъ органа, имѣющаго претензію ратовать за либеризмъ во что-бы то ни стало, вдругъ появилась статья, которая совершенно въ унисонъ съ противниками либерализма доказываетъ намъ, какъ дважды-два, что либерализмъ, не какъ одна политическая тенденція, а въ практическомъ примѣненіи,—въ настоящее время дѣло положительно немыслимое. И что замѣчательно—доказываетъ это намъ человѣкъ, который отъ первой страницы до послѣдней самъ является истымъ либераломъ, и доказательства свои строитъ на такихъ основаніяхъ, которыя куда далеко оставляютъ за собой всѣ доказательства въ этомъ родѣ противниковъ. Тѣ основываются обыкновенно на такихъ темныхъ и туманныхъ мистическихъ данныхъ, которыя вамъ приходится брать на вѣру, сомнѣваясь, чтобы и сами господа публицисты имѣли объ этихъ данныхъ какое-либо ясное понятіе: то вы имѣете дѣло съ разными самобытностями и принуждены на-слово вѣрить господамъ публицистамъ, что они собаку съѣли въ этихъ самобытностяхъ, не допускающихъ либерализма на русской почвѣ, то дѣло идетъ о народномъ міросозерцаніи, и опять-таки вамъ предоставляется вѣрить господамъ публицистамъ, что они такъ хорошо знаютъ народъ и его отвращеніе отъ либерализма, что имѣютъ полное право говорить отъ лица народа. Кошелевъ имѣетъ дѣло съ реальными и осязаемыми условіями нашей жизни, и несостоятельность либерализма въ настоящее время основывается именно на этихъ данныхъ.

Только въ началѣ статьи Кошелевъ нѣсколько сбивается съ прямого пути своей аргументаціи и высказываетъ нѣсколько такихъ обветшалыхъ и банальныхъ взглядовъ, которые совершенно не вяжутся съ концомъ статьи и кромѣ того имѣютъ такой общій двусмысленный характеръ, что могутъ быть употреблены противъ какихъ угодно воззрѣній, существующихъ на Руси. Такъ напримѣръ, онъ говоритъ:

«Отчего-же мы, такъ называемая интеллигенція, хотя тоже русскіе, такъ склонны къ крайностямъ, такъ падки въ нихъ вдаваться? Отчего на пути либерализма мы легко впадаемъ въ утопизмъ, въ западный соціализмъ и коммунизмъ, даже въ безсмысленный нигилизмъ? Отчего на пути консерватизма мы считаемъ возможнымъ какъ бы пріостановить теченіе солнца, стараемся не только удержать, что есть, но воскресить умершее; чаемъ даже возстановить крѣпостное право, если и не въ прежнихъ, то въ иныхъ, нѣсколько измѣненныхъ образахъ, упуская изъ вида, что разъ отошедшее въ вѣчность уже не возвращается къ жизни и что власть сильна, только вооруженная современными средствами? Отчего все это такъ происходитъ?

Оттого, что мы шли не естественнымъ, постепеннымъ путемъ развитія, соблазнились плодами уже выработанной на Западѣ цивилизаціи, схватили ея верхушки, сами не положили на нее достаточно своего труда, не вникли въ глубь собственныхъ потребностей и, ослѣпленные яркимъ, но чужимъ свѣтомъ, блуждаемъ умомъ, чувствомъ и волей по поверхности обширной области человѣческой дѣятельности, не имѣя притомъ возможности откровенно высказывать свои мнѣнія и чувства и умѣрять ихъ прозой жизненнаго опыта. Какъ при такихъ обстоятельствахъ не впадать въ крайности и не увлекаться мечтами, даже нелѣпостями?»

Все это давно уже очень и очень многими говорилось, повторялось и намозолило глаза, и главное дѣло совершенно напрасно. Не говоримъ уже о томъ, что если послѣдовательно проводить до конца подобнаго рода теоріи, то можно придти къ отрицанію всякаго воспитанія и къ закрытію даже школъ грамотности на томъ основаніи, что статочное-ли дѣло, что въ то время какъ человѣчество цѣлыя тысячелѣтія употребило, чтобы додуматься до азбуки и таблички умноженія, дѣтямъ нашимъ сразу все это дается въ какіе-нибудь два-три года; не правильнѣе-ли каждому изъ нихъ предоставить самимъ самостоятельно и постепенно продѣлывать всю эту вѣковую работу человѣчества? Но главное дѣло здѣсь отрицаются не однѣ только крайности, но и самый умѣренный либерализмъ: вѣдь онъ составляетъ продуктъ Запада и дался намъ безъ всякаго вѣкового труда. Но мы оставимъ въ сторонѣ эти обветшалыя отрыжки 40-хъ годовъ,—тѣмъ болѣе, что далѣе въ своей статьѣ авторъ выходитъ на прямую дорогу, и оказывается, что не одна легкость усвоенія продуктовъ западной цивилизаціи, а и самыя условія нашей русской жизни роковымъ путемъ ведутъ русскихъ людей къ тѣмъ или другимъ крайностямъ.

И въ самомъ дѣлѣ, что такое тотъ умѣренный либерализмъ, о которомъ идетъ въ настоящимъ случаѣ рѣчь? Какую опору долженъ онъ имѣть въ жизни и какія условія могутъ способствовать его процвѣтанію?

Возьмемъ Францію 30 и 40-хъ годовъ, именно такую эпоху, когда либерализмъ мало того что процвѣталъ, но и былъ господствующей партіей въ государствѣ. Что такое были всѣ эти либералы, составлявшіе большинство палатъ, занимавшіе министерскія мѣста и царствовавшіе на биржахъ?

Прежде всего - это были люди, имѣвшіе всѣ шансы быть вполнѣ довольными современнымъ положе-

ніемъ страны и не желатъ ничего лучшаго. Свобода эксплуатировать богатства страны въ какія-нибудь 20 лѣтъ сдѣлала то, что и земледѣліе, и промышленность достигли такихъ колоссальныхъ успѣховъ, о какихъ не снилось отцамъ и дѣдамъ. Изъ обнищалой, запустѣлой и обанкротившейся страны Франція обратилась въ богатѣйшее государство въ мірѣ. Очень понятно, что люди, въ рукахъ которыхъ находились всѣ эти богатства, начали дорожить тѣми учрежденіями, подъ охраною которыхъ богатства эти такъ быстро создались. Не было поэтому ни малѣйшаго противорѣчія въ томъ, что либералы эти проявлялись въ то же время самыми рьяными консерваторами: они охраняли то, чѣмъ пользовались, что было въ ихъ рукахъ, охраняли настоящее или, лучше сказать,— свою набитую золотомъ мошну. Эта мошна и была точкой ихъ опоры во всѣхъ аргументаціяхъ: легитимисты могли только краснѣть отъ стыда, когда они показывали имъ на современное процвѣтаніе страны въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ была Франція прежде. Радикаламъ они возражали, что отъ добра добра не ищутъ, и пугали, что господство ихъ поведетъ къ анархіи, къ паденію цивилизаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ къ новому варварству и обнищанію. Если они стремились все болѣе и болѣе подчинить своей власти правительство, то дѣлали это вовсе не на основаніи какихъ-либо отвлеченныхъ политическихъ теорій, а чисто изъ личнаго эгоизма, единственно заботясь о томъ, чтобы правительство не могло преслѣдовать никакихъ такихъ цѣлей, которыя мѣшали бы имъ еще болѣе накоплять богатства.

Еслибы у насъ либерализмъ могъ имѣть подобнаго же рода точку опоры, то Кошелевъ конечно не замедлилъ бы публицистамъ Москвы представить рядъ доводовъ совершенно въ такомъ-же родѣ, въ какомъ западные либералы представляли своимъ де-Местрамъ, т. е. вотъ что мы были прежде, при крѣпостномъ правѣ, закрытыхъ судахъ, откупахъ и т. п., и вотъ что мы стали теперь. Посмотрите-же, какую картину современнаго положенія дѣлъ развертываетъ передъ нами Кошелевъ.

«Вездѣ застой и уныніе. Замѣчательно, что не чужды такого настроенія люди даже въ тѣхъ сферахъ, гдѣ всего болѣе отстаиваютъ существующіе если не порядки, то способы дѣйствія: и тутъ сознаютъ необходимость исправить, измѣнить и то, и другое, и третье—почти все.

«Крестьянское самоуправленіе идетъ какъ нельзя хуже. Въ первые годы по освобожденіи крестьянъ они было взялись за это дѣло недурно; но теперь крестьянское «самоуправленіе» стало словомъ почти безсмысленнымъ. Къ этому присоединились неурожаи, истощеніе почвы, участившіеся вслѣдствіе большого движенія людей, скотскіе падежи, умножившіеся пожары, поджоги, всякаго рода воровства, полицейскія взысканія податей; наконецъ съ горя посѣщаемые кабаки окончательно ввергли крестьянство въ страшную бѣдность, безнравственность, почти въ отчаяніе.

«Дворяне-землевладѣльцы находятся въ положеніи, немного лучшемъ, чѣмъ крестьяне. Земли ихъ почти всѣ въ залогѣ въ разныхъ земельныхъ банкахъ; неурожаи, скотскіе падежи, пожары, поджоги, воровства и проч. не минуютъ и этого отдѣла сельскаго населенія; хищенія со стороны управляющихъ и неисполненіе условій рабочими—факты ежедневные. Вдобавокъ ко всему этому теперь съ особеннымъ усердіемъ занимаются розыскомъ людей «неблагонадежныхъ». Стоитъ вамъ выписывать много газетъ и журналовъ, посвящать время чтенію и не вести обычнаго провинціальнаго образа жизни—вы непремѣнно становитесь предметомъ «бдительности.» Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ бывшіе помѣщики бѣгутъ изъ деревни и ищутъ гдѣ-нибудь пріютиться на казенной, компанейской и по необходимости даже на земской службѣ. Въ послѣднія пятнадцать лѣтъ интеллигентное деревенское населеніе значительно уменьшилось,—едва половина, едва треть изъ него теперь осталась въ уѣздахъ. Вслѣдствіе этого и земское самоуправленіе, и мировой судъ значительно ухудшились; собранія избирателей стали очень малочисленны; избранные гласные едва собираются въ законномъ числѣ на земскія, даже очередныя, собранія, а если и собираются, то черезъ нѣсколько дней разъѣзжаются, и дѣла откладываются. Да и къ чему съѣзжаться, работать и тѣмъ, пожалуй, навлекать на себя подозрѣніе въ «неблагонадежности»? Смѣты кѣмъ и какъ-нибудь утвердятся, дѣла управой разрѣшатся, а обсуждать, вырабатывать и отправлять... ходатайства о мѣстныхъ нуждахъ—это трудъ безполезный, совершенно непроизводительный... Что же касается мирового суда, то въ послѣдніе годы, по недостатку лицъ, живущихъ въ деревнѣ и имѣющихъ установленный, весьма высокій имущественный цензъ, онъ едва замѣщается и отправляетъ дѣла съ явной, все болѣе и болѣе усиливающейся небрежностью.

«Въ городахъ уѣздныхъ, губернскихъ и даже столичныхъ житье-бытье обставлено немного лучше: каждый изъ нихъ имѣетъ свои неудобства и непріятности. Уѣздные города пусты, безжизненны, и одни служащіе по необходимости обитаютъ въ нихъ; даже купцы и мѣщане, если только могутъ, переселяются въ города высшаго ранга; на родинѣ нѣсколько удерживаетъ ихъ только возможность кулачествовать и въ мутной водѣ рыбу ловить. Губернскіе города, кромѣ университетскихъ, немногимъ чѣмъ лучше уѣздныхъ: конечно клубы нѣсколько многочисленнѣе; бываютъ спектакли и концерты: но общественной жизни вообще такъ мало, и ее нѣсколько оживляетъ развѣ одинъ разъ въ годъ состоявшееся очередное земское собраніе. Пребываніе въ городѣ начальника губерніи бываетъ обыкновенно въ двухъ видахъ. Если губернаторъ—человѣкъ энергичный, не сдерживающій своего произвола, врагъ земства и новыхъ судовъ, дѣйствующій по рецептамъ проповѣдниковъ «сильной власти»,— бѣги изъ губернскаго города и изъ губерніи, потому что все, несогласное съ мнѣніями, желаніями и требованіями начальства, истолковывается, какъ дѣйствія человѣка «неблагонадежнаго», и подвергаетъ ихъ виновника разнымъ непріятностямъ со стороны полиціи. Къ счастью такихъ губернаторовъ немного, и даже тѣ, которые пріѣзжаютъ съ такими «похвальными намѣреніями и правилами», очеловѣчиваются и потомъ остаются только исправными бюрократами. Если же губернаторы, какъ большая часть изъ нихъ, суть обыкновенные чиновники,—они хлопочатъ объ очисткѣ бумажныхъ нумеровъ и о томъ, чтобы была возможность доносить, что «все обстоитъ благополучно». Но и въ этомъ случаѣ бѣги изъ губерніи, потому что тогда начальства ограничиваютъ свою дѣятельность полученіемъ и отправкой бумагъ, а воровства, грабежи и проч. не знаютъ границъ, и безтолочь, и неурядица въ дѣлахъ полная. О столицахъ много говорить нѣтъ надобности: нынѣшняя въ нихъ жизнь всѣмъ слишкомъ извѣстна или по личному опыту, или по словамъ людей, въ нихъ живущихъ. Слухи «о разныхъ государственныхъ комбинаціяхъ», съ большой быстротой и рвеніемъ распространяемые въ обществѣ; самыя разнообразныя, часто другъ другу противорѣчащія сужденія о дневныхъ событіяхъ; странныя

даже нелѣпыя ожиданія и опасенія; скука, тоска и общее уныніе—вотъ отличительныя черты нынѣшняго житья-бытья въ столицахъ. Выгодно ли такое положеніе вообще для Россіи, для власти и для гражданъ? Не толкаетъ ли, не гонитъ ли оно людей въ крайности?..»

Вотъ какими красками рисуетъ Кошелевъ современное положеніе дѣлъ. Мы не будемъ говорить о томъ, что по прочтеніи подобной картины,—и «Московскія Вѣдомости», и «Новое Время», и «Минута», и даже, пожалуй, «Недѣля» могли-бы однимъ залпомъ выпалить: «вотъ до чего, о лжелибералы, довели насъ ваши излюбленныя реформы по западнымъ образцамъ!» Допустимъ, что они этого не вскричатъ, потому что имѣютъ наклонность видѣть современное положеніе вещей болѣе въ розовомъ свѣтѣ, чѣмъ въ такомъ мрачномъ, въ какомъ представляетъ намъ его Кошелевъ. Но во всякомъ случаѣ что-же дѣлать нашимъ либераламъ при такомъ положеніи вещей? И оказывается, по словамъ Кошелева, что рѣшительно нечего дѣлать, что нѣтъ имъ возможности оставаться даже скромными и разсудительно-трезвыми людьми какого-нибудь маленькаго дѣльца.

«Знавали мы—говоритъ онъ—людей крайнихъ мнѣній, пылкаго характера, алкавшихъ все преобразовательной дѣятельности; но какъ скоро они посвящали себя какому-нибудь положительному занятію—сельскому хозяйству, должности мирового судьи или членаземской управы, государственной или даже компанейской службѣ и проч,—тотчасъ они измѣнялись и становились болѣе или менѣе умѣренными и разсудительными. Если нѣкоторые изъ нихъ впослѣдствіи возвращались къ прежнимъ мнѣніямъ и стремленіямъ, причины тому были разныя, отъ нихъ независѣвшія обстоятельства—или совершенная невозможность спокойно и безопасно жить въ деревнѣ, или непріятности по службѣ, или какія-нибудь другія причины. Дѣльное и производительное занятіе всего вѣрнѣе и дѣйствительнѣе осаживаетъ и успокоиваетъ людей, а мы такого именно занятія и лишены. Мечемся туда и сюда, съ жаромъ ухватываемся за дѣло, но встрѣчаемъ затрудненія, не изъ него прямо исходящія, а совершенно дѣлу постороннія, и притомъ такія, которыя требуютъ не усиленной дѣятельности, не особенныхъ какихъ-нибудь нравственныхъ напряженій, а, напротивъ, или подчиненія незаконнымъ требованіямъ, или угожденія, или обхода существующихъ законовъ, или другихъ, достоинство человѣка роняющихъ уступокъ.»

И такъ, оказывается, по словамъ Кошелева, что даже сельскимъ хозяйствомъ или компанейской службой (даже, какъ говоритъ Кошелевъ въ другомъ мѣстѣ своего фельетона, пулькой въ винтъ и пожираніемъ кулебяки съ осетриной) нельзя нынѣ заниматься, не утрачивая своего человѣческаго достоинства и невольно, въ силу обстоятельствъ, не пересаливая и не ударяясь въ какую-либо крайность. Что-же остается дѣлать нашимъ разсудительнымъ либераламъ? Надѣяться, что въ одинъ прекрасный день вдругъ къ намъ съ неба свалится какое-то мистическое и мионическое оживленіе, котораго чаетъ Кошелевъ въ концѣ статьи? Но нынѣ не вѣкъ чудесъ, и ничего не снидетъ съ небесныхъ высотъ на голову Кошелева, кромѣ дождя или снѣга.

Въ томъ-то и дѣло, что бываютъ въ исторіи такіе моменты, въ которые, въ силу фатальныхъ обстоятельствъ и неумолимой логики событій, возможны бываютъ лишь двѣ партіи, два противныя и борющіяся между собою теченія, какъ два полюса магнита, какъ тезъ и антитезъ гегелевской философіи, и между ними немыслимо никакое среднее, промежуточное направленіе. И это зависитъ вовсе не отъ легкости усвоенія нами западныхъ продуктовъ, какъ думаетъ Кошелевъ въ началѣ своей статьи, а отъ тѣхъ роковыхъ условій, какія онъ выставляетъ въ концѣ. И въ жизни западныхъ народовъ, которымъ, по словамъ Кошелева, давалось все не иначе, какъ вѣковымъ опытомъ, мы могли-бы указать подобные-же моменты, въ которые вся жизненная борьба сосредоточивалась въ какихъ-либо двухъ крайнихъ историческихъ теченіяхъ; среднія, промежуточныя направленія мысли играли въ такіе моменты самую жалкую роль, и люди, проповѣдывавшіе ихъ, представляли собою плясуновъ, балансирующихъ по канату безъ всякой надежной точки опоры и баланса и тщетно старающихся удержаться прямо въ то время, какъ сила тяжести такъ и тянетъ ихъ то вправо, то влѣво.

Послѣ этого понятны и всѣ тѣ противорѣчія, вся та вопіющая непослѣдовательность мысли, обнаруживаемыя нашими либеральными органами. Кошелевъ произнесъ приговоръ тому самому «Голосу», на страницахъ котораго напечатанъ его фельетонъ. Конечно ничего не стоитъ сотрудникамъ этой почтенной газеты въ своихъ ежедневныхъ передовыхъ статьяхъ, пишущихся среди полнаго затишья и одурѣющей скуки, царящей повсюду, жевать и пережевывать тертые и перетертые либеральные трюизмы, но вдругъ жизнь нарушается какимъ-нибудь выдающимся скандаломъ, и каждый разъ приходится терять голову: «Голосъ» въ такихъ случаяхъ то вдругъ краснѣетъ, и тогда на него сыпится цѣлый градъ московскихъ перуновъ, инсинуацій, каръ; московская пресса торжествуетъ, доказывая, что либеральная надпольная пресса ничѣмъ не отличается отъ радикальной подпольной. То, наоборотъ, «Голосъ» блѣднѣетъ, самъ впадаетъ въ тонъ московской прессы, глядитъ на обсуждаемый фактъ совершенно такими-же глазами, какъ и всѣ московскіе публицисты, взятые вмѣстѣ, и тогда полемика съ почвы принциповъ переходитъ на почву взаимныхъ киваній другъ на друга: «Московскія Вѣдомости» говорятъ: «это вы, либералы, расплодили подобныя мерзости», а «Голосъ» отвѣчаетъ имъ: «нѣтъ, эти мерзости—печальный плодъ вашего мракобѣсія!»

Да, Кошелевъ тысячу разъ правъ, и не въ бровь, а въ самый глазъ колетъ всѣхъ своихъ единомышленниковъ, когда говоритъ: «Мы и страшные прогрессисты, и такіе-же ретрограды; мы и братолюбивы до самозабвенія, и своекорыстны до жестокости, и вслѣдствіе того у насъ въ людяхъ, въ обществѣ и въ учрежденіяхъ (слѣдовало-бы прибавить: и въ либеральныхъ органахъ нашихъ вродѣ «Голоса»)—ужасная разноголосица, безтолочь, безурядица, чистый сумбуръ».

Этими словами Кошелева я могу покончить какъ нельзя лучше свою настоящую бесѣду съ читателями.

НОВЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ДЕРЕВНИ.

«Власть земли», очерки Гл. Успенскаго. Сочиненія Златовратскаго, т. II: «Устои, исторія одной деревни», повѣсть въ четырехъ частяхъ.

I.

Съ тѣхъ поръ какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя всеобщее вниманіе, какъ двѣ крупнѣйшія силы въ беллетристикѣ 60-хъ годовъ, между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ-бы два противоположные полюса воззрѣній на народъ, отрицательный—съ одной стороны, положительный—съ другой. Во многихъ мѣстахъ произведеній этихъ писателей подозрѣвали даже тайную, замаскированную полемику, которую будто-бы они вели между собой, не рѣшаясь по разнымъ обстоятельствамъ открыто выступать другъ противъ друга. Даже и читатели ихъ раздѣлились на два лагеря: поклонниковъ Гл. Успенскаго и Н. Златовратскаго, причемъ первые обвиняли Златовратскаго въ идеализаціи народа и сентиментальности, а вторые заподозрѣвали Гл. Успенскаго въ чемъ-то вродѣ скрытаго крѣпостничества.

Правда, писатели эти рѣзко отличаются одинъ отъ другого. Но отличіе это далеко не такъ существенно, какъ это кажется. Оно не простирается далѣе художественныхъ физіономій этихъ двухъ писателей. Въ то время какъ преобладающей силой таланта Гл. Успенскаго является юморъ, смѣхъ, безпощадно разбивающій всѣ ваши иллюзіи, Н. Златовратскій хотьбы разъ улыбнулся: скорбитъ или радуется,— онъ постоянно находится въ одномъ и томъ-же нѣсколько восторженномъ настроеніи, которое порой доходитъ у него до эпическаго пафоса, такъ что даже и слогъ его принимаетъ стихотворный размѣръ, что-то какъ будто вродѣ гекзаметра. Художественный элементъ преобладаетъ у Н. Златовратскаго. Онъ рѣдко вдается въ разсужденія, говоритъ и доказываетъ преимущественно образами; любитъ при этомъ изображать деревенскую природу и въ своихъ ландшафтахъ отличается не малымъ мастерствомъ. Гл. Успенскій является постоянно критикомъ своихъ собственныхъ произведеній, и на полстраничкѣ художественныхъ изображеній вы навѣрно найдете у него страницъ пять, а то и десять публицистическихъ разсужденій по поводу этихъ изображеній. Въ то-же время какихъ-либо ландшафтовъ и художественныхъ аксессуаровъ у Гл. Успенскаго вы не ищите; въ этомъ отношеніи онъ самый строгій ригористъ, какіе когда-либо бывали въ беллетристикѣ.

Все это различія безъ сомнѣнія не маловажныя и, рѣзко бросаясь въ глаза, они именно и придаютъ этимъ писателямъ видъ двухъ противуположностей. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ, если вы вглядитесь пристальнѣй въ содержаніе ихъ произведеній, отъ всего этого антагонизма не останется въ вашемъ представленіи почти ни малѣйшаго слѣда, и вы придете къ убѣжденію, что и представляемые этими писателями факты народной жизни, и воззрѣнія ихъ на эти факты почти тождественны. И это очень понятно. Какъ-бы ни были различны Гл. Успенскій и Златовратскій по своимъ художественнымъ темпераментамъ, оба они представляются одинаково добросовѣстными наблюдателями и оба наблюдаютъ одинъ и тотъ-же предметъ—народную деревенскую жизнь Понятно, что и видѣть въ этой народной жизни они должны одни и тѣ-же явленія. А такъ какъ оба они люди одного вѣка, одного образованія, то и воззрѣнія ихъ на эти явленія не могутъ представлять существенной разницы.

Чтобы вполнѣ удостовѣриться въ этомъ, возьмемъ «Власть земли» Гл. Успенскаго и нѣкоторые другіе соприкасающіеся съ ней очерки его, а съ другой стороны—«Устои» Н. Златовратскаго, какъ произведеніе, наиболѣе полно и всесторонне выражающее воззрѣнія автора на народную жизнь.

II.

По мнѣнію Гл. Успенскаго, бытъ и нравственность крестьянина опредѣляются не какими-либо отвлеченными идеями, выработанными разумомъ и сознательно проводимыми въ жизни, а стихійными силами природы, тяготѣющими надъ крестьянскимъ трудомъ и опредѣляющими всю его жизнь и все его міросозерцаніе. Это и есть то, что называетъ Гл. Успенскій *властію земли*.

Тайна эта,—говоритъ Гл. Успенскій, по истинѣ огромная и, думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ и терпѣлива, и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душой, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ,—народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся,—народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за искупленіемъ душевныхъ мукъ—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ *власть земли*, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ *невозможность* ослушанія ея *повелѣній*, покуда они наполняютъ его существованіе... Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ «крестьянство»,—и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь. «Иди, куда хочешь...»

«У земледѣльца,—говоритъ ниже Гл. Успенскій,—нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые-бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Чего ты хочешь—тюрьмы или розогъ?», то онъ всегда предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобы только сейчасъ же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля

не дожидается: нужно косить, сѣно нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вотъ въ этой-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тяготы, подъ которой человѣкъ самъ по себѣ не можетъ и пошевелиться,—тутъ-то и лежитъ та необыкновенная *легкость* существованія, благодаря которой Селяниновичъ могъ сказать: «меня любитъ мать сыра земля». И точно любитъ: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣликомъ, но зато *онъ и не отвѣчаетъ* ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, который увелъ у него лошадь,—и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти — онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену — невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, что велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ; а главное, какое счастіе не выдумывать себѣ жизни, не разыскивать себѣ интересовъ и ощущеній, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ—долженъ сидѣть дома, ведро — долженъ идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвѣчая*, ничего *не придумывая*, человѣкъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ *жизнь*, не имѣющую повидимому никакого результата (что выработаютъ, то и съѣдятъ), но имѣющую результатъ именно въ самой себѣ. Для чего растетъ этотъ дубъ? какая ему польза сто лѣтъ тянуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и въ концѣ концовъ кормить желудями свиней? Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растетъ*, просто зеленѣетъ, такъ, самъ не зная зачѣмъ. То же самое и жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ—это и есть жизнь и интересъ жизни, а результатъ—ноль.»

Но не только крестьянинъ въ своей личной, семейной жизни приравнивается Гл. Успенскимъ къ типу чисто растительной жизни, но и общественная жизнь его оказывается созданной не имъ самимъ, а той-же властію земли.

«Если вы поймаете галку, говоритъ—Пигасовъ въ разсказѣ «Безъ своей воли»,—и разсмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линіи ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воля? Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь тогда любая галка геніальнѣйшее существо, необъятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ... А между тѣмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ .. Неисповѣдимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ «пучить», и въ концѣ концовъ получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ милліоны разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строеніе безъ собственнаго ума, а такъ.. И народная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій удивительна гармонична, красива, *просто такъ*.»

Общественные порядки, поражающіе изслѣдователей въ крестьянскомъ быту, Гл. Успенскій усматриваетъ и въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей, — говоритъ онъ во «Власти земли»,—по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятники», которые посылаются стерлядинымъ обществомъ искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба—сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ выборныхъ и ходоковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества» и, подойдя къ заколу, который ставятъ рыбники поперекъ рѣкъ, начинаютъ пробовать крѣпость его носомъ, потомъ налетаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мірской сазаній сходъ съ страшной стремительностью устремляется на заколъ и ударяетъ въ него всѣмъ своимъ коллективнымъ рыломъ. Многіе погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются...»

Одинимъ словомъ, и въ общественномъ отношеніи крестьянскій міръ, то, что называется «община», представляетъ собой чисто зоологическій типъ, нѣчто вродѣ пчелинаго улья или муравейника.

Безъ сомнѣнія подобное отрицаніе сознанія, воли, ума въ крестьянской жизни должно быть принято условно. Слѣпое повиновеніе власти земли не отрицаетъ конечно и дѣйствія ума въ извѣстномъ районѣ. Выборъ въ жены хорошей работницы, равно какъ и выборъ хорошаго дерева для рубки, удачная покупка, ловкій торговый оборотъ при продажѣ овса и т. п.,— все это требуетъ соображенія, воли. Наконецъ, для того чтобы подчиниться власти земли, необходимо было и самую землю подчинить своей власти: выдумать соху, борону, топоръ, приручить животныхъ и т. п. Но и во всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ дѣйствіяхъ человѣческаго разума мы видимъ все-таки два обстоятельства: во-первыхъ, работа крестьянскаго ума и возбуждается, и направляется исключительно властью земли, поглощается ею до такой степени, что внѣ района земледѣльческаго труда умъ совершенно отказывается отъ всякой работы, и здѣсь для крестьянина наступаетъ царство мрака и безсознательности. А во-вторыхъ, что самое главное, въ крестьянскомъ мірѣ традиціонный умъ рѣшительно преобладаетъ надъ личнымъ. Не говоря уже о сложныхъ отношеніяхъ общественныхъ порядковъ, даже и такія элементарныя орудія земледѣльческаго труда, какъ соха, борона, топоръ были изобрѣтены не творческимъ умомъ отдѣльныхъ личностей, а втеченіи многихъ вѣковъ традиціонной работой тысячъ поколѣній. Традиціонный умъ стремится подчинить въ сельскомъ мірѣ умъ личный не только въ общемъ строѣ быта, но и въ отдѣльныхъ случаяхъ жизни, вродѣ напримѣръ эпидеміи, падежа, пожара и т. п. Пріѣзжаетъ въ село новое начальство съ новыми требованіями, проводится по сосѣдству чугунка,—и тутъ крестьянинъ, прежде чѣмъ пустить въ ходъ творчество личнаго ума, ищетъ указаній въ традиціяхъ, въ какомъ-либо аналогическомъ примѣрѣ отцовъ и дѣдовъ.

Вотъ это-то преобладаніе традиціоннаго ума и сбиваетъ съ толку наблюдателей народной жизни. Вѣдь традиціонный умъ все-таки тотъ же человѣческій раз-

умъ, да еще собирательный, массовый, непрестанно дѣйствовавшій втеченіи вѣковъ. Умъ этотъ отражается въ сознаніи каждаго крестьянина. Мужикъ *сознаетъ*, *разсуждаетъ*, что поступать такъ, а не иначе, дѣлить напримѣръ поля по равненію, пристроить сироту въ чужую семью, идти міромъ на помочь ко вдовѣ — значитъ поступать по-Божески, какъ съ поконъ вѣковъ поступали отцы и дѣды, но сознавать—не значитъ творить, выдумывать что-либо новое, а сознаніе крестьянина не идетъ далѣе слѣпого повиновенія традиціи. Традиція же рядомъ съ такими прекрасными вещами, какъ равненія, помочи и. т. п., внушаетъ крестьянину и звѣрскіе поступки вродѣ убійства конокрада, насильственнаго брака по хозяйственнымъ разсчетамъ и т. п. Въ концѣ-концовъ и выходитъ, что крестьянинъ какъ будто и разсуждаетъ, а какъ будто и совсѣмъ не разсуждаетъ, а только слѣпо повинуется. Подобное же преобладаніе традиціоннаго ума дѣлаетъ крестьянскій міръ еще болѣе похожимъ на улей или муравейникъ, гдѣ производятся поразительныя вещи въ свою очередь однимъ слѣпымъ повиновеніемъ традиціоннымъ инстинктамъ.

И нельзя сказать, чтобы, констатируя подобные факты, Гл. Успенскій открывалъ намъ новую Америку. Вѣдь что такое представляетъ собой наша крестьянская община? Это сохранившійся типъ первобытнаго общества. Исторія свидѣтельствуетъ намъ, что всѣ народы начинали съ общиннаго быта. Но этого мало: у всѣхъ народовъ въ началѣ ихъ исторіи мы видимъ преобладаніе традиціоннаго ума надъ личнымъ. У всѣхъ народовъ сохраняются миѳы о золотомъ вѣкѣ, когда человѣкъ былъ чистъ и невиненъ душой, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и кротко повиновался завѣтамъ отцовъ и дѣдовъ; не было тогда на землѣ ни ссоръ, ни кровопролитій; всѣ люди соединялись въ общемъ союзѣ мира, любви и гармоническаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ съ такими преданіями существуютъ другія, совершенно противуположныя, которыя рисуютъ намъ этихъ самыхъ ангеловъ золотого вѣка хищными, звѣроподобными, кровожадными титанами, окруженными легендарными чудовищами, и въ свою очередь похожими на этихъ чудовищъ. При всей своей противуположности подобные миѳы одинаково справедливы, основываясь на памяти народовъ о тѣхъ временахъ, когда человѣкъ, слѣпо повинуясь велѣніямъ природы и традиціи, подобно крестьянину Гл. Успенскаго совершалъ въ одно и то-же время и высокіе подвиги любви и братства, и безчеловѣчныя злодѣйства, былъ и ангеломъ золотого вѣка, и звѣремъ эпохи титановъ.

Освобожденіе личнаго ума изъ-подъ ига традиціи, появленіе на сцену героя и своевольнаго человѣка—и есть то, что въ миѳахъ представляется въ видѣ паденія золотого вѣка. Какъ только дерзкій умъ человѣка возмутился противъ завѣтовъ старины, первобытная гармонія золотого вѣка рушилась, начались смуты, кровопролитія, порабощенія. Однимъ словомъ, началась *исторія*, но вмѣстѣ съ тѣмъ началось и смягченіе нравовъ—*цивилизація*. Люди перестали быть ангелами золотого вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ перестаютъ быть и звѣрями.

III.

Теперь обратимся къ «Устоямъ» Златовратскаго. Здѣсь передъ нами исторія одной крестьянской общины—«Волчьяго поселка». Основателемъ ея является Мосей Волкъ, мужикъ, по словамъ автора, «идейный», у котораго вся жизнь была осуществленіемъ «идеи», и пока онъ ея не выполнилъ, онъ не успокоился. Что же это была за идея? А заключалась она въ томъ, что влюбился Мосей въ молодую, веселую, березовую барскую рощу на спускѣ рѣчки и упросилъ барина поставить его въ сторожа къ рощѣ. Когда же онъ «узналъ, что баринъ хочетъ продать рощу, загрустилъ, упалъ на колѣни передъ барином и сталъ просить отпустить его на-сторону» съ тѣмъ, что черезъ пять лѣтъ онъ вернется и купитъ рощу. Черезъ пять лѣтъ вернулся: сапоги кувшинные, на плечахъ сибирка, бурмистръ его въ передній уголъ садитъ. Гдѣ пропадалъ, откуда и какъ нажилъ денегъ, чтобъ заплатить барину за рощу,—Мосей не любилъ разсказывать.

Безспорно это была «идея», но идея вполнѣ крестьянская, въ духѣ все той-же «власти земли». Сколько было потрачено энергіи, принято грѣха на душу,—и все это изъ-за березовой рощицы. Развѣ это не тотъ-же мужикъ Гл. Успенскаго, готовый съ мужествомъ Муція Сцеволы перенести всяческое истязаніе, лишь бы сѣно было во-время скошено? Это идея пчелиной матки, которая въ выборѣ излюбленнаго мѣстечка для улья безъ сомнѣнія въ свою очередь руководствуется своими утилитарными и эстетическими соображеніями. Движимыя наслѣдственными инстинктами, животныя вьютъ гнѣзда, ни мало не размышляя, что мѣсто поселенія можетъ быть эксплуатировано другимъ существомъ въ иныхъ цѣляхъ. Пчелы устраиваютъ въ дуплѣ стараго дерева улей, не подозрѣвая, что придетъ лѣсникъ и срубитъ это самое дерево. Не лучше поступилъ и Мосей съ своей возлюбленной рощицей. Онъ заплатилъ за нее барину деньги и вообразилъ, что этимъ дѣло и покончено; ему и въ голову не пришло, что при крѣпостномъ правѣ крестьянинъ не имѣлъ права купить ни пяди земли у своего барина, такъ какъ и самъ онъ, и вся земля принадлежали помѣщику. Понятно, что послѣ воли излюбленная рощица снова оказалась барской. Положимъ, что старый баринъ былъ человѣкъ честный и добрый, помнилъ совершенную продажу и не хотѣлъ обижать мужика, но иная музыка пошла, когда пріѣхала въ имѣніе барыня совсѣмъ другого закала.

Въ незапамятныя времена, когда много земли, никому не принадлежавшей, лежало впустѣ, общины выдѣлялись одна изъ другой такимъ-же естественнымъ путемъ, какъ и пчелиные рои. Переполнится община отъ нароста населенія, сдѣлается тѣсно, являются выселки, и изъ нихъ образуются новыя общины. Такъ образовался и «Волчій поселокъ». Купивши у барина землю, Мосей ушелъ въ свою излюбленную рощицу, построилъ въ ней малую избу; близъ этой малой избы запустилъ улья, пригласилъ къ себѣ ходить за пчелами старую бобылку «Феклушу» и «ушелъ отъ жизни», «отрѣшился». Семью-же свою,

состоявшую изъ трехъ женатыхъ сыновей и дочери, оставилъ въ «Дергачахъ» на прежнемъ положеніи, сдѣлавши своимъ сыновьямъ заказъ «не только проситься, ниже помышлять объ отходѣ въ столицы, пока Господь Богъ грѣхамъ терпитъ и голодомъ не гонитъ», потому что въ столицахъ «грѣха много». Затѣмъ Мосей, вѣрный своимъ общиннымъ инстинктамъ, явился въ Дергачи на сходъ и заявилъ, что часть пріобрѣтенной имъ вмѣстѣ съ рощей въ пустошахъ пустопорожней земли, прилегавшей къ деревнѣ, онъ отдаетъ въ пользованіе міру, который въ землѣ нуждается, а ему съ ней дѣлать нечего,—и при первомъ же передѣлѣ Мосей самъ сдѣлалъ на свою землю жеребья и вмѣстѣ съ другими вынулъ жеребій для своихъ сыновей.

Но вотъ въ настоящемъ случаѣ не путемъ естественнаго прироста населенія, а вслѣдствіе внѣшнихъ обстоятельствъ, дергачевская община оказалась въ стѣсненномъ положеніи. Пріѣхала, какъ мы выше говорили, барыня, затѣмъ землемѣръ и при помощи исправника ввели въ отношеніяхъ мужиковъ къ барину «порядокъ» и опредѣленность, которые сразу заявили себя передъ дергачевцами повышеніемъ податей и урѣзаніемъ пользованія землею до $1^1/_2$ дес. надѣла, въ который оказался врѣзаннымъ даже одинъ клочекъ земли, уступленный Мосеемъ общинѣ. Когда дергачевцы протестовали противъ послѣдняго обстоятельства, имъ сказали, что земля эта барская, такъ какъ Мосей во время крѣпостного права не смѣлъ покупать землю на свое имя. Дергачевцы только крякнули, а Мосей и совсѣмъ боялся слово пикнуть, чтобы и послѣднюю землю съ рощей не взяли. Между тѣмъ къ этому времени семья Мосея Волка «набрала въ себѣ большую силу»: съ самимъ Мосеемъ она считала уже 10 душъ,—5 мужского и 5 женскаго пола. Такая огромная семья должна была конечно поглощать значительную долю общественныхъ земельныхъ жеребьевъ. Такъ или иначе, нужно было выселиться. Первымъ дѣломъ предстояла настоятельнѣйшая необходимость поскорѣе «осѣсть» на свою землю, чтобы хотя фактомъ заселенія укрѣпить ее за собой; а вторымъ дѣломъ односельцы прямо заявили Мосею, что «какъ-никакъ, а тебѣ съ семьей въ собственники идти надоть, потому у васъ земля есть своя, а у міра и безъ васъ дѣлать нечего,—разсуди по-божьи».

И вотъ переселился Мосей въ свою излюбленную рощицу со всѣми своими чадами и домочадцами. Вокругъ этой семьи, поселившейся въ четырехъ избахъ, какъ вокругъ ядра или сердцевины, и начала мало-по-малу наростать новая община, подобно тому, какъ наростали подобныя общины и въ стародавнія времена. Первымъ дѣломъ дергачевскій міръ упросилъ Мосея дозволить переселить на его землю мужика Сатира Кривого.

За Сатиромъ Кривымъ, и полгода не прошло, дергачевскій міръ опять билъ челомъ Мосею, чтобъ онъ взялъ на свою землю вдову-солдатку Сиклетею съ безчисленнымъ количествомъ дѣтей. За солдаткой Сиклетеей такимъ-же порядкомъ былъ переселенъ въ Волчій поселокъ старый, сгорбленный заштатный пономарь Ѳеотимычъ. Затѣмъ самъ-собою пришелъ и поселился неизвѣстный, безродный человѣкъ, Иванъ Забытый. И вотъ такимъ образомъ создалась община, и потекла въ ней та тихая, спокойная, зоологическая жизнь, какая испоконъ вѣковъ текла въ деревенскихъ общинахъ. Началась идиллія золотого вѣка, заставившая дергачевскаго старосту воскликнуть:

— О, дуй васъ горой! Что это у васъ за жизнь въ выселкѣ! Ей-Богу! Кажись, только денекъ пожилъ бы, тутъ бы и умеръ отъ удовольствія!.. Да ежели здѣсь недовольство можетъ быть, такъ ужъ это, выходитъ, Господа Бога въ конецъ изобличать!.. Да тутъ, други мои, до скончанія вѣка надъ вами благодать Господня ненарушимо будетъ!..

Но увы, эпоха золотого вѣка давно минула, и аркадская идилія, вродѣ той, какую представлялъ собой «Волчій поселокъ», возможна нынѣ лишь какъ мимолетный призракъ, какъ мелькнувшее на одно мгновеніе воспоминаніе о временахъ давно минувшихъ и безвозвратно канувшихъ въ вѣчность. «Какъ ни привлекательна была,—говоритъ Златовратскій,—фантазія Макридія Софроновича, тѣмъ не менѣе когда прошелъ порывъ всеобщаго «благодушія», всѣ какъ-то еще яснѣе почувствовали, что на мирную жизнь поселка наплываетъ что-то «новое», что-то «чуждое». Въ чемъ состоитъ это «новое», опредѣлительно сказать никто бы не могъ; только чувствовалось, что въ жизни мужика не бываетъ идиллій, что суровая мужицкая судьба не преминетъ заявить о себѣ.

IV.

Это «новое», «чужое», начавшее наплывать на мирную жизнь поселка, является ни чѣмъ инымъ, какъ именно пробужденіемъ личности человѣческой, стремленіемъ ея освободиться отъ традиціонно-стихійнаго прозябанія. Однимъ словомъ, здѣсь мы видимъ то-же самое явленіе, какое характеризуетъ собой паденіе всѣхъ золотыхъ вѣковъ, какіе только бывали въ исторіи.

Начать съ того, что вся эта идиллія только и могла имѣть мѣсто въ тѣ незапамятныя времена, когда земли было много, а людей мало, и дергачевцамъ ничего не стоило выселять на новыя мѣста всѣхъ несостоятельныхъ членовъ общества вродѣ Сатировъ кривыхъ или Сиклетей. Но и въ тѣ времена стоило произойти какой-нибудь неурядицѣ, бѣдствію вродѣ пожара, голода и падежа, или личному несчастію вродѣ болѣзни и смерти большака въ страдную пору,—и гармонія нарушалась—являлось неравенство,—съ одной стороны голытьба, обнищалые, отбившіеся отъ ржанаго поля бобыли, съ другой—богачи-міроѣды. Правда, въ то время люди богатѣли и бѣднѣли только отъ земли и землей, какъ выражается Гл. Успенскій въ своей «Власти земли». Счастье, такая-то удача, равно и неудача были земледѣльческія; понятно было богатство, понятна бѣдность, и никто ни передъ кѣмъ не былъ виноватъ. Но и тогда уже люди разбогатѣвшіе выдѣлялись изъ темной массы, какъ представители умственной силы, старались жить своимъ умомъ, не только не подчиняясь міру съ его зоологической традиціей, но сами при случаѣ пытаясь подчинить міръ своей непреклонной волѣ; и тогда уже они порою совсѣмъ отрѣшались отъ міра и уходили въ города.

Но нарушеніе традиціонной гармоніи и выдѣленіе личности получили еще болѣе мѣста въ послѣднее время послѣ освобожденія крестьянъ, когда всѣ стародавнія условія земледѣльческаго быта нарушились и вмѣстѣ съ тѣмъ въ крестьянскій міръ нахлынула масса новыхъ, чуждыхъ элементовъ въ видѣ даровыхъ наживъ всякаго рода, городскихъ нравовъ и воззрѣній. Въ то время какъ дергачевцы получили въ надѣлъ всего по полъ-десятины, въ среду этихъ нищенскихъ надѣловъ затесались новые собственники, пошла черезполосица, поземельныя отношенія достигли страшной, невообразимой путаницы, начались передѣлы, «судьбища». Все это, само по себѣ разорявшее дергачевскій міръ, сопровождалось потоками мірскихъ попоекъ, приводившихъ къ еще большему разоренію да еще спаиванью другъ друга. При такихъ условіяхъ мірское дѣло со всѣмъ его традиціоннымъ ритуаломъ перестало внушать къ себѣ въ дергачевцахъ священное уваженіе; напротивъ того, оно сдѣлалось тяжестью, на него начали посматривать съ презрѣніемъ и враждебностью, какъ на агломератъ общественной неурядицы и отсутствіе всякой правды. Люди «умственные» начали сторониться отъ него, повторяя слова Св. Писанія: «блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ». Понятно, что тутъ-то и началось выдѣленіе личнаго элемента уже не спорадическими случаями, а какъ эпидемія.

Н. Н. Златовратскій приводитъ намъ нѣсколько формъ выдѣленія личнаго начала. Таковъ напримѣръ типъ Сысоя Строгаго. У Строгаго была здоровая, «желѣзная» натура и здоровый мозгъ. Этотъ мозгъ во-первыхъ хотѣлъ мыслить, во-вторыхъ — мыслить самостоятельно. Онъ былъ одиночка и женился на дочери богатаго мужика. Когда тесть умеръ, къ нему перешла мельница. Они были бездѣтны, для полевыхъ работъ по лѣтамъ они держали или работника, или работницу. Мельница давала имъ такое обезпеченіе, что ни самъ Строгій, ни его жена никогда не чувствовали необходимости «тянуть изъ себя жилы», а работали столько, сколько требовалось это общимъ складомъ деревенскаго труда. Самъ Строгій постоянно былъ на мельницѣ, въ особенности по осени; помощниковъ себѣ въ этомъ дѣлѣ онъ не любилъ. Напротивъ, онъ любилъ даже хвалиться тѣмъ, что одинъ всю мельницу правилъ. Зато по зимамъ и весной онъ пользовался извѣстнымъ досугомъ. Въ это время его начинали одолѣвать разные вопросы — и вотъ онъ пускался за поисками «умственнаго человѣка и умственной бесѣды», ѣхалъ къ попу, дьякону, писарю, учителю, раскольничьему начетчику, а въ городѣ у него завелось знакомство съ однимъ казеннымъ, некрупнымъ чиновникомъ. Впрочемъ ко всѣмъ этимъ лицамъ Строгій не выказывалъ ни особой любви, ни особаго довѣрія. Всѣхъ ихъ опредѣлялъ онъ однимъ словомъ: «труха». Въ этомъ понятіи соединялъ онъ всѣ качества этихъ людей: легковѣсность, непостоянство, разладъ дѣла и слова и крайнюю умственную мѣшанину. Въ свою очередь всѣ эти «умственные» люди звали Строгаго «меланхоліей», хотя въ немъ похожаго на настоящую меланхолію и слѣда не было. «Меланхоліей», по ихъ мнѣнію, была та умственная «блажь», которая одолѣла Строгаго. А эта «блажь» имѣла результатомъ то, что Строгій неожиданно пришелъ къ слѣдующему выводу: «надо быть справедливымъ, потому — всѣ виноваты. А всему причиной вино: и тотъ виноватъ, кто пьетъ, и тотъ, кто пить даетъ». И вотъ, когда пришли къ Строгому о Рождествѣ причтъ, и писарь, и учитель, то водки имъ, къ изумленію гостей, онъ не подалъ, а сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ, послѣдовательно развивая свою «меланхолію» и подъ ея давленіемъ, онъ выработалъ совершенно своеобразные взгляды на весь деревенскій обиходъ. Прежде всего онъ вдругъ пересталъ ходить въ церковь: когда начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый синій кафтанъ, выходилъ на зады своей избы, становился на холмъ, и здѣсь, молясь на сверкавшій на солнцѣ крестъ колокольни, выстаивалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгій отрѣшаться и отъ мірскихъ дѣлъ и пересталъ участвовать въ «мірскихъ чаяхъ», въ «мірскихъ четвертяхъ и полуведрахъ». «Не товарищъ,—говорилъ онъ,—пущай безъ меня опаиваютъ народъ-то, съ вами здѣсь не споешься, а сопьешься» и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить въ городъ или въ монастырь; онъ и самъ началъ подумывать объ отъѣздѣ въ городъ. «Меланхолія» его развилась въ какой-то тупой индифферентизмъ ко всему. Чѣмъ больше бѣдствовали дергачевцы, чѣмъ больше запутывались они въ какія-то клейкія, но неуловимыя и тонкія паутины «мірскихъ дѣлъ», тѣмъ Строгій все больше и больше уходилъ отъ «міра».

«Замежуетесь и не размежуетесь во вѣки вѣковъ», говорилъ онъ и бросилъ обрабатывать свой надѣлъ, передалъ его въ аренду своему сосѣду, чтобы окончательно отойти отъ міра. Мужики на это совсѣмъ осердились и стали Строгаго донимать систематически, начали навязывать ему различныя общественныя должности. Тогда онъ совсѣмъ рѣшился уѣхать въ городъ и записаться тамъ въ мѣщане.

Рядомъ съ типомъ Строгаго стоитъ передъ нами другой типъ отрѣшенія отъ міра въ видѣ сына Пимана, Бориса. Еще при крѣпостномъ правѣ, когда Борисъ былъ мальчикомъ, отцу-Пиману какимъ-то образомъ удалось научить своего сына грамотѣ, и вотъ онъ билъ челомъ барину, желая избавить сына отъ очереди, чтобы баринъ взялъ Бориса въ контору. Баринъ согласился, парень ему понравился, и въ деревнѣ составилось тогда-же мнѣніе, что Борисъ «пойдетъ теперь далеко», что онъ при своемъ умѣ «барина самого завертитъ», и пророчество это сбылось: умный, но не столько проницательный, сколько талантливый и бойкій, Пимановъ сынъ «пошелъ далеко»: черезъ два года онъ уже вполнѣ сдѣлался довѣреннымъ добраго барина, а еще черезъ два года, едва ему минуло двадцать семь лѣтъ, вся Вальковщина была въ его рукахъ; и не только Вальковщина трепетала передъ нимъ, передъ нимъ трепеталъ самъ управляющій и даже управляющіе и бурмистры сосѣднихъ помѣстій. Онъ не былъ ни на сторонѣ богатыхъ, ни на сторонѣ бѣдныхъ, не грабилъ ни мужиковъ, ни барина; если былъ иногда суровъ, то былъ также неожиданно и щедръ, милостивъ и справедливъ. Вальковщина стала приносить барину неслыханные прежде доходы. Борисъ вдругъ поднялъ на ноги всю тысяче-

душную, мирно прозябавшую цѣлый вѣкъ Вальковщину. Цѣлыми сотнями, не разбирая богатыхъ и бѣдныхъ, гонялъ Борисъ народъ на работы: то заведетъ по всѣмъ деревнямъ общественныя запашки,—и въ одинъ, въ два дня громадные стоги сѣна и скирды хлѣба уже стояли на поляхъ. То сгонитъ народъ въ лѣсъ, и цѣлыя вереницы возовъ потянутся изъ него съ хворостомъ, буреломомъ, сучьями, прежде гнившими безъ толку. То цѣлые мѣсяцы заставлялъ всю Вальковщину стоять по поясъ въ водѣ, въ болотѣ, копая канавы на протяженіи пяти верстъ, заставляя то-же дѣлать всѣ сосѣднія помѣстья, грозя затопить ихъ луга и поля, спустивши воду съ своихъ болотъ. Вѣчно веселый, бодрый, Борисъ съ какимъ-то запоемъ отдавался этой дѣятельности. Онъ страстно любилъ смотрѣть, какъ эти толпы, покорныя одному его слову, поднимали невѣроятные труды и въ одинъ-два дня совершали такія дѣла, какихъ хватило-бы на цѣлые десятки лѣтъ. Онъ чувствовалъ одно, что отданная въ его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, гдѣ закруживалась голова. Онъ самъ весь захлебывался этой массовой поэзіей. Денегъ—не грабилъ, не припрятывалъ,—онъ не зналъ имъ счета: послѣ каждаго новаго предпріятія скоплялось у него ихъ столько, что онъ могъ отдавать ихъ такъ-же безъ счета барину, какъ безъ счета бралъ себѣ самъ. Борисъ завелъ любовницъ, тройку лошадей, тарантасъ, посадилъ на козлы ямщика съ павлинымъ перомъ въ плисовой безрукавкѣ и рыскалъ по сосѣднимъ селамъ и городамъ, ухорскій, беззавѣтный, встрѣчаемый всюду съ изумленіемъ и невольнымъ страхомъ и уваженіемъ. Добрый баринъ гордился и даже хвалился на дворянскихъ выборахъ «своимъ министромъ»... Вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно—ужасъ, страхъ непонятный, гнетущій передъ какой-то силой, перепутавшей всѣ вѣками установленныя, опредѣленныя отношенія. Наконецъ Вальковщина рѣшилась бить барину челомъ: «Убери, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Боимся мы его... Жить не стало отъ страха!..» взмолились всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ-же мы виноваты?.. Коли боятся, значитъ, есть за что, проговорилъ на спросъ барина Борисъ и улыбнулся.

Баринъ внимательно взглянулъ ему въ лицо.—А! Теперь я знаю... въ чемъ ты виноватъ! сказалъ онъ, и къ изумленію всей Вальковщины и даже сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ, добрый баринъ, ратовавшій за освобожденіе, высѣкъ своего собственнаго буриистра... Говорили, что баринъ на другой-же день раскаялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ было наградить Бориса, но Бориса уже не было въ Дергачахъ: онъ бѣжалъ изъ нихъ съ женою и дѣтьми.

«Спустя лѣтъ пять или шесть, когда уже не было въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнихъ порядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной рубахѣ, въ плисовой поддевкѣ и штанахъ, сдѣлавшійся старше, серьезнѣе. Отдѣлился отъ родныхъ, выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщинѣ, но крестьянскаго хозяйства не заводилъ, а къ Рождеству неожиданно забилъ окна избы тесинами,—и снова исчезъ изъ Дергачей съ женой и съ сыномъ. Съ тѣхъ поръ, втеченіи десяти лѣтъ, онъ разъ пять попрежнему неожиданно являлся въ свою заплѣсневѣлую избу,—то съ женой и сыномъ, то съ однимъ сыномъ,—расколачивалъ окна,—и вотъ вся изба вдругъ наполнялась шумомъ, весельемъ и гамомъ. Отецъ и сынъ въ плисовыхъ шароварахъ, казакинахъ и кумачевыхъ рубахахъ ходили по деревенскимъ улицамъ, грызя орѣхи, угощая народъ по кабакамъ и у себя въ избѣ; если дѣло было зимой, они закупали статнаго жеребца со всей сбруей и санями; рыскали по всей Вальковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и пускали, что называется, пыль въ глаза всей дергачовской знати. Послѣ мѣсячнаго кутежа лошадь и сбруя спускались за безцѣнокъ—и странная семья исчезала года на два. Много конечно ходило о Борисѣ разсказовъ по Вальковщинѣ, иногда невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, которые повѣствовали о томъ, что встрѣчали Бориса то въ Астрахани, откупавшимъ огромные рыбные участки, собиравшаго артель до 200—300 человѣкъ рыбаковъ; то видѣли его нодъ Самарой, вытаскивавшаго потонувшій пароходъ; то сплавлявшаго цѣлые «каравааны» съ хлѣбомъ, и все это непремѣнно во главѣ огромной массы рабочаго народа,—который опять сгоняли въ лапы отца съ сыномъ словно какія-то невидимыя силы... А отецъ съ сыномъ ухарски и беззавѣтно царили надъ ней... Часто послѣ одной изъ такихъ «операцій» въ ихъ рукахъ скоплялись огромныя суммы денегъ. Тогда Борисъ распускалъ эти массы, пропоивъ на нихъ чуть не половину денегъ и возвращаясь доканчивать съ другой половиной въ родные Дергачи.»

Оба эти типа, какъ Строгій, такъ и Борисъ, не представляютъ въ сущности ничего новаго собой. Это—два вида первоначальнаго, элементарнаго, такъ сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете встрѣтить ихъ во всѣ времена русской исторіи. Строгіе населили русскіе города и были родоначальники всѣхъ купеческихъ родовъ, какіе только существуютъ на Руси. Борисы породили массу удалыхъ головъ, начиная съ новгородскихъ ушкуйниковъ и понизовой вольницы и кончая атаманами разбойничьихъ шаекъ и героями «Мертваго Дома» Достоевскаго.

Совершенно въ иномъ видѣ представляется третій типъ выдѣленія личнаго начала, представителемъ котораго является Петръ Вонифатьевичъ Волкъ, внукъ Мосея, главный герой «Устоевъ» Н. Златовратскаго. Это типъ совершенно уже новый, небывалый доселѣ въ дергачевской жизни. Онъ не отрѣшается отъ «міра», не дѣлается чуждымъ элементомъ, а стремится встать во главѣ своихъ односельчанъ, внести въ жизнь ихъ новыя начала «умственности», сознанія своего человѣческаго достоинства. Это въ своемъ родѣ герой времени, которымъ дергачевцы гордятся, отъ котораго ждутъ спасенія, и онъ сознаетъ свое призваніе спасти дергачевскій міръ и весь живетъ этимъ сознаніемъ. Вотъ этимъ-то героемъ мы теперь и займемся.

V.

Когда Петръ былъ еще мальчикомъ и жилъ у отца въ Волчьемъ поселкѣ, у него былъ другъ Филаретка, мальчикъ грамотный и большой любитель книгъ, получившій изъ разсказовъ своего отца, стараго дворецкаго, очень радужное представленіе о нравахъ ученыхъ и благородныхъ людей. Обольстительно рисовалъ онъ Петру всю прелесть «пинжака» и знанія законовъ, которые непремѣнно защитятъ ихъ и ихъ отцовъ, и братьевъ, и дядьевъ отъ всякихъ «прижи-

мокъ», колотушекъ, обидъ. Но Филаретка былъ натура увлекающаяся, легко мѣнялъ предметы своего увлеченія и скоро утѣшался въ несбыточныхъ мечтахъ. Не то былъ Петръ. Онъ слушалъ Филаретку и молчалъ, смотря на него исподлобья своими пытливыми карими глазами. Самолюбивый и недовѣрчивый, онъ рѣдко дѣлился своими мыслями даже съ Филареткой. Но что разъ западало въ его душу, то утрамбовывалось въ ней плитой. И въ отношеніи къ ближнимъ они были различны: Филаретка былъ вообще добродушный, любящій; когда обижали деревню—ему было *жалко*, Петру—было *стыдно*. Филаретка соболѣзновалъ и плакалъ объ обиженныхъ и негодовалъ противъ притѣснителей, грозя имъ въ будущемъ «пинжакомъ» и «законами». Петръ негодовалъ и на тѣхъ, и на другихъ,—и на притѣсняемыхъ, пожалуй, больше, чѣмъ на притѣснителей; за притѣсняемыхъ онъ *стыдился*, краснѣлъ за ихъ «рукосуйство», безотвѣтность, приниженность, и за этотъ *стыдъ* онъ платилъ имъ почти презрѣніемъ, хотя и готовъ былъ вынести обиду за нихъ на притѣснителяхъ.

Впослѣдствіи Петръ подпалъ подъ вліяніе своего крестнаго отца Строгаго, который взялъ крестника къ себѣ въ городъ и потомъ 16-ти лѣтъ отвезъ его въ Москву, гдѣ пристроилъ подручнымъ мальчикомъ при фирмѣ торговаго дома Башмаковыхъ и К°. И вотъ, живя въ Москвѣ, въ подвальномъ этажѣ, въ артели своихъ земляковъ, съ длинными нарами, съ тараканами, съ запахомъ капусты, прѣли, чернаго хлѣба и полушубковъ, съ коренастыми и горластыми мужиками въ ситцевыхъ рубахахъ и посконныхъ штанахъ, нѣкогда мечтавшій въ деревнѣ о прелестяхъ столичнаго «благороднаго обхожденія», съ завистью смотрѣлъ Петръ на тѣхъ изъ своихъ сослуживцевъ, которые успѣли завестись «отдѣльными помѣщеніями съ небелью», жили по одному или по-двое, въ тихой, благородной бесѣдѣ распивали собственные чаи изъ собственныхъ сервизовъ. И какъ было пріятно ему, когда приглашали его въ свою «тихую, степенную, благородную бесѣду за собственными сервизами» его сослуживцы, когда чистота, опрятность маленькаго «отдѣльнаго помѣщенія» съ цвѣтами на окнахъ, съ гитарой, съ платянымъ шкафомъ, съ старинными маленькимъ диваномъ, съ половиками у двери, съ вымытымъ на-чисто поломъ охватывали все его существо...

Но вотъ прикопилъ онъ деньжонокъ и получилъ возможность нанять «отдѣльную комнатку съ небелью». Съ большой все-таки нерѣшительностью остановился онъ у подъѣзда квартиры, гдѣ отдавалась такая комнатка въ «благородномъ семействѣ».—Не жирно ли будетъ?—повторилъ онъ про себя, смущенный этой надписью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ припомнились ему и часто повторявшіяся слова его крестнаго, Еремея Строгаго: «Не люди мы, что ли!» и онъ рѣшился позвонить къ «благородному семейству».

Благородное семейство Ивана Степановича Дрекалова, въ которое попалъ Петръ, было, по словамъ автора, «одной изъ тѣхъ широко распространенныхъ на Руси современныхъ семей, отличительной чертой которыхъ является полнѣйшая эфемерность существованія: ни назади, ни впереди, ни въ настоящемъ нѣтъ у этихъ семей ничего такого, про что они могли бы сказать: «да вотъ это *наше* было—и будетъ: за это *свое* мы ляжемъ костьми; это свое не уступимъ, не продадимъ во вѣки, хоть бы пришлось изъ-за этого страдать». Одно только одно у нихъ есть *свое*, это—страшная жажда бездѣятельнаго покоя и созерцательной лѣни, за которую они готовы кривить душой, пять разъ продать себя, унижаться, плутовать, лишь бы гарантировать себѣ это право безпечальнаго индиферентнаго существованія».

Тѣмъ не менѣе люди эти были нѣсколько обвѣяны новымъ духомъ времени. Вокругъ двухъ дочерей Дрекалова группировалась молодежь въ видѣ денежныхъ студентовъ, сибиряковъ и грузинскихъ князей, молодыхъ актеровъ, писателей и т. п. На вечеринкахъ у нихъ то раздавались «возвышенныя», полныя благороднаго, молодого увлеченія рѣчи, то слышался шопотъ, искренній и умоляющій, зовущій куда-то въ золотую страну высокихъ помысловъ и думъ, то пѣлись «Дубинушка», «Gaudeamus».

Петра вся эта молодежь встрѣтила съ распростертыми объятіями, какъ «любопытный экземпляръ», «сына народа», «дитя деревни», «непосредственную натуру» и т. п. Начались развиванія, лекціи. Петръ, несмотря на свою замкнутость, скоро сблизился съ молодыми друзьями. «Онъ вдругъ почувствовалъ какую-то свободу, какъ будто его выпустили изъ какой-то клѣтки, или онъ самъ прозрѣлъ, что клѣтка вовсе не была такъ неразрушима, какъ ему казалось... Всѣ эти «баре», «ученые»—какіе простые, добрые люди! И отчего это прежде онъ чувствовалъ къ нимъ такое недовѣріе, даже страхъ, отчего «сліяніе» съ ними прежде казалось ему такъ невозможнымъ? И что же въ нихъ такого, чего бы стоило бояться? Это все деревня виновата, невѣжественная деревня, которая наболтала про нихъ Богъ знаетъ что». И Петръ дошелъ до такого довѣрія къ новымъ друзьямъ, что отдалъ Дрекалову на сохраненіе скопленные 200 рублей.

Друзья же, не довольствуясь однѣми своими легковѣсными лекціями, свели Петра къ нѣкоему Пугаеву, полоумному сектанту, создавшему какую-то «новую религію нравственнаго возрожденія человѣчества» и при всѣхъ своихъ разглагольствованіяхъ объ этомъ «нравственномъ возрожденіи», о «просіяніи» отличавшемуся большой нечистоплотностью и разгильдяйствомъ въ своей личной жизни. Пугаевъ сначала затуманилъ Петра своими мистико-философскими и историческими параллелями, а затѣмъ, когда послѣ очень шумно проведенныхъ Святокъ, онъ пришелъ къ философу, чтобы разсѣять туманъ сомнѣній и услышать «хорошее слово», Пугаевъ огорошилъ его слѣдующими рѣчами:

«— Юноша, что васъ привело сюда, въ городъ? Что отняло васъ отъ родной земли, отъ благодатной почвы, отъ сохи и бороны? Чья святотатствен, ная рука бросила васъ въ эту коптильню разврата лжи, лицемѣрія? Я знаю, я знаю, что мнѣ отвѣтятъ. Мнѣ отвѣтятъ: здѣсь умъ, знаніе, богатство, сила, цивилизація, право... Пустыя громкія слова! Пе чальное горькое заблужденіе!. Это несчастнѣйшіе безумнѣйшіе люди! Ихъ терзаетъ вѣчная жажда неудовлетворенія, тоски, и чѣмъ больше стараются они залить въ себѣ огонь этой жажды, тѣмъ силь-

нѣе и сильнѣе она загорается... Знаешь ли, юноша, что вотъ мы,—мы ученые, образованные, богатые, сильные, мы проклинаемъ свою жизнь, мы мученики нашего ума, мы несчастные страдальцы, бѣжимъ изъ городовъ къ *вамъ*, туда, къ твоимъ терпѣливымъ, смиреннымъ и сильнымъ отцамъ и дѣдамъ. Да, вотъ гдѣ мы хотимъ найти нравственное успокоеніе для себя, миръ для своей души, любовь для сердца и истинныхъ воспитателей нашихъ дѣтей» и т. п.

Эти рѣчи Пугаева были до такой степени неожиданны для Петра, что произвели впечатлѣніе испуга. Онъ вдругъ почувствовалъ, что у него изъ-подъ ногъ начинаетъ исчезать почва. «Что это такое?.. Вдругъ на все, что̀ съ самыхъ юныхъ лѣтъ онъ понималъ ясно, опредѣленно, во что̀ вѣрилъ беззавѣтно, на чемъ покоились его смутныя, но возвышавшія и оживлявшія его надежды и упованія, вдругъ на этотъ свѣточъ, такъ ярко озарявшій его собственную душу, на этотъ свѣтильникъ, осмысливавшій передъ нимъ всю сложную жизненную процедуру и освѣщавшій ему твердый, прямой путь, вдругъ на этотъ свѣточъ дунули — и онъ потухъ»...

Петръ бросился было въ дергачевскую артель, но тамъ наткнулся на безобразнѣйшую сцену пьяной потасовки и полицейской расправы. Кинулся онъ къ Дрекаловымъ, но и тамъ было не до него: онъ встрѣтилъ пошлѣйшее сватовство одной изъ барышень съ господиномъ сомнительной репутаціи, когда-то сброшеннымъ съ лѣстницы торговаго дома Башмаковыхъ. Онъ сразу почувствовалъ себя чужимъ, лишнимъ, въ которомъ болѣе не нуждались и поспѣшили указать ему надлежащее мѣсто въ «благородномъ семействѣ». Онъ захворалъ послѣ всѣхъ этихъ потрясеній, и Ѳедосьѣ было строго наказано не подавать барской посуды Петру: боялись заразы отъ больного мужика, «который могъ Богъ знаетъ что, принесть съ собой». Онъ потребовалъ своихъ денегъ, и послѣдовала дикая сцена, закончившаяся тѣмъ, что Петръ подрался съ женихомъ, попалъ въ кутузку и былъ приговоренъ къ тремъ днямъ ареста при полиціи за буйство... Смиренно, не говоря ни слова въ оправданіе, выслушалъ онъ постановленіе, но подъ видимымъ смиреніемъ затаилъ въ душѣ своей тайную, глубокую злобу ко всѣмъ, ко всѣмъ имъ...

И вотъ послѣ всѣхъ этихъ мытарствъ возвратился онъ въ Волчій поселокъ совершенно переродившимся, новымъ человѣкомъ деревни, не имѣвшимъ ничего общаго съ своими земляками, рѣзко отличавшимся отъ нихъ по самой своей внѣшности.

Едва показался онъ въ деревнѣ, какъ уже успѣлъ съ достоинствомъ обрѣзать высокомѣрную наглость мѣстнаго кулака Маркова, на благородную дистанцію поставить отъ себя мѣстнаго землевладѣльца и адвоката Кораната Львовича съ его фамильярнымъ залѣзаніемъ въ душу мужика и отдалить отъ себя Филаретушку съ его наивной болтливостью и простоватостью. Идеалы, которые принесъ онъ съ собой въ деревню, были весьма немногосложны: это было поставленіе выше всего съ одной стороны «умственности» въ отличіе отъ пассивнаго разгильдяйства и темноты людей традиціонной рутины, съ другой — сознанія личнаго достоинства къ противность смиренію и приниженію. На каждомъ шагу у него такъ и срывались съ языка фразы вродѣ: «Умному человѣку вездѣ хорошо, а дуракамъ и въ столицѣ плохо!» «Умному человѣку вездѣ ходъ!..» Въ то-же время на слова тетушки Ульяны, которой онъ привезъ въ подарокъ шаль, что «куда намъ старикамъ эти форсы», онъ отвѣчалъ:

— Я такъ полагаю, тетенька, что пора бросить смиренство-то да приниженье... Тоже и мы люди! Чѣмъ мы другихъ хуже! Нужно тоже и свою гордость имѣть!..—и сказавши это, Петръ весь вспыхнулъ.

Но съ особенной ясностью высказались эти идеалы въ его разговорѣ съ двумя дергачевцами, которые пришли въ Волчій поселокъ посмотрѣть на пріѣзжаго изъ столицы паренька, облекшись, по осеннему времени, въ валеные сапоги и полушубки, и забавлялись тѣмъ, что, какъ малыя ребята, «баловались», сидя на землѣ и перетягивая другъ друга за палку.

«Петръ давно ужъ замѣтилъ мирную компанію, но когда онъ разглядѣлъ, чѣмъ эта мирная компанія занималась, ему вдругъ стало ужасно стыдно. Ему хотѣлось обойти ихъ, отвести мимо и своего пріятеля, москвича, но обойти было нельзя. Притомъ-же его примѣтилъ и тянувшійся за палку бородатый дергачевецъ, бывшій замѣтно навеселѣ.

— Петру Вонифантьичу! Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались! закричалъ онъ ему на встрѣчу.— А мы вотъ не утерпѣли... Сами явились. Полюбопытствовать, выходитъ,—прибавилъ онъ, когда подошелъ Петръ.

— Интереснаго мало, проворчалъ Петръ.

— Помилуйте... Какъ можно-съ! Вѣдь у насъ такіе люди на рѣдкость! Столичное поведеніе, такъ скажемъ... Совсѣмъ, значитъ, особая статья...

— На палкѣ не тягаемся — это вѣрно! опять отрывисто замѣтилъ Петръ.

— Ну, вотъ, вотъ! Какъ есть! Вѣдь это наше дурацкое поведеніе. Почему что какъ лѣсовые дураки, выходитъ! заговорилъ задѣтый за живое дергачевецъ.

— А онъ, братцы, у насъ изъ дѣловыхъ, иронически замѣтилъ другой дергачевецъ:—не даромъ съ москвичемъ-то друженъ... не успѣлъ роднымъ честь сдѣлать, да ужъ и за дѣло.

— Въ дѣлѣ грѣха нѣтъ...

— По коммерческой части, продолжалъ рыжебородый дергачевецъ,—смотрите, какъ-бы и васъ заживо не запродали, подмигнулъ онъ дядьямъ.

— Ни о чемъ не думая, скорѣй себя запродашь, а умный человѣкъ еще другихъ закупитъ, отвѣчалъ Петръ, лихорадочно постукивая себя пальцами по борту кафтана и стоя въ полъ-оборота къ присутствовавшимъ.

— Такъ, такъ... Неравно продавать будете, такъ спросить не забудьте. Можетъ кто и не согласится еще!

— Отъ счастья люди не отказываются.

— Какъ знать? мы вѣдь деревенскіе дураки! Можетъ по глупости и счастья не признаемъ...

— Случается. Подъ носомъ не видятъ. До старости по боямъ ходятъ, на палкахъ тянутся, на птицу охотятся. А тѣмъ временемъ на спинахъ-то горбы выростаютъ, а на этихъ горбахъ только лѣнивый не катается. Други да пріятели послѣ самимъ же въ глаза нахохочутъ! А тамъ, малое время годя, фиглярить начнемъ! За рюмку водки хоть наплюй въ ликъ-то Божій...

Петръ говорилъ, ни на кого не смотря, и только блескъ его глядѣвшихъ сердито исподлобья глазъ, да порывистыя движенія руки по борту кафтана выдавали его волненіе.

—Такъ,такъ! подтвердилъ дергачевецъ:—это,братъ что вѣрно, то вѣрно! Эту самую нашу судьбу рас-

писалъ ты чудесно... А съ пріѣздомъ, братъ, поздравиться надо-бы! прибавилъ онъ, утеревъ бороду.

— Этой безхарактерностью мы не занимаемся! круто закончилъ Петръ и, замѣтивъ подходившихъ отца и москвича, зашагалъ къ своей избѣ.»

VI.

Не правда-ли, въ какомъ непривлекательномъ видѣ рисуется передъ нами фигура этого новаго человѣка деревни? Тѣмъ не менѣе Петръ является однимъ изъ героевъ, которыхъ можно немало встрѣтить въ европейской исторіи. Постоянно, когда въ темныхъ массахъ являлось стремленіе къ освобожденію личности изъ-подъ ига традиціи и пробуждалось чувство человѣческаго достоинства, являлись на сцену подобные мрачные, надменные герои, равно озлобленные и противъ возвысившейся культуры, и противъ приниженныхъ массъ, во имя идеала «умственности» готовые отрицать и своихъ, и чужихъ. Но хуже всего было въ этихъ герояхъ то, что одностороннее стремленіе освободить личность и даровать ей безграничный просторъ приводило ихъ къ отрицанію въ старыхъ порядкахъ не только отжившаго и гнилого, но и живого, здороваго, составлявшаго корни самаго существованія. Этимъ именно людямъ Европа обязана тѣмъ, что впродолженіи послѣднихъ 200 лѣтъ, во имя царства разума и освобожденія личности отъ средневѣковыхъ традицій, были искоренены послѣдніе остатки общиннаго быта въ земледѣльческихъ классахъ.

Такимъ-же прямолинейнымъ, односторонниимъ и слѣпымъ отрицателемъ является и Петръ по отношенію къ своей деревнѣ. Ему-то и обязанъ былъ Волчій поселокъ уничтоженіемъ своей идилліи. Первымъ дѣломъ его «умственности» было поправить ошибку Мосея и закрѣпить за собой купчей крѣпостью Волчій поселокъ. Купивши его снова у законной владѣлицы и сдѣлавшись настоящимъ владѣльцемъ дѣдовскихъ земель, Петръ потребовалъ, чтобы поселкомъ владѣли одни его родные, а всѣхъ чужихъ и пришлыхъ, начиная съ Сатира и кончая Иваномъ Забытымъ, чтобъ и духу не было. «Какія земли-то вокругъ насъ, — развивалъ онъ картину новой жизни въ Волчьемъ поселкѣ передъ Строгимъ, — приволье! А ежели-бы Господь далъ собрать ихъ въ однѣ-то руки, къ одному мѣсту — это-ли-бы разоренье было? Въ барскомъ-бы домѣ всѣ сообща поселились, фундаменты подъ него подвели-бы, крыши желѣзомъ вывели, скотные дворы-бы открыли... А тамъ, глядишь, пошли бы по Окѣ наши барки... Сами-бы провожать ихъ стали вплоть до Рыбинска! Флаги распустимъ! Каюты съ рѣзьбой! Лоцмана въ кумачевыхъ рубахахъ! А дядья бы дома были, каждый при своей части. А тетки на скотномъ дворѣ пусть хозяйничаютъ съ сестренкой. Зятя умственнаго въ домъ введемъ».

Но дядья и тетки, вѣрные своимъ традиціоннымъ общиннымъ порядкамъ, всѣ возстали противъ такихъ «умственныхъ» нововведеній Петра, потребовали раздѣла, началась разорительная тяжба, которая кончилась тѣмъ, что Петръ одинъ съ отцомъ сдѣлался владѣльцемъ Волчьяго поселка, а всѣ родные его вновь поселились въ Дергачахъ, отказавшись отъ всѣхъ его предложеній и проклявши его.

Но, несмотря на то, что вѣрные хранители дѣдовскихъ устоевъ отшатнулись отъ Петра, слава и популярность его все болѣе и болѣе росли въ дергачевскомъ мірѣ. Послѣ-же того какъ онъ пріобрѣлъ заброшенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ, сошелся съ «хозяйственными» мужиками и женился на дочери Пимана, Аннушкѣ, онъ забралъ такую силу, что тестя его Пимана избрали волостнымъ старшиной; но настоящимъ заправителемъ волости сдѣлался Петръ въ качествѣ волостного писаря. И тутъ онъ далъ разгуляться своей «умственности» на полной волюшкѣ. Во имя своего прямолинейнаго идеала, онъ оказался необузданнымъ и безжалостнымъ деспотомъ, какого не видали мужики со времени барства. Несчастнымъ, свихнувшимся бѣднякамъ, запьянствовавшимъ и разорившимся, не было отъ него никакой пощады; по слухамъ онъ даже сѣкъ ихъ. Онъ дошелъ до такой дерзости, что землю, которую онъ «высудилъ» для міра при помощи непремѣннаго члена Валентина Петровича, онъ не далъ дѣлить попрежнему и дѣлать равненіе, а захотѣлъ разбить ее на участки, давать во временное пользованіе только «настоящимъ» хозяйственнымъ мужикамъ. Тогда въ Вальковщинѣ поднялось волненіе: противъ Петра встала чернота и бѣднота подъ предводительствомъ Бориса. Къ черноте присоединились всѣ старинные люди-общинники. Прежніе кулаки-грабители, сначала было сробѣвшіе, теперь подняли голову и черезъ Бориса вошли въ союзъ съ чернотой, начали поить ее водкой. Строгость Петра перешла тогда всѣ границы. Набросился онъ съ кулаками даже на отца, когда тотъ заявилъ, что хочетъ жениться на бѣдной солдаткѣ, у которой трое дѣтей и съ которой онъ живетъ уже давно. Его не могли при этомъ остановить ни жена, ни Пиманъ, ни его работникъ — и только когда бѣдная солдатка крикнула: «Ахъ ты, безстыжій, безстыжій... Мы думали, онъ человѣкъ, а онъ, *какъ мужикъ*, дерется!» — Петръ усмирился.

Наконецъ возмущенный «продажной», какъ онъ называлъ, чернотой, вошедшей въ союзъ съ грабителями, Петръ присталъ къ Пиману съ требованіемъ, чтобы тотъ выхлопоталъ мірской приговоръ о ссылкѣ сына своего Бориса въ Сибирь. Собравшійся волостной сходъ вызвалъ на объясненіе Пимана и Петра; Пимана обругали «старымъ дуракомъ», но ничего отъ него не добились. Петръ-же, когда ему передали вызовъ на мірской судъ, сказалъ, что еще не было видимо, чтобы судъ дураковъ умныхъ людей судилъ. Сходъ жаловался въ уѣздное присутствіе. Услыхавъ объ этомъ, Петръ обозвалъ весь міръ «дураками» и, пораженный поднявшейся общей безтолочью, въ которой онъ не понималъ, какъ разобраться, отказался отъ дѣлъ и самовольно уѣхалъ въ Москву...

VII.

Еслибы наша жизнь шла тѣми-же путями, какъ и жизнь Европы, то впередъ можно было-бы предугадать, къ какимъ печальнымъ результатамъ могли-бы привести ее «умственные люди» вродѣ Петра. Освободивши личность отъ средневѣковыхъ традицій во имя царства разума, т. е. той-же «умственности»

Петра, западно-европейскіе герои оставили ее одинокой и безпомощной въ омутѣ жизни, лишенной какихъ-бы то ни было нравственныхъ и матеріальныхъ устоевъ. Въ концѣ-концовъ, удививши міръ чудесами умственности и хозяйственности, разнузданная и потерянная личность тщетно ищетъ опоры и съ отчаяніемъ оглядывается на тѣ золотые вѣка, когда она была сыта и нравственно дисциплинирована подъ властью земли. И вотъ, на смѣну односторонней, черствой правды надменныхъ героевъ «умственности» выступаетъ опять на сцену старая, здоровая правда власти земли, но уже не въ прежнемъ зоологическитрадиціонномъ видѣ, а освѣщенная свѣтомъ разума, —и разнузданная личность жаждетъ вновь подчиниться авторитету этой правды, подобно тому, какъ блудный сынъ ищетъ пути къ родительскому дому.

Наши культурные классы представляютъ собой совершенно такое-же явленіе разнузданной и потерявшейся личности, какъ и въ Западной Европѣ, съ той еще разницей, что тамъ освободившаяся личность все-таки можетъ указать на тѣ успѣхи цивилизаціи и промышленности, какими ознаменовалось XIX столѣтіе, а у насъ и этого нѣтъ. Съ уничтоженіемъ крѣпостного права, которое одно только доставляло культурной личности матеріальную поддержку и вмѣстѣ съ тѣмъ вкладывало жизнь ея въ извѣстныя традиціонныя рамки,—личность увидала себя въ состояніи полнаго банкротства и матеріальнаго, и нравственнаго. Что такое Дрекаловы съ ихъ страшнымъ эфемернымъ существованіемъ сегодня на 200 р., данныхъ имъ на сохраненіе мужикомъ-жильцомъ, завтра чуть-что не на фальшивые векселя,— какъ не наглядный примѣръ, до какого отчаяннаго положенія дошла культурная личность. Этимъ и объясняются всѣ тѣ хаотическія безалаберныя шатанія, какія-только замѣчались въ послѣднее время въ интеллигентной средѣ: и мистическое сектаторство въ великосвѣтскихъ кругахъ, и попытка заняться земледѣльческимъ трудомъ, все, вплоть до эпидеміи самоубійствъ, являющихся прямымъ результатомъ отчаянія вслѣдствіе потерянности и безпомощности культурной личности. А съ другой стороны изъ этого-же вытекаетъ и то чуть-ли не религіозное поклоненіе, которое не одни Пугаевы, а вся наша литература высказываетъ по отношенію къ деревенской общинѣ. Возьмите вы хотябы того-же самаго Златовратскаго съ его «Устоями». Чѣмъ-же объяснить этотъ восторженный пафосъ, эти гекзаметры, какъ не скорбью души по утраченному раю? Изъ-подъ каждой строки Н. Златовратскаго проглядываетъ томительная, скорбная зависть безпомощной личности, одинокой и потерянной въ толпѣ подобныхъ-же личностей, разнузданныхъ и несвязанныхъ никакой солидарностью интересовъ. Такимъ образомъ въ нашей жизни мы видимъ два совершенно противоположныхъ теченія: въ средѣ народа—стремленіе къ обособленію личности и возвышенію ея надъ зоологической непосредственностью, въ интеллигентной средѣ, наоборотъ, стремленіе къ обузданію личности и новому разумному дисциплинированію ея. Въ то время какъ Петръ въ своемъ «умственномъ» протестѣ противъ зоологической глупости и рутинности дергачевцевъ готовъ всю цѣпь дергачевскаго міра разъединить на отдѣльныя звенья, причемъ выбросить и, если можно, совсѣмъ искоренить половину негодныхъ звеньевъ, Пугаевы, наоборотъ, только и мечтаютъ о томъ, какъ-бы связать эту цѣпь навѣки нерушимо разумной связью, да и самимъ какъ-нибудь прицѣпиться къ этой цѣпи. Которое изъ этихъ двухъ теченій побѣдитъ, отъ этого конечно зависитъ все наше будущее. Въ «Устояхъ» Н. Златовратскаго побѣждаетъ пока узкая правда Петра. Лиза Дрекалова, сдѣлавшись учительницей сельской школы въ Дергачахъ, встрѣчается съ Петромъ въ качествѣ попечителя школы и напрасно старается она уничтожить обаяніе, какое Петръ производитъ на ея учениковъ: они чуть не молятся на Петра, какъ на новаго героя деревни.

«Вы вѣроятно ожидали, что встрѣча моя съ Петромъ,—пишетъ она къ Пугаеву,—не обошлась безъ какого-нибудь чрезвычайнаго столкновенія... Нѣтъ, ничего больше не было; ни я, ни онъ, мы не сказали другъ другу ни слова, не глядѣли одинъ на другого... И тѣмъ не менѣе, добрый мой, состязаніе совершилось. И бѣдное сердце вашей бѣдной Лизы разбито и развѣяно по вѣтру, какъ дымъ, все, во имя чего она пришла сюда. И побѣдилъ ее здѣсь тотъ «смѣшной волченокъ», тотъ «хорошій паренекъ», которымъ она когда-то такъ игриво играла и забавлялась. И ничто не спасло ея здѣсь. Что такое она, со своей любовью, со своей жертвой, со своими больными и тревожными думами передъ этимъ смирнымъ, добродушнымъ, робкимъ старикомъ, попавшимъ за «міръ въ острогъ, и передъ этимъ низенькимъ, худощавымъ, полуграмотнымъ молодымъ «умственнымъ» мужикомъ, который до чего-то самъ дошелъ своимъ умомъ? За ними стоитъ все, а за мной?..»

Положимъ, что по одной Лизѣ съ ея тщедушной, хилой, чахоточной натурой и эфемернымъ воспитаніемъ трудно судить о побѣдѣ той или другой правды. Положимъ, что и черствая, односторонняя правда Петра во многомъ зависитъ отъ того, что въ своемъ соприкосновеніи съ интеллигентной средой онъ не встрѣтилъ никого лучше и состоятельнѣе Дрекаловыхъ и Пугаева. Еслибы вся интеллигенція поголовно исчерпывалась подобными личностями, конечно Петру только и оставалось, что, дѣйствуя своимъ умомъ, идти по старой европейской дорогѣ. Но такъли это?

1883-1887.

МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ

ПО ПОВОДУ НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИХЪ ИДЕЙ

гр. Л. Толстого.

I.

ПО ПОВОДУ КНИГИ С. М. ГРОМЕКИ.

«Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстого», критическіе этюды М. С. Громеки; Москва 1885 года.

I.

Книга эта распадается на двѣ части, отличающіяся одна отъ другой и по содержанію, и по формѣ. Первая часть заключаетъ въ себѣ критическій разборъ романа «Анна Каренина». Во-второй—въ діалогической формѣ бесѣды Громеки съ Левинымъ—излагаются философскія воззрѣнія гр. Л. Толстого послѣдняго времени. Понятно, что главный интересъ книги заключается во-второй ея части. Что же касается до первой, то критика «Анны Карениной», представляя нѣсколько хорошихъ мѣстъ въ видѣ характеристикъ разныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ цѣломъ стоитъ на ложныхъ основаніяхъ, и мы не можемъ согласиться съ нею.

По нашему мнѣнію, при разборѣ «Анны Карениной» надо строго разграничивать художественную и философскую стороны романа. Въ художественномъ отношеніи онъ представляется безспорно однимъ изъ тѣхъ великихъ, произведеній, которыя, подобно трагедіямъ Шекспира, каждый вѣкъ будетъ по своему анализировать, толковать и открывать въ нихъ новыя, невидимыя нами стороны и перспективы. Философская же сторона романа—самая слабая, потому что гр. Толстой находился во время писанія своего произведенія въ переходномъ состояніи, не успѣвши уяснить себѣ многое, что̀ ему удалось уяснить впослѣдствіи. Поэтому во взглядахъ автора, выразившихся въ романѣ, встрѣчается масса противорѣчій и туманныхъ неопредѣленностей, и понятно, что самъ гр. Л. Толстой впослѣдствіи высказывалъ недовольство своимъ романомъ.

Между тѣмъ Громека буквально придерживается туманныхъ воззрѣній романа и притомъ весь свой анализъ основываетъ на эпиграфѣ его: «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ», и это придаетъ критикѣ несвойственный ей теологическій характеръ, да къ тому-же еще нѣчто ветхозавѣтное, жестокосердое. Громека смѣется надъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ (стр. 61), который, сіяя звѣздами и яснымъ лицомъ, кроткимъ голосомъ возражалъ ему и говорилъ, что безнравственная, испорченная женщина непремѣнно должна была принять заслуженную казнь, и что казнившій ее художникъ есть «добрый сынъ отечества и благонравный гражданинъ», но вѣдь и самъ онъ строитъ свою критику на тѣхъ-же основаніяхъ и только выражается языкомъ болѣе философскимъ, чѣмъ простой и топорный языкъ генерала. Понятно, что, какъ ни изощряется критикъ, онъ никакъ не можетъ избавить насъ отъ неотразимаго впечатлѣнія, какое мы выносимъ изъ романа въ связи съ вышеозначеннымъ эпиграфомъ: выходитъ все-таки, что можно ежедневно грѣшить такъ порочно и грязно, какъ грѣшили Стива и княгиня Betси, и за это не потерпѣть никакого воздаянія; отмщеніе-же слѣдуетъ за такой грѣхъ, какой языкъ вашъ не поворачивается и грѣхомъ назвать, — за серьезную страсть двухъ существъ, стремившихся соединиться навѣки. Является здѣсь нѣчто вродѣ древняго фатума, который изъ зависти боговъ къ смертнымъ обрушивался на людей богато одаренныхъ и сильныхъ, слабымъ-же и ничтожнымъ допускалъ творить всякія

пакости, сколько душѣ угодно. Въ томъ и дѣло, что драма, развиваемая въ романѣ, требуетъ для анализа ея иныхъ, болѣе глубокихъ и сложныхъ воззрѣній, и никакимъ образомъ не объясните вы ея средневѣковой теоріей грознаго и немилосерднаго возмездія.

Но статья моя предназначена вовсе не для опроверженія критики М. С. Громеки. Это завело-бы насъ далеко и отвлекло-бы отъ главной и наиболѣе интересной цѣли—знакомства съ новыми воззрѣніями гр. Л. Толстого. Къ этому мы и приступимъ.

II

Въ жизни какъ отдѣльныхъ людей, такъ и обществъ мы видимъ два рода настроеній: вѣры и скептицизма. Здѣсь я долженъ прежде всего оговориться, что подъ *вѣрой* я разумѣю вовсе не какія-либо религіозныя воззрѣнія, а подъ *скептицизмомъ* отнюдь не отрицаніе религіи, а совсѣмъ иное, нѣчто вродѣ того, что̀ Тургеневъ подразумѣвалъ подъ *донкихотствомъ* и *гамлетизмомъ*». Ни философія, ни наука до сихъ поръ не открыли намъ конечной цѣли существованія какъ всего міра, такъ и въ этомъ мірѣ маленькой козявки, называемой человѣкомъ, да и врядъ-ли когда-нибудь умъ человѣческій дойдетъ до открытія этой тайны. Тѣмъ не менѣе бываютъ періоды, когда человѣкъ *вѣритъ*, что все существующее не есть игра безцѣльнаго случая, а неудержимо стремится къ какой-то разумной и благой цѣли. Такая вѣра постоянно совпадаетъ съ вѣрой человѣка въ самого себя,—въ то, что жизнь его въ свою очередь исполнена разумнаго и благого содержанія. Мало того, что обѣ эти вѣры совпадаютъ, но первая зависитъ отъ второй, т. е. человѣкъ до тѣхъ только поръ и вѣритъ въ цѣлесообразность вселенной, пока въ своей личной жизни онъ видитъ разумное и цѣлесообразное содержаніе. Но лишь только въ душу человѣка закрадывается сомнѣніе въ разумности содержанія его личной жизни, онъ тотчасъ-же переноситъ свои сомнѣнія и на всю вселенную. Ему начинаетъ казаться, что и все существующее не имѣетъ ни смысла, ни цѣли. И вотъ тогда-то наступаетъ періодъ скептицизма, характеризующійся въ личной жизни глубокой меланхоліей, пессимизмомъ, разлагающими рефлексіями, наклонностью къ умопомѣшательству или самоубійству, а въ общественной жизни — появленіемъ такихъ идей и ученій, какія мы встрѣчаемъ въ экклезіастѣ царя Соломона, въ поэмахъ Байрона, въ философскихъ системахъ Шопенгауэра и Гартмана и пр.

А такъ какъ главная причина наступленія періода скептицизма заключается прежде всего въ недовольствѣ человѣка содержаніемъ личной или общественной жизни, то и выходъ изъ этого періода возможенъ только въ томъ случаѣ, если человѣкъ наполнитъ жизнь свою новымъ содержаніемъ, въ разумность котораго увѣруетъ. И дѣйствительно, періоды скептицизма постоянно ведутъ за собой выработку новыхъ идеаловъ, новой вѣры. Бываютъ при этомъ попытки возвращенія и къ старымъ вѣрамъ, но всѣ подобныя реставраціи терпятъ fiasco по той простой причинѣ, что какъ же убѣдите вы людей снова увѣровать въ то, въ чемъ они разувѣрились, что̀ собственно и привело ихъ въ пропасть скептицизма? Вотъ въ этомъ отношеніи глубокую ошибку дѣлаетъ Громека на 5-й стр. своей книги, ставя въ одинъ уровень Гартмана, Вл. Соловьева и Л. Толстого, а я знаю людей, которые къ этимъ именамъ пристегиваютъ еще Ѳ. Достоевскаго. Но что общаго между Гартманомъ, этимъ полнымъ олицетвореніемъ пессимизма и скептицизма нашего времени, Вл. Соловьевымъ и Ѳ. Достоевскимъ съ ихъ безплодными попытками въ реставраціонномъ духѣ, и гр Л. Толстымъ, стремящимся къ единственному возможному и разумному выходу изъ скептицизма,—къ пополненію своей жизни новымъ содержаніемъ, новой вѣрой?

III.

Сущность новой вѣры гр. Л. Толстого заключается отнюдь не въ одномъ лишь измѣненіи какихъ-бы то ни было теоретическихъ умовоззрѣній, а въ стремленіи измѣнить самое содержаніе жизни, весь ея складъ, такъ какъ и скептицизмъ, къ которому пришелъ гр. Л. Толстой, заключался главнымъ образомъ въ сознаніи пустоты содержанія его жизни.

Такъ, мы видимъ, что воспитался онъ на почвѣ старыхъ и отживающихъ основъ обособленности и нравственной распущенности личности, предоставленной самой себѣ на жертву дарвиновской теоріи борьбы за существованіе и безграничной, эгоистической конкуренціи съ ихъ богомъ — «богомъ силы, насилія, казней, убійства, мести, съ его ангелами—властью, оружіемъ, умомъ, красотой, талантомъ, обманомъ». Эти начала имѣютъ свою вѣру въ совершенствованіе, въ прогрессъ, причемъ предполагается, что это совершенствованіе для каждой личности имѣетъ одну существенную цѣль—возвыситься надъ всѣми другими личностями и покорить ихъ своей власти. Въ духѣ этой вѣры былъ воспитанъ и гр. Л. Толстой.

«Я старался,—говоритъ онъ (стр. 161),—совершенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенствовалъ себя физически всякими упражненіями, изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего было, разумѣется, нравственное самосовершенствованіе; но скоро оно подмѣнилось желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собой или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И очень скоро это стремленіе быть лучше передъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣй другихъ. Гадко вспомнить даже объ этомъ. Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе.»

Въ самомъ своемъ поэтическомъ творчествѣ гр. Л. Толстой усматриваетъ все тѣ-же ветхія начала:

«Побужденіе къ творчеству,—говоритъ онъ (стр. 163),—было у меня дѣйствительно искреннее. Но я желалъ также и славы. И нѣтъ сомнѣнія, что желаніе авторской славы есть желаніе суетное. Значитъ, я тоже писалъ изъ тщеславія или по крайней мѣрѣ примѣшивалъ къ своему писанію это жалкое побужденіе. Потомъ, развѣ я былъ равно-

душенъ къ тѣмъ огромнымъ деньгамъ, которыя мнѣ платили за то только, что *я*, слѣдуя своему же побужденію, писалъ безъ всякаго почти напряженія повѣстушки разныя и романцы? Я даже торговался; я не только поправилъ, но я увеличилъ свое состояніе на эти деньги. И значитъ я былъ не чуждъ въ этомъ дѣлѣ и корыстолюбія. Гордость,—ея тутъ всего болѣе было,—гордость силы, которой я долго не зналъ къ чему примѣнить, которой ничтожество и глупость долго не признавали и тѣмъ раздражали меня, гордость—мой первый грѣхъ, съ которымъ я долго, очень долго упорно боролся. Я часто боюсь, не было-ли гордости въ томъ, что я открыто передъ всѣми приносилъ въ ней покаяніе. Какъ въ жизни, слѣдуя по теченію, *я*, какъ и большинство, поклонялся силѣ и красотѣ силы, такъ и въ произведеніяхъ своихъ я больше всего воспѣвалъ всѣ красивыя проявленія индивидуальной силы. И еще говорилъ, и еще хвастался, что люблю правду. А на дѣлѣ я любилъ только силу, и когда находилъ ее безъ примѣси притворства и ничтожества, то принималъ за правду, когда въ дѣйствительности это было только силой,—силой въ чистомъ, безпримѣсномъ ея состояніи...»

IV.

«Мнѣ было 26 лѣтъ,—говоритъ далѣе гр. Л. Толстой (стр. 164),—когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли, какъ своего, льстили мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мной и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь, и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы—художники, поэты. Наше призваніе учить людей, не зная чему: художникъ-де и поэтъ учатъ безсознательно. Я считался чуднымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ *я*, художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество; у меня была слава: значитъ то, чему я училъ, было очень хорошо.»

Но вотъ на второй и особенно на третій годъ такой жизни гр. Л. Толстой сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собой: они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга. Много было между ними и не заботившихся о томъ, кто правъ, кто неправъ, а просто достигающихъ своихъ корыстныхъ цѣлей съ помощью писательской дѣятельности.

«Все это,—говоритъ Л. Толстой (стр. 165),—заставило меня усомниться въ истинности самой нашей писательской вѣры. Усомнившись въ ней, я сталъ внимательнѣй наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти всѣ жрецы эти, писатели, были люди безнравственные и въ большинствѣ—люди плохіе, ничтожные по характерамъ, много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и веселой жизни, но самоувѣренные и совершенно довольные собой. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ.»

Но, разувѣрившись въ средѣ и въ самомъ себѣ, гр. Л. Толстой все-таки продолжалъ еще сохранять вѣру въ прогрессъ, и вѣру эту еще болѣе поддержало путешествіе за границу, сближеніе съ передовыми и учеными европейскими людьми.

«Только изрѣдка,—говоритъ онъ (стр. 166),—не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя свое непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности же я жилъ, продолжая исповѣдывать только вѣру въ прогрессъ...» «Все развивается, и я тоже развиваюсь вмѣстѣ со всѣми — это видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ тогда формулировать свою вѣру.»

Вернувшись изъ-за границы, гр. Л. Толстой поселился въ деревнѣ и напалъ на занятіе крестьянскими школами.

«Здѣсь, — говоритъ онъ (стр. 166),—я тоже дѣйствовалъ во имя прогресса. Но я уже относился критически къ самому прогрессу. Я говорилъ себѣ, что прогрессъ въ нѣкоторыхъ явленіяхъ своихъ совершался неправильно, и что вотъ надо отнестись къ первобытнымъ людямъ, крестьянскимъ дѣтямъ, совершенно свободно, предлагая имъ избрать тотъ путь прогресса, который они захотятъ... Инстинктъ говорилъ мнѣ вѣрно: дѣти, мужики лучше насъ, ученыхъ людей, знали смыслъ жизни, чему нужно учить людей. Но глупость моя и виляніе мое въ томъ и заключается, что *я*, все это чувствуя въ глубинѣ души своей, вмѣсто того чтобы идти у нихъ учиться, я самъ, ничего не зная и зная, что ничего не знаю, на ходули становился, чтобы исполнить свою похоть учительства, за границу ѣздилъ, школы тамъ изучалъ, посредникомъ сдѣлался мировымъ, школу завелъ и журналъ, и важничалъ, и оскорблялся, и всѣхъ училъ, не зная, чему *я* учу, не зная того, чему нужно учить...

«Снаружи все гладко выходило какъ будто, но въ душѣ я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно здоровъ. Я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ —дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животной жизнью... Вернувшись отъ башкиръ, я женился. Новыя, счастливыя условія семейной жизни уже совершенно отвлекали меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ и потомъ въ заботахъ объ увеличеніи средствъ къ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, къ прогрессу теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, тогда я все-таки продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ и предавался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей...»

V.

Но вотъ въ жизни гр. Л. Толстого начало происходить что то очень странное: на него стали находить минуты недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто онъ не зналъ какъ ему жить, что дѣлать, терялся и впадалъ въ унынье. Чаще и чаще стали повторяться вопросы: зачѣмъ?.. ну, а потомъ? настоятельнѣе и настоятельнѣе требовались отвѣты и, какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились въ одно черное пятно.

«Я нашелъ,—говоритъ Л. Толстой (стр. 169),—что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важное, и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо и отвѣтить на нихъ. Но только-что я тронулъ

ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, я тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы самые глубокіе и важные въ жизни вопросы, и что сколько бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ — надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю — зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать. Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тыс. дес., 300 головъ лошадей, а *потомъ*?.. И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ воспитывать дѣтей, я говорилъ себѣ: *зачѣмъ*? Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славѣ, которую пріобрѣтутъ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну, хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—*ну, и что-жъ*? И я ничего не могъ отвѣтить »

И вотъ такимъ образомъ наступилъ для гр. Л. Толстого періодъ мрачнаго скептицизма, разочарованія въ себѣ, въ людяхъ, во всемъ существующемъ. Напрасно онъ обращался къ философіи, къ наукѣ, ища разъясненія смысла жизни,— философія давала ему одни мертвыя, искусственно-логическія умопостроенія, въ которыхъ умъ человѣческій вертѣлся, какъ бѣлка въ колесѣ, тщетно отыскивая начало всѣхъ началъ; наука внушала одни относительныя знанія и прямо заявляла, что за предѣлами ихъ она ни на что отвѣтить не въ состояніи. Дошло дѣло до мысли о самоубійствѣ, какъ единственномъ избавленіи отъ безсмысленной и безцѣльной жизни. Мы не будемъ много распространяться объ этомъ періодѣ скептицизма, такъ какъ самъ по себѣ онъ представляетъ мало интереснаго. Всѣ подобныя гамлетовскія настроенія человѣческаго духа слишкомъ однообразны и похожи одинъ на другой всѣми своими симптомами, различаясь лишь сообразно темпераментамъ, возрастамъ, умственнымъ силамъ и развитію тѣхъ или другихъ людей. Обратимъ лучше вниманіе на тотъ выходъ изъ скептицизма, къ которому въ концѣ концовъ пришелъ гр. Л. Толстой.

VI.

Послѣ тщетныхъ поисковъ разъясненія смысла жизни въ книгахъ гр. Л. Толстой обратился непосредственно къ самой жизни, началъ приглядываться къ людямъ, и притомъ не къ однимъ избраннымъ людямъ его круга, а къ массамъ всякаго народа. Тутъ только впервые созналъ онъ ту крайнюю замкнутость, въ которой до той поры онъ жилъ.

«Я зналъ,—говоритъ онъ (стр. 179), - только тотъ тѣсный кружокъ ученыхъ, богатыхъ и досужихъ людей, къ которому я принадлежалъ, и думалъ, что онъ и составляетъ все человѣчество, и что тѣ милліарды живущихъ и живыхъ это *такъ*, какіе-то скоты, не люди. Какъ ни странно, немыслимо непонятно кажется мнѣ теперь то, что я могъ до такой степени нелѣпо заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя—жизнь Соломоновъ и Шопенгауэровъ, есть настоящая нормальная жизнь, а жизнь милліардовъ - есть не стоющее вниманія обстоятельство,—какъ ни странно это мнѣ теперь, я вижу, что это было такъ... Я долго жилъ въ этомъ сумасшествіи, свойственномъ именно самымъ либеральнымъ и ученымъ людямъ. Но, благодаря какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидать, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, или благодаря искренности моего убѣжденія въ томъ, что лучшее, что я могу сдѣлать – это повѣситься, я чуялъ, что если я хочу жить и понимать смыслъ жизни, то *искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые потеряли смыслъ жизни и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь.* »

Люди, которые *дѣлаютъ жизнь*, которые *на себѣ несутъ свою и нашу жизнь*,—какія это великія слова!.. Вотъ гдѣ въ концѣ концовъ, оказалось, таится весь смыслъ жизни, вотъ гдѣ источникъ всякой *вѣры*, — вѣры въ самого себя, въ человѣчество вообще и во всю вселенную!..

«Не найдя — говоритъ гр. Л. Толстой (стр. 196) — удовлетворенія въ вѣрѣ людей моего круга, я сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вѣроученіе этихъ людей изъ народа было то же христіанское, какъ вѣроученіе мнимо вѣрующихъ изъ нашего круга. Но многое въ жизни вѣрующихъ нашего круга было противорѣчіемъ ихъ вѣрѣ, а вся жизнь людей вѣрующихъ и трудящихся была подтвержденіемъ того смысла жизни, который давало знаніе вѣры. И я сталъ вглядываться въ жизнь и вѣрованіе людей, и чѣмъ болѣе вглядывался, тѣмъ болѣе убѣждался, что у нихъ была настоящая вѣра, что вѣра ихъ необходима для нихъ и одна даетъ имъ смыслъ и возможность жизни. Въ противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишенія и страданія, эти люди принимали болѣзни и горести безъ всякаго недоумѣнія и противленія, а съ спокойной и твердой увѣренностью въ томъ, что все это должно быть и не можетъ быть иначе, что все это добро. Въ противуположность тому, что чѣмъ мы умнѣе, тѣмъ менѣе понимаемъ смыслъ жизни и видимъ какую-то злую насмѣшку въ томъ, что мы страдаемъ и умираемъ,—эти люди живутъ, страдаютъ и приближаются къ смерти съ спокойствіемъ, чаще-же всего съ радостью. И я оглянулся тоже вокругъ себя. Я вглядѣлся въ жизнь прошедшихъ и современныхъ огромныхъ массъ людей. И я увидалъ такихъ понявшихъ смыслъ жизни, умѣющихъ умирать—не двухъ, трехъ, десять, а сотни, тысячи, милліоны. И всѣ они, безконечно различные по своему нраву, уму, образованію, положенію,— всѣ одинаково и совершенно противуположно моему невѣдѣнію знали смыслъ жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишенія и страданія, жили и умирали, видя въ этомъ не суету, а добро. И я полюбилъ этихъ людей... И чѣмъ больше я вникалъ въ ихъ жизнь, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ два года, и со мной случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ и зачатки котораго всегда во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только опротивѣла мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки и искусство—все это представилось мнѣ однимъ баловствомъ. Я понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія-же трудящагося народа, творящаго жизнь, представились мнѣ единымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принялъ его... Я понялъ (стр. 199), что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидать въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не безсмысленна и зла, а потомъ уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни человѣческой, то надо говорить и думать о жизни всего человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ,

не думать о себѣ, любить другихъ,— это одно средство, «чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ»... Птицасуществуетъ такъ, что она должна летать, собирать пищу, строить гнѣздо, и когда я вижу, что птица дѣлаетъ это, я радуюсь ея радостью. Коза, заяцъ, волкъ существуютъ такъ, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они дѣлаютъ это, у меня есть твердое сознаніе, что они счастливы и жизнь ихъ разумна. И человѣкъ точно также долженъ добывать жизнь, какъ и животныя, съ той огромной разницей, что онъ погибнетъ, добывая ее одинъ: онъ долженъ добывать ее не для себя, а для всѣхъ. И когда онъ дѣлаетъ это, у меня есть твердое сознаніе, что онъ счастливъ и жизнь его разумна. Если смыслъ человѣческой жизни въ томъ, чтобы добывать ее, то какъ-же я, проживъ паразитомъ тридцать лѣтъ сознательной жизни могъ получить другой отвѣтъ, какъ тотъ, что жизнь моя есть безсмыслица и зло? Она была безсмыслица и зло...»

Я полагаю, что изъ всего вышеприведеннаго вполнѣ ясно для каждаго непредубѣжденнаго человѣка, что разумѣетъ гр. Л. Толстой подъ выходомъ своимъ изъ періода скептицизма и тѣмъ переворотомъ, какой онъ пережилъ. Здѣсь прямо и безъ всякихъ обиняковъ вѣра становится въ полную зависимость отъ жизни, и говорится не о томъ, какъ мыслить, а какъ жить, чтобы жизнь не казалась безсмыслицей и зломъ, и въ примѣръ ставятся тѣ милліарды народа, которые дѣлаютъ жизнь и отсюда почерпаютъ всю свою вѣру. Между тѣмъ Громека клонитъ къ тому болѣе, что весь переворотъ гр. Л. Толстого заключается будто-бы въ томъ, что онъ отвергъ разсудочный путь мышленія и обратился къ наивному вѣрованію народа, и такимъ образомъ переворотъ ставится на чисто умственную почву.—Но въ такомъ случаѣ чѣмъ-же отличается г. Л. Толстой отъ тѣхъ людей своего круга, которые вѣруютъ такъ, а живутъ иначе, и къ чему-же сводится переворотъ гр. Л. Толстого, какъ не къ тѣмъ-же безъисходнымъ противорѣчіямъ, которыя въ прежнее время довели его чуть не до самоубійства?

III.

Графъ Л. Толстой въ своихъ статьяхъ «Изъ воспоминаній о переписи».

I.

Въ сентябрской и октябрской книжкахъ «Русскаго Богатства» 1885 г. обращаютъ на себя вниманіе статьи гр. Л. Толстого «Изъ воспоминаній о переписи». Статьи эти любопытны въ двухъ отношеніяхъ. Онѣ представляютъ въ себѣ нѣсколько нелишенныхъ интереса наблюденій надъ нравами московской «Ржановской крѣпости», играющей такую-же роль въ Москвѣ, какъ дома кн. Вяземскаго въ Петербургѣ, и кромѣ того служатъ къ немалому разъясненію того нравственнаго переворота, который переживаетъ гр. Л. Толстой.

Прежде всего надо разъяснить, что гр. Л. Толстой нѣсколько лѣтъ тому назадъ принялъ участіе въ однодневной переписи жителей Москвы—не спроста, не ради одного только артистическаго желанія изучать нравы московскихъ трущобъ, а съ особеннаго рода нравственной цѣлью. Передъ тѣмъ онъ составилъ филантропическій кружокъ изъ нѣсколькихъ очень богатыхъ лицъ въ Москвѣ, обѣщавшихъ содѣйствовать въ оказываніи помощи бѣднымъ, и отправился вмѣстѣ со студентами, занимавшимися переписью, въ Ржановскую крѣпость со спеціальной цѣлью облагодѣтельствовать обитателей этой трущобы нравственно и матеріально.

И вотъ, при первомъ-же вступленіи въ Ржановскую крѣпость графъ обнаружилъ наивность, поразительную для такого геніальнаго художника, какимъ онъ извѣстенъ намъ, хотя въ то-же время и весьма понятную для человѣка, у котораго большая часть жизни протекла въ уровнѣ бель-этажей и которому никогда прежде не приходилось ни спускаться этажемъ ниже, ни подыматься на этажъ вверхъ. Представьте себѣ, онъ воображалъ, что обитатели Ржановской крѣпости всѣ подрядъ только и дѣлаютъ, что, словно какія-то тѣни дантова ада, бродятъ въ страшныхъ рубищахъ и въ мукахъ голода и холода ежеминутно стонутъ, простирая длани и взывая о помощи къ безчувственному человѣчеству.

И судите объ удивленіи графа, когда оказалось вдругъ, что они, какъ и всѣ смертные, горюютъ и радуются, скучаютъ и веселятся, ссорятся и мирятся, и не чужды даже амурныхъ развлеченій. Такъ, едва графъ вошелъ во дворъ Ржановской крѣпости, какъ онъ услыхалъ налѣво наверху, на деревянной галлереѣ, топотъ шаговъ идущихъ людей, сначала по доскамъ галлереи, а потомъ по ступенямъ лѣстницы. Прежде выбѣжала худая женщина съ засученными рукавами, въ слинявшемъ розовомъ платьѣ и ботинкахъ на-босу ногу. Вслѣдъ за ней выбѣжалъ лохматый мужчина въ красной рубахѣ и очень широкихъ, какъ юбка, портахъ, въ галошахъ. Мужчина подъ лѣстницей схватилъ женщину. «Не уйдешь»,— проговорилъ онъ, смѣясь. — «Вишь, косоглазый чортъ»,—начала женщина, очевидно польщенная этимъ преслѣдованіемъ, но увидѣла графа и злобно крикнула: «Кого надо?» Такъ какъ графу никого не надо было, то онъ смутился и ушелъ... И тотчасъ-же послѣдовало наивнѣйшее открытіе:

«Я,—говоритъ гр. Толстой,—понялъ тутъ въ первый разъ, что у всѣхъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ я хотѣлъ благодѣтельствовать, кромѣ того времени, когда они, страдая отъ холода и голода, ждутъ впуска въ домъ, есть еще время, которое они на что-нибудь да употребляютъ, есть еще 24 часа каждыя сутки, есть еще и цѣлая жизнь, о которой я прежде не думалъ. *Я понялъ здѣсь въ первый разъ* (!), *что всѣ эти люди, кромѣ желанія укрыться отъ холода и насытиться, должны еще жить какъ-нибудь тѣ двадцать четыре часа каждыя сутки, которыя имъ приходится прожить такъ-же, какъ и всякимъ другимъ. Я понялъ, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться.* Я, какъ ни странно это сказать, въ первый разъ ясно понялъ, что дѣло, которое я затѣвалъ, не можетъ состоять въ томъ только, чтобы накормить и загнать подъ крышу 1,000 барановъ, а должно состоять въ томъ, чтобы сдѣлать доброе людямъ. И когда я понялъ, что каждый изъ этихъ тысячи людей такой-же точно человѣкъ, съ такимъ-же прошедшимъ, съ такими-же страстями, соблазнами, за-

блужденіями, съ такими-же мыслями, такими-же вопросами, такой-же человѣкъ, какъ и я, то затѣянное мной дѣло вдругъ представилось мнѣ такъ трудно, что я почувствовалъ свое безсиліе; но дѣло было начато, и я продолжалъ его...»

Однимъ словомъ, остается только диву даться при мысли о томъ, что гр. Толстому, съ такой геніальностью проникшему въ тайники сердецъ Анны Карениной и Вронскаго, не приходило никогда до сихъ поръ въ голову такихъ элементарныхъ вещей, что на каждой улицѣ существуетъ по одному или по нѣсколько кабаковъ, что въ праздники бѣдные люди ходятъ пошатываясь по улицамъ съ гармониками, а дома пьютъ чай, играютъ въ орлянку и т. п. Понятно, что жизнь, доходившая до такой изолированности и исключительности, должна была разразиться какимъ-нибудь тяжелымъ нравственнымъ кризисомъ при одномъ открытіи, столь удивительномъ, что, представьте себѣ, въ самомъ дѣлѣ — 24 часа существуютъ не для однихъ обитателей бель-этажей, а и для всѣхъ прочихъ смертныхъ!

II.

Но вотъ гр. Л. Толстой вошелъ въ предѣлы Ржановской крѣпости, и вынесъ онъ изъ всѣхъ своихъ наблюденій такой выводъ, что жители этихъ трущобъ раздѣляются на два разряда: одни люди—дѣйствительно безпомощные, но помогать имъ рѣшительно не стоитъ, потому что, сколько имъ ни помогай, никакого толку изъ этого не выйдетъ, и они останутся въ столь-же безпомощномъ положеніи, въ какомъ находились и прежде. Другіе-же ни въ какой помощи не нуждаются, потому что по своему живутъ припѣваючи, безъ всякихъ благодѣтелей.

Къ первому разряду принадлежатъ всѣ люди, не пріученные и неспособные ни къ какому труду и привыкшіе снискивать пропитаніе какимъ-нибудь легкимъ и дешевымъ способомъ.—Таковы оказались всѣ обитатели Ржановскаго дома изъ дворянъ. Тамъ была даже квартира, сплошь занятая дворянами. Ихъ тамъ было человѣкъ сорокъ.

«Болѣе падшихъ,—говоритъ гр. Л. Толстой,—несчастныхъ и старыхъ, обрюзгшихъ, и молодыхъ, блѣдныхъ, растерянныхъ лицъ не было во всемъ домѣ. Я поговорилъ съ нѣкоторыми изъ нихъ. Почти все одна и та-же исторія, только въ разныхъ степеняхъ развитія. Каждый изъ нихъ былъ богатъ, или отецъ, или братъ, или дядя его были или теперь еще богаты; или отецъ его, или самъ онъ имѣли прекрасное мѣсто. Потомъ случилось несчастіе, въ которомъ виноваты или завистники, или собственная доброта, или особенный случай, и вотъ онъ потерялъ все и долженъ погибать въ несвойственной, ненавистной ему обстановкѣ - во вшахъ, оборванный, съ пьяницами и развратниками, питаясь печенкой и хлѣбомъ и протягивая руку. Всѣ мысли, желанія, воспоминанія этихъ людей обращены только къ прошедшему. Настоящее представляется имъ чѣмъ-то неестественнымъ, отвратительнымъ и не заслуживающимъ вниманія. У каждаго изъ нихъ нѣтъ настоящаго. Есть только воспоминанія прошедшаго и ожиданія будущаго, которыя могутъ всякую минуту осуществиться, и для осуществленія которыхъ нужно очень малаго, по этого-то малаго и нѣтъ, негдѣ взять, и вотъ погибаетъ напрасно жизнь у одного первый годъ, у другого пятый, у третьяго тридцатый... Они всѣ говорятъ, что имъ нужно только что-то внѣшнее для того, чтобы снова стать въ то положеніе, которое они считаютъ для себя естественнымъ и счастливымъ...»

«Если-бы я не былъ,—продолжаетъ гр. Л. Толстой,—отуманенъ своей гордостью добродѣтели, мнѣ стоило-бы только немножко вглядѣться въ нихъ молодыя и старыя, большей частью слабыя, чувственныя, но добрыя лица, чтобы понять, что несчастныхъ не поправишь внѣшними средствами, что они ни въ какомъ положеніи не могутъ быть счастливы, если взглядъ ихъ на жизнь останется тотъ-же—что они не какіе-нибудь особенные люди въ особенно несчастныхъ условіяхъ, а они тѣ самые люди, которыми мы окружены со всѣхъ сторонъ, какіе мы сами. Я понялъ, что разница только въ степени и времени.. Хоть этимъ я забѣгаю и впередъ, но скажу здѣсь, что изо всѣхъ этихъ людей, которыхъ я записалъ, я дѣйствительно не помогъ никому, несмотря на то, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ было сдѣлано то, чего они желали, и то, что, казалось, могло-бы поднять ихъ ..»

III.

Къ этому же разряду относились и проститутки. Гр. Л. Толстому стоило поговорить съ двумя-тремя изъ нихъ, чтобы убѣдиться, что оказать имъ дѣйствительную, а не фиктивную помощь, вывести ихъ изъ ихъ ужаснаго положенія не было никакой возможности. Здѣсь авторъ сдѣлалъ нѣсколько сближеній между проститутками и дамами бомонда, поражающихъ своей глубиной и неожиданностью. Такъ, одной изъ проститутокъ онъ предложилъ найти мѣсто кухарки

— Кухарки? да я не умѣю хлѣбы-то печь,—сказала она и засмѣялась. «Она сказала, что не умѣетъ,—продолжаетъ гр. Л. Толстой,—но я видѣлъ по выраженію ея лица, что она не хочетъ быть кухаркой, что она считаетъ положеніе и званіе кухарки низкими. Женщина эта, самымъ простымъ образомъ пожертвовавшая, какъ евангельская вдова, всѣмъ, что у ней было, для больной, вмѣстѣ съ тѣмъ такъ же, какъ и другія ея товарки, считаетъ положеніе рабочаго человѣка низкимъ и достойнымъ презрѣнія. Она воспиталась такъ, чтобы жить не работая, а той жизнью, которая считается для нея естественной ея окружающими. Въ этомъ ея несчастіе. И этимъ несчастіемъ она попала и удерживается въ этомъ положеніи Это привело ее къ необходимости сидѣть въ трактирѣ. Кто-же изъ насъ — мужчинъ или женщинъ — будетъ исправлять ее отъ ея ложнаго взгляда на жизнь? Гдѣ среди насъ тѣ люди, которые убѣждены въ томъ, что всякая трудовая жизнь уважительнѣе праздной,—убѣждены въ этомъ и живутъ сообразно этому убѣжденію, и сообразно этому убѣжденію цѣнятъ и уважаютъ людей? Если-бы я подумалъ объ этомъ, я-бы могъ понять, что ни я и никто изъ тѣхъ, кого я знаю, не можетъ лечить отъ этой болѣзни.»

Показали автору на другую проститутку, торгующую своей 13-тилѣтней дочерью. Но и здѣсь онъ пришелъ къ тому-же сознанію невозможности спасти ни мать, ни дочь.

«Отнять—говоритъ онъ—насильно можно эту дочь отъ матери; но убѣдить мать, что она дѣлаетъ дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если ужъ спасать то спасать надо было эту женщину-мать гораздо прежде, спасать отъ того взгляда на жизнь, одобряемаго всѣми, при которомъ женщина можетъ жить безъ брака, т. е. безъ рожденія дѣтей и безъ работы, служа только удовлетворенію чувственности. Еслибы я подумалъ объ этомъ, то я-бы понялъ,

что большинство тѣхъ дамъ, которыхъ я хотѣлъ прислать сюда для спасенія этой дѣвочки, не только сами живутъ безъ рожденія дѣтей и безъ работы, служа только удовлетворенію чувственности, но и сознательно воспитываютъ своихъ дѣвочекъ для этой самой жизни: одна мать ведетъ дочь въ трактиръ, другая—на балы. Но у той и у другой матери міросозерцаніе одно и то-же, и именно, что женщина должна удовлетворять похоть мужчины, и за то ее должны кормить, одѣвать и жалѣть. Такъ какъ-же наши дамы будутъ исправлять эту женщину и ея дочь?..»

Точно къ такому-же безотрадному выводу привели автора и дѣти-сироты Ржановской крѣпости, не пріучаемыя ни къ какому труду, и которыхъ ждетъ страшная будущность. Одного изъ такихъ дѣтей, 12-ти-лѣтняго мальчика Сережу, оставшагося безъ пріюта, потому что хозяинъ его попалъ въ острогъ, гр. Л. Толстой взялъ къ себѣ въ домъ и помѣстилъ на кухнѣ.

«Нельзя-же,—говоритъ онъ,—было вшиваго мальчика изъ вертепа разврата взять къ своимъ дѣтямъ. Я и за то, что онъ стѣснялъ—не меня, а нашу прислугу на кухнѣ,—и за то, что кормилъ его тоже не я, а наша кухарка, и за то, что я отдалъ ему какіе-то обноски надѣть, считалъ себя очень добрымъ и хорошимъ»... Мальчикъ пробылъ недѣлю въ графской кухнѣ, и когда гостившій у автора мужикъ сталъ звать его въ деревню въ работники въ семью, онъ отказался и исчезъ. И затѣмъ оказалось, что онъ на Прѣсненскихъ прудахъ нанялся по 30 коп. въ день въ процессію какихъ-то дикарей въ костюмахъ, водившихъ слона. «Еслибы я вдумался тогда въ жизнь этого мальчика—говоритъ авторъ—и въ свою, я-бы понялъ, что мальчикъ испорченъ тѣмъ, что онъ узналъ возможность веселой жизни безъ труда, что отвыкъ работать. А я, чтобы облагодѣтельствовать и исправить его, взялъ его въ свой домъ, гдѣ онъ видѣлъ... что-же? Моихъ дѣтей и старше его, и моложе, и ровесниковъ,—которыя никогда ничего для себя не только не работали, но своими средствами доставляли работу другимъ. Онъ и понялъ это, и не пошелъ къ мужику убирать скотину и ѣсть съ ними картошку съ квасомъ, а ушелъ въ Зоологическій садъ въ костюмѣ дикаго водить слона за 30 копѣекъ...»

IV.

Итакъ, для перваго разряда обитателей ржановской крѣпости, усилія гр. Л. Толстого облагодѣтельствовать родъ человѣческій потерпѣли полное fiasco. Хотя руки тутъ такъ со всѣхъ сторонъ и протягивались, довольствуясь хоть мѣдными пятаками, но изъ раздачи безъ всякаго разбора не пятаковъ, а рублей, ничего не вышло, кромѣ унизительной и безобразной сцены, изъ которой авторъ вынесъ одинъ стыдъ передъ окружавшими его людьми, при сознаніи съ своей стороны какой-то крайне глупой и даже безнравственной роли. Относительно-же людей второго разряда, т. е. живущихъ своимъ трудомъ и не нуждавшихся въ великосвѣтскихъ подачкахъ, графъ еще болѣе убѣдился, что тутъ ему рѣшительно нечего дѣлать.

«Первое впечатлѣніе,—говоритъ,онъ,—было то,что большинство живущихъ здѣсь все рабочіе люди и очень добрые люди. Большую половину жителей мы заставали за работой: прачекъ надъ корытами, столяровъ за верстаками, сапожниковъ на своихъ стульяхъ. Тѣсныя квартиры были полны народомъ и шла энергическая, веселая работа. Пахло рабочимъ потомъ и у сапожника кожей, у столяра—стружками, слышалась часто пѣсня и виднѣлись засученныя мускулистыя руки, быстро и ловко дѣлавшія привычныя движенія. Многихъ мы заставали за обѣдомъ или чаемъ и всякій разъ на привѣтъ нашъ: «хлѣбъ да соль» или «чай да сахаръ» они отвѣчали: «просимъ милости» и даже сторонились, давая намъ мѣсто. Вмѣсто того притона постоянно перемѣняющагося населенія, которое мы думали найти здѣсь, оказалось, что въ этомъ домѣ было много квартиръ, въ которыхъ живутъ подолгу. Одинъ столяръ съ рабочими и сапожникъ съ мастерами живутъ по десяти лѣтъ. У сапожника было очень грязно и тѣсно, но народъ весь за работой былъ очень веселый.

«Я попытался поговорить съ однимъ изъ рабочихъ, желая выпытать отъ него воображаемую мной бѣдственность его положенія, задолжанія хозяину, но рабочій не понялъ меня и съ самой хорошей стороны отозвался о хозяинѣ и о своей жизни. На одной квартирѣ жили старичекъ со старушкой. Они торгуютъ яблоками. Комнатка ихъ тепла, чиста и полна добромъ. На полу постланы соломенные щиты (плетенки); они берутъ ихъ въ яблочномъ складѣ. Сундуки, шкафъ, самоваръ, посуда. Въ углу образовъ много, теплятся двѣ лампады; на стѣнѣ завѣшаны простыней крытыя шубы. Старуха съ звѣздообразными морщинками, ласковая, говорливая, очевидно сама радуется на свое тихое, благообразное житье.»

Однимъ словомъ, авторъ испыталъ полное разочарованіе. Онъ мечталъ встрѣтить въ Ржановской крѣпости нѣчто ужасное, — и не только не нашелъ ничего подобнаго, но ему представилось нѣчто хорошее,—такое, которое невольно вызывало уваженіе. И этихъ хорошихъ людей было такъ много, что оборванные, погибшіе, праздные люди, которые изрѣдка попадались среди нихъ, не нарушали главнаго впечатлѣнія. Когда-же графъ встрѣчалъ нужду, онъ всегда находилъ, что она была уже покрыта, уже была подана та помощь, которую онъ хотѣлъ подать,—и подана кѣмъ-же!—тѣми самыми несчастными, развращенными созданіями, которыхъ онъ собирался спасать, и подана такъ, какъ онъ-бы не могъ подать.

V.

И оставалось такимъ образомъ нашему благодѣтелю рода человѣческаго сложить на груди ненужныя руки. Какъ, неужели?—спроситъ читатель. Неужели тѣ самые труженики, такіе хорошіе и такіе повидимому довольные своимъ положеніемъ,—такъ-таки и не нуждались ни въ малѣйшей помощи? Да не самъ-ли графъ Л. Толстой описываетъ тотъ ужасъ, который онъ испыталъ, когда переходилъ только черезъ дворъ Ржановской крѣпости. «Изъ сѣней,—говоритъ онъ,—мы спустились на покатый дворъ, весь застроенный деревянными, на каменныхъ нижнихъ этажахъ, постройками. *Вонъ на всемъ дворѣ была очень сильная. Центромъ этой вони было отхожее мѣсто.* Мальчикъ, оберегая свои бѣлыя панталоны, осторожно провелъ меня мимо этого мѣста *по замерзшимъ и намерзшимъ нечистотамъ*». Затѣмъ, когда авторъ вошелъ въ жилье, на него пахнуло *мыльными парами, пѣжимъ запахомъ дурной пѣды и табаку*.. И вотъ этимъ сирадомъ дышутъ изо-дня въ день всѣ эти хорошіе люди, вполнѣ довольные своимъ положеніемъ. Положимъ, что они настолько при-

нюхались ко всѣмъ окружающимъ ихъ зловоніямъ, что совсѣмъ не замѣчаютъ ихъ, и зловоніе нисколько не мѣшаетъ имъ энергично работать и даже веселиться на заработанные гроши. А между тѣмъ подумать только, какъ непрочно ихъ кажущееся благосостояніе. Вѣдь достаточно одного вздоха, наполненнаго тифозными микробами въ этомъ гнилomъ и смрадномъ воздухѣ, чтобы глава семьи отправился въ елисейскія, а жена и дѣти его остались безпомощными и голодными...

Но конечно что же вы тутъ подѣлаете грошовыми великосвѣтскими подачками или, еще того лучше, душеспасительными глаголами? Правда, тутъ могла-бы большую помощь оказать хотя напримѣръ наука, которая внушаетъ, какъ должны строиться жилища для того, чтобы въ нихъ было достаточно тепла, свѣта и свѣжаго воздуха, необходимыхъ для человѣка, изобрѣтаетъ всякія ассенизирующія средства, борется съ эпидеміями, стремится къ наибольшему удешевленію всѣхъ необходимыхъ питательныхъ или согрѣвательныхъ продуктовъ и, напротивъ, къ возрастанію цѣнности труда и пр., и пр. Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой проклялъ эту самую науку, такъ какъ она не могла отвѣтить ему на тѣ трансцедентальные вопросы, разрѣшенія которыхъ онъ требовалъ отъ нея, а тотъ скромный свѣтъ и тепло, какіе льются отъ нея на человѣчество, показались ему слишкомъ жалкими и презрительными въ его великосвѣтскомъ разочарованіи... Подождемъ-же, когда душеспасительные глаголы «новой вѣры» гр. Л. Толстого въ такой-же степени способны окажутся уничтожить зловоніе и міазмы ржановскихъ клоакъ, какъ это можетъ сдѣлать изобрѣтенная все той-же презираемой наукой карболовая кислота.

III.

По поводу статьи гр. Л. Толстого «Въ чемъ счастье».

I.

Въ послѣднее время въ литературѣ нашей утвердилось мнѣніе, что философскія статьи гр. Л. Толстого наиболѣе сильны и вліятельны своимъ отрицательнымъ анализомъ условій жизни современнаго человѣчества; съ положительной-же своей стороны онѣ представляютъ рядъ идеаловъ, слишкомъ элементарныхъ и наивныхъ чтобы онѣ могли оказать какое-либо существенное вліяніе на разрѣшеніе сложныхъ и роковыхъ вопросовъ нашего времени. Статья «Въ чемъ счастье», помѣщенная въ январской книжкѣ «Русскаго Богатства» 1886 г., какъ нельзя болѣе подтверждаетъ это мнѣніе, и мы займемся ею въ видахъ разъясненія и подтвержденія его.

Прежде всего спѣшу оговориться, что если я считаю идеалы гр. Л. Толстого слишкомъ элементарными и наивными, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы я ихъ отрицалъ. Я только отрицаю ихъ исключительную компетентность въ разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ нашей нравственной жизни. Я сравниваю гр. Л. Толстого съ математикомъ, который вдругъ увлекся-бы табличкой умноженія и на томъ основаніи, что она заключаетъ въ себѣ рядъ математическихъ аксіомъ, самыхъ простыхъ, общедоступныхъ, вѣчныхъ, неоспоримыхъ и предшествовавшихъ съ испокона вѣковъ всѣмъ послѣдующимъ математическимъ открытіямъ, началъ-бы отрицать и биномъ Ньютона, и логарифмы, и дифференціальныя вычисленія, и предлагалъ-бы во всѣхъ изслѣдованіяхъ ограничиваться одной табличкой умноженія, потому что могутъ-ли сравняться всѣ тѣ запутанныя, хитроумныя формулы, которыми адепты науки исписываютъ цѣлые листы, съ такой ясной, простой, для всѣхъ равно доступной и незыблемо вѣчной истиной, какъ $2 \times 2 = 4$. Такъ вотъ я и говорю, что, положимъ, $2 \times 2 = 4$—великая и неоспоримая истина, и въ ней вполнѣ выражается та вѣковѣчная и непостижимая нашему разуму премудрость, которая движетъ міромъ и которою живетъ и дышетъ вся вселенная; но почему-же эту самую премудрость не могу я видѣть и въ логарифмахъ, и въ биномѣ Ньютона и въ дифференціалахъ?

II.

Въ самомъ дѣлѣ, обратите вниманіе на пять пунктовъ *счастія*, которые предлагаетъ гр. Л. Толстой людямъ, взамѣнъ того мнимаго призрачнаго счастья, къ которому они стремятся, и вы вполнѣ убѣдитесь, что гр. Л. Толстой имѣетъ дѣло всего-на-всего съ табличкой умноженія, съ которой и носится вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ, какъ съ единственнымъ волшебнымъ талисманомъ, способнымъ спасти человѣчество. Вотъ эти пять пунктовъ:

1) «Одно изъ первыхъ и всѣми признаваемыхъ условій счастія есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человѣка съ природой, т. е. жизнь подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, общеніе съ землей, растеніями, животными. Всегда всѣ люди считали лишеніе этого большимъ несчастіемъ. Заключенные въ тюрьмахъ сильнѣе всего чувствуютъ это лишеніе. Посмотрите-же на жизнь людей, живущихъ по ученію міра. Чѣмъ большаго они достигли успѣха по ученію міра, тѣмъ больше они лишены этого условія счастія. Чѣмъ выше то мірское счастіе, котораго они достигли, тѣмъ меньше они видятъ свѣтъ солнца, поля и лѣса, дикихъ и домашнихъ животныхъ.

2) «Другое несомнѣнное условіе счастья есть трудъ, во-первыхъ любимый и свободный трудъ, во-вторыхъ трудъ физическій, дающій аппетитъ и крѣпкій успокаивающій сонъ. Опять, чѣмъ большаго, по своему, счастья достигли люди по ученію міра, тѣмъ больше они лишены и этого другого условія счастія. Всѣ счастливцы міра, чиновники и богачи, или какъ заключенные вовсе лишены труда и безустанно борятся съ болѣзнями, происходящими отъ отсутствія физическаго труда, и еще болѣе безуспѣшно со скукой, одолѣвающей ихъ, или работаютъ ненавистную имъ работу, какъ банкиры, прокуроры и тому подобные...

3) «Третье несомнѣнное условіе счастья есть семья. И опять, чѣмъ больше ушли люди въ мірскомъ успѣхѣ, тѣмъ меньше имъ доступно это счастье. Большинство—прелюбодѣи и сознательно отказываются отъ радостей семьи, подчиняясь только ея неудобствамъ. Если-же они и не прелюбодѣи, то дѣти для нихъ не радость, а обуза. Если-же у нихъ есть дѣти, они лишены радости общенія съ

ними (отдавая ихъ на руки чужимъ воспитателямъ).

4) «Четвертое условіе счастья есть свободное, любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра. И опять, чѣмъ высшей ступени достигли люди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого главнаго условія счастія, тѣмъ выше, тѣмъ уже, тѣснѣе тотъ кружокъ людей, съ которыми возможно общеніе, и тѣмъ ниже по своему умственному и нравственному развитію тѣ нѣсколько людей, составляющіе этотъ заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода...

5) «Наконецъ пятое условіе счастія есть здоровье и безболѣзненная смерть. И опять, чѣмъ выше люди на общественной лѣстницѣ, тѣмъ болѣе они лишены этого условія счастія. Возьмите средняго богача и его жену и средняго крестьянина и его жену, не смотря на весь голодъ и непомѣрный трудъ, который несетъ крестьянинъ, и сравните ихъ. И вы увидите, что чѣмъ ниже, тѣмъ здоровѣе, и чѣмъ выше, тѣмъ болѣзненнѣе мужчины и женщины.»

III.

Все это рядъ истинъ, такихъ-же неоспоримыхъ, какъ $2 \times 2 = 4$. Но суть не въ томъ, что истины эти не представляютъ ни малѣйшихъ сомнѣній, а въ вопросѣ,—что мѣшаетъ человѣчеству идти по пути этихъ неоспоримыхъ истинъ? Вѣдь не одинъ десятокъ или сотня лѣтъ существуютъ онѣ, а цѣлыя тысячелѣтія, и проповѣдывались онѣ людьми, можетъ быть въ десять разъ и геніальнѣйшими, и краснорѣчивѣйшими, чѣмъ самъ графъ Л. Толстой. Тѣмъ не менѣе мы и до сегодня видимъ одно и то-же: несомнѣнныя истины тянутъ въ одну сторону, а человѣчество стремится повидимому совершенно въ другую, вслѣдъ за своими мечтами призрачнаго мірского счастія. Въ чемъ-же заключается причина и когда будетъ конецъ этой раздвоенности?

И вотъ, пока мы будемъ стремиться рѣшить этотъ вопросъ однимъ апріорнымъ путемъ, не заглядывая ни въ исторію, ни въ иныя науки,—мы вѣчно будемъ путаться съ нашей великой табличкой умноженія въ безъисходныхъ противорѣчіяхъ и дилеммахъ. Одни будутъ говорить вамъ, что законы святы, но исполнители лихіе супостаты, что вѣковѣчныя истины прекрасны, но люди такъ низко пали, такъ тонутъ въ своей грѣховной суетности, такъ нравственно растлѣнны, что остаются глухи и слѣпы къ истинамъ, въ которыхъ заключается все ихъ спасеніе. Другіе-же, напротивъ того, говорятъ, что истины эти обветшали, что человѣчество потому остается равнодушнымъ къ нимъ, что выросло изъ нихъ, и для него требуется иной нравственный кодексъ, болѣе соотвѣтствующій высотѣ и сложности современной цивилизаціи. Одни говорятъ: нужно прежде всего поднять нравственность каждаго отдѣльнаго человѣка, убѣдить его слѣдовать вѣковѣчнымъ истинамъ, а затѣмъ общественныя отношенія между людьми сами собой измѣнятся къ лучшему и сдѣлаются вполнѣ гармоничными все съ тѣми-же пресловутыми истинами. Другіе-же говорятъ: сколько ни проповѣдуйте, ничего не подѣлаете; нравственность отдѣльныхъ людей зависитъ отъ общихъ условій общественной жизни. Прилагайте всѣ заботы къ улучшенію этихъ условій и повѣрьте, что нравственный уровень самъ собой возвысится по мѣрѣ этого улучшенія.

Однимъ словомъ, повторяется все тотъ-же дѣтскій вопросъ о томъ, что прежде произошло на свѣтъ — молотъ или наковальня. И вѣчно онъ будетъ повторяться, пока мы не отбросимъ нашу невѣжественную гордыню передъ наукой и не обратимся къ ней, къ ея скромнымъ, но безпристрастнымъ, точнымъ указаніямъ. Что-же намъ гласитъ на этотъ счетъ наука? А вотъ что:

IV.

Обратимъ вниманіе на основной догматъ ученія графа Л. Толстого, на непротивленіе злу насиліемъ. Графъ Л. Толстой противуположностью этому догмату ставитъ ветхозавѣтное *око за око, зубъ за зубъ*. И вотъ, на первыхъ-же порахъ наука возвѣщаетъ намъ, что подобное противупоставленіе далеко не исчерпываетъ всего историческаго хода развитія нравственныхъ понятій въ человѣчествѣ. Дѣло въ томъ, что ветхозавѣтный догматъ равномѣрнаго отмщенія представляетъ собой довольно уже высокую ступень нравственнаго развитія человѣчества, большой шагъ впередъ въ исторіи цивилизаціи. Первоначально-же, можетъ быть цѣлыя тысячи лѣтъ, человѣчество руководствовалось инымъ принципомъ, еще болѣе звѣрскаго характера. Дикарь не ограничивался вырываніемъ ока за око и зубъ за зубъ, а за самое ничтожное поранение и мелкую обиду онъ поджаривалъ врага на огнѣ, сдиралъ съ него съ живого кожу, отрубалъ голову и черепъ его вѣшалъ въ своей хижинѣ, какъ трофей — знакъ того, что онъ умѣетъ постоять за себя. Первобытные люди за одного украденнаго барана истребляли до тла цѣлыя сосѣднія племена.

Въ чемъ-же заключается причина какъ самаго побужденія къ отмщенію, такъ и чрезмѣрности этого побужденія въ дикаряхъ? И вотъ, другая наука или, лучше сказать, цѣлый рядъ наукъ указываетъ, что главная причина заключается здѣсь въ психическихъ основахъ низшаго порядка, въ такъ-называемыхъ нервныхъ рефлексахъ, побуждающихъ всякое животное, въ томъ числѣ и человѣка, отражать полученныя впечатлѣнія въ тѣхъ или другихъ соотвѣтствующихъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ. Далѣе наука показываетъ, что чѣмъ ниже стоитъ человѣкъ по своему умственному развитію, тѣмъ болѣе преобладаютъ въ немъ рефлекторныя движенія, тѣмъ они необузданнѣе и тѣмъ менѣе способенъ онъ сдерживать ихъ. Ребенокъ и дикарь, какъ извѣстно, въ одинаковой степени отличаются тѣмъ, что самое ничтожное впечатлѣніе способно вызвать въ нихъ массу рефлекторныхъ движеній, совершенно выходящихъ изъ всѣхъ предѣловъ.

Съ развитіемъ высшихъ мозговыхъ центровъ люди дѣлались все сдержаннѣй и сдержаннѣй въ своихъ рефлексахъ, болѣе и болѣе привыкали подчинять ихъ высшимъ нравственнымъ требованіямъ. И вотъ, подумайте, какой былъ великій прогрессъ, когда человѣчество дожило наконецъ до ока за око, т. е. до того, что перестали самовольно сдирать кожи съ живыхъ людей за малѣйшее недоразумѣніе, а вмѣсто этого условились въ такомъ уравновѣшеніи возмездія, чтобы

за содѣянное зло платилось равно столько, ни на іоту болѣе или менѣе, чѣмъ это зло стоитъ. Люди навѣрное смотрѣли на это уравновѣшеніе, какъ на высшій нравственный законъ, коимъ вправѣ гордиться человѣчество, и дѣйствительно, съ воцареніемъ этого закона въ человѣческую среду хлынуло разомъ столько обезпеченности и благосостоянія, о которыхъ до того времени трудно было и помышлять.

Уравновѣшеніе возмездія повело за собой учрежденіе судовъ. И вотъ опять-таки гр. Л. Толстому очень легко съ точки зрѣнія своихъ высокихъ идеаловъ провозглашать: «не судите, да не судимы будете!» Но подумайте только, сколько добра, свѣта, нравственной и общественной дисциплины внесли суды въ полудикія массы, которыя до того времени руководствовались одними звѣриными, необузданными рефлексами, приводящими къ поголовному взаимному истребленію, потокамъ крови и самымъ чудовищнымъ звѣрствамъ.

V.

Обратите вниманіе на другое проявленіе возмездія — войну. Противъ войны много писали и говорили задолго до графа Л. Толстого. Но до сихъ поръ всѣ эти проповѣди остаются гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Между тѣмъ что-же мы видимъ на самомъ дѣлѣ: помимо этихъ проповѣдей и здѣсь совершается то-же постепенное подчиненіе низшихъ рефлексовъ разумнымъ требованіямъ. Какъ ни часты и кровопролитны нынѣшнія войны, а все-таки жизнь современной Европы представляетъ собой картину завиднаго мира сравнительно съ тѣмъ, что было тысячу или двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. Тогда война была ежедневнымъ, будничнымъ явленіемъ жизни, и воевали не только государства съ государствами или племена съ племенами, но и городъ съ городомъ, деревня съ сосѣднимъ селомъ, воевали изъ-за самыхъ ничтожныхъ пустяковъ, иногда и безъ всякаго повода, чтобы только выказать молодечество, дать просторъ кипучей крови. Съ теченіемъ вѣковъ районъ мира становился все шире и вытѣснялъ изъ своихъ предѣловъ знамя войны. Такъ, въ Россіи образовалось сначала нѣсколько маленькихъ центровъ,—княжествъ, въ предѣлахъ которыхъ люди обязывались жить другъ съ другомъ мирно, разрѣшая свои несогласія не мечемъ, а судомъ; воевать имѣли теперь возможность только княжества между собой, а никакъ уже не сосѣднія селенія. Затѣмъ княжества начали соединяться въ крупныя областныя массы и наконецъ образовалось одно сплошное Московское царство, въ предѣлахъ котораго мирнымъ обывателямъ могло угрожать лишь нашествіе иноземныхъ народовъ.

VI.

Изъ всего этого вотъ что слѣдуетъ. Ваши прекрасные идеалы, гр. Л. Толстой существующіе безъ малаго двѣ тысячи лѣтъ, остаются до сихъ поръ въ однихъ отвлеченныхъ предѣлахъ сознанія и не могутъ вполнѣ осуществиться по той-же причинѣ, по какой и не менѣе неоспоримая математическая истина, что $2 \times 2 = 4$, остается въ области одной нашей фантазіи, пока мы въ дѣйствительности не имѣемъ двухъ и двухъ, чтобы изъ нихъ вышло четыре. Сколько-бы вы ни убѣждали людей не сопротивляться злу насиліемъ, вы ихъ до тѣхъ поръ не убѣдите, пока рефлексы ихъ будутъ настолько еще сильны, чтобы, заглушая всѣ внушенія разума, неудержимо побуждать ихъ ко всякаго рода возмездіямъ. Подчиненіе-же рефлексовъ разумной волѣ совершается не сразу, однимъ мановеніемъ волшебнаго жезла, а вырабатывается постепенно отъ поколѣнія къ поколѣнію; какъ между первобытнымъ звѣрствомъ и ветхозавѣтнымъ принципомъ уравновѣшеннаго возмездія, такъ равно между послѣднимъ и вашимъ принципомъ непротивленія злу насиліемъ существуетъ цѣлый рядъ промежуточныхъ станцій, миновать которыя нѣтъ никакой возможности. Такъ напримѣръ, вы вотъ отрицаете судъ даже и въ тѣхъ мягкихъ и гуманныхъ формахъ, до какихъ онъ дошелъ въ послѣднее время, а подумайте, давно-ли человѣчество избавилось отъ ужасовъ инквизиціи и пытокъ, и какой большой шагъ въ смягченіи нравовъ и подчиненіи животныхъ рефлексовъ представляло собой хотя-бы только появленіе Беккаріи съ его отрицаніемъ пристрастнаго допроса. Я вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что весь этотъ прогрессъ смягченія нравовъ и медленнаго приближенія къ вѣковѣчнымъ нравственнымъ идеаламъ, завѣщаннымъ намъ древнимъ Востокомъ, совершается отнюдь не путемъ сопротивленія злу насиліемъ, а есть результатъ совершенно особеннаго великаго и всеобщаго біологическаго процесса. Изъ всего вышесказаннаго достаточно явствуетъ, что я вовсе не стою за принципъ противленія злу насиліемъ. Я объясняю его, какъ варварское состояніе человѣчества, какъ недостатокъ полнаго подчиненія низшихъ рефлексовъ высшимъ разумнымъ требованіямъ. Но что-же вы подѣлаете съ человѣчествомъ, если рефлексы его все еще бунтуютъ, преобладаютъ и до сихъ поръ еще оно ихъ не упорядочило? Впадать вслѣдствіе этого въ отчаяніе, въ пессимизмъ, роптать на глухоту и слѣпоту людей, неспособныхъ сразу обратиться на путь спасенія,—не есть-ли самая высокомѣрная гордыня, какую только можно представить себѣ? Не есть-ли это преступная и малодушная хула противъ вѣковѣчной премудрости, установившей незыблемые законы, по которымъ совершаются всѣ процессы развитія во всей вселенной?

IV.

Графъ Л. Н. Толстой о женскомъ вопросѣ.

I.

Я знаю молодую чету, которой я всегда любуюсь, какъ однимъ изъ лучшихъ украшеній нашего средняго интеллигентнаго круга. Мужъ — учитель и воспитатель въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній; жена, кончивъ медицинскіе курсы нѣсколько лѣтъ тому назадъ, занимаетъ мѣсто уѣзднаго врача и сверхъ того имѣетъ кое-какую практику. Въ общей

сложности мужъ и жена зарабатываютъ тысячъ до трехъ, причемъ на женскую долю приходится рублей до тысячи заработка, т. е. треть семейнаго бюджета. Конечно для людей, привыкшихъ жить на проценты съ полумилліоннаго состоянія, для людей, соображающихъ, что пропорціонально тремъ копѣйкамъ, отданнымъ нищему мужикомъ, имъ слѣдовало-бы давать этому самому нищему по три тысячи рублей,—что̀ значитъ заработокъ въ какую-нибудь тысячу рублей! Стоило изъ-за такихъ пустяковъ на курсы ходить и мертвецовъ рѣзать! Но каждый, кто не à priori, а на практикѣ испыталъ, что̀ такое значитъ проживать съ семьей среднему интеллигентному человѣку въ столицѣ 2,000 руб., тотъ пойметъ, какое великое подспорье составляетъ въ настоящемъ случаѣ каждая лишняя тысяча.

Они держатъ всего двѣ прислуги: кухарку и няньку. Между тѣмъ чистота и опрятность царятъ въ ихъ квартирѣ ненарушимыя, образцовыя. У нихъ трое дѣтей,—и всѣ такіе здоровяки, съ пухлыми, румяными щечками. Цѣлый день оба занятые своими профессіями, какъ они успѣваютъ въ то-же время содержать свое хозяйство въ такомъ образцовомъ порядкѣ,—объ этомъ я не могу вамъ подробно сообщить, такъ какъ не слѣдилъ за каждымъ шагомъ ихъ повседневной, будничной жизни, но я это вполнѣ понимаю. Главный секретъ въ томъ именно и заключается здѣсь, что оба они—люди занятые. Обратите вниманіе, въ какомъ кабинетѣ найдете вы болѣе порядка, чистоты и опрятности? Вы думаете, что у человѣка болѣе свободнаго, имѣющаго много досуга заниматься разстановкой своихъ вещей? Совершенно наоборотъ: чѣмъ болѣе человѣкъ занятъ, тѣмъ оказывается болѣе порядка вокругъ него во всей его обстановкѣ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго: усиленный трудъ такъ нравственно дисциплинируетъ, подтягиваетъ человѣка, что у него является неудержимая потребность и во всѣ мелочи своего обихода вносить ту гармонію, ту порядочность, которыя онъ ощущаетъ въ своемъ нравственномъ мірѣ. И наоборотъ,—праздность, разслабляя нервы, приводитъ людей къ особаго рода душевному недугу, называемому распущенностью, а разъ этотъ недугъ завязался у человѣка, онъ проявляется опять-таки во всѣхъ мелочахъ его жизни: подобно тому, какъ лѣнь приняться ему за дѣло, такъ-же точно лѣнь ему и убрать за собой.

Что-же касается до времени, необходимаго для упорядоченія домашней жизни и всего, что касается, такъ называемаго, *хозяйства*, то, надо сказать по правдѣ, у насъ сильно раздуваютъ этотъ предметъ, воображая, что для маленькаго хозяйства семьи, проживающей отъ трехъ до пяти тысячъ,—необходимо посвященіе цѣликомъ нѣсколькихъ женскихъ жизней. Въ результатѣ такого предразсудка выходитъ то, что праздныя барыни, воображающія себя образцовыми хозяйками, нарочно растягиваютъ на цѣлый день дѣло, которое можно все передѣлать въ четверть часа, пріискиваютъ искусственныя и совершенно ненужныя занятія, лишь-бы только убить время и успокоить совѣсть. По крайней мѣрѣ въ той семьѣ, о которой я говорю, нѣтъ ни одной такой женщины, которая весь день суетилась-бы и бѣгала изъ комнаты въ комнату по пустякамъ, воображая, что она совершаетъ какое-то священнодѣйствіе, домашній очагъ соблюдаетъ. Мужъ весь поглощенъ своей педагогіей; жена—медициной; кухарка знаетъ только свою кухню; нянька—дѣтей; и въ то-же время всѣ члены семьи между дѣломъ успѣваютъ вполнѣ соблюдать домъ въ чинномъ порядкѣ.

Да не подумаетъ читатель, что я изобразилъ что-нибудь необыкновенное и исключительное. Въ настоящее время вы можете встрѣтить не одну уже семью, въ которой жена является такой-же труженицей, какъ и мужъ, и это нисколько не мѣшаетъ тому, чтобы и щи подавались во-время на столъ, и дѣти родились, выкармливались и выращивались правильно.

II.

Скромная труженица, съ утра до ночи занятая своимъ дѣломъ, всегда чисто и опрятно одѣтая, а иногда даже щеголевато принаряженная, знакомая моя вовсе не выглядитъ синимъ чулкомъ, не произноситъ никакихъ рѣчей въ пользу женской эмансипаціи, не громитъ мужчинъ, и не найдете вы въ ней ничего ухарскаго и напускного. Но конечно она очень близко принимаетъ къ сердцу женскій вопросъ, сама на своемъ собственномъ опытѣ убѣдившись, сколько и нравственнаго удовлетворенія, и матеріальной обезпеченности принесло ей то обстоятельство, что вотъ она кончила курсъ медицинскихъ наукъ нисколько не менѣе успѣшно, чѣмъ кончаютъ его мужчины, приноситъ свою лепту пользы и обществу, и своей семьѣ, и что останься она вдовой, она, хоть и скромно, а все-таки поддержитъ свою семью, и не придется ей клянчить о милостивыхъ подачкахъ и искать благодѣтелей.

Зная такой образъ мыслей и настроеніе моей пріятельницы, я ожидалъ, что ее въ большое негодованіе приведетъ дрянная книжонка о женщинахъ съ вопросительными знаками, изданная Суворинымъ, съ ея скабрезно-циничнымъ содержаніемъ, съ ея взглядами на женщинъ исключительно съ точки зрѣнія особыхъ примѣтъ, съ ея призывомъ наконецъ запереть снова женщинъ въ терема, ради болѣе удобнаго созерцанія и пользованія этими особыми примѣтами. Но представьте, я былъ очень удивленъ, когда пріятельница моя не только ничѣмъ не возмутилась въ вышеозначенной книгѣ, а лишь прониклась глубокой жалостью къ автору ея. Даже слезы показались на ея глазахъ, когда она произнесла слѣдующія слова:—«Бѣдный, бѣдный! должно быть не было у него ни доброй матери, которую-бы онъ страстно обожалъ и любилъ, ни сестры, за честь которой онъ стоялъ-бы горой, и не видѣлъ онъ втеченіи всей жизни своей ни одной маломальски порядочной женщины!.. Бѣдный!.. Гдѣ онъ родился? Гдѣ онъ прожилъ всю свою жизнь?»...

При этихъ послѣднихъ словахъ мнѣ сдѣлалось даже страшно. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ онъ родился? Гдѣ прожилъ всю жизнь? Представьте себѣ (я говорю не объ авторѣ книги, не зная, что за личность скрывается подъ вопросительнымъ знакомъ, а такъ, вообще), представьте, что человѣкъ родился-бы въ пансіонѣ извѣстнаго сорта, провелъ-бы все дѣтство и часть

юности въ такомъ богоугодномъ заведеніи,—имѣлибы мы право требовать, чтобы господинъ этотъ глядѣлъ на женщинъ и на женскій вопросъ съ какой либо иной точки зрѣнія, какъ не съ той, съ какой этотъ предметъ представляется въ его alma mater? Только и оставалось-бы вмѣстѣ съ моей пріятельницей восклицать: бѣдный, бѣдный!

III.

Но совершенно иное впечатлѣніе произвели на туже самую барыню рѣчи гр. Толстого по поводу женскаго вопроса, которыя привелось ей слышать изъ его устъ въ бытность ея въ Москвѣ. Надо замѣтить, что гр. Л. Толстой былъ до сихъ поръ большой любимецъ моей пріятельницы, и послѣднія сочиненія его она читала съ увлеченіемъ, и это очень понятно. Скромная и усердная труженица, она къ себѣ самой примѣняла весь тотъ апоѳеозъ труда, который находила въ сочиненіяхъ гр. Л. Толстого. Она смѣло причисляла себя къ тѣмъ людямъ, которые, по выраженію гр. Л. Толстого, *дѣлаютъ жизнь* и изъ этого почерпаютъ всю свою *вѣру въ нее*. Подобно гр. Л. Толстому, она осуждала роскошь и чуждалась ея; если-же и имѣла двѣ прислуги, то это совсѣмъ было не то, что графскіе слуги. Это были лишь помощники ея, не мѣшавшіе ей своими руками совершать половину своего семейнаго обихода. Симпатизировала она даже и ученію гр. Л. Толстого о непротивленіи злу насиліемъ, что совершенно гармонировало съ ея мирнымъ существованіемъ, исполненнымъ труда, равно необходимаго для добрыхъ и злыхъ, строптивыхъ и кроткихъ. Ей некогда было и думать о какихъ-либо противленіяхъ, и только иногда возмущалась въ ней женщина и она говорила:

— «Я готова, пожалуй, уступить гр. Л. Толстому не только обѣ ланиты, но и шею. Но если кто вздумаетъ тронуть моего ребенка, тутъ ужъ извините, я не ручаюсь, что не обращусь въ тигрицу, и чувствую, что никакая сила воли не удержитъ меня... Гр. Л. Толстой—мужчина, и ему никогда этого не понять!»

Нынѣ на Рождествѣ пришлось моей пріятельницѣ проѣхаться въ Москву, и тамъ она гдѣ-то встрѣтилась съ гр. Л. Толстымъ. По пріѣздѣ оттуда, при первомъ-же моемъ визитѣ къ нимъ, она почти сразу заговорила о своемъ свиданіи съ авторомъ «Войны и мира»,—и, можете себѣ представить, я ея не узналъ: щеки ея пылали, глаза метали искры и были полны слезъ. Она имѣла видъ женщины, глубоко кѣмъ-либо оскорбленной.

— Представьте себѣ, восклицала она съ негодованіемъ,—графъ-то Левъ Николаевичъ, святой человѣкъ не отъ міра сего, что мнѣ наговорилъ насчетъ нашей братіи, учащихся женщинъ!... Да никто еще въ жизни моей не нанесъ мнѣ такого кровнаго оскорбленія, не попралъ всѣхъ моихъ идеаловъ такъ безчеловѣчно и черство, не насмѣялся такъ надъ всѣми моими самыми лучшими инстинктами. И все это такъ бездоказательно, хотя въ то же время на основаніи яко-бы ученія любви и милосердія... Это возмутительно!... ужасно!... Я ничего подобнаго не встрѣчала и не ожидала, и отъ кого-же!...

Я просилъ пріятельницу успокоиться и разсказать толкомъ, въ чемъ дѣло. Долго горячилась барыня и ограничивалась одними восклицаніями, вродѣ вышеприведенныхъ. Наконецъ, изливъ все свое негодованіе, она передала во всѣхъ подробностяхъ отъ слова до слова свое свиданіе съ гр. Л. Толстымъ. Оказалось, что почтенный авторъ «Войны и мира» затронулъ въ разговорѣ съ пріятельницей женскій вопросъ и отнесся къ нему весьма неблагосклонно. По счастью, не надѣясь на свою память, барыня записала все, что говорилъ ей гр. Л. Толстой по этому поводу. И я съ своей стороны считаю не лишнимъ подѣлиться этимъ съ моими читателями. За то, что барыня совершенно вѣрно передала мысли гр. Толстого и ничего не прибавила отъ себя, я могу поручиться. Такъ вотъ какъ смотритъ гр. Л. Толстой на женскій вопросъ:

IV.

«Какъ сказано въ Библіи,—объяснилъ онъ моей пріятельницѣ,—мужчинѣ и женщинѣ данъ законъ: мужчинѣ—законъ труда, женщинѣ—законъ рожденія дѣтей. Хотя мы по нашей наукѣ и nous avons changé tout ça, но законъ мужчины, какъ и женщины, остается неизмѣннымъ, какъ печень на своемъ мѣстѣ, и отступленіе отъ него казнится все также неизбѣжно смертью. Разница только въ томъ, что для мужчины отступленіе отъ закона казнится смертью въ такомъ близкомъ будущемъ, что оно можетъ быть названо настоящимъ, для женщинъ же отступленіе отъ закона казнится въ болѣе далекомъ будущемъ. Отступленіе общее всѣхъ мужчинъ отъ закона уничтожаетъ людей тотчасъ-же; отступленіе всѣхъ женщинъ уничтожаетъ людей слѣдующаго поколѣнія. Отступленіе-же нѣкоторыхъ мужчинъ и женщинъ не уничтожаетъ рода человѣческаго, а лишаетъ только отступившихъ разумной природы человѣка. Отступленіе мужчинъ отъ закона началось давно въ тѣхъ классахъ, которые могли насиловать другихъ, и, все распространяясь, продолжалось до нашего времени, а въ наше время дошло до безумія, до идеала, состоящаго въ отступленіи отъ закона, до идеала, выраженнаго княземъ Блохинымъ и раздѣляемаго Ренаномъ и всѣмъ образованнымъ міромъ: будутъ работать машины, а люди будутъ наслаждающіеся комки нервовъ. Отступленія отъ закона женщинъ почти не было. Оно выражалось только въ проституціи и въ частныхъ преступленіяхъ убиванія плода. Женщины круга людей богатыхъ исполняли свой законъ, тогда какъ мужчины не исполняли своего закона, и потому женщины стали сильнѣе и продолжаютъ властвовать и должны властвовать надъ людьми, отступившими отъ закона и потому потерявшими разумъ. Говорятъ обыкновенно, что женщина (парижская женщина преимущественно, бездѣтная) такъ стала обворожительна, пользуясь всѣми средствами цивилизаціи, что она этимъ своимъ обаяніемъ овладѣла мужчиной. Это не только несправедливо, но какъ-разъ на-оборотъ. Овладѣла мужчиной не бездѣтная женщина, а мать,—та, которая исполняла свой законъ, тогда какъ мужчина не исполнялъ своего. Та-же женщина, которая искусственно дѣлается бездѣтной и плѣняетъ мужчину своими плечами и локонами,—это не властвующая надъ мужчиной женщина, а развращенная мужчиной, опустившаяся до него, до развращеннаго мужчины,—женщина, сама такъ-же, какъ и онъ, отступающая отъ закона и теряющая всякій разумный смыслъ жизни. Изъ этой ошибки вытекаетъ и та удивительная глупость, которая называется правами женщинъ. Формула этихъ правъ женщинъ такая: «А! ты, муж-

чина,—говоритъ женщина,—отступилъ отъ своего закона настоящаго труда, а хочешь, чтобы мы несли тяжесть нашего настоящаго труда? Нѣтъ, если такъ, то мы такъ же, какъ и ты, съумѣемъ дѣлать то подобіе труда, которое ты дѣлаешь въ банкахъ, министерствахъ, университетахъ, академіяхъ; мы хотимъ такъ же, какъ и ты, подъ видомъ раздѣленія труда, пользоваться трудами другихъ и жить, удовлетворяя одной похоти». Онѣ говорятъ это и на дѣлѣ показываютъ, что онѣ никакъ не хуже, еще лучше мужчинъ умѣютъ дѣлать это подобіе труда. Такъ называемый женскій вопросъ возникъ и могъ возникнуть только среди мужчинъ, отступившихъ отъ закона настоящаго труда. Стоитъ только вернуться къ нему, и вопроса этого быть не можетъ. Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣжный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужчины,—въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ мнимомъ трудѣ мужчинъ богатаго класса.

«Еслибы только женщины поняли свое значеніе, свою силу и употребляли ее на дѣло спасенія своихъ мужей, братьевъ и дѣтей, на спасеніе всѣхъ людей! Жены—матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ всѣхъ золъ, которыми онъ страдаетъ, въ вашихъ рукахъ. Не тѣ — женщины, которыя заняты своими таліями, турнюрами, прическами и плѣнительностью для мужчинъ и, противъ своей воли, по недогадкѣ, съ отчаяніемъ рожаютъ дѣтей и отдаютъ ихъ кормилицамъ; и *не тѣ тоже, которыя ходятъ на разные курсы и говорятъ о психомоторныхъ центрахъ и дифференціаціи и тоже стараются избавиться отъ рожденія дѣтей съ тѣмъ, чтобы не препятствовать своему одурѣнію, которое онъ называютъ развитіемъ*, а тѣ—женщины и матери, которыя, имѣя возможность избавиться отъ рожденія дѣтей, прямо, сознательно подчиняются этому вѣчному, неизмѣнному закону, зная, что тягость и трудъ этого подчиненія есть назначеніе ихъ жизни, вотъ эти-то женщины и матери нашихъ богатыхъ классовъ—тѣ, въ рукахъ которыхъ, больше чѣмъ въ чьихъ-нибудь другихъ, лежитъ спасеніе людей нашего міра отъ удручающихъ ихъ бѣдствій. Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющіяся закону Бога, вы однѣ знаете въ нашемъ несчастномъ, изуродованномъ, потерявшемъ образъ человѣческій кругу, вы однѣ знаете весь настоящій смыслъ жизни по закону Бога, и вы однѣ своимъ примѣромъ можете показать людямъ то счастье жизни въ подчиненіи волѣ Бога, котораго они лишаютъ себя. Вы однѣ знаете тѣ восторги и радости, захватывающія все существо, то блаженство, которое предназначено человѣку, не отступающему отъ закона Бога. Вы знаете счастье любви къ мужу,—счастье, не кончающееся, не обрывающееся, какъ всѣ другія, а составляющее начало новаго счастія, любви къ ребенку. Вы однѣ, когда вы просты и покорны волѣ Бога, знаете не тотъ шуточный парадный трудъ въ мундирахъ и въ освѣщенныхъ залахъ, который мужчины нашего круга называютъ трудомъ, а знаете тотъ истинный, Богомъ положенный людямъ трудъ и знаете истинныя награды за него, то блаженство, которое онъ даетъ.»

V.

Но тутъ барыня вырвала у меня изъ рукъ записку свою, которую я читалъ громко и вскричала:

— «Нѣтъ, ради Христа, будетъ, будетъ, я не въ силахъ слушать болѣе, я боюсь, что сейчасъ разрыдаюсь!.. Ну, положимъ, пусть гр. Л. Толстой, уткнувшись въ свой затхлый и темный уголъ, просмотрѣлъ тотъ общій и дружный отпоръ, какой сдѣлало наше интеллигентное общество ученію Мальтуса, въ лицѣ лучшихъ своихъ литературныхъ и ученыхъ представителей, такъ что увлеклись этимъ ученіемъ развѣ только одни мутные подонки этого общества, нѣсколько растлѣнныхъ и распущенныхъ сластолюбцевъ, вышедшихъ изъ крѣпостныхъ сералей. Допустимъ, что мы, посѣщающія курсы и дерзающія говорить о психомоторныхъ центрахъ, и въ самомъ дѣлѣ проклятыя отродья, которыхъ графъ, съ высоты своей святости, имѣетъ полное право ставить въ одинъ рядъ съ француженками-кокотками и проститутками, хотя я все-таки никакъ не могу понять, чѣмъ я не жена своему мужу, чѣмъ я не мать своимъ дѣтямъ, и какъ это медицина можетъ помѣшать мнѣ честно исполнять семейныя обязанности мои!... Но допустимъ... Какъ-же графъ упустилъ изъ вида тѣ самыя трудящіяся массы, которыя, по его мнѣнію, дѣлаютъ жизнь и которыя онъ ставитъ поэтому въ основѣ жизни?.. По его мнѣнію, вся жизнь женщины, все ея время должно быть поглощено однимъ дѣторожденіемъ со всѣми его заботами?.. Ну, а крестьянка, которая сверхъ этого является помощницею своего мужа во всѣхъ его трудахъ,—крестьянка, которая жнетъ, убираетъ сѣно, молотитъ, ходитъ за скотомъ, сажаетъ овощи въ огородахъ, полетъ гряды, мочитъ ленъ, дѣлаетъ изъ него пряжу и проч., и проч.,—значитъ она тоже отступаетъ отъ основного закона своей природы и искажаетъ свой человѣческій образъ?.. Моя подруга провела надъ книгами нѣсколько лѣтъ самаго упорнаго труда для того, чтобы сдѣлаться образцовой учительницей. Вотъ уже три года, какъ она, завѣдуя сельской школой, работаетъ, не жалѣя своихъ молодыхъ силъ, стремясь разливать вокругъ себя свѣтъ грамотности и науки! И она обречена проклятію, потому только что судьба не послала ей до сихъ поръ мужа, который помогъ-бы ей исполнить вѣковѣчный законъ, хотя она вовсе не прочь отъ этого! И отъ кого-же остается намъ вдругъ ожидать спасенія? Отъ женщинъ, которыя правда никогда и не слыхали о Мальтусѣ, но которыя безсознательно, въ силу однихъ условій своей жизни, очень часто доходятъ до полнаго безплодія. Развѣ не показываетъ намъ статистика, что плодородіе чаще имѣетъ мѣсто именно среди трудящихся классовъ, тамъ, гдѣ женщина сверхъ дѣторожденія несетъ на себѣ массу мужского труда. Въ классахъ-же, гдѣ женщина имѣетъ возможность заниматься однимъ только дѣтопроизводствомъ, напротивъ того, мы встрѣчаемъ на каждомъ шагу барынь, приводящихъ своимъ безплодіемъ цѣлые роды къ вымиранію»...

Долго, возмущаясь и кипятясь, возражала моя знакомая, приводя массу и изъ современной, и изъ исторической жизни примѣровъ женщинъ, во всѣхъ отношеніяхъ святыхъ и пользующихся всеобщимъ почетомъ не за одно только дѣторожденіе и плодородіе. Еслибы я захотѣлъ привести всѣ эти доводы, то ихъ хватило-бы на цѣлую книгу. Тщетно старался я успокоить свою пріятельницу и заставить ее взглянуть на дѣло болѣе хладнокровно. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ-же главнымъ образомъ заключался источникъ всего ея раздраженія, какъ не въ ней-же самой? Вольно-же было ей возводить графа Л. Толстого въ какой-то кумиръ и авторитетъ, для того чтобы потомъ такъ жестоко разочароваться въ немъ! Давно

слѣдовало ей понять, что разъ человѣкъ отвергнулъ и науку, и искусство, и вмѣстѣ съ гнилыми плодами цивилизаціи всѣ тѣ свѣжіе и питательные плоды ея, произростаніе которыхъ стоило человѣчеству тысячелѣтняго упорнаго и кроваваго труда, отвернулся отъ жизни и весь ушелъ въ буквоѣдство, въ схоластическую премудрость сличенія текстовъ, то что-же мудренаго, если онъ и не до такихъ нелѣпостей договорится еще!

V.

Мой отвѣтъ Оболенскому.

I.

Въ апрѣльской книжкѣ «Русскаго Богатства» Оболенскій или я ужъ не знаю, кто изъ его сотрудниковъ (статья не подписана),—представилъ нѣсколько возраженій на мою замѣтку объ отношеніи гр. Л. Толстого къ женскому вопросу. Начинаетъ мой оппонентъ съ того, что я неправильно приписываю графу Л. Толстому отрицаніе науки и искусства, и въ доказательство приводитъ слѣдующую выписку изъ того-же самаго трактата графа Л. Толстого, изъ котораго цитировалъ и я.

«Наука и искусство,—говоритъ графъ Л. Толстой,—такъ-же необходимы для людей, какъ пища, питье и одежда, даже необходимѣе; но они дѣлаются таковыми не потому, что мы рѣшимъ, что то, что мы называемъ наукой и искусствомъ, — необходимо, а только потому, что они дѣйствительно необходимы. Вѣдь если для тѣлесной пищи людей будутъ готовить сѣно, то мое убѣжденіе въ томъ, что сѣно есть пища людей, не сдѣлаетъ того, что сѣно станетъ пищей людей. Я вѣдь не могу сказать: «что-жъ ты не ѣшь сѣна, когда оно - необходимая пища». Пища необходима, но можетъ быть случится, что то, что я предлагаю,—вовсе не пища. Вотъ это-то самое и случилось съ нашей наукой и искусствомъ. Сколько-бы мы ни говорили, — *дѣло, которымъ мы занимаемся, считая козявокъ и изслѣдуя химически* (?) *составъ млечнаго пути, рисуя русалокъ и историческія картины, сочиняя повѣсти и симфоніи,—наше дѣло не станетъ ни наукой, ни искусствомъ, до тѣхъ поръ пока оно не будетъ охотно приниматься тѣми людьми, для которыхъ оно дѣлается. А до сихъ поръ не принимается.*»

Итакъ, повидимому графъ Л. Толстой считаетъ науку и искусства столь-же необходимыми для людей, какъ пища, питье и одежда,—чего-же казалось-бы убѣдительнѣе, что онъ ихъ не отрицаетъ? Да, но это только *повидимому*, и напрасно оппонентъ мой возражаетъ мнѣ далѣе, что графъ Л. Толстой считаетъ наши науки и искусства фиктивными только потому, что они сосредоточены въ рукахъ немногихъ лицъ, которыя, занимаясь ими, присвоиваютъ себѣ привилегію отклоняться отъ физическаго труда. Смѣшно было-бы отрицать пользу и достоинство какой-нибудь вещи только потому, что вещь эта, сама по себѣ драгоцѣнная, лежитъ запертой въ комодѣ, а не предоставляется во всеобщее употребленіе. Да гр. Л. Толстой этого и не дѣлаетъ. Правда, въ приведенной выпискѣ онъ говоритъ, что наше дѣло (козявки, млечный путь, повѣсти, симфоніи) не станетъ ни наукой, ни искусствомъ до тѣхъ поръ, *пока не будетъ приниматься охотно тѣми, для кого дѣлается;* но на одной этой фразѣ нельзя еще строить весь взглядъ гр. Л. Толстого на значеніе наукъ и искусствъ, какъ это дѣлаетъ мой почтенный оппонентъ. Слѣдуетъ взять во вниманіе весь трактатъ гр. Толстого объ этомъ предметѣ, и тогда мы увидимъ, что въ подчеркнутой нами фразѣ таится совершенно особенный смыслъ, и что нельзя понимать ее такъ, какъ понимаетъ мой почтенный оппонентъ.

II.

Вѣдь еслибы въ трактатѣ гр. Л. Толстого все дѣло сводилось къ тому горячему когда-то, но давно сданному въ архивъ спору о чистой наукѣ и чистомъ искусствѣ, который въ концѣ 50-хъ годовъ стоялъ на первомъ планѣ въ нашей литературѣ, то стоило-ли гр. Л. Толстому огородъ городить и капусту садить? Для кого-же теперь не ясно, какъ божій день, что ученый не долженъ быть архивной крысой и, уткнувшись въ какую-нибудь узенькую спеціальность, всю жизнь проводить въ томъ, чтобы изучать бугорокъ на какой-нибудь микроскопической козявкѣ, а обязанъ охватывать всю науку и всѣ прилегающія къ ней отрасли знанія и стремиться прилагать свои свѣдѣнія къ пользѣ своего народа и всего человѣчества; что и художникъ въ свою очередь долженъ творить не для одного личнаго самоуслажденія и эстетическихъ восторговъ небольшой кучки знатоковъ, а для массъ, съ цѣлью поднятія умственнаго и нравственнаго ихъ уровня. Еслибы весь трактатъ гр. Л. Толстого сводился къ подобнымъ трюизмамъ, то это было-бы безцѣльное повтореніе задовъ и новое открытіе Америкъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой отрицаетъ науки и искусства отнюдь не въ томъ смыслѣ, какъ это полагаетъ мой оппонентъ, т. е. что они, молъ, существуя на народныя деньги, стоютъ народу очень дорого, а ничего ему не даютъ. Нѣтъ, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Во многихъ мѣстахъ своего трактата Л. Толстой очень прямо и ясно даетъ понять, что науки и искусства въ томъ видѣ, какъ они существуютъ, по самому существу своему фиктивны и не способны дать что-либо народу, что если-бы они ничего народу не стоили, а предлагались-бы ему даромъ, еслибы затѣмъ ученые между прочимъ занимались какими ни на есть каторжными физическими трудами, то и въ такомъ случаѣ народъ не принялъ-бы нашихъ наукъ, а презрительно отвергъ-бы, потому что для народа необходимы совсѣмъ иныя науки и искусства... Какія-же именно?..

III.

Объ искусствѣ мы спорить не будемъ. Относительно его критика не одинъ уже десятокъ лѣтъ твердитъ, что, для того чтобы искусство встало вполнѣ на народную почву и удовлетворяло массы, оно должно подвергнуться полному перевороту, причемъ конечно переворотъ этотъ зависитъ не отъ личнаго произво-

ла художниковъ, а отъ естественнаго и органическаго хода вещей. Объ искусствѣ тѣмъ болѣе безплодно намъ спорить, что дѣятельность на половину непроизвольная, обусловливаемая и духомъ времени, и духомъ среды, и личными особенностями тѣхъ или другихъ художниковъ,—искусство дѣйствительно подъ вліяніемъ ненормальныхъ условій можетъ всецѣло стоять на ложной дорогѣ и быть фиктивнымъ, каковы напримѣръ и были произведенія ложно-классическія, романтическія и масса другихъ, имѣющихъ нынѣ одно историческое значеніе, и которыми если и продолжаютъ восторгаться, то по рутинѣ, утвердившейся вѣками, словно по какой-то хотя и скучной, но все-таки священной обязанности.

Но другое дѣло—наука, стоящая на отвлеченной, международной и междувременной почвѣ врожденной человѣку любознательности. Разъ истина есть несомнѣнная истина, то какъ можетъ быть она фиктивна или не фиктивна, полезна или безполезна? Какъ сказать уму: вотъ этимъ ты, умъ, интересуйся, это изслѣдуй, а сюда и заглядывать не смѣй. Я очень былъ-бы радъ, чтобы Оболенскій, именно не кто иной, какъ Оболенскій, издающій научно-популярный журналъ, на страницахъ котораго очень часто вы встрѣчаете рѣчи и о козявкахъ, и о млечномъ пути, далъ мнѣ списочекъ, какими предметами науки я имѣю право интересоваться и какими не имѣю.

Вѣдь вотъ я въ своей душевной простотѣ наивно думалъ, что заниматься козявками не только интересно, но и полезно для самого того народа, о которомъ такъ заботятся гр. Л. Толстой и Оболенскій. Мнѣ, когда я вспоминалъ Дженнера съ его вакцинаціей, приходило на память, что когда у насъ вводилась вакцинація, народъ сильно сопротивлялся этому и подозрѣвалъ въ оспопрививаніи наложеніе антихристовыхъ печатей. Теперь Оболенскій, дѣлая выписку изъ трактата Л. Толстого о фиктивности занятія козявками, пока народъ не будетъ *съ охотой* принимать научныя истины, и соглашаясь съ этой выпиской, предлагаетъ мнѣ этимъ самымъ считать фиктивными и Дженнера, и ту несомнѣнную пользу, которую принесла народу вакцинація, избавивъ втеченіи ста лѣтъ не одинъ десятокъ тысячъ людей отъ преждевременной смерти.

О пользѣ-же изученія состава млечнаго пути, далеко не представляющей такой очевидности, какъ изслѣдованія Дженнера и Пастера, — и говорить конечно нечего. Долой всю астрономію безъ всякихъ возраженій,—для чего она народу!..

Да, Оболенскій, я жду отъ васъ, какъ манны небесной, осчастливьте меня списочкомъ наукъ нужныхъ и ненужныхъ. Особенно дорого мнѣ получить отъ васъ такой списочекъ, потому именно что изъ вашего журнала я извлекъ убѣжденіе, что всѣ науки, всѣ отрасли знанія находятся въ тѣсной и неразрывной связи между собой, что нѣтъ возможности вынуть хоть одинъ кирпичикъ и надѣяться, что дѣло можетъ обойтись безъ него и чтобы все зданіе не рухнуло. Связь эта не только не уменьшается, а, напротивъ того, ростетъ и можетъ быть близко время, когда всѣ науки сольются въ одну единую и нераздѣльную. На этомъ основаніи я полагалъ, что если одну науку мы станемъ считать несомнѣнно полезной для народа, то полезны и всѣ прочія, потому что нѣтъ возможности изучать одну безъ посредства другихъ. Такъ напримѣръ, положимъ, что знаніе состава млечнаго пути можетъ казаться совершенно безплоднымъ и праздными; но вѣдь это часть астрономіи. Безъ изученія-же астрономіи немыслима метеорологія,—наука, пользу которой для народа, даже и въ настоящемъ ея несовершенномъ видѣ, отрицать болѣе чѣмъ курьезно.

Въ томъ-то и дѣло, что, увы, никогда Оболенскій не дастъ мнѣ списочка, о которомъ я прошу, потому что заняться составленіемъ такого списочка—значило-бы для него отказаться отъ всего своего прошедшаго и настоящаго, и поставить и самого себя, и журналъ. который онъ издаетъ, въ невообразимый и невозможный абсурдъ!

IV.

А вотъ гр. Л. Толстой, если мы обратимся къ его трактату, тотчасъ-же безъ малѣйшаго замедленія и затрудненія отвѣтитъ на нашъ вопросъ съ той смѣлостью и категоричностью, съ которыми онъ трактуетъ обо всѣхъ вещахъ. Ко всѣмъ безъ исключенія наукамъ, изъ которыхъ многія не перестаетъ уважать Оболенскій и до сегодня, гр. Л. Толстой относится съ открытымъ презрѣніемъ и ненавистью. Самыя слова: «положительное знаніе», «точная наука» и т. п. въ глазахъ его имѣютъ словно какое-то бранное значеніе, и онъ въ трактатѣ своемъ не иначе употребляетъ эти слова, какъ прибавляя къ нимъ различныя унизительныя выраженія, вродѣ «такъ-называемыя» и «съ позволенія сказать». Всѣ науки, преподаваемыя въ университетахъ,—и астрономію, и физіологію, и химію, и физику, и медицину, и пр.,—онъ считаетъ въ одинаковой степени не стоющими выѣденнаго яйца, и опять-таки не потому, чтобы науки эти были для народа дороги и существовали для немногихъ, а потому что народъ по существу не нуждается въ нихъ. Для народа необходима совсѣмъ иная наука, которая учила-бы не тому, что́ такое млечный путь или какое-то тамъ, прахъ его возьми, тяготѣніе, а какъ человѣку жить праведно, чтобы спастись. Вотъ это-то и есть, по мнѣнію графа Л. Толстого, наука истинная въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ, фиктивныхъ; ея-то именно народъ и жаждетъ; ее-то только и способенъ онъ принимать охотно. Гр. Л. Толстой приводитъ въ своемъ трактатѣ списокъ тѣхъ истинныхъ мудрецовъ, которые учили людей не млечнымъ путямъ и козявкамъ, а какъ жить праведно. Таковы были Будда, Конфуцій, Магометъ и прочіе проповѣдники въ такомъ-же родѣ. Эти провозгласители вѣковѣчныхъ истинъ, по мнѣнію гр. Л. Толстого, одни только могутъ быть признаны истинными мудрецами и учеными; они одни только доступны и необходимы народу. Это разъясняетъ намъ и тотъ сокровенный смыслъ, который таится въ приведенной моимъ почтеннымъ оппонентомъ цитатѣ,—смыслъ, который совершенно напрасно оппонентъ мой утаиваетъ. Да, совершенно справедливо, что гр. Л. Толстой считаетъ науку необходимѣе пищи, платья,

одежды, — но какую науку? Именно науку Будды, Магомета, Конфуція и пр., учащую народъ, какъ ему праведно жить; а прочія всѣ науки представляются гр. Л. Толстому тѣмъ самымъ сѣномъ, которое мы предлагаемъ народу подъ видомъ пищи. Когда-же гр. Л. Толстой говоритъ, что наши науки до тѣхъ поръ не будутъ науками, пока не станутъ охотно приниматься народомъ, онъ не безъ лукавства подразумѣваетъ здѣсь, что онѣ и никогда не способны охотно приниматься народомъ. Поэтому онъ и заканчиваетъ свою рѣчь ироническимъ восклицаніемъ: «а до сихъ поръ не принимается!..» Оппонентъ мой этого слона-то именно и не примѣтилъ. Читалъ-ли онъ весь трактатъ сполна?

V.

Теперь обратимся къ возраженіямъ оппонента моего относительно женскаго вопроса. Возраженія эти оппонентъ мой начинаетъ съ того, что обвиняетъ меня въ искаженіи одного мѣста цитаты, приведенной мной изъ трактата графа Л. Толстого. У меня было приведено такъ: «Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣжный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужчины: въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ иномъ трудѣ мужчины богатаго класса». Слѣдуетъ же читать такъ: «Женщина, имѣя свой особенный, несомнѣнный, неизбѣжный трудъ, никогда не можетъ требовать еще лишняго фальшиваго труда мужчинъ богатыхъ классовъ. Ни одна жена истинно рабочаго человѣка не потребуетъ права участія въ его трудѣ: въ рудникахъ, на пашнѣ».

Если Оболенскій предполагаетъ здѣсь какое-нибы умышленное искаженіе съ моей стороны, то онъ очень ошибается. Я дословно привелъ цитату изъ бывшаго въ моихъ рукахъ текста, и не моя вина, если въ текстѣ оказался пропускъ, хотя нужно взять еще тутъ во вниманіе и вотъ какое обстоятельство. Извѣстно-ли Оболенскому, что глава изъ трактата гр. Л. Толстого о женщинахъ существуетъ въ двухъ редакціяхъ: первоначальной, наиболѣе рѣзкой и переполненной непечатными словами, и позднѣйшей, въ которой гр. Л. Толстой многое измѣнилъ, сократилъ, выпустилъ. Я имѣлъ дѣло съ послѣдней редакціей, первоначальной-же не видалъ, и очень возможно, что разница, замѣченная Оболенскимъ, происходитъ отъ этого обстоятельства, а можетъ быть и отъ какого-либо иного,—я не знаю; да къ тому-же и разница эта далеко не такъ важна, и нисколько она не измѣняетъ дѣла, чтобы на ней особенно долго останавливаться. Обратимся къ самому дѣлу.

Возраженія моего оппонента заключаются въ томъ, что я будто-бы не замѣтилъ, что гр. Л. Толстой отрицаетъ стремленіе женщинъ не къ тому труду, который онъ считаетъ необходимымъ, полезнымъ, а къ тому, который онъ отрицаетъ и у мужчинъ. Гр. Л. Толстой видитъ, что есть женщины, которыя понимаютъ «женскій вопросъ» въ томъ смыслѣ, что надо добиваться правъ на тотъ самый трудъ, который и для мужчинъ гр. Л. Толстой признаетъ безнравственнымъ; какъ-же онъ можетъ отнестись иначе къ этому стремленію, какъ не отрицательно?

Далѣе оппонентъ мой утверждаетъ, что вотъ и нашъ знаменитый сатирикъ Щедринъ, говоря о женскомъ вопросѣ, поставилъ, будто-бы, дѣло совершенно сходно. Онъ указалъ на тѣ отдѣлы интеллигентнаго мужского труда, которые ему, по его убѣжденію, казались особенно несимпатичными, и спрашивалъ: «неужели женщина будетъ добиваться правъ и на эти роды мужского труда?» Въ свою очередь и Михайловскій, обсуждая женскій вопросъ, писалъ въ 70-хъ годахъ, что онъ не понимаетъ отдѣльнаго женскаго вопроса, что есть одинъ вопросъ — «рабочій», и въ этотъ-то вопросъ входитъ, какъ часть, вопросъ женскій, но именно только какъ «рабочій» женскій вопросъ. И только такому женскому вопросу можно сочувствовать, а вовсе не тому женскому вопросу, который имѣетъ въ виду тѣ права и привилегіи женщинъ, которыя нежелательны и у мужчинъ...

VI.

И опять таки осмѣливаюсь заявить моему почтенному оппоненту, что онъ имѣетъ дѣло не съ подлиннымъ гр. Л. Толстымъ, а съ фиктивнымъ, имъ самимъ, моимъ оппонентомъ, сочиненнымъ. Подлинный гр. Л. Толстой вовсе не ограничивается однимъ отрицаніемъ стремленій женщинъ къ такимъ интеллигентнымъ трудамъ, которые онъ считаетъ ложными и безнравственными у мужчинъ, а категорично утверждаетъ, что у женщинъ искони вѣковъ существуетъ уже свой спеціальный женскій трудъ рожденія и воспитанія дѣтей, что этотъ трудъ есть единственный истинный и вѣковѣчный женскій трудъ;—другихъ-же женскихъ трудовъ нѣтъ и быть не можетъ. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что женскій вопросъ — фиктивенъ въ свою очередь по существу, что если-бы интеллигентный мужской трудъ сдѣлался истиннымъ, нравственнымъ, полезнымъ, женщина и въ такомъ случаѣ не должна была-бы добиваться его. Зачѣмъ-же это ей, когда она имѣетъ уже свой собственный трудъ, опредѣленный ей вѣковѣчнымъ закономъ? Судите сами, что́ же тутъ общаго со взглядами на женскій вопросъ Щедрина и Михайловскаго? Имъ только и остается открещиваться отъ моего оппонента, который воображаетъ, что и они, подобно гр. Л. Толстому, держатся того мнѣнія, что женщинѣ только и опредѣлено рожать и кормить, кормить и рожать.

До какой прямой и крайней послѣдовательности доходитъ въ этомъ отношеніи гр. Л. Толстой, мы можемъ судить изъ того, что, ради отстаиванія своего положенія о вѣковѣчномъ законѣ женскаго труда, онъ совершенно перевернулъ весь центръ тяжести своего міровоззрѣнія послѣднихъ лѣтъ. Обыкновенно въ міровоззрѣніи этомъ онъ опирался на народъ, на тѣ массы, которыя дѣлаютъ жизнь. Отъ этихъ массъ онъ учился и ихъ непосредственной вѣрѣ, и происходящей изъ нея жизнерадостности, и упорству въ каторжномъ трудѣ, и незлобію, и спокойному отношенію къ болѣзнямъ, страданіямъ и самой смерти. Но дошло до женскаго вопроса,—и массы, творящія жизнь, оказались матеріаломъ совершенно неподхо-

дящимъ. Правда, *ни одна жена истинно рабочаго человѣка не потребуетъ права участія въ его трудѣ: въ рудникахъ, пашнѣ*, но не потребуетъ просто потому, что нѣтъ никакой надобности и требовать того, что и безъ всякихъ требованій исполняется на практикѣ само-собой: если имѣется нужда, то жена мужика и поле вспашетъ, и коней напоитъ, и въ лѣсъ съѣздитъ за дровами. А развѣ не встрѣчается большачихъ, которыя въ качествѣ представительницъ душевыхъ надѣловъ исправляютъ въ свой чередъ должность сотскихъ? А развѣ не случается, что иная большачиха, стоя во главѣ многочисленной семьи, ведетъ обширную торговлю?

Нѣтъ: массы, дѣлающія жизнь, оказываются здѣсь ни къ чему непригодными. И вдругъ, отвращаясь отъ нихъ, графъ Л. Толстой обращается внезапно въ другую сторону и восклицаетъ: «Жены - матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онъ страдаетъ, въ вашихъ рукахъ» и т. д. Это какъ нельзя болѣе понятно и въ высшей степени послѣдовательно: дѣйствительно, гдѣ-же мы можемъ найти женщинъ, наиболѣе подходящихъ къ идеалу гр. Л. Толстого — исключительнаго исполненія вѣковѣчнаго закона дѣторожденія, какъ не въ тѣхъ классахъ, гдѣ женщина настолько обезпечена, что ничто не можетъ побудить ее заниматься несвойственными ей занятіями, и она способна отдаться всецѣло своимъ дѣтямъ?

А мой почтенный оппонентъ разсыпается вдругъ въ увѣщаніяхъ гр. Л. Толстому обратить вниманіе на средніе классы и уразумѣть, что для нихъ курсы составляютъ вовсе не одну забаву и поблажку моды, а существенную необходимость, и при этомъ исчисляются всѣ пункты этой необходимости. Но неужели моему почтенному оппоненту неизвѣстно, что гр. Л. Толстой искони признавалъ достойными вниманія, какъ основы и кряжи русской земли, только два класса: богатыхъ дворянъ и крестьянъ. На средніе-же классы онъ всегда смотрѣлъ презрительно, какъ на пеструю и безхарактерную толпу безпочвенныхъ проходимцевъ, какъ на нѣчто межеумочное, ублюдочное, какъ на клоаку, въ которую стекаетъ все выродившееся и потому обѣднѣвшее изъ высшихъ классовъ и все растлѣнное и оторвавшееся отъ крестьянскаго міра. Такъ сейчасъ, по указанію редакціи «Русскаго Богатства», гр. Л. Толстой и обратитъ свое благосклонное вниманіе на средніе классы,—дожидайтесь!..

VI.

«Трудъ мужчинъ и женщинъ» гр. Л. Толстого и новыя возраженія мои на мнѣнія гр. Толстого о женскихъ обязанностяхъ.

I.

Въ №№ 5—6 «Русскаго Богатства» мы встрѣчаемъ два возраженія противъ тѣхъ изъ моихъ замѣтокъ, въ которыхъ я оспаривалъ идеи гр. Л. Толстого относительно женскаго вопроса и науки вообще: возраженіе гр. Л. Толстого въ маленькой статейкѣ «Трудъ мужчинъ и женщинъ» и самого издателя «Русскаго Богатства», Оболенскаго, въ статьѣ: «Л. Н. Толстой и О. Контъ о наукѣ». Вотъ этими возраженіями теперь мы и займемся.

Игнорируя совершенно историческіе факты, свидѣтельствующіе о томъ, какъ различно было положеніе женщинъ и взглядъ на ихъ обязанности у различныхъ народовъ, и какое въ этомъ отношеніи пестрое разнообразіе видимъ мы и въ настоящее время на поверхности земного шара, гр. Л. Толстой категорически утверждаетъ, какъ нѣчто непреложное, что подобно тому, какъ солнце съ незапамятныхъ вѣковъ всегда восходило на востокѣ, а заходило на западѣ, такъ и женщина самой природой вещей предназначена только рожать и воспитывать дѣтей и всегда повсюду только этимъ и занималась и только сообразно этому и оцѣнивалась. «Таково,—говоритъ онъ,—всегда было общее мнѣніе и таково оно всегда будетъ, потому что такова сущность дѣла».

При этомъ подобно тому, какъ и въ первоначальномъ своемъ трактатѣ о женскомъ трудѣ и въ своихъ настоящихъ возраженіяхъ гр. Л. Толстой совершенно игнорируетъ положеніе женщины въ томъ классѣ, который, сообразно всѣмъ его основнымъ идеямъ, сохраняетъ вполнѣ нормальную, разумно-естественную жизнь, долженствующую служить нашимъ идеаломъ, именно въ земледѣльческомъ классѣ. Гр. Л. Толстому не можетъ быть неизвѣстнымъ, что мужикъ оцѣниваетъ въ женщинѣ прежде всего работницу въ качествѣ помощницы его въ земледѣльческомъ трудѣ, а потомъ уже самку. Онъ и при выборѣ себѣ жены руководствуется не тѣмъ, чтобы жена побольше дѣтей ему рожала, да была-бы хорошей кормилицей, а чтобы она именно была *расторопной работницей*. Гр. Л. Толстому вѣроятно кромѣ того хорошо извѣстно, что кромѣ пахоты и косьбы баба участвуетъ во всѣхъ прочихъ земледѣльческихъ работахъ, безъ исключенія. И неужели-же гр. Л. Толстому неизвѣстно, что совершенно вопреки его мнѣнію, будто нравственность женщины всегда и вездѣ оцѣнивается лишь по тому, насколько она правильно и честно исполняетъ свое исключительное призваніе, въ земледѣльческомъ классѣ выходитъ совершенно наоборотъ; если женщина обладаетъ дюжей силой, проворствомъ и неустанной энергіей въ земледѣльческомъ трудѣ, то и родные, и міряне обыкновенно сквозь пальцы смотрятъ и на ея безплодіе, и на болѣе тяжкіе грѣшки по части вѣрности семейному долгу и не перестаютъ относиться къ ней съ уваженіемъ. Крестьянка-же, которая только и оказывается способной рожать и вскармливать, является несчастнымъ существомъ, терпящимъ всеобщее презрѣніе и даже побои отъ мужа и его родныхъ.

Я указываю на этотъ фактъ, какъ на основное опроверженіе взглядовъ гр. Л. Толстого на обязанности женщинъ,—опроверженіе тѣмъ болѣе вѣское, что оно основывается на существенныхъ началахъ его-же собственнаго ученія, указывающаго намъ на *массы, дѣлающія жизнь*, призывающаго насъ идти изъ города въ деревни, на лоно природы и учиться жить у мужиковъ. Гр. Л. Толстой могъ въ первоначаль-

номъ трактатѣ о женщинахъ упустить изъ вида этотъ фактъ по неосмотрительности, по недомыслію или просто потому что онъ не успѣлъ еще отдѣлаться отъ нѣкоторыхъ своихъ ветхихъ и узкосословныхъ предразсудковъ, но разъ ему указано было на такой колоссальныхъ размѣровъ фактъ, и онъ въ своихъ возраженіяхъ все-таки продолжаетъ оспаривать его, то это выходитъ уже болѣе чѣмъ странно...

II.

Но разъ гр. Л. Толстой, призывающій насъ учиться у мужика, извлекаетъ свои непреложные догматы женскихъ обязанностей изъ быта привилегированныхъ классовъ общества, жизнь которыхъ онъ самъ-же считаетъ ненормальной, то этимъ онъ и намъ развязываетъ руки обратиться къ этимъ классамъ и посмотрѣть, дѣйствительно-ли здѣсь мы видимъ тотъ порядокъ въ распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, который гр. Л. Толстой считаетъ непреложнымъ, вездѣсущимъ и вѣчнымъ закономъ, его-же не прейдеши.

Но и здѣсь мы находимъ со стороны гр. Л. Толстого какое-то странное, слѣпое упорство въ искаженіи фактовъ, самыхъ очевидныхъ и общеизвѣстныхъ. Въ земледѣльческихъ классахъ мы видѣли, что, вопреки взглядамъ гр. Л. Толстого, женщина оцѣнивается не только какъ самка, но и какъ участница наравнѣ съ мужемъ во всѣхъ почти работахъ. Здѣсь-же, наоборотъ, намъ приходится отстаивать мужчину и доказывать, что совершенно напрасно полагаетъ гр. Л. Толстой, будто обязанности продолженія человѣческаго рода принадлежатъ исключительно женщинамъ, а мужчина совсѣмъ ихъ не раздѣляетъ и не участвуетъ въ нихъ. Вы только обратите вниманіе на большинство тружениковъ всякаго рода, живущихъ на зарабатываемыя деньги, чуждыхъ всякихъ новыхъ идей и вполнѣ сохраняющихъ установленную вѣками норму семейной жизни; однимъ словомъ, мужъ занимается той или другой профессіей, жена рожаетъ, вскармливаетъ дѣтей, хозяйничаетъ и только.

На первый поверхностный взглядъ вамъ кажется, что такая семья вполнѣ соотвѣтствуетъ идеалу гр. Л. Толстого относительно распредѣленія обязанностей. Но это можетъ показаться именно только на первый взглядъ, самый поверхностный и легкомысленный. А если вглядимся въ подобный семейный строй глубже, что-же мы увидимъ? Мы увидимъ, что дѣйствительно женскія обязанности по отношенію къ дѣтямъ являются передъ нами гораздо интенсивнѣе, чѣмъ мужскія: женщина несетъ на себѣ иго беременности, родитъ въ страшныхъ мукахъ, ежеминутно угрожающихъ ей смертью, кормитъ ребенка своей грудью (не всегда, правда, но мы беремъ вполнѣ нормальную, идеальную семью), ходитъ за нимъ, няньчитъ, обмываетъ, любитъ его страстнѣе и нѣжнѣе, чѣмъ отецъ... Но мы не говоримъ уже, что и во всѣхъ этихъ первоначальныхъ процессахъ продолженія человѣческаго рода роль мужа не маловажная, не говоримъ также и обо всѣхъ аксессуарахъ дѣторожденія, созданныхъ жизнію (акушеркахъ, крестинахъ, дѣтскихъ игрушкахъ и т. п.),—для того уже, чтобы вполнѣ правильно и гигіенично совершился актъ беременности и родовъ и чтобы женщина оказалась хорошей кормилицей, т. е. чтобы продолженіе человѣческаго рода не было одной комедіей, а дѣйствительно имѣло мѣсто, мужъ *обязанъ* принять въ этомъ участіе, окруживъ жену такой обстановкой, чтобы она могла быть здоровой роженицей и кормилицей. Обстановка-же эта дается не даромъ труженику, не имѣющему готовыхъ капиталовъ. Средства на нее необходимо заработать; и вотъ является излишекъ труда, въ которомъ человѣкъ не нуждался бы, еслибы былъ одинъ со своей головой, а теперь приходится впрягаться въ лишнія оглобли и нести дань тому-же продолженію рода. Женщина, отбывши свою повинность, покоится на лаврахъ; а для мужчины тутъ только и начинается страда, которая съ каждымъ годомъ растетъ, какъ комъ снѣга, скатывающійся съ горъ, и экстенсивно растилается порой на всю жизнь до гробовой доски. И еслибы еще страда ограничивалась одними матеріальными средствами, которыми мужъ снабжалъ-бы жену, предоставляя ей всецѣло заботиться о возрощеніи дѣтей. А то нѣтъ: мужъ обязанъ участвовать въ воспитаніи дѣтей наравнѣ съ женой. Плохой тотъ отецъ, который не печется о нравственномъ и умственномъ воспитаніи дѣтей, не учитъ ихъ, чему можетъ, не заботится о помѣщеніи ихъ въ учебное заведеніе, не слѣдитъ за ихъ успѣхами и нравственностью. Тутъ нѣтъ физическихъ болей, но сколько здѣсь зато нравственныхъ мукъ, пытокъ, не ограничивающихся какими-нибудь девятимѣсячными сроками, а изъ года въ годъ тянущихся безпрерывно.

III.

Противники женскаго труда говорятъ обыкновенно, что разъ женщина несетъ и безъ того очень тяжелыя обязанности по дѣторожденію и хозяйству, жестоко было-бы налагать на нее новыя еще тяжести. Но главнымъ образомъ опираются они на то, что семейныя обязанности совершенно препятствуютъ женщинѣ заняться чѣмъ-либо постороннимъ. Представьте себѣ, говорятъ,—что назначено засѣданіе суда, а предсѣдателю или прокурору въ юбкѣ вдругъ приходитъ время рожать. Но не будемъ долго останавливаться на опроверженіи подобныхъ абсурдовъ, и достаточно будетъ привести намъ тотъ доводъ, что женщина можетъ рожать только разъ въ годъ, предсѣдатель-же, мужчина, можетъ разъ десять въ годъ внезапно захворать, и никому не приходитъ въ голову опровергать на подобныхъ шаткихъ основаніяхъ компетентность мужчинъ на занятіе судейскихъ должностей.

Обратимъ лучше вниманіе вотъ на какое обстоятельство. Если не только вмѣшательство женщины въ мужскіе труды, но самое образованіе ея, мало-мальски превышающее элементарную грамотность, гр. Л. Толстой считаетъ уже щебнемъ, засыпающимъ драгоцѣнный черноземъ, который весь исключительно долженъ быть употребленъ на жатву человѣческаго рода, то, по закону раздѣленія труда, совершенно логически и послѣдовательно мы должны и мужчинъ, обрекая исключительно на труды увеличенія блага въ

существующемъ человѣчествѣ, освободить отъ всѣхъ дѣтопроизводительныхъ заботъ и считать эти заботы тоже своего рода щебнемъ, засаривающимъ черноземъ. Помилуйте, содержаніе ребенка вмѣстѣ съ воспитаніемъ, самое скромное, нищенское, никакъ не можетъ обойтись дешевле 200 р. въ годъ. Если дѣтей въ семействѣ шестеро (а графъ Л. Толстой о томъ только и хлопочетъ, чтобы ихъ было побольше), то дѣтопроизводительный бюджетъ долженъ простираться до 1,200 рублей. Предполагая затѣмъ, что поставленіе ребенка на ноги простирается не менѣе 20 лѣтъ, мы имѣемъ капиталъ въ 24,000, который чадолюбивый отецъ обязанъ затратить на своихъ дѣтей впродолженіи своей жизни. Теперь подумайте, сколько на этотъ капиталъ могъ сдѣлать бы мужчина затратъ, необходимыхъ для улучшенія своего труда, еслибы сообразно предположеніямъ гр. Л. Толстого онъ былъ преданъ исключительно своимъ мужскимъ обязанностямъ, т. е. въ свою очередь представлялъ бы изъ себя дѣвственный черноземъ, не засоряемый никакимъ постороннимъ мусоромъ? Но вы мало того что допускаете,—вы требуете, чтобы мужчина часть своего времени и зарабатываемыхъ денегъ употреблялъ на продолженіе человѣчества. Вы смотрите, какъ на человѣка въ высшей степени безнравственнаго, какъ на презрѣннаго негодяя, на мужчину, который, производя дѣтей, бросаетъ ихъ на руки женщины и не тратится на нихъ, не заботится о нихъ, какъ подобаетъ отцу. На какомъ же основаніи, заботясь о томъ, чтобы съ женщины не сдирали двухъ шкуръ, вы хотите сдирать по двѣ шкуры съ мужчины?

Понимаете-ли вы, какая кроется здѣсь вопіющая несправедливость и отсутствіе всякой логики? И никогда мы не выберемся изъ этого лабиринта противорѣчій, если мы не признаемъ, что единственный, вполнѣ логичный, справедливый и разумный идеалъ семейной жизни заключается въ томъ, чтобы какъ на мужа, такъ и на жену въ равной степени, смотря конечно по особенностямъ мужской и женской природы, были возлагаемы обязанности какъ продолженія человѣчества, какъ и увеличенія блага въ средѣ его. Это мы и видимъ въ крестьянской семьѣ. Гр. Л. Толстой-же отворачивается отъ крестьянской семьи, а ищетъ идеала семейной жизни въ богатыхъ слояхъ общества, гдѣ масса всякаго рода извращеній и лжи ослѣпляютъ его и приводятъ къ извращеннымъ и ложнымъ выводамъ.

IV.

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, откуда могъ взять гр. Л. Толстой тотъ законъ распредѣленія мужскихъ и женскихъ обязанностей, который онъ считаетъ чѣмъ-то всегда существовавшимъ, существующимъ и на вѣки вѣковъ непреложнымъ? Изъ той прародительской заповѣди, которую онъ ставитъ во главѣ своего трактата? Но прародительская заповѣдь, заповѣдуя мужчинѣ въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой, а женщинѣ—въ мукахъ рождать чада, не заключаетъ въ себѣ и тѣни какого-либо отрицательнаго смысла въ видѣ запрещенія мужчинѣ заботиться о дѣтяхъ своихъ, а женщинѣ—вмѣшиваться въ зарабатываніе хлѣба. Въ крестьянскомъ быту въ свою очередь гр. Л. Толстой не могъ найти ничего подобнаго. Даже и въ городскомъ извращенномъ быту, въ трудящихся классахъ, какъ мы видимъ, не существуетъ такого правильнаго распредѣленія. Правда, женщина здѣсь рѣдко и мало участвуетъ въ мужскихъ трудахъ, зато мужчина относительно дѣтей только-что не рожаетъ, да грудью не вскармливаетъ, а всѣ остальныя заботы и хлопоты о чадахъ въ большей степени лежатъ на его плечахъ, чѣмъ жены его. Гдѣ-же наконецъ это *всегда и вездѣ* гр. Л. Толстого? А вотъ гдѣ: тамъ, гдѣ люди не трудятся, а ѣдятъ даровой хлѣбъ, гдѣ дѣйствительно женщинѣ, если она помнитъ о своихъ человѣческихъ обязанностяхъ, только и остается, что рожать дѣтей и воспитывать ихъ, а мужчина можетъ отложить о дѣтяхъ всякія попеченія, такъ какъ даровой хлѣбъ и безъ его заботъ прокормитъ ихъ, и ему только и остается, что предаваться различнымъ общественнымъ обязанностямъ, если онъ не желаетъ помереть со скуки.

Такимъ образомъ вотъ откуда ведутъ свои начала тѣ идеи о распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, съ которыми выступаетъ нынѣ гр. Л. Толстой такъ догматически и категорически. Это сидитъ въ почтенномъ авторѣ «Войны и мира» весьма ветхая закваска крѣпостного права. Я весьма далекъ отъ какихъ-либо изысканій и пытаній относительно того, насколько гр. Л. Толстой въ своей личной жизни вѣренъ своимъ идеямъ и насколько противорѣчитъ имъ,—предоставляю это дѣло его совѣсти и не беру на себя права судить его, какъ человѣка, тѣмъ болѣе, что и не знаю его жизни и поведенія. Но другое совсѣмъ дѣло, когда мы читаемъ его напечатанныя строки, и онъ передъ нами является какъ публицистъ и проповѣдникъ. Въ предѣлахъ его писательской дѣятельности мы имѣемъ право не только указать на каждое противорѣчіе однихъ словъ съ другими, но опредѣлить источникъ этого противорѣчія.—И вотъ въ настоящемъ случаѣ мы ни мало не желаемъ унизить въ гр. Л. Толстомъ человѣка, когда говоримъ, что источникъ его дикихъ взглядовъ на мужскія и женскія обязанности лежитъ въ старой закваскѣ крѣпостного права. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы гр. Л. Толстой былъ сознательнымъ крѣпостникомъ. Очень часто помимо нашего сознанія и воли и совершенно вопреки всѣмъ нашимъ убѣжденіямъ, выработаннымъ жизненнымъ опытомъ и многолѣтними размышленіями, въ насъ заявляютъ о себѣ осадки разныхъ ветхихъ предразсудковъ, въ духѣ которыхъ мы были воспитаны или которые унаслѣдовали въ крови отъ предковъ нашихъ. Мы съ дѣтства привыкаемъ думать, что тотъ семейный строй, въ нѣдрахъ котораго мы находимся, существуетъ вездѣ и всегда, какъ нѣчто непреложное, и что тѣ понятія, которыя высказываютъ намъ старшіе, раздѣляются всѣмъ человѣчествомъ и господствуютъ во всѣхъ слояхъ общества. И съ другой стороны большихъ усилій стоитъ намъ усвоивать себѣ тѣ мысли и чувства, которыя волнуютъ людей иной среды и строя. Я очень хорошо понимаю, что, не испытавши на себѣ и десятой доли той семейной нѣши и всѣхъ тѣхъ мучи-

тельныхъ заботъ и тревогъ о дѣтяхъ, какія испытываютъ городскіе труженики, гр. Л. Толстой можетъ легко вообразить, будто мужчинѣ только и предоставлены однѣ общественныя обязанности, въ дѣлѣ-же продолженія человѣчества онъ и въ усъ не дуетъ. Понимаю я также, какъ трудно ему войти въ душу мужика и вполнѣ ясно представить себѣ, какъ это мужикъ можетъ до такой степени цѣнить въ бабѣ работницу, чтобы изъ-за этой оцѣнки быть готову поплавить въ себѣ ревность или помириться со скорбной долей бездѣтной семьи. До такой степени все это трудно гр. Л. Толстому, что повидимому ему и въ голову до сихъ поръ ничего подобнаго не приходило; онъ вездѣ и всегда предполагалъ тѣ самыя семейныя начала, какія привыкъ видѣть вблизи себя...

VIII.

Нужны-ли для народа особенныя науки и искусства?

I.

Ни въ чемъ не проявляется такъ ясно и наглядно наше дикое невѣжество, сквозящее иногда изъ-подъ самаго блестящаго лоска поверхностной образованности, какъ въ рабскомъ поверганіи ницъ передъ каждымъ мало-мальски прославившимся человѣкомъ, въ безпрекословномъ подчиненіи передъ его авторитетомъ, доходящимъ порой до полнаго самоуничтоженія и умопомраченія. На Западѣ великіе люди почитаются можетъ быть болѣе еще, чѣмъ у насъ, но каждый изъ нихъ цѣнится не иначе, какъ лишь въ предѣлахъ своего величія, именно за то, чѣмъ человѣкъ великъ. Никому въ голову не придетъ на томъ основаніи, что Гёте создалъ «Фауста», назначить его вдругъ предводителемъ войска или отъ него-же ожидать разрѣшенія какого-нибудь философскаго вопроса. Поэтому и великіе люди на Западѣ скромнѣе, подвизаются на своихъ спеціальныхъ поприщахъ, не изъявляютъ ни малѣйшихъ претензій на всезнайство и всемогущество и не являются готовыми съ апломбомъ непогрѣшимаго божества съ легкостью серны порхать по всѣмъ вопросамъ науки и жизни.

У насъ-же это дѣлается не такъ. У насъ стоитъ человѣку пріобрѣсти популярность за что-нибудь одно, и сейчасъ на него начинаютъ смотрѣть, какъ на всеобъемлющее божество, способное сегодня написать геніальное произведеніе, завтра одержать морскую побѣду, послѣ-завтра создать новую религію, а главное дѣло—каждое слово его внимается съ благоговѣніемъ, въ каждомъ изреченіи его видятъ непреложную истину и бездонную глубину премудрости. Зато и великіе люди у насъ въ свою очередь суются со своими геніальными носами, куда имъ вздумается, и рады приняться за что угодно. За примѣрами ходить недалеко. Стоило напримѣръ одному нашему великому человѣку прославиться, какъ хорошему хирургу, и затѣмъ въ счастливый моментъ подъема общественнаго духа написать маленькую статеечку, въ которой обмолвиться нѣсколькими тепленькими, но крайне общими и неопредѣленными фразами относительно пользы просвѣщенія,—и вотъ его, отъ роду никогда не занимавшагося педагогіею, кромѣ развѣ обычныхъ дешевыхъ уроковъ въ студенческіе годы, дѣлаютъ вдругъ попечителемъ учебнаго округа, подобострастные россіяне начинаютъ повергаться ницъ передъ каждымъ его педагогическимъ изреченіемъ, и не малаго труда стоило литературѣ разубѣдить ихъ въ непогрѣшимости этого педагогическаго кумира, когда онъ началъ доказывать нѣчто вродѣ если не пользы, то во всякомъ случаѣ неизбѣжности розогъ.—Возьмите вы другой примѣръ—генерала Скобелева.—Стоило пріобрѣсти ему популярность въ качествѣ побѣдоноснаго полководца и храбраго воина, и подобострастные россіяне начали уже благоговѣйно внимать каждому его сужденію о разныхъ политическихъ и соціальныхъ вопросахъ, и еслибы судьба продлила его годы, я не сомнѣваюсь, что онъ додумался-бы до какого-нибудь собственнаго своего мірообъемлющаго ученія и навѣрное имѣлъ-бы тысячи адептовъ и поклонниковъ. Но чего не успѣлъ Скобелевъ по случаю своей преждевременной смерти, то съ большимъ успѣхомъ совершилъ гр. Л. Толстой, которому стоило только написать «Войну и миръ» и «Анну Каренину», для того чтобы пріобрѣсти право на безаппеляціонное рѣшеніе всѣхъ вопросовъ жизни и смерти, и я ни мало не буду удивленъ, если въ одинъ прекрасный день гр. Л. Толстой вдругъ объявитъ себя непогрѣшимымъ діагностомъ по всѣмъ внутреннимъ и наружнымъ болѣзнямъ. Повѣрьте, что сначала вся Москва, а за ней и вся Россія, покинувъ и Боткина, и Захарьина, и прочія медицинскія свѣтила, бросятся къ этому новоявленному цѣлителю недуговъ. — «Помилуйте, — скажутъ,—у кого-же и лечиться, если не у гр. Л. Толстого?»

II.

Избалованные подобнымъ поклоненіемъ, наши великіе люди поневолѣ дѣлаются такими самодурами, подобныхъ которымъ вы не сыщете на всемъ бѣломъ свѣтѣ. Можно положительно сказать, что для нихъ не существуетъ никакихъ законовъ—ни божескихъ, ни человѣческихъ. Они сочиняютъ свои собственные законы; на то они великіе люди, а ваше дѣло внимать имъ и подчиняться. Вы напримѣръ думаете, что рѣки текутъ сверху внизъ, а великому человѣку придетъ вдругъ въ голову, что онѣ текутъ снизу кверху,—и, не смотря на всю очевидность, не смотря на всѣ доводы разума и доказательства науки, великій человѣкъ съ упрямствомъ Кита Китыча будетъ твердить, не переставая:—«рѣки текутъ кверху, рѣки текутъ кверху!» и не только массы простыхъ смертныхъ, но и патентованныя свѣтила науки начнутъ сомнѣваться: «А что какъ и въ самомъ дѣлѣ рѣки-то текутъ кверху? На какомъ-нибудь основаніи да началъ-же утверждать эту истину столь великій умъ!»

Оттого и случается обыкновенно такъ, что у нашего великаго человѣка хватаетъ геніальности лишь на то, чтобы прославиться и сдѣлаться популярнымъ, а затѣмъ онъ начинаетъ съ каждымъ годомъ все бо-

лѣе и болѣе совершать нѣчто совершенно несообразное, стараясь, въ качествѣ генія, ходить на головѣ, ѣсть ногами, слушать глазами, смотрѣть носомъ. Да и къ чему сталъ бы онъ поддерживать свое величіе новыми усиліями и трудами, когда онъ увѣренъ, что чтобы бы онъ такое ни сморозилъ, хотя бы и совершенно безсмысленное, всему этому будутъ апплодировать и ахать.

Вотъ напримѣръ гр. Л. Толстой: мы нисколько не удивимся, если завтра же изъ-за своего высокомѣрнаго презрѣнія къ «научной наукѣ» онъ начнетъ доказывать намъ, что солнце ходитъ вокругъ земли и дважды два—стеариновая свѣчка. И отчего же ему не доказывать этого, если не только какія-нибудь слезливыя барыни съ идеальными воздыханіями тотчасъ же повѣрятъ ему на-слово, но и Оболенскій въ своемъ научномъ журналѣ начнетъ тотчасъ распинаться, подтверждая, что дѣйствительно солнце ходитъ вокругъ земли и дважды два—стеариновая свѣчка. Вѣдь вотъ посмотрите, до чего дошелъ сей неусыпный стражъ наукъ въ своемъ пресмыканіи передъ гр. Л. Толстымъ. Казалось бы, что развѣ не такая же очевидная для каждаго ребенка и вѣковѣчная аксіома, какъ дважды два четыре, слѣдующее хотя бы положеніе, высказанное впервые Кондорсэ и затѣмъ подтверждаемое Контомъ—что не стремленіе къ тѣмъ или другимъ полезнымъ изобрѣтеніямъ приводитъ ученыхъ къ изслѣдованію законовъ природы, а, напротивъ того, изученіе этихъ законовъ ведетъ за собою изобрѣтенія? Возьмемъ хотя бы всѣ тѣ многочисленныя примѣненія, которыя въ послѣдніе годы сдѣланы на счетъ электричества.—Очевидно, что всѣ эти примѣненія только тогда и сдѣлались возможны, когда наука настолько изслѣдовала законы этой силы, что доставила людямъ возможность извлекать ее изъ природы, возбуждать и направлять сообразно своимъ цѣлямъ. Раньше же этого наука не могла и предвидѣть, къ чему приведутъ ея изслѣдованія. Могли-ли Вольтъ или Гальвани, дѣлая свои опыты, напередъ знать, что эти опыты въ результатѣ своемъ лѣтъ черезъ 50, черезъ 100 поведутъ за собой изобрѣтеніе телеграфовъ, телефоновъ и т. п. Очевидно имъ и не снилось ничего подобнаго, да и не могло сниться. Дальше громоотводовъ они не шли въ своихъ предположеніяхъ о пользѣ электричества. Но это не мѣшало имъ сдѣлать массу изслѣдованій и опытовъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ громоотводами и въ то же время не заключавшихъ въ себѣ никакихъ сознательныхъ и предвзятыхъ утилитарныхъ цѣлей, изслѣдованій вполнѣ въ духѣ чистой науки, но которыя тѣмъ не менѣе привели къ самымъ богатымъ и совершенно неожиданнымъ результатамъ въ техническомъ отношеніи. Такъ точно и въ настоящее время можемъ-ли мы стремиться изобрѣсти что-либо, если мы не знаемъ тѣхъ законовъ, изъ которыхъ вытекло бы это изобрѣтеніе? Очевидно, что мы не только не можемъ стремиться, но и представить себѣ не въ состояніи, какого рода будетъ это изобрѣтеніе. Думать иначе—все равно, что стараться поцѣловать себя въ спину или заказать себѣ увидѣть тотъ или другой сонъ. На этомъ основаніи Кондорсэ и сказалъ, что «наука только тогда можетъ быть полезна жизни, когда она совсѣмъ о ней забываетъ, и, наоборотъ, едва она начинаетъ заботиться о жизни, она гибнетъ не только какъ наука теоретическая, но и какъ практическая». Контъ же подтвердилъ эту мысль Кондорсэ, говоря, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ наука приносила практическую пользу только тогда, когда о ней совершенно не заботились, а увлекались только теоретическими умозрѣніями.

Если эти утвержденія Кондорсэ и Конта мы можемъ признать не совсѣмъ вѣрными, то развѣ въ одномъ только отношеніи: невѣрно здѣсь то, что будто наука, задающаяся предвзятыми утилитарными цѣлями, гибнетъ и какъ теоретическая наука, и какъ техника. Нѣтъ, она не гибнетъ, но путь отъ теоріи къ практикѣ все-таки остается до такой степени единственнымъ и неизбѣжнымъ, что даже когда люди мечтаютъ идти по иному пути, они все-таки, сами того не сознавая, идутъ все по той же дорогѣ. Задаваясь предвзятыми утилитарными цѣлями, они начинаютъ изслѣдовать законы природы сообразно этимъ цѣлямъ, увлекаются затѣмъ изслѣдованіями совершенно уже безкорыстно и приходятъ вдругъ къ результатамъ совершенно неожиданнымъ. Является не одно, а нѣсколько изобрѣтеній, о которыхъ прежде и не мечтали. Такъ, въ средніе вѣка наука имѣла строго утилитарный характеръ; занимались ею исключительно для того, чтобы научиться дѣлать золото или эликсиръ безсмертія. Но на пути къ этимъ предвзятымъ цѣлямъ наткнулись на массу открытій, которыя повели къ драгоцѣннымъ изобрѣтеніямъ, не имѣвшимъ ничего общаго съ первоначальными цѣлями, и увидѣли такимъ образомъ, что шли совсѣмъ не тѣмъ путемъ, какимъ воображали идти, а все тѣмъ же переходомъ отъ неожиданныхъ открытій къ непредвидѣннымъ изобрѣтеніямъ.

III.

И вотъ, можете себѣ представить, противъ этой-то именно азбучной аксіомы и вооружается вдругъ Оболенскій, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого. Въ этой аксіомѣ ему мерещатся отрѣшеніе науки отъ жизни и увлеченіе ея отвлеченно-умозрительными цѣлями. Наука, по его мнѣнію, должна непосредственно служить жизни, а такъ какъ науки бываютъ разныя и не каждая изъ нихъ можетъ сейчасъ же въ одинъ мигъ преподнести вамъ лапоть или калачъ, то опять-таки мы приходимъ все къ тому же вопросу, какими науками намъ заниматься, а какія презрѣть? По крайней мѣрѣ иначе мы никакъ не можемъ понять слѣдующей хотя бы выдержки изъ трактата гр. Л. Толстого, приводимой Оболенскимъ въ подтвержденіе своихъ мыслей:

«Область знанія вообще всего человѣчества такъ многообразна—отъ знанія, какъ добывать желѣзо, до знанія движенія свѣтилъ,—что человѣкъ теряется въ этой многочисленности существующихъ знаній и въ безконечности возможныхъ знаній, если у него нѣтъ руководящей нити, по которой-бы онъ могъ располагать эти знанія, распредѣлить ихъ по степени ихъ значенія и важности. Прежде чѣмъ человѣкъ познаетъ что-бы то ни было, онъ долженъ рѣшить, что этотъ предметъ познанія важенъ для него и важнѣе, и нужнѣе, чѣмъ тѣ другіе безчи-

сленные предметы познанія, которыми онъ окруженъ. Прежде чѣмъ изучить что нибудь, человѣкъ рѣшаетъ, для чего онъ изучаетъ этотъ предметъ, а не остальные. Изучать же все, какъ проповѣдуютъ въ наше время люди научной науки, безъ соображенія о томъ, что выйдетъ изъ этого изученія, прямо невозможно, потому что число предметовъ изученія безконечно...»

И такъ, какъ видите, число предметовъ изученія безконечно, изучать все невозможно, нужно выбрать, что поважнѣе и понужнѣе; ну, а прочее все конечно отбросить. И опять-таки мы спрашиваемъ у Оболенскаго, какія науки прикажетъ онъ намъ выкинуть за бортъ? Можно ли напримѣръ изучать намъ астрономію съ ея химическимъ (!!) изслѣдованіемъ млечнаго пути, или же не прикажетъ ли намъ Оболенскій, въ компаніи съ гр. Л. Толстымъ, раздѣлять вѣрованія народа о трехъ китахъ?

Впрочемъ по нѣкоторымъ выдержкамъ изъ гр. Л. Толстого мы можемъ до нѣкоторой степени составить понятіе о томъ, какого рода науки допускаетъ графъ, а за нимъ и Оболенскій, и что вообще они подразумѣваютъ подъ тѣмъ научнымъ утилитаризмомъ, какой они проповѣдуютъ.

«Всѣ вопросы о томъ,— говоритъ гр. Л. Толстой на 309 стр. т. XII своихъ сочиненій,—какъ лучше раздѣлять время труда, какъ лучше питаться, чѣмъ, въ какомъ видѣ, когда, какъ лучше одѣваться, обуваться, противодѣйствовать холоду, какъ лучше мыться, кормить дѣтей, пеленать, *именно въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится рабочій народъ*,— всѣ такіе вопросы еще и не поставлены...» Далѣе (тамъ-же, стр. 307): «Техникъ умѣетъ вычислить высшей математикой дугу моста, вычислить силу и передачу двигателя и т. п., но передъ простыми запросами народнаго труда онъ становится втупикъ: какъ улучшить соху, телѣгу, какъ сдѣлать проѣзднымъ ручей, *все это въ тѣхъ условіяхъ жизни, въ которыхъ находится рабочій*,—онъ ничего этого не знаетъ и не понимаетъ. Дайте ему мастерскую, народу всякаго въ волю, выписку машинъ изъ-за границы, тогда онъ распорядится. *А при данныхъ условіяхъ труда милліоновъ людей* найти средства облегчить этотъ трудъ,— этого онъ ничего не знаетъ и не можетъ, и по своимъ знаніямъ, и привычкамъ, и требованіямъ отъ жизни не годится для этого дѣла». Далѣе, на 308 стр.: «Наука вся пристроилась къ богатымъ классамъ и своей задачей ставитъ, какъ лечить тѣхъ людей, которые все могутъ достать себѣ, а потомъ посылаетъ лечить тѣхъ, у которыхъ нѣтъ ничего лишняго,—тѣми-же средствами». И наконецъ на стр. 312 гр. Л. Толстой говоритъ: «Служеніе народу науками и искусствами будетъ только тогда, когда люди живутъ среди народа и, какъ народъ, *не заявляя никакихъ правъ*, будутъ предлагать ему свои научныя и художественныя услуги, принять или не принять которыя будетъ зависѣть отъ воли народа.»

Я нарочно привелъ всѣ тѣ мѣста, на которыя главнымъ образомъ опирается Оболенскій. Что же мы здѣсь видимъ? Мы видимъ порицаніе науки повидимому на такихъ почтенныхъ и высокихъ основаніяхъ, какъ народное благо и польза; наука отрицается на томъ основаніи, что она пристроилась къ богатымъ классамъ; истинный ученый, другъ народа, долженъ идти въ его среду и работать непосредственно въ видахъ его насущныхъ нуждъ. Но вдумайтесь пристальнѣе во всѣ приведенныя нами мѣста и вы увидите, какая бездна возмутительнаго лицемѣрія скрывается здѣсь подъ высокими и сердобольными фразами о народномъ благѣ.

Гигіена напримѣръ доказываетъ, что для здоровья необходимо, чтобы на каждаго человѣка приходилось столько-то кубическихъ футовъ воздуха. Но такъ какъ только одни богатые могутъ пользоваться этими благами, то оказывается, что наука служитъ для однихъ богатыхъ классовъ. Что же касается до бѣдныхъ классовъ, то вмѣсто того чтобы позаботиться о томъ, чтобы и ихъ снабдить, согласно указаніямъ гигіены, необходимымъ количествомъ воздуха, мы начинаемъ возмущаться на гигіену, зачѣмъ она не служитъ народу, не сообразуется съ настоящими условіями его жизни, а пребываетъ въ отвлеченныхъ сферахъ. Чтобы сдѣлаться вполнѣ утилитарной, она должна снизойти къ народу и, вмѣсто того чтобы внушать ему чрезмѣрныя требованія о правахъ на такое же количество кубическихъ футовъ воздуха, какими пользуется гр. Л. Толстой, должна научить его обходиться совсѣмъ безъ воздуха. Наука создала рядъ полезнѣйшихъ земледѣльческихъ машинъ, которыя и въ Америкѣ, и въ Европѣ значительно облегчаютъ тяжесть сельскихъ трудовъ. Казалось бы, что и при нынѣшнемъ, далеко не блистательномъ, экономическомъ положеніи народъ, еслибы былъ вооруженъ самыми небольшими знаніями, могъ бы уже пользоваться этими машинами, покупая ихъ въ складчину цѣлыми волостями. Но оказывается, что и машины эти пріобрѣтены не для народа, а для гр. Л. Толстого. Ревнуя же о народномъ благѣ, ученый поступитъ какъ нельзя лучше, если забудетъ всѣ механическія премудрости, а пойдетъ въ деревню и тамъ займется кое-какимъ усовершенствованіемъ патріархальной прародительской сохи или приладитъ какой-нибудь лишній винтикъ къ телѣгѣ: для мужика и этого довольно... Для насъ съ вами хина и карлсбадскія воды, а мужикъ и отъ ивовой коры выздоровѣетъ, зачѣмъ ему Маріенбадъ!

Понимаете ли теперь, почему наши ревнители народнаго блага такъ не любятъ науки? Потому что наука ставитъ свои вопросы ребромъ; ея указанія обязательны для всѣхъ людей безъ различія, ея изобрѣтенія направлены къ тому, чтобы осчастливить все человѣчество. Наши же ревнители народнаго блага хотятъ, чтобы ученые ломали головы надъ тѣмъ, какъ бы создать такую науку, чтобы она служила народу непремѣнно при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ онъ существуетъ, не смѣя и думать о какихъ либо измѣненіяхъ этихъ условій, однимъ словомъ, — помогала мужику дышать безъ воздуха въ затхлой дымовкѣ, питаться безъ хлѣба, работать непремѣнно первобытными орудіями временъ Микулы Селяниновича и никакими другими. Однимъ словомъ, гр. Л. Толстой предписываетъ наукѣ идти той же дорогой, какой онъ самъ идетъ на поприщѣ искусства. Онъ рѣшилъ, что художникъ въ свою очередь долженъ служить исключительно народу. Что можетъ быть выше такого рѣшенія? Но на практикѣ оказалось вдругъ, что изъ столь благороднаго рѣшенія вовсе не послѣдовало, чтобы для народа началъ создавать гр. Л. Толстой произведенія, равносильныя, по своему художественному значенію, прежнимъ его твореніямъ. Нѣтъ, и здѣсь

оказалось, что для насъ съ вами—«Война и миръ», Анна Каренина», а для мужика, о, для него за глаза довольно нѣсколькихъ наскоро состряпанныхъ побасенокъ съ чудесами, чертями и грошовой моралью.

IV.

Всѣ подобныя радѣнія о народномъ благѣ весьма напоминаютъ намъ помѣщичьи проекты освобожденія крестьянъ, во множествѣ предлагавшіеся правительству въ 40-е и 50-е годы. В. И Семевскій въ XV главѣ своего трактата «Крестьянскій вопросъ въ царствованіе Императора Николая» приводитъ нѣсколько такихъ проектовъ. Всѣ они имѣютъ одинъ и тотъ же характеръ. Повсюду разсыпаны такія высокія и громкія фразы о необходимости великихъ жертвъ, объ избавленіи народа, стонущаго подъ ненавистнымъ игомъ рабства, отъ его вѣковыхъ цѣпей, повсюду радѣнія о его счастіи и благосостояніи,—и въ концѣ концовъ все сводится къ нулю и остается то-же крѣпостное право, только нѣсколько замаскированное, или предлагаются такія мѣры къ его постепенному уничтоженію, при которыхъ эмансипація могла-бы совершиться не менѣе, какъ въ тысячу лѣтъ.

Кстати, В. И. Семевскій сообщаетъ въ своей статьѣ весьма любопытныя свѣдѣнія о положеніи крестьянъ передъ освобожденіемъ въ имѣніяхъ гр. Л. Толстого. Мы не имѣемъ охоты судить гр. Л. Толстого, какъ человѣка, но не можемъ на этотъ разъ воздержаться и не привести выдержки изъ статьи В. И Семевскаго, такъ какъ, по нашему мнѣнію, выдержка эта даетъ намъ отличный ключъ къ уразумѣнію взглядовъ гр. Л. Толстого на науку и искусство въ связи съ народнымъ благомъ. Вотъ это мѣсто въ статьѣ В. И. Семевскаго.

Приводя содержаніе гр. Л. Толстого «Утро помѣщика», В. И. Семевскій говоритъ:

«Мы не считаемъ себя вправѣ придавать этому разсказу гр. Л. Н. Толстого автобіографическаго значенія *), но данныя изъ жизни знаменитаго автора этой повѣсти приводятъ къ печальному выводу о несостоятельности той части интеллигенціи, которая сознала неправильность своихъ отношеній къ крестьянамъ, но думала исправить зло не освобожденіемъ своихъ крестьянъ на такихъ условіяхъ, чтобы имъ не приходилось жаловаться на малоземелье, а лишь нѣкоторымъ улучшеніемъ ихъ быта. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ сочиненій («Такъ что-жъ намъ дѣлать?») гр. Л. Н. Толстой говоритъ: «Когда я былъ рабовладѣльцемъ и понялъ безнравственность своего положенія, я старался избавиться отъ него. Избавленіе-же мое состояло въ томъ, что я старался какъ можно менѣе предъявлять своихъ правъ рабовладѣльца, а жить и оставлять людей жить такъ, какъ будто этихъ правъ не существовало». — Сравнимъ это заявленіе автора съ показаніями, данными въ 1859 г. имъ самимъ или быть можетъ его управляющимъ по требованію ревизіонныхъ коммисій.

«Въ извѣстномъ имѣніи гр. Л. Н. Толстого, сельцѣ Ясной Полянѣ съ деревнями, Крапивенскаго уѣзда, Тульской губерніи, было въ то время 204 души кр. мужск. пола, 41 душа мужского пола дворовыхъ. Крестьяне были на оброкѣ и платили по 30 р. съ тягла; удобной земли на душу они имѣли по 2,82 дес. Оказывается, что по размѣру надѣла имѣніе гр. Л. Толстого принадлежало къ среднимъ, но по величинѣ оброка было выше средняго уровня: изъ 25 имѣній этого уѣзда, вполнѣ или частью бывшихъ на оброкѣ и въ которыхъ намъ извѣстенъ его размѣръ, въ 17 оброкъ былъ ниже, а именно отъ 13 до 25 р. съ тягла, въ двухъ онъ измѣнялся отъ 20 до 30 р. съ тягла, въ четырехъ (въ томъ числѣ и Ясной-Полянѣ) равнялся 30 р. и только въ двухъ былъ выше (33 и 35 р.). Не слѣдуетъ думать, что низшіе оброки всегда совпадаютъ съ меньшимъ размѣромъ надѣла; въ одномъ изъ имѣній, гдѣ крестьяне платили всего по 13 р. съ тягла, они имѣли по 3,04 дес. на душу, т. е. болѣе, чѣмъ у гр. Л. Толстого; въ другомъ, гдѣ платили по 14 р. 30 к. съ тягла, имъ было отведено даже по 4,58 дес. на душу. Такимъ образомъ огромный оброкъ въ имѣніи гр. Л. Толстого не можетъ быть извиняемъ размѣрами надѣла, а прибавить земли было изъ чего, такъ какъ за помѣщикомъ оставалось ея столько, что при отводѣ всей ея крестьянамъ пришлось-бы еще по 3,55 дес. на душу. Въ другомъ имѣніи гр. Л. Толстого, Суджанскаго уѣзда, Курской губерніи, которымъ онъ владѣлъ не одинъ, а вмѣстѣ съ двумя братьями, мы также не видимъ особыхъ стараній объ улучшеніи положенія крѣпостныхъ: здѣсь крестьяне *состояли на барщинѣ* и притомъ имѣли всего по 1,26 дес. удобной земли на душу и еще по 3 воза сѣна на тягло, въ томъ числѣ пахатной земли числилось всего по 1,09 дес. на душу, что было значительно ниже средняго уровня остальныхъ имѣній этого уѣзда.»

В. И. Семевскій очень ядовито относится къ этому факту жизни гр. Л. Н. Толстого и видитъ здѣсь противорѣчіе между дѣломъ и словомъ, особенно-же современными словами гр. Л. Толстого. Я-же никакого противорѣчія здѣсь не нахожу, а, напротивъ, вижу строгую послѣдовательность: подобно тому какъ нынѣ гр. Л. Толстой проповѣдуетъ, что служить народу, помогать ему мы должны ухитряться такъ, чтобы это было въ предѣлахъ условій его быта, безъ малѣйшихъ покушеній на улучшеніе этихъ условій, такъ и прежде онъ держался того правила, чтобы отнюдь не облегчать условій жизни народа,—и не облегчалъ.

VIII.

Нападки Оболенскаго на критиковъ гр. Л. Толстого и достоинство его собственныхъ полемическихъ пріемовъ.

I.

Есть полемика и полемика. Есть полемика честная, заключающаяся въ открытой борьбѣ мнѣній, причемъ противники не касаются личностей другъ друга, не залѣзаютъ никуда въ сторону и не употребляютъ никакихъ дрянныхъ пріемовъ, имѣющихъ цѣлью дискредитировать противника, обойдя

*) Выйдя со второго курса юридическаго факультета, гр. Л. Н. Толстой прожилъ вторую половину сороковыхъ годовъ въ доставшейся ему, по раздѣлу, деревнѣ Ясной-Полянѣ (отецъ его умеръ въ 1837 году, и съ того времени до раздѣла имѣніе находилось въ опекунскомъ управленіи). Въ 1851 г. гр. Л. Н. Толстой уѣхалъ на Кавказъ и тамъ, въ 1859 г., написалъ «Утро помѣщика».

его сзади, а ограничиваются тѣмъ, что каждый отстаиваетъ свое мнѣніе исключительно одними научными или діалектическими способами. И есть полемика столь-же предосудительная, какъ и та школьная борьба, въ которой борцы стараются повалить другъ друга не одной силою мышцъ, а разными злоухищреніями, вродѣ такъ называемыхъ «подножекъ» и т. п.

Вы напримѣръ спорите съ кѣмъ-нибудь объ Александрѣ Баттенбергѣ, доказывая, что онъ—ничтожный проходимецъ, желавшій лишь наловить рыбки въ мутной водѣ. И вдругъ на всѣ ваши доводы противникъ вашъ, съ пѣною у рта доказывающій, что Ал. Баттенбергъ — герой, возражаетъ вамъ, что вы совсѣмъ некомпетентны въ этомъ спорѣ, что онъ и спорить съ вами не намѣренъ, такъ какъ вы не знаете грамматики. Послѣ такого страннаго возраженія противника вамъ остается только вытаращить глаза и спросить его, что онъ хочетъ сказать этимъ?

— Да какъ-же,—отвѣчаетъ вашъ противникъ: можете-ли вы имѣть основательныя данныя для утвержденія, что́ за человѣкъ—Александръ Баттенбергъ, если вы настолько невѣжественны, что слово «Баттенбергъ» произносите черезъ одно *т*.

— Положимъ, вы ошибаетесь,—возражаете вы: я произношу слово Баттенбергъ черезъ два *т*,—но какое-же отношеніе имѣетъ это къ нашему спору?

— А такое, что я самъ своими ушами слышалъ, какъ вы все время произносили Батенбергъ, а не Баттенбергъ, и только послѣ моего уже указанія въ послѣдній разъ изволили произнесть—Баттенбергъ, и это показываетъ въ васъ не только невѣжественность, а и недобросовѣстность, такъ какъ вы, воспользовавшись моимъ указаніемъ на вашу грамматическую ошибку, отрекаетесь отъ нея. А разъ добросовѣстность и честность на моей сторонѣ, а не на вашей, то слѣдовательно на моей сторонѣ и правда; ergo, Ал. Баттенбергъ—герой.

Извольте спорить съ кѣмъ либо на такой почвѣ. Къ сожалѣнію у насъ всѣ полемики постоянно принимаютъ въ концѣ-концовъ подобный оборотъ.

II.

Вотъ и Оболенскій идетъ по тому-же доблестному пути. Въ августовской книжкѣ своего «Русскаго Богатства» 1886 г. онъ снова полемизируетъ со мной по поводу идей гр. Л. Толстого, имѣя въ виду мой фельетонъ въ № 180 «Новостей». Въ фельетонѣ этомъ я между прочимъ занялся защитою мнѣній Кондорсэ и Конта объ отношеніи чистыхъ наукъ къ прикладнымъ противъ нападокъ на эти мнѣнія Оболенскаго. Съ цѣлью этой защиты я привелъ сначала мнѣнія Кондорсэ, а потомъ и говорю: «*и вотъ, можете себѣ представить, противъ этой-то именно азбучной аксіомы вооружается вдругъ Оболенскій, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого*». Уже изъ однихъ этихъ словъ, казалось-бы, ясно можно заключить, что дѣло идетъ здѣсь ни о чемъ иномъ, какъ о мнѣніи Кондорсэ, противъ котораго Оболенскій вооружается.

И вдругъ Оболенскій возражаетъ мнѣ на это, будто вотъ я какой безчестный и недобросовѣстный человѣкъ, «*взялъ изъ его-же статьи единственный противъ него аргументъ (мнѣніе Кондорсэ), не упомянувъ даже объ этомъ!*».

Какое-же тутъ еще вы хотите упоминаніе, когда все дѣло идетъ именно о мнѣніи Кондорсэ, которое Оболенскій опровергаетъ, замѣняя его своимъ собственнымъ, а я стараюсь его защитить и опровергнуть мнѣніе Оболенскаго,—и вдругъ я попалъ въ какіе-то воры. И выходитъ, что вашъ противникъ утверждаетъ, будто Баттенбергъ—герой. Вы ему возражаете: «Баттенбергъ —герой? это отчего?» А вашъ противникъ въ отвѣтъ на это вамъ вдругъ сыплетъ:— «Вы повторяете мои слова, не упоминая, что они мои? Какой-же вы послѣ этого воръ!».

Съ чѣмъ-же можно сравнить подобную полемику, какъ не съ стараніемъ повалить противника «подножкой»?

III.

А главное дѣло въ томъ, что я до сихъ поръ никакъ не могу понять, противъ чего споритъ Оболенскій, изъ-за чего онъ такъ рьяно копья ломаетъ? Вѣдь если вдуматься внимательнѣй во всѣ доводы и возраженія его и всмотрѣться во всѣ перипетіи спора, то окажется, что между нимъ и его противниками вовсе нѣтъ какого-либо такого радикальнаго разногласія, которое оправдывало-бы полемику, что въ сущности спорить ему вовсе не изъ чего, а онъ вотъ что дѣлаетъ: приписываетъ своимъ противникамъ такія мнѣнія и такія побужденія, о которыхъ имъ и не снилось, да потомъ возражаетъ противъ этихъ мнимыхъ заблужденій доводами, которые беретъ изъ арсенала своихъ-же противниковъ. Въ концѣ концовъ бѣднымъ противникамъ, прибитымъ къ стѣнѣ, только и остается, что, открещиваясь отъ тѣхъ обвиненій, которыя Оболенскій на нихъ возводитъ, обѣими руками подписываться подъ весьма многими изъ его горячихъ возраженій. Спрашивается, къ чему-же онъ все это дѣлаетъ?

Такъ напримѣръ, на стр. 127, въ № VIII «Р .Б.», онъ говоритъ:

«Нѣкоторые критики по поводу Толстого распространяются о другомъ противоположномъ злѣ, объ излишнемъ ханжествѣ публики передъ геніями. Такъ, Скабичевскій говоритъ: «у насъ Скобелева за то, что онъ—великій воинъ, считали способнымъ быть и великимъ политикомъ, а Толстого за то, что онъ—великій художникъ, считаютъ способнымъ быть и великимъ философомъ.» Да, скажемъ мы, это большое зло, и слѣдуетъ разсматривать идеи человѣка по существу, а не по тому, что онъ—геній. Но однако на такое предубѣжденіе въ пользу геніевъ-художниковъ есть и основанія: напримѣръ, тотъ-же Скабичевскій (черезъ два фельетона послѣ того, что выше написано и вѣроятно забывъ, что онъ писалъ о нелѣпости ожиданія отъ геніальныхъ художниковъ хорошей философіи) пишетъ въ «Новостяхъ» отъ 9-го августа: «Нельзя быть геніальнымъ художникомъ, не будучи широко образованнымъ и мыслящимъ человѣкомъ.» Но отсюда прямой выводъ, что отъ каждаго геніальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ интересныхъ идей, разъ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко мыслящимъ и образованнымъ человѣкомъ. Подобныя противорѣчія у

Скабичевскаго, когда дѣло идетъ о Толстомъ, представляютъ любопытное психологическое значеніе: относительно геніевъ умственное рабство сказывается въ двухъ противуположныхъ формахъ: одни раболѣпствуютъ, а другіе, наоборотъ, стараются дѣлать видъ, что вовсе имъ не увлечены, что у нихъ достаточно собственнаго ума, чтобы къ генію относиться критически, и они лѣзутъ изъ кожи вонъ, чтобы уловить у него какую-нибудь ошибочку, противорѣчіе, и при этомъ часто впадаютъ въ невозможныя нелѣпости» и т. д.

Надо замѣтить, что въ связи съ этимъ нѣсколько выше Оболенскій не одного меня, а и всю русскую критику обвиняетъ въ особеннаго рода мыслебоязни, заключающейся въ томъ, что мы до такой степени не привыкли къ возникновенію у насъ оригинальныхъ мыслителей, теоретиковъ, творцовъ философскихъ и моральныхъ системъ, до такой степени привыкли жить мыслью массовой, стадной или-же заимствованной, что появленіе малѣйшей оригинальности, малѣйшаго отступленія отъ шаблоннаго цикла либеральныхъ или консервативныхъ идей, къ которымъ мы привыкли, кажется намъ чуть не свѣтопреставленіемъ...

«Отъ этого,—говоритъ Оболенскій (стр. 123),—наша критика представляетъ совершенную противуположность европейской: тамъ знаютъ цѣну плодамъ оригинальнаго творчества и умѣютъ мириться съ странностями и даже абсурдами геніевъ, выбирая полезное и цѣнное, что они даютъ человѣчеству; тамъ понимаютъ, что безъ творческой оригинальности прогрессъ остановился-бы, и мысль обратилась-бы въ китайскій застой, а потому и не пугаются экстравагантностей, присущихъ всякой оригинальности. У насъ критика понимала это лишь въ моментъ подъема нашей мысли, въ 60-хъ годахъ, когда имѣла въ литературѣ людей, глубоко и всесторонне-образованныхъ. Одинъ изъ нихъ въ своемъ знаменитомъ публицистическомъ романѣ выразилъ устами героя слѣдующую мысль: «гораздо полезнѣе и интереснѣе прочитать толкованіе помѣшавшагося, но геніальнаго Ньютона на «Апокалипсисъ», чѣмъ сотни книгъ, пережевывающихъ чужія мысли». Теперешняя наша критика, вмѣсто того чтобы идти по стопамъ европейской и умѣть извлекать пользу изъ геніальнаго творчества, умѣетъ исполнять лишь одну роль,—роль критики средневѣковой Европы, —такой критики, какой подвергли Джордано Бруно, Галилея, т. е. она стремится только показать, въ чемъ писатель отступилъ отъ шаблона (либеральнаго или консервативнаго), и затѣмъ сыплетъ на него прокурорскіе громы отъ имени либерализма или консерватизма, смотря по своей принадлежности къ тому или другому лагерю.»

IV.

Но во-первыхъ подумайте, есть-ли хотя какое-нибудь противорѣчіе между двумя моими фельетонами, на которые указываетъ Оболенскій: въ одномъ изъ нихъ говорится о томъ, что смѣшно предполагать, будто великій художникъ долженъ быть мастеръ на всѣ руки, и ожидать отъ него, чтобъ онъ былъ такимъ-же великимъ полководцемъ или основателемъ новой религіи, а въ другомъ утверждается, что какой-бы ни былъ талантъ у художника, онъ никогда не сдѣлается великимъ, если не будетъ заботиться о своемъ образованіи. Я полагаю, что эти двѣ одинаково справедливыя истины могутъ преспокойно ужиться рядомъ, нисколько одна другую не опровергая, тѣмъ болѣе, что между ними нѣтъ ничего общаго, никакихъ точекъ соприкосновенія. Не имѣя между собой разногласія по существу, обѣ эти истины могутъ въ равной степени быть отнесены къ гр. Л. Толстому опять-таки безъ малѣйшаго противорѣчія. Такъ, мы имѣемъ полное право сказать, что изъ гр. Л. Толстого никогда не выработался-бы великій художникъ, еслибы онъ не позаботился о своемъ образованіи, а что онъ о немъ заботился и продолжаетъ заботиться, это мы можемъ заключить и изъ его художественныхъ произведеній, и изъ его исповѣди, и изъ его трактатовъ послѣдняго времени. Но разъ мы признаемъ гр. Л. Толстого образованнѣйшимъ человѣкомъ нашего времени, то развѣ слѣдуетъ изъ этого, чтобы отъ него мы должны были ждать и славы полководца, и мудрости основателя новой религіи? Что идеи его во всякомъ случаѣ интересны, что онѣ заслуживаютъ полнаго вниманія, кто-же объ этомъ станетъ спорить и изъ чего Оболенскій вправѣ заключить, что идеями гр. Л. Толстого не интересуются? Вотъ еслибы критика замалчивала эти идеи, относилась къ нимъ съ полнымъ индифферентизмомъ, это было-бы другое дѣло, и Оболенскій тогда въ полномъ правѣ былъ-бы упрекнуть критику, что «*отъ каждаго геніальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ интересныхъ идей, разъ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко-мыслящимъ и образованнымъ человѣкомъ*». Между тѣмъ мы видимъ совершенно наоборотъ: критика впродолженіи безъ малаго двухъ лѣтъ только и дѣлаетъ, что возится съ идеями гр. Л. Толстого; значитъ, она ихъ цѣнитъ и придаетъ имъ свое значеніе. Чего-же еще нужно Оболенскому?

И еслибы еще изъ-за двухъ-трехъ спорныхъ положеній критика отрицала идеи гр. Л. Толстого всецѣло, ставила-бы крестъ надъ всей его дѣятельностью послѣднихъ лѣтъ и ограничивалась одними глумленіями надъ авторомъ «Войны и мира». Но и этого мы не видимъ. Напротивъ того, до послѣдняго времени критика относилась къ идеямъ гр. Л. Толстого весьма благосклонно. Правда, она не благоговѣла и не становилась передъ ними на колѣни, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые слѣпые поклонники гр. Л. Толстого, но она поступала съ ними именно такъ, какъ относится къ замѣчательнымъ явленіямъ слова та европейская критика, которую Оболенскій ставитъ намъ въ примѣръ: т. е. все цѣнное она подчеркивала и отдавала ему справедливость, а все ложное отметала, да мало того, что отметала, но и старалась показать источники этого ложнаго. Такъ напримѣръ, Оболенскій или не читалъ, или совсѣмъ забылъ мои первые фельетоны о гр. Л. Толстомъ. Онъ не обратилъ вниманія, что и извѣстный догматъ противленія злу насиліемъ я условно принялъ, какъ прекрасный идеалъ будущаго человѣчества, замѣтивъ только, что осуществленіе этого идеала зависитъ не отъ теоретическаго установленія этой формулы, а отъ того смягченія нравовъ, которое постепенно вырабатывается вѣками. Оболенскій, не знаю ужъ, умышленно или неумышленно, игнорируетъ всѣ эти мои прежніе фельетоны и вдругъ набрасывается на меня, послѣ того какъ я отнесся отрицательно къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого о женщинахъ и о наукѣ. Допустимъ, что Обо-

ленскій не согласенъ съ моими возраженіями относительно этихъ предметовъ, что онъ болѣе склоненъ въ пользу идей гр. Л. Толстого, какъ относительно распредѣленія обязанностей и занятій между обоими полами, такъ и относительно существованія двухъ наукъ, одной—для господъ, другой—для мужиковъ. Ну, и возражай онъ противъ меня, доказывай, что правъ не я, а гр. Толстой, какъ онъ это дѣлаетъ въ выноскѣ на стр. 144. Къ чему-же выставляетъ Оболенскій примѣръ европейской критики? Вѣдь не преклонилась-же эта самая европейская критика передъ толкованіемъ «Апокалипсиса» Ньютона изъ-за того только, что Ньютонъ открылъ великій законъ тяготѣнія? Или еще того лучше, вѣдь не приняла-же она дословно мнѣній Прудона о призваніи женщинъ (кстати очень близко подходящихъ къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого) на томъ только основаніи, что Прудонъ былъ замѣчательный политико-экономъ? Однимъ словомъ, всѣ эти ссылки на примѣръ европейской критики—не что иное, какъ одно пустословіе, въ которомъ ничего болѣе не усматривается, какъ именно желаніе дискредитировать противника, подойдя къ нему сзади.

V.

Очень негодуетъ между прочимъ Оболенскій на критиковъ за то, что они упрекали гр. Л. Толстого въ противорѣчіяхъ между словомъ и дѣломъ, относительно напр. 600,000 12-го тома и т. п. Оболенскій видитъ въ этомъ нѣкое злорадство: у критиковъ, видите, пробудилась совѣсть вслѣдствіе проповѣди гр. Л. Толстого, отъ старыхъ-же дурныхъ привычекъ отстать имъ трудно, и вотъ въ нихъ является страстная потребность доказать, что моралистъ самъ не исполняетъ своихъ неисполнимыхъ идей. И опять-таки это не болѣе, какъ одно пустословіе и подставленіе противникамъ «подножекъ».

Если смотрѣть на этотъ предметъ съ общей, философской точки зрѣнія, то противорѣчія между словомъ и дѣломъ являются фактами неизбѣжными въ человѣческой природѣ и вытекаютъ прямо изъ того, что наша мысль опережаетъ практику жизни: создавать прекрасные идеалы гораздо легче, чѣмъ исполнять ихъ, и къ тому-же очень часто случается, что для исполненія прекраснаго идеала необходимо предварительно измѣнить такую массу условій жизни, что борьба съ этими условіями становится не подъ силу одной личности. Но тѣмъ не менѣе противорѣчія противорѣчіямъ рознь. Представьте себѣ труженика, у котораго каждый грошъ въ карманѣ является не иначе, какъ результатомъ упорнаго труда, и рядомъ поставьте господина, существованіе котораго безъ всякаго труда обезпечено 20,000 годового дохода; но между ними та разница, что труженикъ каждый свой грошъ ставитъ ребромъ и пропиваетъ, да еще не на какой-нибудь водкѣ, а въ лучшемъ ресторанѣ на шампанскомъ; рентьеръ-же, освобожденный отъ всякаго насущнаго труда, проводитъ свое время въ томъ, что отъ скуки проповѣдуетъ людямъ прелесть бѣдности, необходимость въ потѣ лица снискивать хлѣбъ свой и т. п. Оба эти господина представляютъ, каждый въ своемъ родѣ, противорѣчіе между словомъ и дѣломъ; ничего нѣтъ идеальнаго ни въ томъ, что трудениkъ каждый свой заработанный грошъ несетъ къ Борелю, ни въ томъ, что рентьеръ проповѣдуетъ о прелести бѣдности, а самъ преспокойно кладетъ въ карманъ не 20,000 въ годъ. Но невольно, неотразимо, инстинктивно вы отнесетесь къ этимъ двумъ разладамъ словъ и дѣлъ совершенно различно. Кутящій не по средствамъ труженикъ вызоветъ въ васъ глубокую жалость къ себѣ; рентьеръ-же, распространяющійся о прелести труда и бѣдности, приведетъ васъ въ негодованіе, и не потому только, что онъ рентьеръ,— зачѣмъ онъ, молъ, получаетъ 20,000. Мимо десяти рентьеровъ, получающихъ по 200,000 въ годъ, вы пройдете совершенно равнодушно. Здѣсь-же васъ выведутъ изъ себя именно рѣчи его; онѣ невольно должны произвести на васъ впечатлѣніе словно какого-то кощунства нами тѣми прекрасными евангельскими истинами, которыя идутъ совершенно въ разрѣзъ съ практикой жизни этого господина. Оболенскій-же толкуетъ вдругъ о какой-то пробужденной совѣсти въ убогихъ критикахъ, едва сводящихъ концы съ концами, и для оправданія гр. Л. Толстого употребляетъ слѣдующій фортель.

Потому вотъ, видите, гр. Л. Толстой не можетъ осуществлять своихъ идей въ жизни, что въ кругъ его идей между прочимъ входитъ отрицаніе деспотическаго насилія для проведенія своихъ идей какъ въ семьѣ, такъ и въ обществѣ.

«Когда я былъ у Толстого прошлой осенью,—говоритъ Оболенскій,—онъ былъ очень увлеченъ вегетаріанизмомъ, т. е. питаніемъ одной растительной пищей, чтобы не мучить и не убивать животныхъ. Посмотрите-же, какъ онъ проводилъ и какъ могъ проводить свои идеи въ своей-же семьѣ. А проводилъ онъ свои иден такъ: прежде всего самъ не сталъ ѣсть мяса, а затѣмъ старался убѣждать свою семью отказаться отъ него, и я слышалъ, что два члена семьи уже не ѣли мяса. Скажутъ, что это очень малые результаты, что этимъ онъ спасалъ въ годъ какую-нибудь сотню куриц, десятка два быковъ, полсотни барановъ отъ насильственной смерти, что это капля въ морѣ. Согласенъ, но теперь посмотримъ, какой-же другой способъ могъ употребить Толстой? Какъ глава семьи, онъ могъ распорядиться деспотическ, т. е. просто запретить своимъ дѣтямъ и женѣ ѣсть мясо, а въ случаѣ сопротивленія прибѣгнуть къ силѣ; повару-же долженъ былъ запретить готовить мясо. Такъ-ли? Сдѣлалъ-ли-бы это кто-либо изъ васъ, господа, упрекающіе Толстого въ томъ, что онъ будто-бы непослѣдователенъ своимъ идеямъ только потому, что, отрицая что-либо, не запрещаетъ своей семьѣ этимъ пользоваться, пока сама семья не убѣдится. Если бы онъ распорядился деспотически, то развѣ вы, господа, не закричали-бы на него первые, что это—величайшій деспотизмъ, что онъ не смѣетъ заставлять насильно другихъ ѣсть и дѣлать не то, что они хотятъ, что онъ долженъ въ семьѣ дѣйствовать убѣжденіемъ, а не насиліемъ?»

VI.

Но скажите пожалуйста, гдѣ и когда-же это критики требовали, чтобы гр. Л. Толстой что-бы то ни было навязывалъ своимъ домочадцамъ? Рѣчь шла и идетъ постоянно о немъ самомъ лично. Если-же безразсудно и дико навязывать что-бы то ни было деспотично своей семьѣ, то не менѣе безразсудно и дико,

чтобы семья что-либо деспотично навязывала своему главѣ, вопреки его убѣжденіямъ. Никто и не думалъ поэтому требовать, чтобы графъ Л. Толстой, въ угоду своимъ ученіямъ, роздалъ все свое имущество и насильно навязалъ семьѣ хотя-бы напримѣръ ту крестьянскую долю, которую онъ считаетъ идеаломъ жизни. Но развѣ не бывало примѣровъ, что люди, вовсе не занимающіеся проповѣдью какой-либо цѣльной моральной системы, изъ одной только страсти къ какой-нибудь профессіи да изъ желанія существовать своимъ трудомъ, предоставляли роднымъ жить, какъ имъ угодно, а сами устраивали свою жизнь тоже, какъ имъ нравилось? Я полагаю, что если-бы гр. Л. Толстой это сдѣлалъ, то самое то нравственное вліяніе его на членовъ своей семьи, о которомъ говоритъ Оболенскій, сдѣлалось-бы и сильнѣе, и благотворнѣе.

Вотъ также и исторія съ 12-мъ томомъ. На-дняхъ, какъ извѣстно, она разрѣшилась какъ-разъ въ пользу критиковъ, нападавшихъ на этотъ фактъ: 12-й томъ появился въ продажѣ отдѣльно, и это обстоятельство какъ нельзя болѣе подтверждаетъ, что критики имѣли свои основанія нападать. Вѣдь дѣйствительно, помимо ученія гр. Л. Толстого и какихъ-бы то ни было идей его, фактъ этотъ самъ по себѣ былъ настолько некрасивъ, что не могъ не возбудить противъ себя негодованія и въ публикѣ, и въ печати. Публика не могла не быть поражена, видя, что обыкновенные книгопродавцы и издатели, не ревнующіе ни о какихъ евангельскихъ идеяхъ, не поступаютъ такъ, какъ поступилъ гр. Л. Толстой, т. е. допускаютъ продажу отдѣльныхъ томовъ сочиненій авторовъ, а не навязываютъ покупку непремѣнно цѣлаго изданія. Ходятъ слухи о какихъ-то сторонніхъ обстоятельствахъ, имѣвшихъ мѣсто въ настоящемъ случаѣ. Но я не знаю, какія такія обстоятельства могли-бы заставить меня напримѣръ выпустить книжку въ 10 листовъ подъ единственнымъ условіемъ назначенія за нее сторублевой платы? Въ крайнемъ случаѣ, если это противно моей совѣсти, никто не могъ бы воспрепятствовать мнѣ положить преспокойно рукопись въ столъ и отказаться отъ ея изданія.

Но оставимъ Оболенскаго съ его пустословіемъ. А сдѣлаемъ мы лучше вотъ что: отложивши въ сторону разборъ ученія гр. Л. Толстого въ его частностяхъ, отдѣльныхъ положеніяхъ и внутреннихъ противорѣчіяхъ, возьмемъ его въ цѣломъ его видѣ, какъ историческій фактъ, и постараемся показать, изъ какихъ общественныхъ потребностей вытекло это ученіе, насколько оно удовлетворяетъ этимъ потребностямъ, и если не удовлетворяетъ, то что намъ нужно вмѣсто него.

IX.

Идеалы гр. Л. Толстого въ связи съ общественнымъ настроеніемъ, нравственными нуждами и недугами нашего времени.

I.

Давно уже замѣченъ тотъ фактъ, что увлеченія общественными вопросами и реформами смѣняются увлеченіями вопросами моральными, и что, подобно тому, какъ въ первомъ случаѣ господствуетъ та идея, что нравственность отдѣльныхъ лицъ вполнѣ зависитъ отъ общихъ условій жизни и что она неисправима безъ общественныхъ реформъ, такъ во второмъ случаѣ люди болѣе дѣлаются склонны предполагать, что никакія реформы не помогутъ, никакія прекрасныя учрежденія не спасутъ, если люди будутъ нравственно несостоятельны. Гизо, какъ извѣстно, дѣлитъ даже всеобщую исторію на размѣренные періоды, усматривая въ ней періодически правильныя смѣны эпохъ общественныхъ реформъ и выработки индивидуально-нравственныхъ идеаловъ. — Но, и не соглашаясь съ Гизо относительно этой кристаллической правильности въ смѣнахъ эпохъ, все-таки мы не можемъ отрицать, что дѣйствительно бываютъ моменты сильныхъ увлеченій всего общества исключительно вопросами общественнаго характера, бываютъ и такія времена, въ которыхъ преобладаютъ вопросы чисто моральные. Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ стихійнымъ, движеніемъ, эпидемически увлекающимъ массы.

Нужно ли говорить о томъ, что общественныя движенія являются всегда какъ результатъ добытаго путемъ науки или ряда горькихъ опытовъ сознанія какого-либо общественнаго недуга, грозящаго распаденіемъ всего общественнаго строя. Это есть не что иное, какъ обострившееся стремленіе отстранить то, что мѣшаетъ людямъ жить и благоденствовать, или-же завести то, что по всеобщему сознанію должно увеличить это благоденствіе. Моральныя-же движенія являются по большей части тогда, когда всѣмъ обществомъ овладѣваетъ горькое разочарованіе въ предшествовавшихъ увлеченіяхъ общественными вопросами, когда оказывается, что предпринятыя реформы или не доставили того, чего отъ нихъ ожидали, или-же не удались, и не удались повидимому потому, что какъ люди, исполнявшіе ихъ, такъ и пользовавшіеся ими оказались ниже своего призванія. И вотъ среди всеобщаго изнеможенія, уныніе, апатіи, тоски является томительное стремленіе оглянуться вокругъ себя и рѣшить, почему-же это люди или не съумѣли совершить того, что хотѣли, или оказались неспособными пользоваться этимъ? Стремленіе это ведетъ прямо къ индивидуально-нравственному анализу. Являются сатирики, моралисты, проповѣдники, по косточкамъ разбирающіе поведеніе современныхъ имъ людей и указующіе лучшіе пути для нравственнаго совершенства, выставляющіе новые идеалы, которые противуполагаются установившейся практикѣ жизни.

II.

Несомнѣнно, что такую именно эпоху моральнаго движенія переживаемъ мы въ настоящее время. Уже нѣсколько лѣтъ какъ вопросы о личной нравственности, сѣтованія объ отсутствіи нравственныхъ идеаловъ, вопросы о томъ, какъ жить, во что вѣрить, къ чему стремиться отдѣльному человѣку,—у всѣхъ стоятъ на первомъ планѣ, висятъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этимъ объясняется и та наклонность, которую мы замѣчаемъ въ послѣднее время въ нашемъ интел-

лигентномъ обществѣ къ сектантству, къ увлеченіямъ разными заѣзжими и отечественными религіозными проповѣдниками и моралистами. Этотъ же чисто моральный характеръ носятъ и всѣ появляющіеся въ печати народническіе толки о растлѣвающемъ вліяніи города, о преимуществахъ деревенской жизни, объ общинной нравственности въ противоположность индивидуальной, о нравственной цѣльности мужика сравнительно съ шатаніями и нравственнымъ банкротствомъ интеллигентнаго человѣка, вопросы наконецъ о пессимизмѣ и оптимизмѣ и пр. Все это обнаруживаетъ неоспоримое моральное движеніе, которое на нашихъ глазахъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе охватываетъ наше общество. И вотъ среди всѣхъ этихъ моральныхъ исканій и порываній ученіе гр. Л. Толстого занимаетъ самое импонирующее положеніе. На него обращено наибольшее вниманіе, чѣмъ на всѣ прочія моральныя ученія, оно наиболѣе возбуждаетъ общество, пріобрѣтаетъ массу адептовъ и грозитъ если не всецѣло завладѣть мыслью современнаго общества, то во всякомъ случаѣ стать во главѣ моральнаго движенія, совершающагося передъ нашими глазами, направивъ его въ свою сторону.

Въ видахъ этого обстоятельства ученіе гр. Л. Толстого пріобрѣтаетъ особенную важность въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка, способнаго проникать въ глубины жизни, не ограничиваясь однимъ созерцаніемъ поверхностной игры свѣта и тѣней. Если это ученіе представляетъ собой рядъ заблужденій, то это отнюдь не случайная ошибка больного ума, а удѣлъ массы интеллигентныхъ людей, способныхъ заблуждаться такъ же, какъ заблуждается и гр. Л. Толстой, и идти по стопамъ его.

Дѣло въ томъ, что признавая общественныя и моральныя движенія, какъ нѣчто стихійное, роковое, съ чѣмъ слѣдуетъ считаться, мы въ то же время отнюдь не можетъ утверждать, чтобы каждое такое движеніе было непремѣнно плодотворно и вело къ благимъ результатамъ. Развѣ мы не видимъ въ исторіи, что иногда весьма сильныя общественныя движенія или разбиваются прахомъ о массу неодолимыхъ препятствій, или принимаютъ совершенно ложное направленіе и ничего не оставляютъ послѣ себя, кромѣ напрасныхъ жертвъ и всеобщаго разочарованія. То-же самое происходитъ иногда и съ моральными движеніями; они въ свою очередь могутъ разрѣшиться мыльнымъ пузыремъ и, не принеся съ собою никакого нравственнаго обновленія, лопнуть въ воздухѣ, не оставивъ послѣ себя ни одной брызги. Тутъ все зависитъ отъ того, какой характеръ приметъ моральное движеніе, отправится ли оно отъ какихъ-либо опредѣленныхъ и ясно сознанныхъ моральныхъ недостатковъ своего времени и будетъ стремиться къ борьбѣ съ этими недостатками на реальной почвѣ возможнаго и осуществимаго сегодня, или же оно сразу задастся такими утопическими мечтаніями, осуществленіе которыхъ возможно лишь въ перспективѣ вѣковъ.

III.

Хотя гр. Л. Толстой опирается главнымъ образомъ на Евангеліе и воображаетъ, что все свое ученіе онъ извлекаетъ изъ единственнаго этого источника, но это далеко несправедливо. Каждый, кто внимательно читалъ хоть одинъ трактатъ гр. Л. Толстого, можетъ въ достаточной мѣрѣ убѣдиться, что въ ученіи его, кромѣ евангельскихъ истинъ, отражается масса всякаго рода политико-экономическихъ идей, бродившихъ въ послѣдніе годы въ нашемъ обществѣ. Такъ напримѣръ, конечно не Евангелію обязанъ гр. Л. Толстой тѣми ратованіями противъ раздѣленія труда, какія мы у него находимъ, или чисто народническимъ отрицаніемъ городской жизни и выставленіемъ преимуществъ сельскаго, земледѣльческаго быта. Въ Евангеліи вы не найдете ничего подобнаго; что же касается до требованія гр. Л. Толстого, чтобы каждый служилъ самъ себѣ, собственноручно исполняя около себя всѣ грязныя работы, то это требованіе, по моему мнѣнію, противорѣчитъ даже духу евангельскаго ученія: мы видимъ въ немъ скорѣе духъ американскаго демократизма, обособляющаго личность и замыкающаго ее въ самое себя, чѣмъ ученіе, требующее, чтобы мы служили другъ другу и были готовы исполнять другъ для друга что-бы то ни было, ничѣмъ не брезгая. Наконецъ самое то отрицаніе разныхъ общественныхъ функцій, какое выводитъ гр. Л. Толстой изъ Евангелія путемъ произвольнаго толкованія нѣкоторыхъ словъ, которыя можно перевести съ греческаго такъ или иначе,—развѣ не представляется отголоскомъ не столько Евангелія, сколько тѣхъ новѣйшихъ теорій, которыя точно также предполагаютъ, что различныя общественныя функціи потеряютъ свое значеніе въ будущемъ человѣчества?

Однимъ словомъ, я хочу сказать, что ученіе гр. Л. Толстого отнюдь нельзя выводить изъ одного какого-нибудь источника. Оно имѣетъ характеръ собирательный, эклектическій. Въ этомъ его сила, его значеніе, но и въ этомъ же его слабость, заключающаяся въ отсутствіи строгой послѣдовательности и систематичности, въ массѣ противорѣчій, неизбѣжныхъ при соединеніи несоединимаго. Но мы не будемъ касаться этихъ слабостей, такъ какъ это опять привело-бы насъ къ разбору частностей, а этого мы въ настоящее время избѣгаемъ. Обратимъ лучше вниманіе на то, къ чему ведетъ это ученіе въ его цѣломъ, что оно представляетъ и насколько его предписанія жизненны, т. е. реальны и исполнимы.

Предположимъ, что вы вполнѣ прониклись тѣмъ идеаломъ, который рисуетъ передъ вами гр. Л. Толстой: вы убѣдились, что въ основѣ вашей нравственности должны стоять любовь не къ отвлеченному человѣчеству, а къ вашему ближнему, брату, желаніе быть всѣмъ ему полезнымъ, чѣмъ только можете, снисходительность ко всѣмъ его слабостямъ, стремленіе заглянуть къ нему въ душу и пробудить въ немъ человѣка. Въ то-же время вы отрицаете вполнѣ всякое насиліе надъ ближнимъ, вы ни за что никогда не подымете на него руки, не вызовете его въ судъ, если онъ отниметъ все ваше достояніе, вы будете оглядываться вокругъ себя, нельзя-ли отдать ему еще что-нибудь сверхъ этого. Но этого всего мало: вы должны все дѣлать сами для себя; въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой, но не однимъ физическимъ трудомъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ вы изъ человѣка превращаетесь въ мертвую машину въ рукахъ

другихъ, и тѣмъ болѣе не однимъ интеллигентнымъ трудомъ, такъ какъ тогда вы обращаетесь въ высокомѣрнаго паразита, за котораго дѣлаютъ все другіе, для того чтобы онъ величался своимъ умственнымъ превосходствомъ и замыкался въ интеллигентный кругъ, ничѣмъ не вознаграждая физическіе труды на него ближнихъ. Физическій и умственный труды должны тѣсно переплетаться въ вашей жизни, и оба должны быть направлены на общую пользу; при этомъ подъ физическими трудами подразумѣваются преимущественно труды сельскіе, земледѣльческіе, на чистомъ воздухѣ, среди обаятельной природы, чтобы вокругъ птички пѣли и ручейки журчали...

IV.

Я нисколько не спорю, что подобный идеалъ имѣетъ въ себѣ много привлекательнаго, что мы должны имѣть его въ виду, какъ конечную цѣль, къ которой обязано стремиться человѣчество, что, сообразно этой цѣли, должны производиться какъ всѣ общественныя реформы, такъ равно и всѣ нравственныя совершенствованія. Но иное дѣло—конечная цѣль, осуществленіе которой будетъ возможно можетъ быть лѣтъ черезъ тысячу, иное дѣло—моральные идеалы, которые требуются людьми для руководства въ повседневной жизни теперь, сегодня. И вотъ скажемъ прямо и категорически, что идеалы, развиваемые гр. Л. Толстымъ, при всей кажущейся ихъ простотѣ, являются совершенно неосуществимыми утопіями. Можно сдѣлать въ этомъ отношеніи вотъ какое сравненіе: представьте себѣ, что явился-бы человѣкъ, который вздумалъ-бы расписывать передъ нами волшебный край, лежащій за тысячу верстъ отъ насъ: тамъ изобиліе всего, нѣтъ ни холоду, ни жару, рѣки медвяныя, берега кисельные, а на деревьяхъ, отягченныхъ плодами, день и ночь распѣваютъ райскія птицы. Не угодно-ли пожаловать туда? Но васъ отдѣляютъ отъ этого края тысячи верстъ лѣсовъ дремучихъ, болотъ бездонныхъ. Казалось бы, что первымъ дѣломъ надо было-бы позаботиться о томъ, чтобы проложить дороги къ завѣтной цѣли, вырубить лѣса, намостить мосты. Но господинъ увѣряетъ насъ, что ничего этого не нужно. Стоитъ только захотѣть, нарисовать лодку на стѣнѣ, да на ней и перенестись въ мгновеніе ока въ волшебный край.

Вотъ въ этой-то лодкѣ, нарисованной на стѣнѣ, и заключается вся ахиллесова пята ученія гр. Л. Толстого. Возьмите вы напримѣръ не какого-нибудь разбойника и татя, а средняго, весьма порядочнаго человѣка, того-же напримѣръ Ивана Ильича, смерть котораго изобразилъ гр. Л. Толстой такъ геніально. Представьте себѣ, что этотъ Иванъ Ильичъ вдругъ проникся-бы ученіемъ гр. Л. Толстого. Что-же ему слѣдовало-бы въ такомъ случаѣ дѣлать? Перестать конечно судить, выйти въ отставку, выучиться какому-нибудь ремеслу, напримѣръ шитью сапоговъ, и начать въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой. Все это, казалось-бы, такъ просто и удобоисполнимо, а на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ просто. Начать съ того, что, пока онъ выучился-бы сапожному ремеслу на столько, чтобы быть сыту самому и съ семействомъ, онъ рисковалъ-бы десять разъ умереть съ голоду, и все-таки сомнительно, вышелъ-ли бы изъ него сколько-нибудь способный сапожникъ, такъ какъ мускулы его преемственно въ ряду нѣсколькихъ поколѣній успѣли настолько атрофироваться, что неспособны уже къ упорному физическому труду. Еслибы и оказалось въ нихъ на столько ловкости, чтобы усвоить пріемы мастерства, то все-таки не хватилобы настолько энергіи, чтобы изо дня въ день, часовъ по десяти, безъ устали тачать и тачать, какъ работаютъ сапожники. Но положимъ, что и это преодолѣлъ-бы Иванъ Ильичъ,—куда же дѣвалъ-бы онъ свои изнѣженные нервы, въ свою очередь выхоленные и доведенные до крайней раздражительности безпутной жизнью нѣсколькихъ поколѣній? Мы видимъ, что и у заправскихъ сапожниковъ, имѣющихъ желѣзные нервы, они иногда пошаливаютъ: работаетъ человѣкъ упорно до перваго праздника, а тамъ вдругъ его словно прорветъ, душа его требуетъ мало того что водки, но какого-нибудь широкаго, дикаго безобразія, и это явленіе вырвавшейся на волю души—совершенно естественное, стихійное, непреоборимое. Не знаемъ также, насколько хватитъ нервовъ у Ивана Ильича, чтобы ласково улыбаться, когда какой-нибудь капризный заказчикъ сунетъ ему сапогъ въ носъ. Вѣдь это на отвлеченной почвѣ легко разсуждать о подставленіи щекъ, на самомъ же дѣлѣ необходимо имѣть очень сильные нервы, чтобы каждый разъ сдерживать возбужденные рефлексы. А у Ивана Ильича навѣрное такія возбужденія будутъ на каждомъ шагу, онъ будетъ окруженъ ими со всѣхъ сторонъ. Одна Прасковья Ѳедоровна чего стоитъ: она конечно начнетъ поѣдомъ его ѣсть съ самой его отставки. Кстати, ее-то мы и забыли: какъ-же она-то, горемычная, помирится съ новымъ своимъ званіемъ сапожницы? Ивану Ильичу сполагоря, такъ какъ онъ завѣтъ Льва Николаевича исполняетъ, ну, а ей за что приходится принимать въ чужомъ пиру похмѣлье? Въ самомъ дѣлѣ, что прикажете дѣлать съ ней Ивану Ильичу, особенно принимая во вниманіе во-первыхъ нерасторжимость браковъ, предписываемую гр. Л. Толстымъ, а во-вторыхъ отрицаніе какого-бы то ни было насилія надъ семьей въ проведеніи своихъ убѣжденій?

Еслибы еще Иванъ Ильичъ имѣлъ лишній достатокъ, тогда проклятыя деньги, къ которымъ прилипли потъ и кровь тысячъ тружениковъ, работавшихъ для накопленія въ рукахъ Ивана Ильича этого достатка, помогли-бы ему осуществить свои безсребренные идеалы: онъ предоставилъ-бы Прасковьѣ Ѳедоровнѣ жить, какъ ей угодно, на эти средства, а самъ поселился-бы тутъ-же въ каморочкѣ и началъ-бы свое безконечное постукиванье молоточкомъ. Но представьте себѣ, что у Ивана Ильича ни одной лишней копѣйки за душой не имѣется: жилъ онъ до той поры исключительно однимъ жалованьемъ. Какъ же ему теперь быть, чтобы соблюсти идеалъ, ничего въ то же время семьѣ не навязывая? Оболенскій, подумайте-ка объ этомъ и дайте совѣтъ.

V.

Мы только слегка, немного коснулись одного Ивана Ильича, но жизнь со всѣмъ ея пестрымъ разнообразіемъ, сложными и удивительными комбинаціями безъ сомнѣнія на каждомъ шагу представитъ вамъ и не такія еще пропасти между идеалами гр. Л. Толстого и дѣйствительностью, которую какъ ни верти, ничего съ ней не подѣлаешь. И еще бы: мы имѣемъ дѣло здѣсь во-первыхъ съ массой учрежденій, которыя измѣнить мы не властны, да и не имѣемъ и права сообразно идеаламъ, запрещающимъ всякое активное вмѣшательство въ жизнь, и вотъ мы видимъ, что гр. Л. Толстой отстраняетъ отъ себя обязанность присяжнаго засѣдателя, чтобы не судить и не быть судимымъ, а самъ, въ видѣ косвенныхъ налоговъ, оплачиваетъ содержаніе тѣхъ самыхъ судовъ, къ которымъ относится столь отрицательно. Во-вторыхъ мы видимъ массу привычекъ, наклонностей, слабостей, пороковъ, укоренившихся вѣками, вошедшихъ въ плоть и кровь людей, сдѣлавшихся ихъ второй природой. Чтобы побороть эти привычки или пороки, требуется въ свою очередь работа вѣковъ. Иному человѣку, для того чтобы хоть сколько нибудь приблизиться къ идеалу гр. Толстого, необходимо, чтобы отъ всего состава его порченной крови не осталось ни одной капли, другой—родился уже съ непреоборимой наклонностью къ пьянству, у третьяго похотливость развита до такого болѣзненнаго состоянія, что никакая сила воли не можетъ сдержать его чувственныхъ порывовъ, и происходитъ это оттого, что и матушка, и бабушка, и прабабушка его очень много на своемъ вѣку грѣшили. Мы видимъ наконецъ, что цѣлыя сословія слагаются въ опредѣленные типы, имѣютъ свои характеристическіе недостатки, которые упорно удерживаются впродолженіи сотенъ лѣтъ въ странахъ, въ которыхъ давно уже рушились всѣ сословныя перегородки и жизнь приняла совершенно иной характеръ. Для гр. Л. Толстого ничего подобнаго не существуетъ. Онъ воображаетъ, что идеалы его такъ просты и удобоисполнимы, что стоитъ только захотѣть, и сейчасъ же вы ихъ и осуществите. Онъ даже выставляетъ на видъ, подчеркиваетъ именно легкость ихъ исполненія. Однимъ словомъ, онъ держится въ этомъ отношеніи средневѣкового ученія безусловной свободы воли, и это существенная ошибка его ученія.

И къ чему-же это ведетъ? А ведетъ именно къ тѣмъ, подчасъ крайне смѣшнымъ, а иногда и весьма прискорбнымъ противорѣчіямъ, въ какія на каждомъ шагу впадаютъ люди, проникающіеся идеалами гр. Л. Толстого. Поставитъ человѣкъ передъ собой свой возвышенный идеалъ и молится на него, а самъ въ своей практической жизни волей-неволей вступаетъ въ рядъ компромиссовъ, которыхъ или не сознаетъ, не замѣчаетъ, или старается помирить со своимъ идеаломъ путемъ самыхъ хитросплетенныхъ и чисто іезуитскихъ софизмовъ. Одинъ оставляетъ жизнь свою въ прежнемъ ненарушимомъ порядкѣ на томъ, видите ли, основаніи, что онъ не желаетъ ничего навязывать своимъ роднымъ, и весь нравственный переворотъ его будетъ заключаться въ томъ лишь, что отъ такого-то и до такого-то часа онъ будетъ строгать на столярномъ станкѣ или пойдетъ въ крестьянскую избу вдовѣ печку сложить, причемъ ему и въ голову не приходитъ, что эта починка печи есть только видоизмѣненная форма той-же самой тщеславной рисовки, которая сидитъ у него въ крови и съ которой онъ въ юности лихо отхватывалъ мазурку на удивленіе всей бальной залы. Другой ограничится тѣмъ, что будетъ издавать убогія книжоночки, которыя должны замѣнить народу и науку, и искусство, словомъ, всю человѣческую мудрость. Третьи поѣдутъ на какіе-нибудь Аркадскіе острова основывать земледѣльческую колонію: посмотришь на нихъ,—всѣ такіе прекрасные, развитые, гуманные, добрые, всѣ въ одинаковой степени такъ глубоко и искренно проникнуты идеалами гр. Л. Толстого,— и тѣмъ не менѣе будьте увѣрены, что черезъ два, три года переругаются самымъ прозаическимъ образомъ и разойдутся съ ненавистью другъ къ другу, ко всеобщему скандалу. И еще-бы: одинъ окажется лѣнтяй-лѣнтяемъ, только и заботящимся о томъ, какъ-бы свернуть дѣло на другого; другой и радъ бы стараться, да окажется такимъ и неуклюжимъ, и неловкимъ, и безтолковымъ, что дѣло само будетъ валиться у него изъ рукъ; одна барыня проявитъ вдругъ неудержимое стремленіе надъ всѣми властвовать и всѣхъ держать подъ башмакомъ, другая будетъ ежедневно терзать колонію мелочными капризами и истериками, а третья, при всей готовности быть цѣломудренно-вѣрной женой, вдругъ согрѣшитъ съ пріятелемъ мужа и сама будетъ недоумѣвать, какъ это случилось.

VI.

И вотъ, такимъ образомъ можетъ произойти въ концѣ-концовъ, что, при всей прелести идеаловъ гр. Л. Толстого, ничего не получится отъ нихъ въ результатѣ, кромѣ все того-же нравственнаго шатанія, неудовлетворенности, разочарованія, отчаянія. При этомъ я весьма далекъ отъ того, чтобы всю вину въ этомъ отношеніи слагать на одного гр. Л. Толстого, зачѣмъ онъ преподнесъ намъ такой идеалъ, а не какой-нибудь другой. Онъ дѣлитъ вмѣстѣ съ нами недостатокъ, свойственный всѣмъ намъ, лежащій въ духѣ нашего времени.

Мы всѣ страдаемъ тѣмъ, что отрываемся постоянно отъ земли и летаемъ въ какихъ-то надзвѣздныхъ пространствахъ, въ области всеобъемлющихъ и туманныхъ идеаловъ. И не въ томъ собственно бѣда, что мы носимся съ подобными идеалами, но въ нашемъ отношеніи къ нимъ. Пусть-бы мы, разъ поставивъ передъ собой идеалы эти, какъ конечную цѣль человѣческой жизни, оглянулись затѣмъ вокругъ себя и принялись во имя этихъ идеаловъ за ту расчистку пути, ведущаго въ волшебный край, о которой я говорилъ выше,— это было бы совсѣмъ другого рода дѣло, это было-бы чисто реальное дѣло, которое наполнило бы нашу жизнь такъ, что не было бы въ ней мѣста ни для скуки, ни для отчаянія.

Прежде всего намъ слѣдуетъ опереться на тотъ горькій опытъ, какой мы вынесли изъ нашего недалекаго прошлаго,—сознать тѣ тяжкіе нравственные недуги, которыми мы преимущественно страдаемъ, и всѣ усилія воли употребить на излеченіе именно

этихъ недуговъ. Недуги же эти у всѣхъ передъ глазами и они ни отъ кого не скрыты: нравственная распущенность, заключающаяся въ привычкѣ беззавѣтно отдаваться каждому чувству и каждой похоти, какъ бы они ни были низменны, мерзки, предосудительны и гибельны, небрежное, халатное отношеніе къ дѣлу, отсутствіе малѣйшей усидчивости въ трудѣ и хоть капли упорства въ достиженіи цѣли, вѣчная безалаберная смѣна увлеченій, обусловливающая безпрестанные переходы отъ одного занятія къ другому, періодическія смѣны выходящихъ изъ всѣхъ границъ экстазовъ или полнаго отчаянія послѣ первой ничтожной неудачи,—таковы нравственныя болѣзни, свойственныя большинству нашей интеллигенціи. Въ виду этихъ недуговъ должны быть поставлены не одинъ всеобъемлющій, а нѣсколько нравственныхъ идеаловъ, правда, маленькихъ, относительныхъ, но дай Богъ, чтобы мы съумѣли хоть ихъ-то достигнуть,—какой бы это былъ шагъ впередъ. А то выходитъ подчасъ очень смѣшно и печально: носится иной человѣкъ съ широкимъ, всеобъемлющимъ идеаломъ въ духѣ гр. Л. Толстого, разливается потоками празднаго пустословія и резонерства, а самъ, глядишь, не способенъ оказывается честно и гуманно отнестись къ женщинѣ, которой поигралъ и бросилъ, забываетъ платить долги не по неимѣнію средствъ, а изъ одной небрежности, зачитываетъ чужія книги и живетъ по уши въ грязи, какъ свинья. Все, это видите, мелочи, на которыя не стоитъ обращать вниманія людямъ, рѣшающимъ судьбы міра.

Однимъ словомъ, какъ ни хороши идеалы гр. Л. Толстого, а съ ними одними мы вѣчно будемъ топтаться на одномъ мѣстѣ.

ВЛАСТЬ ТЬМЫ.

«Власть тьмы» или «Ноготокъ увязъ—всей птичкѣ пропасть», драма гр. Л. Толстого.

I.

Ни одно произведеніе гр. Л. Толстого не раздѣлило до такой степени публику нашу на два лагеря, какъ это. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ одними рьяными поклонниками нравственно-философскаго ученія гр. Л. Толстого, противъ которыхъ стоитъ масса публики, ученія этого не раздѣляющая. Нѣтъ, безразлично отъ этого дѣленія, вся публика сама по себѣ раздѣлилась на людей, считающихъ драму гр. Толстого однимъ изъ лучшихъ перловъ его творчества, и людей, отрицающихъ ее всецѣло, говорящихъ даже, что еслибы подъ ней не стояло имя автора «Войны и мира», то никто не обратилъ бы на нее вниманія.

Поклонники драмы прежде всего увлекаются универсальностью гр. Л. Толстого въ знаніи русской жизни въ самыхъ ея разнообразныхъ слояхъ. Ихъ естественно удивляетъ, что какъ это писатель, который до сихъ поръ болѣе всего изображалъ великосвѣтскую жизнь, изучивши ее до изумительныхъ тонкостей, въ то же время оказывается такимъ же компетентнымъ и въ сферѣ деревенской мужицкой жизни. И здѣсь опять-таки оказывается, что авторъ изучилъ изображаемую жизнь до такихъ же изумительныхъ тонкостей, какъ и великосвѣтскую.

Обратите въ самомъ дѣлѣ вниманіе на языкъ, какимъ выражаются дѣйствующія лица: вѣдь мало сказать, что это до фотографической точности тотъ самый языкъ, какими говорятъ крестьяне; вы видите, что у каждаго дѣйствующаго лица онъ принимаетъ особенный индивидуальный характеръ; у каждаго свой собственный языкъ, соотвѣтственный его типу, не исключая даже маленькой Анютки. Возьмите вы напримѣръ языкъ Акима: не говоря уже о тонъ, что онъ на каждомъ словѣ тянетъ, словно прінискивая слова и выраженія, вслѣдствіе чего и является у него частое повтореніе частицы «*таe*», но замѣчательно въ то же время его словосочиненіе: онъ говоритъ отдѣльными, отрывочными словами, почти не связывая ихъ въ предложенія. То у него вы встрѣтите рядъ существительныхъ безъ глаголовъ, то наоборотъ; напримѣръ: — «Такъ и угадывалъ, значитъ, женю, значитъ, малаго отъ грѣха, значитъ; онъ дома, значитъ, тае, какъ должно по закону, а ужъ я, значитъ, тае, въ городу похлопочу». Вѣдь это, какъ есть, языкъ дикаря, языкъ труженика, весь вѣкъ копающагося въ землѣ, привыкшаго болѣе думать, чѣмъ говорить, а если и говорить, то по большей части со скотомъ или предметами неодушевленными.— Поставьте вы рядомъ съ языкомъ Акима языкъ Никиты, и васъ сразу поразитъ неизмѣримая разница. Въ драмѣ ни однимъ словомъ не упоминается, что Никита былъ въ Питерѣ, но вы сразу догадываетесь объ этомъ по одному его языку, испещренному такими словами, какъ: разсчитываю, окончательно, правда, исторія, скандалъ и т. п.

Вмѣстѣ съ характернымъ языкомъ поражаетъ васъ и та рельефная типичность, съ какой рисуются передъ вами дѣйствующія лица драмы. Они какъ живые стоятъ передъ вами, не расплываются, не стушевываются въ стереотипныя представленія деревенскихъ мужиковъ и бабъ, парней и дѣвокъ, а каждое вырисовывается передъ вами со всѣми своими достоинствами и недостатками и мельчайшими индивидуальными особенностями и врѣзывается въ вашу память навсегда.

Не менѣе замѣчательно знаніе деревенскаго быта до такихъ поразительныхъ мелочей, какъ напримѣръ то, что Анютка, въ четвертомъ дѣйствіи, нѣсколько разъ обзываетъ Анисью нянькой. Иной читатель сразу

и не догадается, о какой такой нянькѣ идетъ здѣсь рѣчь. Суть же въ томъ, что не только дѣти, но и взрослые въ деревняхъ называютъ няньками тѣхъ своихъ сестеръ или тетокъ, которыя ихъ нѣкогда нянчили. Авторъ не упустилъ и подобную микроскопическую подробность.

Наконецъ не мало подкупаетъ поклонниковъ драмы и то обстоятельство, что они ожидали отъ гр. Л. Толстого совсѣмъ иного отношенія къ народному быту. Они привыкли къ тому, что гр. Л. Толстой постоянно указывалъ въ послѣднихъ своихъ сочиненіяхъ на народныя массы, какъ на носителей тѣхъ идеаловъ, къ которымъ онъ предлагалъ стремиться людямъ своей среды, вспоминали типъ Каратаева, внушившій Пьеру Безухому просіяніе, и естественно ждали фальшивой идеализаціи народнаго быта, въ угоду излюбленнымъ тенденціямъ графа, и вдругъ нашли нѣчто совершенно противуположное: оказалось какъ нельзя болѣе неожиданно, что народная деревенская жизнь изображена въ драмѣ съ той же фотографической точностью и глубокой реальной правдивостью, съ какой изображается она въ послѣднее время у такихъ ея знатоковъ, какъ Гл. Успенскій. Какъ же было не увлечься такимъ обстоятельствомъ?

Порицателямъ же драмы болѣе всего не понравилось въ ней слишкомъ ужъ безцеремонная и въ то же время какъ будто предвзятая и совершенно излишняя грубость реализма. Зачѣмъ это на каждомъ шагу грязные онучи, сортиры, вонь, бранныя слова, выходящія изъ всѣхъ предѣловъ приличія, и въ концѣ концовъ убійство ребенка чуть-что не на самой сценѣ, и съ такими циническими подробностями, что у васъ морозъ подираетъ по кожѣ. Реализмъ—реализмомъ, говорятъ порицатели, но все-таки не надо забывать, что искусство имѣетъ свои предѣлы, передъ которыми оно обязано останавливаться во имя традиціонныхъ, тысячелѣтіями выработанныхъ законовъ изящнаго. Цѣль искусства заключается не въ томъ, чтобы терзать ваши нервы и доводить женщинъ до истерикъ. Оно имѣетъ свои эстетико-нравственныя задачи, выполнимыя безъ подобныхъ излишествъ и которымъ эти излишества даже вредятъ. Иначе во имя реализма остается допустить такія вещи, какъ сцены повѣшенія, отрубленія головы со всѣми ужасающими подробностями, потоками крови, предсмертными корчами, допустить наконецъ и Богъ вѣсть какія непотребства. Но такимъ путемъ легко дойти до древняго римскаго цирка и вмѣсто тѣхъ высоконравственныхъ и просвѣтительныхъ вліяній, какія мы требуемъ отъ сцены, обратить ее въ школу одичанія нравовъ и развитія въ толпѣ кровожадныхъ инстинктовъ.

Далѣе затѣмъ порицатели указываютъ на мистическую тенденцію, лежащую въ основѣ драмы, и на массу несообразностей (о нихъ рѣчь будетъ впереди), которыя прямо вытекаютъ изъ стремленія автора провести во что-бы то ни стало свою тенденцію.

Всѣ эти столь разнорѣчивые толки зависятъ, по моему мнѣнію, отъ тѣхъ элементовъ, которые мы найдемъ въ самой драмѣ гр. Л. Толстого. Они происходятъ все отъ того же разлада художника и мыслителя, который мы видѣли въ романѣ «Анна Каренина» и который здѣсь повторяется въ томъ же самомъ видѣ и съ тѣми же результатами. Какъ тамъ, такъ и здѣсь мыслитель тянетъ насъ въ одну сторону, а художникъ—совсѣмъ въ другую. Мыслитель проводитъ излюбленную свою тенденцію и дѣйствительно допускаетъ нѣкоторыя ни къ чему ненужныя излишества, искажаетъ нѣкоторые факты; художникъ же въ концѣ концовъ посрамляетъ мыслителя, торжествуетъ надъ нимъ и приводитъ читателя совершенно къ инымъ результатамъ.

Отсюда и вытекаетъ все разнорѣчіе въ сужденіяхъ о драмѣ гр. Л. Толстого. Тѣ, которые отправляются отъ тенденціи автора и смотрятъ, на сколько эта тенденція вѣрно проведена, истинна-ли она сама и къ какимъ прискорбнымъ излишествамъ приводитъ она автора,—конечно приходятъ къ отрицательнымъ выводамъ. Тѣ же, которые отстраняютъ тенденцію, какъ ненужную примѣсь, и къ тому-же примѣсь, совершенно посрамленную художникомъ, а обращаютъ вниманіе на торжествующее начало драмы, на ту поразительную картину, которую нарисовалъ намъ художникъ помимо своей воли и желанія, силою своего непосредственнаго творчества,—тѣ приходятъ отъ драмы въ восторгъ. Сообразно всему этому мы примемъ для нашего разбора драмы гр. Л. Толстого совершенно такой же планъ, какому мы слѣдовали при разборѣ «Анны Карениной». Сначала мы разсмотримъ что́ хотѣлъ гр. Л. Толстой изобразить, а затѣмъ обратимъ вниманіе на то, что́ онъ изобразилъ.

II.

Не можетъ быть и сомнѣнія, что, когда гр. Л. Толстой писалъ свою драму, онъ имѣлъ въ виду ни болѣе, ни менѣе, какъ провести въ ней все тѣ же излюбленныя идеи, которыя проводятся во всѣхъ его трактатахъ послѣдняго времени, начиная съ «Исповѣди» и кончая «Въ чемъ моя вѣра?». Объ этомъ можетъ свидѣтельствовать и самое заглавіе драмы, отъ котораго вѣетъ на васъ такимъ-же мистико-трагическимъ ужасомъ, какъ и отъ извѣстнаго эпиграфа къ «Аннѣ Карениной»: «Мнѣ отмщеніе, и азъ воздамъ».

Драма завязывается гораздо ранѣе перваго дѣйствія, въ которомъ она уже является передъ нами во всемъ разгарѣ. Она коренится въ томъ обстоятельствѣ, что мужикъ Петръ дѣлается настолько богатъ, что во-первыхъ онъ можетъ обходиться безъ труда, держа работника и пользуясь чужими руками, а во-вторыхъ ему ничего не стоитъ купить за деньги не только чужой трудъ, но и супружеское ложе. Такъ послѣ смерти первой жены Петръ женится на молоденькой дѣвушкѣ Анисьѣ, которую выдали за него конечно насильно, единственно ради того, что женихъ онъ очень выгодный, богатый. Неравный бракъ не замедлилъ истощить послѣднія силы человѣка уже пожилого, и вотъ въ началѣ перваго дѣйствія мы видимъ его болѣзненнымъ, раздражительнымъ, угасающимъ. Онъ сознаетъ ненормальность всего строя своей жизни. «Ужъ эти работники!—говоритъ онъ:—былъ бы здоровъ, ни въ жизнь бы не сталъ ихъ держать. Одинъ грѣхъ съ ними!»—но это сознаніе было уже и позднимъ, и праднымъ. Грѣхъ и болѣзнь до такой

степени опутали уже его, что не было никакой возможности возвращаться къ праведной жизни насущнаго труда. Оставалось только слѣпо идти по скользкому пути гибели, по какому волъ его поселившійся въ домѣ его демонъ въ видѣ денегъ.

Анисья между тѣмъ, женщина молодая, что называется, въ соку, всего 32 лѣтъ, легкомысленная щеголиха, любящая повеселиться и пожить, естественно ничего не можетъ питать къ старому, больному и капризному мужу, кромѣ ненависти. Она обходится съ нимъ грубо, зубъ за зубъ, называетъ его не иначе, какъ «гнилой чортъ носатый», и вступаетъ въ связь съ работникомъ, живущимъ въ ихъ домѣ, 25-тилѣтнимъ парнемъ Никитой.

Никита, какъ мы уже говорили объ этомъ, питерщикъ, щеголяющій своею умственностью и отборными столичными словечками. Въ то же время онъ—деревенскій сердцеѣдъ и бабникъ. Онъ конечно уже въ Питерѣ привыкъ ухаживать за кухарченками, и въ деревнѣ не упускаетъ изъ вида ни одной бабенки или дѣвки. «Люблю,— говоритъ онъ,—я этихъ бабъ, какъ сахаръ, а что меня бабы любятъ, я въ этомъ не причиненъ».

Не довольствуясь Анисьей, онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, сироту Марину. Отецъ его, трудящійся, какъ волъ, и богобоязненный крестьянинъ старыхъ завѣтовъ, требуетъ, чтобы сынъ прикрылъ грѣхъ свой бракомъ. Никита, при всемъ своемъ сластолюбіи, парень вовсе не жестокосердый, не особенно противится желанію отца. Съ одной стороны Анисья очевидно успѣла ему понадоѣсть, а съ другой стороны онъ по своей подленькой и малодушной натурѣ вполнѣ оправдывалъ извѣстную поговорку: «блудливъ, какъ кошка, трусливъ, какъ заяцъ», и ему не особенно пріятно улыбалась перспектива науки въ волостномъ въ случаѣ его сопротивленія.—«Уперся одинъ такой-то,—говоритъ онъ Анисьѣ въ свое оправданіе: такъ его въ волостной такъ вспрыснули. Очень просто. Тоже не хочется. Сказываютъ—щекотно»...

Но Анисья змѣей обвилась вокругъ своего возлюбленнаго и грозилась лишить себя жизни, если онъ женится на Маринѣ; если же онъ останется въ домѣ ихъ при ней, обѣщала выйти за него замужъ и сдѣлать его хозяиномъ богатаго дома. Въ то же время мать Никиты—Матрена, женщина хитрая, вкрадчивая, не останавливающаяся ни передъ какими средствами для достиженія цѣли и играющая въ пьесѣ роль Мефистофеля, склонительница на всѣ преступленія и пособница, является сторонницей Анисьи, желая, чтобы сынъ женился впослѣдствіи на богатой вдовѣ,—и чтобы ускорить этотъ бракъ, она передаетъ Анисьѣ ядъ для отравленія больного мужа, говоря при этомъ, что «это такое снадобье, что если давать пить—никакого духа нѣтъ, а сила большая: на семь разовъ, по щепоткѣ на разъ. До семи разовъ давай. И слобода тебѣ скоро откроется».

Порицатели драмы гр. Л. Толстого находятъ здѣсь первую несообразность. «Зачѣмъ было,—говорятъ они,—Матренѣ предлагать Анисьѣ ядъ для отравленія Петра, а Анисьѣ принимать его, когда очевидно было, что Петру, при его крайней болѣзненности, не долго оставалось коротать на бѣломъ свѣтѣ?»

Но, по моему мнѣнію, настоящій моментъ драмы обдуманъ гр. Л. Толстымъ въ надлежащей мѣрѣ. Дѣла стояли въ этотъ моментъ въ такомъ положеніи, что ни за одинъ день нельзя было ручаться. Съ одной стороны Акимъ, сегодня соглашаясь оставить Никиту попрежнему у Петра, завтра могъ передумать и снова настаивать на женитьбѣ сына. Съ другой стороны и Анисья, да и сама Матрена не могли разсчитывать на вѣтреную и шальную голову Никиты. Надо было спѣшить укрѣпить его въ домѣ Петра болѣе прочными узами. Между тѣмъ какъ ни былъ болѣзненъ Петръ, все-таки не настолько, чтобы смерть его предвидѣлась въ близкомъ будущемъ: онъ могъ протянуть и годъ, и два, и болѣе, а въ это время Богъ знаетъ что могло случиться. Надо было ковать желѣзо, пока оно было горячо, и ядъ являлся здѣсь какъ нельзя болѣе кстати.

III.

Второе дѣйствіе заключается именно въ отравленіи Петра. Сначала Анисья колеблется, даетъ ядъ самыми малыми дозами; ей непривычны, жутки, страшны эти первые шаги по преступной стезѣ.

— «О-о, головушка моя бѣдная!—говоритъ она Матренѣ:—И что дѣлать теперь, сама не знаю, и жутость беретъ,—помиралъ бы ужъ лучше самъ. Тоже на душу брать не хочется».

Но Матрена и тутъ является злой искусительницей, продолжая играть роль Мефистофеля въ юбкѣ. Опять на сцену выступаютъ деньги, которыя оказываются главными адскими пружинами во всѣхъ преступленіяхъ.—Прежде чѣмъ Петръ умретъ, оказывается дѣломъ первой важности овладѣть его капиталами, которые онъ неизвѣстно куда прячетъ. Тщетно обыскиваетъ Анисья всѣ углы. Между тѣмъ Петръ, чувствуя приближеніе смерти, посылаетъ за своей сестрой Маѳой, и является опасность, что онъ передастъ деньги ей. Тогда дѣло обостряется въ такой степени, что Анисьѣ только и остается, что или закатить Петру такую дозу яду, чтобы онъ сразу скончался до прихода Маѳы, или же проститься навсегда и съ деньгами Петра, и съ перспективою замужества за Никиту. Анисья рѣшается наконецъ на ужасное дѣло.

Въ третьемъ дѣйствіи Анисья является уже женой Петра, но бракъ этотъ конечно ужъ не приноситъ счастья любовникамъ, и надъ домомъ ихъ тяготѣетъ проклятіе. Никита, послѣ брака узнавшій отъ матери о преступленіи Анисьи, сразу охладѣваетъ къ ней. «И опостылѣла же она мнѣ,—говоритъ онъ,—съ этого разу. Какъ мнѣ мать сказала тогда, опостылѣла она мнѣ, не смотрѣли бы на нее глаза...» Онъ началъ пить и въ то же время связался съ Акулиной, дочерью покойнаго Петра отъ перваго брака.

Анисья знаетъ объ этой связи, но молчитъ и смотритъ сквозь пальцы. Какъ преступница, она совершенно оказывается въ рукахъ своего сообщника, который куражится надъ нею, какъ ему вздумается, а она безропотно все это переноситъ, въ страхѣ конечно, какъ бы не раздражить его и какъ бы въ гнѣвѣ онъ не проговорился. Глубокою психологической вѣр-

ностью отличается слѣдующая сцена пріѣзда пьянаго Никиты изъ города, куда онъ ѣздилъ съ Акулиной за полученіемъ процентовъ изъ банка, накупивши своей новой любовницѣ дорогихъ обновъ.

«Никита. Анисья, жена, кто пріѣхалъ? (*Анисья взглядываетъ и, отворачиваясь, молчитъ.*)

Никита (*грозно*). Кто пріѣхалъ? Аль забыла?

Анисья. Будетъ форсить-то. Иди.

Никита (*еще грознѣе*). Кто пріѣхалъ?

Анисья (*подходитъ и беретъ за руку*). Ну, мужъ пріѣхалъ. Иди въ избу-то.

Никита (*упирается*). То-то. Мужъ, а какъ звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья. Да ну тебя—Микитой.

Никита. То-то! Невѣжа—по отчеству говори.

Анисья. Акимычъ. Ну!

Никита (*все въ дверяхъ*). То-то. Нѣтъ, ты скажи фамилія какъ?

Анисья (*смѣется и тянетъ за руку.*) Чиликинъ. Эка надулся.

Никита. То-то. (*Удерживается за косякъ*). Нѣтъ, ты скажи, какой ногой Чиликинъ въ избу ступаетъ?

Анисья. Ну, буде—настудишь.

Никита. Говори, какой ногой ступаетъ? Обязательно сказать должна.

Анисья (*про себя*). Надоѣстъ теперь. Ну, лѣвой. Иди, что-ль.

Никита. То-то.»

Вслѣдъ затѣмъ слѣдуетъ сцена перебранки Анисьи съ Акулиной, не менѣе значительная, какъ тонкимъ психическимъ анализомъ, такъ и поразительнымъ знаніемъ народной жизни. Анисья подходитъ къ столу, чтобы приготовить чай, и видитъ разложенныя на немъ обновки Акулины.

«Анисья. Ну васъ, разложили.

Никита. Ты глянь-ка сюда.

Анисья. Что мнѣ глядѣть! Не видала я, что-ль? Убери ты. (*Смахиваетъ рукой на полъ полушальчикъ.*)

Акулина. Ты что швыряешься? Ты своимъ швыряй. (*Поднимаетъ.*)

Никита. Анисья! Мотри!

Анисья. Чего смотрѣть-то?

Никита. Ты думаешь, я тебя забылъ. Гляди сюда. (*Показываетъ свертокъ и садится на него.*) Тебѣ гостинецъ. Только заслужи. Жена, гдѣ я сяду?

Анисья. Будетъ куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что-жъ ты на чьи деньги гуляешь, да своей жирѣхѣ гостинцы куплянешь? На мои.

Акулина. Какже, твои! Украсть хотѣла, да не пришлось. Уйди ты! (*Хочетъ пройти, толкаетъ.*)

Анисья. Ты что толкаешься-то? Я-те толкону.

Акулина. Ну-ка, сунься. (*Напираетъ на нее.*)

Никита. Ну, бабы, бабы. Буде! (*Становится между ними.*)

Акулина. Тоже лѣзетъ. Молчала-бы, про себя-бы знала. Тоже лѣзетъ. Ты думаешь не знаютъ?

Анисья. Что знаютъ? сказывай, сказывай, что знаютъ?

Акулина. Дѣло про тебя знаю.

Анисья. Шлюха ты, съ чужимъ мужемъ живешь.

Акулина. А ты своего извела.

Анисья (*бросается на Акулину.*) Брешешь.

Никита (*удерживаетъ*). Анисья! Забыла?

Анисья. Чего стращаешь? Не боюсь я тебя.

Никита. Вонъ! (*Поворачиваетъ Анисью и выталкиваетъ.*)

Анисья. Куда я пойду? Не пойду я изъ своего дома.

Никита. Вонъ, говорю! И ходить не смѣй.

Анисья. Не пойду. (*Никита толкаетъ, Анисья плачетъ и кричитъ, цѣпляясь за дверь.*) Что-жъ это, изъ своего дома въ зашей гонятъ? Что-жъ ты, злодѣй дѣлаешь? Думаешь, на тебя и суда нѣтъ. Погоди-же ты!

Никита Ну, ну!

Анисья. Къ старостѣ, къ урядничку пойду!

Никита. Вонъ, говорю (*выталкиваетъ*).

Анисья (*изъ-за двери*). Удавлюсь!»

Однимъ словомъ, передъ вами развертывается самая мрачная картина полнаго семейнаго разлада. Отецъ Никиты, Акимъ, который навѣдался къ сыну какъ разъ въ эту минуту съ просьбой помочь въ нуждѣ, пришелъ въ такой ужасъ при видѣ всѣхъ этихъ возмутительныхъ сценъ, что отказался отъ предлагаемыхъ денегъ и не захотѣлъ оставаться у него пить чай и ночевать.

«Акимъ (*снимаетъ и надѣваетъ шубу. Подходитъ къ столу, кладетъ на него бумажку*). На—деньги твои. Прибери.

Никита (*не видитъ бумажки*). Куда собрался одѣвши-то?

Акимъ. А пойду, пойду я, значитъ, простите. Христа ради. (*Беретъ шапку и кушакъ.*)

Никита. Вотъ-те на. Куда пойдешь-то ночнымъ дѣломъ?

Акимъ. Не могу я, значитъ, тае, въ вашемъ домѣ, тае, не могу, значитъ, быть, быть не могу, простите.

Никита. Да куда-же ты отъ чаю-то?

Акимъ (*подпоясывается*). Уйду, потому, значитъ, не хорошо у тебя, значитъ, тае, нехорошо, Микишка въ домѣ, тае нехорошо. Значитъ, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.

Никита. Ну, буде толковать, садись чай пить.

Анисья. Что-жъ это, батюшка, передъ людьми стыдно будетъ. На что-жъ ты обижаешься?

Акимъ. Обиды мнѣ, тае, никакой нѣтъ, обиды нѣтъ, значитъ, а только, что, тае, вижу я, значитъ, что къ погибели, значитъ, сынъ мой, къ погибели сынъ значитъ.

Никита. Да какая погибель? ты докажь.

Акимъ. Погибель-то, погибель, весь ты въ погибели. Я тебѣ лѣтось что говорилъ?

Никита. Да мало ты что говорилъ.

Акимъ. Говорилъ я тебѣ, тае, про сироту, что обидѣлъ ты сироту Марину, значитъ, обидѣлъ.

Никита. Экъ помянулъ. Про старыя дрожжи не поминать дважды, то дѣло прошло.

Акимъ (*разгорячась.*) Прошло? Нѣ, братъ, это не прошло. Грѣхъ, значитъ, за грѣхъ цѣпляетъ, за собой тянетъ, и завязъ ты, Микишка, въ грѣхѣ. Завязъ ты, смотрю, въ грѣхѣ. Завязъ ты, погрузъ ты, значитъ.

Никита. Садись чай пить и разговоръ весь.

Акимъ. Не могу я, значитъ, тае, чай пить. Потому отъ скверны отъ твоей, значитъ, тае, гнусно мнѣ, дюже гнусно. Не могу я, тае, съ тобой чай пить.

Никита. И... канителитъ. Иди къ столу-то.

Акимъ. Ты въ богатствѣ, тае, какъ въ сѣтяхъ, въ сѣтяхъ ты, значитъ. Ахъ, Микишка, душа надобна!

Никита. Какую ты имѣешь полную праву въ моемъ домѣ меня упрекать? Да что ты въ самомъ дѣлѣ присталъ? Что я тебѣ мальчикъ дался за виски драть? Нынче ужъ это оставили

Акимъ. Это точно, слыхалъ я нынче, что и тае, что и отцовъ за бороды трясутъ, значитъ, да на погибель это, на погибель, значитъ.

Никита (*сердито*). Живемъ, у тебя не просимъ, а ты-жъ къ намъ пришелъ съ нуждой.

Акимъ. Деньги? Деньги твои вонъ онѣ. Побираться, значитъ, пойду, а не тае, не возьму, значитъ.

Никита. Да буде. И что серчаешь, компанію разстраиваешь. (*Удерживаетъ за руку.*)

Акимъ (*взвизгиваетъ*). Пусти, не останусь. Лучше подъ заборомъ переночую, чѣмъ въ пакости въ твоей. Тьфу, прости Господи! (*Уходитъ.*)»

IV.

Мы нарочно такъ долго остановились на третьемъ дѣйствіи и привели изъ него такъ много выписокъ, что это дѣйствіе представляется самымъ лучшимъ во всей драмѣ, наиболѣе естественнымъ, характернымъ и художественно-обработаннымъ. Далѣе-же затѣмъ мы вступаемъ въ мрачную область преувеличеній, натяжекъ и полныхъ искаженій дѣйствительности ради того, чтобы подогнать ее къ проводимой тенденціи.

Такъ напримѣръ, въ четвертомъ дѣйствіи развертывается передъ вами рядъ ужасающихъ сценъ новаго преступленія героевъ драмы,—именно убійства ребенка Акулины, прижитаго ею съ Никитою. Здѣсь приходится выдать гр. Л. Толстого порицателямъ его драмы съ головой и нѣтъ никакой возможности защитить его отъ ихъ нападокъ. Дѣйствительно, здѣсь одна несообразность ведетъ за собой другую, и надуманность, искусственность всѣхъ этихъ несообразностей мечутся вамъ въ глаза. Такъ, для васъ совершенно непонятно, какъ это—въ то время, какъ вся деревня знала о беременности Акулины, да и не могла не знать, такъ какъ въ деревнѣ, гдѣ не носятъ ни корсетовъ, ни кринолиновъ, ни турнюровъ, трудно скрыть беременность дѣвушки,—и вдругъ одни сваты, пріѣхавшіе свататъ Акулину, ничего объ этомъ не знали! А если знали, и все-таки сватали, имѣя въ виду богатое приданое Акулины, то какой смыслъ имѣетъ слѣдующая сцена:

«Сватъ (*одинъ выходитъ изъ сѣней, икаетъ*). Упарился. Жарко страсть. Простудиться маленько. (*Стоитъ, отдувается.*) И Богъ ее знаетъ какъ... что-то не того, не радуетъ... Ну, да какъ старуха ..

Матрена (*выходитъ изъ сѣней-же*). А я смотрю: гдѣ сватъ? гдѣ сватъ? А ты, родной, во гдѣ... Ну, что-жъ, родимый, слава тѣ Господи, все честь честью. Свататъ не хвастать. А я хвастать и не училась. А какъ пришли вы за добрымъ дѣломъ, такъ, дастъ Богъ, и вѣкъ благодарить будете. А невѣста-то, вѣдаешь, на рѣдкость. Такой дѣвки въ округѣ поискать.

Сватъ. Оно такъ, да на счетъ денегъ не смогать-бы?

Матрена. А на счетъ денегъ не толкуй. Что ей отъ родителей награжденіе было, все при ней. По нынѣшнему времени, легко ли: три полста.

Сватъ. Мы и не обижаемся, а свое все дѣтище. Какъ получше хочется.

Матрена. Я тебѣ, сватъ, истинно говорю: кабы не я, въ жизнь бы тебѣ не найти. У нихъ отъ Кормилиныхъ тоже засылка была, ужъ я застояла. А насчетъ денегъ—вѣрно сказываю, какъ покойный, царство небесное, помиралъ, такъ и приказывалъ, чтобъ въ домъ вдова Микиту приняла, потому мнѣ чрезъ сына все извѣстно, а денежки, значитъ, Акулинѣ. Вѣдь другой бы покорыствовался, а Микита все до чиста отдаетъ. Легко ли, деньжищи какія.

Сватъ. Народъ болтаетъ, денегъ больше за ней приказано. Малый-то тоже проворъ.

Матрена. И... голубчики бѣлые. Въ чужихъ рукахъ ломоть великъ; что было, то и даютъ. Я тебѣ сказываю, ты всѣ четки брось. Закрѣпляй тверже. Дѣвка-то какая, какъ бобочекъ хорошая.

Сватъ. Оно такъ. Мы одно съ бабой мекаемъ насчетъ дѣвки-то: — что-жъ не вышла? Думаемъ, что-жъ какъ хворая?

Матрена. И-и... Она-то хворая? Да противъ ней въ округѣ нѣтъ. Дѣвка, какъ литая—не ущипнешь. Да вѣдь ты намедни видѣлъ. А работать—страсть! Съ глушинкой она, это точно. Ну, да червоточинка красному яблочку на покоръ. А что не вышла-то, это, вѣдашь, съ глазу. Сдѣлано надъ ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, вѣдашь, что сговоръ, ну, и напущено. Да я отговоръ знаю. Завтра встанетъ дѣвка. Ты насчетъ дѣвки не сумлевайся.

Сватъ. Да что-же—дѣло полажено.

Матрена. То-то, ты ужъ того, и не пятся. Да меня не забудь. Хлопотала я тоже. Ужъ ты не оставь...»

А затѣмъ надо-же было случиться, чтобы Акулинѣ пришлось рожать какъ-разъ въ тотъ моментъ, какъ пріѣхалъ свататъ сватъ.

Но допустимъ это, какъ случайное совпаденіе. Далѣе затѣмъ, къ чему понадобилось героямъ нашимъ новое преступленіе въ видѣ убійства ребенка? Что помѣшало имъ снести младенца въ городъ въ воспитательный, что и предлагалъ Никита? Ну, а если бабы рѣшились на это страшное дѣло, чтобы поскорѣй, не откладывая въ долгій ящикъ, спрятать концы въ воду, то развѣ не было въ ихъ рукахъ совершить убійство гораздо проще, чѣмъ они это сдѣлали? Вѣдь бабкѣ ничего не стоитъ только-что рожденнаго младенца не допустить даже и вскрикнуть, и вынесли-бы онѣ Никитѣ трупикъ, заявивши, что младенецъ родился мертвымъ. Нѣтъ, гр. Л. Толстому непремѣнно захотѣлось, чтобы Никита чуть-что не передъ глазами публики нажалъ живого младенца доской и сѣлъ на нее, чтобы косточки захрустѣли. Очень понятно, для чего гр. Л. Толстому понадобились эти отвратительныя по своимъ подробностямъ, мучительныя сцены. Необходимо было, чтобы послѣднее преступленіе героевъ производило самое ужасающее впечатлѣніе, и чтобы такимъ образомъ вполнѣ оправдывалось заглавіе драмы, что увязъ коготокъ и вся птичка попалась. Необходимо было, чтобы Никита этимъ преступленіемъ былъ окончательно подавленъ, чтобы хрустѣнье косточекъ и предсмертный писк младенца мерещились ему денно и нощно, не давали ему житья, чтобы совѣсть до такой степени истерзала его, чтобы онъ готовъ былъ на самой свадьбѣ Акулины, при многочисленномъ собраніи чуть не всей деревни, встать на колѣни и каяться во всѣхъ содѣянныхъ преступленіяхъ.

Вообще трудно себѣ представить болѣе искусственнаго, дѣланнаго и мелодраматичнаго, какъ все пятое дѣйствіе, написанное какъ разъ въ угоду проводимой тенденціи. Въ балаганной-же сценѣ покаянія не достаетъ только звона колоколовъ и какой-нибудь херувимской пѣсни въ воздухѣ, или чтобы невидимо присутствующая власть тьмы, при видѣ покаянія грѣшника, съ зубовнымъ скрежетомъ провалилась-бы сквозь полъ, сопровождаемая адскимъ пламенемъ.

Я нисколько не удивляюсь, что простые люди, которымъ, по разсказамъ, была прочтена драма, замѣтили, что въ сценѣ публичнаго покаянія Никита какъ будто «сбрендилъ». Это мнѣніе вытекаетъ вовсе не изъ какой-либо нравственной тупости и неразвито-

сти не понимающихъ, какъ это можно признаваться въ содѣянномъ преступленіи и подвергаться уголовнымъ карамъ добровольно. Здѣсь мы видимъ скорѣе всего инстинктивное чутье, что вся эта сцена неестественна, что въ жизни такъ не бываетъ. И дѣйствительно, начать съ того, что совершенно не въ характерѣ русскаго человѣка, при его скромности и застѣнчивости, публичныя манифестаціи вродѣ покаяній на колѣняхъ передъ всѣмъ міромъ. Онъ если и рѣшится на что-нибудь подобное, то попросту пойдетъ въ волостное правленіе и тамъ признается первому попавшемуся, старостѣ или сотскому. Въ особенности-же трудно ожидать покаянія отъ Никиты: это—натура слишкомъ малодушная, трусливая и дрянная, чтобы быть способной на подобный во всякомъ случаѣ подвигъ. Совсѣмъ иначе долженъ онъ проявлять себя послѣ всѣхъ совершенныхъ имъ преступленій, и совсѣмъ въ иномъ родѣ представляется естественный финалъ драмы,—финалъ, вполнѣ ясно раскрывающійся передъ нами въ третьемъ дѣйствіи: Уже тогда, какъ мы видѣли, Никита сталъ покучивать, охладѣлъ къ Анисьѣ и началъ куражиться надъ ней. Послѣ новаго преступленія жена окончательно должна была ему опротивѣть. Въ то-же время Никитѣ, терзаемому совѣстью и жаждущему забыться, только и оставалось, что начать пить мертвую чашу, все таща изъ дому. Начались-бы ежедневныя сцены семейнаго раздора, еще болѣе ужасающія, чѣмъ въ третьемъ дѣйствіи, сцены кровавыхъ потасовокъ,—и кончилось-бы дѣло тѣмъ, что или въ одну изъ такихъ потасовокъ Никита довершилъ-бы свои преступленія, исколотивши Анисью до смерти, или она, не въ силахъ будучи выносить долѣе подобной жизни, пошла-бы въ волостное жаловаться на мужа,—и тутъ въ дикомъ озлобленіи другъ на друга они открыли-бы всѣ свои преступленія. Деревенскія семейныя драмы по большей части кончаются именно такимъ образомъ: запоемъ, разореніемъ, побоищами на смерть и волостнымъ судомъ, на которомъ разомъ всплываютъ такіе ужасы, что волосы встаютъ дыбомъ у слушателей.

Къ числу такихъ-же предвзятыхъ, надуманныхъ частностей, занимающихъ въ драмѣ мѣсто единственно ради проведенія излюбленныхъ тенденцій гр. Л. Толстого, принадлежатъ и такія вещи, какъ наивные разговоры Акима съ Митричемъ о банкахъ или о городскихъ ватерклозетахъ, возбуждающіе въ читателяхъ невольную улыбку. Наконецъ къ чему понадобились гр. Л. Толстому всѣ эти грязныя онучи, ковырянья мозолей на ногахъ и оснащеніе рѣчей дѣйствующихъ лицъ почти что непечатными словами? Это тоже неспроста. Гр. Л. Толстой выражаетъ въ этомъ свой протестъ противъ того *изящнаго* искусства, которое существуетъ для изысканнаго меньшинства, услаждаетъ изысканныя чувства однимъ прекрасными образами, избѣгая всего, что могло бы, какъ бы то ни было, покоробить или оскорбить чопорныхъ любителей эстетическихъ наслажденій, и въ то-же время ни къ чему не ведетъ, какъ лишь къ развитію чувственности. Въ противоположность этому искусству для меньшинства, гр. Л. Толстой создаетъ новое искусство для народа, не боящееся глядѣть правдѣ жизни прямо въ глаза, не прикрашивающее жизнь, а изображающее ее во всей ея грязи, съ вонью, онучами, мозолями и непечатными словами.

Если хотите, это имѣетъ свою долю основанія, но лишь тогда, когда художникъ изображаетъ правду жизни безхитростно, не задаваясь при этомъ никакими стремленіями удивить читателей пахучимъ букетомъ этой правды. Въ такомъ случаѣ непосредственное художественное чутье подскажетъ автору мѣру, переходя которую правда перестаетъ быть правдой. Въ самомъ дѣлѣ, какая-же правда въ томъ, что авторъ начнетъ нагромождать сальность на сальность нарочно для того, чтобы рисоваться передъ нами свободой отъ великосвѣтской щепетильности? Это крайность противъ крайности—и больше ничего.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ предвзятыхъ излишностей, равно какъ искусственности и надуманности сюжета, драма не производитъ на насъ и тѣни того впечатлѣнія, на которое разсчитывалъ авторъ.—Зрители нисколько не убѣждаются въ томъ, чтобы дѣйствительно стоило увязнуть ноготку—и всей птичкѣ пропасть, и проникаются подобной азбучной сентенціей въ гораздо меньшей степени, чѣмъ слушая старинныя французскія мелодрамы, вродѣ «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока», гдѣ подобныя-же сентенціи проведены съ большимъ блескомъ, трескомъ и раздирательными эффектами. Въ концѣ концовъ драма гр. Л. Толстого производитъ на насъ такое впечатлѣніе, что какъ будто авторъ самъ не особенно глубоко вѣритъ въ то, что берется доказать намъ, и относится къ своей задачѣ съ непобѣдимой холодностью, напоминая тѣхъ художниковъ новѣйшихъ временъ, которые берутся за религіозные сюжеты, не въ силахъ будучи внести въ свои картины ни одной капли того религіознаго энтузіазма и той сердечной теплоты, которыми проникнуты были безхитростно, но глубоко вѣрующіе художники прежняго времени.

При всѣхъ этихъ условіяхъ драма гр. Л. Толстого была-бы произведеніемъ, лишеннымъ всякаго смысла, еслибы не нашелся въ ней иной смыслъ, который высказался самъ собой, помимо сознанія автора, въ силу глубокой реальной правды образовъ пьесы, и этотъ смыслъ совершенно заслоняетъ собой азбучную мораль драмы, заставляетъ васъ забыть о ней. Драма дѣйствительно производитъ на васъ потрясающее впечатлѣніе, но совсѣмъ не тѣмъ, на что разсчитывалъ авторъ.

V.

«*Власть тьмы*»! Думалъ-ли гр. Л. Толстой, когда далъ такое заглавіе своей пьесѣ, что этимъ заглавіемъ онъ исчерпываетъ весь глубокій и таинственный смыслъ своей драмы? Судя по всѣмъ его идеямъ послѣдняго времени, можно думать, что подъ властью тьмы авторъ разумѣетъ власть сатаны, ада. Между тѣмъ вся драма отъ первой страницы до послѣдней словно вопіетъ передъ вами: смотрите, какая тьма непроглядная вокругъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ драмы; они совсѣмъ во власти этой тьмы; они бродятъ въ ней, совершенно растерянные, словно не люди, а ночные лѣсные звѣри. Свѣту, свѣту побольше, знанія,

иначе они кончатъ тѣмъ, что взаимно переѣдятъ другъ друга!

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ только жизнь, лишенную всякихъ духовныхъ радостей и наслажденій, какихъ-бы ни было, религіозныхъ, умственныхъ, эстетическихъ: церковь верстъ за пятнадцать, а вблизи ни душеспасительнаго слова, ни книги, которая наставляла-бы, какъ жить, и научала; или каторжная страда, или кабакъ. Прибавьте къ этому жизнь въ тѣсныхъ, душныхъ помѣщеніяхъ съ телятами и овцами, причемъ всѣ члены семьи спятъ чуть не въ повалку въ одной избѣ, что само по себѣ располагаетъ ко всякаго рода грѣховнымъ сближеніямъ и кровосмѣшеніямъ. А далѣе затѣмъ вы видите рабскую зависимость отъ первой непогоды, градобитія, падежа: не во время станетъ зима или весна запоздаетъ,—и разомъ можетъ рушиться благосостояніе, нажитое годами кроваваго труда. Отсюда какъ нельзя болѣе понятна жадность мужика къ деньгамъ: не къ богатству, а именно къ деньгамъ, къ грошамъ, къ каждой копѣйкѣ. Въ деньгахъ мало-мальски умственный мужикъ видитъ единственное спасеніе и обезпеченіе отъ всѣхъ градобитій и неурожаевъ, и вотъ ради снискания денегъ, если представляется случай, умственные крестьяне готовы на все: женить сына на развратной дѣвкѣ, ограбить на дорогѣ купца, отравить стараго мужа, чтобы воспользоваться благосклонностью молодой вдовы, зарыть живымъ младенца, если онъ стоитъ на пути хозяйственныхъ разсчетовъ,—все это ни почемъ оказывается, лишь-бы хотя часокъ вздохнуть сознаніемъ обезпеченности.

Глубокая иронія скрывается въ драмѣ гр. Л. Толстого въ томъ обстоятельствѣ, что единственная вполнѣ добродѣтельная личность въ пьесѣ, богобоязненный мужикъ Акимъ,—является въ то-же время какимъ-то полуидіотомъ, который едва можетъ связать два-три слова, и то черезъ каждое слово повторяя: *тае* да *тае*. Вы такъ и видите въ этомъ Акимѣ яремнаго вола, безпрекословно подчиненнаго *власти земли*, и изъ этого слѣпого, безсмысленнаго подчиненія, совершенно согласно теоріи Гл. Успенскаго, проистекаетъ вся добродѣтель Акима, вся вѣрность священнымъ дѣдовскимъ традиціямъ. Всѣ-же остальныя дѣйствующія лица—люди умственные, но вся ихъ умственность проявляется исключительно въ щегольствѣ городскими нарядами, гармоникахъ, хересахъ и необузданной страсти къ наживѣ какими-бы то ни было средствами.

Замѣтьте къ тому-же вотъ еще какое обстоятельство: вы видите въ драмѣ гр. Л. Толстого, что преобладающую роль во всѣхъ поступкахъ дѣйствующихъ лицъ играютъ женщины: отъ нихъ идетъ инициатива всѣхъ преступленій, и онѣ по своей волѣ распоряжаются всѣмъ мужскимъ персоналомъ драмы. Даже добродѣтельный Акимъ находится подъ башмакомъ у своей Матрены, и не только не въ силахъ помѣшать ей сѣять зло, но вполнѣ подчиняется ея злой волѣ, и Матрена даже бахвалится въ первомъ дѣйствіи передъ Анисьей: «Ихъ, дураковъ, ягодка, все такъ-то манить надо. Все въ согласьи, какъ будто. А до чего дѣло дойдетъ, сейчасъ на свое и повернешь. Баба, вѣдаешь, съ печи летитъ, семьдесятъ семь думъ передумаетъ»...

Такимъ образомъ вмѣсто «власть тьмы» можно было-бы вполнѣ вѣрно озаглавить драму «власть бабъ». Но въ томъ-то и дѣло, что эта власть бабъ является сугубо властью тьмы, потому что если деревенскіе мужики бродятъ въ потемкахъ, то бабы, помыкающія ими, еще того болѣе, и въ четвертомъ дѣйствіи вы встрѣчаете замѣчательный діалогъ бывалаго солдата Митрича съ дѣвочкою-подросткомъ Анюткой,—діалогъ, бросающій яркій свѣтъ на внутренній смыслъ драмы.

«Анютка. До десяти годовъ все младенецъ, душа къ Богу може еще пойдетъ, а то вѣдь изгадишься.

Митричъ. Еще какъ изгадишься-то! Вашей сестрѣ какъ не изгадиться? Кто васъ учитъ? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гаусность одну. Я хоть немного ученъ, а кое-что да знаю, не твердо, а все не какъ деревенская баба. Деревенская баба что? Слякоть одна. Вашей сестры въ Россіи большіе милліоны, а всѣ, какъ кроты сонные,—ничего не знаете. Какъ коровью смерть онахивать, привороты всякіе, да какъ подъ насѣстъ ребятъ носить къ курамъ—это знаютъ.

Анютка. Матушка и то носила.

Митричъ. А то-то и оно-то. Милліоновъ васъ сколько бабъ да дѣвокъ, а всѣ какъ звѣри лѣсные. Какъ выросла, такъ и помретъ. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужикъ, тотъ хоть въ кабакѣ, а то и въ замкѣ, случаемъ, али въ солдатствѣ, какъ я, узнаетъ кое-что. А баба что? Она не то, что про Бога, она и про пятницу-то не знаетъ толкомъ, какая такая? Пятница, пятница, а спроси, какая—она, и не знаетъ. Такъ, какъ щенята слѣпые ползаютъ, головами въ навозъ тычатся... Только и знаютъ пѣсни свои дурацкія: го-го, го-го.. А что го-го?—сами не знаютъ...

Анютка. А я, дѣдушка, Вотчу до половины знаю.

Митричъ. Знаешь ты много! Да и спросить съ васъ тоже нельзя. Кто васъ учитъ? Только пьяный мужикъ поучитъ когда возжами. Только и ученья. Ужъ и не знаю, кто за васъ отвѣчать будетъ. За рекрутовъ такъ съ дядьки или старшаго спросятъ. А за вашу сестру и спросить не съ кого. Такъ, безпастушная скотина озорная самая, бабы эти—самое глупое ваше сословіе. Пустое самое ваше сословіе.

Анютка. А какъ-же быть-то?

Митричъ. А такъ и быть... Завернись съ головой и спи. О, Господи!..»

Однимъ словомъ, драма гр. Л. Толстого производитъ на васъ ужасающее и потрясающее впечатлѣніе, но вовсе не въ силу творящихся въ ней грѣховъ и преступленій. Тутъ нѣтъ злодѣевъ и негодяевъ, которые возмущали-бы васъ и приводили въ негодованіе. Передъ вами просто рядъ дикарей, которые руководятся одними слѣпыми инстинктами и стихійной игрой неосмысленныхъ страстей и похотей, которые и въ самыхъ своихъ добродѣтеляхъ, равно какъ и въ порокахъ, повинуются импульсамъ чисто зоологическаго характера и дѣйствуютъ въ потемкахъ, не вѣдая, что творятъ. И если подумать, что такихъ дикарей десятки милліоновъ, живущихъ совершенно такой-же жизнью, какой жили предки ихъ при Гостомыслѣ, морозъ по кожѣ подереть.

ПѢСНИ О ЖЕНСКОЙ НЕВОЛѢ.

Полное собраніе сочиненій Ю. В. Жадовской, посмертное изданіе, въ 3 томахъ. Спб. 1885.

I.

Въ произведеніяхъ Ю. В. Жадовской конечно нельзя найти такого яркаго таланта, какъ у ея младшихъ современницъ—В. Крестовскаго (псевдонима) и Марко-Вовчка; скромное имя ея отступаетъ передъ этими видными литературными именами. Многимъ покажется даже, что отъ произведеній ея вѣетъ какой-то стародавней стариной. И дѣйствительно, хотя Жадовская умерла лишь въ 1883 году, имя ея напоминаетъ намъ что-то очень давнишнее, тѣ достопамятныя времена, когда по всей Руси скакали еще ухарскія тройки, а на тройкахъ красовались трехъ-аршинные фельдъегеря, когда богатые помѣщики задавали еще волшебныя празднества, на которыя съѣзжались цѣлые уѣзды, когда ни о какихъ вопросахъ никому и не снилось, и дѣвушки шли не на курсы, а прямо замужъ, да и то не шли, а выдавались.

Но какъ-бы ни уступала по размѣру таланта Жадовская своимъ знаменитымъ современницамъ, имя ея не будетъ забыто, и произведенія ея, въ связи съ жизнью писательницы, всегда будутъ имѣть свой особенный интересъ, какъ весьма характерный памятникъ вѣка. Дѣло въ томъ, что упомянутыя именитыя современницы Жадовской шли вмѣстѣ съ прочими выдающимися беллетристами 40-хъ и 50-хъ годовъ впереди своего вѣка, вели за собой молодыя поколѣнія, учили ихъ, и уже этимъ однимъ занимали совершенно исключительное положеніе въ ряду культурныхъ женщинъ своего времени. Онѣ изображали судьбу этихъ женщинъ съ точки зрѣнія самыхъ передовыхъ идей, какъ нѣчто давно ими пережитое и для нихъ совершенно постороннее. Не такова была Жадовская. Она стояла на уровнѣ массы образованныхъ обыкновенныхъ женщинъ своего времени, отличаясь отъ нихъ лишь нѣсколько большею начитанностью и литературной способностью. Раздѣляя судьбу этихъ женщинъ, она испытала и всѣ тѣ горькія превратности, какія висѣли дамокловымъ мечомъ надъ ихъ головами, и къ тому-же превратности эти пришлось испытать ей въ самомъ рѣзкомъ и остромъ видѣ. А такъ какъ, при крайней субъективности своего таланта, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ она изображала одну и ту-же героиню,—самое себя, то произведенія эти и любопытны именно, какъ непосредственное и наивное изображеніе судьбы средней культурной женщины до-реформеннаго времени. Но этого мало сказать—изображеніе,—такъ какъ передъ нами не поэтическіе вымыслы, болѣе или менѣе близкіе къ дѣйствительности, а, какъ есть, сама дѣйствительность, которую мы осязаемъ въ лицѣ сочинительницы, составляющей нѣчто одно нераздѣльное съ своими произведеніями.

Въ то-же время, читая эти произведенія, мы видимъ, какими медленными, тяжелыми шагами и съ какими тяжкими усиліями женщина выбивалась изъ той трясины зависимости, безличности, въ которой она тонула, какъ трудно было бороться ей не только съ окружающими ее условіями, но и съ самой собою, съ тѣми предразсудками, въ духѣ которыхъ она была воспитана вѣками. И въ самомъ дѣлѣ, въ лицѣ Жадовской, съ ея скромными произведеніями, передъ нами является весьма умная, талантливая и въ то-же время глубоко несчастная женщина. Вся жизнь ея была задавлена и загублена самымъ грубымъ и безчеловѣчнымъ образомъ, и лишь цѣной этого горькаго опыта подъ-конецъ уже жизни она додумалась до первыхъ элементарныхъ понятій женской свободы, хотя-бы только въ выборѣ мужа. Такимъ образомъ передъ нами развертывается картина постепеннаго, органическаго наростанія такъ-называемаго женскаго вопроса, и мы убѣждаемся, что вопросъ этотъ вовсе не явился сразу и ex abrupto, навѣянный со стороны, а логически и неизбѣжно вытекъ изъ самой нашей жизни вмѣстѣ съ другими насущными вопросами 60-хъ годовъ.

II.

По происхожденію своему, Ю. В. Жадовская принадлежала къ среднему дворянскому сословію. Отецъ ея служилъ сначала во флотѣ, потомъ состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій при ярославскомъ губернаторѣ и наконецъ предсѣдателемъ ярославской гражданской палаты. Мать, Александра Ивановна Готовцева, тоже дворянскаго происхожденія, прожила въ замужествѣ всего три года и оставила по себѣ двухъ дѣтей—дочь Юлію и сына Павла. Юлія родилась 29 іюня 1824 года въ родовомъ имѣніи отца, сельцѣ Субботинѣ, Любимскаго уѣзда, Ярославской губерніи. Отъ самаго рожденія на ней лежала печать горя. Дѣвочка родилась калѣкою и, къ довершенію всего, осиротѣла, лишившись матери, когда ей не было еще и двухъ лѣтъ.

Оставшись вдовцомъ, отецъ Жадовской поспѣшилъ повидимому отдѣлаться отъ дѣтей. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что сынъ Павелъ былъ отвезенъ въ Москву, въ первый кадетскій корпусъ (это двухлѣтній-то ребенокъ!); трехъ-лѣтняя-же дѣвочка Юлія была взята на попеченіе родной бабкой съ материнской стороны, Настасьей Петровной Готовцевой, которая и перевезла внучку въ свое родовое помѣстье, село Полежаново, находящееся въ двадцати верстахъ отъ уѣзднаго городка Буя.

Въ своемъ романѣ «Въ сторонѣ отъ большого свѣта», имѣющемъ автобіографическій характеръ, Жадовская такими чертами характеризуетъ свою обо-

жаемую бабушку, добрую и простодушную захолустную помѣщицу начала нынѣшняго столѣтія:

«Она до старости сохранила въ душѣ чувствительность и заливалась слезами надъ произведеніями Августа Лафонтена и другихъ чувствительныхъ писателей и съ трепетомъ слѣдила за ужасами «Удольфскихъ таинствъ.» Но эта чувствительность не распространялась у ней на все безъ разбора, кстати и не кстати. Въ практической жизни бабушка была добрая хозяйка, любившая хорошо покушать и напиться кофею по утру. Она не была тѣмъ, что называютъ образованной, и не имѣла на это никакихъ претензій; воспитываясь у своей бабушки, она одна изъ всего семейства не знала французскаго языка; но во многихъ случаяхъ обнаруживала умъ ясный и практическій. Она не любила задавать тону, то есть казаться выше того, что есть, но любила, чтобы все у нея было хорошо, чтобы сосѣдка, уѣзжая съ ея обѣда, говорила: «какой прекрасный столъ у Авдотьи Петровны! Когда ни заѣзжай, голодна не будешь...»

«Какъ теперь гляжу на эту добрую старушку: темный капотъ и бѣлая косынка на головѣ, повязанная «маленькой головкой», составляли ея будничный нарядъ. Чепцовъ она не любила, потому что они закрывали ей уши и усиливали глухоту, и оттого чепецъ являлся на ея головѣ только по воскресеньямъ или по случаю какого-нибудь рѣдкаго визита дальнѣйшей, богатой сосѣдки. Въ воскресенье и праздники старушка облекалась какой-то торжественностью и особеннымъ достоинствомъ, но эта торжественность продолжалась только до обѣда; послѣ обѣда которая-нибудь изъ сосѣдокъ говорила: «Что это вы, родная, не изволите снять чепчика?» Старушка всегда съ радостью принимала подобное предложеніе, и голова ея снова красовалась въ бѣлой косынкѣ...»

«Появленіе мое въ домѣ бабушки,—говоритъ далѣе Жадовская,—принесло ей большую радость. Я была новымъ звеномъ, привязывавшимъ ее къ землѣ. Она теперь имѣла право, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, желать продолженія жизни, потому что эта жизнь нужна была маленькому существу, отданному ея покровительству. Воспитаніе мое... но у меня не было того, что называется воспитаніемъ. Я не знала гувернантокъ; бабушка терпѣть ихъ не могла. Русской грамотѣ я выучилась еще на пятомъ году, съ пяти лѣтъ пристрастилась къ чтенію и до пятнадцати ничему больше не училась. Въ то-же время я выучилась и писать самымъ оригинальнымъ образомъ. Малюткой я копировала сперва печатныя буквы, потомъ стала подражать почерку нѣсколькихъ старинныхъ писемъ и бумагъ, хранившихся въ незапертомъ сундукѣ, въ углу диванной; мнѣ было позволено разбирать ихъ съ тѣмъ, чтобы, насмотрѣвшись, я снова уложила ихъ въ прежнемъ порядкѣ. Если удавалось мнѣ написать нѣсколько уродливыхъ строчекъ, я съ восторгомъ показывала ихъ бабушкѣ, которая иногда замѣчала, что «азы» у меня точно пьяные, покачнулись на-бокъ, или «червь» похожъ на крючокъ; но тутъ-же цѣловала меня и прибавляла, что если я буду стараться, то выучусь писать скоро и хорошо.

«Я ѣла съ бабушкой по средамъ и пятницамъ постное; вставала съ ней къ заутрени и вообще восхищала всѣхъ тѣмъ, что была, какъ большая. Такъ какъ я была слабый, худенькій ребенокъ, то бабушка всю зиму держала меня безвыходно въ комнатѣ, какъ говорятъ, въ хлопкахъ, что не мѣшало мнѣ простужаться и хворать. Тогда заботамъ и огорченіямъ доброй старушки не было конца: поднималась вся домашняя аптека: мнѣ обкладывали голову листами соленой капусты, поили мятой, и только въ крайнихъ случаяхъ давали огуречнаго разсолу. Бабушка не вѣрила докторамъ, да, правда, въ деревнѣ по-неволѣ обходилось дѣло безъ доктора: губернскій городъ былъ за 200 слишкомъ верстъ, а уѣздный врачъ находился большей частью или на слѣдствіи, или гдѣ-нибудь у помѣщиковъ.

«Въ сумерки бабушка сажала меня передъ собой на столъ, спустя ноги мои къ себѣ на колѣни и, погладивъ меня по головѣ, начинала разсказывать, по моей просьбѣ, сказку. Сперва разсказывала мнѣ о «хитрой лисицѣ и волкѣ», о «Строевой дочкѣ». Съ какимъ наслажденіемъ я слушала бабушку! Однажды бабушка вдругъ припомнила сказку изъ «Тысячи одной ночи». Купцы, принцы, принцессы, волшебницы потянулись передо мной пестрой вереницей. Весь вечеръ я была въ какомъ-то обаяніи. Легши въ постель, я стала припоминать сказку и—странное дѣло!—передо мной явился рядъ новыхъ образовъ, новыхъ приключеній, о которыхъ не разсказывала бабушка, но которыя родились въ моемъ сильно потрясенномъ воображеніи. Съ этихъ поръ явилась у меня странная способность разсказывать, мысленно, самой себѣ сказки, созданныя моимъ-же собственнымъ воображеніемъ. Сперва это были сказки, послѣ—цѣлые романы. Эта способность, которую нѣтъ возможности объяснить тѣмъ, кто не имѣлъ ея, была для меня источникомъ невыразимой отрады. Бывало, по цѣлымъ часамъ хожу я задумчиво взадъ и впередъ по комнатѣ, и еслибъ былъ при мнѣ какой-нибудь опытный наблюдатель, то вѣрно-бы удивился, увидѣвъ на дѣтскомъ лицѣ моемъ то слезы, то радость, то ужасъ, то испугъ. Этихъ долгихъ путешествій по комнатѣ не могла не замѣтить и бабушка; и въ самомъ дѣлѣ странно было видѣть маленькую дѣвочку, расхаживающую съ самымъ глубокомысленнымъ видомъ. На всѣ вопросы бабушки, о чемъ я думаю,—я отвѣчала неопредѣленнымъ «такъ»... и она переставала спрашивать меня, сказавъ:

— Ну, Христосъ съ ней: она что-нибудь да думаетъ.

Замѣчательно, что буквально подобное-же первое проявленіе творчества, въ видѣ разсказыванія самой себѣ сказокъ собственнаго изобрѣтенія, мы видимъ въ дѣтствѣ Жоржъ Зандъ въ ея «Histoire de ma vie» (т. II., гл. XI).

III.

Когда дѣвушкѣ минуло пятнадцать лѣтъ, бабушка, не смотря на всю привязанность къ внучкѣ, рѣшилась разстаться съ ней, такъ какъ барышнѣ пора было поучиться нѣсколько посерьезнѣе, и вотъ бабушка отвезла ее въ Кострому, къ ея родной теткѣ, Аннѣ Ивановнѣ Корниловой, урожденной Готовцевой.

«Тетка эта,—говоритъ біографъ Жадовской,—была женщина свѣтская, весьма образованная для своего времени, страстно любила литературу и сама участвовала въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ конца двадцатыхъ годовъ, въ «Московскомъ Телеграфѣ», «Сынѣ Отечества», «Галатеѣ» С. Е. Раича и друг., помѣщая статьи и стихотворенія. Анна Ивановна дѣятельно принялась за образованіе своей племянницы; сама преподавала ей языки, географію и исторію, а сельскій священникъ училъ ее закону Божію. Потомъ, по желанію отца, Юлія Валеріановна поступила въ костромской пансіонъ Прибытковой, гдѣ училась прекрасно, но особенные успѣхи оказывала въ русской словесности. Предметъ этотъ преподавалъ въ пансіонѣ молодой талантливый педагогъ, Петръ Мироновичъ Перевлѣсскій, кандидатъ московскаго университета, впослѣдствіи профессоръ александровскаго лицея, извѣстный своими трудами по филологіи и исторіи словесности. Онъ обратилъ особенное вниманіе на Юлію Валеріановну, сталъ руководить ея занятіями, выбиралъ

ей книги для чтенія и способствовалъ развитію ея эстетическаго вкуса. Кончилось тѣмъ, что учитель влюбился въ свою ученицу, которая отвѣчала ему взаимностью...»

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ весьма характернымъ романомъ добраго стараго времени, на тэму котораго написано очень много всякаго рода повѣствованій. Тэма эта конечно извѣстна и переизвѣстна каждому, кто читалъ старые русскіе романы 30-хъ и 40-хъ годовъ: она была дочь богатыхъ и знатныхъ родителей, онъ—темный бѣднякъ. Они полюбили другъ друга. Но родители и слышать не хотѣли о такомъ неравномъ союзѣ и на вѣки разлучили молодыя сердца.

Нынѣ подобныя драмы возможны только или въ очень высокомъ кругу, или въ купеческомъ и крестьянскомъ. Но въ старину и въ средѣ небогатаго дворянства онѣ были не въ рѣдкость и какъ нельзя болѣе характеризовали то вполнѣ подневольное положеніе полной безличности, въ какомъ находились въ то время барышни. Не далеко уходя отъ дворовыхъ своихъ прислужницъ, Машекъ и Дашекъ, по умственному развитію и образованію, барышни дѣлили съ ними и одну и ту-же горькую чашу своего рода крѣпостной зависимости. Совершенно подобно тому какъ Машки и Дашки выходили замужъ не иначе, какъ по приказанію господъ, за кого тѣ ихъ предназначутъ, такъ-же точно поступали родители и съ барышнями, располагая ихъ судьбою по собственнымъ своимъ практическимъ соображеніямъ, и нисколько не принимая при этомъ въ разсчетъ ихъ сердечныхъ влеченій. Разница заключалась только въ томъ, что Машки и Дашки и послѣ замужества продолжали служить прежнимъ господамъ; барышни-же дѣлались безпрекословными рабами своихъ мужей.

Но не всегда при этомъ родители руководствовались вполнѣ разумными практическими соображеніями, и здѣсь мы видимъ новое сходство судьбы барышень съ судьбами Дашекъ и Машекъ. Господа очень часто отказывали своимъ дворовымъ въ бракѣ по одному самодурству, безъ всякихъ сколько-нибудь разумныхъ основаній. Точно такъ-же поступали они и по отношенію къ дѣтямъ, разлучая любящихся изъ одного безпричиннаго каприза или досады, какъ смѣли ихъ дочери помыслить о бракѣ самостоятельно и безъ ихъ вѣдома. Подобное проявленіе родственнаго самодурства имѣемъ мы и въ настоящемъ случаѣ, и притомъ въ самомъ рѣзкомъ и характерномъ видѣ. Вѣдь не Богъ знаетъ, какое знатное лицо представлялъ собой отставной капитанъ-лейтенантъ и предсѣдатель гражданской палаты, и конечно молодой учитель, имѣвшій ученую степень, стоялъ выше его не только по своему умственному развитію, но и по болѣе свѣтлому будущему. Въ то-же время надо взять во вниманіе и то, что дочь этого предсѣдателя гражданской палаты, не блестя красотою и будучи даже калѣкой, не имѣя за собой особенно приманчиваго приданаго, рисковала остаться на вѣки старой дѣвой. Казалось, сама судьба сжалилась надъ обиженной природой сиротой и послала ей счастье въ видѣ достойнаго человѣка, который ее полюбилъ. И вотъ, когда этотъ человѣкъ обратился къ отцу Жадовской, прося ея руки, старикъ изрекъ свое рѣшительное veto. «Зараженный старыми предразсудками,—говоритъ біографъ,—онъ никакъ не могъ помириться съ мыслью, что дочь его, дворянка, выйдетъ замужъ за бывшаго семинариста».

И такова была въ то время сила патріархальной власти, что кроткая Юлія Валеріановна безпрекословно повиновалась и рѣшилась разстаться на вѣки съ любимымъ человѣкомъ, воспѣвъ свою первую любовь въ слѣдующемъ стихотвореніи, носящемъ заглавіе «Короткая повѣсть».

„Они оба такъ молоды были
И другъ друга такъ нѣжно любили!
Мало счастья дано имъ въ удѣлъ —
Имъ разсудокъ разстаться велѣлъ,
Они, бѣдные, плакали много,
И пошли въ жизни разной дорогой...“

Перевлѣсскій былъ переведенъ въ Москву на службу, а Юлія Валеріановна переѣхала жить къ отцу въ Ярославль.

IV.

И вотъ потянулись въ жизни Жадовской долгіе годы тяжкой неволи въ домѣ отца подъ игомъ суроваго деспотизма. Что эта была за жизнь, на которую промѣняла дѣвушка свое счастье, объ этомъ можно судить по тому портрету ея отца, который, по свидѣтельству ея біографа, мы встрѣчаемъ въ томъ-же ея романѣ «Въ сторонѣ отъ большого свѣта». Вотъ этотъ самый портретъ:

«Особенность этого характера заключалась не въ главныхъ правилахъ и убѣжденіяхъ;—объясненіе и разъясненіе этихъ правилъ и убѣжденій указало бы только на одну сторону его и сдѣлало бы его похожимъ на многихъ и многихъ, тогда какъ это сходство не довершало бы и въ половину портрета. Нѣтъ,—у него въ характерѣ было нѣсколько физіономій, если можно такъ выразиться, и всѣ онѣ сливались въ одну, подъ однимъ господствующимъ суровымъ колоритомъ. Духъ неудержимаго противорѣчія царствовалъ въ душѣ этого человѣка; онъ противорѣчилъ всѣмъ и каждому; противорѣчилъ даже самому себѣ, если слышалъ собственныя свои мнѣнія въ устахъ другихъ, особенно въ устахъ тѣхъ, кому онъ хотѣлъ доказать, что они глупѣе его и что у него на все свой взглядъ. Онъ даже до того увлекался этой страстью имѣть свой взглядъ, что, будучи человѣкъ умнымъ отъ природы, говорилъ иногда несообразности. Эти противорѣчія лились страннымъ потокомъ особенно тогда, когда дѣло доходило до предметовъ, выходящихъ изъ круга его понятій; искажать эти предметы, налагать на нихъ печать своего страстнаго сужденія—было для него какимъ-то особеннымъ наслажденіемъ.

«Но когда онъ встрѣчался съ людьми практическими, когда дѣло шло о какой-нибудь матеріальной общественной пользѣ или общественномъ учрежденіи, или рѣшался такъ, между собой, какой нибудь административный вопросъ, тогда онъ выказывалъ мудрость прямую, опытную, здравую. Честность и правдивость его признавались всѣми. Этотъ человѣкъ за порогомъ своей домашней жизни и за порогомъ интересовъ души и сердца, искусства и науки былъ человѣкъ полезный и дѣльный.

«Въ домашней жизни онъ создалъ себѣ желѣзный тронъ, и воля его близкихъ, нравственная самостоятельность ихъ личности разбивались объ этотъ тронъ. Онъ преслѣдовалъ ихъ даже въ самыхъ намѣреніяхъ,

онъ подозрѣвалъ, угадывалъ эти намѣренія, это значитъ, что онъ все-таки понималъ человѣческую природу, и громилъ, душилъ, давилъ ихъ своими грозными, раздражающими сентенціями. Онъ неутомимо преслѣдовалъ одну цѣль: заставить своихъ ближнихъ, а хорошо бы и всѣхъ, думать, чувствовать, глядѣть на Божій свѣтъ и людей такъ, какъ онъ самъ думаетъ, чувствуетъ и глядитъ. Никакого отступленія отъ этихъ требованій онъ не допускалъ, самую натуру хотѣлъ бы онъ передѣлать.»

Такимъ же капризнымъ и непреклоннымъ деспотомъ былъ онъ и во всѣхъ мелочахъ своей жизни. «Старый морякъ, по словамъ біографа, привыкшій къ служебной дисциплинѣ, завелъ у себя въ домѣ строгіе порядки на военный манеръ. Къ чаю, обѣду и ужину всѣ домашніе обязаны были собираться въ назначенные часы—и минута въ минуту. Къ одиннадцати часамъ ночи, по его приказанію, огни въ домѣ гасились, и все погружалось въ глубокій сонъ.»

Не спала одна Юлія Валеріановна. Втихомолку, крадучись и скрываясь, какъ раба, отъ зоркихъ очей своего грознаго повелителя, она писала ночи напролетъ свои стихотворенія, мечтая о любимомъ человѣкѣ и оплакивая свою несчастную любовь. Только двоюродная сестра, дѣвушка-сиротка, которая, по желанію Юліи Валеріановны, была съ девяти лѣтъ взята въ домъ Жадовскихъ и дѣлила съ ней одинокую, невеселую жизнь, была единственной повѣренной этихъ тайныхъ поэтическихъ восторговъ и единственной читательницей стихотвореній молодой поэтессы.

Но трудно было долго скрываться отъ бдительнаго родительскаго надзора. Старикъ скоро провѣдалъ о поэтическихъ занятіяхъ своей дочери, и ужъ не знаемъ, какъ это объяснить, отъ того-ли, что онъ желалъ хоть чѣмъ-нибудь вознаградить ее за попранное счастье, или-же напалъ на него такой «стихъ» по прихотливому капризу самодурнаго нрава,—онъ не только не сталъ преслѣдовать поэтическихъ порывовъ дѣвушки, но принялъ участіе въ нихъ и даже, чтобы дать ходъ ея дарованію, повезъ ее въ Москву и Петербургъ.

Это было въ 1844 году, когда Юліи Валеріановнѣ было 20 лѣтъ. Въ Москвѣ черезъ знакомаго своего отца, знавшаго ее маленькой дѣвочкой, она познакомилась съ М. П. Погодинымъ, который обласкалъ ее, привѣтствовалъ въ ней задатки несомнѣннаго таланта и напечаталъ въ «Москвитянинѣ» ея стихотвореніе «Водяной», а затѣмъ и нѣсколько другихъ ея пьесъ. Въ Петербургѣ она посѣщала вечера извѣстнаго любителя искусствъ и владѣльца знаменитой картинной галлереи, Ѳ. И. Прянишникова, у котораго собиралось самое лучшее общество—художники, артисты, литераторы. Здѣсь между прочимъ она познакомилась съ извѣстнымъ переводчикомъ гётевскаго «Фауста», М. П. Вронченко, который принялъ въ ней большое участіе, ввелъ ее въ разные литературные кружки, познакомилъ съ Тургеневымъ, Дружининымъ, кн. Вяземскимъ, Розенгеймомъ, Губеромъ и друг.

Въ 1846 году Жадовская собрала всѣ свои стихотворенія, печатавшіяся преимущественно въ «Москвитянинѣ», и, добавивъ нѣсколько новыхъ, издала ихъ отдѣльной книгой, въ количествѣ пятидесяти-восьми пьесъ. Книга была встрѣчена сочувственными отзывами во всей печати того времени, и имя Жадовской получило всеобщую извѣстность. Послѣ этого она еще разъ посѣтила обѣ столицы и затѣмъ, вернувшись въ Ярославль, снова возвратилась къ своей затворнической и подневольной жизни и впродолженіи десяти лѣтъ прожила безвыѣздно въ домѣ отца, постоянно переписываясь со своими литературными друзьями и написавъ въ этотъ періодъ почти всѣ свои оставшіяся послѣ нея произведенія.

Для большей полноты ея нравственнаго образа приводимъ изъ біографіи еще двѣ черты, весьма характеристическія. Такъ, проведя большую часть жизни въ провинціи, да еще подъ игомъ суроваго, патріархальнаго деспотизма, она до сѣдыхъ волосъ сохранила типъ провинціальной нелюдимки, страстной любительницы сельской природы и уединенія, теряющейся въ большомъ и шумномъ обществѣ. Хотя въ Петербургѣ, говоритъ ея біографъ, Юлія Валеріановна встрѣтила радушный пріемъ и часто выслушивала похвалы своему таланту, но жизнь столицы тяготила ее. Она чувствовала себя, какъ на чужбинѣ, и ее влекло къ роднымъ мѣстамъ, на лоно природы, которую она такъ чисто и неизмѣнно любила. Робкая, застѣнчивая дѣвушка не была создана для шумной жизни; она предпочитала тишину, спокойствіе, уединеніе глуши, гдѣ любила уходить въ себя и мирно отдаваться занятіямъ поэзіей. Петербургъ ей вообще не понравился; онъ подавлялъ ее своимъ мрачнымъ великолѣпіемъ, своими гранитными сооруженіями; комплименты и похвалы нѣсколько льстили ея авторскому самолюбію, но не туманили ей головы, и она безъ сожалѣнія покинула невскую столицу, откуда переселилась въ Москву. Москва, эта громадная деревня, пришлась ей болѣе по сердцу; здѣсь пробыла она довольно продолжительное время, познакомилась съ Хомяковымъ, Загоскинымъ, Глинкой, И. С. Аксаковымъ и т. д. Замѣчательно при этомъ, что это нерасположеніе къ Петербургу, пристрастіе къ Москвѣ и знакомство съ московскими славянофилами не сдѣлали ея славянофилкою. Впрочемъ она въ равной степени оставалась чужда всѣмъ существовавшимъ въ ея время ученіямъ литературныхъ кружковъ и партій. Она жила исключительно однимъ сердцемъ.

Въ связи съ этой исключительной жизнью сердцемъ является и другая черта, характеризующая ее: именно, она до смерти сохранила чистоту и неприкосновенность своихъ религіозныхъ вѣрованій. Это отнюдь не была та нервная, мистическая экзальтація, доходившая до фанатизма, какую мы видимъ у нѣкоторыхъ изъ ея современниковъ мужескаго и женскаго пола (Гоголь, Кохановская), а простая и безхитростная вѣра, какая встрѣчается въ массахъ. «Вотъ я опять въ Ярославлѣ — пишетъ Жадовская своему другу, Ю. В. Бартеневу:—послѣ пятидневнаго томленія, ужаснѣйшей дороги я захворала, потомъ говѣла и пріобщалась, а теперь не успѣла оглянуться, какъ ужъ и праздникъ на дворѣ, и поздравленіе не будетъ не кстати. Пусть письмо скажетъ вамъ за меня отрадное: Христосъ воскресе!»

V.

Послѣ всего вышесказаннаго понятнымъ становится то преобладаніе тоски, печали, уныніе, вообще минорныхъ тоновъ, какое мы видимъ въ стихотворе-

ніяхъ Жадовской. На всѣхъ на нихъ лежитъ печать попраннаго счастья и долгихъ годовъ тяжкой неволи. Это стоны женскаго рабства со всѣми его муками, чувствомъ безпомощности, одинокости, горькаго униженія, стыда передъ собственнымъ своимъ безсиліемъ и тщетными стремленіями утѣшиться, забыться—то въ религіозныхъ порывахъ, то въ созерцаніяхъ красотъ природы.

Оплакиваніе первой любви, такъ безжалостно задушенной въ самомъ ея яркомъ расцвѣтѣ, занимаетъ наиболѣе видное мѣсто среди этихъ пѣсенъ женской неволи. Стоитъ только представить себѣ дѣвушку, похоронившую безвозвратно свое молодое счастье и влачащую долгіе и безконечные годы однообразной жизни подъ игомъ суроваго и ворчливаго старика, безъ всякой надежды впереди. Стоитъ представить себѣ ее среди ночной тишины и бессонницы, когда съ особенной яркостью воскресаютъ всѣ дорогія воспоминанія,—чтобы понять мрачный трагизмъ такихъ хотя-бы обращеній къ своему заснувшему сердцу:

Ну, слушай-же—еще воспоминанье,—
И если отъ него ты не проснешься—
Тогда ужъ спи, тогда ужъ вѣчно спи!..
Ты помнишь ли тяжелый часъ разлуки,
Разлуки съ тѣмъ, кого такъ безгранично,
Довѣрчиво, восторженно любило,
Чье имя было для тебя святыней
О комъ и мысль казалася молитвой?..
Ты помнишь-ли послѣднее свиданье
Въ печальной комнаткѣ, гдѣ все такъ бѣдно,
Гдѣ по стѣнамъ лоскутьями обои
Висѣли; гдѣ все украшенье было—
Въ углу съ блестящей ризою икона
Да передъ ней хрустальная лампада?
Ты помнишь-ли, какъ весь онъ былъ взволнованъ,
Какъ онъ мечталъ о томъ завѣтномъ счастьи,
Которому не сбыться суждено?
Ты помнишь-ли, какъ онъ, мужчина, плакалъ?
Ахъ, съ той поры на бѣдную меня
Обрушилось такъ много, много горя,—
Забвенье, холодъ, боль пренебреженья,
Глубокое, нѣмое оскорбленье,
На дно души упавшее какъ камень
Тяжелый,—все извѣдано глубоко!
Судьба однимъ безжалостнымъ ударомъ
Убила всѣ мои святыя упованья,
Прошедшее на вѣки отравила;
О будущемъ и думать я боюсь...
Мнѣ кажется, что я плыву безъ цѣли
Бездоннымъ моремъ: берега не видно,
А небо скрыто тучами густыми,
И море то зовется—безнадежность...
Но, Боже мой, что это? плачу я?!
А! Ты проснулось, чувствую я, сердце!..
Стѣснилась грудь...въ глазахъ темнѣетъ...душно...
Нѣтъ, больно мнѣ!.. усни, усни опять!..

Еще въ болѣе патетическихъ звукахъ выражается воспоминаніе о той же пережитой катастрофѣ въ стихотвореніи—«Тяжелый часъ»:

Что чувствовала я въ минуту роковую,
И сколько я въ тотъ часъ перестрадала—
То знаетъ Богъ, то знаетъ это сердце!
Казалось, все во мнѣ убито было;
Способность лишь страдать одна мнѣ оставалась—
Способность жалкая! Я все перенесла...
Я думаю, что самый смерти часъ
Не можетъ быть труднѣе и ужаснѣй.
Смерть—что она? Покой, забвенье, сонъ,
Блаженство, можетъ быть,—а въ ту минуту
Ни умереть и ни уснуть я не могла!

Но какъ бы то ни было, катастрофа была пережита. Молодыя силы вынесли страшный ударъ, но за то все въ сердцѣ дѣвушки было разбито, и вмѣсто того, чтобы прожить съ милымъ всю жизнь, дѣля вмѣстѣ съ нимъ всѣ радости и невзгоды, ей пришлось ограничиваться тѣмъ, что носить въ душѣ любимый образъ, постоянно вызывая его въ памяти при каждомъ случаѣ:

Ты всюду предо мной: повѣетъ ли весна,
Я чувствую тебя въ ея отрадѣ тайной;
Любуюсь ли цвѣткомъ, я ужъ тоски полна,
Я мыслю о тебѣ; заброситъ ли случайно
Холодная луна свой блѣдный лучъ ко мнѣ,
Иль кроткая звѣзда вечерняя сіяетъ,—
Все это мнѣ тебя, мой другъ, напоминаетъ;
Я плачу о тебѣ въ печальной тишинѣ.
Тоской, любовію, разлукою томима,
Вся жизнь моя—безсильная борьба...
Меня гнететъ недугъ неисцѣлимый
И неизбѣжный, какъ судьба.

Эти жгучія муки завѣтныхъ воспоминаній конечно были еще тяжелѣй и мучительнѣй при горькомъ сознаніи своего рабскаго безсилія бороться съ жестокою судьбой. По крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ мы видимъ словно какой-то стыдъ передъ собой, нѣчто вродѣ укоровъ совѣсти за свое смиреніе и рабство. Таково напримѣръ стихотвореніе «Невыдержанная борьба»:

Боролась я долго съ суровой судьбой—
Душа утомилась неравной борьбой!
Всей силой надежду я въ сердцѣ хранила;
Но силы не стало—судьба ихъ убила;
И я, съ затаенной глубокой тоской,
Склонилась смиренно предъ мощной судьбой.
Что дѣлать? Мнѣ стыдно и грустно, и больно..
И лью я горячія слезы невольно...

Этотъ стыдъ, эти угрызенія совѣсти при сознаніи своего безсилія въ борьбѣ и смиреннаго склоненія передъ мощной судьбой должны были съ особенной силой воскресать и обостряться въ нѣкоторыя минуты жизни, и притомъ, замѣтимъ, повидимому самыя неподходящія къ такимъ чувствамъ. Такъ напримѣръ, на шумномъ балу, въ разгаръ всеобщаго веселья, подъ рѣзвые звуки вальса, вдругъ посѣщала ее странная мысль, что въ то время, какъ она, отказавшаяся отъ борьбы, веселится, порхаетъ, пользуясь всѣми благами жизни, ея покинутый милый быть можетъ умираетъ отъ голоду:

Чѣмъ ярче шумный пиръ, бесѣда веселѣй,
Тѣмъ на душѣ моей печальнѣй и темнѣй,
Явительнѣе боль сердечнаго недуга,
И голосъ дальняго, оставленнаго друга
Мнѣ внятнѣй слышится... Ахъ, блѣдный и худой,
Я вижу образъ твой, измученный нуждой!
Среди довольныхъ лицъ, средь гула ликованья
Онъ мнѣ является съ печатію страданья,
Оставленной на немъ безплодною борьбой
Съ врагами, бѣдностью и самою судьбой! [ный
Быть можетъ въ этотъ часъ, когда за ужинъ пыш-
Иду я средь другихъ своей стопой неслышной,
Ты—голоденъ и слабъ—въ отчаяньи нѣмомъ
Лежишь одинъ, въ слезахъ, на чердакѣ глухомъ,—
И я тебѣ помочь не въ силахъ и не властна!
И, полная тоски, глубокой и безгласной,
Я никну головой, не слышу ничего
Подъ гнетомъ тайнаго унынья моего,
Средь этой вѣтряной, себялюбивой знати
Готова я рыдать неловко и некстати!..

Но въ томъ и дѣло, что «зарыдать неловко и некстати — средь вѣтряной, себялюбивой знати» легко только на словахъ. На дѣлѣ же она сознаетъ себя принужденной затаивать свое горе, улыбаться, казаться веселой среди людей, чуждыхъ ей и ненавистныхъ, въ которыхъ къ тому же она усматриваетъ можетъ быть главныхъ виновниковъ всего своего горя:

Я въ душѣ огорчена глубоко,
Я готова горько зарыдать.
Но сейчасъ ко мнѣ придутъ чужіе,—
Я должна съ улыбкой ихъ встрѣчать.
Не сказать же имъ, что душу мучитъ,
Не сказать, какъ я оскорблена!
Я должна предъ ними улыбаться,
Я при нихъ веселой быть должна.
Какъ мнѣ быть веселой, улыбаться,
Если грудь моя тоски полна,
Если ловко, тонко и прилично,
Но глубоко я оскорблена?
Если все во всемъ мнѣ измѣняетъ,
Всюду вижу пошлость и обманъ?..
О, какъ трудно, грустно и обидно
Мнѣ скрывать всю боль сердечныхъ ранъ!
Какъ-то справлюсь я съ моею ролью?
Какъ-то слезы, горе утаю?
Какъ-то скрою отъ людей и свѣта
Я печаль душевную мою?
Ничего,—немножко только воли,
И исчезнутъ слезы на глазахъ;
Ничего... еще одно усилье,—
И мелькнетъ улыбка на устахъ!..

Какая страшная трагедія таится во всѣхъ этихъ приведенныхъ нами выдержкахъ, и какое глубокое откровеніе сердца женщины дореформеннаго періода! — Этотъ смѣхъ сквозь затаенныя слезы, эти веселыя, улыбающіяся, ласковыя личики, скрывающія за собою цѣлый адъ невыносимыхъ страданій, обиды, стыда ненависти, отчаянья, — здѣсь дореформенная женщина передъ нами вся, какъ на ладони, со всѣмъ ея нравственнымъ міромъ.

Къ сожалѣнію эти минуты горькаго и страшнаго сознанія своего рабства и стыда передъ нимъ рѣдко посѣщали дореформенную женщину и были дѣйствительно только однѣми минутами. По большей-же части она безропотно и пассивно склонялась передъ своею жалкой долей и апатично влачила безцвѣтную жизнь, во всемъ обвиняя не себя и не людей, а какую-то миѳическую всесильную судьбу:

Никто изъ насъ, никто не виноватъ:
Ни ты, ни я,—судьба ужъ такъ рѣшила!..
Судьба страшна, всесильна, говорятъ,—
Она и насъ съ тобою разлучила...

Разъ женщина рѣшила, что виновата во всемъ всесильная судьба то конечно ей только и оставалось, что сложить на груди безсильныя и никому ненужныя руки и искать утѣшенія... прежде всего конечно въ созерцаніи всепримиряющей природы; и вотъ передъ нами цѣлый рядъ стихотвореній, вродѣ нижеслѣдующаго:

Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно
Мнѣ дыханье вѣтерка;
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно,
Отражаетъ ихъ рѣка;
И въ раздумьи наклонился
Вѣтви гибкія деревъ;
И, какъ звѣзды, засвѣтились
Свѣтляки среди кустовъ.
Дышетъ все святой отрадою
На землѣ и въ вышинѣ;
Ночь весенняя прохладою
Освѣжаетъ сердце мнѣ.
Что-то въ душу чудно просится,
Проникаетъ въ глубину,
И невольно мысль уносится
Все туда, все въ вышину!
Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно
Мнѣ дыханье вѣтерка;
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно...
Спитъ на днѣ души тоска!

Но природа не всегда усыпляетъ и умиротворяетъ. Напротивъ того, очень часто она будитъ воспоминанія и растравляетъ старыя раны. Къ тому-же она прискучиваетъ, и разъ въ душѣ поселяются апатія и равнодушіе ко всему, то и природа утрачиваетъ для насъ всю свою прелесть:

Да, лѣнь мнѣ жить! Пускай, пускай весна
Цвѣты и счастье всюду щедро сѣетъ,—
Я равнодушіемъ и скукою больна,—
Мнѣ радость и весна ужъ не навѣетъ!
Тяжеле мнѣ, когда придетъ она,
Когда покровъ полей зазеленѣетъ:—
Тяжеле мнѣ—воспоминаній рой
Меня гнететъ безсильемъ и тоской!

Остается послѣ этого всего, отчаявшись въ земномъ счастіи, искать счастія небеснаго, возноситься горé и въ небесахъ находить успокоеніе отъ всѣхъ соблазновъ и мукъ жизни.

Не на землѣ ищи ты вдохновенья,
Не въ этой жизни бѣдной, мелочной,
Но чаще ты, въ часы уединенья,
Гляди на небо съ мыслію благой.
И думы свѣтлыя въ умѣ твоемъ родятся,
Забьется сердце чаще и сильнѣй,
И чувства всѣ надеждой озарятся:
Душою станешь ты и лучше, и свѣтлѣй.

Но эти минуты религіозныхъ созерцаній и порывовъ не могутъ наполнить цѣлой жизни. Онѣ мимолетны; онѣ лишь на мгновенье одно позволяютъ забыть все земное: смертному и думать суждено о смертномъ, и вотъ, послѣ молитвенныхъ восторговъ, это смертное еще назойливѣе врывается въ душу и слова молитвы дѣлаются холодны и мертвы:

Все спитъ вокругъ меня спокойнымъ, сладкимъ сномъ;
Не сплю лишь я одна въ безмолвіи ночномъ!
Полна томительныхъ съ самой собою битвъ,
Напрасно я ищу спасительныхъ молитвъ,
Напрасно ихъ зову на грѣшныя уста —
Душа моя земнымъ, ничтожнымъ занята!
Ей грустно, тяжело! Есть слезы на очахъ,
Но я ихъ лью... не о грѣхахъ!..

Есть еще одно утѣшеніе,—что время, всеуничтожающее и приводящее къ одному знаменателю—забвенію, погаситъ всѣ горячія страсти, изгладитъ изъ памяти всѣ жгучія воспоминанія и уврачуетъ раны сердца. Такъ, обращаясь къ своему неугомонному сердцу съ вопросомъ: долго-ли будетъ оно томиться и въ нѣмомъ страданіи о любви молиться,—Жадовская въ заключеніе обѣщаетъ ему слѣдующую перспективу:

Погоди: придавитъ
Этой жизни бремя...
Не умаетъ горе,
Такъ осилитъ время....

Но къ какому полному охлажденію и очерственію ни привело-бы время, не изгладитъ оно одного: горькаго сознанія пустоты жизни, прожитой безцвѣтно и безплодно, сознанія угасанія и охлажденія всѣхъ силъ, лишающаго человѣка какихъ-бы то ни было надеждъ впереди, а между тѣмъ и позади не оказывается ничего отраднаго, и въ результатѣ остаются слезы горькаго разочарованія при подведеніи всѣхъ итоговъ прошлаго:

Я плачу все о томъ, что сердце увядаетъ,
Что леденитъ его холодный свѣтъ,
И что его ничто, ничто не оживляетъ,
Что радости исчезнулъ легкій слѣдъ.
Я плачу и о томъ, что сладостной надеждѣ
Попрежнему предаться не могу,
Что не могу мечтать и плакать такъ, какъ прежде...
И плачу я, и слезъ не берегу!
Я плачу и о томъ, что грустно и ничтожно
Проходитъ быстро молодость моя;
Что ранняя тоска души моей тревожной
Мнѣ отравила прелесть бытія.
Я плачу и о томъ, что скучною машиной
Между людей я тихо прохожу;
Я плачу и о томъ, что въ мірѣ ни единой
Родной души себѣ не нахожу!

Мы исчерпали почти всѣ главные мотивы музы Жадовской. Есть правда и другіе; таковы напримѣръ два-три подражанія Кольцову и Никитину, вродѣ «Грустная картина» (102) и «Нива моя, нива» (170); стихотворенія эти прелестны, но ихъ такъ мало, что, по пословицѣ— одна ласточка не дѣлаетъ весны,— не ими опредѣляется духъ и характеръ поэзіи Жадовской. По большинству произведеній все-таки ея поэзія остается скорбной пѣснью женской неволи.

VI.

Прозаическія произведенія Жадовской значительно уступаютъ ея стихотвореніямъ. Та крайняя субъективность, которая составляетъ неотъемлемую принадлежность лирики, въ романѣ и повѣсти является недостаткомъ. Мы ждемъ здѣсь характеровъ, типовъ, нравовъ, и разочаровываемся, находя всюду одного только автора среди блѣдныхъ и стереотипныхъ персонажей.—Тѣмъ не менѣе для насъ романы Жадовской представляютъ особенный интересъ. Читая ихъ одинъ за другимъ, мы видимъ, какъ постепенно, подъ вліяніемъ движенія времени, освобождалась Жадовская отъ своихъ патріархальныхъ понятій.

Первое, что каждаго поражаетъ въ этихъ романахъ, это— то, что повсюду въ нихъ, если не въ главномъ сюжетѣ, то въ побочныхъ эпизодахъ, мы встрѣчаемся все съ той-же самой драмой, которую пережилъ авторъ. Такъ, въ первой-же повѣсти, написанной въ 1847 году: «Простой случай», изображена несчастная любовь молодой дѣвушки дворянскаго рода и бѣднаго гувернера, служащаго въ домѣ ея отца. Молодые люди, снѣдаемые страстью, не смѣли и помыслить о соединеніи. «Жениться безъ имени, безъ состоянія... о, никогда, никогда! въ отчаяніи восклицалъ молодой учитель:—отравить жизнь ея своимъ ничтожествомъ; заставить ее краснѣть при имени мужа... это хуже смерти! Дядя ея выгонитъ меня изъ дому при одномъ намекѣ объ этомъ. Богатая наслѣдница—и выйти за бѣднаго безъимяннаго гувернера!.. Эта мысль недоступна ея гордымъ родственникамъ!..»

Изъ этой тирады видно, что не одни «гордые родственники», но и самъ молодой человѣкъ считалъ себя жалкимъ ничтожествомъ и предполагалъ, что дѣвушка, которую онъ полюбилъ, будетъ почему-то краснѣть при его имени. А она въ свою очередь, положивъ руку къ нему на плечо и томно закативъ назадъ головку, тихо говорила: — «Мой другъ, такъ Богу угодно!..»

Этимъ возвышеніемъ воли «гордыхъ родственниковъ» до высоты Божіей воли и предположеніемъ, чта само Небо заботится о томъ, чтобы богатыя наслѣдницы не выходили замужъ за ничтожныхъ гувернеровъ, исчерпывается вся философія романа. Мы видимъ со стороны обоихъ молодыхъ людей безпрекословное преклоненіе передъ святостью патріархальносословныхъ понятій, безъ малѣйшаго дерзновенія на какую-либо борьбу съ ними... Однимъ словомъ,— «такъ Богу угодно», и нечего тутъ разсуждать, не на что надѣяться. Затѣмъ только и остается барышнѣ—уѣхать съ растерзаннымъ сердцемъ.

Въ романѣ: «Въ сторонѣ отъ большого свѣта», написанномъ во второй половинѣ 50-хъ годовъ и помѣщенномъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1857 года, сюжетъ основанъ на той-же коллизіи. Опять передъ вами молодая дѣвушка изъ помѣщичьей семьи влюбляется въ бѣднаго учителя изъ семинаристовъ, и опять-таки молодые люди разстаются, не смѣя и помыслить о бракѣ. Стоило имъ устроить тайное partie de plaisir въ лѣсъ за грибами, чтобы родственницы дѣвушки, тетушки, пришли въ ужасъ:

— Знаешь-ли, Геничка, что ты стоишь на краю пропасти?—сказала тетушка № 1-й.

— Ахъ, Геничка! ахъ, другъ мой, что было ты надѣлала!—произнесла съ ужасомъ другая тетушка.

— Да, ты стоишь на краю пропасти, и видно еще молитвы матери твоей услышаны, что Богъ послалъ тебѣ во мнѣ ангела-хранителя!..—продолжала тетушка № 1.

Отъ дерзновеннаго учителя на другой-же день конечно и слѣдъ простылъ. Молодая дѣвушка только и видѣла изъ окна, какъ онъ шагалъ съ узломъ за плечами по дорогѣ къ лѣсу и вскорѣ скрылся за лѣсъ, оставивъ своей возлюбленной на память записку слѣдующаго содержанія: «Я ухожу; меня нашли опаснымъ для васъ и выгнали. Прощайте! да хранитъ васъ Богъ.. Уходя, я плачу о васъ. Помолитесь за преданнаго вамъ»...

Но этимъ романъ не кончается. Напротивъ, онъ тянется очень долго, занимая цѣлый томъ, причемъ описывается жизнь героини чуть-что не день за днемъ, со всѣми искушеніями, которыя встрѣчались ей на пути. Такъ, между прочимъ мы встрѣчаемъ здѣсь эпизодъ ея любви къ нѣкоему обольстительному Динарову. Онъ оказывается женатымъ, но не живущимъ съ женой, и предлагаетъ дѣвушкѣ увезти ее: «Пусть, говоритъ онъ, о насъ забудутъ, какъ мы забудемъ обо всѣхъ. Мы устроимъ чудную жизнь, мы окружимъ себя полнымъ счастіемъ... Уѣдемъ, моя милая! Не разсуждай, если любишь! Намъ нельзя такъ разстаться! На зло судьбѣ мы будемъ счастливы... Не такъ-ли?..

Сегодня вечеромъ все будетъ готово. Я снова буду ждать тебя здѣсь, счастливый выше всякаго выраженія,—я приму тебя въ мои объятія, чтобы никогда, никогда не разставаться!..»

Но молодая дѣвушка отвергла подобную незаконную любовь, и, несмотря на всѣ укоры милаго, несмотря на то, что захворала вслѣдствіе нравственнаго потрясенія, она осталась вѣрна своему долгу и прежнимъ патріархальнымъ понятіямъ, въ духѣ которыхъ была воспитана. Въ вознагражденіе за это судьба сочетала ее законнымъ бракомъ съ предметомъ ея первой любви, тѣмъ самымъ семинаристомъ, который былъ изгнанъ изъ дому за прогулку съ нею въ лѣсъ за грибами. Но и на этотъ разъ дѣвушка была обязана своему счастью не какой-либо активной борьбѣ съ своей стороны, а благопріятно сложившимся обстоятельствамъ: она была безприданница, круглая сирота, и не было у нея отца, который защищалъ-бы честь своего дворянскаго рода отъ брака дочери съ семинаристомъ; тетка № 1 умерла, а тетка № 2, въ домѣ которой дѣвушка поселилась, сама занялась «амурами», племянница ей мѣшала, и она рада была сбыть ее съ рукъ за кого-бы то ни было.

VII.

Затѣмъ появилась «Женская исторія» въ 1861 году въ журналѣ «Время»; здѣсь мы видимъ значительное уже измѣненіе въ міровоззрѣніи автора на женскую долю. Такъ, героиня этого романа является не просто барышней, видящей въ замужествѣ единственное назначеніе своей жизни, а дѣвушкой, ищущей самостоятельнаго труда. Правда, героиня обязана этимъ тому обстоятельству, что она—дочь не помѣщика, а всего-на-все управляющаго, по смерти отца остается круглой сиротой, и ей представляется что-нибудь изъ двухъ—или самостоятельный трудъ, или проживаніе въ чужомъ богатомъ помѣщичьемъ домѣ въ унизительной роли приживалки. Правда, что трудъ фигурируетъ здѣсь въ рутинной формѣ гувернантской лямки. Правда, что впродолженіи всего романа героиня все только собирается трудиться; когда-же ей предлагаетъ руку и сердце богатый помѣщикъ, то трудъ дѣлается излишнимъ. Но во всякомъ случаѣ и въ томъ уже былъ большой шагъ впередъ, что здѣсь не является прежней роковой дилеммы—или любовь, или смерть: между любовью и смертью ставится трудъ, хотя-бы и въ самой рутинной формѣ. Но этого мало: въ романѣ этомъ впервые является новый идеалъ женщины, не имѣющей ничего общаго со всѣми прежними героинями, хотя и онѣ въ свое время имѣли претензіи на идеальность. Такова Ольга Васильевна Мартова. Это—дѣвушка, отстранившаяся отъ всѣхъ свѣтскихъ предразсудковъ, поставившая жизнь свою на вполнѣ самостоятельную почву и приводящая въ ужасъ своихъ чопорныхъ родныхъ.

«— Я не отнимаю отъ нея нѣкоторыхъ достоинствъ и ума,—говорила одна изъ ея родственницъ, Прасковья Александровна,—но, признаюсь, свобода ея мнѣній и поступковъ ужасаетъ меня.

— Да объясни пожалуйста, какіе собственно поступки осуждаешь ты?—спросилъ Михаилъ Александровичъ.

— Во-первыхъ то, что она живетъ одна, уѣзжаетъ одна, куда вздумаетъ не отдавая никому отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, не прибѣгая за совѣтами къ старшимъ. Постоянно въ мужскомъ обществѣ; знакома со всякимъ сбродомъ. Говоритъ и проповѣдуетъ о такихъ вещахъ, о которыхъ дѣвушкѣ и судить неприлично; напримѣръ ты знаешь эту скандальную исторію съ Казановой,—что же? Она третьяго дня при гостяхъ стала ее жарко оправдывать и неясными софизмами доказывать, что она невиновата. Женщина бѣжала отъ мужа—и невиновата! Положимъ, что мужъ ея—mauvais sujet; да мало ли женщинъ живутъ и терпятъ все. Я говорю, что можно бы было Казановой все устроить и сохранить приличія. . А твоя Ольга, забывъ всякую вѣжливость, стала со мной спорить,—со мной, которая и старѣе, и опытнѣе, и не глупѣе ея,—что Казанова не должна была обманывать по „чувству — наволите-ли видѣть — высокой нравственности ни себя, ни мужа... И вообще-то ей не слѣдовало бы вступать въ такой разговоръ. Я дочерей принуждена была удалить изъ комнаты.

— Ольга не дорожитъ пустыми толками. Она ищетъ только уваженія тѣхъ, кого она знаетъ и любитъ. И ее любятъ всѣ, кто ее знаетъ,—сказалъ Михаилъ Александровичъ съ твердостью.

— Я бы давно прекратила съ ней всякія сношенія, еслибъ не родство.

— Полно, не это только... Ты боишься ея рѣзкости, ея гнѣва.

— Я? а впрочемъ можетъ быть. Я не хочу раздражать такую сумасшедшую, вспыльчивую дѣвчонку, готовую наговорить дерзостей, не стѣсняясь ни мѣстомъ, ни временемъ.»

Ниже героиня описываетъ, какъ эта самая Ольга Мартова проводитъ свой день:

«До самаго обѣда,—говоритъ она,—хозяйка была постоянно занята. То больной, то погорѣлый мужикъ являлись, кто за помощью, кто за совѣтомъ.. Меня удивляли ея знаніе нуждъ, потребностей, интересовъ простого народа, ея терпѣніе, простота рѣчи, довѣріе, съ которымъ къ ней обращались; удивляла эта ясная дѣятельность, это умѣнье и легкость, съ которыми переходила она отъ труда кабинетнаго къ простымъ домашнимъ занятіямъ. Видно было, что больше всего она старалась достичь той независимости, того умѣнья не потеряться нигдѣ и ни при какихъ обстоятельствахъ, о которыхъ она всегда говорила съ уваженіемъ; что она больше всего избѣгала приторной изнѣженности свѣтскихъ женщинъ. Она все умѣла дѣлать; мнѣ кажется, коса и серпъ ловко заходили бы въ ея маленькихъ, гибкихъ ручкахъ... Обращеніе ея съ домашними было кротко и любезно.»

Конечно ужъ такая дѣвушка не только не позволила-бы кому-бы то ни было распоряжаться ея судьбой, но со всей своей энергіей помогла своей кузинѣ Лидіи, богатой невѣстѣ, выйти замужъ за бѣднаго Дарельскаго, несмотря на то, что родные по обыкновенію сопротивлялись этому браку. Здѣсь и вопроса уже не представлялось о томъ, что «такъ Богу угодно» или что не будетъ-ли невѣста краснѣть, нося скромное имя жениха.

VIII.

Наконецъ повѣсть «Отсталая», послѣднее прозаическое произведеніе Жадовской, является еще болѣе проникнутой новымъ духомъ времени. Здѣсь Жадовская уже съ полнымъ отрицаніемъ относится къ тѣмъ чопорнымъ барышнямъ недотрогамъ, какія воспитывались тогда въ глуши и на почвѣ «барскихъ»

предразсудковъ и патріархальныхъ понятій. Такъ, она показываетъ намъ все безсердечіе, скрывавшееся подъ мнимыми цѣломудріемъ и нравственной гордостью въ героинѣ повѣсти, Машѣ, когда дворовая дѣвушка Матрена, подруга Маши, наивно разсказываетъ ей о своей любви.

Выслушавъ разсказъ Матреши, барышня быстро подняла голову и обратила къ своей собесѣдницѣ пылающее гнѣвомъ и гордостью лицо:

— Какъ ты смѣла мнѣ это разсказывать? — крикнула она:—какъ ты могла дойти до того, чтобъ мнѣ говорить это? Ты забыла, кто я и кто ты!

Когда-же Матреша впослѣдствіи, по обнаруженіи ея грѣха, была изгнана изъ дома своей госпожей, матерью Маши, и, бросясь съ громкими рыданіями къ ногамъ подруги своей, проговорила прерывистымъ, задыхающимся голосомъ:—«Матушка-барышня! простите!»—причемъ съ любовью и отчаяніемъ ловила полу ея платья, Маша поднялась съ своего мѣста, гордая и безпощадная. Она сознавала себя безгрѣшной и потому считала себя не только вправѣ, но какъ-бы обязанной поднять камень...

— Прочь!—крикнула она такъ, что сдѣлала-бы честь трагической актрисѣ.— Прочь! не дотрогивайся до меня! Я тебя знать не хочу и видѣть не хочу!..

Но впослѣдствіи эта самая гордая своей нравственной чистотой героиня сдѣлала то же самое, что́ и Матреша. Отправленная матерью въ городъ къ знакомой ея, Ненилѣ Павловнѣ, развлечься отъ деревенской скуки, Маша попала въ салонъ Ненилы Павловны въ кружокъ молодыхъ развивателей, которые произвели въ ней такой и нравственный, и умственный переворотъ, что она въ концѣ-концовъ бѣжала съ однимъ изъ нихъ изъ дому матери и, воротившись черезъ нѣсколько лѣтъ совершенно другимъ человѣкомъ, на колѣняхъ вымаливала прощенья у Матреши за прошлое оскорбленіе.

Замѣчательно, что въ этой повѣсти въ послѣдній разъ произвела Жадовская судъ надъ драмой своей жизни, но этотъ судъ былъ совсѣмъ уже въ другомъ родѣ, чѣмъ прежде. Тутъ уже не говорится о томъ, «что намъ разстаться разсудокъ велѣлъ» или что «судьба страшна, всесильна, говорятъ,—она и насъ съ тобою разлучила», а представляется дѣло въ его настоящемъ видѣ, причемъ младшее поколѣніе въ лицѣ Маши произноситъ безпощадный приговоръ надъ старшимъ—въ лицѣ Ненилы Павловны.

— „Сама была молода,—говорила Ненила Павловна, вызывая Машу на откровенность,— сама любила. Ахъ, Маша, чего мнѣ стоило съ нимъ разстаться, выйти замужъ противъ сердца!

— Зачѣмъ же вы выходили? Зачѣмъ принесли себя въ жертву разсчета или эгоизма?

— Ахъ, другъ мой, какъ можно такъ говорить!.. Что могла я сдѣлать, бѣдная, молоденькая, запуганная дѣвочка? Всѣ родные были противъ. Конечно, еслибъ тогда у меня была теперешняя опытность, не сгубила бы я своего счастья... Онъ тогда былъ очень незначительный человѣкъ, а послѣ такъ далеко пошелъ, Маша! Голова-то у него свѣтлая.

— Вы такъ и разстались? Вы не видались съ нимъ?

— Нѣтъ. Ужъ онъ давно женатъ на другой, давно позабылъ обо мнѣ. Онъ—мнѣ сказалъ одинъ знакомый—сперва былъ въ отчаяніи, потомъ сталъ называть меня пустой, безхарактерной, говорилъ, что у меня недостало силъ принести жертву, что я не любила его, а такъ только—увлекалась... Мнѣ это было очень горько—такая несправедливость! Ахъ, еслибы онъ зналъ, сколько слезъ пролила я, какіе тяжкіе дни и ночи проводила! Сколько разъ проклинала жизнь... однажды отравиться было хотѣла, но какъ-то страшно стало, не рѣшилась...

— Бѣдная Ненила Павловна! — сказала Маша, устремивши на нее полный состраданія взоръ:—вы были сами виноваты; вамъ бы бѣжать съ нимъ.

— Не рѣшилась, мой ангелъ; шутка—бѣжать!

— Но если вы такъ любили? кому вы принесли пользу, что измучили себя?

— Конечно глупа была, характеру не достало.

«Маша глубоко задумалась.»

Вообще такъ былъ силенъ духъ того времени, что, увлекши автора, онъ отразился не только въ послѣднихъ произведеніяхъ ея, но и въ самой жизни. Такъ, въ 1862 году, 38 лѣтъ уже отъ роду, она рѣшилась наконецъ сдѣлать такой шагъ, на который не хватило у нея характера въ 18 лѣтъ, именно освободиться отъ тягостной опеки отца, выйдя замужъ за старика доктора К. Б. Севена. «По собственному признанію Юліи Валеріановны,— говоритъ біографъ,—она рѣшилась на такой шагъ единственно ради того, чтобы стать наконецъ свободной и выйти изъ-подъ матеріальной и нравственной опеки отца, котораго характеръ дѣлался съ каждымъ днемъ тяжелѣй, и который писательница не въ состояніи была выносить въ послѣднее время».

Конечно лучше поздно, чѣмъ никогда, но все-таки невольно беретъ каждаго тяжелое раздумье, что вотъ почти 60 лѣтъ прожила на свѣтѣ женщина, талантливая, хорошая, и лишь двадцать лѣтъ она пользовалась полной самостоятельностью, да и то это были послѣдніе годы, когда и думается, и чувствуется не такъ уже, какъ въ молодые годы. Положимъ,— суровый отецъ не препятствовалъ своей дочери предаваться поэтическимъ восторгамъ, но деспотизмъ его во всякомъ случаѣ лежалъ тяжкимъ гнетомъ на духѣ дѣвушки и мѣшалъ развиваться ея таланту такъ, какъ бы онъ могъ развиться на полной свободѣ. Когда-же она наконецъ вырвалась изъ-подъ своего ига, было уже поздно,—литературная дѣятельность ея завершилась. Послѣднія ея произведенія: «Женская исторія» и «Отсталая», долго не находили себѣ пріюта въ печати и, лишь благодаря хлопотамъ одного изъ постоянныхъ сотрудниковъ, появились въ 1861 году во «Времени». Публика отнеслась съ полнымъ равнодушіемъ къ этимъ произведеніямъ, и критика не обмолвилась о нихъ ни однимъ словомъ. Это такъ огорчило Юлію Валеріановну, что она рѣшилась совсѣмъ прекратить свое литературное поприще. Это и было конечно причиной, что въ послѣдніе годы жизни имя ея, нигдѣ не встрѣчавшееся въ печати, имѣло болѣе историческій, чѣмъ современный интересъ.

НАШЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ЕГО ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ.

I.

Историческія повѣсти Карамзина: «Наталья, боярская дочь» и «Марфа Посадница». Безцеремонное отношеніе къ исторіи Нарѣжнаго въ его романѣ «Бурсакъ» и его же «Словенскіе вечера».

Родоначальникомъ беллетристики считается у насъ Карамзинъ. Это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ и до Карамзина не мало было у насъ беллетристики, но вся она была до такой степени лубочна и лишена какихъ бы то ни было литературныхъ достоинствъ, и до такой степени нынѣ она забыта, что за Карамзинымъ все-таки остается званіе родоначальника, такъ какъ, упростивши литературный языкъ и дерзнувши впервые *писать, какъ говорятъ*, онъ первый началъ писать повѣсти легко и удобочитаемыя. Ему же принадлежатъ и первыя попытки историческихъ повѣстей. Но къ сожалѣнію историческія повѣсти, какъ Карамзина, такъ и современника его Нарѣжнаго, показываютъ только намъ, до какой крайней степени люди того времени были чужды какого бы то ни было чутья исторической дѣйствительности.

Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Какъ Карамзинъ, такъ и Нарѣжный воспитались на ложномъ классицизмѣ. Въ молодости они зачитывались Сумарокова, Хераскова, Озерова, Княжнина и проч. Ложный классицизмъ очень часто прибѣгалъ къ нашему историческому прошлому и любилъ выставлять героями то Гостомысла и Вадима, то Рюрика, Ярополка, Дмитрія Донского или Дмитрія Самозванца,—но во всѣхъ поэмахъ и трагедіяхъ изъ старой русской жизни не было и слѣда ни исторической правды, ни хотя какого-нибудь историческаго колорита. Передъ вами проходитъ рядъ отвлеченныхъ, ходульныхъ олицетвореній различныхъ страстей, добродѣтелей и пороковъ, то необыкновенные по своей доблести герои, то злодѣи такіе страшные, что морозъ подираетъ по кожѣ при одномъ взглядѣ на нихъ, однимъ словомъ,—злодѣи, которые такъ прямо и говорятъ о самихъ себѣ:

Я вѣдаю, что я нежалостный зла зритель,
И всѣхъ на свѣтѣ семъ безстудныхъ дѣлъ творитель.
(Сумарокова «Дмитрій Самозванецъ».)

Рюрики и Гостомыслы произносятъ длинныя, напыщенныя рѣчи, которыя оказываются цѣликомъ переведенными изъ различныхъ трагедій Корнеля и Расина. Вообще нужно замѣтить, что нашъ ложный классицизмъ, при всемъ своемъ рабскомъ подчиненіи французскимъ образцамъ, имѣлъ и свою особенность, заключавшуюся въ томъ, что въ то время, какъ классическіе герои французской трагедіи смахивали на современныхъ французовъ, у насъ они ни на что не смахивали, положительно, можно сказать, не имѣли никакого образа и подобія человѣческаго.

Понятно, что для развитія историческаго романа школа эта была весьма плохая. Не много помогъ и тотъ сентиментализмъ, который внесъ въ нашу литературу Карамзинъ. Правда, что съ появленіемъ сентиментализма превыспренняя кровавая трагедія была замѣнена слезной драмой, а ходульный герой съ вулканическими страстями — обыкновеннымъ простымъ смертнымъ, но только этотъ простой смертный оказался черезъ-чуръ ужъ чувствителенъ и плаксивъ, и если въ повѣсти изъ современной жизни, какова напримѣръ «Бѣдная Лиза», избытокъ чувствительности и плаксивости поражаетъ насъ, какъ нѣчто крайне приторное и неестественное, то въ исторической обстановкѣ эти необходимые аттрибуты сентиментализма представляютъ рядъ невообразимыхъ курьезовъ. Такое именно впечатлѣніе крайней несообразности сентиментализма съ допетровской стариной производитъ первая историческая повѣсть Карамзина — «Наталья, боярская дочь», написанная имъ въ 1793 году.

Въ началѣ повѣсти Карамзинъ предпосылаетъ своему разсказу вступленіе, въ которомъ онъ высказываетъ свое умиленіе передъ старой Русью и любовь къ давнопрошедшимъ временамъ.

«Кто изъ насъ,—говоритъ—онъ, не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу, то есть говорили, какъ думали? По крайней мѣрѣ я люблю сіи времена, люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнію давно истлѣвшихъ вязовъ искать брадатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа русскаго, и съ нѣжностью цѣловать ручки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтительнаго правнука, не могутъ наговориться со мной, надивиться моему разуму, потому что я, разсуждая съ ними о старыхъ и новыхъ модахъ, всегда отдаю преимущество ихъ подкапкамъ и шубейкамъ предъ нынѣшними bonnets à la... и всѣми галлоальбіонскими нарядами, блистающими на московскихъ красавицахъ въ концѣ осьмагонадесять вѣка...» и т. д.

Но иное дѣло умиляться передъ русской стариной, иное дѣло знать и понимать ее, и хотя далѣе Карамзинъ и говоритъ, что старая Русь извѣстна ему болѣе, нежели многимъ изъ его согражданъ, но на дѣлѣ показываетъ только, какое смутное представленіе имѣли въ то время объ этой старинѣ даже такіе люди, какъ Карамзинъ, воспитавшійся подъ вліяніемъ Новикова, который, какъ извѣстно, всю жизнь возился съ русской стариной.

Такъ мы видимъ, что на первомъ планѣ въ повѣсти парадируетъ московскій боярин Матвѣй Андреевъ, «человѣкъ богатый, умный, важный слуга царскій и по обычаю русскихъ великій хлѣбосолъ».—Желая охарактеризовать его гражданскія доблести,

Карамзинъ говоритъ, что, «когда царю надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ себѣ въ помощь боярина Матвѣя, и бояринъ Матвѣй, кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: *сей правъ* не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году, но *по моей совѣсти; сей виноватъ по моей совѣсти* —и совѣсть его была всегда согласна съ правдой и совѣстью царской. Дѣло рѣшалось безъ замедленія: правый подымалъ на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на добраго Государя и добраго боярина; а виноватый бѣжалъ въ густые лѣса сокрыть стыдъ свой отъ человѣковъ».

Для характеристики же хлѣбосольства боярина Матвѣя Карамзинъ говоритъ, что въ каждый двунадесятый праздникъ поставлялись длинные столы въ его горницахъ, чистыми скатертьми накрытые, и бояринъ, сидя на лавкѣ подлѣ высокихъ воротъ своихъ, звалъ къ себѣ обѣдать всѣхъ мимоходящихъ бѣдныхъ людей, сколько ихъ могло помѣститься въ жилищѣ боярскомъ. «Послѣ обѣда всѣ неимущіе братья, наполнивъ виномъ свои чарки, восклицали въ одинъ голосъ: «Добрый, добрый бояринъ и отецъ нашъ! мы пьемъ за твое здоровье! Сколько капель въ нашихъ чаркахъ, столько лѣтъ живи благополучно!» Они пили и благодарныя слезы ихъ капали на бѣлую скатерть».

У боярина Матвѣя была дочь, любезная Наталья, составлявшая «вѣнецъ его счастія и радости». Описывая красоту ея, Карамзинъ предоставляетъ читателю «вообразить себѣ бѣлизну итальянскаго мрамора и кавказскаго снѣга; онъ все еще не вообразитъ бѣлизны лица ея— и, представя себѣ цвѣтъ Зафировой любовницы, все еще не будетъ имѣть совершеннаго понятія объ алости щекъ Натальиныхъ». Когда Натальѣ минуло семнадцать лѣтъ или, выражаясь языкомъ Карамзина,

«Семнадцатая весна жизни ея наступила; травка зазеленѣлась, цвѣты расцвѣли въ полѣ, жаворонки запѣли—и Наталья, сидя поутру въ свѣтлицѣ своей подъ окномъ, смотрѣла въ садъ, гдѣ съ кусточка на кусточекъ порхали птички и, нѣжно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались въ густоту листьевъ, красавица въ первый разъ замѣтила, что онѣ летали парами—сидѣли парами и скрывались парами. Сердце ея какъ будто-бы вздрогнуло—какъ будто-бы какой-нибудь чародѣй дотронулся до него волшебнымъ жезломъ своимъ! Она вздохнула — вздохнула въ другой и въ третій разъ—посмотрѣла вокругъ себя—увидѣла, что съ ней никого не было, никого, кромѣ старой няни (которая дремала въ углу горницы на красномъ весеннемъ солнышкѣ),—опять вздохнула и вдругъ брилліантовая слеза сверкнула въ правомъ глазу ея, потомъ и въ лѣвомъ, и онѣ выкатились, одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щекѣ, въ маленькой нѣжной ямкѣ, которая у милыхъ дѣвушекъ бываетъ знакомъ того, что купидонъ цѣловалъ ихъ при рожденіи...»

Однимъ словомъ, случилось съ любезной Натальей вотъ что:

«Съ небеснаго лазореваго свода, а можетъ быть откуда-нибудь и повыше, слетѣла, какъ маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетѣла въ Натальино нѣжное сердце—*потребность любить, любить, любить*!!!... Вотъ вся загадка; вотъ причина красавицыной грусти—и есть-ли она покажется кому-нибудь изъ читателей не совсѣмъ понятной, то пусть требуетъ онъ подробнѣйшаго изъясненія отъ любезнѣйшей ему осьмнадцатилѣтней дѣвушки...»

Изъ всѣхъ этихъ выдержекъ читатель можетъ въ достаточной мѣрѣ уразумѣть, при чемъ тутъ старая русская жизнь и древность. — Единственныя хоть сколько нибудь историческія черты заключаются развѣ въ томъ, что сентиментальная барышня въ духѣ современницъ Карамзина живетъ въ терему, встрѣчается со своимъ любезнымъ не иначе, какъ въ церкви, и затѣмъ этотъ любезный, Алексѣй Любославскій, подкупивши нянюшку, проникаетъ въ теремъ для того, чтобы объясниться ей въ любви опять-таки вполнѣ во вкусѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Далѣе оказывается, что прекрасный молодой человѣкъ въ голубомъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами, сынъ опальнаго боярина, находится въ нѣкоторомъ отношеніи на нелегальномъ положеніи и живетъ въ дремучемъ лѣсу, куда онъ и привозитъ Наталью, похитивъ ее и обвѣнчавшись съ нею тайно.—И опять-таки какъ это нелегальное положеніе, такъ и похищеніе понадобились Карамзину вовсе не ради соблюденія историческаго колорита, а единственно для того, чтобы изобразить излюбленное сентиментализмомъ счастіе съ милымъ въ лѣсу въ бѣдной хижинѣ подъ соломенной кровлей. Однимъ словомъ, вся суть разсказа заключается въ слѣдующей сценѣ:

«Такимъ образомъ прошла зима: снѣгъ растаялъ; рѣки и ручьи зашумѣли, земля опушилась травкой и зеленыя почечки распустились на деревьяхъ. Алексѣй выбѣжалъ изъ своего домика, сорвалъ первый цвѣточекъ и принесъ его Натальѣ. Она улыбнулась, поцѣловала своего друга—и въ самую сію минуту запѣли въ лѣсу весеннія птички. *Ахъ, какая радость! какое веселье!* сказала красавица: *мой другъ, пойдемъ гулять!*—Они пошли и сѣли на берегу рѣки. «Знаешь-ли, сказала Наталья супругу своему,— знаешь-ли, что прошедшей весной не могла я безъ грусти слушать птичекъ? Теперь мнѣ кажется, будто я ихъ разумѣю и одно съ ними думаю. Посмотри! здѣсь на кусточкѣ поютъ двѣ птички — кажется, малиновки - посмотри, какъ онѣ обнимаются крылышками, онѣ любятъ другъ друга такъ, какъ я люблю тебя, мой другъ, и какъ ты меня любишь! Не правда-ли?» Всякій можетъ вообразить себѣ отвѣтъ Алексѣевъ и разныя удовольствія, которыя весна принесла съ собой для нашихъ пустынниковъ.»

Но если до сихъ поръ разсказъ очень мало имѣлъ точекъ соприкосновенія съ допетровской старивой, то далѣе онъ совершенно выходитъ изъ историческихъ рамокъ. Возгорается война съ литовцами, и мужъ Натальи, Алексѣй, спѣшитъ на войну, чтобы загладить и грѣхъ своего отца передъ царемъ, и свою собственную вину передъ боярином Матвѣемъ.—Наталья же, переодѣвшись въ мужское платье, слѣдуетъ за своимъ мужемъ на поле брани и тамъ, выдавая себя за младшаго брата Алексѣя, закрываетъ его щитомъ своимъ отъ вражескихъ ударовъ. Въ концѣ концовъ русскіе побѣждаютъ, и побѣдой своей оказываются обязанными исключительно Алексѣю. Онъ съ тріумфомъ въѣзжаетъ въ Москву и затѣмъ слѣдуетъ трогательная сцена всеобщаго примиренія и прощенія.

Какъ ни кажется намъ все это курьезно, но до какой степени въ свое время эта первая историческая повѣсть на Руси производила впродолженіи по край-

ней мѣрѣ тридцати лѣтъ глубокое и обаятельное впечатлѣніе,—это мы можемъ судить по роману Загоскина «Юрій Милославскій». Мы видимъ, что Загоскинъ завязалъ любовную интригу въ своемъ романѣ совершенно такъ-же, какъ завязана она у Карамзина, т. е. встрѣчею героя съ героиней въ церкви, назвалъ своего героя почти такъ-же, какъ и Карамзинъ, а затѣмъ закончилъ свой романъ еще съ бо́льшимъ сходствомъ. Карамзинъ разсказываетъ, что за нѣсколько лѣтъ передъ симъ, прогуливаясь осенью по берегу Москвы рѣки, близъ темной сосновой рощи, онъ нашелъ надгробный камень, заросшій зеленымъ мохомъ и разломленный рукою времени, и съ великимъ трудомъ могъ прочитать на немъ слѣдующую надпись: «*здѣсь погребенъ Алексѣй Любославскій съ своею супругою*». Точно также и романъ Загоскина оканчивается описаніемъ плиты съ надписью: «*лѣта 7130-го октября въ десятый день, преставился рабъ Божій, боярин Юрій Милославскій и супруга его Анастасія*».

Затѣмъ десять лѣтъ спустя, въ 1803 году, Карамзинъ написалъ вторую свою историческую повѣсть «Марѳа Посадница или покореніе Новагорода». Въ это время Карамзинъ собирался уже писать свою исторію, подготовлялъ для нея матеріалы, рылся въ архивахъ, читалъ лѣтописи, и былъ болѣе знакомъ съ историческими фактами и допетровской стариной, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ. И дѣйствительно, вы видите, что съ фактической стороны нельзя отказать Карамзину въ знакомствѣ съ эпохой паденія Новгорода, и въ этомъ отношеніи повѣсть можно назвать вполнѣ исторической. Но въ то же время и здѣсь вы не видите ни малѣйшаго слѣда чутья исторической дѣйствительности, тѣхъ красокъ и колорита, которые заставили бы насъ всецѣло перенестись въ эпоху Іоанна III и признать дѣйствующихъ лицъ повѣсти людьми вполнѣ живыми и принадлежавшими своему времени.—Напротивъ того, здѣсь мы видимъ словно будто шагъ назадъ со стороны Карамзина, т. е. отступленіе изъ области сентиментализма снова на почву классицизма. Самый языкъ повѣсти уже не тотъ простой, легкій, разговорный языкъ, которымъ писалъ Карамзинъ десять лѣтъ тому назадъ. Своимъ торжественнымъ пѣвучимъ тономъ, высокопарными эпитетами и славянизмами онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ тому, что́ называлось у ложноклассиковъ *высокимъ слогомъ*. Соотвѣтственно съ этимъ высокимъ слогомъ и все дѣйствіе разсказа поставлено на ложно-классическія ходули. Передъ вами словно будто не Новгородъ, а какая-то древняя республика, и, читая цицероновское краснорѣчіе московскаго боярина князя Холмскаго и затѣмъ Марѳы, вы совершенно забываете, что такія великолѣпныя рѣчи говорились на новгородскомъ вѣчѣ, а не въ Капитоліи.

«Народы дикіе любятъ независимость,—ораторствуетъ князь Холмскій,—народы мудрые любятъ порядокъ: и нѣтъ порядка безъ власти самодержавной. Ваши предки хотѣли править сами собой и были жертвой лютыхъ сосѣдовъ или еще лютѣйшихъ внутреннихъ междоусобій. Старецъ добродѣтельный, стоя на прагѣ вѣчности, заклиналъ ихъ избрать владѣтеля. Они повѣрили ему, ибо человѣкъ при дверяхъ гроба можетъ говорить только истину...»

Марѳа-же въ свою очередь демосѳенствуетъ:

«Знай, Новгородъ, что съ утратой вольности изсохнетъ и самый источникъ твоего богатства: она оживляетъ трудолюбіе, изощряетъ серпы и златитъ нивы; она привлекаетъ иностранцевъ въ наши стѣны съ сокровищами торговли; она-же окрыляетъ суда Новгородскія, когда они съ богатымъ грузомъ по волнамъ несутся... Бѣдность, бѣдность накажетъ недостойныхъ гражданъ, не умѣвшихъ сохранить наслѣдія отцовъ своихъ! Померкнетъ слава твоя, градъ Великій, опустѣютъ многолюдные *концы* твои; широкія улицы заростутъ травой, и великолѣпіе твое, исчезнувъ навѣки, будетъ басней народовъ. Напрасно любопытный странникъ среди печальныхъ развалинъ захочетъ искать того мѣста, гдѣ собиралось Вѣче, гдѣ стоялъ дворъ Ярославовъ и мраморный образъ Вадима: никто ему не укажетъ нихъ. Онъ задумается горестно и скажетъ только: «здѣсь *былъ* Новгородъ!..»

И вотъ, чтобы еще болѣе воспалить умы, Марѳа показываетъ цѣпь, гремитъ ею въ рукѣ своей и бросаетъ на землю; народъ въ изступленіи гнѣва попираетъ оковы ногами, взывая: «*Новгородъ Государь нашъ! война Іоанну!...*»

Всего этого вполнѣ достаточно, чтобы читатель могъ судить, насколько все это похоже на историческую дѣйствительность эпохи паденія Новгорода. Что касается до общаго взгляда на изображаемое историческое событіе, то надо отдать справедливость Карамзину, онъ старается сохранить полное безпристрастіе. «Мудрый Іоаннъ,—говоритъ онъ въ предисловіи,—долженъ былъ для славы и силы отечества присоединить область Новгородскую къ своей Державѣ; хвала ему! Однако-жъ сопротивленіе новгородцевъ не есть бунтъ какихъ-нибудь якобинцевъ; они сражались за древніе свои уставы и права, данные имъ отчасти самими Великими князьями, напримѣръ Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразсудно: они должны были предвидѣть, что сопротивленіе обратится въ гибель Новугороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ добровольной жертвы».

Въ силу этого взгляда на относительную правоту новгородцевъ, личность Марѳы Посадницы впродолженіи всей повѣсти рисуется въ весьма величественномъ и симпатичномъ видѣ, и особенно обаятельное впечатлѣніе производитъ она, когда спокойно и величаво кладетъ голову на плаху, громко заявляя народу: «*подданные Іоанна! умираю гражданкою Новгородской*»...

Нарѣжный, родившійся въ 1780 г., а умершій въ 1825 г., представляется такимъ образомъ младшимъ современникомъ Карамзина, и его можно назвать писателемъ несчастнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Начать съ того, что рѣдко кто не знаетъ Нарѣжнаго хоть по имени, и между тѣмъ вы не найдете ни одной хоть сколько-нибудь обстоятельной біографіи этого писателя, кромѣ самыхъ краткихъ свѣдѣній о его жизни, вродѣ послужного списка о его успѣхахъ по полученію чиновъ и орденовъ.

Писатель онъ былъ очень плодовитый, и послѣ смерти сочиненія его были изданы въ 10 томахъ, куда вошло далеко не все, что онъ успѣлъ написать втеченіи своей 45-ти лѣтней жизни. И представьте себѣ, что изъ всего имъ написаннаго сохранился въ

памяти потомства всего на всего одинъ пресловутый романъ его «Бурсакъ», и то благодаря тому, что въ первыхъ главахъ этого романа описаніе жизни кіевскихъ бурсаковъ напоминаетъ подобное-же описаніе въ гоголевскомъ «Віѣ». Между тѣмъ самъ по себѣ «Бурсакъ» далеко не изъ лучшихъ произведеній Нарѣжнаго и очень мало даетъ понятія о талантѣ автора. Если смотрѣть на Нарѣжнаго только какъ на прототипъ Гоголя, то и въ такомъ случаѣ слѣдовалобы обратить вниманіе прежде всего не на «Бурсака», а на «Двухъ Ивановъ или страсть къ тяжбамъ», гдѣ вы находите прототипъ «Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»; на «Аристіона»,—гдѣ вы встрѣчаете типъ помѣщика, весьма напоминающаго вамъ Плюшкина. Наконецъ не дано забывать, что Нарѣжный написалъ замѣчательный романъ «Русскій Жильблазъ», до сихъ поръ не изданный еще въ цѣломъ видѣ. И есть еще у Нарѣжнаго романъ «Черный годъ» или «Горскіе Князья», въ нѣкоторыхъ мѣстахъ котораго сатира его, по своимъ смѣлымъ штрихамъ, выходитъ уже изъ рамокъ нравоописательной и является прототипомъ уже не гоголевской, а скорѣе щедринской соли. Но все это забыто, исключая одного несчастнаго «Бурсака», о которомъ намъ приходится сказать нѣсколько словъ ради нѣкоторыхъ соприкосновеній этого романа съ исторіей.

Впрочемъ «Бурсака» нельзя назвать романомъ историческимъ не только въ строгомъ, но и снисходительномъ смыслѣ. Собственно говоря, это романъ сказочнаго характера. Главная суть его заключается въ хитросплетенной любовной интригѣ и въ фантастическихъ романическихъ приключеніяхъ героя Неона Хлопотинскаго, который изъ инаго сына дьячка превращается въ концѣ романа во внука малороссійскаго гетмана. Мы могли-бы совсѣмъ оставить въ сторонѣ этотъ романъ, еслибы онъ не служилъ намъ весьма наглядными примѣромъ, какъ безцеремонно относились еще у насъ къ исторіи недалѣе, какъ въ 20-е годы. Такъ мы видимъ, что дѣйствіе романа все развивается на почвѣ малороссійской старины. Тутъ вы встрѣчаете не однихъ кіевскихъ бурсаковъ, но и запорожскую сѣчь, и дворъ гетмана. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ романа видно, что дѣло происходитъ въ половинѣ XVII столѣтія, какъ разъ въ эпоху присоединенія Малороссіи къ Великороссіи. Тутъ даже изображается война казаковъ съ поляками въ союзѣ съ великороссами, кончающаяся миромъ, по которому, какъ говорится въ романѣ, «король польскій отказался навсегда отъ господства надъ Малороссіей, а рѣка Днѣпръ поставлена границей обоихъ владѣній. Гетманъ обязался царя русскаго почитать верховнымъ повелителемъ, помогать ему въ военное время ратными людьми и платить ту же самую подать, какая доселѣ платима была Польшѣ»... Кто-же могъ быть этотъ гетманъ? Конечно Богданъ Хмѣльницкій. И вдругъ онъ оказывается Никодимомъ, отцомъ преступной дочери Евгеніи и дѣдомъ героя романа, Неона. Однимъ словомъ въ то время ничего не стоило не только измѣнять имена историческихъ лицъ, но и приписывать имъ по произволу своей фантазіи какія угодно романическія происшествія.

Но у Нарѣжнаго есть нѣсколько повѣстей спеціально-историческаго содержанія, такъ называемые, «Словенскіе вечера». Сочиненія эти очевидно относятся къ юношескимъ годамъ Нарѣжнаго, такъ какъ впервые они были напечатаны въ 1809 году. Любопытны эти «Словенскіе вечера» въ томъ отношеніи, что показываютъ намъ, какъ писатели конца XVIII и начала XIX вѣковъ, воспитавшіеся на ложномъ классицизмѣ, не могли въ-серьезъ коснуться ничего историческаго безъ того, чтобы не встать на дыбы: и тонъ ихъ рѣчи дѣлается тотчасъ-же высокоторжественнымъ и восторженнымъ, и слогъ витіевато высокимъ. Такъ, люди, знакомые съ Нарѣжнымъ лишь по его «Бурсаку», могутъ не повѣрить, что авторъ «Словенскихъ вечеровъ» все тотъ-же Нарѣжный. Обратите вниманіе на самое предисловіе его къ «Словенскимъ вечерамъ»:

«На величественныхъ берегахъ моря Варяжскаго, тамъ, гдѣ вѣчно-юныя сосны смотрятся въ струи Невы кроткія, въ отдаленіи отъ пышнаго града Петрова и вѣчнаго грохота, по стогнамъ его звучащаго, — при склоненіи солнца багрянаго съ неба свѣтлаго въ волны румяныя, часто люблю я наслаждаться красотой земли и неба великолѣпіемъ, склонясь подъ тѣнь деревъ высокихъ и обрыщая въ мысляхъ времена протекшія.

«Тамо иногда сонмъ друзей моихъ и прелестныхъ дѣвъ земли Русскія окружаетъ меня. Кроткое пѣніе ихъ разливается по берегу и, журча вдали среди кустовъ зеленыхъ, теряется въ пространствѣ воздуха. Иногда берутъ они звонкія орудія и свѣтлыми звуками ихъ прославляютъ величіе добродѣтели и вѣрныхъ друзей ея. Потомъ гласы ихъ смягчаются, звоны орудій едва примѣтны. Они поютъ любовь невинную и ея пріятности. Въ кроткомъ упоеніи души я вѣщалъ имъ:

«Видѣлъ я страны чуждыя и красоты земель отдаленныхъ; видѣлъ весну цвѣтнѣе, видѣлъ осень обильнѣе благословеніями полей и вертоградовъ, межели въ странѣ нашей; но нигдѣ не видѣлъ я старцевъ почтеннѣе, мужей величественнѣе, юношей любезнѣе и дѣвъ прекраснѣе, какъ въ землѣ Словеновой.

«Воспой намъ», вѣщали они мнѣ, «воспой намъ пѣсни о доблестяхъ витязей и прелестяхъ дѣвъ земли Русскія во времена давно протекшія!»

«Исполняю желаніе ваше», отвѣтствовалъ я. «При закатѣ солнца лѣтняго въ воды тихія приходите сюда внимать моему пѣнію. Повѣдаю вамъ о подвигахъ ратныхъ предковъ нашихъ и любезности дѣвъ земли Словеновой.»

И вотъ слѣдуютъ одинъ за другимъ четырнадцать вечеровъ въ слѣдующемъ порядкѣ: первый вечеръ содержитъ разсказъ о Кіѣ и Дулебѣ, второй – о Словенѣ; третій—о Рогдаѣ, четвертый—о Велесилѣ, пятый и шестой—о Громобоѣ, седьмой—объ Иренѣ, восьмой—о Мирославѣ, девятый—о Михаилѣ (черниговскомъ), десятый, одиннадцатый и двѣнадцатый—о Любославѣ, тринадцатый — объ Игорѣ и наконецъ четырнадцатый, подъ заглавіемъ «Александръ», переноситъ читателей во времена самого автора и славословитъ войну 12-го года.—Всѣ эти вечера, кромѣ послѣдняго, представляются рядомъ небольшихъ полуфантастическихъ, полуисторическихъ повѣстей, въ которыхъ не малую роль играетъ любовь. Для того чтобы познакомить читателей какъ съ характеромъ, такъ и съ языкомъ этихъ разсказовъ, мы выбираемъ разсказъ о Велесилѣ, какъ не очень большой, но тѣмъ не менѣе вполнѣ романическій. Вотъ его содержаніе.

Начинается разсказъ съ того, что одинъ изъ витязей двора Владимірова, Велесилъ, коему могли противоборствовать Рогдай и Добрыня, мужи непобѣдимые, вмѣстѣ съ Бориполкомъ, своимъ оруженосцемъ, «стоялъ у подножія холма высокаго, и слезы струились по сѣдой бородѣ мужа великаго».

«На вершинѣ холма того,—читаемъ мы далѣе,—стоялъ кипарисъ возвышенный; на вѣтвяхъ его висѣли доспѣхи ратные, булава и мечъ великій. Съ другой стороны низменный древесный крестъ, къ дерну склонившійся. Мрачный витязь хранилъ безмолвіе свое. Наконецъ онъ поднимаетъ тяжкую десницу свою, опускаетъ ее со стремленіемъ на широкую грудь;—глухой стонъ раздался вокругъ холма: Велесилъ вѣщалъ, указывая перстомъ на холмъ могильный:

«Тамо, Бориполкъ, тамъ подъ полуистлѣвшимъ крестомъ сокрыто все, что́ было въ мірѣ семъ прекраснѣйшаго и драгоцѣннѣйшаго для моего сердца. Се любовь моя,—безмѣрная, безпредѣльная любовь дней пылкой юности, повергла несчастную въ обитель вѣчнаго мрака.—Боже! Обладателю земли! Кто воззоветъ ее оттолѣ?»

«Умолкъ; горестная тишина носилась по челу его. Се есть печать тоски неутолимыя».

Наконецъ на вопросъ Бориполка Велесилъ прерываетъ молчаніе и разсказываетъ своему оруженосцу романъ своей юности. Оказывается, что когда Владиміръ воевалъ съ Греціей, и грозные полки его, подобно тучѣ, носящей въ нѣдрахъ своихъ громы ревущіе, протекали черезъ области Греческія, на берегу свѣтлаго Иллиса обитали пастыри дружелюбные. Глава ихъ вышелъ ко Владиміру во срѣтеніе и предложилъ дары сельскіе.

— Не разоряй жилищъ нашихъ, князь непобѣдимый!—сказалъ онъ Владиміру, простершись во прахѣ ногъ его: мы не имѣемъ оружія,—не знаемъ битвъ поражающихъ. Если нужно тебѣ успокоеніе,—хижины наши отверзты; плоды древесные и млеко стадъ нашихъ утолятъ жажду и алчбу твою.

Князь склонился на слова старца, и ни одинъ пастырь не пролилъ слезы горестной. У старца была дочь Софія. «Прекрасна была она, подобно цвѣту нѣжному, едва возникшему. Плѣнительны были взоры ея, и возвышенная грудь обѣщала эдемъ небесный счастливому смертному, который возбудитъ въ ней о себѣ вздохи». И Владиміръ, и витязь его Велесилъ, оба разомъ влюбились въ такую красавицу, и князь поручилъ Велесилу похитить ее и отвезти въ Кіевъ: «хощу, да по прибытіи моемъ въ Кіевъ, когда сердца народныя упиваться будутъ радостію,—хощу, да первый кто поздравитъ меня съ побѣдой,—будетъ прекрасная Софія».

Велесилъ исполнилъ приказаніе Владиміра, похитилъ Софію, но, вмѣсто того чтобы отвезти ее въ Кіевъ, поселилъ ее въ особую пещеру, окружилъ роскошью и приставилъ своего оруженосца Блистара стеречь ее. Владиміру-же сказалъ, что она умерла. Но тщетно старался онъ склопить къ любви сердце ея. На всѣ его признанія она отвѣчала:

«Я равнодушна! Владиміръ-ли, князь Кіевскій,—или Велесилъ, витязь и другъ его;—ни того, ни другого не будетъ любить сердце мое. Поклонники идоловъ бездушныхъ презрѣнны въ душѣ моей! Кровожадные убійцы не найдутъ мѣста въ сердцѣ моемъ!»

Непреклонна оставалась она и послѣ того, какъ Велесилъ вернулся къ ней по окончаніи войны.

— Чудовище!—были первыя слова ея,—обагренный кровью, облитый слезами, покрытый проклятіемъ моихъ соотчичей,—ты дерзаешь предстать глазамъ моимъ?

— Удостой меня любви своей, Софія, и все измѣнится,—отвѣчалъ Велесилъ, простершись передъ ней.

— Никогда!—сказала она и отвратила взоры свои.

«Такъ прошли лѣта многія, — продолжалъ Велесилъ:—я обращался въ битвахъ, и отчаяніе, водившее моей рукой, дѣлало всегда меня побѣдителемъ. Я погружался въ веселіяхъ, и самый Владиміръ удивлялся неумѣренности моей и благодѣтельнымъ дарамъ небесъ, оградившимъ меня неизмѣнной крѣпостью. Все испыталъ я, дабы погасить пламень, поѣдающій мою внутренность,— и опыты мои были тщетны. Часъ отъ часу я дѣлался злополучнѣе и недовольнѣе своимъ существованіемъ; всякую весну навѣщалъ я непреклонную гречанку и всякій разъ находилъ ее блѣднѣй, мрачнѣй и непреклоннѣй. Подобно догорающей былинкѣ, едва-едва мерцала жизнь въ полугасшихъ взорахъ ея».

Но вотъ наконецъ Владиміръ принялъ христіанскую вѣру и крестилъ весь народъ свой. «Съ чувствомъ неизъяснимаго восторга,—повѣствуетъ Велесилъ,—погрузился я въ купель священную, и, казалось, грозное бремя, меня тяготившее, пало съ раменъ моихъ». И вотъ онъ поспѣшилъ къ своей возлюбленной, мечтая, что теперь-то она наконецъ смилуется, но, увы, вошедши въ пещеру, онъ увидѣлъ слѣдующее зрѣлище:

«На возвышенномъ одрѣ лежала Софія, блѣдная, подобно мѣсяцу въ осень глубокую. Закрыты были уста ея и взоры. Цвѣтный вѣнецъ лежалъ на главѣ страдалицы, и малый крестъ въ рукахъ ея. Вокругъ одра стояли возженные свѣтильники. Сѣдый Блистаръ сидѣлъ у ногъ ея, и горькія слезы старца лились по щекамъ его.

— Ея нѣтъ уже, витязь! — сказалъ онъ, обратясь къ Велесилу,—и Велесилъ палъ, подобно дубу высокому, громомъ пораженному.

Лишь на третій день очнулся Велесилъ. Тогда онъ приказалъ Блистару вырыть могилу. «Тутъ,—говорилъ онъ,—предали мы землѣ прекраснѣйшее созданіе природы. Мы насыпали холмъ возвышенный, и я водрузилъ крестъ древесный». «Подобно скитающейся тѣни отверженнаго небомъ грѣшника,—повѣствуетъ далѣе Велесилъ,—блуждалъ я по граду Кіеву. Видѣлъ богатство и великолѣпіе, видѣлъ пиршества и веселіе,—но ничто уже въ мірѣ не могло занять пустоты души моей. Тако правосудіе горней власти грозно отмщаетъ старцу за преступленіе юноши...»

Когда вы читаете подобныя вещи, стоящія всецѣло на ложно-классической почвѣ, совершенно отвлеченныя, чуждыя всякой жизни и историческихъ красокъ, написанныя такимъ высокопарнымъ, высокимъ, тяжелымъ, чисто-шишковскимъ слогомъ, еще разъ по-

вторяю, вы не вѣрите, чтобы это были произведенія того-же самаго Нарѣжнаго, который впослѣдствіи шагнулъ куда впередъ отъ Карамзина въ своихъ разсказахъ и повѣстяхъ изъ современной ему жизни.

II.

Романтическое движеніе, національный вопросъ и успѣхи исторіографіи, возбуждавшіе въ литературѣ и обществѣ интересъ къ изученію русской старины. —Экскурсіи Пушкина и Гоголя въ область исторіи. —„Арапъ Петра Великаго". —„Капитанская дочка". —„Страшная месть". — „Ночь на Рождество". — „Вій". —„Тарасъ Бульба".

Если теперь мы отъ такихъ произведеній, какъ «Словенскіе вечера» Нарѣжнаго, перенесемся черезъ 25 лѣтъ, къ концу 20-хъ годовъ, то можно подумать, что прошло не 25 лѣтъ, а добрая сотня, или что въ этотъ періодъ общество пережило какой-нибудь крутой переворотъ, впродолженіи котораго каждый годъ шелъ за пять,—до такой степени радикально измѣнились и литературный языкъ, и художественныя формы, и эстетическіе вкусы. Не только отъ ложнаго классицизма, но и отъ карамзинскаго сентиментализма не осталось и слѣда. Языкъ окончательно очистился отъ всѣхъ славянизмовъ и барбаризмовъ и блисталъ въ звучныхъ, музыкальныхъ стихахъ Пушкина и въ воздушно-легкой прозѣ его-же созданія. Высокій слогъ оплакивалъ одинъ Шишковъ, доживавшій свои послѣдніе годы. Даже и романтизмъ, переводимый на русскій языкъ Жуковскимъ, колебался уже, и съ каждымъ годомъ въ литературѣ замѣчалось все болѣе и болѣе реальныхъ струй. О прежнемъ историческомъ индифферентизмѣ, подводившемъ историческія личности всѣхъ народовъ и временъ подъ одинъ общій знаменатель классическихъ героевъ съ античными позами и вулканическими страстями, не было теперь и помину. Напротивъ того, въ теченіи 20-хъ годовъ постоянно развивалось стремленіе къ изученію народности въ смыслѣ племенныхъ и культурныхъ особенностей каждаго народа въ его настоящей и прошедшей жизни. Это стремленіе принесъ съ собой романтизмъ. Вѣдь что-же такое и былъ самъ по себѣ романтизмъ, какъ не протестъ противъ отвлеченности и универсальности классицизма, какъ не стремленіе пересадить поэзію на народную почву? Во всѣхъ странахъ Европы въ это время создавалась своя національная литература, причемъ особенное вниманіе обращалось на историческое прошлое, такъ какъ понятно, что въ этомъ прошломъ національныя особенности, не сглаженныя еще позднѣйшимъ сближеніемъ народовъ и вліяніемъ ихъ другъ на друга, выступали наиболѣе рѣзко. Не ограничиваясь одной чисто литературной областью, идея національнизма проникла, какъ извѣстно, въ то время и въ философскія системы, и въ политику. Во имя идеи національнизма вся Европа была покрыта въ то время сѣтью тайныхъ обществъ, и производились такія возстанія, какъ въ Греціи въ 20-е годы и Польшѣ въ 1830 году.

У насъ въ свою очередь уже во время войны 12-го года возникаетъ протестъ противъ рабской подражательности всему иностранному и въ особенности французскому и стремленіе къ національной самостоятельности. Это движеніе, первоначально чисто патріотическое и вызванное ожесточеніемъ противъ французовъ, послѣ войны мало-по-малу переносится на литературную почву. Въ 20-е годы уже всѣ передовые люди были немножко славянофилы и порицали «духъ пустого рабскаго слѣпого подражанья», подобно Чацкому на балу у Фамусова. Къ концу-же 20-хъ годовъ образуется въ Москвѣ кружокъ шеллингистовъ, и въ ихъ журналахъ идея національнизма является уже обоснованной философскими идеями. Вся суть существованія каждаго народа и вся его историческая миссія начинаютъ обусловливаться ничѣмъ инымъ, какъ національными способностями его. «Мы должны взирать на каждый народъ,—говоритъ Веневитиновъ въ программѣ «Московскаго Вѣстника»,—какъ на лицо отдѣльное, которое къ *самопознанію* направляетъ всѣ свои нравственныя усилія, ознаменованныя печатью особеннаго характера. Развитіе сихъ усилій составляетъ просвѣщеніе; цѣль просвѣщенія или *самопознанія* народа есть та степень, на которой онъ отдаетъ себѣ отчетъ въ своихъ дѣлахъ и опредѣляетъ сферу своего дѣйствія»...

И вотъ, во имя этого самосознанія всѣ огуломъ бросились изучать такъ называемую *народность*, подразумѣвая подъ этимъ именно тѣ племенныя особенности, которыя русскій народъ выразилъ въ своемъ настоящемъ и прошломъ, особенно-же въ своихъ историческихъ письменныхъ и устныхъ памятникахъ. Такому изученію много содѣйствовали успѣхи исторіографіи, которые особенно обнаружились въ періодъ царствованія Александра I. Такъ мы видимъ, что къ началу царствованія Николая вышли уже всѣ 12 томовъ исторіи Карамзина. Одновременно съ тѣмъ, какъ Карамзинъ выпускалъ томъ за томомъ своей исторіи, графъ Румянцевъ занимался основаніемъ русской палеографіи и археологіи, и множество изслѣдователей группировалось вокругъ него. Это было время плодотворной дѣятельности К. Ѳ. Кайдаловича, положившаго начало истинно-научнаго изданія и толкованія памятниковъ. Къ этому-же времени относятся труды П. С. Строева: его описаніе многихъ библіотекъ и археографическія путешествія по Россіи, положившія начало археографической коммиссіи. Рядомъ съ Строевымъ археологическими путешествіями и розысканіями занимались тогда и такіе почтенные ученые, какъ А. Н. Оленинъ, К. Н. Бороздинъ и А. И. Ермолаевъ, причемъ труды ихъ печатались не въ какихъ-либо спеціальныхъ и недоступныхъ публикѣ изданіяхъ, а, напротивъ,— въ общихъ литературныхъ журналахъ того времени – «Отечественныхъ Запискахъ», «Сѣверномъ Архивѣ», «Телеграфѣ», «Вѣстникѣ Европы». Значительно въ то время подвинулось знакомство съ народной поэзіей. Такъ, въ 1804 г. были изданы Якубовичемъ былины Кирши Данилова, выпущенныя затѣмъ въ 1818 г. Калайдовичемъ вторымъ изданіемъ. Въ 1819 году появилось изданіе кн. Цертелева «Полное собраніе малороссійскихъ пѣсенъ». Въ 1827 г. М. А. Максимовичъ въ свою очередь издалъ сборникъ малороссійскихъ пѣсенъ. И вотъ мы видимъ, что къ

концу 20-хъ годовъ увлеченіе историческимъ прошлымъ дѣлается всеобщимъ, овладѣваетъ всѣмъ литературнымъ міромъ. Такъ, первѣйшій поэтъ того времени, Пушкинъ, уже въ половинѣ 20-хъ годовъ, будучи еще въ ссылкѣ въ селѣ Михайловскомъ, обратился къ историческому прошлому и написалъ драму «Борисъ Годуновъ». Въ 30-хъ же годахъ, подъ конецъ своей жизни, онъ все болѣе и болѣе склонялся, какъ извѣстно, къ исторіи, получивши оставшееся послѣ смерти Карамзина вакантное мѣсто придворнаго исторіографа и вмѣстѣ съ тѣмъ доступъ въ государственные архивы, и занялся сначала исторіею пугачевскаго бунта, а затѣмъ собраніемъ матеріаловъ для исторіи царствованія Петра I.

Гоголь, едва пріѣхавши въ Петербургъ въ концѣ 20-хъ годовъ, былъ до такой степени охваченъ атмосферою историческихъ интересовъ, что тотчасъ же въ письмахъ къ роднымъ и знакомымъ началъ умолять ихъ присылать ему всевозможныя историческія свѣдѣнія о Малороссіи, описаніе нравовъ, обычаевъ, костюмовъ, игръ, пѣсенъ, легендъ и проч. «Это мнѣ очень, очень нужно», пишетъ онъ при этомъ. «Принося чувствительнѣйшую благодарность,—пишетъ онъ къ матери (27-го іюля 1828 г.),—за ваши драгоцѣнныя извѣстія о малороссіянахъ, прошу васъ убѣдительно не оставлять и впредь таковыми письмами. Въ тиши уединенія готовлю запасъ, котораго, порядочно не обработавши, не пущу въ свѣтъ; я не люблю спѣшить, а тѣмъ болѣе заниматься поверхностно».

Передовой журналистъ и критикъ того времени, Н. А. Полевой, въ свою очередь бросается въ историческія изслѣдованія, пишетъ свою «Исторію русскаго народа», а впослѣдствіи рядъ историческихъ монографій, драмъ и романовъ.

Прямымъ результатомъ всего этого общаго увлеченія исторіею и древностями и было появленіе въ 30 и 40 годахъ несмѣтной массы историческихъ романовъ. Первый историческій романъ, появившійся въ свѣтъ, былъ, какъ извѣстно, «Юрій Милославскій» Загоскина, изданный въ 1829 году. Съ Загоскина намъ и слѣдовало бы, по настоящему, начинать наше обозрѣніе историческихъ романовъ 30 годовъ. Но нѣкоторое обстоятельство заставляетъ насъ на первый разъ отступить отъ строгаго хронологическаго порядка. Дѣло въ томъ, что мы имѣемъ нѣсколько историческихъ романовъ Пушкина и Гоголя, которые представляютъ собою нѣчто совершенно особенное, не имѣющее ничего общаго со всѣми прочими историческими романами 30 годовъ, отличающееся отъ нихъ, какъ небо отъ земли. Ставить ихъ въ одинъ рядъ съ романами Загоскина или Лажечникова по этой причинѣ не представляется никакой возможности. Они непремѣнно должны быть выдѣлены и поставлены на первый планъ, чтобы служить маяками для нашихъ дальнѣйшихъ обозрѣній. Ихъ высокое, геніальное достоинство будетъ освѣщать и оттѣнять передъ нами слабыя стороны и недостатки исторической беллетристики 30 годовъ. Съ нихъ мы поэтому и начинаемъ.

Пушкинъ, какъ мы выше говорили, обратился къ исторіи уже въ первой половинѣ 20 годовъ, живши въ селѣ Михайловскомъ. Въ то время онъ былъ еще подъ сильнымъ вліяніемъ Карамзина, сказавшемся въ его драмѣ «Борисъ Годуновъ». Но во второй половинѣ 20 годовъ онъ совершенно освободился отъ этого вліянія до такой степени, что въ 1830 г. въ своей «Лѣтописи села Горохина» онъ пародируетъ высокопарный языкъ и нѣкоторые даже взгляды Карамзина, представляя ихъ въ самомъ комическомъ видѣ. Въ это время въ портфелѣ его лежало уже начало первой его исторической повѣсти «Арапъ Петра Великаго», написанное имъ въ 1827 году.

Въ повѣсти этой впервые вполнѣ обнаружилось тонкое и геніальное историческое чутье Пушкина. Первое, что васъ поражаетъ здѣсь, это идеальная объективность разсказа. Ничего тутъ не преувеличена, ни преуменьшено. Не встрѣтите вы ни какой-либо идеализаціи съ одной стороны, ни излишнихъ черныхъ красокъ съ другой, а только одну трезвую, реальную и безпристрастную историческую правду.—Петербургская жизнь эпохи Петра такъ живо и рельефно рисуется передъ вами, что вы совершенно переноситесь въ ея сферу до такой степени, что васъ нисколько не поражаютъ рѣзкія особенности этой жизни, какъ нѣчто совершенно отличное отъ настоящаго времени, что трудно было бы себѣ и представить. Напротивъ того, вы сразу осваиваетесь съ изображаемою средою, совершенно какъ будто переживаете изображаемое время, точно будто имѣете дѣло съ какими-то вашими собственными воспоминаніями.

Но главное достоинство повѣсти заключается въ геніальномъ умѣньѣ уловить духъ времени въ различныхъ мелкихъ нюансахъ обыденной жизни. Такъ напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что въ то время существовала цѣлая масса оппозиціоннаго дворянства, очень неблагосклонно относившагося къ нѣмецкимъ нововведеніямъ Петра и дорожившаго всѣми обычаями до-петровской старины. Романистъ съ мелкимъ талантомъ и плохимъ историческимъ чутьемъ, еслибы вздумалъ вывести семью подобнаго дворянина-консерватора, непремѣнно изобразилъ бы его въ видѣ боярина XVII вѣка въ древне-русскомъ костюмѣ, съ бородою, съ женою и дочерью, запертыми въ теремѣ, съ хозяйкою, обходящею полупьяныхъ гостей съ чаркою и поцѣлуемъ, и т. п. Но Пушкинъ очень хорошо понялъ, что въ то время нравы не только сподвижниковъ Петра, но и оппозиціоннаго дворянства значительно уже отошли отъ старины XVII вѣка и измѣнились. Вся оппозиція выражалась въ одной воркотнѣ, въ однихъ жалкихъ вздохахъ по старинѣ, которой сами приверженцы на каждомъ шагу измѣняли. И вотъ въ четвертой главѣ повѣсти рисуется передъ вами великолѣпная картина праздничнаго обѣда оппозиціонной дворянской семьи, и картина эта до такой степени во всѣхъ своихъ подробностяхъ вѣрна своей эпохѣ, что вы сразу чувствуете, что именно такъ обѣдали въ Петербургѣ знатные баре только при Петрѣ, и никакой нѣтъ возможности перенести эту картину на полстолѣтіе раньше или позже.

Такъ, мы видимъ, что какъ ни старается Гаврила Аѳанасьевичъ слѣдовать старинѣ и воспитывать дочь свою по старинному, окружаетъ ее мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными дѣвушками, заставляетъ шить золотомъ и не учитъ грамотѣ,—но нельзя же не вывозить ее ко двору, на ассамблеи. Къ этому

побуждаетъ не одна воля царя и страхъ его грознаго гнѣва, но и собственное тщеславіе и честолюбіе, боязнь быть оттерту назадъ, забыту. Въ то же время и дочь, которую естественно тянетъ ко всему новому и модному, вліяетъ на старика. И вотъ волею неволею сбриваетъ онъ свою бороду, облекается въ нѣмецкій кафтанъ, не можетъ противиться желанію дочери учиться пляскамъ нѣмецкимъ у плѣннаго шведскаго офицера, который спеціально для этой цѣли поселяется въ домѣ его.

На праздничный обѣдъ гости съѣзжаются уже по новому обычаю съ женами и дѣтьми. Правда, дочь Гаврилы Аѳанасьевича, Наталія Гавриловна, по старинѣ подноситъ каждому гостю серебряный поднось, уставленный золотыми чарками, но поцѣлуй, получаемый въ старину при такомъ случаѣ, оказывается уже вышедшимъ изъ обыкновенія. Гости садятся за столъ по чинамъ, наблюдая старшинство рода, мужчины по одну сторону, а женщины по другую, но въ этомъ смутномъ отголоскѣ мѣстничества только и выражается память о старинѣ. А затѣмъ является на сцену дура Екимовна, старуха набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣтами и мишурою, въ штофномъ роброндѣ, съ открытой шеею и грудью, и, припѣвая и подплясывая, объявляетъ, что она «наряжалась для дорогихъ гостей, для Божія праздника, по Царскому наказу, по боярскому приказу, на смѣхъ всему міру, по нѣмецкому маниру». Гости злорадно хохочутъ при видѣ этой живой карикатуры на новые нѣмецкіе обычаи, и затѣмъ начинается обычная въ то время воркотня, въ сущности самаго невиннаго свойства, вся сводящаяся на мелочную экономическую почву, вродѣ слѣдующей рѣчи бывшаго рязанскаго воеводы: «Охъ, матушка, Татьяна Аѳанасьевна! по мнѣ, жена какъ хочешь одѣвайся, хоть кутафьей, хоть болдыханомъ, только бы не каждый мѣсяцъ заказывала себѣ новыя платья, а прежнія—бросала новешенькія. Бывало, внучкѣ въ приданое доставался бабушкинъ сарафанъ, а нынѣшнія робронды—поглядишь, сегодня на барынѣ, а завтра на холопкѣ. Что дѣлать? Разореніе русскому дворянству! Бѣда да и только!»

Но для болѣе яснаго представленія всей ничтожности и эфемерности подобной оппозиціи, Пушкинъ изобразилъ далѣе внезапное появленіе Петра на этомъ самомъ обѣдѣ.—Тотчасъ же отъ всей этой оппозиціи не осталось ни слѣдочка. Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на встрѣчу Петра; слуги разбѣгались, какъ одурѣлые; гости перетрусили; иные даже думали, какъ бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громозвучный голосъ Петра; все утихло, и Царь вошелъ въ сопровожденіи хозяина, *оторопѣлаго отъ радости*. «Здорово, господа!» сказалъ Петръ съ веселымъ лицомъ. Всѣ низко поклонились. Быстрые взоры Царя отыскали въ толпѣ молодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смѣло, но покраснѣвъ не только по уши, а даже по плечи. «Ты часъ отъ часу хорошѣешь», сказалъ ей государь и, по своему обыкновенію, поцѣловалъ ее въ голову: потомъ, обратясь къ гостямъ: «что же? я вамъ помѣшалъ? вы обѣдали; прошу садиться опять, а мнѣ, Гаврила Аѳанасьевичъ, дай-ка анисовой водки». Хозяинъ бросился къ величавому дворецкому, выхватилъ изъ рукъ у него поднось, самъ налилъ золотую чарку и подалъ ее съ поклономъ Государю. Петръ выпилъ, закусилъ кренделемъ и вторично пригласилъ гостей продолжать обѣдать. Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлицы и барской барыни, которая не смѣла оставаться за столомъ, удостоеннымъ царскимъ присутствіемъ. Петръ сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ себѣ щей. Государевъ деньщикъ подалъ ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножикъ и вилку съ зелеными костяными черенками, ибо Петръ никогда не употреблялъ другого прибора, кромѣ своего. *Обѣдъ, за минуту передъ симъ шумно оживленный весельемъ и говорливостью, продолжался въ тишинѣ и принужденности. Хозяинъ, изъ почтенія и радости, ничего не ѣлъ; гости также чинились и съ благоговѣніемъ слушали, какъ Государь по нѣмецки разговаривалъ съ плѣннымъ шведомъ о походѣ 1701 года.*

Обратите вниманіе, какъ здѣсь нѣсколькими могучими чертами обрисовывается вполнѣ передъ нами и политическое, и нравственное состояніе цѣлаго сословія въ эпоху Петра, со всѣми его и рабскимъ страхомъ, и подобострастнымъ ничтожествомъ передъ необъятною силою грознаго реформатора, который шутить не любилъ. Но далѣе все это выступаетъ еще ярче. Оказывается, что Петръ пріѣзжалъ не спроста, а свататъ дочь хозяина за своего любимца арапа Ибрагима. Подобнымъ сватовствомъ нарушались всѣ гордыя традиціи стараго дворянскаго рода. Гаврила Аѳанасьевичъ не могъ не чувствовать глубокаго униженія при мысли, что дочь его сватаютъ за купленнаго невольника, да къ тому-же и чернаго. Но объ изъявленіи какого либо протеста не приходилось и помышлять.

— „Батюшка-братецъ! —сказала старуха (сестра Гаврилы Аѳанасьевича) слезливымъ голосомъ.—не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ты Наташеньки въ когти черному дьяволу.

— Но какъ-же — возразилъ Гаврила Аѳанасьевичъ—отказать Государю, который за то обѣщаетъ намъ свою милость, мнѣ и всему нашему роду?

— Какъ!—воскликнулъ старый князь (тесть), у котораго сонъ совсѣмъ прошелъ:—Наташу, внучку мою, выдать за купленнаго Арапа?

— Онъ роду не простого,—сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ,—онъ сынъ арапскаго султана. Басурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Царьградѣ, а нашъ посланникъ выручилъ и подарилъ его Царю. Старшій братъ арапа пріѣзжалъ въ Россію съ знатнымъ выкупомъ и. .

— Слыхали мы сказку про Бову Королевича да Еруслана Лазаревича!

— Батюшка, Гаврила Аѳанасьевичъ, — прервала старушка:—разскажи-тко намъ лучше, какъ отвѣчалъ Государю на его сватанье.

— Я сказалъ, что власть его съ нами, а наше холопье дѣло повиноваться ему во всемъ.

Въ эту минуту раздался за дверью шумъ. Гаврила Аѳанасьевичъ пошелъ отворить ее, но почувствовалъ сопротивленіе. Онъ сильно ее толкнулъ, — дверь отворилась, и онъ увидѣлъ Наташу въ обморокѣ, простертую на окровавленномъ полу.

Такъ завязывается узелъ драмы. Въ приведенной нами сценѣ что ни слово, то драгоцѣнный перлъ.—Положительно не знаешь, что тутъ выше, что лучше

обрисовываетъ всю неприглядную психическую нищету выведенныхъ дѣйствующихъ лицъ: надежда-ли на милости, ради которыхъ люди эти готовы не только забыть всю обожаемую старину, но и поступиться судьбой любимой дочери, или-же жалкое утѣшеніе униженной гордости, что Ибрагимъ—не простой черный невольникъ, а чуть не изъ царскаго рода. Эти спѣсивые и гордые люди поражаютъ васъ въ тоже время рабской приниженностью своей, и Петръ со своей непреклонной волей тяготѣетъ грознымъ рокомъ надъ всѣми дѣйствующими лицами романа. Вмѣстѣ съ тѣмъ открывается передъ вами и вотъ какая историческая черта въ личности Петра. Въ то время какъ оппозиціонные дворяне, при всей приверженности къ старинѣ, на каждомъ шагу вольно и невольно измѣняли ей, Петръ, не смотря на любовь ко всему иностранному и при всемъ стремленіи совершенно отрѣшить Россію отъ всѣхъ традицій старины, въ самомъ себѣ невольно и безсознательно носилъ не мало этихъ традицій. Таково между прочимъ было произвольное вмѣшательство его въ частныя, семейныя дѣла своихъ приближенныхъ, что носило характеръ чего-то стародавняго, патріархальнаго, вотчиннаго.

Такое же историческое безпристрастіе, полное отсутствіе какихъ-либо патріотическихъ славословій и трезвый реализмъ видите вы и въ «Капитанской дочкѣ» Пушкина. Начать съ того, что здѣсь нѣтъ героя въ томъ пошломъ видѣ безукоризненно-идеальнаго молодого человѣка, блещущаго всѣми и матеріальными, и умственными доблестями, въ какомъ подобный герой подвизался въ то время во всѣхъ романахъ, какъ изъ исторической, такъ и изъ современной жизни. Гриневъ, отъ лица котораго ведется разсказъ, не имѣетъ ничего общаго съ такими героями. Это самый заурядный помѣщичій сынокъ 18-го вѣка, не особенно далекій, не Богъ вѣсть какъ образованный, отличающійся всего на всего доброй душой и нѣжнымъ сердцемъ. Дѣтство его описано не безъ юмора, именно того добродушнаго, тонкаго и чисто народнаго пушкинскаго юмора, который къ сожалѣнію до сихъ поръ еще не оцѣненъ въ должной мѣрѣ, хотя, по моему мнѣнію, онъ нисколько не уступаетъ гоголевскому юмору. Такъ мы видимъ, что съ рожденія барчукъ былъ записанъ въ Семеновскій полкъ сержантомъ по милости маіора князя Б., близкаго родственника Гриневыхъ, и считался въ отпуску до окончанія наукъ. Науками-же занимался съ мальчикомъ стремянной Савельичъ, пожалованный въ дядьки за трезвое поведеніе.

Подъ его надзоромъ герой на двѣнадцатомъ году выучился русской грамотѣ и могъ очень здраво судить о свойствахъ борзого кобеля. Въ это время наняли для него француза, мосье Бопре, котораго выписали изъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла. Мосье Бопре былъ добрый малый, но вѣтренъ и безпутенъ до крайности. Главной его слабостью была страсть къ прекрасному полу, но любилъ онъ и хлебнуть лишнее, привыкши къ русской настойкѣ и предпочитая ее винамъ своего отечества, какъ не въ примѣръ болѣе полезную для желудка. «Мы, — говоритъ Гриневъ, — тотчасъ поладили, и хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня *по французски, по нѣмецки и всѣмъ наукамъ*, но онъ предпочелъ наскоро выучиться отъ меня кое-какъ болтать по русски, и потомъ каждый изъ насъ занимался своимъ дѣломъ...» Но когда прачка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кривая коровница Акулька разомъ кинулись въ ноги своей барынѣ, винясь въ своей преступной слабости и съ плачемъ жалуясь на мусье, обольстившаго ихъ неопытность, и когда старикъ Гриневъ пошелъ на расправу въ комнату сына и засталъ тамъ мусье мертвецки пьянымъ и спавшимъ глубокимъ сномъ, а сына дѣлающимъ змѣй изъ географической карты и привязывавшимъ хвостъ къ мысу Доброй Надежды, мусье Бопре былъ тотчасъ же изгнанъ изъ дома. «Тѣмъ и кончилось,— говоритъ Гриневъ,—мое воспитаніе. Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками». Когда же мальчику минуло 16 лѣтъ, отецъ надумалъ отправить его прямо на службу, конечно военную. Мальчикъ былъ этому очень радъ, но не какія-либо идеальныя мечты о принесеніи пользы отечеству, о пораженіи враговъ отечества волновали его при этомъ, а, какъ и надо было ожидать, «мысли о службѣ,—говоритъ онъ,—сливались во мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ петербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что, по мнѣнію моему, было верхомъ благополучія человѣческаго». Но практическій и умный старикъ-отецъ рѣшилъ иначе: «Петрушка въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, да потянетъ лямку, да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, а не шематонъ въ гвардіи!» —И онъ послалъ сына къ старинному товарищу и другу служить подъ его начальствомъ въ арміи въ Оренбургѣ.

«И такъ, — говоритъ Гриневъ,—всѣ мои блестящія надежды рушились! Вмѣсто веселой петербургской жизни ожидала меня скука въ сторонѣ глухой, отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ, показалась мнѣ тяжкимъ несчастіемъ...»

По дѣлать было нечего, поѣхалъ молодой недоросль по батюшкину приказанію невѣдомо куда и зачѣмъ. Средній романистъ того времени не преминулъ бы заставить героя на дорогѣ кого-нибудь спасти отъ неминуемой смерти и вообще оказать какія-нибудь чудеса храбрости. Гриневъ не только никакихъ чудесъ не оказываетъ, но, какъ и надо было ожидать, 16-тилѣтняго мальчугана въ Симбирскѣ нѣкій шатающійся шулеръ самымъ прозаическимъ образомъ обыгрываетъ на биліардѣ. Спасителемъ же отъ смерти оказывается не Гриневъ, а его самого спасаетъ отъ опасности замерзнуть во время метели какой-то бѣглый казакъ, оказавшійся потомъ Пугачевымъ, и за это молодой, добрый баринъ весьма естественно и просто поитъ казака водкой и даритъ ему лишній овчинный тулупъ, изъ котораго онъ самъ уже давно выросъ и который поэтому разлѣзается по всѣмъ швамъ на плечахъ дюжаго казака...

Но вотъ мы и въ Бѣлогорской крѣпости, описаніе которой, равно какъ и комическихъ обитателей ея—

добродушнаго капитана Миронова изъ выслужившихся солдатъ, его энергической жены, Василисы Егоровны, которая, держа своего мужа подъ башмакомъ, на дѣла службы смотрѣла, какъ на свои хозяйскія и управляла крѣпостью такъ точно, какъ и своимъ домомъ, кривого гарнизоннаго поручика Ивана Игнатьевича, коварнаго деморализированнаго бретера Швабрина,—все это наизусть почти извѣстно каждому грамотному русскому человѣку изъ любой дѣтской христоматіи и не требуетъ особенныхъ комментаріевъ. Не требуетъ комментаріевъ и романъ, который завязывается въ этой захолустной средѣ; такъ незатѣйливъ и простъ этотъ заурядный романъ прапорщика, который пописываетъ стишки въ духѣ Сумарокова въ честь своей любезной и вызываетъ на дуэль дерзкаго оскорбителя чести ея, Швабрина, за то, что тотъ посовѣтовалъ вмѣсто поднесенія плохихъ стишонковъ купить лучше дѣвушкѣ пару серегъ. Героиня этого романа въ свою очередь не прельщаетъ васъ какой-нибудь неземной красотой, не сверкаетъ солнце у нея во лбу и глаза ея не мечутъ всепожирающаго пламени. Она именно въ такомъ родѣ, въ какомъ можно себѣ представить дочь гарнизоннаго капитана Бѣлогорской крѣпости, выросшую въ глухой и безлюдной глуши: застѣнчивая дикарка, которая съ перваго знакомства можетъ показаться даже весьма недалекой, такая трусиха, что, по словамъ матери, «до сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ ружья—такъ и затрепещется, а какъ тому два года Иванъ Кузьмичъ выдумалъ въ мои именины палить изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки». Помышляютъ онѣ вмѣстѣ съ маменькой только о томъ, какъ бы найти добраго человѣка и выйти замужъ.—Когда Гриневъ дѣлаетъ ей предложеніе, она безъ всякаго жеманства говоритъ, что ея родители конечно рады будутъ ея счастію, «но подумай хорошенько, со стороны твоихъ родныхъ не будетъ-ли препятствій?» Когда-же отецъ Гринева написалъ грозное письмо своему сыну за его рановременное сватовство, она возвратила это письмо своему милому дрожащей рукой и сказала дрожащимъ голосомъ:

— «Видно мнѣ не судьба... Родные ваши не хотятъ меня въ свою семью. Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше насъ знаетъ, что намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреичъ, будьте хоть вы счастливы!..» На готовность же Гринева жениться на ней помимо воли родителей она отвѣчаетъ:

— «Нѣтъ, Петръ Андреевичъ, я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастія. Покорися волѣ Божіей. Коли найдешь себѣ суженую, коли полюбишь другую—Богъ съ тобой, Петръ Андреичъ, а я за васъ обоихъ»...

Она заплакала и ушла отъ Гринева. — «Съ той поры,—говоритъ онъ,—положеніе мое перемѣнилось. Марья Ивановна почти со мной не говорила и всячески старалась избѣгать меня».

Однимъ словомъ, передъ вами, какъ живой, стоитъ типъ простой, заурядной, захолустной дѣвушки изъ средняго круга 18-го вѣка, дѣвушки безъ всякой аффектаціи и сентиментальности, у которой любовь и замужество соединяются въ одно неразрывное понятіе и которая видитъ въ этомъ не плѣнительные и усладительные амуры, а серьезное и, можно даже сказать, религіозное дѣло всей жизни

Такимъ образомъ и здѣсь подобно тому, какъ и въ «Арапѣ Петра Великаго», Пушкинъ является передъ нами не только реалистомъ вообще, но и натуралистомъ въ томъ смыслѣ, что въ обоихъ произведеніяхъ передъ вами развертывается картина жизни не какихъ-либо идеальныхъ и эксцентрическихъ личностей, а самыхъ заурядныхъ людей; вы переноситесь въ обыденную массовую жизнь восемнадцатаго вѣка и видите, какъ эта жизнь текла день за день со всѣми своими мелкими будничными интересами. Этимъ и отличаются историческіе романы Пушкина отъ всѣхъ послѣдующихъ изображеній жизни восемнадцатаго вѣка, въ которыхъ жизнь, отстоящая отъ насъ не болѣе какъ на сто или полтораста лѣтъ, рисуется передъ нами въ какомъ-то миѳическомъ волшебномъ туманѣ, причемъ изображаемымъ личностямъ придаются необыкновенно титаническіе размѣры: все это оказываются широкія, размашистыя натуры, то поражающія міръ своей роскошью и необузданнымъ молодечествомъ и разгуломъ, то приводящія въ ужасъ демоническимъ хищничествомъ, коварствомъ и эксцентричностью своихъ преступленій вродѣ замуравливанія въ стѣны живыхъ людей или срытія цѣлыхъ усадебъ. Я не говорю, чтобы ничего подобнаго не было въ 18-мъ вѣкѣ; но отнюдь не изъ такихъ баснословныхъ характеровъ и ужасовъ слагалась ежедневная, будничная жизнь того времени. Они были лишь выдающимися точками, исключеніями изъ уровня ея. А чтобы понять этотъ уровень, слѣдуетъ обратиться къ Пушкину. Перенесясь за сто лѣтъ назадъ къ его «Капитанской дочкѣ», вы отнюдь не попадаете въ какой-то сказочный міръ, а видите все ту-же самую жизнь, которая, катясь годъ за годъ, докатилась и до сего дня. И дѣйствительно, вѣдь эта жизнь все таже самая, а не другая какая, особенно въ провинціальной глуши. Одно простое соображеніе должно внушить вамъ, что если и въ настоящее время провинціальная глушь представляетъ собой мертвое царство непробуднаго сна и полнаго застоя, то сто лѣтъ тому назадъ она должна была быть еще однообразнѣе, монотоннѣе и неподвижнѣе. И дѣйствительно, вы видите передъ собой въ разсказѣ такое стоячее болото, что даже столь грозная буря, какъ пугачевскій погромъ, могла покрыть поверхность этого болота лишь едва замѣтной зыбью. Обитатели Бѣлогорской крѣпости, жившіе въ самомъ очагѣ бунта, въ своей буколической невинности до такой степени не знали, что дѣлается вокругъ нихъ, что, когда бунтъ уже начался и герой сообщилъ коменданту, что онъ слышалъ въ Оренбургѣ, будто на Бѣлогорскую крѣпость собираются напасть башкиры, комендантъ отвѣчалъ:

— «Пустяки! у насъ давно ничего не слыхать. Башкиры—народъ напуганный, да и киргизы проучены. Небось на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ острастку, что лѣтъ на десять уго-моню.»

И нужно было, чтобы Пугачевъ пришелъ къ крѣпости и взялъ ее безъ малѣйшихъ усилій, и лишь тогда, когда на площади воздвиглись висѣлицы, обитатели поняли наконецъ значеніе и ужасъ пугачевскаго бунта.

Но верхъ художественнаго совершенства по строгой, трезвой реальности, историческому безпристрастію и глубинѣ пониманія безспорно представляетъ собою образъ самого Пугачева. Можно смѣло сказать, что во всей нашей литературѣ другого такого Пугачева вы не найдете. Изобразить вѣрно и въ настоящемъ свѣтѣ подобнаго рода личность тѣмъ труднѣе, чѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ она на воображеніе и невольно влечетъ художника къ какимъ-нибудь преувеличеніямъ. Стоило Пушкину немножко болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, перепустить густыхъ черныхъ красокъ, что было такъ легко сдѣлать сообразно тому ужасу и отвращенію, какое возбуждалъ Пугачевъ въ современникахъ Пушкина, и вышелъ-бы мелодраматическій злодѣй, ни съ чѣмъ несообразное нравственное чудовище; стоило-бы отъ живой дѣйствительности хоть на одинъ шагъ вступить въ область эффектныхъ романтическихъ образовъ, и вышло-бы нѣчто вродѣ Карла Моора, образъ очень красивый самъ по себѣ, но чуждый исторической правды. Пушкинъ геніально избѣгъ и того, и другого. Ему и Пугачева удалось свести на почву осязательной и будничной дѣйствительности. Правда, является онъ на сцену романа не безъ поэтичности: словно какой-то миѳическій духъ грозы и бури онъ внезапно вырисовывается передъ читателемъ изъ мутной мглы бурана, но вырисовывается вовсе не для того, чтобы сразу поразить васъ, какъ нѣчто выдающееся и необыкновенное. Является онъ простымъ бѣглымъ казакомъ, полураздѣтымъ бродягою, только что пропившимъ въ кабакѣ послѣдній свой тулупъ. Онъ поражаетъ проѣзжихъ своею смѣтливостью и тонкостью чутья, по едва уловимому запаху дыма указавъ на близость селенія; но это вовсе не какая-либо особенность Пугачева, какъ Пугачева, а общая черта, свойственная всѣмъ степнымъ бродягамъ. Наружность его показалась Гриневу замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. На черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые большіе глаза такъ и бѣгали. Лицо его носило выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Спрашивается теперь, что же такое могло быть пріятнаго въ лицѣ Пугачева? Очевидно, это было выраженіе того особеннаго рода добродушія, смѣшаннаго съ юморомъ и ироніею, какое вы встрѣтите въ лицѣ массы русскихъ людей, порою самыхъ хитрыхъ и плутоватыхъ. Развѣ вы не встрѣчали такихъ людей: съ одной стороны глаза у нихъ такъ подозрительно бѣгаютъ, что трудно имъ въ чемъ-либо довѣриться, а съ другой—такъ и влечетъ васъ къ нимъ выраженіе въ ихъ глазахъ чего-то такого мягкаго и обаятельнаго. Такимъ является передъ вами и Пугачевъ въ первой сценѣ, ничѣмъ особенно не выдающійся и до конца главы остающійся самымъ заурядным степнымъ бродягою, столь довольнымъ подаркомъ заячьяго тулупа съ барскаго плеча, что онъ провожаетъ барина до кибитки и говоритъ ему на прощаніе съ низкимъ поклономъ: «Спасибо, ваше благородіе! Награди васъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ милостей». Вы подумайте только, сколько здѣсь глубокой вѣрности дѣйствительности и поразительной простоты.

Такимъ-же является Пугачевъ и въ дальнѣйшемъ развитіи романа.—Это вовсе не злодѣй и не герой, вовсе не человѣкъ, устрашающій и увлекающій толпу обаяніемъ какой-нибудь грозной и бездонной мрачности своей титанической натуры, и тѣмъ болѣе отнюдь не фанатикъ, сознательно стремившійся къ разъ намѣченной цѣли. До самаго конца романа онъ остается все тѣмъ-же случайнымъ степнымъ бродягою и добродушнымъ плутомъ. При иныхъ обстоятельствахъ изъ него вышелъ-бы самый заурядный конокрадъ; но историческія обстоятельства внезапно сдѣлали изъ него совершенно неожиданно для него самого самозванца, и онъ слѣпо влечется силою этихъ обстоятельствъ, причемъ вовсе не онъ ведетъ за собою толпу, а толпа влечетъ его, совершенно подобно тому, какъ въ разсказѣ Гл. Успенскаго бакинская чернь обратила внезапно въ Скобелева отставного солдата, за минуту передъ тѣмъ и не подозрѣвавшаго ничего подобнаго. Натура его въ сущности вовсе не хищная и не кровожадная; онъ радъ-бы и прощать; добродушіе, не покидающее его до конца романа, заставляетъ его помнить мелочную дорожную услугу, оказанную ему Гриневымъ; онъ готовъ казнить Швабрина, защищая отъ его козней сироту; но всѣ эти добрые порывы идутъ совершенно въ разрѣзъ съ настроеніемъ окружающей его толпы, возбуждаютъ въ ней протесты, и, отдаваясь имъ урывками, онъ поневолѣ долженъ напускать на себя грозное величіе и безпощадность. До какой степени онъ весь отдался влекущему его теченію, не преслѣдуя никакой сознательной личной цѣли, и былъ вполнѣ въ рукахъ толпы, это отлично обнаруживается передъ нами въ слѣдующемъ разговорѣ его съ героемъ:

— А ты полагаешь идти на Москву?—спросилъ его Гриневъ.

Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вполголоса: «Богъ вѣсть. *Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ребята мои ужичаютъ. Они воры. Мнѣ должно держать ухо востро; при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ моей головой.*»

— То-то,—сказалъ Гриневъ Пугачеву. — Не лучше-ли тебѣ отстать отъ нихъ самому заблаговременно, да прибѣгнуть къ милосердію Государыни?

Пугачевъ горько усмѣхнулся.—Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,—поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ помилованія. Буду продолжать, какъ началъ. Какъ знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь царствовалъ-же надъ Москвой.

— А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ! Его выбросили изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пепломъ пушку и выпалили!

— Слушай,—сказалъ Пугачевъ, съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ,—разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывала старая калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: «скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего на всего только тридцать-три года?»—«Оттого, батюшка, отвѣчалъ ему воронъ, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной.» Орелъ подумалъ: давай попробуемъ и мы питаться тѣмъ-же. Хорошо! Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли палую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, мах-

*

нулъ крыломъ и сказалъ ворону: «нѣтъ, братъ воронъ: чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью; а тамъ что Богъ дастъ!» Какова калмыцкая сказка?

— Затѣйлива,—отвѣчалъ ему Гриневъ.—Но жить убійствомъ и разбоемъ значитъ по мнѣ клевать мертвечину. Пугачевъ посмотрѣлъ на Гринева съ удивленіемъ и ничего не отвѣтилъ.»

Не отвѣтилъ онъ ничего и не могъ отвѣтить, потому что и мечтательный походъ на Москву, и дикая разбойническая сказка,—все это было у Пугачева напускное, совершенно не вяжущееся съ его натурою, и барину ничего не стоило сбить его однимъ словомъ съ пьедестала, на который онъ громоздился.

Но верхъ совершенства слѣдующая нѣмая сцена въ Бѣлогорской крѣпости послѣ казней и прощенія Гринева. «Мы,—говоритъ Гриневъ,—остались глазъ на глазъ. Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣшливости. Наконецъ онъ засмѣялся, и съ такою непритворною веселостью, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не знаю, чему». Здѣсь Пугачевъ рисуется передъ вами весь, каковъ онъ былъ, до самаго нутра, безъ малѣйшей рисовки и притворства.

Наконецъ слѣдуетъ обратить вниманіе въ свою очередь и на то историческое безпристрастіе и геніальную иронію, какія обнаружилъ Пушкинъ въ самомъ развитіи сюжета романа; заставивши Пугачева быть добрымъ геніемъ и устроителемъ судьбы героя романа, и въ концѣ концовъ—Гринева придти къ слѣдующему сознанію: «Но между тѣмъ,—говоритъ онъ,—странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодѣѣ, обрызганномъ кровью столькихъ невинныхъ жертвъ, о казни, его ожидающей, тревожила меня поневолѣ: «Емеля, Емеля!—думалъ я съ досадою,—зачѣмъ не наткнулся ты на штыкъ, или не подвернулся подъ картечь. Лучше ничего не могъ-бы ты придумать». Что прикажете дѣлать! Мысль о немъ неразлучна была во мнѣ съ мыслію о пощадѣ, данной мнѣ имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ избавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина».

У Пушкина есть еще одинъ отрывокъ историческаго романа, подъ заглавіемъ «Рославлевъ»; но этотъ отрывокъ имѣетъ такое тѣсное отношеніе къ роману Загоскина подъ тѣмъ-же заглавіемъ, что мы будемъ его разбирать въ свое время въ связи съ романомъ Загоскина. Теперь-же обратимся къ Гоголю.

Уже въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки» у Гоголя проглядываетъ кое-гдѣ историческій элементъ. Такъ, въ разсказѣ «Ночь на Рождество» Гоголь переноситъ насъ вмѣстѣ съ своимъ героемъ кузнецомъ Вакулою изъ захолустной малороссійской деревеньки въ Петербургъ ко двору Екатерины. Кромѣ самой императрицы здѣсь выступаютъ на сцену Потемкинъ и Фонвизинъ. Правда, все это очерчено крупными красками и мелкомъ, но нельзя сказать, чтобы тутъ вовсе не было и кое-какихъ историческихъ чертъ. У насъ сохранилось отъ того времени не мало анекдотовъ о простодушно-наивныхъ и грубоватыхъ отвѣтахъ казаковъ на вопросы Екатерины, поражавшихъ чопорный дворъ во время пріема запорожскихъ пословъ. Просьба Вакулы о черевикахъ и благосклонное вниманіе императрицы къ его простодушію какъ нельзя болѣе передаетъ характеръ этихъ аудіенцій.

Затѣмъ разсказъ «Страшная месть» весь построенъ на исторической почвѣ войнъ казаковъ съ ляхами, хотя надо признаться, что при всей художественности разсказа, при всей прелести отдѣльныхъ мѣстъ его, вродѣ знаменитаго описанія Днѣпра, въ историческомъ отношеніи разсказъ представляетъ рядъ общихъ стереотипныхъ мѣстъ, не обнаруживающихъ еще въ молодомъ авторѣ особенно глубокаго знанія малороссійской старины. Обратите вниманіе напримѣръ на восьмую главу, въ которой описывается польскій пиръ:

«На пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и пируютъ уже два дня. *Что-то не мало всей сволочи.* Сошлись вѣрно на какой-нибудь наѣздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякаютъ сабли; *паны веселятся и хвастаютъ, говорятъ про небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъ православіемъ; зовутъ народъ украинскій своими холопьями, и важно крутятъ усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавкахъ.* Съ ними и ксендзъ вмѣстѣ; только и ксендзъ у нихъ на ихъ-же стать; и съ виду даже не похожъ на христіанскаго попа; *пьетъ и гуляетъ съ ними и говоритъ нечестивымъ языкомъ своимъ срамныя рѣчи.* Ни въ чемъ не уступаетъ даже и челядь: *позакидали назадъ рукава оборванныхъ жупановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто-бы что путное.* Играютъ въ карты, бьютъ картами одинъ другого по носамъ; набрали съ собой чужихъ женъ: крикъ, драка! Паны бѣснуются и отпускаютъ штуки: хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стрѣляютъ въ бабъ холостымъ зарядами и *танцуютъ краковякъ съ нечестивымъ попомъ своимъ.* Не бывало такого соблазна на русской землѣ и отъ татаръ: видно ужъ ей Богъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое посрамленіе!..»

Грубость и лубочность такихъ красокъ слишкомъ бросается въ глаза, чтобы требовать какихъ-бы то ни было комментаріевъ.

Къ числу такихъ-же фантастически-легендарныхъ разсказовъ изъ малороссійской старины относится и повѣсть Гоголя «Вій»; но здѣсь вы встрѣчаете несравненно болѣе чертъ реальныхъ и исторически-вѣрныхъ, чѣмъ въ «Страшной мести». Вмѣсто того высокопарно-эпическаго тона, какимъ написанъ вышеозначенный разсказъ, здѣсь вы видите простую рѣчь, исполненную съ самой первой страницы того геніальнаго юмора, которымъ Гоголь обратилъ на себя вниманіе всей Россіи съ первыхъ-же своихъ произведеній. Авторъ переноситъ васъ всецѣло въ малороссійскую казацкую старину съ ея простотою и широкими разгульными нравами. Рядомъ съ жизнью кіевскихъ бурсаковъ съ ихъ классическими зубреньемъ, кулачными боями, мистеріями и кантами, распѣваемыми ими подъ окнами хуторовъ, рисуется передъ вами усадебная жизнь богатаго пана сотника съ ея широкимъ разгуломъ. Отъ одной сцены совершенно въ теньеровскомъ вкусѣ вы переноситесь къ другой, не менѣе характерной и комической; передъ вами развертывается то картина пирушки дорожныхъ казаковъ въ грязной жидовской корчмѣ, то ужинъ многочисленной дворни богатаго пана. Этотъ рядъ бытовыхъ картинъ со-

ставляетъ главное достоинство разсказа и его историческое значеніе. Понятно, что историческая беллетристика заключается не въ одномъ только выставленіи крупныхъ историческихъ личностей и событій; изобразить вѣрно и рельефно картину нравовъ той или другой эпохи до мельчайшихъ ихъ подробностей и во всей ихъ обыденности въ свою очередь можетъ составить задачу исторической повѣсти, которая въ такомъ случаѣ имѣетъ полное право обойтись совершенно безъ всякаго упоминанія о какихъ-либо историческихъ фактахъ изображаемой эпохи. Фантастическій-же элементъ не только не нарушаетъ гармоніи, напротивъ того, еще болѣе усиливаетъ историческій колоритъ повѣсти, совершенно переноситъ васъ въ XVII вѣкъ со всѣми его суевѣріями. Мнѣ кажется даже, что безъ вѣдьмы и Вія картина украинскаго быта XVII вѣка не была-бы такъ полна и характерна.

Но уже въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ, когда Гоголь писалъ еще свои «Вечера на Хуторѣ», онъ рядомъ съ этимъ дѣлалъ свои первыя попытки написать историческій романъ изъ малороссійской старины въ полномъ смыслѣ этого слова. Таковы были оставшіеся послѣ него черновые наброски нѣсколькихъ главъ романа «Остраница» и «Плѣнникъ». Но всѣ эти попытки были лишь предварительными пробами пера, тѣми ручейками, которые, сливаясь, образуютъ мощную рѣку. Рѣкой этой и была знаменитая историческая эпопея Гоголя «Тарасъ Бульба», появившаяся въ печати въ 1834 г. Пересказывать содержаніе этой эпопеи и вообще входить въ подробную характеристику произведенія, которое каждому образованному человѣку на Руси извѣстно во всѣхъ подробностяхъ, подобно тому, какъ каждому древнему греку была извѣстна «Иліада», я считаю совершенно излишнимъ.

Мы обратимъ лучше всего вниманіе вотъ на какое обстоятельство: на то впечатлѣніе, какое производитъ романъ Гоголя, когда вы его начнете читать непосредственно тотчасъ-же послѣ историческихъ повѣстей Пушкина. Передъ вами сейчасъ-же во всей ясности предстанетъ все то громадное различіе, которое существуетъ между южнымъ типомъ поэзіи малороссійской и сѣвернымъ—великороссійской. Это различіе особенно ярко выступаетъ въ произведеніяхъ такихъ великихъ представителей обоихъ типовъ, каковы были Пушкинъ и Гоголь; оно простирается не только на содержаніе этихъ произведеній, характеръ образовъ, но и на форму, слогъ и языкъ.

У Пушкина васъ поражаетъ прежде всего языкъ, доведенный до послѣдней степени простоты, ясный, прозрачный, съ лаконической сжатостью передающій лишь то, что нужно, остерегающійся сказать хоть одно лишнее слово и съ пуританской строгостью чуждающійся какого-бы то ни было поднятія тона. Все это какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ тому свойству сѣвернаго русскаго человѣка, что онъ словно стыдится выражать свои чувства громко и цвѣтисто и любитъ, напротивъ того, блистать сдержанностью и неизмѣнно-ровнымъ, холоднымъ, объективнымъ безпристрастіемъ.

Совершенно не таковъ языкъ Гоголя. Творецъ «Тараса Бульбы», напротивъ того, блеститъ крайне-цвѣтистымъ языкомъ, оснащеннымъ на каждомъ шагу самыми рискованными эпитетами и метафорами, что еще болѣе удлиняетъ и безъ того длинные періоды, причемъ слова въ этихъ періодахъ всегда расположены бываютъ такъ, что слогъ принимаетъ совершенно пѣвучій, словно размѣренный тонъ. Замѣчательно въ этомъ отношеніи, что, читая нѣкоторые стихи Пушкина (особенно напримѣръ въ «Евгеніи Онѣгинѣ»), вы встрѣчаете такую простую разговорную рѣчь, что забываете совсѣмъ, что это стихи, и только однѣ риѳмы напоминаютъ вамъ объ этомъ. Читая-же иную прозу Гоголя, особенно его описанія природы, напротивъ того, вы забываете, что это проза, а не стихи. Музыка рѣчи до такой степени порой увлекаетъ Гоголя, что изъ-за нея онъ забываетъ дѣйствительность и далеко переходитъ за предѣлы реальности. Такъ напримѣръ, обратите вниманіе, какъ въ «Тарасѣ Бульбѣ» Андрей объясняется въ любви панночкѣ:

—«Царица,—воскликнулъ Андрей, полный сердечныхъ и душевныхъ и всякихъ избытковъ:—что тебѣ нужно, чего ты хочешь? прикажи мнѣ! задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ—я побѣгу исполнить ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человѣкъ, —я исполню, погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но нѣтъ, нельзя сказать того!.. У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ —мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она—все мое! Нѣтъ ни у кого теперь изъ казаковъ нашихъ такого оружія, какъ у меня; за одну рукоять моей сабли даютъ мнѣ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только шевельнешь своей тонкой, черной бровью! Но знаю, что можетъ быть несу глупыя рѣчи, и не кстати, и нейдетъ все это сюда; что не мнѣ, проведшему жизнь въ бурсѣ и на Запорожьѣ, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное твореньe Бога, нежели всѣ мы, и далеко передъ тобой другія боярскія жены и дочери-дѣвы.»

Рѣчь панночки, въ свою очередь занимающая около страницы, отличается не меньшей витіеватостью и напыщенностью. Ужъ не говоря о томъ, что и нынѣ никто не говоритъ подобными кудреватыми, длинными и пѣвучими періодами, подумайте только, что такъ изъясняются между собой люди XV вѣка,—и вы поймете, насколько это естественно. Между тѣмъ таковъ Гоголь вездѣ въ своемъ романѣ, гдѣ онъ заставляетъ говорить дѣйствующихъ лицъ; повсюду онъ самъ говоритъ за нихъ, увлекаясь музыкой своихъ собственныхъ рѣчей.

То же самое слѣдуетъ сказать о содержаніи историческихъ произведеній Пушкина и Гоголя.

Въ то время какъ Пушкинъ все необычайное и выдающееся старается свести къ будничному, показать намъ, что необычайнымъ оно кажется только издали, а на самомъ дѣлѣ тонетъ въ уровнѣ повседневной жизни,—Гоголь, наоборотъ, всѣ образы въ своемъ романѣ освѣщаетъ бенгальскимъ огнемъ, и они рисуются передъ нами въ дивномъ, волшебномъ сіяніи. Пестрота красокъ и яркость колорита слѣпитъ ваши глаза на каждой страницѣ, и въ то-же время вы не оберетесь здѣсь самыхъ рѣзкихъ преувеличеній. Обратите для примѣра вниманіе хотя-бы на изобра-

женіе Запорожской Сѣчи. Общія черты безспорно исторически-вѣрны, но въ частностяхъ на каждомъ шагу вы встрѣтите вопіющія преувеличенія.

«Вся Сѣчь, говоритъ Гоголь, представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то безпрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами или держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напившихся съ горя; но было просто бѣшеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ-же, какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не могла-бы родиться ни изъ какого другого источника... Разсказы и болтовня среди собравшейся толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такой силой живого разсказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранить неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,—рѣзкая черта, которой отличается до нынѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россіянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно искажающимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей» и т. д.

Все это очень картинно, очень эффектно, но во всемъ этомъ безъ сомнѣнія одна десятая доля трезвой правды. Такое зрѣлище безспорно представляла Сѣчь во время какихъ-нибудь праздниковъ, которые могли длиться недѣлями, но все-таки должны были кончаться, просто потому, что нервы человѣческіе устаютъ праздновать, подобно тому, какъ устаютъ они и отъ долгаго непрерывнаго труда. Ну, а разъ праздникъ угомонялся, что-же наступало тогда въ Сѣчи?— Уже потому представленіе безпрерывнаго пиршества, бала, начавшагося шумно и потерявшаго конецъ свой, неестественно, что, еслибы это было такъ, казаки не могли-бы быть такими богатырями, какими они рисуются въ романѣ, и были-бы всѣ подъ рядъ одержимыми бѣлой горячкой, пропойцами съ трясущимися руками и ногами, и знаменитая Сѣчь скоро прекратила-бы свое существованіе. Интересно было-бы знать, въ какомъ видѣ представилась-бы намъ эта самая Сѣчь, если бы вздумалъ изобразить ее Пушкинъ. Нечего и сомнѣваться въ томъ, что никакого безпрерывнаго бала мы не увидѣли-бы передъ собой, а, напротивъ того, Сѣчь показалась-бы намъ гораздо прозаичнѣе, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ. Раскинулось-бы передъ нашими глазами заурядно-станичное казацкое поселеніе, съ бѣлыми мазанками съ соломенными крышами, все тонущее въ непролазной грязи и навозѣ. «Неужели это тѣ самые прогремѣвшіе въ исторіи запорожцы?» воскликнули-бы мы въ удивленіи, увидя передъ собой мирныхъ пахарей, рыбаковъ, кузнецовъ, столяровъ, сапожниковъ и т. п., усердно работающихъ, чтобы въ праздники снести заработанный пятакъ шинкарю-жиду, въ ежевыхъ рукахъ котораго всѣ эти храбрые рыцари конечно неизмѣнно пребывали вплоть отъ одного еврейскаго погрома до другого. А затѣмъ намъ представился-бы рядъ сѣренькихъ, будничныхъ сценъ вродѣ переругиванья двухъ казаковъ изъ-за мѣшка овса, а въ праздникъ, вмѣсто «околдовывающаго пиршества», мы только и увидѣли-бы, что «пьяный топотъ трепака передъ порогомъ кабака...»

Однимъ словомъ, сравненіе историческихъ повѣстей Пушкина и Гоголя, написанныхъ почти въ одно время, приводитъ насъ къ слѣдующему соображенію. Обыкновенно Гоголя считаютъ у насъ родоначальникомъ натурализма въ Россіи. Но это большое заблужденіе. Инициатива истиннаго натурализма, этого сѣвернаго типа поэзіи, безспорно принадлежитъ Пушкину (конечно въ послѣднемъ періодѣ его литературной дѣятельности, въ 30-хъ годахъ, и особенно въ его прозаическихъ произведеніяхъ). Гоголь же, выступившій вполнѣ на поприще натурализма только въ половинѣ 30-хъ годовъ, съ изданія «Міргорода»,— является уже не иниціаторомъ, а послѣдователемъ Пушкина, его ученикомъ, воспитавшимся притомъ не надъ одними твореніями своего великаго учителя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его личными, устными наставленіями. Пушкинъ, какъ извѣстно, внушилъ Гоголю всѣ лучшіе сюжеты его послѣдующихъ произведеній—и «Ревизора», и «Мертвыхъ Душъ»; онъ-же конечно и направилъ его на путь изображенія обыденной дѣйствительности. Однимъ словомъ, въ лицѣ Пушкина сѣверный геній покорилъ своему неотразимо-энергическому мужескому вліянію блестяще-яркій, но женственно-мягкій южный геній, олицетвореніемъ котораго представляется Гоголь.

Въ своемъ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголь, такъ сказать, заплатилъ послѣднюю дань и своей родинѣ, воспѣвши ея историческую славу, и южно-русскому типу поэзіи со всѣми его особенностями.

Впрочемъ надо отдать справедливость Гоголю: при всѣхъ преувеличеніяхъ, какія вы встрѣчаете въ его романѣ-поэмѣ, вы не находите уже въ ней тѣхъ грубо-лубочныхъ и стереотипныхъ чертъ, какія поражаютъ насъ въ его «Страшной мести». Все-таки здѣсь видно гораздо болѣе близкое изученіе быта и нравовъ вѣка и историческое безпристрастіе. Такъ, мы видимъ, что съ одной стороны поляки далеко уже не рисуются передъ вами всѣ подъ рядъ какими-то карикатурными хвастунами и извергами. А съ другой стороны и казаки представляются не въ одномъ только картинно-героическомъ видѣ великодушныхъ богатырей. Авторъ не скрываетъ и дикихъ чертъ вѣка въ ихъ грубыхъ нравахъ. Такъ, описывая хищные набѣги казаковъ, онъ говоритъ: «часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ— и все тогда прощалось съ жизнію: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ-же, на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совершали походъ свой. Дыбомъ стоялъ-бы нынѣ волосъ отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые приносили вездѣ запорожцы. Избитые младенцы, обрѣзанныя груди у женщинъ, содранная кожа съ ногъ по колѣни у выпущенныхъ на свободу,— словомъ, крупной монетой оплачивали казаки прежніе долги»...

Въ заключеніе укажемъ еще на одну характера-

стическую черту историческихъ повѣстей Гоголя и въ томъ числѣ «Тараса Бульбы». Именно въ нихъ особенно ярко высказался оригинальный взглядъ Гоголя на женщинъ и половую любовь,—взглядъ,если хотите, вполнѣ архаическій, допетровскій, принадлежащій въ тѣмъ вѣкамъ, когда въ женщинѣ видѣли сосудъ дьявола, а въ плотской любви гибельное сатанинское прельщеніе.

Правда, въ «Тарасѣ Бульбѣ» вы встрѣтите патетическое мѣсто, въ которомъ Гоголь оплакиваетъ трагическую участь женщины въ Запорожьѣ, при видѣ жены Тараса, разстающейся съ сыновьями. «Въ самомъ дѣлѣ,—говоритъ онъ,— она была жалка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два-три дня, а потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не было слуха. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой» и т. д.

Но такое трогательное участіе оказываетъ Гоголь только по отношенію лишь къ престарѣлой казачкѣ, при взглядѣ на всю ея уже прожитую жизнь. Совершенно въ иномъ видѣ является у него дѣвушка, кто-бы она ни была,—полька или малоросска. Повсюду она является началомъ обольстительнымъ, гибельнымъ, отвлекающимъ казака отъ его и общественныхъ, и нравственныхъ обязанностей, и влекущимъ его въ пропасть. Поэтому самая любовь является чѣмъ-то крайне преступнымъ и предосудительнымъ. И такова не только любовь Андрія къ польской паннѣ, заставляющая Тараса воскликнуть: «велика власть слабой женщины, многихъ сильныхъ погубила она!», но и любовь Остраницы къ своей соотечественницѣ, къ Галѣ, въ свою очередь заставляетъ его бросить своихъ сотоварищей на полѣ битвы и быть готовымъ даже предаться полякамъ, лишь-бы соединиться съ нею. «Увидѣлъ хорошую дивчину—и все позабылъ, все къ чорту,—разсуждаетъ самъ съ собою Остраница: —охъ, очи, черныя очи!.. Захотѣлъ Богъ погубить людей за беззаконья и послалъ васъ!» Въ «Страшной мести» въ свою очередь славнаго казака, пана Данилу, губитъ жена его, Катерина. Наконецъ въ «Віѣ» дѣвушка со своей губительной страстью прямо уже олицетворена въ видѣ вѣдьмы, вступающей въ союзъ со всѣми чертями, чтобы погубить несчастнаго философа.

Въ этомъ архаическомъ взглядѣ Гоголя на женщину сказалась его исключительная натура, съ одной стороны—казацкая, съ другой—религіозно-аскетическая. Ничего подобнаго во всей исторической беллетристикѣ мы не найдемъ. Гоголь является въ этомъ отношеніи не только объективнымъ бытописателемъ быта и нравовъ своихъ предковъ, но какъ-бы самъ уходитъ въ историческія рамки и, усвоивая міросозерцаніе и нравственныя воззрѣнія людей XV вѣка, слагаетъ сюжеты своихъ повѣствованій такъ, какъ-бы стали слагать ихъ эти стародавніе люди.

III.

Умственное состояніе массъ въ началѣ 30-хъ годовъ; ихъ міросозерцаніе и литературные вкусы. Біографическія свѣдѣнія о Загоскинѣ, характеристика его «Юрія Милославскаго» и причины необыкновеннаго успѣха этого романа.

Чтобы отъ Пушкина и Гоголя перейти къ современнымъ имъ беллетристамъ по части историческаго романа, намъ приходится дѣлать отчаянный скачекъ черезъ весьма глубокую пропасть. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ такимъ явленіемъ нашей жизни, которое неизмѣнно присутствуетъ въ нашей исторіи, начиная съ Петра I, если не раньше. Явленіе это заключается въ томъ, что въ каждый вѣкъ мы замѣчаемъ два рѣзко отличающіеся другъ отъ друга слоя умственнаго движенія: слой небольшой горсти наиболѣе передовыхъ дѣятелей литературы и науки, и слой интеллигентной массы.—Каждый слой обыкновенно по своему смотритъ на вещи и имѣетъ свои собственныя симпатіи и антипатіи. Передовые верхи, особенно въ моменты сильныхъ подъемовъ духа, обгоняютъ массу иной разъ лѣтъ на пятьдесятъ, если не болѣе. Масса увлекается ими, поклоняется имъ, старается слѣпо слѣдовать за ними, но по уровню своего образованія и міровоззрѣнія не можетъ поспѣть за ихъ быстрымъ ходомъ, начинаетъ отставать, начинаетъ все менѣе и менѣе понимать ихъ и наконецъ совсѣмъ теряетъ ихъ изъ виду, и тогда заводитъ своихъ собственныхъ представителей и выразителей въ литературѣ, стоящихъ на одномъ съ нею уровнѣ, льстящихъ всѣмъ ея незатѣйливымъ и низменнымъ вкусамъ и потребностямъ.

Такъ было и въ 30-ые годы. Въ то время какъ Пушкинъ и Гоголь полагали основаніе русскаго натурализма и смѣло поворачивали нашу литературу на этотъ путь, толпа продолжала еще упиваться и сентиментализмомъ Карамзина, и романтизмомъ Жуковскаго. Въ изображеніи обыденной дѣйствительности она не видѣла ничего интереснаго; подъ поэтическимъ она подразумѣвала не иное что-либо, какъ выходящее изъ будничной нормы жизни, эффектное, чувствительное, бьющее по всѣмъ нервамъ. Поэтъ или беллетристъ непремѣнно должны были то приводить своихъ читателей въ такой ужасъ, чтобы волоса у нихъ встали дыбомъ и мурашки поползли по спинѣ, то заставлять ихъ рыдать и впадать въ истерики, и непремѣнно при этомъ приводить ихъ къ забвенію всего окружающаго, увлекать въ какой-нибудь волшебный міръ. Понятно, что эта толпа изъ произведеній Пушкина выше всего цѣнила первыя его поэмы въ байроновскомъ духѣ, холодно относилась къ его «Евгенію Онѣгину», цѣня въ немъ только звучные стихи, и совсѣмъ не понимала его позднѣйшихъ произведеній, особенно беллетристическихъ. Гораздо выше ихъ ставила она романы и повѣсти Марлинскаго, которыми зачитывалась именно потому, что авторъ

ихъ умѣлъ угодить ей эффектностью своего риторическаго слога и содержанія. На романъ смотрѣла она исключительно какъ на сказку, которая должна всецѣло поглощать читателей сложностью интриги и рядомъ необыкновенныхъ и трогательныхъ приключеній героевъ. Однимъ словомъ, толпа жаждала романа какъ есть средневѣкового, рыцарскаго, и не ставила въ грошъ вѣрность дѣйствительности, все равно какой-бы то ни было, современной или исторической. Повинуясь этому требованію толпы, обусловливаемому уровнемъ образованности, романъ и долженъ былъ, прежде чѣмъ пойти по тому новому пути, который пролагали великіе представители литературы, пережить всѣ предшествовавшія фазы своего развитія, начиная со сказочно-рыцарской.

Также точно отставала толпа и въ своемъ общемъ міросозерцаніи отъ наиболѣе передовыхъ дѣятелей литературы. Она въ свою очередь была возбуждена и выведена изъ своей летаргіи тѣмъ могучимъ толчкомъ, какимъ ознаменовался 1812-й годъ; въ свою очередь преисполнилась патріотизма, начала мечтать о самосознаніи, стремиться къ народности. Но все это выразилось у нея совершенно иначе. Въ передовыхъ кружкахъ движеніе это имѣло научно-философскій характеръ. Предполагали, что самосознаніе должно являться не сразу, а какъ результатъ самостоятельной цивилизаціи, какъ послѣднее слово и вѣнецъ исторической жизни народа, причемъ одни думали, что русскій народъ, прежде чѣмъ сказать свое историческое слово, долженъ воспринять въ свои нѣдра всю западную цивилизацію и затѣмъ повести ее далѣе, другіе мечтали объ очищеніи современной жизни отъ всѣхъ чужеземныхъ наростовъ и о возвращеніи къ основнымъ началамъ нашей народности, лежащимъ въ общинныхъ и вѣчевыхъ порядкахъ древней Руси. Но и тѣ, и другіе сходились въ одномъ: именно, что самосознаніе и самобытность вовсе не есть нѣчто дающееся сразу; это искомый иксъ, опредѣленіе котораго должно составлять работу многихъ поколѣній втеченіи вѣковъ.

Совершенно иначе смотрѣла на это интеллигентная масса. Извѣстно, что люди полуобразованные отличаются очень быстрымъ и легкимъ рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, надъ которыми философскіе и ученые умы мучаются годами. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, то самое, что передовыми людьми было предположено какъ путь для грядущихъ поколѣній, интеллигентная масса порѣшила сразу, какъ нѣчто несомнѣнное, съ испоконъ-вѣковъ лежащее въ жизни всѣхъ и каждаго и чѣмъ каждому можно пользоваться, сколько душа пожелаетъ.— Оказалось, что для самосознанія вполнѣ достаточно прочесть 12 томовъ «Исторіи» Карамзина и узнать изъ нихъ, что вся наша исторія заключалась въ одномъ твердомъ, неизмѣнномъ и неуклонномъ развитіи государственности; для опредѣленія самобытности достаточно взглянуть съ Воробьевыхъ горъ на матушку Москву съ ея сорока-сороками церквей и пролить слезы умиленія, слушая музыку колокольнаго звона въ пасхальную ночь; а объ народности и говорить нечего: ею ничего не стоило упиваться и восторгаться на каждомъ шагу, и при видѣ зипуна, поддевки и лаптей, и при звукахъ балалайки или какой нибудь разухабистой яицкой пѣсни, или вкушая поросенка подъ хрѣномъ и запивая его квасомъ и т. п. Такимъ образомъ и произошелъ тотъ всѣмъ извѣстный и странный фактъ, что въ 30-хъ годахъ образовалось вдругъ два совершенно различныя стремленія къ народности: рядомъ съ высшимъ, философски-утонченнымъ изученіемъ народныхъ основъ жизни нѣкоторыми передовыми людьми или такими геніальными писателями, какъ Пушкинъ и Гоголь,—то грубое упоеніе лубочной народностью, принявшее впослѣдствіи оффиціальный характеръ, которое тогда-же было окрещено Н. А. Полевымъ *квасным патріотизмомъ*.

И вотъ мы видимъ, что историческій романъ, не въ силахъ будучи удержаться на той высотѣ, на которую пытались поставить его Пушкинъ и Гоголь, сразу опустился въ ту низменную струю, которая соотвѣтствовала уровню образованности интеллигентныхъ массъ, началъ согласоваться съ ея требованіями, вкусами, міросозерцаніемъ; опредѣленнѣе сказать — принялъ сказочный характеръ средневѣковыхъ рыцарскихъ романовъ и проникся лубочной народностью квасного патріотизма.

Творцомъ историческаго романа считается Михаилъ Николаевичъ Загоскинъ; романы его пользовались наибольшей популярностью и славой; ими зачитывались до самозабвенія и старые, и малые; и до настоящаго времени вы не найдете грамотнаго человѣка на Руси, который не прочелъ хотя бы «Юрія Милославскаго». И вотъ этой самой популярностью Загоскинъ былъ обязанъ, по моему мнѣнію, не столько какому-нибудь необыкновенному таланту, знаніямъ, сколько именно тому, что былъ непосредственный, наивный человѣкъ толпы, и потому инстинктивно чувствовалъ, чего этой толпѣ было нужно.

Начать съ того, что М. Н. Загоскинъ не получилъ ровно никакого образованія. Родившись 14 іюня 1789 г., Пензенской губерніи и уѣзда, въ селѣ Ранзаѣ, онъ до 14 лѣтъ жилъ безвыѣздно въ деревнѣ въ усадьбѣ отца.—Правда, біографъ его говоритъ, что онъ очень много читалъ въ своемъ дѣтствѣ и одиннадцати лѣтъ написалъ уже повѣсть «Пустынникъ»; но что могъ онъ читать въ пензенской глуши въ послѣднихъ годахъ прошедшаго и въ первыхъ нынѣшняго столѣтія? Это были конечно какія-нибудь и въ то время уже обветшалыя поэмы и трагедіи въ ложно-классическомъ духѣ, переводные романы Радклифъ, и лучшимъ чтеніемъ были сентиментальныя повѣсти Карамзина. Онѣ по всей вѣроятности произвели самое сильное впечатлѣніе на мальчика; не даромъ вліяніе ихъ отражается на первомъ романѣ Загоскина, какъ мы выше объ этомъ говорили. И вотъ въ 1802 году, когда мальчику не было еще и полныхъ 14 лѣтъ, отецъ отправилъ его въ Петербургъ, и тамъ юноша опредѣлился прямо на службу въ канцелярію государственнаго казначея, и втеченіи 10 лѣтъ продолжалъ онъ свою службу въ низшихъ канцелярскихъ чинахъ по различнымъ вѣдомствамъ, терпя въ Петербургѣ порой горькую нужду. Затѣмъ въ 1812 году, уже 24-лѣтній юноша, вступилъ офицеромъ въ ряды петербургскаго ополченія, въ корпусъ графа Витгенштейна. Въ сраженіи подъ Полоцкомъ онъ

былъ раненъ въ ногу и получилъ за храбрость орденъ Анны 3-ей степени на шпагу. По излеченіи раны онъ возвратился къ своему полку и, по желанію графа Левиса, былъ назначенъ къ нему адъютантомъ; въ этой должности находился онъ до сдачи Данцига, то есть до окончанія войны. «Съ прекрасной наружностью,—говоритъ біографъ его, С. Аксаковъ,—внушавшей расположеніе и довѣрчивость, вспыльчивый, живой, откровенный, добрый и постоянно веселый, Загоскинъ былъ любимъ товарищами и всѣми его окружавшими. Истинный русакъ, исполненный добродушнаго комизма, онъ имѣлъ множество самыхъ смѣшныхъ столкновеній съ нѣмцами впродолженіи долгой осады Данцига. Онъ любилъ объ этомъ разсказывать даже въ немолодыхъ своихъ годахъ, и разсказывалъ такъ оригинально, живо и забавно, что увлекалъ всѣхъ своихъ слушателей, и громкимъ смѣхомъ выражалась общая, искренняя веселость. Нѣкоторыя происшествія, описанныя Загоскинымъ въ четвертомъ томѣ Рославлева, дѣйствительно случились съ нимъ самимъ или съ другими его сослуживцами, при осадѣ Данцига».

По окончаніи войны и распущеніи ополченія, Загоскинъ снова опредѣлился на службу по гражданскому вѣдомству, и гдѣ только ни служилъ онъ: и въ департаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, и въ дирекціи Императорскихъ театровъ, и въ Императ. публичн. библіотекѣ, и опять потомъ въ дирекціи театровъ, и т. д. Съ 1815 года онъ началъ пописывать комедіи и въ томъ же году дебютировалъ на петербургской сценѣ комедіей «Проказникъ», о которой кн. Шаховской отозвался, что «онъ былъ пріятно изумленъ, когда между десятками бездарныхъ произведеній попалась ему въ руки эта небольшая комедія, въ которой онъ замѣтилъ много живости и неподдѣльной веселости». Сойдясь послѣ того съ кн. Шаховскимъ, Загоскинъ написалъ массу комедій въ его духѣ и родѣ. Всѣ онѣ давались на сценѣ и имѣли большій или меньшій успѣхъ. Особенно понравилась публикѣ комедія въ стихахъ «Урокъ холостымъ или наслѣдники», которая въ 1822 г., 4 мая, была сыграна на московскомъ театрѣ и тогда же напечатана.

Сблизившись съ Шаховскимъ, Загоскинъ естественно подчинился его вліянію, найдя въ немъ человѣка, стоявшаго гораздо выше его по образованію.—Кн. Шаховской же былъ, какъ извѣстно, шишковецъ (тогда еще не было славянофиловъ въ позднѣйшемъ смыслѣ этого слова), онъ осмѣивалъ въ своихъ комедіяхъ и Карамзина, и Жуковскаго и вообще возставалъ на подражательность всему иностранному. Примѣру этому слѣдовалъ и Загоскинъ и въ свою очередь дѣлалъ то-же самое въ своихъ пьесахъ. Такимъ образомъ уже съ самаго начала своего литературнаго поприща, съ 1815 года, въ немъ поселились зародыши того квасного патріотизма, который потомъ вполнѣ развился въ его историческихъ романахъ.

Наиболѣе дѣятельная работа для театра продолжалась у Загоскина до 1823 г., а затѣмъ до 1828 года онъ ничего не печаталъ. «Литературная дѣятельность его,—говоритъ біографъ,—какъ будто пріостановилась; на это были слѣдующія причины: во-первыхъ, онъ усердно занялся своей хлопотливой должностью (въ конторѣ дирекціи Московскаго театра въ качествѣ члена по хозяйственной части); во-вторыхъ, ему очень не нравилась служебная перспектива въ чинѣ вѣчнаго титулярнаго совѣтника, потому что, не воспитавшись ни въ одномъ казенномъ заведеніи, онъ не могъ быть произведенъ въ слѣдующій чинъ, и Загоскинъ рѣшился выдержать экзаменъ для полученія чина коллежскаго ассесора.»

Къ экзамену надо было приготовиться, и Загоскинъ посвящалъ на это все свободное отъ службы время; впродолженіи полутора года онъ трудился съ такой добросовѣстностью, что даже вытвердилъ наизусть «Римское право». Наконецъ онъ выдержалъ испытаніе блистательно, и самъ требовалъ отъ профессоровъ, чтобы его экзаменовали какъ можно строже. Въ письмѣ къ С. Аксакову Загоскинъ очень забавно описываетъ свои экзамены и между прочимъ сердится на одного изъ профессоровъ, который предложилъ ему вопросъ: кто такой былъ Ломоносовъ?—«Ну, можно-ли объ этомъ спрашивать (пишетъ Загоскинъ) не мальчика, а литератора, уже давно получившаго нѣкоторую извѣстность? Я хотѣлъ было отвѣчать ему, что Ломоносовъ былъ сапожникъ». Сваливъ съ плечъ экзаменъ, Загоскинъ, давно ничего не писавши, принялся за большую комедію въ стихахъ, которую ему и прежде хотѣлось написать; онъ писалъ долго, — и наконецъ въ 1828 году «Благородный театръ», комедія въ 4-хъ актахъ, была сыграна на московской сценѣ. Эта пьеса имѣла самый полный успѣхъ: зрители задыхались отъ смѣха, хохотъ мѣшалъ хлопать, и громъ рукоплесканій вырывался только по временамъ, особенно по окончаніи каждаго акта; только въ послѣдующія представленія неумолкаемыя рукоплесканія раздавались вмѣстѣ со смѣхомъ.

Надо прибавить ко всему этому, что біографъ не даромъ говоритъ, что Загоскинъ *писалъ свою комедію долго*. Вы не забудьте, что она была въ стихахъ; стихи-же давались Загоскину очень трудно.

«До 1821 года,—говоритъ біографъ:—Загоскинъ не писалъ стиховъ; онъ не чувствовалъ паденія и мѣры стиха, и самъ признавался, что это не его дѣло. Одинъ разъ въ кругу короткихъ пріятелей разсердили его тѣмъ, что не хотѣли даже выслушать какихъ-то его замѣчаній на какіе-то стихи, основываясь на томъ, что онъ въ стихотворствѣ ничего не понимаетъ. Загоскинъ вспылилъ и сказалъ, что онъ докажетъ всѣмъ, какъ понимаетъ это дѣло, и черезъ два мѣсяца прочелъ прекрасное, довольно длинное посланіе къ Н. И. Гнѣдичу, написанное шестистопными ямбами съ рѣзмами. Оно стоило Загоскину неимовѣрныхъ трудовъ; не имѣя уха, каждый стихъ онъ раздѣлялъ черточками на слоги и стопы, и надъ каждымъ слогомъ ставилъ ударенія; въ иной день ему не удавалось выковать болѣе четырехъ стиховъ, и изъ такой египетской, тяжкой работы стихи вышли легки, свѣжи, звучны и естественны! Всѣ были изумлены. Тутъ проявилась вполнѣ настоящая русская, разумѣется талантливая, натура Загоскина: сказалъ: сдѣлаю, и сдѣлалъ, да еще едва-ли не лучше учителей.»

Все это прекрасно, но какъ-бы ни была талантлива русская натура Загоскина, но написать комедію не то, что посланіе, и если посланіе стоило Загоскину два мѣсяца египетской работы, то понятно, что на комедію ему приходилось тратить годы.

И такъ, что-же видимъ мы изъ всѣхъ этихъ біографическихъ данныхъ? Мы видимъ самоучку, обладавшаго кое-какимъ талантомъ, преимущественно комическаго свойства,—талантомъ вполнѣ достаточнымъ, чтобы съ успѣхомъ идти по стопамъ своего учителя кн. Шаховского, но далеко не настолько сильнымъ, чтобы создать что-либо новое и свое. Занятый бо́льшую часть дня службой, довольно хлопотливой, онъ могъ посвящать литературѣ только по нѣсколько часовъ досуга, причемъ вплоть до 1828 года эти досужные часы употреблялись имъ исключительно на созданіе комедій, и притомъ при такомъ египетскомъ трудѣ, какъ писаніе стихами, не имѣя врожденнаго дарованія къ этому. Понятно, что тутъ нѣтъ никакой возможности предположить, чтобы Загоскинъ сверхъ всего этого занимался еще русской исторіей и подготовлялъ матеріалы для своихъ будущихъ романовъ, настолько серьезно изучая различныя эпохи, чтобы быть въ состояніи художественно воспроизводить ихъ. Ничего этого и не было, иначе біографъ не упустилъ-бы выставить этотъ фактъ, какъ весьма важный для писателя историческихъ романовъ. Напротивъ того, судя по словамъ С. Аксакова, мысль написать историческій романъ явилась у Загоскина внезапно, не болѣе какъ за годъ до появленія въ свѣтъ «Юрія Милославскаго».

«Еще до окончанія комедіи «Благородный театръ», - говоритъ Аксаковъ, - овладѣла Загоскинымъ мысль написать русскій историческій романъ. Ему до смерти надоѣло, какъ онъ самъ мнѣ часто говаривалъ, «таскать кандалы условныхъ, противоестественныхъ законовъ, которые носитъ сочинитель, пишущій комедіи, да еще шестистопными стихами съ проклятыми риѳмами». Вспомнивъ трудность, съ какой Загоскинъ писалъ стихи, и охоту щеголять мудреными риѳмами,—легко понять, что онъ говорилъ очень искренно; впрочемъ Загоскинъ иначе и говорить не умѣлъ. *Романъ казался ему «открытымъ полемъ, гдѣ можно свободно разгуляться воображенію писателя»*. Немедленно послѣ первыхъ представленій «Благороднаго театра», вполнѣ удовлетворившихъ самолюбію Загоскина, принялся онъ готовиться къ сочиненію историческаго романа. Онъ былъ весь погруженъ въ эту мысль, охваченъ ею совершенно; его всегдашняя разсѣянность, къ которой давно привыкли и которую уже не замѣчали, до того усилилась, что всѣ ее замѣтили, и всѣ спрашивали другъ друга, что сдѣлалось съ Загоскинымъ? Онъ не видитъ, съ кѣмъ говоритъ, и не знаетъ, что говоритъ. Встрѣчаясь на улицѣ съ короткими пріятелями, онъ не узнавалъ никого, не отвѣчалъ на поклоны и не слыхалъ привѣтствій: онъ читалъ въ это время историческіе документы и жилъ въ 1612 году. Наконецъ, обдумавъ содержаніе, выбравъ эпоху, прочтя добросовѣстно все къ ней относящееся, съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ принялся онъ писать, и въ 1829 году напечаталъ свой первый романъ «Юрій Милославскій, или Русскіе въ 1612 году», въ 3-хъ томахъ.»

Мало-мальски знающій читатель можетъ судить, насколько возможно человѣку, не занимавшемуся до той поры совсѣмъ исторіей и имѣвшему въ день очень немного часовъ, свободныхъ отъ службы, въ нѣсколько мѣсяцевъ вполнѣ добросовѣстно изучить такую бурную и смутную эпоху, какъ междуцарствіе. Тѣмъ не менѣе романъ имѣлъ успѣхъ, небывалый еще на Руси, не испытанный и самимъ Пушкинымъ. «Появленіе этого романа,—говоритъ Аксаковъ,—составляетъ эпоху въ жизни Загоскина, въ литературномъ и общественномъ отношеніи. Восхищеніе было общее, единодушное: немного находилось людей, которые его не вполнѣ раздѣляли. Публика обѣихъ столицъ и вслѣдъ за ней, или почти вмѣстѣ съ ней, публика провинціальная пришли въ совершенный восторгъ. Всѣ обрадовались «Юрію Милославскому», какъ общественному пріятному событію; всѣ обратились къ Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы,—обратились со всѣми знаками уваженія, съ восторженными похвалами, всѣ, кто жили или пріѣзжали въ Москву, ѣхали къ Загоскину; кто былъ въ отсутствіи—писалъ къ нему. Всякій день получалъ онъ новыя письма, лестныя для авторскаго самолюбія. Жуковскій писалъ: «Вотъ что со мной случилось: получивъ вашу книгу, я раскрылъ ее съ нѣкоторой къ ней недовѣрчивостью, съ тѣмъ только, чтобы заглянуть въ нѣкоторыя страницы, получить какое-нибудь понятіе о слогѣ вообще, но съ первой страницы перешелъ я на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло наконецъ, что я всѣ три тома прочиталъ въ одинъ присѣстъ, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня рѣшительное доказательство достоинства вашего романа».

Пушкинъ выразился почти такъ же въ своемъ письмѣ: «М. г. Михаилъ Николаевичъ. Прерываю увлекательное чтеніе вашего романа, чтобы сердечно благодарить васъ за присылку «Юрія Милославскаго»,—лестный знакъ вашего ко мнѣ благорасположенія. Поздравляю васъ съ успѣхомъ полнымъ и вполнѣ заслуженнымъ, а публику съ однимъ изъ лучшихъ романовъ нынѣшней эпохи. Всѣ читаютъ его. Жуковскій провелъ за нимъ цѣлую ночь. Дамы отъ него въ восхищеніи. Въ «Литературной Газетѣ» будетъ о немъ статья Погорѣльскаго (псевдонимъ Ал. Ал. Перовскаго). Если въ ней не все будетъ высказано, то постараюсь досказать. Простите. Дай Богъ вамъ многія лѣта, т. е., дай Богъ намъ многіе романы и пр. Янв. 11, 1830.»

Въ одномъ изъ писемъ кн. Шаховскаго, писанномъ прежде писемъ Жуковскаго и Пушкина, интересно слѣдующее описаніе литературнаго обѣда у гр. Ѳ. П. Толстого, которое показываетъ впечатлѣніе, произведенное «Юріемъ Милославскимъ» при первомъ его появленіи въ печати: «Я уже совсѣмъ одѣлся, чтобъ ѣхать на свиданіе съ нашими первоклассными писателями, какъ вдругъ принесли мнѣ твой романъ; я ему обрадовался и повезъ съ собой мою радость къ гр. Толстому. Но тамъ меня ею уже встрѣтили. Первое дѣйствующее лицо авторскаго обѣда, явившееся на сцену, былъ Пушкинъ, и тотчасъ заговорилъ о тебѣ; Пушкинъ восхищался отрывками твоего романа, которые онъ читалъ въ журналѣ; входитъ Крыловъ изъ дворца: разспросы о тебѣ и улыбательныя одобренія твоему роману; входитъ Гнѣдичъ—въ восхищеніи отъ прекраснаго твоего романа; наконецъ является Жуковскій и, сказавъ два слова, объявляетъ, что не спалъ вчера всю ночь,—отъ чего-же? Все-таки отъ твоего романа, который онъ получилъ, развернулъ, хотѣлъ прочесть кое-что и, не сходя съ мѣста и не ложась спать, не могъ не прочесть всѣхъ трехъ томовъ: и это самая лучшая по-

хвала, какую онъ могъ сдѣлать твоему сочиненію; онъ просилъ меня тотчасъ къ тебѣ написать о дѣйствіи, которое ты надъ нимъ произвелъ, о своей благодарности и о томъ, что хотя онъ еще не успѣлъ поднести твоего романа Императрицѣ, но предварилъ ее, что она увидитъ диво на нашемъ языкѣ».

«Многое измѣнилось, продолжаетъ Аксаковъ,—вокругъ Загоскина: недоброжелатели сдѣлались друзьями, порицатели комика—хвалителями романиста, съ важностью прибавляя, что наконецъ Загоскинъ попалъ на настоящую дорогу. Женщины не остались равнодушными въ общемъ дѣлѣ, и много прекрасныхъ писемъ получилъ Загоскинъ отъ женщинъ, совершенно ему незнакомыхъ: однимъ словомъ, онъ сдѣлался знаменитостью, модным человѣкомъ, необходимостью обѣдовъ, баловъ, раутовъ и бесѣдъ съ литературнымъ направленіемъ, львомъ тогдашняго времени. Вниманіе и одобреніе Государя довершили торжество Загоскина.»

Впродолженіи 30-хъ и 40-хъ годовъ «Юрій Милославскій» имѣлъ восемь изданій, онъ былъ переведенъ на французскій, нѣмецкій, итальянскій, голландскій, англійскій, а впослѣдствіи и на чешскій языки, и вездѣ былъ принятъ съ большими похвалами; на французскій языкъ было сдѣлано вдругъ четыре перевода въ Москвѣ и Петербургѣ. «Я видѣлъ,—говоритъ Аксаковъ,—у Загоскина много писемъ отъ разныхъ европейскихъ литературныхъ знаменитостей,—писемъ, наполненныхъ лестными отзывами; было даже одно или два письма отъ Вальтеръ Скотта».

Чему же былъ обязанъ романъ такимъ необыкновеннымъ успѣхомъ? И вотъ, если мы вздумаемъ подойти къ нему съ тѣми идеальными требованіями, какія мы вправѣ предъявлять каждому художественному произведенію вообще и въ частности историческому роману въ истинномъ значеніи этого слова,—мы увидимъ, что романъ стоитъ ниже всякой критики.

Не забудьте, что романъ озаглавленъ: «Юрій Милославскій, или русскіе въ 1612 году». Сообразно этому заглавію вы ожидаете конечно, что авторъ развернетъ передъ вами картину смутной эпохи во всей ея ширинѣ и глубинѣ, покажетъ духъ времени и тѣ внутреннія историческія пружины, которыя управляли всѣми событіями того времени. Вѣдь шутка-ли сказать: *Русскіе въ 1612 году*. Здѣсь конечно слѣдуетъ подразумѣвать не однихъ только Мининыхъ, Пожарскихъ, Юріевъ Милославскихъ, бояръ вродѣ Кручины и т. п., а русскихъ вообще во всѣхъ слояхъ общества, и прежде всего и болѣе всего—*народъ*. Я полагаю, что нынѣ каждому, кто мало-мальски знакомъ съ этой эпохой, извѣстно, что это было броженіе, отнюдь не сосредоточивавшееся исключительно въ верхнихъ слояхъ государства, въ боярскихъ смутахъ и крамолахъ, а, напротивъ того,—всенародное, поднявшее и помутившее океанъ народной жизни до самаго дна. Оно было вызвано не одними только случайными историческими фактами вродѣ прекращенія рюриковой династіи или таинственнаго убіенія царевича Дмитрія,—а всѣми условіями народной жизни того времени—и экономическими, и юридическими. Не говоря уже о такомъ крупномъ фактѣ, какъ уничтоженіе знаменитаго юрьева дня,—тотъ хроническій голодъ, который изъ года въ годъ повторялся въ то время по всѣмъ мѣстностямъ Руси, свидѣтельствуетъ о томъ экономическомъ кризисѣ, какой переживалъ въ то время народъ. Принимая все это въ соображеніе, понятно мы вправѣ требовать отъ романиста, чтобы онъ не ограничивался однѣми боярскими палатами, но показалъ намъ, какъ въ то время жили подъ соломенными кровлями люди посадскіе и сельскіе, чтобы мы могли понять самое главное: что́ заставляло въ то время людей такъ легкомысленно принимать каждаго отважнаго проходимца за спасшагося Дмитрія, бросать свой насущный трудъ, домъ, семью и идти, невѣдомо куда и зачѣмъ, на вѣрную гибель.

Ничего подобнаго не найдете въ романѣ Загоскина и слѣда; онъ повидимому и не подозрѣвалъ этого. Еслибы кто-нибудь прочелъ романъ Загоскина, не имѣя предварительно буквально никакихъ свѣдѣній о смутной эпохѣ, тотъ могъ-бы подумать, что все дѣло заключалось въ нашествіи поляковъ—съ цѣлью поработить Русь, пользуясь ея безначаліемъ, причиненнымъ прекращеніемъ династіи, и, навязавши ей царя въ видѣ сына Сигизмунда—Владислава, затѣмъ обратить ее въ католичество. Но если цѣль поляковъ представляется ясной и опредѣленной, за то чѣмъ руководились бояре польской партіи, этого вы изъ романа ни за что не поймете, и вамъ будетъ казаться, что они дѣйствовали такъ, зря, по совершенно безпричинному капризу. Народъ-же представляется въ романѣ тупымъ, инертнымъ стадомъ, которое, не принимая никакого активнаго участія въ совершившихся историческихъ событіяхъ, подвергалось только однѣмъ непріятностямъ анархіи смутнаго времени, какъ это явствуетъ хотя-бы изъ слѣдующей сцены романа:

«Путешественники въѣхали на постоялый дворъ. Юрій легъ отдохнуть, а Алексѣй, убравъ лошадей, подсѣлъ къ хозяйкѣ, которая въ одномъ углу избы трудилась за пряжею, и спросилъ ее: «Не слышно-ли чего-нибудь о полякахъ?»

— И, родимый! наше дѣло крестьянское,—отвѣчала хозяйка, поправивъ надъ собой донце; — мы ничего не вѣдаемъ.

— А что, развѣ поляки никогда не бывали въ вашемъ селѣ?

— Какъ не бывать!

— Ну, что, голубушка, чай, они вамъ памятны?

— Вѣстимо, кормилецъ.

— Ужъ нечего сказать, знатные ребята! не такъ-ли?

Хозяйка взглянула недовѣрчиво на Алексѣя и не отвѣчала ни слова.

— Куда, чай, съ ними весело хлѣбъ-соль водить, продолжалъ Алексѣй: — не правда-ли?

— Вѣстимо, батюшка, — промолвила вполголоса хозяйка. — Дай Богъ имъ здоровья, — люди добрые.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Какъ-же! такіе привѣтливые.

— Что ты, шутишь что-ли?

— И, родимый, до шутокъ-ли намъ!

— Неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Кого-же ты больше любишь: своихъ или поляковъ?.. Ну, что-жъ ты молчишь, лебедка? или языкъ отнялся? Ну, сказывай, кого?

— Кого прикажешь, батюшка.

— Не о приказѣ рѣчь, я толкомъ тебѣ говорю: насъ или поляковъ?

— Васъ, батюшка, васъ! А вы за кого стоите, господа честные?

— Чего тутъ спрашивать; за матушку святую Русь.

— Полно, такъ-ли, родимый?

— Видитъ Богъ, такъ. Мы идемъ подъ Москву биться съ поляками не на животъ, а на смерть.

— Ой-ли! Помоги вамъ, Господи!.. Разбойники! Въ разоръ насъ разорили! Прошлой зимой такъ всю и одежонку-то у насъ обобрали. Чтобъ имъ самимъ ни дна, ни покрышки! Передохнуть-бы всѣмъ, какъ въ чадной избѣ тараканамъ... Еретики, душегубцы!.. нехристь проклятая!

— Ба, ба, ба! что ты, молодица? Кого ты это изволишь честить?

— Кого?.. какъ кого?.. вѣстимо кого!.. Кого ты родимый, того и я.

— Да что ты переминаешь? Чего ты боишься? или не видишь, что мы православные?

— О, охъ, батюшки! неравны православные! Этакъ съ часъ мѣста останавливались у насъ двое проѣзжихъ бояръ, съ ними человѣкъ сорокъ холопей Вотъ стали меня также, какъ твоя милость, изъ ума выводить; а я съ дуру-то и выболтай все, что на душенькѣ было, и лишь только вымолвила, что мы денно и нощно молимъ Бога, чтобы вся эта нищенская сволочь убралась во-свояси, вдругъ одинъ изъ бояръ, мужчина такой ражій, Богъ съ нимъ! какъ заоретъ въ источной голосъ, да ну меня изъ своихъ рукъ плетью! Ужъ онъ каталъ, каталъ меня! Кабы не молодая боярыня, дочка что-ль его, не знаю, такъ онъ-бы запоролъ меня до смерти! Дай Богъ ей доброе здоровье и жениха по сердцу! вступилась за меня горемычную и, когда господа стали съѣзжать со двора, потихоньку сунула мнѣ въ руку серебряную копѣечку. То-то добрая душа! Изъ себя не такъ, чтобъ очень красива, не дородна, взглянуть не на что... Ахти я дура! — промолвила хозяйка, вскочивъ торопливо со скамьи,—заболталась съ тобой, кормилецъ!.. Чай, у меня хлѣбы-то пересидѣли...»

Я не скажу, чтобы подобный разговоръ съ крестьянкой былъ неестественъ и невозможенъ въ смутное время. Наивно-добродушная хитрость слабой умомъ деревенской бабы, вся исчерпываемая словами: «за кого ты, батюшка, за того и я»,—конечно должна въ однѣхъ и тѣхъ-же стереотипныхъ формахъ обнаруживаться при каждой смутѣ, и сцену вродѣ вышеприведенной можно цѣликомъ помѣстить въ любомъ романѣ, что бы онъ ни изображалъ: эпоху-ли междуцарствія, пугачевщину или нашествіе французовъ въ 1812 г. Но неужели этой сценой вполнѣ исчерпывается все состояніе народа и духъ его въ 1612 году? Неужели во всю эпоху междуцарствія народъ только и дѣлалъ, что мирно сидѣлъ по деревнямъ, а когда къ нему приходили поляки или казаки, полчища самозванцевъ или ватаги крамольныхъ бояръ, у него всѣмъ былъ одинъ отвѣтъ: «за кого, батюшка, вы, за того и мы..»? И затѣмъ онъ безпрекословно подвергался всевозможнымъ грабежамъ и обидамъ?

Историческій романистъ, мало-мальски заботящійся о томъ, чтобы обстоятельно познакомить насъ съ эпохой, конечно сводилъ-бы насъ и въ тушинскій лагерь, и къ полякамъ, показалъ-бы изъ какихъ людей состояли полчища самозванцевъ, что эти люди думали и говорили, къ чему стремились поляки старшіе и младшіе, что побуждало русскихъ бояръ однихъ держать сторону Владислава, другихъ—Минина и Пожарскаго. Ничего подобнаго не найдете вы въ романѣ и слѣда. Такъ, поляки, которые являются въ романѣ главными и чуть-что не исключительными дѣятелями эпохи междуцарствія, изображены Загоскинымъ въ двухъ противоположныхъ типахъ: карикатурной фигурѣ пана Копычинскаго и благородной личности пана Тишкевича. Эта параллель показываетъ, что Загоскинъ желалъ выказать по отношенію къ полякамъ полное безпристрастіе, весьма естественное въ концѣ 20-хъ годовъ, когда польское возстаніе не успѣло еще разразиться, и русскому романисту ничто не мѣшало еще играть на какихъ угодно безпристрастныхъ струнахъ. Но съ одной стороны въ фигурѣ Копычинскаго Загоскинъ пересолилъ, и она вышла у него карикатурна до грубаго лубочнаго шаржа, и къ тому-же, по словамъ С. Аксакова, оказывается, что въ пресловутой сценѣ угощенія гусемъ Загоскинъ перенесъ въ 17 столѣтіе ходячій анекдотъ его времени, замѣнивши только рябчики гусемъ. Съ другой стороны и великодушно честная личность Тишкевича, съ презрѣніемъ относящагося къ тому, что боярин Кручина повѣсилъ портретъ короля Сигизмунда въ своихъ хоромахъ, Тишкевича, готоваго воздать должную справедливость истинной храбрости, кто-бы ее ни оказалъ, русскій или полякъ,—въ свою очередь, вышла стереотипной фигурой храбреца, такой-же блѣдной и безцвѣтной, какъ и всѣ положительные типы Загоскина; поляковъ, и притомъ именно поляковъ 17-го столѣтія, тутъ и не пахнетъ.

Но и въ русскихъ нижегородскаго лагеря, вмѣсто живыхъ историческихъ типовъ, вы видите все тѣ-же стереотипные манекены, произносящіе длинныя, напыщенно-риторическія тирады въ карамзинскомъ стилѣ и въ духѣ квасного патріотизма 30-хъ годовъ. Особенной въ этомъ отношеніи лубочностью отличается пресловутая сцена воззванія Минина къ народу на нижегородской площади. Рѣчи Минина очень напоминаютъ подобныя-же напыщенныя тирады Марѳы Посадницы въ повѣсти Карамзина.

Но болѣе всего не удался Загоскину главный герой романа, самъ Юрій Милославскій. Авторъ имѣлъ намѣреніе сдѣлать его романическимъ героемъ въ полномъ смыслѣ этого слова, надѣлить его всѣми и физическими, и умственными, и нравственными совершенствами, чтобы онъ, какъ сказочный Иванъ Царевичъ, и въ водѣ не тонулъ, и въ огнѣ не сгоралъ, непрестанно удивлялъ читателей своими необыкновенными подвигами и въ концѣ романа поймалъ за хвостъ жаръ-птицу. Но мало того что ничего этого не вышло, что герой вышелъ и блѣденъ, и безцвѣтенъ,—на каждой страницѣ онъ возбуждаетъ въ читателѣ противъ себя положительно ожесточеніе. Пушкинъ не въ бровь, а въ самый глазъ въ своемъ «Арапѣ Петра Великаго» заставилъ одно дѣйствующее лицо, при упоминаніи имени Милославскаго, замѣтить, что онъ «богатъ и глупъ». Правда, это было сказано о потомкѣ Милославскаго, современникѣ Петра, и къ тому-же повѣсть Пушкина была написана раньше романа Загоскина, но тѣмъ не менѣе Пушкинъ словно предугадалъ, что глупость составляетъ потомственное качество рода Милославскихъ, хотя можно думать, что онъ ранѣе появленія въ свѣтъ романа Загоскина зналъ уже о глупости главнаго героя его,

или можетъ статься впослѣдствіи вставилъ вышеозначенную фразу.

Какъ-бы то ни было, но глупость Милославскаго бросается въ глаза, преслѣдуетъ васъ черезъ весь романъ. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ человѣка, который постоянно находится подъ давленіемъ какой-нибудь клятвы, данной имъ невпопадъ, и которая заставляетъ его дѣйствовать совершенно вопреки совѣсти, здраваго смысла и природнаго влеченія, и тѣмъ не менѣе онъ съ упорствомъ педанта старается быть во что бы то ни стало вѣренъ разъ данной клятвѣ. Такъ и завѣтъ отца, и всѣ личныя симпатіи влекутъ его въ русскій лагерь подъ знамя Пожарскаго, но онъ имѣлъ несчастіе присягнуть Владиславу вмѣстѣ съ жителями Москвы и считаетъ своимъ долгомъ оставаться подъ польскими знаменами. Жителямъ Москвы вынужденная клятва нисколько не помѣшала широко отворить ворота войскамъ Пожарскаго,—несчастный-же герой нашъ только и дѣлаетъ, что терзается и проклинаетъ свою злосчастную судьбу. На Нижегородской площади происходитъ сильное народное движеніе, созывается ополченіе, дѣлаются пожертвованія, энтузіазмъ охватилъ весь городъ, а нашъ несчастный герой въ отчаяніи бѣжитъ, сломя голову, не зная куда и зачѣмъ: «какъ громомъ пораженный послѣдними словами старика,—читаемъ мы,—Юрій, не видя ничего передъ собой, не зная самъ, что дѣлаетъ, пустился бѣжать по узкой улицѣ, ведущей къ Волгѣ. Въ ушахъ его раздавались слова умирающаго отца; ему казалось, что его преслѣдуютъ, что кто-то называетъ его по имени, что множество голосовъ повторяютъ: «вотъ онъ! вотъ Милославскій!..» Вся кровь застыла въ его жилахъ. Вдругъ ему послышалось, что вслѣдъ за нимъ прогремѣлъ ужасный голосъ: «да взыдетъ вѣчная клятва на главу измѣнника!». Волосы его стали дыбомъ, смертный холодъ пробѣжалъ по всѣмъ членамъ, въ глазахъ потемнѣло, и онъ упалъ безъ чувствъ въ двухъ шагахъ отъ Волги, на краю утесистаго берега, застроеннаго обширными сараями».

Только давши слово посвятить себя Богу и вступить въ иноческій санъ, Юрій, въ качествѣ уже послушника Авраама Палицына, разрѣшившаго ему присягу Владиславу, могъ отправиться съ чистой совѣстью въ станъ Пожарскаго. Но и эта новая клятва оказалась данной невпопадъ. Едва только онъ далъ ее, какъ вдругъ случай заставилъ его обвѣнчаться съ любимой дѣвушкой, для того чтобы спасти ее отъ грозящей ей смерти: если-бы онъ не обвѣнчался съ ней, ее растерзали-бы шиши. И опять злосчастная жертва своихъ безразсудныхъ клятвъ терзается разладомъ долга и сердечнаго влеченія. Супруга его, едва спасшаяся отъ вѣрной смерти и обвѣнчанная наконецъ со своимъ милымъ послѣ всевозможныхъ злоключеній, понятно чувствуетъ себя на седьмомъ небѣ и говоритъ:— «Безцѣнный мой!.. избавитель мой!.. О, какъ снова мнѣ жизнь становится мила!.. Она твой даръ, мой возлюбленный!.. она вся принадлежитъ тебѣ!.. Ахъ!.. повтори еще разъ, что ты меня любишь!..»— А онъ въ отвѣтъ на эти восторженныя рѣчи огорошиваетъ ее вдругъ слѣдующими словами:

— Но знаешь-ли ты, сирота злополучная?.. Такъ! къ чему откладывать!.. Для чего томить тебя медленной смертью!.. Анастасья я!.. я не супругъ твой!

— Ты не супругъ мой?.. Но не ты-ли сейчасъ обошелъ со иной налой церковный? Не съ тобой-ли я повѣнчалась этимъ перстнемъ?..

— Чтобы спасти тебя, я долженъ былъ это сдѣлать; но я не могу быть ничьимъ супругомъ.

— Не можешь?

— Да, Анастасья! Вчера, надъ гробомъ преподобнаго Сергія, я клялся оставить свѣтъ и произнесъ обѣтъ по окончаніи брани возложить на себя одежду инока.

И опять-таки все тому-же Аврааміо Палицыну стоило не малыхъ усилій, чтобы вразумить безумца, показать ему всю безразсудность его скороспѣлыхъ клятвъ и соединить его вновь съ его супругой Анастасіей.

Вообще нужно сказать, что вся драматическая и патетическая часть романа вышла ниже всякой критики и обнаруживаетъ въ Загоскинѣ полное отсутствіе этого рода таланта. Авторъ комедій въ романѣ своемъ остался все тѣмъ-же комикомъ, и самыя удачныя мѣста въ романѣ комическія. Такъ, весьма недурно очерчены комическія лица бояръ союзниковъ Кручины Шалонскаго—Лесута Храпуновъ и Замятня Оналевъ. Въ то-же время вы найдете въ романѣ нѣсколько бытовыхъ сценокъ, не лишенныхъ народнаго колорита, хотя и не имѣющихъ ровно никакого историческаго значенія, могущихъ быть помѣщенными въ романѣ, изображающемъ какую угодно эпоху, хотя-бы даже современную Загоскину.—Такова напримѣръ сценка встрѣчи запорожца Кирши съ незнакомой дѣвушкой по дорогѣ на пчельникъ колдуна Кудимыча: «— Здорово, красная дѣвица,—сказалъ Кирша, приподнявъ вѣжливо свою шапку.—Откуда идешь?..

Дѣвушка сначала испугалась, но ласковый голосъ и веселый видъ запорожца ее успокоили. «Я иду домой, господинъ честной», отвѣчала она, отвѣсивъ низкій поклонъ Киршѣ.

— Вѣрно ходила ворожить на пчельникъ?

— А почему ты это знаешь?—спросила она, взглянувъ на него съ удивленіемъ.

— Видно знаю! Ну, что? радостную-ли вѣсточку сказалъ тебѣ Кудимычъ?.. Скоро-ли свадьба?

— Архипъ Кудимычъ баитъ, что скоро Да почему ты знаешь?

— Какъ не знать! А что, лебедка, чай ты не съ пустыми руками къ нему ходила?

— Коли съ пустыми! Я ему носила на поклонъ пол-сорока яицъ, да двѣ копѣйки.

— Экъ твой суженый-то разхарчился!

— Вотъ еще, велико дѣло двѣ копѣйки! Для меня Ванюша не постоитъ и за два алтына. Да почему ты знаешь?

— Мало-ли что я знаю, голубушка! А что, отсюда недалеко отъ пчельника?

— Близехонько.

— Прощай, красавица!..»

Подобная сценка и другія въ ея родѣ показываютъ, что Загоскинъ не былъ лишенъ наблюдательности и народный бытъ былъ ему до извѣстной степени знакомъ, хотя-бы и съ одной внѣшней стороны. Вообще замѣчательно, что у Загоскина мужики выведены гораздо естественнѣе, правдивѣе и художественнѣе, чѣмъ бояре.

Теперь спрашивается, отчего-же этотъ романъ заслужилъ такую популярность? Чѣмъ обусловливается

тотъ успѣхъ, какой онъ пріобрѣлъ въ массахъ публики, и успѣхъ, замѣтьте, прочный, долголѣтній? Что поставило его на ряду съ такими первоклассными произведеніями, которыя и теперь раскупаются такъ же, какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ? На это можетъ быть одинъ отвѣтъ: масса нашла въ немъ то, что было ей совершенно по плечу, и въ чемъ она чувствовала потребность, нашла романъ-сказку, напоминающую съ одной стороны средневѣковые рыцарскіе романы, а съ другой—наши доморощенныя сказки о Еруслапѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ... Что ей было за дѣло до того, что бытъ начала 17-го вѣка изображенъ въ романѣ въ самыхъ общихъ и лубочныхъ чертахъ, что всякая обстановка романа напоминаетъ скорѣе какія-нибудь декораціи Александринскаго театра, чѣмъ вѣрную и точную историческую живопись талантливаго художника-археолога, что герои изъясняются порой на такомъ высокопарномъ языкѣ, на какомъ никогда никто не изъяснялся, выражая такія пламенныя чувства, какія лежатъ внѣ человѣческой природы? Вѣдь она привыкла къ тому, что дѣйствіе сказокъ совершается въ невѣдомомъ царствѣ, несказанномъ государствѣ, при какомъ-то жившемъ въ незапамятныя времена царѣ Горохѣ, и что для подвиговъ сказочныхъ богатырей никакихъ законовъ природы не существуетъ. Здѣсь-же ее убѣждали, что разсказываютъ ей о томъ, какъ жили предки наши не далѣе, какъ 200 лѣтъ тому назадъ, и ужъ это было въ глазахъ ея большое преимущество. Не вдаваться-же ей было въ археологическія разысканія для провѣрки отважнаго романиста. Тѣмъ болѣе, что самая существенная въ ея глазахъ сторона романа, именно сказочность его, удовлетворяла вполнѣ ея вкусамъ.

И въ самомъ дѣлѣ, надо отдать полную справедливость Загоскину,—по части развитія интриги романа и возростающей съ каждой страницей занимательности Загоскинъ оказался мастеромъ своего дѣла. Не даромъ самъ Жуковскій не спалъ всю ночь и какъ принялся съ вечера за романъ, такъ и не могъ оторваться отъ него, пока не дочиталъ до послѣдней страницы. Безъ сомнѣнія и каждый изъ насъ въ юности своей въ свою очередь читалъ «Юрія Милославскаго» не иначе, какъ залпомъ, въ одинъ присѣстъ. Обратите вниманіе, что самое развитіе сюжета имѣетъ характеръ, совершенно подобный средневѣковымъ рыцарскимъ романамъ,— именно характеръ странствія героя: русскій рыцарь XVII вѣка со своимъ слугою Алексѣемъ, замѣняющимъ оруженосца, странствуютъ по объятой анархіей Руси и въ каждой главѣ подвергаются какимъ-нибудь новымъ, неожиданнымъ приключеніямъ и напастямъ. Доходитъ дѣло до того, что въ концѣ второй части и баринъ, и его слуга попадаютъ подъ ножи убійцъ, стерегущихъ ихъ въ засадѣ, а въ началѣ третьей части читателю намекается, что герой можетъ быть убитъ и трупъ его брошенъ въ Волгу, и вдругъ онъ оказывается живъ, сидитъ и мучается голодомъ въ темницѣ, въ мрачномъ подземельѣ въ глуши муромскихъ лѣсовъ, въ имѣньи коварнаго боярина Кручины, который собирается его убить въ самый тотъ моментъ, когда запорожецъ Кирша внезапно спасаетъ его. Однимъ словомъ, какіе только ужасы могли обрушиться на голову злополучнаго героя въ смутныя и страшныя времена всеобщей сумятицы, Загоскинъ ни однимъ такимъ ужасомъ не обидѣлъ его и въ концѣ концовъ, къ радости читателя, заставилъ его выйти сухимъ изъ воды, холоднымъ изъ огня и сочетаться благополучнымъ бракомъ съ прекрасной Анастасіей, которая въ свою очередь впродолженіи всего романа только и дѣлаетъ, что все попадаетъ изъ огня да въ полымя.

Такимъ образомъ, какъ это ни странно, мы видимъ, что въ концѣ20-хъ годовъ, въ то самое время, когда въ передовой, первоклассной беллетристикѣ чувствовалась струя того натурализма, къ которому стремились уже въ то время и всѣ европейскія литературы, рядомъ съ этимъ возникаетъ въ мнимо-исторической оболочкѣ романъ приключеній вполнѣ въ средневѣковомъ духѣ, и успѣхъ этого романа, энтузіазмъ, который онъ возбудилъ, показываютъ, что толпа по своему литературному развитію стояла еще всецѣло на средневѣковой почвѣ, ожидая своего Сервантеса въ лицѣ Гоголя съ его «Мертвыми Душами».

IV.

Отзывы Пушкина о «Юріи Милославскомъ».—«Рославлевъ» Загоскина и «Рославлевъ» Пушкина.—Типъ передовой женщины 12 года и родственныя черты этого типа съ передовыми женщинами позднѣйшихъ эпохъ.—Нѣсколько словъ о прочихъ романахъ Загоскина.

Пушкинъ сдержалъ свое слово, данное имъ въ письмѣ Загоскину, и въ «Литературной Газетѣ» въ началѣ 1830 года помѣстилъ коротенькую рецензію на «Юрія Милославскаго». Въ рецензіи этой онъ съ большой конечно похвалой отзывается о романѣ, находитъ даже, что Загоскинъ точно переноситъ насъ въ 1612 годъ.

«Добрый нашъ народъ,—говоритъ Пушкинъ,—бояре, казаки, монахи, буйные шиши,—все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно было дѣйствовать, чувствовать въ смутныя времена Минина и Авраамія Палицына. Какъ живы, какъ занимательны сцены старинной русской жизни, сколько истины, добродушной веселости въ изображеніи характеровъ Кирши, Алексѣя Бурнаша, Ѳедьки Хомяка, пана Копычинскаго, батьки Еремѣя! Романическое происшествіе безъ насилія входитъ въ раму обширнѣйшаго происшествія историческаго. Авторъ не спѣшитъ своимъ разсказомъ, останавливается на подробностяхъ, заглядываетъ и въ сторону, но никогда не утомляетъ вниманія читателя. Разговоръ (живой, драматическій вездѣ, гдѣ онъ простонароденъ) обличаетъ мастера своего дѣла. Но неоспоримое дарованіе г. Загоскина измѣняетъ ему, когда онъ приближается къ лицамъ историческимъ. Рѣчь Минина на Нижегородской площади слаба: въ ней нѣтъ порывовъ народнаго краснорѣчія. Боярская дума изображена холодно. Можно замѣтить два-три легкіе анахронизма и нѣкоторыя погрѣшности противъ языка и костюма» и т. д.

Такимъ образомъ и Пушкинъ, при всей благосклонности отзыва, замѣтилъ ту рѣзкую особенность романа, что онъ только и хорошъ въ простонародныхъ бытовыхъ сценахъ, а какъ только дѣло касается исто-

ріи, то талантъ измѣняетъ автору. Для насъ любопытенъ самый фактъ помѣщенія Пушкинымъ рецензіи въ «Литературной Газетѣ», показывающій, какъ живо заинтересовался Пушкинъ появленіемъ «Юрія Милославскаго». Въ настоящемъ случаѣ это былъ интересъ не только человѣка, принимающаго страстное участіе въ судьбахъ русской литературы, но и къ тому-же писателя, который самъ въ это время увлекался исторической беллетристикой. Нѣтъ ничего удивительнаго, что, когда появился второй романъ Загоскина «Рославлевъ», Пушкинъ не ограничился уже одной рецензіей, а написалъ своего «Рославлева», въ которомъ очевидно выразилъ протестъ противъ пошлости квасного патріотизма Загоскина и принялъ подъ свою защиту одну изъ героинь романа Загоскина, выставивъ ее совсѣмъ въ иномъ родѣ и духѣ. Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ повѣсти Пушкина, мы познакомимся съ романомъ Загоскина.

Принялся за него Загоскинъ немедленно-же по окончаніи перваго романа, причемъ смотрѣлъ на свой новый романъ, какъ на продолженіе прежняго, такъ какъ руководствовался широкимъ замысломъ изобразить Россію въ два наиболѣе крупные момента ея исторической жизни, когда патріотизмъ народа проявился въ самомъ интенсивномъ и напряженномъ видѣ; оттого и заглавіе новаго романа «Русскіе въ 1812 году» соотвѣтствуетъ вполнѣ заглавію перваго романа «Русскіе въ 1612 году». «Предполагая сочинить эти два романа,—говоритъ Загоскинъ въ предисловіи къ «Рославлеву»,—я имѣлъ въ виду описать русскихъ въ двѣ достопамятныя историческія эпохи, сходныя между собой, но раздѣленныя двумя столѣтіями; я желалъ доказать, что хотя наружныя формы и физіономія русской націи совершенно измѣнились,—но не измѣнились вмѣстѣ съ ними наша непоколебимая вѣрность престолу, привязанность къ вѣрѣ предковъ и любовь къ родимой сторонѣ».

Но большая разница описывать эпоху, которой минуло 200 лѣтъ, и почти современную намъ. Въ первомъ случаѣ Загоскину ничего не стоило увлекать невѣжественную по части исторіи толпу сказочнымъ элементомъ своего романа и летать на крыльяхъ воображенія, заставляя наивныхъ читателей думать, что русскіе въ 1612 году и въ самомъ дѣлѣ были такіе, какими они изображены въ «Юріи Милославскомъ». Совсѣмъ другое дѣло было 1812 годъ. Послѣ него прошло всего 18 лѣтъ, когда Загоскинъ принялся писать свой второй романъ. Большинство участниковъ изображенныхъ въ романѣ событій были еще живы, да и самъ Загоскинъ былъ, какъ мы видѣли, участникомъ въ войнѣ 1812 года. Такимъ образомъ это былъ романъ почти-что изъ современной жизни, и его можно назвать историческимъ въ такомъ лишь смыслѣ, въ какомъ въ настоящее время можно-бы назвать этимъ именемъ романъ, описывающій эпоху 60-хъ годовъ. Понятно, что Загоскинъ принималъ на себя слишкомъ большую отвѣтственность: тутъ уже не могли помочь ни интересъ интриги, ни отсутствіе историческихъ знаній въ массѣ: требовалось основательное знаніе того, чему многіе были очевидцами, а главное дѣло — художественность. Недаромъ Жуковскій, услышавъ о новомъ предпріятіи Загоскина, писалъ ему: «Мнѣ сказывалъ кн. Шаховской, что вы, въ pendant вашему 1612 году, пишете романъ 1812 года; не хочу съ вами спорить, но боюсь великихъ предстоящихъ вамъ трудностей. Историческія лица 1612 года были въ вашей власти, вы могли выставлять ихъ по произволу; историческія лица 1812 года вамъ не дадутся. Съ первыми вы могли легко познакомить воображеніе читателя, и онъ, благодаря вашему таланту, увѣренъ съ вами, что они точно были такими, какими ваше воображеніе ихъ представило вамъ; съ послѣдними этого сдѣлать нельзя; мы знаемъ ихъ, мы слишкомъ къ нимъ близки; мы уже предупреждены на счетъ ихъ, и существенность загородитъ для насъ вымыселъ. Впрочемъ нѣтъ невозможнаго. Я говорю только: трудно! На всякомъ шагу порогъ и спотыкаться легко».

Но Загоскинъ не унывалъ. Успѣхъ перваго романа вскружилъ ему голову, и къ тому же все заранѣе обѣщало новому роману еще большій успѣхъ. Общая увѣренность, что «Рославлевъ» будетъ еще лучше, или по крайней мѣрѣ интереснѣе «Юрія Милославскаго», была такъ велика, что въ Москвѣ, по словамъ біографа, произошло въ своемъ родѣ событіе, неслыханное въ лѣтописяхъ книжной русской торговли. Романъ еще не былъ конченъ, какъ содержатель типографіи Степановъ сталъ просить Загоскина, чтобы онъ его продалъ: за право напечатать четыре завода, т. е. 4,800 экземпляровъ Степановъ, предложилъ ему сорокъ тысячъ ассигн. (а тогда ассигнаціи имѣли большой лажъ) съ тѣмъ только, чтобы онъ не печаталъ второго изданія впродолженіи трехъ лѣтъ. Замѣчательно при этомъ, что Степановъ дѣлалъ эту покупку не на капиталъ, котораго у него не было, а московскіе книгопродавцы купили экземпляровъ будущаго романа, съ обыкновенной уступкой 20 процентовъ за комиссію, на 36 тысячъ рублей ассигн., и внесли деньги впередъ, обязуясь продавать не дороже 20 р. за экземпляръ.

Но Степановъ испыталъ горькое разочарованіе въ своихъ разсчетахъ. Новый романъ Загоскина пошелъ неизмѣримо туже перваго. Книгопродавцы продали купленные ими 2400 экземпляровъ, но затѣмъ требованія на книгу прекратились, и Степановъ принужденъ былъ продать другую половину экземпляровъ за безцѣнокъ, потерпѣвши отъ всего предпріятія убытокъ.

Этотъ неуспѣхъ романа вполнѣ оправдывается его содержаніемъ. Предсказаніе Жуковскаго сбылось вполнѣ, тѣмъ болѣе, что и относительно войны 1812 года Загоскинъ обнаружилъ такія-же жидкія историческія свѣдѣнія, какъ и въ первомъ своемъ романѣ. И еще бы: онъ приступилъ ко второму роману съ той-же поспѣшностью, какъ и къ первому, безъ какихъ-бы то ни было подготовительныхъ работъ и сколько-нибудь основательнаго изученія изображаемой эпохи. Личное участіе его въ войнѣ не могло оказать ему большой услуги въ этомъ отношеніи, такъ какъ, будучи въ маленькихъ чинахъ, понятно, что онъ могъ видѣть одни закоулочки столь сложнаго и колоссальнаго событія, какъ война 1812 года. Это участіе только и принесло ему развѣ ту пользу, что дало возможность довольно живо изобразить нѣсколь-

ко сценъ бивуачной жизни и мелкихъ стычекъ съ непріятелемъ.

Отсутствіе основательнаго изученія эпохи привело Загоскина къ весьма забавной уловкѣ: боясь представить историческія личности и историческіе факты невѣрно, да и не зная ихъ конечно во всѣхъ детальныхъ подробностяхъ, Загоскинъ взялъ да и обошелъ ихъ; въ самомъ дѣлѣ, во всемъ романѣ вы не найдете ни одного крупнаго лица (только въ одномъ мѣстѣ, при пожарѣ Москвы, мелькаетъ передъ вами стереотипная фигура Наполеона) и ни одного большого сраженія. О ходѣ историческихъ событій упоминается коегдѣ, мимоходомъ, въ краткихъ перечняхъ, чтобы только какъ-нибудь связать развитіе романической интриги, и опять-таки вся суть романа заключается именно въ этой интригѣ. Но, увы, интрига эта только мѣстами напоминаетъ полныя неожиданныхъ и чудесныхъ приключеній странствія Юрія Милославскаго; но, чтобы добраться до этихъ мѣстъ, читателю приходится перейти черезъ большое количество скучныхъ, сухихъ и вялыхъ страницъ. Довольно сказать, что только съ третьей главы второй части начинается война 12 года. Вся-же первая часть занята изображеніемъ картины жизни и настроенія русскаго общества передъ войной,—и это изображеніе стоитъ ниже всякой критики. Такъ, прежде всего авторъ ведетъ насъ въ самое изысканное свѣтское общество, о которомъ онъ не имѣлъ никакого понятія, такъ что даже снисходительный Жуковскій замѣтилъ ему въ письмѣ: «признаюсь вамъ только въ одномъ: по прочтеніи первыхъ листовъ я долженъ былъ отложить чтеніе, и эти первые листы произвели было во мнѣ нѣкоторое предубѣжденіе противъ всего романа, и я побоялся, что онъ не пойдетъ на ряду съ «Милославскимъ». Описаніе большого свѣта мнѣ показалось невѣрно, и въ гостиной князя Радугина я не узналъ свѣтскаго языка».

Правда, большинство россіянъ, столь-же мало знакомыхъ съ великосвѣтской жизнью, какъ и самъ авторъ, конечно не обратило вниманія на это обстоятельство, но не могли не броситься въ глаза крайняя односторонность и исключительность всѣхъ изображаемыхъ Загоскинымъ сценъ. Всѣ выводимыя дѣйствующія лица только и говорятъ, что о патріотизмѣ или французоманіи, и особенно въ этомъ отношеніи надоѣдаетъ главный герой романа, Рославлевъ. Подобно тому какъ Юрій Милославскій впродолженіи всего романа только и дѣлалъ, что все терзался въ оковахъ своихъ клятвъ, такъ Рославлевъ съ первой-же страницы рветъ и мечетъ, чтобы непрестанно доказывать всѣмъ и каждому, что онъ—истинный сынъ отечества и что у него русское сердце. Отправляется онъ пообѣдать съ пріятелемъ въ гостинницу и тамъ сейчасъ-же вступаетъ въ споръ по этому поводу съ французомъ, обѣдавшимъ съ нимъ за однимъ столомъ; идетъ затѣмъ на раутъ къ княгинѣ Радугиной, и немедленно сцѣпляется на этомъ раутѣ съ французскимъ дипломатомъ. При этомъ всего курьезнѣе, что спорившіе не только уже предвидѣли, что будетъ война 12-го года, но даже знали, что она будетъ народная, и наиболѣе въ этомъ отношеніи замѣчателенъ оказывается пророческій даръ самого Рославлева. Такъ, въ спорѣ съ французомъ, когда послѣдній спросилъ, что останется въ случаѣ войны съ Наполеономъ отъ Россіи, если Польша, Швеція, Турція и Персія возьмутъ назадъ свои области, если всѣ портовые города займутся французскими войсками, если...

— «Вы забыли,—вскричалъ Рославлевъ, вскочивъ съ своего мѣста,—что въ Россіи останутся русскіе; что тридцать милліоновъ русскаго народа, говорящихъ однимъ языкомъ, исповѣдующихъ одну вѣру, могутъ легко истребить многочисленныя войска вашего Наполеона, составленныя изъ всѣхъ народовъ Европы!..

— Помилуйте,—возразилъ французъ:—да что такое народъ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значитъ ничего въ военномъ отношеніи; и Боже васъ сохрани отъ народной войны! Наполеонъ умѣетъ быть великодушнымъ побѣдителемъ; но горе той землѣ, гдѣ народъ мѣшается не въ свое дѣло! Половина Испаніи покрыта пепломъ; та же участь можетъ постигнуть и ваше отечество. Солдатъ выполняетъ свою обязанность, когда дерется съ непріятелемъ; но мирный гражданинъ долженъ оставаться дома. Въ противномъ случаѣ онъ—разбойникъ, бунтовщикъ и не заслуживаетъ никакой пощады.

— «Разбойникъ!»—повторилъ Рославлевъ прерывающимся отъ негодованія и досады голосомъ.—И вы смѣете называть разбойникомъ того, кто защищаетъ своего Государя, отечество, свою семью...»

Но Рославлевъ при всемъ своемъ пламенномъ патріотизмѣ все-таки пребываетъ въ предѣлахъ здраваго смысла и благоразумной умѣренности и горячится только на словахъ. Но въ романѣ есть другой герой, какой-то неизвѣстный молчаливый офицеръ, о которомъ Загоскинъ въ предисловіи своемъ говоритъ, что читатели узнаютъ въ немъ историческое лицо тогдашняго, времени и что этотъ офицеръ дѣйствительно былъ, подъ именемъ флорентинскаго купца, въ Данцигѣ, но не въ концѣ осады, а при началѣ ея. Вотъ у этого самаго офицера ненависть къ французамъ Загоскинъ довелъ до чудовищной маніи и кровожадной жестокости. Нѣкоторыя черты этого типа представляютъ собой малое подобіе тѣхъ хищныхъ демоническихъ натуръ и бретеровъ, которые въ то время начали уже появляться на горизонтѣ нашей жизни. Онъ напоминаетъ собой нѣсколько Долохова въ «Войнѣ и мирѣ». Но Загоскинъ совершенно исказилъ этотъ типъ, обративши его въ узколобаго и прямолинейнаго фанатика, который только о томъ и бредитъ, какъ-бы истреблять французовъ (замѣтьте, еще до войны 1812 года) безъ всякой пощады и милосердія. Такъ, узнавши въ вышеозначенномъ французѣ, споримъ въ гостинницѣ съ Рославлевымъ, наполеоновскаго шпіона, онъ тотчасъ-же вызываетъ его на дуэль, и затѣмъ слѣдуетъ отвратительная сцена этой дуэли:

«Оба противника,—читаемъ мы,—отошли по пяти шаговъ отъ барьера и, повернясь въ одно время, стали медленно подходить другъ къ другу. На второмъ шагу французъ спустилъ курокъ—пуля свистнула и пробитая на вылетъ фуражка слетѣла съ головы офицера.

— «Чортъ возьми! этотъ французъ мѣтитъ хорошо!»—сказалъ сквозь зубы кавалеристъ.—«Смотри, братъ, не промахнись!»

Раздался другой выстрѣлъ и вмигъ вся лѣвая рука француза облилась кровью.

— «Эхъ, братецъ!—сказалъ кавалеристъ:—немножко-бы по лѣвѣе. Я говорилъ тебѣ взять мои пистолеты. Какая, чортъ, стрѣльба безъ шпенцера!

«Прошло еще нѣсколько секундъ: сердце Рославлева почти перестало биться. Разстояніе между поединщиками становилось все менѣе; вотъ уже осталось не болѣе шести или восьми шаговъ... вдругъ раздался третій выстрѣлъ.

— Ты раненъ?—вскричалъ кавалеристъ.

— «Нѣтъ,—отвѣчалъ офицеръ, взглянувъ хладнокровно на правое плечо свое, съ котораго пулей сорвало эполетъ.—Теперь милости прошу сюда къ барьеру!—продолжалъ онъ, устремивъ свой неподвижный взоръ на француза.

— Je suis mort!—промолвилъ вполголоса раненый.

— Боже мой! онъ истекаетъ кровью! — сказалъ его секундантъ, вынимая бѣлый платокъ изъ кармана.

— Не трудитесь! прервалъ офицеръ, - онъ доживетъ еще до послѣдняго моего выстрѣла. Ну, что-же, сударь? Да подходите смѣлѣе! вѣдь я не стану стрѣлять, пока вы не будете у самаго барьера.

— Господинъ офицеръ!.. — вскричалъ иностранецъ. -Подумайте! въ двухъ шагахъ! Это все равно...

— Если-бы я приставилъ ему мой пистолетъ ко лбу? -Разумѣется. Еще одинъ шагъ, господинъ кавалеръ почетнаго Легіона! Прошу покорно!

— Eh bien soit!—сказалъ французъ, бросивъ въ сторону свой пистолетъ.—Онъ подошелъ, шатаясь, къ барьеру и, сложивъ крестъ на крестъ руки, сталъ прямо грудью противъ своего соперника. Кровь ручьемъ текла изъ его раны; смертная блѣдность покрывала лицо; но онъ смѣло смотрѣлъ въ глаза офицеру, и только едва замѣтная судорожная дрожь пробѣгала отъ времени до времени по всѣмъ его членамъ. Офицеръ прицѣлился—конецъ его пистолета упирался въ лобъ французу. Вся кровь застыла въ жилахъ Рославлева. Онъ хотѣлъ закричать, но ужасъ оковалъ языкъ его. Межъ тѣмъ офицеръ спустилъ курокъ, на полкѣ вспыхнуло; но пистолетъ не выстрѣлилъ.

— Ты живъ еще, мой другъ!—вскричалъ секундантъ француза.

— Не надолго!—промолвилъ хладнокровно офицеръ.—Подсыпь на полку, братецъ!

— Ради самого Бога!—сказалъ отчаяннымъ голосомъ иностранецъ,—пощадите этого несчастнаго!.. У него жена и шестеро дѣтей!..

Вмѣсто отвѣта, офицеръ улыбнулся и, взглянувъ спокойно на блѣдное лицо своей жертвы, устремилъ глаза свои въ другую сторону. Ахъ! еслибы они пылали бѣшенствомъ, то несчастный могъ-бы еще надѣяться,—и тигръ имѣетъ минуты милосердія, но этотъ безчувственный, неумолимый взоръ, выражающій одно мертвое равнодушіе, не обѣщалъ никакой пощады.

— Господинъ офицеръ!..—продолжалъ иностранецъ,—если жалость вамъ неизвѣстна, то подумайте по крайней мѣрѣ, что вы хотите отправлять въ эту минуту должность палача.

— *Да, я желалъ-бы быть палачемъ, чтобы отсѣчь однимъ ударомъ голову всей вашей націи.* Посторонитесь!

— Одно слово, сударь,—прошепталъ едва слышнымъ голосомъ раненый.—Прощай, мой другъ!,—продолжалъ онъ, обращаясь къ своему секунданту. —Не забудь разсказать всѣмъ, что я умеръ, какъ храбрый и благородный французъ: скажи ей... Онъ не могъ докончить и упалъ безъ чувствъ въ объятія своего друга.

— Жаль! — сказалъ кавалеристъ:—онъ не трусъ! И признаюсь, если-бы я былъ на твоемъ мѣстѣ...

— И полно, братецъ! Все-таки однимъ меньше. Теперь, кажется, осѣчки не будетъ, -прибавилъ офицеръ, взглянувъ на полку пистолета. Онъ взвелъ курокъ... и т. д. (Рославлевъ, смотрѣвшій за кустами на всю эту возмутительную сцену, выбѣжалъ и остановилъ смертоубійство.)

Мы не будемъ говорить уже о томъ, насколько нерзка эта сцена сама по себѣ, принимая особенно во вниманіе, что этотъ офицеръ до самаго конца романа играетъ роль положительнаго типа; вы подумайте только, на сколько правдоподобна она въ Петербургѣ въ маѣ 1812 года, когда Россія сохраняла еще миръ и даже дружбу съ французами. Откуда-же могла развиться такая необузданная, слѣпая и дикая ненависть къ французамъ въ молодомъ офицерѣ того времени?

Впрочемъ у Загоскина не одни интеллигентные люди, но и купцы изъ Замоскворѣчья заранѣе уже предугадываютъ не только нашествіе Наполеона, но и пожаръ Москвы. Такъ, одинъ такой купецъ спросилъ у Рославлева:

«— Скажите-ка, батюшка, точно-ли правда, что Бонапартій собирается на насъ войной?

— Это еще не рѣшено, отвѣчалъ Рославлевъ.

— А какъ рѣшится, такъ что-жъ онъ на Москву что-ли пойдетъ?

— Можетъ быть. Онъ избалованъ счастіемъ и привыкъ заключать миръ въ столицахъ своихъ непріятелей.

— Вотъ что! Да что-жъ онъ въ нихъ дѣлаетъ?

— Веселится, отдыхаетъ, беретъ съ обывателей контрибуціи, то есть деньги.

— И ему платятъ?

— По неволѣ: противъ силы дѣлать нечего.

— Какъ нечего? Что вы, сударь! По нашему вотъ какъ. Если дѣло пошло наперекоръ, такъ не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи Боже мой! У меня два дома, да три лавки въ Панскомъ ряду, а если Божіимъ напущеніемъ врагъ придетъ въ Москву, такъ я ихъ своей рукой запалю. На, вотъ тебѣ! Не хвались-же, что моимъ владѣешь! Нѣтъ, батюшка! Русскій народъ упрямъ; вели только нашъ Царь-Государь, такъ мы этому Наполеону такую хлѣбъ-соль поднесемъ, что онъ, хоть и семи пядей во лбу, а—вотъ-те Христосъ!—подавится.

— Нѣтъ, это не хвастовство! подумалъ Рославлевъ, смотря на благородную и исполненную души физіономію купца.—Дай мнѣ свою руку, почтенный гражданинъ! сказалъ онъ.—Ты истинно русскій, и если-бъ всѣ такъ думали, какъ ты!..»

До такой степени увлекся Загоскинъ своимъ узкотенденціознымъ и кваснымъ патріотизмомъ, что даже самую любовную фабулу романа онъ основалъ на немъ. Сюжетъ романа заключается въ томъ, что дочь одного богатаго подмосковнаго дворянина Полина, путешествуя съ матерью своей, большой поклонницей всего французскаго, за границей, влюбилась тамъ въ французскаго полковника, графа Синекура, но скрывала отъ всѣхъ любовь свою и даже дала слово выйти замужъ за Рославлева, и лишь всячески оттягивала свадьбу. Разгорѣлась война, Рославлевъ долженъ оставить свою невѣсту и ѣхать на защиту своего отечества. Между тѣмъ графъ Синекуръ попался въ плѣнъ, и его, раненаго, препроводили какъ-разъ въ усадьбу родителей Полины. Здѣсь романъ молодой русской барышни и плѣннаго француза окончательно созрѣлъ; она дала слово принадлежать ему и никому больше, а онъ, какъ подобаетъ врагу отечества, отъѣлся, зазнался:

— Расхаживаетъ себѣ попѣщикомъ по хоромамъ изъ комнаты въ комнату,—разсказываетъ о немъ одинъ крестьянинъ Рославлеву:—куритъ изъ господской пѣнковой трубки, которую покойникъ берегъ пуще своего

глаза. Подавай ему того, другого; да какъ покрикиваетъ на людей—словно баринъ какой! А какъ пойдетъ гулять по саду съ барышней, такъ—Господи Боже мой! подбоченится, задеретъ голову... Ну, чортъ ему не братъ...

Кончилось дѣло тѣмъ, что влюбленные, боясь скандала и народнаго волненія, рѣшились при участіи матери Полины обвѣнчаться тайкомъ ночью, въ кладбищенской церкви. Загоскинъ напрягъ всѣ свои силы, чтобы обставить обрядъ вѣнчанія какъ можно эффектнѣе, и вышла мелодрама самаго что ни на есть трескучаго характера: громъ, молнія, завыванія вѣтра, похоронныя дикія рѣчи безумной юродивой Ѳедоры, и тутъ какъ вѣтромъ принесло вдругъ Рославлева, возвращавшагося домой лечить раненную руку, и когда молодые вышли изъ церкви, первое зрѣлище, представившееся имъ при блескѣ молніи и оглушительныхъ раскатахъ грома, былъ самъ герой романа, лежавшій на паперти въ растяжку безъ чувствъ и истекающій кровью изъ раскрывшейся отъ волненія раны.

Это не помѣшало Полинѣ уѣхать съ своимъ суженымъ въ Москву, въ наполеоновскую армію, не смотря на то, что Рославлевъ послалъ ей вслѣдъ грозное посланіе, исполненное самыхъ страшныхъ проклятій. «Слушайте приговоръ вашъ! писалъ онъ:—вы не умрете ни отъ стыда, ни отъ раскаянія; проклятіе всѣхъ русскихъ, которое прогремитъ надъ преступной главой вашей, не убьетъ васъ—нѣтъ! вы станете жить. Прижавъ къ сердцу обагренную кровью русскихъ, кровью братьевъ вашихъ, руку мужа, вы пойдете вмѣстѣ съ нимъ по пути, устланному трупами вашихъ соотечественниковъ. Торжествуйте вмѣстѣ съ нимъ побѣду злодѣевъ нашихъ! Забудьте, что вы русская, забудьте Бога!..» и. т. д.

Проклятія отверженнаго жениха не замедлили обрушиться на голову преступной измѣнницы своего отечества. Она должна была пережить весь ужасъ бѣгства французовъ изъ Москвы, смерть мужа, тысячу униженій со стороны французовъ, которые не признавали ее женой умершаго графа Синекура, а смотрѣли на нее, какъ на его содержанку. Наконецъ она очутилась въ Данцигѣ во время осады его, и тамъ Рославлевъ нашелъ ее на одрѣ смерти, терзаемой самыми ужасными мученіями совѣсти, такъ что, когда Рославлевъ заговорилъ о возвращеніи ея на родину, она вскричала въ отчаяніи:

«— Въ отечество? Но развѣ у меня есть отечество?.. Развѣ несчастная Полина не отказалась навсегда отъ своей родины?.. Развѣ найдется во всей Россіи уголокъ, гдѣ-бы дали пріютъ русской, вдовѣ плѣннаго француза?.. Отечество!.. О, еслибы прошедшее было въ нашей волѣ, я не стала-бы тогда заботиться о моемъ спасеніи! Съ какой-бы радостью я обрекла себя на смерть, чтобъ только умереть въ моемъ отечествѣ. Безумная, я думала, что могу сказать ему: «твой Богъ будетъ моимъ Богомъ, твоя земля - моей землей». О нѣтъ, мой другъ! кто покидаетъ навсегда свою родину, тотъ рано или поздно, а умретъ по ней съ тоски...»

Наконецъ на тотъ домъ, гдѣ лежала больная, пала бомба и прекратила физическія и нравственныя страданія умиравшей.

Мы нарочно такъ подробно остановились на сюжетѣ, и именно на судьбѣ главной героини Полины, потому что именно эта сторона романа наиболѣе обратила на себя вниманіе Пушкина, новидимому глубоко взволновала его и заставила написать своего собственнаго «Рославлева», нарочно въ разрѣзъ роману Загоскина, какъ протестъ противъ пошлаго искаженія дѣйствительности въ угоду узко-патріотической тенденціозности автора «Рославлева», какъ защиту оскорбляемой тѣни, и ради этой защиты Пушкинъ изобразилъ такой обаятельный типъ русской женщины-гражданки, подобной которому не было до того времени въ русской литературѣ. Мало того, въ повѣсти Пушкина мы видимъ первое сознаніе женской равноправности, о чемъ въ то время никому и не грезилось.

Дѣло въ томъ, что судьба Полины оказалась не вымышленной, а взятой изъ жизни. «Интрига моего романа,— говоритъ Загоскинъ въ своемъ предисловіи,— основана на истинномъ происшествіи— теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметомъ общихъ разговоровъ, и когда *проклятія оскорбленныхъ Россіянъ гремѣли надъ главой несчастной, которую я назвалъ Полиной въ своемъ романѣ*».

Пушкинъ начинаетъ свою повѣсть именно съ того, что высказываетъ свои впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ романа Загоскина, и заявляетъ о главной цѣли своей повѣсти устами второстепенной героини, отъ имени которой ведется разсказъ:

«Читая «Рославлева»,— говоритъ разсказчица,—съ изумленіемъ увидѣла я, что завязка его основана на истинномъ происшествіи, слишкомъ для меня извѣстномъ. Нѣкогда я была другомъ несчастной женщины, избранной г. Загоскинымъ въ героини его повѣсти. Онъ вновь обратилъ вниманіе публики на происшествіе забытое, разбудилъ чувства негодованія, усыпленныя временемъ, и возмутилъ спокойствіе могилы. Я буду защитницей тѣни,— и читатель извинитъ слабость пера моего, уваживъ сердечныя мои побужденія...»

Далѣе разсказчица повѣствуетъ о своемъ сближеніи съ героиней въ 1811 году, когда ее впервые стали вывозить въ свѣтъ.

«Между дѣвицами, выѣхавшими вмѣстѣ со мной,— говоритъ она,—отличалась княжна ** (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиной; оставляю ей это имя). Мы скоро подружились— вотъ по какому случаю. Братъ мой, двадцатидвухлѣтній малый, принадлежалъ къ сословію тогдашнихъ франтовъ; онъ считался въ иностранной коллегіи и жилъ въ Москвѣ, танцуя и повѣсничая. Онъ влюбился въ Полину и упросилъ меня сблизить наши дома.

«Отецъ Полины былъ заслуженный человѣкъ, т. е. ѣздилъ цугомъ и носилъ ключъ и звѣзду; впрочемъ былъ вѣтренъ и простъ. Мать ея, напротивъ, была женщина степенная и отличалась важностью и здравымъ смысломъ. Полина являлась вездѣ; она окружена была поклонниками. Съ ней любезничали; но она скучала, и скука придавала ей видъ гордости и холодности. Это чрезвычайно шло къ ея греческому лицу и къ чернымъ бровямъ...

«Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора. Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ у нея. Библіотека большею частью состояла изъ сочиненій писателей XVIII вѣка. Французская словесность отъ Монтескьё до романовъ Кребильона была ей знакома. Руссо знала она наизусть. Въ библіотекѣ не было ни одной русской книги, кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ раз-

бираетъ русскую печать, и вѣроятно ничего порусски не читала, не исключая и стишковъ, поднесенныхъ ей московскими стихотворцами.»

Надо замѣтить здѣсь, что Пушкинъ подчеркиваетъ тотъ фактъ, что Полина не читала русскихъ книгъ и едва разбирала русскую грамоту, нарочно въ пику Загоскину, чтобы, приведя въ ужасъ, какъ его, такъ и всѣхъ квасныхъ патріотовъ 30-хъ годовъ, принять затѣмъ свою героиню подъ защиту и отпѣть всѣмъ имъ нижеслѣдующую отповѣдь, прекрасно характеризующую бѣдность русской литературы того времени и всю пошлость сѣтованій, зачѣмъ ею пренебрегали великосвѣтскіе люди.

«Вотъ уже, слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ бранятъ насъ бѣдныхъ за то, что мы порусски не читаемъ и не умѣемъ (будто-бы) изъясняться на отечественномъ языкѣ. (NB. Автору «Юрія Милославскаго» грѣхъ повторять пошлыя обвиненія: мы всѣ прочли его, и, кажется, одной изъ насъ обязанъ онъ переводомъ своего романа на французскій языкъ.) Дѣло въ томъ, что мы рады-бы читать порусски, но словесность наша, кажется, не старѣе Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она конечно представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, *но нельзя-же ото всѣхъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ* (прелестно!). Въ прозѣ имѣемъ мы только «Исторію» Карамзина; первые два или три романа появились два или три года назадъ; между тѣмъ какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой занимательнѣй, слѣдуютъ одна за другой. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все, извѣстія и понятія, черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ и мыслимъ мы на языкѣ иностранномъ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которые мыслятъ и слѣдятъ за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признавались мнѣ самые извѣстные наши литераторы. Вѣчныя жалобы нашихъ писателей на пренебреженіе, въ коемъ оставляемъ мы русскія книги, похожи на жалобы русскихъ торговокъ, негодующихъ на то, что мы шляпки наши покупаемъ у Секлеръ и не довольствуемся произведеніями костромскихъ модистокъ.»

Эта начитанность поставила Полину высоко надъ всѣмъ окружавшимъ ея обществомъ, и она относилась къ нему съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Особенно выразилось это рельефно, когда пріѣхала въ Москву знаменитая Сталь, и въ Москвѣ не знали, какъ угостить знатную иностранку. Полина сидѣла, какъ на иголкахъ, на обѣдѣ, который отецъ ея далъ Сталь, при видѣ, какъ пошло, глупо, безтактно ведетъ себя общество. Когда-же Сталь отпустила какой-то двусмысленный и смѣлый каламбуръ, и всѣ были въ восхищеніи,—лицо Полины запылало, слезы показались на ея глазахъ.

«— Что съ тобой сдѣлалось, ma chère?—спросила ее подруга:—неужели шутка немного вольная могла до такой степени тебя смутить?—«Ахъ, милая,—отвѣчала Полина:—я въ отчаяніи! Какъ ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщинѣ! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. А здѣсь.. Боже мой! Ни одной мысли, ни одного занимательнаго слова втеченіе трехъ часовъ! Тупыя лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомленной! Она видѣла, чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились... Я сгорѣла со стыда и готова была заплакать... Но пускай,—съ жаромъ продолжала Полина,—пускай она вывезетъ объ этой свѣтской мелочи мнѣніе, котораго они достойны. По крайней мѣрѣ она видѣла нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который изъ угожденія къ иностранкѣ вздумалъ было смѣяться надъ русскими бородами? «Народъ, который тому сто лѣтъ отстоялъ свою бороду, отстоитъ въ наше время и свою голову». Какъ она мила! Какъ я люблю ее! Какъ ненавижу ея гонителя!»

Но вотъ началась война, начался и квасной патріотизмъ, и въ то время, какъ Загоскинъ восторгается имъ въ своемъ «Рославлевѣ», Пушкинъ заставляетъ свою разсказчицу относиться къ нему не безъ сарказмовъ:

«Гонители французскаго языка и Кузнецкаго моста — говоритъ она — взяли въ обществахъ рѣшительный верхъ, и гостиныя наполнились патріотами: кто высыпалъ изъ табакерки французскій табакъ и сталъ нюхать русскій; кто сжегъ десятокъ французскихъ брошюрокъ; кто отказался отъ лафита и принялся за кислыя щи. Всѣ заклялись говорить по французски; всѣ закричали о Пожарскомъ и Мининѣ и стали проповѣдывать народную войну, собираясь на долгихъ отправиться въ саратовскія деревни.

«Полина не могла скрыть своего презрѣнія, какъ прежде не скрывала своего негодованія. Такая проворная перемѣна и трусость выводили ее изъ терпѣнія. На бульварѣ, на Пресненскихъ прудахъ, она нарочно говорила по-французски; за столомъ, въ присутствіи слугъ, нарочно оспаривала патріотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности наполеоновскихъ войскъ, о его военномъ геніѣ. Присутствующіе блѣднѣли, опасаясь доноса, и спѣшили укорить ее въ приверженности къ врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай Богъ,—говорила она:—чтобы всѣ русскіе любили свое отечество, какъ я люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у нея такая смѣлость. «Помилуй!—сказала я однажды:—охота тебѣ вмѣшиваться не въ наше дѣло. Пусть мужчины себѣ дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины на войну не ходятъ, и мнѣ дѣла нѣтъ до Бонапарта». Глаза ея засверкали. «Стыдись,—сказала она:—развѣ женщины не имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей, развѣ кровь русская для насъ чужда? *Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобъ насъ на балъ вертѣли въ экосезахъ, а дома заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? Нѣтъ, я знаю, какое вліяніе женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. Я не признаю уничиженія, къ которому присуждаютъ насъ.* Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непріятельской силой. И дядюшка смѣетъ еще насмѣхаться надъ ея робостью при приближеніи французской арміи: «будьте покойны, сударыня: Наполеонъ воюетъ противъ Россіи, а не противу васъ...» Да! Еслибы дядюшка попался въ руки французамъ, то его-бы пустили гулять по Палэ-Роялю; но M-me de Staël въ такомъ случаѣ умерла-бы въ государственной темницѣ. А Шарлота Кордэ? а наша Марѳа Посадница? а княгиня Д***? чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостью души и рѣшительностью!»

Такимъ образомъ среди русскаго общества начала XIX столѣтія Пушкинъ подмѣтилъ уже и имѣлъ возможность нарисовать своей геніальной кистью, во весь ростъ передъ нами, тотъ мужественный и герой-

*

скій типъ женщины гражданки, который до такой степени присущъ нашей русской жизни, что черты подобнаго рода характера мы можемъ встрѣтить не только въ нашемъ историческомъ прошломъ, но даже въ народныхъ былинахъ, относящихся Богъ вѣсть къ какой сѣдой древности.—Подобнаго рода типы случалось и намъ встрѣчать конечно въ наше время, наиболѣе богатое ими, и замѣчательно, что всѣ они имѣютъ такое поразительное сходство между собой, словно отливаются изъ одной, разъ когда-то созданной формы: всѣ подобныя женщины съ одинаковымъ негодованіемъ и презрѣніемъ относятся къ окружающему ихъ обществу со всей его пошлостью, суетностью и дикимъ невѣжествомъ и идутъ въ разрѣзъ съ обычной рутиной жизни, поражая всѣхъ окружающихъ той смѣлостью, съ которой онѣ нарушаютъ всѣ общепринятые обычаи и приличія; всѣ онѣ тяготятся своей женской долей и увлекаются до самозабвенія какой-нибудь общественной идеей, жертвуя ей всѣми благами жизни. Наконецъ во всѣхъ нихъ замѣчательна одна типическая черта: любовь стоитъ у нихъ постоянно на послѣднемъ планѣ; онѣ словно тяготятся ею; мужчина, который имѣетъ несчастіе полюбить ихъ, если не отвергается ими, то во всякомъ случаѣ дѣлается ихъ рабомъ; онѣ помыкаютъ имъ, какъ механическимъ орудіемъ для исполненія своихъ мечтательно-широкихъ замысловъ.

Такова передъ нами Полина въ своихъ отношеніяхъ къ страстно любящему ее брату подруги ея.

«Вы чѣмъ пожертвуете?» спросила она у моего брата,—повѣствуетъ разсказчица. — «Я не владѣю еще моимъ имѣніемъ», отвѣчалъ мой повѣса. «У меня всего-на-все 30,000 долгу, приношу ихъ въ жертву на алтарь отечества». Полина разсердилась. «Для нѣкоторыхъ людей», сказала она: «и честь, и отечество—все бездѣлица. Братья ихъ умираютъ на полѣ сраженія, а они дурачатся въ гостиныхъ. Не знаю, найдется-ли женщина, довольно низкая, чтобы позволить такимъ фиглярамъ притворяться передъ ней въ любви.»

Произошла ссора, и молодые люди помирились лишь тогда, когда молодой повѣса вступилъ въ полкъ. Отправляясь на мѣсто дѣйствія, онъ предложилъ ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свою свадьбу до конца войны.

Вскорѣ послѣ того началось сближеніе ея съ графомъ Синекуромъ, однимъ изъ четырехъ плѣнныхъ французовъ, которыхъ отецъ Полины помѣстилъ въ ихъ домѣ. «Ему было тогда 26 лѣтъ; онъ принадлежалъ хорошему дому. Лицо его было пріятно, тонъ очень хорошій; мы тотчасъ отличили его. Ласки принималъ онъ съ благородной скромностью. Онъ говорилъ мало; но рѣчи его были основательны. Полинѣ онъ понравился тѣмъ, что первый могъ ясно ей истолковать военныя движенія и движенія войскъ. Онъ успокоилъ ее, удостовѣривъ, что отступленіе русскихъ войскъ было не безсмысленный побѣгъ и столько-же безпокоило Наполеона, какъ и ожесточало русскихъ.—«Да вы, спросила его Полина, развѣ вы не убѣждены въ непобѣдимости вашего императора?» Синекуръ (назову-жъ и его именемъ, данным ему г. Загоскинымъ), Синекуръ, нѣсколько помолчавъ, отвѣчалъ, что въ его положеніи откровенность была-бы затруднительна. Полина настоятельно требовала отвѣта. Синекуръ признался, что стремленіе французскихъ войскъ въ сердце Россіи могло сдѣлаться для нихъ опасно, что походъ 1812 года, кажется, конченъ, но не представляетъ ничего рѣшительнаго. «Конченъ! возразила Полина, а Наполеонъ все еще идетъ впередъ, а мы все отступаемъ».—«Тѣмъ хуже для насъ», отвѣчалъ Синекуръ и заговорилъ о другомъ предметѣ.

Своими основательными сужденіями Синекуръ производилъ на Полину тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что отъ своего жениха получала она письма, въ которыхъ толку невозможно было добиться; они были наполнены шутками, умными и плохими вопросами о Полинѣ, пошлыми увѣреніями въ любви и проч. Полина, читая ихъ, досадовала и пожимала плечами. «Признайся, говорила она подругѣ, что твой Алексѣй препустой человѣкъ. Даже въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, съ поля сраженія, находитъ онъ способъ писать ничего незначущія письма; какова-же будетъ мнѣ его бесѣда въ тихой семейственной жизни?»

Она примирилась съ пошлостью своего жениха, только когда его убили въ Бородинскомъ сраженіи, и даже огорчилась его смертью. «Она не была влюблена въ брата,—повѣствуетъ разсказчица,—и часто на него досадовала, но въ эту минуту видѣла она въ немъ мученика, героя и оплакивала въ тайнѣ отъ меня. Нѣсколько разъ я заставала ее въ слезахъ. Это меня не удивляло; я знала, какое болѣзненное участіе принимала она въ судьбѣ страждущаго нашего отечества. Я не подозрѣвала еще, что было причиной ея горести».

Но во всемъ величіи своего энтузіазма, во весь свой нравственный ростъ, если можно такъ выразиться, выступаетъ передъ нами Полина въ заключительной сценѣ разсказа, при извѣстіи о пожарѣ Москвы. Сцена эта происходила въ саду, гдѣ были Синекуръ и разсказчица, когда къ нимъ быстрыми шагами подошла Полина.

«Блѣдность ея меня поразила, повѣствуетъ разсказчица:—«Москва взята! сказала она мнѣ, не отвѣчая на поклонъ Синекура. Сердце мое сжалося, слезы потекли ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупя глаза.

«Благородные, просвѣщенные французы, продолжала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодованія, ознаменовали свое торжество достойнымъ образомъ. Они зажгли Москву—Москва горитъ уже два дня». —«Что вы говорите? закричалъ Синекуръ, не можетъ быть!»—«Дождитесь ночи, отвѣчала она сухо, можетъ быть увидите зарево».—«Боже мой! Онъ погибъ, сказалъ Синекуръ: какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону нигдѣ нечѣмъ будетъ держаться, что онъ принужденъ будетъ скорѣе отступить сквозь разоренную, опустѣвшую дорогу, съ войскомъ, разстроеннымъ и недовольнымъ? И вы могли думать, что французы сами взбрали себѣ адъ: русскіе, русскіе зажгли Москву!—Теперь все рѣшено: ваше отечество вышло изъ опасности; но что будетъ съ нами? что будетъ съ нашимъ императоромъ?»

«Онъ оставилъ насъ. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, сказала она, Синекуръ правъ, и пожаръ Москвы—нашихъ дѣло? Если такъ... О, мнѣ можно гордиться именемъ россіянки! Вселенная изумится великой жертвѣ! Теперь и паденіе наше мнѣ не страшно, — честь наша спасена; никогда Европа не осмѣлится уже бороться съ народомъ, который рубитъ самъ себѣ руки и жжетъ свою столицу.»

Глаза ея такъ и блистали, голосъ такъ и звенѣлъ. «Ты знаешь? сказала мнѣ Полина съ видомъ вдохновеннымъ: твой братъ... онъ счастливъ; онъ не въ плѣну—радуйся; онъ убитъ за спасеніе Россіи.» Я вскрикнула и упала безъ чувствъ въ ея объятія.»

Мы нисколько не удивляемся, что Пушкинъ изобразилъ подобный типъ. Онъ навѣрно не одну подобную героиню видѣлъ въ числѣ женъ своихъ друзей, тѣхъ самыхъ знаменитыхъ женъ, которыя въ то время, какъ поэтъ писалъ свой разсказъ, раздѣляли уже далекую ссылку своихъ мужей;— удивительно, что критика наша и до сихъ поръ не обмолвилась ни однимъ словомъ объ этомъ замѣчательномъ типѣ, достойномъ занимать первое мѣсто въ ряду типовъ русскихъ женщинъ. Такъ, Бѣлинскій, останавливаясь подробно на женскихъ типахъ романа «Евгеній Онѣгинъ» — Татьянѣ и Ольгѣ—и считая Татьяну лучшей женщиной, какая только мыслима въ нашей жизни, совершенно упустилъ изъ виду Полину, да и вообще «Рославлева» онъ пропустилъ молчаніемъ, вѣроятно изъ того предубѣжденія, которое онъ питалъ ко всѣмъ повѣстямъ Бѣлкина. Добролюбовъ, разбирая тургеневскую Елену въ «Наканунѣ», въ свою очередь совершенно повидимому игнорировалъ, что типъ Елены не впервые является въ нашей литературѣ въ романѣ Тургенева, что онъ имѣетъ своего предшественника и въ лицѣ Полины является изображеннымъ еще болѣе совершенно и геніально.

Мы не будемъ долго останавливаться на прочихъ историческихъ романахъ Загоскина, такъ какъ въ первыхъ двухъ романахъ своихъ авторъ выразился вполнѣ, и мы достаточно познакомились съ нимъ при характеристикѣ этихъ романовъ. Въ послѣдующихъ же своихъ произведеніяхъ этого рода Загоскинъ не только не подвинулся впередъ и не обнаружилъ какихъ-нибудь новыхъ достоинствъ или сторонъ своего таланта, но, напротивъ того, съ каждымъ романомъ являлся передъ читателемъ все рутиннѣе, блѣднѣе и безцвѣтнѣе.

Такъ, въ 1833 году Загоскинъ напечаталъ новый историческій романъ въ 3-хъ частяхъ подъ заглавіемъ «Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра перваго». Уже одно заглавіе этого романа показываетъ, какъ легкомысленно относился къ исторіи нашъ первый историческій романистъ. Въ самомъ дѣлѣ, писать историческій романъ изъ такой миѳической эпохи, какъ эпоха Владиміра Святого, имѣлъ право только такой компетентный ученый, который до-тла изучилъ археологію, сравнительную славянскую миѳологію и византійскія древности девятаго вѣка; да и такой ученый подумалъ-бы, есть-ли возможность хоть приблизительно вѣрно изобразить такую темную и полубасословную эпоху. Загоскинъ-же, безъ долгихъ размышленій и какихъ-бы то ни было сомнѣній, вооружился первымъ томомъ Карамзина и «Сборникомъ былинъ» Кирши и ровно въ такое-же количество времени, какое употребилъ онъ на каждый изъ предыдущихъ романовъ, т. е. въ два года, написалъ свою «Аскольдову могилу».

Карамзинъ не замедлилъ оказать свое вліяніе на Загоскина. Такъ, мы видимъ, что въ романѣ Загоскина въ девятомъ вѣкѣ уже простые кіевскіе рыбаки, преисполненные такого-же пламеннаго патріотизма, какъ и москвичи въ 1812 г., представляли уже Россію могучимъ и цѣльнымъ государствомъ, а Владиміра доблестнымъ единодержавнымъ царемъ ея. Такъ, въ первой-же главѣ является къ этимъ рыбакамъ какой-то неизвѣстный, оказавшійся потомъ главнымъ мелодраматическимъ злодѣемъ романа, и начинаетъ возмущать ихъ противъ Владиміра, говоря о счастливыхъ старыхъ временахъ, когда Русью правили князья Аскольдъ и Диръ. Когда неизвѣстный уплываетъ на лодкѣ, между рыбаками происходитъ такая сцена:

«— А что, парень,—прервалъ дѣтина съ рыжей бородой,—вѣдь этотъ долговязый себѣ на умѣ! И впрямь, житье-то наше незавидное. Эхъ, кабы воля, да воля! чтобы намъ хоть одного проклятаго мытника покупать въ Днѣпрѣ?

— А тамъ добрались-бы и до всѣхъ?—прервалъ старикъ. И злыхъ и добрыхъ топи всѣхъ сряду! Нѣтъ, ребятушки! Какъ у нашего брата руки расходятся, такъ и воля будетъ хуже неволи.

— Да за что-жъ, дѣдушка, въ старину-то насъ никто не обижалъ?

— Право! Да вы никакъ въ самомъ дѣлѣ повѣрили этому краснобаю? Эхъ, дѣтушки! Я два вѣка изжилъ, такъ лучше повѣрьте мнѣ, старику. Бывало и худо, что грѣхъ таить: и при бабушкѣ нашего государя, премудрой Ольгѣ, злые господа народъ обижали, и при сынѣ ея, Святославѣ Игоревичѣ. Коли безъ того! Вѣдь одному за всѣми не усмотрѣть. И то говорить—и при нашемъ батюшкѣ, Великомъ князѣ, подъ часъ бываетъ со всячинкою. Да что-жъ дѣлать, ребятушки? видно ужъ свѣтъ на томъ стоитъ!

— Да о какомъ-же онъ толковалъ Аскольдѣ, дѣдушка?

— Неужели не знаешь? Ну, вотъ, что похороненъ тамъ... близъ моста Угорскаго, подъ самой рѣкой.

— А кто онъ былъ таковъ?

— Прахъ его знаетъ! Такъ, какой-нибудь ледащій князишка. Чай, въ его время лѣнивый не обижалъ Кіевъ. То-ли дѣло теперь, и подумать-то никто не смѣетъ. Вотъ недавно завозились было Ятвяги да Радимичи: много взяли! Лишь только нашъ удалой князь брови нахмурилъ, такъ они мѣста не нашли! Что тутъ говорить,—продолжалъ старикъ съ возрастающимъ жаромъ.—Да бывалъ-ли на Руси когда-нибудь такой могучій Государь? да леталъ-ли когда по поднебесью такой ясный соколъ, какъ нашъ батюшка Владиміръ Святославичъ?..

— Правда, правда! — закричали почти всѣ рыбаки.

— А какъ выѣдетъ нашъ кормилецъ, — промолвилъ одинъ изъ нихъ,—на борзомъ конѣ своемъ, впереди своихъ удалыхъ витязей—что за молодецъ такой! Такъ, глядя на него, сердце запрыгаетъ отъ радости.

— Да какъ сердцу и не радоваться,—подхватилъ другой,—вѣдь онъ нашъ родной! Ему честь—намъ честь.

— Эхъ, ребята!—вскричалъ третій,—напрасно мы не связали этого разбойника. Лѣшій его знаетъ, кто онъ таковъ! Уже не Ятвяги-ли его подослали и т. д.»

Или, еще того лучше, лѣсной пустынникъ Алексѣй слѣдующими словами укоряетъ своего преступнаго брата, все того-же неизвѣстнаго, желающаго погубить Владиміра и съ этой цѣлью призвать Печенѣговъ:

«— Нѣтъ! не кормилецъ тотъ земли русской, кто предастъ ее во власть враговъ! *Владыка силенъ любовью своихъ подданныхъ*; и горе имъ, если онъ долженъ прибѣгать подъ защиту иноплеменныхъ. *Тогда только блаженствуетъ страна, когда царь и народъ, какъ душа и тѣло, нераздѣльны между собой*. И неужели ты думаешь, что призванные тобой Печенѣги, истребивъ войско Владиміра, удовольствуются

временной данью и удалятся спокойно отъ предѣловъ нашихъ? О, нѣтъ! ты знаешь самъ, что эти хищные звѣри покроютъ пепломъ всю землю русскую; уведутъ въ неволю женъ и дѣтей нашихъ; запрудятъ широкій Днѣпръ трупами беззащитныхъ поселянъ, и до тѣхъ поръ не покинутъ Кіева, пока развалины его не поростутъ травой. Несчастный! иль не довольно еще ты собралъ проклятій на главу свою? *Ты никогда любилъ отечество, ты съ гордостью называлъ себя русскимъ!* Подумай, что готовишь ты для своей родины?.. Если Печенѣги не разорятъ до конца Кіева, то пощадятъ-ли его сосѣдніе народы? Не слетятся-ли надъ его трупомъ, какъ алчные коршуны, Ятвяги, Радимичи, Литва и Хорваты? Отвѣтствуй мнѣ! Спасетъ-ли тогда неопытный юноша отъ рабства и вѣчной гибели растерзанное врагами, смутами и междоусобіями злосчастное *Царство Русское*!»

Какъ вамъ нравится подобная тирада, уснащенная словами вродѣ отечество, русское царство, подданные и т. п. въ устахъ современника Владиміра, когда слово Русь по всей вѣроятности употреблялось еще, какъ названіе племени или княжеской дружины, когда вмѣсто какого-бы то ни было царства только и было на Руси, что два княжества—Новгородское и Кіевское,—что-же касается до такихъ словъ, какъ *отечество*, *родина*, то навѣрное они совсѣмъ не существовали еще, и каждый отдѣльный человѣкъ считалъ себя принадлежащимъ не русскому государству, а такому-то городу и селу.

Вотъ какова «исторія» въ «Аскольдовой могилѣ». Зато сказочному элементу здѣсь не было ни малѣйшаго удержа, и онъ могъ разыгрываться на полномъ просторѣ, какъ объ этомъ говоритъ и самъ авторъ въ началѣ первой главы: «пусть называютъ мой разсказъ басней: тамъ, гдѣ безмолвствуетъ исторія, гдѣ вымыселъ сливается съ истиной, довольно одного преданія для того, кто не ищетъ славы дѣписателя, а желаетъ только забавлять русскихъ разсказами объ ихъ отечествѣ». Впрочемъ надо признаться, что сюжетъ романа во многомъ уступаетъ сюжету «Юрія Милославскаго»; онъ слишкомъ грубо мелодраматиченъ, и къ тому-же Загоскинъ кое въ чемъ повторяется: такъ, Торопка-Голованъ напоминаетъ собой запорожца Киршу, варягъ Фрелафъ—пана Капуцинскаго.

Подобно «Рославлеву», «Аскольдова могила» выдержала два изданія; но этимъ и ограничивается сходство въ судьбѣ этихъ двухъ романовъ,—далѣе затѣмъ начинается различіе. «Рославлевъ», передѣланный въ драму кн. Шаховскимъ, не имѣлъ успѣха, въ то время какъ «Аскольдова могила», передѣланная самимъ Загоскинымъ въ оперу, затмила собой романъ, благодаря какъ сценичности либретто, такъ и талантливой музыкѣ А. Н. Верстовскаго. Довольно сказать, что, поставленная въ первый разъ на сцену 16 сентября 1835 года, опера 50 лѣтъ существуетъ уже на сценѣ, не утрачивая своего обаянія на публику.

Позднѣйшіе романы Загоскина относятся уже къ 40-мъ годамъ. Такъ, въ 1842 году явился въ свѣтъ романъ его въ 4 частяхъ—«Кузьма Петровичъ Мирошевъ, русская быль временъ Екатерины II», выдержавшій въ свою очередь два изданія. Собственно говоря, романъ этотъ, если судить строго, нельзя отнести къ историческимъ, такъ какъ эпоха XVIII вѣка рисуется въ немъ самыми общими и блѣдными чертами. Такой-же самый скромный Мирошевъ со своимъ скромнымъ романомъ могъ-бы существовать и въ 40-хъ годахъ, исключая развѣ только эпизода обѣда у вельможи екатерининскихъ временъ. Тѣ открытыя пиршества, на которыя можно было приходить съ улицы кому угодно и которыя задавали екатерининскіе сановники, безспорно составляютъ характеристическую черту 18-го вѣка; но эту одну единственную историческую черту только и можно найти во всемъ романѣ.

Затѣмъ въ 1846 году былъ напечатанъ романъ «Брынскій лѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго». Романъ этотъ запутанностью и сказочностью интриги, основанной на томъ, что героиня оказывается похищенной въ дѣтствѣ и воспитанной совсѣмъ въ другой семьѣ, и лишь въ концѣ романа узнаетъ своихъ настоящихъ родителей, — напоминаетъ нѣсколько «Юрія Милославскаго», но публику второй половины 40 годовъ нельзя уже было уловить одной сказочной интригой. Эта публика привыкла уже къ натурализму Гоголя и прошла сквозь школу критическихъ статей Бѣлинскаго; она требовала уже простыхъ, естественныхъ и реальныхъ сюжетовъ. Историческій-же элементъ романа по обыкновенію крайне слабъ и блѣденъ; авторъ и здѣсь обходитъ крупныя событія эпохи и, излагая ихъ въ краткихъ перечняхъ, все вниманіе читателей обращаетъ на изображеніе сентиментально-приторной любви своихъ героевъ. Желая изобразить эпоху во всѣхъ ея элементахъ, Загоскинъ между прочимъ выставилъ въ своемъ романѣ нѣсколько типовъ раскольниковъ, но всѣ они вышли у него слишкомъ ужъ мрачными и нетерпимыми изувѣрами, скроенными по одному рутинному и стереотипному шаблону, показывающему, что онъ имѣлъ очень поверхностныя свѣдѣнія о значеніи раскола на Руси и о его внутреннемъ характерѣ. Какъ-бы то ни было, въ средней публикѣ романъ все-таки имѣлъ успѣхъ на столько, что выдержалъ три изданія.

Наконецъ послѣдній романъ Загоскина «Русскіе въ началѣ восемнадцатаго столѣтія, разсказъ изъ временъ единодержавія Петра I-го», былъ изданъ уже въ 1848 году. Здѣсь рисуется эпоха Петра во всемъ разгарѣ реформъ. Загоскинъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы изобразить эту эпоху во всей пестротѣ ея элементовъ: тутъ передъ нами предстаютъ и молодые приверженцы новыхъ порядковъ съ ихъ ломанымъ языкомъ, уснащеннымъ иностранными словами, и стародумы съ ихъ упорнымъ коснѣніемъ въ обычаяхъ старины и тайными заговорами, и ассамблеи, и нѣмецкіе генералы, и самъ Петръ наконецъ въ самую роковую минуту своего царствованія, въ плѣну на рѣкѣ Прутѣ,— но нѣтъ одного: того геніально-поразительнаго умѣнія двумя-тремя тонкими и живыми чертами совершенно перенести васъ въ историческую эпоху, какое мы нашли въ «Арапѣ Петра» Пушкина. Все это выходитъ у Загоскина, хотя на этотъ разъ и исторически вѣрно, но какъ-то аляповато, лубочно и поверхностно.— Нѣтъ ничего мудренаго, что романъ не имѣлъ успѣха. Публикѣ очевидно крайне уже пріѣ-

ѣлись въ то время историческіе романы, особенно же изъ эпохи Петра, которыми успѣлъ набить ей оскомину Н. Кукольникъ. Къ тому-же сюжетъ романа показался слишкомъ простымъ и бѣднымъ для читателей, любящихъ сказочныя интриги, а для высокоинтеллигентной публики этотъ самый сюжетъ показался, напротивъ того, слишкомъ вычурнымъ и неестественнымъ, особенно въ концѣ романа, гдѣ герой отличается необыкновеннымъ великодушіемъ, являясь спасителемъ отъ заслуженной кары своего соперника, котораго онъ считалъ мужемъ своей возлюбленной, ну, и конечно очень обрадовался, узнавши, что героиня еще не замужемъ и что спасать соперника не для чего. — Было очень странно уже читать любовныя объясненія въ сентиментальномъ карамзинскомъ стилѣ въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда на литературную арену выступили уже и Гончаровъ, и Тургеневъ, и Достоевскій, и Григоровичъ. Пѣсенка Загоскина очевидно была уже спѣта.

V.

Происхожденіе и дѣтство И. И. Лажечникова.—Его воспитаніе.—Первые литературные опыты.—Предварительная служба.—Участіе въ войнѣ 1812–1815 гг.—Первая историческая повѣсть «Малиновка».—Служба подъ начальствомъ Магницкаго.—Сближеніе съ Бѣлинскимъ.

Рядомъ съ именемъ Загоскина, въ тѣсной и неразрывной связи, ставятъ всегда имя другого романиста, считающагося въ свою очередь основателемъ русскаго историческаго романа,—Ивана Ивановича Лажечникова, хотя, по правдѣ сказать, Загоскинъ только и имѣетъ общаго съ Лажечниковымъ, что оба они почти въ одно время начали писать историческіе романы; а затѣмъ ни въ чемъ они не сходятся: ни въ степени ихъ талантовъ, ни въ образованности, ни въ происхожденіи и обстоятельствахъ жизни, ни въ характерѣ ихъ романовъ.

И. И. Лажечниковъ происходилъ изъ купеческаго рода. Отецъ его былъ богатѣйшій коломенскій хлѣботорговецъ, коммерціи совѣтникъ, одинъ изъ первыхъ воротилъ въ своемъ родномъ городѣ Коломнѣ, унаслѣдовавшій отъ своего отца богатое наслѣдство. Домъ его въ городѣ поражалъ своимъ великолѣпіемъ. «Домъ этотъ,—повѣствуетъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ о 12-мъ годѣ:—славился роскошью своего убранства: вездѣ паркеты изъ краснаго, чернаго, пальмоваго дерева, мраморъ, штофъ... Въ немъ отецъ мой угощалъ великолѣпныхъ сыновъ кончавшагося вѣка

Изъ стан славной
Екатерининскихъ орловъ,

и угощалъ великолѣпно, не ударялъ лицомъ въ грязь передъ важными господами, не брезгавшими водить хлѣбъ-соль съ купцомъ. Онъ жилъ вообще, какъ богатые дворяне того времени. И чтобы совсѣмъ походить на нихъ, онъ купилъ себѣ даже помѣстье въ 23 верстахъ отъ Коломны, «Красное Сельцо». Помѣстье это было куплено на имя хорошаго пріятеля Лажечникова, московскаго губернатора Обрѣзкова,—на чужое имя, какъ мы полагаемъ, потому что купцамъ въ то время было воспрещено покупать населенныя имѣнія»...

«Во время цвѣтущаго положенія дѣлъ,—говорится въ автобіографіи, читанной О. Ливановымъ на пятидесятилѣтнемъ юбилеѣ Лажечникова: — Красное Сельцо было настоящимъ Эльдорадо того времени. Туда стекались дворяне уѣзда на приманку вкусныхъ обѣдовъ съ аршинными стерлядями, пойманными въ собственныхъ прудахъ, и двухфунтовыми грушами, только что сорванными въ своихъ оранжереяхъ. Все это приправляли радушіе, умъ, любезность хозяина и красота хозяйки, истовой красавицы своего времени. Офицеры Екатеринославскаго кирасирскаго полка, стоявшаго въ окрестности, толпились каждый день у гостепріимнаго амфитріона. Трехъ-этажный домъ и такой же флигель не могли вмѣстить на сонъ грядущій посѣтителей. Губернаторы, ѣздившіе ревизовать губернію, дѣлали нѣсколько верстъ крюку по проселочной дорогѣ, чтобы откушать хлѣба-соли у радушнаго помѣщика-купца. Порядочный оркестръ домашнихъ музыкантовъ во время обѣдовъ услаждалъ слухъ гостей увертюрами изъ тогдашнихъ модныхъ оперъ.»

Но не одной роскошной внѣшностью подражалъ отецъ Лажечникова дворянамъ, а также и по своему образованію онъ значительно выдѣлялся изъ своихъ собратьевъ-купцовъ. «Надо прибавить, – говоритъ Лажечниковъ о своемъ отцѣ въ своемъ автобіографическомъ романѣ «Вѣленькіе, черненькіе и сѣренькіе», — что онъ имѣлъ врожденное стремленіе къ образованію себя. Случай развилъ еще болѣе эту склонность. Въ одну изъ частыхъ поѣздокъ своихъ въ разные предѣлы Россіи, которыя онъ всякій годъ совершалъ по торговымъ дѣламъ, познакомился онъ гдѣ-то *съ какимъ-то господиномъ* Новиковымъ. Новиковъ полюбилъ молодого человѣка, бесѣдовалъ съ нимъ часто о благахъ, доставляемыхъ просвѣщеніемъ, и снабдилъ его спискомъ всѣхъ книгъ и журналовъ, какіе только были изданы на русскомъ языкѣ. Молодой купчикъ не замедлилъ купить эти книги и читалъ ихъ съ жадностью»...

Эта начитанность отца Лажечникова повела за собой два послѣдствія: во-первыхъ въ домѣ его царствовали ненарушимыя благочиніе, приличіе и гуманная кротость въ обращеніи съ домочадцами и слугами, что составляетъ большую рѣдкость въ купеческихъ домахъ, даже и до сего дня. А во-вторыхъ, чувствуя себя выше всѣхъ согражданъ по своему образованію, гордясь въ то же время своей честностью и прямотой,—отецъ Лажечникова отличался необузданной остротой и колкостью своего языка; причемъ остроты его, попадая не въ бровь, а въ самый глазъ, создавали ему множество враговъ среди людей важныхъ, такъ какъ, не ограничиваясь своими согражданами, онъ отпускалъ колкости и на счетъ городскихъ властей. Такъ напримѣръ, городничаго, который состоялъ въ амурахъ съ одной отцвѣтающей графиней, жившей въ окрестностяхъ города, и потому вѣчно пропадалъ въ имѣніи ея и весьма мало заботился о городскихъ дѣлахъ, онъ прозвалъ уѣзднымъ городничимъ, и кличка эта такъ и осталась за нимъ. Мало этого, по словамъ Лажечникова, онъ «иной разъ такъ смѣло выражался о разныхъ важныхъ предме-

тахъ и лицахъ, что у трусливаго человѣка, слушавшаго его, волосы дыбомъ становились».

Все это сходило старику, благодаря богатству его и связямъ, а главное дѣло мягкимъ и снисходительнымъ нравамъ эпохи Екатерины. Но когда насталъ суровый и строгій режимъ царствованія Павла Петровича, ему пришлось жестоко поплатиться за свое вольномысліе. Однажды отпустилъ онъ какую-то остроту на счетъ высокопоставленнаго коломенскаго духовнаго лица. Священникъ, обучавшій дѣтей Лажечникова русскому языку, счелъ своимъ священнымъ долгомъ передать духовному сановнику bon-mot Лажечникова, а тотъ, воспылавши гнѣвомъ, недолго думая, отнесся въ Петербургъ съ жалобой на Лажечникова, какъ на несомнѣннаго якобинца. И вотъ неожиданно въ глухую ночь домъ Лажечниковыхъ былъ разбуженъ страшнымъ стукомъ, шумомъ и звономъ колокольчиковъ на дворѣ. Поднялась суматоха, и «вслѣдъ затѣмъ—пишетъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи—я увидѣлъ рыдающую мать мою, прощаніе ея съ отцомъ, благословеніе его дрожащей рукой надо мной и братомъ моимъ. На дворѣ стояли три таинственныя тройки, запряженныя въ рогожевыя кибитки. При нихъ были какіе-то солдаты. Въ одну кибитку посадили моего отца, въ другую—гувернера Monsieur Beaulieu, въ третью—священника нашего, русскаго учителя: казалось, ихъ увезли въ вѣчность. Вслѣдъ затѣмъ слышны были только перешептыванія, рыданія матери и причитанія женской прислуги. Въ этомъ происшествіи никто ничего не могъ понять. Дядька мой Ларивонъ угрюмо молчалъ, нянька Домна усердно молилась и приказывала мнѣ молиться».

Собравши по возможности больше денегъ и взявъ обоихъ сыновей своихъ, Лажечникова на слѣдующій же день отправилась по слѣдамъ мужа въ сопровожденіи преданнаго слуги своего Ларивона. «По пріѣздѣ въ Москву—говоритъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи—мы отправились въ тайную канцелярію, находившуюся на углу Мясницкой и Лубянской площади, что нынѣ домъ московской духовной консисторіи. Здѣсь какой-то генералъ дозволилъ намъ свиданіе съ плѣнникомъ. Мы простились съ нимъ, не зная, увидимъ-ли его когда-нибудь. По дальнѣйшимъ свѣдѣніямъ извѣстно намъ стало, что узника посадили въ Петропавловскую петербургскую крѣпость и отобрали ножи и вилки».

Походатайству жены, за узника взялись усердно хлопотать приближенныя императору Павлу лица, Куракинъ и Лобановъ-Ростовскій. Воспользовавшись тѣмъ, что въ день Михаила Архангела, въ сентябрѣ, Павелъ Петровичъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа, они осмѣлились доложить ему и убѣдить императора, что коломенскаго купца оклеветали напрасно. Имъ повѣрили, и Лажечниковъ былъ освобожденъ. Доносчика же священника перевели въ Тульскую губернію на низшее мѣсто, и онъ вскорѣ сошелъ съ ума. День Михаила Архангела сталъ священнымъ въ семействѣ Лажечниковыхъ. Каждый годъ онъ праздновался самымъ торжественнымъ образомъ. Катастрофа эта не прошла даромъ Лажечниковымъ. Не говоря уже о томъ, что не малыхъ денегъ стоили имъ хлопоты и ходатайства объ освобожденіи главы дома, торговыя дѣла ихъ оказались сильно запущенными за время его отсутствія. Съ каждымъ годомъ послѣ того благосостояніе ихъ начало клониться къ упадку, а въ 1811 г., вслѣдствіе нѣкоторыхъ торговыхъ неудачъ, дошло дѣло до того, что для спасенія отъ банкротства пришлось распродать все недвижимое имущество.

Но это случилось, когда нашему будущему романисту было уже 19 лѣтъ. Когда же онъ родился, 14 сентября 1792 г., родительскій домъ представлялъ еще изъ себя полную чашу, и ничто не смущало безмятежнаго дѣтства будущаго романиста. Первымъ воспитателемъ его былъ приставленный къ нему дядькой, вышеупомянутый Ларивонъ, человѣкъ большой душевной чистоты и мягкости, никогда не позволявшій себѣ грубаго слова. Воспитанникъ «не видалъ отъ него сердитаго толчка, не только розги (которая правда ни отъ кого никогда не была на малюткѣ); никогда бранное слово не вырывалось изъ устъ воспитателя, а если нужно было сдѣлать выговоръ, такъ это дѣлалось во имя стыда. — «Эхъ! какъ вамъ не стыдно, Иванъ Ивановичъ,—говорилъ онъ въ минуты крайней необходимости, когда видѣлъ непростительную шалость своего питомца: — этого и бурлакъ не сдѣлаетъ».

«Я учился,—говоритъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи,—сначала русской грамотѣ у священника. Когда мнѣ минуло шесть лѣтъ, взяли къ намъ въ домъ гувернера Monsieur Beaulieu, французскаго эмигранта, не походившаго на своихъ собратовъ-проходимцевъ. Онъ получилъ образованіе въ Страсбургскомъ университетѣ, зналъ основательно французскій и нѣмецкій языки, на русскомъ изъяснялся чисто, но ученымъ нельзя было его назвать. Къ намъ въ домъ поступилъ онъ, кончивъ воспитаніе дѣтей въ домѣ князей Оболенскихъ, по рекомендаціи знаменитаго подвижника русскаго просвѣщенія въ Россіи—Новикова, которому, сколько могу сообразить, былъ братъ по массонству. Всегда неукоризненно одѣтый во французскій кафтанъ коричневаго цвѣта, съ косой и бантомъ за плечами, являлся онъ къ общему столу и ученію. Манеры его были просты, но изобличали въ немъ дворянина дореспубликанскихъ временъ, доброту, не доходившую однакожъ до слабости. Старшій братъ мой, учившись у него, любилъ его, какъ второго отца. Память о немъ до сихъ поръ съ глубокой благодарностью сохраняется въ сердцѣ моемъ. Никогда не видалъ я надъ собой розогъ, и все наказаніе учебное ограничивалось у насъ ставленіемъ за обѣдомъ въ уголъ, каковое наказаніе огорчало меня до обильныхъ слезъ.»

Выставляя этого самаго Monsieur Beaulieu подъ именемъ Ришара въ своемъ романѣ «Немного лѣтъ назадъ», Лажечниковъ восторженно говоритъ о своемъ наставникѣ, что, не имѣя глубокихъ познаній въ наукахъ, онъ однакожъ успѣлъ передать ученику всѣ свои познанія и, что дороже всякихъ знаній, любовь ко всему прекрасному и благородному и ненависть къ угнетенію и несправедливости.

«Выучившись читать по русски,—говоритъ далѣе Лажечниковъ въ своей автобіографіи, — я съ жадностью бросился на книги и перебралъ всю библіотеку отца моего, въ которой, сколько припомнить могу, нашелъ «Всемірный путешественникъ», сочиненія Ломоносова и все, что издано было по русской литературѣ до того времени. Когда я хорошо ознакомился съ французскимъ языкомъ и порядочно съ нѣмецкимъ, моя литературная жатва была обиль-

нѣе; мало по малу съ физическимъ и умственнымъ ростомъ моимъ я сталъ читать на французскомъ языкѣ сочиненія аббата де-Сенъ-Пьера, Эмиля Руссо, трагедіи Вольтера и Расина, Тацита, Тита Ливія во французскомъ переводѣ, кажется, Лерминье, Шиллера на нѣмецкомъ языкѣ и др.; говорю только о любимыхъ моихъ писателяхъ. Въ это время, еще будучи четырнадцати лѣтъ, я возъимѣлъ сильную охоту къ сочинительству и сдѣлалъ на французскомъ языкѣ описаніе Мягкаго Кургана, что по дорогѣ изъ Москвы въ Коломну; пятнадцати лѣтъ сочинилъ на томъ-же языкѣ стихотвореніе, а 16 лѣтъ написалъ: «Мысли въ подражаніе Лабрюйеру», и послалъ статью эту въ Вѣстникъ Европы», издававшійся тогда Каченовскимъ. Редакторъ, не подозрѣвая въ авторѣ мальчика, напечаталъ статью въ своемъ журналѣ, а такъ какъ я громилъ въ одной фразѣ тирановъ, то онъ сдѣлалъ на нее собственноручное замѣчаніе.»

По правдѣ сказать, мысли эти вполнѣ ребяческія, подъ стать пятнадцатилѣтнему мальчику, и мы приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ для того только, чтобы читатели могли видѣть, какія дѣтскія сочиненія находили себѣ мѣсто на страницахъ лучшихъ журналовъ начала нашего столѣтія:

«Гордость,—размышляетъ юный Лажечниковъ:—разумѣю, благородная—должна быть видна и въ монархѣ, и въ народѣ, для того чтобы заставить себя уважать и страшиться,—въ бѣдномъ и несчастномъ человѣкѣ, для того чтобы заставить почитать добродѣтель и въ рубищѣ...»

«Кто не былъ несчастливъ, не знаетъ, что есть истинно наслаждаться счастіемъ; кто не видалъ ужасовъ бури, не ощущаетъ живого удовольствія въ ясную погоду; кто не былъ палимъ солнечнымъ зноемъ, не знаетъ, что есть прохлада тѣнистой рощицы и свѣжія струи ручейка кристальнаго!..»

«Когда безсмысленные мальчишки бросаютъ въ меня каменьями, что долженъ я дѣлать?—Бѣжать отъ нихъ и спрятаться за высокимъ заборомъ...» и т. д.

А вотъ то самое размышленіе, въ которомъ Лажечниковъ, по словамъ его, громилъ тирановъ:

«Какое различіе между женщиной и царемъ персидскимъ? – Деспотическое правленіе первой основано на законахъ природы, то есть—красоты, добродѣтели; а второго — на законахъ, установленныхъ съ одной стороны жестокостью, съ другой — страхомъ. Какъ пріятна и сладостна неограниченная власть первой, ибо она связываетъ смертныхъ узами любви!—Какъ несносно безпредѣльное могущество второго, ибо оно оковываетъ подданныхъ тяжкими цѣпями тиранства!..»

Вотъ это размышленіе и вызвало со стороны Каченовскаго слѣдующее примѣчаніе:

«Неограниченная, *во зло употребляемая* власть женщины столь-же несносна, какъ и безпредѣльное могущество персидскаго царя, *во зло имъ употребляемое* (всѣ курсивы Каченовскаго). Люди уже наслаждались счастіемъ, живучи подъ властью отеческой, на взаимной довѣренности и правителя, и управляемыхъ основанной, прежде нежели пришло имъ на мысль писать общественные договоры.»

Между прочими своими наставниками и лицами, оказавшими вліяніе на его умственное развитіе, упоминаетъ Лажечниковъ (въ своемъ романѣ «Бѣленькіе, черненькіе и сѣренькіе») и того самаго городничаго, котораго отецъ его заклеймилъ кличкою «уѣзднаго».

«Уѣздный городничій, — говоритъ онъ,—ласкалъ Ваню и имѣлъ отчасти вліяніе на его воспитаніе... научилъ его первымъ правиламъ стихотворства и декламаціи. Ваня съ одушевленіемъ и вѣрно читалъ его стихи передъ многочисленной публикой и даже разъ произнесъ русскій акростихъ, заранѣе переведенный на французскій языкъ, передъ поэтической графиней, которой городничій представилъ его, какъ ранній талантъ. Ваня декламировалъ стихи «съ тактомъ, чувствомъ, разстановкой», и графиня наградила ранній талантъ поцѣлуемъ и французскимъ молитвенникомъ въ роскошномъ переплетѣ.»

Между тѣмъ, по обычаю того времени, въ 1804 году, когда Лажечникову было всего 10 лѣтъ, отецъ записалъ его уже на службу «студентомъ въ московскій архивъ иностранной коллегіи», котораго начальникомъ былъ тогда И. Н. Бантышъ-Каменскій. Въ 1806 году юный Лажечниковъ получилъ уже повышеніе, именно произведенъ въ актуаріусы; и тогда онъ началъ уже дѣйствительную службу, сталъ заниматься въ архивѣ, приводить въ порядокъ хранящіеся тамъ документы. Съ этой цѣлью отецъ поселилъ мальчика въ Москвѣ, гдѣ онъ жилъ или у родителей, которые иногда проводили въ столицѣ нѣсколько зимнихъ мѣсяцевъ, или въ домѣ друга отца—генерала Обрѣзкова. Одновременно со службой Лажечниковъ продолжалъ свое образованіе: такъ, онъ бралъ уроки реторики у адъюнкта-профессора Побѣдоносцева и слушалъ приватныя лекціи у Мерзлякова.

Въ 1810 году Лажечниковъ мѣняетъ службу. По совѣту все того-же Обрѣзкова, отецъ переводитъ сына въ канцелярію генералъ-губернатора для подготовки «къ болѣе дѣльной службѣ». Но молодой человѣкъ занимается не столько подготовкой къ службѣ, сколько литературой. Такъ, въ 1808 году онъ помѣщаетъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» Глинки стихотвореніе «Военная пѣснь»; въ 1811 году—въ «Вѣстникѣ Европы» разсужденіе «О безпечности»; одновременно съ этимъ въ «Аглаѣ» князя Шаликова появляется цѣлый рядъ повѣстей, разсужденій и стиховъ.

Когда разразилась война 1812 года, восемнадцатилѣтній юноша не могъ не увлечься всеобщимъ энтузіазмомъ и въ свою очередь началъ рваться въ ополченіе. Въ началѣ войны Лажечниковъ продолжалъ нести гражданскую службу. Вѣсть о Бородинскомъ сраженіи, о рѣшеніи Кутузова сдать Москву безъ боя – застала еще Лажечникова въ Москвѣ. Служебныхъ занятій у него въ это время не было, потому что самую канцелярію, гдѣ служилъ Лажечниковъ, перевели на владимірскую дорогу. Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ отъ отца разрѣшительнаго письма изъ деревни. Но родители не раздѣляли патріотическаго увлеченія своего сына, и отецъ велѣлъ ему немедленно выѣхать въ деревню. «Я плакалъ, какъ ребенокъ,—пишетъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи,—но скоро одумался. Чего-бы ни стоило, сказалъ я самъ себѣ, — а буду военнымъ, хотя-бы солдатомъ».

Но тщетно умолялъ онъ родителей втеченіи нѣсколькихъ недѣль; они были непреклонны.

«Тогда,—пишетъ Лажечниковъ, – я далъ себѣ клятву исполнить мое намѣреніе – во что бы то ни стало бѣжать изъ дому родительскаго. Намѣренію моему нашелъ я скоро живое поощреніе. Въ городѣ (Коломнѣ) остановился отставной кавалеристъ Беклемишевъ, посѣдѣлый въ бояхъ, который, записавъ сына въ гусары, собирался отправить его въ армію.

Съ этимъ молодымъ человѣкомъ ѣхалъ туда-же одинъ гусарскій юнкеръ, сынъ богатаго армянина. Я открылъ имъ свое намѣреніе: старикъ благословилъ меня на святое дѣло, какъ онъ говорилъ, и обѣщался доставить въ главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мнѣ слово взять меня съ собой. За душой не было у меня ни копѣйки; коломенскій торговецъ-аферистъ купилъ у меня шубу, стоющую рублей 300, за 50 рублей, подозрѣвая, что я продаю ее тайно,—съ этимъ богатствомъ и дѣдовской мѣховой курткой, покрытой зеленымъ рытымъ бархатомъ, шелъ я на службу боевую. Назначенъ былъ день отъѣзда. Всѣ приготовленія хранились въ глубочайшей тайнѣ. Роковой день наступилъ—сердце было не на мѣстѣ. Въ одиннадцатомъ часу вечера простился я съ матерью, расточая ей самыя нѣжныя ласки; съ трудомъ удерживалъ я слезы, готовыя упасть на ея руки; я сказалъ ей, что хочу ранѣе лечь спать, потому что у меня разболѣлась голова И она, будто по предчувствію, необыкновенно ласкала меня и раза два принималась меня благословлять. Въ своей спальнѣ я усердно молился, прося Господа простить мнѣ мой самовольный проступокъ и облегчить горесть и страхъ моихъ родныхъ, когда они узнаютъ, что я ихъ ослушался и бѣжалъ отъ нихъ. Меньшому брату, который спалъ со мной въ одной комнатѣ, сказалъ я, что пойду прогуляться по саду, и чтобы онъ не безпокоился, если я долго не приду. Помолившись еще разъ, я вышелъ въ сѣни. Условный колокольчикъ зазвенѣлъ за воротами; я видѣлъ, какъ ямщикъ на лихой тройкѣ промчался мимо ихъ, давая мнѣ знать, что все готово къ отъѣзду. Еще нѣсколько шаговъ — и я на свободѣ. Но въ сѣняхъ встрѣтилъ меня дядька мой Ларивонъ. «Худое, баринъ, затѣяли вы,—сказалъ онъ съ неудовольствіемъ,—я знаю всѣ ваши продѣлки. Оставайтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчасъ доношу папенькѣ, и вамъ будетъ нехорошо.» Точно громовымъ ударомъ ошибли меня эти слова. Я обидно сталъ упрекать дядьку, что онъ выдумываетъ на меня небылицу, завѣряя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивонъ былъ неумолимъ. «Воля ваша,—продолжалъ онъ,—заднія сѣни въ садъ у меня заперты на замокъ; я стану на караулѣ въ нижнихъ сѣнахъ, что на дворѣ, и не пропущу васъ, а если вздумаете бѣжать силой, такъ я тотчасъ подниму тревогу по всему дому. У воротъ поставилъ я караульнаго, и онъ то-же сдѣлаетъ въ случаѣ удачи вашей вырваться отъ него». Тутъ я перемѣнилъ упреки на моленія, я слезно просилъ его выпустить меня и нѣжно цѣловалъ его. Но дядька былъ неумолимъ. Дѣлать было нечего: надо было оставаться въ заключеніи. Отчаяніе мое было ужасно; можно сравнить это положеніе только съ состояніемъ узника, который подпилилъ свои цѣпи и рѣшетку тюрьмы, готовъ былъ бѣжать и вдругъ пойманъ.. Дядька мой преспокойно сошелъ внизъ. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдалъ, какъ ребенокъ. Вся эта сцена происходила въ верхнемъ этажѣ очень высокаго дома. Изъ дверей сѣней виденъ былъ, сквозь проломъ древняго кремля, огонь въ квартирѣ стараго гусара, который собирался посвятить меня въ рыцари. Я вышелъ на балконъ, чтобы взглянуть въ послѣдній разъ на этотъ завѣтный огонекъ и проститься навсегда съ прекрасными мечтами, которыя такъ долго тѣшили меня. Вдругъ съ правой стороны балкона, на столѣтней ели, растущей подлѣ него, зашевелилась птица. Какая-то невѣдомая сила толкнула меня въ эту сторону. Вижу, довольно крѣпкій сукъ отъ ели будто предлагаетъ мнѣ руку спасенія. Не разсуждая объ опасности, перелѣзаю черезъ перила балкона, бросаюсь внизъ, цѣпляюсь проворно за сучекъ, виспу на немъ и упираюсь ногами въ другой, болѣе твердый сучекъ. Тутъ, какъ векша, слѣзаю проворно съ дерева, обдираю себѣ до крови руки и колѣна, становлюсь на землѣ и пробѣгаю минуты въ три довольно обширный садъ, бывшій за домомъ, на углу двухъ переулковъ. Отъ переулка, ближайшаго къ моей цѣли, былъ заборъ саженей въ полторы вышины: никакая преграда меня не останавливаетъ. Перелѣзаю черезъ него, какъ искусный волтижеръ. Еслибы заставили меня это сдѣлать въ другое время, у меня не достало-бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что она удесятеряетъ всѣ способности душевныя и тѣлесныя. Перебѣжать переулокъ и площадь, раздѣлявшую домъ отъ кремля, и влетѣть въ домъ, гдѣ ожидали меня, было тоже дѣломъ нѣсколькихъ минутъ. Я прибѣжалъ задыхаясь, готовый упасть на полъ; на головѣ у меня ничего не было, волосы отъ поту липли къ разгорѣвшимся щекамъ. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось-ли со мной какой невзгоды. Старый гусаръ благословилъ меня образомъ, предъ которымъ только-что отслужили молебенъ; на меня нахлобучили первый попавшійся картузъ. Мы сѣли въ повозки и помчались, какъ вихрь, черезъ городъ.»

Родные конечно тотчасъ-же узнали о бѣгствѣ сына, бросились за нимъ въ погоню и настигли его въ селѣ Троицкомъ, но уже не для того, чтобы воротить его домой; они рѣшились благословить его на службу. «На другой день,—пишетъ Лажечниковъ:—отецъ повезъ меня въ Москву и представилъ бѣглеца московскому гражданскому губернатору Обрѣзкову, который возвратился въ столицу съ должностными чинами (онъ стоялъ тогда въ Леонтьевскомъ переулкѣ). Губернаторъ, въ присутствіи многихъ лицъ, сдѣлалъ мнѣ строгій выговоръ, что я огорчилъ родителей своимъ побѣгомъ, но приказалъ однакожъ тотчасъ выдать мнѣ служебное свидѣтельство и вручилъ мнѣ рекомендательное письмо къ главному начальнику московскаго ополченія. Вскорѣ пріѣхалъ я въ московское ополченіе офицеромъ и черезъ нѣсколько дней былъ переведенъ въ московскій гренадерскій полкъ. Счастье мнѣ улыбнулось; начальникъ 2-й гренадерской дивизіи, принцъ мекленбургскій Карлъ, взялъ меня къ себѣ въ адъютанты».

Но въ штабѣ принца Лажечниковъ пробылъ не долго, онъ поступилъ въ военную службу не для карьеры; его манила жизнь лагерная и боевая, и вотъ въ декабрѣ 1813 г. онъ уволился отъ должности штабнаго адъютанта и былъ назначенъ адъютантомъ къ генералу Полуектову. Это дало ему возможность участвовать въ дѣлѣ подъ Бріеномъ и во взятіи Парижа и получить орденъ за храбрость.

По возвращеніи арміи въ Россію Лажечниковъ зиму 1814—1815 годовъ провелъ въ Дерптѣ. Здѣсь онъ познакомился съ Жуковскимъ, гостившимъ у Воейкова. Эти литераторы, прослушавши отрывки изъ «походныхъ записокъ» молодого офицера, отнеслись къ нимъ весьма благосклонно и поощрили его къ дальнѣйшей литературной дѣятельности.

Между тѣмъ вновь возгорѣвшаяся война послѣ высадки Наполеона въ Каннѣ вызвала Лажечникова вмѣстѣ съ его полкомъ снова за-границу и во Францію. Въ 1818 году онъ поступилъ адъютантомъ къ графу Остерману-Толстому и «вскорѣ послѣ того отправился съ нимъ въ Варшаву, гдѣ (въ свитѣ Государя Императора) былъ ежедневно въ кругу тогдашнихъ знаменитостей и близкимъ зрителемъ достопамятныхъ событій того времени». Въ этомъ-же году

Лажечниковъ, продолжая состоять адъютантомъ при Остерманѣ-Толстомъ, очень его любившемъ, былъ переведенъ съ чиномъ поручика лейбъ-гвардіи въ павловскій полкъ, а въ декабрѣ 1819 года вышелъ въ отставку и, заручившись рекомендаціями своего генерала, на родственницѣ котораго вскорѣ женился, поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія, о чемъ всегда мечталъ.

Послѣдніе годы своей офицерской службы Лажечниковъ усердно занялся литературой. Съ 1817 года онъ началъ помѣщать въ «Вѣстникѣ Европы», «Сынѣ Отечества» и «Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія» отрывки изъ своихъ «Походныхъ записокъ». Въ томъ-же году онъ издалъ первое собраніе своихъ сочиненій, большей частью уже напечатанныхъ имъ въ разныхъ журналахъ,—подъ заглавіемъ «Первые опыты въ прозѣ и стихахъ».

Во всѣхъ этихъ первыхъ литературныхъ опытахъ, не исключая и «Походныхъ записокъ», — мы видимъ сильное подчиненіе вліянію Карамзина, доходившее до такой степени, что, издавши свою книжку, авторъ и самъ устыдился незрѣлости и несамостоятельности своихъ трудовъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ въ своей автобіографіи: «къ сожалѣнію, увлеченный сентиментальнымъ направленіемъ тогдашней литературы, которой заманчивые образцы видны въ «Бѣдной Лизѣ» и «Натальѣ, боярской дочери», онъ сталъ писать въ этомъ родѣ повѣсти, стишки и разсужденія. Впослѣдствіи времени онъ издалъ эти незрѣлыя произведенія въ одной книжкѣ, подъ названіемъ «Первые опыты въ прозѣ и стихахъ», но, увидѣвъ ихъ въ печати и устыдясь ихъ, вскорѣ поспѣшилъ истребить всѣ экземпляры этого изданія».

Между прочимъ въ книгѣ этой была напечатана первая историческая повѣсть Лажечникова «Малиновка», навѣянная чтеніемъ «Натальи, боярской дочери». До какого рабскаго подражанія Карамзину доходилъ въ это время Лажечниковъ, мы можемъ судить по слѣдующему содержанію этой повѣсти:

Малиновка — это дѣвушка, сирота изъ роду Нагихъ. Живя на попеченіи дяди Мирослада, она скрывалась съ нимъ «близъ Тулы, въ густотѣ березоваго лѣса», отъ преслѣдованія «честолюбія Годунова». Сначала она была безмятежно счастлива: «весело просыпалась съ краснымъ солнышкомъ; весело встрѣчала первую вечернюю звѣзду. Прекрасная съ веселостью топтала зеленые луга, съ безпечностью терялась по извилистымъ тропамъ березоваго лѣса, въ сладкомъ забвеніи засыпала на колѣняхъ почтеннаго родственника». Но пришла пора любви, Малиновка почувствовала одиночество. Скука встрѣчала ее на муравахъ; тоска слѣдовала за ней во всѣхъ прогулкахъ; вздохи ея слышны были даже и въ тѣ минуты, когда старикъ разными играми и ласками старался вызвать улыбку на юное ея лицо. Малиновка все ждала, «сама не зная кого».

Между тѣмъ при дворѣ Годунова блисталъ юноша Миловидъ,—«цвѣтъ юношей, краса витязей, любовь дѣвъ престольнаго града». Внезапно Годуновъ далъ ему приказаніе разыскать въ тульскомъ лѣсу Мирослада и «отягченнаго цѣпями привести въ столицу». Напрасно отклонялъ отъ себя добросердечный Миловидъ столь жестокое порученіе. «Грозный тиранъ» былъ неумолимъ. Въ товарищи ему данъ былъ злодѣй Скрытосердъ.

Долго блуждали они по тульскому лѣсу и ничего не находили. Но вотъ однажды, «при закатѣ румянаго солнышка пробираясь черезъ лѣсъ», они услыхали чудную пѣснь. То пѣла Малиновка, «славившаяся своимъ умѣньемъ слагать пѣсни и пѣть ихъ. Когда она пѣла радости безпечной юности, рѣзвую беззаботность, быстрые часы удовольствія, тогда старцы почитали себя моложе, мечтали съ улыбкой о дѣлахъ прошедшихъ и порхали воображеніемъ по душистымъ розамъ любви». Миловидъ, внимая звукамъ пѣсни еще невидимой пока пѣвицы, «чувствовалъ что то необыкновенное, чего не могъ изъяснить». Но вотъ показалась и сама пѣвица «во всей свѣжести, со всѣми прелестями лѣтъ весеннихъ». Миловидъ былъ пораженъ. Въ свою очередь «Малиновка», сравнивая его съ крылатымъ юношей, такъ часто посѣщавшимъ ее въ мечтахъ сновидѣнія, подумала: «точно *онъ*!» Тотчасъ воспослѣдовали между ними «мѣна сердецъ и переливъ душъ».

Вслѣдъ затѣмъ «молодые рыцари проводили красавицу до жилища ея. У воротъ тесовыхъ пожелали они ей добраго дня, не смѣя слѣдовать за ней въ теремъ, потому что дядя ея Боголюбъ былъ не совсѣмъ здоровъ (какъ разсказала она имъ дорогой, не открывая имъ настоящаго его имени)».

Хитрый Скрытосердъ сразу однако сообразилъ, что тутъ что-то не такъ, и черезъ нѣсколько дней «хитрыми допросами окружныхъ поселянъ, обманами, увѣщаніями и даже угрозами» узналъ, кто въ дѣйствительности инимый Боголюбъ. Миловидъ же «въ сладостныхъ мечтахъ любви забываетъ грозное порученіе тирана» и ищетъ свиданія съ Малиновкой. Въ первую же встрѣчу они объяснились въ любви: «души любовниковъ порхали на пламенныхъ устахъ ихъ... они соединились на вѣки съ первымъ невиннымъ поцѣлуемъ. Высоко поднималась грудь красавицы; томно тлѣлся огонь въ глазахъ ея! Какъ преступница, стояла она передъ другомъ своимъ и не смѣла заглянуть въ глубину души, боясь найти что-нибудь противное правиламъ, внушеннымъ ей почтеннымъ родственникомъ».

На слѣдующій день она открыла Миросладу свою тайну и привела къ нему Миловида. Свиданіе было ужасное. «Они встрѣчались нѣкогда въ палатахъ и узнали другъ друга... Что дѣлалось тогда въ душѣ несчастнаго юноши? Сколько страстей стеклось въ нее для борьбы между собой! Долгъ, состраданіе, вѣрность къ престолу, рабство и любовь... Но послѣдняя превозмогаетъ». Миловидъ открываетъ Мирославу данное ему порученіе и рѣшается вмѣсто исполненія его—отправиться въ Москву и выпросить у Годунова прощеніе старцу.

Между тѣмъ коварный Скрытосердъ не дремлетъ; онъ извѣщаетъ обо всемъ Годунова, и царь приходитъ въ страшный гнѣвъ. «Миросладъ и Миловидъ въ разное время отягчены цѣпями, разными дорогами приведены въ Москву и ввергнуты въ мракъ темницъ; обоихъ ожидаетъ смерть — и смерть постыдная!..» Уже назначена на завтра казнь. «Только

послѣдней, единственной милости передъ казнью требуютъ два несчастливца: свиданія съ Малиновкой».—«Я слышалъ, что она мастерица пѣть и играть на гусляхъ, и хочу узнать опытомъ, таково-ли велико искусство ея, какъ мнѣ объ этомъ сказали»,— сказалъ властелинъ и отдалъ повелѣніе привезти Малиновку въ престольный градъ.

Царскій посланникъ нашелъ ее при дверяхъ гроба; но вѣсть о свиданіи съ другомъ, который былъ ей всегда вѣренъ, оживила ее. «Такъ не забылъ меня Творецъ! Я могу еще умереть съ нимъ!»—сказала она, и съ твердостью въ душѣ послѣдовала за посланнымъ. Какое явленіе ожидаетъ ее въ Москвѣ, въ палатахъ царскихъ! Годуновъ на престолѣ, окруженный всей пышностью двора своего. Съ одной стороны бояре, подпора царства русскаго; съ другой — супруги ихъ, цвѣтъ Москвы бѣлокаменной: вдали... грозная стража, и между ею... отгадало-ли сердце твое, несчастная Малиновка?..— туманится образъ старца и юноши... оба въ цѣпяхъ!.. Сердце ея бьется сильнѣе, глаза ея покрываются мрачнымъ облакомъ, ноги ея готовы подломиться!—Такъ это они!..одинъ— второй отецъ, другой—милый другъ души ея!.. Она хочетъ броситься къ нимъ, Годуновъ даетъ знакъ— и Малиновка съ трепетомъ къ нему приближается.

«Никогда дворъ царевъ не украшался такими прелестями; никогда царство русское не производило подобной красоты!.. Старики желали-бы имѣть ее своей дочерью, молодые—супругой, а жены боярскія, завидуя ей, удивлялися! Самое сердце властелина чувствуетъ къ ней сожалѣніе. Онъ повелѣваетъ ей подойти къ приготовленнымъ для нея гуслямъ и разсказать въ пѣсняхъ повѣствованіе любви ея. Какое повелѣніе! Исполнить его трудно, не исполнить—значило-бы навести сильнѣйшую грозу на чету несчастливцевъ!.. Она садится за гусли; еще разъ взглядываетъ на грозную стражу, на злополучнаго старца, на милаго друга, еще разъ на него... и поетъ... сперва побѣгъ родственника, невинность его, любовь свою и свои несчастія – и потомъ умолкаетъ! На лицѣ тирана примѣтно смущеніе; бояре и жены ихъ закрываютъ платками слезы, текущія по лицу ихъ. Малиновка видитъ торжество свое. Какое-то неизъяснимое предчувствіе говоритъ ей, что въ словѣ пѣсней ея заключается спасеніе двухъ ближайшихъ сердцу ея существъ. Она снова поетъ... и надежда на великодушіе царя изливается въ ея пѣсняхъ. Никогда чувство и природа не соединялись съ большимъ искусствомъ, чтобы плѣнять слухъ и сердце; никогда дарованія не давали красотѣ столько власти, какъ теперь! Еще усилія любви и искусства—и Малиновка читаетъ *милость* въ глазахъ Годунова. «Пѣсни твои меня тронули!» сказалъ властелинъ, побѣжденный въ первый разъ природой; «дарованія твои должны получить награду. Вотъ она!» прибавилъ онъ, указывая на чету несчастливцевъ: «тебѣ предоставляю снять съ нихъ цѣпи.»

Таково первое историческое повѣствованіе Лажечникова. Читая его, вы еще болѣе убѣждаетесь въ громадности того скачка, какой сдѣлала литература наша втеченіе 20-хъ годовъ. Скачекъ этотъ собственно виденъ на такихъ второстепенныхъ талантахъ, каковы были Нарѣжный и Лажечниковъ: между ихъ молодыми произведеніями и писанными въ зрѣломъ возрастѣ лежитъ непроходимая пропасть, и замѣчательно при этомъ, что подобнымъ переворотомъ эти второстепенные писатели отнюдь не были обязаны какому-либо вліянію первостепенныхъ талантовъ: мы видимъ по крайней мѣрѣ, что втеченіи 20-хъ годовъ первостепенные таланты (Жуковскій, Пушкинъ) занимались исключительно стихами. Повѣствовательная литература была повидимому въ полномъ пренебреженіи; и вдругъ къ концу 20-хъ годовъ она дѣлаетъ небывалые успѣхи, причемъ самые маленькіе беллетристы сразу дѣлаются неузнаваемыми.

Мы видѣли выше, что въ концѣ 1819 года Лажечниковъ по рекомендаціи своего генерала Остермана-Толстого поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія Онъ былъ назначенъ директоромъ училищъ Пензенской губерніи и вскорѣ затѣмъ посланъ визитаторомъ саратовскихъ училищъ. Въ декабрѣ 1823 года въ благодарность за усиленную визитацію онъ былъ назначенъ директоромъ Императорской казанской гимназіи и директоромъ училищъ Казанской губерніи. Въ концѣ-же 1825 г. и началѣ 1826 г. Лажечниковъ нѣсколько мѣсяцевъ исправлялъ должность инспектора студентовъ казанскаго университета.

Въ это время казанскимъ учебнымъ округомъ управлялъ какъ-разъ знаменитый Магницкій, оттого и называетъ Лажечниковъ шесть лѣтъ службы своей подъ его начальствомъ своимъ «казанскимъ плѣненіемъ». Надо удивляться тому искусству, съ которымъ удалось Лажечникову во все время этого плѣненія плыть между Сциллой и Харибдой, не потерпѣвъ ни малѣйшаго крушенія и не запятнавъ своей памяти. Съ одной стороны, какъ самъ говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Магницкомъ, онъ пользовался его *горячимъ, порывистымъ благорасположеніемъ*, слылъ даже лѣтъ пять *его любимцемъ*. И въ тоже время онъ хвалится въ тѣхъ-же своихъ воспоминаніяхъ, что, состоя инспекторомъ университета, онъ не гнулъ студентовъ въ угоду Магницкому, не слѣдилъ инквизиторски за ихъ «духомъ», что ни разу ни одного студента не сажалъ въ карцеръ. Наконецъ, что онъ оставилъ въ Пензенской губерніи хорошія воспоминанія о себѣ, свидѣтельствуетъ то, что Бѣлинскій и его товарищи по пріѣздѣ въ Москву обратились первымъ дѣломъ къ Лажечникову за протекціей, и послѣ перваго своего визита къ нему Бѣлинскій писалъ М. М. Попову: «Вы доставили мнѣ случай видѣть человѣка, котораго *я всегда любилъ, уважалъ, любилъ видѣть и говорить съ нимъ*».

Это расположеніе Бѣлинскаго къ Лажечникову продолжалось до самой смерти Бѣлинскаго. «Пока я жилъ въ Москвѣ,— говоритъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—онъ (Бѣлинскій) нерѣдко посѣщалъ меня; мы сблизились, не смотря на разстояніе лѣтъ; не было заботы и надежды, не было юношескаго увлеченія, которыхъ онъ не повѣрялъ-бы мнѣ; случалось мнѣ и отечески пожурить его». Такъ, мы видимъ изъ матеріаловъ для біографіи Бѣлинскаго, помѣщенныхъ кн. Енгалычевымъ въ «Рус. Стар.» 1876, что Бѣлинскій читалъ Лажечникову своего «Владиміра», что Лажечниковъ отечески совѣтовалъ Бѣлинскому оставить въ портфелѣ свою драму, надѣлавшую ему столько непріятностей, хлопоталъ за Бѣлинскаго при поступленіи въ университетъ и помогъ ему въ пріисканіи занятій послѣ изгнанія изъ университета.

Своимъ успѣхомъ службы подъ начальствомъ Магницкаго Лажечниковъ безъ сомнѣнія былъ обязанъ съ одной стороны крайней мягкости характера, а съ другой—неподкупной прямотѣ и искренности натуры. Встрѣчаются такія симпатичныя личности, которыя, при всей непоколебимой вѣрности своимъ принципамъ, невольно влекутъ къ себѣ и покоряютъ людей самыхъ противоположныхъ убѣжденій и взглядовъ. Таковъ безъ сомнѣнія былъ и Лажечниковъ.

Свое казанское плѣненіе между прочимъ ознаменовалъ Лажечниковъ инціативой поставленія памятника Державину. На торжественномъ актѣ гимназіи въ концѣ 1825 года въ рѣчи, имъ произнесенной, Лажечниковъ, по словамъ его автобіографіи, «въ первый разъ горячо выразилъ обязанность соорудить въ Казани памятникъ Державину, ученику казанской гимназіи. Смѣло можно сказать, что рѣчь эта была первымъ краеугольнымъ камнемъ, поставленнымъ въ основаніи памятника». Тотчасъ послѣ этой рѣчи присутствовавшій на актѣ управляющій Казанской губерніей, А. Я. Жмакинъ, изъявилъ ревностное желаніе собраніемъ пожертвованій осуществить предложеніе директора, въ случаѣ соизволенія на это высшаго начальства. Соизволеніе послѣдовало, и Лажечниковъ по праву могъ сказать: «послѣдствія извѣстны: памятникъ Державину стоитъ на площади противъ университета. Горжусь, что я положилъ первый камень въ основаніе этого памятника».

Въ началѣ 1826 года кончилось казанское плѣненіе Лажечникова; онъ вышелъ съ отставку и поселился въ Москвѣ.

VI.

«Послѣдній Новикъ» Лажечникова.—Отзывъ о немъ Бѣлинскаго.—Различіе между Лажечниковымъ и Загоскинымъ.—Подражательность Вальтеръ Скотту.—Искаженіе историческихъ фактовъ.—«Ледяной домъ» и его преимущества передъ «Послѣднимъ Новикомъ.»—Ложное представленіе Волынскаго и Тредьяковскаго.—Письмо Пушкина.—«Басурманъ», какъ chef d'oeuvre Лажечникова.—Недостатки и достоинства этого романа.—Либерализмъ и западничество Лажечникова и отраженіе этого въ романахъ его.

Выйдя въ отставку въ 1826 году и поселившись въ Москвѣ, Лажечниковъ принялся наконецъ за свой трудъ, который наиболѣе выдвинулъ впередъ его литературное имя,—за сочиненіе перваго своего историческаго романа. Такимъ образомъ лишь 34 лѣтъ отъ роду выступилъ онъ на предназначенную ему дорогу. Принимая-же во вниманіе, что Загоскинъ лишь въ 1828 году приступилъ къ «Юрію Милославскому»,—въ 1826 же году и не помышлялъ еще ни о чемъ подобномъ,—мы должны были-бы инціативу русскаго историческаго романа признавать за Лажечниковымъ, и если Загоскинъ предвосхитилъ у послѣдняго пальму первенства, то благодаря лишь скоропѣлости своего труда, при своемъ крайне легкомысленномъ отношеніи къ дѣлу. Въ то время какъ Загоскину достаточно было одного года, чтобы и матеріалъ собрать, и написать романъ, Лажечниковъ шесть лѣтъ трудился надъ своимъ «Послѣднимъ Новикомъ», и надо отдать ему справедливость,—трудился съ рѣдкой для русскихъ романистовъ усидчивостью, хотя усидчивость эта и не привела Лажечникова, какъ мы увидимъ ниже, къ особенно блистательнымъ результатамъ.

Не говоря уже о томъ, что Лифляндскій край, который избралъ онъ мѣстомъ дѣйствія своего романа, былъ знакомъ уже ему прежде, такъ какъ въ «Походныхъ Запискахъ» его мы находимъ цѣлый отрывокъ: «Исторія города Дерпта», онъ съ новымъ жаромъ и усердіемъ принялся за изученіе его, и не только книжное, но и наглядное. Такъ, въ своей статьѣ «Знакомство мое съ Пушкинымъ» онъ говоритъ объ этомъ изученіи слѣдующее:

«Прежде чѣмъ писать мои романы, я долго изучалъ эпоху и людей того времени, особенно главныя историческія лица, которыя изображалъ. Напримѣръ чего не перечиталъ я для своего «Новика»! Могу прибавить, я былъ столько счастливъ, что мнѣ попадались подъ руку весьма рѣдкіе источники. Самую мѣстность, нравы и обычаи страны списывалъ я во время моего двухмѣсячнаго путешествія, которое сдѣлалъ, проѣхавъ Лифляндію вдоль и поперекъ, большею частью по проселочнымъ дорогамъ. Все, что сказано мной о Глюкѣ, воспитанницѣ его, Паткулѣ, даже Бахѣ и Розѣ, и многихъ другихъ лицахъ моего романа, взято мной изъ Вебера, Манштейна, жизни графа А. Остермана на нѣмецкомъ 1743 года, «Essai critique sur la Livonie par le comte Bray», Бергмана «Denkmäler aus der Vorzeit», старинныхъ нѣмецкихъ историческихъ словарей, открытыхъ мной въ библіотекѣ сенатора графа Ѳ. А. Остермана, драгоцѣнныхъ рукописей канцлера графа И. А. Остермана, которыми я имѣлъ случай пользоваться, и наконецъ изъ устныхъ преданій маріенбургскаго пастора Риля и многихъ другихъ на самыхъ мѣстахъ, гдѣ происходили главныя дѣйствія моего романа.»

При такихъ условіяхъ лишь въ 1831 году появилась въ альманахѣ «Сиротка»—первая глава первой части романа «Долина Мертвецовъ», а затѣмъ въ тотъ же году вышли одна за другой первыя двѣ части романа; весь же романъ, во всѣхъ своихъ четырехъ частяхъ, вышелъ лишь въ 1833 году. Но при всемъ этомъ тщательномъ и многолѣтнемъ изученіи исторіи и мѣстности дѣйствія романа, Лажечниковъ своимъ произведеніемъ можетъ для насъ служить лишь однимъ лишнимъ доказательствомъ того, что ни какія долговременныя и тщательныя изученія, никакая кропотливая работа не могутъ замѣнить таланта. Правда, современная критика встрѣтила романъ восторженно, и даже Бѣлинскій въ своей первой критической статьѣ въ «Молвѣ»: «Литературныя мечтанія»—отозвался о «Новикѣ», за исключеніемъ нѣкоторыхъ незначительныхъ оговорокъ, въ самомъ лестномъ хвалебномъ тонѣ. «Лажечниковъ,—по его словамъ (Соч. В. Бѣлинскаго, изд. 5, т. I, стр. 113),—не только не обманулъ возлагавшихся на него надеждъ, но даже превзошелъ общее ожиданіе и по справедливости признанъ первымъ русскимъ романистомъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Новикъ» есть *произведеніе необыкновенное, ознаменованное печатью высокаго таланта.* Лажечниковъ обладаетъ всѣми средствами романиста: талантомъ, образованностью и пламеннымъ чувствомъ и опытомъ лѣтъ и жизни»... «Какое сильное и обильное воображеніе,—читаемъ мы ниже: —какая вѣрная жи-

вопись лицъ и характеровъ, какое разнообразіе картинъ, какая жизнь и движеніе въ разсказѣ!» и т. д.

Панегиричность этого отзыва Бѣлинскаго мы можемъ объяснить лишь тремя причинами: во 1-хъ, молодостью великаго критика, едва только дебютировавшаго передъ публикой первой своей статьей, во 2-хъ, крайне романтическимъ настроеніемъ, отдававшимъ предпочтеніе не трезвой реальной правдѣ, а наиболѣе яркимъ, эффектнымъ краскамъ; не даромъ онъ замѣчаетъ ниже, что «эпоха, избранная авторомъ, есть самый *романтическій и драматическій эпизодъ нашей исторіи* и представляетъ *самую богатую жатву для поэта*», и недаромъ лучше всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа понравилась ему Роза съ ея романтической, самоотверженной страстью къ Патькулю. Въ третьихъ, не малую роль играло здѣсь и дружественное расположеніе Бѣлинскаго къ Лажечникову, мѣшавшее ему взглянуть на романъ болѣе безпристрастными глазами.

На самомъ-же дѣлѣ, стоитъ только сравнить «Послѣдній Новикъ» съ «Юріемъ Милославскимъ», чтобы увидѣть, на сколько, при всѣхъ недостаткахъ послѣдняго, авторъ его все-таки превосходитъ своимъ талантомъ Лажечникова. Правда, при недостаткѣ историческаго изученія, при скоропѣлости своей работы, Загоскинъ, вмѣсто историческаго романа, написалъ сказку, но сказку все-таки хоть сколько нибудь оригинальную и самобытную. Если въ своихъ историческихъ воззрѣніяхъ и патетическихъ мѣстахъ Загоскинъ и подчиняется вліянію Карамзина, зато вы найдете въ романѣ рядъ бытовыхъ сценъ, исполненныхъ жизни, народности, комизма. Однимъ словомъ романъ Загоскина со всѣми своими достоинствами и недостатками представляетъ собой все-таки нѣчто живое, естественное, имѣющее свою особенную физіономію и поэтому свое мѣсто въ литературѣ. Въ романѣ же Лажечникова все, начиная съ чисто карамзинскаго слога и кончая вальтерскоттовскимъ сюжетомъ,— взято на прокатъ съ чужого плеча; все здѣсь искусственно, надумано, вымучено долгимъ и кропотливымъ трудомъ, и отъ всего поэтому пахнетъ мертвечиной. Начать съ того, что, какъ вы полагаете, почему вздумалось Лажечникову мѣстомъ дѣйствія русскаго историческаго романа избрать вдругъ полунѣмецкую, полулухонскую Лифляндію? Въ первой главѣ своего романа, играющей роль предисловія, Лажечниковъ повидимому вполнѣ основательно разъясняетъ намъ это обстоятельство.

«На случай вопроса,—говоритъ онъ,—почему избралъ я сценой для русскаго историческаго романа *Лифляндію*, которой одно имя звучитъ уже иноземнымъ, скажу, что ни одна странавъ Россіи не представляетъ народному романисту пріятнѣйшаго и выгоднѣйшаго мѣста дѣйствія. Крымъ, Кавказъ выигрываютъ, въ сравненіи съ Лифляндіей, красотами мѣстной природы, но теряютъ передъ ней историческими воспоминаніями. Въ палладіумахъ нашихъ, Троицкомъ монастырѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Москвѣ, разгуливало уже вмѣстѣ съ истиной воображеніе писателя, опередившаго меня временемъ, извѣстностью и талантами своими. Другіе края Россіи бѣдны или исторіей, или мѣстностью; но въ живописныхъ горахъ и долинахъ Лифляндіи, на развалинахъ ея рыцарскихъ замковъ, на берегахъ ея озеръ и болотъ русскій напечатлѣлъ неизгладимые слѣды своего могущества. Здѣсь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы, здѣсь русскій воинъ положилъ на грудь свою первое крестное знаменіе за первую побѣду, дарованную Богомъ надъ образованнымъ европейскимъ солдатомъ; отсюда — дивная своей судьбой и достойная этой судьбы Жена, неразлучная подруга преобразователя нашего отечества и спасительница нашего величія на берегахъ Прута; здѣсь много говорить о Петрѣ безпримѣрномъ. Вотъ причины моего влеченія къ Лифляндіи! Эррасферъ, Гуммельсгофъ, Маріенбургъ, Кинцы, Лустъ-Эландъ — нынѣ имена мѣстъ, едва извѣстныхъ русскимъ, между тѣмъ какъ въ нихъ происходили тѣ великія явленія, о которыхъ идетъ дѣло. Къ этимъ-то мѣстамъ хотѣлъ-бы я пробить свѣжую, цвѣтистую дорогу; хотѣлъ-бы, чтобы любовь къ народной славѣ, посѣщая ихъ, съ гордостью указывала на нихъ иноземцу, и чтобы сердце русскаго билось сильнѣй, повторяя ихъ имена. Чувство, господствующее въ моемъ романѣ, есть любовь къ отчизнѣ. Въ краю чужомъ оно отсвѣчивается сильнѣе; между иностранцами, въ толпѣ ихъ, подъ сильнымъ вліяніемъ нѣмецкихъ обычаевъ, видней вырисовывается русская народная физіономія. Даже главнѣйшія лица изъ иностранцевъ, выведенныя въ моемъ романѣ, сердцемъ или судьбой влекутся непреоборимо къ Россіи. Вездѣ родное имя торжествуетъ, нигдѣ не унижено оно — безъ униженія однакожъ, непріятелей нашихъ того времени, которое описываю. Вотъ чего хотѣлъ я достигнуть, помѣщая героя моего въ Лифляндіи!»

Но какъ ни просто и убѣдительно резонерствуетъ Лажечниковъ и какъ ни много патріотизма въ его только-что приведенной рѣчи, но сдается все-таки намъ, что въ избраніи Лифляндіи мѣстомъ дѣйствія— умыселъ совсѣмъ другой тутъ былъ. Главное дѣло въ томъ, что никакая другая мѣстность Россіи не представляла Лажечникову такого широкаго поля для подражанія Вальтеръ Скотту, какъ Лифляндія съ ея феодальными баронами, средневѣковыми замками съ подъемными мостами, рвами, бойницами, фантастическими легендами и тому подобными романтическими прелестями и ужасами.

И дѣйствительно, вторая же глава романа озаглавлена заманчивымъ заглавіемъ: «Долина мертвецовъ», и въ этой главѣ кучеръ Фрицъ разсказываетъ путешественникамъ, которыхъ везетъ, страшную легенду въ средневѣковомъ духѣ о сапожникѣ, который разрывалъ могилы съ цѣлью найти кладъ и кончилъ ужасной и сверхъестественной смертью съ кладомъ въ рукахъ, разсыпавшимся прахомъ, послѣ чего въ «Долинѣ мертвецовъ» начали твориться по ночамъ разные ужасы, соотвѣтствующіе этой легендѣ. Затѣмъ въ восьмой главѣ описывается замокъ Гельмотъ, принадлежавшій по правамъ аллодіальнымъ баронессѣ Амаліи Тегевольдъ; въ девятой—вы читаете характеристики домочадцевъ этого замка. Далѣе изображается пиръ въ замкѣ по случаю дня рожденія дочери владѣтельницы замка, Луизы, на который собираются всѣ феодальные владѣльцы со всего округа, а на дворѣ угощаются поселяне. Пиръ разстраивается военной тревогой по случаю пришествія русскихъ. Однимъ словомъ, передъ вами развертывается рядъ картинъ, которыя вы можете встрѣтить въ любомъ романѣ Вальтеръ Скотта, и вотъ именно ради этихъ картинъ, а не для чего иного, и избралъ Лажечниковъ Лифляндію.

Сюжетъ романа въ свою очередь построенъ совер-

шенно по образцу вальтерскоттовскихъ и вообще западныхъ романовъ; здѣсь не найдете вы и тѣни той простоты и естественности, какими всегда отличались сюжеты русскихъ романовъ. Напротивъ того, въ основѣ лежитъ самая хитросплетенная интрига, въ которой какихъ только семейныхъ тайнъ, предательствъ, злодѣйствъ не напичкано съ начала и до конца романа; злодѣи вродѣ барона Балдуина Фюренгофа и Никлазона, какъ и подобаетъ злодѣямъ, скрежещутъ зубами и, пылая злобой на весь міръ, утопаютъ въ корыстолюбіи, сластолюбіи и прочихъ семи смертныхъ грѣхахъ; добродѣтельные люди, терпя отъ ихъ неправдъ, лишь въ концѣ романа находятъ соотвѣтственную ихъ добродѣтелямъ награду. Самая любовная завязка происходитъ здѣсь не такъ просто, какъ въ другихъ романахъ, а съ особенной вычурой: прелестная Луиза, дочь владѣтельницы замка Гельмотъ, съ дѣтства была предназначена въ замужество за Адольфа, наслѣдника барона Фюренгофа. Какъ вдругъ въ замокъ пріѣзжаетъ молодой офицеръ шведской арміи, въ отсутствіе владѣтельницы замка, матери Луизы, и какъ Луиза, такъ и всѣ прочіе домочадцы принимаютъ его за Адольфа; а на самомъ дѣлѣ это былъ двоюродный братъ его Густавъ, какъ двѣ капли воды похожій на своего кузена. Пользуясь этимъ сходствомъ, Густавъ не спѣшитъ вывести обитателей замка изъ заблужденія и сближается съ Луизой на правахъ мнимаго жениха. Молодые люди страстно влюбляются другъ въ друга, но наконецъ совѣсть начинаетъ терзать Густава, онъ рѣшается открыть Луизѣ свой обманъ, и вотъ слѣдуетъ сцена въ гротѣ совершенно въ карамзинскомъ стилѣ:

При видѣ подписи на столѣ грота, состоящей изъ двухъ словъ: «милый Адольфъ!», Густавъ воскликнулъ съ замирающимъ въ груди голосомъ: — Счастливъ Адольфъ! — несчастливъ тотъ, кого принимали за Адольфа!

«— Я васъ не понимаю! — сказала испуганно Луиза: — что это значитъ? Вы блѣдны, вы нездоровы? Боже мой, что съ вами дѣлается?

Густавъ упалъ передъ ней на колѣна. — Я — обманщикъ! — произнесъ онъ съ выраженіемъ страсти и отчаянія, — сначала ошибкой служителя и вашихъ домашнихъ, потомъ безразсудствомъ, наконецъ любовью — я невольно вовлеченъ въ обманъ, — любовью истинной, безкорыстной, которая можетъ только съ жизнью моей кончиться. Нѣтъ достойной казни для наказанія подобнаго мнѣ изверга! Кляните, кляните меня: я этого достоинъ! Я — не Адольфъ!

— Кто же вы? — спросила Луиза замирающимъ голосомъ.

— Густавъ! двоюродный братъ Адольфа.

— Густавъ! что вы со мной сдѣлали? — могла она только произнесть, покачавъ головой, закрыла глаза руками и, не въ состояніи будучи перенести удара, поразившаго ее такъ неожиданно, упала безъ чувствъ на дерновую скамейку. Въ изступленіи онъ схватилъ ея руку: рука была холодна, какъ ледъ; на лицѣ ея не видно было слѣда жизни. — Боже мой, я убилъ ее! — кричалъ онъ, какъ сумасшедшій, бѣгая по саду и ломая себѣ руки...»

Послѣ этого Густаву было тотчасъ же отказано отъ дома матерью Луизы, и началась драма со всѣми муками неудовлетворенной страсти и разлуки, и молодые люди были обязаны лишь великодушію Адольфа (который, узнавъ о страсти Луизы и Густава, отказался отъ своей невѣсты) и блестящимъ побѣдамъ русскихъ войскъ, что въ концѣ романа они могли наконецъ соединиться законнымъ бракомъ.

Но исторія страсти Луизы и Густава составляетъ лишь второстепенный, чисто романическій эпизодъ романа. Главный же интересъ сосредоточивается на двухъ чисто историческихъ эпизодахъ, — судьбѣ Паткуля и Новика. Личность Паткуля, по правдѣ сказать, очерчена въ романѣ весьма блѣдными и тусклыми красками, и вы не выносите изъ его изображенія никакого мало-мальски рельефнаго и опредѣленнаго представленія, и развѣ только составляете о немъ отвлеченное понятіе, что это былъ хитрый, но при всей своей хитрости весьма благородный человѣкъ, и вообще во всемъ этомъ эпизодѣ, даже въ самой казни Паткуля, читателя занимаетъ не столько самъ Паткуль, сколько любовница его, крестьянка Роза съ ея мелодраматической страстью къ нему.

Что же касается до Новика, самаго главнаго героя романа, то онъ составляетъ большое черное пятно въ романѣ, какъ въ историческомъ, такъ и въ чисто-художественномъ отношеніяхъ. Въ историческомъ отношеніи здѣсь тотъ непростительный грѣхъ, что Лажечниковъ впервые ввелъ безцеремонное отношеніе къ историческимъ фактамъ. Надо отдать справедливость въ этомъ отношеніи Загоскину; при всемъ его плохомъ знаніи исторіи, и можетъ быть именно благодаря этому обстоятельству, онъ никогда не позволялъ себѣ вносить въ область исторіи вымыслы досужей фантазіи. Въ романахъ его романическіе эпизоды вездѣ рѣзко отдѣлены отъ историческихъ. Неизвѣстный исторіи Юрій Милославскій могъ у него хоть на головѣ ходить, и онъ по отношенію къ нему давалъ полную волю своей фантазіи; но въ то же время Загоскинъ ни за что не рѣшился бы выдумать изъ своей головы небывальщины вродѣ того напримѣръ, чтобы заставить вдругъ князя Пожарскаго влюбиться въ дочь Минина и прижить съ ней ребенка, который оказался-бы впослѣдствіи Стенькой Разинымъ. Для Лажечникова же ничего не стоило сочинять свои собственные историческіе факты. Такъ, мы видимъ, что главный герой романа, Владиміръ, тотъ самый послѣдній Новикъ, который стоитъ въ заглавіи романа, является ни кѣмъ инымъ, какъ незаконнымъ сыномъ царевны Софіи, прижитымъ ею съ княземъ Голицынымъ. При этомъ Лажечниковъ сочиняетъ фантастическую интригу для доставленія царевнѣ Софіи возможности воспитать сына при своемъ дворѣ: такъ, когда Владиміръ родился и надо было скрыть грѣхъ, воспользовались тѣмъ, что въ одно время съ этимъ у боярина Кропотова тоже родился сынъ, и ловкая бабка подмѣнила младенцевъ. Настоящій сынъ Кропотова былъ отвезенъ въ Валовскій скитъ и тамъ воспитанъ, сынъ же Софіи былъ черезъ два года взятъ у Кропотова ко двору Софіи и воспитанъ въ имѣніи Голицына подъ надзоромъ Андрея Денисова изъ рода князей Мышецкихъ, а потомъ былъ взятъ ко двору Софіи пажемъ. Владиміръ чувствовалъ къ царевнѣ самую нѣжную привязанность, инстинктивно чувствуя, что она мать его, и однажды, когда Петръ насмѣхался надъ своей сестрой и угрожалъ ей, молодой Новикъ чуть было не подрался съ царемъ.

«Съ быстротой молніи,—разсказываетъ онъ,—кровь у меня начала перебѣгать по всему тѣлу. Съ нами въ комнатѣ была царица Марѳа Матвѣевна.

— Полно быть дѣвичьимъ прихвостникомъ!—продолжалъ Петръ, положивъ руку на мое плечо.—Ты здѣсь послѣдній Новикъ, у меня можешь быть первымъ потѣшникомъ.

— Пускай потѣшаютъ тебя нѣмцы,—отвѣчалъ я угрюмо, сбросивъ съ плеча своего руку Петра:—я русскій, лучше хочу быть послѣднимъ слугой у законной царевны, чѣмъ первымъ бояриномъ у тебя. Царь-отрокъ вспыхнулъ, и сильная оплеуха раздалась по моей щекѣ. Не помня себя, я замахнулся было... но почувствовалъ, что меня держали за руки и что нѣжныя женскія руки обхватили станъ мой, силясь увлечь меня далѣе отъ Петра, все еще стоявшаго на одномъ мѣстѣ съ видомъ гордымъ и грознымъ. Софья Алексѣевна приказывала мнѣ удалиться немедленно. Марѳа Матвѣевна, не выпуская меня изъ своихъ объятій, со слезами на глазахъ умоляла не губить себя. На крикъ ихъ прибѣжали комнатные люди, и меня вывели изъ терема, но не прежде, какъ я послалъ въ сердце своего обидчика роковую клятву отомстить ему!..»

И вотъ, во исполненіе этой клятвы Владиміръ, послѣ бѣгства Петра въ Троицко-Сергіевскую лавру, отправляется туда съ цѣлью извести Петра. Онъ настигаетъ его въ Троицкомъ соборѣ въ алтарѣ, бросается на него съ ножомъ въ рукѣ и уже заноситъ надъ нимъ ножъ.

«Раздается крикъ матери,- разсказываетъ онъ:—ужасный крикъ, раздравшій мою душу, поворотившій мнѣ всю внутренность,—крикъ отзывающійся и теперь въ груди моей... Движеніемъ, которое я сдѣлалъ, чтобы поймать добычу, падаетъ съ жертвенника распятіе. Одинъ изъ моихъ товарищей грозно взываетъ мнѣ: *«постой, не здѣсь, не у престола; въ другомъ мѣстѣ онъ не уйдетъ отъ насъ!..»* Бьютъ въ набатъ — и все въ одно мгновеніе!.. Я упалъ духомъ; рука, неискусившаяся въ дѣлахъ крови, осталась въ нерѣшительности дѣйствовать. Этотъ мигъ спасъ Петра и Россію!.. Слышу, нѣсколько монаховъ хватаютъ меня сзади за руки и вырываютъ ножъ. Связанный, я брошенъ въ какой-то погребъ.»

Но такъ какъ въ исторіи неизвѣстно намъ, чтобы на жизнь Петра покушался его родной племянникъ, то друзья Новика тотчасъ-же освобождаютъ его изъ темницы, подмѣнивъ его мертвецки пьянымъ стрѣльцомъ, съ которымъ онъ пріѣхалъ въ лавру. Стрѣлецъ этотъ и былъ казненъ вмѣсто Новика.

Вотъ какъ перемѣшана у Лажечникова историческая быль съ небылицами. Освободившись такимъ образомъ изъ темницы и отъ казни цѣной головы своего товарища, Новикъ бѣжалъ изъ Россіи и нѣсколько лѣтъ скитался по Швеціи, снискивая пропитаніе игрой на гусляхъ и пѣніемъ. «Пѣсни,—разсказываетъ онъ,—сочиненныя мной на разные случаи моей жизни, переносили меня въ прошедшее и облегчали грудь мою, исторгая изъ очей сладкія слезы. Молва о московитскомъ музыкантѣ переходила по горамъ и долинамъ; на семейныхъ праздникахъ, на свадьбахъ мнѣ первому былъ почетъ; всѣ возрасты слушали меня съ удовольствіемъ: старость весело притонывала мнѣ мѣру; юность то плясала подъ мою игру, то горько задумывалась»... Очень возможно, что шведы, не знавшіе русскаго языка, и восторгались игрой на гусляхъ Новика; что же касается до пѣсенъ, сочиненныхъ имъ, то, судя по тому образчику, который приводитъ въ своемъ романѣ Лажечниковъ («Сладко пѣлъ душа соловушка»), можно думать, что пѣсни эти были не весьма высокаго достоинства и представляли собой грубую и неискусную поддѣлку подъ народныя пѣсни въ сентиментально-плаксивомъ тонѣ (это не мѣшало однако тому, что пѣсня Новика была переложена на музыку и была въ тридцатыхъ годахъ модным романсомъ, и самъ Бѣлинскій находилъ ее прекрасной).

Послѣ разныхъ мытарствъ онъ наконецъ, сблизившись съ Паткулемъ, появился въ Лифляндіи вожакомъ какого-то полусумасшедшаго, но тѣмъ не менѣе, какъ увидимъ ниже, вѣщаго слѣпца и, терзаясь тоской по родинѣ, сдѣлался шпіономъ русскихъ войскъ. Ему обѣщано было за исполненіе этой доблестной обязанности возвращеніе на родину. «Новикъ, — говоритъ Лажечниковъ,—отъ природы строптивый, пылкій, нетерпѣливый, взялся нести на себѣ ярмо ужасное и постыдное; притворствовать, обманывать, продавать себѣ подобнаго—такова была его обязанность! Но въ награду ему обѣщано отечество, и нѣтъ жертвы, на которую-бы онъ не рѣшился за эту цѣну».

И такъ, если вы помирали со смѣху, видя, какъ Юрій Милославскій постоянно давалъ клятвы невпопадъ, то представьте себѣ сентиментальнаго шпіона, который впродолженіи всего романа только и дѣлаетъ, что все проливаетъ слезы въ тоскѣ по родинѣ,—что это за курьезный образъ во всей своей поразительной нелѣпости!

Не менѣе искажена въ свою очередь и исторія Екатерины I въ романѣ Лажечникова. Такъ, Лажечниковъ считаетъ почему-то необходимымъ вывести ее изъ дворянъ. Отецъ ея, по его словамъ, служившій квартирмейстеромъ въ шведскомъ эльфсбургскомъ полку, умеръ вскорѣ послѣ ея рожденія (въ 1684 году). Мать ея была благородная лифляндка по имени перваго мужа, секретаря какого-го лифляндскаго суда, Морицъ. Лишившись второго мужа, она изъ Германареда, что въ Вестготландіи, пріѣхала по дѣламъ своимъ на родину съ малолѣтней дочерью своей (нашей героиней) въ рингенское помѣстье господъ Розенъ, гдѣ и скончалась въ непродолжительномъ времени, и т. д. Далѣе-же оказывается вдругъ, что мужъ Екатерины цейгмейстеръ Вольфъ (по словамъ Лажечникова—дальній ея родственникъ, служившій нѣкогда съ отцомъ ея въ одномъ корпусѣ и дѣлившій съ нимъ послѣдній сухарь солдатскій) тотчасъ-же послѣ свадьбы своей великодушно объявилъ пастору Глюку, что онъ женился на Екатеринѣ съ единственной цѣлью въ знакъ горячей любви къ ней передать ей свое имя и состояніе, самъ же онъ намѣренъ тотчасъ-же собственноручно взорвать Маріенбургскую крѣпость. И дѣйствительно, едва пасторъ Глюкъ со своей воспитанницей вышли изъ Маріенбурга и русскія войска начали входить въ крѣпость, она была взорвана Вольфомъ, который конечно первый-же погибъ подъ ея развалинами.

На самомъ-же дѣлѣ не Катерина Рабе, а Марта, сирота изъ семьи литовскаго крестьянина Скавронщенко, выросла въ семействѣ Глюка не воспитанницей, а просто служанкой, была выдана имъ замужъ не за цейгмейстера Вольфа, а за драгуна шведскихъ

войскъ Іоганна, и послѣдній, послѣ сдачи Маріенбурга, преспокойно ушелъ вмѣстѣ со шведскимъ войскомъ, разставшись навсегда со своей супругой. Можете судить опять-таки, насколько и здѣсь искажена историческая правда.

Послѣ всего этого нѣтъ ничего удивительнаго, что при своей великой фантазіи Лажечниковъ, въ виду блестящей будущности Катерины Рабе, не могъ утерпѣть, чтобы не помѣстить въ своемъ романѣ нѣсколько пророчествъ относительно ожидавшей ее судьбы. Такъ, уже въ седьмой главѣ романа нищій-слѣпецъ, котораго водилъ Новикъ, прямо предсказываетъ ей корону.

«Схвативъ дрожащую руку дѣвушки,—читаемъ мы,—онъ забылся въ какомъ-то внутреннемъ созерцаніи; незрящія очи его горѣли; наконецъ, возвысивъ вдохновенный голосъ, какъ-бы прозирая въ небѣ: —«Вижу,—сказалъ онъ:—вижу: изъ сумрака выступаетъ дѣва, любимица небесъ; голова ея поникнута, взоры опущены долу, волосы падаютъ небрежно по открытымъ плечамъ; румянецъ стыдливости, играя по щекамъ ея, споритъ съ румянцемъ зари утренней, засвѣтившей востокъ. Встаетъ алмазная гора, дивной рукой насѣченная. Оступилась дѣва на первой ступени, еще ночной тѣнью одѣтой; смиренно преклоняетъ колѣно, — и вздохъ, тяжелый вздохъ вылетаетъ изъ груди ея! Вскорѣ, обновленная жизнью неземной, встаетъ и шествуетъ далѣе, не поднимая очей своихъ. Еще четыре ступени, и готовъ алтарь... и розовый вѣнецъ обвиваетъ ея прекрасное чело Старецъ совершаетъ надъ ней дивное таинство. Взоры ея уже не опущены, волосы искусно подобраны назадъ. Изумленная, она озирается кругомъ: она не вѣритъ своему счастью, но уже его ощущаетъ. Еще четыре ступени, и розовый вѣнецъ смѣненъ алмазной короной...»

Когда-же происходило бракосочетаніе Катерины съ Вольфомъ, произошло нѣчто вродѣ чуда:

«Невѣста и женихъ стали на свои мѣста. Пасторъ съ благоговѣніемъ совершалъ священный обрядъ. Слезы полились изъ глазъ его, когда онъ далъ четѣ брачное благословенье. *Съ послѣднимъ движеніемъ руки отдали въ станъ русскомъ кому-то честь барабаннымъ боемъ*... (sic) и вслѣдъ затѣмъ, въ комнатѣ, гдѣ совершалась церемонія, загремѣлъ таинственный пророческій голосъ, какъ торжественный звонъ колокола: «*и се на главѣ ея лежитъ корона!*» Всѣ невольно вздрогнули и оглянулись. На порогѣ двери стоялъ слѣпецъ. Онъ казался необыкновенно высокъ; грудь его колебалась, незрящія очи горѣли, какъ въ то время, когда онъ разсказывалъ свои видѣнія въ Долинѣ мертвецовъ. Какимъ образомъ пришелъ въ комнату, гдѣ совершалось таинство, слѣпецъ, одинъ, безъ проводника, безъ посоха? Кто былъ его путеводитель?.. Три дня уже онъ сильно перемогался. Съ изумленіемъ, молча, смотрѣли на него, какъ на пришлеца съ того свѣта. Вдругъ онъ началъ колебаться, искалъ кого-то руками и, произнеся слово: «*позванъ*» — грянулся на полъ. Владиміръ подбѣжалъ къ нему; онъ чувствовалъ еще пожатіе его руки, но черезъ мигъ улыбка смерти порхала уже на лицѣ старца. Владиміръ цѣловалъ его руку и орошалъ ее слезами.»

Вотъ какіе перлы заключаются въ романѣ Лажечникова, и надо замѣтить, что подобные перлы вы можете найти на каждой страницѣ. Какъ-то не вѣрится, чтобы эта сентиментально-историческая фантазія подъ именемъ историческаго романа, изложенная архаическимъ языкомъ эпохи «Натальи, боярской дочери» могла появиться въ 30-хъ годахъ, когда существовали уже первые опыты реальнаго романа Пушкина и Гоголя и былъ уже окончательно выработанъ прозаическій языкъ почти въ такомъ уже видѣ, въ какомъ существуетъ онъ и въ наше время. Но еще невѣроятнѣе, что лучшій критикъ того времени,—Бѣлинскій, съ отрицаніемъ и нѣкоторымъ даже презрѣніемъ относившійся къ прозѣ Пушкина, съ восторженными привѣтствіями встрѣтилъ «Послѣдняго Новика», какъ произведеніе, свидѣтельствующее о высокомъ талантѣ автора.

Если критика въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей пришла въ такое восхищеніе отъ «Послѣдняго Новика», то нужно-ли удивляться, что публикѣ романъ пришелся совершенно по плечу и имѣлъ такой успѣхъ, что втеченіи перваго-же года послѣ выхода всѣхъ частей романа все изданіе разошлось и было выпущено новое, а черезъ нѣсколько лѣтъ и третье, не смотря на то, что романъ продавался за 20 р. асс., что на нашъ нынѣшній курсъ равнялось-бы 20 р. серебромъ. Когда въ 1836 году Лажечниковъ задумывалъ романъ «Колдунъ на Сухаревой башнѣ», Глазуновъ обязывался уже нотаріальной бумагой уплатить за него 19,000 р. асс., а въ томъ-же году Лажечниковъ заключилъ договоръ съ книгопродавцемъ Ширяевымъ, по которому получалъ за предстоящее изданіе «Басурмана» 20,000 р. асс. Это показываетъ, въ какой модѣ были въ то время историческіе романы и какъ они быстро раскупались.

Лажечниковъ дописывалъ своего «Новика» уже въ Твери, гдѣ онъ съ 1831 года по 1837 годъ занималъ мѣсто директора училищъ Тверской губерніи. Тамъ-же написалъ онъ и второй свой романъ «Ледяной домъ», вышедшій въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1835 году. Романъ этотъ, еще болѣе понравившійся публикѣ, окончательно упрочилъ славу Лажечникова, какъ историческаго романиста. И слѣдуетъ сказать по всей справедливости, въ общемъ романъ этотъ производитъ гораздо болѣе выгодное впечатлѣніе, чѣмъ «Послѣдній Новикъ». Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ прочихъ, Лажечниковъ въ свою очередь представляетъ полную противуположность Загоскину. Въ то время какъ Загоскинъ весь свой талантъ исчерпалъ на одномъ «Юріи Милославскомъ», затѣмъ съ каждымъ новымъ романомъ становился все слабѣй и несостоятельнѣй; Лажечниковъ-же наоборотъ: видно, что это была не рыхлая дворянская, а напротивъ того—кряжистая мужицкая натура, упорная въ трудѣ и настойчиво добивающаяся разъ положенной цѣли. Подобно тому, какъ, задумавъ идти въ ополченіе, онъ, не смотря на всѣ препятствія, въ окошко вылѣзъ, да настоялъ-таки на своемъ; такъ-же точно завоевалъ онъ отъ жизни и талантъ, котораго ему недоставало, и славу выдающагося русскаго романиста. И замѣчательно при этомъ, что съ каждымъ новымъ произведеніемъ, не смотря на свои преклонныя лѣта, онъ развивался и дѣлался талантливѣе.

Такъ, «Ледяной домъ» при всѣхъ его недостаткахъ, о которыхъ рѣчь будетъ ниже, отстоитъ отъ «Послѣдняго Новика», какъ небо отъ земли. Начать съ того, что романъ этотъ написанъ далеко уже не такимъ высокимъ карамзинскимъ слогомъ, какъ первый, а болѣе простымъ и современнымъ языкомъ. Въ то же

время не видите вы здѣсь и того рабскаго подражанія Вальтеръ Скотту, какое поражало насъ въ «Послѣднемъ Новикѣ». Нѣтъ здѣсь ни развалинъ средневѣковыхъ замковъ, ни долинъ мертвецовъ, ни ужасающихъ семейныхъ тайнъ и тому подобныхъ ухищреній въ романтическомъ духѣ. Избравши мѣстомъ дѣйствія романа Петербургъ первой половины восемнадцатаго вѣка и эпоху бироновщины, Лажечниковъ сразу окунулся въ русскую дѣйствительность, и надо отдать справедливость ему, дворъ Анны Іоанновны и вообще петербургская жизнь того времени изображены довольно вѣрно съ внѣшней исторической стороны и обнаруживаютъ въ авторѣ тщательное изученіе эпохи—шуты, карлы, ряженые, всякаго рода потѣхи, начиная съ постройки ледянаго дома и кончая родинами козы, все это сразу переноситъ васъ въ эпоху Анны Іоанновны. Надо отдать справедливость Лажечникову и въ томъ отношеніи, что, рисуя ужасы бироновщины, онъ нисколько не сгустилъ красокъ и не преувеличилъ, что можно было ожидать отъ его пылкой фантазіи и страсти къ раздирающимъ эффектнымъ сценамъ. Правда, личность Бирона очерчена весьма неопредѣленными и блѣдными чертами; относительно его клевретовъ самъ Бѣлинскій, при всѣхъ панегирикахъ, какіе онъ расточаетъ роману, замѣтилъ, что «жаль только, что всѣмъ имъ авторъ придалъ и рыжіе волосы, и рты до ушей; злодѣйство и порокъ безобразны, но только не въ такомъ смыслѣ». Но зато какъ нельзя болѣе удался Лажечникову характеръ Анны Іоанновны. Какъ живая, стоитъ она передъ вами въ романѣ Лажечникова, со своимъ добрымъ сердцемъ, не полнымъ отсутствіемъ воли и слабодушіемъ, заставлявшими ее, ради личнаго спокойствія, слѣпо отдаваться внушеніямъ то Бирона, то Волынскаго, то опять Бирона, готовая подписать смертный приговоръ тому изъ своихъ приближенныхъ, котораго вчера еще считала самымъ преданнымъ своимъ слугой и другомъ.

Но къ сожалѣнію Лажечниковъ не могъ освободиться и здѣсь отъ того существеннаго недостатка для писателя историческихъ романовъ, который онъ обнаружилъ въ своемъ первомъ романѣ, именно отъ безцеремоннаго отношенія къ историческимъ фактамъ. Здѣсь эта безцеремонность сказалась въ томъ, что онъ выдумалъ своего собственнаго сентиментально-идсальнаго Волынскаго совершенно вопреки исторической правдѣ. Въ дѣйствительности Волынскій представлялся личностью далеко не казистой и былъ вполнѣ человѣкомъ своего времени. Эпоха первой половины XVIII вѣка выставила передъ нами не мало мрачныхъ личностей, которыя вмѣстѣ съ грубымъ и дикимъ звѣрствомъ необузданнаго самодурства въ личной жизни соединяли полную деморализацію въ гражданскомъ отношеніи. Хитрые и льстивые царедворцы, легко усваивающіе внѣшній лоскъ европейской придворной жизни, коварные интриганы, они въ то-же время были черствыми честолюбцами и сластолюбцами, безпощадными грабителяли и казнокрадами, грубыми циниками и жестокими въ своемъ звѣрствѣ мучителями. Таковъ былъ между прочимъ и Волынскій. Будучи губернаторомъ въ Казани и потомъ министромъ, онъ не только бралъ взятки, но вымогалъ у людей почти силой огромнѣйшія суммы то подъ видомъ займа, а то и другими путями. Заколачивать людей до смерти ему приходилось ни сколько не менѣе, чѣмъ и Бирону. Такъ, однажды онъ велѣлъ отодрать кошками полицейскаго служителя за то, что тотъ, проходя мимо его дома, не снялъ шапки. Одного изъ конюховъ за какую-то провинность заставилъ впродолженіи нѣсколькихъ часовъ ходить по деревяннымъ спицамъ вокругъ столба. Мичмана кн. Мещерскаго Волынскій посадилъ на деревянную кобылу, предварительно вымазавъ лицо его сажей, а затѣмъ привязалъ къ его ногамъ гири и живыхъ собакъ. Наконецъ извѣстна его палочная расправа съ Тредьяковскимъ. Оппозиція его противъ нѣмцевъ проистекала вовсе не изъ какого-либо патріотическаго рвенія, а была просто-на-просто придворной интригой противъ Остермана. Бирону-же онъ въ то-же время льстилъ и всячески заискивалъ у него и поссорился съ нимъ лишь тогда, когда Остерману удалось вооружить временщика противъ Волынскаго, и тотъ не принялъ его.

У Лажечникова-же Волынскій является самоотверженнымъ героемъ, жертвовавшимъ жизнью своей въ борьбѣ съ врагами отечества.« Это,—по словамъ Бѣлинскаго,—человѣкъ глубокій, могучій духомъ, пламенный патріотъ, душа чистая, благородная, но легкій, вѣтренный; тонкій политикъ и мальчикъ, не умѣющій совладать съ самимъ собою; государственный мужъ— и волокита, гуляка праздный...»

Замѣчательно, что самъ Бѣлинскій при всемъ своемъ панегирическомъ отношеніи къ «Ледяному дому» сознавалъ, что Лажечниковъ исказилъ Волынскаго, но для оправданія автора выдвинулъ цѣлую теорію отношенія искусства къ исторіи.

«Герой—Волынскій,—говоритъ онъ (см. Соч. Бѣл. т. III, стр. 12),—какъ историческое лицо, онъ и теперь еще загадка. Одни видятъ въ немъ героя, мученика за правду; другіе отрицаютъ въ немъ не только патріота, но и порядочнаго человѣка. Но мы оставимъ историческаго Волынскаго—намъ до него нѣтъ дѣла: мы пишемъ не объ исторіи, а о романѣ. Тутъ представляется другой вопросъ: имѣетъ-ли право поэтъ искажать историческое лицо? Да и нѣтъ, —отвѣчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, кто-бы занесъ святотатственную руку на искаженіе Петра Великаго и умышленно осмѣлился-бы сдѣлать уродливую карлу изъ великана человѣчества; но анахронизмы, искаженіе событій, вслѣдствіе требованій ткани и механизма романа—но только безъ искаженія идеи лица,—могутъ казаться непозволительными или преступными только вникающему разсудку, а не живому эстетическому чувству. Что-же касается до сомнительныхъ или неважныхъ историческихъ лицъ, то и говорить нечего: въ произведеніи искусства должно искать соблюденія художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллеръ изъ Карлоса, непокорнаго сына или дурного человѣка, сдѣлалъ идеалъ возвышеннаго, благороднаго человѣка? Худо не это, а то, что его драма есть произведеніе риторики, и ея лица—риторическія аллегоріи, а не живыя созданія. Что намъ за нужда, что Гёте изъ восьмидесятилѣтняго Эгмонта, отца многочисленнаго семейства, сдѣлалъ молодого, кипящаго избыткомъ жизни юношу? Онъ хотѣлъ изобразить не Эгмонта, а кипящаго избыткомъ душевныхъ силъ юношу въ положеніи Эгмонта. Исторія служила ему только «поэтическимъ положеніемъ, а главное дѣло въ томъ, что его драма—великое произведеніе великаго художника. Кто

хочетъ знать исторію, тотъ учись ей не по романамъ и драмамъ. Поэтому для насъ смѣшны нападки нѣкоторыхъ аристарховъ на Лажечникова, что онъ снялъ десятка два или три лѣтъ съ плечъ Волынскаго (добро бы еще исказилъ историческій характеръ!)...»

Кто и говоритъ, поэты и даже такіе, какъ Шекспиръ, въ своихъ художественныхъ цѣляхъ очень часто совершенно искажаютъ историческіе факты. Но въ такомъ случаѣ никто и не смотритъ на произведенія ихъ, какъ на историческія. Кто же въ маркизѣ Позѣ или Эгмонтѣ будетъ предполагать портреты историческихъ личностей, носившихъ тѣ же имена? Но замѣтьте, что и подобное право поэтовъ рисовать на исторической канвѣ свои собственные поэтическіе узоры имѣетъ свой предѣлъ. Шиллеру никто не поставилъ въ укоръ, что онъ идеализировалъ маркиза Позу, ну, а еслибы онъ выкроилъ своего маркиза Позу изъ мрачной фигуры герцога Альбы, стала бы тогда одобрять критика подобное искаженіе исторіи? Что заговорилъ бы Бѣлинскій, еслибы Лажечниковъ превратилъ Бирона въ идиллическаго пастушка, распѣвающаго сентиментальные романсики передъ той же Маріорицей, или представилъ его героемъ, непонятымъ неблагодарными современниками? А вѣдь Волынскій стоитъ совершенно въ одномъ ряду съ Бирономъ по своимъ душевнымъ качествамъ; если хотите, Биронъ даже превосходитъ нѣсколько своей культурностью и сдержанностью необузданнаго самодура съ дикими нравами, какимъ представляется намъ Волынскій.

Такимъ образомъ, если предположить даже, что Лажечниковъ вовсе не думалъ написать историческій романъ и познакомить своихъ читателей съ эпохой Анны Іоанновны въ своемъ «Ледяномъ домѣ», а, подобно Шиллеру и Гёте, преслѣдовалъ свои собственныя художественныя цѣли, то и въ такомъ случаѣ выборъ Лажечникова для этихъ цѣлей эпохи бироновщины и Волынскаго какъ нельзя болѣе неумѣстенъ. Но ради какихъ же такихъ особенныхъ художественныхъ цѣлей былъ написанъ «Ледяной домъ»? Неужели для того только, чтобы изобразить всепоглощающую страсть пылкой дочери востока Маріорицы и борьбу чувства съ семейнымъ долгомъ въ Волынскомъ? Какъ Бѣлинскій, такъ за нимъ и біографъ Лажечникова, г. Венгеровъ (см. Соч. Лажечникова, изд. 1884 г., т. I, стр. CXXIX), очень высоко ставятъ эту сторону романа Лажечникова. По мнѣнію Бѣлинскаго, характеръ Маріорицы удачнѣе всѣхъ прочихъ. «Это рѣшительно лучшее лицо во всемъ романѣ. Она нигдѣ не измѣняетъ себѣ. Она сходитъ со сцены, какъ вошла на нее: какъ звѣзда любви, которая ярче и прекраснѣй всѣхъ небесныхъ свѣтилъ — и вечеромъ, когда является, и утромъ, когда скрывается. Послѣднее ея свиданіе съ Волынскимъ было апоѳеозомъ всей ея жизни, и мы рѣшительно отрицаемъ всякое человѣческое, не только эстетическое, чувство въ томъ, кто бы, увлеченный сухимъ, какъ ариѳметика, морализмомъ, увидѣлъ въ послѣднемъ мгновеніи ея жизни паденіе, а не просвѣтлѣніе, не торжественное просвѣтлѣніе, не торжественное свершеніе подвига жизни... Словомъ, Маріорица есть самый красивый, самый душистый цвѣтокъ въ поэтическомъ вѣнкѣ нашего даровитаго романиста».

Г. Венгеровъ въ свою очередь восклицаетъ: «Да, нужно отвлечь фигуры Волынскаго и Маріорицы отъ современной имъ эпохи, и вы тогда получите глубоко-правдивую и трогательную повѣсть о любви двухъ сердецъ, которымъ условія жизни не даютъ насладиться всей полнотой заслуженнаго ими счастья. Въ этомъ отношеніи «Ледяной домъ» — можетъ быть первая въ русской литературѣ проповѣдь *свободы чувства*».

Какъ мы ни вчитывались, какъ мы ни вдумывались, какъ мы ни старались отвлечь фигуры Волынскаго и Маріорицы отъ современной имъ эпохи, увы, ничего не удалось намъ увидѣть въ этомъ любовномъ эпизодѣ романа Лажечникова, кромѣ одной напыщенной риторики моднаго въ то время романтизма. Подобныя же вулканическія страсти и такихъ же самыхъ Маріорицъ вы можете встрѣтить въ любомъ романѣ того времени, особенно же у того самаго Марлинскаго, къ которому Бѣлинскій относился столь отрицательно. Что же касается пониманія проповѣди *свободы чувства*, то подобная проповѣдь была далеко не новость въ нашей литературѣ не только въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, но гораздо ранѣе, и притомъ проповѣдь, далеко не такая робкая и не съ такими оговорками въ духѣ казенной морали, какъ это мы видимъ у Лажечникова. Стоитъ припомнить «Цыганъ» Пушкина, появившихся въ 1824 году, т. е. одиннадцатью годами ранѣе «Ледяного дома».

Въ томъ-то и дѣло, если мы вздумаемъ смотрѣть на «Ледяной домъ», какъ на романъ не историческій, а психологическій, какъ на своего рода «пѣснь торжествующей любви», въ такомъ случаѣ онъ теряетъ всякое значеніе. Но конечно Лажечниковъ, когда приготовлялъ для него историческіе матеріалы, рылся въ мемуарахъ и всякаго рода документахъ того времени, — когда наконецъ писалъ этотъ романъ — думалъ создать романъ именно историческій, а не пѣснь торжествующей любви. Да и публика приняла этотъ романъ, какъ историческій, и такъ слѣпо повѣрила всему, что въ немъ написано, что личность Волынскаго глубоко запечатлѣлась въ памяти ея въ томъ героическомъ видѣ, въ какомъ она рисуется въ романѣ. Могила Волынскаго на Выборгской сдѣлалась даже предметомъ поклоненія: исторіи пришлось потомъ считаться съ романомъ и употреблять всѣ усилія, чтобы поколебать въ обществѣ тотъ предразсудокъ, какой въ ней утвердился Лажечниковымъ относительно личности Волынскаго.

Если же мы будемъ смотрѣть на романъ Лажечникова, какъ на историческій, потому что, еще разъ повторяю, иначе смотрѣть на него мы не имѣемъ никакого права, въ такомъ случаѣ любовный эпизодъ Волынскаго и Маріорицы долженъ показаться намъ верхомъ нелѣпости. Начать съ того, что какъ нельзя болѣе курьезно предполагать борьбу страсти съ семейнымъ долгомъ въ Волынскомъ, у котораго, какъ у всѣхъ бояръ русской партіи того времени, навѣрное были цѣлые крѣпостные серали, нисколько не смущавшіе ихъ совѣсти и въ то же время нимало не возбуждавшіе въ супругахъ ихъ такой острой ревности, чтобы послѣднія готовы были дѣлать своимъ невѣрнымъ

*

мужьямъ публичные и придворные скандалы. Нѣтъ ничего мудренаго, что Волынскій могъ приволокнуться за смазливенькой молдаванкой, но навѣрное это было не первое и не послѣднее волокитство его, и врядъ ли оно могло кого бы то ни было смутить и привести въ ужасъ. Не забудьте вѣдь, что это былъ вѣкъ Людовика XV, когда заразительный примѣръ Версаля развелъ во всѣхъ европейскихъ дворахъ крайне легкомысленные и терпимые нравы; на супружескую невѣрность начинали тогда уже смотрѣть вовсе не какъ на что-то крайне преступное и ужасное, а, напротивъ, какъ на великосвѣтскій шикъ, да и дѣвичья невинность, нельзя сказать, чтобы особенно строго охранялась въ тѣ безпутныя времена.

Наконецъ, еслибы Волынскій и дѣйствительно представлялъ изъ себя такую второстепенную и незначительную личность, то приданіе ему героическихъ качествъ и романтическихъ порывовъ хотя бы и было пятномъ на картинѣ и анахронизмомъ, но не мѣшало бы картинѣ самой по себѣ быть совершенно полной и законченной. Но въ томъ-то и дѣло, что картина вѣка Анны Іоанновны не можетъ быть полной и законченной безъ изображенія крупной личности Волынскаго во всей ея трезвой, хотя и непривлекательной правдѣ, потому что Волынскій представляется весьма характеристическимъ типомъ своего вѣка, безъ изображенія котораго нельзя составить себѣ истиннаго понятія о томъ вѣкѣ грубаго эгоизма, открытыхъ взяточничества и продажности и необузданнаго варварства и звѣрства, едва прикрытыхъ лоскомъ европейской культурности.

Пушкинъ былъ въ этомъ отношеніи какъ нельзя болѣе правъ, когда, получивъ отъ Лажечникова экземпляръ «Ледянаго дома» и прочитавъ его, выразилъ въ письмѣ своемъ къ Лажечникову почти такое же мнѣніе объ исторической невѣрности романа. Но, прежде чѣмъ мы приведемъ отрывокъ изъ письма Пушкина, мы считаемъ необходимымъ сдѣлать нѣсколько предварительныхъ объясненій.

Надо замѣтить, что если вообще талантъ Лажечникова былъ не великъ, то какого-либо комизма или юмора въ этомъ талантѣ былъ полнѣйшій недостатокъ, а между тѣмъ Лажечниковъ очень любилъ при случаѣ выставлять комическія личности и быть при этомъ забавнымъ. Но подобныя личности выходили у него лубочно-карикатурными, крайне уродливыми и неестественными; самый языкъ у него при такихъ изображеніяхъ дѣлался вычурнымъ и напряженнымъ, и въ результатѣ получалось нѣчто, не только не вызывающее у читателя ни малѣйшей улыбки, а, напротивъ, производящее непріятное и тяжелое впечатлѣніе. Такое впечатлѣніе производитъ между прочимъ въ «Ледяномъ домѣ» личность В. К. Тредьяковскаго. Лажечниковъ не пожалѣлъ красокъ, чтобы изобразить его мало того что въ комичномъ видѣ, но и въ самомъ черномъ свѣтѣ. Никто не будетъ спорить, что Тредьяковскій игралъ при дворѣ Анны Іоанновны очень жалкую и унизительную роль, желая этимъ устроить свою ученую карьеру, и что вообще чувство человѣческаго достоинства и нравственная гордость были въ немъ весьма мало развиты. Но отъ этихъ недостатковъ до клеветы и предательства очень еще далеко. Между тѣмъ Лажечниковъ въ четвертой части, носящей заглавіе «Куда вѣтеръ подуетъ», разсказываетъ, какъ одинъ изъ клевретовъ Бирона, Подачкинъ, подговаривалъ Тредьяковскаго клеветать на Волынскаго: «Тебя потребуютъ къ государынѣ— ты прямо въ ноги, и разскажи, какъ стращалъ тебя Волынскій висѣлицей, плахой, хотѣлъ тебя убить изъ своихъ рукъ, коли не скажешь молдаванкѣ, что онъ вдовецъ, и не станешь носить его писемъ, какъ заставлялъ тебя писать вирши противъ ея величества и раздавать народу». На что Тредьяковскій отвѣчалъ: «возляжте упованіемъ своимъ на меня, какъ на адамантовъ камень. Чего не возмогу я исполнить за великія щедроты, которыя ниспосылаетъ на меня его свѣтлость!»

Если здѣсь можно усмотрѣть клевету—то жестокую клевету со стороны Лажечникова на Тредьяковскаго, потому что въ дѣйствительности ничего подобнаго не было. Правда, Тредьяковскій жаловался Бирону на Волынскаго, но при какихъ обстоятельствахъ? Когда поруганный, избитый, измученный Волынскимъ безъ всякаго повода, просто потому, что попалъ подъ руку самодура не въ добрый часъ, онъ внѣ себя прибѣжалъ къ Бирону, не зная, куда ему броситься, гдѣ искать защиты отъ истязаній необузданнаго звѣря. Я полагаю, есть нѣкоторое различіе между подобнымъ порывомъ человѣка, обезумѣвшаго отъ боли и страха, и спокойно, сознательно обдуманными клеветами въ сообществѣ съ клевретами Бирона.

Вотъ противъ подобнаго злостнаго искаженія исторической правды и возсталъ Пушкинъ, принявъ подъ свою защиту не только Тредьяковскаго, но и самого Бирона. «Позвольте, милостивый государь,— писалъ онъ Лажечникову: благодарить васъ теперь за прекрасные романы, которые всѣ мы прочли съ такой жадностью и съ такимъ наслажденіемъ. Можетъ быть въ художественномъ отношеніи «Ледяной домъ» и выше «Послѣдняго Новика», но истина историческая въ немъ не соблюдена, и это современемъ, когда дѣло Волынскаго будетъ обнародовано, конечно повредить вашему созданію; но поэзія всегда останется поэзіей, и многія страницы вашего романа будутъ жить, доколѣ не забудется русскій языкъ. За Василія Тредьяковскаго, признаюсь, я готовъ съ вами поспорить. Вы оскорбляете человѣка, достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей. Въ дѣлѣ-же Волынскаго играетъ онъ лицо мученика. Его донесеніе академіи трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать безъ негодованія на его мучителя. О Биронѣ можно бы также потолковать. Онъ имѣлъ несчастіе быть нѣмцемъ; на него свалили весь ужасъ царствованія Анны, которое было въ духѣ его времени и въ нравахъ народа. Впрочемъ онъ имѣлъ великій умъ и великіе таланты». Этой выдержкой изъ письма, показывающей намъ, какой глубокій, правильный и трезвый взглядъ на историческіе факты обнаруживалъ Пушкинъ даже относительно такихъ эпохъ, изученіемъ которыхъ онъ повидимому не занимался,— мы можемъ закончить разборъ «Ледяного дома».

Вышедши въ 1837 году въ отставку, Лажечниковъ поселился въ деревнѣ подъ Старицей, на берегу

Волги, и здѣсь былъ написанъ имъ третій историческій романъ «Басурманъ», появившійся въ свѣтъ въ 1838 году. Романъ этотъ имѣлъ гораздо меньшій успѣхъ, чѣмъ предыдущіе: публика раскупала его не такъ быстро, и онъ выдержалъ лишь два изданія. Бѣлинскій въ свою очередь отозвался о немъ довольно холодно и нашелъ, что онъ слабѣе двухъ предыдущихъ. Со стороны публики это охлажденіе къ любимому романисту можно объяснить тѣмъ, что сюжетъ романа, взятый изъ слишкомъ отдаленной эпохи Іоанна III, могъ показаться публикѣ мало занимательнымъ и археологичнымъ. Что же касается до Бѣлинскаго, то онъ находился въ то время въ самомъ зенитѣ своего увлеченія Гегелемъ и теоріей искусства для искусства; онъ повсюду искалъ художественныхъ красотъ, и не видя такихъ въ новомъ романѣ Лажечникова, ни дѣйствительныхъ, ни мнимыхъ, онъ въ то же время не особенно высоко цѣнилъ въ немъ то, чѣмъ онъ особенно замѣчателенъ: рѣдкую цѣлостность и послѣдовательность основной идеи. Въ этомъ отношеніи «Басурманъ» представляетъ новый шагъ впередъ со стороны Лажечникова, и, по нашему мнѣнію, если что достойно отъ Лажечникова сохраниться въ памяти потомства, такъ именно его «Басурманъ».

Безъ сомнѣнія въ романѣ вы найдете не мало недостатковъ, обусловливаемыхъ и временемъ, въ которое онъ былъ написанъ, и ограниченностью таланта автора. Такъ, никто не будетъ спорить, что всѣ тѣ главы романа, въ которыхъ дѣйствіе происходитъ на Западѣ, имѣютъ, мало сказать, мелодраматическій, но чисто сказочный характеръ. Въ самомъ дѣлѣ,— вспомните хотя-бы месть Антонія Фіоравенти, заключающуюся въ томъ, что онъ соглашается спасти любимую жену барона Эрнштейна съ тѣмъ только условіемъ, чтобы баронъ отдалъ въ его распоряженіе своего первенца, когда тому минетъ годъ. Такъ именно начинаются многія сказки, въ которыхъ роль Фіоравенти играютъ волшебницы и колдуньи. Правда, что и главный герой, лекарь Антоній, представляетъ изъ себя личность стереотипную и блѣдную, подобно всѣмъ добродѣтельнымъ героямъ романовъ того времени, что любовь его къ Настасьѣ не выходитъ изъ предѣловъ шаблонныхъ романическихъ любвей и производитъ впечатлѣніе скучной сентиментальной размазни, что злодѣи такъ-же страшны, какъ и въ предыдущихъ романахъ, а комическія личности такъ-же уродливо карикатурны и неестественны. Но рядомъ съ этимъ вы находите, какъ я уже сказалъ выше, поразительную цѣлостность основной идеи и не мало исторической правды въ частностяхъ романа.

Основная идея романа Лажечникова опредѣляется общимъ направленіемъ его мыслей. Надо замѣтить, что и въ этомъ отношеніи Лажечниковъ представлялъ полную противоположность Загоскину. Въ то время какъ послѣдній тянулъ болѣе къ славянофиламъ, Лажечниковъ, напротивъ, воспитанникъ француза Больё, обязанный, по его собственнымъ словамъ, ему «любовью ко всему благородному и ненавистью къ угнетенію и несправедливости», прошедши затѣмъ воспитательный для молодежи того времени курсъ походовъ 13 и 14 годовъ, былъ истымъ западникомъ и либераломъ въ духѣ 20 годовъ. Во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, при всякомъ удобномъ случаѣ и насколько позволяла строгая цензура того времени, Лажечниковъ не упускалъ высказывать свои либеральныя мысли. Такъ, даже въ «Послѣднемъ Новикѣ», этомъ наименѣе либеральномъ своемъ романѣ, онъ дѣлаетъ кое-гдѣ вылазки противъ крѣпостного права. Такъ напримѣръ, описывая пиръ въ замкѣ Гельмотѣ, онъ говоритъ:

«Правда, и крестьянамъ баронессы готовилися угощенія и веселости: жарились для нихъ цѣлые быки, катились на господскій дворъ бочки съ виномъ, шились наряды для новобрачной четы и сыгрывались гудочники и волыночники. Чухонцы, послышавъ объ этихъ приготовленіяхъ, заранѣе разѣвали ротъ отъ удивленія и съ нетерпѣніемъ поджидали у своего окна, когда *староста* или *кубіасъ* той палкой въ замокъ ихъ погонитъ веселиться, которая столько разъ и такъ немилосердно гоняла ихъ на барщину и напоминала о податяхъ. Таковъ грубый сынъ природы! Сытное угощеніе, шумный праздникъ заставляютъ забыть все бремя его состоянія и то, что веселости эти дѣлаются на его счетъ. Надо прибавить: таковы иногда бывали и помѣщики, что рѣшались скорѣе истратить тысячи на сельскій праздникъ, нежели простить нѣсколько десятковъ рублей оброчной недоимки или рабочихъ дней немощнымъ крестьянамъ.»

Самое искаженіе личностей Волынскаго, Бирона и Тредьяковскаго въ романѣ «Ледяной домъ», вопреки исторической правдѣ, произошло не изъ-за чего иного, какъ изъ желанія Лажечникова въ лицѣ Волынскаго изобразить свой собственный идеалъ гордаго чувства собственнаго достоинства въ неподкупномъ государственномъ мужѣ, готовомъ пострадать за свою идею и смѣло вооружающемся на тиранство злого временщика; ну, и понятно, что какъ злой временщикъ сообразно этому замыслу изображенъ въ самыхъ черныхъ краскахъ, такъ и Тредьяковскій низостью своей пресмыкающейся душенки долженъ былъ оттѣнять величіе героя.

Въ «Басурманѣ» же мы видимъ полный апоѳеозъ западничества. Представлены здѣсь западные ученые люди въ самый горячій моментъ эпохи renaissance, въ моментъ великаго движенія умовъ, когда только что проснувшаяся послѣ средневѣкового мрака европейская мысль работала на всѣхъ парахъ: каждый день приносилъ какія-нибудь новыя, важныя открытія и изобрѣтенія: впереди раскрывались широкія и блестящія перспективы. И вотъ въ этотъ моментъ молодой докторъ Антонъ Эрнштейнъ—тотъ самый воспитанникъ Антоніо Фіоравенти, котораго послѣдній оттягалъ отъ отца его, барона, сказочнымъ путемъ, какъ было о томъ сказано выше,—увлекся вызовомъ въ Москву лекаря, какъ въ то время всѣ живые люди увлекались странствіями въ дальнія и невиданныя страны. «Въ Московію, отозвалось въ душѣ его, какъ будто на зовъ, знакомый съ первыхъ лѣтъ младенчества. Она и прежде, въ лучшихъ мечтахъ своихъ, просила дали неизвѣстнаго, новыхъ земель и людей. Антонъ желалъ быть тамъ, гдѣ не ступала еще нога врача. Можетъ статься, допроситъ онъ тамъ природу суровую, еще свѣжую, какими силами задержать долѣ на землѣ временнаго жильца ея, можетъ статься,

допытаетъ дѣвственную почву о тайнѣ возрожденія, откроетъ на ней родникъ живой и мертвой воды»...

И вотъ поѣхалъ Антонъ въ неизвѣстную и заманчивую Московію; и только-что подъѣхалъ къ матушкѣ-Москвѣ златоверхой, первое зрѣлище, поразившее заморскихъ путниковъ, было слѣдующаго рода:

«Пылалъ костеръ сажени двѣ въ ширину. Въ противной сторонѣ послышались радостныя, торжественныя восклицанія. Множество людей везло на себѣ что-то огромное. Не колоколъ-ли? Но какъ скоро двуногая упряжь разступилась, увидали клѣтку съ рѣшеткой изъ толстой желѣзной проволоки, и сквозь нее двухъ человѣкъ. Одинъ былъ молодой, другой старикъ. Отчаяніе въ глазахъ ихъ, моленія, пылающій костеръ, желѣзная клѣтка, радость черни... о! навѣрно готовится казнь. Западню съ полозьевъ долой, и прямо на пылающій костеръ. Огонь, задавленный тяжкимъ бременемъ, нетерпѣливо закурился; донце начало коробиться и вскорѣ затрещало. Съ клѣтки послышался стонъ. Сердце путниковъ оледенѣло, волосы стали дыбомъ. Антонъ и его товарищи просили приставовъ освободить ихъ отъ печальнаго зрѣлища. Имъ на это отвѣчали только, что въ примѣръ другимъ совершается казнь надъ мерзкими, богопротивными измѣнниками, литвиномъ княземъ Ивапомъ Лукомскимъ и его сообщникомъ, толмачемъ Матифосомъ, которые хотѣли отравить великаго государя, господина всея Руси, Ивана Васильевича...»

Пріѣзжаетъ Антонъ въ Москву; великій князь Іоаннъ принимаетъ его весьма привѣтливо и первымъ же дѣломъ, желая похвастаться своимъ могуществомъ, ведетъ его по своимъ тюрьмамъ, мрачнымъ, вонючимъ, удушливымъ клѣтямъ, гдѣ томились различные плѣнники князя, государственные преступники, между прочимъ Марѳа Борецкая (кстати сказать, изображенная въ романѣ весьма мастерски; ея разговоръ съ Іоанномъ — верхъ совершенства). Далѣе затѣмъ поселяется Антонъ у боярина Образца и видитъ, что хозяева замуравились отъ него каменной стѣной, чтобы не имѣть никакого сообщенія съ проклятымъ басурманомъ.

Онъ начинаетъ сближаться съ окружающими его людьми, присматриваться къ нимъ, лечить и съ ужасомъ видитъ, что всѣ они не только его считаютъ колдуномъ, но и повсюду вокругъ себя видятъ чары, наговоры и различныя сверхъестественныя вліянія. «Русь — читаемъ мы въ романѣ — была тогда полна *чарованія!* Родные предразсудки и повѣрья, остатки міра младенческаго, миѳическаго,—духи и геніи, налетѣвшіе толпами изъ Индіи и глубокаго сѣвера и сроднившіеся съ нашими богатырями и дурачками,— царицы, принцы, рыцари запада, принесенные къ намъ въ котомкахъ итальянскихъ художниковъ; все это населяло тогда дома лѣса, воды и воздухъ, и сдѣлало изъ нашей Руси какой-то поэтическій, волшебный міръ. Духи встрѣчали новорожденнаго на порогѣ жизни, качали его въ колыбели, рвали съ дитятей цвѣты на лугахъ, плескали въ него играючи водой, аукались въ лѣсахъ и заводили въ свой лабиринтъ, гдѣ наши Тезеи могли убить лютого Минотавра не иначе, какъ выворотивъ одежду и заклятіемъ, купленнымъ у лихой бабы, или, все равно, русской Медеи. Духи поселялись въ глаза, чтобы взглядомъ испортить кого, падали разсыпной звѣздой надъ женщиной, предававшейся сладкимъ, полуночнымъ грезамъ, тревожили недобраго человѣка въ гробу, или, проявляясь въ лихомъ мертвецѣ, ночью выходили изъ домовища пугать прохожихъ, если православные забывали вколотить добрый колъ въ ихъ могилу. Всѣ необыкновенные случаи, всѣ недуги и сильныя страсти были дѣломъ духовъ...»

Вотъ въ какую полудикую среду попалъ Антонъ послѣ ученыхъ университетскихъ диспутовъ, раздушенныхъ франтовъ, скандировавшихъ стихи Горація, великихъ художниковъ, создавшихъ въ то время безсмертныя творенія и т. п. И тѣмъ не менѣе сквозь непроницаемую кору варварства онъ увидѣлъ массу добродушія, великодушныхъ порывовъ, молодой, свѣжей энергіи, любознательности въ загадочномъ народѣ, среди котораго ему пришлось жить. Онъ завязалъ кое-какія связи и даже любовную интригу и такъ началъ обживаться въ Москвѣ, что готовъ былъ даже принять православіе и жениться на дочери боярина. И вдругъ стоило ему залечить татарскаго царевича Каракача, и то не залечить, а враги Антона нарочно отравили больного, чтобы обвинить ненавистнаго лекаря передъ княземъ, и вотъ тому, который самъ-же вызвалъ Антона изъ нѣмечины и осыпалъ его большими милостями, ничего не стоило безъ жалости выдать Антона татарамъ, а тѣ зарѣзали его на Москвѣ-рѣкѣ.

Все это производитъ на читателя очень сильное и цѣльное впечатлѣніе. Картина старой Руси въ ея звѣрской дикости и грубомъ невѣжественномъ изувѣрствѣ рисуется передъ вами во всемъ своемъ ужасающемъ мракѣ. Среди этой картины угрюмо возвышается мрачная личность собирателя Руси, изображенная мастерски и исторически вѣрно. Здѣсь вы найдете мѣста, въ которыхъ одна какая-нибудь фраза рисуетъ передъ вами эту личность во всей ея сути. Такъ напримѣръ, обратите вниманіе на то мѣсто, гдѣ князю докладываютъ о скандалѣ, происшедшемъ на пиру у Палеолога, и между прочимъ о томъ, что Антонъ, услыша бранныя рѣчи Палеолога противъ князя, бросилъ ему въ лицо цѣпь, которую тотъ подарилъ ему за леченіе Гаиды. Князь очень польщенъ такимъ поступкомъ Антона, но тутъ же у него воскресаетъ инстинктъ скупого и разсчетливаго скопидома, и онъ осуждаетъ молодого лекаря, пренебрегшаго драгоцѣннымъ подаркомъ:—«неразумно, говоритъ онъ: коли была дорогая» (т. е. цѣпь).

Не менѣе характеристичны, исторически правдивы второстепенныя детали, оживляющія общую картину, напримѣръ сцена кулачнаго боя, божьяго суда, охоты за ерлами—и пр. Вообще въ «Басурманѣ» мы имѣемъ замѣчательный историческій романъ, который и до сихъ поръ читается съ удовольствіемъ и не безъ пользы.

Но къ сожалѣнію это былъ послѣдній историческій романъ Лажечникова. Далѣе онъ пустился въ автобіографическіе романы, каковы: «Бѣленькіе, черненькіе и сѣренькіе» и «Немного лѣтъ назадъ», въ которыхъ онъ является безхитростнымъ, но, надо признаться, очень скучнымъ разсказчикомъ, знакомящимъ читателей съ бытомъ и людьми своей коломенской родины. Закончилъ же онъ большимъ романомъ «Внучка панцырнаго боярина» изъ польскаго

возстанія,—романомъ очень печальныхъ свойствъ во всѣхъ отношеніяхъ. Я обо всемъ этомъ распространяться не намѣренъ, такъ какъ это не входитъ въ предметъ моего труда.

VII.

Наводненіе литературы 30-хъ и 40-хъ годовъ историческими романами и сѣтованія Бѣлинскаго по этому поводу.—Романъ изъ русской жизни Ав. Лафонтена.—Біографическій очеркъ Рафаила Зотова и его романы: «Послѣдній потомокъ Чингисъ-хана», «Леонидъ» и «Таинственный монахъ».

«Кто не пишетъ въ наше время романовъ и повѣстей, особенно же историческихъ романовъ и повѣстей? Кто?—Только люди, ничего не пишущіе! Откуда же эта страсть, въ чемъ ея причины? Объ этомъ можно-бы много сказать, но мы на этотъ разъ ограничимся немногими словами. Большая часть пишущаго народа вообразила себѣ, что романъ, особенно историческій, не поэзія, потому что пишется прозой. Эти господа думаютъ, что событіе (т. е. завязка или развязка какого-нибудь приключенія или происшествія) уже само по себѣ такъ интересно, что можетъ занять вниманіе читателя и доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ всегда бываетъ одно и то же: герой, одаренный всѣми добродѣтелями, красотой и умомъ, влюбляется въ героиню, которая тоже—фениксъ своего пола. За нее обыкновенно сватается какой-нибудь «злодѣй», на сторонѣ котораго отецъ. Слѣдуютъ разныя препятствія и страданія; но вѣрность и постоянство превозмогаютъ—даже здравый смыслъ, — и герои, по претерпѣніи разныхъ несчастій, совокупляются наконецъ законнымъ бракомъ. Къ этому вздору г. сочинитель приплетаетъ исторію, выведетъ нѣсколько историческихъ лицъ и заставитъ ихъ говорить и дѣйствовать для вожделѣннаго соединенія героевъ своего романа, такъ что у иного такого сочинителя и полтавская битва, и бородинское сраженіе даются именно съ этой цѣлью и, кромѣ счастливаго брака глупыхъ любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя никакихъ результатовъ для міра. Согласитесь, что такъ писать легко: нечего выдумывать, не надъ чѣмъ думать; взялъ перо—и пошелъ писать! Чудаки-эти сочинители!»

Такъ мѣтко характеризовалъ Бѣлинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 г. большинство историческихъ романовъ, выходившихъ въ его время, и такъ онъ сѣтовалъ на ту поразительную легкость и скороспѣлость, съ какими эти романы писались и появлялись на свѣтъ. И дѣйствительно, было на что сѣтовать и негодовать. Тотъ необычайный успѣхъ, какимъ ознаменовалось появленіе романовъ Загоскина и Лажечникова, не могъ пройти безслѣдно и не возбудить конкуренціи въ то время, когда книгопродавческая дѣятельность только-что успѣла встать на ноги и литературная спекуляція была въ полномъ разгарѣ. Чего только не предпринималось въ то время съ цѣлью улавливать неопытнаго читателя и наживаться на счетъ его легковѣрія и невѣжества: и альманахи, и иллюстраціи, и такія съ виду почтенныя, а въ сущности эфемерныя изданія, какъ энциклопедическій лексиконъ Плюшара, «Панорама С.-Петербурга» Башуцкаго, «Россія» Булгарина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что съ легкой руки Загоскина и Лажечникова историческіе романы въ свою очередь посыпались, какъ изъ рога изобилія. Какъ велика была эта эпидемія исторической беллетристики, можно судить по числу наиболѣе выдающихся именъ, подвизавшихся въ то время на этомъ поприщѣ. Такъ, кромѣ Пушкина, Гоголя, Загоскина и Лажечникова, мы видимъ въ качествѣ русскихъ В. Скоттовъ:—Р. Зотова, Н. Полевого, Ѳ. Булгарина, Н. Кукольника, Свиньина, Ал. Кузмича, Воскресенскаго, П. Федорова, А. Андреева, А. Чуровскаго и проч. Женскій трудъ въ свою очередь не замедлилъ представить свою лепту всеобщему увлеченію въ лицѣ О. Шишкиной, о которой будетъ у насъ рѣчь впереди, и другой безвѣстной писательницы, написавшей романъ «Супруги Владиміра» и затѣмъ историческую повѣсть, одно обширное, но совершенно безграмотное заглавіе которой можетъ свидѣтельствовать о томъ, что это за произведеніе. Вотъ это замѣчательное заглавіе: «*Шиюны. Русская повѣсть XVI столѣтія. Съ точнымъ описаніемъ житья-бытья Русскихъ бояръ, ихъ прибытія въ отчины, покорность женъ, пиры вельможей и наконецъ Царская вечеринка. Мимоходомъ замѣчены монахи того времени, ихъ поклонницы; не забыты и истинно святые мужи, какъ-то старцы: Семіонъ Курбскій, Вассіанъ Патрикѣевъ и Максимъ Грекъ, въ достовѣрную эпоху вторичнаго брака царя Василія Іоанновича. Выбрано изъ рукописей издательницей «Супругъ Владиміра». Москва 1834 года.*

Создательница «Шиюновъ» все-таки разсчитывала на кое-какую извѣстность, именуя себя издательницей «Супругъ Владиміра», но во второй половинѣ 30-хъ годовъ начали фабриковаться цѣлыми массами историческіе романы безъ всякихъ поименованій авторовъ. Это были лубочныя изданія, которыми преимущественно отличались московскіе книгопродавцы; кое-какъ скомпилированные на скорую руку, частью по Карамзину, частью по вышедшимъ уже въ свѣтъ романамъ, печатаемые на сѣрой, чуть не оберточной бумагѣ, съ грубѣйшими грамматическими ошибками и опечатками, и непремѣнно съ громкими заманивающими заглавіями вродѣ вышеприведеннаго, романы эти тѣмъ не менѣе расходились по ярмаркамъ въ числѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Книжная спекуляція на этомъ пути дошла наконецъ до такой крайней безцеремонности, что начали издавать историческіе романы съ заглавіями, похожими на заглавія романовъ, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ. Такъ, появились «Ольга Милославская», «Княжна Рославлева» и т. п.

Предпріимчивая по части лубочной книжной спекуляціи, Москва, пользуясь страстью публики къ чтенію историческихъ романовъ, ухитрилась даже издать переводный историческій романъ изъ русской жизни. Такъ, въ 1830 г. вышла книга «*Князь Федоръ Д—кій и княжна Марья М—ва, или вѣрность по смерть. Русское происшествіе. Сочиненіе Августа Лафонтена. Переводъ съ Нѣмецкаго*».

Это было новое изданіе романа, имѣвшаго успѣхъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, но давно забытаго, и вотъ въ 1830 году романъ Лафонтена, благодаря всеобщему увлеченію исторической беллетристикой,

вновь вынырнулъ на свѣтъ, не смотря на то, что въ 30-е годы онъ представлялъ собой совершенный анахронизмъ и, распространяясь рядомъ съ «Капитанской дочкой» Пушкина или романами Загоскина, имѣлъ видъ покойника, внезапно воскресшаго и начавшаго разгуливать въ старомодномъ костюмѣ среди совершенно чуждыхъ ему нравовъ и обычаевъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ сентиментальный романъ въ письмахъ начала нынѣшняго столѣтія, чуждый какихъ-бы то ни было живыхъ историческихъ красокъ и типическихъ чертъ времени и мѣста. Дѣйствующія лица только и дѣлаютъ, что пишутъ письма своимъ друзьямъ, разражаясь при этомъ безпрестанно длинными чувствительными тирадами о добродѣтели, любви къ отечеству и тщетѣ честолюбія и роскоши. Сюжетъ заключается въ томъ, что два нѣжные голубка, князь Ѳедоръ Долгорукій и княжна Марія Меншикова, пылая самой высокой и добродѣтельной взаимной страстью, поклялись принадлежать другъ другу до гробовой доски, не смотря на то, что ихъ раздѣляла непримиримая вражда ихъ родителей—нѣчто вродѣ вражды Монтекки и Капулетти.—Не встрѣчая поощренія ихъ страсти со стороны родныхъ, молодые люди собрались уже было бѣжать за-границу; все было готово къ побѣгу: въ каналѣ стояла яхта, снабженная нужнымъ количествомъ людей и съѣстными припасами; оставалось только сѣсть на нее и уѣхать, но любовь къ добродѣтели остановила героевъ въ самую рѣшительную минуту.

«— Марія!—воскликнулъ князь Ѳедоръ, съ огнемъ любви смотря въ глаза княгини Маріи:—вотъ судно, которое унесетъ насъ отъ твоего отца. Какая была бы для меня радость, если бы нога твоя на него ступила! Но я не хочу, Марія, похитить тебя силой. Ты меня любишь; для меня этого довольно. Мое счастіе стоило бы слишкомъ дорого, если бы оно было куплено слезами горести, проливаемыми тобой. Подумай, Марія, и на что-нибудь рѣшись. Тебѣ должно оставить отечество, родителей, сестру, родственниковъ, должно оставить свою знатность, отказаться отъ своего имени, а я, въ награду за все это, не могу обѣщать тебѣ ничего болѣе, кромѣ своего сердца, вѣрнаго своего сердца!»

Въ отвѣтъ на это Марія прижала его къ своему сердцу и сказала: «Дражайшій Ѳедоръ! я готова броситься съ тобой въ пропасть. Счастливой, несказанно счастливой была бы я у твоего сердца! Но—какъ можно оставить матушку... Однако избирай, Ѳедоръ, я на все готова!»

«— Я уже избралъ, безцѣнная Марія,— сказалъ онъ съ нѣжностью,—избралъ спокойствіе невиннаго твоего сердца, а не свое счастіе. Мы въ состояніи умереть другъ для друга; это всегда сдѣлаетъ насъ счастливыми! Слезы горести будутъ мочить глаза твои, но никогда—слезы раскаянія! Пойдемъ назадъ, милая Марія! лучше останемся несчастными, нежели виновными!»

И они вернулись на стезю добродѣтели. Послѣ того оберъ-злодѣй романа, князь Меншиковъ, началъ сватать свою дочь за императора Петра II, а князя Долгорукова заключилъ въ крѣпость; но вскорѣ послѣдовало паденіе и ссылка въ Березовъ самаго оберъ-злодѣя; князь же Долгорукій, освобожденный изъ своего заточенія, послѣдовалъ въ Сибирь вслѣдъ за своей возлюбленной, объявивши родными и знакомымъ, что онъ ѣдетъ за границу.—Приставъ по дорогѣ къ семейству Меншиковыхъ, Долгорукій сблизился съ павшимъ временщикомъ, и тотъ такъ полюбилъ его, что въ Березовѣ началъ уговаривать свою дочь, чтобы она бѣжала со своимъ возлюбленнымъ.—Но было уже поздно: роковой недугъ, развившійся вслѣдствіе всѣхъ передрягъ, подтачивалъ жизнь Маріи, и молодые люди ограничились тѣмъ, что ссыльный священникъ соединилъ ихъ законнымъ бракомъ. Замѣчательно при этомъ, что авторъ романа, незнакомый съ русскими обычаями, изобразилъ обрядъ вѣнчанія въ хижинѣ, гдѣ жили Меншиковы. Далѣе затѣмъ авторъ поражаетъ своихъ читателей эффектнымъ эпизодомъ въ дико-романтическомъ духѣ.—Молодые поѣхали въ Тобольскъ для закупки припасовъ. На возвратномъ пути, ѣдучи вдоль по берегу Оби, вышли они изъ коляски, чтобы посмотрѣть на мысъ, который былъ весь покрытъ разными деревьями. Но пока они любовались природой и восхищались, внезапно мысъ отдѣлился отъ береговъ и понесся внизъ по рѣкѣ, увлекаемый теченіемъ. Послѣ тщетныхъ попытокъ спастись, князь Ѳедоръ Долгорукій и княгиня Марія Меншикова, читаемъ мы въ романѣ: «взошли на холмъ, бывшій по серединѣ, потому что глубокая вода затопила уже нижнюю часть острова. Здѣсь сѣли они и обнялись крѣпко, ожидая смерти. Плывущій ихъ островъ попался въ быстрый потокъ рѣки и несся, какъ стрѣла. Любовники еще крѣпче обхватились, потому что островъ началъ колебаться и большіе отломки отдѣлялись отъ него. Уже думали они потонуть въ волнахъ и кровь ихъ оледенѣла. Шумъ ярыхъ волнъ и ужасный громъ возстающей бури заглушали ихъ чувства; и когда высоко-бьющія волны брызгали на нихъ, то они думали уже, что уплывутъ съ волнами. «Ѳедоръ! любезный Ѳедоръ! я вѣчно твоя!»—«Марія! любезная Марія! я вѣчно твой!»—Такъ вскричали они оба и крѣпко прижимали другъ къ другу холодныя уста свои».

Но все обошлось благополучно. Коварный островъ вновь присталъ къ берегу, и супруги выбрались на твердую землю, для того чтобы остатокъ дней провести въ мирномъ счастіи подъ соломенной кровлей. Марія вскорѣ умерла, князь Ѳедоръ конечно не пережилъ ея и отправился на тотъ свѣтъ черезъ мѣсяцъ послѣ ея смерти. Ихъ похоронили рядомъ, тѣмъ и кончается чувствительный романъ, надъ которымъ безъ сомнѣнія не мало было пролито слезъ нашими бабушками. Но появленіе этого романа вновь въ серединѣ 30-хъ годовъ показываетъ, что и наши матушки все еще были не прочь поплакать надъ подобной сентиментальной чепухой, хотя онѣ были окружены литературными образцами совсѣмъ въ иномъ духѣ и вкусѣ.

Не имѣя ни нужды, ни возможности перебирать всѣ подрядъ историческіе романы, вышедшіе въ 30-е и 40-е годы, мы ограничимся лишь наиболѣе выдающимися, извѣстными и составлявшими нѣкогда любимое чтеніе нашихъ отцовъ, а также и наше въ на-

шемъ дѣтствѣ. Такъ, первое мѣсто послѣ Загоскина и Лажечникова занимаетъ безспорно Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ. Съ него-то мы и начнемъ.

Романы Р. Зотова хотя и уступаютъ по таланту автора романамъ Загоскина и Лажечникова, тѣмъ не менѣе имѣютъ свои рѣзкія особенности, и особенности эти вполнѣ зависятъ отъ нѣкоторыхъ условій происхожденія и жизни Зотова, и потому мы считаемъ нелишнимъ прежде всего нѣсколько познакомить читателей нашихъ съ этими условіями, выходящими изъ общаго уровня.

Начать съ того, что Р. М. Зотовъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ царственнаго происхожденія. Онъ былъ внукъ Бату-хана, брата послѣдняго крымскаго властителя Шагинъ-Гирея. Отецъ его родился отъ невольницы Заремы, дѣвушки обольстительной красоты и тоже какого-то восточнаго происхожденія. До 8 лѣтъ мальчика скрывали въ тайникахъ гарема, потому что ханы не любили, чтобы братья ихъ имѣли дѣтей, и лишь когда Бату-ханъ убѣдился, что братъ его не питаетъ къ нему вражды, а, напротивъ, того любитъ ѣздить съ нимъ на охоту и проводить съ нимъ вечера, онъ открылся ему въ тайнѣ рожденія своего сына. Ханъ принялъ это очень милостиво, приказалъ даже представить себѣ племянника. Съ этихъ поръ мальчикъ получалъ уже лучшее воспитаніе, къ какому былъ способенъ тогдашній бахчисарайскій дворъ, подъ руководствомъ итальянца Сальви, занимавшаго при дворѣ должность звѣздочета, врача и казначея.

Братья впрочемъ не долго жили мирно. Оба они были и честолюбивы, и сластолюбивы. Шагинъ-Гирей заинтересовался красотой Заремы, и братъ долженъ былъ уступить ему свою любимѣйшую жену, но въ душѣ вознамѣрился отомстить ему и составилъ заговоръ съ цѣлью умертвить брата и завладѣть престоломъ его. Все уже было готово къ исполненію этого замысла, дворецъ былъ наполненъ убійцами, какъ вдругъ сынокъ Заремы все разомъ разрушилъ: онъ подслушалъ о готовящемся переворотѣ и сообщилъ своему воспитателю Сальви, а тотъ пошелъ къ хану и убѣдилъ его бѣжать въ русскій лагерь въ Перекопъ. Бату-ханъ немедленно-же возсѣлъ на престолъ брата. Въ Константинополѣ приняли посольство Бату самымъ ласковымъ образомъ и обнадежили его въ султанской помощи, а русскій генералъ Вальменъ отправилъ въ Петербургъ эстафету съ донесеніемъ о случившемся. Черезъ полгода, когда уже Бату-ханъ воображалъ себя полнымъ властителемъ Крыма, Вальменъ, получивъ приказаніе, быстро двинулся къ Бахчисараю, и въ свою очередь Бату-ханъ принужденъ былъ бѣжать въ Константинополь; сынъ же его былъ отправленъ вмѣстѣ съ матерью въ Петербургъ въ качествѣ аманата.

Начавши такимъ образомъ свою карьеру доносомъ на отца, отецъ Р. Зотова былъ довезенъ до Петербурга лишь одинъ, такъ какъ мать его дорогой умерла.—Какъ до отъѣзда, такъ и дорогой онъ не переставалъ учиться русскому языку сначала у бахчисарайскаго консула Горопуло, потомъ у поручика Нагеля, который его везъ въ столицу. По пріѣздѣ онъ былъ представленъ сначала Ланскому, потомъ императрицѣ, которая рѣшила окрестить его и при этомъ пожаловать сержантомъ гвардіи. При крещеніи нарекли его Михаиломъ, а фамилію Зотова дали, потому что онъ случайно походилъ на одного изъ камердинеровъ императрицы, носившаго эту самую фамилію. Затѣмъ мальчика опредѣлили въ шляхетный корпусъ, гдѣ принялъ въ немъ большое участіе графъ Ангальтъ. По выходѣ изъ корпуса Михаилъ Зотовъ былъ по волѣ Павла оставленъ при корпусѣ наставникомъ, но вскорѣ обратилъ на себя вниманіе императора необыкновенной своей силой и переведенъ въ число дворцовыхъ гренадеръ.—Но въ этой должности онъ оставался не долго, такъ какъ Лансдорфъ, получивши мѣсто псковскаго губернатора, взялъ его къ себѣ чиновникомъ особыхъ порученій, а вскорѣ затѣмъ онъ былъ назначенъ капитанъ-исправникомъ.

Здѣсь съ нимъ случилось весьма важное событіе въ его жизни. Надо замѣтить, что въ то время нравы дворянскаго сословія не отличались особенной чистотой, и какъ въ столицѣ, такъ и по провинціальнымъ городамъ жизнь свѣтскихъ обществъ представляла собой непрерывную оргію пьянства, карточной игры и волокитства.—Нужно-ли и говорить о томъ, что молодой человѣкъ атлетическаго сложенія, въ жилахъ котораго текла горячая восточная кровь, унаслѣдовавшій къ тому-же отъ своихъ властительныхъ и женолюбивыхъ предковъ не малую дозу сластолюбія, —послужилъ лакомой приманкой для дамъ псковскаго бомонда и сразу завелъ бездну интрижекъ, и между прочимъ къ нему оказала свою благосклонность жена вице-губернатора Брыкина. Но онъ имѣлъ неосторожность, не довольствуясь госпожей, польститься на ея служанку, крѣпостную дѣвушку, и возбудилъ въ вице-губернаторшѣ неукротимую ревность. Она потребовала, чтобы капитанъ-исправникъ тотчасъ-же женился на обольщенной имъ дѣвушкѣ, въ противномъ случаѣ угрожала пожаловаться на него самому государю. Эта угроза въ тѣ времена была не шуточная. Павелъ I, какъ извѣстно, очень строго относился къ нравственности офицеровъ, и нарушителей ея обыкновенно заставляли жениться на обольщенныхъ дѣвушкахъ. Такъ, нѣкто Альбрехтъ, бывшій потомъ казначеемъ при театрѣ, принужденъ былъ жениться на охтенской молочницѣ, подавшей подобную жалобу.

Михаилъ Зотовъ не пожелалъ допустить разгнѣванную вице-губернаторшу до жалобы и рѣшился добровольно жениться на ея крѣпостной. Первымъ плодомъ этого союза и былъ будущій романистъ Рафаилъ Зотовъ.

Этотъ насильственный бракъ конечно не могъ быть особенно счастливымъ. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что Михаилъ Зотовъ почти не жилъ со своей женой. Онъ купилъ для своей семьи домъ на Завеличьи и нѣсколько душъ, а самъ уѣхалъ въ Парижъ въ качествѣ наставника дѣтей у одного псковскаго богача. Здѣсь онъ имѣлъ какія-то странныя и нѣсколько двусмысленныя сношенія съ прусскимъ дворомъ и первымъ консуломъ Бонапарте, съ его министрами, съ актрисами Жоржъ и Жюли Эвра; затѣмъ онъ явился въ Пултускѣ въ русскую армію, представился Бенингсену и получилъ мѣсто по провіантской части.

Послѣ этой кампаніи онъ побывалъ опять во Псковѣ по устройству своихъ домашнихъ дѣлъ, потомъ опять отправился въ Петербургъ, взявши съ собой семилѣтняго сына. Тутъ онъ, въ чинѣ подполковника, получилъ довольно важное мѣсто въ молдавской арміи, куда и отправился, оставивши сына на попеченіи своей прежней покровительницы Өед. Ив. Елагиной, — и затѣмъ пропалъ безъ вѣсти. Австрійскій консулъ сообщилъ изъ Калафата, что подполковникъ Зотовъ, переѣзжая черезъ Дунай, утонулъ и похороненъ; бумаги-же его препроводилъ къ Проворовскому. Но черезъ тридцать лѣтъ Р. Зотовъ встрѣтилъ своего однофамильца и изъ разговора съ нимъ узналъ, что тотъ былъ братъ его и родился отъ того-же самаго М. Зотова послѣ уже таинственнаго исчезновенія его. Оказалось такимъ образомъ, что М. Зотовъ и не думалъ утонать, а долго жилъ въ Турціи, не скрывая своей фамиліи, но, будучи двоеженцемъ, не могъ уже возвратиться въ Россію. Попросту-же сказать, онъ ловко отдѣлался отъ силою навязанной ему семьи и завелъ другую, по душѣ.

Читатель конечно будетъ удивленъ, что я вмѣсто того, чтобы остановить вниманіе его преимущественно на фактахъ жизни самого романиста, разсказываю такъ подробно жизнь его отца. Но во-первыхъ, дѣлая это я пересказываю сюжетъ одного изъ романовъ Р. Зотова а во-вторыхъ біографическія данныя отца Р. Зотова скорѣе дадутъ намъ ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ особенныхъ чертъ романовъ Р. Зотова, чѣмъ его собственная жизнь.

Что касается до послѣдней, то она лишь въ началѣ замѣчательна своимъ по истинѣ фантастическимъ характеромъ. Представьте себѣ мальчика, завезеннаго отцомъ въ Петербургъ и оставленнаго въ домѣ Өед. Ив. Елагиной; затѣмъ отецъ вдругъ исчезаетъ, а Елагина разоряется и уѣзжаетъ со своимъ семействомъ въ деревню; мальчикъ-же остается на рукахъ гувернера, нѣкоего Краузе, выходца изъ Варшавы, гдѣ онъ имѣлъ прежде мѣсто полицей-инспектора, а затѣмъ опредѣлился къ Елагиной учить ея дѣтей (онъ зналъ нѣсколько языковъ) и устраивать ей оркестръ изъ ея крѣпостныхъ. Краузе сидитъ безъ мѣста, и маленькій Р. Зотовъ голодаетъ вмѣстѣ съ его семействомъ. Краузе опредѣляется въ какой-нибудь богатый домъ наставникомъ и гувернеромъ, и мальчикъ поселяется въ этомъ совершенно чужомъ домѣ и начинаетъ учиться съ дѣтьми барина. Наконецъ Краузе, желая избавиться отъ подкинутаго ему ребенка, принуждаетъ его припомнить, съ какими людьми отецъ его наиболѣе былъ знакомъ. Мальчикъ припоминаетъ фамилію Чихачева и Кожевникова. Идутъ наудачу сначала къ Чихачеву, тотъ принялъ ихъ сухо и не пожелалъ взять на воспитаніе чужого ребенка; отправляются тогда къ Кожевникову, и послѣдній, по словамъ Р. Зотова, принимаетъ съ отверстыми объятіями сына своего друга, тотчасъ-же беретъ его въ домъ и помѣщаетъ въ гимназію, гдѣ мальчикъ кончаетъ курсъ въ 1810 г., 15 лѣтъ отъ роду.

Далѣе жизнь Р. Зотова не представляетъ собой ничего особенно замѣчательнаго. По примѣру всей мало-мальски порядочной молодежи того времени, онъ участвовалъ въ войнѣ въ 1812 году, въ качествѣ ополченца, и, выдержавши всю кампанію, возвратился въ 1814 году съ десятью ранами и Анной 3-й степени. Затѣмъ пристроился къ театральной дирекціи и занималъ разныя мѣста при театрахъ впродолженіи 25 лѣтъ. На этой службѣ изъ него выработался мало-по-малу истый бюрократъ, умѣвшій и къ начальству ловко подъѣхать, и подставить, кому нужно, ножку, и не упустить случая воспользоваться предлагавшимся кускомъ общественнаго пирога. Къ повышеніямъ, наградамъ и особенно къ орденамъ онъ питалъ большую нѣжность; по крайней мѣрѣ повсюду въ своихъ запискахъ, гдѣ только касается дѣло этого предмета, онъ говоритъ обо всемъ этомъ съ увлеченіемъ. Такъ напримѣръ, по поводу своего представленія новому директору Остолопову въ качествѣ секретаря, онъ замѣчаетъ: «я явился къ Остолопову и былъ принятъ довольно ласково. Но странно было видѣть, что у директора былъ только Владиміръ 4-й степени, а у секретаря Анна на шеѣ». Женитьба его, чуждая какихъ-либо романтическихъ и поэтическихъ красокъ, въ свою очередь совершенно носила характеръ вступленія въ законный бракъ по всѣмъ формамъ житейской практики чиновника, имѣющаго солидное мѣсто и Анну 3-й степени. По крайней мѣрѣ вотъ какъ онъ повѣствуетъ объ этомъ обстоятельствѣ своей жизни: «Мнѣ былъ только 21-й годъ, но я уже сдѣлалъ походъ и четыре года былъ на службѣ. Съ окладомъ въ 600 р. не смѣлъ я рѣшиться на женитьбу, но съ 2000 и получивъ 1200 за переводъ — можно было свататься. Жена моя была не богаче меня, и мы въ будущемъ не могли упрекать другъ друга. *Князь Тюфякинъ былъ моимъ посаженымъ отцомъ и для брачной церемоніи далъ мнѣ свою карету*». Коротко, ясно и такъ типично, что не требуетъ ни малѣйшихъ разъясненій.

Выйдя въ отставку изъ театральной дирекціи, Р. Зотовъ долго оставался безъ мѣста и тщетно хлопоталъ гдѣ-либо пристроиться. Прежде всего, по словамъ его, онъ обратился къ начальнику III отдѣленія Мордвинову, съ которымъ когда-то дѣлилъ военную кампанію. Мордвиновъ тщетно хлопоталъ о Р. Зотовѣ у гр. Венкендорфа, но государь отказалъ даже и его ходатайству. Мордвиновъ вскорѣ вышелъ въ отставку и передалъ Зотова Л. В. Дубельту, который въ свою очередь старался пристроить его въ различныя канцеляріи, но безуспѣшно, и лишь послѣ того какъ онъ, по случаю построенія Николаевскаго моста, вздумалъ написать нѣсколько стиховъ, конечно хвалебныхъ, гр. Клейнмихель пригласилъ его на службу членомъ общаго присутствія департамента ревизіи отчетовъ.

Литературная дѣятельность Р. Зотова была по истинѣ изумительна своей плодовитостью и многосторонностью. Такъ, во время своей службы при театрахъ онъ успѣлъ написать и перевести 110 пьесъ. Затѣмъ онъ писалъ романы, какъ историческіе, такъ и изъ современной жизни и не только европейской или русской, но изъ китайской (его романъ «Цынгъ-Кіу-Тонгъ»), писалъ популярныя статьи по астрономіи, вродѣ «Геогонія и космогонія», «Сонъ въ лѣтнюю ночь въ Павловскѣ», «Фантастическій обзоръ всего міроздавія», «Путешествіе на Венеру», «Путешествіе на

Марсъ», «Пребываніе на нѣкоторыхъ звѣздахъ», «Солнце и его міровая система», «Міровѣдѣніе». Подавалъ высшему начальству проекты, каковы напримѣръ: объ охраненіи зданій отъ пожаровъ; объ учрежденіи въ Россіи гражданской стражи; о построеніи желѣзной дороги изъ Петербурга въ Одессу; объ обмелѣніи всѣхъ рѣкъ въ Россіи по причинѣ истребленія лѣсовъ; о нищенствѣ; наконецъ о всеобщей воинской повинности и военной службѣ не долѣе трехъ лѣтъ. «Это—говоритъ онъ—превратило-бы Россію въ постоянный и всеобщій лагерь, который вмѣстѣ съ тѣмъ занимался-бы всѣми вѣтвями промышленности, науками, художествами. Главное при этомъ было-бы обязательное ученіе всѣхъ сословій такъ, чтобы окончившіе курсъ въ университетахъ вступали въ военную службу въ офицерскомъ чинѣ, а съ гимназическимъ курсомъ имѣли-бы право только на унтеръ-офицерское званіе. Военное воспитаніе должно быть всеобщимъ, и оно на всю жизнь сохранитъ каждому духъ дисциплины и общественнаго порядка».

Въ своихъ литературныхъ сношеніяхъ Р. Зотовъ былъ такъ-же неразборчивъ, какъ и въ служебныхъ. Такъ, мы видимъ, что онъ мало того, что всю жизнь вращался и работалъ въ литературныхъ кружкахъ весьма предосудительнаго свойства, но и попалъ-то въ эти кружки самымъ нелитературнымъ способомъ. Вотъ какъ разсказываетъ онъ объ этомъ въ своихъ запискахъ:

«Я не упомянулъ о моихъ газетныхъ сотрудничествахъ. *Первое я получилъ по ходатайству Л. В. Дубельта* у Греча и Булгарина. Они мнѣ дали 4000 р. ассигн. за то, чтобъ я писалъ театральныя статьи и всякую другую мелочь. Конечно я помнилъ свое массонское знакомство съ Гречемъ (въ юности Р. Зотовъ вмѣстѣ съ Гречемъ участвовалъ въ нѣмецкой ложѣ Peter zur Wahrheit и мечтали объ учрежденіи русской ложи), хоть онъ и предалъ меня, пославъ кн. Шаховскому мои стихи противъ него, съ другой стороны не довѣрялъ и Булгарину, потому что былъ не его партіи (?); но мнѣ выбирать было не изъ чего, и я пріютился у этихъ людей, у которыхъ добросовѣстно работалъ четырнадцать лѣтъ, и долженъ имъ отдать справедливость: *они были ко мнѣ всегда ласковы.* Взявъ потомъ и политическій отдѣлъ (который весь состоялъ изъ переводовъ), я довелъ свое жалованье до 1200 р. серебромъ и никогда не ссорился съ ними. Четырнадцатилѣтній періодъ безъ ссоры очень важная вещь для газетныхъ редакцій, но все-таки кончилось тѣмъ, что мы поссорились. Одно анонимное общество предложило мнѣ принять на себя редакцію предпринимаемой газеты «Россія», съ тѣмъ чтобы я составилъ планъ и дѣйствовалъ передъ правительствомъ отъ своего имени; я согласился и подалъ этотъ планъ въ III отдѣленіе. Сынъ Булгарина служилъ въ III отдѣленіи и передалъ это извѣстіе Гречу съ прибавкой, что проэктъ мой почти принятъ. Этого было довольно, чтобы возбудить страшный гнѣвъ Греча. Онъ разразился ругательствами за мою неблагодарность и упрекалъ за то, что я подорву «Пчелу». Письмо кончалось, разумѣется, тѣмъ, что я съ этой минуты уволенъ отъ сотрудничества. Что мнѣ было дѣлать? Я отвѣчалъ объясненіемъ всего дѣла и отвѣта, который получилъ отъ III отдѣленія, и затѣмъ разстался съ Гречемъ навсегда.»

Изъ историческихъ романовъ Р. Зотова, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ и до сихъ поръ не забытыхъ, мы остановимся на трехъ—на романѣ «Леонидъ или нѣкоторыя черты изъ жизни Наполеона», вышедшемъ въ 1832 г.,—«Таинственный монахъ, или нѣкоторыя черты изъ жизни Петра I», изданномъ въ 1842 г., и «Послѣдній потомокъ Чингисъ-Хана», неизвѣстно когда написанномъ Р. Зотовымъ, изданномъ-же въ 1880 г. сыномъ романиста, Вл. Зотовымъ, девять лѣтъ спустя послѣ смерти отца. Читатель извинитъ, что, нарушая хронологическій порядокъ, мы начнемъ прямо съ послѣдняго. Это намъ нужно, потому что въ этомъ романѣ наиболѣе рѣзко выражаются тѣ особенности романовъ Р. Зотова, о которыхъ у насъ тотчасъ-же пойдетъ рѣчь.

Главная и существенная особенность заключается въ томъ, что герои романовъ Р. Зотова по отношенію къ женскому полу слѣдуютъ нравственнымъ принципамъ, рѣзко расходящимся съ принципами героевъ прочихъ историческихъ романовъ того времени. Мы уже знакомы съ героями романовъ Пушкина, Загоскина и Лажечникова. Всѣ они отличаются крайне строгимъ цѣломудріемъ, доходящимъ порой до суроваго аскетизма. Какъ только влюбится герой въ первой главѣ романа, и къ тому-же по большей части въ первый разъ въ жизни, такъ и остается вѣренъ предмету страсти до послѣдней страницы, пока авторъ не заблагоразсудитъ наконецъ сочетать своихъ героевъ законнымъ бракомъ послѣ массы всякихъ злоключеній. Строгое отношеніе къ чувству долга и презрѣніе къ чувственности доходятъ иногда у этихъ героевъ до того, что, какъ мы видѣли, Юрій Милославскій, обвѣнчанный уже съ Анастасіей, отталкиваетъ вдругъ ея страстныя объятія и предлагаетъ ей разойтись навсегда и обоимъ избрать иноческую жизнь. Одинъ князь Волынскій измѣняетъ своей супругѣ и допускаетъ себѣ вступить въ незаконную связь съ Маріорицей; но чего это ему стоило, какихъ душевныхъ страданій, какихъ ужасныхъ угрызеній совѣсти: читатель такъ и ждетъ, что земля тотчасъ-же разверзнется подъ преступникомъ, и онъ въ адскомъ пламени провалится въ преисподнюю.

Совершенно иначе устраиваютъ свои сердечныя дѣла герои Р. Зотова. Взглядъ ихъ на половыя отношенія принадлежитъ вполнѣ къ мусульманскому міру, и въ этомъ отношеніи романы Р. Зотова представляютъ весьма любопытную игру природы. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь проявляетъ свое вліяніе законъ наслѣдственности. Потомокъ владѣтельныхъ хановъ, утопавшихъ въ наслажденіяхъ гарема, и сынъ татарина, первыя девять лѣтъ своей жизни проведшаго въ стѣнахъ бахчисарайскаго сераля, Р. Зотовъ до извѣстной степени остался вѣренъ нравственной системѣ своихъ предковъ. Извѣстно, какъ смотритъ на женщину и свои отношенія къ ней мусульманинъ. Съ одной стороны онъ вовсе не отрицаетъ глубокой и страстной любви къ одной женщинѣ. Мы видѣли, что дѣдъ Р. Зотова такъ былъ привязанъ къ своей Заремѣ, что, когда братъ отнялъ ее отъ него, онъ вышелъ изъ своего восточнаго кейфа и устроилъ цѣлый заговоръ противъ брата. Но эта любовь, какъ-бы она ни была сильна и постоянна, нисколько не обязываетъ мусульманина быть вѣрнымъ предмету своей страсти. Онъ дѣлаетъ любимую женщину хозяйкой дома, госпожей гарема, но это не мѣшаетъ ему имѣть десятки

второстепенныхъ женъ подъ ея владычествомъ и притомъ эти второстепенныя жены не всегда служатъ одной только потѣхой чувственности мусульманина; нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ въ свою очередь любитъ—однѣхъ за одни качества, другихъ—за другія.

Герои романовъ Р. Зотова не имѣютъ, правда, гаремовъ, живя среди русской культуры. Но это нисколько не мѣшаетъ имъ держаться по отношенію къ женскому полу совершенно мусульманскаго закона. Таковъ въ особенности герой романа «Послѣдній потомокъ Чингисъ-хана», и это тѣмъ болѣе кстати, что въ романѣ этомъ Р. Зотовъ почти дословно, съ нѣкоторыми лишь украшеніями цвѣтами авторской фантазіи, изобразилъ жизнь своего отца, начиная съ его рожденія отъ прелестной Заремы и до мнимаго исчезновенія въ волнахъ Дуная. Любовные подвиги Михаила Гиреева, какъ именуется герой романа, начинаются тотчасъ-же по пріѣздѣ его въ Псковъ въ качествѣ чиновника особыхъ порученій и затѣмъ капитанъ-исправника. Намъ извѣстно, какъ дорого обошлись Гирееву тѣ легкія побѣды, которыя онъ началъ совершать въ псковскомъ бомондѣ. Тутъ нѣтъ еще ничего спеціально мусульманскаго. Конечно любой, самый чистокровно-русскій поручикъ того времени сталъ-бы дѣлать то же самое и могъ-бы также въ концѣ концовъ влопаться въ женитьбу на крѣпостной. Но ни одинъ русскій романистъ и не сталъ-бы возводить подобнаго поручика въ степень идеальнаго героя. Такъ, мы видимъ, что у Пушкина въ «Капитанской дочкѣ» первостепеннымъ героемъ является цѣломудренный Гриневъ, а не сластолюбивый Швабринъ. Въ то-же время въ побѣдахъ Гиреева мы видимъ не одно сластолюбіе чувственнаго селадона. Гиреевъ идеально и чисто юношески увлекается каждой женщиной, съ которой сходится: и къ Катеринѣ Николаевнѣ Брылкиной онъ чувствуетъ влеченіе, и къ ея младшей сестрицѣ Манѣ, и къ гувернанткѣ француженкѣ Эрнестинѣ, и къ Фискѣ, на которой его заставили жениться. Самый этотъ насильственный бракъ является въ романѣ въ сущности вовсе не насильственнымъ. Губернаторъ предлагаетъ Гирееву избавить его отъ этого брака, услав въ командировку, но Гиреевъ вовсе этого не желаетъ, а стремится непремѣнно жениться на Фискѣ. Когда молодые послѣ свадьбы остаются одни, между ними происходитъ нижеслѣдующій разговоръ. Молодая кинулась мужу въ ноги и, заливаясь слезами, сказала;

— «Прости меня, батюшка Михаилъ Емельяновичъ, что я, несчастная, погубила тебя. Я буду вѣкъ каяться въ этомъ передъ Богомъ и передъ людьми.

— Что ты, милая Анфиса! — вскричалъ Гиреевъ и, поднявъ ее, посадилъ подлѣ себя:— ты ошибаешься. Правда, твоя барыня съ бариномъ насильно хотѣли женить меня, но губернаторъ заступился и велѣлъ мнѣ ѣхать по дѣламъ въ Петербургъ. Онъ велѣлъ мнѣ отправиться еще сегодня поутру, и еслибъ я самъ не хотѣлъ, то, разумѣется, нашей свадьбы не было-бы; но я самъ упросилъ генерала отправить меня завтра поутру, а свадьбу позволить съиграть сегодня. Я самъ желалъ этого, и ты не должна себя ни въ чемъ упрекать.

— Какъ не упрекать! Не крѣпостную-ли дѣвку ты взялъ за себя? Всякая княгиня съ радостью-бы вышла за тебя, моего красавца. Это я все виновата. Да какъ-же мнѣ было противиться тебѣ? Вѣдь ты красивѣе всѣхъ въ городѣ, а можетъ и по всей Руси. Баринъ конечно берегъ меня для себя, да мнѣ онъ былъ противенъ. Вотъ за что онъ и злится на тебя и хотѣлъ погубить.

— Есть, моя милая, поговорка: Богъ поможетъ, свинья не съѣстъ. Другіе добрые люди не дали-бы погубить меня. Они думали наказать меня этой судьбой, а я доказалъ имъ, что могъ-бы легко освободиться отъ нея, но самъ захотѣлъ взять тебя, чтобы вырвать изъ рукъ ихъ. Что мнѣ за дѣло, что ты была крѣпостной. Теперь ты дворянка и будешь конечно доброй и послушной женой.

— Батюшка, Михайло Емельянычъ,—вскричала она;—самая покорная буду раба твоя; хоть въ ухо вдѣнь меня. Ни на волосъ не выступлю изъ твоей воли.

— Я завтра поутру поѣду и можетъ быть съ полгода не вернусь. Отецъ Іосифъ будетъ твоимъ попечителемъ. Ты у него будешь и на хлѣбахъ: я ему впередъ заплатилъ за все. Ты конечно будешь посѣщать церковь, но больше всего старайся учиться грамотѣ у него: я его тоже просилъ объ этомъ, а какъ скоро выучишься, то первое свое письмо напиши ко мнѣ.

— Ахъ! какая это будетъ радость! Да я день и ночь буду учиться. Добрый, милый Михайло Емельянычъ, дай мнѣ расцѣловать твои ручки.

Онъ ее обнялъ и оба пошли провести остальной вечеръ къ священнику - черезъ сѣни.»

Если бы Гиреевъ былъ герой въ духѣ прочихъ историческихъ романовъ, то, казалось-бы, и роману конецъ, послѣ того какъ, добровольно женившись на обольщенной имъ крѣпостной дѣвушкѣ, онъ показалъ намъ и свое рыцарское великодушіе, и презрѣніе къ сословнымъ предразсудкамъ. Между тѣмъ романъ только-что начинается этимъ эпизодомъ. На другой же день послѣ вышеприведенной нѣжной сцены съ женой Гиреевъ отъѣзжаетъ въ Петербургъ, и тамъ, поселяясь въ домѣ Еландиной съ цѣлью вести ея гражданскій процессъ, немедленно же вступаетъ въ любовную связь, какъ съ самой хозяйкой, такъ и съ горничной Наташей, приходившей каждый вечеръ стлать ему постель и раздѣвать барина. Герой пользовался конечно въ этомъ отношеніи тѣмъ выгоднымъ положеніемъ, что, разъ женивши на Фискѣ, его не могли уже женить во второй разъ на Наташѣ. И затѣмъ въ какой только городъ ни пріѣзжаетъ онъ, куда ни кидаетъ его судьба, вездѣ является къ его услугамъ новый предметъ нѣжной страсти. Такъ, пока онъ пребывалъ въ Парижѣ въ качествѣ шпіона прусскаго короля и здѣсь рѣшалъ судьбы Европы, за панибрата обходясь и съ Фуше, и съ Талейраномъ, и съ самимъ Наполеономъ, онъ успѣлъ сблизиться съ легитимисткой, графиней Лораге, и двумя актрисами Жоржъ и Филисъ. Далѣе затѣмъ, примкнувъ къ русской арміи и получивъ отъ Венингсена мѣсто генералъ-провіантмейстера, онъ воспылалъ неудержимой страстью къ нѣкоей Естеръ, дочери еврейскаго негоціанта изъ Молдавіи,—Братіано, который помогалъ ему продовольствовать русскую армію. Оказалось, что эта новая страсть была самой роковой и послѣднею страстью его. Естеръ была даже своей наружностью, какъ двѣ капли воды, похожа на Гиреева, такъ что въ книгѣ судебъ они были предназначены другъ для друга отъ рожденія. Эта-то страсть и побудила Гиреева бѣжать въ Турцію, устроивши мнимое потопленіе свое въ Дунаѣ. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ это сдѣ-

лать, роковая и предопредѣленная страсть нисколько не помѣшала ему заѣхать на возвратномъ пути изъ-за границы къ своей законной супругѣ, съ радостью увидать, что она превосходно занимается хозяйствомъ, что дѣти его подросли и съ успѣхомъ обучаются наукамъ, и какъ ни мимолетно было его пребываніе въ тихой пристани законной семьи, результатомъ этого пребыванія было то, что жена его, Анфиса, родила дочь Ольгу, такъ что еслибы не существовалъ въ Россіи законъ, карающій двоеженство, то что мѣшало бы Гирееву наслаждаться семейнымъ счастіемъ попеременно: одинъ годъ въ Псковской губерніи въ объятіяхъ Анфисы, а другой—гдѣ нибудь въ Одессѣ у ногъ прелестной Эстеръ?

Читатель можетъ возразить мнѣ, что женолюбіе Гиреева и широта сердца его, способнаго вмѣщать въ себя разомъ нѣсколько привязанностей, вовсе не составляетъ субъективной особенности таланта Р. Зотова: послѣдній могъ отлично понимать, что въ лицѣ Гиреева онъ изображаетъ татарина, только-что обрусѣвшаго, и къ тому же принятъ въ разсчетъ всеобщую распущенность нравовъ конца XVIII и начала XIX столѣтій, такъ что авторъ, изображая многочисленныя любовныя связи своего героя, былъ какъ нельзя болѣе объективенъ и реаленъ; что же ему было дѣлать, если отецъ его, жизнь котораго онъ изобразилъ, былъ именно такимъ, какимъ онъ является передъ нами въ романѣ?

Но вотъ возьмемъ мы первый историческій романъ Р. Зотова «Леонидъ». Въ немъ въ лицѣ главнаго героя романа мы видимъ уже не татарина, а чистокровнаго русскаго: Леонидъ происходилъ изъ однодворцевъ, и отецъ его былъ управляющимъ у богатаго помѣщика Силина. Помѣщикъ воспиталъ Леонида вмѣстѣ со своимъ сыномъ Евгеніемъ и далъ ему возможность кончить курсъ въ московскомъ университетѣ. Леонидъ, въ качествѣ героя романа, былъ надѣленъ авторомъ конечно уже всѣми возможными добродѣтелями: онъ былъ и великодушенъ, и отчаянно храбръ, и уменъ, аки змій, и находчивъ. Одинъ только недостатокъ у него былъ: чрезмѣрная вспыльчивость, навлекшая ему бездну непріятностей и вслѣдствіе которой онъ не разъ былъ на краю гибели. Что же касается отношеній Леонида къ женщинамъ, то широта сердца его нисколько не уступала Гирееву. Въ первомъ томѣ романа онъ страстно влюбился въ дочь Силина, Наташу, которая отвѣчала ему полной взаимностью, и такъ какъ Силинъ и слышать не хотѣлъ, чтобы она вышла замужъ за бѣднаго и темнаго однодворца, а прочилъ ее за генерала Сельмара, полкового командира Евгенія и Леонида, то молодые люди рѣшились при помощи Евгенія обвѣнчаться тайно, что и исполнили къ концу перваго тома.

Затѣмъ во второмъ томѣ начинаются военныя похожденія героя въ кампанію 1805 года. Онъ оказываетъ конечно чудеса храбрости, чуть не беретъ въ плѣнъ Наполеона и дѣлается лично извѣстнымъ какъ послѣднему, такъ и императору Александру, но излишняя запальчивость губитъ его карьеру: онъ убиваетъ своего ближайшаго начальника, штабсъ-капитана Стрѣльскаго, человѣка безъ всякихъ нравственныхъ правилъ и пылавшаго непримиримою ненавистью къ Леониду за то, что тотъ помѣшалъ нѣкогда ему обыграть Евгенія въ карты. Убійство совершилось въ то время, когда Леонидъ стоялъ въ цѣпи; по военнымъ законамъ онъ подлежалъ за это преступленіе смертной казни, и ему оставалось только спасаться бѣгствомъ изъ Россіи.

Надо замѣтить, что какъ разъ передъ этимъ онъ успѣлъ уже въ первый разъ измѣнить своей супругѣ, сойдясь съ нѣкоей графиней Авророй Б., богатой польской помѣщицей, какой-то таинственной политической авантюристкой, которая сразу ухитрялась быть наполеоновскимъ агентомъ въ русской арміи и русскимъ агентомъ во французской, а сама втайнѣ преслѣдовала легитимистскіе замыслы, имѣвшіе конечной цѣлью погубить Наполеона и возстановить въ Европѣ дореволюціонные порядки. Плѣнившись красотой и доблестями Леонида, она употребила всѣ чары своего кокетства, чтобы прельстить его; когда же это ей удалось, Леонидъ въ первую минуту былъ въ отчаяніи.

«— Милосердый Боже, что я сдѣлалъ! —вскричалъ онъ:—Я погибъ! Преступленіе мое можетъ загладиться только одной смертію.

— Нѣтъ, Леонидъ, сказала графиня по нѣкоторомъ молчаніи, стыдливо закрывъ глаза рукой:—я болѣе васъ виновна. Я искала вашего сердца; вы мнѣ противились, и неожиданно оба мы пали. Но, повѣрьте мнѣ, во всякомъ паденіи всегда болѣе виновна женщина

— Ахъ, нѣтъ, графиня! Преступленіе мое ужасно невыразимо. Вы не знаете еще моей тайны, которую я такъ безумно до сихъ поръ скрывалъ отъ васъ. Проступокъ мой, мое несчастіе не имѣютъ границъ.

Графиня сдѣлалась вдругъ внимательнѣй къ словамъ Леонида, потому что сначала думала видѣть въ рѣчахъ его обыкновенный эпилогъ мнимаго раскаянія любовниковъ.

— Какая-же это тайна, которая увеличиваетъ ваше преступленіе?—спросила она его съ видимымъ безпокойствомъ.

— Я... женатъ!

При этомъ словѣ пронзительный вопль вырвался изъ груди графини; нѣсколько секундъ взоры ея дико и неподвижно были устремлены на Леонида, потомъ съ тихимъ, продолжительнымъ стономъ закрылись, и она безъ чувствъ опрокинулась на подушки софы. Леонидъ бросился помогать ей, привелъ ее въ чувство, осыпалъ руки ея нѣжнѣйшими поцѣлуями и умолялъ о прощеніи. Долго она, открывъ глаза, въ нѣмой безчувственности, смотрѣла на него, какъ-бы не понимая его словъ. Наконецъ съ какимъ-то ужасомъ она оттолкнула его, сказавъ вполголоса: «Оставьте меня, оставьте ради Бога!» —Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и съ поникшей головой пошелъ Леонидъ въ свою комнату. Здѣсь бросился онъ съ изступленіемъ на кровать и ручьи слезъ горькаго раскаянія нѣсколько облегчили его грудь. Нѣсколько времени пролежалъ онъ въ мучительномъ семъ положеніи; наконецъ сонъ одолѣлъ изнуренныя его силы; но и тутъ безпокойныя, каратель-ныя мечтанія терзали его душу.»

Все это нисколько не мѣшало Леониду тотчасъ же послѣ убійства Стрѣльскаго и побѣга обратиться къ покровительству графини, и она взялась быть ангеломъ-хранителемъ его; повела его прямо къ Наполеону, и тотъ послалъ его въ Вѣну подъ фамиліей барона Лилiенберга наблюдать и доносить ему, что дѣлается въ вѣнскихъ политическихъ кружкахъ.

И вотъ Леонидъ очутился въ Вѣнѣ въ качествѣ французскаго шпіона подъ личиной инаго баварскаго барона. Здѣсь онъ снова началъ оказывать чудеса храбрости, дипломатической тонкости, предусмотрительности, находчивости и прочихъ доблестей, впутываясь въ сѣти тайныхъ политическихъ и мистическихъ обществъ, которыми была въ то время полна Европа. Между тѣмъ великодушная графиня, не смотря на всю свою любовь къ Леониду, рѣшилась выписать изъ Россіи и доставить ему жену его, Наташу. Она поѣхала къ Силину, который послѣ смертнаго приговора надъ Леонидомъ и бѣгства его снова требовалъ, чтобы Наташа вышла замужъ за Сельмара. Графиня явилась къ старику, изобличила Сельмара въ томъ, что онъ дѣлалъ и ей тоже предложеніе, и требовала, чтобы онъ сдержалъ обѣщаніе. Видя себя между двухъ невѣстъ, Сельмаръ предложилъ ѣхать всѣмъ троимъ, т. е. Наташѣ, графинѣ и ему, въ Вѣну къ Леониду, и если Наташа удостовѣрится въ невѣрности Леонида, то должна будетъ выйти замужъ за Сельмара, въ противномъ случаѣ останется у своего мужа, Сельмаръ-же женится на графинѣ. Сельмаръ разсчитывалъ на то, что Леонидъ возобновитъ свою связь съ графиней, а онъ подстережетъ ихъ и выдастъ Наташѣ; но оказалось вдругъ, что не для чего ему и придумывать подобную западню. Когда они пріѣхали въ Вѣну и явились къ Леониду, они застали его какъ разъ въ пламенныхъ объятіяхъ съ нѣкоей актрисой Розаліей, съ которой Леонидъ успѣлъ сойтись, ведя свою политическую игру. Произошла невообразимая сцена. «Съ полураскрытымъ ртомъ, съ выпученными и кровью налитыми глазами, съ протянутыми впередъ руками стоялъ Леонидъ, какъ истуканъ, и съ безчувственной неподвижностью смотрѣлъ на лица, коихъ внезапнаго появленія не постигалъ. Наташа первая начала говорить.

— Вотъ достойная награда за то, что я ему всѣмъ пожертвовала: дружбой отца, мнѣніемъ свѣта, счастьемъ жизни! Несчастный! Какъ глубоко ты упалъ! Но я не хочу увеличивать твоихъ мученій безполезными упреками. Ты зналъ, какъ я тебя любила,—узнай же теперь, какъ я умѣю и мстить. Карлъ Андреевичъ! Вы искали руки моей. Вотъ она. Мы сегодня же обвѣнчаемся!—Съ этимъ словомъ подала она руку Сельмару, который съ лукаво торжествующимъ видомъ поклонился Леониду и вышелъ съ Наташей. Графиня осталась.»

Да, графиня осталась. Она повидимому не особенно была огорчена невѣрностью Леонида разомъ двумъ своимъ возлюбленнымъ и вскорѣ заключила съ нимъ брачныя узы. Такимъ образомъ Леонидъ, подобно Гирееву, сдѣлался двоеженцемъ, и, что замѣчательно, онъ питалъ въ душѣ своей нѣжность къ обѣимъ супругамъ: глубоко скорбѣлъ объ утратѣ Наташи и обожалъ графиню, которая до самой смерти своей продолжала быть ангеломъ-хранителемъ его. Послѣ смерти графини и цѣлаго ряда новыхъ приключеній, причемъ Леонидъ попрежнему то оказывалъ чудеса храбрости, то былъ на волоскѣ отъ гибели,—онъ былъ не только прощенъ, но удостоенъ особенныхъ знаковъ высочайшаго благоволенія. Евгеній помирилъ его съ Наташей, и бракъ ихъ, по обоюдной просьбѣ, снова былъ признанъ дѣйствительнымъ.

Что касается романа Зотова «Таинственный монахъ», то хотя герой его Гриша далеко не является такимъ отчаяннымъ сердцѣдомъ, какъ Гиреевъ и Леонидъ, но и у него вы находите въ нѣкоторой степени подобные же задатки любвеобильнаго сердца. Впрочемъ если въ романѣ этомъ вы не найдете полигаміи, зато есть поліандрія, такъ какъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ является двумужницей. Содержаніе романа заключается въ слѣдующемъ.

Впродолженіи всего романа на первомъ планѣ рисуется передъ нами нѣкій таинственный монахъ Іона, человѣкъ весьма жестокосердый, совершающій въ каждой части романа какія-нибудь смертоубійства, причемъ всѣ стремленія его черной души направлены къ тому, чтобы извести царя Петра, и въ этомъ отношеніи онъ мало того, что является главнымъ геніемъ романической интриги и держитъ въ своихъ рукахъ всѣ нити сюжета, но оказывается, что и всѣ историческія событія первой половины царствованія Петра, начиная съ стрѣлецкихъ бунтовъ и кончая изгнаніемъ Мазепы, совершились по иниціативѣ этого самаго Іоны, имъ были изыщлены и направлены. Читатель конечно интересуется знать, что же это за таинственное лицо, игравшее столь важную и существенную роль въ россійской исторіи. Но авторъ тщательно скрываетъ это, съ каждой страницей все болѣе и болѣе заинтриговывая читателя, и лишь въ самомъ концѣ романа снимаетъ наконецъ маску съ своего героя и объявляетъ намъ настоящее его имя. Что касается до меня, то я не желаю долго мучить своихъ читателей, а прямо заявляю, что сей таинственный монахъ былъ не кто иной, какъ малороссійскій гетманъ Василій Дорошенко. Сверженный съ своего гетманства при Алексѣѣ Михайловичѣ, онъ скрылся бѣгствомъ изъ Сосницы, и между тѣмъ какъ всѣ считали его умершимъ, онъ, подъ личиною монаха Іоны, тайно управлялъ всѣми событіями того времени. «Отецъ твой лишилъ меня гетманства,—говоритъ онъ Петру:—ты ли, другой ли бы царствовалъ на русскомъ престолѣ,—вы всѣ были моими врагами. Я думалъ, истребя васъ, сдѣлать Малороссію независимой,—и вотъ цѣль моихъ преступленій».

Но не одного гетманства былъ лишенъ Василій Дорошенко. Не задолго передъ своимъ бѣгствомъ онъ тайно обвѣнчался съ дочерью Мазепы, Еленой, и имѣлъ уже отъ нея сына Григорія. Елена, которую неизвѣстно почему-то Хованскій въ первой главѣ называетъ Наташей, была схвачена стрѣльцами во время взятія Чигирина и бѣгства своего мужа, и Хованскій распорядился съ ней, какъ съ военной добычей. Но когда узналъ, что она—дочь Мазепы, онъ посватался за нее у отца ея и женился на ней законнымъ бракомъ, и такимъ образомъ Елена Хованская сдѣлалась двумужницей.

Между тѣмъ Дорошенко воспиталъ сына своего Григорія подъ сѣнью Воскресенскаго монастыря, и затѣмъ, когда мальчику было семь лѣтъ, подкинулъ его къ князю Хованскому. Почти одновременно подкинутъ былъ къ князю Хованскому и другой мальчикъ изъ того же монастыря, Александръ, совершенно неиз-

вѣстнаго происхожденія, и тайна этого происхожденія такъ и осталась неразрѣшенной до самаго конца романа. Григорій превратился потомъ въ главнаго героя романа, а изъ товарища его Александра вышелъ знаменитый Александръ Даниловичъ Меншиковъ.— Вы можетъ быть и не подозрѣвали, что Меншиковъ былъ воспитанникомъ князя Хованскаго,—такъ вотъ вамъ историческій фактъ, открытый или, лучше сказать, изобрѣтенный Р. Зотовымъ.— Выросши вмѣстѣ, подъ нѣжными попеченіями княгини Хованской, Григорій и Александръ подружились, и послѣ казни князя Хованскаго каждый пошелъ своей дорогой. Александръ сдѣлался пирожникомъ, чтобъ превратиться потомъ въ потѣшнаго и сдѣлаться деньщикомъ и любимцемъ царя, а Григорій былъ опредѣленъ кн. Хованскимъ въ стрѣльцы, когда ему не было еще и 15 лѣтъ. Потомъ онъ оказалъ чудеса храбрости, защищая своего благодѣтеля кн. Хованскаго отъ царской стражи, напавшей на князя съ цѣлью арестовать его, былъ раненъ и затѣмъ послѣ казни кн. Хованскаго, оставаясь въ стрѣльцахъ, подпалъ подъ руководство монаха Іоны, въ которомъ онъ и не подозрѣвалъ еще отца, называя его дядей. Но тщетно отецъ Іона старался направить Григорія по стопамъ своимъ и сдѣлать его своимъ сподвижникомъ во всѣхъ крамолахъ и смутахъ, какія онъ замышлялъ противъ Петра.— Григорій оказался отъ самой колыбели преисполненъ самыхъ вѣрноподданническихъ чувствъ, и отецъ, и сынъ сдѣлались Ормуздомъ и Ариманомъ романа. Каждый разъ, когда Іона былъ близокъ уже къ осуществленію своего мщенія, вѣрный престолу и отечеству сынъ его отводилъ преступную руку отца и спасалъ царя. Такъ, когда послѣ казни Хованскаго стрѣльцы ворвались въ Сергіево-Троицкую лавру, оказалось, что ихъ возбудилъ къ тому все тотъ же монахъ Іона, и вотъ мы читаемъ въ романѣ слѣдующую сцену:

«Съ небольшой толпой не отставшихъ отъ него стрѣльцовъ и Гришей устремился монахъ въ главную церковь и, найдя главныя двери запертыми, пошелъ отыскивать другія, ведущія въ алтарь. Вскорѣ отыскалъ онъ ихъ. Однимъ ударомъ сорвалъ съ петель и вошелъ во внутренность церкви. Товарищи его бросились къ образамъ на святотатственный грабежъ, а монахъ очутился одинъ съ Гришей. Въ эту минуту раздался на главной колокольнѣ звонъ большого колокола Монахъ остановился. Лицо его сдѣлалось мрачнѣе обыкновеннаго.

— Это набатъ! они зовутъ на помощь,—сказалъ онъ сквозь зубы,—но авось не поспѣютъ; а если... но, все равно! тѣмъ лучше:—больше рѣзни, истребленія.—Послѣ этихъ словъ бросился онъ впередъ. Пройдя алтарь сѣвернаго придѣла церкви, вступилъ онъ въ главный и во впадинѣ за жертвенникомъ увидѣлъ вдругъ женщину, уже довольно пожилыхъ лѣтъ, на лицѣ которой, при взглядѣ на ужасное лицо монаха, изобразилось странное смѣшеніе страха, твердости и величія. Подлѣ нея еще далѣе въ углу, стоялъ юноша стройнаго стана, лѣтъ около 13-ти, съ черными вьющимися волосами, съ пріятной и гордой наружностью, блистающими взорами и поблѣднѣвшимъ лицомъ. Съ изумленіемъ обратились глаза Гриши на эту чету, а потомъ на своего дядю,—и сколь ни привыкъ уже онъ впродолженіи сегодняшнихъ ужасовъ видѣть грозное выраженіе лица его,—но теперь онъ затрепеталъ, глядя на пламя, изливающееся изъ очей его, на дрожащія уста его, хотѣвшія улыбнуться, и на руки его, схватившіяся за ножъ, торчащій за поясомъ. «Царица Наталья! Царь Петръ!» глухо вскричалъ онъ: «вы здѣсь!» — и быстрыми шагами подошелъ къ жертвеннику.

— Что ты хочешь сдѣлать, дядя?—съ робкой рѣшимостью спросилъ онъ его:—онъ царь, помазанникъ Божій,—а здѣсь алтарь!—Звѣрски посмотрѣлъ монахъ на Гришу, поднялъ руку съ ножемъ, но Гриша имѣлъ довольно силы, чтобы удержать его.— «Нѣтъ, я не допущу!—вскричалъ онъ.—Не здѣсь, не у алтаря» .. Въ эту минуту и старица опомнилась: съ силой изступленія бросилась на монаха и повисла на рукѣ, держащей ножъ. Юный Петръ все это время молчалъ.

Невольно опустилъ монахъ руку, свирѣпымъ взоромъ окинулъ всѣхъ троихъ, покачалъ головой съ видомъ мрачнаго презрѣнія и, схватя другой рукой Гришу, съ силой повернулъ его на другую сторону.

— И ты, дерзкій мальчишка,—сказалъ онъ ему съ видомъ, выражавшимъ болѣе сожалѣніе, чѣмъ гнѣвъ,—и ты удержалъ меня отъ удара мести! Пойдемъ, я слышу шумъ.—Съ этимъ словомъ потащилъ онъ Гришу изъ алтаря, бросивъ еще одинъ злобный взглядъ назадъ.»

Разбирая «Послѣдняго Новика» Лажечникова, мы видѣли, что покушеніе на Петра въ алтарѣ Троицкой лавры совершаетъ племянникъ царя, сынъ Софьи отъ князя Голицына, а здѣсь тѣмъ-же самымъ покусителемъ является Василій Дорошенко, спасителемъ-же внукъ Мазепы, Григорій. Въ обоихъ случаяхъ намъ только и остается, что удивляться той смѣлости, съ какой наши Вальтеръ Скотты распоряжались историческими фактами!

У Петра тогда-же врѣзалась въ памяти физіономія своего спасителя. Между тѣмъ заговоры и тайныя совѣщанія у царевны Софіи продолжались. Іона стоялъ попрежнему во главѣ и водилъ на всѣ совѣщанія и ночныя экспедиціи сына своего Григорія. Съ радостнымъ сердцемъ возвращался Григорій всякій разъ домой, видя безуспѣшность покушеній. Наконецъ на 9-е августа было предположено ночное нападеніе стрѣльцовъ на село Преображенское, гдѣ жилъ Петръ со своей матерью,—послѣдняя мѣра и самая грозная. Сердце Григорія стѣснилось, и невѣдомая тоска овладѣла душой его. Какъ разъ въ это время Григорій встрѣтился съ своимъ товарищемъ дѣтства Сашею и разсказалъ ему, какая опасность угрожаетъ царю; Саша передалъ это Лефорту, у котораго былъ слугой въ это время, а Лефортъ предупредилъ царя, и Петръ могъ такимъ образомъ заблаговременно спастись изъ села Преображенскаго въ Сергіево-Троицкую лавру.

«— Скажи-же ты мнѣ теперь, Гриша,—укорялъ его Іона,—что ты думалъ сдѣлать хорошаго, открывъ ничтожному мальчишкѣ тайну твоихъ друзей, начальниковъ и дяди и предавъ ихъ всѣхъ въ руки палача?

— Я думалъ.—запинаясь, отвѣчалъ Гриша,—что ты и я не только будемъ черезъ это спасены, но еще получимъ награду отъ царя за спасеніе его отъ убійцъ. Вѣдь онъ царь, онъ помазанникъ Божій... и, участвуя въ заговорѣ противъ него, я не только гублю себя въ этой жизни, но и въ будущей.

Мрачно опустилъ Іона голову и долго не отвѣчалъ Гришѣ ни слова; наконецъ схватилъ его за руку и спросилъ: а еслибы спасенные тобой были личными врагами твоими, которые отняли-бы у те-

бя семейство, имущество, славное имя и даже родину,—что-бы ты сказалъ?

Гриша съ минуту задумался, но потомъ съ яснымъ взоромъ отвѣчалъ: онъ—царь, онъ- земной Богъ, и за дѣла его будетъ судить Небесный Царь; насъ-же учитъ Священное Писаніе...

— Довольно: теперь пора идти,—сказалъ съ нетерпѣніемъ Іона и повелъ Гришу за собой по улицѣ. Такимъ образомъ и спасеніемъ своимъ отъ покушенія Щегловитаго Петръ былъ обязанъ все тому-же внуку Мазепы и сыну Дорошенки—Григорію. Когда Григорій предсталъ передъ царя для допроса, Петръ тотчасъ-же узналъ въ немъ прежняго своего спасителя, а когда удостовѣрился изъ слѣдствія, что Григорій вторично спасъ его, щедро наградилъ его, велѣлъ записать въ боярскія дѣти, далъ ему имя Григорія Усердова и отправилъ его въ стрѣлецкій полкъ, стоявшій на Литовской границѣ.»

Далѣе затѣмъ Ариманъ на время восторжествовалъ, такъ какъ Іонѣ удалось побудить стрѣлецкій полкъ, стоявшій на Литовской границѣ, пользуясь путешествіемъ Петра заграницей, ринуться къ Москвѣ и по дорогѣ разграбить Преображенскій монастырь, причемъ въ этотъ бунтъ былъ вовлеченъ и Григорій, вообразившій, что Петра уже нѣтъ и стрѣльцы идутъ къ Москвѣ съ единственной цѣлью возстановить порядокъ и освободить Россію отъ нѣмцевъ. Дошло дѣло до того, что Григорій вмѣстѣ съ товарищами былъ присужденъ къ смертной казни, и мы лишились-бы преждевременно героя романа, еслибы Іона не спасъ его изъ темницы.

Въ той-же части Григорій окончательно уже вступаетъ на путь благонамѣренности: онъ оказываетъ Петру важную военную услугу; тотъ его прощаетъ при содѣйствіи князя Меншикова и принимаетъ въ свою гвардію. И ужъ послѣ этого тщетно старикъ Іона старается увлечь сына подъ мятежныя знамена Мазепы.—«Нѣтъ, Боже сохрани меня, батюшка!—восклицаетъ Григорій:—ни за какую цѣну въ свѣтѣ не хочу быть участникомъ въ судьбѣ измѣнника Мазепы. Не знаю вполнѣ твоихъ причинъ къ ненависти и мщенію, но ты ничѣмъ лично не былъ обязанъ царю, и я только сожалѣю, что ты отвергаешь его милосердіе. Но Мазепа 20 лѣтъ былъ безпрерывно имъ облагодѣтельствованъ, и его предательство гнусно, постыдно! Въ успѣхѣ и неудачѣ имя его равно заслужитъ вѣчное проклятіе».

Въ заключеніе-же Григорій объявляетъ отцу: «Ты мнѣ къ несчастію открылъ обстоятельство, которое долгъ чести и присяги не позволяютъ мнѣ скрыть. Я долженъ буду донести царю объ измѣнѣ Мазепы. Скрою отъ него только то, что ты участникъ въ этомъ возмущеніи».

Старикъ отвѣчалъ ему на это: «Дѣлай, что Богъ и совѣсть тебѣ приказываютъ. Кто знаетъ, къ чему все это приведетъ насъ: Мазепа все еще колеблется, боится. Узнавъ-же, что царю открыта его измѣна, онъ долженъ будетъ сбросить личину и дѣйствовать рѣшительно. Судьба наша скорѣе тогда кончится. Прощай-же, другъ мой! Прощай, до свиданія»...

И Григорій летитъ съ быстротой молніи донести Петру объ измѣнѣ Мазепы. Его не пускаютъ, такъ какъ была ночь и Петръ спалъ крѣпкимъ сномъ; но онъ объявляетъ, что отъ минуты промедленія зависитъ можетъ быть участь всей войны и государства, и рѣшается самъ разбудить Петра, постучавшись въ его дверь, не смотря на опасность разгнѣвать царя. Узнавъ объ измѣнѣ Мазепы, Петръ сейчасъ-же созываетъ военный совѣтъ, и на другой-же день Меншиковъ съ сильнымъ отрядомъ уже быстро шелъ къ Батурину.

Такимъ образомъ оказывается, что и полтавской побѣдой, и самой судьбой россійскаго государства Петръ обязанъ былъ все тому-же ревностному Григорію, который успѣлъ во-время донести на своего дѣда, Мазепу. Внукъ Мазепы и сынъ В. Дорошенко, спасающій Россію,—вотъ какъ удивительно и неостижимо складываются историческія событія въ романѣ Р. Зотова и какова фантазія у нашего романиста! Понятно, что за всѣ подобные подвиги героя не только самъ онъ былъ возвышенъ и осыпанъ царскими милостями, но и мятежный отецъ его былъ навсегда прощенъ царемъ:—«Я однажды далъ слово,—сказалъ Петръ, когда Іона открылъ ему, кто онъ такой:—и не беру его назадъ. Дорошенко былъ знаменитый человѣкъ,—и я его почитаю; но онъ умеръ, и дѣла его пусть судитъ Богъ. Таинственный монахъ Іона бунтовалъ и злодѣйствовалъ противъ меня,—и въ великій день полтавской побѣды я простилъ его, желая, чтобы искреннимъ раскаяніемъ онъ также-бы заслужилъ себѣ небесное прощеніе. Сынъ Дорошенки честный и хорошій воинъ,—и я радъ буду воздать ему за преданность ко мнѣ. Теперь дѣло кончено. Живи съ сыномъ и супругой, которую тебѣ храбрый-же твой сынъ спасъ, въ тишинѣ и безвѣстности, и во всемъ мірѣ я одинъ буду знать, что отецъ Григорія еще живъ».

Но всѣ эти ратные и государственные подвиги нисколько не мѣшали герою не давать маху и по сердечной части. Такъ, уже въ концѣ первой части онъ спасъ отъ неистовствъ разъяренныхъ стрѣльцовъ князя Трубецкого и дочь его Машу и тогда-же воспылалъ къ ней пылкой страстью, а она—къ нему, какъ къ своему спасителю. Но князья Трубецкіе были слишкомъ высоки для безроднаго стрѣльца, и онъ, затаивъ въ душѣ свою страсть, въ то время какъ полкъ его стоялъ на Литовской границѣ, отъ скуки занялся любовью съ Великолуцкой вдовой Груней, и очень нѣжно они другъ друга полюбили. Пять лѣтъ уже наслаждались они любовью, какъ вдругъ стрѣлецкій полкъ взбунтовался, и Григорій долженъ былъ идти съ отцомъ и товарищами къ Москвѣ. Григорію очень грустно было разставаться съ Груней, хотя въ то-же время привлекала его и перспектива обѣщанной отцомъ его возможности снискать Машу Трубецкую; но отецъ-Іона очень легко и просто избавилъ сына отъ унижающей его высокое происхожденіе связи съ Груней: онъ взялъ да и пристрѣлилъ послѣднюю изъ ружья съ такимъ-же невозмутимымъ хладнокровіемъ, съ какимъ убиваютъ бѣшенаго пса или тончутъ таракана. Онъ взошелъ къ ней въ свѣтелку, когда она набожно молилась, разставаясь мысленно съ своимъ милымъ. «Спокойнымъ окомъ,—читаемъ мы въ романѣ,—слѣдуя за всѣми движеніями молящейся, грозный старикъ неприметно приложился, и въ то мгновеніе, какъ Груня въ набожномъ своемъ восторгѣ, казалось, совершенно отдѣлилась отъ земли,—роковой

курокъ спустился и, прежде чѣмъ раздался вѣрный выстрѣлъ,— ея уже не стало. Все тѣло ея вздрогнуло, нѣсколько зашаталось и съ едва внятнымъ стономъ она упала къ подножію кіота. Бросивъ на безжизненную страдалицу взглядъ глубокаго состраданія, убійца медленно вышелъ на лѣстницу. Нѣсколько стрѣльцовъ, услыша выстрѣлъ, бросились было наверхъ, но, встрѣтивъ мрачный и кровью налившійся взоръ Іоны, они остановились и съ недоумѣніемъ на него смотрѣли.—«Чего вамъ надобно? Ступайте на мѣста!»—грознымъ голосомъ закричалъ онъ имъ.— Одинъ изъ стрѣльцовъ сквозь зубы проворчалъ ему о выстрѣлѣ.—«Такъ вамъ что за дѣло?—возразилъ онъ:—развѣ вы здѣсь надсмотрщики или судьи? Заботься всякій о самомъ себѣ и береги свою голову. Ступайте-но мѣстамъ! Мы тотчасъ выступаемъ».— Безмолвно повиновались стрѣльцы, а Іона вышелъ на улицу и, поворотя къ заставѣ, медленно пошелъ на общее сборное мѣсто».

Признаться сказать, омерзительнѣе этой сцены трудно найти во всей нашей литературѣ. Положимъ, что нравы въ тѣ времена были грубые и жестокіе, но и при всей грубости и жестокости нравовъ русскіе люди и тогда были слишкомъ добродушный народъ, чтобы быть способными на подобную, совершенно татарскую расправу. Убійство Груни мотивируется правда тѣмъ, что Григорій имѣлъ неосторожность передать ей о походѣ стрѣльцовъ на Москву. Но вѣдь стрѣльцы не тайкомъ, а открыто, въ виду всего города, отправлялись въ свой мятежный походъ, и почему-же одна Груня должна была смертью своей искупить откровенность своего милаго? Хорошъ былъ и милый, на котораго это звѣрское убійство отца его не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія; точно какъ будто отецъ ничего болѣе не сдѣлалъ, какъ лишь избавилъ его отъ мѣшавшей ему въ пути хромой лошади, и всѣ мысли юноши вновь устремились къ Машѣ Трубецкой.

Затѣмъ когда Григорій окончательно былъ прощенъ Петромъ и сдѣлался гвардейцемъ, Маша Трубецкая оказалась уже вышедшей замужъ за товарища Григорія, Коричина. Вы подумайте только, что̀ послѣ этого сдѣлалось-бы съ любимъ героемъ Загоскина,—Юріемъ Милославскимъ или Рославлевымъ? Они навѣрное пришли-бы въ полное отчаяніе и устремились-бы въ самый опасный пунктъ битвы, чтобы умереть отъ непріятельскихъ пуль, или бросили-бы всѣ земныя дѣла и удалились въ монастырь. Григорій-же ни мало не палъ духомъ; онъ ловко воспользовался тѣмъ, что товарищъ его и соперникъ Коричинъ былъ весьма преданъ спиртнымъ напиткамъ, и, не смотря на всѣ увѣщанія, на весь ужасъ благочестиваго пастора Глюка (воспитателя Екатерины I), вполнѣ свободно занялся съ своей возлюбленной Машей адюльтеромъ. Тутъ уже вслѣдъ за благочестивымъ Глюкомъ и самъ авторъ разразился цѣлымъ потокомъ нравственныхъ сентенцій на ту тему, что человѣкъ рожденъ добрымъ, чистымъ, невиннымъ, но страсти постепенно и почти противъ воли увлекаютъ его въ проступки и что, «совершивши однажды проступокъ, только въ первыя минуты возвращается первобытное, никогда вполнѣ не заглушаемое чувство добра и невинности, но уже поздно,—и съ удовлетворенной, но уже ослабѣвшей страстью человѣкъ продолжаетъ идти по стезѣ заблужденія, потому что воротиться уже нельзя». И на томъ основаніи, что воротиться было уже нельзя, автору только и оставалось сдѣлать, что убить во время Полтавской битвы Коричина и прикрыть грѣхъ своихъ героевъ, соединивъ ихъ законнымъ бракомъ.

Что касается историческаго элемента романовъ Р. Зотова, то въ романахъ «Леонидъ» и «Послѣдній потомокъ» вы находите у него нѣсколько болѣе основательное знаніе исторіи, чѣмъ у Загоскина; видно, что онъ хорошо изучилъ эпоху наполеоновскихъ войнъ со всѣми дипломатическими сношеніями того времени, тайными обществами, политическими броженіями, военными дѣйствіями и пр. Онъ даже видимо щеголяетъ своей эрудиціей; но это лишь относительно начала нынѣшняго столѣтія, что-же касается до романа «Таинственный монахъ», то здѣсь мы видимъ не менѣе поверхностное и скудное знаніе эпохи Петра, чѣмъ у всѣхъ прочихъ историческихъ романистовъ того времени. Романистъ выѣзжаетъ на однихъ лишь самыхъ крупныхъ и общеизвѣстныхъ фактахъ, и тщетно вы будете искать у него колорита эпохи, духа партій, мелкихъ и тонкихъ чертъ быта и нравовъ— все это грубо, аляповато и лубочно до послѣдней степени: стрѣльцы всѣ подрядъ какія-то кровожадныя чудовища; царь Петръ и его сподвижники сіяютъ однимъ сплошнымъ лучезарнымъ блескомъ.

Выше мы видѣли, что Лажечниковъ ввелъ вредный обычай изобрѣтать силой своей фантазіи историческіе факты. Р. Зотовъ не только пошелъ по стопамъ Лажечникова въ этомъ отношеніи, но значительно превзошелъ его. Онъ не ограничивался уже тѣмъ, что изобрѣталъ мнимыхъ сыновей и внуковъ различныхъ историческихъ личностей, но заставлялъ своихъ героевъ ворочать судьбами Россіи и Европы, управлять всѣми историческими событіями. Такъ, мы видѣли, что не будь Григорія, трижды спасшаго Петра, то Петръ или погибъ-бы еще мальчикомъ, или юношей былъ-бы убитъ въ селѣ Преображенскомъ, или проигралъ-бы войну со шведами,—и во всѣхъ трехъ случаяхъ Россія была обязана Григорію, что Петръ благополучно царствовалъ до 1725 года, успѣлъ и Петербургъ основать, и Россію вдвинуть въ систему европейскихъ государствъ. Точно такими-же устроителями историческихъ судебъ являются и прочіе герои романовъ Р. Зотова. Разница только та, что имъ не приходилось спасать императора Александра I, такъ какъ онъ не подвергался впродолженіи своей жизни никакимъ опасностямъ; но зато они ежеминутно спасали всѣхъ прочихъ европейскихъ вѣнценосцевъ, питая ко всѣмъ имъ безразлично одинаковыя чувства благоговѣнія и преданности, не смотря даже на враждебныя отношенія Россіи къ кому-либо изъ нихъ. Такъ напримѣръ, Леонидъ со своимъ отрядомъ въ одномъ ночномъ дѣлѣ наткнулся какъ-разъ на Наполеона, и жизнь послѣдняго была въ его рукахъ.

«Стоявшій близъ Наполеона генералъ,—читаемъ мы въ романѣ,— схватилъ его за руку и, стараясь загородить его и увлечь, закричалъ: «Ваше Величество, спасайтесь! это русскіе!» Восклицаніе сіе внезапно остановило въ какомъ-то оцѣпенѣніи Леонида, машинально сдѣлавшаго отряду знакъ не дви-

гаться съ мѣста. И такъ передъ нимъ былъ Наполеонъ! Съ жадностью вперилъ онъ взоръ свой на существо, передъ нимъ стоявшее, и не вѣрилъ чудесному случаю, приведшему его столь близко къ величайшему военному генію своего вѣка. Наполеонъ, изумленный нечаяннымъ появленіемъ русскаго отряда, коего малочисленность тотчасъ онъ замѣтилъ, освободилъ руку свою отъ заботливо увлекавшаго его генерала. Минутная блѣдность, явившаяся на лицѣ Наполеона, уступила мѣсто обыкновенному величію и спокойствію. Замѣтивъ неподвижность отряда, приказалъ онъ свитѣ своей и караулу гренадеръ аттаковать слабую горсть, предводимую Леонидомъ, и подвинуть шесть батальоновъ, позади кладбища расположенныхъ.

— Ваше Величество!—вскричалъ Леонидъ по французски,—отмѣните приказаніе аттаковать насъ, потому что необходимость защиты принудитъ отрядъ мой стрѣлять,—и ваша жизнь будетъ въ опасности, а это привело-бы меня въ отчаяніе, потому что жизнь каждаго вѣнценосца священна для русскаго. Я добровольно отступаю къ главному моему отряду,—почитая себя слишкомъ счастливымъ, что видѣлъ такъ близко знаменитѣйшаго человѣка нашего столѣтія.

Наполеонъ бросилъ на Леонида проницательный взглядъ, движеніемъ руки остановилъ гренадеръ своихъ, летѣвшихъ уже впередъ, и спросилъ Леонида, какъ его зовутъ.

— Русскіе офицеры Волосовъ и Силинъ удостоились видѣть такъ близко Ваше Величество,—и день этотъ запишутъ они для сохраненія въ памяти своего потомства. Теперь позвольте намъ идти.

— Русскіе благородны, — сказалъ Наполеонъ,—я это зналъ. Поступокъ вашъ дѣлаетъ вамъ честь. Прощайте, господа!..»

Вообще, управляя судьбами Европы, герои романовъ Р. Зотова только и дѣлаютъ, что все вращаются въ высшихъ государственныхъ сферахъ, завтракаютъ съ посланниками, обѣдаютъ съ министрами, ужинаютъ съ маршалами и безпрестанно представляются то австрійскому императору, то прусскому королю, то Наполеону, и всѣ послѣдніе ихъ лично знаютъ, оказываютъ къ нимъ благоволеніе, возвышаютъ ихъ и щедро награждаютъ. Герои-же съ своей стороны мало того, что относятся къ нимъ съ подобающимъ почтеніемъ, но говорятъ не иначе, какъ отрывистыми фразами, совершенно въ духѣ военной дисциплины. Такъ напримѣръ, насъ нисколько не удивляетъ, что Гиреевъ, въ качествѣ дворцоваго гренадера, при той строгости солдатской выправки, которой требовалъ императоръ Павелъ I, отвѣчалъ ему нижеслѣдующими фразами при своемъ представленіи царю

Плацъ-комендантъ представляетъ его съ двумя другими офицерами,—Павелъ I заставилъ сдѣлать нѣсколько ружейныхъ пріемовъ и былъ ими доволенъ.

«— Хорошо-ли, князь, спалъ на новосельѣ?—милостиво спросилъ государь у Гиреева.

— Мнѣ вездѣ хорошо, ваше императорское величество, — отвѣчаетъ тотъ, не шевеля ни однимъ мускуломъ,—гдѣ я имѣю счастіе служить вашей священной особѣ.

— Спасибо; а будешь хорошо служить, самому хорошо будетъ. Тебѣ императрица, моя родительница, пожаловала пенсію?

— Въ тысячу рублей, ваше императорское величество, и я вседневно молю Господа о успокоеніи души ея и о здравіи вашего императорскаго величества.

— Много-ли ты помнишь изъ своего дѣтства о хапствѣ?

— Все помню, ваше императорское величество. Я въ это время еще выучился по-русски, по-французски, исторіи и ариѳметикѣ.

— Кто-же тебя училъ?

— Въ Бахчисараѣ русскій консулъ Горопуло, а потомъ адъютантъ генерала Бальмена.

— Сколькихъ лѣтъ привезли тебя въ Россію?

— Десяти лѣтъ, ваше императорское величество, и тогда-же принялъ православную вѣру.

— И присягу на вѣрноподданичество?

— Точно такъ, ваше императорское величество, и сохраню эту священную клятву до гробовой доски.

— Спасибо.

Павелъ подалъ ему руку, и Гиреевъ, ставъ на колѣни, поцѣловалъ ее.»

И можете себѣ представить, что совершенно тѣмъ-же самымъ тономъ дворцоваго гренадера бесѣдуетъ Гиреевъ при представленіи своемъ Наполеону.

«— Вы конечно новоприбывшій князь Гиреевъ?—спросилъ его Наполеонъ.

— Точно такъ, отвѣчалъ Гиреевъ.

— Вы коренной русскій? ваша фамилія монгольскаго происхожденія?

— Я сынъ послѣдняго крымскаго хана.

— Шагинъ-Гирея?—сказалъ Бонапарте, какъ-бы желая блеснуть своей ученостью.

— Бату-Гирея; Шагинъ былъ его братъ, который сперва свергъ его, а потомъ долженъ былъ бѣжать передъ русской арміей.

— Да, да! сѣверная Семирамида забрала васъ въ свои руки. Вы недавно были въ Берлинѣ у прусскаго короля?

— Я имѣлъ честь представляться его величеству.

— И получили орденъ за заслуги?

— Точно такъ.

— А здѣсь вы не прикомандированы къ посольству? Мнѣ сказали, что вы хотите воспитывать чьихъ-то дѣтей.

— Точно такъ. Франція такъ опередила насъ въ своемъ просвѣщеніи, что намъ не стыдно заимствовать у нея свѣта.»

Выше-же мы видѣли, что и Леонидъ, встрѣтясь съ тѣмъ-же Наполеономъ на полѣ брани, какъ съ непріятелемъ, обращается къ нему въ томъ-же лаконическомъ тонѣ фельдфебельскаго характера.

Въ заключеніе укажемъ еще на одну замѣчательную особенность историческихъ романовъ Р. Зотова, имѣющую то значеніе, что этой особенностью не замедлили воспользоваться всѣ историческіе беллетристы низшаго сорта, и вскорѣ она сдѣлалась господствующей въ историческихъ романахъ лубочнаго характера. Дѣло въ томъ, что Р. Зотовъ рѣзко раздѣлялъ повѣствовательныя главы романовъ отъ чисто-историческихъ, такъ что у него правильно чередуются главы, въ которыхъ разговариваютъ и дѣйствуютъ герои, и главы, въ которыхъ авторъ ограничивается сухимъ и краткимъ пересказомъ историческихъ событій. Читая послѣднія главы, вы забываете порой, что передъ вами романъ, а не краткій учебникъ по русской исторіи. Впрочемъ весьма многіе современники и особенно современницы Р. Зотова были за это какъ нельзя болѣе благодарны ему, такъ какъ они смѣло могли, не читая, перевертывать тѣ главы, въ которыхъ излагается скучная исторія, и переходить лишь къ тѣмъ, гдѣ заключались разговоры дѣйствующихъ лицъ романа.—Такъ обыкновенно и читались романы Р. Зотова русской публикой.

VIII.

Н. В. Кукольникъ.—Быстрое возвышеніе и столь же быстрое паденіе его популярности.—Причины того и другого.—Подражательность Кукольника.—Характеръ его историческихъ романовъ и повѣстей.—Повѣсть «Сержантъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ».—Нагоняй гр. Бенкендорфа и отзывъ критики того времени.—Романъ «Два Ивана, два Степановича, два Костылькова.»

Въ лицѣ Нестора Кукольника мы видимъ далеко не одного изъ тѣхъ скромныхъ тружениковъ, какими намъ представлялись Загоскинъ, Лажечниковъ и Р. Зотовъ, которые при всемъ успѣхѣ своихъ произведеній и при всей своей популярности никогда не воображали о себѣ слишкомъ много, не заносились и не считали себя великими людьми. Несторъ-же Кукольникъ считалъ себя нѣкогда звѣздой первой величины и пережилъ эпоху такой блестящей славы, какая выпадаетъ на долю лишь немногихъ избранныхъ баловней судьбы. Вообще 30-е годы были эпохой, замѣчательной въ нашей литературѣ въ томъ отношеніи, что въ это время рядомъ съ нѣсколькими писателями, дѣйствительно великими и пріобрѣвшими впослѣдствіи почетное званіе русскихъ классиковъ, пролетѣли по небосклону россійской словесности нѣсколько ослѣпительныхъ метеоровъ, блескъ которыхъ въ свое время пожалуй-что превышалъ ихъ истинно великихъ современниковъ; но метеоры эти быстро разсыпались, не оставивъ по себѣ ни малѣйшаго слѣда. Таковы были Марлинскій, Венедиктовъ; таковъ же былъ и Н. Кукольникъ.

Н. Кукольникъ повидимому имѣлъ всѣ данныя, чтобы изъ него выработался порядочный писатель. Родившись въ 1809 г. въ семействѣ профессора Виленскаго университета, извѣстнаго въ свое время весьма обширной эрудиціей, онъ съ дѣтства жилъ въ мірѣ книгъ. Въ 1829 г. онъ кончилъ курсъ въ Нѣжинскомъ лицеѣ, будучи сотоварищемъ Гоголя, съ которымъ впрочемъ почему-то не сошелся, и уже въ 1833 году, 24 лѣтъ, произвелъ всеобщій восторгъ въ петербургской публикѣ своей драмой «Торквато Тассо». Сенковскій въ своей «Библіотекѣ для чтенія» прямо поставилъ его наравнѣ съ Гёте и называлъ его не иначе, какъ «великій Кукольникъ». Въ литературныхъ кружкахъ и въ обществѣ только и слышалось, по свидѣтельству И. Панаева: «Какія колоссальныя надежды долженъ подавать поэтъ, выступающій съ такимъ произведеніемъ!», и самъ Панаевъ пришелъ въ восторгъ отъ этого произведенія. «Петербургская молодежь,—говоритъ онъ,—занимавшаяся литературой, въ высшей степени заинтересована была личностью автора «Тасса». Носились слухи, что онъ привезъ съ собой множество удивительныхъ произведеній, долженствующихъ сдѣлать переворотъ въ русской литературѣ».

Наиболѣе-же всего возрасла слава Кукольника послѣ перваго представленія патріотической драмы его «Рука Всевышняго отечество спасла». Это первое представленіе въ мартѣ 1834 г. носило характеръ какого-то патріотическаго торжества. Высочайшія особы присутствовали на спектаклѣ. Вызовамъ автора и оваціямъ не было конца.

Н. Кукольникъ постоянно былъ окруженъ цѣлой толпой поклонниковъ, которые всюду сопровождали его, приходя въ восторгъ отъ каждаго его слова, преклоняясь передъ нимъ и осыпая его непрестанно самыми раболѣпными похвалами. На журфиксахъ по средамъ собиралось у него до 80 человѣкъ его почитателей, людей всѣхъ сословій, званій, состояній, причемъ нѣсколько преображенскихъ офицеровъ составляли нѣчто вродѣ почетной свиты его, и онъ иногда обращался къ нимъ, словно какой-нибудь военачальникъ, собирательнымъ воззваніемъ *преображенцы*. Такъ, однажды за ужиномъ, поднимая бокалъ и указывая на портретъ брата, Кукольникъ провозгласилъ:

— Преображенцы! за здоровье отсутствующаго Платона!

Когда на вечерахъ у него Глинка собирался пѣть, Кукольникъ, обращаясь къ офицерамъ, шепталъ, прикладывая указательный перстъ къ губамъ: «слушайте, слушайте, преображенцы».

Ореолъ Кукольника еще болѣе возблисталъ въ глазахъ поклонниковъ его, когда онъ сблизился съ Брюловымъ и М. Глинкой, и они составили своего рода тріумвиратъ искусствъ,—живописи, музыки, поэзіи, причемъ Кукольникъ распространялъ и поддерживалъ ту мысль, что этотъ союзъ долженъ оказать громадное вліяніе на успѣхи искусствъ въ нашемъ отечествѣ.

Слава Пушкина, доживавшаго въ то время свои послѣдніе годы, казалось, совсѣмъ померкла въ блескѣ славы Кукольника. По крайней мѣрѣ послѣдній на своихъ вечерахъ громогласно заявлялъ всей публикѣ:

— Пушкинъ безспорно поэтъ съ огромнымъ талантомъ; гармонія и звучность его стиха удивительны, но онъ легкомысленъ и не глубокъ. Онъ не создалъ ничего значительнаго; а если мнѣ Богъ продлитъ жизнь, то я создамъ что-нибудь прочное, серьезное и можетъ быть дамъ другое направленіе литературѣ...

И многочисленные поклонники Кукольника, серьезно внимая этимъ вѣщимъ словамъ своего кумира, ждали отъ него литературнаго переворота.

Это дикое и съ перваго взгляда совершенно непонятное увлеченіе объясняется въ сущности очень просто. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ нашей русской жизни, очень печальнымъ, но неоднократно уже повторявшимся въ нашей исторіи и совершающимся даже нынѣ передъ нашими глазами. Явленіе это заключается въ томъ, что каждое новое литературное движеніе на Западѣ, каждая новая школа, возникающая въ Германіи, Англіи и особенно во Франціи, непремѣнно находитъ среди насъ своихъ поклонниковъ и послѣдователей, несмотря на то, что у насъ подобное движеніе и эта самая новая школа являются уже чѣмъ-то пережитымъ, и притомъ пережитымъ гораздо полнѣе, шире и глубже. Такъ напримѣръ, кто могъ ожидать, что послѣ столь великихъ и могучихъ образцовъ натурализма, какіе преподали намъ Гоголь, Островскій, Щедринъ, Тургеневъ, Гончаровъ и прочіе беллетристы 40-хъ годовъ, у насъ было-бы возможно увлеченіе современнымъ французскимъ натурализмомъ? Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что французскіе натуралисты не только не возвысились

*

надъ нашими натуралистами 30-хъ и 40-хъ годовъ и не опередили ихъ въ чемъ-либо, но, наоборотъ, большинство ихъ сузило натуралистическую школу, вставивши ее въ тѣсныя рамки исключительнаго изображенія и анализа половыхъ влеченій съ физіологическихъ и патологическихъ точекъ зрѣнія. И вдругъ среди молодыхъ, вновь вышедшихъ на литературное поприще, беллетристовъ нашлось нѣсколько прихвостней французскихъ натуралистовъ, которые забыли всѣ наши великія преданія столь недавняго прошлаго и начали слѣпо пересаживать на русскіе нравы пресловутые документы французскихъ натуралистовъ, заимствуя при этомъ у ихъ кумира Золя не то, чему дѣйствительно стоило-бы у него поучиться, т. е. умѣнью его рисовать широкія картины современной общественной жизни, а лишь страсть къ созерцанію женскихъ подвязокъ.

То же самое мы видимъ и въ 30-ые годы. Къ этому времени литература наша повидимому успѣла уже вполнѣ пережить романтизмъ и подъ нѣмецкимъ, и подъ англійскимъ вліяніями. Подражали мы и Клопштоку, и Уланду, и Гёте и Шиллеру, и Шекспиру, и Байрону; наконецъ начали мало по малу переходить съ одной стороны на путь національной самобытности, съ другой — на почву реализма. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что Пушкинъ во второй половинѣ своей литературной дѣятельности былъ не только самобытенъ, но и глубоко реаленъ. Въ то же время къ половинѣ 30-хъ годовъ Гоголь успѣлъ уже написать и свои «Вечера», и «Арабески», и всѣ комедіи.

Между тѣмъ съ Франціей и въ тотъ разъ случилось то же, что и въ наше время: увлеченная своими политическими движеніями, она нѣсколько запоздала со своей литературой, и въ то время, когда у насъ были уже Пушкинъ и Гоголь, а въ Англіи - Диккенсъ и Теккерей, Франція только-что успѣла покончить съ классицизмомъ, и у нея возникла своя романтическая школа, побѣда которой надъ классицизмомъ, въ лицѣ Виктора Гюго и его неистовыхъ послѣдователей, совпала какъ разъ съ революціей 1830 г. И вотъ наша молодежь того времени поспѣшила тотчасъ же увлечься новой и модной школой французскаго романтизма, громко трубившей на всю Европу свою запоздалую побѣду надъ классицизмомъ.

Какъ велико и слѣпо было это увлеченіе, можно судить по слѣдующей выдержкѣ изъ записокъ И. Панаева:

«Послѣ появленія «Notre Dame de Paris» я почти готовъ былъ идти на плаху за романтизмъ. Я узналъ о «Notre Dame de Paris» изъ «Московскаго Телеграфа». Вскорѣ послѣ этого весь читающій по французски Петербургъ началъ кричать о новомъ геніальномъ произведеніи Гюго. Всѣ экземпляры, полученные въ Петербургѣ, были тотчасъ-же расхватаны. Я едва досталъ для себя экземпляръ и съ нервическимъ раздраженіемъ приступилъ къ чтенію. Я прочелъ его, почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывалъ такого наслажденія отъ чтенія. Клодъ-Фроло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили изъ моего воображенія; сцену, когда Клодъ-Фроло приводитъ ночью Эсмеральду къ висѣлицѣ и говоритъ: «выбирай между мной и этой висѣлицей»,— я выучилъ наизусть. Я больше двухъ мѣсяцевъ бродилъ этимъ романомъ и перечитывалъ отрывки изъ него Кречетову и нѣкоторымъ изъ моихъ товарищей, съ которыми болѣе симпатизировалъ.»

Но и тогда съ нашими россіянами случилось то же, что и нынѣ. То, что было наиболѣе замѣчательнаго, почтеннаго и цѣннаго въ сочиненіяхъ В. Гюго, тѣ новыя идеи, которыми были проникнуты эти сочиненія, прошли совершенно мимо ушей поклонниковъ В. Гюго.

Но не одинъ И. Панаевъ, только что сошедшій тогда со школьной скамьи, и болѣе старшіе и зрѣлые поклонники французскаго романтизма, совершенно игнорируя идейную подкладку В. Гюго, увлекались одной внѣшней, чисто-формальной стороной его поэзіи, страстью В. Гюго къ трескучимъ эффектамъ, смѣлымъ антитезамъ и крайне вычурному и высокопарному языку его; однимъ словомъ,—усвоили однѣ только слабыя стороны своего кумира. Къ числу такихъ послѣдователей В. Гюго, рядомъ съ Марлинскимъ и Бенедиктовымъ, принадлежалъ и Кукольникъ. По крайней мѣрѣ драмы его «Торквато Тассо», «Джулія Мости», «Джакобо Саназаръ», «Роксолана» и пр.— всѣ скроены по образу и подобію драмъ В. Гюго, но конечно не представляютъ и тѣни того глубокаго идейнаго содержанія, какое вы находите въ пьесахъ В. Гюго, а, напротивъ того, отличаются краней пустотой и банальнымъ мелодраматизмомъ. Но невѣжественная толпа того времени, подъ вліяніемъ такихъ критическихъ авторитетовъ, какимъ представлялся Сенковскій, принимала эти драмы за дѣйствительно «новое слово» литературы, и этимъ обусловливалась та популярность, какой пользовался Кукольникъ въ половинѣ 30-хъ годовъ. Но это не могло продолжаться долго. Вскорѣ началось новое литературное движеніе и положило конецъ увлеченію напыщенной риторикой и пустозвонными внутри, хотя и блестящими снаружи, фразами. Вмѣстѣ съ паденіемъ авторитета Сенковскаго, рядомъ съ закатомъ такихъ эфемерныхъ звѣздъ, какъ Марлинскій и Бенедиктовъ, пошатнулась и популярность Кукольника. Онъ растолстѣлъ, обрюзгъ отъ частыхъ возліяній Бахусу и даже по наружности пересталъ походить на вдохновеннаго поэта и безкорыстнаго служителя музъ. Толпа поклонниковъ мало по малу рѣдѣла вокругъ него, и наконецъ его покинули даже преображенцы, столь восхищавшіеся когда-то каждымъ его стихомъ и ожидавшіе отъ него чего-то великаго. Онъ сошелся съ такими темными литературными силами того времени, каковы были Гречъ, Булгаринъ, Воейковъ и прочіе подобнаго же рода литературныхъ дѣлъ мастера, кулаки и промышленники, наживавшіеся насчетъ невѣжества публики. Это окончательно отвернуло отъ него всѣхъ молодыхъ и честныхъ литераторовъ. Къ тому же и самъ онъ, оставивъ свои юныя мечты создать нѣчто великое и произвести въ литературѣ переворотъ, выступилъ на поприще литературнаго ремесленничества и барышничества. Уже съ начала 40-хъ годовъ онъ является передъ нами авторомъ безконечно длинныхъ и скучныхъ, очевидно наскоро состряпанныхъ историческихъ романовъ и повѣстей изъ западной и русской жизни,—и всѣ эти произведенія обнаруживаютъ передъ нами какъ нельзя болѣе талантикъ маленькій, жиденькій, и

къ тому же лишенный всякаго содержанія и хотя бы тѣни оригинальности, постоянно кому-нибудь подражавшій. Какъ въ юности подражалъ онъ В. Гюго, такъ теперь онъ подражаетъ Ал. Дюма и Альфреду де-Виньи, и въ 1841 году выпускаетъ безконечный романъ, «Эвелина-де-Вальероль», изъ временъ фронды. Во время самаго разгара эпидеміи историческихъ романовъ, въ 1832 году, появился переводъ съ польскаго романа Ф. Бернатовича «Поята, дочь Лездейки, или Литовцы въ XIV столѣтіи»,—и романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ въ нашей публикѣ впродолженіи всѣхъ 30-хъ годовъ. Въ pendant къ этому роману, Кукольникъ въ 1842 году издалъ романъ тоже изъ литовской жизни XIV вѣка «Альфъ и Альдона», столь же испещренный именами литовскихъ боговъ и богинь, мѣстностей, урочищъ, рѣкъ и т. п. Романъ этотъ по своей крайней растянутости, скукѣ и неудобочитаемости превосходитъ все, что только существуетъ на свѣтѣ въ скучномъ родѣ.

Какъ поклонникъ французскаго романтизма, Кукольникъ конечно питалъ самую непримиримую ненависть къ натуральной школѣ, равно какъ и къ кружку Станкевича, которому наиболѣе обязанъ онъ былъ паденіемъ своей популярности.—Такъ, при встрѣчѣ съ нимъ Панаева во второмъ уже періодѣ его дѣятельности, Кукольникъ обратился къ нему съ такой рѣчью: – «Это ты! Я сначала не узналъ тебя,— мы съ тобой теперь видимся рѣдко. Ты—Краевскій!»—и эти послѣднія слова были произнесены такимъ тономъ, какъ-бы Кукольникъ хотѣлъ сказать: «Ты—пропащій человѣкъ!» и при этомъ онъ махнулъ рукой.

Но такова въ то-же время была сила подражательности въ Кукольникѣ, что, при всемъ враждебномъ отношеніи къ натуральной школѣ и ея представителямъ и партизанамъ, Кукольникъ не замедлилъ подчиниться и вліянію Гоголя. Втеченіи 40-хъ годовъ онъ написалъ массу историческихъ повѣстей изъ петровской эпохи, и въ этихъ повѣстяхъ на каждой страницѣ такъ и мечется вамъ въ глаза стараніе Кукольника поддѣлаться подъ гоголевскій стиль. Для доказательства намъ не для чего долго рыться, а стоитъ открыть наудачу книгу, и навѣрное мы прямо наткнемся на какое-нибудь рабское подражаніе Гоголю. Для примѣра я раскрываю первый томъ сочиненій Кукольника на 473 стран.; передъ нами четвертая глава повѣсти «Благодѣтельный Андроникъ», и вотъ какъ она начинается:

«Есть имена самыя романическія, которыхъ, къ особенному удивленію, вовсе не употребляютъ наши романисты, и надобно дожидаться какой-либо чисто исторической статьи, чтобы встрѣтить сколько-нибудь интересное имя. Еслибы не исторія, мнѣ-бы никогда и въ голову не пришло, что жена Андроника Евстафьевича называлась Голендухой Демьяновной. А какое романическое имя! Оно одно уже цѣлый романъ! А если къ этому прибавить еще романическій ея характеръ, тогда жена Андроника рѣшительно покажется цѣлой библіотекой романовъ. Домна Савишна хороша, но, въ сравненіи съ Голендухой Демьяновной, лицо совершенно ординарное. Какой-же былъ характеръ у Голендухи Демьяновны, спросите вы? Романическій; то есть, въ ней не было никакого характера. Она была добра, когда бесѣдовала съ Андроникомъ Евстафьевичемъ; молодилась и охорашивалась, когда передъ ней сидѣла Домна Савишна; злилась и била сестру свою, малолѣтнюю Палашку, когда слышала, что на сосѣднемъ дворѣ попадья производила экзекуцію надъ неисправной челядью; заикалась даже, когда Ерема Костыль, дьячекъ Тихвино-Онуфріевскаго прихода, великій заика, приходилъ къ главѣ и солнцу всѣхъ воронежскихъ дьячковъ и произносилъ торжественную рѣчь, чарки ради и т. д.»

Или посмотрите, какъ во второмъ томѣ начинается разсказъ «Капустинъ»:

«Пою несчастіе Капустина, московскаго купца, происшедшее отъ родоначальницы его, въ прямой линіи огородной капусты, продукта вполнѣ извѣстнаго у насъ на сѣверѣ;—продукта, который, по важности своей, можетъ смѣло поспорить съ картофелемъ, этимъ американскимъ дивомъ, генеральной пищей многихъ милліоновъ.—Но еще не наступило время капусты; она хранилась въ парникахъ, и то не вездѣ, потому что на дворѣ стоялъ іюнь, и вся Москва кушала спаржу и зеленыя шти, для чего, какъ извѣстно, капусты не нужно, а достаточно разной мелкопомѣстной травы, которая, по общему закону всего земного, сначала обращается въ снѣдь человѣку, а потомъ скотинѣ» и т. д.

Ужъ изъ однѣхъ этихъ выдержекъ вы можете судить, какъ далеко отстоялъ Кукольникъ въ своемъ подражаніи отъ образца. Не обладая природнымъ юморомъ, онъ въ своихъ историческихъ повѣстяхъ безпрестанно впадалъ въ неуклюжее и натянутое шутовство и вычурную манерность; это одно дѣлаетъ его повѣсти чрезвычайно тяжелыми и скучными въ чтеніи, особенно если прибавить къ этому безконечные разговоры дѣйствующихъ лицъ, до крайности растянутые и притомъ по большей части на ломаномъ языкѣ, черезъ мѣру пересыпанномъ иностранными словами, передѣланными на русскій ладъ (это Кукольникъ дѣлалъ для приданія рѣчамъ героевъ своихъ историческаго колорита, но черезъ-чуръ переусердствовалъ въ этомъ, и какъ-бы ни много иностранныхъ словъ употребляли современники Петра, навѣрное они говорили языкомъ не столь вычурнымъ и пестрымъ, какъ это мы видимъ у Кукольника).

Что касается до содержанія всѣхъ этихъ безчисленныхъ историческихъ повѣстей, то хотя съ одной стороны онѣ и обнаруживаютъ довольно основательное знаніе Кукольникомъ эпохи Петра, но въ то-же время нельзя сказать, чтобы нравы и духъ этой эпохи изображались въ повѣстяхъ художественно и реально. То-же, что мы сказали сейчасъ о языкѣ дѣйствующихъ лицъ, слѣдуетъ замѣтить и о всѣхъ прочихъ краскахъ Кукольника: во всемъ онъ пересаливаетъ, все онъ представляетъ въ какомъ-то грубокарикатурномъ видѣ, точно будто передъ вами не объективное изображеніе эпохи, а рядъ шаржей. Возьмите вы напримѣръ самую личность Петра. Не говоря уже о Пушкинѣ, но даже у Р. Зотова Петръ является болѣе похожъ на дѣйствительнаго Петра, какимъ онъ долженъ намъ представляться, чѣмъ у Кукольника Положимъ, что Петръ былъ и геній, и работникъ, и водку анисовую пилъ въ адмиральскій часъ, и дѣтей крестилъ у матросовъ, но въ то-же время не надо забывать, что онъ былъ русскій царь, и царь грозный, съ дубинкой въ рукахъ, съ молніеносными взглядами, очень рѣшительный въ своихъ поступкахъ, а подчасъ и крайне необузданный въ

своемъ гнѣвѣ. Передъ нимъ все вокругъ трепетало, а если кто дерзалъ шутить и поперекъ слово молвить, то дѣлалъ это съ оглядкой, въ какую-нибудь такую рѣшительную минуту, когда человѣкъ ставитъ на карту жизнь свою, авось вывезетъ кривая. По этому какъ нельзя болѣе естественна и понятна растерянность и гостей, и хозяевъ, когда Петръ пріѣзжаетъ вдругъ къ Гаврилѣ Аѳанасьевичу въ «Арапѣ Петра Великаго». Не менѣе естественъ и тотъ ужасъ, какой чувствуетъ въ романѣ Зотова Григорій, когда дерзаетъ ночью будить Петра. У Кукольника-же Петръ является положительно какимъ-то балагуромъ, съ которымъ всѣ окружающіе обходятся не только за панибрата, но грубятъ ему такъ, какъ не сѣли въ то время грубить мало-мальски богатому и знатному боярину. Подумайте напримѣръ, насколько естественна и правдоподобна хотя-бы такая сцена въ разсказѣ «Новый годъ»:

«Послѣ полуночи пріѣхалъ Государь и былъ не мало удивленъ, увидавъ, что Александръ Ивановичъ (деньщикъ его) въ новый годъ, когда вся Москва разукрашена огнями, сидитъ за книгой.

— Что-же ты, Александръ, дома сидишь? спросилъ Государь: — а иллюминація?

— Поздно, Государь, теперь уже темно. Когда-бы днемъ, такъ еще туда-сюда: пока Прозоровскій или Ромодановскій докладываютъ, можно отлучиться; а вечеромъ я не люблю шататься: чего добраго, за бродягу примутъ. Да и что такое твоя иллюминація? Другой разъ, какъ будетъ тебѣ послободнѣе, самъ покажешь.

— Да ты развѣ не видалъ иллюминаціи?

— Не только не видалъ, да и не слыхалъ.

— А въ день моего пріѣзда по всей Москвѣ что было?..

— Что́ было? Огни, да и только. Глаза высмотрѣлъ, чтобы гдѣ не занялось. Дрянная потѣха, Государь: того и гляди, пожаръ затѣешь!..

— Пустяки, Александръ! Когда въ городѣ добрый порядокъ, такъ иллюминація не опасна.

— Такъ ты прежде сдѣлай въ городѣ порядокъ, а потомъ уже сало для потѣхи и жги.

— Сдѣлаю, сдѣлаю! отвѣчалъ Государь:—только дай срокъ.

— Ты, Государь, все въ долгую тянешь; вотъ и меня уже сколько времени обѣщаніями манишь, а посулъ безъ зерна, все одно, что мыло ѣшь.

— Потерпи, Александръ! Давно-ли ты служишь?

— Таки не со вчерашняго дня. Я тебя люблю, Государь, и ты меня любишь. Да что въ томъ проку-то? За Головина такъ еще мундиръ, исподни и сапоги даромъ давали! А теперь новый нѣмецъ какой-то коммисаръ сталъ. Говоритъ: на царскихъ деньщиковъ отпуску нѣтъ: жалованье большое получаютъ!

— Врешь! — сказалъ съ поспѣшностью Государь и т. д.»

Въ то-же время нѣтъ такой повѣсти, въ которой Петръ не являлся-бы сватомъ. И въ «Арапѣ» Петръ Великій самъ пріѣзжаетъ къ Гаврилѣ Аѳанасьевичу въ качествѣ свата, но здѣсь онъ сватаетъ въ собственныхъ своихъ видахъ и становится поперекъ вкусовъ и желаній всей семьи Гаврилы Аѳанасьевича, не исключая и самой невѣсты. У Кукольника-же, наоборотъ, онъ является постояннымъ deus ex machina, который точно какъ будто для того и царствовалъ, чтобы отстранять всѣ препятствія ко вступленію въ законный бракъ своимъ влюбленнымъ подданнымъ. Въ разсказѣ «Новый годъ» оказывается даже, что Петръ измѣнилъ празднованіе новаго года съ сентября на январь нарочно для того, чтобы помочь своему любимому деньщику, Александру Ивановичу Румянцеву, жениться на дочери окольничьяго Андрея Артамоновича, Маріѣ Андреевнѣ.

Мы не имѣемъ ни надобности, ни возможности входить въ подробное разбирательство всѣхъ безчисленныхъ историческихъ повѣстей Кукольника, а остановимся лишь на двухъ, представляющихъ свой особенный интересъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ фактомъ весьма страннымъ и неразгаданнымъ: именно тотъ самый Кукольникъ, въ которомъ, казалось-бы, трудно заподозрить хотя бы малѣйшую тѣнь либерализма, вдругъ является передъ нами врагомъ крѣпостного права и такъ рѣзко обличаетъ нравы его, что заслуживаетъ гнѣвъ начальства. Трудно угадать и рѣшить, дѣлалъ-ли это Кукольникъ сознательно, вслѣдствіе того, что крѣпостное право было въ то время такъ уже оскандализовано въ глазахъ всѣхъ, что даже и такіе люди, какъ Кукольникъ и Р. Зотовъ (у послѣдняго въ его «Леонидѣ» тоже есть кое-какія вылазки противъ крѣпостного права), возмущались его ненормальностью, или-же Кукольникъ, изображая нравы петровской эпохи, и не воображалъ, что онъ попадетъ совсѣмъ въ другую цѣль.

Какъ-бы то ни было, но разсказъ Кукольника «Сержантъ Иванъ Ивановичъ, или всѣ за одно», появившійся въ сборникѣ «Сказка за сказкой» въ 1841 году,—надѣлалъ въ свое время не мало шума. Вотъ содержаніе этой повѣсти.

Главными героями являются Ландышевы, мать вдова и сынъ, жившіе въ своемъ имѣніи недалеко отъ Костромы и напоминающіе собой Простакову съ Митрофанушкой. Варвара Сергѣевна не могла надышаться на своего возлюбленнаго Володю, и воля его была для нея закономъ. Володя-же, конечно совершенно безграмотный, только и занимался, что лошадьми, собаками, да дворовыми дѣвками. Не было красавицы на селѣ, которой-бы онъ не овладѣлъ, пользуясь своимъ барскимъ правомъ. Такъ, на первыхъ-же страницахъ повѣсти онъ плѣняется Домной, невѣстой крѣпостного парня Ивана, и происходитъ слѣдующая возмутительная сцена: увидавъ Домну, пришедшую съ женихомъ своимъ къ Варварѣ Сергѣевнѣ просить барскаго соизволенія на бракъ, Володя въ одно мгновеніе соскочилъ съ лошади, подалъ уздцы Ивану и сказалъ, не глядя на него: «Держи, болванъ! Изъ чьей ты волости, красавица?»

«— А вотъ, изъ Кудиновки,—отвѣчала дѣвушка, покраснѣвъ по уши.

— Изъ нашей волости! Да какъ-же я про тебя ничего не зналъ? Видишь ты, старый чортъ! Что, ты вѣрно для себя ее спряталъ?!

Это обращеніе относилось къ Ефремычу. Съ трудомъ удержавъ сухопараго, вислоухаго своего коня, Ефремычъ отвѣчалъ почтительно:

— Володимѣръ Степанычъ, а Володимѣръ Степанычъ! Того... Вѣдь всѣхъ не усмотришь!..

— Знаю я тебя, старый котъ! Самъ ты лакомка. Мало тебѣ что-ли послѣ барина остается? Какъ зовутъ, душка?—спросилъ онъ дѣвушку.

— Домной,- отвѣчала она и заплакала.

— Ну, такъ поцѣлуй меня,—сказалъ Володя, схвативъ ее за обѣ руки

— Не замай! закричалъ Иванъ, внѣ себя отъ рев-

ности и гнѣва, и оттолкнулъ Володю такъ небрежно, что тотъ не устоялъ на ногахъ и покатился подъ ноги россинанту... Ужасъ сдѣлался общимъ. Ефремычъ и верховые спѣшились и бросились на Ивана. Несчастный понялъ свое преступленіе и, молча, позволилъ связать себя.

— Ведите его на конюшню, озорника! Вотъ я его! Домну, Ефремычъ, въ чулочницы! Слышь, сейчасъ въ чулочницы. Я съ ней управлюсь по своему.»

Въ это самое время пріѣхалъ воевода требовать Володю на царскую службу. Варвара Сергѣевна въ ужасѣ начала закармливать его, запаивать и умолять о пощадѣ; насилу сторговалась съ уступчивымъ воеводой, порѣшивъ на томъ, чтобы вмѣсто сына поставить на службу четырехъ крѣпостныхъ и пожертвовать сто рублей на богадѣльню.

Послѣ отъѣзда воеводы Володя немедленно-же отправился на конюшню. Управляющій, дворецкій, дядька, буфетчикъ, старшій конюхъ, ключникъ и многіе другіе дворовые чины съ разныхъ сторонъ опрометью бѣжали на конюшню, на случай могущихъ послѣдовать приказаній отъ лица Володиміра Степановича. На прилавкѣ лежалъ связанный Иванъ и разговаривалъ съ конюхами.

— «Ѳомичъ!—сказалъ Володя управляющему:- Гдѣ у насъ нынче острогъ?

— А въ старомъ амбарѣ. Тамъ въ окно не пролѣзешь.

— А кто изъ конюховъ вчера приставалъ къ Палашкѣ, когда я спалъ послѣ обѣда?

— Ерема, отвѣчалъ Ѳомичъ.

— Вяжи его!—Связали.

— А кто стучалъ оконнясь въ окно къ пряхамъ, когда я тамъ былъ съ Ефремычемъ?

— Сергѣй истопникъ!

— Вяжи его! А кто еще на недѣлѣ провинился?

— Да Андрюшка, что на псарнѣ, укралъ въ Татарской слободѣ молодого кобеля для твоей милости. Татары приходили жаловаться Варварѣ Сергѣевнѣ; барыня сказала, что безъ твоей милости она не порѣшитъ такого большого дѣла!

— Много она смыслитъ. Поди-ка, Ѳомичъ, свяжи Андрюшку: затѣмъ не укралъ онъ и чалой суки? А я ему три раза наказывалъ: кобеля и суку!.. Подиже, Ѳомичъ, всѣхъ свяжи, да въ острогъ, а завтра всѣхъ четырехъ отвези въ Кострому, прямо въ Воеводскую канцелярію. Завтра въ провинціи некрутовъ принимаютъ...

— Въ солдаты!— завопилъ Иванъ, рванувшись такъ, что чуть-чуть было веревки не разлетѣлись ..

— Въ солдаты! — сказалъ со смѣхомъ Володя.— Завтра ты уже не мой, такъ сегодня разсчитаемся. Эй ты, конюхъ, плетей!

— Не бей его, Володимиръ Степанычъ,—сказалъ Ѳомичъ тихо Володѣ:—не бей, а то неравно его въ провинціи не примутъ. .

— Ну, быть по твоему!— сказалъ Володя, отходя съ досадой.—А жаль! Самъ было хотѣлъ силы попробовать, руку приложить, на водку ему прикинуть.

Между тѣмъ Домна—узнавъ, что милаго ея сдаютъ въ солдаты, бросилась къ барынѣ въ спальню, гдѣ съполдюжиныдѣвокъ раздѣвали Варвару Сергѣевну.

— Воры! разбойники!—закричала барыня и схватила подушку.

— Твой сынъ воръ! Твой сынъ разбойникъ! кричала Домна, упавъ передъ постелью Варвары Сергѣевны: — Помилуй! матушка-барыня! Не выдавай моего Ивана въ солдаты, женпха моего, жизнь мою! Руки на себя наложу, вотъ-те Христосъ, а сыну твоему не дамся!..

— Что ты такое городишь, бестія!—закричала Варвара Сергѣевна, оправляясь и швырнувъ въ Домну подушкой:—ну, что Володя съѣлъ тебя, что-ли? Ну, говори, что онъ съ тобой сдѣлалъ?

— Да что сдѣлалъ? Цѣловаться лѣзъ!..

— Велика бѣда! Да что онъ взрослый, что-ли? Ужъ и дѣвушки поцѣловать не можетъ, и пошутить ребенку нельзя! Такъ на что онъ и баринъ, и помѣщикъ, коли ужъ и своихъ тронуть не воля! Экая развратница! Чай, при любовникѣ приставалъ! Видишь, откуда стыду научилась, мерзавка! Въ солдаты его, въ солдаты, благо нужно! Дамъ я ему на дворѣ у меня развратничать!..

Вбѣжалъ Володя. Варвара Сергѣевна еще болѣе разгорячилась:

— Чего-же ты это смотришь, Володя! И ночью отъ этихъ безпутныхъ покоя нѣтъ. Тьфу ты, нечисть какая!.. Вонъ ее, со двора долой, а любовника въ солдаты! Слышь, Володя, въ солдаты! Завтра-же пошли въ провинцію... Прочь, съ глазъ долой, негодная!..

Домна встала; черезъ двери поклонилась образамъ, сказала съ какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ: «Прости и заступи, Господи!» и бросилась изъ комнаты.

— Лови ее! лови!—закричалъ Володя и побѣжалъ за ней въ погоню. Ее поймали въ деревнѣ, въ домѣ отца, и снова водворили во дворъ, опредѣливши ее въ судомойки работать на кухнѣ безъ смѣны.

Рекрутовъ между тѣмъ отправили въ провинцію, но и Володя не увернулся отъ военной службы. Вслѣдъ за воеводою явился провинціалъ-фискалъ Василій Пазухинъ и объявилъ Варварѣ Сергѣевнѣ наотрѣзъ:

— Я тебѣ скажу коротко и ясно. Воевода оплошалъ. Когда-бы узналъ государь, быть ему въ отвѣтѣ. Людей твоихъ въ будущій пріемъ рекрутами зачтутъ, а ты сына подай. Онъ у меня на росписи. Любимъ Александровичъ—добръ, хоть и суровъ: а я строгъ, хотя съ виду и ласковъ...

Провинціалъ-фискалъ оказался непреклоннымъ, и дѣлать было нечего, пришлось Володѣ ѣхать въ Петербургъ на царскую службу. Варвара Сергѣевна повезла его сама. Отправилась она цѣлымъ обозомъ со всей дворней, въ числѣ которой была и Домна, къ которой не переставалъ приставать баринъ. Но никакіе побои, обѣщанія, упреки, ласки не помогли. Исхудала бѣдная Домна, а все еще плакала по Ванькѣ, какъ называла его вся челядь. Не смотря на всю дерзость и страсть Володи, онъ какъ-то побаивался Домны, и если билъ ее, что́ случалось не рѣдко, то всегда однако-же послѣ обѣда, завтрака или ужина.

Варвара Сергѣевна разыгрывала въ Петербургѣ крайне комическую роль, не понимая новыхъ порядковъ, окружавшихъ ее, и на каждомъ шагу попадалась врасплохъ самодурствомъ и барской фанаберіей. Между тѣмъ Володю взяли въ Ингерманландскій полкъ, и тамъ вскорѣ онъ поступилъ, въ качествѣ рядового, подъ начальство того самаго Ивана, котораго онъ сдалъ въ рекруты, отнявши у него невѣсту, такъ какъ Иванъ былъ избранъ въ сержанты. Въ должности сержанта Иванъ получилъ право подвергать своего барина тѣлесному наказанію, и онъ не замедлилъ воспользоваться этимъ правомъ. Володя не захотѣлъ рано вставать на ученье, объявивши будившему его товарищу, что ему хочется спать, пусть за него Ванька ружьемъ артикулъ выбрасываетъ; тогда сержантъ Иванъ явился самъ къ барину и произошла слѣдующая сцена:

— Володимѣръ Степанычъ! Служба не воля! Ступай!

— Ахъ ты, холопъ окаянный! Съ кѣмъ ты разговариваешь?

— Съ тобой, баринъ! Прошу тебя, не доводи меня по артикулу поступить.

— Я тебѣ такой артикулъ задамъ, что за ушами затрещитъ.

— Вотъ Богъ, я не Иванъ, а сержантъ государевъ. По присягѣ пойду. Палкой подниму.

— Палкой! Володя вскочилъ и размахнулся, по старой привычкѣ, весьма ловко, но сержантская трость—волшебный жезлъ! — такъ и пошла гулять по нѣжнымъ косточкамъ Володи. Сержантъ самъ зажмурился, а все бьетъ, да тузитъ, да приговариваетъ:

— Не могу, Володимѣръ Степанычъ, видитъ Богъ, присягалъ! Не сердись, баринъ! Не я бью, служба бьетъ!

И трость продолжала ревностно нести службу. Стыдъ, униженіе, а паче физическая боль одолѣли. Володя выскочилъ изъ постели и опрометью бросился бѣжать. Онъ прибѣжалъ подъ защиту конечно ужъ матушки, и Варвара Сергѣевна обратилась прямо къ государю съ жалобой на дерзкаго сержанта. Между тѣмъ до слуха Петра, черезъ провинціалъ-фискала Зыбина, дошло уже объ истязаніяхъ, какимъ подвергалась Домна. Выслушавши жалобу Варвары Сергѣевны, государь позвалъ сержанта Ивана и велѣлъ ему повторить при немъ сержантскія внушенія палкой. Володя въ ужасѣ пятился, Варвара Сергѣевна визжала на сто голосовъ.

— Видишь, старуха!—сказалъ государь: — какой Ванька-то твой озорникъ; въ моемъ присутствіи не унимается; я совѣтую тебѣ поскорѣе отойти, дабы и тебѣ чего отъ него не досталось. За непослушаніе вездѣ бьютъ.

Государь ушелъ во внутренніе покои. Ландышева схватила сына и потащила вонъ изъ кабинета.

— Всѣ, всѣ за одно!—съ плачемъ говорила она, спускаясь съ лѣстницы. Вслѣдъ затѣмъ вышелъ царскій указъ отпустить Домну на волю. Получивши вольную, Домна бросилась благодарить барыню, но Варвара Сергѣевна собственноручно вытолкала ее за двери, приговаривая: «Вонъ, негодная! Не хочу держать тебя, развратница; языкъ у тебя отсохнетъ, сплетница! Ты моего сына въ солдаты отдала! Вонъ! вонъ! Знаю васъ! *Всѣ вы за одно!*»

Повѣсть эта, пропущенная цензурой, возбудила сенсацію въ обществѣ и неудовольствіе государя, вслѣдствіе чего гр. Бенкендорфъ обратился къ Кукольнику съ слѣдующимъ письмомъ отъ 6 января 1842 года:

«М. г. Несторъ Васильевичъ! Историческій разсказъ «Сержантъ, или всѣ за одно» обратилъ на себя вниманіе публики желаніемъ вашимъ выказать дурную сторону русскаго дворянина и хорошую—его двороваго человѣка. Государь императоръ удивляется, какъ можетъ человѣкъ, столь просвѣщенный и обладающій такимъ хорошимъ перомъ, какъ вы, м. г., убивать время на занятія, васъ недостойныя, и на составленіе статей, до такой степени ничтожныхъ.

«Хотя разсказъ вашъ вы почерпнули изъ дѣяній Петра Великаго, но предметъ, вами описанный, въ анекдотѣ составляя прекрасную черту великаго государя, въ вашемъ сочиненіи совершенно искаженъ неумѣстными выраженіями и получилъ совершенно другое направленіе. Желаніе ваше безпрерывно выказывать добродѣтель податнаго состоянія и пороки высшаго класса людей не можетъ имѣть хорошихъ послѣдствій, а потому не благоугодно-ли вамъ будетъ на будущее время воздержаться отъ печатанія статей, противныхъ духу времени и правительства, дабы тѣмъ избѣжать взысканія, которому вы, при меньшей, какъ нынѣ, снисходительности, подвергнуться можете.»

Кукольникъ конечно страшно перетрусился и послалъ гр. Бенкендорфу отвѣтъ, исполненный безъ сомнѣнія подобострастной покорности и раскаянія, и вотъ 30 января послѣдовало новое письмо отъ графа Бенкендорфа въ мягкомъ и успокоительномъ тонѣ:

«М. г., Несторъ Васильевичъ,—писалъ гр. Бенкендорфъ:—получивъ письмо ваше, отъ 27 сего января, спѣшу успокоить васъ, м. г., что изъ памяти государя императора совершенно изгладилось то впечатлѣніе, которое произведено было повѣстью вашей «Сержантъ Ивановъ», и въ мысляхъ его величества не осталось противъ васъ ни малѣйшаго гнѣва; если-же вамъ и сообщено было о замѣченныхъ недостаткахъ въ вашей повѣсти, то единственно потому, что его величество, памятуя всѣ другія произведенія ваши по части литературы, былъ нѣсколько остановленъ тѣмъ, что въ новой повѣсти вашей встрѣчаются мѣста, не вполнѣ достойныя пера вашего, и его императорское величество соизволилъ замѣтить это именно потому, что считаетъ васъ въ числѣ отличныхъ писателей, всегда ожидалъ отъ васъ произведеній равныхъ вашему таланту, и что вы трудами своими можете приносить пользу и честь нашей литературѣ.»

Зато Бѣлинскій отозвался о повѣсти Кукольника весьма сочувственно.

«Нѣкоторымъ людямъ,—говоритъ онъ:—почему-то называющимъ себя литераторами (должно быть потому, что извѣстная часть публики называетъ ихъ сочинителями), вздумалось, разумѣется, не безъ цѣли, утверждать, что «Отечественныя Записки» хвалятъ только своихъ сотрудниковъ (почитая въ ихъ числѣ Карамзина, Батюшкова, Грибоѣдова, Пушкина и Гоголя), и никогда не похвалятъ напримѣръ Кукольника, что бы онъ ни написалъ и какъ-бы хорошо ни написалъ. Совсѣмъ не для разувѣренія этихъ «господъ-сочинителей»—мы не хотимъ имѣть съ ними никакихъ дѣлъ, ни увѣрительныхъ, ни разувѣрительныхъ, — а въ уваженіе священныхъ правъ истины и безпристрастія, мы должны сказать, что разсказъ г. Кукольника, «Иванъ Ивановичъ Ивановъ», болѣе чѣмъ хорошъ—прекрасенъ. Правда, это не что иное, какъ извѣстный анекдотъ изъ времени Петра Великаго; но авторъ такъ хорошо, ловко и умно съумѣлъ разсказать этотъ анекдотъ, что сдѣлалъ его лучше многихъ, даже своихъ собственныхъ повѣстей и драмъ. Онъ ввелъ насъ въ бытъ того времени; его разсказъ согрѣтъ одушевленіемъ, полонъ идеи, отличается мастерствомъ изложенія» и т. д.

Вторымъ произведеніемъ Кукольника, затрогивающимъ крѣпостное право, является уже не повѣсть, а цѣлый романъ, изданный имъ въ 1846 г., подъ заглавіемъ «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова». Героемъ этого романа является личность, во многомъ напоминающая Володю Лѣндышева; таковъ Иванъ Степанычъ Костыльковъ. Подобно Ландышеву, онъ живетъ въ деревнѣ, окруженный конюхами и псарями, растлѣваетъ крѣпостныхъ дѣвушекъ и прячется отъ царской службы до послѣдней возможности. Когда-же прятаться болѣе дѣлается невозможнымъ, онъ посылаетъ вмѣсто себя въ Петербургъ нѣкоего проживавшаго у него бѣднаго дворянина, Ивана Степановича Полозкова, снабдивъ его своими документами. Явившись на службу подъ видомъ Костылькова, Полозковъ такъ втягивается въ роль сво-

его двойника, что начинаетъ распоряжаться имѣніемъ его, какъ своимъ собственнымъ, и Костыльковъ, видя себя кругомъ одураченнымъ, ограбленнымъ, не смѣетъ и заявить о своихъ владѣльческихъ правахъ, иначе ему грозятъ страшныя уголовныя кары. Такова канва, по которой Кукольникъ расшилъ свои узоры.

Къ сожалѣнію, онъ не съумѣлъ воспользоваться подобнымъ богатымъ сюжетомъ, какъ-бы слѣдовало. По ходу его было-бы вполнѣ естественно въ лицѣ Полозкова представить продувного плута, который ловко воспользовался отвиливаньемъ барина отъ службы и, уловивъ его въ сѣти самозванства, завладѣлъ его имѣніемъ, предоставивъ барину пользоваться свободой отъ службы подъ фамиліей Полозкова. Кукольникъ же въ лицѣ Полозкова вывелъ мелодраматическаго героя-мстителя. Оказывается, что отецъ Костылькова былъ страшный тиранъ и хищникъ; въ эпоху стрѣлецкихъ смутъ онъ оттягалъ имѣнія у всѣхъ своихъ мелкопомѣстныхъ сосѣдей, и между прочимъ разорилъ и довелъ до могилы сосѣда помѣщика Полозкова; имѣніемъ его завладѣлъ, а дѣтей, мальчика и дѣвочку, привезъ къ себѣ, причемъ никто не зналъ, чьи они дѣти. Мальчикъ былъ похищенъ вѣрнымъ слугой Полозкова-отца и увезенъ въ Москву; дѣвочка-же выросла въ дѣвичьей Костылькова-сына, и тотъ насильно сдѣлалъ ее своей наложницей. Полозковъ и явился такимъ образомъ мстителемъ за своего отца и сестру, которую онъ увезъ изъ Костыльковки и выдалъ замужъ за одного знакомаго офицера, а самъ поѣхалъ въ Москву и въ Петербургъ во образѣ Костылькова.

Какъ мелодраматическій герой, онъ конечно ужъ надѣленъ всевозможными совершенствами: и добръ, и великодушенъ, и храбръ, и мудръ, аки змій, и все ему отлично удается.

Едва пріѣзжаетъ онъ въ Москву, является къ стольнику Колычову, принимавшему дѣтей дворянскихъ въ службу, и тотчасъ-же исполняетъ нѣсколько полицейскихъ подвиговъ. Такъ, на Спасскомъ мосту онъ увидѣлъ кликушу, смущавшую народъ предосудительными пророчествами, и изобличилъ ее въ глазахъ оберъ-полиціймейстера. Въ рекрутскомъ присутствіи при пріемѣ дворянъ онъ изобличилъ одного барчука, который, желая увернуться отъ службы, выставилъ за себя идіотика, безсмысленно повторявшаго рѣчи начальства. Наконецъ онъ раскрылъ цѣлое скопище раскольниковъ, занимавшихся распусканіемъ въ народѣ пасквилей на Петра и ложныхъ слуховъ ко вреду правительства, вторгся въ это скопище одинъ самолично, и не только его тамъ не убили, но онъ всѣхъ перевязалъ, отвелъ въ харчевню на Живодернемъ мосту, гдѣ брадобрѣи всѣхъ ихъ обкарнали, въ то время какъ самъ Иванъ Степанычъ ѣлъ поросенка,— и затѣмъ обритыхъ представилъ оберъ-полиціймейстеру.

— Послушай, братецъ!— сказалъ начальникъ полиціи: не хочешь-ли, я тебя коронным буфетчикомъ сдѣлаю?

— Государь-генералъ! Вы сражались и честь добыли, за что же вы хотите изъ меня сыщика сдѣлать?

— Да вѣдь ты самъ...

— Я чиню это по долгу совѣсти, потому что, зря зло, молчать не могу, и по охотѣ на воровъ тѣшусь, а изъ найма на такую службу не пойду. Тутъ есть разница...

Замѣчательно, что едва Иванъ Степановичъ пріѣзжаетъ въ Петербургъ, является къ Девіеру, и тотъ въ свою очередь сейчасъ-же возлагаетъ на него полицейское порученіе: отправиться въ адмиралтейскую фортецію, взять оттуда команду, арестовать съ этой командой князя Матвѣя Петровича Гагарина и отвезти его въ адмиралтейскую крѣпость для сдачи на руки коменданту.

Но всѣ эти полицейскіе подвиги героя нисколько не выручаютъ романа, и чтеніе его вслѣдствіе крайней растянутости, неуклюжести, а мѣстами и неправдоподобія нагоняетъ на читателя одуряющую скуку.

IX.

Біографическія свѣдѣнія о Булгаринѣ до изданія имъ романовъ: «Иванъ Выжигинъ», «Петръ Выжигинъ», «Дмитрій Самозванецъ», «Мазепа». — «Клятва при гробѣ Господнемъ» Н. А. Полевого. — Романы Масальскаго и О. Шишкиной. — Заключеніе.

При той всеобщей эпидеміи историческихъ романовъ, какая овладѣла всей литературой въ 30-е годы, и при тѣхъ матеріальныхъ благахъ, какія успѣли снискать этими романами нѣкоторые счастливцы, могъ-ли устоять Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ и въ свою очередь не закинуть удочки въ этотъ заманчивый прудъ на ловлю золотой рыбки? Казалось, что ему, болѣе чѣмъ кому-либо другому, свойственно писать историческіе романы, такъ какъ раньше выступленія на литературное поприще онъ самъ очень энергично занимался дѣланіемъ исторіи.

Мы не намѣрены подробно останавливаться на характеристикѣ этой личности, о которой не мало уже было писано въ нашей литературѣ, — личности, въ достаточной мѣрѣ извѣстной читающему люду, и ограничимся лишь тѣми біографическими чертами, которыя предшествовали выступленію Булгарина на поприще историческаго романа.

Булгаринъ родился 24 іюня 1789 г. (въ Виленской или Минской губерніи); отецъ его, извѣстный въ округѣ своемъ подъ именемъ шальнаго Булгарина, убилъ русскаго генерала Воронова и былъ сосланъ въ Сибирь. Мать его послѣ ссылки мужа переселилась въ Петербургъ и отдала сына въ Сухопутный кадетскій корпусъ, гдѣ Ѳаддей оказалъ большія способности. По экзамену слѣдовало бы ему выйти въ артиллерію или генеральный штабъ, но цесаревичъ Константинъ Павловичъ, по особенному благоволенію къ полякамъ, взялъ его въ уланскій полкъ, и онъ участвовалъ въ походахъ 1805, 1806 и 1809 годовъ, причемъ былъ сильно раненъ въ животъ при Фридландѣ и лежалъ нѣсколько недѣль въ кенигсбергскомъ лазаретѣ.

По возвращеніи гвардіи въ Петербургъ Булгаринъ началъ вести такую же распущенную и полную кутежей жизнь, какую вели въ то время всѣ гвардейцы, и навлекъ гнѣвъ Константина Павловича, кото-

рый встрѣтилъ его въ Петербургѣ въ костюмѣ амура въ то самое время, когда онъ былъ дежурнымъ по эскадрону въ Стрѣльнѣ. Но Булгаринъ и послѣ этого не унимался, написалъ даже сатиру на князя, за что былъ посаженъ на три мѣсяца въ кронштадтскую крѣпость и переведенъ въ какой-то армейскій драгунскій полкъ, находившійся въ войскахъ, дѣйствовавшихъ въ Финляндіи. Здѣсь онъ тоже не замедлилъ навлечь гнѣвъ начальства: его послали арестовать какого-то сельскаго пастора, отличавшагося своими партизанскими дѣйствіями противъ русскихъ войскъ и подлежавшаго за это разстрѣлянію: онъ же помогъ пастору скрыться. Это происшествіе сдѣлалось извѣстнымъ въ Финляндіи и въ Швеціи. По заключеніи мира явилась въ Стокгольмѣ гравюра съ изображеніемъ этого случая и съ надписью: «Великодушіе русскаго офицера». Въ бытность Булгарина въ Швеціи въ 1838 году пригласилъ его къ обѣду одинъ почтенный и богатый человѣкъ. Гостей было множество. Булгаринъ, сѣвши за столъ, увидѣлъ передъ собой гравированную картину. Всѣ пили съ восторгомъ за его здоровье.

Это не прошло Булгарину даромъ, и вотъ мы видимъ, что по окончаніи войны онъ, «будучи подпоручикомъ, 20-го мая 1811 г. отставленъ отъ службы по худой аттестаціи въ кондуитныхъ спискахъ».

Тогда онъ отправился въ Варшаву и вступилъ въ одинъ сформированный французами уланскій полкъ рядовымъ. Многіе смотрѣли на этотъ поступокъ Булгарина, какъ на измѣну. Товарищъ его по корпусу, полковникъ Петръ Ивановичъ Кошкуль, встрѣтя впослѣдствіи Булгарина въ числѣ плѣнныхъ французовъ, обозвалъ его подлецомъ. Но нужно принять въ соображеніе предшествовавшія неудачи его въ русской службѣ, а также и то, что, когда онъ поступилъ во французскую службу, Франція съ Россіей была еще въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ, и тотчасъ же по вступленіи своемъ въ ряды польскихъ улановъ Булгаринъ былъ посланъ въ Испанію. Въ 1812 году онъ находился въ корпусѣ маршала Удино, дѣйствовавшаго въ Литвѣ и Бѣлоруссіи противъ графа Витгенштейна. Въ 1813 году участвовалъ въ сраженіи при Бауценѣ; въ сраженіи при Кульмѣ онъ былъ въ эскадронѣ польскихъ улановъ, который пробился сквозь корпусъ прусскаго генерала Клейста. Въ 1814 году во Франціи онъ былъ взятъ въ плѣнъ прусскимъ партизаномъ Воломбомъ и отправленъ въ Пруссію, а потомъ плѣнныхъ привели въ Россію. По окончаніи войны ихъ размѣняли и полякамъ объявили безусловную амнистію. Булгаринъ съ другими освобожденными поляками явился въ Варшавѣ къ цесаревичу. Константинъ Павловичъ принялъ его ласково и, указавъ на прежнихъ товарищей его, Жандра, Албрехта и пр., въ звѣздахъ и лентахъ, сказалъ:

— И ты былъ-бы теперь генераломъ, еслибы остался у меня.

— Ваше высочество! — отвѣчалъ Булгаринъ, — я служилъ моему отечеству.

— Хорошо, хорошо! — возразилъ великій князь, — теперь послужи мнѣ!

Цесаревичъ предложилъ Булгарину хорошее мѣсто, но тотъ отказался, объявивъ, что долженъ ѣхать къ матери и привести въ порядокъ разстроенное свое имѣніе. Онъ дѣйствительно посѣтилъ мать и возобновилъ знакомство съ своими родственниками. Дядя его, Павелъ Булгаринъ, полюбивъ Фаддея за живой характеръ, умъ и находчивость, поручилъ ему вести процессъ съ родственникомъ, графомъ Тышкевичемъ, и Парчевскимъ. Дѣло шло объ восьми тысячахъ душъ. Булгарину за ходатайство обѣщано было пять процентовъ, т. е. четыреста душъ. Процессъ производился въ сенатѣ, и новый ходатай отправился въ С.-Петербургъ.

Вотъ здѣсь-то и началась та нравственная порча, которая въ какія-нибудь пять лѣтъ сдѣлала Булгарина неузнаваемымъ. Гречъ въ своихъ запискахъ приписываетъ эту порчу, главнымъ образомъ, занятію Булгарина сутяжничествомъ по веденію процесса. «Мнѣ кажется, — говоритъ онъ, — что занятія этимъ процессомъ, сопряженныя съ уловками и продѣлками, которыя не всегда оправдываются законами чести и долга, имѣли вредное вліяніе на развитіе его понятій и характера. Для достиженія своей цѣли, онъ употреблялъ всѣ возможныя средства: съ утра до вечера таскался по сенаторскимъ и оберъ-прокурорскимъ передняхъ, завѣщалъ секретарей и стряпчихъ, кормилъ и подкупалъ ихъ, привозилъ игрушки и лакомства ихъ дѣтямъ, подарки женамъ и любовницамъ» и т. д.

Если все это и такъ, то къ этому слѣдуетъ прибавить, что конечно Булгаринъ отъ природы былъ крайне неустойчивъ и легкомысленъ въ нравственномъ отношеніи и не обладалъ твердымъ нравственнымъ закаломъ, иначе не пошелъ-бы онъ и сутяжничать. Въ то-же время не мѣшаетъ принять въ соображеніе и растлѣвающее вліяніе на него самого Н. И. Греча, особенно съ тѣхъ поръ, какъ начали они издавать «Сѣверную Пчелу». По крайней мѣрѣ на 450 стр. своихъ записокъ Гречъ самъ намекаетъ на это, говоря о томъ, какъ ему приходилось удерживать сарматскіе порывы Булгарина. Среди хлопотъ по процессу началъ Булгаринъ порой и пописывать. Такъ, онъ вздумалъ издать «Оды Горація» съ комментаріями Ежевскаго и другихъ критиковъ, но, зная плохо латинскій языкъ, обратился къ помощи какого то родственника Греча. Ежевскій и нѣкоторые латинисты жаловались на заимствованіе ихъ примѣчаній, но Булгаринъ оправдывался тѣмъ, что упомянулъ объ этихъ заимствованіяхъ въ своемъ предисловіи. Въ то-же время онъ втерся къ Магницкому и Руничу и старался при ихъ помощи ввести эту книгу въ училища, но обѣщанія ихъ ограничились словами. Книга не раскупалась, и Булгаринъ рѣшился пожертвовать ее въ пользу училищъ.

Затѣмъ онъ занялся русской исторіей, выбравъ для этого періодъ самозванцевъ, причемъ пользовался польскими источниками. Героиней его была Марина Мнишекъ, и въ маѣ 1823 года на публичномъ чтеніи Общества Соревнователей Просвѣщенія и Благотворительности онъ читалъ между прочимъ отрывки изъ біографіи Марины Мнишекъ, но потерпѣлъ полное фіаско.

Въ то-же время онъ началъ издавать «Сѣверный Архивъ», въ которомъ помѣщалъ разные историче-

скіе матеріалы, но впадалъ въ страшные промахи, особенно по недостаточному знанію иностранныхъ языковъ, коверкалъ собственныя имена, смѣшивалъ событія. Желая придать сухому журналу болѣе интереса для читающей публики, онъ вздумалъ издавать при немъ особые листки, подъ заглавіемъ «Волшебный фонарь», и тутъ впервые онъ испыталъ себя въ сатирическомъ родѣ; это ему пришлось по вкусу, онъ замѣтилъ относительный успѣхъ въ публикѣ его сатирическихъ и историческихъ очерковъ и, оставивъ ученую литературу, весь отдался беллетристикѣ и газетнымъ статьямъ въ «Сѣверной Пчелѣ», которую началъ издавать вмѣстѣ съ Гречемъ съ 1825 года, причемъ и при этомъ случаѣ Булгаринъ не замедлилъ выказать главную черту своего характера—способность всюду втираться и пользоваться какими бы то ни было обстоятельствами.

Затѣмъ, черезъ четыре года, въ 1829 году, онъ дебютируетъ первымъ своимъ романомъ «Иванъ Выжигинъ». Романъ этотъ, собственно говоря, не входитъ въ наше разсмотрѣніе, такъ какъ онъ нравственно-сатирическій, а не историческій. Но мы не можемъ удержаться и не сказать нѣсколько словъ о главномъ героѣ его, Иванѣ Выжигинѣ, такъ какъ герой этотъ, подобно тому, какъ и всѣ романическіе герои, отлично рисуетъ передъ нами нравственный міръ самого автора, свидѣтельствуетъ о его идеалахъ.

Правда, что Булгаринъ въ своемъ предисловіи къ роману (въ видѣ письма къ его превосходительству Арсенію Андреевичу Закревскому) смотритъ на своего героя объективно и самъ сознается, что онъ вовсе не желалъ представить его совершенствомъ.

«По правиламъ,—говоритъ онъ,—надобно, чтобы герой романа дѣйствовалъ, какъ бандъ, говорилъ сентенціями, какъ ораторъ, и представлялъ собой образецъ человѣческаго совершенства и скуки. Когда сочиненіе мое было почти готово, я получилъ книжку прекраснаго французскаго журнала «Revue Britanique» (№ 29, 1827) и къ удовольствію моему нашелъ статью, подъ заглавіемъ *«Отчего герои романовъ такъ приторны?»* Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ авторъ говоритъ: «Отъ совершенства, въ которомъ ихъ представляютъ. Это ангелы, а не люди». Далѣе говоритъ авторъ: «намъ представляютъ героевъ романа какими-то театральными божествами, и отъ того они также холодны. Многіе думаютъ, что представить ихъ слабыми, нерѣшительными, подвластными обстоятельствамъ, значитъ унизить ихъ. Но мы люди, мы имѣемъ слабости, и потому самые недостатки человѣчества занимаютъ и трогаютъ насъ болѣе». Таковъ былъ и есть мой образъ мыслей на счетъ героевъ романа. *Мой Выжигинъ есть существо доброе отъ природы, но слабое въ минуты заблужденія, подвластное обстоятельствамъ,—однимъ словомъ, человѣкъ, какихъ мы видимъ въ свѣтѣ много и часто. Такимъ хотѣлъ я изобразить его. Происшествія его жизни такого рода, что могли-бы случиться со всякимъ, безъ прибавленія вымысла.*»

Этими словами Булгаринъ очевидно желаетъ дать намъ понять, что герой его не идеальное совершенство, а обыкновенный смертный, каковы всѣ мы, какимъ сознавалъ себя и самъ авторъ. Посмотрите-же теперь, каковъ этотъ герой и каковы происшествія его жизни, могшія случиться со всякимъ.

Незаконнорожденный сынъ князя Милославскаго, прижитый имъ съ крестьянкой, Иванъ Выжигинъ, послѣ разныхъ невообразимыхъ мытарствъ, попалъ вдругъ въ плѣнъ къ киргизамъ; затѣмъ, сойдясь съ ними и свыкшись съ ихъ жизнью, ходилъ съ ними на разбой, и по дѣлежѣ добычи на его долю достались разные товары, которые по ликвидаціи очистили ему около сорока тысячъ рублей. Пріѣхавъ съ этими деньгами въ Москву, онъ втерся въ большой свѣтъ, подъ личиной юго-западнаго польскаго дворянина, и въ такомъ самозванномъ видѣ началъ промышлять карточной игрой.

«Я игралъ честно, - разсказываетъ онъ,—въ коммерческія игры, но игралъ искусно, хладнокровно, внимательно; садился играть на большія деньги, и всегда почти выигрывалъ. Не имѣя никакого понятія объ игорномъ плутовствѣ, я однимъ счастьемъ разрушалъ всѣ заговоры, составляемые противъ меня игроками. Когда играли въ банкъ, я внезапно ставилъ нѣсколько картъ въ серединѣ таліи: выигрывалъ, бралъ деньги и уѣзжалъ домой. Проигравъ, я не продолжалъ игры, и никогда не отыгрывался. Не будучи привязанъ ни къ игрѣ, ни къ деньгамъ, я игралъ, какъ говорится, разсчетисто, и какъ счастье мнѣ благопріятствовало, то я, не будучи игрокомъ, жилъ игрой. Въ два года я выигралъ около двадцати пяти тысячъ рублей наличными деньгами, а въ долгу у меня было по крайней мѣрѣ столько-же...»

Но онъ не могъ остановиться на одномъ подобнаго рода честномъ шулерствѣ, такъ какъ связь его съ одной актрисой требовала громадныхъ расходовъ, и вотъ онъ сошелся съ настоящими шулерами, и въ домѣ своей любовницы открылъ игорный домъ съ цѣлью обыгрывать навѣрняка. Это не помѣшало ему выйти сухому изъ воды, когда шулера были захвачены полиціей, и въ концѣ-концовъ, выигравъ процессъ у своихъ родственниковъ, сдѣлавшись очень богатымъ и женившись на любимой дѣвушкѣ, какъ и подобаетъ герою, въ заключеніе онъ восклицаетъ съ совершенно чистой совѣстью: «испытавъ многое въ жизни, бывъ слугой и господиномъ, подчиненнымъ и начальникомъ, киргизскимъ наѣздникомъ и русскимъ воиномъ, лѣнивцемъ и дѣльцомъ, потомъ, игрокомъ по слабости, а не по страсти, испытавъ людей въ счастіи и несчастіи,—я удалился отъ свѣта, но не погасилъ въ сердцѣ своемъ любви къ человѣчеству».

Вотъ къ какимъ поступкамъ считалъ Булгаринъ способными людей средняго уровня нравственности, къ которымъ причислялъ и себя.

Какъ-бы то ни было, но романъ Булгарина имѣлъ такой большой успѣхъ, что въ два года разошлось его до семи тысячъ экземпляровъ. Видя успѣхъ «Ивана Выжигина», книгопродавецъ Алексѣй Заикинъ заказалъ Булгарину «Петра Выжигина», но послѣдній, изданный въ 1831 году, далеко уже не имѣлъ такого успѣха, и это очень понятно.

Романъ «Иванъ Выжигинъ» былъ прочтенъ публикой, подобно и «Юрію Милославскому», изданному въ томъ-же году, какъ сказка. Но въ «Петрѣ Выжигинѣ», выступивъ впервые на поприще историческаго романа, Булгаринъ имѣлъ дѣло съ событіемъ, только-что совершившимся и бывшимъ въ памяти у всѣхъ современниковъ, и къ тому-же ему пришлось конкурировать съ Загоскинымъ; и если «Рославлевъ» Загоскина не имѣлъ, какъ мы видѣли, успѣха, то могъ-ли ожидать его «Петръ Выжигинъ»,—романъ, во всѣхъ отношеніяхъ уступавшій «Рославлеву»?

Къ тому-же романъ поражаетъ бѣдностью именно того, чѣмъ онъ долженъ-бы быть богатъ: историческимъ своимъ содержаніемъ. Казалось-бы, что отъ Булгарина, какъ очевидца и участника во всѣхъ наполеоновскихъ войнахъ, начиная съ 1805 и кончая 1814 годомъ, и притомъ такого разносторонняго очевидца и участника, который сначала дрался въ рядахъ русскихъ войскъ, а потомъ французскихъ, — можно было-бы ожидать хотя сколько-нибудь интересныхъ свѣдѣній и картинъ, а между тѣмъ ничего не находите вы, кромѣ самыхъ общихъ лубочныхъ красокъ, какими наполнены всѣ романы того времени, изображавшіе войну 1812 года. Одно развѣ, что останавливаетъ ваше вниманіе, это сцена во время бѣгства изъ Москвы, до нѣкоторой степени напоминающая подобную-же сцену въ романѣ «Война и миръ» гр. Л. Толстого,—именно ту, когда Ростовы, уѣзжая изъ Москвы, жертвуютъ для раненыхъ свои подводы, на которыхъ они намѣревались перевезти свои вещи. Но конечно между гр. Л. Толстымъ и Булгаринымъ,въ изображеніи подобнаго эпизода лежитъ цѣлая пропасть. У гр. Л. Толстого добродушный Ростовъ самъ жертвуетъ свои подводы по энергическому настоянію Наташи, и здѣсь передъ вами раскрывается одна изъ тѣхъ высокихъ человѣческихъ чертъ, какія таятся въ глубинѣ многихъ людей, повидимому совершенно обыкновенныхъ и маленькихъ, и обнаруживаются въ какія-нибудь роковыя и рѣшительныя минуты. У Булгарина-же все это изображено въ грубо-сатирическомъ видѣ. Представляется бѣгство изъ Москвы двухъ совершенно офранцузившихся русскихъ семействъ, князя Курдюкова и графа Хохленкова. Петръ Выжигинъ силой заставляетъ ихъ опростать для раненыхъ свои подводы, нагруженныя различными предметами роскоши; двухъ-же французовъ, друзей дома, сидѣвшихъ въ каретѣ съ господами, пересаживаетъ на запятки. Графъ Хохленковъ при этомъ насилу упрашиваетъ Выжигина пощадить статую Венеры съ купидономъ. «Я не отъ того,—говоритъ онъ,—привязанъ къ моей Венерѣ, что она совершенство искусства, но отъ того, что всѣ иностранцы, всѣ путешественники за долгъ поставляли себѣ быть у меня, чтобъ взглянуть на сіе рѣдкое произведеніе искусства, которое тесть мой выписалъ за весьма дорогую цѣну изъ Италіи. Эта Венера и этотъ купидонъ были точкой соединенія для всѣхъ иностранцевъ, предметомъ къ разговорамъ. Венера прославила мое имя! Обо мнѣ писали въ иностранныхъ журналахъ! Ахъ, сжальтесь надо мной и возвратите мнѣ Венеру съ сыномъ ея!..».

Когда-же раненые были размѣщены на подводахъ графа и князя, Выжигинъ обратился къ нимъ съ такой рѣчью:—«Ребята! поблагодарите ихъ сіятельства за милость! Они *добровольно* пожертвовали своимъ добромъ, чтобъ только пособить вамъ. А вотъ они-же велѣли дать вамъ денегъ!» Выжигинъ вынулъ изъ собственнаго бумажника пукъ ассигнацій и далъ унтеръ-офицеру, чтобъ онъ раздѣлилъ ихъ между ранеными отъ имени графа Хохленкова и князя Курдюкова. Солдаты огласили воздухъ восклицаніями: «Ура! Да здравствуютъ ихъ сіятельства!» Выжигинъ велѣлъ двинуться каретамъ и повозкамъ; онъ ѣхалъ впереди и очищалъ дорогу. Князь Курдюковъ безпрерывно повторялъ: «вольнодуиство! вольнодуиство!» Графъ Хохленковъ молчалъ и составлялъ проэктъ отищенія, а между тѣмъ графиня обременяла его упреками за то, что онъ не умѣлъ употребить силы для обузданія Выжигина. Княгиня Курдюкова и княжна Полина безпрестанно выглядывали изъ оконъ кареты и утѣшали двухъ друзей дома, французовъ, которые помѣстились на запяткахъ и шутили остроумно насчетъ своего перемѣщенія».

Вотъ и все, что только мы можемъ найти въ романѣ хоть сколько нибудь характернаго. Что-же касается до любовной интриги, то она поражаетъ насъ своими крайними натяжками и тѣми-же вычурами, къ какимъ въ то время обыкновенно прибѣгали для увлеченія читателя. Довольно сказать, что, желая героиню свою Лизу, дочь бѣднаго подъячаго, сдѣлать богатой и посему достойной руки столь доблестнаго героя, какъ Петръ Выжигинъ, Булгаринъ заставляетъ нѣкоего великодушнаго полковника Ярославскаго жениться на ней на смертномъ одрѣ нарочно для того, чтобы передать ей свое богатство.

Еще меньшій успѣхъ имѣли два другіе историческіе романа Булгарина: «Дмитрій Самозванецъ», изданный въ 1830 году, и «Мазепа»—въ 1834 году. Въ этихъ романахъ Булгаринъ еще болѣе поражаетъ своихъ читателей грубостью чисто лубочнаго письма и кровавымъ мелодраматизмомъ, выходящимъ изъ всѣхъ предѣловъ. Какъ Дмитрій, такъ и Мазепа являются конечно ужъ самыми ирачными злодѣями, только-что не питающимися человѣчьимъ мясомъ. Дмитрію ничего не стоило схватить за шиворотъ любимую и преданную ему дѣвушку и хладнокровно швырнуть ее въ Днѣпръ; но она выплыла и потомъ до самой смерти преслѣдовала его своей местью, а когда онъ былъ убитъ, «въ толпѣ народной раздался хохотъ, всѣ съ ужасомъ оборотились въ ту сторону и увидали женщину блѣдную, съ блуждающими взорами. Она срывала съ головы повязку и фату и попирала ихъ ногами; захохотала въ другой разъ, страшно взглянула на небо, упала безъ чувствъ — и тотчасъ-же скончалась»...

Мазепа-же отъ первой страницы до послѣдней положительно купается въ крови, умирая-же говоритъ духовнику: «я грѣшенъ противу всѣхъ десяти заповѣдей, отъ первой до послѣдней... Въ мечтахъ суетнаго мудрствованія я даже отвергалъ бытіе Бога и истину искупленія... Я игралъ клятвами... Не щадилъ крови человѣческой... Ругался надъ добродѣтелью и цѣломудріемъ... Я измѣнникъ!..»

Весь историко-философскій взглядъ Булгарина на эпоху междуцарствія исчерпывается слѣдующимъ мѣстомъ его предисловія:

«Быть можетъ найдутся люди, которые, судя по нынѣшнему, найдутъ, что предки ихъ были слишкомъ непросвѣщенны. Правда, они были необразованы, но умны, смѣтливы и знали все, чего требовалъ отъ нихъ духъ времени и тогдашній порядокъ вещей. Нынѣшнія политическія и историческія идеи вовсе были чужды русскимъ тогдашняго времени. Вся политическая добродѣтель состояла тогда въ безпредѣльной, безпрекословной преданности къ царю, къ православной вѣрѣ и къ отечеству; премудрость—въ точномъ исполненіи царской воли И

вотъ разгадка тайны, почему у всѣхъ руки опустились, когда самозванецъ объявилъ, что онъ—истинный царскій сынъ, законный наслѣдникъ престола! Нѣкоторые историки, слѣдуя современнымъ лѣтописцамъ, приписываютъ успѣхъ самозванца порочности тогдашнихъ нравовъ. Это мнѣніе кажется мнѣ несправедливымъ. Отъ сотворенія міра всѣ люди жалуются на испорченность нравовъ настоящаго поколѣнія, какъ-то дѣлали лѣтописцы наши XVI и XVII вѣковъ. Правда, возвышеніе Годунова, къ обидѣ царскаго рода, возбудило негодованіе, зависть и несогласіе между боярами, что и было также косвенной причиной успѣха Лжедмитрія. Но главная причина была привязанность народа къ царскому племени. Она сдѣлала всѣ чудеса! И такъ, русскій народъ достоинъ похвалы, а не хулы, за приверженность къ тому, котораго почиталъ государемъ законнымъ.»

До какой-же степени простирается смѣлость Булгарина, съ которой онъ играетъ историческими лицами, какъ пѣшками, сближая и отдѣляя ихъ другъ отъ друга, какъ ему вздумается, мы можемъ судить по тому, что ему ничего не стоило заставить Димитрія Отрепьева явиться къ царю Борису во дворецъ и бесѣдовать сначала съ дочерью его Ксеніей, а потомъ—съ самимъ царемъ. Оказывается, что къ царевнѣ Ксеніи онъ питалъ нѣжную страсть задолго до своего самозванства, и вотъ, движимый этою страстью, онъ является во дворецъ Бориса подъ личиной инока острожскаго монастыря, проникаетъ въ ея опочивальню, подъ предлогомъ леченія ея болѣзни, и толкуетъ видѣнный ею сонъ, дѣлая слѣдующія предсказанія:

«Сонъ твой предзнаменуетъ блистательную участь, славнѣйшую и завиднѣйшую участи цѣлаго твоего семейства. Будутъ вѣсти страшныя, наступитъ время дѣлъ великихъ, будетъ кровопролитіе въ землѣ православной: но ты, царевна, останешься невредимой. Ты будешь женой могучаго владыки и въ вѣнцѣ царскомъ, въ любви супружеской, въ нѣжности материнской забудешь терновый путь, по которому достигнешь до послѣдней ступени земного счастія и величія. Утѣшься, царевна, и вѣрь мнѣ; вѣрь, что никакое зло не коснется тебя, и что ни единая царевна не будетъ такъ возвеличена, какъ ты, Ксенія Борисовна!»

Вслѣдъ затѣмъ онъ отправляется къ царю Борису и въ свою очередь толкуетъ ему видѣнный сонъ.

«— Не правда-ли, отче Григорій, что сонъ ужасный!

— Ужасенъ, и если позволишь сказать, не предвѣщаетъ добраго, отвѣчалъ монахъ.

— Говори, говори все, что ты думаешь, сказалъ царь:—не бойся ничего; думай вслухъ передо мной.

— Государь! великое бѣдствіе угрожаетъ роду твоему, и болѣе всѣхъ—тебѣ!..

— А Россіи? спросилъ государь, прервавъ слова монаха.

— Россія! сказалъ монахъ и задумался.—Россія, продолжалъ онъ медленно:—также претерпитъ бѣдствіе, но она нетлѣнна и, какъ адамантъ въ огнѣ, очистится въ смутахъ. Господь Богъ не попуститъ, чтобъ заглохла послѣдняя гряда, на которую пересажено съ Востока животворное древо православія. Онъ не разгонитъ послѣдняго стада избранныхъ агнцевъ и не дастъ ихъ на съѣденіе лютымъ волкамъ». Монахъ остановился и, помолчавъ, промолвилъ: «но онъ можетъ перемѣнить вертоградаря, можетъ ввѣрить избранное стадо другому пастырю...»

Мы не намѣрены входить въ подробный разборъ всѣхъ тѣхъ остальныхъ романовъ, которые обозначены въ заглавіи настоящей главы, такъ какъ считаемъ это дѣло совершенно излишнимъ; все это такая безцвѣтная труха, въ которой, сколько ни ройся, ничего не найдешь, даже хотя-бы чего-либо курьезнаго съ цѣлью посмѣяться. Мы потому только и обозначили эти романы, что одни изъ нихъ не совсѣмъ еще забыты и нѣкоторые удостоились даже новыхъ изданій въ весьма недавнее время («Клятва при гробѣ Господнемъ» Н. А. Полевого и «Стрѣльцы» П. П. Масальскаго), другіе-же, именно романы О. Шишкиной, имѣютъ лишь тотъ интересъ, что написаны великосвѣтской женщиной. Обо всемъ этомъ хламѣ достаточно будетъ сказать нѣсколько словъ.

Такъ, «Клятва при гробѣ Господнемъ» показываетъ только одно: именно, что Н. А. Полевой совсѣмъ не былъ рожденъ беллетристомъ, и лучшій критикъ сороковыхъ годовъ какъ нельзя болѣе мѣтко и остроумно опредѣлилъ достоинство этого романа, сказавши о немъ, что въ немъ «видно много ума, но мало фантазіи, видно усиліе, но не видно вдохновенія».

Собственно говоря, если хотите, это даже и не романъ, не какое либо иное художественное произведеніе, а просто историческій трактатъ, изложенный въ видѣ разговоровъ между собой нѣсколькихъ историческихъ личностей о современныхъ имъ событіяхъ. Среди этихъ разговоровъ, надо признаться, мѣстами безконечно длинныхъ, вялыхъ и скучныхъ, вы встрѣтите и выдержки изъ лѣтописей, и сказки, приведенныя въ цѣломъ видѣ, и археологическія описанія. Все это и въ свое время было нестерпимо скучно, а нынѣ совершенно неодолимо.

Впрочемъ самъ Н. А Полевой назвалъ свою «Клятву» не романомъ, а «русскою былью XV го вѣка»; хотя въ послѣсловіи онъ самъ добродушно сознается, что не любо не слушай, а лгать не мѣшай.

«Обѣщалъ я—говоритъ онъ,—правда быль—не сказку, но и не лѣтопись, не гисторію правдивую. Правда—вещь рѣдкая на бѣломъ свѣтѣ. Чистой, самородной (какъ въ Сибири находятъ золото самородное полупудовыми кусками) едва-ли найдете вы правду въ здѣшнемъ мірѣ. Не думаютъ обманывать, а правды все-таки не говорятъ. Вотъ примѣромъ сказать, случалось-ли вамъ что-нибудь самимъ видѣть и послѣ того слышать разсказы о видѣнномъ вами отъ другихъ самовидцевъ? Всякій разсказываетъ, не лжетъ, и такъ говоритъ, да не такъ выходитъ. Оттого у насъ издавна ведется пословица: изъ одной бани да не однѣ вѣсти. Что-же тутъ дѣлать? Какъ кому кажется, такъ тотъ и говоритъ. Только смотрите, добрые читатели: добросовѣстно-ли разсказываютъ вамъ?

«Здѣсь я кладу руку на сердце и скажу вамъ смѣло:—я разсказывалъ такъ, какъ по чистой совѣсти мнѣ казалось. И если я въ этомъ лгу, то да будетъ мнѣ стыдно, или при старикахъ, на морозѣ, шапку съ меня снять извольте. Вы найдете кое-что не такъ, если станете сличать разсказы другихъ о Шемякѣ съ моимъ разсказомъ. До сихъ поръ вамъ представляли Шемяку злодѣемъ, какихъ мало и бывало на святой Руси, а Василія Темнаго—такимъ тихимъ, что и воды не замутитъ. У меня Шемяка показанъ вамъ иначе: лихой, удалый, горячая голова съ добрымъ сердцемъ и съ несчастіемъ, на роду написаннымъ. Закройте вы всѣ ваши гисторіи; вслушайтесь въ разсказы старинныхъ лѣтописей; вдумайтесь въ то, что они говорятъ и какъ говорятъ, и уже потомъ меня судите—такъ я и буду правъ...»

Мы не будемъ входить въ разбирательство, на сколько былъ правъ или неправъ Н. А. Полевой, считая Шемяку «лихимъ, удалымъ, горячей головой съ добрымъ сердцемъ», вопреки всѣмъ прочимъ историкамъ

и самому народу, окрестившему всякій неправый судъ «*шемякинымъ*»; пусть люди компетентные судятъ романъ этотъ со стороны его исторической правды; что же касается до художественной его стороны, то остается только пожалѣть, что Полевой изложилъ свой оригинальный взглядъ въ формѣ романа, а не просто историческаго трактата безъ малѣйшихъ претензій на повѣствованіе.

Константинъ Петровичъ Масальскій родился въ 1802 г., жизнь провелъ за канцелярскимъ столомъ въ различныхъ министерствахъ; выйдя въ отставку въ 1842 г., онъ умеръ въ 1861 году. Написалъ онъ не мало и историческихъ, и современныхъ романовъ втеченіи своей жизни; но крайней мѣрѣ мы видимъ, что сочиненія его въ 1845 году были изданы въ пяти томахъ; но изъ всѣхъ этихъ пяти томовъ только и сохранились въ памяти людей позднѣйшаго поколѣнія два его романа: «Стрѣльцы» и «Регентство Бирона», но и объ этихъ романахъ положительно не знаешь, что сказать: все въ нихъ съ одной стороны вполнѣ прилично и на своемъ мѣстѣ, согласно установившейся рутины историческихъ романовъ, а съ другой—такъ сѣро, такъ заурядно и такъ безцвѣтно, какъ тѣ канцелярскія бумаги, которыя строчилъ Масальскій полжизни. Однимъ словомъ, отъ каждой строки Масальскаго такъ и вѣетъ на васъ чиновникомъ министерства государственныхъ имуществъ, знающимъ, гдѣ слѣдуетъ ставить запятыя, гдѣ букву ѣ, гдѣ увлечься патріотическимъ паѳосомъ, гдѣ пройтись по части моральной строгости, или, наоборотъ,— подпустить въ мѣру клубнички.

Ольга Шишкина была великосвѣтская, придворная дама, любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексѣевны; какихъ-нибудь болѣе подробныхъ свѣдѣній о ея жизни не имѣется. Неизвѣстно даже, когда она родилась, когда скончалась (кажется, не очень еще давно). Написала она всего два историческихъ романа (кромѣ «Путевыхъ записокъ по югу, кажется, Россіи»): «Князь Скопинъ-Шуйскій, или Россія въ началѣ XVII столѣтія», изданный въ 1835 году, и «Прокопій Ляпуновъ, или междуцарствіе въ Россіи, продолженіе Князя Скопина-Шуйскаго», 1845 г. Оба романа очень длинные—каждый въ четыре тома.

Первый романъ очевидно непосредственно былъ внушенъ чтеніемъ «Юрія Милославскаго» Загоскина, и тотчасъ-же послѣ этого чтенія въ 1829 году задумала Шишкина состязаться съ Загоскинымъ, какъ объ этомъ можно судить по слѣдующему мѣсту предисловія:

«Уже болѣе шести лѣтъ, какъ была написана первая страница романа «Князь Скопинъ-Шуйскій, или Россія въ началѣ XVII столѣтія». Съ тѣхъ поръ, хотя не ежедневно, правду сказать и не еженедѣльно, но по нѣскольку мѣсяцевъ въ году занимался имъ авторъ. Конечно никто этому не повѣритъ. Если-же кто-внутренно и согласится, что человѣку, ничего не печатавшему, не принадлежащему къ сословію литераторовъ, не имѣющему съ ними знакомства, дѣйствительно было очень трудно, при собственныхъ только весьма ограниченныхъ свѣдѣніяхъ, обработать свое произведеніе такъ, чтобы оно не совсѣмъ походило на линючіе ситцы, къ которымъ забавно примѣнены развозимыя по уѣздамъ новыя сочиненія; если, повторяю, кому нибудь и покажется это справедливымъ, едва-ли кто въ этомъ сознается: въ наши времена чрезвычайно боятся прослыть легковѣрнымъ» и т. д.

Ниже, съ тою-же великосвѣтскою развязностью, писательница объясняетъ цѣль своего изданія:

«Не льстивыя похвалы пріятеля—говоритъ она—и не собственное тщеславіе побуждаютъ издать романъ «Князь Скопинъ-Шуйскій»: авторъ, нерѣшительность котораго уже доказана, не смѣлъ-бы положиться ни на то, ни на другое. Но надобно признаться, что я изъ числа тѣхъ странныхъ людей, которые не могутъ одни, безъ товарищей, веселиться и хорошей погодой. Мнѣ захотѣлось, показалось нужно, какъ будто необходимо разсказать всѣмъ, какъ пылаетъ душа моя любовью къ отечеству, какъ ревностно я желаю ему вѣчнаго благоденствія. Мнѣ захотѣлось подѣлиться чувствами, доставившими мнѣ много отрады и наслажденій среди заботъ, въ уединеніи и на пышныхъ празднествахъ! Это свойственно русскимъ, а обо мнѣ уже давно сказано, que je suis Russe jusqu'au bout des ongles. Можетъ быть хотѣли мнѣ польстить этимъ, можетъ быть и посмѣяться надо мной: при нынѣшнемъ утонченномъ образованіи трудно это угадать...»

Но, не смотря на то, что Шишкина считала себя la russe jusqu'au bout des ongles, русскій языкъ по-видимому плохо ей давался, и мѣстами выражается она на немъ весьма нескладно. Такъ, на первой же страницѣ романа Шишкина описываетъ домъ, «*замѣчательный по высокой своей кровлѣ, надвое раздѣленной перилами*». Какъ ни ломалъ я голову, чтобы представить себѣ, какъ это перила могутъ раздѣлять пополамъ высокую крышу, никакъ не могъ вообразить ничего подобнаго. Или вотъ вамъ еще образчикъ слога Шишкиной въ четвертой части романа:

«У небольшого, опрятнаго домика, на берегу Москвы рѣки, мужчина и женщина сидѣли рядомъ на завалинкѣ, упершись головами въ бревенчатую стѣну. Смотря на нихъ, должно было думать, что или постигло ихъ тяжкое, невозвратимое бѣдствіе, или въ первый еще разъ послѣ мучительной болѣзни вышли они подышать чистымъ воздухомъ. Блѣдныя, изсохшія ихъ лица, впалые глаза и судорожное потрясеніе ихъ членовъ пугали проходящихъ. Спѣшившіе въ хлѣбныя лавки купцы остерегались встрѣтить взоры ихъ, живо выражавшіе странное непомѣрное смѣшеніе самыхъ противоположныхъ чувствъ. То казалось, пламенная вѣра услаждала ихъ страданія; то они совершенно теряли надежду на милосердіе Божіе; то думали, что ближніе имъ помогутъ; то ненавидѣли людей, какъ свирѣпыхъ враговъ; то мысль о близкой смерти успокаивала ихъ волненіе; то они съ ужасомъ отвергали ее, желая во что бы то ни стало продлить жизнь.»

Знакомить читателей съ содержаніемъ этихъ безконечно длинныхъ и скучныхъ романовъ я считаю совершенно излишнимъ. Достаточно будетъ сказать лишь, что они съ первой до послѣдней страницы такъ и пылаютъ патріотизмомъ. «Высокая цѣль оживотворяла меня,—говоритъ Шишкина въ предисловіи къ «Прокопію Ляпунову»,— я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божіимъ желаніе пробудить въ благородныхъ сердцахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранными наставниками и не совсѣмъ справедливой, но великолѣпной картиной нерусскаго образованія. Исторіи должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто объ этомъ не споритъ. Но и пріятное развлеченіе часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ чи-

таютъ, не всѣ могутъ понимать и цѣнить важность происшествій государственныхъ, но, читая «Ивангое» «Юрія Милославскаго» и имъ подобные историческіе романы, всѣмъ пріятно, мысленно переносясь въ отдаленные вѣка, какъ будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашнемъ быту».

Критика того времени очень благосклонно и снисходительно относилась къ романамъ Шишкиной, конечно въ уваженіи къ тому обстоятельству, что вотъ такая высокопоставленная дама снисходитъ до занятія литературой и задается цѣлями, во всякомъ случаѣ очень почтенными и похвальными, хотя, по правдѣ сказать, романы Шишкиной вполнѣ заслуживаютъ того полнаго забвенія, какое ихъ постигло.

На основаніи всѣхъ разобранныхъ нами, равно и упомянутыхъ произведеній мы можемъ сдѣлать теперь окончательный выводъ относительно исторической беллетристики нашей 30—40-хъ годовъ. Мы видимъ, что вся она распадается на двѣ категоріи, не имѣющія между собой ничего общаго: съ одной стороны передъ нами историческія произведенія Пушкина и Гоголя,—произведенія очень высокаго достоинства, но оставшіяся безъ подражанія. Общество даже въ лицѣ своихъ передовыхъ литературныхъ представителей оказалось недоросшимъ до высоты этихъ произведеній, неспособнымъ не только подражать имъ, но и въ достаточной мѣрѣ оцѣнить ихъ. И вотъ образовалась особенная школа исторической беллетристики, не имѣющая съ ними ничего общаго, но бывшая вполнѣ по плечу полуобразованному обществу,—именно беллетристика болѣе сказочнаго, чѣмъ историческаго содержанія.

Первое, что васъ поражаетъ въ этой школѣ,—это замѣчательное однообразіе всѣхъ ея произведеній. Всѣ они словно выкроены по одному шаблону или вылиты въ одной формѣ. Даже съ внѣшней ихъ стороны бросается вамъ въ глаза ихъ взаимное сходство: всѣ они раздѣляются на томы, страницъ отъ 200 до 300, а томы въ свою очередь – на главы, и передъ каждой главой непремѣнно вы встрѣтите одинъ или нѣсколько эпиграфовъ. Всѣ они украшены одной или двумя гравюрами, довольно иногда недурными. У всѣхъ у нихъ въ заглавіи вы найдете неизбѣжное *или*. Далѣе затѣмъ всѣ они обнаруживаютъ самое поверхностное знаніе исторіи ихъ авторами, произвольное искаженіе историческихъ фактовъ, порой даже и сочиненіе небывалыхъ. Всѣ они въ одинаковой степени патріотичны и мелодраматичны. Такую картину представляетъ собой наша историческая беллетристика 30—40-хъ годовъ.

ЖЕНЩИНЫ ВЪ ПЬЕСАХЪ ОСТРОВСКАГО.

I.

Надъ Островскимъ, благодаря съ одной стороны тому, что на сценѣ удержались лишь нѣсколько пьесъ его преимущественно изъ купеческаго быта, а съ другой стороны благодаря критикѣ, которая имѣла съ нимъ дѣло преимущественно въ первые годы его литературной дѣятельности, тяготѣетъ такой предразсудокъ, что это—писатель, избравшій себѣ исключительную спеціальность изображеніе купеческихъ нравовъ, что вслѣдствіе этого онъ всю русскую сцену, которая до него благоухала высокаго сорта духами, пропиталъ запахомъ полушубковъ. Въ силу этого предразсудка читатели, прочтя заглавіе моей статьи, сейчасъ же конечно подумаютъ, что въ ней пойдетъ рѣчь исключительно о героиняхъ Замоскворѣчья, о дщеряхъ «темнаго царства», кроткихъ, запуганныхъ и забитыхъ свирѣпыми нравами своихъ родителей, неспособныхъ ни къ малѣйшему самостоятельному шагу, помимо воли старшихъ; все времяпрепровожденіе у нихъ заключается въ томъ, что сидятъ онѣ у окошечекъ, вертятъ пальчикомъ вокругъ пальчика и подмигиваютъ проходящимъ мимо офицерикамъ, а когда жизнь становится окончательно не въ моготу и надъ головой нависаетъ черная туча въ видѣ насильнаго замужества за какое-нибудь страшилище, то единственнымъ исходомъ для нихъ представляется бултыхнуться въ воду и покончить такимъ образомъ всѣ нехитрые счеты съ злосчастной жизнью. И только единственнымъ свѣтлымъ лучемъ среди всей этой мглы «темнаго царства» будетъ сіять передъ читателями конечно уже Катерина «Грозы», составляющая пробный камень для дебютантокъ Александрійскаго театра и указующая своимъ подругамъ новый путь, хотя путь этотъ, какъ намъ извѣстно, ведетъ въ ту же Волгу.

Спѣшу впередъ поэтому предувѣдомить читателей, что если мы будемъ говорить о всѣхъ этихъ героиняхъ темнаго царства, то онѣ займутъ у насъ то скромное мѣсто, какое имъ подобаетъ въ безконечно длинной и пестрой галлереѣ женскихъ типовъ Островскаго. Передъ нами теперь не тѣ уже комедіи, которыя только и имѣла въ своемъ распоряженіи критика 50-хъ годовъ, а 44 пьесы, въ которыхъ мы найдемъ женщинъ самыхъ разнородныхъ слоевъ общества. Относительно разнообразія женщинъ Островскій далеко оставляетъ за собой всѣхъ прочихъ писателей его времени. У него не найдете вы, правда, такихъ безусловно идеальныхъ героинь, каковы Елена въ «Наканунѣ» или Ольга въ «Обломовѣ», въ которыхъ лучшія качества русской женщины одухотворены и осмыслены высшимъ европейскимъ образова-

ніемъ, ни такіе всеобъемлющіе по своей широтѣ типы, какъ Татьяна Пушкина, обсуждая которую критика могла говорить о русской женщинѣ вообще. Островскій былъ реалистъ въ истинномъ и полномъ смыслѣ этого слова. Ни одного характера, ни одного типа не найдете вы въ его пьесахъ безусловно идеальнаго, который служилъ-бы полнымъ воплощеніемъ всего, что только представлялъ писатель въ своемъ воображеніи лучшаго въ жизни, да чтобы еще и это лучшее было во сто кратъ преувеличено силой творческаго увлеченія. Чуждался онъ въ свою очередь и столь широкихъ обобщеній, чтобы имѣть дѣло съ какими-либо основными качествами человѣческой природы, съ игрой страстей, съ проявленіемъ тѣхъ или другихъ добродѣтелей или пороковъ въ ихъ общечеловѣческой, психологической сущности, что мы видимъ напримѣръ у Шекспира. Островскій выводилъ живыхъ людей во всей сложности соціальныхъ и индивидуально-психическихъ элементовъ, въ какой мы встрѣчаемъ ихъ въ самой жизни. Поэтому типы его въ высшей степени конкретны и относительны. Нѣтъ никакой возможности отрывать ихъ изъ той среды, къ которой они принадлежатъ, отъ ихъ семьи и наконецъ отъ тѣхъ чисто индивидуальныхъ особенностей, съ которыми они и являются передъ нами въ его произведеніяхъ. И вотъ передъ нами проходитъ самая пестрая и разнохарактерная вереница женщинъ, не имѣющихъ повидимому ничего общаго и въ толпѣ которыхъ на первый разъ можно положительно растеряться: тутъ и столичныя великосвѣтскія барышни, и помѣщицы, и камеліи, и артистки, и чиновницы, и купчихи, и дочери разныхъ неудачниковъ-забулдыгъ, дошедшихъ до послѣдней степени нищеты, и швейки и пр., и пр. Среди нихъ сверкаютъ такіе перлы, въ лучахъ которыхъ блескъ пресловутой Катерины «Грозы» меркнетъ, какъ меркнутъ звѣзды въ солнечномъ блескѣ. Но эти перлы въ свою очередь вы ни за что не отдерете отъ той раковины, въ которую они вросли, и не вставите ни въ какую иную оправу. Если это дочь бѣднаго подъячаго, то вы и не увидите передъ собой на первый разъ ничего болѣе, какъ скромную барышню въ кисейномъ платьицѣ, кое какъ бренчащую на разбитыхъ фортепіанахъ, поливающую двѣ-три гераньки и беззавѣтно влюбляющуюся въ пошленькаго франтика съ папироской въ зубахъ и тросточкой въ рукахъ. Если это купеческая дочь, то не прогнѣвайтесь, если она едва съумѣетъ подписать свою фамилію, вставить въ свой разговоръ исковерканное французское слово или фальшиво споетъ «Вотъ на пути село большое». И лишь въ развитіи дѣйствія пьесы мало-по-малу обнаруживаются передъ вами самыя высокія качества въ подобныхъ, съ перваго взгляда далеко не казистыхъ, дѣвушкахъ. И къ тому же для правильной оцѣнки этихъ качествъ требуются совершенно особенные масштабы, не имѣющіе иногда ничего общаго съ масштабами, которыми оцѣниваются героини вродѣ тургеневской Елены или гончаровской Ольги,— до такой степени ничего общаго, что то самое, что представляется высокимъ подвигомъ геройства въ нѣкоторыхъ женщинахъ Островскаго, могло бы показаться нравственнымъ паденіемъ для героинь Тургенева.

II.

Но какъ ни разнохарактерна и ни пестра толпа женщинъ Островскаго, въ ней все-таки можно кое-какъ разобраться, подвести ее подъ различныя категоріи, расположить по степенямъ ихъ нравственнаго совершенства, что мы и постараемся сдѣлать, насколько это возможно. Мы будемъ говорить не о всѣхъ сорока четырехъ героиняхъ Островскаго (предполагая, что въ каждой драмѣ есть своя героиня), а лишь о нѣкоторыхъ, наиболѣе характерныхъ и выдающихся; остальныхъ же читателю и самому не трудно будетъ подвести потомъ подъ тѣ категоріи, которыя мы ему укажемъ.

Прежде всего женщины пьесъ Островскаго раздѣляются на двѣ рѣзкія категоріи, не имѣющія между собой ничего общаго, діаметрально противуположныя, почти-что не соприкасающіяся одна съ другой и въ самой жизни. И вкусы, и нравы, и стремленія, и нравственные принципы въ этихъ обѣихъ категоріяхъ различны до такой степени, что на первый взглядъ можно подумать, что женщины той и другой принадлежатъ не къ одной странѣ, живутъ въ различныхъ полушаріяхъ земного шара и находятся однѣ по отношенію къ другимъ въ положеніи антиподовъ. Эти двѣ столь различныя категоріи вытекаютъ изъ особеннаго міросозерцанія Островскаго и взгляда его на жизнь и людей.—Нужно замѣтить при этомъ, что не однѣ женщины, а всѣ дѣйствующія лица пьесъ Островскаго раздѣляются на тѣ-же двѣ категоріи, составляющія какъ бы два борющіеся между собой лагеря, и въ этой борьбѣ и заключается именно внутренній смыслъ всѣхъ пьесъ Островскаго. Въ драмѣ «Правда хорошо, а счастье—лучше» въ одной изъ репликъ главнаго героя драмы, Платона Зыбкина, въ концѣ перваго дѣйствія, выражается, хотя нѣсколько рѣзко и комично, но коротко, ясно и глубоко правдиво именно та нравственная философія, которая проникаетъ пьесы Островскаго.

«Всякій человѣкъ,—говоритъ Платонъ,—что большой, что маленькій,—это все одно—если онъ *живетъ по правдѣ, какъ слѣдуетъ, хорошо, честно, благородно, дѣлаетъ свое дѣло себѣ и другимъ на пользу*, вотъ онъ и патріотъ своего отечества. А кто *проживаетъ только житейское*, ума и образованія не понимаетъ, *дѣйствуетъ только по нахальству, съ обидой и насмѣшкой надъ человѣчествомъ, и только себѣ на потѣху*, тотъ мерзавецъ своей жизни».

И дѣйствительно, всѣ дѣйствующія лица пьесъ Островскаго можно подраздѣлить на эти двѣ рубрики. Всѣ они или патріоты своего отечества въ томъ смыслѣ, что стремятся жить по правдѣ, честно, благородно, упорно трудятся, дѣлая свое дѣло, можетъ быть и очень маленькое, незамѣтное, но непремѣнно на пользу и себѣ, и людямъ. Или-же, напротивъ того, основою ихъ жизни являются «бѣшеныя деньги», скопленныя болѣе или менѣе темными и незаконными путями, но это не мѣшаетъ имъ полагать въ этихъ деньгахъ все свое человѣческое достоинство и гордость. Съ презрѣніемъ смотрятъ они на трудящихся людей, въ каждой работѣ предполагаютъ для себя

крайнее униженіе, живутъ именно лишь себѣ на потѣху, съ обидой и насмѣшкой надъ человѣчествомъ, самодурствуя надъ нимъ, если они находятся въ низшихъ по культурѣ слояхъ общества, или же проникаясь утонченнымъ высокомѣріемъ, если помазаны лоскомъ внѣшней образованности,—и въ концѣ концовъ являются дѣйствительно мерзавцами своей жизни.

Такими же или патріотками своего отечества, или мерзавками своей жизни являются и всѣ женщины Островскаго. Нужды нѣтъ, если нѣкоторыя изъ мерзавокъ являются въ обольстительномъ видѣ и не чужды кое-какихъ достоинствъ (у Островскаго, еще разъ повторяемъ, нѣтъ безусловно отрицательныхъ, какъ и безусловно идеальныхъ типовъ)—и все-таки онѣ мерзавки; точно также ничего не значитъ, если нѣкоторыя патріотки только и могутъ принести своему отечеству одну элементарную пользу—произвести на свѣтъ и выкормить своею грудью ребенка,—и все-таки онѣ являются патріотками.

Прежде всего мы займемся мерзавками, причемъ женщинъ подобнаго рода мы будемъ разсматривать не каждую въ отдѣльности, а въ общей характеристикѣ, такъ какъ о нихъ и безъ того уже много трактовалось и трактуется въ нашей литературѣ; и во вторыхъ, разъ мы имѣемъ дѣло съ нравственной деградаціей, то не все ли равно, ступенью выше или ступенью ниже стоитъ та или другая особа на этомъ скользкомъ и наклонномъ пути, и дойдетъ ли она до самаго низа паденія или не дойдетъ. Читатель согласится со мной, что это безразлично. Другое дѣло нравственная высота и подъемъ духа,—тутъ каждая маленькая ступень вызываетъ въ насъ крикъ восторга, какъ побѣда человѣчества и новое его торжество.

III.

И такъ начнемъ съ мерзавокъ. Въ этомъ царствѣ все достоинство человѣка полагается не внутри, а внѣ его, въ томъ блестящемъ декорумѣ, который его окружаетъ; человѣкъ мало того что составляетъ нѣчто одно нераздѣльное съ этимъ декорумомъ, но онъ уничтожается въ немъ, является самъ по себѣ, внѣ своего декорума, ничтожнѣйшей изъ ничтожнѣйшихъ пѣшекъ, единицей, которая только и пріобрѣтаетъ значеніе по мѣрѣ того, какъ къ этой единицѣ будутъ приставлены нули.

Здѣсь встрѣчаются въ силу этого люди, которые до такой степени проникаются сознаніемъ своего полнаго ничтожества безъ капитала, составляющаго все ихъ значеніе и вѣсъ въ жизни, что они на деньги смотрятъ вовсе не какъ на источникъ благъ земныхъ и наслажденій. Напротивъ того, они готовы во всемъ себѣ отказывать, чтобы капиталъ не потерпѣлъ ни малѣйшаго ущерба, сознавая, что съ каждой истраченной копѣйкой ихъ достоинство уменьшается ровно на эту копѣйку. Такова Серафима Карповна Толстогораздова (въ пьесѣ «Не сошлись характерами»). Съ виду она сентиментальная институтка, часто задумывается, вздыхаетъ и поднимаетъ глаза къ небу, когда говоритъ о любви. Но это не мѣшаетъ ей разсчитывать каждый истраченный грошъ. «Иначе мнѣ какъ-же?—говоритъ она,—я стараюсь только, что бы не прожить капиталу, а проживать проценты. Что-жъ я буду тогда безъ капиталу, я ничего не буду значить».

Ея хватило на то, чтобы влюбиться, и даже не взирая на состояніе любезнаго:—«Я бы не пошла за бѣднаго,—говоритъ она,—да ужъ очень я въ него влюблена»;—и далѣе:—«лучше я себѣ во всемъ откажу, но безъ него жить не могу!»—Но впослѣдствіи оказалось, что она можетъ жить и безъ мужа, что капиталъ для нея дороже самой любви, и когда мужъ возымѣлъ покушеніе на цѣлость ея капитала, она рѣшилась скорѣе разойтись съ нимъ, чѣмъ разстаться хотя бы съ частью своихъ денегъ, и, не переставая его любить, подарила ему на прощаніе вышитый нарочно къ его именинамъ бумажникъ и написала сентиментальное посланіе, въ которомъ, клянясь въ вѣчной любви къ нему и увѣряя, что всю жизнь сердце ея будетъ разрываться, и день, и ночь она будетъ плакать о немъ, въ то же время повторила свою философію жизни: - «Что я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ?—тогда я ничего, ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ—я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги—я кого полюблю и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы».

Но Серафима Карповна составляетъ все таки исключеніе изъ числа женщинъ той категоріи, о которой идетъ у насъ рѣчь. Въ ней глубоко сидятъ еще тятенькино кулачество, выдержка и упорство, съ которыми ея предки нажили капиталъ, доставшійся ей въ руки. У нея есть свои правила, которыхъ она держится твердо, и ничто не можетъ заставить ее поступиться ими; это баба въ своемъ родѣ кремень. Что и говорить, безобразны эти правила, заставляющія ее подчинять всѣ свои чувства и страсти табличкѣ умноженія, но все-таки нужно принять во вниманіе и то, что она стремится къ извѣстной долѣ самостоятельности въ жизни; полагая все свое достоинство въ капиталѣ, она хочетъ, чтобы ее любили хотя-бы и за это лишь достоинство. Ей хочется купить мужа, по своимъ купеческимъ понятіямъ, какъ можно дешевле, но она далека отъ того, чтобы самое себя продавать за какія-бы то ни было блага жизни.

IV.

Далѣе мы видимъ женщинъ, которыя до такой степени сливаются съ окружающимъ ихъ декорумомъ, что онѣ смотрятъ на себя, лишь какъ на одно изъ дорогихъ украшеній этого декорума на ряду съ бронзовыми канделябрами, зеркалами или дорогими картинами, и не только не оскорбляются подобнымъ унизительнымъ положеніемъ дорогой, но совершенно безполезной бездѣлушки въ роскошно убранныхъ покояхъ, но даже гордятся этимъ, видятъ въ этомъ все значеніе и достоинство женщины.

„— Что нужно для женщины образованной,—говоритъ Кукушкина въ комедіи «Доходное мѣсто»,—которая видитъ и понимаетъ всю жизнь, какъ свои пять пальцевъ? Они (т. е. мужчины) этого не понимаютъ. Для женщины нужно, чтобы она одѣта была всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное—нужно спокойствіе, чтобы она могла быть отдалена

отъ всего, по своему благородству, ни въ какія хозяйственныя дрязги не входила. Юлинька у меня такъ и дѣлаетъ: она ото всего рѣшительно далека, кромѣ какъ занята собой. Она спитъ долго; мужъ поутру долженъ распорядиться насчетъ стола и рѣшительно всѣмъ; потомъ дѣвка напоитъ его чаемъ, и онъ уѣзжаетъ въ присутствіе. Наконецъ она встаетъ; чай, кофе, все это для нея готово, она кушаетъ, разодѣлась отличнѣйшимъ манеромъ и сѣла съ книжкой у окна дожидаться мужа. Вечеромъ надѣваетъ лучшія платья и идетъ въ театръ или въ гости. Вотъ жизнь! вотъ порядокъ! вотъ какъ дама должна вести себя! Что можетъ быть благороднѣе, что деликатнѣе, что нѣжнѣе?.. Хвалю.»

Подобно тому, какъ дорогія вещи рѣдко употребляются для того, для чего онѣ назначены; ихъ боятся попортить, поцарапать и держатъ поэтому подъ стекломъ лишь для того, чтобы любоваться ими,—такъ точно и прелестныя женщины этой категоріи старательно удаляются не только отъ своихъ женскихъ и человѣческихъ обязанностей, но отъ какой бы то ни было заботы, которая могла-бы провести хотя-бы маленькую морщинку на ихъ обворожительныхъ личикахъ. Такъ, въ комедіи «Бѣшеныя деньги», когда Надежда Антоновна Чебоксарова намекнула своей дочери Лидіи объ опасности разоренія, послѣдняя съ запальчивостью возразила ей:

«Лидія. Очень жаль! Но согласитесь, maman, что вѣдь я могла этого и не знать, что вы могли пожалѣть меня и не разсказывать мнѣ о вашемъ разореніи.

Мать. Но все равно, вѣдь послѣ ты узнала-бы.

Лидія. Да зачѣмъ-же мнѣ и послѣ узнавать? (*почти со слезами*). Вѣдь вы найдете средства выйти изъ этого положенія, вѣдь непремѣнно найдете, такъ оставаться нельзя. Вѣдь не покинемъ-же мы Москву, не уѣдемъ въ деревню; а въ Москвѣ мы не можемъ жить, какъ пищіе! Такъ или иначе, вы должны устроить, чтобы въ нашей жизни ничего не измѣнилось. Я этой зимой должна выйти замужъ, составить хорошую партію. Вѣдь вы мать, ужели вы этого не знаете? Ужели вы не придумаете, если ужъ не придумали, какъ прожить одну зиму, не уронивъ своего достоинства? Вамъ думать, вамъ! Зачѣмъ-же вы мнѣ-то разсказываете о томъ, чего я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствія, вы лишаете меня беззаботности, которыя составляютъ лучшее украшеніе дѣвушки. Думали-бы вы, maman, однѣ и плакали-бы однѣ, если нужно будетъ плакать. Развѣ вамъ легче будетъ, если я буду плакать вмѣстѣ съ вами? Ну, скажите, maman, развѣ легче?

Мать. Разумѣется, не легче.

Лидія. Такъ зачѣмъ-же, зачѣмъ-же мнѣ-то плакать? Зачѣмъ вы навязываете мнѣ заботу? Забота старитъ, отъ нея морщины на лицѣ. Я чувствую, что постарѣла на десять лѣтъ. Я не знала, не чувствовала нужды, и не хочу знать. Я знаю магазины бѣлья, шелковыхъ матерій, ковровъ, мѣховъ, мебели; я знаю, что, когда нужно что-нибудь, идутъ туда, берутъ вещь, отдаютъ деньги, а если нѣтъ денегъ, велятъ commis пріѣхать на домъ. Но откуда берутъ деньги, сколько ихъ нужно имѣть въ годъ, въ зиму, я никогда не знала; я не знала, что значитъ дорого, что дешево, я всегда считала все это жалкимъ, мѣщанскимъ, копѣечнымъ разсчетомъ. Я съ дрожью омерзѣнія отстраняла отъ себя такія мысли. Я помню одинъ разъ, когда я ѣхала изъ магазина, мнѣ пришла мысль: не дорого-ли я заплатила за платье? Мнѣ такъ стало стыдно за себя, что я вся покраснѣла и не знала, куда спрятать лицо; а между тѣмъ я была одна въ каретѣ. Я вспомнила, что видѣла одну купчиху въ магазинѣ, которая торговала кусокъ матеріи; ей жаль и много денегъ-то отдать, и кусокъ-то изъ рукъ выпустить. Она подержитъ его, да опять положитъ, потомъ опять возьметъ, пошепчется съ какими-то двумя старухами, потомъ опять положитъ, а commis смѣются. Ахъ, maman, за что вы меня мучаете?»

Результатомъ такого отстраненія отъ всѣхъ житейскихъ заботъ и дрязгъ является крайнее незнаніе жизни, младенческая неопытность, которой подобнаго рода женщины не только не стыдятся, напротивъ, гордятся ею, какъ особеннымъ шикомъ. Неопытность эта доходитъ до такихъ крайностей, что очень часто женщины эти въ самыя роковыя минуты жизни своей, когда въ судьбѣ ихъ готовится полный переворотъ, являются въ полномъ невѣдѣніи и недоумѣніи, что̀ такое вокругъ нихъ дѣлается. Такъ, въ комедіи «Волки и овцы»—Глафира разсказываетъ, какую жизнь она вела въ Петербургѣ въ домѣ сестры: — «мы съ сестрой—говоритъ она—жили въ какомъ-то чаду: катанья по Невскому, въ бархатѣ, въ соболяхъ,—роскошные обѣды дома или въ ресторанахъ; всегда въ обществѣ; опера, французскій театръ, а чаще всего «Буффъ»,—пикники, маскарады»... И вдругъ все это разомъ оборвалось, но Глафира никакъ не можетъ объяснить, что за катастрофа произошла передъ нею: — «я не знаю,—говоритъ она,— что̀ сдѣлалось. Что-то произошло вдругъ для насъ съ сестрой неожиданное. Сестра о чемъ-то плакала, стала все распродавать, меня отправили къ Меронѣ Давыдовнѣ, а сами скрылись куда-то, исчезли, кажется, за-границу».

Единственная наука, какую онѣ изучаютъ чуть не съ пеленокъ и постигаютъ до послѣднихъ тонкостей, это — наука любви, и эта спеціальность ихъ составляетъ исключительную тему всѣхъ ихъ разговоровъ. «У маменьки крестной,—говоритъ Настя въ комедіи «Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ»,—ни о чемъ другомъ въ домѣ и разговору не было, только про любовь и говорили:—и гости всѣ, и она сама, и дочери». На что тетка ея Анна замѣчаетъ: — «Можно богатымъ-то про любовь разговаривать, имъ дѣлать-то нечего».

Ну, и дѣйствительно стоитъ удивленія, до какой виртуозности изучаютъ онѣ и науку, и искусство страсти нѣжной. Вотъ хоть-бы эта самая Глафира. Она, какъ невинный младенецъ, не понимаетъ, что сестра ея разорилась со своимъ благовѣрнымъ, но зато посмотрите, какую тонкую теорію развиваетъ она передъ Лыняевымъ, когда тотъ увѣряетъ ее, что онъ непреклоненъ передъ женской красотой, что никакая женщина неспособна забрать его въ руки и дальше содержанки не пойдетъ въ сношеніи съ нимъ.

— «Я бы вамъ противорѣчить не стала, отвѣчала на эти его увѣренія Глафира: — я бы взяла и дачу, и рысаковъ, и деньги, и все-таки вы бы женились на мнѣ. Ну, представьте себѣ, что вы меня любите немножко: иначе конечно невозможно ничего. И такъ, вы меня любите, мы живемъ душа въ душу Я—олицетворенная кротость и покорность, я не только исполняю, но предупреждаю ваши желанія, а между тѣмъ понемногу забираю въ руки васъ и все ваше хозяйство, узнаю малѣйшія ваши привычки и капризы и наконецъ въ короткое время дѣлаюсь для васъ совершенной необходимостью, такъ что вы безъ меня шагу ступить не можете. Вотъ въ

одно прекрасное утро я говорю вамъ: «папаша», я чувствую потребность помолиться, отпусти меня денька на три на богомолье». Вы, разумѣется, сначала заупрямитесь, я покоряюсь вамъ безропотно. Потомъ изрѣдка робко повторяю свою просьбу и смотрю на васъ нѣсколько дней сряду умоляющимъ взоромъ; вы все день за день откладываете и наконецъ отпускаете. Безъ меня начинается въ домѣ ералашъ: то не такъ, другое не по васъ; то кофей горекъ, то обѣдъ опоздалъ; то у васъ въ кабинетѣ не убрано,—а если убрано, такъ на столѣ бумаги и книги не на томъ мѣстѣ, гдѣ имъ нужно. Вы начинаете выходить изъ себя, часто вздыхать, то бѣгать по комнатѣ, то останавливаться, разводить руками, говорить съ собой, начинаете прислушиваться, не идутъ-ли, часто выбѣгать на крыльцо; а я нарочно промедлю дня два, три. Наконецъ ужъ вамъ не сидится, вы теряете терпѣніе и начинаете ходить по дорогѣ версты за двѣ отъ дому. Вотъ я ѣду. Сколько радости! Опять тихая спокойная жизнь для васъ; въ вашихъ глазахъ только безконечная нѣжность. Но вотъ однажды, когда ваша нѣжность ужъ не знаетъ предѣловъ, я говорю вамъ со слезами: «милый папаша, мнѣ стыдно своихъ родныхъ, своихъ знакомыхъ, мнѣ стыдно людямъ въ глаза глядѣть. Я должна прятаться отъ всѣхъ, заживо похоронить себя, а я еще молода, мнѣ жить хочется. Прощай, милый папаша! Не нужно мнѣ никакихъ твоихъ сокровищъ. Я выхожу замужъ.»

Далѣе предполагается ожесточенный споръ; Лыняевъ повидимому ставитъ на своемъ.

«Гдѣ-жъ намъ спорить съ вами! — продолжаетъ Глафира:—только въ тотъ-же день къ вечеру я незамѣтно исчезаю, и никто не знаетъ, то есть никто не скажетъ вамъ,—куда. Проходитъ день, другой, вы разсылаете по всѣмъ дорогамъ гонцовъ, сыщиковъ, сами мечетесь туда и сюда; теряете силы, аппетитъ, сходите съ ума. И вотъ за нѣсколько минутъ до того, когда вамъ уже дѣйствительно нужно помѣшаться, вамъ объявляютъ по секрету, гдѣ я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мнѣ съ подарками, съ бриллiантами, со слезами умоляете меня возвратиться,—я непреклонна. Вы плачете, я сама рыдаю! Я люблю васъ, мнѣ жаль съ вами разстаться, но я неумолима. Наконецъ я говорю вамъ:» милый папаша, ты любишь холостую жизнь, ты не можешь жить иначе,—сдѣлаемъ вотъ что! Обвѣнчаемся потихоньку, такъ что никто не будетъ знать, ты опять будешь вести холостую жизнь, все пойдетъ попрежнему, ничего не измѣнится,—только я буду покойна, не буду страдать». Вы послѣ небольшого колебанія соглашаетесь. Но на другой-же день откуда у меня эта свѣтскость возьмется, эта лѣнь, эта медленность въ движеніяхъ! откуда возьмутся эти роскошные туалеты. Оттопырится нижняя губка, явится повелительный тонъ, величественный жестъ. Какъ мила и нѣжна я буду съ посторонними и какъ строга съ вами. Какъ счастливы вы будете, когда дождетесь отъ меня милостиваго слова. Ужъ не буду я суетиться и бѣгать для васъ, и не будете вы папашей, а просто Мишель (*Говоритъ льстиво*). «Мишель, сбѣгай, я забыла въ саду на скамейкѣ мой платокъ.» И вы побѣжите...»

И это все развиваетъ передъ Лыняевымъ не какая-нибудь пожившая уже кокетка, а первой молодости неопытная барышня, только собирающаяся еще вкусить благъ жизни!

V.

Но развѣ тутъ дѣло идетъ о любви?—спроситъ меня читатель въ недоумѣніи. Развѣ есть здѣсь хоть блѣдный намекъ на истинное чувство? Вѣдь это все отъ начала до конца одна фальшь, лицемѣріе, дьявольское кокетство съ единственной цѣлью завлечь въ свои сѣти богатаго жениха и поработить его своей власти. Но объ истинной любви и рѣчи быть не можетъ среди женщинъ разсматриваемой категоріи, и та наука страсти нѣжной, о которой была у насъ выше рѣчь, заключается именно ни въ чемъ иномъ, какъ въ особеннаго рода стратегіи, имѣющей цѣлью плѣнять сердца выгодныхъ покупателей. Дорогія вещи пріобрѣтаются цѣной злата, а не любви. Разъ женщина обращена въ болѣе или менѣе дорогую вещь,—отъ нея вовсе не ждутъ, чтобы она кого-либо полюбила, а просто на просто покупаютъ ее.—И дѣвушки, сознавая это, въ свою очередь только и заботятся о томъ, какъ-бы поскорѣе и выгоднѣе себя продать, и нисколько не скрываютъ этого, а прямо высказываютъ о своемъ желаніи, ни мало не конфузясь. Такъ, въ комедіи «Доходное мѣсто» мы читаемъ такой разговоръ между двумя сестрами:

«Юлинька. Нравится тебѣ твой женихъ, Василій Николаевичъ?

Полина. Ахъ, просто душка! А тебѣ твой Бѣлогубовъ?

Юлинька. Нѣтъ, дрянь ужасная!

Полина. Зачѣмъ-же ты маменькѣ не скажешь?

Юлинька. Вотъ еще! Сохрани Господи! Я рада-радешенька хоть за него выйти, только-бы изъ дому вырваться.

Полина. Да, правда твоя! Не попадись и мнѣ Василій Николаевичъ, кажется, рада-бы первому встрѣчному на шею броситься: хоть-бы плохенькой какой, только-бы изъ бѣды выручилъ, изъ дому взялъ. (Смѣется).»

Въ свою очередь мать ихъ внушаетъ имъ прямо:

« – Я вамъ дѣлаю модныя платья и разныя бездѣлушки, а для себя перекрашиваю да перешиваю изъ стараго. Не думаете-ли вы, что я наряжаю васъ для вашего удовольствія, для франтовства? Такъ ошибаетесь. Все это дѣлается для того, чтобы выдать васъ замужъ, съ рукъ сбыть. По моему состоянію я васъ могла-бы только въ ситцевыхъ да въ затрапезныхъ платьяхъ водить. Если не хотите или не умѣете себѣ найти жениха, такъ и будетъ. Я для васъ обрывать да обрѣзывать себя попапрасну не намѣрена.»

Въ вышеприведенномъ разговорѣ двухъ сестеръ Полина хотя и говоритъ вслѣдъ за сестрой, что, не будь Василія Николаевича, она рада-бы первому встрѣчному на шею броситься, но все-таки она до нѣкоторой степени увлечена своимъ женихомъ, и поэтому и мать, и сестра считаютъ ее легкомысленной дурочкой.—«Какъ-бы не дуракъ этотъ Жадовъ,—говоритъ мать,—такъ-бы тебѣ вѣкъ горе мыкать, въ дѣвкахъ сидѣть за твое легкомыслiе. Кто изъ умныхъ-то тебя возьметъ? Кому надо? Хвастаться тебѣ не чѣмъ, тутъ твоего ума ни на волосъ не было: ужъ нельзя сказать, что ты его приворожила—самъ набѣжалъ, самъ въ петлю лѣзетъ, никто его не тянулъ. А Юлинька дѣвушка умная, должна своимъ умомъ себѣ счастіе составить...»

Такимъ образомъ уже въ той первобытной дореформенной куплѣ-продажѣ женщинъ, какую мы видимъ въ комедіи «Доходное мѣсто», въ видѣ заурядной рутинной выдачи дочекъ замужъ, высшая школа женскаго искусства требовала отъ женщины отсутствія хотя-бы малѣйшаго увлеченія и страсти: умная дѣвушка, желающая продать себя выгоднѣе, и тогда

уже, въ 50-хъ годахъ, должна была сохранять ледяное равнодушіе ко всѣмъ мужчинамъ безразлично, и руководствоваться однимъ холоднымъ разсчетомъ, и въ малѣйшемъ увлеченіи видѣть уже глупость.

Впослѣдствіи-же, особенно въ 70-ые годы, купля-продажа получила значительно болѣе широкое развитіе; она перестала уже быть контрабандной торговлей втихомолку, въ семейныхъ уголкахъ, подъ благовидной маской законнаго брака, а выступила на базаръ, сдѣлалась публичнымъ, даже аукціоннымъ торгомъ, безъ всякихъ масокъ и околичностей. Теперь стали уже смотрѣть, какъ на глупость, не только на страсть, увлеченіе, но и на желаніе со стороны нѣкоторыхъ старовѣрокъ продать себя не иначе, какъ въ формѣ законнаго брака. Почему не сдѣлаться и содержанкой, камеліей, если это оказывается выгоднѣе?

И вотъ является передъ нами новая героиня въ видѣ Лидіи Чебоксаровой, о которой была уже рѣчь выше; это уже мерзавка своей жизни чистокровная, самой высокой пробы. Это уже не простодушная Полинька, которая рада повѣситься на шею первому столоначальнику, лишь-бы выйти замужъ. Лидія знаетъ себѣ цѣну и дешево продавать себя не намѣрена, и къ тому-же она умѣетъ показать товаръ свой лицомъ. Такъ, когда мать объявляетъ ей, какъ мы выше видѣли, о грозящемъ имъ разореніи, она смущается лишь въ первую минуту, а потомъ сейчасъ-же овладѣваетъ собой и на вопросъ матери «Но что-же намъ дѣлать?»—отвѣчаетъ хладнокровно:

„Лидія. Что дѣлать? Не терять своего достоинства. Отдѣлывайте заново квартиру, покупайте новую карету, закажите новыя ливреи людямъ, берите новую мебель, и чѣмъ дороже, тѣмъ лучше.

Надежда Антоновна. Гдѣ-же деньги?

Лидія. Онъ за все заплатитъ.

Надежда Антоновна. Кто онъ?

Лидія. Мужъ мой.

Надежда Антоновна. Кто твой мужъ, гдѣ онъ?

Лидія. Кто-бы онъ ни былъ.

Надежда Антоновна. Не дѣлалъ-ли кто тебѣ предложенія?

Лидія. Никто не дѣлалъ, никто не смѣлъ дѣлать; мои женихи отъ меня, кромѣ презрѣнія, ничего не видали. Я сама искала красавца съ состояніемъ, теперь мнѣ нужно только богатаго человѣка, а ихъ много.

Надежда Антоновна. Не ошибись въ своихъ разсчетахъ.

Лидія. Неужели красота потеряла свою цѣну! Нѣтъ, maman не безпокойтесь! Красавицъ мало, а богатыхъ дураковъ много.“

Простодушная Полинька при всемъ своемъ равнодушіи къ Бѣлогубову и даже отвращеніи отъ него все-таки считала нужнымъ притвориться влюбленной въ него, дѣлала ему глазки; Лидія-же нисколько не стѣсняется открыто высказывать человѣку, дѣлающему ей предложеніе, что она не любящая женщина, а продающаяся вещь:

«Надежда Антоновна. Вотъ, Лидія, Савва Геннадичъ дѣлаетъ тебѣ предложеніе черезъ меня; онъ проситъ твоей руки. Хотя съ своей стороны я согласна и очень рада, но твоей воли я нисколько не стѣсняю.

Лидія. Въ такомъ дѣлѣ, разумѣется, я должна имѣть свою волю, и еслибъ мнѣ кто-нибудь понравился, повѣрьте, maman, я скорѣе-бы послушалась своего сердца, чѣмъ вашего совѣта. Но ко всѣмъ моимъ поклонникамъ я равнодушна одинаково: вы знаете, сколькимъ женихамъ я уже отказала; а выйти замужъ надо, пора ужъ, потому я и предоставляю себя въ полное ваше распоряженіе.

Васильковъ. Значитъ, вы меня не любите?

Лидія. Нѣтъ, не люблю. Зачѣмъ я буду васъ обманывать! Но мы съ вами послѣ объяснимся. Maman, вы беретесь устраивать мнѣ судьбу, помните, что вы же должны будете и отвѣчать за мое счастье.

Надежда Антоновна (Василькову). Слышите, мой другъ?

Васильковъ. Я очень жалѣю.

Лидія. О чемъ? Что я васъ не люблю?

Васильковъ. Нѣтъ, что я поторопился.

Лидія. Откажитесь, еще есть время. Должно быть, и съ вашей стороны любовь не очень сильна, когда вы такъ легко отъ меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня, что я съ вами откровенна; притворяться ничего не стоитъ, но я не хочу этого. Всѣ невѣсты говорятъ, что влюблены въ своихъ жениховъ, но вы не вѣрьте имъ — любовь приходитъ послѣ. Отбросьте въ сторону самолюбіе и согласитесь! За что мнѣ было полюбить васъ? И лицо-то ваше не изъ красивыхъ, и имя неслыханное, и фамилія какая-то мѣщанская. Все это мелочи, къ этому можно привыкнуть, но не вдругъ. За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю васъ. Заслужите мою любовь, и мы будемъ счастливы.»

Нужно ко всему этому прибавить, что здѣсь совершенно особенный языкъ, на которомъ всѣ слова имѣютъ условное значеніе, не имѣя вообще ничего общаго съ тѣмъ значеніемъ, какое мы придаемъ этимъ словамъ. Такъ, подъ любовью подразумѣвается здѣсь ни болѣе, ни менѣе, какъ лишь ласковая улыбка и такъ называемая благосклонность, и заслужить такую любовь можно было Василькову лишь однимъ путемъ —открыть ей портмоне, биткомъ набитый кредитными билетами, и предоставить ей пользоваться имъ безконтрольно. Но Васильковъ оказался не такимъ простофилей. Онъ былъ себѣ на умѣ и къ тому-же кремень вродѣ Софьи Карловны, положившій себѣ за правило изъ разъ опредѣленнаго бюджета не выходить, хоть-бы весь свѣтъ вокругъ него рушился. Онъ и посватался-то за Лидію не изъ одного увлеченія, а также и съ разсчетомъ; «у меня,—говорилъ онъ—особаго рода дѣла, и имѣнно нужно такую жену—блестящую и съ хорошимъ тономъ».

При такихъ условіяхъ Лидіи скоро пришлось разочароваться въ своемъ мужѣ: ей не только не удалось покорить его своей власти и овладѣть его кошелькомъ, а, напротивъ того, онъ сразу осадилъ ея безумное мотовство, стараясь ввести ея расходы въ свой неизмѣнный бюджетъ. Тогда возмущенная Лидія рѣшилась разорвать съ мужемъ,—и вотъ начался открытый и нагло-циничный, чуть-что не аукціонный торгъ: Лидія начала по очереди предлагать себя своимъ поклонникамъ съ тѣмъ, чтобы они выручили ее изъ затруднительнаго положенія и устроили ея жизнь. Просто-на-просто, она рѣшилась сдѣлаться камеліей, лишь-бы жить съ прежней роскошью и шикомъ, ни въ чемъ себѣ не отказывая. И лишь когда всѣ поклонники ея оказались прокутившимися бонвиванами, у которыхъ въ карманѣ гулялъ вѣтеръ, она вновь обратилась къ своему мужу и вторично продалась ему, но на условіяхъ весьма уже суровыхъ, которыя онъ предложилъ ей въ видахъ своихъ выгодъ и пользуясь

ея отчаяннымъ положеніемъ. Дальше подобнаго открытаго торга трудно повидимому уже идти.

VI.

Но мерзавки своей жизни идутъ еще и далѣе. Когда вы покупаете дорогую вещь, вещь эта находится въ полномъ вашемъ распоряженіи, не питаетъ къ вамъ никакихъ враждебныхъ чувствъ. Ее могутъ украсть у васъ, но сама она не станетъ искать вора и не бросится въ его руки. Купленная же женщина, поступая въ разрядъ вещей, все-таки остается человѣкомъ; и какъ ни искажена въ ней человѣческая природа, она инстинктивно возмущается и протестуетъ противъ совершившагося акта закабаленія. Этотъ протестъ является въ видѣ непримиримой ненависти, которая развивается мало-по-малу въ купленной женщинѣ къ своему владѣльцу; ненависть-же влечетъ за собой неудержимое стремленіе потѣшаться надъ своимъ властелиномъ и обманывать его на каждомъ шагу. Такъ, въ драмѣ «Невольницы» Софья Сергѣевна Волкова, прошедшая всю школу женскаго рабства, учитъ свою неопытную подругу:

«Софья. Женщина не только не всегда должна говорить правду, а никогда, никогда. Знай правду только про себя.

Евлалія. А другихъ обманывать?

Софья. Конечно обманывать, непремѣнно обманывать.

Евлалія. Да зачѣмъ-же?

Софья. Вы только подумайте, какъ на насъ смотрятъ мужья и мужчины вообще! Они считаютъ насъ малодушными, вѣтренными, а главное хитрыми и лѣнивыми. Вѣдь ихъ не разубѣдишь; такъ зачѣмъ-же намъ быть лучше того, что они о насъ думаютъ? Они считаютъ насъ хитрыми — и надо быть хитрыми. Они считаютъ насъ лживыми — и надо лгать. Они только такихъ женщинъ и знаютъ; имъ другихъ и не нужно, только съ такими они и умѣютъ жить.

Евлалія. Ахъ, что вы говорите!

Софья. Что-жъ по вашему? Начать мужу доказывать, что я, молъ, хорошая, серьезная женщина, гораздо умнѣе тебя, и чувства у меня гораздо благороднѣе, чѣмъ у тебя. Ну, что-жъ, доказывайте, а онъ будетъ улыбаться, да думать про себя: «пой, матушка, пой! Знаемъ мы васъ; тебя на минуту безъ надзору оставить нельзя!» Ну, утѣшительное это положеніе?

Евлалія. Да неужели это такъ?

Софья. Поживите, такъ увидите.

Евлалія. Но если мы лучше, такъ мы должны стать выше ихъ.

Софья. Да какъ вы станете, коли въ ихъ рукахъ власть, власть ужасная тѣмъ, что она опошляетъ все, къ чему ни коснется. Я говорю только про нашъ кругъ. Посмотрите, взгляните, что въ немъ. Посредственность, тупость, пошлость; и все это прикрыто, закрашено деньгами, гордостью, неприступностью, такъ что издали кажется чѣмъ-то крупнымъ, внушительнымъ. Наши мужья сами пошлы и ищутъ только пошлости и видятъ во всемъ только пошлость.»

Преобладающимъ видомъ обмановъ, которыми тѣшатся жены-невольницы надъ своими властелинами, являются конечно измѣны. Но эти измѣны вовсе не имѣютъ здѣсь характера какого-нибудь рокового взрыва страсти, вслѣдствіе потребности любить и взаимною любовью согрѣть сердце, встрѣчающее вокругъ себя одинъ ледяной холодъ, освѣтить свою жизнь и наполнить ее. Ничего подобнаго и слѣда здѣсь нѣтъ... Замороженное чуть не съ пеленокъ сердце у такихъ женщинъ остается все такъ-же холодно и сухо; но тѣмъ не менѣе онѣ переходятъ отъ одного любовника къ другому изъ моды, изъ подражанія или ради кокетства и чрезмѣрнаго развитія чувственности. Иногда при этомъ происходитъ игра якобы въ возвышенную любовь, но это оказывается очень мѣшкотно, сентиментально, надоѣдаетъ, и въ концѣ концовъ находятъ гораздо и практичнѣе, и умнѣе просто по просту покупать любовниковъ на мужнины деньги. Такъ и дѣлаетъ Софья, совѣтуя то же самое и Евлаліи.

«Софья. Надо денегъ давать ему побольше, да почаще,—совѣтуетъ она Евлаліи на ея сѣтованіе, что ея любезный неаккуратенъ относительно свиданій:— онъ ни обманывать, ни опаздывать не будетъ, ужъ совсѣмъ идеальный сдѣлается.

Евлалія. Денегъ! Что вы! Вы его не знаете... Денегъ дать! Да это обидѣть, жестоко оскорбить его! Нѣтъ, какъ это возможно! Какъ я могу уважать его послѣ этого!

Софья. Да зачѣмъ-же вамъ уважать, довольно съ васъ любить его! Кто-же молодыхъ людей уважаетъ! Да и гдѣ ихъ у насъ взять такихъ, которыхъ уважать можно!

Евлалія. Да нѣтъ, какъ это... какъ осмѣлиться предложить деньги?

Софья. Очень просто. Купите хорошій, дорогой бумажникъ, а въ бумажникъ-то положите рублей двѣсти или триста. Вотъ и конфузиться нечего: вы дарите бумажникъ, а деньги въ него нечаянно попали. Да мало-ли какъ можно; хотите, я васъ научу?

Евлалія. Нѣтъ, нѣтъ, не надо. Да я вамъ не вѣрю, вы шутите.

Софья. Что за шутки! Я сама дарю. Да и какъ не дарить! Молодому человѣку одѣться хочется поприличнѣй, да и мало-ли у нихъ расходовъ; а жалованье небольшое...

Евлалія. Нѣтъ, пожалуйста, не продолжайте! Это что-то будничное, прозаическое. Мы съ вами не понимаемъ другъ друга; мы говоримъ о разныхъ предметахъ. Я понимаю только любовь чистую, возвышенную.

Софья Возвышенная-то, пожалуй, еще дороже обойдется,

Евлалія. Что вы, что вы! вы меня удивляете, вы меня поражаете!

Софья. Да, конечно. Возвышенная любовь гораздо скучнѣе, она очень надоѣдаетъ молодымъ людямъ; на нее надо много времени даромъ тратить. Онъ-бы почиталъ что-нибудь, пошелъ къ пріятелямъ поиграть въ карты; а тутъ надо возвышаться до возвышенной любви. Это очень тяжелое занятіе.»

Вотъ до какого циническаго упрощенія доходитъ дѣло. И здѣсь мы видимъ въ своемъ родѣ прогрессъ: Уланбековы («Воспитанница») довольствовались своими же крѣпостными Гришками, у Гурмыжской («Лѣсъ») альфонсомъ является уже Булановъ, правда всего на всего недоучившійся гимназистъ, но благородной крови и способный впослѣдствіи сдѣлаться членомъ земской управы. Софья Волкова играетъ въ свою упрощенную любовь уже съ столичными карьеристами, подающими самыя блестящія надежды.

VII.

Переходомъ отъ мерзавокъ къ патріоткамъ служатъ особеннаго рода женщины, въ сущности, столь же суетныя, тщеславныя, склонныя къ роскоши и

блеску, столь-же наконецъ продажныя, но въ которыхъ вслѣдствіе какихъ-то невѣдомыхъ чудесныхъ причинъ уцѣлѣло сердце, и онѣ сохранили способность въ одинъ прекрасный день полюбить человѣка истинной и глубокой любовью.—Таковы Вишневецкая («Доходное мѣсто»), Лариса Огудалова («Безприданница»), Бѣлесова («Богатыя невѣсты») Настя («Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ»).

Судьба подобныхъ женщинъ по большей части бываетъ крайне драматична, если не трагична. Любовь, загорающаяся въ ихъ сердцѣ, не является живительной и отрадной весенней грозой, не сулитъ имъ счастія, не возбуждаетъ въ нихъ горячей энергіи къ выступленію на новый спасительный путь жизни, а лишь пробуждаетъ въ нихъ позднее сознаніе загубленной жизни, озаряетъ мрачною и безвыходною бездну, на днѣ которой онѣ гибнутъ, окруженныя отвратительными чудовищами и гадами.

Такъ, Вишневецкая, подъ вліяніемъ свой любви къ Любимову, пришла къ позднему сознанію всей безнравственной унизительности своего положенія.

«Вишневецкая. Развѣ вы жену брали себѣ?—говоритъ она мужу:—вспомните, какъ вы за меня сватались! Когда вы были женихомъ, я не слыхала отъ васъ ни одного слова о семейной жизни; вы вели себя, какъ старый волокита, обольщающій молодыхъ дѣвушекъ подарками; смотрѣли на меня, какъ сатиръ. Вы видѣли мое отвращеніе къ вамъ, и, не смотря на это, вы все-таки купили меня за деньги у моихъ родственниковъ, какъ покупаютъ невольницъ въ Турціи. Чего же вы отъ меня хотите?

Вишневецкій. Вы моя жена, не забывайте! и я вправѣ всегда требовать отъ васъ исполненія вашего долга.

Вишневецкая. Да, вы свою покупку, не скажу, освятили—нѣтъ, а закрыли, замаскировали бракомъ. Иначе нельзя было: мои родные не согласились-бы, а для васъ все равно. И потомъ, когда ужъ вы были моимъ мужемъ, вы не смотрѣли на меня, какъ на жену; вы покупали за деньги мои ласки. Если вы замѣчали во мнѣ отвращеніе къ вамъ, вы спѣшили ко мнѣ съ какимъ нибудь дорогимъ подаркомъ и тогда ужъ подходили смѣло, съ полнымъ правомъ. Что же мнѣ было дѣлать?.. вы все-таки мой мужъ; я покорялась. О! перестанешь уважать себя. Каково испытывать чувство презрѣнія къ самой себѣ! Вотъ до чего вы довели меня! Но что со мной было потомъ, когда я узнала, что даже деньги, которыя вы мнѣ дарите,—не ваши, что онѣ пріобрѣтены нечестно...»

Съ такимъ же сердечнымъ сокрушеніемъ, подъ вліяніемъ своей любви къ Цыклунову, Бѣлесова осыпаетъ упреками своего опекуна Гнѣвышева, который, воспитавши ее въ своемъ домѣ, какъ сироту, развратилъ ее, сдѣлалъ своей содержанкой, и потомъ желаетъ отдѣлаться отъ нея, купивши ей какого-нибудь ничтожнаго мужа.

— «Денегъ вы дадите, я знаю—говоритъ она:—я въ этомъ не сомнѣваюсь; но гдѣ-жъ у меня тѣ качества, которыя нужны, чтобъ быть хорошей женой? Какъ буду исполнять обязанности, о которыхъ я понятія не имѣю? Вы какъ меня воспитали? Вы взяли въ свой домъ, баловали и окружали роскошью бѣднаго ребенка, сироту. Все, что нужно для внѣшности, для умѣнья держать себя, я узнала въ подробности, а что честно и безчестно для женщины вы отъ меня скрывали. Замужъ!.. замужъ!.. А что такое: мужъ, домъ, семья, развѣ я знаю, развѣ вы мнѣ сказали? Ваша глупая жена всѣми силами старалась развивать во мнѣ гордость, мотовство суетность; и какъ она радовалась своимъ успѣхамъ, нисколько не подозрѣвая, что она старается для васъ, что она дѣйствуетъ въ пользу вашихъ сластолюбивыхъ замысловъ! Послѣ такого воспитанія вамъ не трудно было обольстить меня; вамъ стоило только сказать: «хочешь ты жить въ бѣдности, или въ богатствѣ», и кончено... и я ваша!..

Но, какъ мы сказали выше, это страшное сознаніе той бездны, въ которую низвергнуты эти женщины силой обстоятельствъ и своей собственной нравственной несостоятельности, въ рѣдкихъ случаяхъ приводитъ къ какимъ-нибудь благимъ результатамъ. – Одной только Бѣлесовой удалось выйти изъ этой бездны, и то благодаря только тому, что любимый ею человѣкъ, Цыклуновъ, другъ ея дѣтства, оказался на столько хорошимъ и сильнымъ духомъ человѣкомъ, что не постыдился ея позора, не усомнился въ ея раскаяніи, а мужественно подалъ ей руку спасенія и вывелъ ее на иной путь добра и правды. Но вѣдь какое это рѣдкое исключеніе!.. Такое же рѣдкое, какъ и тѣ двѣсти тысячъ, зашитыя въ шинели Крутицкаго («Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ»), которыя внезапно свалились съ неба на голову Насти. Не случись этихъ двухъ сотъ тысячъ, что было-бы съ Настей, избалованной и развращенной въ домѣ крестной матери, гдѣ только и дѣлали, что все о любви говорили, не привыкшей ни къ какому труду, стыдившейся своей бѣдности?.. Не смотря на всю свою любовь къ ничтожному Баклушину, она шла уже въ нанятую для нея Разновѣсовымъ квартиру, шла съ ужасомъ и отвращеніемъ, и все-таки шла; «мнѣ хочется пожить получше», говорила она въ свое оправданіе.

Дѣло въ томъ, что бездна, о которой идетъ здѣсь рѣчь, слишкомъ глубока и крута, но вмѣстѣ съ тѣмъ и заманчива.—Много нужно душевныхъ силъ, много воли, чтобы женщинамъ, дошедшимъ до мрачнаго сознанія своего позора, самимъ, по собственной инициативѣ, выбраться наверхъ; между тѣмъ какъ жизнь, которую онѣ ведутъ, не только не развиваетъ и не закаляетъ ихъ душевныхъ силъ, а, напротивъ того, разслабляетъ и растлѣваетъ ихъ: изношенныя, безхарактерныя, малодушныя, онѣ не способны ни къ какому самостоятельному шагу, и потому загорѣвшаяся въ нихъ любовь приводитъ ихъ лишь къ безсильному отчаянію, къ тщетнымъ усиліямъ покончить съ собой самоубійствомъ, послѣ чего онѣ махаютъ на все рукой и стремятся забыться, еще болѣе погружаясь въ свою безпутную и пустую жизнь.

Къ этому-же разряду женщинъ принадлежитъ и Александра Николаевна Нѣгина въ комедіи «Таланты и поклонники», но я выдѣлилъ ее, потому что мы видимъ здѣсь нѣкоторыя осложненія. Нѣгина не находится еще на днѣ пропасти, какъ вышеозначенныя женщины ея категоріи, она лишь скользитъ по ея краямъ. Она любитъ очень порядочнаго человѣка Мелузова, бѣднаго, но честнаго труженика, учителя своего, который стремится развить въ ней всѣ лучшіе человѣческіе инстинкты и повести ее по хорошей дорогѣ. Но на бѣду у дѣвушки непреоборимая страсть къ сценѣ, и она подвизается на сценѣ провинціальнаго театра, борясь съ мѣстными интригами и жи-

впроголодь, терпя вмѣстѣ со своею матерью самую страшную нужду. И вдругъ у нея является поклонникъ въ видѣ милліонера Великатова, у котораго великолѣпная усадьба съ лебедями на прудѣ, и который предлагаетъ ей горы золотыя, мечтая такъ устроить ея жизнь: «въ моей усадьбѣ, въ моемъ роскошномъ дворцѣ, моихъ палатахъ есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная съ меня, рабски повинуется. Такъ проходитъ лѣто. Осенью мы съ очаровательной хозяйкой ѣдемъ въ одинъ изъ южныхъ городовъ, она вступаетъ на сцену въ театрѣ, который совершенно зависитъ отъ меня, вступаетъ съ полнымъ блескомъ; я наслаждаюсь и горжусь ея успѣхами. О дальнѣйшемъ я не мечтаю, поживемъ, увидимъ»...

Здѣсь женщину не другіе продаютъ, для того чтобы потомъ она очнулась; ей предлагаютъ на полный самостоятельный выборъ два противуположныя пути.

Повидимому ее влечетъ въ пропасть врожденная страсть къ сценѣ, какъ она сама говоритъ Мелузову:—«ты ничего не понимаешь... и не хочешь меня понять. Вѣдь я актриса; а вѣдь, по твоему, нужно быть мнѣ героиней какой-то. Да развѣ всякая женщина можетъ быть героиней? Я актриса... Еслибъ я и вышла за тебя замужъ, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену, хотя за маленькое жалованье, да только-бъ на сценѣ быть. Развѣ я могу безъ театра жить?»

Но неужели, чтобы пробить себѣ дорогу талантливой актрисѣ, единственное средство сдѣлаться содержанкой? И неужели Мелузовъ сталъ-бы препятствовать своей женѣ продолжать подвизаться на сценѣ? Въ томъ-то и дѣло, что подъ личиною служенія искусству скрывается здѣсь нѣчто совсѣмъ другое, скрываются бѣлые лебеди на озерѣ Великатова. Въ концѣ концовъ мы видимъ здѣсь продажу себя женщиною еще болѣе ужасную. Здѣсь продается не наивная дѣвушка, не знающая жизни и никого еще не любившая, и не перезрѣлая кокетка съ замороженнымъ сердцемъ, а любящая женщина сознательно измѣняетъ своей любви и съ честнаго пути сворачиваетъ на постыдный путь разврата, прикрываясь тѣмъ, что она этимъ служитъ своему таланту, святому искусству, и пуская въ ходъ такіе безнравственные софизмы:—«Я не могу быть героиней, да и не хочу. Чтожъ мнѣ быть укоромъ для другихъ? Вы, молъ, вотъ какая, а я вотъ какая... честная!.. Да другая, можетъ быть, и не виновата совсѣмъ; мало-ль какія обстоятельства или родные... или тамъ обманомъ какимъ... А я буду укорять? Да сохрани меня Господи!»

Каково общество и каковы нравы, среди которыхъ быть честной, непродажной женщиной и доброй матерью семейства представляется героизмомъ, и дѣвушка боится идти по этому пути, чтобы не выдѣлиться изъ общаго уровня и не быть укоромъ для другихъ!..

VIII.

Но довольно о мерзавкахъ. Пора намъ сколько нибудь освѣжиться отъ того спертаго воздуха, которымъ мы до сихъ поръ дышали, и вздохнуть полной грудью въ обществѣ патріотокъ своего отечества.

Здѣсь мы будемъ уже имѣть гораздо болѣе широкій и разнообразный выборъ, и придется намъ говорить о патріоткахъ уже не огуломъ, а раздѣливши ихъ на нѣсколько степеней, хотя необходимо впередъ оговориться, что это раздѣленіе на степени будетъ принадлежать намъ. Что же касается до Островскаго, то онъ съ своей стороны не дѣлаетъ ни малѣйшихъ предпочтеній одной изъ своихъ героинь передъ другой. Объективность его въ этомъ отношеніи можно уподобить солнцу, которое съ одинаковой любовью льетъ свой свѣтъ на маленькую былиночку, равно какъ и на роскошный дубъ, и словно внушаетъ намъ, чтобы, любуясь какой-нибудь victoria regia, о цвѣтеніи которой сообщаютъ въ газетахъ, мы не упускали изъ вида и незабудочки, маленькой, чуть видной изъ травы, но которая имѣетъ свою неотъемлемую прелесть.

Съ незабудочекъ-то мы и начнемъ. Здѣсь на первомъ планѣ рисуются намъ простенькія, безхитростныя, кроткія русскія дѣвушки, съ честной, прямой натурой и нѣжнымъ, привязчивымъ сердцемъ.

Всѣ мечты ихъ исчерпываются тѣмъ, чтобы глубоко, крѣпко и беззавѣтно привязаться на всю свою жизнь къ избраннику своего сердца и свить тепленькое гнѣздышко для милыхъ дѣтушекъ. Разъ имъ это удастся и мечты окажутся осуществленными, онѣ будутъ считать себя счастливѣйшими смертными и совершенно уйдутъ въ свою раковину, будутъ готовить вкусные пироги по праздникамъ и откармливать толстощекихъ птенцовъ. Однимъ словомъ, пороха онѣ не выдумываютъ, съ неба звѣздъ не хватаютъ, никакого особеннаго геройства отъ нихъ вы не дождетесь, но матери и хозяйки изъ нихъ выходятъ отличныя, а главное дѣло—въ ихъ сердцѣ много тепла, любви и участья.

Но для того чтобы подобнаго рода простенькій, элементарный, чисто зоологическій идеалъ ихъ жизни былъ осуществимъ, необходимо, чтобы обстоятельства сложились для нихъ вполнѣ благопріятно, чтобы родители не воспрепятствовали имъ выйти замужъ за избранника своего сердца, чтобы избранникъ сердца оказался человѣкомъ хоть сколько-нибудь порядочнымъ, чтобы дальнѣйшая жизнь ихъ была хоть сколько нибудь обезпечена

Все это должно прійти къ ихъ услугамъ само собою; сами-же онѣ не способны ни къ малѣйшему самостоятельному шагу, ни къ малѣйшимъ сопротивленіямъ, усиліямъ, борьбѣ для завоеванія своего счастія. Онѣ созданы для того, чтобы беззавѣтно подчиняться, видя въ этомъ не только свой удѣлъ, но и священный долгъ, положенный свыше.

Среди подобнаго рода дѣвушекъ и сложились такія стародавнія выраженія, какъ: судьба, не судьба и суженаго конемъ не объѣдешь. Дѣйствительно, судьба играетъ всесильную роль въ ихъ жизни, и все отъ нея зависитъ; онѣ въ этомъ отношеніи вполнѣ уподобляются тѣмъ нѣжнымъ цвѣточкамъ, которые не имѣютъ никакой возможности укрыться отъ буйства стихій: проглянетъ солнышко, они расцвѣтутъ роскошно; дохнетъ на нихъ непривѣтнымъ морозомъ, безсильно опустятъ они свои головки, поблекнутъ и завянутъ безвременно.

Наиболѣе ярко и точно рисуется передъ нами подобнаго рода архаическій, допетровскій типъ русской женщины въ образѣ Любовь Гордѣевны въ комедіи «Бѣдность не порокъ». Дочь богатѣйшаго въ городѣ купца тысячника, полюбила она бѣднѣйшаго и ничтожнѣйшаго приказчика своего отца,—Митю. Полюбила она его не за какія нибудь выдающіяся достоинства или эффектныя качества, привлекающія женщинъ, а просто потому, что пришла пора любить, и сердце ея начало искать, къ кому бы привязаться. И вотъ, сама тихая и сиротливая, она избрала такого-же и парня, совершенно по себѣ. «Парень-то хорошій,—говорила она: — больно ужъ онъ мнѣ по сердцу, такой тихій и сиротливый!»

Но разница между ею, дочерью надменнаго Гордѣя Карпыча, и Митей была такъ велика, что она не смѣла и помышлять о возможности соединиться со своимъ милымъ, и потому въ самомъ разгарѣ своей страсти, едва открывшись въ любви своему возлюбленному, она уже говорила съ тоскою и надорваннымъ сердцемъ:—«Что наша любовь? Какъ былинка въ полѣ, не расцвѣтетъ путемъ—да и поблекнетъ!..»

И обстоятельства дѣйствительно оправдывали горькое раздумье Любовь Гордѣевны: вмѣсто тихаго и сиротливаго Мити, непреклонный родитель вздумалъ сватать ее за злого и жаднаго Коршунова, сгубившаго уже двухъ женъ.

И поникла головой молодая дѣвушка, готовая покориться судьбѣ безъ малѣйшаго сопротивленія.

Когда-же Митя, прощаясь на вѣки съ ней, вздумалъ предложить ей бѣжать съ нимъ изъ родительскаго дома, Любовь Гордѣева пришла въ ужасъ передъ такимъ рѣшительнымъ шагомъ.

«— Да какъ-же безъ отцовскаго то благословенія? Ну, какъ же, ты самъ посуди, — возразила она и затѣмъ рѣшила тотчасъ же безъ малѣйшихъ колебаній:

— Нѣтъ, Митя, не бывать этому! Не томи себя понапрасну, перестань! Не надрывай мою душу! И такъ мое сердце все изныло во мнѣ. Поѣзжай съ Богомъ! Прощай!

Митя. За чтожъ ты меня обманывала, надо мной издѣвалась?

Любовь Гордѣевна. Полно ты, Митя. Что мнѣ тебя обманывать, зачѣмъ? Я тебя полюбила, такъ сама же тебѣ сказала. А теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, такая наша доля дѣвичья. Такъ знать тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари. Не хочу я супротивъ отца идти, чтобъ про меня люди не говорили да въ примѣръ не ставили. Хотя я, можетъ быть, сердце свое надорвала черезъ это, да покрайности я знаю, что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза посмѣяться не смѣетъ. Прощай!..»

Но совершенно напрасно было бы въ этихъ словахъ Любовь Гордѣевны видѣть малодушное безволіе, забитость и запуганность дѣвушки, подавленной семейнымъ самодурствомъ Она дѣйствуетъ въ настоящемъ случаѣ по принципу, по твердому убѣжденію, что свыше положено и вѣками утверждено, чтобы дѣвушка покорялась своей судьбѣ и родительской волѣ, такъ и быть должно. Думай она иначе, у нея и хватило-бы можетъ быть мужества уѣхать съ Митей, но она считаетъ это величайшимъ грѣхомъ и рѣшается пожертвовать своей любовью и счастіемъ всей жизни, чтобы остаться вѣрной закону, чтобъ никто надъ ней не насмѣялся. какъ надъ беззаконницей

Такова именно и была логика всѣхъ первобытныхъ женщинъ, составлявшихъ неотъемлемую принадлежность рода. Принадлежа роду, сливаясь съ нимъ до полнаго уничтоженія личной самостоятельности и индивидуальности, женщина была въ то-же время хранительницей всѣхъ завѣтовъ рода. Основаніемъ-же родового быта было, какъ извѣстно, безусловное повиновеніе младшихъ членовъ старшимъ. И если-бы Любовь Гордѣевна преступила этотъ основной законъ, то какъ-же потомъ могла она внушать своимъ дѣтямъ то самое повиновеніе, которое нарушила сама?

Этой родовой логикѣ Любовь Гордѣевна осталась вѣрна до конца. Едва ушелъ Митя навсегда, она на горькія сѣтованія матери отвѣчала съ тѣмъ мужествомъ, съ какимъ люди идутъ на казнь за свою идею:

— Ну, маменька, что тамъ и думать, чего нельзя, только себя мучить.

И она, мало того, что покорилась своей судьбѣ съ той же непреклонной рѣшимостью, съ какой разсталась съ Митей, но, будь Коршуновъ не Коршуновъ, а сколько нибудь сносный человѣкъ, она скоро свыклась-бы со своей долей и даже къ мужу своему привязалась-бы, не такъ-бы страстно, какъ къ Митѣ, но все-таки на столько, чтобы быть доброй и нѣжной женой. Подобнаго рода женщины ищутъ въ любви не столько пылкихъ наслажденій, сколько соблюденія того семейнаго культа, для котораго онѣ видятъ себя предназначенными, и если дубъ твердъ и представляетъ мужественную опору, то не все-ли равно, одинъ дубъ или другой, — онѣ съ одинаковою цѣпкостью обвиваются вокругъ него и свиваютъ на немъ свое тепленькое гнѣздышко... Вотъ про такихъ-то именно женщинъ и сложена пресловутая поговорка:—«стерпится, слюбится!»

IX.

Далѣе затѣмъ слѣдуютъ женщины, принадлежащія въ сущности къ тому-же зоологическому типу: точно такъ-же все свое призваніе и счастье онѣ полагаютъ въ любви и въ свиваніи теплаго гнѣздышка; точно такъ-же честно и беззавѣтно отдаются онѣ влеченію своего сердца, безъ всякаго своекорыстнаго разсчета или какихъ-нибудь заднихъ мыслей. Но мы не замѣчаемъ въ нихъ того обезличенія и самоуничтоженія во имя родныхъ принциповъ, какое мы видѣли въ Любовь Гордѣевнѣ. Здѣсь мы видимъ зародышъ личной самостоятельности и иниціативы. Такія женщины влюбляются уже не въ перваго встрѣчнаго парня, чтобы отдаться ему беззавѣтно, не входя въ какой-бы то ни было анализъ качествъ мужа, лишь бы только горшокъ щей стоялъ въ печи, да дѣти качались въ колыбели. Имъ недостаточно, однимъ словомъ, чтобы избранникъ ихъ сердца былъ только мужчина, самецъ; онѣ ищутъ героя, который хоть чѣмъ нибудь выдавался бы изъ окружающаго ихъ уровня.

Такъ напримѣръ, ужъ на что Авдотья Максимовна Русанова:—повидимому она ближе всего подходитъ къ Любовь Гордѣевнѣ и вообще къ зоологическому типу. О ней и отецъ ея говоритъ: «пусти ее къ лютымъ звѣрямъ, и тѣ ея не тронутъ, у нея въ глазахъ-то только любовь да кротость; она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобъ ее-то любилъ, да могъ-бы понять, что это за душа... душа у нея русская»...

Слова Русанова повидимому совершенно оправдываются: подобно Любовь Гордѣевнѣ, Авдотья Максимовна полюбила тоже въ своемъ родѣ тихаго и сиротливаго парня Бородкина, съ которымъ вдвоемъ она и осенніе, темные вечера у окошечка просиживала, и въ сѣняхъ встрѣчалась въ сумеречкахъ, не наговорилась и, накинувши шубку на плечики, у калитки его дожидалася; былъ онъ и Ваничка, и дружокъ, но вдругъ явился отставной гусарчикъ Вихоревъ, красивый, ловкій, съ усами колечкомъ и сладкими рѣчами,—и у Авдотьи Максимовны головка пошла кругомъ.

Что руководило ею въ предпочтеніи честному и великодушному Бородкину такого пустого, ничтожнаго и дрянного вертопраха, какимъ оказался Вихоревъ?—Конечно тутъ играло свою роль незнаніе людей и жизни, но болѣе всего дѣйствовалъ женскій инстинктъ: Вихоревъ съ внѣшнимъ лоскомъ образованности, ловкими манерами и вкрадчивыми рѣчами сразу покорилъ сердце дѣвушки, какъ нѣчто совершенно выдающееся изъ всей окружающей и пріѣвшейся ей дѣйствительности, какъ герой иного, чуждаго ей міра, рисовавшагося обольстительными красками въ ея дѣвичьихъ грезахъ.

«— Увидала я его,—разсказываетъ она:—у Анны Антоновны, на прошлой недѣлѣ... Сидимъ это мы съ ней, пьемъ чай, вдругъ онъ входитъ... Какъ увидѣла я этакого красавца, такъ у меня сердце и упало; ну, думаю, быть бѣдѣ. А онъ, какъ нарочно, такой ласковый, такія рѣчи говоритъ... чтожъ мнѣ дѣлать-то! На грѣхъ я его увидѣла! Такъ вотъ съ тѣхъ поръ изъ ума нейдетъ, и во снѣ все его вижу. Словно я къ нему привороженная какая... (Сидитъ задумавшись.) И нѣтъ мнѣ никакой радости!.. Прежде я веселилась, дѣвка какъ птичка порхала, а теперь сижу вотъ какъ къ смерти приговоренная: не веселитъ меня ничто, не глядѣла-бы я ни на кого. Ужъ и что я, бѣдная, въ эти дни слезъ пролила!.. Вѣдь надо-жъ быть такой бѣдѣ!..»

Любовь налетаетъ такимъ образомъ на подобнаго рода дѣвушекъ, какъ гроза, смерчъ, какъ приворотная болѣзнь, которой онѣ и сами не рады, но превозмочь онѣ ея не могутъ и отдаются ей всецѣло, не смотря ни на что и забывая все на свѣтѣ. Тутъ не найдете вы поэтому и слѣда той непоколебимой вѣрности родовымъ принципамъ, которая заставила Любовь Гордѣевну, безъ малѣйшихъ колебаній, напрямки отказать своему возлюбленному, предложившему увезти ее, но въ то-же время не найдете и яснаго сознанія, что женщина имѣетъ право свободно располагать своимъ сердцемъ и самостоятельно устраивать свое счастіе. Родовые принципы все-таки продолжаютъ казаться этимъ дѣвушкамъ столь священными и обязательными, что нарушить ихъ нельзя безнаказанно. Поэтому-то, отдаваясь своей страсти, онѣ и смотрятъ на нее какъ на приворотную болѣзнь, порчу. Онѣ готовы бываютъ убѣжать со своимъ милымъ, выйти за него замужъ помимо воли родителей, но тѣмъ не менѣе все-таки смотрятъ на это какъ на тяжкій грѣхъ, за который ждутъ наказанія.

Такъ, Авдотья Максимовна, когда Вихоревъ предложилъ ей увезти ее, пришла въ первую минуту въ ужасъ.

«Вихоревъ. Уѣдемте потихоньку, да и обвѣнчаемся.

Авдотья Максимовна. Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! что вы это, ни за что на свѣтѣ!.. Ни-ни, ни за какія сокровища!..

Вихоревъ. Тятенька васъ любитъ, онъ проститъ. Мы къ нему сейчасъ пріѣдемъ послѣ свадьбы, знаете, по русскому обыкновенію, ему въ ноги... Ну, старикъ и того...

Авдотья Максимовна. Да и не говорите!.. Онъ проклянетъ меня!.. Каково мнѣ тогда будетъ жить на бѣломъ свѣтѣ! До самой смерти у меня будетъ камень на сердцѣ.»

Она такъ испугалась столь страшнаго предложенія Вихорева, что, по ея словамъ, насилу до дому добѣжала. Тѣмъ не менѣе когда Вихоревъ все-таки увезъ ее, она говорила ему въ экстазѣ:

— «Ненаглядный ты мой, радость, жизнь моя! Куда хочешь съ тобой! Никого я теперь не боюсь и никого мнѣ не жалко. Такъ-бы вотъ и улетѣла съ тобой куда-нибудь!»—И рядомъ съ этимъ все-таки умоляла Вихорева вернуться къ тятенькѣ:

— «Викторъ Аркадьичъ! — восклицала она,—я съ вами и въ огонь, и въ воду готова, только пустите меня къ тятенькѣ!»

Еще болѣе рѣзкій примѣръ подобныхъ-же колебаній между страстью и тятенькиной волей мы видимъ въ Дашѣ, въ драмѣ «Не такъ живи, какъ хочется».

Повидимому она не Авдотьѣ Максимовнѣ чета. Ея хватило не только на то, чтобы влюбиться въ пріѣзжаго купчика и бѣжать съ нимъ въ Москву; но затѣмъ, когда мужъ разлюбилъ ее и измѣнилъ, она, ни мало не задумавшись, бросила и мужа.

Но стоило только отцу ея Агафону напомнить ей о родовыхъ завѣтахъ, и посмотрите, какая кроткая овечка изъ нея сдѣлалась. Безъ малѣйшаго сопротивленія допустила она своимъ родителямъ везти ее обратно къ мужу и съ сокрушеніемъ сердца согласилась съ отцомъ, когда тотъ началъ доказывать ей, что она терпитъ наказаніе за совершенное ею преступленіе.

— Ты сама права, что-ль?—говорилъ старикъ: — дѣло сдѣлала, что насъ со старухой бросила? Говори, дѣло сдѣлала? Такъ это и надо? Такъ это по закону и слѣдуетъ? Врагъ васъ обуялъ! Вы точно какъ не люди! Вотъ ты и терпи, и терпи! Да наказанье-то съ кротостью принимай, да съ благодарностью. А то что это? что это? Бѣжать хочетъ! Какой это порядокъ? Гдѣ это ты видѣла, чтобы мужья съ женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а онъ въ отчаянье придетъ—кто тогда виноватъ будетъ, кто? Ну, а захвораетъ онъ, кто за нимъ уходитъ? Это вѣдь первый твой долгъ. А застигнетъ его смертный часъ, захочетъ онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него...

И Даша въ отвѣтъ на эти рѣчи только и была

въ состояніи броситься на шею отца съ восклицаніемъ:—«батюшка!»...

Но, при всѣхъ подобныхъ колебаніяхъ между свободой страсти и родительскимъ произволомъ, женщины подобнаго рода отличаются отъ Любовь Гордѣевны тѣмъ, что не могутъ выносить насилія и какого-бы то ни было гнета надъ ними. Онѣ не въ состояніи бываютъ покориться навязываемой имъ долѣ и, помирившись съ ней, начать свивать свое семейное гнѣздышко съ немилымъ человѣкомъ. Къ нимъ, однимъ словомъ, не подходитъ уже поговорка: «стерпится, слюбится». Неволя и принужденіе сразу ожесточаютъ ихъ, на нихъ находитъ отчаянность, и тутъ онѣ забываютъ всѣ свои принципы и правила и даже женскій стыдъ, готовы бываютъ, очертя голову, на самый рискованный шагъ, а тамъ хоть и въ Волгу.

Такова Надя въ комедіи «Воспитанница». Пока жизнь ея текла ровной и свободной струей, никто ея не притѣснялъ и не неволилъ, барыня принимала въ ней участіе, воспитывала ее, какъ свою дочку, и ласкала,— Надя видѣла въ себѣ человѣка не чужого въ домѣ, у нея были строгія правила и она мечтала, какъ мечтаютъ и всѣ подобныя ей дѣвушки, о зауряднымъ женскомъ счастіи: — «У меня—говорила она—теперь только одна и надежда выйти за хорошаго человѣка, чтобы мнѣ быть полной хозяйкой. Посмотри тогда, какой я порядокъ въ домѣ заведу; у меня не хуже будетъ, чѣмъ у дворянки какой-нибудь».

Въ то же время объ ухаживаніи за ней барина она говорила: —«Напрасно онъ ухаживаетъ. Что-ж, конечно онъ мальчикъ хорошенькій, даже, можно сказать, красавецъ; только отъ меня ему ничего не дождаться; потому что я совсѣмъ не такихъ правилъ и, напротивъ того, теперь всячески стараюсь, чтобы про меня никакого дурного разговору не было. У меня только одно и на умѣ, что выйти замужъ».

Но совсѣмъ инымъ духомъ преисполнилась она, когда увидѣла себя подъ гнетомъ черствaго, лицемѣрнаго и безчеловѣчнаго самодурства Уланбековой.

— Пока она баловала меня, да ласкала,—говорила она теперь Лизѣ:—такъ я думала, что я такой же человѣкъ, какъ и всѣ люди; и мысли у меня совсѣмъ другія были объ жизни. А какъ начала она мной командовать какъ куклой, да какъ увидѣла я, что никакой мнѣ воли, ни защиты нѣтъ, такъ отчаянность на меня, Лиза, нашла. Куда страхъ, куда стыдъ дѣвался—не знаю. Хоть день, да мой, думаю, а тамъ что будетъ, ничего я и знать не хочу! Хоть меня замужъ отдавай за пастуха, хоть въ какой замокъ за тридесять замковъ запри—мнѣ все равно!

X.

И вотъ можете себѣ представить,— буквально къ той-же самой категоріи женщинъ, колеблющихся, нерѣшительныхъ, боящихся всякихъ каръ, когда дѣло идетъ о ихъ счастіи, и приходящихъ въ отчаянность лишь, когда всѣ пути имъ закрыты, принадлежитъ и Катерина въ «Грозѣ». Если она отличается чѣмъ-нибудь отъ Авдотьи Максимовны, Даши и Нади,— то развѣ тѣмъ лишь, что обладаетъ отъ природы художественной натурой и ультрарелигіознымъ воспитаніемъ. Но эти два обстоятельства не только не ведутъ къ какому-либо существенному отличію Катерины отъ вышеупомянутыхъ героинь, а, напротивъ того, они лишь усугубляютъ всѣ тѣ качества, которыми героини эти отличаются: качества эти являются у Катерины интенсивнѣе, рѣзче, вслѣдствіе чего она, какъ будто, и выдѣляется изъ уровня подобныхъ ей женщинъ, между тѣмъ какъ въ сущности является вполнѣ съ ними тождественной.

По своему ультрарелигіозному воспитанію Катерина во многомъ напоминаетъ тургеневскую Лизу въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ». Дѣтство она провела на полной свободѣ:

«Я жила,—разсказываетъ она,—ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ. Маменька во мнѣ души не чаяла, наряжала меня какъ куклу, работать не принуждала, что хочу, бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкахъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ разскажу. Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключокъ, умоюсь, принесу съ собой водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ и странницы—у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странницы станутъ разсказывать: гдѣ онѣ были, что видѣли, житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснутъ лягутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вечеромъ опять разсказы да пѣніе. Таково хорошо было!.. И до смерти я любила въ церковь ходить! Точно, бывало, я въ рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, какъ все это въ одну секунду было. Маменька говорила, что всѣ, бывало, смотрятъ на меня, что со мной дѣлается!.. А то, бывало, дѣвушка, ночью встану—у насъ тоже вездѣ лампадки горѣли—да гдѣ-нибудь въ уголкѣ и молюсь до утра. И рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходитъ, упаду на колѣна, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу: тамъ меня и найдутъ. И объ чемъ молилась тогда, чего просила – не знаю; ничего мнѣ не надобно, всего у меня довольно...»

Крайне впечатлительная, нервная, вѣчно экзальтированная, со своими чисто горячечными грезами и чуть что не галлюцинаціями, Катерина была до послѣдней степени пуглива и вѣчно была подъ гнетомъ какого-нибудь ужаса, вѣроятно подъ вліяніемъ тѣхъ суевѣрныхъ разсказовъ странницъ и богомолокъ, которые она ежедневно слушала въ дѣтствѣ... Пройдетъ по улицѣ сумасшедшая барыня, грозя всѣмъ палкой и геенной огненной, и Катерина вся уже дрожитъ, и сердце у нея упало; послышится громъ вдалекѣ и новые страхи:

«К а т е р и н а (съ ужасомъ). Гроза! Побѣжимъ домой! Поскорѣе!

В а р в а р а. Что ты съума что-ли сошла! Какъ же ты безъ братца-то домой покажешься?

К а т е р и н а. Нѣтъ, домой, домой! Богъ съ нимъ!

В а р в а р а. Да что ты ужъ очень боишься: еще далеко гроза-то.

К а т е р и н а. А коли далеко, такъ пожалуй подождемъ немного; а, право-бы, лучше идти. Пойдемъ лучше!

В а р в а р а. Да, вѣдь ужъ коли чему быть, такъ и дома не спрячешься.

К а т е р и н а. Да все-таки лучше, все покойнѣе, дома то я къ образамъ, да Богу молиться!..

В а р в а р а. Я и не знала, что ты такъ грозы боишься. Я вотъ не боюсь.

Катерина. Какъ, дѣвушка, не бояться! Всякій долженъ бояться. Не то страшно, что убьетъ тебя, а то, что смерть тебя вдругъ застанетъ, какъ ты есть, со всѣми твоими грѣхами, со всѣми помыслами лукавыми. Мнѣ умереть не страшно, а какъ я подумаю, что вотъ, вдругъ, я явлюсь передъ Богомъ такая, какая я здѣсь съ тобой, послѣ этого разговора-то, вотъ что страшно.»

Но, въ случаѣ обиды или какого-нибудь притѣсненія, Катерина, подобно Надѣ, подвержена той-же отчаянности, и тогда куда страхъ дѣвается:

— «Я еще лѣтъ шести была, не больше,—разсказываетъ она:—такъ что сдѣлала! Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять!..»

Парни поглядывали на нее, но она никого не любила, а только смѣялась надъ ними. Не любя, вышла она и замужъ за Тихона; ее вѣроятно просто выдали за него, а она не сопротивлялась, потому что онъ былъ ей не противенъ, и она его жалѣла.

Но потомъ, подъ гнетомъ тяжкаго семейнаго деспотизма и вѣчныхъ попрековъ свекрови, она ожесточилась; мужъ, оказавшійся тряпкою, неспособный защитить ее, сдѣлался ей противенъ, и она влюбилась въ Бориса, который, какъ и Вихоревъ въ глазахъ Авдотьи Максимовны, казался Катеринѣ героемъ, рѣзко выдѣляющимся изъ всего ее окружающаго, человѣкомъ иного, волшебнаго міра.

И вотъ начались тѣ-же самыя колебанія, какія мы видимъ и у Авдотьи Максимовны, только еще болѣе рѣзкія и характерныя вслѣдствіе впечатлительности Катерины и ея религіозной экзальтаціи. Подобно Авдотьѣ Максимовнѣ, Катерина смотритъ на свою страсть къ Борису, какъ на бѣсовское наважденіе, порчу, отъ которой она и рада-бы избавиться, да не можетъ:

«Катерина. Не говори мнѣ про него, сдѣлай милость, не говори! Я буду мужа любить. Тиша, голубчикъ мой, ни на кого тебя не промѣняю! Я и думать-то не хотѣла, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто-жъ тебя заставляетъ?

Катерина. Не жалѣешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Развѣ я хочу о немъ думать? да что дѣлать, коли изъ головы нейдетъ? Объ чемъ ни думаю, а онъ такъ и стоитъ передъ глазами. И хочу себя переломить, да не могу никакъ. Знаешь-ли ты, меня нынче ночью опять врагъ смущалъ. Вѣдь я было изъ дому ушла.»

На словахъ она очень храбрится:—«Что мнѣ только захочется, говоритъ, то и сдѣлаю, уйду и была такова. Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера! Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостылѣетъ, такъ не удержатъ меня никакой силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь».—А сама, когда мужъ ея уѣзжаетъ, требуетъ, чтобы онъ взялъ съ нея какую-нибудь страшную клятву.

— «Какую клятву?» - спрашиваетъ онъ въ недоумѣніи.

«Катерина. Вотъ какую: чтобы не смѣла я безъ тебя ни подъ какимъ видомъ ни говорить съ кѣмъ чужимъ, ни видѣться, чтобы и думать ни о комъ, кромѣ тебя.

Кабановъ. Да на что-жъ это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня.

Кабановъ. Какъ можно за себя ручаться, мало-ль что можетъ въ голову придти.

Катерина (падая на колѣни) Чтобъ не видѣть мнѣ ни отца, ни матери! Умереть мнѣ безъ покаянія, если я...

Кабановъ (поднимая ее). Что ты! Что ты! Какой грѣхъ-то! Я и слышать не хочу!

Но и когда мужъ уѣхалъ, Катерина конечно ни за что сама не рѣшилась-бы на рискованный шагъ свиданія съ Борисомъ, совершенно подобно тому, какъ Авдотья Максимовна не позволила-бы Вихореву увезти ее, и роль Варвары въ «Грозѣ», какъ подстрекательницы, совершенно уподобляется роли Арины Ѳедотовны въ комедіи «Не въ свои сани не садись».

Но вотъ роковой шагъ былъ сдѣланъ, Катерина отдалась Борису и затѣмъ была совершенно подавлена сознаніемъ своего беззаконія. Куда дѣлась прежняя храбрость на словахъ, когда она говорила, что все, что только ей захочется, то она и сдѣлаетъ. Когда-же пріѣхалъ мужъ, она окончательно растерялась, сдѣлалась сама не своя: «дрожитъ вся,—разсказывала о ней Варвара:—точно ее лихорадка бьетъ, блѣдная такая, мечется по дому, точно чего ищетъ. Глаза какъ у помѣшанной! Давеча утромъ плакать принялась, такъ и рыдаетъ. На мужа не смѣетъ глазъ поднять. Маменька замѣчать стала, ходитъ да все на нее косится, такъ змѣей и смотритъ; а она отъ этого еще хуже. Просто мука глядѣть-то на нее!..»

При такомъ сокрушенномъ и растерянномъ состояніи духа понятно, что стоило явиться сумасшедшей барынѣ со своими угрозами геенной огненною, да раздаться громовому удару, да увидѣть Катеринѣ на стѣнѣ изображеніе страшнаго суда, чтобы при всемъ народѣ броситься въ ноги мужу и свекрови и покаяться...

Не будь Кабановой съ ея неумолимымъ и безжалостнымъ тиранствомъ, этою экзальтированною сценою и кончилась-бы драма Катерины: Борисъ уѣхалъ бы, мужъ простилъ-бы свою преступную жену, они помирились-бы и все вошло-бы въ свое русло, подобно тому, какъ Авдотья Максимовна воротилась подъ защиту и покровительство своего прежняго любезнаго Бородкина, или Даша къ своему раскаявшемуся въ своемъ безпутствѣ мужу. Но Кабанова, усугубивши свое преслѣдованіе невѣстки, скоро доводитъ ее до той-же отчаянности, какую мы видимъ и въ Надѣ.

Правда, передъ своимъ паденіемъ въ Волгу Катерина, прощаясь съ Борисомъ, какъ будто отваживается на шагъ еще болѣе рѣшительный и не столь малодушный, какъ самоубійство: она проситъ Бориса взять ее съ собою. Но повидимому это были одни жалкія слова, которымъ и сама Катерина не придавала большого значенія, отлично зная, что Борису невозможно взять ее съ собою; она не стала даже и настаивать на своей просьбѣ. Весьма даже вѣроятно, что, будь на мѣстѣ разунылаго Бориса разудалый Кудряшъ и согласись онъ увезти Катерину, она сейчасъ-бы на попятный дворъ, совершенно подобно Авдотьѣ Максимовнѣ, и наговорила-бы массу очень красивыхъ и чувствительныхъ словъ въ доказательство того, что

и съ милымъ она готова въ огонь и въ воду, но и постылаго Тихона оставить ей нельзя, и кончилось-бы дѣло все тою-же Волгою.

Вотъ, другое дѣло—Варвара. Мнѣ кажется, что Островскій едва-ли не сознательно вывелъ ее въ контрастъ Катеринѣ и контрастъ этотъ провелъ по всей драмѣ. Но Варвара ведетъ уже насъ въ новую категорію женщинъ Островскаго, которою мы и займемся въ слѣдующей главѣ.

XI.

Теперь мы будемъ имѣть дѣло съ женщинами, которыя въ общежитіи называются своевольными, своенравными, а народъ называетъ ихъ бой-дѣвка, бой-баба. Здѣсь мы видимъ полное уже отрѣшеніе отъ всѣхъ родовыхъ завѣтовъ домостроевской старины и широкое развитіе индивидуальности. Женщины этой категоріи уже не вѣшаютъ головы при первой неудачѣ въ жизни, не отдаются пассивно опредѣленію судьбы или волѣ старшихъ; онѣ стремятся самостоятельно и независимо устроить свою судьбу и при своемъ умѣ, ловкости и находчивости всегда успѣваютъ въ этомъ, выходя замужъ непремѣнно за того, кого сами избираютъ; въ дѣвичествѣ это огневыя и бѣдовыя дѣвушки, съ которыми родители никакъ не могутъ совладать; въ замужествѣ—энергическія и неусыпныя хозяйки, держащія обыкновенно въ ежовыхъ рукахъ весь домъ, не исключая и своего благовѣрнаго. Старуха Кабанова въ молодости своей навѣрное принадлежала къ этому типу, и Варвара родилась вся въ нее.

Варвара—прежде всего натура глубоко реальная, чѣмъ она и отличается радикально отъ Катерины; никакихъ не знаетъ она нервныхъ экзальтацій, страховъ: ни сумасшедшая старуха со своими угрозами, ни громы небесные нисколько ея не смущаютъ. Она и говоритъ то въ пьесѣ мало, ратоборствовать и высказываться — не въ ея натурѣ; она больше дѣйствуетъ, и посмотрите, какъ энергично: помогаетъ Катеринѣ видаться съ ея любезнымъ, не забывая при этомъ и себя.

Ее обвиняли въ рабской лживости и притворствѣ и ставили ей въ примѣръ Катерину, какъ образецъ прямой и честной натуры. Но лживость и притворство вовсе не представляютъ природныхъ свойствъ Варвары; вѣдь не лжетъ же она и не притворяется ни передъ Катериною, ни передъ Кудряшемъ. Это болѣе ничего съ ея стороны, какъ лишь система дѣйствій по отношенію къ одной Кабановой. Когда Катерина говоритъ, что она обманывать не умѣетъ и скрыть ничего не можетъ, Варвара отвѣчаетъ ей на это:

«— Ну, а вѣдь безъ этого нельзя; ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ весь домъ на томъ держится. *И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало.*»

И еще бы:—«Что за охота сохнуть то,—говоритъ Варвара въ другомъ мѣстѣ:—хоть умирай съ тоски, пожалѣютъ, чтоль, тебя? Какъ же, дожидайся. Такъ какая-жъ неволя себя мучить-то!»

Варвара въ этомъ отношеніи представляетъ тотъ переходъ къ дѣвушкамъ разсматриваемой нами категоріи, при которомъ у подобныхъ дѣвушекъ не хватаетъ еще мужества открыто заявлять свою волю, да и трудно это было бы передъ Кабановой, но это не мѣшаетъ имъ устраивать свою жизнь самостоятельно и по-своему, хотя бы и за глазами у старшихъ.

Обратите между прочимъ вниманіе и на выборъ Варвары. Это уже не тихій и сиротливый парень вродѣ Гриши, и не человѣкъ, поражающій воображеніе женщины однимъ внѣшнимъ лоскомъ образованности при полной внутренней несостоятельности, каковы Вихоревъ или Борисъ. Варвара полюбила Кудряша, найдя въ немъ внутреннее, психическое соотвѣтствіе со своею натурою. Стоитъ припомнить первую сцену драмы, діалогъ Кудряша съ Шапкинымъ, чтобы понять, за что Кудряшъ могъ полюбиться Варварѣ; однимъ словомъ, сама удалая, она полюбила и парня еще болѣе удалого, который не робѣлъ и не молчалъ передъ Дикимъ подобно Борису:

«— Я грубіянъ считаюсь,—говорилъ онъ Шапкину:—за что-жъ онъ меня держитъ? Стало быть, я ему нуженъ. Ну, значитъ, я его и не боюсь, а пущай онъ меня боится.

Шапкинъ. Ужъ будто онъ тебя и не ругаетъ?

Кудряшъ. Какъ не ругать! Онъ безъ этого дышать не можетъ. Да не спускаю и я: онъ—слово, а я—десять; плюнетъ да и пойдетъ. Нѣтъ, ужъ я передъ нимъ рабствовать не стану.»

И вотъ въ то время, когда разунылый Борисъ былъ усланъ свирѣпымъ дядюшкою въ Сибирь, а разочарованная Катерина пошла искать правды и утѣшенія въ волнахъ Волги, одна Варвара устроилась благополучно и завоевала то самое счастіе, котораго добивалась: она убѣжала съ Кудряшемъ.

Къ числу такихъ-же разбитныхъ и разудалыхъ дѣвушекъ, какъ Варвара, принадлежитъ Груша въ драмѣ «Не такъ живи, какъ хочется». Она вся такъ и дышетъ жаждою свободы и веселаго разгула:—«Какъ же, охота мнѣ замужъ!—говоритъ она матери:—по тѣхъ поръ и погулять, пока въ дѣвкахъ. Еще замужемъ-то наживуся! Гуляй, дѣвка, гуляй я! Замужемъ-то жить трудно! Угождай мужу, да еще какой навернется... Всѣ они холостые-то хороши!.. Еще станетъ помыкать тобой. А дѣвкамъ намъ житье веселое, каждый день праздникъ, гуляй себѣ—не хочу! Хочешь работай, хочешь—пѣсни пой!.. А приглянулся-то кто, развѣ за нами усмотришь? Хитрѣй дѣвокъ народу нѣтъ»...

Агнія въ комедіи «Не все коту масляница» представляетъ дальнѣйшую степень въ разсматриваемой нами категоріи. Она не тихонько уже отъ матери устраиваетъ свое счастіе, а дѣйствуетъ открыто, безъ малѣйшихъ стѣсненій.

«— Вольница ты у меня,—говоритъ ей мать:—ты (Ипполита) какъ это подцѣпила?

Агнія. Очень просто. Шла я какъ-то изъ городу, онъ меня догналъ и проводилъ меня до дому. Я его поблагодарила.

Круглова. И позвала?

Агнія. Съ какой стати?

Круглова. Какъ-же онъ у насъ объявился?

Агнія. Позвала я его, да послѣ. Сталъ онъ мимо оконъ ходить разъ по десяти въ день; ну, что хорошаго, лучше ужъ въ домъ пустить. Только слава.

Круглова. Само собой.

Агнія. *Все* говоритъ?

Круглова. Да говори ужъ за одно.

Агнія (равнодушно и грызя орѣхи). Потомъ онъ мнѣ письмо написалъ съ разными чувствами, только несладно очень...

Круглова. Ну? А ты ему отвѣтила?

Агнія. Отвѣтила, только на словахъ. Зачѣмъ вы, говорю, письма пишете, коли не умѣете? Коли что вамъ нужно мнѣ сказать, такъ говорите лучше прямо, чѣмъ бумагу-то марать.

Круглова. Только и всего?

Агнія. Только и всего. А то что-же еще?

Круглова. Много очень воли ты забрала.

Агнія. Заприте.

Круглова. Болтай еще...»

Въ другой разъ мать застала ее цѣлующуюся съ Ипполитомъ.

«Круглова. Что-жъ это такое?

Агнія. Что? Ничего.

Круглова Какъ ничего? Я своими глазами видѣла, какъ онъ тебя цѣловалъ.

Агнія. Эка важность, поцѣловалъ!

Круглова. По твоему это не важность?

Агнія. Да, конечно. Вотъ кабы укусилъ, это нехорошо.

Круглова. Ты въ своемъ разумѣ, или рехнувшись? А срамъ, стало быть, ничего?

Агнія. Какой срамъ! Срамъ-то бываетъ у богатыхъ; а мы, какъ ни живи, никому до того дѣла нѣтъ. И хорошо, и худо — все для себя, а не для людей. Хорошо живи—люди не похвалятъ, и дурно живи—никого не удивишь.

Круглова. Извольте подумать, чѣмъ она занимается!

Агнія. А вы думали, что я все еще въ куклы играю?

Круглова Потихоньку-то отъ матери..

Агнія. Да я и при васъ, пожалуй.

Круглова. Стыдочку-то, стало быть, немного.

Агнія. На что его нужно, на то онъ есть.

Круглова. А все-таки нехорошо, что мать-то не знаетъ.

Агнія. Знать-то вамъ нечего; еще ничего вѣрнаго нѣтъ Придетъ время, не безпокойтесь, скажемъ; мы этотъ порядокъ знаемъ.

Круглова. Съ тобой говорить-то что больше, то хуже. Лучше бросить; а то еще, пожалуй, у тебя сама виновата останешься. А что правда, то правда; не во время вы христосоваться начали.

Агнія. Впередъ зачтите. Конечно удержать себя можно; да для чего? Молодость-то наша и такъ не красна: чѣмъ ее вспомнить будетъ?»

Но и Агнія полюбила Ипполита не слѣпо и беззавѣтно, какой бы онъ ни былъ. У нея такой же идеалъ мужа, какъ и у Варвары; она требуетъ, чтобы онъ былъ такой же удалой и смѣлый, какъ и она, и когда явившійся внезапно хозяинъ Ипполита Аховъ гонитъ вонъ своего племянника, Агнія возмущается, когда видитъ, что Ипполитъ малодушно ретируется, и кричитъ ему вслѣдъ: «стыдно трусить!»—И вслѣдъ затѣмъ у нея является сильная реакція въ ея любви къ Ипполиту.

«—Маменька,—восклицаетъ она, послѣ визита Ахова,—когда Ипполитъ придетъ, гоните его безъ милосердія.

Круглова. Не Ермила-ли гнать-то?

Агнія. За что его? Онъ чѣмъ виноватъ? Какъ же ему не возноситься, когда ему всѣ покоряются?

Круглова. Ты что ни говори, а мнѣ Ипполита жалко.

Агнія. Чего его жалѣть-то; онъ не маленькій. Кабы у него совѣсть, такъ онъ самъ бы стыдился, что его жалѣютъ. Какого маленькаго обидѣли! Видѣть его не могу...

Круглова. Что такъ грозно?

Агнія. Ну, будь онъ женатъ, да съ женой здѣсь: каково бы ей, бѣдной.. Не канатомъ онъ съ Ермиломъ-то связанъ, бросилъ да и пошелъ. А я было чуть не полюбила его, плаксу.

Круглова. У тебя, видно, сколько дней въ недѣлѣ, столько и пятницъ. Не успѣла полюбить, да ужъ и разлюбила.

Агнія. Да-таки и разлюбила.

То же самое, еще болѣе рѣзко и прямо, говоритъ она и Ипполиту, когда онъ снова является къ ней. Она встрѣчаетъ его словами, что онъ трусъ и лгунъ; еще, что по его характеру денегъ отъ хозяина онъ не дождется, а вѣрнѣе всего, что онъ самъ его прогонитъ, и что человѣка безсовѣстнаго любить нельзя.

«Ипполитъ. Хорошо, что вы мнѣ это заранѣе сказали-съ.

Агнія. А вы не знали.

Ипполитъ. Почемъ-же я могу вашъ характеръ знать-съ! Обыкновенно у женщинъ больше такое понятіе-съ, что, хоть на разбой ходи, только для нея и для дому будь добычникъ.

Агнія. Я воровъ не люблю, а другія, какъ хотятъ—не мое дѣло.

Ипполитъ. Значитъ, только изъ одного того, чтобъ любовь вашу заслужить?

Агнія. Не говорите мнѣ о любви, пожалуйста.

Ипполитъ. Почему же такъ-съ?

Агнія. Я не хочу мальчика любить. Какой вы мужчина?

Ипполитъ. По вашимъ словамъ, я самый ничтожный человѣкъ-съ?..

Агнія. Это ваше дѣло.

Ипполитъ. Ото всѣхъ въ презрѣніи.

Агнія. Кто-жъ виноватъ?

Ипполитъ. Замѣсто того, чтобъ мнѣ отъ васъ утѣшеніе...

Агнія. Васъ станутъ бить, какъ мальчишку, а я должна васъ утѣшать! Да съ чего вы выдумали?

Ипполитъ. Кто же меня пожалѣетъ-съ?

Агнія. Мнѣ-то что за дѣло! Смѣяться надъ вами, а не жалѣть.

Ипполитъ. Послѣ этого ужъ только помирать остается на моемъ мѣстѣ.

Агнія. Конечно, лучше.

Ипполитъ. Стало быть, вы обо мнѣ очень низкаго понятія?

Агнія. Очень.

Ипполитъ. Однако такой ударъ отъ васъ! Я даже, какъ его перенести, не знаю.

Агнія. Очень рада.

Ипполитъ. И никакого, значитъ, къ человѣчеству снисхожденія?

Агнія. И не ждите.

Ипполитъ. Однако-же влетѣлъ я ловко! Вотъ такъ обманъ для моихъ чувствъ! Ошибался я въ своей жизни...

Агнія (отирая слезы). Не вы ошиблись, я ошиблась. Уйдите, пожалуйста! Уйдите, говорятъ вамъ! Стыдно мнѣ. взрослой дѣвушкѣ, не умѣть людей разбирать. Меня никто не тянулъ къ вамъ.

Ипполитъ. Но позвольте мнѣ въ свое оправданіе...

Агнія. Подите, подите!

Ипполитъ. Но однако хоть малость пожалѣйте!

Агнія. Послушайте. Нынче-же выпросите себѣ у хозяина хорошее жалованье, или отходите отъ него и ищите другое мѣсто! Если вы этого не сдѣлаете, лучше и не знайте меня совсѣмъ, и не кажитесь мнѣ на глаза!..»

И только тогда Агнія перемѣнила гнѣвъ на милость, когда Ипполитъ явился къ ней съ 15,000 рублей заработаннаго жалованья, которые онъ заставилъ Ахова отдать ему.

Такимъ образомъ мы видимъ здѣсь въ лицѣ Агніи

тотъ-же типъ сѣлой и удалой дѣвушки, но типъ этотъ стоитъ степенью выше, чѣмъ Варвара и Груша, не только тѣмъ, что Агнія дѣйствуетъ уже безъ хитрости, а прямо и открыто, но идеалъ у нея опредѣленнѣе, сознательнѣе, шире: она требуетъ отъ мужа не одного забубеннаго удальства, но и честности; презираетъ не однихъ трусовъ, но и воровъ.

Еще болѣе широкіе идеалы мы видимъ у Параши въ комедіи «Горячее сердце», — идеалы, приближающіе ее къ тѣмъ уже женщинамъ, о которыхъ будетъ еще рѣчь у насъ впереди.

Параша находится въ положеніи худшемъ, чѣмъ Варвара: отецъ ея грубый и неотесанный самодуръ, у котораго отъ вѣчнаго сна мысли въ головѣ путаются; вмѣсто матери злая и распутная мачиха, ненавидящая свою падчерицу. Но дѣвушка въ усъ не дуетъ. Съ мачихой ова постоянно зубъ за зубъ и открыто ей говоритъ: «Много-ль у насъ воли то въ нашей жизни, въ дѣвичьей? Много-ли времени я сама своя-то? А то вѣдь я—все чужая. Молода—такъ отцу съ матерью работница, а выросла, да замужъ отдали—такъ мужнина раба безпрекословная. Такъ отдамъ-ли я тебѣ эту волюшку дорогую, короткую? Все, все отнимите у меня, а воли я не отдамъ... На ножъ пойду за нее!...»

То же говоритъ она и отцу: — «Слушай ты, батюшка! Не часто мнѣ съ тобой говорить приходится, такъ ужъ скажу я тебѣ заразъ. Вы меня, дѣвушку, обидѣли. Браниться мнѣ съ тобой совѣсть не велитъ, а молчать силы нѣтъ; я послѣ хоть годъ буду молчать, а тебѣ вотъ что скажу: не отнимай ты моей воли дорогой, не марай мою честь дѣвичью, не ставь за мной сторожей! Коли я себѣ добра хочу—я сама себя уберегу, а коли вы меня беречь станете... Не уберечь вамъ меня!. »

Приглянулся Парашѣ сынъ разорившагося купца, Вася, и влюбилась она въ него ошибкой, заподозрѣвши въ немъ геройство, котораго въ немъ не было ни капли. Вотъ какъ разсказываетъ самъ Вася о томъ, какъ полюбила его Паша:

— «Была вечеринка, только я наканунѣ былъ выпимши, и въ это утро съ тятенькой побранился, и такъ, знаешь ты, весь день былъ не въ себѣ. Прихожу на вечеринку и сижу молча, ровно какъ я сердитъ или разстроенъ чѣмъ. Потому вдругъ беру гитару, и такъ мнѣ это горько, что я съ родителемъ побранился, и съ такимъ я чувствомъ запѣлъ:

Черной воронъ, что ты вьешься
Надъ моею головой...

«Потомъ бросилъ гитару и пошелъ домой. Она мнѣ послѣ говорила: «такъ ты мнѣ все сердце и прострѣлилъ насквозь!» Да и что-жъ мудренаго, потому было во мнѣ геройство».

Но это увлеченіе было недолговѣчно, и уже на первомъ-же свиданіи Параши съ Васей въ комедіи мы видимъ, что въ ней начинается уже разочарованіе въ своемъ любезномъ. — Такъ она уговариваетъ его поспѣшить бракомъ, а онъ отвѣчаетъ ей, что дѣло у него съ тятенькой поразстроилось.

«Параша. Знаю. Да вѣдь вы живете; значитъ, жить можно; больше ничего и не надобно.

Вася. Такъ-то такъ...

Параша. Ну, такъ что-же? Ты знаешь, въ здѣшнемъ городѣ такой обычай, чтобъ невѣстъ увозить. Конечно это дѣлается больше по согласію родителей, а вѣдь много и безъ согласія увозятъ: здѣсь къ этому привыкли, разговору никакого не будетъ —одна только и бѣда: отецъ пожалуй денегъ не дастъ.

Вася. Ну, вотъ видишь ты?

Параша. А что-жъ за важность, милый ты мой! У тебя руки, у меня руки...»

Но Вася продолжаетъ отвиливать и откладывать дѣло въ дальній ящикъ, говоря, что, какъ Богъ дастъ, полученія тоже есть старые должники; въ Москву тоже надо съѣздить, и выводитъ наконецъ Пашу изъ себя:

«— За что-жъ это, Господи, наказаніе какое! — восклицаетъ она: — Что-жъ это за парень, что за плакса на меня навязался! Говоришь-то ты, точно за душу тянешь. Глядишь-то, точно укралъ что. Аль ты меня не любишь, обманываешь? Видѣть-то тебя тошно, только ты у меня духу отнимаешь. (Хочетъ идти).

Вася. Да постой, Параша, постой!

Параша (останавливается). Ну, ну! Надумался, слава Богу! Пора!

Вася. Что-жъ ты такъ въ сердцахъ-то уходишь, нешто такъ прощаются? Что ты въ самомъ дѣлѣ! (Обнимаетъ ее).

Параша. Ну, ну, говори. Милый ты мой, милый!

Вася. Когда-жъ мнѣ къ тебѣ еще побывать-то? потолковали бы, право, потолковали...

Параша (отталкиваетъ его). Я думала, ты за дѣломъ. Хуже ты дѣвки; пропадай ты пропадомъ! Видно, мнѣ самой объ своей головѣ думать! Никогда-то я, никогда теперь на людей надѣяться не стану. Зарокъ такой себѣ положу. Куда я сама себя опредѣлю, такъ тому и быть. Не на кого по крайности мнѣ плакаться будетъ.»

Но дѣло приняло совершенно другой оборотъ, когда Васю, пришедшаго къ ней на свиданіе, заподозрили въ покушеніи на воровство и заперли въ острогъ для того, чтобы потомъ сдать не въ зачетъ въ солдаты. Любовь съ прежней силой разгорѣлась въ сердцѣ дѣвушки; она видѣла въ немъ теперь страдальца изъ-за нея и бѣжала изъ дома, чтобы дѣлить съ нимъ всѣ несчастія.

На свиданіи съ нимъ въ острогѣ она внушала ему непремѣнно сдѣлаться героемъ, не щадя жизни своей. — «Старайся, Вася, старайся!» — говорила она — а ты вотъ что: какъ тебя обучатъ всему и станутъ переводить изъ некрутовъ въ полкъ, въ настоящіе солдаты, ты и просись у самаго главнаго, какой только есть самый главный начальникъ, чтобъ тебя на Кавказъ и прямо чтобъ сейчасъ на страженіе!»

Вася. Зачѣмъ?

Параша. И старайся ты убить больше, какъ можно больше непріятеля. Ничего, ты своей головы не жалѣй.

Вася. А какъ ежели самого...

Параша. Ну, что-жъ: одинъ разъ умирать-то. По крайности мнѣ будетъ плакать объ чемъ. Настоящее у меня горе-то будетъ, самое святое. А ты подумай, ежели ты не будешь проситься на страженіе и переведутъ тебя въ гарнизонъ; начнешь ты баловаться... воровать по огородамъ... что тогда за жизнь мнѣ будетъ? Самая послѣдняя. Горемъ назвать нельзя, и счастья-то не бывало — такъ, подлость одна Изомретъ тогда мое сердце, на тебя глядя.»

Такимъ образомъ, какъ видите, идеаломъ Параши является не просто только удалой и безстрашный парень, но вмѣстѣ съ тѣмъ и герой, умирающій за свою родину. И каково-же было ея разочарованіе, когда

этотъ герой пошелъ въ пѣсенники и шуты къ Хлынову, который выкупилъ его изъ рекрутъ.

«— Развѣты струсилъ?—спрашиваетъ она внѣ себя отъ негодованія: — Отвѣчай! Отвѣчай мнѣ! Струсилъ ты? Обробѣлъ? Такой красивый, такой молодецъ, и струсилъ. Съ бубномъ стоитъ! Ха! ха! ха!.. Вотъ когда я обижена. Что я? Что я? Онъ плясунъ, а я что? Возьмите меня кто нибудь! Я для него только жила, для него горе терпѣла. Я—богатаго купца дочь, солдаткой хотѣла быть, въ казармахъ хотѣла жить, а онъ!.. Ахъ, противный! Трудно мнѣ... духу мнѣ!.. духу мнѣ надо... а нѣтъ. Била меня судьба, била... а онъ... а онъ... добилъ (падаетъ къ Аристарху на руки).»

Тогда любовь къ Васѣ окончательно гаснетъ въ ней, и Параша избираетъ себѣ другого милаго, приказчика отца—Гаврилу, давно любившаго ее безнадежно и въ которомъ она теперь познала именно такого героя и защитника, какого искала.

«— Я прямо буду говорить, — обращается она къ отцу:—вотъ какъ мнѣ любъ этотъ человѣкъ (Вася): когда ты хотѣлъ его въ солдаты отдать, я и тогда хотѣла за него замужъ идти, не боялась солдаткой быть. А теперь, когда онъ на волѣ, когда у меня и деньги, и приданое будетъ, и мѣшать-то намъ некому, теперь-бы я пошла за него, да боюсь, что онъ отъ жены въ плясуны уйдетъ. И не пойду я за него, хоть осыпь ты меня съ ногъ до головы золотомъ. Не умѣлъ онъ меня брать бѣдную, не возьметъ и богатую. А пойду я вотъ за кого (беретъ Гаврилу). Не отдашь ты меня за него, такъ мы убѣжимъ да обвѣнчаемся. У него ни гроша, у меня столько-же. Это намъ не страшно. У насъ отъ дѣла рукъ не отвалятся, будемъ хоть по базарамъ гнилыми яблоками торговать, а ужъ въ кабалу ни къ кому не попадемъ. А дороже-то для меня всего: я вѣрно знаю, что онъ меня любить будетъ. Одинъ день я его видѣла, а на всю жизнь душу ему повѣрю.»

XII.

Всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныя нами женщины Островскаго, не исключая и лучшей изъ нихъ, Параши, при всѣхъ прекрасныхъ качествахъ ихъ, имѣютъ между собой то общее, что всецѣло стоятъ на почвѣ эгоизма: всѣ онѣ только о томъ и заботятся, какъ бы устроить свое личное счастіе посредствомъ замужества съ избранникомъ своего сердца; разъ удается имъ достигнуть этого, онѣ замыкаются въ свою семейную скорлупку, дѣлаются хорошими хозяйками и матерями, чѣмъ и ограничивается все ихъ заурядное женское призваніе.

Теперь въ заключеніе намъ придется имѣть дѣло съ женщинами высшаго разряда, составляющими лучшее украшеніе и гордость человѣчества,—женщинами, у которыхъ преобладающимъ качествомъ ихъ души является самопожертвованіе.

Женщины подобной категоріи имѣютъ видъ вовсе не какихъ-нибудь величественныхъ героинь и отличаются отнюдь не тѣмъ, что ежеминутно совершаютъ какіе-нибудь громкіе и красивые подвиги. Съ перваго взгляда онѣ ничѣмъ особеннымъ васъ не поразятъ. Такія повидимому простыя, скромныя, иногда застѣнчиво-робкія. Жизнь ихъ течетъ самымъ заурядным теченіемъ. Но вглядитесь въ эту жизнь, и вы увидите, что главное содержаніе ея заключается въ томъ, чтобы жертвовать своимъ досугомъ, силами, если нужно счастьемъ и даже жизнью, для достиженія удобства и счастія ближнихъ, кто-бы эти ближніе ни были: два-три дорогіе человѣка или все человѣчество. Интересно знать, думаютъ ли подобныя женщины хоть одну минуту о себѣ самихъ? Постоянно вы видите ихъ хлопочущими и заботящимися о другихъ. И это дѣлается у нихъ не принципіально, не искусственно, а совершенно инстинктивно, такъ что онѣ и сами этого не замѣчаютъ. Таково ужъ у нихъ любвеобильное сердце; онѣ не могутъ жить безъ того, чтобы не голубить, не лелѣять кого-бы то ни было. Даже и половая любовь является въ ихъ глазахъ синонимомъ не наслажденія и счастія, а самопожертвованія. Такова между прочимъ Марія Андреевна Незабудкина. Дочь бѣднаго чиновника, не получившая большого образованія, она является передъ нами скромной, безхитростной барышнею дореформеннаго періода начала 50-хъ годовъ. Она ни о чемъ повидимому не мечтаетъ, какъ лишь выйти замужъ, ну, и конечно, если возможно, за любимаго человѣка. Она и любитъ ужъ молодого бѣднаго чиновника Мерича, обманываясь въ своей любви и принимая своего возлюбленнаго совсѣмъ не за то, что онъ есть. Но вы видите, что взглядъ у нея на любовь совершенно особенный, какого мы до сихъ поръ не видѣли во всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами женщинахъ. «Чего я для него не сдѣлаю!.. говоритъ она въ экстазѣ своей страсти:— все, все, все..!» И такъ, любить кого-нибудь — значитъ быть готову дѣлать для него все. Такой взглядъ Маріи Андреевны на любовь выражается еще опредѣленнѣе, когда, разочаровавшись въ Меричѣ, она говоритъ ему:

«— Ты любилъ? Никогда ты не любилъ меня. Я одна любила. Теперь мнѣ поведеніе твое стало ясно. Хоть ужъ и поздно, а я узнала тебя. Господи, Боже мой! И ты смѣешь называть это любовью! Хороша любовь!—не только безъ самопожертвованія, даже безъ увлеченія! На насъ весь судъ, намъ не прощаютъ ничего... Я къ тебѣ бросаюсь на шею, а ты оглядываешься, не увидѣлъ-бы кто. Ты вспомни хорошенько! бывало, ждешь тебя, не дождешься, всѣ глаза проглядишь; а ты придешь, какъ ни въ чемъ не бывало, только развѣ обдумаешь дома, что говорить, да какъ-бы сдѣлать шагъ впередъ.»

Разочаровавшись въ Меричѣ, Марья Андреевна жертвуетъ, какъ извѣстно, собой и выходитъ замужъ за противнаго ей Беневоленскаго, спасая свою мать отъ грозившаго ей разоренія. Но отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать ее съ тѣми продажными женщинами, о которыхъ мы говорили выше и которыя продаютъ себя ради суетнаго снисканія благъ земныхъ. Это была та единственная жертва, которую была способна принести дореформенная женщина, не умѣвшая зарабатывать пропитаніе себѣ и матери какимъ-либо трудомъ. Но, принеся такую ужасную жертву, Марья Андреевна не повѣсила голову, не пришла въ отчаяніе, не стала помышлять о самоубійствѣ; у нея оказалось такъ много душевныхъ силъ, что и въ самую страшную минуту жизни жажда самоотверженія не покинула ея и, гордо поднявъ голову, она бодро стала глядѣть впередъ.

«— Передо мной новый путь,—восторженно говорила она, прощаясь съ Меричемъ;—и я его напередъ знаю. У меня еще много впереди для женскаго сердца. Говорятъ, онъ грубъ, необразованъ, взяточникъ; но это быть можетъ оттого, что подлѣ него

не было порядочнаго человѣка, не было женщины. *Говорятъ, женщина много можетъ сдѣлать, если захочетъ.*—Вотъ моя обязанность. И я чувствую, что во мнѣ есть силы. Я заставлю его любить меня, уважать и слушаться. Наконецъ—дѣти, я буду жить для дѣтей... Нѣтъ, Владиміръ Васильевичъ, вамъ не видать моихъ страданій. Я не доставлю вамъ удовольствія пожалѣть меня. Какія-бы ни были обстоятельства, я хочу быть счастливой, хочу, чего-бы мнѣ это ни стоило.»

И она навѣрно достигла своего счастія самопожертвованія. Исправить такого негодяя, каковъ былъ Веневоленскій, ей конечно врядъ-ли удалось. Но все-таки она не пропала, и черезъ нѣсколько лѣтъ вышла на тѣ новые пути, какіе открылись для женщинъ, жаждущихъ принести свои силы на пользу ближнихъ.

Но вышла или не вышла Марья Андреевна на эти новые пути, мы встрѣчаемъ у Островскаго и такихъ женщинъ, которыя стоятъ уже на нихъ. Такова Лизавета Ивановна Иванова въ комедіи «Въ чужомъ пиру похмѣлье». Тяжелую ношу несетъ она на своихъ плечахъ, прокармливая и себя, и отца своими трудами, и видъ суроваго подвижничества имѣетъ жизнь ея.

«— Нѣтъ, ужъ мы очень много трудимся!—говоритъ она въ печальномъ раздумьи; – что ни говори, какъ себя ни утѣшай, а тяжело, право, тяжело! Ужъ я не говорю о деньгахъ; не говорю о томъ, что за наши труды намъ платятъ мало; хоть-бы уваженіе-то намъ за нашъ честный трудъ оказывали; такъ и этого нѣтъ. На что ужъ наша хозяйка, и та смотритъ на насъ съ какимъ-то сожалѣніемъ! А всего мнѣ обиднѣе, что смѣются надъ папашей. Онъ точно немного страненъ, да вѣдь онъ всю жизнь провелъ за книгами, его можно извинить. И что въ этомъ смѣшного, что человѣкъ ходитъ въ старой шинели, въ старой шляпѣ? А у насъ такая сторона, чуть не въ глаза хохочутъ. Конечно это невѣжество, съ образованіемъ это пройдетъ; а все-таки тяжело. Вотъ вчера, какъ я шла изъ церкви, какіе-то молодые купцы вслухъ смѣялись надъ моимъ салопомъ. Гдѣ-же я лучше возьму? Ты-же приносишь людямъ пользу почти безкорыстно, тебя-же презираютъ.»

Но какъ ни тяжка эта ноша, Лизавета Ивановна не промѣняетъ свою жизнь ни на какую другую, и когда хозяйка предлагаетъ ей выйти замужъ за влюбленнаго въ нее богатаго купчика, она отвѣчаетъ ей:

— Неужели вы, Аграфена Платоновна, до сихъ поръ меня не знаете? Я ни за какія сокровища не захочу терпѣть униженія. Вѣдь они за каждую копѣйку вымстятъ оскорбленіемъ; а я не хочу переносить ихъ ни отъ кого. То-ли дѣло, какъ мы живемъ съ папашей? Хоть бѣдно, да независимо. Мы никого не трогаемъ и насъ никто не смѣетъ тронуть».

Такова-же наконецъ передъ нами и Лиза въ драмѣ «Пучина», прокармливающая всю свою семью неусыпнымъ и неблагодарнымъ трудомъ. Не въ ореолѣ недоступнаго совершенства и не на пьедесталѣ безукоризненнаго геройства рисуется передъ нами эта великая и святая дѣвушка, а со всѣми тѣми искушеніями, какія преслѣдуютъ на каждомъ шагу труженицу, пригвожденную къ швейной машинѣ. Какимъ поразительнымъ реалистомъ является передъ нами въ этомъ отношеніи Островскій, можно судить по слѣдующей сценѣ, въ которой раскрывается передъ вами вся философія жизни тысячъ труженицъ, едва не умирающихъ съ голоду, не смотря на свой неустанный, отупляющій и подтачивающій физическія силы механическій трудъ. Когда бабушка Лизы, Анна Устиновна, напоминаетъ ей объ отдыхѣ, Лиза говоритъ:

«— Отдыхъ? Нѣтъ, отдыхать некогда, да и нельзя.

Анна Устиновна. Отчего-же нельзя?

Лиза. А вотъ отчего: если работать сплошь, день-за-день, такъ работа легче кажется; а если дать себѣ отдыхъ, такъ потомъ трудно приниматься. Послѣ отдыха работа противна становится.

Анна Устиновна. Что ты, что ты! Господь съ тобой!

Лиза. Да, противна. Она и всегда не сладка, да ужъ какъ свыкнешься съ ней, такъ все-таки легче. Вы думаете, что мнѣ самой погулять не хочется! Вы думаете, что мнѣ не завидно, когда другіе гуляютъ?

Анна Устиновна. Какъ, чай, не завидно.

Лиза. Нѣтъ, нѣтъ. Я васъ знаю. Вы думаете, что я съ радостью работаю, что мнѣ это весело; вы думаете, что я святая. Ахъ, бабушка!

Анна Устиновна. Святая, святая и есть!

Лиза. Сказать-ли вамъ, что у меня на душѣ?

Анна Устиновна. Да что-жъ у тебя, кромѣ ангельскихъ помысловъ?

Лиза. Нѣтъ, лучше не говорить. Сказать, такъ вы испугаетесь.

Анна Устиновна. Ангелъ хранитель надъ тобой!

Лиза. Ахъ, бабушка, я боюсь, я боюсь...

Анна Устиновна. Чего-же ты, душенька, боишься?

Лиза. Я боюсь, что надоѣстъ мнѣ работа, опостылѣетъ, тогда я ее брошу...

Анна Устиновна. Поди ко мнѣ, поди, дитя мое! Господи, сохрани ее и помилуй!

Лиза. Бабушка, давайте молиться вмѣстѣ! Трудно мнѣ, трудно мнѣ, трудно!..»

Но не тѣмъ только работа опостылѣла дѣвушкѣ, что была сама по себѣ трудна и томительна, а главное дѣло, что она очень скудно вознаграждалась.

«— Вотъ что:—говорила она Погуляеву, принявшему въ ней участіе,—укажите мнѣ работу такую, за которую-бы больше платили. А то посмотрите, вотъ какая комната, вонъ бабушка, какъ она одѣта! у насъ ничего нѣтъ; я работаю, работаю и никакъ изъ нужды не выбьюсь. (Плачетъ.)

Погуляевъ. Перестаньте! Давайте, потолкуемъ.

Лиза. Я дѣвушка молодая, а взгляните, что на мнѣ! Мнѣ стыдно на улицу выйти. Я не хочу рядиться, мнѣ хоть бѣдное платье, да чтобъ оно было чисто, ново, по мнѣ сшито. Я хороша собой, молода—это ужъ вѣдь мое; мнѣ хочется, чтобы и люди видѣли, что я хорошенькая; а у меня сердце замираетъ, какъ я начну надѣвать эти лохмотья; я только себя уродую. (Плачетъ.)

Погуляевъ. Да перестаньте-же, перестаньте! Ахъ, Боже мой! Потолкуемъ такъ, безъ слезъ.

Лиза. Легко вамъ говорить: «безъ слезъ!» Да и что толковать! Намъ, бѣднымъ людямъ, толковать некогда. Вы мнѣ работу дайте! Пусть она будетъ вдвое, втрое труднѣе, только-бы мнѣ денегъ больше вырабатывать, чтобъ комнату нанять посвѣтлѣе, да одѣться почище.»

Погуляевъ. Я вамъ найду работу, погодите.

Лиза. Найдите, только поскорѣй. Мнѣ ужъ надоѣла нужда, я выбилась изъ силъ. Если найдете, я вамъ буду очень благодарна.

И неужели найдется человѣкъ, который рѣшится бросить камнемъ въ подобнаго рода дѣвушку, когда, удрученная неблагодарной работой, и видя, что совсѣмъ выбивается изъ силъ, въ отчаяніи она рѣшится свернуть на какую-нибудь страшную дорогу, руко-

водствуясь при этомъ чувствомъ самоотверженія, желая, чтобы дорогія ей существа хоть сколько нибудь пригрѣлись. И Лиза была близка къ этому ужасному шагу, еслибы Погуляевъ не предложилъ ей руку и сердце. Но и выходя замужъ за него на безпечальное житье, Лиза не покидаетъ своего прежняго пути труда и самопожертвованія.

— «А вы меня выучите такой работѣ, — говоритъ она жениху, — за которую много денегъ даютъ?

Погуляевъ. Да зачѣмъ вамъ теперь?

Лиза. А затѣмъ, чтобъ помогать бѣднымъ дѣвушкамъ. Много ихъ въ такомъ положеніи, въ какомъ я была.»

Лучше, выше, святѣе этихъ словъ вы не услышите во всѣхъ десяти томахъ сочиненій Островскаго, ни отъ одной изъ 44 героинь его. Здѣсь мы дошли до такой высоты, выше которой современную русскую женщину трудно себѣ представить, и, дойдя до такой высоты, мы чувствуемъ, что поднялись на самую вершину горы и намъ остается только перевести духъ и положить перо, предоставивши читательницамъ нашимъ самимъ выбирать, на какую изъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами героинь Островскаго желали-бы онѣ походить.

1891.

КОЕ-ЧТО ИЗЪ МОИХЪ ЛИЧНЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

I.

Я поступилъ въ университетъ въ 1856 году, когда университеты только-что наполнялись послѣ того ограниченнаго комплекта студентовъ, какой былъ вплоть до конца 1855 года. Если на всѣхъ прочихъ факультетахъ курсы были малолюдны, то филологическій факультетъ, который я избралъ, никогда не отличавшійся большимъ количествомъ слушателей, доходилъ въ этомъ отношеніи до послѣднихъ крайностей. Довольно сказать, что, когда я поступилъ, второй курсъ состоялъ лишь изъ трехъ студентовъ, а третій—изъ одного. Можете себѣ представить завидное въ своемъ родѣ привилегированное положеніе этого единственнаго представителя цѣлаго курса, для котораго, для одного, обязаны были являться въ назначенные часы профессора и читать ему лекціи, раскатывавшіяся звонкимъ эхо по пустой аудиторіи, а съ другой стороны—возьмите въ соображеніе и поистинѣ плачевную участь студента, который постоянно на виду и обязанъ изображать изъ себя слушателя, вниманіе котораго поглощено рѣчью профессора... А какъ снотворны бывали подчасъ эти рѣчи, Боже мой, какъ снотворны! А порой какъ трудно было воздержаться отъ смѣха! Извольте не сморгнуть глазомъ, не улыбнуться!.. Положеніе было по-истинѣ трагическое!.. Казалось-бы, какое свѣтило должны были-бы создать изъ студента, для котораго, для одного, существовалъ факультетъ и на котораго одного было обращено все вниманіе! И вообразите, никакого свѣтила не получилось. Студентъ, пользовавшійся такими шансами, какими по всей вѣроятности никогда не пользовался ни въ Россіи ни заграницей ни одинъ простой смертный, къ сожалѣнію мало того, что не отличался обширными умственными способностями, но былъ сверхъ того хромъ на одну ногу и ходилъ на костыляхъ, вслѣдствіе чего студенты прозывали курсъ, на которомъ онъ находился, хромымъ курсомъ. Удивительно, какъ глупо распоряжается жизнь своими силами и средствами и какъ не умѣетъ она пользоваться благопріятными обстоятельствами для созданія геніевъ!..

Курсъ, на который я поступилъ, состоялъ изъ восьми студентовъ. Это была уже аудиторія, хотя и помѣщавшаяся вся въ первомъ ряду партъ. Нужно-ли и говорить о томъ, что восемь студентовъ-однокурсниковъ, при общности развитія, лекцій и всѣхъ прочихъ студенческихъ интересовъ, быстро сблизились между собой, сдружились и составили замкнутый кружокъ. Былъ впрочемъ у насъ и девятый однокурсникъ, но онъ съ нами не могъ сблизиться, такъ какъ почти цѣлый годъ мы его не видали; онъ очень рѣдко являлся въ университетъ, чуть не гимназистомъ еще начавши вращаться уже въ литературныхъ кружкахъ, и только въ концѣ учебнаго года онъ выплылъ и готовился вмѣстѣ съ нами къ экзаменамъ, а затѣмъ опять исчезъ, какъ комета. Это былъ извѣстный авторъ «Петербургскихъ трущобъ», г. В. Крестовскій. Онъ былъ въ то время еще свободомыслененъ, писалъ стихи, подражая Некрасову, и производилъ этими стихами большой фуроръ на студенческихъ сходкахъ, тѣмъ болѣе, что—надо отдать ему справедливость—дикція у него была превосходная и читалъ онъ стихи и свои, и чужіе очень хорошо, недаромъ онъ былъ ученикомъ почтеннаго В. И. Водовозова.

Въ короткое время экзаменаціонной горячки сблизиться съ нашимъ кружкомъ онъ конечно не успѣлъ: не до того въ это время было. Тѣмъ не менѣе я помню, какъ во время приготовленія не то по богословію, не то по греческому языку онъ очень горячо и рьяно старался обратить меня на путь всяческихъ отрицаній. Такимъ образомъ, какъ это ни странно, но я долженъ признаться, что первыя сѣмена свободомыслія посѣялъ въ меня авторъ «Панургова стада». И затѣмъ я съ нимъ въ жизни уже не встрѣчался.

Нашъ-же студенческій кружокъ чуждался заразы вѣка и отличался большой солидностью. Нашъ девизъ заключался въ томъ, чтобы ничѣмъ не увлекаться, ко всему относиться скептически и погружаться съ головою въ область науки. Я не намѣренъ впрочемъ много распространяться о духѣ, господствовавшемъ въ нашемъ студенческомъ кружкѣ, такъ какъ объ этомъ много уже говорилось въ нашей печати въ

статьѣ Писарева «Университетская наука». Замѣчу только, что, какъ мы ни серьезничали и ни проникались научными интересами, жизнь не переставала стучаться въ наши двери, врываться во всѣ щелочки и брала свое; молодая кровь кипѣла въ жилахъ, и мы хотя и чуждались общественныхъ вопросовъ, все-таки ко многому относились критически, и съ каждымъ днемъ наша юная критика захватывала новыя и новыя области.

Во главѣ нашего кружка стоялъ младшій братъ А. Н. Майкова—Леонидъ Николаевичъ, человѣкъ съ обширными связями и литературными, и иными, владѣвшій обширной библіотекой и никогда не отказывавшій товарищамъ ни въ совѣтѣ, ни въ книгѣ, ни въ протекціи по части снисканія какого-нибудь литературнаго заработка, урока, а впослѣдствіи даже и служебнаго мѣста. Затѣмъ большимъ авторитетомъ пользовались Петръ Николаевичъ Полевой, Егоръ Егоровичъ Замысловскій, Викентій Васильевичъ Макушевъ и Филиппъ Филипповичъ Ординъ. Изъ этихъ четырехъ столповъ кружка трое (Полевой, Замысловскій и Макушевъ) обратились впослѣдствіи въ столпы науки, сдѣлавшись извѣстными профессорами и учеными. Одному Ордину факультетская наука впрокъ не пошла, такъ какъ онъ превратился въ адвоката. Что касается трехъ остальныхъ членовъ кружка—Дмитрія Ивановича Писарева, Николая Алексѣевича Трескина и меня грѣшнаго, то мы играли роль блудныхъ сыновъ кружка, такъ какъ оказались слишкомъ ужъ живыми людьми, чтобы углубится въ одну какую-нибудь спеціальность, легкомысленно порхали по всѣмъ факультетскимъ наукамъ, а главное—то и дѣло увлекались такими вещами, которыми увлекаться въ нашемъ кружкѣ строго запрещалось. Я никогда по крайней мѣрѣ не забуду той головомойки, какую мнѣ пришлось вынести отъ товарищей, когда, оторвавшись отъ Кирши Данилова и Нестора, я погрузился въ чтеніе «Политической экономіи» Милля...

Леонидъ Николаевичъ Майковъ жилъ въ это время съ родителями на Б. Садовой, въ домѣ Куканова, противъ Юсупова сада. Я часто бывалъ у него и одинъ, и съ товарищами; случалось нерѣдко и ночевать у него, долго засидѣвшись, такъ какъ жилъ я далеко, на окраинѣ города. Такимъ образомъ это былъ первый литературный домъ, съ которымъ я познакомился, и въ немъ впервые мнѣ пришлось увидѣть литераторовъ.

О семействѣ Николая Аполлоновича и Евгеніи Петровны Майковыхъ существуетъ уже не мало воспоминаній въ нашей литературѣ,—начиная съ И. И. Панаева и другихъ. Это былъ литературный салонъ, игравшій нѣкогда очень видную роль въ передовыхъ кружкахъ 40-хъ годовъ. Сюда стекались всѣ молодые корифеи, группировавшіеся вокругъ «Отечественныхъ Записокъ»; здѣсь Гончаровъ училъ маленькаго А. Майкова россійской словесности, а затѣмъ вокругъ Валеріана Майкова группировались передовые люди болѣе юной формаціи...

Въ мое время старики Майковы жили уже болѣе замкнутой жизнью. Изъ литературныхъ корифеевъ я встрѣчалъ здѣсь лишь стараго друга дома—Гончарова, Дудышкина, Громеку; разъ или два при мнѣ заглянулъ Писемскій. Гончаровъ, при своей замкнутости, вѣчномъ спокойствіи, отсутствіи малѣйшей экспансивности и подъема тона, не оставилъ во мнѣ ровно никакихъ впечатлѣній и воспоминаній. Къ тому-же онъ мало сближался съ молодежью, сидѣлъ всегда на почетныхъ мѣстахъ и чинно бесѣдовалъ съ старшими. Примѣру его слѣдовалъ и тучный, отяжелѣвшій, неповоротливый въ своихъ движеніяхъ и молчаливый Дудышкинъ. Совсѣмъ другое представляли собой Писемскій и Громека. Писемскаго я встрѣтилъ въ 1861 или въ 62-мъ годахъ, какъ разъ тогда, когда онъ писалъ свое «Взбаломученное море»... Я никогда, ни до того, ни послѣ того, не встрѣчалъ такого крайняго озлобленія противъ молодежи, какое обнаруживалъ Писемскій. Очень можетъ быть, что присутствіе двухъ-трехъ молодыхъ людей его приподорило, но только онъ былъ по-истинѣ безпощаденъ, и между тѣмъ какъ я съ Л. Н. Майковымъ и еще съ кѣмъ-то изъ нашихъ ходили взадъ и впередъ по залѣ, прислушиваясь къ его рѣчамъ и едва удерживаясь отъ смѣха, Писемскій, какъ градомъ, осыпалъ насъ самыми энергическими выраженіями, и его голосъ такъ и гремѣлъ по всей залѣ къ общему смущенію всей публики.

Но это была лишь головомойка, которой насъ удостоили съ высоты Олимпа; Громека-же, какъ болѣе простой смертный, снисходилъ до споровъ съ нами, и не разъ я схватывался съ нимъ, защищая свое поколѣніе отъ его не менѣе безпощадныхъ нападокъ. Впрочемъ все это было въ 60-е годы, по выходѣ уже нашемъ изъ университета. Въ университетскіе годы, съ 1857 по 1861 г., никакихъ еще споровъ о поколѣніяхъ не было. Гончаровъ въ это время произвелъ всеобщую сенсацію своимъ «Обломовымъ», а Писемскій—романомъ «Тысяча Душъ». Въ эти годы семья Майковыхъ производила на меня самое свѣтлое и отрадное впечатлѣніе чего-то поистинѣ идеальнаго своимъ радушнымъ гостепріимствомъ, просвѣщенной гуманностью и проникновеніемъ всѣми высшими и умственными, и нравственными интересами. Предметомъ-же наибольшаго поклоненія всего нашего кружка былъ Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. Мы смотрѣли на него въ то время вовсе не какъ на поэта чистаго искусства и увлекались не однѣми художественными красотами его произведеній, а видѣли въ немъ властителя нашихъ думъ, самаго передового изъ всѣхъ передовыхъ поэтовъ своего времени, откликающагося на всѣ роковые вопросы его. Мы зачитывались его «Клермонтскимъ соборомъ», «Саванаролою», «Двумя міра̀ми» и проч. Отголосокъ этого поклоненія А. Н. Майкову вы можете видѣть въ первомъ томѣ сочиненій Д. И. Писарева, гдѣ онъ между прочимъ говоритъ: «Майкова я уважаю, какъ умнаго и современнаго развитого человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго трезвое міросозерцаніе», и т. д.

А. Н. Майковъ повидимому цѣнилъ наше поклоненіе ему, и двери дома его (онъ жилъ отдѣльно отъ своихъ родителей) были всегда открыты для насъ. Не знаю, какъ теперь, а въ то время онъ не

чуждался молодежи, бесѣдовалъ съ нами, какъ старшій братъ, и читалъ намъ свои стихотворенія. Я никогда не забуду нашей прощальной студенческой пирушки по окончаніи курса. Въ восемь часовъ утра въ двухъ каретахъ мы отправились на второе озеро теперешнихъ «Озерковъ». Нынѣ тамъ возникъ цѣлый городъ дачъ и кипитъ втеченіи лѣта самая оживленная жизнь, а въ то время это было мѣсто необитаемое, сплошь поросшее лѣсомъ и очень поэтическое. Тамъ, на берегу озера, мы расположились, окруженные добрымъ строемъ бутылокъ, и до поздняго вечера пиршествовали, прощаясь съ золотыми годами нашего студенчества. А не подалеку, въ первомъ Парголовѣ, жилъ А. Н. Майковъ, извѣстный парголовскій старожилъ. Выйдя гулять случайно, а можетъ и нарочно, онъ набрелъ на нашу пирующую компанію, пристalъ къ ней и каждому изъ насъ сказалъ нѣсколько теплыхъ напутственныхъ словъ. На мою долю досталось отъ него предостереженіе отъ увлеченія всякаго рода модными вѣяніями. Должно быть, въ то время я уже заслуживалъ такого напутствія, и на меня начинали смотрѣть и въ кружкѣ, и въ семьѣ Майковыхъ, какъ на человѣка, болѣе другихъ легкомысленнаго и менѣе подающаго надеждъ на солидность и трезвенность взглядовъ.

Чувствую, что всѣ эти переданные мною факты ровно никакого значенія для литературы не имѣютъ. Да я вовсе и не думаю сообщать какія-бы то ни было важныя свѣдѣнія, могущія войти въ чью-либо біографію. Я копаюсь въ прошломъ ради собственнаго своего удовольствія, чтобы отдохнуть душой въ области этого прошлаго, а тамъ,—будетъ-ли это кому-нибудь нужно, или не будетъ – объ этомъ я не думаю. Вы не можете себѣ представить, какъ-бы я желалъ хоть однимъ глазомъ взглянуть на тотъ маленькій кабинетикъ Л. Н. Майкова, гдѣ было нами столько переговорено, переспорено, пережито, гдѣ П. Н. Полевой удивлялъ насъ своей физической, медвѣжьей силищей и заставлялъ насъ завидовать своему счастью въ любви, а Д. И. Писаревъ, напротивъ того, терзаясь безнадежностью своей страсти къ жестокой кузинѣ, рыдалъ, билъ себя въ грудь и жаловался, что онъ ни на что не годенъ и никому не нуженъ; гдѣ молодежь иной разъ такъ расхаживалась подъ вліяніемъ Вахуса, что схватывалась въ присядку, гдѣ наконецъ одинъ изъ членовъ молодой компаніи въ избыткѣ чувствъ обмолвился однажды такимъ экспромптомъ, выразившимъ всю поэзію жизни нашего кружка:

«Бутылка теплаго лафита,
Съ друзьями теплый разговоръ,
Лежанье на диванѣ, споръ,—
И ты живешь, живешь до-сыта.»

Да, въ то время мы жили до сыта! Кружокъ нашъ конечно далеко не имѣетъ такого значенія, какъ иные, болѣе важные въ исторіи развитія нашего общества кружки. Но мнѣ все-таки глубоко жалко и больно, что въ литературѣ онъ извѣстенъ съ однѣхъ только своихъ отрицательныхъ сторонъ. Дѣйствительно, въ насъ было много резонерства не по лѣтамъ, отвлеченнаго буквоѣдства; но, какъ я сказалъ уже выше, жизнь все-таки пробиралась къ намъ во всѣ щелки, и какая еще бурная жизнь,—а мы были молоды... Нашъ кружокъ рисуется съ невыгодной для него стороны лишь по сравненію его съ другими кружками того-же времени, что̀ Писаревъ и дѣлаетъ въ своей «Университетской наукѣ». Ну, а если вы вздумаете сравнить его съ студенческими-же кружками послѣдующихъ годовъ, то мы еще поспоримъ. Писаревъ разошелся съ нами и ушелъ отъ насъ въ противный лагерь. Вслѣдъ за Писаревымъ ушелъ и я; а затѣмъ и весь кружокъ распался, какъ распадаются и всѣ кружки: каждый изъ насъ пошелъ своей дорогой. Но было бы ошибочно предполагать, чтобы все то, что Писаревъ проводилъ въ своихъ статьяхъ, радикально расходилось съ тѣмъ,. что̀ говорилось въ кружкѣ, чтобы многіе изъ нашихъ разговоровъ и споровъ цѣликомъ не вошли въ эти самыя статьи. Я по крайней мѣрѣ этого не скажу о себѣ.

Но чѣмъ безспорно я и вѣроятно всѣ прочіе члены обязаны кружку, это страстью къ книгѣ, уваженіемъ къ наукѣ, привычкой добросовѣстно относиться ко всякой работѣ. А этого развѣ мало?

II.

Уже на университетской скамьѣ многіе изъ нашего кружка начали обнаруживать литературныя наклонности и въ свободные отъ университетскихъ занятій часы пописывать не только для самихъ себя, но и для публики. Писали мы и рецензіи для «Отечественныхъ Записокъ», дѣлали переводы (между прочимъ перевели сообща «Саламбо» Флобера, а я сверхъ того исправлялъ слогъ перевода «Макравіотики» Гуфеланда). Въ 1862 году въ «Отечественныхъ Запискахъ» появилась моя драма въ пяти дѣйствіяхъ подъ заглавіемъ «Кругликіе». Долго я возился съ этой злополучной драмой, терпя различныя fiasco: и обсчитали то меня въ «Отечественныхъ Запискахъ», такъ какъ обѣщались заплатить рублей 300, а заплатили всего 200, безъ церемоніи заявивши, что никакъ не воображали, что драма выйдетъ въ печати такая большая, а новичкамъ они такъ много не платятъ. Затѣмъ, мечтая видѣть свое дѣтище на сценѣ, обращался я и къ Максимову I, и очень былъ удивленъ, увидя этого знаменитаго въ то время jeune premier и любимца публики въ видѣ пожилого господина съ сморщеннымъ смуглымъ лицомъ и съ черными зубами. Обращался я и къ Ивану Ѳед. Горбунову, тогда еще молодому человѣку, который очень меня обласкалъ, но дипломатично отклонился отъ принятія моей пьесы для своего бенефиса. Хлопоты мои прекратились лишь тогда, когда театральная цензура забраковала мою драму. Театральная цензура имѣла полное основаніе сдѣлать это съ пьесою, которая вмѣстѣ съ юношескимъ задоромъ обнаруживала и столь же юношескую незрѣлость. Какъ ни элементарны вкусы публики Александринскаго театра, тѣмъ не менѣе она все-таки была-бы удивлена при видѣ канцелярскаго служителя, обитателя Галерной гавани, свирѣпо убивающаго кинжаломъ своего начальника отдѣленія, чтобы заступиться за поруганную честь своей сестры. Но я въ то время никакихъ по-

добныхъ резоновъ принять въ соображеніе не могъ и считалъ себя глубоко обиженнымъ и оскорбленнымъ, въ своемъ родѣ мученикомъ за правду.

Но главнымъ нашимъ литературнымъ убѣжищемъ былъ журналъ для дѣвицъ «Разсвѣтъ», издававшійся въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ г. Кремпинымъ. Кремпинъ былъ довольно еще молодой человѣкъ, военный; судя по тому, что онъ жилъ въ одной изъ глухихъ улицъ Петербургской стороны, надо полагать, что онъ занималъ какой-нибудь педагогическій постъ въ одномъ изъ находившихся въ той мѣстности кадетскихъ корпусовъ. Жилъ Кремпинъ въ своей глуши, сколько мнѣ помнится, очень скромно, и какъ мѣсто редакціи,—не то въ какой-то Плуталовой, не то въ Беззаборной улицахъ,—такъ и вся обстановка редакціи не представляли собой ничего блестящаго. Но зато сколько радужныхъ мечтаній проносилось конечно при открытіи журнала въ головѣ издателя, разгоряченной поднятіемъ общественнаго духа въ то достославное время. Тогда не было еще никакихъ женскихъ курсовъ, ни даже женскихъ гимназій, и большинство русскихъ дѣвушекъ, получавшихъ домашнее воспитаніе, были вполнѣ кисейными барышнями. Женскій вопросъ только-только что былъ поднятъ и на практикѣ осуществлялся лишь въ видѣ пресловутаго «развиванія» женщинъ. Забыты были въ то время и кадрили, и вальсы, и кавалькады, и общественныя гулянья. Вмѣсто того чтобы ухаживать за барышнями, молодые люди взапуски пустились развивать ихъ посредствомъ умныхъ разговоровъ и чтенія передовыхъ мыслителей русскихъ и европейскихъ. Послѣ первыхъ-же двухъ-трехъ словъ привѣтствій у молодыхъ людей появлялись уже на языкѣ имена: Бѣлинскій, Грановскій, Герценъ. «А прочли «Наканунѣ»?»—«А статья «Темное царство»—что, а? Какова?.. Не читали? Ахъ, какой стыдъ! Я завтра-же вамъ ее принесу!»...

Казалось-бы, что изданіе журнала, спеціально предназначеннаго для развитія дѣвицъ, было какъ нельзя болѣе кстати въ это горячее время и вполнѣ, такъ сказать, уловляло моментъ. Недаромъ издатель на свѣтло-желтой оберткѣ журнала печаталъ постоянно тенденціозную виньетку, изображавшую покоющуюся утреннимъ сномъ красавицу, надъ которой сіяли лучи восходящаго солнца. Но, какъ часто бываетъ въ жизни, уловляютъ моменты совершенно нежданно-негаданно такія изданія, которыя вовсе къ этому не прилагаютъ никакихъ стараній; изданія-же, спеціально предназначаемыя съ цѣлью уловленія момента, терпятъ постыдное и вмѣстѣ съ тѣмъ обидное крушеніе. Обыкновенно при этомъ выходитъ такъ, что были предусмотрѣны всѣ шансы успѣха; одинъ лишь былъ упущенъ изъ вида, а тотъ именно шансъ и оказывался самой главной причиной неудачи.

Впрочемъ относительно «Разсвѣта» нельзя даже и сказать, чтобы всѣ шансы были предусмотрѣны. Начать съ того, что журналъ, по всѣмъ видимостямъ, издавался на самыя скудныя средства. Ахнулъ-ли въ настоящемъ случаѣ капиталецъ, полученный Кремпинымъ въ приданое за женой, или это были его собственныя скромныя сбереженія, но очевидно была поставлена ребромъ послѣдняя копѣйка, которая и оказалась копѣйкой въ буквальномъ смыслѣ. Иначе чѣмъ-же было объяснить, что въ сотрудники приглашались не какія-нибудь извѣстныя и почтенныя литературныя имена, а начинавшіе студенты. Но и это былъ не главный еще шансъ неуспѣха «Разсвѣта». Начинаются-же изданія порой и безъ всякихъ средствъ и быстро становятся на ноги, пріобрѣтая тысячи подписчиковъ. Главная-же ахиллесова пята журнала заключалась въ ошибкѣ разсчета именно на ту самую женскую молодежь, для которой журналъ предназначался. Издатель упустилъ изъ виду, что наша русская молодежь изстари привыкла, едва выйдя изъ дѣтскихъ лѣтъ и вступивши въ отрочество (т. е. съ 15 лѣтъ), набрасываться на тѣ книги, которыя читаются взрослыми: на русскихъ и иностранныхъ классиковъ, на получаемые родителями журналы и т. п. Прочтите біографіи всѣхъ выдающихся русскихъ людей XIX столѣтія, и вы увидите, что всегда это было и вѣроятно всегда такъ и будетъ. Не говоря уже о томъ, что вполнѣ естественно у мальчика или дѣвочки съ пятнадцати лѣтъ является неудержимое стремленіе корчить изъ себя взрослыхъ въ гораздо большей степени, чѣмъ сами взрослые,—книги, читаемыя старшими, потому уже болѣе привлекательны, что составляются первыми талантами страны, а не безвѣстными педагогами и начинающими студентами. Отъ книжекъ, спеціально предназначавшихся для чтенія юношества, пахнетъ чѣмъ-то казеннымъ, принижающимъ и заставляющимъ юношу чувствовать себя недорослемъ, не способнымъ еще понимать то, что читаютъ взрослые. Подумайте, какъ это обидно! Въ силу всего этого у насъ могутъ имѣть успѣхъ дѣтскіе журналы, но предназначаемымъ спеціально для юношества всегда будетъ угрожать равнодушіе этого самаго юношества.

Особенно-же трудно было бороться съ этимъ равнодушіемъ «Разсвѣту» Кремпина, издававшемуся какъ разъ въ такое горячее время, когда подросточки въ 13—14 лѣтъ, подъ вліяніемъ усердныхъ развивателей, хватались за Бѣлинскаго, Грановскаго и новыя книжки журналовъ. Въ то время молодой человѣкъ, увидя въ рукахъ барышни тоненькій журнальчикъ Кремпина, съ его пикантной виньеточкой, первымъ дѣломъ спѣшилъ ехидно осмѣять барышню, занимавшуюся такой игрой въ куклы, и спѣшилъ подсунуть ей иное, болѣе внушительное чтеніе. При такихъ условіяхъ «Разсвѣтъ», я уже не помню, выдержалъ-ли пять лѣтъ существованія и, подобно несчастному любовнику, погибъ въ борьбѣ съ равнодушіемъ прекраснаго пола, на благосклонности котораго онъ основалъ все свое существованіе.

Не помогли «Разсвѣту» всѣ наши юношескія усилія, ни статьи Писарева, успѣвшаго уже на страницахъ этого журнала обратить на себя вниманіе и публики, и прессы, ни начинанія г. Михайловскаго, въ свою очередь начавшаго свою литературную дѣятельность подъ крылышкомъ Кремпина, но вполнѣ независимо отъ насъ, такъ что мы даже и не подозрѣвали о его существованіи и сотрудничествѣ съ нами. Впрочемъ у Кремпина никакихъ ре-

дакціонныхъ собраній не было и съ каждымъ сотрудникомъ онъ имѣлъ дѣло отдѣльно: придешь, застанешь его всегда въ одиночествѣ, принесешь статейку, получишь скудный гонораръ,—и дѣло съ концомъ.

Послѣ окончанія курса въ спб. университетѣ въ 1861 году, несмотря на степень кандидата, мнѣ пришлось по крайней мѣрѣ лѣтъ пять колотиться, какъ рыба объ ледъ, снискивая самое скудное пропитаніе случайными заработками, имѣя къ тому-же на плечахъ мою милую и добрую матушку. Пробивался я уроками, служилъ даже нѣсколько мѣсяцевъ въ одной изъ петербургскихъ канцелярій на десятирублевомъ жалованьѣ и бѣжалъ оттуда, какъ изъ ада кромѣшнаго, давши себѣ клятву лучше согласиться умереть съ голоду подъ заборомъ, чѣмъ служить въ какой-бы то ни было канцеляріи и при какихъ-бы то ни было условіяхъ. Болѣе всего тянулъ меня къ себѣ литературный трудъ, хотя нужда заставляла меня не брезговать ничѣмъ, и доходило дѣло до писанія объяснительнаго текста къ картинкамъ «Воскреснаго Досуга», — иллюстрированной газетки для народа, которую издавалъ фотографъ Бауманъ, послѣ того какъ рушилась его «Иллюстрація».

Что касается послѣдняго факта, т. е разрушенія Баумановской «Иллюстраціи», то мнѣ пришлось принимать горячее участіе въ ея агоніи. До второй половины 1862 года редакторомъ «Иллюстраціи», какъ извѣстно, былъ В. Р. Зотовъ. Не знаю ужъ, что побудило В. Р. Зотова оставить редакцію «Иллюстраціи», но только мѣсто его занялъ теперь уже давно покойный Петръ Михайловичъ Цейдлеръ, большой другъ и пріятель А. Н. Майкова, воспѣтый имъ въ одномъ изъ лирическихъ стихотвореній, какъ идеальнѣйшій педагогъ, какого только можно себѣ представить. Позже мнѣ пришлось въ качествѣ учителя и воспитателя состоять подъ начальствомъ этого самаго П. М. Цейдлера и убѣдиться, что идеальнѣйшій педагогъ не въ художественной фантазіи благодушнаго поэта, а въ живой дѣйствительности представлялъ изъ себя самаго заурядnаго школьнаго администратора, не брезговавшаго и такими анти-педагогическими средствами, какъ организація шпіонства между воспитанниками. Но прежде чѣмъ познакомиться съ Цейдлеромъ, какъ съ педагогомъ, пришлось мнѣ имѣть съ нимъ дѣло, какъ съ редакторомъ, такъ какъ я былъ рекомендованъ ему А. Н. Майковымъ въ качествѣ фельетониста и критика, и съ сентября 1869 года принялъ постоянное участіе въ «Иллюстраціи».

Въ качествѣ редактора, Цейдлеръ въ первое-же свиданіе очаровалъ меня своимъ добродушіемъ, утонченнѣйшею любезностью и гуманностью. Довольно сказать, что съ первыхъ-же словъ онъ мнѣ, 24-лѣтнему юнцу, ничѣмъ еще себя не заявившему, предоставилъ полную свободу писать, что угодно и сколько угодно. У меня голова закружилась отъ такой льготы, и я началъ работать съ такимъ юношескимъ жаромъ, что имѣлъ возможность въ изданіи, выходившемъ разъ въ недѣлю, при весьма умѣренной платѣ (5 коп. за строчку) зарабатывать до 150 руб. въ мѣсяцъ. Чего только не помѣщалъ я на столбцахъ «Иллюстраціи»: восхвалялъ то Снѣткову, то Муравьеву, писалъ рецензіи новыхъ пьесъ, описывалъ танцклассы, какіе въ то время были въ особенной модѣ и открывались чуть не на каждомъ перекресткѣ; дѣлалъ характеристики современныхъ литературныхъ знаменитостей, замѣтки о новыхъ книгахъ и даже печаталъ стихи.

И все это Цейдлеръ помѣщалъ безъ малѣйшихъ препятствій и помарокъ. Понятно, что въ моихъ глазахъ онъ представлялся идеальнымъ редакторомъ, передъ которымъ мнѣ оставалось только преклоняться. Но я заблуждался, подобно А. Н. Майкову, потому что на самомъ дѣлѣ трудно было сдѣлать болѣе неудачный выборъ въ качествѣ редактора П. М. Цейдлера. Можетъ быть въ болѣе юные годы онъ выказывалъ большую энергію въ своихъ и педагогическихъ, и литературныхъ трудахъ, но въ качествѣ редактора угасавшаго иллюстрированнаго изданія онъ представлялъ собой добродушно-улыбающагося увальня, очень неохотно покидающаго свое комфортабельное кресло передъ письменнымъ столомъ и предоставлявшаго журналу полное laissez faire, laissez passer. Набралъ онъ съ борка да съ сосенки первыхъ попавшихся ему подъ руку сотрудниковъ, и что-бы они ни писали, все сходило съ рукъ; онъ, бывало, и глазомъ не моргнетъ. Мало-мальски опытный редакторъ конечно не допустилъ-бы такого юнца, какимъ былъ я, до писанія театральныхъ хроникъ и характеристикъ разныхъ явленій общественной жизни, а предоставилъ-бы на мою долю однѣ критическія и библіографическія статейки. Цейдлеръ-же, какъ я имѣю основаніе полагать, многаго даже и не читалъ изъ того, что печаталось при немъ въ «Иллюстраціи», предоставивъ чтеніе на долю корректоровъ. Корректора же въ свою очередь не читали корректуръ, о чемъ можно судить по слѣдующимъ фактамъ. Между прочимъ былъ помѣщенъ въ «Иллюстраціи» портретъ Некрасова; я написалъ къ этому портрету статейку о немъ. Я въ то время очень увлекался Некрасовымъ, и статейка была конечно ужъ самаго хвалебнаго характера. И представьте же себѣ мой ужасъ: разбойники наборщики вездѣ, гдѣ у меня было употреблено слово «элегіи», набрали «ахинеи»,—такъ это и осталось непоправленнымъ, и статья, вмѣсто хвалебнаго, приняла характеръ непозволительно ругательный: что-же могло быть хуже, какъ не наименованіе нѣсколько разъ произведеній Некрасова ахинеями, и это въ панегирической статьѣ къ портрету!..

Въ другой разъ тѣ же наборщики заставили меня невольно оскорбить Бурдина, набравши вмѣсто «самодурныя роли Бурдина» «самая дурная рожа г. Бурдина», и это въ свою очередь прошло незамѣченнымъ ни корректоромъ, ни самимъ редакторомъ. Однимъ словомъ, въ послѣдніе мѣсяцы существованія «Иллюстраціи» редакція представляла собой царство всеобщаго сна. При такихъ условіяхъ газета едва могла дотянуть до апрѣля 1863 года и тихо скончалась на рукахъ П. М. Цейдлера и его сотрудниковъ, окружавшихъ смертный одръ уми-

рающей. Мѣсто ея занялъ скромный и дешевенькій «Воскресный Досугъ», который Бауманъ началъ издавать спеціально для народнаго чтенія, а главное дѣло—потому что у него накопилась масса старыхъ клише за многіе годы изданія «Иллюстраціи»...

III.

Послѣ гибели «Иллюстраціи» мое матеріальное положеніе снова сдѣлалось очень плачевно, такъ какъ дешевенькіе урочки и писаніе объяснительныхъ статеекъ къ картинкамъ «Воскреснаго Досуга» доставляли мнѣ весьма ограниченныя средства. И вдругъ, въ одинъ очень скверный день, когда въ карманѣ моемъ наиболѣе свистѣлъ и вылъ буйный вѣтеръ, мнѣ открылись въ перспективѣ цѣлыя горы золотыхъ розсыпей. Неожиданно я получилъ загадочное письмо отъ Виктора Павловича Гаевскаго, знавшаго меня лично черезъ своего зятя, а моего сотоварища, Петра Николаевича Полевого. Въ письмѣ этомъ В. П. Гаевскій приглашалъ меня какъ можно скорѣе явиться къ нему. Я явился, и Гаевскій заявилъ мнѣ, что въ Рыбинскѣ основывается биржевая газета; ищутъ литератора, который взялъ-бы на себя редакторскую часть газеты, и готовы предложить ему очень почтенное вознагражденіе за труды. Такъ вотъ, не желаю-ли я взять на себя это дѣло?

На меня, который до того дня и вблизи не видалъ, какъ издаются ежедневныя газеты, предложеніе Гаевскаго произвело такое-же ошеломляющее впечатлѣніе, какъ еслибы наканунѣ турецкой войны пригласили меня въ главный штабъ и предложили, не желаю-ли я принять на себя должность главнокомандующаго надъ всею русскою арміею. Дѣло шло мало того, что объ изданіи ежедневной газеты, но какой-то еще биржевой, и притомъ въ такомъ невѣдомомъ мнѣ торговомъ котлѣ, какимъ представлялся городъ Рыбинскъ.

Я конечно высказалъ Виктору Павловичу всѣ сомнѣнія по этому поводу; но онъ, со своимъ ораторски-адвокатскимъ даромъ, вмигъ разсѣялъ всѣ эти сомнѣнія. «Что касается содержанія газеты,—приводилъ онъ мнѣ свои убѣдительные доводы,—то это будетъ вовсе не ваше дѣло; объ этомъ вамъ нечего безпокоиться: они сами, эти купцы, которые предпринимаютъ изданіе, знаютъ, чѣмъ наполнить газету сообразно потребностямъ и нуждамъ своихъ торговыхъ дѣлъ. Но понимаете, что всѣ они—полуграмотны; они нуждаются въ литературно-образованномъ человѣкѣ, который весь матеріалъ, имѣющійся въ ихъ рукахъ, оформилъ-бы, придалъ ему литературный видъ. Придется даже исправлять грамматическія ошибки, разставлять гдѣ нужно *ъ*, гдѣ нужно *е*. Ну, и затѣмъ на рукахъ редактора должно лежать самое веденіе газеты, расположеніе статей, корректура, своевременный выходъ нумеровъ» и т. п.

— Вотъ этой-то газетной механики я и не знаю совсѣмъ,—возражалъ я.—Никогда даже и вблизи не приходилось видѣть, какъ составляются газетные нумера...

— Да это такое простое и пустое дѣло, что стоитъ присмотрѣться къ нему два-три дня, и вы тотчасъ-же поймете, въ чемъ суть. Затрудняться этимъ даже смѣшно. И пособить этому горю какъ нельзя болѣе легко. Я вамъ сейчасъ напишу письмецо къ Валентину Ѳедоровичу Коршу. Онъ конечно съ удовольствіемъ допуститъ васъ присутствовать при составленіи нумеровъ. Вы можете оказать ему даже пользу, продержавъ какую-нибудь спѣшную корректурку. Два-три дня походите и увидите, что на четвертый день вамъ ничего не будетъ стоить хоть самимъ единолично составить нумеръ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»...

Но не столько конечно убѣдило меня краснорѣчіе В. П. Гаевскаго, сколько мое собственное желаніе подчиниться доводамъ его. Такъ голодно и холодно жилось мнѣ безъ малѣйшей увѣренности, буду-ли я сытъ завтра, что перспектива стать во главѣ газеты и сдѣлаться редакторомъ ея съ гонораромъ по крайней мѣрѣ въ двѣ тысячи рублей, а можетъ быть и больше, могла закружить голову молодого человѣка хотя-бы въ видахъ одного матеріальнаго обезпеченія, не говоря о всемъ прочемъ. По крайней мѣрѣ я шелъ отъ Гаевскаго, не слыша земли подъ собою и крѣпко сжимая въ рукѣ два рекомендательныхъ письма, лежавшихъ въ моемъ карманѣ: одно было В. Ѳ. Коршу; другое—Ивану Александровичу Жукову, который готовился въ то время издавать «Рыбинскій Биржевой Листокъ» и искалъ редактора, который зналъ-бы, гдѣ слѣдуетъ ставить букву *ъ*, гдѣ букву *е*. Къ нему-то и направлялъ я свои стопы.

Рекомендательное письмо, которое должно было свести меня съ будущимъ издателемъ «Рыбинскаго Листка», было написано Гаевскимъ не прямо Ивану Александровичу Жукову, а къ какому то его знакомому, фамилія котораго не осталась въ моей памяти. Помню только, что гдѣ-то, не то въ Коломнѣ, не то на Пескахъ, спотыкаясь по темной, узкой и грязной лѣстницѣ и представляя собой олицетвореніе человѣка, взбирающагося по скользкимъ и опаснымъ ступенямъ славы и богатства, я поднялся въ третій этажъ и не безъ тревоги дернулъ за ручку звонка, еще разъ ощупавши въ карманѣ письма, не выронилъ-ли я ихъ, взбираясь по лѣстницѣ. Дверь отворилась, и я, въ сопровожденіи молоденькой горничной, вошелъ въ переднюю. Въ передней дорогу мнѣ загораживала игрушечная лошадка съ оторваннымъ хвостомъ и мордой и нестерпимо пахло дѣтскими пеленками. Я преодолѣлъ всѣ эти аттрибуты семейной жизни и, передавши пальто горничной, вошелъ въ залу, гдѣ меня встрѣтилъ самъ хозяинъ.

Это былъ средняго роста и среднихъ лѣтъ господинъ съ чиновничьимъ отпечаткомъ на лицѣ, сухощавый, съ угловато-нервными движеніями и жилистый до такой степени, что напоминалъ тѣхъ кровавыхъ людей съ ободранной кожей, какіе рисуются въ анатомическихъ атласахъ.

Лицо его, и безъ того вытянутое, еще болѣе вытянулось и жилки натянулись на лбу, пока онъ глубокомысленно читалъ рекомендательное письмо, но, когда кончилъ чтеніе, черты лица обратно съежились,—и онъ просіялъ.

— Садитесь,—сказалъ онъ добродушнымъ то-

номъ,—не угодно-ли папиросочку, сигарочку, чайку?.. Хе, хе хе!.. Такъ вы отъ Виктора Павловича? Очень радъ, очень радъ-съ! Да-съ, я просилъ его. Онъ такой добрый... Ужъ если онъ рекомендовалъ, такъ ужъ это конечно нечего и говорить. Ужъ я увѣренъ, что вы не скомпрометтируете ни Виктора Павловича, ни меня.

— Вѣроятно Викторъ Павловичъ не рекомендовалъ-бы меня, еслибы ожидалъ, что я скомпрометтирую его,—отвѣчалъ я, садясь.

— Такъ-съ, такъ-съ, конечно. Ужъ если Викторъ Павловичъ, такъ чего лучше. А вы русскій?

Надо замѣтить при этомъ, что вопросъ этотъ былъ сдѣланъ не спроста. Дѣло было въ 1864 году, т. е на другой годъ послѣ польскаго повстанія, и въ то время, благодаря моей фамиліи на *ский*, многіе задавали мнѣ такой вопросъ.

— Я русскій,—отвѣчалъ я,—а мой отецъ былъ хохолъ.

— Ну, вотъ и прекрасно!.. Чего-же лучше-съ!.. хе!.. хе!.. хе!.. — Въ самомъ дѣлѣ? А вѣдь и я хохолъ.

— Я вамъ завидую, право—продолжалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія:—вѣдь, вы оттуда богачемъ пріѣдете...

— Вашими-бы устами да медъ пить...

— Помяните меня, что богачемъ! Тамъ вѣдь все бородачи-милліонеры. Вы тамъ, поди-ка, порастрясете кошельки-то у нихъ!.. хе!.. хе!.. хе!.. Кабы не служба да не семья, я-бы и самъ туда поѣхалъ, непремѣнно поѣхалъ... Ну, да я какъ-нибудь лѣтомъ урвусь, пріѣду къ вамъ стерлядей поѣсть.

— Милости просимъ, буду ждать!

— А вотъ сейчасъ придетъ и Андрей Ивановичъ Жуковъ,—дядя того купца, что думаетъ газету издавать. Я васъ съ нимъ и познакомлю. Это, я вамъ скажу, замѣчательный человѣкъ, совѣтую обратить вниманіе на него. Онъ хлѣбными подрядами нажилъ милліонъ, потомъ обанкротился и теперь снова наживаетъ милліонъ. При Дворѣ его знаютъ. Но человѣкъ, надо вамъ сказать, въ то-же время честнѣйшій. Люди его обижаютъ, а самъ онъ не обидитъ и курицы. А сила, я вамъ скажу, у него такая, что онъ кочерги гнетъ, какъ тросточки, а подковы, что твои бисквиты.

А. И. Жуковъ былъ легокъ на поминѣ; раздался звонокъ, и въ комнату явился высокій, дюжій купчина, косая сажень въ плечахъ. Но толстота его была не обыкновенная, купеческая, разсыпчатая и дряблая, а мускулистая, богатырская: онъ былъ весь словно вылитъ изъ желѣза. Размѣры тѣла его, ручищи, ножищи поражали свою массивностью. Онъ былъ одѣтъ по-европейски, брилъ бороду и носилъ старомодныя жабо, напоминая собой не столько россійскаго купца, сколько французскаго или англійскаго фабриканта, буржуа 30-хъ годовъ.

Хозяинъ отрекомендовалъ ему меня, назвавши по имени и отчеству.

— Прошу быть знакомыми, Александръ Михайловичъ,—произнесъ Жуковъ, сжимая въ своей желѣзной десницѣ мою руку: —любить да жаловать!

— Тоже малороссъ, какъ и я,—замѣтилъ хозяинъ.

— Ну, что-жъ, и отлично! Малороссы—люди честные, а въ этомъ дѣлѣ намъ нарочито нуженъ человѣкъ честный. Черезъ ваши руки будутъ проходить тысячи,—говорилъ Жуковъ медленно и съ разстановкой.

— Ихъ рекомендовалъ Викторъ Петровичъ Гаевскій.

— Какой это такой Гаевскій?

— А это очень почтенный и уважаемый человѣкъ, въ молодыхъ лѣтахъ и генералъ, сынъ сенатора,—сказалъ хозяинъ внушительнымъ тономъ.

— Ну, коли сынъ сенатора и самъ генералъ, конечно ужъ онъ знаетъ, кого рекомендуетъ. А то мой племянникъ откуда-то двухъ литераторишекъ выкопалъ, оборванные такіе. Чортъ ихъ знаетъ, на лбу у нихъ не написано, что они литераторишки. Хоть-бы въ паспортахъ прописывали! А то можетъ быть и ни на есть какіе мазурики! Такіе запивохи оказались, не знали мы, какъ отъ нихъ отдѣлаться. деньгами готовы были откупиться.

— Они въ разныхъ газетахъ и журналахъ участвовали,—замѣтилъ обо мнѣ хозяинъ.

— Значитъ, знаете всю эту газетную процедуру?

— Знаю,—отвѣчалъ я,—насколько могу быть вамъ полезенъ.

— Вотъ эта самая суть-то и есть. Гдѣ-же моему племяннику справиться самому. Отъ барокъ да отъ хлѣба пришло вдругъ въ голову людей смѣшить, газету печь. Очень пріятно съ хорошимъ человѣкомъ познакомиться. Вы холостой?

— Холостой.

— Значитъ, мы васъ тамъ женимъ на богатой купчихѣ. Смотрите, счастье себѣ у насъ тамъ составите. Родные есть у васъ?

— Есть — матушка.

— Съ ней и живете?

— Да, съ ней.

— Ну, значитъ и ее тащите съ собой. Главное дѣло, умѣйте только поставить себя съ купцами,—первый человѣкъ будете, шапки вамъ будутъ снимать на улицѣ. Еще бы!.. Нужный человѣкъ: въ вашихъ рукахъ будутъ всѣ торговыя объявленія, что кому нужно, всѣ къ вамъ будутъ обращаться. Ну, а жизнь тамъ дешева такъ, что не будете знать, куда и деньги дѣвать, не закутите только. Стерляди тамъ ни по чемъ: когда хорошій ловъ, по улицамъ валяются...

Въ такомъ родѣ долго еще продолжался разговоръ. Жуковъ далъ мнѣ адресъ своего племянника, сказалъ, чтобы я на другой день утромъ часамъ къ 11 пришелъ къ нему, и что онъ самъ тамъ будетъ и представитъ меня.

На другой день ровно въ 11 часовъ я былъ у Ивана Александровича Жукова. Онъ остановился въ грязненькомъ извозчичьемъ трактирчикѣ въ Толмазовомъ переулкѣ,—носившемъ прозваніе родного его города—«Рыбинскъ». Вонь, грязь и масса пьющихъ чай извозчиковъ, —въ первый разъ въ жизни пришлось мнѣ попасть въ такую трущобу. Пройдя сквозь строй пьяной ругани самыми отборными непечатными словами, я наконецъ отыскалъ грязненькій нумерокъ, занимаемый Иваномъ Александровичемъ.

Изъ вчерашней бесѣды съ дядюшкой я составилъ себѣ понятіе о племянникѣ, какъ о молодомъ купеческомъ саврасѣ съ едва пробивающимся пухомъ, и очень былъ удивленъ, встрѣтя человѣка не первой уже молодости, лѣтъ за тридцать, съ крупными чертами лица и рыжеватой окладистой бородой. Значительно уступая дядюшкѣ въ дородности и богатырствѣ, онъ все-таки представлялъ собой тонорно, но плотно скроеннаго мужчину, который если и не былъ способенъ гнуть кочерги, то свалить человѣка съ ногъ ударомъ своего громадныхъ размѣровъ кулачища конечно могъ безъ малѣйшихъ усилій. Въ немъ не было той полированности и культурности, какая изъ дядюшки его дѣлала нѣчто похожее на западнаго буржуа. Онъ представлялъ собой типическаго волжскаго купца, вдоволь погулявшаго и внизъ, и вверхъ по матушкѣ по Волгѣ, и на расшивахъ, и на баржахъ, и на пароходахъ. Нѣмецкое платье сидѣло на немъ съ такой мѣшковатостью, что, глядя на него, вы забывали, что оно нѣмецкаго покроя; брюки выглядѣли шароварами, длиннополый сюртукъ—кафтаномъ; вмѣсто бѣлья изъ-подъ жилетки вылѣзала цвѣтная ситцевая косоворотка. Образная, характерная, исполненная пословицъ и мѣткихъ приговорокъ въ риему рѣчь его носила вполнѣ мѣстный акцентъ съ удареніемъ на *о*.

Онъ мнѣ съ первыхъ же словъ очень понравился. Отъ всей его фигуры такъ и вѣяло какимъ-то необъятно широкимъ просторомъ. Въ голосѣ его было много задушевности и искренности. Онъ встрѣтилъ меня очень радушно, чуть-ли даже не поцѣловалъ, если память мнѣ не измѣняетъ. Затѣмъ тотчасъ-же объявилъ, что дядюшка его не придетъ, но что онъ успѣлъ уже рекомендовать ему меня, и наговорилъ мнѣ много лестнаго... Затѣмъ Жуковъ тотчасъ-же соорудилъ обѣдъ съ водками, закусками, винами—и у насъ сразу установились самыя задушевныя, дружескія отношенія.

При первомъ-же свиданіи онъ съ подкупающей искренностью сообщилъ мнѣ, что учился на мѣдныя деньги, можно сказать даже, что и совсѣмъ не учился, словомъ—не выучился даже грамотно писать, что много обидъ и притѣсненій вынесъ онъ отъ своего любезнаго дядюшки, который воспиталъ его съ дѣтства въ ежевыхъ рукавицахъ и ежедневно такъ гнулъ въ дугу, что у него всѣ косточки и суставчики трещали; что изъѣздилъ онъ Волгу-матушку вдоль и поперекъ отъ Твери до Астрахани и какъ свои пять пальцевъ знаетъ всю жизнь приволжскихъ мѣстностей во всѣхъ ея слояхъ, въ кулакѣ всю ее держитъ, знаетъ такія вещи, какія никому изъ господъ литераторовъ и не снились. Много распространялся онъ и о своемъ предпріятіи—издавать въ Рыбинскѣ газету, заявляя о томъ, что онъ намѣренъ издавать газету отнюдь не для богатыхъ, которые вовсе ни въ какой газетѣ не нуждаются, а, напротивъ того, она имъ станетъ поперекъ горла, такъ какъ вся торговля рыбинская основана на тайнѣ, на никому невѣдомыхъ плутняхъ и подвохахъ, и газета будетъ страшна не одними обличеніями этихъ подвоховъ, а прежде всего простыми сообщеніями цѣнъ на разные товары и въ разныхъ мѣстностяхъ,—эти сообщенія, равно доступныя для каждаго грамотнаго человѣка, кто только возьметъ въ руки газету, охъ, какъ рыбинскимъ воротиламъ будутъ не по вкусу. Вся рыбинская торговля сплошь основана на прижимкѣ богатыми бѣднаго человѣка, и не одного бурлака или крючника, а и крупными хлѣботорговцами мелкихъ,—и мы должны будемъ первымъ дѣломъ возстать противъ этой вѣковой несправедливости и постараться вырвать ее съ корнемъ... Трудное это дѣло, что и говорить; много придется намъ вынести самой тяжкой борьбы; но Богъ не выдастъ—свинья не съѣстъ, и если намъ удастся выйти побѣдителями, весь Рыбинскъ будетъ у насъ въ рукахъ и придетъ къ намъ поклониться въ ножки...

Столько было во всѣхъ этихъ рѣчахъ подмывающаго энтузіазма, что у меня буквально кружилась голова. Болѣе всего увлекали меня въ рѣчахъ Жукова конечно его мечты сдѣлаться заступникомъ бѣдныхъ противъ прижимки богатыхъ; я видѣлъ въ этомъ самородномъ демократизмѣ русскаго самоучки и со всѣмъ пыломъ молодости готовъ былъ отдаться этому благому дѣлу. Что касается матеріальной части, то Жуковъ увѣрилъ меня, что газета можетъ существовать годъ, другой и совсѣмъ безъ подписчиковъ, такъ какъ богатый дядюшка далъ слово поддержать ее, да и, повѣрьте, въ Рыбинскѣ найдутся у насъ сторонники среди богатыхъ купцовъ; не всѣ-же они плуты, найдутся и такіе, которые съ радостью поддержатъ доброе дѣло. Въ одномъ Питерѣ наберется у насъ тысяча, другая подписчиковъ, потому что каждому купцу здѣшнему лестно узнать, почемъ продается хлѣбъ въ Рыбинскѣ сегодня.

Что касается моихъ условій, то Жуковъ опредѣлилъ мнѣ на первыхъ порахъ по 100 руб. въ мѣсяцъ, обѣщая прибавлять гонораръ съ каждой новой тысячи подписчиковъ, и сверхъ того чистый доходъ со всѣхъ печатаемыхъ въ газетѣ объявленій будетъ составлять мою неотъемлемую собственность. «А вѣдь вы подумайте,—говорилъ при этомъ Жуковъ,—торговая газета въ такомъ городѣ, какъ Рыбинскъ,—да насъ съ перваго-же дня засыпятъ объявленіями. Вы и глазомъ не моргнете, какъ сдѣлаетесь богаче Журавлева и Полежаева!..»

Увидѣвшись со мной еще два или три раза и условившись окончательно, что онъ вышлетъ мнѣ деньги на отъѣздъ и извѣщеніе о томъ, когда мнѣ ѣхать въ Рыбинскъ, Жуковъ вскорѣ уѣхалъ изъ Петербурга, а я весь отдался предстоявшему дѣлу.

Первымъ дѣломъ я направилъ свои стопы къ В. Ѳ. Коршу съ письмомъ Гаевскаго, предполагая присмотрѣться къ газетному дѣлу. Но В. Ѳ. Коршъ, принявъ меня довольно любезно, въ то же время прямо заявилъ, что онъ рѣшительно не въ состояніи исполнить мою просьбу и не знаетъ, что ему со мной дѣлать. Изданіе газеты—дѣло сложное, требующее такого дробнаго раздѣленія труда, которое приравниваетъ его къ фабричному производ-

ству. Газетный нумеръ сооружается одновременно не только въ нѣсколькихъ комнатахъ, но и въ разныхъ концахъ города. Еслибы онъ, самъ издатель, захотѣлъ прослѣдить, какъ составляется нумеръ во всѣхъ его деталяхъ, онъ былъ-бы не въ состояніи. Одничъ словомъ, у сотенъ человѣкъ, начиная съ редакторовъ и кончая наборщиками, у каждаго свое маленькое дѣло и каждый молча совершаетъ его, какъ заведенная машина,—и какъ-бы я ни присматривался къ людямъ, копающимся въ бумагахъ или вокругъ печатныхъ станковъ, ничего я не усмотрю. Къ тому-же изданіе маленькой биржевой, провинціальной газеты совсѣмъ не то, что большой столичной, требуетъ совсѣмъ другихъ масштабовъ, иного, болѣе скромнаго числа работниковъ,—и дѣло вовсе не особенно головоломное, но научить этому дѣлу можетъ одна практика.

Такъ я и ушелъ отъ Корша, что называется, не солоно хлѣбавши. Но я не унывалъ. Я все время ходилъ какъ въ туманѣ. Могли ли меня смущать такіе пустяки, какъ техника составленія газетныхъ нумеровъ, когда въ своихъ радужныхъ мечтахъ я воображалъ себя исполиномъ, ворочающимъ не только всѣмъ Рыбинскомъ, но и всей Россіей? Я никогда не забуду, какъ однажды я бесѣдовалъ съ однимъ другомъ-пріятелемъ въ «Старомъ Палкинѣ» за бутылкой пива о предстоявшей поѣздкѣ, и какъ, ударивъ по столу допитымъ стаканомъ, онъ произнесъ:

— А завидую я тебѣ: ты—сила!..

И я вполнѣ вѣровалъ тогда, что дѣйствительно—я сила, да еще какая!..

Были впрочемъ люди, которые скептически смотрѣли на все это дѣло. Болѣе всего они пеняли мнѣ, зачѣмъ я не заключилъ съ Жуковымъ формальнаго условія, а довольствовался одними его словесными обѣщаніями. На словахъ конечно ничего не стоитъ наобѣщать горы золотыя, а что окажется на дѣлѣ, Господь его вѣдаетъ. А наши купцы, особенно рыбинскіе,— обѣщать всѣ большіе мастера; всѣ они умѣютъ мягко стлать, да каково-то будетъ спать!..

Но эти благоразумныя рѣчи отскакивали отъ меня, какъ отъ стѣны горохъ. — Смѣшно было,—возражалъ я,—заключать условіе на пустомъ мѣстѣ, когда дѣло еще не начиналось, а я вовсе не такой заявившій себя спеціалистъ, чтобы Жуковъ впередъ могъ знать, что на меня можно положиться; можетъ быть я окажусь и несостоятельнымъ. А вотъ какъ только пойдетъ газета, такъ я потребую формальнаго условія.

Едва-едва уговорили меня оставить на время въ Петербургѣ матушку, и потомъ уже, когда дѣло пойдетъ на ладъ, и я обживусь въ Рыбинскѣ, выписать ее. Впрочемъ благоразумнымъ людямъ пришлось уговаривать и ее самое, такъ какъ съ одной стороны ей горько было въ первый разъ жизни разставаться со мной, а съ другой — она и сама такъ увлеклась моими гордыми мечтами, а болѣе всего дешевизной жизни въ Рыбинскѣ и валяющимися на улицѣ стерлядями, что начала входить во всѣ подробности нашего будущаго обзаведенія въ Рыбинскѣ.

— Пожалуйста только, чтобы квартира была сухая, теплая, говорила она, — точно какъ-будто я шелъ уже нанимать квартиру: комнатки три довольно будетъ, да чтобы кухня была свѣтлая, да чтобы русская печка была. Да также, чтобы и отъ рынка было недалеко, и отъ бани, и отъ церкви. Оттого и въ церковь ходишь рѣдко, что далеко,—а тамъ я буду все ходить да молиться, все молиться...

Затѣмъ матушка начала закупать мѣстные полотна и ситцы, которые тамъ навѣрное вдвое дешевле, чѣмъ въ Петербургѣ. Наконецъ картина рыбинской жизни начала представляться ей въ такомъ свѣтломъ видѣ, что на нее напалъ страхъ, а что если это не сбудется.

— Я такъ стара и слаба,—куда мнѣ вынести такую далекую дорогу! Я же никуда не ѣздила! И кончится все это тѣмъ, что повезешь ты меня здоровой, а привезешь вмѣсто матери одинъ холодный трупъ, чтобы схоронить меня Богъ вѣсть гдѣ на чужедальней сторонѣ.

И при этихъ словахъ матушка заливалась горькими слезами.

Между тѣмъ отъ Жукова не было и не было никакого отвѣта. Прошла Святая недѣля; наступилъ апрѣль, а отъ него все ни слуху, ни духу. Наконецъ въ половинѣ уже апрѣля получилъ я такое лаконическое письмо: «Пріѣзжайте въ Рыбинскъ: деньги на отъѣздъ возьмите у дядюшки».

Я тотчасъ же отправился къ дядюшкѣ. Но тотъ принялъ меня довольно сухо и на-отрѣзъ отказался выдать мнѣ прогонную сумму.

— Я дѣйствительно—сказалъ онъ—выдалъ племяннику на обзаведеніе газеты субсидію, какую только былъ въ состояніи, но далѣе затѣмъ ни въ какихъ мелочныхъ расходахъ его по газетѣ принимать участія не желаю.

Благоразумные люди опять приступили ко мнѣ съ увѣщаніями бросить это дѣло и шагу не дѣлать изъ Петербурга, пока Жуковъ не вышлетъ денегъ. Но легко было сказать—бросить такое заманчивое дѣло, какое сулило мнѣ необъятно-колоссальную будущность, и опять обречь себя на невѣрное существованіе впроголодь! Послѣ того какъ меня провозгласили силой и начали смотрѣть на меня съ завистью снизу вверхъ, опять обречь себя на жалкое ничтожество, обратиться въ пролетарія, пишущаго объясненія къ картинкамъ «Воскреснаго досуга»!

Нѣтъ, это было немыслимо, и я рѣшился на такой поступокъ, который заставилъ благоразумныхъ людей только ахнуть и махнуть на меня рукой. Я поѣхалъ-таки въ Рыбинскъ на занятые мною у одного родственника двадцать пять рублей, и когда тронулся поѣздъ николаевской желѣзной дороги, увозившій меня отъ плакавшей навзрыдъ матушки, чувствовалъ себя не то Наполеономъ, не то Вашингтономъ.

IV.

Не смотря на то, что апрѣль былъ уже въ концѣ, погода въ тотъ день, когда я выѣхалъ въ Рыбинскъ, была адская: бушевала чисто зимняя вьюга, и, когда я подъѣхалъ къ Твери, поля были покрыты

снѣгомъ. Казалось такимъ образомъ, сама природа возмущалась моимъ отчаяннымъ поступкомъ и не предвѣщала ничего хорошаго впереди, но я не робѣлъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда предстанетъ предо мною Рыбинскъ, сулившій мнѣ столько благъ.

Но вотъ пріѣхалъ я и въ Рыбинскъ, поднялся вверхъ съ пристани со своимъ тощимъ скарбомъ, остановился въ одной изъ безчисленныхъ гостинницъ Рыбинска и отправился искать Жукова. Не легко было мнѣ производить свои поиски въ той сутолокѣ, какую представляетъ Рыбинскъ въ весенніе и лѣтніе мѣсяцы, такъ какъ адреса Жукова я не зналъ, а онъ вовсе не представлялъ собой такой извѣстности, чтобы каждый встрѣчный могъ указать его мѣстожительство. Но я преодолѣлъ всѣ эти трудности, причемъ я былъ нѣсколько озадаченъ, когда, добравшись наконецъ, не помню ужъ теперь, до какихъ людей, знавшихъ Жукова и гдѣ онъ обитаетъ, я замѣтилъ нескрываемую презрительную иронію, съ какой о немъ говорили. Но еще болѣе я былъ озадаченъ, когда, найдя наконецъ своего хозяина, я не только не былъ заключенъ имъ въ объятія, но вмѣсто выраженія ожидаемой мной радости онъ встрѣтилъ меня такими словами:

— А я ужъ думалъ, что вы совсѣмъ не пріѣдете!..

— Какъ-же такъ? Я вамъ, значитъ, не нуженъ?..

— А пожалуй, что будетъ и такъ. Дѣло дрянь у насъ выходитъ...

— Что такое?...

— Да все кажись-бы готово, хоть завтра выпускай газету—за малымъ остановка. Можете представить себѣ: печатать негдѣ, типографіи нѣтъ!.

— Какъ-же это такъ? Вѣдь вы же мнѣ говорили, что въ Рыбинскѣ имѣется типографія?

— Левикова-то? Имѣется она, имѣется, да только эта типографія не только что газеты и маленькой брошюрки въ десять страничекъ не напечатаетъ вамъ... Да оно и понятно, нечего съ нея и требовать. Вѣдь въ Рыбинскѣ-то, почитай что съ сотворенія міра, ни одна еще книжка не выходила; сюда и изъ другихъ-то болѣе просвѣщенныхъ мѣстъ рѣдко какая книга привозится, да и та долго не залеживается, неизвѣстно куда исчезаетъ, должно быть, на папиросы, да на папильотки истрачивается. Однимъ словомъ, этого товара у насъ не требуется, а существуетъ у насъ типографія для своей собственной надобности: только и печатаетъ, что приходо-расходныя книжки, купеческіе счета да ярлыки, болѣе ничего съ нея не спрашивайте!..

— Да какъ-же такъ? Значитъ, вы раздумали издавать газету?

— Да выходитъ такъ, что хоть бросай дѣло!.. Остается намъ сдѣлать одну еще попытку — не удастся, тогда ужъ не прогнѣвайтесь!..

— Что-же такое?..

— Попробовать издавать газету въ Ярославлѣ.

— «Рыбинскій Листокъ» въ Ярославлѣ?

— Да что-жъ вы будете дѣлать!.. Въ Ярославлѣ какая ни на есть да имѣется казенная типографія, печатающая «Губернскія Вѣдомости». Можетъ быть она возьмется печатать и нашу газету. Васъ я тогда посажу въ Ярославлѣ—вы тамъ и будете орудовать газету, а я буду жить въ Рыбинскѣ и доставлять вамъ ежедневно весь матеріалъ самолетскимъ пароходомъ. Такъ мы и промаемся лѣтніе мѣсяцы до закрытія навигаціи, а это самое у насъ жаркое время для газеты. Удастся намъ въ это время поставить ее на ноги, тамъ будетъ видно, что дѣлать: можетъ быть и свою типографію какую ни на есть сварганимъ, можетъ быть и Левикову поможемъ запастись шрифтомъ, да скоропечаткой... Однимъ словомъ, ступайте, да отдохните съ дороги, а завтра-же, чуть свѣтъ, поѣдемъ въ Ярославль.

Такъ мы и сдѣлали. Пріѣхавъ въ Ярославль, мы остановились въ какой-то невѣроятно грязной «Росписной» гостинницѣ и дѣятельно принялись хлопотать о газетѣ. Съ губернскою типографіей Жуковъ уладилъ дѣло безъ малѣйшихъ затрудненій; матеріалу онъ привезъ собой изъ Рыбинска нумера па четыре, и 2-го мая 1864 года вышелъ первый нумеръ нашей газеты. Надо замѣтить при этомъ, что «Рыбинскій Листокъ» долженъ былъ выходить лишь три раза въ недѣлю: по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, такъ что та система, какую придумалъ Жуковъ, — именно: присылку матеріала изъ Рыбинска въ Ярославль черезъ самолетскій пароходъ, ежедневно приходящій въ Ярославль съ верха въ 10 часовъ утра, — была осуществима, хотя во всякомъ случаѣ представляла собою нѣчто фантастичное. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ только газету, издающуюся не въ томъ самомъ городѣ, для котораго она предназначена, а за 80 верстъ отъ него, причемъ весь составъ газеты, прежде чѣмъ дойти до редактора и типографіи, долженъ совершить восьмидесятиверстное плаваніе въ каютѣ капитана самолетскаго парохода. Конечно только въ Россіи и возможны подобныя необыкновенныя комбинаціи!

Каждое утро такимъ образомъ къ десяти часамъ я отправлялся на пароходную пристань и съ нетерпѣніемъ ждалъ завѣтнаго пакета со статьями. Затѣмъ я возвращался домой и принимался за редакторскую обработку рукописей, которыя по большей части были столь безграмотны, что приходилось переписывать ихъ съизнова. Обработанныя такимъ образомъ рукописи я несъ въ типографію и т. д.

Кромѣ Жукова, орудовавшаго въ Рыбинскѣ, и меня — въ Ярославлѣ, штатъ нашей редакціи состоялъ еще изъ двухъ человѣкъ: у Жукова въ Рыбинскѣ былъ свой помощникъ, у меня — свой. У Жукова помощникомъ былъ какой-то рыбинскій обыватель-разночинецъ, прославившійся уголовнымъ дѣломъ мелодраматическаго характера. Онъ былъ прежде сельскимъ священникомъ, но имѣлъ слабость влюбиться въ одну дѣвушку, не знаю ужъ какого происхожденія и сословія. И вотъ въ одинъ прекрасный день произошелъ слѣдующій ужасъ: онъ пошелъ со своею матушкою-попадьею въ баню, а оттуда вернулся одинъ; матушка оказалась съ ногъ до головы обваренною кипяткомъ до того сильно, что сразу тамъ-же въ банѣ отдала Богу душу. Началось слѣдствіе, но по старымъ судамъ, такъ

какъ никакихъ ни свидѣтелей, ни уликъ его преступности не было, онъ-же настаивалъ на своей невинности, увѣряя, что матушка сама нечаянно обварилась, его оставили лишь въ подозрѣніи и лишила священническаго сана, а ему это было и на руку, такъ какъ онъ немедля женился на своей возлюбленной. Я не больше двухъ-трехъ разъ видѣлъ этого человѣка, и очень онъ показался мнѣ несимпатичнымъ своими бѣгающими, рысьими глазками, угловатыми, нахальными манерами и циническими рѣчами. Такъ напримѣръ, онъ беззастѣнчиво сознался, что лишь-бы ему сколотить тысяченку, другую, онъ живо разбогатѣлъ-бы, такъ какъ не ѣлъ-бы, не пилъ, а всѣ деньги поставилъ-бы ребромъ въ ростъ, а въ Рыбинскѣ на этотъ счетъ лафа: такіе можно процентики собирать, о какихъ въ другихъ мѣстахъ и не снилось.

Что-же касается его второй жены, то я видѣлъ ее одинъ только разъ, и она меня положительно озадачила: представьте себѣ, мало того, что красавицу ослѣпительной южной красоты, но честную натуру, обладавшую несомнѣнно крайне чуткою душою. Все въ ней дышало нравственнымъ благородствомъ, каждое слово, каждое движеніе ея супруга видимо коробили ее и возмущали, и она замѣтно страдала, нисколько не скрывая этого. Спрашивается, что свело эту странную чету людей, столь мало похожихъ другъ на друга? Какъ могла увлечься она хоть минутно такимъ отвратительнымъ человѣкомъ, и тѣмъ болѣе выйти за него замужъ, послѣ того какъ онъ переступилъ черезъ трупъ своей жены?... И что съ нею сталось потомъ? Такъ это и осталось для меня неразрѣшенной загадкой.

Моимъ помощникомъ былъ ярославскій мѣщанинъ Уховъ. Сухой, бѣлокурый, съ длиннымъ птичьимъ носомъ, выдававшимся впередъ, это былъ расторопный и покладистый человѣкъ на всѣ руки. Чѣмъ только не былъ онъ при мнѣ и чего онъ не дѣлалъ: онъ былъ и самымъ ревностнымъ моимъ слугою, ставилъ самовары, чистилъ сапоги, платье, бѣгалъ въ лавочку. Выходилъ нумеръ газеты, — онъ отправлялся въ типографію и на своихъ плечахъ приносилъ на мою квартиру полторы тысячи экземпляровъ ея; затѣмъ запаковывалъ газету въ заранѣе приготовленныя бандероли и несъ на почту, а сдавши газету на почту, отправлялся по городу разносить нумера ярославскимъ подписчикамъ, которыхъ было, правда, не болѣе 20, 30, но жили они въ разныхъ концахъ довольно обширнаго города. Кончивши это дѣло, онъ принимался за переписку исчерканныхъ мною вдоль и поперекъ рукописей. Онъ пытался даже войти въ составъ сотрудниковъ «Рыбинскаго Листка» и написалъ, не помню ужъ, какіе-то стихи, но тутъ положенъ былъ предѣлъ его энциклопедической дѣятельности, такъ какъ стихи конечно ужъ оказались вполнѣ домашняго, ярославскаго приготовленія...

Говоря о желаніи Ухова попасть въ *составъ* сотрудниковъ «Рыбинскаго Листка», я не могъ при этомъ не разсмѣяться въ своей душѣ надъ словомъ *составъ*, которое можетъ ввести въ невольное заблужденіе читателей. Они подумаютъ, что и въ самомъ дѣлѣ у насъ былъ какой-бы то ни было составъ сотрудниковъ. Ничего этого не было: кромѣ трехъ-четырехъ случайныхъ корреспондентовъ, вродѣ пошехонскаго поэта-самоучки Саввы Яковлевича Дерунова, весь составъ сотрудниковъ сосредоточивался въ лицѣ самого Ивана Александровича Жукова, который доставлялъ мнѣ изъ Рыбинска и собираемыя имъ биржевыя цѣны, и фельетоны, и полемическія замѣтки, и цѣлые повѣсти и романы. О чемъ только ни писалъ онъ впродолженіи двухмѣсячнаго существованія газеты: и о рыбинскихъ трактирщикахъ, и о рыбинскихъ дровокатахъ, и о рыбинскихъ гуляньяхъ, театральныхъ зрѣлищахъ, скандалахъ на биржѣ, купеческихъ надувательствахъ и т. п. Все это онъ излагалъ топорно, крайне безграмотно, но не безъ юмора и довольно живо, такъ что, еслибы ему получить образованіе и напрактиковаться, изъ него могъ-бы выработаться писатель не безъ таланта.

Иногда онъ наѣзжалъ ко мнѣ въ Рыбинскъ и каждый разъ при этомъ истреблялъ такое невѣроятное количество чаю, что Уховъ едва успѣвалъ снѣять разъ до десяти самоваръ за самоваромъ. Но Жуковъ не ограничивался однимъ чаепитіемъ; замѣчательно, что я никогда не видалъ его безъ полуштофа на столѣ. Какъ только пріѣзжалъ онъ, такъ сейчасъ-же Уховъ летѣлъ за двумя-тремя полуштофами, и все время Жуковъ не переставалъ выпивать рюмку за рюмкой съ такой же аккуратностью, съ какой мы выкуриваемъ за папиросой папиросу. Сначала онъ нѣсколько совѣстился передо мной и ссылался на зубную боль, но затѣмъ пилъ безъ всякихъ церемоній. И замѣчательно, что при этомъ я никогда не видалъ его пьянымъ. Это былъ по-истинѣ какой-то богатырь, которому ничего не стоило выпить чару вина въ полтора ведра.

Интересно было-бы знать, неужели и во всю послѣдующую свою жизнь онъ продолжалъ съ такимъ-же усердіемъ приносить столь обильную лепту винному акцизу и это нисколько не помѣшало ему дожить чуть не до шестидесяти лѣтъ! Иногда, по пріѣздѣ Жукова въ Ярославль, у насъ случалась очень спѣшная работа: нужно было во что-бы то ни стало сегодня наполнить нумеръ, выпускаемый завтра, а въ матеріалѣ оказывался недостатокъ. Тогда Жуковъ тотчасъ-же принимался писать импровизированный разсказъ, и у насъ закипала жаркая работа втроемъ: Жуковъ напишетъ листъ, передаетъ мнѣ, я его исправляю, передаю Ухову, а тотъ переписываетъ на-бѣло. Такая работа среди ночи и глубокаго сна всего Ярославля совершенно уподобляла насъ тремъ Паркамъ, прядущимъ нить жизни.

Проживя въ «Росписной» гостинницѣ не менѣе мѣсяца въ непрестанной борьбѣ съ клопами, тараканами и даже крысами, скакавшими по ночамъ черезъ меня и таскавшими у меня свѣчи, — я потомъ устроился болѣе удобно: нашелъ двѣ недурно меблированныя и уютныя комнатки и очень сносный и дешевый обѣдъ въ кухмистерской. Все было-бы хорошо, но меня серьезно устрашала перспектива быть мало-по-малу если не задушеннымъ тѣмъ самымъ «Рыбинскимъ Листкомъ», надъ которымъ я рабо-

талъ, то по крайней мѣрѣ вытѣсненнымъ вонъ изъ своего помѣщенія. Посудите сами: подписчиковъ у насъ было всего на все 200, причемъ 100 человѣкъ приходилось на Рыбинскъ, да 100 на всѣ другіе города и веси Россійской имперіи; между тѣмъ печаталось каждаго нумера экземпляровъ тысячи полторы. И вся эта несмѣтная кипа печатной бумаги складывалась цѣлой горой въ одной изъ моихъ комнатъ; гора эта, съ выходомъ каждаго нумера, росла и росла, приводя меня въ не малый трепетъ: что-же со мной будетъ, когда современемъ она займетъ всю мою квартиру? Но этого еще мало: мокрая бумага прямо изъ типографіи, складываемая возростающей массой,—начала прѣть, распространяя отвратительный запахъ. Для избѣжанія этого Ухову пришлось запастись веревками, растянуть ихъ по двору того дома, гдѣ мы обитали, и постоянно развѣшивать и просушивать нашу злополучную газету, какъ прачки развѣшиваютъ и просушиваютъ бѣлье, затыкая висѣвшіе на веревкахъ листы шпильками, чтобы они не сбрасывались вѣтромъ на землю. Воображаю я, какое курьезное впечатлѣніе производили на обитателей Ярославля газетчики, которые, вмѣсто того чтобы разсылать свою газету подписчикамъ, занимались ежедневно просушкой на дворѣ своихъ твореній!

При всѣхъ этихъ условіяхъ газета не обѣщала долгаго и завиднаго существованія. Первый подводный камень, какой встрѣтился ей на пути, — былъ цензурнаго характера. Цензоромъ надъ газетой былъ назначенъ рыбинскій полиціймейстеръ Марковъ. Человѣкъ это былъ крайне добродушный и веселый, а главное дѣло, — ему и безъ «Рыбинскаго Листка» было хлопотъ полонъ ротъ въ такомъ бойкомъ торговомъ центрѣ, какимъ представляется Рыбинскъ. Къ тому-же у него была страсть къ картишкамъ, и всѣ свободные часы отъ служебныхъ занятій онъ просиживалъ за зеленымъ полемъ. До чтенія-ли ему было безграмотныхъ каракулекъ Жукова; онъ и подмахивалъ ихъ, не читая, за карточнымъ столомъ, въ полной увѣренности, что никакихъ злонамѣренностей нельзя ожидать ни отъ хлѣбныхъ прейсъ-курантовъ, ни отъ невиннаго балагурства издателя.

Между тѣмъ въ № 20-мъ «Рыбинскаго Листка», вышедшемъ 16-го іюля 1864 г. подъ заглавіемъ: «Что дѣлается въ городѣ», было помѣщено слѣдующее извѣстіе:

«11-го числа, въ 9 часовъ вечера, встрѣтили въ Рыбинскѣ г. главноуправляющаго путей сообщенія и публичныхъ работъ, прибывшаго въ Рыбинскъ Маріинскимъ путемъ, по р. Шексне, на пароходѣ «Смѣлый», купцовъ братьевъ Милютиныхъ. Нелишнимъ считаемъ сказать, какъ рыбинскіе граждане встрѣчаютъ высшее начальство. На дебаркадерѣ пароходнаго общества «Дружина» съ 6 часовъ пополудни собралось купечество: предсѣдатель биржевого комитета и старшины, градской голова и всѣ члены градской думы, путейское и мѣстное начальство. Отъ купечества приготовлено было: хлѣбъ-соль и три стерляди, стоющія, какъ говорятъ, 120 р.» Далѣе затѣмъ Жуковъ не упустилъ случая посмѣяться надъ подобострастіемъ рыбинскихъ купцовъ, которые едва завидѣли на горизонтѣ дымокъ того парохода, на которомъ ѣхалъ Мельниковъ, уже поснимали шапки, и стояли съ обнаженными головами все время, какъ пароходъ медленно приближался къ Рыбинску.

Вотъ эта именно насмѣшка и повела за собой неожиданный погромъ. Статья была по обыкновенію пропущена Марковымъ безъ малѣйшихъ затрудненій, нумеръ уже былъ напечатанъ,—и вдругъ обратилъ вниманіе на упомянутую статью человѣкъ, повидимому совершенно непричастный къ газетѣ въ цензурномъ отношеніи,—именно завѣдующій губернской типографіею Лѣствицинъ. Будучи извѣстнымъ археологомъ, этотъ Лѣствицинъ самъ по себѣ представлялъ удивительный антикъ, какіе можно было встрѣтить лишь въ прежнее время въ глухой провинціи. Представьте себѣ, что онъ соединялъ въ себѣ поклоненіе Прудону (я нашелъ у него собраніе всѣхъ сочиненій Прудона) съ обожаніемъ М. Н. Каткова, причемъ у него сложился въ головѣ такой курьезный взглядъ на тогдашнюю литературу, что вся петербургская пресса, не исключая «Современника» и «Русскаго Слова», состоитъ на жалованьѣ у правительства, зато и восхваляетъ всѣ совершавшіяся тогда реформы, и только одинъ Катковъ представляетъ собой вполнѣ независимую и неподкупную оппозиціонную силу. Вотъ этотъ именно Лѣствицинъ, прочтя упомянутое извѣстіе, отправился къ губернатору съ нумеромъ «Рыбинскаго Листка» и объявилъ ему, что онъ не можетъ выпустить изъ типографіи нумеръ съ такимъ предосудительнымъ глумленіемъ надъ почтеннымъ рыбинскимъ купечествомъ за слишкомъ усердное выраженіе съ его стороны почтенія къ начальствующимъ лицамъ, заслуживающее во всякомъ случаѣ уваженія, а не порицанія.

Губернаторъ внялъ донесенію Лѣствицина и велѣлъ злополучный нумеръ тотчасъ-же предать сожженію. Сверхъ того была сдѣлана нахлобучка Маркову; онъ былъ отставленъ отъ обязанности цензора «Рыбинскаго Листка», и цензуру газеты принялъ на себя самъ губернаторъ, поручивъ ее вице-губернатору, къ которому я и обязанъ былъ ежедневно ходить съ корректурами статей.

Это было начало конца. Вскорѣ затѣмъ все рыбинское купечество съ самыми первыми тузами и воротилами возстало на Жукова, и онъ былъ позорно изгнанъ съ рыбинской биржи городскимъ головою. И еще-бы: въ своихъ обличеніяхъ онъ дошелъ до прозрачныхъ намековъ на то, что отцы и дѣды нѣкоторыхъ рыбинскихъ тузовъ и воротилъ нажили свои милліоны вовсе не хлѣбной торговлей, а фабрикаціей фальшивыхъ ассигнацій въ эпоху Екатерины II. Рыбинскіе купцы послали просьбу министру внутреннихъ дѣлъ о прекращеніи ненавистнаго имъ «Рыбинскаго Листка».

Но это было совершенно напрасно, такъ какъ дни «Рыбинскаго Листка» были сочтены и безъ всякихъ давленій свыше. Хотя Жуковъ и увѣрялъ, что газета его обезпечена на долгіе годы дядюшкиными капиталами, но на дѣлѣ оказалось, что все

содѣйствіе дядюшки ограничивалось не болѣе какъ двумя-тремя тысячами на первоначальное обзаведеніе. Этой суммы хватило конечно не надолго; не надолго хватило и тѣхъ денегъ, какія были собраны съ 200 подписчиковъ, изъ которыхъ чуть не половина оказалась безплатными. Разъ всѣ эти рессурсы прекратились, газета остановилась въ половинѣ іюня. Жуковъ поѣхалъ въ Петербургъ искать новыхъ займовъ для изданія «Рыбинскаго Листка», а я остался, какъ ракъ на мели, въ Ярославлѣ проживать послѣднія полученныя отъ него крохи. Я и забылъ сказать, что никакого дохода отъ объявленій я и въ глаза не видывалъ, по той простой причинѣ, что никакихъ объявленій не было, а если когда они и печатались, то это были объявленія безплатныя: длинные списки пароходныхъ тарифовъ, которые я время отъ времени помѣщалъ безъ спроса хозяевъ единственно для того, чтобы наполнить столбцы нумеровъ, такъ какъ съ каждымъ днемъ матеріалу становилось меньше и меньше. Въ отчаяніи я и самъ было взялся за перо и написалъ длинную статью на нѣсколько нумеровъ, подъ заглавіемъ «Купеческая правда» и съ эпиграфомъ «правдой не разживешься»,— составленную мной по Прудону и нѣкоторымъ статьямъ «Русскаго Слова».

Наконецъ я получилъ отъ Жукова лаконическую телеграмму: «Газета запрещена министромъ. Пріѣзжайте въ Петербургъ. Деньги возьмите въ бумажномъ магазинѣ, гдѣ у меня уплачено за бумагу 100 рублей впередъ».

Я бросился въ бумажный магазинъ, но тамъ мнѣ объявили, что нетолько они не должны Жукову ни копѣйки, но что, напротивъ того, онъ имъ остается долженъ за забранный товаръ 200 руб.

Положеніе мое было такое критическое, подобнаго которому я никогда еще не испытывалъ въ жизни ни до того, ни послѣ того. Безъ гроша денегъ въ карманѣ я очутился въ чужомъ городѣ, въ которомъ почти никого не зналъ. Къ тому-же я захворалъ, и ярославскіе коновалы лечили меня чисто лошадиными лекарствами отъ совершенно не той болѣзни, какая у меня была.

По счастью, нашелся добрый человѣкъ, который далъ мнѣ въ долгъ двадцать рублей, чтобы доѣхать до Петербурга. Но этимъ не окончились еще мои злополучія: по дорогѣ московскіе жулики украли у меня пальто, и вотъ я вернулся домой къ своей матушкѣ вполнѣ блуднымъ сыномъ: больной, прозябшій, въ одномъ сюртучкѣ, и вмѣсто тысячъ, о которыхъ я мечталъ, нажившій долги, которыхъ у меня прежде не было.

V.

Послѣ погрома съ «Рыбинскимъ Листкомъ» и моего злосчастнаго возвращенія въ Петербургъ въ одномъ сюртучкѣ и безъ гроша денегъ въ карманѣ (это было въ 1864 году) началась педагогическая полоса въ моей жизни.

Надо при этомъ сказать, что хотя я не испыталъ такого яркаго и завиднаго счастья, какое выпадаетъ на долю нѣкоторыхъ избранниковъ судьбы, и въ общемъ жизнь моя носитъ довольно сѣренькій, а порой даже и въ достаточной мѣрѣ сумрачный колоритъ, но въ то-же время (до сихъ поръ по крайней мѣрѣ) не было въ ней никакихъ катастрофъ или такихъ безвыходныхъ положеній, во время которыхъ человѣкъ готовъ лѣзть въ петлю. Такъ, не смотря на то, что существованіе мое съ университетской скамейки всегда исключительно зависѣло и до сихъ поръ зависитъ отъ того, что я заработаю въ данный мѣсяцъ, ни разу не пришлось мнѣ продолжительное время оставаться безъ работы и всякихъ средствъ къ жизни. Самую продолжительную безработицу испыталъ я послѣ прекращенія «Отечественныхъ Записокъ» въ 1884 г., когда втеченіи полугода приходилось мнѣ съ семействомъ изъ пяти человѣкъ существовать на 600 рублей, которые достались на мою долю по ликвидаціи «Отечественныхъ Записокъ». Въ болѣе же ранній періодъ моей жизни всегда случалось такъ, что какъ только прекращались одни занятія, не протекало и мѣсяца, какъ я былъ уже при новомъ дѣлѣ, причемъ мнѣ не приходилось даже искать, хлопотать и домогаться заработка, а мнѣ сами предлагали то или другое.

Такъ было и на этотъ разъ. Въ двадцатыхъ числахъ августа пріѣхалъ я изъ Ярославля, а въ началѣ сентября былъ уже при мѣстѣ. Пока я занимался въ Ярославлѣ развѣшиваньемъ по веревочкамъ злополучнаго «Рыбинскаго Листка», знакомый уже намъ П. М. Цейдлеръ успѣлъ получить педагогическій постъ—директора училища человѣколюбиваго общества (по Крюкову каналу, противъ церкви Николы Морского). Въ числѣ нѣкоторыхъ изъ моихъ университетскихъ сотоварищей онъ пригласилъ и меня въ качествѣ учителя словесности.

Училище это въ настоящее время давно уже преобразовано въ классическую гимназію и, снабжая воспитанниковъ аттестатами зрѣлости, открываетъ имъ двери во всѣ высшія заведенія. Въ тѣ же отдаленныя времена оно вполнѣ оправдывало собой пословицу: ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ, и представляло нѣчто по-истинѣ возмутительное. Это была шестиклассная школа, въ которой нѣкоторые предметы преподавались въ размѣрѣ гимназическаго курса, а другіе (какъ напримѣръ древніе и новые иностранные языки) совсѣмъ не преподавались. Дѣти самыхъ бѣднѣйшихъ родителей, по большей части изъ чиновнаго пролетаріата, выходили изъ подобнаго заведенія въ истинномъ смыслѣ этого слова недоучками, убогими нетолько въ умственномъ и нравственномъ, но даже и въ физическомъ отношеніи, такъ какъ (заведеніе, не забудьте, было закрытое) втеченіи шести лѣтъ ихъ содержали на арестантскомъ продовольствіи, полагая на прокормленіе воспитанника по 10 к. въ сутки. Истощенныхъ такимъ образомъ и духовнымъ, и тѣлеснымъ голодомъ молодыхъ людей выпускали почти безъ всякихъ правъ на всѣ четыре стороны. Наиболѣе счастливымъ удавалось пристраиваться куда-нибудь писцами, другіе-же не выдерживали борьбы за существова-

ніе, не будучи ничѣмъ вооружены для этого и не имѣя ни малѣйшаго запаса силъ, и гибли. По крайней мѣрѣ впродолженіи долгихъ лѣтъ ко мнѣ являлись многіе изъ моихъ бывшихъ воспитанниковъ,—не имѣвшіе ни заработка, ни пристанища, въ жалкомъ рубищѣ, со всѣми признаками алкоголизма и съ мольбами о подаяніи, и приходилось, оказывая имъ посильную помощь, невольно въ тоже время угрызаться совѣстью при видѣ столь блестящихъ результатовъ моей педагогической дѣятельности. Но мало-по-малу смущающіе совѣсть призраки стали являться рѣже и рѣже, наконецъ и совсѣмъ исчезли: должно быть, всѣ угомонились!

Втеченіи учебнаго 1864—65 года я ограничивался въ этой школѣ занятіями по словесности, не входя въ близкое знакомство и соприкосновеніе съ внутренними порядками училища и внося весь свой молодой жаръ въ тогда новое еще для меня дѣло, и оно пошло отлично. Мнѣ не стоило ни малѣйшаго труда завоевать расположеніе своихъ учениковъ, но и Цейдлеръ былъ столь много доволенъ, что, одобряя составляемыя мной втеченіи курса записки, обѣщалъ даже издать ихъ впослѣдствіи на свой счетъ. По всей вѣроятности мнѣ удалось-бы прослужить подъ начальствомъ его не малое количество лѣтъ. Но по-истинѣ не въ добрый часъ пришло вдругъ въ голову моему начальнику предложить мнѣ, сверхъ моихъ учительскихъ обязанностей, еще мѣсто воспитателя въ двухъ старшихъ классахъ. Мнѣ открывалась пріятная перспектива получить казенную квартирку при училищѣ, а пока я отправился вмѣстѣ со всѣмъ училищемъ и съ директоромъ во главѣ, пѣшкомъ, на дачу въ 3-е Парголово.

Училище было расположено въ 3-емъ Парголовѣ, въ трехъ дачахъ. Въ одной, самой большой, помѣщались четыре младшіе класса. Въ другой, маленькой, жилъ я вмѣстѣ съ двумя старшими классами; какъ разъ противъ моей дачи—въ третьей—поселился самъ Цейдлеръ со всѣмъ своимъ семействомъ.

Въ качествѣ воспитателя, мнѣ пришлось сразу окунуться во всѣ ежедневныя дрязги и закулисныя тайны училищнаго быта, и не прошло и трехъ мѣсяцевъ, какъ въ августѣ уже отношенія мои къ Цейдлеру сдѣлались столь враждебными, что я принужденъ былъ открыто и со скандаломъ разорвать съ нимъ, бросить дѣло и уѣхать въ Петербургъ.

Съ самаго моего вступленія въ исполненіе новой обязанности и съ пріѣзда въ Парголово мое сердце разрывалось на части при видѣ того, какъ кормятъ воспитанниковъ. И къ тому-же это было не одно наблюденіе, а личный опытъ: воспитатели ѣли вмѣстѣ съ воспитанниками за однимъ столомъ, причемъ имъ полагалась двойная порція. Но эта двойная порція была столь скудна, что приходилось присоединять къ ней по крайней мѣрѣ бутылки три молока, чтобы быть сытымъ. Каковыже были порціи воспитанниковъ? Прибавьте къ этому затхлые и порой до полнаго отвращенія гнилые продукты, что дѣлало содержаніе воспитанниковъ еще болѣе ужаснымъ, такъ какъ къ хроническому голоду присоединилась еще постоянная опасность отравиться.

Но и самая система воспитанія не замедлила открыться передо мной въ самомъ ужасномъ видѣ.

Я весьма далекъ отъ того, чтобы писать ни съ того, ни съ сего какой-то обвинительный актъ противъ человѣка, давно мирно почившаго на Волковомъ кладбищѣ и всѣми забытаго; еще болѣе далекъ отъ того, чтобы себя возвеличивать насчетъ него. Будучи человѣкомъ 40-хъ годовъ, Цейдлеръ усвоилъ вполнѣ искренне кое-какія гуманныя идеи своего вѣка, выдавая себя даже за приверженца Ог. Конта, и безспорно имѣлъ свои неотъемлемыя достоинства. Изъ разсказовъ воспитанниковъ можно было вывести заключеніе, что до него порядки въ училищѣ представляли собой нѣчто еще болѣе ужасное и со вступленіемъ его въ должность директора начались въ училищѣ золотыя времена, такъ что общее мнѣніе о немъ въ училищѣ было для него весьма благопріятно. Вся бѣда заключалась въ томъ, что онъ принадлежалъ къ старой педагогической школѣ, ею былъ воспитанъ и ее практиковалъ въ долгіе годы своего продолжительнаго служенія въ Гатчинскомъ институтѣ, славившемся нѣкогда крайне суровымъ режимомъ. Старая педагогическая школа, основанная на военной дисциплинѣ и поддерживаемая чувствомъ страха, была такой стройной и законченной системой, въ которой каждый винтикъ на своемъ мѣстѣ имѣлъ свое значеніе, и пренебреженіе ничтожной гаечкой грозило распаденіемъ всего зданія.

Такъ мнѣ на первыхъ-же порахъ показалось какимъ-то чудовищнымъ лицемѣріемъ, что человѣкъ, прикидывающійся самымъ гуманнымъ и возвышенно-честнымъ, могъ допускать во ввѣренномъ ему заведеніи такіе вдругъ ужасы, какъ розги и шпіонство воспитанниковъ. Я не подозрѣвалъ тогда еще, что и то, и другое органически вытекаетъ изъ самой системы, составляетъ ея неотъемлемыя принадлежности. Въ самомъ дѣлѣ, мыслимо-ли соблюденіе этой системы безъ цѣлой серіи наказаній, прогрессирующихъ по своей строгости, причемъ, если вы выведете изъ употребленія розги, все равно вамъ придется замѣнить ихъ другими наказаніями, не менѣе жестокими въ высшихъ ихъ степеняхъ. Что-же касается шпіонства, то если вы ни малѣйшихъ заботъ не станете прилагать къ организаціи его, а, напротивъ того, будете гнушаться имъ, все равно оно независимо отъ васъ явится къ вашимъ услугамъ: вы и не замѣтите, какъ два, три воспитанника съ подленькими душонками, наиболѣе падкіе попадаться начальству на глаза и увиваться вокругъ него, между разговорами донесутъ вамъ о затѣвающемся противъ васъ заговорѣ, ну, и какъ-же вамъ не предупредить его для пользы самихъ-же воспитанниковъ и для общаго спокойствія?

Такимъ образомъ все выходило какъ-то само собой у моего начальника: какъ гуманный человѣкъ, онъ не отдавалъ приказаній пороть воспитанниковъ, но, когда воспитатели младшихъ классовъ собственноручно пороли ихъ, онъ имъ не препятствовалъ. Точно также и шпіонства умышленно онъ не организовалъ, но у него были свои любимчики изъ воспитанниковъ, которые льстили ему, юлили передъ нимъ, а его педагогическое самолюбіе умилялось, что вотъ какой онъ директоръ, какъ его воспитанники любятъ! Онъ принималъ ихъ къ себѣ въ домъ въ качествѣ друзей, и они въ откровенно-дружескихъ разговорахъ сообщали ему все, что ему было нужно или интересно знать.

Читатель конечно вправѣ возразить мнѣ: зачѣмъ-же Цейдлеръ держался старой рутины, и въ какое притомъ время: въ самый разгаръ педагогическихъ реформъ, когда Ушинскій, Водовозовъ, Резенеръ, Гердъ и пр. вносили въ педагогическія сферы такія новыя и благотворныя вѣянія!? Но нужно при этомъ принять слѣдующаго рода смягчающія обстоятельства: Цейдлеру было далеко уже за 50 лѣтъ; въ такіе годы человѣку трудно бываетъ уже отвыкать отъ старыхъ привычекъ и переучиваться. Въ то-же время, будучи обремененъ огромнымъ семействомъ и выдержавши тяжелый финансовый кризисъ послѣ крушенія «Иллюстраціи», онъ былъ радъ пригрѣть свои старыя косточки на тепленькомъ мѣстечкѣ, и не до того ему было, чтобы производить ломку и надъ собой, и во ввѣренномъ ему училищѣ, не зная, какъ еще посмотритъ на это начальство. Онъ и ограничился тѣмъ, что оставилъ все по старому и только смягчилъ излишнюю суровость прежнихъ порядковъ.

Что-же касается меня, то, чуждый какихъ-бы то ни было педагогическихъ знаній, а тѣмъ болѣе опытности въ дѣлѣ, за которое взялся впервые, я въ то-же время весь былъ охваченъ передовыми идеями вѣка и вторгся въ господствовавшую въ училищѣ старую систему постороннимъ клиномъ, нарушавшимъ все движеніе машины. Никакими опасными пропагандами я не занимался, не будировалъ, не рисовался какимъ-либо Базаровымъ, не критиковалъ, не отрицалъ и никакихъ крупныхъ скандаловъ и недоразумѣній не произвелъ. Все разногласіе мое съ общимъ строемъ училища заключалось повидимому въ такихъ мелочахъ, которыя не стоили и выѣденнаго яйца: прочіе воспитатели напримѣръ еженедѣльно, а въ экстренныхъ случаяхъ и чаще, сообщали директору о предпринимаемыхъ ими мѣрахъ противъ дурного поведенія воспитанниковъ и испрашивали у него совѣтовъ, какъ имъ поступать въ томъ или въ другомъ случаѣ. Я-же никого не наказывалъ, никакихъ мѣръ не предпринималъ, совѣтовъ не спрашивалъ и заявлялъ постоянно о полномъ довольствѣ своими воспитанниками. Прочіе воспитатели заставляли своихъ воспитанниковъ идти въ столовую или въ паркъ на прогулку не иначе, какъ шеренгами по два въ рядъ и мѣрнымъ военнымъ шагомъ. Я этого не дѣлалъ, полагая, что воспитанники старшихъ классовъ могутъ быть избавлены отъ подобной субординаціи, и они ходили у меня вразсыпную, причемъ я допускалъ, что и въ столѣ, и въ прогулкѣ могъ и не участвовать, кто не желалъ. Директоръ дозволилъ воспитанникамъ старшихъ классовъ гулять по селу однимъ, безъ воспитателя, лишь-бы они не отлучались далѣе села въ паркъ. Не возражая противъ этого предписанія, я въ то-же время не былъ въ состояніи исполнить его, не имѣя возможности слѣдить, чтобы воспитанники не удалялись за положенные предѣлы. Для этого нужно было-бы въ каждомъ концѣ села поставить по сторожу или-же удерживать воспитанниковъ отъ нарушенія предписанія страхомъ какихъ-нибудь драконовскихъ мѣръ, что совсѣмъ было не по мнѣ. Вотъ такія-то мелочи мало-по-малу и привели къ тому, что воспитанники чуть не носили меня на рукахъ, а Цейдлеръ въ одинъ прекрасный день заявилъ мнѣ, что я мало того что распустилъ ввѣренныхъ мнѣ воспитанниковъ, но поселилъ среди нихъ духъ строптивости, неповиновенія и недовольства. А посему онъ считаетъ долгомъ подтянуть воспитанниковъ и назначить имъ болѣе строгаго воспитателя. Мнѣ только и оставалось, что раскланяться и, сложивши свои немногочисленныя пожитки въ маленькій чемоданчикъ, уѣхать въ Петербургъ въ глубокомъ сокрушеніи, утѣшаясь только тѣмъ, что воспитанники толпой высыпали изъ дачи, когда я садился въ телѣгу, и трогательно прощались со мной, благодаря за всѣ мои о нихъ попеченія. Это имѣло видъ маленькой демонстраціи, такъ какъ происходило передъ окнами директора.

Воротившись домой, я остался снова, что называется, на бобахъ, но счастье и тутъ не оставило меня. Въ сентябрѣ я получилъ новое мѣсто учителя русскаго языка въ младшихъ классахъ въ одномъ изъ самыхъ аристократическихъ женскихъ институтовъ. Здѣсь мнѣ удалось пробыть цѣлыхъ два года. Инспекторъ, почтенный старичокъ, большой любитель русской словесности и шекспироманъ, благоволилъ ко мнѣ; съ воспитанницами я также поладилъ и имѣлъ много обожательницъ; но женскій персоналъ заведенія, начиная съ престарѣлой директрисы, женщины ультра-консервативныхъ взглядовъ и страстно любившей чинопочитаніе и подобострастіе, и кончая всѣми инспектрисами и классными дамами,—вскорѣ поголовно возненавидѣлъ меня. Болѣе всего оттолкнула ихъ отъ меня конечно моя плебейская неуклюжесть. Мнѣ поставили въ вину, что я не умѣю ни встать, ни сѣсть, ни поклониться, какъ слѣдуетъ, ноги держу—Богъ знаетъ какъ: закладываю напримѣръ, сидя на стулѣ, одну на другую, употребляю самыя тривіальныя слова, вродѣ (fi donc!) *шворотъ на выворотъ*. Начальница-же болѣе всего вознегодовала на меня за то, что я осмѣлился въ третьемъ классѣ читать отрывки изъ «Вечеровъ на хуторѣ» Гоголя, этого грязнаго, по ея словамъ, писателя, который оклеветалъ Россію. При такихъ условіяхъ черезъ два года мнѣ предложили оставить заведеніе.

Не буду распространяться о своей даль-

нѣйшей педагогической дѣятельности. Скажу коротко, что долѣе всего я удержался въ той самой Ларинской гимназіи, гдѣ прежде самъ учился. Здѣсь я преподавалъ русскій языкъ въ трехъ младшихъ классахъ, и меня терпѣли пять лѣтъ, съ 1866 года по 1871, несмотря на то, что въ это время я успѣлъ уже сдѣлаться постояннымъ сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ». Терпѣли-бы можетъ быть и долѣе, но въ 1871 году вышелъ новый гимназическій уставъ, по которому сверхштатные учителя должны были преподавать безъ жалованья. Даромъ тянуть учительскую лямку я не былъ согласенъ; штатныхъ вакансій въ Петербургѣ не было, а ѣхать въ провинцію я не желалъ, — и я покончилъ навсегда съ государственной службой. Впродолженіи трехъ лѣтъ потомъ я все-таки занимался еще педагогіей, преподавая русскую словесность въ старшихъ классахъ одной частной женской гимназіи. Въ 1875-мъ же году я разстался навсегда съ педагогіей, какой-бы то ни было, какъ казенной, такъ и частной, такъ какъ болѣе въ ней уже не нуждался.

Педагогическія занятія, особенно въ первые три года (съ 1864 по 1867), совсѣмъ почти отвлекли меня отъ литературы. Я только и успѣлъ въ это время, что называется, мелькомъ написать два фельетончика. Одинъ изъ нихъ былъ написанъ мною въ 1865 г. подъ сильнымъ впечатлѣніемъ чтенія только-что вышедшей въ то время исторической драмы Островскаго «Воевода». Долго не зналъ я, куда мнѣ дѣвать эту вылившуюся изъ-подъ моего пера какъ-то непроизвольно статейку, наконецъ надумалъ послать ее г. Старчевскому въ «Сынъ Отечества». Г. Старчевскій вскорѣ напечаталъ ее въ своей газетѣ. Она заняла столь большое мѣсто въ нижнихъ столбцахъ газеты, въ фельетонномъ отдѣлѣ, что я шелъ въ роскошный домъ Монферана,—которымъ въ то время владѣлъ г. Старчевскій и гдѣ помѣщались редакція и контора «Сына Отечества»,—съ радужной мечтой получить никакъ не менѣе двадцати пяти рублей и, каково-же было мое разочарованіе, когда за мой фельетонъ отсчитали мнѣ всего на всего семь рублей съ копѣйками. Послѣ того я всегда со стѣсненнымъ сердцемъ проходилъ мимо дома Монферана и никому не говорилъ о своей попыткѣ сотрудничать въ «Сынѣ Отечества».

Въ томъ-же 1865 году я написалъ другой фельетонъ, въ которомъ провелъ новый взглядъ на Рудина, въ оппозицію мнѣніямъ о героѣ Тургенева, высказываемымъ въ то время Писаревымъ. Фельетонъ этотъ имѣлъ болѣе счастливую участь. Я показалъ его своему большому пріятелю Александру Васильевичу Топорову, вращавшемуся въ то время въ самыхъ передовыхъ литературныхъ кружкахъ и имѣвшему на меня большое вліяніе. Ему понравился мой фельетонъ, и по своимъ литературнымъ связямъ ему ничего не стоило пристроить его въ нѣкоей газеткѣ, носившей названіе «Народная Лѣтопись». Газета эта существовала весьма недолго и прекратилась по какому-то цензурному недоразумѣнію, если память мнѣ не измѣняетъ, всего на 13-мъ нумерѣ, весной въ 1865 году. Издавалась она артелью и инкогнито, причемъ не только ея владѣльцы и редакторы, но и сотрудники не подписывались подъ статьями; такъ было принято, и во всѣхъ нумерахъ газеты вы не найдете не только ни одной полной подписи, но и ни одного иниціала. И мой фельетонъ, напечатанный какъ разъ въ послѣднемъ нумерѣ газеты, вышелъ безъ подписи.

Фельетонъ этотъ былъ замѣчателенъ для меня тѣмъ, что послужилъ мнѣ поводомъ для сближенія съ Д. И. Писаревымъ.

VI.

Читателямъ, знакомымъ съ главными фактами жизни Д. И. Писарева, извѣстно, что Писаревъ кончилъ курсъ въ с.-петербургскомъ университетѣ въ 1861 г. и уже за годъ до окончанія курса разошелся со своими однокурсниками, какъ съ отсталыми гелертерами, уткнувшимися въ свою отвлеченную книжную ученость и не интересующимися никакими живыми современными вопросами. Послѣ того мы съ Писаревымъ почти совсѣмъ и не встрѣчались.

Что касается до меня, то, хотя вскорѣ по окончаніи курса я въ свою очередь началъ съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе увлекаться злобами дня, мнѣ удалось сохранить дружбу съ членами университетскаго кружка до 1866 г., т. е. втеченіи пяти лѣтъ по выходѣ изъ университета, такъ что учительскими мѣстами въ училищѣ человѣколюбиваго общества и въ женскомъ институтѣ я былъ обязанъ некому иному, какъ А. Н. Майкову.

Но въ половинѣ 1866 года, подъ различными впечатлѣніями и вліяніями какъ моей личной, такъ и общественной жизни, стало уже немыслимо дальнѣйшее знакомство съ прежними товарищами, и я круто разорвалъ съ ними.

Особенно сильное вліяніе оказывалъ въ то время на меня Александръ Васильевичъ Топоровъ. Онъ не былъ тогда еще ни другомъ, ни даже знакомъ съ Тургеневымъ; напротивъ того, возмущался его «Отцами и Дѣтьми» и относился къ нему крайне отрицательно, какъ къ писателю отжившему. Онъ вращался тогда въ средѣ литераторовъ прогрессивнаго лагеря, былъ знакомъ съ нѣкоторыми сотрудниками «Современника» и увлекался Герценомъ, съ сочиненіями котораго носился по городу. Вокругъ него группировался въ то время небольшой кружокъ правовѣдовъ, принужденныхъ оставить училище вслѣдствіе какой-то исторіи. Къ этому кружку примкнулъ и я, и хотя въ особенно близкія и дружески интимныя отношенія съ его членами не вступалъ, тѣмъ не менѣе участвовалъ на всѣхъ ихъ бесѣдахъ, устраивавшихся по большей части у Топорова, въ его холостой квартиркѣ, которую занималъ

онъ по своей службѣ въ домѣ придворныхъ служителей по Сергіевской, у Лѣтняго сада. Тамъ рѣдкую недѣлю не сходились мы читать то какую-нибудь вновь вышедшую за-границей брошюру, то послѣднюю книжку «Современника», причемъ велись жаркіе и ожесточенные споры. Притомъ надо принять въ соображеніе, что въ то время какъ разъ происходила знаменитая полемика Антоновича съ Писаревымъ и Зайцевымъ, которая всю молодежь раздѣлила на два лагеря: сторонниковъ «Современника» и «Русскаго Слова». Такъ какъ глава нашего кружка, Топоровъ, былъ знакомъ съ нѣкоторыми сотрудниками «Современника», понятно, онъ и стоялъ на сторонѣ «Современника»,—а за нимъ и мы всѣ питали вражду къ «Русскому Слову». Поэтому самому и въ своемъ фельетонѣ, напечатанномъ по протекціи Топорова въ газетѣ «Народная Лѣтопись», издававшейся при «Современникѣ», я выступилъ противъ Писарева.

Въ 1866 году Писаревъ, какъ извѣстно, былъ выпущенъ изъ Петропавловской крѣпости, гдѣ онъ высидѣлъ четыре года, и поселился съ матерью и двумя сестрами на Петербургской сторонѣ въ Дворянской улицѣ. Какъ только я узналъ, что Писаревъ на свободѣ и живетъ такъ близко отъ меня, на той же Петербургской, меня такъ и потянуло къ нему. Главное, что подзадорило меня идти къ Писареву, пренебрегая всѣми кружковыми пристрастіями,—это впечатлѣніе, произведенное на меня чтеніемъ статьи его, напечатанной въ «Русскомъ Словѣ»,—«Университетская наука»,—статьи, въ которой нашъ университетскій товарищескій кружокъ былъ изображенъ въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ. Мнѣ захотѣлось заявить передъ Писаревымъ, что я не имѣю уже ничего общаго съ этимъ кружкомъ, и хотя принадлежу къ враждебной по отношенію къ Писареву фракціи, но во всякомъ случаѣ считаю себя солидарнымъ съ нимъ въ основныхъ убѣжденіяхъ.

Сказано—сдѣлано. Однажды вечеромъ я отправился къ Писареву. Не знаю ужъ, былъ или не былъ онъ удивленъ моему неожиданному появленію, но принялъ меня очень радушно, какъ стараго товарища, какъ будто между нами никогда не было ни малѣйшаго разрыва. Послѣ нѣсколькихъ общихъ фразъ, произносимыхъ при свиданіи послѣ долгой разлуки, и разспросовъ меня со стороны Писарева о томъ, какъ я живу и что дѣлаю,—имѣя въ виду, что въ комнатѣ кромѣ насъ двоихъ были еще посторонніе, я заявилъ Писареву, что мнѣ хотѣлось-бы сказать ему нѣсколько словъ наединѣ. Писаревъ тотчасъ же увелъ меня не только въ другую комнату, но и въ этой комнатѣ—за ширмы.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ онъ въ недоумѣніи.

— Да вотъ, пришелъ я къ тебѣ засвидѣтельствовать свое искреннее уваженіе къ твоимъ литературнымъ успѣхамъ и поздравить тебя съ освобожденіемъ; только я не знаю, имѣлъ-ли право являться къ тебѣ въ домъ, принимая во вниманіе одно обстоятельство...

— Какое обстоятельство, я не понимаю?

— Дѣло въ томъ, что я въ одно и то же время являюсь къ тебѣ въ качествѣ и друга, и врага. Надо тебѣ сказать, что во время нашей съ тобой по крайней мѣрѣ пятилѣтней разлуки я пережилъ и передумалъ многое, и теперь я уже не тотъ, что былъ, схожусь съ тобой въ основныхъ убѣжденіяхъ и могу заявить полную съ своей стороны солидарность съ тобой. Въ этомъ отношеніи я твой если и другъ, то союзникъ...

— Н-да!—процѣдилъ Писаревъ сквозь зубы:—ты со своей стороны можешь заявлять о своей солидарности со мной; тебѣ это виднѣе, но я пока долженъ вѣрить лишь твоему заявленію. Мнѣ нужно еще позондировать тебя, чтобы убѣдиться такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? Но это дѣло времени. Во всякомъ случаѣ я очень радъ возобновленію старой дружбы.

— А тутъ-то вотъ и сидитъ маленькая загвоздка,—прервалъ я его:—ты читалъ фельетонъ противъ тебя, напечатанный въ такомъ-то нумерѣ «Народной Лѣтописи»?

— Читалъ.

— Такъ да будетъ тебѣ извѣстно, что авторъ этого фельетона—я. Въ такомъ смыслѣ я являюсь твоимъ врагомъ, и, если пожелаешь, можешь сейчасъ-же показать мнѣ на дверь.

— Напротивъ того,—вскричалъ Писаревъ съ одушевленіемъ:—въ этомъ фельетонѣ я именно вижу полное доказательство твоей солидарности со мной и болѣе вѣскихъ доказательствъ никакихъ мнѣ и не надо. Пусть фельетонъ твой написанъ противъ меня, но онъ мнѣ понравился, какъ желаніе идти дальше меня. На всякое такое желаніе я смотрю съ радостью и уваженіемъ. Я полагаю, что больше намъ нечего и объясняться,—дѣло ясно.

Вслѣдъ затѣмъ Писаревъ вывелъ меня въ залу, гдѣ были его мать, сестры, извѣстный писатель и сотрудникъ «Русскаго Слова», Соколовъ, докторъ П., дѣвица Е. Т. Калиновская,—и съ сіяющимъ лицомъ торжественно провозгласилъ:—«Господа, поздравляю, въ нашемъ полку прибыло. Александръ Михайловичъ—нашъ»...

Послѣ этого изрѣдка я навѣщалъ Писарева. Онъ повезъ меня даже къ Г. Е. Благосвѣтлову съ цѣлью пристроить къ «Русскому Слову». Я провелъ съ нимъ у Благосвѣтлова цѣлый вечеръ, созерцая, какъ Писаревъ со своимъ патрономъ и не помню еще съ какими-то двумя партнерами игралъ въ преферансъ—и проигралъ нѣсколько рублей. Я и прежде былъ предубѣжденъ противъ Благосвѣтлова,—слышалъ, какъ онъ скаредно расплачивается съ сотрудниками и относится къ нимъ довольно грубо и пренебрежительно, и какъ эксплоатируетъ Писарева, пользуясь скромностью его потребностей и безсребренностью. Лично онъ произвелъ на меня въ свою очередь отталкивающее впечатлѣніе: во всей фигурѣ его, въ разговорахъ, въ самой обстановкѣ комнатъ, способѣ игры, скудномъ ужинѣ, какимъ закончился вечеръ,—было что-то грубоватое, аляповатое, собакевичевское и вмѣстѣ съ тѣмъ прижимистое, кулаческое, скаредное...

Онъ пригласилъ меня писать рецензіи о новыхъ книгахъ и компилятивныя статьи въ «Русскомъ

Словѣ»; я отвѣтилъ согласіемъ, но не спѣшилъ приступать къ дѣлу, а затѣмъ вскорѣ былъ приглашенъ Некрасовымъ въ «Современникъ» и предпочелъ его «Русскому Слову».

Впродолженіи 1866 года я очень рѣдко видѣлся съ Писаревымъ. Но весной 1867 года я какъ-то забрелъ къ нему утромъ и засталъ его въ состояніи сильной хандры и раздражительности. Онъ жаловался, что ничего у него не пишется: напишетъ страницу и сейчасъ же разорветъ.

— А все причиной моя несчастная любовь! — воскликнулъ онъ съ той прозрачной откровенностью, какой всегда отличался: — такъ ужъ вѣрно суждено мнѣ въ жизни — влюбляться въ своихъ кузинъ и каждый разъ безуспѣшно... А я чувствую, что я строчки не напишу, пока не добьюсь торжества своей любви.

Вскорѣ послѣ этого визита онъ переѣхалъ съ Петербургской стороны къ М. А. М., — и мнѣ ни разу болѣе не пришлось быть у него. Въ томъ же 1867 году онъ разошелся съ Благосвѣтловымъ и былъ приглашенъ Некрасовымъ въ «Отечественныя Записки».

Сторонники «Русскаго Слова», превратившагося въ 1867 году въ «Дѣло», говорили, что, перейдя въ «Отечественныя Записки», Писаревъ совсѣмъ пересталъ быть прежнимъ Писаревымъ, увялъ и обезцвѣтился. Но это было одно пустое злорѣчіе. Если и въ самомъ дѣлѣ послѣдніе три года жизни Писарева не ознаменовались никакимъ яркимъ проявленіемъ его таланта, то какія бы обстоятельства ни были причиной этого, во всякомъ случаѣ переходъ въ «Отечественныя Записки» былъ тутъ не причемъ. Сильно сомнѣваюсь я, чтобы Благосвѣтловъ могъ имѣть на Писарева какое бы то ни было вдохновляющее вліяніе, а что платилъ онъ ему за статьи, составлявшія главную силу и украшеніе «Русскаго Слова», возмутительно мало и скаредно, этого никто не оспоритъ. «Отечественныя Записки», обѣщая Писареву не въ примѣръ большее матеріальное обезпеченіе, въ то же время предоставляли полный просторъ для его пера. Онъ могъ быть спокоенъ, что каждая статья его, что бы онъ ни написалъ, будетъ съ радостью принята.

Но правда и то, что Писареву все-таки въ «Отечеств. Записк.» было не по себѣ, и это очень понятно. Въ «Русскомъ Словѣ» его хотя и обсчитывали, но за нимъ все-таки ухаживали, устраивали нарочно для него карточные вечера по маленькой, смотрѣли на него снизу вверхъ, и онъ рядомъ съ прочими сотрудниками чувствовалъ себя великаномъ среди пигмеевъ. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» передъ такими престарѣлыми уже корифеями, какъ Некрасовъ, Салтыковъ, Елисѣевъ, — Писаревъ чувствовалъ себя хотя и талантливымъ, но все-таки молокососомъ. Поэтому онъ никогда почти не бывалъ въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Только два раза видѣлъ я его въ квартирѣ Некрасова: разъ это было на обѣдѣ, который далъ Некрасовъ своимъ сотрудникамъ, по выходѣ первой книжки «Отечественныхъ Записокъ» подъ новой редакціей въ 1868 году. Писаревъ сидѣлъ на этомъ обѣдѣ рядомъ со мной, молчаливый, сосредоточенный, нѣсколько даже растерянный среди людей мало ему знакомыхъ, между которыми къ тому же были такія личности, какъ Салтыковъ, къ которымъ онъ такъ недавно еще относился съ самыми безпощадными сарказмами въ разгарѣ своей полемики съ «Современникомъ». Чтобы понять, какъ жутко было Писареву въ обществѣ Салтыкова, нужно принять въ соображеніе, что статья его «Цвѣты невиннаго юмора» была напечатана не далѣе, какъ года четыре и много если пять лѣтъ передъ тѣмъ.

Между прочимъ во время обѣда Писаревъ обратился ко мнѣ съ такимъ замѣчаніемъ:

— Не правда-ли мы съ тобой здѣсь напоминаемъ тѣхъ институтокъ, которыхъ пригласили на парадный обѣдъ къ maman. Не достаетъ намъ только пелеринокъ.

Я невольно оглядѣлъ все сидящее за столомъ общество и вполнѣ согласился съ Писаревымъ. Дѣйствительно, всѣ остальные собесѣдники по крайней мѣрѣ на пятнадцать, на двадцать лѣтъ были старше, а Писаревъ, будучи двумя годами моложе меня, представлялъ собой самаго младшаго члена собранія.

Въ другой разъ я встрѣтилъ Писарева весной 1868 года въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ» въ одинъ изъ понедѣльниковъ, когда члены редакціи и сотрудники собирались обыкновенно отъ двухъ до четырехъ часовъ. Онъ влетѣлъ въ редакцію на этотъ разъ такой веселый и оживленный, какимъ я его давно не видѣлъ. — «Должно быть, подумалъ я невольно, онъ дождался праздника своей любви!» — Пришелъ онъ съ цѣлью проститься передъ своимъ отъѣздомъ на лѣто въ Дуббельнъ на морскія купанья. Восторженное расположеніе духа его, «сіяніе», какъ онъ самъ выражался о подобныхъ радостныхъ моментахъ своей жизни, еще болѣе просіяло, когда вошла въ редакцію совершенно незнакомая ему дѣвушка съ большимъ поясным фотографическимъ портретомъ его и, узнавши подлинникъ, подошла къ нему съ робкой просьбой подписаться подъ портретомъ, что Писаревъ тотчасъ же конечно охотно исполнилъ. Самолюбіе его естественно было польщено этимъ проявленіемъ популярности его, тѣмъ болѣе, что оно произошло въ глазахъ людей, передъ которыми Писареву особенно должно было быть пріятно заявить свою популярность. Въ этомъ отношеніи, надо правду сказать, поклонница его не могла избрать болѣе счастливаго момента для того дѣла, съ которымъ явилась къ Писареву. Кто она? жива-ли? и если жива, гдѣ она? Помнитъ-ли этотъ эпизодъ въ своей жизни? Во всякомъ случаѣ большое ей спасибо за то, что она доставила лишнее свѣтлое мгновеніе человѣку, который вполнѣ заслужилъ такого почета, какой она ему оказала.

Думалъ-ли я въ то время, что вижу Писарева въ послѣдній разъ! Въ то же лѣто его не стало. Онъ, какъ извѣстно, утонулъ, купаясь въ морѣ, въ Дуббельнѣ, гдѣ проводилъ лѣто. Замѣчателенъ въ этомъ отношеніи тяготѣвшій надъ нимъ фатумъ: три раза въ своей жизни онъ подвергался опасности утонуть.

*

Въ первый разъ онъ едва не утонулъ въ дѣтствѣ, купаясь въ рѣчкѣ, въ деревнѣ на своей родинѣ; его вытащилъ уже полумертваго мужикъ. Во второй разъ онъ подвергся опасности утонуть, будучи въ первомъ курсѣ университета. Извѣстно, что въ университетъ поступилъ онъ очень рано — пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ. И вотъ такой студентъ-отрокъ, однажды весной, незадолго до вскрытія рѣкъ, шелъ черезъ Неву и вздумалось ему испробовать прочность льда, затянувшаго тонкимъ слоемъ тѣ продольныя полыньи, какія весной устраиваются для предстоящей разводки мостовъ. Онъ ступилъ обѣими ногами въ полынью и тотчасъ же провалился по-горло. И опять-таки явился на помощь спасительный мужикъ, шедшій сзади, и вытащилъ барина за воротникъ пальто.

На третій разъ, въ Дуббельнѣ, спасительнаго мужика не оказалось. Замѣчательно, что въ то время какъ другіе топутъ оттого, что не умѣютъ плавать, Писаревъ, напротивъ того, обязанъ своей смертью именно тому, что былъ слишкомъ хорошій и отважный пловецъ. Вотъ какъ произошла печальная катастрофа, какъ мнѣ передавали потомъ близкіе люди Писарева, жившіе съ нимъ въ Дуббельнѣ. Купальное мѣсто, гдѣ бралъ морскія ванны Писаревъ, было расположено такъ, что съ берега на нѣкоторое разстояніе было мелко; затѣмъ слѣдовалъ глубокій фарватеръ. За нимъ шла мель; далѣе опять глубокое мѣсто, опять мель. Будучи хорошимъ пловцомъ, Писаревъ такимъ образомъ переплывалъ два или три фарватера, отдыхая на каждой промежуточной мели. Такъ случилось и на этотъ разъ: судя по тому, гдѣ было найдено его тѣло, можно заключить, что онъ благополучно переплылъ два глубокія мѣста, а въ третьемъ утонулъ,—вслѣдствіе-ли нервнаго удара или судорогъ, осталось покрытымъ мракомъ неизвѣстности. Онъ пошелъ купаться одинъ; мѣсто, гдѣ онъ купался, было пустынное, и въ то же время онъ такъ далеко уплылъ, что никто не замѣтилъ, когда онъ погрузился въ воду. Лишь продолжительное отсутствіе его возбудило тревогу въ близкихъ; начались поиски, причемъ тѣло его было найдено и вынуто изъ воды рыбаками по прошествіи многихъ часовъ послѣ несчастія. Это былъ вполнѣ уже бездыханный трупъ, и о спасеніи жизни утопшаго нечего было и думать.

Таинственная смерть Писарева не замедлила возбудить массу нелѣпѣйшихъ слуховъ и сплетенъ въ литературныхъ кружкахъ. Такъ напримѣръ, и до сихъ поръ многіе подозрѣваютъ, что Писаревъ сознательно наложилъ на себя руки, умышленно утопился. Но это подозрѣніе лишено всякихъ основаній. Правда, что послѣ психической болѣзни въ студенческіе годы, отъ которой Писаревъ лечился въ больницѣ Штейна, у него оставались на всю жизнь нѣкоторые признаки психической ненормальности. Онъ вполнѣ оправдывалъ въ этомъ отношеніи теорію Ломброзо, что геніи и талантливые люди по самой природѣ своей — люди психически больные. Но ненормальности эти имѣли самый невинный характеръ, выражаясь лишь въ минутныхъ странностяхъ и чудачествахъ. То напримѣръ вдругъ ни съ того, ни съ чего, бросивъ спѣшную работу, увлекался онъ ребяческимъ занятіемъ раскрашиванья красками политипажей въ книгахъ: то, отправляясь лѣтомъ въ деревню, заказывалъ портному лѣтнюю пару изъ ситца яркихъ колеровъ, изъ какихъ деревенскія бабы шьютъ сарафаны. По выходѣ изъ крѣпости Писаревъ пришелъ въ крайне возбужденное состояніе, выразившееся рядомъ совершенно несообразныхъ поступковъ: за обѣдомъ напримѣръ въ одномъ домѣ онъ смѣшалъ на одну тарелку всѣ кушанья и ѣлъ эту мѣшанину, началъ вдругъ раздѣваться въ обществѣ и т. п. Но это скоро прошло, и Писаревъ, быстро освоившись съ свободой, вошелъ въ свою колею. Но при всѣхъ этихъ чудачествахъ никогда не былъ онъ подверженъ мрачной меланхоліи, пессимизму, отчаянію. Въ общемъ настроеніе духа его было всегда полно жизнерадостнаго сознанія своихъ богатыхъ силъ, таланта и популярности. Сіялъ онъ, уѣзжая въ Дуббельнъ, «для поправленія расшатанныхъ нервовъ», какъ онъ объяснялъ выборъ дачной мѣстности, сіялъ и въ день смерти. По крайней мѣрѣ по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, какія я имѣю, отправляясь купаться, онъ былъ особенно веселъ, оживленъ и доволенъ собой и всѣмъ окружавшимъ его, однимъ словомъ, пилъ съ наслажденіемъ чашу молодой жизни, которую злая судьба такъ безжалостно выхватила изъ его устъ.

VII.

Промежутокъ между 1865 и 1868 годами ознаменовался для меня знакомствомъ съ нѣсколькими писателями, группировавшимися вокругъ Некрасова,—прежде всего конечно съ нимъ самимъ, затѣмъ съ Григоріемъ Захаровичемъ Елисѣевымъ, Василіемъ Алексѣевичемъ Слѣпцовымъ, Николаемъ Степановичемъ Курочкинымъ и др.

Я положительно не помню, какимъ путемъ состоялось мое сближеніе съ Некрасовымъ. Обратилъ-ли самъ Некрасовъ вниманіе на меня, прочитавъ мой фельетонъ въ «Народной Лѣтописи», Слѣпцовъ-ли черезъ Топорова рекомендовалъ меня Некрасову, или это было дѣло Г. З. Елисѣева, съ которымъ я какъ-разъ около этого времени познакомился въ свою очередь черезъ А. В. Топорова. Помню только, что въ одинъ изъ понедѣльниковъ въ февралѣ или мартѣ я явился къ Некрасову, въ его квартиру въ домѣ Краевскаго, на углу Бассейной и Литейной,—и Некрасовъ предложилъ мнѣ писать ежемѣсячно рецензіи по беллетристикѣ, причемъ выдалъ записку для полученія новыхъ книгъ изъ магазина Давыдова, если память меня не обманываетъ.

Но моему сотрудничеству въ «Современникѣ» не суждено было продолжаться долѣе одного мѣсяца. Я только и успѣлъ написать двѣ рецензійки на разсказы изъ народнаго быта В. Слѣпцова и «Степные очерки» А. Левитова, какъ «Современникъ» прекратился.

Личность Некрасова является и до сихъ поръ еще камнемъ преткновенія для всѣхъ имѣющихъ обыкновеніе судить шаблонными представленіями.

Помилуйте, поэтъ музы гнѣва и печали, — пѣвецъ народнаго горя, глашатай мукъ и стоновъ всѣхъ обездоленныхъ, и вдругъ большую часть жизни былъ окруженъ полнымъ комфортомъ и почти роскошью, сладко ѣлъ и пилъ, игралъ въ карты, и еслибы еще пользовался всѣми благами жизни, получивъ ихъ готовыми въ видѣ наслѣдства отъ родителей, но онъ самъ сознательно стремился къ наживѣ всѣхъ этихъ благъ, постоянно былъ себѣ на умѣ, всѣхъ поражалъ своей холодной практичностью и способностью сколачивать копѣйку, прибѣгая для этого порой и къ не совсѣмъ благовиднымъ поступкамъ, заставлявшимъ негодовать на него друзей и даже отворачиваться отъ него. Всего этого оказалось достаточнымъ, чтобы людямъ, привыкшимъ мыслить по шаблонамъ, совсѣмъ разочароваться въ Некрасовѣ, не только какъ въ человѣкѣ, но и какъ въ поэтѣ, предположить, что Некрасовъ вовсе не былъ искреннимъ лирикомъ, а только риторомъ, что онъ поддѣлывался подъ народное горе, потому что это было ему выгодно, и, лицемѣрно выказывая сочувствіе народу, самъ лично никакого подобнаго сочувствія не питалъ, а былъ однимъ изъ тѣхъ кулаковъ, къ которымъ относился съ поддѣльнымъ негодованіемъ и пр., и пр..

Но въ томъ-то и заключается источникъ всѣхъ вопіющихъ противорѣчій въ личности и жизни Некрасова, что онъ былъ не ходячимъ идеаломъ, а живымъ человѣкомъ, который, прежде чѣмъ сдѣлаться поэтомъ народнаго горя, былъ младенцемъ, котораго пеленали и кормили молокомъ матери или кормилицы, былъ ребенкомъ, бѣгавшимъ со своими сверстниками по берегамъ Волги, гимназистомъ и т. д., и впитывалъ въ себя впечатлѣнія отъ всего окружавшаго его вплоть до вліянія Бѣлинскаго. И вотъ создался человѣкъ, который къ тридцати годамъ успѣлъ уже настолько окрѣпнуть въ выработанныхъ годами формахъ, настолько окоченѣть въ нихъ, если можно такъ выразиться, что ни къ какимъ дальнѣйшимъ измѣненіямъ въ чертахъ своего характера былъ уже не способенъ. Бѣлинскій говорилъ о немъ, что «онъ выросъ въ грязной положительности и никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ». Некрасовъ и самъ соглашался, что онъ «точно не былъ идеалистомъ, иначе прежде всего не взялся-бы за журналъ, требующій практическихъ качествъ; что онъ былъ очень бѣденъ и очень молодъ, восемь лѣтъ боролся съ нищетой, видѣлъ лицомъ къ лицу голодную смерть, въ 24 года уже былъ надломленъ работой изъ-за куска хлѣба, и не до того ему было, чтобы жертвовать своими интересами чужимъ»...

Достоевскій, знавшій Некрасова въ юности, въ свою очередь говоритъ: «Милліонъ — вотъ демонъ Некрасова! Что-жъ, онъ такъ любилъ золото, роскошь, наслажденія и, чтобы имѣть ихъ, пускался въ «практичности»? Нѣтъ, скорѣе это былъ другого характера демонъ, это былъ самый мрачный и унизительный бѣсъ. Это былъ демонъ гордости, жажды самообезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердой стѣной и независимо, спокойно смотрѣть на ихъ злость, на ихъ угрозы. Я думаю, этотъ демонъ присосался еще къ сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотѣла, войти въ соглашеніе съ этой чуждой толпой людей не желала. Не то чтобы невѣріе людей закралось въ сердце его такъ рано, но скорѣе скептическое и слишкомъ раннее (а стало быть и ошибочное) чувство къ нимъ. Пусть они не злы, пусть они не такъ страшны, какъ о нихъ говорятъ (навѣрно думалось ему), но они всѣ все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и безъ злости погубятъ, чуть лишь дойдетъ дѣло до ихъ интереса. Вотъ тогда-то и начались можетъ быть мечтанія Некрасова, можетъ быть и сложились тогда-же на улицѣ стихи: «въ карманѣ моемъ милліонъ»...

«Это была жажда мрачнаго, угрюмаго объединеннаго самообезпеченія, чтобы уже не зависѣть ни отъ кого. Я думаю, что не ошибаюсь, я припоминаю кое-что изъ самаго перваго моего знакомства съ нимъ. По крайней мѣрѣ мнѣ такъ казалось потомъ всю жизнь»...

Что-же касается моихъ личныхъ воспоминаній, то меня поражала всегда вотъ какая особенность въ Некрасовѣ, чѣмъ я и объяснялъ и практичность его, и предпріимчивость въ сколачиваніи копѣйки. Онъ представлялъ собой дѣйствительно чрезвычайно яркій типъ, но не поэта народнаго горя, какъ воображаютъ себѣ такого поэта люди шаблоннаго мышленія, а ярославца... Съ головы до ногъ это былъ истый сынъ своей родины, со всѣми тѣми характерными чертами, какими отличаются ярославцы. Біографическія данныя, относящіяся къ его юности, еще болѣе убѣдили меня въ этомъ. Ярославцу, какъ извѣстно, тѣсно и душно жить безвыѣздно въ родномъ селѣ и довольствоваться тѣмъ скуднымъ урожаемъ, какимъ награждаетъ его тощая почва. Онъ постоянно стремится на широкій просторъ жизни, въ какіе-нибудь торговые, промышленные пункты, а то и въ столицы. Именно въ такомъ видѣ, какъ изобразилъ своего героя Некрасовъ, въ стихотвореніи, упоминаемомъ Достоевскимъ, т. е. съ предлинной палкой въ рукахъ, съ пустой котомкой на ней, съ овчинной шубенкой на плечахъ и съ пятнадцатью грошами въ карманѣ, является ярославецъ въ Петербургъ и, не смотря на то, что у него «ни денегъ, ни званія, ни племени, что онъ малъ ростомъ и съ виду смѣшонъ», — это не мѣшаетъ ему мечтать о томъ, что въ двадцать, въ сорокъ лѣтъ въ карманѣ его будетъ милліонъ.

И мысль эта не покидаетъ ярославца, несмотря на самую страшную нужду и голодъ. Полный отваги и предпріимчивости, онъ не теряетъ времени, и за что только ни берется онъ для осуществленія своей мечты: сегодня онъ торгуетъ спичками или гнилыми яблоками, завтра несетъ въ рукахъ какого-нибудь диковиннаго звѣрька, послѣ-завтра поступаетъ половымъ въ трактиръ, а тамъ — глядишь — открываетъ лавочку или портерную и самъ становится хозяиномъ.

Если вы вглядитесь въ юные годы Некрасова, во всѣ тѣ мытарства, какія онъ пережилъ, пока не сдѣлался редакторомъ «Современника», васъ пора-

зить сходство всѣхъ этихъ мытарствъ съ похожденіями любого его земляка. Передъ вами вовсе не скромный труженикъ, который только и дѣлаетъ, что бесѣдуетъ съ музами, борясь съ нуждой; довольствуется той скудной платой, какую ему предлагаютъ скупые издатели, и не предпринимаетъ ни малѣйшихъ попытокъ выйти изъ своего бѣдственнаго положенія, пока талантъ не обратитъ на него всеобщаго вниманія и не сдѣлаетъ его знаменитостью, произведенія которой цѣнятся на вѣсъ золота. Напротивъ того, мы видимъ, что въ первыхъ-же шагахъ своихъ въ столицѣ Некрасовъ является уже отважнымъ предпринимателемъ и жилка практичности сказывается уже въ немъ. Какъ истый ярославецъ, онъ стучится, что называется, во всѣ двери, и чего только не предпринимаетъ ради того, чтобы выбиться изъ нищеты и обезпечить себя: и рецензіи пишетъ, и уроки даетъ, и волшебныя сказки сочиняетъ, и заводитъ связи съ актерами, и пишетъ пьесы для сцены. Въ то-же время, не смотря на свои восемнадцать лѣтъ, онъ представляется намъ вовсе не такимъ безпечнымъ и неразсчетливымъ юношей, который что получалъ, то сейчасъ-же и проживалъ, путаясь въ долгахъ. Ничуть не бывало. Довольно сказать, что втеченіи первыхъ же двухъ лѣтъ пребыванія въ Петербургѣ, какъ разъ въ такое время, когда ему приходилось иногда ночевать на улицахъ или въ нищенскихъ вертепахъ, онъ тѣмъ не менѣе успѣлъ скопить такую сумму денегъ, что былъ въ состояніи издать на свой счетъ и рискъ книжечку своихъ первыхъ стихотвореній, а черезъ пять лѣтъ онъ уже является главнымъ организаторомъ литературныхъ силъ съ цѣлью изданія сборничковъ и отважно выпускаетъ ихъ одинъ за другимъ, пока не становится во главѣ «Современника» соперникомъ такого прожженнаго уже доки въ журнальномъ дѣлѣ, какъ Краевскій.

Ярославская практическая предпріимчивость не ограничивалась въ Некрасовѣ однимъ только безсознательнымъ врожденнымъ инстинктивнымъ влеченіемъ, а впослѣдствіи развилась въ вполнѣ сознательный идеалъ, который Некрасовъ олицетворилъ въ романѣ «Три страны свѣта» въ своемъ героѣ Каютинѣ. Подобно самому автору этотъ Каютинъ, пройдя сквозь такія-же испытанія, пришелъ къ убѣжденію, что для того, чтобы нажиться у насъ въ Россіи, въ которой скрываются неисчерпаемые источники богатствъ, не разработанные, не тронутые,—нужны только умѣнье да твердая, желѣзная воля... «Бываютъ же примѣры и у насъ, — говоритъ Каютинъ,—что человѣкъ, не имѣвшій гроша, черезъ десять, двадцать лѣтъ ворочаетъ сотнями тысячъ, а отчего? Онъ отказываетъ себѣ во всемъ, отказывается отъ всего... обрекаетъ себя на безсрочную разлуку съ роднымъ угломъ, съ дѣтьми, со всѣмъ дорогимъ его сердцу... Съ опасностью жизни переплываетъ онъ огромныя пространства на плоту, на дрянной баркѣ, мерзнетъ, мокнетъ, питается Богъ знаетъ чѣмъ, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлѣба подкрѣпляетъ и одушевляетъ его въ долгомъ, скучномъ и опасномъ плаваніи. Только успѣлъ онъ вздохнуть спокойно, почувствовавъ подъ ногами твердую землю, какъ новый выгодный оборотъ увлекаетъ его часто на совершенно-противоположный конецъ нашего необъятнаго царства.

«И вотъ уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ мчится на оленяхъ по унылой и однообразной тундрѣ, покупаетъ, вымѣниваетъ у дикарей звѣриныя шкуры, братается съ ними... А черезъ годъ ему, можетъ-придется быть въ Сибири. Та-же опять борьба, лишенія, вѣчный страхъ и вѣчная, несумирающая надежда... Вотъ какъ куются денежки!...»

Въ этой восторженной тирадѣ выказался передъ нами предпріимчивый ярославецъ весь, до самаго своего нутра. Къ этому самому идеалу стремился Некрасовъ по мѣрѣ силъ своихъ всю жизнь — правда, осуществляя его не такъ широко, какъ онъ провелъ его въ своемъ романѣ, а ограничиваясь одною литературной сферой.

VIII.

Но было-бы крайне односторонне видѣть въ Некрасовѣ одну только практическую предпріимчивость и воображать, что онъ весь исчерпывался ею, представлялъ собою ходячую практичность. Рядомъ съ этимъ элементомъ мы видимъ въ немъ и другіе. Еслибы Некрасовъ весь исчерпывался одной практичностью и жаждой нажиться, изъ него выработался бы одинъ изъ тѣхъ литературныхъ промышленниковъ, которые, плывя всю жизнь между Сциллой и Харибдой литературнаго моря, къ пятидесяти годамъ сколачиваютъ изрядный капитальчикъ и, заботясь лишь о его округленіи, очень бываютъ довольны, если имъ удастся обзавестись двумя-тремя каменными домиками, доходнымъ имѣньицемъ, и больше имъ ничего не надо. Таковъ напримѣръ былъ Андрей Александровичъ Краевскій или Григорій Евлампіевичъ Благосвѣтловъ. Совсѣмъ не таковъ былъ Некрасовъ. Какъ благодушно-филистерское прозябаніе изо дня въ день, такъ и скаредная радость при видѣ возрастающаго изъ года въ годъ капитальчика — были совершенно чужды его натурѣ Это былъ человѣкъ, обладавшій сильными страстями, которыя постоянно требовали исхода въ какихъ-нибудь потрясающихъ впечатлѣніяхъ, и мелкая тина повседневныхъ дрязгъ претила ему. По самой натурѣ своей это былъ боецъ въ томъ смыслѣ, что для него, какъ вода для рыбы, необходима была борьба съ такими препятствіями и опасностями, въ которыхъ заключался-бы болѣе или менѣе отважный рискъ.

Однимъ словомъ, Некрасовъ принадлежалъ къ типу тѣхъ людей, изъ которыхъ вырабатываются или отважные мореходы и путешественники, Колумбы, Куки, Ливингстоны, или-же пираты и контрабандисты. Недаромъ Некрасовъ заставилъ своего Каютина, въ лицѣ котораго онъ воплотилъ свой идеалъ, въ его стремленіи нажиться не ограничиваться какими-нибудь спекуляціями въ стѣнахъ столицы, а непремѣнно путешествовать по тремъ странамъ свѣта, подвергаясь всевозможнымъ опасностямъ въ борьбѣ съ разными стихіями. Еслибы

Некрасовъ не обладалъ художественнымъ талантомъ, устремившимъ его на литературное поприще, изъ него непремѣнно выработался-бы если не скиталецъ вродѣ Маклая-Миклухи, то тотъ-же Каютинъ.

Самая обстановка Некрасова соотвѣтствовала его склонностямъ. Кто вошелъ-бы къ нему въ квартиру, не зная, кто въ ней живетъ, ни за что не догадался-бы, что это квартира литератора, и къ тому-же пѣвца народнаго горя. Скорѣе можно было подумать, что здѣсь обитаетъ какой-то спортсмэнъ, который весь ушелъ въ охотничій промыселъ; во всѣхъ комнатахъ стояли огромные шкапы, въ которыхъ вмѣсто книгъ красовались штуцера и винтовки; на шкапахъ вы видѣли чучела птицъ и звѣрей. Въ пріемной-же комнатѣ на видномъ мѣстѣ между окнами стояла на заднихъ лапахъ, опираясь о дубину, громадная медвѣдица съ двумя медвѣжатами, и хозяинъ съ гордостью указывалъ на нее, какъ на трофей одного изъ своихъ самыхъ рискованныхъ охотничьихъ подвиговъ.

Нужно при этомъ замѣтить, что какая-бы то ни была борьба увлекала Некрасова не столько достиженіемъ своей цѣли, ради которой она велась, сколько самой поэзіей ея процесса! Если долгое время онъ не испытывалъ сильныхъ впечатлѣній этой поэзіи и дни тянулись за днями въ однообразныхъ мелочахъ будничной жизни, онъ весь какъ-то опадалъ, имъ овладѣвало уныніе, онъ дѣлался угрюмъ, раздражителенъ и желченъ. Навѣрное въ подобныя монотонныя минуты жизни создались у него такія мрачныя стихотворенія, какъ «О погодѣ» или «Рыцарь на часъ». Когда же ему предстояло встать лицомъ къ лицу съ чѣмъ-либо вызывающимъ его на бой и напрягающимъ его нервы, онъ весь словно пріосанивался, дѣлался веселъ, разговорчивъ и глаза его горѣли...

Какъ-бы это ни казалось странно съ перваго взгляда, тѣмъ не менѣе слѣдуетъ признать, что три такія, не имѣющія повидимому ничего общаго между собою, занятія въ его жизни, какъ изданіе журнала, карточная игра и охота, — проистекали изъ одного и того-же источника и имѣютъ совершенно одинъ и тотъ-же характеръ. Не одно только увлеченіе передовыми идеями, но и не одна выгода заставляли его издавать журналы съ рискованными направленіями; вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствовало здѣсь и упоеніе борьбы съ тѣми опасностями и всякаго рода подводными камнями, съ какой соединялось это дѣло. Когда Некрасову удалось отстоять журналъ, провести какую-нибудь статью, печатаніе которой казалось съ перваго взгляда немыслимымъ рискомъ, — онъ радовался и ликовалъ совершенно такъ-же, какъ и въ то время, когда ему удавалось подстрѣлить большого лося или уложить медвѣдя. Увлекаясь подобнаго рода борьбой, онъ позволялъ себѣ многое такое, что могло казаться предосудительнымъ съ точки зрѣнія строгой морали, но что онъ оправдывалъ, какъ военныя хитрости. Жестоко ошибаются такимъ образомъ тѣ, которые объясняютъ двоедушіемъ тѣ презрительные отзывы, которые дѣлалъ Некрасовъ въ англійскомъ клубѣ о нѣкоторыхъ изъ своихъ сотрудниковъ. Въ его глазахъ это была лишь стратегія, посредствомъ которой онъ желалъ показать, какъ онъ самъ мало цѣнитъ этихъ сотрудниковъ, внушить кому слѣдуетъ въ свою очередь не смотрѣть на нихъ, какъ на какихъ-то опасныхъ страшилищъ.

Между тѣмъ какъ Некрасовъ вносилъ въ издательское дѣло азартъ игрока, въ свою очередь въ самый разгаръ карточныхъ турнировъ никогда не покидалъ его разсудокъ, который взвѣшивалъ съ хладнокровіемъ математическаго разсчета всѣ шансы выигрышей и проигрышей. Обыкновенно у насъ считается аксіомой, что страсти ослѣпляютъ разсудокъ; карточную-же игру полагаютъ такой гибельной страстью, которая болѣе чѣмъ какая-либо другая отнимаетъ у человѣка и волю, и разумъ. Некрасовъ служитъ вопіющимъ опроверженіемъ этой аксіомы. Та могучая сила воли, которой одаренъ былъ Некрасовъ отъ природы и которую онъ еще болѣе развилъ борьбой съ внѣшними обстоятельствами жизни, ни на минуту не покидала его и въ непрестанной борьбѣ съ самимъ собой. Онъ такъ упорно и крѣпко держалъ въ ежовыхъ рукавицахъ всѣ свои бурныя страсти и такимъ былъ строгимъ хозяиномъ самого себя, что, кто не зналъ его близко, тому онъ могъ показаться человѣкомъ совершенно безстрастнымъ. Онъ самъ однажды признавался по поводу дикаго проявленія гнѣва со стороны не помню ужъ кого-то, что и самъ онъ расположенъ къ необузданной вспыльчивости и въ юности не разъ выходилъ изъ себя; но однажды онъ далъ себѣ слово никогда не позволять себѣ этого,—и съ тѣхъ поръ ни разу не подымалъ голоса ни на одну ноту. И дѣйствительно, сколько я ни зналъ Некрасова, я не запомню ни одного случая, чтобы онъ на кого-нибудь разсердился и закричалъ.

При такомъ непреклонномъ самообладаніи Некрасовъ никогда не позволялъ себѣ въ игрѣ то, что называется *зарываться*. И здѣсь его увлекала не столько цѣль игры — выиграть кучу денегъ и наполнить ими карманы, сколько опять-таки самый процессъ борьбы съ слѣпой фортуной игры. Когда онъ возвращался домой веселый и ликующій послѣ выигрыша и, напротивъ того,—угрюмый и мрачный, проигравшись, не самая прибыль или убыль денегъ обусловливали подобныя настроенія его, а сознаніе себя побѣдителемъ или побѣжденнымъ. Если-бы по дорогѣ изъ клуба онъ неожиданно получилъ сумму вдвое бо́льшую, чѣмъ проигралъ, врядъ-ли эта легкая получка утѣшила-бы его; желчь проигранной битвы продолжала-бы мутить его.

Въ то-же время Некрасовъ игралъ не зря, слѣпо отдаваясь всѣмъ перипетіямъ игорнаго счастья, и картежное искусство его заключалось не въ томъ только, чтобы во-время рисковать или сдерживаться. У него была своя система игры, которую онъ однажды объяснялъ приблизительно въ такихъ словахъ.

— Самое большое зло въ игрѣ—проиграть хоть одинъ грошъ, котораго вамъ жалко, который предназначенъ вами по вашему бюджету для иного употребленія. Нѣтъ ничего легче потерять голову и зарваться при такихъ условіяхъ. Если-же вы хо-

тите быть хозяиномъ игры и ни на одну минуту не потерять хладнокровія, необходимо имѣть особенныя картежныя деньги, отложить ихъ въ особенный бумажникъ и напередъ обречь ихъ ни на что иное, какъ на карты, и вести игру не иначе, какъ въ предѣлахъ этой суммы. Вотъ напримѣръ я въ началѣ года откладываю тысячъ двадцать,—и это моя армія, которую я такъ ужъ и обрекаю на гибель. Начинаю я играть, — допустимъ, что несчастно, проигрываю я тысячу, другую, третью, — я остаюсь спокоенъ, потому что деньги я проигрываю не изъ своего бюджета, а какъ-бы какія-то постороннія. Положимъ, что играю я въ штосъ; вижу—штосъ мнѣ не везетъ. Тогда я бросаю его—принимаюсь за ландскнехтъ. Играю въ него—недѣлю, мѣсяцъ. Если и ландскнехтъ не везетъ — принимаюсь за макао, за пикетъ, за мушку. И повѣрьте, что, перебравши такимъ образомъ три-четыре игры, я непремѣнно натыкаюсь на такую, въ которой мнѣ такъ начинаетъ везти, что я въ два-три присѣста не только возвращаю все проигранное въ предыдущія игры, но выигрываю еще столько-же. Напавши такимъ образомъ на счастливую игру, я ужъ и держусь ея до тѣхъ поръ, пока мнѣ въ ней везетъ. А чуть счастье отвернется, я бросаю ее и опять начинаю искать своей полосы въ другихъ играхъ. И я не знаю ужъ, что это за чертовщина, фатумъ какой или случайность, но вѣрьте моему опыту, что въ каждый данный моментъ существуютъ для васъ двѣ игры: одна безумно-счастливая, другая—напротивъ того. Вся мудрость въ картахъ въ томъ и заключается, что умѣть уловить первую и во-время воздержаться отъ послѣдней. Если-же вы будете упорствовать въ несчастной игрѣ и добиваться въ ней поворота счастья,—пропащее дѣло!...

Люди съ темпераментомъ Некрасова рѣдко бываютъ склонны къ тихимъ радостямъ семейной жизни. Они пользуются большимъ успѣхомъ среди женскаго пола, бываютъ счастливыми любовниками или Донъ-Жуанами, но изъ нихъ не выходитъ примѣрныхъ мужей и отцовъ. Понятно, что и Некрасовъ, принадлежа къ этому типу, не оставилъ послѣ себя потомства. Только подъ старость, когда страсти начали угасать въ немъ, онъ оказался способнымъ къ прочной привязанности къ женщинѣ, на которой и женился на смертномъ уже одрѣ. Но это не мѣшало ему имѣть нѣжное и привязчивое сердце. Онъ отнюдь не былъ сухимъ и черствымъ эгоистомъ, лелѣящимъ и холющимъ только самого себя, и былъ способенъ питать глубокую, нѣжную и совершенно безкорыстную привязанность къ тѣмъ немногимъ роднымъ и друзьямъ, которые окружали его. Стоитъ вспомнить только отношенія его въ родной сестрѣ, къ Добролюбову и пр.

Всѣ эти качества, составляющія существенные элементы характера Некрасова, конечно не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ шаблоннымъ представленіемъ пѣвца народнаго горя, къ которому мы привыкли. Пѣвецъ горя народнаго конечно долженъ быть во-первыхъ Козьмою безсребренникомъ, во-вторыхъ—обладать кроткимъ и нѣжнымъ сердцемъ, не пить, не кутить, сидѣть на чердакѣ и бряцать на лирѣ впроголодь или-же ходить по деревенскимъ хатамъ и, прислушиваясь къ стонамъ народнаго горя, заливаться слезами. И вдругъ этотъ самый пѣвецъ народнаго горя является передъ вами во образѣ не то игрока, не то браконьера. Это можетъ хоть кого сбить съ толку.

Но въ то-же время сообразите, почему-же всѣ вышеозначенныя качества Некрасова могли помѣшать ему сдѣлаться пѣвцомъ народнаго горя?.. Чтобы допустить это, нѣтъ никакой надобности дѣлать такія хитроумныя натяжки, какія мнѣ приходилось не то слышать, не то читать: что, молъ, на другой день послѣ карточной игры Некрасовъ такъ страдалъ душой, подъ впечатлѣніемъ крупнаго проигрыша, что въ страданіяхъ этихъ живо начиналъ чувствовать, что выноситъ народъ, и сливался съ нимъ, такъ какъ горе отъ проигранныхъ двадцати тысячъ, какъ и отъ сгорѣвшей хаты само по себѣ въ сущности одно и то-же человѣческое горе...

Такое курьезное предположеніе могло-бы имѣть еще хотя блѣдную тѣнь правды, еслибы было извѣстно, что Некрасовъ писалъ такія свои стихотворенія, какъ «Морозъ красный носъ» или «Коробейники»,—аккуратно послѣ карточныхъ проигрышей. Извѣстно же намъ нѣчто какъ-разъ противуположное. Именно впродолженіи зимнихъ сезоновъ въ сутолокѣ столичной жизни онъ рѣдко брался за перо. Не до того ему было въ это время среди обѣдовъ, ужиновъ, карточныхъ турниpовъ, литературныхъ чтеній и хлопотъ объ изданіи журнала. Не успѣвалъ онъ спать лечь послѣ безсонной ночи, проведенной въ клубѣ, какъ являлся метранпажъ Чижовъ съ корректурами, кто-нибудь изъ сотрудниковъ по важному вопросу, масса просителей всякаго рода, кучеръ докладывалъ, что у лошади нога засѣклась, ветеринаръ являлся лечить собаку—до «Мороза-ли краснаго носа» тутъ было!

Извѣстно, что Некрасовъ писалъ свои произведенія преимущественно въ деревнѣ или у брата въ Ярославскомъ уѣздѣ, или на Чудовской станціи Николаевской желѣзной дороги, гдѣ у него была заведена небольшая охотничья дачка.

И какъ это естественно, какъ это понятно, что когда Некрасовъ удалялся отъ городского шума на такъ называемое «лоно природы»,—лѣтомъ, а иногда и зимой,—въ немъ воскресалъ совсѣмъ другой человѣкъ. Воспоминанія чистаго, блаженнаго дѣтства начинали толпиться въ его памяти. Страдалица мать вставала передъ нимъ среди этихъ воспоминаній и наполняла сердце его глубокой жалостью. Все, что вынесъ онъ въ юности, приводило его въ горькое сокрушеніе и возбуждало въ немъ ѣдкую горечь. А въ это самое время обступала его родная природа, бѣдная, скудная и такая въ то-же время обаятельная въ самомъ своемъ убожествѣ и, смиряя тоскующее сердце его, заставляла его пѣть въ умиленіи:

«Словно какъ мать надъ сыновней могилой,
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой,
Пахарь-ли пѣсню вдали запоетъ,
Долгая пѣсня за сердце беретъ;
Лѣсъ-ли начнется—сосна да осина...

Не весела ты родная картина!
Что-же молчитъ мой озлобленный умъ?
Сладокъ мнѣ лѣса знакомаго шумъ,
Любо мнѣ видѣть знакомую ниву—
Дамъ-же я волю благому порыву
И на родимую землю мою
Всѣ накипѣвшія слезы пролью!
Злобою сердце питаться устало—
Много въ ней правды, да радости мало;
Спящихъ въ могилахъ виновныхъ тѣней
Не разбужу я враждою моей.
Родина—мать! я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился..
Сколько-бъ на нивахъ безплодныхъ твоихъ
Даромъ ни сгинуло силъ молодыхъ,
Сколько-бы ранней тоски и печали
Вѣчныя бури твои ни нагнали
На боязливую душу мою—
Я побѣжденъ предъ тобою стою!
Силу сломили могучія страсти,
Гордую волю погнули напасти,
И про убогую музу свою
Я похоронныя пѣсни пою.
Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно—
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ,
Жизнью измять я и скоро я сгину...
Мать не враждебна и къ блудному сыну...»

Читатель проститъ мнѣ, что я привелъ цѣликомъ эту цитату, которую конечно знаетъ наизусть каждый русскій грамотный человѣкъ,—она, помоему мнѣнію, даетъ намъ ключъ къ тайнѣ творчества Некрасова, который, подобно Пушкину, могъ о себѣ воскликнуть:

«Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ сладкій сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ» ..

Аполлономъ, требующимъ поэта къ священной жертвѣ, для Некрасова и была деревенская русская природа, которая умиротворяла его душу, заставляла его забывать о заботахъ суетнаго свѣта и призывала его къ священной жертвѣ... А среди этой природы обступали его дядюшки Митяи, Проклы, тетушки Ненилы, «крестьянскія дѣти», — и патріархальной простотой своей жизни, всей своей убогой обстановкой, наивно-трогательными разсказами о своихъ бѣдахъ и невзгодахъ будили въ чуткомъ, воспріимчивомъ сердцѣ его ноты того глубокаго, искренняго сочувствія въ народному горю, какимъ исполнены его безсмертныя пѣсни. Образъ горячо чтимаго учителя, В. Г. Бѣлинскаго, вставалъ въ это время изъ могилы въ его воображеніи и звалъ его отъ «ликующихъ, праздно болтающихъ, омывающихъ руки въ крови, въ станъ погибающихъ за великое дѣло любви». Вотъ подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ впечатлѣній Некрасовъ и превращался изъ того человѣка, какимъ знали его немногіе его окружавшіе, въ пѣвца горя народнаго, какимъ знаетъ его вся Россія.

Однимъ словомъ вотъ какое нравоученіе слѣдуетъ изъ всего сказаннаго.

Было время и такъ недавно еще, когда младенчествующая психологія полагала, что каждый человѣкъ олицетворяетъ собой извѣстную добродѣтель или порокъ, и весь, такъ сказать, исчерпывается своимъ олицетвореніемъ: ужъ если самоотверженный подвижникъ—такъ ужъ и каждый шагъ его долженъ быть подвигомъ самопожертвованія; подлецъ, такъ съ ногъ до головы подлецъ; игрокъ только о томъ и долженъ помышлять ежеминутно, какъ-бы кого обыграть, и т. д. Но пора-бы бросить подобную наивно-невѣжественную философію въ виду хотя того, что въ послѣдніе годы психологи открыли не только возможность совмѣщенія въ одномъ человѣкѣ самыхъ разнородныхъ душевныхъ качествъ, но и факты двойственнаго и даже тройственнаго существованія, заключающіеся въ томъ, что одинъ и тотъ-же человѣкъ періодически можетъ являться какъ-бы двумя субъектами, не имѣющими ничего общаго между собой по своимъ характерамъ и нравственнымъ качествамъ и даже претендующимъ носить различныя имена.

Почему-же не предположить, что и Некрасовъ представлялъ собой такую-же раздвоенность? Иной Некрасовъ былъ въ суетѣ столичной жизни, особенно гдѣ-нибудь въ англійскомъ клубѣ: тамъ онъ могъ напускать на себя большую долю тщеславія и фатовства, корчить изъ себя избалованнаго дэнди, принимать даже дѣятельное участіе въ оргіяхъ гастрономическаго общества. Но среди деревенской обстановки и подъ вліяніемъ родной природы и народной жизни въ немъ пробуждался иной человѣкъ, котораго мы знаемъ по его дивнымъ пѣснямъ. Ну, а я могу прибавить, что этого самаго иного Некрасова я знаю и не по однѣмъ пѣснямъ, которыя все-таки представляютъ собой нѣчто какъ-бы отвлеченное. Я видѣлъ его и въ самой жизни инымъ Некрасовымъ, когда онъ, послѣ стерляжьей ухи въ 5 рублей тарелка и двадцатипятирублеваго токайскаго, не брезговалъ самою сомнительной сивухою и мутненькимъ баварскимъ пивомъ въ грязненькомъ загородномъ трактирчикѣ...

IX.

Въ 1865 году познакомился я со Слѣпцовымъ, къ которому Топоровъ повелъ меня на какой-то концертъ-монстръ. Надо замѣтить при этомъ, что около того времени былъ изданъ переводъ брошюры Пфейфера «О потребительныхъ ассоціаціяхъ». Брошюра эта произвела сильное впечатлѣніе на общество, и подъ ея вліяніемъ тотчасъ-же начали всюду разводиться потребительныя артели, то массовыя (напримѣръ общество «Бережливость»), то въ небольшихъ частныхъ кружкахъ: соберутся два-три семейства и начинаютъ совѣщаться, какъ-бы имъ покупать товары сообща, оптомъ. Порою происходили такимъ образомъ многолюдныя собранія, на которыхъ спорили, шумѣли и кричали до упаду по цѣлымъ ночамъ до разсвѣта, дѣлились на партіи, прибѣгали къ открытой и закрытой баллотировкѣ, интриговали на выборахъ членовъ правленія и т. п. Все это было въ своемъ родѣ очень весело и представляло оживленную картину. При этомъ не было недостатка въ комическихъ курьезахъ, возбуждав-

шихъ много смѣха. Такъ, никогда не забуду я смѣшного семейнаго конфликта, когда въ одномъ обширномъ потребительномъ обществѣ, въ которомъ предсѣдателемъ былъ извѣстный въ то время педагогъ баронъ Косинскій, въ ревизіонную комиссію между прочими была избрана его законная супруга. И вотъ, желая доказать передъ обществомъ полное свое безпристрастіе и готовность пожертвовать личными и семейными интересами общественнымъ, она проявила такую неукротимую строгость въ дѣлѣ ревизіи, что провалила всѣхъ членовъ правленія, въ томъ числѣ и своего супруга. Одинъ мой пріятель, участвуя въ маленькой потребительной артели, обошелъ чуть не всѣ чайные магазины въ Петербургѣ съ цѣлью выбрать чай для закупки цибиками. Вездѣ ему давали на пробу маленькіе пакетики въ восьмушку. Пакетиковъ этихъ набралось такъ много, что потомъ, когда артель давно уже распалась, онъ все еще продолжалъ втеченіи по крайней мѣрѣ мѣсяцевъ двухъ пользоваться этими пакетиками, имѣя даровой чай, блистательно такимъ образомъ оправдывая дешевизну оптовыхъ закупокъ въ складчину.

Отличалась въ то время между прочимъ одна барыня, которая, въ свою очередь участвуя въ маленькой потребительной артели, купила куль муки, но не догадалась иначе доставить его домой, какъ въ каретѣ. Хорошо было удешевленіе продукта! Разсказывали также о бочкѣ керосина, купленной тоже какимъ-то сочленомъ небольшой артели и надѣлавшей ей много хлопотъ, такъ какъ для бочки оказалось необходимо нарочно нанимать особенный сарай; затѣмъ она почему-то лопнула, керосинъ весь вытекъ и завязался цѣлый процессъ между квартирантомъ и хозяиномъ дома о возмѣщеніи проторей и убытковъ, нанесенныхъ хозяину керосиновымъ разливомъ.

Заразился потребительной горячкой между прочимъ и Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ. Вмѣстѣ съ нѣкоторыми пріятелями и пріятельницами онъ нанялъ сообща большую квартиру, омеблировалъ ее и затѣмъ устроилъ вскладчину все домашнее хозяйство. Общежитіе это, подобно большинству потребительныхъ артелей, скоро прекратило свое бытіе, просуществовавъ не болѣе зимняго сезона; оно распалось безъ какихъ-либо погромовъ или скандаловъ, просто потому, что каждый сожитель тянулъ въ свою сторону; а пришло лѣто—всѣ и разъѣхались по деревнямъ и дачамъ, кто куда.

Вотъ въ это самое общежитіе и повлекъ меня А. В. Топоровъ знакомить съ В. А. Слѣпцовымъ. Мы вошли по парадной лѣстницѣ въ тысячную квартиру, въ бель-этажѣ, съ очень приличной обстановкой. Обширное зало было полно народа. Мы нашли здѣсь всѣ сливки литературнаго, артистическаго и художественнаго міровъ. Человѣкъ было далеко за сто. Оказалось, что это былъ не простой вечеръ, а литературно-музыкальный концертъ съ благотворительной цѣлью. Публика была помѣщена на стульяхъ, занимавшихъ рядами всю обширную залу. Впереди стоялъ рояль и столикъ, покрытый зеленою скатертью съ двумя свѣчами,—для чтенія.

Концертъ продолжался не менѣе трехъ часовъ, но изъ всего содержанія его у меня только и осталось въ памяти исполненіе Сѣровымъ въ четыре руки, вмѣстѣ со своей супругой, увертюры изъ оперы «Робеспьеръ», да изображеніе генерала Дитятина И. Ѳ. Горбуновымъ, котораго я въ первый разъ тогда услышалъ не на сценѣ, а въ частномъ кружкѣ.

Съ Слѣпцовымъ въ этотъ вечеръ въ сутолокѣ концерта мнѣ не удалось познакомиться, но и потомъ знакомство съ нимъ у мѣня какъ-то не ладилось. Я однажды сдѣлалъ ему визитъ, но у насъ не нашлось никакихъ разговоровъ, и, просидѣвши другъ передъ другомъ молча, словно набравши въ ротъ воды, мы разошлись, не сказавши другъ другу и трехъ словъ. Въ другой разъ онъ явился ко мнѣ, совершенно неожиданно, на мой убогій чердачекъ на Петербургской сторонѣ и обратился ко мнѣ съ предложеніемъ давать уроки въ одномъ домѣ. На вопросъ мой, какіе уроки и кому придется ихъ давать, онъ пояснилъ мнѣ, что уроки требуются одной молодой замужней дамѣ, преподавать-же придется ей, какіе только предметы мнѣ вздумается, имѣя при этомъ вовсе не какія-нибудь экзаменаціонныя цѣли, а общее развитіе.

Какъ ни странно было это предложеніе, но я не особенно былъ удивленъ имъ. Будучи еще студентомъ, мнѣ пришлось уже давать уроки общаго развитія одной тридцатилѣтней барынѣ, съ цѣлью возвысить ее до уровня предмета ея страсти, и не успѣлъ я еще совершить такое возвышеніе, какъ уже барыня поразила меня предложеніемъ быть шаферомъ на ея свадьбѣ.

Я отправился по данному мнѣ адресу въ одну изъ центральныхъ улицъ столицы и вошелъ въ роскошную квартиру въ бель-этажѣ. Меня встрѣтила молодая особа, шикарно одѣтая, ослѣпительной красоты. На рукахъ у нея была двухлѣтняя дѣвочка—вылитая маменька.

Она повела меня въ свой будуаръ и сейчасъ-же завязала со мной оживленный разговоръ о самыхъ высокихъ предметахъ. Признаться сказать, я никогда особенно не жаловалъ разговоровъ о высокихъ предметахъ въ шикарныхъ дамскихъ будуарахъ, и это одно уже настроило меня на скептическій ладъ, но еще болѣе оттолкнула меня отъ себя барыня, когда вдругъ обратилась ко мнѣ съ такимъ неожиданнымъ вопросомъ:

— А правду о васъ говорятъ, что вы зарабатываете до двухъ тысячъ, а проживаете всего пятьсотъ рублей, а остальные всѣ употребляете на разные высокіе подвиги благотворительности?

— Кто вамъ это сказалъ?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Слухомъ земля полнится!...

Долго отклонялась барыня отъ объясненія, кто могъ распускать обо мнѣ такія невѣроятныя басни. Наконецъ открыла, что это сообщилъ ей Василій Алексѣевичъ.

Это еще болѣе заставило меня видѣть во всемъ этомъ нѣчто въ высшей степени фальшивое и подозрительное. Мнѣ пришло сейчасъ-же въ голову, что Василій Алексѣевичъ обрекаетъ меня на роль

какого-то бутафорскаго орудія въ своихъ донъ-жуанскихъ подвигахъ, о которыхъ въ то время началась уже стоустая молва. Ему нужно было заявить передъ барыней, что онъ стоитъ во главѣ новыхъ людей, изъ которыхъ что ни человѣкъ—то сподвижникъ, жертвующій всѣмъ своимъ достояніемъ ближнимъ.

Я поспѣшилъ раскланяться съ барыней, заявивъ ей, что я не понялъ Василія Алексѣевича и ошибся, полагая, что требуются опредѣленные уроки для дѣтей; общеразвивательными же бесѣдами я не занимаюсь.

Подозрѣнія мои оправдались, когда на другой или на третій день, встрѣтясь съ извѣстнымъ беллетристомъ А. Ш., я узналъ отъ него, что и съ нимъ Василій Алексѣевичъ продѣлалъ то-же самое: онъ точно такъ-же ходилъ по предложенію Слѣпцова къ этой самой барынѣ сговариваться на счетъ общеразвивательныхъ уроковъ и въ свою очередь выслушалъ отъ нея буквально тотъ-же самый панегирикъ, что онъ будто зарабатываетъ двѣ тысячи, а тратитъ на себя лишь пятьсотъ рублей. А. Ш., подобно мнѣ, отказался отъ уроковъ, услышавъ столь лестную аттестацію.

Съ Николаемъ Степановичемъ Курочкинымъ я познакомился при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Въ началѣ 1861 года я написалъ критическую статью «О педагогическомъ значеніи Тургенева и Гончарова» и не зналъ, куда ее пристроить. Услышавъ, что Трубниковъ выпускаетъ при «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» приложеніе въ видѣ отдѣльныхъ сборниковъ повѣстей, романовъ и критическихъ этюдовъ и при этомъ отдаетъ предпочтеніе сочиненіямъ начинающихъ авторовъ, я отдалъ ему свою статью. Но вскорѣ я узналъ, что Трубниковъ печатаетъ статьи начинающихъ авторовъ не иначе какъ даромъ, предоставляя имъ вмѣсто гонорара честь и удовольствіе видѣть свои произведенія печатными. Когда въ конторѣ «Биржевыхъ Вѣдомостей» подтвердили мнѣ этотъ слухъ, я взялъ статью обратно. А въ это время какъ разъ старшій Курочкинъ, Владиміръ, замыслилъ выпустить «Невскій Сборникъ», пользуясь тѣмъ, что въ Петербургѣ въ это время были закрыты два толстые, наиболѣе распространенные журнала. «Сборникъ» издавался подъ редакціею Н. С. Курочкина и, какъ всегда это у насъ бываетъ, обѣщалъ издателямъ золотыя горы; въ перспективѣ имъ мерещилось нѣсколько такихъ сборниковъ и въ концѣ-концовъ превращеніе ихъ въ толстый журналъ. Но не знаю ужъ, по какой причинѣ,— несмотря на довольно повидимому и разнообразный, и не лишенный интереса составъ «Сборника»,—онъ совсѣмъ не пошелъ, и впослѣдствіи мальчишки у Пассажа распродавали его чуть-что не по полтиннику.

Попала въ «Невскій Сборникъ» и моя статейка о Тургеневѣ и Гончаровѣ, при посредствѣ все того-же А. В. Топорова, который познакомилъ меня и съ Н. С. Курочкинымъ.

Курочкинъ сразу произвелъ на меня очень пріятное впечатлѣніе,—и впечатлѣніе это осталось во все время знакомства моего съ нимъ до самой его смерти, не смотря на то, что впослѣдствіи не скрылись отъ меня и многіе его недостатки.

Надо замѣтить, что не недаромъ В. А. Слѣпцова и Н. С. Курочкина я поставилъ рядомъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Трудно себѣ представить двухъ человѣкъ, которые до такой степени представляли-бы собой двѣ радикальныя противуположности, какъ Н. С Курочкинъ и Слѣпцовъ, а извѣстно, что контрасты прекрасно оттѣняютъ другъ друга.

Слѣпцовъ, какъ извѣстно всѣмъ знавшимъ его, представлялъ собой верхъ изящества. Изящество это не только сосредоточивалось въ его стройной и гибкой фигурѣ, красивомъ лицѣ, костюмѣ, но и разливалось во всей его обстановкѣ. Все вокругъ него блестѣло безукоризненной чистотой и красотой, и притомъ не какой-либо банальной, мѣщанской, а тонкой, и къ тому-же вполнѣ оригинальной. До чего ни дотрогивалась его художественная рука, всему онъ умѣлъ придавать изящный видъ и былъ способенъ при случаѣ украсить комнату такими пустяками, вродѣ какихъ-либо еловыхъ шишекъ, изъ которыхъ другому и въ голову не пришло-бы сдѣлать такое употребленіе. Однимъ словомъ, судя даже потому, какъ онъ писалъ своимъ бисернымъ почеркомъ, вытачивая свои произведенія словно мелкія ажурныя вещички изъ слоновой кости,—это былъ по натурѣ эстетикъ. Положительно можно сказать, что онъ сдѣлался беллетристомъ-народникомъ по какому-то недоразумѣнію или злой ироніи судьбы, такъ какъ настоящее призваніе его была или живопись, или скульптура, и онъ, если можно такъ выразиться, со всѣми фибрами своего существа былъ созданъ, чтобы лѣпить или писать красивыя женскія головки.

Н. С. Курочкинъ, напротивъ того, былъ очень неказистъ со своимъ тучнымъ туловищемъ на коротенькихъ ножкахъ, одутловатыми щеками, лысиной во всю голову и картавымъ голосомъ, не произносившимъ буквы *р*. Прибавьте къ этому платье, висѣвшее на немъ мѣшкомъ, словно оно было съ чужого плеча, никогда не чистившееся и все въ пятнахъ, и наконецъ вѣчно грязныя руки съ траурными ногтями. По одному этому внѣшнему виду онъ олицетворялъ собой типъ циника. Таковъ-же былъ онъ и во всей своей обстановкѣ. Въ квартирѣ своей онъ положительно по уши утопалъ въ грязи. Сборная мебель его, дряхлая и полуразрушенная, была завалена книгами и газетами; рѣшительно негдѣ было присѣсть, а если оставались свободными два-три стула, и вы брались за нихъ, хозяинъ съ ужасомъ останавливалъ васъ:

— Что вы, что вы! Нельзя, нельзя! Сейчасъ разсыпется, и вы очутитесь на полу!..

Вездѣ и на всемъ лежали толстые слои пыли. На столѣ передъ диваномъ чего только не могли вы найти! Тутъ, среди книгъ и газетъ, красовались пепельницы съ массой окурковъ, коробки съ папиросами или спичками и пустыя, нѣсколько недопитыхъ стакановъ, въ свою очередь наполненныхъ окурками, тарелка съ недоѣденной селедкой, баночки съ лекарствомъ и, къ довершенію всѣхъ благъ, стаканъ, въ который хозяинъ плевалъ.

Среди всего этого хаоса Курочкинъ вѣчно сидѣлъ сгорбившись на диванѣ, поджавши крестикомъ, по-турецки, свои маленькія ножки и опираясь руками о подушку, которую клалъ себѣ на ноги.

Въ то время какъ Слѣпцовъ при своемъ изяществѣ былъ вѣчно окруженъ роемъ поклонницъ и женщины рвали его, что называется, на куски, каждая стараясь всецѣло завладѣть имъ, Курочкинъ никогда не имѣлъ успѣха у прекраснаго пола. Сомнительно, любилъ-ли онъ впродолженіи всей жизни хоть одну женщину. Елисѣевы разсказывали мнѣ такой случай, происшедшій съ нимъ за-границей. Они встрѣтили гдѣ-то Курочкина и обѣдали съ нимъ въ ресторанѣ на какой-то террасѣ. Курочкинъ, какъ это всегда съ нимъ водилось, свелъ разговоръ на свои десятки болѣзней. Екатерина Павловна Елисѣева замѣтила ему на всѣ его жалобы о здоровьѣ, что единственное лекарство для него отъ всѣхъ его недуговъ, — женитьба: женится, и все какъ рукой сниметъ.

— Да какая-же, пгостите за выгаженіе, стегва пойдетъ за меня? — возразилъ на это Курочкинъ тономъ, полнымъ трагическаго отчаянія.

Разговаривали громко по-русски, не подозрѣвая, что-бы кто нибудь вокругъ могъ понимать ихъ. И каково-же было всеобщее смущеніе, когда вслѣдъ за восклицаніемъ Курочкина сидѣвшій неподалеку незнакомецъ разразился вдругъ гомерическимъ хохотомъ.

Конечно эта безсемейность стараго холостяка и увѣренность, что за него не пойдетъ ни одна «стегва», были между прочимъ причиной того мрака, который онъ напускалъ на себя. Къ тому-же навѣрное сердце его глодало оскорбленное самолюбіе неудачника. На литературное поприще устремило его не природное призваніе, а примѣръ его талантливаго брата Василія. Онъ окончилъ курсъ, какъ извѣстно, въ медико-хирургической академіи, успѣшно выдержалъ экзаменъ на доктора, поступилъ на медицинскую службу и плавалъ по Средиземному морю на какомъ-то военномъ или торговомъ суднѣ. Однимъ словомъ, карьера его слагалась вполнѣ удачно, и вдругъ онъ все это бросилъ и свернулъ на литературную дорогу, гдѣ онъ никогда не выходилъ изъ рядовъ ни кому неизвѣстной посредственности и вѣчно терпѣлъ нужду, едва сводя концы съ концами при своей одинокой жизни.

Къ этому всему присоединялась вѣчная борьба съ десятками болѣзней. Чего только не подозрѣвалъ въ себѣ Курочкинъ во время моего знакомства съ нимъ: и діабетъ, и аневризмъ, и гипертрофію сердца, и движущіяся почки. и пр., и пр. Вѣчно обставленъ онъ былъ лекарствами, причемъ сначала былъ приверженцемъ аллопатіи, а затѣмъ ударился въ гомеопатію, а кончилъ гипнотизмомъ, причемъ усыплялъ одного мальчика и употреблялъ тѣ лекарства, которыя тотъ ему диктовалъ во время сна такимъ способомъ: «ступайте на Загородный проспектъ въ аптеку и тамъ, на третьей полкѣ, противъ окна, возьмите лекарства изъ банки, стоящей налѣво»... Курочкинъ посылалъ кого нибудь на Загородный проспектъ въ аптеку, чтобы замѣтили, что находится въ означенной банкѣ, и сообщили ему; а онъ, сообразно содержимому въ банкѣ, составлялъ рецептъ.

Надъ этой мнительностью Курочкина много потѣшались, но не принимали въ разсчетъ того, что если у Курочкина и не было всѣхъ тѣхъ болѣзней, какія онъ въ себѣ подозрѣвалъ, то во всякомъ случаѣ развѣ мнительность — не своего рода болѣзнь, и развѣ человѣкъ съ вполнѣ здоровымъ самочувствіемъ станетъ ни съ того, ни съ сего пичкать себя всякой медицинской дрянью? Къ тому-же преждевременная смерть Курочкина въ достаточной мѣрѣ оправдала его мнительность.

Замѣчательно, что весь тотъ мракъ, какой напускалъ на себя Курочкинъ, нисколько не мѣшалъ ему быть бонвиваномъ, любившимъ и поѣсть вкусно, и выпить съ пріятелемъ бутылочку хорошаго вина. Все это продѣлывалъ онъ съ видомъ опытнаго гастронома, знающаго толкъ въ вещахъ, причемъ за бутылкой вина забывалъ всѣ свои недуги и невзгоды и веселое остроуміе его не знало удержа. Порою выкидывалъ онъ такія штуки, что вдругъ среди зимы покупалъ блюдо земляники и платилъ за него 10 рублей. Когда же укоряли его въ безуміи подобной роскоши не по средствамъ, онъ отвѣчалъ, что дѣйствительно это было-бы безуміемъ, еслибы ему пришло въ голову ежедневно тратить по 10 рублей на землянику, но разъ въ зиму позволить себѣ такую роскошь онъ считаетъ равносильнымъ тому, какъ эти-же самыя деньги проиграть въ карты.

«Развѣ вы на прошлой недѣлѣ не продули 15-ти рублей?»—спрашилъ онъ у упрекавшаго его господина, и тотъ не зналъ, что ему возразить.

Къ чести Курочкина слѣдуетъ замѣтить, что безсемейная, одинокая жизнь не развила въ немъ того черствaго эгоизма, который свойственъ старымъ холостякамъ. Не имѣя семьи, онъ вѣчно воспитывалъ и подымалъ на ноги какихъ-нибудь двухъ-трехъ мальчиковъ-сиротъ, пристраивалъ ихъ, ютилъ, а на ихъ мѣсто бралъ другихъ, цѣлясь со своими воспитанниками послѣднимъ.

Есть-ли у г. А. Чехова идеалы?

«Палата № 6». «Разсказъ неизвѣстнаго человѣка».

I.

Г. Чеховъ не разъ уже имѣлъ несчастіе терпѣть страшное обвиненіе въ отсутствіи идеаловъ. Я называю это обвиненіе *страшнымъ*, потому что въ самомъ дѣлѣ можно-ли представить себѣ обвиненіе болѣе жестокое и уничтожающее человѣка, какъ отрицаніе у него какихъ-бы то ни было идеаловъ? Вы можете отрицать въ писателѣ талантъ,—и онъ все-таки можетъ утѣшаться хоть тѣмъ, что если у него нѣтъ таланта въ томъ высокомъ, идеальномъ смыслѣ, какой придаетъ этому слову критика, то настолько талантомъ онъ все-таки одаренъ, что произведенія его признаются годными къ печати. Можете отрицать въ немъ знанія — ну, что-же: знанія, образованность, развитіе, — все это наживное и съ бо́льшими или меньшими усиліями пріобрѣтаемое. Но отрицаніе идеаловъ,— шутка-ли сказать: вѣдь это равносильно отрицанію святая святыхъ человѣка, всего его внутренняго содержанія, отрицаніе самого человѣка!...

По моему мнѣнію, здѣсь скрывается большое недоразумѣніе, коренящееся въ томъ, что въ своей прошлой, теперь уже очень обильной литературными плодами, дѣятельности г. Чеховъ былъ слишкомъ художникъ, и увлекался подчасъ «лазурью небесъ» или «соловьиными трелями» на одномъ ряду съ предметами, заслуживающими бо́льшаго вниманія съ точки зрѣнія людей, занимающихся рѣшеніемъ важныхъ вопросовъ жизни. Но любить съѣсть кусокъ хорошаго швейцарскаго сыру не значитъ еще быть обжорой, равно и рюмка стараго вина не составляетъ еще пьянства. Можно и сыръ любить, и отъ рюмки вина не отказаться, но быть очень далекимъ отъ мысли, чтобы сыръ и вино составляли главную цѣну и значеніе жизни, а на все остальное наплевать. Кто говоритъ, были и теперь не мало найдется у насъ эстетиковъ, которые увѣряютъ насъ, что упиваться «лазурью небесъ» и «соловьиными трелями» гораздо почтеннѣе и добродѣтельнѣе, чѣмъ умирать за отечество. Но, ради Христа, найдите мнѣ хоть одну страницу у г. Чехова, которая давала-бы вамъ право обвинять его въ подобныхъ-же взглядахъ?

У г. Чехова найдете вы свои фальшивыя страницы, каковы напримѣръ концы его произведеній «Дуэль» и «Жена», но эти концы страдаютъ вовсе не художественнымъ индифферентизмомъ и эпикурействомъ и не отсутствіемъ идеаловъ, а, напротивъ того, тѣмъ крайнимъ идеализмомъ, который полагаетъ, что вѣра и любовь въ буквальномъ смыслѣ двигаютъ горами и что самому отпѣтому негодяю ничего не стоитъ подъ ихъ вліяніемъ обратиться въ рыцаря безъ страха и упрека...

Вышеозначенное недоразумѣніе, т. е. отрицаніе у г. Чехова идеаловъ, происходитъ между прочимъ и отъ той причины, что, какъ художникъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, г. Чеховъ никогда не формулируетъ своихъ идеаловъ теоретически; воплощать-же ихъ въ живые образы ему не приходится, такъ какъ онъ имѣетъ дѣло съ русской дѣйствительностью, дающей ему очень мало свѣтлыхъ красокъ, но въ то-же время онъ слишкомъ реальный писатель для того, чтобы изображать то, чего въ жизни онъ не встрѣчаетъ.

Поэтому ему приходится поневолѣ скрывать свои идеалы, подразумѣвать ихъ, выставляя явленія, стоящія въ полномъ противорѣчіи съ ними. Но подумайте, развѣ есть какая-нибудь возможность выставить всѣ безобразія какихъ-либо явленій и вопіющее отступленіе ихъ отъ идеаловъ, разъ художникъ не хранитъ этихъ идеаловъ въ душѣ своей, не проникнутъ ими? Такъ напримѣръ, возьмите хотя-бы «Палату № 6»,—примите во вниманіе не тотъ или другой характеръ, сцену, эпизодъ,—а всю картину въ ея полномъ ансамблѣ. Передъ вами рисуется въ маленькомъ захолустномъ городкѣ такое страшное общественное разложеніе, дальше котораго трудно себѣ что-либо представить, — развѣ что послѣдній день Помпеи или Содома. Сообразите только, имѣлъ-ли бы возможность художникъ нарисовать столь мрачную картину во всемъ ея ужасающемъ васъ безобразіи, еслибы въ душѣ своей онъ не имѣлъ идеала иной, болѣе свѣтлой, разумной и желательной жизни?

Надо вамъ впрочемъ сказать, что раньше, чѣмъ я успѣлъ прочесть «Палату № 6» самъ, меня познакомилъ съ сюжетомъ ея одинъ пришедшій ко мнѣ пріятель, только что прочитавшій ее и въ свою очередь находившійся подъ сильнымъ ея впечатлѣніемъ. По разсказу моего пріятеля, въ основѣ сюжета лежитъ чистѣйшая уголовщина, заключающаяся въ томъ, что человѣка, находившагося, какъ оффиціально выражаются, «въ здравомъ умѣ и твердой памяти», заподозрѣваютъ въ помѣшательствѣ, сажаютъ въ сумасшедшій домъ, и тамъ онъ трагически погибаетъ отъ аноплексическаго удара подъ побоями больничнаго сторожа.

Все это, по словамъ моего пріятеля, случилось не спроста и не случайно, а по сознательному умыслу злого человѣка, въ интересахъ котораго было погубить такимъ ужаснымъ образомъ своего ближняго. Въ захолустномъ, видите-ли, городѣ жили-были два доктора. Одинъ изъ нихъ, Андрей Ефимовичъ Рагинъ, двадцать лѣтъ уже состоялъ при го-

родской больницѣ, хотя медицину зналъ очень плохо; службу онъ исполнялъ небрежно, но былъ очень мягкій, добрый, гуманный и любилъ пофилософствовать на досугѣ. Другой—уѣздный врачъ, Евгеній Ѳедоровичъ Хоботовъ, былъ приглашенъ городомъ на усиленіе медицинскаго персонала въ городской больницѣ и на помощь Рагину. Это былъ еще молодой человѣкъ лѣтъ около 30, высокій брюнетъ съ широкими скулами и маленькими глазами. Пріѣхалъ онъ въ городъ безъ гроша денегъ, съ небольшимъ чемоданчикомъ и съ молодой некрасивой женщиной, которую онъ называлъ своей кухаркой. У этой женщины былъ младенецъ. Ходилъ Евгеній Ѳедоровичъ въ фуражкѣ съ козырькомъ и въ высокихъ сапогахъ, а зимой—въ полушубкѣ. Онъ близко сошелся съ фельдшеромъ Сергѣемъ Сергѣичемъ и съ казначеемъ, а остальныхъ чиновниковъ называлъ почему-то аристократами и сторонился ихъ. Во всей квартирѣ у него была одна только книга: — *Новѣйшіе рецепты вѣнской клиники 1881 года.* Идя къ больному, онъ всегда бралъ съ собой и эту книжку. Въ клубѣ по вечерамъ игралъ въ биліардъ, картъ-же не любилъ. Большой былъ охотникъ употреблять въ разговорѣ такія слова, какъ «каинтель», «мантифолія съ уксусомъ», «будетъ тебѣ тѣнь наводить» и т. п.

Въ больницѣ онъ бывалъ два раза въ недѣлю, обходилъ палаты и дѣлалъ пріемку больныхъ. Совершенное отсутствіе антисептики и кровососныя банки возмущали его, но новыхъ порядковъ онъ не вводилъ, боясь оскорбить этимъ Андрея Ефимовича. Своего коллегу, Андрея Ефимыча, онъ считалъ старымъ плутомъ, подозрѣвалъ у него большія средства и втайнѣ завидовалъ ему. Онъ охотно-бы занялъ его мѣсто.

И вотъ такому господину, во всѣхъ отношеніяхъ ничтожному, пришлось вдругъ играть роль злодѣя повѣсти. По разсказу пріятеля именно онъ распустилъ по городу слухи о сумасшествіи Андрея Ефимыча и засадилъ коллегу въ сумасшедшій домъ, гдѣ тотъ погибъ столь ужасно.

Я вполнѣ признаю при малокультурности и дикости нашего общества возможность запереть въ сумасшедшій домъ вполнѣ здороваго человѣка изъ какихъ-то своекорыстныхъ и злодѣйскихъ цѣлей, тѣмъ болѣе, что такіе прискорбные случаи оказываются возможными даже въ столь цивилизованной странѣ, какъ Англія въ чемъ убѣждаетъ насъ извѣстный романъ Марка Гопа «Въ тюрьмѣ». Еще болѣе признаю возможнымъ, что и безъ всякаго злодѣя во главѣ и какого-либо коварства, въ невѣжественной средѣ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, здороваго человѣка могутъ признать помѣшаннымъ, и онъ такимъ образомъ попадаетъ въ заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода, такъ какъ каждый шагъ его, слово перетолковываются въ пользу болѣзни, онъ-же конфузится и теряется подъ градомъ подозрительныхъ взглядовъ, устремленныхъ на него со всѣхъ сторонъ, дѣлаетъ и въ самомъ дѣлѣ разныя странности, которыхъ не дѣлалъ-бы, если бы не находился въ такомъ положеніи, и поступки еще болѣе оправдываютъ и подтверждаютъ составившееся о немъ мнѣніе.

Представьте-же себѣ мое удивленіе, когда, прочтя повѣсть самъ, я не нашелъ въ ней ни того, ни другого. Андрей Ефимычъ дѣйствительно попалъ въ сумасшедшій домъ и кончилъ тамъ ужасной смертью, но это произошло вовсе не отъ коварства Хоботова, замышлявшаго избавиться такимъ образомъ отъ коллеги и занять его мѣсто, и съ другой стороны — вовсе не вслѣдствіе простофильства темныхъ обывателей города, принявшихъ здороваго человѣка за больного. Андрей Ефимычъ явился передо мной дѣйствительно далеко не въ здравомъ умѣ и твердой памяти, и въ самомъ авторѣ неизмѣримо въ большей степени, чѣмъ въ ничтожномъ Хоботовѣ, я усмотрѣлъ коварный замыселъ изобразить въ лицѣ Андрея Ефимыча именно психически больного человѣка. Если-же онъ ввелъ читателей своихъ въ нѣкоторое заблужденіе, то это произошло отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, онъ слишкомъ объективировался, ни разу не проговорившись, какая основная мысль разсказа и какого мнѣнія онъ о своемъ героѣ, предоставляя читателямъ самимъ придти къ заключеніямъ, какія явствуютъ изъ повѣсти; и во-вторыхъ, въ лицѣ своего героя онъ представилъ душевно-больного, подверженнаго такого рода психической болѣзни, какая можетъ длиться десятки лѣтъ, не обнаруживаясь никакими явными и рѣзкими симптомами, и читатель, пробѣжавшій повѣсть не особенно внимательно, могъ совсѣмъ упустить изъ вида именно это обстоятельство.

Предполагая, что подобнаго рода читателей, вродѣ моего пріятеля, можетъ быть много, — и повѣсть г. Чехова рискуетъ быть непонята и неоцѣнена по своему значенію и достоинству, я нашелъ немедленно-же приступить къ анализу главнаго героя его, Андрея Ефимовича.

II.

— Да, я боленъ. Но вѣдь десятки, сотни сумасшедшихъ гуляютъ на свободѣ, потому что ваше невѣжество неспособно отличить ихъ отъ здоровыхъ. Почему-же я и вотъ эти несчастные должны сидѣть тутъ за всѣхъ, какъ козлы отпущенія? Вы, фельдшеръ, смотритель и вся ваша больничная сволочь въ нравственномъ отношеніи неизмѣримо ниже каждаго изъ насъ, почему-же мы сидимъ тутъ, а вы нѣтъ? Гдѣ логика?

Такъ говорилъ доктору одинъ завѣдомо больной, содержавшійся въ 6-й палатѣ, Иванъ Дмитріевичъ Громовъ, страдавшій много уже лѣтъ маніей преслѣдованія.

Вотъ въ этихъ словахъ сумасшедшаго и заключается, по моему мнѣнію, основная мысль повѣсти г. Чехова.

И дѣйствительно, вглядываясь въ нравственный и умственный міръ Андрея Ефимыча и затѣмъ въ тотъ полный разладъ, какой существовалъ между его теоріей и практикой жизни, мы выносимъ именно то тяжелое давящее чувство, какое производитъ на насъ зрѣлище душевно-больныхъ.

Прежде всего васъ поражаетъ страшное состояніе больницы, во главѣ которой стоялъ Андрей Ефимычъ.

«Въ палатахъ, корридорахъ и въ больничномъ дворѣ,— читаемъ мы, — тяжело было дышать отъ смрада. Больничные мужики, сидѣлки и ихъ дѣти спали въ палатахъ вмѣстѣ съ больными. Жаловались, что житья нѣтъ отъ таракановъ, клоповъ и мышей. Въ хирургическомъ отдѣленіи не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, въ ваннахъ держали картофель. Смотритель, кастеляшка и фельдшеръ грабили больныхъ, а про стараго доктора, предшественника Андрея Ефимыча, разсказывали, будто онъ занимался тайной продажей больничнаго спирта и завелъ себѣ изъ сидѣлокъ и больныхъ женщинъ цѣлый гаремъ. Въ городѣ отлично знали про эти безпорядки и даже преувеличивали ихъ, но относились къ нимъ спокойно; одни оправдывали ихъ тѣмъ, что въ больницу ложатся только мѣщане и мужики, которые не могутъ быть недовольны, такъ какъ дома живутъ гораздо хуже, чѣмъ въ больницѣ; не рябчиками-же ихъ кормить! Другіе-же въ оправданіе говорили, что одному городу безъ помощи земства не подъ силу содержать хорошую больницу; слава Богу, что хоть плохая есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни въ городѣ, ни возлѣ, ссылаясь на то, что городъ уже имѣетъ свою больницу.»

Еще болѣе ужасающее впечатлѣніе производила палата № 6, гдѣ содержались душевно-больные. «Если, — разсказываетъ авторъ, — вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинкѣ, ведущей къ флигелю, и посмотримъ, что дѣлается внутри. Отворивъ первую дверь, мы входимъ въ сѣни. Здѣсь у стѣнъ и около печки навалены цѣлыя горы больничнаго хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи съ синими полосками, никуда негодная, истасканная обувь,— вся эта рвань свалена въ кучи, перемята, спуталась, гніетъ и издаетъ удушливый запахъ. На хламѣ всегда съ трубкой въ зубахъ лежитъ сторожъ Никита, старый отставной солдатъ съ порыжѣлыми нашивками. У него суровое испитое лицо, нависшія брови, придающія лицу выраженіе степной овчарки, и красный носъ; онъ невысокъ ростомъ, на видъ сухощавъ и жилистъ, но осанка у него внушительная и кулаки здоровые. Принадлежитъ онъ къ числу тѣхъ простодушныхъ, положительныхъ, исполнительныхъ и тупыхъ людей, которые больше всего на свѣтѣ любятъ порядокъ и потому убѣждены, что *ихъ* надо бить. Онъ бьетъ по лицу, по груди, по спинѣ, по чемъ попало, и увѣренъ, что безъ этого не было-бы здѣсь порядка. Далѣе вы входите въ большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сѣней. Стѣны здѣсь вымазаны грязно-голубой краской, потолокъ закопченъ, какъ въ курной избѣ,—ясно, что здѣсь зимой дымятъ печи и бываетъ угарно. Окна изнутри обезображены желѣзными рѣшетками. Полъ сѣръ и зановистъ. Воняетъ кислой капустой, фитильной гарью, клопами и амміакомъ, и эта вонь въ первую минуту производитъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы входите въ звѣринецъ.»

Читая это ужасающее описаніе больницы, правда, въ захолустномъ городкѣ, за 100 верстъ отстоящемъ отъ желѣзной дороги, вы начинаете понимать, отчего простой народъ питаетъ къ больницамъ такой паническій ужасъ.

А что-же дѣлалъ стоявшій во главѣ больницы нашъ почтеннѣйшій Андрей Ефимовичъ? Какъ могъ допустить онъ, чтобы ввѣренное ему заведеніе обратилось въ такой хлѣвъ, исполненный смрада и тлѣнія?

Оттого-то и допускалъ и терпѣлъ онъ всѣ эти безобразія, что былъ вполнѣ душевно-больной человѣкъ. Въ самой внѣшности своей представлялъ онъ собою странное раздвоеніе и диссонансъ: наружность у него была тяжелая, грубая, мужицкая; онъ напоминалъ трактирщика на большой дорогѣ, разъѣвшагося, невоздержнаго и крутого. Лицо суровое, покрытое синими жилками, глаза маленькіе, носъ красный. При высокомъ ростѣ и широкихъ плечахъ, у него были громадныя руки и ноги: казалось, хватитъ кулакомъ—духъ вонъ. И вдругъ при такой внушительной наружности поступь у него была тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрѣчѣ въ узкомъ корридорѣ онъ всегда первый останавливался, чтобы дать дорогу, и не басомъ, какъ ждали, а тихимъ, мягкимъ теноркомъ говорилъ: «виноватъ». Въ то-же время одѣвался съ небрежностью именно душевно-больного: одну и ту-же пару таскалъ лѣтъ по десяти, а новая одежда, которую онъ обыкновенно покупалъ въ жидовской лавкѣ, казалась на немъ такой-же поношеной и помятой, какъ старая: въ одномъ и томъ-же сюртукѣ онъ и больныхъ принималъ, и обѣдалъ, и въ гости ходилъ, и все это не изъ скупости, а отъ полнаго невниманія къ своей наружности.

Такой-же диссонансъ и разладъ замѣчался и во всемъ его характерѣ, равно и въ строѣ жизни его. Прежде всего васъ поражаетъ въ немъ полное отсутствіе воли,—одинъ изъ весьма существенныхъ признаковъ психическаго разстройства. Онъ чрезвычайно любилъ умъ и честность, но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватало характера и вѣры въ свое право. Приказывать, запрещать и настаивать онъ положительно не умѣлъ. Казалось, онъ далъ обѣтъ никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительнаго наклоненія. Сказать «дай» или «принеси» ему было трудно; когда ему хотѣлось ѣсть, онъ нерѣшительно покашливалъ и говорилъ кухаркѣ: «Какъ-бы мнѣ чаю..» или: «Какъ-бы мнѣ пообѣдать». Сказать-же смотрителю, чтобы онъ пересталъ красть или прогнать его, или совсѣмъ упразднить эту ненужную паразитную должность—для него было совершенно не подъ силу. Когда обманывали Андрея Ефимыча или льстили ему, или подносили для подписи завѣдомо подлый счетъ, онъ краснѣлъ, какъ ракъ, и чувствовалъ себя виноватымъ, но счетъ все-таки подписывалъ; когда больные жаловались ему на голодъ или на грубыхъ сидѣлокъ, онъ конфузился и виновато бормоталъ: «хорошо, хорошо, я разберу послѣ.. Вѣроятно тутъ недоразумѣніе..».

При такомъ феноменальномъ безволіи Андрей Ефимычъ, принявъ должность, отнесся къ больничнымъ безпорядкамъ равнодушно. Онъ попросилъ только больничныхъ мужиковъ и сидѣлокъ не ночевать въ палатахъ и поставилъ два шкафа съ инструментами, — смотритель-же, кастеляшка, фельдшеръ и хирургическая рожа остались на своихъ мѣстахъ. Въ первое время Андрей Ефимычъ работалъ очень усердно: принималъ ежедневно съ утра до обѣда, дѣлалъ операціи и даже занимался акушерской практикой.

Дамы говорили про него, что онъ внимателенъ и

отлично угадываетъ болѣзни, особенно дѣтскія и женскія. Но съ теченіемъ времени дѣло прискучило ему однообразіемъ и очевидной безполезностью. Сегодня принялъ 30 больныхъ, а завтра, глядишь, привалило ихъ 35, послѣ-завтра — 40, и такъ изо дня въ день, изъ года въ годъ, а смертность въ городѣ не уменьшается, и больные не перестаютъ ходить... Да и къ чему мѣшать людямъ умирать, если смерть есть нормальный и законный конецъ каждаго? Если-же видѣть цѣль медицины въ томъ, что лекарства облегчаютъ страданія, то невольно напрашивается вопросъ: зачѣмъ ихъ облегчать? Во-первыхъ, говорятъ, что страданія ведутъ человѣка къ совершенству, а во-вторыхъ, если человѣчество въ самомъ дѣлѣ научится облегчать свои страданія капсюлями и каплями, то оно совершенно заброситъ религію и философію, въ которыхъ до сихъ поръ находило не только защиту отъ всякихъ бѣдъ, но даже счастье. Пушкинъ передъ смертью испытывалъ страшныя мученія, бѣдняжка Гейне нѣсколько лѣтъ лежалъ въ параличѣ, но почему-же не поболѣть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матренѣ Савишнѣ, жизнь которыхъ безсодержательна и была-бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, еслибы не страданія? Подавляемый такими разсужденіями, Андрей Ефимычъ опустилъ руки и сталъ ходить въ больницу не каждый день.

И къ довершенію контраста этотъ опустившій руки байбакъ, этотъ безвольный субъектъ, предоставившій несчастныхъ больныхъ, ввѣренныхъ его попеченіямъ, на руки изверговъ, выражался очень часто, что «на этомъ свѣтѣ все незначительно и неинтересно, кромѣ высшихъ духовныхъ проявленій человѣческаго ума. Умъ проводитъ рѣзкую грань между животнымъ и человѣкомъ, намекаетъ на божественность послѣдняго и въ нѣкоторой степени даже замѣняетъ ему безсмертіе» ..

И вотъ, въ силу этого убѣжденія, что ничего нѣтъ выше духовныхъ проявленій человѣческаго ума, докторъ всю жизнь только и дѣлалъ, что философствовалъ, причемъ философія его была совершенно особеннаго рода, специфическая философія русскихъ безвольныхъ людей, и неумѣющихъ, и не желающихъ относиться къ жизни активно. Въ одномъ мѣстѣ авторъ устами одного сумасшедшаго субъекта прекрасно характеризуетъ эту россійскую философію такими словами:

„— Во всю жизнь до васъ никто не дотронулся пальцемъ, никто васъ не запугивалъ, не забивалъ; здоровы вы, какъ быкъ. Росли вы подъ крылышкомъ отца и учились на его счетъ, а потомъ сразу захватили синекуру. Больше двадцати лѣтъ выжили на безплатной квартирѣ, съ отопленіемъ, съ освѣщеніемъ, съ прислугой, имѣя притомъ право работать, какъ и сколько вамъ угодно, хотя-бы ничего не дѣлать. Отъ природы вы человѣкъ лѣнивый, рыхлый, и потому старались складывать свою жизнь такъ, чтобы васъ ничто не безпокоило и не двигало съ мѣста. Дѣла вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидѣли въ теплѣ, да въ тишинѣ, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышленіями о разной возвышенной чепухѣ и выпивохомъ. Однимъ словомъ, жизни вы не видѣли, не знаете ея совершенно, а съ дѣйствительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страданія и ничему не удивляетесь по очень простой причинѣ: суета суетъ, внѣшнее и внутреннее, презрѣніе къ жизни, страданіямъ и смерти, уразумѣнія, истинное благо, — все это философія, самая подходящая для россійскаго лежебока. Видите вы напримѣръ, какъ мужикъ бьетъ жену. Зачѣмъ вступаться? Пусть бьетъ, все равно оба помрутъ рано или поздно, а бьющій къ тому-же оскорбляетъ побоями не того, кого бьетъ, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать и не пить — умирать. Приходитъ баба, зубы болятъ.. Ну, что-жъ? Боль есть представленіе о боли, и къ тому-же безъ болѣзней не проживешь на этомъ свѣтѣ, всѣ помремъ, а потому ступай, баба, прочь, не мѣшай мнѣ мыслить и водку пить. Молодой человѣкъ проситъ совѣта, что дѣлать, какъ жить; прежде чѣмъ отвѣтить, другой-бы задумался, а тутъ уже готовъ отвѣтъ: стремись къ уразумѣнію или къ истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Отвѣта нѣтъ конечно. Насъ держатъ здѣсь за рѣшеткой, гноятъ, истязуютъ, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатою и теплымъ уютнымъ кабинетомъ нѣтъ никакой разницы. Удобная философія: и дѣлать нечего, и совѣсть чиста, и мудрецомъ себя чувствуешь... Нѣтъ, сударь, это не философія, не мышленіе, не острота взгляда, а лишь факирство, сонная одурь.. Да!.. Страданія презираете, а, небось, прищемши вамъ дверью палецъ, такъ заорете во все горло!..“

Неправда-ли, сколько глубокой правды въ этихъ словахъ сумасшедшаго и какой прекрасный ключъ даютъ они намъ къ уразумѣнію причины появленія въ нашемъ обществѣ толстовщины и тому подобныхъ доморощенныхъ ученій? Все это оказывается прямымъ порожденіемъ нашей безвольности, пассивности, разгильдяйства, — словомъ всероссійской обломовщины.

Такъ вотъ какимъ является передъ нами герой разсказа г. Чехова въ своемъ ежедневномъ обиходѣ. Теперь мы посмотримъ, какъ изъ едва замѣтныхъ симптомовъ развилась въ немъ психическая болѣзнь, доведшая его до сумасшедшаго дома.

III.

Я уже говорилъ выше, что основная идея повѣсти г. Чехова заключается въ томъ, «что десятки, сотни сумасшедшихъ гуляютъ на свободѣ, потому что наше невѣжество не способно отличить ихъ отъ здоровыхъ».

Идея эта вполнѣ наглядно выражается въ той параллели, какую провелъ авторъ между двумя главными своими героями: однимъ завѣдомо сумасшедшимъ, и потому содержащимся въ палатѣ № 6, Иваномъ Дмитріевичемъ Громовымъ, другимъ — знакомымъ уже намъ докторомъ Андреемъ Ефимовичемъ Рагинымъ.

Несмотря на то, что оба эти душевно-больные значительно отличались одинъ отъ другого характеромъ своихъ недуговъ: у одного была манія преслѣдованія, у другого — атрофія воли съ наклонностью къ идіотизму вслѣдствіе алкоголизма, - оба они сходятся въ одномъ, именно, что, будучи душевнобольными, пользовались продолжительное время свободой, пока наконецъ не обнаружили своихъ недуговъ въ такихъ рѣзкихъ проявленіяхъ, которыя обратили на себя вниманіе всѣхъ ихъ окружающихъ. Громовъ былъ сынъ чиновника. Онъ учился уже въ

университетѣ, когда старикъ-отецъ его былъ отданъ подъ судъ за подлоги и растраты и вскорѣ умеръ въ тюремной больницѣ отъ тифа, а старшій братъ Сергѣй умеръ въ скоротечной чахоткѣ. Иванъ Дмитріевичъ съ матерью остались безъ всякихъ средствъ. Борясь съ нищетой, онъ палъ духомъ, захирѣлъ и, бросивъ университетъ, уѣхалъ домой. Дома, въ городкѣ, получилъ по протекціи мѣсто учителя въ уѣздномъ училищѣ, но не сошелся съ товарищами, не понравился ученикамъ и скоро бросилъ мѣсто. Умерла мать. Онъ съ полгода ходилъ безъ мѣста, питаясь только хлѣбомъ и водой, затѣмъ поступилъ въ судебные пристава.

Онъ и въ молодые студенческіе годы не производилъ впечатлѣнія здороваго, всегда былъ блѣденъ, худъ, подверженъ простудѣ, мало ѣлъ, дурно спалъ. Отъ одной рюмки вина у него кружилась голова и дѣлалась истерика. Благодаря раздражительности и мнительности, онъ съ людьми близко не сходился и друзей не имѣлъ. О чемъ съ нимъ ни заговори, онъ все сводилъ къ одному: въ городѣ душно и скучно жить, у общества нѣтъ высшихъ интересовъ, оно ведетъ тусклую, безсмысленную жизнь, разнообразя ее насиліемъ, грубымъ развратомъ и лицемѣріемъ; подлецы сыты и одѣты, а честные питаются кроваи и пр. Въ сужденіяхъ о людяхъ человѣчество дѣлилось у него на честныхъ и подлецовъ; середины не было. О женщинахъ и любви онъ всегда говорилъ страстно, съ восторгомъ, но ни разу не былъ любленъ. Все свободное время онъ проводилъ въ тепіи: все, бывало, сидитъ въ клубѣ, нервно теребитъ бородку и перелистываетъ журналы и книги; по лицу его видно, что онъ не читаетъ, а глотаетъ, едва успѣвъ разжевать; причемъ онъ съ жадностью набрасывался на все, что попадало ему подъ руки, даже на прошлогодніе газеты и календари.

Какъ видите, Громовъ былъ человѣкъ, правда, не безъ странностей, но не обнаруживалъ ничего такого, вслѣдствіе чего его могли-бы заподозрить въ наклонности къ душевной болѣзни. Такихъ людей вы встрѣтите на каждомъ шагу, и они мирно проживаютъ весь вѣкъ, считаясь вполнѣ нормальными и здоровыми.

Но вотъ однажды утромъ онъ пробирался къ какому-то мѣщанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроеніе у него было мрачное, какъ всегда по утрамъ. Въ переулкѣ встрѣтились ему два арестанта въ кандалахъ и съ ними четыре конвойныхъ съ ружьями. Всегда подобныя встрѣчи возбуждали въ немъ чувство состраданія и неловкости; теперь-же онъ ощутилъ особенное, странное впечатлѣніе. Ему вдругъ почему-то показалось, что его также могутъ заковать въ кандалы и вести по улицѣ въ тюрьму. Возвращаясь домой, онъ встрѣтилъ знакомаго полицейскаго, который поздоровался съ нимъ и прошелъ нѣсколько шаговъ, и почему-то это показалось ему подозрительнымъ. Дома цѣлый день у него не выходили изъ головы арестанты и солдаты съ ружьями, и непонятная душевная тревога мѣшала ему читать и сосредоточиваться. Вечеромъ онъ не зажигалъ у себя огня, а ночью не спалъ, а все думалъ о томъ, что его могутъ арестовать, заковать и посадить въ тюрьму. Онъ не зналъ за собой никакой вины, но развѣ трудно совершить преступленіе нечаянно, невольно и развѣ невозможна клевета, наконецъ судебная ошибка? Люди, имѣющіе служебное, дѣловое отношеніе къ чужому страданію, — судьи, полицейскіе, врачи, закаляются до того, что хотѣли-бы да не могутъ относиться къ кліентамъ иначе, какъ формально. При такомъ-же отношеніи, чтобы невиннаго человѣка лишить всѣхъ правъ и присудить къ каторгѣ, судьѣ нужно только время на соблюденіе кое-какихъ формальностей. Ищи потомъ справедливости въ маленькомъ, грязномъ городишкѣ за двѣсти верстъ отъ желѣзной дороги!

Утромъ Громовъ поднялся съ постели въ ужасѣ, съ холоднымъ потомъ на лбу, совсѣмъ уже увѣренный, что его могутъ арестовать каждую минуту. Если вчерашнія тяжелыя мысли такъ долго не оставляютъ его, — думалъ онъ, — то значитъ въ нихъ есть доля правды. Не могли-же онѣ придти въ голову безъ всякаго повода? Городовой кстати прошелъ мимо оконъ: это не даромъ. Вотъ два человѣка остановились около дома и молчатъ. Почему они молчатъ?

Для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Всѣ проходившіе мимо оконъ и входившіе во дворъ казались шпіонами и сыщиками. Онъ вздрагивалъ при всякомъ звонкѣ и стукѣ въ ворота, томился, когда встрѣчалъ у хозяйки новаго человѣка; при встрѣчѣ съ полицейскими и жандармами онъ улыбался и посвистывалъ, чтобы казаться равнодушнымъ. Онъ не спалъ всѣ ночи на-пролетъ, ожидая ареста, но громко храпѣлъ и вздыхалъ, какъ сонный, чтобы хозяйкѣ казалось, что онъ спитъ; вѣдь если не спитъ, значитъ, его мучаютъ угрызенія совѣсти — какая улика! Факты и здравыя начала убѣждали его, что всѣ эти страхи — вздоръ, психопатія; но чѣмъ умнѣй и логичнѣй онъ разсуждалъ, тѣмъ сильнѣй и мучительнѣй становилась душевная тревога. Въ концѣ-концовъ, видя, что это безполезно, онъ совсѣмъ бросилъ разсуждать и весь отдался отчаянію и страху.

Онъ сталъ уединяться и избѣгать людей. Служба, всегда противная для него, стала теперь невыносима. Онъ боялся, что его подведутъ, положатъ ему незамѣтно въ карианъ взятку и потомъ уличатъ, или онъ самъ сдѣлаетъ ошибку, равносильную подлогу, потеряетъ чужія деньги. Странно, что никогда въ другое время мысль его не была такъ гибка и изобрѣтательна, какъ теперь, когда онъ выдумывалъ тысячи разнообразныхъ поводовъ опасаться за свободу и честь. Но зато значительно ослабѣлъ интересъ къ внѣшнему міру, къ книгамъ, и стала сильно измѣнять память.

Но и въ такомъ явно уже ненормальномъ состояніи разсудка Громовъ могъ прожить всю жизнь, не обративши на себя ничьего вниманія, сойдя за человѣка, хотя и нѣсколько мнительнаго, но совершенно здороваго. Люди такъ углублены въ свои собственные интересы и заботы, такъ мало наблюдательны и внимательны къ своимъ ближнимъ, что необходимо, чтобы ближній проявилъ себя въ ка-

комъ-нибудь поступкѣ, выходящемъ изъ уровня жизни и кричащемъ, чтобы они обратили на него вниманіе. Въ большинствѣ-же случаевъ они руководствуются въ своихъ сужденіяхъ первою, неизвѣстно кѣмъ пущенной, молвой, сплетней, не давая себѣ труда вникать, насколько эта молва-сплетня заслуживаетъ довѣрія.

Я встрѣчалъ по крайней мѣрѣ много совершенно подобныхъ Громову, одержимыхъ маніей преслѣдованія, людей, которыхъ никому не приходило и въ голову признавать за душевно-больныхъ. Здравомыслящіе люди вступали съ ними въ серьезные споры, стараясь то разсѣять ихъ опасенія относительно мнимаго ареста, то разувѣрить, что NN вовсе не шпіонъ: другіе обижались, когда подозрѣнія больного обращались противъ нихъ. Такъ-же точно и Громовъ могъ-бы прожить годы въ своихъ безумныхъ грезахъ, и никто не обратилъ-бы на него вниманія, еслибы болѣзнь его не сдѣлала новыхъ шаговъ въ своемъ развитіи и больной не проявилъ ея въ рядѣ поступковъ, совершенно уже несообразныхъ.

Весной, когда сошелъ снѣгъ, въ оврагѣ около кладбища нашли два полуистлѣвшихъ трупа — старухи и мальчика, съ признаками насильственной смерти. Въ городѣ только и разговора было, что объ этихъ трупахъ и неизвѣстныхъ убійцахъ. Иванъ Дмитріевичъ, чтобы не подумали, что это онъ убилъ, ходилъ по улицамъ и улыбался, а при встрѣчѣ со знакомыми блѣднѣлъ, краснѣлъ и начиналъ увѣрять, что нѣтъ подлѣе преступленія, какъ убійство слабыхъ, беззащитныхъ. Но эта ложь скоро утомила его, и, послѣ нѣкотораго размышленія, онъ рѣшилъ, что въ его положеніи самое лучшее—это спрятаться въ хозяйкинъ погребъ. Въ погребѣ просидѣлъ онъ день, потомъ ночь и другой день, сильно озябъ и, дождавшись потемокъ, тайкомъ, какъ воръ, пробрался къ себѣ въ комнату. До разсвѣта простоялъ онъ посреди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утромъ, до восхода солнца, къ хозяйкѣ пришли печники. Иванъ Дмитричъ хорошо зналъ, что они пришли затѣмъ, чтобы перекладывать въ кухнѣ печь, но страхъ подсказалъ ему, что это полицейскіе, переодѣтые печниками. Онъ потихоньку вышелъ изъ квартиры и, охваченный ужасомъ, безъ шапки и сюртука побѣжалъ по улицѣ. За нимъ съ лаемъ гнались собаки, кричалъ гдѣ-то позади мужикъ, въ ушахъ свисталъ воздухъ, и Ивану Дмитричу казалось, что насиліе всего міра скопилось за его спиной и гонится за нимъ.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за докторомъ. Докторъ прописалъ холодныя примочки на голову и лавровишневыя капли, грустно покачалъ головой и ушелъ, сказавъ хозяйкѣ, что больше онъ уже не придетъ, потому что не слѣдуетъ мѣшать людямъ сходить съ ума. Такъ какъ дома не на что было жить и лечиться, Ивана Дмитрича отправили въ больницу и положили его тамъ въ палатѣ для венерическихъ больныхъ. Онъ не спалъ по ночамъ, капризничалъ и безпокоилъ больныхъ, и скоро, по распоряженію Андрея Ефимыча, былъ переведенъ въ палату № 6. Черезъ годъ въ городѣ уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленныя хозяйкой въ сѣни подъ навѣсомъ, были растасканы мальчишками.

IV.

Мы успѣли уже нѣсколько познакомиться съ докторомъ Андреемъ Ефимовичемъ Рагинымъ, съ его безволіемъ, апатіей и полнымъ разладомъ словъ и дѣлъ. Ко всему этому остается прибавить лишь, что все свободное отъ посѣщеній больницы время (а мы видѣли, какъ рѣдко посѣщалъ онъ больницу), онъ проводилъ въ чтеніи, причемъ черезъ каждые полчаса выпивалъ по рюмкѣ водки, закусывая ее соленымъ огурцомъ или моченымъ яблокомъ. По вечерамъ-же водка замѣнялась пивомъ. И такъ продолжалось изо дня въ день втеченіи двадцати лѣтъ. Согласитесь, что такое систематическое отравленіе спиртомъ безъ малѣйшихъ перерывовъ не могло остаться безслѣднымъ и не подѣйствовать на умственныя способности, хотя-бы отъ природы человѣкъ не былъ расположенъ къ душевнымъ болѣзнямъ.

И вотъ мало-по-малу водка въ соединеніи съ пивомъ на столько отуманили мозгъ несчастнаго, что онъ положительно пересталъ сознавать отношеніе между собой и окружающими его предметами, вмѣстѣ съ тѣмъ утратилъ чутье и своихъ отношеній къ окружающему. Разъ это случилось, то хотя его и мысли, и поступки продолжали сохранять логику здравомыслящаго человѣка, тѣмъ не менѣе они начали поражать людей, съ которыми онъ соприкасался, своей странностью и ненормальностью.

Такъ, между прочими душевно-больными содержался въ палатѣ № 6 еврей Моисейка, дурачокъ, помѣшавшійся лѣтъ двадцать назадъ, когда у него сгорѣла шапочная мастерская. Изо всѣхъ обитателей палаты только ему одному позволялось выходить изъ флигеля и даже изъ больничнаго двора на улицу. Такой привилегіей онъ пользовался издавна, какъ больничный старожилъ, тихій, безвредный дурачокъ, городской шутъ, котораго давно уже привыкли видѣть на улицахъ окруженнымъ мальчишками и собаками. Въ халатишкѣ, въ смѣшномъ колпакѣ и въ туфляхъ, иногда босикомъ и даже безъ панталонъ, онъ ходилъ по улицамъ, останавливался у воротъ и лавочекъ, и просилъ копѣечку. Въ одномъ мѣстѣ дадутъ ему квасу, въ другомъ — хлѣба, въ третьемъ — копѣечку, такъ что возвращался онъ во флигель сытымъ и богатымъ. Но все, что приносилъ онъ съ собой, отбиралъ у него сторожъ Никита въ свою пользу.

Двадцать лѣтъ душевно-больной, содержавшійся въ палатѣ № 6-й, разыгрывалъ такимъ образомъ роль городского шута и двадцать-же лѣтъ завѣдывалъ этой палатой докторъ и не зналъ даже и о существованіи находившагося на его попеченіи больного! А въ палатѣ, не забудьте, содержалось всего-на-всего пять больныхъ.

И вотъ однажды весною, въ мартѣ мѣсяцѣ, когда докторъ провожалъ до воротъ своего обычнаго гостя, почтмейстера Михаила Аверьяныча, къ нему под-

шелъ Моисейка и попросилъ копѣечку, дрожа отъ холода и улыбаясь. Андрей Ефимычъ, который никогда не умѣлъ отказывать, подалъ ему гривенникъ «Какъ это не хорошо, — подумалъ онъ, глядя на его босыя ноги съ красными тощими щиколками. — Вѣдь мокро».

И побуждаемый чувствомъ, похожимъ на жалость и на брезгливость, онъ пошелъ во флигель вслѣдъ за евреемъ, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входѣ доктора съ кучи хлама вскочилъ Никита и выпрямился.

— Здравствуй, Никита,— сказалъ мягко Андрей Ефимычъ. — Какъ-бы этому еврею выдать сапоги, что-ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородіе. Я доложу смотрителю

— Пожалуйста. Ты попроси его отъ моего имени. Скажи, что я просилъ.

Дверь изъ сѣней въ палату была отворена. Доктора увидѣлъ и узналъ Иванъ Дмитричъ, весь затрясся отъ гнѣва, вскочилъ и съ краснымъ, злымъ лицомъ, съ глазами на выкатѣ выбѣжалъ на середину палаты.

— Докторъ пришелъ! — крикнулъ онъ и захохоталъ. — Наконецъ-то! Господа, поздравляю, докторъ удостоиваетъ насъ своимъ визитомъ! Проклятая гадина! — взвизгнулъ онъ и въ изступленіи, какого никогда не видѣли въ палатѣ, топнулъ ногой.— Убить эту гадину! Нѣтъ, мало убить! Утопить въ отхожемъ мѣстѣ!

Андрей Ефимычъ, слышавшій это, выглянулъ изъ сѣней въ палату и спросилъ мягко:

— За что?

— За что? — крикнулъ Иванъ Дмитричъ, подходя къ нему съ угрожающимъ видомъ и судорожно запахиваясь въ халатъ. — За что? Воръ! — проговорилъ онъ съ отвращеніемъ и дѣлая губы такъ, какъ будто желая плюнуть. — Шарлатанъ! Палачъ.

— Успокойтесь,—сказалъ Андрей Ефимычъ, виновато улыбаясь.—Увѣряю васъ, я никогда ничего не кралъ, въ остальномъ-же вѣроятно вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу васъ, если можете, и скажите хладнокровно: за что?

— А за что вы меня здѣсь держите?

— За то, что вы больны.

И вотъ, между докторомъ и Иваномъ Дмитричемъ завязался разговоръ, въ которомъ сразу обнаружилось, что докторъ едва-ли не въ большей степени былъ душевно-больной, чѣмъ состоявшій на его попеченіи умалишенный. Начать съ того, что онъ совсѣмъ забылъ, что ввѣренные его попеченію больные могутъ свободно разгуливать по городу босые и просить Христа-ради, и что привлекла его въ палату именно встрѣча съ подобнымъ его паціентомъ, и началъ увѣрять Ивана Дмитрича, что какая ему польза будетъ, если онъ отпуститъ его: его задержатъ горожане или полиція и вернутъ назадъ. При этомъ докторъ началъ серьезно увѣрять больного, что пребываніе въ больницѣ зависитъ вполнѣ отъ случая: кого посадили, тотъ сидитъ, а кого не посадили, тотъ гуляетъ — вотъ и все: — «Въ томъ, что я докторъ, — говорилъ онъ, — а вы душевно-больной, нѣтъ ни нравственности. ни логики, а одна только пустая случайность. Разъ существуютъ тюрьмы и сумасшедшіе дома, то долженъ-же кто-нибудь сидѣть въ нихъ. Не вы — такъ я, не я—такъ кто-нибудь третій... При всякой обстановкѣ вы можете находить успокоеніе въ самомъ себѣ. Свободное и глубокое мышленіе, которое стремится къ уразумѣнію жизни, и полное презрѣніе къ глупой суетѣ міра, — вотъ два блага, выше которыхъ никогда не зналъ человѣкъ. И вы можете обладать ими, хотя-бы вы жили за тремя рѣшетками. Діогенъ жилъ въ бочкѣ, однако-же былъ счастливѣе всѣхъ царей земныхъ».

Но верхъ ненормальности заключался въ томъ, что докторъ совсѣмъ забылъ, что онъ—докторъ, а передъ нимъ паціентъ, и притомъ душевно-больной, котораго онъ обязанъ лечить по правиламъ науки, а не заводить съ нимъ философскіе споры на такія тревожныя темы, какъ вопросы о цѣляхъ, значеніи и сути жизни, что̀ равносильно ковырянію или тренію наболѣвшей раны. Онъ мало того, что всталъ съ нимъ на равную ногу, совершенно какъ со своимъ пріятелемъ, но и сильно заинтересовался имъ не съ медицинской точки зрѣнія, въ качествѣ интереснаго экземпляра душевной болѣзни, а какъ съ человѣкомъ блестящаго ума и образованія.

«Какой пріятный молодой человѣкъ!..— думалъ онъ, идя къ себѣ на квартиру. — За все время, пока я тутъ живу, это, кажется, первый, съ которымъ можно поговорить. Онъ умѣетъ разсуждать и интересуется именно тѣмъ, чѣмъ нужно».

Читая и потомъ ложась спать, онъ все время думалъ объ Иванѣ Дмитричѣ, а проснувшись на другой день утромъ, вспомнилъ, что вчера онъ познакомился съ умнымъ и интереснымъ человѣкомъ, и рѣшилъ сходить къ нему еще разъ при первой возможности.

Согласитесь, что подобное отношеніе доктора къ своему душевно-больному паціенту показываетъ въ самомъ докторѣ такую степень душевной болѣзни, при которой человѣкъ теряетъ уже почву подъ ногами, истинное значеніе вещей и сознаніе, какъ держать себя съ различными людьми. Далѣе, мы видимъ, что Андрей Ефимычъ началъ очень часто посѣщать Ивана Дмитрича и продолжалъ обращать его въ свою философію индифферентнаго квіэтизма, причемъ больной въ своихъ возраженіяхъ оказывался не въ примѣръ логичнѣе и справедливѣе своего врача.

Подобное поведеніе доктора не могло не обратить на себя вниманія окружающихъ его людей, какъ нѣчто совершенно несообразное. И въ самомъ дѣлѣ: подумайте только, какое впечатлѣніе должны были вынести помощникъ Андрея Ефимыча Хоботовъ и Никита, когда, заглянувъ въ палату сквозь полуотворенную на вершокъ дверь, они увидѣли, какъ Иванъ Дмитричъ въ колпакѣ и Андрей Ефимычъ сидѣли рядомъ на постели. Сумасшедшій гримасничалъ, вздрагивалъ и судорожно запахивался въ халатъ, а докторъ сидѣлъ неподвижно, опустивъ го-

лову, и лицо у него было красное, безпомощное, грустное.

Оттуда и пошла распространяться по городу молва, что Андрей Ефимычъ не въ своемъ умѣ, и дальнѣйшіе поступки его оправдывали эту молву. Ни малѣйшаго протеста и возраженій здравомыслящаго человѣка не обнаруживалъ докторъ ни тогда, когда его подвергали судебному допросу, ни когда почтмейстеръ увезъ его путешествовать и по дорогѣ ограбилъ его, занявъ у него въ долгъ послѣдніе его 500 рублей, ни по возвращеніи домой, оставшись безъ мѣста и безъ всякихъ средствъ къ жизни. Ко всему этому относился онъ съ пассивностью и безволіемъ вполнѣ душевно-больного человѣка. Лишь когда слишкомъ ужъ надоѣли ему ухаживанія за нимъ пріятеля почтмейстера и Хоботова, онъ вдругъ нервно вспылилъ, противъ воли сжалъ кулаки, поднялъ ихъ выше головы, не своимъ голосомъ началъ гнать вонъ своихъ гостей и бросилъ имъ вслѣдъ стклянкой съ бромистымъ каліемъ.

Послѣ этого проявленія буйства его отправили въ ту-же палату № 6, — и опять-таки онъ допустилъ свести себя въ больницу безъ малѣйшихъ проявленій хотя тѣни активности ума или воли: на-слово повѣрилъ Хоботову, котораго наканунѣ прогналъ съ такимъ неистовствомъ, что тотъ ведетъ его на какой-то фантастическій консиліумъ. Безропотно облекся въ больничное платье, а затѣмъ, совершенно не соображая, что, разъ онъ попалъ въ палату, въ качествѣ хотя-бы мнимаго больного, сторожъ не можетъ выпустить его на свободу, началъ просить Никиту, чтобы тотъ выпустилъ его, вышелъ наконецъ изъ себя и вступилъ съ Никитой въ ожесточенную, безсмысленную борьбу вполнѣ уже сумасшедшаго характера, — послѣ чего послѣдовалъ апоплексическій ударъ и смерть Андрея Ефимыча.

Все это производитъ на васъ гнетущее и въ концѣ-концовъ потрясающее впечатлѣніе, причемъ слѣдуетъ сказать, что подобное впечатлѣніе происходитъ не одинъ только мастерской и глубокій психіатрическій анализъ автора, но и общая картина общества захолустнаго городка, жизнь котораго дошла до такой всеобщей нелѣпицы, что вы положительно теряете сознаніе, кого въ этой средѣ можно считать здоровыми, кого душевно-больными людьми, гдѣ кончается палата № 6 и начинается область яко-бы здраваго смысла?...

V.

То-же самое можемъ мы сказать и о новомъ произведеніи г. Чехова «Разсказъ неизвѣстнаго человѣка». И здѣсь въ свою очередь г. Чеховъ нигдѣ не высказываетъ прямо своихъ идеаловъ, но онъ предоставляетъ намъ ихъ чувствовать сквозь тѣ отрицательныя, мрачныя краски, какими изображаетъ печальныя явленія нашей жизни.

Произведеніе это, по моему мнѣнію, особенно счастливо въ томъ отношеніи, что оно болѣе, чѣмъ всѣ предыдущія, способно разсѣять вышеозначенное недоразумѣніе, если только читатель съумѣетъ взглянуть на него вполнѣ безпристрастными глазами. Въ разсказѣ своемъ авторъ рисуетъ передъ нами въ самомъ ужасномъ и отвратительномъ видѣ именно людей, которые отрицаніе всякихъ идеаловъ возвели въ особеннаго рода культъ, гордятся и тщеславятся этимъ, какъ чѣмъ-то въ высшей степени разумнымъ, послѣднимъ словомъ прогресса. А рядомъ съ подобными чудовищами рисуются передъ нами люди иной категоріи, которые, напротивъ того, очень дорожатъ идеалами, всѣми силами души своей стремятся къ ихъ осуществленію, но такъ они исковерканы жизнью и средой, такъ дрябла, дрянна и ничтожна ихъ натура, что всѣ попытки осуществленія идеаловъ ничего не приносятъ имъ, кромѣ горькаго сознанія своей несостоятельности, отчаянія и смерти.

Въ общемъ получается картина не менѣе мрачная и зловѣщая, чѣмъ и та, какую мы имѣемъ въ «Палатѣ № 6», — но опять-таки развѣ могъ-бы изобразить такую страшную картину художникъ, который самъ-бы не имѣлъ въ душѣ своей никакихъ идеаловъ? Развѣ у художника-фотографа, который изображаетъ первое, что попадается ему на глаза, не вникая въ значеніе изображаемыхъ явленій, можетъ быть такъ глубоко осмыслена каждая страница, какъ это мы видимъ въ разсказѣ г. Чехова?

Картина, изображенная г. Чеховымъ въ своемъ разсказѣ, производитъ на васъ тѣмъ болѣе странное впечатлѣніе, что вы имѣете дѣло здѣсь не съ какимъ-нибудь захолустнымъ городкомъ, а съ столичной интеллигенціей, дающей тонъ всей Россіи. Во главѣ разсказа стоитъ въ видѣ героя нѣкій петербургскій бюрократъ, сынъ извѣстнаго государственнаго человѣка, Григорій Ивановичъ Орловъ. Ему было 35 лѣтъ. Наружность у него была петербургская: узкія плечи, длинная талія, впалые виски, плоскія щеки, глаза неопредѣленнаго цвѣта и скудная, тускло окрашенная растительность на головѣ, бородѣ и усахъ. Лицо у него было холеное, лощеное, потертое и непріятное. Особенно непріятно оно было, когда онъ задумывался или спалъ. Когда Орловъ брался за газету или книгу, какая-бы она ни была, или-же встрѣчался съ людьми, кто-бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выраженіе легкой, незлой насмѣшки. Передъ тѣмъ какъ что-нибудь прочесть или услышать, у него всякій разъ была уже наготовѣ иронія, какъ щитъ у дикаря, ожидающаго, что въ него сейчасъ выстрѣлятъ. Это была иронія привычная, воспитанная годами, и въ послѣднее время она показывалась на лицѣ вѣроятно уже безо всякаго участія воли, а какъ-бы по рефлексу...

Въ первомъ часу онъ съ выраженіемъ иронія бралъ свой портфель, набитый бумагами, и уѣзжалъ на службу. Обѣдалъ онъ не дома и возвращался послѣ восьми. Лакей его (который, какъ увидимъ ниже, является не простымъ лакеемъ, а своего рода героемъ) зажигалъ въ кабинетѣ лампу и свѣчи, а онъ садился въ кресло, протягивалъ ноги на стулъ и, развалившись такимъ образомъ, начиналъ читать. Почти каждый день онъ привозилъ съ собой или ему присылали изъ магазиновъ новыя книги, и въ лакейской въ углахъ и подъ кроватью лежало множество книгъ на трехъ языкахъ, не считая русскихъ

го, уже прочитанныхъ и брошенныхъ. Читалъ онъ съ необыкновенной быстротой. Сегодня прислали изъ магазина книгу листовъ въ двадцать, а завтра ужъ она лежитъ обрѣзанная на столѣ, и Орловъ излагаетъ пріятелямъ ея содержаніе. Говорятъ: скажи мнѣ, что ты читаешь, и я скажу тебѣ, кто ты. Это быть можетъ и правда, но судить объ Орловѣ по тѣмъ книгамъ, какія онъ читалъ, было очень затруднительно. То была какая-то каша, а не чтеніе. Онъ читалъ и философію, и французскіе романы, и политическую экономію, и финансы, и новыхъ поэтовъ, и изданія «Посредника», — и все одинаково, съ тѣмъ-же ироническимъ выраженіемъ.

Послѣ десяти часовъ онъ тщательно одѣвался, часто во фракъ, очень рѣдко въ свой камеръ-юнкерскій мундиръ и уѣзжалъ изъ дому. Возвращался подъ утро...

У насъ принято подъ нравственнымъ растлѣніемъ и развратомъ подразумѣвать непремѣнно что-то ужасное и мелодраматическое,—непремѣнно рядъ излишествъ и безобразныхъ оргій, противуестественные пороки, способность на самыя возмутительныя подлости, преступленія, злодѣйства и т. п. Ничего подобнаго въ Орловѣ не замѣчалось. Онъ имѣлъ видъ во всѣхъ отношеніяхъ человѣка умѣреннаго, аккуратнаго, солиднаго, у котораго свѣтское комильфотство не ограничивалось однимъ покроемъ платья и изящными манерами, но проводилось во всѣхъ мелочахъ повседневной жизни. Про него нельзя было даже сказать то, что авторъ говоритъ обо всѣхъ вообще петербургскихъ жуирахъ, что они любятъ поговорить о своихъ необыкновенныхъ вкусахъ. «Иной солидный жуиръ превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но пощупать его, такъ онъ зараженъ всѣми пороками Востока и Запада, состоитъ почетнымъ членомъ цѣлаго десятка тайныхъ, предосудительныхъ обществъ и уже на замѣчаніи у полиціи».

Орловъ чуждъ былъ даже и подобнаго платоническаго разврата. Нравственная испорченность его была иного, болѣе утонченнаго характера, тѣмъ болѣе страшнаго, что она имѣла вполнѣ приличную и даже изящную внѣшность. Она не была лишена своего рода свободомыслія, жажды независимости и раціональныхъ взглядовъ, повидимому самаго новѣйшаго чекана.

Такъ, онъ никогда не держалъ у себя ни кухни, ни лошадей, потому что, какъ выражался, не любилъ «заводить у себя нечистоту» и слугъ терпѣлъ въ своей квартирѣ только по необходимости. Когда кто-нибудь заводилъ при немъ разговоръ о кухнѣ, дѣтской или супружеской спальнѣ, то онъ брезгливо морщился, какъ будто въ самомъ дѣлѣ шла рѣчь о нечистотѣ. Такъ называемый семейный очагъ съ его обыкновенными радостями и дрязгами оскорблялъ его вкусы, какъ пошлость; быть беременной или имѣть дѣтей и говорить о нихъ—это дурной тонъ, мѣщанство. На любовь у него былъ свой особенный взглядъ, который выражалъ онъ въ слѣдующихъ разсужденіяхъ:

«— Я не тургеневскій герой, и если мнѣ когда-нибудь понадобится освободить Болгарію, то я не понуждаюсь въ дамскомъ обществѣ. На любовь я прежде всего смотрю, какъ на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять съ толкомъ или-же совсѣмъ отказаться отъ нея, иначе она внесетъ въ твою жизнь такіе-же нечистые элементы, какъ она сама. Чтобы она была наслажденіемъ, а не мученіемъ, и чтобы она не стѣсняла меня, я стараюсь дѣлать ее красивой и обставлять множествомъ всякихъ иллюзій. Я не поѣду къ женщинѣ, которую люблю, если заранѣе не увѣренъ, что застану ее во всемъ блескѣ красоты и изящества, что она будетъ нарядна, весела, остроумна, увлекательна; и самъ я ѣзжу къ ней только, когда бываю особенно въ ударѣ, когда я оживленъ, веселъ и расположенъ къ любовнымъ изліяніямъ. И намъ обыкновенно всякій разъ удается обмануть другъ друга настолько, что мы расходимся въ самомъ радушномъ, даже поэтическомъ настроеніи. Такъ-то, душа моя. Но я не могу хотѣть мѣдныхъ кастрюлей и нечесанной головы или чтобы меня видѣли, когда я не умытъ и не въ духѣ.

Зинаида Ѳедоровна (о которой будетъ у насъ рѣчь ниже) въ простотѣ сердца хочетъ заставить меня полюбить то, отчего я прятался всю свою жизнь. Она хочетъ, чтобы у меня въ квартирѣ пахло кухней и судомойками; ей нужно съ шумомъ перебираться на новую квартиру, разъѣзжать на своихъ лошадяхъ, ей нужно считать мое бѣлье и заботиться о моемъ здоровьѣ; ей нужно каждую минуту вмѣшиваться въ мою личную прозаическую жизнь и слѣдить за каждымъ моимъ шагомъ и въ то-же время искренно увѣрять меня, что мои привычки и свобода останутся при мнѣ. Она убѣждена, что мы, какъ молодожены, въ самомъ скоромъ времени совершимъ путешествіе, то-есть она хочетъ неотлучно находиться при моей особѣ, и въ купэ, и въ отеляхъ, а между тѣмъ въ дорогѣ я люблю читать и терпѣть не могу разговаривать...»

Общественныя убѣжденія Орлова въ свою очередь соединяли въ себѣ рядомъ съ великосвѣтскою брезгливостью изнѣженнаго дэнди пессимистическій индифферентизмъ извѣрившагося человѣка, которому все трынъ-трава.

«— Высшій свѣтъ,—говорилъ онъ,—бранятъ всегда съ исключительной только цѣлью, чтобы противопоставить его тому свѣту, гдѣ живутъ купцы, попы, мѣщане и мужики, разные тамъ Сидоры и Никиты. Но чѣмъ-же этотъ свѣтъ, скажите на милость, лучше высшаго? Чѣмъ? Вѣдь та-же ложь кругомъ, таже дикость, тѣ-же сплетни, наряды, карты, пошлые разговоры и та-же скука. Оба свѣта одинаково великолѣпны и бранить въ отдѣльности тотъ или другой—значитъ прямо-таки лгать. Я вамъ прямо скажу: еслибы мнѣ предложили выбирать по совѣсти между тѣмъ и другимъ, то я, не задумываясь, остановился-бы на высшемъ, такъ какъ всѣ мои вкусы на его сторонѣ. Нашъ свѣтъ и пошлъ, и пустъ, но зато мы съ вами хоть порядочно говоримъ по-французски, кое-что почитываемъ и не толкаемъ другъ друга подъ микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоровъ, Никитъ и у ихъ степенствъ—потрафляемъ, теперича, чтобы тебѣ повылѣзало и полная разнузданность кабацкихъ нравовъ, и идолопоклонство.

— Мужикъ и купецъ кормятъ насъ,—возражали ему.

— Да, ну, такъ что-же? Это рекомендуетъ съ дурной стороны не меня только, но и ихъ такъ-же. Они кормятъ и ломаютъ передо мной шапку, значитъ у нихъ не хватаетъ ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высшій свѣтъ и низшій — оба лучше!..»

Но весь ужасъ, вся бездна нравственнаго растлѣнія Орлова и ему подобныхъ представителей современнаго петербургскаго чиновничества заключаются въ той циничесой иронiи, о которой мы говорили уже выше,—иронiи, не знавшей границъ и ни передъ чѣмъ не останавливающейся. Иронія эта особенно разыгрывалась на журфиксахъ Орлова во время ужиновъ его съ пріятелями Пекарскимъ, Грузинымъ и Кукушкинымъ, такими-же, какъ и онъ, карьеристами и жуирами.

«О, если-бы вы знали,—читаемъ мы,—что это были за разговоры! Начиналось обыкновенно съ того, что Орловъ со смѣющимися глазами заводилъ рѣчь о какомъ-нибудь знакомомъ, о недавно прочитанной книгѣ, о новомъ назначеніи или проектѣ; льстивый, хихикающій Кукушкинъ подхватывалъ въ тонъ и начиналась препротивная музыка Иронія Орлова и его друзей не знала предѣловъ и подобно больному волку, который на своемъ пути рветъ все—и людей, и солому, и камни,—не щадила никого и ничего. Говорили о религіи—иронія, говорили о философіи, о смыслѣ и цѣляхъ жизни—иронія, поднималъ-ли кто вопросъ о народѣ, его страданіяхъ, будущности—иронія. Въ Петербургѣ есть особая порода людей, которые спеціально занимаются тѣмъ, что вышучиваютъ каждое явленіе жизни; они не могутъ пройти даже мимо голоднаго или самоубійцы безъ того, чтобы не сострoить рожи и не сказать пошлости. Но Орловъ и его пріятели не шутили, и напрасно было объяснять ихъ иронію то неискренностью, то великосвѣтскимъ бахвальствомъ. Они съ ироніей говорили, что Бога нѣтъ и со смертью личность исчезаетъ совершенно; безсмертные существуютъ только во французской академіи. Истиннаго блага нѣтъ и не можетъ быть, такъ къ ва наличность его обусловлена человѣческимъ совершенствомъ, а послѣднее есть логическая нелѣпость. Россія такая-же скучная и убогая страна, какъ Персія. Интеллигенція безнадежна, въ громадномъ большинствѣ состоитъ изъ людей неспособныхъ и никуда негодныхъ. Народъ-же спился, облѣнился, изворовался и вырождается. Науки у насъ нѣтъ, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничествѣ, «не обманешь—не продашь». И все въ такомъ родѣ.

«Отъ вина къ концу ужина становились веселѣе и переходили ко всегда новому и неисчерпаемому вопросу: о любви и женщинахъ. Начинали съ легкихъ сплетенъ и шутокъ. Подсмѣивались надъ семейной жизнью Грузина, надъ побѣдами Кукушкина или надъ Пекарскимъ, у котораго, будто-бы, въ расходной книжкѣ была одна страничка съ заголовкомъ: *На дѣла благотворительности* и другая—*На физіологическія потребности*. Затѣмъ мало-помалу переходили къ обобщеніямъ. По ихъ мнѣнію, основанному главнымъ образомъ на опытѣ Орлова, нѣтъ вѣрныхъ женъ; нѣтъ такой жены, отъ которой, при нѣкоторомъ навыкѣ, нельзя было-бы добиться ласкъ, въ самомъ грубомъ смыслѣ этого слова, не выходя изъ гостиной, въ то время когда въ кабинетѣ сидитъ мужъ. Дѣвочки-подростки развращены и уже знаютъ все. Орловъ хранитъ у себя письмо одной четырнадцатилѣтней гимназистки: она, возвращаясь изъ гимназіи, «замарьяжила на Невскомъ офицерика», который увелъ ее къ себѣ и отпустилъ только поздно вечеромъ, а она поспѣшила подѣлиться своими восторгами съ подругой. Говорили за ужиномъ, что чистоты нравовъ не было никогда и нѣтъ ея, очевидно она не нужна; человѣчество до сихъ поръ прекрасно обходилось безъ нея. Вредъ-же отъ такъ-называемаго разврата, несомнѣнно, преувеличенъ. Извращеніе, предусмотрѣнное въ нашемъ уставѣ о наказаніяхъ, не мѣшало Діогену быть философомъ и учителемъ; Цезарь и Цицеронъ были развратники и въ то-же время великіе люди. Старикъ Катонъ имѣлъ неосторожность жениться на молоденькой, но все-таки продолжалъ считаться суровымъ постникомъ и блюстителемъ нравовъ...»

Таковъ передъ нами Орловъ, представляющій отнюдь не какое-либо исключеніе, рѣдко встрѣчающійся монстръ. Это типъ, весьма распространенный, могущій служить кличкой для значительнаго числа нашихъ современныхъ интеллигентовъ, особенно въ средѣ столичной бюрократіи. Отсутствіе всего святого и легкомысленное глумленіе надъ всѣми и вся,—такова преобладающая философія нашего современнаго бомонда. Далѣе мы посмотримъ, какъ проявляютъ себя современные носители высшихъ идеаловъ.

VI.

Казалось-бы, давнымъ-давно пора было-бы намъ привыкнуть къ тому, что наша литература, въ лучшихъ своихъ памятникахъ, занимается преимущественно отрицательными явленіями нашей жизни. Положительныя-же изображенія ей по большей части не удаются, выходятъ искусственны, ходульны или-же сентиментальны и слащавы. Такъ, не говоря уже о Правдинѣ и Стародумѣ комедій Фонвизина или о Штольцѣ Гончарова, но даже и такія фигуры, какъ Чацкій въ «Горе отъ ума» или Инсаровъ въ «Наканунѣ», нельзя сказать, чтобы представляли собой нѣчто безупречное и не были-бы мѣстами просто смѣшны.

И между тѣмъ положительно не было еще въ нашей литературѣ такого крупнаго писателя, который не подвергался-бы упрекамъ въ отсутствіи идеаловъ, въ пессимизмѣ, въ клеветѣ то на молодое поколѣніе, то на всю русскую интеллигенцію, наконецъ даже на всю Россію, вмѣстѣ взятую. На Гоголя смотрѣли, какъ на самаго злостнаго клеветника и пасквилянта, когда онъ написалъ «Ревизора», и повидимому имѣли всѣ резоны къ тому. Помилуйте въ самомъ дѣлѣ: неужели наши провинціальные города, даже хотя-бы самые захолустные, всѣ подрядъ наполнены были въ эпоху Гоголя такими карикатурными уродами, какъ Сквозникъ-Дмухановскій, Тяпкинъ Ляпкинъ, Добчинскій и Бобчинскій? Неужели такъ-таки и не было ни одного мало-мальски порядочнаго человѣка, свѣтлой личности, которую Гоголь былъ обязанъ вывести ради сохраненія равновѣсія и справедливаго безпристрастія? О Салтыковѣ и говорить нечего: о немъ критики не только противнаго лагеря, но и дружественные вопіяли, что у него не существуетъ никакихъ идеаловъ, а одинъ безпощадный смѣхъ, которымъ онъ готовъ все втоптать въ грязь, что угодно: и чужихъ, и своихъ, и правыхъ, и лѣвыхъ, что для краснаго словца онъ не пожалѣетъ и отца...

Совершенно такія же обвиненія сыпятся по адресу г. Чехова. Такъ, по поводу послѣдняго произведенія г. Чехова одинъ юный критикъ пряхотаки сѣтуетъ:

«Ненастная осень царила вѣроятно на петербургскихъ улицахъ, когда г. Чеховъ писалъ свой разсказъ; ненастная осень царила и на душѣ у него. Чѣмъ-то дряблымъ, вялымъ и старческимъ вѣетъ отъ послѣдней вещи нашего молодого беллетриста,

вѣетъ осенней сыростью и непогодой. *Ни одного добраго слова, ни одной улыбки, ни одной сильной, энергической сцены* — и это на протяженіи цѣлыхъ пяти листовъ. Во время чтенія вамъ кажется, что мелкій назойливый дождикъ не перестаетъ дребезжать въ ваши окна, что тамъ, на сырой, грязной улицѣ, плетутся измокшія фигуры людей, что откуда-то издали доносятся стоны невыносимой муки. Ни красоты, ни силы; старческій маразмъ окрасилъ всѣ страницы въ однообразный сѣрый цвѣтъ, ненастная осень вступила въ свои права.»

Читая эти строки, можно подумать, что изображеніе дурной, ненастной погоды и дрянныхъ людишекъ —есть нѣчто, искусства вовсе не касающееся и предосудительное. А если писатель вздумалъ терзать читателя такими мрачными картинами, онъ обязанъ сейчасъ-же взять батистовый платочекъ и отереть его слезки; изобразить осеннюю петербургскую слякоть и утѣшить его тотчасъ-же картиной знойнаго лѣтняго дня, изобразить отвратительнаго негодяя и тутъ-же рядомъ поставить писаннаго красавца, сіяющаго всѣми возможными добродѣтелями.

Но особенно становятся на дыбы наши критики и рецензенты, когда въ произведеніи они замѣчаютъ маломальски непочтительное отношеніе къ людямъ ихъ лагеря или категорій. Еще Гоголь сѣтовалъ, что стоитъ изобразить въ смѣшномъ видѣ титулярнаго совѣтника, и тотчасъ-же всѣ титулярные совѣтники вломятся въ амбицію. То же самое мы видимъ и до сего дня. Стоитъ беллетристу изобразить въ смѣшномъ и нелѣпомъ видѣ либерала,—и тотчасъ-же консерваторы рукоплещутъ, а либералы вламываются въ обиду и начинаютъ обвинять беллетриста въ измѣнѣ имъ, въ отсутствіи идеаловъ. При этомъ совершенно упускается изъ виду, что беллетристу и въ голову не приходило обобщать въ своемъ изображеніи всѣхъ либераловъ безъ исключенія и утверждать, что всѣ они таковы; конечно не менѣе критика понимаетъ онъ, что есть среди либераловъ люди, достойные всякаго уваженія, во всѣхъ отношеніяхъ порядочные и прекрасные; если-же изобразилъ онъ плохенькаго, то сдѣлалъ это вовсе не въ укоръ имъ, а для того чтобы выставить и подчеркнуть такой недостатокъ или уродство, какіе часто встрѣчаются въ обществѣ, вслѣдствіе тѣхъ или иныхъ условій жизни, въ средѣ людей всѣхъ лагерей и направленій.

То-же самое мы должны сказать и о г Чеховѣ. Всѣ выведенные имъ герои—очень плохи и не выдерживаютъ самой снисходительной критики. Но мы не имѣемъ ни малѣйшаго права навязывать ему: хочешь не хочешь, можешь не можешь, а во что бы то ни стало давай намъ людей самыхъ что ни на есть идеальныхъ; ободряй насъ и утѣшай! Мы должны брать то, что даетъ намъ писатель, и дѣлать изъ представленнаго имъ матеріала тѣ выводы и заключенія, какія явствуютъ. Въ то же время не даетъ намъ никакого права г. Чеховъ предполагать, чтобы въ лицѣ Орлова онъ обобщалъ всѣхъ петербургскихъ администраторовъ безъ исключенія, въ лицѣ Зинаиды Ѳедоровны—всѣхъ русскихъ или по крайней мѣрѣ столичныхъ женщинъ и наконецъ чтобы «неизвѣстный человѣкъ» олицетворялъ въ себѣ всѣхъ людей одного съ нимъ образа мыслей. Мы можемъ только сказать, что въ лицѣ Орлова обобщено явленіе современной жизни, дѣйствительно замѣчательное и заслуживающее полнаго вниманія, — явленіе, встрѣчающееся нынѣ на каждомъ шагу и съ которымъ волей-неволей приходится считаться.

Но не слѣдуетъ въ свою очередь закрывать глаза и на такое вопіющее явленіе, какое изобразилъ г. Чеховъ въ лицахъ Зинаиды Ѳедоровны и «неизвѣстнаго человѣка».—Явленіе это слишкомъ часто встрѣчается въ нашей жизни и имѣетъ слишкомъ большое значеніе въ ней, чтобы игнорировать его. Видѣть въ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ ничего болѣе, какъ экзальтированную бабенку, а въ «неизвѣстномъ человѣкѣ» —невростеника и кисляя,—значитъ смотрѣть на вещи крайне поверхностно и упускать изъ вниманія цѣлаго слона, а между тѣмъ въ слонѣ-то этомъ таится главная суть произведенія г. Чехова, и заслуживаетъ г. Чеховъ за этого слона большой благодарности, а не укоровъ въ томъ, зачѣмъ онъ насъ не утѣшаетъ и не ободряетъ.

VII.

Слонъ, скрывающійся въ произведеніи г. Чехова, заключается въ слѣдующемъ: рядомъ съ Орловыми, съ этими по-истинѣ какими-то апокалипсическими чудовищами, нагло, дерзко и цинично отрицающими всякіе идеалы и смѣющимися надъ всѣмъ, что только можетъ быть въ человѣчествѣ святого, мы встрѣчаемъ въ нашей современной жизни очень много людей, которые повидимому очень дорожатъ разными прекрасными идеалами, увлекаются ими, устраиваютъ себѣ изъ нихъ своего рода религіозный культъ; не ограничиваясь ихъ исповѣданіемъ, стремятся проводить ихъ и въ самой жизни. Чего, казалось бы, лучше? Но изъ всего этого культа и проведенія идеаловъ въ практикѣ жизни ровно ничего не выходитъ, вся дѣятельность подобнаго рода людей сводится къ нулю,—и все это происходитъ ни отъ чего иного, какъ лишь оттого, что они не столько заботятся о достиженіи какой-либо намѣченной цѣли, объ успѣшности дѣла, сколько утѣшаются самимъ процессомъ дѣла, воображая, что въ этомъ процессѣ и заключается вся суть ихъ идеальности. Казалось-бы, не все-ли это равно: разъ человѣкъ увлекается процессомъ дѣла, то, думаетъ онъ или не думаетъ о цѣли,—процессъ самъ собой долженъ его куда-нибудь привести. Но въ томъ именно и разница, что откиньте вы цѣль, и самъ по себѣ процессъ ни къ чему привести не въ состояніи, обращается въ мертвую обрядность, гимнастическое упражненіе мускуловъ, щекотаніе нервовъ, минутное удовлетвореніе самолюбія и тщеславія. Человѣка радуетъ, что онъ дѣлаетъ нѣчто особенное, геройское, что не подъ стать рутинерамъ и пошлякамъ, и онъ утѣшается этимъ, совершенно не принимая въ разсчетъ, будутъ-ли какіе-либо результаты его дѣятельности. Въ концѣ концовъ дѣйствительно никакихъ результатовъ и не оказывается, и не потому только не оказывается, что дѣятель ихъ не предусматривалъ, а потому, что сама дѣятельность, являясь своего рода

искусствомъ для искусства, носитъ въ такомъ случаѣ самодовлѣющій характеръ носящагося по воздуху мыльнаго пузыря, играющаго всѣми цвѣтами радуги и въ одно мгновеніе разлетающагося мелкой пылью. Еслибы носитель идеаловъ задался какой-либо опредѣленной и достижимой цѣлью, онъ конечно выбралъ-бы или изобрѣлъ и такія средства, которыя ведутъ прямо или косвенно къ этой цѣли. Отсутствіе-же цѣли освобождаетъ его и отъ изобрѣтенія какихъ-бы то ни было раціональныхъ средствъ; является хватаніе за первое, что только подвертывается подъ руку и что только встрѣчается въ жизни; повторяется буквально то самое, чѣмъ грѣшилъ и Донъ-Кихотъ, который въ свою очередь стремился къ очень возвышеннымъ цѣлямъ, а на дѣлѣ боролся съ вѣтряными мельницами или стада барановъ принималъ за полчища сарацинъ.

Такихъ диллетантовъ-идеалистовъ мы встрѣчаемъ въ жизни на каждомъ шагу, ими у насъ хоть прудъ пруди. Они представляютъ собой вопіющее зло нашей жизни, чуть-ли не въ большей еще степени, чѣмъ Орловы, потому что послѣдніе играютъ въ открытую и по крайней мѣрѣ никогда не обманываютъ. Диллетанты-же, суя вамъ въ руку грязь подъ видомъ золота, способны исказить, испортить всякое дѣло. Какъ Зинаида Ѳедоровна, такъ и «неизвѣстный человѣкъ» являются передъ нами именно подобнаго рода диллетантами своихъ излюбленныхъ идеаловъ.

Зинаида Ѳедоровна принадлежала къ большому свѣту, была изнѣжена и избалована жизнью, но тѣмъ не менѣе чувствовала себя глубоко несчастной. Авторъ не знакомитъ насъ съ ея прошлымъ, но изъ ея намековъ мы можемъ судить, какъ оно было хорошо:

«Когда я напримѣръ думаю о прошломъ,—разсказываетъ она:—о своей тогдашней жизни... ну, о людяхъ вообще, то все это сливается у меня въ одно—въ образъ моей мачихи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая и къ тому-же еще морфинистка. Отецъ, слабый и безхарактерный, женился на моей матери изъ-за денегъ и вогналъ ее въ чахотку, а эту вотъ, свою вторую жену, мою мачиху, любитъ страстно, безъ памяти.. Натерпѣлась я!»

Почти дѣвочкой выдали ее замужъ за престарѣлаго чиновника, окружили роскошью, комфортомъ. Всѣ желанія и прихоти ея немедленно удовлетворялись. Но недоставало въ ея жизни одного, и самаго главнаго для молодой женщины,—той истинной человѣческой любви, которая заключалась-бы не въ одной чувственности, а и въ духовной солидарности. Не найдя такой любви въ мужѣ, она начала искать ее на сторонѣ, и началась та преступная и отвратительная жизнь взаимныхъ обмановъ и лицемѣрнаго притворства, какой довольствуются столь многія свѣтскія женщины. Но Зинаида Ѳедоровна не могла довольствоваться постыднымъ извращеніемъ идеала семейной жизни и счастья. «Въ эти шесть лѣтъ, — разсказываетъ она о своемъ семейномъ адѣ,—сначала играть въ любовь и воображать, что она есть, потомъ обманывать другъ друга и каждую минуту дрожать отъ мысли, что не съумѣешь, краснѣть отъ того, что неискусно обманываешь, улыбаться, когда стыдно, и цѣловать, когда чувствуешь физическое отвращеніе, — и все это ради чего? Ради того чтобы быть на хорошемъ счету у людей, мнѣніе которыхъ презираешь, ради того чтобы ѣсть, пить, спать, наряжаться, говорить пошлости, чтобы не нарушать порядка, который установился только потому, что люди, подчинившіеся этому порядку, не знали, что такое истинная любовь, искренность, свобода...»

Вычитавши въ романахъ, что истинно идеальныя женщины не обманываютъ мужей, не лгутъ и не притворствуютъ ради сохраненія привольной жизни въ нѣгѣ и роскоши,—а смѣло прерываютъ со всѣмъ прошлымъ и, пренебрегая свѣтскими предразсудками и сплетнями, открыто бросаютъ нелюбимыхъ мужей и устраиваютъ новую идеальную и свободную жизнь съ любимымъ человѣкомъ, — Зинаида Ѳедоровна и рѣшилась послѣдовать этому идеалу. —«Нѣтъ,—рѣшила она:—пора, пора взяться за умъ и порвать навсегда съ этими людьми и порядками, иначе не увидишь, какъ пройдутъ лучшіе годы и тотъ-же кумиръ, которому ты служила, оглянется и насмѣшливо покажетъ тебѣ языкъ! Далѣе она сказала мужу, что любитъ другого и живетъ съ нимъ уже больше полугода, что это ея настоящій, законный мужъ, и она считаетъ долгомъ совѣсти сегодня-же переѣхать къ нему, не смотря ни на что, хотя бы въ нее стрѣляли изъ пушекъ!..»

«— Нѣтъ выше блага, какъ свобода! — говорила она при этомъ: — вѣдь какая, подумаешь, нелѣпость! Мы не даемъ никакой цѣны своему собственному мнѣнію, даже если оно умно, но дрожимъ передъ мнѣніемъ разныхъ глупцовъ и завѣдомыхъ негодяевъ. Я боялась чужого мнѣнія до послѣдней минуты, но какъ только послушалась самое себя и рѣшила жить по своему, глаза у меня открылись, и я увидала, что бояться было нечего. Я побѣдила свой глупый страхъ и теперь счастлива и всѣмъ желаю такого счастья!..»

Сказано и сдѣлано. И вдругъ кто-же оказался героемъ, ради котораго рѣшилась Зинаида Ѳедоровна на свой отважный шагъ? Кого избрала она кумиромъ своего сердца, долженствовавшимъ помочь ей осуществить ея идеалъ истиннаго и безупречнаго счастья семейной жизни? Орлова — того самаго Орлова, который не иначе какъ съ отвращеніемъ говорилъ о кастрюляхъ, пеленкахъ и всѣхъ аттрибутахъ семейной жизни и признавалъ любовь только какъ наслажденіе чувственностью, облагороженное декорумомъ внѣшняго изящества!.. Пусть-бы Зинаида Ѳедоровна влюбилась въ Вронскаго, въ Молчалина, въ какую хотите ничтожную мразь, — но Орловъ, въ качествѣ осуществителя идеала семейной жизни, это такая ужасная иронія, что трудно себѣ и представить, чтобы судьба могла надъ кѣмъ-нибудь посмѣяться болѣе жестоко!..

Какъ возникла любовь и сближеніе Зинаиды Ѳедоровны съ Орловымъ, въ повѣсти не сказано. Во всякомъ случаѣ можно съ достовѣрностью предположить, что любовь эта имѣла вполнѣ видъ заурядnаго великосвѣтскаго адюльтера и не шла да-

лѣе. Не такой былъ человѣкъ Орловъ, чтобы прикидываться чѣмъ-то вродѣ Инсарова или Лопухова и рисоваться передъ женщиной олицетвореніемъ новыхъ идеаловъ и спасителемъ ихъ отъ ига старыхъ и нелюбимыхъ мужей.

И вдругъ, не позаботившись сколько-нибудь позондировать любимаго человѣка относительно его взглядовъ на жизнь и людей вообще и на брачные идеалы—въ частности, хоть-бы сговориться съ нимъ и условиться,—она взяла да и нагрянула къ нему нежданно-негаданно со всѣмъ своимъ семейнымъ скарбомъ, сервизами и кастрюлями!..

Что-же руководило ею въ такомъ необдуманно глупомъ поступкѣ, стоившемъ ей горькаго разочарованія, какъ не увлеченіе одной только эффектной красивостью свободной любви и рѣшительнаго шага, безъ малѣйшаго принятія въ разсчетъ разумной цѣлесообразности своего поступка. Казалось-бы, что именно въ такомъ щекотливомъ дѣлѣ, какъ замѣна законнаго мужа незаконнымъ,—дѣлѣ, при условіяхъ нашей жизни, весьма рискованномъ и могущемъ очень легко и скомпрометтировать женщину, и погубить ее,—каждая мало-мальски благоразумная и предусмотрительная женщина должна была-бы заранѣе взвѣсить всѣ шансы успѣшности рокового шага и рѣшиться на него только въ такомъ случаѣ, еслибы была убѣждена не однимъ слѣпымъ увлеченіемъ страсти, но и голосомъ холоднаго разсудка, что можетъ положиться на человѣка, съ которымъ рѣшается соединиться, какъ на каменную гору. И вдругъ,—взяла и пріѣхала, даже не освѣдомившись, желаетъ-ли Орловъ принять ее въ качествѣ сожительницы. Что-же это, какъ не одно увлеченіе процессомъ дѣла, не загадывая о завтрашнемъ днѣ? Зинаида Ѳедоровна была увѣрена, что процессъ этотъ такъ красивъ самъ по себѣ, что не можетъ онъ не нравиться и Орлову, котораго увлеченная женщина надѣляла въ своемъ воображеніи всѣми вычитанными изъ книжекъ идеалами.

При этомъ очень вѣрно и тонко подмѣчена г. Чеховымъ та замѣчательная черта, что, любуясь и увлекаясь процессомъ разрыва со всѣмъ старымъ и вступленія въ новую, свободную и разумную жизнь, Зинаида Ѳедоровна въ сущности оставалась все той-же прежней избалованной свѣтской женщиной, выдрессированной не для какой-нибудь новой, а все для той-же старой жизни. Такъ, проходя мимо зеркала, даже когда у нея были заплаканы глаза, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически; все еще продолжала живо интересоваться нарядами и приходить въ восторгъ отъ своихъ покупокъ. Это какъ-то не шло къ ея искренней печали. Она, какъ сама говорила, навсегда порвала съ пошлымъ, ненавистнымъ свѣтомъ и въ самомъ дѣлѣ нигдѣ не бывала, кромѣ магазиновъ и своей старой гувернантки, а между тѣмъ зорко слѣдила за модой и шила себѣ дорогія платья. Для кого и для чего?

«Мнѣ особенно памятно, — пишетъ въ своемъ дневникѣ «неизвѣстный человѣкъ», — одно новое платье, сложное по замыслу, изысканное и, по моему, въ высшей степени безвкусное; портниха увѣряла, что оно прекрасно сидитъ и къ лицу, и что она сложена на рѣдкость. Это лишнее, не нужное платье стоило четыреста рублей. Я вспоминалъ нашихъ поденщицъ, которыя за свой каторжный трудъ получаютъ по двугривенному въ день на своихъ харчахъ, и венеціанскихъ и брюссельскихъ кружевницъ, которымъ платятъ только по полуфранку въ день въ разсчетѣ, что остальное онѣ добудутъ развратомъ, и мнѣ было стыдно, неловко и я ненавидѣлъ Зинаиду Ѳедоровну за то, что она, слушая портниху, краснѣла отъ удовольствія».

Но при всемъ этомъ Зинаида Ѳедоровна все-таки заслуживаетъ всяческаго снисхожденія, если взять въ разсчетъ, что она, какъ весьма многія женщины, была воспитана въ полномъ невѣдѣніи жизни и людей. Она была испорчена прежней своей жизнью, но и при самой этой испорченности все-таки сохранила душу живу и смутныя чаянія иной, разумной и идеальной жизни. Она увлеклась однимъ процессомъ своего освобожденія и возрожденія, не вдумываясь глубоко въ целесообразность послѣдствій, поступила крайне опрометчиво и безумно, и зато была жестоко наказана полнымъ разочарованіемъ въ любимомъ человѣкѣ. Но не бросимъ въ нее камень осужденія и простимъ въ ней ребенка, который кинулся въ омутъ, потянувшись за цвѣточкомъ, или бабочку, сгорѣвшую въ привлекшемъ ее огнѣ.

Совсѣмъ не таковъ былъ «неизвѣстный человѣкъ». Это былъ не мальчикъ, не вѣдающій, что̀ творитъ, а мужъ, искушенный опытомъ жизни, прошедшій сквозь огонь и мѣдныя трубы. Отъ него мы вправѣ требовать болѣе серьезнаго и осмысленнаго отношенія къ тому, что̀ онъ дѣлаетъ. Посмотримъ-же, какъ онъ себя проявляетъ.

VIII.

Казалось-бы, не должно быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что истинная, высокая, чистая и святая любовь къ женщинѣ не только не заключаетъ въ себѣ чего-либо эгоистическаго, отвлекающаго человѣка отъ заботъ о ближнихъ, о благѣ родины, отъ законовъ, чести и долга, а, напротивъ того, будитъ и возбуждаетъ всѣ инстинкты высшаго порядка. Человѣкъ, загорающійся такой любовью, чувствуетъ такой высокій подъемъ духа, что у него является неудержимое стремленіе совершить какой-нибудь подвигъ и освѣтить имъ свое высокое чувство, показать себя достойнымъ ожидаемаго счастья и встать на высотѣ того идеала, во имя котораго его полюбили. Въ чемъ-же и заключается поэзія любви, какъ не во взаимномъ желаніи двухъ любящихъ существъ идти рука объ руку по пути правды и добра. Казалось-бы, это и всегда такъ было,—и въ эпоху первыхъ вѣковъ христіанства, когда нерѣдко любовь вздохновляла молодыхъ мучениковъ мужественно выступать на арену цирка на растерзаніе львовъ и тигровъ, и въ средніе вѣка, когда избранныя дамы сердца побуждали благородныхъ рыцарей совершать чудеса храбрости, защищая обижаемыхъ и угнетаемыхъ, да и въ наше время любовь не перестаетъ зачастую играть не послѣднюю

роль въ пробужденіи и приподниваніи самыхъ высокихъ альтруистическихъ стремленій. Особенно это такъ на Западѣ. Я по крайней мѣрѣ, какъ ни стараюсь, никакъ не могу припомнить ни одного иностраннаго произведенія, въ которомъ любовь (если только изображается истинная, высокая, духовная любовь, а не та исключительно физіологическая, какой занимаются французскіе натуралисты) не играла-бы роли вдохновительницы на все доброе. Такъ, я весьма недавно перечитывалъ романъ Диккенса «Исторія двухъ городовъ», который въ юности произвелъ на меня потрясающее впечатлѣніе, доходившее до галлюцинацій. Въ романѣ этомъ одну и ту-же дѣвушку, миссъ Манетъ, страстно полюбили два молодые человѣка: одинъ французъ—Дарнэ, послѣдній представитель знатной французской аристократической фамиліи, послѣдователь новыхъ идей, отказавшійся отъ дворянства, всѣхъ богатствъ и привилегій и переселившійся въ Англію зарабатывать хлѣбъ честнымъ трудомъ, а другой — какъ двѣ капли воды похожій на него наружностью, но горькій пьяница, англійскій клеркъ мистеръ Картонъ.— И вотъ мы видимъ, что ни того, ни другого любовь не сдѣлала узкимъ этоистомъ, глухимъ и нѣмымъ ко всему, что творится на свѣтѣ, а, напротивъ, обоихъ повлекла къ самому высокому самопожертвованію. Дарнэ, только что женившійся и чувствовавшій себя на седьмомъ небѣ, тѣмъ не менѣе тайкомъ отъ молодой жены бѣжалъ во Францію, сознавая всю постыдность пресмыканія въ безопасности между малодушныхъ эмигрантовъ, въ то время какъ на родинѣ его рѣкой лилась кровь за свободу, и мужественно всталъ лицомъ къ лицу опасности лечь подъ ножъ гильотины. Мистеръ Картонъ въ свою очередь почувствовалъ такой высокій подъемъ духа, что рѣшился пожертвовать постылой жизнью счастью своей возлюбленной и, устроивъ бѣгство Дарнэ, самъ за него пошелъ на гильотину, пользуясь сходствомъ съ нимъ.

Отчего-же только наша беллетристика такъ часто изображаетъ любовь въ видѣ постыднаго нравственнаго паденія, дряннаго опошленія и забвенія всѣхъ завѣтовъ юности, всѣхъ требованій чести и долга? Предполагается такъ, что человѣкъ только до тѣхъ поръ и можетъ быть на высотѣ своего призванія, гражданскаго мужества и подвижничества, пока далекъ отъ женской прелести; а какъ только вкуситъ проклятаго любовнаго зелья, такъ въ глазахъ у него все и потеменѣетъ, и позеленѣетъ: прощай, родина, борьба со зломъ, талантъ; все приносится въ жертву свиванію теплаго семейнаго гнѣздышка и эгоистическому блаженству въ его нѣдрахъ. Что это такое? Остатокъ до-петровскаго домостроевскаго аскетизма, или-же столь дряблой натуришкой обладаетъ русскій человѣкъ, что не въ состояніи бываетъ совмѣстить разомъ двухъ сильныхъ страстей и способенъ оказывается всецѣло отдаваться лишь одной изъ нихъ?

Въ томъ и дѣло, что нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Многочисленные историческіе примѣры и наблюденія современной жизни могутъ насъ убѣдить, что и въ нашей жизни любовь очень часто играетъ роль вдохновительницы. Но это бываетъ лишь тогда, когда ей есть на что вдохновлять людей. Любовь можетъ быть вдохновительницей только тогда, когда у человѣка есть живое дѣло, которымъ онъ глубоко и страстно проникнутъ и которое есть дѣло самой жизни его. Такое именно дѣло мы видимъ и у первыхъ христіанъ, и у средневѣковыхъ рыцарей, и у Дарнэ. Въ самомъ дѣлѣ, если я страстно люблю искусство, науку,—статочно-ли, чтобы я разлюбилъ ихъ и бросилъ только потому, что полюбилъ женщину?

Но совсѣмъ другое дѣло, когда любовь является въ жизни человѣка единственной живой страстью; все-же остальное въ ней мертво, формально и обрядно. Понятно, что любовь не можетъ вдохновить конторщика къ болѣе энергическому выстукиванію на счетахъ желѣзнодорожныхъ балансовъ; не можетъ она зажечь новой энергіей и человѣка, совершающаго что-либо въ видѣ принудительнаго процесса, исполняемаго на основаніи отвлеченныхъ внушеній долга и лишеннаго въ то же время всякой разумной и осязательной цѣлесообразности. Живое всегда побѣдитъ мертвое и человѣкъ весь отдастся этому живому.

Такъ случилось и съ героемъ повѣсти г. Чехова «неизвѣстнымъ человѣкомъ».

Авторъ не знакомитъ съ прошлымъ своего героя, и мы узнаемъ только вскользь, что онъ служилъ нѣкогда въ морской службѣ, былъ лейтенантомъ, совершилъ кругосвѣтное путешествіе, но такъ повидимому мало любилъ свое морское дѣло, что промѣнялъ его на какое-то другое. Мы имѣемъ основаніе предполагать, что и къ этому другому дѣлу онъ относился такъ-же мертво и формально, какъ нѣкогда къ морскому. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что онъ поступилъ къ Орлову въ лакеи неспроста, а ради какихъ-то особенныхъ таинственныхъ соображеній, но когда эти соображенія обманули его и жить у Орлова въ унизительной роли лакея оказалось не для чего, онъ скучалъ, томился, считалъ пропащимъ для себя и для дѣла каждый день своей жизни, и все таки продолжалъ жить. Очевидно это была апатія извѣрившагося и утомленнаго человѣка, для котораго день прошелъ, и слава Богу.

Но не все умерло въ душѣ его: было въ ней нѣчто и такое, что призывало его къ жизни и наполняло его мозгъ горячими мечтами: «Орловъ—читаемъ мы,—брезгливо отбрасывалъ отъ себя женскія тряпки, дѣтей, кухню, мѣдныя кастрюльки, а я подбиралъ все это и бережно лелѣялъ въ своихъ мечтахъ, любилъ, просилъ у судьбы, и мнѣ грезилась жена, дѣтская, тропинка въ саду, домикъ; потомъ фантазія уносила меня въ аудиторію или на пароходъ и въ океанъ, оттуда опять въ мою дѣтскую—и такъ безъ конца»...

Зинаида Ѳедоровна и явилась осуществленіемъ этихъ самыхъ единственныхъ живыхъ его мечтаній. Хотя онъ и пишетъ, что не былъ влюбленъ въ нее, и что только въ обыкновенномъ человѣческомъ чувствѣ, которое питалъ къ ней, было гораздо больше молодого, свѣжаго и радостнаго, чѣмъ въ любви Орлова, но въ какой степени на самомъ дѣлѣ это

была всепоглощающая страсть, мы можемъ судить по слѣдующимъ строкамъ:

«Работая по утрамъ сапожной щеткой или вѣникомъ, я съ замираніемъ сердца, какъ мальчишка, ждалъ, когда наконецъ услышу ея голосъ и шаги, и увижу милое, доброе, немножко заспанное лицо. Стоять и смотрѣть на нее, когда она пила кофе и потомъ завтракала, подавать ей въ передней шубку и одѣвать на ея маленькія ножки калоши, причемъ она опиралась о мое плечо, потомъ нѣсколько часовъ подрядъ ждать съ нетерпѣніемъ, когда снизу позвонитъ мнѣ швейцаръ, встрѣчать ее въ дверяхъ розовую, холодную, попудренную снѣгомъ, слушать отрывистыя восклицанія на счетъ мороза или извозчика, — еслибы вы знали, какъ все это было для меня важно и полно интереса! Мнѣ хотѣлось влюбиться въ нее и хотѣлось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голосъ!...»

И вотъ, разъ у него, испытавшаго, по собственнымъ словамъ его, голодъ, холодъ, болѣзни, лишеніе свободы, но личнаго счастія не знавшаго, безпріютнаго и имѣвшаго за душой одни тяжкія воспоминанія, которыя пугали его совѣсть, — загорѣлась живая страсть. Понятно, что все мертвое, отвлеченно надуманное должно было безслѣдно сгорѣть въ огнѣ этой страсти, и онъ почувствовалъ вдругъ, что въ немъ произошла перемѣна, и онъ сталъ другимъ человѣкомъ. «Чтобы провѣрить себя,— говоритъ онъ,—я началъ-было вспоминать свое прошлое, но тотчасъ-же мнѣ стало жутко, какъ будто я нечаянно заглянулъ въ темный уголъ. Вспомнилъ я своихъ товарищей и знакомыхъ, и первая мысль моя была о томъ, какъ я покраснѣю и растеряюсь, когда встрѣчу кого-нибудь изъ нихъ. Кто-же я теперь такой? О чемъ мнѣ думать и что дѣлать? Куда идти? Для чего я живу?»

Страшно было это жуткое сознаніе своего нравственнаго паденія, своей измѣны всему прошлому, что до сихъ поръ составляло содержаніе всей его жизни, — но весь ужасъ трагической его коллизіи ждалъ героя нашего впереди и заключался въ той радикальной противуположности, какая существовала между нимъ и Зинаидой Ѳедоровной. Оба они жили до того времени призрачной жизнью, оба обманывали себя и другихъ тѣми иллюзіями, которыми тѣшились, оба пришли къ разочарованію въ этихъ иллюзіяхъ, къ полному нравственному банкротству, но великое горе для обоихъ было то, что одинъ искалъ выхода въ томъ самомъ, въ чемъ разочаровалась другая, и наоборотъ.

Когда герой открылъ глаза Зинаиды Ѳедоровны и далъ ей понять весь позоръ ея ложнаго положенія въ домѣ Орлова, она была готова лишить себя жизни, но онъ, воззвавъ ее къ настоящему, а не призрачному обновленію, увлекъ ее за-границу, гдѣ, слушая его разсказы изъ прошлаго, она загорѣлась новой энергіей протеста противъ всего своего прошлаго и говорила:

— Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь... Какая это любовь? Это эгоизмъ, грубый, пошлый эгоизмъ!...—продолжала она, сверкая глазами.—Я любила Орлова, то есть, другими словами, хотѣла, чтобы онъ принадлежалъ только мнѣ,—и въ этомъ вся жизнь, все страданіе. Теперь даже смѣшно все это,—говорила она, подходя къ окну и глядя внизъ на каналъ. — Всѣ эти любви только туманятъ совѣсть и сбиваютъ съ толку. Въ жизни или вовсе нѣтъ смысла, или-же она только въ одномъ — въ борьбѣ. Въ борьбѣ не на жизнь, а на смерть! Наступить каблукомъ на подлую змѣиную голову, чтобы она—крякъ! Вотъ въ чемъ смыслъ.

Случись у нашего героя за душой кромѣ любви къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ хоть-что нибудь столь-же живое, какова была его любовь, очень возможно, что, какъ ни была разочарована Зинаида Ѳедоровна въ любви, она могла-бы со временемъ и вновь полюбить человѣка, спасшаго ее отъ смерти. Какъ любовь вдохновляетъ на подвиги, такъ, наоборотъ, и живое увлеченіе какимъ нибудь дѣломъ способно возбудить любовь. Энтузіасты, какъ извѣстно, по большей части пользуются успѣхомъ у женскаго пола. Но чѣмъ болѣе разглядывала Зинаида Ѳедоровна нашего героя, тѣмъ болѣе и болѣе убѣждалась, что передъ ней не живой человѣкъ, а гнилой трупъ, да къ тому-же и обманщикъ почище еще Орлова, такъ какъ, желая привлечь ее, онъ рисовался передъ нею тѣмъ, въ чемъ самъ извѣрился, и сулилъ ей то, чего дать былъ давно уже не въ состояніи. И вотъ наконецъ у нихъ произошло страшное и роковое объясненіе, въ которомъ вся фальшь ихъ взаимныхъ отношеній всплыла наружу и обнаружилась во всемъ своемъ безобразіи и безвыходности.

Объясненіе это началось съ того, что Зинаида Ѳедоровна обратилась къ герою нашему съ требованіемъ категорическаго отвѣта,—что она должна дѣлать не только въ Ниццѣ, гдѣ они въ то время были, а вообще. Но герой молчалъ и смотрѣлъ въ окно на море. Сердце у него страшно забилось.

«— Владиміръ Ивановичъ...—сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить.—Владиміръ Ивановичъ, если вы сами не вѣрите въ дѣло, если вы уже не думаете вернуться къ нему, то зачѣмъ... зачѣмъ вы тащили меня изъ Петербурга? Зачѣмъ обѣщали и зачѣмъ возбудили во мнѣ сумасшедшія надежды? Убѣжденія ваши измѣнились, вы стали другимъ человѣкомъ, и никто не винитъ васъ въ этомъ,—убѣжденія не всегда въ нашей власти, но... но, Владиміръ Ивановичъ, Бога ради, зачѣмъ вы не искренни? – продолжала она тихо, подходя къ нему.—Когда я всѣ эти мѣсяцы мечтала вслухъ, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый ладъ, то почему вы не говорили мнѣ правды, а молчали или поощряли разсказами и держали себя такъ, какъ будто вполнѣ сочувствовали мнѣ? Почему? Для чего это было нужно?

— Трудно сознаваться въ своемъ банкротствѣ,— проговорилъ онъ, оборачиваясь, но не глядя на нее. —Да, я не вѣрю, утомился, палъ духомъ... Тяжело быть искреннимъ, страшно тяжело—и я молчалъ. Не дай Богъ никому пережить то, что я пережилъ.

— Владиміръ Ивановичъ,— сказала она и взяла его за обѣ руки.—Вы много пережили и испытали, знаете больше, чѣмъ я; подумайте серьезно и скажите: что мнѣ дѣлать? Когда я мало-по-малу убѣдилась, что вы не вѣрите, то и у меня поколебалась вѣра и я также... пала духомъ. Научите меня. Если вы сами уже не въ силахъ идти и вести за собой другихъ, то по крайней мѣрѣ укажите, куда

мнѣ идти. Согласитесь, вѣдь я живой, чувствующій и разсуждающій человѣкъ... Попасть въ ложное положеніе... играть жалкую, унизительную роль... мнѣ это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю васъ, а только прошу.

— Ну, что-же? — спросила Зинаида Ѳедоровна, послѣ того какъ гарсонъ принесъ чай и вышелъ,— что вы мнѣ скажете?

— Не только свѣту, что въ окнѣ, отвѣчалъ герой.—И кромѣ меня есть люди, Зинаида Ѳедоровна.

— Такъ вотъ укажите мнѣ ихъ,—живо сказала она.—Я объ этомъ только и прошу васъ.

— И еще я хочу сказать—продолжалъ онъ:—служить идеѣ можно не на одномъ какомъ-нибудь поприщѣ. Если ошиблись, извѣрились на одномъ, то можно отыскать другое. Міръ идей широкъ и неисчерпаемъ.

— Міръ идей! — проговорила она и насмѣшливо поглядѣла ему въ лицо.—Такъ ужъ лучше мы перестанемъ... Что ужъ тутъ...

Она покраснѣла и пошла къ столу наливать чай.

— Міръ идей! повторила она и отбросила салфетку въ сторону, и лицо ея приняло негодующее, брезгливое выраженіе.—Всѣ эти ваши прекрасныя идеи, я вижу, сводятся къ одному неизбѣжному, необходимому шагу: я должна сдѣлаться вашей любовницей. Вотъ что нужно. Носиться съ идеями и не быть любовницей честнѣйшаго, идейнѣйшаго человѣка—значитъ не понимать идеи. Надо начинать съ этого... то-есть съ любовницы, а остальное само приложится.

— Вы раздражены, Зинаида Ѳедоровна,—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, я искренна!—крикнула она, тяжело дыша.—Я искренна!

— Вы искренны быть можетъ, но вы заблуждаетесь, и мнѣ больно слушать васъ.

— Я заблуждаюсь!—засмѣялась она.—Кто-бы говорилъ, да не вы, сударь мой! Пусть я покажусь вамъ неделикатной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Вѣдь любите?

Герой покраснѣлъ и пожалъ плечами.

— Да, пожимайте плечами!—продолжала она насмѣшливо.—Когда вы были больны, я слышала, какъ вы бредили мной, потомъ постоянно эти обожающіе глаза, вздохи, благонамѣренные разговоры о близости, духовномъ родствѣ... Но главное,—почему вы до сихъ поръ были неискренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о томъ, чего нѣтъ? Сказали бы съ самаго начала, какія собственно идеи заставили васъ вытащить меня изъ Петербурга, такъ бы ужъ я и знала... Отравилась бы тогда, какъ хотѣла, и не было-бы теперь этой нудной комедіи... Э, да что говорить! — Она махнула на него рукой и сѣла.

— Похоже на то, какъ будто вы подозрѣваете во мнѣ безчестныя намѣренія,—обидѣлся онъ.

— Ну, да ужъ ладно! Что ужъ тутъ! Я не намѣренія подозрѣваю въ васъ, а то, что у васъ никакихъ намѣреній не было. Будь они у васъ, я-бы ужъ знала ихъ. Кромѣ идей о любви у васъ ничего не было,—засмѣялась она.—Теперь идеи и любовь, а въ перспективѣ—я любовница. Таковъ ужъ порядокъ вещей и въ жизни, и въ романахъ... Вотъ вы бранили его,—сказала она и ударила ладонью по столу,—а вѣдь поневолѣ съ нимъ согласишься Не даромъ онъ презираетъ всѣ эти идеи.

— Онъ не презираетъ идеи, а боится ихъ!—крикнулъ я.—Онъ трусъ и лжецъ.

— Ну, да ужъ ладно! Онъ трусъ, лжецъ и обманулъ меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Онъ обманулъ и бросилъ меня на произволъ судьбы въ Петербургѣ, а вы обманули и бросили меня здѣсь. Но тотъ хоть идей не приплеталъ къ обману, а вы...

— Бога ради, зачѣмъ вы это говорите?—ужаснулся герой, ломая руки и быстро подходя къ ней.—Если Орловъ и я обманули васъ, то причемъ тутъ идеи? Чѣмъ онѣ виноваты? Вѣдь не я и не Орловъ ихъ выдумали... Нѣтъ, Зинаида Ѳедоровна, нѣтъ, это цинизмъ, нельзя такъ отчаяваться, выслушайте меня,—продолжалъ онъ, ухватившись за мысль, которая вдругъ неясно блеснула у него въ головѣ и, казалось ему, могла еще спасти ихъ обоихъ.—Слушайте меня... Я чахоточный, испытавшій на своемъ вѣку, кажется, все, что только можно испытать человѣку, крѣпко понялъ мозгомъ и своею болью, что назначеніе человѣка или ни въ чемъ, или-же только въ одномъ—въ самоотверженной любви къ ближнему. Вотъ куда мы должны идти и въ чемъ наше назначеніе! Вотъ моя вѣра!

Дальше онъ хотѣлъ сказать о милосердіи, о всепрощеніи, о томъ, что можно служить истинѣ независимо отъ принадлежности къ той или другой категоріи или партіи, но голосъ его вдругъ зазвучалъ неискренне, онъ смутился и въ отчаяніи махнулъ рукой.

— Мнѣ жить хочется!—проговорилъ онъ искренно.—Жить, жить—и больше ничего! Я хочу мира, тишины... я хочу тепла, вотъ этого моря, вашей близости. О, какъ-бы я хотѣлъ внушить и вамъ эту страстную жажду жизни! Она быть можетъ болѣзнь, да вѣроятно и есть болѣзнь, но съ ней хорошо. Какъ-бы мы жили! Вы только-что говорили про любовь, но для меня было-бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выраженія лица... Я-бы служилъ вамъ, берегъ и, какъ говорится, лелѣялъ-бы васъ.. Вашего ребенка я любилъ-бы, какъ своего... и я уже люблю его.

Она покраснѣла и сказала быстро, чтобы помѣшать ему говорить:

— Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало быть, дороги у насъ разныя."

И затѣмъ, произведя на свѣтъ дѣвочку, которой была беременна отъ Орлова, она отравилась.

Признаюсь, давно уже не приходилось читать въ литературѣ нашей ничего столь глубокаго и сильнаго, какъ вся эта сцена. И возвращаясь къ началу своего трактата о г. Чеховѣ, я обращаюсь въ заключеніе ко всѣмъ мало-мальски безпристрастнымъ читателямъ и спрашиваю,—неужели подобную сцену, которую можно смѣло поставить на одномъ ряду со всѣмъ, что только было лучшаго въ нашей литературѣ, могъ создать писатель, не имѣющій никакихъ идеаловъ?

ЗАМѢТКИ О ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

I. Д. С. Мережковскій.—„О причинахъ упадка и новыхъ теченіяхъ современной русской литературы".

С.-Петербургъ 1893 г.

...Когда въ литературѣ начинаютъ появляться молодые люди или, лучше сказать, молодые мертвецы, когда отъ самыхъ юныхъ, только что начинающихъ, вѣетъ уже холодомъ могилы, страшнымъ запахомъ смерти и тлѣна, это—признакъ послѣднихъ дней цѣлаго поколѣнія: уже тутъ несомнѣнно *быть худу!*

(Изъ этой самой книги стр. 35.)

I.

Прежде чѣмъ въ оправданіе вышеприведеннаго эпиграфа я буду говорить о томъ значеніи и роли въ нашей литературѣ и жизни, какія имѣетъ г. Мережковскій съ его книгой, равно и прочими произведеніями, считаю необходимымъ проштудировать вкратцѣ книгу эту и познакомить читателей нашихъ съ ея содержаніемъ.

Но, признаюсь, дѣло это очень трудное. Трудно представить себѣ тому, кто не перелистывалъ этой книги, что за невообразимый сумбуръ царитъ на ея страницахъ. Читаешь, и только руками разводишь!.. И вы не подумайте, чтобы сумбуромъ называлъ я въ настоящемъ случаѣ какія-либо дикія мнѣнія, съ которыми я былъ-бы несогласенъ. Нѣтъ, совсѣмъ другое: именно, что у г. Мережковскаго вы встрѣтите десять различныхъ взглядовъ на десяти страницахъ. Слѣдующая страница представляетъ собой нѣчто совершенно противуположное, чѣмъ предъидущая; а третья отрицаетъ и первую, и вторую! Вотъ и извольте разобраться въ этой путаницѣ. Такъ, судя по заглавію, вамъ предстоитъ имѣть дѣло съ упадкомъ нашей литературы и авторъ обѣщаетъ даже разъяснить вамъ причины этого упадка. Между тѣмъ, когда авторъ начинаетъ перебирать беллетристовъ и поэтовъ—одного, другого, третьяго, сначала старѣйшихъ, потомъ новѣйшихъ,—всѣ на подборъ вызываютъ въ г. Мережковскомъ одинъ восторгъ. Всѣ характеристики его представляютъ собой рядъ панегириковъ и дифирамбовъ. Ну, и конечно изъ всего этого невольно получается у васъ такое впечатлѣніе, что какой-же тутъ упадокъ,—напротивъ того, такое процвѣтаніе, подобнаго которому не имѣла ни одна литература.

Но попробуемъ, на сколько возможно, если не распутать невѣроятный клубокъ, какой намоталъ намъ г. Мережковскій, то хотя обозначить главные пункты тѣхъ вопіющихъ прочиворѣчій, которыми наполнена книга.

На первыхъ страницахъ г. Мережковскій останавливаетъ наше вниманіе на томъ фактѣ, что у другихъ народовъ, въ древней Элладѣ, въ Италіи эпохи Ренессансъ, въ современной Франціи и пр., мы замѣчаемъ особеннаго рода единеніе между художниками, которое и создаетъ великую литературу.

«Мы видимъ повсюду и во всѣ вѣка,—говоритъ г. Мережковскій,—въ современномъ Парижѣ, какъ и во Флоренціи XV вѣка, и въ Аѳинахъ Перикла, и въ Веймарскомъ кружкѣ Гёте, и въ Англіи, въ эпоху Елизаветы, что нужна извѣстная атмосфера для того, чтобы глубочайшія стороны генія могли вполнѣ проявиться. Между писателями съ различными, иногда противоположными полюсами особыя умственныя теченія, особый воздухъ, насыщенный творческими вѣяніями, и только въ этой грозовой, благодатной атмосферѣ генія вспыхиваетъ та внезапная искра, та всеозаряющая молнія народнаго сознанія, которой люди ждутъ и не могутъ иногда дождаться впродолженіи цѣлыхъ вѣковъ. Литература—своего рода церковь. Геній народа говоритъ вѣрующимъ въ него: «гдѣ двое и трое собрались во имя мое, тамъ я среди нихъ». Человѣкъ только среди подобныхъ себѣ становится воистину человѣкомъ...»

У насъ-же, по мнѣнію г. Мережковскаго, никогда такого единенія не было. Жалобы на одиночество вырываются уже у Пушкина. Онъ былъ такъ-же одинокъ въ цыганскомъ таборѣ, въ глубинѣ бессарабскихъ степей, какъ и въ ледяныхъ кружкахъ свѣтскаго Петербурга, какъ и въ литературной атмосферѣ Греча и Вулгарина. Такое-же одиночество—судьба Гоголя. Всю жизнь сатирикъ боролся за право смѣяться. Изнуряющее, губительное чувство *напрасной* (?) *любви* къ родинѣ было у Гоголя еще сильнѣе, чѣмъ у Пушкина. Оно нарушило навѣки его внутреннее равновѣсіе, довело до безумія. Лермонтовъ стыдился названія русскаго литератора, какъ чего-то унизительнаго и карикатурнаго. Во второмъ поколѣніи русскихъ писателей чувство безпомощнаго одиночества не только не уменьшается, а скорѣе возростаетъ. Творецъ «Обломова» всю жизнь оставался какимъ-то литературнымъ отшельникомъ и недоступнымъ. Достоевскій, произносящій пламенную рѣчь о всечеловѣческой примиряющей терпимости русскаго народа на пушкинскихъ празднествахъ, пишетъ на одного изъ величайшихъ русскихъ поэтовъ и самыхъ законныхъ наслѣдниковъ Пушкина, вдохновляемый ненавистью къ западникамъ, карикатуру Карамазинова въ «Бѣсахъ». Некрасовъ, Щедринъ и весь собранный ими кружокъ питаетъ непримиримую гражданскую ненависть къ «жестокому таланту», къ Достоевскому. Тургеневъ, по собственному признанію, чувствуетъ инстинктивное, даже физіологическое отвращеніе къ поэзіи Некрасова. Еще болѣе, по мнѣнію г. Мережковскаго, характерна для русской литературы вражда Толстого съ Тургеневымъ.

Такъ называемые русскіе кружки—еще хуже рус-

ского одиночества: второе горше перваго. Тургеневъ недаромъ ненавидѣлъ ихъ. Для примѣра стоитъ указать на славянофильство. Это настоящій московскій приходъ, нѣ живое, свободное взаимодѣйствіе искреннихъ и талантливыхъ людей, а какой-то литературный *уголъ*, гдѣ, какъ во всѣхъ углахъ, тѣсно, душно и темно.

На этихъ основаніяхъ, по мнѣнію г. Мережковскаго, у насъ завтра-же можетъ явиться новый романистъ, равный Тургеневу, новый поэтъ, равный Лермонтову, и написать геніальное произведеніе,—все-таки великой, имѣющей всемірное значеніе русской литературы онъ не создастъ. И тотчасъ-же послѣ его смерти наступитъ такой-же упадокъ, такое-же варварское и непонятное одичаніе, какое мы теперь переживаемъ.

Но далѣе затѣмъ г. Мережковскій обращается къ восхваляемой имъ французской литературѣ, которую онъ только что поставилъ намъ въ примѣръ единенія и, къ удивленію нашему, картину такого разъединенія литературныхъ силъ представляетъ онъ, до котораго и намъ далеко. Такъ, тѣ-же самые натуралисты, съ Золя во главѣ, которые такъ недавно еще (на страницахъ нашихъ-же журналовъ между прочимъ) отрицали и въ лоскъ клали романтиковъ, не исключая даже и такихъ свѣтилъ, какъ В. Гюго и Ж. Зандъ, нынѣ съ такимъ-же безпощаднымъ отрицаніемъ накинулись на декадентовъ, имѣющихъ претензію замѣстить натуралистовъ.

«Что они предлагаютъ, чтобы насъ замѣнить?—восклицаетъ Золя (какъ сообщаетъ объ этомъ и во французскомъ текстѣ, и въ переводѣ г. Мережковскій):—какъ на противовѣсъ огромной позитивной работѣ послѣднихъ пятидесяти лѣтъ, указываютъ на неопредѣленный этикетикъ «символизмъ», прикрывающій бездарные вирши. Чтобы завершить крушительный конецъ этого громаднаго вѣка, чтобы выразить всеобщую горечь сомнѣнія, тревогу умовъ, жаждущихъ чего-нибудь незыблемаго, намъ предлагаютъ неясное щебетанье, грошовыя вздорныя пѣсенки, сочиненныя трактирными завсегдатаями? Всѣ эти *молодые* люди (которымъ — кстати сказать—за тридцать, за сорокъ лѣтъ), занятые въ столь важный моментъ исторической эволюціи идей подобными глупостями, подобнымъ ребячествомъ, кажутся мнѣ *орѣховыми скорлупками, пляшущими на водопадѣ Ніагарѣ*. .»

Итакъ, натуралисты представляютъ себя Ніагарой, а своихъ противниковъ—орѣшками, скачущими на этомъ страшилищѣ,—можетъ-ли простираться далѣе человѣческое высокомѣріе,—и что такое всѣ распри Тургенева съ Некрасовымъ, Достоевскаго съ Тургеневымъ и пр. передъ подобнымъ взаимоистребленіемъ, а г. Мережковскій видитъ во всемъ этомъ завидный образецъ единенія. Мало еще того: далѣе онъ разсказываетъ, какъ любознательный Гюре *отыскалъ* (это при единеніи-то) главу поэтовъ-символистовъ, Поля Верлена, въ его любимомъ плохенькомъ кафэ на бульварѣ Saint Michel. Передъ репортеромъ былъ человѣкъ уже не молодой, *сильно помятый жизнью* (sic), *съ чувственнымъ лицомъ Фавна* (еще того лучше!), съ огромнымъ лысымъ черепомъ. Поль Верленъ бѣденъ. Не безъ гордости, свойственной «униженнымъ и оскорбленнымъ», онъ называетъ своей единственной матерью «l'assistance publique» —«общественное призрѣніе». «Конечно, восклицаетъ г. Мережковскій, такому человѣку далеко до академическихъ креселъ рядомъ съ П. Лоти, о которыхъ пламенно и ревниво мечтаетъ Золя».

Ай-да единеніе французской литературы! Нечего сказать, идеальное!..

Что касается отношенія самого г. Мережковскаго къ французскимъ натуралистамъ и противникамъ ихъ, декадентамъ-символистамъ, то сердце его склоняется всѣми своими фибрами къ послѣднимъ. Въ нихъ онъ видитъ первыхъ піонеровъ возмущенія противъ, какъ онъ выражается, «нелѣпыхъ крайностей грубаго, жестокаго и мертвящаго натурализма», этого исчадія позитивной философіи, которую г. Мережковскій ненавидитъ въ свою очередь отъ всей души. «Въ сущности,—говоритъ онъ,—все поколѣніе конца XIX вѣка носитъ въ душѣ свое то-же возмущеніе противъ удушающаго мертвеннаго позитивизма, который камнемъ лежитъ на нашемъ сердцѣ. Очень можетъ быть, что они (кто они,—декаденты или-же все поколѣніе конца XIX вѣка?) но гибнутъ, что имъ ничего не удастся сдѣлать. Но придутъ другіе и все-таки будутъ продолжать ихъ дѣло, потому что это дѣло —*живое*».

Возмущеніе декадентовъ противъ мертвенности позитивнаго романа заключается, по мнѣнію г. Мережковскаго, во внесеніи въ область поэзіи трехъ элементовъ, пренебреженныхъ натуралистами—*мистицизма, символизма* и *импрессіонизма*.

Мы не будемъ входить въ разборъ, насколько это правильно или неправильно, такъ какъ въ настоящую минуту я занимаюсь не оспариваніемъ мнѣній г. Мережковскаго, а лишь констатированіемъ ихъ и анализомъ логической послѣдовательности. Поэтому допустимъ, что г. Мережковскій правъ: натурализмъ довелъ французскую литературу почти до гибели, а декаденты готовы возродить ее къ новой жизни.

Далѣе, принимая во вниманіе заглавіе книги: «*О причинахъ упадка и новыхъ теченіяхъ современной русской литературы*», читатель вправѣ, по представляемой ему аналогіи, заключить, что и у насъ случилось нѣчто подобное: точно также и наша литература пришла въ упадокъ подъ гнетомъ матеріалистическаго натурализма, и въ свою очередь возродить нашу литературу могутъ только новыя теченія, вродѣ декадентовъ во Франціи.

II.

И вдругъ, что-же оказывается? Оказывается, что никакихъ возрожденій вовсе и не требуется, такъ какъ уже наши корифеи 40-хъ годовъ вполнѣ воплотили въ своихъ произведеніяхъ всѣ три элемента поэзіи: и мистицизмъ, и символизмъ, и импрессіонизмъ. «Великая плеяда русскихъ писателей: Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ,—заявляетъ категорически г. Мережковскій,—съ *несравненной силой и полнотой* воспроизводятъ всѣ три основы идеальной жизни».

Тургеневъ, несмотря на весь свой скептицизмъ,—властелинъ полуфантастическаго, ему одному до-

ступнаго міра. Вспомните поэмы въ прозѣ, какъ будто полныя гармоніи и совершенства пушкинскаго стиха, «Живыя мощи», «Вѣжинъ лугъ», «Довольно», «Призраки», «Собака», въ особенности «Пѣснь торжествующей любви» и «Стихотворенія въ прозѣ». Вотъ гдѣ неподражаемый, оригинальный Тургеневъ, самъ себѣ незнающій цѣны, вотъ гдѣ онъ царь обаятельнаго міра. «Какъ непреодолимо въ Тургеневѣ тяготѣніе къ фантастическому, видно изъ женскихъ фигуръ его большихъ общественныхъ романовъ. Это безплотные и безкровные призраки, родныя сестры Морелли и Лагейи изъ новеллъ Эдгара Поэ. Такихъ идеальныхъ дѣвушекъ и женщинъ ни въ Россіи и нигдѣ на землѣ не было» и т. д.

Гончаровъ, по мнѣнію г. Мережковскаго, изъ всѣхъ нашихъ писателей обладаетъ вмѣстѣ съ Гоголемъ наибольшей способностью символизма. Каждое его произведеніе – художественная система образовъ, подъ которымъ скрыта вдохновенная мысль...

О Достоевскомъ, постигшемъ, по словамъ г. Мережковскаго, всю неисчерпаемую, никѣмъ не открытую *новизну* величайшей книги прошлаго — Евангелія, – и говорить нечего: прочтите исповѣдь «Великаго инквизитора», признанія и сцену самоубійства Кирилова въ «Бѣсахъ», вы согласитесь, что въ Достоевскомъ было это преступное любопытство мятежной мысли, эта дерзость посягновенія на величайшія святыни долга и вѣры, то демоническое, что въ Байронѣ Бодлэръ называетъ le satanique...

Когда же дѣло доходитъ до Л. Толстого, г. Мережковскій—подобно гоголевскому учителю исторіи—въ дребезги разбиваетъ стулъ, находя, что въ минуты отчаянья достаточно произнести одно имя—Левъ Толстой!—и сразу становится легче... Слава Богу—*онъ есть у насъ*! А пока у народа есть одинъ такой человѣкъ – несмотря ни на какія испытанія, народъ не имѣетъ права отрекаться отъ надежды, что ему принадлежитъ великая будущность!

Но можетъ быть великіе три элемента поэзіи присущи лишь упомянутымъ корифеямъ 40-хъ годовъ. Въ новѣйшихъ-же писателяхъ—вотъ гдѣ должны мы искать зловѣщіе признаки литературнаго упадка. Обратимся къ писателямъ, идущимъ за корифеями. Прежде всего слѣдуютъ конечно народники—Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій, Златовратскій, Короленко. Но г. Мережковскій рѣчь свою о народникахъ прямо начинаетъ съ заявленія, что это могущественное литературное теченіе, также вполнѣ современное, имѣетъ огромную будущность», и лишь по недоразумѣнію большинство нашихъ критиковъ придаетъ ему такой рѣзкій, утилитарный и реалистическій характеръ. И далѣе вслѣдъ за Кольцовымъ г. Мережковскій находитъ присутствіе все тѣхъ-же излюбленныхъ своихъ элементовъ поэзіи—и въ Короленко (его «Сонъ Макара»), и въ Гл. Успенскомъ (его «Парамонъ юродивый»).

Затѣмъ идутъ совсѣмъ новѣйшіе уже беллетристы: Гаршинъ, Чеховъ, Ясинскій, поэты: Надсонъ, Минскій, Голенищевъ-Кутузовъ, Андреевскій. Изъ нихъ г. Мережковскій черпаетъ свои три элемента горстями,—сколько хочешь столько и просишь.

Я ожидалъ, что г. Мережковскій окажетъ неблагосклонность къ г. Боборыкину, какъ къ наиболѣе ревностному послѣдователю ненавистнаго ему французскаго мертвеннаго натурализма. Ничуть не бывало!

«П. Д. Боборыкинъ,—говоритъ г. Мережковскій—кажется, одинъ изъ первыхъ ввелъ въ Россіи пріемы западно-европейскаго экспериментальнаго романа. Насколько было возможно, онъ освободилъ этотъ условный родъ беллетристики отъ тяжеловѣсной скуки и придалъ ему изящную легкость. Но великое современное теченіе коснулось и русскаго натуралиста. Въ послѣднемъ, едва-ли не лучшемъ изъ всѣхъ произведеній Боборыкина, романѣ-дневникѣ «*Передъ чѣмъ-то*» — умный, чуткій и талантливый наблюдатель современной жизни окончательно порываетъ съ традиціями условнаго натурализма.»

А если даже и въ г. Боборыкинѣ, при всей его приверженности къ проклятому натурализму, г. Мережковскій не усматриваетъ признаковъ упадка литературы, то въ чемъ-же онъ ихъ видитъ?

Неужели-же весь упадокъ литературы заключается въ томъ, что въ редакціонныхъ собраніяхъ г. Мережковскому бываетъ очень скучно?

«Нигдѣ даже въ Россіи не царствуетъ такая скука, говоритъ г. Мережковскій, – какъ въ литературныхъ кружкахъ. Опять-таки, безъ всякихъ высшихъ философскихъ и политическихъ соображеній, просто кажется, что здѣсь *нѣтъ жизни*. Когда сразу изъ европейскаго воздуха, изъ атмосферы напряженной дѣятельности и мысли, перенесешься въ одинъ изъ этихъ притоновъ скуки, въ одну изъ несчастныхъ петербургскихъ редакцій, съ какимъ горькимъ недоумѣніемъ слушаешь унылые разговоры унылыхъ сотрудниковъ. Если редакція легкомысленная, кажется, что попалъ въ подозрительную справочную контору, если редакція серьезная, чувствуешь себя въ канцеляріи среди чиновниковъ.»

Или неужели упадокъ весь исчерпывается тѣмъ, что въ газетной прессѣ (охъ, ужъ эта газетная пресса,—за все, про все является она козломъ отпущенія!),– въ передовицахъ и фельетонахъ,—портятъ русскій языкъ!.. Но съ одной стороны не самъ-ли г. Мережковскій отмѣчаетъ у многихъ новѣйшихъ беллетристовъ, напримѣръ у Гаршина, образцовый языкъ, а съ другой—въ какой странѣ найдете вы въ ежедневной прессѣ, при торопливости газетной работы,—академически правильный языкъ? Кому во Франціи напримѣръ придетъ въ голову блажь искать изящнаго французскаго языка не въ романахъ Додэ, Флобера, Золя,—а на столбцахъ «Temps» или «Figaro»! Это только наши доморощенные мыслители, вродѣ г. Мережковскаго, способны пѣть іереміады по поводу того, что фельетонисты и репортеры впопыхахъ вмѣсто русскаго слова употребятъ иностранное.

Въ концѣ концовъ оказывается, что все зло заключается въ современныхъ критикахъ,—и главнымъ образомъ въ четырехъ:—Протопоповѣ, Буренинѣ, Волынскомъ и вашемъ покорнѣйшемъ слугѣ. Вотъ мы-то (двое изъ насъ своимъ банальнымъ утилитаризмомъ, третій злобными глумленіями, а четвертый—трудно и разобрать чѣмъ) роемъ зловѣщую яму, въ которую рискуетъ провалиться вся современная литература и поэзія, съ г. Мережковскимъ во главѣ. Правда, тутъ рѣзко бросается въ глаза, что четыре злодѣя русской литературы всѣ,

какъ на подборъ, принадлежатъ къ числу критиковъ, отзывавшихся о г. Мережковскомъ не совсѣмъ уважительно, — но оставимъ въ сторонѣ эти личные счеты. Допустимъ, что и въ самомъ дѣлѣ мы такіе герострaты. Но съ одной стороны изъ всей книги г. Мережковскаго явствуетъ, что литература наша полна такихъ блестящихъ произведеній, что упоминаніе о каждомъ писателѣ вызываетъ въ г. Мережковскомъ одинъ восторгъ и, какъ мы видѣли, у г. Мережковскаго, что̀ страница, то панегирикъ. Такъ что въ концѣ концовъ оказывается, что всѣ злоухищренія критиковъ-герострaтовъ не производятъ на литературу никакого вліянія, и она не только не падаетъ, а съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе процвѣтаетъ.

А съ другой стороны — изъ самой книги г. Мережковскаго явствуетъ, что современная критика далеко не исчерпывается четырьмя Герострaтами. Герострaты остаются ошую; одесную-же литература имѣетъ иного рода критиковъ, которыхъ можно назвать ея ангелами-хранителями. Таковъ напримѣръ г. Михайловскій, котораго г. Мережковскій не хочетъ даже и ставить рядомъ съ ненавистными ему критиками-герострaтами, а помѣщаетъ въ отдѣлъ беллетристовъ-народниковъ, рядомъ съ Глѣбомъ Успенскимъ — и читаетъ ему уже не панегирикъ, а настоящій гимнъ, доходящій до стихоизліяній и даже пророчествъ:

«Вотъ человѣкъ!—восклицаетъ г. Мережковскій:—за 25 лѣтъ работы онъ не измѣнилъ себѣ ни однимъ движеніемъ, ни однимъ помысломъ, ни однимъ чувствомъ и не измѣнитъ до послѣдняго вздоха:

Онъ имѣлъ одно видѣнье
Непостижимое уму,
И глубоко впечатлѣнье
Въ сердце врѣзалось ему.

И онъ посвятилъ этой святынѣ воистину рыцарское служеніе безъ упрека».

Г. Михайловскій очень почтенный и достойный всякаго уваженія писатель, но пресмыкаться все-таки не слѣдовало-бы, даже хотя-бы и передъ еще большими великанами. Къ чести г. Михайловскаго, онъ остался на высотѣ своей неподкупности и, не тронувшись лестью г. Мережковскаго, на страницахъ «Русскаго Богатства», отнесся къ нему вполнѣ такъ, какъ г. Мережковскій того заслужилъ. Но это лишь такъ, къ слову.

Кромѣ г. Михайловскаго, есть другой ангелъ-хранитель, бдящій надъ русской литературой,—С. А. Андреевскій, который, по словамъ г. Мережковскаго,—истинный поэтъ-критикъ. «Въ его стихотвореніяхъ есть иногда женственная прелесть и грація, но все-таки онъ болѣе самостоятельный и оригинальный художникъ въ своихъ критическихъ работахъ. Его превосходныя монографіи русскихъ писателей: Тургенева, Лермонтова, Толстого, Баратынскаго, Некрасова, Достоевскаго — похожи на портреты, набросанные быстрыми, воздушно-легкими штрихами карандаша, но удивительны по живому сходству съ оригиналомъ, изящной простотѣ и проникновенію въ личность писателя...».

Такимъ образомъ оказывается, что и въ этомъ отношеніи все обстоитъ благополучно и упадокъ современной русской литературы остается только въ заглавіи и въ 40 первыхъ страницахъ книги, а съ 41-й начинается уже ея процвѣтаніе.

III.

Распространяясь о томъ вредѣ, какой приношу я русской литературѣ, угрожая ей гибелью, г. Мережковскій между прочимъ говоритъ:

«Однажды на передвижной выставкѣ я видѣлъ картину извѣстнаго русскаго художника приблизительно слѣдующаго содержанія: пьяница, должно быть мастеровой, съ угрожающимъ видомъ и поднятыми кулаками стоитъ на порогѣ кабака. Онъ хочетъ войти, но женщина съ растрепанными волосами и неестественно трагическимъ лицомъ, вѣроятно жена мастерового, не пускаетъ мужа. Дико забросивъ голову и раскинувъ, какъ непремѣнно сказали-бы Потапенко и Златовратскій, «блѣдныя и изможденныя руки», она всѣмъ тѣломъ своимъ закрываетъ дверь кабака. Къ довершенію условнаго трагизма, за лохмотья несчастной матери цѣпляется испуганный ребенокъ и умоляющимъ взоромъ смотритъ на жестокосердаго отца. Картина была прескверно написана, съ пренебреженіемъ къ техникѣ, какими-то мертвенными деревянными красками. Но публика передъ ней останавливалась: на лицахъ интеллигентныхъ дамъ было видно сочувствіе. Говорили по-французски о страданіяхъ нашего бѣднаго народа, о пьянствѣ, объясняли тенденцію художника. Общедоступный *банальный* трагизмъ оказывалъ свое вѣчное дѣйствіе на толпу.

«Во всѣхъ обществахъ во всѣ времена есть люди — имя имъ легіонъ,—которыхъ модное фальшивое чувство привлекаетъ такъ-же неизмѣнно и неотразимо, какъ червякъ на удочкѣ привлекаетъ рыбу. Я увѣренъ, что еслибы среди публики передъ картиной находился г. Скабичевскій, чувствительное сердце почтеннаго критика такъ-же было-бы тронуто банальнымъ, условнымъ трагизмомъ картины, какъ сердце толпы. У добросовѣстнаго и гуманнаго рецензента явилось-бы непреодолимое желаніе похвалить художника за теплое отношеніе къ народу, за поразительную искренность непосредственнаго чувства, за трезвость здороваго реализма. Не знаю, какъ у другихъ, но у меня при подобныхъ похвалахъ является непобѣдимое озлобленіе противъ несомнѣнныхъ добродѣтелей. У порока по крайней мѣрѣ то преимущество, что никогда не удручаютъ его такими банальными похвалами, такимъ убійственно-буржуазнымъ сочувствіемъ, такимъ безвкусіемъ и уродствомъ, какъ бѣдную добродѣтель. О, скука большихъ дорогъ! О, вѣчное умиленіе толпы передъ любезной ей пошлостью популярно-великихъ идей!..»

Г. Мережковскій можетъ быть спокоенъ: я былъ на той самой выставкѣ, видѣлъ своими глазами картину, о которой онъ говоритъ, и нимало пораженъ ею не былъ, а, напротивъ того, — она не понравилась мнѣ, и не только потому, что была дурно написана въ техническомъ отношеніи, но и по другимъ причинамъ. Во-первыхъ, мнѣ не понравилось въ ней отсутствіе того духа русской жизни, какой привыкъ я ощущать въ самыхъ обыденныхъ сценахъ вродѣ изображенной, — картина слишкомъ отвлеченна и международна, и, глядя на нее, вы не разберете, гдѣ происходитъ дѣйствіе: въ Берлинѣ, Парижѣ, Лондонѣ или Петербургѣ. А во-вторыхъ, сама по себѣ картина представляется не живымъ и

органическимъ продуктомъ жизни, а чѣмъ-то дѣланымъ, сочиненнымъ и потому мертвымъ.

Наконецъ и въ тенденціозномъ отношеніи картина ни моему сердцу, ни уму ничего не сказала, такъ какъ въ ней взятъ неопредѣленный моментъ, не дающій понятія о сути драмы. Я не могу даже судить, кто здѣсь злодѣй, — онъ или она? Можетъ быть она-то именно, эта женщина, не пускающая мужа въ кабакъ, — сама-же и толкнула его въ этотъ самый кабакъ. Загораживая ему дорогу, можетъ быть она лишаетъ его единственнаго утѣшенія отъ того домашняго ада, которымъ онъ ей-же обязанъ; жалко ей не человѣка, а тѣхъ грошей, которые онъ пропьетъ, и, загораживая ему дверь, она приговариваетъ: «Хоть-бы ты издохъ, собака, чѣмъ такъ-то деньги изводить: мнѣ-бы хоть способіе выдали!».

Что-бы вы тамъ ни говорили, я очень высоко цѣню тенденціозность произведенія, но напрасно вы полагаете, что меня такъ легко поймать на удочку одной только тенденціозности. Попробуйте, г. Мережковскій, испытайте это на себѣ самомъ, да потомъ уже и говорите. Для меня, какъ, полагаю я, и для критиковъ всѣхъ лагерей и школъ, слово *какъ* не меньше имѣетъ значенія, чѣмъ *что*. Что толку въ томъ, что въ произведеніи проведена прекрасная тенденція, если проведена она бездарно, скверно, и вслѣдствіе этого произведеніе не производитъ никакого впечатлѣнія, а можетъ быть даже и отталкиваетъ отъ себя. Такъ не за тенденціозность-же похвалилъ я, г. Мережковскій, вашу повѣсть «Вѣру», — а за то, что это единственное художественное и вполнѣ живое произведеніе изъ всего прочаго, что вы написали. Вашъ «Аввакумъ» —не менѣе и не болѣе тенденціозенъ, чѣмъ «Вѣра», но ничего я въ немъ не усматриваю, кромѣ отвратительной мертвечины, производящей самое анти-художественное впечатлѣніе.

Мало того: вы напрасно такъ распинаетесь съ вашими пресловутыми декадентами за символизмъ, импрессіонизмъ и мистицизмъ, воображая, что вы или они открыли Америку. Я убѣжденъ въ томъ, что опять-таки критики всѣхъ лагерей, если только въ нихъ есть живое чутье изящнаго, никогда не отказывались и не пренебрегали этими тремя элементами поэзіи, хотя, говоря о нихъ, употребляли иные термины, съ значеніемъ нѣсколько инымъ, чѣмъ то, какое подразумѣваете вы, но болѣе точнымъ и правильнымъ.

Впрочемъ довольно трудно судить о томъ, что подразумѣваетъ подъ этими терминами г. Мережковскій, такъ какъ у него чуть-что не на каждой страницѣ вы встрѣтите новое опредѣленіе.

Такъ напримѣръ, возьмемъ хотя-бы мистицизмъ. Въ однихъ мѣстахъ книги г. Мережковскій смотритъ на этотъ предметъ повидимому совершенно правильно, полагая подъ мистицизмомъ тотъ ужасъ, который возбуждаетъ въ человѣкѣ предположеніе о таинственной и необъятной области, которая лежитъ внѣ человѣческаго познанія. Мистицизмъ въ этомъ смыслѣ какъ нельзя болѣе правильно и точно опредѣляется извѣстнымъ изреченіемъ Гамлета: «*Есть многое въ природѣ, другъ Гораціо, что и не снилось мудрецамъ!..*». Самое слово *мистицизмъ* показываетъ, что здѣсь идетъ дѣло о неразгаданной тайнѣ. А разъ эта тайна перестаетъ быть тайной, разъ она разгадывается, все равно правильно или неправильно, путемъ точнаго знанія или фантастическихъ гипотезъ, — и конецъ мистицизму. Такъ напримѣръ, спириты до тѣхъ поръ лишь являются мистиками, пока утверждаютъ, что они имѣютъ дѣло съ явленіями непостижимыми, съ какими-то тайными и неразгаданными силами природы, которыя до сихъ поръ находятся внѣ области науки и человѣческаго вѣдѣнія. Когда-же они начинаютъ толковать объ астральномъ эфирѣ, изъ котораго матеріализируются духи умершихъ, и когда создаютъ цѣлую теорію загробнаго существованія, они являются передъ нами истыми матеріалистами, и было бы нелѣпо считать ихъ мистиками совершенно точно такъ-же, какъ нелѣпо считать мистикомъ мужика, который съ осязательностью положительнаго знанія разсказываетъ вамъ, какъ послѣ смерти человѣка душенька его ходитъ по мытарствамъ или какъ путаетъ гривы лошадей домовикъ, неоднократно видѣнный мужикомъ собственными глазами.

Г. Мережковскій-же въ одномъ мѣстахъ подъ мистицизмомъ разумѣетъ «глубину священнаго незнанія», «близость тайны, близость океана»; въ другихъ-же мѣстахъ просто-на-просто — область фантастическаго (напримѣръ въ «Снѣ Макара» г. Короленко); въ третьихъ-же мѣстахъ онъ отождествляетъ съ мистицизмомъ религіозныя вѣрованія,—находитъ напр. мистицизмъ въ такихъ стихахъ Кольцова, какъ «*Уроди мнѣ, Боже, хлѣбъ мое богатство*»—или «*Но жарка свѣча поселянина передъ иконою Божьей матери*». Наконецъ въ четвертыхъ мѣстахъ мистицизмъ онъ смѣшиваетъ съ идеализмомъ.

Точно также путается онъ и съ понятіемъ символизма. Въ одномъ мѣстѣ подъ символомъ онъ подразумѣваетъ то, что и всѣ прочіе смертные, т. е. чувственный образъ, который служитъ не полнымъ естественнымъ воплощеніемъ какой-либо широкой, отвлеченной идеи, а лишь напоминаніемъ о ней. Такъ дѣйствительно, барельефъ надъ архитравомъ Парѳенона, изображающій нагихъ юношей, укрощающихъ коней, можетъ быть названъ символомъ человѣка, укрощающаго звѣря, идеальной человѣческой культуры, свободнаго эллинскаго духа.

Но далѣе г. Мережковскій къ числу символовъ причисляетъ и такіе образы, которые не только напоминаютъ какую-либо идею, а служатъ полнымъ ея воплощеніемъ. Такъ, онъ спрашиваетъ вдругъ:

«Развѣ Алькестисъ Эврипида, умирающая, чтобы спасти мужа, — не символъ материнской жалости, которая одухотворяетъ любовь мужчины и женщины? Развѣ Антигона Софокла—не символъ религіозно-дѣвственной красоты женскихъ характеровъ, которая впослѣдствіи отразилась въ средне-вѣковыхъ Мадоннахъ?»

Нѣтъ, г. Мережковскій, и тысячу разъ нѣтъ.

Зачѣмъ намъ предполагать символы тамъ, гдѣ мы усматриваемъ полное воплощеніе идеи: Алькестисъ—не символъ материнской жалости, а сама материнская жалость во-очію, а Антигона, равно и средневѣковыя Мадонны—отнюдь не символы религіозно-дѣвственной красоты, а сама эта красота во всемъ ея идеально-реальномъ проявленіи.

А еще далѣе къ числу символовъ г. Мережковскій присоединяетъ и такіе характеры, какъ Санчо-Пансо, Фаустъ, Донъ-Кихотъ, Гамлетъ, Фальстафъ и даже бытовые типы—вродѣ Обломова!

IV.

Если-же мы, отстранивъ всю эту путаницу, будемъ искать въ области различныхъ литературъ проявленія трехъ элементовъ поэзіи въ ихъ истинномъ смыслѣ, мы дѣйствительно найдемъ такія страницы въ различныхъ произведеніяхъ, въ которыхъ усмотримъ и мистицизмъ въ томъ истинномъ его значеніи, что художники въ этихъ страницахъ словно становятся на грани непознаваемаго и открываютъ передъ вами безконечныя перспективы и бездны, созерцаніе которыхъ охватываетъ васъ мистическимъ ужасомъ; усмотримъ и символизмъ въ смыслѣ раскрытія обширныхъ міровыхъ идей въ условныхъ образахъ, наконецъ найдемъ и импрессіонизмъ въ стремленіи къ уловленію разныхъ тонныхъ и безсознательныхъ движеній и процессовъ, совершающихся въ нашей душѣ... Но что-же окажется въ концѣ концовъ?..

Окажется прежде всего, что всѣ такія проявленія трехъ элементовъ поэзіи представляютъ такія высшія грани творчества, какія и у геніальнѣйшихъ художниковъ—не часты, а когда совершаются, это дѣлается само собой, помимо воли художниковъ, однимъ стихійнымъ порывомъ и подъемомъ ихъ творчества. Поэтому стремиться къ проявленію этихъ трехъ элементовъ, гоняться за ними такъ-же безполезно, какъ стремиться произвести бурю и грозу, чтобы полюбоваться ими.

Г. Мережковскій самъ говоритъ: «Символы должны естественно и невольно выливаться изъ глубины дѣйствительности. Если-же авторъ искусственно ихъ придумываетъ, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются въ мертвыя аллегоріи, которыя ничего кромѣ отвращенія, какъ все мертвое, не могутъ возбудить». Г. Мережковскій совершенно правъ,—но то-же самое мы должны сказать и о прочихъ элементахъ, о мистицизмѣ и импрессіонизмѣ: и они въ свою очередь должны невольно выливаться изъ глубины дѣйствительности, изъ глубины духа художника — искусственно-же придуманные являются чѣмъ-то мертвымъ и ничего кромѣ отвращенія произвести не въ состояніи.

Во-вторыхъ, тѣ-же наблюденія показываютъ намъ, что проявленіе трехъ элементовъ вовсе не зависитъ отъ той или другой литературной школы: разъ художникъ возвысился до одного изъ трехъ элементовъ — все равно, будь онъ псевдоклассикъ, романтикъ или натуралистъ, — онъ вырвется изъ всѣхъ условныхъ рамокъ на орлиный просторъ геніальнаго творчества и создастъ то, что внушаетъ ему его геній, независимо отъ требованій школы. Укажу на одинъ весьма рѣзкій примѣръ въ этомъ отношеніи, который долженъ быть особенно поучителенъ для г. Мережковскаго съ его фанатически-тупымъ и прямолинейнымъ гоненіемъ натурализма. Дѣло идетъ какъ разъ о фактѣ изъ области чистѣйшаго натурализма. Казалось-бы, смѣшно было-бы предполагать хотя-бы намекъ проявленія одного изъ трехъ элементовъ,—при созданіи вдругъ такой фотографически-бытовой роли, какъ Расплюевъ въ «Свадьбѣ Кречинскаго». Расплюевъ—и вдругъ мистицизмъ, символизмъ, импрессіонизмъ,—не правда-ли, съ перваго взгляда это кажется чѣмъ-то крайне дикимъ и несообразнымъ?

И представьте-же вы себѣ, что я видѣлъ своими глазами воплощеніе всѣхъ трехъ элементовъ въ этой самой роли Расплюева. Исполнялъ роль геніальный Мартыновъ. И вотъ въ той сценѣ, когда Кречинскій считаетъ деньги, вырученныя имъ за продажу брошки, а Расплюевъ приходитъ въ восхищеніе отъ его мошеннической геніальности, Мартыновъ вдругъ словно преобразился... Передъ зрителями былъ уже не Мартыновъ, не Расплюевъ, а словно какое-то видѣніе, откровеніе. Глаза его заблестѣли зловѣщимъ, чисто сатаническимъ блескомъ. Голосъ началъ раздаваться почти шепотомъ, откуда-то издалека, словно съ того свѣта. Ужасъ овладѣлъ всей залой; мурашки поползли у меня по спинѣ и волосы задвигались. Я вдругъ почувствовалъ, что вотъ они какія бываютъ мгновенія, когда совершаются самыя страшныя преступленія, въ основѣ которыхъ лежитъ проклятая жадность къ деньгамъ. Передъ зрителями было нѣчто неземное, сверхъестественное, разверзались какія-то пропасти и зіяла мрачная бездна... Болѣе тридцати лѣтъ прошло послѣ того, а я точно сейчасъ гляжу на этотъ гигантскій размахъ творчества, и такой-же мистическій трепетъ овладѣваетъ мной. Вотъ такой мистицизмъ, символизмъ и импрессіонизмъ въ искусствѣ я понимаю. Но еще разъ повторяю, какъ рѣдко творчество даже величайшихъ художниковъ доходитъ до такой высоты!

Какое-же изъ этого слѣдуетъ нравоученіе? Очень простое и понятное. Во-первыхъ, изъ всего предыдущаго слѣдуетъ, что французскіе декаденты оттого и представляются столь отвратительными мертвецами, что они сами по себѣ, до мозга костей, растлѣнные, какіе-то выродившіеся карлики, пыжатся, мечтая искусственнымъ путемъ возвыситься до той высоты, какая сама собой дается только великанамъ поэзіи, полнымъ жизни и могучихъ творческихъ силъ. Неужели г. Мережковскій не понимаетъ, какой приговоръ самъ онъ читаетъ своимъ любимцамъ, говоря о мертвечинѣ и отвратительности искусственно придуманныхъ символовъ? Но такой приговоръ относится и къ нашимъ доморощеннымъ декадентикамъ со включеніемъ и самого г. Мережковскаго, которые являются надутыми, холодными и мертвыми риторами, именно потому, что стараются вымучить, высидѣть что-то великое, что

не дается никакими усиліями, а зависитъ отъ врожденныхъ стихійныхъ творческихъ силъ.

Но гнилая мертвечина нашихъ молодыхъ поэтовъ-декадентовъ, со включеніемъ г. Мережковскаго, зависитъ и отъ другой не менѣе важной причины, которую я приготовилъ для дессерта.

Въ началѣ своей книги г. Мережковскій обмолвился нѣсколькими прекрасными и вполнѣ истинными мыслями относительно необходимости для процвѣтанія литературы естественнаго органическаго ея развитія путемъ традиціоннаго и современнаго единенія литературныхъ силъ. Такъ, онъ справедливо указываетъ на Гомера, какъ родоначальника цѣлой школы художниковъ и писателей, что едва-ли не каждая строчка греческой литературы отмѣчена неизгладимой печатью его генія, что до сихъ поръ чувствуется духъ Гомера въ какой-нибудь полустертой надписи на могильномъ мраморѣ, и въ діалогахъ Платона, и въ шуткахъ Аристофана, и въ походномъ дневникѣ Ксенофонта, и въ нѣжныхъ какъ мраморъ Парѳенона, подобныхъ самымъ чистымъ христіанскимъ гимнамъ, лирическихъ хорахъ Софокла.

Когда я читалъ все это и подобное ему въ шести первыхъ страницахъ книги, я ожидалъ, что мысли эти будутъ положены въ основѣ книги, и казалось мнѣ, что лучше этого трудно было-бы и придумать. Я радовался за г. Мережковскаго, и вдругъ гора родила мышь. На седьмой уже страницѣ у г. Мережковскаго то духовное единеніе литературныхъ силъ, которое предполагалось выше, свелось на какое-то аликошоиство литераторовъ между собой, на ихъ личныя между собой отношенія и дрязги. Но вѣдь вліяніе писателей другъ на друга и выходящее изъ этого единеніе можетъ быть и помимо того, дерутся они или лобызаются, ходятъ или не ходятъ другъ къ другу въ гости и съѣдаютъ-ли совмѣстно селянку, запивая ее кахетинскимъ виномъ. Упоминаемые г. Мережковскимъ греческіе писатели жили въ различныя времена на разстояніи цѣлыхъ вѣковъ и поэтому не имѣли возможности сходиться ни на обѣды, ни на ужины, — но это не мѣшаетъ г. Мережковскому предполагать въ нихъ единеніе. Точно также и русскіе литераторы развѣ не могли имѣть самое тѣсное единеніе, хотя-бы всѣ между собой были на ножахъ? Такъ напримѣръ, обратите вниманіе хотя-бы на знаменательный фактъ мнительности Гончарова: онъ постоянно воображалъ, что всѣ у него воруютъ, предвосхищаютъ задуманные имъ характеры и сюжеты. Не оттого-ли происходила эта мнительность, что онъ всюду находилъ нѣчто родственное, напоминающее ему то самое, что носилось въ его собственной фантазіи?

И дѣйствительно, несмотря на все кажущееся разъединеніе нашихъ литературныхъ силъ, на *литературное уединеніе* каждаго писателя, о которомъ такъ сѣтуетъ г. Мережковскій, мы видимъ, начиная съ Пушкина, самое тѣсное внутреннее единеніе, взаимное вліяніе и строгую преемственность. До Пушкина, когда литература наша пребывала рабской подражательницей западнымъ образцамъ, въ самомъ дѣлѣ все было случайно, не замѣчалось никакой органической связи между писателями и не было никакого правильнаго развитія. Совсѣмъ другое дѣло пошло съ Пушкина и Гоголя, когда литература наша сдѣлалась самобытно-національной и начала черпать свое содержаніе и свои силы изъ нѣдръ русской жизни. Нужно совсѣмъ не знать русской литературы въ ея историческомъ теченіи, чтобы не видѣть глубокой, чисто органической связи, полнаго единенія и преемства между Пушкинымъ, Гоголемъ, Лермонтовымъ и всѣми ихъ послѣдователями до сего дня. Это теченіе именно и вознесло нашу литературу на степень первенствующей въ настоящее время въ Европѣ. Мы видимъ, что и въ наше время, при всемъ литературномъ безвременьи, которое такъ оплакиваетъ г. Мережковскій, наиболѣе все-таки живыя и лучшія произведенія являются на почвѣ все той-же преемственности и сродства съ нашимъ роднымъ литературнымъ теченіемъ. Чѣмъ-же живы такіе писатели, какъ гг. Короленко и Чеховъ, какъ не тѣмъ вліяніемъ беллетристовъ 40-хъ годовъ, какое чувствуется въ каждой ихъ строкѣ. Особенно разительный примѣръ въ этомъ отношеніи представляетъ г. Боборыкинъ. Въ его произведеніяхъ мы постоянно видимъ два теченія: одно чисто русское, отъ котораго вѣетъ на васъ тургеневскими традиціями, и это теченіе создаетъ такія прекрасныя и живыя вещи, какъ «На ущербѣ» или «Василій Теркинъ»; другое-же теченіе, въ видѣ подражанія французскому натурализму, проявляется столь мертвенными вещами, какъ печатающійся нынѣ въ «Русской Мысли» романъ «Наши люди».

Чѣмъ-же особенно привлекателенъ и популяренъ Надсонъ, какъ опять-таки не тѣмъ, что отъ поэзіи его пахнетъ русскимъ духомъ, чѣмъ-то напоминающимъ вамъ вѣяніе то Лермонтова, то Некрасова, то Тургенева...

Вотъ и вы, г. Мережковскій. Почему ваша «Вѣра» такъ рѣзко выдѣляется изъ всего прочаго, написаннаго вами? Потому что въ ней вы ступили на почву русской жизни и русской поэзіи: отъ вашей «Вѣры» вѣетъ опять-таки органическимъ сродствомъ со всѣми поэтическими традиціями нашихъ излюбленныхъ корифеевъ. Это единственное живое произведеніе, которымъ вы обмолвились...

Но вы пренебрегаете кровной связью съ нашей родной жизнью и поэзіей. Вы мечтаете возвыситься до заоблачнаго величія путемъ отщепенства — на почвѣ международной отвлеченной поэзіи надуманнаго символизма и предвзятаго мистицизма. Этотъ путь дѣйствительно ни къ чему иному не можетъ повести, какъ только къ смерти цѣлаго поколѣнія. И да будетъ вамъ стыдно!.. Позвольте мнѣ видѣть въ васъ измѣнника не тому или другому направленію, партіи, а нашей родной русской литературѣ!..

---

*

II.

„Искусство и нравственность", очеркъ кн. С. Волконскаго.

(«Вѣстн. Евр.», № 4).

I.

Князь Волконскій представляетъ собой въ своихъ эстетическихъ статьяхъ яркій образецъ человѣка, старающагося усѣсться между двумя стульями, или, еще лучше, отважнаго пловца, котораго и въ море-то тянетъ, да и берега-то ему жалко. И вотъ онъ качается на прибрежныхъ волнахъ, сидя въ лодкѣ, привязанной къ плоту; отойдетъ саженъ на пять и опять притянетъ себя къ пристани. Людей подобнаго типа постигаетъ обыкновенная участь: врѣзываясь въ свалку между ожесточенными борцами, они въ одинаковой степени вооружаютъ противъ себя объ враждебныя стороны и въ концѣ концовъ своими вопіющими противорѣчіями отвращаютъ отъ себя и людей, непричастныхъ борьбѣ.

Что касается меня, то, прочтя въ № 4 «Вѣстника Европы» за 1893 годъ вторую эстетическую статью г. Волконскаго (первая была напечатана въ прошломъ году въ одной изъ лѣтнихъ книжекъ того-же журнала), я до сихъ поръ не могу понять, чего авторъ добивается, изъ-за чего онъ хлопочетъ и что такое представляетъ онъ собой по эстетическимъ вопросамъ: метафизика или реалиста, приверженца чистаго искусства или тенденціознаго? Въ статьѣ кн. Волконскаго вы найдете массу данныхъ, для того чтобы предположить и первое, и второе, и третье, и четвертое.

Такъ, въ началѣ своей статьи кн. Волконскій между прочимъ рѣшительно протестуетъ противъ того, что «теорія искусства слишкомъ долго составляла монополію философовъ». «Только въ послѣднее время,—говоритъ онъ,—поняли, что для того, чтобы говорить объ искусствѣ, нужно быть сперва художникомъ, а потомъ уже философомъ, и что останавливаться при разборѣ произведеній искусства на вопросѣ объ абсолютной красотѣ есть то-же, что въ механикѣ ломать себѣ голову надъ вопросомъ о сущности силъ».

Далѣе онъ категорически заявляетъ, что одинъ изъ результатовъ той точки зрѣнія, на которую онъ сталъ, есть «высвобожденіе эстетическихъ вопросовъ изъ области метафизики». «Вальтеръ Патеръ,—по словамъ кн. Волконскаго,—одинъ изъ интересующихъ его авторовъ, прямо говоритъ въ предисловіи къ своимъ замѣткамъ объ итальянскомъ возрожденіи, что попытки дать какую-нибудь одну, общую формулу для опредѣленія абстрактной красоты никогда не помогли ни понять, ни прочувствовать красоты художественнаго произведенія. Не въ абстрактной формулѣ единой красоты, но въ возможно конкретной формулѣ, исчерпывающей данное ея проявленіе, лежитъ цѣль эстетическихъ изысканій. Другой авторъ, Вернонъ-Ли, не менѣе категорично говоритъ: «Наша жажда невыразимой гармоніи вовсе не доказываетъ, что такая гармонія существуетъ: тѣ очертанія всеобщаго совершенства, которыя носятся передъ нами, не суть отраженія отдаленной дѣйствительности, а лишь безплотная тѣнь, которую бросаютъ наши собственныя желанія; мы всегда гонимся за ней, но мы никогда ея не настигнемъ». Очевидно весь центръ тяжести переносится на человѣка и въ то впечатлѣніе, которое онъ получаетъ отъ конкретнаго воплощенія красоты; самый-же вопросъ о красотѣ—этотъ ветхій челнъ, на которомъ старая эстетика носилась по туманнымъ водамъ, метафизики—остается совершенно въ сторонѣ»... Тотъ-же Вальтеръ Патеръ, со свойственной англичанамъ неустрашимостью передъ крайними примѣрами, восклицаетъ въ другомъ мѣстѣ: «Кто-бы изъ насъ согласился промѣнять изгибъ одного лепестка на то недосягаемое существо безъ очертаній, которое такъ превозноситъ Платонъ...

Всѣ эти замѣчанія кн. Волконскаго, сопровождающіяся подтвердительными цитатами изъ англійскихъ писателей, показываютъ намъ въ немъ какъ нельзя болѣе похвальную рѣшимость отрѣшиться отъ метафизическаго воззрѣнія на искусство, какъ на культъ безусловной красоты, и встать на вполнѣ реальную почву.

Но—увы!—все это оказываются одни только благочестивыя желанія, которымъ куда какъ далеко отъ исполненія. Все это одни только отважные порывы на морской просторъ. На самомъ-же дѣлѣ кн. Волконскій продолжаетъ сидѣть въ «ветхомъ челнѣ» и, носясь по мутнымъ водамъ метафизики, крѣпко держится за веревку, прикрѣпляющую этотъ челнъ къ вожделѣнному берегу.

Такъ, всѣ его посылки, аргументы и выводы строятся все на томъ-же обветшаломъ метафизическомъ положеніи, будто область или, правильнѣе сказать, спеціальность искусства—служеніе красотѣ. Кн. Волконскій воображаетъ, что онъ покончилъ съ метафизикой, разъ онъ отказался трактовать о *безусловной* красотѣ въ общемъ метафизическомъ смыслѣ этого слова, а установился на томъ положеніи, что искусство служитъ олицетвореніемъ тѣхъ *конкретныхъ* проявленій прекраснаго, какія человѣкъ наблюдаетъ въ жизни. Ниже мы докажемъ кн. Волконскому, что и въ послѣднемъ своемъ положе-

нiи онъ очень далекъ отъ истинно реальной точки зрѣнiя на искусство, такъ какъ ограниченiе искусства служенiемъ хотя-бы и одной конкретной красотѣ — все-таки метафизично и истинныхъ цѣлей и значенiя искусства далеко не опредѣляетъ.

Но пока мы приступимъ къ этимъ доказательствамъ по существу, считаемъ нелишнимъ указать на явное присутствiе метафизичности г. Волконскаго въ самой постановкѣ того предмета, который служитъ главной темой статьи. Такъ, въ началѣ статьи кн. Волконскiй ставитъ на видъ, что когда говорятъ о *нравственности въ искусствѣ*, то подразумѣваютъ обыкновенно содержанiе произведенiй, именно *что* изобразилъ художникъ и *какъ* заставилъ насъ отнестись къ изображенному.

Такая постановка, по мнѣнiю кн. Волконскаго, далеко не отвѣчаетъ на всѣ вопросы, которые возникаютъ въ нашемъ умѣ при встрѣчѣ понятiй: «нравственность» и «искусство». Гораздо интереснѣе самое искусство сдѣлать предметомъ этого вопроса, т. е. спросить, нравственно-ли искусство по самому своему существу.

«Практически, — говоритъ кн. Волконскiй, — вопросъ выразится въ слѣдующей формѣ: въ какой мѣрѣ тѣ духовныя радости, которыя доставляетъ намъ искусство, являются стимулами на пути нравственнаго совершенства; и, взятыя сами по себѣ, помимо того, какъ онѣ практически отзовутся въ жизни, въ какой мѣрѣ эстетическiя эмоцiи, въ тотъ самый моментъ, когда мы имъ отдаемся, могутъ быть одобрены съ точки зрѣнiя нравственности? Хорошо-ли я поступаю, воспитывая въ себѣ чувство красоты? Имѣю-ли я нравственное право отдаваться тѣмъ страстямъ, которыя пробуждаетъ во мнѣ напримѣръ театральное представленiе; позволительно-ли искать такихъ удовольствiй, которыя заставляютъ дрожать самыя священныя струны нашей природы безъ практическаго приложенiя, которыя поднимаютъ насъ на вершины такихъ духовныхъ ощущенiй, какъ состраданiе, любовь, ненависть, негодованiе—и все это въ области вымысла? Вопросы важные, трудные, болѣе глубокiе, чѣмъ они кажутся на первый взглядъ, потому что за ихъ практической формой встаетъ отвлеченный, принципiальный вопросъ объ отношенiяхъ добра и красоты, о необходимости ихъ совпаденiя или о возможности конфликта между ними.»

Подобнаго рода постановка вопроса только и мыслима на метафизической почвѣ, потому что чѣмъ же и отличалась старая метафизическая эстетика, какъ именно не тѣмъ, что она единую и нераздѣльную человѣческую душу разсматривала словно въ видѣ какого-то бюро съ тремя ящиками, отдѣленными другъ отъ друга непроницаемыми перегородками: въ одномъ ящикѣ хранилось религiозное чувство и вытекающее изъ этого чувства стремленiе ко благу и отвращенiе отъ зла (совѣсть); въ другомъ ящикѣ содержалась любознательность и вытекающее изъ нея стремленiе къ истинѣ, проявляющееся въ научной дѣятельности; наконецъ третiй ящикъ скрывалъ чувство красоты, стремленiе ко всему изящному, выражающееся въ искусствахъ.

Въ чемъ-же и заключается главная заслуга реализма, какъ не въ томъ, что онъ безпощадно разломалъ всѣ эти схоластическiя перегородки и началъ разсматривать психическую природу человѣка, какъ нѣчто единое и нераздѣльное, которое, если имѣетъ свои различные элементы, то послѣдніе тѣсно соприкасаются другъ съ другомъ, непрестанно вліяютъ одинъ на другого, неразрывно сплетаются между собой въ психической жизни, такъ что очень часто трудно и разобрать бываетъ, гдѣ кончается одинъ и начинается другой.

Принимая въ соображенiе эту заслугу реальнаго мышленiя, мы сразу поймемъ всю несообразность самаго вопроса о томъ, нравственно или безнравственно искусство, если даже предположить, согласно старой эстетикѣ, что оно завѣдуетъ исключительно однимъ чувствомъ красоты. Не все-ли это равно, что задаться вопросомъ, нравственны или безнравственны сами по себѣ научныя изысканiя или чувственныя вожделѣнiя? На такiе чисто схоластическiе вопросы можетъ быть одинъ отвѣтъ, какъ нельзя болѣе простой: и научныя изысканiя, и чувственныя вожделѣнiя могутъ быть нравственны, а могутъ быть и безнравственны,—все зависитъ отъ того, присутствуетъ-ли и дѣйствуетъ-ли въ человѣкѣ при отправленiяхъ этихъ элементовъ еще и третiй элементъ,— нравственный. Разъ онъ присутствуетъ и дѣйствуетъ, онъ непремѣнно подчинитъ своему вліянiю и всѣ остальные элементы, а если онъ почему-либо атрофированъ, то и всѣ прочiе элементы окажутся безнравственными. Выходитъ такимъ образомъ вопiющiй плеоназмъ.

«Прекрасно,— возразитъ мнѣ кн. Волконскiй:— да вѣдь вы говорите то-же самое, что и я: развѣ и я не утверждаю въ свою очередь, что сами по себѣ эстетическiя эмоцiи не могутъ быть ни нравственны, ни безнравственны, ни полезны, ни безполезны: онѣ вполнѣ *безкорыстны*, *безплодны*, *безпредметны*, *безболѣзненны* и пр., и пр. Однимъ словомъ, онѣ сами по себѣ.»

Да, г. Волконскiй, вы правы,—но только до тѣхъ поръ, пока вы говорите объ эстетическихъ эмоцiяхъ, какъ объ особенномъ элементѣ человѣческой природы, и не примѣшиваете къ этому вопроса объ искусствѣ. Дѣйствительно, какъ нельзя болѣе справедливо то, что въ числѣ прочихъ элементовъ человѣческой природы существуетъ, чувство красоты. Это чувство проявляется различно: оно заставляетъ насъ восхищаться прелестями и величiемъ природы, играетъ роль главнаго возбудительнаго стимула въ нашей половой любви, принимаетъ большое участiе и въ религiозномъ экстазѣ, и въ совершенiи высокихъ подвиговъ добра, (вслѣдствiе чего мы и дѣлаемъ столь рѣзкое различiе между нравственной и физической красотой), стремится управлять каждымъ нашимъ шагомъ, т. е. принуждаетъ насъ все, что мы дѣлаемъ,—дѣлать по возможности красиво, изящно, наконецъ побуждаетъ насъ украшать какъ наши жилища, такъ и самихъ себя.

Какъ нельзя болѣе справедливо и то, что все это мы совершаемъ вполнѣ безкорыстно, не руководствуясь при этомъ никакими нравственными или утилитарными цѣлями, а порой стремленiе къ изящному можетъ даже идти въ разрѣзъ и съ тѣми, и съ другими. И это справедливо не только по отношенiю къ физической красотѣ, но и нравственной. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не встрѣчаются въ жизни

довольно часто люди, которые увлекаются эффектными альтруистическими подвигами не столько ради нравственнаго значенія и благихъ результатовъ этихъ подвиговъ, сколько ради украшенія ими своей особы, самолюбованія, рисовки, и вполнѣ удовлетворяются этой рисовкой, хотя-бы подвигъ не привелъ ровно ни къ какимъ результатамъ, кромѣ великолѣпнаго зрѣлища.

Но если все это и справедливо, то такимъ оно остается лишь до тѣхъ поръ, пока мы, выдѣляя элементъ прекраснаго изъ всѣхъ прочихъ элементовъ человѣческой природы, говоримъ о немъ, какъ объ отдѣльномъ элементѣ, и наблюдаемъ его въ тѣхъ или другихъ нашихъ дѣйствіяхъ, въ которыхъ элементъ этотъ наиболѣе ярко проявляется или господствуетъ. Кн. Волконскій-же не ограничивается этимъ; онъ идетъ далѣе; онъ предполагаетъ, что чувство прекраснаго выражается ни въ чемъ иномъ, какъ именно въ искусствахъ. Искусство, по его мнѣнію, представляетъ спеціальный резервуаръ, въ который вливается не что иное, какъ именно это самое чувство. Отождествляя такимъ образомъ искусство и чувство красоты, кн. Волконскій и прилагаетъ къ нему все то, что онъ наблюдаетъ въ проявленіяхъ чувства красоты, т. е. и безкорыстіе, и безплодность, и безцѣльность и т. д.

Но вотъ тутъ-то и представляется вопросъ: правильно-ли это? Исчерпывается-ли значеніе и цѣли искусства однимъ только выраженіемъ чувства красоты, или-же область искусства значительно шире, и красота входитъ въ художественное творчество лишь какъ необходимое условіе его, какъ элементъ, присутствующій во всемъ, что-бы человѣкъ ни совершалъ, но вовсе не составляющій альфы и омеги искусства? А если искусство далеко не опредѣляется однимъ служеніемъ чувству красоты и такъ называемымъ «эстетическимъ эмоціямъ», то въ чемъ-же заключаются его истинныя цѣль и значеніе?

Но вмѣсто того, чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ какимъ-либо готовымъ категорическимъ опредѣленіемъ искусства съ нашей точки зрѣнія, мы постараемся подойти къ нему путемъ анализа, воспользовавшись для этого тѣми данными, какія мы находимъ въ статьѣ кн. Волконскаго.

II.

Такъ, разсуждая о безкорыстіи искусства, кн. Волконскій между прочимъ говоритъ:

«Пластическое творчество украшаетъ жизнь: никто не станетъ утверждать, что архитектурные стили, орнаментація въ примѣненіи къ домашней обстановкѣ, безконечное разнообразіе, какое представляетъ изъ себя исторія развитія костюма,—имѣли другую цѣль, а не украшеніе человѣческой жизни; иной вопросъ—какъ и почему они возникли; его мы не касаемся, но когда мы себя спрашиваемъ—«для чего они возникли?»—мы не можемъ отвѣтить иначе, какъ для украшенія. Такъ какъ для того, чтобы укрыться отъ непогоды, человѣку не нужно было воздвигать Пропилеи; чтобы прикрыть наготу своего тѣла, ему не надо было создавать эту фантастическую вереницу костюмовъ, какую его воображеніе развернуло отъ звѣриной шкуры до напудренной маркизы; для того чтобы чинить судъ и расправу, ему не зачѣмъ было утверждать тяжелый дворецъ венеціанскихъ дождей на рѣшотчатомъ основаніи изъ сказочныхъ колоннъ, не зачѣмъ было посылать въ подпебесья стрѣльчатыя крыши и готическія башни германскихъ ратушъ; для удовлетворенія всѣхъ этихъ потребностей такъ много не надо, да наконецъ мы видимъ, что потребности исчезли, а памятники своей цѣнности не утратили. Почему?—потому что цѣнность ихъ не въ тѣхъ утилитарныхъ цѣляхъ, которымъ они *когда-то* отвѣчали, а въ томъ удовлетвореніи чувству красоты, которое ихъ *однажды* вызвало къ существованію. Утилитарная цѣль со временемъ отпадаетъ; то, что прежде было живымъ храмомъ, ликующимъ циркомъ, становится мертвой развалиной, но то, что въ этомъ храмѣ было прекраснаго, что явилось отвѣтомъ на создавшее его чувство красоты, то остается прекраснымъ и продолжаетъ существовать для насъ, какъ существовало для современниковъ. То что для археолога представляетъ мертвую развалину, отъ которой онъ восходитъ къ живой старинѣ, то для эстетика есть памятникъ мертвой старины, который воплотилъ въ себѣ живую красоту.»

Всѣ эти приводимые кн. Волконскимъ примѣры очень поучительны, но только совершенно напрасно онъ ихъ приводитъ, такъ какъ они свидѣтельствуютъ не за него, а совершенно напротивъ. Они, какъ нельзя болѣе наглядно, показываютъ намъ, что красота составляла только одинъ изъ элементовъ тѣхъ памятниковъ пластическаго искусства, о которыхъ кн. Волконскій упоминаетъ, но далеко не исчерпывала всѣхъ тѣхъ цѣлей, ради которыхъ они были воздвигнуты. Для насъ въ этомъ отношеніи важно не дѣло разрушенія, не то, что отпадаетъ и что остается въ развалинахъ, а, напротивъ того,—созиданіе,—тотъ подъемъ и порывъ творчества, который заставляетъ людей воздвигать такія махины, какъ Пропилеи, Кельнскій соборъ или дворецъ дожей.

И вотъ, позвольте васъ спросить, кн. Волконскій, неужели-же эти махины созидались ни для чего иного, какъ ради эстетическихъ эмоцій? Но вѣдь вашъ софизмъ, что для того, чтобы укрыться отъ непогоды, не нужно было воздвигать Пропилеи, развѣ не можетъ быть очень легко обращенъ и противъ васъ: не было надобности воздвигать Пропилеи и ради удовлетворенія чувства красоты: достаточно было для этого и небольшой хижины, которая могла быть преисполнена изящества нисколько не менѣе громадныхъ сооруженій.

Въ томъ-то именно и дѣло, что далеко не однѣ эстетическія эмоціи владѣли цѣлыми поколѣніями благочестивыхъ каменьщиковъ, воздвигавшихъ готическіе храмы. Прежде всего ими двигалъ религіозный экстазъ, внушавшій имъ, что храмъ, посвящаемый божеству,— не хижина, служащая для укрытія отъ непогоды, а прежде всего, по самымъ своимъ размѣрамъ, долженъ соотвѣтствовать величію идеи божества, и вотъ въ то время, какъ богатые и знатные люди выражали свое религіозное усердіе, жертвуя на сооружаемый храмъ дорогіе матеріалы,— мраморъ, яшму, малахитъ и т. п., художники несли посильную лепту въ видѣ тѣхъ или другихъ орнаментовъ, которыми они украшали храмъ не ради одного только эстетическаго самоуслажденія, а все изъ того-же благочестія: они молились этими украшеніями, и каждый завитокъ, каждый арабескъ является своего рода гимномъ. Согласитесь сами, что все

это вовсе не свидѣтельствуетъ въ пользу полнаго безкорыстія и безпрактичности искусства.

Точно также и дворецъ дожей, какъ и всѣ подобныя ему сооруженія, имѣлъ въ виду далеко не одинъ эстетическій восторгъ. Большую роль играло здѣсь національное тщеславіе, желаніе богатой и мощной республики пустить пыль въ глаза прочимъ европейскимъ державамъ, затмить ихъ величіемъ и роскошью венеціанскихъ зданій и тѣмъ самымъ внушить уваженіе и страхъ,—цѣли, какъ видите, вполнѣ практически утилитарныя, а между тѣмъ подобныя цѣли стоятъ на первомъ планѣ при каждомъ сооруженіи такъ называемыхъ «царственныхъ громадъ»: они преобладаютъ надъ эстетическими эмоціями, которыя приносятся въ жертву имъ, играя роль чисто служебную, не столько самодовлѣющихъ цѣлей, сколько средствъ.

Наконецъ не то-же-ли самое наблюдаемъ мы въ разнообразіи и блескѣ человѣческихъ одеждъ, изъ года въ годъ варьирующихся по прихоти модъ. И здѣсь мы замѣчаемъ далеко не одно безкорыстное желаніе удовлетворить естественному чувству красоты. Въ свою очередь чувство это приносится въ жертву разнаго рода соображеніямъ и цѣлямъ вполнѣ утилитарно-практическаго характера: посредствомъ тѣхъ или другихъ украшеній одежды человѣкъ стремится выразить и то сословіе, къ которому онъ принадлежитъ, и степень знатности, и количество богатствъ. Въ самомъ стремленіи одѣваться ежедневно по модѣ, часто совершенно вопреки чувству изящнаго, такъ какъ моды порой поражаютъ своимъ безвкусіемъ,—выражается не столько эстетическое чувство, сколько все-таки тщеславіе, стремленіе показать людямъ, что намъ ничего не стоитъ мѣнять платье хоть ежедневно.

Вообще нужно замѣтить, что для эстетиковъ, продолжающихъ упорно стоять на томъ, что исключительная спеціальность искусства заключается въ служеніи красотѣ, очень опасно отдаляться отъ современности и углубляться въ эпохи первыхъ ступеней въ развитіи искусствъ. Въ наше время они еще могутъ найти массу произведеній по всѣмъ отраслямъ искусствъ, и музыкальныхъ, и живописныхъ, и поэтическихъ, и драматическихъ, которыя не заключаютъ въ себѣ ничего, кромѣ удовлетворенія эстетическихъ эмоцій, восхищенія прекраснымъ. Памятники-же первыхъ ступеней въ развитіи различныхъ искусствъ въ высшей степени нелѣпо мѣрять на одинъ только эстетическій аршинъ. Какъ-бы ни представлялись намъ совершенными въ эстетическомъ отношеніи поэмы Гомера, но все равно, кто-бы ихъ ни создалъ,—отдѣльные пѣвцы-рапсоды или весь народъ въ совокупности,—неужели же создатели ничего не имѣли въ виду, кромѣ одного упоенія красотой? Но намъ извѣстно, что поэмы Гомера играли такую-же роль въ жизни древнихъ грековъ, какую въ нашей играетъ Библія, да пожалуй еще и бо́льшую въ томъ отношеніи, что изъ поэмъ Гомера древніе греки почерпали не только религіозныя свѣдѣнія и настроенія, но и чувство патріотизма: «Иліада» и «Одиссея» служили для разрозненныхъ грековъ такимъ-же объединяющимъ началомъ, какъ Олимпійскія игры, поддерживали народное самосознаніе и преподавали потомкамъ образцы мужества и доблести предковъ.

Но не однѣ только поэмы Гомера, а всѣ произведенія древняго искусства: и трагедіи Эсхила и Софокла, и оды Пиндара, и комедіи Аристофана, и статуи Фидія, равно и дивные памятники зодчества,—всѣ они имѣли не одно только эстетическое значеніе, но прежде всего и болѣе всего—религіозное и патріотическое.

Я знаю, кн. Волконскій возразитъ мнѣ тѣмъ самымъ, что онъ замѣтилъ о памятникахъ зодчества,—что все то многоразличное значеніе, какое имѣли памятники искусства для древнихъ грековъ, улетучилось вмѣстѣ съ древней жизнью, а красота этихъ памятниковъ пребываетъ вѣчной и до сихъ поръ приводитъ насъ въ восторгъ. Совершенно справедливо, но что-же въ томъ? Все-таки остается неоспоримымъ, что создавались памятники вовсе не ради этой вѣчной красоты. А затѣмъ, какъ ни совершенна, какъ ни идеальна эта красота, все-таки вы не вправѣ сказать, чтобы памятники ничего не потеряли вслѣдствіе того, что улетучилось ихъ жизненное значеніе. Можно навѣрное сказать, что на самыхъ записныхъ знатоковъ и цѣнителей изящнаго они далеко не производятъ того обаянія, какое производили на древняго грека, который при созерцаніи ихъ не только приходилъ въ эстетическій восторгъ, но преисполнялся благоговѣнія или патріотическаго энтузіазма.

Послѣ этого съ такой-же основательностью можно утверждать, будто откупоренное шампанское ничего не потеряетъ вслѣдствіе того, что изъ него выдохнутся и газъ, и спиртъ, а останется одна кисло-сладкая водица, которая затѣмъ уже пробудетъ вѣки вѣчные въ неизмѣнномъ видѣ.

Правда, съ развитіемъ цивилизаціи искусство дифференцируется. Теряя исключительно религіозный и патріотическій характеръ, оно, такъ сказать, эмансипируется, дѣлается свѣтскимъ и личнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ спеціализируется, дробясь на роды и виды. Со временемъ является масса произведеній и даже цѣлыя отрасли искусства, которыя дѣйствительно служатъ для возбужденія въ насъ однѣхъ эстетическихъ эмоцій. Но если мы переберемъ все, что только создается нынѣ различными искусствами, мы увидимъ, что и въ настоящее время далеко не всѣ создающіяся произведенія преслѣдуютъ одну только эстетическую цѣль созерцанія прекраснаго. Такъ, необходимо было создать невѣроятно хитро сплетенную сѣть метафизической діалектики, чтобы доказать, что и такой писатель, какъ Гоголь, создавая своихъ нравственныхъ и физическихъ уродовъ, Сквозниковъ-Дмухановскихъ и Собакевичей, въ свою очередь служилъ тому-же культу красоты въ одномъ ряду съ Рафаэлемъ и его мадоннами. Необходимо дойти до полнаго метафизическаго умопомраченія, чтобы, начавъ читать романъ Диккенса, поэму Байрона или драму Шекспира, ничего не находить въ нихъ, кромѣ однѣхъ эстетическихъ эмоцій, одной пресловутой «красоты».

И вотъ, если мы путемъ самонаблюденій и наблю-

деній надъ массой людей, наслаждающихся искусствами,—станемъ доискиваться, чего ищутъ люди въ различныхъ произведеніяхъ искусства, что имъ болѣе всего нравится въ нихъ и чѣмъ они наиболѣе восторгаются, что они наконецъ болѣе всего цѣнятъ, — мы и увидимъ, что въ произведеніяхъ искусствъ ищутъ какого-бы то ни было сильнаго впечатлѣнія, которое потрясло-бы читателя или зрителя и подняло духъ его изъ обыденной колеи жизни. При этомъ совершенно безразлично, какого рода это впечатлѣніе, будетъ-ли это страхъ при видѣ ужаснаго, скорбь и слезы при видѣ грустнаго, восторгъ при видѣ прекраснаго, смѣхъ и отвращеніе при видѣ безобразнаго, или-же наконецъ презрѣніе или негодованіе при видѣ всего низкаго и злодѣйскаго. Напечатлѣваясь различными явленіями жизни, художникъ стремится передать свои впечатлѣнія въ своемъ произведеніи и внушаетъ слушателямъ и зрителямъ то, чѣмъ живетъ и волнуется самъ. Въ этомъ и заключается залогъ жизненности произведенія и его обаянія на толпу. Будь произведеніе въ эстетическомъ отношеніи безукоризненно съ точки зрѣнія компетентныхъ знатоковъ и трактуй оно высокимъ слогомъ о самыхъ высокихъ предметахъ, но если оно при этомъ холодно и безстрастно, читатель пройдетъ мимо его равнодушно, выразитъ пожалуй дѣланное, казенное удивленіе, чтобы не осрамиться передъ знатоками, и сейчасъ-же его позабудетъ. Таковы напримѣръ многія стихотворенія А. Толстого, Фета или Ап. Майкова,—полныя самыхъ строгихъ, чисто классическихъ красотъ, но какимъ холодомъ смерти вѣетъ отъ этихъ красотъ! Знатоки видятъ въ этихъ стихотвореніяхъ верхъ изящества и отъ души наслаждаются ими. Ну, и пусть ихъ себѣ наслаждаются на здоровье! Простые-же смертные невольно предпочтутъ имъ неуклюжую, топорно скроенную, шероховатую поэму или элегію Некрасова, потому что она волнуетъ, хватаетъ за сердце, вызываетъ слезы или негодованіе. Впрочемъ что ужъ тутъ Некрасовъ!—Если мы возьмемъ болѣе громадныхъ титановъ, вродѣ Шекспира, Байрона, Гёте,—да начнемъ ихъ разбирать съ точки зрѣнія эстетическаго совершенства формъ ихъ произведеній,—у всѣхъ у нихъ окажутся свои недочеты, которыхъ мы или совсѣмъ не замѣчаемъ, или забываемъ, находясь подъ тѣми сильными впечатлѣніями, какія возбуждаютъ въ насъ такія произведенія, какъ «Гамлетъ», «Манфредъ» или «Фаустъ».

Но не одна сила впечатлѣній заставляетъ насъ выше или ниже цѣнить произведенія искусства. Рядомъ съ этимъ мы обращаемъ вниманіе и на то, что даетъ намъ произведеніе, сколь многія струны задѣваетъ оно въ нашей душѣ и сколь многимъ болѣе или менѣе существеннымъ духовнымъ потребностямъ удовлетворяетъ оно. Такъ, вы можете находить, что все, вышедшее изъ-подъ пера Пушкина, превосходно, идеально совершенно съ эстетической точки зрѣнія, но нужно, чтобы у васъ совсѣмъ умъ зашелъ за разумъ, если я положу на одну изъ чашекъ вашихъ умственныхъ вѣсовъ «Играй, Адель, не знай печали», а на другую «Евгенія Онѣгина,—и вы не согласитесь, что «Евгеній Онѣгинъ» перетянетъ. Чѣмъ-же онъ перетянетъ? Конечно не одними эстетическими совершенствами прекрасныхъ образовъ и формъ, не потому чтобы «Евгеній Онѣгинъ» въ большей степени, чѣмъ «Адель», возбуждалъ въ васъ эстетическія эмоціи, а во-первыхъ широтою захвата дѣйствительности, въ качествѣ эпопеи, обнимающей жизнь нашего культурнаго общества эпохи Пушкина, во-вторыхъ массой тѣхъ и умственныхъ, и нравственныхъ возбужденій, какія доставляетъ вамъ чтеніе романа. Въ этомъ отношеніи каждое мало мальски сильное и великое произведеніе является продуктомъ творчества весьма сложнымъ: въ немъ выражается обыкновенно вся внутренняя жизнь художника со всѣмъ запасомъ его наблюденій и знаній, со всѣми его религіозно-философскими, и нравственными, и умственными воззрѣніями. Имѣя это въ виду, мы обращаемся къ подобному произведенію вовсе не ради однихъ эстетическихъ эмоцій и наслажденій: мы ищемъ и находимъ въ немъ науку жизни, знаній человѣческаго сердца и людскихъ отношеній. Чтеніе такихъ произведеній, какъ драмы Шекспира, поэмы Байрона, романы Диккенса, Тургенева, Л. Толстого и Достоевскаго,—не только развиваетъ нашъ эстетическій вкусъ и доставляетъ намъ эстетическія наслажденія, но и обновляетъ насъ и нравственно, и умственно, а вмѣстѣ съ тѣмъ доставляетъ намъ такой богатый научный багажъ, какого не вынесешь изъ иныхъ десяти трактатовъ, претендующихъ на самую спеціальную ученость.

Итакъ, что-же такое искусство?

Искусство есть не что иное, какъ стремленіе художника красками, звуками или живой человѣческой рѣчью — не только сообщать, но *внушать* ближнимъ все то, чѣмъ такъ или иначе увлекается самъ художникъ; именно не сообщать, а *внушать*, въ гипнотическомъ смыслѣ этого слова, т. е. заставлять ближнихъ самихъ то-же самое перечувствовать и передумать, что перечувствовалъ и передумалъ художникъ.

III.

Приравненіе искусства къ гипнотическому внушенію прямо выдвигаетъ вопросъ о дѣйствіи произведеній искусства на воспринимающихъ людей. Ограничивается-ли внушеніе однимъ воспріятіемъ образовъ и впечатлѣній или-же, подобно всякому гипнозу, можетъ идти далѣе, можетъ внушать самыя дѣйствія, рядъ поступковъ, которыхъ воспринимающій не совершилъ-бы, еслибы произведеніе не побудило его къ этому? Князь Волконскій категорически отрицаетъ способность произведеній искусства побуждать людей къ какимъ-либо дѣйствіямъ и поступкамъ и на этомъ строитъ свою теорію безкорыстія и безплодности искусства.

«Всякое душевное волненіе,—говоритъ онъ,—вызванное тѣмъ или другимъ событіемъ жизни, есть исходная точка для дальнѣйшаго движенія, которое въ концѣ концовъ приводитъ къ содѣйствію; можно сказать, что всякое волненіе, которое является результатомъ прикосновенія жизни, идетъ обратно въ жизнь въ видѣ дѣятельной жизни; вся-

кое нравственное потрясеніе, если оно и не вызываетъ немедленно дѣйствія въ данномъ субъектѣ, то черезъ него вліяетъ на другихъ и такимъ образомъ представляетъ изъ себя начало цѣлаго сцѣпленія душевныхъ состояній и дѣйствій; не можетъ быть въ жизни такого волненія, которое могло-бы возникнуть и пропасть какъ искра въ темнотѣ, потому что никакое волненіе жизни не служитъ само себѣ цѣлью. Посмотримъ, такъ-ли въ искусствѣ; возьмемъ самое сильное потрясеніе, какое оно можетъ дать намъ, — слезы сострадания въ театрѣ. Послѣ вышеизложеннаго прежде всего должно намъ броситься въ глаза то, что это потрясеніе не вызываетъ въ насъ ни одного изъ тѣхъ движеній, которыя вызвало-бы подобное-же, и даже меньшее, потрясеніе въ жизни. Вѣдь мы не кидаемся на помощь того, кого на сценѣ истязуютъ; мы не собираемъ послѣднихъ нашихъ денегъ, чтобы выручить изъ бѣды погибающее семейство; мы не бросаемся вмѣстѣ съ Дездемоной къ ногамъ Отелло, чтобы крикнуть ему въ лицо, что Яго лжетъ, что платокъ попалъ въ руки Кассіо безъ ея вѣдома, а вѣдь мы бы могли однимъ словомъ прекратить страданія этихъ любящихъ существъ. Но еслибы и могли, и захотѣли, кому-бы мы помогли? — вѣдь они не существуютъ, вѣдь это вымыселъ, зачѣмъ-же и помогать имъ? Изъ всего, что здѣсь въ театрѣ происходитъ, только одно реально существуетъ — наше волненіе, изъ котораго мы никакимъ активнымъ движеніемъ выйти не можемъ; да наконецъ мы и не желаемъ выходить изъ него; мы затѣмъ и пришли въ театръ, чтобы испытать его, мы его искали, и намъ было-бы обидно, еслибы актеръ намъ его не далъ.

«Отсюда уже ясно обрисовывается разница страсти въ жизни и страсти въ театрѣ. Въ жизни страсть есть начало, толчокъ; это нѣчто переходное, на чемъ мы даже не останавливаемся, потому что, когда она намъ причиняетъ страданія, — мы стремимся ее удовлетворить въ дѣйствіи; страсти въ театрѣ неудовлетворимы, что ясно изъ предыдущаго, но таковъ-же удѣлъ всѣхъ эстетическихъ вожделѣній вообще. Всѣ волненія, вызываемыя искусствомъ, неугасимы; они могутъ утихнуть, потому что перестаетъ дѣйствовать тотъ предметъ, который ихъ вызвалъ, но естественнымъ ходомъ развитія они не могутъ прекратиться; всякое вожделѣніе удовлетворяется обладаніемъ, красота-же обладанію не поддается; отсюда та неутомимость эстетическихъ стремленій, которою они отличаются отъ всѣхъ жизненныхъ страстей; эстетическое наслажденіе состоитъ не въ удовлетвореніи страсти, но въ поддержаніи ея, это — голодъ безъ насыщенія, горѣніе безъ сгаранія.

«Итакъ, страсти, возбуждаемыя театральнымъ представленіемъ, неудовлетворимы, потому что страсть, вызываемая жизнью, удовлетворяется дѣйствіемъ; эстетическая-же страсть, вызываемая изображеніемъ жизни, по существу исключаетъ всякій переходъ въ дѣяніе, она бездѣятельна, а потому въ тотъ моментъ, когда возникаетъ и пока длится, — она для жизни безплодна. Въ то время какъ страсть житейская есть нѣчто такое, изъ чего мы стремимся выйти, страсть въ театрѣ есть сама себѣ цѣль, это есть среда, въ которой мы пребываемъ, и пребываніе въ которой намъ доставляетъ наслажденіе, — вотъ новое отличіе сценическихъ волненій: какое-бы грустное зрѣлище передъ нами ни происходило, какія-бы горючія слезы мы ни проливали, — мы въ это время не страдаемъ, а наслаждаемся, потому что еслибы театръ причинялъ намъ страданіе, то мы-бы давно перестали ходить въ него. Мы плачемъ, но мы не уязвлены, мы соболѣзнуемъ, но намъ не больно; подобно тому, какъ еслибы мы могли подойти къ подводному міру и сквозь хрустальную доску гигантскаго акваріума смотрѣть на копошащихся за нею гадовъ, — такъ смотримъ мы на развертывающуюся передъ нами картину человѣческихъ страданій; жгучесть ихъ прикосновенія ослаблена, ядовитость ихъ нейтрализована; осталась одна возбудительность, а всякое возбужденіе жизненныхъ функцій само по себѣ пріятно, и мы ему отдаемся. Можно не раздѣлять мнѣнія Лессинга, что конечная цѣль всякаго искусства — удовольствіе, но нельзя отрицать, что удовольствіе есть одинъ изъ входящихъ элементовъ всякаго эстетическаго волненія, — можетъ быть по мнѣнію нѣкоторыхъ не самый уважительный элементъ, но во всякомъ случаѣ самый необходимый, безъ котораго эстетическаго волненія не бываетъ и быть не можетъ.»

Вся эта аргументація кн. Волконскаго такъ дѣтски-наивна, что невольно хочется противопоставить ей столь-же дѣтски-наивные анекдоты о томъ, какъ одинъ зритель, въ первый разъ посѣтившій театръ и не имѣвшій о театральныхъ представленіяхъ никакого понятія, такъ увлекся зрѣлищемъ и принялъ его настолько серьезно, что, когда на сценѣ полицейскіе вмѣсто настоящаго вора вздумали ловить человѣка невиннаго, закричалъ имъ, что они ошибаются, настоящій воръ совсѣмъ на другомъ концѣ сцены; а другой такой-же зритель, увидя на сценѣ убійство, закричалъ во все горло: «Караулъ, рѣжутъ!»... Можно было-бы привести и не анекдотъ, а фактъ, происшедшій въ 1864 г. во время гастролей Ольриджа въ Рыбинскѣ, на представленіи «Отелло». Одинъ купецъ, сидѣвшій въ ложѣ съ семействомъ, былъ такъ потрясенъ игрой знаменитаго трагика, что набросился тутъ-же въ ложѣ на свою невѣрную супругу и началъ ее душить, и задушилъ-бы, еслибы полиція не воспрепятствовала.

Но отложимъ шутки въ сторону и будемъ говорить въ-серьезъ. Съ одной стороны напрасно думаетъ кн. Волконскій, что каждое душевное волненіе въ жизни непремѣнно приводитъ къ какимъ-нибудь дѣйствіямъ. Дѣйствія происходятъ только тогда, когда они возможны и цѣлесообразны; если-же — нѣтъ, то все дѣло ограничивается тѣми физіологическими измѣненіями внутри нашего организма, которыя обусловливаются волненіемъ. Передъ нашими глазами не мало проходитъ драмъ и трагедій, на которыя мы сознаемъ себя безсильными оказать хотя-бы самое ничтожное вліяніе, — и ограничиваемся такимъ-же пассивнымъ состраданіемъ, какое испытываемъ въ театрѣ. А съ другой стороны, сколько можно привести примѣровъ непосредственнаго и могучаго вліянія художественныхъ произведеній, не ограничивающагося однѣми эстетическими эмоціями, а ведущаго за собой цѣлый рядъ дѣйствій и даже измѣняющаго весь дальнѣйшій ходъ жизни человѣка. Такъ напримѣръ, неужели кн. Волконскій отрицаетъ развращающее вліяніе балета и эротической поэзіи, особенно въ юношескомъ возрастѣ? Неужели ему никогда не приходилось даже слышать, что путемъ такого или иного чтенія можно воспитаться такъ или иначе, т. е. усвоить себѣ такія привычки и дѣйствія, которыхъ не было-бы, еслибы имъ не предшествовало подобное чтеніе? Неужели ему неизвѣстенъ столь вопіющій фактъ, какъ появленіе массы подражателей модному типу, старающихся продѣлывать то, что продѣлываетъ герой сенсаціоннаго произведенія? Такъ, появленіе Вертера Гёте повело

за собой массу самоубійствъ изъ-за любви. Въ свою очередь и у насъ Евгеніи Онѣгины и Печорины создались непосредственно подъ вліяніемъ чтенія Байрона. Появился романъ Авдѣева «Подводный камень», и сколько молодыхъ женъ разошлись со своими солидными мужьями непосредственно подъ впечатлѣніемъ чтенія этого романа. А наши жоржъ-зандистки 40-хъ годовъ, а швейныя мастерскія по рецепту романа «Что дѣлать?».

И наоборотъ, люди моего возраста навѣрное хорошо помнятъ, какое удручающее и мучительное впечатлѣніе производило появленіе такихъ типовъ, какъ Рудинъ, Александръ Адуевъ, Обломовъ. Каждый тревожно вглядывался въ себя, страшась замѣтить хотя что-либо похожее на эти типы, и если замѣчалъ малѣйшую такую черточку, начиналъ употреблять всѣ усилія, чтобы въ немъ не было ничего общаго съ позорными героями. Я никогда не забуду, какое потрясающее впечатлѣніе произвело на меня чтеніе «Обыкновенной Исторіи» Гончарова. Мнѣ было тогда 15 лѣтъ, и я во многомъ походилъ на Александра Адуева, восторгался, ахалъ, заглядывался на луну, писалъ стишонки, въ которыхъ воспѣвалъ свою сосѣдку, и хранилъ полученныя отъ нея вещественныя знаки певещественныхъ отношеній, въ видѣ пряди волосъ и ленточекъ. И вотъ когда я прочелъ «Обыкновенную Исторію», мнѣ сдѣлалось мучительно стыдно всего этого романтическаго вздора, я разорвалъ въ клочки тетрадь стиховъ, сжегъ въ печкѣ всѣ сувениры, пересталъ вздыхать по своей сосѣдкѣ, вообразилъ себя холоднымъ и трезвымъ скептикомъ à la дядюшка Адуевъ и углубился въ такъ называемое «серьезное чтеніе» съ цѣлью просвѣщенія ума.

Такимъ образомъ и оказывается, что произведенія искусства способны бываютъ какъ побуждать людей къ дѣйствіямъ, которыхъ они не совершили-бы, еслибы не читали этихъ произведеній, такъ, наоборотъ, и отвращать отъ другого рода дѣйствій. И выходитъ, что созерцаніе произведеній не такъ безкорыстно и безслѣдно, какъ полагаетъ это князь Волконскій. Вліяніе ихъ простирается часто, вопреки мнѣнію кн. Волконскаго, и на чувство самосохраненія. Конечно когда мы любуемся на бурю съ берега, чувство самосохраненія молчитъ въ насъ. Но когда я употреблялъ всѣ усилія, чтобы не походить на Александра Адуева, что-же дѣйствовало во мнѣ, какъ не чувство самосохраненія, возбужденное романомъ Гончарова и предостерегавшее меня отъ постыднаго и гибельнаго сходства съ героемъ этого романа?

IV.

Въ заключеніе обратимся къ главному предмету трактата кн. Волконскаго, къ опредѣленію нравственности искусства.

Вопросъ о нравственности не содержанія тѣхъ или другихъ произведеній искусства, а самаго искусства, какъ особенной человѣческой дѣятельности, очевидно только и мыслимъ въ такомъ случаѣ, если мы будемъ съуживать предѣлы искусства однимъ культомъ красоты. Только подобное съуживаніе вызываетъ вопросъ о правѣ отвлекаться отъ различныхъ задачъ и потребностей жизни, налагаемыхъ на насъ чувствомъ долга, въ безплодное и безкорыстное созерцаніе чистой красоты? Не разслабляетъ-ли подобное созерцаніе нашу энергію, не дѣлаетъ-ли оно насъ изнѣженными сибаритами, вродѣ тѣхъ англійскихъ «esthetics», о которыхъ кн. Волконскій говоритъ, что они «въ своемъ поклоненіи красивымъ формамъ доходили до того, что стремились изъ самой жизни сдѣлать своего рода искусство; проповѣдуя необходимость поднять художественный вкусъ главнымъ образомъ въ домашней обстановкѣ и современной одеждѣ, дѣйствовали собственнымъ примѣромъ, сами въ своей особѣ воплощали ту или другую эпоху, перенимая соотвѣтственный костюмъ и складъ рѣчи; вѣчно занятые мыслью о соблюденіи скульптурной красоты, они въ гостиныхъ принимали самыя изысканныя позы, садились на полу, какъ Гамлеты, у ногъ случайныхъ Офелій, а въ своей домашней обстановкѣ окружали себя собраніями художественныхъ произведеній въ самомъ хаотическомъ безпорядкѣ въ смыслѣ эпохъ, народностей и стилей. Можно было подумать, что они задались цѣлью изъ всей жизни сдѣлать одну живую картину».

Не безнравственно-ли искусство уже тѣмъ однимъ, что оно самыя ужасныя человѣческія бѣдствія заставляетъ насъ созерцать исключительно съ ихъ красивой стороны, т. е., иначе сказать, предоставляетъ намъ какъ-бы любоваться и наслаждаться страданіями нашихъ ближнихъ? Къ чему-же можетъ это вести, какъ не къ тому очерствленію нашего сердца, съ которымъ жестокій эстетикъ Неронъ любовался на пожаръ Рима.

Но всѣ подобныя соображенія теряютъ всякій смыслъ, разъ вы начнете смотрѣть на искусство просто какъ на рядъ способовъ передавать все наше внутреннее душевное содержаніе,—способовъ, на столько превышающихъ обыкновенный человѣческій языкъ, что путемъ ихъ художники не только сообщаютъ, но внушаютъ своимъ ближнимъ то, что имъ желательно внушить. Очевидно, что этимъ опредѣленіемъ вопросъ о нравственности неизбѣжно переносится отъ самой сущности искусства къ его направленію и содержанію. Сами по себѣ *способы*, какъ и всяческія орудія нашей дѣятельности, не могутъ быть ни нравственны, ни безнравственны; все зависитъ отъ того, на что они употребляются.

И вотъ, сидѣніе между двумя стульями кн. Волконскаго въ томъ именно и заключается, что у него вы не разберете, какъ-же онъ смотритъ на искусство — метафизически, т. е. ограничиваетъ его культомъ красоты, или-же реально, т. е. видитъ въ немъ болѣе усовершенствованный языкъ для выраженія всего нашего душевнаго содержанія.

Уже въ самомъ началѣ четвертой главы, въ которой кн. Волконскій приступаетъ къ изложенію результатовъ своихъ разсужденій, васъ поражаетъ странная путаница понятій:

«Изъ всего сказаннаго,—читаемъ мы,—ясно, что мы должны искать нравственную цѣнность эстетическихъ волненій не въ томъ, какъ они проявля-

ются въ жизни, *ибо они для жизни безплодны, а въ томъ, какое вліяніе они имѣютъ на того, кто имъ предается*; если они не даютъ немедленнаго результата въ видѣ дѣятельнаго перехода въ жизнь, *то они исподволь оказываютъ вліяніе на внутренній строй человѣка*, такъ что извѣстныя его наклонности, воззрѣнія, а потому и дѣйствія должны быть объясняемы, какъ результатъ вліянія на него искусства.»

Вотъ и поймите, какъ это такъ: съ одной стороны эстетическія волненія для жизни безплодны, а тѣмъ не менѣе они производятъ вліяніе на того, кто имъ предается. И далѣе оказывается вдругъ, что авторъ обрекаетъ ихъ на безплодность не потому, чтобы они совсѣмъ не оказывали никакого вліянія на насъ, а зачѣмъ не даютъ немедленнаго результата, дѣйствуютъ исподволь, такъ что весь вопросъ сводится на *время* дѣйствія. Но время — вещь относительная, и для каждаго даннаго случая можетъ быть своя быстрота. Для каждаго-же человѣка, у котораго сохранилась въ головѣ хоть капля здраваго смысла, ясно, какъ день, что, разъ констатируется *вліяніе*, все равно, какое-бы то ни было, быстрое или медленное, сразу или исподволь, о безплодіи не можетъ быть и рѣчи.

И тѣмъ болѣе странно признавать эстетическія волненія *для жизни безплодными*, когда авторъ самъ тотчасъ-же вслѣдъ затѣмъ распространяется о вредѣ ихъ:

«Неблаготворность эстетическихъ волненій,—говоритъ онъ,—ясна, кажется, изъ предыдущаго очерка: приводя въ движеніе извѣстную группу душевныхъ способностей и направляя ихъ въ область вымысла, искусство не только отвлекаетъ ихъ вообще отъ трудной и мучительной работы на жизненной почвѣ; оно пріохочиваетъ ихъ къ тому неактивному раздраженію безъ боли, въ которое ихъ приводитъ соприкосновеніе съ красотою, и такимъ образомъ атрофируетъ для жизни самыя необходимыя для нея силы. Паденіе воли, ослабленіе энергіи—вотъ результаты этой стороны воздѣйствія искусства какъ на единичнаго человѣка, такъ и на цѣлыя націи.»

Ниже авторъ указываетъ еще на одну послѣднюю опасность со стороны искусства, которая, по словамъ его, собственно не является прямымъ его результатомъ, но которая конечно въ искусствѣ встрѣчаетъ сильную поддержку. Таково исключительное развитіе эстетическаго отношенія къ дѣйствительности.

«Люди,—говоритъ князь Волконскій,—одаренные отъ природы слишкомъ чуткой отзывчивостью къ красотѣ, склонны всякое явленіе жизни оцѣнивать прежде всего, а иногда исключительно—съ эстетической точки зрѣнія. Не трудно убѣдиться, къ какимъ результатамъ должна привести эта способность откликаться *только* на красоту явленій и находить въ своей душѣ запасъ негодованія и порицанія *только* для уродливости ихъ; необходимое условіе наслажденія красотой—усиленное чувство самосохраненія — становится здѣсь необходимымъ условіемъ жизни, и всѣ старанія человѣка направлены къ тому, чтобы усыпить его путемъ разобщенія со всѣмъ, что въ жизни причиняетъ болѣзненное прикосновеніе — прежде всего съ чужою жизнью, съ чужимъ горемъ. Тогда вырабатывается способность смотрѣть на чужія страданія, какъ мы смотримъ на нихъ въ театрѣ, т. е. плакать слезами, которыя не причиняютъ боли; тогда преступленіе можетъ вызвать восторгъ своей красотой, вмѣсто того чтобы вырвать крикъ негодованія своею безнравственностью. Тутъ уже нѣтъ границъ въ смыслѣ уклоненія отъ нравственнаго закона; отъ безразличія къ чужому горю не далеко до наслажденія чужими страданіями; звѣрства такихъ людей, какъ Неронъ и Иванъ Грозный, гораздо глубже коренятся въ ихъ эстетическихъ инстинктахъ, чѣмъ въ физическихъ; они истязали не потому, что удовлетворяли свою кровожадность, а потому, что упивались красотой преступленія. Каллигула былъ утонченный эстетикъ зла, когда жалѣлъ о томъ, что у всѣхъ людей не одна голова, для того чтобы заразъ обезглавить человѣчество; онъ сознавалъ неутомимость своихъ вожделѣній и предпочиталъ уничтожить самый предметъ своихъ желаній.

«Въ наши времена подобныя излишества уже немыслимы, но значитъ-ли это, что въ современныхъ намъ людяхъ съ слишкомъ односторонними инстинктами не таится возможное ихъ пробужденіе? Люди въ наше время такъ не поступаютъ? Но вѣдь нравственная цѣнность человѣка измѣряется не тѣмъ, чего онъ не дѣлаетъ, а тѣмъ, *по какимъ побужденіямъ* онъ не дѣлаетъ. Но когда вся жизнь съ своимъ безконечнымъ разнообразіемъ добра и зла, правды и неправды можетъ превратиться въ одинъ матеріалъ для эстетическаго отвлеченія, когда весь міръ можетъ превратиться въ Пантеонъ для созерцанія красоты, то невольно приходится придти къ заключенію, что поклоненіе красотѣ ведетъ въ другую сторону, а не къ поклоненію добру.

«Подобное отношеніе къ дѣйствительности должно дать въ порядкѣ нравственныхъ явленій результатъ, который можно сравнить съ тѣмъ, что-бы получилось въ мірѣ физическомъ отъ сведенія трехъ измѣреній къ двумъ: люди, явленія, дѣянія какъ-бы теряютъ свой объемъ и представляютъ одну лишь поверхность,—тѣло исчезаетъ, остается одѣяніе; такъ какъ сущность зерна всего существующаго заключается въ его нравственной цѣнности, и видѣть въ явленіяхъ одну лишь эстетическую цѣнность—значитъ превращать вселенную въ пустоцвѣтъ. Достоевскій сказалъ, что «красота спасетъ міръ»,—нѣтъ, когда міръ будетъ спасенъ, онъ будетъ спасенъ добромъ, а тѣ, кто называетъ добро нравственной красотой, отдѣлываются игрою словъ; красота не есть добро, и если они могутъ совпадать, то это не доказываетъ ихъ тождества; красота не можетъ замѣнить добра, точно такъ, какъ вкусъ не можетъ замѣнить совѣсти.»

Очевидно, что все это говорится по адресу искусства въ предположеніи, что оно спеціально посвящено культу красоты, однимъ словомъ, съ метафизической точки зрѣнія. Но вдругъ вслѣдъ затѣмъ кн. Волконскій мѣняетъ фронтъ и, становясь на нашу точку зрѣнія, восклицаетъ:

«Само по себѣ искусство ни нравственно, ни безнравственно—оно *безразлично*. Это безразличіе именно и есть то свойство, которое ставитъ вліяніе искусства въ зависимость отъ почвы, на которую оно падаетъ, и обусловливаетъ противуположность его результатовъ съ точки зрѣнія нравственности. Если-же мы въ нашемъ изслѣдованіи останавливались преимущественно на его безнравственныхъ результатахъ, то не потому, чтобы мы говорили вмѣстѣ съ Оскаромъ Уальдомъ: «All art is immoral», не потому, чтобы мы не понимали, какимъ могучимъ *союзникомъ* искусство можетъ сдѣлаться для увлеченія человѣка на путь добра, или отрицали участіе искусства въ историческомъ стремленіи человѣчества къ совершенствованію, а потому что хотѣли этимъ путемъ ярче выставить раздѣльность эстетическаго и этическаго критеріевъ.»

Но признавая такимъ образомъ, что искусство само по себѣ безразлично, что все зависитъ отъ почвы, на которую падаетъ вліяніе его, что оно заклю-

чаетъ въ себѣ огромную силу для увлеченія человѣка на путь добра и для участія въ историческомъ стремленіи человѣчества къ совершенствованію, тѣмъ не менѣе вслѣдъ затѣмъ кн. Волконскій вновь садится на своего метафизическаго конька и восклицаетъ:

«Итакъ, нравственность и искусство представляютъ изъ себя двѣ раздѣльныя области; само ихъ проникновеніе въ жизнь настолько различно, что исключаетъ обязательность совпаденія: они ограничены различными границами. Принципъ нравственности—обузданіе, она исключаетъ извѣстныя формы развитія жизни; принципъ искусства—свобода, оно допускаетъ всѣ формы развитія жизни и, по выраженію одного французскаго критика, «не знаетъ иныхъ границъ, кромѣ тѣхъ, которыя ему предписываютъ красота и вкусъ».

«Такъ-же точно разграничены и тѣ стороны нашей природы, которыми мы познаемъ *красоту* явленій или *доброту* ихъ. Этимъ объясняется, почему насильственное привлеченіе элемента нравственности въ искусство никогда не давало богатыхъ результатовъ съ точки зрѣнія эстетики. Еще Шиллеръ жаловался на то, что усиленное стремленіе сдѣлать нравственно-прекрасное конечной цѣлью искусства дало такъ много посредственнаго какъ въ практикѣ, такъ и въ теоріи искусства.»

Все это было-бы какъ нельзя болѣе справедливо, еслибы искусство все, во всемъ своемъ составѣ, дѣйствительно исчерпывалось культомъ красоты. Но въ томъ именно и дѣло, что какъ ни раздѣльны въ нашей природѣ чувства нравственности и красоты,—эта раздѣльность нисколько не мѣшаетъ имъ соединяться въ произведеніяхъ искусства или въ стройной гармоніи, или-же при преобладаніи того или другого, и отъ этого преобладанія зависитъ характеръ вліянія произведенія болѣе или менѣе благотворный. Курьезнѣе всего, что кн. Волконскій въ настоящемъ случаѣ опирается на авторитетъ Шиллера, который жаловался на то, что усиленное стремленіе сдѣлать нравственно-прекрасное конечной цѣлью искусства дало такъ много посредственнаго, а между тѣмъ самъ-же онъ, Шиллеръ, въ своей художественной практикѣ блистательно опровергалъ эту жалобу, такъ какъ далъ намъ рядъ далеко не посредственныхъ, а, напротивъ того, геніальнѣйшихъ произведеній, въ которыхъ нравственный элементъ играетъ нисколько не большій, если не меньшій элементъ, чѣмъ элементъ красоты.

Мы сказали только, что преобладаніе или-же недостатокъ нравственныхъ—прибавимъ еще къ этому — идейно-умственныхъ элементовъ опредѣляетъ степень благотворности искусства на людей. Въ этомъ отношеніи искусство вполнѣ совпадаетъ съ ролью половой любви въ жизни человѣка. Въ половой любви въ свою очередь большую роль играетъ чувство красоты и тѣ острыя наслажденія, какія соединяются съ удовлетвореніемъ страсти. Не даромъ любовь и поэзія почти отождествляются безхитростными людьми. Но при всей поэтичности все-таки остается неоспоримымъ тотъ фактъ, что любовь дана намъ не ради однихъ наслажденій, она имѣетъ свои нравственныя и генетически-утилитарныя цѣли. Отбросьте вы эти цѣли,—ограничьте любовь одними наслажденіями,—и при всей своей поэтичности она получитъ тотчасъ-же характеръ полной безнравственности, разврата.

Совершенно точно также и искусство: такъ какъ красота входитъ въ него, какъ одинъ изъ самыхъ существенныхъ его элементовъ, то конечно можно одной этой красотой и ограничиться; всѣ-же прочіе элементы отбросить. Произведенія искусства въ такомъ случаѣ дѣйствительно будутъ давать намъ бездну наслажденій, въ своемъ родѣ очень интенсивныхъ; но это будетъ такая-же безнравственность и такой-же развратъ, какъ и самая поэтическая любовь, имѣющая въ перспективѣ всевозможныя средства для того, чтобы наслажденія ея были вполнѣ безкорыстны и безплодны.

Вотъ мы и дошли до самаго существеннаго. Когда наиболѣе практикуется любовь въ смыслѣ однихъ наслажденій, съ условіемъ тщательнаго избѣганія всѣхъ ея нравственныхъ цѣлей и тѣхъ обязанностей, какія эти цѣли налагаютъ на насъ? Очевидно въ эпохи глубокаго паденія нравовъ и въ такихъ классахъ общества, гдѣ это паденіе имѣетъ наиболѣе мѣста. Совершенно то-же самое мы должны сказать и объ искусствѣ: съуженіе его значенія до одного культа красоты и эстетическихъ эмоцій и отрицаніе относительно его всѣхъ, присущихъ ему, нравственныхъ и умственныхъ цѣлей: однимъ словомъ, теорія чистаго искусства присуща въ свою очередь эпохамъ паденія нравовъ и тѣмъ классамъ общества, которые наиболѣе деморализованы. Кн. Волконскій, при своемъ сидѣніи между двумя стульями, несмотря на всю свою приверженность къ теоріи чистаго искусства и ограниченіе искусства однимъ культомъ красоты,—не теряетъ изъ виду фактъ паденія искусства вмѣстѣ съ нравами, и мы можемъ подтвердить нашу мысль цитатами изъ его-же трактата:

«Начнемъ,—говоритъ онъ,—съ благотворнаго вліянія искусства,—мы непремѣнно придемъ къ неблаготворному. Тѣ-же самыя итальянскія республики, которыя, по справедливому замѣчанію Геннекена, во многомъ обязаны своимъ паденіемъ разслабляющему вліянію искусства, прежде чѣмъ дойти до разслабленія, испытали его благотворное дѣйствіе. Франція Людовика XIV пала между прочимъ истощенная утончающимъ вліяніемъ искусства, но тоже утончающее вліяніе между прочимъ вывело ее изъ мрака Меровингскихъ временъ. Въ мірѣ все развивается органически, и если само искусство имѣетъ свое зарожденіе, свой расцвѣтъ и свой упадокъ, то и вліяніе искусства имѣетъ свои стадіи, смотря по тому, на какую почву оно падетъ.»

И далѣе мы читаемъ:

«Чѣмъ человѣкъ проще, ближе къ природѣ, чѣмъ меньше въ немъ унаслѣдованныхъ результатовъ эстетической культуры предыдущихъ поколѣній, тѣмъ лучшую почву найдетъ искусство для благотворнаго воздѣйствія; напротивъ, чѣмъ утонченнѣе, чѣмъ дальше отъ природы человѣкъ; чѣмъ больше въ немъ безсознательныхъ результатовъ унаслѣдованной культуры предыдущихъ поколѣній, тѣмъ менѣе искусство будетъ въ состояніи выказать на немъ свое облагораживающее вліяніе и тѣмъ лучшую почву найдетъ оно для безплоднаго отвлеченія и атрофированія жизненныхъ силъ. Вотъ почему то-же самое искусство, которое на низшихъ ступеняхъ человѣческаго развитія находитъ полный просторъ для благотворнаго и нравственнаго вліянія, можетъ сдѣлаться въ культурныхъ расахъ, а въ особенности въ такъ называемыхъ высшихъ слояхъ общества,

безнравственнымъ источникомъ душевнаго квіэтизма, артистическаго эпикурейства и полной духовной атараксіи въ сферѣ практической жизни.»

Все это такъ, но только къ этому слѣдуетъ прибавить, что и само искусство мѣняется съ измѣненіями правовъ, и далеко не одно и то-же искусство находитъ полный просторъ для благотворнаго нравственнаго вліянія на низшихъ ступеняхъ человѣческаго развитія и служитъ источникомъ духовной атараксіи въ культурныхъ расахъ.

III.

I. Каблицъ (І. Юзовъ). Основы народничества. Въ 2 томахъ.

Спб., 1888-1893 гг.

I.

Выходъ второго тома труда г. Каблица во второмъ дополнительномъ изданіи даетъ мнѣ поводъ пополнить тотъ пробѣлъ, какой давно уже чувствую я въ своихъ фельетонахъ; именно поговорить съ чувствомъ, съ толкомъ и съ разстановкой о нашемъ современномъ псевдо-народничествѣ, выяснить по возможности ясно и опредѣленно, что такое это псевдо-народничество и откуда оно взялось. До сихъ поръ приходилось говорить объ этомъ лишь мелькомъ и мимоходомъ. Теперь же представляется отличный случай потолковать болѣе обстоятельно. Вотъ мы имъ и воспользуемся.

Какъ читатель видитъ, статья моя съ первыхъ-же строкъ принимаетъ полемическій характеръ, такъ какъ, вопреки г-ну Каблицу, который считаетъ свое ученіе самымъ чистопробнымъ народничествомъ, я именую его псевдо-народничествомъ. Дѣлаю это я для того, чтобы читателямъ сразу было ясно, что я далеко не безусловный врагъ народничества. Я глубоко уважаю и цѣню то истинное народничество, которое проявляется въ публицистическихъ статьяхъ Н. К. Михайловскаго, С. Н. Кривенко, В. В., В. И. Семевскаго и др. и въ беллетристическихъ произведеніяхъ Гл. Ив. Успенскаго, Н. Н. Златовратскаго, Н. И. Наумова и др. Вполнѣ сочувствуя этому народничеству, я и самъ считаю себя въ его рядахъ.

Но рядомъ съ этимъ истиннымъ народничествомъ, которое, не замыкаясь ни въ какую фанатическую секту, ограничивается тѣмъ, что тщательно и безпристрастно изучаетъ бытъ народа и всѣ условія его существованія и заботится объ изысканіи средствъ къ тому, чтобы жизнь народа была и обезпеченнѣе, и во всѣхъ отношеніяхъ приглядне и слаще, — существуетъ особенное ученіе, исполненное слѣпого фанатизма и мрачнаго человѣконенавистничества. Ученіе это, написавши на своемъ знамени то же слово *народничество*, обратило это слово въ одно изъ тѣхъ многочисленныхъ пугалъ, которыя нынѣ разставлены повсюду, для всеобщаго разъединенія, омраченія духа безнадежнымъ унынiемъ и отчаяніемъ и отстраненія отъ темныхъ массъ малѣйшаго доступа свѣтлой мысли и знанія.

Г-нъ Каблицъ является однимъ изъ главныхъ представителей (чуть-ли кажется впрочемъ въ послѣднее время не единственнымъ) этого псевдо-народничества, и книги его заключаютъ въ себѣ цѣлый кодексъ ученія, своего рода коранъ.

Но да не подумаетъ читатель, чтобы я считалъ г. Каблица какимъ-то чудовищемъ, которое, дыша непримиримой ненавистью ко всей русской интеллигенціи, только о томъ и помышляло, какъ бы довести ее до полнаго самоуничиженія и унынія, всячески подкузьмить и растереть въ прахъ, какъ растираютъ ногами разныхъ зловредныхъ насѣкомыхъ. Ничуть не бывало. Вы найдете въ книгѣ его отдѣльныя мѣста и цѣлыя страницы, если не главы, съ которыми вы не въ состояніи будете не согласиться, такъ какъ дѣло идетъ въ нихъ о такихъ элементарныхъ и общеизвѣстныхъ истинахъ, которыя давно уже сдѣлались общимъ достояніемъ, и вамъ становится только совѣстно, зачѣмъ г. Каблицъ такъ распространяется о подобныхъ трюизмахъ,—неужели онъ думаетъ, что они для васъ представляются чѣмъ-то совершенно никогда неслыханнымъ?

Такъ мы не имѣли-бы конечно права относиться къ народничеству г. Каблица съ малѣйшимъ отрицаніемъ, еслибы оно исчерпывалось такими безспорными истинами, какими г. Каблицъ опредѣляетъ его на 74-й страницѣ второго тома:

«Въ основѣ народническаго ученія объ устройствѣ общества,—говоритъ онъ,—лежитъ *не только любовь* къ народу, но *и уваженіе ко всякой человѣческой личности*, а слѣдовательно и къ личности крестьянина. Поэтому-то народничество утверждаетъ, что нельзя заботиться объ «интересахъ» народа, не принимая во вниманіе его «мнѣній» объ этихъ «интересахъ». Оно не третируетъ личности крестьянина и не считаетъ себя вправѣ обходиться съ нимъ какъ съ малолѣтнимъ, не имѣющимъ возможности жить самостоятельно, безъ опеки. Поэтому онъ признаетъ, что въ числѣ главныхъ «интересовъ» народа находится и потребность руководствоваться въ своей дѣятельности собственнымъ «мнѣніемъ», а не благодѣтельнымъ приказомъ интеллигентнаго руководителя. Изъ этого впрочемъ не слѣдуетъ, чтобы народничество проповѣдывало невмѣшательство интеллигенціи въ жизнь народа; оно лишь утверждаетъ, что это послѣднее должно выражаться не только въ видѣ *духовнаго воздѣйствія* на «мнѣнія» народа, и отрицаетъ всякое насильственное вторженіе въ народную жизнь: «въ рай за волоса не тянутъ». Проповѣдуя подчиненіе хода народной жизни «мнѣнію» народа, народничество вмѣстѣ съ тѣмъ отнюдь не желаетъ насильственнаго вторженія народа въ другія сферы жизни. Несомнѣнно, что напримѣръ жизнь города или интеллигенціи во многомъ отличается отъ жизни народа и при-

знаніе этихъ особенностей требуется ихъ общимъ интересомъ. Насколько нераціонально требовать подчиненія народной жизни интеллигентной опекѣ, настолько-же противно здравому разсудку подчинять и городъ «мнѣнію» народа. Разумѣется, совмѣстная жизнь народа, горожанъ и интеллигенціи по необходимости во многихъ случаяхъ приводитъ ихъ къ столкновенію «мнѣній» и «интересовъ»: общая сфера интересовъ всѣхъ трехъ группъ понятно тоже должна быть подчинена и общему ихъ «мнѣнію». Но чѣмъ больше будетъ самостоятельности въ жизни каждой группы, тѣмъ лучше, такъ какъ каждая изъ нихъ будетъ чувствовать себя свободнѣе и независимѣе. Таково мнѣніе народниковъ.»

О, еслибы этимъ только и исчерпывалось все ученіе нашихъ псевдо-народниковъ съ г. Каблицомъ во главѣ то конечно никто не сталъ бы съ ними и спорить, хотя и въ такомъ случаѣ они оставались-бы *псевдо-народниками*, на томъ основаніи, что каждую вещь слѣдуетъ называть соотвѣтствующей ей кличкой, идеи-же самостоятельности различныхъ общественныхъ группъ, самоуправленія, и отсутствіе внѣшней опеки далеко не исчерпываютъ истиннаго народничества и вовсе не составляютъ его спеціальной принадлежности, такъ какъ идеи эти возникли задолго до появленія псевдо-народничества втеченіи 50-хъ годовъ, когда г. Каблицъ игралъ еще со своими сверстниками въ лошадки.

Въ самомъ дѣлѣ, какими-же, какъ не этими самыми идеями проникнута повѣсть гр. Л. Толстого «Утро помѣщика», написанная въ началѣ 50-хъ годовъ? А далѣе затѣмъ противъ той же опеки, за самоуправленіе ратовалъ и «Русскій Вѣстникъ» со своимъ поклоненіемъ англійскому self-gouvernement'у, и славянофилы съ ихъ отрицаніемъ *средостѣнія*, «Современникъ», «Отечественныя Записки» (г. Каблицъ самъ неоднократно въ подтвержденіе своихъ идей цитируетъ то Салтыкова, то Елисеева). Однимъ словомъ, публицисты самыхъ различныхъ лагерей ратовали за самостоятельность различныхъ общественныхъ группъ, въ томъ числѣ и крестьянской, и, какъ извѣстно, тѣ начала крестьянскаго самоуправленія, какія положены въ основу деревенской жизни одновременно съ освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостного права,—являются всецѣло результатомъ общаго стремленія къ осуществленію этихъ самыхъ идей.

Что-же новаго внесло бы народничество, еслибы оно только о томъ и хлопотало, чтобы въ жизни нашей поменьше было внѣшней опеки, и почему въ силу такихъ хлопотъ оно имѣло-бы право именовать себя *народничествомъ*?

Но въ томъ именно и дѣло, что рядомъ съ тѣми вполнѣ истинными и справедливыми идеями, которыя наши псевдо-народники совершенно напрасно присваиваютъ себѣ въ оппозицію съ публицистами всѣхъ существующихъ лагерей,—вы встрѣчаете въ ихъ ученіи такіе перлы, которые принадлежатъ неотъемлемо имъ однимъ, выдѣляютъ ихъ въ особенную группу и дѣлаютъ ихъ пропагандистами дѣйствительно особеннаго ученія. Но только и это ученіе въ свою очередь не даетъ имъ ни малѣйшаго права именовать себя народниками, такъ какъ представляетъ собою атавизмъ одного изъ видовъ стариннаго заблужденія, слегка подновленнаго нѣкоторыми новѣйшими идейками въ народническомъ духѣ.

II.

Дѣло въ томъ, что есть такія сорныя травы, которыя отличаются необыкновенной живучестью и навязчивостью. Приготовляя гряды для сѣянія какихъ-либо полезныхъ овощей, вы тщательно ихъ вскапываете, какъ только возможно, устраняете изъ нихъ каждый посторонній корешекъ, и вдругъ прежде еще, чѣмъ взойдетъ желаемый овощъ, по всей грядѣ полѣзетъ всякая сорная нечисть—только руками разводишь и плечами пожимаешь, откуда она только берется. А главное дѣло въ томъ, что подобнымъ мусорнымъ произрастаніямъ все равно, на какой-бы почвѣ ни расти, они готовы процвѣтать и на голомъ камнѣ! И въ то время, когда вашъ овощъ побитъ морозомъ, они одни остаются живы и невредимы. Они способны заглушить все, что растетъ вокругъ нихъ, но ихъ ничто заглушить не въ состояніи. Не хватаетъ иногда рукъ, чтобы выполоть ихъ.

Мысль объ этихъ сорныхъ травахъ невольно пришла мнѣ въ голову, когда я читалъ первый томъ трактата г. Каблица, который и заключаетъ главнымъ образомъ основы псевдо-народничества.

«Господи,—подумалъ я,—да вѣдь это все та-же сорная трава, которая дважды была уже выполота повидимому со всѣми корнями, и вотъ, извольте видѣть, опять произросла на совершенно новой почвѣ, въ новомъ видѣ!»

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это все то-же самое самобытничество, являющееся передъ нами въ третьемъ своемъ воплощеніи.

Первое воплощеніе произошло на почвѣ гегелевской философіи въ видѣ чистаго славянофильства тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

На этой почвѣ, какъ извѣстно, ученіе исчерпывалось слѣдующими пунктами:

1) Западъ сгнилъ, потому что принялъ христіанство въ видѣ католичества и государства сложились тамъ путемъ завоеванія. Единственный залогъ спасенія для человѣческаго рода лежитъ въ Россіи, такъ какъ она приняла христіанство въ наиболѣе чистомъ видѣ изъ Византіи, и государственная жизнь въ ней сложилась путемъ не насильственнаго завоеванія, а добровольнаго призванія.

2) Но этотъ залогъ спасенія лежитъ не во всей русской націи поголовно, а лишь въ низшихъ ея классахъ, остающихся вѣрными завѣтамъ старины, народнымъ особенностямъ и вѣрованіямъ. Объевропеившаяся-же интеллигенція разорвала съ народомъ и со всѣми его завѣтами и обезличилась, а посему представляетъ параличный и мертвый членъ русскаго народа.

3) На этомъ основаніи интеллигенція не имѣетъ права ничего навязывать народу во избѣжаніе опасности заразить его ядомъ своей гангрены. Единственный путь ко спасенію и возрожденію для нея—смириться духомъ, отречься отъ себя, какъ отъ интеллигенціи, и слиться съ народомъ, проникшись его духомъ и вѣр-

ностью всѣмъ завѣтамъ отцовъ и дѣдовъ, вплоть до предпочтенія кваса шампанскому.

Но вотъ гегелевская философія вышла изъ моды со своей тріадой и богоизбранными народами, осуществляющими историческія идеи въ ихъ синтезѣ. Началось увлеченіе естествознаніемъ и сообразно этому совершилось новое воплощеніе все того-же самобытничанья. Явились такъ называемые *почвенники*, которые, не предрекая уже русскому народу той великой миссіи, какую предназначали ему славянофилы-гегеліанцы, учили на основаніи послѣднихъ главъ естествознанія, что народы фатально должны хранить свою самобытность и не могутъ на одну іоту отступить отъ нея и что-бы то ни было перенять отъ другого народа, подобно тому, какъ виды животнаго царства пребываютъ неизмѣнно со своими особенностями и передаютъ эти особенности изъ рода въ родъ, причемъ ни утка не можетъ заимствовать у гуся его шеи, ни гусь—у лошади ея копытъ.

Изъ этой непреложности народныхъ типовъ почвенники выводили всѣ три вышеозначенные пункта славянофильскаго ученія, причемъ всѣ существующія народности, при всемъ разнообразіи ихъ особенностей, они дѣлили на двѣ группы: народы типа хищнаго и кроткаго. Къ хищному типу относились конечно уже всѣ западные народы, сложившіеся путемъ завоеванія и насилія; къ кроткому типу—славянскія племена (исключая поляковъ), а въ особенности русскій народъ. Отсюда почвенники выводили непреложность вѣчной борьбы Востока съ Западомъ не на животъ, а на смерть, такъ какъ народности не могутъ избавиться отъ своихъ особенностей: хищные народы не въ состояніи сдѣлаться кроткими и вѣчно будутъ хищничать, а кроткіе народы отстаивать отъ ихъ коварныхъ поползновеній свою самостоятельность.

Послѣ всего этого понятно, что, когда явилась теорія Дарвина, ученѣйшій изъ представителей почвенниковъ, Н. Я. Данилевскій, съ ожесточеніемъ напалъ на эту теорію и разразился противъ нея цѣлымъ томомъ возраженій. Возраженія эти были внушены отнюдь не научно-безпристрастными интересами, а чисто партійными. Теорію Дарвина слѣдовало сокрушить во что-бы то ни стало почвенникамъ, потому что она стала имъ поперекъ горла: ученіе о возможности одному виду переходить въ другой, теряя однѣ изъ своихъ особенностей и пріобрѣтая другія,—подрывало въ корень все ученіе почвенниковъ, основанное на непреложности видовыхъ отличій.

Но вотъ и увлеченіе естествознаніемъ утратило свой острый характеръ. Наступили семидесятые годы; на сцену выступилъ народъ, вопросы о его бытѣ, міросозерцаніи, соціальныхъ идеалахъ, условіяхъ его благосостоянія. Вмѣстѣ съ тѣмъ явилось и новое воплощеніе все той-же китайщины, въ видѣ того самаго псевдо народничанья, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. Произрастя на новой почвѣ, наша сорная трава приняла и новую кличку, соотвѣтствующую этой почвѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ ученіи г. Каблица мы усматриваемъ не только все тѣ-же пресловутые три пункта, какіе составляли суть гегеліанскихъ славянофиловъ и почвенниковъ, но и основы этихъ трехъ пунктовъ являются почти тѣ-же самыя.

Такъ, у г. Каблица мы усматриваемъ то-же дѣленіе племенъ на хищныя и кроткія (п. 1, стр. 36—38). Перебирая различныя африканскія, американскія и австралійскія племена, онъ приходитъ къ тому заключенію, что война—корень политической организаціи. Тамъ, гдѣ населеніе разбросано на обширныхъ пространствахъ, люди не находятъ причинъ для постоянныхъ столкновеній и политической организаціи не возникаетъ. То-же самое бываетъ и тамъ, гдѣ обитаютъ мирныя и независимыя племена, не способныя ни нападать на другихъ съ цѣлью грабежа, ни подчиняться у себя дома какой-бы то ни было власти. Мирные лепхасы скорѣе готовы перенести большія лишенія, чѣмъ подчиниться насилію или несправедливости; они не имѣютъ кастъ; семейные и политическіе раздоры у нихъ кажутся неслыханными; они чувствуютъ отвращеніе къ военной службѣ. У простодушнаго, мирнаго и безобиднаго сентала сильно развито естественное чувство справедливости, и всякая попытка насилія заставляетъ его покидать страну. О госахъ Дальтонъ говоритъ: можно довести человѣка до самоубійства, сомнѣваясь въ его честности и справедливости. У племенъ съ подобнымъ характеромъ политическая организація бываетъ очень слаба.

Но есть такія хищныя племена, у которыхъ общественная жизнь немыслима безъ принудительной политической организаціи. Такъ, характеръ фиджійцевъ отличается глубокой злостью и мстительностью; ложь, предательство, воровство и убійство вовсе не считаются у нихъ преступными дѣйствіями, а, наоборотъ, признаются почтенными; дѣтоубійство практикуется въ широкихъ размѣрахъ, удавленіе больныхъ—вещь самая обыкновенная; иногда они рѣжутъ на куски совершенно еще живыя человѣческія жертвы, собираясь ихъ ѣсть. Про дагомейцевъ говорятъ, что они жестоки, кровожадны, лживы и хитры, какъ будто самой природой лишены симпатическихъ чувствъ и признательности, даже относительно членовъ своего собственнаго семейства. У племенъ съ подобнымъ типомъ характера политическая организація (очень сложная) возникла не путемъ внѣшняго давленія, а естественнымъ путемъ внутренняго развитія.

Раздѣляя такимъ образомъ, подобно почвенникамъ, всѣ народы на хищные и мирные, г. Каблицъ мирнымъ народамъ приписываетъ коллективизмъ, т. е. общинное владѣніе землей съ періодическими передѣлами и артельное производство; хищнымъ-же племенамъ принадлежитъ личная собственность съ произвольнымъ и крайне неравномѣрнымъ распредѣленіемъ и капиталистическое производство со всѣми его ужасами въ видѣ безконечной борьбы за существованіе на почвѣ конкуренціи, пролетаріата и пр., и пр.

Нужно-ли и говорить, что въ то время, какъ западные народы по своимъ хищническимъ инстинктамъ утратили всѣ тѣ задатки общиннаго строя, какой они имѣли первоначально (да и то далеко не въ полномъ видѣ), и пошли по дорогѣ сначала феодализма, а потомъ капитализма, - русскій народъ,

принадлежа къ благодушно-мирнымъ племенамъ, до нынѣшняго времени остается неизмѣнно вѣренъ общиннымъ и артельнымъ порядкамъ и весь преисполненъ ихъ благотворнымъ духомъ. Въ этомъ залогъ его нравственности и будущаго преуспѣянія, несравненно легчайшаго и быстрѣйшаго, чѣмъ у европейскихъ народовъ, которымъ необходимо пережить цѣлый рядъ самыхъ страшныхъ передрягъ, чтобы завести у себя маломальски справедливые порядки.

Но опять-таки лишь низшимъ слоямъ населенія, крестьянамъ, принадлежитъ честь храненія общинно-артельнаго строя жизни. Объевропеившаяся интеллигенція давно уже утратила этотъ духъ, вступивши на почву эгоистическаго индивидуализма и усвоивши привычки властвовать, опекать и насильно навязывать народу свои благодѣянія, смотря на него свысока. Поэтому какъ нравственность, такъ и юридическое сознаніе интеллигенціи гораздо ниже крестьянскаго. Въ примѣръ г. Каблицъ приводитъ «Литературный фондъ», основанный на олигархическихъ началахъ вслѣдствіе того, что лица, заинтересованныя судьбой общества, боятся демократизаціи его управленія, такъ какъ при этомъ-де во главѣ общества въ одинъ прекрасный день можетъ оказаться кучка людей, способныхъ къ неблаговиднымъ поступкамъ. «Считаемъ себя, говоритъ при этомъ г. Каблицъ,—не вправѣ оспаривать возможности подобнаго явленія, но признаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ указать, что этимъ самымъ втихомолку цвѣтъ интеллигенціи объявляется негоднымъ къ учрежденіямъ, основаннымъ на принципѣ самоуправленія, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ гласно проповѣдуются въ качествѣ возможныхъ и непреложно-необходимыхъ для Россіи (т. I, стр. 292)». При такихъ условіяхъ интеллигенція нигдѣ не должна навязывать народу не только во имя того, что вообще ничего навязывать не слѣдуетъ, «въ рай за волоса не тащутъ»,—но и потому, что при своей деморализаціи интеллигенція не въ силахъ поднять ни на одинъ волосъ и безъ того уже высокую нравственность народа, а можетъ, наоборотъ, передать народу свое собственное растлѣніе.

Таковъ остовъ ученія г. Каблица. Но, сходясь во всѣхъ существенныхъ пунктахъ со своими предшественниками славянофилами и почвенниками,—современные псевдо-народники уступаютъ имъ въ одномъ—въ той смѣлой послѣдовательности, которая не боится доводить свои идеи до крайнихъ логическихъ выводовъ, хотя-бы совсѣмъ расходясь и съ здравымъ смысломъ, и съ дѣйствительностью. Г-нъ Каблицъ и его послѣдователи стремятся во что-бы то ни стало къ тому, чтобы и невинность сохранить, и капиталъ пріобрѣсти. Вслѣдствіе этого они постоянно проглатываютъ логическіе выводы изъ своихъ идей и тщательно заметаютъ свои слѣды каждый разъ, когда представляется опасность обнаружить эти выводы. Это приводитъ ихъ на каждомъ шагу къ ряду вопіющихъ противорѣчій.

III.

Соціологическимъ основамъ народничества Каблицъ предпосылаетъ основы философско-психологическія, что̀ и составляетъ главное содержаніе перваго тома его трактата. И вотъ здѣсь передъ нами съ первыхъ-же страницъ обнаруживаются всѣ тѣ теоретическія прорѣхи, которые тщетно пытается г. Каблицъ у васъ-же на глазахъ заштопать на живую руку гнилыми нитками. Вмѣстѣ съ тѣмъ вы сразу видите всю предвзятую искусственность тѣхъ психолого-философскихъ построеній, какія воздвигаетъ г. Каблицъ въ качествѣ фундамента своего ученія.

Почвенники, какъ мы говорили выше, признали грознаго врага въ лицѣ Дарвина, который со своею теоріей измѣняемости видовъ животнаго царства всталъ рѣшительно поперекъ ихъ ученія о непреложности національныхъ особенностей, и они ополчились на Дарвина цѣлыми томами естественно-научныхъ трактатовъ. У псевдо-народниковъ нашихъ подобными-же врагами оказались всѣ мыслители, которые ставятъ прогрессъ человѣчества въ зависимость отъ распространенія знаній, причемъ признаютъ вліяніе развитія идей не только на матеріальный прогрессъ, но и на нравственный.

Такъ какъ накопленіе знаній и развитіе идей представляется спеціальностью интеллигенціи, народъ-же руководится въ своей жизни главнымъ образомъ инстинктивными чувствами, возбуждаемыми въ немъ наслѣдственно развившимися привычками то для того, чтобы доказать, что народъ въ неизмѣримой степени нравственнѣе интеллигенціи, необходимо вмѣстѣ съ тѣмъ утвердить такое положеніе, что нравственность зависитъ отъ однихъ только чувствъ, идеи-же и знанія не имѣютъ на нее ни малѣйшаго вліянія. Иначе совсѣмъ будетъ непонятно, почему среда, находящаяся на высшей степени умственнаго развитія и обладающая передовыми идеями, могла-бы быть въ нравственномъ отношеніи ниже среды, пребывающей въ темномъ невѣжествѣ.

И вотъ, Каблицъ, путемъ цѣлаго ряда вопіющихъ натяжекъ, приводя несмѣтное количество цитатъ изъ разныхъ западно-европейскихъ философовъ и психологовъ, старается увѣрить насъ, что нравственность зависитъ отъ однихъ только чувствъ, которыя влекутъ за собой дѣйствія, а рядъ дѣйствій обращается въ привычки; эти привычки и составляютъ основаніе нравственности. Идеи-же неспособны бываютъ ни возбуждать чувствъ, ни склонять къ дѣйствіямъ, ни образовывать нравственныя привычки.

При этомъ Каблицъ главнымъ образомъ опирается на Спенсера, утверждающаго, что идеи не управляютъ міромъ и не ниспровергаютъ его: міръ управляется и ниспровергается чувствами, которымъ идеи служатъ только руководителями. Соціальный механизмъ покоится въ окончательномъ результатѣ не на мнѣніяхъ, а исключительно на характерахъ.

«Народный характеръ и соціальное состояніе опредѣляютъ, какія идеи должны получить ходъ въ обществѣ,—а не идеи эти опредѣляютъ народный характеръ и соціальное состояніе. Поэтому измѣненіе нравственной природы человѣка, производимое

безпрерывнымъ вліяніемъ соціальной дисциплины, все болѣе и болѣе приспособляющей эту природу къ соціальнымъ отношеніямъ,—есть главная ближайшая причина общественнаго прогресса» (т. I, стр. 109).

Я не намѣренъ входить въ подробное разбирательство теоріи нравственности г. Каблица и ограничусь лишь краткимъ и категоричнымъ изложеніемъ своего мнѣнія объ этомъ предметѣ. Такъ, читатели мои неоднократно уже могли видѣть, что я постоянно высказывался противъ дѣленія человѣческой природы на взаимно непроницаемые ящики и противъ предположенія возможности развитія какой-бы то ни было нашей способности безъ малѣйшаго вліянія на нее прочихъ способностей. Поэтому, будучи вполнѣ согласенъ съ Каблицемъ, что нравственность покоится на привычкахъ, создающихся въ нашемъ организмѣ путемъ ряда однородныхъ дѣйствій, а дѣйствія внушаются различными эмоціями, я въ то-же время никакъ не могу понять, почему-же въ числѣ побудительныхъ причинъ къ чувствамъ и дѣйствіямъ не могутъ быть и идеи? Сама по себѣ идея конечно безсильна возбудить эмоцію, но присутствіе или отсутствіе ея въ мозгу человѣка въ значительной степени обусловливаетъ возникновеніе тѣхъ или другихъ эмоцій подъ вліяніемъ различныхъ впечатлѣній жизни. Воинственный гимнъ, способный привести въ ярость какого-нибудь фиджійца и возбудить въ немъ необузданное стремленіе къ истребленію враговъ, — можетъ утратить все свое обаяніе, разъ фиджіецъ додумается какимъ-нибудь образомъ до той высокой идеи, что всѣ люди—братья, и до отрицанія войны. То-же самое можно сказать и объ идеѣ независимости, которую Спенсеръ, а за нимъ и Каблицъ приводятъ въ примѣръ (см. стр. 10, т. I). «Не распространеніе идеи о независимисти,—говоритъ онъ,—а только поступки, внушенные чувствомъ независимости, развиваютъ и усиливаютъ это чувство».

Прежде всего смѣю замѣтить, что въ этихъ словахъ Каблица если и присутствуетъ психологія, то самая что ни на есть суздальская. На самомъ-же дѣлѣ, съ истинно научной точки зрѣнія, независимость извѣстна намъ вовсе не какъ какое-то спеціальное чувство, эмоція, а какъ опредѣленное соціальное состояніе, и сознаніе этого состоянія по самому существу своему есть идея. Люди, долгое время пользовавшіеся независимостью и продолжающіе ею пользоваться, привыкаютъ къ ней до того, что она становится необходимымъ условіемъ ихъ существованія. Но и въ такомъ видѣ пользованіе независимостью не сопровождается ровно никакой эмоціей, и люди не чувствуютъ своей независимости, совершенно подобно тому, какъ здоровые не чувствуютъ своего здоровья.

И лишь тогда, когда эта независимость нарушается, возникаетъ эмоція; но эта эмоція является опять-таки вовсе не видѣ какого-то особеннаго спеціальнаго чувства независимости, а въ образѣ гнѣва, негодованія, вызывающихъ стремленіе устранить насиліе.

Представьте-же себѣ, что идея независимости распространяется среди людей, не пользовавшихся до той поры ею, воспитанныхъ въ рабскихъ привычкахъ. Конечно сама по себѣ идея независимости никакого чувства независимости возбудить не въ состояніи, тѣмъ болѣе, что такого чувства и не существуетъ. Тѣмъ не менѣе она способна въ людяхъ, воспринявшихъ ее, измѣнить цѣлый рядъ не только эмоцій, но и нравственныхъ привычекъ: прежде они съ рабской радостью цѣловали каждую протянутую имъ ручку; теперь у нихъ откуда-то является вдругъ чувство стыда, мѣшающее имъ дѣлать это. Прежде они считала святымъ долгомъ повиноваться безъ разсужденій; теперь-же, напротивъ того, они начинаютъ видѣть еще болѣе святой долгъ въ готовности пострадать за правду и т. д. Однимъ словомъ, отрицать, чтобы идеи были безсильны возбуждать однѣ эмоціи и подавлять другія, побуждать такимъ образомъ людей къ повторенію соотвѣтствующихъ поступковъ и въ концѣ концовъ образовывать новыя нравственныя привычки,—значитъ умышленно закрывать глаза на цѣлый рядъ вопіющихъ явленій жизни. Если мы и встрѣчаемъ массу людей, у которыхъ прекрасныя идеи идутъ въ разрѣзъ съ отвратительными нравственными привычками и побужденіями, то такіе примѣры, какъ-бы они ни были многочисленны, вовсе не доказываютъ еще полнаго безсилія идей вліять на нравственность. Явленія эти зависятъ или отъ того, что дурныя привычки слишкомъ уже глубоко вкоренились въ этихъ людей, чтобы напоръ прекрасныхъ идей могъ искоренить ихъ, или-же вслѣдствіе недостатка въ жизни практики въ духѣ новыхъ идей, отъ того, что условія жизни, вмѣсто того чтобы вступить въ союзъ съ идеями для искорененія дурныхъ привычекъ, напротивъ того, вступаютъ въ союзъ съ дурными привычками и поддерживаютъ ихъ. Въ жизни все относительно, и требовать отъ идей безусловнаго господства надъ нравственностью столь-же нелѣпо, какъ и подчинять нравственность исключительно однимъ только эмоціямъ, дѣйствіямъ и привычкамъ. Развѣ мы не видимъ въ самомъ дѣлѣ массу нравственныхъ возрожденій, полной переработки характеровъ, вслѣдствіе вліянія новыхъ идей? Но конечно такія явленія совершаются не по мановенію волшебнаго жезла, какъ это дѣлается въ нѣкоторыхъ беллетристическихъ произведеніяхъ,—а путемъ долгой и тяжкой борьбы...

IV.

Но мы не будемъ входить въ дальнѣйшія и болѣе подробныя опроверженія идеи Каблица о нравственности, тѣмъ болѣе, что въ самой книгѣ его мы найдемъ данныя къ обнаруженію полной несостоятельности этихъ идей, и намъ конечно будетъ пріятнѣе сложить руки и только смотрѣть, какъ г. Каблицъ опровергаетъ самого себя.

Въ этомъ отношеніи, еще разъ повторяю, надо отдать справедливость и славянофиламъ 40-хъ годовъ, и почвенникамъ 60-хъ; и тѣ, и другіе были не въ примѣръ послѣдовательнѣе и логически строже современныхъ намъ лженародниковъ. Такъ, славя-

нофилы безаппеляціонно отрицали католическій Западъ. Никакой европейскій прогрессъ со всѣми его чудесами цивилизаціи не обольщалъ ихъ и не соблазнялъ. Они постоянно твердили, что весь этотъ прогрессъ—ложь, миражъ, подъ обольстительнымъ блескомъ котораго скрываются гниль и тлѣніе. Въ свою очередь и почвенники, на основаніи своей теоріи народныхъ особенностей, проповѣдывали личную и безъисходную борьбу Запада съ Востокомъ, не допуская между этими враждебными лагерями никакого компромисса или примиренія.

Того-же самаго мы вправѣ ждать и отъ современныхъ намъ лженародниковъ, судя по характеру ихъ ученія. Согласно этому характеру, какой-то неумолимый рокъ сулилъ однимъ народамъ быть злобными фиджійцами, другимъ —простодушными и кроткими санталами; однимъ — развивать общинно-артельные порядки, другимъ — индивидуально-капиталистическіе. А такъ какъ истинная нравственность мыслима только на почвѣ общинно-артельныхъ порядковъ, то нечего и толковать о прогрессѣ нравственности народовъ, по самой природѣ своей склонныхъ питать въ нѣдрахъ своихъ одни противуобщественные пороки: злобу, мстительность, насиліе, жестокость, кровожадность и пр., и пр. Фиджійцы фиджійцами и останутся, и весь прогрессъ въ ихъ средѣ ограничится тѣмъ, что въ общей свалкѣ ихъ поголовной взаимной борьбы за существованіе, вмѣсто того чтобы разить другъ друга мечомъ, они станутъ донимать рублемъ, рабство физическое замѣнятъ экономическимъ, жестокость останется жестокостью и и лишь приметъ болѣе утонченныя и деликатныя формы и пр., и пр.

Западъ состоитъ именно изъ народовъ фиджійскаго типа; всѣ государства сложились въ немъ путемъ насильственныхъ завоеваній; самая религія его, въ видѣ католичества, была постоянно вооружена мечомъ. Объ общинно-артельныхъ началахъ въ средѣ его нечего и толковать. Г. Каблицъ рѣшительно отвергаетъ ихъ въ Западной Европѣ, присоединяясь къ мнѣнію кн. А. Васильчикова, что въ Западной Европѣ мірского землевладѣнія никогда не существовало, что общинами въ Европѣ назывались группы отдѣльныхъ дворовъ, соединенныхъ общимъ пользованіемъ деревенской улицы, базарной площади, выгона и мѣста для пастьбы скота; общія земли составляли только придачу, и самую незначительную и малоцѣнную, къ кореннымъ угодьямъ, которыя состояли въ участковомъ владѣніи. Съ своей стороны и Лавеле говоритъ, что «уже во времена Тацита въ нѣдрахъ клана не было безусловнаго равенства; нѣкоторыя семьи обладали бо́льшимъ числомъ рабовъ и даже получали бо́льшую долю при раздѣлѣ. Только эти семьи и могли создать обособленное земельное владѣніе трудомъ своихъ слугъ».

Однимъ словомъ, уже при Тацитѣ общественный бытъ сложился на Западѣ на началахъ несправедливости, неравенства, преобладанія богатыхъ надъ бѣдными, такимъ онъ пребываетъ и доднесь. Какой-же можетъ быть тутъ и вопросъ о прогрессѣ нравственности, разъ прогрессъ этотъ зависитъ исключительно отъ эмоцій, вѣковой практикой направленныхъ въ одну сторону однородныхъ дѣйствій и наслѣдственныхъ привычекъ, а отнюдь не отъ идей, какихъ-бы то ни было гуманныхъ и высокихъ?

Тѣмъ не менѣе оказывается вдругъ, что и на богопротивномъ Западѣ какими-то невѣдомыми путями совершается не одинъ умственный и матеріальный прогрессъ, но, представьте себѣ, даже и нравственный! Такъ, г. Каблицъ приводитъ слѣдующіе цитаты изъ Риба, Лекки и Бэна:

«Бой быковъ и медвѣдей, пѣтушьи бои и множество другихъ увеселеній подобнаго рода были нѣкогда въ Европѣ любимымъ препровожденіемъ времени. Если бы кто-нибудь сталъ отвергать эти увеселенія, какъ варварскія, то его мнѣніе стали-бы считать нетолько нелѣпымъ, но даже непонятнымъ. Относительно этого предмета не было конечно никакого разногласія мнѣній. Но мало-по-малу, вслѣдствіе неслышнаго давленія цивилизаціи (?), въ общественномъ мнѣніи произошла глубокая перемѣна. Она совершилась не по какому-нибудь усиленію знаній или какимъ-нибудь процессомъ положительнаго размышленія, но просто вслѣдствіе постепеннаго возвышенія нравственнаго образца (?).»

«Движеніе, уничтожившее пытку, по мнѣнію Лекки, гораздо менѣе было движеніе умственное, чѣмъ движеніе, лежавшее въ настроеніи чувства. Оно было не столько открытіемъ ума, сколько увеличившейся силой симпатіи. Если мы спросимъ, какіе положительные аргументы можно привести по этому предмету, то трудно было бы указать какой-нибудь аргументъ, который не былъ-бы совершенно знакомъ всѣмъ классамъ во всѣ періоды среднихъ вѣковъ. И перемѣна произведена была не такими аргументами. Пытка уничтожена была, потому что съ успѣхами цивилизаціи (?) симпатіи людей стали выражаться сильнѣе, впечатлѣнія отъ страданій другихъ стали болѣе острыми, ихъ сужденія стали снисходительнѣе и дѣйствія человѣчнѣе. «Невозможно,—говоритъ Бэнъ, — убѣдить человѣка въ томъ, чтобы онъ призналъ за конечную цѣль счастье другихъ людей, если только этотъ человѣкъ, уже *по собственному разумѣнію, не принялъ извѣстнаго ученія, обнимающаго это положеніе, какъ напримѣръ исповѣданіе христіанства.* Точно также мы не можемъ привести никакого основанія въ пользу распространенія симпатіи на животныхъ. *Воспитаніе чувствъ представляется единственнымъ способомъ расширенія человѣческихъ симпатій.* Никого нельзя разубѣдить въ твердо сложившемся эгоизмѣ.»

Правда, всѣ эти цитаты приводятся г. Каблицомъ въ видахъ все того-же убѣжденія насъ, что путемъ идей никого ни въ чемъ переубѣдить невозможно, а необходимо воспитывать чувства. Тѣмъ не менѣе, читая эти цитаты, вы невольно приходите въ недоумѣніе. Вѣдь мы же имѣемъ дѣло съ хищными племенами фиджійскаго типа. Вся вѣковая житейская практика у этихъ племенъ была направлена въ сторону воспитанія чувствъ жестокихъ и кровожадныхъ; никакія гуманныя христіанскія идеи не могли смягчить этихъ грубыхъ и варварскихъ чувствъ, такъ какъ идеи по самому существу своему оказываются безсильны вліять на чувства. И вдругъ откуда-то явились противуположныя гуманныя чувства; начала ни съ того, ни съ сего увеличиваться сила симпатіи, сужденія стали снисходительнѣе, дѣйствія человѣчнѣе, — и все это, оказывается, произошло подъ вліяніемъ какого-то таинственнаго *неслышнаго давленія цивилизаціи.* Въ чемъ-же заключалось это давленіе, приведшее къ

уничтоженію пытокъ, розогъ, рабства и т. д.? Въ гуманномъ воспитаніи чувствъ? Но откуда могло явиться это гуманное воспитаніе чувствъ вопреки прежнему, вѣковому, не гуманному?

Единственный выходъ изъ этого лабиринта заключается въ признаніи могущества идей,—не какихъ-либо морализированій, резонерства и отвлеченныхъ аргументовъ, а того цикла идей, который внесъ совершенно новый духъ въ сознаніе европейской интеллигенціи въ эпоху Возрожденія. Въ этомъ лишь, а не въ чемъ-либо иномъ, заключалось то таинственное давленіе цивилизаціи, которое подѣйствовало на измѣненіе какъ чувствъ, такъ и всей практики европейской жизни, личной и общественной.

Но еще въ большее недоумѣніе становитесь вы, когда начнете читать главу VIII второго тома, направленную противъ современныхъ пессимистовъ. Въ этой главѣ Каблицъ категорически заявляетъ, что нравственный и умственный прогрессъ человѣчества несомнѣненъ.

«Исторія нашей нравственности начинается не великими образцами добродѣтелей, которые постепенно понижаются и падаютъ, доходя наконецъ до насъ, «дрянныхъ и пошлыхъ людишекъ», а, наоборотъ, начали мы съ животнаго эгоизма и мало-помалу работой многихъ тысячелѣтій достигли той степени нравственнаго развитія, на которой находимся теперь и которую осуждаемъ во имя стремленія къ дальнѣйшему усовершенствованію... Если наши предки были убѣждены, что человѣчество начало свое существованіе съ золотого вѣка,—счастья и довольства,—потомъ перешло въ вѣкъ мѣдный и наконецъ теперь находится въ вѣкѣ желѣзномъ, полномъ печали, горестей и воздыханій, то мы, наоборотъ, достовѣрно знаемъ, что назади у Европы была только кровавая эпопея человѣческихъ несчастій и страданій, кровожадная борьба за блага жизни и что эта борьба мало-по-малу смягчалась, принимала все болѣе и болѣе мягкія формы и наконецъ явилась намъ въ той формѣ, которой недовольны наши моралисты.» (Т. II, стр. 451—452).

То-же самое высказываетъ Каблицъ и относительно нашей интеллигенціи. Казалось-бы, чего и ждать отъ нея: съ народомъ она разорвала всякую связь, объевропеилась, воспиталась въ тлетворныхъ привычкахъ индивидуализма и капитализма; до сихъ поръ тяготѣетъ надъ ней нравственное растлѣніе крѣпостного права.

Разобщенная, деморализированная, она не въ состояніи оказывается завести въ своей средѣ маломальски справедливыхъ и разумныхъ порядковъ даже въ столь скромномъ предпріятіи, какъ общество литературнаго фонда.

Тѣмъ не менѣе Каблицъ въ той-же главѣ торжественно заявляетъ:

«Что касается лучшей части культурнаго слоя,—той, которая на самомъ дѣлѣ является цивилизующимъ элементомъ въ нашемъ обществѣ,—думаемъ, что эта группа также не пошла назадъ, не развратилась, а, напротивъ, очень сильно развилась какъ въ умственномъ, такъ и нравственномъ отношеніи» (см. т. II, стр. 460).

Если-же интеллигенція наша не развратилась, а, напротивъ, прогрессируетъ, несмотря на всю неблагопріятную въ нравственномъ отношеніи практику эмоцій и дѣйствій, то слѣдовательно не одна только подобная практика обусловливаетъ нравственный прогрессъ.

V.

Такимъ образомъ Каблицъ, равно какъ и всѣ тѣ лженародники, во главѣ которыхъ онъ стоитъ, отнюдь не признаетъ себя врагомъ интеллигенціи и во многихъ мѣстахъ своего трактата увѣряетъ насъ въ этомъ.

«Публицисты просвѣщеннаго бюрократизма,—говоритъ онъ (т. II, стр. 129), стараются выставить публицистовъ народничества врагами интеллигенціи, стремящимися уничтожить ее въ самомъ корнѣ. По нашему мнѣнію, это клевета, недостойная даже опроверженія. Дѣло идетъ совсѣмъ не о томъ быть или не быть интеллигенціи—подобнаго глупаго вопроса народничество никогда и не думало возбуждать,—а лишь о томъ, чей взглядъ правильнѣе и сообразнѣе съ народными пользами: народниковъ-ли, утверждающихъ, что естественная роль интеллигенціи состоитъ въ воздѣйствіи на народъ, исключительно умственномъ и нравственномъ, которое не должно опираться на политическое господство интеллигенціи надъ народомъ,—или-же интеллигентныхъ бюрократовъ, требующихъ вооруженія интеллигенціи бюрократической палкой, безъ помощи которой, по ихъ мнѣнію, прогрессъ будетъ двигаться черезчуръ медленно.»

Итакъ, какъ видите, дѣло идетъ лишь объ отрицаніи насильственнаго господства интеллигенціи надъ народомъ, навязыванія ему чего-либо. Но господа лженародники вовсе ничего не имѣютъ противъ духовнаго, нравственно-умственнаго воздѣйствія, и не только одобряютъ его, но даже желаютъ отъ всей души.

Но попробуйте сличить различныя мѣста трактата Каблица и вдуматься въ ихъ смыслъ по отношенію одного мѣста къ другимъ, и вамъ можетъ показаться, что въ предоставленіи интеллигенціи Каблицемъ права духовнаго воздѣйствія лежитъ бездна коварства чисто макіавелевскаго характера. Но можемъ увѣрить читателей, что въ сущности ничего макіавелевскаго здѣсь нѣтъ и слѣда, а имѣется одно недомысліе прямолинейнаго доктринерства.

Въ самомъ дѣлѣ, вы только сообразите вотъ какое обстоятельство: не можетъ быть и сомнѣнія въ томъ, что политическое господство среды, умственно и нравственно низшей, надъ средой во всѣхъ отношеніяхъ превосходящей ее, практически вполнѣ осуществимо. По крайней мѣрѣ въ исторіи мы видимъ массу примѣровъ такого господства; припомните только хотя-бы татарское иго.

Но мыслимое-ли дѣло, чтобы среда, въ нравственномъ отношеніи совершенно несостоятельная, могла имѣть *духовное* воздѣйствіе на среду, стоящую въ нравственномъ отношеніи на неизмѣримой высотѣ сравнительно съ ней? Вліяніе она оказывать можетъ, но нужно-ли и говорить о томъ, что вліяніе это должно быть вредное, развращающее; дѣло-же идетъ у насъ о благотворномъ нравственномъ воздѣйствіи. Благотворно-нравственное воздѣйствіе-же только и мыслимо при такихъ условіяхъ, чтобы интеллигенція стояла въ нравственномъ отношеніи выше народа. Но допускаетъ-ли это Каблицъ?

*

Въ томъ-то именно и дѣло, что Каблицъ такъ низко ставитъ интеллигенцію во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ трактуетъ о ней, что смѣшно и помыслить о какомъ-бы то ни было благотворномъ воздѣйствіи ея на народъ. Помилуйте, какое-же тутъ нравственное воздѣйствіе, когда у народа все дѣлается по равненію, по справедливости, а интеллигенція не можетъ завести у себя даже такое нехитрое благотворительное учрежденіе, какъ литературный фондъ, безъ олигархическаго устройства, вслѣдствіе взаимнаго заподозриванія въ хищническихъ поползновеніяхъ. Въ народѣ миръ, любовь и согласіе, а въ интеллигентной средѣ всѣ на ножахъ другъ съ другомъ. «Рознь между интеллигентными семьями, по мнѣнію Каблица (т. I, стр. 405), такъ велика, что такъ называемый «позоръ» одной изъ нихъ вызываетъ въ другихъ скорѣе злорадство, нежели сочувствіе; крестьянинъ-же привыкъ дѣлить со всей улицей, деревней или селомъ всѣ свои радости и горе... Онъ съ грубой откровенностью заявляетъ свои чувства передъ своими сосѣдями, зная, что встрѣтитъ въ нихъ сочувствіе; каждый-же изъ интеллигентныхъ людей старается поглубже запрятать въ своемъ сердцѣ глубоко чувствуемое имъ оскорбленіе, исподтишка только мстя за него своей благовѣрной»...

Во второй главѣ II тома Каблицъ перебираетъ всѣ интеллигентныя сферы, находя, что всѣ онѣ вполнѣ несостоятельны, чтобы поставить ихъ во главѣ народа его руководителями и опекунами. Что касается ученаго сословія, претендующаго въ силу своихъ знаній на подобную роль, то, по словамъ Каблица, «при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ дипломы и аттестаты указываютъ только на познанія своихъ владѣльцевъ, а отнюдь не на какія-либо нравственныя качества. Принимая-же во вниманіе, что не только одно накопленіе знаній, но даже и развитіе умственныхъ способностей нисколько не развиваетъ нравственныхъ качествъ людей, необходимо признать, что нравственный уровень интеллигенціи не можетъ быть выше нравственнаго уровня народной массы. Извѣстно, что при руководительствѣ общественными дѣлами во всякомъ случаѣ больше требуется высокій уровень нравственности, чѣмъ высокій уровень познаній, такъ какъ высокій уровень познаній у безнравственнаго человѣка будетъ только сильнымъ орудіемъ его эгоизма, направленнымъ во вредъ обществу и народу... Было-бы вполнѣ безумно отдавать общественную власть въ руки людей только на томъ основаніи, что они владѣютъ бо̀льшими познаніями, нежели масса народа, такъ какъ, нѣтъ сомнѣнія, они воспользуются своими познаніями и властью только для возвеличенія себя и своего потомства»... И далѣе приводится примѣръ Египта, въ которомъ знаніе, бывшее великой общественной силой, находилось всецѣло въ рукахъ умственной аристократіи, «а эта аристократія, почувствовавшая въ своихъ рукахъ власть и охваченная обаяніемъ власти, приложила съ своей стороны всѣ усилія къ тому, чтобы выдѣлить себя еще болѣе изъ толпы, чтобы оградить свое знаніе, обезпечивавшее ей всѣ жизненныя преимущества, сдѣлать его достояніемъ своихъ близкихъ людей, своей касты».

Перечисливъ затѣмъ всѣ пороки ученой касты, ея замкнутость, нетерпимость, самолюбіе, косность, отсутствіе широты міросозерцаній при всемъ громадномъ накопленіи знаній, доходящей до грубой суевѣрности, и проч., и проч., Каблицъ переходитъ затѣмъ къ писателямъ и восклицаетъ: «Гдѣ-же искать таинственныхъ людей глубокаго образованія? Не среди-ли писателей? Однако всѣмъ извѣстно, что писатель писателю рознь. Левъ Толстой и Дмитрій Толстой, Катковъ и Чернышевскій — вѣдь это два полюса, отрицающіе другъ друга... Народные интересы если и фигурируютъ въ литературѣ, то въ большинствѣ случаевъ въ качествѣ интересовъ податной и рабочей массы, о которой надо поневолѣ заботиться ради собственнаго благополучія, т. е. ради развитія ея податныхъ, рабочихъ и другихъ силъ, необходимыхъ для правящаго сословія и неуклоннаго хода такъ называемаго прогресса... По словамъ Леббока, у арабовъ есть пословица: «чернило, употребляемое ученымъ, цѣннѣе крови мучениковъ», но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ признаетъ, что «есть книги, которыя, по выраженію Чарльза Ламбы, недостойны того, чтобы ихъ называли книгами». Къ сожалѣнію этихъ послѣднихъ гораздо больше, чѣмъ первыхъ,—если исключить изъ счета книги, сообщающія извѣстныя знанія по разнаго рода положительнымъ наукамъ»...

Если люди науки и пера не годятся быть руководителями народа, то нечего и говорить о массѣ средней интеллигенціи, по большей части крайне поверхностнаго образованія. Для того чтобы дать понять читателямъ вполнѣ ясно и наглядно, что̀ представляетъ собой эта средняя интеллигенція, особенно провинціальная, Каблицъ дѣлаетъ слѣдующую цитату изъ какой-то статьи Абрамова въ «Недѣлѣ».

«Трудно лицу, не испытавшему этого на себѣ самомъ, представить весь тотъ ужасъ, который охватываетъ свѣжаго человѣка, попавшаго въ среду провинціальной интеллигенціи. Прежде всего поражаетъ безсмысленность самой жизни этой интеллигенціи: карты, пьянство, посѣщеніе садовъ съ пѣвицами или опереткой — и все это безпрерывно, безъ отдыха, изо дня въ день. А между тѣмъ все это народъ дѣловой, занятой, дѣлающій дѣла. Недоумѣваешь, когда и какъ они могутъ вершить эти дѣла, отъ которыхъ часто зависитъ участь многихъ людей. Съ теченіемъ времени убѣждаешься, что господа эти успѣваютъ и дѣла дѣлать, но дѣлаютъ ихъ такъ, что наблюдателя положительно одолѣваетъ чувство ужаса .. И вотъ эта-то интеллигенція, а не Деруновы и Разуваевы, и есть сильный врагъ появленія въ провинціи истинной интеллигенціи. Человѣка одного типа съ собой она приметъ съ распростертыми объятіями, приголубитъ его, устроитъ; но человѣкъ, интеллигентный не по диплому только, а и по дѣяніямъ, человѣкъ чести и служенія общественному благу, не только не найдетъ среди этой «интеллигенціи» поддержки, но, напротивъ, долженъ бояться ея и ожидать отъ нея каждую минуту какой-нибудь гадости, и гадости не грубой, на какую способенъ Деруновъ и которую не трудно парировать, а гадости тонкой, умной, хитрозадуманной,—гадости «на законномъ основаніи» и даже пожалуй съ душкомъ гражданственности» (т. II, стр. 186—188).

Если всѣ эти перечисленныя категоріи нашей интеллигенціи не годятся въ качествѣ руководителей и опекуновъ народа, такъ какъ они навязывали-бы ему порядки по своему усмотрѣнію и въ свою пользу, то спрашивается, какое-же благотворное духовное воздѣйствіе можетъ имѣть на народъ вся эта интеллигенція, находящаяся въ столь ужасномъ нравственномъ растлѣніи?

VI.

Впрочемъ Каблицъ сжегъ за собой далеко не всѣ корабли, а оставилъ кое-какую лазейку. Пусть вся интеллигенція поголовно оказывается никуда не годной, но не все еще погибло, пока существуютъ на свѣтѣ лженародники и во главѣ ихъ Каблицъ, представляющіе собой соль земли, единственный залогъ спасенія какъ русскаго народа, такъ и всего рода человѣческаго. «Эта лучшая, по словамъ Каблица, часть интеллигенціи должна помочь крестьянамъ избавиться отъ вреднаго вліянія самой интеллигенціи—это первое и самое важное ея дѣло. Но для этого необходимо, чтобы «лучшіе» элементы интеллигенціи могли опереться на самихъ крестьянъ, т. е. необходима полнѣйшая самостоятельность крестьянъ отъ интеллигентно-культурнаго слоя. Разъ крестьянская жизнь будетъ отдана подъ опеку интеллигенціи вообще, то этимъ самымъ она будетъ направляться не тѣмъ меньшинствомъ ея, которое благожелательно крестьянскому дѣлу, а «образованными и достаточными классами». Поэтому-то только при полной независимости крестьянской жизни отъ руководства интеллигенціи вообще, *мы можемъ надѣяться на то, что меньшинство интеллигенціи сдѣлается, благодаря нравственному своему вліянію, руководителемъ крестьянской жизни, имѣя въ виду только благо всего общества*» (т. II, стр. 204).

Такъ вотъ оно что!.. Оказывается, что крестьяне должны быть освобождены отъ всякаго руководства, опеки и контроля интеллигенціи вообще, но вовсе не для того, чтобы затѣмъ жить вполнѣ самостоятельной жизнью внѣ какого-бы то ни было интеллигентнаго вліянія, а все-таки въ концѣ-концовъ подчиниться руководству господъ лженародниковъ.

Правда, руководство это предполагается вполнѣ свободно-нравственнымъ и имѣющимъ въ виду только благо всего общества. Но мы можемъ отъ лица всего народа возразить: знаемъ мы, молъ, какое это нравственное вліяніе и какое это благо!.. Каждая партія сулитъ намъ не что иное, какъ свое благотворное нравственное вліяніе во имя общаго блага. Вѣдь вы, господа лженародники, возросли на той-же гнилой почвѣ, на которой, по свидѣтельству Каблица, растлилась вся интеллигенція поголовно, и тѣмъ-же елеемъ вымазаны; такъ на какомъ-же основаніи мы должны вѣрить вамъ болѣе, чѣмъ другимъ? Откуда могли вы набраться столько нравственности, чтобы имѣть претензію быть нашими нравственными руководителями?

Но допустимъ, что господа лженародники, какъ и всякая партія, имѣетъ естественное и неотъемлемое право стремиться встать во главѣ народа его руководителями, хотя-бы только нравственными. Допустимъ, что они какимъ то чудомъ достигли этого: вся интеллигенція во образѣ «достаточныхъ и образованныхъ классовъ» устранена, а остался одинъ только народъ, крестьяне, и передъ ними горсточка нашихъ лженародниковъ.

Не забудьте, что основной пунктъ лженародничества, его, можно сказать, альфа и омега, заключается въ томъ, чтобы ничего народу не навязывать. Поэтому, оставшись въ одиночествѣ передъ народомъ, народники прежде всего должны опросить народъ, какъ онъ пожелаетъ устроиться: завести у себя общинное землевладѣніе или подворное хозяйство, артельное производство или капиталистически-личное.

Каблицъ повидимому предполагаетъ, что весь народъ въ одинъ голосъ воскрикнетъ: «хотимъ общиннаго землевладѣнія, желаемъ артельнаго производства!». Въ доказательство этого онъ приводитъ нѣсколько фактовъ сознательнаго отношенія крестьянъ къ преимуществамъ общинныхъ и артельныхъ порядковъ и неуклоннаго стремленія къ этимъ своимъ исконнымъ формамъ быта.

Мы охотно вѣримъ этимъ фактамъ и признаемъ все ихъ значеніе. Но вѣдь это взяты все-таки отдѣльные голоса изъ народной массы, а на такіе-же отдѣльные голоса имѣютъ обыкновеніе у насъ опираться всѣ партіи. Такъ, сторонники подворнаго землевладѣнія въ свою очередь указываютъ на крестьянъ, которые будто-бы тяготятся общинными порядками и также какъ нельзя болѣе сознательно стремятся къ личному землевладѣнію, приписывая общиннымъ порядкамъ весь упадокъ сельскаго хозяйства. Даже крѣпостники и тѣ не разъ приводили голоса изъ народа, свидѣтельствующіе, что крестьяне жалѣютъ о прекращеніи крѣпостного права, видя въ этомъ главную причину распущенности народа и упадка сельскаго хозяйства, и очень желали-бы вновь благоденствовать за помѣщиками, какъ за каменной стѣной.

Всѣ эти голоса не выдуманы; они и въ самомъ дѣлѣ существуютъ одновременно въ одной и той-же массѣ крестьянскаго населенія, и свидѣтельствуютъ о томъ, что народъ вовсе не составляетъ однородной массы людей, вполнѣ единомыслящихъ и стоящихъ на одномъ неизмѣримо-высокомъ нравственномъ уровнѣ, какъ это предполагаютъ наши лженародники. Впрочемъ господа лженародники и сами говорятъ, что настоящій народъ, въ его недосягаемой нравственной высотѣ и въ непомраченной чистотѣ исконныхъ формъ его быта, можно найти лишь гдѣ-нибудь въ такихъ недосягаемыхъ трущобахъ, какъ сибирская тайга или альпійскія горы: а затѣмъ начинается порча и тѣмъ большая, чѣмъ ближе къ центрамъ цивилизаціи. И Каблицъ въ I т. на 290 стр. въ свою очередь признаетъ, что существуетъ какая-то лучшая часть народа, затѣмъ средняя, а наконецъ и худшая.

Затѣмъ и всѣ беллетристы-народники, начиная съ такихъ глубокихъ знатоковъ крестьянскаго бы-

та, какъ Глѣбъ Успенскій и Н. Златовратскій, и кончая безхитростными фотографами вродѣ Эртеля, Салова и пр., въ одинъ голосъ свидѣтельствуютъ, что народъ вовсе не состоитъ изъ однородной и единомышленной массы. Въ каждой волости и деревнѣ вы найдете свои партіи, которыя борятся не на животъ, а на смерть. Въ нравственномъ-же отношеніи въ свою очередь рядомъ съ неподкупно-честными, цѣльными и доблестными натурами гнѣздятся всѣ тѣ пороки, какіе извѣстны намъ и въ литературной средѣ, и по пословицѣ: что городъ, то норовъ, что деревня, то обычай,—существуютъ на Руси цѣлыя села, глубоко деморализованныя.

И вотъ, если гг. народникамъ придется дѣлать всенародный опросъ относительно желанія народа устроиться такъ или иначе,—то сомнѣнія нѣтъ въ томъ, что, какъ и во всѣхъ крестьянскихъ дѣлахъ, впередъ выступятъ пьяные глоты или-же Колупаевы, Разуваевы и Деруновы. Та-же часть народа, которую Каблицъ именуетъ «лучшею», останется, какъ и нынѣ, въ загонѣ,—и можно себѣ представить, сколь правильное понятіе составятъ наши лженародники о томъ, какіе желаетъ у себя завести народъ порядки; окажется конечно, что желательны порядки очень строгіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и *пьяные*.

Такимъ образомъ дѣло значительно осложняется: оказывается, что лженароднимамъ приходится освобождать народъ не только отъ большинства интеллигенціи, но и отъ самого народа, т. е. лучшую часть его отъ худшей... Но въ такомъ случаѣ какъ-же они обойдутся безъ насилій, хотя-бы только и надъ одной несимпатичной имъ частью народа? Въ томъ-то и дѣло, что ни одна реформа, самая симпатичная въ народномъ духѣ, не можетъ обойтись безъ какихъ бы то ни было насилій относительно враждебныхъ ей элементовъ въ самомъ народѣ. Мы убѣждены, что и освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости не обошлось безъ нихъ.

Но можетъ быть наши лженародники, чтобы быть вполнѣ послѣдовательными своему ученію, ограничатся лишь тѣмъ, что избавятъ народъ отъ большей части интеллигенціи, а затѣмъ предоставятъ ему устраиваться, какъ онъ знаетъ, а сами положатъ руки въ карманы и будутъ смотрѣть, что произойдетъ, ограничиваясь лишь нравственнымъ воздѣйствіемъ.

Но можно предвидѣть, что тогда произойдетъ. Каблицъ на 427 стр. I тома самъ предувѣдомляетъ насъ объ этой блестящей перспективѣ:

«Если мы убѣждены,—говоритъ онъ,—что община—развивающійся организмъ, обобществляющій трудъ, а слѣдовательно и подготовляющій новыя формы экономической жизни, то мы обязаны будемъ всѣми силами поддерживать ее въ борьбѣ съ надвигающимся на нее капитализмомъ. *Можно предположить* (читайте, читайте!), что, несмотря на нашу *поддержку, капитализмъ «слопаетъ» общину; въ такомъ случаѣ намъ остается хотя то утѣшеніе, что мы не причастны этому преступленію. Много хорошаго погибаетъ на свѣтѣ въ борьбѣ со зломъ! Фактъ побѣды не даетъ права признавать побѣдителя за болѣе совершенный организмъ*».

Итакъ, вотъ мы до чего договорились! До утѣшенія себя въ томъ, «что мы не причастны», т. е. до пилатскаго умыванія рукъ! Въ томъ именно и дѣло, что, пока наши лженародники будутъ распинаться противъ двухъ-трехъ марксистовъ, существующихъ въ нашей литературѣ, Деруновы слопаютъ общину, и лженароднимамъ остается одно утѣшеніе, что они не причастны. Вопросъ только, вправѣ-ли они будутъ утѣшать себя въ этомъ?

IV.

Грѣхъ, романъ П. Засодимскаго.

С.-Петербургъ, 1893 года.

I.

Засодимскій, какъ всѣмъ конечно хорошо извѣстно,—не толстовецъ и никогда имъ не былъ. Когда онъ предпринялъ свой романъ «Грѣхъ»,—прекрасный романъ, понравившійся мнѣ несравненно болѣе всего имъ до сихъ поръ написаннаго,—онъ не могъ находиться подъ вліяніемъ послѣдней статьи гр. Л. Толстого «Не-дѣланіе» по той простой причинѣ, что романъ печатался въ «Русскомъ Богатствѣ» въ первой половинѣ нынѣшняго года, статья-же гр. Л. Толстого вышла лишь въ сентябрьской книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника». И между тѣмъ по какимъ-то тайнымъ, неисповѣдимымъ путямъ романъ Засодимскаго служитъ точно какъ-бы иллюстраціей къ статьѣ гр. Л. Толстого, такъ какъ наглядно проводитъ именно ту-же самую идею, какую проводитъ въ своей статьѣ и гр. Толстой. Такое совпаденіе можно объяснить только тѣмъ общеизвѣстнымъ явленіемъ, что когда какая-нибудь идея, открытіе, изобрѣтеніе назрѣваютъ и приходитъ время появленія ихъ на свѣтъ Божій, они иногда появляются разомъ въ нѣсколькихъ концахъ свѣта; является нѣсколько новаторовъ, которые изобрѣтаютъ приблизительно

одно и то-же совершенно независимо другъ отъ друга.

Но романъ Засодимскаго имѣетъ то преимущество, что, иллюстрируя идею, высказанную гр. Л. Толстымъ, онъ освобождаетъ ее отъ той парадоксальности и утрировки, въ какихъ, по своему обыкновенію, представляетъ ее гр. Толстой, и вмѣстѣ съ тѣмъ, облекая ее въ живые образы, миритъ васъ съ ней, показывая ея истинный raison d'être. Все это, вмѣстѣ взятое, невольно наводитъ васъ на нѣкоторыя новыя соображенія относительно идей гр. Л. Толстого и способа ихъ проведенія. Соображенія эти мы намѣрены поставить во главѣ нашего разбора романа г. Засодимскаго.

Какъ всѣмъ хорошо извѣстно, гр. Л. Толстой, съ тѣхъ поръ какъ вѣчный судья далъ ему всевѣдѣніе пророка и онъ сталъ въ очахъ людей читать картины злобы и порока, время отъ времени выступаетъ съ полнымъ и безпощаднымъ отрицаніемъ самыхъ повидимому существенныхъ элементовъ жизни, безъ которыхъ трудно и представить себѣ существованіе образованныхъ человѣческихъ обществъ на землѣ. Такъ постепенно и одно за другимъ отвергъ онъ государственность, промышленность, банки, деньги, искусство, науку, половую любовь и въ концѣ концовъ ополчился на такую существенную основу человѣческаго существованія, какъ столь прославляемый всѣми — и моралистами, и экономистами — трудъ.

Замѣтьте при этомъ, что каждое покушеніе похерить однимъ почеркомъ пера какую-нибудь такую вещь, безъ которой и жизнь казалась бы не красна, естественно влечетъ за собой массу ожесточенныхъ и ядовитыхъ насмѣшекъ надъ гр. Л. Толстымъ и его пресловутымъ ученіемъ. Тѣмъ не менѣе каждый разъ самые ожесточенные противники графа должны бываютъ согласиться, что во многихъ отрицательныхъ пунктахъ онъ бываетъ вполнѣ правъ, что всѣ эти отрицанія основываются на мастерскомъ и глубокомъ анализѣ различныхъ язвъ и нелѣпостей современной намъ жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ и со стороны самого Толстого послѣ каждаго рѣшительнаго штурма какого-нибудь существеннаго элемента человѣческой жизни слѣдуетъ какъ-бы нѣкоторое отступленіе. Гр. Л. Толстой словно самъ чувствуетъ, что онъ перешелъ черезъ край, и начинаются разныя оговорки и разъясненія. Мнѣ сдается, что придетъ время, можетъ быть оно уже и близко, когда ученіе гр. Л. Толстого со всѣми своими страшными отрицаніями утратитъ свою остроту и мнимую радикальность, столь привлекающую однихъ и столь ожесточающую другихъ, и тогда окажется, что въ основѣ ученія лежитъ нѣсколько идей, вовсе не новыхъ, давно уже проводимыхъ многими и европейскими, и русскими мыслителями и никого не пугающихъ, если представить эти идеи въ ихъ будничной наготѣ, совлекши съ нихъ тѣ устрашающіе однихъ и восхищающіе другихъ маскарадные костюмы, въ которыхъ угодно Толстому подносить ихъ публикѣ.

Гр. Л. Толстому очень вредятъ вотъ какія особенности его пера. Во-первыхъ, у него замѣчается неудержимая страсть выражать самыя простыя истины, вродѣ дважды два четыре, не иначе, какъ въ видѣ рѣзкихъ кричащихъ парадоксовъ. Эту страсть онъ раздѣляетъ съ Прудономъ. Послѣдній въ свою очередь любилъ пугать публику отчаянными афоризмами вродѣ пресловутаго la propriété—c'est le vol. Не уступаетъ ему и графъ, когда рѣшительно объявляетъ, что и науки, и искусства, и любовь, и трудъ—одна блажь, суета и человѣческая похоть, ни къ чему не ведущая, какъ лишь къ пресыщенію, разочарованію и отчаянію.

Во-вторыхъ, замѣчается у гр. Л. Толстого какая-то странная удаль поставить каждый вопросъ ребромъ противъ общаго теченія европейской мысли и облечь его при этомъ въ какія-нибудь архаическія, давно отжившія формы, придавая имъ видъ какихъ-то апокалипсическихъ откровеній, опять-таки въ оппозицію противъ тѣхъ новыхъ формъ, въ какихъ тѣ-же идеи практикуются въ образованной средѣ. Онъ этимъ точно какъ будто щеголяетъ, рисуется. Простой, заурядный костюмъ передового европейскаго мыслителя представляется для него слишкомъ банальнымъ и практичнымъ. Ему необходимо выступать передъ публикой не иначе, какъ въ мантіи библейскаго пророка. Остается только ждать, что когда-нибудь онъ явится передъ нами въ черной мантіи съ серебряными звѣздами египетскаго мага.

Но существенный недостатокъ всѣхъ ученій гр. Л. Толстого заключается въ одной весьма важной погрѣшности философской, психической и, если хотите, даже логической.

Дѣло въ томъ, что природа человѣческая, крайне сложная, состоящая изъ многихъ элементовъ, находится въ то-же время въ крайне неустойчивомъ равновѣсіи. Постоянно, вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ, то тотъ, то другой элементъ получаетъ перевѣсъ надъ всѣми другими, не только подчиняетъ ихъ, но старается вытѣснить ихъ совсѣмъ изъ человѣческой природы и сдѣлаться единственнымъ и безусловнымъ содержаніемъ жизни. Вслѣдствіе этого и въ жизни отдѣльныхъ людей, и въ жизни цѣлыхъ народовъ бываютъ моменты, когда все приносится въ жертву одному какому-нибудь началу. То людямъ начинаетъ вдругъ казаться, что спасеніе міра заключается въ религіозно-нравственныхъ стремленіяхъ, всѣ-же другіе инстинкты и потребности, науки, искусства, политика, любовь и пр., и пр. не только подчиняются религіозно-нравственнымъ стремленіямъ и принимаютъ въ господствующемъ движеніи горячее участіе, но порой и совсѣмъ выбрасываются за бортъ жизни. На нихъ начинаютъ смотрѣть, какъ на нѣчто низменное, презрѣнное, суетное, что только отвлекаетъ отъ того главнаго, въ чемъ должна заключаться суть жизни.

Въ другой разъ такую роль играетъ наука, знанія. Начинаютъ смотрѣть на вещи такъ, что все отъ науки и для науки; все остальное должно служить и подчиняться ей, такъ какъ отъ нея одной зависитъ все спасеніе рода человѣческаго. Прочтите Бокля, и вы поймете вполнѣ такую точку зрѣнія. Бокль доказываетъ, какъ дважды два четыре, что весь прогрессъ человѣчества исчерпывается и исключительно зависитъ отъ накопленія и распространенія знаній.

Если Бокль не доходилъ до отрицанія всѣхъ прочихъ элементовъ жизни, то во всякомъ случаѣ опредѣлялъ для нихъ второстепенную, пассивную роль въ движеніи человѣчества; по его мнѣнію, не они двигаютъ прогрессъ, а сами двигаются, влекомые наукой.

А развѣ мы не видимъ въ жизни если не цѣлыхъ обществъ, то отдѣльныхъ людей, такое-же преобладаніе эстетическаго элемента. Вы можете встрѣтить немало художниковъ, поэтовъ, музыкантовъ, которые всѣ съ головы до пятокъ уходятъ въ культъ чистаго искусства: для нихъ не существуетъ никакихъ ни нравственныхъ, ни политическихъ, ни семейныхъ, ни научныхъ интересовъ; на все это они смотрятъ съ презрѣніемъ и свысока. Они не въ состояніи любить женщину, если она не удовлетворяетъ всѣмъ ихъ высшимъ и тонкимъ эстетическимъ требованіямъ, и готовы тотчасъ-же разлюбить ее, если у нея явится на лицѣ хотя-бы одна морщинка или серебряный волосокъ въ головѣ. Цѣлая масса человѣческихъ инстинктовъ и потребностей у нихъ оказываются какъ будто атрофированными: ни семейныя радости ихъ не занимаютъ; ни патріотическіе призывы и общественныя движенія не возбуждаютъ въ нихъ ни малѣйшихъ эмоцій. Глухими и слѣпыми истуканами остаются они ко всему, что совершается вокругъ нихъ, если дѣло не касается культа красоты, которому они себя посвятили.

Такую-же спеціализацію, уродливую односторонность мы можемъ встрѣчать и относительно многихъ другихъ элементовъ человѣческой жизни болѣе или менѣе частныхъ. Рядомъ съ религіозными фанатиками, учеными педантами и эстетическими сластолюбцами, вы встрѣтите эротиковъ (вродѣ напримѣръ Райскаго), которые всю свою жизнь посвящаютъ культу Венеры, ничего не видятъ въ ней выше и слаще страсти нѣжной, причемъ саму эту страсть ограничиваютъ одной только свойственной ей поэзіей,—исключая при этомъ изъ нея всѣ тѣ нравственныя обязанности, которыя соединяются съ нею. Рядомъ съ эротиками встрѣчаются и еще болѣе узкіе односторонники, какъ напримѣръ Скалозубы, для которыхъ ничего не существуетъ въ мірѣ, кромѣ шагистики и ружейныхъ пріемовъ, закорузлые канцелярскіе служаки, которымъ кажется, что вся вселенная движется не иначе, какъ вслѣдствіе тѣхъ входящихъ и исходящихъ бумагъ, надъ которыми они корпятъ всю свою жизнь. А героямъ и рыцарямъ аршина, начиная съ обитателя Лондонскаго Сити и кончая Тятомъ Титычемъ Замоскворѣчья, мерещится, что все и вся въ мірѣ зависитъ отъ тѣхъ купоновъ, которые они считаютъ денно и нощно.

Но всѣ подобнаго рода односторонности не обходятся людямъ даромъ. Если человѣкъ или цѣлое общество не совсѣмъ еще закорузли въ какой-нибудь односторонности, то раньше или позже непремѣнно возникаетъ реакція: всѣ прочіе элементы, пренебреженные и подавленные, возстаютъ, заявляютъ свои права. Господствовавшій-же до того времени элементъ подвергается ожесточенному отрицанію, и при этомъ обыкновенно люди пересаливаютъ, доходя до полнаго отверженія элемента, который, приведенный въ должныя границы, имѣетъ свое право на существованіе. Такъ, преобладаніе въ обществѣ религіозно-нравственнаго движенія, долгое время побуждавшее людей къ аскетическому подавленію самыхъ естественныхъ потребностей, ведетъ за собой нравственную распущенность, доходящую до полнаго пренебреженія нравственными вопросами. Сильное научное движеніе, если оно принимаетъ характеръ исключительнаго увлеченія одними интересами пріобрѣтенія знаній,—можетъ въ свою очередь возбудить въ обществѣ въ концѣ-концовъ реакцію скептицизма въ томъ, чтобы наука была способна достигнуть такихъ чудесъ, какихъ отъ нея ожидали. Отъ такого скептицизма одинъ шагъ и до полнаго отрицанія науки, и тогда начинается дѣлежъ ея царства. Религіозные мистики тянутъ это царство въ свою сторону, приглашая людей оставить помышленіе добиваться разрѣшенія вопросовъ жизни отъ шаткихъ гаданій ученыхъ гелертеровъ и обратиться къ вѣчному источнику ихъ теософической премудрости. Метафизики, глумясь надъ безсиліемъ положительныхъ знаній, влекутъ въ свои метафизическіе туманы. Эстетики увѣряютъ, что тысячи научныхъ фоліантовъ ничего не стоютъ въ сравненіи съ Венерой медиційской или Мадонной Рафаэля и пр., и пр.

Нечего и говорить о томъ, что жизнь европейскихъ обществъ втеченіи XIX столѣтія далеко не находилась въ такомъ идеальномъ равновѣсіи, въ какомъ впрочемъ она и никогда еще не встрѣчалась на землѣ. При буржуазномъ строѣ европейскихъ обществъ, при господствѣ капитализма, промышленно-торговые, матеріальные интересы преобладаютъ надо всѣми прочими. Все зависитъ отъ капитала и несетъ ему посильную дань. Вопросы объ увеличеніи матеріальнаго благосостоянія всюду стоятъ на первомъ планѣ. Всѣ труды и завоеванія науки главнымъ образомъ устремлены къ тому, чтобы, покоряя стихійныя силы природы и извлекая изъ нея все, что возможно, все это класть къ ногамъ капитала. Большинство изобрѣтеній носитъ если не военно-истребительный характеръ, то промышленный, служитъ къ тому, чтобы легче, скорѣе и успѣшнѣе сколачивать милліоны или-же комфортабельнѣе и слаще пользоваться ими.

Вопросы нравственные, инстинкты правды, любви и самопожертвованія подавлены и пренебрежены. Отъ нихъ отдѣлываются, какъ отъ машинальнаго обряда, представляющаго жалкій остатокъ забытаго культа, платя скудную лепту въ какое-нибудь благотворительное заведеніе и въ то-же время потѣшаясь надъ пользой филантропіи, считая ее блажью выжившихъ изъ ума старухъ, чѣмъ-то вродѣ гранпассіанса. Замѣтьте, что даже люди, въ которыхъ не угасли альтруистическіе инстинкты, которые заботятся не объ одной личной наживѣ, а имѣютъ глупость ломать голову надъ вопросомъ о поднятіи благосостоянія рабочихъ массъ, тонущихъ въ нищетѣ и порокахъ, и тѣ приносятъ свою дань господствующему принципу вѣка въ томъ отношеніи, что на первый планъ ставятъ увеличеніе благосостоянія массъ чисто матеріальное.

И вотъ, если мы возьмемъ все это во вниманіе, то вмѣстѣ съ Дюма мы можемъ съ большой досто-

вѣрностью предсказать, что дѣйствительно нравственно-альтруистическіе инстинкты, подавляемые нынѣ господствующими матеріальными интересами, могутъ въ одинъ прекрасный день возстать и въ свою очередь воцариться въ жизни европейскихъ обществъ. Эта реакція, какъ это и всегда бываетъ при подобныхъ случаяхъ, не замедлитъ пересолить въ противоположную сторону; возникнетъ въ свою очередь полное отрицаніе заботъ о матеріальномъ благосостояніи, вмѣстѣ со всѣми торгово-промышленными интересами. Явится стремленіе къ крайнему упрощенію жизни, довольству немногимъ, аскетическому подавленію всѣхъ самыхъ естественныхъ потребностей. И наука, и искусство, и любовь,—все будетъ пожертвовано удовлетворенію возобладавшимъ надо всѣмъ и вся альтруистическимъ стремленіямъ. И будетъ это продолжаться до тѣхъ поръ, пока человѣчество опять не ударится въ стѣну.

II.

Обратите теперь вниманіе на характеръ всѣхъ ополченій гр. Л. Толстого на различные существенные элементы нашей жизни, и вы увидите, что въ основѣ всѣхъ ихъ лежитъ одно и то-же совершенно справедливое и естественное чувство ненормальности современнаго строя европейской жизни. Графъ имѣетъ полное право нападать на науку за ея высокомѣрное гелертерство и узкій педантизмъ, за то безсердечіе, съ какимъ она, помогая людямъ истреблять другъ друга, и всѣ свои изобрѣтенія и открытія жертвуя въ пользу капитала, въ то-же время становится на точку зрѣнія такъ-называемыхъ «научнаго индифферентизма» и «объективнаго безпристрастія» всякій разъ, когда дѣло касается жгучихъ вопросовъ, поставленныхъ Гейне:

Отчего подъ ношей крестной
Весь въ крови влачится правый?
Отчего всегда безчестный
Встрѣченъ почестью и славой?

Какъ нельзя болѣе правъ Л. Толстой и тогда, когда нападаетъ на то чистое искусство, которое, не будя въ насъ никакихъ высшихъ нравственныхъ инстинктовъ, только щекочетъ и раздражаетъ нервы, направляя отъ эстетическихъ наслажденій къ эротическимъ восторгамъ, и въ концѣ-концовъ растлѣваетъ насъ и ведетъ къ полному нравственному паденію, разврату и вырожденію.

Правъ Л. Толстой, когда возстаетъ онъ и на такъ-называемую «поэзію страсти нѣжной», разъ эта поэзія обращается въ своего рода искусство для искусства, когда люди, увлекаясь поэзіей нѣжной страсти, ничего не видятъ въ ней кромѣ одной поэзіи, и тотчасъ-же малодушно и дрянно уклоняются, когда дѣло переходитъ отъ поэзіи къ прозѣ, и возникаетъ рядъ нравственно соціальныхъ вопросовъ и заботъ, рѣшеніе которыхъ обязательно для каждаго, кто увлекся поэзіей нѣжной страсти.

Но Л. Толстой глубоко ошибается въ томъ, что вмѣсто того, чтобы совершать всѣ свои отрицанія во имя гармоническаго равновѣсія элементовъ человѣческой природы, которое должно составлять идеалъ человѣческой жизни, при каждомъ своемъ ополченіи имѣетъ въ виду противоположную крайность, нѣчто въ свою очередь одностороннее и потому ведущее за собой уродованіе и искаженіе человѣческой природы. Главнымъ образомъ всѣ свои отрицанія графъ Толстой совершаетъ во имя преобладанія нравственно-альтруистическаго принципа, которому онъ стремится покорить всѣ прочіе элементы человѣческой природы. Но какъ ни прекрасны, ни возвышенны сами по себѣ альтруистическія стремленія, какъ ни необходимы они въ нашей жизни, но, взятыя изолированно отъ прочихъ элементовъ, они являются такими-же несостоятельными и въ такой-же степени безсильны наполнить нашу жизнь и повести къ добру и счастью. За примѣрами ходить не далеко. Исторія представила намъ немало уже сектантскихъ движеній, въ которыхъ отвергалось все земное: и слава родины, и науки, и искусства, и бракъ, и пр., и пр. — во имя духовно-нравственныхъ стремленій. Въ результатѣ получалось безжизненное, безцвѣтное и безплодное существованіе въ страшной душевной пустотѣ и безпробудномъ мракѣ. А затѣмъ слѣдовала реакція плоти: люди спѣшили жадно насладиться всѣми земными благами, наверстать потерянное и ударялись въ полное отрицаніе всѣхъ альтруистическихъ стремленій.

Того-же самаго заблужденія не избѣгъ гр. Л. Толстой и въ своемъ новомъ походѣ на трудъ.

. .«Меня всегда уже давно поражало,—говоритъ гр. Толстой, въ своемъ трактатѣ «Не-дѣланіе», —то удивительное, утвердившееся особенно въ Западной Европѣ, мнѣніе, что трудъ есть что-то вродѣ добродѣтели, и еще гораздо прежде, чѣмъ прочесть это мнѣніе, ясно выраженное въ рѣчи г. Зола, я уже не разъ удивлялся на это странное значеніе, приписываемое труду.

«Вѣдь только муравей въ баснѣ, какъ существо, лишенное разума и стремленія къ добру, могъ думать, что трудъ—есть добродѣтель, и могъ гордиться имъ.

«Г. Золя говоритъ, что трудъ дѣлаетъ человѣка добрымъ; я-же замѣчалъ всегда обратное: сознанный трудъ, муравьиная гордость своимъ трудомъ дѣлаетъ не только муравья, но и человѣка жестокимъ. Величайшіе злодѣи человѣчества всегда были особенно заняты и озабочены, ни на минуту не оставаясь сами съ собой, безъ занятій или увеселеній.

«Но если даже трудолюбіе не есть явный порокъ, то ни въ какомъ случаѣ оно не можетъ быть добродѣтелью. Трудъ такъ-же мало можетъ быть добродѣтелью, какъ питаніе. Трудъ есть потребность, лишеніе которой составляетъ страданіе, но никакъ не добродѣтель. Возведеніе труда въ достоинство есть такое-же уродство, какимъ-бы было возведеніе питанія человѣка въ достоинство и добродѣтель. Значеніе, приписываемое труду въ нашемъ обществѣ, могло возникнуть только какъ реакція противъ праздности, возведенной въ признакъ благородства и до сихъ поръ еще считающейся признакомъ достоинства въ богатыхъ и мало образованныхъ классахъ. Трудъ, упражненіе своихъ органовъ, для человѣка есть всегда необходимость, какъ о томъ одинаково свидѣтельствуютъ телята, скачущіе вокругъ кола, къ которому они привязаны, и люди богатыхъ классовъ, мученики гимнастики, всякаго рода игръ: картъ, шахматъ, launtennis'a, не умѣющіе найти болѣе разумнаго упражненія своихъ органовъ.

«Трудъ не только не есть добродѣтель, но въ на-

шемъ ложно организованномъ обществѣ есть большею частью нравственно анестезирующее средство, вродѣ куренія или вина, для скрыванія отъ себя неправильности и порочности жизни» и т. д.

Во всемъ трактатѣ это единственное мѣсто, не подлежащее спору. Все остальное, что говоритъ гр. Л. Толстой, возбуждаетъ въ каждомъ здравомыслящемъ человѣкѣ одну улыбку.

Дѣйствительно, трудъ самъ по себѣ вовсе не представляетъ добродѣтели, а есть лишь необходимость, какъ и питаніе, и ставить его безусловно во главѣ человѣческой жизни такъ-же неправильно, какъ и науку, и искусство, и любовь, и самый тотъ альтруизмъ, за который такъ распинается гр. Л. Толстой. Но изъ того, что трудъ не можетъ служить всеобщимъ принципомъ жизни, вовсе не слѣдуетъ совсѣмъ вычеркивать его изъ нея. А между тѣмъ гр. Л. Толстой, который самъ-же признаетъ трудъ потребностью на одной ступени съ питаніемъ, «*лишеніе которой составляетъ страданіе*», отрицаетъ этотъ самый трудъ, провозглашая *не-дѣланіе*, съ тою цѣлью, чтобы человѣчество, отбросивъ въ сторону анестезирующій его гашишъ въ видѣ проклятаго труда, могло на досугѣ одуматься и проникнуться взаимною любовью. Я предоставляю воображенію моихъ читателей нарисовать поразительную картину той невѣроятной катастрофы, которая произошла-бы, если-бы человѣчество хотя-бы на одну недѣлю закрыло всѣ мастерскія и лавочки и усѣлось по-турецки, на корточки, проникаться альтруизмомъ. Самъ-же я не намѣренъ останавливаться на подобныхъ абсурдахъ, тѣмъ болѣе, что цѣль моей статьи вовсе не обсужденіе мыслей гр. Л. Толстого о трудѣ, а романъ Засодимскаго, къ которому я наконецъ и приступлю.

III.

Какъ я говорилъ уже выше, романъ Засодимскаго имѣетъ дѣло съ той самой идеей, которая проведена и въ статьѣ гр. Л. Толстого, именно, что трудъ самъ по себѣ вовсе не есть добродѣтель, а, напротивъ того, «*сознанный трудъ, муравьиная гордость своимъ трудомъ, дѣлаетъ не только муравья, но и человѣка жестокимъ*».

Въ виду этой идеи Засодимскій ведетъ насъ въ самый что ни на есть центръ труда: въ русскую крестьянскую волость Никольщину, затерянную въ сѣверныхъ лѣсныхъ трущобахъ. Отдаленность отъ всякихъ городскихъ центровъ обусловливала то, что въ волости этой сохранялись незыблимо стародавніе общинные порядки.

«На общину,—по словамъ г. Засодимскаго,—никольщинцы смотрятъ, какъ на такой порядокъ земельнаго уклада, которому во вѣки вѣковъ не будетъ конца. Здѣсь никому и въ голову никогда не приходило, чтобы кто-нибудь могъ сдѣлать землю своей собственностью. «Каждая семья должна получать общинной земли столько, сколько нужно на ея потребу и сколько можетъ она сама обработать», — такъ гласитъ неписанный, но непреклонный законъ никольщинской общины. Конечно на дѣлѣ «міру» приходилось иногда отступать отъ этого основного закона — по недостатку земли, но и при этомъ земля все-таки дѣлилась строго согласно потребностямъ домохозяевъ. Замѣчательно, что въ Никольщинѣ, въ этомъ дикомъ, медвѣжьемъ углу, нищихъ гораздо меньше, чѣмъ въ другихъ волостяхъ, находящихся ближе къ городу и отвѣдавшихъ мутныхъ подонковъ фабрично-городской образованности. Старыхъ, больныхъ и сирыхъ, т. е. людей буквально не могущихъ работать, община кормила безъ особаго отягощенія, такъ какъ пользовалась землей, приходившейся на долю этихъ бѣдняковъ. Лѣтъ 10 тому назадъ прошли слухи о томъ, что ѣздятъ какіе-то чиновники изъ Питера и спрашиваютъ крестьянъ: «не хотятъ-ли они *порушить общину?*» Въ отвѣтъ на подобные нелѣпые слухи никольщинцы только, молча, качали головой.

«Никольщина и до сего дня представляется настоящимъ цѣльнымъ осколкомъ той лѣсной общины, что засѣла на русской землѣ еще задолго до царей Ивановъ, и понынѣ крѣпко держится въ родной почвѣ...»

Въ то-же время, вслѣдствіе суроваго климата и скудной почвы, каждая пядь земли воздѣлывается, каждый кусокъ хлѣба достается здѣсь болѣе чѣмъ гдѣ-либо тяжкимъ, каторжнымъ трудомъ. Прежде чѣмъ вспахать и засѣять полосу, приходится зачастую расчищать цѣлины, выкорчевывая крѣпко засѣвшіе въ землю старые пни дѣвственнаго лѣса. Естественно, что на трудъ никольщинцы смотрятъ съ благоговѣніемъ, какъ на альфу и омегу жизни; и еще-бы: все крестьянское благосостояніе зависитъ отъ труда и малѣйшее послабленіе въ немъ грозитъ гибелью.

Главный герой романа, Григорій Петровъ по прозвищу Чабанъ, рослый, здоровый, сильный старикъ, лѣтъ 80-ти, является передъ нами именно своего рода педантомъ труда, доведшимъ свое поклоненіе этому источнику жизни до той непреклонной, жестокой исключительности, въ которой средство заставляетъ забывать о цѣли и само дѣлается самодовлѣющей цѣлью.

Чабанъ былъ зажиточнымъ крестьяниномъ; его считали на селѣ даже богатымъ, такъ какъ на днѣ его сундука въ тряпьѣ хранилось до 500 рублей, а въ Никольщинѣ крестьянинъ, имѣвшій въ запасѣ сотню рублей, уже считался богатымъ. Чабанъ не былъ скупъ, но только разсчетливъ, бережливъ. Онъ зналъ, что, стрясись бѣда, обѣднѣй онъ, ему можетъ быть и пособятъ, а можетъ быть — и нѣтъ Значитъ, прежде всего нужно было не плошать, на себя надѣяться и припасти денежку про черный день. Вслѣдствіе этого онъ былъ жаденъ на работу. У него раньше всѣхъ была вспахана весенняя пашня, раньше всѣхъ онъ начиналъ косить, жать, молотить, раньше всѣхъ кончалъ работы; раньше всѣхъ ѣхалъ въ лѣсъ за дровами. Онъ готовъ былъ надорваться на работѣ. Изъ всѣхъ человѣческихъ слабостей онъ не могъ простить только лѣность. Свою жадность къ работѣ онъ съумѣлъ сообщить и своей женѣ Ульянѣ, и сыну Алексѣю. Многіе крестьяне Никольщины, раздѣлявшіе его взгляды, ставили ему въ заслугу жадность къ труду. «Мужикъ обстоятельный, домовитый!» — говорили про него въ деревнях.

Но былъ одинъ человѣкъ въ Никольщинѣ, который смотрѣлъ на жадность къ труду Чабана совсѣмъ съ другой точки зрѣнія. Это былъ портной Прокопій Васильевъ, дальній родственникъ Чабана. Прокопій жилъ то въ уѣздномъ городѣ, то шатался по дерев-

нимъ, обшивая крещеный людъ. Онъ былъ вдовъ, оздѣтенъ, зналъ грамоту, любилъ почитать хорошую нижку и былъ склоненъ помечтать, помудрствовать, отолковать о суетѣ мірской, о правдѣ и кривдѣ, о обрѣ и злѣ и т. п. болѣе или менѣе отвлеченныхъ редметахъ. Онъ былъ не прочь выпить, а въ подыпитіи особенно любилъ поговорить по душѣ. Сидячій трудъ и водка сломили преждевременно его здоовье. Прокопій — по натурѣ человѣкъ добрый, ягкій и ласковый — подъ вліяніемъ житейскихъ невзгодъ и болѣзней сталъ рѣзокъ, раздражителенъ и порой бывалъ упрямъ, «какъ чортъ», по словамъ нѣкоторыхъ повидимому близко знакомыхъ съ качествами этого нечистаго духа.

Чабанъ не любилъ Прокопія, называлъ его пустымъ человѣкомъ, «вѣтреной мельницей», но и Прокопій не оставался передъ нимъ въ долгу. Такъ, когда Чабанъ женилъ сына, вотъ какой внушительный разговоръ произошелъ у него съ Прокопіемъ въ присутствіи всего сельскаго міра, пировавшаго на свадьбѣ.

«— Смотри, Петровичъ,—не замай молодуху-то!—сказалъ портной Чабану, перебирая длинными желтыми пальцами свою рѣденькую бородку.

— Кто-же ее будетъ маять!.. Все это ты пустое...—нехотя проговорилъ Чабанъ, посматривая вдоль деревенской улицы.

— То-то «кто» ...—продолжалъ Прокопій, не сводя со старика своихъ темныхъ глазъ. — Я вѣдь, братъ, знаю тебя довольно... Больно ты жаденъ на работу! Ты, какъ лошадь горячая, готовъ и самъ надорваться, и другихъ надорвать на работѣ... Да и всѣ вы, вся ваша семья Чабанья такая жадная... Вы рады на полѣ-то пластомъ распластаться.

— Не по твоему-же... знамо дѣло! — возразилъ старикъ, сердито передернувъ на себѣ поясъ.—Ты вотъ три стежки сдѣлаешь, да за водку, либо часъ цѣлый языкъ чешешь... знаемъ тебя тоже!

— Еще-бы меня-то не знать!—съ радостной усмѣшкой перебилъ портной.—Меня,братъ,вся округа знаетъ! Куда ни придешь—въ городъ-ли, въ деревнюшку-ли, сейчасъ: «Прокопій Васильевичъ! Милости просимъ!»... даже малые младенцы Прокопія знаютъ... Такъ-то, другъ! Только дѣло теперь не въ томъ,.. Я говорю: жаденъ ты... И молодуху-то, гляди, загоняешь! Вѣдь ты радъ помереть на работѣ. Вѣрно?.. Скажемъ примѣрно: нажнетъ тебѣ баба суслоновъ восемь въ день,—а ты ей: «Отчего не десять?». Нажнетъ десять суслоновъ,—ты и тутъ не уймешься... Разорвись на двое, а ты скажешь: «Отчего не на четверо?... Вонъ, говорятъ, ты со старухой иной разъ до свѣту съ фонаремъ ходишь въ лѣсъ за рыжиками... Рыжикамъ-то не дашь вырости!

Въ толпѣ послышался смѣхъ.

— А ты еще бахвалишься, кичишься! — продолжалъ портной, съ вызывающимъ видомъ приступая къ старику.

— Оставь, Прокопій! Все пустое болтаешь, зря... самъ не знаешь что... Слушать тошнехонько!—слегка дрогнувшимъ голосомъ проворчалъ Чабанъ, отвертываясь отъ портного: было очевидно, что тотъ задѣлъ его за живое.—У насъ—по крестьянству—иначе нельзя... На печкѣ валяться не приходится: печь вѣдь не прокормитъ! Не по твоему-же всѣмъ лодырничать!—огрызнулся Чабанъ.

— Я и самъ не лодырничаю, свой хлѣбъ ѣмъ, подъ окнами не прошу, работаю—сколько надо, а на работѣ—это точно—не убиваюсь, да и убиваться не желаю... Ты, братъ, думаешь: человѣку много надо для прожитія! Одеженку какую ни на есть, хлѣба кусокъ, да въ непогодь крышу какую-нибудь нераженькую... Вотъ тѣ и все! А тебѣ, Петровичъ, грѣхъ на недостатки пожаловаться: про черный день у тебя денежки есть...

— А ты видалъ мои денежки-то? считалъ? — со злой усмѣшкой спросилъ Чабанъ.

— Не считалъ... не люблю этимъ дѣломъ заниматься!—сухо промолвилъ Прокопій. — Потомъ-же амбаръ у тебя завсегда полонъ... Жить можешь припѣваючи. Ну, чего тебѣ еще надо?

— А тебѣ чего отъ меня надо? Чего ты ко мнѣ пристадъ, ровно банный листъ?—тяжело дыша, заговорилъ Чабанъ и посмотрѣлъ на портного. Прокопій въ свою очередь поглядѣлъ на него, глаза ихъ встрѣтились на мгновеніе... Чабанъ плюнулъ и отвернулся: онъ не могъ долго выдерживать настойчиваго, горячаго взгляда темныхъ впалыхъ глазъ.

— Я, братъ, не обижать хочу,—сказалъ портной,—а говорю къ тому, что изъ-за этой самой жадности у тебя времячка нѣтъ о другомъ подумать...

— Это о чемъ-же? О баловствѣ? — впадая опять въ насмѣшливый тонъ, спросилъ старикъ.

— Что-жъ о баловствѣ думать! Коли захочется баловать—побалуешь, да и шабашъ! — какъ-бы не замѣчая насмѣшки, спокойно отозвался Прокопій. —Не въ баловствѣ, братъ, дѣло, не о томъ рѣчь идетъ...

— А о чемъ-же?—ухмыляясь, перебилъ Чабанъ.

— А вотъ о томъ, что ты только и помышляешь, какъ-бы лишній грошъ въ карманъ залучить... О душѣ тебѣ подумать некогда!..

— Ой, парень? Мужики-то, можетъ, побольше вашего въ душѣ думаютъ... — многозначительно, тихимъ голосомъ замѣтилъ Чабанъ.»

Какъ видите, рѣчи Прокопія были совершенно въ духѣ Л. Толстого; но съ тою громадною разницею, что Прокопій не проповѣдывалъ «не-дѣланія», а лишь нападалъ на излишнюю жадность на трудъ, заставлявшую Чабана ради корысти тиранить своихъ домочадцевъ непосильной работой и оставаться глухимъ и слѣпымъ къ нуждѣ и горю своихъ ближнихъ. Все выводя изъ труда и сводя къ труду, Чабанъ объяснялъ всякое постороннее несчастіе не иначе, какъ лѣнью и недостаткомъ трудолюбія. Такъ, выдавши свою дочь Лизавету за мужика, оказавшагося вялымъ, рохлымъ и неудачливымъ, онъ сначала помогалъ имъ, хотя и морщился, а потомъ, увидѣвъ, что позаимствованіямъ не предвидится конца, рѣшительно сказалъ:

— Шабашъ, парень! Будетъ!.. Съумѣлъ ребятъ нажить, умѣй самъ и хлѣбъ промышлять!

Лизавета очутилась между двухъ огней. Придетъ она на Кунаево, отецъ пилитъ ее съ мужемъ «лежебоками, пустокормами»... А дома Иванъ поноситъ ее, какъ нельзя хуже, а иной разъ, подвыпивши, и по загривку дастъ или за косу рванетъ и на весь дворъ кричитъ:

— Не хочешь ничего у отца выпросить!.. И чортъ меня связалъ съ вами... Провалиться-бы вамъ!..

Съ такой непоколебимой сердечной черствостью отнесся Чабанъ къ Лизаветѣ и тогда, когда она пришла просить у отца денегъ на уплату недоимки, за которую мужа ее собирались выпороть въ волости.

— Сказано: не дамъ — и не дамъ!— проворчалъ старикъ. — Горбъ-то я гнулъ всю жизнь нѣшто для того, чтобы за дармоѣдовъ подать вносить! Ха!.. Не терплю лежебоковъ! Ну, на коего лѣшаго онъ женился? Не можетъ жену съ двумя малыми ребятами прокормить.. Вахлакъ!.. Ну, добро-бы какой

уродъ, безрукій, либо безногій... ну, такъ!.. А то вѣдь мужикъ въ силѣ... И пускай выпорятъ, пускай ему... Да прутья-то ему что! Коломъ-бы его...

Но наступилъ и конецъ этому характерному крестьянскому черстводушію. Надъ домомъ Чабана неожиданно разразилась гроза. Жена его сына, молодуха Аннушка, выдалась баба кроткая, смирная и, къ удовольствію Чабана, здоровая и ретивая въ работѣ. Онъ очень благоволилъ къ ней, до того, что даже жена и сынъ начали подозрѣвать старика въ наклонности къ снохачеству, хотя ничего нечистаго и въ мысляхъ у него не было.

Однажды, когда онъ съ семьей и сыномъ отправился на дальній сѣнокосъ, имъ пришлось переби-раться черезъ быструю Пудегу на утломъ плотѣ. Плотъ опрокинулся и всѣ попадали въ воду. Кое-какъ выбрались на берегъ; одна Аннушка пошла ключемъ ко дну. Но этого мало, что она утонула... Въ то мгновеніе, когда всѣ барахтались въ водѣ и спасались, кто какъ могъ, Аннушка ухватилась за стараго Чабана Тотъ держался уже за веревку, но, не соображая, что уже спасся, какъ безумный, не оглядываясь, вырвался изъ рукъ Аннушки и, вырываясь, сильно ударилъ ее ногой въ грудь... Жалобный, тоскливый голосъ ея вдругъ замолкъ... И въ тишинѣ лѣтняго утра только слышалось веселое чириканье и щебетанье пташекъ въ прибрежныхъ кустахъ. Никто уже болѣе не хватался за Чабана... Аннушка уже не показывалась изъ воды.

Страшно подѣйствовала на Чабана эта катастрофа, а болѣе всего то, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ былъ виновникомъ смерти Аннушки, такъ какъ она цѣплялась за него, а онъ ее оттолкнулъ. Онъ потерялъ и сонъ, и аппетитъ. Весь Божій свѣтъ ему сдѣлался не милъ. Предсмертные вопли Аннушки:— «Батя!.. Голубчикъ!.. Родной! Не отталкивай... Не покинь!» — постоянно раздавались въ его ушахъ и всюду преслѣдовали его... Напрасно онъ искалъ людского суда ради успокоенія своей совѣсти: каялся крестьянскому міру, ходилъ за 100 верстъ въ городъ къ исправнику, мировому, обращался и къ попу. Онъ оказался неподсуднымъ человѣческому суду. И только тотъ-же портной Прокопій, который преслѣдовалъ его своими обличительными рѣчами, наставилъ его на путь истинный.

«— Ежели спрашиваешь,—отвѣчалъ онъ старику,—такъ скажу тебѣ, что, по моему разумѣнью, тебѣ нужно перво-на-перво быть пожалостливѣе, нужно съ людьми помириться! Ты ужъ больно къ другимъ строгъ да суровъ... немилостивъ! Помиришься съ людьми, перестанешь возноситься надъ ними—и съ совѣстью заживешь въ ладу. Вотъ какъ я смекаю.

— А нѣшто я былъ врагъ людямъ-то? - съ тайнымъ раздраженьемъ спросилъ Чабанъ.

— Знамо дѣло, не другъ! - отозвался Прокопій,—я вѣдь тебѣ ужъ не разъ говорилъ про то, да ты слушать не хотѣлъ. А я говорилъ, жалѣючи тебя. Вѣдь ты у насъ былъ ровно вотъ снѣговой дѣдушка, бѣлый, чистый, да холодный и высокій такой, клюкой недостать .. О себѣ, да о своемъ прилодѣ только у тебя было и думушки. Что-жъ! По твоему и для покойной невѣстки ты другомъ былъ, когда въ воду ее толкалъ? А по моему - говорю: будь жалостливъ! Ежели тебѣ доведется увидѣть человѣка въ погибели, спасай, не давай ему тонуть. . Забудь о себѣ-то, не бойся ногъ промочить.

— Гм!—усмѣхнулся старикъ.—И радъ-бы спасти теперь кого ни на есть. Да вѣдь у насъ, братъ, на рѣкѣ не каждый день тонутъ!.. А ежели-бы ..

— Нѣтъ, Петровичъ! Постой! - перебилъ его Прокопій.—Я совсѣмъ не о томъ... не о рѣкѣ! Въ Пудегѣ у васъ, извѣстно, не каждый день тонутъ, храни Богъ. О другой погибели говорю. Люди-то вокругъ насъ повсечасно тонутъ. Одинъ тонетъ въ горѣ, другой - въ нуждѣ, а иной въ своей-же злобѣ захлебывается. Вотъ о комъ я говорю! Этихъ спасай, не отталкивай отъ себя! Разумѣешь, Петровичъ?..»

Слова Прокопія глубоко запали въ душу старика; мало-по-малу сердце его растаяло, и онъ освободился отъ своего черствого высокомѣрія. Первымъ дѣломъ онъ простилъ своего зятя, когда тотъ съ отчаянія забрался ночью въ амбаръ тестя и обокралъ его. Затѣмъ ни одинъ нуждающійся и обращающійся къ нему за помощью односельчанинъ не уходилъ отъ него съ пустыми руками. Никто отъ него уже не слыхалъ прежнихъ рѣзкихъ приговоровъ и осужденій по поводу людской нерадивости и лѣни. Съ семьянами онъ былъ ровенъ и тихъ, ругательныя слова съ языка его не срывались. Онъ былъ серьезенъ, спокоенъ, и улыбка у него сдѣлалась добрая, мягкая. Работалъ онъ нелѣностно, но не такъ, чтобы могъ зарьять на работѣ.

Разговоровъ о Чабанѣ въ Никольщинѣ было не мало. Люди зажиточные и богатые прямо глумились надъ нимъ и говорили, что старикъ изъ ума выжилъ. Но большинство никольщинцевъ однако съ богачами не соглашалось и не считало Чабана за сумасшедшаго.

Все это разсказано съ яркою художественностью и съ рѣдкимъ знаніемъ народной крестьянской жизни.

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

встрѣчающихся въ книгѣ именъ писателей и заглавій ихъ произведеній *).

А.

Абрамовъ.—II, 872.
Авдѣевъ, М.—I, 75—84, 426, 556.
Авенаріусъ, В.—I, 29, 61—62, 174.
Аверкіевъ.—I, 580.
Авсѣенко.—II, 339.
Адамъ Смитъ.—I, 246, 262, 423, 739.
Аксаковъ, К.—I, 310—312, 496, 766, 768, 769, 776.
Аксаковъ, С.—II, 156, 550, 593, 594, 595, 597, 600.
Александровъ.—I, 580.
«Алеша Поповичъ», был. А. Толстого.—II, 155.
«Али-Гафизъ», ск. Вагнера—I, 717, 718.
«Альбертъ», пов. Л. Тостого.—I, 641, 643.
«Альбомъ—группы и портреты», соч. Хвощинской.—II, 71.
«Альфъ и Альдона», р. Кукольника.—II, 681.
Андреевскій.—II, 829, 831.
Андреевъ, А.—II, 654.
«Анна Каренина», р. гр. Л. Толстого.—II, 313—336, 369, 508, 513, 531, 532.
Анненковъ.—I, 205, 313, 322.
Антоновичъ.—II, 771.
«Антонъ Горемыка», Григоровича.—I, 379; II, 180—183.
«Арабески», пов. Гоголя.—I, 653, 679.
«Арапъ Петра Великаго», пов. Пушкина.—II, 571, 574—577, 580, 620, 683.
«Аристіонъ», пов. Нарѣжнаго.—II, 567.
Аристофанъ.—II, 846.
«Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра Перваго», р. Загоскина.—II, 617—619.
«Ася», пов. Тургенева.—I. 508.
«Attalea princeps», раз. Гаршина.—II, 439.
Ауэрбахъ.—I, 194.
«Аукціонъ», ст. Некрасова.—II, 284.
«Аховскій посадъ», оч. Левитова.—II, 209.

Б.

Баланчъ.—I, 188, 614, 615, 725, 743, 746, 749.
Байронъ.—I, 145, 194, 212, 221, 222, 234, 235, 280, 281, 284, 297, 304, 370, 541, 581, 589;—II, 7, 15, 134, 137, 146, 147, 153, 159, 426, 471, 679, 846, 847, 848, 851.
Бакунинъ.—I, 334, 358, 512.
Бакюляръ Арно.—I, 230.
«Балъ», Одоевскаго.—I, 269.
Бальзакъ.—I, 249, 351, 356;—II, 137.
Барантъ.—I, 506.
Баратынскій.—I, 241, 274, 288, 369, 831.
Барбье—I, 249.
«Баритонъ», пов. Хвощинской.—I, 677, 678.
«Басурманъ», р. Лажечникова.—II, 200, 642, 649, 650—652.
Батюшковъ.—II, 688.
Бауманъ.—II, 747, 749.
Башуцкій.—II, 247, 258, 653.
«Безпечальный народъ», оч. Левитова.—II, 229.
«Безприданница», ком. Островскаго.—II, 715.
Бенедиктовъ.—I, 295, 322, 324;—II, 677, 680.
Бентамъ.—I, 267.
Бенъ-Джонсонъ.—I, 122.
«Береза», ск. Вагнера.—I, 710.
Бернгардъ Беккеръ.—I, 100.
Берне.—I, 351 541.
Бернетъ.—II, 246.
«Благодѣтельный Андроникъ», пов. Кукольника—II, 681.
Благосвѣтловъ.—II, 772, 773, 780.
«Блаженненькая», оч. Левитова.—II, 224.
«Благородный театръ», ком. Загоскина.—II, 594.
Боборыкинъ.—II, 8, 830, 838.
«Богатый женихъ», Писемскаго.—I, 462.
«Богатыри», р. Саліаса.—II, 1.
«Богатыя невѣсты», ком. Островскаго.—II, 715.
«Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ», пов. Л. Толстого.—I, 670.
Бокль.—I, 13, 102, 103, 752;—II, 80, 879.
Болдыревъ.—I, 278.
«Большая медвѣдица» р. Хвощинской.—I, 672, 676, 694 697, 701.
«Борисъ Годуновъ», траг. Пушкина.—I, 237, 284;—II, 26, 573, 574.
«Борисъ Годуновъ», хр. А. Толстого.—II, 163
Борисъ.—II, 138.
«Бородино», Лермонтова.—I, 653; II, 292.
«Бородинская годовщина», ст. Бѣлинскаго.—I, 321, 358, 503, 538;—II, 271.
Бороздинъ, К. Н.—II, 572.
Боткинъ.—I, 341.
Брамбеусъ. I, 325.
«Бригадиръ», Одоевскаго.—I, 269.
Бродящія силы, р. Авенаріуса.—I, 30, 61.
Брынскій лѣсъ, р. Загоскина.—II, 620.
Брюловъ.—I, 297;—II, 678.
Буало.—I, 223.
«Буддизмъ въ наукѣ», Герцена.—I, 428, 549, 552
«Буддизмъ, его догматы, исторія и

*) Страницы, обозначенныя огуломъ и жирнымъ шрифтомъ, показываютъ что въ нихъ соотвѣтствующій писатель или произведеніе составляютъ главный предметъ рѣчи. Изъ произведеній обозначены лишь крупныя; мелкія стихотворенія опущены. Равно опущены и всѣ названія, встрѣчающіяся въ приводимыхъ цитатахъ.

литература», ст. Добролюбова. — I, 471.
Булгаринъ. — I, 250, 253, 254, 287, 295, 325; II, 36, 246, 259, 340, 341, 345, 654, 680, **690—697**, 826.
Буренинъ. — II, 830.
«Бурсакъ», р. Нарѣжнаго.—II, 561, 567, 568.
«Буря», стих. Некрасова.—II, 153, 284, 302.
Бутовскій.—I, 410, 411, 414.
«Былое и думы», Герцена. — I, 564, 580.
«Бѣглый», стих. Полонскаго — I, 141, 142.
«Бѣдная невѣста», Островскаго.— I, 425, 489.
«Бѣдная Лиза», пов. Карамзина.— II, 562, 629.
«Бѣдность не порокъ», ком. Островскаго.—II, 719.
«Бѣдные дворяне», р. Потѣхина.— II, 43, 66, 67, 69.
«Бѣдные люди», р. Достоевскаго. —II, 257, 260.
«Бѣжинъ лугъ», раз Тургенева.— II, 829.
«Бѣленькіе, чорненькіе и сѣренькіе», р. Лажечникова.—II, 622, 625, 652
Бѣлинскій.—I, 11, 14, 16—18, 113 145, 204—206, 223, 239, 253—256, 259, 260, 266 — 268, 285, 294, 298, 302, 303, 310, **314—376**, 378, 380 — 382, 390, **397—406**, 416, 421 — 423, 426, 440—442, 471 — 474, 496, 498 512, 526, 538, 543, 545, 548, 552 554, 559, 560, 613, 618, 674;—II, 4, 5, 7, 8, 180, 181, 210, 247, **252—263**, 268 — 270, 281, 282, 306, 378, 387, 414, 621, 632, 634, 635, 640, 642 — 645, 653, 688, 745, 746, 785.
Бѣлинскій, М., см. Ясинскій.
«Бѣсы», бал. Пушкина.—II, 152.
«Бѣсы», р. Достоевскаго.—I, 709; —II, 826, 829.
«Бѣшеныя деньги», др. Островскаго.—II, 704, 707.
«Бѣшеная лощина», р. Лѣтнева.— II, 105.
Бэконъ.—I, 40, 41, 73, 214, 420, 739.
Бэль.—I, 214, 246.
Бэнъ.—II, 868.

В.

Вагнеръ.—I, **705—720**;—II, 37, 382
Вальтеръ Патеръ.—II, 839, 840.
Вальтеръ Скоттъ.—I, 222, 249, 315, 382;—II, 137, 597, 636, 643.
«Ваня», ст. Некрасова.—II, 284.
«Василій Теркинъ», р. Боборыкина.—II, 838.
«Василій Шибановъ», А. Толстого. —II, 214.
Васильчиковъ, кн.—II, 867.
Вельтманъ.—I, 123.
Венгеровъ.—II, 646.
Веневитиновъ.—I, 237, 239, 256, 259, 273, 275, 279, 280, 283, 286, 322, 515.
Вернеръ.—I, 212.
Вернонъ-Ли.—II, 840.
«Вечера на хуторѣ», Гоголя.—I, 500, 501;—II, 220, 583, 585, 679, 768
«Взбаломученное море», р Писемскаго.—I, 29, 49, 498, 695;—II, 742.
«Взглядъ на нынѣшнюю литературу Германіи», ст. Губера.—I, 352.
«Взглядъ на русскую литературу 1846 года», ст. Бѣлинскаго.—I, 398.
«Вино», ст. Некрасова.—II, 308.
Віельгорскій.—I, 245.
«Вій», пов. Гоголя.—I, 718; II, 567, 571, 584, 589.
Вильмэнъ.—I, 506.
«Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій", оч. Д. Свѣяжскаго.—I, 205.
Витбергъ.—I, 536, 572.
Владиславлевъ.—I, 298; II, 247.
«Власть земли», оч. Гл. Успенскаго.—II, 403, 404, 449, 450, 456.
«Власть тьмы» или «Неготовъ увязъ —всей птичкѣ пропасть», др. гр. Л. Толстого.—II, **529—542**.
«Внучка панцырнаго боярина», р. Лажечникова — II, 652.
Водовозовъ, В. И.—II, 740, 767.
«Водяной», ст. Жадовской.—II, 549
«Воевода», др. Островскаго.—II, 769.
Воейковъ.—I, 295; II, 246, 628, 680.
«Военная пѣснь», ст. Лажечникова.—II, 626.
«Война и миръ», р Л. Толстого, — I, 620, 621, 653, 654 **670**;—II, 21, 22, 32, 37, 491, 492, 508, 513, 608, 695.
Волконскій, кн.—II, **839—856**.
Волынскій.—II, 830.
Вольтеръ — I, 211. 225, 226, 577; —II, 383, 741.
«Вопросы жизни», Пирогова. — I, 432, 477.
Вороновъ.—II, 193.
Воскресенскій —II, 654.
«Воспитанница», ком. Островскаго.—II, 714, 723.
«Воспоминанія Тургенева о Бѣлинскомъ».—I, 206.
«Воспоминанія о студенчествѣ Грановскаго», Григорьева.—I, 248.
«Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ», ст. А. Толстого.—II, 154.
Вронченко, М. П.—II, 549.
«Всеобщая исторія литературы», Шерра.—I, 121.
«Встрѣча на станціи», пов. И. Панаева.—II, 270.
Вундтъ.—I, 13.
«Въ лѣсахъ», р. Печерскаго.—II, 72, 179.
«Въ невѣдомой глуши», ст. Некрасова.—II, 284.
«Въ ожиданіи лучшаго», р. Хвощинской,—I, **685—693**, 694
«Въ разбродъ», р. Михайлова.—I, 726, 745.
«Въ совѣсти искалъ я долго обвиненья», ст. А. Толстого.—II, 154.
«Въ сороковыя годы», пов. Авдѣева.—II, 105.
«Въ сторонѣ отъ большого свѣта», р. Жадовской.—II, 544, 548, 556.
«Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ», ст. А. Толстого. — II, 154.
«Въ тюрьмѣ», р. Марка Гопа.—II, 795.
«Въ чемъ моя вѣра?», Л. Толстого. —II, 532.
«Въ чемъ счастье?» ст. гр. Л. Толстого.—II, 483.
«Въ чужомъ пиру похмѣлье», ком. Островскаго.—II, 735.
«Вы все любуетесь на скалы», ст. А. Толстого.—II, 154.
«Выселки», раз. Левитова.—I, 137.
«Вѣра», пов. Мережковскаго. — II, 833 838.
Вяземскій, кн.—I, 245, 274, 294, 600;—II, 549.

Г.

Габріель Телецъ, (Тирсо-де-Молина).—II, 162.
Гаевскій, В. П.—II, 749, 750, 754.
Гамалей.—I, 228.
«Гамлетъ», тр Шекспира. — II, **75—78**, 847.
Ганцъ.—I, 511.
«Ганцъ-Кюхельгартенъ», Гоголя. — II, 253.
Гартманъ.—II, 471, 472.
Гаршинъ, Вс.—II, **424—441**, 829, 830.
Гебель.—II, 148.
Гегель.—I, 1, 3, 73, 113, 114, 123, 183, 211, 217, 220, 249, 313, 327, 332, 333, **334 — 337**, 339, **341**, 343, 344, 354, 389, 400, 420, 445, 511, 538, 540, 554, 565, 751, 752; —II, **281**, 649,
Гейне.—I, 145, 343, 351, 352, 541, 581;—II, 146, 153, 154, 799, 881.
Гельвецій.—I, 211.
«Геогонія и космогонія», ст. Р. Зотова.—II, 660.
Гервинусъ.—I, 13.
Гердъ.—II, 767.
«Герой нашего времени», крит. ст. Бѣлинскаго.—I, 365.
Герценъ.—I, 321, 358, 361, 366, 372, 381, 397, 416, 470, 471, **496**, 499, **525—580**;—II, 4, 5, 745, 770.
Гете.—I, 145, 212, 221, 234, **237**, 274, 284, 297, 314, 315, 325, 339, 344, 345, 346, 348, 349, 368, 370, 389, 442, 445, 519, 539, 541, 545, 546, 590;—II, 15, 142, 146, **147**, 148, 153, 166, 644, 645, 679, 847, 850.
«Гдѣ лучше?» р. Рѣшетникова. — I, 181, 187, 188.
Гизо.—I. 506, 752;—II, 522.
«Гимназическія рѣчи Гегеля»,—I, 344.
Глинка.—I, 182, 239, 240, 269, 276, 297;—II, 37, 550, 626, 678.
«Гнилыя болота», р. Михайлова.— I, 731.
Гнѣдичъ, Н. И.—II 594, 596.
«Говорунъ», сат. Некрасова.—II, 257, 287.
Гоголь, Н. В.—I, 11, 35, 113, **127**, 139, 177, 204, 206, 223, 239, **246**, 250, 251, 254, 260, 267, 297, **314**, 325, 330, 331 333, 348, 349, **356**, 364, 372, 376, 427, 440, 442, **499 504**, 537, 541, 545, 668, 669, 674, 701, **766**, —II, 5, 7, 8, 10, 68, 83, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 134, 137, 138, 146, 156, 157, 204, 205, 216, 220, 246, 257, 387, **475**, 550, 571, 573, **583—589**, 590, 592, 604, 642, 654, 677, 678, 679, 681, 688, 812, 826, 829, 838, 846.
Голенищевъ-Кутузовъ.—II, 829.
Гомеръ.—II, 148, 741, 837, 846.
Гончаровъ, И. А.—I, 36, 75, **143—182**, 206, 223, **374—377**, 381, **422**, 426, 481, 556, 565, 723; II, 7. 42, 122, 123, 131, **335—347**, 378, 621, 678, 741, 742, 812, 828, 829, 837.
Горбуновъ, И. Ѳ.—II, 788.
«Горбунъ», раз. Левитова.—II, 225.
«Горе отъ ума», Грибоѣдова.—I, 328, 349, 350, 362, 363, 639;—II, 339 812.

«Горе селъ и деревень», Левитова., —II, 198, 219.
«Горними тихо летѣла душа небесами», ст. А. Толстого.—II, 154,.
«Горячее сердце», ком. Островскаго —II, 731.
Гофманъ.—I, 267, 268, 314, 315, 344, 368, 542—545.
«Гофманъ», ст. Герцена.—I, 542.
Градовскій, А.—I, 751, 753, 764, 768, 769—812.
Грановскій.—I, 11, 204, 206, 277, 305, 314, 319, 339, 354, 361, 372, 381, 416, 422, 423, 426, 428, 499, 504—524, 537, 548, 554, 559, 571, 674; —II, 745, 746.
«Грачевка», оч. Левитова.—II, 229.
Гребенка.—II, 156, 157.
Гречъ, Н. И.—I, 239, 240, 250, 253, 287, 295, 325, 328, 352, 353;—II, 246, 340, 341, 345, 680, 692, 693, 826.
Грибоѣдовъ. — I, 239, 323, 350, 352, 451, 499, 530, 531, 725; — II, 122, 688.
Григоровичъ.—I, 128, 131, 377, 379, 426, 565;—II, 42, 44, 174, 180—183, 256, 621.
Григорьевъ.— I, 239, 425; — II, 206, 230, 232.
Грицко-Основьяненко.—II, 157.
«Гроза», Островскаго.—I, 472, 489, 701;—II, 45, 46, 132, 702, 703, 723, 726.
Громека.—II, 469—472, 477, 742.
«Грѣхъ», р. Засодимскаго.—II, 875.
«Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ», Островскаго.—I, 427.
Губеръ.—II, 549.
Гюго, Викторъ.—I, 194, 212, 221, 222, 249, 315, 326, 351, 352, 357; — II, 146, 679, 680, 681, 827.

Д.

Даль. 1, 379; —II, 41.
Данилевскій. II, 73, 861.
Дантъ.—II, 134, 147, 154.
Дарвинъ.—I, 13, 263, 803; II, 80, 364, 861, 864.
«Два великана», ст. Лермонтова. — II, 292.
«Два Ивана, два Степановича, два Костылькова», р. Кукольника.—II, 677, 688.
«Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ», пов. Нарѣжнаго. II,—567.
«Два міра», Ап. Майкова.—II, 742.
«Два охотника», пов. Потѣхина.— II, 54, 64.
«Дворянка», оч. Левитова.—II, 199.
«Дворянское гнѣздо», р. Тургенева.— I, 37, 168, 421;—II, 45, 46, 724.
«Двѣ семьи», р. Михайлова.—I, 731, 732.
де-Виньи.—I, 249;—II, 681.
«XIX столѣтіе», ст. Кирѣевскаго.— I, 274, 276, 277, 279, 293.
«Девятый валъ», р. Данилевскаго.— II, 72.
Декартъ.—I, 40, 41, 214.
Дельвигъ.—I, 241, 288.
«Деревенская жизнь помѣщика въ старые годы», ст. Добролюбова. — I, 481.
«Деревенская неурядица», Гл. Успенскаго,—II, 397, 401.
«Деревенскій случай», оч. Левитова.— II, 223.
«Деревенскія новости», ст. Некрасова.—II, 308.
«Деревенскія письма», Успенскаго.— I, 131.
«Деревня», Григоровича.—I, 379.
Державинъ.—I, 10, 223, 243, 284, 323, 445, 530; II.— 145, 633.
Деруновъ, С. Я.—II, 760.
«Джанобо Саназаръ», др. Кукольника.—II, 680.
Джорджъ Эліотъ.—II, 137.
«Джурія Мости», др. Кукольника.— II, 680.
«Divina comedia», Данте.—I, 363.
Дидро.—I, 211.
Диккенсъ.—I, 54, 97, 315, 357, 584, 739; II,—137, 205, 679, 846, 848.
«Диллетанты-романтики», ст. Герцена.—I, 366, 549.
«Диллетантизмъ въ наукѣ», ст. Герцена.—I, 549.
«Дмитрій Самозванецъ», р. Булгарина.—I, 302;—II, 690, 696.
«Дневникъ лишняго человѣка», пов. Тургенева.—I, 304.
«Дневникъ писателя», Достоевскаго.—II, 256.
«Дневникъ провинціала», Щедрина.— II, 124.
Добролюбовъ.—I, 14, 16, 63, 204, 205, 206, 211, 237, 367, 443, 451—494, 613, 650, 721, 722, 723; II, 68, 83, 232, 272, 306, 378, 617, 783.
«Довольно», разск. Тургенева.—II, 829.
Додэ.—II, 830.
«Долина мертвецовъ», р. Лажечникова.—II, 634, 636.
«Долгъ прежде всего», Герцена.—I, 564.
«Донъ-Жуанъ», поэма А. Толстого.— II, 154, 159, 164, 166.
«Донъ-Карлосъ», Шиллера.—I, 326.
«Донъ-Кихотъ», р. Сервантеса.—I, 122.
Достоевскій.— I, 173, 174, 377, 426; —II, 11, 20, 158, 232, 242, 256, 257, 472, 621, 777, 778, 826—829, 831, 848.
«Доходное мѣсто», ком. Островскаго.—II, 710, 715.
«Драконъ», раз. А. Толстого.—II, 154, 155.
Дреперъ.—I, 13.
«Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ», Некрасова —II, 272, 287.
Друшининъ.—II, 549.
Дудышкинъ.—II, 742.
«Думы», Рылѣева.—I, 529.
«Дуэль», раз. Чехова.—II, 793.
«Дымъ», пов. Тургенева. — I, 1, 4, 168, 426, 498.
«Дѣтство», пов Л. Толстого I, 620, 622, 630, 652.
Дюма-отецъ.—I, 13;—II, 681, 880.
Дюма-сынъ. — I, 249, 351; — II, 347—372.
«Дядя-Пудъ», ск. Вагнера.—I, 710.
«Дядя Мазай», ст. Некрасова.— II, 284.

Е.

«Евгеній Онѣгинъ», р. Пушкина.—I, 281, 287, 380, 581; —II, 586, 590, 617, 847.
Елисѣевъ.—II, 774, 776, 859.
Ермолаевъ, А. И.—II, 572.
Ершовъ.—I, 295, 297.
«Еще изъ записокъ молодого человѣка», ст. Герцена.—I, 543, 544, 547.

Ж.

Жадовская, Ю. В.—II, 543—560.
«Жанна д'Аркъ», Шиллера.—I, 330.
Жанъ-Поль-Рихтеръ.—I, 541, 542, 709.
«Желѣзная дорога», ст Некрасова.— II, 272.
«Жена», раз. Чехова —II, 793.
«Женская исторія», пов. Жадовской.— II, 557, 560.
«Живыя мощи», р. Тургенева. — II, 829.
«Жизнь Магомета», Добролюбова. — I, 471.
«Жизнь московскихъ закоулковъ», оч. Левитова. II, 226, 227.
«Жизнь Шупова», р. Михайлова.— I, 745.
Жоржъ Зандъ. I, 13, 194, 212, 221, 222, 327, 351, 352, 356, 360, 368, 369, 379, 561; II, 146, 180, 546, 827.
Жуковскій, В. А.—I, 35, 223, 233, 234, 238, 245, 257, 274, 294, 307, 309, 314, 317, 445, 500 530;—II, 7, 147, 148, 156, 246, 251, 280, 289, 293, 571, 590, 593, 596, 603, 605, 606 628, 632, 739.

З.

«Заборовъ», пов. Гребенки.—II, 270.
«Завѣщаніе», стих. Лермонтова.— II, 153.
Загоскинъ. I, 123; II, 34, 36, 138, 550, 583, 592—621, 649, 653, 654, 657, 677, 694.
Зайцевъ.— I, 206;—II, 771.
Замысловскій, Ег. Ег.—II, 741.
«Записки доктора Крупова», Герцена.—I, 268, 672.
«Записки изъ Мертваго дома», Достоевскаго.—I, 128.
«Записки одного молодого человѣка», ст. Герцена.—I, 543.
«Записки охотника», Тургенева.— I, 11, 128, 377—379, 564, 592;—II, 19.
«Записки Темкина», р. Златовратскаго —II, 424.
Засодимскій.—II, 875—888.
«Застѣнчивость», ст. Некрасова.— II, 302, 303.
«Зеленый шумъ», ст. Некрасова.— II, 284.
«Seltsame Leiden eines Theater-Directors», пов. Гофмана,—I, 315
Златовратскій.—II, 236, 237, 376, 386, 448, 454—468, 829, 857, 875.
«Злоба дня», р. Потѣхина. — II, 70, 72.
«Змѣй», разск. Успенскаго. — I, 131, 138.
«Змѣй Тугаринъ», был. А. Толстого.—II, 155.
«Змѣя, что по скалнымъ влечешь свои извивы», ст. А. Толстого.— II, 154.
«Знакомство мое съ Пушкинымъ», ст. Лажечникова.—II, 634.
Золя.—II, 374, 827, 828, 830.
«Золотыя сердца», пов. Златовратскаго.—II, 236, 424.

Зотовъ, В.—I, 297; II, 747.
Зотовъ, Р.—II, 36, 246, 653—676, 677, 683.

I.

«Іоаннъ Грозный», хр. А. Толстого.—163, 164.
«Іоаннъ Дамаскинъ», поэма А. Толстого.—II, 144.

И.

«Иванъ Выжигинъ», р. Булгарина.—I, 302;—II, 690, 693, 694
«Идеалы», Шиллера.—I, 346.
«Извозчикъ», ст. Некрасова.—II, 307.
«Изъ воспоминаній о переписи», ст. Л. Толстого.—II, 477—482.
«Изъ сочиненій доктора Крупова», ст. Герцена.—I, 549, 563, 571.
«Илья Муромецъ», был. А. Толстого.—II, 155.
Искандеръ.—I, 145, 260, 268, 291, 377, 542.
«Искусство», Прудона.—I, 63—75.
«Искусство и нравственность», очкн. С. Волконскаго.—II, 839.
«Искушеніе», р. Хвощинской.—I, 695, 696, 697.
«Исповѣдь», гр. Л. Толстого.—II, 532.
«Испытаніе», р. Хвощинской.—I, 693.
«Исторія», Карамзина.—II, 591.
«Исторія», разск. Новодворскаго.—II, 412.
«Исторія двухъ городовъ», р. Диккенса.—II, 819.
«Histoire de ma vie», Жоржъ Зандъ.—II, 546.
«Исторія литературы», Шлегеля.—I, 249.
«Исторія цивилизаціи Англіи», Бокля.—I, 102.

К.

Каблицъ, І. (Юзовъ).—II, 857—876.
«Кабы знала я, кабы вѣдала», ст. А. Толстого.—II, 154.
Кавелинъ.—I, 206.
«Кавказскій плѣнникъ», пов. Л. Толстого.—I, 670.
«Кавказскій плѣнникъ», Пушкина.—I, 282.
Калайдовичъ К. Ѳ.—II, 572
«Казаки», пов. Л. Толстого,—I, 641, 644.
«Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты», ст. А. Толстого.—II, 154.
Кальвинъ.—I, 211.
Каченскій.—I, 295.
Кантемиръ.—I, 223, 224, 323;—II, 290.
Качтъ.—I, 211, 217, 249, 334.
«Капитанская дочка», р. Пушкина.—II, 571, 577—583, 655, 663.
Капнистъ.—I, 499.
«Капризы и раздумье», ст. Герцена.—I, 549, 561;—II. 260.
«Капустинъ», р. Кукольника—II, 682.
Карамзинъ.—I, 231—235, 241, 246, 256, 269, 307, 309, 445, 740;—II, 293, 561—566, 571, 572, 573, 590, 593, 600, 635, 688.
«Карьера», пов. Новодворскаго.—II, 412, 413, 417, 421, 423.
Катковъ.—I, 131, 310, 312, 767;—II, 442, 762, 872.
Качановскій.—I, 239, 240, 251, 286, 289.
«Кинжалъ», Рылѣева.—I, 529.
Кирша-Даниловъ.—II, 154, 572, 741.
Кирѣевскій, Ив.—I, 237, 239, 256, 259, 275—279, 280, 282, 283, 286, 322, 535, 766, 767, 768, 769;—II, 13, 154
«Клеветникамъ Россіи», ст. Пушкина.—II, 292.
«Клермонтскій соборъ», Майкова—II, 214, 742.
Клюпштокъ.—II, 679.
Ключниковъ, В.—I, 29, 56—58, 59, 60, 61, 173, 310, 357.
«Клятва при гробѣ Господнемъ», р. Н. Ал. Полевого.—II, 690, 698.
Княжнинъ.—II, 561.
«Князь Ѳедоръ Д—кій и княжна Марья М—ва», р. Авг. Лафонтена.—II, 654.
«Князь Серебряный», р. А. Толстого.—II, 163, 179.
«Князь Скопинъ-Шуйскій», р. Шишкиной.—II, 699, 700.
«Коварство и любовь», Шиллера.—I, 326.
Козловъ.—I, 241
«Колдунъ на Сухаревой башнѣ», р. Лажечникова.—II, 642.
«Колесо счастія», ск. Вагнера—I, 715.
«Колокольчики мои, цвѣтики степные», ст. А. Толстого.—II, 154.
«Колыбельная пѣснь», ст. Некрасова.—II, 260.
Кольцовъ.—I, 140, 141, 382. 384, 390, 393—395;—II, 138, 197, 198, 296, 303, 555, 834.
«Кому на Руси жить хорошо», Некрасова.—II, 272, 308, 312.
Кондорсэ.—II, 509, 510, 515, 516.
Контъ, О. I, 382, 411, 418, 420, 494;—II, 509, 510, 515, 766.
«Концы и начала», ст Герцена.—I, 575.
Корнель—I, 284.
«Коробейники», ст. Некрасова.—II, 272, 284, 308, 312, 784.
Короленко, В. Г.—II, 829 834, 838.
«Короткая повѣсть», ст. Жадовской.—II, 548.
Коршъ, В. Ѳ.—II, 750, 754, 755.
Костомаровъ.—I, 206.
Костровъ.—I, 238.
Котошихинъ.—II, 194.
Кохановская.—I, 124, 125 127, 427;—II, 10, 14, 232, 550.
Кошелевъ.—II, 443—448.
Краевскій.—II, 250, 254, 681, 776, 779, 780.
Красовъ.—I, 310, 311, 314, 319.
Кребъ.—I, 238.
Кремнинъ.—II, 745, 746.
Крестовскій, В.—I, 580, 675;—II, 8 155, 543.
«Крестьянка», р. Потѣхина—II, 65.
«Крестьянскій вопросъ въ царствованіе Императора Николая», ст. В. И., Семевскаго,—II, 513.
«Крестьянскія дѣти», Некрасова.—II, 272, 284.
Кривенко. С. Н.—II, 857.
Кроненбергъ.—II, 260.
«Круглицкіе», др. Скабичевскаго—II, 744.
«Крушинскій», р. Потѣхина.—II, 42.
Крыловъ.—I, 236, 245, 294, 323, 499;—II, 596.
«Крымъ», оч. Левитова.—II, 209, 228, 229.
Ксенофонтъ.—II, 837.
«Кто виноватъ?», р. Герцена. I, 145, 533, 549, 556, 559, 564.
«Кто-жъ остался доволенъ?», р. Хвощинской.—I, 693.
Кудрявцевъ.—I, 11, 206, 357.
Кузенъ.—I, 242.
«Кузьма Петровичъ Мирошевъ, русская быль временъ Екатерины II», р. Загоскина.—II, 619.
Кукольникъ.—I, 295, 297, 429, 674;—II, 138, 246, 621, 654, 677 690.
Кулибинъ.—I, 14.
Куперъ.—I, 219, 315.
«Купеческая правда», ст. Скабичевскаго.—II, 763.
«Курилка», сказка Вагнера.—I, 710.
Курочкинъ, В.—II, 789.
Курочкинъ, Н. С.—I, 63;—II, 776, 789, 790—792.
Кущевскій.—I, 580;—II, 8, 193, 195.
«Къ мировому», Потѣхина.—II, 121.

Л.

Лавеле.—II, 867.
Лажечниковъ.—I, 123;—II, 36, 573, 621—653, 654, 657, 674, 677.
Лакотъ-Фукэ.—I, 212.
Лассаль.—I, 85—112, 751, 780.
Лафатеръ.—I, 214.
Лафонтенъ.—I, 530;—II, 545, 742.
Леббокъ.—II, 872.
Левитовъ.—I, 128, 136—139, 580;—II, 193, 197—234.
«Le developpement des idées révolutionnaires en Russie», ст. Герцена.—I, 575.
«Ледяной домъ», р. Лажечникова.—II, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 650.
Лейкинъ. I, 580.
Ленки.—II, 868.
«Леонидъ», р. Зотова.—II, 653, 661, 665—667, 674.
Лермонтовъ, М. Ю.—I, 11, 206, 223, 236, 260, 297, 303, 314, 355, 356, 365, 451, 653;—II, 146, 153, 154, 156, 200, 205, 212, 246, 260, 280, 289, 292, 894, 296, 306, 328, 378, 385, 387, 414, 827, 831, 838.
Лессингъ.—I, 211, 441, 442, 752.
«Les femmes qui tuent et les femmes qui votent», par Al. Dumas-fils.—II, 347.
«Литературный вечеръ», оч. Гончарова.—II, 335.
«Литературныя воспоминанія», Панаева.—I, 205, 245, 248.
«Литературныя мечтанія», ст. Бѣлинскаго.—I, 315, 321, 322;—II, 634.
«Литературныя мелочи прошлаго года», ст. Добролюбова.—I, 483, 486.
«Литературныя опасенія», ст. Надеждина.—I, 287, 322.
«Л. Н. Толстой и О. Контъ о наукѣ», ст. Оболенскаго.—II, 502.
Локкъ.—I, 214, 246, 420, 739.

«Лола Монтесъ» пов. Дружинина. —II, 270.
«L'homme qui rit», ром. Виктора Гюго.—I, 221.
Ломоносовъ, М. В. — I, 14, 15, 16, 17, 186, 223, 224, 225, 234, 238, 241, 242, 256, 284, 445, 451; —II, 290, 384, 594, 613.
Лопухинъ.—I, 228.
Лун-Бланъ.—I, 423.
«Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», ст. Добролюбова.—I, 489.
Льюисъ.—I, 13.
Лѣсковъ (Стебницкій). —I, 29, 59—61, 174.
«Лѣсъ», ком. Островскаго.—II, 714.
«Лѣсъ рубятъ — щепки летятъ», р. Михайлова.—I, 726.
Лютеръ.—I, 211.
«Люцернъ», пов. Л. Толстого.—I, 641.

М.

«Мазепа», р. Булгарина.—II, 690. 696.
«Macht und Recht», брошюра Лассаля.—I, 88.
«Майоръ и сверчокъ», ск. Вагнера. —I, 719.
Майковъ, Ап.—I, 360, 371 — 372, 425, 674; —II, 9, 138, 153, 197, 214, 260, 741, 742, 743, 747, 748, 770, 847.
Майковъ, В. Н.—I, 372, 382—397, 401, 402, 406, 416, 422; —II, 741.
Майковъ, Л. Н.—II, 741, 742, 743.
Маколей.—I, 13.
Максимовичъ, М. А.—II, 572.
«Максъ и Волчокъ», ск. Вагнера.— I, 717.
Макушевъ, В. В.—II, 741.
«Малиновка», пов. Лажечникова. — II, 621, 629, 630.
«Малые ребята», раз. Гл. Успенскаго.—II, 396, 397, 403.
Мальтусъ.—I, 263, 267, 268, 423, 424,—II, 493, 494.
«Мальтусъ и его противники», ст. Милютина.—I, 410.
«Манфредъ», Байрона.—II, 847.
«Марево», р. В. Ключникова.—I, 29, 56.
Маркевичъ.—II, 20, 339.
«Маркеръ», пов. Л. Толстого,—I, 621, 641, 649.
Марко-Вовчокъ.—I, 128; —II, 156, 232, 543.
Марковъ, Евг.—II, 342.
Марлинскій.—I, 11, 50, 244, 364, 724, 743; —II, 34, 590, 646, 677, 680.
Мартыновъ.—I, 14.
«Марфа Посадница», пов Карамзина.—II, 561, 565.
Масальскій.—II, 690, 699.
«Мать», поэма. Некрасова.—II, 242, 276, 284.
«Маша», ст. Некрасова.—II, 284.
«Между денегъ», р. Потѣхина.— II, 105, 107, 167, 174, 192.
«Между людьми», пов. Рѣшетникова.—I, 189, 200.
Межевичъ.—II, 246.
«Межь двухъ огней», р. Авдѣева.— I, 75.
«Менцель», Бѣлинскаго.—I, 321, 503—II, 272.
«Менцель, критикъ Гёте», ст. Бѣлинскаго.—I, 362.
Мережковскій, Д. С. — II, 825—838.
«Мертвое озеро», пов. Некрасова. —II, 268, 269.
«Мертвое тѣло», раз. Слѣпцова.— I, 132, 133.
«Мертвыя души», р. Гоголя.—I, 139, 581, 639, 654, 663, 674, 725; —II, 10, 19, 132, 194, 204, 246, 256, 257, 339, 373, 604.
«Мессинская невѣста», Шиллера.— I, 330.
«Мечтатели», раз. Новодворскаго. — II, 412, 413.
«Мечты и звуки», ст. Некрасова. —II, 251, 253, 254.
«Міровѣдѣніе», ст. Р. Зотова,—II, 661.
«Мила и Нолли», ск. Вагнера.—II, 711—714.
Милль.—I, 13, 739.
Милютинъ, В. А.—I, 406—416, 422, 674; —II, 306.
Минскій.—II, 829.
«Миргородъ», пов. Гоголя.—I, 653; —II, 588.
Михайловскій.—II, 500, 746, 831, 857.
Михайловъ, А. См. Шеллеръ.
«Мишура», ком. Потѣхина.—II, 44.
Модестовъ.—I, 389.
«Мое дѣтство», Левитова.—II 198.
Мольеръ.—I, 284; —II, 146, 359, 475.
Монтескье.—I, 225.
«Морозъ Красный носъ», поэма Некрасова.—II, 272, 308, 309, 311, 312, 784.
«Москва и Петербургъ», ст. Герцена.—I, 549.
«Муза», ст. Некрасова.—II, 283.
«Мысли и замѣтки о русской литературѣ», ст. Бѣлинскаго.—II, 260.
«Мысль», ст. Некрасова.—II, 252.

Н.

«Наблюденія лѣнтяя», Гл. Успенскаго,—I, 610.
«На Волгѣ», ст. Некрасова. — II, 284.
Надеждинъ.—I, 237, 251, 252, 259, 260, 274, 278, 280, 283 — 291, 294, 313, 317, 319, 322, 363, 368.
«На дорогѣ», ст. Некрасова.—II, 255, 260, 307.
Надсонъ.—II, 829.
«Наказъ», Екатерины II.—I, 8.
«Наканунѣ», р. Тургенева.—I, 36, 37, 426, 472, 736; —II, 617, 702, 745, 812.
«На ножахъ», р. Лѣскова.—I, 614.
«На полѣ», ст. Некрасова.—II, 308
«Народное дѣло. Распространеніе обществъ трезвости», ст. Добролюбова. —I, 490.
«Нарѣжный». — II, 561, 566 — 571, 631.
«Насмѣшка мертвеца», Одоевскаго I, 269.
«Наталья, боярская дочь», пов. Карамзина.—II, 561, 562, 629, 641.
«На улицѣ», ст. Некрасова.—II, 307.
Наумовъ, Н. И.—II, 233, 386, 857.
«На ущербѣ», р. Боборыкина. — II, 838.
«Національный вопросъ въ исторіи и литературѣ», А. Градовскаго.—I, 751.
«Наши идеалисты и реалисты», кн. Немировскаго.—I, 73.
«Наши люди», р. Боборыкина.—II, 838.
«Нашъ взаимный другъ», р. Диккенса.—I, 54.
«Не Божьимъ громомъ горе ударило», ст. А. Толстого.—II, 154.
«Небывальщина», раз. Якушкина.— I, 135, 136.
«Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ», ком. Островскаго.—II, 715, 716.
«Невскій проспектъ», пов. Гоголя. —II, 268.
«Невольницы», др. Островскаго. — II, 713.
«Не въ привычку дѣло», раз. Гл. Успенскаго.—II, 398, 403.
«Не въ свои сани не садись», Островскаго.—I, 427, 479; —II, 233.
«Не все коту масляница», ком. Островскаго.—II, 728.
«Невыдержанная борьба», ст. Жадовской.—II, 552.
Невѣровъ.—I, 315, 321, 322.
«Недавняя встрѣча», пов. Кохановской.—I, 127.
«Недѣланіе», ст. Л. Толстого. — II, 875.
Некрасовъ.—I, 377, 465; —II, 7, 135, 153, 174 —178, 232, 239—312, 740, 773, 776—786, 826, 827, 831, 838, 847.
«Некуда», р. Стебницкаго.—I, 29, 724.
Немировскій, А.—I, 64, 73, 74.
«Немного лѣтъ назадъ», р. Лажечникова.—II, 624, 652.
«Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія», ст. Надеждина.—I, 290.
«Необыкновенный завтракъ», пов. Некрасова.—II, 268.
«Непостижимая странность», ст. Добролюбова.—I, 490.
«Нереида», Пушкина.—I, 346.
«Не сошлись характерами», Островскаго.—II, 705.
«Не сѣютъ, не жнутъ», оч. Левитова.—II, 229,
«Несчастные», поэма Некрасова.— II, 241, 285.
«Не такъ живи, какъ хочется», ком. Островскаго.—II, 728.
Нефедовъ.—II, 206, 207, 213.
Никитенко.—II, 253, 258.
Никитинъ.—II, 138, 555.
«Новгородъ и Владиміръ», ст. Герцена.—I, 549.
Новиковъ.—I, 8, 9, 14, 15, 16, 227, 228, 231, 246, 256, 503; —II, 385, 622.
Новодворскій, А. О. —II, 408—424.
«Новоизобрѣтенная привилегированная краска Дирлинга и К°», пов. Некрасова.—II, 268.
«Новый годъ», раз. Кукольника. —II, 683.
«Новыя варіаціи на старыя темы» ст. Герцена.—I, 549, 561.
«Новь», р. Тургенева.—II, 411.
«Носъ», пов. Гоголя.—I, 267.
«Notre Dame de Paris», par Victor Hugo. —II, 679.
«Ночлегъ», раз. Слѣпцова.—I, 132.
«Ночь», раз. Гаршина. — II, 436, 438.
«Ночь на Рождество», пов. Гоголя. —II, 571, 583.
«Нравственный человѣкъ», ст. Некрасова.—II, 255.

Ньютонъ.—I, 739.
«Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести», ст. Герцена.—I, 549.
«Нѣчто о поэзіи Пушкина», ст. Кирѣевскаго.—I, 282.

О.

«О безпечности», разсужд. Лажечникова.—II, 626.
«Обломовъ», р. Гончарова.—I, 143, 145, 146, 170, 736;—II, 132, 337, 339, 373, 702, 742.
Оболенскій.—II, 495, 497, 498, 499, 502, 509, 510, 511, 514—521, 526.
«Обрывъ», ром. Гончарова.—I, 143—182, 381, 695;—II, 337.
«Объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ», ст. Грановскаго.—I, 515.
«Обыкновенная исторія», р. Гончарова.—I, 143, 145, 374, 375, 376; II, 337, 851.
Огаревъ.—I, 537;—II, 299.
«Ода на свободу», Рылѣева.—I, 529.
«Одинъ въ полѣ не воинъ», ром. Шпильгагена.—I, 85—112.
Одоевскій.—I, 239, 245, 256, 258—269, 272, 273, 294, 295, 322, 324, 325, 542, 743.
«Оды Горація», Булгарина.—II, 692.
«О дьякахъ», Милютина.—I, 407.
Озеровъ.—II, 561.
«О значеніи авторитета на воспитаніе», ст. Добролюбова.—I, 477.
«О значеніи искусства въ цивилизаціи», брош. Эдельсона.—I, 65.
«Около денегъ», р. Потѣхина.—II, 105, 107, 192.
Окэнъ.—I, 259.
Оленинъ, А. Н.—II, 572.
Омулевскій.—I, 580, 614, 725, 743, 746, 749.
«О недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россіи», ст. Милютина.—I, 406.
«О педагогическомъ значеніи Тургенева и Гончарова», ст. Скабичевскаго.—II, 789.
«О погодѣ», ст. Некрасова.—II, 286, 781.
«О потребительныхъ ассоціаціяхъ», бр. Пфейфера.—II, 786.
«Опытная женщина», пов. Некрасова.—II, 268.
«Опытъ о народномъ богатствѣ и о началахъ политической экономіи», Бутовскаго.—I, 410.
«Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умственной и нравственной дѣятельностью», ст. Добролюбова.—I, 471.
Ординъ, Ф. Ф.—II, 741.
«О русской журналистикѣ прошлаго столѣтія», Милютина.—I, 429.
«О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», ст. Бѣлинскаго.—I, 330, 440.
«О способахъ изслѣдованія природы», ст. Павлова.—I, 259.
«О степени участія народности въ развитіи русской литературы», ст. Добролюбова.—I, 484.
«Острица», р. Гоголя.—II, 585.
Островскій, А. Н.,—I, 127, 425, 426, 478, 593, 767, 776;—II, 5, 7, 44, 73, 104, 232, 233, 678, 702—738.
«Откликъ съ Патріаршихъ прудовъ», ст. Надеждина.—I, 289.
«Отрадно видѣть», ст. Некрасова.—II, 260.
«Отрочество», пов. Л. Толстого.—I, 620, 622, 630.
«Отсталая», пов. Жадовской.—II, 558, 560.
«Отцы и дѣти», ром. Тургенева.—I, 29, 39, 451, 695;—II, 770.
«Отъ лижущихъ, праздно болтающихъ», Некрасова.—II, 213.
«О философской критикѣ художественнаго произведенія», Ретшера.—I, 344, 345.
«Очерки Бородинскаго сраженія», ст Бѣлинскаго.—I, 362.
«Очерки бурсы», Помяловскаго,—I, 677, 678.
«Очерки гоголевскаго періода», соч. Чернышевскаго.—I, 204, 205, 440, 442.
«Ошибки молодости», Потѣхина.—II, 121.

П.

Павловъ, М. Г.—I, 256, 258, 259, 313, 314, 319, 343, 503.
«Палата № 6», раз. Чехова.—II, 793, 794, 796—808.
«Памяти пріятеля», ст. Некрасова.—II, 306.
Панаевъ, И.—I, 205, 239, 241. 245, 249, 253, 260, 261, 285, 294, 311, 339, 356, 358, 359, 547, 548, 744; II, 255, 257, 260, 263, 285, 677, 679, 681 741.
«Пантелей», А. Толстого.—II, 149, 150.
«Панургово стадо», Крестовскаго.—II, 740.
«Папа-пряникъ», ск. Вагнера.—I, 710.
«Парамонъ Юродивый». Гл. Успенскаго.—II, 829.
«Парижскія тайны», Евгенія Сю.—I, 404.
Пассекъ, Т. В.—I, 531.
«Пахарь», ст. Некрасова.—II, 308.
«Peuple Russe et le socialisme», ст. Герцена.—I, 575.
«Передъ дождемъ», ст. Некрасова.—II, 260.
«Передъ чѣмъ-то», р. Боборыкина.—II, 830.
«Переписка съ друзьями», Гоголя.—I, 127, 421, 426, 435, 502, 503, 654, 699;—II, 10, 19.
«Переселенцы», р. Григоровича.—II, 180.
«Петербургская Сторона», раз. Е. П. Гребенки.—II, 258.
«Петербургскіе углы», раз. Некрасова.—II, 258, 268.
«Петербургскіе шарманщики», раз. Григоровича.—II, 258.
«Петербургскій дворникъ», раз. В. И. Луганскаго.—II, 258.
«Петербургскій случай», раз. Левитова.—II, 201, 226.
«Петербургскія трущобы», р. Вс. Крестовскаго,—128, 740.
«Петербургъ и Москва», ст. Бѣлинскаго.—II, 258.
«Петръ Выжигинъ», р. Булгарина.—II, 690, 694.
Печерскій.—II, 72, 73.
Пиндаръ.—II, 846.
Пироговъ.—I, 430, 432—440, 477
Писаревъ.—I, 63, 204, 206, 237, 367, 741, 742;—II, 741, 742, 743, 746, 770—776.
Писемскій.—I, 36, 49—56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 127, 131, 173, 206, 426, 498, 556, 565, 722, 723;—II, 11, 20, 44, 742.
«Письма изъ Франціи и Италіи», Герцена.—I, 566.
«Письма объ изученіи природы», ст. Герцена.—I, 428, 549, 553, 554, 555, 572.
Платонъ.—II, 837, 840
Плетневъ.—II, 7, 248, 249, 260, 263.
«Пѣвницы», р. Гоголя.—II, 585.
Плюшаръ.—II, 247, 653.
«Поврежденный», Герцена.—I, 564.
Погодинъ, М. П.,—I, 259, 272, 273, 274, 291, 299, 313, 500, 502, 515, 766;—II, 34, 259, 549.
Погорѣльскій (Ал. Перовскій).—II, 596.
Погосскій,——I, 118.
«Подводный камень», р. Авдѣева.—II, 851.
«Подите прочь, какое дѣло», Пушкина. I, 347.
«Подлипоцы», Рѣшетникова.—I, 128, 133—135, 187;—II, 9.
«Позитивная философія», Ог. Конта.—I, 417.
«Пока не требуетъ поэта», Пушкина.—I, 347.
Полевой, Н.—I, 11, 123, 211, 223, 239, 241—256, 257, 259, 260, 283, 285, 286, 288, 289, 290, 295, 317, 321, 324, 325, 346, 451, 535, 542, 743;—II, 5, 34, 138, 246, 247, 250, 573, 592, 654.
Полевой, П. Н.—II, 741, 743, 749.
Полежаевъ.—I, 347—348.
«Полинька Саксъ», Дружинина.—I, 556.
«Политическая экономія», Милля.—II, 741.
Полонскій.—I, 141, 142.
«Полтава», поэма Пушкина.—I, 653.
Поль-де-Кокъ.—I, 297, 325.
«Помѣщикъ», Тургенева.—II, 260.
Помяловскій.—I, 748, 749; II, 7, 193, 230.
Пономаревъ, С. И.—II, 278.
«По поводу одной драмы», ст. Герцена.—I, 366, 549, 556, 559, 561.
«По разнымъ поводамъ», ст. Герцена.—I, 549, 561.
«Поросенокъ», раз. Успенскаго.—I, 131.
«Портретъ», пов. А. Толстого.—II, 141, 143.
«Портретъ», пов. Гоголя.—I, 267, 501.
«Порѣчане», Помяловскаго.—I, 128.
«Посадникъ», др. А. Толстого.—II, 105.
«Послѣднее дѣйствіе въ комедіи», р. Хвощинской.—I, 693.
«Послѣднее самоубійство», Одоевскаго.—I, 263.
«Послѣдній Новикъ», р. Лажечникова.—I, 302;—II, 633, 634, 635, 642, 643, 648, 650, 670.
«Послѣдній потомокъ Чингисъ-хана»,

р. Зотова.—II, 653, 662, 663. 674—676.
«Послѣ обѣда въ гостяхъ», пов. Кохановской.—I, 125.
Посошковъ.—II, 194.
«Потокъ-богатырь», бал. А. Толстого.—II, 150.
Потѣхинъ, А.—II, 39—44, 52—70, 72, 107, 108, 121, 182, 183—193.
«Похвалы глупости», Эразма.—I, 671.
«Походныя записки», Лажечникова.—II, 629, 634.
«Похороны», ст. Некрасова.—II, 284.
«Поэта, дочь Лездейки», р. Бернатовича.—II, 681.
«Правда хорошо, а счастье лучше», др. Островскаго.—II, 704.
«Пребываніе на нѣкоторыхъ звѣздахъ», ст. Р. Зотова,—II, 661.
«Прерванные разсказы», ст. Герцена.—I, 549.
«Пріятель», пов. Тургенева.—I, 37.
«Призраки», раз. Тургенева.—II, 829.
«Приходскій учитель» пов. Хвощинской.—I, 682—685.
«Провидѣніе», ст. Полежаева.—I, 348.
«Проказникъ», ком. Загоскина.—II, 593.
«Прокопій Ляпуновъ», ром. Шишкиной.—II, 699, 700.
«Пролетаріи и пауперизмъ», ст. Милютина.—I, 406, 407.
«Проселочныя дороги», р. Григоровича.—II, 43.
«Простой случай», пов. Жадовской.—II, 555.
«Противъ теченія», стих. А. Толстого.—II, 151.
Протопоповъ.—II, 830.
Прудонъ.—I, 64—76, 175, 334, 575, 585, 780; —II, 391, 519, 762, 763, 878.
«Пугачевцы», р. Саліаса.—II, 1.
«Пустынникъ», пов. Загоскина.—II, 592.
«Путешествіе на Венеру», ст. Р. Зотова.—II, 660.
«Путешествіе на Марсъ», ст. Р. Зотова,—II, 660.
«Пучина», др. Островскаго.—II, 735.
Пушкинъ, А. С.—I, 10, 11, 37, 100, 168, 223, 233, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 245, 246, 248, 249, 251, 257, 260, 273, 280, 281, 284, 285, 287, 288, 290, 294, 302, 309, 314, 323, 324, 325, 333, 345, 346, 347, 349, 355, 360, 371, 380, 439, 442, 445, 500, 530, 539, 541, 653, 728, 767; II,—7, 120, 138, 146, 147, 153, 155, 156, 162, 166, 200, 205, 252, 280, 283, 289, 292, 293, 296, 378, 387, 414, 433, 475, 571, 573—592, 595, 596, 600, 604, 605, 606, 612—617, 632, 633, 642, 647, 648, 654, 678, 679, 688, 703, 785, 799, 826, 838, 847.
Пфеннингеръ.—I, 214, 215.
Пыпинъ, А. Н.—II, 255, 261.
Пьеръ Леру.—I, 536.
«Пьяница», ст. Некрасова.—II, 260.
«Пѣсенка земли», ск. Вагнера.—I, 717, 718, 719.
«Пѣснь Еремушки», Некрасова.—II, 300.
«Пѣснь торжествующей любви», Тургенева.—II, 829.

Р.

Радищевъ.—II, 385.
Радонежскій.—I, 465, 468.
«Разбойники», Шиллера.—I, 326; —II, 62.
«Разговоръ о счастіи», ст. Карамзина.—I, 232.
«Раздѣленіе поэзіи на роды и виды», ст. Бѣлинскаго.—I, 314.
«Размышленія у парадная подъѣзда», ст. Некрасова.—II, 272, 285.
«Разореніе», р. Гл. Успенскаго.—I, 580, 582, 583, 585, 593, 640.
«Разсказъ неизвѣстнаго человѣка», Чехова.—II, 794, 807, 815—824.
«Разъѣздъ», ком. Гоголя.—II, 339.
Расинъ.—I, 284.
«Расправа», оч. Левитова.—II, 222.
«Ревизоръ», Гоголя.—I, 349, 362, 654, 674; II,—10, 124, 194, 246, 257, 339, 812.
Резенеръ.—II, 767.
Ретшеръ.—I, 357.
Рибъ.—II, 868.
Ричардсонъ.—I, 230.
«Родина», ст. Некрасова.—II, 241, 243, 255, 284.
Розенгеймъ.—II, 549.
«Романъ», пов. Новодворскаго.—II, 412, 424.
«Роксолана», др. Кукольника.—II, 680.
«Рославлевъ», ист. р. Пушкина.—II, 583, 605, 612—617.
«Рославлевъ», р. Загоскина.—I, 302;—II, 604—612, 614, 619, 694.
«Рудинъ», р. Тургенева.—I, 426, 498, 508;—II,—132.
«Рука Всевышняго отечество спасла», др. Кукольника.—I, 55;—II, 677.
«Русланъ и Людмила», Пушкина.—I, 282.
«Русская сатира Екатерининскаго времени», ст. Добролюбова.—I, 484.
«Русская цивилизація, сочиненная г. Жеребцовымъ», ст. Добролюбова.—I, 471.
«Русскіе въ началѣ XVIII столѣтія», р. Загоскина.—II, 620.
«Русскій Жильблазъ», р. Нарѣжнаго.—II, 567.
«Русскія женщины», поэма Некрасова.—II, 174, 272, 288.
«Русскія ночи», Одоевскаго.—I, 261, 262, 263, 266, 272, 711.
Руссо.—I, 225, 226, 232, 233, 577, 644; —II, 315, 382, 383, 387, 741.
«Рыбаки», р. Григоровича.—II, 180.
Рыбниковъ.—II, 13, 154.
«Рыцарь на часъ», ст. Некрасова.—II, 284, 311, 312, 781.
Рѣшетниковъ, Ѳ.—I, 133—135, 136, 186—202, 593; —II, 7, 9, 10, 19, 135, 193, 197, 230, 231, 233, 829.

С.

«Савонарола», Ап. Майкова.—II, 742.
«Садко», был. А. Толстого.—II, 155.
Саліасъ, Евг.—II, 1, 20, 21, 23—36.
Салѳвъ.—II, 875.
Салтыковъ, см. Щедринъ.
Сахаровъ.—II, 13, 154.
«Саша», раз. Успенскаго.—I, 129.
«Саша», поэма Некрасова.—II, 297, 299.
«Свадьба», ст. Некрасова.—II, 284.
«Свадьба Кречинскаго», Сухово-Кобылина.—II, 836.
«Свадьба Фигаро», Вертера.—I, 529.
«Свиньи», раз. Слѣпцова.—I, 132.
Свиньинъ.—II, 654.
Свифтъ.—I, 739.
«Свои люди сочтемся», Островскаго.—I, 425.
Семевскій, В. В.—II, 858.
Семевскій, В. И.—II, 513, 514, 857.
«Семейная хроника», Аксакова —II, 18.
«Семейное счастіе» р. Л. Толстого.—I, 622.
«Семейство Тальниковыхъ», повѣсть Станицкаго.—II, 270.
Сенковскій.—I, 280, 295—298, 506; —II, 246, 680.
Сенъ-Симонъ.—I, 219.
«Серапіоновы братья», Гофмана.—I, 268.
Сервантесъ.—I, 122, 315, 362, 590, 591;—II, 146.
«Сержантъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ», пов. Кукольника.—II, 677, 684—687, 688.
«Сила характера», р. Смирновой.—II, 105.
Сисмонди.—I, 506.
«Сказки Кота Мурлыки», Вагнера.—I, 705—720.
Скарятинъ.—I, 131.
Скудельниковъ.—II, 346.
«Словенскіе вечера», Нарѣжнаго.—II, 561, 568, 571.
«Словесность и торговля», ст. Шевырева.—I, 301.
Случевскій, К.—I, 63, 65, 66.
Слѣпцовъ, В.—I, 128, 132—133, 135;—II, 233, 776, 786, 787, 790, 791.
Смирдинъ.—I, 296, 297—300.
«Смотрины и рукобитье», повѣсть В. Даля.—II, 270.
Снегиревъ.—II, 13.
«Сны и факты», р. Левитова.—II, 213.
«Собака», раз. Тургенева.—II, 829.
«Современные герои», Некрасова.—II, 104.
Соколовъ,—II, 772.
Соловьевъ, Вл.—II, 472.
Соллогубъ, гр.—I, 245, 294;—II, 260
«Солнце и его міровая система», ст. Р. Зотова.—II, 661.
«Сонъ въ лѣтнюю ночь въ Павловскѣ», ст. Р. Зотова.—II, 660.
«Сонъ Макара», Короленко.—II, 829, 834.
«Сорока-воровка», ст. Герцена.—I, 549, 564.
Софоклъ.—II, 834, 837, 846.
Спенсеръ.—I, 13, 418;—II, 864, 865.
Спиноза.—I, 214.
«Споръ», ст. Лермонтова.—II, 292.
Станкевичъ.—I, 205, 206, 259, 291, 302, 305, 308, 310, 311, 313—314, 319, 320, 321, 322, 326, 332—343,

353, 354, 506, 511, 512, 519, 537, 538, 541, 545, 546, 547, 572;—II, 4, 82, 681.
«Станція Едрово», ст. Герцена.—I, 549.
Старчевскій.—II, 769.
«Старушка», пов. Майкова.—II, 270.
«Старый міръ и Россія», ст. Герцена.—I, 575.
Стебницкій, см. Лѣсковъ.—II, 20.
Стендаль.—II, 137.
«Степная дорога днемъ», оч. Левитова.—II, 221, 226.
«Степные выселки», оч. Левитова.—II, 225.
«Степные очерки», Левитова.—II 199, 206, 213, 219—222, 224, 225 226, 227, 228, 229, 776.
Стернъ. I, 230.
«Стихотворенія въ прозѣ», Тургенева.—II, 829.
«Сторона наша убогая», дума Некрасова.—II, 288, 308, 311.
«Страшная месть», пов. Гоголя.—II, 571, 584, 588, 589.
Строевъ, П. С.—II, 572.
«Стрѣльцы», р. Масальскаго.—II, 698.
Суворинъ.—II, 382, 442, 490.
«Судъ», поэма Некрасова.—II, 285, 312.
«Судъ людской—не Божій», др. Потѣхина.—II, 66.
Сулье.—I, 249.
Сумароковъ.—I, 223, 224, 485, 530 —II, 561.
«Съ того берега», Герцена.—I, 568, 575.
«Съ работы», ст. Некрасова.—II, 308.
Сю.—I, 13, 249, 350.

Т.

«Таинственный монахъ», р. Зотова.—II, 653, 662, 668—673.
«Такъ, служба», ст. Некрасова.—II, 308.
«Таланты и поклонники», ком. Островскаго.—II, 716.
«Тарасъ Бульба», Гоголя.—I, 500; —II, 571, 585—589.
Тацитъ.—II, 867.
«Темное царство», ст. Добролюбова.—I, 478, 481;—II, 745.
Тикъ.—I, 212.
Тимоѳеевъ.—I, 295, 297;—II, 246.
«Титъ Софронычъ Казанокъ», пов. Потѣхина.—II, 52.
«Тише воды и ниже травы», Гл. Успенскаго.—I, 705.
«Тишина», ст. Некрасова.—II, 298.
Толандъ.—I, 214.
Толстой А.—II, 17, 133, 140—167, 193.
Толстой, Дм.—II, 872.
Толстой Л.—I, 498, 593, 612, 617—670;—II, 11, 20—22, 33, 34, 36, 37, 104, 158, 232, 313—336, 339, 376, 378, 470—542, 695, 826, 828, 829, 831, 847, 848, 872, 876, 877, 878, 881, 882, 883.
«Тонкій человѣкъ», пов. Некрасова.—II, 268.
«Торговая Волга», Зарубина.—I, 128, 135.
«Торквато Тассо», др. Кукольника.—II, 677, 680.
«То, чего не было», раз. Гаршина.—II, 439.
Трескинъ, Н. А.—II, 741.
Третьяковскій.—I, 224;—II, 165, 253, 290, 384, 644, 647, 648, 650.
«Три письма», раз. Гл. Успенскаго.—II, 424.
«Три страны свѣта», р. Некрасова.—II, 267, 268, 269, 272, 779.
«Тройка», ст. Некрасова.—II, 307, 308, 310.
Трубниковъ.—II, 789.
«Трудное время», пов. Слѣпцова.—II, 415.
«Трудъ мужчинъ и женщинъ», ст. гр. Толстого.—II, 501, 502.
«Трусъ», раз. Вс. Гаршина.—II, 428, 431.
Тургеневъ, А. А.—I, 274.
Тургеневъ, И. С.—I, 1—30, 36, 39—47, 53, 57, 60, 61, 73, 75, 127, 131, 168, 173, 206, 228, 288, 360, 361, 377—379, 425, 426, 498, 556, 565, 723;—II, 7, 44, 122, 131, 156, 158, 255, 262, 299, 378, 549, 617, 621, 678, 739, 769, 770, 826, 827, 828, 829, 831, 838, 848.
«Ты знаешь край», ст. А. Толстого.—II, 156.
«Тысяча душъ», р. Писемскаго.—I, 36, 474, 721;—II, 44, 742.
Тьеръ.—I, 506.
Тэккерей.—I, 13, 357;—II, 137, 205, 679.
Тютчевъ.—I, 425, 674;—II, 138, 153, 214.
«Тяжелый часъ», ст. Жадовской.—II, 551.

У.

Уландъ.—II, 148, 679.
«Уличныя картины», Левитова.—II, 199, 226.
«Университетская наука», ст. Писарева.—II, 741, 744, 771.
«Урокъ холостымъ или наслѣдники», ком. Загоскина.—II, 593.
Успенскій, Гл.—I, 580, 582—585, 593—610; II, 7, 9, 19, 376, 386, 387—408, 424, 436, 438, 449—453, 456, 531, 541, 582, 829, 831, 857, 875.
Успенскій, Н.—I, 128—131, 132, 133, 138, 139, 580;—II, 233.
«Устои; исторія одной деревни», пов. Златовратскаго.—II, 450, 454, 460—468.
«Утро помѣщика», пов. Толстого.—I, 621, 635, 640;—II, 513, 859.
«Учебная книга русской словесности», Греча.—I, 353.
Ушинскій.—II, 767.

Ф.

«Фантастическій обзоръ всего мірозданія», ст. Р. Зотова.—II, 660.
«Фаустъ», Гёте.—I, 215, 216, 344, 581, 671;—II, 154, 159, 549, 847.
«Фаустъ», пов. Тургенева.—I, 37.
Федоровъ, П.—II, 654.
Фетъ.—I, 141, 425, 674;—II, 9, 138, 153, 197, 214, 847.
«Фигуры и тропы о московской жизни», оч. Левитова.—II, 208, 226.
«Философскій взглядъ на холеру», ст. Павлова.—I, 259.
Фихте.—I, 211, 334, 751.
Флоберъ.—II, 136, 830.
Фонвизинъ.—I, 8, 9, 10, 168, 225, 499, 506;—II, 68, 812.
Фохтъ.—I, 13.
Фурье.—I, 219, 262.

Х.

«Хворая», пов. Потѣхина.—II 105, 107, 108.
Хвощинская.—I, 425, 671, 675—705; —II, 42, 73, 83—102.
Херасковъ.—II, 561.
«Хлѣба и зрѣлищъ», р. Михайлова.—II, 105.
«Ходитъ спѣсь надуваючись», ст. А. Толстого.—II, 154.
Хомяковъ, А.—I, 274, 535, 766, 767, 769;—II, 550.
«Хорошее житье», раз. Успенскаго.—I, 131.
«Хорь и Калинычъ», Тургенева.—I, 377.
«Художники», раз. Вс. Гаршина.—II, 433.
Худяковъ.—II, 154.

Ц.

«Царь Ѳедоръ», хр. А. Толстого.—II, 163.
Цвингли.—I, 211.
«Цвѣты невиннаго юмора», ст. Писарева.—II, 774.
Цейдлеръ, П. М.—II, 744, 748, 764, 765, 766, 767, 768.
Церетелевъ, кн.—II, 572.
«Цехъ ученыхъ», ст. Герцена.—I, 428, 549.
«Цыгане», п. Пушкина.—I, 646.

Ч.

Чаадаевъ.—I, 239, 256, 274, 278, 279, 291, 292, 451, 522, 544, 545.
Чаевъ.—II, 20, 21, 23, 37—40.
«Черная женщина», р. Греча.—I 353.
«Черная работа», раз. Гл. Успенскаго.—II, 391, 325, 403.
«Черноземныя поля», р. Евг. Маркова.—II, 105, 106, 108.
«Черный годъ или Горскіе князья», р. Нарѣжнаго.—II, 567.
Чернышевскій.—II, 851, 872.
«Черты для характеристики русскаго простонародья», ст. Добролюбова.—I, 488.
«Четыре дня», раз. Вс. Гаршина.—II, 428, 430.
Чеховъ.—II, 793—824, 829, 838.
«Чиновникъ», сат. Некрасова.—II, 259.
«Что дѣлать?», р. Чернышевскаго.—II, 851.
«Что такое обломовщина?», ст. Добролюбова.—I, 481.
«Чудный мальчикъ», ск. Вагнера.—I, 710.
«Чужое добро въ прокъ не идетъ», др. Потѣхина.—II, 61.
Чуровскій, А.—II, 654.

Ш.

Шатобріанъ.—I, 212, 219, 222.
Шатріанъ.—I, 194.

Шаховской, кн.—II, 593, 596, 606, 619.
«**Швея**», ск. Вагнера,—I, 717, 718, 719.
Шевыревъ.—I, 259, 272, 280, 291, 301, 302, 303, 319, 320, 321, 324, 325, 331, 343, 500, 502.
Шевченко.—I, 141;—II, 138.
Шекспиръ.—I, 69, 72, 122, 145, 284, 325, 339, 350, 362, 445, 541, 581, 582, 589, 591, 739;—II, 15, 62, 75, 102, 134, 146, 166, 475, 679, 846, 847, 848.
Шеллеръ.—I, 614, **721—734**, 743, 744, 746, 747, 749, 750;—II, 10, 106, 109.
Шеллингъ.—I, 1, 3, 249, 256, 257, 258, 259, 262, 264, 266, 267, 269, 276, 283, 285, 286, 290, 314, 322, 328, 333, 339, 445, 751.
Шенье.—II, 147, 153.
Шиллеръ.—I, 212, 216, 234, 274, 284, 307, 312, 314, 325, 326, 329, 330, 339, 345, 346, 347, 354, 368, 369, 370, 530, 541, 545;—II, 15, 146, 148, 644, 645, 679, 855.
Шишмина, Ол.—II, 654, 690, 698, **699—701**.
Шишковъ.—I, 269;—II, 571.
«**Школьникъ**», ст. Некрасова.—II, 284, 300.
Шлоссеръ.—I, 13, 214.
Шопенгауэръ.—II, 471, 475.
«**Шоссейный день**», оч. Левитова.—II, 226, 229.
Шпильгагенъ.—I, **85—112**, 194, 231.
«**Шуба овечья, душа человѣчья**», др. Потѣхина.—II, 65.

Щ.

Щедринъ.—II, 7, 9, 44, 104, 124, 131, 376, 378, 500, 678, 773, 774, 812, 826, 859.
Щербина.—II, 155.
«**Ѣду-ли ночью по улицѣ темной**», ст. Некрасова.—II, 202, 303.

Э.

«**Эвелина-де-Вальероль**», ром. Кукольника.—II, 681.
Эврипидъ.—II, 834.
«**Эдвардъ**», бал. А. Толстого.—II, 155.
Эдельсонъ.—I, 63, 65.
«**Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны**», раз. Новодворскаго.—II, 411, 412, 413, 418, 419, 420 427, 438.
Эртель.—II, 875.
Эсхилъ.—II, 846.

Ю.

Юмъ.—I, 214, 739.
Юнгъ-Штиллингъ.—I, 214, 215.
«**Юность**», пов. Л. Толстого,—I, 620, 622, 630, 744.
«**Юрій Милославскій**», р. Загоскина.—I, 302, 602, 725;—II, 565, 573, 595, **596 606**, 613, 619, 620, 635, 642, 694, 699.

Я.

Языковъ.—I, 274.
Якубовичъ.—II, 572.
Якушкинъ, П.—I, 128, **135—136**.
Ясинскій.—II, 409, 414, 438, 829.

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ.

Письма о равныхъ разностяхъ. Н. К. Михайловскаго. Цѣна 1 рубль.

Содержаніе: О драмѣ Додэ, о романѣ Бурже и о томъ, кто виноватъ. О совѣсти г. Минскаго. О XVIII передвижной выставкѣ. О Крейцеровой сонатѣ. Объ отцахъ и дѣтяхъ и о г. Чеховѣ. Объ ошибкахъ исторической перспективы. О женщинахъ и о Донъ-Жуанахъ. О воспитаніи и наслѣдственности. О буддизмѣ. О трудномъ положеніи русскаго читателя. Кое о чемъ. О г. Потапенко. Объ одномъ соціологическомъ вопросѣ. Памяти Г. В. Елисѣева. О повздхъ мозговыхъ линіяхъ. О живой старинѣ. О нѣкоторыхъ явленіяхъ французской жизни. О Лермонтовѣ. О гр. Л. Толстомъ и о наркотикахъ. Объ Іудѣ предателѣ и о XIX передвижной выставкѣ. Памяти Н. В. Шелгунова. Опять объ отцахъ и дѣтяхъ. Изъ литературныхъ воспоминаній и текущей жизни.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ И. Н. ПОТАПЕНКО.

Восемь томовъ. Цѣна каждому 1 рубль.

Содержаніе: **Томъ первый:** Святое искусство. Потѣшная исторія. Здравыя понятія. Никогда! **Томъ второй:** На дѣйствительной службѣ. Секретарь его превосходительства. Рѣдкій праздникъ. Проклятая слава. **Томъ третій:** Генеральская дочь. Крылатое слово. Отечество въ опасности. Общій взглядъ. Ахметка Саратовскій. Ицекъ Шмуль бриллiантщикъ. **Томъ четвертый:** Шестеро. Деревенскій романъ. Семейка. Домашній судъ. Ради хозяйства. Иллюзія и правда. **Томъ пятый:** Самородокъ. Тоже жизнь. Письма. Задача. Жены. Тайна. Смыслъ жизни. Кусокъ хлѣба. Отступленіе. На вдовицѣ. Грѣхъ дѣда Мартына. **Томъ шестой:** До и послѣ (Бурсацкія воспоминанія). Остроумно! Жестокое счастье. **Томъ седьмой:** На пенсію. Небывалое дѣло. Повозка. Поздно. Прямой расчетъ. Стыдно. Право на счастье. **Томъ восьмой.** Исполнительный органъ. Земля. Семейная исторія. Ампиръ. Третья. Находка.

СОЧИНЕНІЯ ВИКТОРА ГЮГО.

Съ портретомъ автора и вступительной статьей **А. М. Скабичевскаго.** Сокращенный переводъ *С. А. Брагинской.* Два большихъ тома Цѣна **3** р. **50** к.

Содержаніе: Томъ первый. Бюгъ Жаргаль. Послѣдній день приговореннаго къ смерти. Соборъ Парижской Богоматери. Клодъ Гё. Исторія одного преступленія. Человѣкъ, который смѣется. **Томъ второй.** Труженики моря. Несчастные. Девяносто третій годъ.

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЕЙ.

Профессора Г. ЖОЛИ. 3-изданіе. Цѣна **60** к.

СОДЕРЖАНІЕ: **I. Подготовка генія культурнымъ ростомъ народа.** Явленія геніальности труднѣе поддаются изученію, чѣмъ помѣшательство. Три главные отдѣла нашего предмета: великій человѣкъ, геній, вздохновеніе. Мнѣніе Гете о послѣдствіяхъ долговѣчности отдѣльныхъ семей и цѣлыхъ народовъ. Всякій-ли народъ способенъ произвести великаго человѣка? Наиболѣе благопріятныя времена для появленія великихъ людей. **II. Вліяніе семейной наслѣдственности.** Существуетъ-ли наслѣдственная подготовка, ускоряющая появленіе генія? Братья, сестры и матери великихъ людей. Наслѣдственность вкусовъ, причудъ и выдающихся способностей. Геній и успѣхъ. Различія между естественной и юридической семьей, между кровью и именемъ, между святымъ и великимъ человѣкомъ. Законныя обобщенія. Теорія чередованія. Если геній не есть неврозъ, то не чередуется-ли онъ съ неврозомъ? Страсти и великіе замыслы. **III. Великій человѣкъ и современная ему среда.** Великій человѣкъ не разрушаетъ ничего кромѣ того, что является помѣхою жизни. Онъ не вноситъ въ человѣчество усилій, клонящихся къ раздѣленію людей, но только усилія, направленныя къ союзу и единству. Какимъ образомъ среда требуетъ своего великаго человѣка. Какъ относится великій человѣкъ къ своимъ предшественникамъ, къ своимъ современникамъ, къ своимъ учителямъ и къ своимъ предтечамъ. Примѣры. Въ чемъ состоитъ оригинальность великаго человѣка. Его вліяніе на людей, которыми онъ пользуется для своихъ цѣлей, и на идеи, которыми онъ овладѣваетъ. Не геній получаетъ жизнь отъ тѣхъ элементовъ, которыя онъ организуетъ, а наоборотъ—онъ самъ даетъ имъ новую жизнь. **IV. Геній и вздохновеніе.** Уничтожаетъ-ли геній роль случая? Пріостанавливаетъ-ли онъ законы необходимости. Случай не дѣлаетъ даже открытій.—Примѣры. Колумбъ и открытіе Америки. Ньютонъ и открытіе мірового тяготѣнія. Лейбницъ и его ученіе объ активной субстанціи. Леонардо да Винчи и «Тайная Вечеря». Бетховенъ и нѣкоторыя изъ его симфоній. Является-ли великое дѣло при своемъ возникновеніи въ формѣ цѣльнаго замысла. Фенелонъ и Ж. Ж. Руссо. Моцартъ и Бетховенъ. Лихорадочное возбужденіе ума. Истинныя условія для вздохновенія. Анализъ элементовъ генія. Провѣрка этого анализа. Личности, которымъ не доставало то одного, то другого изъ условій геніальности и величія. Заключительные выводы.

СОЧИНЕНІЯ
Д. И. ПИСАРЕВА.
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ.
ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева)

1-й Томъ. Первые литературные опыты. Несоразмѣрныя претензіи. Народныя книжки. Идеализмъ Платона. Физіологическіе эскизы Молешота. Процессъ жизни (по Фохту). Схоластика XIX вѣка. Стоячая вода. Писемскій. Тургеневъ и Гончаровъ. Женскія типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. Библіографическія замѣтки. Меттерних. **2-й Томъ.** Аполлоній Тіанскій. Московскіе мыслители. Русскій Донъ-Кихотъ. Вольные русскіе переводчики. Генрихъ Гейне. Пчелы. Физіологическія картины. Базаровъ. Очерки изъ исторіи печати во Франціи. Зарожденіе культуры. **3-й Томъ.** Наша университетская наука. Историческіе эскизы. Цвѣты невиннаго юмора. Мотивы русской драмы. Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній. Историческое развитіе европейской мысли. **4-й Томъ.** Реалисты. Кукольная трагедія. Промахи незрѣлой мысли. Романъ кисейной дѣвушки. Сердитое безсиліе. Прогулка по садамъ россійской словесности. Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ. Педагогическіе софизмы **5-й Томъ.** Пушкинъ и Бѣлинскій. Подвиги европейскихъ авторитетовъ. Посмотримъ! Подрастающая гуманность. Историческія идеи Огюста Конта. Погибшіе и погибающіе. Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. Взгляды англійскихъ мыслителей на умственныя потребности современнаго общества. Льюисъ и Гексли. **6-й Томъ.** Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ. Образованная толпа. Борьба за жизнь. Романы Андре Лео. Старое барство. Французскій крестьянинъ 1789 г.

ИСТОРІЯ НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
А. М. Скабичевскаго.

(1848—1890 г.) 2-е изданіе. Цѣна 3 руб.

Содержаніе: **I. Общій обзоръ литературнаго движенія въ разсматриваемую эпоху и исторія критики** Дружининъ, Анненковъ, Аполлонъ Григорьевъ, Страховъ, Милюеръ, В. Майковъ, Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Антоновичъ, Михайловскій.

II. Школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Тургеневъ, Гончаровъ, Л. Толстой, Достоевскій, С. Аксаковъ, Григоровичъ, Писемскій, Авдѣевъ, В. Крестовскій (Хвощинская), Кохановская (Соханская).

III. Беллетристы-народники. Марко Вовчекъ (Марковичъ), Н. Успенскій, Слѣпцовъ, С. Максимовъ, Г. Данилевскій, П. Мельниковъ, П. Якушкинъ, Рѣшетниковъ, Левитовъ, Наумовъ, Глѣбъ Успенскій, Златовратскій.

IV. Беллетристы-публицисты. Салтыковъ, Помяловскій, Шелгуновъ, Засодимскій, Бажинъ, Ѳедоровъ, (Омулевскій), Ставровичъ, Гирсъ, Боборыкинъ, Е. Марковъ, В. Немировичъ-Данченко, Терпигоревъ, Салосъ, Ахшарумовъ, Лейкинъ, Клюшниковъ, Лѣсковъ, В. В. Крестовскій, Б. Маркевичъ, Авсѣенко, Л. Головинъ, Авенаріусъ.

V. Историческая беллетристика. Н. Костомаровъ, А. Толстой, Л. Толстой, Г. Данилевскій, Мордовцевъ, Карновичъ, Сальясъ.

VI. Беллетристы восьмидесятыхъ годовъ. Осиповичъ (Новодворскій), В. Гаршинъ, Ясинскій, (Максимъ Бѣлинскій), Альбовъ, Баранцевичъ, Каронинъ, Эртель, Мачтетъ, Короленко, Потапенко, Маминъ (Сибирякъ), Голицынъ (Муравлинъ), А. Чеховъ, Дмитріева, Винницкая, Шапиръ, М. Крестовская.

VII. Драма и комедія. Островскій, Тургеневъ, Писемскій, А. Толстой, А. Пальмъ, А. Потѣхинъ, Чернышевъ, Н. Соловьевъ, В. Крыловъ, Д. Аверкіевъ.

VIII. Поэзія. Некрасовъ, Шевченко, Никитинъ, Суриковъ, Дрожжинъ, А. Плещеевъ, Жемчужниковъ, В. Курочкинъ, Минаевъ, А. Толстой, А. Майковъ, Фетъ, Тютчевъ, Я. Полонскій, Мей, Щербина, Гербель, П. Вейнбергъ, М. Михайловъ, Надсонъ, Фругъ, Минскій, Мережковскій, Апухтинъ, Фофановъ, Голенищевъ-Кутузовъ, С. Андреевскій, П. Козловъ и пр.

ЗАКОНЫ ПОДРАЖАНІЯ.
Ж. Тарда. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: I. Всеобщность повторенія.—II. Соціальныя сходства и подражаніе.—III. Что такое общество?—IV. Что такое исторія?—V. Логическіе законы подражанія.—VI. Внѣлогическія вліянія (обычай и мода).—VII. Общія соображенія и выводы.

СЕМЬ НОВѢЙШИХЪ ЧУДЕСЪ СВѢТА.
Ч. Кента. Съ 109 рис. въ текстѣ. Ц. 1 р.

Содержаніе: I.—Паровая машина.—II. Электрическій телеграфъ.—III. Фотографія.—IV. Швейная машина.—V. Спектроскопъ.—VI. Электрическій свѣтъ.—VII. Телефонъ съ однородными ему приборами, микрофономъ и фонографомъ.

КОНЕЦЪ МІРА.
Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Съ 80 рис., изготовленными въ Парижѣ спеціально для отдѣльнаго изданія. Цѣна 60 коп.

Содержаніе: Вмѣсто предисловія. Часть I. Въ двадцать пятомъ вѣкѣ.—I. Небесная угроза.—II. Комета.—III. Засѣданіе въ институтѣ.—IV. Когда наступитъ свѣтопреставленіе.—V. Ватиканскій соборъ.—VI. Гроза. Часть II. Черезъ десять милліоновъ лѣтъ.—I. По дорогѣ къ далекому будущему.—II. Метаморфозы.—III. „Суета суетъ".—IV. Омегаръ.—V. Ева.—VI. Послѣдній день. Эпилогъ. Послѣ кончины міра земного. Прибавленіе. Конецъ міра по вѣрованіямъ минувшихъ вѣковъ.

ОЧЕРКИ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕНЗУРЫ.

А. М. Скабичевскаго.

(1800—1863 г.) 495 страницъ. Цѣна **2** рубля.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА.

Въ 10 томахъ. Каждый томъ равняется 1500 журнальныхъ страницъ. Цѣна каждаго тома **1 р. 50 к**

До 1-го декабря 1894 г. вышло семь томовъ:

Томъ первый—**Давидъ Копперфильдъ**, переводъ В. Л. Ранцова. *Томъ второй*—**Домби и сынъ**, переводъ В. Л. Ранцова. *Томъ третій*—**Холодный домъ**, переводъ подъ редакціей М. А. Шишмаревой. **Повѣсть о двухъ городахъ**, переводъ подъ редакціей А. В. Каменскаго. *Томъ четвертый*—**Крошка Дорритъ**, переводъ М. А. Шишмаревой. **Большія ожиданія**, переводъ М. А. Шишмаревой и М. Д. Никоновой. *Томъ пятый.*—**Нашъ взаимный другъ**, переводъ подъ редакціей Р. И. Сементковскаго. **Оливеръ Твистъ**. переводъ В. В. Чуйко. *Томъ шестой.*—**Посмертныя Записки Пикквикскаго клуба и Тяжелыя времена**, переводъ М. А. Шишмаревой. *Томъ седьмой.*—**Николай Никльби**, переводъ М. Д. Никоновой. **Три святочныхъ разсказа**. переводъ М. А. Шишмаревой. *Восьмой томъ* печатается.

ЕВРОПЕЙСКІЕ МОНАРХИ И ИХЪ ДВОРЫ.

Составилъ **Politikos**, перевелъ и дополнилъ **В. Ранцовъ**. Съ 16 портретами. Цѣна **1** рубль.

Оглавленіе: Отъ переводчика. Предисловіе автора. Турецкій султанъ. Австрійскій императоръ Францъ-Іосифъ. Германскій императоръ Вильгельмъ II. Итальянскій король Гумбертъ I. Испанскій король Альфонсъ XIII. Португальская королевская фамилія. Георгій I, король Эллиновъ. Голландская королева Вильгельмина. Бельгійскій король Леопольдъ II. Королевская датская фамилія. Шведскій король Оскаръ II. Румынская королевская чета. Сербскій король Александръ I. Англійская королева Викторія. Черногорскіе владыки и князья.

СОЧИНЕНІЯ

ГЛѢБА УСПЕНСКАГО.

Въ 2-хъ большихъ томахъ. Съ портретомъ автора, гравированнымъ въ Лейпцигѣ, и статьей Н. Михайловскаго. Цѣна **3** рубля.

Содержаніе: Нравы Растеряевой улицы. Растеряевскіе типы и сцены (6 разсказовъ). Столичная бѣднота (4 разсказа). Разоренье, въ 3-хъ частяхъ. Часть 1-я „Наблюденія Михаила Ивановича“ (12 главъ). Часть 2-я: „Тише воды, ниже травы“ (14 главъ). Часть 3-я: „Наблюденія одного лѣнтяя“ (3 главы). Новыя времена, новыя заботы (5 разсказовъ). Очерки и разсказы (11 разсказовъ). Мелочи (3 разсказа). Письма изъ Сербіи. Кой-про-что (15 разсказовъ). Изъ путевыхъ замѣтокъ. Изъ деревенскаго дневника. 17) главъ). Непорванныя связи (3 разсказа). Малые ребята (12 главъ). Бѣглые наброски (6 разсказовъ). Богъ грѣхамъ терпитъ (7 разсказовъ). Волей-неволей (3 разсказа). Крестьянинъ и крестьянскій трудъ 19) главъ). Власть земли (10 главъ). Изъ разговоровъ съ пріятелями (6 разсказовъ). Не случись. Пришло на память (5 разсказовъ). Скучающая публика (7 разсказовъ). Черезъ пень колоду (5 разсказовъ) Очерки (3 разсказа). Письма съ дороги (10 главъ). Живыя цифры (3 разсказа). Мимоходомъ (2 разсказа)

Сочиненія Глѣба Успенскаго Томъ **3**-й Цѣна **1** руб. **50** коп.

Содержаніе: Очерки переходнаго времени (12 главъ). Статьи разнаго содержанія (5 статей) Невидимки (4 разсказа). Поѣздки къ переселенцамъ. Отъ Казани до Томска и обратно (17 главъ) Отъ Оренбурга до Уфы (9 главъ). Не знаешь, гдѣ найдешь. Мелькомъ (7 главъ). Разсказы (4 разсказа)

СОЧИНЕНІЯ

Ѳ. М. РѢШЕТНИКОВА.

Въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ, и вступительной статьей М. Протопопова. Цѣна за два тома (около 1500 стр.) **2** руб. **50** коп. Въ простомъ переплетѣ **3** руб. Въ роскошномъ **3** руб. **50** коп.

Содержаніе: **Романы.** Подлиповцы. Гдѣ лучше? Ставленникъ. Свой хлѣбъ. Между людьми. **Мелкіе разсказы:** Никола Зимненскій. Макся. Шиюхвостовъ. Тетушка Опариха. Кумушка Мирониха. Яшка Очерки обозной жизни. Горнорабочіе (начало неоконченнаго романа).

Объявленія дозволены цензурою.

3 2044 014 323 752

[illegible] book [illegible] [illegible]ned [illegible] Library on or [illegible] the last date [illegible]ped below.
A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.
Please return promptly.

[redacted]

AUG 19 '58 H

DUE OCT '65 H
CANCELLED

MAY 2 '66 H

14 [illegible]
MAY 14 '67 H
CANCELLED

MAY 8 '74 H
CANCELLED
APR 8 1974
4405 915

WIDENER
CANCELLED
SEP 10 1992
AUG 19 1992
BOOK DUE